

Александр Грин Рассказы 1906-1912

Слон и Моська

I

Моська зажмурил глаза и спустил курок. На мишени показался белый четырехугольник, и в то же мгновение он почувствовал сильный удар в шею...

Всякий раз, когда Моська выходил на плац, прикладывал по команде ружье к плечу, целился в мишень и, ожидая команды «пли», судорожно прижимал палец к спуску, на него нападал непобедимый страх. Моська — самый плохой солдат и стрелок роты — служил вот уже больше года, но ни свирепая дисциплина ***ского батальона, ни бесчисленные побои, наносимые ему всеми из начальства, ни «отеческие» увещевания — ничто не могло сделать из него солдата «как все»...

И когда наконец раздавалась команда «пли!», он весь обмирал и, зажмурив глаза, посылал пулю в пространство, где она начинала благополучно визжать, как будто совершенно не замечая мишеней, в которые Моська целился так долго, упорно и безнадежно...

Когда махальный¹ после пятого, и последнего, выстрела снова прикладывал к Моськиной мишени белый четырехугольник, а затем комически взмахивал им кверху, давая понять, что пулю можно искать где угодно, только не в мишени, Моська чувствовал, что к нему сзади подбегает фельдфебель² и с размаху бьет его в шею — раз и два! От таких ударов шапка у Моськи падала на землю, а сам он, вытянувшись и замерев в жалкой принужденной позе, смотрел вперед широко раскрытыми глазами и ничего не видел от слез, заставших все поле и эти ненавистные глупые мишени, которые как будто смеялись над ним.

Несмотря на свое ничтожество в специальном «боевом» значении, Моська играл громадную роль в жизни первой роты.

— Это господь наказывает за грехи наши, — говорил какой-нибудь офицер, проходя мимо Моськи и с ненавистью глядя на его неуклюжую, обдерганную фигуру.

«Не было печали, так черти накачали», — думали его фельдфебель, взводный и подвзводный.

— Не было бы Моськи — хоть топись, — говорили солдаты.

И действительно, не будь Мосея, или Моськи, как звали его все, роте жилось бы еще хуже. В военной среде существует неизвестно на чем основанное убеждение, что первая по счету в батальоне рота должна быть также первой в смысле служебного превосходства. Если бы так было всегда на самом деле, то можно думать, что вторая, третья, четвертая, пятая шестая роты постоянно уступают все больше и больше друг другу в служебном рвении и что шестая, например, должна явиться чуть ли не сборищем самых плохих и ленивых солдат. На деле бывает, однако, часто наоборот. Хотя в первую роту и назначают по возможности более рослых солдат, но рослость еще не служит как известно, признаком особой способности к воинской «науке». Если же прибавить к этому, что офицерство заведующее первой ротой, точно такое же, как и в остальных, ни хуже, ни лучше, то будет понятно, почему сплошь и рядом на смотрях какая-нибудь пятая или шестая рота, которой раньше как-то и незаметно было на казарменном дворе, вдруг получает разные «спасибо» и прочее, а первая рота при гробовом молчании генерала отправляется восвояси домой.

¹ Махальный — солдат, на обязанности которого лежит показывать красным значком, в какое место мишени попала пуля. Если стрелок даст промах — махальный машет белым значком. (Здесь и далее примечания автора.)

² Фельдфебель, взводный, подвзводный, ефрейтор, унтер, — В дореволюционной армии эти звания присваивались младшему командному составу из солдат.

Моська служил в первой роте. Его рост и ширина плеч так понравились уездному воинскому начальнику что Моська был назначен в первую роту. Трудность и бессмысленность солдатской службы и жизни подействовали на него ошеломляюще. После двухнедельных испытаний, когда начальство убедилось, что в ближайшем будущем разве только сверхъестественное вмешательство может помочь Моське сделаться солдатом «как все», – он стал козлом отпущения. Его били, гоняли немилосердно, ставили «под ранец», и он молчал и безропотно переносил эти гонения, как будто сам считал себя ответственным за свою неспособность к военной службе.

Не проходило дня, чтоб Моська не повергал в уныние своего «фитьфебеля». То он повертывался не в ту сторону, куда нужно; то, вскидывая на плечо винтовку, так ударял штыком о штык соседа, что тот ронял ружье; то приходил на ученье в нечищенных сапогах, или надевал шапку без кокарды, или забывал патронташ, или свертывал шинель так, что она на ходу развертывалась и Моське надо было выходить из строя под градом ругательств, то... Но всего не пересчитаешь... Достаточно сказать, что если бы проследить шаг за шагом всю солдатскую жизнь Моськи, не нашлось бы, пожалуй, ни одного из преступлений, караемых дисциплинарными взысканиями, которых не совершал бы Моська по нескольку раз.

Вся ненависть начальства к солдату как к чему-то живому, которая обращает его в слепую, покорную машину, – сосредоточилась на Моське... Моська портит роту. Моська растлевающим образом действует на солдат, Моська глуп более, чем полагается быть глупым солдату.

Правда, было много способов отделаться от неудобного солдата... Можно было послать его в «комиссию», объявить больным и отпустить домой... Можно было перевести в другую роту... Можно было, наконец, просто прогнать Моську со службы...

Но там, где человек превращает другого человека в послушную машину, где сделаться машиной считается доблестью и где не всякий, даже при желании, может упрятать свою натуру в железные рамки дисциплины, – там таких решений быть не могло... Первая и главная обязанность начальства – из сырого деревенского материала сделать чистенькие, щеголеватые машинки, способные двигаться и стрелять по приказанию. Моська не мог сделаться такой машинкой – значит, его нужно сделать таким, закон дисциплины не должен терпеть ни исключений, ни поражений... А быть может, Моська не желал сделаться «хорошим» солдатом? Быть может, он не глуп, а умен, как змий, ловок, как кошка, меток, как Немврод,³ и храбр, как тысяча чертей, и только намеренно уклоняется от солдатской службы, разыгрывая дурака в расчете на освобождение? А если не так, если он действительно никуда не годится, – не послужит ли его освобождение причиной того, что другие нарочно станут прикидываться неумелыми? Перевести в другую роту? Но это, во-первых, значило бы признать свое бессилие. Перед кем? Каким-то Моськой... Во-вторых, это была бы уступка человеческой природе, которая на солдатской службе в расчет не принимается.

Итак, Моська служил в первой роте.

II

А между тем никто не мог бы положить руку на сердце сказать, что Моська глуп. И сам он, вспоминая иногда в редкие минуты отдыха все, что ему приходится выносить, вспоминая все ругательства: «Осел! Остолоп! Скотина! Дубина!» – и прочее, недоумевал; чем он уж так очень глуп? Жизнь в деревне, где он вырос и жил до солдатчины, казалась ему гораздо более сложной, требующей более толкового отношения к себе, чем здесь, и, однако, там, в деревне, никто не называл его дураком, не глумился и не ругался над ним.

И он вспоминал большое, зеленое, освещенное горячим светом солнца поле... А сам он, Моська, в посконной рубахе, босиком, мерными взмахами косы кладет ряд за рядом темно-зеленую упругую траву... Коса шуршит чуть слышно, и в каждом ее взмахе чувствуется сила и сноровка. Ни один корень, ни один камень не задержит ее. Как живая, обходит она все препятствия выстригая пригорки и ложбинки, кружась возле кустов с чуть слышным легким звоном.

³ Немврод — древний сказочный царь, знаменитый охотник.

А вот весна... Блестят лужи, темные, грязные, в белых рамках еще не везде растаявшего снега... Свежо, но к полудню начинает припекать. Моська ворочает дюжими, одетыми в желтые кожаные рукавицы руками большие, белые, свежееобтесанные бревна... От ловких ударов остро отточенного топора летят щепки, ряд за рядом вырастает сруб...

И вся крестьянская жизнь, полная непрестанных забот, хлопот, труда и усилия, начинает разворачиваться перед ним... Особенно любил вспоминать Моська, как зимой, вставши чуть свет и поев при огне горячих блинов, он запрягал кобылу и ехал на станцию отвозить в город пассажиров... Стужа, ветер; зипунишко то и дело пропускает холодные струйки морозного воздуха... Но Моська молод, два-три удара кнута – и тарантасик летит во весь опор, подбрасывая злополучного пассажира...

Если только вздох самого Моськи, вспоминающего подчас голодную, но более свободную и милую жизнь, не прерывал его размышлений, то эти размышления обыкновенно нарушал грубый окрик взводного:

– Э-эй, Моська! Что шары-то устави! Ступай почисть сапоги!

Моська берет сапоги и начинает их чистить. Но в блеске сапожного носка он уже опять видит блестящие струи деревенской вертлявой речки, маленького мальчишку Моську, который, задрав рубаху до плеч, упорно старается схватить руками быстрых, скользких вьюнов.

Когда наступил срок и Моське надо было тянуть жребий, он не испытал особенной грусти... Напротив, когда его, голого, ощупали, как лошадь, в воинском присутствии и плотный мужчина с бакенбардами громко сказал: «Годен!» – он испытал даже некоторое удовольствие при мысли, что в его, Моськиной, жизни начинается какая-то новая полоса, совершенно отличная от прежнего времяпрепровождения. Ему, силачу и здоровяку, шутя разгибающему подкову и кулаком ломавшему кирпичи, служба казалась игрушкой – веселой, занятой и почетной. «Ну што такое ружо! – думал он. – Эка невидаль – девять фунтов!» А солдатские мундиры, в которых приезжали на побывку в деревню его земляки, приводили Моську в наивное восхищение.

«Чай, все царское», – думал он, с почтением поглядывая на соседа Гришку или Петьку, который, ухарски заломив шапку на затылок, рассыпался мелким бесом перед деревенскими красавицами.

«Ишь царь-то он, гляди, как наряжат! Мне бы эдакое!» – и смущенно вздыхал, оглядывая свою неказистую деревенскую одежку.

А теперь он сам будет такой!

Увы! Когда их, новобранцев, в количестве сто с лишним человек представили на казарменный двор – тут впервые Моська почувствовал, что как будто – «не тово»... Когда прошли первые два-три дня приемки, разбивки, выдачи разных мундиров, заплатанных и перезаплаченных штанов, галстуков, винтовок, сумок и прочей солдатской упряжки, когда впервые Моську поставили в шеренгу и сказала ему уже не как новичку, а как солдату: «Эй, ты, рыло! Подтяни брюхо! Брюхо убери!» – тогда он начал подумывать, что, конечно, трудность солдатской службы не только в том, что винтовка весит девять фунтов. На этих девяти фунтах нависла, цепляясь одно за другое, вся страшная тяжесть солдатчины, всей убийственно бессмысленной жизни для убийства... Каждый раз, как Моська становился в ряды и, весь замирая, напрягая все внимание и «поедая начальство глазами», старался не пропустить мимо ушей ни команды, ни ее смысла, – он неизбежно терялся и делал ошибку за ошибкой... И быть может, эта вечная боязнь ошибиться и недоверие к себе, воспитанное постоянными заушениями и окриками: «Осел! Олух!» – и т. п. делали то, что здоровый и неглупый по натуре парень превращался в запуганное животное, не всегда понимающее своего дрессировщика.

Пока Моська числился еще «молодым солдатом», то есть проходил первые четыре месяца службы, с него, как и с других, спрашивалось все же меньше, чем с так называемых «старых солдат». Но когда эти четыре месяца прошли, когда «молодые» приняли вторую присягу, тут Моське стало плохо. Он почти решительно ничего не знал. Когда весной перед началом стрельбы ротный командир сделал смотр своей роте, он был так поражен поведением Моськи, что вывел его из строя и произвел «экзамен» отдельно.

– Стой! – закричал он Моське, испуганному и растерявшемуся. – Я тебя научу! Смирно!

Солдат застыл.

– Слуша-ай! По-ефрейторски на кра-а-ул!⁴

Моська, пропустив слова «по-ефрейторски», – взял «на краул» обыкновенным приемом, то есть подняв винтовку и прижав ее к животу.

– Отставить! – заорал взбешенный штабс-капитан⁵. – Ты что это, сволочь?! Этого не знаешь? Дубина стоеросовая!.. Фельдфебель!

– Я! – Бледный, трепещущий фельдфебель предстал перед начальством.

– Что знают мои солдаты? Что они знают, я спр-рашиваю! – кричал ротный на фельдфебеля, стоявшего навытяжку и взявшего под козырек. – Ничего они не знают! Как тебя зовут? – обратился он к Моське.

– Мосей Сидоров Щеглов, вашбродь!

– Скажи мне, Щеглов... Гм... гм... что такое... что такое... гм... что такое знамя?

– Это... знамя – это такое... как вроде священная хоругвь⁶, как вроде...

Моська окончательно сбился и стоял, беспомощно шевеля губами. Штабс-капитан подбежал к нему, и звонкая пощечина раздалась в воздухе.

– Фельдфебель! – кричал он. – Под ранец его, собаку, на два часа!.. С кирпичом! С кирпичом!

По окончании ученья Моська надел полное боевое снаряжение: шинель, сумки, ранец, наполненный кирпичами, и с винтовкой на плече был поставлен отбыть свои два часа. Вся эта тяжесть для него, силача, не имела никакого значения, но стоять на жаре, не смея переступить с ноги на ногу, обливаясь потом, было очень мучительно. Хотелось пить, в ушах звенело, в глазах прыгали красные огненные точки...

И еще хуже стало для него жить с этого дня... Правда, «подтягиваясь» все больше и больше, он начинал выходить и на утренний осмотр, и на занятия иногда в таком же аккуратном виде, как и другие, то есть не хуже, но и тогда ему не прощалось ни малейшего пятнышка. Обыкновенно фельдфебель, злой на Моську за нагоняй, полученный от ротного, подходил к нему в строю и, запуская большой палец за пояс Моськи, кричал:

– Рохля! Это что?! Что это?! У тебя за ремень быка можно спрятать! Я тебе что говорил: чтобы палец туго проходил! Как в старину служили – знаешь? Обвернут пояс вокруг головы да в тую же меру брюхо подтянут – в рюмочку! О, несчастье ты мое! На голову ты мою уродился!

Следовал поток непечатной брани, и Моська уже мог быть уверенным, что сегодняшний день не пройдет ему даром. И действительно, после обеда уже обыкновенно перед фельдфебелем торчала фигура Моськи в полном боевом снаряжении, тоскливо посматривающего на товарищей, имеющих возможность с часок-другой поваляться на траве...

III

Итак, Моська получил удар в шею... Он растерянно и жалко встряхнул головой, поднял плечи, ожидая второго удара, и сейчас же почувствовал его. Этот был еще сильнее первого, и у солдата слегка захватило дух, но все же он вздохнул облегченно, зная, что фельдфебель бьет только два раза. Это не то что взводный... Тот затащит солдата в угол и долго, с наслаждением отвешивает пощечины своей жертве, пока у нее не пойдет кровь носом.

Стрельба кончилась, и солдаты стали собираться лагерь, надевая шинели и поправляя сумки... Всякой воинской части, когда она шла куда-нибудь, непременно полагалось петь в силу того соображения, что солдат всегда должен быть бодр и весел. Поэтому фельдфебель окинул роту зорким взглядом своих маленьких рысых глаз и скомандовал:

⁴ По-ефрейторски на караул — отдавать честь ружьем (особый воинский ружейный прием).

⁵ Штабс-капитан — офицерский чин в царской армии (между поручиком и майором).

⁶ Хоругвь — воинское знамя. Церковная священная хоругвь — большое полотнище на длинном древке с изображением Христа или святых.

– Ну... Эй вы, песенники!

Несколько секунд еще слышался мертвый, тяжелы топот десятков ног, и вдруг высокий, металлически тенор запевалы вывел:

Ге-нера-ал-майор, майор Алхаза
Бы-ы-ыл все вре-е-мя впере-ди-и...
И тотчас же вся рота грянула вслед:
Он ко-ман-до-вал войска-ми
Са-а-ам и пушки д'заряжал...

Протяжный, заунывный напев, полный затаенно тоски и грусти, понесся, подхваченный ветерком...

Идут все полки, полки могучи
Идут весело на бой...
Как один солдат, солдат не весел
Он из дальней стороны...
– Кабы знал да знал бы я – не ездил
Я на родину свою...
Лучше б в поле, в поле помереть мне,
В чистом поле со врагом...
В чистом поле, поле со врагом
Да под ракиновым кустом...

Моська не поет – он слушает... Вот идут блестящие, красивые полки, гремит музыка, развеваются знамена... Впереди едет на коне седой генерал-майор Алхаза... Солдаты кричат «ура!» – горят желанием сразиться с таинственным, коварным врагом... И только один молодой солдатик идет, понунив голову... Не веселит его ни музыка, ни знамена... Лежит у него на сердце горе. Какое горе?.. Моська не знает, но ему смертельно жаль молодого солдата...

– Ты у меня будешь идти в ногу или нет? – вдруг гремит грозный оклик взводного, сопровождаемый площадной бранью.

И Моська, вздрогнув, торопливо переменяет ногу, опять путается, опять переменяет и, наконец, не видит перед собой ни генерала Алхаза, ни убитого горем солдатика...

– Раз-два! Раз-два! Левой, правой! Ать-два!

– Ну, Моська, сколько пуль попал сегодня? – спрашивает его сосед, ярославец Быстров. – Дивлюсь я на тебя: или тебя господь глаз на стрельбу лишает? И что это с тобой такое? Право, когда смех, а когда жалость берет, на тебя глядя...

– А разве я знаю? Ты поди спроси меня, когда я и сам не знаю... Кто ее знат! Али спуску крепко нажмешь, али...

Но Моська просто стыдится сознаться в том, что он боится. Почему это так, почему он не может до сих пор освоиться с ружьем, он и сам не знает... А главное – никак не может он удержаться от того, чтобы в момент выстрела не закрыть глаз. Это выходит как-то само собой, а между тем прицел пропадает...

Но он вовсе не трус. Он помнит, как, бывало, еще в деревне случалось ходить ему на посиделки и в чужую деревню, частенько кончавшиеся жестокой свалкой. Он не боялся, напротив, было даже очень приятно драться и чувствовать свою силу... Случалось ему и на пожаре лазить в самый огонь и выскакивать с опаленными волосами и почерневшим лицом, держа в объятиях какую-нибудь телку...

Но здесь – чужое, здесь каждая мелочь тесно сплетается с другой, одна ответственность влечет за собой другую... А когда приходится стрелять в цель, Моська знает, что этому придается особо важное значение. Заранее волнуясь, он уже уверен, что даст промах, и боязнь промаха, а не выстрела заставляет его невольно закрыть глаза на мгновение... Но этого он не сознает... Так

иногда человек при одном воспоминании, что он покраснел когда-то, краснеет снова...

Между тем рота подошла к палаткам, песни смолкли, и солдаты, сбросив шинели и сумки, пошли в столовую обедать.

Горячий пар валил уже из кухни, расстилаясь клубами под потолком. В дымном, насыщенном кухонными испарениями воздухе мелькали белые рубахи, желтые деревянные чашки, носился раздражающий голодного человека запах гороха и пригорелой гречневой каши. Пища бралась повзводно, одна громадная чашка – «бак» – обслуживала восемь – одиннадцать человек. Стояло настоящее столпотворение; в отворенную дверь кухни было видно, как повар с засученными рукавами взгромоздившись на край котла, длинным черпаком безостановочно поливал в подставляемые со всех сторон чашки мутный жидкий горох.

Моська в числе других усердно работал челюстями вставая каждый раз, когда нужно было зачерпнуть, ибо он сидел с краю стола. Шел довольно оживленный разговор на злободневные темы, и главным образом о распространившемся в последнее время слухе, что скоро будет назначен новый ротный командир специально для того, чтобы «подтянуть» распушенных солдат и сделать роту «образцовой». Про личность предполагаемого ротного командира ходили самые фантастические рассказы...

– Эхма! – говорил один солдат, торопливо жуя черный, как смола, хлеб. – И не сидится же ихнему брату... Вот, к слову сказать: служим мы в этом треклятом месте – кажись, какой черт здесь узнает, как служба? Хорошо ли, плохо ли идет? А поди ж ты: сейчас это пускают тилиграмм – и гляди, через месяц али два бесприменно какого-нибудь хахалю пришлют... А чему – не все одно? Нашу роту как ни правь, а знай пословицу: «Горбатого могила исправит». Да и то сказать, какого нам рожна еще нужно, когда у нас вон этикие гренадеры⁷ служат! – Солдат скосил глаза на Моську и подмигнул компании. – Отдай все, да и мало! Уж наверно начальство так порешило: «А что-де, мол, у нас в первой роте офицер-то хуже Моськи? Никак, мол, этого сраму допустить невозможно... Пришел, значит, ему под пару, для кумпании...»

Взрыв хохота был ответом на выходку солдата. Ободренный успехом, тот не спеша обтер усы, заправил в рот новую ложку гороха и продолжал:

– Вот приедет новый-то: «А что, – скажет, – где у вас этот самый Моська-то? Я, мол, таких солдат очинно уважаю, потому я сам ему сродни, племянником довожусь... Наградить, – скажет, – Моську за храбрость и сметку по голому пузу пузырем с горохом!...»⁸

– Ха-ха-ха! – покатывались солдаты. – Ну и Козлов! Вот уж, братцы мои!..

Моське стало грустно. Он знал, что солдаты смеются над ним без всякого злого умысла, но быть постоянной мишенью для шуток и насмешек ему было обидно. Он встал, обтер ложку и сказал:

– Ну и набил же я свой барабан! Ажно расперло!

– Смотри не открой стрельбу! – сострил кто-то, но Моська не обратил на это внимание.

– Скальте, скальте зубы, ребята, – сказал он. – А вот ежели дивствительно пришлют нового-то, да протчим не в пример со строгостями еще пуще... Вот тогда не больно смеяться будешь...

– А потому же и смеемся, что опосля не до смеху будет! – сказал кто-то. – Этот, что к нам будет, новый-то, сказывают... – Солдат оглянулся и вполголоса закончил: – Новый-то, сказывают... убивец!

Со всех сторон посыпались восклицания:

– Пошел ты!

– Чего зря мелешь!

– Какой такой убивец?

– А вот убивец – поди ж ты! Я сперва и сам этому-то не ахти как верил, так, болтали как-

⁷ Гренадер — здесь: рослый солдат. Так называли солдат особого рода войск, вооруженных гранатами (фр. grenade), а впоследствии солдат высокого роста из отборной части войск.

⁸ «Пузырем» называли в то время мешок для хранения сыпучих продуктов.

то... А намерении мне батальонного командира повар сказывал... Он в офицерском собрании ейной жене, батальонного-то, на именины обед готовил, ну и промежду офицеров, значит, разговоры об этом самом ротном и были... А повар-то, значит, и подслушай!..

– Ну! Ну! – слышались любопытные возгласы. Рассказчик перевел дух, откусил кусок хлеба и продолжал:

– Сам-то он, ротный-то этот, из немцев... А служил он перво-наперво в западном краю, в Польше...

– Ну, жуй скорее!..

– Ну и говорит же, ребята, как нищего за нос тащит!..

– Ну... И служил он, значит, в Польше; уж в каком там полку – запомнил... А в Польше у мужиков с помещиками тяжба давнишняя идет... Из-за земли, ну вот как у нас... Ну, ждали, ждали мужики – видят, никаких пользительных манихвестов нет, а от тех манихвестов, что выходят, – одно огорчение... А теснота большая – хоть с голоду помирай... Да окромя того, тамошнее начальство совсем озверело, значит, тянет с мужиков последнюю копейку – прямо беда... Бьют, в холодную сажают... Ну, значит, терпели, терпели мужики – как ни кинь, все клин! Ни от бога, ни от начальства никакой помощи нет, а одно разорение только...

– Это мы и без тебя знаем!

– Каку новость сказал!

– А ты, брат, короче сказывай! Вишь, кашу несут!

– Н-ну... Терпели, терпели, значит, да возьми и выйди из всякого то есть терпения и повиновения... «Долго ли, говорят, мучиться будем?» Взяли да и пошли на помещиков... Земля, говорят, божья, а мы-де той земли прямые хозяева, потому кто на ней не работает, тому и владеть ей закону нет... Н-ну... Пошли, экономии сожгли, амбары, риги, хлевы, лес – все дочиста разорили, а хлеб себе увезли – год-от был неурожайный...

– Тэ-э-эк!

– Т-э-к! Ну... выслали, значит, супротив них батальон пехоты. А в первой роте того батальона и был, значит, энтот самый ротный... Приходит на село, согнали мужиков... «Так и так, говорит, сказывайте, сукины дети, где хлеб?» Ну, те, известно, молчат... Тут выходит энтот ротный и подает команду: «Пли!» – стреляй то ись по крестьянам. А только ен, значит, сказал: «Пли!» – как вся рота, как один человек, взяла «к ноге!»... Увидел ен это – аж побледнел и затрясся весь... Одначе только зубами заскрипел – снова командует: «Прямо по толпе пальба ротою – рота, пли!» Хучь бы што! Стоят, молчат, ружья к ноге... И сделался тут, братцы мои, самый энтот ротный вроде как мертвец...

Все затаили дыхание... Ложки, протянутые за кашей, застыли в воздухе.

– Ударил ногой о землю и говорит: «Ежели сейчас не будет послушания, всем плохо будет!» Н-ничего!.. Отошел он на правый фланг, опять командует: «Так-то, так и так, рота, пли!» Куда тебе... Никто и не пошевелился «Ну, грит, с вами, стало быть, иначе нужно разговаривать! Налево кругом марш! В казармы!»

Приходят в казармы... Пообедали, значит, вроде вот как мы теперь... Дело к вечеру... И приходит, братцы мои, на поверку энтот самый ротный... Пьяный-распьяный, пьянее вина... Вошел дневальный⁹ к нему с рапортом: «Ваше благородие, в первой роте такого-то батальона...» А он на него: «Пшел прочь, мерзавец, пока жив! – Кричит: – Построиться!» Построились... Вынимает он левольверт, подходит к правофланговому... «Ты, грит, какое такое полное право имеешь моих приказаний ослушаться? Сказывай, кто у вас в роте ичинщик и бунтовщик, а то вот тебе смерть!» – «Не могу, грит, знать, ваше благородие!» Поставил он ему на висок левольверт – раз! – наповал... Даже не пикнул... Кровища тут побежала... Подходит к следующему. «А ну, грит, сказывай, кто у вас в роте солдат смущает?» А тот, значит, стоит белый как бумага, однако насупротив ему отвечает: «Не могу знать, ваше благородие, а только что никто нас не смущает...»

Наставил он ему левольверт к самому сердцу – раз! Повалился тот возле первого... А рот-

⁹ Дневальство — дневное наблюдение за порядком и чистотой в помещении роты.

ный, значит, опять курок взвел, подходит к третьему. «А ну, грит, сказывай, кто у вас в роте первый смутьян и зачинщик?»

А солдат – тот, к которому ротный подошел, видит – дело плохо: зверь стал офицер, всю роту перебьет... И говорит он ему, ротному, значит: «Я, ваше благородие, есть первый смутьян и зачинщик!» – «Врешь, грит, ты!» – «Никак нет, ваше благородие!» – «А вот, грит, как?! Когда так... Фельдфебель, взять его, мерзавца, на гауптвахту!»

Посадили солдата в карцер, мертвых похоронили... Сидит он месяц, другой и третий, и выходит ему решение суда: в ссылку, на вечное поселение в сибирские края...

Рассказчик умолк и потянулся к чашке с кашей. Наступило молчание. Кто-то громко вздохнул. Моська утер невольную слезу и перекрестился.

– Чего крестишься! Али кашу приступом взять хочешь? – засмеялся Козлов.

Но на шутку его никто не обратил внимания. Все ели некоторое время молча.

– Ну, уж, ей-богу, братцы, и дурак этот самый солдат! – заявил Моська.

– Какой солдат?

– Как дурак?

– Сам ты дурак!

– Человек, значит, себя не пощадил, а он его дураком обзывает!

– А вот и дурак... Ну уж, пришлось бы, к примеру, мне, никогда бы я на себя напраслину взводить не стал.

– Мели, Емеля: твоя неделя! Ну а что бы ты сделал?

– Што? – Моська остановился с поднятой ложкой, и лицо его ослабилось широкой улыбкой. – Ты говоришь – што?

– Ну да, што?

– Што?

– Ну?

– Што?! А вот взял бы его, лешего, под микитки¹⁰, скрутил бы ему лопатки, да так бы его унавозил, что – ах ты ну!..

– Ха-ха-ха! Ну и Моська!

– Ай да Аника-воин!

– Ой, уморил!

– Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Солдаты развеселились. Моська, неожиданно сделавшийся опять центром насмешек и прибауток, поспешил снова облизать свою ложку и вылезть из-за стола. Обед кончился. Солдаты крестились и выходили из столовой.

– Однако ты, Моська, держи язык за зубами, – заметил один солдат. – По глупости мелешь, а смотри... Всякий народ есть!..

А глядя на фигуру и комплекцию Моськи, нельзя было не согласиться с тем, что этот дюжий и неуклюжий мужик способен так «унавозить» и «разуважить», что тошно станет...

IV

Однажды в жаркий июльский полдень солдаты, только что возвратившись со стрельбы, чистили винтовки под широким дощатым навесом. Моська, по обыкновению, пустив свои пять пуль гулять по белу свету, был тут же и, навертев на шомпол паклю и тряпку, усердно протирал ствол винтовки... Пот с него катился градом, и шомпол свистал в могучих руках.

Чистка винтовок – одно из наказаний и мучений солдатской жизни. Бывали случаи, что солдат шел под суд и был наказываем розгами до полусмерти за то только, что где-нибудь на штыке его ружья находили незначительные пятна.

Моська остановился, вытащил шомпол с тряпкой, на которой уже нигде не оставалось ни малейшего следа грязи и копоты, и посмотрел в дуло на солнце, как трубку. Солнечные лучи

¹⁰ Взять под микитки — под ребра.

ударил в отполированную поверхность стали и вонзились ему в глаза тысячью искр... Довольный своей работой, Моська подошел к взводному.

— Господин взводный, извольте посмотреть!

Взводный, бывший расторопный официант, слез со стола, на котором сидел, вынул руки из карманов и, небрежно посвистывая, взял у солдата ствол. Трудно было найти какие-нибудь недостатки в старательной чистке Моськи. Однако последний в роте солдат должен быть везде плох. Поэтому унтер сморщил нос и, повертев ствол в руках, подал его Моське обратно.

— Чисть еще! — процедил он сквозь зубы. — Кто ж так чистит? Ишь что раковин в ем!

Моська думал как раз наоборот, но тем не менее, глубоко вздохнув, отошел и принялся с прежним остервенением тереть и обтирать сложную механику ружья.

Едва только он приступил к смазыванию маслом своего оружия, как под навес вошел Козлов.

— Поздравляю! — сказал он, комически сдвигая шапку на бровь и опершись руками о стол.

Солдаты взглянули на него и ничего не ответили.

— Поздравляю! — еще громче крикнул Козлов. — Оглохли вы, а? Слышите, поздравляю!

— Ну и поздравляй! — буркнул кто-то.

— А ты спросил, с чем?

— А мне какое дело?

— Вот те и на! Смотрите, люди добрые: приходишь к этому свинопасу вроде как будто курьера с телеграфным сообщением, а он рыло воротит! То есть сразу видно, дикий и необразованный народ!

— Ты-то уж образован!

— Я-то? А пожалуй, что так! Вы, кислая солдатская шерсть, тут что знаете?! А я по крайней мере чичас в городе был...

— Ну!

— Ну... И поздравляю!

— О, леший! — возмутился один из чистивших и в сердцах бросил даже на стол затвор, который держал в руках. — И какая же, братцы, у этого Козлова анафемская привычка: придет — нет чтобы сразу сказать, а всю душу наперво из тебя выволокнет... У, живодер! — замахнулся он притворно на хохотавшего Козлова.

— Не балуй, Козел, — сказал взводный Моськи Задвижкин. — Чего людям работать мешаешь?

— Ну, скатал валенки!

— Отдал пушку!¹¹

— Пушкарь и есть!¹²

— Черти вы полосатые! — обиделся Козлов. — Когда я сичас от денщика нашего ротного! А новый у него сичас сидит, коньяк пьет за мое почтение!..

— С кем пьют, с денщиком?

— Ну! Конечно, с ротным!

— То-то!

— Сам видел, — продолжал Козлов. — Толщины, можно сказать, необъятной.

— Ты что, Козлов, вместе детей, што ль, с начальством крестишь, что так язык распустил? — строго заметил Задвижкин. — Смотри!

Мелкое начальство побаивалось Козлова. Еще в бытность новобранцем он во всеуслышание заявил, что всадит штык всякому, кто осмелится его ударить. И, зная его вспыльчивый характер, этому верить было можно. Поэтому там, где другой попал бы в карцер или на дежурство не в очередь, Козлов отделялся только окриками и замечаниями.

— Никак господин взводный, — отчеканил Козлов. — Известно, правда глаза режет! Виноват-

¹¹ Скатал валенки, отдал пушку (жарг.) — приврал, обманул, подшутил.

¹² Пушкарь (жарг.) — обманщик, болтун, пустослов. В прямом значении: артиллерист.

с, не буду больше!

– Чай, скоро к нам объявится, – заметил кто-то, – Приехал, так сидеть не будет.

– А не слышал ты, Козлов, какие у них разговоры были? – спросил Задвижкин.

– Нет, собственно... А так, одним краем уха... Да што: все наш ротный жалится... Интригуют уж, говоря очень... Все по службе неприятности... Все ножку-де подставляют, где ж тут, грит, служить станешь... А только что, говорит, с моим народом надо ухо остро держать! Только из-под палки, грит, и слушают!

Солдаты внимательно слушали. В жизни первой роты происходило историческое, так сказать, событие: перемена командира. Как ни строг и ни бестолков был прежний ротный, но солдаты его знали. Его привычки, система наказаний, слабости, недостатки, все, что он любит и не любит, было известно. К новому же предстояло еще привыкать и на собственной шкуре тяжелым опытом доходить до познания: что такое новый командир и как можно с ним жить.

– Ну, а он, новый-то? – спросил Моська и тотчас же спохватился, испугавшись своего вопроса в присутствии взводного.

– Новый? – рассеянно процедил Козлов, обводя глазами присутствующих. – Новый ничего... Сидит, молчит... Молчит да думает... Думает, да вдруг и спросит: «Вы, грит, так думаете! Неужели?»

– Охо-хо-хо! – протянул Задвижкин. – А може, и впрямь сегодня придет, коли приехал... Пойду-ко я там посмотрю...

Рыльце у него было в пушку, и надо было кое-что уладить. Задвижкин встал и вышел из-под навеса, торопясь к каптенармусу¹³ сообщить новость в предупреждение могущих быть неприятностей. А неприятности могли произойти оттого, что у каптенармуса далеко не все было в порядке как в цейхгаузе¹⁴, так и в амбарах...

Как только он скрылся, Козлов вскочил на скамье и сказал:

– Ну, ребята, держись теперь! Съест!

– Бог не выдаст – свинья не съест.

– Ой, съест! – заговорил молодой тщедушный парень с быстрыми, испуганными глазами. – Ведь и энтот-то живодер! А тот, сказывают, прямо людоед!

– Ну, не каркай, ворона! Поживем – увидим, – сказал другой солдат. – А что новая метла чисто метет, да недолго живет – так и это верно. Попервоначалу сегда так: наедет, накричит, на шумит. То неладно, другое нехорошо, а прошел месяц, надоест, пойдет по-прежнему... А и то сказать, чем наша рота остальных хуже? Так, придирка одна!..

Моська слушал все эти разговоры, и в нем рождалось уныние. Сердце говорило ему, что для него теперь настанет очень плохое житье. Он слышал много рассказов о том, как расправляется начальство с негодными солдатами, и знал, что бывали такие случаи, когда придирались к пустякам, судили и отправляли в дисциплинарный батальон.

«Хоть бы в конвойную команду отправили! – думал он. – Все легче... Нет тебе этого ученья да емнастики... Вольготно. Когда и трудно бывает, а все же лучше...» Козлов готовился привести еще какие-то соображения по поводу нового командира, как вдруг под навес прибежал, запыхавшись, фельдфебель – низенький бритый старик с жесткими и хитрыми глазами, которые обладали способностью видеть во все стороны даже тогда, когда он, по-видимому, смотрел вниз.

– Бросай чистку! Собирай винтовки и марш на ученье. Живо!

Солдаты зашевелились. Ротное ученье в такой ранний час. Дело ясно: их будут «представлять» новому начальству.

Все кинулись в палатки...

V

¹³ Каптенармус — должностное лицо в армии, отвечающее за хранение имущества в ротном складе (кладовой).

¹⁴ Цейхгауз (цейхгауз) — воинский склад оружия, обмундирования, снаряжения и т. п.

Яркое полуденное солнце немилосердно жжет и палит. Ни ветерка, ни облачка; огромное зеленое поле, где сотни раз выводили живых людей и, как лошадей в цирке, заставляли выделять разные куншттюки¹⁵, пусто. Далеко, на другом берегу реки, густо порошей ивняком, синет гряда леса, уходя в бесконечную даль. С другого края круглой зеленой площади белыми зубчатыми линиями раскинулись лагеря. Издали маленькие четырехугольные палатки кажутся карточными домиками, готовыми разлететься от легкого дуновения. Там и сям между ними зеленеют тощие тополя и акации. Везде пусто – в поле и небе... Все, кажется, спит, очарованное жарким, ослепительным светом.

В первом ряду маленьких белых палаток заметно движение... Мелькают, шевелясь, исчезая и появляясь вновь, белые точки... Их все больше и больше, и вот, заслоня очертания палаток, около лагеря начинает извиваться маленькая белая змейка, сверкая длинными блестящими искрами... Слегка подаваясь то влево, то вправо, она растет, приближается... То тут, то там показываются красные точки околышей и погонов, штыки сверкают все гуще и гуще... Слышен далекий равномерный топот, в такт которому волнуется белая колонна. Еще несколько минут, и вы видите, что маленькая белая змейка превратилась в первую роту *** батальона, мерным, торопливым шагом выходящую в учебное поле «представляться» своему новому ротному командиру.

Отойдя от лагерей сажень на сто, рота остановилась. Раздалось одновременное бряцание, и штыки, сверкнув еще раз, опустились. Фельдфебель вышел вперед, молодежато крикнул, метнул глазами направо и налево и скомандовал:

– Р-ряды-ы-... стр-р-ройся!

Раз-два-три! Рота из четырехвзводной вытянулась в двухвзводную колонну.

– Р-ряды-ы-... стр-р-ройся!

Раз-два-три! Теперь шеренги слились в одну и вытянулись длинной прямой линией.

– Равняйсь! Смирно!

На дороге, ведущей из лагерей к батальонной церкви, показалось облачко пыли... Пара вороних лошадей мчала легкую коляску с тремя офицерами. Перед фронтом коляска остановилась, и двое из них – батальонный командир, полковник, седой стройный старик, и прежний ротный, худощавый блондин, – с строгим и усталым видом быстро выскочили из коляски на землю.

Третий, казалось, был нарочно создан для того, чтобы его возили в экипажах. Он не сразу вылез, но, двигаясь осторожно и степенно – причем коляска чуть-чуть не опрокинулась, – поставил на подножку одну ногу, а другую на землю и слез. Затем так же степенно, по-солдатски повернулся всем корпусом и выпрямился.

Солдаты с удивлением глядели на его фигуру. Был он страшно толст, непомерно. Казалось, все в этом круглом шарообразном теле кричало о том, что тесен божий мир и негде повернуться. Трудно было сказать, где кончалась голова и начиналась шея: то и другое было красно и непомерно широко. Он был маленького роста, и поэтому ноги его, толстые, короткие обрубки, одетые в широченные шаровары, казались продолжением туловища.

Трудно было ожидать от такого субъекта поворотливости. Каково же было изумление солдат, когда толстяк быстро и легко вместе с полковником и бывшим ротным направился к фронту.

– Смирно! – прокричал фельдфебель, прикладывая руку к козырьку.

– Здорово, ребята! – сказал полковник.

– Здрав-жлам-вашскоброть!

– Это ваш новый ротный командир, – продолжал полковник. – Слушайте и любите его!

Он сказал что-то прежнему ротному, и они, простившись с толстяком, сели и покатали обратно. Толстяк помолчал немного, затем, вытянувшись и приподнявшись на носках, крикнул тонким бабьим голосом:

– 3-здоро, молодцы, первая рота!

– Здрав-жлам-вшброть! – рявкнули «молодцы».

– Я ваш новый начальник! – продолжал толстяк. – Никаких послаблений от меня не ждите!

¹⁵ Куншттюки (кунштюки) — разные проделки, фокусы, ловкие штуки.

Инструкцию исполнять неукоснительно! Словесность¹⁶ знать назубок. Нос не вешать. Будете хороши – и я буду хорош. Нянчиться с вами я не стану. Мои приказания святы! Издохни, да сделай!

И он помчался вдоль фронта, тяжело дыша, обтирая мокрое лицо батистовым платком и внимательно всматриваясь в лица солдат. Те почтительно провожали глазами начальство, и в лицах их можно было прочесть одно – оторопь!

Моська стоял четвертым с правого фланга, и дыхание у него спирало в груди. Он не мог оторвать глаз от этого красного, белобрысого, толстого человека с белыми ресницами и голубыми глазами, и, видя, как он подвигается к нему все ближе и ближе, Моська испытывал точно такое же чувство, какое испытывает человек при виде жабы. Теперь он мог хорошо его разглядеть. Маленький подбородок, утонувший в толстых складках шеи, придавал его лицу смешное, бабье выражение. Но в низких желтоватых бровях и далеко ушедших внутрь голубых глазках таилось что-то бесконечно упрямое, высокомерное и жестокое. Он подошел к Моське и быстро мимоходом впился острым злорадным взглядом в испуганное лицо солдата.

«Убивец!» – вдруг подумал Моська, и острый холод пронизал его с ног до головы. И, провоя взглядом широкий затылок ротного, он испытывал какое-то смешанное чувство удивления и боязливой ненависти при мысли, что этот грузный, короткий и широкий офицер хладнокровно убивал себе подобных. Но сейчас же это чувство прошло, так как Моська вспомнил, что теперь надо быть начеку и не сделать какого-нибудь промаха. И он еще крепче сжал винтовку в руке.

Пробежав фронт, ротный несколькими быстрыми прыжками отскочил задом от фронта и выкрикнул:

– Слуша-ай! С колена, по колонне – восемьсо-от па-альба... р-ротою!

Шеренга роты разом упала на одно колено и оцетинилась острым гребнем штыков. Торопливо защелкали затворы.

– Р-рота!

Приклады у плеча...

– Пли!

Треск курков.

Толстяк подумал несколько мгновений и вдруг пошел сзади шеренги, внимательно осматривая постановку ног. Дойдя до Моськи, он остановился – и сердце солдата упало.

– Фельдфебель! – услышал сзади себя Моська визгливый тенорок ротного. – Дай-ка этому псу по шее и научи его ставить ноги!

Секунда-другая – и у Моськи в глазах земля заходила ходуном и все завертелось. Опомнившись от удара, он слышал, как толстяк сказал фельдфебелю:

– На три дневательства не в очередь и неделю без отпуска!

«Новый» начинал, по-видимому, оживляться: то тут, то там слышался его визгливый крик, и его нога в широком лакированном сапоге то и дело толкала солдат, то и дело поправляя ноги и руки. Наконец он скомандовал:

– Встать. Солдаты встали.

– Плохо! Вижу сразу, что все плохо! – кричал ротный. – Но я вас буду учить! Я многих, многих учил!

Началось бесконечное ротное ученье – с маршировками, с беглым шагом, поворотами и построениями, в течение которого ни на минуту не смолкал голос, бранчивый и визгливый, толстяка. Глаза его моментально обегали роту и вспыхивали, когда он замечал оплошность или ошибку.

Через два часа солдаты, разбитые и усталые, шли к палаткам. В воздухе неслась бессмысленная, трактирно-солдатская песня:

Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой, Крутится, вертится, хочет упасть...

¹⁶ Словесность — здесь: воинские уставы в дореволюционной армии.

VI

Для первой роты наступили тяжелые времена. Все подтянулось. Ничто не ускользало от внимания и зоркого взгляда маленьких голубых глаз нового командира. Он проявил поистине какую-то чудовищную неумолимость и, раз решив, очевидно, поставить роту на «образцовую» ногу, не давал никому покоя. Он лично осматривал одеяла, матрацы, мундиры, брюки, галстуки, пуговицы, пояса, винтовки, сумки – все, что только имело отношение к солдату и к чему имел отношение солдат. Ночью он являлся неожиданно, когда все спали, и, выслушав рапорт дежурного по роте, молча обходил палатки, прислушиваясь к дыханию спящих, стараясь определить, спит ли человек или только притворяется.

На ученье он выходил из себя, если случайно вздрагивал штык у кого-нибудь в рядах... Он даже похудел и побледнел, если только можно назвать худобой увеличившееся количество складок на шее и менее красный цвет лица. В течение какой-нибудь недели он устроил два обыска в солдатских сундуках, ища запрещенных книг и прокламаций, «потому что, – как выразился он однажды, – солдат насчет этого не дурак...». В гимнастике он требовал безукоризненной отчетливости, и солдат, перескочивший, например, яму так, что одна нога его была впереди другой на два вершка, – должен был прыгать до тех пор, пока не делал прыжок удовлетворительно или не сваливался от изнеможения.

Зайдя однажды на кухню, он приказал посадить на трое суток под арест артельщика и повара за то только, что те вздумали сварить вместо надоевшей капусты макароны.

– Это что такое? – визжал он. – Что за Италия? Зачем это? Макароны? Баловство! Щи и каша – каша и щи! Вот солдатская еда. Если вы, сукины дети, еще купите макарон, я вас самих заставлю сожрать весь котел.

Каждый день кто-нибудь сидел в карцере. Сажал он за всякие пустяки: за недостаточно молодецкое отдание чести, оторванную пуговицу, плохо смазанную винтовку. Все ходили на цыпочках. Даже развеселый Козлов приуныл после того, как постоял под ранцем шесть часов и едва не слег после этого в лазарет.

Фамилия нового ротного была Миллер. Тупой, злопамятный и ограниченный, он ненавидел солдат, как своих личных врагов, и не без основания: редко кто из рядовых, увидев где-либо между палатками широкий, собачий затылок Миллера, не посылал ему проклятие. В пьяном виде он бывал очень чувствителен; тогда он собирал солдат вокруг себя и, засучив руки в карманы, икал и, нелепо двигая бровями, пояснял им, что он их «отец» и прочее. Но горе тому, кто во время этих крокодиловых слез не умел изобразить в лице достаточного внимания к словам немца: слащаво-нахальное лицо Миллера мгновенно принимало жесткий и угрюмый вид, глазки суживались, и «отец» уже совершенно другим тоном, с угрозами и ругательствами набрасывался на тех, кто, по его мнению, недостаточно близко принимал к сердцу его слова.

– Тебе, Федоров, я вижу, трудно меня слушать, – начинал он в таких случаях. – Так чего же ты, братец, здесь стоишь? Тебе не нравится, да? Не нравится, я вижу, не нравится, что я говорю? Ты, может быть, лучше на сходку пошел бы, к разным социалам? А? Ну что же, ступай и ступай, братец!.. Насильно мил не будешь!.. Ах ты, бродяга! – неожиданно накидывался он на оторопевшего Федорова. – Да ты знаешь, кто я? Как ты с-смеешь, мерзавец? – и взгляд, полный ненависти, казался, хотел пробить насквозь и пригвоздить к земле ни в чем не повинного Федорова.

– Ну и слон, братцы! – сказал однажды Козлов в своей компании, играя «в три листика». – Этакого слона ни в сказке сказать, ни пером описать. Хоть западню на него ставь...

– Кто это – слон? – спросил партнер, убивая козырного валета.

– А он – Миллер, едят его мухи! Иду я давеча – глядь, он катит по дорожке, все место занял – не пройдешь... Чисто слон...

Кличка Слон так и осталась за Миллером. Слово, пущенное случайно за карточной игрой, крепко пристало к новому ротному и даже среди офицеров, узнавших, как зовут Миллера солдаты, получило право гражданства.

Легко представить, во что обратилась теперь жизнь для Моськи. Два раза фельдфебель докладывал Миллеру, что Моська – никуда не годный солдат, и два раза Слон категорически, с пе-

ной у рта, заявлял, что плохих солдат у него быть не должно.

– Бей! Плох – бей! Под ранец! В карцер! Все, что хочешь! Или сгони в могилу, или сделай солдата!

Мелкое солдатское начальство: ефрейтора, унтера, фельдфебель, – подгоняемые сверху, окончательно осточертели и походя срывали злобу на более робких и забитых. Особенно невыносимой жизнь сделалась для Моськи.

Парень похудел, осунулся, и в глазах его, больших и недоумевающих, появилось какое-то новое, небывалое выражение затаенной тоски и безграничного отчаяния. Как затравленный зверь, вздрагивая при виде офицерских погон, бродил он по казарме, грязный, оборванный и жалкий, сторонясь товарищей и неохотно вступая в разговоры... Только когда осень позолотила листву деревьев и желтое жнивие ошетинилось в полях, взгляд его как будто прояснился и стал мягче: парень вспомнил дом, домашние работы, уборку хлеба и родную ниву, далекую от его холодной, мрачной казармы...

VII

Батальонная канцелярия помещалась возле офицерского собрания, на большой лужайке, затейливо украшенной живой изгородью и цветочными клумбами. Смеркалось. В окнах дежурной комнаты вспыхнул огонь и осветил два окна. Это Моська, назначенный сегодня вестовым к дежурному по батальону, ротному командиру первой роты капитану Миллеру, зажег огонь.

Миллер еще не приходил. Моська, свободный пока от несения служебных обязанностей, сидел у большого некрашеного стола и перелистывал тоненькую книжку, на обложке которой был нарисован огнедышащий змей с двумя целыми головами и одной отрубленной. Возле змея стоял молодой человек в латах и шлеме и замахивался мечом на другую голову. В темной офицерской комнате часы торопливо и бойко постукивали, как бы разговаривая сами с собой... В окно доносились смешанные звуки лагерной жизни: игра на гармонии, отрывки песни, брань, стук шагов.

Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Слон, заняв корпусом всю ширину дверей. Он был пьян и пальцами слегка придерживался за косяк. Моська вскочил и вытянулся. Миллер обвел взглядом помещение и грузными, короткими шагами направился в дежурную комнату.

– Огня! – бросил он на ходу.

Моська кинулся со всех ног к лампе, от волнения руки его дрожали, и спички тухли одна за другой. Наконец вспыхнул огонь, и тусклый свет озарил дешевые обои, письменный стол и кровать в углу. На стол стояли пустые пивные бутылки, на тарелке лежал сыр и кусок хлеба. Слон с минуту постоял посередине комнаты, потом засунул руку в карман и, вытащив скомканную десятирублевку, бросил ее на стол.

– Вестовой! – прохрипел он. – Живо за коньяком! Марка «Н» с черной звездочкой – бутылку! Ты, песья душа, знаешь, что такое звезда? Звезда... звездочка... трум, трум... трум... Ну, чего стал? Живо, марш!

Моська бегом бросился в офицерский буфет и через пять-шесть минут вернулся с бутылкой коньяку и большой граненой рюмкой. Поставив принесенное на стол, он отошел к порогу и, вытянувшись, замер.

Слон сел на кровать у стола и согнулся, подперев голову руками. Сигара, которую он сосал, постепенно выползла изо рта и с легким стуком упала на пол. Слон вздрогнул, посмотрел на Моську тупым соображающим взглядом и потянулся.

– Налью-ка я себе... – бормотал он, – а тебе, вестовой, тебе не налью... Я – офицер, ты же есть холуй... А потому трескай себе казенную водку, жри... А я буду пить коньяк! – Он медленно налил рюмку и залпом ее опорожнил. – Ты, – продолжал он, обтирая усы и грузно пыхтя, – в сущности не должен на меня смотреть... Это р-роняет... пре...престиж власти... Этого не полагается... Ну, все равно... Я буду пить, а ты облизывайся...

«Убивец!» – думал Моська, глядя на красные, пухлые руки Слона с оцепенением, похожим

на чувство, с каким жертва смотрит на своего палача.

– Пью я, дорогой мой солдат... – сказал Миллер, облокотившись на стол и положив голову на руки. – Пью... Пьян же отнюдь не бываю... Отнюдь! Заметь это... Почему? Ответ ясен: потому что устаю, и мне добрая бутылочка всегда полезна... А как с вами, собаками, не устать? Сильно устаю... Как тебя зовут?

– Мосей Щеглов, вашбродь! – едва слышно произнес Моська.

– Мосей... Щег... Щег... А! а!.. Это ты, дорогой, значит, так отличаешься? Это ты-то никуда не годная тварь? Н-ну-ну! А ведь я вас учить приехал? А? Я вас выучу!

Слон засмеялся и лукаво погрозил Моське пальцем.

– Но без тонкостей! Эти разные шуры-муры солдатские, нюансы и амуры – побоку! К черту! Учить – прямо, честно, по-солдатски! В ус и в рыло! Чего дрожишь? Не бойся! А ты думал, что тут тебе тятя с мамой блины пекли? Как же! Держи карман шире! В солдаты пошел – пропал! Нет больше никакого Мосея, а есть рядовой! И как рядовой ты об-язан исполнять все... Быстро, точно и... и б-беспрекословно! Скажу – убей отца! Убивай моментально,дохнуть не дай! Скажу – высеки мать! Хлещи нещадно! В рожу тебе плюну – разотри и с-смотри козырем, женихом, конфеткой! Захочу – сапоги мои целовать будешь! Вот что! Ха-ха-ха-ха-ха!..

Мосей вздрогнул. Слон хохотал неистово, сладострастно, и толстые багровые жилы вздулись на его лбу... Наконец, задышавшись, он хлебнул еще рюмку и продолжал:

– Вас, скотов, берут на службу для чего, как бы ты думал? Ну – родина там... что ли... отечество... для защиты, а? Царь, мол, бог... Те-те-те! Для послушания вас берут, вот что! И потому существует дисциплина Без дисциплины ты есть что? Мужик. А нам мужика не надо, не-ет! Со-всем н-не надо!.. Пусть и духу в мужицкого не останется! Чтоб и про село свое он был, где родился. Тебя посылают, тебе приказывают – и... баста! А куда, зачем – тебе какое дело! Пошлют на японца – сдыхай в Маньчжурии... Пошлют мужиков бить – режь, грабь, жги! Тебе какое дело? Я в ответе, не ты!

Слон выпил еще.

– Я знаю, вы народ хитрый, вы, собаки, дошлые! Я знаю!.. Я все знаю! Знаю, куда у вас ходят по вечерам! Знаю, какие книжки вы читаете! И прокламации... Под расстрел хотите? Можно... Вы думаете, эти дураки ваши, деревенские-то, добьются чего-нибудь? Шиш с маслом! 3-земли и воли? А штык в спину? Политической свободы, ска-а-жите!.. А пятьсот горячих? Демократической республики! А кулак в зубы? Ниче-е-го вам не надо и... незачем!.. Ведь вами, как скотиной, надо пользоваться! Вези, пока не сдох!.. Мы! – Он ударил себя кулаком в грудь. – Мы благородны! Мы люди! Наши деды на ваших дедах верхом ездили! Сено возили!.. Мы сильны и... б-благородны! А вы хамы!

...Я вас буду учить! Я буду палкой загонять вам в голову словесность... А стрельбе научу без пр-ромаха! Десять раз у меня окривеешь, и будешь попадать! «Нет у тебя Бози инии, разве мене...»¹⁷ Помни эту заповедь, а то я спущу тебе штаны и напому по-своему!.. Ведь ты хам, с тобой все можно!.. Запору, засужу, уб-бью – и ничего не будет! Ведь ты хам, хам? Да? Говори! Хам?

Они стояли лицом к лицу: один – озверевший от вина, злобы и скуки: другой – белый как мел... Губы у Моськи дрожали, и сердце сжималось от невыносимо тоскливого и отвратительного чувства... Уйти бы, уйти, уйти!

– Ну... ну, говори... Хам ты или нет?

Рука Миллера уже протягивалась в воздухе, ища, за что схватить Моську. Исступление овладевало им...

– Никак нет, вашбродь! – вдруг сказал Моська быстро и отчетливо, смотря прямо перед собой...

Наступило молчание... С минуту Слон стоял перед Моськой, вытаращив круглые, пьяные глаза и смешно двигая бровями. Он старался уловить смысл неожиданного для него солдатского ответа...

¹⁷ «Нет у тебя Бози инии, разве мене...» (церковнослав.) — Нет у тебя Бога иного, кроме меня.

– Что – «никак нет»? – переспросил он, садясь снова на кровать, причем она оглушительно затрещала. – Что – «никак нет»? – закричал он, снова приходя в бешенство. – Так я вру? Так ты кто? Чел-ловек, «чаэк», м...мужик, крестьянин? А не хам ли ты, подлая, рабья душа? Так я... что же, по-твоему, делаю, вру? А? вру?..

Тоскливое, нудное чувство вдруг сразу прошло у Моськи, точно его совсем и не было... Комната поплыла перед его глазами, и вдруг стало как-то странно легко и весело... Он внутренне усмехнулся и сказал быстрым, громким шепотом:

– Вы... людей убиваете, вашбродь... Вот что вы делаете!

Миллер откинулся назад всем корпусом, и его широкий, плоский затылок глухо стукнулся о деревянную стену. Через мгновение он расхохотался звонким переливчатым смехом:

– Ай-яй-яй! А-ха-ха-ха-ха-ха! Ай да вестовой! Ну и мужик! Ну и глуп, глуп, ну и глуп же ты, глуп, глуп ужасно! Да ведь ты совсем, все-ем дурак... Набитый дурак! Ты это понимаешь? Или не совсем? Отмочи-и-ил! Так что? Людей убиваю? А почему же не убивать, а? Зачем им жить, ну? Зачем?.. Скажи!

Слон нагнулся на кровати и впился в лицо Моськи маленькими, пьяными, тусклыми глазами.

– Подлец! Мерзавец! Идиот! – вдруг заорал он, топая ногами. – Да как ты... Да я... Да смеешь ты как?! Убью, зарежу! Задушу! И в ответе не буду!

Моська стоял неподвижно и грустно смотрел в окно... Ему совсем не было страшно, только хотелось скорей и во что бы то ни стало кончить эту безобразную, унижительную сцену...

Наступило молчание... Стенные часы звонко пробили девять... Лампа коптила, бросая гигантскую уродливую тень на стену от круглой, огромной головы Слона, На крыльце слышались шаги. Миллер поднял голову.

– Я с тобой разделаюсь, – сказал он, посмотрев в лицо вестовому взглядом, полным холодной угрюмой злобы. – Будешь доволен... Ступай, кто там?..

Моська вышел в переднюю.

VIII

В передней, робко толпясь у дверей, стояло пятеро молодых солдат четвертой роты. Впереди других стоял худенький юноша солдат, держа в руках большую деревянную чашку.

– Вы чего, ребята? – спросил Моська и прибав шепотом: – Пьян дежурный-то!.. Злой, кричит... топает... Вам чего?

– Ну, Моська, не собаки же мы, – сказал один солдат. – Ты посмотри, как кашницу варят, с червями... Что ж, с голоду помирать, што ль? Сухарями-то сыт не будешь. Ступай доложи дежурному: так и пришли, мол, из четвертой роты, на кашу жалются... Пища, мол, негодная совсем...

В дверях неожиданно появился Миллер, угрюмо смотревший на группу солдат.

– Вы что? – отрывисто спросил он.

– Позвольте доложить вашему благородию, – ступил солдат с чашкой, – то есть никак не возможно есть эту кашницу... С червем, вашбродь!.. Так что хотели беспокоить ваше благородие... По нужде!..

– Покажи, – сказал Слон и, взяв у солдата чашку стал рассматривать ее содержимое при свете лампы, – Гм, черви... Где же черви? Я не вижу...

– Вот, извольте посмотреть, вашбродь, – сказал! третий солдат, подавая обрывок бумажки, на которой! лежали два маленьких мокрых комочка. – Они самы...

Миллер неожиданно размахнулся и швырнул чашку! из всей силы в лицо говорившему. От неожиданности тот откинулся назад и ударился головой о косяк двери. Горячая серая жидкость потекла по его лицу, мундиру и брюкам, а на губах показалась кровь...

– Да вы что, собаки! Сговорились, что ли?! – заревел капитан. – Бунтовать? Жаловаться? Черви? Сами вы чер-рви! Я вас!..

Он отскочил на два шага, быстро отстегнул кобуру и выхватив черный блестящий револь-

вер, в упор направил его в грудь первому, кто стоял ближе к нему. От неожиданности и изумления никто не успел даже пошевелиться, поднять руку. Сухо щелкнул взводимый курок...

Вдруг с быстротою молнии Моська кинулся к Миллеру сзади и, схватив капитана за плечи, сильно ударил его ногой под коленки... Слон потерял равновесие и грузно брякнулся спиной о пол. Комната заходила ходуном от сотрясения... Так же быстро одной рукой подхватил Моська упавший револьвер, а другой оборвал тоненькую шашку капитана... Миг – и она со звоном разлетелась в куски, скомканная дюжей рукой Моськи. Миллер, придавленный тяжелым солдатским коленом у самого горла, беспомощно хрипел и метался, хватая руками воздух...

– Будет, барин, над людьми измываться!.. – высоким, не своим голосом крикнул Моська. – Люди мы, не псы, не хамы! Что ты своим благородством-то гордишься, убивец! Убивец ведь ты! Ведь ты людей по миру пускал! Ты за что хотел человека стрелять? Ах ты, пес, негодная ты тварюга! Ты мне чего сейчас говорил? Плюну, мол, тебе в рожу, а? А ты, мол, разотри да смейся, а? Так на же тебе! – Он нагнулся над посиневшим от страха и злобы Миллером и звучно плюнул ему в лицо. – Разотри! – сказал он, вставая. – Вот и будешь ты... конфетка!..

Слон медленно поднялся... Глаза его блуждали, а губы беззвучно шевелились... Моська стоял перед ним, сжимая кулаки, и смотрел на этого жалкого пьяного человека-зверя... Потом подумал и сказал:

– Ничего, говоришь, не добьемся? Врешь! Всего добьемся!

Через два месяца Моська был присужден за насилие над офицером и оскорбление последнего при исполнении служебных обязанностей в бессрочную каторгу. Но первая рота помнит Моську.

В Италию

I

Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку.

Те, кто охотились за ним, без сомнения, потеряли его из виду. Быть может – это было и не так, но так ему хотелось думать. Или, вернее – совсем не хотелось думать. Странная апатия и усталость овладевали им. Несколько секунд Геник сидел, как загипнотизированный, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вылез.

В саду, куда он попал, перескочив с энергией отчаяния высокий каменный забор, было пусто и тихо. Это был небольшой, но густой и тенистый оазис, заботливо выращенный несколькими поколениями среди каменных громад шумного города.

Прямо перед Геником, за стволами деревьев на лужайке красовалась цветочная клумба и небольшой фонтан. Шум уличной жизни проникал сюда лишь едва слышным дребезжанием экипажей.

Надо было что-нибудь придумать. Огненный клубок прыгал в голове Геника, разворачиваясь и снова сжимаясь в ослепительно блестящую точку, которая плыла перед его глазами по аллее и зеленым кустам. Напряженная, почти инстинктивная работа мысли подсказала ему, что идти теперь же через ворота, рискуя, вдобавок, запутаться на незнакомом дворе, – невысказано. Сыщики гнались за ним по пятам и только после двух его выстрелов убавили шаг. Он вбежал в первый попавшийся двор, перепрыгнул стену и очутился в пустом, незнакомом саду. Он не знал даже, выходят ли ворота этого двора на ту улицу, где он оставил погоню, или же на противоположную. Но даже и в этом случае его положение было сомнительным. Квартал, наверное, был уже оцеплен.

Геник вынул револьвер и сосчитал патроны. Было семь – осталось три. Двумя он очень убедительно поговорил с городовым, побежавшим за ним. Служака растянулся лицом книзу на пыльной, горячей мостовой. Две прожужжали мимо ушей сыщика. Осталось три... Трех было очень мало...

Беспокойные мухи назойливо гудели вокруг, садились на лицо и глаза, раздражая своим прикосновением пылающую кожу. Откуда-то донесся стук ножей, запах кухни и звонкая перебранка. Нервно кусая губы и машинально рассматривая носки сапог, Геник пришел к заключению, что, пожалуй, самое лучшее для него теперь – это забраться куда-нибудь в дровяной сарай или конюшню, предоставив дальнейшее случаю...

II

Когда он поднял, наконец, глаза, маленькая девочка, стоявшая против него, рассмеялась тихим смехом. Ее руки кокетливо прятались за спиной, и светлые карие глазки в упор смотрели на незнакомца.

Есть в человеческой психике что-то, что иногда в самые важные моменты нашей жизни вдруг неожиданно направляет мысли очень далеко от текущего мгновения. Особа, стоявшая на дорожке, вдруг напомнила Генику что-то, несомненно, виденное им... Он прогнал муху, приютившуюся над его бровью, и разом поймал ускользавшее воспоминание...

...Маленькая лужайка в густом парке, окруженная сплошной стеной малинника, бузины и высоких, шумящих деревьев. Снопы света падают почти вертикально из голубой вышины. Густая трава пестреет яркими головками лесных цветов...

Это было доисторическое время, когда земля кипела нарядными бабочками, стрекозами с прозрачными крыльями, невыносимо серьезными жуками, царевичами и трубочистами. Жить было недурно, только прелесть жизни часто отравляла особая порода, именуемая «взрослыми». «Взрослые» носили брюки навыпуск, ничего не знали (или очень мало) о существовании разрыв-травы и важнейшим делом жизни считали уметь есть суп «с хлебом»...

Все это – лужайка, мотыльки и взрослые – сверкнуло и исчезло. Жгучая, острая тоска затравленного зверя сдавила Генику грудь, и он гневно скрипнул зубами.

Сделав два шага по направлению к скамейке, на которой сидел Геник, девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полузастенчивым, полурадостным голосом:

– Здравствуй, дядя Сережа!

– Здравствуй, – ответил Геник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера.

– А ты почему не приехал завтра? – продолжал ребенок, испытующе поглядывая на дядю. – Мама тебя очень бранила. Она говорит, что ты какой-то деревянный!

– Мама пошутила, – медленно и внушительно сказал Геник. – Она думала, что ты умная. А ты – глупенькая!

– Это уж ты глупенький-то! – Девочка надулась. – Не буду тебя любить!

– Вот как! Это почему?

– А ты... ты, ведь, хотел привезти железную доро-о-огу! И еще зайчика... Разве ты обманщик?

– Я был сердит на твою маму, – вывернулся Геник. – Я хотел, чтобы тебя называли Варей, а она меня не послушала.

– Варя – это у кухарки, – заявила девочка, подступая ближе. – Она рыжая. А я Оля!

– Ну, вот. Но теперь я уже перестал сердиться. И знаешь, что я придумал?

– Нет! Какую-нибудь дрянь? – осведомилась девочка.

– Ай, какой стыд! Кто тебя научил так говорить? Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари...

– Я не учусь! Это папа так говорит, – хладнокровно возразила племянница.

– Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! – продолжал укоризненно покачивать головой Геник.

– Ну – я не буду! Ну – скажи, что? – приставала девочка.

– А ты любить меня будешь?

– Да-а! – Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Геннику, сложила свои розовые пальчики на его большой сильной руке. – Ну, скажи же, скажи!

– Мы, – торжественно заявил Геник, – поедem с тобой на настоящей железной дороге!

– В Италию, – с восторгом подхватила Оля, и глаза ее мечтательно расширились.

– В Италию! Мы возьмем с собой маму м... м...

– Мы еще возьмем... возьмем вот кого! – Оля задумалась. – Мы возьмем всех, правда? И маму, и Варьку, и Ганьку, и француженку... Нет, француженку не нужно! Она злая! Она все жалуется, а пайка ее очень любит за это!..

– Вот как! Ну, мы ее тогда... оставим без обеда!..

– Во-от. Так ей и надо! – Девочка с нетерпением смотрела на Геника. – Мы едем в Италию!

– Нет! – печально вздохнул Геник. – Я и забыл, что мне нельзя ехать.

– Ну-у?! – Оля недоверчиво и огорченно раскрыла рот. – А почему нельзя? а?

Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, приготовляясь плакать. Генник погладил ее по щеке и сказал:

– Я пошутил, Оля. Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу.

– Вот такую, как у папы, – озабоченно заметила девочка. – Белую. А ты был в Италии?

– Был. Только там шляпы лучше папиной!

– Да-а, как же! У папы всегда лучше, – заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости.

– Сережа, едем! – закричала она, хлопая в ладоши. – Скорее! Я дам тебе папину шляпу – вот!

Генник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза.

– Не надо, Оля, – сказал он печально. – Мама узнает, будет бранить Олю!

– Мамы нет, Сережа! Она у художника – знаешь? Плешивый!..

III

Генник не успел открыть рот для ответа, как белое платье девочки уже замелькало по направлению к дому. Через несколько мгновений топот ножек затих.

Тогда он достал из бокового кармана номер вчерашней газеты и развернул ее, смоченную потом. Сразу как-то назойливо бросилось в глаза объявление табачной фабрики с массой восклицательных знаков.

«Вызвали наряд городских, – думал он, чувствуя, как им овладевает мелкая нервная дрожь, сменившая возбуждение. – По улицам расставили шпионов. По углам сторожат конные жандармы. Телефон работает...»

Где-то, вероятно на соседнем дворе, шарманка заиграла хрипящий, жалобный вальс. Солнце поднялось над соседней крышей и заглянуло в глаза Геннику. Маленькая, вертлявая птичка запрыгала по аллее и вдруг испуганно вспорхнула, увидев человека, одетого в черное, с бледным лицом. Генник проводил ее глазами и насильно усмехнулся, вспомнив Олю. Затем встал, провел рукой по пыльному лицу и огляделся.

Стена имела не менее сажени в высоту. Она охватывала сад, находившийся в задней части двора, с трех сторон. Было странно, как мог он перескочить ее без посторонней помощи. Это произошло мгновенно; как будто какой-то вихрь поднял его тело и перебросил по эту сторону. Во всяком случае, нечего было и думать повторить снова эту штуку. Всматриваясь пристальнее в глубину сада, он заметил в отдалении легкие просветы, сквозь которые можно было видеть маленькие кусочки мощеного двора и угол каменного, многоэтажного дома.

Он снова сел и только тут заметил, что его одежда носила явные и свежие следы кирпича и извести. Схватив горсть влажной травы, он начал поспешно приводить себя в порядок, затем развернул газету и напряженно, до боли в глазах, стал вглядываться поверх ее страниц в темную глубину сада.

IV

Кровь постепенно отхлынула от сердца, но пульс бился по-прежнему неровно и часто. Станный, колющий озноб пробежал по его ногам, несмотря на июльскую жару.

Цветочная клумба пришла в движение. Немилосердно комкая дорогие цветы, белое платье Оли пронеслось вихрем и остановилось перед Геником. Лицо девочки сияло восторгом блестяще выполненной задачи: большая отцовская шляпа широким грибом покрывала ее густые русые волосы.

– Вот папина шляпа, Сережа! – заявила она, шумно переводя дыхание. – Надевай!

Она привстала на цыпочки и, прежде чем Геник успел нагнуться, торопливые детские руки сорвали его помятую, черную шляпу и нахлобучили взамен ее желтую новенькую панаму.

– Ах! – она отступила на шаг и, сложив руки, прижала их к груди, с явным восхищением поглядывая на дядю. Незаметным ударом ноги Геник подбросил под скамейку свой отслуживший головной убор.

– Ну, вставай же, поедem!

– погоди, детка, – улыбнулся Геник. – Еще поезд не пришел. Он придет скоро, скоро... и тогда... Мне еще нужно съездить по делу на часок. Потом я вернусь, и мы отправимся.

– Ну, пойдем ко мне! Я покажу тебе Зизи. Она сейчас завтракает, а потом будет кувыркаться... У нее глаза болят!..

– Видишь ли, очень жарко. А в комнате еще теплее. Я даже хочу снять пальто.

Геник стащил с себя летнее черное пальто, опустил его за скамейку и остался в широком, сером пиджаке, делавшем его гораздо полнее, чем он был на самом деле и казался в своем узком пальто.

– А я сяду к тебе? – она заглянула ему в глаза. – Можно? Только ты меня усами не трогай. Папа меня всегда усами щекочет.

Болтая, она вскарабкалась к нему на колени и прижалась щекой к его боковому карману, где лежал револьвер.

– А ты хочешь какао, Сережа? Мама мне всегда велит пить какао. Оно такое противное, как лекарство!

V

Но уже кто-то, чужой и враждебный, шел из глубины сада... Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание... Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху...

Два городских, с револьверами наготове, показались в изгибе аллеи. Они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный, невысокий мужик, широколицый, с маленькими, часто мигающими глазами.

Увидев их, Оля вырвалась из рук Геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь.

– Степан! Он приехал! Дядя Сережа! Вот он! Он меня повезет в Италию!

Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше.

Был момент, когда, как показалось Генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами...

– С приездом осмелюсь вас поздравить, барин, – сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку. – Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случаем!

Он бережно отстранил девочку и опустил руки по швам.

– Мы, ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем... С Михайловской улицы из пивной видели, как тут человек к бельгийцу во двор заскочил... А окромя как через наш двор ему выскочить негде...

– Какой человек? – отрывисто спросил Геник.

– Из тюрьмы сбежал, барин, бунтарь. Вся полиция на ногах. В городского стрелял, прямо в живот угодил...

Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный.

– Степан! – начал он медленно и внушительно, смотря дворнику прямо в глаза, – стоит мне сказать одно слово – и ты будешь немедленно уволен! Помогать охране порядка – твоя прямая обязанность! В то время, как вот они, – он указал взглядом на городских, – не жалея жизни исполняют свой долг – ты сидишь в пивной и, разинув рот, ловишь мух! Очень хорошо!

– Господи! Ужли ж я... ведь на один секунд! Ежели в этакую-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не знаю что... Эх, барин!

Степан обиженно вздохнул и умолк.

– Иди, я не держу тебя. Впрочем – погоди. Позови извозчика – ряди в дворянское собрание...

– Хорошо-с, – сказал угрюмо Степан, надевая картуз.

Он немного потоптался на месте, и все трое удалились, переговариваясь вполголоса. Оля робко подошла к Генику и тихо сказала:

– Какой ты сердитый! А ты на меня будешь кричать?

– Нет...

– Они кого ищут? Мазурика? Да?

– Да...

– Он какой – голый?

– Да...

Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и, как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнеможении почти упал на скамью и разразился нервным, рыдающим смехом...

Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки.

– Сережа, не плачь! Сережа – я обманула тебя! Я буду тебя любить...

Громادным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него, пальчики трясли изо всех сил большую, загорелую руку. Вдруг Геник скорчил потешную гримасу, и Оля звонко расхохоталась.

– Ты – смешной! – заявила она. – Как клоун!

На другом конце двора слышалось дребезжание извозничьего экипажа. Геник встал.

– Прощай, Оля! – сказал он, поправляя галстук. – Я приеду к обеду и привезу тебе железную дорогу.

– И лошадку?

– Да, и лошадку. А потом мы поедем в Италию!..

– Вот как хорошо! – засмеялась девочка, идя рядом с ним. – Ты, ведь, до-о-бренький! Я с тобой всегда буду ездить!

Аллея кончалась, и перед ними блеснул чисто выметенный, мощный двор. У роскошного крыльца ожидал извозчий фаэтон. Подойдя к экипажу, Геник нагнулся и поцеловал пушистую, русую головку.

– До свидания! Будешь умница?

– Да-а!..

Он вскочил на сиденье, и экипаж с грохотом выехал на улицу.

Оглянувшись назад, Геник увидел Олю. Она стояла у железной решетки ворот, освещенная солнцем, золотившим ее густые кудри, и усиленно кивала головкой уезжавшему...

Когда экипаж поворачивал за угол, Геник оглянулся еще раз. Мгновенно мелькнуло и скрылось белое пятнышко, а ветер встрепенулся и донес слабый отголосок детского крика:

– Ведь ты приедешь, Сережа?

Случай

I

Бальсен запряг свою понурую, рыжую лошадку и, крепко нахлобучив шапку на голову, вышел со двора на улицу. Дождь уже перестал поливать землю. Густой запах навоза и гнилой сырости стоял в черном, как смола, воздухе, насыщенном теплой влагой осенней ночи. Ветер стих. В пустынной тишине темной, уснувшей улицы жалобно скрипел флюгер над крышей дома Бальсена, и в доме ярко светились два окна, озаряя грязные лужи на краю дороги. Жена Бальсена, Анна, умирала. Так думали все соседи и старуха Розе, сидевшая у больной. Но упрямая, круглая голова Бальсена не верила этому. Молодая и любимая женщина не может умереть так скоро, прожив с мужем только год и родив лишь одного ребенка. Старухи каркают зря.

Подумав так, он вошел в дом и тихо подошел к деревянной, почерневшей от времени кровати, на которой, среди подушек и одеял, широко раскинув руки, лежала больная. Бальсен смотрел на нее и удивлялся. Неужели это та самая Анна, что еще неделю тому назад пела и кричала на всю улицу? С трудом можно было этому поверить... Щеки впали; лоб, обтянутый гладкой, пожелтевшей кожей, покрылся испариной. Запекшиеся губы неровно и часто открывались, и дыхание с болезненным свистом вырывалось из груди. Вся она страшно исхудала, побледнела и сделалась такой жалкой и беспомощной.

Розе копошилась у плиты, готовя какое-то деревенское питье. Бальсен тихо потрогал жену за руку и спросил:

– Ну, как? Трудно тебе, Анна?

Молодая женщина ничего не ответила, но веки ее дрогнули и дыхание сделалось ровнее. С трудом приоткрыв, наконец, глаза, она стала смотреть перед собой неподвижным, мутным взглядом. Потом глаза снова закрылись, а губы начали шевелиться. Бальсен стиснул зубы.

– Оставь ее, Отто, оставь! – убеждающим шепотом заговорила старуха, отрываясь от плиты и поправляя под чепчиком дрожащими, коричневыми пальцами клочья седых, как вата, волос. – Нельзя ее трогать... Поезжай скорее, если ты добрый муж!

Ребенок в соседней комнате проснулся и тихо заплакал. Старуха поспешила к нему. Бальсен перевел глаза к столу, за которым его младший брат, Адо Бальсен, читал газету при свете керосиновой лампы. Зеленая тень стеклянного колпака падала на хмурое, сосредоточенное лицо юноши.

– Брось газету, Адо! – раздраженно крикнул Бальсен, и жилы вздулись на его лбу. – Вечная политика, даже тогда, когда в доме горе!.. Это вы, зеленый горох, лезете по тычине к небу и валитесь вместе с ней! Брось, я тебе говорю!

Адо улыбнулся и поднял глаза на брата.

– Не сердись, Отто! – мягко сказал он. – Я не обижаюсь на тебя... Тебе тяжело; это понятно... Но чем виновата газета?

– Никто не виноват! – тяжело дыша, сказал Бальсен и заходил по комнате, круто поворачиваясь. – А чем виновата Анна, что тебе и другим дуракам вздумалось облагодетельствовать всех плутов, мошенников и лентяев на свете? Гибнут все хорошие люди!..

– Этого не может быть! – сказал юноша и упрямо встряхнул волосами. – Если бы погибли все хорошие люди, мир не мог бы существовать!..

– Ну да! Это из книжки! А на самом деле? Где кузнец Пельт? Где Аренс, учитель? Где Мансинг, аптекарь? Один убит... А других что ждет? А что они сделали? Будь Мансинг здесь, Анна, быть может, была бы здорова...

– Отто, ты – как большой ребенок! – сказал Адо. – Ну, что бы мог тут сделать аптекарь? Все равно ты бы поехал за доктором... Тебе просто, как видно, хочется сорвать сердце на чем-нибудь!..

– Сорвать?! Молокосос ты и больше ничего!.. Что стало с краем? Еще такой год, и мы будем нищие! Мы, Бальсены!..

Истекший год оставил в Бальсене-старшем тяжелые воспоминания. Деревня обезлюдела: кто разорился, кто исчез, неизвестно куда. Нескончаемые военные постой, реквизиции, вечный страх перед кулаком и плетью... Обыски, доносы... Жизнь сделалась адом.

И Бальсен в грустные минуты вспоминал зеленые, залитые горячим светом поля, здоровье,

радость труда, смех Анны, крепкую усталость, вкусную жирную еду и богатырский сон... В прошлом жилось хорошо, настоящее – ужасно и смутно; будущее – неизвестно...

И Бальсен возненавидел политику и людей, причастных к ней, перенося, как все умственно близорукие люди, свои симпатии и антипатии на предметы, непосредственно ясные для зрения. Газета, иностранное слово раздражали его. Рабочий, крестьянский ум Бальсена глядел в землю и никуда больше.

Ребенок затих, и старуха вошла в комнату шаркающей, хлопотливой поступью.

– Будет шуметь! – сказала она. – Что для вас Анна? Ваши споры вам дороже. Отто, не забудь, что до Вендена сорок верст... Лошадь поела? Поезжай, а то я выгоню тебя ухватом.

Бальсен перестал ходить и подошел к кровати. Постояв немного, он наклонился и поцеловал Анну в волосы. Больная в беспамятстве шептала что-то, быстро шевеля губами. В голубых, сердитых глазах крестьянина вспыхнула затаенная мука.

– Не топчись! – ворчала Розе. – Поезжай, ну!

– Тетка Розе! – сказал вдруг Бальсен. – А что, если он не захочет?

– Ну, вот! Поедет! Иначе его покарает бог!.. А бумажку возьми с собой на всякий случай; купишь в аптеке.

Бальсен нащупал в кармане бумажку, сложенную вчетверо, на которой был написан какой-то традиционный безграмотный деревенский рецепт, вздохнул и вышел, тихо притворив дверь.

II

Дорога шла лесом. Невысокая, редкая чаща тянулась на пятнадцать верст двумя сплошными, угрюмыми стенами. Дорога была неровна и кочковата, но Бальсен не захотел ехать обычным, наезженным трактом, потому что лесной путь сокращал расстояние по крайней мере верст на десять. Во-вторых, здесь он чувствовал себя спокойнее и мог рассчитывать не наткнуться на бродяг и грабителей, расплодившихся в последнее время. Бальсен живо помнил, как пастор Кинкель приехал домой от одного больного – в нижнем белье, стуча зубами от страха и холода.

Низкие, темные облака толпились, как привидения, исчезая за черной, зубчатой извилиной лесной опушки. Тяжелые водяные капли часто хлопали, падая в рытвины, наполненные водой. Изредка ветер, внезапно прошумев над вершинами елей и сосен, стряхивал с веток целые потоки воды, и тогда казалось, что лес наполняется торопливым, смутным шепотом. Иногда раздавался слабый писк сонной птицы, легкий, осторожный треск... Вдали, в самой глубине лесного затишья, какое-то печальное и одинокое существо монотонно гудело, и его глухое «гу-у! гу-у!» выло, как ветер в трубе.

Лошадь быстро бежала, поматывая шеей, и в ее торопливом, крепком и уверенном беге было что-то успокаивающее и ободряющее. Повозка качалась и подпрыгивала на рытвинах и древесных корнях, протянувших свои кривые щупальца под тонким дерном. И Бальсену, глядевшему в черный, неподвижный мрак, казалось, что он едет в глухом, темном коридоре, уходящем в какое-то подземное царство... Тогда он поднимал голову вверх и смотрел на густые, медленно и высоко ползущие тучи.

Проехав верст десять, он остановил лошадь и вылез, чтобы поправить седёлку, сбившуюся набок. Копыта перестали стучать, и колеса затихли. И в жуткой, сонной тишине лесного покоя, встревоженного только этим шумом езды одинокого человека, казалось, ничто уже больше не разбудит затишья ночи, упавшего на землю.

И дорога, предстоявшая Бальсену, показалась ему такой бесконечной, темной и тоскливой, что он снова поспешно вспрыгнул в повозку и задергал вожжами. Лошадь побежала, бойко и мерно постукивая копытами.

Сидя в повозке, Отто Бальсен думал об Анне, жизни, глупом братишке Адо и своем путешествии. Мысли его тяжело и сосредоточенно устремлялись одна за другой. Было странно и непонятно, что горе может придти внезапно и нарушить спокойное довольство трудящегося человека. С его, Бальсена, стороны не было к этому никаких поводов. Он исправно платил подати, работал прилежно, верил в бога и загробную жизнь, иногда кормил нищих и был добрым, забот-

ливым мужем... А все же хозяйство расстраивалось, и все же Анна лежит там, в деревне, и стонет, и мучается, а он, Бальсен, едет ночью за десятки верст, рискуя большими расходами...

И мысль снова начинала вертеться в прошлом, отыскивая тайные пружины, незримые семена, взрастившие заботу и горе. Ничего не оказывалось. По-прежнему в воображении упрямо вставали желтые пышные поля, смуглые руки Анны и тишина домашнего уюта... Бальсен сердито вытянул Рыжика кнутом и выехал на опушку.

III

Лес кончился, уходя назад черной, плывущей тенью, а дорога сделалась ровнее и шире. Крестьянин вынул старинные, серебряные часы и зажег спичку. Стрелки показывали 12. Еще часа полтора езды до города, и к пяти утра он, пожалуй, успеет вернуться обратно. Шурин Андерсен с удовольствием одолжит ему одну из своих четырех лошадей. Бедный Рыжик уже устал, вероятно, так как часто взматывал головой.

И вдруг Бальсен услышал, что навстречу ему кто-то едет. В темноте раздавались дробные, перебивающиеся удары копыт и фыркание лошадей. Он потянул вожжи к себе, прислушиваясь, и решил, что едут верховые. Затем свернул с дороги на рыхлое, кочковатое жнивье и остановил Рыжика.

Топот приближался, слышался ленивый, сдержанный разговор. Рыжик вытянул шею и звонко, нетерпеливо заржал, перебирая ногами. Голоса затихли. Бальсен рассердился и ударил лошадь. Через секунду раздалось ответное, возбужденное ржание, и повозку быстро окружили темные силуэты людей, сидящих верхом, с винтовками за плечами. Их было много, и Бальсену стало ясно, что это один из казачьих разъездов, бродивших вокруг Вендена. Он сморщился, с неприятным чувством вглядываясь в казаков, но лиц не было видно в темноте. Один подъехал близко, так, что голова его лошади обдала лицо Бальсена горячим паром ноздрей, и спросил:

– Куда путь держишь, дружище?

– В город... – неохотно ответил Бальсен, нетерпеливо пожимая плечами. – И очень тороплюсь.

– А чего же ты торопишься? – спросил другой казак и захохотал громким, резким смехом. – Дюже же ты торопишься, засев у середь поля!..

Под одним из всадников заиграла лошадь, и он, сочно выругавшись, ударил ее ногой в бок. Подъехал еще один, и по тому, как он спросил: – «Что тут?», и по тому, что казаки повернулись к нему лицом, Бальсен догадался, что это офицер. Казак, спросивший у Бальсена, куда он едет, подъехал к офицеру и начал что-то говорить ему, оглядываясь на крестьянина.

– Ты думаешь? – спросил офицер, зевая.

– Так тошно... Стоить у середь поля...

– Куда едешь? – сердито крикнул офицер.

– В город, господин начальник, – ответил Бальсен, снимая шапку. – За доктором. У меня очень больна жена...

– Откуда?

– Из Келя... Меня зовут Бальсен, Отто Бальсен...

– А есть у тебя паспорт?..

– Паспорт я забыл дома, господин начальник, – сказал Отто. – Но вы уж, пожалуйста, пропустите меня. Меня здесь знают кругом на сто верст. Я мирный человек.

Несмотря на уверенный тон, каким Бальсен давал ответы офицеру, смутная тревога, однако, сдавила ему грудь. Он вздохнул и продолжал:

– Нужда заставляет ехать в ночь, господин полковник. Очень неприятно. Я очень тороплюсь...

Офицер молчал, покачиваясь в седле, и Бальсен спросил:

– Так мне можно ехать? Меня здесь все знают...

– Нет, нельзя, – спокойно сказал офицер. – А может быть, ты не Бальсен, а? Как же это ты – без паспорта? Разве ты не читал приказа?

– Никак нет, господин полковник. Никто не читал у нас, – вздохнул Бальсен. – Со всяким может случиться ошибка, господин полковник. И я прошу вас простить меня. Мне нужно к доктору...

– А ну, общите его, ребята, – приказал офицер. – А зачем ты свернул с дороги?

– Я не знал, кто едет, господин начальник, – оправдывался Бальсен. – Теперь много разбойников.

– Вылезай! – сонно сказал казак, спрыгивая с лошади. – Прощупаем тебя.

Бальсен засуетился, вылезая из повозки и покорно расставляя руки, пока казак ощупывал его и лазил по карманам. Вынув все, что было в них: трубку, табак, бумажник, часы и бумажку старухи Розе, он передал отобранное офицеру. Другой казак зажег небольшой ручной фонарик, и при свете его, бледном и прыгающем, Бальсен увидел худое, бледное лицо офицера, склонившегося над вещами крестьянина. Офицер долго ворочал и рассматривал рецепт, затем тщательно осмотрел часы и бумажник. Еще один казак подъехал к нему и начал что-то шептать. Офицер мычал и кивал головой, изредка восклицая: «А? – Да! – А? Да-а!..»

Время тянулось для Бальсена удивительно медленно. Он пристально и внимательно следил за движениями казаков и удивился, когда один из них вытащил у товарища изо рта окурочек папиросы. Рыжик нетерпеливо фыркнул, потряхивая дугой.

Наконец офицер сказал что-то сквозь зубы, передавая вещи Бальсена казаку, и крупной рысью скрылся в темноте. Казаки потянулись за ним. Бальсен облегченно вздохнул и сказал:

– Можно ехать?

Казак, стоявший возле крестьянина, бросил на него косой взгляд, шмыгнув носом и ничего не ответил. Понемногу уехали все, и осталось только четверо. Они переглянулись, спешили и подошли к Бальсену.

– Ну, вот что, друг, – сказал один, и Бальсену показалось, что он улыбается в темноте. Весело улыбнувшись ему в ответ, он хотел спросить, – можно ли ему наконец ехать, но казак продолжал:

– ...мы тебя свяжем. А ты стой смирно. Смотри – не вздумай тикать – застрелю!..

Он повернул Бальсена за плечо, и крестьянин, оторопев, послушно повернулся... И вдруг страшная мысль, огненным сверлом пронзив мозг, упала в душу... Он дико, отчаянно вскрикнул. Казалось, что земля уходит из-под ног и все кружится со страшной, молниеносной быстротой.

– Не прыгай, до города далеко, – апатично сказал казак, сидевший верхом. – Что толку? Все равно, брат, помирать когда-нибудь...

– За что?! – закричал Бальсен, и заплакал. – Меня все!.. Я Отто Бальсен!..

– Сам знаешь, за что, – угрюмо ответил казак. – Начальство, дядя, распоряжается, а не мы... Очень разумные. Вот за это самое.

Бальсен застыл, и казалось ему, что все мысли умерли в нем и сам он умер... А, быть может, это сон... Все сон: сырая, пронизывающая сырость осенней ночи, рыхлая земля под ногами, Рыжик, опустивший голову, и эти замолкшие, темные фигуры людей, отделившихся от него... Это бывает, и Отто вспомнил страшные кошмары, когда, проснувшись в теплой, темной комнате, облегченно вздыхаешь, натягивая одеяло, и поворачиваешься, засыпая вновь...

В голове его пестрым, разноцветным узором пробежали вдруг грядки небольшого огорода, сокровища Анны. Упругая, светло-зеленая капуста, темный стрельчатый лук, белые цветочки картофеля и желтые огуречные... Все это было, и всего этого не будет. И сам он, Отто Бальсен, Бальсен, которого знают на сто верст кругом, куда-то исчезнет, и никто не будет знать и никогда не узнает, почему так вышло...

И снова мысль упала в прошлое, и снова перед Бальсеном сверкнули желтые, пышные поля и смуглые руки Анны. И снова было непонятно, почему теперь явились сильные, злые, вооруженные люди, взяли его и убили...

Он безотчетно рванулся вперед, но, сделав два-три шага, споткнулся и сел со связанными руками на сырую, вязкую землю. Казак, сидевший на лошади, заметил:

– Ослаб. Пугается...

– Я видал, – сказал другой. – А видал и таких, которые смелые. Есть тоже из ихнего бра-

та...

Гнев и отчаяние окончательно овладели Бальсеном. Он хотел крикнуть и не мог. Казалось, еще немного, и он проснется... Еще, одно, еще последнее усилие...

– Не копайся, Данило, – сказал верховой. – Вы, черти!.. Чего томить человека?!

Темные фигуры отошли на несколько шагов и остановились. Бальсен видел, как сверкнули длинные красные огоньки, и острая, тянущая боль стеснила ему дыхание. Падая, он увидел свой дом, светлую комнату, Адо, склонившегося над газетой, и больную, любимую Анну...

Затем все исчезло.

Марат

Другу моему Вере

I

Мы шли по улице, веселые и беззаботные, хотя за нами след в след ступали две пары ног и так близко, что можно было слышать сдержанное дыхание и ровные, крадущиеся шаги. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы шли квартал за кварталом, неторопливо переходя мостовые, рассеянно оглядывая витрины и беззаботно обмениваясь замечаниями. Ян, товарищ мой, приговоренный к смерти, сосредоточенно шагал, смотря прямо перед собой. Его смуглое, решительное лицо с острыми цыганскими скулами было невозмутимо, и только щеки слегка розовели от долгой ходьбы. И в такт нашим шагам, шагам мирных обывателей, делающих моцион, раздавалось упорное, ползущее шарканье. Гнев ядовитым приливом колыхался в моем сердце, и страшное, неудержимое желание щекотало мускулы, – желание обернуться и смачно, грузно вlepить пощечину в потное, рысёе лицо шпиона. Сдержанным, но свободным голосом я объяснял Яну преимущества бессарабских вин.

– В них, – сказал я, выразительно и авторитетно расширяя глаза, – есть скрытые прелести, доступные пониманию только в трезвом виде. К числу их надо отнести водянистую сухость и большое количество дубильной кислоты... Первое усиливает аппетит, второе укрепляет желудок. Правда, в венгерских и испанских винах больше поэзии, игры, нюансов... Но, уверяю вас, – после двух, трех бутылок деми-сека воображение переносит в широкие, солнечные степи, где смуглые полные руки красавиц молдаванок плетут венки из виноградных листьев...

Ян криво усмехнулся и, расставив ноги, остановился у лотка с апельсинами. Пламенные глаза его устремились на красную бархатную поверхность плодов, позолоченных июльским солнцем. Он крикнул и сказал:

– Смерть люблю апельсины! Пусть мы будем буржуи и купим у этого славного малого десятка мандаринчиков...

– Пусть будет так!.. – согласился я таким мрачным тоном, как если бы дело шло о моей голове. – Да процветает российская мелкая торговля!

Коренастый ярославец глядел нам в глаза и, без сомнения, видел в них серебряные монеты, отныне принадлежащие ему. Он засуетился, рассыпавшись мелким бесом.

– Десяток этих – три двугривенных, шестьдесят копеек! – предупредительно объяснил он. – Завернуть позволите? Хорошо-с!

Он взял с лотка белый новенький мешочек. В таком же точно пакете, только серого цвета, я нес свой чернослив, купленный по дороге. И вдруг мне стало завидно Яну. У него апельсины будут лежать в белой, как снег, бумажке, а у меня в серой и грязной! Решив сказать ему об этом, я предварительно случайно бросил взгляд в сторону профилей, прикрытых котелками, и был приятно изумлен их настойчивостью в деле изучения дамских корсетов, вывешенных за стеклом магазина. Тогда я дернул Яна за рукав и обиженно заметил:

– Дорогой мой! Не находите ли вы, что белый цвет бумаги режет глаза?

Ян, казалось, искренно удивился моему замечанию, потому что раза два-три смигнул, ста-

раясь догадаться. Тогда я продолжал:

– От младых ногтей и по сию пору я замечал, что белый цвет вредит зрению. По этой причине я всегда ношу свои покупки исключительно в бумаге серого цвета...

– Бедняга... – сказал Ян, пожимая плечами. – Вам вредно пить много бессарабского... Впрочем, для вас я готов уступить. Нет ли у вас серого мешочка?

Детина растерянно улыбнулся торопливой, угодливой улыбкой, долженствовавшей изображать почтение к фантазии барина, и мгновенно выдернул из-под кучи оберточной бумаги толстый серый пакет. Положив в него апельсины, он сказал:

– Милости просим, ваше-ство! Ежели когда!.. Самые хорошие...

Мы пошли дальше, не оглядываясь, но я чувствовал сзади жадные, бегающие глаза, с точностью фотографических аппаратов отмечающие каждое наше движение. Вокруг нас, обгоняя, встречаясь и пересекая дорогу, проходили разные люди, но в шарканьи десятков ног неумолимо и упорно выделялись назойливые, как бег маятника, шаги соглядатаев. Нахальное, почти открытое преследование заставляло предполагать одно из двух: или близкую, неотвратимую опасность, или неопытность и халатность преследующих.

Как будто дразня и весело насмехаясь, извозчики вокруг наперерыв предлагали свои услуги. Соблазн был велик, но мы, мирные обыватели, потихоньку шли вперед, наслаждаясь солнцем, теплом и бодростью собственного, отдохнувшего за ночь тела. У бульвара, сбегавшего по наклонной плоскости вниз широкой, кудрявой аллеей, Ян вздохнул и сказал:

– Пойдемте бульваром, дружище. На улице становится жарко.

Мы свернули на сырой, утоптаный песок. Густые, прохладные тени кленов трепетали под ногами узорными, дрожащими пятнами. Впереди, в перспективе бульвара, ослепительно горели золотые луковицы монастыря. На скамейках сидели одинокие фигуры гуляющих. И вдруг навстречу нам, кокетливо повертывая плечиками, прошла очаровательная дамочка, брюнетка. Озабоченное выражение ее цветущего личика забавно противоречило пухлому, детскому рту. Восхищенный, я щелкнул пальцами и обернулся, проводив красавицу долгим, слюнявым взглядом. Но тут же ее стройный колеблющийся корпус заслонили два изящных, черных котелка, неутомимых, беспокойных и рыщущих. Вздыхнув, я посмотрел на Яна. Лицо его было по-прежнему до глупости спокойно, но тонкие, нервные губы слегка пожевывали, как бы раздумывая, что сказать. Бросив умиленный взгляд на купол монастыря, он произнес громким, растроганным голосом:

– В детстве я был набожен и таковым остался до сих пор. Когда я вижу светлые кресты божьего храма, бесконечное благоговение наполняет мою душу. Сегодня я слушал обедню в церкви Всех святых. Батюшка сказал сильную, прочувствованную речь о тщете всего мирского. Истинный христианин!..

Он перевел дух, и мы снова прислушались. Но песок упорно, неотступно хрустел сзади. И это не помогало! Религия оказывалась бессильна там, где преследовались высшие государственные цели. Я сразу понял тщету набожности и развернул перед Яном нараспашку всю глубину своего испорченного, развращенного сердца.

– Охота вам быть монахом! – сказал я тоном старого опытного кутилы. – Поверьте мне, что если в жизни и есть что хорошее, – то это карты, вино... и девочки!..

И я пустился во все тяжкие, смакуя мерзости блюда всех видов и сортов. Начав с естественных, более или менее, отношений и подчеркнув в них остроту некоторых моментов, я готовился уже пуститься в изложение и защиту педерастии, как вдруг шляпа, плохо сидевшая на моей голове, упала и откатилась назад. Пользуясь счастливым случаем, я вернулся за ней, поднял и бросил внимательный взгляд в глубину аллеи. Они еще шли, усталые, лениво передвигая ноги, но уже настолько далеко, что, очевидно, уверенность их в нашей принадлежности к организации была сильно поколеблена моим восторженным гимном культу Венеры и Астарты.

Ян, измученный, с наслаждением опустил на первую попавшуюся скамейку. Я сел рядом с ним и прислонил свой пакет с черносливом к мешочку с апельсинами. Серая, оберточная бумага тускло выделялась на черном фоне наших пальто, невинная и страшная в своей кажущейся незначительности.

Несколько секунд мы молчали, и затем Ян заговорил:

– Итак, товарищ, наступает день... Я совершенно спокоен и уверен в успехе. Ваш гостинец я немедленно отнесу к себе, а вы идите домой и позовите, пожалуйста, Евгению с братом. Пусть нас будет только четверо... Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие, дружеские лица... Так мне будет легче... Хорошо?

– Конечно, Ян. Вам необходимо рассеяться для того, чтобы завтра иметь возможность сосредоточиться...

– Вот именно... И положение интересное: нас будет четверо – двое не знают и не будут знать, а мы с вами знаем... Надеюсь, что скучно не будет. Только...

– Что?

– Ведь это, собственно говоря, полное отрицание всякой конспирации... Но я придумал: мы с вами переедем на тот берег, они приедут после... Вы приходите в семь часов к пристани у лесопильного завода... Возьмите вина, конфект... Я очень люблю раковые шейки...

– Чудесно, Ян! Когда стемнеет.

– Да... А что же вы им скажете?

– Ну! Мало ли что. Скажу, что вам нужно экстренно ехать, что ли... Вообще положитесь на меня.

– Спасибо!..

Он пожал мне руку и поднял глаза. Они горели, и цыганские скулы еще резче выступали на бледном лице. Затем Ян зевнул и задумался.

– Я тороплюсь, Ян! – сказал я. – Идите, пора... Для вас все готово...

– Сто против одного, что мне не придется этим воспользоваться... – ответил он, думая о чем-то. – Это была бы страшная редкость!

– Всякое бывает...

– Посмотрим...

Он встал, осторожно поднял один пакет и зашагал крупными решительными шагами в ту сторону, где сверкали золотые маковки монастыря. Я тоже поднялся, вышел с бульвара на тротуар улицы и, случайно оглянувшись, увидел пару неотвязных улиток, озлобленных на вселенную. Они медленно трусили за мной на некотором расстоянии. Ян, следовательно, ушел «чистый», и этого было достаточно, чтобы я развеселился. Затем мне пришло в голову, что некто, вероятно, очень желал бы, чтобы мой чернослив, захваченный Яном, оказался действительно черносливым...

Но чудес не бывает. И тяжела рука гнева...

II

Полный, блестящий, бутафорский месяц поднялся на горизонте и посеребрил темную рябь воды. Неподвижная громада лесного берега бросила отражение, черное, как смола, в глубину пучины, и лодка медленно скользила в его тени, плавно дергаясь вперед от усилий тонких, гнущихся весел.

Я греб, Ян сидел у руля, лицом к берегу и медленно, задумчиво мигал, слушая песню. Сутуловатый и неподвижный, он, казалось, прирос к сиденью, тихо двигая руль левой рукой. Пели Евгения и брат ее Кирилл, долговязый, безусый юноша с круглой, остриженной головой и добродушно саркастическими глазами. Песня-жалоба одиноко и торжественно плыла в речной тишине, и эхо ее умирало в уступах глинистого берега, скрытых мраком. В такт песне двигались и стучали весла в uključинах, отбрасывая назад тяжелую, булькающую воду. Девушка обвила косу вокруг шеи, и от темных волос еще резче выделялась белизна ее небольшого, тонкого лица. Глаза ее были задумчивы и печальны, как у всех, отмеченных печатью темного, неизвестного будущего. Свободно, без вибрации, голос ее звенел, рассекая густой, медный бас Кирилла. Простые, трогательные слова песни волновали и нежили:

Меж высоких хлебов затерялось

Небогатое наше село;
Горе горькое по свету шлялось
И на нас невзначай набрело.
Ох, беда приключилась страшная,
Мы такой не знавали вовек:
Как у нас, голова бесшабашная,
Застрелился чужой человек...

Река застыла, слушая красивую, грустную и страшную песню о жизни без света и силы. И сами они, певшие, казались не теми юношей и девушкой, какими я знал их, а совсем другими, особенными. И редкие тревожные ноты звучали в сердце в ответ на музыку голосов.

Девушка закашлялась и оборвала, кутаясь в темный пуховый платок. В полусвете молчаливо застывшей ночи она казалась воздушной и легкой. Еще секунду-другую дрожали одинокие басовые ноты и, стихнув, отлетели в пространство. Песня кончилась, и стало грустно, и было жаль молодых, горячих звуков, полных трепетной поэтической думы. И исчезло очарование. С реки потянуло холодом и сыростью. Уключины мерно скрипели и звякали, и так же мерно вторил им плеск подгребаемой воды.

— Пора ехать домой, господа почтенные, — сонно заявила Евгения, жалобно морщась и зябко пожимая плечами. — Я озябла. И вот вы увидите, что простужусь. Ян, поворачивайте!..

— А в самом деле?.. — подхватил Кирилл. — Я уж тоже напичкался поэзией... от сих и до сих. Дайте-ка я погребу, а вы отдыхайте...

Я передал ему весла, и он, вытянув длинные ноги, быстро подался вперед и сильно повел руками в противоположные стороны. Вода забурлила под килем, лодка остановилась и, слегка колыхаясь, медленно повернула влево. Горный, кряжистый берег отступил назад и скрылся за нашей спиной. Прямо в лицо глянула холодная, мгlistая ширь водяной равнины, и лодка направилась к городскому, усеянному точками огней, берегу.

Я взглянул на Яна. Он сидел, сгорбившись, наложив на румпель неподвижную руку. Тихий ветер, налетая сзади, слегка теребил его волосы. Утомленные и дремотные, все молчали. Ян начал свистать мазурку, притопывая каблуком. Девушка зажала уши.

— Ой, не свистите, ради бога! Терпеть не могу, кто свистит... На нервы действует.

Ян досадливо мотнул головой.

— Что же можно? — спросил он, глядя в сторону.

— Все, что хотите, хоть купайтесь. Только свистать не смейте... Вот лучше расскажите нам что-нибудь!

— Что рассказывать! — неохотно уронил Ян. — Про других — не умею, про себя — не хочется. Да и нечего... Все жевано и пережевано...

— Отчего это стало вдруг всем скучно? — недовольно протянула девушка, оглядывая нас. — Какие же вы революционеры? Сидят и киснут, и нос на квинту... Возобновляйте ваш дар слова... ну!..

Она нетерпеливо топнула ногой, отчего лодка закачалась и приостановилась.

— Не балуй, Женька! — сказал Кирилл. — Спать захотела, — капризничаешь!

Глаза его с отеческой нежностью остановились на ее лице.

Опять наступило молчание, и снова уснул воздух, встревоженный звуками голосов. Нелепые и смешные мысли сверкали и гасли без всякого усилия, как будто рожденные бесшумным бегом ночи. Хотелось стать рыбою и скользить без дум и желаний в таинственной, холодной глубине или плыть без конца в лодке к морю и дальше, без конца, без цели, без усилий, слушая тишину...

Вдруг вопрос, странно-знакомый и чуждый, прогнал дремотное очарование ночи. И цель его была мне совершенно неизвестна. Возможно, что Яну просто захотелось поговорить.

Он спросил совершенно спокойно и просто:

— Кирилл! Что вы думаете о терроре?

— О терроре-е? — удивился Кирилл. — Да то же, надеюсь, что и вы. Программа у нас об-

щая...

Ян ничего не сказал на это. Кирилл подождал с минуту и затем спросил:

– А вы почему об этом заговорили?

Ян ответил не сразу.

– Потому, – сказал он наконец, как бы в раздумье растягивая слова, – что террор – ужас...

А ужаса нет. Значит, и террора нет... А есть...

– Самый настоящий террор и есть! – насторожившись, задорно ответил Кирилл. – Конечно, в пределах возможного... А что же, по-вашему?

– Да так, пустяки... Спорт. Паники я не вижу... Где она? Сумейте нагнать панику на врагов. Это – все! Ужас – все!..

Кирилл насмешливо потянул носом.

– Надоело все это, знаете ли... – сказал он. – Даже и говорить не хочется. Все это уж взвешено тысячу раз... А спорить ради удовольствия – я не мастер. Да и к чему?

– Вы, Ян, страшно однобоки! – важно заметила девушка. – Вам бы в восьмидесятих годах жить... А пропаганда? Организация?..

Ян снисходительно улыбнулся углами губ.

– Слыхали. А знаете ли вы, что главное в революции? Ненависть! И если ее нет, то... и ничего нет. Если б каждый мог ненавидеть!.. Сама земля затрепетала бы от страха.

– Да он Марат известный! – захохотал Кирилл. – В ***ске его так и звали: «Маленький Марат». Ему все крови! Больше крови! Много крови... Кр-рови, Яго!.. Тигра лютая!

Каменное лицо Яна осталось совершенно равнодушным. Но через мгновение он живо повернулся всем корпусом и воскликнул с такой страстью, что даже я невольно насторожился, почуввав новые струны в этом, хорошо мне знакомом, сердце.

– Да! пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю... Но истребить, уничтожить врагов – необходимо! С корнем, навсегда вырвать их! Вспомните уроки истории... Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот что – революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!..

Это было сказано с такой гордостью и сознанием правды, что мы не сразу нашли, что сказать. Да и не хотелось. Мы думали иначе. А он думал иначе, чем мы. Это было просто и не требовало споров.

Евгения подняла брови и долгим, всматривающимся взглядом посмотрела на Яна.

– Вы какой-то Тамерлан в миниатюре, господь вас ведает... А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали... Такие словеса может диктовать только полное отчаяние... А вы это серьезно?

– Да.

Лицо Яна еще раз вспыхнуло острой мукой и потухло, окаменев в задумчивости. Только черные глаза беспокойно блеснули в орбитах. Я попытался сгладить впечатление.

– Я вас вполне понимаю, Ян... – сказал я. – У вас слишком накопилось на душе!..

Он посмотрел на меня и ничего не ответил. В лице его, как мне показалось, мелькнула тень сожаления о своей выходке, нарушившей спокойный, красивый отдых прогулки.

– А помните, Ян, – перешла девушка в другой тон, – как вы приезжали сюда год тому назад? Вы были такой... как дитя. И страшно восставали против всякой полемики, а также и... против террора, как системы?

– А помните, Евгения Александровна, – в тон ей ответил Ян, улыбнувшись, – как двадцать лет тому назад вы лежали в кровати у мамы? Одной рукой вы засовывали свою голенькую, розовую ножку в ротик, а другой держали папашу за усы? И восставали против пеленок и манной каши...

Девушка покраснела и задумчиво рассмеялась. Кирилл громко расхохотался, очевидно, живо представив себе картину, нарисованную Яном.

– А ведь правда, Женька... – заговорил он. – Как подумаешь, что мы когда-то бегали без штанов... Даже странно. Да, в горниле жизни куется человек! – патетически добавил он. И вдруг

заорал во все горло:

Плыви-и мой чо-о-олн!!.

На ближайших пристанях всполошились собаки и беспомощно залаяли сонными, обиженными голосами.

– С ума ты сошел, Кирька!.. – прикрикнула, смеясь, девушка. – Тоже, – взрослый считаешься!..

Кирилл внезапно впал в угрюмость и заработал сильнее веслами. Ян круто поворотил руль, и лодка, скользя под толстыми якорными цепями барок, уткнулась в берег, освещенный редкими огнями ночных фонарей.

Заспанный парень-лодочник принял нашу лодку, и мы поднялись на берег к городскому саду. Всем смертельно хотелось спать. Девушка подошла к Яну.

– Так вы, значит, завтра едете?.. – спросила она, широко раскрывая полусонные глаза. – Скоро! Что же вы это так?

– Надобность явилась... И так как я вас больше не увижу, то позвольте пожелать вам всего лучшего!..

– Вот пустяки! Мы еще увидимся с вами, Ян. Я этого желаю... Слышите?

– Слышать-то слышу... Ну, до свидания, идите бай-бай...

– До свидания.

Она подала ему руку, и он задержал ее на секунду в своей тонкой, смуглой руке. Девушка молча посмотрела на него и что-то соображающее мелькнуло в ее мягких чертах. Я тоже пожал Яну руку, прощаясь с ним, и – сто против одного – навсегда. Он крепко, до боли впился в мою сильными, жилистыми пальцами. Они были холодны и не дрожали. Кирилл поцеловался с ним и долго, крепко тискал его руки в своих. Глаза его из насмешливых и пытающих вдруг сделались влажными и добрыми.

– Ну, дорогой Ян, прощайте, прощайте! Не забывайте нас! Ну, всего хорошего, идите!.. Вот проклятая жизнь – нет даже утешения в квартире попрощаться! Ну, прощайте!..

И мы разошлись в разные стороны.

III

Я опустил плотные, парусинные шторы и зажег лампу. Мне не ходилось, не сиделось и не стоялось. Нетерпеливый, ноющий зуд сжигал тело, и виски ломило от напряженного ожидания. Ни раньше, ни после, – никогда мне не случалось так волноваться, как в этот день.

Лампа, одетая в махровый розовый абажур, уютно озаряла центр комнаты, оставляя углы в тени. Я ходил взад и вперед, сдерживая нервную, судорожную зевоту, и мне казалось, что время остановилось и не двинется вперед больше ни на йоту. И в такт моим шагам прыгал взад и вперед часовой маятник, равнодушно и бегло постукивая, как человек, притопывающий ногой.

Я развернул газету и побежал глазами по черным рельсам строк, но в их глубине замелькали освещенные и шумные городские улицы и в них – фигура Яна. Он шел тихо, осторожно останавливаясь и высматривая.

Тогда я лег на кровать и закрыл глаза. Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса.

Вечер тянулся, как задерганная ломовая кляча. Каждую секунду, короткую и длинную в своей ужасной определенности, я чувствовал в полном объеме, всем аппаратом сознания – себя, лежащего ничком и ждущего, до боли в черепе, до звона в ушах. Я лежал, боясь пошевелиться, вытянуться, чтобы случайным шумом или шорохом не заглушить звуки прихода Яна. Я ждал его, хотел увидеть снова и уже заранее торжествовал при мысли, что он может не прийти... Ожидание победы боролось где-то далеко, внутри, в тайниках сознания с тяжестью больной, бьющей тоски.

Она росла и крепла, и тяжелые, кровавые волны стучали в сердце, тесня дыхание. Вверху, над моей головой, потолок содрогался от топота ног и неслись глухие, полузадушенные звуки рояля, наигрывающие кек-уок. Это упражнялось по вечерам зеленое потомство плодовитой офицерской семьи. На секунду внимание остановилось, прикованное стуком и музыкой. Возня наверху усиливалась. Белая пыль штукатурки, отделяясь от потолка, кружилась в воздухе. Отяжелевший мозг торопливо хватался за обрывки аккордов. Старинные кресла, обитые коричневым штофом, хвастливо упирались вычурными, изогнутыми ручками в круглые сиденья, как спесивые купцы, довольные и глупые. Пузатый ореховый комод стоял в раздумьи. Письменный стол опустился на четвереньки, выпятив широкую, плоскую спину, уставленную фарфором и бронзой. Лица людей, изображенных на картинах, окаменели, прислушиваясь к светлой, гнетущей тишине ожидания. И казалось, что все вокруг притаилось и хитро, молча ожидает прихода Яна. И когда он войдет, – все оживет и бросится к нему, срываясь с углов и стен, столов, рам и окон...

И вдруг тоска упала, ушла и растаяла. Наверху бешено и глухо загудела мазурка, но топот стихал. Голова сделалась неслышной и легкой, как пустой гуттаперчевый шар. И я встал с кровати, твердо уверенный в том, что Ян идет и сейчас войдет в комнату.

IV

Едва он вошел, как я бросился ему навстречу. Ян остановился в дверях, измученный и слабый, торжественно смотря мне прямо в глаза. Одежда его была в порядке, и это обстоятельство не казалось мне странным и удивительным. Он сделал, и не только несмотря на это, а вопреки этому – уцелел. Все остальное было пустяки. Раз совершилось чудо, – одежда имела право остаться чистенькой. Я держал его за руки, выше локтей, и изо всей силы тряс их, захлебываясь словами. Они кипели в горле, теснясь и отталкивая друг друга.

Ян отстранил меня легко, как ребенка, плавным движением руки и, подойдя к столу, сел. Нельзя сказать, чтобы он был очень бледен. Только волосы, прилипшие на лбу под фуражкой, и тонкая жила, вздрагивающая на шее, выдавали его усталость и возбуждение. Весь он казался легким, тонким и маленьким в своем новеньком, с иголки, офицерском мундире.

Первое, что я увидел, – это его улыбку, сокрушенную и мягкую. Он сидел боком к столу, вытянув ноги и положив руки на колени, ладонями вниз. Мы были одни, и никто не мог услышать нашего разговора. Но я склонился к нему и сказал тихим вздрагивающим шепотом, как если бы нас окружала целая сеть глаз и ушей:

– Вот как?... Славно...

Улыбка исчезла с его лица. Он задвигался на стуле и так же тихо ответил:

– Сегодня ничего не было. Значит, придется завтра...

Чудо исчезло, осталось недоумение. Я сразу устал, как будто только что выпустил из рук тяжелый камень.

И между нами произошел следующий, тихий и быстрый разговор:

– Он не был, Ян?

– Был.

– Он ехал, да?

– В карете. Я видел его.

– А потом?

– Он уехал.

– Почему?

– Я ушел.

– Почему же, почему, Ян? Ян!..

Он зажмурился, крепко стиснул зубы и тихо, отдельно роняя слова, ответил:

– Он был не один... Там сидела женщина и еще кто-то... Не то мальчик, не то девочка... Длинные локоны и большие капризные глазки... Ну...

Он умолк и открыл глаза. Они щурились от яркого света лампы. Ян прикрыл их рукой и

сказал резким, равнодушным голосом:

– Нельзя ли послать за пивом? У меня что-то вроде озноба...

Я молчал, и странная, жуткая, полная мысли тишина сковала дыхание. Ян, видимо, сошелся поднять глаза. Одна его рука смущенно и неловко шарила в кармане, отыскивая мелочь, другая лежала на столе, и пальцы ее заметно дрожали.

Оглушительный, потрясающий звон разбил вдребезги тишину. Это ударил тихий, мелодичный бой стенных часов...

Когда на следующий день вылетели сотни оконных стекол и город зашумел, как пчелиный улей, я догадался, что на этот раз – он был один...

Апельсины

I

Брон отошел от окна и задумался. Да, там чудно хорошо! Золотой свет и синяя река! И синяя река, широкая, свободная...

Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и он увидит вблизи синюю, холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увидит все... Как молодой орел он взмлет, освобожденный в воздушной пустыне и – крикнет!.. Что? Не все ли равно! Крикнет – и в крике будет радость жизни.

Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое, потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими, сбившимися волосами. Тонкая, жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной, ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался.

Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало, как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали как беспокойные птицы, что у реки, над бархатом камышей, поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.

II

Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто заведует гостиницей с железными занавесками.

Так думал Брон, и злое, гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал «товарищем», а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался «свирепо» – по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимое условие его существования. Но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно.

Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые, певучие звуки дразнили и нежили. Синяя река дрожала золотыми блестками; внизу, глубоко под окном, как шаловливые дети, лепетали молодые, зеленые березки.

«Тяжело сидеть весной, – подумал Брон и вздохнул. – Третья весна в тюрьме...»

И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому, никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие, темные глаза и нежное, продолговатое лицо...

– И это ушло... Ради чего? Да, – ради чего? – повторил он. – Несчастливая, рабская страна...

Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего;

подавил мгновенную боль, сел и раскрыл «Капитал». Сухие, математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неумолимых и спокойных, как бег маятника, – ему стало скучно и холодно.

III

Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой, желтой двери. В четырехугольном отверстии появились щетинистые усы, пуговицы и бесстрастный, хриплый голос произнес:

– Передача!..

Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно-взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровища, неожиданно свалившиеся в форточку. И оттого, что день был тепел и ясен, и оттого, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, – ему стало очень хорошо и весело.

«Ну, кто же мог прислать? – соображал он. На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера. – Н-нет... Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка – значит, это кто-нибудь из своих»...

И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин, и вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.

«Вот она. Какая маленькая! Однако хитро придумано!..»

Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.

«Товарищ! – гласила записка. – Я узнала случайно, что Вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес – В.О. 11 л., 8. – Н.Б. Вам, должно быть, ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания, если что нужно – пишите. Н.Б.»

И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на «волю», что ему очень нужны предметы первой необходимости. Теперь стало ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из... Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать, и стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка «прошелся» по адресу кадетов, назвав их «политическими недоносками» и «фальстафами». И, уже кончив писать, – вспомнил, что пишет незнакомому человеку.

«А все же пошлю, – подумал Брон, успокаивая себя еще тем соображением, что ответ – долг вежливости. – Скучно же так сидеть...»

Так подумал Брон, стоявший среди камеры с апельсином в одной руке. Второй же Брон, сидевший где-то глубоко в Броне первом, сказал:

– Как приятно, когда о тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной, дружеской заботы...

Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось, Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все казалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму.

IV

Четверг был снова днем свиданий и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец; Н.Б. писала, что письмо его получено и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнения в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.

«...Я прочитала Ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы Вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают Вас! Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу Вам это? Не знаю. Н.Б.»

Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо, в котором объяснял, что «страдания „их“ – ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень Вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».

Раскрывая на сон грядущий Гертца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. – высокого роста, тоненькая брюнетка, в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять «оппортуниста» Гертца.

V

Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие, подробные письма, в красивой, грустной форме заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем чувствовал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри...

Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги, мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой, полудетской рукой. Девушка писала Брону, что и ей тесно жить, что, чувствуя себя как в тюрьме, в мире, полном грязного, тупого самодовольства, она рвется на борьбу с темными силами, мешающими свежим, зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе. И, читая эти певучие, жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим отвагу юности.

VI

В один из четвергов, когда за дверью камеры, где-то глубоко внизу, гремели голоса и шаги надзирателей, Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный. Вытащив из него записку, он сел и прочитал:

«Дорогой Брон! Вам, в самом деле, должно быть ужасно скучно. Поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидания с Вами под видом вашей „гражданской жены“. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу Вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся.

У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н.Б.»

«И так тепло, весело на улице», – подумал Брон. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху. Но тут же внизу раздались четыре свистка, и торопливый резкий голос крикнул:

– 56-й! На свидание!

И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но, когда надзиратель распахнул дверь и, быстро окинув камеру привычным взглядом, сказал: «Пожалуйста!», Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел.

Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий. «Зальный» надзиратель, толстый, усатый человек с медалями, увидя Брона, поспешно спросил:

– На свидание? В конец пожалуйста, в камеру направо!

Брон пошел в конец длинного коридора, ступая той быстрой, легкой походкой, какой ходят люди, долго сидевшие без движения. Другой надзиратель, гладко причесанный, печальный человек, ввел его в пустую камеру, заново выкрашенную серой масляной краской, и вышел, притворив дверь. Прошло несколько томительных минут, которые Брон старался сократить курением, не в силах будучи побороть чувство стеснения, неловкости и ожидания. Наконец дверь быстро распахнулась, и тот же надзиратель равнодушно произнес:

– Пожалуйста сюда!

У Брона сильно забилося сердце, и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистр, молодой человек с сытым, бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брон вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скушающе скользнули по нем, и Брону показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брон вспыхнул и повернулся к двери.

VII

В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми, растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно-крепко пожал протянутую ему руку.

– Ну, вот... здравствуйте! – сказал он, кашлянув. – Ну, как здоровы? – поспешил он добавить, чувствуя, что предательски краснеет.

– Прошу сесть, господа! – раздался скрипучий голос ротмистра, и Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села, а на столе между ними протянулись пухлые, белые руки ротмистра. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно, с отчаянием придумывал тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасающей быстротой, и одна из них била его по нервам:

«Я сижу тупо, как дурак! – Как дурак! – Как дурак!»

– Ну, говорите же что-нибудь, – тихо сказала девушка и виновато улыбнулась. Голос у нее был слабый, грудной. – Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут... Вон в предварилке, говорят, больше...

– Да, там больше, – согласился Брон значительным тоном. – Там десять минут дают...

И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились.

– Я очень торопилась сюда, – продолжала девушка. – Мне надо еще поспеть в одно место... А здесь ждала – час... или нет? Полтора часа...

– Спасибо, что пришли, – сказал Брон деревянным голосом. – Очень скучно сидеть... – «Что же это я жалуюсь?» – внутренне нахмурился он. – А вы... как?

– Я? – рассеянно протянула девушка. – Да все так же...

Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок, побарабанил пальцами по столу и, с треском открыв огромные часы, сказал, поднимаясь:

– Свидание кончено... Кончайте, господа!..

Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой, враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и торопливо бросила:

– Я приду в четверг... А вы не скучайте.

Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взглядом... Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, схоронивший за железными прутьями столько прекрасных душ... Может быть также... – Все может быть.

Брон медленно поднимался по лестнице к «своему» коридору и «своей» камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, уличенному в дурном поступке, хотя он и сам не знал – отчего это... И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, – двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого...

Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий, возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона...

На досуге

Начальник еще не приходил в контору. Это было на руку писарю и старшему надзирателю. Человек не рожден для труда. Труд, даже для пользы государственной – проклятие, и больше ничего. Иначе бог не пожелал бы Адаму, в виде прощального напутствия, «есть хлеб в поте лица своего».

Мысль эта кстати напомнила разомлевшему писарю, что стоит невыносимая жара и что его красное, телячье лицо с оттопыренными ушами обливается потом. Задумчиво вытащил он платок и меланхолично утерся. Право, не стоит ради тридцатирублевого жалованья приходить так рано. Годы его – молодые, кипучие... Сидеть и переписывать цифры, да возиться с арестантскими билетами – такое скучное занятие. То ли дело – вечер. На бульваре вспыхивают разноцветные огни. Аппетитно звякают тарелки в буфете и гуляют барышни. Разные барышни. В платочках и шляпах, толстые, тонкие, низенькие, высокие, на выбор. Писарь идет, крутит ус, дергает задом и поигрывает тросточкой.

– Пардон, мадмуазель! Молоденькие, а в одиночестве... И не скучно-с?..

– Хи, хи! Что это, право, за наказание!.. Такие кавалеры, а пристаєте!..

– А вы, барышня, не чопуритесь!.. Так приятно в вечер майский с вами под руку гулять!.. И так приятно чай китайский с милой сердцу распивать-с!..

– Хи, хи!..

– Хе-хе!..

Легкие писарские мысли нарушены зевотой надзирателя, старой тюремной крысы, с седыми торчащими усами и красными, слезящимися глазками. Он зеваает так, как будто хочет проглотить всех мух, летающих в комнате. Наконец, беззубый рот его закрывается и он бормочет:

– А уголь-то не везут... Выходит, что к подрядчику идти надо...

С подрядчиком у него кой-какие сделки, на почве безгрешных доходов. Вот еще дрова – тоже статья доходная. На арестантской крупе да картошке не разжиреешь. Нет, нет – да и «волынка», бунт. Не хотят, бестии, «экономную» пищу есть. Так что с перерывами – подкормишь, да и опять в карман. Беспокойно. То ли дело – дрова, керосин, уголь... Святое, можно сказать, занятие...

Часы бьют десять. Жар усиливается. В решетчатых окнах недвижно стынут тополи, залитые жарким блеском. Кругом – шкафы, книги с ярлыками, старые кандалы в углу. Муха беспомощно барахтается в чернилах. Тишина.

Сонно цепенеет писарь, развалившись на стуле, и разевает рот, изнемогая от жары. Надзиратель стоит, расставив ноги, шевелит усами и мысленно усчитывает лампадное масло. Тишина, скука; оба зевают, крестят рты, говорят: «фу, черт!» – и зевают снова.

На крыльце – быстрые, мерные шаги; тень, мелькнувшая за окном. Медленно открывается дверь, визжа блоком. Тщедушная фигура рассыльного с черным портфелем и разносной книгой водворяется в канцелярию и обнажает вспотевшую голову.

– От товарища прокурора... Письма политическим...

Тишина нарушена. Радостное оживление оскаливает белые, лошадиные зубы писаря. Перо бойко и игриво расчерчивается в книге, и снова хлопает визжащая дверь. На столе – небольшая кучка писем, открыток, измазанных штемпелями. Писарь роется в них, подносит к глазам, шеве-

лит губами и откладывает в сторону.

– Вот-с! – торжествующе восклицает он, небрежно, как бы случайно подымая двумя пальцами большой, синий конверт. – Вот-с, вы, Иван Палыч, говорили, что отец Абрамсону не напишет! Я уж его почерк сразу узнал!..

– Что-то невдомек мне, – лениво зевает надзиратель, шевеля усами: – что он писал у в прошедший раз?..

– Что писал! – громко продолжает писарь, вытаскивая письмо. – А то писал, что ты, так сказать – более мне не сын. Я, говорит, идеи твои считаю одной фантазией... И потому, говорит, более от меня писем не жди...

– Что ж, – меланхолично резонирует «старший», подсаживаясь к столу. – Когда этакое супротивление со стороны своего дитя... Забыв бога, к примеру, царя...

– Иван Павлыч! – радостно взвизгивает писарь, хватая надзирателя за рукав. – От невесты Козловскому письмо!.. Ну, интересно же пишут, господи боже мой!..

– Значит – на прогулку сегодня не пойдет, – щурится Иван Павлыч. – Он этак всегда. Я в глазок¹⁸ сматривал. Долго письма читает...

Писарь торопливо, с жадным любопытством в глазах, пробегает открытку, мелко исписанную нервным, женским почерком. На открытке – заграничный вид, лесистые горы, мостики, водопад.

– В глазок сматривал, – продолжает Иван Павлыч и щурится, ехидно усмехаясь, отчего вваливается его беззубый, черный рот и прыгает жиденькая, козлиная бородка. – Когда плачет, когда смеется. Потом прячет, чтобы, тово, при обыске не отобрали... Свернет это мелконько в трубочку – да и в сапог... Смехи!.. Потом, значит, зачнет ходить и все мечтает... А я тут ключами – трах!.. – «На прогулку!» – «Я, говорит, сегодня не пойду»... – «Как, говорю, не пойдете? По инструкции, говорю, вы обязаны положенное отгулять!» – Раскритится, дрожит... Сме-ехи!..

– «Ми-лый... м... мой. Пе... тя...» – торжественно читает писарь, стараясь придать голосу натуральное, смешливое выражение. – Про-сти-что-дол-го-не-пи-са-ла-те-бе. Ма-ма-бы-ла-боль-на-и...

Писарь кашляет и подмигивает надзирателю.

– Мама-то с усами была! Знаем мы! – говорит он, и оба хохочут. Чтение продолжается.

– ...бу-ду-те-бя-жда-ать... те-бя-сош-лют-в-Сибирь... Там-уви-дим-ся... При-е-хат-же-мне, сам знаешь, – нель-зя...

– Врет! – категорически решает Иван Павлыч. – Что ей в этом мозгляке? Худой, как таракан... Я карточку ейную видел в Козловского камере... Красивая!.. Разве без мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пускает, чтобы не тревожил письмами...

– Само собой! – кивает писарь. – Я вот тоже думаю: у них это там – идеи, фантазии всякие... А о кровати-то, поди – нет, нет – да и вспомнят!..

– Что барская кость, – говорит внушительно Иван Павлыч, – что мещанская кость, – что крестьянская кость. Все едино. Одного, значит, положения природа требует...

– Жди его! – негодуяще восклицает писарь. – Да он до Сибири на что годен будет! Измочалится совсем! Будет не мужчина, а... тьфу! Ей тоже хочется, небось, ха, ха, ха!..

– Хе-хе-хе!.. Любовь, значит, такое дело... Бе-е-ды!..

– Вот! – писарь подымает палец. – Написано: «здесь мно-го-инте-рес-ных-людей»... Видите? Так оно и выходит: ты здесь, милочек мой, посиди, а я там хвостом подмахну!.. Ха-ха!..

– Хе-хе-хе!..

– Какая панорама! – говорит писарь, рассматривая швейцарский вид. – Разные виды!..

– Тьфу!.. – Надзиратель вскакивает и вдруг с ожесточением плюет. – Чем люди занимаются! Романы разводят!.. Амуры разные, сволочь жидовская, подпускают... А ты за них отвечай, тревожься... Па-а-литика!..

Он пренебрежительно щурит глаза и взволнованно шевелит усами. Потом снова садится и говорит:

¹⁸ Глазок — круглое отверстие в дверях камеры.

– А только этот Козловский не стоит, чтобы ему письма давать... Супротивнее всех... Позавчера: «Кончайте прогулку», – говорю, время уж загонять было. – «Еще, говорит, полчаса и не прошло!» – Крик, шум поднял... Начальник выбежал... А что, – меняет тон Иван Павлыч и сладко, ехидно улыбается, – ждет письма-то?

Писарь подымает брови.

– Не ждет, а сохнет! – веско говорит он. – Каждый день шляется в контору – нет ли чего, не послали ли на просмотр к прокурору...

– Так вы уж, будьте добры, не давайте ему, а? Потому что не заслужил, ей-богу!.. Ведь я что... разве по злобе? А только что нет в человеке никакого уважения...

Писарь с минуту думает, зажав нос двумя пальцами и крепко зажмурившись.

– Чего ж? – роняет он, наконец, небрежно, но решительно. – Мо-ожно... Картинку себе возьму...

В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо.

Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голубую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные, молочные облака.

Губы его шепчут:

– Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!..

Кирпич и музыка

I

Звали его – Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом» и «зимогором», он лениво объяснял им, что «медведь не умывается и так живет». Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волосы и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам: то и другое было одинаково пропитано сажей, пылью и салом.

Себя он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках и живших с ним вместе в дымной, бревенчатой казарме, было на этот счет другое. Скуластые уфимские «князья», голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на Евстигнея и всячески препятствовали ему варить свинину на одной с ними плите, где, в жестяных котелках, пенился и кипел неизменный татарский «махан»¹⁹. Это, впрочем, не мешало Евстигнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, запрещенным кораном. Татары морщились и ругались, но хладнокровие, в трезвом виде, редко изменяло Евстигнею.

– Кончал твоя башка, Стигней! – говорили ему. – Пропадешь, как собака!

Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нары, болтал ногами и улыбался тяжелой, нехорошей улыбкой.

– Зачем так делил? – снова начинал противник Евстигнея, часто и хрипло дыша. – Мой закон такой, – твой закон другой... Чего хочешь?

Евстигней мешал в котелке и, наконец, говорил:

– Жрать я хочу, знаком, и боле никаких... Вопрос: кто ты? Ответ: арбуз. А это ты, знаком, слышал: Алла муллу чигирит в углу?

¹⁹ Лошадиное мясо.

– Анна секим! – вскрикивал татарин. Потом ругался русской и татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго, жадно ел горячее, жирное мясо. Потом сморкался в рукав и шел к домне.

Впрочем, он и сам не знал – зол он или добр. По воскресеньям, пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и «зимогоров», он громко икал, обливаясь водкой, нелепо таращил брови и говорил:

– Я – добер! Я – стр-расть добер! В сопатку, к примеру сказать, я тебя не вдарю – ты не можешь стерпеть... Другие, которые пером (нож) обходятся... Этого я позволить, опять же, не могу... Если ты могишь совладать – завсегда в душу норови, пока хрип даст...

Пьяный, к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлебываясь, долго и грузно опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот «давал хрип», то есть попросту делался полумертвой, окровавленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким, нелепым голосом.

Ночью, когда все затихало, и в спертom, клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти; когда смутные, больные звуки стонали в закопченных бревенчатых стенах, рожденные горами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову, скреб волосы руками и снова валился на твердые, гладкие доски. А когда приходил час ночной смены и его будили сонные, торопливые руки рабочих, – подымался, долго чесал за пазухой и шел, огромный, дремлющий, туда, где дышали пламенем бессонные, черные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой, плотной земле.

II

Наступал праздник; двенадесятый или просто воскресный день. Евстигней просыпался, брал железный ковш, шел на двор, черпал воду из водосточной кадки и, плеснув изо рта на ладонь, осторожно размазывал грязь на лице, всегда оставляя сухими черную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому, каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и двадцать и тридцать лет. Потом надевал городской, обшмыганный пиджак, тяжелые, «приисковские» сапоги с подковами и шел, по его собственному удачному выражению – «гулять».

«Гулянье» происходило всегда очень нехитро, скучно и заключалось в следующем: Евстигней садился на крыльце трактира, рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начинал ругаться со всеми, кто только шел мимо. Шла баба – он ругался; шли парни – он задевал их, смеясь их ругательствам, и ругался сам, лениво, назойливо. Он был силен и зол, и его боялись, а пьяного, поймав где-нибудь на свалке, – молча и сосредоточенно били. И он бил, а однажды проломил доской голову забойщику с соседнего прииска; забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнея.

– Стой, ядреная, стой! – кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой, востроглазой бабенке в ярком цветном платке. – Стой! Куда прешь!

– Вот пса посадили, слава те господи! – отвечала, вздыхая, баба. – Хошь вино-то цело будет... Лай, лай, собачья утроба!..

– Куда те прет? – кричал Евстигней. – В зоб-то позвони, эй! слышь? Зобари проклятые...

– Лай, лай, – дам хлеба каравай! – отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. – Зимогор паршивый! Галах!

– Валял я тебя с сосны, за три версты, – хохотал Евстигней. – Зоб-то подыми!..

Мужик, грызущий семечки, или одобрительно ухмылялся даровому представлению, или говорил сонным, изнемогающим голосом:

– Охальник ты, пра... Мотри – парни те вышибут дно.

– Ого-го! – Евстигней тряс кулаком. – Утопнут!..

Если в поле его зрения появлялась заводская молодежь, одетая по-праздничному, с гармониями в руках – он набирал воздуха, тужился и начинал петь умышленно гнусавым, пискливым

ГОЛОСОМ:

Ма-а-мынька-а р-роди-мая-а,
Свишша-а неугасимая-а!..
Когда-а свишша-а по-га-сы-нет,
Тог-да д'милка при-ла-сы-не-ет!..

И кричал:

– Чалдон! Сопли где оставил?

Парни угрюмо, молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, заломив шапку, говорил спокойным, зловещим голосом:

– Ладно!

Улица пустела, солнце подымалось выше и нестерпимо жгло, а Евстигней сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шел в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртом прохладе свежеебтесанных стен, пил водку, курил и бушевал.

III

Был вечер, и было тихо, жарко, и душно.

Багровый сумрак покрыл горы. Они таяли, тускнея вдали серо-зелеными, пышными волнами, как огромные шапки невидимых, подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко, пронзительно пели резкими, гортанными голосами. Увлечшись и краснея от напряжения, смотря и ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их, монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов, шум степного ветра и неприятный верблюжий крик.

Пожинав, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор, долго, неподвижно слушал дикие, жалобные звуки, и затем осторожно ступая босыми ногами в колючей, холодной от росы траве, подошел к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь все громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыкнул слюной в сторону и сказал:

– Корова вот тоже поет. Слышь, князь? – Молодой татарин, бледный, с добродушным выражением черных, глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся Евстигнею бессознательной, мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Евстигней сел на траву и закричал:

– Эй, вей-вей-ве-е! И-ий-вае-вае-у-у! Что вы кишки тянете из человека? Эй?!

Пение неохотно оборвалось, и татары взглянули на неприятеля молчаливо злыми, сосредоточенными глазами. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались: рассердиться ли на этого чужого, мешающего им человека или обратить в шутку его слова. Наконец один из них, пожилой, толстый, с коричневым лицом и черной тюбетейкой на голове, громко сказал:

– Ступай себе – чего хочешь? Не любишь – сам пой. Добром говорю.

– Христом богом прошу! – не унимался Евстигней, оскаливая зубы и притворно кланяясь. – Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песня – и ту...

Он не договорил, потому что вдруг встал маленький, молодой, почти еще совсем мальчик и близко в упор подошел к Евстигнею. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными и бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал:

– Стигней, моя терпел! Месяц терпел, два терпел! Ступай!..

Остальные молчали и враждебно, с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался:

– Анан секим! Ты што, – бритая посуда?!

– Слушай, Стигней! – продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом и побледнел еще больше. Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. – Слушай, Стигней: я терпел, мольчал, долга мольчал... Ты знай: богом тебя клянусь, – пусть я помирал, как собака... Пусть я матери своей не увижу – если я тебя тут на месте не кончал... Слыхал? Ступай, Стигней, ух-

ди...

Узкий, острый нож блеснул в его руках, и глаза вспыхнули спокойной, беспощадной жестокостью. Евстигней смотрел на него, соображал – и вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий, холодный пот. Он осунулся и тихо, оглядываясь, отошел. Татарин, весь дрожа, сел в кружок, и снова скрипучий, тоскливый мотив запрыгал в тишине вечера.

IV

Евстигней вышел со двора и часто, тяжело отдуваясь, обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг еще чередовались в нем, но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди частого мелкого кедровника, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в отместку за его угрозу. Но как-то ничего не выходило и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном, тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли вились какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое, корявое дерево, а за ним черноты; или – что до полочки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить.

Тьма совсем уже вошла в чащу, и становилось прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, бранчливые скучные выкрики. Тропа вела кверху, на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала Евстигнею за лицо, а он бесцельно шел, и казалось ему, что мрак, густеющий впереди, – это татарин, отступающий задом, по мере того, как он, Евстигней, грудью идет и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шепот вершин таяли в вышине. Небо еще сквозило вверх синими, узорными пятнами, но скоро и оно потемнело, ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно.

И вдруг, откуда-то и, как показалась Евстигнею, со всех сторон, упали в тишину и весело разбежались мягкие, серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чаще мягким, переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а за ними вырос низкий, певучий звон и похоронил их. Снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно-спокойные, кроткие, они ширились, уходя в вышину и, снова возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые, переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон и так, обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое, мужчина и девушка, и что одна смеется и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает.

Евстигней остановился, прислушался, подняв голову, и быстро пошел в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени, он свернул с тропы и теперь грудью, напролом, шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперед руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался, наконец, на опушку, перевел дух и прислушался.

Это была широкая, темная поляна, и на ней, смутно белея во мраке, стоял новый, большой дом «управителя», как зовут обыкновенно управляющих на Урале. «Управителя» все считали почему-то «французом», хоть он был чисто русский, и имя носил самое русское: Иван Иванович. Окна в доме горели, открытые настежь, и из них выбегал широкий, желтый свет, озаряя густую, темную траву и низенький, сквозной палисад. В окнах виднелась светлая, просторная внутренность помещения, мебель и фигуры людей, ходивших там. Кто-то играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные, тихие, а смелыми и спокойными, как громкая, хоровая песня.

Евстигней подошел к дому и стал смотреть, облокотившись на колья палисада. Сбоку, недалеко от себя, у стены, разделявшей два окна, он видел белые, прыгающие руки тоненькой женщины в красивом, голубом платье, с высокой прической черных волос и бледным, детским лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону и снова, как в лесу, засмеялась и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой, певучий звон и, обнявшись, поплыл в темноту, к лесу.

– Ишь ты! – сказал Евстигней и, переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные, тонкие руки женщины. Она все играла, и казалось, что от этих бегающих рук растет и

ширится небо, вздыхая, колышется воздух и ближе придвинулся лес. Евстигней навалился грудью на частокол, но дерево треснуло и закрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя потушенной свечи, а к окну приблизилась невысокая, тонкая фигура, ставшая загадочной и черной от темноты, висящей снаружи. Лица ее не было видно, но казалось, что оно смотрит тревожно и вопросительно. С минуту продолжалось молчание, и затем тихий, неуверенный голос спросил:

– Кто там? Тут есть кто-нибудь?

Евстигней снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно ее лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами.

Евстигней откашлялся и сказал:

– Так что – проходя мимо... Мы здешние, с заводу...

– Что вам? – спросила женщина громче и тревожнее. – Кто такой?.. Что нужно?

– Я с заводу, – повторил Евстигней, осклабясь. – Проходя мимо...

– Ну, что же? – переспросила она, уже несколько тише и спокойнее. – Идите, любезный, с богом.

– Это вы – на фортупьяне? – набрался смелости Евстигней. – Очень, значит, – того... Я... проходя мимо...

Женщина пристально смотрела, с тревожным любопытством разглядывая огромную, всклокоченную фигуру, как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у нее дрогнули губы, улыбнулись глаза, запрыгал подбородок и вдруг, откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Евстигней смотрел на нее, мигая растеряннo и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заухал и насторожился мрак. Было сыро и холодно.

Она перестала смеяться, все еще вздрагивая губами, перестал смеяться и Евстигней, не сводя глаз с ее темной, тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала:

– Так, как же... Проходя мимо?

– То есть, – Евстигней развел руками, – я, значит, – шел... Слышу это...

– Ступай, любезный, – сказала женщина. – Ночью нельзя шляться...

Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял еще немного, разглядывая большой новый дом «француза» Ивана Иваныча, и пошел спать, а дорогой видел светлые комнаты, освещенную траву, и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился: показалось, что где-то далеко, в самой глубине леса – поет и звенит. Он прислушался, но все было темно, сыро и тихо. Слабо шурша, падали шишки, вздыхая, шумел лес.

V

Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или еще что-нибудь, Евстигней надевал сапоги, вместо лаптей, шел в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась легкой и молодцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться.

Жар спадал, но воздух был еще ярк, душен и зноен. С утра Евстигней успел побывать везде: в церкви, откуда, потолкавшись минут десять среди поддевок, плисовых штанов и красных бабьих платков, вышел, задремавший и оглушенный ладаном, у забойщиков с соседнего прииска, где шла игра в короли и шестьдесят шесть, и, наконец, в лавке, где долго разглядывал товары, купив, неизвестно зачем, фунт засохших, крашенных пряников. Скука одолевала его. Послonyaвшись еще по улицам и запылив добела свои тяжелые подкованные сапоги, Евстигней пошел в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался еще бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми, непослушными ногами. Рубаха его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. Пот катился и по лицу, горящему, красному, мешаясь с грязью. Добравшись до трактира, Евстигней облегченно вздохнул и отворил дверь.

Здесь было сумрачно, пахло пивом и кислой капустой. У стен за маленькими, грязными столами сидели посетители, пили, ели, целовались, стучали и быстрыми, возбужденными головами разговаривали наперерыв, не слушая друг друга. Сизый туман колебался вверх, касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями. В углу хором, нестройно и пьяно пели «Ермака».

Евстигней остановился посередине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется – не то сесть на пол и не двигаться, не то разговаривать, не то выпить еще так, чтобы все зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжелым, черным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и, беспрестанно потягивая козырек, что-то говорил, сгибаясь от смеха.

– Как он-на-яво!.. – прыгали в ушах громкие, икающие слова, обращенные, по-видимому, к нему, Евстигнею. – Ты грит, сына свою куда девал? Снохач ты! А он-то, милая душа, без портов. Трусится... Ты сякая, ты такая... Не-е! Стой! По какому праву? Где в законе указание есть?

– Го-го! – гоготал Евстигней. – Без портов? На что лучше.

– Как он-на... яво, то-ись! Пшел, хрен! Ха-ха-ха! Вот ведь что антиресно!

Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне послышались слова: «Как он-на-яво... Вот ведь!»

Черный квадратный столик, за который уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки, соленых грибов, налил в пузатый граненый стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь, захватило дыхание. Как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и уставился в стену тяжелым, бессильным взглядом.

Кто-то сел рядом – один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что; ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир суживался, растягивался, и тогда Евстигнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки-глаза. Потом стали кричать, икая и ласково переругиваясь скверной бранью, и опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными, зелеными волнами.

Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены; потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком:

– У-ы-ы! У-ы-ы! У-ы-ы!

Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал:

– Нажрался, сопля.

– А ты – татарская морда! – заявил Евстигней, смотря в угол. – Я нажрался... а ты, гололобый арбуз, м-мать твою растак!.. – И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошел в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хрястнуло что-то мягкое, кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжелым ударили сзади, и больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло, бессильное, тяжелое. Кто-то тащил его, и он кого-то тащил, упираясь и захлебываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо; застучали колеса. Евстигней медленно поднялся и тихо, шатаясь и держась за голову, пошел прочь.

VI

На воздухе дышалось легче, и хмельной угар понемногу выходил, но все еще было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава, и густая сырость за клубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты, черные, строгие, как тишина. Евстигней все шел, изредка спотыкался, останавливался и затем снова устремлялся вперед, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот

вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он, Евстигней, упадет туда в холодную, черную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним, невидимое; он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя, медленным, черепашьям шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспокойно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал:

– С-с ножом? Я-те дам нож! Махан проклятый!

Иногда чудилось, что кто-то бежит в кустах, невидимый, мохнатый, грозный, и дышит теплым, сырым паром. Евстигней вздрагивал, торопливо вытягивал руки, останавливался, слушая смутный, далекий шорох, и снова двигался, с трудом, неловкими, пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонек и расступился лес – он удивился и прислушался: ему показалось, что где-то поет и переливается тонкий, протяжный звон. Но все молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал.

Теперь были освещены два окна, а третье, откуда вчера Евстигнею вежливо предложили уйти – тонуло в мраке и казалось пустым, черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висящие на стенах, и светлые, пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного, и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытое настежь, а в глубине его тянулась узкая, слабая полоска света из дверей, притворенных в соседнюю комнату.

Он стоял долго, облокотившись о палисад, решительно ничего не думая, сплевывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов и, едва родившись, умерли. Вдруг Евстигней вздрогнул и встрепенулся: прямо из окна крикнули сердитым, раздраженным голосом:

– Кто там?!

– Эт-то я, – опомнившись, так же громко сказал Евстигней пьяными, непослушными губами. – Потому, к-как, я всеконечно пьян и не в состоянии... Предоставьте, значит, тово... Проходя мимо.

Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжелое, полное дрожи, растет внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание, но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос; тоскливое, острое раздражение слышалось в нем:

– Коля! Да что же это такое? Тут бог знает кто шляется по ночам! Коля!

Дверь в соседнюю, блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная, тонкая фигура женщины. Евстигней крикнул, быстро нагнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся, с силой откинувшись назад, и стекла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны.

– Стерва! – взревел Евстигней. – Стерва! Мать твою в душу, в кости, в тряпки, в надгробное рыданье, в гробовую плиту растак, перетак!

Лес ожил и ответил: «Гау-гау-гау!»

– Стервы! – крикнул еще раз Евстигней и вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди. А когда совсем уже не стало сил бежать и подкосились, задрожав, ноги – сел, потом лег на холодную, мшистую траву и часто, быстро задышал, широко раскрывая рот.

– Стерва, сукина дочь! – сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его, Евстигнея, против светлых, чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще – всего, чего у него никогда не было, нет и не будет.

Потом он уснул – пьяный и обессиленный, а когда проснулся, – было еще рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зеленую, росистую чашу. Струился пар, густой, розовый.

– Фортупьяны, – сказал Евстигней, зевая. – Вот те и фортупьяны! Стекла-то, вставишь, небось...

Стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигней поднялся, разминая

окоченевшие члены, и пошел туда, откуда пришел: к саже, огню и усталости. Его страшно томила жажда. Хотелось опохмелиться и выругаться.

Рука

I

За окнами вагона третьего класса моросил тусклый, серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неудобно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение.

Забиться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая вспугнутая дрёма.

Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его, и, наконец, решил, что уснуть в эту ночь – вещь для него невыносимая. Неизбежность, осознанная им, несколько успокоила расхолодавшиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него.

II

Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный, капризный сон на мгновение прикинул к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес. Она лежала, плотно укрытая шалью, в спокойном, крепком сне, милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышали нежной детской доверчивостью существа юного в жизни телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные, пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое покрасневшее ушко. Грудь дышала ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежали под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.

Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забиться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она – девушка, Костров решил сразу и перестал думать об этом.

Она спала, спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить. Поэтому, не решаясь, с одной стороны, лишиться себя удовольствия, а с другой – причинить неприятность юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол.

Вагон, стремительно раскачиваясь, неся вперед, дребезжали стекла, дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками; спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались не-

нужными и бесполезными украшениями; спала женщина в ситцевом платке, с корзиной под головой, спала девушка.

III

Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей, незнакомой женщины очутился бодрствующий, незнакомый ей мужчина и, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей. Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежащим. Молодой, сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет. И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову. Тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна.

Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку; отяжелевшие, полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одиноким и полусонным, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие. Жена его – вот эта самая девушка; она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две; в сонных движениях раскроется ее шея, шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А он подойдет и тихо, стараясь не разбудить ее, поднимет шаль и снова укутает милое спящее существо, греясь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, – солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах, добрых, знающих его, верных ему.

Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой.

Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз, но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку.

IV

Костров с жалостью следил за беспомощными, сонными движениями соседки. Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется и, быть может, уже не заснет снова, а будет сидеть, как и он, с тяжелой, неотдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.

Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно, ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может – обидеться. Теплота ее – чужая теплота, он не имел права заботиться.

«В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? – сказал себе Костров, закуривая новую папиросу и усиливаясь понять ту, несомненно существующую между ним и ею преграду, которая мешала оказать маленькую дружескую услугу сонному человеку. – Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого – прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление обер-кондуктора? Для меня ясно одно: что сделать этого я не вправе, да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?»

Ответ сам просился на язык, ответ, заключающий в себе слова: «это было бы странно»... а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о дан-

ном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, – на месте.

«Когда она проснется – ей-богу, спрошу... Это любопытно... Спрошу: приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?»

Он смотрел на ее свесившуюся, со вздувшимися на кисти жилками, руку, и в душе его шевелилось прежнее желание: уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял в свою большую сильную руку теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся; но все спали.

Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз. Костров нагнулся и, спокойно выдерживая взгляд, сказал:

– Сударыня, я...

– А? Что? Зачем?... – сонно и тревожно заговорила девушка, слегка приподнимаясь и сиюсь понять, что хочет он от нее этот большой, серьезный человек.

Костров повторил, не торопясь, твердым голосом и стараясь вложить как можно больше искренности в свои слова:

– Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение, и поправил ее... Если вы рассердитесь на меня за это – я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее и больше ничего...

Он перевел дух.

– Вот пустяки, – сказала девушка, успокаиваясь и снова кладя голову на подушку. – Стоило вам беспокоиться... Спасибо.

Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой.

Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь и опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого, бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая вера – вера в силу искренности.

Лебедь

I

Весной, в мае месяце, старая, почерневшая мельница казалась убогой, горбатой старушонкой, безнадежно шамкающей дряхлую песню под радостный шепот зеленой, водяной молодежи: кувшинок, камышей и осок. Спокойный зеленоватый пруд медленно цедил свою ленивую воду сквозь старые челюсти, грохотал жерновами, пылил мукой, и было похоже, что старушка сердится – умаялась.

Но только зима давала ей полный, близкий к уничтожению и смерти покой. Пустынная вьюга серебрила крышу, заносила окна, оголяла цветущие берега и изо дня в день, из ночи в ночь качала, напевая тоскливый мотив, вершинами сосен, гудела и плакала. А с первым движением льда начиналось беспокойство: колыхалась расшатанная плотина, вода бурлила и буйствовала, гомонили утки и кулики, в небе мчались бурные весенние облака, и старый, монотонный, как древняя легенда, ропот мельницы будил жидкое эхо соснового перелеска.

Водяные жители, впрочем, давно привыкли к этой чужой и ненужной им воркотне колес. Птицы жили шумно и весело, далекие от всего, что не было водой, небом, зеленью камышей, любовью и пищей. Дикие курочки, зобастые дупеля, красавцы бекасы, турухтаны, кулики-перевозчики, мартышки, чайки, дикие и домашние утки – весь этот сброд от зари до зари кричал на все голоса, и радостный, весенний воздух слушал их песни, бледнея на рассвете, золотясь днем и ярко пылая огромным горном на склоне запада. Изредка, и то, бывало, преимущественно

после снежных, суровых зим, – появлялись лебеди. Аристократы воды, они жили отдельно, гордой, прекрасной жизнью, строгие и задумчивые, как тишина летнего вечера. Их гнездо скрывалось в густом камыше, и сами они редко показывались на просторе, но часто, в тихую радость утренних теней, врывались и таяли звуки невидимого кларнета; это кричали лебеди. Мельник редко выходил наружу, хотя и не был колдуном, как это утверждали некоторые. Но если вечером случайно проходящий охотник замечал его жилистую, сутуловатую фигуру, с непокрытой головой, босиком и без пояса – ему непременно следовало смотреть вдаль, куда смотрит мельник: там плавали лебеди.

II

Все в жизни происходит случайно, но все цепляется одно за другое, и нет человека, который в свое время, вольно или невольно, не был бы, бессознательно для себя, причиной радости или горя других.

Сидор Иванович был лавочник. Профессия эта почтенна, но незначительна; Сидор Иванович думал наоборот. Быть купцом – почетно, лавочник меньше купца – значит...

Таков был ход его мыслей. Купечество составляло его идеал, но достигнуть этого в данное время было для него невозможно. Деньги приобретались трудно, мошенничеств не предвиделось. Сидор Иванович скучал и бил жену.

Начал он великолепно. Три года приказчиком – три года приличного воровства. Поторопился – ушел. Собственная лавка, открытая им, торговала слабо, и Сидор Иванович никогда не мог себе простить, что начал торговать не с субботы, а с пятницы.

По воскресеньям он пел на клиросе, потом, если дело было зимой, ходил в гости к другим лавочникам, где ел пирог с морковью и жаловался на плохие дела. Летом же удил рыбу.

К уженью он имел большую охоту и даже страсть. Это напоминало ему торговлю – даешь мало, а получаешь много. Насадишь червячка, да и то не целого, а поймашь целого ерша, да еще и червяк не съеден. Совсем как в лавке: продашь сахару на три копейки, а возьмешь пять.

Ершей он облюбовал особенно и пылал к ним даже своеобразной торгашеской привязанностью: дура-рыба. Окуней не любил и по этому поводу говаривал:

– Что окунь? – Чиновник! На книжку берет, а денег не платит. Приманку изгрызет и был таков...

Когда рыба ловилась хорошо, Сидор Иванович был доволен и варил уху. Но часто, поболтав в ведерке рукой и уколов ее о жабры пойманных ершей, замечал:

– Если бы эстолько... тыщ!

Лицо его омрачалось, главным образом оттого, что тысячу на червяка не поймашь. Он был жаден. И зол: вместе с крючком старался всегда вырвать внутренности. Рыба билась и выкачивала налившиеся кровью глаза, а он говорил:

– Тэкс!

III

На берегу валялась доска. Сидор Иванович решил пойти поискать под ней червячков, – весь запас вышел. Он положил удочку и пошел вдоль камышей.

Жар спадал, в городе смутно трезвонили чуть слышные колокола, тени вытягивались и темнели. Золотые наклоны света дрожали меж ярких сосен. Кричали утки, пахло тиной, водой и лесом. Синие и зеленые стрекозы сновали над Камышами, желтели кувшинки. Отражая темную зелень берегов, блестела вода. А под ней голубел призрак неба – оно яснило вверху.

Шагах в двадцати от берега, из кустов, закрывающих сквозную, веселую чашу перелеска, – вился сизый дымок, слышались неясные голоса. Звенела посуда, басистый смех прыгал и дрожал низом над водой. Камыши дремали. Плавные круги ширились и умирали в зеленых отблесках воды: рыба или лягушка.

Сидор Иванович подошел к доске, нагнулся, приподнял ее тяжелый, насквозь промокший

конец, и сказал:

– Чай пьют. Городская шваль – девки стриженные, али попы. Попы открытый воздух обожают: с ромом.

В камышах что-то зашевелилось; Сидор Иванович выглянул и увидел в просвете береговой заросли, на маленьком твердом мыске – двух людей: черный пиджак и синяя юбка. Так определил он их. Увидел он еще и два затылка: мужской гладкий и женский – отягченный русыми волосами, но определять их не стал и услышал следующее:

– Как он тихо плавает.

– А правда: похоже на гуся?

– Сам вы гусь. Это царь, он живет один.

Сидор Иванович поднял доску и с треском бросил ее оземь. На оголенной земле закопошились белые и розовые черви.

– Кто ходит? – встрепелась женщина.

– Кто-то зашумел.

– Медведь, – сказал черный пиджак. – Съест вас.

Лавочник обиделся и хотел выступить из-за прикрытия, но удержался, насупился и крикнул. Эти люди были ему не по душе – господишки: то есть что-то смешное, презренное и «с большим понятием» о себе. Разговор продолжался. Сидор Иванович поднял червяка и меланхолично положил его в банку из-под помады.

– Он очень симпатичный, – сказала девушка. – Его белизна – живая белизна, трепетная, красивая. Я хотела бы быть принцессой и жить в замке, где плавают лебеди – и чтобы их было много... как парусов в гавани. Лебедь, – ведь это живой символ... а чего?

– Эка дура, принцесса, – сказал про себя лавочник, – юбку подшей сперва, пигалица!

– Чего? – переспросил черный пиджак. – Счастья, конечно, гордого, чистого, нежного счастья.

– Смотрите – пьет!

– Нет – чистится!

– Где были ваши глаза?

– Смотрел на вас...

Лавочник оставил червяков. Он был заинтересован. Кто пьет? Кто чистится? Кто «симпатичный»? И все его любопытство вылилось в следующих словах:

– Над кем причитают?

Он выступил из-за камыша и осмотрелся.

IV

Пруд был так спокоен и чист, что казалось, будто плывут два лебедя; один под водой, а другой сверху, крепко прильнув белой грудью к нижнему своему двойнику. Но двойник был бледнее и призрачнее, а верхний отчетливо белел плавной округлостью снежных контуров на фоне бархатной зелени. Все его обточенное тело плавно скользило вперед, едва колыхая жидкое стекло засыпающего пруда.

Шея его лежала на спине, а голова протянулась параллельно воде, маленькая, гордая голова птицы. Он был спокоен.

– Никак лебедь прилетел! – подумал лавочник. – Вот мельник дурак, еще ружьем балуется: шкура – пять рублей!

– Я слышала, – сказала девушка, – что лебеди умирают очень поэтически. Летят кверху насколько хватает сил, поют свою последнюю песню, потом складывают крылья, падают и разбиваются.

– Да, – сказал черный пиджак, – птицы не люди. Птицы вообще любят умирать красиво... Например, зимородок: чувствуя близкую смерть, он садится на ветку над водой, и вода принимает его труп...

Сидор Иванович почувствовал раздражение: птица плавает и больше ничего. Что тут за

божественные разговоры? Что они там особенного увидели? Почему это им приятно, а ему все равно? Тьфу!

Собеседники обернулись. Глаза женщины, большие и вопросительные, встретились с глазами лавочника.

– Хорошая штука! – сказал он вслух и дотронулся до картуза.

Ему не ответили. Тон его голоса был льстив и задорен. Лавочник продолжал:

– Твердая. Мочить надо. Жесткая, значит, говядина.

Опять молчание и как будто – улыбка, полная взаимного согласия; конечно, это на его счет, он человек неученый. Что ж, пусть зубки скалят. Шуры-амуры? Знаем.

Он смолк, не зная, что сказать дальше, и озлился. Птица плавает, а они болтают! Шваль городская.

– Свежо становится, – сказала девушка и резко повернулась. – Пойдемте чай пить.

И вдруг Сидор Иванович нашел нужные слова. Он приятно осклабился, зорко бегая маленькими быстрыми глазами по лицам молодых людей, прищурился и процедил, как будто про себя:

– Этого лебедя завтра пристрелить ежели. Дома ружьишко зря болтается. Эх! Знатное жаркое, дурья голова у мельника!

Он видел, как вспыхнуло лицо девушки, как насмешливо улыбнулся черный пиджак, – и вздрогнул от радости. Он ждал вопроса. Инстинкт подсказал ему, чем можно задеть людей, не пожелавших разговаривать с ним – и не ошибся. Девушка посмотрела на него так, как смотрят на кучу навоза, и спросила у него звонким, вызывающим голосом:

– Зачем же убивать?

– На предмет пуха, – кротко ответил лавочник, радостно блестя глазами. – Для удовольствия значит. Как мы, то есть охотники.

Она медленно отвернулась и прошла мимо, шурша ботинками в сочной траве. Мужчина спросил:

– Вы любитель покушать? Брюшко-то у вас того...

Сидор Иванович побагровел и задохнулся от бешенства, но было поздно; оба быстро ушли. Лавочник нагнулся, задыхаясь от волнения, и рассеянно поднял двух червяков. У противоположного берега лениво и плавно двигался лебедь.

– То есть, – начал Сидор Иванович, – птица плавает, какая невидаль, скажите, ради бога...

И вдруг ему послышалось, что эхо воды отразило упавшее из леса, обидное, сопровождаемое смехом, слово «дурак»... Он выпрямился во весь рост, приложил руку ко рту и заорал во весь простор:

– От дурака и слышу-у!

Эхо повторило звонко и грустно... ура-ка... рака... ака... шу... у!!!

Было тихо. Звенели невидимые ложечки, вечерняя прелесть стлала над водой кроткие тени. Реял сизый дымок самовара, звучал смех. И плыл лебедь.

V

Ночью Сидору Ивановичу приснилось, что он убил лебедя и съел. Убил он его, будто бы, длинной и черной стрелой, точь-в-точь такой же, какие употребляются дикарями, описанными в журнале «Вокруг Света». Раненый лебедь смотрел на него большими, человеческими глазами и дергал клювом, а он бил его по голове и приговаривал:

– Шваль! Шваль! Шваль!

Утро взглянуло сквозь ситцевые занавески и разбудило лавочника. Проснувшись, он стал припоминать вкус съеденного им во сне лебедя и машинально сплюнул: горький был. Потом вспомнил, что благодаря вчерашней случайности испортилось настроение и пропала охота удить, а был самый клев. Потом стал размышлять: застрелить лебедя или нет. И решил, что не стоит: мельник ругаться будет. А это неприятно – пруд его – не даст рыбу ловить.

Все же он не мог отказать себе в удовольствии мысленно прицелиться и выстрелить: трах!

Пух, перья летят, вода краснеет... Забился... сдох. Впрочем, – что же из этого? Ну, хорошо, этого он убил. А еще их осталось сколько! Плавают себе и плавают.

И перед его еще сонными глазами проплыл, колыхаясь в зеленой воде, белый спокойный лебедь.

Сидор Иванович раздраженно сплюнул, вспомнив тех господчиков, и повернулся к жене. Она крепко спала, и в рыхлом, рябом лице ее лежала сытая скука. Он поднял одеяло и плотоядно ущипнул супругу за жирный бок.

– Эх ты... лебедь! – сказал он, проглотив сладкую судорогу. – Ну, вставай, что ли!..

Горбун

Горбун сидел неподвижно, подперев голову руками. Он был пьян, смотрел поочередно на всех неприятными, мутными глазами, покачивался и напевал, притопывая короткой, большой ногой.

Все говорили, ели и пили. Сдержанное оживление давно превратилось в светлое, грохочущее веселье, полное звона стаканов, пряных острот, сверкающего вина и румяных, смеющихся лиц. А я рассматривал в зеркале, отразившем электрический свет, – толстое, уродливое тело горбуна, сидевшего, как огромная ночная птица, между мной и хорошенькой, полной женщиной.

Лоб его был высок и бледен; серые, маленькие глаза с желтыми мешочками орбит смотрели из-под неровных бровей остро и выжидательно. Тупой, широкий подбородок, гладкие, жидкие волосы, большие, торчащие уши, длинный рот с тонкими, болезненно-саркастическими губами, редкие рыжеватые усы – все казалось отдельными, грубо собранными частями разных человеческих лиц. А под затылком, между широких, искривленных плеч, дыбился тяжелый, угловатый горб, в туго натянутом черном сукне горбатого сюртука.

Никто не знал его; напротив, он сам пригласил всех и целый час, пока мы ели и пили, – следил, подозрительно и любопытно, получил ли каждый все, что хотел. Он неумоимо предлагал кушанья и напитки, перелистывал прейскурант, звонил, объяснялся с официантами и вообще выказывал крайнюю предупредительность. А между десертом и кофе объяснил нам своим тонким, неприятным голосом, что он – купец и что фамилия его – Гарт.

Потом он как-то вдруг, неожиданно затих, насупился и замолчал. Пил он, пожалуй, даже слишком много, и это, вероятно, отуманивало его. Впрочем, с разговорами к нему почти никто не обращался, и все были даже рады, что его скрипучий, скучный голос затих.

Клодина любезничала с поэтом; села к нему на колени и, дурашливо объясняясь в любви, совершенно растрепала его темные, шелковистые волосы. Рецензент с жаром твердил беллетристу, что нынче гениальных людей нет, за исключением одного, о котором он пока что умолчит.

Беллетрист самонадеянно улыбался и тянул, как губка понте-канэ. Маленькая Нина, розовая и счастливая, блестела глазами, хлопала в ладоши и беспричинно смеялась, толкая под столом мое колено своими быстрыми, крошечными ногами. А инженер, мой хороший приятель, держал за талию смуглую фигурантку и говорил ей на ухо комплименты, от которых она шурилась и, в десятый раз краснея, принималась рассматривать на огонь канделябра желтое, густое вино.

Итак, нам было весело. Я говорю – нам, а не всем, – потому что горбун сидел по-прежнему неподвижно и тупо, без всяких признаков оживления. Но в тот момент, когда уже все начали говорить всем, никого не слушая и ни к кому, в сущности, не обращаясь, – неожиданно раздался тонкий, неприятно-настойчивый голос:

– Пес!.. Послушайте!..

– Я икнул!.. – кричит поэт, бессмысленно возбуждаясь и вскакивая. – Я ик...нул! Я – орхидея, человек с шестым чувством... я – грубо... Но, позвольте...

– Уверяю вас, что я всецело пас!.. – жалобно стонал беллетрист. – Чувства мои неизменны, н-но я-пас!..

– Вы мне хотите подражать?! Но это немыслимо, уверяю вас! Ха-ха-ха-ха-ха! Я – неподражаема!

– Бирь-бирь-бирь-бирь-бирь-бом-бом!..

– Обожаемая!..

– Послушайте!.. – сказал горбун, вытягивая на стол длинные угловатые руки. – Послушайте!

На этот раз его услышали. Шум оборвался, и в глазах всех застыли натянутые, пьяные, вежливые улыбки. Мы слушали.

– Хорошо, – продолжал горбун, закрывая глаза и вздрагивая. – Хорошо! Я благодарю вас. Такие талантливые молодые люди... и, – он сделал рукой неопределенный жест, – такие прекрасные женщины... Но... – горбун открыл глаза и обвел всех неистовым, вздрагивающим взглядом, – но все к месту... Все должно быть на своем месте... И денег у Гарта уже больше нет... И уже поздно... Я благодарю вас, благодарю вас, чрезвычайно благодарю вас, господа молодые люди!.. Хи-хи!.. Довольно галдеть! Я плачу... плачу за всех, я!

Он качнул головой и, откинувшись назад так, что горб его туго уперся в плетеную спинку кресла, полез в карман за деньгами.

Мы все были так огорошены, что первое время царило только глубокое, недоумевающее молчание. Он был пьян, это несомненно. Однако необходимость проучить зазнавшегося горбуна стала слишком очевидной. Инженер выпрямился и спросил высоким, ненатуральным голосом:

– Это как? Шутка?..

– Шутка?! О, конечно, шутка! – сказал Гарт, шумно дыша и стараясь смотреть инженеру прямо в глаза. – Не сомневайтесь, молодой человек... Шутка-с!..

Лицо его побледнело, и мелкие, блестящие капли пота выступили на лбу. Жалкая, нахальная улыбка растягивала углы губ, и нервно вздрагивал широкий, тупой подбородок.

– Я плачу сам! – грубо сказал рецензент, закручивая усы. – Вы пьяны! Вот! А я плачу сам!

– Нет-с! – настойчиво возразил горбун, кладя на стол портмоне. – Вы нищий. Вы не платите. Плачу я.

– Черт побери! – заревел поэт, вскакивая и разминая плечи. – Вы что тут ломаетесь, господин добрейший? А?

– Я добрейший господин. Хорошо. Я плачу.

Все его тело начинала бить мелкая, лихорадочная дрожь. Зубы стучали, и колени смешно подпрыгивали рядом, одно с другим.

– Если вы скандалить хотите... – грозно протянул беллетрист, пуская клубы дыма прямо в нос горбуну, – если так, то не советую! Смиритесь, милейший Гарт, смиритесь, едят вас мухи с комарами! Слышите?

– Да! – с жадной радостью подхватил горбун. – Меня едят мухи с комарами, но я плачу!.. За вас! Я плачу за весь этот сброд! Да!..

– Ах ты, горбун несчастный! – с негодованием вскричала Клодина, бледнея от гнева. – Мы – сброд?! Вы это слышите, господа? Ах ты, уродина!

– Мой миленький горбунок! – фыркнула Нина. – Деточка ты моя большелобая!

– Горбунок! Конек-горбунок! Ха-ха-ха! – расхохотался поэт. – И с чего это он? А?

Я посмотрел на горбуна и невольно вздрогнул.

Он тяжело встал, хрипло засмеялся, оскалив крупные, белые зубы, хотел сказать что-то и не мог. Грузный, уродливый, взъерошенный и пьяный, он производил гнетущее, скверное впечатление. На красных пальцах его блестели крупные брильянты, манишка выбилась и топорщилась впереди, как горб, галстук сбилась на сторону. Он набирал воздуха, задыхался, взматывал большой, круглой головой, бледнел, краснел. Вдруг тонкий, визгливый, истерически-звонкий голос ворвался в наши уши целым градом торопливых, сбивчивых и озлобленных, страстных слов.

Первое время все с напряженным недоумением, с кривыми улыбками смотрели друг на друга, не зная, что думать и что делать, до такой степени были сумбурны и непонятны слова горбуна. И только через минуту, не раньше, когда уши привыкли к скрипучему, тонкому крику, ключьями визга и стопа сверлившему мозг, – мы начали разбирать, в чем дело. И тут нервный, судорожный хохоток загорелся в моей груди – так было нелепо и до нелепости жалко то, что

кричал пьяный, обезумевший Гарт.

– Или вы хотите уверить меня, что я не сказал вам дерзость? Разве я пьян?.. И что вам весело?.. А разве я не плюнул словами в ваши красивые, пьяные, глупые хари?! И все-таки весело? И смешно, что взбеленился горбун, и кричит, и топают? А что же вы не гоните меня? Почему не бьете меня кулаками в кривую спину?! Или боитесь? Или чувствуете мое превосходство? У вас прямые спины, но я лучше вас, да, да, веселые молодые люди!.. Я тоньше и глубже вас! Я умнее и злее вас! У меня красивые, редкие мысли! И глубокие, нежные чувства!.. Ум! Живой, острый ум!.. Душа!.. Все!.. А у вас? Прямые, голые спины, – и что же, что же еще? Я богаче вас! Я из золота, понимаете ли вы – я весь из золота!.. Горб мой из золота, и ноги, и нос, и руки!.. Я весь из цветных бумажек, хрустящих, блаженных листиков!.. А вы – видали их? Держали их? Я пошел к вам!.. Я подумал и возгордился своей мыслью – своей тонкой, богатой мыслью!.. Я сказал себе – пусть живут прямые, красивые люди!.. И нежные женщины!.. И если жизнь их лучше моей – пусть!.. Я сяду с ними, толстый, неуклюжий, неприятный!.. Я буду смеяться!.. Притворюсь, что мне весело и хорошо, что мне все равно!.. Буду угодливо смеяться, и хихикать, и ждать!.. Тогда поймут мою богатую, мою бесценную мысль!.. И поймут ожидание! И я увижу простые, открытые лица, как будто я такой же, такой же, как вы, хари!..

Белое, мокрое лицо его прыгало и горело в электрическом свете безумно, истерической судорогой. Вряд ли он создавал, что говорит. Он был мертвецки пьян, вне сомнения. Но и мы были пьяны. От этого еще тоньше и острее сверкали наши мысли, прыгая и скреживаясь, под словами горбуна, как стальные, гнутые шпаги.

Из большого, искривленного рта летел крик, похожий на рыдание, и стон, похожий на смех. Он вздрагивал и бороздил душный, пьяный воздух, как вспугнутый табун лошадей бороздит пышную, желтую рожь. Это кричал горбун, и весь отдельный кабинет кричал вместе с ним, безобразно и жутко.

– Подойдет ко мне и улыбнется мне, а не вам улыбнется, псы!.. Не потому, что я богат!.. Не потому, что жалко меня!.. Но поймет незлобие мое, мое «Пусть!» поймет!.. Что нет во мне злобы к вам! И сядет!.. Сядет, и заговорит, и будет мило шутить... и смотреть будет так ласково, так спокойно!.. И будет думать, что обманула меня!.. Ха!.. А я скажу ей: «Не надо!.. Я одинок – но не надо! Мне больно – но не надо!.. Пощадите меня!.. Пусть будет вам хорошо – целуйтесь, пейте, – вы поняли меня!.. И за это, за это – спасибо вам!..» Эй, вы! Я вывернул перед вами свой горб – плюньте в него!.. Пусть будет и красота, и цветы, и солнце, и гибкие, стройные члены, и любовь!.. И жизнь пусть будет, сладкая, страшная жизнь, если поняла она мое... одно слово мое поняла: «Пусть!»

И эти последние слова горбун выкрикнул с такой безумной тоской, с такой ненасытной жаждой всего, чему он говорил слезливо и бессильно: «Пусть!» – что сразу умолк сам, измученный и окаменевший. А потом сел – тусклый, неприятный, страшный, с пьяным, безобразным лицом, залитым пьяными слезами...

Я оглянулся, но никого уже не было. Все ушли постепенно, один за другим.

Чувство странной неловкости и тяжести не позволяло мне оставаться далее. Я взял шляпу и направился к выходу.

Ерошка

I

Ерошка ходил всегда в длинной рубахе без пояса и считался мужиком слабоумным, лядащим. Вихры рыжих волос, смешно торчавших из-под маленького, приплюснутого картуза, придавали его одутловатому, веснушчатому лицу выражение постоянного беспокойства и нетерпения. Глаза у него были голубые, загнанные, а бородака белесоватая и остроконечная.

Впрочем, особенно его не трогали и, если когда дразнили – то так, мимоходом, скорее по привычке, без того особенного, злобного упорства, каким отличается русский человек. Даже

прозвище Ерошки было «блажной», а не «чудной». Ерошка не задумывался. Капризы его были не сложны и заключались, с одной стороны, в какой-то необыкновенно длинной и хитрой дудке, сделанной им самим; с другой – в любви к скандалам и происшествиям. Удивительно, что сам он был нрава смирного, но страшно любил смотреть всякую драку, буйство, даже грызню собак. О драках он мог говорить долго и обстоятельно, размахивая руками и захлебываясь от восторга.

– Ка-эк двинет! Ка-эк двинет, братец ты мой! – говорил он, прищелкивая языком. – Зуб выхлестнул, – добавлял он, помолчав. – Скулу всю разворотил!

Разговор переходил на другое; о драке уже забывалось, но вдруг Ерошка вставлял, снова и неожиданно:

– Себе лоб раскровянил!

На дудке он играл больше весной, забравшись куда-нибудь в огород, между кучей сухого навоза и кустом репейника. Сидел на корточках, свистел заунывно и нескладно, часто останавливаясь и прислушиваясь к тихим вечерним отголоскам, полным мирной грусти и жалобы. Бежали мальчишки, покрикивая:

– Ерошка-дергач!

Он, вероятно, не слышал их. Случалось, что какой-нибудь, особенно назойливый парень, перегнувшись через изгородь и ухарски заломив шапку, начинал подвывать пьяным голосом, но и тогда Ерошка ограничивался одним кратким замечанием:

– Будя забор подпирать! Брысь, нечистая!

II

Хозяйство у Ерошки было маленькое, нищенское. Но когда умерла жена, один сын ушел на заработки, а другой в солдаты, Ерошка не голодал и даже изредка пьянствовал. Жила с ним еще одна девочка, сирота; ей было тринадцать лет и звали ее Пашей.

Когда Ивана брали на службу, – Ерошка плакал, ставил свечи угодникам. Более всего он был огорчен тем, что не успел женить сына и теперь оставался без работников, что было тяжело, особенно летом. Со службы Иван писал часто и слезливо, просил денег, а однажды сообщил, что произведен в унтеры и имеет две нашивки. Это было написано его собственным, ужасным почерком на открытке, изображавшей какого-то великолепного гвардейца в ярком, цветном мундире, с красными погонами и белым околышем. У гвардейца были розовые, круглые щеки. Открытку эту Иван предупредительно заклеил в конверт и послал заказным, чтобы не затерялась.

Ерошка рассматривал картинку очень долго, улыбаясь и щурясь собственным, новым мыслям. В грязной, закопченной избе появилось яркое, маленькое пятно, полное какой-то бодрой радости, знак неизвестной жизни, связанной с городом и со всеми туманными представлениями Ерошки о службе, блеске и музыке.

Ерошка был чрезвычайно доволен. Он поднес картинку к окну, рассмотрел ее на свет и вдруг, неожиданно, прослезился, растерянно мигая покрасневшими веками. Потом схватил шапку и кинулся вон из избы, к кабатчику, постоянному чтецу деревенской корреспонденции. К вечеру гвардеец был рассмотрен всей деревней, одобрен и запачкан многочисленными прикосновениями.

Картинка разбудила в Ерошке новую страсть. Часами он выпытывал у мужиков, побывавших на службе, все тонкости обмундировки и строевой службы, которые неуклюжего парня делают ловким молодцом. Быть может, он носил в сердце мечту о новом сыне, прекрасном, как Иван-царевич, в лаковых сапогах, удачливом и навсегда освободившемся от забитой деревенской жизни, с ее непосильной работой и смертельной тоской.

Он вдруг точно что-то понял и, поняв, глубоко затаил в себе. Лицо его постепенно приняло оттенок кроткого достоинства и невинного хвастовства. В минуты же одиночества он крепко и тяжело стал задумываться над тем, как живут «там», откуда приходят письма с картинками.

III

Наступила осень. В ближайшем уездном городе начались маневры, и в деревне, где жил Ерошка, остановилась на ночлег рота солдат.

Это были все плохо одетые люди, с усталыми и раздраженными лицами. В избе Ерошки ночевали четверо. Он ухаживал за ними, бормоча что-то себе под нос, тормошил девчонку, гонял ее то на погреб, то к соседям – выпросить кусок сахара для «воинов». А когда солдаты наелись и напились, и задымились махорочные сигарки, Ерошка, откашлявшись, приступил к беседе. Ухмыльнувшись и бегая глазами из угла в угол, он нерешительно произнес:

– А што, служивые... дозвольте вас этак, примерно...

– Дозволяем, папаша! – сказал бойкий парень, с глазами навывкате. – Ежели угостить нас хочешь, то это солдатам завсегда полезно. Эй, братцы! – повернулся он к остальным, – вот хозяин нас водочкой обнести хочет. Угощаешь, что ли, старик?

– Денег нету, – забормотал Ерошка, – вот истинный бог – нетути... Я бы кавалерам с полным удовольствием... Сам пью, наемни четверть втроем вылакал, прости господи! Вот дела-то каки. А нет денег, вот поди ж ты!

– Сыновья есть? – спросил строгий унтер. – Чай, кормить бы должны.

– Сын-то служит у меня, – с гордостью заявил Ерошка. – Ундером. Когда посылаю ему, когда нет. Денег нетути.

– А где он служит? – спрашивал унтер.

– Где служит-то? Надысь, в Баке... В Баку его спровадили. У моря, бают. Другое-от сын с подрядчиками путается, на заработках... непутевый, вишь ты, слова не напишет. Да-а... Ундер, батюшка, весь, как есть, в полном облачении. Старается. А наемднись патрет прислал – ерой, право слово! Такой леший – как быдто и не похож совсем.

– А ну, покажь! – заинтересовался бойкий солдат. – Покажь!

Ерошка вспыхнул, заволновался и принялся старательно шарить за пазухой, отыскивая драгоценную картинку. Через минуту она очутилась в руках солдат, переходя от одного к другому. Ерошка сидел и молчал, выжидательно задерживая дыхание.

– Так разве это портрет? – пренебрежительно сказал унтер. – Это, братец ты мой – открытое письмо. Понял? Печатают их с разными картинками, а между прочим – и нашего брата изображают.

Ерошку взяло сомнение.

– Ой ли? – недоверчиво спросил он, скребя пятерней лохматый затылок.

– Ну, вот еще. Говорят тебе! И я такую могу купить, все одно, трешник она стоит!

– Вре?!

Солдаты зычно расхохотались.

– И чудака же ты, как я погляжу! – через силу вымолвил унтер, задыхаясь от смеха. – Кака нам корысть тебе врать?

Ерошка виновато улыбнулся и заморгал. Потом взял картинку из рук унтера и начал ее пристально разглядывать, стараясь вспомнить лицо сына, каким оно было три года назад.

Солдаты зевали, чесались и лениво перекидывались короткими фразами. В мозгу Ерошки неясно плавали отдельные человеческие черты лиц и фигур, виденных им в течение жизни, но лицо сына ускользало и не давалось ослабевшей памяти. Его не было, и как ни усиливался старик, а вспомнить сына не мог.

Сын был рыжий, – это он твердо помнил, а здесь, на картинке, молодец как будто потемнее, да и усы у него черные.

Солдаты завопились, укладываясь спать. Маленькая лампа коптила, освещая потемневшие бревна стен. Шуршали тараканы, ветер дребезжал окном. Ерошка лежал уже на полатах, свесив вниз голову, и думал.

– Вспомнил! – вдруг сказал он твердо и даже как будто с некоторым неудовольствием. – Вот она, штука-то кака! Ась?

– Чего ты? – осведомился сонный унтер, закрываясь шинелью.

– Сына вспомнил, – засмеялся Ерошка. – Теперича как живой он.

– Спи, трещотка, – огрызнулся один из воинов. – Ночь на дворе.

– Я удавиться хотел, – просто заявил Ерошка, болтая в воздухе босыми ногами. – Скушно мне это жить, братики. Ванька-то мне пишет: того нет, того нет, табаку нет, пища плоха... А я думаю – где это врать приобьют? Сам, гляди, как раздобыл, белый да румяный, что яблочко во Спасов день. Врешь, – думаю, – всего у тебя довольно, не забирают. Жисть твоя, – думаю, – сыр да маслице. Девки тоже, чай, за ним бегают. А теперь в голову ударило: ежели эта морда не твоя, на письме-то, может, и в самом деле худой да заморенный? Я, братики, погожу давиться-то, все хоть целковый когда ни-на-есть, от меня получит. А со службы придет – беспрерывно удавлюсь. Потому – скушно мне стало.

Ерошка умолк, зевнул во весь рот, перекрестился и стал укладываться.

Трюм и палуба (Морские рисунки)

I

С медленным, унылым грохотом ворочались краны, торопливо стучали тачки, яростно гремели лебедки. Из дверей серых пакгаузов тянулись пестрые вереницы грузчиков. С ящиками, с бочонками на спине люди поднимались по отлогим трапам, складывали свою ношу возле огромных, четырехугольных пастей трюма и снова бежали вниз, цветные, как арлекины, и грязные, как земля. Албанское и анатолийское солнце покрыло их лица бронзовым загаром, пощадив зубы и белки глаз.

«Вега» оканчивала погрузку. Ее правильная, однообразная жизнь была известна всему городу: два рейса в месяц, один круговой и один прямой. Подчищенный и вымытый, украшенный с носа и кормы золотой резьбой, пароход этот производил впечатление туриста средней руки, окруженного грузчиками – угольными шхунами и нефтяными баркасами. Он был всем: гостиницей, буфетом, носильщиком, коммивояжером... скучный, каботажный²⁰ старик.

А недалеко от него, у веселой и грязной набережной, в пыльном грохоте и звоне труда отдыхали сумрачные бродяги из Тулона и Гавра, Лондона и Ньюкэстля, Бомбея и Сингапура. Неведомое волнение тянуло к ним, как будто от грязных, стройных корпусов их летело дыхание океана и глухая музыка отдаленных бездн. Казалось, что в своем коротком плену, прикованные к стальным кольцам молот толстыми тросами, они спят, вспоминая тайны опасных странствий, бешенство тропических бурь, вулканы и рифы, цветущие острова, всю яркую роскошь тропиков, – истинно царский подарок, брошенный солнцем своей возлюбленной.

Когда розовый дым утреннего тумана гаснет над дрожащей от холода, тихой и зеленой водой, – поднимаются сонные матросы и чистят плавучие гостиницы. Моют палубы, трут медные части, подкрашивают ватервейс²¹. Но бродяги спят еще в это время: они устали, и кокетство им не к лицу.

Вокруг «Веги» громоздились закопченные трубы пароходов, бесшумно выкидывая ленивый, густой дым. Из города, убежавшего вверх кольцеобразными, каменными уступами, неся шум экипажей и неопределенное звуковое содрогание жизни сотен тысяч людей.

Гавань сверкала и пела. Громадное напряжение звуков и красок, брошенное в небольшой уголок земли, как гнездо золота в расщелину кварца, утомляло, рассеивало мысли, воскрешало сказки. Эта неровная, голубая бухта с желтыми берегами и тысячами судов таила в себе жуткое, шумное очарование веками накопленных богатств, риска и опьянения, смерти и жизни.

«Вега» поглощала груз жадно и безостановочно. Бегали агенты, размахивая желтыми пачками ордеров, кричали и исчезали в складах. Взывались стропы, охватывая двойной петлей сотни пудов, гремела цепь, грохотала лебедка; цепь натягивалась, вздрагивая под тяжестью добычи,

²⁰ Каботаж — плавание в пределах одного моря.

²¹ Ватер-вейс — желоб для стока воды, проходит у бортов.

кто-то кричал: «Майна!...»²², и, плавно колыхаясь, груз устремлялся в глубину трюма, где уже ждали десятки рук, отцепляли стропы, тащили мешки и ящики в темные, сырые углы и складывали их там плотными возвышениями.

– Хабарда!²³ – кричали турки, стремительно пробегая с тяжестью на спине.

– Вира! – надрывались внизу, в трюме, глухие, гулкие голоса.

– Изюм в Анапу, двадцать четыре места!

– Пипа двести ящиков – Новороссийск!

– Железо в Туапсе!

– АБ или АС? – черт вас побери!

– Давай живей! Давай живей! Ходи веселей!

– Не лезьте под руку, говорят вам!

– А вы не толкайтесь!

– Хабарда!

– Говорят вам, не мешайте!

– Я желаю видеть старшего помощника.

– Помощника? Вакансий нет.

– Мне нужно старшего помощника.

– А вам зачем?

– Я не ищу вакансий. Я желаю видеть его по делу.

– Станьте же в сторону.

– Хорошо.

Вахтенный матрос поправил съехавшую на затылок фуражку, обтер рукавом вспотевшее лицо и устало покосился на собеседника. Тот встал подальше от трюма и рассеянно осмотрелся.

Это был плотный, медленный в движениях человек, слегка сутулый, в парусинном пиджаке и черных матросских брюках. Вместо жилета он носил тельник с широкими синими полосами и красный кушак. Черные, коротко стриженные волосы прикрывала серая «джонка», шапка английского покроя. Лицо его казалось типичным лицом человека случая, молодца на все руки: если нужно – кок или матрос, в нужде – поденщик, при случае – угольщик, иногда – сутенер, особенно в периоды «смертельного декофта»²⁴, столь частого среди мелкого морского люда. Низкий лоб, серые глаза, полные угрюмой беспечности, загорелая кожа, короткий, тупой нос, редкие усы; в правом ухе маленькая золотая серьга.

Большая партия риса, сто сахарных бочек в Севастополь и машинное масло в Керчь подходили к концу. Все быстрее развевался строп, ложась длинной петлей на раскаленные солнцем камни мола, и из трубы «Веги» повалил густой дым – разводили пары. Немногочисленные пассажиры толкались и бегали, устраивая свои пожитки на палубе и в классных каютах; сипло завыл гудок, первый сигнал отплытия.

– Эй, приятель! – сказал матрос. – Вот старший помощник!

Костлявая фигура с желчным лицом бродила на палубе, теребя узенькую бородку и шурясь от солнца. Парень неловко протискался среди ящиков и разного хлама, низко поклонился, сдернул свою джонку и просительно замигал. Круглая, стриженная голова бросилась в глаза моряку; он сморщился, точно собираясь чихнуть, и медленно процедил:

– Вакансий нет.

– Извините, – сказал парень, оглядываясь на пристань, – окажите божескую милость!

– Ну?

– Не откажите насчет проезда. За работу.

– Это бесплатно? Эй, не задерживай! – крикнул моряк кочегару, стоявшему у лебедки. –

²² Майна — вниз (жарг.).

²³ Хабарда — берегись.

²⁴ Декофт — голодовка.

Нет!

- Никаких нет способов, господин помощник. Что будете делать? Третий месяц хожу без...
- Врешь ведь! – перебил моряк, пыхая папиросой. – Просто лодырь, а?
- Нет, я не лодырь, – спокойно возразил парень. – Я матрос.
- Куда едешь?
- В Керчь.
- Зачем?
- К матери и сестре.
- Очень ты им нужен. Нет, не могу.
- Я буду работать.
- А, черт с твоей работой! Проси в конторе.
- Три места в Батум! Осторожнее, эй! Верхом держи!

Парень оглянулся. Желтая бумажка ордера перешла из рук грузчика в руки штурмана. Юноша принял ее, сидя верхом на опрокинутой бочке.

– Что? – спросил желчный моряк.

– Стекло! посуда! – радостно объявил штурман и засмеялся. Ему было двадцать три года. Сейчас же и неизвестно почему нахмурившись, он крикнул с деловым видом: – Эй, вы, пустомели! – ходи, ходи!

Парень смотрел глазами и ушами. Лицо его сразу подобралось и вытянулось. Три больших ящика медленно выползали из-за борта по наклону деревянного щита и повисли над трюмом.

Потом глаза его стали равнодушными, а лицо печальным; казалось, жестокосердие моряка его сильно удручало. Он переступал с ноги на ногу, подвигаясь к трюму, и тихо повторил глухим, умоляющим голосом:

– Будьте такие добрые! Нет ни копейки, все...

– Отстань! – моряк досадливо передернул плечами. – Вас тут столько шляется, что хоть на балласт употребляй. Я не могу, сказано тебе это или нет?

Груз плавно колыбался в воздухе, вздрагивая и покачиваясь. Парень быстро осмотрел его: канат плотно охватывал ящики.

– Майна! – взревел турок.

Громыкнула цепь, и ящики ринулись вниз, мелькнув светлым пятном в сумрачном отверстии трюма. Через минуту из глубины долетел стук, и цепь, болтаясь, взвилась вверх, на крюке ее висел строп.

– А-ха-ха! – сказал парень, заглядывая в трюм. – Происшествие!

– Ты чего? – вскипел старший помощник. – Пошел вон!

– Шапку уронил, – растерялся проситель, нагибаясь еще ниже. – И как это я...

– Разиня! – бодро крикнул жизнерадостный штурман, смеясь глазами. – Куда смотрел?

Желчный моряк плюнул и отошел в сторону. Ему был противен этот слоняющийся бездельник, паразит гавани, живущий сегодняшним днем. Он не выносил бродяг, разъезжающих из порта в порт, пьяниц с сомнительной репутацией, людей, не умеющих держаться на судне более месяца. К тому же у него были свои заботы. Нельзя обременять людей пустяками.

– Полезем! – сказал стриженный человек, подходя к трапу. Выжидательная улыбка штурмана сопровождала его.

– Шапка тирял! – оскалился турок, подмигивая другим. – Караш малчык, шапка плохой!

– Эй! – закричали из трюма. – Шапка чья? Эй!

Парень ступил на отвесные перекладыны трапа и стал опускаться, неловко перебирая руками. Внизу его ждали. Маленький, юркий матрос, растопырив на пальцах злополучную джонку, протягивал ее собственнику. Грузчики смотрели неодобрительно.

– Честь имею поднести – головка ваша, – сказал матрос. – Хорошая голова, складная!..

Кто-то, пыльный и темный, проворчал в углу:

– Не мог свое сокровище на палубе обождать!..

Парень молча надел шапку. Трюм был почти весь забит грузом, и только в середине, под самым люком, оставалась небольшая квадратная пустота. Было прохладно, слегка отдавало сы-

ростью, мышами и сушеными фруктами. Ящики с посудой лежали на плоских, тугих мешках, каждый отдельно.

– Ну – вира²⁵ отсюда, приятель! – сказал матрос. – Головка при вас, айда!..

Парень занес ногу на трап и спросил:

– Много грузить?

– Четырнадцать тысяч прессованных леших, – озабоченно проговорил матрос. – Нет, немного, кажись. Местов тридцать, не более, сюда еще пойдет.

– Так, – сказал парень. – Прощайте.

– Отчаливайте. Без вакансии?

– Нет, проехать хочу.

– Ага! Черти, легче майнать!

Отвергнутый пассажир влез на палубу и пошел домой с веселым лицом. Ящики не были завалены грузом – только это и нужно было ему знать: ехать он никуда не собирался.

II

– Из тебя никогда не будет толку, Синявский. Это я тебе верно говорю, безо всякой фальши. Я, брат, знаю людей.

– Ну вот извольте видеть, – уныло пробормотал мальчик, с ненавистью косясь на добродушное, жуликоватое лицо матроса. – Чем я виноват, что тебе хочется спать? Ты жалованье получаешь, а я сам плачу за харчи девять рублей! Очень хорошо с твоей стороны!

Трое остальных сидели мрачно и выжидательно, делая вид, что поведение Синявского крайне несправедливо. Из углов кубрика²⁶, с узких, похожих на ящики, коек несея тяжелый храп уснувших матросов. В такт ударам винта вздрагивала лампа, подвешенная над столом, колыхая уродливые тени бодрствующих.

– Мартын, – продолжал тот же матрос тихим, оскорбленным голосом: – посмотри на него, вот, возьми его, белого арапа, морскую чучелу, одесское ракло²⁷...

– Биркин! – вскричал Синявский, – не ругайся, пожалуйста!

– А то я напишу папе и маме! – вставил быстроглазый Бурак, шмыгая рябым носом. – Эх ты, граммофон!

– Ты послушай, Синявский, – дружески улещал юношу Биркин, – я тебе что скажу! Ты, брат, молодой парень, жизни морской не знаешь, ты вообще, вкратце говоря, – что? Морское недоразумение. Промеж товарищей так не делают. Ну – убудет тебя, что ли? Постоишь час – потом дрыхни хоть целый день! Вот тебе крест! Да чего там, я твою вахту завтра отстою и квит! Чего зубы скалишь? Я, брат, правильный человек! Как боцман встанет, я к нему: – Алексеич! нехай спит Синявский! – Разрази меня на месте, если ты не будешь спать до Анапы!

– Биркин, да ты ведь врешь! – тоскливо зевнул Синявский. – Кто тебе поверит, тот трех дней не проживет!

– Кто врет – я? – Биркин величественно встал, драпируясь в клеенчатый дождевик – «винцераду». – Лопни моя печенка, тресни мои глаза, убей меня гром и молния, пусть моему деду... Дурень, кому ты нужен, такой красивый – обманывать?! Это вы уж – ох! при себе оставьте! Кроме того, – Биркин прищурил глаза и чмокнул, – в Батум придем – к грузинкам сведу, по духанам пойдем чихирь пробовать, налижемся, как свиньи... Ну, айда, Синявский, айда!..

Мальчик сонно зевал, нехотя одевая брюки и мысленно проклиная Биркина со всеми его родичами. Сон был такой сладкий, мертвый сон усталости, а на палубе так сыро и холодно. Врет Биркин или нет – все равно не отвяжется, еще сделает какую-нибудь пакость. Решив, в силу это-

²⁵ Вира — вверх (жарг.).

²⁶ Кубрик — общая матросская каюта.

²⁷ Ракло — вор.

го размышления, сменить Биркина не в очередь с вахты, Синявский встал и чуть-чуть не расплакался, вспомнив домашнее житье, сладкое и беспечное. Одно из двух: или Жюль Верн наглый обманщик, или он, Синявский, еще недостаточно окреп для морских прелестей. Палуба? Брр-р!..

Биркин успокоился, снял винцераду и шлепнулся на скамью против Мартына. Лицо его выражало ребяческое удовольствие и глубокое презрение к одураченному ученику, но надо было, хотя из приличия, сделать вид, что он, Биркин, только уступает справедливости.

– Ты, Синявский, у машины сиди, там теплее. – заботливо процедил он, плеснув в эмалированную кружку чаю из чайника и торопливо глотая мутную бурду. – Да того... дождевик мой возьми, слышь?..

Синявский продолжал молча возиться у койки, набивая папиросы, напяливая блузу и вообще бессознательно стараясь побыть дольше в теплом помещении.

– Ветер тронулся, – сказал Бурак. – Тумана не будет.

– Дует, да слабо! – Мартын важеват погладил бороду, скашивая глаза на мальчика. – Синявский, живей ворочайся, увидит помощник, что вахтенного нет – Биркину попадет!

– Наплевать! – отрезал Синявский, застегивая дождевик. – Я же еще должен заботиться! Так – час, Биркин?

– Час, дорогой мой, час! – предупредительно заторопился хитрец. – Иди с богом, дитятко, иди! Ну, понимаешь, Синявский, ломает меня всего, совсем нездоров... беда!

– А ну вас к чертям! – яростно закричал ученик, подымаясь из кубрика в сырую, промозглую тьму.

Когда он ушел, четвертый матрос, смуглый и молчаливый, пристально посмотрел на Биркина и, слегка усмехаясь, почесал затылок. Биркин нахмурился, отвернулся и забарабанил в доску стола суставами пальцев. Брови его сдвинулись, он размышлял, но это продолжалось недолго.

– Мартын! – сказал он, зевая, – твоя вахта под утро?

– Агу! В четыре. Ты что кнека²⁸ обеспокоил? Он ведь уснет, ей богу уснет. Ляжет на пассажира и уснет.

– Не мое дело. – Биркин самодовольно рассмеялся. – Эх, жизнь!

– Что – жизнь? – отозвался Бурак. – Твоя жизнь, брат, как и наша: в четверг получка, в Одессе случка! Ну, как – сошьет тебе портной бушлат к сроку, а? Голова садовая – вбухал пятнадцать рублей на тряпку.

– Вот беда! – Биркин презрительно сощурил глаза. – Твои, что ли? Зато фасонисто, эх! Пойду козырем по бульвару – девки честь отдавать будут. Ну... и... на случай смертельного декофта тоже не худо – вещь! Пять рублей можно... за пять рублей везде продать можно.

Вечная, неутомимая зависть Биркина к воспитанникам всех мореходных классов в России была его слабостью и бичом. Завидовал он, впрочем, не возможности каждого ученика стать штурманом, помощником и даже, при счастье, – капитаном, а красивой форме – бушлату, т. е. пиджаку с золочеными якорями и пуговицами. Все жалованье этого матроса неизменно попадало в руки людей двух категорий: трактирщиков и портных. Портные шили Биркину щеголеватые брюки, жилеты с якорями на пуговицах, а сдача, после приобретения всех этих восхитительных предметов, пропивалась в компании пароходных забулдыг, с треском и дымом, с участками и скандалами.

– Вот я, – заявил Бурак, – бывал в самых критических положениях. Я держал такие декофты, что ежели иной увидит во сне, так семь раз мокрый проснется. Но боже меня сохрани продать хотя пуговицу! Напротив, – всегда почишусь, ботинки блестят, причесан скандебобром²⁹, хотя бы что! А никто не знает, что, может быть, вторые сутки мои зубы без всякого утешения.

– Работал? – осведомился Скуба.

– Работал! – передразнил Бурак. – Так же, как и ты! Когда знакомые пароходы стояли в

²⁸ Кнек — чугунный столбик с утолщением наверху, служит для заматывания вокруг него канатов, в переносном смысле — остолоп, чугунная башка.

²⁹ Скандебобр — волосы, выпущенные из-под фуражки на лоб полукруглой прядкой, матросское кокетство.

Одессе, я не тужил. Я жил, как пап, у меня знакомств больше, чем у тебя волос на голове. Я пил утренний чай на «Олеге», завтракал на «Рассвете», обедал, скажем, на «Веге», чистил зубы на «Кратере», кушал вечерний чан на «Гранвиле», а спал на дубке «Аксинья». Впрочем, его недавно прихватило с черепицей под Гирлами и, так сказать, повредило челюсти.

Бурак щеголевато плюнул и снисходительно посмотрел на товарищей. Левый его глаз выражал уважение к своему таланту жить по-воробыному, правый совсем закрылся от восторга и открылся только при словах Скубы:

– А все-таки ты дурак.

– Это почему? – мирно осведомился апостол декофта. – Как могла эта несообразная мысль прийти в твою несоразмерную голову?

– Очень просто. Ты не умный человек.

– А ты умный?

– Я, брат, вполне умный, потому что мне выпить хочется.

– Эге! Ты, Скуба, я вижу, совсем балда. Такого-то разума у меня все трюмы полны.

– Чего налить вам? Пива или вина? – насмешливо спросил Мартын. – Подходи к чайнику!

– Позвольте! – откашлялся Скуба. – Вы, Мартын, с вашей репутацией, не тревожьте свою особу. Тут дело серьезное. Есть афера.

– Верно, есть! – вполголоса подтвердил Биркин. – Десять бочек с хересом в Новоросс...

– Тссс... сс... – зашипел Мартын, облизывая губы и оглядываясь на каюту боцмана. – Чего кричать, ну? Чего шуметь! Люди спят, а ты галдишь!

Взглянув еще раз на полуотворенную дверь каюты, Мартын уперся в стол подбородком, выпятив вперед бороду, и пронзительно зашептал, сверкая исподлобья острыми, ярославскими глазами:

– Взял трубку себе. Сам видел, как старый хрен вытащил трубку из-за божницы и сунул в карман, когда спать ложился.

Три тяжелых вдоха прорезали воздух единодушно и выразительно. Медная трубка, специально приготовленная для высасывания вина из бочек, оказывалась за пределами досягаемости, и в руках заговорщиков находился только буравчик, годный, конечно, для сверления дыр, но совершенно ненужный в качестве насоса.

Молчание было тягостное и непродолжительное. Биркин встал, повел плечами, взял в рот конец ленты от шапки, пососал ее, потом выплюнул, протянул руку и шепнул, указывая на каюту:

– У боцмана штаны есть?

– Нет, – серьезно ответил Бурак. – Он в юбку наряжается, да ведь...

– Мельница ты! – укоризненно перебил Биркин. – Снял он их, или нет?

– Агу! – крикнул Мартын. – А разве...

Биркин на цыпочках шмыгнул в дверь каюты, подкрался к боцманской койке и спокойно вытащил трубку из брюк, висевших на гвоздике. Вернувшись, он увидел три багровых от прыскающего смеха физиономии и многозначительно хмыкнул.

Мартын просиял и даже загорелся от нетерпения. Скуба взглядывал поочередно на него и Бурака, мурлыкая небезызвестную песенку:

Прекрасно создан божий свет.
Мы в нем набиты, как селедки.
Но совершенства в мире нет –
Бог создал море не из водки!

– Мартын – ну? – спросил Биркин.

В тоне, каким это было сказано, заключалась масса вопросов: пить или не пить, идти всем сразу или по одному, или же нацедить в чайник и принести сюда. Эгоистический характер Мартына, однако, быстро решил все: он встал, надел шапку, молча взял трубку из рук Биркина и прошептал:

– Разве мы будем жадничать или торопиться? Как, значит, я открыл местонахождение трубки, – то пойду пососать, скажем, я. А потом по очереди.

– Возьми Бурака, – предложил Скуба. – Я знаю твою повадку: будешь целоваться с бочкой до самой гавани... если тебя за ноги не оттащить. Бурак – смотри за ним в оба – он обручи ест!

Последние слова догнали Мартына в тот момент, когда пятки его исчезали в отверстии люка. Бурак подождал немного и выскочил вслед за ним. В кубрике стало совсем тихо; спящие не шевелились, храпя и посапывая.

III

Биркин и Скуба, оставшись одни среди спящих, хлопнули друг друга по плечу и ослабились. Дело шло на лад. Тишина и мрак вполне благоприветствовали задуманному. Биркин осторожно нашарил рукой угол трюма, затем, подвигаясь дальше, коснулся железа, – это был тяжелый, висячий замок, соединяющий петли железных полос, охватывающих трюм. Скуба стоял сзади, тревожно прислушиваясь и ежеминутно вздрагивая, – дело было не шуточное. Биркин долго возился, осторожно вкладывая ключ; наконец, пружина щелкнула, освободив болт, – и матрос спешно отвернул брезент, вытаскивая одну из деревянных крышек, ближнюю к краю. Скуба подхватил ее, держа на весу. От волнения ему сделалось жарко, он тяжело и глубоко дышал, жалея, что нет водки или спирта, жидкостей, уничтожающих страх. Биркин сказал:

– Фонарь!

– Держи!

– Закрой меня моментально, без всяких следов, и вались в кубрик, на койку, слышь? Будто дрыхнешь. Я копать не стану, обождав минут десять, открывай, я тут буду.

Биркин изогнулся, протиснулся в небольшое отверстие и, держась руками за борт трюма, отыскал ногой трап. Скуба нагнулся и услышал в темноте шорох спускающегося человека. Тогда матрос быстро поставил крышку на место, закрыл брезентом, привел болт в прежнее положение, не запирая замка, и, облегченно вздохнув, на цыпочках удалился к кубрику. Здесь постоял он несколько мгновений, прислушиваясь к доносящемуся снизу храпу спящих товарищей, потом спустился, лег на свою койку и натянул одеяло до самых ушей, возбужденный и восхищенный верным успехом.

Совершенная темнота, полное одиночество и наглухо закрытый сверху люк привели Биркина в хорошее расположение духа. Уверенно хватаясь за перекладыны трапа, он скоро ощутил под ногами упругую поверхность мешков, остановился и передохнул. Вспомнив, что надо торопиться, он повертел фонарик в руках, открыл его и полез в карман за спичками. В брюках их не оказалось; Биркин поставил фонарь у ног, сунул руку за пазуху и вдруг с невероятной, лихорадочной быстротой начал шарить везде, выворачивая карманы, хлопая себя по фуражке, по груди и даже по сапогам. Очевидно, что спички были потеряны или просто забыты впопыхах. Биркину захотелось плакать. Растерявшись, с вихрем унылых, отчаянных мыслей в голове, он стоял неподвижно, с широко раскрытыми в темноте глазами, бессмысленно твердя:

– Ах, ах, ах! Господи! Господи! Господи!

Тишина угрюмо и беззвучно смеялась вокруг. Затхлый, сырой воздух трюма кружил голову. Биркин снова начал искать спички, ощупывая подкладку одежды. Иногда спичечная головка проваливается в дыру кармана. Но ничего не было. Нервный смех и тоскливый страх одолевали его. Немного овладев собой, он подумал, что стоять хуже, чем двигаться, надо предпринять что-нибудь. Идти наугад, ощупью? хотя почему бы и нет? Трюм забит почти доверху, можно ползти смело; ящики с одеждой, предмет вожделений Биркина, – большие, он найдет их руками. К тому же они лежат в самом углу, у задней стенки трюма, девять штук. Правда, неловко рыться в темноте, можно второпях забрать дюжину жилеток и ни одного пиджака. И потом, как забить их снова? Будь огонь, Биркин отыскал бы несколько штук рогож, заполнил опустошенные места и заколотил гвоздями.

Но другого выхода не было. Усилия, хитрость, риск, затраченные на это дело, были слишком значительны, чтоб возвратиться ни с чем. Уныло, одолеваемый сомнениями, матрос двинул-

ся вперед нетвердой походкой слепого, расставив руки и спотыкаясь о мешки с мукой. Иногда ему приходилось становиться на четвереньки, чтобы переползти неожиданное препятствие в виде кипы хлопка, или предмета, закутанного в рогожи. Подвигался он инстинктивно тихо, мрак и тишина давили его. Трюм, так хорошо знакомый днем, теперь казался бесконечной, обширной пропастью, наполненной грузом.

Вскоре шершавое дерево ящиков коснулось его растопыренных пальцев. Он ожидал этого: в этом месте груз возвышался до самой палубы, во всю ширину парохода, от тимберсов до тимберсов³⁰. Приходилось разбирать ящики, чтобы пролезть дальше, в пустоту. Матрос нащупал углы одного ящика, тяжелого, но маленького, отшвырнул его, прислушиваясь к мягкому шуму, нащупал и отбросил другой, и только что хотел взяться за третий, последний на своей дороге, как вдруг неожиданный толчок мысли опустил его руки. Третий ящик он увидел.

Правда, очертания углов ящика еле выступали из темноты и мгновениями таяли, убегая от напряженных глаз матроса, но все же это был свет. Ровная полумгла обнимала трюм, намечая темные груды товара и черный мрак позади Биркина. Бессильный объяснить что-нибудь, трясаясь от внезапного испуга, матрос заглянул вперед, протягивая голову, как утка из камышей, и прирос к ящикам: в пяти саженях от него, на маленьком бочонке, сидел человек с внимательным, напряженным лицом, слегка бледным, но спокойным. Возле него, на углу большого деревянного ящика, мигая и трепеща, горела свечка.

Биркин потерял равновесие, упал на бок, стукнувшись головой о ящики, вскочил и бросился назад, путаясь в мешках, падая и вскакивая, с перекошенным от готового сорваться крика лицом. Дикий, остолбенелый ужас горел в нем, нелепо размахивая его руками. Темные груды протягивали к нему страшную паутину. Воздух душил его. Трап, казалось, отступал все дальше вперед, и сердце ломилось в груди, готовое лопнуть, как ракета. У самого трапа Биркин снова упал, больно ударившись лицом в мучной мешок, и почувствовал, что умирает: твердая, невидимая рука схватила его за шею; нажим ее показался Биркину стопудовой тяжестью. Он тонко вскрикнул, слезы потекли из его глаз. И кто-то сдержанно шептал возле него, отчетливо и злобно:

– Я вылезу за тобой, трусишка. А ты молчи, если не хочешь быть в остроге. Понял?

Слова эти гремели ураганом в потрясенном сознании Биркина. Он взвизгнул, как кликуша, задыхаясь от мучной пыли:

– Я... все... я не... Помилосердствуйте! Всевышний! Батюшки!..

– Лезь наверх. Ах ты, боже мой! Ну, пожалуйста, лезь скорее!

Матроса тошнило. Оглушенный, не чувствуя своего тела, не думая даже о том, открыт люк или нет, Биркин вывалился на палубу. Скуба стоял тут, дрожа от беспокойства и нетерпения.

– Молчи! – шипел Биркин, шатаясь от слабости. – Молчи! ах – молчи! Молчи!

Скуба занес руку прихлопнуть трюм – и вздрогнул: другой Биркин вылезал кверху. Растерявшись, он отступил назад; человек ступил на палубу и, мелькнув, как тень, беззвучно скрылся в тумане.

– Биркин! – сказал Скуба. – Да что там?

– Молчи! Ах, молчи! – Матрос вздрагивал от плача. – Голова моя, голова!

Он направился к кубрику, шатаясь, как пьяный. Перепуганный Скуба дрожащими пальцами закрыл трюм. Мучительная тревога охватила его – он потерялся.

IV

Туманная сырость ночи мгновенно уничтожила в Синявском остатки сонливости, наградив его ознобом и чувством мстительной ненависти к двуногому существу, именуемому «человеком». Холодный, удушливый мрак слепил глаза и пронизывал нагретое постелью тело противным прикосновением сырости. Красное и желтое пятна света торчали в воздухе: фонарь готмачты и рулевая будка.

³⁰ Тимберсы — ребра судна.

Расставляя руки, чтобы не споткнуться, Синявский осторожно двинулся мимо грот-трюма и гальюнов, к машинному отделению, откуда, замирая в тишине, неся глухой, пыхающий шум поршней. Через два шага он споткнулся о веревку, протянутую поперек палубы, и грохнулся на живую, упругую массу, мохнатую и теплую. Пока он вставал, ругая скотопромышленников, перепуганные насмерть овцы приветствовали его жалобным криком, толкаясь и прыгая. Синявский перешагнул веревку и тронулся по свободной, правой стороне палубы, протягивая руки и переживая смутные опасения за целостность собственных ребер.

Но, хотя руки и помогали ему, – ноги не имели рук, и запнулись еще два раза за какие-то призрачные и враждебные в темноте ящики. Оправившись от толчков, вызванных этой неприятностью, он наступил снова, и на этот раз с тайным злорадством, на приютившегося у кухни палубного пассажира. Возня и сердитая гортанная речь убедили Синявского, что на палубе не одни бараны; опасаясь получить затрещину, он торопливо проскочил к машинному отделению, перевесился внутрь через квадратное отверстие, вырезанное в листовом железе, и облегченно вздохнул душным, нагретым воздухом.

Внутренность машины представляла полный контраст туману и неприветливости морской ночи. Далеко внизу, под тремя огромными, блестящими, как лак, стальными цилиндрами, сквозь переплет чугунных решеток и воздушных трапов, разделявших машинное отделение на этажи, блеснул красный огонь топок, и в ярком зареве угля, раскаленного добела, двигались, как адские грешники, маленькие, чумазные кочегары. Режущий глаза электрический свет заливал все. Плавно и легко, ритмически шипя отполированной поверхностью, из цилиндров бежали вниз и вверх огромные поршни. За кормой, скрытый водою и мраком, глухо бормотал винт. Пахло керосином, маслом, и казалось Синявскому, что машина – уютнейший уголок в мире, полном холода и тоски.

Он полулежал в окне, засунув руки в рукава «винцерады» и героически отражая атаки сна, пытавшегося взять приступом слабое тело пензенского мореплавателя шестнадцати лет и четырех месяцев от роду. Сознание ясно твердило Синявскому, что спать на вахте нельзя, – вдруг зашвистит вахтенный помощник или появится капитан. Но это же самое сознание, лукаво и незаметно, неуловимо и постепенно приняло сладкий, фантастический оттенок, когда шум кажется музыкой, а действие переносится за тысячи верст, в родное, уездное захолустье, где нет Черного моря и свирепого боцмана, а есть заштатная, гнилая речка, тощенький бульвар и пара кузин: черненькая и рыженькая. Синявский идет по аллее, и на нем чудесный, диковинный для уездной глуши наряд: белые, «майские», брюки, белая матроска, «галанка», с синим воротником, под ней – «тельник» с синими полосами, а на голове – лихо заломленная фуражка с надписью золотыми буквами: «Вега». Ветер треплет черные ленты, кокетливо лаская ими шею Синявского, и тысячная толпа смотрит на него, указывая пальцами:

– Моряк!

– Идет моряк!

– Вот моряк!

– Смотрите – моряк!

Кузины побеждены, и гимназисты в рыжих брюках получают отставку. Затем творится что-то необычайное, возможное только во сне, – дикое сплетение образов, темное и светлое, страх и радость...

Страшный удар в голову, способный раскроить менее крепкий череп, вернул Синявского на пароход «Вега», к окну машинного отделения. Он вздрогнул, выругался и застонал. Боцман ехидно смотрел на него, потирая ушибленные пальцы. Голова ныла, как обваренная, в глазах плавали золотые мухи.

– Синявский! Нельзя спать на вахте! – прошипел боцман. – Это вы дома можете, что вам угодно, а здесь – море!

– Вы... вы чего деретесь? – хныкнул Синявский. Губы его дрогнули, из глаз хлынули слезы. – Как вы смеете? – всхлипнул он, трясаясь от холода и бессильной, пугливой злости. – А? Чего вы?! Я вам покажу. Я...

Лицо боцмана по-прежнему сохраняло счастливое выражение. Он ненавидел учеников.

Сделав усилие, мучитель нахмурил брови; его бегающие, мохнатые глазки сверкнули и замерли.

– Ну, ну! – сказал он, зевая. – Вот плачете теперь, а я вас хотя бы пальцем тронул. Да! Как это так – спать?! Ступай, жалуйся! – вдруг закричал он, наливаясь кровью. – Пшол, шушера! Иди, ябедничай!

– И пойду! – взвизгнул Синявский, давая волю слезам и размазывая их по лицу. – Вы что себе думаете? Вас оштрафуют, вот! Ишь, какой красивый!

– Ха! – кротко заметил боцман, скрываясь в темноте.

Синявский топнул ногой и, шатаясь от бешенства, сел на скамью. Второй раз! Первый раз он получил «блямбу» за то, что положил шапку на стол. Скажите, какое преступление! Необразованное мужичье, идиоты, суеверы – садиться на стол можно, а шапку класть нельзя! Хорошо, что кузинам ничего не известно. Проклятая жизнь! Над ним издеваются с утра до вечера, прячут его брюки, бросают ему в кружку с чаем фунтовые куски сахара, насыпают соли!.. Он должен чистить гальюны³¹, а в порту неизменно торчат на вахте у сходней, – и все это за свои же девять рублей! Довольно! Он ревет – ну, что же из этого? Нельзя обижать человека, в самом деле – так, мимоходом!..

Совершенно расстроенный грубостью морской жизни, такой привлекательной издали и невыносимой вблизи, Синявский сделал несколько шагов к юту, все еще ругаясь и всхлипывая. Опасно жаловаться старшему помощнику, тот держит руку боцмана, лучше посмотреть, – спит капитан или нет. Пусть он рассудит, можно драться или нельзя? Медленно пробираясь среди всевозможной клади, загромождавшей палубу, Синявский уперся во что-то холодное, круглое и большое. Вытянув руки, он ощупал препятствие – это была бочка. Расслабленный смех, сопровождаемый глухим бульканьем, заставил его прислушаться и остановиться.

Тихая возня продолжалась. Слышно было, как кто-то шарил в темноте, тяжело отдуваясь и подхихикивая.

– Сси! – бормотал Бурак, сидя на палубе между бочкой и бортом. – Я, друг, – ха-роший парень! И жизнь моя, братец, – горькая, прегорькая!.. Т-ты не можешь, конечно, проти-ву-сто-ять мне... Вот трубочка, милушечка, крантик дорогой!.. Первый сорт – жидкость эта самая... Сси!

Товарищ его молча, но выразительно икнул и затих.

– Н-не можешь? Вы не можете? – продолжал Бурак. – Вы ослабли? Эта марка вам не под силу? Мартышка – ты где?

– М-молочко! – умиленно залепетал Мартын, продолжая шарить. – Была, видишь, овца тут. Подоить я хотел, а она сбегла... Я, брат, молочко уважаю, для отрезвления...

Он, действительно, минут пять назад, нагрузившись хересом до положения риз, поймал овцу и пытался подоить ее в шапку, но животное убежало, оставив Мартына в заблуждении. Он был уверен, что овца тут, недалеко, и что только темнота мешает ему нащупать ее шерсть.

Оба отяжелели так, что встать не могли, и продолжали нести всякий вздор, по очереди и уже без всякого наслаждения прикладываясь к боцманской трубке. Синявский стоял, думал и вдруг сообразил: трубка – боцмана, значит, матросы пьют с его ведома. А если так – то...

Не размышляя более, весь отдавшись чувству мстительной радости, охватившей его с ног до головы, дрожа от нетерпения и боязни, что капитан, может быть, спит, – Синявский отправился доносить. У дверей кают-компания он остановился, соображая – «вздуют» его за это или нет. Синявский решил, что «вздуют», но не отомстить было выше его сил. Он тихо отворил дверь.

– Ну, в чем дело? – спросил капитан. – Плакали, молодой человек? Срам! моряк, а ревет, как баба! Ну?

– Господин капитан! – взмолился Синявский, – меня бьют, что же это, а? Боцман меня... сейчас... по голове... а я не спал совсем! А он... и там пьют из бочек... он дал им трубку... Они бочку просверлили... У него трубка всегда есть, чтобы из бочек вино воровать! А я...

Капитан удивленно слушал, пристально рассматривая ученика. Безусое, жалкое лицо торчало перед ним, мигая и всхлипывая. Драка, сплетни, доносы, мелкое воровство... Тьфу!

³¹ Гальюн — отхожее место.

– Убирайтесь! – вспыхнул капитан. – Боцман дурак, а вы хороши, тоже! Вы ведь постоянно спите, походя! Слякоть! Мужчиной нужно быть, эх!..

Он выбежал наверх, не слушая запутанных объяснений ученика. Через минуту в том самом месте, где сладкие мысли о «молочке» тревожили сердце Мартына, раздалась энергичная морская брань, и любители хереса, поддерживая друг друга, направились в кубрик, отуманенные хмелем и руганью. Огненное слово: «Расчет!» сверкало в их головах, но оба принимали его радостно, без стыда и волнения; пьяным – им было море по колено. К тому же не в первый раз, хе! У трапа Мартын остановился и сосредоточенно потряс кулаком, крикнув во все горло:

– Расчет?! Ну, рассчитывай, ну! Я тебе покажу, выдра морская!..

V

Прошло полчаса – и странное известие разнеслось по всем уголкам «Веги», от первого класса до кочегарки, и от кухни до кают-компаний: в трюме, по доносу Биркина, был обнаружен пустой, хорошо приспособленный для перевозки живого человека ящик. Самого хозяина этого секретного помещения, однако, найти не удалось, хотя были пущены в ход самые разнообразные усилия. Осмотрели все: шлюпки, подшкиперскую, угольные ящики, хлебные ящики; снова контролировали билеты, но билеты у всех оказались в безукоризненной исправности. Жулик высшей марки, очевидно, ускользнул, запасшись билетом еще в Одессе, и теперь, вероятно, преспокойно лежал себе где-нибудь в третьем классе, зевая и посмеиваясь.

– Я, – объяснял Биркин пассажирам, толпившимся вокруг него, – иду это... Вдруг – слышу... ходит кто-сь под палубой. А у меня ухо вострое, – у!.. Сейчас ключ, отпер, – лезу... Вдруг как выпалит из левольверта!.. Я так и упал... Одначе, выскочил... а с перепугу не захлопнул люка-то... он за мной, да и тикать... Даже рожи не рассмотрел... Ищи его теперь – он, может, вот тут, промеж нас стоит, да слушает...

Слушатели нервно посматривали друг на друга, любопытно и подозрительно встречая каждое новое лицо, присоединяющееся к группе.

– Да-а... – продолжал Биркин. – Ящик, братцы, большой, и написано на нем, значит... «стекло». Вот тебе и стекло! Три ящика-то были... в двух стекло и есть, как следует... А третий – пустота одна... отмычки разные, струмент...

– Не успел, значит, – сказал толстенький сонный пассажир. – Ишь ты!..

– Н-да! – чмокнул кто-то.

– Хитро!.. – подхватил третий.

– Обмозговано!

– Умственный человек!..

Переполох, понемногу, улегся. И никто не подозревал, что только в Батуме обнаружатся действительные размеры опустошения, произведенного таинственным пассажиром. А обокрал он ни много, ни мало, – шесть багажных чемоданов, без взлома и разреза облегчив их от многочисленных золотых вещей.

«Вега» подошла к порту. С мостика раздался резкий крик капитана, сопровождаемый длительным, лязгающим грохотом. Винт замер, сотрясение корпуса прекратилось. Упал второй якорь, и снова гром железного каната потряс сонную тишину.

Лодка стучалась о трап парохода, беспокойно прыгая в ожидании пассажиров. Татарин-лодочник смотрел вверх на сумрачный железный борт «Веги», и весла неподвижно торчали в его руках. Брезжил рассвет. Ветер утих, но туман редел, воздушно белея над сонной зыбью бухты; люди и предметы казались призраками. Трещали лебедки, выгружая товар в плоскодонные парусные фелюги, облепившие пароход.

Тот, кого искали и не нашли, протискался к трапу и быстро сошел вниз, держа в руках круглый, плотно набитый саквояж. Садясь в лодку, он машинально поднял глаза: все были заняты своим делом. Два силуэта двигались на площадке, отдавая приказания хрипылыми от бессонницы голосами. Жалобно кричали продрогшие овцы, брякало железо, где-то стучал молоток.

Лодка отчалила, ныряя, как чайка, в зеленых водяных ямах, и когда весла татарина сделали

взмахов пятьдесят, — очертания парохода исчезли в утреннем, туманном сумраке моря. А впереди, медленно, точно вырастая, выдвинулся и ожил силуэт горного берега.

Ночь уходила на запад, рассвет золотился и грел воздух. Фиолетовая дымка тумана нежила умирающей лаской поверхность воды, струилась и таяла.

«Вега» снялась с якоря и взяла курс на зюйд-вест.

Капитан

I

Отвратительная погода. Проклятый туман!

— Утром его не будет.

— Как так?

— Я не доверяю барометру. Но вчера был зюйд-вест. За этим ветром туман держится слабо.

— Дай бог.

— Вот в Ла-Манше...

— Что вы сказали, капитан?

— Я говорю: в Ла-Манше, восемь лет назад, был туман гораздо плотнее. Это было четырнадцатого западного марта.

— А!

— Я плавал тогда на «Айшере» и еще не собирался жениться. Помню один случай...

— А!

— У вас дурное расположение духа.

— Да, пожалуй. Скверно дышать этой мозглятиной; у меня к тому же слабая грудь.

— Да? Так вот... был случай. Мы потопили рыбацье судно. Как они кричали. Боже мой! Двоих успели вытащить.

Капитан помолчал и добавил:

— Я тогда же дал клятву остаться холостяком. Неприятно подвергать семейство постоянно-му риску.

— Кстати, как ваша супруга?

— Мерси. Уже поправилась, начинает ходить.

В резком и хриплом голосе моряка дрогнула веселая нотка. Так приятно иногда не сдерживать клятву. Он чиркнул спичкой, закуривая потухшую от сырости папиросу, и несколько секунд круг желтого света обнажал козырек фуражки, суровое, немолодое лицо, высокий лоб и равнодушные, прищуренные глаза.

Спичка потухла. Красный уголек папиросы, изредка разгораясь в темноте, скупо озарял кончик загорелого носа, усы, твердый рот и маленький подбородок. С минуту оба молчали, тщетно, до боли в голове, напрягая зрение. Глухой мрак давил их, унылый и скучный, как недуг. Волнистая седина тумана, колыхаясь, таяла в черноте, и казалось, что это беззвучные стада таинственных белых птиц или облака, плывущие над водой.

С кормы летела неустанная воркотня винта. Тяжелый стальной вал, скрытый в глубине судна, при каждом ударе поршней, плавно бегавших в огромных цилиндрах, передавал свое сотрясение корпусу парохода, дрожавшему тяжело и напряженно от киля до клотиков³². Впереди, за желтыми, слепыми кругами мачтовых фонарей, шумела рассекаемая вода, и ее струящийся плеск полз вдоль бортов, однообразный и слабый. Тонко звенел баковый колокол редкими, замирающими ударами, предупреждая и спрашивая. Пароход шел тихо, но во мраке казалось, что он быстро летит вперед по огромной пустыне моря, к ее жуткому и таинственному окончанию, к какой-то печальной и странной бездне. Внизу, на палубе, разговаривали тихими, гортанными голосами, дребезжала зурна. То были пассажиры, преимущественно мингрельцы и осетины, худые,

³² Клотик — верхушка мачты.

как уличные собаки, в ободранных черкесках и серебряных поясах. Вверху, на грот-мачте, жалобно скрипел гафель. В легкие проникал туман, удушливый от пароводного дыма, растворявшегося в сырости. Капитан сказал:

– Я хочу немного уснуть. Вам осталось, кажется, еще три часа.

– Да.

– Спокойной вахты.

Старший помощник предпочел бы услышать «спокойной ночи». Он глубоко зарылся в воротник пальто и сказал:

– И вам того же.

– На лаге³³ восемьдесят. Придем через час.

– Да. Ну как, вы взяли кормилицу?

– Нет. А что?

– Говорят, это лучше. У наших городских женщин жидкое молоко.

Капитан подумал немного, что бы сказать своему коллеге, страстному семьянину и знатоку детского воспитания, и махнул рукой, говоря:

– Я в этом ничего не понимаю. Можно кормилицу, можно и соску.

Возражения не последовало. Капитан подошел к рубке, ярко освещенной электричеством, и заглянул в компас. Рулевой, не отрываясь, напряженно следил за нервными колебаниями большой синей стрелки.

– Четверть румба направо! – сказал капитан.

– Есть! – крикнул матрос, поворачивая штурвал.

Слабая человеческая рука небольшим усилием мускулов двигала влево и вправо огромную железную махину, набитую десятками тысяч пудов груза. Капитан прошел к трапу, спустился на палубу и сонно вздохнул, направляясь к себе.

II

Кофе слегка остыл, но капитан выпил его с наслаждением, согрелся, зажмурил глаза и замурлыкал скверный романс, засевший в голову лет пятнадцать назад, вместе с глазами десятифранковой наяды из Сингапура. Там были пальмы, ром невероятной крепости, чугунные кулаки приятелей и независимость краснощекого двадцатилетнего парня, поклявшегося чертями и ангелами, что он будет капитаном. Насчет жены клятв никаких не было, но явилась и она, о чем немало жалела добрая дюжина охрипших глоток, величая несчастного «разбитым кранцем» и «погибшим пробочником». Он не сердился, но чувствовал за своей суровой улыбкой другую, рожденную для одной в мире и навсегда.

Электрическая розетка продолжала наблюдать сквозь голубой дым сигары, закуренной в промежутке между воспоминанием и умилением. Волосатая рука шмыгнула через стол к маленькому портрету, загремев блюдечком. Капитан рассматривал фотографию. Фотографы бесильны передавать цвет глаз, и это им сильно вредит, хотя помешанные на любви к женщине щедры, как закутившие принцы. Наедине с собой можно быть смешным, никто не расскажет. Поэтому капитан не ограничился долгим и нежным взглядом по адресу портрета, он поцеловал его прямо в затрепавшее стекло и долго не мог прогнать улыбку с обветренных губ. Дюжина охрипших глоток, рассеянная по земному шару, никогда не видела ничего подобного даже во сне. Они, впрочем, еще молоды и бешены, время придет.

За кормой глухо ворчал винт, отталкивая вперед судно и каюту с капитаном, понурившим голову при мысли о четырнадцати вечностях – четырнадцати днях разлуки. Это не в первый раз и не в последний; но там, в городе, в большой, роскошной квартире, пришел еще один, маленький, сердитый и красный, не дающий, вероятно, спать по ночам женщине с голубыми глазами. С тех пор как она вывихнула палец в июле прошлого года – большего беспокойства не было.

Цейлонский жемчуг, шанхайские и сингапурские раковины, марокканские вещицы из сло-

³³ Лаг — прибор, показывающий пройденное расстояние.

новой кости, аденские кораллы и греческие губки, японские шкатулки и суданские бурнусы, зонтики и зубочистки, пуговицы и чай, платки и ковры, яхты из ореховой скорлупы и медные негритянские браслеты – словом, все, что продается в бухтах, заливах и проливах, на мысах и перешейках, все это куплено и привезено. Настоящий магазин редкостей, но жене его не легче от этого. Маленькое дорогое чудовище, ревущее день и ночь, – это она хотела тебя! Крикливый негодяй, чего доброго, вздумает захворать. Прежде чем вернуться туда, нужно расшвырять в десятке портов миллион всякой дряни в мешках и ящиках, ругаться до хрипоты, шлепать в тумане, и четырнадцать раз, день в день, нырять в вечности.

Сознавать это было донельзя горько, и стекло у портрета хрустнуло еще раз, прежде чем успокоилось на столе, между бронзовой собакой и яшмовой чернильницей. Капитан направился в кают-компанию и, отворив дверь пароходного клуба, машинально улыбнулся бесшабашной физиономии штурмана, возлежавшего за столом с локтями у чайного подноса и папиросой в зубах. Юноша вместе с младшим помощником лениво смеялся над Новой Судоходной Компанией, пускающей третий пароход с экипажем из дворников и маркеров.

– А ваши койки, господа, еще не соскучились? – спросил капитан. – Я думаю, что клевать носом на вахте будет скучно и неудобно, а?

Штурман посмотрел на помощника, помощник – на потолок, потом на пол, и оба принялись усиленно хохотать, краснея и ежась. Капитан сел и зевнул.

– Ну-с? – сказал он. – Я ничего не понимаю. Вы делаете друг другу какие-то масонские знаки... Кто остался в дураках и почему?

– Да вот, видите ли... – начал штурман, – тут...

– Тут... – перебил младший помощник.

– Поразительная женщина!..

– Подозрительная женщина...

– Ага! – сказал капитан. – Так.

– Вот... Так мы и того... капитан. А он говорит мне, что она – того... понимаете?

– Нет.

Штурман крикнул и сказал с равнодушием опытного развратника:

– Проститутка. Но позвольте! У меня человеческие глаза, и я вижу...

– Разумеется.

– Что она совсем не то, а даже – напротив...

– Горничная! – хихикнул помощник.

Штурман побагровел и выпрямился.

– Если вас, Кирпичов, приводит в потешное расположение духа женщина, с которой мы говорили нынче, и... и... которой коробку конфет, то...

– Ну что же, – сказал капитан, открывая слипающиеся глаза, – что же новая компания?

Штурман перевел дух и обменялся с помощником многообещающим взглядом.

– Они устроили настоящий митинг, – жалобно начал он, недовольный прекращением спора. – Какая-то личность влезла на бочку и кричала условия и сколько вакансий... Ну, понимаете, дело было окончено быстро: взяли двух солеваров, трех наборщиков и одного кока, остальные, может быть, и матросы, только их никто не видал.

– По десять рублей, – вставил помощник. – На днях отправляются в Англию за пароходом и, если их по дороге не съедят вши, вернутся через месяц...

– Но, говорят, хороший пароход и делает восемнадцать узлов, – заметил капитан. – Дорогая моя... то есть я хочу сказать, что теперь делают хорошие пароходы.

– Вы, кажется, утомились, – почтительно вздохнул штурман. – У вас глаза как будто немного... Ах, туман, туман! Скоро порт, и – спать!

– Через час, – сказал капитан. Помощник вынул часы и прибавил:

– Сейчас два. Почему это от чаю болит живот? Я замечал, что от кофе, если сладкий, – то же самое.

– Потому что вы льете его в себя из шланга!³⁴ – подхватил штурман. – Вы неумеренный

³⁴ Шланг — пожарный рукав.

человек. Дайте мне книжку, что читали вчера.

– Это Лермонтов. Не дам, вы опять оборвете углы. У меня всего десять книг, и половина их украдена.

– Читайте на здоровье вашего Лермонтова. Удивительно, как вы отстали. Тургенева, например, вы не читали.

– К чему эти ваши выпады? – прищурился помощник. – Идеализатор горничных! А знаете, – обратился он к капитану, – ведь в Китае лучший чай двенадцать копеек фунт. Все пошлина.

Задымились три папиросы. Краснощекий штурман и птицеподобный помощник медленно боролись, во славу горничной, с одолевавшим их сном. Капитан качался на соломенном стуле и вздыхал. Четвертое лицо просунулось в дверь, увлекая за собой тонкое, червеобразное тело в матросской форме.

– Ну-с? – сказал капитан, удивленно рассматривая Брылова, пароходного ученика. – Что случилось?

– Господин капитан, – сказал Брылов, – тут вас женщина спрашивает, пассажирка.

Мгновенное любопытство подбодрило штурмана и помощника. Но капитан вышел, плотно притворив за собой дверь.

III

– Ну?!

– Ей-богу! Жаловаться побегла. Я, грит, капитану на вас, чертей, пожалуйюсь, что проходу не даете...

– Вот леший! – сказал первый матрос. – Я к ей и так, и этак – тпру!

– Вот тебе и «тпру», – ответил второй. – Влетить тебе! И что злости в этом капитане, что жесточества, боже ты мой! Прямо ест. Чтоб его деду на том свете черти...

– Идет!!

– Идет?! Ах ты...

Капитан медленно спускался в кубрик по ступенькам крутого, скользкого трапа. Наконец нога его коснулась пола, и страшный поток ругани, сопровождаемый сверканьем глаз и топаньем ног, грянул в воздухе.

– Бир-р-ркин! – заревел капитан. – Мер-р-завец! Олух! Ска-атина!.. Шашни на пароходе устраивать?! Да я тебе голову разобью!.. Бездельник, морское чучело, сто тысяч леших тебе в глотку, пар-рши-вец!.. Мне жалуются на тебя, негодяй! Так-то ты держишь вахту, чертов бабник?! За юбками бегаешь, скотина?! Мо-о-ряк!.. Бесстыжая харя!.. Кто в море крестился, тот от юбок на край света беги!.. К расчету в Одессе собачьего сына!.. У-у?.. Разражу на месте!.. В воду спущу!..

Матрос, бледный как бумага, растерянно пятился назад, держа руки перед лицом и жалобно хныкая:

– Господин капитан! Господин капитан!.. Ей-богу!..

Капитан перевел дух, подумал немного, побагровел, и новый лексикон, приправленный самыми свирепыми обещаниями и угрозами, повис в воздухе. Он ругался, отводя душу, и вдохновенная брань его сыпалась, как палочные удары, на голову Биркина. Наконец усталость взяла свое, капитан бросил последний, уничтожающий взгляд и вышел на палубу.

Через полчаса, чувствуя потребность разговаривать, он писал жене длинное, подробное письмо, улыбаясь самому себе тихими, рассеянными глазами:

«...лю тебя, ненаглядная кошечка, и твои маленькие ручки целую. Когда приеду, привезу тебе ящик рахат-лукума, а ты дашь мне свои белые ножки, и я каждый пальчик на них поцелую. Ты спи, а я тебя перекрещу. Обнимаю тебя, милая, скоро увидимся.

Твой Вовочка».

Человек, который плачет

– Не может быть...

– Вы шутите...

– Это арабские сказки.

– Однако это так... Повторяю... мне тридцать пять лет, и я до сих пор не знаю женщины.

Человек, взбудораживший наше мужское общество таким смелым, исключительно редким заявлением, стоял прислонившись к камину и сдержанно улыбался. Голубые, холодные глаза его смотрели без всякого смущения и, казалось, ощупывали каждое недоверчиво и любопытно смеющееся лицо.

Однако солидные манеры этого человека, интеллигентная внешность и спокойная уверенность голоса произвели впечатление, выразившееся в том, что возгласы утихли и в физиономиях отразилось напряженное, тоскливое ожидание целого ряда анекдотов и пикантных повестушек, приличествующих случаю.

После короткой паузы доктор Клушкин, человек очень нервный, очень веселый и очень несчастный в личной жизни, выпрямил скептически поджатые губы, потянул носом и пристально посмотрел на девственника. Тот вежливо улыбнулся и коротко повел широкими плечами, как бы сознавая свою обязанность дать в данном случае надлежащие объяснения.

– Я с большим удовольствием слушал ваш разговор, – сказал этот господин, представленный нам хозяином под фамилией Громова, – и теперь действительно жалею, что молодость моя прошла... сухо. Собственно говоря, к чему бы делать мне такое признание. Но бывают минуты, когда случайные стечения обстоятельств, случайный разговор, анекдот зажигают желания и дразнят тело, наполняя его бессознательным тяготением к этой стороне человеческой жизни, жгучей, таинственной и...

– Да, но позвольте, – сухо перебил доктор, нервно ерзая на стуле и вскидывая пенсне повыше. – Вы говорите, что вы... ну, одним словом... вполне.

– Совершенно.

– И – никогда?

– Всецело.

– Ни-ни..?

– Могу вас уверить в этом.

Доктор вдруг побагровел, прыснул и хихикнул так громко, что сконфузился сам. Снисходительно улыбнулись остальные.

Дело происходило в курительной комнате богатого инженера, после хорошего обеда и основательной выпивки. Дамы перешли в гостиную, а мы, люди тугого кошелька и веселого расположения духа, удалились сюда, отчасти для пищеварения, отчасти для того, чтобы выкурить по сигаре и поболтать, пока не приготовят столы для карт. Надо сказать, что заявление Громова пришлось как нельзя кстати. Запас нескромных анекдотов уже иссякал и теперь явилась большая надежда воскресить угасавшее оживление...

– Скажите... э-э... – спросил доктор, отделавшись от душившего его смеха: – вы развиты нормально?

– Да.

– Влюблялись?

– Конечно.

– И...

– Как видите.

Сказав это, Громов отряхнул пепел сигары на каминную решетку и полузакрыв глаза. Доктор встал, шумно отодвинул стул, подошел к Громову и, взяв его двумя пальцами за пуговицу сюртука, сказал печальным подвыпившим голосом:

– Вредно-с. Вы расстраиваете себя, свой организм, губите умственные способности... Да-

с...

– Ну что же, – улыбнулся Громов, – видно уж так мне на роду написано...

– Но, – сказал худой плешивый фельетонист, похожий на картонного Мефистофеля, – но... почему же? Это же странно... Красивый, здоровый человек, умный...

– О, – смутился Громов, и лицо его приняло виноватый оттенок, – дело очень просто... Я не имею успеха.

– Да, – обрадовался толстый учитель, заикаясь и причмокивая. – Я пп-они-мм-аю вас... Ввы... ззз-астенчивы... а-а... жж-енщины... этт-ого н-не-ллю-ббят...

– Да. Я застенчив и, представьте, застенчив как-то болезненно. Одна мысль о том, что мне могут засмеяться в лицо, обливает меня с ног до головы холодным потом.

– И..? – хихикнул фельетонист.

– Ну... и идешь себе прочь.

Все дружно расхохотались.

– А я хотел бы, – вздохнул Громов. – Хотел бы знать, что такое страсти, супружество, весь этот особый таинственный мир, скрытый от меня...

– Позвольте, – заволновался пивовар, жирный и необычайно кроткий человек с глазами навывкате. – Если вы хотите – я...

Он, грузно пыхтя, протискался между стульев и, подвалившись к Громову, таинственно зашептал ему что-то на ухо. Физиономия пивовара выражала сладостное и блаженное самоуглубление в тайны жизни. Громов серьезно усмехнулся и кивнул головой раза два. Но у пивовара, когда он отошел, в кротких масляных глазах изображалась полная огорошенность.

Художник сидел, все время склонив на бок черную, кудрявую голову, и в его раскрасневшемся от вина лице таилось вдохновенное глубокомыслие. Вдруг он встряхнулся, ударил рукой по колену и закричал:

– Меня убили. Ха-ха. Убили. Ну, ей богу же, я не вру... Женщины. Женщинами полон свет. Они везде. Они как воздух, как вода, везде, на улицах, площадях, в театрах, подвалах, кафе. В церквях, лугах и лесах. На крышах. На чердаках. На башнях. На колокольнях. Под ногами, над головой. И вы не знаете женщины?.. А... Чудеснейшего, любопытнейшего, святейшего, развратнейшего существа в мире вы не знали? А духи вы нюхали? Цветы целовали? В лесу гуляли? Наконец – ели, пили, спали? Так как же вы не знаете женщины..?

Он остановился, перевел дыхание и посмотрел на Громова, стараясь придать взгляду торжественную строгость, но это не удалось. Его пухлые, румяные губы расплывались в жизнерадостную улыбку, а глаза лукаво смеялись лукавыми блестками.

– Пойдите, – воскликнул доктор. – Это ненормальность, несправедливость. Как так. Да есть же, наконец, женщины... жрицы любви. Хе. Что вы, в самом деле...

Громов пожал плечами.

– Боюсь, – сказал он. – Ну, что вы будете делать.

– Да-а, – протянул фельетонист, ковыряя в зубах, – вы того... действительно незадачливый... Ну, а как... в теории-то... вы представляете... того...

– Д-да, конечно... но... Я как-то избегал вообще всякого общества и... Вообще, у меня большие пробелы в этом отношении...

– Слушайте, господа, – сказал доктор, воодушевляясь и подымая вверх пухлый, белый палец, – вот перед нами человек который... не смеется, а... плачет. Но, клянусь вам, в моей практике был такой случай...

Захлебываясь и горячась, он рассказал нам своим скрипучим, нервным голосом историю о том, как он заставил жениться одного человека, дав ему прочесть скабресный роман.

Рассказ то и дело прерывался громкими одобрительными возгласами. Но после этого фельетонисту тоже захотелось рассказать что-нибудь из этой области, и он, еле дав доктору кончить, пустился в необыкновенное фантастическое повествование о бесчисленных соращениях, романах, изменах во всех частях света.

Скоро заговорили все. Сочинялись небывалые истории, никем и никогда не слышанные анекдоты; упоминались имена несуществовавших женщин, сверхтрогательные идиллии и лю-

бовные объяснения, в которых рассказчик неизменно участвовал сам, соблазнял, похищал и покупал. Присутствие человека, никогда не знавшего женщины и, следовательно, завидующего всякому поцелую, полученному другим мужчиной, действовало прищипывающим образом. Каждый хотел, чтобы ему, именно ему, а не другому, завидовал Громов; чтобы его, именно его, рассказчика, женщины, рожденные фантазией в необычайном количестве, – казались желанными, прекрасными и доступными только тому, кто сочинил их.

Прошло немного времени, и пол, казалось, был сплошь усыпан осколками разбитых невинностей и супружеских честей. И только тогда, когда лакей пришел доложить, что столы готовы и нас, скромных отшельников, просят пожаловать – родник эротической поэзии иссяк. Забытый Громов стоял у камина и докуривал сигару.

В глазах его сверкало живейшее, искреннее любопытство.

– Так вот, батенька, – сказал доктор, подмигивая и тыча Громова в жилет указательным пальцем, – такое дело... Ну, идемте... Ну, идемте... А кстати, я представлю вас Нине Алексеевне... да вы ее знаете... Нет? Ба, простите, совсем забыл, что вы приезжий... Ну – это... знаете, я вам доложу... По секрету: три года назад хотел из-за нее стреляться... Как честный человек...

Все тронулись и, войдя в гостиную, увидели несколько новых, незнакомых лиц, а между ними – и женщин.

А когда навстречу Громову поднялась красавица в белом шелковом платье и крепко пожала его почтительно протянутую руку, Громов сказал, улыбаясь и смотря в сторону...

– Господа... позвольте представить... моя жена.

Я с некоторым любопытством посмотрел направо и налево. Там, где секунду назад стояли фигуры наших недавних собеседников, – виднелись окаменевшие, шире обыкновенного раскрытые рты.

И только учитель спросил, беспомощно двигая челюстями:

– Кк-ак..? Вв-а-шш-а жж-ена..?

Мат в три хода

Случай этот произошел в самом начале моей практики, когда я, еще никому не известный доктор, проводил приемные часы в унылом одиночестве, расхаживая по своему кабинету и двадцать раз перекладывая с места на место один и тот же предмет. В течение целого месяца я имел только двух пациентов: дворника дома, в котором я жил, и какого-то заезжего, страдавшего нервными тиками.

В тот вечер, о котором я рассказываю, произошло событие: явился новый, третий по счету пациент. Еще и теперь, закрыв глаза, я вижу его перед собой как живого. Это был человек среднего роста, лысый, с важным, слегка рассеянным взглядом, с курчавой белокурой бородкой и острым носом. Сложение его выдавало склонность к полноте, что составляло некоторый контраст с резкими, порывистыми движениями. Заметил я также две особенности, о которых не стоило бы упоминать, если бы они не указывали на сильную степень нервного расстройства: конвульсивное подергивание век и непрерывное шевеление пальцами. Сидел он или ходил, говорил или молчал, пальцы его рук неудержимо сгибались и разгибались, как будто их спутывала невидимая вязкая паутина.

Я притворился совершенно равнодушным к его визиту, сохраняя в лице холодную, внимательную невозмутимость, которая, как мне казалось тогда, присуща всякой мало-мальски серьезной профессии. Он смутился и сел, краснея, как девушка.

– Чем вы больны? – спросил я.

– Я, доктор...

Он с усилием взглянул на меня и нахмурился, рассматривая письменные принадлежности. Через минуту я снова услышал его вялый, смущенный голос:

– Вещь, извольте видеть, такая... Очень странная... странная. Странная вещь... Можно сказать – вещь... Впрочем, вы не поверите.

Заинтересованный, я пристально посмотрел на него; он дышал медленно, с трудом, опу-

стив глаза и, по-видимому, стараясь сосредоточиться на собственных ощущениях.

– Почему же я вам не поверю?

– Так-с. Трудно поверить, – с убеждением возразил он, вдруг подымая на меня близорукие, растерянно улыбающиеся глаза.

Я пожал плечами. Он сконфузился и тихонько кашлянул, по-видимому, приготавливаясь начать свой рассказ. Левая рука его несколько раз поднималась к лицу, теребя бородку; весь он, так сказать, внутренне суетился, что-то обдумывая. Это было особенно заметно по напряженной игре лица, горевшего попеременно отчаянием и смущением. Я не торопил его, зная по опыту, что в таких случаях лучше выждать, чем понукать.

Наконец, человек этот заговорил и, заговорив, почти успокоился. Голос его звучал ровно и тихо, лицо перестало подергиваться, и только пальцы левой руки по-прежнему быстро и нервно шевелились, освобождаясь от невидимой паутины.

– Удивлять, так удивлять, – сказал он как будто с сожалением. – Вы меня только... очень прошу-с... не перебивайте... Да-а...

– Не волнуйтесь, – мягко заметил я. – Удивление же – это удел профанов.

Намекнув ему таким образом на свою предполагаемую опытность в области психиатрии, я принял непринужденную позу, то есть заложил ногу за ногу и стал постукивать карандашом по кончикам пальцев. Он замялся, вздохнул и продолжал:

– Пожалуйста, не будете ли вы так добры... если можно... каждый раз, как я руку подыму... Прошу извинить... Побеспокойтесь сказать, пожалуйста: «Лейпциг... Международный турнир-с... Мат в три хода»? А? Пожалуйста.

Не успел я еще изобразить собой огромный вопросительный знак, как снова посыпались страстные, убеждающие, тихие слова:

– Не могу-с... Верите ли? Не сплю, не ем, идиотом делаюсь... Для отвлечения от мыслей это мне нужно, вот-с! Как скажете эти слова, так и успокоюсь... Говоришь, говоришь, а она и выплывет, мысль эта самая... Боюсь я ее: вы вот извольте послушать... Должно быть, дней назад этак восемь или девять... Конечно, все думаем об этом... Тот помрет, другой... То есть – о смерти... И как оно все происходит, я вам доложу, как одно за другое цепляется – уму непостижимо... Сидел я этак у окошка, книгу читал, только читать у меня охоты большой не было, время к обеду подходило. Сажу я и смотрю... Ведь вот настроение какое бывает, – в иной момент плюнул бы, внимания не обратил... А тут мысли рассеянные, жарковато, тихий такой день, летний... Идет это, вижу, женщина с грудным младенцем, платок на ней кумачовый, красный... Потом девочка лет семи пробежала, худенькая девчонка, косичка рыжая это у ней, как свиной хвостик торчит... Позвольте-с... Вот вижу, следом гимназистка проходит, потом дама, и очень хорошо одетая, чинная дама, а за ней, изволите видеть, – старушка... Вот... понимаете?

Я с любопытством посмотрел на его руки: они быстро, мелко дрожали, расстегивая и застегивая пуговицу сюртука. В том, что он рассказывал мне, для него, по-видимому, укладывалась целая цепь каких-то пугающих умозаключений.

– Нет, не понимаю, – сказал я, – но продолжайте.

Он был сильно бледен и смотрел куда-то в сторону, за портьеру. Я ободрительно улыбнулся, он сморщился, подумал и продолжал:

– Как старушка прошла, мне и вступи в голову такая история: одной ведь теперь похоронной процессии не хватает... отошел от окна я, а все думаю: и ты, брат, помрешь... ну, и все в этаким роде. А потом думаю: да кто мы все такие, живые, ходящие и говорящие? Не только, что трупы созревающие, вроде как яблоки на сучке, а и есть еще во всем этом какая-то страшная простота...

Перед двумя последними словами голос его пресекся от возбуждения. Я напряженно слушал.

– Все это, – продолжал он, – аппетита моего не испортило. Пообедав, с наслаждением даже в гамаке лежал... А как подошла ночь, хоть караул кричи, – схожу с ума, да и все тут!..

Жалкая улыбка застыла на его судорожно сосредоточенном, вспотевшем лице. Вытащив носовой платок и сморкаясь, он продолжал смотреть мне в лицо тем же пристальным, остоле-

невшим взглядом.

Я невольно улыбнулся: эта маленькая деталь, носовой платок, вдруг разрушила немного жуткое впечатление, произведенное на меня странным, чего-то испугавшимся человеком. Но он стал рассказывать дальше, и скоро я снова почувствовал себя во власти острого, болезненного любопытства. Еще не зная в чем дело, я, кажется, уже готов был поверить этому человеку, оставляя под сомнением его ненормальность.

Он спрятал платок и продолжал:

– До вечера был я спокоен... Веселый даже ходил... ну, отправляясь спать, в садик вышел по обыкновению, посмотреть, папироску выкурить. Тихо, звезды горят как-то по-особенному, не мягко и ласково, а раздражают меня, тревожат...

Сижу, думаю... О чем? О вечности, смерти, тайне вселенной, пространстве... ну, обо всем, что в голову после сытного ужина и крепкого чаю лезет... Философов вспоминаю, теории разные, разговоры... И вспомнилась мне одна вещь, еще со времен детства... Тогда я сильно гордился тем, что, так сказать, собственным умом дошел. Вот как я рассуждал: бесконечное количество времени прошло, пока «я» не появился... Ну-с, умираю я, и допустим, что меня совсем не было... И вот – почему в пределах бесконечности я снова не могу появиться? Я немного сбивчиво, конечно... но пример... такой... чистый лист бумаги, скажем, вот. Беру карандаш, пишу – 10. А вот – взял и стираю совсем, начисто... И что же! Беру карандаш снова и снова «10» пишу. Понимаете – 1 и 0.

Он замолчал, перевел дух и вытер рукавом капли пота, мирно блестевшие на его измученном лысом черепе.

– Продолжайте, – сказал я, – и не останавливайтесь. В таких случаях лучше рассказать сразу, это легче.

– Да, – подхватил он, – я... и... ну, не в этом дело... Так вот. Мысли мои вертелись безостановочно, как будто вихрь их какой подхватил... И вот здесь, в первый раз, мне пришла в голову ужасная мысль, что можно узнать все, если...

– Если? – подхватил я, видя, что он вдруг остановился.

Он ответил шепотом, торжественным и удрученным:

– Если думать об этом безостановочно, не боясь смерти.

Я пожал плечами, сохраняя в лице вежливую готовность слушать далее. Пациент мой судорожно завертелся на стуле, очевидно, уколотый.

– Невероятно? – воскликнул он. – А что, если я вам такую перспективу покажу: вы, вот вы, доктор, сразу, вдруг, сидя на этом кресле, вспомните, что есть бесконечное пространство?.. Хорошо-с... Но вы ведь мыслите о нем со стенками, вы ведь стенки этому пространству мысленно ставите! И вдруг нет для вас ничего, стенок нет, вы чувствуете всем холодом сердца вашего, что это за штука такая – пространство! Ведь миг один, да-с, а этот самый миг вас насмерть уложить может, потому что вы – не приспособлены!..

– Возможно, – сказал я. – Но я себе не могу даже и представить...

– Вот именно!.. – подхватил он с болезненным торжеством. – И я не представил, но чувствую, – и он стукнул себя кулаком в грудь, – вот здесь ношу чувство такое, что, как только подумаю об этом пристально, не отрываясь, – пойму... А поняв – умру. Вот давеча я просил вас слова «мат в три хода» крикнуть, если я руку подыму... Все это оттого, что вы мне этими самыми словами в критический момент, когда оно начнет уже подступать, – другое направление мыслям сразу дадите.

А задачу эту в три хода я выудил, когда еще журнальчик один выписывал. Я ее, голос ваш услышав, – и начну с места в карьер решать... Так вот-с... сижу я, вдруг, слышу, жена меня с крылечка зовет: «Миша!». А я слышу, что зовет, но отвечать ей, представьте себе, не могу, – сковало мне язык, и все тут... Потом уж я догадался, в чем тут штука была: настроение у меня было в момент этот, так сказать, самое неземное, редкое даже настроение, а тут нужно о деле каком-нибудь домашнем разговаривать, пустячки разные. Молчу я. Второй раз зовет: «Миша-а! Уснул, что ли, ты?» Тут я разозлился и сказал ей, извините, вот эти самые грубые слова: «Пошла к черту!» Хорошо-с. Ушла она. И так мне грустно стало после этого, что и не расскажешь. Пой-

ду, думаю, спать. Разделся, лег, а все не спится мне, круги разные мелькают, мухи светящиеся бегают... А сердце, надо вам сказать, у меня давно не в порядке... Вот и начало оно разные штуки выделять... То остановится, то барабанным боем ударит, да так сильно, что воздуха не хватает... Страх меня взял, в жар бросило... Умираю, думаю себе... И как это подумал, поплыла кровать подо мной, и сам я себя не чувствую... Ну, хорошо. Прошло это, опомнился... однако спать уже не могу... Мысли разные бегут, бегут как собаки на улице, разные образы мелькают, воспоминания... Потом, вижу, девочка идет утренняя, за ней барышня, потом старуха... вся эта процессия, как живая, движется... И только, знаете, мысль моя на этой старухе остановилась, как задрожал я и закричал во весь голос: чувствую, один поворот мысли, и пойму, понимаете, – пойму и разрешу всю загвоздку смерти и жизни, как дважды два – четыре... И чувствую, что, как только пойму это, в тот же самый момент... умру... не выдержу.

Он замолчал, и показалось мне, что сама комната вздохнула, шумно и судорожно переводя дыхание. Белый, как известь, сидел передо мной испуганный человек, не сводя с моего лица стеклянных, вытаращенных глаз. И вдруг он поднял, вытянув вверх, руку, старательным, неуклюжим движением, – знак подступающего ужаса, – руку с крахмальной манжеткой и бронзированной запонкой.

И было, должно быть, в этот момент в комнате двое сумасшедших – он и я. Его паника заразила меня, я растерялся, забыв и «мат в три хода», и то, что значила эта беспомощная, выброшенная вверх рука с желтыми пальцами. Без мыслей, с одним нестерпимо загоревшимся желанием вскочить и убежать, смотрел я в его медленно уходящие в глубь орбит глаза, – маленькие, черные пропасти, потухающие неудержимо и бесцельно...

Рука опускалась. Она лениво согнулась сначала в кисти, потом в локте, потом в предплечье, всколыхнулась и тихо упала вниз, мягко хлопнув ладонью о сгиб колена.

Испуг возвратил мне память. Я вскочил и крикнул размеренным, твердым голосом, стараясь не показаться смешным самому себе:

– Лейпциг! Международный турнир! Мат в три хода!

Он не пошевелился. Мертвый, с успокоившимся лицом, залитый электрическим светом, – он продолжал неподвижно и строго смотреть в ту точку над спинкой моего кресла, где за минуту перед этим блестели мои глаза.

Маленький заговор

I

– Садитесь, поговорим, – ласковым голосом сказал Геник, подвигая стул очень молодой девушке, на вид не старше семнадцати лет. – Мне поручено объясниться с вами и, что называется, – во всех деталях.

Гостья застенчиво улыбнулась, села, оправляя коричневую юбку тонкими, слегка задрожавшими пальцами, и устремила на Геника пристальные большие глаза, темные, как вечернее небо. Геник мысленно побарабанил пальцами, оседлал другой стул и спросил:

– Как меня нашли?

– Я вас отыскала скоро... Хотя вы живете в таком глухом углу... Я даже улицы такой раньше не знала.

– Улицу эту выстроили специально для меня! – пошутил Геник. – Смею вас уверить.

– Еще бы! – слабо улыбнулась она. – Для нас с вами другие места приготовлены.

– Каркайте, каркайте... Что же – улицу через прохожих отыскиали?

Девушка отрицательно покачала головой.

– Нет, – поспешно сказала она, – мне объяснил Чернецкий, что улица эта выходит в числе прочих на Армянскую. Я ее всю и прошла, в самый конец.

Геник сделал серьезное лицо.

– Это хорошо! – заявил он, одобрительно кивая. – Всегда нужно стараться как можно

меньше расспрашивать прохожих. Особенно в деле особой важности.

Девушка с уважением окинула глазами небрежно оседлавшую стул, худую и коренастую фигуру Геника. Даже и эту тонкость он считает важной – должно быть, замечательный человек.

– Ваше имя – Люба? – спросил юноша.

– Да.

Наступило короткое молчание. Девушка рассеянно оглядывала комнату, пустую и неудобную, где, кроме пунцовой розы, алевшей на столе в дешевом запыленном стакане, не на чем было остановиться и отдохнуть глазу. В широкое, настежь отворенное окно, вместе с теплым ветром и шелестом цветущей черемухи, плыл солнечный свет, щедро заливая грязные обои голых стен пыльно-золотистыми пятнами, на фоне которых, беззвучно и неуловимо, как ночные бабочки в свете лампы, – трепетали мелкие, пугливые тени ветвей и листьев, глядевших в окно.

Стол был пуст – ни книг, ни брошюр. Видимый печатный материал валялся на полу, в образе скомканной газеты. В углу – чемодан, койка более чем холостого вида и тяжелая дубовая трость. Зато пол был щедро усеян окурками и спичками.

– Нам, пожалуй, серьезно придется сейчас беседовать... – сказал Геник, рассматривая девушку. – Вы, конечно, против этого ничего не имеете?

Люба расширила глаза и нервно повела плечами. Странно даже спрашивать об этом.

– Что же я могу иметь? – тихо и вопросительно проговорила она. – Чем серьезнее, тем лучше.

Последние слова прозвучали просьбой и, отчасти, задором молодости. Лицо Геника стало непроницаемым; казалось, оно потеряло всякое выражение. Он сильно затянулся папиросой, окружая себя голубыми клубами дыма, и сказал уже совсем другим, твердым и отчетливым голосом:

– Хорошо.

Люба ждала, молча и неподвижно. Глаза ее прямо, с покорностью ожидания, смотрели на Геника.

– Хорошо! – повторил он медленнее и как бы в раздумье. – Так вот что, Люба, для удобства и большей продуктивности разговора, мы сделаем так: я буду спрашивать, а вы отвечать... Идет?

– Все равно, – сказала девушка, напряженно улыбаясь. – Это как на допросе.

– Ну, да... Видите ли – это, по некоторым соображениям, важно для меня.

Люба молча кивнула головой.

– Да. Так вот: скажите, пожалуйста, – сколько вам лет?.. Это нескромно, но, надеюсь, вам не более двадцати, так что, – мы, конечно, не рассоримся.

– В августе будет восемнадцать... – слегка покраснев, сказала девушка. – А что?

– Хм...

Новые клубы дыма и новый окурочок на полу. Геник достал и зажег свежую, третью по счету, папиросу.

– Я так боялась этого! – тихим, срывающимся голосом заговорила Люба, и ее лицо, правильное и нежное, внезапно покрылось розовыми пятнами. – Того... что... может быть... моя молодость... может там... помешать, что ли... но...

Геник досадливо махнул рукой.

– Что молодость? – с неудовольствием перебил он. – Не в молодости дело... А в вас самих... Но, однако, мы уклонились... Скажите – сколько человек в вашем семействе? И кто они?

– Четверо, – неохотно, удивляясь тому, что ее спрашивают о таких, совершенно посторонних вещах, сказала девушка. – Мама... я... папа, потом сестры две...

– Старше вас?

– Нет... где же старше... Еще гимназистки...

– И вы ведь, Люба, учились в гимназии?

– Я? Училась...

– Д-аа... – Геник вздохнул и уставился через открытое окно в сад: – Все мы вкушали когда-то от этой премудрости. У меня есть братишка, маленький глупый человек. Так вот он пришел однажды из класса и начал с чрезвычайно сосредоточенным и мрачным видом колотить ногами

о дверь. Я его и спрашиваю: «Ты, Петька, что делаешь?» А он скорчил свирепое лицо и говорит: «Прах от ног своих отрясаю».

Люба задумчиво улыбнулась, не сводя с Геника больших, наивно-серьезных глаз, и медленно наклонила вперед голову, как бы приглашая говорить дальше. Геник обождал несколько мгновений и перешел в деловой тон.

– Ко мне вас направил Чернецкий? – спросил он, сосредоточенно грызя ногти.

– Да...

– Он рассказал мне о вас все! – заявил Геник, отрываясь взглядом от ровного, чистого лба девушки. – По общему мнению... у нас, видите ли, было совещание... вам решено не препятствовать и... помогать...

Люба заволновалась и нервно покраснела до корней волос. Краска быстро залила маленькие уши, высокую, круглую шею и так же быстро отхлынула назад к сильно забившемуся сердцу.

Она так боялась, что ее заветная мечта не исполнится. Но грозный момент, очевидно, придвигался и теперь стал перед ней лицом к лицу в этой убогой, обыкновенной на вид и жалкой комнате.

Геник встал, шумно отодвинул стул и зашагал от стола к двери. Люба механически следила за его движениями, желая и не решаясь спросить: что дальше?

– Не связаны ли вы с кем-нибудь? – быстро и немного смущаясь, спросил Геник. – Нет ли для вас чего-нибудь дорогого?.. Семья, например... – Он не пожалел о своих словах, хотя мгновенная неловкость и боль, сверкнувшие в глазах девушки, сделали молчание напряженным. Геник повторил, тихо и настойчиво:

– Так как же?

– Я, право... не знаю... – с усилием, краснея и ежась, как от холода, заговорила она. – Нужно ли это... спрашивать... Я же сама... пришла.

– Вы вправе, конечно, недоумевать, – сказал, помолчав, Геник, – но, уверяю вас... Хотя, впрочем... Вам отчего-то трудно говорить об этом... хорошо, но скажите мне, пожалуйста, только одно: у вас нет близкого человека, кроме... ваших родных?

Он остановился посередине комнаты, ожидая ответа с таким видом, как если бы от этого зависело все дальнейшее течение дела. Люба подняла на него растерянный взгляд, снова покраснела и смешалась. По дороге сюда мечталось о чем угодно, кроме этого непонятного и мучительного вопроса.

– Я потому спрашиваю, – сказал Геник, желая вывести девушку из затруднения, – что нам нужно знать, будет ли у вас кому ходить в тюрьму, в случае... Если «да», то кивните, пожалуйста, головой.

Кивок этот, хотя Люба его и не сделала, он угадал по опущенным, неподвижно застывшим ресницам. Через мгновение она снова подняла на него свои темные, с ясным голубым отливом глаза.

Ветер мягко стукнул оконной рамой и шевельнул брошенную на пол газету. Геник подошел к окну и сейчас же отошел прочь. Люба вздохнула, нервно стиснула хрустнувшие пальцы и выпрямилась.

– Так, значит, вам не жалко жизни? – равнодушно, полуспрашивая, полуутверждая, сказал Геник. – А?

Люба облегченно рассмеялась углами рта. Слава богу, – вопросы о домашних делах покончены. Хотя странный, немного торжественный в своем равнодушии тон Геника по-прежнему держал ее настороже... Она отбросила за ухо темные непокорные волосы и сказала:

– Как жалко? Я не знаю... А вам разве не жалко?

Девушка нетерпеливо задвигалась на стуле, и меж тонких бровей ее мелькнула легкая, досадливая складка. Если Геник желает болтать, может выбрать другое место и время. А ей тяжело и совсем не до разговоров.

Он же, казалось, вовсе не спешил удовлетворить ее нетерпение. Широкая спина Геника неподвижно чернела у окна, загораживая свет, и только дым шестой папиросы, улетаая в сад, по-

казывал, что это стоит живой, задумавшийся человек.

В комнате напряженно бились две мысли, и маятник дешевых стенных часов, казалось, равнодушно отбивал такт неясным, упорным словам, таинственно и быстро мелькавшим в мозгу. Наконец Геник отошел в глубину комнаты, снова уселся верхом на стул и спросил громким, неожиданно резким голосом:

– Твердо решаетесь?

– Да! – безразлично, с поспешностью утомления сказала девушка.

Глаза ее встрепенулись и загорелись. Казалось – новая волна внутреннего напряжения поднялась в этот пристальный, ждущий взгляд и нервным толчком хлестнула в лицо Геника.

– Теперь вот что... – заговорил он, смотря в сторону. – Вы, значит, поедете за сто верст отсюда в ***ск...

Лицо Любы отразило глубокое недоумение.

– Простите, я не понимаю... – нерешительно сказала она, понижая голос. – Ведь... Мне Чернецкий сказал, что все здесь... что все готово и... завтра вечером... Также, что от вас я узнаю все инструкции и получу...

Геник с досадой бросил папиросу.

– Вы слушайте меня! – резко, почти грубо перебил он и, заметив, что Люба вспыхнула, добавил более мягко: – Положение изменилось. Фон-Бухель уехал сегодня утром и приедет только через месяц.

Девушка молча, устало кивнула головой.

– Этот месяц вы проживете там и будете держать карантин. Что такое карантин – вы знаете или нет?

– Да, я слышала что-то... изоляция, кажется?

– Вот... Жить будете по чужому паспорту... Я вам его сейчас дам. Никаких знакомств. Переписываться нельзя...

– А если...

– Постойте... Вот вам адрес; запомните его и не записывайте ни в каком случае: Тверская, дом 14, квартира 15. Марья Петровна Кунцева.

Она подняла глаза к потолку и по гимназической привычке зашевелила губами, стараясь запомнить. Потом слабо улыбнулась и сказала:

– Ну, вот. Готово...

– Прекрасно, Люба. Так вот, я даже не буду вас наставлять разным конспиративным тонкостям. Там вам все расскажут, устроят и прочее. Приехав, вы скажете лично, самой Кунцевой, следующее: «Я от Геника».

– «Я от Геника», – с уважением к человеку, имя которого отворяет двери, прошептала девушка. – Только... ради бога... зачем я должна ехать?

– Видите ли, – с сожалением пожал плечами Геник, – так решено комитетом... Вы здешняя, и всякие следы ваших с нами сношений должны быть уничтожены. Поняли?

– Да. – Люба весело кивнула головой. – Значит, все-таки выйдет. Я так счастлива...

Геник неопределенно крикнул и хотел сказать что-то, но раздумал. Глаза девушки, блестящие странным, тихим светом, удержали его.

– Поезд идет сегодня вечером в 10 часов, – сказал он, помолчав, усталым и решительным голосом. – Видеться вам с кем-нибудь перед отъездом решительно нет никакой необходимости...

– Так сегодня? – удивилась Люба. – Так скоро?..

– Ну, вот что! – рассердился Геник. – Если вы хотите, то знайте, что от того, уедете ли вы сегодня или нет – зависит все... Я вам сказал.

– Я еду, еду! – поспешно, с растерянной улыбкой сказала девушка. – Хорошо...

Наступило молчание. Портсигар Геника опустел. Он с треском захлопнул его и встал. Люба тоже встала и сделала движение к столу, где лежала ее шляпа.

– Постойте! – вспомнил Геник. – А деньги? Вот, берите деньги.

Он вынул кошелек и протянул, не считая, несколько бумажек. Девушка спокойно спрятала

их в карман. Она брала их не для себя, а для «дела».

– Вот и паспорт...

– Спасибо... вам...

Голос ее слегка дрогнул, а затем Люба сделала маленькое усилие, сжала губы и спокойно посмотрела на Геника.

Нет, он решительно не в состоянии выносить этот напряженный голубой взгляд. Стукнуть стулом, что ли, или прогнать ее? Геник деланно зевнул и сказал, холодно улыбаясь:

– Ну, вот и все. Так идите теперь и... постарайтесь не опоздать на поезд.

– Спасибо! – повторила девушка и, схватив тяжелую руку Геника, слабо, но изо всех сил стиснула ее маленькими, теплыми пальцами.

– Ну, что там! – пробормотал Геник, опуская глаза и чувствуя, что начинает злиться. – Всего хорошего...

Люба направилась к двери, но у порога остановилась, провела рукой по лицу и спросила:

– А... как вы думаете... удастся... или нет?

– Удастся! – резко крикнул Геник, толкнув ногою стул так, что он перевернулся и с треском ударился в стену. – Удастся! Вас избыют до полусмерти и повесят... Можете быть спокойны.

Он поднял злые, заблестевшие глаза и встретился с грустным, сконфуженным взглядом. Люба не выдержала и отвернулась.

– Мне не страшно, – услышал Геник ее слова, обращенные скорее к себе, чем к нему. – А вы, кажется, в дурном настроении.

Он стоял молча, засунув руки в карманы брюк и разглядывая носки своих собственных штиблет с упорством помешанного. Люба подошла к двери, отворила ее и, уходя, бросила последний взгляд на мрачную фигуру.

Теперь глаза их снова встретились, но уже иначе. Геник улыбнулся так ласково и задушевно, как только мог. Что-то ответное тепло и просто блеснуло в лице девушки. Она тихо, молча поклонилась и ушла, небрежно встряхнув длинной, русой косой.

II

Когда стало темнеть, Чернецкий зажег лампу и посмотрел на часы. Было ровно десять. С минуты на минуту должен придти Геник: он аккуратен, как аптечные весы, между тем никого еще нет. Это довольно странно. Шустеру и другим следовало бы знать, что дело касается всех.

Он хотел еще как-нибудь, сильнее выразить свое неудовольствие, но в этот момент пришел Маслов. Скинув летнее пальто и шляпу, Маслов осторожно погладил свою черную, иноческую бородку, прошелся по комнате, нервно потирая руки, и сел. Чернецкий вопросительно посмотрел на него, удержал беспричинную, судорожную зевоту и выругался.

– Что такое? – тихо спросил Маслов.

Голос у него был грудной, но слабый, и каждое слово, сказанное им, производило впечатление замкнутого, трудного усилия.

– Не люблю опозданий! – ворчливо заговорил Чернецкий. – Это провинциализм и, кроме всего, – неуважение к чужой личности.

– Что же, – меланхолично заметил Маслов, – ведь Геника еще нет. К тому же публика стала осторожнее, избегает, например, подходить кучкой.

– Все равно... Чаю хотите?

– Чаю! – вздохнул Маслов, отрываясь от своих размышлений. – Что? чаю? Ах, нет... Сейчас нет... Разве, когда все...

– Вы о чем, собственно, думаете-то? – громко спросил Чернецкий, вставая с дивана и усаживаясь против товарища. – А?

Маслов сморщил лоб, отчего его бледное, цвета пожелтевшего гипса, лицо приняло старческое выражение, и рассеянно улыбнулся глубокими, черными глазами.

– Думаю-то? Да вот, все об этом же...

Он пошевелил губами и прибавил:

– Не выйдет...

– Что – не выйдет? А ну вас, каркайте больше! – равнодушно сказал Чернецкий. – Выйдет.

– Не выйдет! – с убеждением повторил Маслов, усмехаясь кротко и жалостно, как будто неудача могла оскорбить Чернецкого. – Есть у меня такое предчувствие. А впрочем...

– Гадать здесь нельзя, не поможет! – хмуро сказал Чернецкий. – Я вот верю в противное.

Вошел Шустер, толстый, рябой и безусый, похожий на актера человек. Сел, тяжело отдуваясь, погладил себя по колену и захрипел:

– Областника нет?

– Геника ждем с минуты на минуту! – сказал Чернецкий. – Что грустишь?

Шустер механически потрогал пальцами маленький, ярко-красный галстук и хрипнул, досадливо дергая шеей, втиснутой в узкий монополь:

– Дело дрянь.

Чернецкий вздрогнул и насторожился.

– Что «дрянь»? – спросил он быстро, пристально глядя на Шустера.

– Да... там... – Толстяк махнул рукой и поднял брови. – Выходит путаница с забастовкой... Уврие сами хотят... свой комитет и автономию...

– Скверно слышать такое, – сказал Чернецкий, – и как раз... Ну, что слышно все-таки?

– Ничего не слышно! – прохрипел Шустер. – Вчера фон-Бухель кутил в загородном саду. На эстраде пьянствовал с офицерами и женой.

– Кутил? – почему-то удивился Маслов, покусывая бороду.

Никто не ответил ему, и он снова впал в задумчивость. Чернецкий заходил по комнате, изредка останавливаясь у окна и круто поворачиваясь. Шустер вздохнул, насторожился, услышав быстрый скрип отворяемой двери, и сказал:

– Вот и Геник.

Геник вошел спокойными, отчетливыми шагами, как человек, вообще привыкший опаздывать и заставлять себя дожидаться. Одет он был слегка торжественно и даже как будто с ненужной излишней чопорностью в черный, щегольской костюм. Загорелое, невыразительное лицо Геника от яркой белизны воротничка, стянутого черным галстуком, сделалось задумчивее и строже. Впрочем, менялся он каждый день, и нельзя было определить, отчего это. Но почему-то всегда казалось, что сегодняшний Геник – только копия, и непохожая, с его наружности в прошлом.

Все оживились, как будто с приходом нового человека исчезла неопределенность и пришла ясная, полная уверенность в успехе дела, о котором говорилось до сих пор шепотом, с глаза на глаз, говорилось с огромным напряжением и подозрительной пытливостью ко всем, даже к себе.

Геник встал, неопределенно и замкнуто улыбаясь, но, когда сел, улыбка исчезла с его лица. Он вынул платок, без нужды высморкался и громко спросил:

– Хозяин, а чаю для благородного собрания дадите?

– Дам, – поспешно ответил Чернецкий, – но не лучше ли сперва, Геник, выяснить положение... т. е., чтобы вы нам рассказали, – как и что... а потом уже все мы занялись бы, так сказать, общими разговорами...

– Ну, все равно... Рассказ мой, хотя будет невелик... – Геник положил одну ногу на другую и закурил. – Вот что, товарищи: дело, что называется, – в шляпе...

Серые глаза Шустера мельком остановились на слегка вздрагивающих пальцах Геника, неуловимо прыгнули и перешли к сухим, полузакрытым губам, сдерживающим нервное, частое дыхание. Он взял его, полусуто, полусерьезно, за руку, зажмурился и сказал:

– Какие мы нервные, однако. Вроде салонной барышни. Что, Геник, конспирация – чугунная вещь, а? Как ты думаешь?

Шустер был со всеми на «ты», даже с женщинами. Геник неохотно рассмеялся и отнял руку.

– Ну, это потом... – сказал он и прибавил другим, тихим, слегка сдержанным голосом: – Так вот. Дело это представляется в таком виде...

Тишина сделалась полной и жадной. Казалось, что в трех головах сразу остановилась работа мысли и вспыхнуло напряженное нетерпение услышать слова, фразы и бешено поглотить эту новую, еще неизвестную пищу так же полно и ненасытно, как пересохшая июльская глина впитывает неожиданную влагу дождя.

Маслов закрыл глаза ладонью и застыл так, слушая. Геник продолжал:

– Мне понравилась эта девушка, Люба. Я нашел, что она человек, подходящий во всех отношениях.

Чернецкий удовлетворенно наклонил голову.

– Да! – вздохнул Геник, потирая лоб. – По крайней мере – я так думаю. Это – из потрясенных натур.

– Она верит! – убежденно сказал Чернецкий. – Когда я познакомился с ней, мы долго беседовали... Даже странно и неожиданно было – такая глубокая, мучительная жажда подвига, рыцарства... Но, впрочем, сейчас не в этом дело.

– Вот именно! – подтвердил Геник, рассматривая стену. – Глубокая и тихая натура. Из тех, что переживают в себе. В ней много, вообще, полезных качеств и...

– Пощади уши нашего терпения! – захрипел Шустер, беспокойно ворочаясь на стуле. – Ты расскажи нам, как вышло...

– Пусть уши твоего терпения подрастут немного! – сердито улыбаясь, перебил Геник. – Я не нуждаюсь в понуканиях.

Шустер вопросительно посмотрел на Маслова и неловко замолчал. Геник побарабанил пальцами по столу.

– Да, – сказал он, – так вот. Девушка во всех отношениях подходящая. Во-первых, послушна, как монета...

Его пристальный взгляд обошел товарищей и вернулся в глубину орбит. Никто не пошевелился; напряженное молчание заражало Геника смутным, тяжелым беспокойством. Но, задерживая объяснение и от этого раздражаясь еще больше, он продолжал:

– Во-вторых – у нее есть конспиративный инстинкт, что тоже очень выгодно...

– Да, это хорошо, – сказал Маслов.

– В-третьих – девушка с характером...

Снова молчание. За окном выросли пьяные голоса и затихли, шатаясь в отдалении унылыми, скучными звуками.

– В-четвертых, – продолжал Геник, – она твердо и бесповоротно решила...

– Да? – спросил Чернецкий, и в голове его зазвучало радостное, нервное оживление. – Вы сумели на нее подействовать, быть может? Хотя нет, я ее достаточно знаю... А все-таки – решающий момент... это ведь... Многие отступали.

Геник внимательно выслушал его и, рассматривая кончики пальцев, сказал медленно, но ясно:

– Я разговорил ее.

Маслов опустил руку и недоумевающе смигнул. Шустер задержал дыхание и насторожился, думая, что ослышался. Но Чернецкий продолжал спокойно сидеть, и по лицу его было видно, что он еще далек от всякого понимания.

Геник молчал. Глаза его сощурились, а левая бровь медленно приподнялась и опустилась.

– Что вы сказали? Я вас не понял, – сдержанно заговорил Чернецкий. – От чего вы ее разговорили?

– Я отговорил ее от стрельбы в фон-Бухеля! – неохотно, с блуждающей улыбкой в углах рта, повторил Геник. – Я, надеюсь, достаточно понятно сказал это.

– Да что вы! – вскрикнул Чернецкий с тонким, растерянным смехом. – Проснитесь. Что вы сказали?

– Ну, Геник, ерундишь, брат! – захрипел Шустер, краснея и тяжело дыша. – Какого черта, в самом деле!..

Все трое в упор, широко раскрытыми, готовыми улыбнуться шутке глазами смотрели на Геника, и вдруг маленькая, хмурая складка между его бровей дала понять всем, что это факт.

Сразу после тишины, нарушаемой только сдержанными, спокойными голосами, поднялся беспорядочный, крикливый и возбужденный шум. Маслов махал руками и пытался что-то сказать, но ему мешал Чернецкий, кричавший высоким, удивленным голосом:

– Дикая вещь!.. Вы в здравом рассудке или нет? Придти и говорить нам, да еще с каким-то издевательством?! Это... Кто вас просил за это браться, скажите на милость? Возмутительно! Что вы – диктатор?!

– Господи! Чернецкий! – вставил Маслов раздраженно зазвеневшим голосом, болезненно морщась от крика и общего возбуждения. – Да дайте же Генику... да Геник... Это что-нибудь не то, слушайте...

– Да послушайте вы меня! – Геник встал и сейчас же сел снова. – Слушайте, и во-первых, и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых – я Аверкиеву отговорил. Да. Я ее отговорил. Вот и все. Но что же из этого? А, впрочем, мне все равно... Это ясно. Если хотите сердиться, – пожалуйста...

– Да что ясно? – вскипел Чернецкий, волнуясь и дергаясь всем телом. – Что вам все равно? Действительно! Но каким образом? Зачем?

– Пойдите же! – отмахнулся рукой Маслов и встал. – Почему вы, Геник, взяли на себя труд за нас решить этот вопрос? И отговорили. Вот, объясните нам, пожалуйста, это... – добавил он глухим, настойчивым голосом.

Геник молчал, и казалось, что он колеблется – говорить или нет. Странное, беспорядочное молчание сделалось общим и напряженным, как будто каждый из трех в упор смотревших на Геника людей ждал только первого его слова, чтобы зашуметь, возразить и высказаться. Наружно Геник сохранил полное равнодушие и, подумав, холодно сказал:

– Я объясню. Я объясню... Конечно... Странно было бы, если бы я не объяснил...

Он курил, подбирая слова, и, наконец, с хорошо сделанной небрежностью начал:

– Эта маленькая...

Но сбился, внутренне покраснел и умолк. Потом вздохнул, подавил мгновенное, колющее ощущение неловкости, как если бы собирался раздеваться в присутствии малознакомых людей, и заговорил чужим, негромким и неуклюжим голосом.

И первые же его слова, первые же мысли, высказанные им, наполнили трех революционеров тем самым чувством неловкого, колющего недоумения, которое за минуту перед этим родилось и угасло в душе Геника. Впечатление это было родственно и близко ощущению человека, пришедшего гостем в хороший, фешенебельный дом и вдруг увидевшего среди других гостей и знакомых уличную проститутку, приглашенную к обеду, как равная к равным. То же смешливое, досадливое и бессильное сознание неуместности и ненужности, любопытства и подозрительности. Чем дальше говорил Геник, тем более росло недоумение и сарказм, глубоко запрятанный в сердцах маской застывшей, холодной и деланно-внимательной полуулыбки. Каждый из трех, слушая Геника, судорожно хватался за возражения и неясные, всполохнутые мысли, вспыхивающие в мозгу, бережно держался за них и с нетерпением, доходящим до зуда в теле, ожидал, когда кончит Геник, чтобы разом, рванувшись мыслью, затопить и обезоружить его новую, странную и неуместную логику. Маслов слушал и понимал Геника, – но не соглашался; Чернецкий понимал – но не верил; Шустер просто недоумевал, бессознательно хватаясь за отдельные слова и фразы, внутренне усмехаясь чему-то неясному и плоскому.

–...Но ей восемнадцать лет... Я не знаю, как вы смотрите на это... но молодость... то есть, я хочу сказать, что она еще совсем не жила... Рассуждая хорошенько, жалко, потому что ведь совсем еще юный человек... Ну... и как-то неловко... Конечно, она сама просилась и все такое... Но я не согласен... Будь это человек постарше... взрослый, даже пожилой. Определенно-закостенелых убеждений... Человек, который жил и жизнь знает, – другое дело... Да будет его святая воля... А эти глаза, широко раскрытые на пороге жизни, – как убить их? Я ведь думал... Я долго и сильно думал... Я пришел к тому, что – грешно... Ей-богу. Ну хорошо, ее повесят, где же логика? Посадят другого фон-Бухеля, более осторожного человека... А ее уже не будет. Эта маленькая зеленая жизнь исчезнет, и никто не возвратит ее. Изобьют, изувечат, изломают душу, наполнят ужасом... А потом на эту детскую шею веревку и – фюить. А что, если в последнее

мгновение она нас недобрым словом помянет?

Геник замолчал и поднял на товарищей блестящие, полузакрытые глаза. Он был взвинчен до последней степени, но сдерживался, стараясь говорить ровно и медленно. Оттого, что сказанное им скользило лишь на поверхности его собственного сознания, не вскрывая настоящей, яркой и резкой сущности передуманного, в груди Геника запылало глухое бешенство и хотелось сразу отбросить всякую осторожность, сказать все.

– Ну-ну!.. – Чернецкий широко развел руками и насмешливо улыбнулся. – Ну, батенька, – завинтили!.. Фу, черт, даже и не сообразишь всего, как следует... Да вы кто такой? Позвольте узнать, кто вы такой, в самом деле? Ведь я, – он повысил голос, – ведь я думал, представьте, что вы партийный человек, революционер!.. Но тогда нам не о чем разговаривать! Да, наконец, не в этом дело, черт возьми! Зачем вы сами, зачем вы выскочили с вашим посредничеством? Кто вас просил, а? Вас совесть замучила, – так предоставьте другим делать свое дело. Соломон Премудрый!.. А вы идите себе с богом в монахи, что ли... или в толстовскую общину... да!..

– Вы сдерживайтесь, Чернецкий... – сказал Маслов. – Геник, ваши взгляды – это ваше личное дело и нас не касается. Но почему все это сделано под сурдинку? Почему это тайно, не товарищески, с какой-то заранее обдуманной задней мыслью?

Геник упорно молчал, постукивая ногой. Все равно, если и объяснить, ничего не будет, кроме нового взрыва неудовольствия. Шустер задумчиво улыбался и тер колено рукой, исподлобья поглядывая на Геника. Чернецкий подождал немного, но, видя, что Маслов молчит, заговорил снова, резко и быстро:

– Вы думаете, что раз вы представитель областного комитета, так вам все позволено? Нет! А по существу... смешно даже!.. Мы в осаде, мы на позиции, мы вечно должны бороться с опасностью для жизни за наше собственное существование... За то, чтобы напечатать и распространить какую-нибудь бумажку... Вы знаете, что сказал вчера фон-Бухель? Нет? А он сказал вот что: что он нас задушит, как мышей, сгноит, голодом уморит в тюрьме! Что же, ждать? А эти корреспонденции из деревень – ведь их без ужаса, без слез читать нельзя! Боже мой! Все было на чеку, были люди... Вы говорите, что ее могут повесить... Да это естественный конец каждого из нас! То, что вы здесь наговорили, – прямое оскорбление для всех погибших, оскорбление их памяти и энтузиазма... Всех этих тысяч молодых людей, умиравших с честью! А то – скажите пожалуйста!..

Чернецкий воодушевился и теперь, стоя во весь рост, гибкий и красивый, как молодое дерево, трепетал от сдержанного напряжения и бессильной, удивительной злости. Он был душою, инициатором этого маленького, провинциального заговора и говорил сейчас первое, что приходило на язык, чтобы только дать выход неожиданно загоревшемуся волнению.

Геник слушал, невинно улыбаясь. Чернецкий может говорить, что ему угодно. Нет, в самом деле! Недоставало еще, чтобы грудные младенцы ходили начиненные динамитом. Геник откинулся на спинку стула, стиснул зубы и решительно усмехнулся.

– Я слушаю, Чернецкий, – холодно сказал он. – Или вы кончили?

– Да, я кончил! – отрезал юноша. – А вот вы, очевидно, продолжать еще будете?

– Нет, я продолжать не буду, – спокойно возразил Геник, пропуская иронию товарища мимо ушей. – Я буду молчать. А потом... может быть, скажу... когда-нибудь...

– Жаль! – захрипел Шустер, вдруг краснея и грузно ворочаясь. – А нам интересно бы сейчас послушать тебя!

– Маслов! – удивленно и как-то обиженно воскликнул Чернецкий. – Вы что же? Что же вы молчите?

– Да что ж сказать? – болезненно усмехнулся Маслов. – Теоретически – наш товарищ Геник, конечно... прав. А практически – нет. Жизнь-то ведь, господа, – жестокая, немилостивая штука... Как ты ни вертись, а она все вопросы ставит ребром... Жалко; это верно, что жалко... Но почему же тогда каждого человека не жалко? Играя на жалости, мы можем зайти очень далеко... И крестьян жалко, и рабочих жалко, и невинно пострадавших тоже жалко... Почему же такое предпочтение? Потому, что это женщина? Геник, скажите откровенно, – если бы эта девушка была вам не симпатична, вы тоже так поступили бы?

Шустер неловко усмехнулся и сейчас же глаза его приняли деланно серьезное выражение. Чернецкий взглянул на Геника, но тот равнодушно сидел, сохраняя каменную, безразличную неподвижность лица и тела. Маслов продолжал:

– На молодости-то ведь и зиждется все. Именно молодые-то порывы тем и хороши, что они безумны... Геник нелогичен. Ни для кого не секрет, что наше участие в движении ведет ко многим разорениям, застоям в промышленности, к голоданию и обнищанию целых семейств... Отчего же здесь нет у нас жалости? Да потому, что это печальная необходимость... И как ни грустно, – приходится сказать, что одной необходимостью больше, одной меньше – все равно...

Маслов разгорячился, и его истомленное, бледное лицо покрылось беглым, лихорадочным румянцем, а глаза, пока он говорил, смотрели попеременно на всех присутствующих, как бы приглашая их кивком головы выразить свое сочувствие.

– А играя на необходимости, – возразил Геник, – мы можем зайти еще дальше. Там, где для вас «все равно», – должна прекратиться молодая, хорошая и светлая жизнь... Одно дело, когда результаты необходимых действий находятся где-то там... в тумане. И другое – когда сам присутствуешь при этом.

Тоска давила его. Он неожиданно шумно встал, надел шляпу и направился к выходу. Три пары глаз холодно и с недоумением следили за его движениями. Шустер сказал:

– Геник, ну это же непорядочно, наконец, – уйти, ничего не объяснив... Расскажи хоть, что она говорила, – Геник!..

Геник остановился, открыл рот, собираясь что-то сказать, но раздумал, толкнул дверь ногой и вышел.

Наступило длинное, гнетущее молчание, и казалось, что на лица, движения и предметы опустилась невидимая, вязкая паутина. В хорошо налаженную машину, в сцепления ее колес, зубцов и ремней попало постороннее тело, и механизм, пущенный в ход, остановился. Так чувствовалось всеми, сидевшими в этой комнате.

Первый нарушил молчание Чернецкий. То, что сказал он, было как будто и ненужно, и слишком поспешно, но раздраженная мысль подозрительно и упорно хваталась за все, что могло бы объяснить происшедшее не в пользу Геника. Чернецкий сказал:

– Дело это... сомнительное...

Удивления не последовало. Слишком каждый привык быть настороже и определять значение факта по тому, ясны его источники или нет. Но в данном случае думать так было неприятно. Маслов пожал плечами и заговорил, отвечая скорее на свои собственные мысли, чем на слова Чернецкого:

– Выходит, что я еще совсем не знаю людей... А ведь он три недели здесь и все время в работе. Кажется, уж можно было определить степень его уравновешенности. Одно из двух: или крайняя впечатлительность, или... полное внутреннее неряшество... какой-то вызов... Тяжело все это...

– Что ж кукситься? – захрипел Шустер. – Нужно сходить к Любе Аверкиевой и попросить ее сюда. Мы по крайней мере узнаем суть дела. А?

– Да! – сказал Чернецкий, бросаясь к вешалке. – Вы подождите... Я скоро...

Он ушел и пришел назад через полчаса, расстроенный и усталый. Люба уехала сегодня, не объяснив, куда и зачем, на десятичасовом поезде.

III

Шустер открыл дверь и удивился: в комнате было темно. Едва уловимые контуры обстановки выступали неровными, черными углами, а в глубине, против двери, синели квадраты оконных стекол, слабо озаренные огнем уличного фонаря.

Он постоял некоторое время, держась за ручку отворенной двери, шагнул вперед и, предварительно крикнув, спросил хриплым, неуверенным голосом:

– Геник здесь?

Мгновение тишины, и затем резко и коротко скрипнула невидимая кровать. Шустер насто-

рожился, подвигаясь ближе. Кровать заскрипела еще громче, и на еле заметном пятне подушки приподнялась темная человеческая фигура.

– Геник, ты? – повторил Шустер, подходя на цыпочках с расставленными руками, чтобы не задеть стул. – Темно у тебя...

– Ты зачем пришел? – раздался вдруг холодный грудной голос, и вошедший вздрогнул. – Что тебе надо?

Шустер опешил: такого приема он не ожидал. Подавив мгновенное неудовольствие, он сделал в темноте обиженное лицо и сказал:

– Если так, то я, конечно... уйду... Ты, конечно, вправе... но...

– Не болтай глупостей! – резко оборвал Геник, ворочаясь на кровати. – Говори толком: что?

– Как – «что»? – сказал Шустер, помолчав. – Я пришел к тебе от всех... Будет сердиться, Геник... Мы же товарищи и... и... Вообще...

– Ступай! – зевнул Геник, скрипя кроватью. – Ступай.

– Да погоди же ты, чудак. Ведь... Это оскорбительно.

Он замолчал, совершенно сбитый с толку. Геник тоже молчал, и тишина таилась только вокруг напряженного молчания двух людей. Шустер ободрился немного и продолжал:

– Ведь нельзя так, совершенно... без объяснения...

– Ты, я вижу, не хочешь уйти... – медленно, как бы обдумывая что-то, сказал Геник. – Значит, придется уйти мне.

– Геник, ради бога! – взволновался Шустер. – Ты пойми... Ну что же тут такого... Ну, произошло недоразумение... конечно, мы отчасти... то есть... но ведь и ты сам горячо принимаешь к сердцу... все это... эту историю... Конечно, мы были все немного увлечены и...

– Врешь! – жестоко возразил Геник. – Ты, толстый Шустер, врешь. Вы не упустили случая сделать мне неприятность, потому что я пошел против вас всех. Только это мелко, Шустер, мелко и некрасиво.

Шустер внутренне съезжился, но все же пробормотал:

– Ну, слушай, это простая случайность, что...

– Извини, пожалуйста! – рассердился Геник. – Письмо было адресовано именно мне и никому другому. Чернецкий – грамотный человек. Он не имел права читать его сам и показывать всем другим. Это не случайность, а нахальство.

– Я не знаю, видишь ли... – откашлялся Шустер. – Как сказать? Конечно, неосторожно... но... тебя не было и... мы не могли... то есть он, вероятно, подумал, что что-нибудь экстренное... да. И не нужно долго сердиться за это, Геник. Мало ли чего бывает, ведь...

– Не вертись! – злобно отрезал Геник. – «Мы, вы, я, он» – как это на тебя похоже. Каковы бы ни были личные отношения между нами, – читать чужие письма все же недопустимо. Хотя бы вы, черт вас подери, потрудились заклеить его! Или вложить в новый конверт. А теперь я это не могу рассматривать иначе, как вызов мне, да! И после этого они еще посылают тебя, дипломата с медвежьими ухватками! Даже смешно.

– Да ну же, – простонал Шустер, – плюнь ты на Чернецкого. Он знаешь... того... человек самолюбивый... План этот весь принадлежал ему... Конечно, – заторопился Шустер, услышав новый, чрезвычайно громкий скрип кровати, – он легкомысленно... это верно... но... так, все-таки... это было непонятно... отъезд Любы... твоё молчание... что он... так сказать... в порыве раздражения... гм...

– Так что же, – иронически спросил Геник, – ты извиняешься, что ли, предо мной? И что вам вообще от меня угодно?

– Мы все, – важно сказал Шустер, – желаем сохранить товарищеские отношения... Вопрос этот с твоей стороны странный... Я пришел, Геник, позвать тебя к... туда, где сейчас все... нужно же, наконец, выяснить и прекратить это... положение... Мы ведь не обыватели, которые... Иди, Геник! Право! Я уверен, что все уладится...

Геник поднялся с кровати и зашагал по комнате. Темная фигура его мелькала, как ночная птица, бесшумно и легко мимо Шустера, стоявшего у стены с тупым недовольством в душе. Он

усиленно напрягал зрение, но лица Геника не было видно, и Шустеру уже показалось, что раздражение товарища улеглось, как вдруг тот остановился против него и, наклонившись так близко к лицу гостя, что было слышно возбужденное, усиленное дыхание двух людей, сказал тихим, сдавленным голосом:

– Одно письмо я простил бы. Но я, Шустер, видел вчера твой красный галстук на соборной площади, когда ты шел за мной от рынка до завода.

Шустер вздрогнул и насильно засмеялся. Потом в замешательстве сунул руку в карман, снова вытащил ее и погладил волосы. Но тут же сообразил, что в комнате темно и что Геник не мог заметить внезапной краски, залившей шею и уши. Пожав плечами, он спрятал руки за спину и сказал:

– Я, право, перестаю тебя понимать... Кто шел за тобой? Я? Что за чепуха? Да и зачем, куда? Ты бредишь, что ли?

– Шустер... – протянул Геник, качая головой. – С твоей фигурой и опытностью в деле шпионажа лучше бы не браться за такие дела. Эх ты, тюлень!

– Ну, ей-богу же! – возмутился Шустер, оправляясь от смущения. – Это черт знает, что ты говоришь. Это свинство, наконец!

– Ступай вон! – вспыхнул Геник, и в голосе его дрогнула новая, резкая струна. – Пошел отсюда!

– Я! – растерялся Шустер, отступая назад. – Что ты?

– Убирайся к черту, я тебе говорю! – закричал Геник. – Прочь!

– Геник...

– Вон!

– Но ты... послушай же, черт... Я...

– Если ты не уйдешь сию же минуту, я тебя вытолкаю! – дрожа от напряженного, тоскливого бешенства, заговорил Геник. – Мы с тобой объяснились достаточно, нам больше нечего говорить. Пошел!

– Да я же...

– Слушай! – вздохнул Геник, чувствуя, что теряет над собой всякую власть. – Если ты сию же минуту не уйдешь, я всажу тебе в брюхо вот все эти шесть пуль.

Он вытащил из кармана револьвер и навел холодное, темное дуло прямо в грудь Шустера. Курок торопливо, звонко щелкнул и замер. Жаркий туман стыда, испуга и озлобления хлынул в голову Шустера, и через две-три секунды острого, тяжело дышащего молчания, он сказал, чуть не плача:

– Хорошо, товарищ... хорошо... Я...

– Раз! – сказал Геник, нажимая собачку.

– Ну... – Шустер отворил дверь и снова повторил, растерянно улыбаясь: – Ну... я...

– Два!..

Темная фигура бросилась в сторону, и через мгновение торопливый стук шагов затих в глубине коридора. Геник слышал, как резко и быстро хлопнула, завизжав, выходная дверь. Он вздохнул, вздрагивая, как от озноба, сунул револьвер под подушку, подошел к столу, зажег свечку и сел на стул.

Дрожащие, зыбкие тени бросились прочь от вспыхнувшего огня и притаились в углах, неслышно двигаясь под стульями и кроватью, как мыши. Желтый, неровный свет падал на опущенную голову Геника и руки, вытянутые на столе. Так сидел он долго, попеременно улыбаясь и хмурясь быстрым, назойливым мыслям, бегущим монотонно и ровно, как шум поезда.

Окно, чернея, глядело на Геника темной пустотой ночной улицы. Неопределенные шорохи, крадущиеся шаги ползли в тишине, мешаясь с отдаленным глухим стуком колес и звуками мгновенного разговора, вспыхивающими и угасающими во тьме, как спичка, задутая ветром. Геник отодвинул стул, открыл ящик стола и, пошарив среди бумаг, вытащил небольшой узкий конверт. На нем стояло название города, улицы, дома и надпись: – «Ю.Г. Чернецкому, для Геника». «Для Геника» было подчеркнуто два раза и самые буквы этих слов выведены особенно старательно.

Вытащив письмо, Геник развернул его и в третий раз, самодовольно улыбаясь, прочел то-

ропливые, женские строки.

Люба писала:

«Дорогой товарищ Геник. Не знаю вашего адреса и пишу на Чернецкого. Скажите, пожалуйста, зачем я сюда приехала? М.И. ничего не знает и очень удивлена, но говорит, что если вы меня послали, то значит так надо. Объясните, пожалуйста, – что мне делать дальше?

Люба А.»

Даже подпись поставлена. Неужели он ошибся относительно ее конспиративности? Впрочем, теперь все равно, и это наивное письмо будет только лишним воспоминанием. Делать ей там, разумеется, совершенно нечего, поэтому пусть едет обратно. Он ей ответит и пошлет денег на обратный проезд.

Нервные, размашистые буквы так живо напоминают руку, писавшую их. Маленькая, гибкая рука, скромно заправленная до кисти в длинный рукав шерстяного коричневого платья.

Дальше – узкие детские плечи, тонкая шея, коса, упавшая на грудь, и молодая, горячая голова с ясным, пристальным взглядом. Брови сдвинуты досадливо и тревожно. Она пишет ему это письмо. Сидела она, кажется, вот на этом стуле. Даже теперь, как будто, в воздухе блестит улыбка, полная затаенного трепета молодости.

Геник напряженно думал, стараясь уловить что-то сложное, но бесспорное, мелькавшее вокруг образа этой девушки, как неуловимые тени листвы, и вдруг прямая, стройная мысль обожгла его мозг, расцветилась, вспыхнула и выпукло, простыми, отчетливыми словами проникла в сознание. Геник беспокойно заерзал на стуле, улыбаясь тому, что стало таким значительным и ясным. Сидеть теперь здесь, одному, было нельзя. Шустера жаль, лучше бы потолковать с ним. Хотя, что ни говори, его следовало проучить, человек он дельный, но глупый. А теперь Геник пойдет к ним, скажет самое настоящее и объяснит все: это необходимо.

Одно мгновение ложный стыд шевельнулся в нем. Явилось опасение, что не поверят его искренности, но, утвердившись на той мысли, что надо же это все когда-нибудь кончить, смягчить отношения и ехать работать в другой город, – Геник встал, оделся, погасил свечку и, сунув револьвер в карман пальто, вышел на улицу.

IV

Теплая, весенняя ночь окутывала город душным, пыльным сумраком. За рекой небо еще трепетало и вспыхивало последним румянцем, но выше зажглись звезды, сияя над черными горами крыш и в просветах темных деревьев, как маленькие небесные светляки. Из окон выбегал широкий желтый свет, местами озаряя тротуары и деревянные, покосившиеся тумбы. Пыль немощеных улиц, поднятая за день, еще не улеглась и невидимо насыщала воздух, густая и душная. За темными, покосившимися заборами, как живые, склонялись деревья, одетые сумраком, шумели и думали.

Геник шел спокойно, не торопясь, обдумывая возможные результаты предстоящего объяснения. От недавнего столкновения с Шустером и жаркой истомы ночи кровь разволновалась, тело требовало усиленного движения, но Геник намеренно сдерживал шаги, не желая еще более возбуждать себя быстрой ходьбой. За ним прислали Шустера, уж, конечно, не для одного примирения. Очевидно, там ожидают его объяснений по поводу письма и отъезда Любы. Если будут приставать к нему с вопросами относительно мотивов, – то он, конечно, скажет им все, хотя бы это повело к форменному разрыву. Лучше об этом сейчас даже не думать. Ход разговоров покажет сам, где и когда можно будет сказать то, что уже сложилось и окрепло в его душе готовым убеждением.

Он вспомнил красный галстук Шустера, нахмурился и свистнул, а пройдя несколько шагов, обернулся, не переставая подвигаться вперед. Та часть улицы, которую мог охватить глаз, скованный темнотой, была совершенно пуста. Но, несмотря на отсутствие прохожих, тишины не

было. Неясные, темные звуки роились, замирали и гасли вокруг, и казалось, что сам уснувший воздух в бреду родит их, грезя эхом и напряженностью дневной суеты.

Геник перешел огромную пустую площадь, в конце которой, на фоне сумеречного неба, рисовались черные колокольни собора, свернул влево и углубился в один из кривых базарных переулков, вымазанный лужами и разным рыночным сором. Днем здесь стоял несмолкаемый шум, звонко кричали бабы, торговки овощами и яйцами; шныряли кухарки и повара, жулики в калошах на босую ногу, торговцы в синих картузах и поддевках; пестрели огромные, пахнущие сырьем, кучи репы, моркови, капусты. Теперь было тихо, темно; навесы лабазов, подобно огромным, продырявленным зонтикам, закрывали переулок, а запертые полупудовыми замками лари, темнея неправильными рядами, казались ненужными, большими ящиками, неизвестно почему окованными ржавым железом.

С угла, навстречу Генику, поднялся задремавший сторож и быстро застучал колотушкой, выбивая скучную, монотонную дробь. Геник прошел мимо него; колотушка трещала еще некоторое время, потом стукнула один раз особенно громким, упрямым звуком и умерла.

Кажется, в переулке раздавалось эхо, потому что шаги Геника стучали по дереву узких дрянных досок тротуара двойным, разбросанным шумом. Он остановился, не решаясь оглянуться, но эхо раздалось еще три раза и стихло. Сердце у Геника забилося усиленным темпом, и он, не двигаясь вперед, стал топтаться на месте, покачиваясь и размахивая руками, как быстро идущий человек.

Эхо приблизилось, замедлилось, как будто в нерешительности, и сгибло в темноте переулка. Геник повернулся и быстро, бегом, бросился назад. Кто-то побежал перед ним изо всех сил, метнулся в сторону, присел за ларь, выскочил снова, но Геник уже держал его за ворот пальто, смеясь от бешенства и удивления.

– Пусти!.. – крикнул Шустер, задыхаясь от беготни и тяжелого, злого стыда. – Пусти... ну!

Он сильно барахтался, стараясь вырваться, но Геник коротким усилием повалил его на землю и сел, крепко держа руки противника. Шляпа Шустера откатилась в сторону, и оторопелые, налившиеся кровью глаза упирались в лицо Геника.

– Так! – гневно сказал Геник. – Так вот как, Шустер!.. Ну, хорошо. Я шел сейчас к Чернецкому, и ты напрасно трудился. Впрочем, не советую приходить туда... Может быть, ты мне объяснишь что-нибудь?

– Нечего объяснять... – сказал Шустер хриплым, дрожащим голосом. – Сам ты виноват...

Геник встал, поставил товарища на ноги и, размахнувшись, ударил его в плечо. Шустер охнул и отлетел в сторону, еле удержав равновесие.

– Вот так! – сказал, смеясь, Геник, хотя к горлу его подкатился тяжелый, нервный комок обиды и отвращения. – Теперь мы квиты. Прощай.

Он повернулся и, прежде чем Шустер оправился, пошел прочь ровными, быстрыми шагами. А вдогонку ему летела громкая, беспокойная дробь колотушки ночного сторожа.

V

– Вот и вы! – сказал Чернецкий вежливо-ироническим тоном, бегая глазами по комнате. – Садитесь, пожалуйста.

Геник вошел, не снимая шляпы, быстро осмотрел комнату, не поклонившись Маслову, сидевшему в тени лампы, и подошел к Чернецкому. Тот поднял глаза и встретился с бледным, осунувшимся лицом.

– Ну, что же? – устало спросил Геник. – Вам угодно было меня видеть?

– Да, – сказал Маслов, предупреждая ответ Чернецкого. – Знаете, это тяжело, наконец... Мне хочется лично, например, поговорить с вами... прямо и откровенно. Садитесь, товарищ, – мягко добавил он, видя, что Геник стоит. – Садитесь и снимите вашу шляпу.

– Дело не в шляпе! – вспыхнул Геник. – Я не устал и шляпы снимать не буду.

Чернецкий криво усмехнулся, шагая из угла в угол. Лицо Маслова стало неловким и напряженным. Он покраснел, сделал над собою усилие и заговорил, не повышая голоса:

– Вы хотите ссориться, Геник, но предупреждаю, что со мной это немыслимо. Отчего вы такой? Мы работали вместе, дружно, целых три недели прошло уже, как вы приехали... На юге встречались с вами, я помню... Да... А теперь что же? Какая-то тяжелая туча спустилась над всеми... дело запущено, потеряны многие связи... Нас ведь очень мало, и если так пойдет вперед, можно с уверенностью сказать, что мы недолго протянем.

– Маслов, – сказал Геник и мгновенно побледнел, – может быть, Шустер хочет со мной ссориться?

– То есть? – отозвался Чернецкий, и красивое лицо его насторожилось. – Почему?

– Видите ли, – внутренне смеясь, объяснил Геник, – не далее как час тому назад я поколотил его в одном из рыночных переулков. Он был очень неосторожен, но все-таки убедился, что я в охранном отделении не служу.

– Что-то не понимаю вас... – жалко улыбаясь, сказал Маслов и вдруг тяжело задышал. – Вы и Шустер подрались, что ли?

Чернецкий подошел к окну, растворил его и стал глядеть вниз на улицу. Геник не выдержал. Звонкий туман хлынул в его голову, и через мгновение, ударив кулаком по столу, он закрычал, вздрагивая от бешенства:

– Еще недостает, чтобы вы мне лгали в глаза!.. Он шпионил за мной, говорю я вам! Чьи это шутки, а?..

– Ну знаете, Геник, – овладев собой, сказал Маслов ненатурально-возмущенным голосом, – я на такие вещи отказываюсь отвечать... И говорить их оскорбительно, прежде всего для вас самих...

– Да, – с холодным упрямством подхватил Чернецкий, – вы начинаете болтать глупости!..

– Хорошо! – сказал, помолчав, Геник, стараясь удержать расхолодившееся волнение. – Я молчу об этом. Доказать это трудно, и вы можете с ясными глазами отпираться сколько вам угодно... Все-таки шел я сюда, к вам... не с враждой... А после того, как поймал Шустера... Кстати, он побоится придти при мне, будьте спокойны...

Все молчали, и молчание это было тягостнее самых оскорбительных и злых слов. Улица заинтересовала Чернецкого; он пристальнее, чем когда-либо, смотрел в нее. Маслов напряженно теребил бороду, и его серьезные, черные глаза ушли внутрь, а тонкие губы беззвучно шевелились под жидкими усами.

– Кто читал письмо? – спросил Геник.

– Я... – сказал Чернецкий развязно, но не отрываясь от окна. – Видите ли, это все-таки случайно вышло... Письмо было адресовано ко мне и... могло быть деловым... наконец, – какие секреты могут быть между нами... Относительно же вас, после того разговора... Я не знал даже, придете ли вы еще хоть раз. Поэтому я, после долгого колебания... решил его вскрыть... тем более, что оно могло быть очень нужным... спешным...

– Нет, это великолепно! – расхохотался Геник. – Ну, ну, – что же дальше?

Чернецкий пожал плечами, отошел от окна и, нахмурившись, сел. Как и все люди, он считал себя правым, а Геника нет, и смех товарища оскорбил его. Готовилось разразиться новое, ненужное и болезненное молчание, как вдруг Маслов спросил:

– Ну, хорошо!.. Там, как бы ни было прочитано, – оно прочитано. А теперь, по существу этого письма, – вы могли бы нам объяснить что-нибудь или нет?

Вопрос этот, поставленный ребром, снова зажег в Генике улегшееся было раздражение и наполнил его тоскливым острым желанием сразу высказать все и уйти.

– Да, – с расстановкой заговорил он, рассматривая потолок, – я могу объяснить вам... Раньше я, признаться, не хотел этого, но теперь, когда вы прочли и все-таки не понимаете, я из чувства человеколюбия должен прийти к вам на помощь...

– Очень польщены! – язвительно бросил Чернецкий, шумно вытягивая ноги. – С благодарностью выслушаем.

– Не знаю, – медленно продолжал Геник, и тонкие складки легли между его бровей, – не знаю, будете ли вы польщены и благодарны потом... но факт тот, что я на этот раз договору до конца... Да и пора, не так ли?

– Именно! – сказал Чернецкий, грызя ногти. – Давно пора.

– Люба уехала отсюда потому, – с наслаждением продолжал Геник, – что я заставил ее уехать... Иначе она сделала бы то, от чего я ее удержал... правда, обманом удержал, против ее желания... Но вы ведь не замедлили бы исправить мою ошибку? Вот. А поступил я так потому, что человек, бросающий себя под ноги смерти ради фон-Бухеля, не имеет настоящего представления о... жизни. И нужно этому помешать... Теперь, когда этот самый фон уехал из нашего города, разумеется, ничто не препятствует ей вернуться обратно...

Геник умолк и вытер вспотевший лоб. Да, вот сидят они все трое так же, как сиживали раньше, чеканя различные мелочи партийной работы, но отчужденность вошла теперь в глаза всех и светится там холодным, стальным блеском. Эти двое и он – враги.

– Здорово! – воскликнул Чернецкий, нервно потирая руки. – Однако вы, господин, не стесняетесь! Да-да! Герой, вызволяющий невинную жертву из рук злодеев!.. Прямо хоть мелодраму пиши, ха-ха!.. Стыдно вам, Геник! Какой же вы человек борьбы, вы – жалкая, слезливо сентиментальная душа?! Есть бог мести, Геник, – великий, страшный бог, и все мы служим ему!.. Но почему вы нам раньше не сказали того, что сделали? Ваших взглядов не развили почему? Или боялись, что слабы они окажутся?

– Ваша наивность равняется вашему росту, – усмехнулся Геник. – Оттого не сказал, что с первого слова об этом очутился бы в стороне...

– Бессовестный вы человек! – перебил Чернецкий. – Вы...

– Я не кончил еще! – в свою очередь, повышая голос, перебил Геник. – Теперь мне все равно, что вы думаете... Я только спрошу: отчего из вас никто не вызвался на это, так нужное в ваших глазах дело? А? Мы жили, люди мы взрослые, определенных убеждений... Почему свою жизнь вы цените дороже, чем чужую?

Геник встал. Последние слова, сказанные им, довели общее возбуждение до последней степени. Маслов порывисто дышал, судорожно опершись руками о стол, и, когда Геник умолк, заторопился громким, страстным шепотом, вздрагивая всем своим тщедушным больным телом:

– Это уже... это уже... Это обвинение... какое право... вы... Оскорбляете нас... хорошо. Но я не говорю с вами больше... я не скажу... только... одно... вы и сами знаете это: каждый делает то, что может...

– О, – холодно сказал Геник, – вы могли и не трудиться говорить это. Все эти соображения о разделении труда в партии я знаю... но все-таки мы – мужчины, а она – женщина и... моложе нас... Поэтому я еще раз спрошу: Чернецкий, – не желаете ли умереть благородной смертью? Маслов не умеет стрелять, он слаб... А вы? Отчего бы не попробовать? Это лучше, чем отряжать шпионов за мной.

– Позер! – крикнул Чернецкий, шагнув к Генику.

Слово это вылетело из его горла гулкое и звонкое, как упавшая пустая бочка. Геник пристально посмотрел на юношу и обидно расхохотался, жалея уже о том, что пришел сюда. Кроме дальнейшей брани и шума, ничего не получится. Нужно уйти.

Чернецкий сразу остыл и с тупым удивлением смотрел на Геника. Оттого, что презрительное оскорбление повисло бессильно в воздухе, вдруг всем стало противно и скучно смотреть друг на друга. Геник встал, подошел к двери, но, подумав, остановился и сдержанно заговорил, обращаясь к Маслову:

– Я ухожу... а хотел бы все-таки, чтобы вы, вы именно, поняли меня... Есть люди, смерть которых не проходит бесследно... Пока они живут – их не замечаешь... как воздух, которым мы дышим... Эти маленькие, солнечные жизни похожи на цветы, что растут при дороге... Они такие милые, что даже глядеть на них приятно... Все, что есть у нас лучшего и хорошего, поддерживается благодаря им, когда душа наша, Маслов, усталая и ожесточенная сутолокой и грязью борьбы, отдыхает на них, освежается и крепнет... Я говорю о молодых существах, чистых и трепетных, как весенние листья... Чем стала бы жизнь без них? Пока они среди нас – нужно дорожить этим... Помните Пеньковского Илошу, Нину, с которыми мы познакомились на лимане? Вот тоже Люба. Они нужны, бесконечно нужны, как нужна и дорога всякая поэзия, всякое тепло... И не в этом ли главное молодости? Так нужно беречь их, говорю я... Пусть молодость,

сверкающая вокруг, певучая, ясная молодость помогает нам идти до тех пор, пока лицо не покроют морщины и тоскливый холод усталости не затянет сердца тоненькой, всего только очень тоненькой корочкой льда... Вот тогда... кто мешает умереть... если хочется?

Двое людей, слушавших Геника, смотрели в сторону, и странные, блуждающие улыбки сквозили на их лицах. Когда же Маслов поднял глаза, желая что-то сказать, Геника в комнате уже не было.

Снизу, по лестнице, поднималась девушка и, увидя Геника, радостно остановилась. Теперь-то, наконец, ей объяснят все.

– Я приехала... – сказала она. – Здравствуйте! Как я рада, ужасно рада, право!

Геник вздрогнул и слегка растерялся. Потом поздоровался и молча посмотрел в спокойные, ясные, ничего не знающие глаза. Но говорить было нечего, и он сказал только:

– А, вот как!.. Приехали, значит?

– Да.

Люба молча, вопросительно вздохнула, волнуясь и не зная, что делать. Наконец вопрос, вертевшийся все время на ее языке, сорвался с губ, нерешительный и тоскливый:

– Почему это так... вышло? Скажите мне... Я думала... и ничего не могла... Почему это так?

– Ей-богу, – пробормотал Геник, чувствуя, как странный, мучительно-жгучий, но чистый стыд заливают краской его щеки. – Это... вы к Чернецкому... Он все... он расскажет... я, видите, тороплюсь и...

– А вы... разве не могли бы? – сконфузилась девушка. – Я думала...

Она умолкла, и Геник окончательно растерялся, не зная, что сказать. Не может же он говорить то, что сказано там, наверху.

– Я тороплюсь... – вымолвил наконец он. – Вы простите меня – вот все, что я могу вам сказать. Прощайте...

Люба молчала. Мучительные слезы непонимания и тревоги блеснули в ее глазах.

– Простите, – повторил Геник, спускаясь вниз.

Он торопился уйти. Люба постояла еще немного, печально смотря на быстро удаляющуюся фигуру и, вздохнув, пошла выше.

VI

Геник пересек улицу, обернулся на освещенное окно конспиративной квартиры, остановился и с глухим нетерпением стал рассматривать подвижные тени людей, скользящие за стеклом. Кто-то ходил по комнате, потому что большой, заслоняющий все окно силуэт регулярно придвигался к раме, поворачивался и снова пропадал в глубине. – «Чернецкий! – подумал Геник. – Ходит и слушает... но кого? – Самая легкая тень тронула часть стекла, и Геник, сквозь мутно-желтый свет, различил женщину. – Ну, этой плохо! – вслух сказал он. – Ей-богу, они снова уговорят ее». – Тень отодвинулась, пропала, и вдруг показалось Генику, что всякая связь между ним и теми людьми исчезла.

Это было минутное настроение, но в нем, как и в каждом движении души человека, скрывалась несознанная боль одиночества. Ночь, тишина и грусть замедляли шаги Геника. Он шел по траве, сбоку от тротуара, опустив голову, шаркая ногами в бурьяне, и мысленно представлял себе, что произойдет завтра. Комбинируя и усложняя факты, он тщательно проверял их, вспоминал сегодняшний разговор и снова приходил к выводу, что все случится именно так, как не хотел он.

Решение уже набегало, подсказанное тоскливой яростью неосуществленной правды, но тайный инстинкт жизни отвлекал мысль, заставляя прислушиваться к сонной тишине города. Над крышами шумели деревья; их волнообразный, тоскливый шум звучал хором безжизненных голосов, песней оцепенения. Геник подошел к перекрестку. На досках тротуара, обнажая засохшую грязь, желтел свет уличного фонаря. Мальчишески улыбаясь, Геник вытащил из жилетного кармана монету и бросил ее вверх, стараясь попасть на доску. Медный кружок, тяжело вертясь,

брякнулся, перевернулся и лег.

Мучительное желание подразнить себя удержало Геника. Он не нагибался, стоял прямо и тупо смотрел вниз, где лежала, обернувшись или орлом, или решкой, трехкопеечная монета. – «Решка!» – уверенно сказал Геник, крепко, до боли прикусил губу и вдруг, быстро нагнувшись, поднял медяк. Выпал орел.

Прошла минута, другая, но революционер все еще стоял, поглощенный натиском мыслей. Надо было идти домой, обдумать и сообразить дальнейшее. – «Все будут поражены! – сказал Геник. – Честное слово, они объяснят это моим упрямством. А что, если бы выпала решка?»

Он сунул руку в карман, ощутив странное удовлетворение, когда сталь револьвера коснулась вздрагивающей ладони, и подумал, что, в случае «решки», оставалось бы только перевернуть монету орлом вверх.

Он широко размахнулся, решительно стиснул зубы и бросил монету в спокойную темноту ночи.

Воздушный корабль

Маленькое общество сидело в сумеречном углу на креслах и пуфах. Разговаривать не хотелось. Великий организатор – скука – собрала шесть разных людей, утомленных жизнью, опротивевших самим себе, взвинченных кофе и спиртными напитками, непредприимчивых и ленивых.

Степанов томился около пяти часов в этой компании; нервничал, бегло думал о сотне самых разнообразных вещей, вставлял замечания, смотрел в глаза женщин отыскивающим, открытым взглядом и нехотя вспоминал о том, что скоро он, как и все, уйдет отсюда, неудовлетворенный и вялый, с жгучей потребностью возбуждения, шума, продолжения какого-то неначавшегося, вечного праздника. Нервы томительно напряглись, в ушах звенело, и временами яркая, тяжелая роскошь старинной залы казалась отчетливым до болезненности, тревожным и красочным полусном.

Когда закрыли буфет и Степанов, с тремя женщинами и двумя мужчинами, вошел сюда, чувство досадного недоумения поднялось в нем ленивым, издевающимся вопросом «зачем?». Зачем нужна ему эта ночная, воспламеняющая желания сутолока? Каждый занят собой и ищет в другом только покладистого компаньона, предмет развлечения, работу глаз и ушей. Не уйти ли? Чего ждет он и все эти люди, спянные бессонной, тоскливой скукой?

Степанов подошел к беллетристу, молча посмотрел в его тусклые, лишенные всякого выражения, глаза и тихо спросил:

– Что же теперь делать?

Беллетрист прищурился и, скромно улыбаясь, сказал:

– Да ничего. Поскучаем. Этот момент красив. Разве вы не чувствуете? Красива эта холодная скука, – красива зала, красивы женщины. Чего же еще вам?

Лицо его приняло выражение обычного довольства всем, что он говорит и делает. Степанов хотел сказать, что этого мало, что этот красивый дом и женщины – не его, но, подумав, сел в кресло и приготовился слушать.

В холодную тишину зала ударились звонкие, мягко повторяемые аккорды. Играла Лидия Зауэр, томная блондинка, с холодным взглядом, резким голосом и удивительно нежным, особенно в свете ламп, цветом волос.

Лицо ее, освещенное сверху вниз бронзовым канделябром, мерно колебалось в такт музыке, совсем спокойное и чужое звукам рояля. Степанов закрыл глаза, долго вслушивался и, уловив, наконец, мелодию, перестал думать. Музыка волновала его, оставляя одно общее впечатление близости невозможной, плененной ласки, случайного обещания, нежной злости к невидимому, но прекрасному существу. Открыв глаза, Степанов понял, что Зауэр перестала играть.

– Когда музыка прекращается, – сказал он, присаживаясь поближе к черноволосой курсистке, – мне кажется, что все ушли и я остался один.

– Да, – рассеянно согласилась девушка, как-то одновременно улыбаясь и Степанову и бел-

летристу, сидевшему с другой стороны. Весь вечер она заметно кокетничала с обоими, и эта бесцельная игра женщины ревниво раздражала Степанова. Временами ему хотелось грубо подойти к ней и прямо спросить: «Чего ты хочешь?» Но вопрос гаснул, напряженное равнодушие сменяло остроту мысли, и снова продолжалась игра глаз, взглядов, улыбок и фраз.

Когда Зауэр, поднявшись из-за рояля, подошла к кучке умолкших, потускневших от бессонной ночи людей, всем показалось, что она скажет что-то, засмеется или предложит идти домой. Но женщина села молча, медленно улыбаясь глазами, и замерла. Молчание становилось тягостным.

– Чего все ждут? – уронила маленькая артистка, сидевшая рядом с Лидией. – Клуб закрывается... ехать сегодня, по-видимому, некуда. А все ждут чего-то. Чего, а?

– Ждут, что женщины начнут целовать мужчин и признаются им в любви, – засмеялся студент. – Мы слабы и нерешительны. Женщины! Освободитесь от предрассудков!

Масляная, осторожная улыбка приподняла его верхнюю губу, обнажив ряд белых зубов. Никто не засмеялся. Артистка, размышляя о чем-то, поправила волосы, Лидия Зауэр механически посмотрела на говорившего, и ее розовое, холодное лицо стало совсем чужим. Студент продолжал:

– Здесь почти темно, настроение падает, и я предлагаю зажечь электричество. Зажгите, господа, электричество!

– Никакое электричество не поможет вам увидеть себя, – съязвил Степанов, делая мистическое лицо.

Студент, вспомнив свою некрасивую, отталкивающую наружность, понял и отпарировал:

– Да здравствует общество трезвости!

От шутки, фальшиво брошенной в унылую тишину душ, стало еще скучнее. Три женских лица, слабо озаренные упавшими через тусклый паркет лучами зажженного канделябра, три разных – как разные цветы – лица, настойчиво, безмолвно требовали тонкого сверкающего разговора, непринужденного остроумия, изысканности и силы удачно сказанных, уверенно верным тоном звучащих фраз.

Но мужчины, сидевшие с ними, бессильно стыли в мертвенном ожидании чего-то, не зависящего от их усилий и воли, что властно стало бы в их сердцах и сделало их – не ими, а новыми, с ясной, кипучей кровью, дерзостью мгновенных желаний и звонким словом, выходящим легко, как утренний пар полей. Утомленные и оцепеневшие в раздражающей, бесплодной смене все новых и новых впечатлений, они сидели, перебрасываясь редкими фразами, тайно обнажающими ленивый сон мысли, усталость и отчужденность.

Беллетрист, помолчав минут пять, пробасил:

– В данный момент где-нибудь на другой половине земного шара начался день. Тропическое солнце стоит в зените и льет кипящую, золотую смолу. Пальмы, араукарии, бананы... а здесь...

– А здесь? – Артистка перевела свои сосредоточенно-кроткие глаза с кончиков туфель на беллетриста. – Продолжайте, вы так хорошо начали...

– М-м... здесь... – Беллетрист запнулся. – Здесь – мы – люди полуночной страны и полуночных переживаний. Люди реальных снов, грез и мифов. Меня интересует, собственно говоря, контраст. То, что здесь – стремление, т. е. краски, стихийная сила жизни, бред знойной страсти – там, под волшебным кругом экватора, и есть сама жизнь, действительность... Наоборот – желания тех смуглых людей юга – наша смерть, духовное уничтожение и, может быть, – скотство.

– Позвольте, – сказал Степанов, – конечно, интеллект их ленив... но разве вы ни в грош не ставите органическую цельность здоровой психики и красоту примитива?

– «Двадцать во-о-семь!» – донесся из угловой залы голос крупье, и тотчас же кто-то, поперхнувшись от жадности, крикнул глухим вздохом: «Довольно!»

– Да! – ненатурально взвинчиваясь, продолжал беллетрист, – мы, северяне, люди крыльев, крылатых слов и порывов, крылатого мозга и крылатых сердец. Мы – прообраз грядущего. Мы бесконечно сильны, сильны сверхъестественной чуткостью наших организаций, творческим, коллективным пожаром целой страны...

Степанов смотрел на студента и беллетриста и точно теперь только увидел их впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испитые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы. Курсистка Антонова пристально смотрела на беллетриста, женским чутьем угадывая лстящее ей желание мужчины понравиться недурной женщине. Артистка невинно переводила глаза с одного лица на другое, делая вид, что все ей понятно и что сама она тоже принадлежит к крылатой северной породе людей.

И все остальные, сознавая насильно, чужими словами проникшую в их голову мысль о величии и ценности человека, задерживались на ней гордым утверждением, выраженным в коротком, слепом звуке «я», безотчетно думая, что только их жизнь таит в себе лучи будущих озарений, силы и мощи. Об этом говорили самодовольно застывшие взгляды и упрямо чуть-чуть склоненные головы. И холодно, странно, чуждо светилось между ними лицо Лидии Зауэр.

Беллетрист, поверив в свою искренность, говорил еще много и раздраженно о людях, потом незаметно перешел на себя и окончательно заинтересовал курсистку Антонову. Страстно, всю жизнь лелеемая ложь о себе давалась ему легко. Все слушали. И каждому хотелось так же сказочно, похоже на правду, рассказать о себе.

Потом беллетрист смолк, закурил папиросу, рассчитано задумался и стал смотреть невидящим взглядом на бронзовый узор двери. Прошла минута, и вдруг отчетливый, грудной женский голос пропел мягким речитативом:

По синим волнам океана,
Чуть звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них паруса не шумят...

– Лидия, – сказал Степанов, когда женщина осторожно остановилась. – Прекрасно! Дальше, дальше! Мы ждем!

– Это не моя музыка, – сказала Зауэр, и ее маленькие, розовые уши чуть покраснели, – но я буду дальше... если не скучно...

– Браво, браво, браво! – зачастил, словно залаял студент. – Ну же, дорогая Лидия, не мучьте!

Розовое, холодное лицо вдумчиво напряглось, и снова в томительной тишине зала, усиливаясь и звеня, поплыло великое о великом:

...Но спят усачи-гренадеры –
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

Тяжелый холод чужой хлынувшей силы сдавил грудь Степанова. Он неподвижно сидел и думал, как мало нужно для того, чтобы серая фигура в исторической треуголке, с руками, скрещенными на груди, и пристальным огнем глаз ожила в столетней пропасти времени... две-три строки, музыкальная фраза...

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Иные ему изменили
И продали шпагу свою.

Голос Лидии вздрагивал почти незаметным, нежным волнением, но опущенные ресницы скрывали взгляд, и Степанову хотелось сказать: «Не мучьте! Бросьте страшное издевательство!»

Через мгновение он увлекся и, зараженный сам стихийной, трагической жизнью царственно погибшего человека, почувствовал, как защекотала горло невысказанная, умиленная благодарность живого к мертвому; смешное и трогательное волнение гуся, когда из-за досок птичника слышит он падающее с высоты курлыканье перелетных бродяг, бежит, хромая, и валится на распластанные, ожиревшие крылья в осеннюю, болотную траву.

Стоит он и тяжело вздыхает,
Пока озарится восток,
И падают горькие слезы
Из глаз на холодный песок...

И, по мере того, как стихотворение подходило к концу, лица становились натянутыми, упрямыми, притворно скучающими. А Лидия Зауэр думала, по-видимому, не о них и не о том, в чьем образе неразрывно сплетено золото императорских орлов с грозной музыкой Марсельезы. Глаза ее оставались покойными, слегка влажными и холодными: человека стихийной силы здесь не было. Но в голосе ее так же, как в своей душе, Степанов чувствовал незримые руки мольбы, протянутые к плоской равнине жизни и к вечно витающему, вспыхивая редкими воплощениями, призраку человека.

Розовое лицо смолкло; тонкие, неторопливые пальцы стали поправлять волосы – обычное движение женщины, думающей о мыслях других людей. Кто-то встал, зажег электричество и сел на прежнее место.

Но лучше бы он не делал этого, потому что в безжалостном свете раскаленной проволоки еще жалче и бессильнее было его лицо маленькой твари, сожженной бесплодной мечтой о силе и красоте.

Остров Рено

*Внимай только тому голосу, который говорит без звука.
(Древнеиндусское писание)*

I Одного нет

Лейтенант стоял у штирборта клипера и задумчиво смотрел на закат. Океан могущественно дремал. Неясная черта горизонта дымилась в золотом огне красного полудиска. Полудиск этот, казавшийся огромной каплей расплавленного металла, быстро всасывался океаном, протягивая от своей пылающей арки к корпусу клипера широкую, блестящую золотой чешуей полосу отражения.

Лучей становилось все меньше, они гасли, касаясь воды, по мере того, как полудиск превращался в узкий, красный сегмент. За спиной лейтенанта, упираясь в зенит, бесшумно росли тени. Тянуло холодом. Мачтовые огни фонарей засветились в черной, как тихая смола, воде рейда, и Южный Крест рассыпался на небесном бархате крупными, светлыми брильянтами. Бледная даль горизонта суживалась, и лейтенанту казалось, что он смотрит из черной коробки в едва приоткрытую ее щель. Последний луч нерешительно заколебался на горизонте, вспыхнул судорожным усилием и погас.

Лейтенант закурил сигаретку, тщательно застегнул китель и повернулся к острову. Ночь скрадывала расстояние; черная громада берега казалась совсем близкой; клипер словно прильнул бортом к невидимым в темноте скалам, хотя судно находилось от земли на расстоянии по крайней мере одного кабельтова. Ночной ветер тянул с берега пряной духотой и сыростью береговой чащи; там было все тихо, и хотелось верить, что остров населен тысячами неизвестных, хитрых

врагов, следящих из темноты за судном, чтобы, выбрав удобную минуту, напасть на него, перебить экипаж и огласить воем радости тишину моря.

Лейтенант представил себе порядочную толпу дикарей, штук в двести, мысленно угостил их двойным зарядом картечи и пожалел, что вместо пиратов остров населен таким количеством обезьян, какого было бы вполне достаточно для всех европейских зверинцев. Военное оружие по необходимости должно миновать их. Нет даже захудалого разбойника, способного убить кого-нибудь из пятерых матросов, посланных три часа тому назад за водой. И действительно, шлюпка долго не возвращается. Кабаков здесь нет, а устье реки совсем близко у этого берега.

– В самом деле, – пробормотал лейтенант, – парни не торопятся.

Океан слабо вздыхал. Тяжелые, увесистые шаги приблизились к офицеру и замерли перед ним сутулой, черной фигурой боцмана. Слабое мерцание фонаря осветило морщинистое лицо с тонкими бритыми губами. Боцман глухо откашлялся и сказал:

– Наши не возвращаются.

– Да; и вам следовало бы знать об этом больше, чем мне, – сухо сказал офицер. – Четыре часа; как вам это нравится, господин боцман?

Боцман рассеянно пожевал губами, сплюнул жвачку. Он был того мнения, что волноваться раньше времени не следует никогда. Лейтенант нетерпеливо спросил:

– Так что же?

– Приедут, – сказал боцман, – ночевать на берегу они не останутся. Там нет женщин.

– Нет женщин, чудесно, но они могли утонуть.

– Пять человек, господин лейтенант?

– Хотя бы и пять. Не забывайте также, что здесь есть звери.

– Пять ружей, – пробормотал боцман, – это шуточки для зверей... плохие шуточки... да...

Он повернул голову и стал прислушиваться. Лицо его как бы говорило: «Неужели? Да... в самом деле... возможно... может быть...»

Тени штагов и вант перекрещивались на палубе черными полосами. За бортом темнела вода. Непроницаемый мрак скрывал пространство; клипер тонул в нем, затерянный, маленький, молчаливый.

– Что вы там слышите? – спросил офицер. – Лучше позаботились бы вперед отпускать не шатунов, а служак. Что?

– Весла, – кратко ответил боцман, сдвигая брови. – Вот послушайте, – добавил он, помолчав. – Это ворочает Буль. А вот хлопает негодяй Рантэй. Он никогда не научится грести, господин лейтенант, будьте спокойны.

Лейтенант прислушался, но некоторое время тишина бросала ему слабое всхлипывание воды в клюзах, скрип гафеля и хриплое дыхание боцмана. Потом, скорее угадывая, чем отмечая, он воспринял отдаленное колебание воздуха, похожее на отрывистый звук падения в воду камня. Все стихло. Боцман постоял еще немного, уверенно заморгал и выпрямился.

– Едут! – процедил он, сочно выплевывая табак. – Рантэй, клянусь сатаной, всегда ищет девок. Высадите его на голый риф, и он моментально влюбится. В кого? В том-то и весь секрет... А здесь? Пари держу, что для него черт способен обернуться женщиной... Да...

– Старина, – перебил лейтенант, – неужели вы слышите что-нибудь?

– Я? – Боцман неторопливо вздохнул и хитро улыбнулся. – Я, видите ли, господин лейтенант, еще с детства страдал этим. За милую, бывало, слышу, кто едет и в каком направлении. У меня в ушах всегда играет оркестр, верно, так, господин лейтенант, хоть будь полный штиль.

– Да, – сказал лейтенант, – теперь и я, пожалуй, начинаю различать что-то.

Из яркой черноты бежали ритмические всплески весел, неясные выкрики, скрип уключин; шлюпка вошла в полумрак корабельного света; лейтенант подошел к трапу и, наклонившись, громко сказал:

– Канальи!..

Шлюпка глухо постукивала о борт клипера. Один за другим подымались наверх матросы и выстроились на шканцах, лицом к морю.

Лейтенант стал считать:

– Один, два, три... и... Пойдите, Матью, сколько их было?

– Было-то их пять, господин лейтенант. Вот задача!

– Ну, – нетерпеливо спросил офицер, – где же пятый?

– Пятый? – сказал крайний матрос. – Пятый был Тарт.

И, помолчав, нерешительно объяснил:

– Он пропал... Извините, господин лейтенант, он находится неизвестно где. Его нет.

Наступило выразительное молчание. Матрос подождал немного, как бы не найдя слов выразить свое удивление, и прибавил, разводя руками:

– То есть пропал окончательно, словно сквозь землю провалился. Нигде его нет, из-за этого мы и опоздали. Рантэй говорит: – «Надо ехать». А я говорю: – «Пойдите, как же так? У Тарта нет шлюпки... Да, – говорю я, – шлюпки у него нет...»

Матрос добродушно осклабился и почесал за ухом. Лейтенант нервно пожал плечами и взглянул на боцмана. Морской волк озабоченно размышлял, шевеля сморщенными губами.

– Пойди, – сказал лейтенант унылым голосом, – как так пропал? Где? Вы, может быть, брали с собой ром, и Тарт валяется где-нибудь под деревом?

Матрос заволновался от желания передать подробности и еще долго бы переминался с ноги на ногу, набирая могучей грудью ночной воздух, если бы быстроглазый Рантэй не выручил его смущенную душу. Он сделал рукой категорический жест и плавно рассказал все.

В его изображении дело было так: никто не заметил, как Тарт ушел в сторону, отделившись от остальных. Когда наступило время возвращаться на клипер, стали беспокоиться и давать сигнальные выстрелы. Смерклось. Кое-кто выразил неудовольствие. Тогда решили ждать еще полчаса, а затем ехать.

Лейтенант стоял с озабоченным лицом, не зная, что делать. Матросы молчали. Боцман сплевывал табачную жвачку и хмурился.

Отправляясь с вечерним рапортом, лейтенант застал капитана погруженным в раскладывание пасьянса. В подтяжках, с расстегнутым воротом рубахи и вспотевшим одутловатым лицом, он смахивал на фермера, раскрасневшегося за бутылкой пива. Перед ним стояли плотный кувшин и маленькая пузатая рюмка. Он то и дело наполнял ее и бережно высасывал, облизывая черные седеющие усы. Изредка поворачиваясь к лейтенанту, капитан останавливался на нем рассеянно-неподвижный взгляд красных, как у кролика, глаз и снова щелкал картами, приговаривая:

– Туз налево, дама направо, теперь нужно семерку. Куда запропастилась семерка, черт ее поberi?

Пасьянс не вышел. Капитан тяжело вздохнул, смешал карты, выпил и спросил:

– Так вы говорите, что этот бездельник пропал? Расскажите, как было дело.

Лейтенант рассказал снова. Теперь капитан слушал иначе, схватывая фразу на полуслове, и, не дав кончить, заявил, с размаху прикладывая ладонь к клеенке стола:

– Завтра, чуть свет, пошлите шесть человек, и пусть они пошарят во всех углах. Его хватил солнечный удар. Он с юга?

– Не знаю, – сказал лейтенант, – впрочем...

– Конечно, – перебил капитан, проницательно сощуривая глаза, – дело ясное. Они слабы на голову, северяне. За нынешнюю кампанию это будет десятый. Впрочем, что долго толковать; если он умер – черт с ним, а если жив – сотню линьков в спину!

Каюта наполнялась. Пришел доктор, старший лейтенант и фуражир. Проиграв в фараон четверть годового жалованья, лейтенант вспомнил белый чепчик матери, которой надо было послать денег, и ушел к себе. Раскаленная духота каюты гнала сон. Кровь шумела и тосковала, возбуждение переходило в болезненное нервное напряжение.

Лейтенант вышел на палубу и долго, без мыслей, полный тяжелого сонного очарования, смотрел в темные очертания берега, строгого и таинственного, как человеческая душа. Там блуждает заблудившийся Тарт, а может быть, лежит мертвый с желтым, заострившимся лицом, и труп его разлагается, отравляя ночной воздух.

«Все уйдем», – подумал лейтенант и весело вздохнул, вспомнив, что еще жив и через полгода вернется в старинные низкие комнаты, за окнами которых шумят каштаны и блестит песок,

вымытый солнцем.

II Что говорит лес

Когда пять матросов высадились на берег и прежде, чем наполнять бочки, решили поразить ноги, выпустив пару-другую зарядов в пернатое население, – Тарт отделился от товарищей и шел, пробираясь сквозь цветущие заросли, без определенного направления, радуясь, как ребенок, великолепным новинкам леса. Чужая, прихотливо-дикая чаща окружала его. Серо-голубые, бурые и коричневые стволы, блестя переливчатой сеткой теней, упирались в небо спутанными верхушками, и листва их зеленела всеми оттенками, от темного до бледного, как высохшая трава. Не было имен этому миру. И Тарт молча принимал его. Широко раскрытыми, внимательными глазами щупал он дикую красоту. Казалось, что из огромного зеленого полотнища прихотливые ножницы выкроили бездну сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца торчали в просветах, подобно золотым шпагам, сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цветных птиц кричали и перепархивали вокруг. Коричневые с малиновым хохолком, желтые с голубыми крыльями, зеленые с алыми крапинками, черные с фиолетовыми длинными хвостами – все цвета оперения шныряли в чаще, вскрикивая при полете и с шумом ворочаясь на сучках. Самые маленькие, вылетая из мшистой тени на острие света, порхали, как живые драгоценные камни, и гасли, скрываясь за листьями. Трава, похожая на мелкий кустарник или гигантский мох, шевелилась по всем направлениям, пряча таинственную для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы кружили голову смешанным ароматом. Больше всего было их на ползучих гирляндах, перепутанных в солнечном свете, как водоросли в освещенной воде. Белые, коричневые с прозрачными жилками, матово-розовые, синие – они утомляли зрение, дразнили и восхищали.

Тарт шел, как пьяный, захмелев от сырого, пряного воздуха и невиданной щедрости земли. Буковые леса его родины по сравнению с островом казались головой лысого перед черными женскими кудрями. С любопытством и счастливым недоумением смотрел он, закинув голову, как стая обезьян, размахивая хвостами и раскачиваясь вниз головой на попутных сучках, промчалась с треском и свистом, распугав птиц. Зверьки скрылись из виду, певучая тишина леса монотонно звенела в ушах, а он стоял, держа палец на спуске ружья и сосредоточенно улыбаясь. Потом медленно, смутно почувствовав на лице чужой взгляд, вздохнул и бессознательно осмотрелся.

Но никого не было. Так же, как и минуту назад, свисая над головой, громоздилась, загорая живая небо, живая ткань зелени; перепархивали птицы; желтели созревшие большие плоды, усеянные колючками. Тарт перевел взгляд на ближайшие сплетения вогнутых, как зубчатые чашки, листьев и заметил маленькое, зеленоватое нечто, похожее на незрелую сливу. Присутствие напряженной, внимательной силы сказывалось именно здесь, в трех шагах от него. Слива чуть-чуть покачивалась на невидимом стебле; матрос беспокойно зашевелился, бессильный объяснить свою собственную тревогу, центром которой сделался этот, почти незаметный, плод. Он протянул руку и быстро, с внезапной гадливой дрожью во всем теле, отдернул пальцы назад: маленькая, блестящая, как жидкий металл, змея, прорезав приплюснутой головой воздух, задвигалась в листьях. Тарт нахмурил брови и ударил ее стволом штуцера. Животное упало в траву, издав легкий свист; Тарт отпрыгнул и торопливо ушел подальше.

Откуда-то издалека донесся звук выстрела, за ним другой: товарищи Тарта охотились, по-видимому, серьезно. Матрос задумчиво остановился. Еще один отдаленный выстрел всколыхнул тишину, и Тарт вдруг сообразил, что он ушел дальше, чем следовало. Ноги устали, хотелось пить, но светлое, восторженное опьянение двигало им, заставляя идти без размышления и отчета. Иногда казалось ему, что он кружится на одном месте в странном, фантастическом танце, что все живет и дышит вокруг него, а он спит на ходу, с широко открытыми глазами; что нет уже ни океана, ни клипера и что не жил он никогда в мире людей, а всегда бродил тут, слушая музыку тишины, свое дыхание и голос отдаленных предчувствий, смутных, как детский сон.

Лес становился темнее, ближе придвигались стволы, теснее сплетались над головой Тарта

зеленые зонтики, ноги проваливались в пышном ковре, затихли голоса птиц. Расплывчатые видения носились в сумеречных объятиях леса и жили мимолетным существованием. Бесчисленные глаза их, невидимые для Тарта, роились в воздухе, роняли на его руки слезы цветов, сверкали зеленоватыми искрами насекомых и прятались, полные сосредоточенной думы, печали нежной, как грустное воспоминание. Все дальше и дальше шел Тарт, погруженный в тревожное оцепенение и тоску.

И, наконец, идти стало некуда. Глухая дичь окружала его, почти совершенная темнота дышала гнилой прелью, жирным, душистым запахом разлагающихся растений и сыростью. Протягивая вокруг руки, он схватывал влажные стебли, паразитов, хрупкую клетчатку листьев, мелкие гнущиеся колючки. Задыхаясь от духоты, тревоги и необъяснимого, томительного волнения, Тарт зажег восковую спичку, осветив зеленый склеп. Он был, как в ящике. Со всех сторон громоздились зеленые вороха, стволы тупо смотрели сквозь них, покрытые влажным блеском.

Тарт бросил спичку и, оглушенный темнотой, кинулся напролом. Это было отчаянное сражение человека с лесом, желания – с препятствием, живого тела – с цепкой, почти непролазной стеной. Он брал приступом каждый шаг, каждое движение ног. Тысячи могучих пружин хлестали его в грудь и лицо, резали кожу, ушибали руки, молчаливые бешеные объятия откидывали его назад. Бессознательно, страстно, ослепленный и задыхающийся, Тарт рвался вперед, останавливался, набирал воздуха и снова, как солдат, стиснутый неприятелем, шел шаг за шагом сквозь темную глушь.

Свет наступил неожиданно, в то время, когда Тарт всего менее ожидал этого. Измученный, но довольный, вытирая рукавом блузы исцарапанное, вспотевшее лицо, он выпрямился, открыл глаза и, вздрогнув, снова закрыл их. С минуту, трепеща от восторга, Тарт не решался поднять веки, боясь, что случайною сказкою мысли покажется неожиданное великолепие окружающего. Но сильный, горячий свет проникал в ресницы красным туманом, и нетерпеливая радость открыла его глаза.

Перед ним был овальный лесной луг, сплошь покрытый густой, сочной зеленью. Трава достигала половины человеческого роста; яркий, но мягкий цвет ее поражал глаз необычайной чистотой тона, блеском и свежестью. Шагах в тридцати от Тарта, закрывая ближайшие деревья, тянулись скалы из темно-розового гранита; оборванный круг их напоминал неправильную подкову, концы которой были обращены к Тарту. В очертаниях их не было массивности и тупости; остроконечные, легкие, словно вылепленные тонкими пальцами из красноватого воска, они сверкали по краям изумрудной поляны коралловым ожерельем, брошенным на зеленый шелк. Радужная пыль водопадов дымилась у их вершин: в глубоком музыкальном однообразии падали вниз и стояли, словно застыв в воздухе, паутинно-тонкие струи.

Их было много. То рядом, теснясь друг к другу, лилась вниз их серебряная, неудержимая ткань, то группами, по два и по три, тихо свергались они с влажного каменного ложа в невидимый водоем; то одинокий каскад, ныряя в уступах, прыгал с высокого гребня и сеял в воздухе прозрачное, жидкое серебро; то ровная стеклянная полоса шумела, разбиваясь о камни, и пылила сверкающим градом брызг. Тропическое солнце миллиардами золотых атомов ликовало в игре воды. И все падали, падали вниз бисерным полукругом тонкие, тихие водопады.

Тарт глубоко вздохнул и засмеялся; тихая улыбка осталась в его лице, полном напряженного восхищения. Деревья, выросшие вокруг луга, также поразили его. Темно-зеленые широкие листья их светлели, приближаясь к стволу, бледнели, прозрачно золотились и в самой глубине горели розовым жаром, тоненькие и розовые, как маленькая заря. Раскидистые, приподнятые над землей корни держали на весу ствол.

Снова Тарт перешел глазами на луг, так он был свеж, бархатно-зелен и радостен. Светлая пустота переливалась вдали, у скал, дрожью воздушных течений, однозвучную мелодию твердили тонкие водопады. И розовые горны темно-зеленых куп открывали солнечному потоку первобытную прелесть земли.

Инстинктивно трепеща от вспыхнувшей любви к миру, Тарт протянул руку и мысленно коснулся ею скалистых вершин. Необъяснимый, стремительный восторг приковал его душу к безлюдному торжеству леса, и нежная, невидимая рука легла на его шею, сдавливая дыхание,

полное удержанных слез. Тогда, окрыляя живую тишину света, пронесся крик. Тарт кричал с блестящими от слез глазами: голос его летел к водопадам, бился в каменные уступы и, трижды повторенный эхом, перешел в песню, вызванную внезапным, мучительным потрясением, страстную и простую.

Кто спит на вахте у руля,
Не размыкая глаз?
Угрюмо плещут лиселя,
Качается компас,
И ждет уснувшая земля
Гостей веселых – нас.
Слабеет сонная рука,
Умолк, застыл штурвал;
А ночь – угроза моряка –
Таит зловещий шквал;
Он мчится к нам издалека,
Вскипел – и в тьме пропал.
Пучина ужасов полна,
А мы глядим вперед,
Туда, где знойная страна
Красотками цветет.
Не спи, матрос! Стакан вина,
И в руки – мокрый шкот!
Мы в гавань с песней хоровой
Ворвемся, как враги,
Как барабан – по мостовой
Веселые шаги!
Проснись угрюмый рулевой,
Темно; кругом – ни зги!

Мелодия захватила его, долго еще, без слов, звучал его голос, повторяя энергичный грустный напев матросской песни. Без желаний, без дум, растроганный воспоминаниями о том, что было в его жизни так же прекрасно и неожиданно, как маленький рай дикого острова, стоял он на краю луга, восхищенный внезапной потерей памяти о тяжести жизни и ее трудах, о темных периодах существования, когда душа изнашивает прежнюю оболочку и спит, подобно гусенице, прежде чем сверкнуть взмахом крыльев. Праздничные, веселые дни обступили его. Руки любимых женщин провели по его щекам шелком волос. Охота в родных лесах и ночи под звездным небом воскресли, полные свободного одиночества, опасностей и удач. И сам он, Тарт, с новым большим сердцем, увидел себя таким, как в часы мечтаний, на склоне пустынных холмов, перед лицом вечерней зари.

Он снял ружье, лег на траву и с ужасом подумал о завтрашнем неизбежном дне: часть жизни, отданная другим...

Запах цветов кружил голову. От утомления дрожали руки и ноги, лицо горело, и розовый туман плыл в закрытых глазах.

Он не сопротивлялся. Глубокое, сонное оцепенение приласкало его и медленно погрузило в душистый, тихий океан сна, где бродят исполненные желания и радость, не омраченная человеком. Тарт спал, а когда проснулся – была ночь и темная, звездная тишина.

III

Блемер находит Тарта

Тарт сидел у огня, поджав ноги, прислушиваясь и размышляя. Он не спал ночь: тяжелая за-

думчивая тревога собирала морщины на его лице, а руки, крошившие табак, двигались невпопад, рассеянно подбирая прыгающие из-под ножа срезки. Уверенность в том, что никто не подсматривает, придавала лицу Тарта ту особенную, непринужденную выразительность, где каждый мускул и взгляд человека рассказывает его настроение так же бегло, как четко переписанное письмо. Огонь вяло потрескивал, шипел, змеился в гладкой стали ружья и бледным жаром падал в глаза Тарта. Кругом, в духоте полдня, дремал лес; глухой шум невидимой жизни трепетал в нем, бередя душу странным очарованием безлюдья, гигантской силы и тишины.

Матрос встал, ссыпал нарезанный табак в маленькую жестяную коробку, поднял ружье и долго молча стоял так, слушая голоса птиц. Иногда, на мгновение, прихотливый узор листвы вспыхивал перед ним обманчивым силуэтом зверя, и рука Тарта бессознательно вздрагивала, колебля дуло ружья. Зеленые свет и мрак чередовались в глубине леса. Мысль тревожно летела к ним, отыскивая живое молчаливое существо с глазами из черной влаги, рогатое и стройное.

В певучем, томительном забытии окружал человека лес, насыщенный болотными испарениями, запахом гниющих растений и дикой, сказочной красотой. То ближе, то дальше трещал кустарник, невиданные, неизвестные существа двигались там, прислушиваясь друг к другу, и образы их, созданные воображением Тарта, принимали чудовищные, волнующие размеры или, наоборот, бледнели и съеживались, когда умолкал треск.

Резкий шарахнувшийся крик птицы вывел его из глубокого, торжественного оцепенения. Он поднял глаза вверх, но тотчас же инстинктивно опустил их, взвел курок и насторожился, раздвигая взглядом светлую рябь листвы.

Сначала было трудно определить, что это: маленькая застывшая тень или пятно шерсти; чье-то пытлиное, осторожное присутствие сказывалось не дальше, как в десяти шагах и путало мысли, убивая все, кроме жестокого, огненного желания встретить глаза зверя. Тарт тихо шагнул вперед и хотел крикнуть, чтобы животное выскочило из кустов, но вдруг, в самой глубине зеленой сети растений, поймал черный блеск глаза, выпрямился и вздрогнул от неожиданности. Штуцер нервно заколебался в его руках, дыхание стало глуше, и два-три мгновения Тарт не решался выстрелить – столько безграничного удивленья, наивности и любопытства сверкало в маленьком блестящем зрачке.

Глаз продолжал рассматривать человека, зашевелился, придвинулся ближе, к нему присоединился другой, и жадный, требовательный взгляд их стал надоедать Тарту. Казалось, его спрашивали: кто ты? Он поднял ружье, прицелился и опустил руку одновременно с запыхавшимся криком шумно обрадованного человека: – Тарт, сто чертей, здравствуй!

С тяжелым холодом в сердце Тарт повернулся к матросу. В кустах бешено затрещало, испуганно мелькнули и скрылись низкие, сильно закрученные рога. По щекам Блемера градом катил пот. Глаза, покрасневшие от утомления и жары, тревожно ощупывали лицо Тарта, а полные губы морщились, удерживая смех. Он снял фуражку, вытер рукавом блузы вспотевший лоб и заорал снова всей ширью здоровеннейших морских легких: – И ты мог заблудиться, чучело! Три мили длины и три ширины! Это дно от стакана, а не остров. Конечно, есть острова, где можно ходить порядочным людям. Цейлон, например, Зеландия, а не эта, с позволения сказать, корзина травы! Вообще мы решили, что ты съеден орангутангом или повесился. Но я искренне, дружище, чертовски рад, что это не так!

Он схватил руку Тарта и стал ворочать ее, ломая пальцы. Тарт пытливо смотрел на Блемера. Конечно, этот выдаст его – думать иначе было бы страшно легкомысленно. Прост и глуп, добр и жесток. Ко всему этому болтлив, не прочь выслужиться. И он уже смотрит на него, Тарта, с видом собственника, облизывается и мысленно потирает руки, предвкушая пущенную сквозь зубы похвалу капитана.

Матрос снял ружье, облегченно повел плечами и безудержно заговорил снова, ободряя себя. Молчаливая неподвижность Тарта смущала его. Он громко болтал, не решаясь сказать прямо: «Пойдем!» – сбивался, потел и в десятый раз принимался рассказывать о тревоге, общем недоумении и поисках. Все неувереннее звучал его голос, и все рассеянее слушал его Тарт, то улыбаясь, то хмурясь. Казалось, что был он здесь и не здесь, свой знакомый и в то же время чужой, замкнутый и враждебный.

– Превратились мы в настоящих собак, – захлебывался Блемер. – Чувствую я, что смок, как яблоко в сиропе. Уйти без тебя мы, понятное дело, не могли, нам приказали отыскать тебя мертвого или живого, вырыть из-под земли, вырезать из брюха пантеры, поймать в воздухе... Кок по ошибке вместо виски хватил уксусной эссенции, лежит и стонет, а завтра выдача жалования настоящим золотом за четыре месяца! Сильвестр целится на мой кошелек, я должен ему с Гонконга четырнадцать кругляков, но пусть он сперва их выиграет, черт возьми! Кто, как не я, отдал ему в макао две совсем новенькие суконные блузы! А ты, Тарт, знаешь... вообще говорят... только ты, пожалуйста, не сердись... верно это или нет?

– Что? – сказал Тарт, ворочая шомполом в дуле ружья.

– Да вот... ну, не притворяйся, пожалуйста... Только если это неверно – все равно...

Блемер понизил голос, и лицо его выразило пугливое уважение. Тарт возился с ружьем; достав пых, он медленно перевернул штуцер прикладом вверх, и на землю из ствола выкатились маленькие, блестящие картечины.

Блемер нетерпеливо ждал и, когда смуглая рука Тарта начала забивать пулю, звонко ударяя шомполом в ее невидимую поверхность, заметил:

– Ты испортил боевой заряд, к тому же какая теперь охота? Пора обедать.

Тарт вынул шомпол и поднял усталые, ввалившиеся глаза, но Блемер не различил в них волнения непоколебимой решимости. Ему казалось, что Тарт хочет поговорить с ним, и он, вздыхая, ждал удовлетворительного ответа. Но Тарт, по-видимому, не торопился.

Блемер сказал:

– Так вот... Ну, как – это правда?

– Что правда? – вдруг закричал Тарт, и глаза его вспыхнули такой злобой, что матрос бессознательно отступил назад. – Что еще болтают там обо мне ваши косноязычные тюлени? Что? Ну!

– Тарт, что с тобой? Ничего, клянусь честью, ей-богу, ничего! – заторопился матрос, бледнея от неожиданности, – просто... просто говорят, что ты...

– Ну что же, Блемер, – проговорил Тарт, сдерживаясь и глубоко вздыхая. – В чем дело?

– Да вот... – Блемер развел руками и с усилием освободил голос. – Что ты знаешь заговоры и... это... видел дьявола... понимаешь? Оттого, говорят, ты всегда и молчишь, ну... А я думаю – неправда, я сам своими глазами видел у тебя церковный молитвенник.

Матрос взволнованно замолчал; он сам верил этому. Живая тишина леса томительно напряглась; Блемеру вдруг сделалось безотчетно жутко, как будто все зеленое и дикое превратилось в слух, шепчется и глядит на него тысячами воздушных глаз.

Тарт сморщился; досадливая, но мягкая улыбка изменила его лицо.

– Блемер, – сказал он, – ступай обедать. Я сыт, и, кроме того, мне немного не по себе.

– Как, – удивился Блемер, – тебя ждут, понимаешь?

– Я приду после.

– После?

– Ну да, сейчас мне идти не хочется.

Матрос нерешительно рассмеялся; он не понимал Тарта.

– Блемер, – вдруг быстро и решительно заговорил Тарт, смотря в сторону. – Ступай и скажи всем, что я назад не приду. Понял? Так и скажи: Тарт остался на острове. Он не хочет более ни служить, ни унижаться, ни быть там, где ему не по сердцу. Скажи так: я уговаривал его, просил, грозил, все было напрасно. Скажи, что Тарт поклялся тебя застрелить, если ты не оставишь его в покое.

Тарт перевел дыхание, поправил кожаный пояс и быстро мельком скользнул глазами в лицо матроса. Он видел, как вздулись жилы на висках Блемера, как правая рука его, сделав неопределенное движение, затеребила воротник блузы, а глаза, ставшие растерянными и круглыми, блуждали, не находя ответа. Наступило молчание.

– Ты шутишь, – застывшим голосом выдавил Блемер, – охота тебе говорить глупости. Кстати, если мы двинемся теперь же, то можем захватить на берегу наших, вдвоем трудно грести.

– Блемер, – Тарт покраснел от досады и даже топнул ногой. – Блемер, возвращайся один. Я не уйду. Это не шутка, тебе пора бы уж знать меня. Так пойди и скажи: люди перестали существовать для Тарта. Он искренно извиняется перед ними, но решил пожить один. Понял?

Матрос перестал дышать и любопытными, испуганными глазами нащупывал тень улыбки в сосредоточенном лице Тарта. Сошел с ума! Говорят, в здешних болотах есть такие цветы, что к ним не следует прикасаться. А Тарт их наверное рвал – он такой... Вот чудо!

– Прощай, – сказал Тарт. – Увидишь наших, поклонись им.

Он коротко вздохнул, взял штуцер наперевес и стал удаляться. Блемер смотрел на его раскачивающуюся фигуру и все еще не верил, но, когда Тарт, согнувшись, нырнул в пеструю зелень опушки, – матрос не выдержал. Задохнувшись от внезапного гнева и страха упустить беглеца, Блемер перебежал поляну, на ходу взвел курок и крикнул в ту сторону, гдегнулись и трещали кусты:

– Я убью тебя! Эй! Стой!

Голос его беспомощно утонул в зеленой глуши. Он подождал секунду и вдруг, мстительно торопясь, выстрелил. Пуля протяжно свистнула, фыркнув раздробленными по пути листьями. Птицы умолкли; гнетущая тишина охватила часть леса.

– Стой! – снова заорал Блемер, бросаясь вдогонку. – Каналья! Дезертир!

Спотыкаясь, взволнованно размахивая ружьем, он пробежал с десятков шагов, снова увидел Тарта и почувствовал, что возбуждение его вдруг упало, – Тарт целился ему в грудь, держа палец на спуске.

Инстинктивно, защищаясь от выстрела, матрос отступил назад и, медленно двигая руками, приложился сам. Волнение мешало ему, он не сразу отыскал мушку, злобно выругался и замер, ожидая выстрела. Тарт поднял голову. Блемер внутренне подался назад, вспотел, нажал спуск, и в тот же момент ответный выстрел Тарта пробил его насквозь, как игла холст.

То, что было Блемером, село, потом вытянулось, раскинуло ноги и замерло. Воздух хрипел в его простреленных легких, обнаженная голова вздрагивала, стараясь подняться и взглядом защитить себя от нового выстрела. Тарт, болезненно улыбаясь, присел возле матроса и вытащил из его стиснутых пальцев судорожно вырванную траву. Далее он не знал, что делать, и стоял на коленях, сраженный молчаливой тревогой.

Блемер повернул голову, глотая подступающую кровь, и выругался. Тарт казался ему страшным чудовищем, чуть ли не людоедом. Он посмотрел вверх и, увидев жаркую синеву неба, вспомнил о смерти.

– Подлец ты, подлец! – застонал Блемер. – За что?

– Перестань болтать глупости, – возразил Тарт, отдирая подол блузы. – Ты охотился за мной, как за зверем, но звери научились стрелять. Не ты, так я лежал бы теперь, это было необходимо.

Он свернул импровизированный бинт, расстегнул куртку Блемера и попытался удержать кровь. Липкая горячая жидкость просачивалась сквозь пальцы, и было слышно, как стучит слабое от испуга сердце. Тарт нажал сильнее, Блемер беспокойно вздрогнул и сморщился.

– Адская боль, – процедил он, хрипло дыша. – Брось, ничего не выйдет. Дыра насквозь, и я скоро подохну. Ты смеешься, сволочь, убийца!..

– Я не смеюсь, – с серьезной улыбкой возразил Тарт. – А мне тяжело. Прости мою невольную пулю.

Не отрываясь, смотрел он в осунувшееся лицо матроса. Вокруг глаз легли синеватые тени; широкий, давно небритый подбородок упрямо торчал вверх.

– Трава сырая, – простонал Блемер, бессильно двигаясь телом, – я умру, понимаешь ли ты? Зачем?

Равнодушно-спокойное и далекое, синело небо. А внизу, обливаясь холодным потом агонии, умирал человек, жертва свободной воли.

– Блемер, – сказал Тарт, – ты шел в этом лесу, отыскивая меня. Твое желание исполнилось. Но если я не хотел идти с тобой, как мог ты подумать, что силой можно сломить силу без риска проиграть свою собственную карту?

– К черту! – застонал Блемер, отплевывая розовую слюну. – Ты просто изменник и негодай! – Он смолк, но скоро застонал снова и так громко, что Тарт вздрогнул. Раненый сделал последнее отчаянное усилие поднять голову; глаза его подернулись влагой смерти, и был он похож на рыжего раздавленного муравья.

– Ты очень мучаешься? – спросил Тарт.

– Мучаюсь ли я? Ого-го-го! – закричал Блемер. – Тарт, ты дезертир и мерзавец, но вспомни, умоляю тебя, что на «Авроре» есть госпиталь!.. Сбегай туда... скажи, что я умираю!..

Тарт отрицательно покачал головой. Блемер вытягивался, то опираясь головой в землю и размахивая руками, то снова припадая спиной к влажной земле. По внезапно исхудавшему, тусклому лицу его пробежала быстрая судорога. Он ругался. Сначала тихое, потом громкое бормотанье вылилось сложным арсеналом отвратительных бранных фраз. Тарт смотрел, ждал и, когда глаза Блемера задернулись пленкой, – стал заряжать ружье.

– Потерпи еще малость, Блемер, – сказал он. – Сейчас все кончится.

Блемер не отвечал. Сквозь до крови закусенную губу матроса Тарт чувствовал легион криков, скованных бешенством и страданием. Он отошел в сторону, чтобы случайно Блемер не угадал его мысли, прицелился в затылок и выстрелил.

Раненый затрепетал, вздохнул и затих.

Теперь он был мертв. Сильное, цветущее тело его обступила маленькая зеленая армия лесной травы и, колыхаясь, заглянула в лицо.

IV

«Гарнаш, улица Петуха»

На берегу, почти у воды, в тени огромного варингинового дерева, стоит крепкая дубовая бочка, плотно закрытая просмоленным брезентом. Она не запирается; это международная почтовая станция. Сюда с мимо идущих кораблей бросаются письма, попадающие во все концы света. Корабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию; плывущий в Европу – европейскую.

Клипер готовился к отплытию. Медленно, упорно трещал брашпиль, тяжело ворочаясь в железном гнезде. Канат полз из воды, таща за собою якорь, сплошь облепленный водорослями, тиной и раковинами. Матросы, раскисшие от жары, вяло бродили по накалившейся смоле палубы, закрепляя фалы, или сидели на реях, распуская ссохшиеся паруса. В это время к берегу причалила шлюпка с шестью гребцами, и младший лейтенант клипера, выскочив на песок, подошел к бочке. Откинув брезент, он вынул из нее несколько пакетов и бросил, в свою очередь, пачку писем.

Потом все уехали и скоро превратились в маленькое, черное пятно, машущее крошечными веслами. Клипер преображался. От реи до реи, скрывая стволы мачт, вздулись громоздкие паруса. Корабль стал похожим на птицу с замершими в воздухе крыльями, весь – напряжение и полет, нетерпение и сдержанное усилие.

Бушприт клипера медленно чертил полукруг с запада на юго-восток. Судно тяжело поворачивалось, вспенивая рулем полдневную бледную от жары синеву рейда. Теперь оно походило на человека, повернувшегося спиной к случайному, покидаемому ночлегу. Пенная, ровная линия тянулась за кормой – клипер взял ход.

Его контуры становились меньше, воздушнее и светлее. Двигался он, как низко летящий альбатрос, слегка накренив стройную белизну очертаний. А за ним с берега цветущего острова следил человек – Тарт.

Он равнодушно ждал исчезновения клипера. Корабль увозил с собой земляков, привычное однообразие дисциплины, грошовое жалованье и более ничего. Все остальное было при нем. Он мог ходить как угодно, двигаться как угодно, есть и пить в любое время, делать, что хочется, и не заботиться ни о чем. Он стряхивал с себя бремя земли, которую называют коротким и страшным словом «родина», не понимая, что слово это должно означать место, где родился человек, и более ничего.

Тарт смотрел вслед уходящему клиперу, ни капли не сомневаясь в том, что именно его считают убийцей Блемера. Почему прекратили поиски? Почему не более как через шесть дней после ухода Тарта клипер направился в Австралию? Может быть, решили, что он мертв? Но в глазах экипажа остров был не настолько велик, чтобы потерять надежду отыскать человека или хотя бы его кости. Поведение «Авроры» немного раздражало Тарта; он чувствовал себя лично обиженным. Человек крайне самолюбивый, бесстрашный и стремительный, он привык, чтобы с ним и его поступками враги считались так же, как с неприятелем на войне. Но ведь не бежит же от него клипер, в самом деле!

Он вспомнил свое убежище – скалистый овраг, с гладким, как паркет, дном и кровлей из цветущих кустов. Ничего нет удивительного, что клипер ушел ни с чем. В глазах их Тарт мог только утонуть; к тому же – кто особенно дорожил жизнью Блемера? На клипере сто матросов; двумя больше, двумя меньше – не все ли равно? Время горячее, китайские пираты выются по архипелагу, как осы. Военное судно, несущее разведочную службу, не может долго оставаться в бездействии.

Тарт медленно шел вдоль берега, опустив голову. Собственное его положение казалось ему ясным до чрезвычайности: потянет в другое место – он будет караулить, высматривая проходящих купцов. И ночной сигнальный костер даст ему короткий приют на чужой палубе. Куда он поедет, зачем и ради чего?

Но он не думал об этом. Свобода, страшная в своей безграничности, дышала ему в лицо теплым муссоном и жаркой влагой истомленных зноем растений. Это был отчаянный экстаз игрока, бросившего на карту все и получившего больше ставки. Выигравший не думает о том, на что он употребит деньги, он далек от всяких расчетов, музыка золота наполняет его с ног и до головы дразнящим вихрем возможностей, прекрасных в неосуществимости своей желаний и бешеным стуком сердца. Может быть, не дальше, как завтра, судьба отнимет все, выигранное сегодня, но ведь этого еще нет?

Да здравствует прекрасная неизвестность!

Медленно, повинаясь любопытству, смешанному с предчувствием, Тарт откинул брезент и, став на камни, положенные под основание бочки, открыл ее. На дне серели пакеты. Их было много, штук двадцать, и Тарт тщательно пересмотрел все.

Ему доставляло странное удовольствие держать в руках вещественные следы ушедших людей, мысленно говорить с ними, в то время, когда они даже и не подозревают этого. Стоит захотеть, и он узнает их мысли, будет возражать им, без риска быть пойманным, и они не услышат его. Матросские письма особенно заинтересовали Тарта. Он пристально рассматривал неуклюжие, косые буквы, смутно догадываясь, что здесь, может быть, написано и о нем. Взволнованный этим предположением, Тарт бережно отложил несколько конвертов, на которых были надписаны имена местностей, близких к месту его рождения. Он искал самого тесного, кровного земляка, рылся дрожащими от нетерпения пальцами, раскладывая по песку серые четырехугольники, и вдруг прочел:

«Гарнаш, улица Петуха».

Гарнаш! Не далее как в десяти милях от этого городка родился Тарт. Он помнит еще возы с зеленью, пыльную дорогу, по которой бегал мальчишкой, и держит пари, что пишет не кто иной, как толстяк Риль!

Да, вот его имя, написанное маленькими печатными буквами. Тарт вынул нож и разрезал толстую бумагу пакета. Риль писал много, четыре больших листа сплошь пестрели каракулями, сообщая подробности плавания, события, свидетелем которых был Риль, и длинные, неуклюжие нежности, адресованные жене. Тарт торопливо разбирал строки. Пальцы его дрожали все сильнее, лицо потускнело; взволнованный, с блестящим остановившимся взглядом, он бросил бумагу и инстинктивно схватил ружье.

Кругом было по-прежнему пусто, легкий прибой шевелил маленькие, круглые голыши и тихо шумел засохшими водорослями. В голове, как отпечатанные, стояли строки письма, ском-

канного и брошенного рукой Тарта: «...если бы он провалился, туда ему и дорога. А наши думают, что он жив. Мы вернемся через четыре дня, за это время должны его поймать непременно, потому что он будет ходить свободно. Шестерым с одним справиться – что плюнуть. Толкуют, прости меня, господи, что Тарт сошелся с дьяволом. Это для меня неизвестно».

– Надо уйти! – сказал Тарт, с трудом возвращая самообладание. Небывалым, невозможным казалось ему, только что прочитанное. Все вдруг изменило окраску, притаилось и замерло, как молчаливая, испуганная толпа. Солнце потеряло свой зной, ноги отяжелели, и Тарт двигался медленно, напряженно, словно окаменев в припадке безвыходного, глухого гнева. Мысль утратила гибкость, сосредоточиваясь на пристальном, болезненном ощущении невидимых, враждебных людей. И немое отвращение к тайной опасности подымалось со дна души, вместе с нестерпимым желанием открытого, решительного исхода.

– Шесть? – сказал Тарт, останавливаясь. – Так вас шесть, да?

Кровь бросилась ему в голову и ослепила. Почти не сознавая, что он делает, он вызывающе поднял штучер и нажал спуск. Выстрел пронесся в тишине дробным эхом, и тотчас Тарт зарядил разряженный, еще дымящийся ствол, быстро, не делая ни одного лишнего движения.

По-прежнему царствовала тишина, жуткая, полуденная тишина безлюдного острова. Матрос прислушался, молчание раздражало его. Он потряс кулаком и разразился градом язвительных оскорблений. Обессиленный припадком тяжелой злобы, он шел вперед, ломая кусты, сбивая ударом приклада плотные, сочные листья. Сознавая, что все пути отрезаны, что выстрел кем-нибудь да услышан, Тарт чувствовал злобное, веселое равнодушие и огромную силу дерзости. Уверенность возвращалась к нему по мере того, как шли минуты, и зеленый хоровод леса тянулся выше, одевая пахучим сумраком лицо Тарта. Он шел, а сзади, догоняя его, бежали шестеро, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться к неясному шороху движений затравленного человека.

– Тарт! – задыхаясь от бега, крикнул на ходу высокий черноволосый матрос. – Тарт, подожди малость, эй!

И за ним повторяли все жадными, требовательными голосами:

– Тарт!

– Эй, Тарт!

– Тарт! Тарт!

Тарт обернулся почти с облегчением, с радостью воина, отражающего первый удар. И тотчас остановились все.

– Мы ищем тебя, – сказал черноволосый, – да это ведь ты и есть, а? Не так ли? Здравствуй, приятель. Может быть, отпуск твой кончился, и ты пойдешь с нами?

– Завтра, – сказал Тарт, вертя прикладом. – Вы не нужны мне. И я – зачем я вам? Оставьте меня, гончие. Какая вам польза от того, что я буду на клипере? Решительно никакой. Я хочу жить здесь, и баста! Этим сказано все. Мне нечего больше говорить с вами.

– Тарт! – испуганно крикнул худенький, голубоглазый крестьянин. – Ты погиб. Тебе, я вижу, все равно, ты отчаянный человек. А мы служим родине! Нам приказано разыскать тебя!

– Какое дело мне до твоей родины, – презрительно сказал Тарт. – Ты, молокосос, растяпа, может быть, скажешь, что это и моя родина? Я три года болтался на вашей плавучей скорлупе. Я жить хочу, а не служить родине! Как? Я должен убивать лучшие годы потому, что есть несколько миллионов, подобных тебе? Каждый за себя, братец!

– Тарт, – сказал третий матрос, с круглым, тупым лицом, – дело ясное, не сопротивляйся. Мы можем ведь и убить тебя, если...

Он не договорил. Одновременно с клубком дыма тело его свалилось в кусты и закачалось на упругих ветвях, разбросав ноги. Тарт снова прицелился, невольное движение растерянности со стороны матросов обеспечило ему новый удачный выстрел... Черноволосый матрос опустился на четвереньки и судорожно открыл рот, глотая воздух.

И все потемнело в глазах Тарта.

Спокойно встретил он ответные выстрелы, пистолет дрогнул в его руке, пробитый насквозь, и выпал. Другою рукой Тарт поднял его и выстрелил в чье-то белое, перекошенное

страхом лицо.

Падая, он мучительно долго не мог сообразить, почему сверкают еще красные огоньки выстрелов и новая тупая боль удар за ударом бьет тело, лежащее навзничь. И все перешло в сон. Сверкнули тонкие водопады; розовый гранит, блестя влагой, отразил их падение; бархатная прелесть луга протянулась к черным корням раскаленных, как маленькие горны, деревьев – и стремительная тишина закрыла глаза того, кто был – Тарт.

Окно в лесу

I

Заблудившийся человек, охотник, встал на пригорок и тревожно осмотрелся вокруг. Повсюду, до самого леса, низко черневшего на горизонте, тянулась незнакомая, зловещая равнина, поросшая желтовато-белым, угрюмым мохом и редким осинником. Осенний ветер неистово гнул тоненькие деревца, с унылым свистом прорезая их судорожно трепещущую листву. Беспреданно, нагибаясь почти до самой земли, кланялись они темнеющему, обложенному тучами небу, и холодный дух воздуха шумно рвался над ними к багровому, стынушему закату.

Мартышки носились над головой охотника с отчаянным, безумно-пронзительным воплем убиваемого существа. Обитатели маленьких болот, рассеянных по равнине, спрятались в камышах, зайцы исчезли, тяжеловесные вороны, обессиленные вихрем, спустились на землю. Свистящий плач ветра соединял небо с землей; все металось и гнулось; почерневшие облака бурно текли вдаль, причудливо изменяя очертания, клубясь, как дым невидимого пожара, разрываясь и сплющиваясь.

Охотник стоял, удерживая рукой шляпу. Сырой, резкий ветер стягивал кожу на покрасневшем лице; озябшие ноги нетерпеливо ежились; тоскливая пустота земли, поражаемой вихрем, сжимала сердце беспредметной боязнью. Члены, оцепеневшие от усталости, требовали покоя. Незаметно окрепший голод, из легкого, почти бессознательного желания есть превратился в жадный, беззвучный крик тела. Неизвестность местонахождения путала мысли, близость ночи пугала, сознание обессиливало, сменяясь инстинктивной потребностью идти, чтобы идти, в слепой надежде выбраться к знакомым местам, успокоиться и ориентироваться.

Охотник тронулся, придерживаясь прежде взятого направления. Он шел к лесу поспешными, большими шагами. Тысячи голосов сопровождали его; казалось, тысячи проклятых существ, превращенных в болотную поросль, плачут вокруг тонкими, пронзительными рыданиями, кричат и молят, задыхаясь от бессильного ужаса. Мартышки, чертя мгlistый воздух истерическими зигзагами, кидались то вправо, то влево, и расстроенное воображение человека превращало их в таинственных птиц, наделенных скрытыми силами. Как духи отчаяния, без устали бросали они свой безобразный, отвратительно резкий крик, и лесной страх полз из темнеющего, взбаламученного пространства.

Охотник остановился, дрожа от холода. Черные угли туч заваливали меркнувший очаг запада; солнце спешило скрыться, чтобы не видеть земли, омраченной безумием. На бледной, чистой от облаков полосе неба металась разъяренная ветви, в ушах гудело, сырость ломила мускулы. Человек напряг легкие и крикнул; голос его жалобно утонул в хаосе звуков, несущихся над землей. Он побрел снова, ощупью, с широко раскрытыми глазами, спотыкаясь о пни.

Медленное, неудержимое отчаяние захватывало душу охотника. Все ожило, все приняло грандиозные, пугающие размеры. Равнина казалась бесконечной; границы ее терялись в воображении; земля становилась местом невыразимой печали, заброшенности и проклятия. Взрослый превращался в ребенка; лицом к лицу с ночью, сбившийся и голодный, бессильный и беззащитный, он воскрешал древние предания, мысленно вызывая мохнатые образы лесных духов, судорожно улыбался в темноте, силясь сбросить овладевшие им представления, и шел, прислушиваясь с болезненным напряжением к малейшему треску сучка, вздрогнувшего под ногой.

Ночь свирепствовала подобно душе преступника. Охотник тяжело дышал; мысли его терялись в пространстве; одиночество обостряло чувства; ноги не замечали земли; живые невидимые ветви хватали за одежду, молча били в лицо и бешено выли за спиной, охваченной страхом. Охотник более не останавливался. Ускоряя шаг, он инстинктивно стремился к лесу, чтобы в его густой влажной сердцевине укрыться от разрушительного торжества бури.

Первый, шершавый ствол дерева, которого он коснулся в темноте вытянутой рукой, показался ему живым существом, другом, вышедшим навстречу измученному товарищу. С чувством тоскливого успокоения замечал он, пробираясь дальше, как затихает вой ветра, превращаясь в шумное движение хвойных вершин. Стонущий рокот, подобно невидимому водопаду, струился над его головой; медленно скрипели стволы, их дикий оркестр щемил сердце; полусгнившая хвоя мягко скользила под ногами, и черная сырость воздуха, пропитанного запахом леса, напрягала невидящие глаза, бросая в них искры, рожденные оцепеневшим мозгом.

И вот, в совершенной темноте, как маленький уголек, тлеющий на темной материи, вспыхнул свет. Человек не поверил свету; он протер кулаком глаза и пошел дальше. Красный уголек скрылся, заслоненный деревьями, мелькнул снова, погас и вновь одиноким, кривым глазом блеснул во тьме.

Тогда неудержимая радость овладела охотником. Тело его как будто переродилось, потеряло вес и усталость; бессознательная, блаженная улыбка растопила лицо; желание опередило тихий человеческий шаг и, сорвавшись, как обозленная лошадь, было уже там, где чувствовалось людское жилье.

С обостренной силой заворочался голод, и человек не сдерживал его, а возбуждал и радовался, предчувствуя близкое удовлетворение. Десятки виденных раньше, ночных, полных заманчивого уюта, окон всплыли в его воображении. Но этот свет – не был ли он просто костром?

II

Приблизившись, сжигаемый любопытством и нетерпением, охотник различил черный переплет рамы на фоне красноватых от огня стекол. Это было окно, это был дом, произведение человеческих рук, успокоение и находка.

В туманной глубине света, наполнявшего внутренность помещения, двигались неясные силуэты, желтые профили, беззвучно шевелящиеся губы и руки. Тени, мгновенно вырастая, перебегали с потолка на стены и гасли. Жизнь ночного окна, призрачная, странная, неизвестная смотрящему из темноты человеку, сосредоточивалась в неуклюжем, ясном четырехугольнике.

И, по свойственной человеку привычке подходить к своему ближнему с осторожностью большей, чем у диких зверей – друг к другу, – охотник медленными, крадущимися шагами пошел вперед, стараясь рассмотреть обитателей. Соблазнительные картины отдыха и горячих кушаний в кругу мирной, трудолюбивой семьи толкали его быстрее, чем хотел он, охотник, привыкший к осторожности и терпению. Мертвый сон под надежным кровом, под стоголосый шум ветра, бушующего извне, приветливые улыбки гостеприимных хозяев – разве не вправе был он ожидать этого?

С нервно бьющимся сердцем охотник прильнул к стеклу. Глаза его, утомленные мраком, не сразу различали предметы, но скоро, сосредоточив внимание, он рассмотрел всю обстановку и людей, живших за потным стеклом. По-видимому, он наткнулся на хижину лесника. В стене, противоположной окну, была дверь; над нею висели ружья, веревочная сетка для ловли перепелов, дробовница, рог с порохом и пожелтевшие удилица. Вправо от двери, у маленькой, плохо выбеленной печи, висел красный полог кровати. На полках громоздилась глиняная посуда, разные предметы хозяйства; стены, увешанные картинками сказочного и божественного содержания, были черны от копоти. Налево от окна, в углу виднелся широкий, накрытый синей скатертью, стол, а на нем горела дешевая жестяная лампа.

Людей было трое. Они, по-видимому, уже поужинали, потому что на деревянной скамье лежала недоеденная краюха хлеба и желтел горшок, обложенный разбросанными в беспорядке ложками. У печи на низеньком табурете сидела маленькая, сгорбленная старуха; руки ее быстро

перебирали вязальными спицами, а за столом, погруженные в какое-то, на первый взгляд, непонятное занятие, помещались – мальчик лет 11-ти и пожилой, коренастый мужик. Мальчик сидел, облокотившись на руку; его задумчивое, не по-крестьянски нежное лицо светилось веселой улыбкой. Иногда он встряхивал темными, подстриженными в кружок волосами и беззвучно для охотника хохотал, показывая ряд белых зубов. Мужик с расстегнутым воротом грязной, цветной рубахи, с обветренным, угрюмо-добродушным лицом и спутанной окладистой бородой, старательно выпячивал губы, моргал и весь был поглощен делом. Он неторопливо ловил что-то, бегущее по столу, задерживал на мгновение в своей широкой, заскорузлой ладони и отпускал.

Охотник посмотрел пристальнее и вздрогнул от отвращения. По столу, трепыхая перебитым дробью крылом, бегал в судороге нестерпимого ужаса маленький болотный кулик. Его тоненький клюв непрерывно открывался и закрывался; черные, блестящие глазки выкатывались из орбит, перья, смоченные засохшей кровью, топорщились, как разорванная одежда. Быстро семени длинными коричневыми ногами, пробежал он до края стола; мужик ловил его, сдавливал пальцами окровавленную головку и, методически, аккуратно целясь, протыкал птице череп толстой иглой. Кулик замирал; игла медленно, уродуя мозг, выходила наружу, и птица, отпущенная лесником, стремительно неслась прочь, бессильная крикнуть, ошеломленная болью и предсмертной тоской, пока те же пальцы не схватывали ее вновь, протыкая в свежем месте маленькую, беззащитную голову.

Охотник перестал дышать. Лесник повернулся, его прищуренные глаза уперлись в то место окна, откуда из темноты ночи следил за ним неподвижный, усталый взгляд. Лесник не видел охотника; отвернувшись, он продолжал забаву. Куличок двигался все тише и тише, он часто падал, трепыхаясь всем телом; вскакивал, пытаясь взлететь, и, совершенно обезумев, стучался о стекло лампы.

Лес глухо гудел; сырой холод тьмы ронял капли дождя. Тоскливая, неизмеримая ярость подняла руку заблудившегося человека. Охваченный внезапным, жарким туманом, он вскинул ружье, прицелился, и оба ствола, грянув перекастистым эхом, разбили стекла.

Крик раненого и грохот падающей скамьи был ему ответом. Лес ожил; тысячи голосов разнеслись в нем, и внутренность дома, сразу соединенная с охотником острым узором раздробленного стекла, стала действительностью. Стоило протянуть руку, чтобы коснуться стола и вскоченной головы, рухнувшей на смятую скатерть. Мальчик трясся от ужаса и что-то кричал: он был вне себя.

Охотник быстро уходил прочь, шатаясь, как пьяный. Стволы толкали его, бесстрастный глухой лес поглощал одинокого человека, а он все шел, дальше и дальше навстречу голодной, бессонной, полной зверями тьме.

Штурман «Четырех ветров»

Во всей той окрестности не было ни одного человека, который мог бы его услышать.

Сервантес

Шатаясь, я придерживался за складки его плаща, изображая собой судно, буксируемое против ветра. Он неуклонно подвигался вперед и, как подобает морскому волку, тщательно рассматривал мрак. Ветер, проносясь со скоростью шторма, свистел нам в уши, словно стая обезумевших мальчишек. Выпитая водка кое-как согревала внутренности, предоставляя коже зябнуть и коченеть от ледяных брызг дождя. В голове мелькали воспоминания: хохочущие женские рты. Но если хоть раз в день было весело – это уже хорошо.

Неизвестно, куда мы шли, но в то время несколько не сомневались, что идти нужно именно в этом направлении. Зачем? Спросите об этом у штурмана. Он шагал так быстро, что я сам не успел задать ему этот вопрос; к тому же он мне тогда и не приходил в голову. Я брел, как слепой щенок, веселый, пьяный, мокрый и говорливый. Я говорил страшно много. В самый короткий срок, считая с того момента, когда мы показали тыл порогу «Свидания моряков», я выложил и вывернул наизнанку себя всего, как наволочку; рассказал все свои секреты легкомысленно об-

нажил тайны, проявил все сомнения и вытряхнул столько убеждений, что их хватило бы иному на всю жизнь. Кроме того, я клялся самой страшной божбой и, когда штурман начинал одобрительно рычать, приходил в явно неистовый восторг.

Подвигаясь таким образом, мы очутились не далее, как в двух шагах от воды. Штурман втянул носом соленый запах и не допустил меня упасть с набережной, что я пытался сделать, принимая воздух за продолжение мостовой. Я сказал:

– Спасибо тебе за то, что не всякий бы сделал на твоём месте. Будь здесь мой дядюшка, он ласково улыбнулся бы мне с берега, даже не заботясь, способен ли я разглядеть сквозь эту тьму его дьявольскую улыбку.

– Я хочу пить! – захрипел штурман, хватая меня за бока. – Пить! – Или я ложусь в дрейф, и пусть меня слопают акулы, если я тронусь с места! Довольно! Я не греческая губка, но и не черепица. Я не могу более. Я жажду.

– Нечего жажжать, – возразил я. – Морская вода с примесью апельсиновых корок – этого ли ты хочешь, бесстыдник? Или тебе мало полубочонка имбирного пива, трех бутылок виски и полкварти персиковой настойки? Если мало – то «да», а если довольно – то «нет!».

– Да! – воскликнул он с одушевлением пророка. – Да! И идем, Билль, как можно скорее! Не может быть, чтобы все трактирщики легли спать. Право на борт, пьяница с гнилыми ногами, и держись за меня, иначе, клянусь копытами сатаны, ветер опрокинет тебя, как грудного младенца.

Здесь я принужден сделать маленькое отступление, чтобы познакомить со штурманом тех из моих читателей, кто не встречал его ни в «Свидании моряков», ни в «Черном олене», ни в «Рассаднике собутельников». Он был в полном смысле слова – мужчина. Его рыжая грива была густа, как июльская рожь, а широкое, красное от ветра лицо походило на доску, на которой повар крошит мясо. Говорят, что и весь он исполосован шрамами в схватках на берегу из-за лишнего комплимента чужой красавице или нежелания уступать дорогу первому встречному, вроде джентльмена в кэпи, – но этого подтвердить я не могу, так как никогда штурман при мне не снимал рубашку; а снимал он ее три раза в год, по большим праздникам. Рост его был немного пониже семи фут; глаза черные, как две хорошие маслины, а кулаки весили бы, вероятно, по шести фунтов каждый.

Если это вам нравится, то именно таков был его портрет в те времена. Прибавлю еще, что в правом ухе он носил серьгу, снятую им со своей покойной жены, когда ее положили в гроб. При этом, как передают, им были сказаны следующие знаменательные слова: «Не думай, милая моя Бетси, что я хочу тебя обокрасть или что я стал жаден, как нищий в пустой квартире; стоит тебе встать из гроба – и я куплю тебе сережки в четыре фунта, потолще моих пуговиц». Сказав это, он зарыдал и вытащил серьгу из уха покойницы – на память, по его объяснению.

За плащ этого человека я и держался, пока мы, тоскуя о невозможном, блуждали по спящим улицам. Не знаю – было ли еще когда-нибудь темнее, чем в эту ночь. Ветер бушевал, как дюжина цепных псов; слева и справа, сзади и спереди бросал он отчаянные толчки, рвал одежду и затруднял дыхание. Дождь поливал нас усерднее садовника, хотя мы и не были розами, ноги мои жулькали в сапогах, коченели, и я, наконец, перестал их совсем чувствовать. Мы прошли одну улицу, другую; свернули, путались в переулках, но нигде, кроме искр своих собственных глаз, не видели никакого света. Наглухо закрытые ставни скрипели заржавленными болтами, из водосточных труб хлестала вода, и мрак, чернее мысли приговоренного к смерти, закрадывался в наши сердца, жаждущие веселья.

Наконец, штурман не выдержал. Стиснув зубы так, что они взвизгнули не хуже плохого флюгера, и топнув ногой, он утвердился на месте крепче принайтовленной бочки. Я тщетно пытался сдвинуть его, все мои усилия повели только к взрыву проклятий, направленных против неба, ада, трактирщиков, моей особы и ни в чем не повинной шхуны «Четыре ветра», мирно дремавшей у мола в соседстве двух катеров.

– Ни с места! – громовым голосом рявкнул штурман, набирая как можно больше воздуха. Это служило признаком, что он намерен держать речь, как всегда – в подобных и иных критических случаях. – Ни с места, говорю я. Разбудим весь город, или сами захрапим тут не хуже каких-нибудь кухарок или объевшихся лавочников! Как?!. Два джентльмена желают выпить и не

могут этого сделать потому, что в этом дрянном городе живут сурки?! Эй, проживающие здесь (говоря это, он подошел к ближайшим воротам и ударил в них кулаком так крепко, что вздрогнула ночь), – эй, – говорю я, – вставайте! Мы желаем с вами познакомиться. Если же вы не слышите, я буду барабанить здесь, как обезьяна на ярмарке, до тех пор, пока не свалюсь в грязь! Проснитесь, сухопутные крысы, кочни капусты, пучки сельдерея! Одну бутылку – и мы удалимся! Расчет наличными!

Беснуясь, он каждое слово свое сопровождал сокрушительными ударами. Сердце мое замерло. С минуты на минуту я ожидал, что нас окружит толпа потревоженных жителей, и тогда будет нехорошо. Но, к моему удивлению, царствовало глубокое безмолвие, нарушаемое лишь возгласами отважного штурмана и гулом ветра.

– Лазит в карман за словом тот, кто привык искать его везде, кроме собственной головы, – продолжал мой спутник, сделав маленькую передышку, так как уже охрип. – Или вы думаете, что мне с вами не о чем разговаривать? Дудки-с! Я буду кричать вам до рассвета, потому что нет ни одной гавани в мире, где я не менял бы золото на медяки, а серебро на свистульку! Кроме вас, есть еще желтые, черные и коричневые балбесы, а есть и такие, что блещут почище ваших медных кофейников! В Гаване рыбу ловят острогами, а в Судане крючками. А где лучший хлеб, знаете ли вы, каракатицы? Я знаю – в Лиссабоне; потому что он там бел и мягок, как девушка в восемнадцать лет! Я вам скажу, что в Индии есть слоны и дворцы, тигры и жемчужные раковины. В океане, где я живу, как вы под железной крышей, – вода светится на три аршина, а рыбы летают по воздуху на манер галок! Это говорю вам я, штурман «Четырех ветров», хотя ее и чинили в прошлом году! Попробуйте-ка прогуляться где-нибудь в Вальпарайзо без хорошего револьвера – вас разденут, как артишок. В море, говорю я вам, бывают чудеса, когда ваш собственный корабль плывет на вас, словно вы перед зеркалом! А где пляшут гейши – я вам и ходить не советую, потому что вы распустите слюни. Поросята! Я вам скажу, что есть места, где ананасы покупают корзинами, и они дешевле репы. Видали вы небо, под которым хочется хохотать с зари до зари, как будто ангелы щекочут в вашем носу концами своих крыльев? А леса, перед которыми ваши цветники – вроде огородной гряды перед облаками на закате? В Шанхае чай шесть пенни за фунт, и это первого сбора. Клянусь тетушкой черта, если она у него есть, что сам видел раковины больше корзины, и они пестрели, как радуга. Если б я не был пьян, я вас всех вытащил бы на палубу и дал бы вам на первое время в месяц по двадцати шиллингов. Чего вы боитесь? Вы можете взять с собой все ваши кастрюли, кровати и горшки с душистым горошком, да в придачу еще пару гусей, если они у вас есть. Так я вам и позволил пакостить судно разным печным скарбом! Не плачьте, чулочки, сапожники, кузнецы, пивовары, лавочники и жулики! Ваше прошлое останется с вами, вы можете его пережевывать, как коза жвачку, сколько угодно. Эй, говорю я, прыгайте, прыгайте из окошек вниз! Я покажу вам новую бизань из самого сухого дуба на всей земле.

И так как по-прежнему никто не пожелал бросить теплую постель, чтобы выругать штурмана, он начал трясти ворота с остервенением, равным его жажде. Резкий грохот задребезжал в переулках. Я дернул штурмана за рукав, не обращая внимания на его брань, и сказал:

– Глотка из бирмингамского железа – или ты хочешь, чтобы нас избили ни за что, ни про что?

Но упорство его было велико. Он уже приискивал подходящий булыжник, как вдруг неизвестная личность, появившись из-за угла, помешала нашему объяснению. Это был ночной сторож.

– Куда вы ломитесь, бродяги? – закричал он, подходя ближе и направляя красный свет фонаря на наши головы. – Это пустой дом, и в нем нога человеческая не бывала еще с прошлого рождества! Нечего сказать, хорошее занятие – портить кулаки о ворота!

И я услышал из уст штурмана новую, но уже негодную для печати речь, которую он закончил следующими словами:

– Пусть рассыплется в порошок тот, кто, покидая этот сарай, не прибил к нему фонаря с надписью: «Здесь живут мыши!»

И мы пошли снова. Штурман быстро шагал к гавани, а я едва поспевал за ним, придержи-

ваясь за складки его плаща.

Происшествие на улице Пса

Похож на меня, и одного роста, а кажется выше на полголовы – мерзавец Из старинной комедии Случилось, что Александр Гольц вышел из балагана и пришел к месту свидания ровно на полчаса раньше назначенного. В ожидании предмета своей любви он провожал глазами каждую юбку, семенившую поперек улицы, и нетерпеливо колотил тросточкой о деревянную тумбу. Ждал он тоскливо и страстно, с темной уверенностью в конце. А иногда, улыбаясь прошлому, думал, что, может быть, все обойдется как нельзя лучше.

Наступил вечер; узенькая, как щель, улица Пса туманилась золотой пылью, из грязных окон струился кухонный чад, разнося в воздухе запах пригорелого кушанья и сырого белья. По мостовой бродили зеленщики и тряпичники, заявляя о себе хриплыми криками. Из дверей пивной то и дело вываливались медлительные в движениях люди; выйдя, они сперва искали точку опоры, потом вздыхали, нахлобучивали шляпу как можно ниже к переносице и шли, то с мрачным, то с блаженным выражением лиц, преувеличенно твердыми шагами.

– Здравствуй!

Александр Гольц вздрогнул всем телом и повернулся. Она стояла перед ним в небрежной позе, точно остановилась мимоходом, на секунду, и тотчас уйдет. Ее смуглое, подвижное лицо с печальным взглядом и капризным изгибом бровей, избегало глаз Гольца; она рассматривала прохожих.

– Милая! – напряженно-ласковым голосом сказал Гольц и остановился.

Она повернула лицо к нему и в упор безразличным движением глаз окинула его пестрый галстук, шляпу с пером и гладко выбритый, чуть вздрагивающий подбородок. Он еще надеется на что-то; посмотрим.

– Я... – Гольц прошептал что-то и начал жевать губами. Потом сунул руку в карман, вытащил обрывок афиши и бросил. – Позволь мне... – Здесь его рука потрогала поля шляпы. – Итак, между нами все кончено?

– Все кончено, – как эхо, отозвалась женщина. – И зачем вы еще хотели видеть меня?

– Больше... ни за чем, – с усилием сказал Гольц. Голова его кружилась от горя. Он сделал шаг вперед, неожиданно для себя взял тонкую, презрительно-послушную руку и тотчас ее выпустил.

– Прощайте, – выдавил он тяжелое, как гора, слово. – Вы скоро уезжаете?

Теперь кто-то другой говорил за него, а он слушал, парализованный мучительным кошмаром.

– Завтра.

– У меня остался ваш зонтик.

– Я купила себе другой. Прощайте.

Она медленно кивнула ему и пошла. Тумба оказалась крепче тросточки Гольца; хрупкое роговое изделие сломалось в куски. Он пристально смотрел в затылок ушедшей девушке, но она ни разу не обернулась. Потом фигуру ее заслонил угольщик с огромной корзиной. Кусочек шляпы, мелькнувшей из-за угла – это все.

Александр Гольц открыл двери ближайшего ресторана. Здесь было шумно илюдно; косые лучи солнца блестели в густом войске бутылок дразнящими переливами. Гольц сел к пустому столу и крикнул:

– Гарсон!

Безлично-почтительный человек в грязной манишке подбежал к Гольцу и смахнул пыль со столика. Гольц сказал:

– Бутылку водки.

Когда ему подали требуемое, он налил стаканчик, отпил и плюнул. Глаза его метали гневные искры, ноздри бешено раздувались.

– Гарсон! – заорал Гольц, – я требовал не воды, черт возьми! Возьмите эту жидкость, кото-

рой много в любой водосточной кадке, и дайте мне водки! Живо!

Все, даже самые флегматичные, повскакали с мест и кольцом окружили Гольца. Оторопевший слуга клялся, что в бутылке была самая настоящая водка. Среди общего смятения, когда каждый из посетителей отпивал немного воды, чтобы убедиться в правоте Гольца, принесли новую запечатанную бутылку. Хозяин трактира, с обиженным и надутым лицом человека, непроизвольно очутившегося в скверном, двусмысленном положении, вытащил пробку сам. Руки его бережно, трясаясь от волнения, налили в стакан жидкость. Из гордости он не хотел пробовать, но вдруг, охваченный сомнением, отпил глоток и плюнул: в стакане была вода.

Гольц развеселился и, тихо посмеиваясь, продолжал требовать водки. Поднялся невероятный шум. Восковое от страха лицо хозяина поворачивалось из стороны в сторону, как бы прося защиты. Одни кричали, что ресторатор – жулик и что следует пригласить полицию; другие с ожесточением утверждали, что мошенник именно Гольц. Некоторые набожно вспоминали черта; маленькие мозги их, запуганные всей жизнью, отказывались дать объяснение, не связанное с преисподней.

Задышавшись от жары и волнения, хозяин сказал:

– Простите... честное слово, ума не приложу! Не знаю, ничего не знаю; оставьте меня в покое! Пресвятая мать божия! Двадцать лет торговал, двадцать лет!..

Гольц встал и ударил толстяка по плечу.

– Любезный, – заявил он, надевая шляпу, – я не в претензии. У вас бутылки, должно быть, из тюля, – немудрено, что спирт выдыхается. Прощайте!

И он вышел, не оборачиваясь, но зная, что за ним двигаются изумленные, раскрытые рты.

III Историк (со слов которого записал я все выше и нижеизложенное) с момента выхода Гольца на улицу сильно противоречит показаниям мясника. Мясник утверждал, что странный молодой человек направился в хлебопекарню и спросил фунт сухарей. Историк, имени которого я не назову по его просьбе, но лицо, во всяком случае, более почтенное, чем какой-то мясник, божится, что он стал торговать яйца у старухи на углу улицы Пса и переулка Слепых. Противоречие это, однако, не вносит существенного изменения в смысл происшедшего, и потому я останавливаюсь на хлебопекарне.

Открывая ее дверь, Гольц оглянулся и увидел толпу. Люди самых разнообразных профессий, старики, дети и женщины толкались за его спиной, сдержанно жестикулируя и указывая друг другу пальцем на странного человека, оскандалившего трактирщика – Истерическое любопытство, разбавленное темным испугом непонимания, тянуло их по пятам, как стаю собак. Гольц сморщился и пожал плечами, но тотчас расхохотался. Пусть ломают головы – это его последняя, причудливая забава.

И, подойдя к прилавку, потребовал фунт сахарных сухарей. Булочная наполнилась покупателями. Все, кому нужно и кому не нужно, спрашивали того, другого, жадно заглядывая в каменное, строгое лицо Гольца. Он как будто не замечал их.

Среди всеобщего напряжения раздался голос приказчицы:

– Сударь, да что же это?

Чашка весов, полная сухарями до коромысла, не перевешивала фунтовой гири. Девушка протянула руку и с силой потянула вниз цепочку весов, – как припечатанная, не шевельнувшись, стояла другая чашка.

Гольц рассмеялся и покачал головой, но смех его бросил последнюю каплю в чашу страха, овладевшего свидетелями. Толкаясь и вскрикивая, бросились они прочь. Мальчишки, стиснутые в дверях, кричали, как зарезанные. Растерянная, багровая от испуга, стояла девушка-продащица.

Опять Гольц вышел, хлопнув дверьми так, что зазвенели стекла. Ему хотелось сломать что-нибудь, раздавить, ударить первого встречного. Пошатываясь, с бледным, воспаленным лицом, с шляпой, сдвинутой на ухо, он производил впечатление помешанного. Для старухи было бы лучше не попадаться ему на глаза. Он взял у нее с лотка яйцо, разбил его и вытащил из скорлупы золотую монету. «Ай!» – вскричала остолбеневшая женщина, и крик ее был подхвачен единодушным – «Ах!» – толпы, запрудившей улицу.

Гольц тотчас же отошел, шаря в кармане. Что он искал там?

Публика, окружившая старуху, вопила, захлебываясь кто смехом, кто бессмысленными ругательствами. Это было редкое зрелище. Дряхлые, жадные руки с безумной торопливостью били яйцо за яйцом; содержимое их текло на мостовую и свертывалось в пыли скользкими пятнами. Но не было больше ни в одном яйце золота, и плаксиво шамкал беззубый рот, изрыгая старческие проклятия; кругом же, хватаясь за животы, стонали от смеха люди.

Подойдя к площади, Гольц вынул из кармана ни больше, ни меньше, как пистолет, и спокойно поднес дуло к виску. Светлое перо шляпки, скрывшейся за углом, преследовало его. Он нажал спуск, гулкий звук выстрела оттолкнул вечернюю тишину, и на землю упал труп, теплый и вздрагивающий.

От живого держались на почтительном расстоянии, к мертвому бежали, сломя голову. Так это человек просто? Так он действительно умер? Гул вопросов и восклицаний стоял в воздухе. Записка, найденная в кармане Гольца, тщательно комментировалась. Из-за юбки? Тьфу! Человек, встревоживший целую улицу, человек, бросивший одних в наивный восторг, других – в яростное негодование, напугавший детей и женщин, вынимавший золото из таких мест, где ему быть вовсе не надлежит, – этот человек умер из-за одной юбки?! Ха-ха! Чему же еще удивляться?!

Надгробные речи над трупом Гольца были произнесены тут же, на улице, ресторатором и старухой. Первая, радостно взвизгивая, кричала:

– Шарлатан!

Ресторатор же злобно и сладко бросил:

– Так!

Обыватели расходились под ручку с женами и любовницами. Редкий из них не любил в этот момент свою подругу и не стискивал крепче ее руки. У них было то, чего не было у умершего, – своя талия. В глазах их он был бессилен и жалок – черт ли в том, что он наделен какими-то особыми качествами; ведь он был же несчастен все-таки, – как это приятно, как это приятно, как это невыразимо приятно!

Не сомневайтесь – все были рады. И, подобно тому, как в деревянном строении затаптывают тлеющую спичку, гасили в себе мысль: «А может быть... может быть – ему было нужно что-нибудь еще?»

Дача Большого Озера

I

Всю дорогу от вокзала до Бурунчей Оссовский находился в состоянии крайнего угнетения. Знакомые когда-то места, покинутые несколько лет тому назад и теперь снова разворачивавшие перед ним свой грустный пейзаж, сильно изменились за это время, застроились, раскинули к реке и лесу новые улицы, еще полные щеп и кирпичей от наскоро возведенных построек. Здесь, так же как и в его постаревшей, истрепанной душе, хозяйничало время, тщательно разрушая мелкие, милые подробности прошлого – старые домики, нелепо покрашенные заборы, покосившийся фонарь – все, что сразу охватывает человека трепетом забытых волнений, нежностью к прошедшему и безнадежным, мучительным желанием помолодеть на несколько лет.

Оссовский смотрел по сторонам, медленно разбираясь в воспоминаниях. Вот улица, где находился пустырь, огороженный деревянным забором; теперь в самом центре ее стоял двухэтажный кирпичный дом с вывеской: «Почтово-телеграфное отделение», а к нему с обеих сторон примыкали кокетливые, окруженные зеленью дачи. Мелькнула гостиница, где ночевал он, приезжая на свидания к невесте, ставшей впоследствии его женой и умершей два года назад. Зеленые косогоры, переулки, чудом сохранившие прежнюю физиономию, казалось, всматривались в усталое лицо приехавшего, силясь узнать в нем кого-то прежнего, моложе и пободрее.

Летние сумерки дышали неостывшим теплом земли, влажностью растительных испарений

и острым после дождя запахом гнилых досок. Ежедневное, еще светлое небо молча прислушивалось к вечерним, затихающим отзвукам. Из окон блестел свет, смутные голоса людей вырывались на улицу, сердитые и веселые, быстрые и ленивые. Где-то, захлебываясь плачем, кричал ребенок. Плавном шумели деревья, окутанные сумерками, вдали зычно и раскатисто прогудел паровоз.

Экипаж выехал к озеру, скрытому разноцветным узором дач, и Оссовский остановил извозчика у большого, затейливого особняка. Пожилой дворник, дремавший на лавочке, снял шапку и флегматически уставился на чемодан Оссовского.

Приезжий спросил:

– Барыня дома?

– Дома-с, – не сразу ответил дворник, тупо разглядывая господина, стоявшего перед ним. – А вы кто будете?

– Возьми чемодан, голубчик, и проводи меня, вот тебе мелочь.

Разглядыванье прекратилось. Дворник пошел назад, таща в одной руке чемодан, в другой крепко сжимая семь гривен, полученные от барина. Дверь отперла горничная, молодая и шустрая, в щеголеватом ситцевом платке.

– Вот моя карточка, – сказал Оссовский. – И скажите, что от Михаила Степановича. Поставь чемодан тут.

Горничная ушла, вертя в руках карточку; потоптавшись, удалился и дворник. Переднюю освещала лампа, луч света тянулся от нее за полуоткрытую дверь гостиной, выделяя из полутьмы угол кресла, стоявшего у окна. Оссовский разделся, прошел в гостиную и сел к столу, рассеянно потирая руки.

Дорога сильно утомила его, а две бессонные ночи совсем расшатали нервы, и без того достаточно издерганные за последнее время. Согнувшись и опустив голову, Оссовский равнодушно ждал появления хозяйки, заранее решив не пускаться в длинные разговоры, а ограничиться необходимыми любезностями и, выбрав удобную минуту, получить разрешение удалиться к себе в комнату, которую, без сомнения, ему отведут здесь; раздеться, лечь, вытянуться и замереть в сладкой истоме – это все, что нужно ему сейчас. В последние годы, изувеченный страданием, он слишком, слишком часто призывал безмолвие ночи и сон-забвение.

Так просидел он несколько минут, наслаждаясь, тишиной сумерек, пока легкий шум не заставил его вздрогнуть и подняться навстречу тоненькой женщине, остановившейся на пороге гостиной. Помолчав, она подошла ближе, но и теперь было трудно рассмотреть ее лицо, смутно белевшее в полутьме. Оссовский поклонился, пожал маленькую руку, протянутую ему, и услышал:

– Елизавета Сергеевна Инзар... Только я вас совсем не вижу; горничная, по обыкновению, не догадалась зажечь огня.

– Ну что же, – шутливо сказал Оссовский, – может быть, при полном-то освещении я и потеряю в ваших глазах.

– Нет, не потеряете, – возразила молодая женщина. – Я знаю вас... слегка... по рассказам мужа... Скажу, чтобы зажгли лампу.

Она позвонила и села у стола против гостя.

Оссовский чувствовал ее пристальный, направленный на него взгляд, и пока вошедшая горничная зажигала высокую бронзовую лампу, он успел отметить маленькое, но приятное разочарование. Жена его друга детства была красивее и симпатичнее, чем он ожидал, представляя ее себе по некоторым соображениям совершенно неинтересной женщиной. В соображениях этих, правда, сказывалась только привычная наблюдательность человека, прошедшего в путешествиях две трети жизни.

Елизавета Сергеевна была среднего роста блондинка, с мягкими чертами лица и рассеянным, застенчивым выражением глаз, постоянно и как будто нечаянно переходивших с предмета на предмет. Маленький детский рот, беспечный и розовый, не уменьшал, а, наоборот, подчеркивал общую сосредоточенность ее лица, и казалось, что при улыбке никогда не засмеются глаза этой женщины. Густые, плотно собранные волосы касались изгиба шеи. Одета она была в серое

шерстяное платье, очень простое, без отделки и кружев.

А перед ней сидел сильно загорелый человек, с проседью в совершенно черных, коротко стриженных волосах, с тяжелым и неподвижным взглядом. Дорожную сумку он забыл снять, и ее желтый ремень тускло блестел на сукне синей австрийской куртки.

Когда горничная удалилась, Оссовский стряхнул утомление и начал рассказывать. Говорил он тихо, часто останавливаясь и задумываясь.

—...а проживу я здесь недолго, недели две... Еще месяц назад в Константинополе, услышав подлинный московский язык, я подумал: а в самом деле? Но воспоминания были еще довольно свежи, и, если бы не расстройство заводских дел, я, пожалуй, еще не скоро бы приехал в Россию. Скрепя сердце собрался и, кажется, рад теперь. Почему? Со смертью Наташи, казалось, для меня все умерло... Но как плохо знаешь себя в подобных случаях... Я, буржуа, превратившийся в бродягу, оказывается, бессознательно страдал, разъезжая везде, куда только можно попасть, имея деньги в кармане и желание рассеяться до пресыщения. Там я как-то еще сильнее чувствовал свое одиночество.

Он сморщился и умолк, смотря в сторону, слегка раздраженный тем, что рассказывает о своих душевных переживаниях чужому и, вероятно, счастливому человеку.

— Значит, вы много ездили?

— Я? Много, очень много.

— Были... в Америке?

— Был и в Америке, — улыбнулся Оссовский. — А это вам кажется самой страшной далью?

— О нет, — смутилась хозяйка, — но я... нигде не была и... А почему я спросила про Америку... вероятно, потому, что это уже серьезное путешествие, не то что Швейцария или Ницца. А в Египте?

— И в Египте и в Индии был, даже кусочек Тибета видел, — задумчиво сказал Оссовский. — Все это страшно интересно... было бы... в другое время.

Последние слова он прибавил кстати, потому что фраза: «Какой вы счастливый!» — чуть-чуть не сорвалась с губ молодой женщины. Она вздохнула, испытывая смутную тяжесть от сознания чужого, но понятного ей горя, и произнесла:

— Извините, если я, может быть, нечаянно причинила вам боль своими расспросами.

— Ничего подобного, — добродушно сказал Оссовский. — Ведь я же сам рассказал.

— Все-таки. А скажите — что Миша? Скоро кончится его работа в комиссии? Вы ведь говорили сегодня с ним... С тех пор как он сделался инженером, мы значительно реже бываем вместе... я его, например, вот уже четвертый день жду... да... так он вам ничего не говорил?

— Нет, — протянул Оссовский, пристально смотря в глаза Елизаветы Сергеевны. — Много он работает?

— Даже чересчур много. А когда приезжает сюда, он такой бледный, измученный — смотреть больно.

Оссовский медлил, припоминая подробности сегодняшней встречи с приятелем. Предчувствие необходимой лжи раздражало его, заставляя быть осторожным, чтобы не попасть впросак. Конечно, инженер работает, иначе он не мог бы так бешено тратить деньги, как тратил их сегодня в его присутствии. Вся эта обстановка затянувшегося кутежа и прозрачные намеки на необходимость ехать куда-то, в какое-то место, добиваясь какого-то давно обещанного блаженства, — кое-что уяснили Оссовскому в словах молодой женщины, и он, почти уж зная, как держаться дальше, сказал:

— Нет, нет. Как я вам уже говорил, я не думал ехать сюда один, а намеревался подождать Михаила. Но гостиница как-то слишком совала мне в глаза мое скитальческое положение... потом этот вечный грохот мостовых... захотелось тишины, семейной обстановки, так что я, недолго думая, махнул сюда, не повидавшись с ним больше.

Он не лгал. Действительно, потеряв надежду на скорое вытрезвление инженера, Оссовский бросил только что снятый дорогой номер и уехал из города с глубоким убеждением, что легкомысленное времяпрепровождение Михаила не составляло тайны для его жены. Впрочем, Михаил, очевидно, конфузился сам себя, когда говорил Оссовскому:

– Друг! Валер! Разве она рассердится? Приду, поцелую руку, потуплюсь, вздохну и скажу: «Лизочка! Прости меня!» И все кончено. Все кончено, дорогой мой!

– Во всяком случае, – продолжал Оссовский, с неприятным для себя чувством уловив легкую тень в глазах хозяйки, – я вынес такое впечатление... что ему осталось немного... совсем немного.

– Я буду рада этому, – сказала Елизавета Сергеевна, и легкий румянец выступил на ее щеках. – Пойдемте-ка, я вас угощу чаем. Сумка вам не мешает?

– Пожалуй, – улыбнулся Оссовский, – но я стал страшно рассеян, благодарю вас.

Он снял сумку и машинально положил ее на кресло, с которого встал. Потом прошел за хозяйкой в ярко освещенную столовую, чувствуя себя спокойно и просто с этой наивной, милой женщиной, чем-то напоминавшей его недавно умершую жену. Кажется, их сблизил в его представлении голос, певучий и выразительный.

Чай, обильная закуска и графин с коньяком придали разговору большое оживление. Оссовский рассказал несколько дорожных приключений, смеясь сам, если они были смешны, и с трогательным уважением к простоте нравов обрисовал жизнь некоторых племен Северной Америки. Елизавета Сергеевна задумчиво слушала, иногда переспрашивая и увлекаясь, если дело касалось рискованного положения или интересного эпизода.

Часы медленно и громко пробили одиннадцать.

– Извиняюсь, – сказал Оссовский, – но если бы вы знали, как я устал за последние дни...

– Я понимаю, – кивнула Елизавета Сергеевна, – вам спать хочется... как жаль все-таки, что Миша запоздал. Я думала, что он успеет приехать, пока мы сидим здесь, и поговорить с нами.

– Как? – удивился Оссовский. – Вы думаете?..

– Конечно... Он придет сегодня непременно. Странно, что он вам не сказал этого.

– Сегодня? – повторил Оссовский, невольно делая ударение на этом слове.

Настойчивая уверенность, звучавшая в голосе хозяйки, заставила бы усомниться его, но он, к сожалению, слишком хорошо знал положение дела. Молчать было приличнее, чем поддерживать разговор на эту тему, продолжая добровольно взятый на себя обман. Оссовский молчал.

– Вам-то я скажу, в чем дело... – запнулась Елизавета Сергеевна. – Он... он знает, что сегодня... восемнадцатое июля.

– Восемнадцатое июля? – переспросил Оссовский. – Разве он знал, что я приеду восемнадцатого июля?

– Нет, – продолжала, смеясь, молодая женщина, – это... как бы вам сказать... видите ли... это наше маленькое торжество... годовщина... понимаете? Нет?.. В этот день мы стали близкими... Вот... Ну как же он не придет?..

– Ну, конечно, – пробормотал Оссовский, усиленно смеясь, – в самом деле... да, это хорошо... Как жаль все-таки... я так устал, знаете, так устал... Усну как мертвый.

Радость, блеснувшая в глазах Елизаветы Сергеевны при мысли, что ее милый, может быть, уже подъезжает к вокзалу, наполнила сердце одинокого человека легкой завистью и неясным укором. Чувствуя, что начинает расстраиваться, он встал и раскланялся, охваченный глубокой жалостью к маленькому существу, стоявшему перед ним.

Еще несколько слов – звонок, и явилась горничная указать Оссовскому его комнату.

II

Приезжий остался вполне доволен осмотром своего нового помещения. Два больших окна выходили в сад; махровый шиповник, разросшийся под ними, наполнил комнату смешанным запахом росы и цветов, невидимых в темноте. Шторы были опущены, огонь лампы бросал желтые отблески на густую траву, озаряя низы стволов и песок дорожек. Большая кровать с пружинным матрацем не жила глаз Оссовского чистотой белья и соблазнительно откинутым одеялом.

Он разделся, потушил огонь и вытянулся во весь рост, чувствуя, как необходимый сон охватывает сладко занывшее тело. Папироса медленно потухла в его руке, он бросил ее, повернулся на бок и уснул.

Прошло не более часа, как вдруг нервный толчок, встряхнувший все его члены, разбудил его. Оссовский открыл глаза и тоскливо зевнул – сон уходил, возвращая неприятную ясность мысли и легкость тела, как будто уже наступило утро и он совершенно выспался. Сердце билось глухо и беспокойно, то замирая, то вздрагивая частыми, сильными ударами. Надвигалась бессонница, и одна мысль об этом могла уже уничтожить уверенность в возвращении сна.

Оссовский глубоко вздохнул полной грудью, стараясь вызвать зевоту и сонливость, но это не удавалось. Кровь прилиwała к голове, стучала в ушах, невольно развлекая мысли своим беспокойным шумом, нагретая подушка раздражала лицо. Глаза не слипались, и удержать их закрытыми теперь было так же трудно, как днем. Подкрадывался беспричинный страх, бессильный и тоскливый. Настойчивое тиканье карманных часов сердило и угнетало, эти монотонные, равнодушные звуки отмечали время, потерянное для сна. Отрывочные, хаотичные мысли скользили и таяли, как снежинки; вспыхивали отдельные сцены, слова, виденные когда-то пейзажи, их неудержимый поток рождал бессвязные размышления и тоску.

Оссовский приподнялся на локте, осматриваясь. Глубокая тишина звенела в ушах, мебель чуть намечалась в темноте расплывчатыми таинственными контурами, за окном шептал сад, дыша сыростью и прохладой. Беззвучно двигалась ночь, и казалось, что ее невидимый трепет проникает в глубину души, заставляя прислушиваться к молчанию.

– Я, кажется, не усну, – сказал Оссовский. – Но сколько же я спал?

Он зажег спичку и посмотрел на часы; целая ночь предстояла впереди. Спичка потухла, угасший свет ее разбежался в глазах Оссовского мгновенными искорками.

Он снова лег, стиснув зубы, с твердой уверенностью уснуть во что бы то ни стало, и пролежал совершенно неподвижно минут десять, переходя от надежды к сомнению, от уверенности к отчаянию.

И вдруг маленький чумазый оборванец, вынырнувший внезапно из залитого солнцем переулка, наполнил Оссовского тихой радостью, смешанной с опасением, что близость сна исчезает.

Стараясь не думать, он зорко следил за мальчуганом, виденным им, без сомнения, в каком-нибудь южном городе. Мальчик с угрозами, обливаясь потом, тащил на веревке собаку, животное прыгало, стараясь вырваться, упиралось, поджимая хвост, но мучитель не уступал. Его босые, грязные пятки сверкали на солнце, бронзовое личико свирепо морщилось; оба выбивались из сил?

Длинные гоночные лодки; на берегу цветник шляп... Гребцы в полосатых тельниках сгибаются и разгибаются, взмахивая веслами, глухо шумит вода.

...Столик с лекарствами. Синие, желтые и белые пузырьки... Тяжелый больничный запах. Знакомая головка, с плотно закрытым ртом, одеяло свесилось на пол, маленькая, похудевшая рука, которую он столько раз целовал, бессильно вытянулась, прозрачная и жалкая...

Оссовский вздрогнул, проснулся и тяжело задышал, прикладывая руку к сердцу. Перебой продолжался; настоящая отвратительная бессонница, тоскливая и неизбежная, царила у кровати, пугая душу наплывом томительных, одиноких дум.

– Разве капле выпить? – сказал Оссовский, вытирая вспотевший лоб. – Все-таки шанс, а им не надо пренебрегать.

Он надеялся, впрочем, не столько на действие лекарства, сколько на самовнушение. Поднявшись с кровати, Оссовский зажег лампу, с удовольствием замечая, что свет благотворно отзывается на его взбудораженных нервах. Осмотревшись, он вспомнил, что дорожная сумка, в которой находилось лекарство, оставлена им не здесь, но где – припомнить не мог, и это привело его в раздражение, отнимая последнюю надежду уснуть. Идти отыскивать самому было неловко и к тому же не привело бы ни к каким результатам. Оссовский подошел к окну и задумался. Им овладело странное оцепенение; не двигаясь, смотрел он в темную гущу деревьев, отдавшись воспоминаниям, все более и более соблазняемый мыслью одеться и посидеть в саду, лицом к лицу с ночью, пока утомленный мозг не откажется бодрствовать и не позовет усталое тело в тихую страну сна.

Оссовский торопливо оделся, задул лампу и остановился в нерешительности; идти через выходную дверь ему не хотелось – будить прислугу, а шум мог разбудить хозяйку. Недолго ду-

мая, он занес ногу на подоконник в сад и, стараясь не трещать сучьями, выбрался из кустов к маленькой деревянной беседке, приютившейся среди акаций и клумб.

Песок аллеи хрустел под его ногами, он шел медленно, вдыхая густой, влажный воздух ночи. Изредка мокрые листья задевали лицо, но это прикосновение было безотчетно приятно, освежая разгоряченную кожу. Воображение рисовало Оссовскому бесконечную пустыню из трав и дорожек, покрытую тьмой, в которой он двигался, отдаваясь грусти воспоминаний, милых и трогательных, согретых теплом любви, унесенной смертью, но жившей, как дорогой памятник, в его беспокойной, тоскующей душе.

Он обогнул сад, намереваясь присесть где-нибудь, но, выйдя к террасе, замедлил шаги и остановился. Ему послышался легкий, неясный шум.

Оссовский всмотрелся. Казалось, там никого не было, мрак окутывал дачу, сонная тишина царила кругом. Терраса смутно белела перед ним складками парусины; он пошел снова крупными, ясно раздающимися шагами, и вдруг тихий, напряженный вопрос, упавший в глубокое молчание, приковал его к месту:

– Это ты, милый?..

Оссовский вздрогнул, пораженный силой тоски и ожидания, звучавшей в голосе женщины. Он замер, не двигаясь, смутно уверенный, что темнота скрывает его. Вопрос, казалось, еще звенел в воздухе, ища и не находя ответа. Оссовский постоял с минуту и затем тихо, на цыпочках, подкрался к опущенной парусине террасы; казалось ему, что его взгляд проникает в ее складки, к неподвижно сидящей женщине, к ее широко открытым, напряженным глазам... Прошла еще минута, другая, и Оссовский скорее почувствовал, чем увидел, что там кто-то тихо плачет.

Он удалился так же осторожно, как подошел, взволнованный и смущенный, охваченный состраданием и размышлением. Собственная его жизнь ярко вспыхнула перед ним; слова, подслушанные невольно, звучали в ушах, как обращенные к нему, эти трепетные слова, которым радовался и он когда-то давно...

Оссовский пробрался к окну своей комнаты и несколько мгновений смотрел в темноту, соображая и взвешивая мысль, невольно пришедшую в голову, потом слабо, но решительно улыбнулся, зная, что все равно не уснет. К тому же эта женщина, что сидит там... И жить здесь было бы достаточно тяжело.

Он встряхнул головой, как бы утверждаясь этим жестом в своем решении, поднялся на подоконник, отыскал, не зажигая огня, часы, сунул их в карман, удостоверился, что бумажник при нем, затем снова выпрыгнул в сад, притворил окно и, медленно подвигаясь вдоль изгороди, нащупал калитку. Задвижка бесшумно уступила его осторожному усилию, он запер калитку и вышел на улицу.

III

Ярко освещенный пустой вокзал ожидал поезда. Оссовский заглянул в расписание и прошел на платформу с довольным лицом: ждать оставалось всего четыре минуты. Ему везло, если можно назвать счастьем обстоятельства, помогающие не спать.

Перед станцией в полутьме двигалось несколько пассажиров; они то садились, то снова принимались ходить, таская с собой пакеты, узлы, картонки. Чемодан, забытый Оссовским, вспоминался ему; он решил, что пошлет за ним после, перед отъездом.

Справа катилось медленное, едва слышное содрогание рельс; в тихой черноте воздуха горели, увеличиваясь, две красные точки. Протяжный, уныло смолкший гудок встрепенул публику, пассажиры выстроились на краю перрона, снова отходя в сторону, по мере того как вырастал паровоз, шумно пыхтя и громохкая скрепами рельс, дрожавших под огнем его фонарей движущимся красноватым отблеском. Оссовский взглянул налево – какой-то шикарно одетый господин, рисуясь, стоял на самом краю перрона, но когда паровоз подошел ближе, нервно попятился, оглядываясь и застегивая пальто. Оссовский усмехнулся, машинально шагнул вперед... Поезд резко дохнул ему в лицо стремительным движением воздуха, облако горячего пара хлынуло в глаза, мелькнули отполированные массивные поршни, грязное лицо машиниста, окна вагонов,

движущихся все медленнее и медленнее. Поезд затрясся, удержанный тормозами, и стал.

Оссовский вскочил на площадку вагона и перевел дух. Острый холод испуга еще теснился в груди, руки слегка дрожали. «Еще успею...» – подумал он, улыбаясь собственному мальчишеству. Ему вспомнились рассказы про африканского охотника, знаменитого Беккера, приучавшего не сходить с рельс, пока расстояние между поездом и им не уменьшалось до четырех шагов. После этой практики Беккер стал охотиться на слонов. «Чепуха, – сказал Оссовский, – страх непреодолим даже при твердой уверенности умереть».

Опять коротенькое слово «успех» вернуло его мысли в темную область прошлого. Он не сопротивлялся, усилия были бы слишком мучительны. Снова оцепенение завладело им; грустная покорность, с которой он отдавался тоске, нежила его болезненной лаской воспоминания... Хлопали двери, стучали колеса, дребезжали стекла; свечи в фонарях мигали и вздрагивали. Против Оссовского, в уголку вагона, свернувшись калачиком и похрапывая, спал молодой финн. Оссовский посмотрел на него с завистью; румяные щеки обеспечивали юноше богатырский сон до самого города.

Приехав, Оссовский немедленно разыскал клуб.

Его провели в отдельный, стильно убранный кабинет, и это неожиданное появление вызвало целую бурю восклицаний, рукопожатий, громкого смеха. Инженер заключил его в объятия; две молодые, слишком нарядные женщины выжидательно смотрели на них, тихо разговаривая между собой. Мелькали выхоленные усы, возбужденные лица, блестящие глаза. Здесь было весело.

– Почему поздно? Почему поздно? – приставал Михаил. – В первый же день надуть, а? Друг мой, святая душа на костылях, а? Ну, как же тебе не стыдно? Пристыдите его, господа... у-у ты!

Инженер был сильно навеселе. Его красивое бледное лицо вспотело и зарумянилось, темные глаза щурились, вспыхивая беглым, бесконечным огнем, галстук и волосы растрепались. Оссовский сдержанно улыбался, смущаясь, как всегда, в компании незнакомых людей.

Михаил продолжал упрекать его, и Оссовский сказал:

– Не ругайся, а представь себе, что, завалившись спать у себя в номере, я проснулся только к двенадцати. Надо было умыться, выпить кофе... Я бы не пришел даже, если бы не дело...

– Дело?! – сказал инженер. – Врешь ведь! Ну, дело ли, безделье ли – все равно!

– Ты послушай, – сказал Оссовский, понижая голос и стараясь придать своему лицу загадочное игривое выражение, – я тебе скажу вот что...

Он сладко улыбнулся и закончил, краснея:

– Не можешь ли ты написать письмо... под мою диктовку?

Инженер щелкнул языком и сделал большие глаза.

– Как это? – переспросил он. – Письмо? Зачем письмо?

– Ну да, простое письмо. Будь другом, сделай это сейчас. Выйдем в свободную комнату и... Хорошо?

– Я, конечно, согласен, – протянул Михаил, рассматривая Оссовского, – но ты...

– Все объясню, пойдем.

Инженер повернулся к столу и сказал дурашливым голосом:

– Мужчины и дамы!.. Друг моего детства, миллионер и заводчик, покровитель наук и искусства, Валерьян Филиппович Оссовский требует мою душу для нескольких минут уединенного покаяния!.. Простите великодушно!

– Прощены! – гаркнул осанистый брюнет, разглаживая бакенбарды. – Идите и не грешите!..

– А я приревную вас к мсье Оссовскому, – сказала высокая женщина с молодым лицом и усталыми большими глазами.

– К счастью, – улыбнулся Оссовский, – вы не успеете. Мы скоро.

Он вышел с инженером в пустой, ярко освещенный коридор. Михаил заглянул в бильярдную – там никого не было. Над ровной зеленой поверхностью стола мягко горели висячие электрические розетки.

– Можно здесь, – сказал инженер, присаживаясь к мраморному мозаичному столику.

– А чернила?

– Вот тебе карандаш и листок из записной книжки. Пиши. Да... я обещал рассказать... Ну, это что же... Лицо, к которому ты будешь писать, – женщина.

– Валер! – простонал восхищенный Михаил. – Так ты... ты разрешил себе?

– Что делать? – мягко улыбнулся Осовский. – Я живой человек...

– Верно! Но как ты...

– Имей кроху терпения... Есть причины, видишь ли, вследствие которых я не желаю, чтобы у нее... были доказательства. Понял? Больше я ничего тебе не скажу... пока.

– Все равно я уже заинтересован... Говори же – что и как?

– Прежде всего, – сказал Осовский, подумав и потирая сморщенный лоб, – напиши следующее: «Дорогая, милая... бесконечно любимая деточка».

– Очень хорошо! – одобрил инженер, бегая карандашом по бумаге. – Я как будто вижу ее: маленькая, плутовское создание, а в глазах – тысяча бесенят... Я напишу тебе тысячу любовных посланий, Валер... Дальше!

– Дальше: «Прости меня, дурака...»

Инженер рассмеялся и бойко написал: «дурака».

Дойдя до этого места, Осовский задумался, озабоченно рассматривая фигуру приятеля, склонившуюся над столом, и решил, что, если убрать слово «сегодня», – догадаться будет весьма трудно. Поэтому он сказал просто:

– «Я так и не приехал...»

«Не при-е-хал...» – вывел Михаил и замурлыкал опереточный вальс.

– А почему ты не приехал, а?

Осовский продолжал равнодушным, отчетливым голосом:

– «...а как мне хотелось быть с тобой... заглянуть в твои ясные глазки...»

– Я написал «глазки»... – ничего, Валер?

– Ничего, – добродушно отозвался Осовский. – Далее... «посадить тебя на колени»...

– «Ко... ле... ни». Так. Еще что?

– «...Ведь сегодня наш праздник... и я-то знаю... как твое маленькое сердечко дожидалось этого дня».

Здесь Осовский значительно рисковал и скрепя сердце приготовился уже к какому-нибудь вопросу. Но голова инженера бесхитростно и доверчиво встретила эти слова, предназначенные неизвестной женщине. Осовский перевел дух и стал диктовать дальше:

– «...Не сердись, дорогая... скоро приеду, а ты увидишь, как я тебя люблю...»

– Ты вдохновенно врешь! – не удержался Михаил, поднимая глаза. – Но... хорошо выходит. Написано.

– «...Я расскажу тебе маленькую сказку, и ты крепко-крепко уснешь...»

– Спокойной ночи. Затем?

– «...Жил-был козлик...»

– Коз-лик?! – расходился инженер. – Вот не подозревал в тебе таких талантов!.. Ну, что же козлик?

– «...Серенький козлик... да».

– «Да» – неизбежно?

– Разумеется. Продолжай: «...вроде того, которого волки съели...»

– «Съели...» Такие обжоры!

– «Только этот был умный...»

– Сомневаюсь, но все равно. Есть.

– «...Вот он пошел гулять...»

– И получил насморк, Валер?

– Экий ты насмешник, Миша! Осталось совсем немного... Пиши: «А на лугу танцует маленькая козочка... беленькая, мохнатенькая...»

– Танцует! – вздохнул инженер, стараясь не улыбаться. – Значит – балет?

– Да. Ну... «Козлик и говорит: – Я вас люблю...»

– Энергично!

– «А козочка говорит: – Очень приятно!..»

– Действительно! – рассмеялся Михаил. – Все?

– Нет еще... «Так они стали жить-поживать да добра наживать...»

– Или, – сказал Михаил, – как это говорится... да: вам сказка, мне бубликов вязка.

– Последняя фраза, Миша: «Крепко тебя целую и обнимаю, крошка моя. Спи...» Написал?

– Да.

– Ну, спасибо, голубчик.

Оссовский взял бумагу из рук приятеля и внимательно перечитал написанное. Размашистый почерк инженера заполнил весь листок.

– Маккиавелли, – сказал инженер, смеясь и лукаво подмигивая, – не способен обмануть женщину!

– Надеюсь по крайней мере, – вздохнул Оссовский. – Все мы на этот счет способны.

– Ну, однако... У тебя вон какой талант... Импровизация, вдохновение чувствуется...

– Лстец, – скромно отозвался Оссовский. – Ну, еще раз спасибо тебе.

– Пустяки! – Михаил встал, покачиваясь, и обнял Оссовского за плечи. – Ну, идем же!.. Эта тишина давит меня. Хочу шумов, криков и плесков... Идем!

– Послушай, – сказал Оссовский, ласково отстраняя его хмельную горячую голову, стремившуюся упасть на плечо друга, – я не пойду туда... серьезно. Я устал! Но послушай...

– Ты всю жизнь был серьезным человеком, – пробормотал инженер, – так не изменяй же себе! Я с-слу-шаю!

Оссовский задумался, смотря в сторону. Потом, видимо затрудняясь, начал:

– Я сделал глупость, Михаил, и вот какую... Ты, пожалуйста, только не обижайся... Я думал отдохнуть здесь, у тебя, почувствовать себя не одиноким... Но сегодня... когда я остался один в гостинице, прошлое с новой силой разбередило мою душу, я почувствовал как нельзя больнее, что никогда и ничем не вытравлю ни дней радости, ни дней тоски... Потом... потом сравнил тебя и себя... Ты моложе, счастливее, любим и любишь... Может быть, это низко и недостойно меня, не знаю, но подумай – жить вместе, под одной кровлей... видеть вас обоих – живое, мучительное воспоминание... Нет, нет! Я поздно сообразил это, но, сообразив, успокоился: я уезжаю завтра.

– Валер! – прослезился расстроенный Михаил. – Ты бредишь... ты нездоров... Я все понимаю... Хорошо... но ведь это же свинство с твоей стороны, а? Показаться и упорхнуть... а? Валер?

– Приходи утром, мы простимся как следует. Да, я переменил номер и... кажется, забыл какой... спроси у швейцара.

– Ну, хорошо, – пробормотал ошарашенный инженер, – у швейцара... но... вот тебе и история! Давай же хоть поцелуемся, а?

Он повис на шее Оссовского и начал его душить. Валерьян не сопротивлялся, но облегченно вздохнул, когда объятия кончились.

– Иди же, иди, Миша, – сказал он расстроенному, охмелевшему человеку, – там ждут, неловко.

– Доставьте немедленно.

– Теперь два часа, ваше-ство, – сказал комиссионер. – Поездов нет.

– А вы возьмите извозчика и пообещайте ему на чай. Вот вам двадцать.

Посыльный согнулся так низко, что можно было опасаться за целостность его спины. Оссовский надел пальто, шляпу и вышел из подъезда.

Еще не светало, но в мягкой прозрачности воздуха чувствовалась тонкая свежесть недалекого утра. Пустынные улицы тянулись к темному небу крышами многоэтажных домов; кое-где дремали одинокие извозчики. Шаги Оссовского мерно звучали в тишине, гулко раздавались под арками ворот. Сонные фонари горели на перекрестках, расстилая по мостовой бледный, удрученный свет. Оссовский дышал полной грудью, рассеянно подвигаясь вперед, подавленный

напряженным молчанием огромного города...

Он взял извозчика и поехал в ту же гостиницу, откуда выехал сегодня, рассчитывая пожить в тишине укроного, загородного местечка под одной крышей с приятелем. Дорогой он вспомнил Елизавету Сергеевну, письмо и грустно улыбнулся при мысли о радости, с какой будут перечитаны эти строки. Дача смутно рисовалась его воображению, он мысленно проникал в спальню, где, может быть, теперь уже спит тоненькая, наплакавшаяся женщина. Звонок разбудит ее, она получит письмо и прочтет... конечно, не один раз. Снова заснуть ей будет легче.

Оссовский дремотно улыбнулся, чувствуя приближение настоящего, давно желанного сна, и казалось ему, что он слышит тихий, растроганный, полусонный шепот засыпающей женщины:

—...А на лугу танцует маленькая козочка... беленькая...

Маньяк

I

Доктор тщательно осматривал пациента средних лет, истощенного продолжительной, тяжелой болезнью. Приговор ясно был виден в плотно сжатых губах доктора, но он, как добросовестный лжец, терпеливо и аккуратно производил исследование: щупал, выстукивал, смотрел веки, оттягивал кожу рук и, наконец окончательно убедился, что больной безнадежен. Это привело его в легкое раздражение; как медик, он мог теперь только лгать, прописывая ненужные дорогие лекарства, не смея и не имея права сказать прямо: позовите нотариуса.

На него смотрели всегда как на человека, обязанного вылечить. Наука, которая воспитала его и, вручив докторский диплом, оставила беспомощным его в пяти случаях из десяти, создавалась веками трудов, ошибок, исканий и дерзновений, ореол человеческого разума окружал ее, и было обидно и тяжело сказать запросто: «Бросьте лечиться, идите домой и проводите последние дни жизни так хорошо, как только можете». Больной стонал, охал, жаловался и дрожащим, хриплым голосом просил здоровья. Сосредоточенное, серьезное лицо доктора, с крутыми дугами бровей, металлическим блеском глаз и квадратным, выбритым подбородком, казалось, тщательно хранило секрет спасения, но стоило обещать много денег – и этот, ретиво охраняемый, секрет доктора снова превратит этот скелет в здоровое тело. Но у доктора никакого секрета не было. Он повозился еще с минуту, вымыл руки и сел к столу.

– Доктор, – хрипя, как дырявый кузнечный мех, сказал пациент, – вылечите меня, пожалуйста. Я человек богатый, никакие гонорары мне не в диковинку.

– Я ни копейки не возьму за то, чтобы вас вылечить, – устало сказал доктор. – Ваше звание?

– Негоциант.

– Имя?

– Грингмат.

– У кого вы лечились раньше?

– У всех, – натягивая дрожащими руками рубашку, сказал больной. – Право, я думаю, что мало на свете докторов, у которых я не был. И все без толку. Деньги берут, а пользы нет.

– Вот поэтому-то, – спокойно сказал доктор, поблескивая очками, – я и не возьму с вас денег. Так вот: поезжайте на юг, зайдите в первую попавшуюся аптеку и спросите травы гречавки. Эту траву вы будете пить три раза в день, как пьют чай, и, по возможности, больше.

Разочарованное лицо больного выразило сдержанную иронию. Он ждал пространного, обстоятельного рецепта, внушающего уважение и щедрость. Трава гречавка! Черт бы побрал этого доктора!

– Я выздоровею? – спросил Грингмат.

– Выздоровеете, – уверенно солгал доктор. – А бумажку возьмите с собой. – И он протянул купцу брошенную на письменный стол крупную, слежавшуюся в бумажнике, ассигнацию. Больной нерешительно взял деньги и пристально посмотрел на доктора. Но доктор спокойно блестел

очками, и было очевидно, что настаивать невозможно.

– Хорошо, – в раздумье произнес Грингмат, – но почему вы прописали мне только эту траву?

– Чтобы как-нибудь удовлетворить вас, – раздраженно сказал доктор. – Чихотка в той стадии, как у вас, лекарствами не излечивается. Режим и воздух – единственные лекарства. Но вы битый час мучили меня требованиями что-нибудь прописать – получите!

– Гречавка? – робко спросил купец.

– Да, гречавка... запомните. До свидания. Будьте здоровы! – Доктор посмотрел на удаляющуюся искривленную спину и мысленно произнес: протянет... с месяц.

II

Два человека расстались, и бесшумное колесо времени уничтожило в памяти доктора всякие следы визита купца Грингмата. Прошел год. Доктор переменил резиденцию и уехал в один из южных городов Франции. Ему приходилось теперь возиться с апоплексическими провинциальными дамами, отставными сержантами, патерами, мнительными, как женщины, и скупыми, как Гарпагоны, с дюжими фермерами с оливковой кожей и тысячами застарелых недугов. По-прежнему он излечивал и советовал, ездил и писал рецепты. И все это было медицинскими буднями, оканчивавшимися потрясающей драмой. Был вечер, доктор окончил прием и не спеша сбрасывал полотняный халат. В передней раздался звонок. Вошедший лакей сказал:

– Вас хочет видеть господин Грингмат.

– Больной? – спросил доктор.

– Он говорит, что пришел поблагодарить вас.

– За что?

Лакей не успел ответить, потому что в гостиной раздался голос:

– К вам можно, доктор?

Доктор открыл дверь. Перед ним стоял плотный, смеющийся, загорелый человек и дружески протягивал руку.

– Вы не узнаете меня?

– Нет, – коротко сказал доктор. – Вы Грингмат?

– Да. Неужели не помните?

Доктор потер лоб. Что-то знакомое всплывало в его сознании и, не успев разгореться, гасло.

– Пройдите в кабинет, – сказал он.

Они подошли к докторскому столу, и Грингмат сел. Сел и доктор.

– Спасибо, огромное спасибо, – сказал купец. – Вы меня спасли, а ведь я умирал. Помните – год назад?

– Год назад, – задумчиво произнес доктор. – А не можете ли сказать точно, когда это было?

– Первого июля. Этот день отмечен у меня в календаре крупными буквами. Я пил гречавку.

– Пойдите, – сказал доктор, и очки его заблестели ярче обыкновенного. – Сию минуту. –

Он взял книгу записи пациентов, раскрыл ее и несколько минут водил вздрагивающим указательным пальцем по черным линейкам. И ему бросилась в глаза коротенькая отметка: «Грингмат, 44 лет, чихотка. Безнадежен».

Холодная струйка пробежала по спине доктора. Он бросил книгу и с минуту просидел в глубоком раздумье, опустив голову на руки. Потом встал, отодвинул ящик стола, взял револьвер и быстро, почти не целясь, выстрелил в Грингмата. Купец дернул головой в сторону, открыл рот и беспомощно повис в кресле. Он был мертв. Пуля пробила череп. Пороховой дым наполнял еще кабинет сизым туманом, а доктор с лихорадочной быстротой возился вокруг мертвого, двигаясь, как во сне. Утро застало его бодрствующим, он вскрывал легкие, исследуя невероятное, почти чудесное излечение незначительной аптечной травой.

III

В медицинском обществе, к которому принадлежал доктор, и в местной полиции были на другой день получены два пакета. Пакет, адресованный медицинскому обществу, заключал в себе точное описание зарубцевавшихся легких Грингмата, состояние плевры, бронх, кровеносных сосудов и указание, что эти результаты достигнуты благодаря «гречавке». А в полиции прочитали следующее: «Общество осудит меня, но если то, что я видел сегодня своими глазами, – не простая случайность, моя совесть спокойна. Смерть Грингмата – ничто по сравнению с пользой, которую она может принести человечеству.

Решить же, была это случайность или нет – предоставляю науке».

Он был арестован немедленно.

Циклон в Равнине Дождей

I

– На запад, на запад, Энох! Смотрите на запад! – прокричал Кволль, стремительно проносясь мимо. Его белый парусиновый пиджак вздувался на спине пузырем от ветра, с ровным, унылым гудением стлавшегося по полю. Дрожки Кволля подпрыгивали, как угорелые, и чуть не опрокинулись, зацепившись за глубокую колею.

Почти в тот же момент Кволль, дрожки и лошадь скрылись в облаках едкой, красноватой пыли, поднятой копытами. Энох вытер рукавом пот и поднял голову; то же, но быстрее его, сделали два сына его, работавшие с ним.

– Жип, – сказал фермер, – кто кувыркался тут по дороге и кричал, что надо смотреть на запад?

– Кволль, отец, – ответил Жип, бросая лопату. – И он прав, в другой раз за деньги не увидишь того, что теперь делается. О-ох! – вскричал он, – да, это плохие шутки!

Три пары широко раскрытых глаз устремились к закату, и три вдоха соединились в один.

Солнце стало неярким. Низко над горизонтом, тускло и мрачно смотрело оно на желтую кукурузу Эноха; невидимая тяжесть ложилась от его красного диска на струящееся море стеблей, и низкие, как отколовшиеся пласты неба, облака приняли красный оттенок меди. Западная часть неба покраснела и стала мутной, словно за сто миль обрушились миллионы возов кирпичного щебня. Свет исчез: прямой, лучистый свет солнца превратился в прозрачную, красноватую муть, мгновенно лишая красок яркую зелень придорожных канав, ставших вдруг серыми, словно их облили купоросом. Затих ветер, земля, пропитанная удушьем, молчала. Отчаянно голося, хохлатый угод взлетел вверх, забил крыльями и пустился наперерез поля.

– Риоль! – сказал младшему брату Жип, – я как будто рассматриваю тебя сквозь красное стекло.

Энох, покрытый смертельной бледностью, с проклятием поднял руки и взмахнул сжатыми кулаками. Все кончено! Труды целого лета, постоянное беспокойство, мечты о покупке земли – все превратится в вороха смятой соломы и обломки изгородей. Ну-ну! Он не ожидал этого.

Закат неудержимо притягивал его гневные, испуганные глаза. Отвратительный, красный пожар неба напоминал чью-то огромную, поднятую для удара ладонь.

Риоль тяжело вздыхал, судорожно почесывая затылок. Ноздри у Жипа бешено раздувались, он пристально посмотрел на отца и коротко рассмеялся. Фермер побагровел.

– Идиот! – заревел он. – Улыбнись-ка еще!

Жип стиснул зубы. Трепет, похожий на зуд и смех, проникал во все его существо. Его горе, мучившее его бессонницей и тяжелыми ночными слезами, казалось, нашло себе выход в притаившемся неистовстве атмосферы. Он не боялся, а наоборот, замер в бессознательном ожидании немедленного и грозного разрешения.

– Марш домой! – проворчал старик. – С богом плохие шутки. Это за грехи, слышишь, Риоль?

Охваченный отчаянием, он сразу осунулся и медленно шагал с непокрытой головой по дороге, изредка останавливаясь, чтобы бросить на запад взгляд, полный тоски и страдания. Риоль шел следом, испуганный, молчаливый; Жип замыкал шествие.

В полях, заворачивая и свивая метелками верхушки кукурузных стеблей, уже крутились маленькие, сухие вихри. Восток тонул в ранних сумерках, и сумрачно скрипели деревья, кланяясь обреченным полям.

– Риоль, – сказал Жип, – ты, конечно, поспешишь к Мери? Передай ей, что я озабочен ее участью не менее, чем своей. Всем нам грозит смерть.

Юноша с тоской посмотрел на брата.

– Ее не тронет, – убежденно проговорил он. – Мы – другое дело. Мы, может быть, заслуживаем наказания. А она?

– Риоль, – быстро проговорил Жип, – ты знаешь – мне весело.

Риоль вспыхнул. Поведение брата казалось ему предосудительным.

– Веселись, – сдержанно сказал он, прибавляя шаг, потому что налетевший порыв ветра толкнул его в спину. – Мне жалко людей. Жип, – что будет с ними?

– Ничего особенного. Поотрывает головы, снесет крыши.

– Жип! Безбожник! – закричал Энох, оборачиваясь и потрясая заступом: – Я проломлю тебе череп и наплюю на то, что ты мне сын! Какой черт вселился в тебя?

– Бежим! – простонал Риоль. – Бежим. Слышите, слышите?!

Далекий ревущий гул обнял землю. Энох остановился, ноги его подкосились и задрожали. Ему казалось, что тысячи поездов летят из всех точек горизонта к центру, которым был он.

– Бежим! – подхватил он.

И все трое пустились стремглав к видневшейся невдалеке крыше фермы, дыша, как загнанные, очумелые лошади.

II

Первый удар циклона со стоном и лязгом рванул землю, замутив воздух тучами земляных комьев, сорванными колосьями и градом мелкого щебня. Ревущая ночь слепила, валила с ног, била в лицо. Жип лег на землю ничком и некоторое время пытался сообразить, в каком направлении лежит ферма. Затем, сдвинув на лицо шляпу, решил, что лучше и безопаснее остаться пока здесь, в поле, где нет стен и твердых предметов.

– Отец! Риоль! – вскричал он, пытаясь рассмотреть что-нибудь.

Разноголосый вой бешено прихлопнул его слова, точно это был не крик человека, а стон мухи. Крутящаяся тьма неслась над спиной Жипа. Он встал, повинувшись безумию воздуха и чувствуя, что неудержимое возбуждение организма толкает его двигаться, кричать, что-то делать. Но в тот же момент, как подстреленный, хлопнулся в дорожную пыль и покатился волчком, инстинктивно защищая лицо. Идти было немыслимо. Он лег поперек дороги, упираясь то ногами, то руками, в то время, как вихрь перебрасывал его по направлению к ферме.

Так прошло несколько минут, после которых все тело Жипа заныло от ссадин и ударов о почву. Временами он думал, что наступает конец мира, все умерли и только он, Жип, еще борется с безумием воздуха. Попад в канаву, Жип заметил, что циклон несколько ослабел. Быть может, то был случайный, ничего не значащий перерыв – трагедии, но ветер дул ровно, с силой, не угрожающей пешеходу смертью или полетом в воздухе.

Жип сделал попытку – встал и, с усилием, но устоял на ногах. Вихрь гнал его вперед, не давая остановиться. Он пробежал несколько сажень и с размаха ударился локтем о что-то твердое. Быстрее молнии другая рука Жипа обвилась вокруг невидимого предмета: это был столб или дерево.

– Улица, – сказал Жип, задыхаясь от вихря.

Теперь его самым мучительным желанием было отыскать Мери живую или лечь рядом с ее трупом. Жип побежал в сторону, тыкаясь о разрушенные стены; непонятная, почти ликующая ярость руководила его движениями. Это было временное безумие, восторг ужаса, но все совер-

шающееея вокруг казалось Жипу давно ожидаемым и почему-то необходимым.

– Мери! – кричал он, падая и вскакивая, – Мери! Риоль!

III

Катастрофы полны неожиданностей, и крутящая сумятица ощущений в сердцах людей не дает им времени вспомнить впоследствии фактическую цепь событий, потому что все – земля и небо, и ум, потрясенный бешенством окружающего, – одно.

Тьма бледнела. Вся мелочь, весь земной мусор, труды людей, превращенные в грязный сор, пронесли и очистили воздух, ставший теперь серым, как лицо больного перед лицом смерти. Прежняя сила воздуха густела над опустошенной равниной, и облака, не поспевая за ветром, рвались в клочки, как паруса воздушного корабля, гибнущего на высоте.

Жип перешагнул кучу бревен; помутившиеся глаза его остановились на лице Мери. Она сидела на корточках, прижавшись к уцелевшей части стены, Риоль сидел возле нее, прижавшись к коленям девушки, как зверь, ищущий защиты.

– Остатки людей, остатки имущества! – прокричал Жип, нагибаясь к Риолу. – Все кончено, не так ли, Мери? Все кончено.

– Все кончено! – как эхо отозвалась девушка.

– Мери, – продолжал Жип, – уйдем отсюда! Я пьян сегодня, пьян воздухом и не знаю, слышишь ли ты меня, потому что мой голос слабее бури! Брось этого размазню Риоля! Мы построим новый дом на новой земле.

– Ты – сумасшедший! – сказал Риоль, расслышав некоторые слова Жипа. – Пошел прочь!

– Мери! – продолжал Жип. – Я не знаю, что делается со мною, но я несколько не стыжусь брата. Я при нем говорю тебе: когда он еще не целовал твоих рук, я любил тебя!

– Жип! – тихо сказала Мери, и Жип почти прижался щекой к ее губам, чтобы расслышать, что говорит девушка. – Жип, время ли теперь заводить ссору? Мы можем умереть все. Все разорены, Жип!

Жип прислонился к стене. Из груди его вырывалось хриплое, отрывистое дыхание; разбитый, осунувшийся, с кровавыми подтеками на лице, он был страшен. Но в душе его совершалось странное торжество: обойденный любовью, этот угрюмый парень радовался разрушению. В отношении его была явлена справедливость, – он понимал это.

– Кволли, Томасы, Дриббы и им подобные! – кричал он, приставляя руку ко рту: – Да, я давно знал, что пора это сделать по отношению ко всей этой дряни! Кто смеялся на похоронах Рантэя? Кто ограбил мать Лемма? Кто сделал подложные свидетельства на аренду Бутса и выудил у него процессами все денежки? Кто довел до чахотки Реджа? Послушайте, есть справедливость в ветре! Я рад, что смело всех, рад и радуюсь!

Он продолжал бесноваться, притопывая ногой в такт словам. Девушка плакала.

Риоль вынул револьвер.

– Жип, – сказал он, – уйди. Ты враг нам. Уйди или я застрелю тебя. Сегодня нет братьев – или друзья, или враги. Уйди же!

– Жип! Риоль! – воскликнула Мери.

Новая туча каменного града, сухих веток и стеблей кукурузы обрушилась на головы трех людей. Жип вынул револьвер, в свою очередь.

– Если это правда, – прокричал он, – то я ведь никогда не был неповоротливым! Сегодня все можно, Риоль, потому что нет ничего, и все стали, как звери! Прочь от этой девушки!

Мери встала, белая, как молоко.

– Убей и меня, Жип, – сказала она.

– О – ах! – вскричал Жип: – Люби мертвого!

И он выстрелил в грудь Риолу. Юноша повернулся на месте, затрясся и медленно упал боком. В тот же момент худенькая рука Мери с силой ударила Жипа по лицу, и он взвыл от ярости.

– Пусти же, подлец! – сказала девушка.

Но он уже ломал ее руки, притягивая к себе, приведенный в неистовство кровью, лязгом

циклона и беззащитным девичьим телом. И вдруг, как разбежавшийся тапир, сраженный ядом стрелы, – упал вихрь. В воздухе еще кружилась солома, пыль, щепки, но все это падало вниз подобно дождю. Настала гнетущая тишина.

Жип вздрогнул и выпустил девушку. Это было ощущение чужой руки, опущенной на плечо. Закачавшись, с внезапной слабостью во всем теле Жип выбежал на дорогу.

Он увидел взлохмаченные, исковерканные, обезображенные поля, снесенные крыши, жилища, развалившиеся по швам, как ветошь; домашнюю утварь, разбросанную в канавах, сломанные деревья; одинокие фигуры живых.

И только что пережитое хлынуло в его душу тоскливой жалобой небу, земле и людям.

«Она»

I

У него была всего одна молитва, только одна. Раньше он не молился совсем, даже тогда, когда жизнь вырывала из смятенной души крики бессилия и ярости. А теперь, сидя у открытого окна, вечером, когда город зажигает немые, бесчисленные огни, или на паровой палубе, в час розового предзакатного тумана, или в купе вагона, скользя утомленным взглядом по бархату и позолоте отделки – он молился, молитвой заключая тревожный грохочущий день, полный тоски. Губы его шептали:

«Не знаю, верю ли я в тебя. Не знаю, есть ли ты. Я ничего не знаю, ничего. Но помоги мне найти ее. Ее, только ее. Я не обременю тебя просьбами и слезами о счастье. Я не трону ее, если она счастлива, и не покажусь ей. Но взглянуть на нее, раз, только раз, – дозвожь. Буду целовать грязь от ног ее. Всю бездну нежности моей и тоски разверну я перед глазами ее. Ты слышишь, господи? Отдай, верни мне ее, отдай!»

А ночь безмолвствовала, и фиакры с огненными глазами проносились мимо в шелканье копыт, и в жутком ночном веселье плясала, пьянея, улица. И пароход бежал в розовом тумане к огненному светилу, золотившему горизонт. И мерно громыхал железной броней поезд, стуча рельсами. И не было ответа молитве его.

Тогда он приходил в ярость и стучал ногами и плакал без рыданий, стиснув побледневшие губы. И снова, тоскуя, говорил с гневом и дрожью:

– Ты не слышишь? Слышишь ли ты? Отдай мне ее, отдай!

В молодости он топтал веру других и смеялся веселым, презрительным смехом над кумирами, бессильными, как создавшие их. А теперь творил в храме души своей божество, творил тщательно и ревниво, создавая кроткий, милосердный образ всемогущего существа. Из остатков детских воспоминаний, из минут умиления перед бесконечностью, рассыпанных в его жизни, из церковных крестов и напевов слагал он темный милосердный облик его и молился ему.

Миллионы людей шли мимо, и миллионы эти были не нужны ему. Он был чужой для них, они были для него – звук, число, название, пустое место. Один человек был ему нужен, один желанен, но не было того человека. Все многообразие лиц, походок, сердец и взглядов для него не существовало. Один взгляд был нужен ему, одно лицо, одно сердце, но не было того человека, той женщины.

Печальная ласка сумерек изо дня в день одевала его лицо с закрытыми глазами и голову, опущенную на руки. Вечерние тени толпились вокруг, смотрели и слушали мысли без слов, чувства без названия, образы без красок.

Открывались глаза человека, спрашивая темноту и образы, и мысли без слов толпились в душе его.

Тогда говорил он словами, прислушиваясь к своему голосу, но одиноко звучал его голос. А мысли без слов и образы опережали слова его и, клубом подкатывая к горлу, теснили дыхание. И тени сумерек слушали его жалобу, росли и темнели.

– Я один, родная, один, но где ты? Не знаю. Каждый день бегут мимо меня вагоны с освещенными окнами.

щенными окнами, люди видны в окнах, они поют, смеются или едят. Но тебя нет с ними, родная!

И пароходы, гиганты с бесчисленными глазами, пристают в гавани каждый день, там, где ослепительно горит электричество и движется плотная, черная толпа. Сотни людей идут по сходам, радуются и грустят, но тебя нет с ними, родная!

Грохочут улицы, вывески ресторанов сверкают, как диадемы, и катит людские волны безумный город. Молодые и старые, мужчины и женщины, школьники и проститутки, красавицы и нищие идут мимо, толкают меня и смотрят, но нет тебя с ними, родная!

Я ищу и хочу тебя, хочу ласки твоей, хочу счастья. Я уже не помню как смеешься ты. Я забыл запах твоих волос, игру губ. Я найду тебя. Я бегу за каждой женщиной, похожей на тебя, и, нагнав, проклинаю ее. Жажда томит меня, и высохла моя грудь, но нет тебя. Отзовись же, найдись. Сядь на колени ко мне, щекой прижмись к моему лицу и смейся как раньше, золотом солнца, радостью жизни. Я укачаю, убаюкаю тебя на руках, распушу твои волосы и каждый отдельный волосок поцелую. Я спою тебе песенку, и ты уснешь.

Шли минуты, часы, и звонко бегал маятник, отбивая секунды в живой, мучительной тишине. А он все сидел, очарованный страданием, качаясь из стороны в сторону. И вот из страшной, черной глубины души кто-то, на блоках и цепях, начинал поднимать груз невероятной тяжести. От усилий неведомого существа кровь прилиwała к вискам, стучала и говорила торопливым, безумным шепотом. А тоска металась, острыми крыльями била в сердце, и с каждым ударом крыла хотело крикнуть, застонать сердце, готовое лопнуть, как гуттаперчевый шар. А груз подымался, скрипя, все выше, и медленно прессовал грудь, выгоняя воздух из легких, и ворочался там острыми гранями.

Он сжимал руками голову и, с дрожью напрягая тело, гнал прочь нечеловеческую тяжесть. А груз – воспоминание – все рос, двигаясь, как лавина и звенел забытыми словами, розовым смехом, радостью смущенных ресниц.

Он кричал:

– Не хочу! Не надо!

Но каждый раз, обессиленный, снова и снова видел во весь рост то, что бывает однажды, что не повторится ни с ним, ни с другим, ни с кем, никогда...

II

В саду темно, сыро и хорошо. Три дня он не виделся с ней и теперь пришел трепещущий, довольный и робкий. Под их ногами хрустел песок, и казалось в темноте, что она улыбается, смеется над его любовью, видит ее и думает. От этого волнение еще больше мучило его, и тягостным становилось молчание.

Они сели: он отодвинулся от ее колен, боясь, что прикосновение взволнует его любовь и бессвязными, тяжелыми словами вырвется наружу. Тогда надо будет уйти. Кончится все, и нельзя больше будет видеть ее. Так думал он за пять минут перед самыми счастливыми минутами своей жизни.

– Я вчера ждала вас, – сказала девушка, – и третьего дня ждала, и сегодня. Но вы не приходили. Разве так поступают с друзьями?

Ласковое ожидание слышалось в ее голосе, а ему оно казалось насмешкой, и от этого горькое, обидное чувство мешало дышать. Поборов волнение, он грубо и раздражительно сказал ей:

– Зачем ждали. Разве не все равно вам?

В темноте он почувствовал, как лицо девушки побледнело и сделалось замкнутым от его грубости, как глубокими и печальными стали глаза. Помолчав немного, она сказала с трудом:

– Если вы... я не знаю. Если вам все равно – конечно... Пройдемтесь. Скучно сидеть.

Но уже жалость к себе, к ней, раскаяние и умиление перед своею любовью охватили его. Не зная сам, как – он взял ее руки – горячими и бесконечно милыми были маленькие, тонкие пальцы – и сказал, сперва мысленно, а потом вслух:

– Милая! Милая! Простите меня!

Настало молчание. Казалось, что ему не будет конца. Но уже близилось могучее биение

радости. Играла ли в это время музыка, пел ли кто – он не помнит. Кажется, стало светло и тягостно-сладко. Она не отняла своих рук, и он сам благоговейно и осторожно выпустил ее пальцы. Стучало ли его сердце, пел ли кто – он не помнит.

И девушка – его возлюбленная, его радость, встала, и он – без слов, понимая каждое ее движение, пошел за ней, в ее комнату, и там долго, со слезами смотрел, смотрел на ее покрасневшее лицо, ставшее вдруг близким-близким, бесконечно простым и добрым. Она смеялась и говорила, а кружево на ее груди трепетало, как бабочка.

– Скажите мне: «Я люблю вас!»

Он повторял, стыдливо и смущенно:

– Я люблю вас! Люблю вас! Нет – тебя люблю!..

Она засмеялась, отвернувшись, а он смотрел на ее плечи, вздрагивающие от смеха, на край розового, маленького уха, обвитого русой прядкой волос. Как-то он подошел к ней, обнял сзади за плечи и шею и вздрогнул от прикосновения теплого, трепетного тела. Она крепко прижалась маленьким, круглым подбородком к его руке и глядела прямо перед собой, в стену, счастливыми, нервно-блестящими глазами. А он спросил:

– Можно мне обнять тебя?

Она засмеялась еще сильнее неслышным, коротеньким смехом. Засмеялась оттого, что он такой смешной: сперва обнял, а потом уже спросил позволения...

III

Так сидел он часами, но груз страшной тяжести висел в его душе, груз с бледным лицом и шутливо-ласковым взглядом. Тогда он вставал и шел в темные, извилистые закоулки города, где пьяное мерцание красных фонарей с разбитыми стеклами освещает грязные булыжники и тонет в блестящих, вонючих лужах. За столиками, где пируют матросы со своими возлюбленными и хриплый хохот заглушает ругательства и женский плач, садился и он, пил вино, смотрел и слушал, как страшный груз опускается ниже, а лицо девушки с русыми волосами тонет в клубах едкого табачного дыма.

Вверху медленно двигалась ночь, звезды описывали полукруг с востока на запад, и розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к разбитым, подслеповатым окнам кабака. Говор вокруг становился тише, ниже опускались к столам опьяневшие тела, и лохматые, рыжие головы ложились на плечи подруг. А его тело становилось чужим, и казалось ему, что голова живет отдельно от тела, бросая тупые крохи сознания в бледную полумглу.

Или он заходил в рестораны, где красивые, сверкающие зеркала неумоимо повторяли движения седого человека с молодым, загорелым лицом. На мраморных столиках белели девственно чистые скатерти, сверкая снежными изломами складок, румянец плодов алел в хрустальных вазах, и море яркого света дрожало и плыло в звуках бесшабашных мелодий огненными, острыми точками. Огромные, цветные шляпы женщин с нахальными улыбками колебались вокруг. А люди в черном целовали их руки, красные губы, полные плечи, вздрагивая и пьянея от удовольствия.

И снова сонный рассвет придвигал розовое лицо свое к матовым узорным окнам и восковыми, мертвенными тенями покрывал лица людей. В свете наступающего дня они казались призраками, обрывками сна, уродливыми и жалкими. Блестело последнее золото, последние посетители в смятых манишках, в шляпах, сдвинутых на затылок, расплачивались и уходили, а он сидел, и пустым казался ему наступающий день, пустым и ненужным, как бутылки, стоящие на столе. Дыханием его было страдание, и молитвой была тоска его.

IV

С тех пор прошло пять лет.

Пять лет прошло с того дня, когда он в первый раз обнял ее и сказал: «Можно обнять тебя?» Пять лет.

Из крепости он вышел седой. Ни письма, ни привета он не получил за эти три года, ничего. Его содержали, как важного государственного преступника, и ни одно известие о ней не всколыхнуло его сердце. Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству.

О жизни своей в эти три года он всегда боялся вспоминать и с ужасом приговоренного к смерти вскакивал ночью с постели, когда снилось, что он снова в тюрьме. Помнил только, что с грустью мечтал о пытках тела, существовавших в доброе старое время, и жалел, что не может своим изорванным, окровавленным телом купить свидание с ней. Раньше это было можно, в то доброе старое время.

Когда его выпустили, оправданного, он стал искать ее. Огромность задачи не поставила его в тупик. Но следы ее исчезли, и никто не мог сказать ему, где она. В мире людей, среди которых он жил, связи и знакомства непрочны, как самая жизнь этих людей. Приходят одни, уходят, приходят другие и снова бесследно теряются в шуме и холоде жизни. Исчезают, как ночная роса в утренний час.

Но упорно, неотступно, как мученик – смерть, как ученый – великую идею, он искал ее, день за днем, месяц за месяцем, разъезжая по городам, за границей, везде, где мог ожидать встретить ее. Но не было того человека, той женщины.

Он спрашивал ее везде, в отелях, гостиницах, адресных столах я клубах, библиотеках и союзах. Кельнеры и гарсоны, половые и чичероне вежливо выслушивали его, когда, стараясь казаться хладнокровным и рассеянным, он спрашивал их, прислушиваясь к ответу всем телом, с тоскою и ужасом:

– Скажите, здесь не останавливалась Вера N? Из России? Она из России, русская.

В лице людей, слушавших его, мелькало озабоченное, деловитое выражение. Они бежали куда-то, рылись в больших книгах с золотыми обрезами, в кипах листов и журналов, и каждый раз, бегая глазами по его загорелому лицу и седым волосам, говорили виновато-ласковым голосом:

– Вера N. Нет, мсье. Госпожи с этой фамилией у нас не было.

Чем дальше спрашивал он, тем труднее становилось говорить чужим, равнодушным людям имя, священное для него. И начинало казаться, что тайна его – уже не тайна, что выползла она из сокровенных тайников и неслышной тенью стелется по земле, из уст в уста, из мозга в мозг, передавая его муку, его любовь. С ненавистью смотрел он тогда в зеркало на свое лицо, проклиная измученные, угрюмые черты, не доверяя им, как скряга слугам, берегущим сокровище. Если б лицо его стало каменной маской – ему было бы легче. Тогда ни один мускул, ни одно дрожание век не выдали бы тоски его. Все труднее было ему спрашивать о ней, и казалось, что смех дрожит в глазах людей, отвечавших ему, что знают они его тайну и носят из дома в дом, хватая грязными пальцами, – сокровище, его любовь и молитву.

Шло время, весна пестрела цветами, лето синело и ширилось, желтела плакучая осень, стыла и серебрилась зима. Но не было того человека, той женщины.

– Где ты? Где ты? Я распушу твои волосы, я слезами омою их. Слезами чистыми, как любовь, как тоске моя. Я буду целовать следы ног твоих...

V

Иногда он приводил к себе женщину и запирался с ней. Являлись слуги, ставили на стол все, что требовала она, часто голодная и нетрезвая, и скромно уходили, неслышно ступая мягкими, дрессированными шагами. Он пил, оглушая себя, женщина садилась против него, охорашиваясь и оголяя локти. Снимала шляпу с цветными, красивыми перьями, трепала его по щеке и говорила:

– Давай чокнемся. Ты, душечка, сердитый? Отчего так?

Но он молчал, а женщина смеялась преувеличенно громко, думая, что не нравится ему. Садилась к нему на колени и двигалась телом, стараясь зажечь кровь. Наливала ему и себе, он пил и слушал, как падают за окном дождевые капли. Иногда смотрел на нее и говорил:

– Зачем ты сняла шляпу? Она тебе к лицу.

– Я люблю рыбу под белым соусом, – говорила женщина. – Не надеть ли мне еще калоши, дружок? Я в комнате не ношу шляп.

Потом он брал ее за руки и долго молча целовал их. Она сидела тихо, но вдруг, вырываясь, вскрикивала обиженным, визгливым голосом:

– Ревет! Вот дурак!

– Не нужно... – бормотал он, качая головой, полной кошмарного бреда. – Не нужно. Разве ты – она?

Шли минуты, часы; женщина, пьянея, прижималась к нему все крепче и болтала без умолку, хохоча, вскидывая вверх толстые ноги в ажурных чулках. Он становился перед ней на колени и просил робким, умоляющим шепотом:

– Погладь меня... Ну, погладь же... Приласкай... Крепче, крепче обними меня. Вот так. Еще крепче. Милый я, – милый, да?..

Она заливалась звонким неудержимым хохотом, сверкая зубами, и тормошила его, крепко стискивая полными, нагими руками шею человека с загорелым лицом. Слова ее прыгали по комнате, отскакивая от его сознания, возбужденные, громкие:

– Ах ты, мой старичок! Бедняжка! Есть же такие на свете, господи!..

Кто-то гасил свет: темнота обнимала их, и в темноте он покрывал голое, горячее тело поцелуями, безумными и нежными, как счастье. Прижимался к ней. Терся лицом о лицо, трепеща от тоски и боли. Зарывал лицо в темные, пахучие волосы и думал, что это она, его возлюбленная, его радость.

Ночь шла, и ширилась, и закрывала стыдливым покровом опустошенную душу пьяного человека, и несла отдых красивой, продажной женщине. И снова розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к занавескам, одевая мертвенным светом спящих людей.

День идет равнодушный и шумный. День за днем рождается и умирает, но нет ее. Но нет того человека, той женщины.

VI

Улицы становились пустынее, глуше; торопливо стучали шаги одиноких прохожих. Откуда-то и как будто со всех сторон двигался отдаленный грохот экипажей, катившихся на людных улицах. В окнах, блестевших скупым светом, скользили тени людей, и мир, скрытый стеклами, убогий внутри, с улицы казался таинственным и глубоким.

С тех пор, как он вышел из веселого и громадного подъезда, прошел, вероятно, час. Двигаясь во всевозможных направлениях, пересекая площади и пустыри, терпеливо проходя длинные улицы и угрюмые переулки, он изредка останавливался, соображая, что сбился с дороги, затем опускал голову и, моментально забывая, где он, – шел снова, без определенного плана, без цели, погруженный в глубокое раздумье. Прохожие уступали ему дорогу, так как он не уступал ее никому, даже женщинам, потому что не видел их. Ноги устали, болели ступни и сгибы колен, он чувствовал, но не создавал этого. Нищий, попросивший у него милостыни, получил в ответ:

– Не знаю. Я забыл часы дома.

Неожиданно, поворачивая за угол, в безмолвии и темноте вечерней улицы, он заметил кучку людей, толпившихся на ярко освещенном тротуаре, и тут же забыл о них. Через несколько шагов ему крикнули прямо в лицо хриплым и назойливым голосом:

– Приглашаю господина взять билет! Франк, франк, только один франк! Все новости Америки и Парижа!

Как человек, разбуженный внезапным, грубым толчком, он вздохнул, поднял голову и осмотрелся.

Прямо перед ним, на шестах, украшенных лентами и флагами, висела холщовая вывеска, освещенная электрическим светом. На ней было написано красными, затейливыми буквами, по белому фону: «Театр». Слева и справа этого слова чернели грубо нарисованные руки в манжетах, с указательными пальцами, протянутыми к буквам вывески. У широких, распахнутых две-

рей дощатого здания, испачканного обрывками афиш, висел лист белой бумаги. Он подошел и стал читать.

«Неожиданное приключение». «Добывание мрамора в Карраре». «Индейцы и Ков-Бои»...

Кругом теснились мальчишки и толкали его, засматривая в лицо. Усталость одолевала его. Человек, кривой на один глаз, в рыжем котелке и клетчатом кашне ходил по тротуару, мокрому от дождя, выкрикивая безразличным гортанным голосом:

– Один франк! Только один франк! Начинается! Спешите и удивляйтесь! Все новости, все новости! Франк!

Колокольчик в его пальцах неумоимо дребезжал мелким, бессильным звоном. Человек с загорелым лицом подошел к прилавку и купил билет у сонной, толстой женщины с напудренными плечами. Отодвинув драпировки, он сделал несколько шагов и сел на стул.

Вокруг сидело десять – двенадцать человек, преимущественно рабочие и мелкий торговый люд. Они сидели согнувшись, зевая и усиленно рассматривая разноцветные плакаты развешанные на стенах, обитых зеленой с красными полосами материей. Перед экраном сидел тапер, старик с красным носом и артистически-длинными серыми волосами. Его тщедушная фигура в изношенном сюртуке сотрясалась от ударов по клавишам, извлекая жалкие, прыгающие звуки танца.

За стеной еще раз продребезжал колокольчик и внезапно погас свет. Маленькая девочка с большими глазами громко и таинственно сказала матери:

– Мама, они хотят спать?

– Тсс! – сказала болезненная женщина, ее мать. – Сиди смирно.

– Петушки, – сказала девочка, увидя появившуюся на экране фабричную марку. – Мама, петушки?

Но петушки скрылись. Серая улица с серыми домами и серым небом встала перед глазами зрителей. Беззвучная, теневая, серая жизнь скользила по ней. Издалека двигались экипажи, конки, росли, делались огромными и пропадали.

Шли люди с корзинами, покупками, смеялись серыми улыбками, кивали, оглядывались. Бежали собаки и лаяли беззвучным лаем. Казалось, что внезапная глухота поразила зрителя. Двигается жизнь, но беззвучна она и мертва, как загробные тени.

Из кондитерской вышел мальчик и, весело подпрыгивая, направился с корзиной, полной пирогов, к поджидавшему его маленькому товарищу-трубочисту. Они идут, жадно уничтожая пироги заказчика, довольные и счастливые.

Едет автомобиль. Шофер не видит, что маленький сорванец уже примостился сзади между колес и весело болтает босыми ногами, вздымая пыль.

– Он поехал, – сказала девочка и тронула за плечо мать. – Мама, он поехал, тот мальчик!..

– Молчи, – сказала женщина. – А то придет трубочист и унесет тебя.

Идут люди, смотрят вслед уезжающему сорванцу и смеются. Женщина в большой соломенной шляпке с мешочком в руках остановилась, оглядывается и смотрит, как невидимый зрителю фотографический аппарат записывает биение жизни.

VII

Он вскочил, зарыдал, крикнул и бросился вперед, теряя сознание.

– Она!

Она – его солнце, его жизнь. Родная! Ее грустная, милая улыбка. Ее лицо, похудевшее, тонкое. Движения! Все!

Она – схваченная игрой света. Прямо в душу смотрят ее глаза, в его потрясенную, задыхающуюся душу. Тень от шляпки упала на его лицо. Остановилась! Пошла!

Долгий, пугающий крик убил тишину и потряс стены театра. Он бросился, побежал к ней, уронив шляпу, расталкивая прохожих, побежал, задыхаясь, с лицом, мокрым от слез. Десять, пятнадцать шагов расстояния...

– Вера! Вера!

Женщина обогнула решетку сада и остановилась, удивленная криком. Он догнал ее, сотрясаясь от плача, взял на руки, поднял как ребенка, поцеловал...

Она испугалась, побледнела... Узнала! Узнала. Прижалась к нему. Безумие счастья, жгучего, как нестерпимая боль, развернуло свои крылья, осенив их. Все утонуло, пропало. Только они – их двое...

Кто-то схватил сзади и грубо потянул в сторону. Он обернулся, слепым, пораженным взглядом обвел улицу и чужих перепуганных людей, отрывавших его от чуда, сокровища и молитвы.

Огненный снег завертелся перед глазами, и кто-то огромный, тяжелой гирей ударил в сердце. Стало темно. Два маленьких рыжих петуха выскочили по бокам, сверкнули красными, косыми глазами и исчезли. Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер.

Когда потащили к выходу тело, ставшее вдруг таинственным и враждебным для всех этих живых, перепуганных людей, – маленький, горбоносый субъект с грязным галстуком и черными глазами сказал человеку, звонившему в колокольчик:

– Я заметил его еще раньше... Он не взял сдачи – вы подумайте – с пяти франков!..

Колония Ланфиер

*Подобно моряку,
Плывущему через Юрский пролив,
Не знаю, куда приду я
Через глубины любви.
Иоситада, японец.*

I

Три указательных пальца вытянулись по направлению к рейду. Голландский барок пришел вечером. Ночь спрятала его корпус; разноцветные огни мачт и светящиеся кружочки иллюминаторов двоились в черном зеркале моря; безветренная густая мгла пахла смолой, гниющими водорослями и солью.

– Шесть тысяч тонн, – сказал Дрибб, опуская свой палец. – Пальмовое и черное дерево. Скажи, Гупи, нуждаешься ты в черном дереве?

– Нет, – возразил фермер, введенный в обман серьезным тоном Дрибба. – Это мне не подходит.

– Ну, – в атласной пальмовой жердочке, из которой ты мог бы сделать дубинку для своего будущего наследника, если только спина его окажется пригодной для этой цели?

– Отстань, – сказал Гупи. – Я не нуждаюсь ни в каком дереве. И будь там пестрое или малиновое дерево, – мне одинаково безразлично.

– Дрибб, – проговорил третий колонист, – вы, кажется, хотели что-то сказать?

– Я? Да ничего особенного. Просто мне показалось странным, что барок, груз которого совершенно не нужен для нашего высокочтимого Гупи, – бросил якорь. Как вы думаете, Астис?

Астис задумчиво потянул носом, словно в запахе моря скрывалось нужное объяснение.

– Небольшой, но все-таки крюк, – сказал он. – Путь этого голландца лежал южнее. А впрочем, его дело. Возможно, что он потерпел аварию. Допускаю также, что капитан имеет особые причины поступать странно.

– Держу пари, – сказал Дрибб, – что его маленько потрепало в Архипелаге. Если же не так, то здесь открывается мебельная фабрика. Вот мое мнение.

– Пари это вы проиграете, – возразил Астис. – Месяц, как не было ни одного шторма.

– Я, видите ли, по мелочам не держу, – сказал, помолчав, Дрибб, – и меньше десяти фунтов не стану мараться.

– Согласен.

– Что же вы утверждаете?

– Ничего. Я говорю только, что вы ошибаетесь.

– Никогда, Астис.

– Сейчас, Дрибб, сейчас.

– Вот моя рука.

– А вот моя.

– Гупи, – сказал Дрибб, – вы будете свидетелем. Но есть затруднение: как нам удостовериться в моей правоте?

– Какая самоуверенность! – насмешливо отозвался Астис. – Скажите лучше, как доказать, что вы ошиблись?

Наступило короткое молчание. Дрибб заявил:

– В конце концов, нет ничего проще. Мы сами поедем на барок.

– Теперь?

– Да.

– Стойте! – вскричал Гупи. – Или мне послышалось, или гребут. Помолчите одну минуту.

В глубокой сосредоточенной тишине слышались протяжные всплески, звук их усиливался, равномерно отлетая в бархатную пропасть моря.

Дрибб встрепенулся. Его любопытство было сильно возбуждено. Он топтался на самом обрыве и тщетно силился рассмотреть что-либо.

Астис, не выдержав, закричал:

– Эй, шлюпка, эй!

– Вы несносный человек, – обиделся Гупи. – Вы почему-то думаете, что умнее всех. Один бог знает, кто из нас умнее.

– Они близко, – сказал Дрибб.

Действительно, шлюпка подошла настолько, что можно было различить хлюпанье водяных брызг, падающих с весла. Зашуршал гравий, послышались медленные шаги и разговор вполголоса. Кто-то взбирался по тропинке, ведущей с отмели на обрыв спуска. Дрибб крикнул:

– Эй, на шлюпке!

– Есть! – ответили внизу с сильным иностранным акцентом. – Говорите.

– Лодка с голландца?

Колонист не успел получить ответа, как незнакомый, вплотную раздавшийся голос спросил его в свою очередь:

– Это вы так кричите, приятель? Я удовлетворю ваше законное любопытство: шлюпка с голландца, да.

Дрибб повернулся, слегка оторопев, и вытаращил глаза на черный силуэт человека, стоявшего рядом. В темноте можно было заметить, что неизвестный плечист, среднего роста и с бородой.

– Кто вы? – спросил он. – Разве вы оттуда приехали?

– Оттуда, – сказал силуэт, кладя на землю порядочный узел. – Четыре матроса и я.

Манера говорить не торопясь, произнося каждое слово отчетливым, хлестким голосом, произвела впечатление. Все трое ждали, молча рассматривая неподвижно черневшую фигуру. Наконец Дрибб, озабоченный исходом пари, спросил:

– Один вопрос, сударь. Барок потерпел аварию?

– Ничего подобного, – сказал неизвестный, – он свеж и крепок, как мы с вами, надеюсь. При первом ветре он снимается и идет дальше.

– Я доволен, – радостно заявил Астис. – Дрибб, платите проигрыш.

– Я ничего не понимаю! – вскричал Дрибб, которого радость Астиса болезненно резнула по сердцу. – Гром и молния! Барок не увеселительная яхта, чтобы тыкаться во все дыры... Что ему здесь надо, я спрашиваю?..

– Извольте. Я уговорил капитана высадить меня здесь.

Астис недоверчиво пожал плечами.

– Сказки! – полувопросительно бросил он, подходя ближе. – Это не так легко, как вы думаете. Путь в Европу лежит южнее миль на сто.

- Знаю, – нетерпеливо сказал приезжий. – Лгать я не стану.
- Может быть, капитан – ваш родственник? – спросил Гупи.
- Капитан – голландец, уже поэтому ему трудно быть моим родственником.
- А ваше имя?
- Горн.
- Удивительно! – сказал Дрибб. – И он согласился на вашу просьбу?
- Как видите.

В его тоне слышалась скорее усталость, чем самоуверенность. На языке Дрибба вертелись сотни вопросов, но он сдерживал их, инстинктом чувствуя, что удовлетворению любопытства наступили границы. Астис сказал:

– Здесь нет гостиницы, но у Сабо вы найдете ночлег и еду по очень сходной цене. Хотите, я провожу вас?

– Я в этом нуждаюсь.

– Дрибб... – начал Астис.

– Хорошо, – раздраженно перебил Дрибб, – вы получите 10 фунтов завтра, в восемь часов утра. До свидания, господин Горн. Желаю вам устроиться наилучшим образом. Пойдем, Гупи.

Он повернулся и зашагал прочь, сопровождаемый свиноводом.

– Теперь я держу пари, что с Дрибба получить придется только с помощью увесистой ругани. Господин Горн, я к вашим услугам.

Астис протянул руку, повернулся и удивленно прищелкнул языком. Он был один.

– Горн! – позвал Астис.

Никого не было.

II

Цветущие, низкорослые заросли южных холмов дымились тонкими испарениями. Расплавленный диск солнца стоял над лесом. Небо казалось голубой, необъятной внутренностью огромного шара, наполненного хрустальной жидкостью. В темной зелени блестела роса, причудливые голоса птиц звучали как бы из-под земли; в переливах их слышалось томное, ленивое пробуждение.

Горн шагал к западу, стремясь обойти цепь оврагов, заполнявших пространство между колонией и северной частью леса. Старый кольцовский штуцер покачивался за его спиной. Костюм был помят – следы ночи, проведенной в лесу. Шел он ровными, большими шагами, тщательно осматриваясь, разглядывая расстояние и почву с видом хозяина, долго пробывшего в отсутствии.

Юное тропическое утро охватывало Горна густым дыханием сочной, мясистой зелени. Почти веселый, он думал, что жить здесь представляет особую прелесть дикости и уединения, отдыха потревоженных, невозможного там, где каждая пядь земли захватана тысячами и сотнями тысяч глаз.

Он миновал овраги, гряду базальтовых скал, похожих на огромные кучи каменного угля, извилистый перелесок, опоясывающий холмы, и вышел к озеру. Места, только что виденные, не удовлетворяли его. Здесь не было концентрации, необходимого и гармонического соединения пространства с лесом, гористостью и водой. Его тянуло к уютности, полноте, гостеприимству природы, к тенистым, прихотливым углам. С тех пор, как будущее перестало существовать для него, он сделался строг к настоящему.

Зной усиливался. Тишина пустыни прислушивалась к идущему человеку; в спокойном обаянии дня мысли Горна медленно уступали одна другой, и он, словно читая книгу, следил за ними, полный сосредоточенной грусти и несокрушимой готовности жить молча, в самом себе. Теперь, как никогда, чувствовал он полную свою оторванность от всего видимого; иногда, погруженный в думы и резко пробужденный к сознанию голосом обезьяны или шорохом пробежавшей лирохвостки, Горн подымал голову с тоскливым любопытством, – как попавший на другую планету, – рассматривая самые обыкновенные предметы: камень, кусок дерева, яму, наполненную водой. Он не замечал усталости, ноги ступали механически и деревенели с каждым

ударом подошвы о жесткую почву. И к тому времени, когда солнце, осилив последнюю высоту, сожгло все тени, затопив землю болезненным, нестерпимым жаром зенита, достиг озера.

Мохнатые, разбухшие стволы, увенчанные гигантскими, перистыми пучками, соединялись в сквозные арки, свесившие гирлянды ползучих растений до узловатых корней, сведенных, как пальцы гнома, подземной судорогой, и папоротников, с их нежным, изящным кружевом резных листьев. Вокруг стволов, вскидываясь, как снопы зеленых ракет, склонялись веера, зонтики, заостренные овалы, иглы. Дальше, к воде, коленчатые стволы бамбука переплетались, подобно соломе, рассматриваемой в увеличительную трубу. В просветах, наполненных темно-зеленой густой тенью и золотыми пятнами солнца, сверкали крошечные, голубые кусочки озера.

Раздвигая тростник, Горн выбрался к отмели. Прямо перед ним узкой, затуманенной полосой тянулся противоположный берег; голубая, стального оттенка поверхность озера дымилась, как бы закутанная тончайшим газом. Справа и слева берег переходил в обрывистые холмы; место, где находился Горн, было миниатюрной долиной, покрытой лесом.

Сравнивая и размышляя, Горн бросил на песок кожаную сумку и сел на нее, отдавшись рассеянному покою. Место это казалось ему подходящим, к тому же нетерпение приступить к работе решило вопрос в пользу берега. Он видел квадратную, расчищенную площадку и легкое здание, скрытое со стороны озера стеной бамбука. С помощью одного топора, посредством крайнего напряжения воли, он надеялся создать угол, свободный от нестерпимого соседства людей и липких, чужих взглядов, после которых хочется принять ванну.

Посреди этих размышлений, стирая картины предстоящей работы, вспыхнула старая, на время притупленная боль, увлекая воображение к титаническим городам севера. Тысячемильные расстояния сокращались, как лопнувшая резина; с раздражающей отчетливостью, обхватив колена красными от загара руками, Горн видел сцены и события, центром которых была его воспаленная, запятанная душа. Остановившимся, потемневшим взором смотрел он на застывшие в определенном выражении черты лиц, матовый лоск паркета, занавеси окна, вздуваемые ветром, и тысячи неодушевленных предметов, напоминающих о страдании глубже, чем самая причина его. Светлый, бронзовый канделябр с оплывающими свечами горел перед ним, похищая у темноты маленькую, окаймленную кружевом руку, протянутую к огню, и снова, как несколько лет назад, слышался стук в дверь – громкое и в то же время немое требование...

Горн встряхнул головой. На одно мгновение он сделался противен себе, напоминая ампутированного, сдергивающего повязку, чтобы взглянуть на омертвевший разрез. Томительная тишина берега походила на тишину больничных палат, вызывающую в нервных людях потребность кричать и двигаться. Чтобы развлечься, он приступил к работе. Он чувствовал настоящую мускульную тоску, желание утомляться, подымать тяжести, разрубать, вколачивать.

И с первым же ударом синеватой английской стали в упругий ствол бамбука Горн загорелся пароксизмом энергии, неистовством напряжения, жаждущего подчинять материю непрерывным градом усилий, следующих одно за другим в возрастающем сладострастии изнеможения. Не переставая, валил он ствол за стволом, обрубал листья, ломал, отмеривал, копал ямы, вбивал колья; с глазами, полными зеленой пестроты леса, с душой, как бы оцепеневшей в звуках, производимых его собственными движениями, он погружался в хаос физических ощущений. Грудь ломало от учащенного дыхания, едкий пот зудил кожу, ладони рук горели и покрывались водяными мозолями, ноги наливались отяжелевшей венозной кровью, острая боль в спине мешала выпрямиться, все тело дрожало, загнанное лихорадочной жаждой убить мысль. Это было опьянение, оргия изнурения, исступление торопливости, наслаждение насилием. Голод, подавленный усталостью, действовал, как наркотик. Изредка, мучаясь жаждой, Горн бросал топор и пил холодную солоноватую воду озера.

Когда легли тени и вечерняя суматоха обезьян возвестила о приближении ночи, маленькая, дикая коза, пришедшая к водопою, забилась в камыше, подстреленная пулей Горна. Огонь был поваром. Дымящиеся, полусожженные куски мяса пахли травой и кровавым соком. Горн ел много, работая складным ножом с такой же ловкостью, как когда-то десертной ложкой.

Насыщаясь, охваченный растущей темнотой, пронизанной красным отблеском тускнеющих, сизоватых углей костра, Горн вспомнил барок. С корабельного борта его дальнейшее суще-

ствование казалось ему загадочной сменой дней, полных неизвестности и однообразия, растительным ожиданием смерти, сменяемым изредка приступами тяжелой тоски. Он как бы видел себя самого, маленькую человеческую точку, с огромным, заключенным внутри миром, – точку, окрашивающую своим настроением все, схваченное сознанием.

Пряная сырость сгушалась в воздухе, мелодия лесных шорохов плела тонкое кружево насторожившейся тишины, прелый, сладковатый запах оранжереи поддерживал возбуждение. Мысли бродили вокруг начатой постройки, возвращаясь и к океану и к отрывочным представлениям прошлого, утратившего свою остроту в чувстве полной разбитости. Приближался тяжелый, мертвый сон, веяние его касалось ресниц, путало мысли и невидимой тяжестью проникало в члены.

Последний уголь, потрескивая, разгорелся на одно мгновение, приняв цвет раскаленного железа, осветив ближайшие, свернувшиеся от жары стебли, и померк. И вместе с ним отлетел в бархатную черноту дух Огня, веселый, прыгающий дух пламени.

Крик рыси тревожно прозвучал на холме, стих и, снова усиливаясь, раздался жалобной, протяжной угрозой. Горн не слышал его, он спал глубоким, похожим на смерть, сном – истинное счастье земли, царства пыток.

Через пять дней на ровной четырехугольной площадке, гладко утрамбованной и обнесенной изгородью, стоял небольшой дом с односкатной крышей из тростника и окном без стекол, выходящим на озеро. Устойчивая, самодельная мебель состояла из койки, стола и скамеек. В углу висел земляной массивный очаг.

Кончив работу, согнувшийся и похудевший Горн, пошатываясь от изнурения, пробрался узкой полосой отмели к подножию холма, достиг вершины и осмотрелся.

На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расселинами и пятнами худосочных кустарников. На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей в город, по краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся издали крошечными, как побеги салата. На западе, облекая изрытую оврагами и холмами равнину, тянулась синяя, сверкающая белыми искрами гладь далекого океана.

А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо посаженной зеленью, тянулись косые четырехугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер.

III

Туземная двухколесная тележка переехала дорогу под самым носом Гупи. Миновав облако едкой пыли, Гупи увидел незнакомого человека, шагавшего навстречу, и невольно остановился. Этого человека он не помнил, но в то же время как будто встречал его. Смутное воспоминание о голландском бароке подстрекнуло природное любопытство Гупи, он снял шляпу и поклонился.

– Э! – сказал Гупи, прищуриваясь. – Вы из города?

– Еще не был в городе, – возразил Горн, сдержав шаг, – и едва ли пойду туда.

– Ну да, ну да! – осклабился Гупи. – Я так и думал. Я узнал вас по голосу. Неделью назад вы высадились в маленькой бухте, так ведь?

– Я высадился в маленькой бухте, это верно, – проговорил, соображая. Горн, – но я не думаю, чтобы встречался с вами.

Гупи захохотал, подмигивая.

– Астис и Дрибб держали пари, – сказал он, успокаиваясь. – Я ушел с Дриббом, Астис уверял всех, что вы провалились сквозь землю. Сыграли вы шутку с ним, черт побери!

– Теперь я, кажется, припоминаю, – сказал Горн. – Да, я несомненно чувствовал ваше присутствие в темноте.

– Вот, вот! – закивал Гупи, потя от удовольствия поболтать. – А почему вы не пошли с Астисом?

– Скажу правду, – улыбнулся Горн, – откровенно говоря, мне было совестно затруднять

столь почтенных людей. Другой солгал бы вам и сказал, что все вы показались ему глупыми, болтливými и чересчур любопытными, но я – другое дело. Чувствуя расположение к вам, я не хочу лгать.

Он произнес это с совершенно спокойным выражением лица, и Гупи, приняв за чистую монету замаскированное оскорбление, расплылся в самодовольной улыбке.

– Ну, ну, – снисходительно возразил он, – велика важность! А вы, честное слово, хороший парень, вы мне нравитесь. Моя ферма в полумиле отсюда; кусок жареной свинины и стакан пива, а? Что вы на это скажете?

– Пойдемте, – согласился, помолчав, Горн. Самоуверенные манеры колониста забавляли его, он спросил: – Сколько у вас жителей?

– Много, – пропыхтел Гупи, взмахивая рукой. – С тех пор, как пароходное сообщение приблизило нас к материку, то и дело высаживаются разные проходимцы, толкаются здесь, берут участки, а через год улепетывают в город, где есть женщины и все, от чего трудно отвыкнуть.

Лабиринт зеленых изгородей, полный сухой пыли, змеился по отлогому возвышению. Ноги Горна по щиколотку увязали в красноватом песке; пыль щекотала ноздри. Гупи рассказывал:

– Женщин здесь встретите реже, чем змей. В прошлом году на прачку, выехавшую сюда за сто миль, устроили настоящий аукцион. Посмотрели бы вы, как она, подбочившись, стояла на прилавке «Зеленой раковины»! Три человека переманивали ее друг у друга и в конце концов пошли на уступки: одного разыскали в колодце... а двое так и живут с ней.

Гупи перевел дух и продолжал далее. По его словам, не более половины жителей имели семейства и жили с белыми женщинами, остальные довольствовались туземками, соблазненными перспективой безделья и цветной тряпкой, в то время как отцы их валялись рядом с бутылками, оставленными сметливым женихом.

Пришлое население, почти все бывшие ссыльные или дети их, дезертиры из отдаленных колоний, люди, стыдившиеся прежнего имени, проворовавшиеся служащие – вот что сгрудилось в количестве ста дымовых труб около первоначального крошечного поселка, основанного двумя бывшими каторжниками. Один умер, другой еще таскал из дома в дом свое изможденное пороками дряхлое тело, здесь ужиная, там обедая и везде хныкая об имуществе, проигранном в течение одной ночи более удачливому мерзавцу.

– Вот дом, – сказал Гупи, протягивая негнушущуюся ладонь фермера к высокому, напоминающему башню строению. – Это мой дом, – прибавил он. В лице его легла тень тупой важности. – Хороший дом, крепкий. Хотя бы для губернатора.

Высокая изгородь тянулась от двух углов здания, охватывая кольцом невидимое снаружи пространство. Заложив руки в карманы и задрав голову, Гупи прошел в ворота.

Горн осмотрелся, пораженный своеобразным величием свиного корыта, царствовавшего в этом углу. Раскаленная духота двора дышала нестерпимым зловонием, мириады лоснящихся мух толклись в воздухе; зеленоватая навозная жижа липла к подошвам, визг, торопливое хрюканье, острый запах свиных туш – все это разило трепетом грязного живого мяса, скученного на пространстве одного акра. Толстые, желтые туловища двигались во всех направлениях, трясясь от собственной тяжести. Двор кишел ими; огромные, с черной щетиной, борова, нескладные, вихляющиеся подростки, розовые, чумазные поросята, беременные, вспухшие самки, изнемогающие от молока, стиснутого в уродливо отвисших сосцах, – тысячи крысиных хвостов, рыла, сверкающие клыками, разноголосый, режущий визг, шорох трущихся тел – все это пробуждало тоску по мылу и холодной воде. Гупи сказал:

– А вот это мои свинки! Каково?

– Недурно, – ответил Горн.

– Каждый месяц продаю дюжины две, – оживился Гупи, с наслаждением раздувая ноздри. – Это самые спокойные животные. И возни почти никакой. Иногда, впрочем, они пожирают маленьких – и тут уже смотри в оба. Я люблю свое дело. Посмотришь и думаешь: вот слоняется ленивое, жирное золото; стоит его немножечко пообчистить, и ваш карман рвется от денег. Мысль эта мне очень нравится.

– Свиньи красивы, – сказал Горн.

Гупи потер лоб и сморщился. Горн раздражал его, у этого человека был такой вид, как будто он много раз видел свиней и Гупи.

– Я собирался уйти, – заговорил Горн, – но вспомнил, что хочу пить. Если у вас есть вино – хорошо, нет – не надо.

– Есть туземное пиво, «сахха». – Гупи дернулся по направлению к дому. – Из саго. Не пили? Попробуйте. Вскружит голову, как Эстер.

Неуютная, почти голая комната, куда вошел Горн, смягчалась ослепительным блеском неба, врывавшегося в окно; на его синем четырехугольнике толпились остроконечные листья и перистые верхушки рощи. Гупи схватил палку и громко треснул ею об стол.

Полуголое существо, с прической, напоминающей папские тиары, вышло из боковой двери. Это была женщина. Плечи ее прикрывал бумажный платок. Темное лицо с выпуклыми, как бы припухшими губами неподвижно осматривало мужчин.

– Дай пива, – коротко бросил Гупи, усаживаясь за стол.

Горн сел рядом. Женщина с темным телом внесла кувшин, кружки и не уходила. Продолговатые быстрые глаза ее скользили по рукам Горна, костюму и голове. Она была не старше восемнадцати лет; грубую миловидность ее приплюснутого лица сильно портила блестящая жестяная дужка, продетая в ухо.

– Не торчи здесь, – сказал Гупи. – Уйди.

Верхняя губа девушки чуть-чуть приподнялась, блеснув полоской зубов. Она вышла, сонно передвигая ногами.

– Я с ней живу, – объяснил Гупи, высасывая стакан. – Идиотка. Они все идиоты, хуже негров.

– Я думал, что у вас нет... женщины, – сказал Горн.

– Женщины у меня нет, – подтвердил Гупи. – Я не женат и любовниц не завожу.

– Здесь только что была женщина. – Горн пристально посмотрел на Гупи. – А может быть, я ошибся...

Гупи расхохотался.

– Женщинами я называю белых, – гордо возразил он, поуспокоившись и принимая несколько презрительный тон. – А это... так. Я не старик... понимаете?

– Да, – сказал Горн.

Он сидел без мыслей, рассеянный; все окружающее казалось ему острым и кислым, как вкус «сахха». Гупи боролся с отрыжкой, смешно оттопыривая щеки и выкатывая глаза.

Пиво кружило голову, холодной тяжестью наливаясь в желудок. Синий квадрат неба веял грустью. Горн сказал:

– Кружит голову, как Эстер... Вы, кажется, так выразились.

– Вот именно, – кивнул Гупи. – Только Эстер не выпьешь, как эту кружку. Дочь Астиса. Несчастье здешних парней. Когда молодой Дрибб женится, у него будет врагов больше, чем у нас с вами. Сегодня пятница, и она придет. Если увидите, не делайте глупое лицо, как все прочие, это ей не в диковину.

– Я посмотрю, – сказал Горн. – Люди мне еще интересны.

– Вот вы, – Гупи посмотрел сбоку на Горна, – вы мне нравитесь. Но вы все молчите, черт побери! Как вы думаете жить?

Горн медленно допил кружку.

– В лесах много еды, – улыбнулся он, рассматривая переносицу собеседника. – Жить-то я буду.

– А все-таки, – продолжил Гупи. – Возиться с ружьем и местными лихорадками... Клянусь боровом, вы исхудаете за один месяц.

Горн нетерпеливо пожал плечами.

– Это неинтересно, – сказал он, – к тому же мне пора трогаться. Кофе и порох ждут меня, а я засиделся.

– Не торопитесь! – вскричал Гупи, краснея от замешательства при мысли, что Горн так-таки и остался нем. – Разве вам одному веселее?

Горн не успел ответить; Гупи, скорчив любезнейшую гримасу, повернулся к стукнувшей двери с выражением нетерпеливого ожидания.

– Повернитесь, Горн, – сказал он, блестя маленькими глазами. – Пришла кружительница голов, – да ну же, какой вы неповоротливый!

Ироническая улыбка Горна растаяла, и он, с серьезным лицом, с кровью, медленно отхлынувшей к сердцу, рассматривал девушку. Мысль о красоте даже не пришла ему в голову. Он испытывал тяжелое, болезненное волнение, как раньше, когда музыка дарила его неожиданными мелодиями, после которых хотелось молчать весь день или напиться.

– Гупи, вам нужно подождать, – сказала Эстер, взглядывая на Горна. Посторонний смущал ее, заставляя придавать голосу бессознательный оттенок высокомерия. – У отца нет денег.

Гупи позеленел.

– Шути, моя красавица! – прошипел он, неестественно улыбаясь. – Клади-ка то, что спрятала там... ну!

– Мне шутить некогда. – Эстер подошла к столу и уперлась ладонями о его край. – Нет и нет! Вам нужно подождать с месяц.

И в тот короткий момент, когда Гупи набирал воздуха, чтобы выругаться или закричать, девушка улыбнулась. Это было последней каплей.

– Радуйся! – закричал Гупи, вскакивая и бегая. – Ты смеешься! А даст ли мне твой отец хоть грош, когда я буду околевать с голода? Я роздал тысячи и должен теперь ждать! Клянусь головой бабушки, мне надоело! Я подаю в суд, слышишь, вертушка?

Горн встал.

– Я не хочу мешать, – сказал он.

– Эстер, – заговорил Гупи, – вот человек из страны честных людей, – спроси-ка его, можно ли не держать слова?

Девушка пристально посмотрела в лицо Горна. Смущенный, он повернул голову; эти матовые, черные глаза как будто приближались к нему. Гупи ерошил волосы.

– Прощайте, – сказал Горн, протягивая руку.

– Приходите, – проворчал Гупи, – но вы меня беспокоите. Ах, деньги, деньги! – Он сделал усилие и продолжал: – Надеюсь, вы сделаетесь поразговорчивее. Если бы вы взяли участок!

Горн вышел во двор и, остановившись, прислушался. Сверху доносились возбужденные голоса. Он тронулся, попадая в лужи воды и слякоть, истыканную ногами.

Торопливое дыхание заставило его обернуться. Эстер шла рядом, слегка придерживая короткую полосатую юбку и оживленно размахивая свободной рукой. Горн молчал, подыскивая слова, но она предупредила его.

– Вы тот самый, что высадился неделю назад?

У нее был чистый и медлительный голос, звуки которого, казалось, пронизывали все ее тело, выражая лицом и взглядом то же, что говорит рот.

– Тот самый, – подтвердил Горн. – А вы – дочь Астиса?

– Да. – Эстер поправила косы, сбившиеся под остроконечной туземной шляпой. – Но жить здесь вам не придется.

Горн улынулся так, как улыбаются взрослые, слушая умных детей.

– Почему?

– Здесь работают. – Высокие брови девушки задумчиво напряглись. – У вас руки, как у меня.

Она вытянула свои украшенные кольцами руки, смуглые и маленькие, и тотчас же их опустила. Она сравнивала этого человека с дюжими молодцами ферм.

– Вам нечего делать здесь, – решительно сказала она. – Вы из города и кажетесь господином. Здесь нет ничего хорошего.

– Есть, – серьезно возразил Горн. – Озеро. И мой дом там.

Она даже остановилась.

– Дом? Там жили пять лет назад, но все выгорело.

– Эстер, – сказал Горн, – теперь вы видите, что и я умею работать. Я создал его в шесть

дней, как бог – небо и землю.

Они вышли за изгородь, напутствуемые оглушительным хрюканьем, и шли рядом, погружая ноги в горячий красноватый песок. Эстер засмеялась медленным, как и ее голос, смехом.

– Горожане любят шутить.

– Нет, я не вру. – Горн повернул голову и коротко посмотрел в яркое лицо девушки. – Да, я буду здесь жить. Без дела.

Он видел ее полураскрытый от уважения рот, удивленные глаза и чувствовал, что ему не скучно. Наступило молчание.

Клуб пыли, сверкающий босыми пятками и бронзовым телом, мчался наперерез. Горн задержал шаги. Пыль улеглась; что-то невообразимо грязное и изодранное топталось перед ним, размахивая длинными, как у обезьяны, руками. Эти странные телодвижения сопровождалось сиплыми выкриками и вздохами, похожими на рыдания.

– Бекеко, – сказала девушка. – Не бойтесь, это Бекеко. Он дурачок, смирный парень... Бекеко, ты что?

Разбухшая, с плешинами, голова тыкалась в юбку девушки. Бекеко радовался, по временам прекращая свои ласки и прилипая к Горну неподвижными белесоватыми глазами. Он был противен и возбуждал холодное сожаление. Горн отошел к изгороди.

– Бекеко, иди домой, тварь! – вскричала Эстер, заметив, что дурак старается ущипнуть ее руку.

Идиот выпрямился, смеясь и повизгивая, как собака.

– Эстер, – сказал он, не переставая топтаться, – я хочу набрать много полосатых юбок и все принесу тебе. У меня все колет за щекой!

Эстер сделала испуганное лицо.

– Огонь! – вскричала она. – Бекеко, огонь!

Впечатление этих слов было убийственно. Скорчившись, Бекеко упал, охватив голову руками и вздрагивая. Спина его тяжело вздымалась и опускалась.

– Зачем это? – спросил Горн, рассматривая упавшего.

– Так, – сказала Эстер. – С ним нельзя. Он привяжется, как собака, и будет ходить за вами, пока не скажешь одно слово: «огонь». Его кормил брат, но как-то сгорел, пьяный. Дурак боится огня больше побоев. Я вижу его редко, он больше слоняется по болотам и ест неизвестно что.

Горн закурил трубку.

– Я знал, что вы существуете, – сказал он, вдавливая пепел, – раньше, чем вы пришли.

Девушка блеснула улыбкой.

– От Гупи, – протянула она. – Он говорит: это кружильница голов.

– Да, – повторил Горн, – вы – кружильница голов.

Он снова посмотрел на нее: ни тени смущения. Лицо ее не выражало ни кокетства, ни благодарности, и он сам испытал некоторое замешательство, затянувшись табаком глубже, чем обыкновенно.

– Я живу там, – сказала девушка, показывая налево, – где желтая крыша. Отец любит гостей. Вам куда?

– Кофе, табак и порох, – сказал Горн, загибая три пальца. – Я иду к ним.

– К Сабо, – поправила девушка. – У вас штуцер?

– Да.

Эстер кивнула глазами.

– У меня карабин, – сказала она. – Но здесь трудно достать патроны, мы ездим в город. Я целюсь снизу и попадаю без промаха.

– Вы хотите сказать, что не уверены в том же относительно меня, – произнес Горн. – Но я не застенчив. Отойдите вправо.

Он вынул револьвер и, смеясь, поклонился девушке.

– Ведь вам в ту сторону? Шагах в тридцати отсюда вы видите тоненький ствол? Идя мимо, остановитесь, и если в нем отыщете пулю – обернитесь.

Теперь он видел спину Эстер, удаляющийся черноволосый затылок и, прицелившись, едва

не чихнул от солнца, заигравшего на отполированной стали револьвера. Удар выстрела опустил его руку. Эстер шла, тихонько покачиваясь, и остановилась у дерева.

Обернувшись, она весело махнула рукой, и снова Горну почудилось, что глаза ее, отделившись, плывут в воздухе.

IV

Никто не будил Горна, он поднялся сам, внезапно с полной отчетливостью сознания, без сонной вялости тела, без зевоты, как будто не спал, а ждал, лежа с закрытыми глазами.

Спокойный, слегка недоумевающий, он попытался дать себе представление о причинах, так бесследно вернувших его к сознанию. Розовый хмель утра дышал в окно влажным туманом, солоноватой прелью отмелей и молчаньем шорохов, неуловимых, как шаг мысли засыпающего человека. Озеро дымилось. Колеблющиеся испарения устилали поверхность, обнажая у берегов светлые, голубые лужицы заснувшей воды.

Горн стоял у окна, растворившись в мелодичной тишине спящего воздуха. На ясном, с закрытыми глазами, лице рассвета плавился блестящий край диска; облачные холмы плыли за горизонт, паутиная резьба леса затягивала другой берег, и Горн подумал, что это могли быть толпы зеленых рыцарей, спящих стоя. Копья, на которые они опирались, были украшены неподвижными зелеными перьями.

Вдруг все изменилось, бесчисленные лучи градом золотых монет рассыпались по земле; вода заблестела ими, некоторые легли у ног Горна, прозрачные, кованные из света и воздуха. Зеленень, стеклянная от росы, сохла на глазах Горна. Комочки побуревших цветов бухли и наливались красками, распрямляясь, как вздрагивающие пальцы ребенка, протянутые к игрушке. Густой запах земли щекотал ноздри. Зеленые, голубые, коричневые и розовые оттенки облили стволы бамбука, трепеща в тканях листвы спутанными тенями, и где-то невдалеке горло лесной птицы бросило низкий свист, неуверенный и оборванный, как звук настраиваемого инструмента.

Горн стоял, налитый до макушки, подобно пустой бутылке, зеленым вином земли, потягивающейся от сна. Молоко, брызжущее из нежной, переполненной груди невидимой женщины, невидимо падало на его губы, и он представлял ее, ловил ее посланную небу улыбку и щурился от золотой паутины, заткавшей мир. Душа его раздвоилась, он мог бы засмеяться, но не хотел, готов был поверить зеленым рыцарям, но делал усилие и перебивал их тихие голоса настойчивыми воспоминаниями.

Спор Горна с Горном оборвался так же быстро и резко, как резко скрипнула дверь, медленно открываемая снаружи. Щель увеличивалась, человек, тянувший ее, стоял ближе к углу и не был виден.

Горн ждал, неуверенный, что там кто-нибудь есть. Дверь отворялась сама и раньше; это происходило от небольшой кривизны петель. Инстинктивно, больше из любопытства, чем осторожности, он устремил взгляд на ту точку, где скорее всего мог ожидать встретить человеческие глаза.

Но следующий момент заставил его взглянуть ниже. Глаз и часть лба, опутанного белыми волосами, появились на уровне четырех футов снизу; кто-то заглядывал, согнувшись, юркнул за дверь и почти тотчас же показался вновь.

Человек этот, покачнувшись, прошел в дверь, притворил ее и, неуклюже мотнув головой, уставился в лицо Горна глазами, пестрыми от морщин и красных жилок. По-видимому, он был пьян.

Прямой, как жердь, с тупым, неподвижным блеском выцветших глаз, в лохмотьях и босиком, он мог бы отлично сойти за черта, прикинувшегося нищим. В нескольких шагах расстояния руки его казались синими, как у мертвеца, но, подойдя вплотную, можно было рассмотреть сплошной рисунок татуировки, покрывавшей все тело, от шеи до пояса. Змеи, японские драконы, флаги, корабли, надписи, неприличные сцены, цинические изображения теснились друг к другу на груди и руках, мешаясь с белесоватыми рубцами шрамов. На шее мотался шарф, превращенный грязью и временем в кусок веревки. Рваная тулья шляпы прикрывала остроконечные, как у

волка, уши и лицо цвета позеленевшей бронзы. Нос, перебитый палочным ударом, хмуро кривился вниз. Куртка, лишенная рукавов, открывала голую грудь. От всей этой фигуры веяло подозрительным прошлым, темными закоулками сердца, притонами, блеском ножей, хриплой злобой и человеческой шерстью, иногда более жуткой, чем мех тигра. Старик, что называется, пожил.

– Что скажете? – спросил Горн. Он был несколько озадачен. Фигура эта не внушала ему доверия. Странная, как обрывок сна, она переминалась с ноги на ногу.

– Что скажете? – пробормотал оборванец, подмигивая и силясь держаться прямо. – Если вы спросите меня – кто я? – я вам отвечу честно и откровенно. Как хотите, а любопытно взглянуть на человека, живущего вроде вас. Я сам так жил... сам... лет тридцать тому назад я прятался на безлюдном атолле от дьявольски любопытных кэпи. Они, правда, взяли свое... потом... о! – спустя много времени.

Старик брызгал слюной, и в его высохшем, словно передавленном горле катался желвак. Горн спросил:

– Как вас зовут?

– Ланфиер, – захрипел гость, – Ланфиер, если вам это будет угодно.

Горн сосредоточенно кивнул головой. Старик показался ему забавным, важность, с которой он назвал себя, таила неискреннее и хитрое ожидание. Горн сказал:

– А я – Горн.

Ланфиер сильно расхохотался.

– Горн? – переспросил он, подмигивая левым глазом, в то время как правый тускнел, поблескивая зрачком. – Ну, да – Горн, конечно, кем же вы можете еще быть.

Горн нахмурился, развязность каторжника пробудила в нем легкое нетерпение.

– Я, – сказал он, – могу быть еще другим. Человеком, который не привык вставать рано. А вы, кроме того, что вы Ланфиер, можете быть еще человеком, только случайно заставшим меня так, как я есть, – не спящим.

Ланфиер молча оскалил зубы. Он не ответил, его пьяные мысли, ползающие на четвереньках, сбивались в желание щегольнуть явной бесцеремонностью и апломбом.

– Я первый стал жить в этой дыре, – вызывающе произнес он, усаживаясь на жесткое ложе Горна. – Черт и зверь проклинали колонию раньше, чем мой первый удар заступа прогрыз слой земли. Я хочу с вами познакомиться. Про меня много болтают, но, клянусь честью, я был осужден невинно!

Горн молчал.

– Я всегда уважал труд, – сказал Ланфиер с видимым отвращением к тому, что выговаривали его губы. – Вы мне не верите! Пожили бы вы со мной лет сорок назад...

Двусмысленная улыбка прорезала его сухой рот.

– Смерть люблю молодцов, – продолжал каторжник. – Вы приехали, устроили себе угол, как независимый человек, никого не спрашивая и не советуясь. Вы – сам по себе. Таких я и уважаю; да, я хлопнул бы вас по плечу, если бы знал, что вы не рассердитесь. Держу пари, что вы способны кулаком проломить череп и не дадите себя в обиду. Здесь иначе и нельзя, имейте это в виду... Если кто из колонии не нюхал крови, так это я, безобидный и, даю слово, самый порядочный человек в мире.

– К делу, – сказал Горн, теряя терпение. – Если вам нужно что-нибудь – говорите.

Зрачки Ланфиера съежились и потухли. Он что-то соображал. Проспиртованный мозг его искал хотя бы маленького, но цепкого крючочка чужой души.

– Я, – хмуро заговорил он, – ничего не имею, если даже вы меня и выгоните. Несчастному одна дорога – презрение. Клянусь огнем и водой, я чувствую к вам расположение и зашел узнать, как ваше здоровье. Я ведь не полисмен, черт возьми, чтобы строгать вас расспросами, не оставили ли вы за собой чей-нибудь косой взгляд... там, за этой лужицей соленой воды. Мне все равно. Всякий живет по-своему. Я только хочу вас предупредить, чтобы вы были поосторожнее. О вас, видите ли, говорят много. Отбросив болтовню дураков, получим следующее летучее мнение: «Приехал не с пустыми руками». Видите ли, когда покупают кофе или табак, пластырь, порох, – следует платить серебром. Лучше всего менять деньги на родине. Здесь горячее солнце, и кровь

закипает быстро, гораздо скорее, чем масло на сковороде. О! Я не хочу вас пугать, нисколько, но здесь очень хорошие люди и половина их лишена предрассудков. Что делать? Не всякий получает достаточно приличное воспитание.

Глаза Горна прямо и неподвижно упирались в лицо каторжника. Покачиваясь, дребезжащим, неторопливым голосом Ланфиер выпускал фразу за фразой, и они, правильно разделенные невидимыми знаками препинания, таяли в воздухе, подобно клубам дыма, методически выбрасываемым заматерелым курильщиком. Взгляд его, направленный в сторону, блуждал и прыгал, беспокойно ощупывая предметы, но внутренний, другой взгляд все время невидимыми клещами держал Горна в состоянии нетерпеливого раздражения. Он спросил:

– Почему вы не вошли сразу?

Старик открыто посмотрел на хозяина.

– Боялся разбудить вас, – внушительно произнес он, – а дверь чертовски тугая. Застав вас спящим, я тотчас же удалился бы погреть в окрестностях, пока вам не надоест спать.

Лицо его приняло неожиданно плаксивое выражение.

– Боже мой! – простонал он, усиленно мигая сухими веками, – жизнь обратилась в пытку. Никакого уважения, никто из местных балбесов не хочет помнить, что я, отверженный и презренный, положил начало всей этой трудолюбивой жизни. Кто знает, может быть, здесь впоследствии вырастет город, а мои кости, обглоданные собаками, будут валяться в грязи, и никто не скажет: вот кости старика Ланфиера, безвинно осужденного судом человеческим.

– Я бы стыдился, – сухо проговорил Горн, – вспоминать о том, что благодаря вашему случайному посещению этих мест полуостров загажен расплодившимся человеком. Мне теперь неприятно говорить с вами. Я предпочел бы, чтобы здесь никогда не было ни вас, ни крыш, ни плантаций. Что же касается добрых людей, получивших скверное воспитание, – передайте им, что всякая неожиданная любезность с их стороны встретит надлежащий прием.

– Речь волка, – сказал каторжник. – Для первого знакомства недурно. Вы меня презираете, а мне нужно, чтобы здесь жило много людей. У меня со всеми есть счеты. Относительно одних, видите ли, у меня очень хорошая память – выгодная струна. Другие – как бы вам сказать – туповаты и мирно пасутся в своих полях. Этим я стригу мирно, – ну, пустяки, – хлеб, табак, иногда мелочь на выпивку. И есть еще чрезвычайно дерзкие невежи – те, которые могут пустить кровь, облизываясь, как мальчуган, съевший ложку варенья. Все они говорят тихо и рассудительно, ступают медленно, и у них постоянно раздуваются ноздри...

Ланфиер понизил голос и, согнувшись, словно у него заболел живот, широко улыбнулся ртом, в то время как глаза его совершенно утратили подвижность и шурились.

– Лодка! – вскричал он. – Откуда лодка?

Горн посмотрел в окно. Сияющее, прозрачное озеро, наполненное тонувшими облаками, было так явно безлюдно, что в тот же момент он еще быстрее, с заколотившимся сердцем, повернулся к вскочившему каторжнику. Неверный удар ножа распорол блузу. Горн сунул руку в карман и мгновенно протянул к бескровному, мечущемуся лицу Ланфиера дуло револьвера.

Старик прижался к стене, охватив голову сморщенными руками, затем с растерянной быстротой движений очутился у подоконника, выпрыгнул и нырнул в чашу. Три пули Горна зацелкали в листьях. Нервно смеясь, он жадно прислушался к затрещавшему камышу и выстрелил еще раз. Внезапно наступившая тишина наполнилась шумом крови, ударившей в виски. Ноги утратили гибкость, мысли завертелись и понеслись, как щепки, брошенные в поток. Утро, обольстившее Горна, вдруг показалось ему дешевой, отталкивающей олеографией.

В раздумье, не выпуская револьвера, он сел на плохо сколоченную скамейку, чувствуя, как никогда, полную темноту будущего и хрупкость покоя, тянувшегося четырнадцать дней. Его жизнь приближалась к напряженному существованию осторожных четвероногих, превращаемых в слух и зрение подозрительной тишиной дебрей, и сам он должен был стать каким-то мыслящим волком. В сознании необходимости этого таилась тяжесть и, отчасти, грустная радость человека, которому не оставили выбора.

Теперь он страстно хотел, чтобы женщина с мягким лицом, выкроившая его душу по своему желанию, как платье, идущее ей к лицу, прошла мимо холмов, и леса, и его взгляда, погружая

дорогие ботинки в мягкий ил берега, заблудилась и постучала в дверь его дома. Неясно, обрывками, Горн видел ее утренний туалет в соседстве глинистых муравьиных куч, и это нелепое сочетание казалось ему возможным. Его представления о жизни допускали все, кроме чуда, к которому он питал инстинктивное отвращение, считая желание сверхъестественного признаком слабости.

Худая, высоко занесенная рука Ланфиера мелькнула перед глазами, бросив в дрожь Горна. Колония, неизвестно почему названная именем человека, только что охотившегося за ним, представила ему заштопанным оборванцем, выглядывающим из-за изгороди. Выходя, он тщательно запер дверь.

V

Шагая к равнине, на самой опушке леса Горн был настигнут быстрым аллюром маленькой серой лошади. Эстер сидела верхом; ее сосредоточенное, спокойно-веселое лицо взглянуло на Горна сверху, из-под тенистых полей шляпы. Горн оживился и с довольной улыбкой ждал, пока девушка спрыгивала на землю, а затем, молча оборачиваясь к нему, поправляла седло. Одиночество не тяготило его, но отпускало поводья самым бешеным взрывом тоски, и теперь, когда явился громоотвод в образе человека, Горн был чрезвычайно рад ухватиться за возможность поговорить. Они пошли рядом, и маленькая серая лошадь, медленно шевеля ушами, как будто прислушиваясь, вытягивала на ходу морду за спиной девушки.

– Я рад видеть вас, – сказал Горн. – Мы так забавно расстались с вами тогда, что я и теперь смеюсь, вспоминая о своем выстреле.

Эстер подняла брови.

– Почему забавно? – подозрительно спросила она. – Здесь часто стреляют в цель, и я также.

Горн не ответил.

– Отец послал к вам, – сказала девушка, вглядываясь в линию горизонта. – Он сказал: «Поди съезди. Этого человека давно не видно, бывают лихорадки, а змей – пропасть».

– Благодарю, – сказал удивленный Горн. – Он видел меня раз, ночью. Странно, что он заботится обо мне, я тронут.

– Заботится! – насмешливо произнесла девушка. – Он – заботится! Он не заботится ни о ком. Вы просто не даете ему покоя. Да о вас все говорят, куда ни пойдешь. Кто-то на прошлой неделе утверждал, что вы просто-напросто дезертир с материка. Но вас никто не спросит, будьте уверены. Здесь так живут.

Горн сердито повел плечами.

– Так бывает, – холодно сказал он. – Когда человек не просит ничего у других и не желает их видеть, он – преступник. С полгоря, если его ненавидят, могут избить и выругать.

Эстер повернулась и внимательно осмотрела фигуру Горна, – как бы соображая, даст ли этот человек избить себя.

– Нет, не вас, – решительно сказала она. – Вы, кажется, сильны, даром, что бледноваты немножко. Здесь скоро будете смуглым, как все.

– Надеюсь! – сказал Горн.

Он помолчал и сморщился, вспомнив нападение Ланфиера. Рассказывать ему не хотелось, он смутно угадывал, что это происшествие может подогреть басни о его якобы припрятанном золоте. Эстер что-то вспомнила; остановив лошадь, она подошла к седлу и вынула из кожаного мешка нечто колючее и круглое, как яблоко, утыканное гвоздями.

– Ешьте, – предложила Эстер. – Это здешние дурианги, они подгнили, но от этого только еще вкуснее.

Оба стояли на невысоком плато, окруженном шероховатыми уступами. Горн, смущенный отталкивающим запахом прогнившего чеснока, нерешительно повертел плод в руках.

– Привыкнете, – беззаботно сказала девушка. – Жамкните нос, это, честное слово, не так плохо.

Горн отковырнул твердую кожуру дурианга и увидел белую киселеобразную мякоть. По-

пробовав ее, он остановился на одно мгновение и затем съел дочи́ста этот удивительный плод. Его нежный, непередаваемо сложный вкус тянул есть без конца. Эстер озабоченно следила за Горном, бессознательно шевеля губами, как бы подражая жующему рту.

– Каково? – спросила она.

– Замечательно, – сказал Горн.

– Я дам вам еще. – Она повернулась к лошади и проворно сунула в карман Горна несколько штук. – Их здесь много, вы сами можете собирать.

Она подумала, раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но остановилась и исподлобья, по-детски скользнула по лицу Горна неммым вопросом.

– Вы хотели меня спросить, – сказал он. – Что же? Спрашивайте.

– Ничего, – поспешно возразила Эстер. – Я хотела спросить, это верно, но почему вам это известно? Я хотела спросить, не скучно ли вам со мной? Я не умею разговаривать. Мы все здесь, знаете, грубоваты. Там вам, конечно, лучше жилось.

– Там?

– Ну да, там, откуда вы родом. Там, говорят, много всякой всячины.

Она повела рукой, как бы стараясь нагляднее представить себе сверкающую громаду города.

– Ни там, ни здесь, – сдержанно сказал Горн. – Если хорошо – хорошо везде, плохо – везде плохо.

– Значит, вам плохо! – торжествующе вскричала она. Расскажите.

– Рассказать? – удивленно протянул Горн.

Он только теперь вполне ясно представил и ощутил, какое нестерпимое, хотя и обуздываемое, любопытство должен возбуждать в ней. Неизгладимый отпечаток культуры, стертый, обезображенный полудиким существованием, рельеф сложного мира души сквозил в нем и, как монета, изъеденная кислотой, все же, хотя бы и приблизительно, говорил о своей ценности. Он размышлял. Ее требование было законно и в прямоте своей являлось простым желанием знать, с кем ты имеешь дело. Но он готов был вознегодовать при одной мысли вывернуться наизнанку перед этой простой девушкой. Солгать не пришло в голову; в замешательстве, не зная, как переменить разговор, он посмотрел вверх, на дальнюю синеву воздуха.

И пустота неба легла в его душу холодной тоской свободы, отныне признанной за ним каждым придорожным листом. Резкое лицо прошлого светилось насмешливой гримасой, и ревнивая деликатность Горна по отношению к той показалась ему странной и даже лишенной самолюбия навязчивостью на расстоянии. Прошрое вежливо освободило его от всяческих обязательств.

И он ощутил желание взглянуть на себя со стороны, прислушиваясь к словам собственного рассказа, проверить тысячи раз выверенный счет жизни. Девушка могла истолковать его иначе, но ведь ей важно знать только канву, остальное скользнет мимо ее ушей, как смутные голоса леса.

– Моя жизнь, – сказал Горн, – очень простая. Я учился; неудачные спекуляции разорили моего отца. Он застрелился и переехал на кладбище. Двоюродный брат дал мне место, где я прослужил три года. Сядемте, Эстер. Путаться в оврагах не представляет особенного удовольствия.

Девушка быстро села, не выпуская повода, на том месте, где ее застали слова Горна. Он сделал по инерции шаг вперед, вернулся и сел рядом, покусывая сорванный стебелек.

– Три года, – повторила она.

– Потом, – продолжал Горн, стараясь говорить как можно проще, – я стал бродягой оттого, что надоело сидеть на одном месте; к тому же мне не везло: хозяева предприятия, где я служил, умерли от чумы. Ну, вот... я переезжал из города в город, и мне наконец это понравилось. И совсем недавно у меня умер друг, которого я любил больше всего на свете.

– У меня нет друзей, – медленно произнесла Эстер. – Друг это хорошо.

Горн улыбнулся.

– Да, – сказал он, – это был милейший товарищ, и умереть с его стороны было большим свинством. Он жил так: любил женщину, которая его, пожалуй, тоже любила. До сих пор это

осталось невыясненным. Он избрал ее из всех людей и верил в нее, то есть считал ее самым лучшим человеческим существом. Женщина эта была в его глазах совершеннейшим созданием бога.

Пришли дни, когда перед ней поставлен был выбор – идти рука об руку с моим другом, все имущество которого заключалось в четырех стенах его небольшой комнаты, или жить, подобно реке в весеннем разливе, красиво и плавно, удовлетворяя самые неожиданные желания. Она была в это время немного грустна и задумчива, и глаза ее вспыхивали особенным блеском. Наконец между ними произошло объяснение.

Тогда стало ясно моему другу, что жадная душа этой женщины ненасытна и хочет всего. А он был для нее только частью, и не самой большой.

Но и он был из той же породы хищников с бархатными когтями, трепещущих от голосов жизни, от вида ее сверкающих пьедесталов. Вся разница между ними была в том, что одна хотела все для себя, а другой – все для нее.

Он думал заключить с нею союз на всю жизнь, но ошибся. Женщина эта шла навстречу готовому, протянутому ей другим человеком. Готовое было – деньги.

Он понял ее, себя, но сгорел в несколько дней и сделался молодым стариком. Удар был чересчур силен, не всякому по плечу. Все продолжало идти своим порядком, и через месяц, собираясь уехать, он написал этой женщине, жене другого – письмо. Он просил в нем сказать ему последний мучительный раз, что все же ее любовь – с ним.

Ответа он не дождался. Тоска выгнала его на улицу, и незаметно, не в силах сдержать желания, он пришел к ее дому. О нем доложили под вымышленным им именем.

Он проходил ряд комнат, двигаясь как во сне, охваченный мучительной нежностью, рыдающей тоской прошлого, с влажным и покорным лицом.

Их встреча произошла в будуаре. Она казалась встревоженной. Лицо ее было чужим, слабо напоминающим то, которое принадлежало ему.

– Если вы любите меня, – сказала эта женщина, – вы ни одной минуты не останетесь здесь. Уйдите!

– Ваш муж? – спросил он.

– Да, – сказала она, – мой муж. Он должен сейчас придти.

Мой друг подошел к лампе и потушил ее. Упал мрак. Она испуганно вскрикнула, опасаясь смерти.

– Не бойтесь, – шепнул он. – Ваш муж войдет и не увидит меня. Здесь толстый ковер, в темноте я выйду спокойно и безопасно для вас. Теперь скажите то, о чем я просил в письме.

– Люблю, – прошептал мрак. И он, не расслышав, как было произнесено это слово, стал маленьким, как ребенок, целовал ее ноги и бился о ковер у ее ног, но она отталкивала его.

– Уйдите, – сказала она, досадуя и тревожась, – уйдите!

Он не уходил. Тогда женщина встала, зажгла свечу и, вынув из ящика письмо моего друга, сожгла его. Он смотрел, как окаменелый, не зная, что это – оскорбление или каприз? Она сказала:

– Прошлое для меня то же, что этот пепел. Мне не восстановить его. Прощайте.

Последнее ее слово сопровождал громкий стук в дверь. Свеча погасла. Дверь открылась, темный силуэт загораживал ее светлый четырехугольник. Мой друг и муж этой женщины столкнулись лицом к лицу. Наступило ненарушимое молчание, то, когда только одно произнесенное слово губит жизнь. Мой друг вышел, а на другой день был уже на палубе парохода. Через месяц он застрелился.

А я приехал сюда на торговом голландском судне. Я решил жить здесь, подальше от людей, среди которых погиб мой друг. Я потрясен его смертью и проживу здесь год, а может и больше.

Пока Горн рассказывал, лицо девушки сохраняло непоколебимую серьезность и напряжение. Некоторые выражения остались непонятыми ею, но сдержанное волнение Горна затронуло инстинкт женщины.

– Вы любили ту! – вскричала она, проворно вскакивая, когда Горн умолк. – Меня не обманете. Да и друга у вас пожалуй что не было. Но это мне ведь одинаково.

Глаза ее слегка заблестели. За исключением этого, нельзя было решить, произвел ли рассказ какое-нибудь впечатление на ее устойчивый мозг. Горн ответил не сразу.

– Нет, это был мой приятель, – сказал он.

– Меня обманывать незачем, – сердито возразила Эстер. – Зачем рассказывали?

– Я или не я, – сказал Горн, пожимая плечами, – забудем это. Сегодняшний день исключителен по числу людей и животных. Вон – еще едет кто-то.

– Молодой Дрибб, – сказала Эстер. – Дрибб, что случилось?

– Ничего! – крикнул гигант, сдерживая гнедую кобылу перед самым лицом Горна. – Я упражнялся в отыскании следов и случайно попал на твой. Все-таки я могу, значит. А этот человек кто?

Горна он как будто не видел, хотя последний стоял не далее метра от стремени. Горн с любопытством рассматривал огромное нескладное – туловище, увенчанное маленькой головой, с круглым, словно выкованным из коричневого железа лицом; белая с розовыми полосками блуза открывала волосатую вспотевшую грудь. Все вместе взятое походило на мужика и разбойника; добродушный оскал зубов настроил Горна если не дружелюбно, то, во всяком случае, безразлично.

– Подумать что ты ничего не знаешь, – насмешливо сказала Эстер.

– А! – Великан шумно вздохнул. – Ты едешь?

Эстер села в седло.

– Прощайте, сударь, – сказал Дрибб Горну, неловко останавливая на нем круглые глаза и дергая подбородком.

– Горн, – сказала Эстер, – не ходите в болота, а если пойдете, выпейте больше водки. А то можете проваляться месяца два.

Верхом, гибко колеблясь на волнующейся спине лошади, она бессознательно бросала в глаза Горна свою резкую красоту. Он, может быть, в первый раз посмотрел взглядом мужчины на ее безукоризненную фигуру и лицо, полное жизни. Эта пара, удалявшаяся верхом, кольнула его чем-то похожим на досадливое удивление.

– Галло! Гоп! Гоп! – заорал Дрибб, устремляясь вперед и тяжело подсакивая в седле.

– До свидания, Эстер! – громко сказал Горн.

Она быстро повернулась; лицо ее, смягченное мгновенной улыбкой, выразило что-то еще.

Бледное отражение молодости проснулось в душе Горна, он снял шляпу и, низко поклонившись, бросил ее вслед удаляющимся фигурам. Эстер, молча улыбаясь, кивнула и исчезла в кустах. Великан ни разу не обернулся, и когда, вместе с Эстер, скрылась его широченная сутуловатая спина, Горн подумал, что молодой Дрибб невежлив более, чем это необходимо для дикаря.

День развернулся, пылая голубым зноем; духота, пропитанная смолистыми испарениями, кружила голову. И снова чувство глубокого равнодушия поднялось в Горне; рассеянно поглаживая рукой ложе ружья, он пришел к выводу, что девственная земля утратила свое обаяние для сложного аппарата души, вскормленной мыслью. Слишком могучая и сочная земля утомляла нервы, как яркий свет – зрение. Расчищенная и дисциплинированная, не более, как приятное зрелище, – она могла бы стать дивным комфортом, любовницей, не изнуряющей ласками, душистой ванной больных, мерзнущих при одной мысли о просторе реки.

– А я? – спросил Горн у неба и у земли. – Я? – Он вспомнил свои охоты и трепет звериных тел, самообладание в опасности, темный полет ночи, заспанные глаза зари, угрюмую негу леса – и торжествующе выпрямился. В природе он не был еще ни мертвецом, ни кастратом, ни нищим в чужом саду. Его равнодушие стояло на фундаменте созерцания. Он был сам – Горн.

Тучный человек умирающим голосом произносил «пуф» всякий раз, когда, визжа блоком, распахивалась входная дверь, и горячий столб света бросался на земляной пол трактирчика. Как хозяин он благословлял посетителей, как человек – ненавидел их всеми своими помыслами.

Но посетители хотели видеть в тучном человеке только хозяина, безжалостно требуя персиковой настойки, пива, рому и пальмового вина. Тучный человек, страдая, лазил в погреб, взбирался по лесенкам и снова, мокрый от пота, садился на высокий, плетеный стул.

В углу шла игра, облака табачного дыма плавали над кучкой широкополых шляп; характерный треск костей мешался с ругательствами и шелканьем кошельков. Сравнительно было тихо; стены сарая, носившего имя «Зеленой раковины», видали настоящие сражения, кровь и такую игру ножей, от которой в выигрыше оставалась одна смерть. Изредка появлялись неизвестные молодцы с тугими кожаными поясами, подозрительной чистотой рук и кучей брелоков; они хладнокровно и вежливо играли на какие угодно суммы, в результате чего колонисты привыкли чесать затылки и сплевывать.

Ланфиер вошел незаметно, его костлявое тело, казалось, могло пролезть в щель. Еще пьянее, чем утром, с трубкой в зубах, он подвалился к столу играющих и залился беззвучным смехом. На мгновение кости перестали ударяться о стол; рассеянное недоумение лиц было обращено к пришедшему.

– Вот штука, так штука! – захрипел каторжник, кончив смеяться, лишь только почувствовал, что терпение игроков лопается. – Он сказал правду: ну и молодчага же, надо сказать!

– Кто? – осведомился тучный человек на стуле.

– Новый хозяин озера. – Ланфиер понизил голос и стал говорить медленно. – Я ведь сегодня у него был, вы знаете. Он окончательно порядочный человек. «Будь я губернатором, – сказал он, – я эту колонию поджег бы с середины и с четырех концов. Там, – говорит, – одни скоты и мошенники, а кто получше, глупы, как тысяча крокодилов».

– Вы мастер сочинять басни, – сказал, посапывая, кофейный плантатор. – Вы врете!

Ланфиер угрюмо блеснул глазами.

– Я был бы теперь мертв, – закричал он, – будь глаз у этого человека повернее на толщину волоса! Я упрекнул его в заносчивости, он бросил в меня пулю так хладнокровно, как будто это был катышек из мякиша. Я выскочил в окно проворнее ящерицы.

– Сознайтесь, что вы соврали, – зевнул хозяин.

Старик молчал. За сморщенными щеками его прыгали желваки. Играющие вернулись к игре. Ланфиеру не верили, но каждый сложил где-то в темном кусочке мозга «глупых, как крокодилы, людей, мошенников и скотов».

VI

Бекеко, задрав голову, смотрел вверх. Обезьяна раскачивалась на хвосте под самым небом; ее круглые, старчески-детские глаза быстро ощупывали фигуру идиота, иногда отвлекаясь и соображая расстояние до ближайшего дерева.

Бекеко дружелюбно кивал, подмаргивал и знаками приглашал зверя спуститься вниз, но опытный капуцин посвистывал недоверчиво и тревожно, по временам строя отвратительные гримасы. Бекеко смеялся. Болезненное, беспричинно радостное чувство распирало его маленькое шелудивое тело, и он захлебывался нелепым восторгом, дрожа от нестерпимого возбуждения. Капуцина, как все живое, он ставил выше себя и с вежливой настойчивостью, боясь оскорбить мохнатого акробата, продолжал свои приглашения.

Потом, взглядевшись пристальнее в сморщенное лицо, он вздрогнул и съежился; смутное опасение поколебало его веселость. Нельзя было ошибиться: капуцин готовился разгрызть череп Бекеко и, может быть, впиться зубами в его тощий желудок.

– Ну... ну... – испуганно проворчал расстроенный человек, отходя в сторону.

Теперь он не в силах был посмотреть вверх и, волнуясь, осматривался кругом, в надежде найти сук, годный для обороны. Под небом висел зверь огромной величины, на время прикинувшийся маленьким, но теперь Бекеко знал все: на него устроили ловушку, и он попался самым глупейшим образом. Еще не зная, с какой стороны, кроме хвостатого старика, грозит опасность, он стал пятиться, спотыкаясь и вздрагивая от страха. Враги не отставали; невидимые, они бесшумно ползли в траве, покалывая босые ноги Бекеко колючками, больно обжигавшими кожу. Внезапное подозрение, что сзади притаилась засада, бросило его в пот. Колебаясь, он топтался на месте, боясь тронуться, полный безумного ужаса перед томительной тишиной леса и зелеными, закрывающими лицо, гигантами.

Когда показался враг, пытливо рассматривая тщедушную фигуру Бекеко, идиот вскрикнул, запустил в неприятеля тяжелым желтым комком и присел, замирая в тоскливом ожидании смерти. Горн медлил. Почти испуганный, но не призраками, он вертел в руках брошенный Бекеко комочек. Сильное возбуждение охватило его; с глазами, заблестевшими от неожиданности, с пересохшим от внезапного волнения горлом, охотник механически подбрасывал рукой тусклый, грязноватый кусок, забыв о Бекеко, лесе и времени.

Капуцин продолжал раскачиваться; оттопырив щеки, он сердито вытянул морду и, разглядев ружье, гневно скрипнул зубами. Потом с шумом перепрыгнул на соседнее дерево, зацкал, пустил в Горна большим орехом и стремглав кинулся прочь, ныряя в чаще.

Горн осмотрелся. Он был бледен, сосредоточен и плохо справлялся с мыслями. Помимо его воли, они разлетались быстрее пуль, выброшенных из митральезы. Неясное кипение души требовало исхода, движения; лес должен был наполниться звуками, способными заглушить кричащую тишину. Но прежнее ленивое величие дремало вокруг, равнодушно заключая в свои торжественные объятия растерянного побледневшего человека.

– Бекеко! – сказал Горн. – Бекеко!

Идиот боязливо высунул голову из-за ствола дерева. Горн смягчил голос, почти проникнутый нежностью к загнанному уродцу, внимательно рассматривая это странное существо, напоминавшее гномов.

– Бекеко, – сказал Горн, – ты не узнал меня?

Идиот поднял глаза, не решаясь произнести слово. Охотник слегка тронул его рукой, но тотчас же отдернул ее: пронзительный визг огласил лес. Бекеко напоминал испуганного ежа, свернувшегося комком.

– Ну, хорошо, – как бы соглашаясь в чем-то с Бекеко, продолжал Горн, – я ведь тебе не враг. Я тотчас уеду, только скажи мне, милый звереныш, где ты нашел этот блестящий шарик? Он мне нужен, понимаешь? Мне и Эстер. Нам нужно порядочно таких шариков. Если ты не будешь упрямым и скажешь, Эстер даст тебе сахару.

Он вытянул руку и тотчас же сжал пальцы, как будто тусклый блеск золота обжигал кожу.

– Эстер... – нерешительно пробормотал идиот, приподымая голову. – Даст сахару!

Он жалобно замигал и снова погрузился в туманную пустоту безумия. Горн нетерпеливо вздохнул.

– Эстер, – тихо повторил он, наклоняясь к Бекеко. – Ты понял, что ли? Эстер!

Лицо Бекеко вытянулось, шевеля плоскими оттопыренными губами. Тяжелая работа ассоциации совершилась в нем. Темный мозг силился связать в одно целое сахар, имя, человека с ружьем и женский образ, плававший неопределенным, ярким пятном. И вдруг Бекеко расцвел почти осмысленной гримасой плаксивого судорожного смеха.

– Эстер, – медленно произнес он, исподлобья рассматривая охотника.

– Да. – Горн вздохнул. Все тело его рвалось прочь, к лихорадочному опьянению поисками. – Эстер нуждается в таких шариках. Где ты нашел их?

– Там! – взмахивая рукой и, видно, приходя в себя, крикнул Бекеко. – Маленькая голубая река.

– Ручей? – спросил Горн.

– Вода. – Идиот утвердительно кивнул головой.

– Вода, – настойчиво повторил Горн.

– Вода, – как эхо, отозвался Бекеко.

Горн молчал. Север, маленькая голубая река. И маленький, не более пули, кусочек золота.

– Бекеко, – сказал он, удаляясь, – помни: Эстер даст сахару.

Он был уже далеко от места, где, скорчившись, сидел испуганный получеловек, и сам не заметил этого. Он шел спешными, большими шагами, проникнутый нестерпимой тревогой, словно боялся опоздать, упустить нечто невероятной важности. Все, начиная с Бекеко и кончая ночью этого дня, вспоминалось им после, как торопливо промчавшийся, смутно восстановленный сон, полный беззвучной музыки. Чувство фантастичности жизни охватило его; отрывками вспоминая прошлое, похожее на сон облачных стай, и связывая его с настоящим, он испытал

восторг мореплавателя, прозревающего в тумане девственный берег неведомого материка, и волнение перед неизвестным, подстерегающим человека. Тело его окрепло и утратило тяжесть; лицо, смягченное грезами, задумывалось и улыбалось, словно он читал интересную, нравящуюся книгу, где были переплетены в тонком узоре грусть и восторг, юмор и нежность. Стволы, толщиной с хорошую будку, колоннами уходили в небо, и он чувствовал себя маленьким, вверенным надежному, таинственному покровительству леса, зеленой глубине чащи, напоминающей тревожные сумерки комнат, охваченных глубоким безмолвием. Маленькая голубая река текла перед его глазами, и в ее мокром песке невинно дремало золото, юное, как побеги травы, целомудренное могущество, не знавшее дрожи человеческих пальцев и похотливых взглядов мещан, алчущих без конца. Он шел в одном направлении, жалея о каждом шаге, сделанном в сторону, когда приходилось огибать ствол и холмик. Постепенно, хмурясь и улыбаясь, достиг он сияющих дебрей воображения, гущины грез, делающих человека пьяным, не хуже вина. Он походил на засыпающего в тот момент, когда голоса людей из соседней комнаты мешаются с расцветом сказочных происшествий, начинающих в освобожденном мозгу свои диковинные прологи. Это было все и ничто, сомнение в удаче и яростная уверенность в ней, чувство узника, с голыми руками покинувшего тюрьму и нашедшего семизарядный револьвер, стремительный бег желаний; запыхавшаяся душа его торопилась осязать будущее, в то время как тело, нечувствительное к усталости, ускоряло шаги.

Был тот час дня, когда, лениво раздумывая, вечер приближает к земле внимательные глаза, и цикады звенят тише, чувствуя осторожный взгляд Невидимого, удлиняющего тени стволов. Лес редел, глубокие просветы заканчивались пурпуром скал, блестящих в крови солнца, раненного Дианой. Обломки кварца, следы бывших землетрясений желтели отраженным светом зари, короткое бормотание какаду звучало сердитым удовлетворением и строптивостью. Горн шел, механически ступая ногами.

Через полчаса он увидел воду. Конечно, это была та самая маленькая голубая река, узкий ручей с небом на дне и блеском песчаных отмелей, чистых, как серый фаянс. Издали она казалась голубой лентой в зеленой косе нимфы. Ее линия, перерезанная раскидистыми вершинами отдельных древесных групп, уходила в скалистый грот, черный от ползучих растений, заткавших щели и выступы складками зеленых ковров, падающих к воде. Горн, с трудом передвигая ноги в сырой гуще цепкой травы, выбрался к голубой ленте и остановился, вдыхая сладкий, прелый запах водорослей.

Здесь ему впервые пришло в голову, что жажда неотступно мучает его тело, и он почти упал на колени, зачерпывая ладонью теплую как остывший кипяток жидкость. Прозрачные капли дождем стекали по его подбородку и пальцам. Он пил много, переводя дух, отдыхал и снова погружал руки в теплую глубину.

Удовлетворение наполнило его слабостью, наступившей внезапно, тяжелой ленью всех членов, нежеланием двигаться. Он посмотрел на дно, но его глазам сделалось больно от солнца, игравшего в подводном песке. Всмотревшись пристальнее, Горн приблизил лицо к самой поверхности воды, почти касаясь ее ресницами. В таком положении он пробыл минуты две; тело его вздрагивало мгновенной, неуловимой дрожью, и кровь прилиwała к побледневшим щекам быстрее облачной тени, охватывающей равнину.

Желтые искры, тлея смягченной водой блеском, пестрили чистое дно ручья, и чем больше смотрел Горн, тем труднее становилось ему отличить гальку от золота. Оно таинственно покоилось в глубине, от его матовых зерен били в зрачки Горна невидимые, звонкие фонтанчики, звеня в ушах беглым приливом крови. Он засмеялся и громко крикнул. Дрожащий звук голоса отозвался в лесных недрах слабым гулом и стих. Горн встал.

И все показалось ему невыразимо прекрасным, проникнутым торжеством радости. Воздушный мост, брошенный на берег будущего, вел его в сияющие ворота жизни, отныне доступной там, где раньше стояли крепости, несокрушимые для желаний. Земной шар как будто уменьшился в объеме и стал похожим на большой глобус, на верхней точке которого стоял взволнованный человек с пылающими щеками. И прежде всего Горн подумал о силе золота, способного возвратить женщину. Он ехал к ней в тысяче поездов, их колеса сливались в сплошные

круги, и рельсы вздрагивали от массы железа, проносящего Горна. Он говорил ей все, что может сказать человек, и был с ней.

Потом он услышал воображенное им самим слово «нет», но уже почувствовал себя не оскорбленным, а мстителем, и с мрачной жадностью набросал сцены расчетливой деловой жестокости, обширный круг разорений, увлекающий в свою крутящуюся воронку благополучие человека, постучавшего в дверь. Горн выбрасывал на мировой рынок товары дешевле их стоимости. И с каждым днем тускнело лицо женщины, потому что умолкали, одна за другой, фабрики ее мужа, и паутина свивала затхлое гнездо там, где громыхали машины.

Прошло не более двух минут, но в течение их Горн пережил с болезненной отчетливостью несколько лет. Осунувшийся от возбуждения, он посмотрел вокруг. Солнце ушло за скалы, светлые вечерние тени кутали остывающую землю, молчаливо поблескивала река.

Он вырезал кусок дерна и, придав ему наклонное положение, бросил на зеленую поверхность самодельного вашгерда несколько пригоршней берегового песка. Потом срезал кусок коры и, устроив из него нечто вроде ковша, зачерпнул воды.

Это был первый момент работы, взволновавший охотника более, чем песок дна. Он все лил и лил воду, пока в траве дерна не заблестел тонкий, тяжелый слой золота. Силы временно оставили Горна, он сел возле добычи, положив руку на мокрую поверхность станка, и тотчас бешеный хоровод мыслей покинул его утомленный мозг, оставив оцепенение, похожее на восторг и тоску.

VII

Горн вернулся без рубашки и блузы, с кожаной сумкой, полной маленьких узелков, сделанных из упомянутых вещей и оттянувших его плечи так, что было больно двигать руками. Полуголый, обожженный солнцем, он принес к озеру запах лесных болот и сладкое, назойливое изнеможение.

Новое ощущение поразило его, когда он подходил к дому, – ощущение своего тела, как будто он щупал его слабыми от жары руками, и беспричинная, судорожная зевота. Затворив дверь, он вырыл в земляном полу яму и тщательно замуровал туда слежавшиеся тяжелые узелки. Их было много, и ни один не выглядел худощавым.

Опустившись на высохшую траву постели, он долго сидел понурясь и не мог объяснить себе внезапного, тоскливого равнодушия к свежеутоптанной земле хижины. Сжав левую руку у кисти, он слушал глухую возню крови, и зубы его быстро стучали, отбивая дробь маленьких барабанов, а тело ежилось, словно на его потной коже таяли хлопья снега, падающего с потолка.

Горн лег и лежал с широко открытыми глазами, не раздеваясь, в сладострастной истоме, прерываемой периодическим сотрясением тела, после чего обильный пот стекал по лицу. Убедившись, что болен, он стал высчитывать, на сколько дней придется остановить работу и сколько он потеряет от этого. Болотная лихорадка могла обойтись ему в цену хорошего поместья, потому что, как он слышал и знал, болезнь эта редко покидает ранее десяти дней.

Клацая челюстями и корчась, он постепенно пришел в хорошее настроение – признак, что жар усилился. Озноб оставил его, и он насмешливо улыбался голым стенам дома, скрывающим то, из-за чего Ланфиер способен был бы нанести удар спереди, без военных хитростей полководца, устраивающего ложную диверсию.

Горн пролежал до заката солнца, когда жар временно оставляет человека, чтобы возвратиться на другой день в строго определенный час, с аккуратностью немца, завтракающего в пятьдесят шесть минут первого. Слабый, с закружившейся головой и револьвером в кармане, Горн надел новую блузу и вышел на воздух. Мысли его приняли спокойное направление, он тщательно взвесил шансы на достижение и убедился, что не было никакой ошибки, за исключением случайностей, рассеянных в мире в немного большем количестве, чем это необходимо. Освеженный холодным воздухом, он долго рассматривал звездный атлас неба и Южный Крест, сияющий величавым презрением к делам земных обитателей. Но это не подавляло Горна, потому что глаза его, в свою очередь, напоминали пару хороших звезд – так они блеснули навстречу

мраку, и он не чувствовал себя ни жалким, ни одиноким, так как не был мертвой материей планеты.

Пахнул ветер и замер, оборвав слабый, долетевший издали, топот лошади. Горн машинально прислушался, через минуту он мог уже сказать, что в этот момент подкова встретила камень, а в тот – рыхлую почву. Тогда он вернулся к себе и зажег маленькую лампу, купленную в колонии. Колеблющийся свет лег через окно в ближайшие стволы бамбука. Горн отворил дверь и стал за ее порогом, слабо освещенный с одного бока.

Неизвестный продолжал путь, он ехал немного тише, из чего Горн заключил, что едут к нему, так как не было смысла лететь галопом к озеру и задерживать шаг ради удовольствия вернуться обратно. Он ждал, пока фыркание лошади не раздалось возле его ушей.

– Кто вы? – спросил Горн, играя револьвером. – Эстер! – помолчав и отступая от удивления, сказал он. – Так вы не спите еще?

– А вы? – спросила она с веселым смехом, запыхавшись от быстрой езды. – Главное, что вы еще живы.

– Жив, – сказал Горн, почувствовав оживление при звуках этого голоса, громкого, как звон небольшого колокола. – Ваш отец должен теперь совершенно успокоиться.

Она не ответила и, молча пройдя к столу, села на табурет. Выражение ее лица беспрерывно менялось, словно в ней шел мысленный разговор с кем-то, известным одной ей. Горн сказал:

– Вы видите, как я живу. У меня нет ничего, что я мог бы предложить вам в качестве угощения. Обыкновенно я уничтожаю остатки пищи, они быстро портятся.

– Вы говорите так потому, что не знаете, зачем я пришла, – сказала Эстер, и голос ее звучал на полтона ниже. – Сегодня, видите ли, праздник. Мужчины с раннего утра на ногах, но теперь уже плохо на них держатся. Все спиртные напитки проданы. Везде горят факелы, наш дом украшен фонариками. Это очень красиво. Кто не жалеет порошу, те ходят кучками и стреляют холостыми зарядами. В «Зеленой Раковине» убрали все столы и скамейки, танцуют без перерыва.

Она выжидательно посмотрела в лицо Горна. Тогда он заметил, что на Эстер желтое шелковое платье и голубая косынка, а смуглая шея украшена жемчужными бусами.

– Я поотстала немного, когда проходили мимо маленькой бухты, и вспомнила вас, а потом видела, как молодой Дрибб обернулся, отыскивая меня глазами. Кинг поскакал быстро, я угощала его каблуками без жалости. Конечно, вам будет весело. Нельзя сидеть долго наедине со своими мыслями, а через полчаса мы будем уже там. Хорошо?

– Эстер, – сказал Горн, – почему праздник?

– День основания колонии. – Эстер покраснелась, молчаливая улыбка приоткрывала ее свежий рот, влажный от возбуждения. – О, как хорошо, Горн, подумайте! Мы будем вместе, и вы расскажете, так ли у вас празднуют какое-нибудь событие.

– Эстер, – сказал сильно тронутый Горн, – спасибо. Я, может быть, не пойду, но, во всяком случае, я как будто уже был там.

– Пойдите одну минуту. – Девушка лукаво посмотрела на охотника, и голос ее стал протяжным, как утренний рожок пастуха. – Бекеко все просит сахару.

– Бекеко! – повторил сильно озадаченный Горн. – Просит сахару?

И, вспомнив, насторожился. Ему пришло в голову, что всем известно о маленькой голубой реке. Неприятное волнение стеснило грудную клетку, он встал и прошелся, прежде чем возобновить разговор.

– Он лез ко мне и говорил страшно много непонятных вещей, – продолжала девушка, смотря в окно. – Я ничего не поняла, только одно: «Твой человек (это он называет вас моим человеком) сказал, что ему и Эстер нужно множество желтых камней». После чего будто бы вы обещали ему от моего имени сахару. О, я уверена, что он ничего не понял из ваших слов. Я дала ему, по крайней мере, пригоршню.

Горн слушал, стараясь не проронить ни одного слова. Лицо его то бледнело, то розовело и, наконец, приняло натуральный цвет. Девушка была далека от всякого понимания.

– Да, – сказал он, – я встретил дурачка в припадке панического, необъяснимого ужаса. С вами он, должно быть, словоохотливее. Я успокоил его, не выжав из него ни одного слова. Жел-

тые камни! Только мозг сумасшедшего может сплести бред с действительностью. А сахар – да, но вы ведь не сердитесь?

– Нисколько! – Эстер задумчиво посмотрела вниз. – «Это нужно мне и Эстер», – говорил он. – Она рассмеялась. – Нужно ли вам то, что мне? Пора идти, Горн. Я много думала об этих словах, а вы, вероятно, мало. Но вы не знали, что они дойдут до меня.

Ее учащенное дыхание касалось души Горна, и он, как будто проснувшись, но не решаясь понимать истину, остановился с замершим на губах криком растерянного удивления.

– Эстер, – с тоскою сказал он, – подымите голову, а то я боюсь, что не так понимаю вас.

Эстер прямо взглянула ему в глаза, и ни смущения, ни застенчивости не было в ее тонких чертах, захваченных неожиданным для нее самой волнением женщины. Она встала, пространство менее трех футов разделяло ее от Горна, но он уже чувствовал невидимую стену, опустившуюся к его ногам. Он был один, присутствие девушки наполняло его смятением и тревогой, похожей на сожаление.

– Я могла бы быть вашей женой, Горн, – медленно сказала Эстер, все еще улыбаясь ртом, хотя глаза ее уже стали напряженно серьезными, как будто тень легла на верхнюю часть лица. – Вы, может быть, долго еще не сказали бы прямых слов мужчины. А вы мне уже дороги, Горн. И я не оскорблю вас, как та.

Горн подошел к ней и крепко сжал ее опущенную вниз руку. Тяжесть давила его, и ему страшно хотелось, чтобы его голос сказал больше жалких человеческих слов. И, чувствуя, что в этот момент не может быть ничего оскорбительнее молчания, он произнес громко и ласково:

– Эстер! Если бы я мог сейчас умереть, мне было бы легче. Я не люблю вас так, как вы, может быть, ожидаете. Выкиньте меня из вашей гордой головы; быть вашим мужем, превратить жизнь в сплошную работу – я не хочу, потому что хочу другой жизни, быть может, неосуществимой, но одна мысль о ней кружит мне голову. Вы слушаете меня? Я говорю честно, как вы.

Девушка закинула голову и стала бледнее снега. Горн выпустил ее руку. Эстер пошевелила пальцами, как бы стряхивая недавнее прикосновение.

– Ну, да, – жестко, с полным самообладанием сказала она. – Если вы не понимаете шуток, тем хуже для вас. Впрочем, вы, вероятно, ищете богатых невест. Я всегда думала, что мужчина сам добывает деньги.

Каждое ее слово болезненно ударяло Горна. Казалось, в ее руках была плеть, и она била его.

– Эстер, – сказал Горн, – пожалейте меня. Не я виноват, а жизнь крутит нами обоими. Хотели бы вы, чтобы я притворился любящим и взял ваше тело, потому что оно прекрасно и, скажу правду, – влечет меня? А потом разошелся с вами?

– Прощайте, – сказала девушка.

Все тело ее, казалось, дышало только что нанесенным оскорблением и вздрагивало от ненависти. Горн бросился к ней, острая, нежная жалость наполняла его.

– Эстер! – мягко, почти умоляюще сказал он. – Милая девушка, прости меня!

– Прощаю! – задыхаясь от гневных слез, крикнула Эстер, и, действительно, она прощала его взглядом, полным непередаваемой гордости. – Но никогда, слышите, Горн, никогда Эстер не раскаивается в своих ошибках! Я не из той породы!

Горн подошел к окну, пошатываясь от слабости. У дверей тихо заржала лошадь. – «Кинг! – спокойно позвала девушка. Она садилась в седло, шелестя шелковой юбкой. Горн слушал. – Кинг! – сказала снова Эстер, – ты простишь мне удары каблуком в бок? Этого больше не будет».

Легкий галоп Кинга наполнил темноту мерным замирающим топотом.

VIII

Думать о собаках не было никакого смысла. Маленькая голубая река никогда не видала их, а если и видала, то это было очень давно, гораздо раньше, чем первый локомотив прорезал равнину в двухстах милях от того места, где Горн, стоя на коленях, пил воду и золотой блеск.

Но он, стряхивая на платок пригоршню металла, добычу трехчасового усилия, неожиданно

поймал себя на мысли о всевозможных собаках, виденных раньше. Он, как оказывалось, думал о догах больше, чем о левретках, и о гончих упорнее, чем о мопсах. Затем он кончил коротким вздохом; лицо его приняло сосредоточенное выражение, и Горн выпрямился, устремив взгляд к зеленым провалам леса, окутанного сиянием.

Звуки были так слабы, что лишь бессознательно могли повернуть мысль от золота к домашним четвероногим. Они скорее напоминали эхо ударов по дереву, чем лай, заглушенный чащей и расстоянием. И их было совсем мало, гораздо меньше, чем восклицательных знаков на протяжении двух страниц драмы.

Время, пока они усилились, приобрели характерные оттенки собачьего голоса и сердитую уверенность пса, запыхавшегося от продолжительных поисков, было для Горна временем рассеянной задумчивости и холодной тревоги. Он ждал приближения человека, теша себя надеждой, что путь собаки лежит в сторону. Долина реки избавила его от этого заблуждения. Она тянулась вогнутой к лесу кривой линией, и с каждой точки опушки можно было заметить Горна. Думать, что неизвестный вернется назад, не было никаких оснований.

Горн торопливо спрятал отяжелевший платок в карман, сбросил в воду куски дерна, служившего вашгердом, и, держа штупер наперевес, отошел шагов на сто от места, где мыл песок. Сдержанный, хриплый лай гулко летел к нему из близлежащих кустов.

Горн встал за дерево, напряженно прислушиваясь. Невидимый, он видел маленькую на отдалении верховую фигуру, пересекавшую луг крупной рысью, в то время, как небольшая ищейка вертелась под копытами лошади, зигзагами ныряя в траве. Слегка разгневанный, Горн вышел навстречу. Ему казалось недостойным прятаться от одного человека, с какой бы целью тот ни приближался к нему. Он был сердит за помеху и за то, что искали его, Горна.

В этом уже не оставалось сомнения. Собака сделала две петли на месте, только что покинутом Горном, и, заскулив, бросилась к охотнику, прыгая чуть не до его головы, с визгом, выражавшим недоумение. Она могла залаять и укусить, все зависело от поведения самого хозяина. Но ее хозяин не выказал никакого волнения, только глаза его на расстоянии трех аршин показались Горну пристальными и острыми.

Горн стоял, держа ружье, заряженное на оба ствола, под мышкой, как зонтик, о котором в хорошую погоду хочется позабыть. Молодой Дрибб сдержал лошадь. Его винтовка лежала поперек седла, вздрагивая от нетерпеливых движений лошади, ударявшей копытом. Нелепое молчание фермера согнало кровь с лица Горна, он первый приподнял шляпу и поклонился.

– Здравствуйте, господин Горн, – сказал гигант, шумно вздохнув. – Очень жарко. Моя лошадь в мыле, мне, знаете ли, пришлось-таки порядком попутешествовать.

– Я очень жалею лошадь, – мягко сказал Горн. – У вас были, конечно, серьезные причины для путешествия.

– Важнее, чем смерть матери, – тихо сказал Дрибб. – Вы уж извините меня, пожалуйста, за беспокойство, – без улыбки прибавил он, разглядывая подстриженную холку лошади. – Я охотнее заговорил бы с вами у вас, чем мешать вам в ваших прогулках. Но вас не было три дня, вот в чем дело.

– Три дня, – повторил Горн.

Дрибб откашлялся, вытерев рукой рот, хотя он был сух, как начальница пансиона. Глазки его смотрели тревожно и воспаленно. Горн ждал.

– Видите ли, – заговорил Дрибб, с усилием произнося каждое слово, – я сразу не могу объяснить вам, я начну по порядку, как все оно вышло сначала и дошло до сегодняшнего дня.

Было одно мгновение, когда Горн хотел остановить его. – «Я знаю; и вот что, – хотел сказать он. – Зачем? – ответила другая половина души. – Если он ошибается, не надо тревожить Дрибба».

Собака отбежала в сторону и, высунув язык, села в тени чернильного орешника. Дрибб нерешительно пошевелил губами, казалось, ему было невыразимо тяжело. Наконец, он начал, смотря в сторону.

– Вы молчите, хотя, конечно, я вас еще ни о чем не спрашивал. – Он громко засопел от волнения. – Дней пять назад, сударь, то есть эдак суток через семь или восемь после нашего

праздника, я был у Астиса. – «Эстер! – сказал я, и только в шутку сказал, потому что она все молчала. – Эстер, – говорю я, – ты нынче, как зимородок». И так как она мне не ответила, я набил трубку, потому что если женщина не в духе, не следует раздражать ее. Вечером встретился я с ней на площади. – «Ты не пройдешь сквозь меня, – сказал я, – или ты думаешь, что я воздух?» Тогда только она остановилась, а то мы столкнулись бы лбами. – «Прости, – говорит она, – я задумалась». – Так как я торопился, то поцеловал ее и пошел дальше. Она догнала меня. – «Дрибб, – говорит. – и мне и тебе больно, но лучше сразу. Свадьбы не будет».

Он передохнул, и в его горле как будто проскочило большое яблоко. Горн молча смотрел в его осунувшееся лицо, глаза Дрибба были устремлены к скалам, словно он жаловался им и небу.

– Здесь, – продолжал он, – я стал смеяться, думая, что это шутка. – «Дрибб, – говорит она, – от твоего смеха ничего не выйдет. Можешь ли ты меня забыть? И если не можешь, то употреби все усилия, чтобы забыть». – «Эстер, – сказал я с горем в душе, потому что она была бледна, как мука, – разве ты не любишь меня больше?» – Она долго молчала, сударь. Ей было меня жаль. – «Нет», – говорит она. И меня как будто разрезали пополам. Она уходила, не оборачиваясь. И я заревел, как маленький. Такой девушки не сыщешь на всей земле.

Гигант дышал, как паровая машина, и был весь в поту. Расстроенный собственным рассказом, он неподвижно смотрел на Горна.

– Дальше, – сказал Горн.

Рука Дрибба судорожно легла на ствол ружья.

– И вот, – продолжал он, – вы знаете, что водка бодрит в таких случаях. Я выпил четыре бутылки, но этого оказалось мало. Он был тоже пьяный, старик.

– Ланфиер, – наудачу сказал Горн.

– Да, хотя мы его зовем Красный Отец, потому что он проливал кровь, сударь. Он все смотрел на меня и подсмеивался. У него это выходит противно, так что я занес уже руку, но он сказал: – «Дрибб, куда ездят девушки ночью?». – «Если ты знаешь, скажи», – возразил я. – «Послушай, – говорит он, – не трудись долго ломать голову. Равнина была покрыта тьмой, я караулил человека, поселившегося на озере, тогда, в ночь праздника. Если он любопытен, – сказал я себе, – он придет нынче в колонию. Я обвязал дуло ружья белой тряпкой, чтобы не промахнуться, и сидел на корточках. Через полчаса из колонии выехала женщина, я не мог рассмотреть ее, но в стуке копыт было что-то знакомое». – Сердце у меня сжалось, сударь, когда я слушал его. – «Я чуть не заснул, – говорит он, – поджидая ее обратно. Назад она ехала шагом, это было не позже, как через час. – Эстер! – крикнул я. – Она выпрямилась и усккала. Не она ли это была, голубчик?» – сказал он.

Горн хмуро закусил губу.

– Дальше – и оканчивайте!

– И вот, – клокотал Дрибб, причем грудь его колыхалась, подобно палубе под муссоном, – я не знал, почему не было Эстер возле меня и не было долго... тогда. Я думал, что ей понадобилось быть дома. Очередь за вами, господин Горн. Если она вас любит, станемте шагах в десяти и предоставим судьбе выкроить из этого что ей угодно. Я пошел к вам на другой день, вас не было. Я объехал все лесные тропинки, морской берег и все те места, где легче двигаться. Затем жил два дня в вашем доме, но вы не приходили. Тогда я взял с собой Зигму, это очень хорошая собака, сударь, она водила меня немного более четырех часов.

– Так что же, – решительно сказал Горн, – все правда, Дрибб. Эстер была у меня. И не буду вам лгать, это, может быть, будет для вас полезно. Она хотела, чтобы я стал ее мужем. Но я не люблю ее и сказал ей это так же, как говорю вам.

Гигант согнулся, словно его придавило крышей. Лицо его сделалось грязно-белым. Задышавшись от гнева и тоски, он неуклюже спрыгнул на землю и, пошатываясь, стиснул зубы.

– Вы не подумали обо мне, – закричал он, – когда увлекли девушку. И если вы врете, тем хуже для вас самих!

– Нет, Дрибб, – тихо произнес Горн, улыбаясь безразличной улыбкой, овладевшего собой человека, – вы ошибаетесь. Я думал, правда, не о вас собственно, но по поводу вас. Мне пришло в голову, что было бы хорошо, если бы этот прекрасный лес сверкал тенистыми каналами с цве-

тущими берегами, и стройные бамбуковые дома стояли на берегах, полные бездумного счастья, напоминающего облако в небе. И еще мне хотелось населить лес смуглыми кроткими людьми, прекрасными, как Эстер, с глазами оленей и членами, не оскверненными грязным трудом. Как и чем жили бы эти люди? Не знаю. Но я хотел бы увидеть именно их, а не нескладные туловища, вроде вашего, Дрибб, замызганного рабочим потом и украшенного пуговкой вместо носа.

– Скажите еще одно слово! – Дрибб с угрожающим видом шагнул к Горну. – Тогда я убью вас на месте. Вы будете качаться на этом каучуковом дереве – подлец!

– О! Довольно! – побледнел Горн. Он трясся от гнева. Равнина и лес на мгновение слились перед его глазами в один зеленый сплошной круг. – Не я или вы, Дрибб, а я. Я убью вас, запомните это хорошенько, потом будет поздно убедиться, что я не лгу.

– Десять шагов, – отрывисто, хриплым голосом сказал Дрибб.

Горн повернулся и отсчитал десять, держа палец на спуске. Небольшой кусок травы разделял их. Глаза их притягивались друг к другу. Горн вскинул ружье.

– Без команды, – сказал он. – Стреляйте, как вам вздумается.

Одновременно с окончанием слова «вздумается», он быстро повернулся боком к Дриббу, и вовремя, потому что тот нажимал спуск. Пуля, скользя, разорвала кожу на груди Горна и щелкнулась в дерево.

Не потерявшись, он коснулся прицелом середины волосатой груди фермера и выстрелил без колебания. Новый патрон магазинки Дрибба застрял на пути к дулу, он быстро попятился, раскрыл рот и упал боком, не отрывая от Горна взгляда круглых тупых глаз.

Горн подошел к раненому. Дрибб протяжно хрипел, подергиваясь огромным, неловко лежащим телом. Глаза его были закрыты. Горн отошел, вздрагивая, вид умирающего был ему неприятен, как всякое разрушение. Лошадь, отбежавшая в сторону, беспокойно заржала. Он посмотрел на нее, на собаку, визжавшую около Дрибба, и удалился, вкладывая на ходу свежий патрон. Мысли его прыгали, он вдруг почувствовал глубокое утомление и слабость. Кожа на груди, разорванная выстрелом Дрибба, вспухла, сочась густой кровью, стекавшей по животу горячими каплями. Присев, он разорвал рубашку на несколько широких полос и, сделав из них нечто вроде бинта, туго обмотал ребра. Повязка быстро намокла и стала красной, но больше ничего не было.

Пока он возился, Дрибб, лежавший без движения с простреленной навывлет грудью, открыл глаза и выплюнул густой сверток крови. Близкая смерть приводила его в отчаяние. Он пошевелил телом, оно двигалось, как мешок, наполненное острой болью и слабостью. Дрибб пополз к лошади, со стоном тыкаясь в сырую траву, как щенок, потерявший свой ящик. Лошадь стояла неподвижно, повернув голову. Путь в четыре сажени показался Дриббу тысячелетним. Захлебываясь кровью, он подполз к стремени.

Зигма, вертясь и прыгая, смотрела на усилия человека, пытавшегося сесть в седло, потеряв половину крови. Он обрывался пять раз, в шестой он сделал это удачнее, но от невероятного напряжения лес и небо заплескали перед его глазами быстрее, чем мухи на падали. Он сидел, охватив руками шею лошади, одна нога его выскользнула из стремени, и он не пытался вставить ее на место. Лошадь, встряхнув гривой, пошла рысью.

Горн, услышав топот, стремглав кинулся к месту, где упал Дрибб. Кровяная дорожка шла по направлению к лесу, – красное на зеленом, словно жидкие, рассыпанные кораллы.

– Поздно, – сказал Горн, бледнея от неожиданности.

Охваченный тревогой, он вошел в лес и двинулся по направлению к озеру так быстро, как только мог. Исчезли золотистые просветы, ровная предвечерняя тень лежала на стволах и на земле, грудь ныла, как от палочного удара. Почти бегом, торопливо перескакивая сваленные бурей стволы, Горн подвигался вперед и видел труп Дрибба, падающий с загнанной лошади среди толпы колонистов.

«Если труп найдет силы произнести только одно слово, я буду иметь дело со всеми», – подумал Горн.

Он уже бежал, задыхаясь от нервного напряжения. Лес, как толпа бессильных друзей, задумчиво расступился перед ним, открывая тенистые провалы, полные шума крови и прихотли-

ВЫХ ЗЕЛЕННЫХ ВОЛН.

IX

Дверь, укрепленная изнутри, вздрагивала от нетерпеливых ударов, но стойко держалась на своем месте. Горн быстро переводил взгляд с незащищенного окна на нее и обратно, внешне спокойный, полный глухого бешенства и тревоги. Это был момент, когда подошва жизни скользит в темноте над пропастью.

Он был в центре толпы, спешившейся, шадя лошадей. Животные ржали поблизости, тревожно пофыркивая в предчувствии близкой схватки. Земля, взрытая на середине пола, зияла не-большой ямкой, по краям ее лежали грязные узелки и самодельные кожаные мешочки, пухлые от наполнявшего их мелкого золота. Тусклое, завернутое в сырую, еще пахнущую вяленным мясом кожу, оно было так же непривлекательно, как красный, живой комок в руках акушерки, зевающей от бессонной ночи. Но его было довольно, чтобы человек средней силы, взвалив на спину все мешочки и узелки, не смог пройти ста шагов.

Горн думал о нем не меньше, чем о себе, стиснутом в четырех стенах. Все зависело от того, как повернутся события. Он почти страдал при мысли, что случайный уклон пули может положить его рядом с неожиданным подарком судьбы, лежавшим у его ног.

Свежие удары прикладом в дверь забарабанили так часто и увесисто, что Горн невольно протянул руку, ожидая ее падения. Кто-то сказал:

– Если вы не цените вежливости, мы поступим, как вздумается. Что вы скажете, например, о...

– Ничего, – перебил Горн, не повышая голоса, потому что тонкие стены отчетливо пропускали слова. – Будь вас хоть тысяча, вы можете убить только одного. А я – многих.

Одновременно с треском выстрела пуля пробила дверь и ударилась в верхнюю часть окна. Горн переменил место.

– Право, – сказал он, – я не буду разговаривать, потому что, целясь по слуху, вы можете прострелить мне голосовые связки. Пока же вы ошиблись только на полсажени.

Он повернулся к окну, разрядил штуцер в чью-то мелькнувшую голову и всунул новый патрон.

– Подумайте, – произнес тот же голос, подчеркивая некоторые слова ударом приклада, – что смерть под открытым небом приятнее гибели в мышеловке.

– Дрибб умер, – сказал Горн. – Ничто не может воскресить его. Он был горяч и заносчив, следовало остудить парня. Я предупредителен, пока это не грозит смертью самому мне. Умер, что делать?! Собака Зигма виновата в этом больше меня: опасно иметь тонкое обоняние.

Глухой рев и треск досок, пробитых новыми пулями, остановил его.

– Какая настойчивость! – сказал Горн. Холодное веселье отчаянья толкало его к злым шуткам. – Вы мне надоели. Надо иметь терпение ангела, чтобы выслушивать ваши нескладные угрозы.

За стеной разговаривали. Сдержанные восклицания и топот шагов то замирали, то начинали снова колесить вокруг дома, ближе и дальше, ближе и дальше, вместе и враспынную. Стекланная пыль месяца падала у окна тусклым четырехугольником, упорно трещал камыш, словно там укладывался спать и все не мог приспособиться большой зверь. Горн плохо чувствовал свое тело, дрожавшее от чрезмерного возбуждения; превращенный в слух, он машинально поворачивал голову во все стороны, держа на взводе курки и ежесекундно вспоминая о револьвере, оттягивавшем карман.

Вдруг треснул залп, от которого вздрогнули руки Горна и зазвенело в ушах. Множество мелких щеп, выбитых пулями, ударили его в лицо и шею, кой-где расцарапав кожу.

После мгновенной тишины голос за дверью сухо осведомился:

– Вы живы?

Горн выстрелил из обоих стволов, целясь на голос. За дверью, вздрогнувшей от удара пуль, шлепнулось что-то мягкое.

– Жив, – сказал он, щелкая горячим затвором. – А ваше здоровье?

Ответом ему были ругательства и взрыв новых ударов. Другой голос, отрывистый, крикнул из-за угла дома:

– Охота вам тратить пули!

– Для развлечения, – сказал Горн, посылая новый заряд.

Шум усилился.

– Эй, вы! – закричал кто-то. – Клянусь вашей печенью, которую я увижу сегодня собственными глазами, – бесполезно сопротивляться. Мы только повесим вас, это совсем не страшно, гораздо лучше, чем сгореть! Подумайте насчет этого!

Слова эти звучали бы совсем добродушно, не будь мертвой тишины пауз, разделявших фразу от фразы. Горн улыбнулся с ненавистью в душе; компания, собиравшаяся поджарить его, вызывала в нем настойчивое желание разmozжить головы поочередно всем нападающим. Он не испытывал страха, для этого было слишком темно под крышей и слишком похоже на сон его одиночество перед разговаривающими стенами.

– Вы не узнали меня, – продолжал отрывистый голос. – Меня зовут Дрибб. Я так до сих пор и не видел вашей физиономии; вы слишком горды, чтобы придти под чужую крышу. А тогда, в бухте было слишком темно. Но терпению бывает конец.

– Жалею, что это вы, – сухо возразил Горн. – Из чувства беспристрастия вам не следовало являться сюда. Что вам сказал сын, падая с лошади?

– Падая с лошади? Но вас не было при этом, надеюсь. Он сказал – «Го...» и захлебнулся. Вот что сказал он, и вы мне ответите за этот обрывок слова.

– Отнеситесь к жизни с философским спокойствием, – насмешливо сказал Горн. – Я не отвечаю за поступки молодых верблюдов. Конечно, мне следовало целиться в лоб, тогда он умер бы в твердой уверенности, что я убил его первым выстрелом. А нет ли здесь Гупи?

– Здесь! – прозвучал хриплый голос. Он раздался далее того места, где, по предположению Горна, стоял Дрибб.

– Гупи, – сказал, помолчав, Горн, – напейтесь идоложертвенной свиной крови!

Щеки его подергивались от нервного смеха. Визгливая брань колониста режущим скрипом застряла в его ушах. Он продолжал, как бы рассуждая с собой:

– Гупи – человек добрый.

Неожиданная, грустная радость выпрямила спину охотника; он уже сожалел о ней, потому что радость эта протягивала две руки и, давая одной, отнимала другой. Но выхода не было. Нелепая смерть возмущала его до глубины души, он решился.

– Пойдите! – вскричал Горн, – одну минуту! – Быстро, несколькими ударами топора он вырубил верхнюю часть доски в самом углу двери и отскочил, опасаясь выстрела. Но звуки железа, врубающегося в дерево, казалось, несколько успокоили нападающих, – человек мирно рубил доску. В зазубренной дыре чернел кусок мглистого неба.

– Гупи, – сказал Горн, переводя дух и настораживаясь. – Гупи, подойдите ближе, с какой вам хочется стороны. Я не выстрелю, клянусь честью. Мне нужно что-то сказать вам.

Человек, поставленный у окна, выглянул и, торопливо приложившись, выстрелил в темноту помещения. Горн отшатнулся, пуля обожгла ему щеку. Охваченный припадком тяжелой злобы затравленного, Горн несколько секунд стоял молча, устремив дуло к окну, и все в нем дрожало, как корпус фабрики на полном ходу, – от гнева и ярости.

Овладев собой, он подумал, что Гупи уже подошел на нужное расстояние. Тогда, взяв узелок с песком, весом около двух или трех фунтов, он выбросил его в дыру двери.

– Это вам, – громко сказал Горн. – И вот еще... и еще.

Почти не сознавая, что делает, он с лихорадочной быстротой швырял золото в темноту, тупо прислушиваясь к глухому стуку мешочков, мерно падающих за дверь. Слезы душили его. Маленькая голубая река невинно скользила перед глазами.

Беглый, смешанный разговор вспыхнул за дверью, отдельные голоса звучали то торопливо, то глухо, как сонное бормотание. Горн слушал, смотря в окно.

– Погодите, Гупи!

- Да что вам нужно?
- Положите!
- Оставьте!
- Эй, куда вы?
- Как, – и вы? Тысяча чертей!
- А вам какое дело до этого?
- Где он взял?
- Много!
- Я оторву вам руки!
- Во-первых, вы глупы!

Характерный звук пощечины прорезал напряжение Горна. На мгновение шум стих и разразился с удесатеренной силой. Топот, быстрые восклицания, брань, гневный крик Дрибба, тяжелое дыхание борющихся скрещивалось и заглушалось одно другим, переходя в стонущий рев. Почти испуганный, не веря себе, Горн хрипло дышал, прислонившись головой к двери. Он чувствовал смятение, переходящее в драку, внезапное движение алчности, увеличивающей воображением то, что есть, до грандиозных размеров, резкий поворот настроения.

Продолжительный, звонкий крик вырвался из общего гула. И вдруг грянул выстрел после которого показалось Горну, что где-то в стороне от его дома густая толпа мечется в огромной кадрили, без музыки и огней. Он выбил, один за другим, колья, укреплявшие дверь, тихо приотворил ее, и разом исчезла мысль, оставив инстинктивное, бессознательное полусоображение животного, загнанного в тупик.

Шум доносился справа, из-за угла. Людей не было видно, они спешили покончить свои расчеты. Не следовало ожидать, чтобы они бросились поджигать дом в надежде найти там больше, чем было брошено Горном. Жестокие, нетерпеливые, как дети, они предпочитали пока видимое невидимому. Горн вышел за дверь.

Тени, отбрасываемые луной, казались черными бархатными кусками, брошенными на траву, залитую молоком. Воздух неподвижно дымился светом, густым, как известковая пыль. Мрак, застрявший в опушке леса, пестрил ее черно-зелеными вырезами.

Горн постоял немного, слушая биение сердца ночи, беззвучное, как мысленно исполняемая мелодия, и вдруг, согнувшись, пустился бежать к лесу. В ушах засвистел воздух, от быстрых движений разом заныло тело, все потеряло неподвижность и стремглав бросилось бежать вместе с ним, задышающееся, оглушительно звонкое, как вода в ушах человека, нырнувшего с высоты. Лошадь, привязанная у опушки, казалось, неслась к нему сама, боком, как стояла, лениво перебирая ногами. Он ухватился за гриву; седло медленно качнулось под ним. Торопливо разрезав привязь ножом почти в то время, как открывал его, Горн выпустил из револьвера все шесть пуль в трех или четырех ближайших, метнувшихся от выстрелов лошадей и понесся галопом, и мгла невидимым ливнем воздуха устремилась ему навстречу.

И где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла в песок, рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку.

Горн скакал, не останавливаясь, около десяти верст. Он пересек равнину, спустился к кустарниковым зарослям морского плато и выехал на городскую дорогу.

Здесь он приостановился, сберегая силы животного для вероятной погони. Слева, из глубокой пропасти ночи, со стороны озера, слышалось неопределенное тиканье, словно кто-то барабанил пальцами по столу, сбиваясь и снова переходя в такт. Горн прислушался, вздрогнул и сильно ударил лошадь.

Он был погружен в механическое, стремительное оцепенение скачки, где грива, темная, ночная земля, убегающие силуэты холмов и ритмическое сотрясение всего тела смешивались в подмывающем осязании пространства и головокружительного движения. За ним гнались, он ясно сознавал это и качался от слабости. Утомление захватывало его. Согнувшись, он мчался без тревоги и опасения, с болезненным спокойствием человека, механически исполняющего то, что

делается в подобных случаях другими сознательно; спасение жизни казалось ему пустым, страшно утомительным делом.

И в этот момент, когда, изнуренный всем пережитым, он был готов бросить поводья, предоставив лошади идти, как ей вздумается, Горн ясно увидел в воздухе бледный огонёк свечи и маленькую, обведенную кружевом руку. Это было похоже на отражение в темном стекле окна. Он улыбнулся, – умереть среди дороги становилось забавным, чудовищной несправедливостью, смертью от жажды.

Задумчивое лицо Эстер мелькнуло где-то в углу сознания и побледнело, стерлось вместе с рукой в кружеве, как будто была невидимая, крепкая связь между девушкой из колонии и женщиной с капризным лицом, ради которой – все.

– Алло! – сказал Горн, приподымаясь в седле. – Бедняга затрепыхался!

И он спрыгнул в сторону прежде, чем падающая лошадь успела придавить его бешено дышащими боками.

Затем, успокоенный тишиной, он постоял немного, бросив последний взгляд в ту сторону, где ненужная ему жизнь протягивала объятия, и двинулся дальше.

Рассказ Бирка

Вначале разговор носил общий характер, а затем перешел на личность одного из присутствующих. Это был человек небольшого роста, крепкий и жилистый, с круглым бритым лицом и тонким голосом. Он сидел у стола в кресле. Красный абажур лампы бросал свет на всю его фигуру, за исключением головы, и от тени лицо этого человека казалось смуглым, хотя в действительности он был всегда бледен.

– Неужели, – сказал хозяин, глотая кофе из прозрачной фарфоровой чашечки, – не-у-же-ли вы отрицаете жизнь? Вы самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал. Надеюсь, вы не считаете нас призраками?

Маленький человек улыбнулся и охватил руками колени, легонько покачиваясь.

– Нет, – возразил он, принимая прежнее положение, – я говорил только о том, что все мои пять чувств причиняют мне постоянную, теперь уже привычную боль. И было такое время, когда я перенес сложную психологическую операцию. Мой хирург (если продолжать сравнения) остался мне неизвестным. Но он пришел, во всяком случае, не из жизни.

– Но и не с того света? – вскричал журналист. – Позвольте вам сообщить, что я не верю в духов, и не трогайте наших милейших (потому что они уже умерли) родственников. Если же вам действительно повезло и вы удостоились интервью с дедушкой, тогда лучше покривите душой и соворите что-нибудь новенькое: у меня нет темы для фельетона.

Бирк (так звали маленького человека) медленно обвел общество серыми выпуклыми глазами. Напряженное ожидание, по-видимому, забавляло его. Он сказал:

– Я мог бы и не рассказывать ввиду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то, что расскажу я, счел бы себя вправе усомниться. Но все же я хочу попытаться внушить вам к моему рассказу маленькое доверие; внушить не фактическими, а логическими, косвенными доказательствами. Все знают, что я – человек, абсолютно лишенный так называемого «воображения», то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслимое не абстрактными понятиями, а образами. Следовательно, я не мог бы, например, правдоподобно рассказать о кораблекрушении, не быв свидетелем этой катастрофы. Далее, каждый рассказ убедителен лишь при наличии мелких фактов, подробностей, иногда неожиданных и редких, иногда простых, но всегда производящих впечатление большее, чем голый остов события. В газетном сообщении об убийстве мы можем прочесть так: «Сегодня утром неизвестным преступником убит господин N». Подобное сообщение может быть ложным и достоверным в одинаковой степени. Но заметка, ко всему остальному гласящая следующее: «Кровать сдвинута, у бюро испорчен замок», не только убеждает нас в действительности убийства, но и даёт некоторый материал для картинного представления о самом факте. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать следующее: подробности убедят вас сильнее

вашего доверия к моей личности.

Бирк остановился. Одна из дам воспользовалась этим, чтобы вернуть следующее замечание:

– Только не страшное!

– Страхное? – спросил Бирк, снисходительно улыбаясь, как будто бы говорил с ребенком. – Нет, это не страшное. Это то, что живет в душе многих людей. Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, – самый факт необычайного, о котором я расскажу и который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет, быть может, в глазах ваших всякое обаяние.

Он сказал это с оттенком печальной серьезности и глубокого убеждения. Все молчали. И сразу самым сложным, таинственным аппаратом человеческих восприятий я почувствовал сильнейшее нервное напряжение Бирка. Это был момент, когда настроение одного передается другим.

– Еще в молодости, – заговорил Бирк, – я чувствовал сильное отвращение к однообразию, в чем бы оно ни проявлялось. Со временем это превратилось в настоящую болезнь, которая мало-помалу сделалась преобладающим содержанием моего «я» и убила во мне всякую привязанность к жизни. Если я не умер, то лишь потому, что тело мое еще было здорово, молодо и инстинктивно стремилось существовать наперекор духу, тщательно замкнувшемуся в себе.

Употребив слово «однообразие», я не хочу сказать этим, что я сознавал с самого начала причину своей меланхолии и стремления к одиночеству. Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске, так как я не был калеккой и свободно располагал деньгами. Я чувствовал глухую полусознательную враждебность ко всему, что воспринимается пятью чувствами. Всякий из вас, конечно, испытывал то особенное, противное, как кислое вино, настроение вялости и томительной пустоты мысли, когда все окружающее совершенно теряет смысл. Я переживал то же самое, с той лишь разницей, что светлые промежутки становились все реже и, наконец, постепенно исчезли, уступив место холодной мертвой прострации, когда человек живет машинально, как автомат, без радостей и страданий, смеха и слез, любопытства и сожаления; живет вне времени и пространства, путает дни, доходит до анекдотической рассеянности и, в редких случаях, даже теряет память.

Случай показал мне, что я достиг этого состояния трупa. На площади, на моих глазах, днем, огромный фургон, нагруженный мебелью, переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы (не из любопытства, а потому, что нужно было перейти площадь) тем же ровным ленивым шагом, каким все время я шел, – я машинально остановился, задержанный оравой разного уличного сброда, толпившегося вокруг бледного, как известка, погонщика. Девочка лежала у его ног, лицо ее, густо запачканное грязью, было раздавлено. Я видел только багровое пятно с выскочившими от боли глазами и светлые выющиеся волосы. Сбоку валялась опрокинутая картонка – причина несчастья. Как говорили в толпе, фургон ехал рысью; малютка уронила свою ношу под самые ноги лошадей, хотела схватить, но упала, и в то же мгновение пара подков превратила ее невыспавшееся личико в кровавую массу.

Толпа страшно шумела, выражая свое негодование; трое полицейских с трудом удерживали дюжих мещан, желавших немедленно расправиться с погонщиком. Я видел слезы на глазах женщин, слышал их всхлипывания и, постояв секунд пять, двинулся дальше.

Повторяю: я все это видел и слышал, но мои нервы остались совершенно покойны. Я не чувствовал этих людей, как живых, страдающих, потрясенных, рассерженных, я видел одни формы людей, колеблющиеся, размахивающие руками; черты лиц, меняющие выражение; слышал то громкие, то тихие восклицания; шумные вздохи прибежавших издалека; но это были только звуки и линии, формы и краски, неспособные дать мне малейшее представление о чувствах, волновавших толпу. Я был спокоен; через двадцать шагов началась улица, я зашел в табачную лавку и купил запонки.

Вечером, механически перелистывая книгу истекшего дня, я заинтересовался своим отношением к жизни как раз по поводу вышеописанного происшествия. Быть может, вы замечали, что зрелище поденщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает в вас настолько яс-

ные представления о мускульных усилиях дровокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор взвивается над поленом. Ритм жизни, кипевший вокруг меня, можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой; но я лишь гальванически отражал ее. Такое состояние духа, вероятно, никогда не доставило бы мне малейшей тревоги, если бы не неимоверная скука, порождавшая раздражительность и тоску. Я не находил себе места; родственники с тревогой следили за моим поведением, так как я терял аппетит, худел и делался невыносим в общежитии, внося своей неуравновешенностью полный разлад в семью.

Разумеется, я много размышлял о себе и сделал ряд наблюдений, одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные, полусознательные пути моего духа. Так, я заметил, что чувствую некоторое удовлетворение, совершая загородные прогулки, вдали от зданий. Надо сказать, что с самого детства зрительные ощущения являлись для меня преобладающими, комплекс их совершенно определял мое настроение. Эта особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий, сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное впечатление. Основываясь на этом, я постарался провести параллель между зрительными восприятиями города и загородного пейзажа. Начав с формы, я применил геометрию. Существенная разница линий бросалась в глаза. Прямые линии, горизонтальные плоскости, кубы, прямоугольные пирамиды, прямые углы являлись геометрическим выражением города; кривые же поверхности, так же, как и кривые контуры, были незначительной примесью, слабым узором фона, в основу которого была положена прямая линия. Наоборот, пейзаж, даже лесной, являлся противоположностью городу, воплощением кривых линий, кривых поверхностей, волнистости и спирали.

От этого определения я перешел к краскам. Здесь не было возможности точного обобщения, но все же я нашел, что в городе встречаются по преимуществу темные, однотонные, лишенные оттенков цвета, с резкими контурами. Лес, река, горы, наоборот, дают тона светлые и яркие, с бесчисленными оттенками и движением красок. Таким образом, в основу моих ощущений я положил следующее:

Кривая линия. Прямая линия. Впечатление тени, доставляемое городом. Впечатление света, доставляемое природой. Всевозможные комбинации этих основных элементов зрительной жизни, очевидно, вызывали во мне то или другое настроение, колеблющееся, подобно звукам оркестра, по мере того, как видимое сменялось передо мной, пока чрезмерно сильная впечатлительность, поражаемая то одними и теми же, то подобными друг другу формами, не притупилась и не атрофировалась. Что же касается загородных прогулок, то относительно благотворное действие их являлось чувством контраста, так как в городе я проводил большую часть времени.

Продолжая углубляться в себя, я пришел к убеждению, что именно однообразие, резко ощущаемое мной, является несомненной причиной моего угнетенного состояния. Желая проверить это, я перебрал прошлое. Там ничего не было такого, что не переживалось бы другими людьми, и, наоборот, не было ничего доступного человеческой душе, чего не испытал бы и я. Разница была только в форме, обстановке и интенсивности. Разлагая свою жизнь на составные ее элементы, я был поражен скудостью человеческих переживаний; все они не выходили за границы маленького, однообразного, несовершенного тела, двух-трех десятков основных чувств, главными из которых следовало признать удовлетворение голода, удовлетворение любви и удовлетворение любопытства. Последнее включало и страсть к знанию.

Мне было двадцать четыре года, а в молодости, как известно, человек склонен к категорическим заключениям и выводам. Я произнес приговор самому себе. Одна из летних ночей застала меня полураздетым, с твердым решением в голове и стальной штукой в руках, заряженной на семь гнезд. Я не писал никаких записок: мне было совершенно все равно, как будут объяснять причину моей смерти. Взяв курок, я вытянулся, как солдат на параде, поднес дуло к виску и в тот же момент на стене, с левой стороны, увидел свою тень. Это было мое последнее воспоминание; тотчас же судорожное сокращение пальца передалось спуску, и я испытал нечто, не поддающееся описанию.

К сознанию меня возвратил резкий стук в дверь. Очнувшись, я мгновенно припомнил все

происшедшее. Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое отвращение; обливаясь холодным потом, я отбросил его под стол ударом ноги и, шатаясь, открыл дверь. Горничная, вошедшая в комнату с кофейным прибором, взглянув на меня, выронила поднос. Я успокоил ее, как мог, сославшись на бессонницу. Был день, я пролежал без сознания семь часов.

Странно – но этот эпизод развлекал меня и заставил сосредоточиться на только что пережитых ощущениях. Меня удивлял пароксизм ужаса перед моментом спуска курка. Инстинкт, не подвластный логике, цеплялся за жизнь, которая от общих своих основ и до самых последних мелочей была мне противна, как хинин здоровому человеку. Терзаясь этим противоречием, я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. И вне и внутри меня, соединенный через тоненькую преграду – человеческий разум, клубился океан сил, смысл и значение которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора понятен для обезьяны. И я, подобно тряпке, опущенной на дно быстрой речки, плыл, колеблясь от малейшей струи течения, из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжение тридцати лет глаз, ухо и осязание.

Последовавший затем период отчаяния достиг такой напряженности, что я шесть дней не выходил из дома. Не знаю, выпил ли кто-нибудь за такой промежуток времени столько, сколько, расхаживая по комнате, выпил я. Вино обращалось в пожар, сжигающий мозг и кровь то светлыми, то отвратительными видениями тоски. Это был пестрый танец в тумане; цветок вина, уродливый, как верблюд, и нежный, как заря в мае; увлечение отчаянием, молитва, составленная из богохульств; блаженный смех в пытке, покой и бешенство. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения, или сочинял мелодии, равных которым по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их беззвучную, окрыляющую гармонию. Я был всем, что может представить человеческое сознание, – птицей и королем, нищим на паперти и таинственным лилипутом, строящим корабли в тарелку величиной.

Через шесть дней, в середине ночи, я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшей волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха, зажег огонь. Кроме меня, в комнате никого не было; только из большого туалетного зеркала смотрело лицо, воспаленное пьянством, страшное и жалкое. Это было мое лицо. С минуту я смотрел на него, не узнавая себя, потом встал, оделся, подгоняемый беспокойством и стремлением двигаться, и вышел на улицу.

Все спали, но ключ от входной двери был у меня, и я, не разбудив швейцара, покинул дом, направляясь к Новому мосту. Шел я без всякой цели, но быстро, как человек, боящийся опоздать, и помню, рассердился, когда какой-то прохожий, шедший впереди, то с левой, то с правой стороны тротуара, не сразу посторонился. Воздух был свеж и тих, я жадно глотал его и шел, все ускоряя шаги. У моста я остановился, свернул в боковую улицу и, проходя квартал за кварталом, достиг рынка. По мостовой, скользкой от сырости овощного мусора, беззвучно перебегали собаки, прячась за тумбами. Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный дырявый ящик и стал курить.

Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшим сокращением мускулов, неровностью дыхания и тяжелым, бесформенным течением мысли. Я не существовал, как целое; казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тело мое страдало физическим страхом перед новой смутной опасностью. В это время два человека вышли из-за угла и тщательно осмотрелись, светя ручным фонариком.

Пространство, разделявшее нас, было не более двух шагов, и я мог достаточно хорошо рассмотреть обоих, оставаясь сам незамеченным, так как столб, подпиравший навес лавок, скрывал мою особу. Один, с оплывшим от спирта угрюмо-благообразным профилем, одетый в коротенькую жакетку с поднятым воротником и котелок, державшийся на затылке, проворно сыпал как будто бессмысленными, ничего не говорящими фразами, набором слов, где общие выражения сталкивались и мешались с лексиконом, подобным тарабарскому языку. Другой, маленький, нервный, в старом пальто, с лицом сморщенной обезьяны, то и дело хватался за поля шляпы, двигая ее взад и вперед, как будто голова его испытывала нестерпимую боль от прикосновения головного убора. Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой и без того тонкий гнусавый голос, и беспомощно мотал подбородком, выражая этим, по-видимому, сомнение. Фонарик он

судорожно сжимал левой рукой, и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, падала огромным пятном в освещенный угол земли, между ящиком и запертой дверью здания.

Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью, в глухом месте – будь мое соображение несколько посвежее; но в тот момент я тупо смотрел на них, удивляясь лишь странной манере говорить. Оба они, появившиеся так внезапно и тихо, казались видениями яркого сна, навязчивыми образами, преследующими расстроенный мозг. Я, кажется, ожидал их исчезновения; по крайней мере ничуть бы не удивился, расплывись они в воздухе клубом дыма. Но оба, поговорив, сунули руки в карманы и мелким деловым шагом пошли в сторону.

Я безотчетно встал и пошел за ними, смутно догадываясь, что два вора выходят ночью не на пищеварительную прогулку, и втайне радуясь маленькому, слегка таинственному развлечению – видеть лоскут ночной жизни, так резко отличающейся от дневной, но подчиненной смене одних и тех же законов, знакомых, как лицо родственника. Ночь, с ее кошками, скрытым от глаз пространством, ворами, бродягами, приближающими в темноте странно блестящие глаза к вашему ожидающему лицу; с нарядно одетыми женщинами, дающими впечатление голых; с тишиной звука и звенящим молчанием – таинственна потому, что в недрах ее у бодрствующих начинает оживать все, убитое законами дня. И я, следуя по пятам за крошечным пятном фонаря, скользившего медленными зигзагами с плиты на плиту, чувствовал себя глазом ночи, причастным ее секретам, хитростям, целям и ожиданиям. Я был соглядатаем, участником из любопытства, звеном между мраком и воровским замыслом. Стараясь шагать беззвучно, я инстинктивно опускал ноги краем подошв и шел бесшумно, как зверь.

Те, за кем я следил, шли безостановочно и уверенно; они, видимо, двигались прямо к цели. Миновав соборную площадь и завернув к реке, они остановились у каменного пятиэтажного дома с огромным подъездом и тотчас же, не теряя времени, приступили к делу.

Я спрятался за угол дома и мог видеть, как маленький завертел руками, пытаясь сломать замок. Должно быть, это оказалось нелегким, потому что сухой треск железа повторялся раз пять, то слабее, то резче, а руки, опытные, проворные руки вора двигались с прежним усилием. Товарищ его то и дело совал ему что-то; маленький брал, кряхтя от нетерпеливой тревоги, и снова начинал взлом. Арсенал хитрых соображений и механических фокусов был пущен в ход перед моими глазами. И вдруг явилось желание попробовать счастья самому, стать вором на час, красться, таиться, разрушать без звука, ходить на цыпочках в незнакомой квартире, брать со страхом, рыться в столах и ящиках и бережно заглядывать в лица спящих светлой щелью фонарика.

Не раздумывая, я встал и твердым шагом пошел к подъезду. И тотчас же увидел мирных прохожих, слегка подвыпивших, но еще бодрых. Котелок сказал обезьяне:

– Позвольте попросить у вас закурить, я потерял спички.

– Пожалуйста, сударь, – ответил маленький, пристально окидывая меня взглядом. – Боюсь, не отсырели ли спички.

– Спички? – сказал я, поворачиваясь в их сторону, – спички есть у меня. Берите.

И я протянул ему спичечницу. Котелок взял ее, пожирая меня глазами. Маленький судорожно поклонился, пискнув:

– Вы очень вежливы!

– Да, по мере возможности! – Я улыбнулся как можно приятнее и раскланялся. – Надеюсь, вас это не обманет? К тому же у меня всегда сухие спички.

– Вы чрезвычайно вежливы, – настойчиво повторил маленький.

– Да, это странно, – отозвался глухим басом другой. – Какая нынче прекрасная погода!

– Погода так хороша, – подхватил я, – что даже не хочется сидеть дома, не правда ли?

Он, не сморгнув, ответил:

– Не отсыреют ли ваши спички, сударь? Воздух немного влажен и не совсем годен для здоровья.

– Другими словами, – сказал я, потеряв терпение, – я вам мешаю? Дверь эта крепкой конструкции.

Они еще силились улыбнуться, но тут же отступили назад, тревожно оглядываясь. Я подо-

шел к ним вплотную.

– Вас двое, – сказал я, – против одного, значит, бояться нечего, тем более, что я вам вредить не буду. Я человек любопытный, ночной шатун – человек, любящий приключения. Я хочу войти вместе с вами и украсть на память о сегодняшней ночи то, что придется мне по душе. Вероятнее всего я возьму какую-нибудь безделушку с камина, значит, вас не ограблю. Итак, вперед, Картуши, Ринальдини, коты в сапогах, валеты и жулики! Я войду с вами, как тень от вашего фонаря.

И только я закрыл рот, как оба повернулись и неторопливо пошли прочь, теряясь в сумраке. Они меня не боялись, это доказывал их презрительно-мерный шаг, но и не доверяли моей навязчивости. Шаги их звучали еще некоторое время, потом все стихло, и я остался один.

Тогда я подошел к двери и тщательно ее осмотрел. Это была большая дверь стильных домов, с бронзой и матовыми стеклами. Чиркнув спичкой, я осветил замочную скважину; она носила следы взлома, медный кружок был сбит, и, кроме того, рядом с дверной ручкой зияли два свежепросверленные отверстия. Машинально я потянул ручку; к величайшему моему удивлению, дверь раскрылась совершенно свободно, как днем.

С минуту я стоял неподвижно, так как не ожидал этого. Они сделали свое дело, и я помешал им войти на лестницу. Я мог теперь воспользоваться плодами чужих трудов и, если соображение и находчивость придут на помощь, войти в любую квартиру. Мысль эта привела меня в состояние сильнейшего возбуждения – я был уже вором, испытывая страх, нетерпение и острую жажду неизвестного, лежащего за каждым порогом. Я чувствовал себя скрытным, ловким, бесшумным и осторожным.

Тщательно притворив за собой дверь, я медленно распахнул вторую, внутреннюю. Было темно и тихо, толстый ковер площадки мягко уперся в мои подошвы, как бы приглашая идти смелее. С сильно бьющимся сердцем прошел я мимо каморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери.

И тотчас же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей – и, даже будь у меня орудия, без знания, как употребить их – я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака. И, значит, все, что произошло ночью, было бесцельно; весь ряд случайностей, связанных одна с другой, – рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом, – все это произошло только затем, чтобы я мог уйти снова, бесшумно и незаметно.

Мысль эта показалась мне настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, я не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовал себя там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мною руководила корысть, связанная с риском преступления. Я не хотел ничего брать; я шел, увлекаемый тайной, предчувствием неизвестного, порогом чужой жизни, тревогой бессонницы и смутным предчувствием логического конца. И от этого удовлетворения меня отделяла дверь, открыть которую я не мог.

– Если конец должен быть, дверь откроется.

Я машинально прошептал эти слова, но тотчас же смысл их вспыхнул, как порох от угля. В самом деле, я еще не пробовал открыть дверь! Тогда, замирая от ожидания, я отыскал ручку и тихо, медленно сокращая мускулы, потянул к себе дверь. Она была заперта.

Новый прилив возбуждения схлынул – я отошел и уселся на подоконнике, ноги мои дрожали. Растерявшись, не будучи в состоянии предпринять что-нибудь, я вытащил портсигар и стал курить.

Прошла минута, другая; табак постепенно оказывал свое действие. Волнение улеглось, мысль текла спокойнее, но так же напряженно и резко, с болезненной отчетливостью каждого слова, выступавшего, как напечатанное, всеми буквами. Какой мог быть конец? Я представил себе, что дверь открыта, и я блуждаю по темным комнатам. Передняя, гостиная, зал, кабинет, спальня и кухня – вот пространство, которое я мог обойти и увидеть то, что знакомо, – обстановку средней руки; самое большее, лица спящих. Итак, постояв минут пять в потемках с риском быть пойманным, как грабитель, я должен уйти тихо и осторожно, как настоящий вор. Отсюда

напрашивались два заключения: 1) входить незачем; 2) конца не будет.

И хотя была очевидна правильность моего рассуждения, глухое бешенство сбросило меня с подоконника, как ветер – клочок бумаги. Я подошел к двери с дерзостью отчаяния, с страстным желанием войти и убедиться, что ничего нет. Логика приводила меня к бессилию, рассуждение – к отступлению, простое бессознательное движение мысли – к мертвому тупику. Я бросился на штурм своего собственного рассудка и поставил знамение желания там, где была очевидность. В несколько секунд я пережил столкновение сомнений и несомненности, иронии и экстаза, страха и ожидания; и когда, наконец, ясная твердая решимость остановила лихорадочную дрожь тела – почувствовал себя таким разбитым и ослабевшим, как будто по мне бежала толпа. Я – знал, что будет.

Несомненным, действительно несомненным было для меня то, что ни квартиры, ни мебели, ни людей нет. Есть неизвестное. То, к чему невольно, непреодолимо, неизбежно пришел я ночью, не зная, что меня ждет. Я стоял на пороге чуда. Я стоял перед всем и перед ничем. Я стоял перед смыслом рынка, котелка, обезьяны, взломанной двери, коробки спичек и своего присутствия.

Тогда, против моей воли, скрытое стало приобретать зрительные образы, цвета воспаленной мысли. Симфония красок кружилась перед моими глазами, и переливы их были музыкальны, как оркестровая мелодия. Я видел пространство, границами которого были звуки, музыка воздуха, движение молекул. Я видел роскошь бесформенного; материю в ее наивысшей красоте сочетаний; движущиеся узоры линий; изящество, волнуемое до слез; свет, проникающий в кровь. Я был захвачен оргией представлений. И бессознательно, как хозяин, вынул из бокового кармана ключ.

Момент, когда мне показалось, что все это было, и я уже когда-то стоял так же на лестнице, был мал, как движение крыльев стрижа, порхающего над озером. Я с трудом уловил его. И, погружившись в себя, замер от ожидания.

Ключ был в моих руках, маленький, медный ключ не от этой двери, но я уже знал, что войду. Уверенность моя была так велика, что я даже не удивился, когда, вложив его в скважину, услышал, как замок щелкнул мягким, странно знакомым звуком. Я волновался так сильно, что принужден был остановиться и переждать припадок сердцебиения. Затем отворил дверь и, шагнув, очутился в темном, нагретом воздухе.

Не помню в точности, что переживал я тогда. Прямо был коридор; я угадал это по особому ощущению тесноты, хотя и не прикасался к стенам. Я двигался по нему как во сне, не зажигая спички, руководимый инстинктом, и, когда сделал десять шагов, понял, что надо остановиться. Почему? Я сам не знал этого. Тело мое было неустойчиво и как будто привычно стремилось направо, где, по смутно мелькнувшему убеждению, должна была находиться дверь.

Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание... Прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался. Почему – дверь? Я протянул руку, ощупывая ее, и тут, второй раз, неуловимо, как тень от выстрела, скользнуло воспоминание, что этот момент был. Я так же, но неизвестно когда, стоял в темноте коридора, щупая дверь.

Отчаянный страх парализовал мои члены. Ясно, всем существом своим я чувствовал, что сейчас произойдет что-то невообразимое, абсурдное, невозможное. Трясущимися руками я достал спичку, зажег ее и, прежде чем осмотреться, невольно закрыл глаза. Сколько времени я простоял так – не помню, но когда огонь приблизился к пальцам и боль начинающегося ожога дала знать, что сейчас снова наступит тьма, – я взглянул, и в тот же момент спичка погасла, тлея кривой искрой. Но, несмотря на краткость момента, я увидел, что в стене направо действительно была дверь и что я стою в коридоре. Тогда я распахнул дверь, вошел и снова зажег свет.

Это была моя комната; все, начиная с мебели к кончая безделушками на камине, – было мое: картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои, письменные принадлежности – все это было известно мне более, чем свое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощный сообразить что-нибудь, я обошел все углы, и каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной опрокинуть кошмар чудовищного сходства, не было. Я был у себя.

Тогда, хватаясь за последнюю, безумную в основе надежду, я подался к кровати, отдернул занавески и увидел спящего человека. Человек этот был – я.

Здесь Бирк остановился, как бы собираясь с воспоминаниями. Последние его слова заставили многих переглянуться. Он продолжал:

– Я вышел на лестницу, спустился к швейцару, разбудил его и увидел заспанное, бритое, знакомое лицо. Овладев собой, я попросил его войти в мою комнату, осмотреть ее и вернуться. Он повиновался с некоторым удивлением; помню, шлепанье его туфель доставило мне огромное удовольствие. Через минуту он возвратился, и между нами произошел следующий разговор:

– Вы осмотрели всю комнату?

– Да.

– В ней никого не было?

– Совершенно.

– Вы осмотрели кровать?

– Да.

– Кто лежал на этой кровати?

– Она была пуста.

– Теперь, – сказал я, – будьте добры, взгляните на наружную дверь.

С изумлением, еще большим, чем прежде, он вышел на тротуар. Я слышал его возню, он нагибался, рассматривал и вдруг крикнул:

– Здесь были воры! Дверь сломана!

И он выпустил град ругательств.

Так как Бирк замолчал, я обратился к нему с вопросом.

– Потом вы вернулись к себе?

– Нет, – протянул он, полузакрывая глаза, – я ночевал в гостинице. Впрочем, это не имеет значения. Я мог бы, конечно, вернуться к себе, но чувствовал потребность успокоиться.

– А потом? – спросил журналист с тонкой улыбкой. – Потом с вами ничего не было?

– Ничего, – задумчиво сказал Бирк. Он был, видимо, утомлен и сидел, подпирая рукой голову. Больше ему не задавали вопросов, но в общем молчании веяло неясное ожидание. Наконец, хозяин сказал:

– Ваша история, действительно, чрезвычайно интересна. В ней много стремительной напряженности, экспрессии и... и...

– Игоря, – сказала женщина, просившая о нестрашном.

P.S. Записав этот рассказ, я пришел к убеждению, что дама ошиблась, предположив в истории Бирка элемент горя. Этот человек был всем нам известен, как очень богатый землевладелец, путешественник и гурман. Правда, его никто ни разу не уличал во лжи. Но как поручиться, что ему не пришло в голову желание искусной и, по существу, невинной мистификации? Также странно, что он говорил о себе, как о человеке, лишенном воображения; по-моему, то место в его рассказе, где он грезит перед запертой дверью, доказывает противное. Не менее подозрительны его слова в самом начале: «Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, – самый факт необычайного, который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет в ваших глазах всякое обаяние. Впрочем, я не берусь утверждать что-нибудь определенное без доказательств в руках». В его пользу говорит только одно: он ни разу не улыбнулся.

История одного убийства

I

За окнами караульного помещения бушевал резкий, порывистый ветер, потрясая крышу ветхого здания и нагоняя скучную, зевотную тоску. В самой караулке, у деревянного крашеного стола, кроме разводящего, сидели еще двое: рядовой Банников и ефрейтор Цапля. Разводящий,

младший унтер-офицер, сумрачный, всегда печальный человек, лениво перелистывал устав строевой службы, время от времени кусая краюху ржаного хлеба, лежавшую на столе. Ему смертельно хотелось спать, но он пересиливал себя и притворялся погруженным в изучение воинской премудрости. К тому же минут через двадцать надо было вести смену. А кроме этого, он не решался вздремнуть из боязни караульного офицера, который каждую минуту мог заглянуть на пост и сделать ему, разводящему, строгий выговор, а то и посадить под арест. И хотя он завидовал часовым, имеющим возможность через каждые два часа стояния на посту спать целых четыре, но сознание своего служебного положения и превосходства заставляло его еще шире раскрывать сонные глаза и усиленно шевелить губами, запоминая непреложные догматы строевой дисциплины.

Цапля взял листик махорочной бумаги и, вытащив из штанов огрызок карандаша, при свете жестяной лампы нарисовал, помогая себе языком и бровями, подобие порохового погреба и маленькую фигурку часового. Часовой вышел кривым на один глаз и безногим, так что казалось, будто он стоит по колено в земле, но Цапля, тем не менее, остался весьма доволен рисунком. Он прищурился, захохотал, отчего вздрогнули его полные, мясистые щеки, потом сказал, протягивая бумажку Банникову:

– Смотри, Машка, – это кто?

Банников всегда служил предметом насмешек Цапли и теперь не сомневался, что ефрейтор изобразил его, Банникова, но не обиделся, желая угодить начальству, и сказал, ласково улыбаясь глазами, нежными, как у молодой девушки:

– На кого-то страсть похож. Никак Алехин?

Алехин был солдат, стоявший в это время на часах. Цапля помолчал немного, придумывая, что бы такое сказать поязвительнее Банникову, и вдруг прыснул:

– Это, Машка, ты! Вот ты эдак, расщеперившись, стоишь.

Банников молча улыбнулся, взял нож и отрезал кусок хлеба от каравая.

– Ужин-то не несут, кашицу-то нашу, – сказал он. – Дай-кося хлебца хошь пожую, что-то есть охота.

Разводящий поднял голову. У него было худое, загорелое лицо и маленькие черные усы. Он протянул руку к Цапле и сказал, зевая:

– Покажь!

Цапля подал рисунок унтеру и глупо захохотал.

– Машка, расщеперившись, стоит, – с трудом сказал он сквозь смех. – Не хочет признавать своего патрета.

– Вовсе не похож, – сказал разводящий. – Банников – парнишка румяный, как яблочко, а ты огородную чучелу изобразил.

Цапля надулся. Он ожидал, что унтер поддержит его, и они вдвоем подымут на смех молодого солдата, прозванного «Машкой» за скромность и застенчивость. Он пожевал губами и сказал:

– Сушая девка энтот Банников. Банников! А может, ты девка переряженная, а?

Унтер улыбнулся, жуя хлеб. От движений челюстей шевелились его маленькие, острые усы, и казалось, что они помогают жевать.

Довольный Цапля продолжал.

– Позавчера в газетах писали, будто Банников наш к ротному ночевать ходит. Правда, штоль, ась, Банников?

Банников смотрел в стену и конфузливо улыбался, ожидая, когда кончится у Цапли прилив веселости. Потом шмыгнул носом, покраснел и сказал, проглотив хлеб:

– А пускай их пишут! Попишут да и перестанут. Скоро, чай, сменяться. Смена-то моя ведь!

– Ну, так что? – спросил Цапля.

– Кашицу долго не несут, – зевнул Банников. – Без горячего скушно.

– Ишь ты, деревенский лапоть, – наставительно сказал унтер, хотя сам с удовольствием похлебал бы теперь горячей жидкой кашицы. – Солдат по уставу безо всякой кашицы должен обойтись. Терпеть и голод и холод.

– Да ведь это... оно... так, например... только словесность, – тихо произнес Банников. – А есть каждому полагается!

– На службе мамки и тятки нет, – зевнул разводящий. – Цапля, давай чай пить. Все равно энту кашницу принесут холодную. Вон Банников за кипятком сбегает. Давай копейку, Банников, на кипяток, будешь с нами чаевать.

– Сейчас бегу, – сказал Банников, вставая и откладывая в сторону недоеденный ломоть. – Только мне не поспеть уже чай пить – чичас на смену.

– Ну, на смену! Еще четверть часа тебе слободы, а коли што, Алехин обождет малость. Беги-ка, беги скоренько!

Банников вышел из-за стола, поправил ремень, оттянутый патронной сумкой, снял с гвоздя медный чайник и спросил:

– Куда идти-то? Чай, заперто везде.

– В Ерофеев трактир беги, Машка! – крикнул Цапля, часто моргая белыми ресницами серых навывкате глаз. – На Колпинской, возле часовни. Там дадут, не заперто.

– Ладно, – сказал Банников отворил дверь и вышел.

II

Банников служил первый год и часто со страхом думал, что службы осталось еще три долгих, тяжелых года. Первые недели и даже месяцы службы нравились ему новизной обстановки, строгим, деловитым темпом. Потом, когда не осталось ничего нового и интересного, а старое сделалось заезженным, скучным и обязательным, его стала тяготить строгость дисциплины и общество чужих, раздраженных и тяготящихся людей, согнанных в глухой уездный город со всех концов страны. Банников был грамотный, добродушный крестьянин, застенчивый и мягкий. Лицо его даже на службе сохранило какую-то женскую округлость и свежесть розовых щек, пушистых бровей и ресниц, что было причиной постоянных, скорее бессмысленных, чем обидных шуток и прозвищ, вроде «Машки», «Крали», «Анютки». С первых же дней службы, приглядевшись к отношениям людей, окружавших его, он понял, что молодому и неопытному солдату легче всего служить, угождая начальству. Он так и делал, но его никто не любил и не чувствовал к нему ни малейшей симпатии. Покорность и угодливость – козыри в жизненной игре. Но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовались и вынужденность и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенные им, своему взводному или по первому слову бежал в лавочку, тратя свои деньги, у него всегда был вид и выражение лица, говорящие, что это он делает без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает, как сделать, чтобы жилось легче. Это чувствовалось, и хотя к Банникову не придирались так, как к другим, но всегда при удобном случае давали ему понять, что всякая провинность будет взыскана с него так же, как и с других. Но Банников был всегда молчалив, внимателен, исполнительен и сосредоточен.

Он купил в трактире чаю, сахару на две копейки, кипятку, вышел на улицу и почти бегом, придерживая на ходу чайник, направился через площадь в сторону порохового склада. Ветер свистел ему в уши и стегал лицо резкими вздохами. На ходу Банников заметил, что кипяток не горячий, а только теплый, и это обстоятельство было ему неприятно. «Еще ругаться будут за мои же деньги, – думал он, зажмуривая глаза от ветра и наклоняя голову. – Разводящий-то еще ничего, а вот Цапля проклятая начнет глупость свою выказывать». – Эта служба – ой, ой, ой! – вслух вздохнул он, обращаясь к невидимому слушателю. – Только бы отслужить как-нибудь, уж черт бы ее взял!

Когда перед ним в темноте скорее почувствовались, чем обрисовались черные силуэты погребов, а за ними мелькнуло освещенное окно караулки, Банникова остановил хриплый, простуженный голос Алехина. Часовой крикнул:

– Эй, кто идет?

– Свои, Банников.

– А смена скоро, не знаешь?

– Надо быть, скоро, – подумав, ответил Банников. – Надо быть, эдак, с четверть часа, што ли, еще тебе стоять.

В ответ послышалось легкое насвистывание гопака. Банников хотел уйти, как вдруг Алехин сказал:

– Караульный офицер был.

– Ну? Был? А что?

– Да ничего. Кабы не заметил, что ты был ушодчи.

– Ну-у! – с сомнением протянул Банников. Однако смутная тревога охватила его и задержала дыхание. Он подошел к караульному помещению и отворил дверь.

III

Когда Банников ушел, Цапля свернул папироску, лег на грязные, лоснящиеся доски нар, поднял ноги вверх и стал болтать ими в воздухе, постукивая каблуком о каблук. Он был в дурном настроении оттого, что его, ефрейтора, выпущенного из учебной команды, послали в караул часовым, как какого-то Банникова. Правда, это случилось из-за нехватки солдат, но все-таки мысль о том, что он должен, как простой рядовой, сменять Банникова или Алехина, которые чистят ему сапоги и винтовку, выводила его из душевного равновесия. С разводящим они одногодки, однако тот уже младший унтер, имеет две нашивки и получает три рубля жалованья, а он, Цапля, все еще ефрейтор. Непонятно и унизительно. От скуки ему захотелось подразнить разводящего, и он сказал, пуская табачный дым колечками к потолку:

– Петрович! А, Петрович!

– Ну, – отозвался унтер, закрывая устав. И так как Цапля молчал, придумывая, что сказать, добавил: – Я, брат, вот уже двадцать три года Петрович!

– А не зря ли мы Машку послали? – как бы рассуждая сам с собой, продолжал Цапля. – Зря, право, зря!

– А почему зря? – спросил разводящий, вынул карманное зеркальце и, боком поглядывая в него, раздавил прыщ около носа. – Почему, ты говоришь, зря?

– Как бы караульный офицер не пришел. Застанет на грех, да облает, а еще, того гляди, в карцер запрячет.

– Придет – скажу, что ушел часовой, мол, по своей надобности, – и вся недолга.

– Ой, придет, чует моя печенка, – продолжал Цапля. – Этот Циммерман имеет обнаковение спозаранку. Мне из его четвертой роты сказывали.

– И врешь же ты все, Цапля! – с досадой сказал разводящий. – Экий у человека брешливый язык!

– А вот с места не сойти! А ты маленький, что ли, не понимаешь, караулы-то они вон на каком расстоянии. Конечно, зачнет ходить пораньше.

– Да будя тебе брехать. – сказал разводящий, отрезая новый ломоть хлеба. – Спи, околеи до чаю.

– А вот он идет! – вскричал Цапля, глядя в окно и нарочно приподнимаясь, чтобы разводящий поверил ему. На самом же деле он никого не видел, да и глубокий мрак, висевший за окном, не позволял ничего видеть.

В это время за дверью караульного помещения раздались медленно-приближающиеся шаги. Разводящий подумал, что идет Банников, но что Цапля принимает шаги солдата за приближение офицера. Поэтому он решил сам напугать Цаплю, встал из-за стола и запер дверь на крючок.

– Не пущу его, – сказал он, держа руку у крючка, – твоего Циммермана. Нехай тем же поворотом гарцует обратно.

Кто-то дернул дверь, крючок брякнул и замер. Но Цапля уже действительно не на шутку испугался и вскочил с нар.

– Эй, Петрович, отпирай ему! – крикнул он. – Ведь и в самом деле...

Разводящий заторопился, снимая крючок, сообразив, что Банников в самом деле не мог

вернуться так скоро. Но железо как-то не слушалось его вдруг задрожавших пальцев и неловко скользило в петле.

– Вот дурака валяет! – взволновался Цапля. – Шутки шутками, а в самом де...

Сильный удар в дверь потряс стены ветхого здания караулки так, что задребезжали стекла и огонь испуганно затрепетал в лампе. Разводящий отпер. Раздалось энергичное ругательство, дверь с силой распахнулась настежь, и взбешенный офицер быстрыми шагами вошел в помещение.

Цапля уже стоял, вытянув руки по швам. Разводящий взял под козырек, крикнул: «Смирно!» и побледневшими губами пытался пролепетать рапорт. Лицо его из грустного и сонливого сделалось вдруг жалким и растерянным.

– Ваше благородие, в карау... – начал было он, но Циммерман раздраженно махнул рукой.

– Чего запираешься, черт! – крикнул он, бегая серыми обрюзгшими глазами с разводящего на Цаплю. – С девками вы, что ли тут, сволочь?

– Простите, вашебродь, – сказал унтер голосом, пересекающимся от волнения. – От ветру... дверь. Ветром отводит... Я на крю... хотел припереть... вашбродь!

Офицер смотрел на него в упор, засунув руки в карманы пальто и как бы ожидая, когда солдат кончит свои объяснения, чтобы снова разразиться бранью. Циммерман был невысок, сутуловат, с длинной шеей и брюзгливым, птичьим лицом. Он ударил ладонью по столу и сказал:

– Поставь ведомость!

Разводящий заторопился, вынимая бумагу из брюк. В это время офицер нагнулся и посмотрел под нары. Не найдя там никого, он немного успокоился и сказал:

– Где третий?

У разводящего захолонуло сердце, но он притворился спокойным и быстро проговорил:

– Банников... вашбродь... так что вышел за своей нуждой...

– Позови его! – сказал офицер утомленным голосом, разглядывая стены. – Позови его!

Цапля стоял, возбужденно переминаясь с ноги на ногу, и испуганно смотрел на разводящего. Унтер тоскливо вздохнул, откашливаясь и беспомощно глотая слюну. Ему хотелось заплакать. Прошло несколько томительных, долгих мгновений. Циммерман подписал ведомость и сказал:

– Ты слышал мои слова?

– Будьте великодушны, вашбродь! – плаксиво забормотал унтер. – Он вышел, вашбродь... У меня просянь... за кипятком, вашбродь... Сейчас обернется.

– Сволочь! – сказал офицер твердо и отчетливо, подняв брови. – Сволочь! – повторил он, уже раздражаясь и посапывая. – Ты в карцере сидел?

– Никак нет, вашбродь! – с отчаянием выдавил из себя разводящий.

– На первый раз скажешь своему ротному, чтобы посадил тебя на пять суток переменным. Понял?

– Так точно, ваш...

Циммерман повернулся к солдатам спиной и, толкнув ногою дверь, вышел. Когда дверь затворилась, разводящий стоял еще некоторое время на прежнем месте, уныло смотря вниз.

– Эх ты, господи! – вздохнул он, разводя руками. – Ну, что это? Почему такое?

– Я тебе говорил, Петрович, отопри! – заискивающе пробормотал ошеломленный Цапля. – Разве я зря? Когда мне из четвертой роты...

– Пошел ты к лешему! – сказал унтер, садясь за стол и с вытянутым лицом трогая книгу за углы. – Ты говорил? Ты лежал и брехал.

Он был сконфужен и разозлен печальным результатом своей шутки с Цаплей. Перспектива чаепития, такая заманчивая несколько минут назад, сделалась теперь безразличной и нудной.

– А, отсижу! – вдруг ободрился разводящий, приходя в себя. – Пять суток – ишь, удивил солдата!

– Я вчера Лизку встрел, – сказал Цапля, стараясь перевести разговор на другую тему. – Убегла ведь от меня, стерва, не верит в кредит, ха, ха, ха!

– Ну, пять суток, так пять суток! – продолжал размышлять вслух разводящий. – Пять – не

десять!

– Ведь как угадал, – удивлялся Цапля, тупо усмехаясь широким ртом. – Ровно знал, что придет. Прямо вот такое было у меня предчувствие.

– Рад, что накаркал, – огрызнулся унтер. – А вот он самый с кипятком идет.

IV

Банников поставил чайник на стол и весело улыбнулся, запыхавшийся и довольный тем, что не даром сходил. Сахар в бумажке он тоже вынул и сказал, подвигая его разводящему:

– Не больно горяч только кипятком-от. И то насилу достал. У буфетчика выпросил, он уже запариться хотел.

– А ну тебя с кипятком! – морщась, процедил сквозь зубы разводящий. – Тут из-за тебя такая неприятность была.

– А што? – спросил, недоумевая, Банников, переводя глаза с ефрейтора на унтера. – Кака неприятность?

– Кака, кака? – закричал Цапля, багровея и брызжа слюной. – Разиня вятская, черт бы тебя там дольше носил!

Он был взволнован недавним приходом офицера, и теперь, при виде спокойных, ясных глаз Банникова, испытывал непреодолимую потребность выместить на нем взбудораженное состояние своей души. Цапля был «отделенным» Банникова, начальством, и поэтому считал себя вправе кричать и браниться.

Недоумение в лице Банникова еще больше раздражало его. Он сплюнул в сторону и продолжал громким, злым голосом:

– Цаца эдакая! Смотрите, мол, на меня, какой я красивый!

– Чего же вы ругаетесь, господин отделенный? – тихо сказал Банников. – Я же ведь ничего...

– А чего ты два часа слонялся? Из-за тебя вон разводящий засыпался.

– На пять суток, – уныло сказал унтер, перелистывая устав. – Караульный тут был, тебя спрашивал, а как ты отлучился, так вот я и засыпался.

– Я не виноват, – вполголоса ответил Банников.

Он чувствовал себя глубоко обиженным, но поборол волнение и, сев с краю нар, принялся переобувать сапоги, натиравшие ногу портянками. Разводящий продолжал сидеть над уставом, шевеля губами и изредка подымая глаза к потолку. Лампа чадила, узкая струйка копоти вилась вверх, расплываясь в воздухе. В красноватом мигающем свете фигуры солдат и самые лица их казались деревянными, грубо раскрашенными манекенами. В бревенчатых стенах шуршали тараканы, изредка срываясь и падая; в углу, у кирпичной облупленной печи, блестели металлические части винтовок. Цапля, в глубине души чрезвычайно довольный несчастьем разводящего, стоял, заложив руки в карманы. Губы его, сложенные сердечком, насвистывали песню: «Крутится, вертится шар голубой...» Затем он поймал на стене таракана и оборвал ему усы. Таракан вырывался, но Цапля понес его к лампе, бросил в стекло и долго, ухмыляясь, смотрел, как коробится и трепещет от боли поджаренное насекомое. Повода придраться к Банникову пока больше не было. Цапля скучал. Его беспокойный, дурашливый характер требовал суеты, кипения, брани. Он стал ловить другого таракана, но разводящий поднял голову и сказал:

– Руки поганишь, а потом будешь за сахар хвататься. Брось! Давай чай пить. Пить – так пить...

– А где кружки? – спросил Цапля, хотя знал, что они стоят на полке в углу; но ему хотелось, чтобы их принес Банников. Банников не шевелился, и острая неприязнь к молодому солдату снова шевельнулась в груди ефрейтора.

– Там, на полке, – сказал разводящий, отрываясь от устава и закрывая книгу.

Цапля помялся немного, потом достал две кружки, плеснул в них воды из чайника и вылил на пол. Затем налил себе и унтеру, взял кусочек сахара, бережно откусил и потянул из кружки бурую теплую жидкость. Чай показался ему слишком холодным, и Цапля крикнул:

– Ты что же, Машка, с погреба кипятку-то принес?

– Да, Банников, холодноват! – сказал и унтер, трогая чайник.

– Да не было, взводный, горячего-то! – ответил Банников. – Чуть было еще сахару не забыл купить.

Цапля принял эти слова на свой счет и вспыхнул. Ему показалось, что Банников хочет укорить его в том, что он, Цапля, пьет его чай и сахар, а все же недоволен и ругается. Он стукнул кружкой о стол и закричал:

– Сахару купил! Думаешь, сахар купил, так тебя, тетерю, завсегда по башке будут гладить? Ты чего коришь сахаром-то своим? Лапоть паршивый, а? Хошь, я тебе завтра пуд сахару в зубы воткну? Что я сахару твоего не видал, что ли?

Банников надел второй сапог и удивленно, оторопев, смотрел несколько секунд на расходившегося ефрейтора. Прошло еще мгновение, и на розовом, безусом лице его скользнула улыбка. Что было в ней, это знал только он сам, но Цапле в мягко улыбнувшемся рте солдата почудилось снисходительное сожаление и уверенность в своей правоте. Этого он не мог снести. Глаза его сузились, круглые, мясистые щеки запрыгали, как в лихорадке. Цапля поставил кружку на стол и вплотную подскочил к Банникову.

Неожиданно для самого себя он занес руку наотмашь и больно ударил Банникова по лицу концами пальцев. Сначала, в момент замаха, намерения ударить у него не было. Но когда побледневшее лицо Банникова с испугом в глазах метнулось в сторону, уклоняясь от удара, у Цапли вспыхнула острая жестокость к розовой упругой щеке, и он конвульсивно дернул по ней пальцами.

– Эй, Цапля, не драться! – строго прикрикнул унтер. – В казарме дело твое, а при мне не смей!

– Вот, смотри на него! – сказал Цапля глухим голосом, дрожа от волнения. – Цаца! Пальцем его тронуть не смей? Ишь, сволочь!

Банников встал и провел по щеке дрожащими пальцами. Лицо его попеременно вспыхивало красными и белыми пятнами. Он хотел говорить, но неведомое чувство сжимало ему горло. Наконец на темных глазах его заблестели слезы, и он сказал:

– За что вы меня бьете-то, отделенный? А? За что?..

Тоска и жалость к себе слышались в его голосе. Цапля притворился пьющим чай. Ему было уже совестно за вспышку, но не хотелось показать этого.

– За что вы меня ударили, отделенный? – тихо и настойчиво повторил Банников. – За что? Я же ничего.

– Чего мелешь? – сердито отозвался Цапля. – Кто тебя бил? Никто тебя не бил. Поговори еще.

Наступило неловкое молчание. Злая тяжесть обиды глухо ворочалась в Банникове. За что? Он купил для них за свои деньги чаю и сахару. Ему вдруг страстно захотелось уйти, уйти из опостылевшей караулки куда-нибудь в лес, лечь на траву и забыться.

Разводящий молча прихлебывал чай, чувствуя стеснение и неловкость от выходки Цапли. Желая нарушить тягостное молчание, он покрутил усы и сказал:

– Какой случай в пятой роте был. Приходит артельщик на базар за крупой, крупы купить. Ну, это самое, купил, на кухню принес, смотрит, а там, в мешке-то, шесть мышенят подохших. Ей-богу! Целое гнездо. Так и бросили, дежурный по кухне велел...

Унтер мельком взглянул в сторону Банникова. Солдат сидел неподвижно, смотря в одну точку глазами, полными слез.

– Будет, Банников! – сказал разводящий, крикнув. – Он так, сдуру. Брось!

И, помолчав, добавил:

– В конвойной команде двоих избили прямо в лоск... Одному так пол-уха откусили.

– Разводящий! – сказал Цапля, прислушиваясь. – Никак Алехин свистит.

Действительно, за стеной караулки трещали короткие, раздражительные свистки. Унтер посмотрел на часы, отставил кружку и сказал:

– Банников, айда на смену! И так прозевали. Четверть часа лишка стоит человек.

Банников встал, молча надел поверх белой рубахи серую скатанную шинель, взял из угла винтовку и вышел... Вслед за ним вышел и разводящий и через несколько минут вернулся назад с Алехиным, рябым и курносый парнем.

V

Банников, заступив пост, осмотрел ружейный затвор, поставил его на предохранительный взвод и медленно обошел здание порохового склада, рассматривая, в целости ли замки, печати и двери. Убедившись, что все благополучно, он вскинул винтовку на плечо и стал ходить взад и вперед по узкой тропинке, проложенной часовыми. Дул по-прежнему холодный, упорный ветер, свистя в ушах, но Банников, расстроенный случившимся в караулке, не замечал ни ветра, ни холода. Раздражение против Цапли постепенно утихло, и он только с грустью думал о том, что за три оставшихся года службы придется, вероятно, еще много натерпеться подобных неприятностей. Понемногу в одиночестве и тишине уснувшей площади ему захотелось спать, но он, как и всегда, преодолевал усталость, расхаживая и высчитывая, когда придет письмо из деревни в ответ на его письмо, в котором он просил выслать холста для рубашек и яблоков.

Алехин между тем долго и основательно ругался, узнав, что ужин не принесли и что кипятку в чайнике почти не осталось. Унтер меланхолично рассказал ему о посещении караульного офицера и своем несчастье. Алехин на это заметил:

– Леший бы их всех драл! С солдата спрашивают, а чтобы куб поставить в караулке, так этого нет. Спать я хочу; утро вечера мудренее, а баба девки ядренее.

Он лег на нары, зевая во всю мочь, сунул под голову свернутую шинель, дососал окурков папиросы и скоро захрапел. Его пример нагнал сонливость и на разводящего, но так как унтер спал крепко и боялся проспять смену, то не лег на нары, а просто склонился на руки к столу и начал дремать.

Цапле не спалось. Он долго и отчаянно зевал, придумывая, чем бы убить время. Почему-то смуглая, побледневшая от удара щека Банникова вертелась перед глазами, вызывая раздражение против себя, солдата и вообще против всего неудачного дня. Кроме того, что пришлось идти в караул часовым, он проиграл еще утром в карты рубль шестьдесят копеек и остался без денег. Вытащив складной нож, Цапля принялся ковырять им дерево стола, отдирая пальцами щепки; потом плюнул в гирю стальных часов, но не попал и стал считать удары маятника. А досчитав до тридцати, заскучал, надел шапку и вышел из помещения.

VI

Небо выяснилось и, синяя, мерцало холодным узором звезд. От этого вверху, над черными массами зданий, было как будто светлее, а над землей по-прежнему расстилался унылый мрак, заставляя напрягать слух и глаза. Рубаха Банникова смутно белела шагах в двадцати от караулки, неподвижно и сонно. Цапля долго смотрел в его сторону, подпрыгивая коленом и засунув руки в карманы брюк.

«Ишь, фря! – сказал он мысленно. – Тоже, выслужиться хочет. Фордыбачит. Очень мне твой сахар нужен!»

Но тут же вспомнил, что часто брал взаймы у Банникова и сахар и чай.

«Пойти вот, пугнуть тебя хорошенько, так будешь знать, что есть служба!»

Мысль эта мелькнула в его голове сначала просто словами, но потом Цапля стал думать, что в самом деле хорошо бы еще как-нибудь посмеяться над Банниковым. Ни то, что он ефрейтор и отделенный, ни то, что он ударил Банникова и ругал его, не давало ему сознания своего превосходства над ним. Напротив, как будто выходило, что он еще чем-то обязан Банникову, и тот знает это. Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы молодой солдат почувствовал зависимость свою от него и признал ее.

«Выкрасть разве затвор у его? – сказал себе Цапля. – Пусть попросит Машка хорошенько, тогда отдам!»

Эта жестокая, но соблазнительная мысль сменилась другой – что такого аккуратного солдата, как Банников, трудно застать врасплох. Однако Цапля хотел попытаться. У него была надежда, что Банников уснул или задремал, в крайнем же случае ефрейтор решил тихонько подползти к нему сзади, сразу выхватить из винтовки затвор и убежать. К тому же сильный, гудящий ветер, наверное, заглушил бы шаги и шорох. Окончательно взбудораженный возможностью интересного развлечения, Цапля уже представлял хохот разводящего и растерянность Банникова, когда он заметит свою оплошность и увидит, что затвора нет. Такие шутки часто выкидываются солдатами, и Цапля однажды уже с успехом проделал это.

Он вернулся в караулку, торопливо скинул летнюю рубашку с погонами и остался в темной, бумазейной. Фуражки он не надел потому, что она была тоже белая, парусиновая, и вышел за дверь. Белая рубаша часового смутно маячила в том же самом месте. Цапля осторожно, на цыпочках, затаив дыхание, прошел несколько шагов по направлению к пороховому складу, потом лег на живот и стал тихо ползти к углу здания, где, опираясь на пожарную кадку с водой, спиной к нему стоял Банников. Холодная, мокрая трава задевала и колола лицо Цапли, колола руки, а он, подползая все ближе и разглядев внимательнее позу часового, окончательно уверился в успехе своего предприятия и пополз энергичнее, тяжело раздвигая неуклюжим, коротким телом слабо шуршащую траву.

Теперь между ним и Банниковым оставалось пять-шесть шагов расстояния. Из-за высокой кадки Цапле виднелся белый чехол фуражки и темный силуэт плеч. Тонкое черное острие штыка шевелилось рядом с головой, как раз с левой стороны, с которой приближался Цапля. Улыбаясь в темноте, ефрейтор приостановился, рассматривая кадку и соображая, заползти ли совсем с левой стороны к Банникову, или сзади, из-за кадки, протянуть руку и нащупать затвор ружья.

Часовой тихо напевал какую-то заунывную песню и медленно покачивал головой из стороны в сторону. Цапля решил выползти из-за кадки, сообразив, что, пожалуй, из-за нее рукой ружья не достать. Он стал подниматься на четвереньки, подбирая ноги, и вдруг прижался к земле всем телом, как пласт. Банников зашевелился. Ему надоело стоять на одном месте, слипались глаза. Стараясь прогнать тягостное оцепенение, он поднял ружье, потоптался немного и медленными, мерными шагами двинулся в сторону Цапли.

Ефрейтор совсем прирос к земле, зарывая лицо в траву. Он лежал шагах в трех от стены здания, мысленно ругая Банникова и досадуя на свою неловкость. И в то мгновение, когда он хотел незаметно двинуться в сторону, Банников задел ногой о его сапог, почувствовал живую упругость человеческого тела и испуганно остановился.

Тишина вдруг сделалась зловещей и хитрой, со звоном бросилась в уши, ударила в сердце. Десятки различных мыслей, нелепых и смутных, разбежались в голове Банникова, как стая рыб. Вздрагивая, как струна, он взял ружье наперевес, осторожно склонился, разглядывая траву, и еще более испугался, различив немые очертания притаившегося человека. Что-то уперлось ему в грудь, сжало кольцом горло, завертелось в глазах.

– Кто тут? Встань! – с отчаянием сказал он нетвердым голосом, судорожно стискивая руками ложе ружья. – Эй!

Неизвестный молчал. Ефрейтор лежал сконфуженный, с слабой надеждой, что Банникову только почудилось, и он уйдет. Часовой нагнулся еще ниже, присел на корточки и с удивлением узнал Цаплю. Испуг сразу отхлынул, но сердце еще продолжало стучать громко и назойливо. Одно-два мгновения Банников стоял выпрямившись, с досадой и недоумением.

Цапля неподвижно лежал, и страх снова вернулся к Банникову. Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил острие штыка к затылку ефрейтора и тоскливо затаил дыхание.

– Вставайте, отделенный! – твердо сказал он, со страхом вспоминая устав и преимущество своего положения. – Ну!

Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали Цаплю на земле. Он упрямо, с ненавистью в душе продолжал лежать.

Мысль о том, что Банников, Машка, деревенский лапоть, приказывает ему, приводила его в бешенство. Цапля стиснул зубы и оцепенел так, чувствуя, как раздражительно и зло бьется его

сердце.

– Вставайте, отделенный! – настойчиво повторил Банников и, пугаясь, сильнее нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали и тоскливого сознания, что тяжелый острый предмет колет ему затылок. Но у него еще оставалась тень надежды, что Банников ради будущего не захочет его унижения и уйдет.

Часовой тяжело дышал, бессознательно улыбаясь в темноте. И оттого, что орудие смерти упиралось в живое тело, глухая хищность, похожая на желание разгрызть зубами деревянный прут, жарким туманом ударила в его мозг. А возможность безнаказанно убить неприятного, оскорбившего его человека показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрогнув мучительно сладкой дрожью, он поднял ружье и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз.

Хрустнуло, как будто штык сломался. Конец его с мягким упорством пронзил землю. И в тот же момент злоба родилась в Банникове к белому, сытому и стриженому затылку ефрейтора.

Тело вздрогнуло, трепеща быстрыми, конвульсивными движениями. Тонкий, лающий крик уполз в траву. Цапля стал падать в бездонную глубину и, согнув руки, пытался вскочить, но голова его оставалась пригвожденной к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружье в руках Банникова. Солдат еще сильнее нажал винтовку, удерживая бьющееся тело, потом с силой дернул вверх, отчего голова ефрейтора подскочила и стукнулась о землю равнодушным, тупым звуком. Шея Цапли вздрогнула еще раз, вытянулась вперед и затихла вместе с неподвижным, притаившимся телом.

Выжидательно улыбаясь и чувствуя странную пустоту в голове, Банников потрогал пальцами теплый, липкий конец штыка, затем прислонил ружье к стене, достал коробочку спичек и стал зажигать их, опустившись на колена возле убитого. Ветер почти моментально задувал огонь. Желтые вспышки одна за другой на мгновение выхватывали из мрака восковой окровавленный затылок ефрейтора и гасли, сорванные ветром. Банников швырнул коробочку в сторону, потом встал и начал искать ее, чувствуя в теле и движениях тупую, пьяную легкость. Руки его были холодные и дрожали. Не найдя спичек, он вспомнил о винтовке, вскинул ее на плечо, хотел пойти куда-то, но остановился и сказал:

– А я почему знаю, кто он такой есть? Я по правилу. Я правильно!

Тяжелая, смертельная тревога сменила возбуждение. Банников поднес к губам свисток и свистнул долгой, пронзительной трелью, вызывая разводящего.

Находка

I

Тюльпанов присел к столу, жадно ощупывая глазами большой деревянный ящик, полный сырой, грязно-белой земли.

Управляющий тоже сел. Лицо его сияло почтительно и воодушевленно, как у даровитого повара, толкующего барину о прелестях пикантного соуса.

Прошла секунда молчания. Тюльпанов нервно мямл пальцами жирные, мягкие, как мазь, комки глины. Он сомневался, брови его хмурились от внутреннего напряжения; факт еще не овладел им настолько, чтобы он мог громко и бурно выразить свою радость. Между ящиком с глиной и богатством лежала пропасть.

– Так вы думаете? – боязливо спросил Тюльпанов, и полное, привычно насмешливое лицо его обратилось в вопросительный знак. – Смешно ведь, а? Земля какая-то... А впрочем... Да-а!

– Несомненно, – авторитетно произнес управляющий, – воочию перед вами убедительнейший аргумент.

– Фаянс! – задумчиво произнес Тюльпанов. – И много?

– Гибель!

– Так что же?! – с маленьким нетерпением заговорил Тюльпанов. – Это ведь... нужно по-

думать!

– А то как же?! – радостно закричал управляющий, и его крохотный пунцовый рот брызнул слюной. – Конечно, подумать!.. Хотя думать вам что же особенного? Деньги нужны.

– Деньги! – сомнительно протянул Тюльпанов. – Вот то и скверно, что для денег всегда деньги нужны.

Оживление его погасло.

Почти враждебно, но еще любопытными глазами смотрел он на неприглядную глину, вокруг которой сустились туманные представления о фабриках, машинах и снежно-белой посуде. Все это казалось хлопотливым, громоздким и выдуманным. Управляющий все время вертелся как на иголках. Последние слова Тюльпанова прищипорили его хлопотливую, увлекающуюся натуру.

– Позвольте, что же вы хотите еще? – волнуясь, спросил он. – Я знаю ведь, в общем, ваше теперешнее состояние; ну – денег нет, ну – заложено. А третью закладную нельзя? А долгосрочная аренда – фунт изюма? А занять – свет клином сошелся? Да не будьте вы этой глиной, милостивый государь! Вам, как говорится в известных кругах общества, пофартило! Пользуйтесь!

Тюльпанов достал из перламутрового ящика гаванскую сигару и стал ее закуривать. Пальцы его слегка вздрагивали.

– С одной стороны, – нерешительно начал он, – я разделяю ваш энтузиазм и согласен, что... Но масса вопросов: деньги, кредит, рабочие руки, машины... а?

– Акции, – коротко бросил управляющий. – Акции!

Тюльпанов встал.

– Я поеду.

Управляющий взял шляпу.

– Но, – он поднялся на цыпочки, помахивая указательным пальцем, – у вас сотни тысяч, прошу помнить. – И в тот же момент лицо его просияло благодушным деловым выражением. Он церемонно поклонился и вышел.

Прикинув мысленно необходимую сумму, Тюльпанов рассеянно усмехнулся и тотчас стал думать о других, более неотложных делах. Дочь Лидия требовала из Петербурга денег. Ее изящные письма курсистки хорошего тона говорили об этом между строк, вскользь, сдержанно и настойчиво. Платить рабочим, платить за стекла для парников, выбитых прошлым годом градом. И масса мелких расходов – ремонт белья, конюшни, выписка грушевых дичков, семян, весенний костюм младшей дочери – все это свертывалось в один плотный пакет векселей и счетов.

II

На веранде, в тени весенней листвы, младшая дочь Тюльпанова, Зоя, рассказывала штабс-капитану:

– У меня бывают дни скверного, прескверного настроения... Знаете – душа как будто закутана паутиной, с черным мохнатым пауком внутри, и боишься двигаться, боишься обратить на себя внимание этого черного паука... Делаешься слабенькой-слабенькой!

– Хо-хо! – сказал, делая смеющееся лицо, штабс-капитан. – Это, как говорится у нас, плюмпохондрия!

– Плюм! – мило удивляясь, сказала Зоя. – Почему же плюм?

– Случайность. Был у нас, в шестой роте Плюм, поручик Плюм – он того... застрелился. Ну, так он страшно скучал перед смертью, а застрелился от несчастной любви. Не выдержал.

– Не выдержал, – тихо повторила Зоя, роняя руки вдоль тела и устремляя взгляд в предвечную глубину сада. – Не выдержал! Это была молодая, чистая, тоскующая душа... его не поняли.

– Да вы думаете что? – воскликнул штабс-капитан. – Любви не выдержал? Ничего такого, уверяю вас, не было. Просто поддразнивали его, в пьяном виде угораздило его как-то сказать: «А я застрелюсь». Ну вот и пошло... Скучно, знаете. Кто ни увидит: «Плюм, а стреляться?» Он потом привык даже так, что обижаться перестал. Но все-таки застрелился.

Зоя промолчала; разговор принимал нежелательное для нее направление. Офицер нравился

ей, хотелось полунамеков, раздражающей игры, туманных недосказанностей, лишенных всякого смысла и полных столь приятного для женщин нервного напряжения.

– Ах, тоска, тоска! – вздохнула она, облокачиваясь на перила веранды перед самым лицом Зуева. – И нервы шалят... Ночи такие душные.

«Замуж хочется, – машинально подумал Зуев, рассматривая крепкую фигуру девушки. – Да она совсем ничего... Разорены... Свяжись... жалованье...» – мелькнуло у него в голове, мешаясь с мыслями игрового свойства, далекими от меркантильных расчетов.

«А ну, – решил он, приготовляясь заговорить. – Не стоит!»

– Михаил Ильич, – сказала девушка, – хотели бы вы быть рыцарем?

– Рыцарем? – Зуев перекошил брови и сморщился. – Конечно... хотя этот род вооружения устарел. А что?

– Я люблю все мужественное, храброе, выносливое... В вашем лице есть что-то индийское... И мне кажется, что вы совсем иной, чем... кажется.

– Хо-хо! – сказал Зуев. – Да ничего такого особенного. Впрочем, в душе каждого человека... Я гимназистом стихи писал, – неожиданно закончил он и густо побагровел.

– Ну да, – сосредоточенно произнесла Зоя, внимательно рассматривая переносицу штабс-капитана. – И вы прочтете мне эти стихи, да?

– Н-нет! – с усилием крикнул Зуев, смутно чувствуя приближающуюся опасность. – Забыл, представьте... да и что там – чепуха, фигли-мигли...

– Ну вот... какой вы, – сказала, помолчав, девушка. – Кажется, могли бы... для меня... – прибавила она с легким подчеркиванием. – Нет? Ну, не надо. Я вам этого не прощу.

Зуев брякнул шашкой и рассмеялся, блестя зубами.

– Повесите? – подмигивая, спросил он.

– Хуже...

– Хуже?

– Да. Вы пойдете со мной гулять. Пойдемте к роще. Там папа... Да вы ведь еще не знаете...

– Ничего не знаю, – покорно ответил Зуев.

– У нас нашли эту – ну, белая глина, фаянс... и, кажется, хотят строить фабрику или что-то в этом роде. Одним словом, папа и управляющий теперь только об этом и разговаривают... Ха-ха! Как будто это так просто, Михаил Ильич. Они сейчас заняты там своими исследованиями.

– П-пойдемте! – крикнул Зуев, приподнимаясь от удивления и нетерпения. – Фаянс? Да что вы? Х-ха-рашо! Очень х-харашо!

– Давайте руку, – повернулась Зоя, увлекая штабс-капитана в сад. – Впрочем, все это скучно, и папа только опаздывает к обеду. Ходит по столовой большими шагами и бурчит про себя.

– А знаете, – сказал штабс-капитан, – ведь может интереснейшая вещь получиться. Хо-хо!

Они миновали сеть аллей, изгородь и шли узкой, вихляющейся тропинкой среди заброшенных парников, напоминающих крыши неведомых подземных лагун. Солнце садилось; сияющие весенние сумерки погружали холмистую зелень полей в чуткую, вздыхающую дремоту.

– Воин, – сказала Зоя, прижимаясь к штабс-капитану, так что он вдруг ощутилдвигающуюся тяжесть ее цветущего, большого тела, – вы слышите беззвучные голоса полей?

– Я слышу один голос – ваш, – подумав, сказал Зуев, – это голос полей, но не беззвучный, а, напротив, весьма звучный.

– Так? – спросила она, нагибаясь и заглядывая снизу в глаза Зуеву. – Впрочем, с вашей стороны это простая любезность. Вам незачем меня слушать.

– Как знать?... – таинственно ответил штабс-капитан. – Вот я помню одни стихи насчет человеческой души... В том смысле, что... Как это?... Откашлявшись, он сделал свободной рукой жест, похожий на движение поварского ножа, разрубающего котлету, и быстро проговорил:

– «Тара-та-та-та, ра-ра-те-та-тэй... Ни моря нет глубже, ни бездны темней».

– Ха-ха-ха! – залилась Зоя, и смех ее немного сконфузил Зуева. – А «тара-та» – это что значит?

– А забыл, – скромно ответил Зуев. – Так легче вспоминать.

Рука женщины прижималась к нему, круглая и горячая под муслиновым рукавом; он было

почувствовал некоторое сопротивление этому дурманящему теплу, но вспомнил фабрику, и целые горы новенькой посуды сверкнули перед глазами. «На всякий случай, – мысленно сказал он, прижимая в свою очередь локоть девушки. – Где наше не пропадало!»

Впереди, у рощи, двигались две фигуры, наклоняясь и ковыряя в земле.

– Вот папа! – крикнула Зоя. – А мы на вашу глину смотреть пришли.

Тюльпанов, с засученными рукавами летнего пиджака, сказал Зуеву, протягивая запачканную землей руку:

– Не смотрите, не смотрите! Ничего нет. Пока что – одни проблемы.

– Хо-хо! – сказал Зуев. – Вот она где, Колхида-то! Н-да, удивите вы всех, право! – Зуев говорил без насмешки, и это ободрило Тюльпанова.

– Все Андрей Кузьмич, – сказал он, обчищая грязь с рук. – Он нашел эту глину, он и хороводится.

– Папа, – крикнула Зоя, – если разбогатеешь, непременно купи мне дачу... где-нибудь на Капри! Купишь?

– А что ты думаешь? – серьезно сказал Тюльпанов. – И куплю. Пусть только Повезет! Я много чего наметил... Вообще развернусь всюю... Закатим дом в Петербурге, Зойка, а здесь устроим деревенский Эдем – парк, газоны, цветники... плодовый сад преогромный... скаковую конюшню... а? Кандидатуру свою в Государственную думу выставлю... а? Здорово, Михаил Ильич?! Тюльпановский промышленный... округ, а?!

III

На карточке красивым рондо было отпечатано по-русски и по-английски: Вильям Герберт Брайтон. Тюльпанов вышел в гостиную. Он был несколько озадачен, заинтересован и встревожен. С мягкого плюшевого кресла поднялся человек лет сорока пяти, одетый элегантно и скромно, бритый, с короткими черными волосами и матовой желтизной упрямого зеленого лица, глядевшего на Тюльпанова чуть-чуть сонно, чуть-чуть строго. Глаза у него были выпуклые, круглые и блестящие.

– Брайтон, – сказал англичанин. – Я вас нужно по одному делу. – Русские слова, окончание которых он почти сглатывал, звучали у него заученно и деревянно. Лицо не участвовало в разговоре, оно с каменной, холодной вежливостью рассматривало Тюльпанова.

– Прошу садиться, – сказал Тюльпанов.

Брайтон неторопливо опустился на стул.

– Я извиняюсь, – произнес он, – но дело так важен, он для меня и для вас. Ви нашли глину.

– А! – вскричал Тюльпанов, мгновенно сообразив, что посещение англичанина может так или иначе отразиться на его интересах. – Как вы узнали? Это верно, но что, знаете! Какая глина, известно аллаху... Я, впрочем, надеюсь, да...

Брайтон помолчал. Быстрые искры соображения мелькнули в его быстрых глазах; он, видимо, старался уяснить себе отношение Тюльпанова к грязно-белой земле.

– Пять десятин, – так же сонно и деревянно произнес он, – от лес до маленький огород.

Тюльпанов улыбнулся, подумал, но слова англичанина остались для него непонятны. Он поднял брови, недоумевающе посмотрел на Брайтона и тихо спросил:

– Что вы говорите? Продать?

Что-то похожее на улыбку скользнуло в тонко очерченных, твердых губах Брайтона.

– Пять десятин, пятьдесят тысяч.

– Как? – делая ударение на каждом, прилипающем к языку слове, закричал Тюльпанов. – Вы хотите купить? – Сердце его вдруг забилося часто и ожесточенно, точно он наступил на змею и перепугался. Деловое лицо Брайтона и цифра, произнесенная вялым гортанным голосом, бросили ему в глаза ценность находки. Он внезапно всем существом почувствовал себя у денег, лежащих в земле, между лесом и огородом. Взмолнованный, он уставился на Брайтона в упор. Англичанин переменил позу, снял руку с колена и переложил ее на резьбу кресла.

– Позвольте же, однако, – заговорил Тюльпанов, – но вы... но я... разве вам сказал кто-

нибудь, что я намерен?.. Это странно, я вообще никому... да и как же так... почему?

Купцы и арендаторы из соседнего города, с которыми он вел иногда дела, встали перед ним, по контрасту, как живые, с массой уловов и подходов, с неизбежным чаепитием, вопросами о погоде и т. д. Брайтон молчал. Тюльпанов развел руками.

– Вот, – сказал он, – что, собственно... А насчет продажи... Да и как вы предлагаете мне пятьдесят тысяч, когда вы и земли-то еще не видели? Хотите, я покажу? Вы, вероятно, интересуетесь, я...

– Нет, – сказал Брайтон, – это не надо. Я видел. Я смотрел, у меня есть пробы. Пятьдесят тысяч.

– Когда же вы успели? – спросил Тюльпанов, начиная сердиться. То, что этот человек без спроса успел вывести все, казалось ему невежливым.

– Семьдесят пять, – сказал Брайтон и добавил: – Тысяч.

– Позвольте! – завопил Тюльпанов. Долги, закладные, планы на лето, дом в Петербурге – вихрем взмыли перед его глазами и ушли, скрывшись в темных зрачках Брайтона. – Почему же это?.. Почему именно семьдесят пять? Почему не больше... не меньше? Или мы ведем деловой разговор, или шутим... Я не привык так. Но как, например?.. Частями, сейчас, после?

– Сто тысяч, – помолчав, выговорил Брайтон. – Задаток теперь. Половина задаток.

– Да вы шутите или всерьез? – крикнул, побледнев, Тюльпанов, и вдруг лицо его расплылось в блаженной улыбке. – Вы что же хотите, фабрику? Нет, что вы! Разве можно за такие пустяки? – Он вдруг пришел в азарт, вырос в своих собственных глазах и был совершенно оглушен цифрами. За последние годы он не держал в руках более десяти тысяч сразу. – Я сам выстрою фабрику! – сказал он гордо и испугался. Лицо его вытянулось, но непреодолимая потребность дать выход возбуждению тотчас же повысила павший диапазон. – А что вы думаете, – волнуясь продолжал он, – что мы, русские, не умеем вести дел? Ого!

– Сто двадцать пять тысяч, – медленно произнес Брайтон. – Я очень серьезно. Задаток теперь. Семьдесят пять – задаток. Я извиняюсь, – он подумал немного и неторопливо добавил: – Но это совсем ясно, как... – Брайтон прищурился, склонив набок голову, и закончил: – Как стекла. Дело просто: вы продаете земля, я даю деньги.

– Фу, – сказал Тюльпанов, вытирая платком вспотевший лоб, – а? Я... подумаю... Да, нет... Ну, хорошо, извольте. Сто двадцать пять? Хорошо! Как вы думаете, я не проде... Впрочем, что я – земля чудная, конечно! Так задаток? – Он был совершенно счастлив и боялся только одного: чтобы этот дикий, точно с другой планеты человек не раздумал. – Прошу в кабинет, – сказал он, – пожалуйста вот сюда, дверь направо.

IV

Лакеи суежились вокруг столов, тщательно избегая задевать локтями широко развалившуюся на стуле фигуру Кержень-Мановского, отставного исправника. За тем же столом сидели: Миловидов, городской голова, Тюльпанов и Ознобишин, редактор местной газеты. Было около одиннадцати часов вечера. Пьяный, развалистый шум, удары кулаков в стол, залитая вином ска-терть и криво сидящие галстуки говорили о той степени благодушия, когда пирующим трудно установить не только страны света, но даже левую и правую стороны. В то время как Миловидов с грустью и умилением посвящал исправника в тайны городского хозяйства, Тюльпанов говорил Ознобишину:

– Так и напишите... Вы не думайте, что я ищу популярности... черт с ней... а просто... Гласности больше нужно, я стою за печать... периодическую... Но не возгордись! Не ищи... понимаешь... в моих словах этакое к себе почтения. Ибо – нужна ли твоя газета? Вот в чем вопрос! Ты об этом подумай... И реши! Но в общем, разумеется, я разрешаю тебе писать о Тюльпанове. На-ро-до-на-се-ле-ние Тюльпанова добрым словом помянет, так как откроется богатейший... промыш-шленнейший завод. Понял? Ну и молчи!..

– Не могу в-местить, – сказал Ознобишин, мигая помутившимися глазами.

– П-потому, что есть я птица райская Алконост... печали огромной птица и г-орести! А пе-

чалюсь я... з-за всю губернию!.. Т-торжествующие твои слова – мне обида!..

– Ха-ха-ха-ха-ха! – захлебнулся исправник, и шея его побагровела, как у индюка. – Птица ты... алкоголь... да... Но чтобы Алконост... стае? Ни в коем случае!

– Полицейский! – внушительно сказал Тюльпанов, подымая кверху указательный палец.

– М-молчи! Ты пьян, полицейский!

– Гражданин! – промолвил Ознобишин, указывая на Миловидова. – Он гр-гражданин! А прочее все... водевиль!

– В-водевиль? – яростно прошипел исправник. – А ты кто – драма ты, что ли, пискулька! Я... с-случа...

– С переодеванием! – захохотал Тюльпанов. – В-водевиль с переодеванием. И нишкни!

– Кто здесь возвысил голос? – закричал исправник. Лиловые жилки заплесали на сто лбу.

– А? С-сашка Тюльпанов, нищий – нищий ведь ты... и немец тебя, куклу, благодетельствовал!

– Бритт, – хладнокровно вставил Миловидов, свертывая из меню трубку и рассматривая в нее рассерженного исправника.

– Бритт! – негодуяще воскликнул Кержень-Мановский. – Вот ты и брит этим бриттом, потому что ты просто-напросто... тьфу... овца! Кусок тела российского продал англичанке... нищий! У-у! Короста на благочестивом теле отчизны!..

– Кержень, – крикнул Миловидов, – цыц! Ты что? У себя в участке, что ли? Объясняйся, но... м-мягко!

– Оставьте его, – коротко и грустно проговорил Тюльпанов. – Пусть человек говорит... г-господа, э... дайте слово отставному исправнику.

Тюльпанов пожал плечами, выпил большую рюмку шведского пунша, закусил ананасом, вывалянным в пепле, и сказал:

– Я деньги получил. Это важно... И з-заметьте – много... К-ко-нечно, меня уламывали, п-потому что я н-не мальчик, но... и счастлив, – неожиданно воскликнул он.

Раз начав говорить, он был не в силах уже остановиться и много, пространно рассказывал о себе, своем детстве, какой-то лошади с подпалинами, невесте, дочери и тюльпановском промышленном округе. Вокруг, в сизом тумане, плавали блестящие выкаченные глаза, манишки, красные пятна рук, и все труднее становилось сидеть прямо, не лить на скатерть вино и говорить то, что нужно.

Миловидов сказал:

– Хорошо нам здесь, господа!.. Построим кущи!..

V

Еще хмельной, с тяжестью в голове, Тюльпанов прошел в сад. Он только что возвратился из города. Лицо его было серо, смято и в молодой зелени сада казалось лицом больного, выпущенного на прогулку. Он повертелся около черных клумб, соображая, сколько пройдет времени, пока утренний воздух уничтожит в его наружности следы хмельной ночи, и вспомнил, что Зоя, узнав о приезде отца, непременно пошлет горничную на розыски... Он прошел через сад медленным, беззаботным шагом, насвистывая мазурку, миновал парники и через две-три минуты был на том месте, которое день назад еще принадлежало ему.

«Продано! – подумал Тюльпанов. – Как скоро все делается на свете! В прошлом году деревенские мальчишки и Вовка считали этот когда-то отведенный под огород пустырек роскошным местом для игры в бабки».

Заложив руки за спину и втягивая прокуренной за ночь грудью парной воздух полей, Тюльпанов впал в элегическое настроение.

«Хорошо бы, – мечтал Тюльпанов, – хорошо бы, собственно говоря, вышло, если бы тут поблизости еще глину открыть! Гм! Воображаю, какую рожу скорчит англичанин. Он ведь и эту захочет купить, во избежание конкуренции. Тогда – миллион. Миллион – и никаких разговоров!»

И вдруг представилось ему, что все – усадьба, пашни, лес, парники, сад – расположено на

тоненьком, в два-три фута слое земли, скрывающем под собой сотни десятин белой глины. Что-то похожее на тревожное любопытство и мальчишеское лукавство дернуло Тюльпанова. Заинтересованный, он осмотрелся вокруг, соображая, в каком бы месте повернуть дерн, и, вынув небольшой перочинный нож, пошел вдоль рощи, удаляясь от проданного участка.

За рощей была узкая полоса межи, отделявшая яровое от леса. Подойдя к ней, Тюльпанов открыл ножичек, присел и вырезал кусок дерна, запачкав руки сырой и теплой землей; шевелились какие-то крохотные кучки, белели точки срезанных травяных корней.

Тюльпанов махнул рукой и хотел встать, но, вспомнив, что и прежняя глина лежала глубже, принялся быстро копать в рыхлом четырехугольнике. Сняв два или три вершка почвы, он бросил нож и беззвучно расхохотался. Перед ним была глина, та самая, настоящая, которую купил англичанин и которая, проходя горизонтальным пластом, попала под нож Тюльпанова. Это было так неожиданно, забавно и в то же время серьезно, что Тюльпанов остался сидеть в прежнем неловком положении, полный вспыхнувших мыслей и какаких-то особенно радужных, нетерпеливых надежд.

– Что же это такое? – полусердито, полусмеясь сказал он. – А? Каково? Как это вам нравится? Что за глиняное имение? Мухи дохнут, честное слово! Брайтон-то, Брайтон-то что скажет? А?

Он еще некоторое время восклицал и ахал, вытирая руки о носовой платок, потом понемногу, поправляя одна другую, мысли пришли в порядок, а на лицо Тюльпанова легла тень, и выросли перед его глазами не одна, а две фабрики, разделенные одной десятиной, вдвойне грохочущие, распространяя копоть и смрад, фабрики конкурентов, отнимающие у него пядь за пядью маленькое старинное имение, где так хорошо естся, дышится и живет, когда есть деньги.

И увидел он еще рабочий поселок, чуждую зеленой земле жизнь, услышал назойливые, унылые гудки, топот и шум толпы там, где молодые дубки ласково приглашают уснуть, в то время как на заманчиво расстеленной на траве скатерти бурлит самовар и румянится домашний пирог.

– Что же делать? – сказал Тюльпанов. – Положение-то мое забавное. Скрыть разве, а?! Любопытная будет вещь и даже романтично: тайна Тюльпановки, А хорошо эдак, перед смертью сказать там... внукам, что ли: идите за рощу и там, отмерив столько-то шагов... В этом роде. А?

Было тихо вокруг; насколько хватал глаз, холмились поля, одетые пышной озимью. Тишина и отсутствие людей приободрили Тюльпанова. Он доверчиво улыбнулся земле, небу и ямке, вырытой под ногами.

Поспешно путаясь вздрагивающими от испуга руками, собрал он рассыпанную на траве землю, сгреб ее в ямку, втиснул дерн на прежнее место и тщательно утоптал. Потом, виновато улыбаясь и щурясь от солнца, медленными, неуверенными шагами пошел в сторону, и казалось ему, что никто и никогда в мире не узнает новой, мучительной для него тайны Тюльпановки, разве только в том, и непременно в том случае, когда новая, настоящая нужда развяжет ему язык. А подходя к дому, был совершенно уверен, что выше его сил молчать далее двух недель.

Тайна леса

I

Гудок заревел. И толпа черных людей ринулась в фабричные ворота. Спеша и перегоняя друг друга, они наполнили вечерний воздух смутным гулом, криками и ругательствами.

Дорога в город шла лесом. Лес, пьяный от воздуха, очаровательная тишина чащи, пахучий сумрак полян, – чего еще требовать от земли – жалкой, пригородной земли севера? Бродить в лесу вечером – значит купаться в теплой, смолистой ванне.

Лес, или парк – как угодно, был прорезан тропинками. Каждая из них довольно болтливо говорила о том, кому принадлежат ноги, проложившие ее.

Там, где бродили влюбленные, образовались петли, спирали, неровные причудливые зигза-

ги, прерываемые более или менее широкими, утоптанymi местами, где она садилась, а он клал ей голову на колени, приманивая в траве. Охотники оставляли глубокие, запутанные следы, терявшиеся в зарослях. Рабочие проложили широкую, почти прямую тропу, ведущую от опушки к городу через самое сердце леса. Им некогда было ни останавливаться, ни сворачивать.

Так шли они каждый вечер, прямой, скучной тропой возвращения, в одиночку, попарно, группами, задыхаясь от быстрой ходьбы. Кругом благоухал лес, невидимые цветы кропили воздух ароматным благословением. «Спокойной ночи, земля!» – говорило небо, закрывая глаза. Но голубые зрачки их еще долго, полусонные и ласковые, следили за миром.

Угрюмый полировщик двигался медленным развалистым шагом. Попутные кабачки вставали перед его глазами, и пьяный дух стойки заносил над его душой властную руку демона. Это был человек, за неимением водки прибегающий к лаку и политуре, ибо всякому порядочному человеку известно, как много спирта в этих вещах.

Темнело, благодать сумерек окутывала стволы сосен, ели казались черными, замолкли иволги, осторожно стучал дятел. Зеленые огни светляков вспыхнули крошечными, двигающимися изумрудами: погасло небо.

Все медленнее шел полировщик – и были тому причины. Жена поджидала его с сжатыми кулаками. Он знал это так же верно, как то, что вчера была получка и он, отец трех детей, ночевал не дома, а на кровати с ситцевыми занавесками, бок о бок с купленным за два рубля телом. И пропил он, как последняя каналья, все свое жалованье.

Совесть его была спокойна. Давным-давно, полируя дерево для вагонных окон, обдумал он, день за днем, год за годом, всю свою жизнь и отчетливо решил плюнуть на всех и на все. Угнетенный промозглым воздухом городского подвала, кислым ароматом пеленок, ненавистным до одури утомлением труда, долгами и драками с женой в дни получек, – он отводил душу в зеленом тумане хмеля, где плавают красные глаза пьяниц и пахнет свалками. Это была ничтожная, нелепая месть дикаря ушибившему его дереву.

II

Когда последний рабочий торопливо обогнал полировщика, стремясь к горшку с кашей и сну, – полировщик свернул с тропы и углубился в темноту леса, путаясь в серых от росы кустах и кочках, покрытых упругим мохом. Он выдумал кое-что и хихикал, улыбаясь новизне положения. Один день отсрочки казался ему блаженством: ночь в лесу, день на работе, и только завтрашний вечер оскалит румяный рот на окна подвала, где будет вопить взлохмаченная, костлявая, плоскогрудая женщина, требуя денег. Да, он решился переночевать в лесу. Подходящие к случаю пословицы прыгали в голове. День да ночь – сутки прочь. Летом каждый кустик ночевать пустит. Лег – свернулся, встал – встряхнулся.

В глубоком молчании тишины прозвучал отрывистый, тупой звук, охнуло эхо, и все стихло. И стало еще тише, чем раньше. Полировщик остановился, прислушался, лениво махнул рукой и снова побрел, тяжело придавливая сапогами скользкую хвою. Он мог бы, конечно, лечь просто там, где стоял, но ему все время казалось, что впереди, шагов за пять – пятнадцать, приготовлено какое-то место поудобнее. Но это был просто лес – трава, корни, кусты и кочки.

Он шел, пока не споткнулся, сунувшись на четвереньки, лицом в мелкий рябинник. Руки его уперлись в мягкое, податливое; ноготь скользнул по пуговице. Толчок был довольно силен, и полировщик выпрямился скорей, чем упал, приговаривая на всякий случай к возражению действием.

Лежащий безмолвствовал. Мало того – он даже не захрапел и не перевернулся на другой бок, как это принято у порядочных пьяниц, когда их тревожат.

– Ох, сердце мое! – сказал испуганный полировщик, хватаясь за левый бок, и стал искать спички. Они у него были раньше, а теперь упорно не находились...

– Почему же нет спичек? – обиженно спросил полировщик. – А были хорошие спички, пороховые. Спички, которые в жилетном кармане – и сбегли! Вот покури теперь тут, кузькина мать, покури!

– Хорошо, – продолжал он после некоторого размышления. – Я, представьте, иду ночью – и ежели еще в потемках пьяное туловище спящее, то я без спичек не могу осветить его физиономии! Спишь! Спи, спи, приятель, до сладостного утра. Где ты, там и я. Жилеточку постелю, пиджачком накроюсь, чтобы, значит, дух теплый из глотки под мышки шел, а в головы, с вашего позволения, пьяное благородие, сунем кустик. Так оно все и выйдет.

И, разговаривая, он стал укладываться, довольный близким соседством пьяного, но живого тела, быть может, знакомого слесаря или литейщика, с которым завтра они будут таращить друг на друга заспанные глаза, вздрагивая от резкого холода. Прежде, чем лечь, он ткнул спящего в бок и, стоя на коленях, долго прислушивался к хриплому, рвущемуся дыханию. А тот был неподвижен и молчалив.

III

Полировщику не спалось. Тьма беззвучно клубилась перед его глазами; хвоя колола шею; он вертелся, вздыхая и охая, как самый добродетельный человек, мучимый совестью за кражу в детстве соседского яблока. Тысячи ушей выросли на его голове; телом, сапогами и брюками, даже последней пуговицей ловил он разнообразный шепот леса, микроскопические звуки тишины, сонные голоса ночи. Вкрадчивая, напряженная тревога смотрела ему в глаза густым мраком. Рядом хрипел пьяный.

Полировщик, поворочавшись минут пять, лег на спину. Душная, смолистая сырость распирала его легкие, ноздри, прочищенные воздухом от копоты мастерской, раздувались, как кузнечные меха. В грудь его лился густой, щедрый поток запахов зелени, еще вздрагивающей от недавней истомы; он читал в них стократ обостренным обонянием человека с расстроенными нервами. Да, он мог сказать, когда потянуло грибами, плесенью или листовным перегноем. Он мог безошибочно различить сладкий подарок ландышей среди лекарственных брусники и папоротника. Можжевельник, дышавший гвоздичным спиртом, не смешивался с запахом бузины. Ромашка и лесная фиалка топили друг друга в душистых приливах воздуха, но можно было сказать, кто одолевает в данный момент. И, путаясь в этом беззвучном хоре, струился неиссякаемый, головокружительный, хмельной дух хвойной смолы.

Полировщик лежал, слушая, как глухо, с замираниями и перебоями, стучит его сердце, отравленное алкоголем. Томительное волнение боролось в его душе с дремотой. Сон убежал вдруг, большими, решительными скачками; мысли, похожие на шелест ночного ветра, наполнили голову; тонкая, капризная грусть стеснила волосатую шею. Полировщик вздыхал, охал; темные невысказанные желания распирала его. В траве, резко отделенные ничтожным пространством, ползли сосредоточенные, извилистые шорохи.

Сперва ухо поймало два или три из них, но потом их прибавилось; невидимая армия насекомых пробиралась в стеблях и хвое, снуя по всем направлениям, и чудилось, что тихо, чуть слышно, звенит трава. Измученный смех совы просыпался в глубине леса. Вслед за этим детский, отчаянный плач зайца резнул ухо и смолк. Прошла минута безмолвия; где-то поблизости разбуженная, маленькая, как орех, синкагайка пропела печальным, милым, отрывистым свистом, фыркнула крыльями и утихла. Кукушка подала голос, ее отчетливые, мелодичные восклицания звучали подобно металлическому шарiku, подскакивающему на медном подносе. И с недалекой реки жалобной флейтой пропел кулик, испархивая над сонной водой.

– Мать честная, отец праведный! – сказал полировщик. – Одно беспокойство, а не то, чтобы что-нибудь.

Нестройная армия воспоминаний маршировала в его возбужденной голове. Палящий, краснощекий, голубоглазый деревенский зной полудня вспыхнул и закружился ослепительным светом. Уютный простор полей пестрел крыльями голубей, лохматыми, увядающими снопами и движущейся вереницей красных бабьих платков. Синяя жидкость озер среди зеленых, плюшевых отворотов осоки.

Крупное дыхание вспотевших лошадиных тел, темные силуэты людей на фоне красной зари. Божественный, великолепный запах земли, сладкий, как только что подоенное молоко, и ост-

рый, как запах женщины!

Но это были только расстроенные нервы. Душа этого человека, разбуженная лесом, тянулась к земле, свободной от унылого буханья машинных прессов и мелкой железной пыли, отравлявшей растительность. Он испытывал тяжелое, бессознательное, хныкающее страдание и умиление перед неизвестным, трогающим его щедрой мощностью сил, брызжущих во все стороны, как кровь из раненого, полнокровного тела. Он только сказал, вспоминая слова песни:

Хорошо бы во лесочке
Под-оехать ко милочке...

К себе он чувствовал сладкую, тягучую жалость и глубокую ненависть за все: нищету города и слякоть подвала, убийственный монотонный труд и золотушных детей. И за то, что никак не мог уяснить – чего же он хочет, и чего не хочет, и где же радость?

Крупное, трехэтажное ругательство выползло на его губы и скорчилось, придавленное безмолвием. Щеки полировщика вздрагивали, а слезящиеся, узенькие глаза скупно точили на них нудную, соленую влагу. Он повернулся лицом к земле и поцеловал ее в колючую хвою нежным, иступленным лобзанием, как целуют грудь женщины.

Но едва ли знал он, почему это так вышло: голова, проспиртованная суточным пьянством, одиночество, расстроенные вконец нервы...

Желтые лоскутки солнца, блеклая ржавчина сосновых стволов и пестрые, цветные лужайки. Небо еще бледно, заспано и холодновато-холодновато, как утренняя вода для горячего, после сна, лица.

Полировщик проснулся. Пробуждение его было резко от холодного воздуха, ночная сырость, постепенно проникая в одежду, копила там дрожь утреннего озноба; полировщик, содрогаясь всем телом, сел, застучал зубами и осмотрелся.

Пьяница лежал рядом, ничком. Тело его, одетое в приличный черный костюм, напоминало положением своим букву Т – раскинутые и согнутые в кистях, ладонями вверх руки. Его шляпа высывалась из-под лица смятым краем, коротко остриженные, черные волосы смотрели на полировщика слепым взглядом затылка. Сохраняя в лице выражение осторожной предупредительности, полировщик нагнулся, взял руку соседа, испуганно подержал ее несколько моментов и выпустил, рассматривая круглыми, как пуговицы, глазами почерневшую кровь лица. Из-за уха к щеке лежащего тянулась запекшаяся, неровная полоса, и пьяный вчера – сегодня стал для полировщика трупом.

Опущенная рука хлопнулась на траву и, повернувшись, приняла прежнее положение. Возле нее лежал револьвер, полузакрытый стеблями.

– Караул, – закричал полировщик, птясь, как лошадь от узды. – Ай! Ай! Ай!

Весь в жару от волнения, он то подходил ближе, то оглядывался, топтался, кружась вокруг мертвого, охая бессмысленно, торопливо ругаясь. Труп казался ему обманщиком, чем-то вроде пройдохи, кланчащего на бутылку, и возбуждал в нем острое любопытство, смешанное с презрением.

– Дурак... ах ты господи! Дурак! – выпячивая губы, тянул он. – Руки на себя наложить, какие же это способы... а?

Бодрый от сна, он вспомнил, какой он хороший мастеровой, как его уважает начальство, как в следующую получку он непременно, непременно принесет домой все, решительно все, до одной копейки, и почувствовал к мертвецу презрительную жалость, нечто вроде презрения мужика к барину, выпиливающему по дереву. Затем, струсив, что его могут увидеть здесь, возле трупа, поспешными, большими шагами зашагал в сторону, туда, где по просвечивающей среди деревьев тропе тянулись группы рабочих.

Монотонная ярость гудка будила окрестности. Пар насмешливо выдувал:

Для рабов –
Ни полей,

Ни цветов!

Имение Хонса

I

В конце июля я получил несколько настойчивых писем от старого друга Хонса, приглашавших меня то в вежливой, то в добродушно-бранчливой форме посетить недавно приобретенное им имение. Как раз в это время я приводил в порядок запутанные благодаря долгому отсутствию отношения мои с некоторыми крупными редакциями и был по горло занят работой. Последнее письмо Хонса я долго держал в руках; текст его носил отпечаток болезненного возбуждения и, не скрою, сильно задел мое природное любопытство.

«Проклятье городу! – писал Хонс своим прыгающим тесным почерком. – Я счастлив только теперь; кругом свет. Относительно города: имей он форму стула, я с удовольствием сломал бы его вдребезги. Ты должен приехать. Ты будешь поражен. Я открыл истину спасения мира».

Далее следовал ряд обычных пожеланий и вопросов. «Истина спасения мира» заставила меня громко расхохотаться. Конечно, это был ряд веселых, пикантных развлечений, на которые чудаковатый Хонс был мастер всегда.

В раздумьи я подошел к зеркалу. Сидячая жизнь в течение последних трех месяцев сильно изменила мою наружность: исчезла здоровая полнота, результат пребывания на берегах океана, слинял загар, взгляд стал рассеянным, беспокойным, лицо осунулось. В деревне у Хонса, должно быть, действительно хорошо. В конце концов, какая-нибудь неделя отдыха могла только помочь впоследствии в успешном конце работы. Я позвонил и приказал горничной собрать чемодан.

II

Описывать, как я приехал на вокзал, спал в душном вагоне, положив голову на плечо уснувшей толстой молочницы, и как благополучно прибыл к назначенному месту, – считаю совершенно излишним. Потрясающая сущность этого рассказа начинается с того момента, когда я увидел Хонса.

Дело было вечером. Сумеречные краски зари сияли тихим благословением, пахло полевыми цветами, росой и необыкновенно вкусным, густым, как смородиновое пиво, деревенским воздухом. Хонс стоял у ворот, широко расставив руки. Он сильно изменился. В степенном, величественном господине трудно было узнать прежнего Хонса, завсегдатая маленьких кабачков и тех веселых городских мест, откуда можно уйти с распоротым животом.

– Я счастлив, – сказал он, обнимая меня, когда я соскочил с лошади, и несколько смущенный торжественностью его голоса, пытался весело засмеяться. – Пойдем же; Гриль, уберите лошадь и всыпьте ей двойную порцию ячменя. Конечно, ты удивлен тем, что я разбогател, не так ли? Это поучительная история.

В Хонсе резко вспыхнула новая для меня черта: он казался подавленным и удрученным, что совершенно и неприятно дисгармонировало с его полной, цветущей внешностью, великолепной бородой и кротким, пронизательным взглядом. Костюм его был оригинален: совершенно белый, он производил впечатление, как будто на Хонса вытряхнули мешок муки. Шляпа, галстук и сапоги были тоже белые.

Мы шли через обширный красивый сад, и, пока Хонс с неестественной для него суетливостью, сбиваясь и путаясь, рассказывал мне действительно слегка подозрительную историю своего обогащения (перепродал чьи-то паи), я с любопытством осматривался. Чрезвычайно нежные, поэтические тона царствовали вокруг. Бледно-зеленые газоны, окруженные светло-желтыми лентами дорожек, примыкали к плоским цветущим клумбам, сплошь засаженным каждой каким-нибудь одним видом. Преобладали левкой и розовая гвоздика; их узорные, светлые ковры тяну-

лись вокруг нас, заканчиваясь у высокой, хорошо выбеленной каменной ограды маленькими полями нарциссов. Своеобразный подбор растений дышал свежестью и невинностью. Не было ни одного дерева, нежно цветущая земля без малейшего темного пятнышка производила восхитительное впечатление.

– Что ты скажешь? – пробормотал Хонс, заметив мое внимание. – Заметь, что здесь нет ничего темного, так же, как и в моем доме.

– Темного? – спросил я. – Судя по твоим сапогам. Но все-таки, конечно, у тебя есть в доме чернила.

– Цветные, – горделиво произнес Хонс. – Преимущественно бледно-лиловые. Это моя система возрождения человечества.

Моя недоверчивая улыбка прищипорила Хонса. Он сказал:

– Мы войдем... и ты узнаешь... я объясню...

III

Наш разговор оборвался, потому что мы подошли к большому, каменному белому дому. Хонс открыл дверь и, пропуская меня, сказал:

– Я пойду сзади, чтобы ничем не нарушать твоего внимания.

Недоумевающий, слегка растерянный, я поднялся по лестнице. Действительно, все было светлое. Потолки, стены, ковры, оконные рамы – все поражало однообразием бледных красок, напоминавших больничные палаты в солнечный день.

– Иди дальше, – сказал Хонс, когда я остановился у двери первой комнаты.

Невольно я обернулся. В двух шагах от моей спины стоял Хонс и смотрел на меня пристальным взглядом, от которого, не знаю почему, стало жутко. В тот же момент он взял меня под руку.

– Смотри, – сказал Хонс, показывая отделку залы, – необычайная гармония света. Не к чему придраться, а?

Необычайная гармония? Я сомнительно покачал головой. Мне, по крайней мере, она не нравилась. Смертельная бледность мебели и обоев казалась мне эстетическим недомыслием. Я тотчас высказал Хонсу свои соображения по поводу этого. Он снисходительно усмехнулся.

– Знаешь, – произнес он, – пока подают есть, пойдем в кабинет, и я изложу тебе там свои убеждения.

По светлому паркету, через бело-розовый коридор мы прошли в голубой кабинет Хонса. Из любопытства я сунул палец в чернильницу, и палец стал бледно-лиловым. Хонс рассмеялся. Мы уселись.

– Видишь ли, – сказал Хонс, бегая глазами, – порочность человечества зависит безусловно от цвета и окраски окружающих нас вещей.

– Это твое мнение, – вставил я.

– Да, – торжественно продолжал Хонс, – темные цвета вносят уныние, подозрительность и кровожадность. Светлые – умиротворяют. Благотворное влияние светлых тонов неопровержимо. На этом я построил свою теорию, тщательно изгоняя из своего обихода все, что напоминает мрак. Сущность моей теории такова:

1) Люди должны ходить в светлых одеждах.

2) Жить в светлых помещениях.

3) Смотреть только на все светлое.

4) Убить ночь.

– Послушай! – сказал я. – Как же убить ночь?

– Освещением, – возразил Хонс. – У меня по крайней мере всю ночь горит электричество. Так вот: из поколения в поколение взор человека будет встречать одни нежные, светлые краски, и, естественно, что души начнут смягчаться. Пойдем ужинать. Завтра я расскажу тебе о всех моих удачах в этом направлении.

IV

В столовой палевого оттенка мы сели за стол. Прислуживал нам лакей, одетый, как и сам Хонс, во все белое. За ужином Хонс ел мало, но тщательно угощал меня прекрасными деревенскими кушаньями.

– Хонс, – сказал я, – а ты... ты чувствуешь возрождение?

– Безусловно. – Глаза его стали унылыми. – Я чувствую себя чистым душой и телом. Во мне свет.

Я выпил стакан вина.

– Хонс, – сказал я, – мне чертовски хочется спать.

– Пойдем.

Хонс поднялся, я следовал за ним; конечно, он привел меня в светло-сиреневую комнату; я пожелал ему доброй ночи. Кротко мерцая глазами, Хонс вышел и тихо притворил дверь.

Засыпая, я громко хихикал в одеяло.

Затем наступили совершенно невероятные события. Какой-то шум разбудил меня. Я сел на кровати, протирая глаза. Издали доносился топот, крики, металлическое бряцание. Первой моей мыслью было то, что в доме пожар. Полуодетый я выбежал в коридор, пробежал ряд ярко-освещенных, бледно-цветных комнат, в направлении, откуда слышался шум, открыл какую-то дверь и превратился в соляной столб...

Мертвецки пьяный, в одном нижнем белье, Хонс сидел на коленях у полуголой женщины. На полу валялись бутылки, еще две красавицы с растрепанными волосами орали во все горло непристойные песни, размахивая руками и изредка хлопая Хонса по его маленькой лысине. На подоконнике три оборванца с лицами преступных кретинов изображали оркестр. Один дул что есть мочи в железную трубку от холодильника, другой бил кулаком в медный таз, третий, схватив крышку от котла, пытался сломать ее каминной кочергой. Хонс пел:

И-трах-тах-тах,

И-трах-тах-тах,

У-ы, у-ы, у-ы.

При моем появлении произошло замешательство. Кретины бежали через окно, прыгая, как обезьяны, в кусты. Взбешенный Хонс, схватив кухонный нож, бросился на меня, я быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Тогда за запертой дверью поднялся невероятный содом.

Поспешно удалившись, я стал обдумывать меры, могущие успокоить Хонса. Конечно, прежде всего следовало уничтожить следы Гоморры, но Хонс был в той комнате, с ножом, следовательно...

Постояв с минуту, я прошел к себе, взял револьвер и снова подкрался к двери. К моему удивлению, наступила тишина. Употребив две минуты на то, чтобы вытащить ключ, небрякнув им, я успешно выполнил это и посмотрел в скважину.

Хонс, сраженный вином, лежал на полу и, по-видимому, спал. Женщин не было, вероятно, они, так же как и кретины, удалились через окно. Тогда я вложил ключ, открыл дверь и, осторожно, чтобы не разбудить Хонса, привел все в порядок, выкинув за окно бутылки и музыкальные инструменты.

Затем я легонько встряхнул Хонса. Он не пошевелился. Я удвоил усилия.

– Ну, что? – слабо простонал Хонс, приподымаясь на локте.

Я взял его под мышки и поставил на ноги. Он стоял против меня, покачиваясь, с опухшим, бледным лицом.

– Ты... – начал я, но вдруг свирепая, сумасшедшая ярость исказила его черты: я был свидетелем.

С находчивостью, свойственной многим в подобных же положениях, я мягко улыбнулся и положил руку на его плечо.

– Тебе приснилось, – кротко сказал я. – Галлюцинация. Вспомни преподобных отцов.

– Что приснилось? – подозрительно спросил он.

– Не знаю, что-то, должно быть, страшное.

Он с сомнением осматривал меня. Я сделал невинное лицо. Хонс осмотрелся. Порядок в комнате, видимо, поразил его. Еще мгновение, еще ласковая гримаса с моей стороны, и он уверовал в мое неведение.

– Что же такое страшное могло мне присниться? – с наивной доверчивостью, свойственной многим сумасшедшим, сказал он. – С тех пор, как я живу здесь, сны мои светлы и приятны.

Он громко и стыдливо захохотал, в полной уверенности, что обманул меня. Тогда я вздохнул свободно.

Смерть Ромелинка

I

Ромелинк не был доволен своей жизнью; впрочем, постоянные путешествия и большой запас денег давали ему возможность по временам заглушать в себе холодную тоску духа, бывшую единственной и настоящей причиной бродячей жизни, которую он вел в продолжение нескольких лет, равнодушно и уже почти без всякого любопытства переезжая с места на место. Внимательные, глубокие, спокойные глаза Ромелинка останавливались на всем, запоминая каждую мелочь, интонацию голоса, но мир проходил под его взглядом своим, замкнутым для него существованием, как лес мимо стремительно бегущего паровоза.

Теперь, когда ему стукнуло сорок лет, пожалуй, было немного поздно верить в радостную катастрофу, необычайную, восхитительную перемену существования, и мысль о ней лежала где-то в архиве, среди других, полных в свое время жизни и силы, – мыслей. Ромелинк жил зрением, но смотрел он – не удивляясь и не завидуя, полный бессознательного доброжелательства решительно ко всему, что не нарушало его годами накопленного покоя. Это маленькое приобретение он тратил чрезвычайно расчетливо, заботливо уклоняясь от всяких пертурбаций, психологических и иных, где можно оставить частицу себя без всякого за это вознаграждения.

Объехав Африку и Америку, Ромелинк вспомнил и об Австралии. Теперь он ехал туда на хорошем английском пароходе, испытывая сытую скуку от комфортабельного существования и от быстро примелькавшихся лиц людей, сходящихся за табльдотом, где шли нескончаемые споры о колониальной политике, биржевых ценах, где неумолчно звучали названия городов, разбросанных по всему свету, а земной шар становился похожим на колоссальную гостиницу, из номеров которой вышли и случайно собрались в одном коридоре несколько десятков людей. Большинство ехало с семьями: то были вновь назначенные чиновники и офицеры, два-три туриста с изнеженными европейскими лицами, несколько женщин.

Обыкновенно Ромелинк сидел у себя в каюте до вечера. Когда небо и океан остывали, и бархатная, прозрачная даль краснела в облаках, похожих на далекие снеговые горы, залитые водой, – он выходил на палубу, садился у борта, курил; звезды рождались на его глазах, потом таинственное молчание мрака наполняло пространство, и мысли, медлительные, как полет ночных птиц, беззвучно тянули пряжу, соединявшую душу Ромелинка с далекими берегами материков, где гасли отблески прошлого.

II

В пятницу пароход вышел из Бомбея, а в понедельник на юге показалась группа небольших островов.

– Коралловые рифы, – сказал капитан Ромелинку. Когда тот остановил на них свое рассеянное внимание. – Мы идем по архипелагу, впереди будет еще много этих подков.

Он стал рассказывать о странной природе атоллов, тишине и лагунах, об острых зубцах кораллов, спрятанных в прозрачной воде, но Ромелинк, поблагодарив, отошел к юту. Он любил

всегда и все узнавать сам.

Вечером снова пришла тоска, того странного молитвенного оттенка, что сопровождал Ромелинка везде в открытом пространстве, будь то океан или пустыня, степь или большая река. Легкий туман стлался над горизонтом, небольшое волнение покачивало пароход, и солнце опустилось в глубину дали неярким багровым кругом. Профили пассажиров, разместившихся по бортам, рисовались на вечерней воде бледными, акварельными набросками.

Стемнело; волнение немного усилилось. Звезд было меньше, только самые крупные из них пробивались сквозь мглу ночного тумана тусклой, золотой рябью; Ромелинк поднялся с места, штурман и старший лейтенант прошли мимо него, раскланялись и пропали в полуозаренном фонарем мраке; они разговаривали; одно слово, вырвавшись, догнало Ромелинка, он машинально повторил его:

– Барометр.

На пороге каюты, подставляя лицо влажному, порывистому ветру, бьющему в незакрытый иллюминатор, Ромелинк испытал мгновенную потребность дать себе отчет в чем-то, что наполняло его в последнее время все чаще ощущением беспокойства. Душа не всколыхнулась глубоко, и в голове мелькнули слова, похожие на ряд цифр:

– Ромелинк, сорока лет. Работал, бывший табачный фабрикант, богат. Путешествую, скучно.

Он зажег свет, разделся и, прежде чем крепко, как всегда, уснуть, прочел главу из Леббока: о радости быть живым, чувствовать и смотреть.

III

Сон прерывался толчками, но тотчас одолевал их, не выпуская Ромелинка из состояния физического оцепенения. Смутно, и более телом, чем сознанием, ощущал он перемещение центра тяжести, ноги то приваливались к стене, то медленно потягивали вниз за собой туловище; руки сползали к коленям; иногда казалось, что весь он наполнен гирями, и они катаются в нем, придавливая к постели грудь, освобождая ее и снова начиная свою беззвучную, медленную игру. Раз его сильно встряхнуло, он проснулся совсем, сообразил, что пароход сильно качает, и вновь защитился сном.

Совсем и уже окончательно Ромелинк пришел в себя тогда, когда почувствовал, что летит вниз. Он судорожно взмахнул руками, но руки встретили воздух, сильный удар в голову оглушил его; вскочив, он широко расставил ноги, как это делают моряки во время качки, но не удержался и отлетел в угол. Стулья, чемоданы и другие предметы с грохотом носились вокруг, понятия – потолок, пол – по временам исчезали, каюта то опрокидывалась на Ромелинка, то на мгновение принимала прежнее положение. Оглушенный, испуганный, он делал невероятные усилия удержаться на одном месте, встать, сообщить членам непоколебимую устойчивость. Разбешенный океан лишал его связности движений, веса, возможности управлять телом. Он походил на игрушку – картонного паяца, взбрасывающего ноги и руки, мотающего головой, но роковым образом остающегося на одном месте.

Ромелинк, спотыкаясь и распластываясь, подполз к вешалке, где висело его платье. Одеться стоило ему таких же трудов, как трубочисту вылезть из трубы белым. Волнение океана передалось ему, он торопился на палубу; разбитый, оглушенный смятением, Ромелинк держался левой рукой за решетку койки, приводя правой в порядок все части костюма, которые требовали особенного внимания. С палубы летел смутный гул, стуки и дробь шагов, в открытый иллюминатор хлестали лохмотья волн, разносясь брызгами по каюте; пенистые лужи их переливались от стены к стене; наступало жестокое бешенство морской ночи, взвихренной ураганом. Ударяясь в обшивку узкого прохода между каютами, где хлопали, открываясь и закрываясь, двери, Ромелинк бросился к трапу, цепляясь за поручни, и через минуту стоял на палубе, ухватившись за рычаг крана.

В первый момент он не мог вздохнуть, – так силен был ветер, хлеставший палубу. Соленая пена гребней била его в лицо, пароход, проваливаясь, подымался, подскакивал, ложился с борта

на борт; в сумрачных, трепещущих огнях фонарей бегали, цепляясь за борта, ванты, палубу, люки – темные силуэты и пропадали во тьме, выкрикивая неясные приказания, ругательства, вопросы, похожие на торопливые звуки охрипших рожков или стоны раненых. Идти не было никакой возможности. Ромелинк крикнул, никто не обратил на него никакого внимания.

По палубе металась испуганная, хватаящаяся друг за друга, падающая, ползущая на четвереньках толпа. Все чувства, какие до сих пор приходилось испытывать Ромелинку, исчезли, новое, не похожее ни на что, смятение билось в его груди вместе с сердцем, ударявшим так часто и звонко, как будто оно было сделано из металла. Промокший насквозь, босой, без шляпы, он словно прирос к крану, руки его ныли от постоянных усилий, казалось, тьма изо всех сил пытается разом оторвать кран от стиснутых пальцев и бросить Ромелинка на палубу.

Все остальное вспоминалось им после, как омерзительный, холодный кошмар воды, сырости, толчков, вихря и паники. Пароход взбросило, колена Ромелинка согнулись от внезапного сотрясения, глухое, словно из-под земли: «Г-ро-н-н»... пронизало судно; продолжительный треск, перекатываясь от киля до мачт, заухал в трюмах, смолк, и палуба вдруг наклонилась почти отвесно, так что Ромелинк стукнулся подбородком в железо крана и несколько секунд лежал так, повиснув над бездной. Наверху, в реях, пронзительно гудел шторм, лихорадочная, непреодолимая слабость вдруг охватила Ромелинка, он был готов выпустить опору из рук, отдаться власти пьяного ужаса стихий, исчезнуть, – но крики, раздавшиеся вблизи, всколыхнули инстинкт самосохранения.

– Спустить шлюпки! С топорами у талей! Женщин вперед!

Медленно, словно подымающийся после тяжелой раны зверь, – пароход выпрямился. Ромелинк отпустил кран, упал и пополз вперед. Куча полуодетых женщин и мужчин теснилась перед ним, у борта; шлюпка, выведенная за борт, раскачивалась из стороны в сторону. Он встал, схватился за балку и был в центре толпы, тут же заметив, что шлюпка уже полна. В этот момент стало светло, как днем, удар грома соединил небо и воду, и Ромелинк, в нескольких саженьях от борта, увидел высокую, мокрую, покрытую сбегаящими струями – стену. «Скала!» – решил он, и уже только во вновь наступившем после молнии мраке мгновенный холод тоски, похожий на ощущение падающего в пропасть, сковал его – это была волна.

Он не успел ни приготовиться, ни растеряться; окаменев, в течение одного момента Ромелинк мысленно пережил, до его наступления, удар двигающейся водяной горы, и переживание это стоило смерти. Затем бешеная масса воды сшибла его с ног, полузадушила, сделала легким, закричала в ушах и выбросила за борт.

IV

Сначала Ромелинк закружился в глубокой воронке, образовавшейся вследствие вращательного движения отхлынувшей назад влаги; потом начал работать пятками и выбрался на поверхность. Волны перекатывались вокруг него с глухим шумом, дыбились под ним, держали, покачивая, на закругленных, пенистых спинах и сбрасывали в глубокие, жидкие ямы. Сохраняя, – насколько это было возможно, – самообладание, Ромелинк повернулся на спину, стараясь двигаться как можно меньше, чтобы избежать быстрого утомления, и несколько минут продержался так, но скоро подобное положение оказалось невыносимым – вода заливала рот и нос, и редкие, глубокие вздохи, которые удавалось делать Ромелинку, шли за счет обессиливающих задержек дыхания. Измученный, он перевернулся в воде и стал плыть, стараясь как можно более сохранить лицо от внезапных набегов волн и лохмотьев пены, срываемой ветром. Намокший костюм тянул вниз и сильно мешал плыть, но сбросить его не было никакой возможности: бесформенное, лишенное определенного темпа волнение бросало воду из стороны в сторону, грозя перевернуть Ромелинка при малейшей неосторожности, что могло стоить нескольких невольных глотков соленой воды. Изредка беглый небесный грохот потрясал мрак и бледный, яркий мертвенный свет молний обнажал взбешенную зеленоватую воду.

Эти моменты отчаянной, нелепо расчетливой борьбы за наверняка погибшую жизнь прошли для Ромелинка без страха; страх был бы слишком ничтожен, чтобы заставить его страдать;

он испытал нечто большее – глаза Смерти. Они лишили его воли и отчетливого сознания. Сам он, душа его – отсутствовали в то время, оставалось тело, – с тупой покорностью Смерти, – борющееся за лишний вздох, лишнее движение пальца. Это был безнадежный торг человека с небытием, крови – с водой, инстинкта – со штормом, иссякающих сил – с пучиной. В нем не было ни отчаяния, ни веры в спасение, он был судорожно извивающимся автоматом с сердцем, полным тьмы и агонии.

И в то мгновение, когда силы покидали его, когда нестерпимая судорога стала сводить ноги и тысячи острых игл забегали в теле, а сам он сделался тяжелым, как набухший мешок с мукой – еще раз грохнуло в небе и несколько светлых трещин упали вниз. Мелькнула доска, киль шлюпки, перевернутой ураганом, руки со страшной быстротой внезапно вспыхнувшего отчаяния выбросились из воды, застыли на мокром дереве, грудь ударилась в твердое, и несколько тоскливых минут длилось безумие последних, сверхъестественных усилий дышать и держаться до острой невыносимой ломоты в пальцах; боль эта казалась райским блаженством.

V

Очнувшись с тупой болью во всем теле, Ромелинк поднялся на ноги и закрыл глаза, ослепленный дневным светом. Он стоял у самой воды, на берегу небольшого, кораллового острова; лодка, перевернувшаяся вверх дном, валялась невдалеке. У кормы ее, на спине, лицом к Ромелинку, лежала полуодетая молодая женщина.

Он мог бы удивиться, обрадоваться присутствию еще, может быть, живого существа белой породы, но чувство животной радости по отношению к самому себе сделало его в первый момент бесчувственным. Машинально, еще пошатываясь от слабости, Ромелинк подошел к женщине, приподнял ее за плечи и прислушался. Она дышала, но слабо, плотно сжатые губы и необычайная бледность указывали на глубокий обморок, вызванный потрясением.

Усталый от этого небольшого усилия, Ромелинк присел на песок; с закружившейся головой, дрожащей от слабости, он пристально смотрел в лицо женщины. Он помнил ее: она ехала с братом и спаслась, вероятно, так же, как Ромелинк, держась за киль шлюпки. Может быть пальцы их переплетались в то время, когда, оглушенные штормом, они носились в воде.

Ромелинк поднял голову, голос спасенной жизни заговорил в нем, лицо неудержимо расплывалось в улыбку. Он стал смеяться судорожным мелким смешком, все громче, полный полубезумного восторга перед голубым небом, пальмами, пустыней моря. Он чувствовал себя, как человек, родившийся взрослым. Он смотрел на песок, и ему становилось необычайно приятно, следил за игрой волны и покатывался от душившего его счастливого хохота. Он был жив. Казалось, океан выстирал его внутри и снаружи, всколыхнув ужасом смерти все притупленные человеческие инстинкты. Земля была для него в этот момент раем, а существование гусеницы гармоничным, как взгляд божества или полет фантазии. Он не был ни Ромелинком, ни меланхоликом, ни бывшим табачным фабрикантом, а новым, чудесным для самого себя человеком.

Женщина застонала. Ромелинк подошел к ней, нагнулся и употребил все усилия, чтобы привести ее в чувство. Это несколько удалось ему; она открыла глаза и снова закрыла их. Тогда он увидел, что женщина эта поразительно хороша, и странное, быстрое, как полет мысли, чувство бесконечной любви обожгло его душу; он протянул руки...

Что-то тяжелое и холодное разорвало его грудь, горло стянули судороги, странный шум во всем теле, – боль, темнота и смерть.

...

...

...

Шторм продолжался. Скорченное тело Ромелинка носилось в воде, перевортываясь, как пустая бутылка, и через некоторое время тихо пошло ко дну.

В снегу

I

Экспедиция замерзала. Истомленные, полуживые тени людей, закутанных в меха с головы до ног, бродили вокруг саней, мягко черневших на сумеречной белизне снега. Рыжие, остроухие собаки выбивались из сил, натягивая постромки, жалобно скулили и останавливались, дрожа всем телом.

Сани так глубоко увязли, что вытащить их было делом большой трудности. Путешественники, стиснув зубы, напрягали все мускулы, но плотный сугроб, похоронивший их экипаж, упорно сопротивлялся неукротимому желанию людей – во что бы то ни стало двинуться дальше.

– Мы в полосе сугробов, – сказал доктор, хлопая себя по ногам меховыми перчатками. – Двинувшись дальше, мы попадем в точно такую же историю. Я советовал бы идти в обход, держась полосы льдов. Это дальше, но значительно безопаснее.

– О какой опасности говорите вы? – спросил ученый, начальник экспедиции. – Больше того, что мы уже перенесли – не встретить. А между тем по самому точному вычислению, нам остается двести пятьдесят миль.

– Да, – возразил доктор, в то время как все остальные подошли, прислушиваясь к разговору, – но у нас нет собак. Эти еле держатся, их нечем кормить. Они издохнут через сутки.

– Перед нами полюс. Мы сами повезем груз.

– У нас нет пищи.

– Нам осталось двести пятьдесят миль.

– У нас нет огня.

– Перед нами полюс. Мы будем согревать друг друга собственным телом.

– У нас нет дороги назад.

– Но есть дорога вперед.

– У нас нет сил!

– Но есть желание!

– Мы умрем!

– Мы достигнем! Слышите, доктор, – мы умрем только на полюсе!

– А я держусь того мнения, что незачем изнурять людей и самих себя, стремясь пробиться сквозь снежные завалы. К тому же мы прошли сегодня достаточно.

Начальник экспедиции молчал, рассматривая черное, как смола, небо и белую, туманную от падающего снега равнину материка. Тишина заброшенности и смерти властвовала кругом. Беззвучно, сонно, отвесно валился снег, покрывая людей и собак белым, неслышным гнетом. Так близко! Двести пятьдесят миль – и ни одного сухаря, ни капли спирта! Смертельная усталость знобит сердце, никому не хочется говорить.

– Остановитесь, доктор, – сказал начальник. – Отдохнем и проведем эту ночь здесь. А завтра решим. Так? Отдохнув, вы будете рассуждать, как я.

– Нам есть нечего, – упрямо повторил доктор. – А держась берега, мы можем встретить тюленей. Не правда ли, друзья мои? – сказал он матросам.

Четыре мохнатые фигуры радостно закивали. Им так хотелось поесть! Тогда стали выгружать сани, и маленькая палатка приютилась около огромного снежного холма, полного людей, собак. Все лежали, тесно обнявшись друг с другом, и теплое, вонючее дыхание собачьих морд слипалось с дыханием людей, неподвижных от сна, усталости и отчаяния.

II

Ночью один матрос проснулся, вздрагивая от холода. Он только что увидел во сне свою мать, она шла по снежной равнине к югу. Матрос окликнул ее, но она, казалось, не слышала. Медленным, старческим шагом подвигалась она и, наконец, остановилась у снежного возвышения. Сердце матроса сжалось. Он видел, как старушка нагнулась, погрузила в снег руки и, приподняв какой-то темный круглый предмет, похожий на голову человека, прильнула к нему дол-

гим, отчаянным поцелуем.

– Боби! – сказал матрос товарищу. – Мне бы хоть рому глоток. Ты спишь, Боби?

Товарищ его не шевелился. Скрючившись неподвижной меховой массой, торчал он у ног проснувшегося матроса и мерно, часто дышал.

– Боби, – продолжал матрос, толкая спящего, – мне страшно. Мы никогда не выберемся отсюда. Мы погибли, Боби, и никогда больше не увидим солнца. Проснись, ты отдал мне ногу.

Человек поднял голову, и матрос в белой, мертвенной мгле полярной ночи узнал начальника.

– А я думал, что Боб, – пробормотал он. – Это вы, господин Джемс. Я вас побеспокоил, но, может быть, я сошел с ума. Мне страшно. Мы никогда не выберемся отсюда.

Мутный, горячий взгляд Джемса был ему ответом. Начальник быстро-быстро зашептал, обращаясь к невидимому слушателю:

– Двести пятьдесят миль, господа. Я – первый! Смелее, ребята, вы покроете себя славой! Мы возвратимся по дороге, усыпанной цветами. Собаки пойдут с нами. Я куплю им золотые ошейники.

Бред овладевал им и выливался в потоке бессвязных, восхищенных слов. Матрос с тупым отчаянием в душе смотрел на пылающее лицо Джемса и вдруг заплакал.

Но вскоре им овладела злость. Все погибают: из пятидесяти осталось всего шесть.

– Околевайте, господин начальник! Вы такой же, как и все, несколько не лучше. Мы вам поверили и нашли смерть. Что ж – и вы с нами заодно, так уж оно справедливее!

– Полюс, – сказал Джемс, метаясь в жару. – Я вижу его, он светел, как синеватая глыба льда. Он мой.

Матрос сел на корточки, прислушиваясь к тишине. Болезненное храпение со свистом вырывалось из ртов; все спали. Только больной и испуганный продолжали свой внутренний спор. Коченя от холода, заговорил матрос:

– Вы лучше бы помолчали, вот что. Вы больны, можете умереть. Подумайте о нас. Спасите нас. Зачем нам умирать? Это нелепо. Мы хотим все домой, слышите?

– Полюс! – бредил Джемс. – Да, это не то, что какой-нибудь трижды открытый остров. Я вознагражу всех. Я дам по тысяче фунтов каждому. Мы придем, будьте покойны!

Тогда животная, невероятная ненависть проснулась в матросе. Он стал кричать на ухо Джемсу, и его страстные грубые слова резко падали в тишину ночи. Он кричал:

– Полюс? Вы хотите полюса, черт возьми?! Он здесь, слышите? Вот он, ваш полюс, вы уже достигли его, господин Джемс! Ликуйте! Съешьте ваш полюс! Подавитесь им, умрите на нем!

Он бесновался и изрыгал ругательства, но пораженное сознание Джемса поймало только два слова и остановилось на них, мгновенно превращая горячую мечту в восторженную действительность.

– Вы достигли!

– Да, я достиг, – твердо, но уже почти теряя сознание, сказал Джемс. – Ведь я говорил доктору: двести пятьдесят миль!

Лицо его приняло горделиво-суровое выражение, такое же, какое было у него на точке земной оси. Он вздохнул и окончательно перешел в предсмертный бредовой мир.

На склоне холмов

I

– Вы очень любезны, но я не могу прихлебывать и в то же время рассказывать. Каждый глоток нарушает течение моих мыслей, – ибо не могут встретиться два течения без того, чтобы одно не потонуло в другом, а река вина сильнее слабых человеческих слов.

Отставлю я этот стакан в сторону и посмотрю на него сбоку. Так лучше. Из него отпито ровно столько, чтобы не развинтился язык, а мне хочется рассказать складно и ладно.

Вас это интересует, но посмотрю я, не скорчите ли вы кислую усмешку в конце. Потому что у нас разные характеры, и каждый представляет вещи по-своему. Я остановился на том, что к концу сентября Ивлет представлял опасную единицу и пакостил, так сказать, походя. Он надоед решительно всем, даже, пожалуй, репортерам, потому что редакторы гоняли их без зазрения совести, заставляя разузнавать о новых проделках Ивлета, а он задумывался над ними не более, чем псаломщик над библейскими текстами.

Если вы не видели никогда Ивлета, советую вам отыскать его в Горячей долине, где, по слухам, он сейчас бродит, и сделать хороший фотографический снимок. Лицо его – пылающий уголь, но волосами он бел, как снег, и делает пешком сорок миль в день, это проверено.

Он убежал с работ утром, когда солнце еще блестит в росе, сразу взял полный ход. Пока надзиратели стряхивали досадное, но неизбежное, в таких случаях, оцепенение, он прыгал уже с кочки на кочку среди болот и скрылся быстрее шубы в ломбарде, так что пропали даром восемь патронов, а земной шар сделался тяжелее на полфунта свинца. Но что было, то было, а когда человеку везет, он может смело броситься с церковного купола без всяких последствий. Ивлет удрал, и ни одна пуля не попала в него.

Все, кто не заплатил штрафа за это несколько дорогое развлечение, забыли о нем скоро и основательно, потому что побеги не большая редкость при наших порядках. Пошарили в окрестностях, и тем дело кончилось, так как, рано или поздно, как бывало всегда, естественный ход вещей приводил каторжника обратно.

Ивлет был не из больших птиц, так, что-то вроде убийства жены или любовника. Люди с трезвым взглядом на дело попыхивая трубками, объявили, что он уже окачурился от лихорадки, а если нет – помер от голода. Но это то же самое, как если вы проиграли на фаворите. Ивлету, должно быть, на роду было написано лишиться сна праведников. И он сделал это умело, клянусь половинкой ребра Адама или чертовой перечницей! Он пустился во все тяжкие, этот мальчишка с серебряной головой; он сразу поставил ва-банк, и слава его загудела по округу, как большая муха в стекле.

Первый стал говорить пастух из колонии, когда Ивлет, после непродолжительного, но веского разговора, увел барана. Баран, само собой разумеется, был хороший, но для стада в пять тысяч голов это пустяк. Это уже все-таки не понравилось. Так, знаете, создалось такое особое настроение, когда в поле или в лесу человек начинает стрелять глазами во все стороны и невзначай наводит справки – нет ли по соседству бродяг. А что касается дальнейших событий – они все как-то так странно складывались, что Ивлета сперва ругали, затем проклинали, а потом получилось следующее положение: если за сто миль от спящего произносили слово «Ивлет», то со спящим делались судороги.

Легко представить, что оружие стали покупать чаще, чем обыкновенно, и не какие-нибудь кольты, а настоящие ридинги или маузеры. Ивлет действовал в одиночку, с азартом запойного игрока, и предпочитал фермеров всякой другой дичи. Никто не может пожаловаться на его грубость; в случае отказа он не ругался, а посылал пулю в голову – и делу конец; вообще он не любил разговаривать; видевшие его подтвердят, что во всех своих рискованных операциях он задумчив и сосредоточен, как голубь на вертеле или марабу на закате солнца, когда рыба прыгает по поверхности.

В то время его ловили, но это была, конечно, игра в открытую. Лес тянется на пятьсот миль к северу и востоку; пустыня, примыкающая к нему, – огромна. Естественно, что при таких условиях Ивлет мог на час, на два, без особой опасности для себя приближаться к большим дорогам в разных местах опушки.

Где он покупает порох, провизию и одежду – оставалось тайной. Правительство нервничало и, как почти всегда бывает в таких случаях, изо всех сил рекламировало Ивлета, посылая целые эскадры, наполнявшие окрестности звоном и грохотом, предупреждавшим Ивлета верней срочной депеши, что нужно подтянуться и совершить для развлечения маленькую прогулку вглубь страны.

II

Когда пришел мой черед взяться за это грязное дело, я приобрел пару ищеек, а из тюрьмы достал старую куртку Ивлета. Собаки нюхали ее долго и основательно, потому что в сукне накопилось запахов больше, чем в парфюмерной лавке, и разобрать, который из них принадлежит Ивлету, могли только собаки, уважающие честь носа. Шесть человек сопровождало меня. Первые три дня мы сильно смахивали на туристов в картинной галерее, расхаживая во все стороны, как попало. Собаки вели себя, пожалуй, не лучше, след не давался им, так как перед этим были дожди.

Постепенно мы становились задумчивы, молчаливы и на вечерних привалах все реже перекидывались словами, прислушиваясь к бесконечному шепоту дебрей. Это действие леса, сударь, и для человека, любящего поговорить, как я, – отравы, потому что ничего не может быть досаднее зрелища семерых ловких и не трусливых людей, вздыхающих от неизвестных причин. Мы двигались в сердце этого зеленого океана; его монотонный пульс кружил головы и высасывал мысли; без конца пестрели в глазах тени и свет, тени и свет, совершенно так, когда в комнате вспыхивает и гаснет и не может умереть пламя. Все мы сделались тихие, как церковные побирушки; я, откровенно говоря, не понимаю этого дьявольского очарования, но оно пропитывало меня насквозь.

Следствием всего этого было то, что рвение наше как бы охладело, и сам Ивлет казался по временам существующим где угодно, только не на земле. Время от времени я потчевал собак запахом старой куртки; они отрицательно вертели хвостами и гонялись за попугаями. Но к вечеру четвертого дня лай их вдруг стал тревожным и резким, и они стукнулись головами, обнюхивая одну и ту же непонятную для людей точку.

Я насчитал шесть улыбок, куда не прибавлю своей, потому что предпочитаю смеяться внутренне. Во мне все смеялось от радости, и дремотное, расслабленное оцепенение покинуло мою голову быстрее сна, убитого пушечным выстрелом. Физиономии рядовых напоминали розовые бутоны; им, как и мне, надоело слоняться без толку.

Мы двинулись, толкая друг друга в узких проходах, где умирал свет, и руки делались влажными от сырости паразитов, свивавших целые каскады листвы. Стволы, поваленные дряхлостью и циклонами, пересекали наш путь, деревья теснились ближе друг к другу, в полумраке их колонн сдавленный лай собак звучал робко, как голос высеченного.

Вдруг собаки остановились. Хвосты их усиленно двигались во всех направлениях, а ноздри трепетали, как паруса в рифах. Они топтались на месте, оглядывались, припадали к земле и всеми доступными для собак способами показывали, что дичь близко. Мы замерли, ощупывая затворы. В это мгновение у меня развернулись внутри все пружины, я побледнел и затрясся от нетерпения. Дикая мысль вспахала мой мозг, но я не сообщил ее никому и только приказал отвести собак.

Их оттащили в сторону, и посмотрели бы вы, как становилась дыбом слежавшаяся под ошейниками шерсть, в то время как руки солдат тащили их.

– Повремените немного, – сказал я. – Стойте на месте и предоставьте мне действовать. Но если я закричу, будьте развязнее, потому что полсекунды в нашем положении значит много.

Не думаю, чтобы я вызвал этим хотя маленькое неудовольствие. Я двинулся в чащу, уклоняясь то вправо, то влево, потому что ежесекундно ожидал выстрела. Неприятное, тягостное чувство гвоздило меня, в предательском молчании леса треск сучьев под моими ногами казался грохотом. В горле что-то спирало, и был даже позорный миг, когда я остановился, глотая волнение маленькими кусочками, как лед в полдень. Выстрел, даже удачный, был бы для меня настоящим благодеянием.

Кусты, в которые я вламывался, как бык, кончились так неожиданно, что я невольно присел.

Но вокруг было пусто; небольшая лужайка пылала в прозрачном огне солнца, и вид ее был тих и радостен, как привет друга. Только на противоположной стороне, в тени лиственных зонтиков, валялась небольшая серая шляпа.

Я недоверчиво подошел к ней, поднял ее и пристально осмотрелся. Ничто не угрожало мо-

ей особе, в глубине чащи невидимое, пернатое существо настраивало свой инструмент, повторяя с раздражающим самодовольством артиста: – «керр-р-чвик... чюи... керр». Я вслушался, и мне стало грустно. Я сразу устал, я почувствовал себя совершенно разбитым и напоминал пружину, раскрученную в воздухе, когда еще дрожат оба ее конца, не встретив сопротивления. Ружье, ставшее бесполезным, насмешливо блестело стволом.

Бумажка, припиленная изнутри к полям шляпы, зашелестела под пальцами, я с любопытством отделил ее и прочел следующее:

«Я, Ивлет, живу здесь и буду жить здесь. Ловите меня. Тот, кто задержит Ивлета, получит от него в подарок медный негритянский браслет. Прощайте».

Я разорвал бумажку так мелко, как только могли это сделать мои пальцы, вздрагивавшие от бешенства, и возвратился к своим.

III

Мы исколесили всю западную часть леса, примыкающую к реке. Здесь след обрывался. Собаки нюхали воду, прыгали и, останавливаясь в задумчивости, жалобно смотрели круглыми, рассеянными глазами на розоватое водяное плато. Наступал вечер. Природа дремала в благословении последних лучей, задумчивых, как пастух на холме. Ноги наши стонали от изнурения; липкие от дневного пота, мы жадно вдыхали прохладные водяные испарения, пахнувшие росистым утренним цветником.

– Сделаем плот, – сказал Гриль, размахивая топором с такой яростью, как будто хотел рубить земной шар. – И несколько хороших шестов. Подлец удрал на тот берег, это ясно младенцу. Смотрите на песок.

Действительно, небольшие, воронкообразные ямки, расположенные зигзагом в мокром, засасывающем след песке, показывали, что здесь прошел человек.

Кое-кто еще возражал, предлагая возвратиться назад и попытать счастья посуху, но я взял у Гриля топор и засадил его чуть не по обух в кору ближайшего дерева. Постепенно все принялись за дело.

И к ночи мы сотворили плот, на котором свободно могло бы переехать даже изнеженное сановное лицо, с кухней и со всем штатом прислуги. Переправа совершилась в полной темноте, собаки притихли и смирно лежали у наших ног, вздрагивая от воды, плескавшей сквозь скрепы бревен. Течение вырывало шесты из рук: плот медленно, но безостановочно кружился слева направо, и держаться верного направления мы могли только с помощью компаса, поднося к нему зажженную спичку. Глухой толчок развеселил всех, плот, зацепившись за прибитые течением к берегу стволы, вырванные разливом, остановился, как вкопанный. Мы вышли.

Тогда, стучаясь в темноте лбами, мы стали карабкаться по склону крутого берега, то и дело спотыкаясь о теплые собачьи туловища, вертевшиеся под ногами. Запахавшись, я шел последним; мечтой всех было уснуть, набив желудок печеным мясом и кофе. Мы шли в молчании, я руководился треском чащи, шумевшей под напором солдат.

И так как за день соображения наши постоянно вертелись вокруг Ивлета, мне в виде отдыха пришлось в голову помурлыкать романс белокурой девчонки из кабачка, называвшегося театром в силу вежливости или по простоте души. Там говорится, что юбка на женщине прилична только для стариков. Распевая полтоном ниже, чем обыкновенно, я загрустил, потому что мне вдруг представился багровый нос капитана моей роты и сизый табачный дым; все вместе напоминало утреннюю зарю. Но лес требует внимания, сударь, не меньше, чем шахматы, или бильярдный удар. Не прошло и минуты, как я запнулся, в тот же момент моя голова взвыла от боли, огненные головастики запрыгали в темноте, и все исчезло.

IV

Знакомо ли вам состояние полусна, полудремоты, когда сознание возвращается мгновениями только затем, чтобы, скользнув по душе обрывками действительности, – исчезнуть как мол-

ния в смоле ночи? Я чувствовал скрип, легкое безболезненное покачивание, тупую боль в голове и, при первой попытке осветить свое положение разумом, лишился чувств. Так продолжалось довольно долго, иногда промежутки сознания были длиннее, иногда короче, но ничего нового не входило в них, за исключением песни, распеваемой невидимым для меня певцом где-то наверху. Голос его звучал рассеянno и утомленно. Когда я открывал глаза, было темно, как в брюхе черной кошки, ноги мои и руки лежали как деревянные. Я не в силах был пошевелить ими. Снова мое сознание заволочлось туманом. Но это длилось теперь, вероятно, лишь несколько секунд, следующий момент заставил меня встрепенуться. Я различил плеск воды, такой слабый, что его можно было принять за шелканье языком. Мысль о том, что меня куда-то везут, показалась мне неимоверно смешной, я тихонько захохотал, чем все и окончилось, потому что слабый, разбитый ударом мозг не выдержал усилия смеха. Наступило забвение, и сколько длилось оно, не знаю.

К полному, окончательно устойчивому сознанию меня вернул соленый запах моря и теплый ветер, полоскавший лицо сильными вздохами. Я осмотрелся. Была ночь; вверху, вспыхивая, мерцали звезды, и море было полно звезд; воздушная, прозрачная пустота ночи шумела под мной голосами прибоя, шуршал мокрый гравий и раковины, перебрасываемые узкой лентой волны, засыпающей с разбегу на побережье; движущаяся линия океана внизу блестела фосфорическим светом позолоченных подводным огнем волн. Тело мое тянуло вниз, из этого я заключил, что лежу вниз ногами, на плоскости, наклонной к морю. Я попытался встать и не мог, повернул голову и увидел за собой, выше, темные громады холмов. Одинокaй, я был слаб, как грудной младенец, но состояние моего духа, безразличное к настоящему, отличалось необыкновенной ясностью и покоем.

Постепенно я вспомнил лесной удар в голову. Далее был провал, пустота, слабо заполненная отрывочным плеском воды, пением и покачиванием. В это время сзади раздалась медленные шаги, я повернул голову и увидел темный силуэт человека. В руках его было ружье. Он тихо сел подле меня, я пристально смотрел в его лицо, окутанное туманом ночи. Наконец он спросил:

– Ну, как?

– Кто вы? – спросил я, приподнимаясь на локте.

Он засмеялся сдержанным, мелодическим смехом. В темноте глаза его казались маленькими, блестящими пропастями. Я повторил вопрос.

– Вам небезынтересно будет узнать, – заговорил он, не отвечая на мои слова, – что произошло после досадной, но простительной с вашей стороны оплошности. У водопоя ставят часто такие ловушки? Зверь задевает веревку и сверху летит бревно. Вы спасли какое-то четвероногое от участи, постигшей вас самих. А я шел следом. Я постоянно был в затылке последнего человека из вашего отряда; конечно, ваши собаки шли там, где я прошел раньше. Это был единственный способ.

– Вы Ивлет, – сказал я, остолбенев в первое мгновение.

– Да, – мельком ответил он и продолжал: – я взял вас из любопытства. Что делать? В лесу нет развлечений, нет людей, а мне хотелось поговорить с вами и, кроме того, посмотреть, как вы будете себя вести. Вы безопаснее для меня теперь, чем для вас я.

Он помолчал и прибавил:

– Я привез вас на лодке. Вы были в бессознательном состоянии, иногда ругались. Первые полчаса я вез вас так, чтобы ваша голова, свесившись, болталась в речной воде. Как видите, это помогло.

В тоне его голоса не было ни обидного сожаления, ни мелочного торжества. Он говорил спокойно и добродушно, как человек, напоминающий другому то, что уже известно обоим. Тем не менее, слушая его, я волновался, как кипяток в закрытой кастрюле. Стиснув зубы, я крикнул:

– Вы арестованы!

– Ха! – кротко сказал он, вставая. – Подымитесь и попробуйте сесть. Волнение для вас вредно, нужно, чтобы кровь отлила к ногам. Сядьте.

Я чувствовал, что краснею от замешательства. Мой повелительный возглас бессильно утонул в темном пространстве, убитый коротким «ха». Я невыразимо страдал.

– Сядьте, – повторил он.

Сделав усилие, я сел. Чуть-чуть закружилась голова, но через мгновение я почувствовал себя крепче. Я мог соображать, спрашивать, давать ответы.

– Ивлет, – сказал я, – все это странно, что мы здесь вдвоем. Я безоружен, но будьте уверены, что я вас, рано или поздно, поймаю.

– Зачем? – спросил он.

– Вы смеетесь! – вскричал я, начиная приходить в раздражение. – Кто вы? Это ясно. И бросьте эту комедию.

– Пират, да, – сказал он с оттенком сухости. – Но, боже мой, я живу такой убогой, нескладной жизнью. Воровать овец, грабить фермеров и делать пакости береговой охране, клянусь вам, скучнее, чем быть писцом у нотариуса. Еще месяц такой жизни, и я повешусь от скуки. Но здесь, – он повел рукой в сторону моря, – в торжестве молчания, я вознаграждаю себя с избытком за ошибки правительства. Здесь вправе каждый прийти и сбросить с себя все, вплоть до своего имени. Послушайте тишину!

Он смолк, а я ждал в необъяснимой тревоге, потому что это говорил каторжник. Утомительно полная, украшенная ворчанием океана, тишина следила за нами.

– Итак, – заговорил он снова, – довольно выпустить раз в подлеца пулю, чтобы лишиться навсегда права дышать! Я беспокою окрестности, но иначе мне пришлось бы умереть с голоду. Молодой человек, я стою за то, чтобы были места, где люди могут встречаться спокойно душа с душой, без камня за пазухой и без имени, потому что Ивлетом можете быть и вы, как я мог сделаться вами. Я вправе был бы убить вас, потому что с этой же самой целью вы преследовали меня. Здесь мы равны, вопрос в силе. Но я не сделаю этого.

– Место, – сказал я, – почему это место?

– Не знаю, – ответил он. – Я давно отметил его, как бесплатную лечебницу. Покой вносит покой.

Он смолк. Я смотрел вниз, совершенно подавленный, встревоженный, с ворохом бессвязных утомительных мыслей. Слова, только что прозвучавшие в моих ушах, казалось, шли не от темной фигуры человека, а от тишины и невидимого, вспыхивающего фосфором океана, и печальных холмов, заснувших в оцепении. В ушах гудел слабый звон; под обрывом тихо шуршал гравий.

Тогда все закачалось, и вернувшаяся, прогнанная волнением слабость обрушилась на меня теплой волной. Я лег, сердце билось неровно, толчками, сырая трава знобила спину и ноги.

Сильная рука встряхнула меня. Я закрыл глаза. Ивлет сказал:

– Дорога к реке идет влево. На самом гребне холмов встретите выщербленный ветром базальт, спуститесь, придерживаясь середины склона. А потом будет каменное ложе потока, которое приведет вас к небольшой бухте. Немного внимания, и вы там найдете мою пирогу. Прощайте. Вот сухари, вот свинина.

Что-то твердое шлепнулось около моей головы. Потом зашелестела трава и мелкий кустарник. Ивлет шел вниз, его темная, исчезающая по временам фигура, мягко подпрыгивая, опускалась ниже и ниже.

Я встал, покачнулся, но удержал равновесие и почувствовал, что могу двигаться. Снизу выделился неясный шум, и ветер донес обрывок негромкой песни, прозвучавшей жалобой и угрозой:

Ночью на западном берегу пролива
Мы ловили креветок и черепах,
Забыв о кораблях неприятеля!..

Пролив бурь

I

В полдень, как и всегда, Матиссен Пэд удалился на песчаные холмы мыса. Из-за волосатой пазухи Пэда торчали лоснящиеся горла бутылок и при каждом шаге кривых ног тоскливо брякали друг о друга, словно им предстояло вылиться не в стальной желудок виртуоза, а в презренные внутренности грудного младенца.

С Пэдом происходило то, что происходит со многими неумеренными людьми, если их телесное сложение и отсутствие нервов хотя отдаленно напоминают племенного быка: он впился. Самые страшные напитки, способные уложить на месте, не хуже пистолетного выстрела, любого гвардейца, производили на его проспиртованный организм такое же впечатление, как легкий зефир на статую. Пока шхуна шаталась в архипелаге, он был воистину несчастнейшим из людей этот старый морской грабитель, видевший смерть столько раз, сколько в гранате семечек.

Изобретательный от природы, он с честью вышел из затруднительного положения, как только «Фитиль на порохе» бросил якорь у берегов пролива. Каждый полдень, сидя на раскаленном песке дюн, подогреваемый изнутри крепчайшим, как стальной трос, ромом, а снаружи – песком и солнцем, кипятившим мозг наподобие боба в масле нагретыми спиртными парами, Пэд приходил в неистовое, возбужденное состояние, близкое к опьянению.

Выдумкой этой гордился он, пожалуй, не меньше, чем именем, данным им самим шхуне. Раньше судно принадлежало частной акционерной компании и называлось «Регина»; Пэд, склонный к ярости даже в словах, перебрал мысленно все страшные имена, однако, обладая пылким воображением, не мог представить ничего более потрясающего, чем «Фитиль на порохе».

Жгучий вар солнца кипятил землю, бледное от жары небо ломило глаза нестерпимым, сухим блеском. Пэд расстегнул куртку, сел на песок и приступил к делу, т. е. опорожнил бутылку, держа ее дном вверх.

Спирт действовал медленно. Первые глотки показались Пэду тепловатой водой, сдобренной выдохшимся перцем, но следующий прием произвел более солидное впечатление; его можно было сравнить с порывом знойного ветра, хлестнувшим снежный сугроб. Однако это продолжалось недолго: до ужаса нормальное состояние привело Пэда в нетерпеливое раздражение. Он помотал головой, вытер вспотевшее лицо и вытащил адскую смесь джина, виски и коньяку, настоянных на имбирных семечках.

Сделав несколько хороших глотков из темной плоской посуды, Пэд почувствовал себя сидящим в котле или в паровой топке. Песок немилосердно жег тело сквозь кожаные штаны, небо роняло на голову горячие плиты, каждый удар их звенел в ушах подобно большому гонгу; невидимые пружины начали разворачиваться в мозгу, пылавшем от такой выпивки, снопами искр, прыгавших на песке и бирюзе бухты; далекий горизонт моря покачивался, нетрезвый, как Пэд, его судорожные движения казались размахами огромной небесной челюсти.

Почти пьяный, Пэд одобрительно мычал, пытаясь затянуть песню, но ничего, кроме хриплого рева, не выходило из его воспаленной глотки, привычной к мелодиям менее, чем монах к сему. Несмотря на это, он испытывал неверное счастье пьяницы, мечтательное блаженство медведя, извлекающего из расщепленного пня дребезжающую ноту.

Так продолжалось около часа, пока красный туман не подступил к горлу Пэда, напоминая, что пора идти спать. Справившись с головокружением, старик повернул багровое мохнатое лицо к бухте. У самой воды несколько матросов смолили катер, вился дымок, нежный, как голубая вуаль; грязный борт шхуны пестрел вывешенным для просушки бельем. Между шхуной и берегом тянулась солнечная полоса моря.

Веселый, пошатающийся, распаренный, как хмель в кадке, Пэд тронулся с места, неуклюже передвигая ногами. В тот же момент лицо его приняло выражение глубочайшего изумления: воздух стал тусклым, серым, небо залилось кровью, и жуткий, немой мрак потопил все.

Пэд тяжело рухнул ничком, сраженный хорошей порцией спирта и солнечного удара.

«Плохие игрушки!» – сказал бы он сам себе, если бы имел время размыслить над этим. В его голове толпились еще некоторое время леса мачт, фантастические узоры, отдельные, мертвые, как он сам, слова, но скоро все кончилось. Пэд сочно хрипел, и это были последние пары.

Матросы, подбежав к капитану, с содроганием увидели негра: лицо Пэда было черно, как чугун, даже шея приняла синевато-черный цвет крови, выступившей под кожей.

– Отчалил! – вскричал длинноволосый Родэк, суется около Пэда. – Стань тут, Дженнер, а ты, Сигби, тащи его за ноги. Что, не поднять? Ну, говорил же я, что в нем по крайней мере десять пудов!

– Родэк, – сказал Дженнер, взволнованно почесывая за ухом, – поди принеси две палки и ведро воды. Может, он жив еще. Если же действительно капитан отчалил – мы его донесем на палках до катера.

– Как это не вовремя, – проворчал Сигби. – На завтра готовились плыть. Я недоволен. Потому что ребята передерутся. И это всегда так, – закончил он, с яростью топнув ногой, – когда в голову лезут дикие фантазии, вместо того, чтобы напиться по способу, назначенному самим чертом: сидя за столом под крышей, как подобает честному моряку!

II

– Аян, мальчик, – сказал кок, проходя мимо камбуза, – тебе следовало бы тоже там быть: все разгорячено, и теперь держи ухо востро. Полезно слушать, что говорят ребята, это может относиться ведь и к тебе.

Аян улыбнулся.

– Мое время еще не наступило, – тихо проговорил он, раскачивая руками ванты и следя, как выбленки, вздрагивая от сотрясения, успокаиваются под саллингом. – Я подожду.

– Положим, – сказал кок, хлопая по плечу юношу, – ты не так уж зелен, красивый мошенник, чтобы быть здесь совсем в загоне. Ступай, сокровище палача, в кубрик, там все. Я тоже направляюсь туда по одному делу, которое, откровенно говоря, ставит меня в тупик. Скажи, Ай, видано ли, чтобы от кока требовали знать бухгалтерию? С меня требуют хозяйственный отчет – вещь неслыханная! Это позор, Аян, для настоящих грабителей и так же мелко, как сухой берег. Когда я путался с Гарлеем Рупором (он отчалил шесть лет назад, простреленный картечью навывлет) – не было ничего подобного: каждый, кто хотел, шел в трюм, где, бывало, десятками стояли хорошие фермерские быки, разряжал револьвер в любое животное и брал тот кусок, который ему нравился. Иди, Ай, ведь это же в самом деле будет любопытно!

– Пойдем, – равнодушно сказал Аян, – но ты знаешь, я не люблю шума.

– А ты на них цыкни, – насмешливо возразил повар. – Вот и все.

Была ночь, океан тихо ворочался у бортов, темное от туч небо казалось низким, как потолок погреба. Повар и Аян подошли к люку, светлому от горящих внизу свеч; его полукруглая пасть извергала туман табачного дыма, выкрики и душную теплоту людской массы.

Когда оба спустились, глазам их представилась следующая картина:

На верхних и нижних койках, болтая ногами, покуривая и смеясь, сидела команда «Фитиля» – тридцать шесть хищных морских птиц. Согласно торжественности момента, многие сменили брезентовые бушлаки на шелковые щегольские блузы. Кой-кто побрился, некоторые, в знак траура, обмотали левую руку у кисти черной материей. В углу, у бочки с водой, на чистом столе громоздилось пока еще нетронутое угощение: масса булок, окорока, белые сухари и небольшой мешочек с изюмом.

Посередине кубрика, на длинном обеденном столе, покрытом ковром, лежал капитан Пэд. Упорно не закрывавшиеся глаза его были обращены к потолку, словно там, в просмоленных пазах, скрывалось объяснение столь неожиданной смерти. Лицо стало еще чернее, распухло, лишилось всякого выражения. Труп был одет в парадный морской мундир, с галунами и блестящими пуговицами; прямая американская сабля, добытая с китоловного судна, лежала между ног Пэда. Вспухшие кисти рук скрещивались на высокой груди.

Но смерть, столько раз хлопавшая по плечу всех присутствовавших, производила и теперь слабое впечатление: держались развязно, спорили, бились о заклад – пропахнет ли Пэд к утру или удержится. Смешанное настроение кабака, кладбища и подозрительного общества отозвалось в сердце Аяна неожиданным возбуждением: предчувствие важных событий наполнило его

молодые глаза беспокойным блеском зрачков рыси, вышедшей на охоту. Он стал в углу, улыбаясь своей странной улыбкой, похожей на неопределенный жест человека, колеблющегося между приветствием и угрозой.

Едва Аян занял свое место, как на койку взгромоздился Редок, правая рука Пэда; теперь просто рука, потому что туловище отчалило. Квадратное, надменное лицо Реджа без устали скользило глазами по лицам присутствующих. Наступила относительная тишина.

– Ребята! – сказал Редж. – Случилось то, что случилось. Вот, – он протянул руку к голове трупа, – вы видите. Пэд страшно пил, как вам всем известно и без меня, но кто посмел бы его упрекнуть в этом?

– Хорошо сказано, – подхватил сосредоточенный бас Дженнера. – Валяйте, лейтенант, дальше, и да поможет вам небо благополучно бросить оба якоря в гавани.

– Всякому будет свое время упражняться в красноречии, – перебил Редж, с неудовольствием взглянув на матроса. – Ребята! Что толковать – мы не какое-нибудь военное судно, где выдают чарку виски в полдень и перед ужином. Меня разбирает смех, когда я об этом думаю. Да, Пэд твердо помнил свою позицию, и память погубила его. Сколько у меня в бороде волос, столько раз брал я его за рукав, когда он, нагрузив пазуху и карманы, шел на этот роковой холм. Он ругался. Он страшно ругался и твердил, что должен напиться хоть раз в день. Исправить этот несчастный случай – то же, что подковать на бегу лошадь. Мы здесь бессильны, и, если бы могли плакать, труп Пэда плавал бы теперь в наших слезах, как тростинка в большой реке. Благодаря тебе, Пэд, – повысив голос, обратился Редж к трупу, – из шершавых волчат выросли настоящие волки. Аминь.

Он смолк и трагически поднял брови, стараясь уловить, какое впечатление произвела его речь. Раздались сдержанные рукоплескания.

– Теперь, – сказал Редж, – мы, как живые, должны озаботиться насущными, неотложными делами. Нужно привести все в порядок, чтобы тот, кого вы выберете капитаном, – здесь Редок приостановился, но в тот же момент лица всех сделались непроницаемыми, а некоторые даже потупились, – чтобы новый начальник видел все ясно, как на стекле. Сейчас выступит повар Сэт Алль и даст отчет в имеющемся продовольствии. Затем я – в общем приходе и расходе, и, наконец, штурман Гарвей приведет в известность всех относительно оружия, корабельных материалов и остального инвентаря. Потом, не откладывая в долгий ящик, произведем выборы капитана, так как вы знаете, что отсутствие дисциплины на судне пагубнее, чем присутствие женщины. Я кончил.

Загорелый, шишковатый лоб Реджа покрылся испариной. Он перевел дух и отошел в сторону, а на его место стал повар. Манеры Сэта явно показывали глубокое презрение к роли, в которой ему приходилось выступить: он демонстративно покачивался и ежеминутно засовывал в карманы руки, снова извлекая их, когда требовалось сделать какой-нибудь небрежно-шикарный жест.

– Ну, что же, – начал повар, – вы, конечно, меня все хорошо знаете. К чему эта глупая комедия? Будем объясняться начистоту. Я обокрал вас, джентльмены, – в течение этих трех лет я нажил огромное состояние на пустых ящиках из-под риса и вываренных костях. Я еще и теперь продаю их акулам, из тех, что победнее, – три пенни за штуку – будь я Иродом, если не так. Только вот беда: денег не платят.

Яростный взрыв хохота сопровождал эту незамысловатую шутку. Сэт вытер усы, лукаво подмигивая натянутой физиономии Реджа, и стал внезапно серьезен, только в самой глубине его вертлявых зрачков вспыхивали насмешливые огоньки.

– Я все записал, – сказал он, доставая засаленную бумажку. – Вот слушайте: осталось у нас: галет 1-го и 2-го сорта сорок мешков, муки – шесть больших бочек, каждая, вероятно, в полтонны; соленой свинины – две бочки, кроме того, имеются два почти издохших быка... Относительно быков: пасти мне, что ли, их здесь? Я завтра пристрелю обоих. Ты что обеспокоился, Сигби? Не протухнут, есть ледники и селитра. Что же еще есть у нас? Да – кофе, прессованные овощи...

И он тщательно, упиравшись пальцем в бумажку, перечислил всю наличность провизии. Вы-

ходило, что в этой, спрятанной от чужих глаз бухте можно просидеть с месяц, не беспокоясь о том, что есть.

Сэт ретировался под дружный гул одобрений. Наступила очередь штурмана. Этот даже не потрудился встать с койки, где между ним и боцманом стояла бутылка в обществе оловянных стаканов. Аян видел из своего угла, как острое, серьезное лицо штурмана высунулось из-за пиллерса, быстро швыряя в толпу увесистые, короткие фразы, прерываемые характерным звуком жующих челюстей.

– Все благополучно, – сказал Гарвей. – Судно в исправности, не мешало бы почистить обшивку форштевня под ватерлинией: тамросло ракушек и всякой дряни. Старая течь, наконец, открыта: вода сочилась под килем, у третьего тимберса от кормы, слева. Поставили заплату. Все материалы налицо, от железных скобок до запасного кливера. Пороху хватит до следующих дождей; при желании бомбардировать луну хватило бы, по крайней мере, на месяц, и это при беспрерывной канонаде. Арсенал состоит из сорока двух запасных собак, пятии шестизарядных; Когана – двадцать, Мортимера – шесть, Смита и Вессона семнадцать, Скотт – девять. Два орудия – блестящие, нежненькие, без одной царапины. Снаряды: картечи – два ящика, гранат – три, кроме того, две дюжины стальных ядер, с обшивками Леверсона. Двадцать американских топоров, два гарпуна, одиннадцать сабель, восемьдесят каталонских ножей. Винтовки: одиннадцать Кентуккийских, пять Бердана, десять Новотни, Штуцера: тридцать четыре – Пристлея, один – Джаксона, патроны в полном комплекте.

Гарвей умолк так же неожиданно, как и заговорил. Отвернувшись, он продолжал чокаться с боцманом.

Между тем шум усилился, по рукам ходили бутылки, многие стояли, прислонившись спиной к столу, на котором лежал Пэд, и, размахивая локтями, толкали покойника. Аян подошел к Гарвею.

– Штурман, – сказал он, чуть-чуть нахмурившись, – вы слышите? Голос каждого звучит совсем иначе, чем когда был жив капитан Пэд. Я чувствую тревогу. Что будет?

– Ты много стал понимать, Ай, – произнес штурман. – Молчи, ты моложе всех, не твое дело.

– Я чувствую, – повторил юноша, – что произойдут важные события. Меня никогда не обманывают предчувствия, вы увидите.

– Постой! – крикнул Родэк, приподымаясь, чтобы взглянуть на вышедшего вперед Реджа. – Он хочет сказать что-то!

Аян повернулся. Редж, тоже слегка пьяный, махал рукой, приглашая команду слушать. Образовался кружок, лейтенант встал у трупа, упираясь рукой в край стола. Казалось, что он схватил покойника за руку, ища поддержки.

– Эти три месяца, – почти закричал Редж, – дали нам одиннадцать тысяч наличными и две – за проданный транспорт индиго. Деньги переведены в банк «Приятелю». Есть расписки. Проверкой документов займется тот, кто будет новым начальником. Слушайте, ребята, – с новой силой закричал он, – объявите ваши симпатии! Пусть каждый назовет, кого хочет, здесь все свободны!

Разом наступила глубокая тишина, как будто вдруг опустел кубрик и в нем остался один Редж. Началось немое, но выразительное переглядывание, глаза каждого искали опоры в лицах товарищей. Не многие могли похвастаться тем, что сердца их забились в этот момент сильнее, большинство знало, что их имена останутся произнесенными. Кой-где в углах кубрика блеснули кривые улыбки интригов, сдержанный шепот вырос и полз со всех сторон, как первое пробуждение ночного прилива.

Аян молча стоял у койки; его озаренные изнутри глаза отражали общее сдержанное возбуждение, заражавшее желанием неожиданно возвысить голос и произнести неизвестное ему самому слово, целую речь, после которой все стало бы ясно, как на ладони. Между тем, спроси его кто-нибудь в это мгновение: «Ай, кто достойнейший?» – он ответил бы обычной улыбкой, жуткой в своей замкнутости. Наконец боцман сказал:

– Штурман Гарвей, ребята, и никто больше!

При полном молчании матросов штурман пожал плечами, как бы удивляясь столь длинной паузе, но, в общем, остался спокоен. Боцман продолжал:

– Я вам говорю, не кобеньтесь. Гарвей знает все, все видел, все испытал. Он строг, верно, но за порядок при нем я ручаюсь своей кровью. Ну, что же, умерли вы? Берите Гарвея, и конечно! Все будет как следует!

– Гарвей! Гарвей! – закричали некоторые, делая вид, что с ними кричат все остальные. – Он! Он!

Сторонники штурмана тесным кольцом окружили своего кандидата, остальные стали около Реджа. Старики, пыхая трубками и сплевывая, доставали револьверы: опытность говорила в них, старый инстинкт хищников, предусмотрительных даже во сне. Раздались крики:

- Долой барина Гарвея!
- Назовите человека, с которым Гарвей разговаривал не через плечо!
- Выбирайте! За бортом много воды!
- Спросите-ка сперва Пэда!
- Полдюжины огородных чучел против настоящего моряка! Браво, Гарвей!
- Лижите пятки у Реджа!
- Долой Гарвея!
- Плохое вы дело затеяли там, у бочки! Гарвей зажмет вам рты быстрее Пэда.
- Редж! Хотим Реджа! Редж!

Кровь хлынула к бледному лицу Реджа. Он быстро поворачивался во все стороны, судорожно смеясь, когда противная сторона бросала ему ругательства. Рука Аяна бессознательно поползла к поясу, где висел нож, он весь трепетал, погруженный в головокружительную музыку угроз и бешенства.

Шум усилился, на мгновение все смешалось в одно пестрое, стонущее пятно, и снова выделились отдельные голоса:

- Редж!
- Гарвей!
- Редж!
- Гарвей!
- Долой Реджа!
- Долой Гарвея!
- Бросить их в воду! – С боцманом!
- И с сундуками!
- И с оловянными кружками!
- Подумаешь, что все мы без головы.

– Джентльмены! – орал Сигби, сам еще не решивший, кого он хочет. Каждый из нас мог бы быть капитаном не хуже патентованных бородачей Ост-Индской компании, потому что – кто, в сущности, здесь матросы? Все более или менее знают море. Я, Дженнер и Жип – подшкиперы, Лауссон – бывший боцман флота, Энери служил лоцманом... у всех в мозгу мозоли от фордевиндов и галсов, а что касается храбрости, то, кажется, убиты все трусы! Ну, чего вам?

– Дженнер! – закричали в углу. – Эй, старина, поставь-ка свою кандидатуру!

Отчаянные ругательства наполнили кубрик. Все столпились вокруг покойника, равнодушного, как никогда более, к взрыву страстей. Многие, держа за спиной револьвер, протискивались в самую гущу; в криках слышался звенящий, металлический тембр, показывавший крайнее возбуждение. Боцман Кристоф держал руку за пазухой, и бронзовое лицо его, под снегом седых волос, растягивалось в бешеную улыбку. Гарвей словно окаменел, стоя во весь рост; глаза его с быстротой кошачьей лапы хватали малейшее угрожающее движение, в каждой руке висело вниз дулом по револьверу; Редж, полусогнувшись, притопывая ногой, ворочал свою толстую шею во всех направлениях; яркие пятна горели на его скулах.

Ни позже, ни раньше, именно в тот самый момент, когда это сделалось необходимым, потому что два-три раза щелкнул курок, Аян бросился к ложу Пэда. Губы его вздрагивали от волнения; наконец, уловив паузу, он крикнул изо всей силы, словно слушающее находилось от него

по крайней мере за милую:

– Если бы капитан Пэд встал, он выдрал бы всех за уши!

Голос его покрыл шум, и крики затихли. Гарвей сурово улыбнулся, Редж с недоумением дернул подбородком, оглядываясь; громко захохотал Сигби – еще секунда, другая, и бешенство сломилось, как палка, встретившая топор, потому что слова Аяна звучали непоколебимой уверенностью; момент был великолепен. Боцман сказал:

– Ай, насмеши еще!

Он посмотрел на юношу, но травленный взгляд его поскользнулся на твердых глазах Аяна, как птица на льду. Аян был странен в эту минуту: нижняя часть его правильного лица смеялась, в то время как верхняя сохраняла невозмутимую, серьезную зоркость взрослого, берущегося за дело.

– Повтори-ка, что ты сказал! – крикнул Редж.

– Я предлагаю, – не обращая внимания на смех и шутки пиратов, продолжал Аян, – разойтись сегодня и сойтись завтра. Завтра вы будете хладнокровнее. Никакого толку сегодня не будет, разве что Редж прострелит ногу Гарвею, а Гарвей искалечит Реджа. Пэд, конечно, весьма сконфужен. Завтра, завтра каждый придет к какому-нибудь окончательному решению. И вы же еще пьяны вдобавок!

– Дело! – сказал Сигби, грызя ногти. – Как скоро растут мальчишки!

– Да, – продолжал Аян, – нехорошо, если прольется кровь. Лучше вы сделаете, если разойдетесь. И нечего там трогать курки. Ведь все вы мои друзья – по крайней мере, мне кажется, что у меня нет врагов. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что сказал.

Полдюжины рук опустились на его плечи прежде, чем он умолк. Это грубое одобрение было почти искренним; между тем шум перешел в гул, Редж подошел к Гарвею, как бы ища темы для разговора; Гарвей отворачивался.

– Аян, – произнес Кристоф, когда все успокоились, – через полгода у тебя вырастут усы, и как ты тогда будешь глядеть?

– Прямо, – сказал Аян. – Море не терпит раздоров, – прибавил он, – а завтра все будет кончено.

– Ай, – сказал Сигби, – ну, ей-богу же, ты простак первой руки. И я тебе говорю: не одна пуля засядет в теле кого-нибудь из нас, пока ты услышишь крик нового капитана: «Готовь крючья!»

III

К пробитию четырех склянок все выстроились на шканцах. Принесли Пэда; тело его, плотно зашитое в брезент, походило на огромного связанного тюленя. Труп положили на деревянный щит, употребляемый при погрузке, открыли борт и своеобразный морской гроб тихо скользнул по палубе, ногами к воде. Щит, придерживаемый тремя матросами, остановился, покачиваясь; в ногах Пэда, крепко увязанная между ступней, чернела свинцовая балясина. Океан был спокоен; белоголовые морские орлы плавали над водой, держась к берегу и оглашая пустынную тишину земли резкими, удлинёнными выкриками. Гарвей подошел к трупу, обнажив голову, и тотчас руки всех поднялись к головам, предоставляя солнцу накалывать затылки и шеи, цвета обожженного кирпича.

Гарвей прочитал молитву, рассеянно смотря вдаль, сбиваясь и перевирая слова. Потом рука его заслонила море, он приглашал слушать.

– Ребята, – сказал он своим обычным сухим голосом, не опуская руки, пока море не расступилось, Пэд здесь. Я говорить не мастер. Мы плавали и дрались вместе. Многие из нас живы только благодаря ему. Пусть идет с миром.

– С миром! – как эхо, отозвалась команда, и самые суровые лица стали мягче, словно им пощекотали в носу. Кто-то кашлянул.

– Мы тебя не забудем, – продолжал Гарвей. – Ты ушел от виселицы, а мы неизвестно. Но мы будем жить, как жили, пока нам не перегрызут горло. Аминь.

Он подал знак, и щит быстро перегнулся к воде. Труп пополз вниз, сорвался и исчез за палубой.

– Бу-бух! – всплескивая, сказала вода.

Все подошли к борту, следя, как вздрагивающие круги тают у судна и в отдалении. Прошло секунд десять – прежняя, невозмутимая гладь окружила «Фитиль на порохе».

Тогда все задвигались, заговорили, а лица приняли свободное выражение. С Пэдом было покончено.

– Ребята, – сказал Гарвей, – не все сделано. Капитан не захотел умереть бродягой – есть завещание. Оно лежало у него под замком в ящике, где сушился табак.

Тогда расцвели самые угрюмые лица: завещание это обещало интересные вещи. Сигби протиснулся ближе всех – он никогда не читал такой штучки, даром что отец его умер на собственной земле. Жизнь разлучает родственников.

В руках Гарвея появился пакет, и трудно сказать, был ли он распечатан в ту же минуту десятками напряженных глаз или пальцами штурмана. Хрустнул грязноватый листок; кроме того, штурман держал еще что-то, зажатое в левой руке и вынуженное, по-видимому, из пакета.

Гарвей не поднял на толпу глаз, как делают обыкновенно чтецы, сообщающие что-либо важное. Он читал с некоторым усилием, ибо школьные годы Пэда протекали в завязывании буксирных узлов. Но разобрать все-таки было можно.

«11 июля 18...9 года, – прочел Гарвей, и передние ряды шевельнулись. Я, Матиссен Пэд, могу умереть. Если это случится, то не желаю расставаться ни с кем в ссоре, поэтому завещаю:

1) Мои собственные деньги, девятьсот шестьдесят фунтов золотом, что под левой задней ножкой стола, подняв доску, – всем поровну и без исключения».

Гарвей остановился и сделал рукой резкий, неопределенный жест.

– Гу-у! – пронеслось в толпе. Теперь волновались задние, переднее кольцо стояло тише, чем в момент похорон.

«Второй пункт, – сказал штурман. – Все вещи, за исключением трех ковров, на которых изображена охота с соколами, дарю Гарвею. Ковры отдать Аяну, мальчик любил их рассматривать».

Многие обернулись, отыскивая глазами Аяна, стоявшего позади всех. Он был спокоен.

– Ты будешь на них спать, Ай, – сказал сумрачный Рикс, завидуя штурману, потому что ценность вещей Пэда достигала значительной суммы.

– Тише! – зашипел Редж.

Гарвей продолжал:

«Портрет, который я запечатываю вместе с этой бумагой, прошу кого-нибудь из вас доставить по адресу. В этом моя главная и единственная к вам просьба».

Далее следовало несколько туманных, сбивчивых замечаний, из которых самым ясным было, пожалуй, следующее: «...не мочите, краска не лакирована». Затем что-то зачеркнуто, наконец, следовала подпись, похожая на просыпанные рыболовные удочки.

Любопытство, достигшее нетерпеливого раздражения, выразилось в скрипе подошв. Почти все стояли на носках, вытягивая вперед шеи; Сигби сказал:

– Покажите же, черт возьми! Да он у вас в левой ладони!

Гарвей, не торопясь, спрятал документ. Он сам рассматривал чуждое кривым улыбка изображением женщины. Тень высокомерного удивления лежала между его бровей, сдвинутых, как две угольные барки в маленькой, тесной гавани.

Раздались возгласы:

– Э! Послушайте! Это невежливо!

– Дайте же и нам, наконец!

– Суньте-ка сюда эту бабу без лака!

– Пэд с розовым цветочком в петлице! Хе!..

– Хо-хо!..

Гарвей протянул руки, и в то же мгновение она осталась пуста. Полустертая акварель прыгала из рук в руки; взрослые стали детьми; часть громко смеялась, плотоядно оскаливаясь; в ли-

цах иных появилось натянутое выражение, словно их заставили сделать книксен. Редок презрительно сплюнул; он не переваривал нежностей; многих царапнуло полусмешное, полустыдное впечатление, потому что вокруг всегда пахло только смолой, потом и кровью.

– Взгляни-ка сюда, Ай, – сказал, приосанившись, молодой Пильчер, – это получше твоих ковров.

Аян взял тоненькую костяную пластинку. Сначала он увидел просто лицо, но в следующее мгновение покраснел так густо, что ему сделалось почти тяжело. Быть может, именно в полустертых тонах рисунка заключалась оригинальная красота маленького изображения, взглянувшего на него настоящими, живыми чертами, полными молодой грации. Он сделал невольное движение, словно кто-то теплой рукой бережно провел по его лицу, и засмеялся своим особенным, протяжным, горловым, и заразительным смехом. Пильчер сказал:

– А? Ну, ей-богу же, у Пэда где-нибудь остался курятник, а он был славный петух.

– Этого не может быть, – твердо сказал Аян. – Нет такой женщины.

– Почему? – вернул Сигби.

– Я не видел, – коротко пояснил Аян и, помолчав, прибавил: – Я видел их, правда, один раз, но их было чересчур много и нельзя было рассмотреть хорошенько. Мы проходили тогда мимо пристани с фальшивым голландским паспортом. Они там стояли вечером.

– Оставьте пустяки! – крикнул Редок, довольный, что Гарвей замолчал и он может овладеть общим вниманием. – Кто поедет?

– Я не хочу, – сказал Дженнер после того, как молчание стало общим. Чего ради?

Остальные переминались. Уехать во время междоусобицы, когда вот-вот начнут делить золото Пэда?! Рискнувший на это рисковал также вернуться к пустой бухте или в лучшем случае увидеть на горизонте тыл «Фитиля». Редж продолжал:

– Стыдно, ей-богу! Сутки вперед, сутки назад! Эй, желающие!

Некоторые отошли в сторону. Гарвей вдруг побледнел, и все отшатнулись: в руке его заблестел револьвер.

– Неблагодарная сволочь! – закричал он, забыв, что может потерять в этот момент всех сторонников, тайных и явных. – Клянусь чертом, вы стоите того, чтобы вызывать вас по жребии и первому отказавшемуся размоzzжить голову. Я спрашиваю первый раз: кто?

Это «кто» лязгнуло в толпе, как лопнувший стальной трос. Прозвучали сдержанные ругательства: никто не ответил вызовом – правота чувствовалась на стороне спрашивающего.

– Второй раз! – закричал взбешенный Гарвей. – Кто?

Сигби согнулся, опасаясь, что Гарвей выстрелит. Редж злорадно хихикнул, судорожно потирая руки.

– Подле... – хотел зареветь Гарвей, но голос его сорвался.

Аян подошел к борту и сдержанно кивнул головой.

– Кто? – по инерции произнес Гарвей сравнительно тихим голосом. – Ай, ты?

– Я.

– Тридцать миль на шлюпке и двести по железной дороге к северу.

– Хорошо.

– Сегодня вечером.

– Да.

– Не надо терять времени.

– Я еду, Гарвей.

IV

Ночь мчалась галопом; вечер стремительно убегал; его разноцветный плащ, порванный на бегу, сквозил позади скал красными, обшитыми голубым, клочьями. Серебристый хлопок тумана колыхался у берегов, вода темнела, огненное крыло запада роняло ковры теней, земля стала задумчивой; птицы умолкли.

Был штиль, морская волна тяжело всплескивала; весла лишь на мгновение колыхали ее по-

верхность, ленивую, как сытая кошка. Аян неторопливо удалялся от шхуны. Шлюпка, тяжеловатая на ходу, двигалась замирающими толчками.

Силуэт «Фитиля» почти исчезал в темной полосе берега, часть рей и стеньг чернела на засыпающем небе; внизу громоздился мрак. Светлые водяные чешуйки вспыхивали и гасли. Прошло минут пять в глубоком молчании последняя атака тьмы затопила все. Аян вынул из-под кормы заржавленный железный фонарь, зажег его, сообразил положение и круто повернул влево.

Рыжий свет выпуклых закопченных стекол, колеблясь, озарил воду, весла и часть пространства, но от огня мрак вокруг стал совсем черным, как слепой грот подземной реки. Аян плыл к проливу, взглядывая на звезды. Он не торопился – безветренная тишина моря, по видимому, обещала спокойствие, – он вел шлюпку, держась к берегу. Через некоторое время маленькая звезда с правой стороны бросила золотую иглу и скрылась, загороженная береговым выступом; это значило, что шлюпка – в проливе.

Аян встал и некоторое время прислушивался, задерживая дыхание. Справа тянуло душной, теплой гнилью болот, ядовитыми испарениями зеленых богатств, скрытых мраком; слабо шуршал песок, встречая сонный прилив. Берег был совсем близко. Аян сел; теперь он проходил устье бухты, заворачивая к северной стороне пролива. Впереди, милях в двух, лежал океан, сзади шел узкий проход, стиснутый клиньями острова и материка. Дно пролива, истерзанное подводными течениями, работой подземных сил и взрывами штормовых волн, колебавших пучину до основания, напоминало шахматную доску, уставленную фигурами в разгаре игры. Лот, брошенный здесь, достигал то двух футов, то значительной глубины; днем в тихую погоду можно было здесь видеть иглы и зубцы рифов; пролив в это время напоминал слегка оскаленный рот. Большое и маленькое судно могло бы пересечь его с таким же успехом, как перепрыгнуть через собор. Единственная доступная веслу и килю вода тянулась у северного крутого берега: ширина этой ленты была бы все же сомнительна для фрегата.

Взяв направление, Аян стал грести ровно, не утомляясь. Великая пустынная тишина окружала его. Мрак сеял таинственные узоры, серые, седые пятна маячили в его глубине; рыжий свет фонаря бессильно отражал тьму и тяжесть невидимого пространства; нелепые образы толпились в полуосвещенной воде, безграничной и жуткой. Аян боролся с тревогой, однозвучный наплыв дум держал его в томительном напряжении, и сцены последних дней роились в черной стене воздуха, беглые, как обрывки сна. Он смотрел, думал, и вдруг, защемив сердце, открылась темным тайным глазам его безмерная пустота. Он ощутил пространство, невидимые провалы окружили его; спящее лицо океана поднялось к зениту и холодом бездны спугнуло мысль. Он встрепнулся; протяжный далекий гул рос в тишине, как будто заревел горизонт; глухое волнение охватило мрак, в ушах зазвенел стремительный прилив крови. Все стихло.

Это была, конечно, галлюцинация слуха. Аян встал, сел снова, задыхаясь от беспокойства, и крикнул. Голос его, звонко отраженный водой, убил призраки. Все приняло обыкновенные размеры, мирно поскрипывали уключины, слева тянуло теплым, береговым воздухом. Одно-два мгновения Аян подумал еще о спрутах с зелеными фосфорическими глазами; рыбах, похожих на привидения или кошмарный сон; гигантских нарвалах, скатах, отвратительных, как подушка из скользкого мяса; но это уже была последняя судорога воображения; он положил весла, придвинул фонарь и вынул портрет женщины.

Свет ускользал, менял краски, двигал тенями, и чудилось, что лицо неизвестной девушки бегло меняет выражение, улыбаясь Аяну. Он засмеялся; все – шлюпка, весла, фонарь, ружье, спрятанное в корме, – показались ему удивительно приятными, дорогими предметами. Сунув портрет в карман, Аян продолжал еще некоторое время видеть его так же ясно, как и в руках. И как это часто бывает, когда бесчисленные голоса хором встают в душе – сложная острота момента, сильная, необъяснимая радость охватила его. Он вскочил, полный нетерпеливого стремления двигаться, поднял весло и бешено завертел им над головой. «Шу-с-с... шу-с-с... шу-с-с...» – загудел воздух; шлюпка, поплескивая, качалась из стороны в сторону. Аян сел, положил весло, лицо его улыбалось, глаза блестели от возбуждения.

– Почему тихо? – громко сказал он, смеясь самому себе. – Море, кричи!

Береговое эхо тяжело ухнуло и замолкло. Желание стряхнуть тишину, как стряхивают сонливость, овладело Аяном. Он громко сказал, прислушиваясь к своему голосу:

– Я еду, еду! Один!

Шлюпка придвинулась к берегу, своды ветвей повисли над головой Аяна. Он ухватился за них, и шум листьев глухо пробежал над водой. И снова почудилось Аяну, что тишина одолевает его; тогда первые пришедшие на ум возгласы, обычные в корабельной жизни, звонко понеслись над проливом и стихли, как трепет крыльев ночных всполохнутых птиц:

– Эй! Всех наверх! Подтяни фалы, брасопь фок; грот и фок в рифы; все по местам! Готовь крючья!

Он смолк, сел, взял весла и сильно ударил по воде, бледный от тайной, горячей мысли, дерзкой, как поцелуй насильника.

V

– Я тотчас вернусь, – сказал слуга, заметив, что Аян двинулся вслед за ним. – Подождите.

– Разве это не все равно? – возразил Аян. – Ведь мне нужно ее видеть, а не вам.

Лакей поджал губы. Взгляд его выражал холодное, почтительное презрение.

– Если вы не смеетесь, – сказал он, – а просто рассеянны, то попросите у меня объяснения. Здесь ждут. И если будет выражено желание принять вас тем лучше.

– Я плохо понимаю эти вещи, – улыбнулся Аян. – Идите, если это необходимо, но мне некогда.

Он выдержал еще один выстрел изумления, отлично вышколенных лакейских глаз и сел в углу. Ожидание подавляло его, он трепетал глухой дрожью; любопытство, неясные опасения, тайный, сердитый стыд, рассеянное, острое напряжение бродили в его голове не хуже виноградного сока.

Он был один в светлой пустой комнате. Разноцветный стеклянный купол, пропуская дневной свет, слегка изменял естественную окраску предметов; казалось, что сквозь него сеется тонкая цветная пыль. Мебель из полированного серебристого граба тянулась вдоль стен, обитых светлой материей с изображениями цветов, раскидывающих по голубому фону остроконечные листья. Пол был мозаичный, из черных и розовых арабесок. В большом, настежь распахнутом полукруглом окне сияло небо, курчавая зелень сада обнажала край каменной потрескавшейся стены.

Все это было ново, интересно и вызывало сравнения. Главная роскошь «Фитиля» заключалась в кают-компании, где стояли краденые бронзовые подсвечники и несколько китайских шкапулок, куда время от времени бросали огрызки сигар. Аян нетерпеливо вздохнул, глаза его, прикованные к портьеру, выражали мучительное нетерпение. Мысль, что его не примут, показалась чудовищной. Тишина раздражала.

Время шло, никто не показывался; напряжение Аяна достигло той степени, когда простое разрушение тишины, какой-нибудь посторонний звук является облегчением. Он слегка топнул, затем кашлянул. Разные предположения сутились в его голове. Сперва он подумал, что человек, взявшимся доложить о нем, – не здешний и сыграл глупую шутку, отправившись преспокойно домой. Мысль эта привела его в гневное состояние. Далее он решил, что могло произойти какое-нибудь несчастье. Человек со светлыми пуговицами мог, например, упасть, удариться головой, лишиться сознания. Наконец, еще одно, бросившее его в целый вихрь представлений, соображение пронизало Аяна электрическим током и подняло с места; он здесь в ловушке. Светлые пуговицы отправились за полицией; но как они могли знать – кто он такой?

Впрочем, рассуждать было поздно. Аян вынул револьвер, положил палец на спуск и тихими, крадущимися шагами подошел к двери. Лицо его пылало негодованием; возможно, что появление в этот момент лакея было бы для слуги полным земным расчетом. Раздвинув портьеру, он увидел залу, показавшуюся ему целой площадью; в глубине ее виднелись еще двери; веселый солнечный ливень струился из больших окон, пронизывая светлую пустоту.

Теперь необходимо было как можно скорее исполнить взятое на себя поручение и уйти.

Ничто не препятствовало Аяну разыскать барышню, вручить ей тяжеловесный пакет и спастись, в крайнем случае даже через окно. Если дорогу преградят люди, он начнет драться. Аян решительно отбросил портьеру и быстро пошел вперед; шаги его морских сапог гулко раздались в пустоте; взволнованный, он плохо различал подробности; зала и ее обстановка сливались для него в одно большое, невиданное, пестрое, стеклянное, резное и золотое. Два раза он поскользнулся; это чуть-чуть не возвратило его к старому предположению, что светлые пуговицы разбили себе голову. В следующий момент прямо на него двинулся откуда-то из угла молодой, гибкий человек, с лицом, опаленным ветром, и острыми, расширенными глазами; костюм его состоял из блузы, кожаных панталон и пестрого пояса. Аян протянул револьвер, то же сделал беззвучнодвигающийся человек, и так они стояли два-три момента, пока Аян не разглядел зеркала. Озадаченный и покрасневший, он стал искать глазами дверей, но они скрылись, каждый простенок походил один на другой, в глазах рябило, из золотых рам смотрели застывшие улыбки нарядных женщин. Аян тронулся вдоль стены – щель сверкнула перед его глазами; он протянул руку это была дверь, бесшумно распахнувшаяся под его усилием.

Он двинулся почти бегом – все было пусто, никаких признаков жизни. Аян переходил из комнаты в комнату, бешеная тревога наполняла его мозг смятением и туманом; он не останавливался, только один раз, пораженный странным видом белых и черных костяных палочек, уложенных в ряд на краю огромного отполированного черного ящика, хотел взять их, но они ускользнули от его пальцев, и неожиданный грустный звон пролетел в воздухе. Аян сердито отдернул руку и, вздрогнув, прислушался: звон стих. Он не понимал этого.

Мгновение полной растерянности, недоумения, жуткого одиночества проникло в его душу тупой болью. Он кинулся в маленький коридор, выбежал на стеклянную, пронизанную солнцем галерею, отворил еще одну дверь и остановился, скованный неожиданностью, задыхаясь, с внезапно упавшим сердцем.

VI

Комната, в которую он так стремительно ворвался, с револьвером в одной руке и тяжеловесным пакетом в другой, отличалась необыкновенной жизнерадостностью. Бело-розовый полосатый штоф покрывал стены, придавая помещению сходство с внутренностью огромного чемодана; стены на солнечной стороне не было, ее заменял от пола до потолка ряд стекол в зеленых шестиугольных рамах, – это походило на разрез пчелиного сота, с той разницей, что вместо меда сочился золотой свет. Комната была полна им, он заливал все. Жирандоли с вьющимися растениями закрывали низ стеклянной стены; спутанные тропические цветы свешивались с потолка, завитки их дрожали, как маленькие невинные щупальца. В углу, над бамбуковой качалкой, раскачивался в тонком кольце хохлатый маленький попугай. Посередине – стол, окруженный пухлыми белоснежными креслами; серебряный кофейный прибор отливал солнцем.

Аян не различал ничего этого – он видел, что в рамке из света и зелени поднялось живое лицо портрета; женщина шагнула к нему, испуганная и бледная. Но в следующий же момент спокойное удивление выразилось в ее чертах: привычка владеть собой. Она стояла прямо, не шевелясь, в упор рассматривая Аяна серыми большими глазами.

– Это вы, – с усилием произнес Аян. – Я вас узнал по портрету. Там был человек, он сказал, что пойдет к вам и скажет вам про меня. Я думаю, что это предатель. Я прошел много комнат, прежде чем нашел вас.

– Спрячьте револьвер, – сказала девушка.

Он посмотрел на свою правую руку, занятую оружием, и сунул Вессон за пояс.

– Я вынул его на всякий случай, – произнес он, – мы не доверяемся тишине. Вас зовут Стелла, извините, если я ошибаюсь, но так сказал мне бритый старик, приславший что-то в этом свертке. Что там – мне неизвестно. Вот он. Может быть, я вас испугал, барышня?

Молодая девушка насмешливо посмотрела на посетителя.

– Я, может, и испугалась бы, если бы вы пришли ночью, но теперь день. Садитесь и расскажите, чему я обязана вашим стремительным посещением.

– Пэд умер, – сказал сильно смущенный Аян. Душевное равновесие было им совершенно утеряно – девушка ослепила его. Он смотрел и не мог отвести взгляда от ее лица. Она была значительно моложе, чем на портрете; волосы пепельного оттенка, заплетенные в один пышный жгут, спускались ниже бедер. Платье, серое с голубым, плотно закрывало шею и руки; блестящие оленьи глаза под тонкими, высоко выведенными бровями казались воплощением гордости. Когда она спрашивала, спрашивало все лицо, а правая рука слегка приподымалась нетерпеливым, резким движением.

– Пэд умер, – повторил Аян. – Никто не хотел ехать, так как наступил беспорядок. Если вы ничего не знаете, я расскажу по порядку. Капитан Пэд оставил завещание и в нем просил кого-нибудь отвезти по адресу ваш портрет.

– Вы сумасшедший! – сказала Стелла, расширяя глаза. – К какому капитану мог попасть мой портрет, голубчик?

Аян вспыхнул и побледнел. Сумасшедший! В лице его пробежала судорога страдания. Но он оправился прежде, чем девушка протянула руку, как бы приглашая его успокоиться. Когда он стал говорить далее, голос его сорвался несколько раз прежде, чем он произнес дюжину слов.

– Я говорю, что было; я сам знаю не больше вашего, – тихо сказал он. Вы не можете на меня сердиться. Я приехал и отыскал бритого старика, который, я не знаю – почему, смотрел на меня так, как будто я хватил его ножом в горло. Он передал мне вот это, оно завязано так же, как было, и указал ваш дом. Я не думаю, чтобы я сломал что-нибудь у вас в больших комнатах: я держался посредине.

– Если это мне, дайте, – удивленно произнесла Стелла. – Но я решительно ничего не понимаю.

– Вот ваш портрет. – Аян протянул маленькую овальную дощечку. – Я берег его от воды и грязи, – прибавил он.

Полунежная, полугрозная улыбка прорезала его смуглые черты. Он плохо понимал себя в эти минуты; происходящее казалось ему сном. Стелла взяла портрет.

И больше не было в ее лице тревожного внимательного недоумения. Она резко повернулась; пепельный жгут вздрогнул и захлестнул ее руку, разом опустившуюся, словно по ней ударили. Когда она снова взглянула на Аяна, лицо ее было совсем белым, губы нервно дрожали.

– Это для меня новость. – Каждое слово ее отдельно ложилось в солнечную тишину комнаты. – Не смотрите на меня круглыми глазами – это не ваше дело. Надеюсь, вы поняли? Дайте сюда пакет.

Пальцы Стеллы беспомощно скользили по нему, пеньковая бечевка крепко стягивала узлы.

– Вот нож. – Аян протянул кортик с роговой ручкой.

Девушка приняла помощь без взгляда и благодарности – внимание ее было поглощено свертком. Нож казался в ее руках детской жестяной саблей, тем не менее острое лезвие вспорол холст и веревки с быстротой молнии. Аян, охваченный любопытством, стоял рядом, думая, что его руки сделали бы то же самое, только быстрее.

Внутри был большой, темный деревянный ящик, ключ торчал в скважине и щелкнул, казалось, прежде, чем девушка схватила его. В тот же момент толстая бумажная пачка подтолкнула крышку ящика, и град пожелтевших писем разлетелся под ногами Аяна.

Аян нагнулся, подхватил несколько листов и выпрямился, желая передать их девушке, но Стелла торопливо читала первое, что попало под руку.

– Стелла, – нерешительно сказал он, – я соберу все!

Она, казалось, не слышала. Комкая, разрывая конверты, пробежала она то бисерные, женские, то неуклюжие мужские строки; почти на каждом из писем стояли разные штампы, как будто пишущих бросало из одного конца света в другой. Прочсть все у нее, однако, не хватило терпения; впрочем, прочитанного было вполне достаточно.

Некоторое время она стояла, опустив голову, роняя письма одно за другим в шкатулку, как будто желая освоиться с фактом, прежде чем снова поднять лицо. Неуловимые, как вечерние тени, разнообразные чувства скользили в ее глазах, устремленных на пол, усеянный остатками прошлого. Встревоженный, расстроенный не меньше ее, Аян подошел к Стелле.

– Там есть еще что-то в ящике, – совсем тихо, почти шепотом, сказал он. – Взгляните.

Не отвечая, девушка взяла шкатулку, положила ее на стол и опрокинула нетерпеливым движением, почти сейчас же раскаявшись в этом, так как, одновременно с глухим стуком дерева, скатерть вспыхнула огнем алмазного слоя, карбункулов, жемчугов и опалов. Зеленые глаза изумрудов перекатились сверху и утонули в радужном, белоснежном блеске; большинство были алмазы.

Это было последним, но уже сладким ударом, и Стелла не выдержала. Крупные, неожиданные для нее самой слезы женского восхищения брызнули из ее глаз, лицо горело румянцем. В состоянии, близком к экстазу, водила она вздрагивающими пальцами по холодным камням, как бы усиливаясь передать их равнодушному великолепию всю бесконечную нежность свою к могуществу драгоценностей и торжеству роскоши. Взволнованная до глубины души, не меньше, чем любая женщина в первый сладкий и острый момент объятий избранника, Стелла вскрикнула; звонкий, счастливый смех ее рассыпался в комнате, стих и молчаливой улыбкой тронул лицо Аяна.

Она подняла глаза: совсем близко, четверть часа назад посторонний и подозрительный, стоял дикий, загорелый, безусый юноша. Счастливое недоумение искрилось в его темных глазах, заботливо устремленных на девушку. Теперь он любил Пэда больше, чем когда бы то ни было; умерший казался ему чем-то вроде благодетельного колдуна.

Стелла не сдерживалась. Если бы она не заговорила, ей стало бы тяжело от подавленной, непреодолимой потребности разрядиться.

– Кто был мой отец? – спросила она. – Вы должны знать Пэда – это его имя; но кто он был?

– Пэд?! – Аян отступил несколько шагов назад. – Пэд – ваш отец?!

– Как будто вы не знали этого. – Стелла погрузила руки в сокровища. Бросим игру в прятки. Вы ехали сюда, в ваших руках был портрет моей матери. Перестаньте же лгать. Итак... Пэд?!

– Вашей матери? – повторил Аян. – Как мог знать я это? Вы оглушили меня, поверьте, я не лгал никогда в жизни. У меня в голове теперь что-то вроде лесного кустарника. Я не знал.

Глаза его встретились с серыми, надменными глазами, но он не опустил голову. Он сам искал объяснения, как будто за ним было уже право на это и камни Пэда связали их. Аян ждал.

– Вы... наивны, – помолчав, произнесла Стелла. – Теперь вы, надеюсь, знаете?

– Да, вы сказали.

Она снова повернулась к столу, там был магнит, поворачивавший ее голову. Попугай резко вскрикнул, его грубый возглас, казалось, оторвал девушку от спутанных размышлений. Решение, что осталось досказать, в сущности, немного и что это, во всяком случае, лучше, чем хоть какая-нибудь лазейка для сплетен, показалось ей дельным.

– Моя мать была танцовщицей, – сухо произнесла она, не поворачиваясь к Аяну, – танцовщицей в Рио-Жанейро; вы знаете, там разнообразное общество.

Аян кивнул головой.

– Пэд был с ней знаком. Если вы любопытны и это недостаточно для вас ясно – спрашивайте.

– Мне нечего спрашивать.

– Надеюсь. Вы сели бы.

Аян сел. Девушка продолжала стоять, касаясь рукой стола. Раз оказав доверие, она не считала себя вправе остановиться.

– Ее звали так же, как и меня. Она вышла замуж. Дом этот – моего отчима, он чаеоторговец; зовет меня дочерью. Кто Пэд?

– Пэд был капитан, – сказал Аян, погруженный в водоворот чувств, откуда ему казалось, что все почему-то обязаны знать то же, что он. – Он умер.

– Я это уже знаю.

– «Фитиль на порохе» – не торговая шхуна, – коротко усмехнулся Аян. Мы останавливаем иногда китоловов, но с ними много возни; Пэд предпочитал почту.

Стелла выпрямилась.

– Это слишком щедро для одного дня, – сказала она, с любопытством рассматривая Аяна. –

Вы... грабите?

– Мы берем самое подходящее, – помолчав, возразил Аян. – Деньги попадают не так часто, но шелковые и чайные транспорты тоже выгодны.

– Молчите! – крикнула Стелла, расхаживая по комнате. – А вооруженные суда... военные?

– Сила на их стороне, – вздохнул Аян. – Мы также теряем людей, прибавил он, – не думайте, что все сдаются, как зайцы в силке.

– Так, значит, там, на столе... – Стелла подошла к ящику. – Вы не думаете, что они стали темнее после вами рассказанного?

– Пэд очень любил вас, – возразил Аян.

– Вы это знаете?

– Да.

– Он вам говорил обо мне?

– Ни разу.

– Почему же вы это знаете?

– Стелла, – сказал Аян, – он мог не любить вас?

Девушка улыбнулась. Перед ней, в огне солнца, такие же, как четверть часа назад, сверкали алмазы, и не были они ни темней, ни хуже. Их прошлое сгорело в костре собственного их блеска.

Наконец созерцание утомило девушку, она встала перед Аяном.

– Как вас зовут?

– Ай, еще – Аян.

– Кто вы?

– Матрос.

– Аян, расскажите о вашем судне и о моем... Пэде.

VII

Сбивчивыми, спутанными словами, запинаясь друг о друга, как люди в стремительно бегущей толпе, выложил Аян все, что, по его мнению, могло интересовать Стеллу. Она не перебивала его, иногда лишь, кивая головой, ударяла носком в пол, когда он останавливался.

Аян начал с Пэда, но скоро и незаметно для самого себя рассказал все. Что хотел он сказать? Прослушайте песню дикаря, плывущего на восходе вниз по большой реке. Он складывает весла и думает вслух низкими, гортанными нотами. Мысли его цветисты и беспорядочно нагромождены друг на друга – упомянув об отточенной стреле, он забывает ее, чтобы воздать хвалу цветущему дереву. Аян говорил о смерти под пулями, и смерть казалась невзрачной, как простая контузия; о починке бегучего такелажа, о том, что в жару палубу поливают водой. Он упомянул знойный торнадо, попутно прихватив штиль; о призраке негра, о несчастьях, приносимых кораблю кошками, об искусстве лавировать против ветра, о пользе пепла для ран, об огнях в море, кораблях-призраках. Мертвая зыбь, боковая и килевая качка, ночные сигналы, рыбы, летающие по воздуху, погрузка клади, магнитные бури, когда стрелка компаса пляшет, как взбешенная, – все было в его словах крепко и ясно, как свежая ореховая доска. Он говорил о схватках, где полуживых швыряют за борт, стреляют с ругательствами и острят, зажимая дыру в груди. Тут же, как бы стирая кровь, рассказ перешел к бризу, пассату, мистралю, ост-индским циклонам, тишине океана, расслабляющей тоске зноя. Утренние и вечерние зори, уловки шторма; рифы, разрезающие корабль, как бритва – газетный лист...

Аян остановился, когда Стелла поднялась с кресла. Жизнь моря, пролетевшая перед ней, побледнела, угасла, перешла в груды алмазов. Девушка подошла к столу, руки задвигались, подымаясь к лицу, шее и опускаясь вновь за новыми украшениями. Она повернулась, сверкающая драгоценностями, с разгоревшимся преображенным лицом.

– Все здесь, – громко сказала Стелла. – Все, о чем вы рассказали, – на мне.

Аян встал. Девушка мучительно притягивала его; страдающий, восхищенный, он что-то шептал потрескавшимися от внезапного внутреннего жара губами, бледный, как холст. Борьба с

собой была выше его сил – он взял руку Стеллы, быстро поцеловал ее и отпустил. Поцелуй этот напоминал укус.

Стелла не пошевелилась, даже не вздрогнула. Слишком все было странно в этот тихий солнечный день, чтобы разгневаться на грубое поклонение, от кого бы оно ни исходило. Только слегка поднялись брови над снисходительно улыбнувшимися глазами: руку поцеловал мужчина.

– Мальчик, – произнесла она, и голова ее повернулась тем же движением, как через несколько дней в гостиной, среди общества, – я нравлюсь тебе?

– Я целовал портрет, – глухо сказал Аян. – Я думал, что это ты.

Девушка рассмеялась. В тот же момент ее схватила пара железных рук, совсем близко, над ухом волна теплого дыхания обожгла кожу, а в сияющих, полудетских, о чем-то молящих, кому-то посылающих угрозы глазах горело такое отчаяние, что был момент, когда комната поплыла перед глазами Стеллы и резкий испуг всколыхнул тело; но в следующее мгновение все по-прежнему твердо стало на свое место. Она вырвалась.

Наступило молчание, долгое, как столетие. Попугай громко скрипел, поворачиваясь в кольцо. Аян шумно дышал, горе его было велико, безмерно; бешеная, стыдливая улыбка дрожала в лице. Слова, услышанные им, были резки и сухи, как окрик всадника, несущегося по улице:

– Уйдите сейчас же! Прочь!

Он постоял некоторое время, не двигаясь, как бы взвешивая смысл сказанного; затем без рассуждений и колебаний, дрожа от гнева, поднес к виску дуло револьвера. Он действовал бессознательно. Оружие, вырванное маленькой, но сильной рукой, полетело к стене.

Он поднял глаза, полные слез, и они туманом застилали лицо девушки. Комната качалась из стороны в сторону.

– Аян, – мягко сказала девушка, остановилась, придумывая, что продолжать, и вдруг простая, доверчивая, сильная душа юноши бессознательно пустила ее на верный путь. – Аян, вы смешны. Другая повернулась бы к вам спиной, я – нет. Идите, глупый разбойник, учитесь, сделайте образованным, крупным хищником, капитаном. И когда сотни людей будут трепетать от одного вашего слова – вы придите. Больше я ничего не скажу вам.

И тотчас улыбка радости ответила ее словам – так было немного нужно, чтобы воспламенить порох.

– Я уже думал об этом, – тихо сказал Аян. – Вы не будете стыдиться меня. У нас все вверх дном. Я знаю судно не хуже гордеца Гарвея. Я научился разбирать карты и обращаться с секстаном. Я приду.

Что-то похожее на жалость мелькнуло в глазах Стеллы. Она склонилась, и легкое прикосновение ее губ обожгло лоб Аяна.

– О! – только сказал он.

– Идите же! Идите!

Пошатываясь, Аян открыл дверь. Девушка-сон задумчиво смотрела на его лицо, полное благодарности. Повинуясь неведомому, он вышел на галерею; только что пережитое лежало в его душе мучительной сладкой тяжестью. На пороге он обернулся, последние сказанные им слова дышали безграничным доверием:

– Я – приду!

VIII

От железнодорожной приморской станции до глухого места у каменного обрыва берега, где была спрятана шлюпка, Аян шел пешком. Он не чувствовал ни усталости, ни голода. Кажется, он ел что-то вроде маисовой лепешки с медом, купленной у разносчика. Но этого могло и не быть.

Когда он взял весла, оттолкнув шлюпку, и плавная качка волны отнесла берег назад – тоска, подобная одиночеству раненого в пустыне, бросила на его лицо тень болезненной мысли, устремленной к городу. Временами ему казалось, что долго, в жару спал он где-то на солнцепеке и проснулся с болью в груди, потому что сон был прекрасен и нежен, и видения, полные любов-

ной грусти, прошли мимо его ложа, а он проснулся в знойной тишине полдня, один. Все, как было, живое, с яркой остротой действительности неотступно носилось перед его глазами, блестящими сосредоточенным светом воли, направленной в одну точку.

Море дымилось, вечерний туман берега рвался в порывах ветра, затягивая Пролив Бурь сизым флером. Волнение усиливалось; отлогие темные валы с ровным, воздушным гулом катились в пространство, белое кружево вспыхивало на их верхушках и гасло в растущей тьме.

Аян, стиснув зубы, работал веслами. Лодка ныряла, поскрипывая и дрожа, иногда как бы раздумывая, задерживаясь на гребне волны, и с плеском кидалась вниз, подбрасывая Аяна. Свет фонаря растерянно мигал во тьме. Ветер вздыхал, пел и кружился на одном месте, уныло гудел в ушах, бесконечно толкаясь в мраке отрядами воздушных существ с плотью из холода: их влажные, обрызганные морем плащи хлестали Аяна по лицу и рукам.

Встревоженный матрос перестал грести. Берег был близко, но в этом месте представлял больше опасности, чем защиты, потому что по крайней мере на полумилью тянулся здесь голый отвесный камень, изрезанный трещинами. Он снова схватил весла, торопясь проплыть скалы. Опасность прищипывала его; согнувшись, упираясь ногами, Аян греб, и весла гнулись в его руках, окаменевших от продолжительного усилия. Иногда, подброшенный сильным толчком, он должен был приседать, чтобы сохранить равновесие; сесть снова после этого на скамью ему удавалось только при помощи инстинкта, управляющего движениями. Кругом бушевал воздух; немое смятение охватывало пролив; волны метались, подобно темному стаду, гонимому паникой во время пожара. Это был шторм.

Прошло несколько времени, и ветер переменял фронт. Теперь он обрушивался с берега; сильнейшая боковая качка встряхивала суденышко Аяна легче пустого мешка, возилась с ним, клала на левый и правый борт, и тогда какое-нибудь из весел бессильно ударяло по воздуху. Море пьянело; пароксизм ярости сотрясал пучину, взбешенную долгим спокойствием. Неясные голоса перекликались в воздухе: казалось, природа потеряла рассудок, слепое возмущение ее переходило в припадок рыдания, и вопли сменялись долгим, бурным ревом помешанного.

Лодку стремительно несло в сторону. Валы, катившиеся теперь от берега, отодвигали ее толчками, как нога отбрасывает встречный предмет. Аян превратился в слух, инстинкт стал зрением, борьба шла ощупью. Он подымал весла, как воин подымает оружие, и отражал удар всей силой своих мышц в тот момент, когда тьма грозила уничтожением, – ничего не видя, читая в глухом стремительном водовороте стихий внутренними глазами души. Он угадывал, предупреждал, наносил удары и отражал их; бросал ставки и брал назад, игра шла вничью. Его качало, ударяло о борт, подымало на высоту, рушило вниз, подбрасывало. Соленые, бьющиеся в лицо брызги, целые лохмотья воды, сорванные штормом, хлестали его по голове и телу, мокрая одежда стесняла движения, шлюпка приобрела легкость испуганного, травимого человека, мечущегося во все стороны.

Ослепительная фиолетовая трещина расколола тьму, и ночь содрогнулась удар грома оглушил землю. Панический, долгий грохот рычал, ворочался, ревел, падал. Снова холодный огонь молний зажмурил глаза Аяна; открыв их, он видел еще в беснующейся темноте залитый мгновенным светом пролив, превращенный в сплошную оргию пены и водяных пропастей. Вал поднял шлюпку, бросил, вырвал одно весло – Аян вздрогнул.

Море одолевало его. Он мог теперь совсем не сопротивляться, игра шла к концу. Он как будто окаменел, застыл, ошеломленный случившимся. Он мог только ждать, возмущаться, впасть в отчаяние, кричать, безумствовать.

Глухой гнев наполнял Аяна. Он уцепился за борт, бросив оставшееся весло на дно шлюпки. Бороться дальше он счел бы для себя унижением, смешной попыткой обуздать стадо коней. Он не хотел показывать врагу растерянности. Одна мысль, что океан может обрадоваться его испугу, его жалкой защите с помощью голых рук, привела его в состояние свирепой ненависти. Он презирал море, нападающее на одного всей силой водяной армии. Смерть не пугала его напротив, обезоруженный, он без колебания отверг бы пощаду, чтоб не подвергаться унижению жизни, брошенной в виде милостыни. Он приготовился плюнуть в лицо торжествующему победителю. Спокойный, насколько это было возможно, Аян крикнул:

– Жри! Подавись! Собака! Цепная собака!

Залитый водой, измученный, он осыпал пролив презрительными ругательствами, дерзкими оскорблениями, издевался, придумывая самые язвительные, обидные слова.

– Подлый трус!.. Ты воешь, как гиена!.. Корыто акул, оплеванное моряками!.. Пугай детей и старух, продажная тварь. Иуда!

Снова упала молния, ее неверный свет озарил пространство. Удары грома следовали один за другим, резкий толчок подбросил шлюпку. Аян упал; поднявшись, он ждал немедленной течи и смерти. Но шлюпка по-прежнему неслась в мраке, толчок рифа только скользнул по ней, не раздробив дерева.

– Жри же! – с презрением повторил Аян.

Он встал во весь рост, еле удерживаясь на ногах. Все чаще сверкала молния; это был уже почти непрерывный, дрожащий, режущий глаза свет раскаленных, меняющих извивы трещин, неуловимых и резких. Впереди, прямо на шлюпку смотрел камень. Он несколько склонялся над водой, подобно быку, опустившему голову для яростного удара; Аян ждал.

И вдруг кто-то, может быть воздух, может быть сам он, сказал неторопливо и ясно: «Стелла». Матрос нагнулся, весло раскачивалось в его руках – теперь он хотел жить, наперекор проливу и рифам. Молнии освещали битву. Аян тщательно, напряженно измерял взглядом маленькое расстояние, сокращавшееся с каждой секундой. Казалось, не он, а риф движется на него скачками, поднимаясь и опускаясь.

Враги сцепились и разошлись. Мелькнула скользкая, изъеденная водой каменная голова; весло с треском, с силой отчаяния ударилось в риф. Аян покачнулся, и в то же мгновение вскипающее пеной пространство отнесло шлюпку в сторону. Она вздрогнула, поднялась на гребне волны, перевернулась и ринулась в темноту.

– Стелла! – крикнул Аян. Судорожный смех сотрясал его. Он бросил весло и сел. Что было с ним дальше – он не помнил; сознание притупилось, слабые, болезненные усилия мысли схватили еще шорох дна, ударяющегося о мель, сухой воздух берега, затишье; кто-то – быть может, он – двигался по колена в воде, мягкий ил засасывал ступни... шум леса, мокрый песок, бессилие...

IX

Аян протер глаза в пустынной тишине утра, мокрый, хмельной и слабый от недавнего утомления. Плечи опухли, ныли; сознание бродило в тумане, словно невидимая рука все время пыталась заслонить от его взгляда тихий прибор, голубой проход бухты, где стоял «Фитиль на порохе», и яркое, живое лицо прошлых суток.

Аян встал, разулся, походил немного взад и вперед, нежа натруженные подошвы в согретом песке берега, размялся и совершенно воскрес. Невдалеке чернела залитая водой, обнажившая киль шлюпка; волнение качало ее, как будто море в раздумье остановилось над лодкой, не зная, что делать с этим неуклюжим предметом. Пролив казался спокойными ангельскими глазами изменившей жены; он стих, замер и просветлел, поглаживая серебристыми языками желтый песок, как рассудительная, степенная кошка, совершающая утренний туалет котят.

Матрос ревниво осмотрел шлюпку: дыры не было. Штуцер вместе с уцелевшим веслом валялся на дне, опутанный набухшим причалом; ствол ружья был полон песку и ила. Аян вынул патрон, промыл ствол и вывел шлюпку на глубину – он торопился; вместе с ним, ни на секунду не оставляя его, ходила по колена в воде высокая городская девушка.

Она следила за ним. Он подымал глаза и улыбался сырому, сверкающему морскому воздуху; пустота казалась ему только что опущенным, немим взглядом. Взгляд принадлежал ей; и требование, и обещанная чудесная награда были в этих оленьих, полных до краев жизнью глазах, скрытых далеким берегом. Человек, рискнувший на попытку поколебать веру Аяна, был бы убит тут же на месте, как рука расплющивает комара.

Шлюпка, точно проснувшись, закачалась под его ногами; Аян греб стоя, одним веслом. Рифы остались сзади, впереди лежал океан, слева – меловые утесы, похожие на кучки белых

овец, скрывали бухту. Он плыл с ясным лицом, уверенно отгребая воду, грозившую не так давно смертью, и не было в этот момент предела силе его желания кинуться в битву душ, в продолжительные скитания, где с каждым часом и днем росло бы в его молодом сердце железо власти, а слово звучало непоколебимой песнью, с силой, удесятеренной вниманием. Он подплывал к шхуне повелителем в грабеже и удали, молодой, нетерпеливый, с душой, сожженной беззвучной музыкой, воспоминанием и надеждой.

Аян кипел; солнце кипело в небе; вскипая и расходясь, плескалась вода.

– Го-го! – крикнул матрос, когда расстояние между ними и шхуной, стоявшей на прежнем месте, сократилось до одного кабельтова. Он часто дышал, потому что гребля одним веслом – штука нелегкая, и крикнул, должно быть, слабее, чем следовало, так как никто не вышел на палубу. Аян набрал воздуха, и снова веселый, нетерпеливый крик огласил бухту:

– Эгей! Пусти трап! Свои!..

Шлюпка подошла вплотную; грязный, продырявленный старыми выстрелами борт шхуны мирно дремал; дремали мачты, штанги, сонно блестели стекла иллюминатора; ленивая, поскрипывающая тишина старого корабля дышала грустным спокойствием, одиночеством путника, отдыхающего в запущенном столетнем саду, где сломанные скамейки поросли мохом и желтый мрамор Венер тонет в кустарнике. Аян кричал:

– Эй, на шхуне! Гарвей! Сигби! Родэк! Кто-нибудь, спустите же трап! Ребята!

Тень легла на его лицо, он сказал тихо, как бы обращаясь к себе:

– Они спят. Я забыл, что парни без дела.

Взобраться на палубу при помощи обыкновенной железной кошки было для него пустяком. Он поднялся, укрепил причал шлюпки, чтобы лодку не отнесло прочь, и подошел к кубрику. У трапа он приостановился, соображая, чем удовлетворить законное любопытство товарищей, вспомнил грязную контору бритого старика, о котором говорил Стелле.

– Да, – мысленно произнес он, – я имел дело со стариком, ее не было. Старик взял портрет, я вернулся.

Заранее улыбаясь возгласам и расспросам, Аян спустился в кубрик. Сначала, в сумраке помещения, он не поверил себе, прищуриваясь и оглядываясь широко раскрытыми, встревоженными глазами, но тотчас убедился, что людей нет. Кубрик потерял жилой вид. Койки, лишенные одеял, сиротливо тянулись перед Аяном; на полу сор, веревки, тряпки, огарки свеч, пустые жестянки; исчезли мешки с имуществом, одежда, висевшая по стенам, оружие. Немая заброшенность и тоска смотрели из каждой щели, настезь раскрытых ящиков, тускло освещенного люка...

Пораженный, Аян силился понять что-нибудь и не мог. Одно-два мгновения он рассеянно потирал руки; блуждающая улыбка кривила губы. Это было мгновенное, тревожное оцепенение, где нет места ни рассуждению, ни догадкам – он потерялся. Слегка испуганный, Аян вышел на палубу; по-прежнему здесь не было ни души. Он поспешил к каютам, в надежде отыскать Реджа или Гарвея, по дороге заглянул в кухню – здесь все валялось неубранное; высохшие помои пестрили пол, холодное железо плиты обожгло его руку мертвым прикосновением; разлагалось и кишело мухами мясо, тронутое жарой. Передник Сэта висел на гвоздике, как будто повар только что ушел, вернется и вкусно застучит по доске острым ножом.

Первое, что остановило Аяна, как вкопанного, и потянуло к револьверу, был труп Реджа. Мертвый лежал под бизанью и, по-видимому, начинал разлагаться, так как противный, сладкий запах шел от его лица, к которому нагнулся Аян. Шея, простреленная ружейной пулей, вспухла багровыми волдырями; левый прищуренный глаз тускло белел; пальцы, скрюченные агонией, казались вывихнутыми. Он был без шапки, полуодетый.

Аян медленно отошел, закрывая лицо. Он двигался тихо; тупая, жесткая боль росла в нем, наполняя отчаянием. Матрос прошел на корму: спуститься в каюты казалось ему риском – увидеть смерть в полном разгуле, ряды трупов, брошенных на полу. Он осмотрелся; голубая тишина бухты несколько ободрила его.

Прислушиваясь на каждом шагу, Аян оставил последнюю ступень трапа и двинулся к каюте Гарвея. Дверь не была закрыта; он тихо открыл ее, окаменел, шаря глазами, и вздрогнул от

радости: с койки, как бы не узнавая его, смотрели тяжелые, стальные глаза штурмана.

– Гарвей! – шепнул юноша, подходя ближе. – Гарвей!

Штурман открыл рот и пошевелил губами. Первая попытка заговорить была неудачна. Потом, и было видно, что это стоит ему огромного напряжения, Гарвей прохрипел:

– Мальчик!.. Ай... В два слова: ушли все. Ядохну, ранен близ сердца... Собственно говоря, я был дурак... я и Редж... мы враги... но не...

Он двинул рукой, почесал подбородок об одеяло и продолжал:

– Шакалы разбежались, Аян. Я и Редж воспротивились; знаешь, в нашем ремесле поздно искать другого пристанища. И то сказать – Пэд умер... Никак не могли выбрать новую глотку... стадо!.. В тот день, что ты уехал, уже сцепились... Кристоф пошел к Пэду... его застрелил Дженнер. Я не могу рассказывать, Ай, – меня все что-то держит за горло... и стреляет в спину... Но вот... Ты поймешь все... решили делиться, подбил Сигби. Шхуна пуста, Ай... Ушли... Все ушли...

Гарвей смолк, его резкие, осунувшиеся черты выражали невероятное бешенство.

– Дай воды! – коротко сказал он.

Аян подал оловянную кружку, раненый пролил половину на одеяло; горло его подергивалось судорогой. Аян спросил:

– Когда это, Гарвей?

– Вчера вечером. Они все... соберутся... Один... к «Приятелю»... Понял?

– Да.

– Расскажи... – захрипел Гарвей. – Впрочем...

Он задохнулся, закрыл глаза и не шевелился. Аян сел, положил голову на руки; плечи и шея его тяжело вздрагивали; это были беззвучные, сухие рыдания. Гарвей, по-видимому, уснул. Усилия, сделанные им, отняли всю энергию угасающего, пробитого тела.

– Стелла, – сказал Аян тише, чем дыхание раненого. – Что дальше?

Прошло, может быть, полчаса; очнувшись, с горем в душе, он пристально рассматривал штурмана. Желание быть выслушанным, передать часть тяжести хотя бы полуживому, страдающему, наполняло его беглым огнем слов; он сказал:

– Гарвей, вы знаете, мне так же больно, как вам. Я... со мной случилось, но вы ничего не знаете... Я мог быть счастлив, Гарвей!..

Он смолк, ему ответила тишина.

– Гарвей, – сказал он, вставая, – я вам могу быть полезен. Я любил и вас также, Гарвей, но у меня не разбежались бы; это так. Я владел бы ими, как владеют стаей собак. Гарвей! Я нащиплю корпии и перевяжу вашу рану; кроме того, вы хотите, вероятно, поесть. Кто ранил вас?

Он протянул руку, коснувшись плеча штурмана. Гарвей молчал. Аян потолкал его, затем нагнулся и приложил ухо к груди – все кончилось.

– Прощайте, штурман! – сказал матрос. – Теперь я один живой здесь. Прощайте!..

Поднявшись на палубу, он отыскал немного провизии – сухарей, вяленой свинины и подошел к борту. Шлюпка, качаясь, стукала кормой в шхуну; Аян спустился, но вдруг, еще не коснувшись ногами дна лодки, вспомнил что-то, торопливо вылез обратно и прошел в крьюс-камеру, где лежали бочонки с порохом.

Оставляя ее, он оставил за собой тонкий дымок фитиля.

– Ты оправдаешь свое название, – сердито, но уже владея собой, сказал он. – Порхай!..

На берегу, бросив лодку, Аян выпрямился. Дремлющий, одинокий корабль стройно чернел в лазури. Прошла минута – и небо дрогнуло от удара. Большая, взмыленная волна пришла к берегу, лизнула ноги Аяна и медленно, как кровь с побледневших щек, вернулась в родную глубину.

– Пролив обманул меня, – сказал юноша, – я спасся затем ли, чтобы повелевать трупами? Но этого быть не может.

Он засмеялся. Это был тот же странный, горловой смех жизненного упорства.

– Я приду, – сказал он, посылая улыбку северу. – Приду! У меня есть песня – моя песня.

И он тронулся к заселенным местам, напевая вполголоса:

Свет не клином сошелся на одном корабле:
Дай, хозяин, расчет!..
Кой-чему я учен в парусах и руле,
Как в звездах – звездочет!
С детства клипер, и шхуна, и стройный фрегат
На волне колыхали меня;
Я родня океану – он старший мой брат.
А игрушки мои – русленя!..

Он ушел.

Умирая, одинокий, он скажет те же, полные нежной веры и грусти, твердые большие слова:
– Я – приду!..

Он счастлив – не мы.

Ящик с мылом

Ленур, вахтенный, стоявший на баке, исчез неизвестным образом, между четырьмя и шестью часами утра. Отсутствие его, при общей тревоге, длилось двое суток. «Фрегат» под парусами шел к мысу Доброй Надежды.

Замечательное появление Ленура после его таинственного исчезновения заслуживает отдельного описания. Матросы обедали, разговаривая и делая предположения, не свалился ли Ленур в воду, как вдруг хорошо всем известная долговязая фигура появилась среди обедающих, высекая на ходу огонь с помощью обшарпанного кремня и старой железной ложки. В этот момент боцман подавился куском хлеба, и четверо из матросов пролили суп на палубу.

Предупреждая испуганные возгласы и тысячу нелепых вопросов, потому что бессмысленно спрашивать там, где все в конце концов получит свое должное объяснение, Ленур сказал:

– Слышал я, ребята, от одного милого молодого человека, что в хорошем обществе не принято чему-нибудь удивляться. Если, говорит, на вас упадет целый материк, да еще в придачу полсотни хороших островов, вы должны, дескать, лишь неодобрительно хмыкнуть носом, почиститься – и кончен бал.

– Ленур, – при глубоком молчании окружающих сказал боцман, – где мог пропадать ты эти четыре дня?

Ленур тяжело вздохнул. Здесь все заметили, что он сильно похудел и выглядит таким усталым, как будто прошел с буйволом на плечах сто миль.

– Если б я знал это! – возразил он, пожав плечами. – Уверяю вас, до того момента, как мне захотелось курить, – я не помню, что со мной было. Я сообразил, что стою на палубе возле вас лишь тогда, когда вытащил трубку. Верьте или нет, как хотите.

Он пристально посмотрел в множество изумленных глаз, окружавших его, и продолжал, машинально ударяя железом о кремень:

– В ту ночь, когда я вышел на вахту, – вы помните, – был сильный туман. Я простоял с полчаса, пяля глаза изо всей мочи, но в такую погоду, как известно, не только огней не видно, а даже своих собственных рук. Качки не было, но вдруг чувствую, что я стал как бы легче. Такое чувство, ребята, как если бы какой-нибудь сильный человек подложил вам под пятки свои ладони и стал вас легонечко подымать и опускать.

Вообще, я испытывал какие-то странные вещи: туман клубился, разрывался, свертывался, надвигался на меня и вновь отходил в сторону, как будто множество парусов бежало передо мной. Я стал немного обалдевать, пошатываясь. Понимаете – я плохо создавал уже, где я, собственно, и кто я. И вот тут-то произошла странная история – туман полегоньку незаметно растаял, небо вызвездилось, я мог различать под форштевнем пену воды. Тогда, не дальше как в двух ярдах слева, я увидел бушприт трехмачтовой шхуны; корабль шел прямо на нас, носом в бак-борт.

Ленур остановился и посмотрел на слушателей. Было так тихо, что ясно слышался бегущий

с кормы шепот лага.

– Я хотел крикнуть, ударить в баковый колокол, но язык мой слушался меня как черт – ангела. Тем временем наше судно и неизвестный корабль почти прикасались друг к другу; скованный непонятной силой, я цепенел от ужаса. «Почему помощник капитана не видит с мостика этого корабля?» – подумал я. Глаза мои были прикованы к освещенной палубе чужой шхуны, на ней, казалось, не было ни души. И в этот момент, ребята, когда я терял сознание, на носу шхуны у самого бушприта появился высокий человек, он нагнулся ко мне и протянул руку. Я тотчас схватил ее, она была холодна как лед. Более я ничего не помню. То есть, если хотите, я опаматовался, когда увидел, что подхожу к вам с трубкой в зубах.

Ленур был по-настоящему взволнован, рассказывая это; глаза его, казалось, еще хранили след недавнего испуга. Он вытер рукавом блузы пот, выступивший на висках, и поймал угрюмый, пристальный взгляд боцмана.

– Эти вещи бывают! – убежденно заявил корабельный плотник. – Корабль мертвого негра, Ленур, это был он, клянусь, чем хотите!

– Ленур, – сказал боцман, подходя к матросу вплотную, – что бы там ни было, а ты посидишь в карцере, потому что, может, ты бессовестно врешь.

– Я поджидаю тебя вторые сутки, – сказал Ленур юнге, когда тот принес ему в темное помещение карцера обед и кувшин с водой. – Сядь, потолкуем. Прежде всего, что слышно?

– Ничего. – Мальчик присел на корточки и уставился на матроса круглыми от любопытства глазами. – Ленур, правда, что тебя уносил мертвый негр?

– Послушай, малыш, – вместо ответа сказал Ленур, – тебе представляется удобный случай показать себя взрослым человеком. Прежде всего исследуем твою наблюдательность. Ты заметил, что капитан не пришел ко мне ни одного раза?

– Да.

– А почему? Как твое мнение?

– Я думаю, – сказал сиплым баском мальчик, польщенный серьезным тоном Ленура, – что он о тебе забыл. У него какие-то дела с боцманом, они проводят вместе почти целые дни и постоянно навеселе.

– Навеселе? Роб, они не навеселе, а настороже. Я им все наврал. Слушай хорошенько, юнец, так как это дело серьезное. На вахте мне захотелось жрать, я полез в кубрик, разыскал кусок сыра, а потом вспомнил, что дрогнуть в сырую погоду нехорошо. Нужно было достать клеенчатый плащ. Я спустился в подшкиперскую. Спичек у меня не было. Но вижу я, что в подшкиперской нет этакой настоящей темноты, а какая-то смутная мгла, вроде как ночью в комнате, когда с улицы фонарь светит. Я обернулся, – узкая, как стекло, полоса света падала мне в лицо из небольшой щели меж досками, отделяющими подшкиперскую от грот-трюма.

Кто и зачем мог очутиться там в это время? Перестав дышать, я подполз, Роб, к этому ночному лучу и стал смотреть в щель. Видно мне было очень мало: на одном из ящиков горела свеча; спиной ко мне, держа в руках какой-то инструмент, стоял человек, одетый по-городски. Скоро он повернулся, его лицо, не виданное мной никогда и нигде, было вполне спокойно. Он походил немного по маленькому, свободному от груза месту, потягиваясь и разминая члены, как будто спал трое суток, затем встал на колени и принялся рассматривать дерево корабля между тинберсами. Пока, взволнованный, я ломал голову, в трюме послышался глухой шум, и из него вышел еще один. Кто бы, ты думал, Роб? Капитан. Он был, по-видимому, озабочен и долго прислушивался, прежде чем заговорил с незнакомцем.

– Ну, как вы живете здесь? – спросил он. – Потерпите еще немного.

– Я терплю, – возразил таинственный человек. – Правда, я похудел, но за хорошие деньги мог бы похудеть еще втрое больше.

– Необходимо сделать большую дыру, – сказал капитан. – Вы это устроите приблизительно на восьмой день. Впрочем, я вас еще навещу. Как вы это сделаете?

– Очень просто, – говорит тот человек, – доски я пропилю с трех сторон и забью маленький динамитный патрон. Четвертая сторона разлетится от взрыва, когда я буду уже на палубе.

– Хорошо, – сказал капитан, – надеюсь на вашу сообразительность. – Он потоптался еще

немного и ушел, а я, Роб, трясся от бешенства, хотя еще не понимал хорошо, для чего все это устраивается. И вот я поднялся в кубрик, вытащил у боцмана из-под подушки ключи, влез на палубу, отпер грот-трюм, положил ключи на старое место, открыл люк и спустился в тьму.

Все это я мог проделать свободно, потому что туман был гуще хороших сливок.

Он не испугался, когда я подошел к его углу, освещенному сальным огарком, а смотрел на меня так, как будто ожидал встретить во мне единомышленника. Но я сразу спросил:

– Что вы здесь делаете?

Тут он стал белым и некоторое время молчал. Потом начал быстро шарить в карманах и ткнул меня в грудь дулом револьвера в тот самый момент, когда я приставил к его лбу дуло своего. Так мы стояли с минуту, затем он сказал:

– Вы можете получить хорошие деньги, стоит вам только молчать об этом.

– Так, – возразил я. – Вы будете топить судно с мошенником капитаном, а я – хлопать глазами.

– Фирма получит большую страховую премию, – говорит он. – И на вашу долю перепадет куш.

– А пассажиры? Команда?

– Что делать? Жизнь – борьба, – тут он так нагло пожал плечами, что мне захотелось плюнуть в его серые рачьи глаза. – Мне нужно много денег, и я добываю их.

Вся эта махинация, Роб, так меня ошеломила, что я некоторое время стоял дураком. А он, видя, что я хлопаю глазами, приободрился.

– Ну что же, – говорит, – вы, конечно, боитесь бога, греха. Прав сильный и хитрый.

– Сеньор мошенник, – отвечаю я ему, – насчет этого помолчим. Всякий мыслит по-своему. Некрасиво то, что вы затеваете, и даже могу сказать – безобразно!

– Почему же? – спрашивает. А от его дула у меня спирает под ложечкой, да и у него красное кольцо над бровью.

– А потому, – говорю, – что все на свете имеет свое течение. И жизнь человеческая тоже. Хорошо живет человек или плохо, а песню свою ему допеть нужно до конца. Или, например, пассажир, – он стремится к своей цели и вас не трогает.

– Так, так, – тихо говорит он, нажимая собачку. Чикнуло – попался плохой патрон, бедняк. Впрочем, он не успел и пожалеть об этом, потому что я спустил курок.

После этого, Роб, я возился с час, пока устранил все следы этой неприятной истории. Жил этот неудачник в большом деревянном ящике с отверстиями для воздуха, и посмотрел бы ты, как все было хорошо приспособлено – мы погрузили его под видом туалетного мыла. Недолго думая, я распорол большой тюк, выбросил оттуда товар и запаковал мертвеца наглухо.

– Кто-то идет, Ленур, – сказал мальчик, вскакивая и забирая пустую посуду. – Прощай! Но я не хочу тонуть, Ленур, слышишь?

– Тсс! Молчи! – Ленур продолжал скороговоркой: – Я не мог выбраться оттуда двое суток, потому что капитан и боцман (гвоздь им в голову!) перерыли весь товар, разыскивая приятеля. Лежал я под хлопковой кипой, а питался конфетами и сухой вермишелью. Молчи, пока я все устрою. Беги!

Когда на горизонте показались очертания берега, Ленур, выпущенный из карцера, стоял у руля, внимательно следя одним глазом за компасом, другим – за непроницаемым лицом капитана, расхаживавшего по мостику. Судно благополучно совершило плавание и готовилось войти в гавань.

– Капитан, – сказал вдруг Ленур, – не кажется ли вам, что из грот-трюма немного припахивает трупом?

Пожилой человек с седеющими бровями даже не обернулся. Прикрыв глаза рукой, он смотрел вдаль, потом резко подошел к вахтенному, глаза их встретились. Теперь по особенному, вызывающе напряженному взгляду матроса капитан понял, что Ленур все знает.

– По прибытии ты получишь расчет, – сказал капитан.

– Расчет? А ящик с мылом в грот-трюме?

– Потому ты и сидел в карцере. Попробуй – найди хоть какие-нибудь следы там, где ты

упражнялся в стрельбе.

– Так! Мы, значит, понимаем друг друга! – с изумлением проговорил Ленур. – Ловко! Но это мне нравится, клянусь погибшим идиотом, – там, в трюме. Это вышло красиво!

На острове

I

Три человека сидели у пылающего костра и молча отдавались своим мыслям, следя глубоко ввалившимися глазами за игрой света, пестрившего ночную траву яркими отблесками.

Костер горел у самого подножья отвесной скалы. Шагах в двадцати плескалось море, тихое и сонное, еще недавно выбросившее на этот неприветливый остров трех человек: двух матросов и корабельного повара.

Повару еще было дело, пока оставались кой-какие консервы и мешок с кофе, но теперь и он превратился просто в голодающего человека, потому что дичи на острове не было.

Одного звали Бук, потому что он был всегда вял и малоподвижен; другого – Перец за остроту языка и находчивость; а повар был мулат и не имел никакого прозвища. Звали его Ральф.

II

Послушаем разговор голодных и одиноких, потому что в незначительных фразах могут проскользнуть искры отчаяния и пламя страха перед неизвестным, повисшим на носу будущим.

– Ральф, – сказал Перец, – я помню, как хорошо ты варил бобы с салом и жарил вяленую баранину. Теперь у всех подвело животы, но, клянусь нашим погибшим судном, – жалок ты со своим искусством теперь так же, как жалок я с моим умением плести маты. И от этого нам не весело.

Мулат тихо блеснул зубами.

– Будем кушать, – сказал он. – Человек должен кушать, без пищи человек может умереть. Я хочу есть, я мучаюсь.

– Не могу больше терпеть, – сказал Бук, – потому что прошло уже шесть дней. Я не мог бы, пожалуй, встать с места.

Каждый посмотрел на двух остальных. Кожа лиц сморщилась, собралась в серые складки, тонкие шеи тряслись от голода, и безумно блестели глаза, отражая пламя, смерть и отчаяние.

III

Сон одолел всех, костер погас, неровное дыхание спящих смешивалось с плеском прибоя, холодный ночной ветер припадал к земле, ворошил холодную золу и убегал прочь.

Первым проснулся Бук, вздрагивая, как собака; он неподвижно лежал ничком, уткнув лицо в пазу морской блузы, и думал о семье, отделенной от него тысячами морских и сухопутных миль. Ему было горько, страшно и голодно.

И, так же думая, что другие спят, проснулся Перец. Он лежал ничком кверху, смотрел на огоньки звезд и вспомнил, что сегодня сочельник. Рождество показалось ему неприятной, неуместной иронией. Ему было горько, страшно и голодно.

И третьим, клацая зубами от холода, проснулся мулат. Он тихо выли, плакал; его обжорливый, кипучий организм более всех страдал от ужасного, вынужденного поста, и то звериные, то детские мысли вспыхивали в мозгу, измученном страхом и голодом.

IV

Простим ему то, что совершалось в его душе, потому что никто из нас не может поручиться за себя, чувствуя спазмы в желудке и дрожь в ногах. Повар сунул в карман руку и вынул нож.

Никто не слышал его движений, они были бесшумны и мягки, как шаги кошки или полет стрижа. Пошатываясь, он подошел к Перцу, нагнулся, глубоко вздохнул, и в тот же момент рука матроса сжала его горло судорожным, быстрым движением. Мулат сел, нож выпал из его пальцев, тускло сверкнули белки глаз. Перец выпустил повара.

– За что, Ральф? – спросил он, дрожа от бешенства.

Повар перевел дух. Сидя перед Ральфом, он тихо покачивался из стороны в сторону и плакал беззвучными рыданиями, прижав ладони к ушам, как оглушенный взрывом. Бук, прибежавший на шум, спросил:

– Что здесь, Перец?

– Я есть хочу, понимаете?.. – стонал мулат, и грудь его вздрагивала от плача. – Я голоден, я не могу больше терпеть, я хотел убить вас. Что я могу сделать? Убейте меня.

V

Долго молчали все трое, и молчание их было безнадежно, безгневно и сиротливо. И каждый думал о том же, о чем думал мулат.

– Он прав, – сказал Бук, – нет выхода, а умирать – так с пользой. Бросим жребий.

Перец сидел, опустив голову. Родина манила его, возможность выбраться из проклятых мест оживляла мысли. Но страшно было есть человека, и нелепым казался мир, где на смерти одних, как трава на падали, растет жизнь других. Молча он вынул часы, мерно, как в гротной комнате, стучали они – воспоминание о культуре, человеческой жизни и прошлом. Перец достал трут и кремень, блеснули искры, и блеснул маленький циферблат, блеснули глаза Перца.

– Суббота, – сказал он, – ты помнишь, Бук, когда мы вышли из Сингапура?

– Двадцать первого.

– Да. Двадцать второго брали уголь, в тот день я пьянствовал.

– Да.

– Двадцать третьего, – продолжал Перец, – шли под муссоном. К вечеру хватил бриз.

– Да.

– Бриз перешел в шторм, и наутро «Айшер» погиб. А мы очутились здесь.

– Да.

– Да, Бук, это верно. Итак, двадцать четвертого ноября мы были предоставлены случаю. А теперь, Бук, слушай: я каждый день делал зарубки на рукоятке ножа, их тридцать, пересчитай сам. Сочельник сегодня, понимаешь?

– Я понял, – тихо проговорил Бук, – но нам нет выхода.

– Я не хочу, – сказал Перец. – Сегодня, в память милых дружеских и родных лиц, что сидят там, за океаном, и нежно вспоминают о нас, – я не буду есть человека... Я лучше умру.

Молчание было ему ответом. Мулат плакал. Бук смотрел в темноту безумными, помутившимися глазами.

– Зажжем свет, – сказал Перец. – Туда, братья, на эту скалу. Разведем костер. Быть может, нас увидят мимо проходящие корабли.

Они встали и развели костер, пламя которого, казалось, взвилось к небу, моля о помощи. К утру божественной музыкой и безумной радостью прилетел с моря гудок парохода, слабый, еле слышный гудок.

Дуэль

Знаменитый ученый Исаак Феринг, будучи еще всего пятидесяти лет от роду, без единого седого волоса в пышных, черных как смоль кудрях, шел однажды по весеннему бульвару.

Он гулял, обдумывая одно из своих знаменитых изобретений.

Собираясь повернуть домой, Феринг заметил в конце аллеи молодую даму, одетую просто,

но богато и, по-видимому, кого-то поджидавшую. Едва успел он поравняться с ней, как дама подошла к нему, говоря:

– Милостивый государь, я знаю вас, вы – знаменитый ученый Феринг. Мне сказали, что вы каждый день гуляете здесь, по этой аллее, и я решила встретиться с вами здесь, чтобы сделать вам вызов. Меня зовут Евгения Дике. Я вызываю вас на поединок.

– По какому поводу? – спросил пораженный Феринг. – Разве я обидел вас чем-нибудь?

– Хуже. Вы разбили мою жизнь.

– Почему вы не пришли ко мне на квартиру?

– Я боялась, что наш разговор может случайно подслушать кто-нибудь из ваших домашних и помешать мне в этом деле.

– Хорошо. Теперь объяснитесь.

– У меня был муж, – сказала дама, – человек, которого я любила больше всего на свете. Он был изобретатель. У него было много гениальных планов и замыслов. По несчастному стечению обстоятельств случилось так, что вы напали на одни с ним идеи и некоторые из них даже предвосхитили. Когда оказалось, что вами, немного раньше, чем успел он, мой муж, были опубликованы в совершенном, законченном виде различные открытия и изобретения, над которыми работал и мой муж, он не перенес разочарования и застрелился. Теперь я надеюсь убить вас.

– Это жестоко и глупо, сударыня, – мягко сказал Феринг.

– Как хотите. Если вы отказываетесь, я застрелю вас сейчас же.

Феринг задумался.

– Я, как получивший вызов, – сказал он, – имею право выбора оружия. Предоставляете вы мне это?

– Конечно. Тогда я хотела бы кончить это дело скорее.

– Дуэль будет американская – по жребия, и без свидетелей.

– Хорошо, я согласна.

– Тогда пойдете.

И Феринг привел даму к себе в квартиру, в свой роскошный кабинет, устланный дорогими мехами. Заперев дверь на ключ, он усадил своего, надо сказать очень красивого, врага в мягкое кресло и, порывшись в огромном ясеневом шкафу, достал два длинных флакона. В одном была жидкость яркого, рубинового цвета, в другом – светло-зеленого.

– Вот, – сказал Феринг, – наше оружие. Я бросаю монету. Если упадет она орлом вверх – вы выпьете красный флакон; решка – зеленый. В зеленом флаконе сильнейший яд, убивающий мгновенно. В красном флаконе заключен эликсир бессмертия. Кому-нибудь из нас предстоит вечное небытие или вечная жизнь. Этот эликсир изобрел я. Решайтесь!

Евгения Дике сидела и размышляла.

– Вечная жизнь! – прошептала она. – Не страшнее ли это смерти?

– Не знаю. Подумайте. Я имею право выбрать оружие, и я избрал это. Пройдут тысячелетия, сотни тысячелетий – кто-нибудь из нас будет еще продолжать жить. Он узнает все, вся мудрость вселенной будет в его глазах. Он захочет покоя. Он устанет. Ему надоеет жить. Но он не сможет убить себя, так как эликсир этот способен восстановить к жизни даже раздавленное поездом тело. Бессмертие Агасфера или добыча червей – решайтесь!

– Другое оружие! – сказала Евгения. – Я боюсь рисковать... бессмертием.

– Нет.

– Тогда я... отказываюсь.

Она ушла. Феринг посмотрел на флакон и улыбнулся.

– Да, это – страшнее смерти! – сказал он.

Малинник Якобсона

I

Геннадий долго сидел на набережной, щурясь от солнца и задумчивого речного блеска, пока острая тоска внутренностей не заставила его снова встать и идти на ослабевших ногах. Требовательный, злобный голод подталкивал его вперед, к маленьким тесным улицам, где в окнах домов меланхолично пахло воскресными пирогами, маслом, изредка и легким спиртным дыханием подвыпивших обывателей.

Сплеывая, чтобы не так тошнило от голодной слюны, попадавшей в пустой желудок обильными, раздражающими глотками, Геннадий плелся в теневой стороне домов, стиснув за спиной веснушчатые, покоробленные трудом руки. Он был плюгав, тщедушен и неповоротлив; наивные голубые глаза сидели в его по-воробыному взъерошенном, осунувшемся лице с выражением тоскливого ожидания. Он хотел есть, все его существо было проникнуто этой глубокой, священной мыслью. Рабочие, эстонцы и латыши, шли мимо него под руку с чисто одетыми женщинами и девушками.

«Жрали уже...» – завистливо подумал он, кряхтя от негодования.

Улица загибалась вниз, к набережной, и Геннадий снова увидел воду, но не повернул обратно, а двинулся вдоль реки, по узкой полосе мостовой. Маленький, старинный городок отошел назад, навстречу попадались телеги, рыбацьи домики, лодки, плоты. Через две-три сотни шагов Геннадий остановился, присел на выдавшийся из глинистого откоса камень, свернул «собачью ногу» из махорки и хмуро плюнул в пространство.

Перед ним, переливаясь вечерним светом в зеленой полосе берегов, катилась река; у правого берега, разгружаясь и нагружаясь, стояли иностранные парусные корабли, паровые шхуны и барки. Свернутые паруса, реи, просмоленные, исцарапанные погрузкой борта дышали крепкой морской жизнью, свободой и тяжелым трудом и чем-то еще, похожим на затаенную тоску о далеком, всемирной родине, гармоничных углах мира, беспокойной свободе.

– За тридевять земель, – коротко вспомнил Геннадий.

Чужие страны развернулись перед ним, как противоположность его собственному, полуголодному существованию. Он представлял себе неимоверно тучные, бархатного чернозема поля, здоровеннейших, краснощеких людей, огромной величины коров, лоснящихся богатырей-коней, синее, аккуратно дождливое небо и отсутствие странников. Хозяева этой прекрасной страны ходили в ослепительно-ярком платье, не расставаясь с золотом.

Докулив, Геннадий тоскливо осмотрелся вокруг. Чужой город вызывал в нем легкую, тревожную злобу чистотой и уютностью старинных маленьких улиц; протянуть руку за милостыней здесь было почему-то труднее, чем в любом другом месте. Он встал, тихо, сосредоточенно выругался и зашагал по берегу с твердым решением попросить кусок хлеба у первого попавшегося окна.

II

Деревянный одноэтажный дом, к которому подошел Геннадий, стоял почти у самой воды. На Кольях, возле небольших мостков, сушился невод, в окне, уставленном горшками с растениями, колыхались чистые занавески. На крыльце, у почерневшей, массивной двери сидел, покуривая английскую трубку, человек лет семидесяти, колоссального роста, одетый в кожаную, подбитую красной фланелью куртку и высокие сапоги. Лицо, изъеденное ветром и жизнью, пестрело множеством крепких, добродушных морщин, рыжие волосы, выбритая верхняя губа и умные зрачки серых глаз сделали его похожим на грубое стальное изделие, тронутое желтизной ржавчины.

– Здравсьте! – сказал Геннадий, угрюмо ломая шапку.

Старик кивнул головой. Геннадий натужился, вобрал воздух и вдруг, жалко улыбаясь, сказал:

– Не будете ли так добры, Христа ради, кусок хлеба безработному? Верьте совести – не жравши два дня.

– Работай... – меланхолично произнес старик, пуская трубкой дым. Лицо его стало натянутым и рассеянным. – Работа есть, много работы есть.

– Игде? – с отчаянием воскликнул Геннадий. – Вот ей-богу, каждый так говорит, а поди достань ее. Хлопок грузили малость, это верно, а опосля и затерло. И то есть, как я попал сюда – не приведи бог!

– Марта! – крикнул старик и по-эстонски прибавил несколько слов, в тоне которых Геннадий уловил спокойное приказание. – Ты из Питера?

Геннадий открыл рот, но в это время на крыльцо вышла круглая, быстрая в движениях девушка, с загорелыми босыми ногами, протягивая ему кусок хлеба и новенький монополярный грош. Он взял то и другое, хлеб сунул за пазуху, а грош повертел в руках и неловко зажал в ладони.

– Премного благодарствуйте, – сказал он, отойдя в сторону.

Старик молча кивнул головой, девушка смотрела вслед удалявшемуся Геннадию прямо и равнодушно. Свернув в ближайший, каменистый, вытянутый меж двух высоких заборов переулочек, Геннадий торопливо присел на корточки и съел хлеб.

Полуфунтовый кусок мало утолил его вожделение; высыпав с ладони в рот быстро высохшие крошки, он встал, голодный не менее, чем десять минут назад. Новенький, красноватый грош тупо блестел в его задрожавших от еды пальцах; Геннадий скрипнул зубами и злобно швырнул монету в побуревшую от жары крапиву.

– Чухна рыжая, – сосредоточенно выругался он, облизывая припухлым языком сухие губы. Небо и десны ныли, натруженные сухой жвачкой. – Рыбу жрут, мясо... небось, – продолжал он, вспоминая невод и кур, бродивших у калитки. – Мужик... тоже!..

Саженный забор, торчавший перед ним острыми концами почерневших от дождя вертикальных досок, кой-где расходился узенькими, молчаливыми щелями. Низ их скрывался в репейнике и крапиве, середина зеленела изнутри, и изнутри же верхние концы щелей пылали нежным румянцем, словно там, в огороженном небольшом пространстве, светилося вечерней зарей свое, маленькое, домашнее, пятивершковое солнце. Геннадий прильнул глазом к забору, но не увидел ничего, кроме зеленой, красноватой каши. Угрюмое любопытство бездельника, которого раздражает всякий пустяк, подтолкнуло Геннадия. Осмотревшись, он подхватил валявшийся невдалеке кол, приставил его к забору и, подтянувшись на длинных, цепких руках, выставился по пояс над заостренными концами досок.

Перед ним был малинник, принадлежавший, без сомнения, тому самому старику эстонцу, с которым он разговаривал десять минут назад. Внутренний фасад дома горел в низком огне вечернего солнца отражением стекол, яркими цветами, посаженными по длинным, полным сочного чернозема ящикам, и путаницей кудрявых выюнков, громоздившихся на водосточные трубы. Все остальное пространство высокого ограждения рябило багровым светом наливающейся малины.

– Госпожа ягодка! – умилился Геннадий, и в сердце его дрогнуло что-то родное, крестьянское, в ответ безмолвному голосу этого взлелеянного, выхоленного, как любимый ребенок, крошечного куса земли. Он пристально рассматривал отдельные, рдеющие на солнце ягоды, и челюсти его сводило от сладкой, кисловатой слюны.

III

Геннадий спрыгнул и отошел в сторону. Малинник, пылающий ягодами, стоял перед его глазами, сквозь серый забор, заросший со стороны переулка крапивой и одуванчиками, мерещились ему пышные, высокие лозы, посаженные на одинаковом расстоянии друг от друга, и зубчатая листва, обрызганная красным дождем. Вершины лоз, заботливо подвязанных, каждая отдельно, суровой ниткой к высоким кольям, – соединялись над узкими проходами, образуя длинные своды из переплета стеблей, освещенных листьев и ягод. На разрыхленной, чисто выполотой земле тянулся дренаж.

Геннадий взволнованно переступил с ноги на ногу. Древний огонь земли вспыхнул в нем, переходя в глухой зуд мучительной зависти. Бесконечные, оплаканные потом поля, тощие и бесильные, как лошади голодной деревни, – выступили перед ним из вечерних дубовых рощ. Со-

ломенные скелеты крыш, чахлые огороды, злобная печаль праздников и земля – милая, грустная, больная, близкая и ненавистная, как изменяющая любимая женщина.

– Эх-ма! – угрюмо сказал Геннадий. – Чухна проклятая!

Расстроенный, он вновь подошел к забору. Бесконечно враждебным, похожим на издевательство, казался ему этот клочок земли; мужик выругался, стукнул кулаком в доску, ушиб пальцы и побледнел.

Это не было пламенное бешенство оскорбленного человека, когда, не рассуждая, не останавливаясь, совершает он, охваченный яростью, – все, что подскажет закипевшая кровь. Холодная, нетерпеливая злоба руководила Геннадием; неопределенное, мстительное настроение, где голод и одиночество, брошенный кусок хлеба и чужой, мужицкий достаток смешивались в тяжком чувстве заброшенности. Трусливо озираясь, Геннадий вскарабкался на забор, тяжело спрыгнул и очутился в зеленой тесноте лоз.

Прямая духота, тишина, полная предательского внимания, и легкий шум крови привели его в состояние некоторого оцепенения. Присев на корточки, он с минуту прислушивался к дремотному дыханию сада, ощупывая глазами пятна теней и света; отдышался, шмыгнул носом и, убедившись, что людей нет, прополз в глубину. Оборванный, исхудавший, трясущийся от ненависти и страха, он напоминал крысу, облитую светом фонаря во тьме погреба. Еще что-то удерживало его руки, словно упругий лесной сук – идущего человека, но, понатужившись, мужик встал, поднял ногу и сильно ударил подошвой в ближайший кол.

Стебли, затрещав, вытянулись на земле. Стиснув зубы, Геннадий бросился всем телом в кусты, топча, ломая, выдергивая с корнем, скручивая и вихляя листья; брызги свежей земли летели из-под его ног и с корней выхваченных растений. Дух разрушения, близкий к истерическому припадку, наполнял его дрожью сладострастного иступления. Перед глазами кружился вихрь, пестрый, как лоскутное одеяло; через две-три минуты малинник напоминал вороха разбросанной, гигантской соломы. Пошатываясь, потный от изнурения, мужик подошел к забору. Спину знобило, усиленные скачки сердца расслабляли, перебивая дыхание. Заторопившись, он стал карабкаться на забор, срываясь, подсакивая, шаркая ногами по дереву; но через мгновение увидел рыжую голову Якобсона, вытянул вперед руки и замер.

Эстонец постоял на месте, раскачиваясь, как медведь, и вдруг положил ладони на плечи Геннадия. Горло старика клокотало и всхлипывало, как у человека с падучей, он хотел что-то сказать, но не смог и бешено обернулся к искалеченным кустам сада. Тогда Геннадий увидел, что рыжие вихри Якобсона тускнеют. На голову старика садилась таинственная, белая пыль: он быстро седел. Тягучий ужас раздавил мужика.

– Ты что делаешь? – хрипло спросил эстонец.

– Пусти! – взвизгнул Геннадий, подымая руки к лицу. Но его не ударили. Железные, пыльные пальцы давили плечи так, что болела шея.

– Ты ломал! – сказал шепотом Якобсон. От горя и волнения он не мог вскрикнуть и судорожно мотал головой. – Что будем делать теперь?

«Убьет!» – подумал Геннадий, тоскливо следя за прыгающими зубами эстонца. Мужичку захотелось завывать, убежать вон, уткнуться лицом в землю.

– Я работал, – продолжал Якобсон, – десять лет. Ты приходил. Ты просил хлеба. Я дал тебе хлеб. Зачем был неблагодарным и ломал?

– А вот и ломал! – почти бессознательно, срывающимся голосом произнес Геннадий.

Отчаяние толкало его к вызову.

– Бей! Что не бьешь? Ломал! Э-ка! Чухна проклятая!

Загнанный, он озверел и теперь готов был на все. Пересохший язык бросил еще одно бессмысленное ругательство. Но не Якобсона хотел оскорбить он, а все, что появилось неизвестно откуда, рядом с обездоленной пашней, первобытным веретеном и мякиной: город, господа, книги, звон ресторанного оркестриона – неведомыми путями соединились в его сознании с нерусским, выхоленным куском земли. Но он не смог бы даже заикнуться об этом.

Старик согнулся, и вдруг голова его куда-то исчезла. В тот же момент Геннадий задохнулся от сотрясения, увидел под собой край забора, вверху – небо и грузно шмякнулся в переулок,

затылком о камень. Багровый свет брызнул ему в глаза; он вскрикнул и потерял сознание.

Через полчаса он очнулся и сел, покачиваясь от слабости. Острая боль рвала голову. Поднявшись, мужик нащупал дрожащими пальцами висок, мокрый от крови, и заплакал. Это были теплые, злые слезы. Он плакал, неведомо для себя, о беспечальном мужицком рае, где – хлеб, золото и кумач.

Пришел и ушел

I

Когда Батль бросил мешок на койку и поднял голову, то увидел, что перед ним стоят трое, рассматривая новичка пристальным взглядом попугаев. Заспанные, обросшие волосами и полуголые в силу нестерпимого зноя, они лениво переминались с ноги на ногу; новое обмундирование Батля смутно напоминало им прежнюю жизнь в полку.

– Стоило попадать в такую дыру, – сказал бывший конторщик. – Что же, вы совершили какое-нибудь тяжелое преступление?

– Я не совершал никакого преступления, – возразил Батль. – Меня перевели сюда по моей просьбе.

Солдаты переглянулись и усмехнулись. Батль нахмурился.

– В чем дело? – с беспокойством спросил он. – Пожили бы в Покете, как я. Тоска и скука. Может быть, здесь служба опаснее, а жизнь труднее, но муштра хуже всего того в тысячу раз.

– Труднее? – спросил великан с соломенной бородой.

– Я нахожу, что так.

– Самая большая опасность, – заявил третий солдат, – заключается в дрянной воде. Вечно болит живот. Здесь известь и песок. Вода такая, словно вам скребут внутренности.

Батль пристально рассмотрел говорившего, но не нашел в его лице даже тени насмешки. Вслед за этим он остался один; его новые товарищи отправились возить воду.

Постояв немного в пыльной духоте глиняных стен, Батль вышел на двор.

Огромное количество кур, снующих под ногами, наполняло своим клохтаньем все углы форта. Батль насчитал не менее двухсот кур. Стадо толстых свиней преградило ему дорогу у ступеней входа комендантской квартиры. Кроме того, движение по двору затруднялось полотнищами простынь и женских рубашек, развешанных для просушки на веревках, протянутых во всех направлениях.

Человеческих голосов не было слышно. Где-то, дребезжа, тренькал, мозоля уши, скверный туземный инструмент. Батль двинулся по направлению звуков и скоро, обогнув угол вала, наткнулся на палисадник, заросший чем-то похожим на огромный пыльный салат. Там, за большим деревянным столом сидели пять человек: трое мужчин и две женщины.

Комендант сидел с поникшей головой, протянув ноги, и мрачно курил. Младшие офицеры, с наголо выбритыми головами, тянули через камышовые трубки из грязных стаканов мутную жижку. Молодая загорелая женщина беспрерывно зевала; вторая, старше ее, с видом изнеможения перебирала струны, натянутые на чем-то схожем с козьей ногой. Все пили виски. Эти люди, растрепанные, полуодетые, с помраченным жарой, пьянством и бездельем рассудком, едва двигали руками, – разве лишь затем, чтобы взять стакан или отогнать мух.

Батль простоял минут пять, но не услышал ни одного слова. Сидевшие, казалось, соперничали друг с другом в искусстве отмалчиваться. Батль поднялся на вал, заросший жесткой, колючей травой. По беспредельной пустыне, окружающей форт, разливался сверкающий, как металл, зной. Форт был забыт жизнью и неприятелем. Где неприятель? Истина смутно зашевелилась в уме Батля. Быть может, лет тридцать назад это неуклюжее земляное сооружение действительно покрывало на пограничных туземцев... но теперь... теперь... Батль сладко зевнул.

С высоты вала он рассмотрел всю внутренность форта. По углам, между сараев и в глубине прохладных навесов, вдоль стен, спали немногочисленные солдаты. Батль рассматривал их, пока

не заметил утреннего великана с соломенной бородой. Дитина лежал на боку, поджав ноги коленями к подбородку, как младенец в утробе матери, и зычно свистел носом. В позе его было что-то трогательное.

II

Десять утомительных, пустых дней привели Батля в состояние холодного бешенства. Ночью, чтобы развлечься, он ел леденцы, привезенные им из Покета, и размышлял о несбывшихся приключениях.

Стоя на часах, Батль беседовал со своей тенью. Луна, сияющая от удовольствия быть круглой, следила за его движениями светом холодным и резким. Винтовка Батля блестела, как перламутр. Батль медленно ходил от порохового погреба к кухне и обратно. Пустыня перешагнула через валы форта тысячами белых и голубых звезд. Безнадежная тишина бессмысленно следила за Батлем. Его шаги становились все медленнее, размереннее, как под действием душевного угнетения.

Наконец в одну из таких ночей измученное лицо Батля повернулось к луне. Батль боялся. Страх начался с момента, когда он представил огромные пространства, отделяющие форт от городов и железных дорог. Впрочем, действие глухой лунной ночи было сильнее этого географического представления. В груди Батля закипели слезы обиды. Он был живой, нетерпеливый и еще молодой человек.

Через два часа хождения по двору Батль стал преступником. Он был невменяем в течение получаса.

Но этого никогда никто не узнал. Замок погреба, взломанный острием штыка, отскочил и упал. Батль зажег спичку и вошел в низенькую четырехугольную дверь. Спертый воздух и писк мышей встретили Батля весьма двусмысленно. Потом раздались ужаснейшие проклятия, когда-либо придуманные человеком, потому что, кроме пустых, давно сгнивших бочек, в погребе ничего не было.

С потолка высыпался ком глины и шлепнул Батля в затылок. Он вылез и очутился среди посмеивающегося лунного света, а затем, не торопясь, привесил замок на прежнее место. Взрыв произошел – но только в его воображении; хотя был и другой взрыв: вместо развалин форта покачивалась развалина прежнего человека.

– Фейерверк не удался, – пробормотал Батль, замечая следы происшествия, – но я не виноват в этом.

III

Утро следующего дня озарило редкий случай: в полном вооружении из форта уходил человек, Батль.

Он выступил из казармы при недоумевающем и неодобрительном молчании сослуживцев, прошел двор, загубив жизнь одного цыпленка, и миновал ворота. В это время на вал поднялись комендант с женой и лейтенантом.

– Кто это идет, Сильс? – спросил комендант, увидев прямую, мерно удаляющуюся фигуру.

– По-видимому, один из наших солдат, – вяло сообразил офицер. – Идет он... да... идет... куда-то...

– Зачем?

– Трудно сказать, – ответил лейтенант после долгой паузы. – По крайней мере, я не берусь решить этот вопрос.

– Он совсем уменьшился! – воскликнула жена коменданта.

Никто ей не отозвался. Три человека смотрели вслед таинственно уходящему Батлю. По ослепленной солнцем равнине солдат игрушечного размера, не оборачиваясь и не останавливаясь, твердой размеренной походкой удалялся к серой полосе леса, напоминающей задумчивую тонкую бровь.

– Почему он уходит все дальше? – глубокомысленно спросил комендант, следя за дальнейшим уменьшением фигуры Батля. – Это... побег?

– Побег?.. Он идет шагом, – возразил лейтенант.

Наступило молчание. Солнце поднялось выше; несколько солдат, взлезши на вал, приложили к глазам ладони.

Батль скрылся в блеске песка и солнца. Тогда комендант сказал:

– Сильс, пошлите кого-нибудь спросить этого человека: что он там ищет?

– Но это галлюцинация, – заметила женщина. – Черное пятно на сетчатке глаза.

– Возможно, – сказал комендант.

– Привиделось от жары, – сказал Сильс.

И они, вздохнув, спустились в палисадник, к столу.

Лунный свет

I

Пенкаль стоял на пороге кузницы, с тяжелой полосой в левой руке и, заметив приближающегося Брайда, приветливо улыбнулся.

Был солнечный день; кузница, построенная недавно Пенкалем из золотистых сосновых бревен, сияла чистотой снаружи, но зато внутри, как всегда, благодаря рассеянному характеру владельца представляла пыльный железный хаос. Брайд брякнул принесенным ведерком, пожал руку Пенкаля и сел у входа, широко расставив колени. Его шляпа, сдвинутая на затылок, открывала умный лоб; маленькие внимательные глаза с любопытством рассматривали Пенкаля.

– Вы можете его починить, Пенкаль? – сказал наконец Брайд, оборачивая ведро дном вверх. – Оно продырявилось в двух местах, следовало бы положить заплатки, но, может быть, вы знаете и другой способ?

– Хорошо, – ответил Пенкаль. Взяв ведро из рук Брайда, он мягко швырнул его в кучу ломаного железа, потом поплевал на руку, готовясь раздуть тлеющее горно. Брайд вошел в кузницу.

– Поздно вы принимаетесь за работу, – сказал он, пытливо осматривая все углы закопченного помещения. – А у нас вчера была ваша жена, Пенкаль.

Кузнец шумно опустил мех, и воздух загудел в горне ровными вздохами, осыпав кузнеца дождем искр. Брайд переждал минуту, рассчитывая, что Пенкаль откликнется «на жену» и тем подвинет разговор к вопросу, интересующему поселок. Но Пенкаль пристально смотрел на огонь.

– Она побыла немного и ушла, – смущенно продолжал Брайд. – Вид у нее был нельзя сказать, что хороший.

– Ну? – сказал Пенкаль. – Ведь она ходит к вам каждый день.

Брайд принял решение.

– Она жаловалась на вас, что вы... кажется, у нее были заплаканы глаза... Что такое семейная история? Та, где нет дела третьему? Этого я не одобряю. Конечно, если мне что-нибудь говорят – я слушаю, но придавать значение... это не мое дело. Разумеется, говорю я себе, у них были причины. Какие? Мне этого знать не нужно. Пусть живут люди, как им живется. Не так ли, Пенкаль?

– Верно, – сказал кузнец.

Брайд разочарованно поймал муху и грустно бросил ее в горно. Скрытность Пенкаля казалась ему излишней и неприличной осторожностью. Что скрыто за этим покусыванием усов? Но, может быть, все пустяки?

Наступило молчание. Пенкаль бил молотком железо, изредка останавливаясь, чтобы поправить падающие на лоб прямые черные волосы. Когда полоса остыла, кузнец сунул ее в печь и спросил:

– А видели вы длинного кляузника Ритля? Сегодня ночью он катался на лодке, и я просто думаю, что его занесло течением дальше, чем следовало.

Брайд высморкался безо всякой нужды.

– Ну да, – принужденно сказал он, избегая взгляда Пенкаля. – Вот еще Ритль... Он проехал действительно подальше... вслед за вами... и легко могло показаться... Впрочем, это был всегда любопытный человек.

– Не думаете ли вы, что он дурак? – мягко спросил Пенкаль.

– Дурак? Пожалуй... – Лицо Брайда томительно напряглось, в то же время он подумал, что от Пенкаля вряд ли что выудишь.

– Он дурак, – сердито проговорил Пенкаль, – не мешало бы ему придерживаться вашего мнения: пусть люди живут, как им живется, а? Не правда ли?

– Да, да, – неохотно сказал Брайд. – Но я зайду к вечеру за ведерком. Мне ведь не к спеху. Да, нужно еще починить изгородь.

Он встал, помялся немного и ушел, оглянувшись на низкую дверь кузницы. Она была вся освещена буйным огнем; в красноватом блеске двигалась сутулая фигура Пенкаля.

Кузнец стремительно двигал мех, стараясь физическим усилием побороть тяжелое раздражение. Да, еще немного – и все будут подозревать его неизвестно в чем.

Он улыбнулся; врожденной чертой его характера было ленивое отвращение ко всякого рода объяснениям и выяснениям. Не их дело.

Пенкаль кончил работу, закрыл дверь, умылся и медленно пошел домой, к куче неуклюжих зданий поселка. Навстречу, грустно улыбаясь осунувшимся, легкомысленным и красивым лицом, шла его жена; Пенкаль прибавил шаг.

– Здравствуй, коза, – сказал он, целуя ее в голову. – Я еще не был дома после этих двух суток, пойдем скорее, у меня разыгралась охота пообедать сидя против тебя. Клавдия! Подними рожицу!

Замявшись, женщина нерешительно обдергивала бахрому цветного платка, прикрывавшего ее молодые плечи, и вдруг заплакала, не изменяя позы. Пенкаль сдвинул брови.

– Это все чаще, Клавдия, – сказал он, заглядывая ей в глаза. – Ты подумай, есть ли хоть маленькая причина портить глазки? Потом... ты еще ходишь жаловаться на меня; это совсем скверно. Что я тебе сделал?

Женщина вытерла глаза, но они вновь оказались мокрыми.

– Ты сам виноват, Пенкаль, – проговорила она, мешая ноты упрека с горькими всхлипываниями, – почти месяц... каждый день... каждую ночь... Никто не знает, куда ты уходишь. Надо мной посмеиваются. «Пенкаль, – говорят, – о, он молодец мужчина!»... Что ты на это скажешь? Ты ведь ничего не говоришь мне. Раньше делали насчет тебя догадки... теперь говорят шепотом, а когда я вхожу, – молчат и странно смотрят на меня. Может быть, ты делаешь фальшивые деньги, милый... так скажи мне... Я не выдам, но... О, мне так тяжело...

Она умолкла; в ее беспомощно раскрытом рту и прямом взгляде сказывался наивный испуг. Пенкаль обнял жену за талию.

– Я гуляю, Клавдия, я хожу на охоту, – серьезно сказал он. – Ну, вот видишь, я говорю правду, а ты смотришь все-таки недоверчиво. Да, Клавдия, только и всего. Надо было мне сказать тебе это раньше. В самом деле, когда охотник приходит постоянно с пустыми руками... Но пойдем. Я попытаюсь успокоить тебя.

Он взял ее за руку, как маленькую девочку, и стал спускаться с пригорка, продолжая говорить. Через сто шагов женщина успокоилась. Еще ближе к дому лицо ее выглядело просохшим и успокоенным, но в душе она, вероятно, немного подсмеивалась: вот чудак!

II

Береговой песок, залитый лунным светом, переходил в таинственное свечение сонной воды, а еще дальше – в торжественную, полную немых силуэтов муть противоположного берега.

Был полный разлив. Вода покрыла островки, мысы, огромные высыхающие к концу лета

отмели, медлительная сила реки сгладила полуобнаженный остов русла – спокойный момент торжества, делавший лесную красавицу похожей на гигантскую обвившуюся змею.

Пенкаль остановился у кипарисов, сильно подмытых течением, зашлепал сапогами в холодной воде и быстро освободил лодку, привязанную к обнаженным корням деревьев. Пахло сырым, полным весенним воздухом. Опустив весла, Пенкаль различил легкие человеческие шаги и выпрямился.

Он повернулся. Низкий обрыв, изборожденный трещинами, мешал рассмотреть что-либо, но неизвестный предупредил Пенкаля и вышел из тени деревьев. Шагах в пяти от Пенкаля он остановился, заложил руки за спину и наклонил голову. Это был Ритль, торговец; в лунном свете хорошо обрисовывалось его длинное, с выпяченным животом туловище. Подстерегающий взгляд торговца назойливо обнял кузнеца, дрогнул и ушел в землю.

– Никак, вы собрались ехать? – подобострастно, но цепко спросил Ритль. – А я почему-то думал, что вы спите. Вышел я, знаете ли, пройтись, пристаивал ко мне утром сегодня этот бродяга Крокис, все настаивал, чтобы я сделал скидку, и страшно меня расстроил. Другим он говорил: «Ритль упрям, но я возьму у него брезенты». Каково? Брезенты действительно принадлежат ему. Пойдет дождь, и товар подмокнет. Дернул меня черт положиться на его совесть! Впрочем, вы заняты, а то я хотел ведь попросить у вас совета, Пенкаль. Вы, что же, испробовать новую винтовку? На взморье, говорят, появились лоси. Эх, в молодости и я был охотником!

Пенкаль опустил цепь и, не отвечая, хотел вскочить в лодку. Ритль подошел ближе.

– Какой вы, однако, скрытный, – произнес он, – ну, бог с вами. Честное слово, Пенкаль, если бы вы знали, как все заинтересованы вашим поведением!

Пенкаль усмехнулся. В первую минуту ему захотелось обругать Ритля, но, удержавшись от резких слов, он сообразил выгоду своего положения; можно внешне, страшным и удивительным для других образом исказить правду. Тогда, если и будут говорить о таинственных отлучках Пенкаля, то лишь в одном смысле.

– Ритль, – сухо сказал Пенкаль, – я всегда думал, что вы порядочный человек.

– Я?! – вскрикнул Ритль. – Не знаю, как понять это... но если...

– Вот, слушайте. Чего проще было бы мне сказать вам: Ритль, вы шпионили. Поддавшись бабьим пересудам и толкам бездельников, сующих нос в чужие дела, вы сегодня следили за мной и видели, как я подошел к лодке.

– Никогда в жизни! – пылко вскричал Ритль.

– Шутник вы! Зачем мне и вам все эти брезенты? Подошли бы вы просто и сказали: «Пенкаль! Я чертовски любопытен, это большой недостаток, но что с этим поделаешь? Куда это вы ездите ночью и зачем? Со мной прямо делаются корчи, когда я подумаю, что вы имеете право что-то скрывать и не расскажете никому».

Ритль нерешительно раскрыл рот.

– Ну, что же... – путаясь, начал он. – В сущности... да ведь и не я один... как хотите...

– Да?! – сказал Пенкаль. – Если вы поклянетесь, что ни одна живая душа... поняли? Тогда я расскажу вам все, без утайки. Хотите?

Глаза торговца блеснули и приблизились к кузнецу.

– О! Пенкаль! – заорал он в восторге. – Я всегда стоял за вас горой! Провались я, если вы не лучший человек на свете! Разве я сомневался в вас, хотя бы одну секунду? Нет, право, вы очаровали меня!

– Поклянитесь, – сказал серьезно Пенкаль, вполне уверенный, что через полчаса клятва будет нарушена.

– Клянусь громами и моими доходами! – воскликнул Ритль. – Вы можете быть покойны. Я всегда вас считал особенным человеком, Пенкаль, и ваше доверие... да что там!

– Хорошо, – сказал Пенкаль. – Сядем.

Он сел, Ритль опустился рядом с ним на большой камень. Тени их резко чернели на воде. Пенкаль поглаживал колено правой рукой, как будто любясь им; это движение было характерно для него в минуты сосредоточенности.

– Из глупости, – начал Пенкаль. – Из пустяка. Из обрезка крысиного хвоста сочиняются

всевозможные истории. Так обстоит дело и со мной. Вот вы выслушаете меня и придете домой в полной уверенности, что совсем нечего было выдумывать о Пенкале легенды и расстраивать его глупую, еще доверчивую жену рассказами о том, что Пенкаль фабрикует в лесу фальшивые монеты или что он завел в городе трех любовниц... Не вы, так ваша жена. Нет? Тем лучше, тогда перейдем к делу.

Здесь нужно было загадочно улыбнуться, и Пенкаль сделал это, смотря прямо в глаза Ритля рассеянным взглядом кошки, усевшейся перед собакой на недостижимой вершине забора. Торговец выжидательно хихикнул; бледное лицо кузнеца и тишина лунной реки производили на него необъяснимо жуткое впечатление.

— Две недели назад, — продолжал Пенкаль, заботливо разглаживая колено, — я возвращался из города на этой вот лодке, но не рассчитал время и тронулся в путь, когда уже начинало темнеть. Дул сильный противный ветер, да и попал я в сильную полосу течения. Вы знаете, я не охотник выбиваться из сил, когда это не представляет необходимости, поэтому, завернув к Лягушачьему мысу, вытащил лодку на песок, развел огонь и устроил себе ночлег из свежих сосновых веток. Было совсем темно. Вы знаете, Ритль, что если долго смотреть в огонь, а потом сразу отвести глаза, то мрак кажется еще гуще. Представьте же мое удивление, когда, вдоволь насытившись видом раскаленных углей, я повернул голову и почувствовал, что светает. «Не может быть, чтобы наступило утро», — сказал я себе и вскочил на ноги. Но действительно было совсем светло. Я не могу подобрать название этому свету, Ритль, он был как дневной или яркий лунный, но без теней. Все было освещено им: спящая, молчаливая земля, лес, река, тихие облака вдали, — это было непривычно и странно. Я подошел к воде. Оставим описание того, что чувствовал я в это время; три слова, пожалуй, годятся сюда: страх, радость и удивление. Вода стала прозрачной, как воздух над деревенской изгородью, я видел дно, чистые слои песка, бревна, полузанесенные черноватым илом, куски досок; над ними, медленно шевеля плавниками, стояли рыбы, большие и маленькие, сеть водорослей зеленела под ними, внизу, совершенно так же, как луговые кустарники под опускающимися к ним птицами.

Я отвернулся, подумав, что умираю и что это последний трепет воображения, потом увидел лес и вздохнул, а может быть, ахнул. Я никогда не видел леса таким прекрасным, как в эту ночь. Проникнутый тем же золотистым, неярким светом, он виден был вглубь на целые мили, — и это весной, в самом буйном цветении; стволы, чешуйки древесной коры, хвойные иглы, листья, цветы, даже маленькие — не больше булавки — самые нежные и тонкие побеги, — все это буквально соперничало друг с другом в необычайной отчетливости.

Пенкаль посмотрел на Ритля. Торговец несколько отодвинулся и сидел теперь на расстоянии четырех шагов.

— Поразительно, — пробормотал Ритль.

— Я лег на спину, — продолжал Пенкаль, — потому что был сражен и напуган. Костер слабо трещал вблизи меня. Я думал о том, кто зажег эту гигантскую лампу без теней, осветив спящую землю так, как мы освещаем комнату среди ночи. Мои соображения были бессильны. В этот момент он подошел ко мне.

— Он? — глухо спросил Ритль, мигая расширенными глазами.

— Да, он и маленькая полуголая женщина. Она крепко жалась к нему. Вид у нее был слегка дикий в этом странном капотике из кленовых листьев, но не лишенный кокетства, впрочем, вряд ли она сознавала, чего ей не хватает в костюме. Я имею некоторые причины подозревать это. Он же был одет и довольно курьезно: представьте себе человека, первый раз надевшего полный городской костюм, — естественно, что он не умеет себя держать. Так было и с ним: тугие воротнички, должно быть, страшно утомляли его, потому что он беспрестанно вертел головой, а также вытаскивал манжеты из рукавов и по временам среди разговора пристально рассматривал свои запонки. Был он совсем маленького роста и показался мне застенчивым добряком. Женщина крепко держала его за руку, прижимаясь к плечу; изредка, когда он говорил что-нибудь, по ее мнению, неподходящее или лишнее, слегка щипала его, отчего он смущенно умолкал и грустно обращался к запонкам.

Я сел, они приблизились и остановились...

– Ого! – сказал Ритль, побледнев и ежась на своем камне. – Как вы могли выдержать?

– Слушайте дальше, – спокойно перебил Пенкаль.

– Вы спали, – сказал он, приседая как-то странно, словно его сунули под гидравлический пресс, – а я не знал. Нас разбудили, мы тоже спали, но вот она испугалась... – Он посмотрел на женщину. – Сегодня утром, видите ли, прошел этот... ну, вот, хлопает по воде, коробочкой, постоянно горит. Да, так она не выносит этого железного крика, хотя многие утверждают, что он поет недурно, и только дым...

– Пароход, – сказал я.

Он прищурился и посмотрел на меня пристально.

– Да, вы так говорите, – согласился он, – все равно. И она дрожит целый день. Я кормил ее, сударь, уверяю вас, она кушала сегодня и расстроилась совсем не потому, что она голодна... но она не может... Как только этот па... или что-то такое, так и история.

Женщина тихонько ущипнула его за ухо, и он сконфузился.

– Знаете! – воскликнул он с жаром, вдоволь повертев свои запонки. – Мы ушли бы отсюда, но... нам совершенно не с кем посоветоваться. Все, как и мы, ничего не знают. Говорят, правда, что вверх по реке есть тихие области, где нет этих... вообще беспокойства, – а я не знаю наверное.

В свою очередь, я пристально посмотрел на него. Глаза его очень переменчивого цвета напоминали лесные озерки в разное время дня; они то тускнели, то разгорались и переливались всеми цветами радуги.

– Там города, – продолжал он, показывая рукой к морю и ежась, как от сильного холода. – Они строятся из железа и камня. Я не люблю этих... ну, как их? До... до...

– Домов, – подсказал я.

– Вот именно. – Он, казалось, чрезвычайно обрадовался, что я так быстро помогаю ему. – Да, домов... но как, вверх по реке, есть эти штуки?

– Семь городов, – сказал я. – И много строится новых.

Он был сильно озадачен и долго сидел задумавшись. Потом засмеялся, тронув меня за плечо, с довольной улыбкой мальчика, поймавшего воробья.

– Вот что, – произнес он, – камень и железо – правда?

– Конечно.

– Ну, так они их не достанут. Здесь нет камня и железа до самых гор. Они останутся в дураках.

Я улыбнулся.

– А эти, – сказал я, – коробочкой?

– Па-рра-ходы? – с усилием произнес он и опечалился. – Вы думаете?

– Без сомнения.

Пока он перебаривал этот новый удар, женщина внимательно водила пальцем по коже моего сапога, отдергивая свою нежную руку каждый раз, когда я шевелил ногой.

– Тогда мы уйдем, – полувопросительно сказал он. – Нет никакого расчета оставаться здесь. И все уйдут. Леса опустеют. Я слышал, что не будет лесов и даже травы? Куда-нибудь да уйдем.

Мне стало жалко их, Ритль, этих маленьких лесных душ; но чем я мог им помочь?.. Я горевал вместе с ними. Так сидели мы втроем, молча, среди живой тишины, в кротком, печальном оцепенении.

– Я слышал еще, – виновато сказал он, – что будто дело произойдет так: везде будет железо и камень, и парра-ходы, и ничего больше. А потом они снова захотят жить с нами в близком соседстве; устанут, говорят, они от этого... элек...

– Электричества.

– Да, да. Ну, так мы пока можем побыть и в изгнании. Как вы думаете насчет этого?

В этот момент я услышал тихий и ровный плач; он напоминал шелест падающих сосновых шишек.

– Ну, – сказал он, – так усни. Чего же плакать?

Женщина продолжала рыдать на его плече. Из ее маленьких, светлых глаз катились быстрые слезы.

– Я хочу спать, – твердила она, – а надо опять идти... идти...

Он повернулся к ней, и оба растаяли, затрепетали прозрачными силуэтами на освещенном песке, затем исчезли. Я встал, Ритль; было темно, костер шипел мокрыми от росы сучьями.

После этого я встречал их каждую ночь. Они приходили и исчезали, но между жалобами от них можно было узнать многое о их жизни. Я это делаю – беру лодку и еду. Вчера мы обсуждали, например, скверные черты в характере волка. Вы видите...

Пенкаль повернулся. Камень был пуст; вдали замирали быстрые шаги Ритля.

«Я напугал его, – подумал молодой человек, – теперь он считает меня бесноватым или – что все равно – приятелем самого черта. Но я, кажется, сам позабыл о его присутствии. Это ведь лунный свет...»

Он не договорил и посмотрел вверх, где чистая луна сочиняла ему сказку о его собственной замкнутой и беспредельной душе. Затем, обойдя лужи, Пенкаль сел в лодку, толкнул веслом заскрипевший песок и растворился в прозрачной мгле.

III

– Где же его искать?

– В аду.

– Без шуток, говори, куда держать?

– Держи пока прямо. А потом – на свет.

После мгновенного замешательства, вызванного коротеньким диалогом, весла заработали так быстро, что рулевой качнулся назад. Несколько минут прошло в совершенном молчании, затем тот, кто рекомендовал отправиться в ад, глухо проговорил:

– Темно. Подлей масла в фонарь, Син; он гаснет.

– Я предлагаю вернуться, – заявил Паск.

– Вернись, – ответил с недобрый оттенком в голосе мрачный человек. – По воде ты дойдешь до берега, а там сядешь в лодку.

Остальные захохотали. Смех их показал шутнику, что слова его немного смешны, и он засмеялся после всех сам, совершенно несвоевременно, потому что в этот момент Энди ушиб себе ногу веслом и застонал с кроткой яростью ангела, проворонившего пару приличных душ.

– Луна скрылась, – сказал Паск, – и очень кстати. Кружись до утра, Льюз.

– Нет, – сказал мрачный человек, названный Льюзом, – дело должно быть сделано. Я хочу посмотреть дьявольские игрушки Пенкаля... или запую песенку под названием: «Ритль, береги ребра!», а то...

Он стих и погрозил кулаком зюйд-весту. Четыре силуэта мужчин, обведенные каймой борта в тусклом свете дымного фонаря, плыли над водой, усиленно загребая веслами. Паск спросил:

– Возможны ли такие шутки?

– То есть мы – дураки, – скорбно поправил Льюз. – Не мешало бы воротиться и расспросить Ритля, а? – Льюз дернул рулем. – Я мог бы рассказать вам, – проговорил он, – как один человек... какой – все равно, зашел на кукурузное поле.

Прошло пять минут, пока Син осведомился, чего ради этот несчастный подвергся такой странной участи.

– Он утонул, – задумчиво пояснил Льюз, – и утонул потому, что это было не кукурузное поле, а озеро. Поняли?

Кто-то вздохнул. Энди повернул голову.

– Огонь влево, – сказал он, переставая грести.

Нетерпеливое, отчасти жуткое ожидание достигло крайнего напряжения. Льюз направлял лодку. Слева под лесом, у большой песчаной косы трепетал красный огонь костра. Маленький, одинокий, он тихо манил парней; может быть, там сидел Пенкаль.

Без команды, словно по уговору, Син, Энди и Паск бережно загребли веслами, словно не

вынимая их из воды, отчего лодка бесшумно, как окрыленная, скользнула к земле и остановилась, толкнувшись о подводные кряжи.

– Ну, выходи, – смущенно проговорил Льюз.

Все двинулись кучкой, молча, подавленные тишиной и предчувствием разочарования. Пенкаль сидел на корточках у огня; в котелке, повешенном над угольями, что-то шипело и булькало; смеющиеся глаза вопросительно остановились на Льюзе.

– Вот погреемся! – неестественно сказал Син, избегая глядеть на кузнеца.

Льюз мрачно улыбнулся, присев боком к огню; Паск остановился в отдалении; Энди для чего-то снял шапку и подбросил ее вверх.

– Так вы прогуливаетесь, – сухо сказал Пенкаль.

– Мы? – спросил Энди. – Да... мы... ехали и... увидели этот огонь... но... Льюз потерял спички... и вот... понимаете... курить захотелось... Верно я говорю, Льюз? Ну... мы и того... Здравствуйте!

Котелок покачнулся. Серая пена заструилась в огонь, чадя и всхлупывая на угольях. Пенкаль бросился снимать варево, поддел котелок палкой и бережно поставил на землю.

– Это суп, – сказал он. – Хотите?

Четыре человека недоверчиво переглянулись и протянули Пенкалю руки.

– Прощайте! – сказал Энди. – Мы должны ехать: нам нужно... Льюз, закури трубку.

Льюз сделал это, подпалив усы, так как дрожали руки, и затем все удалились, переговариваясь вполголоса о таинственных, недоступных для глаз их, лесных жителях.

Когда их фигуры, раскачиваясь, ушли во мрак, – из-за туч выглянула луна и затопила тревожным блеском далекую линию противоположного берега.

Система мнемоники Атлея

I

Грустное событие имеет то преимущество перед остальными событиями жизни, что кладет на однообразное существование человека неуловимую тень прекрасного, о котором начинают вздыхать все, тронутые печалью.

Случилось, что когда мы начали забывать о юре молодой женщины, носившей странное имя Зелла, вся эта история с исчезновением ее мужа после долгих лет получила в наших глазах неотразимое обаяние – впечатление, покоившееся в основах на воспоминании о том летнем вечере, когда Пленер пел в дубовой роще свою лучшую песню о «Графе в изгнании». Начальные слова песни были таковы:

Земля не принимает моих следов,
Они слишком легки, небрежны
и оскорбительны для нее,
Привыкшей к толстым сапогам поденщиков,
К осязательным следам жизни,
Ненужной для себя самой.

Когда он кончил, солнце садилось и ветер пошевелил листву, затканную сонным, очаровательным румянцем зари. После этого Пленер исчез. Может быть, это было для него так же неожиданно, как и для нас, потому что никто не успел заметить момент его исчезновения. В памяти всех, как сейчас, так и тогда, осталась его высокая, прямая фигура, с рукой, прикрывающей глаза. Он пел в этой позе, а затем его не стало. Через неделю, когда добровольные и полицейские розыски оказались безуспешными, Зелла перешла от острых припадков горя к тихому отчаянию.

Все, что ум человеческий может противопоставить роковому в виде вопросов и неуклюжих догадок, было сделано нами, пересмотрено, отвергнуто и забыто. Но от исчезновения человека

осталось веяние таинственной прелести, жуткой и заманчивой глубины потрясения. Всех нас, бывших в тот вечер, связало нечто сильнее нашей воли в рассеянную жизнь, но плотно связанную одним и тем же чувством группы людей тоски.

II

В июне прошлого года, ровно через десять лет после исчезновения Пленера, утром, когда я занимался в саду опытами с прививкой растениям некоторых невинных болезней, способных изменить их окраску, – Дибях, мой брат, вошел через боковую калитку в сопровождении неизвестного пожилого человека, остановившегося на некотором расстоянии от клумбы. Я не сразу обратил внимание на возбужденное лицо брата; помню, что только его нервный смех заставил меня пристально посмотреть на обоих. Я вытер запачканные землей руки и поклонился.

– Атлей, – сказал брат, оборачиваясь в сторону неизвестного, – это Пленер.

Должно быть, кровь ударила мне в голову при этих словах, потому что, не более как на один момент, ясное небо затуманилось и задрожало перед моими глазами. Помню, что, когда я заговорил, голос мой звучал слабо и глухо. Я сказал:

– Вот шутник. Подумайте, Пленер, что он говорит!! Возможно ли это? Как ваше здоровье?

Думаю, что эта чепуха внушила ему все же некоторое представление о моем состоянии. Пленер неопределенно улыбнулся, но не сказал ничего; может быть, он считал свое положение в некотором роде щекотливым и странным.

Я рассмотрел его трижды, пока он стоял на этом красноватом песке, освещенный солнцем и зелеными отблесками акаций. Пленер изменился, как может измениться человек, перевернувший свою жизнь. В густых, темных волосах его пестрела седина, лицо утратило женственную нежность кожи; темное, осунувшееся, но с бодрыми складками вокруг глаз, оно напоминало портрет старинной живописи. В дорожном светлом костюме, могучий и статный, стоял он предо мной – все-таки он, Пленер.

Мы молчали. Удивляюсь, как я не забросал его обычными в таких случаях вопросами. Дибях сказал:

– Я ухожу, Атлей, Зелла смеется и плачет, нельзя оставлять ее одну. Сегодняшний день мы будем помнить всю жизнь.

Он направился к калитке, и я в первый раз в жизни увидел, как тучный, семейный человек может лететь вприпрыжку.

Тот миг чудесного напряжения, когда мы остались вдвоем, сели на скамейку и начали говорить, – кажется мне и теперь обвеянным зноем летнего утра; сказочные стада представлений бродили в моей голове, я мог только улыбаться и кивать головой. Пленер сказал:

– Не нужно вопросов, Атлей; они будут бесполезны в точном смысле этого слова. Я ничего не знаю, но все-таки попытаюсь рассказать вам начало истории.

Как вы помните, я пел в роще, неподалеку от железнодорожного моста, где происходил пикник. Собственно говоря, начало моих воспоминаний служит и концом их.

Мне кажется, что не было этих десяти лет, по крайней мере, в моей памяти не осталось от этого периода никаких следов. В следующий, доступный воспроизведению словами, момент я увидел себя пассажиром второго класса за двести миль отсюда; я возвращался домой.

Момент не был тревожен и поразителен, я удивился, и только. По временам мне казалось, что я уехал лишь вчера, по делу, о котором забыл.

Поезд мчался; томление духа сменилось глубокой рассеянностью и сонливостью; перед вечером я посмотрел в зеркало и обернулся, ища глазами другого пассажира, но я был один в купе. Неожданность взволновала меня, я снова посмотрел в зеркало. Это был я, изменившийся, поседевший, тот самый, что сидит перед вами.

Пленер умолк и застенчиво улыбнулся. Взволнованный не меньше его, я мог только жестах выразить свое сочувствие и удивление.

– Встреча с Зеллой, – продолжал он, – неопровержимый факт долгого отсутствия, усвоенный, наконец, мною. Рассказать все это, значит снова пережить странную смесь радостного ужа-

са и тоски. Меня не хватит на это, я разрыдаюсь. Между прочим, вот уже три дня, как я здесь. Меня мучит новое ощущение – болезненное желание вспомнить все, пережитое за те таинственные десять лет; желание, доходящее до галлюцинации, до грандиозной игры воображения. Вы знаете, мне кажется, что если это удастся, жизнь моя будет озарена таким светом, перед которым радость спасения жизни – то же, что блеск металлической пластинки перед солнцем. Это – ясное, устойчивое, музыкальное ощущение забытого прекрасного.

Он снова умолк, и я не осмелился прервать его тягостное молчание. Искренность его тона делала для меня излишними всякие сомнения. Необычайность положения почти раздавила меня; сад, знакомые аллеи, клумбы – все, что имело до сих пор будничные оттенки, казалось в тот час торжественным и странным, как этот человек, вернувшийся из позабытого мира.

– Я делал попытки вспомнить, – продолжал он, – но все оказалось неудачным. Дубовая роща и поезд, поезд и роща – вот все, что я знаю.

Не знаю почему – в этот момент я решил произвести попытку, которая показалась бы в другое время забавной, но тогда она имела в моих глазах решающее значение. Я сказал:

– Пленер, можете вы представить дубовую рощу в том виде, как это было вечером?

– Да, – сказал он, закрывая глаза, – я ясно вижу ее. Низкие ветви: сквозь них блестит река. Я стоял у большого дерева, лицом к воде.

– Вот так, – заметил я, вставая. – Правая ваша рука прикрывала глаза. Я попросил бы вас встать в этом положении.

Он пристально следил за моими движениями, сомнительно склонив голову, и вдруг, как бы внутренне соглашаясь со мной, встал посредине площадки. Правая его рука нерешительно приподнялась и прикрыла верхнюю часть лица.

– Пленер, – сказал я, – сзади вас, на примятой траве, сидит Зелла. Еще дальше – Дибак, я и другие. Ваша верховая лошадь бродит у ручья, слева. Так.

Он молча кивнул головой, не отнимая руки. Теперь он понимал мою мысль.

– Вы пели о «Графе в изгнании», – продолжал я. – Советую вам начать с первой строки. Ну, Пленер, милый!

Он запел, и голос его задрожал, как тогда, в роще:

Земля не принимает моих следов,
Они слишком легки...

Песня окрепла и зазвучала так полно, что я боялся пошевелинуться. Напряжение мое было слишком велико, я ждал чуда.

Отдельные моменты этой сцены сливаются в моем воспоминании в ощущение чужой, мучительной радости. Когда он дошел до слов:

Вы вспомните мою тоску – и благословите ее...

И дальше, до заключительных:

Я ухожу от грустных улыбок –
Для полноты торжества
Над теми, кто дешево сожалеет –
И трусливо царит...

Лицо его повернулось ко мне. Он смеялся долгим счастливым смехом, сотрясаясь от глухих слез, вызванных ярким и внезапным воспоминанием.

Приблизительно через месяц, в одну из красивых ночей, Пленер рассказал мне свою забытую и воскресшую жизнь. В ней не было ничего особенного. Жил он под другим именем. Любил, был любим, путешествовал, испытал много оригинальных приключений и впечатлений. Но он в тот день, когда пел у меня в саду, вспомнил только радостные моменты прошлого. Теневая

сторона жизни осталась для него по-прежнему забытой и – навсегда.

Если это неудача, то пусть она будет благословенна. Избранных, способных воскресить радость пройденного пути и щедро, как миллионер, забыть долги жизни – совсем немного. Пусть будет больше одним таким человеком.

Лесная драма

I

Ганэль инстинктивно не любил темноты: в ее объятиях действительность казалась ему двусмысленной и преступной по отношению к нему, привыкшему с малых лет подвергать свои поступки трезвой критике дня. Поэтому, когда ночь с ее красотами, тоскливой бессонницей и бесполезными вздохами отошла в прошлое, а лес стал виден по-утреннему, – Ганэль покинул таинственный ночлег, умылся свежей надеждой и несколько успокоился.

В течение по крайней мере двух часов он терпеливо различал годную для копыт дорогу, устремляя лошадь туда, где ясные лесные просветы, окутанные гигантской бахромой листьев, открывали воздушную зеленую перспективу. Сворачивая из стороны в сторону, перескакивая обросшие папоротником стволы упавших деревьев, заблудившийся человек сначала еще держался какого-то смутного, совершенно фантастического направления, но пышное однообразие чаши скоро утомило его, закружило, переплело мысли о доме с черными винтами ползучих железных пальм, саблевидной листвой панданусов, нежными азалиями и высокой травой; этот бесконечный немой хор дышал тревожным ароматом болот и полузасохших ручьев, преследуя обессиленное внимание звоном в ушах и редкими голосами птиц. Вспотев, бледный от тоскливого напряжения, Ганэль изругал тяжеловесной, художественной бранью всех праздношатающихся зверей. Зверь, так неудачно замеченный им милях в тридцати от дома, был молодой рысью; рысь и пуля Ганэля скрылись в одном направлении. На этом следовало бы и покончить, но здесь вмешался дьявол, сделав предположение, что рысь ранена. Ганэль, вняв сатане, расплачивался теперь сутками яростного блуждания в дебрях. Охота – дело бродяг, прогуливающих ценные шкуры за прилавком увеселительных заведений, где им дают четверть того, что могли бы получить они, выждав сезон.

Раздражение Ганэля перешло на весь мир: он находил его нелепым, плохо устроенным, с лесами, лишенными шоссейных дорог. Так, злобно продвигаясь вперед, он переживал чувство раскаяния и неопределенной мстительности, как вдруг за донесшимся со стороны треском слышались мягкие удары копыт, и на просвет солнечного пятна выехал всадник.

Движение радостного испуга со стороны Ганэля осталось им незамеченным.

– Наконец-то! Пойдите! – вскричал Ганэль.

Неизвестный остановился, лениво повернув голову. Это был массивный, немолодой человек с седыми висками; изменчивый лесной свет неуловимо играл выражением его спокойного, привычно-надменного лица, блестящего полуизжитыми глазами. Одного взгляда, брошенного на костюм незнакомца, посадку и худощавую лошадь, было достаточно даже и для такого неопытного в лесных делах, как Ганэль, чтобы он разом уяснил себе, с кем имеет дело.

Ганэль, хотя в нем текла смешанная кровь, был сыном своей страны, где пестрое население иногда показывает городским улицам красноречивую фигуру охотника. За спиной каждого из этих смелых, часто преступных людей болтаются хвосты слухов, перекраиваемые в легенды и сплетни.

Ганэль не любил бродяг. Человек, встрече с которым, несмотря на предубеждение, так искренно он обрадовался теперь, – коротко вздохнул и сделал рукой неопределенный жест; в руке качалось ружье. На одно мгновение Ганэлю почудилось, что глаза охотника смотрят дальше, чем нужно; он машинально обернулся. За плечами никого не было.

– Я один, – сказал Ганэль, удерживаясь от резких проявлений восторга. – Я заблудился непостижимым образом. Меня зовут Ганэль, я владею двумя фермами на плато Святого Терентия.

Торговля маслом. Возвращаясь из города, соблазнился зверьком и... измучен последствиями.

Охотник рассеянно покачал головой, словно Ганэль сделался для него предметом скучных, малоинтересных размышлений.

– Плохо заблудиться, – предупредительно улыбаясь, сказал Ганэль. – Как подумаешь, что сутки пропали даром, теперь пропадают вторые, а жена... – Неуверенный, что супруга жаждет его возвращения, Ганэль бросил эту тему. – Тысяча извинений. Встретив вас, я так обрадовался. Бог, видимо, пожалел меня. «Уж эти-то, – сказал я себе, – отважные лесные скитальцы знают лес, как я свои пять пальцев. Помогите им всевышний! Жизнь их красива и тяжела, это не скучный учет процентов. Что делать? Каждому свое».

Он умолк с некоторым замешательством, так как охотник не заражался его возбуждением, а просто смотрел. В этих зорких неподвижных глазах мог прочесть что-либо только бог, зверь или младенец. Передохнув, Ганэль снова заговорил. Равнодушное молчание охотника подстрекало его болтать всякий вздор вернее затяжных реплик; он мучился, но не мог удержаться, чувствуя все большую неловкость от собственной заискивающей словоохотливости:

– Я жив и боюсь смерти. Кое-где обнаруживаются проказы: говорят, возвратился Фиас, и обглоданный муравьями труп в междуречьи – дело его рук. Может быть, это и пустяки, но странствовать при таких условиях не совсем смешно. Сегодняшний день хорош на всю жизнь. Мне чертовски везет. Увидев вас, я как будто уж прибыл домой. Пожалуйста, укажите мне верный путь!

Охотник вытащил из кармана мешочек с табачными листьями, расправил один из них на колене и принялся свертывать сигаретку так тщательно, что Ганэль обиделся.

Казалось, он не существует для этого человека в лисьей шапке, из-под которой серебрилась проседь висков, внушавшая торговцу одновременно и уважение и терпеливую злость. Ганэль вздохнул, молитвенно складывая руки на лошадиной гриве. Прозрачный дымок окутал лицо охотника; он затянулся еще, вынул изо рта сигаретку и сказал:

– Мое имя Роэнк. Мои советы будут вам бесполезны.

– Как? – не понимая, спросил Ганэль. – Места эти, конечно, вы знаете.

– Знаю.

– Итак?!

– Не выйдет толку.

Плотный комок застрял в горле Ганэля; он проглотил его.

– Вы забавляетесь на мой счет...

Охотник опередил его взглядом.

– Глупости. Ищите дорогу сами. Вы заблудились так удачно, что указания не принесут вам никакой пользы. Требуется посторонняя помощь, понимаете. Отсюда вас надо вывести. В противном случае вы сделаете круг и расплатитесь.

– О, я не дурак и очень хорошо понимаю все это, – угрюмо сказал Ганэль, – только вы дело имеете не с нищим. Какую сумму вы желаете получить?

Охотник рассеянно скользнул по комковатой, встревоженной физиономии.

– Если бы вы знали, с кем говорите, – хладнокровно сказал он, – то, конечно, были бы осторожнее. Прощайте, у меня совершенно нет времени.

Красный от бешенства Ганэль протянул руку, машинально уцепившись за рукав блузы Роэнка. Он был так взволнован и унижен, что рот его, открытый было для бессвязного лепета, закрылся судорожным движением губ без звука.

– Так, – сказал, наконец, он, – но я могу погибнуть. Вы – язычник. Вы не имеете права!

– Язычник? Пусть так. Хотя вы, по-видимому, желаете объяснения. Это легко. Отпустите рукав. Сегодня, клянусь вам, я занят делом, которое для меня важнее, чем ваше общество. Я делаю его раз в месяц в одно и то же число. Но я сказал и так больше, чем следовало. Прибавлю еще, что сегодня мне более, чем когда-либо, хочется быть с душой, свободной от чужих дел и чужих жизней. Всякий имеет право на это. Прощайте.

– Указания! – закричал Ганэль. – Указания, только одного указания!

– Вы можете сомневаться или нет, это дело ваше, – сказал, побледнев, Роэнк, – но я еще раз

повторяю, что слова будут бесполезны.

– Теперь, – с отчаянием произнес Ганэль, – я рад был бы встретиться даже с Фиасом, прозванным Темным Королем, хотя о нем ходят дурные слухи. Этот человек, конечно, был бы великодушнее вас.

Роэнк отъехал, но обернулся, и грустная улыбка его снова подала Ганэлю некоторую надежду.

Охотник сказал:

– Фиас сообщил бы вам то же самое.

И он удалился сдержанной рысью, нагибаясь и посматривая из-под руки во все стороны.

Раздавленный непонятной жестокостью, с инстинктивным страхом потерять из вида единственного живого человека, Ганэль уныло двинулся вслед за Роэнком, держась, однако, на почтительном от него расстоянии. Деревья стояли реже, круговорот их нарушался залитыми солнцем полянами с травой, достигающей лошадиных морд; ехавший впереди человек казался человеческой головой, плывущей в травяном озере. На ходу, охваченный сложным вихрем воспоминаний, соображений, расплывчатых мыслей, проголодавшийся Ганэль вынул из перекидной сумки кусок жареной свинины, съел ее и стал немного спокойнее; в глубине лесных зарослей лениво кричали птицы.

II

Так двигались они с час, пересекая одну за другой залы полян. Наконец, Ганэль ясно увидел, что охотник остановился. Это повергло торговца в новое замешательство. Он замялся, но через минуту, с оптимизмом, свойственным его касте, решил, что Роэнк раскаялся и поджидает обиженного им человека с очень хорошими намерениями. Все же, прищипывая свою Долорес, коммерсант предусмотрительно стушевался в тень деревьев, думая подъехать незамеченным; в худшем случае это имело бы вид натянутой, но случайной встречи. Расчет его готов был уж оправдаться, так как до охотника оставалось не более тридцати шагов, как вдруг пониженные голоса сзади заставили Ганэля повернуть в сторону. Жестоко проученный для того, чтобы заблаговременно радоваться новым встречам, скорее испуганный, чем ликующий, он притаился и насторожил уши.

Некоторое время казалось, будто сам лес роняет звуки, напоминающие полувнятный шепот; затем, почти вплотную к Ганэлю, шагом, на серой и черной лошадях проехали двое, смутно похожие на Роэнку лисьими шапками и свернутыми у седельных луков одеялами из цветной шерсти. Один, помоложе, сидевший на черной лошади, был краснощекий парень; второй, с глазом, обвязанным куском черной материи, отличался желтым цветом лица и хищной длиной рук. Содержание их разговора, не имеющего в себе ничего специально угрожающего для Ганэля, заставило, однако, последнего воздержаться от демонстрации своей особы и просьб. Краснощекий сказал:

– Если мы не в тылу – все пропало. Он не даст обойти.

– Это игра наверняка, – ответил перевязанный человек.

– Объясните.

– Вы маленький, – жалобно сказал он, – и я должен постоянно вразумлять вас. Раз в месяц, в одно и то же число – в одном месте. Как раз сегодня 11-ое.

– О, – встрепенулся краснощекий, как будто пораженный этим указанием, – неужели бы вы решились? Я отказываюсь понимать вас.

– Глупости, китайская церемония. Деликатность – враг безопасности. Что же остается еще по вашему мнению?

– Я думаю, что...

Конец фразы отлетел глухим бормотанием; ему ответило выразительное «ха» перевязанного человека; круп серой лошади, удаляясь, блеснул на солнце вспотевшей шерстью, и Ганэль облегченно вздохнул. Проклятый лес, полный обманчивого, благоуханного великолепия, таинственных разговоров, шорохов и опасностей, душил его трусливой тоской. Никогда не выбраться

ему отсюда!

На ферме, хорошенькой ферме, с розами и вкусным запахом сухого навоза, теперь пьют кофе; в тенистых аллеях и на дворе воздух вздыхает по трескучему, сварливому голосу Ганэля, а он, как последний бродяга, прячется за деревьями, остерегаясь каждого встречного.

Разжалобленный и злой, измученный и ненавидящий все, Ганэль бессильно посмотрел в ту сторону, где, подняв голову, лошадь Роэнк и неподвижный ее всадник, казалось, ожидали чего-то именно из той части леса, где прозвучал странный диалог. Торговец спешил. Долорес заметно прихрамывала, он не обращал на это внимания, понукая животное бессловесным чревовещанием и солидными ударами каблуков. Он собирался уже выехать из опушки, но в этот момент Роэнк, стегнув лошадь, поскакал влево и исчез среди гигантских деревьев, оставив за собою стиснутые зубы безвредного своего преследователя.

Худшее, видимо, предстояло впереди.

Повернув в ту же сторону, что и Роэнк, Ганэль с решимостью отчаяния стремился догнать охотника, заранее готовый на всякие унижения, лишь бы не остаться совсем одному в пустыне. Инстинктивно держась ближе к голубым вырезам опушки, он проскакал, не разбирая дороги, с полмили, завертелся в седле, оглядываясь, и, вздрогнув, с расцарапанным лицом, еле дыша, круто остановил лошадь, кладя на всякий случай руку по соседству с револьвером.

Перед ним, не далее пятнадцати шагов, блеснули глаза Роэнк. Охотник был не один, он слушал с карабином в руках и тихо покачивал головой. Лицо его выражало нетерпеливое, насильственное внимание. Против него, спиной к краснощекому, человек с завязанным глазом усиленно жестикулировал, показывая рукой на север, и быстро, неразборчиво говорил; лошади их обнюхивали друг друга и фыркали.

Ганэль еще не успел сообразить что-либо, колеблясь между желанием объявить себя и желанием провалиться сквозь землю, как вдруг резкое восклицание вывело его из оцепенения, сменив это неприятное ощущение зудом тоскливого любопытства.

– Этому не бывать! – крикнул Роэнк. – И вы это лучше, чем кто-либо, знаете, Нуарес. Проваливайте скорее!

– Фиас, – возразил собеседник еще более громким голосом, – упрямство бесполезно, а вы один. Признайте наши права.

Ганэль вспотел. В следующее мгновение ему показалось, что биение сердца, усиливаясь, оглушает его. «Фиас»! Слово это прозвучало эхом в самой глубине его внутренностей. Две верховые фигуры, находившиеся перед ним, как будто вышли из забытого сновидения; в позах их было что-то угрожающее и высокомерное. Душа Ганэля съежилась и заныла. Кто они? Холодея, он вообразил на одно мгновение, что именно его особа служит предметом грозного собеседования.

Новый приступ волнения заставил Ганэля пропустить мимо ушей целый ряд фраз; он успокоился лишь тогда, когда услышал следующее заявление Роэнк-Фиаса:

– Я охотился у этого озера, Нуарес, еще в то время, когда вас драли за уши. Вы можете угрожать, преследовать, но я не изменю себе. Озеро принадлежит мне!

– Нет!

– Говорите «нет», если это вам нравится.

– Да, я говорю и подтверждаю.

– Как хотите.

– Фиас, мне поручено сегодня в последний раз поговорить с вами. Когда я отъеду – будет поздно.

Охотник поднял голову.

– Ты отъедешь с пулей в голове, собака, если не оставишь меня! – Он щелкнул курком, а Нуарес бешеным движением взвил лошадь на дыбы и прыгнул в сторону.

– Темный Король! – закричал он, исчезая в тенях и солнце леса. – Ты сегодня заплатишь мне с процентами! Берегись!

Фиас пригнулся к седлу в тот самый момент, когда из стволов грянул белый клубок дыма.

Удержав свою гнедую кобылу, он прицелился, выстрелил и поскакал в том направлении,

куда скрылся перевязанный человек.

Бледный, как рука чахоточного, Ганэль машинально схватил ружье, не решаясь тронуться с места. Долорес вытянула шею, почувствовала пороховой дым и протяжно заржала. Торговец проклял судьбу; оглушенному сознанию его казалось, что ржет не только животное: что лес, небо, земля, воздух и даже сам он, Ганэль, залились этим пронзительным, дребезжащим, осужденным продолжаться до бесконечности, мучительным лошадиным криком.

Теперь он не сомневался, что присутствие его, конечно, замечено. Это подтвердил выстрел, раздавшийся в отдалении. Пуля, противно жикнув у самого лица Ганэля, щелкнулась о дерево, оставив после себя желание лететь сломя голову прочь – куда-нибудь, без остановки и рассуждения.

Ганэль, дернув изо всей силы повод, ссадил руку и ударил Долорес кулаком между ушей.

III

Озеро – предмет спора охотников – совсем не интересовало Ганэля. Проскакав заросли, избитый кустами и сучьями, он в изнеможении остановился на границе леса. Девственная трава леса блестела нежным, как глубина неба, поворотом реки; на горизонте, за плавающими точками птиц, синело далекое плоскогорье. Жаркая тишина обнимала землю; ее нарушил выстрел.

Слишком натерпевшийся, чтобы и теперь потерять голову, Ганэль ограничился на этот раз сознанием временной безопасности. Пышно разросшаяся опушка скрывала его вместе с загнанной лошадью. Судьба, как видно, определила ему быть свидетелем лесной драмы. Он посмотрел в направлении выстрела: из травы, возле бесформенного серого пятна, плыл тонкий дымок; он не успел растаять, как рядом с ним вспыхнул другой, и звук, напоминающий треск сломанной палки, пролетел в лесу.

«Кто в кого? – подумал Ганэль. – И куда летят пули?»

Забыв об усталости, поглощенный жутким созерцанием смертельной игры, он устремил взор к расползающимся зловещим дымкам; тотчас же справа от него ответил карабин Фиаса. Враги Темного Короля и он сам были невидимы. Торговец лишь заметил провал смятой травы и желтое пятно шапки. Угадав, что это тот, кого он ненавидел теперь всем существом, Ганэль рассмеялся.

– Их двое, голубчик, – мстительно прошептал он. – Посмотрю я, как ты выкрутишься.

Неизбежные для злорадного ума мысли о провидении и возмездии услужливо осенили пылающую голову Ганэля; он сладострастно повозился с ними и стал смотреть. Враги торопливо обменивались выстрелами; иногда, низко хватая траву, пули просекали ее особым звуком, напоминающим разрыв тонкой материи.

Тянулся дым; прозрачный его налет льнул к траве или медленно отходил в сторону; от этого зрелища веяло пожаром души, смятением и сосредоточенным, сквозь стиснутые зубы, дыханием человека. Фиас выстрелил, по счету Ганэля, семь раз; восьмого он ждал, но в этой части зеленого лугового тумана наступила вдруг полная тишина. От серого пятна грянул еще выстрел, потом другой, и все стихло. Тогда, как будто ничего не случилось, краснощекий медленно вынырнул из травы, заслоня себя вихляющимся в его руках телом убитого Нуареса. Черная лошадь, вместе с своей товаркой служившая защитой от пуль, вскочила и встряхнулась, а серое пятно судорожно било ногами, усиливаясь подняться: простреленная спина не держала его. Краснощекий прыгнул в седло через плечо прислоненного им к лошади Нуареса и поскакал прочь; труп, согнувшись, упал; Фиас выстрелил. Беглец обернулся, прокричал что-то и нырнул в темную колоннаду леса.

Проводив круглыми от беспокойства глазами конную фигуру, Ганэль увидел Темного Короля. Фиас встал медленно и неровно, как бы неуверенный в победе; выпрямившись, он уронил карабин и не обратил на это внимания. Лошади у него не было. Постояв немного, он тронулся, слегка пошатываясь, к месту засады, остановился, поднял руки и опустил их, дрожа всем телом. Ганэль не видел его лица; перед ним, удаляясь, двигалась, размахивая руками, приседающая человеческая фигура в шапке, иногда сворачивая в сторону или отступая назад, как бы с намерени-

ем кружиться на одном месте. Движения его делались все более возбужденными и насильственными; он упал.

«Если рана смертельна, Темный Король не встанет», – подумал обрадованный Ганэль, вытянув шею.

Фиас неуклюже, тихо ворочаясь, утвердился на четвереньках, оттолкнулся руками и выпрямился. С колен подняться труднее: он сделал это не ранее, чем через минуту, почти теряя сознание от боли и слабости. Когда он пошел снова, Ганэль вспомнил танцующих на канате.

– Дело обстоит плохо, – сказал торговец. – Этот продырявлен насквозь.

Охотник, одолев некоторое расстояние, упал вновь, лицом вперед, но мягко и очень медленно.

Истерзанный тревожными впечатлениями Ганэль, вздыхая, уныло и терпеливо ждал. Фиас не шевелился, его плечи неподвижно темнели в траве; быть может, он набирался сил, оглушенный внезапным головокружением.

Зной усиливался, тени становились короче, земля тяжело вздыхала, отравленная сухим безветрием. Фиас лежал.

– Роэнк! – пугаясь собственного голоса, крикнул Ганэль. – Фиас!

Птица, певшая над его головой, умолкла; почти уверенный, что для Темного Короля все кончено, Ганэль направился к нему рысью, с чувством свирепого добродушия и снисходительности, естественной у человека, обиды которого заглажены чужой смертью. Пестрая от крови трава, встреченная копытами лошади, заставила его зажмуриться. Ему не было ни страшно, ни весело, ни тоскливо, ни скучно; продолжительное отчаяние проветривает некоторых людей, делая их пустыми. Шагах в трех от Фиаса Ганэль спешился и, вытягивая голову вперед, а рукой крепко прижимая к спине повод, любопытно заглянул сбоку. Охотник лежал грудью на краю небольшого, грубо обделанного камня; ноги Фиаса, согнутые с колен, неестественно расползлись; голова, охваченная руками, пряталась в складках шерстяной блузы. Бессильная поза человека выражала смерть. Ганэль так это и понял; соболезнующее, на всякий случай, лицо торговца приняло выражение тупой задумчивости.

Подойдя вплотную, он щелкнул пальцами.

– Такова участь отчаянных. Я жив.

Эта мысль без слов походила на торжественный удар кулаком в грудь. Потом заинтересованный Ганэль осмотрел камень. В верхней его части темнело круглое углубление, род маленькой ниши, прикрытой стеклом. За стеклом желтела выцветшая от времени фотография, изображавшая молодую женщину. Под нишей, правильно высеченная твердой рукой, тянулась надпись:

Беглецы из Порт-Энна. 11 ноября.

Мери Роэнк, 24 лет.

18.. года.

Бессмертна.

Измученный Ганэль поднял брови. Наплыв сложных и непривычных мыслей заставил его долго жевать губами. Могила или причудливый кабинет? Подумав, он искренно возмутился:

– Была ли эта женщина женою Фиаса или любовницей – она, судя по всему, умерла, и надпись являлась отчаянным, преступным кощунством; за это и погиб Фиас. Ловушка Нуареса основана на точном математическом расчете: раз в месяц имела все шансы за себя и ни одного против. Конечно.

С постным сердцем, равно враждебным смерти и бессмертию, охваченный суеверным предчувствием, тоскою по дому и раздражением против непонятных поступков некоторых чрезмерно гордых людей, Ганэль поместился в седло и направился к берегу неизвестной реки. Ровно через трое суток в лагере переселенцев его снабдили, за хорошую сумму, лодкой и проводником, но в настоящее время он не знал, что так случится. Поэтому, обернувшись к месту недавней схватки, он, в виде мести за свою мнимую гибель, – искренне пожелал камню и трупу прова-

литься в недра земли.

Позорный столб

I

Пока обитатели Кантервильской колонии бродили в болотах, корчуя пни, на срезе которых могли бы свободно, болтая пятками, усесться шесть человек, пока они были заняты грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для фундамента будущих своих гнезд, – самый строгий любитель нравственности мог бы уличить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям.

Когда дома были отстроены, поля вспаханы, повешены кой-какие вывески с надписями: «школа», «гостиница», «тюрьма» и тому подобное, и жизнь потекла скучно-полезной струей, как пленная вода дренажной трубы, – начались происшествия. Эру происшествий открыл классически скупой Гласин, проиграв расточительному, любящему пожить Петагру все, что имел: дом, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины, – и оставшись лишь в том, что подлежит стирке.

Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев защищали права на свой участок с магазинками в руках; один из них, убитый, был поднят с крепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена; к другому, имевшему прелестную подругу и двух малюток, приехала, разыскав адрес, с дальнего запада плачущая, богато одетая женщина; у нее были великолепные, новенькие саквояжи и рыжие волосы. Последнее, что возмутило ширококостных женщин и бородатых мужчин Кантервиля, изведавших, кстати сказать, за восемь месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи прелести грубого флирта, – было гнусное, недостойное порядочного человека, похищение милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоан Гнор вечером, когда в пыльной перспективе освещенной закатом улицы трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопоя быки или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу. Гоан, впрочем, был всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает к грубости. Тем более никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка.

Достоверно одно, что за неделю перед этим на каком-то балу Гоан долго и тихо говорил с девушкой. Наблюдавшие за ними видели, что молодой человек стоит с жалким лицом, бледный и не в себе – «Я никого не люблю, Гоан, верьте мне», – сказала девушка. Женщина, расслышавшая эти слова, была наверху блаженства три дня: она передавала эту фразу с различными интонациями и комментариями. Лошадь Гоана, мчась у лесной опушки, оступилась на промоине и сломала ногу; похититель был схвачен ровно через час после совершения преступления.

Конная толпа, собравшаяся на месте падения лошади, сгрудилась так тесно, что ничего нельзя было разобрать в яростном движении рук и спин. Наконец кольцо разбилось, девушку, лежавшую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дэзи, ее отец и дядя молча били придавленно-го лошадью Гоана, затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь. Огромные кровоподтеки покрывали лицо Гоана, он был жалок и страшен, шатался и хрипел что-то, похожее на слова.

Неусовершенствованное правосудие глухих мест, не имея в этом случае прямого повода лишить Гоана жизни, привлекло его, тем не менее, к ответственности за тяжкое оскорбление Кроков и девушки. После долгого шума и препирательств в землю перед гостиницей вбили деревянный столб и привязали к нему Гоана, скрутив руки на другой стороне столба; в таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять двадцать четыре часа и затем убираться подсобру-поздорову, куда угодно.

Гоан дал проделать над собой всю церемонию, двигаясь, как отравленная муха. Он молчал.

Запевалы кантервиля и прочие любопытствующие, отойдя на приличное расстояние, полюбовались делом своих рук и медленно разошлись по домам.

Стемнело. Гоан, облизывая разбитые, присохшие к зубам губы, обдумывал план мести. Все перегорело в его душе, он не чувствовал ни стыда, ни бешенства; опустошенный, он припоминал лишь, кто и как бил его, чья речь была злее, чей голос громче. Это требует больших сил, и Гоан скоро устал; тогда он стал думать о том, что никогда не увидит Дэзи. Он вспоминал сладкую тяжесть ее затрепетавшего тела, быстрое биение сердца, которое в эти несколько счастливых минут билось на его груди, запрокинутую голову девушки и свой единственный поцелуй в то место, где на ее груди расстегнулась пуговица. И он замычал от ненасытной тоски, напряг руки; веревки обожгли ему кожу суставов. Еще ночь впереди и день!

Гоан стоял, переминаясь с ноги на ногу. Иногда он пытался уверить себя, что все сон, откидывал голову и, стучаясь затылком о столб, разбивал иллюзию. В стороне, крадучись, звучали шаги, замирали против Гоана и, медленнее, затихали у перекрестка. В окнах погасли огни, неясный силуэт, часто останавливаясь, приблизился к Гоану, и наказанный вдруг вспыхнул, покраснел в темноте до корней волос; жилы висков налились кровью, отстукивая частую дробь. Оглушающий стыд потопил разум Гоана; застонав, он закрыл глаза и тотчас же открыл их. Печальное лицо Дэзи с широко раскрытыми глазами остановилось перед ним совсем близко, но он не мог протянуть руку для просьбы о снисхождении.

– И вы... посмотреть, – тихо сказал Гоан, – уйдите, простите!

– Я сейчас и уйду, – произнесла торопливым шепотом девушка, – но вы не защищались, зачем вы допустили все это?

– Ах! – сказал Гоан. – Слова сожаления; но поздно, Дэзи. Вы мучаете меня, а я люблю вас. Уйдите, нет, не уходите... или уйдите; пожалуй, это самое лучшее.

– Мне ужасно жаль вас. – Она протянула руку, погладила растрепанные волосы Гоана быстрым материнским движением. – Ну, что вы, не плачьте. Вы... или нет, я уйду, увидят.

Она отступила в тьму, и более ее не было слышно. Вздрагивая и улыбаясь, Гоан глотал падающие из немигающих глаз крупные соленые капли; от них было тепло щекам и душе.

В воздухе просвистел камень, стукнул о столб, задел Гоана по уху рикошетом и шлепнулся к ногам похитителя.

– Для вас, Дэзи, – сказал Гоан, – только для вас.

II

Утром, когда движение на улицах стало задерживаться, так как многие не спали ночь, желая утром пораньше взглянуть на возмутителя общественного спокойствия, Гоана отвязали. Кучка неловко усмехающихся парней подошла к столбу сзади, за спиной привязанного. Брат Дэзи, клыкастый и длинный богатырь, разрезал ножом веревку.

– Велено отпустить, – пробормотал он, откашливаясь, – так смотри... не шлейся в здешних местах.

Гоан упал, упираясь руками в землю, встал и, шатаясь из стороны в сторону, словно шел по палубе судна в бурю, направился домой. Толпа сосредоточенно расступилась.

Через час на дверях небольшого гоановского дома болтался замок. Наглухо заколоченные окна, следы копыт у изгороди, тишина стен – все это указывало, что воля колонии исполнена. Видели, как Гоан на второй своей лошади, белой с рыжим хвостом и крупом, не оглядываясь, проехал задворками к скошенному Крокову лугу. Далее начиналась лесная тропа, путь зверей и охотников.

Гоан ехал шагом, ему нестерпимо хотелось повернуть лошадь назад и хоть еще раз взглянуть на знакомое окно Дэзи. Натягивая поводья, он с трудом приподымал отекающую руку. У ручья он задержал лошадь, посмотрев в сверкающие струи потока; там, снизу, встретилось с ним взглядом опухшее, темное лицо. Выбрать место для поселения казалось ему пустяком, – земля большая.

На повороте к горам, где, за синей далью чащи, шла дорога к большому портовому городу,

Гоан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле, Гоан остановился, и, задыхаясь, его нагнала Дэзи.

Слишком большое, потрясающее недоумение лица Гоана развязало ее язык. Смущаясь, она выслушала все восклицания. Он думал, что понимает, в чем дело, но боялся верить себе. Подъехав ближе, Дэзи сказала:

– Гоан, возьмите меня. Мне нет житья больше. Меня грызут все, распустили слух, что я была в уговоре с вами. И даже, что у нас есть ребенок, спрятанный на стороне.

Гоан молчал. Лошадь, на которой сидела девушка, казалась ему литой из утреннего света.

– Отец оскорбил меня, – продолжала Дэзи. – Он говорит, что все это была лишь комедия и я греховна. Но вы знаете, что это неправда. И вам не нужно похищать меня еще раз. Я вынесла взрыв злости и оскорбления.

– Милая, – сказал Гоан, улыбаясь во всю ширину разбитого своего лица, – мужчины стали бы преследовать вас теперь за то, что не они пытались овладеть вами... а женщины – за то, что вам оказали предпочтение. Люди ненавидят любовь. Не приближайтесь ко мне, Дэзи: клянусь – я не удержусь тогда и начну вас целовать. Простите меня!

Но скоро их головы сблизились, и две любви, одна зарождающаяся, другая – давно разгоревшаяся страстным пожаром, слились вместе, как маленькая лесная речка и большая река.

Они жили долго и умерли в один день.

Слова

I

«Если бы трава, солнце и река знали, могли знать, как я люблю эту девушку, – подумал Корвин, стараясь словами выразить невыразимое, проникавшее в него все глубже, по мере того как он, не отрываясь, смотрел на мелькающее среди весенних деревьев платье Лизы, – если б они узнали, – трава сделалась бы гуще и зеленее, солнце – больше, а река – шире». Он довел эту свою мысль до конца, и ему захотелось отрывистых, проникновенных, случайных, ненадуманных слов, он засмеялся и легко вздрогнул.

– Ах ты, милая! – сказал Корвин, перешел аллею и поспешно зашагал навстречу девушке.

Она тоже увидела его и остановилась, прикрывая лицо рукой от яркого света. Пока Корвин не подошел совсем близко, лица их были совершенно серьезны, а сблизившись – открыто и весело улыбнулись. Корвин поцеловал ладонную ямочку влажной, покорной руки Лизы, потом забрал губами покрасневшее ушко, чмокнул и отпустил.

– О чем вы думаете эти дни? – спросила она, глядя его рукав. – У меня в голове сидят все важные, торжественные и нелепые мысли.

– Лиза, – сказал Корвин, обнимая сильную, тонкую талию задрожавшей рукой, – я думаю и продолжаю думать о том, что наш брак должен быть совсем особенный, чудесный, ароматный брак, цельный, как страстная молитва, возвышенный, знойный и радостный. То, что называется у других браком, – не любовь, а разложение трупа любви.

– Хорошо, милый, – сказала девушка. – Я согласна с вами всем существом. Это то, что я думаю, но меня такие мысли пугают: я боюсь их.

– Нет, – возразил Корвин, и то, что он стал говорить дальше, представилось ему таким сильным, значительным, что голос его пресекся от искреннего волнения. – Нет, Лиза, вы знаете, когда мы идем вот так, как теперь, изнемогая от любви, мы с вами уже не Елизавета Андреевна Плохоцкая и не Петр Иванович Корвин, а другие. Теперь мы настоящие – без имен и кличек, те самые, о которых мечтали и какими хотели быть. Это делает любовь. О, себя бояться не нужно и стыдно. Лиза, взгляните на Корвина благодарными, удовлетворенными глазами.

Некоторое время они шли молча, затем девушка остановилась, проговорив:

– Я боюсь не того, что любовь наша исчезнет, а наступления будней. Что отношения обес-

цветятся, перейдут в привычку.

«Послезавтра, в это самое время, я буду стоять в церкви с ним рядом, а несколько посторонних людей, посредством бумаг, пения и торжественных фраз, сделают нас в глазах общества неразрывно принадлежащими друг другу, – подумала она, и необъяснимое смущение потупило разгоревшийся минуты назад восторг молодости. – Корвин мне еще не вполне близок, – работала мысль, – через два дня я еще только начну узнавать его как мужа и человека».

Тайный страх девушки перед мужчиной, соединяющий боязнь разочарования с самыми фантастическими ожиданиями и бессознательным трепетом жаждущего нежности тела, вдруг затемнил мысли, полные светлых планов будущего, спутал и смешал все. Как всегда, этот страх был неприятен Лизе, от него лицо, фигура и все существо Корвина делалось слегка чужим, одно-сторонне враждебным. Прогоняя смущение, Лиза отстранилась от жениха, говоря:

– Мамаша похудела, пьет ландышевые капли и все твердит, что мне рано замуж.

– Старушки забывают, как жили сами, – ответил Корвин. – А знаете, я придумал вам новое имя.

– Какое же?

– Орешек.

– Ореховая девушка. Не очень удачно, – сказала она, ожидая большего.

– А почему – у вас глаза, и волосы, и ресницы орехового цвета, – пояснил Корвин. – Вам не нравится? А я это имя полюбил.

Они подошли к тому углу сада, где изгородь; падая по обрыву вниз, под раkitами, искрилась быстрая солнечная полоса воды; за гладким простором реки виднелся синий и голубой лес. Полдень жег лица.

– Теперь я пойду домой, – сказал Корвин. – К вам я заходить не буду, передайте поклон мамаше. Мы увидимся послезавтра.

– Послезавтра, – значительно произнесла Лиза, оставляя свою руку в руках Корвина.

Он поднес руку к губам и, незаметно целуя все крепче и выше, приблизился к лицу девушки; тогда, притянув друг друга быстрым объятием, они молча поцеловались долгим поцелуем; Лиза глубоко вздохнула, побледнела и освободилась, а Корвин почувствовал, как волна крови, подступив к горлу, перехватила дыхание, утомленный неразрешающею близостью женщины, он опустил руки, улыбнулся и снял шляпу.

– Милая Лиза, – проговорил он, – скоро мы будем одно. Да будет с вами покой.

– Петя, – тихо сказала девушка, приласкав взглядом уходящего Корвина. Корвин обернулся еще раз, прошел несколько шагов и в нерешительности остановился, удивленный тем, что уходит не с полным и легким, а со стесненным и беспокойным сердцем.

«Что со мной? – спросил он. – Предчувствие, что больше не будет счастья? – неожиданно вспыхнули дикие, пугающие слова. – Чепуха, нервы не в порядке, – решил он. – Какой вздор!»

Испуг прошел, но оставался еще странный осадок, смесь грусти и раздражения. Чтобы успокоиться, Корвин стал думать обо всем положительном, данном ему жизнью. Он образован, у него есть состояние, на дворе безмятежный май, его любят, он любит... разве это не самое большое счастье? С этим он подошел к калитке и вышел на улицу.

II

Подходя к дому, в котором жил, Корвин испытал вновь суеверное чувство, заставившее его, против воли, несколько минут назад мысленно произнести суеверную фразу. На этот раз он не испугался, а подумал: «Вот что значит спать плохо две ночи подряд. И я стал чересчур много ходить». И, как бы подтверждая это, екнуло перебоем его не совсем здоровое сердце.

Солнце, впиваясь иступленным поцелуем в сухую от жара землю, жгло пустынную улицу. Прохожих не было; тонкая пыль, рассеянная в воздухе, делала перспективу сизой и выцветшей. Кусты крапивы, желтые одуванчики, неуклюжий деревянный тротуар, пропитанные вековой скукой, мозолили глаза; от картин этих веяло гигантским дневным сном, покоем расслабленности, связанной, жуткой жизнью. Большие зеленые мухи, дети нечистот, летали по фасадам до-

мов.

Корвин поднялся на площадку деревянной, выкрашенной в желтое, лестницы, и верхняя ступенька скрипнула под его ногой унылым звуком. Скучный дневной свет заливал комнаты, натертый пол сильно блестел; в гостиной лежали не распакованные еще покупки: ящики, свертки, картонки. В растворенную дверь кабинета лез угол письменного стола с брошенной на нем книгой, в распахнутых окнах, за белыми складками занавесок, плыл, искрясь голубыми искрами, воздух. «Как тихо! – подумал Корвин. – И как грустно от тишины!»

Присев на стул, он убедился, однако, что настоящей тишины не было. Бесчисленные мухи чертили воздух; дремотное, певучее жужжание их разливалось везде: роями и поодиночке, вылетая на пыльные косяки солнца, сверкали они слюдой крыльев и вновь, под потолком или на столах, превращались в черные неугомонные точки, движущиеся как бы без смысла и определенного направления. Корвин следил некоторое время за ними, а затем, решительно тряхнув головою, стал думать о молодой женщине, с приходом которой пустынные комнаты оживятся смехом, шумом женского платья, звуками полного голоса. Но думал он об этом не улыбаясь, холодно и, наконец, чуждаясь сам странной своей тоски, пустил в дело термометр. «Вы – здоровы, – сказал термометр, когда Корвин вынул его из-под мышки. У вас 36 и 6».

В передней кто-то двигался. Этот тихий, вопрошающий шелест, услышанный Корвиным, напомнил ему о том, что, входя, он забыл запереть дверь.

– Кто там? – вставая и застегиваясь, сказал Корвин. Шелест усилился. Незнакомый быстро, как бы скользя, прошел залу, а Корвин, ступив на порог кабинета, запнулся взглядом. В этот момент судорожного кивка головы со стороны женщины он понял, что все рушится и исчезает и что вот-вот, сию же минуту, жалкая, истеричная глупость положения собьет его с ног, отравит и разорит.

– Так... вот как, – сказал он, путаясь в словах: – Я не ожидал? как угодно. – Прошрое, разделенное на отброшенное и принятое, стало одним.

«Это я, это мое прошлое», – сказал себе тысячью других мыслей Корвин, неподвижно глядя в бледное, жалко улыбающееся лицо. Было нестерпимо трудно двигаться и дышать.

– Я молчу, – злобно проговорил Корвин, – сядьте, пожалуйста, и говорите. Мне говорить нечего.

Женщина села. Недорогая новая шляпа, простой костюм, скрашенный хорошеньким кушаком и брошкой, оставляли впечатление желания нравиться. Выражение серьезного, с мелкими чертами лица оставалось насильственно спокойным. Глаза смотрели на Корвина, но взгляд их как бы не доходил до него, возвращаясь к созерцанию горя. Она помолчала, откашлялась и заговорила, часто останавливаясь, как бы забывая сказанное. Она не находила больше сил ждать вдали от него. Ранее она думала, что расстояние сыграет благотворную роль, а теперь известие о близкой женитьбе перевернуло все. Прошрое ожило. Все, что он говорил ей в рассвете их любви, по-прежнему полно для нее значения и силы. Для любви нет времени, нет ушедших трех лет. Это было... вчера, а сегодня – она здесь. Или, может быть, он хочет, чтобы она повторила ему все песни, спетые им вчера?

– Как... вы разыскали меня? – спросил Корвин, вздрагивая от волнения. – Против воли не возвращается любовь, и вы знаете, что... и все-таки...

Он встал, перешел к окну, смотрел в ту сторону, где сильно и сладко билось третье сердце. «Спаси меня, Лиза, спаси, Лиза, Лизочка!» – мысленно сказал Корвин.

Никто не виноват. Все виноваты. Эта мысль была отвратительна и утомила его. За спиной знакомый молодой голос твердил слова упреков. Три года назад: лес, безудержные, льющиеся из самых ароматных хранилищ сердца слова убежденной любви – это было нетрудно вспомнить. Он вспоминал; смысл тех слов его был таков: «Жить и умереть вместе. Жизнь благословенная, смерть – радостная». Это сказанное три года назад одной женщине было сказано сегодня другой. Все было похоже: слова, голос, интонация, шепот и смех. Как будто давно, с незапамятных, седых времен один и тот же взволнованный голос твердит о счастье, а эхо его подхватывают Корвины и множат безгрешно-лживые слова, и нет в них силы и крепости. Нет силы и крепости в человеке.

– Ради бога... – сказал Корвин, поворачиваясь к женщине, – Мария, моя Мария в прошлом, ради бога простите, и кончим. Нет любви.

– Все равно, – помолчав, сдержанно произнесла женщина.

Корвин подошел к двери, забыл, для чего нужно было пройти ему эти несколько шагов, и возвратился назад. Привстав, женщина замахала руками, затем оперлась левой о спинку дивана и, вся изогнувшись, словно усиливаясь сбросить одолевающую ее ношу, выстрелила в бок Корвину несколько раз. И на этот раз для Корвина в маленькой руке с прыгающим револьвером не было ничего смешного или мелодраматического. Он закричал по-детски, бросился в переднюю и упал, а падая – знал, что вот наступил момент упасть на пол и умереть. Тоскливый ужас, парализовавший тело, был больше сознания Корвина, а он не понял всей его силы. Он упал скорчившись, некрасиво и грузно, и легкий холодок начал быстро уничтожать его. Побежали последние мысли: кто-то, рыдая, поднимал его голову. А в самый последний миг Корвин слышал отчетливо, как тиканье карманных часов, возню мух, жужжавших на стеклах окон, опомнился, закричал грузным шепотом: «Лиза!» – и умер.

Приключения Гинча

Он сажает это чудовище за стол, и оно произносит молитву голосом разносчика рыбы, кричащего на улице.

Вальтер Скотт

Предисловие

Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые, случайные знакомства, после того, как один из подобранных мною на улице санюлотов сделался беллетристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана (не помню, с какого корабля) и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги.

Грустные размышления, преследовавшие меня после этой истории, рассеялись в один из весенних дней, когда, впитывая всем своим существом уличную пыль, бледное солнце и робкий шепот газетчиков, петербуржец как бы случайно посещает ломбард, обменивает у великодушных людей зимнее пальто на пропитанный нафталином демисезон и устремляется в гущу весенней уличной сутолоки. Прodelав все это, я открыл двери старого, подозрительного кафе и уселся за столик. Посетителей почти не было: насколько помню теперь, я не принял в счет багрового старика и пышной прически его дамы, считая их примелькавшимися аксессуарами. Против меня сидел скверно одетый молодой человек, с лицом, взятым напрокат из модных журналов. Я так и остался бы на его счет очень низкого мнения, не подними он в эту минуту свои глаза: взгляд их выражал серьезное, большое страдание. Пустой стакан из-под кофе некоторое время чрезвычайно развлекал его. Он вертел этот стакан из стороны в сторону, наклонял, побрякивал им о блюдечко, рассматривал дно и всячески развлекался. Затем, к моему великому изумлению, человек этот принялся царапать ногтями стеклянную доску столика.

Подумав, я быстро сообразил, в чем дело. Рекламы в этом кафе заделывались между нижней, деревянной частью стола и верхней доской из толстого стекла, имея вид небрежно брошенных разноцветных листков. Молодой человек находился в состоянии глубокой рассеянности. Его усилия взять один из листков сквозь стекло ясно доказывали это. Человек, рассеянный до такой степени в публичном месте, обращает на себя внимание.

Я обратил на него это внимание, следя, как белые, чисто содержимые пальцы, скользили и срывались; старые мысли о рассеянности посетили меня. Я говорил себе, что все истинно рассе-

янные люди имеют приличное внутреннее содержание, наконец, мне захотелось поговорить с этим молодым человеком. Будучи общительным по природе, я скоро находил тему для разговора.

Мне оставалось лишь подойти к нему, но в этот момент окровавленный призрак английского капитана занял один из столиков, грозя мне пальцем, униженным индийскими брильянтами. Я немного смутился, однако наличие прозрачной, как хрусталь, совести дала мне силу презреть угрожающее видение и даже снисходительно улыбнуться. Некоторое время пытались еще задержать меня несчастный старик, путешествовавший из Галича в Кострому, и начальник сибирской каторжной тюрьмы; я с силой оттолкнул их, прошел твердыми шагами нужное расстояние и сказал:

– Принято почему-то делать большие глаза, когда в общественном месте неизвестный человек подходит к вам, предлагая знакомство. Я знаю, мы живем в стране, где медведи добродушны, а люди злы и опасны, но все же бывают исключения. Такое исключение составляю я.

Он прищурился – движение, непредвиденное мной.

– Я пишу, – сказал я. – Моя фамилия –...н, а ваша?

– Лебедев. – Он привстал, недолго подержал мою руку и сел снова. – Присаживайтесь. Мне тоже скучно, как скучно всем в этой прекрасной стране.

Я сел, и тотчас же разговор наш принял определенное направление. Лебедев рассказывал о себе. Это было его больное место. Он говорил тихим, слегка удивленным голосом, поминутно закуривая гаснущую папиросу. У него был пристальный, задумчивый взгляд, манера лизать языком нижнюю часть усов и перекладывать ноги.

Я умею слушать. Это особое искусство состоит в кивании головой и напряженно-сочувственном выражении лица. Полезно также время от времени открывать и тотчас же закрывать рот, как будто вы хотите перебить рассказчика тысячью вопросов, но умолкаете, подавленные громадным интересом рассказа.

То, что он рассказывал, было действительно интересно; он сгущал краски, не заботясь об этом; великолепные, отчетливые границы внешнего и внутреннего миров змеились в пестром узоре его рассказа с непринужденной легкостью и искренностью, намечая коренной смысл пережитых им событий (кость для собаки – тоже событие) в самом недвусмысленном освещении.

Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина ее блестит светом, полным неопределенной печали: «Смерть, жизнь и любовь». Лебедев, один из многих взвихренных потоком чужих жизней, самообольщенных и бессильных людей, рассказывал мне, что произошло с ним в течение двух последних недель. Слишком молодой, чтобы трагически смотреть на любовь, слишком стремительный, чтобы хныкать о будущем смертном исчезновении, он был всецело поглощен жизнью. Жизнь избила его – и он почесывался.

Мы выпили четыре стакана кофе, два – чаю, шесть бутылок фруктовой воды и выкурили множество папирос. В тот момент, когда я, несколько утомленный чужими переживаниями, попросил его записать эту странную историю, а он с тайным удовольствием в душе и деланной grimасой улыбающегося лица выслушал мои технические указания, – неожиданно заиграло электрическое пианино. Развязные, беззастенчивые звуки говорили о линючей, дешевой любви профессионалов.

Кафе наполнялось публикой, и мне в первое мгновение показалось, что страусы, одетые в ротонды и юбки, пришли справиться о ценах на свои перья.

Нижеизложенное принадлежит перу Лебедева, а не английского капитана.

I

В конце лета я поселился на городской черте, у огородника. Комната была очень плоха, несколько поколений жильцов придали ей тот род живописной ободранности, о которой пишут романисты богемы. Одно окно, чистая дырявая занавеска, слегка мебели и разноцветные лоскутья обоев. По вечерам усталое солнце слепило глаза стеклянной чешуей парниковых рам, тем-

но-зеленые, пышные лопухи тянулись у изгороди, заросшей шиповником. Десятина, засеянная фасолью, подымала невдалеке стену выющихся сквозных спиралей, увенчанных лесом тычин; душистый горошек, мальва, азалии, анемоны и маргаритки теснились вблизи дома в прогнивших от земли ящиках и на клумбах. У окна чернели старые липы.

Утром, в пятницу, пришел Марвин. Я не был ничем занят, шагал из угла в угол и хмурился. Я любил маленькую Евгению, дочь содержателя городских бань, а она дразнила меня; последнее письмо ее привело меня в состояние подавленной ярости. Марвин не застал ярости, она перегорела, выродившись в дрянной шлак, – среднее между горечью и надеждой.

– Федя, я очень тороплюсь... – Марвин, не снимая фуражки, сдвинул ее на затылок. Плотное, нервное лицо его показалось мне слегка обрюзглым, в руках он держал что-то завернутое в бумагу. – Окажи услугу, Федя.

– Хорошо, – сказал я, – особенно, если эта услуга веселого рода.

– Нет, не веселого. Но ты будешь беспокоиться только одни сутки. Завтра я верну тебя в первобытное состояние.

Суетливый, повышенный тон Марвина заставил меня насторожиться. Я не сказал бы ни «да», ни «нет», но он взял мою руку и сжал ее так сильно, что мне передалось его возбуждение: по натуре я любопытен.

– Ради бога, – продолжал он тем же странным, взволнованным голосом. – Да? Скажи «да», не спрашивая в чем дело.

– Да. – Я согласился, а через полчаса ругал себя за это. – Говори.

Марвин прошел мимо меня к столу и опустил на него сверток, бережно двигая руками. Я никогда не видел, чтобы человеческая рука так искусно, почти без звука разворачивала листы газетной бумаги. Две тусклые, небольшие жестянки, блеснувшие в руках Марвина, привели меня в легкое изумление, затем невидимый холодный палец пощекотал мне затылок; я силился улыбнуться.

– Милый, – сказал Марвин, – на одну ночь... спрячь это...

Он посмотрел на меня и осторожно положил бомбы в бумажный ворох. Я ждал. Помню, что в этот момент я чувствовал себя тоже взрывчатым, обязанным двигаться медленно и легко.

– Говорят, что ночью у меня будет обыск. – Марвин почесал лоб. – И это... как его... А ты человек чистый. Ты, разумеется, удивлен... Прости. Но я имел бы право, конечно, не говорить тебе об этом всю жизнь.

– Алексей, – сказал я, очнувшись от непривычного оцепенения. – Ты знаешь, что я держу данное слово, поэтому в течение суток будь спокоен и ты. Но если завтра к вечеру они останутся еще здесь, я истреблю их в лесу.

– Я возьму их.

Он сел. Прозрачный круговорот света, наполняя комнату, жег его вспотевшее лицо солнечной пылью; утро, с далекой зеленью полей, было прекрасно и невыразимо тревожно. Я открыл чемодан и спрятал среди белья тяжеловесные жестянки. Марвин вздыхал.

Этого человека я знал еще с первого курса сельскохозяйственного училища. Мы были с ним в очень хороших отношениях, но я не подозревал в нем разрушительных склонностей. Я начал вопросом:

– Каким образом, Марвин?

Он хмыкнул, ущипнул переносицу и ничего не ответил. Может быть, чувствуя себя передо мной в новом положении, он тяготился этим. Я снова спросил:

– Откуда у тебя это?

– Мне нужно идти. – Марвин поднялся, вздохнул и опять сел. – Все это просто, милый, проще органической клеточки. Я не собираюсь никого убивать. Ты меня хорошо знаешь. Я только делаю. До употребления здесь еще очень далеко. Впрочем...

– Что?

– Я пользуюсь ими по-своему. Если хочешь, я объясню. Но с условием – не смеяться и верить каждому моему слову.

– Я позволю себе посмеяться сейчас над второй половиной этого условия. Но я буду вни-

мателен, как к самому себе.

– Прекрасно. Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Это фантазмагория, от которой знобит. Еще в детстве меня тошнило. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо. Иногда покажется, что пережил красивый момент, но, как поглядишь пристальнее, и это окажется просто расфранченными буднями. И вот, не будучи в силах дожидаться праздника, я изобрел себе маленькое развлечение – близость к взрывчатым веществам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь, – какая прелесть. Живу, пока осторожен, – это делает очаровательными всякие пустяки; улыбку женщины на улице, клочок неба.

Я покачал головой. Все это мне мало нравилось. Марвин поднялся.

– Мне надо идти. – Он вопросительно улыбнулся, пожал мою руку и отворил дверь. – Мы еще потолкуем, не правда ли?

– Когда ты освободишь чемодан, – насильно рассмеялся я. – Жду завтра.

– Завтра.

Он ушел. Мне было его немного жалко. Размышляя о странном признании, я подумал, что человек, угрожающий самоубийством бросившей его любовнице, с целью вынудить фальшивое «отстань, люблю», очень бы походил на Марвина. Чемодан пристально смотрел на меня, у его медных гвоздиков и засаленной кожи появился скверный взгляд подстерегающего врага. Я тщательно рассмотрел этот свой старый, знакомый чемодан; он был чужим, зловещим и неизвестным.

Заперев, как всегда, комнату небольшим висячим замком, я, в очень плохом настроении, считая всех встречных незнакомых людей тайными полицейскими агентами, поплелся обедать. Революционером я никогда не был, мои мысли о будущем человечестве представляли мешанину из летающих кораблей, космополитизма и всеобщего разоружения. Тем более я сердился на Марвина. Зарыл бы в землю свои снаряды, и делу конец.

Эта мысль показалась мне откровением. Я хотел уже идти к Марвину и сообщить ему об этом простом, как все гениальные вещи, плане, но вспомнил, что Марвин ждет обыска. Сумрачный, я пообедал в компании старушки с мальчиком, отставного военного и приказчика; прыщеватые служанки столовой пахли кухонным салом; граммофон рвал воздух хвастливым маршем из «Кармен»; кофе был горек, как цикорий. Домой мне не хотелось идти – и я умышленно растягивал свой обед, читая местную газету. Но все кончается, я заплатил и вышел на улицу.

День, приняв с самого утра кошмарный оттенок, продолжался нелепым образом. Я долго бродил по улицам, до одурения сидел в скверах, шатался по пристаням, в облаках мучной пыли, среди рогожных кулей и грузчиков, разноцветных от грязи; к вечеру мной овладело тоскливое предчувствие неприятности. Мучая ноги, я мечтал о таинственном прохладном уголке, где можно было бы теперь лечь, вытянуться и не тревожиться. Одно время был даже такой момент, что я пощупал в боковом кармане тужурки свое портмоне с тремя золотыми и медью и решил провести ночь в Луна-парке, но устыдился собственного малодушия.

Подходя к дому, я замедлил шаги. Прохожие казались все подозрительнее, некоторые смотрели на меня с тайным злорадством, взгляды их говорили: «Брать бомбы на сохранение считается государственным преступлением». Отогнав призраки, я, тем не менее, стал полусерьезно соображать, как поступить в случае обыска. Быть хладнокровно дерзким, улучшить минуту и выбросить их в окно? Не годится. Или не теряя времени на позировку, выбросить в окно себя? Повесят меня или дадут лет десять каторги?

Поблекшее солнце опускалось за отдаленной рощей, на рдеющих облаках чернели стволы лип. Сеть глухих переулков с высохшими серыми заборами оканчивалась буграми старых, заросших крапивой ям; когда-то здесь было кладбище. Дальше, за ямами, зеленели ставни белого

одноэтажного дома, в котором жил я. Духота гаснущего дня делалась нестерпимой, голова болела от усталости, ноги ныли, на зубах скрипела мелкая, сухая пыль. В это время я успокоился, и недавнее тревожное состояние казалось мне результатом прошлого возбуждения. Я шел с намерением пить чай и перелистывать прошлогодний журнал.

Городовой, которого я увидел не далее двадцати шагов от себя, сначала наградил меня ощущением, сродным зубной боли, затем я почувствовал прилив решимости, основанный на презрении к мнительности, но тут же остановился. Секунду спустя громкое сердцебиение сделало меня тяжелым, как бы связанным, с парализованной мыслью. Городовой стоял за решеткой палисада; сквозь редкие кусты акации ясно был виден его красноречивый мундир, беленькие усики и загорелая деревенская физиономия. Он стоял ко мне боком, наблюдая что-то в направлении парников. Я повернулся к нему спиной и пошел назад. Рябина, усеянная воробьями, отчаянно щебетала, звуки, похожие на: «вот он!», неудержимо лились из маленьких птичьих глоток. Я шел медленно: в этот момент вся тяжесть сознания, что скорее идти нельзя и что до ближайшего забора – целая вечность, оглушила меня до потери способности почувствовать несомненный перелом жизни. Я думал только, что в это время огородник обыкновенно возится с рамами, и городовой подозрительно рассматривал его действия, не видя меня.

С пересохшей от волнения глоткой, желая только забора, я вступил, наконец, в переулочек и побежал, но остановился через несколько времени. Бежать было глупо. Дьячок в соломенной шляпе благочестиво осмотрел мою наружность и, кажется, обернулся. Возвратившаяся способность мыслить бросила меня в безнадежный вихрь отрывочных фраз – это были именно фразы, достигавшие сознания с некоторым опозданием, благодаря чему мысли, рождаемые ими, отталкивались, как люди, протискивающиеся одновременно в узкую дверь. «Марвин арестован и выдал меня. Бежать. Марвин не арестован, а его проследили. Бежать. Его не проследили, а нас обоих кто-нибудь выдал. Огороднику за комнату семь рублей. Все к черту. Милая, дорогая Женя. Вешает палач с маской на лице. Бежать».

Ускоряя шаги, я пришел к заключению, что сегодня же должен покинуть город. Денег, за исключением 30 рублей, у меня не было. Нелепость случившегося приводила меня в бешенство: ни белья, ни пальто, ни паспорта. Страх тянул в ломбард, напоминая о золотых часах, подарке деда, умершего год назад, любовь толкала к городским баням, рядом с которыми жила Женя. Я нуждался в сочувствии, в утешении. Очнувшись на извозчике от нестерпимой паники, я подъехал к дорогому для меня каменному, пузатому дому с блестящими от заката окнами верхнего этажа, скользнул мимо швейцара и судорожно позвонил.

– Барышни нету дома, – сказала унылая горничная в ответ на мой поспешный вопрос, – а братец и папаша чай кушают, дома они. Пожалуйста.

Слабый от горя, пошатываясь на ослабевших ногах, я был близок к слезам. Головка Жени с немного бледным цветом лица, волнистой прической и дружескими глазами болезненно ожила в моем воображении. Я сказал, мотая головой, так как воротничок душил меня:

– Ничего, ничего. Я, скажите, напишу, уезжаю, у меня заболела тетка.

Теток у меня не было. Волнующий, безнадежный запах знакомой лестницы преследовал мою душу до дверей ломбарда. Смеркалось; строгие линии фонарей наполнили перспективу улицы светлыми, матовыми шарами; кой-где из пожарных труб дворники поливали нагретый асфальт; дамы, шелестя юбками, несли покупки, хлопали двери пивных; все было точно таким, как вчера, но я из этой точности был вычеркнут на неопределенный срок, оставлен «в уме».

Ломбард в нашем городе оканчивал операции к восьми часам; придя, я нашел двери запертыми. Именно в этот, казалось бы, плачевный момент я понял, как легко прижатый к стене человек сбрасывает свою привычную шкуру. Доведись мне еще вчера умирать с голода, я отошел бы от запертых ломбардных дверей с мыслью, что они откроются завтра, – и только; теперь же я знал твердо, что часы нужно продать, и не колебался; напротив, как будто всю жизнь занимаясь этим, хладнокровно открыл дверь ювелирного магазина и подошел к прилавку. Но здесь мужество оставило меня, и в ответ на механический вопрос любезного человека, сделанного из воротника, брелоков и прически ежиком, я тихо, как вор, произнес:

– Не купите ли золотые часы?

За конторкой поднялось истощенное лицо подмастерья; он молча посмотрел на меня и погрузился в свою работу. Любезный человек с обидной небрежностью взял мою драгоценность, — здесь я почувствовал, что он презирает меня, часы и все на свете, кроме своих брелоков. Он шурился, хлопал крышками, разглядывал в лупу, не переставая презирать меня, что-то в механизме, наконец, поднял брови и сказал, упираясь сгибами пальцев в стекло витрины:

— Сколько просите?

Назначив мысленно двести, я вслух произнес «сто», но не удивился, когда сто, путем таинственной психологической игры между мной и этим человеком, с помощью взаимно тихих слов превратились в семьдесят.

Получив деньги, я скомкал их в руке и вышел, вспотев. Поезд отходил ровно в одиннадцать.

До одиннадцати я провел время в состоянии огромного напряжения, измучившего меня, наконец, так сильно, что вокзальное помещение второго класса, где, усевшись на всякий случай спиной ко входу, я без надобности тянул пиво, стало казаться мне вечным отныне местом моего пребывания. Стоголосый шум, искусственные пальмы, преysкуранты, лакеи и резкое позвякивание жандармских шпор — весь этот мир грохочущей задержки в неопределенном стремлении массы людей тягостно подчеркивал важность обрушившегося на меня несчастья. Я чувствовал себя чем-то вроде части машины, перековываемой в новые формы для службы машине совсем иной конструкции. Я не мог видеть Женю, ходить в университет, засыпать в комнате, полной запаха свежей земли и зелени, — я должен был мчаться.

В Петербурге были у меня знакомые, два-три человека, знающие нашу семью; кроме того, большой город, как я узнал из романов, — лучшее место для темных личностей. Я был темной личностью, нуждался в укрывательстве, фальшивом паспорте. Войдя в вагой после первого же звонка, я рассчитывал, что поезд, если только он не прирос к рельсам, тронется ровно через сто лет. Против меня сидел человек в старом пальто и синих очках; я старался не смотреть на него. Звонки, свисток — перрон поплыл мимо окна, залезающее в вагоны лицо жандарма ударило меня взглядом; наконец, деловой стук колес прозвучал около семафора, — и я ожил.

Через пять минут человек в синих очках, важно порывшись в карманах, заявил кондуктору, что потерял билет. Он не был шпионом. Он был заяц — и его ссадили на первой станции.

II

Когда после однообразных дач, березовых перелесков и зеленых полей в окна стали видны вылезшие за городскую черту железнодорожные депо, сараи, ряды товарных вагонов и почерневшие фабричные трубы, я выскочил на площадку.

Поезд замедлил ход. Пасмурное небо пропустило в узкую голубую щель солнечный ливень, в лицо било веселым паровозным дымом, влажным воздухом; зеленые тени лужаек сверкали мокрой травой. Зданий становилось все больше, гудок локомотива долго стонал и смолк. Я застегнул пальто, выпрямился; смутный мгновенный страх перед неизвестным показал мне свое хмурое лицо, бросился прочь и замешался в толпу.

Под железной крышей вокзала меня увлекло стремительное движение публики; я прошел в какие-то двери и с сильно бьющимся сердцем увидел площадь, неуклюжий конный памятник, водоворот извозчиков. Петербург!

Немного пьяный от невиданного размаха улиц, я шел по Невскому. Под витринами колыhalось белое полотно маркиз, груды деревянных шестиугольников, звонки трамваев, равнодушная суэта пестрой толпы — все было свежо, ново и привлекательно. Выяснившееся утро обещало жаркий, хороший день. Нельзя сказать, чтобы я очень торопился разыскать необходимых знакомых; прогулка погрузила меня в хаос внутренних безотчетных улыбок, торопливых грез, отчетливых до болезненности представлений о будущем. У громадного зеркального окна, за блестящими которого громоздились манекены с черными усиками на розовых лицах, одетые в штатские и форменные костюмы, я выбрал себе костюм синего шевиота, белый в полоску пиджак и, неизвестно для чего, тирольку с галунами. Все это пришлось бросить так же, как турецкие наргиле,

гаванские сигары, а далее – изящная фаянсовая посуда с лиловыми и голубыми цветочками, масса цветного стекла – все это было так же прекрасно и нужно мне, человеку с выговором на «о».

Да, я переходил от витрины к витрине и нисколько не стыжусь этого. Мечты мои были безобидны и для кармана необременительны. Я забыл свое положение, я жадничал, я хотел жить, – жить красиво, полно и славно; через три квартала я обладал мраморным особняком, набитым электрическими люстрами, резиновыми шинами, цветами, картинами, персиками, фотографическими аппаратами и сдобными кренделями. У Аничкова моста, полюбовавшись на лошадей, я сел на извозчика и, не торгуясь, сказал:

– 14 линия, 42-й.

Я ехал. На меня смотрело небо, адмиралтейский шпиц, каналы и женщины. Стук копыт был невыразимо приятен – мягкий, отчетливый, петербургский, и я представлял себя гибкой стальной пружиной, не сламывающейся нигде; Марвин, нелепая, счастливо избегнутая опасность, хмурый провинциальный город, тоска бесцветных полей – это было два дня назад; между этим и извозчиком, на котором я ехал теперь, легла пропасть.

Я радовался перемене, как мог. Неизвестное засасывало меня. Но понемногу, отточенная глухой, внутренней работой, с десятками пытливых вопросов – куда? как? где? что? зачем? – в душу легла тень, и строгий контур ее провел резкую границу света и сумрака.

Я тряхнул головой и постарался больше не думать.

* * *

Квартира состояла из трех комнат, здесь было немного книг, покосившаяся этажерка, рыжие занавески, открытки на революционные темы, сломанная лошадка и резиновая кукла-пищалка. Я сел; за притворенной дверью шушукались два голоса, один медленный, другой быстрый; где-то плакал ребенок. В окне напротив, через двор, кухарка вытирала стекла, перегибаясь и крича вниз; глухое эхо каменного колодца путало слова. Наконец, тот, кого я ожидал, вышел. Это был смутнопамятный мне человек с серым, как на фотографиях, лицом, лет сорока, а может быть, меньше. Он пристально посмотрел на меня и не сразу узнал.

– Что вам?.. А! – сказал он. – Сынок Николая Васильевича! Какими чудесами в Питере?

Я откашлялся и сразу огорошил его; он слегка побледнел, нервно теребя жилистой рукой грязный воротничок. Наступило молчание.

– Так. – Он встал, подержал в руках сломанную лошадку и сел как-то боком. Неизвестно почему мне сделалось стыдно.

– Затруднительное... гм... положение.

– Затруднительное, – подтвердил я.

– И паспорта нет?

– Нет.

– Ну, что же я могу? – заговорил он после тягостной паузы. – Ведь вы знаете, я простой служащий... Знакомств у меня... Жалованье небольшое... да...

– У меня деньги есть, – перебил я, – кроме того, я могу ведь и заработать. Вероятно, я вынужден буду уехать за границу или поселиться где-нибудь в России под чужим именем. Ведь вы сидели в тюрьме, я знаю это, у вас должны же быть хоть отдаленные...

– Ш-ш-ш, – быстро зашипел он, прикладывая палец к губам. – Вот тут у меня сидит один молодой человек... Постойте одну минутку.

Он проскользнул в соседнюю комнату, и я опять услышал понурое бормотанье. Это продолжалось минут пять, затем вместе с моим знакомым я увидел худенького, обдерганного юношу, малокровного, с чрезвычайно блестящими глазами и резкой складкой у переносья. Он прямо подошел ко мне; хозяин квартиры, потоптавшись, куда-то скрылся.

– Здравствуйте, товарищ, – сказал молодой человек. – Вы на него, – он метнул бровями куда-то в бок, – не обращайтесь внимания: жалкий человек. Осунулся. Выдохся. Вы к какой партии принадлежите?

– Я не принадлежу ни к какой партии, – ответил я, – я просто попал в глупое положение.

Он поморгал немного, улыбка его стала натянутой.

– Вам нужен паспорт? Но у нас с этим сейчас затруднение. – Он шмыгнул носом. – Но... может быть... вы... все-таки... хотите работать?

– Нет, – сказал я. – Извините.

– Почему?

Вопрос этот прозвучал машинально, но я принял его всерьез.

– Потому что не верю в людей. Из этого ничего не выйдет.

– Выйдет.

– Я не думаю этого.

– А я думаю, что выйдет справедливость.

Я пожал плечами. Я чувствовал себя старше этого наивного человека с печальным ртом. Он вынул портсигар, закурил смятую папироску и выжидательно смотрел на меня.

– Я тоже не люблю людей, – сказал он, прищурившись, точно увидел на моем воротнике паука. – И не люблю человечество. Но я хочу справедливости.

– Для кого?

– Для всех и всего. Для земли, камней, птиц, людей и животных. Гармония.

– Я вас не понимаю.

Он глубоко вздохнул, пожевал прильнувшую к губам папироску и сказал:

– Вот видите. Например – гиена и лебедь. Это несправедливо. Гиену все презирают и чувствуют к ней отвращение. Лебедь для всех прекрасен. Это несправедливо. Комок грязи вы отталкиваете ногой, но поднимаете изумруд. Одного человека вы любите неизвестно за что, к другому – неблагодарны. Все это несправедливо. Надо, чтобы изменились чувства или весь мир. Нужна широта, божественное в человеке, стояние выше всего, благородство. Простой камень и гиена не виноваты ведь, что они такие.

– Это – отвлеченное рассуждение, оно не имеет силы. Вы сами понимаете это.

– Мне нет дела до этого. – Его бледное лицо покрылось красными пятнами. – Мир должен превратиться в мелодию. Справедливость ради справедливости. А паспорт я вам достану. Вы Мехову сообщите свой адрес; да он, кажется, хочет и ночевать вас устроить где-то. Прощайте.

Он затоптал нечищенным сапогом изжеванный окурок, обжег мою руку своей горячей, цепкой рукой и вышел. Вошел Мехов.

– Девочка ушибла висок, – беспокойно сказал он, – так я утешал. Я бы вам чаю предложил, да жены нет, у нее урок. Что же вы думаете делать? А тот... ушел разве? Приходил мне литературу на сохранение навязать. Да я того... боюсь нынче. И не к чему. А вы расскажите про родной городок, что там? Как ваши?

Я передал ему провинциальные новости. Он теребил усы, искоса взглядывая на меня, и, видимо, томился моим присутствием.

Я сказал:

– Может быть, вы мне устроите сегодня где-нибудь ночевку? Войдите в мое положение.

– Это... это можно. – Он сморщил лоб, лицо его стало еще серее. – Я вам записочку напишу. Встречался с одним человеком, у него всегда толчется народ, и революцией там даже не пахнет. Там-то будет удобно... Без всякого подозрения. Шальная квартира.

Я не стал спрашивать о подробностях. Мне нестерпимо хотелось уйти из этого серого помещения, в котором пахло нуждой, чем-то кислым, наболевшим и маленьким. Мехов, согнувшись у стола в другой комнате, строчил записку.

Со двора, из призрачных, гулких, певучих голосов дня вылетали звуки шарманки. Звонящий хрип разбитого мотива вдруг изменил настроение: мне стало неудержимо весело. Я вспомнил, что ступил бесповоротно обеими ногами в круг странной игры, похожей на какие-то азартные жмурки, игры, проигрыш в которую может быть наверстан множество раз, пока душа не расстанется с телом. Будущее было неясно и фантастично. Я встал. Мехов протянул мне конверт.

– По этому адресу и пойдете. Ну, и всего вам хорошего. Оправитесь, может... все переменчиво.

Он искренно, тепло пожал мою руку, так как я уходил. Я вышел на набережную. Синяя

Нева в объятиях далеких мостов, пароходики, морские суда и дворцы дышали летней свежестью воды. Я хотел есть. Ресторан с потертым каменным подъездом бросился мне в глаза. Я выдержал профессиональный взгляд швейцара, прошел в пустой зал и съел, торопясь, обед из четырех блюд. Этот первый мой обед в столичном ресторане отличался от всех моих других обедов тем, что мне было неловко, жарко, я потерял аппетит и часто ронял вилку.

Вдруг неожиданное соображение заставило меня вспомнить о газетах. Поискав глазами, я увидел на соседнем столике «Обозревателя», развернул и отыскал телеграфные известия. Это доставило мне совершенно неожиданное ощущение – чувство потери веса, тупого страдания и отчаяния. Я прочел:

«Башкирск. В доме крестьянина Шатова, в комнате, занимаемой дворянином Лебедевым, обнаружены бомбы. Поводом к обыску послужило исчезновение Лебедева: он скрылся бесследно».

– А полицейский? – машинально сказал я, кладя газету. Лакей зорко посмотрел на меня, продолжая вытирать тряпкой запыленные пальмы. Полицейский мог, конечно, прийти по другим делам. Это мне пришло в голову теперь, но положение было то же. Я расплатился и направился к выходу.

III

В трамвайном вагоне, куда я вошел, предварительно справившись о маршруте у кондуктора, сидело человек шесть старых и молодых мужчин и две дамы. Пожилое, энергичное лицо одной и хорошенькое другой – девушки – очень походили друг на друга. Я сидел против девушки. Скоро я нашел, что смотреть на нее приятно; она отвернулась к окну, и больше я не видел ее глаз, но всю дорогу служило мне развлечением, сократившим путь, – мечтать о любви, вспыхивающей с первого взгляда. Покинув вагон не без сожаления, я тотчас же забыл о незнакомке, меня потянуло к Жене; взволнованное воображение представляло ее испуг, тревогу и жалость.

Решив написать ей сегодня же, я стал отыскивать дом, указанный Меховым.

Пыльная улица громыкала подводами и извозчиками. Усталый, я ткнулся, наконец, в полутемную арку ворот, нашел лестницу, снаружи которой, меж другими номерами квартир, был и 82-й, и одолел с полсотни грязных ступенек. На двери не было карточки. Я нажал кнопку звонка, и дверь открылась.

Войдя, я увидел оплывшего мужчину лет тридцати пяти, без жилета, в подтяжках и нечистой сорочке; его черные, коротко стриженные волосы серебрились на висках, сонные глаза смотрели добродушно и устало. Я объяснил цель своего посещения, пока мы проходили из маленькой передней в маленькую комнату-кабинет.

– Моя фамилия – Гинч, – начал я врать с вежливым и скромным лицом, садясь на продранную кушетку.

– Пиянзин. – Он протянул мне свою пухлую, влажную руку и стал читать Меховскую записку. – Вам ночевать нужно?

– Да, как я уже имел честь объяснить вам.

– Ночуйте. – Пиянзин зевнул. – Вы еврей?

Было бы соблазнительно сказать «да» и тем, понятно, положить конец его любопытству, но я просто сказал:

– Не имеющий права жительства.

Это, по-видимому, удовлетворило его. Он замолчал, рассматривая ногти. Раздался звонок.

Пиянзин что-то пробормотал и вышел, а я стал осматриваться. Кабинет был завален бумагами, папками, картонными ящиками, комплектами старых юмористических журналов; большой некрашеный стол, несколько венских стульев, небольшой шкаф, мандолина, валявшаяся на кушетке, на полу – сломанный хлыст, газеты – все это выглядело неряшливым деловым помещением. Стены почти сплошь были покрыты рисунками тушью, карандашом, в две-три краски, чер-

нилами. Содержание их отличалось разнообразием, преобладали сатирические и эротические сюжеты.

По-видимому, я был в какой-то цыганской редакции. Хлопнула дверь, шумные голоса наполнили квартиру. Я подошел к столу; он был завален картинками, вырезанными из разных журналов, большинство рисунков изображало полуодетых женщин, разговаривающих с мужчинами в цилиндрах на затылке, тут же лежали цветные обложки с заглавиями: журнал «Потеха», «Острое и пряное», «Кукареку», «Смотрите здесь».

Все это, перемешанное с корректурными листами и кисточками с засохшим клеем, очень заинтересовало меня. Но я должен был сесть, так как сразу вошли три человека и за ними Пиянзин.

Первый был худ, истощен, вылизан и прилизан, с глазами навывкате. Серый, довольно приличный костюм сидел на нем, как на вешалке. Второй, плотный и смуглый, поддерживал за локоть третьего с изжитым лицом умной свиньи. Все трое разом осмотрели меня, и затем каждый по очереди. Пиянзин сел, взял мандолину и, опустив глаза, трынкал.

Мы познакомились, как-то полупроизнося фамилии, и через две минуты я снова не знал их имен, они – моего.

– Липский приехал, – сказал второй. – А пиво есть?

– Пива нет, – ответил Пиянзин.

– Работаешь?

– Да.

Смуглый посмотрел в мою сторону, засвистел и, изогнувшись на кушетке, внимательно улыбнулся третьему. Прилизанный заявил:

– Через неделю я переезжаю на дачу. А Липский что же?

– Без денег, конечно, – сказал смуглый, – издавать журнал хочет.

– А типография?

– Есть.

– А бумага?

– Все есть. И разрешение.

– Как будет называться журнал? – спросил третий.

– «Город». – Смуглый почесал голову и прибавил: – Журнал острой жизни, специально для горожан.

– Шевнер, – сказал третий, – я управляю конторой. Идет?

Шевнер пожал плечами; он искусно говорил и «да» и «нет». Прилизанный человек махнул рукой.

– Послушай. – Он обращался преимущественно к Шевнеру. – Ты про этот журнал говоришь третий год.

Он стал рассказывать, что нынешнее журнальное дело требует осмотрительности. Слишком много спекулируют на психологии толпы, нужно не следовать вкусу, а прививать вкус. Толпа – женщина: изменчива. Анонсов и журнальных названий не напасешься. Что-нибудь попроще, подешевле, а главное, без надувательства. На это пойдут.

Я вполне согласился с этим человеком и кивнул головой, но никто не заметил моего скромного одобрения. На меня не обращали внимания.

– Глосинский, – сказал Шевнер, – твой шаблон не годится. А ты, Подсекин?

Очеловеченное лицо свиньи захохотало глазками.

– Вам денег нужно? Все способы хороши – издавай, что хочешь. Издавать полезно и приятно. Маленькое государство.

Он говорил сочно и веско, округляя рот, говорил пустяки, но пустяки эти делались интересными; он весь трепыхался в своих словах, как в подушках; слово «деньги» особенно звонко и вкусно раздавалось в комнате. Он говорил о том, что всем и ему нужно очень много денег.

Все четверо производили странное впечатление. Положим, я считал их писателями, но любое из этих лиц на улице показалось бы мне принадлежащим всем профессиям и ни одной в отдельности. От них веяло конторами и трактирами, редакциями и улицей, смесью серьезного и

спиртного, бедностью и кафе-шантаном. В них было что-то вульгарное и любопытное, души их, вероятно, походили на скверную мещанскую квартиру, где в углу, на ободранном круглом столике, неузнанный, запыленный и ненужный, стоит Бущэ.

– Проблема города, – сказал Глосинский, – для меня совершенно разрешена. Летом следует жить на крышах, под тиковыми навесами. А зимой ближе к ресторанам. Женщинам – свобода и инициатива.

Пиянзин, опустив глаза, меланхолично играл.

– Шевнер, идешь в клуб? – спросил Подсекин.

– Зачем?

– Я пойду. Я видел во сне третье табло. Дублировать.

– Нет... – Шевнер почесал плечо. – Идите вы. Да я, вероятно, приду посмотреть. Ты куда?

– Нужно. Дело есть.

Подсекин встал. Глосинский тоже поднялся, но тут же оба сели. Снова начался отрывочный разговор, в котором упоминались десятки имен, строчки, перепечатки, вспоминали о вчерашнем дне – бокалы пива, бильярд, скандалы и женщины. Светлый табачный дым плыл в растворенное окно – голубое окно с крышей на заднем плане. Когда все ушли и Пиянзин молчаливо проводил их, мне стало грустно. Я чувствовал себя лишним. Пиянзин сказал:

– Вы, может быть, отдохнуть хотите? Ложитесь на кушетку.

– А вы?

– А я буду работать.

Меня действительно клонило ко сну. Я лег и вытянулся на зазвеневших пружинах; Пиянзин расположился у стола и взял ножницы, вырезывая из какого-то журнала легкомысленные картинки.

Я так устал, что не чувствовал ни стеснения, ни удивления перед самим собой, развалившимся на чужой кушетке в Петербурге, через два дня после комнаты огородника; набегал сон, я отгонял его, боясь уснуть прежде, чем соображу и приведу в порядок мучительные мысли о загранице, жене, безденежья, бесприютности, полиции, тюрьмах и о многом другом, что расстилалось перед глазами в виде городских улиц, полных трезвона, бегущих физиономий, пыли и пестроты. Я уснул глубокой полудремотой и, весь разбитый, встал, когда почувствовал, что кто-то трясет мою руку. Открыв глаза, я увидел Пиянзина с молодым человеком; знакомое лицо напомнило мне о камнях, гиене и паспорте.

– Вы к нему? – спросил Пиянзин у юноши. – Он к вам? – Взгляд на меня.

Смущенно просияв, я сказал:

– А, здравствуйте!

Мой гость цепко стиснул мне руку. Жалкое летнее пальто, запыленное у воротника, придавало ему сиротский вид. Пиянзин исподлобья покосился на нас и вышел.

– Есть! – сказал юноша, присаживаясь на край кушетки. – Я шепотом сказал, что вы экс-сделали.

– Спасибо, – горячо сказал я, – я этого не забуду.

– Забудьте. Вот чистый бланк, настоящий и действительный. Нет ли чернил? Мне Мехов указал, где вы, я все мигом обделал.

Он вытащил из бокового кармана черненькую, глянцевою паспортную книжку и дал мне. Я испытал маленькое разочарование, перелистывая ее пустые страницы. Мне хотелось знать, как меня зовут, теперь это надо было еще придумать.

– Гинч, – сказал я, вспомнив выдержку, – Александр Петрович.

Он взял у меня книжку и, присев к столу, среди пикантной литературы, вывел четким, четырехугольным почерком: «Гинч Александр Петрович» и дальше; все было кончено через четверть часа. Я был личный почетный гражданин, двадцати пяти лет, Томской губернии.

Я следил за его уверенным почерком и невысохшей, витиевато сделанной подписью полицеймейстера «Габе» так, что дальше ничего нельзя было разобрать, с особого рода приятным и тревожным волнением, напряженно улыбаясь. И был совсем восхищен, когда, осмотрев свое произведение, он вынул из тайников одежды маленький резиновый шлепик и прижал его к бума-

ге побелевшими от усилия пальцами. Круглая синяя печать эффектно легла на хвостик полицейского росчерка.

Я взял драгоценность с тем, вероятно, чувством, какое смятая бабочка испытывает, освобождаясь весной от куколки; я решил выучить наизусть эту шагреновую книжку и считал себя важным преступником. Мой благодетель запахнул пальтецо и встал.

– Прощайте. Желаю вам... – Он неопределенно тряхнул рукой и прибавил: – У нас мало работников. А что Мехову передать?

– Устроюсь теперь, – сказал я, любя в этот момент юношу. От паспорта и оттого, что помогли, мне стало тепло. Я развеселился. – Глупая история... Передайте поклон, спасибо. Спасибо и вам большое.

Он сконфуженно заморгал и ушел с моим благодарным взглядом на своей узкой спине. Я мог ночевать, где хочу, снять номер, квартиру, комнату. Оставшись один, я представил себе узкое, смуглое лицо Гинча, – сообразно его фамилии, и бессознательно оттянул нижнюю челюсть.

Вошел Пиянзин, глядя рукой затылок; взъерошенный, он напоминал сонного бычка. Вышло как-то, что мы закурили разом, прикуривая друг у друга; он начал разговор, сообщил, что Мехов должен ему по клубу десять рублей, и сказал:

– У меня есть три рубля. Пройдемте в ресторанчик.

– Это ничего, – у меня есть деньги. Я... я ночевать не буду у вас.

– Что так? – Вопрос не звучал сожалением.

– Получил деньги, – соврал я, – устроюсь у знакомых.

Он не расспрашивал и не настаивал. Разговор делался непринужденнее. Вечерело, пыльный воздух двора дышал в окно теплой вонью, косое солнце слепило стекла внутреннего фасада бликами воздушного золота; крики детей звучали скучно и невнятно. Предоставив Пиянзину одеваться, я взял несколько рисунков, изучил их и телом вспомнил о женщинах. Рисунки представляли почти одни контуры; эта грубая схема красивых женских тел заставила работать воображение, воображением делать их теплыми и живыми. Я стоял и грешил – и снова мысль о том, что я в Петербурге, где царствует ненасытный размах желаний, представила мне, по ассоциации, внутренний мой гарем, дитя мужчины, рожденное без участия матери. Я любил Женю, девушку провинциальной чистоты, и любил всех женщин. В огромной и нежной массе их вспыхивали передо мной, наяву и во сне, целые хоромы, гирлянды женщин, я хотел жену – для преданности и глубокой любви, высшего ее воплощения; жена представлялась мне благородством в стильном, дорогом платье; хотел женщину-хамелеона, бешеную и прелестную; хотел одну-две в год встречи, поэтических, птичьих.

Размышляя, я выпустил картинки из рук; меня потянуло в Башкирск, к знакомому, дорогому голосу. За перегородкой возился хозяин; я отыскал на столе листок почтовой бумаги и, когда явился Пиянзин, я уже заканчивал тоскливое, серенькое письмо, с тщательно нарисованными точками и запятыми. Выражая уверенность, что наша любовь взаимна, я туманно, романтически излагал причины быстрого своего отъезда и надеялся в тридцати строках скоро обнять возлюбленную.

Когда мы пришли в ресторан и скромно сели в углу, Пиянзин сказал:

– Здесь хорошее пиво. Возьмем для начала дюжину.

Я поднял брови, но рассудил, что в предложении его есть смысл. Почему хотелось напиться этому человеку – не знаю, но почему хотелось этого же мне – я знал. Жизнь представилась мне вдруг нудной галиматьей, с центром в виде ресторанного столика, окутанного атмосферой вечной тоски о прекрасном; я выпил и улыбнулся.

Мы перекидывались незначительными фразами, говоря обо всем, что было нам обоим одинаково интересно, а бутылки с холодной влагой цвета свежего табака то и дело наполняли наши стаканы. После шестой – жизнь понемногу стала приобретать острую привлекательность, сделалась осмысленной, занятой и послушной; Пиянзин сказал:

– Я люблю неизвестных женщин. Поэтому я никогда не женюсь (перед тем я открыл ему любовную часть души, промолчав о бомбах). Жену я скоро узнаю, а неизвестную женщину – никогда. Я – поэт в душе.

Он был весь красненький, раззадоренный, вихрастый и смачно блестел глазами. Я открыл в его словах нечто огромное, оно показалось мне восхитительным; оркестр играл волнующую мелодию венгерского танца. Умилившись музыкой, со спазмой в горле, я наклонился к Пиянзину, закивал головой и, от значительности нахлынувших мыслей, почувствовал желание осмотреться во все стороны.

Светлый, нагретый воздух пел над белыми столиками о счастье сидеть здесь просветленными, как дети, и мудрыми.

– Итак, – сказал я, – вы говорили о неизвестной женщине. Во мне что-то смутно шевелится. Женщина! Самый звук этого слова дышит мечтой!

– Да. – Он утопил в пивной пене усы и посмотрел на меня. – Я говорю это всем. Вы никогда не знаете, какова она – дурная, красивая, пикантная, веселая, грустная, строгая, полная, тоненькая, рыжая, блондинка или брюнетка. Вы ее не знаете, стремитесь к ней, а когда получите все, когда все, включительно до ее имени и двоюродных теток, станет вашим, – маетесь.

– Хорошо, верно, – сказал я. – Это правда.

– Неизвестных люблю, – медленно, отяжелев, проговорил Пиянзин. – Они нами владеют.

В этот момент у моего плеча заструился душистый шелк и, дразня белыми, голыми до плеч руками, прошла женщина, на тонкой ее шее сидела насурмленная голова ангела. Я влюбился. Я встал, голова кружилась; одну руку мою тянул к себе Пиянзин, другая нахлобучивала шапку. Я хотел выйти на улицу и догнать женщину.

– Не пушу, – сказал Пиянзин, – сидите. Это мгновенное, пленное раздражение.

Умолкла музыка. Мне стало скучно. Я вырвал руку и устремился к выходу, с головой, полной игривых мотивов, пиянзинских рассказов о производстве игривых журнальчиков, и жадно побежал на тротуар. Но женщина уже скрылась, вдали загремел извозчик, темная улица наполнилась силуэтами домовых громад, полутенями, полусветом дышала кухонными запахами, вечерняя духота испортила мне настроение; оглядевшись и не видя Пиянзина, я, с жадой необыкновенных встреч, помня о неистраченных пятидесяти рублях, отправился бродить, как попало, из переулков в переулки, но людным и глухим улицам, с быстро бегущими мыслями, с настроением, укладывающимся в двух словах: «Все равно».

IV

Отличаясь всегда буйным и капризным характером, я причинял отцу множество огорчений, он и моя мать умерли, когда я был еще в раннем возрасте, требующем особого попечения. Я воспитывался у тетки, вместе с геранями, фуксиями и мопсами. Тетушка эта умерла от пристрастия к медицине: чтобы лекарство действовало сильнее, она выпивала его сразу из чайного стакана и, напав однажды на какой-то красивого цвета аптечный ликер, отдала богу душу на крыльце в солнечный ясный день.

Мой старший брат, Ипполит, напиваясь после двадцатого, стрелял в луну, потому что, как говорил он, тринадцатая пуля, отвергая земное притяжение, непременно убивает какого-нибудь лунного жителя. Это невинное занятие принесло ему множество огорчений и обеспечило постоянный холодный душ в желтом доме, где он и скончался в то время, когда я, после смерти тетушки, изгнанный из сельскохозяйственного училища за обливание чернилами холеной бороды учителя математики, пресмыкался в казенной палате на должности регистратора. Теперь я был сирота, без друзей и близких, денег и положения, с каторгой за спиной.

Все это по контрасту припомнилось мне теперь, когда я, колеблясь между желанием снять меблированную комнату или дешевый номер и желанием провести ночь разгульно, бродил между Фонтанкой и Екатерининским каналом, путаясь в незнакомых улицах. Меж гранитным отвесом и барками блестела черная вода; созвездия электрических лампочек манили издали цветными узорами; молчаливые пары, стискивая друг другу руки, в пальцах которых болтались измятые розы, делали вид, что меня не существует на свете; упорная, равнодушная площадная брань неслась из-под ворот в пространство. А я все шел, изредка покачиваясь и улыбаясь элегическим мыслям, плавно баюкавшим встревоженную мою душу. Незаметно для самого себя я

очутился, наконец, перед большим, массивным подъездом, напоминавшим жерло пушки, выславшей лунных путешественников Жюль Верна; над подъездом сиял белый электрический шар, сквозь стекло двери блестели внушительные галуны швейцара. «Жилище миллионера! – подумал я. – Запретный рай».

Я остановился, наблюдая, как из этого внушительного подъезда выскакивали, роясь в жилетных карманах, господа в белых шарфиках и потертых пальто, затем, набравшись решимости, обратился к извозчику, одному из многих в темной гирлянде лошадиных морд, и задал ему вопрос: вечер здесь, бал или похороны?

– Это клуб, барин, – ответил извозчик, раскуривая в горсточке трубку, – пожалуйста!

Да. Я сказал: «да» вслух, резюмируя бессознательное. Тысячи эмоций наполнили меня известного рода зудом, нетерпеливым желанием ворваться в круг света, золотых стопок и взять то, что принадлежит мне по праву, – мои деньги, разбросанные в чужих карманах. Решение это явилось, вероятно, не сразу; некоторое время я стоял понурый, пощупывая вчетверо сложенные бумажки и разжигая себя фейерверком внутреннего блаженства, если из ничтожных моих крупиц образуется состояние. В течение этих трех или пяти минут я сто раз повторил мысленно, что мне терять нечего, приценился к жизни в Калькутте, купил слона в подарок радже; затем, учитывая обратную сторону медали, вспыхнул от радости, что, прогорев, можно отправиться пешком в Клондайк или пуститься во все тяжкие, и, с веселым облегчением в душе, пошел на рожон.

Швейцар, как показалось мне, прочел мои намерения по выражению глаз; я прошел мимо него с достоинством и, удерживая биение сердца, попал в сводчатую, арками, переднюю, где соболя, светлые пуговицы и фуражки занимали все стены. Костюм мой к тому времени состоял из нанковых серых брюк, летнего пиджака альпага в полоску, недурного коричневого жилета и зеленого галстука. Воротничок, помятый в дороге, был почти чист, и в блистательном трюмо я отразился с некоторым удовлетворением. А затем, чувствуя, как странно легки мои шаги, скользнул по паркету к проволочной решетке кассы, догадываясь, что нужно иметь билет.

Строгий джентльмен в очках, смахивающий на служащего из профессорских клиник, молча посмотрел на меня, протянув руку в окошечко. Я дал три рубля, он зазвенел серебром и выкинул мне два сдачи. И тут же подскочили ко мне три служителя, спрашивая, что мне угодно.

– Я хочу поиграть, – сказал я, подавая билет, – я из Пензы, у меня там имение.

Они отошли, пошептались, пока я не повернулся к ним спиной и не стал подниматься по широкой, мраморной, в темных коврах, лестнице, скользя рукой по мраморным перилам. Навстречу мне спускались декольтированные розовые и бледные женщины, гвардейцы, толстенные, с высокомерным выражением лиц, сытые старики; брильянты, лакеи с подносами, вьющиеся растения в белых консолях – все сразу утомило меня, сделало жалким и тяжело дышащим. Было так светло, что, казалось, исчез воздух, праздничный свет горел на шелках платьев, в зрачках людей; пахло тонкой сигарой, дыханием толпы, духами и цирком. На верхней площадке лестницы со всех сторон сияли богатые апартаменты, а прямо передо мной, из чуть притворенной двери неслись монотонные восклицания – равнодушный, отчетливо громкий счет. Я отворил дверь и очутился перед лицом судьбы.

В большом зале, за длинными, накрытыми лиловым сукном столами, сидело множество народа, в напряженной тишине склонившись над карточками лото. Преобладали пожилые франты с провалившимися щеками, пузанчики-генералы, напудренные дамы и артистические шевелюры. На остальных тошно было смотреть. Безусый мальчик в ливрее, стоя на трибуне, вертел аппарат, выкрикивая сонным голосом молодого охрипшего петушка номера падающих костяшек; после каждого его возгласа нервный, замирающий трепет наполнял залу, словно перед глазами собравшихся мучился привязанный к дереву человек, а в него летела за пулей пуля, и никто не знал, после какого выстрела белый лоб обольется кровью. В простенках висели старинные портреты полунагих женщин и стариков с лицом Мольтке, предки дворянской семьи взирали прищуренными глазами на новое поколение, освежающее затхлую атмосферу покинутого дворца жаргоном ночной улицы и лимонадом-газес. Я сел, путаясь коленями в ножках стульев, меж красивым, с лысым черепом, краснощеким пожилым человеком и маленькой, с усиками, женщиной, полной, черненькой и востроглазой. Они не обратили на меня никакого внимания. Купив за

рубль карту, я, пока вокруг шумел оживший после чьего-то выигрыша зал, отпечатал в своем мозгу неизгладимые цифры; меж них было много мне симпатичных – 7 – 17–41 – 80, а верхний ряд весь состоял из больших двузначных. В это время меня стало томить предчувствие выигрыша; не умея хорошо описать такое душевное осложнение, скажу, что это – ощущение тяжелой, напряженной подавленности и сердцебиения, руки тряслись.

Опять наступила тишина; поглазев вправо, я увидел на высоком шесте таблицу с цифрой – 180. Мне предстояло получить сто восемьдесят рублей. Я не хотел отдавать их ни лысому, ни черненькой женщине; потекли долгие секунды, воздух крикнул:

– Шестнадцать!

У меня заболела шея от напряжения, я поднял руку с деревянным кружком, твердя: «Сорок один, сорок один, сорок один!» Судьба прыгала вокруг этого номера, как сорока в весенний день: сорок три, сорок шесть, сорок... и переходила к двадцатым или девяностым. Вдруг сказали: «единица!»

Моя рука без всякого с моей стороны участия убила деревянным кружком единицу; в этом была реальность, одна пятая успеха, я обратил все свое внимание на этот ряд, дрожа над тридцатью четырьмя. Зала погрузилась в туман; в голове, один за другим, разрывались снаряды, помеченные выкрикиваемыми номерами; я стал гипнотизировать мальчишку в ливрее, твердя: «Скажи. Ты обязан. Сейчас ты скажешь. Скажи. Скажи!»

Время, превращенное в пытку, тянулось так медленно, что от нетерпения болели виски; не сиделось, стул щекотал меня. Закрыв три цифры подряд, я через три номера закрыл четвертую и затрясся: у меня была кварта.

Сейчас! Как только назовут пятый номер, возбуждение всех ста восьмидесяти человек разрядится во мне одном. В горле подымалась и опадала спазма; посмотрев в стороны, я увидел множество карточек с застывшими над ними руками: там существовали кварталы. Сейчас меня должны были ударить по голове выигрышем или проигрышем; я возлеял свою последнюю цифру, оживил ее, вдохнул в нее душу и молился ей. Цифра эта была семнадцать. Она походила на молодую девушку; семь – с перегибом в талии и зонтик – единица; я любил и ненавидел ее всем кипением крови.

Ливрея сказала:

– Шестдесят три!

– Четырнадцать!

– Семнадцать!

Мальчик в ливрее стал мне родным братом. Бешеный восторг облил меня с головы до ног. Я задохнулся, вспотел, крикнул:

– Хорошо, я! – и нервный тик задергал левое мое веко, переходя в щеку стреляющей болью; кругом зашумели – я выиграл.

Пока на меня смотрели в упор и искоса игроки, я запустил обе руки в поставленное передо мной лакеем серебряное блюдо с кружкой, стиснул пачку бумажек, почти больной, пересчитал их, бросил два рубля в кружку, встал и вышел. Я чувствовал себя дерзким авантюристом, Александром Калиостро, Казановой и смело, даже выразительно улыбнулся мимо идущей красивой фее с волосами телесного цвета. В ресторане, среди люстр, сотен взглядов и татарской фрачной орды лакеев, я выпил у буфета шесть рюмок коньяку и устремился к выходу.

– Хочу перекинуться в картишки, – сказал я кому-то с официальным видом. – Где здесь играют в карты?

Идя в указанном направлении, я был настроен торжественно, смотрел твердо, ступал уверенно и отчетливо. В карточной негде было упасть яблоку; черные груды спин копошились над невидимыми мне столами; иногда бледный человек, отклеиваясь от какой-нибудь из этих груд и сжимая в кармане нечто, шел к другому столу, зарывался в новой груде и пропадал. В проходах важно стояли служители; никто не вскрикивал, не ругался; что-то тихо звенело и шелестело; некоторые, выжидая момент, раскачивались на стульях, прихлебывая напитки; в просветах сюртуков и бутылок мелькали холеные руки банкометов; движения их казались благословляющими, кроткими и ласковыми. Различные замечания шепотом и вполголоса порхали в накурленном по-

мещении; большинство их отличалось загадочным содержанием.

- Две тройки – комплект.
- Девятка? Жир после девятки.
- Раздача.

«Раздача» произносилось вокруг меня все чаще и чаще, то с улыбкой, то смачно, то безучастно; казалось, толпе дан лозунг, передающийся из уст в уста; мне представился человек с озорным лицом, сидящий на стуле и спрашивающий: «Вам сколько? – Тысячу? – Будьте добры, возьмите тысячу. А вам? – Пятьсот? – Пожалуйста, вот деньги».

Работая локтями, я протолкался к столу, вокруг которого, брызжа слюной, шептали: «раздача!» – отделил на ощупь из кармана бумажку и прежде, чем поставить ее, присмотрелся к игре. Мудреного в ней ничего не было. Метал, отдуваясь, человек с фатально-унылым лицом, лет пятидесяти; в галстук его горел брильянт; синева под глазами, желтый кадык и узловатые пальцы делали его наружность неряшливой. Я посмотрел на свою бумажку – она оказалась двадцатипятирублевым билетом, – замялся и поставил туда, где лежало больше денег.

Денег на столе было вообще очень много; они валялись без всякого почтения, но за каждым рублем следила горящая пара глаз. Банкомет заявил: «игра сделана» таким тоном, словно он был Ротшильдом, и привел в движение руки. Порхая, летели карты и на мгновение все стихло.

- Девять, – услышал я сбоку.
- Три!
- Восемь!

– Очко, – сказал банкомет; посерел, оттянул пальцем тесный воротничок и стал платить деньги. На мой билет упало три золотых, я взял их вместе с бумажкой, подержал в кулаке и поставил на то же место. Опять замелькали карты, угрожающе быстро падая на четыре стороны света, и я услышал:

- Семь.
- Пять.
- Жир.

– Свой жир, – сказал банкомет. – Два куша в середину, крылья пополам, шваль пополам, шваль полностью.

И он стал платить деньги. Я снял сто.

Это повторилось несколько раз; я ставил то пять, то пятьдесят, куда попало, у меня брали или я брал, с пересохшей глоткой, утерев способность соображать что-либо, чувствуя, что тяжелеет левый карман и что на меня легло сзади, по крайней мере, три человека; я сносил эту тяжесть, как какую-нибудь пылинку; чужие руки, извиваясь около моих щек, протягивались через меня, брали или поспешно прятались. Бумажки я запихивал комочками в карманы жилета, рубли и золото сыпал в брюки, пиджак; как пиявка, я присосался и не отходил; я дрожал, чувствуя растущую свою мощь, кому-то улыбался, как заговорщик, находил то симпатичными, то отвратительными одних и тех же людей в течение двух минут; курил папиросы, роняя пепел с огнем на чьи-то плечи и рукава; я был в азарте. Наконец, банкомет встал; вокруг загудели, стали толкаться. Встал еще один из шести сидевших вокруг стола; я шлепнулся на его место, отбросив розового жандармского офицера. Почему-то вдруг переменились лица, подошли новые, и я увидел себя соседом породистого брюнета, а с другой стороны – рыжего хищника. Теперь я ставил немного, собирая, так как мне упорно везло, рублями и трешками, а когда подошла моя очередь метать – подумал, что это будет последний и решительный бой.

Стасовав колоду и исколов при этом руки углами новеньких карт, я, подражая игрокам, сказал:

- Ответ. Делайте вашу игру.

Первый удар дал мне рублей семьдесят. На втором я отдал, пожалуй, триста и дрогнул; колода готова была выскользнуть у меня из рук с решительными словами: «более не играю», но я бессознательно прикинул в уме, сколько на столе денег, жадность взяла верх – и я сдал.

- Девять.

Породистый брюнет услужливо, даже подобострастно кинулся собирать деньги. Куча бу-

мажек, выросшая почти до подбородка, испугала меня задним числом: я сообразил, что моих денег могло не хватить в случае проигрыша. Испуг этот не был настоящим – я выиграл; на душе стало вдруг легко и просто. Очертя голову, я стал метать.

То, что произошло дальше, можно для краткости назвать избиением. Я бил шестерки семерками, жиры двойками, восьмерки девятками. Мне некуда было класть деньги, я совал их под левый локоть, прижимал к столу так крепко, что ныли мускулы; мне помогали со всех сторон, так как я еще не вполне освоился и медлил; при этом я заметил, что помогающие сами не ставят, а просто любят меня, бескорыстно делая за меня расчет; это держало меня некоторое время в напряженном состоянии благодарности, а затем я стал презирать всех. Прошло еще два-три удара, после которых понтеры откидываются на спинки стульев; я взял последние выигранные деньги, подумал, сдал еще, заплатил шестисотрублевый комплект, сказал: «Довольно» и с горячей головой встал, покачиваясь на одеревеневших ногах. Свита помощников тронулась за мной рысью, я на ходу бросил лакеям несколько золотых, и мне показалось, что они ловят их ртом; скользнул, извиваясь в толпе, пробежал коридор, едва не уронив горничную, заметил уборную, потянул дверь, убедился, что никого нет, и весь звеня и шурша, щелкнул задвижкой.

Отдышавшись, я посмотрел в зеркало и увидел лицо ужаленного змеей, махнул рукой и принялся выгружать деньги в раковину умывальника. Это был экстаз осязания, торжество пальцев, восторг кожи; я находил пачки, плотные комки, холодные струйки золота, сторублевки, завернутые в трешницы, ворох бумажек рос, топорщился, хрустел и пух, достигая трубочки крана, из которого капала вода; начав считать, быстро упаковал две тысячи, положил их в карман и рассмеялся. «Это сон, – сказал я, – бумажки сейчас превратятся в сапоги или огурцы». Но требовательный стук в дверь был реален и изобличал стоявшего в сюртуке человека, как очень нетерпеливого. Я забыл о нем, начав считать дальше, и к тому времени, когда стук сделался неприличным, в карманах моих лежало верных десять тысяч двести одиннадцать рублей.

Состояние, в котором тогда находился я, естественно предполагает полное расстройство умственных способностей. С головой, набитой фигурами игроков, арабскими сказками и бешеными желаниями, не чувствуя под собой земли, я отворил дверь, пропустил человека с искаженным лицом, рассыпался в легких щегольских извинениях и, порхая, выбежал в коридор.

V

Воспоминания изменяют мне в промежуток от этого мгновения до встречи с Шевнером. Я где-то бродил, наступал на шлейфы и трены, приставал к дамам, присоединялся к группам из двух-трех человек, о чем-то спорил, курил купленную в буфете гаванскую сигару, часто выпивал, но не пьянел.

Переходя из залы в залу, я вступил, наконец, в совершенно неосвещенное пространство; впереди высились начинающие бледнеть четырехугольники огромных окон, наискось прикрытые шторами; у моих ног тянулся по ковру в темноту свет не притворенных мною сзади дверей. Массивная темнота была, казалось, безлюдна, но скоро я заметил огоньки папирос и силуэты, шевелившиеся в разных местах; тихий разговор по углам делал меня нерешительным; не зная, что происходит здесь, и боясь помешать, я хотел уйти, как в это время кто-то крепко стиснул мой локоть. Обернувшись, я разглядел Шевнера; он смотрел на меня радостными глазами и, не выпуская локтя, приложил палец к губам. Он часто дышал, затем, приложившись губами к моему уху и обдавая меня горячими ресторанными запахами, зашептал:

– Поздравляю, не уезжайте, будет интересно. Я уже все устроил. Я сообщу вам сейчас программу. Проживем тысячу, а? Шальные деньги. Молчите, молчите, не говорите громко. Тут импровизированное собрание. Все поэты или беллетристы, а один студент привел поразительную девушку – Раутенделейн, мимоза. Я уже подъезжал, но ничего не выходит; хотите, познакомлю.

Сообщив мне таким стремительным образом весь запас накопленной по отношению ко мне дружеской теплоты, Шевнер, кривя ногами, побежал в мрак и, возвратившись, уселся сзади. Осмотревшись, я заметил, что в зале не так темно, различил кресло и сел рядом с Шевнером. Он, по-прежнему часто и горячо дыша, назвал мне десять или двенадцать известнейших в литературе

фамилий. Польщенное мое сердце облилось гордостью, и быстро, на смех, для утolenия невольной зависти, сообразив, что мог бы я написать сам, я сказал:

– Я набит деньгами. Я бил их, знаете, как новичок, я выиграл пятьдесят тысяч.

– Хе-хе, – сочно хихикнул он и шлепнул меня по колену. – Я все устроил.

Я хотел сказать что-то тонкое и циничное, но тут один из силуэтов с бородкой встал, выпрямившись на тускло-бледном фоне окна. Светало, мрак переходил в сумерки, а сбоку, линия, как румяна на желтом лице, полз к ногам электрический свет; в его направлении за дверной щелью мелькали плечи и галуны.

– Тише! – раздалось по углам, и я рассмотрел прилипшие к креслам и диванам, словно вдавленные, фигуры: подглазная синева лиц составляла вместе с бровями род очков, и все было серое в усиливающемся свете, зала представлялась сумеречным, роскошным сараем; на круглом мозаичном столе белели каемки салфеток, кофейные чашечки. Все вместе напоминало строгое тайное судилище, где судьи соскучились и, расковав невидимого преступника, поцеловались с ним с чувством братского отвращения и сели пить.

Бородка изящного силуэта дрогнула, он стал теребить галстук и ласково, с искусно впушенной в интонацию струей интимной тоски, прочел стихи.

– Прекрасно! Изумительно! – сказали усталые голоса вразброд, и кто-то принялся размеренно хлопать. Рассвело почти совсем; я увидел лица талантов, известные по журнальным портретам, и мои десять тысяч потеряли несколько свое обаяние. Шевнер опять засуетился, забегал и объявил мне, что человек с прядкой на выпуклом лбу и толстыми губами – капитан Разин и что он прочтет сейчас сказку.

Опять я испытал восхищение, видя грузно подымающуюся фигуру писателя, и как будто подымался он для меня, серенького провинциала. Никто из этих людей не посмотрел на меня – и это придавало им еще больше значительности. Разин, положив руку на спинку кресла у затылка испитой барышни, просто сказал:

«Я пришел в царство, где нет теней, и вот, вижу – нет теней, и все прозрачно-светло, как лед».

Он умолк, поднял брови, насупился, сел, а я посмотрел вправо и влево. Лица стали значительно скорбными, взгляды – тяжелыми и ресницы поникли, – тужились понять смысл произнесенных слов.

Окна из бледных стали светлыми, просветлел зал; медленно, словно ценя каждое свое движение, поднялась среди всех девушка с приветливыми глазами на овальном лице, в черном шелковом платье, гибкая, высокая, болезненная и прекрасная. Шевнер вился около нее, скаля зубы, а она смотрела на него добродушно, почти материнским взглядом; тут я не выдержал; умиленный, зачумевший, сытый удачей, я твердо встал и, горячася, потому что вялым тоном таких вещей не предлагают, сказал:

– Русские цветы, возвращенные на отравленной алкоголем, конституцией и Западом почве! Я предлагаю снизить до меня и наполнить все рестораны звонким разгулом. Денег у меня много, я выиграл пятьдесят тысяч!

– Он прекрасный человек! – закричал Шевнер с вытянутым лицом. – У него гениальная шишка! Я вас познакомлю... Да здравствует просвещенный читатель!

Я очутился в тесном кругу, мне шутливо жали руку, и кто-то сказал: «Джек Гэмлин!» Высокая девушка стояла позади всех, я рвался к ней, но крепко стиснутый Шевнером локоть мой ныл зубной болью, а молодой студент, толстый, деревянно хохоча, гладил меня по жилету. Жаркое солнце, не выспавшись, облило нас пыльным, дрянным светом; полинялые, замузганные бессонницей, вышли мы все, толкаясь в дверях, и, пройдя к лестнице, рделись вниз, вышли на панель, где с закружившимися от свежего воздуха головами попарно расселись на извозчиков. Толкаясь впереди всех, я завладел смущенно улыбавшейся, трезвой, высокой девушкой, и мы с ней поехали сзади всех. На пустых улицах бродили дворники, подметая тротуары. Светлая пустота перспектив, с ясным небом, облитым солнцем, ставнями запертых магазинов, казалась мне особого рода искусственным освещением, придуманным для разнообразия ночи.

Трясаясь в пролетке, я, прижимаясь к своему милому спутнику и обнимая ее негнущуюся

талию, сказал:

– Отчего вы грустная и молчаливая? Не презирайте нас. И, пожалуйста, не говорите вашего имени. Не знаю почему – я чувствую к вам нежность. Мне вас жаль. Вы добрая.

– Нет, – возразила она очень серьезно, – вы меня не знаете. Я жестока и зла.

– Вы – чудо! – шепнул я, млея. – Я недостоин поцеловать вашу руку. Но я, между прочим, в вас влюбился. Я счастлив, что сижу с вами.

– Отчего вы все говорите одно и то же? – спросила она с некоторым злорадством. – Я часто это слышу.

– Знаете, – искренно сказал я, стараясь не ударить в грязь лицом в искренности, – все мы дрянь. Женщина обновит мир. Лучшие из нас, натываясь на женщину нешаблонной складки, мучительно раскаиваются в своих пошлостях. «Вот мы прошли мимо света, и свет погас», – так скажут они.

Я произнес эту тираду спокойно и вдумчиво, с оттенком грусти, и умиление от собственной глубины защекотало мне в горле. Она повернулась ко мне лицом, придерживая шляпу, так как с речки полыхал ветер, и долго смотрела на меня угрожающими глазами. Я не сморгнул и блеснул глазами, расширив зрачки и плотно сжав губы. Затем выражение ее лица стало простым, и я перевел дух.

– Мы куда сейчас едем?

– Не знаю, – сказал я, – и не надо знать этого. Может, будут неожиданные развлечения. Заранее знать – скучно. А вам что нужно здесь, с нами?

– Я случайно, через знакомого студента. Мне интересно, я никогда не бывала ни в такой обстановке, ни с такими людьми.

«Эта девушка мучительно напрягает душу», – подумал я и, уловив конец нитки, потянул клубок.

– Вы думаете, вам здесь сверкнет что-нибудь? – спросил я. Сердце мое билось глухо и жадно; сквозь драп пальто я чувствовал тепло ее тела.

– Все может быть, – серьезно сказала она. – Вы кто?

– Стрела, пущенная из лука, – значительно проговорил я. – Сломаюсь или попаду в цель. А может быть, я вопросительный знак. Я – корсар.

На ее щеках появились ямочки, она добродушно рассмеялась, а я стиснул ее молчаливую руку и, помогая сойти у подъезда, шепнул, стараясь как можно загадочнее произнести следующую ерунду:

– Далекая, милая, похожая на цветок, шаг за шагом звучит в пустыне.

Тут же, сконфузившись так, что заболели скулы, быстро оправился; и, внутренне усмехаясь, пошел за этой женщиной.

VI

Я слышал от многих компетентных и всеми уважаемых людей, что не следует много говорить о пьянстве и безобразиях, производимых вывернутым наизнанку человеком во всякого рода увеселительных местах. По их мнению, все подобные описания грешат неточностью, вернее – произволом фантазии, так как велик соблазн говорить о невладающих собой людях, что угодно. Я же думаю, что человек, сумевший напоить Калиостро, Марию Башкирцеву и Железную Маску, вполне удовлетворил бы свое любопытство.

За низко кланяющимся лакеем мы прошли всей гурьбой по засаленным коридорам в обширный, дорогой кабинет с наглухо завешенными окнами. Горело электричество. Большой стол, убранный канделябрами, гиацинтами и тюльпанами, рояль, паутина в углах, цветной линолеум на полу, дубовые панели – все это, еще не согретое пьянством, выглядело скучновато. Слегка засмеявшись, не зная, с чего начать, я подарил Шевнеру три умоляющих взгляда, и он, ласково хохоча, принялся нажимать звонки, а семейный человек во фраке, почтительно шевеля губами, стал кланяться, запоминая, что нам угодно.

Нас было десять: три дамы, из которых одну вы уже знаете, остальные представляли мол-

чаливо улыбающиеся и беспрестанно щупающие прически фигуры, недурненькие, но чванные; я, Шевнер, капитан Разин, пасхальный студент, поэт с надтреснутым лицом и бородкой цвета пыльных орехов, старик – по осанке бывший военный – и один самой ординарной наружности, но именно вследствие этого резко выделяющийся из всех; он был прозаик и звали его Попов.

Сосчитав всех, я вдруг сообразил, кто мои гости, и стало мне лестно до говорливости. Я поднял бутылку, отбил горлышко черенком ножа, облил скатерть, встал, прихлебывая шестирублевую жидкость, и закричал:

– Знаете ли вы, что все хорошо и прекрасно, – и земля, и небо, и вы, и мы, и всякая тварь живая? Я всем сочувствую! Пью за ваше здоровье.

Помедлив и посмеявшись, все стали пить; больше всех пили я, Разин и Шевнер. Я суетился, кричал, острил и выражал желание подарить каждому сто рублей. Уставая, я наклонялся к высокой девушке, шептал ей на ухо нежные слова любви, не помню – что, но, кажется, выходило неудачно. Каждый раз, как я начинал говорить, она медленно поворачивала ко мне лицо и была очень внимательна, смотрела, не мигая, изредка улыбаясь левым углом губ; обратив на это внимание, я заметил, что рот у нее яркий, маленький и упругий. Когда я дотронулся до ее талии, она механически откачнулась, а я сказал:

– Это ничего, что я нелеп. Я потом вымоюсь вашим взглядом. Все нелепо. Я нелеп. Все – негры. Я негр. Я держу свою душу в руках, я буду собирать песчинки, приставшие к вашим ногам, и каждую поцелую отдельно.

– Вы не пейте больше, – серьезно произнесла она, – видите, я все еще с одной рюмочкой.

Я сделал отчаянное лицо, запел фальшиво, изо всех сил стараясь изобразить большую мятущуюся душу, но стало противно. Стол шумел, пел и свистал; по временам удушливый туман скрывал от моих глаз происходящее, а вслед затем опять и очень близко, словно у себя на носу, я видел ведерки с шампанским, за ними круг лиц – и так болезненно, что, переводя глаза с одного на другого, становился на один момент то Шевнером, то Поповым, то стариком. Иногда все замолкали, но и тут не было тишины; казалось, ворошится и бормочет сам воздух, сизый от табачного дыма.

Мы говорили о женщинах, ради, душе медведя, повестях Разина, поэзии будущего, способах перевозки пива, старинных монетах, гипнозе, водопроводах, смерти, новой оперетке, мольном пластыре, воздушных кораблях и планете Марс. Шевнер сказал, споря с Поповым:

– Все продажно, а земля – лупанарий.

Отупелый, я чувствовал все-таки, как меня кто-то просит уйти... С трудом сообразив, что это говорит девушка, я повернулся к ней и увидел, что она громко смеется, а старичок, глядя ее по плечу, покручивает усы. И вдруг, почувствовав сильнейшее утомление, я встал среди множества больших глаз, бросил на стол горсть бумажек, стиснул маленькую, ответившую слабо на мое пожатие, руку и направился к выходу. Обернувшись у двери, я увидел, что все задерживают мою спутницу, долго прощаясь с ней, и закричал:

– Скорее! Скорее!

Шевнер подбежал ко мне, выдергивая из-за галстука салфетку, но покачнулся и, отлетев в сторону, упал; я подхватил девушку, спрашивая:

– Домой хотите? Хотите домой? Где вы живете?

– У меня голова кружится, – проговорила она, поспешно сбега с лестницы.

Я нагнал ее внизу, подал пальто и вывел, сунув швейцару рубль. Моросил дождь, было тепло, утро вспоминалось далеким. Поняв, что день прошел, я мгновенно припомнил многое, утраченное во хмелю, но теперь ясное, сделавшее минувший день долгим. Я вспомнил, что кто-то спал на диване и что был промежуток, в течение которого я сидел вдвоем с Поповым, рассказывая ему свою жизнь. Меня мутило. Усадив девушку на извозчика, я долго не мог попасть на сиденье, наконец, отдавив ей колени, устроился. Выслушав адрес, извозчик долго бил клячу, она вышла из терпения и помчалась трамвайной линией, где в тусклой мгле светились красные огоньки вагонов.

Под ветром и дождем я раскис. Десять тысяч казались плюгавым пустяком; грузная скука села на горб, сгибая спину, и все прелести возбуждения, кроме одной, ушли.

Я обхватил рукой талию спутницы. Но инстинкт говорил мне о ее внутреннем упорстве и настороженности.

– Возьмите руку, – сказала она.

– Зачем? – спросил я. – Вам неудобно?

– Да, неудобно.

Я отнял ставшую мне чужой руку и отправил ее в карман, за папиросами. Помолчав, я сказал:

– Не сердитесь на меня.

– Я не сержусь.

Она отвернулась.

– Мария Игнатьевна, – сказал я, вспомнив, что ее сегодня так называли, – вы служите где-нибудь?

– Нет. – Она уселась свободнее и повернулась ко мне. – Я уехала от родителей.

– Так, – проницательно заметил я. – Вы, конечно, горды. Отец вас проклял, вы разочаровались в своем возлюбленном и живете в мансарде. Там у вас много книг, грязно, тесно и пахнет студентами, а на полу окурки. И питаетесь вы колбасой с чаем.

– Нет, не так, – поспешно и как бы задетая, возразила она. – У меня хорошая комната с красивой мебелью и цветами. Есть пианино. Я грязи и сора не люблю. А обед мне носят из очень хорошей кухмистерской – шестьдесят копеек. И я никогда никого не любила.

Я саркастически захохотал и поцеловал ее руку.

– Я простофиля, – сказал я, – скажите, может быть глубокое чувство с одного взгляда?

– Это вы про себя?

– Нет, вообще.

– Нет, это вы про себя говорите, – уверенно проговорила она. – Голос у нее был тихий и ровный. – Вы меня любите?

– Да, – храбро сказал я. – А вы меня?

Она смотрела с таким видом, как будто я и не говорил слов, повергающих женщин в трепет и волнение. Прошло несколько минут. Нева в отражениях огней расстилалась таинственной, глубоко думающей гладью.

– Вы врете, – холодно произнесла девушка, и мне стало не по себе, когда я услышал у самого подбородка ее дыхание. – Вы врете. Зачем вы врете?

– А вы грубы, – сказал я, озлившись. – Что я вам сделал?

– Да, вы мне ничего не сделали. – Она помолчала и тихонько зевнула. – А мне показалось...

Взбешенный, я понял этот обрывок. Мне захотелось резнуть словами – и так, чтобы это не прошло бесследно.

– Да, – горячо начал я бросать словами, – когда мужчина высказывает свое желание в самой тонкой, поэтической, нежной форме, когда он лезет из кожи, чтобы вам понравиться, когда он старается взволновать вас мягкостью и простодушием, насилуя себя, – вы гладите его по головке, блюдете себя и ждете, что он еще покажет вам разные фокусы-покусы, перевернет земной шар! А если тот же мужчина просто и честно протягивает вам руку, причем самый жест этот говорит достаточно выразительно, – вы или бьете его по щеке, или ругаете. Разве не так? Что там! Ведь полюбите же кого-нибудь.

Разгоряченный, я уронил папиросу, замолчал и искоса взглянул на Марию Игнатьевну. Она смотрела перед собой, казалась беспомощно усталой. Я вдруг потянулся к ней, но удержался и скис.

– О чем вы думаете? – врасплох спросил я.

– О разных вещах, – просто и, как мне показалось, даже приветливо сказала она. – Я думаю, что белые хризантемы, выросшие на этом черном небе до самого зенита, выглядели бы очень красиво.

– Вы не любите жизни, – угрюмо заметил я. – Что вы любите?

– Нет, – я бы ее исправила.

– Как?

– Как-нибудь интереснее. Хорошо бы земле сделаться белой и теплой. Трава должна быть серая, с золотистым оттенком, камни и скалы – черные. Или жить как бы на дне океана, среди водорослей, кораллов и раковин, таких больших, чтобы в них можно было залезть. Потом хорошо бы быть богу. Такому крепкому, спокойному старику. Он должен укоризненно покачивать головой. Или подойти ко мне, взять за подбородок, долго смотреть в глаза, сделать гримасу и отпустить.

– Только-то, – сказал я, сконфуженный ее усилиями отдалиться от меня на словах. – Никогда вы не уйдете, сокровище. Вас везет грязный, заскорузлый сын деревни по грязной земле, а в том, что я вас люблю, – есть красота.

Я перегнулся к Марье Игнатьевне и, полный трусливой хищности, опасаясь, что девушка закричит, но в то же время почти желая этого, как истомленный жарой, стал расстегивать левой рукой теплую кофточку. Она не сопротивлялась; в первый момент я не обратил на это внимания, а потом, возненавидев за презрительную покорность, принялся тискать весь ее стан. Девушка, прижав руки к груди, сидела молча. Я видел, что губа ее закушена, и вдруг холодность ее сделала мне противными всех женщин, улицу, себя и свои руки; отняв их, я зябко вздрогнул, остыл и увидел, что мы подъехали к хмурому пятиэтажному дому.

Я слез, заплатил извозчику; девушка продолжала сидеть в той же позе, как бы окаменев; присмотревшись, я заметил, что правая ее рука медленно, словно крадучись, застегивает пальто.

– Сойдите же, – сказал я.

– Я хочу, чтобы вы ушли. – Зубы ее стучали. – Уйдите.

– Мария Игнатьевна, – сказал я и замолчал. Невольная тоска налила мне ноги свинцом, я говорил сдавленным, виноватым голосом. – Мария Игнатьевна, ведь я ничего...

– Извозчик, вероятно, заинтересован, – быстро произнесла она. – Уйдите, слизняк.

Я открыл рот, не будучи в силах сказать что-либо, сердце быстро забилося. Девушка сошла на тротуар и, поспешно склонившись, исчезла под цепью калитки. Я нырнул за ней, догнал ее у черной дыры лестницы и взял за руку.

– Мария Игнатьевна, – уныло проговорил я, стараясь идти в ногу, – вы способны сделать безумным святого, а не то что меня. Простите.

Она не отвечала, избегая по ступенькам; я спешил вслед, наступая на подол платья. В третьем этаже девушка остановилась, повернулась ко мне и вызывающе подняла голову. В свете керосинового фонаря лицо ее было изменчивым и прекрасным; лицо это дышало неопишным отвращением. Чувствуя себя гнусно, я упал на колени и с раскаянием, а также с затаенной усмешкой, поцеловал мокрый от дождя ботинок; запахло кожей.

– Мария Игнатьевна, – простонал я, подползая на заболевших коленях, стараясь обхватить ее ноги и прижаться к ним головой, – молодая душа простит. Я люблю вас!

– Отойдите, – глухо произнесла она. – Дайте мне подумать.

Я встал, но она уже была на подоконнике и, нагнувшись, отнесла руки назад; большое окно лестницы мгновенно нарисовало ее фигуру, по контуру изогнувшегося тела желтели освещенные окна квартир. Я зашатался, застыл; в миг все чудовищное выросло передо мною: сознав, что надо отойти, пробежать хоть бы пять ступенек, я тем не менее, пораженный ожиданием кровавой тяготы, стоял, крича хриплым голосом.

– Что вы делаете со мной? Я уйду, уйду, ухожу!

В то же мгновение ноги мои вдруг обессилели, задрожав; окно мелькнуло платьем, а внизу, подстерегая падение, шумно ухнул двор, и отвратительно быстро наступила полная тишина. Чувствуя, что меня тошнит от страха и злобы, я поспешно пробежал вниз и, с холодным затылком, плохо соображая, что делаю, выбежал к калитке, закрывая руками голову, чтобы не увидеть. На улице, повернув за угол, я пустился бежать изо всех сил, не чувствуя ни жалости, ни угрызений, преследуемый безумным, скалящим зубы ужасом; мой топот казался мне шумным падением бесчисленных тел: тяжелая, мерзлая, хватающая за ноги мостовая родила слепой гнев; сжав кулаки, я бросался из переулочка в переулок, отдышался и пошел тише, дрожа, как беспощадно побитый циническими ударами во все части тела.

VII

Сколько времени я шел и в каких местах – не помню. Раз или два я сильно стукнулся плечом о встречающих прохожих. Моросил дождь, в косом, прыгающем его тумане чернели, раскачиваясь, зонтики; светлые кляксы луж и журчанье сбегавшей по трубам воды казались мне огромным притворством улиц, очень хорошо знающих, что произошло со мной, степенно лживых и равнодушных. Судорожно переворачивая в памяти окно третьего этажа и глухой стук внизу, я шел то быстрее, когда представления делались совершенно отчетливыми, то тише, когда их затуманивала усталость мозга, пресыщенного чудовищной пищей. Немного спустя, я увидел ровно освещенное окно игрушечного магазина с голубоглазыми куклами в коробках, маленькими барабанами и лошадками, вспомнил, что и я был некогда маленьким, что Мария Игнатьевна тоже играла в куклы, и унылая горесть засосала сердце; внезапная глубокая жалость к «Марусе», как мысленно называл я ее теперь, слезливо напрягла голову. Прислонившись к стене, я заплакал скупыми, тяжелыми слезами, вздрагивая от рыданий. В это время я слышал, что за моей спиной шаги прохожих несколько замедлялись. Вероятно, они взглядывали на меня, пожимая плечами, и отходили. Среди многих терзавших меня в этот момент мыслей раскаяния и сокрушения я постепенно начал жалеть себя и представил, что какая-нибудь женщина, с лицом ангельской доброты, подходит сзади, кладет нежную руку мне на плечо и спрашивает музыкальным голосом:

– Что с вами? Успокойтесь, я люблю вас.

Отерев слезы, я поспешно тронулся дальше.

Заходя по дороге в пивные лавочки и трактиры, я выпивал у стойки, чтобы забыться, как можно более водки и пива, затем хлопал дверью и шел без всякого направления, поворачивая из стороны в сторону. Прохожих становилось все меньше; улицы из широких проспектов с модернизированными фасадами пяти- и шестизэтажных домов незаметно превращались в кривые низенькие ряды деревянных мезонинчатых домиков; воняло прелью помойных ям; где-то в стороне далеко и глухо просвистел паровоз. Зачем и куда я шел – неизвестно; смутная тревога подгоняла вперед, остановиться было физически противно и трудно. Казалось, мостовая и улицы были намотаны на какие-то огромные катушки и, скатываясь, двигались надо мною назад, заставляя перебирать ногами.

Заблудившись, я выбрался из кучи мрачных строений, напоминавших разбросанные как попало спичечные коробки; одолев паутину каменных и деревянных заборов, среди которых, подобно одинокому глазу, мерцал красный фонарь, я очутился на границе обширного пустыря. Он начинался прямо от моих ног обрывками заброшенных гряд, канавой и бугорками с репейником; далее громоздилось темное пространство – и трудно было рассмотреть во мгле характер этой пустынной местности. По-видимому, мне следовало возвратиться назад, но я двинулся вперед из какого-то злобного упрямства, в состоянии полной невменяемости, в одном из тех видов ее, когда невнятный посторонний звук может вызвать страшный припадок бешенства или, наоборот, погрузить в тягчайшую апатию. Мной в полной силе управляли зрительные впечатления, вид пространства вызывал потребность идти, темнота – желание света; я каждую секунду соединялся с видимым, пока это состояние не рождало какого-либо образного, по большей части фантастического представления; затем, насытившись им, переходил к следующим вспышкам фантазмагии. Так, например, я очень хорошо помню, что желание идти в пустырь соединялось у меня с воображенной до полной действительности, где-то существующей хорошенькой и уютной дачей, где меня должны были ожидать восхитительные, странные и сладкие вещи; я шел к той даче, наполовину веря в ее существование. Охваченный мрачной пустотой, я перепрыгивал ямы, месил ногами грязную почву. Голос, раздавшийся впереди, привел меня в сильное раздражение. Голос этот сказал:

– Кто идет?

Я остановился. «Кто-то идет в стороне от меня, – подумал я, – и этого человека спрашивают». Вопрос был громкий и отчетливый, рассчитанный, очевидно, на то, чтобы быть сразу услышанным и понятым. Оглянувшись, я тронулся; в тот же момент голос упорно крикнул:

– Кто идет, дьявол? Вороти в сторону.

– Это мне, – сказал я, прислушиваясь. Ветер прилег к земле, качнулся и загудел. Неподдалеку, у низкой стены, едва отделяясь от нее, чернела маленькая человеческая фигура. Я всматривался, пытаюсь сообразить, в чем дело. Я спросил громко и недовольно:

– Кто кричит? Чего кричишь?

– Отойди, – непреклонно повторил голос. – На пост лезешь! Часовой тут, пороховой погреб. Не велено.

Тогда я понял. Солдат не подпускал меня к охраняемому зданию. Он боялся, что я украду ящик с порохом или взорву пороховой погреб. Это было глупо до скуки; я определил солдата, как глупейшее существо в свете, и рассмеялся, вызываясь подбоченившись, а шляпу сдвинул на затылок. Вероятно, солдат не видел моей позы, как я его, но в те минуты воображение играло большую роль, и я считал себя видимым так же ясно, как яичко на бархате.

Мы оба тонули во мгле грязного пустыря.

– Пороховой погреб! – сказал я, настроенный залихватски и брезгливо по отношению к человеку, вооруженному магазинкой. – Милый, это бессмыслица. Мне хочется пройти в прямом направлении. Разве погреб провалится? Ты рассуждаешь по инструкции, но до здравого смысла тебе далеко.

Я говорил не совсем твердо, часовой молчал. Я знал, что человек этот в данный момент счастлив, что морда его осмысленна и дышит невидимо для меня всей непреклонностью устава. Я вздумал разочаровать его, отравить ему радостное мгновение сложной и острой сетью произвольных заключений, сделать его смешным в его же глазах, раздражить и уйти.

– Я уйду, – продолжал я. – Сию минуту уйду. Я пьян. Не тронешь же ты пьяного человека. Но мне нужно сообщить тебе нечто. Ты – часовой. Ты стоишь два часа, охраняя пороховой погреб. От кого?

Враждебная тишина внимала мне. Я подумал и покатился по тем же рельсам и говорил, говорил.

Зачем я говорил – выскочило у меня теперь из памяти. Язык мой неудержимо трепался, как хороший бубенец в чаше, я говорил, не слыша ни возражений, ни поощрений; одно время мне показалось, что часовой даже ушел, но я тотчас сообразил, что уйти он не мог, а стоит тут, против меня и слушает, слушает напряженно, стараясь не проронить ни одного слова, и ждет, чтобы выстрелить, когда я сделаю хоть один шаг к нему. Я знал, что он не задумается спустить курок, так как в этом было его оправдание. Он слушал.

– Там, – я махнул рукой по направлению к городу, – там красавицы, золото, роскошь и удовольствия... Сейчас я найму автомобиль и проеду мимо, обдав тебя шлепками грязи с резиновых шин. У тебя денег нет? На! Возьми. У меня в кармане лежит несколько тысяч. Возьми пятьсот. Подойди и возьми. Брось винтовку, спрячь деньги, иди в город, надень щегольский костюм и напейся. Потому что ты человек, когда пьян. «Мы што – не люди?» Люди!

Мой голос перешел в крик, я осип, задыхался и радовался. Мои пули были мои слова.

– Отойди! – вдруг глухо и угрожающе сказал часовой. – Чего распоясался? Проходите, барин!

– Барин! – азартно закричал я. – Ты думаешь: вот он будет куражиться, а я пристрелю его и в рапорте благодарность получу? Нет, этого удовольствия я тебе не доставлю. Я уйду, уйду, а ты будешь, рыдая, звать меня, чтобы опять услышать мои слова. Но я более не приду, понял? Стой и плачь, тюлень в наморднике!

Я знал, что он трясется от бешенства и высматривает меня в темноте, чтобы пробуравить насквозь. Я сам трясся; меня приводил в восхищение этот не смеющий сойти с своего места человек. Услышав мягкий треск стали, я понял, что он приготовил затвор и, если я не уйду, выстрелит, но всякая опасность была в этот момент бессильна заставить меня смириться. Я отошел в сторону, ступая мягко, чтобы солдат, целясь на звук голоса, дал верный промах.

– Последний раз – уходите, – быстро проговорил часовой, чем-то зазвякал, и я сообразил, что теперь надо держать ухо востро. Поспешно отбегая на носках влево, я крикнул изо всех сил:

– Я и мой товарищ бежим на тебя. Молись богу!

Гулкий толчок выстрела заключил мои слова. Сверкнула бледная нежная полоска, пуля, шушукнув неподалеку, унеслась с заунывным свистом. Затея эта могла обойтись дорого. Я несколько протрезвился и побежал. Сзади тревожно заливался свисток часового, он дал тревогу; еще минута – и я ночевал бы в участке, избитый до полусмерти. Я убежал с чувством легкого, ненастоящего страха, тяжелой скуки и бесцельной злобы. Завернув в ближайшую улицу и вспомнив Марусю, я почувствовал, что глубоко ненавижу всех этих расколотых, раздробленных, превращенных в нервное месиво людей, делающих хакари, скулящих, ноющих и презренных.

– Тяжковиды! – шептал я, стиснув зубы. – Яд земли, радостной, веселой, мокрой, солнечно-грязной, черноземной, благоухающей! Что вы хотите, что? Легко жить надо, а не разбивать голову!

– Тяжковиды проклятые! – сосредоточенно повторил я и кликнул извозчика. И от мысли о множестве бесцельных, беспризорных существований, рассеянных по мощному лицу земли в виде уличной пыли, которую ежечасно стирает рука жизни, чтобы ярче блестели румяные щеки дорогой нам планеты, что-то соколиное сверкнуло во мне; я гордо поднял голову и утешился. «Благодарю тебя, боже, за то, что не создал меня таким, как этот мытарь», – задумчиво, серьезно сказал я, сел на извозчика и снял шляпу. Небо выяснилось, пахло смоченной дождем мостовой; над головой ясно и как-то значительно блестели кроткие звезды.

– Извозчик, – сказал я тихо и вежливо, чтобы даже эти произнесенные мною слова соответствовали торжественному моему настроению, – поезжайте в самую лучшую гостиницу в центре города.

Проезжая среди огненных шаров моста, я подумал, что я, в сущности, человек хороший и деликатный, с больной, несколько капризной волей, интересный и жуткий.

VIII

Переутомление и ряд нервных потрясений, должно быть, сделали меня временно парализованным. Я повалился на кровать, испытал мучительное нытье всего тела и, с мгновенно закружившейся головой, исчез. Затем, проснувшись, приподнял голову – дряблая смесь электрического и дневного света показалась мне плохим сновидением; я снова исчез и проснулся с головной болью. Было темно и, как мне показалось, кто-то, уходя, поспешно притворил дверь. То был, как я узнал после, лакей, приходивший послушать, дышу я или сплю вечным сном. Наконец, я проснулся в третий раз и окончательно; мысль о сне вызвала отвращение – значит, я выпался.

На столе дрожали утренние световые зайчики. Сидя на кровати, как был – в сапогах и прочем, я тихо покачивался из стороны в сторону, прикладывал ладони к вискам, и было мне плохо. Организм тоскливо стонал, горло пересохло, во рту чувствовался такой вкус, как будто я долго жевал свинец, выплюнул и выполоскал зубы известковым раствором. На круглом мраморном столике от графина с водой сияла радужная полоска, я долго смотрел на нее, припоминая недавние свои переживания, вспомнил деньги – и ласковый холодок радости пробежал в спине, возвращая телу упругость. Я стал умываться, причесался, затем позвонил и, когда подали самовар, сказал слуге:

– Я уже заявил полиции, что у меня между последней станцией и Петербургом украли весь багаж. Вот, милейший, двести рублей: отправляйтесь, куда следует, купите мне пару хороших поместительных чемоданов, пикейное и теплое одеяло, дюжину простынь, дюжину наволочек, две подушки и дюжину пар белья. Сдачу возьмите себе.

Но от него отделаться так скоро было нельзя. Он хотел знать в точности размер, цвет и качество. Наконец, поклонился, едва не сломав себе спину, посмотрел на меня взглядом парализованного и, пятясь, скрылся. Я сел к столу, чрезвычайно довольный собой, задумался, не заметив, как перестал петь и остыл самовар, с жадностью выпил несколько стаканов теплого чая, затем долго стоял у окна с благодарным лицом, предвкушая наслаждение считать деньги. Пересчитав их, уютно рассовал по карманам, согрел ими душу, надел шляпу и отправился за покупками.

Часа три я слонялся по магазинам, удивляя приказчиков робким тоном вопросов и несоответствующим ему швырянием деньгами. Я брал сдачу, не считая, демонстративно комкал бу-

мажки, опуская их в наружный карман пиджака, и вообще вел себя ничуть не лучше заправского вора, которому повезло. День был пекуче жарок; обливаясь потом, я тащил от дверей к дверям толстые свертки, страдая и наслаждаясь. Я купил два костюма – синий и серый, два пальто, золотые часы, калейдоскоп галстуков, массу белья, три котелка, английскую шляпу, кольцо с брильянтом, настоящую панаму, желтые, зеленые и черные ботинки, усовершенствованный самолов для рыбы, тросточку с серебряной ручкой, кавказские туфли и гетры, кашне. Не понимаю, как я донес это до ближайшего угла, где стояли посыльные: вручив им свой адрес и свое имущество, я, мокрый с головы до ног, пошел медленно, расслабленный и довольный...

Вид почтового ящика заставил меня сунуть руку с карман брюк, покраснеть, вытащить измятое письмо к Жене и опустить его. Глаза мои были, вероятно, растроганные и грустные, жгучее раскаяние сопровождало меня до первой встречной молодой женщины. Увидев, что она недурна, я подумал:

«На свете много женщин».

Я начал снова думать о Жене, о странной своей судьбе, о том, что Женя приедет и мы будем счастливы, но скоро заметил, что эти мысли оставляют меня равнодушным к далекой девушке, и отдался полусознательным, беглым размышлениям. Все, о чем я ни думал, казалось мне безразличным. Вспомнив бросившуюся из окна Марию Игнатьевну, я ощутил нечто вроде болезненного сотрясения, а затем хладнокровно восстановил памятью всю эту сцену, пожал плечами, приказал самому себе держать язык за зубами и завернул в прохладу кафе.

IX

В течение следующих пяти дней не произошло ничего особенного. Я жил в гостинице, бегал по ресторанам, садам, трактирам, дух беспокойной тоски швырял меня из одного конца города в другой, я силился не уснуть в музеях, уходя из них с головой, раздутой до чудовищных размеров всякого рода изображениями; пил чай у знакомых (все упомянутые ранее лица стали моими знакомыми), ездил в клуб, но лукаво отходил прочь, когда непритворенная дверь карточной дымилась силуэтами игроков, пьянствовал с певичками и, вообще, жил. Скука одолевала меня. Я болел душой о яркой, полной и красивой жизни. От скуки я заговаривал с городовыми, посещал грязные чайные. Я вел длинные разговоры о семейных делах продавщиц кваса в кинематографах, говорил о боге среди извозчиков в воровском притоне; пережил ночные романы в подвальных логовищах. От Жени я получил три письма с обещаниями приехать к началу учебного года на курсы; первое вызвало у меня припадок страсти и нежности, содержание второго забыл, а в третьем нашел четыре орфографические ошибки: Все более начинало казаться мне, что я живу в дрянном преддверии настоящей жизненной музыки, бросающей в дрожь и огненный холод, что меня ждут нетерпеливо страны алмазной красоты, буйного ликования и щедрот. Я стал чрезвычайно подвижным, нервным и беззастенчивым.

Время от времени, сосредоточиваясь на своем положении, я пугался, покупал заграничные путеводители и расписания поездов, собираясь в дорогу, подозревал в каждом человеке шпиона, а затем, под влиянием случайной встречи или просто хорошего настроения, плевал на все и успокаивался. Гораздо более озабочивало меня незавидное мое положение – положение человека, хапнувшего тыщонки. Гордый и самолюбивый, я мечтал быть победителем жизни, но, не обладая никакими специальными знаниями, естественно, стремился открыть в себе какой-нибудь потрясающий, капитальный талант; издавна меня привлекала литература, к тому же, сталкиваясь почти каждый день с журналистами и поэтами, я воспитал в себе змеиную зависть.

Результатом этих мозговых судорог было однажды то, что я нарезал пачку небольших квадратных листов, на каких, как где-то читал, писал Бальзак, вставил перо и сел. В голове носились гоголевские хутора, обсыпанные белой мукой лунного света; героини с тонкой талией, классические герои, охота на слонов, павильоны арабских сказок, шекспировская корзина с бельем, провалившиеся рты тургеневских стариков, кой-что из Гонкуров, квадратная челюсть Золя. Понемногу я сочинил сюжет на тему прекрасных жизненных достижений, преимущественно любви, вывел заглавие – «Голубой меч» – и остановился. Тысячи фраз осаждали голову. «И не

оттого, что... и не потому... а оттого... и потому...» слышались мне толковые удары по голове толстовской дубинки. Чудесная, как художественная, литая бронза, презрительная речь поэта обожгла меня ритмическими созвучиями. Брызнула огненная струя Гюго; интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, как рука рыцаря, фраза Мопассана; взъерошенная – Достоевского; величественная – Тургенева; певучая – Флобера; задыхающаяся – Успенского; мудрая и скупая – Киплинга... Хор множества голосов наполнил меня унынием и тревогой. Я тоже хотел говорить своим языком. Я обдумал несколько фраз, ломая им руки и ноги, чтобы уж, во всяком случае, не подражать никому.

Переменив несколько раз сюжеты, я сильно устал и бросил. На следующий день мне понравилось заглавие «Рубин в пустыне». Я сел к столу и стал придумывать фабулу, но, побившись, не мог ничего придумать, кроме умирающей от чахотки женщины. Она потеряла рубин, и герой отправляется разыскивать его. Все это возмутило меня; утомленный, апатичный, я вышел из накуренного помещения и отправился гулять, размышляя о способах наискорейшего написания романа страниц в пятьсот. Но в этот же день произошло событие, заставившее меня забыть о литературной славе; в этот роковой день я, как ручей, вышел из берегов рассудка, был несколько минут нежным тигром, тяжело страдал и любил. Да, я первый раз в жизни любил по-настоящему – умом и телом.

Все это сложно, необыкновенно и требует тщательного рассказа. Мне многие не поверят, но я знаю, что будь у человечества хоть немного нахальства – на каждом шагу происходили бы занятнейшие истории, так как каждый хочет быть героем таких историй, – героем и рассказчиком.

Все началось с того, что мне понравился в окне табачного магазина мундштук. Недолго думая, я зашел, купил эту вещь и хотел выйти, но продавец задержал меня, рекомендуя новый табак. Надо заметить, что дверь этого маленького, узкого магазинчика выходила на нижнюю площадку общей домово́й лестницы, так что покупатель, не отходя от прилавка, мог видеть всех проходящих в дом или на улицу. Пока я отнекивался, хлопнула наружная дверь, и сквозь стекло я поймал беглым взглядом два мелькнувших лица – мужчины и женщины. Они вошли с улицы; фигура и лицо женщины врезались, как печать, в мою память; бросив табак на пол, потому что получил нечто вроде электрического сотрясения, я выскочил на площадку лестницы, остановился и стал смотреть. Сквозь лестницу, во всю вышину дома, торчал светлый пролет. Подымавшиеся не видели меня; рука дамы, маленькая, невинно-белая, скользила по лакированным перилам над моей головой.

Я изобразил статую изумления, священного ужаса. Господин, правда, был недурен: смуглое, иностранного типа лицо его отличалось смелым, смеющимся выражением; широкоплечий, стройный, с беззаботными движениями, он был изящно, но небрежно одет – и я его ненавидел. Женщина шла на ступеньку или две впереди. Ах! Она была сказочно хороша. Ее лицо умертвляло желание смотреть на других женщин. Я чувствовал себя так, как будто всю жизнь, от пеленок, не переставая, рыдал, а теперь, восхищенный, смолк, чуть-чуть всхлипывая, и высохли слезы, и блаженная улыбка просится на лицо.

– Поразительная красавица! – пробормотал я. Сильное волнение помешало мне запомнить мелочи ее туалета и фигуры; сверкнуло дивное благородство профиля, темный огонь глаз; казалось, от присутствия ее согрелся весь дом, и воздух наполнился веянием женской нежности.

Они подымались не быстро и не тихо, и я, с заболевшей шеей, задрал голову, смотрел снизу. Господин шагнул несколько быстрее, взял даму за руку и хотел, видимо, поцеловать пальцы, но она вырвалась, в три-четыре прыжка достигла площадки третьего этажа и рассмеялась, а он побежал к ней. Слышая смех, я страдал, я был болен от этих милых, заразительных, музыкальных звуков, как будто женщина подняла обе руки, полные звонких драгоценностей, и бросила их, и звеня, прыгая со ступеньки на ступеньку, достигли они меня, – такой был смех. Господин ступил на площадку, смеясь, протянул к ней руки, а она, ласково извернувшись, скользнула мимо него выше, а он за ней, она все быстрее – и вот оба, задыхаясь, зашумели по лестнице над моей головой; струясь, шелестел шелк, белая с серым шляпка птицой взвилась на шестом этаже; господин нагнал женщину, когда некуда уже было больше бежать, обнял, прижал к себе, а она,

утомленная, перегнувшись спиной через перила, счастливо смеясь, стихла. Он приник к ее губам долгим поцелуем, их головы висели надо мной, может быть пять секунд: для них это была вечность.

Я вышел; вдогонку мне щелкнула далеко вверх дверная задвижка. Выразительная любовная игра, свидетелем которой я был, сделала меня сладко помешанным. Я любил эту женщину. Страна страстного очарования, издеваясь, показала мне мгновенный свой ослепительный свет.

– Радостный яд любви! Торжество упоения! – сказал я, отуманенный, содрогающийся, с пересохшим ртом.

Неиссякаемый образ женщины плыл передо мной среди равнодушных прохожих; косой, в тенях вечера, пыльный свет солнца утомительно жег лицо.

– Ну, что же, теперь все равно, – сказал я, замедляя шаги; не было сил уйти от таинственно чудесного дома, покрытого вывесками. «Пилюли слабительные Фузика» – прочел я кровавые аршинные буквы. Сразу же, в состоянии, близком к горячечному, стал я обдумывать способы проникнуть в рай. Ничто не казалось мне достаточно дерзким или предосудительным.

Вне времени и пространства, повинувшись первым движениям мысли, вошел я в ювелирный магазин. План мой был гениален и прост. Я был уверен, что посредством его сумею остаться наедине с ней, а там – что будет. Я предвкушал долгие взгляды, от которых бледнеют и загораются. Взволнованный томительными сладкими предчувствиями, я потребовал алмазные серьги и взял первые попавшиеся. Денег у меня к тому времени оставалось около шести тысяч. Было немного обидно выбросить за пару стекол пятьсот пятьдесят рублей, но я сделал это, сунул футляр в карман и вышел на улицу.

Дыша глубоко и часто, чтобы хоть немного утишить биение сердца, предвкушая приятные, острые, необыкновенные переживания, я перешел на другую сторону тротуара и стал следить за подъездом, рассчитывая, что господин с иностранным лицом рано или поздно должен выйти из дома. Стемнело, засветились электрические узоры кинематографов, вечерняя суeta улицы, теряя деловой вид, показывала медленно гуляющих франтов, кокоток и генералов. Стреляя, как митральезы, пролетали автомобили, украшенные грандиозными шляпками. Ноги мои болели, я методично прохаживался, тоскуя и представляя будущее. Вопрос – кто эта женщина? – не давал покоя. Жена, артистка, куртизанка, девушка, вдова? – на каждый я отвечал утвердительно. Лет пять назад я слышал рассказ одного моего знакомого, как, путешествуя по берегу моря, он захотел пить. Сумасшедшая жара калила песок, слева горела степь, кричали тарбаганы и суслики, расплавленное море лежало у его ног. Ближайший рыбный промысел, где этот человек мог напиться, лежал не ближе двадцати верст. Человек шел тихо, стараясь не утомляться, но быстро выпотел, ослабел – и жажда постепенно превратилась в ощущение глыбы соли, разъедающей внутренности нестерпимой болью. Он пошел быстрее, затем побежал, теряя сознание. У ног его тихо плескалась вода. Он продолжал бежать. Это была вечность нечеловеческого страдания. Завидев низкие крыши промыслов, он пулей промчался сквозь кучку рабочих, испуганных его тусклыми от бешенства глазами, повалился на край бочки с водой и пил. Затем с ним произошел обморок.

Похоже на это чувствовал себя я. Возможные последствия моей решимости казались мне не стоящей внимания чепухой. Прильнув глазами к подъезду, я, наконец, вздохнул глубоким, как сон, вздохом и пересек мостовую. Он вышел, я видел, как он сел на извозчика, купил у подбежавшего мальчишки газету и, теряясь в разорванной цепи экипажей, скрылся. Тогда я, замирая и холодея, прошел в подъезд, а когда ступил на площадку шестого этажа, соображение, что я не знаю, в которой из квартир живет богиня, на мгновение остановило меня; затем я увидел, что на каждой площадке находится только одна дверь, и успокоился.

Самое трудное для меня было позвонить: я знал, что как только сделаю это – прекратится трусливое волнение, сменившись напряженной осмотрительностью, стиснутыми зубами и хладнокровием.

Так это и было. Я позвонил; далеко, чуть слышно прозвенел колокольчик; звук его казался чудесным, необыкновенным. Мне открыли; я вошел и первое время не в состоянии был заговорить, но, сделав усилие, поклонился высокой, в переднике с кармашками, горничной и присту-

пил к делу.

В передней, где я стоял, было почти темно; блестело темное зеркало, откуда-то, вероятно, из коридора, тянулась игла света, падая на кружевное манто.

– Вам что? – вертясь по привычке, спросила горничная.

– Серьги госпоже из магазина Дроздова, – сказал я, держа руки по швам, – расписочку пожалуйста.

– Я скажу, обождите.

Она внимательно осмотрела меня и остановилась, подошла к дверям и исчезла, а я, машинально тиская вспотевшей ладонью футлярчик, тяжело дышал. Виски болели от напряжения, было душно и страшно. В голове носились отрывочные, подходящие к делу слова: «Красавица... объятия... поцелуй твои... у ног...» Я переступал с ноги на ногу, входя в роль, хотя через несколько минут приказчик должен исчезнуть, уступая место влюбленному. Горничная вернулась, бойко щелкая каблучками.

– Идите сюда, барыня на балконе...

Я нервно хихикнул. Девушка посмотрела на меня с изумлением, и я сказал:

– Чудесно! Квартирочка у вас замечательна!

Промолчав, она быстро пошла вперед, а я, невольно расшаркиваясь на скользком паркете, семенил сзади. Меня словно вели на виселицу. Я смутно замечал в сумерках просторных высоких комнат отдельные предметы; дремлющая в полутьме роскошь дышала чужой, таинственно налаженной жизнью. Мы, как духи, скользили по анфиладе четырех или пяти комнат; по мере приближения к цели вокруг становилось светлее, в последней – круглом небольшом зале – меня окружил грустный свет вечера, падавший из растворенной настежь двери, за ними вытянулся к разбросанным внизу крышам полукруглый балкон. Там было нечто восхитительное и неясное. Вокруг меня, по стенам и у потолка, что-то сверкало, висело; на полу все нежное, круглое, цветное; картины меж окон; к потолку тянулись выхоленные тропические растения. Золоченые решетки у ленивых креслиц, коврики и меха, улыбки темных статуэток – все я забыл, ступив на порог последней, неземной двери.

Она сидела в качалке, склонив голову вперед и чуть-чуть на бок, ее детские, тонкие руки в разрезах сиреневой материи поглаживали гнутый бамбук сиденья. Я видел, что шея ее открыта; у меня перехватило дыхание; слабый и близкий к обмороку, я усиленно раскланялся, овладел собой и проговорил:

– Извините, господин Дроздов, мой хозяин, поручил доставить брильянты.

– От кого? Какие брильянты? – спросила убивающая меня своим существованием женщина. – Скажите, от кого?

Изгрызанный страстью, я понял, что это важный момент. Я ненавидел горничную, сонно дышавшую за моим плечом, ей следовало удалиться.

– Тайна, – глухо сказал я и посмотрел многозначительно. Мой тоскующий, полный просьбы взгляд скрестился с ее взглядом; маленькие, тонкие брови медленно поднялись, все лицо стало замкнутым и рассеянным. Она испытующе смотрела на меня.

Я сказал:

– Тайна.

Затем приложил палец к губам, кашлянул и опустил глаза.

– Катерина, – сказала женщина, – посмотрите, не звонят ли с парадного.

Я повернулся к горничной и посмотрел на нее в упор. Она вышла, смерив меня с головы до ног великолепным взглядом служанки, разъяренной, но обязанной слушаться.

– Говорите, что это значит? – осторожно, тем тоном, от которого так легок переход к выражениям удовольствия или гнева, произнесла она.

Медленно, вспотев от стыда и страха, я стал на колени, продолжая нервно улыбаться. Я увидел край нижней юбки и пару несоразмерно больших глаз. Я слышал стук своего сердца; он напоминал швейную машину в полном ходу.

– Я действительно принес серьги, – сказал я, возбуждаясь по мере того, как говорил, – но это, я должен сказать, уловка. Я торжественно, свято, безумно люблю вас. Я не знаю вашего

имени, я видел вас три часа тому назад на улице – и моя жизнь в ваших руках. Делайте со мной, что угодно.

Я видел, что она побледнела и хочет вскочить. Вместе с тем, высказав самое главное, я почувствовал, что мне легче; я мог действовать более развязно и умоляюще протянул руку.

– Несравненная, – сказал я, – мне тяжело видеть испуг на вашем божественном лице. Я уйду, если хотите, но не относитесь ко мне, как к уличному нахалу. Я не мог поступить иначе.

– Тайна! – воскликнула она, едва переводя дыхание и вставая. Я тоже встал. – Нечего сказать, тайна! – Какая-то мысль, вероятно, смутила ее, потому что она вдруг покраснела и неловко пожала плечами. – Кто вы такой?

– Гинч, – покорно ответил я. – Я из хорошей фамилии. Могу вас уверить, что...

– Нет, – сказала она, прислонившись к решетке и глядя на меня так, как если бы прямо ей в лицо летела птица. – Нет, вы меня решительно испугали. Как вы смели?

– Выслушайте, – подхватил я, инстинктом чувствуя, что паузы могут быть губительными. Руки я держал перед собой, сложив их наполовину молитвенным, наполовину скромным жестом, а говорил сдавленным, хватающим за душу голосом. – Я презираю бедную жизнь мою, она заставляет ненавидеть людей и землю. Я жажду глубоких страданий, вздрагивающего от смеха счастья, хочу дышать полной грудью. Я увидел вас и затрясся. Вы наполняете меня, я задыхаюсь от вашего присутствия.

Я стиснул пальцы сложенных рук так сильно, что они хрустнули. Она, сдвинув брови, подошла к столику, взяла крошечную папироску и поднесла к губам, тут я нашелся. Выхватив из кармана дрожащей рукой десятирублевый билет, я чиркнул спичкой, зажег ассигнацию и поднес красавице. Искоса взглянув на меня и не торопясь, хотя обгоревшая бумага начинала палить пальцы, она закурила, тотчас же пустив из пленительно оттопыренных губок облачко дыма, опустила глаза и произнесла:

– Я успокоилась. До свиданья.

Я застонал и шагнул вперед; она отскочила в сторону, лениво протянув руку к львиной голове с кнопкой.

– Вы жестоки! – мстительно прошептал я. – За что? Я раб ваш.

– Я не могу любить каждого, – нетерпеливо и быстро сказала прекрасное чудовище, – каждого, который придет с улицы, и, наконец, вы мне неприятны. Затем – я несвободна. Уйдите с воспоминанием, что я осталась к вам добра и не приняла мер против вашего вторжения.

– Я богат, – грубо сказал я. – Вот брильянты.

Встав между ней и звонком, я хлопнул футляром о столик. Мне хотелось броситься на это двигающееся, живое, красивое тело.

– Вы забываетесь, – бледнея от испуга и гнева, сказала она, – уходите сию минуту! Вон!

Футляр полетел мне в лицо и рассек бровь. Я невольно отступил; оскорбленный, я почувствовал желание задеть и унижить ее, смешать с грязью. Я сказал, наслаждаясь:

– Врете вы. Врете. Вам лестно, что приходит человек именно с улицы, потеряв голову. Вы такая же, как и все. Вы лжете перед собой, боитесь своего любовника. Возьмите меня!

– Ради бога... – сказала она, с усилием поднимая руку к лицу и роняя папироску. – Вы...

Не договорив, она неловко села в качалку боком и запрокинула голову.

Испуганный, я тихо подошел к ней; она, плотно сжав губы и закрыв глаза, осталась недвижимой. Это был обморок. С минуту я стоял, полный тревоги, думая о стакане воды, о докторе, о том, что лучше всего уйти; а затем, похолодев, наклонился и поцеловал влажные губы с воровским чувством случайной власти; готовый на все, я приподнял красавицу, прижимая ее грудью к своей груди, и тотчас выпустил, почти бросил: сзади слышались быстрые шаги, кто-то шел к нам, рассеянно напевая из «Жосселена».

«Херувимы-ы хранят... те-е-бя-я!»

Я отскочил, заметался, глаза мои неудержимо, бессознательно отыскивали, где скрыться. В дверях мелькнул силуэт идущего – и секунду спустя мы стояли лицом к лицу: он и я.

Он посмотрел на меня, на женщину, бросился к ней, приподнял ее голову и, тотчас же вернувшись ко мне, загородил дорогу. Было жутко и тихо.

– Гинч, – с фальшивой твердостью сказал я, – позвольте представиться. – Мне казалось, что я растворяюсь в атмосфере грозного ожидания, распыляюсь, превращаюсь в бестелесный контур. Было мгновение, когда мне хотелось закрыть голову руками и согнуться; сзади раздался слабый крик.

Насилу оторвав глаза от моего страдальческого в этот момент лица, он подошел к качалке; я видел, как женские руки легли ему на плечи, и почти разобрал несколько быстро сказанных вполголоса слов, но тотчас парализованное сознание потеряло их смысл; по всей вероятности, она объясняла, в чем дело. Мне хотелось бежать, но я был не в силах пошевелиться, я растерялся. Он снова подошел ко мне, верхняя губа его приподнялась, обнажив зубы; гневно хмыкнув, он качнулся вперед и дал мне пощечину. Это был умелый, хлесткий удар: голова как будто оторвалась, а затем, обваренная, возвратилась на свое место. Захрипев от стыда и боли, я кинулся, не видя ничего, вперед, получил еще два удара и, нелепо размахивая руками, полетел к выходу.

Стулья цеплялись за меня, острый удар в голову дал мне на один момент потерянную решимость; сжав кулаки, я обернулся и увидел занесенную надо мной палку и искаженное преследованием лицо с черными усиками; посыпался град ударов; я защищался, как мог, но, прижатый в угол, с разбитыми руками, не мог ничего сделать. Он бил меня, как хотел; мы оба молчали; наконец, заплавав навзрыд и взвизгивая, я вырвался от него, прошел, дрожа от слабости, в переднюю, сразу же нашел шляпу и вышел, унося памятью какие-то испуганные лица, глядевшие на меня в передней.

Х

Описать всепожирающее чувство стыда, сумасшедшей ненависти и полного внутреннего разорения я бессилён. Я напоминал раздавленную колесом собаку, объединенный саранчой сад. Это было ощущение совершенной потери жизни, тупое, безразличное всхлипывание, смесь мрака и подлости. Выйдя на улицу, я закружился, не помня – куда идти; я принимал одно за другим сотни отчаянных решений, и такова была сила моего озлобления, что представление о способе мести давало мне некоторое насыщение. Я быстро свернул в боковые улицы, прикрывая руками пылающее лицо; прежде всего следовало купить револьвер, вернуться и убить. Остановившись на этом, последовательно дойдя воображением до каторги и виселицы, я несколько охладел к убийству и вспомнил о дуэли. В глазах моих она равнялась проявлению бессмысленного атавизма, варварству. Ничто не могло изгладить побоев; хорошо – я убью его, но, умирая, он посмотрит на меня с торжеством. «Я бил тебя», – скажут его потухающие глаза. Это не годилось. Благополучно выскочив из-под трамвайного вагона, едва не перерезавшего меня пополам, я быстро составил план западни для женщины, которую только что насильно поцеловал, и решил отомстить ей. Это было бы для него больнее. Как? То, что мне представилось в ответ на этот вопрос, – достаточно мрачно.

Быстрая ходьба вернула мне то ненормальное состояние унылого равновесия, которое называют висельным. Я осмотрел руки – они были покрыты ноющими ссадинами и опухольями; к глазу было больно притронуться; спина не болела, но по ней разливалась особенно неприятная теплота. Проходя мимо какого-то универсального магазина с сотнями блестящих предметов за освещенными электричеством окнами, я понял, что наступил вечер. Я думал беспорядочно и зло о жизни; она вдруг представилась мне в новом, хихикающем и подмигивающем виде; она была омерзительна. Я чувствовал глубокое отвращение к женщинам, земле, людям, самому себе, мостовой, по которой шел, к разгорающимся в темноте огонькам папирос. Город был как будто весь облит сероводородом, замазан грязью, населен идиотами. «Я не хочу этого, – твердил я, десятый раз переживая мелочи своего унижения. – Это не жизнь, а пытка; я всегда страдал, томился, грустил, я не жил, где конец этому?» Смерть, умереть сгоряча, сразу, пока кажется невыносимым жить. «Смерть», – повторил я, прислушиваясь к этому пустому, как скелет, слову; это было безносое, выведенное, таинственное соединение букв, обещавших успокоение.

Я осмотрелся; незаметно, в горячке стыда и ярости, я прошел половину города; передо мной уходил к небу синий туман Невы; чернели судовые мачты; холодные отражения огней разбивались в светлую чешую волнением от быстро снующих пароходиков. Пахло свежей рыбой и сыростью. Я ступил на печальную дугу моста, лелея темные мысли, развивая и укрепляя их. Я думал, что все бесцельно и скоропреходяще, что слава, любовь, радость и горе кончаются в гробу, что миром правят черт и растительная клеточка.

Остановившись над серединой реки, я посмотрел вниз. Там невидимо текла глубокая холодная вода – и мне захотелось погрузиться в равнодушную нежность ее и тайно приобщиться к величавому покою чистой материи. Я чувствовал себя в душевной, накуренной комнате подошедшим к бьющей в лицо холодной форточке; в черном кружке ее горела маленькая звезда – смерть.

– Умирать, так умирать! – сказал я и, поняв, что решился, был удивлен искренно: это оказалось простым. Механическое представление о прыжке, коротком ощущении сырости и тьме. – Женья! – сказал я, – я ведь тебя люблю. Ей-богу.

Затем, вспомнив, что самоубийцы в критический момент видят ряд картин золотого детства, я попытался воскресить памятью что-либо значительное и светлое, а в голову мне назойливо лезло воспоминание о том, как я однажды прищемил кошке хвост и как меня за это били скалкой по голове.

Я перегнулся через перила, повиснув на них, как мешок, от страха и слабости; озяб, наклонил голову, повалился в пространство, пронзительно закричал, иступленно желая, чтобы меня вытащили, звонко ушел в воду и задохнулся.

Не знаю – прежде, сейчас, или это еще случится, – у меня осталось смутное ощущение водяных, влекущих в неизвестное вихрей, словно все тело вбирает и высасывает большой рот, полный холодной жидкости.

– Встань! Держись за стол! Ну, не падай! Да ну же, черт!

Сильная рука, стискивая мне плечо, качалась вместе со мной. Я чувствовал тоску, слабость и заплакал.

Чувствуя, что все кружится, я повалился навзничь; было тепло и мягко.

Я долго не открывал глаз; вероятно, я спал; как бы то ни было, приподняв веки, я почувствовал себя значительно лучше. Помещение, где я был, имело странный для меня вид; удивившись и рассмотрев окружающее, я стал припоминать случившееся, вспомнил – и весь затрясся от ужаса. Я был жив.

У длинного стола, примыкающего одним концом к деревянному столбу, сидел, положив голову на руки и пристально следя за мной, человек в затасканном матросском костюме, рыжий, как пламя, с блестящими глазами и белым лицом. Я сел; кругом по стенам тянулись в два яруса штук десять матросских коек; недалеко круто уходил вверх, к люку, узкий трап. Железный фонарь, покачиваясь над головой матроса, бросал вокруг унылый, лижущий свет. В полукруглое отверстие люка, прикрытого чем-то вроде суфлерской будки, чернела в синей тьме неба пароводная труба. Матрос встал.

– Где я?

Мой голос был слаб и робок. Человек подошел вплотную, потрепал за чем-то мои уши и невесело улыбнулся. Казалось, мое спасение не доставляло ему ни малейшего удовольствия: зевнув, он сел против койки на скамью, вытянул ноги и забарабанил по коленкам мохнатыми пальцами.

– Где вы? – сказал, наконец, он. – Хотел бы я знать, где были бы вы теперь, если бы не были здесь. Я выловил вас ведром и кошкой. Но вы тяжеленьки: право, я думал, что тещу рождественскую свинью. Вот послушайте – я сидел на баке, в полнейшем одиночестве. Наши гуляют; в машинной команде дрыхнет один кочегар, это верно, но он дрыхнет. Увидев труп, то есть вас, я опустил на шкоте ведро – первое, что попало под руку; вы очень быстро неслись по течению и надо было уменьшить ход. Ведро поймало вас поперек туловища; тогда, привязав веревку, я сбегал за кошкой и разорвал вам костюм, но в результате все-таки вытащил. Интересно вы висели над водой, когда я вас вытаскивал, – как рак: ноги и усы вниз, ей-богу! Поддержитесь!

Опустив руку под стол, он вытащил откуда-то бутылку водки и ткнул ею меня прямо в ли-

цо. Я отпил с чайный стакан, задохнулся и разгорелся. Драгоценная жизнь забушевала во мне; рассыпавшись в выражениях самой горячей признательности и долго, усиленно всматриваясь в простое лицо этого славного малого, я взял в обе руки его волосатую клешню и прослезился. Он посмотрел на меня сбоку, встал, исчез где-то в углу и возвратился с суконными брюками, парусиновой блузой и башмаками. Все это было в одной его руке, а другой он держал закуску: тарелку с яйцами и рыбой.

– Мордашка, – сказал он, нахлобучивая мне на голову скверный картуз, – надень все это; потом мы выпьем и выслушаем твою историю. Влюблен был, а?

Из ящика, где мельком я увидел сверток полосатых фуфаяк, горсть раковин и трубку, он извлек еще две бутылки. Водка, по-видимому, составляла в его обиходе нечто нужное и естественное, как, например, воздух или здоровье.

– Люблю моряков! – воскликнул я. – Бравый они народ!

– Твоя очередь! – сказал он, чокаясь со мной круглой жестяной посудиною. – Я этих рюмок не признаю.

Растроганный еще более, я полез целоваться. Мое положение казалось мне дьявольски интересным; я сдвинул картуз на бок и расставил локти, подражая спасителю.

Он говорил благодушно и веско; через полчаса я жестко жалел его, так как оказалось, что у него в Сингапуре возлюбленная, но он не может никак к ней попасть, высаживаясь в разных портах по случаю ссор и драк; большую роль играло также демонстративное неповиновение начальству; таким образом, попадая на суда разных колоний (с места последней высадки), он кружился по земному шару, тратясь на марки и телеграммы к предмету своей души. Это продолжалось пять лет и было, по-видимому, хроническим состоянием его любви.

– Монсиньор! – сказал он мне, держа руку на левой стороне груди. – Я люблю ее. Она, понимаете ли, где-то там, в тумане. Но миг соединения настанет.

Я выпил еще и стал рассказывать о себе. Мне хотелось поразить грубого человека кружевной тонкостью своих переживаний, острой впечатлительностью моего существа, глубоким раздражением мелочей, отравляющих мысль и душу, роковым сплетением обстоятельств, красотой и одухотворенностью самых будничных испытаний. Я рассказал ему все, все, как на исповеди, хорошим литературным слогом.

Он молча слушал меня, подперев щеку ладонью, и, сверкая глазами, сказал: – Почему вы не утонули? – затем встал, ударил кулаком по столу, поклялся, что застрелит меня, как паршивую собаку (его собственное выражение), и отправился за револьвером.

Сначала я ничего не понял; затем, видя, что этот страшный, неизвестно почему ошетилившийся человек деятельно роется в ящике, я, изумленный до испуга, бросился вон. Выскакивая на палубу, я услышал, что подо мной внизу изо всех сил бьют молотком по дереву: пьяное чудовище стреляло по моим ногам, превращая таким образом акт милосердия в дело бесчеловечной травли.

* * *

На этом рукопись Лебедева и оканчивалась. Из устных с ним разговоров я узнал потом, что, прожив остальные деньги, он пережил все-таки в заключение страшную и яркую фантазмагорию.

Дело было неподалеку от дач, в лесу. Золотистый лесной день видел начало пикника, в котором, кроме Лебедева, участвовали доступные женщины, купеческие сынки и литературные люди в манишках. Загородная оргия с кэк-уоками, эротическими сценами и покаянными слезами окончилась к ночи. Все разбрелись, а Лебедев, или, как он стал сам называть себя, Гинч, в темном состоянии мозга заполз в кусты, где проснулся на другой день самым ранним утром, к восходу солнца.

Сонные видения мешались с действительностью. Он лежал на обрыве, край которого утопал в светлом утреннем тумане; вокруг свешивалась зелень ветвей, перед глазами качались травы и лесные цветы. Гинч смотрел на все это и думал о девственной земле ледниковой эпохи.

«Первобытный пейзаж», – пришло ему в голову. Думая, что грезит, он закрыл глаза, боясь проснуться, и снова открыл их. На обрыве, чернея фантастическими контурами, шевелилось что-то живое, напоминающее одушевленное огородное чучело. У этого существа были длинные волосы; кряжистое, тяжеловесное, оно передвигалось, припадая к земле, а выпрямляясь, – пересекало небо; тень уроды ползла к лесу.

Выкатилось петербургское солнце, заиграло в траве. Гинч думал о чудовище, рождающемся из недр земли; первобытным человеком казалось оно ему, девственным произведением щедрой земли. Наконец, Гинч проснулся совсем, встал, озяб и узнал окрестность. Невдалеке желтели дачные домики.

Чудовище подошло ближе. Это был безногий, с зверским лицом, калека-нищий, изодраный, голобрюхий и грязный.

– На сотку благословите, барин, – сказала отрепье. Гинч порылся в карманах – там было всего две копейки: он отдал их и побрел к станции.

Гинч заходил ко мне все реже и реже; ему, видимо, не нравились мои расспросы о некоторых подробностях. Однажды он сообщил, что приезжала Женя и что они разошлись. Я хмыкнул, но ничего не сказал.

Затем он исчез; слился с болотным туманом дымных и суетливых улиц.

Трагедия плоскогорья Суан

Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего.
(Исаия, 42, 23)

I

Честь имею представить

В полной темноте комнаты чиркнула спичка. Свет бросился от стены к стене, ударился в мрак ночных окон и разостлал тени под неуклюжей старинной мебелью.

Человек, спавший на диване, но разбуженный теперь среди ночи нетерпеливым толчком вошедшего, сел, оглаживая рукой заспанное лицо. Остаток сна боролся в нем с внезапной тревогой. Через мгновение он, вскочив на ноги, босиком, в нижнем белье, стоял перед посетителем.

Вошедший не снял шляпы; свечка, которую он едва разыскал среди разных инструментов и книг, загромаждавших большой стол, плохо освещала его фигуру в просторном, застегнутом на все пуговицы пальто; приподнятый воротник открывал между собой и нахлобученными полями шляпы полоску черных волос; лицо, укутанное снизу до рта темным шарфом, казалось нарисованным углем на пожелтевшей бумаге. Вошедший смотрел вниз, сжимая и разжимая губы; тот, кто проснулся, спросил:

– Все ли благополучно, Хейль?

– Нет, но не вздрагивайте. У меня простужено горло; ухо...

Два человека нагнулись одновременно друг к другу. Они могли бы говорить громко, но укоренившаяся привычка заставляла произносить слова шепотом. Хозяин комнаты время от времени кивал головой; Хейль говорил быстро, не вынимая рук из карманов; по тону его можно было судить, что он настойчиво убеждает.

Шепот, похожий на унылый шелест ночной аллеи, затих одновременно с появлением на лице Хейля мрачной улыбки; он глубоко вздохнул, заговорив внятным, но все еще пониженным голосом:

– Он спит?

– Да.

– Разбудите же его, Фирс, только без ужасных гримас. Он человек сообразительный.

– Пройдите сюда, – сказал Фирс, шлепая босыми ногами к двери соседней комнаты. – Тем хуже для него, если он не выспался.

Он захватил свечку и ступил на порог. Свет озарил койку, полосатое одеяло и лежавшего под ним, лицом вниз, человека в вязаной шерстяной фуфайке. Левая рука спящего, оголенная до плеча, была почти сплошь грубо татуирована изображениями якорей, флагов и голых женщин в самых вызывающих положениях. Мерное, отчетливое дыхание уходило в подушку.

– Блюм, – глухо сказал Фирс, подходя к спящему и опуская на его голую руку свою, грязную от кислот. – Блюм, надо вставать.

Дыхание изменилось, стихло, но через мгновение снова наполнило тишину спокойным ритмом. Фирс сильно встряхнул руку, она откинулась, машинально почесала небритую шею, и Блюм сел.

Заспанный, щурясь от света, он пристально смотрел на разбудивших его людей, переводя взгляд с одного на другого. Это был человек средних лет, с круглой, коротко остриженной головой и жилистой шеей. Он не был толстяком, но все в нем казалось круглым, он походил на рисунок человека, умеющего чертить только кривые линии. Круглые глаза, высокие, дугообразные брови, круглый и бледный рот, круглые уши и подбородок, полные, как у женщины, руки, покатый изгиб плеч – все это имело отдаленное сходство с филином, лишенным ушных кисточек.

– Блюм, – сказал Хейль, – чтобы не терять времени, я сообщу вам в двух словах: вам надо уехать.

– Зачем? – коротко зевая, спросил Блюм. Голос у него был тонкий и невыразительный, как у глухих. Не дожидаясь ответа, он потянулся к сапогам, лежавшим возле кровати.

– Мы получили сведения, – сказал Фирс, – что с часу на час дом будет оцеплен и обстрелян – в случае сопротивления.

– Я выйду последним, – заявил Хейль после короткого молчания, во время которого Блюм пристально исподлобья смотрел на него, слегка наклонив голову. – Мне нужно отыскать некоторые депеши. У вас каплет стеарин, Фирс.

– Потому ли, – Блюм одевался с быстротой рабочего, разбуженного последним гудком, – потому ли произошло все это, что я был у сквера?

– Да, – сказал Хейль.

– Улица была пуста, Хейль.

– Полноте ребячиться. Улица видит все.

– Я не люблю ложных тревог, – ответил Блюм. – Если бы я вчера, убегая переулками, оглянулся, то, может быть, не поверил бы вам, но я не оглядывался и не знаю, видел ли меня кто-нибудь.

Хейль хрипло расхохотался.

– Я забыл принести вам газеты. Несколько искаженный, вы все же можете быть узнаны в их описаниях.

Он посмотрел на Фирса. Лицо последнего, принадлежащее к числу тех, которых мы забываем тысячами, вздрагивало от волнения.

– Торопитесь же, – вполголоса крикнул Хейль. Блюм завязывал галстук, – если вы не хотите получить второй, серого цвета и очень твердый.

– Я никогда не тороплюсь, – сказал Блюм, – даже убегая, я делаю это основательно и с полным расчетом. Вчера я убил двух. Осталась сырая, красная грязь. Как мастер – я, по крайней мере, доволен. Позвольте же мне спастись с некоторым комфортом и без усталости, – я заслужил это.

– Вы, – сказал Хейль, – я и он.

– Да, но я не держу вас. Идите – я могу выйти без посторонней помощи.

– До вокзала. – Хейль вынул небольшое письмо. – Вы слезете в городке Суан; там, в двух милях от городской черты, вас убаюкает безопасность. На конверте написан подробный адрес и все нужные указания. Вы любите тишину.

– Давайте это письмо, – сказал Блюм. – А вы?

– Мы увидимся.

– Хорошо. Я надел шляпу.

– Фирс, – Хейль обернулся и увидал вполне одетого Фирса, заряжавшего револьвер, –

Фирс, уходите; ваш поезд в другую сторону.

Более он не оборачивался, но слышал, как хлопнула выходная дверь; вздохнул и быстро опустошил ящики письменного стола, сваливая на холодную золу камина вороха писем и тощих брошюр. Прежде, чем поджечь кучу, Хейль подошел к окну, осмотрел темный провал двора; затем сунул догорающую свечку в бумажный арсенал, вспыхнувший бледными языками света, вышел и два раза повернул ключ.

На улице Блюм остановился. Звезды бледнели; вверху, сквозь черную кисею тьмы, виднелись контуры крыши и труб; холодный, сухой воздух колот щеки, умывая заспанные глаза. Блюм посмотрел на своего спутника; унылый рот Фирса внушал Блюму желание растянуть его пальцами до ушей. Он встрепнулся и зашагал быстрее. Фирс сказал:

– Вы едете?

– Да. И вы.

– Да. Возможно, что мы больше не встретимся.

– В лучшем мире, – захохотал Блюм. В смехе его звучал оскорбительный, едва уловимый оттенок. – В лучшем мире.

– Я не думаю умирать, – сухо сказал Фирс.

– Не думаете? Напрасно. Ведь вы умрете. – Он потянул носом холодный воздух и с наслаждением повторил: – Вы умрете и сгниете по всем правилам химии.

Фирс молчал. Блюм повернулся к нему, заглядывая в лицо.

– Я, может быть, уеду в другую сторону, – сказал он тоном благосклонного обещания. – Вы и пироксилин мне, – как говорят в гостиных, – «не импонируете». Свернем влево.

– Вы шутите, – сердито ответил Фирс, – как фельетонист.

– А вы дуетсяь, как бегемот. Кровавые ребятишки, – громко сказал Блюм, раздражаясь и начиная говорить более, чем хотел, – в вас мало едкости. Вы не настоящая серная кислота. Я кое-что обдумал на этот счет. В вас нет прелести и возвышенности совершенства. Согласитесь, что вы бьете дряблой рукой.

– В таком случае, – объяснитесь, – хмуро сказал Фирс, – нас немного, и мы спаяны общим доверием, колебать это доверие небезопасно.

– Милые шутки, Фирс. Для того, чтобы разрушить подъезд у заслужившего вашу немилость биржевика или убить каплуна в генеральском мундире, вы тратите время, деньги и жизнь. Нежно и добродушно говорю вам: вы – идиоты. Наблюдаю: лопаются красные пузырьки, чинят мостовую, хлопочут стекольщики – и снова пыль и свет, и опоганенное чиханьем солнце, и убивающие злобу цветы, и сладкая каша влюбленных, и вот – опять настроено проклятое фортепиано.

Задыхающийся полусшепот Блюма оборвался на последнем слове невольным выкриком. Фирс усмехнулся.

– Я люблю жизнь, – уныло сказал он. – И я поражен, да, Блюм, вы действуете так же, как мы.

– Развлекаюсь. Я мечтаю о тех временах, Фирс, когда мать не осмелится погладить своих детей, а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу плюнуть на веселые рты и раздавить их подошвой, так, чтобы на внутренней стороне губ отпечатались зубы.

Рассвет обнажал землю; тихий, холодный свет превращал город в ряды незнакомых домов на странных вымерших улицах. Блюм посмотрел на Фирса так, как будто видел этого человека в первый раз, замолчал и, обогнув площадь, увидел фасад вокзала.

– Прощайте, – сказал он, не подавая руки. – Отстаньте тихонько и незаметно.

Фирс кивнул головой, и они расстались как волки, встретившиеся на скрещенном следу коз. Блюм неторопливо купил билет; физиономия его, вплоть до отхода поезда, сохраняла мирное выражение зажиточного, многосемейного человека.

Когда запели колеса и плавный стук их перешел в однообразное содрогание летящих вагонов, Блюм почувствовал облегчение человека, вырытого из-под земляного обвала. Против него сидел смуглый пассажир в костюме охотника; человек этот, докурив сигару, встал и начал смот-

реть в окно. У него были задумчивые глаза, он тихо насвистывал простонародную песенку и смотрел.

Стены душили Блюма. Сильное возбуждение, результат минувшей опасности, прошло, но тоскливый осадок требовал движения или рассеяния. Охотник протирал глаз, стараясь удалить соринку, попавшую из паровозной трубы, лицо его болезненно морщилось. Блюм встал.

– Позвольте мне занять у окна ваше место, – сказал он, – я не здешний, и мне хочется посмотреть окрестности.

– Что вам угодно?

– Глоток свежего воздуха.

– Вы видите, что здесь стою я.

– Да, но вы засорили глаз и смотреть все равно не можете.

– Это правда, – охотник скользнул взглядом по лицу Блюма, сел и, улыбаясь, закрыл глаза. Улыбка не относилась к Блюму, – он помнил о нем только один миг, затем мысленно опередил поезд и ушел в себя.

Блюм смотрел. Равнина, дикая и великолепная, лениво дымилась перед ним, медленно кружась под светлой глубиной неба; серый бархат теней и пестрые цветные отливы расстилались у рельс высокой помятой ветром травой с яркими венчиками. Он повернул голову, окинул круглыми замкнутыми глазами нежное лицо степи, вспомнил что-то свое, ухнувшее беззвучной темной массой к далекому горизонту, и плюнул в сияющую пустоту.

II

Деревья в цвету

У прохода колючей изгороди стоял негр с белыми волосами, белыми ресницами и белой небритой щетиной; голова его напоминала изображение головы в негативе. Босой, полуголый, в одних грязных штанах из бумажной цветной ткани, он курил трубку, смотрел старческими глазами на каменистую тропу, бегущую вверх, среди агавы и кактусов, пел и думал.

Отвесные лучи солнца плавили воздух. Пение, похожее на визг токарного резца по железу, обрывалось с каждой затяжкой, возобновляясь, когда свежий клуб дыма вылетал из сморщенных губ. Он думал, может быть, о болотах Африки, может быть, о сапогах Тинга, что валяются у входа на расстоянии двух аршин друг от друга, – их надо еще пойти и убрать, а прежде – покурить хорошенько.

Всадник, подъезжавший к изгороди, лишил негра спокойствия, песни и очередной затяжки. Крупная городская лошадь подвигалась неровной рысью; человек, сидевший на ней, подскакивал в седле более, чем принято у опытных ездоков. Негр молча снял шляпу, сверкая оскаленными зубами.

Приезжий натянул поводья, остановился и тяжело слез. Старик подошел к лошади. Блюм сказал:

– Это дом Тинга?

– Тинга, – подобострастно сказал негр, – но Тинг уехал, господин мой; он проедет через Суан. Я жду его, добрейший и превосходнейший господин. Тинг и жена Тинга.

– Все-таки возьми лошадь, – сказал Блюм. – Я буду ждать, так как я приехал по делу. А пока укажи вход.

– Я слушаю вас, великолепнейший господин; идите сюда. Тинг заедет в Суан, там жена Тинга. Он возьмет жену Тинга, и оба они приедут на одной лошади, потому что жена Тинга легкая, очень легкая жена, справедливейший и высокочтимый господин мой, он носит ее одной рукой.

– Неужели? – насмешливо произнес Блюм. – Может быть, он носит ее в кармане, старик?

– Нет, – сказал негр, уродливо хохоча и кланяясь. – Тинг кладет в карман руки. Добрый – он кладет руки в карман; сердитый – он тоже кладет руки в карман; когда спит – он не кладет руки в карман.

Блюм шел за ним в полуденных, зеленых сумерках высоких деревьев по узкой тропе, избо-

рожденной бугристыми узлами корней; свет падал на его сапоги, не трогая лица, и пятнами кропил землю. Негр болтал, не останавливаясь, всякий вздор; слушая его, можно было подумать, что он сердечно расположен к приезжему. Но черный морщинистый рот столько же отвечал, сколько и спрашивал. На протяжении десяти сажен старик знал, что Блюма зовут Гергес, что он издалека и Тингу не родственник. Это ему не помешало снова залиться соловьем о Тинге и «жене Тинга»; слово «Тинг» падало с его языка чаще чем «Иисус» с языка монаха.

– Тинг молодой, высокий. Тинг ходит и громко свистит; тогда Ассунта кладет ему в рот самый маленький палец, и он не свистит. Тинг ездит на охоту один. Тинг никогда не поет, он говорит только: «трум-трум», но губы его закрыты. Тинг не кричит: «Ассунта», но она слышит его и говорит: «Я пришла». Он сердитый и добрый, как захочет, а гостям дает одеяло.

Имя это, похожее на звон меди, он произносил: «Тсинг». Тень кончилась, блеснул свет; прямо из сверкающих груд темной листвы забелели осыпанные душистым снегом апельсиновые и персиковые деревья; глухой, томительный аромат их наполнял легкие сладким оцепенением. Полудикие дремлющие цветы пестрели в траве и никли, обожженные зноем.

Блюм осмотрелся. Невдалеке стоял дом – низкое, длинное здание с одноэтажной надстройкой и крышей из древесной коры, – дом, срубленный полстолетия назад руками переселенцев, – грубый выразительный след железных людей, избороздивших пустыню с карабином за плечами. Старик отворил дверь; затем серебряная шерсть его накрылась шляпой и оставила приезжего в одиночестве, с кучей самых отборных пожеланий отдохнуть и не скучать, и не сердиться за то, что бедный старый негр пойдет убрать лошадь.

Блюм внимательно разглядывал помещение. Земляной пол, бревенчатые стены, отполированные тряпками и годами, убранные сухими листьями, похожими на лакированные зеленые веера; низкая кровать с подушкой и меховым одеялом; большой некрашенный стол; несколько книг, исписанная бумага, соломенные занавеси двух больших окон, жесткие стулья, два ружья, повешенные над изголовьем, – все это смотрело на Блюма убедительным, прихотливым сочетанием земли с кружевной наволочкой, ружейного ствола – с печатной страницей, бревен – с туалетным зеркалом, дикости – с мыслью, грубой простоты – с присутствием женщины. Потолок, покрашенный желтой краской, казался освещенным снизу. Занавеси были спущены, и солнце боролось с ними, наполняя комнату красноватым туманом, прорезанным иглами лучей, нашедших щели.

Блюм потер руки, сел на кровать, встал, приподнял занавесь и выглянул. Каменистая почва с разбросанной по ней шерстью жестких, колючих трав круто обрывалась шагах в тридцати от дома ломаным убегающим вправо и влево контуром; на фоне голубого провала покачивались сухие стебли – граница возвышенного плато, шестисотсаженного углубления земной коры, затянутого прозрачным туманом воздуха. Всмотревшись, Блюм различил внизу кусок светлой проволоки – это была река.

Он тоскливо зевнул и опустил занавесь, подергивая плечами, как связанный. Конечно, он был свободен, но где-то разминались руки, назначенные поймать Блюма; здоров, но с веревкой на шее; спокоен – жалким суррогатом спокойствия – привычкой к ровному страху. Он сел на кровать, обдумывая будущее, и думал не фразами, а отрывками представлений, взаимно стирающих друг о друга мгновенную свою яркость. Опустив голову, он видел лишь микроскопические, красные точки, медленно ползающие в туманных сетях улиц далекого города. И эта перспектива исчезла; мерное движение точек соединилось с однообразным стуком идущего к Суану поезда; воображаемые вагоны толклись на одном месте, но с быстротой паровоза близились тревога и ужас, взмахивая темными крыльями над девственной равниной, цепенеющей в остром зное.

Беспокойный толчок сердца заставил Блюма вскочить, сделать несколько шагов и сесть снова. Дьявольские видения преследовали его. В Суане стучат копыта рослых жандармских лошадей. Тупой звук подков. Блестящие прямые сабли. Белая пыль. Красные мундиры, однообразные лица – густой солнечный лак обливает все; отряд движется уверенной, твердой рысью, вытягивается гуськом, толпится, делится на отдельных всадников. Копыта! Блюм видел их так же близко, как свои руки; они тупо шелкали перед самым его лицом; все ближе, с выцветшей шер-

стью лодыжек, покрытые трещинами, копыта равнодушных пожилых лошадей.

Он встал, не имея сил одолеть страх, вытер холодный пот и застонал от ярости. Красноватый свет занавесей пылил воздух. Блюм потрясал руками, стискивая кулаки, как будто надеялся поймать предательскую тишину, смять ее, разбить в тысячи кусков с блаженным, облегчающим грохотом. Припадок утомил его; вялый, осунувшийся, опустился он на кровать Тинга с злобным намерением уснуть наперекор страху. В продолжение нескольких минут состояние тяжелой дремоты обрывалось и рассеивалось, переходя в бесплодную работу сознания; наконец густой флер окутал глаза, и Блюм уснул.

Прошел час; голова негра показывалась в дверях, скалила зубы и исчезала. Лицо Блюма, багровое от духоты, металось на измятой подушке; изредка он стонал; странные кошмары, полные благоухающей зелени, гримас, цветов с глазами птиц, света, кровавых пятен, белых, точно замороженных губ душили его, мешаясь с полусознанием действительности. Вскрикивая, он открывал глаза, тупо встречал ими красноватые сумерки и цепенел снова в удушливом забытии, — потный, разморенный зноем и тишиной.

Солнце торопилось к закату; ветер, налетая с обрыва, отдувал занавесь, и в мгновенную, опадающую щель ее виднелись широкие смолистые листья деревьев, росших за окнами. Блюм проснулся, вскочил, глубоко вдыхая онемевшими легкими спертый воздух, и осмотрелся. То же безмолвие окружало его; прежнее красноватое освещение лежало на всех предметах, но теперь стены и одуряющий, пристальный свет штор, и мебель, и тишина таили в себе зловещую, утонченную внимательность, остроту человеческих глаз. Блюм расстегнул воротник рубашки, вытер платком мокрую грудь, отвел рукой штору и выглянул. На черте обрыва маячили, покачиваясь, сухие стебли; глубокий туман пропасти и светлая проволока реки блестели оранжевыми тенями угасающего дня, и в этом тоже было что-то зловещее. Блюм вздрогнул, с отвращением опустил штору, надел шляпу и вышел.

За дверью никого не было. Он двинулся по тропам сада, в душистой прохладе осыпанных белизной цвета высоких крон; живой снег бесчисленных, в глубине розовых, венчиков гудел миллионами насекомых; каскады остроконечной, иглистой, круглой, гроздьеподобной, резной листвы свешивались над головой и впереди узорами таинственных светлых сумерек; в конце тропы, за изгородью, ослепительно белела вечерней пылью каменистая, бегущая на холмы среди груд камней, дорога в Суан. Блюм вышел к ней, остановился, посмотрел влево и вправо: пустыня, поросшая кактусами. Потом резко повернул голову, прислушиваясь к ритмическим отголоскам, похожим на стук пальцами о крышку стола.

Через минуту Блюм мог с уверенностью различить твердую рысь лошади. Лицо его, обращенное к повороту дороги, еле намеченному кустами и выбоинами, осталось неподвижным, за исключением зрачков, сузившихся до объема маковых зерен. Сначала показалась голова лошади, затем шляпа и лицо всадника, а между плеч его — другое лицо. Женщина сидела впереди, откинув голову на грудь Тинга; левая рука его придерживала Ассунту спереди осторожным напряжением кисти, правая встряхивала поводья; он смотрел вниз и, по-видимому, говорил что-то, так как лицо женщины таинственно улыбалось.

Под гору лошадь шла шагом; верховая группа мерно колыхалась на глазах Блюма; на лицо Тинга и его жены падали отлогие, вечерние лучи солнца, тающего на горизонте. Блюм снял шляпу и поклонился, испытывая мгновенное, но тяжелое замешательство. Тинг натянул поводья.

— Ассунта, — сказал он, окидывая Блюма коротким взглядом, — иди в дом, я не задержусь здесь.

— Уйду, я устала, — она, по-видимому, торопилась и прыгнула на землю; ухватившись руками за гриву лошади, она ни разу не подняла глаз на Блюма и, оставив седло, прошла мимо незнакомца, наклонив голову в ответ на его вторичный поклон. Он успел рассмотреть ее, но уже через минуту затруднился бы определить, темные у нее волосы или светлые: так быстро она скрылась. Лицо ее отражало ясность и чистоту молодости; небольшое стройное тело, избалованное выражение рта, — все в ней носило печать свободной простоты, не лишенной, однако, некоторой застенчивости. Тинг улыбнулся.

— Я тоже узнал вас, — сказал Блюм, ошибочно толкуя эту улыбку, — и должен извиниться. У

меня много крови, я задыхаюсь в вагонах и буду задыхаться до тех пор, пока правительство не устроит для полнокровных какие-нибудь холодильники.

– Вы говорите, – удивленно произнес Тинг, – что вы тоже узнали меня. Но я, кажется, вас не видал раньше.

– Нет, – возразил Блюм, – сегодня утром в вагоне. Вы засорили глаз.

– Так. – Тинг рассеянно обернулся, ища глазами Ассунту. – Но что же вы имеете мне сказать?

– Пусть говорят другие, – вздохнул Блюм, вынимая письмо Хейля. – Это, кажется, ваш бывший или настоящий знакомец, Хейль. Прочтите, пожалуйста.

Тинг разорвал конверт. Пока он читал, Блюм чистил ногти иглой терновника – манера, заимствованная у Хейля, – поглядывая исподлобья на сосредоточенное лицо читающего. Темнело. Тинг сунул письмо в карман.

– Вы – господин Гергес, – а я – Тинг, – сказал он. – Здесь все к вашим услугам. Хейль пишет, что вам нужен приют дня на три. Оставайтесь. Кто вы сверх Гергеса, не мое дело. Пожалуйста. Тогда вот это письмо, – Тинг снял шляпу и вынул из нее небольшой пакет, – будет, конечно, вам; я получил его сегодня в Суане для передачи Гергесу.

Блюм с неудовольствием протянул руку; письмо это означало, что Хейль вовсе не намерен дать ему отдых.

Затем оба постояли с минуту, молча разглядывая друг друга; по неестественному напряжению лиц южный вечер прочел взаимную тягость и антипатию.

III Ассунта

Веранда, затянутая черным бархатом воздуха, напоминала освещенный плот в океане, ночью, когда волнение дремлет, а слух болезненно ловит малейший плеск влаги. На длинном столе горела медная старинная лампа, свет ее едва достигал ближайших ветвей, листья их тянулись из мрака призрачными посеребренными очертаниями. Негр собрал остатки ужина и ушел, шаркая кожаными сандалиями; благодаря цвету кожи, он исчез за чертой света мгновенно, точно растаял, и только секунду-другую можно было наблюдать, как белая посуда в его руках, потеряв вес, самостоятельно чертит воздух.

Тинг сидел лицом к саду и пил кларет. Блюм-Гергес помещался против него, глотая водку из плетеного охотничьего стакана. И совсем близко к Тингу, почти касаясь его головы закутанным шалью плечом, стояла, прислонившись к стене, Ассунта.

– Я был нотариусом, – придиричиво сказал Блюм. Охмелев, он чувствовал почти всегда непреодолимое желание ломать комедию или балансировать на канате осторожной, веселой дерзости. – Вы, честное слово, не удивляйтесь этому. Битый час мы говорили о новых постройках в Суане, и вы, пожалуй, могли принять меня за проворовавшегося подрядчика. Я был нотариусом. Жестокие наследники одного состояния строили, видите ли, козни против прелестнейшей из всех девушек в мире; а она, надо вам сказать, любила меня со всем пылом молодости. По закону все состояние – а состояние это равнялось десяти миллионам – должно было перейти к ней. Меня просили, мне грозили, требовали, чтобы я это завещание уничтожил, а я отказался. Тут ввязались министры, какие-то подставные лица, и я подвергся преследованию. Убежав, я сжег свой дом.

Он выкладывал эти бредни, не улыбаясь, с чувством сокрушения в голосе. Широко открытые глаза Ассунты смотрели на него с недоумением, замаскированным слабой улыбкой.

– Я знал Хейля, – сказал Тинг, стараясь переменить разговор, – он напечатал мою статью в прошлом году. Он ведь служит в редакции «Знамя Юга», а зимой, во время последних восстаний, был военным корреспондентом.

– Политическую статью, – полуутвердительно кивнул Блюм. – Я знаю, вы требовали уничтожения налога на драгоценности. Эта мера правительства не по вкусу женщинам; да, я вас понимаю.

Невозможно было понять, смеется или серьезно говорит этот человек с круглым, дрожащим ртом, неподвижными глазами и жирным закруглением плеч.

– Тинг, – сказала Ассунта, и улыбка ее стала определеннее, – господин Гергес хочет сказать, конечно, что ты не занимаешься пустяками.

Блюм поднял голову; взгляд ее остановился на нем, спокойный, как всегда; взгляд, рождающий глухую тоску. Он почувствовал мягкий отпор и внутренне подобрался, намереваясь изменить тактику.

– Политика, – равнодушно произнес Тинг, – это не мое дело. Я человек свободный. Нет, Гергес, я написал о серебряных рудниках. Там много любопытного.

Он посмотрел в лицо Блюма; оно выражало преувеличенное внимание с расчетом на откровенность.

– Да, – продолжал Тинг, – вы, конечно, слышали об этих рудниках. Там составляются и проигрываются состояния, вспыхивает резня, разыгрываются уголовные драмы. Я описал все это. Хейль исправлял мою рукопись, но это неудивительно, – я учился писать в лесу, столом мне служило седло, а уроками – беззубая воркотня бродяги Хименса, когда он бывал в хорошем расположении духа.

– Тинг – сын леса, – сказала Ассунта, – он думает о нем постоянно.

– Бродячая жизнь, – торжественно произнес Блюм, – вы испытали ее?

– Я? – Тинг рассмеялся. – Вы знаете, я здесь живу только ради Ассунты. – Он посмотрел на жену, как бы спрашивая: так ли это? На что она ответила кивком головы. – Родителей я не помню, меня воспитывал и таскал за собой Хименс. В засуху мы охотились, в дожди – тоже; охотились на юге и севере, западе и востоке. А раз я был в партии золотоискателей и не совсем несчастливо. Я жил так до двадцати четырех лет.

– Придет время, – угрюмо произнес Блюм, – когда исчезнут леса; их выжгут люди, ненавидящие природу. Она лжет.

– Или говорит правду, смотря по ушам, в которых гудит лесной ветер, – возразил Тинг, инстинктивно угадывая, что чем-то задел Гергеса. От лица гостя веяло непонятым, тяжелым сопротивлением. Тинг продолжал с некоторым задором:

– Вот моя жизнь, если это вам интересно. Я иногда пописываю, но смертельно хочется мне изложить историю знаменитых охотников. Я знал Эйклера, спавшего под одеялом из скальпов; Беленького Бизона, работавшего в схватках дубиной, потому что, как говорил он, «грешно проливать кровь»; Сенегду, убившего пятьдесят гризли; Бебиль Висельник учил меня подражать крику птиц; Нежный Артур, прозванный так потому, что происходил из знатного семейства, лежал умирающий в моем шалаше и выздоровел, когда я сказал, что отыскал тайник Эноха, где были планы бобровых озерков, известных только ему.

Глаза Тинга светились; увлеченный воспоминаниями, он встал и подошел к решетке веранды. Блюм, красный от спирта, смотрел на Ассунту; что-то копилось в его мозгу, укладывалось и ускользало; входило и выходило, ворочалось и ожидало конечного разрешения; эта работа мысли походила на старание человека попасть острием иглы в острие бритвы.

– А что вы любите? – неожиданно спросил он таким тоном, как будто ответ мог помочь решить известную лишь ему сложную математическую задачу. – Я полагаю, что этот вопрос нескромен, но мы ведь разговорились.

В последних его словах дрогнул еле заметный насмешливый оттенок.

– Ну, что же, – помолчав, сказал Тинг, – я могу вам ответить. Пожалуй – все. Лес, пустыню, парусные суда, опасность, драгоценные камни, удачный выстрел, красивую песню.

– А вы, прелестная Ассунта, – лстиво осклабился Блюм, – вы тоже? Между нами говоря, жизнь в городах куда веселее. Женщины вашего возраста делают там себе карьеру, это в моде; честолюбие, благотворительность, влияние на политических деятелей – это у них считается большим лакомством. Вы здесь затеряны и проскучаете. Как вы живете?

– Я... не знаю, – сказала молодая женщина и засмеялась; краска залила ее нежное лицо, растаяв у маленьких ушей. Она помолчала, взглядывая из-под опущенных ресниц на Гергеса. – Я очень люблю вставать рано утром, когда еще холодно, – несмело произнесла она.

Блюм громко захохотал и поперхнулся. Сиплый кашель его бросился в глубину ночи; брезгливая тишина медленно стряхнула эти звуки, чуждые ее сну.

– Жизнь ее благословенна, – сухо сказал Тинг, – а значение этой жизни, я полагаю, выше нашего понимания.

Блюм встал.

– Я пойду спать, – заявил он, зевая и щурясь. – Негр приготовил мне отличную постель вверху, под крышей. Мой пол – ваш потолок, Тинг. Спокойной ночи.

Он двинулся, грузно передвигая ногами, и скрылся в темноте. Тинг посмотрел ему вслед, задумчиво посвистал и обернулся к Ассунте. Один и тот же вопрос был в их глазах.

– Кто он? – спросила Ассунта.

– Я это же спрашиваю у себя, – сказал Тинг, – и не нахожу ответа.

Блюм остановился за углом здания; он слышал последние слова Тинга и ждал, не будет ли чего нового. Слепящий мрак окружал его; сердце билось тоскливо и беспокойно. За углом лежал отблеск света; слабые, но ясные звуки голосов выходили оттуда – голоса Ассунты и Тинга.

– Вот это я прочитаю тебе, – расслышал Блюм. – Для стихов это слишком слабо, и нет правильности, но, Ассунта, я ехал сегодня в поезде, и стук колес твердил мне отрывочные слова; я повторял их, пока не запомнил.

Блюм насторожил уши. Короткая тишина оборвалась немного изменившимся голосом Тинга:

В мгле рассвета побледнел ясный
ореол звезд,
Сон тревожный, покой напрасный
трудовых гнезд
Свергнут небом, где тени утра
плывут в зенит,
Ты проснулась – и лес дымит,ся,
земля звенит;
Дай мне руку твою, ребенок
тенистых круч;
Воздух кроток, твой голос звонок,
а день певуч.
Там, где в зное лежит пустынный,
глухой Суан,
Я заклатью предаю небо
четырех стран;
Бархат тени и ковры света
в заревой час,
Звезды ночи и поля хлеба –
для твоих глаз.
Им, невинным близнецам смеха,
лучам твоим,
Им, зовущим, как печаль эха,
и только им,
Тьмой завешенный – улыбался
голубой край
Там, где бешеный ад смеялся
и рыдал рай.

Он кончил. Блюм медленно повторил про себя несколько строк, оставшихся в его памяти, сопровождая каждое выражение циническими ругательствами, клейкими вонючими словами публичных домов; отвратительными искажениями, бросившими на его лицо невидимые в темно-

те складки усталой злобы...

Разговор стал тише, отрывистее; наконец, он услышал сонный и совсем, совсем другой, чем при нем, голос Ассунты:

– Тингушок, возьми меня на ручки и отнеси спать.

IV

Последняя точка Хейля

Расширение лесной медленно текущей реки оканчивалось грудой серых камней, вымытых из почвы разливами и дождями. Человек, сидевший на камнях, посмотрел вверх с ощущением, что он находится в глубоком провале. Меж выпуклостей стволов реял лесной сумрак; пышные болотные папоротники скрывали очертание берегов; середина воды блестела густым светом, ограниченным тенью, падавшей на реку от непроницаемой листвы огромных деревьев. У ног Блюма мокли на круглых с загнутыми краями листьях белые и фиолетовые водяные цветы, испещренные красноватыми жилками; от них шел тонкий сырой аромат болота, сладковатый и острый.

Блюм посмотрел на часы; девственный покой леса превращал их тиканье в громкий, суеливый шепот нетерпеливого ожидания. Он спрятал их, продолжая кусать губы и смотреть на воду; затем встал, походил немного, стараясь не удаляться от берега, возвратился и сел на прежнее место.

Прошло несколько времени. Маленькое голубое пятно, только что замеченное им слева, пропадало и показывалось раз двадцать, приближаясь вместе с неровным потрескиванием валежника; наконец, бритые губы раздвинулись в сухую улыбку, – улыбку Хейля; он шел к Блюму с протянутой рукой, разглядывая его еще издали.

Хейль был одет в праздничный степенный костюм зажиточного скотовода или хозяина мастерской: толстые ботинки из желтой кожи, светлые брюки и куртка, пестрый жилет, голубой с белыми горошками пластрон и шляпа с низко опущенными полями. Он, видимо, недавно покинул седло, так как от него разило смешанным запахом одеколона и лошадиного пота.

– Я шел берегом, пробираясь сквозь чащу, – сказал Хейль, – лошадь привязана за полмили отсюда; невозможно было вести ее в этой трущобе. Как ваше здоровье? Вы, кажется, отдохнули здесь. Мое письмо, конечно, вами получено.

– Я здоров, с вашего позволения. – Блюм сел в траву, подобрав ноги. Хейль продолжал стоять. – Письмо, план этой жилой местности и милостивые ваши инструкции я получил, потому-то и имею счастье взирать на вашу мужественную осанку.

Он проговорил это своим обычным, тонким, ворчащим голосом, похожим на смешанные звуки женской брани и жиканье точильного камня.

– Вы не в духе, – сказал Хейль, – высморкайтесь, это от насморка. Как живет Тинг? Я видел его полгода назад, а жену его не встречал ни разу. Довольны ли вы их отношением?

– Я? – удивленно спросил Блюм. – Я плачу от благородства. Я благословляю их. Я у них, как родной, – нет, – внезапно бросая тон кривляющегося актера прибавил Блюм, – в самом деле, и теперь вы можете мне поверить, я очень люблю их.

Хейль рассеянно кивнул головой, присел рядом с Блюмом, бегло осмотрел речку и задумался, всасывая ртом нижнюю губу. Молчание длилось минут пять; посторонний наблюдатель мог бы смело принять их за людей, размышляющих о способе переправиться на другой берег.

– Ваше положение, – сказал, наконец, Хейль, – очень затруднительно. Вам надо исчезнуть совсем, отправиться в другие края. Там вы можете быть полезны. Я точно обдумал весь маршрут и предусмотрел все. Согласны вы ехать?

Блюм не пошевелил бровью, как будто этот вопрос относился к совершенно другому человеку. Он молчал, невольно молчал и Хейль. Несколько времени они смотрели друг другу в глаза с таким вниманием, словно ими были исчерпаны все разговорные темы; Хейль, задетый непонятным для него молчанием Блюма, отвернулся, рассматривая свесившуюся над головой ткань цветущих выюнков, и заметил вслух, что роскошные паразиты напоминают ему, Хейлю, блестя-

щих женщин.

– Нет, – сказал Блюм и бросил в воду небольшой камень, пристально следя за исчезающими кругами волнения. – Я не поеду.

– Не-ет... Но у вас должны быть серьезные причины для этого.

– Да, да, – Блюм поспешно обернулся к Хейлю, проговорив рассудительным, деловым тоном: – Я хочу от вас отделаться, Хейль, от вас и ваших.

– Какой дьявол, – закричал Хейль, покраснев и вскакивая, – вкладывает в ваш мозг эти дерзкие шутки!.. Вы ренегат, что ли?..

– Я преступник, – тихо сказал Блюм, – профессиональный преступник. Мне, собственно говоря, не место у вас.

– Да, – возразил изумленный Хейль, овладевая собой и стараясь придать конфликту тон простого спора, – но вы пришли к нам, вы сделали два блестящих дела, третье предполагалось поручить вам за тысячу миль отсюда, а теперь что?

– Да я не хочу, поняли? – Блюм делался все грубее, казалось, сдержанность Хейля раздражала его. – Я пришел, и я ушел; посвистите в кулак и поищите меня в календаре, там мое имя. Как было дело? Вы помогали бежать одному из ваших, я сидел с ним в одной камере и бежал за компанью; признаться, скорее от скуки, чем от большой надобности. Ну-с... вы дали мне переночевать, укрыли меня. Что было мне делать дальше? Конечно, выждать удобного случая устроиться посolidнее. Затем вы решили, что я – человек отчаянный, и предложили мне потрошить людей хорошо упитанных, из высшего общества. Мог ли я отказать вам в такой безделке, – я, которого смерть лизала в лицо чаще, чем сука лижет щенят. Вы меня кормили, одевали и обували, возили меня из города в город на манер багажного сундука, пичкали чахоточными брошюрами и памфлетами, кричали мне в одно ухо «анархия», в другое – «жандармы!», скормили полдесятка ученых книг. Так, я, например, знаю теперь, что вода состоит из азота и кислорода, а порох изобретен китайцами. – Он приостановился и посмотрел на Хейля взглядом продажной женщины. – Вы мне благоволили. Что ж... и дуракам свойственно ошибаться.

Сильный гнев блеснул в широко раскрытых глазах Хейля; он сделал было шаг к Блюму, но удержался, потому что уяснил положение. Отпущенный Блюм, правда, мог быть опасен, так как знал многое, но и удерживать его теперь не было никакого смысла.

– Не блещете вы, однако, – глухо сказал он. – Значит, игра в открытую. Я поражен, да, я поражен, взбешен и одурочен. Оставим это. Что вы намерены теперь делать?

– Пакости, – захохотал Блюм, раскачиваясь из стороны в сторону. – Вы бьете все мимо цели, все мимо цели, милейший. Я не одобряю ваших теорий, – они слишком добродетельны, как ужимочки старой девы. Вы натолкнули меня на гениальнейшее открытие, превосходящее заслуги Христофора Колумба. Моя биография тоже участвовала в этом плане.

Хейль молчал.

– Моя биография! – крикнул Блюм. – Вы не слышите, что ли? Она укладывается в одной строке: публичный дом, исправительная колония, тюрьма, каторга. В публичном доме я родился и воспринял святое крещение. Остальное не требует пояснений. Подробности: зуботычины, пощечины, избиевание до полусмерти, плети, удары в голову ключом, рукояткою револьвера. Пощечины делятся на четыре сорта. Сорт первый: пощечина звонкая. От нее гудит в голове, и все качается, а щека горит. Сорт второй – расчетливая: концами пальцев в висок, стараясь задеть по глазу; режущая боль. Сорт третий – с начинкой: разбивает в кровь нос и расшатывает зубы. Сорт четвертый: пощечина клейкая, – дается липкой рукой шпиона; не больно, но целый день лицо загажено чем-то сырым.

– Мне нет дела до вашей почтенной биографии, – сухо сказал Хейль. – Ведь мы расстаемся?

– Непременно. – Крупное лицо Блюма покрылось красными пятнами. – Но вы уйдете с сознанием, что все вы – мальчишки передо мной. Что нужно делать на земле?

Он порылся в карманах, вытащил смятую, засаленную бумажку и начал читать с тупым самодовольством простолудина, научившегося водить пером:

«Сочинение Блюма. О людях. Следует убивать всех, которые веселые от рождения. Имею-

щие пристрастие к чему-либо должны быть уничтожены. Все, которые имеют зацепку в жизни, должны быть убиты. Следует узнать про всех и, сообразно наблюдению, убивать. Без различия пола, возраста и происхождения».

Он поднял голову, немного смущенный непривычным для него актом, как поэт, прочитавший первое свое стихотворение, сложил бумажку и вопросительно рассмеялся. Хейль внимательно смотрел на него, – нечто любопытное послышалось ему в запутанных словах Блюма.

– Что же, – насмешливо спросил он, – синодик этот придуман вами?

– Я сообразил это, – тихо сказал Блюм. – Вы кончили мою мысль. Не стоит убивать только тех, кто был бы рад этому. Это решено мной вчера, до тех пор все было не совсем ясно.

– Почему?

– Так. – Тусклые глаза Блюма сощурились и остановились на Хейле. – Разве дело в упитанных каплунах или генералах? Нет. Что же, вы думаете, я не найду единомышленников? Столько же, сколько в лесу осиних гнезд. Но я не могу объяснить вам самого главного, – таинственно добавил он, – потому что... то есть почему именно это нужно. Здесь, видите ли, приходится употреблять слова, к которым я не привык.

– Почтенный убийца, – хладнокровно возразил Хейль, – я, кажется, вас понимаю. Но кто же останется на земле?

– Горсть бешеных! – хрипло вскричал Блюм, уводя голову в плечи. – Они будут хлопать успокоенными глазами и нежно кусать друг друга острыми зубками. Иначе невозможно.

– Вы сумасшедший, – коротко объявил Хейль. – То, что вы называете «зацепкой», есть почти у каждого человека.

Блюм вдруг поднял брови и засопел, словно его осенила какая-то новая мысль. Но через секунду лицо его сделалось прежним, непроницаемым в обычной своей тусклой бледности.

– И у вас? – пристально спросил он.

– Конечно. – Яркое желание бросить в отместку Блюму что-нибудь завидное для последнего лишило Хейля сообразительности. – Я честолобив, люблю опасность, хотя и презираю ее; недурной журналист, и – поверьте – наслаждаться блаженством жизни, сидя на ящике с динамитом, – очень тонкое, но не всякому доступное наслаждение. Мы – не проповедники смерти.

– У вас есть зацепка, – утвердительно сказал Блюм.

Хейль смерил его глазами.

– А еще что хотели вы сказать этим?

– Ничего, – коротко возразил Блюм, – я только говорю, что и у вас есть зацепка.

– Вот что, – Хейль проговорил это медленно и внушительно: – Бойтесь повредить нам болтовней или доносами: вы – тоже кандидат виселицы. Я сказал, – ставлю точку и ухожу. Кланяйтесь Тингу. Прощайте.

Он повернулся и стал удаляться спиной к противнику. Блюм шагнул вслед за ним, протянул револьвер к затылку Хейля, и гулкий удар пролетел в тишине леса вместе с небольшим белым клубком.

Хейль, не оборачиваясь, приподнял руки, но тотчас же опустил их, круто взмахнул головой и упал плашмя, лицом вниз, без крика и судорог. Блюм отскочил в сторону, нервно провел рукой по лицу, затем, вздрагивая от острого холода в груди, подошел к труп, секунду простоял неподвижно и молча присел на корточки, рассматривая вспухшую под черными волосами небольшую, сочащуюся кровью рану.

– Чисто и тщательно сделанный опыт, – пробормотал он. – Револьвер этой системы бьет удивительно хорошо.

Он взял мертвого за безжизненные, еще теплые ноги и потащил к реке. Голова Хейля ползла по земле бледным лицом, моталась, ворочалась среди корней, путалась волосами в папоротниках. Блюм набрал камней, погрузил их в карманы Хейля и, беспрестанно оборачиваясь, столкнул труп в освещенную темно-зеленую воду.

Раздался глухой плеск, волнение закачало водоросли и стихло. Спящее лицо Хейля проплыло в уровне воды шагов десять, сузилось и опустилось на дно.

V Тишина

Блюм проснулся в совершенной темноте ночи, мгновенно припомнил все, обдуманное еще днем, после того, как бледное лицо Хейля потонуло в лесной воде, и, не зажигая огня, стал одеваться с привычной быстротой человека, обладающего глазами кошки и ногами мышонка. Он натянул сапоги, тщательно застегнул жилет, нахлобучил плотнее шляпу, шею обмотал шарфом. Все это походило на приготовления к отъезду или к тихой прогулке подозрительного характера. Затем, все не зажигая огня, вынул карманные часы, снял круглое стекло их острием складного ножа и ощупал циферблат пальцами, – стрелки показывали час ночи.

Он постоял несколько минут в глубоком раздумьи, резко улыбаясь невидимым носкам сапог, подошел к окну и долго напряженно слушал стрекотанье цикад. Сердце тишины билось в его душе; тьма, униженная роскошным дождем звезд, приближала свои глаза к бессонным глазам Блюма, сном казался минувший день, мрак – вечностью. Это была вторая ночь гостя; настроенный торжественно и тревожно, как доктор, засучивший рукава для небольшой, но серьезной операции, Блюм отворил дверь и стал спускаться по лестнице. На это он употребил минут десять, делая каждый шаг лишь после того, как исчезало даже впечатление прикосновения ноги к оставленной позади ступеньке. Выходная дверь открывалась в сад. Он прикоснулся к ней легче воздуха, увеличивая приоткрытую щель с медленностью волокиты, проникающего к любовнице через спальню ее мужа, и так же медленно, осторожно ступил на землю.

Влажный мрак поглотил его; он исчез в нем, растаял, слился с тьмой и двигался, как луна-тик, протягивая вперед руки, но зорко улавливая оттенки тьмы, намечавшие ствол дерева или угол дома. Через несколько минут слабо заржала лошадь, его лошадь, привязанная негром к столбу небольшого деревянного заграждения, где стояли две лошади Тинга. Блюм гладил крутую шею; теплая кожа животного скользила под его рукой; присутствие живого существа наполнило человека жесткой уверенностью. Блюм размотал коновязь, расправил захваченную узду, взнуздal лошадь и потянул ее за собой.

Теперь, обеспеченный на случай тревоги, он двинулся быстрее, шел тверже. Копыта глухо переступали за его спиной. Блюм пересек пустое, неогороженное пространство, заворачивая со стороны обрыва; миновав второй угол здания, он привязал лошадь к кустарнику, прополз на четвереньках вперед, выступил головой из-за третьего угла и припал к земле, пораженный тяжелым хлестким ударом неожиданности.

Из окна бежал свет; косая бледная полоса его терялась в сумрачном узоре листвы. Тинг, по-видимому, не спал; причина этого была понятна Блюму не более, чем воробью зеркало, так как, по собственным словам Тинга, он ложился не позднее двенадцати. С минуту Блюм оставался неподвижен, тоска грызла его, всевозможные, один другого отчаяннее и нелепее, планы боролись друг с другом в бешено заработавшей голове. Он наскоро пересмотрел их, отбросил все, решил выждать и пополз вдоль стены к полосе света.

Чем более приближался он, тем яснее и мучительнее касался его ушей негромкий перелив разговора. Под окном он остановился, присел на корточки и переложил из левой руки в правую небольшой сильный револьвер. Блюм был почти спокоен, холодно созерцая риск положения, как в те дни, когда взламывал чужие квартиры. Ему предстояло дело, он жаждал выполнить его тщательнее. И видел совершенно отчетливо одно: свои руки, делающие в неопределенный еще момент бесшумные жуткие усилия.

Он поднял голову, рассчитал, что нижний край окна придется в уровень глаз, и встал, выпрямившись во весь рост. В этот момент рука его приросла к револьверу, дыхание прекратилось. Глаза встретили яркий свет. Блюм привалился к стене грудью, безмолвный, застывший, почти не дышащий. Вместе с ним смотрела, слушая, ночь.

Горели две свечи: одна у окна, на выступе низенького темного шкафа, другая – у противоположной стены, на круглом столе, застланном цветной скатертью. В глубине толстого кожаного дивана, развалившись и обхватив колени руками, сидел Тинг. Огромный звездообразный ковер из меха пумы скрывал пол; в центре этого оригинального украшения, подпирая руками голову,

лежала ничком Ассунта; ее длинные, пушистые волосы, распущенные и немного растрепанные, падали на ковер; из их волнистого маленького шатра выглядывало смеющееся лицо женщины. Она болтала ногами, постукивая одна другую розовыми голыми пятками. В этот момент, когда Блюм увидел все это, Тинг продолжал говорить, с трудом приискивая слова, как человек, боящийся, что его не точно поймут.

– Ассунта, мне хочется, чтобы даже тень огорчения миновала тебя. Долго ли я пробуду в отсутствии? Полгода. Это большой срок, я знаю, но за это время я успею побывать во всех странах. Меня дразнит земля, Ассунта; океаны ее огромны, острова бесчисленны, и масса таинственных, смертельно любопытных углов. Я с детства мечтаю об этом. Буду ли я здоров? Конечно. Я очень вынослив. И я не буду один, нет, – ты будешь со мной и в мыслях, и в сердце моем всегда. – Он вздохнул. – Хотя, я думаю, было бы довольно и пяти месяцев.

– Тинг, – сказала Ассунта, улыбаясь, с маленьким тайным страхом в душе, что Тинг, пожалуй, уедет по-настоящему, – но я тоже хочу с тобой. Разве ты не любишь меня?

Тинг покраснел.

– Ты глупая, – сказал он так, как говорят детям, – разве ты вынесешь? Мне не нужны гостиницы, я не турист, я буду много ходить пешком, ездить. Мне страшно за тебя, Ассунта.

– Я сильная, – гордо возразила Ассунта, осторожно стучая сжатым кулачком мех ковра, – я, правда, маленького роста и легкая, но все же ты не должен относиться ко мне насмешливо. Я могу ходить с тобой везде и стрелять. Мне будет скучно без тебя, понял? И ты там влюбишься в какую-нибудь... – Она остановилась и посмотрела на него сонными, блестящими глазами. – В какую-нибудь чужую Ассунту.

– Ассунта, – с отчаянием сказал Тинг, подскакивая, как ужаленный, – что ты говоришь! В какую же женщину я могу влюбиться?

– А это должен знать ты. Ты не знаешь?

– Нет.

– А я, Тингушок, совершенно не могу знать. Может быть, в коричневую или посветлей немножко. Ну вот, ты хохочешь. Я ведь серьезно говорю, Тинг, – да Тинг же!

Лицо ее приняло сосредоточенное, забавное, сердитое выражение; тотчас же вслед за этим внезапным выражением ревности Ассунта разразилась тихим, сотрясающим все ее маленькое тело, долгим неудержимым смехом.

– Тише ты смейся, – сказала она по частям, так как целиком эта фраза не выговаривалась, разрушаемая хохотом, – ты смейся, впрочем...

Оба хотели сказать что-то еще, встретились одновременно глазами и безнадежно махнули рукой, сраженные новым припадком смеха. Темный, внимательный, смотрел на них из-за окна Блюм.

– Ассунта, – сказал Тинг, успокаиваясь, – правда, мне слишком тяжело будет без тебя. Я думаю... что... в первый раз... хорошо и три месяца. За это время много можно объехать.

– Нет, Тинг, – Ассунта переместилась в угол дивана, подобрав ноги, – слышишь, из-за меня ты не должен лишаться чего бы то ни было. Я избалованная, это так, но есть у меня и воля. Я буду ждать, Тинг. А ты вернешься и расскажешь мне все, что видел, и я буду счастлива за тебя, милый.

Тинг упорно раздумывал.

– Вот что, – заявил он, подымая голову, – мы лучше поедem вместе, когда... у нас будет много денег. Вот это я придумал удачно, сейчас я представил себе все в действительности и... безусловно... то есть расстаться с тобой для меня невозможно. С деньгами мы будем поступать так: ты останавливаешься в какой-нибудь лучшей гостинице, а я буду бродить. Почему раньше мне не приходило этого в голову?

Он щелкнул пальцами, но взгляд его, останавливаясь на жене, еще что-то спрашивал. Ассунта улыбнулась, закрыв глаза; Тинг наклонился и поцеловал ее задумчивым поцелуем, что прибавило ему решительности в намерениях.

– Я без тебя не поеду, – заявил он. – Да.

Лукавое маленькое молчание было ему ответом.

– Совершенно не поеду, Ассунта. А я и ты – вместе. Или не поеду совсем. Денег у нас теперь, кажется... да, так вот как.

Ассунта обтянула юбку вокруг колен, прижимаясь к ним подбородком.

– Ты ведь умненький, – наставительно сказала она, – и довольно смешной. Нет, ты, право, ничего себе. Бывают ли с тобой, между прочим, такие вещи, что неудержимо хочется сделать что-нибудь без всякого повода? Меня, например, тянет подойти к этому окну и нагнуться.

Блюм инстинктивно присел. Тинг рассеянно посмотрел в окно, отвернулся и спрятал руки Ассунты в своих, где им было так же спокойно, как в гнезде птицам.

– Усни, – сказал он. – Почему мы не спим сегодня так долго? Глухая ночь, а между тем меня не клонит к подушке, и голова ясна, как будто теперь утро. Пожалуй, я поработаю немного.

Блюм переживал странное оцепенение, редкие минуты бесстрастия, глубочайшей уверенности в достижении своей цели, хотя до сих пор все было, по-видимому, против этого. Он не мог прыгнуть в комнату; как произойдет все, не было известно ему, и даже намек на сколько-нибудь отчетливое представление об этом не ощущал он в себе, но благодушно вздыхал, переминаясь с ноги на ногу, и ждал с настойчивостью дикаря, покорившего свое несовершенное тело отточенному борьбе инстинкту. Ручная, послушная ярость спала в нем, он бережно, любовно следил за ней, томился и радовался.

– Ты идешь спать? – сказал Тинг, перебирая пальцы Ассунты. – Ну да, и мне кажется, что ты дремлешь уже.

– Нет. Я выйду и похожу немного. – Ассунта встала, и Тинг заметил, что и капли сна нет в ее блестящих глазах, полных серьезной нежности. – Как душно, Тинг, – мне душно, и я не знаю, отчего это. Мое сердце торопится и стучит, торопится и замирает, как будто говорит, но не может высказать. Мне грустно и весело.

Она закинула руки, потянулась, стремительно обняла Тинга и вышла в темный узкий коридор дома. Некоторое время Блюм не видел и не слышал ее, но вскоре уловил легкий шелест вблизи себя, прислушался и затрепетал. Прежде, чем двинуться на звук шагов, он сунул в карман револьвер, это оружие было теперь ненужным.

Ослепительный, торжественный мрак скрывал землю. Бессонные глаза ночи дышали безмолвием; полное, совершенное, чистое, как ключевая вода, молчание стерегло пустыню, бесконечно затопив мир, уходило к небу и царствовало. В нем, обрызганные созвездиями ночных светил, толпились невидимые деревья; густой цвет их кружил голову тонким, но сильным запахом, щедрым и сладким, волнующим и привольным, влажным и трогательным, как полураскрытые сонные уста женщины; обнимал и тревожил миллионами воздушных прикосновений и так же, как тишина, рос бесконечно властными, неосознательными усилиями, бескрылый и легкий.

Ассунта бессознательно остановилась в глубине сада. Руки ее прильнули к горячему лицу и медленно опустились. Воздух глубоко наполнял легкие, щекотал самые отдаленные поры их, как шмель, перебирающий мохнатыми лапками в глубине венчика; неугомонно и звонко стучало сердце: немой голос его не то звал куда-то, не то спрашивал. Женщина снова подняла руки, прижимая их к теплой груди, и рассмеялась беспричинным, беззвучным смехом. Недолго простояла она, но уже показалось ей, что нет ни дома, ни земли под ногами, что бесконечна приветная пустота вокруг, а она, Ассунта, стала маленькой, меньше мизинца, и беззащитной, и от этого весело. Неслышный призрачный звон ночи пришел к ней из бархатных глубин мрака, звон маленьких колокольчиков, пение земли, игра микроскопических цитр, взволнованная жизнь крови. Звон шел к ней, разбиваясь волнами у ее ног; неподвижная, улыбающаяся всем телом, чем-то растроганная, благодарная неизвестному, Ассунта испытывала желание стоять так всегда, вечно, и дышать и трогать маленькое свое сердце – оно ли это стучит? Оно влажное, теплое; она и сердце – и никого больше.

Блюм скорее угадал ее, чем увидел; соображая в то же время расстояние до оставленной позади лошади, он тихо подвигался вперед. Правая рука его торопливо что-то нащупывала в кармане; Блюм сделал еще несколько шагов и почувствовал, что Ассунта совсем близко, против него. Он глубоко вздохнул, сосредоточился и холодно рассчитал время.

– Это ты, Тинг? – задумчиво сказала Ассунта. – Это пришел ты. Я успокоилась, и мне хо-

рошо. Иди, я сейчас вернусь.

Запах непролитой еще крови бросился Блюму в голову и потряс его.

– Тинг, – проговорил он наполовину трепетным движением губ, наполовину звуком, мало напоминающим человеческий голос. – Не придет Тинг.

Глухая боль внезапного страха женщины мгновенно передалась ему, он оттолкнул боль и занес руку.

– Кто это? – медленно, изменившимся голосом спросила Ассунта. Она отступила, инстинктивно закрывая себя рукой. – Вы, Гергес? И вы не спите. Нет, мне просто слышалось. Кто здесь?

– Это ваша рука, Ассунта, – сказал Блюм, сжимая тонкую руку ее уверенными холодными пальцами. – Ваша белая рука. А это – это рука Гергеса.

Он с силой дернул к себе молодую женщину, ударив ее в тот же момент небольшим острым ножом – удар, рассчитанный по голосу жертвы – правее и ниже. Слух его смутно, как во сне, запомнил глухой крик, остальное исчезло, смертельный гул крови, отхлынувшей к сердцу, обдал Блюма горячим паром тревоги. Через минуту он был в седле, и головокружительная, сумасшедшая скачка показалась ему в первый момент движением черепахи.

Взмах, удар, крик раненой мелькнули далеким сном. Он мчался по дороге в Суан, изредка волнуемый страхом быть пойманным, прежде чем достигнет города. Конвульсивное обсуждение сделанного странно походило на галоп лошади; мысли, вспыхивая, топтали друг друга в беспорядочном вихре. Сознание, что не было настоящей выдержки и терпения, терзало его. «Ничего больше не оставалось», – твердил он. Лошадь, избитая каблуками, вздрагивала и бросалась вперед, но все еще оставалось впечатление, будто он топчется на одном месте. Иногда Блюм овладевал собой, но вспоминал тут же, что прошло десять – пятнадцать минут, не более, с тех пор, как скачет он в темноте пустыни; тогда этот промежуток времени то увеличивался до размеров столетия, то исчезал вовсе. По временам он ругался, ободряя себя; попробовал засмеяться и смолк, затем разразился проклятиями. Смех его походил на размышление; проклятия – на разговор со страхом. Неосиленная еще часть дороги представлялась чем-то вроде резинового каната, который невозможно смотать, потому что он упорно растягивается. Зудливая физическая тоска душила за горло.

Наконец Блюм остановил лошадь, прислушиваясь к окрестностям. Отдуваясь, обернувшись лицом назад, он слушал до боли в ушах. Было тихо; тишина казалась враждебной. Пустив лошадь шагом, он через несколько минут остановил ее, но одинокое, хриплое дыхание загнанного животного не подарило Блюму даже капли уверенности в своей безопасности; он прислушался в третий раз и, весь всколыхнувшись, ударил лошадь ручкой револьвера; сзади отчетливо, торпливо и тихо несясь дробный, затерянный в тишине, уверенный стук копыт.

VI

Тинг догоняет Блюма

Тинг выбежал на крик с глухо занывшим сердцем. За минуту перед этим он был совершенно спокоен и теперь весь дрожал от невыразимой тревоги, стараясь сообразить, что произошло за окном. Тьма встретила его напряженным молчанием.

– Ассунта, – громко позвал он и, немного погодя, крикнул опять: – Ассунта!

Собственный его голос одиноко вспыхнул и замер. Тогда, не помня себя, он бросился в глубину сада, обежал его в разных направлениях с быстротой лани и остановился: глухой внутренний толчок приковал внимание Тинга к чему-то смутно белеющему у его ног.

Он наклонился и первым прикосновением рук узнал Ассунту. Теплое, неподвижное тело ее, вытянувшись, повисло в его объятиях с тяжелой гибкостью неостывшего трупа.

– А-а, – болезненно сказал Тинг.

Глухое, невероятное страдание уничтожало его с быстротой огня, съедающего солому. Это было помешательство мгновения, тоска и страх. Он не понимал ничего; растерянный, готовый закричать от ужаса, Тинг тщетно пытался удержать внезапную дрожь ног. Бережно приподняв

Ассунту, он двинулся по направлению к дому, шатаясь и вскрикивая. Действительность этого момента по всей своей силе переживалась им, как сплошной кошмар; жизнь сосредоточилась и замерла в одном ощущении дорогой тяжести. Он не помнил, как внес Ассунту, как положил ее на ковер, как очутился стоящим на коленях, что говорил. По временам он встряхивал головой, пытаясь проснуться. Побледневшее, с плотно сомкнутыми губами и веками лицо жены таинственно и безмолвно говорило о неизвестном Тингу, только что пережитом ужасе. Он взял маленькую, бессильную руку и нежно поцеловал ее; это движение разрушило столбняк души, наполнив ее горем. Быстро расстегнув платье Ассунты, пропитанное кровью с левой стороны, подмышкою, Тинг разрезал рукав и осмотрел рану.

Нож Блюма рассек верхнюю часть левой груди и смежную с ней внутреннюю поверхность руки под самым плечом. Из этих двух ран медленно выступала кровь: сердце едва билось, но слабый, обморочный шепот его показался Тингу небесной музыкой и разом вернул самообладание. Он разорвал простыню, обмыл раненую грудь Ассунты спиртом и сделал плотную перевязку. Все это время, пока дрожащие пальцы его касались нежной белизны тела, изувеченного ножом, он испытывал бешеную ненасытную нежность к этой маленькой, обнаженной груди, – нежность, сменяющуюся взрывами ярости, и страдание. Скрепив бинт, Тинг поцеловал его в проступающее на нем розовое пятно. Почти обессиленный, приник он к закрытым глазам Ассунты, целуя их с бессвязными, трогательными мольбами посмотреть на него, вздрогнуть, пошевелить ресницами. Все лицо его было в слезах, он не замечал этого.

То, что произошло потом, было так неожиданно, что Тинг растерялся. Веки Ассунты дрогнули, приподнялись; жизнь теплилась под ними в затуманенной глубине глаз, – возврат к сознанию, и Тинг водил над ними рукой, как бы глядя самый воздух, окутывающий ресницы. Теперь, в первый раз, он почувствовал со всей силой, какие это милые ресницы.

– Ассунта, – шепнул он.

Губы ее разжались, дрогнув в ответ движением, одновременно похожим на тень улыбки и на желание произнести слово.

– Ассунта, – продолжал Тинг, – кто ударил тебя? Это не опасно... Кто обидел тебя, Ассунта?.. Говори же, говори, у меня все мешается в голове. Кто?

Глубокий вздох женщины потонул в его резком, похожем на рыдание смехе. Это был судорожный, конвульсивный смех человека, потрясенного облегчением; он смолк так же внезапно, как и начался. Тинг встал.

– Ты здесь? – Это были первые ее слова, и он внимал им, как приговоренный к смерти – прощению. – За что он меня, Тинг, милый?.. Гергес... Сначала он взял меня за руку... Это был Гергес.

Она не произнесла ничего больше, но почувствовала, что ее с быстротой молнии кладут на диван и что Тинг исчез. Еще слабая, Ассунта с трудом повернула голову. Комната была пуста, полна тоски и тревоги.

– Тинг, – позвала Ассунта.

Но его не было. Перед ним в кухне стоял разбуженный негр и кланялся, порываясь бежать.

– Как собака! – хрипло сказал Тинг. – Возьми револьвер. – Он топнул ногой; волна гнева заливала его и несла, в стремительном своем беге, в темной пучине инстинкта. – Беги же, – продолжал Тинг. – Стой! Ты понял? Будь собакой и сдохни, если это понадобится. Я догоню, я догоню. Пожелай мне счастливой охоты.

Он подбежал к сараю, вывел гнедую лошадь, одну из лучших во всем округе, взнуздal ее и поскакал к Суану. Все это время душа Тинга перемалывала тысячи вопросов, но ни на один не получил он ответа, потому что еще далеко был от него тот, кто сам, подобно ножу, холодно и покорно скользнул по красоте жизни.

Задыхающийся, привстав на стремянах, Блюм бил лошадь кулаками и дулом револьвера. Другая лошадь скакала за его спиной; пространство, выигранное вначале Блюмом, сокращалось в течение получаса с неуклонностью самого времени и теперь равнялось нулю. Лязг подков наполнял ночную равнину призраками тысяч коней, взбешенных головокружительной быстро-

той скачки. Секунды казались вечностью.

– Пойдите! Остановитесь!

Блюм обернулся, хриплый голос Тинга подал ему надежду уложить преследователя. Он поворотился, методически выпуская прыгающей от скачки рукой все шесть пуль; огонь выстрелов безнадежно мелькал перед его глазами. Снова раздался крик, но Блюм не разобрал слов. Тотчас же вслед за этим гулкий удар сзади пробил воздух; лошадь Блюма, заржав, дрогнула задними ногами, присела и бросилась влево, спотыкаясь в кустарниках. Через минуту Блюм съехал на правый бок, ухватился за гриву и понял, что валится. Падая, он успел отскочить в сторону, ударился плечом о землю, вскочил и выпрямился, пошатываясь на ослабевших ногах; лошадь хрипела.

Тинг, не удержавшись, заскакал справа, остановился и был на земле раньше, чем Блюм бросился на него. Две темные фигуры стояли друг против друга. Карабин Тинга, направленный в голову Блюма, соединял их. Блюм широко и глубоко вздыхал, руки его, поднятые для удара, опустились с медленностью тройного блока.

– Это вы, Гергес? – сказал Тинг. Деланное спокойствие его тона звучало мучительной, беспощадной ясностью и отчетливостью каждого слова. – Хорошо, если вы не будете шевелиться. Нам надо поговорить. Сядьте.

Блюм затрепетал, изогнулся и сел. Наступил момент, когда не могло быть уже ничего странного, смешного или оскорбительного. Если бы Тинг приказал опуститься на четвереньки, и это было бы исполнено, так как в руках стоящего была смерть.

– Я буду судить вас, – быстро произнес Тинг. – Вы – мой. Говорите.

– Говорить? – спросил Блюм совершенно таким же, как и охотник, отчетливым, тихим голосом. – А что? В конце концов я неразговорчив. Судить? Бросьте. Вы не судья. Что вы хотите? Нажмите спуск, и делу конец. Убить вы можете меня, и с треском.

– Гергес, – сказал Тинг, – значит, конец. Вы об этом подумали?

– Да, я сообразил это. – Самообладание постепенно возвращалось к Блюму, наполняя горло его сухим смехом. – Но что же, я хорошо сделал дело.

Палец Тинга, лежавший на спуске курка, дрогнул и разжался. Тинг опустил ружье, – он боялся нового, внезапного искушения.

– Вы видите, – продолжал Блюм, оскаливаясь, – я человек прямой. Откровенность за откровенность. Вы грозите меня убить, и так как я влез к вам в душу, вы можете и исполнить это. Поэтому выслушайте меня.

– Я слушаю.

– «Ассунта, – кривляясь, закричал Блюм. – О, ты, бедное дитя». Вы, конечно, произносили эти слова; приятно. Очень приятно. Она милая и маленькая. Вы мне противны. Почему я мог думать, что вы не спите еще? Вам тоже досталось бы на орехи. План мой был несколько грандиознее и не удался, черт с ним! Но верите ли, это тяжело. Я это поставлю в счет кому-нибудь другому. Хотя, конечно, я нанес вам хороший удар. Мне сладко.

– Дальше, – сказал Тинг.

– Во-первых, я вас не боюсь. Я – преступник, но я под защитой закона. Вы ответите за мою смерть. Вероятно, вы гордитесь тем, что разговариваете со мной. Не в этом дело. У меня столько припасено гостинцев, что глаза разбегаются. Я выложу их, не беспокойтесь. Если вы прострелите мне башку, то будете по крайней мере оплеваны. Если бы я убил вас раньше ее... то... впрочем, вы понимаете.

– Я ничего не понимаю, Гергес, – холодно сказал Тинг, – мне противно слушать вас, но, может быть, этот ваш бред даст мне по крайней мере намек на понимание. Я не перебую вас. Я слушаю.

– Овладеть женщиной, – захлебываясь и торопясь, продолжал Блюм, как будто опасался, что ему выбьют зубы на полуслове, – овладеть женщиной, когда она сопротивляется, кричит и плачет... Нужно держать за горло. После столь тонкого наслаждения я убил бы ее тут же и, может быть, привел бы сам в порядок ее костюм. Отчего вы дрожите? Погода ведь теплая. Я не влюблен, нет, а так, чтобы погуще было. У нее, должно быть, нежная кожа. А может быть, она

бы еще благодарила меня.

Раз сорвавшись, он не удерживался. В две-три минуты целый поток грязи вылился на Тинга, осквернил его и наполнил самого Блюма веселой злобой отчаяния, граничащего с иступлением.

– Дальше, – с трудом проговорил Тинг, раскачиваясь, чтобы не выдать себя. Дрожь рук мешала ему быть наготове, он сильно встряхнул головой и ударил прикладом в землю. – Говорите, я не перебью вас.

– Сказано уже. Но я посмотрел бы, как вы припадете к труп и прольете слезу. Но вы ведь мужчина, сдержитесь, вот в чем беда. В здешнем климате разложение начинается быстро.

– Она жива, – сказал Тинг, – Гергес, она жива.

– Ложь.

– Она жива.

– Вы хотите меня помучить. Вы врете.

– Она жива.

– Прицел был хорош. Тинг, что вы делаете со мной?

– Она жива.

– Вы помешались.

– Она жива, говорю я. Зачем вы сделали это?

– Тинг, – закричал Блюм, – как смеее вы спрашивать меня об этом! Что вы – ребенок? Две ямы есть: а одной барахтаетесь вы, в другой – я. Маленькая, очень маленькая месть, Тинг, за то, что вы в другой яме.

– Сон, – медленно сказал Тинг, – дикий сон.

Наступило молчание. Издыхающая лошадь Блюма забила передними ногами, приподнялась и, болезненно заржав, повалилась в траву.

– Ответьте мне, – проговорил Тинг, – поклянетесь ли вы, если я отпущу вас, спрятать свое жало?

Блюм вздрогнул.

– Я убью вас через несколько дней, если вы это сделаете, – сказал он деловым тоном. – И именно потому, что я говорю так, вы, Тинг, освободите меня. Убивать безоружного не в вашей натуре.

– Вот, – продолжал Тинг, как бы не слушая, – второй раз я спрашиваю вас, Гергес, что делаете вы в этом случае?

– Я убью вас, милашка. – Блюм ободрился, сравнительная продолжительность разговора внушала уверенность, что человек, замахивающийся несколько раз, не ударит. – Да.

– Вы уверены в этом?

– Да. Разрешите мне убить вас через неделю. Я выслежу вас, и вы не будете мучиться. Вы заслужили это.

– Тогда, – спокойно произнес Тинг, – я должен предупредить вас. Это говорю я.

Он вскинул ружье и прицелился. Острые глаза его хорошо различали фигуру Блюма; вначале Тинг выбрал голову, но мысль прикоснуться к лицу этого человека даже пулей была ему невыразимо противна. Он перевел дуло на грудь Блюма и остановился, соображая положение сердца.

– Я пошутил, – глухо сказал Блюм. Холодный, липкий пот ужаса выступил на его лице, движение ружья Тинга было невыносимо, оглушительно, невероятно, как страшный сон. Предсмертная тоска перехватила дыхание, мгновенно убив все, кроме мысли, созерцающей смерть. Его тошнило, он шатался и вскрикивал, бессильный переступить с ноги на ногу.

– Я пошутил. Я сошел с ума. Я не знаю. Остановитесь.

И вдруг быстрый, как молния, острый толчок сердца сказал ему, что вот это мгновение – последнее. Пораженный, Тинг удержал выстрел: глухой, рыдающий визг бился в груди Блюма, сметая тишину ночи.

– А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! – кричал Блюм. Он стоял, трясся и топал ногами, ужас душил его.

Тинг выстрелил. Перед ним на расстоянии четырех шагов зашаталась безобразная, воющая и визжащая фигура, перевернулась, взмахивая руками, согнулась и сунулась темным комком в траву.

Было два, остался один. Один этот подозвал лошадь, выбросил из ствола горячий патрон, сел в седло и уехал, не оглянувшись, потому что мертвый безвреден и потому что в пустыне есть звери и птицы, умеющие похоронить труп.

VII

Самая маленькая

– Тинг, ты не пишешь дней двадцать?

– Да, Ассунта.

– Почему? Я здорова, и это было, мне кажется, давно-давно.

Тинг улыбнулся.

– Ассунта, – сказал он, подходя к окну, где на подоконнике, подобрав ноги, сидела его жена, – оставь это. Я буду писать. Я все думаю.

– О нем?

– Да.

– Ты жалеешь?

– Нет. Я хочу понять. И когда пойму, буду спокоен, весел и тверд, как раньше.

Она взяла его руку, раскачивая ее из стороны в сторону, и засмеялась.

– Но ты обещал написать для меня стихи, Тинг.

– Да.

– О чем же? О чем?

– О тебе. Разве есть у меня что-либо больше тебя, Ассунта?

– Верно, – сказала маленькая женщина. – Ты прав. Это для меня радость.

– Ты сама – радость. Ты вся – радость. Моя.

– Какая радость, Тинг? Огромная, больше жизни?

– Грозная. – Тинг посмотрел в окно; там, над провалом земной коры, струился и таял воздух, обожженный полуднем. – Грозная радость, Ассунта. Я не хочу другой радости.

– Хорошо, – весело сказала Ассунта. – Тогда отчего никто меня не боится? Ты сделай так, Тингушок, чтобы боялись меня.

– Грозная, – повторил Тинг. – Иного слова нет и не может быть на земле.

Проходной двор

I

Извозчик Степан Роцин выехал к Николаевскому вокзалу в семь часов утра, встал от подъезда девятым и стал ждать. Сначала, как это всегда бывает перед приходом поезда, подъезд был пуст. Потом, вслед за первой же вынесенной артельщиком картонкой, запрыгали вниз со спин носильщиков тяжелые чемоданы, ящики, портпледы; извозчики засуетились, бодря лошадей и выкрикивая:

– Вот сюда, недорого свезу, пожалуйста.

Роцину как не повезло при выезде из извозничьего трактира «Пильна», когда он, стукнувшись задним колесом о тумбу, повредил ось и пришлось чинить ее, потеряв час, – так и теперь не повезло. Вокруг него, подпрыгивая в колясках, один за другим ехали в гущу городских улиц обложившиеся вещами приехавшие господа, а с той стороны подъезда, где стоял он, извозчиков брали все время так капризно и туго, что разъезд стал редеть, а Роцин все еще стоял третьим по очереди. Подходили не в очередь и к нему, да все шантрапа нестоящая: один рядил в Гавань за рубль и, сторговавшись, полез в кошелек, после чего сказал, рассмотрев деньги:

– Нет, восемь гривен, больше не дам.

Рощин вспылил, но промолчал; ругаться не позволяют, и, кроме того, городские номер записывают, а после в участке нагайкой, а то штраф или номерную жестянку отберут.

Этот восьмигривенный отошел, носильщик, бросив Рощину на сиденье чемодан какого-то старика в крылатке, уже сказал адрес, но ничего не вышло, барин другого нанял, и чемодан сняли. А два раза было так, что Рощин сам заупрямился, не хотел дешево ехать, потом слышал, как другим те же господа больше дали, уселись и покатались.

Рощин был извозчик невидный, непредставительный, сутуловатый, с красными от болезни глазами, сидел он на козлах как-то не крепко, горбом, и лошадь у него была пегая, маленькая, мохноногая, грязная, с большой головой на тощей шее; словом, прохожий, видя Рощина в тылу какого-нибудь орловского или ярославского парня, с глазами навывкате и крутой грудью, думал: «Старый хрен, повезет плохо да еще ворчать будет, возьму пригожего Ваньку». По этому ли всему или потому, что неудачливые дни бывают у всякого человека, Рощин от вокзала поехал порожняком. «На Знаменской стать, – подумал Рощин, – или еще туда на Фурштатскую или Шпалерную, трамвай не грохотнет, нет-нет, да и клюнет какой, не все господская шантрапа».

II

Постояв на углах и у подъездов попроще, откуда не гоняли швейцары, Рощин, вздохнув, тронул к Летнему саду. У Рощина вчера была неполная выручка, своих сорок копеек доложить хозяину пришлось, так что сегодня рубля четыре непременно добыть было бы надо.

«Незадача», – подумал Рощин, когда в пятый, шестой раз барин из «самостоятельных», пройдя мимо Степана, взял поодаль стоящего извозчика по набережной, меж поплавком и Летним.

Все время мчались извозчики; окидывая привычным взглядом восседающих в колясках господ, Рощин механически отмечал про себя: «Этот – сорок копеек, с бородой – шесть гривен, девчонка – за двадцать».

Солнце поднялось выше, наряднее, гуще и суевливей пошла уличная толпа, стало пыльно и жарко, а за Невой, в крепости, прозвонили куранты.

«Никак десять, – вздохнул Рощин, – и никогда же не бывало такого, господи упаси».

Прислушавшись, стал он считать и насчитал одиннадцать колокольных ударов.

– Одиннадцать, – сказал Рощин, почесывая затылок, – копейки не заработал.

Досадливое, томительное беспокойство овладело им. Оглядываясь по сторонам и с ненавистью конкурента сплевывая вслед фыркающим щеголеватым моторам, Рощин, степенно похлестывая лошадь, выехал к Марсову полю, обогнул его, свернул на Моховую, остановился и, загнув полу армяка, вытащил шерстяной кисет.

– Вот, – пробормотал он, закуривая, – какие дела, без почина.

Студент шел по тротуару, зевая и щурясь. Рощин спохватился, удачная от неудач мысль пришла ему в голову:

– Садитесь, ваше степенство, – сказал он, – вот провезу.

– Денег нет.

– А без денег. Для почину, куда прикажете.

– Нет, не хочу, – подумав и уходя сказал студент, – некуда торопиться.

«Черт, вот черт, – подумал Рощин, – известно, с амбицией».

Он стал размышлять о сущности и естестве жизни господской. А господ видел Рощин на своем веку много, во всем городе, почитай, половина господ, и никак ума не приложишь, чем эти господа существуют. Конечно, банки, конторы, присутственные места и все такое, там эти господа и сидят. С другой же стороны, господ как будто несоизмеримое множество. Одет в сюртук, манишку, сапоги чищены и взгляд строгий – господин, иначе не назовешь, а чем он промышляет...

– И вот сколько в Питере бар, – сказал Рощин, – так и во все конторы не втиснешь, ан, втиснешь. Нет, не уместятся, – сказал, вздохнув, он, – а чем живут, поди же ты, все господа...

Через полчаса затосковал Рошин о седоке так крепко, что дернул со злости вожжами, и лошадь, испуганно вздрогнув всем телом, стала грызть удила.

– Извозчик! – крикнули с тротуара.

– Я-с... вот-с, – стремительно отозвался Рошин, перегибаясь с козел, и даже просиял: перед ним, одетый с иголки, молодой, краснощекий здоровяк-барин помахивал нетерпеливо тросточкой.

– По часам, – сказал барин, – согласен?

– Хорошо-с, рублик-с, – угодливо сказал Рошин, – а долго прикажете ездить?

– Там увидим.

Барин вскочил, уселся и закричал:

– Ну, пошел живо на Сергиевскую.

Рошин снял шапку, торопливо перекрестился, дернул вожжами, и в тот же момент пушечный гулкий удар раскатился над городом.

«Двенадцать, – подумал Рошин, – только бы сидел, да ездил, а пятерку я выстребую».

Седок был человек молодой, здоровый, с высоким лбом, безусый, с серыми, близорукими, часто мигающими глазами.

На Сергиевской остановились чуть-чуть; барин подбежал к швейцару и спросил что-то, на что, высокомерно дернув вверх головой, швейцар сказал:

– Никак нет-с. Выехали.

– А куда?

– Это нам неизвестно.

– Но, поймите же... – начал седок и вдруг, как бы спохватившись, отошел, вытирая платком лоб.

«Нет, поездишь», – подумал Рошин.

Седок стоял на тротуаре, опустив голову, затем сел.

– Невский, угол Морской, – сказал он в раздумьи и тотчас же крикнул: – Нет-нет, пошел на Лиговку, да живее, смотри, номер двести тридцатый!

«Эка хватил», – подумал Рошин, послушно завернул и помчался. Отстоявшаяся лошадь бежала бойко, но по часам торопиться невыгодно, и Степан пустил ее коночным шагом.

– Извозчик, живее! – крикнул за спиною Рошина барин.

Рошин прибавил рыси. Через полчаса подъехали к месту, барин, соскочив на ходу, скрылся в подъезде и вышел минут через десять сердитый, злым голосом говоря:

– Гороховая, 16.

С Гороховой же заехали еще неподалеку – на Офицерскую, Вознесенский, и везде барин проводил времени пять – десять минут, выходя все более усталый и бледный, и уже не торопил Рошина, а спокойно говорил:

– Извозчик, поезжай теперь туда и туда.

К трем остановились у Английской набережной, и седок не выходил с полчаса. Кроме Рошина, у подъезда стояли еще извозчики, один знакомый, Сидоров. Сидоров спросил:

– Кого возишь?

– А кто знает, сел по часам, рубль за час.

– Давно?

– Трешку наездил.

– А не удерет? – зевнул Сидоров. – Намедни возил я одного шарлатана, бродягу, да у Пяти Углов его и след простыл, из магазина выскочил, я и не видал, когда.

– Ну, – сказал Рошин, – видать, ведь... – Прибавил: – А черт его знает.

Поддаваясь невольному беспокойству, он стал смотреть на ворота, не выйдет ли седок в ворота с целью удрать, но в этот момент он вышел из подъезда и, по рассеянности, стал садиться на другого извозчика.

– Сюда, сюда, барин! – крикнул Рошин. – Куда ехать?

– Куда ехать, – повторил седок.

Рошин передернул плечами и усмехнулся: чудной барин.

– Ты поезжай шагом, – торопливо заговорил седок, – тихонько поезжай, я тебе скажу.

– Слушаюсь, – лениво и уже с оттенком пренебрежения ответил Рошин.

Он проехал три фонарных столба, думая: «А кого посадил? Попросить бы расчёту, да в сторону, вдруг удерет? Лошадь запыхалась и самому чаю охота». Но, подумав так, вспомнил, что два целковых ещё взять хорошо. Было в унылом лице седока, в нерешительных движениях его и в голосе что-то возбуждающее сомнение. Много таких есть, ездят, а за деньгами потом на другой день просят приехать.

– Что же теперь будет? – тихо, говоря, по-видимому, сам с собой, неожиданно сказал седок. – Да... – прибавил он и замолчал.

Рошин подозрительно оглянулся.

– Это насчёт чего? – спросил он. – Адрес изволите?

Седок не ответил, он вдруг выскочил из коляски и бросился стремглав к тротуару. Рошин замер от удивления, барин же остановил какую-то барышню из молодых, стал трясти ей руку и заговорил, а она поспешно отошла от него, вскрикнув, тяжело дыша и блестя глазами. Рошин подъехал шажком ближе, но уже ничего не услышал, разговор кончился. Барышня, не оглядываясь, поспешно шла вперед, а седок, махнув рукой, остался стоять. Наконец, повернулся он к Рошину разгоревшимся лицом и стал улыбаться, смотря прямо извозчику в глаза так, как слепые улыбаются наугад, – в какую попало сторону.

«То ли пьян, то ли как не в своем уме», – подумал Рошин и, закрихтев, сказал:

– Ехать изволите?

– Да, – стремительно ответил барин, сел и, поворочавшись беспокойно, сказал:

– Ты вот что... да... на Караванную. Ты не торопись.

«Этот конец доеду, – подумал Рошин. – Рубля четыре вымотаю. Удерет он, сердце у меня за него болит. За деньги свои вроде как он заездился. Пушай пока что».

Лошадь трусила мелко, понурясь, Рошин вздремнул. За спиной было тихо, седок больше не проронил ни слова, только на углу Невского сказал:

– Куда ты? Направо держи.

Рошин очнулся. Сверкнул раскаленный, жаркий Невский. Белые карнизы окон бросали скудную тень. Взад и вперед мчались извозчики, и в лице каждого седока Рошин читал: полтинник, тридцать, четвертак, рубль.

– Вот и приехали, – глухо, как бы присмирив весь, сказал седок. Он слез, медленно говоря:

– Ты подожди, я, может, еще поеду.

– А деньги, барин, коли не поедете? – беспокойно спросил Рошин. – Четыре рублика.

– Да, деньги.

Барин полез в карман, порылся в кошельке, и Рошин заметил, что он еле приметно покачал головой.

– Сейчас, может быть... – Седок быстро повернулся и зашел в магазин.

«Не удерет, – подумал Рошин, – из магазина-то как», – и, покосившись на ворота, у которых остановился, вспомнил, что это и есть тот самый проходной двор, куда месяц тому назад скрылся господин, по виду вполне порядочный. Снова тревога овладела извозчиком. «Да ведь не во двор зашел, – успокаивал он себя, – из магазина сквозь стену не пролезешь!»

Рошин закурил, вспоминая прежние удачные дни и мечтая о будущих.

«Вот хорошо провезти рублика за два с барышней на стрелку, а оттуда в ресторанчик да за простой – рубль, да махнуть в „Аквариум“ или „Олимпию“, а поутру на тони. И все бы так подряд, до утра. Десятка уж тут как тут». Вспоминались ему швыряющие деньгами пьяные котелки, манишки грудастые, пальцы с перстнями. «Это все есть, не уйдет». Рошин повеселел, выпрямился и вдруг увидел, как из магазина, куда зашел седок, выскочил, махая руками, приказчик, тут же собралась кучка народа и, расправляя усы, устремился к магазину городской.

Рошин не успел тронуть вожжами, чтобы подъехать и расспросить в чем дело, как из толпы закричали:

– Извозчик!

Недоуменно мигая, приблизился он к толпе и остановился.

– В больницу повезешь. Эй, – крикнул городской, пятясь задом, и что-то с усилием вынес из дверей; ему помогал приказчик.

Рощин вздрогнул, похолодел и перекрестился. На руках приказчика и городского висел, согнувшись, повернув набок окровавленное лицо, седок.

– Тут же леворвер купил, – сочувственно сказал дворник на вопрос любопытного прохожего, – оружейный магазин это.

– Господин городской... – затосковав, сказал Рощин, – а кто мне деньги – четыре я рубля выездил, пропадут, што ль? А за больницу-то?

– Ты поразговаривай, – мстительно прошипел городской, – я тебе дам, – и, повернувшись к толпе, крикнул:

– Расходись, чего не видали!

В коляску, торопясь, укладывали мертвого седока; обхватив труп рукой, сел полицейский, сказав неизвестно кому:

– Череп навылет, тут доктора известные – гроб да земля.

Еще не опомнившийся от случившегося, Рощин машинально дернул вожжами, бормоча вполголоса:

– В больнице продержут, пропал день; барина, оно, конечно, жалко, да своя ближе рубашка к телу, ужо просить буду, чтоб обыскали, деньги пускай дадут. Подождал бы стреляться-то, – сказал он, подумав, – или на леворверт денег тебе не хватило?

И, озлясь, больно стегнул лошадь.

Жизнь Гнора

Большие деревья притягивают молнию.

Александр Дюма

I

Рано утром за сквозной решеткой ограды парка слышен был тихий разговор. Молодой человек, спавший в северной угловой комнате, проснулся в тот момент, когда короткий выразительный крик женщины заглушил чириканье птиц.

Проснувшийся некоторое время лежал в постели; услышав быстрые шаги под окном, он встал, откинул гардину и никого не заметил; все стихло, раннее холодное солнце падало в аллеи низким светом; длинные росистые тени пестрили веселый полусон парка; газоны дымились, тишина казалась дремотной и беспокойной.

«Это приснилось», – подумал молодой человек и лег снова, пытаясь заснуть.

– Голос был похож, очень похож, – пробормотал он, поворачиваясь на другой бок. Так он дремал с открытыми глазами минут пять, размышляя о близком своем отъезде, о любви и нежности. Вставали полузабытые воспоминания; в утренней тишине они приобретали трогательный оттенок снов, волнующих своей неосязаемой беглостью и невозвратностью.

Обратившись к действительности, Гнор пытался некоторое время превратить свои неполные двадцать лет в двадцать один. Вопрос о совершеннолетию стоял для него ребром: очень молодым людям, когда они думают жениться на очень молодой особе, принято чинить разные препятствия. Гнор обвел глазами прекрасную обстановку комнаты, в которой жил около месяца. Ее солидная роскошь по отношению к нему была чем-то вроде надписи, вывешенной над конторкой дельца: «сутки имеют двадцать четыре часа». На языке Гнора это звучало так: «у нее слишком много денег».

Гнор покраснел, перевернул горячую подушку – и сна не стало совсем. Некоторое время душа его лежала под прессом уязвленной гордости; вслед за этим, стряхнув неприятную тяжесть, Гнор очень непоследовательно и нежно улыбнулся. Интимные воспоминания для него, как и для всякой простой души, были убедительнее выкладок общественной математики. Мед-

ленно шевеля губами, Гнор повторил вслух некоторые слова, сказанные вчера вечером; слова, перелетевшие из уст в уста, подобно птицам, спугнутым на заре и пропавшим в тревоге сумерек. Все крепче прижимаясь к подушке, он вспомнил первые осторожные прикосновения рук, серьезный поцелуй, блестящие глаза и клятвы. Гнор засмеялся, укутав рот одеялом, потянулся и услышал, как в дальней комнате повторился шесть раз глухой быстрый звон.

– Шесть часов, – сказал Гнор, – а я не хочу спать. Что мне делать?

Исключительное событие вчерашнего дня наполняло его светом, беспричинной тоской и радостью. Человек, получивший первый поцелуй женщины, не знает на другой день, куда девать руки и ноги; все тело, кроме сердца, кажется ему несносной обузой. Вместе с тем потребность двигаться, жить и начать жить как можно раньше бывает постоянной причиной беспокойного сна счастливых. Гнор торопливо оделся, вышел, прошел ряд бледных, затянутых цветным шелком лощеных зал; в последней из них стенное зеркало отразило спину сидящего за газетой человека. Человек этот сидел за дальним угловым столом; опущенная голова его поднялась при звуке шагов Гнора; последний остановился.

– Как! – сказал он, смеясь. – Вы тоже не спите?! Вы, образец регулярной жизни! Теперь, по крайней мере, я могу обсудить с вами вдвоем, что делать, проснувшись так безрассудно рано.

У человека с газетой было длинное имя, но все и он сам довольствовались одной частью его: Энниок. Он бросил зашумевший лист на пол, встал, лениво потер руки и вопросительно осмотрел Гнора. Запоздалая улыбка появилась на его бледном лице.

– Я не ложился, – сказал Энниок. – Правда, для этого не было особо уважительных причин. Но все же перед отъездом я имею привычку разбираться в бумагах, делать заметки. Какое сочное золотистое утро, не правда ли?

– Вы тоже едете?

– Да. Завтра.

Энниок смотрел на Гнора спокойно и ласково; обычно сухое лицо его было теперь привлекательным, почти дружеским. «Как может меняться этот человек, – подумал Гнор, – он – целая толпа людей, молчаливая и нервная толпа. Он один наполняет этот большой дом».

– Я тоже уеду завтра, – сказал Гнор, – и хочу спросить вас, в каком часу отходит «Епископ Архипелага»?

– Не знаю. – Голос Энниока делался все более певучим и приятным. – Я не завишу от пароходных компаний; ведь у меня, как вы знаете, есть своя яхта. И если вы захотите, – прибавил он, – для вас найдется хорошенькая поместительная каюта.

– Благодарю, – сказал Гнор, – но пароход идет прямым рейсом. Я буду дома через неделю.

– Неделя, две недели – какая разница? – равнодушно возразил Энниок. – Мы посетим глухие углы земли и напомним самим себе любопытных рыб, попавших в золотые сети чудес. О некоторых местах, особенно в молодости, остаются жгучие воспоминания. Я знаю земной шар; сделать крюк в тысячу миль ради вас и прогулки не даст мне ничего, кроме здоровья.

Гнор колебался. Парусное плавание с Энниоком, гостившим два месяца под одной крышей с ним, казалось Гнору хорошим и скверным. Энниок разговаривал с ней, смотрел на нее, втроем они неоднократно совершали прогулки. Для влюбленных присутствие такого человека после того, как предмет страсти сделался невидимым, далеким, служит иногда горьким, но осязательным утешением. А скверное было то, что первое письмо Кармен, подлинный ее почерк, бумага, на которой лежала ее рука, ждали бы его слишком долго. Это прекрасное, не написанное еще письмо Гнор желал прочесть как можно скорее.

– Нет, – сказал он, – я благодарю и отказываюсь.

Энниок поднял газету, тщательно сложил ее, бросил на стол и повернулся лицом к террасе. Утренние, ослепительные ее стекла горели зеленью; сырой запах цветов проникал в залу вместе с тихим ликованием света, делавшим холодную пышность здания ясной и мягкой.

Гнор посмотрел вокруг, как бы желая запомнить все мелочи и подробности. Дом этот стал важной частью его души; на всех предметах, казалось, покоился взгляд Кармен, сообщая им таинственным образом нежную силу притяжения; беззвучная речь вещей твердила о днях, прошедших быстро и беспокойно, о болезненной тревоге взглядов, молчании, незначительных раз-

говорах, волнующих, как гнев, как радостное потрясение; немых призывах улыбающемуся лицу, сомнениях и мечтах. Почти забыв о присутствии Энниока, Гнор молча смотрел в глубь арки, открывающей перспективу дальних, пересеченных косыми столбами дымного утреннего света, просторных зал. Прикосновение Энниока вывело его из задумчивости.

– Отчего вы проснулись? – спросил Энниок зевая. – Я выпил бы кофе, но буфетчик еще спит, также и горничные. Вы, может быть, видели страшный сон?

– Нет, – сказал Гнор, – я стал нервен... Какой-то пустяк, звуки разговора, быть может, на улице...

Энниок взглянул на него из-под руки, которой тер лоб, вдумчиво, но спокойно. Гнор продолжал:

– Пойдемте в бильярдную. Мне и вам совершенно нечего делать.

– Охотно. Я попытаюсь отыграть вчерашний свой проигрыш раззолоченному мяснику Кнасту.

– Я не играю на деньги, – сказал Гнор и, улыбаясь, прибавил: – у меня их к тому же теперь в обрез.

– Мы договоримся внизу, – сказал Энниок.

Он быстро пошел вперед и исчез в крыле коридора. Гнор двинулся вслед за ним. Но, услышав сзади хорошо знакомые шаги, обернулся и радостно протянул руки. Кармен подходила к нему с недоумевающим, бледным, но живым и ясным лицом; движения ее обнаруживали беспокойство и нерешительность.

– Это не вы, это солнце, – сказал Гнор, взяв маленькую руку, – оттого так светло и чисто. Почему вы не спите?

– Не знаю.

Эта изящная девушка, с доброй складкой бровей и твердым ртом, говорила открытым грудным голосом, немного старившим ее, как бабушкин чепчик, надетый десятилетней девочкой.

– А вы?

– Сегодня никто не спит, – сказал Гнор. – Я люблю вас. Энниок и я – мы не спим. Вы третья.

– Бессонница. – Она стояла боком к Гнору; рука ее, удержанная молодым человеком, доверчиво забиралась в его рукав, оставляя меж сукном и рубашкой блаженное ощущение мимолетной ласки. – Вы уедете, но возвращайтесь скорее, а до этого пишите мне чаще. Ведь и я люблю вас.

– Есть три мира, – проговорил растроганный Гнор, – мир красивый, прекрасный и прелестный. Красивый мир – это земля, прекрасный – искусство. Прелестный мир – это вы. Я совсем не хочу уезжать, Кармен; этого хочет отец; он совсем болен, дела запущены. Я еду по обязанности. Мне все равно. Я не хочу обижать старика. Но он уже чужой мне; мне все чуждо, я люблю только вас одну.

– И я, – сказала девушка. – Прощайте, мне нужно прилечь, я устала, Гнор, и если вы...

Не договорив, она кивнула Гнору, продолжая смотреть на него тем взглядом, каким умеет смотреть лишь женщина в расцвете первой любви, отошла к двери, но возвратилась и, подойдя к роялю, блеснувшему в пыльном свете окна, тронула клавиши. То, что она начала играть негромко и быстро, было знакомо Гнору; опустив голову, слушал он начало оригинальной мелодии, веселой и полнозвучной. Кармен отняла руки; неоконченный такт замер вопросительным звоном.

– Я доиграю потом, – сказала она.

– Когда?

– Когда ты будешь со мной.

Она улыбнулась и, улыбаясь, скрылась в боковой двери.

Гнор тряхнул головой, мысленно dokonчил мелодию, оборванную Кармен, и ушел к Энниоку. Здесь были сумерки; низкие окна, завешанные плотной материей, почти не давали света; небольшой ореховый бильярд выглядел хмуро, как ученическая меловая доска в пустом классе. Энниок нажал кнопку; электрические тюльпаны безжизненно засияли под потолком; свет этот,

мешаясь с дневным, вяло озарил комнату. Энниок рассматривал кий, тщательно намелил его и сунул под мышку, заложив руки в карман.

– Начинайте вы, – сказал Гнор.

– На что мы будем играть? – медленно произнес Энниок, вынимая руку из кармана и вертя шар пальцами. – Я возвращаюсь к своему предложению. Если вы проиграете, я везу вас на своей яхте.

– Хорошо, – сказал Гнор. Ироническая беспечность счастливого человека овладела им. – Хорошо, яхта – так яхта. Во всяком случае, это лестный проигрыш! Что вы ставите против этого?

– Все, что хотите. – Энниок задумался, выгибая кий; дерево треснуло и выпало из рук на паркет. – Как я неосторожен, – сказал Энниок, отбрасывая ногой обломки. – Вот что: если выигрываете, я не буду мешать вам жить, признав судьбу.

Эти слова произнес он быстро, чуть-чуть изменившимся голосом, и тотчас же принялся хохотать, глядя на удивленного Гнора неподвижными, добрыми глазами.

– Я шутник, – сказал он. – Ничего не доставляет мне такого, по существу, безобидного удовольствия, как заставить человека разинуть рот. Нет, выиграв, вы требуете и получаете все, что хотите.

– Хорошо. – Гнор выкатил шар. – Я не разорю вас.

Он сделал три карамболя, отведя шар противника в противоположный угол, и уступил место Энниоку.

– Раз, – сказал тот. Шары забегали, бесшумными углами чертя сукно, и остановились в выгодном положении. – Два. – Ударяя кием, он почти не сходил с места. – Три. Четыре. Пять. Шесть.

Гнор, принужденно улыбаясь, смотрел, как два покорных шара, отскакивая и кружась, подставляли себя третьему, бегавшему вокруг них с быстротой овчарки, загоняющей стадо. Шар задевал поочередно остальных двух сухими щелчками и возвращался к Энниоку.

– Четырнадцать, – сказал Энниок; крупные капли пота выступили на его висках; он промахнулся, перевел дух и отошел в сторону.

– Вы сильный противник, – сказал Гнор, – и я буду осторожен.

Играя, ему удалось свести шары рядом; он поглаживал их своим шаром то с одной, то с другой стороны, стараясь не разъединить их и не оставаться с ними на прямой линии. Попеременно, делая то больше, то меньше очков, игроки шли поровну; через полчаса на счетчике у Гнора было девяносто пять, девяносто девять у Энниока.

– Пять, – сказал Гнор. – Пять, – повторил он, задев обоих, и удовлетворенно вздохнул. – Мне остается четыре.

Он сделал еще три удара и скиксовал на последнем: кий скользнул, а шар не докатился.

– Ваше счастье, – сказал Гнор с некоторой досадой, – я проиграл.

Энниок молчал. Гнор взглянул на сукно и улыбнулся: шары стояли друг против друга у противоположных бортов; третий, которым должен был играть Энниок, остановился посередине бильярда; все три соединялись прямой линией. «Карамболь почти невозможен», – подумал он и стал смотреть.

Энниок согнулся, уперся пальцами левой руки в сукно, опустил кий и прицелился. Он был очень бледен, бледен, как белый костяной шар. На мгновение он зажмурился, открыл глаза, вздохнул и ударил изо всей силы под низ шара; шар блеснул, щелкнул дальнего, взвившегося дугой прочь, и, быстро крутясь в обратную сторону, как бумеранг, катясь все тише, легко, словно вздохнув, тронул второго. Энниок бросил кий.

– Я раньше играл лучше, – сказал он. Руки его тряслись.

Он стал мыть их, нервно стуча педалью фаянсового умывальника.

Гнор молча поставил кий. Он не ожидал проигрыша, и происшедшее казалось ему поэтому вдвойне нелепым. «Ты не принесла мне сегодня счастья, – подумал он, – и я не получу скоро твоего письма. Все случайность».

– Все дело случая, – как бы угадывая его мысли, сказал Энниок, продолжая возиться у по-

лотенца. – Может быть, вы зато счастливы в любви. Итак, я вам приготовлю каюту. Недавно наверху играла Кармен; у нее хорошая техника. Как странно, что мы трое проснулись в одно время.

– Странно? Почему же? – рассеянно сказал Гнор. – Это случайность.

– Да, случайность. – Энниок погасил электричество. – Пойдемте завтракать, милый, и поговорим о предстоящем нам плавании.

II

Зеленоватые отсветы волн, бегущих за круглым стеклом иллюминатора, ползли вверх, колебались у потолка и, снова, повинувшись размахам судна, бесшумно неслись вниз. Ропот водяных струй, обливающих корпус яхты стремительными прикосновениями; топот ног вверх; заглушенный возглас, долетающий как бы из другого мира; дребезжание дверной ручки; ленивый скрип мачт, гул ветра, плеск паруса; танец висячего календаря на стене – весь ритм корабельного дня, мгновения тишины, полной сурового напряжения, неверный уют океана, воскрешающий фантазии, подвиги и ужасы, радости и катастрофы морских летописей, – наплыв впечатлений этих держал Гнора минут пять в состоянии торжественного оцепенения; он хотел встать, выйти на палубу, но тотчас забыл об этом, следя игру брызг, стекавших по иллюминатору мутной жижей. Мысли Гнора были, как и всегда, в одной точке отдаленного берега – точке, которая была отныне постоянной их резиденцией.

В этот момент вошел Энниок; он был очень весел; клеенчатая морская фуражка, сдвинутая на затылок, придавала его резкому подвижному лицу оттенок грубоватой беспечности. Он сел на складной стул. Гнор закрыл книгу.

– Гнор, – сказал Энниок, – я вам готовлю редкие впечатления. «Орфей» через несколько минут бросит якорь, мы поедем вдвоем на гичке. То, что вы увидите, восхитительно. Милях в полутора отсюда лежит остров Аш; он невелик, уютен и как бы создан для одиночества. Но таких островов много; нет, я не стал бы отрывать вас от книги ради сентиментальной прогулки. На острове живет человек.

– Хорошо, – сказал Гнор, – человек этот, конечно, Робинзон или внук его. Я готов засвидетельствовать ему свое почтение. Он угостит нас козьим молоком и обществом попугая.

– Вы угадали. – Энниок поправил фуражку, оживление его слиняло, голос стал твердым и тихим. – Он живет здесь недавно, я навещу его сегодня в последний раз. После ухода гички он не увидит более человеческого лица. Мое желание ехать вдвоем с вами оправдывается способностью посторонних глаз из пустяка создавать истории. Для вас это не вполне понятно, но он сам, вероятно, расскажет вам о себе; история эта для нашего времени звучит эхом забытых легенд, хотя так же жизненна и правдива, как вой голодного или шишка на лбу; она жестока и интересна.

– Он старик, – сказал Гнор, – он, вероятно, не любит жизнь и людей?

– Вы ошибаетесь. – Энниок покачал головой. – Нет, он совсем еще молодое животное. Он среднего роста, сильно похож на вас.

– Мне очень жалко беднягу, – сказал Гнор. – Вы, должно быть, единственный, кто ему не противен.

– Я сам сострипал его. Это мое детище. – Энниок стал тереть руки, держа их перед лицом; дул на пальцы, хотя температура каюты приближалась к точке кипения. – Я, видите ли, прихожусь ему духовным отцом. Все объяснится. – Он встал, подошел к трапу, вернулся и, предупредительно улыбаясь, взял Гнора за пуговицу. – «Орфей» кончит путь через пять, много шесть дней. Довольны ли вы путешествием?

– Да. – Гнор серьезно взглянул на Энниока. – Мне надоели интернациональные плавучие толкучки пароводных рейсов; навсегда, на всю жизнь останутся у меня в памяти смоленая палуба, небо, выбеленное парусами, полными соленого ветра, звездные ночи океана и ваше гостеприимство.

– Я – сдержанный человек, – сказал Энниок, качая головою, как будто ответ Гнора не

вполне удовлетворил его, – сдержанный и замкнутый. Сдержанный, замкнутый и мнительный. Все ли было у вас в порядке?

– Совершенно.

– Отношение команды?

– Прекрасное.

– Стол? Освещение? Туалет?

– Это жестоко, Энниок, – возразил, смеясь, Гнор, – жестоко заставлять человека располагать в виде благодарности лишь жалкими человеческими словами. Прекратите пытку. Самый требовательный гость не мог бы лучше меня жить здесь.

– Извините, – настойчиво продолжал Энниок, – я, как уже сказал вам, мнителен. Был ли я по отношению к вам джентльменом?

Гнор хотел отвечать шуткой, но стиснутые зубы Энниока мгновенно изменили спокойное настроение юноши, он молча пожал плечами.

– Вы меня удивляете, – несколько сухо произнес он, – и я вспоминаю, что... да... действительно, я имел раньше случаи не вполне понимать вас.

Энниок занес ногу за трап.

– Нет, это простая мнительность, – сказал он. – Простая мнительность, но я выражаю ее юмористически.

Он исчез в светлом кругу люка, а Гнор, машинально перелистывая страницы книги, продолжал мысленный разговор с этим развязным, решительным, пожившим, заставляющим пристально думать о себе человеком. Их отношения всегда были образцом учтивости, внимания и предупредительности; как будто предназначенные в будущем для неведомого взаимного состязания, они скрещивали еще бессознательно мысли и выражения, оттачивая слова – оружие духа, борясь взглядами и жестами, улыбками и шутками, спорами и молчанием. Выражения их были изысканны, а тон голоса всегда отвечал точному смыслу фраз. В сердцах их не было друг для друга небрежной простоты – спутника взаимной симпатии; Энниок видел Гнора насквозь, Гнор не видел настоящего Энниока; живая форма этого человека, слишком гибкая и податливая, смешивала тона.

Зверский треск якорной цепи перебил мысли Гнора на том месте, где он говорил Энниоку: «Ваше беспокойство напрасно и смахивает на шутку». Солнечный свет, соединявший отверстие люка с тенистой глубиной каюты, дрогнул и скрылся на палубе. «Орфей» повернулся.

Гнор поднялся наверх.

Полдень горел всей силой огненных легких юга; чудесная простота океана, синий блеск его окружал яхту; голые обожженные спины матросов гнулись над опущенными парусами, напоминавшими разбросанное белье гиганта; справа, отрезанная белой нитью приборя, высилась скалистая впадина берега. Два человека возились около деревянного ящика. Один подавал предметы, другой укладывал, по временам выпрямляясь и царапая ногтем листок бумаги: Гнор остановился у шлюпбалки, матросы продолжали работу.

– Карабин в чехле? – сказал человек с бумагой, проводя под строкой черту.

– Есть, – отвечал другой.

– Одеяло?

– Есть.

– Патроны?

– Есть.

– Консервы?

– Есть.

– Белье?

– Есть.

– Свечи?

– Есть.

– Спички?

– Есть.

– Огниво, два кремня?

– Есть.

– Табак?

– Есть.

Матрос, сидевший на ящике, стал забивать гвозди. Гнор повернулся к острову, где жил странный, сказочный человек Энниока; предметы, упакованные в ящик, вероятно, предназначались ему. Он избегал людей, но о нем, видимо, помнили, снабжая необходимым, – дело рук Энниока.

– Поступки красноречивы, – сказал себе Гнор. – Он мягче, чем я думал о нем.

Позади его раздали шаги; Гнор обернулся: Энниок стоял перед ним, одетый для прогулки, в сапогах и фуфайке; у него блестели глаза.

– Не берите ружья, я взял, – сказал он.

– Когда я первый раз в жизни посетил обсерваторию, – сказал Гнор, – мысль, что мне будут видны в черном колодце бездны светлые глыбы миров, что телескоп отдаст меня жуткой бесконечности мирового эфира, – страшно взволновала меня. Я чувствовал себя так, как если бы рисковал жизнью. Похоже на это теперешнее мое состояние. Я боюсь и хочу видеть вашего человека; он должен быть другим, чем мы с вами. Он грандиозен. Он должен производить сильное впечатление.

– Несчастный отвык производить впечатление, – легкомысленно заявил Энниок. – Это бунтующий мертвец. Но я вас покину. Я приду через пять минут.

Он ушел вниз к себе, запер изнутри дверь каюты, сел в кресло, закрыл глаза и не шевелился. В дверь постучали. Энниок встал.

– Я иду, – сказал он, – сейчас иду. – Поясной портрет, висевший над койкой, казалось, держал его в нерешительности. – Он посмотрел на него, вызываяще щелкнул пальцами и рассмеялся. – Я все-таки иду, Кармен, – сказал Энниок.

Открыв дверь, он вышел. Темноволосый портрет ответил его цепкому, тяжелому взгляду простой, легкой улыбкой.

III

Береговой ветер, полный душистой лесной сырости, лез в уши и легкие; казалось, что к ногам падают невидимые охапки травы и цветущих ветвей, задевая лицо. Гнор сидел на ящике, выгруженном из лодки, Энниок стоял у воды.

– Я думал, – сказал Гнор, – что отшельник Аша устроит нам маленькую встречу. Быть может, он давно умер?

– Ну, нет. – Энниок взглянул сверху на Гнора и наклонился, подымая небольшой камень. – Смотрите, я сделаю множество рикошетов. – Он размахнулся, камень заскакал по воде и скрылся. – Что? Пять? Нет, я думаю, не менее девяти. Гнор, я хочу быть маленьким, это странное желание у меня бывает изредка; я не поддаюсь ему.

– Не знаю. Я вас не знаю. Может быть, это хорошо.

– Быть может, но не совсем. – Энниок подошел к лодке, вынул из чехла ружье и медленно зарядил его. – Теперь я выстрелю два раза, это сигнал. Он нас услышит и явится.

Подняв дуло вверх, Энниок разрядил оба ствола; гулкий треск повторился дважды и смутным отголоском пропал в лесу. Гнор задумчиво покачал головой.

– Этот салют одиночеству, Энниок, – сказал он, – почему-то меня тревожит. Я хочу вести с жителем Аша длинный разговор. Я не знаю, кто он; вы говорили о нем бегло и сухо, но судьба его, не знаю – почему, трогает и печалит меня; я напряженно жду его появления. Когда он придет... я...

Резкая морщина, признак усиленного внимания, пересекла лоб Энниока. Гнор продолжал:

– Я уговорю его ехать с нами.

Энниок усиленно засмеялся.

– Глупости, – сказал он, кусая усы, – он не поедет.

– Я буду его расспрашивать.

– Он будет молчать.

– Расспрашивать о прошлом. В прошлом есть путеводный свет.

– Его доконало прошлое. А свет – погас.

– Пусть полюбит будущее, неизвестность, заставляющую нас жить.

– Ваш порыв, – сказал Энниок, танцуя одной ногой, – ваш порыв разобьется, как ломается кусок мела о голову тупого ученика. – Право, – с одушевлением воскликнул он, – стоит ли думать о чуде? Дни его среди людей были бы банальны и нестерпимо скучны, здесь же он не лишен некоторого, правда, весьма тусклого, ореола. Оставим его.

– Хорошо, – упрямо возразил Гнор, – я расскажу ему, как прекрасна жизнь, и, если его рука никогда не протягивалась для дружеского пожатия или любовной ласки, он может повернуться ко мне спиной.

– Этого он ни в коем случае не сделает.

– Его нет, – печально сказал Гнор. – Он умер или охотится в другом конце острова.

Энниок, казалось, не слышал Гнора; медленно подымая руки, чтобы провести ими по бледному своему лицу, он смотрел прямо перед собой взглядом, полным сосредоточенного размышления. Он боролся; это была короткая запоздалая борьба, жалкая схватка. Она обессилила и раздражила его. Минуту спустя он сказал твердо и почти искренно:

– Я богат, но отдал бы все и даже свою жизнь, чтобы только быть на месте этого человека.

– Темно сказано, – улыбнулся Гнор, – темно, как под одеялом. А интересно.

– Я расскажу про себя. – Энниок положил руку на плечо Гнора. – Слушайте. Сегодня мне хочется говорить без умолку. Я обманут. Я перенес великий обман. Это было давно; я плыл с грузом сукна в Батавию, – и нас разнесло в щепки. Дней через десять после такого начала я лежал поперек наскоро связанного плота, животом вниз. Встать, размяться, предпринять что-нибудь у меня не было ни сил, ни желания. Начался бред; я грезил озерами пресной воды, трясся в лихорадке и для развлечения негромко стонал. Шторм, погубивший судно, перешел в штиль. Зной и океан сварили меня; плот стоял неподвижно, как поплавок в пруде, я голодал, задыхался и ждал смерти. Снова подул ветер. Ночью я проснулся от мук жажды; был мрак и грохот. Голубые молнии полосовали пространство; меня вместе с плотом швыряло то вверх – к тучам, то вниз – в жидкие черные ямы. Я разбил подбородок о край доски; по шее текла кровь. Настало утро. На краю неба, в непрерывно мигающем свете небесных трещин, неудержимо влеклись к далеким облакам пенистые зеленоватые валы; среди них метались черные завитки смерчей; над ними, как стая обезумевших птиц, толпились низкие тучи – все смешалось. Я бредил; бред изменил все. Бесконечные толпы черных женщин с поднятыми к небу руками стремились вверх; кипящая гряда их касалась небес; с неба в красных просветах туч падали вниз прозрачным хаосом нагие, розовые и белые женщины. Озаренные клубки тел, сплетаясь и разрываясь, кружась вихрем или камнем летя вниз, соединили в непрерывном своем движении небо и океан. Их рассеяла женщина с золотой кожей. Она легла причудливым облаком над далеким туманом. Меня спасли встречные рыбаки, я был почти жив, трясся и говорил глупости. Я выздоровел, а потом сильно скучал; те дни умирания в океане, в бреду, полном нежных огненных призраков, отравили меня. То был прекрасный и страшный сон – великий обман.

Он замолчал, а Гнор задумался над его рассказом.

– Тайфун – жизнь? – спросил Гнор. – Но кто живет так?

– Он. – Энниок кивнул головой в сторону леса и нехорошо засмеялся. – У него есть женщина с золотой кожей. Вы слышите что-нибудь? Нет? И я нет. Хорошо, я стреляю еще.

Он взял ружье, долго вертел в руках, но сунул под мышку.

– Стрелять не стоит. – Энниок вскинул ружье на плечо. – Разрешите мне вас оставить. Я пройду немного вперед и разыщу его. Если хотите, – пойдемте вместе. Я не заставлю вас много ходить.

Они тронулись. Энниок впереди, Гнор сзади. Тропинок и следов не было; ноги по колено вязли в синевато-желтой траве; экваториальный лес напоминал гигантские оранжереи, где буря снесла прозрачные крыши, стерла границы усилий природы и человека, развертывая поражен-

ному зрению творчество первобытных форм, столь родственное нашим земным понятиям о чудесном и странном. Лес этот в каждом листе своем дышал силой бессознательной, оригинальной и дерзкой жизни, ярким вызовом и упреком; человек, попавший сюда, чувствовал потребность молчать.

Энниок остановился в центре лужайки. Лесные голубоватые тени бороздили его лицо, меняя выражение глаз.

Гнор ждал.

– Вам незачем идти дальше. – Энниок стоял к Гнору спиной. – Тут неподалеку... он... я не хотел бы сразу и сильно удивить его, являясь вдвоем. Вот сигары.

Гнор кивнул головой. Спина Энниока, согнувшись, нырнула в колючие стебли растений, сплетающих деревья; он зашумел листьями и исчез.

Гнор посмотрел вокруг, лег, положил руки под голову и принялся смотреть вверх.

Синий блеск неба, прикрытый над его головой плотными огромными листьями, дразнил пышным, голубым царством. Спина Энниока некоторое время еще стояла перед глазами в своем последнем движении; потом, уступив место разговору с Кармен, исчезла. «Кармен, я люблю тебя, – сказал Гнор, – мне хочется поцеловать тебя в губы. Слышишь ли ты оттуда?»

Притягательный образ вдруг выяснился его напряженному чувству, почти воплотился. Это была маленькая, смуглая, прекрасная голова; растроганно улыбаясь, Гнор зажал ладонями ее щеки, любовно присмотрелся и отпустил. Детское нетерпение охватило его. Он высчитал приблизительно срок, разделявший их, и добросовестно сократил его на половину, затем еще на четверть. Это жалкое утешение заставило его встать, – он чувствовал невозможность лежать далее в спокойной и удобной позе, пока не продумает своего положения до конца.

Влажный зной леса веял дремотой. Лиловые, пурпурные и голубые цветы качались в траве; слышалось меланхолическое гудение шмеля, запутавшегося в мшистых стеблях; птицы, перелетая глубину далеких просветов, раздражались криками, напоминающими негритянский оркестр. Волшебный свет, игра цветных теней и оцепенение зелени окружали Гнора; земля беззвучно дышала полной грудью – задумчивая земля пустынь, кротких и грозных, как любовный крик зверя. Слабый шум послышался в стороне; Гнор обернулся, прислушиваясь, почти уверенный в немедленном появлении незнакомца, жителя острова. Он старался представить его наружность. «Это должен быть очень замкнутый и высокомерный человек, ему терять нечего», – сказал Гнор.

Птицы смолкли; тишина как бы колебалась в раздумьи; это была собственная нерешительность Гнора; подождав и не выдержав, он закричал:

– Энниок, я жду вас на том же месте!

Безответный лес выслушал эти слова и ничего не прибавил к ним. Прогулка пока еще ничего не дала Гнору, кроме утомительного и бесплодного напряжения. Он постоял некоторое время, думая, что Энниок забыл направление, потом медленно тронулся назад к берегу. Необъяснимое сильное беспокойство гнало его прочь из леса. Он шел быстро, стараясь понять, куда исчез Энниок; наконец, самое простое объяснение удовлетворило его: неизвестный и Энниок увлеклись разговором.

– Я привяжу лодку, – сказал Гнор, вспомнив, что она еле вытащена на песок. – Они придут.

Вода, пронизанная блеском мокрых песчаных отмелей, сверкнула перед ним сквозь опушку, но лодки не было. Ящик лежал на старом месте. Гнор подошел к воде и влево, где пестрый отвес скалы разделял берег, увидел лодку.

Энниок греб, сильно кидая весла; он смотрел вниз и, по-видимому, не замечал Гнора.

– Энниок! – сказал Гнор; голос его отчетливо прозвучал в тишине прозрачного воздуха. – Куда вы?! Разве вы не слышали, как я звал вас?!

Энниок резко ударил веслами, не поднял головы и продолжал плыть. Он двигался, казалось, теперь быстрее, чем минуту назад; расстояние между скалой и лодкой становилось заметно меньше. «Камень скроет его, – подумал Гнор, – и тогда он не услышит совсем».

– Энниок! – снова закричал Гнор. – Что вы хотите делать?

Плывущий поднял голову, смотря прямо в лицо Гнору так, как будто на берегу никого не было. Еще продолжалось неловкое и странное молчание, как вдруг, случайно, на искристом

красноватом песке Гнор прочел фразу, выведенную дулом ружья или куском палки: «Гнор, вы здесь останетесь. Вспомните музыку, Кармен и бильярд на рассвете».

Первое, что ощутил Гнор, была тупая боль сердца, позыв рассмеяться и гнев. Воспоминания против злости головокружительно быстро швырнули его назад, в прошлое; легион мелочей, в свое время ничтожных или отрывочных, блеснул в памяти, окреп, рассыпался и занял свои места в цикле ушедших дней с уверенностью солдат во время тревоги, бросающихся к своим местам, услышав рожок горниста. Голая, кивающая убедительность смотрела в лицо Гнору. «Энниок, Кармен, я, – схватил на лету Гнор. – Я не видел, был слеп; так...»

Он медленно отошел от написанного, как будто перед ним открылся провал. Гнор стоял у самой воды, нагибаясь, чтобы лучше рассмотреть Энниока; он верил и не верил; верить казалось ему безумием. Голова его выдержала ряд звонких ударов страха и наполнилась шумом; ликующий океан стал мерзким и отвратительным.

– Энниок! – сказал Гнор твердым и ясным голосом – последнее усилие отравленной воли. – Это писали вы?

Несколько секунд длилось молчание. «Да», – бросил ветер. Слово это было произнесено именно тем тоном, которого ждал Гнор, – циническим. Он стиснул руки, пытаясь удержать нервную дрожь пальцев; небо быстро темнело; океан, разубранный на горизонте облачной ряской, закружился, качаясь в налетевшем тумане. Гнор вошел в воду, он двигался бессознательно. Волна покрыла колени, бедра, опоясала грудь, Гнор остановился. Он был теперь ближе к лодке шагов на пять; разоренное, взорванное сознание его конвульсивно стряхивало тяжесть мгновения и слабело, как приговоренный, отталкивающий веревку.

– Это подлость. – Он смотрел широко раскрытыми глазами и не шевелился. Вода медленно колыхалась вокруг него, кружа голову и легонько подталкивая. – Энниок, вы сделали подлость, вернитесь!

– Нет, – сказал Энниок. Слово это прозвучало обыденно, как ответ лавочника.

Гнор поднял револьвер и тщательно определил прицел. Выстрел не помешал Энниоку; он греб, быстро откидываясь назад; вторая пуля пробила весло; Энниок выпустил его, поймал и нагнулся, ожидая новых пуль. В этом движении проскользнула снисходительная покорность взрослого, позволяющего ребенку бить себя безвредными маленькими руками.

Третий раз над водой щелкнул курок; непобедимая слабость апатии охватила Гнора; как парализованный, он опустил руку, продолжая смотреть. Лодка ползла за камнем, некоторое время еще виднелась уползающая корма, потом все исчезло.

Гнор вышел на берег.

– Кармен, – сказал Гнор, – он тоже любит тебя? Я не сойду с ума, у меня есть женщина с золотой кожей... Ее имя Кармен. Вы, Энниок, ошиблись!

Он помолчал, сосредоточился на том, что ожидало его, и продолжал говорить сам с собой, возражая жестоким голосам сердца, толкающим к отчаянию: «Меня снимут отсюда. Рано или поздно придет корабль. Это будет на днях. Через месяц. Через два месяца». – Он торговался с судьбой. – «Я сам сделаю лодку. Я не умру здесь. Кармен, видишь ли ты меня? Я протягиваю тебе руки, коснись их своими, мне страшно».

Боль уступила место негодованию. Стиснув зубы, он думал об Энниоке. Гневное иступление терзало его. «Бесстыдная лиса, гадина, – сказал Гнор, – еще будет время посмотреть друг другу в лицо». Затем совершившееся показалось ему сном, бредом, нелепостью. Под ногами хрустел песок, песок настоящий. «Любое парусное судно может зайти сюда. Это будет на днях. Завтра. Через много лет. Никогда».

Слово это поразило его убийственной точностью своего значения. Гнор упал на песок лицом вниз и разразился гневными огненными слезами, тяжелыми слезами мужчины. Прибой усилился; ленивый раскат волны сказал громким шепотом: «Отшельник Аша».

– Аша, – повторил, вскипая, песок.

Человек не шевелился. Солнце, тяготея к западу, коснулось скалы, забрызгало ее темную грань жидким огнем и бросило на побережье Аша тени – вечернюю грусть земли. Гнор встал.

– Энниок, – сказал он обыкновенным своим негромким, грудным голосом, – я уступаю

времени и необходимости. Моя жизнь не доиграна. Это старая, хорошая игра; ее не годится бросать с середины, и дни не карты; над трупами их, погибающих здесь, бесценных моих дней, клянусь вам затянуть разорванные концы так крепко, что от усилия занеет рука, и в узле этом захрипит ваша шея. Подымается ветер. Он донесет мою клятву вам и Кармен!

IV

Сильная буря, разразившаяся в центре Архипелага, дала хорошую встрепку трехмачтовому бригу, носившему неожиданное, мало подходящее к суровой профессии кораблей, имя – «Морской Кузнечик». Бриг этот, с оборванными снастями, раненный в паруса, стеньги и ватерлинию, забросило далеко в сторону от обычного торгового пути. На рассвете показалась земля. Единственный уцелевший якорь с грохотом полетел на дно. День прошел в обычных после аварий работах, и только вечером все, начиная с капитана и кончая поваром, могли дать себе некоторый отчет в своем положении. Лаконический отчет этот вполне выражался тремя словами: «Черт знает что!»

– Роз, – сказал капитан, испытывая неподдельное страдание, – это корабельный журнал, и в нем не место различным выкрутасам. Зачем вы, пустая бутылка, нарисовали этот скворешник?

– Скворешник! – Замечание смутило Роза, но оскорбленное самолюбие тотчас же угостило смущение хорошим пинком. – Где видали вы такие скворешники? Это барышня. Я ее зачеркну.

Капитан Мард совершенно закрыл левый глаз, отчего правый стал невыносимо презрительным. Роз стукнул кулаком по столу, но смирился.

– Я ее зачеркнул, сделав кляксу; понюхайте, если не видите. Журнал подмок.

– Это верно, – сказал Мард, щупая влажные прошнурованные листы. – Волна хлестала в каюту. Я тоже подмок. Я и ахтер-штевен – мы вымокли одинаково. А вы, Аллигу?

Третий из этой группы, почти падавший от изнурения на стол, за которым сидел, сказал:

– Я хочу спать.

В каюте висел фонарь, озарявший три головы тенями и светом старинных портретов. Углы помещения, заваленные сдвинутыми в одну кучу складными стульями, одеждой и инструментами, напоминали подвал старьевщика. Бриг покачивало; раздражение океана не утихает сразу. Упустив жертву, он фыркает и морщится. Мард облокотился на стол, склонив к чистой странице журнала свое лошадиное лицо, блестящее умными хмурыми глазами. У него почти не было усов, а подбородок напоминал каменную глыбу в миниатюре. Правая рука Марда, распухшая от ушиба, висела на полотенце.

Роз стал водить пером в воздухе, выделявая зигзаги и арабески; он ждал.

– Ну, пишите, – сказал Мард, – пишите: заброшены к дьяволу, неизвестно зачем; пишите так... – Он стал тяжело дышать, каждое усилие мысли страшно стесняло его. – Постойте. Я не могу опомниться, Аллигу, меня все еще как будто бросает о площадку, а надо мною Роз тщетно пытается удержать штурвал. Я этой скверной воды не люблю.

– Был шторм, – сказал Аллигу, проснувшись, и снова впал в сонное состояние. – Был шторм.

– Свежий ветер, – методично поправил Роз. – Свежий... Сущие пустяки.

– Ураган.

– Простая шалость атмосферы.

– Водно- и воздухотрясение.

– Пустяшный бриз.

– Бриз! – Аллигу удостоил проснуться и, засыпая, снова сказал: – Если это был, как вы говорите, простой бриз, то я более не Аллигу.

Мард сделал попытку жестикулировать ушибленной правой рукой, но побагровел от боли и рассердился.

– Океан кашлял, – сказал он, – и выплюнул нас... Куда? Где мы? И что такое теперь мы?

– Солнце село, – сообщил вошедший в каюту боцман. – Завтра утром узнаем все. Поднялся густой туман; ветер слабее.

Роз положил перо.

– Писать – так писать, – сказал он, – а то я закрою журнал.

Аллигу проснулся в тридцать второй раз.

– Вы, – зевнул он с той сладострастной грацией, от которой трещит стул, – забыли о бесштаннике-кочегаре на Стальном Рейде. Что стоило провезти беднягу? Он так мило просил. Есть лишние койки и сухари? Вы ему отказали, Мард, он послал вас к черту вслух – к черту вы и приехали. Не стоит жаловаться.

Мард налился кровью.

– Пусть возят пассажиров тонконогие франты с батистовыми платочками; пока я на «Морском Кузнечике» капитан, у меня этого балласта не будет. Я парусный грузовик.

– Будет, – сказал Аллигу.

– Не раздражайте меня.

– Подержим пари от скуки.

– Какой срок?

– Год.

– Ладно. Сколько вы ставите?

– Двадцать.

– Мало. Хотите пятьдесят?

– Все равно, – сказал Аллигу, – денешки мои, вам не везет на легкий заработок. Я сплю.

– Хотят, – проговорил Мард, – чтобы я срезался на пассажире. Вздор!

С палубы долетел топот, взрыв смеха; океан вторил ему заунывным гулом. Крики усилились: отдельные слова проникли в каюту, но невозможно было понять, что случилось. Мард вопросительно посмотрел на боцмана.

– Чего они? – спросил капитан. – Что за веселье?

– Я посмотрю.

Боцман вышел. Роз прислушался и сказал:

– Вернулись матросы с берега.

Мард подошел к двери, нетерпеливо толкнул ее и удержал взмытую ветром шляпу. Темный силуэт корабля гудел взволнованными, тревожными голосами; в центре толпы матросов, на шканцах блестел свет; в свете чернели плечи и головы. Мард растолкал людей.

– По какому случаю бал? – сказал Мард. Фонарь стоял у его ног, свет ложился на палубу. Все молчали.

Тогда, посмотрев прямо перед собой, капитан увидел лицо незнакомого человека, смуглое, вздрагивающее лицо с неподвижными искрящимися глазами. Шапки у него не было. Волосы темного цвета падали ниже плеч. Он был одет в сильно измятый костюм городского покроя и высокие сапоги. Взгляд неизвестного быстро переходил с лица на лицо; взгляд цепкий, как сильно хватающая рука.

Изумленный Мард почесал левую щеку и шумно вздохнул; тревога всколыхнула его.

– Кто вы? – спросил Мард. – Откуда?

– Я – Гнор, – сказал неизвестный. – Меня привезли матросы. Я жил здесь.

– Как? – переспросил Мард, забыв о больной руке; он еле сдерживался, чтобы не разразиться криком на мучившее его загадочностью своей собрание. Лицо неизвестного заставляло капитана морщиться. Он ничего не понимал. – Что вы говорите?

– Я – Гнор, – сказал неизвестный. – Меня привезла ваша лодка... Я – Гнор...

Мард посмотрел на матросов. Многие улыбались напряженной, неловкой улыбкой людей, охваченных жгучим любопытством. Боцман стоял по левую руку Марда. Он был серьезен. Мард не привык к молчанию и не выносил загадок, но, против обыкновения, не вспыхивал: тихий мрак, полный грусти и крупных звезд, остановил его вспышку странной властью, осязательной, как резкое приказание.

– Я лопну, – сказал Мард, – если не узнаю сейчас, в чем дело. Говорите.

Толпа зашевелилась; из нее выступил пожилой матрос.

– Он, – начал матрос, – стрелял два раза в меня и раз в Кента. Мы его не задели. Он шел

навстречу. Четверо из нас таскали дрова. Было еще светло, когда он попался. Кент, увидев его, сначала испугался, потом крикнул меня; мы пошли вместе. Он выступил из каменной щели против воды. Одежда его была совсем другая, чем сейчас. Я еще не видал таких лохмотьев. Шерсть на нем торчала из шкур, как трава на гнилой крыше.

– Это небольшой остров, – сказал Гнор. – Я давно живу здесь. Восемь лет. Мне говорить трудно. Я очень много и давно молчу. Отвык.

Он тщательно разделял слова, редко давая им нужное выражение, а по временам делая паузы, в продолжение которых губы его не переставали двигаться.

Матрос испуганно посмотрел на Гнора и повернулся к Марду.

– Он выстрелил из револьвера, потом закрылся рукой, закричал и выстрелил еще раз. Меня стукнуло по голове, я повалился, думая, что он перестанет. Кент бежал на него, но, услышав третий выстрел, отскочил в сторону. Больше он не стрелял. Я сшиб его с ног. Он, казалось, был рад этому, потому что не обижался. Мы потащили его к шлюпке, он смеялся. Тут у нас, у самой воды, началось легкое объяснение. Я ничего не мог понять, тогда Кент вразумил меня. «Он хочет, – сказал Кент, – чтобы мы ему дали переодеться». Я чуть не лопнул от смеха. Однако, не отпуская его ни на шаг, мы тронулись, куда он нас вел, – и что вы думаете?.. У него был, знаете ли, маленький гардероб в каменном ящике, вроде как у меня сундучок. Пока он натягивал свой наряд и перевязывал шишку на голове, – «слушай, – сказал мне Кент, – он из потерпевших крушение, – я слышал такие истории». Тогда этот человек взял меня за руку и поцеловал, а потом Кента. У меня было, признаться, погано на душе, так как я ударил его два раза, когда настиг...

– Зачем вы, – сказал Мард, – зачем вы стреляли в них? Объясните.

Гнор смотрел дальше строгого лица Марда – в тьму.

– Поймите, – произнес он особенным, заставившим многих вздрогнуть усилием голоса, – восемь лет. Я один. Солнце, песок, лес. Безмолвие. Раз вечером поднялся туман. Слушайте: я увидел лодку; она шла с моря; в ней было шесть человек. Шумит песок. Люди вышли на берег, зовут меня, смеются и машут руками. Я побежал, задыхаясь, не мог сказать слова, слов не было. Они стояли все на берегу... живые лица, как теперь вы. Они исчезли, когда я был от них ближе пяти шагов. Лодку унес туман. Туман рассеялся. Все по-старому. Солнце, песок, безмолвие. И море кругом.

Моряки сдвинулись тесно, некоторые встали на цыпочки, дыша в затылки передним. Иные оборачивались, как бы ища разделить впечатление с существом выше человека. Тишина достигла крайнего напряжения. Хриплый голос сказал:

– Молчите.

– Молчите, – подхватил другой. – Дайте ему сказать.

– Так было много раз, – продолжал Гнор. – Я кончил тем, что стал делать выстрелы. Звук выстрела уничтожал видение. После этого я, обыкновенно, целый день не мог есть. Сегодня я не поверил; как всегда, не больше. Трудно быть одному.

Мард погладил больную руку.

– Как вас зовут?

– Гнор.

– Сколько вам лет?

– Двадцать восемь.

– Кто вы?

– Сын инженера.

– Как попали сюда?

– Об этом, – неохотно сказал Гнор, – я расскажу одному вам.

Голоса их твердо и тяжело уходили в тьму моря: хмурый – одного, звонкий – другого; голоса разных людей.

– Вы чисто одеты, – продолжал Мард, – это для меня непонятно.

– Я хранил себя, – сказал Гнор, – для лучших времен.

– Вы также брились?

– Да.

- Чем вы питались?
- Чем случится.
- На что надеялись?
- На себя.
- И на нас также?

– Меньше, чем на себя. – Гнор тихо, но выразительно улыбнулся, и все лица отразили его улыбку. – Вы могли встретить труп, идиота и человека. Я не труп и не идиот.

Роз, стоявший позади Гнора, крепко хватил его по плечу и, вытащив из кармана платок, пронзительно высморкался; он был в восторге.

Иронический взгляд Аллигу остановился на Марде. Они смотрели друг другу в глаза, как авгуры, прекрасно понимающие, в чем дело. «Ты проиграл, кажись», – говорило лицо штурмана. «Оберну вокруг пальца», – ответил взгляд Марда.

- Идите сюда, – сказал капитан Гнору. – Идите за мной. Мы потолкуем внизу.

Они вышли из круга; множество глаз проводило высокий силуэт Гнора. Через минуту на палубе было три группы, беседующие вполголоса о тайнах моря, суевериях, душах умерших, пропавшей земле, огненном бриге из Калифорнии. Четырнадцать взрослых ребят, делаая страшные глаза и таинственно кашляя, рассказывали друг другу о приметах пиратов, о странствиях проклятой бочки с водкой, рыбьим запахе сирен, подводном гроте, полном золотых слитков. Воображение их, получившее громовую встряску, несло кувырком. Недавно еще ждавшие неумолимой и верной смерти, они забыли об этом; своя опасность лежала в кругу будней, о ней не стоило говорить.

Свет забытого фонаря выдвигал из тьмы наглухо задраенный люк трюма, борта и нижнюю часть вант. Аллигу поднял фонарь; тени перескочили за борт.

– Это вы, Мард? – сказал Аллигу, приближая фонарь к лицу идущего. – Да, это вы, теленок не ошибается. А он?

- Все в порядке, – вызывающе ответил Мард. – Не стоит беспокоиться, Аллигу.
- Хорошо, но вы проиграли.
- А может быть, вы?

– Как, – возразил удивленный штурман, – вы оставите его доживать тут? А бунта вы не боитесь?

– И я не камень, – сказал Мард. – Он рассказал мне подлую штуку... Нет, я говорить об этом теперь не буду. Хотя...

- Ну, – Аллигу переминался от нетерпения. – Деньги на бочку!
- Отстаньте!
- Тогда позвольте поздравить вас с пассажиром.

– С пассажиром? – Мард подвинулся к фонарю, и Аллигу увидел злорадно торжествующее лицо. – Обольстительнейший и драгоценнейший Аллигу, вы ошиблись. Я нанял его на два месяца хранителем моих свадебных подсвечников, а жалованье уплатил вперед, в чем имею расписку; запомните это, свирепый Аллигу, и будьте здоровы.

– Ну, дока, – сказал, оторопев, штурман после неприятного долгого молчания. – Хорошо, вычтите из моего жалованья.

V

На подоконнике сидел человек. Он смотрел вниз с высоты третьего этажа, на вечернюю су-ету улицы. Дом, мостовая и человек дрожали от грохота экипажей.

Человек сидел долго, – до тех пор, пока черные углы крыш не утонули в черноте ночи. Уличные огни внизу отбрасывали живые тени; тени прохожих догоняли друг друга, тень лошади перебирала ногами. Маленькие пятна экипажных фонарей беззвучно мчались по мостовой. Черная дыра переулка, полная фантастических силуэтов, желтая от огня окон, уличного свиста и шума, напоминала крысиную жизнь мусорной ямы, освещенной заржавленным фонарем тряпичника.

Человек прыгнул с подоконника, но скоро нашел новое занятие. Он стал закрывать и открывать электричество, стараясь попасть взглядом в заранее намеченную точку обоев; комната сверкала и пропадала, повинувшись щелканью выключателя. Человек сильно скучал.

Неизвестно, чем бы он занялся после этого, если бы до конца вечера остался один. С некоторых пор ему доставляло тихое удовольствие сидеть дома, проводя бесцельные дни, лишённые забот и развлечений, интересных мыслей и дел, смотреть в окно, перебирать старые письма, отделяя себя ими от настоящего; его никуда не тянуло, и ничего ему не хотелось; у него был хороший аппетит, крепкий сон; внутреннее состояние его напоминало в миниатюре зевоту человека, утомленного китайской головоломкой и бросившего, наконец, это занятие.

Так утомляет жизнь и так сказывается у многих усталость; душа и тело довольствуются пустяками, отвечая всему гримасой тусклого равнодушия. Энниок обдумал этот вопрос и нашел, что стареет. Но и это было для него безразлично.

В дверь постучали: сначала тихо, потом громче.

– Войдите, – сказал Энниок.

Человек, перешагнувший порог, остановился перед Энниоком, закрывая дверь рукой позади себя и слегка наклоняясь, в позе напряженного ожидания. Энниок пристально посмотрел на него и отступил в угол; забыть это лицо, мускулистое, с маленьким подбородком и ртом, было не в его силах.

Вошедший, стоя у двери, наполнял собой мир – и Энниок, пошатываясь от бьющего в голову набата, ясно увидел это лицо таким, каким было оно прежде, давно. Сердце его на один нестерпимый миг перестало биться; мертвея и теряясь, он молча тер руки. Гнор шумно вздохнул.

– Это вы, – глухо сказал он. – Вы, Энниок. Ну, вот мы и вместе. Я рад.

Два человека, стоя друг против друга, тоскливо бледнели, улыбаясь улыбкой стиснутых ртов.

– Вырвался! – крикнул Энниок. Это был болезненный вопль раненого. Он сильно ударил кулаком о стол, разбив руку; собрав всю силу воли, овладел, насколько это было возможно, заплывшими нервами и выпрямился. Он был вне себя.

– Это вы! – наслаждаясь повторил Гнор. – Вот вы. От головы до пяток, во весь рост. Молчите. Я восемь лет ждал встречи. – Нервное взбешенное лицо его дергало судорога. – Вы ждали меня?

– Нет. – Энниок подошел к Гнору. – Вы знаете – это катастрофа. – Обуздав страх, он вдруг резко переменялся и стал, как всегда. – Я лгу. Я очень рад видеть вас, Гнор.

Гнор засмеялся.

– Энниок, едва ли вы рады мне. Много, слишком много поднимается в душе чувств и мыслей... Если бы я мог все сразу обрушить на вашу голову! Довольно крика. Я стих.

Он помолчал; страшное спокойствие, похожее на неподвижность работающего парового котла, дало ему силы говорить дальше.

– Энниок, – сказал Гнор, – продолжим нашу игру.

– Я живу в гостинице. – Энниок пожал плечами в знак сожаления. – Неудобно мешать соседям. Выстрелы – мало популярная музыка. Но мы, конечно, изобретем что-нибудь.

Гнор не ответил; опустив голову, он думал о том, что может не выйти живым отсюда. «Зато я буду до конца прав – и Кармен узнает об этом. Кусочек свинца осмыслит все мои восемь лет, как точка».

Энниок долго смотрел на него. Любопытство неистребимо.

– Как вы?.. – хотел спросить Энниок; Гнор перебил его.

– Не все ли равно? Я здесь. А вы – как вы зажали рты?

– Деньги, – коротко сказал Энниок.

– Вы страшны мне, – заговорил Гнор. – С виду я, может быть, теперь и спокоен, но мне душно и тесно с вами; воздух, которым вы дышите, мне противен. Вы мне больше, чем враг, – вы ужас мой. Можете смотреть на меня сколько угодно. Я не из тех, кто прощает.

– Зачем прощение? – сказал Энниок. – Я всегда готов заплатить. Слова теперь бессильны. Нас захватил ураган; кто не разобьет лоб, тот и прав.

Он закурил слегка дрожащими пальцами сигару и усиленно затянулся, жадно глотая дым.

– Бросим жребий.

Энниок кивнул головой, позвонил и сказал лакею:

– Дайте вино, сигары и карты.

Гнор сел у стола; тягостное оцепенение приковало его к стулу; он долго сидел, понурившись, сжав руки между колен, стараясь представить, как произойдет все; поднос звякнул у его локтя; Энниок отошел от окна.

– Мы сделаем все прилично, – не повышая голоса, сказал он. – Вино это старше вас, Гнор; вы томились в лесах, целовали Кармен, учились и рождались, а оно уже лежало в погребке. – Он налил себе и Гнору, стараясь не расплескать. – Мы, Гнор, любим одну женщину. Она предпочла вас; а моя страсть поэтому выросла до чудовищных размеров. И это, может быть, мое оправдание. А вы бьете в точку.

– Энниок, – заговорил Гнор, – мне только теперь пришло в голову, что при других обстоятельствах мы, может быть, не были бы врагами. Но это так, к слову. Я требую справедливости. Слезы и кровь бросаются мне в голову при мысли о том, что перенес я. Но я перенес – слава богу, и ставлю жизнь против жизни. Мне снова есть чем рисковать, – не по вашей вине. У меня много седых волос, а ведь мне нет еще тридцати. Я вас искал упорно и долго, работая, как лошадь, чтобы достать денег, переезжая из города в город. Вы снились мне. Вы и Кармен.

Энниок сел против него; держа стакан в левой руке, он правой распечатал колоду.

– Черная ответит за все.

– Хорошо. – Гнор протянул руку. – Позвольте начать мне. А перед этим я выпью.

Взяв стакан и прихлебывая, он потянул карту. Энниок удержал его руку, сказав:

– Колода не тасована.

Он стал тасовать карты, долго мешал их, потом веером развернул на столе, крапом вверх.

– Если хотите, вы первый.

Гнор взял карту, не раздумывая, – первую попавшуюся под руку.

– Берите вы.

Энниок выбрал из середины, хотел взглянуть, но раздумал и посмотрел на партнера. Их глаза встретились. Рука каждого лежала на карте. Поднять ее было не так просто. Пальцы не повиновались Энниоку. Он сделал усилие, заставив их слушаться, и выбросил туза червей. Красное очко блеснуло, как молния, радостно – одному, мраком – другому.

– Шестерка бубей, – сказал Гнор, открывая свою. – Начнем снова.

– Это – как бы двойной выстрел. – Энниок взмахнул пальцами над колодой и, помедлив, взял крайнюю. – Вот та лежала с ней рядом, – заметил Гнор, – та и будет моя.

– Черви и бубны светятся в ваших глазах, – сказал Энниок, – пики – в моих. – Он успокоился, первая карта была страшнее, но чувствовал где-то внутри, что кончится это для него плохо. – Откройте сначала вы, мне хочется продлить удовольствие.

Гнор поднял руку, показал валета червей и бросил его на стол. Конвульсия сжала ему горло; но он сдержался, только глаза его блеснули странным и жутким весельем.

– Так и есть, – сказал Энниок, – карта моя тяжела; предчувствие, кажется, не обманет. Двойка пик.

Он разорвал ее на множество клочков, подбросил вверх – и белые струйки, исчертив воздух, осели на стол белыми неровным пятнами.

– Смерть двойке, – проговорил Энниок, – смерть и мне.

Гнор пристально посмотрел на него, встал и надел шляпу. В душе его не было жалости, но ощущение близкой чужой смерти заставило его пережить скверную минуту. Он укрепил себя воспоминаниями; бледные дни отчаяния, поднявшись из могилы Аша, грозным хоромом окружали Гнора; прав он.

– Энниок, – осторожно сказал Гнор, – я выиграл и удаляюсь. Отдайте долг судьбе без меня. Но есть у меня просьба: скажите, почему проснулись мы трое в один день, когда вы, по видимому, уже решили мою участь? Можете и не отвечать, я не настаиваю.

– Это цветок из Ванкувера, – не сразу ответил Энниок, беря третью сигару. – Я сделаю вам

нечто вроде маленькой исповеди. Цветок был привезен мной; я не помню его названия; он невелик, зеленый, с коричневыми тычинками. Венчик распускается каждый день утром, свертываясь к одиннадцати. Накануне я сказал той, которую продолжаю любить. «Встаньте рано, я покажу вам каприз растительного мира». Вы знаете Кармен, Гнор; ей трудно отказать другому в маленьком удовольствии. Кроме того, это ведь действительно интересно. Утром она была сама как цветок; мы вышли на террасу; я нес в руках ящик с растением. Венчик, похожий на саранчу, медленно расправлял лепестки. Они выровнялись, напряглись – и цветок стал покачиваться от ветерка. Он был не совсем красив, но оригинален. Кармен смотрела и улыбалась. «Он дышит, – сказала она, – такой маленький». Тогда я взял ее за руку и сказал то, что долго меня терзало; я сказал ей о своей любви. Она покраснела, смотря на меня в упор и отрицательно качая головой. Ее лицо сказало мне больше, чем старое слово «нет», к которому меня совсем не приучили женщины. «Нет, – холодно сказала она, – это невозможно. Прощайте». Она стояла некоторое время задумавшись, потом ушла в сад. Я догнал ее больной от горя и продолжал говорить – не знаю что. «Опомнитесь», – сказала она. Вне себя от страсти я обнял ее и поцеловал. Она замерла; я прижал ее к сердцу и поцеловал в губы, но силы к ней тотчас вернулись, она закричала и вырвалась. Так было. Я мог только мстить – вам; я мстил. Будьте уверены, что, если бы вы споткнулись о черную масть, я не остановил бы вас.

– Я знаю это, – спокойно возразил Гнор. – Вдвоем нам не жить на свете. Прощайте.

Детское живет в человеке до седых волос – Энниок удержал Гнора взглядом и загородил дверь.

– Вы, – самолюбиво сказал он, – вы, гибкая человеческая сталь, должны помнить, что у вас был достойный противник.

– Верно, – сухо ответил Гнор, – пощечина и пожатие руки – этим я выразил бы всего вас. В силу известной причины я не делаю первого. Возьмите второе.

Они протянули руки, стиснув друг другу пальцы; это было странное, злое и задумчивое пожатие сильных врагов.

Последний взгляд их оборвала закрытая Гнором дверь; Энниок опустил голову.

– Я остаюсь с таким чувством, – прошептал он, – как будто был шумный, головокружительный, грозной красоты бал; он длился долго, и все устали. Гости разъехались, хозяин остался один; одна за другой гаснут свечи, грядет мрак.

Он подошел к столу, отыскал, расшвыряв карты, револьвер и почесал дулом висок. Прикосновение холодной стали к пылающей коже было почти приятным. Потом стал припоминать жизнь и удивился: все казалось в ней старообразным и глупым.

– Я мог бы обмануть его, – сказал Энниок, – но не привык бегать и прятаться. А это было бы неизбежно. К чему? Я взял от жизни все, что хотел, кроме одного. И на этом «одном» сломал шею. Нет, все вышло как-то совсем кстати и импозантно.

– Глупая смерть, – продолжал Энниок, вертя барабан револьвера. – Скучно умирать так от выстрела. Я могу изобрести что-нибудь. Что – не знаю; надо пройтись.

Он быстро оделся, вышел и стал бродить по улицам. В туземных кварталах горели масляные фонари из красной и голубой бумаги; воняло горелым маслом, отбросами, жирной пылью. Липкий мрак наполнял переулки; стучали одинокие ручные тележки; фантастические контуры храмов теплились редкими огоньками. Мостовая, усеянная шелухой фруктов, соломой и клочками газет, окружала подножья уличных фонарей светлыми дисками; сновали прохожие; высокие, закутанные до переноса женщины шли медленной поступью; черные глаза их, подернутые влажным блеском, звали к истасканным циновкам, куче голых ребят и грязному петуху семьи, поглаживающему бороду за стаканом апельсиновой воды.

Энниок шел, привыкая к мысли о близкой смерти. За углом раздался меланхолический стон туземного барабана, пронзительный вой рожков, адская музыка сопровождала ночную религиозную процессию. Тотчас же из-за старого дома высыпала густая толпа; впереди, кривляясь и размахивая палками, сновали юродивые; туча мальчишек брела сбоку; на высоких резных палках качались маленькие фонари, изображения святых, скорченные темные идола, напоминавшие свирепых младенцев в материнской утробе; полуосвещенное море голов теснилось вокруг них,

вопя и рыдая; блестела тусклая позолота дерева; металлические хоругви, задевая друг друга, звенели и дребезжали.

Энниок остановился и усмехнулся: дерзкая мысль пришла ему в голову. Решив умереть шумно, он быстро отыскал глазами наиболее почтенного, увешанного погремушками старика. У старика было строгое, взволнованное и молитвенное лицо; Энниок рассмеялся; тяжкие перебои сердца на мгновение стеснили дыхание; затем, чувствуя, что рушится связь с жизнью и темная жуть кружит голову, он бросился в середину толпы.

Процессия остановилась; смуглые плечи толкали Энниока со всех сторон; смешанное горячее дыхание, запах пота и воска ошеломили его, он зашатался, но не упал, поднял руки и, потрясая вырванным у старика идолом, крикнул изо всей силы:

– Плясунчики, голые обезьяны! Плюньте на своих деревяшек! Вы очень забавны, но надоели!

Свирепый рев возбудил его; в иступлении, уже не сознавая, что делает, он швырнул идола в первое, искаженное злобой, коричневое лицо; глиняный бог, встретив мостовую, разлетелся кусками. В то же время режущий удар по лицу свалил Энниока; взрыв ярости пронесся над ним; тело затрепетало и вытянулось.

Принимая последние, добивающие удары фанатиков, Энниок, охватив руками голову, залитую кровью, услышал явственный, идущий как бы издалека голос; голос этот повторил его собственные недавние слова:

– Бал кончился, разъехались гости, хозяин остается один. И мрак одевает залы.

VI

«Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек».

Подумав это, Гнор обратился к прошлому. Там была юность; нежные, озаряющие душу голоса ясной любви; заманчиво кружащая голову жуткость все полнее и радостнее звучащей жизни; темный ад горя, – восемь лет потрясения, иступленной жажды, слез и проклятий, чудовищный, безобразный жребий; проказа времени; гора, обрушенная на ребенка; солнце, песок, безмолвие. Дни и ночи молитв, обращенных к себе: «спасайся»!

Он стоял теперь как бы на вершине горы, еще дыша часто и утомленно, но с отдыхающим телом и раскрепощенной душой. Прошное лежало на западе, в стране светлых возгласов и уродливых теней; он долго смотрел туда, всему было одно имя – Кармен.

И, простив прошлому, уничтожая его, оставил он одно имя – Кармен.

В настоящем Гнор видел себя, сожженного безгласной любовью, страданием многих лет, окаменевшего в одном желании, более сильном, чем закон и радость. Он был одержим тоской, увеличивающей изо дня в день силы переносить ее. Это был юг жизни, ее знойный полдень; жаркие голубые тени, жажда и шум невидимого еще ключа. Всему было одно имя – Кармен. Только одно было у него в настоящем – имя, обвеянное волнением, боготворимое имя женщины с золотой кожей – Кармен.

Будущее – красный восток, утренний ветер, звезда, гаснущая над чудесным туманом, радостная бодрость зари, слезы и смех земли; будущему могло быть только одно единственное имя – Кармен.

Гнор встал. Звонкая тяжесть секунд душила его. Время от времени полный огонь сознания ставил его на ноги во весь рост перед закрытой дверью не наступившего еще счастья; он припоминал, что находится здесь, в этом доме, где все знакомо и все в страшной близости с ним, а сам он чужой и будет чужой до тех пор, пока не выйдет из двери та, для которой он свой, родной, близкий, потерянный, жданный, любимый.

Так ли это? Острая волна мысли падала, уничтожаемая волнением, и Гнор мучился новым, ужасным, что отвергала его душа, как религиозный человек отвергает кощунство, навязчиво сверлящее мозг. Восемь лет легло между ними; своя, независимая от него текла жизнь Кармен – и он уже видел ее, взявшую счастье с другим, вспоминающую о нем изредка в сонных грезах или, может быть, в минуты задумчивости, когда грустная неудовлетворенность жизнью переби-

вается мимолетным развлечением, смехом гостя, заботой дня, интересом минуты. Комната, в которой сидел Гнор, напоминала ему лучшие его дни; низкая, под цвет сумерек мебель, бледные стены, задумчивое вечернее окно, полуспущенная портьера с нырнувшим под нее светом соседней залы – все жило так же, как он, – болезненно неподвижной жизнью, замирая от ожидания. Гнор просил только одного – чуда, чуда любви, встречи, убивающей горе, огненного удара – того, о чем бессильно умолкает язык, так как нет в мире радости больше и невыразимее, чем взволнованное лицо женщины. Он ждал ее кротко, как дитя; жадно, как истомленный любовник; грозно и молча, как восстанавливающий право. Секундой он переживал годы; мир, полный терпеливой любви, окружал его; больной от надежды, растерянный, улыбающийся, Гнор, стоя, ждал – и ожидание мертвило его.

Рука, откинувшая портьеру, сделала то, что было выше сил Гнора; он бросился вперед и остановился, отступил назад и стал нем; все последующее навеки поработило его память. Та же, та самая, что много лет назад играла ему первую половину старинной песенки, вошла в комнату. Ее лицо выделилось и удесятирилось Гнору; он взял ее за плечи, не помня себя, забыв, что сказал; звук собственного голоса казался ему диким и слабым, и с криком, с невыразимым отчаянием счастья, берущего глухо и слепо первую, еще тягостную от рыданий ласку, он склонился к ногам Кармен, обнимая их ревнивым кольцом вздрагивающих измученных рук. Сквозь шелк платья нежное тепло колен прильнуло к его щеке; он упивался им, крепче прижимал голову и, с мокрым от бешеных слез лицом, молчал, потерянный для всего.

Маленькие мягкие руки уперлись ему в голову, оттолкнули ее, схватили и обняли.

– Гнор, мой дорогой, мой мальчик, – услышал он после вечности блаженной тоски. – Ты ли это? Я ждала тебя, ждала долго-долго, и ты пришел.

– Молчи, – сказал Гнор, – дай умереть мне здесь, у твоих ног. Я не могу удержать слез, прости меня. Что было со мной? Сон? Нет, хуже. Я еще не хочу видеть твоего взгляда, Кармен; не подымай меня, мне хорошо так, я был твой всегда.

Тоненькая, высокая девушка нагнулась к целующему ее платье человеку. Мгновенно и чудесно изменилось ее лицо: прекрасное раньше, оно было теперь более чем прекрасным, – радостным, страстно живущим лицом женщины. Как дети, сели они на полу, не замечая этого, сжимая руки, глядя друг другу в лицо, и все, чем жили оба до встречи, стало для них пустым.

– Гнор, куда уходил ты, где твоя жизнь? Я не слышу, не чувствую ее... Ведь она моя, с первой до последней минуты... Что было с тобой?

Гнор поднял девушку высоко на руках, прижимая к себе, целуя в глаза и губы; тонкие сильные руки ее держали его голову, не отрываясь, притягивая к темным глазам.

– Кармен, – сказал Гнор, – настало время доиграть арию. Я шел к тебе долгим любящим усилием; возьми меня, лиши жизни, сделай, что хочешь, – я дожил свое. Смотри на меня, Кармен, смотри и запомни. Я не тот, ты та же; но выправится моя душа – и в первое же раннее утро не будет нашей разлуки. Ее покроет любовь. Не спрашивай; потом, когда схлынет это безумие – безумие твоих колен, твоего тела, тебя, твоих глаз и слов, первых слов за восемь лет, – я расскажу тебе сказку – и ты поплачешь. Не надо плакать теперь. Пусть все живут так. Вчера ты играла мне, а сегодня я видел сон, что мы никогда больше не встретимся. Я поседел от этого сна – значит, люблю. Это ты, ты!..

Их слезы смешались еще раз – завидные, редкие слезы – и тогда, медленно отстранив девушку, Гнор первый раз, улыбаясь, посмотрел в ее кинувшееся к нему, бледное от долгих призывов, тоскующее, родное лицо.

– Как мог я жить без тебя, – сказал Гнор, – теперь я не пойму этого.

– Я никогда не думала, что ты умер.

– Ты жила в моем сердце. Мы будем всегда вместе. Я не отойду от тебя на шаг. – Он поцеловал ее ресницы; они были мокрые, милые и соленые. – Не спрашивай ни о чем, я еще не владею собой. Я забыл все, что хотел сказать тебе, идя сюда. Вот еще немного слез, это последние. Я счастлив... но не надо об этом думать. Простим жизни, Кармен; она – нищая перед нами. Дай мне обнять тебя. Вот так. И молчи.

Около того времени, но, стало быть, немного позже описанной нами сцены, по улице шел

прохожий – гладко выбритый господин с живыми глазами; внимание его было привлечено звуками музыки. В глубине большого высокого дома неизвестный музыкант играл на рояле вторую половину арии, хорошо известной прохожему. Прохожий остановился, как останавливаются, придираясь к первому случаю, малозанятые люди, послушал немного и пошел далее, напевая вполголоса эту же песенку:

Забвенье – печальный, обманчивый звук,
Понятный лишь только в могиле;
Ни радости прошлой, ни счастья, ни мук
Предать мы забвению не в силе.
Что в душу запало – останется в ней:
Ни моря нет глубже, ни бездны темней.

Гостиница Вечерних Огней

I. Порт-Саид

Я стоял у руля; араб-лоцман, подъехав к пароходу на паровом катере, сменил меня в тот момент, когда настроенный уныло и буйно, я собирался посадить нашу «Христину» на мель. Это была хорошо, тщательно обдуманная месть капитану за две вахты не в очередь и сутки ареста. Она не удалась. Я покинул штурвал, вздыхая, помощник капитана окинул меня язвительным, многообещающим взглядом и промолвил вскользь:

– Как ошвартуемся, приготовь расчетную книжку. Я хорошо знал, чем насолил капитану и этой рыжей палке – помощнику. Им не нравилось мое критическое отношение к политике Германии. Частенько, разглагольствуя в кубрике, я указывал матросам на то, что (извините за скудность политической терминологии) сосиски получают от Франции хороший реванш. Франция съест сосиски и запьет их пивом в Берлине. После сказанного совершенно ясно, что капитан и помощник «Христины» были чистокровные немцы. Они мстили мне, как могли, а боцман (дальний родственник капитана) изводил меня мытьем шлюпок и матов. Третьего дня я сказал:

– Так более продолжаться не может.

Конечно, боцман донес об этом. Иначе вовсе необъясним змеиный взгляд рыжей палки.

«Ах ты, сосиска!» – хотел сказать я, но удержался, вспомнив, что за это может влететь штраф. Две мухи занялись флиртом на моей правой руке, я отправил их в лучший мир, думая: «Почему это не немцы?» Ответив официально и так сухо, что мог случиться неурожай в трех губерниях, я сбегал вниз, в кубрик и, довольный уже тем, что сегодня не нужно работать, насвистывая веселую песенку, занялся укладыванием вещей.

Через два часа я был в гавани, с мешком за плечами, одетый, как всегда матросы на берегу, в лучшее свое платье, и шел к маклеру. Мне хотелось снова и как можно скорее получить место; маклер устраивал это за половину месячного жалованья. Отойдя на приличное расстояние от ненавистой «Христины», я погрозил ей кулаком и, каюсь, вздохнул.

Скучно, скучно настоящему моряку очутиться на неподвижной, твердой земле; вытряхнутым, пустым чувствует он себя, смотря в заповедную глубину морской дали; не плещет в шлюзах вода, стих ветер, остановилось движение. Сам, неуклюже и медленно, как бы не доверяя спокойствию земной палубы, движется моряк на расшатанных качкой ногах, грустит, и хочется ему выпить.

Чудесно Средиземное море, лазурнее самой лазури оно, полно косых на горизонте парусов, задумчивой величавой нежности, легендами обвеяна его даль, и часто, воровски удаляясь от крейсера, парит в воздушной границе голубого круга черный боевой флаг пирата.

Хо-хо! Раз это море обесчещено ненавистой «Христиной», не хочу о нем думать три дня и говорить.

II. Гостиница Вечерних Огней

Маклера не оказалось дома; я не очень удивился этому: когда уж не везет, так не везет до самого «тпру»; маклер уехал в Александрию. Это сообщила мне жена маклера, грязная, но симпатичная женщина; так как я маклера ехать в Александрию не просил, то это мне мало понравилось.

Я пожелал доброй женщине спокойной ночи и вышел; наступал вечер, пламенное дыхание зноя – воздушной лавы африканского материка – перебивалось свежим зюйд-остом. Я шел по улице, населенной рыбаками, торговцами, проститутками и матросами.

У меня было много денег, за шесть месяцев службы на проклятой «Христине» я заработал, выиграл и наторговал контрабандой более восьмисот франков. Да, я мог поселиться в лучшей гостинице. К сожалению, мне в таких местах оказывали мало почтения и плохо чистили сапоги, поэтому я избегал слишком блестящих отелей. Проходя мимо арабской харчевни, я полюбовался знаменитым танцем живота, очень похожим на всем известный матчиш, только грубее, и стал зевать, потом, чувствуя, что голоден, сердито и грозно принялся отыскивать гостиницу того типа, который, как известно, всего лучше определяется словами: «Мне это понравилось».

«Гостиница Вечерних Огней» – прочел я наконец в глухом переулке, где было так тесно, что бродячая собака, встретив меня, посторонилась; но не было никаких огней в этом доме, исключая корабельный фонарь, висевший над дверью. «Постучим», – сказал я, ударяя ногой в доски, обитые циновками. Дверь, скрипнула и открылась в глубь коридора; черная дыра смотрела на меня глухо и выжидательно.

«Наверное, отворил негр, – подумал я, – негра в темноте увидеть не так просто». Действительно, это был негр, он вышел на полусвет переулочка, щурясь и кланяясь. Он был в своем полном национальном костюме, то есть без ничего, кроме синего холста вокруг бедер. Я сказал:

– Мне нужно комнату. Комнату с водой, мылом и постелью. А также поесть и выпить.

– Выпить, мыло, комната, поесть можно, – ответил он на ужасном английском языке, но мне и в голову не пришло улыбнуться, мое внимание привлекли глаза негра, глаза, хватающие за горло; неестественно внимателен и остер был их тягучий взгляд, полный высокомерия и раздувания. Старые мысли о непочтительности и плохо вычищенных сапогах посетили меня. Устыдившись их в таком месте, я крикнул полным, штормовым голосом:

– Ну, давай! Живо! Есть! Пить! Спать!

Он медленно поклонился, исчез и через минуту появился с маленькой жестяной лампой. Я шел за ним, сначала по грязному коридору с земляным полом, затем по узкой, меж двух глухих стен, поскрипывающей, ще-левидной лестнице. Наверху негр остановился, щелкнул ключом – и я очутился в небольшой, но чистой, с настоящей кроватью комнате.

– Ну, ничего, – успокоительно сказал я. – Сколько стоит?

– Один франк.

Негр говорил грудным, низким, но очень приятным голосом. Я сел, осматриваясь.

– Неси же скорее, – сказал я, – неси что хочешь, было бы горячо и вкусно.

Негр пристально поглядел на меня, оставил на столе лампу, повернулся и вышел. Более я его не видел. Я рассказывал пока что, как вы заметили, вероятно, сами, немного юмористически. Человек, испытывавший тот ужас, который пережил я, имеет право шутить.

III. Флейта

Прежде всего представьте полную тишину. Голодный, я сидел на плетеном стуле и ждал негра; было так тихо, что шипение масла в лампе казалось единственным звуком, знакомым этому дому. Было еще не поздно, но до ушей моих, как я ни старался прислушиваться, не долетал ни шум шагов, ни звуки голоса, ничего, что обычно, почти не замечаемое нами, присуще всякому, не погрузившемуся еще в сон жилому помещению, и трогает слух. Я сразу отметил это, так как стал испытывать беспричинное раздражение; после крикливой уличной суеты этот глухонемой дом озадачивал крайне неприятным, тягостным впечатлением тишины, не нарушающейся

даже звуками улицы; по-видимому, я был в центре дома.

Бросив мешок в угол, я лег на кровать, вытянулся и закрыл глаза. Прошло немного времени, я размышлял о том, поступать ли мне на пароход немедленно или же отдохнуть и повеселиться, – как вдруг, заставив меня вздрогнуть, снизу, отчетливо и явственно донесся полный, приятный звук; он оборвался, перешел в более высокий тон, и я услышал монотонную, странную и оригинальную мелодию, исполняемую невидимым музыкантом.

– Играй, играй, – сказал я, – это увеличивает аппетит.

По-видимому, играли на флейте, но сказать в точности, что это была флейта, я не могу, может быть, это было что-нибудь вроде туземной волюнки. Звуки носили совершенно особый характер, переливы их, не заглушаясь перегородками стен, проникали в мою комнату так свободно, словно играли у меня под кроватью. Я скоро убедился, что слушаю слишком внимательно, в этом была странная смесь удовольствия и печали. Звуки, достигая моего сознания, приобретали легкую силу прикосновения ко мне, к моему телу, меня как бы трогали осторожно и мягко, в чем-то убеждая и успокаивая.

Я нервен, нервен настолько, что иногда мелочь, пустяк, могут заставить меня думать о них с волнением. Флейта продолжала играть, тягучий, медленный темп мотива лишал меня способности думать, беспричинная глубокая тоска овладела мною. Вдруг почувствовал себя смертельно усталым, слабым и огорченным.

«Эй ты, дьявольская канарейка! – крикнул я. – Брось!»

Мой рот остался закрытым, я крикнул мысленно. С минуту я остался неподвижным, вытаращив глаза на полог кровати. По-прежнему не было ничего слышно, кроме шипения масла в лампе и проникающих тяжестью во все тело звуков удивительного инструмента; испуганный, еще не зная хорошенько – чем, я сделал усилие и вскочил. Я вскочил мысленно, в чем я убедился тотчас же, так как продолжал лежать на кровати; сделав усилие, я представил, со всей мгновенной яркостью страха, как упираюсь ногами, приподнимаюсь и вскакиваю, но этого не было.

Гадливый, полный омерзения и тяжелого холода в груди ужас овладел мною, ужас болезненного кошмара, паника человека, связанного по рукам и ногам и брошенного на рельсы под надвигающийся паровоз.

Флейта продолжала играть. В мотив вошли две-три новые ноты, пронзительные и грозные. Я беспомощно внимал им, задыхаясь от страха. Я не понимал, что со мною: изнурительная, предательская слабость росла в теле; это соединялось с сильным душевным страданием; я мучился так, как если бы лишился любимой женщины или бы пережил невероятную низость; я вздохнул и заплакал. Слезы не принесли мне облегчения. Мои мысли приняли мрачное, определенное направление, я думал о смерти. Мне казалось, что я умираю; немного спустя я был уже совершенно уверен в этом. Жизнь покидала меня. Сердце билось так слабо, что замирающая в артериях кровь вызвала головокружение, в глазах темнело, дыхание сделалось отрывистым и неровным.

Флейта продолжала играть. Флейта убивала меня, я ясно различал оттенки звуков, несущие смерть.

Постепенно тоска, страдание, ужас и слабость достигли своего крайнего, невыносимого для человека предела, и я потерял сознание.

IV. Жизнь

Не знаю, долго ли я пробыл без чувств. Очнувшись, я услышал шум, топот и голоса в коридоре. Флейта молчала. С трудом подняв руку, я вскрикнул от радости – это не был мысленный акт, а настоящее, живое движение тела.

Я встал, шатаясь; в комнате было светло и страшно, шум за стеной продолжался, но мне он не принес ничего, кроме нового страха, я не знал, где я, кто возится за стеной в коридоре и что меня ждет. Моим первым и единственным желанием было бежать.

Я подошел к двери, прислушиваясь... Тотчас же сильный удар ногой в дверь заставил меня крикнуть:

- Чего вы хотите?
- Кто вы? – спросили по-английски.
- Эмиль Кош, матрос, войдите, ради Бога, скорее!
- Дверь заперта.

Сказавший это, по-видимому, не любил долго искать ключ. Дом задрожал от его ударов, я помогал, как мог.

В выбитую дверь ввалилось шесть человек, четыре из них были английские матросы, а остальные – полиция.

- Это не тот, – сказал один из матросов, обращаясь к полицейскому.
- Что вы здесь делаете?
- Я хотел ночевать.

Все молчали, рассматривая меня.

Полицейский сказал:

– Мы ищем английского подданного, лейтенанта Ричарда Джонсона. Неделью тому назад он исчез бесследно; матрос, провожавший его, утверждает, что он остановился в этой гостинице.

– Я не знаю Джонсона, – сказал я. – Верно лишь то, что, не приди вы, я был бы, наверное, там же, где теперь лейтенант Джонсон.

- Что вы знаете? – спросил матрос.
- Флейту, – сказал я. – Вот, послушайте меня.

И я рассказал подробно о странной игре, лишившей меня сознания. Все выслушали молча, внимательно, но кое-кто улыбнулся.

– Может быть, это был кошмар, – сказал старый матрос, – особенно после хорошей выпивки. Мы спрашивали хозяина этой гостиницы, его слугу-негра, жену хозяина. Все говорят, что Джонсон встал рано утром и ушел неизвестно куда. Но с ним было много денег.

– Кошмар? – возразил другой. – Но вы забыли, что, когда мы подходили к гостинице, внизу действительно слышались какие-то звуки, очень напоминавшие флейту.

– Я глух для этих вещей, – сердито возразил старик, – что же, вы заставите меня тому поверить?

– Я поверил, – сказал я, – но это, наконец, не важно даже и для полиции. Каждый имеет право в своем доме играть на флейте и даже на чем угодно... Тем более когда этим можно беспокоить одного-единственного жильца.

– Да, в других комнатах никого нет, – подтвердил матрос.

Мы постояли и вышли. Светало. На рейде горели бледные огни мачт... Сонный полицейский зевал, закрывая рукой рот.

Мы плохо знаем Восток.

Зимняя сказка

Ты сейчас услышишь то, о чем спрашиваешь.

Редклиф

I

Ранний морозный вечер незаметно проступил в бледном небе желтой звездой. Улица стала неясная, снег – мгlistый; скрипели, раскатываясь на поворотах, сани; редкая ярмарочная толпа сновала у балаганов: купцы-самоеды, мужики в малицах, бабы и девки; возле галантерейной лавки хмельной парень размахивал кумачовой рубахой; над калиткой кое-где болтались прибитые гвоздиками куньи и горностаевые шкурки: пушная торговля; мерзлые говяжьи туши, задрав ноги вверх, войском стояли на площади.

Ячевский, с целью занять три рубля, пришел в город из подгородной деревни, зашел в не-

сколько квартир, но денег нигде не добился, остановился на углу, думая, к кому бы зайти еще, наконец, смерз, повернул в переулок и поднялся в верхний этаж гнилого деревянного дома. У обшарпанной двери, облизываясь, подбострастно мякала кошка; Ячевский пустил ее, хотел войти сам, но женский голос сказал: – «Кто там, нельзя». Ячевский притворил дверь и громко, отчего слабый его голос стал похож на тонкий голос спросившей женщины, крикнул:

– Я это, Ячевский: можно?..

За дверью начался спор, женщина испуганно спрашивала: – «где же мне... где же мне», – а быстрый, злой голос мужчины твердил: – «ну, выйди, я тебя прошу... слышишь... надо же мне принимать где-нибудь». Слово «принимать» звучало мелочной болью и желанием произвести впечатление. Наконец, дверь открыл длинноволосый с лицом раскольника человек в синей, низко подпоясанной блузе, сказал быстро: «Входите», – и, отойдя к столу, прикрытому обрывком клеенки, напряженно остановился, пощипывая бородку. Ячевский увидел брошенные на грязный диван юбку, лоскутки, нитки, подумал: «нет мне сегодня денег», – и неловко сказал:

– Извините, Пестров, я помешал... супруга ваша работает, а я ведь так себе зашел, давно не был.

– А, да... ну, отлично, – бегая глазами, проговорил Пестров. Видно было, что визит этот почему-то неприятен и мучителен для него, но уйти вдруг Ячевский не решался; взяв стул, он сел и сгорбился.

– Вот как... живете вы, – медленно, чтобы сказать что-нибудь, произнес Ячевский и тут же подумал, что этого говорить не следовало – голые стены, груды книг на окне, сор и юбка кричали о нищете. О Пестрове было известно, что он где-то там пишет, уверяя, будто одна нашумевшая, подписанная псевдонимом книга принадлежит ему; над этим смеялись.

– Вы... выпьете чаю? – спросил Пестров; крикнул за перегородку: – Геня, самовар... впрочем, не надо. – Затем, обращаясь к Ячевскому, небрежно сказал: – Я забыл купить сахару... булочная, кажется, заперта... Нет.

– Я совсем, совсем не хочу чаю, – поспешно ответил Ячевский, – вы, пожалуйста, не беспокойтесь. – После этого ему стало вдруг нестерпимо тяжело; он растерялся и покраснел. – Нет... я вас спрошу лучше, как ваши работы, вы, вероятно, всегда заняты?

– Да, – словно обрадовавшись, сказал Пестров и сел, смотря в сторону. – Я очень занят.

За перегородкой что-то упало, резко звякнув и тем неожиданно пояснив Ячевскому, что в соседней комнате, затаившись, сидит человек.

– Не давай ножницы Мусе, – зло крикнул Пестров, – я говорил ведь! – Потом, видимо, возвращаясь мыслью к самовару и булочной, сказал, легко улыбаясь.

– Мои обстоятельства несколько стеснены, что редкость в моем положении, но я скоро получу гонорар.

Ячевский приятно улыбнулся и встал.

– Да, это хорошо, – сказал он, – ну... будьте здоровы, извините.

– Помилуйте, – шумно рванулся Пестров, крепко сжимая и тряся руку Ячевского, лицо же его было по-прежнему затаенно враждебным, – помилуйте, заходите... нет, непременно заходите, – закричал он на лестницу, в спину удаляющемуся Ячевскому.

Ячевский, не оборачиваясь, торопливо пробормотал:

– Хорошо, я... спасибо... – и вышел на улицу.

II

Придя домой, Ячевский чиркнул спичкой и увидел, что в комнате сидят двое: Гангулин за столом, положив голову на руки, а Кислицын возле окна. Спичка, догорев, погасла, и Ячевский, раздеваясь, сказал: – Отчего же вы не зажжете лампу?

– В ней, Казик, нет керосина, – зевнул Гангулин. – Мы шли мимо и забрели. Керосин есть?

– Нет. – Ячевский вспомнил о денежных своих неудачах и сразу пришел в дурное настроение. – Хозяева же легли спать, – прибавил он. – я мог бы занять у них. Нехорошо.

– Наплевать, – бросил Кислицын. – Физиономии наши друг другу известны.

В комнате было почти темно. Голубые от месяца стекла двойных рам цвели снежным узором; пахло табаком, угаром и сыростью. Ячевский сел на кровать, снял было висевшую у изголовья гитару, но повесил, не трогая струн, обратно; он был печален и зол.

– А вы как? Что нового? – сказал он.

– Ничего, собственно. «Пусто, одиноко сонное село», – продекламировал Гангулин, встал, сладко изогнулся, хрустя суставами, сел снова и вздохнул. – У Евтихия мальчик родился; щуплый, красный, еле живой; Евтихий в восторге.

– Ты видел?

– Нет, я заходил в лавку, там встретил акушерку, она принимала.

Наступило молчание. Гангулин думал, что в темноте сидеть не особенно приятно и весело, но лень было подняться, надевать пальто, идти по тридцатиградусному морозу в дальний конец города, а там, нащупав замок, попадать в скважину, зажигать лампу, раздеваться и все затем, чтобы очутиться в ночном молчании занесенной снегом избы, одному прислушиваясь к змеиному шипению керосина. Ясно представив это, он снова опустил голову на руки и затих Кислицын же, отвернувшись к окну, вспоминал девушку, умершую два года тому назад; при жизни она казалась ему обыкновенным, не без досадных недостатков, существом, а теперь он ужасался этому и не понимал, как мог он не чувствовать ее совершенства, и душа его замкнуто болела тонким очарованием грусти, похоронившей горе.

Ячевский неохотно ждал продолжения уныло-беспредметного разговора; все подневольные жители города и пригородных деревень прочно, основательно надоели друг другу. Но гости молчали; изредка, за окном, судорожно скрипели полозья, слышался глухой топот; тараканы, пользуясь темнотой, суетливо шуршали в обоях. Молчание продолжалось довольно долго, делаясь утомительным; Ячевский сказал:

– Гангулин, вы спите?

– Нет. – Гангулин откинулся на спинку стула. – А так, просто, говорить не хочется. А разговор я послушал бы; даже не разговор, а чтобы вот сидел передо мной человек и говорил, а я бы слушал.

Ячевский лег на кровать, закрыл глаза и сказал:

– Я раньше был очень разговорчив и общителен, а теперь выветрился.

– Почему? – рассеянно спросил Кислицын.

– А так. Жизнь. Сухая молодость и три года в снегах – прохладное состояние души.

– Слушайте, – после небольшого молчания таинственно заговорил Кислицын, – вот вам обоим задача. Дня четыре тому назад мне нечто приснилось, не помню – что, и я проснулся среди ночи в страшном волнении. Это я потому рассказываю, что ко мне сейчас, в темноте, вернулось то настроение. Было темно, вот так же, как теперь, я долго искал свечу, а когда нашел, то сон этот, – как мне показалось спросонок, заключающий в себе что-то лихорадочно важное, – пропал из памяти; осталось бесформенное ощущение, которому я никак не могу подыскать названия; оно, если можно так выразиться – среднее между белым и черным, но не серое, и чрезвычайно щемящее... На другой день, неизвестно почему, только уж наверное в связи с этим, стали в голове рядом три слова: «тоска, зверь, белое». Они нет-нет вспомнятся мне, и тогда кажется, что если обратно уяснить связь этих слов – я, понимаете, буду как бы иметь ключ к собственной душе.

Он замолчал, потом рассмеялся и стал курить.

– Это мистика, – наставительно произнес Гангулин, – а ты – тоскующий белый медведь!

Кислицын снова рассмеялся грудным детским смехом.

– Нет, правда, что же это может быть, – сказал он, – «тоска, зверь, белое»?

– Бывает, – тихо заметил Ячевский, – еще и не то в тишине. Бывает иногда... – Он смолк и быстро закончил: – Этим выражается настроение. А твои три слова, как умею, переведу.

– Ну, – сказал Гангулин, – только не страшное.

– Вот что, – Ячевский приподнялся на локте, и в воздушной месячной полосе блеснули его глаза. – В ослепительно-белом кругу меловых скал бродит небольшой, нервный зверь-хищник.

Не знаю только, какой породы. Небо черно, луна светит; зверь беспомощно мечется от скалы к скале, ища выхода, припадает к земле, крадется в тени, бьет хвостом, воет и прыгает высоко в воздухе, а иногда станет, как человек. Положение его безвыходное.

– В темноте бродят всякие мысли, – задумчиво проговорил Кислицын, – нет, мне решительно не нравится жить в этом городе.

Никто не ответил ему, но все трое, скользнув памятью в глубину прошедшего года, сморщились, как от скверного запаха. Жизнь города слагалась из сплетен, выносимой на показ дряблости, мелочной зависти, уныния, остывших порывов и скуки.

Из тишины выделился однообразный, призрачно далекий, тоненький звон колокольчика, замер, затем, после короткого перерыва, раздался вновь, окреп и, медленно приближаясь, пронесся мимо окна, рисуя воображению пару лохматых лошадей, сонное лицо внутри качающегося на ходу возка и свежий, бегущий, в рыхлом снегу, след саней.

– Иной раз, – сказал Ячевский, – после бесконечных взаимных жалоб мне кажется, что в нашем терпеливо-безнадежном положении мы все ждем появления какого-то неизвестного человека, который вдруг скажет давно знакомое. Но от этого произойдет нечто такое, как если сонному бросить в лицо лопату снега или крепко натереть уши.

– Послушайте, – оживился Гангулин, – я вспомнил рассказ о том, как одна сельская учительница...

Он не договорил, так как в сенях скрипнуло, треснул настил, раздались увесистые шаги, и дверь стремительно распахнулась, взрывая теплую духоту помещения хлынувшим из сеней холодом. Ячевский встал. Вошедший остановился у печки.

III

– Кто это? – спросил, недоумевая, Гангулин. В полумраке чернела высокая фигура закутанного человека; он сказал низким, незнакомым всем голосом:

– Вы – ссыльные?

– А вы кто? – спросил, зажигая спичку, Ячевский, – мы – да, ссыльные.

Перед ним стоял покрытый до пят меховой одеждой широкоплечий, неопределенного возраста, человек. В обледеневшем от дыхания вырезе малицы³⁵ скуп улыбалось красное от мороза лицо, безусое, скуластого типа, спутанные русые волосы выбивались из-под шапки на круглый лоб, черные, непринужденно внимательные глаза поочередно смотрели на присутствующих. Спичка погасла.

– Я тоже ссыльный, – однотонно и быстро сказал вошедший, – я бегу из Усть-Цильмы, сюда меня довез здешний мужик... Я рассказываю все, вам нужно знать, почему и как я зашел сюда...

– Зачем же, все равно, – немного теряясь, перебил Ячевский, – садитесь, все равно.

– Нет, я скажу. – Речь беглеца потекла медленнее. – Здесь город, я еду на вольных перекладных, паспорт фальшивый, мужик ищет лошадей на следующий перегон. Сидеть в избе, среди разбуженных мужиков и баб, быть на глазах, врать, ждать, может быть, час, – неудобно. У них памятливые глаза. Ямщик указал вас, я зашел, а теперь разрешите мне ожидать у вас.

– Странно спрашивать, – сдержанно отозвался Кислицын.

– Да садитесь, какие же церемонии, – засмеялся Ячевский. – Как вам удобнее. Но вот темно, это случайно, а неприятно.

– Мы придумаем, – сказал неизвестный и что-то проговорил заглушенным одеждой голосом; он скидывал малицу, ворочаясь и принимая в темноте уродливые очертания и пыхтя. Мех шумно упал на пол. – Да. – отдуваясь, но заботливо и покойно продолжал он, – я говорю – нет ли у вас лампадки?

– Ну, как же, мы про это забыли, – радостно удивился Ячевский, – конечно, есть.

Он скрылся в углу, затем осторожно поставил на стол запыленную лампадку и зажег фи-

³⁵ Малица — меховой мешок с капюшоном и рукавами.

тиль. Остатки масла, треща, прососались сквозь нагар огоньком величиною с орех, месячное окно померкло, тени людей, колеблясь, перегнулись у потолка.

Приезжий, в свою очередь, быстро пробежал взглядом по усатому, с детскими глазами, лицу Кислицына, брезгливым чертам Гангулина, задумчивому, легкому профилю Ячевского и, двигая под собой стул, подсел к свету, застегнув на все пуговицы двубортный темный пиджак, из-под которого, шарфом обведя короткую шею, торчал русский воротник кумачовой рубахи.

Гангулин, потупясь, рассматривал ногти, Ячевский обдумывал положение, а Кислицын спросил:

– Вы давно в ссылке?

– Шесть дней, – показывая улыбкой белые зубы, сказал проезжий.

Гангулин взглянул на него круглыми глазами, проговорив:

– Быстро.

– Быстро? Что?

– Быстро вы убегаете, очертя голову, стремительно.

– Так как же, – сказал проезжий, – я не могу путешествовать с меланхолическим, томным видом, скандировать, останавливая лошадей на лесных полянах, чувствительные стихи, а затем, потребовав на станции к курице бутылку вина, ковырять в зубах перед каминной решеткой, вытягивая к тлеющим углям благородные, но усталые ноги... Я впопыхах...

Он, подняв брови, ждал, когда рассмеются все, и, дождавшись, громко захохотал сам.

– Значит, – сказал Гангулин, – значит, вы улепетываете?

– Вот именно. – Проезжий, вытащив из кармана портсигар, угостил всех и закурил сам, говоря. – Слово это очень подходит. Но мне, видите ли, здесь не нравится. Я не привык.

– Вас могут поймать; поймают – риск, – серьезно сказал Ячевский.

– Ну... поймают... – Он сморщился и развел руками, как будто, услышав иностранное слово, переводил его в уме на свой, скрытый от всех язык. – Поймают. Разве вы, делая что-нибудь, останавливаетесь в работе потому только, что не угадываете ее успеха или фиаско? Так все.

Три человека с чувством любопытствующего оживления смотрели на него в упор, Кислицын сказал:

– Куда же, если не секрет, едете?

– А, боже мой, – уклончиво ответил проезжий, – мало ли где живут... – Он заметил по выражению лица Кислицына, что собеседники готовы рассмеяться и что его слушают с удовольствием. – Вы думаете, конечно, что я словоохотлив, – верно, поговорить люблю, это здорово, к тому же дух мой опережает меня, и теперь он далеко, а это действует, как вино. Так что же? Да, вы спрашиваете... У вас здесь еще зима, а там, – он махнул рукой в угол, – начало весны.

– Весна дальнего севера, – брезгливо сказал Гангулин, – не очень приятна. Бледное солнце, изморозь, сырость, чахоточная и нудная эта весна здесь.

– Весна в наших краях, – заговорил, помолчав, проезжий, – весна сильная, такая веселая ярость, что ли. В один прекрасный день всходит весеннее солнце и толчет снег; он загорается нестерпимым блеском, сердится, пухнет, проваливается и вот: черная с прутиками земля, зеленые почки, белые облака, вода хлещет потоками, брызжет, каплет, звенит; так вот некоторые у домохозяйки женщины утром – смокнут до нитки. Потом земля сохнет, – тоже быстро, появляется трава, коровы с бубенчиками и вы, – в белом костюме, на руке же у вас висит нежно одна там... шалуныя. Ей-богу.

– Даже слюнки потекли, – сердито сказал, смеясь, Гангулин.

Кислицын, не переставая улыбаться, кивнул безотчетно головой, и всем троим глянул в лицо апрель, когда синяя разливается холодными реками весна.

– Вы жили в деревне? – после недолгого молчания спросил Кислицын.

– Да.

– Как там?

– Плохо.

– А ссыльные?

– Нос на квинту.

– Да, – угрюмо сказал Гангулин, – вы жили, может быть, всего дня два, но проживи вы два года... Это я к тому, что тяжело жить.

Проезжий ничего не ответил. Затрепанный номер иллюстрированного журнала, валявшийся на столе, привлек его внимание; он перевернул несколько страниц, пробежал глазами рисунок, стихотворение и встал.

– Ямщика нет, – озабоченно проговорил он, – мужик хотел зайти сказать – и не идет. Сви-
нья.

– Я предложил бы закусить вам, да нечего, – покраснев, сказал Ячевский, – пустовато.

– Я не голоден, – быстро сказал проезжий, – правда, не голоден.

Он вздохнул и обернулся. Неслышно оттянув дверь, вполз заиндевший мужик, перекрестился и стал у порога; озорное, хилое лицо мужика хитро смотрело вокруг.

– Едем, – вскочил проезжий.

– Уготовил, – откашливаясь в кулак, пробормотал мужик. – Лошадей наладил, как стать, в одночасье, свояк едет мой, пару запрег вам.

– Ах ты, умная миляга, – сказал неизвестный, – хитрая, жадная, но умная; ну, так я готов, веди меня.

Он проворно надел малицу, рукавицы, шапку и подошел к столу. Все стояли, мужик у печки вытирал усы, стряхивая сосульки в угол.

– Прощайте, спасибо. – Проезжий крепко тряхнул протянутые руки, добавив: – Может, увидимся.

– Жаль, уезжаете, – располагаясь к этому человеку, простодушно сказал Кислицын, – опять сядем и заскучаем.

– Полноте, – ответил, неповоротливо двигаясь, человек в мехах, – скука... Я еду, думаю... все скучаем, это сон, сон, мы проснемся, честное слово, надо проснуться, проснемся и мы. Будем много и жадно есть, звонко чихать, открыто смотреть, заразительно хохотать, сладко высыпаться, весело напевать, крепко целовать, пылко любить, яростно ненавидеть... подлости отвечать пощечиной, благородству – восхищением, презрению – смехом, женщине – улыбкой, мужчине – твердой рукой... Тело из розовой стали будет у нас, да... А я все-таки заболтался. Прощайте.

Он поклонился и вышел, а мужик, мотнув головой, опередил его, загремев по лестнице Кислицын, стоя у двери, улыбнулся в то место тьмы, где, как думалось ему, находится лицо беглеца, и, так же задумчиво улыбаясь, закрыл дверь. Огонь, сильно колеблясь, трепетал в пыльном стекле лампадки мутным погибающим светом.

IV

У оврага, возле кривой избы, где ныряющая в перелесок дорога чернела при луне навозом и выбоинами, – стояла, поматывая головами, пара кобыл; подвязанный к дуге колоколец тупо брякал, а мужик, расставив ноги, затягивал мерзлый гуж. Тут же, по привычке оглядываясь во все стороны, бросал в возок охапки сена проезжий, поверх сена растянул ватное одеяло, устроил выше, для головы, подушку и стал ходить от избы к возку и обратно, нетерпеливо дергая головой. В мутной, холодно осиянной дали темнел черный лес; черные, без огней, избы, изгороди тянулись от леса к городу; тени, как сажа на молоке, резали глаз. Две собаки лаяли за версту от оврага, но так звонко, словно вертелись за спиной.

– Тпру-у, – подымая голову, зашипел мужик, – околеть тебе, нечистая сила, калека, падло несчастное. Тпрусь.

– Шевелись, борода, ехать надо, – сказал проезжий, – раньше смотреть надо было.

Мужик, молча тряхнув оглоблей, нахлобучил шапку, потоптался, шмыгнув носом и свалился боком на облучок, вытянув ноги, как неумеющие ездить верхом дамы, а пассажир, колыхая возок, разлегся внутри и блеснул спичкой, закуривая.

– Ну, тряси вожжами, – сказал он, – поехали... Да смотри, по деревьям зайцем лупи, бутылка водки в кармане, тебе отдам.

– Уж я такой, – деловито оживился мужик, – со мной ничего... ничего, покойно, значит,

сенца взял.

– Пойдите, – запыхавшись, крикнул Ячевский. Он подбежал из-за избы и, торопясь, смущенно улыбнулся, заглядывая в возок.

– Это, ведь, вы... сейчас... были там... так вот я...

Он запнулся, и возбуждение его улеглось.

– Ах, вы, – сказал пассажир, – что вы, пальцы отморозите, зачем пришли?

– Я, – снова заговорил Ячевский, покоряясь внезапному чувству беспомощности, в котором задуманное разом обмякло и перегорело, – я очень прошу меня извинить, задерживаю, не можете ли вы... наложенным платежом русско-немецкий словарь, сделайте одолжение.

Горький стыд потопил его. В возке точками блестели глаза.

«Зачем я все это говорю? – подумал Ячевский. – Никакой словарь не нужен, и черт вас всех побери».

– Словарь? А какой? – нетерпеливо спросил проезжий, заворочался и прибавил: – Ну, хорошо, только это?

– Да, больше ничего, извините, – тихо сказал Ячевский. – Моя фамилия Ячевский. До восстребования.

– Прощайте, – раздалось из возка, – трогай.

Ячевский отошел в сторону, а коренная, тряхнув дугой, рванула возок, и лошади побежали мелкой рысью. Воровской дребезг колокольца рассыпался по оврагу коротким эхо, на бугре, падая вниз, возок скакнул, мужик занес кнутовище над головой, и снежный вихрь, брызнув из-под копыт, комьями полетел в возок. Скрип полозьев, удаляясь, затих.

Ячевский, растирая отмороженную щеку, долго смотрел в перелесок, зяб и думал, что все, вероятно, к лучшему. Он шел с целью просить неизвестного беглеца достать и выслать ему хороший подложный паспорт; этому помешали различные практические соображения.

«Бежать, – думал Ячевский, идя домой, – это, в сущности, не так просто, чего я? Шальная вспышка; сорвался, побежал... русско-немецкий словарь, противно все это. Два года – пустяки. И здесь люди живут».

Он спустился к занесенному снегом мостику; на перилах его, висая грудью и подбородком, какой-то захмелевший, без шапки, человек скользил, шаркая ногами, и горько плакал навзрыд.

Рассказ о странной судьбе

I

Молодой человек, с деловым и сухим лицом, сказал:

– Мы с вами беседуем целый час, а вы и не подозреваете, что я вас встречал раньше, давно, несколько лет назад.

– А где это было?

– В Самаре. Посмотрите на меня.

Он встал, жалостно опустил углы губ, взъерошил волосы, сунул под мышку салфетку и согнулся, как кланяющийся театру виртуоз, опустив руки по-обезьяньи.

– Суп с лапшой, – пробормотал он, бегая глазами, – на второе голубцы, колдуны, чего изволите? Кисель с молоком.

– Ясно, – сказал я. – Митька-свистун.

– Персонально. – Он уселся и спокойно посмотрел на меня. От неожиданности я даже покраснел. Трудно было теперь узнать в щегольски одетом, с сносными манерами господине бывшего трактирного полового.

– Да, хорош, хорош, – сказал я. – Пять лет назад я почти каждый день бывал в «Порт-Артуре», где вы служили.

И он заговорил о себе. Мне оставалось только удивляться, слушать и разводить руками. Его звали Антипов.

II

– Вы знаете, – сказал Антипов, – что у нас была революция. Ей я обязан всем – моим положением, богатством и даже семейным счастьем.

Мне даже удивительно вспоминать об этом. В трактире, где я служил, повар читал нелегальные брошюры и ходил по праздникам в лес на митинги.

– Митька, – сказал он мне однажды вечером, – присоединись к общему делу. А дело это вот такое-то и такое-то...

Я слушал, затаив дыхание. Нельзя сказать чтобы он тронул или взволновал меня; я был страшно заинтересован таинственными и опасными сторонами этого дела. Смутный голос твердил мне, что нужно ухватиться за повара. Зачем? Не знаю. Это было чутье охотника.

Я так долго и голодно жил по мерзким каморкам кабаков, так долго выносил брань, так устал от постоянной работы, что в словах и рассказах восторженного хилого повара о прекрасных незнакомцах, жертвующих ради нашего брата всеми преимуществами жизни, о полном благодородства и достоинства обращении их, о том, как они дают всем книжки и как всем говорят «вы», – мне почудилась для умного человека возможность изменить свою собачью жизнь.

В ближайшее воскресенье я умылся, подстригся и отправился с поваром. На краю города, в низеньком мещанском домике, собралось шесть человек рабочих.

Скоро пришел пропагандист и стал говорить нам о разных вещах. В самом патетическом месте его речи я встал, хлопнул об пол шапкой и заплакал... Пропагандист пожал мне руку и назвал меня «товарищем».

Прошла неделя, и мне уже было поручено организовать новый кружок. Я составил их два. Мне доверяли, и я не употреблял этого во зло. К тому времени я мог сам кое-что объяснить фабричным мальчишкам, пользуясь прокламациями, брошюрами и наставлениями пропагандистов. Повар поцеловал меня.

Весной произошли аресты. Многих очень нужных рабочих арестовали, и я был выбран в рабочий комитет. По делам мне часто приходилось сноситься с комитетом партийным, и я быстро усвоил не только правила конспирации, но и всю революционную психологию. Скоро арестовали и меня.

В тюрьме был свободный режим. Сидело человек двадцать мужчин и женщин. С воли нам приносили книги, цветы, мягкие булки, пироги, дичь, конфеты, чай, сахар, табак и деньги. Я пополнил, отоспался и, пользуясь вынужденным досугом, обложился книгами. Читал напролет дни и ночи. От природы у меня способность говорить образно, красиво и энергично. Скоро я был в состоянии поражать на дискуссиях наших партийных противников, а к концу года был выбран старостой.

По моему делу можно было ожидать лет пять Восточной Сибири. Я стал внушать товарищам, что решил выполнить одно очень трудное и важное дело. Мне организовали побег, он не удался; люди, помогавшие этому «с воли», были арестованы, а один даже подстрелен.

Тогда, после бессонной ночи, я пришел к решению, что наступило время воспользоваться жизнью, благо я был вооружен для нее известным опытом, знаниями и знакомствами. Я заявил жандармскому полковнику, что имею отношение к делу партии в – ском уезде.

Меня перевезли для следствия в уездную тюрьму, и там, не опасаясь, что это станет известным, я дал властям разные полезные сведения, но в меру, ровно столько, сколько это было необходимо для моего освобождения, стараясь избежать лишних арестов и щадя женщин.

III

На этом месте Митька-свистун остановился, съел бутерброд со свежей икрой, запил его стаканом отличного вина и выразительно пожал плечами, как бы говоря: «Так было, что же я с этим поделаю?!» Я слушал.

Мне предстояло сделаться агентом на недурном жалованье. Однако, зная хорошо, что сре-

ди революционеров я могу устроиться лучше и выгоднее, я решил обождать с этим и, будучи освобожден, выехал с фальшивым паспортом в Одессу. Явки и пароли были у меня еще свежи в памяти; заявив по приезде, что хочу работать вовсю, я с помощью некоторых уловок получил в свое распоряжение несколько сот рублей и сделался разъездным организатором.

Через месяц начался роман с глупой, богатой и доброй девушкой, видевшей во мне по меньшей мере Лассалья. Я убедил ее пожертвовать в пользу дела все ее личные деньги – двадцать тысяч; взял их себе и уехал за границу.

Я посетил все, чем интересовался, живя в России: Париж, Лондон, Рим, выдавая себя за богатого фабриканта, но деньги тратя очень разумно. Это было как бы распутье – я не знал, продолжать ли мне возвращаться в радикальных кругах или покончить с этим. Наконец я уехал в Москву, думая, что «там видно будет».

Так и вышло. Мне помог случай.

Я встретил в театре свою бывшую любовь, она просто посмотрела на меня, но после этого взгляда я понял, что со старым покончено и опасно возвращаться к нему.

По объявлению я отыскал сваху и, легализовавшись, то есть еще раз войдя в сношения с охранкой, получил отпущение грехов. Сваха дала мне полупомешанную старуху и наличными приданого семьдесят тысяч да незаложенный дом.

Вот и все. Я удовлетворяю потребности сердца на стороне, конечно; у меня два трактира и сырная лавка. Что вы на это скажете?

IV

Я уже не слышал его. Простая убедительная речь умного человека увлекла меня, как всегда, в мир грез, чуждых жизни и Митьке.

Я видел в лунном свете глухую пустыню и много теней. Маленькие черные тени скользили, припадая, за песчаными буграми, опущенные хвосты их вертелись меж задних ног, а морды смотрели жадно и осторожно. Это пробирались шакалы.

Чей труп привлекал их? Для этого надо было посмотреть с вершины горы, тогда у черной впадины водопоев ясно был виден скорченный труп охотника и маленькие тени вокруг.

Как сказал Соломон: «Живому псу лучше, нежели мертвому льву».

Лужа Бородатой Свины

I

Образ свиньи неистребим в сердце человеческих поколений; время от времени природа, уступая немилосердной потребности народов, наций и рас, производит странные образцы, прихлопывая одним небольшим усилием все радостные представления наши о мыле, зубных щетках и полотенцах.

В мае 1912 года двое любопытных молодых людей стояли у высокого деревянного забора; один из них наклонил голову и, уперев руки в бедра, держал на своих плечах товарища, который, схватившись за край ограды, усаженный гвоздями, смотрел внутрь двора.

В лице нижнего было выражение физического усилия и нескрываемой зависти к стоявшему на его плечах человеку; пошатываясь от тяжести, нижний ежеминутно спрашивал:

– Ну, что? Что там? А? Видно что-нибудь, нет?

Нижнего звали Брюс, а верхнего Тилли.

– Постой, – шепотом сказал Тилли, – молчи, мы сейчас уйдем.

– В тебе пять пудов, если не больше, – ответил Брюс.

– Просто ты слаб, – возразил Тилли, – постой еще две минуты.

Вдруг Тилли наклонил голову и спрыгнул; одновременно с этим Брюс услышал за стеной выстрел и хриплый голос, выкрикивающий угрозы.

– Он увидел меня, – вскричал Тилли, – удерем, а то он спустит собаку.

Оба стремглав бросились в переулочек, перескакивая через заросшие крапивой канавы, и остановились на деревенской площади. Тилли сказал:

– Ничего особенного. Мне наговорили про него столько диковинных вещей, что я даже разочарован. Но что это? Неужели мне отстрелили ухо?

Он схватился рукой за мочку, и пальцы его стали красными.

– Пустяки, – сказал Брюс, – ухо лишь оцарапано; вообрази, что была кошка.

– Однако, прыжок этой кошки мог сделать меня мертвом мышью... еще вершок влево, и кончено. Сядем здесь, у ворот, в этой каменной нише, остатке феодальных времен.

– Ты демократ, тогда я на будущих выборах отдам свой голос Бородатой Свиные.

– Свиная шутка, – сказал Тилли, – нет, подвинься немного, и я расскажу тебе о том, что, стоя на твоих плечах, видел я в Луже Бородатой Свины.

II

Та, мрачный человек с веселыми глазами, здесь гость – и многие сплетни местечка неизвестны тебе. Бородатая Свиная, как его прозвали, иначе Зитор Кассан, веселился тут десять лет и жирел, как сумасшедший, не по дням, а по часам. Он нажил большие деньги на торговле человеческим мясом. Не делай больших глаз, под этим понимается только контора для найма прислуги. Ценой неусыпной бдительности и настоящих коммерческих судорог Зитор Кассан достиг своего идеала жизни. Существование его – бессмысленный танец живота и... тайна, таинственность, обнесенная той самой стеной, возле которой оцарапала меня кошка.

Дом его прозвали «Лужей», а его самого – «Свиной», еще «Бородатой»; избивали человека в хвост и пятку. Но он сам виноват в этом. Он показывается – правда, редко – на улицах, в самых оцепенелых от грязи покровах и запускает свою растительность. Относительно его души я и заглянул сегодня во двор к Зитору Бородатому, но вижу, что мне много соврали.

Прежде всего, согласно уверениям женщин, я ожидал встретить большой чудесный цветок, среди которого из самых вонючих отбросов разведена лужа симпатичного зеленовато-черного цвета; над ней якобы стаи мух исполняют замысловатый танец, а Бородатая Свиная купается в этой самой жидкости. Но женщины – вообще очаровательные существа – не знают жизни; для такой лужи нужна выдумка и легкая ржавчина анархизма, где же взять это бедной свиной?

Нет, я видел не картину, а фотографию. Зитор Кассан лежал голый до пояса в самом центре огромного солнечного пятна, между собачьей будкой и дверью своего логова. У трех тощих деревьев стоял стол. Высокая, согбенная старуха служанка, с отвисшей нижней губой и медной серьгой в ухе, выносила различные кушанья. От них валил пар; телятина и различные птички ножки торчали со всех сторон блюд, а Бородатая Свиная пожирал их, сверкая зубами и белками на кувшинном своем портрете, и после каждой смены ложился на солнцепек, нежно поглаживая живот ладонью; все время он пил и ел и, надо тебе сказать, пообедал за шестерых.

Двор не представлял ничего особенного: он был пуст, – вот все, что можно сказать о нем, безотраден и пуст, как сгнившая яичная скорлупа; в будке, свесив язык, лежала цепная собака да у старых костей под забором скакали вороны. Когда Зитор Кассан кончил шлепать губами, в дверях дома появилась женщина. Это была маленькая, но упитанная особа лет тридцати, с челкой на лбу и выдавшейся нижней челюстью. Она вышла и остановилась, а Зитор, стоя против нее, смотрел на нее, она на него, и так, с минуту, склонив, как быки, головы, смотрели они, не улыбаясь, в упор друг на друга, почесали шеи и разошлись.

– Простая штука, – сказал Брюс, – после этого он выпалил в тебя из револьвера?

– Вот именно. Он заметил, что я смотрю, и сказал громко: «Эй, эй, воры лезут ко мне, слезайте, воришка, а то будет плохо». Затем, без дальнейшего, выпустил пулю. Отомстим Зитору, Брюс.

– Есть. Давай бумагу и карандаш.

– Что ты придумал?

– Разные вещи.

– Посмотрим.

Брюс положил на скамейку листок бумаги и стал, посмеиваясь, писать, а Тилли читал через плечо друга, и оба под конец письма звонко расхохотались.

Было написано:

«Многочисленные тайные силы управляют жизнью животных и человека. Мне, живущему в городке Зурбагане, имеющему внутренние глаза света и треугольник Родоса, открыта твоя судьба. Ты проклят во веки веков землей, солнцем и мыслью Великой Лисицы, обитающей под Деревом Мудрости. Неизбежная твоя гибель ужасает меня. Отныне, лишенный всякого аппетита, сна и покоя, ты будешь сохнуть, подобно гороховому стручку, пожелтеешь и смертью умрешь после двух лун, между утренней и вечерней зарей, в час Второго красного петуха.

Бен-Хаавер-Зюр, прозванный „Великаном и Постоянным“».

– А! – сказал Брюс, перечитывая написанное.

Тилли корчился от душившего его хохота. Повесы, похлопывая друг друга по коленкам, запечатали диковинное послание в конверт и опустили в почтовый ящик.

III

Лето подходило к концу. Вечером, загоняя коров, пастух играл на рожке, и Тилли, прислушиваясь к нехитрому звуку меди, захотел прогуляться. Он взял шляпу, тросточку и прошел в рощу. Он думал о жизни, о боге.

– Ну, смотрите, – сказал он вдруг, – вот еще меланхолик, бродящий, подобно мне, запинаясь о корни.

Неизвестный приблизился; Тилли, рассмотрев его, вздрогнул. Ужасен был вид у встреченного им человека: всклокоченная борода спускалась на грудь, синие, впалые щеки сводило гримасой, глаза блестели дико и жалобно, а руки, торча из ободранных рукавов, напоминали когтистые лапы зверя. Тряпка-шарф болтался на худой шее, неприкрытые волосы тряслись при каждом шаге, тряслась голова, трялся весь человек.

– Господин Зитор Кассан, – сказал Тилли, не веря глазам, – что с вами?

– А, сынок помещика, – хрипло, облизывая губы, произнес Зитор и уныло рассмеялся, – а что со мной? Что, удивительно?

– Ничего, – сказал Тилли, но подумал: «Он исхудал на пять пудов, это ясно». Вслух он прибавил: – Что вы здесь делаете? Не ищите ли здесь лисицу под Деревом Мудрости?

Он не успел засмеяться и отойти, как Зитор положил обе руки на его плечи, обыскивая лицо Тилли подозрительным взглядом. И такова была сила его внимания, что Тилли не мог пошевелиться.

– Вы знаете, – сказал Зитор, – а что вы знаете? Это мне стоит жизни.

– Успокойтесь. – Тилли побледнел и необдуманно выдал себя. – Это была шутка, – сказал он, – я и Брюс сочинили для развлечения. Пустите меня.

Зитор держал его стальным усилием злобы и не думал отпускать. Пока он молчал, Тилли не знал, что будет дальше.

– Я думал над этим письмом, – сказал, наконец, Зитор. – Поэтому я и умру сегодня, в час красного петуха. Так это вы устроили мне, щенок? Ваше письмо взяло у меня жизнь. Я лишился аппетита, сна и покоя. До этого ел и спал хорошо. Я мало жил. Я много наслаждался едой, сном и женщиной, но этого мало. Я хотел бы еще очень много есть, спать и наслаждаться женщиной.

– В чем же дело? – сказал Тилли. – Вам никто не мешает.

– Нет, – возразил Зитор, – я могу наслаждаться, но ведь я умру. Ведь я думал об этом. Когда я умру, – я не смогу наслаждаться. Я сегодня умру, умру голодный, несытый, не съевший и четверти того, что мог бы скушать. Теперь мне все равно. Дело сделано.

– Охотно извиняюсь, – сказал, струсив, Тилли.

– Меня прозвали Бородатой Свиньей, – продолжал Зитор. – Свинья казнит человека.

Быстрее, чем Тилли успел сообразить в чем дело, Кассан Зитор ударил его по голове толстой дубовой тростью, и молодой человек, пошатнувшись, упал. Он был оглушен. Зитор наклонился над ним и стал что-то делать, а когда выпрямился, Тилли успел забыть о письме к Зитору навсегда.

– Два месяца я худел и думал, думал и худел, – пробормотал Зитор. – Довольно с меня этой пытки. Ах, все пропало! Но я бы охотно съел сейчас пару жареных куриц и колбасу. Все равно, жизнь испорчена.

Он удалился в глубину рощи, и скоро под его тяжестью заскрипел сук, а в деревне, невинный и безучастный, запел рыжий петух свое надгробное Бородатой Свинье слово:

– Ку-ка-реку!

Александр Грин Рассказы 1913-1916

Племя Сиург

I

– Эли Стар! Эли Стар! – вскрикнул бородатый молодой крепыш, стоя на берегу.

Стар вздрогнул и, спохватившись, двинул рулем. Лодка описала дугу, ткнувшись носом в жирный береговой ил.

– Садись, – сказал Эли бородачу. – Ты закричал так громко, что я подумал, не хватил ли тебя за икры шакал.

– Это потому, что ты не мог отличить меня от дерева.

Род сел к веслам и двумя взмахами их вывел лодку на середину.

– Я не слышал ни одного твоего выстрела, – сказал Стар.

Род ответил не сразу, а весла в его руках заходили быстрее. Затем, переводя взгляд с линии борта на лицо друга, выпустил град быстрых, сердитых фраз:

– Это идиотская страна, Эли. Здесь можно сгореть от бешенства. Пока ты плавал взад и вперед, я исколесил приличные для моих ног пространства и видел не больше тебя.

– Конечно, ты помирился бы только на антилопе, не меньше, – засмеялся Стар. – И брезговал птицами.

– Какими птицами? – зевая, насмешливо спросил Род. – Здесь нет птиц. Вообще нет ничего. Пусто, Эли. Меня окружала какая-то особенная тишина, от которой делается не по себе. Я не встречал ничего подобного. Послушай, Стар, если мы повернем вниз, будем сменяться в гребле и изредка мочить себе головы этим табачным настоем, – Род показал на воду, – то через два часа, выражаясь литературно, благородные очертания яхты прикуют наше внимание, а соленый, кровожадный океан вытрет наши лица угольщиков своим воздушным полотенцем. Мы сможем тогда, Эли, выкинуть эти омерзительные жестянки с вареным мясом. Мы сможем переодеться, почитать истрепанную алжирскую газету, наконец, просто лечь спать без mosquitos. Эли, какое блаженство съесть хороший обед!

– Пожалуй, ты прав, – вяло согласился Стар. – Но видел ли ты хоть одно животное?

– Нет. Я тонул в какой-то зеленой каше. А стоило мне взобраться на лысину пригорка – конечно, полнейшая тишина. К тому же болезненный укус какого-то проклятого насекомого.

– Ты не в духе и хочешь вернуться, – перебил Эли. – А я – нет.

– Глупости, – проворчал Род. – Я думал и продолжаю думать, что пустыня привлекательна

только для желторотых юнг, бредящих приключениями.

– На палубе мне еще скучнее, – возразил Стар. – Здесь все-таки маленькое разнообразие. Ты посмотри хорошенько на эти странные, свернутые махры листвы, на нездоровую, желто-зеленую пышность болот. А этот сладкий ядовитый дурман солнечной прели!

– Вижу, но не одобряю, – сухо сказал Род. – Что может быть веселее для глаз ложбинки с орешником, где бродят меланхолические куропатки и лани?!

– Послушай, – нерешительно проговорил Эли, – ступай, если хочешь. Возьми лодку.

– Куда? – Род вытаращил глаза.

– На яхту. – Стар побледнел, тихий приступ тоски оглушил его. – Ступай, я приду к ночи. Спорить бесполезно, дружище, – у меня такое самочувствие, когда лучше остаться одному.

Вопросительное выражение глаз Рода сменилось высокомерным.

– Насколько я понимаю вас, сударь, – проговорил он, свирепо махая веслами, – вы желаете, чтобы я удалился?

– Вот именно.

– А вы будете разгуливать пешком?

– Немного.

– Хм! – задыхаясь от переполнявшей его иронии, выпустил Род. – Так я вам вот что сообщу, сударь: в гневе я могу убить бесчисленное количество людей и животных. Бывали также случаи, что я закатывал пощечину какой-нибудь мало естественной личности только потому, что она не имела чести мне понравиться. Я могу при случае стянуть платок у хорошенькой барышни. Но бросить вас одного на съедение гиппопотамам и людоедам – выше моих сил.

– Я поворачиваю. – сухо сказал Стар.

– Никогда! – вскрикнул Род, стремительно ударяя веслами, причем конечное «да» вылетело из его горла наподобие пушечного салюта.

Стар вспыхнул, – в эту минуту он ненавидел Рода больше, чем свою жизнь, – и круто повернул руль. Через несколько секунд, в полном молчании путешественников, лодка шмыгнула носом в колышающуюся массу прибрежных водорослей и остановилась. Стар спрыгнул на песок.

– Эли, – с тупым изумлением сказал огорченный Род, – куда ты? И где ты будешь?

– Все равно. – Стар тихонько покачивал ружье, висевшее на плече. – Это ничего; дай мне побродить и успокоиться. Я вернусь.

– Постой же, консерв из грусти! – закричал Род, кладя весло. – Солнце идет к закату. Если ты очуришься, что будет с яхтой?

– Яхта моя, – смеясь, возразил Эли. – А я – свой. Что можешь ты возразить мне, бородатый пачкун?

Он быстро вскарабкался на обрыв берега и исчез. Род изумленно прищурился, подняв одну бровь, другую, криво усмехнулся и выругался.

– Эли, – солидно, увещательным тоном заговорил он, встревоженный и уже решившийся идти по следам друга, – мы, слава богу, таскаемся три года вместе на твоей проклятой скорлупе, и я достаточно изучил ваши причуды, сударь, но такой подлости не было никогда! Отчего это у меня душа болела только раз в жизни, когда я проиграл карамбольный матч косоглазому молодцу в Нагасаки?

Он ступил на берег, тщательно привязал лодку и продолжал:

– Близится ночь. И эта проклятая, щемящая тишина!

Легли тени. Бесшумный ураган мрака шел с запада. В величественных просветах лесных дебрей вспыхивало зеленое золото.

II

Стар двинулся к лесу. У него не было иной цели, кроме поисков утомления, той его степени, когда суставы кажутся вывихнутыми. Ему действительно, по-настоящему хотелось остаться одному. Род был всегда весел, что действовало на Эли так же, как патока на голодный желудок.

Высокая, горячая от зноя трава ложилась под его ногами, пестрея венчиками странных цве-

тов. Океан света, блиставший под голубым куполом, схлынул на запад; небо стало задумчивым, как глаз с опущенными ресницами. Над равниной клубились сумерки. Стар внимательно осмотрел штуцер – близился час, когда звери отправляются к водопою. Простор, тишина и тьма грозили неприятными встречами. Впрочем, он боялся их лишь в меру своего самолюбия – быть застигнутым врасплох казалось ему унижительным.

Он вздрогнул и остановился: в траве послышался легкий шум; в тот же момент мима Стара, не замечая его, промчался человек цвета золы, голый, с тонким коротким копьём в руках. Бежал он как бы не торопясь, вприпрыжку, но промелькнул очень быстро, плавным, эластичным прыжком.

Смятая бегущим трава медленно выпрямлялась. Неподвижный, тихо сжимая ружье, Стар мысленно рассматривал мелькнувшее перед ним лицо, удивляясь отсутствию в нем свирепости и тупости – то были обычные человеческие черты, не лишённые своеобразной красоты выражения. Но он не успел хорошенько подумать об этом, потому что снова раздался топот, и в траве пробежал второй, вслед за первым. Он скрылся; за ним вынырнул третий, блеснул рассеянными, не замечающими ничего подозрительного, глазами, исчез, и только тогда Стар лег на землю, опасаясь выдать свое присутствие.

Нахмурившись, потому что неожиданное появление людей лишало его свободы действий, Стар пытливо провожал взглядом ритмически появляющиеся смуглые, мускулистые фигуры. Одна за другой скользили они в траве, прокладывая ясно обозначающуюся тропинку. На их руках и ногах звенели металлические браслеты, а разукрашенные причёски пестрели яркими лоскутками.

«Погоня или охота», – мысленно произнес Стар.

Стемнело; представление кончилось, но Стар, прислушиваясь, ждал ещё чего-то. Разгораясь, вспыхивали на небосклоне звезды; тишина, подчеркнутая отдалённым криком гиен, наполнила путешественника смешанным чувством любопытства и неудовлетворённости, как будто редкая таинственная душа обмолвилась коротким полупризнанием.

Стар поднялся. Ему хотелось двигаться с такой же завидной быстротой, с какой эти смуглые юноши, размахивая копьями, обвеяли его ветром своих движений. Головокружительный дурман мрака тяготил землю; звездный провал ночи напоминал бархатные лапы зверя с их жутким прикосновением. Маленькое сердце человека стучало в большом сердце пустыни; сонные, дышали мириады растений; улыбаясь, мысленно видел Стар их крошечные полураскрытые рты и шел, прислушиваясь к треску стеблей.

В то время воля его исчезла: он был способен поддаться малейшему толчку впечатления, желания и каприза. Исчезли формы действительности, и нечему было повиноваться в молчании преображённой земли. Беззвучные голоса мысли стали таинственными, потому что жутко-прекрасной была ночь и затерянным чувствовал себя Стар. Один ужас мог бы вернуть его к обычной замкнутой рассудительности, но он не испытывал страха; чёрный простор был для него музыкой, и в его беззвучной мелодии сладко торжествовала лишь душа Эли.

Тьма мешала идти быстро; он вынул электрический карманный фонарь. Бледный круг света двинулся впереди него, ныряя в траве.

– Эли Стар! Эли Стар!

Это кричал Род. Стар обернулся, вздрогнув всем телом. Крик был совершенно отчетливый, протяжный, но отдалённый; он не повторился, и через минуту Стар был убежден, что ему просто послышалось. Другой звук – глухой и мягкий, с ясным металлическим тембром – повторился три раза и стих, как показалось, в лесу.

III

– Эли, – сказал себе Стар, пройдя порядочный кусок леса, – кажется, что-то новое.

Он был спрятан со всех сторон лесом; желтый конус карманного фонаря передвигался светлым овалом со ствола на ствол. А с этим светом боролся живой свет гигантского бушующего костра, разложенного посередине лесной лужайки, шагах в сорока от путешественника. Красные

тени, вспыхивая озаренными огнем листьями, ложились в глубину чащи, у ног Стара.

Лужайка кипела дикарями; они теснились вокруг костра; там были мужчины, дети и женщины; смуглые тела их, лоснящиеся от огня, двигались ожерельем. Гигантский, освещенный снизу, дымный, мелькающий искрами столб воздуха уходил в поднебесный мрак.

Некоторые сидели кучками, поджав ноги; оружие их лежало тут же – незатейливая смесь шкур, железных шипов и острий. Сидящие ели; большие куски поджаренного мяса переходили из рук в руки. К мужчинам приближались женщины, маленькие, быстрые в движениях существа, с кроткими глазами котят и темными волосами, заплетенными в сеть мелких кос. Женщины держали в руках тыквенные бутылки с горлышками из болотного тростника, и утоливший жажду мгновенно возвращался к еде.

Эли смотрел во все глаза, боясь упустить малейшую подробность ночного пиршества. Слышался визг детей, кудрявыми угольками носившихся из одного уголка поляны в другой. Взрослые хранили молчание; изредка чье-нибудь отдаленное восклицание звучало подобно крику ночной птицы, и опять слышался лишь беглый треск пылающего костра. Голые – все были в то же время одеты; одежда их заключалась в их собственных певучих движениях, лишенных неловкости раздетого европейца.

Стар вздрогнул. Тот же, слышанный им ранее, звучный и веский удар невидимого барабана повторился несколько раз. Пронзительная, силовая трель дудок сопровождала эти наивно торжественные «бун-бун» унылой мелодией. Ей вторило глухое металлическое бряцание, и, неизвестно почему, Стар вспомнил вихлявых, глупоглазых щенков, прыгающих на цветочных клумбах.

Барабан издал сердитое восклицание, громче завывли дудки; высокие голоса их, перебивая друг друга, сливались в тревожном темпе.

Стремительно зазвенели бесчисленные цимбалы, и все перешло в движение. Толпа теснилась вокруг костра; то было сплошное мятущееся кольцо черных голов на красном фоне огня. Новый звук поразил Стара – жужжащий, как полет шмеля, постепенно усиливающийся, взбирающийся все выше и выше, трубящий, как медный рог, голос дикого человека.

Голос этот достиг высшего напряжения, эхом пролетел в лесу, и тотчас пение стало общим. Огонь взлетел выше, каскад искр рассыпался над черными головами. Это была цветная, пестрая музыка, напоминающая нестройный гул леса. Душа пустынь сосредоточилась в шумном огне поляны, дышавшей жизнью и звуками под золотым градом звезд.

Стар напряженно слушал, пытаясь дать себе отчет в необъяснимом волнении, наполнявшем его смутной тоской. Несложная заунывная мелодия, состоявшая из двух-трех тактов, казалось, носила характер обращения к божеству; ее страстная выразительность усиливалась лесным эхом. Положительно, ее можно было истолковать как угодно.

Стар взволнованно переступал с ноги на ногу; эта музыка действовала на него сильнее наркотика. Древней, страшно древней стала под его ногами земля, тысячелетиями обросли сырые, необхватные стволы деревьев. Стар напоминал человека, мгновенно перенесенного от устья большой реки, где выросли города, к ее скрытому за тысячи миль началу, к маленькому ручью, обмывающему лесной камень.

Пение, усилившись, оборвалось криком, протяжным, пущенным к небу всей силой легких. Крик усиливался, сотни рук, поднятых вверх, дрожали от сладкой ярости возбуждения; хрипло стонали дудки. И разом все смолкло. Толпа рассыпалась, покинув костер; в то же мгновение ночная птица крикнула в глубине леса отчетливо и приятно, голосом, напоминающим часовую кукушку.

IV

Девушка, для которой это было сигналом, условным криком свидания, выделилась из толпы и, оглянувшись несколько раз, медленными шагами подошла к группе деревьев, сзади которых стоял Стар, рассматривавший цветную женщину. Не думая, что она войдет в лес, он спокойно оставался на месте. Девушка остановилась; новый крик птицы заставил Эли насторожиться. Неясная для него, но несомненная связь существовала между этим криком и быстрыми движе-

ниями женщины, нырнувшей в кусты; лицо ее улыбнулось. Стар успокоился – эти любовные хитрости были для него неопасны.

Он не успел достаточно насладиться своей догадливостью, как возле него, в пестрой тьме тени и света, послышался осторожный шорох. Встревоженный, он инстинктивно поднял ружье, но тотчас же опустил его. Темная, голая девушка, вытянув шею, медленно шла к нему, далекая от мысли встретить кого-нибудь, кроме возлюбленного, принадлежавшего, вероятно, к другому племени. Ночная птица крикнула в третий раз. Не давая себе отчета в том, что делает, повинаясь лишь безрассудному толчку каприза и забыв о могущих произойти последствиях, Стар нажал пуговку погашенного перед тем фонаря и облил женщину светом.

Если он позабыл прописи, твердящие о позднем раскаянии, то вспомнил их мгновенно и испугался одновременно с девушкой, тоскливо ожидая крика, тревоги и нападения. Но крик застрял в ее горле, изогнув тело, откинувшееся назад резким, судорожным толчком. Миндалевидные, полные ужаса глаза уставились в лицо Стара; таинственный свет в руке белого человека наполнял их безысходным отчаянием. Девушка была очень молода; трепещущее лицо ее собиралось заплакать.

Стар открыл рот, думая улыбнуться или ободрительно шелкнуть языком, как вдруг вытянутые, смуглые руки упали к его ногам вместе с маленьким телом. Комочек, свернувшийся у ног белого человека, напоминал испуганного ежа; всхлипывающий шепот женщины звучал суеверным страхом; возможно, что она принимала Стара за какого-нибудь бога, соскучившегося в небесах.

Эли покачал головой, сунул фонарь в траву, нагнулся и, крепко схватив девушку выше локтей, поставил ее рядом с собой. Она не сопротивлялась, но дрожала всем телом. Боязнь неожиданного припадка вернула Стару самообладание; он мягко, но решительно отвел ее руки от спрятанного в них лица; она пригибалась к земле и вдруг уступила.

– Дурочка, – сказал Стар, рассматривая ее первобытно-хорошенькое лицо, с влажными от внезапного потрясения глазами.

Он не нашел ничего лучшего, как пустить в ход разнообразные улыбки белого племени: умильную, юмористическую, лирическую, добродушную, наконец – несколько ужимок, рассчитанных на внушение доверия. Он проделал все это очень быстро и добросовестно.

Девушка с удивлением следила за ним. Первый испуг прошел; рот ее приоткрылся, блеснув молоком зубов, а дыхание стало ровнее. Эли сказал, указывая на себя пальцем:

– Эли Стар, Эли Стар. – Он повторил это несколько раз, все тише и убедительнее, продолжая сохранять мину веселого оживления. – А ты?

Несколько слов дикого языка, тихих, почти беззвучных, были ему ответом.

– Я ничего не понимаю, – сказал Стар, инстинктивно делаясь педагогом. – Послушай! – Он осмотрелся и протянул руку к дереву. – Дерево, – торжественно произнес он. Затем указал пальцем на электрический свет в траве: – Фонарь!

Женщина механически следила за движением его руки.

– Эли Стар, – повторил он, переводя палец к себе под ложечку. – А ты?

Рука его коснулась голой груди девушки.

– Мун! – отчетливо сказала она, блестя успокоенными глазами, в которых, однако, светилось еще недоверие. – Мун, – повторила она, глядя себя по голове худощавой рукой.

Стар засмеялся. Он чувствовал себя опущенным в глубокий, теплый родник с лесными цветами по берегам. Быть может, он нравился ей, этот смуглый полубог в костюме из полосатой фланели. В нескольких десятках шагов от горна чужой жизни, освещенный снизу фонариком, безрассудный, как все теряющие равновесие люди, он чувствовал себя отечески сильным по отношению к коричневому подростку, не смевшему пошевелиться, чтобы не вызвать новых, еще более таинственных для нее происшествий.

– Мун! – сказал Стар и взял ее задрожавшую руку. – Мун мне не нравится; будь Мунка. Мунка, – продолжал он в восторге от жалких зародышей понимания, немного освоивших их друг с другом. – А это кто, чей балет я только что наблюдал? – Он показал в сторону красноватых просветов. – Это твои, Мунка?

– Сиург, – сказала девушка. Это странное слово прозвучало в ее произношении, как голу-биная воркотня.

Она тревожно посмотрела на Стара и выпустила еще несколько непонятных слов.

– Вот что, – сказал, улыбаясь, Эли, – это, милая, надеюсь, совершенно развеселит тебя.

Он вынул золотые часы, играющие старинную народную песенку, завел их и протянул девушке. Приятный маленький звон шел из его руки; раскачиваясь на цепочке, часы роняли в траву микроскопическую игру звуков, нежных и тонких. Девушка выпрямилась. Изумление и восторг блеснули в ее глазах; сначала, приставив руки к груди, она стояла, не смея пошевелиться, потом быстро выхватила из рук Эли волшебную штуку и, хватая ее то одной, то другой рукой, как будто это было горячее железо, подскочила вверх легким прыжком. Часы звенели. Девушка приложила их к уху, к глазам, к губам, прижала к животу, потерла о голову. Часы, как настоящее живое существо, не обратили на это никакого внимания; они добросовестно заканчивали мелодию, старинные часы работы Крукса и Ко, подарок опекуна.

– Мунка, – сказал Стар, – если бы ты говорила на моем языке, ты услышала бы еще кое-что. Но я могу говорить только жестами.

Он дотронулся до нее рукой и почувствовал, что тело ее приближается к нему, занятое, с одной стороны, часами, с другой – таинственным, прекрасным белым человеком – мужчиной. Повинуясь логике случая, Стар обнял и поцеловал девушку, и еще меньше показалась она ему в задрожавших руках...

Он отскочил с диким криком испуга, потрясения, разрушающего идиллию. Хорошо знакомый, охрипший голос Рода гремел невдалеке, полный чувства опасности и решимости:

– Стар, держись! Бей черных каналов! Стреляй!

Девушка отбежала в сторону. Эли, машинально взводя курки, крикнул:

– Мунка, не надо бежать!

Двойной выстрел разбудил пустыню: огонь его блеснул молнией в темноте. Выстрелив, Род кинулся к Эли, спасти друга. Он отыскал его, бросившись на свет фонаря.

Пронзительный, полный страданий и ужаса вопль огласил лес. Вне себя, Стар бросился в сторону крика. Темный, извивающийся силуэт корчился у его ног. Он опустил на землю фонарь и вскрикнул: смертельно раненная девушка билась у его ног. Стар обернулся к подбежавшему Роду и взмахнул прикладом.

– Я тебя убью, – хрипло сказал он.

– Стой! – закричал Род. – Это я, не дикарь!

Девушка, перестав биться и визжать, вытянулась. В руке ее, замолкшие, как и она, блестели золотые часы.

– Безумец! Безумец! – сказал Эли. – Зачем ты помешал жить мне и ей!

– Эли, клянусь богом!.. Разве они не напали на тебя?! Я видел убегающий, воровской, черный изгиб спины. – Род плюнул. – Хоть убей, не понимаю.

Эли, подняв безжизненное тело, нервно смеялся. Пот выступил на его бледном лице. В лесу, где горел костер, раздавались крики испуга и смутения, костер гас, и щупальца страха ползли к сердцу Рода.

– Эли, бежим! – с тоской вскричал он. – Они окружают нас, Эли!

Стар нежно положил девушку и бросил ружье.

– Да, – сказал он, – ты прав. Бежим, но только отстреливайся ты один, ты, меткий убийца!

– Мне показалось, видишь ли... – торопливо заговорил Род и не кончил: медленный свист стрелы сделал его несообщительным. Он, заряжая на бегу карабин, помчался в сторону реки; за ним Стар.

А дальше был страшный ночной сон, когда, кружась во тьме, кланяясь ползущему свисту стрел и падая от изнеможения, два человека, из которых один, сохранивший ружье, бешено стрелял наугад, – пробрались к темной реке и лодке.

V

Однообразный плеск морских волн помогал капитану сосредоточиться. Он сидел под тен-том, рассматривая морскую карту.

Из кают-компания вышел доктор, обмахиваясь брошюрой. Доктору надоело читать, и он бродил по судну, пристаивая ко всем. Увидев погруженного в занятие капитана, доктор остановился перед ним, сунув руки в карманы, и стал смотреть.

Капитан сердито зашуршал картой и стукнул карандашом по столу.

– Не мешайте, – мрачно сказал он. – Что за манера – прийти, уставиться и смотреть!

– Почему вы в шляпе? – рассеянно спросил доктор. – Ведь жарко.

– Отстаньте.

– Нет, в самом деле, – не смущаясь, продолжал эскулап, – охота вам париться.

– Я брошу в вас стулом, – заявил моряк.

– Согласен. – Доктор зевнул. – А я принесу энциклопедический словарь и поражу вас на месте.

Капитану надоело препираться. Он повернулся к доктору спиной и тяжело засопел, шаря в кармане трубку.

– А где Эли? – спросил доктор.

– У себя. Уйдите.

Доктор, напевая забористую кафешантанную песенку, сделал на каблуках вольт и ушел. Скука томила его. «Хорошо капитану, – подумал доктор, – он занят, скоро подыдем якорь; а мне делать нечего, у меня все здоровы».

Он спустился по трапу вниз и постучал в дверь каюты владельца яхты.

– Войдите! – быстро сказал Эли.

В каюте рокотал и плавно звенел рояль. Доктор, переступив порог, увидел в профиль застывшее лицо Стара. Потряхивая головой, как бы подтверждая самому себе неизвестную другим истину, Эли торопливо нажимал клавиши. Доктор сел в кресло.

Эли играл второй вальс Годара, а впечатлительный доктор, как всегда, слушая музыку, представлял себе что-нибудь. Он видел готический, пустой, холодный и мрачный храм; в стрельчатых у купола окнах ложится, просекая сумрак, пыльный, косой свет, а внизу, где почти темно, белеют колонны. В храме, улыбаясь, топая ножками, расставив руки и подпевая сама себе, танцует маленькая девочка. Она кружится, мелькает в углах, исчезает и появляется, и нет у нее соображения, что сторож, заметив танцовщицу, возьмет ее за ухо.

Неодобрительно смотрит храм.

Эли оборвал такт и встал. Доктор внимательно посмотрел на него.

– Опять бледен, – сказал он. – Вы бы поменьше охотились, вообще сибаритствуйте и бойтесь меня. А где Род?

– Не знаю. – Эли задумчиво тер лоб рукой, смотря вниз. – Сегодня вечером яхта уходит.

– Куда?

– Куда-нибудь. Я думаю – на восток.

Доктор не любил переходов и охотно бы стал уговаривать юношу постоять еще недельку в заливе, но расстроенный вид Эли удержал его.

«Когда человек отравлен сплином, не следует противоречить, – думал доктор, покидая каюту. – Почему люди тоскуют? Может быть, это азбука физиологии, а может быть, здесь дело чистое... Существует ли душа? Неизвестно».

Ветер, поднявшийся с утра, не стих к вечеру, а усилился, и море, волнуя переливы звездных огней, ленивым плеском качало потонувшую во мраке яхту.

Матросы, ворочая брашпиль, ставя паруса и разматывая концы, оживили палубу резкой суетой отплытия. На шканцах стоял Эли, а Род, начиная сердиться на Стара «за принятие пустяков всерьез», вызываяще говорил, проходя мимо него с капитаном:

– Дьявольская страна, провалилась она сквозь землю!

К Эли, неподвижно смотрящему в темноту, подошел доктор, настроенный поэтически и серьезно.

– О ночь! – сказал он. – Посмотрите, друг мой, на это волшебное небо и грозный тихий

океан и огни фонарей, — мы живем среди чудес, холодные к их могуществу.

Но Эли ничего не ответил, так как прекрасные земля и небо казались ему суровым храмом, где обижают детей.

Последние минуты Рябинина

I

В высокой, просторной, с богатой обстановкой, комнате лежал Рябинин. Вошел доктор, а за ним, неся лекарство и осторожно ступая, чтобы не разбудить больного, появилась сестра милосердия, девушка лет сорока, с постным и чванным лицом.

— Он спит, — сказал доктор.

— Он очень изнурен, — пояснила сестра милосердия, — весь день больной метался и бредил, говоря разные странные, даже неприличные вещи. Но, кажется, микстура понемногу действует.

— Он спит, да, — сказал доктор. — Это хороший признак. Я зайду после.

— Я разбужу его?!

— Нет, этого не следует делать.

Доктор посмотрел на часы и взял шляпу. Он постоял, зевая, затем подошел к кровати.

— Больной выглядит плохо. Эти синеватые тени и побуревшие скулы... гм... гм!.. Когда ему стало хуже?

— Два дня. Я говорила с ним. Он жаловался на острую боль в голове, слабость и лихорадку.

— Он ест?

— Ни крошки, но сильно мучается жаждой.

— В погребе чертовски темно, — вдруг сказал Рябинин, вертя головой. — Подай фонарь! Слышишь, ты, старая хрычовка?

— Бредит, — сказал доктор, взял руку больного и стал считать пульс. — Восемьдесят... семь... сто десять... гм... гм... тяжелый случай.

Он стоял, покачивая головой и думая обычные мысли живого человека о смерти: «Бытие стремится к уничтожению. Жизнь — зарождение, развитие и гибель клетчатки. Все погибает, все рождается».

Рябинин тяжело задышал, вскрикивая:

— Подайте мне сапоги!

— Несчастный Алексей Федорович! — равнодушно сказала сестра.

— Однако я тороплюсь. — Доктор, вынув записную книжку, писал рецепт. — Эти порошки три раза в день; а к голове лед. До свиданья.

II

Утром на другой день сестра милосердия отлучилась на полчаса, а к больному пришел навестить его Осип Кириллыч Скуба, знакомый фельдшер Рябинина. Сидя у изголовья спящего Рябинина, Скуба читал отысканный на этажерке бульварный роман. Полуоткрытым окном шевелил ветер, рама скрипнула; увлеченный чтением, Скуба вздрогнул, поднял голову и стал размышлять:

— В романах женщины отдаются легко, а попробуй в действительности! Я думаю, что авторы, описывая любовные интриги, дополняют воображением недостаток своего собственного существования. Ну, мыслимо ли, чтобы в течение одного месяца Артур соблазнил четырех графинь, полдюжины баронесс, монахиню, горничную и двух дочерей лакея? Впрочем, мне все равно, и я думаю... — Здесь Скуба, осмотревшись, вытащил из кармана зеркальце и стал внимательно рассматривать свое похожее на дыню лицо. — Я думаю, что при некотором усилии с моей стороны обладание женщинами давалось бы мне легко. Но я ленив. В прошлом году... Судомойка из ресторана... Нет, та была слишком толста. — Медленно шевеля губами, Скуба прочел: —

«Пухлая шея вздрагивала от поцелуев». Какая сочная кисть у этого автора!

– Кто-нибудь! – открывая глаза, простонал Рябинин.

– Здравствуйте! – сказал Скуба. – Это я, ну как ваши делишки? Лучше ли вам?

Больной повернул голову.

– Не знаю, – с усилием проговорил он. Помолчав, Рябинин продолжал, морщась от надоедливой мухи: – Голова распухла, и весь я как будто распух, отяжелел и... разбит. Был мерзкий сон... Я видел себя лежащим на шоссе на дороге, связанным по рукам и ногам. По мне проезжали возы... Тысячи возов. Они ехали тихо, один за другим... головы лошадей упирались в задки телег... и массивные ободки колес врезывались в меня.

– Ужасный сон, – подобострастно сказал фельдшер.

– Комната потихоньку кружится слева направо, – неожиданно заявил Рябинин. – Нельзя ли остановить ее?

– Успокойтесь, это ваше больное воображение, – оглядываясь, возразил Скуба. – Все стоит крепко на своем месте.

– На фабрике все по-прежнему? – устремив глаза в потолок, спросил Рябинин.

– Ах! – не отвечая на вопрос и захлебываясь осторожным смешком, подпрыгнул Скуба. – Знаете, я расскажу вам забавную историю. Старший монтер Чиликин со своей молоденькой мачехой... ей-богу! Отец погнался за ним с ружьем, а он, выскочив в окно, кричит: «Я, батя, родственные узы скрепляю!»

– Неужели?

– Представьте. Так и сказал. Скуба, хихикая, блестел глазами.

Болезненная гримаса смеха появилась на восковом лице инженера. Он, приподнявшись, разразился глухим кашлем и сунулся головой в подушку, сказав:

– Скверно. Пожалуйста, принесите мне стакан чая. В столовой.

Рябинин лежал лицом кверху, время от времени слабо шаря руками по одеялу, как бы сбрасывая невидимую тяжесть. Через минуту он снова впал в бредовое, бессознательное состояние.

III

Скуба появился, держа в вытянутой руке стакан чая, а следом за ним вошел церковный староста фабричной церкви и, вместе с тем, токарный мастер – Филиппов. Это был плотный человек с круглым, веснушчатым лицом, стриженный по-казацки, в кружок.

– Смотрите, – шептал Скуба, – как скрутило-то его, а?

– Д-да-с, д-да-с... – промычал Филиппов, – так-с...

– С-с-с! – зашипел Скуба, ставя стакан на стол. – Заснул, что ли?.. Просила меня сестра посидеть с ним. А вы как?

– По ягоды хожу. Полпуда варенья жена сварила.

Они говорили шепотом.

– Новый пасьянс узнал, – сказал Скуба, – вот интересный. Я карты с собой завсегда ношу, езжу в Парголово, так уж в «двадцать одно» постоянно с чухной играю.

Он, мусля пальцы, стал раскладывать карты.

– Тройку сюда, – советовал Филиппов, углубляясь в занятие. – Выгоднее туза взять.

Рябинин, очнувшись, закашлялся. Филиппов, сочувственно тараща глаза, подошел к кровати.

– Эка вы нас пугаете, – безразличным голосом произнес он, – хворать вздумали, нехорошо, Алексей Федорович!

– Да, скверно, – узнавая Филиппова, прошептал Рябинин, – временами мне кажется, что я уже умер. Одеяло давит меня. Мне жарко... а руки... мерзнут. Я скоро умру.

– Тьфу, тьфу! типун на язык, – сказал Филиппов, – чего еще выдумаете! Еще нас всех переживете.

– Нет, я умру, – упрямо заявил Рябинин.

– Крепитесь, крепитесь, – басил Филиппов. – Господь... все в руке божией.

– Я знаю, что умру. – Рябинин усмехнулся. – Все равно.

– Нет, уж вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, – говорил, словно торгуя ненужную вещь, Филиппов.

– Звук каждого слова болезненно отдается в мозгу, – сказал, помолчав, Рябинин, – но мне хочется разговаривать. Мне как будто немного легче. А знаете... я думал... Ничего нет.

– Как-с? – не понял Филиппов.

– Я говорю, – как бы разговаривая сам с собою, продолжал Рябинин, – что... ничего нет... простая штука.

– Это где же? – вставил фельдшер.

– Там. – Рябинин криво и неохотно улыбнулся. – Там... за гробом... как это принято говорить.

– Как нету? Есть... – недоумевая, сказал староста. – Все есть.

Рябинин сделал попытку мотнуть рукой.

– Рассказывайте! – Он как будто немного оживился, заговорив громче. – Бабы сказки. Все чепуха. «Земля есть, и... в землю...» Пожалуйте землю есть. Да. Когда будете умирать – увидите, что я прав. Я, это, знаете, не думаю, а чувствую. Тело мое в ужасе. Оно противится разрушению. Оно... осязает смерть. Я ничему не верю. Сегодня ночью я испытывал предсмертную тоску каждого мускула... каждого ногтя и волоса. Да. Страх смерти естествен... что же в нем предмет ужаса? Пустота. В молодости я резал индюшек, и, когда ловил... их... они кричали... раздирающим голосом... а когда... просто гонялся... из шалости – крик... был другой...

– Так-то, – возразил, чувствуя себя неловко от «умственного» разговора, Филиппов, – то, знаете... птица – курица там, индюшка. Они глупые.

– У них тоже тело, – сказал Рябинин. Скуба, забыв о чае, ковырял в носу.

– Рассудок непостоянен, как женщина, – снова заговорил Рябинин, начиная впадать в полубабытье, – если бы все помнили... если бы все помнили... Нагнитесь.

Филиппов, солидно округлив спину, нагнулся к посиневшему лицу инженера. Рябинин заметался, потом широко раскрыл глаза и, с хитрой улыбкой на губах, таинственно зашептал:

– Если бы... человек... всегда помнил... что за гробом... один... пшик, нуль... он жил бы лучше. Не мерзавцем.

– Эх, – сказал староста, – да не тревожьте вы себя... право...

– На земле стало бы веселее... – сияя и радостно улыбаясь, продолжал Рябинин, – был бы огромный пир...

– Где пир? – расслышав последние слова, осведомился фельдшер.

Голова Рябина опустилась на подушку, глаза закрылись; он стал дышать быстро и тяжело; каждый его вздох сопровождался глухим хрипом.

– А ведь плохо ему! – сказал староста, подняв палец. – Бегите-ка за доктором, а?! Плохо ему.

Скуба, кивнув головой, вышел.

IV

Филиппов сел в кресло, почесал за ухом и сложил на животе руки. «Странно – думал он, – я ведь тоже умру. Каждый знает, что умрет, а все как-то не верится. Удивительно все на свете. Хотел утром напомнить Егорке, чтобы сапоги к воскресенью сшил, да на рантах, а не на гвоздях. Забыл. Десять худых мешков не забыть бы татарину продать. А что, если правда-то твоя, Алексей Федорович? Господи, прости меня, грешного. – Он зевнул и перекрестился. – Не понимаю я умственного этого пояснения. Понятно, человек в жару, бредит. Поверь-ка я ему, так от страха одного похудею. А он говорит, что веселее бы стало... держи карман шире! Расстроил он меня. Сорок лет ни о чем не думал, а сейчас, как паршивый студент какой, мозговать пустился. Положился бы на волю божию».

Закрыв глаза, он вдруг, неожиданно для себя, заснул. Прошло несколько минут, в течение которых и спящий и умирающий были неподвижны. Филиппов похрапывал. Левая рука Рябини-

на свесилась, пальцы ее медленно шевелились. Рука как бы стремилась занять прежнее положение, согнулась в локте, вздрогнула и опустилась. И, еле слышно, так тихо, что почти не шевелились его губы, инженер прошептал:

– Милочка?.. Не мой кипятком руки... Возьми шпильки.

Наступила смертная тишина. В окне сверкал сад.

Филиппов вдруг очнулся, быстро вскочил и стал протирать глаза. Сильный, непонятный страх овладел им. Сонно жужжали мухи.

– Алексей Федорович! – тревожно позвал Филиппов.

Рябинин не шевелился. Староста подошел к кровати, увидел полуоткрытый рот, стеклянные, невидящие глаза и, быстро крестясь, бледный, задом отошел к двери. Здесь, вытянув шею и пугаясь таинственной тишины, Филиппов жалобно произнес:

– Алексей Федорович! Не шутите!

История Таурена (Из походов Пик-Мика)

I Западня

Я был схвачен, посажен неизвестными мне людьми в карету и увезен. Некоторое время – спазмы, удушья и сильнейшее сердцебиение, явившиеся результатом внезапного испуга, – заставили меня думать, что наступил последний момент. Я ждал смерти. Волнение прошло, и я отдышался, но не мог произнести ни одного слова. Мой рот был натуго затянут платком, а руки скручены сзади тонким, но крепким ремнем. Со мной, в карете, сидело двое. Они смотрели по сторонам, как жандармы, не любящие встречаться взглядом с глазами пленника. Один – справа – был рослый черноволосый парень, с неуловимо фатальным обликом черт, присущим людям, готовым на все. Сосредоточенно-мстительное выражение его лица было почти болезненным. Второй, уступая первому в росте и сложении, обладал прелестными голубыми глазами, напоминающими глаза женщины.

Он был безусловно красив, и по контрасту с изящным лицом это же самое фатально-роковое в его лице производило отталкивающее впечатление. Из того, что мне не завязали глаз, я понял, как мало боятся меня эти два человека, решившие, очевидно, заранее, что мне в другой раз увидеть их не придется. Иначе говоря, их намерения относительно меня были вне спора. Меня хотели убить.

Я знал, и знал очень хорошо, что в фактах жизни моей и даже в помыслах нет никакого повода для насилия над моей личностью. Чтобы окончательно убедить себя в этом, я проследил мысленно свою жизнь от пеленок до похищения. Она была безгрешна и незначительна. Следовательно, похищение явилось результатом какой-то непонятной, но несомненной ошибки.

Не зная все-таки, что произойдет дальше, я переживал сильный страх. Мы выехали на окраину городка и свернули к морю, где в узком полосе прибрежного тумана обрисовывались хмурые, без окон, постройки; вероятно – склады или сараи. Колеса скрипели по мокрому от утреннего дождя песку, и, наконец, карета остановилась против старых деревянных ворот. Меня высадили, втолкнули в калитку и провели через заваленный ржавыми якорями двор в небольшой, кирпичный подвал.

Теперь, когда мне, по-видимому, предстояло уже нечто определенное – смерть, плен или свобода, – я приободрился и рассмотрел с большим вниманием окружающее. За грязным столом деревянным сидело пять молодых, приблизительно в тридцатилетнем возрасте, в обычных городских, сильно потертых костюмах. Лица их я припоминал потом, в данный же момент мне бросилось в глаза то, что все они смотрели на меня с чувством удовлетворения и нетерпения. На столе горела свеча, слабо озаряя призрачным рыжим светом полутемные углы подвала, полного сора, сломанных лопат и пустых ящиков, а дневной свет, скатываясь со двора по ступенькам, ед-

ва достигал стола. Вероятно, это было случайным местом для заседания, смысл и цель которого пока были темны.

Я стоял, помахивая головой с завязанным ртом, с видом лошади, одолеваемой мухами. Мне развязали руки. В тот же миг я сорвал затекшими пальцами туго стягивавший лицо платок и перевел дух. Нервно дергающийся, с крикливым лицом, человек, сидевший на председательском месте, т. е. в центре, сказал:

– От того, насколько вы будете чистосердечны и откровенны, зависит ваша жизнь.

II Допрос

Раньше чем кто-либо успел вставить еще слово – я разразился протестами. Я указывал на недопустимость – со всех точек зрения – подобного бесцеремонного, ужасающего обращения с каким бы то ни было человеком. Я упомянул, что мой адрес известен и во всякую минуту можно придти ко мне со всеми делами, даже такими, которые требуют похищения. Я объяснял, что служу в почтамте и неповинен в сообщничестве с подонками общества. Я сказал даже, что буду жаловаться прокурору. В заключение, дав понять этим людям всю силу потрясения, перенесенного мной, я развел руками и, горестно усмехаясь, сел на пустой ящик.

Человек с крикливым лицом сказал пронзительным, как у молодого петуха, голосом:

– Дело идет о вашей жизни. Не думаю, чтобы вы выпутались. Все же откровенность может помочь вам, если окажется, что этого вы заслуживаете.

– Бандит! – взревел я, сжимая руки. – Что случилось?! Каким планам вашим я помешал?!

Другой товарищ его, вялый, как чахоточная улитка, задумчиво погрыз ногти, уперся руками в стол и, кашляя, начал:

– Знали вы Таурена Байю?

Я знал Байю. Неопределенное предчувствие света, готового, наконец, разрушить этот кошмар, заставило меня тряхнуть памятью. Но я не мог ничего припомнить.

– Байя? – переспросил я. – Знаю. Три месяца бутылочного знакомства.

– Может быть... может быть... Дайте нам объяснение.

– Охотно.

Вялый человек пристально осмотрел меня, вытащил из кармана клочок бумаги и протянул мне. Надев очки, я прочел семь слов, выведенных ужасным почерком, как попало. Местами перо прорвало бумагу. На ней было написано: «Телячья головка тортю. Пик-Мик знает все».

Я мог бы засмеяться теперь же, но удержался. То, что мне показалось смешным теперь, относилось именно к телячьей головке, связи же ее с моим похищением я еще не видел. Я ждал.

– Вы уличены, – сказал председатель. – Смотрите, как он побледнел! Предатель!

– Расскажите вы, – спокойно возразил я. – Расскажите все, имеющее касательства к этой дрянной бумажке. Я вижу, что ослеп. Я недогадлив. Дайте мне нить.

Председатель, усмехаясь над предполагаемым притворством моим, сказал мне, что они анархисты, что член их сообщества, Таурен Байя, уличенный в сношениях с полицией и успевший уже выдать шесть человек, убит третьего дня товарищами. На вопрос о причинах гнусного своего поведения, он ответил кривой улыбкой. В него выпустили две пули. Байя упал, вскричав: – «Бумагу!» Умирающий, еле водя рукой, с усмешкой на влажном от предсмертного пота лице, успел написать многозначительную фразу, которую прочел я.

Председатель не кончил еще повествования, как я, не в силах будучи одолеть безумный смех, закрыл руками лицо и стоял так, трясаясь и плача от хохота. В зловещем, темном тумане этого дела истина показала мне бесстрастное свое лицо, глубокое и спокойное, как вода озера, баюкающего трупы и водяные лилии; но озеро ни сквернее, ни чище, и так же смотрят в него небо и человек.

III Показание

То, что я сообщил анархистам, было принято ими, вероятно, за шутку, так как, окончив рассказ, я увидел направленные на себя дула револьверов; но не будем предупреждать событий.

– Видите ли, – сказал я, – месяца три назад я познакомился с господином Байей в кабачке «Нелюдимов», где так хорошо дремлет после обеда у солнечного окна среди мух. Большинство знакомств завязывается случайно, наше не составляло исключения. Байя пришел со своим хлебом и сыром. Взяв полбутылки вина, он принялся насыщаться с завидным аппетитом молодости. Я смотрел на него в упор, заинтересованный его жизнерадостным, краснощеким лицом; он обернулся, а я раскланялся.

В тот день со мной не было друзей, обычных спутников моих по местам таинственным и приятным, и я, как общительный человек, хотел подцепить парня. Я понравился Байе своим видом скромного учителя, своим тихим голосом и оригинальными замечаниями. Горячо обсуждая общественные и политические вопросы, мы, взяв еще бутылку вина, немного охмелели, и тут, хлопнув меня по плечу, Байя сказал:

– Проклятые буржуа!

– Вот именно, – подтвердил я, – они все мерзавцы.

– Я анархист, – сказал он, бросая в рот крошки сыра, – а вы?

– Пикмист.

– Крайний?

– Немного.

Тут он потребовал объяснений. Я сказал ему несколько темных фраз, пересыпав их цитатами из Анакреона и Джона Стюарта Милля. Сделав вид, что понял, он посмотрел в пустой стакан и вздохнул.

Я был голоден; вкусный пар кушаний, заказанных мною, взвился над столом.

– Господин Байя, – сказал я, – позвольте вас угостить.

Его лицо выразило высокомерие и презрение.

– Я ел, – сказал он, отворачиваясь от соблазна. – Герои Спарты ели кровяную похлебку. Роскошь развращает тело и дух.

– Все-таки, – возразил я, – вы, может быть, шутите. Это довольно вкусно.

– Нет, я скромн в привычках. Класс населения, к которому принадлежу я, питается хлебом, сыром и вареным картофелем. Я был бы изменником.

Положив ложку и вытерев губы, я сосредоточенно, с оттенком сурового сарказма в голосе и настоящим одушевлением развил Байе мирозерцание опыта и греха, доказывая, что человеку ничто человеческое не чуждо. Самые отчаянные софизмы я так принарядил и украсил, что Байя улыбнулся не раз. Чудеса в нашей власти. Байя съел телячью головку тортю. Блюдо это требует, в целях насыщения, некоторой настойчивости. Мы взяли еще по порции.

– Хорошая, – сказал Байя, – я раньше не пробовал.

Вечерело. Около третьей бутылки я задремал, а когда очнулся, Байя исчез. Бросая ретроспективный взгляд в туманную глубину истории, мы видим международные осложнения, родителями коих были глупые короли и не менее глупые королевы, считавшие нужным громить соседа каждый раз, как только сосед по рассеянности в письме напишет «...и прочая...» – два, а не три раза. Примером ничтожных причин и больших последствий явился Байя. Четыре раза встретил я его в ресторане «Подходи веселее», и каждый раз требовал он телячью головку. Это стало его коронным кушаньем, раем, манией. В пятый раз он сообщил мне, лениво требуя Шамбертена, что хочет повеселиться. Я ободрил его, как только умел. Пятая наша встреча ознаменовалась коротеньким диалогом (за неимением телячьей головки последовал соус из раковых шеек и Клоде-Вужо). Байя сказал: «Маленький ручеек впадает в маленькую реку, маленькая река – в большую реку, а большая река – в море. Я думаю, что впаду в море». «Аллегория!» – заметил я, подмигнув Байе. «Это много говорит моему сердцу, – сказал он, – выпьем стаканчик». В шестой раз он влез на фонарный столб закурить сигару и крикнул: «Смерть буржую!» Я утешил его. Через неделю мы столкнулись у граций, и Байя, обливаясь слезами, сказал, что продал ящик револьверов. Затем он впал в мрачно-игривое настроение разрушителя. «Быть может, через неделю мне

снесут голову, – сказал Байя, – немножко солнца, вина и женщин хочется всякому молодому человеку. За мной следят». И больше я не видал его.

Таков был рассказ мой судьям, слушавшим напряженно и гневно. «Ясно, – заключил я, – что для такой жизни, какую повел несчастный Таурен Байя, нужны были деньги. Он взял их у ваших врагов. Отсюда предательство. Мрачный юмор записки ясен: простреленный сразу двумя пулями, он не мог уже ни на что больше надеяться и отомстил вам мистификацией. Горьким смехом над собой самим полны эти строки, выведенные предсмертной дрожью руки. Я сказал правду».

– Буржуа! Вы умрете! – вскричал молчавший до того анархист. – Не может видевший нас в лицо выйти живым отсюда.

Пять револьверов окружили меня. С неистовством, мыслимым лишь в грозной опасности, я отпрыгнул назад, толкнул к судьям растерявшегося своего конвоира и вылетел по ступенькам вверх. Выстрелы и свист пуль показались мне страшным сном. Я был уже у ворот, в двадцати шагах расстояния от преследователей. Снова раздалась выстрелы, но как трудно попасть в бегущего! Я мчался берегом, у самой воды, к далекой деревне.

Я был теперь вне опасности. Некоторое время за мною еще гнались, но мне ли, взявшему приз в беге на олимпийских играх, бояться любителей? Моей скорости могли бы позавидовать автомобиль и верблюд. Через минуту я пошел шагом, переводя дыхание и оборачиваясь; на светлом песке неправильным треугольником, замедляя шаг, трусили мои враги.

Еще немного – и они остановились, повернули, ушли. Я не сердит – я жив, – а если бы умер, мне тоже не было бы времени рассердиться. Грустно опустив голову, я шел скорым шагом к деревне, проголодавшийся, мечтая о молоке, свежей рыбе и размышляя о Таурене. От телятины погибла идея.

Гранька и его сын

I

Щучий жор достиг своего зенита, когда Гранька, работая кормовым веслом, обогнул излучину озера, время от времени вытаскивая на прыгающей, как струна, лесе хищных, зубастых и мудрых щук, погнавшихся за иллюзией, то есть оловянной блесной. Гранька глушил рыбу деревянной черпалкой, бросал на дно лодки, где в мутной луже, черневшая серебром, змеилась гора щук, больших и маленьких; осматривал бечевку с блесной и гнал лодку дальше, пока леса, резнув руку, не телеграфировала из-под воды, что новая добыча проглотила крючок.

Внешность мужика Граньки не заключала в себе ничего мальчишеского, как можно было бы думать по уменьшительному его имени. Волосатый, с голой, коричневой от загара и грязи грудью, босой, без шапки, одетый в пестрядинную рубаху и такие же коротенькие штаны, он сильно напоминал заматерелого в ремесле нищего. Мутные, больные от блеска воды и снега глаза его приобрели к старости выражение подозрительной нелюдимости. Гранька бежал к озерам тридцати лет, после пожара, от которого благодаря охотничьей страсти ему удалось лишь сохранить самолет да пару удилищ. Жена Граньки ранее того опилась молоком и умерла, а сын, твердо сказав отцу: «С тобой либо пропасть, либо чертей тешить, не обессудь, тятя», – ушел в губернию двенадцатилетним мальчишкой в парикмахерскую Костанжогло, а оттуда скрылся неизвестно куда, стащив бритву.

Гранька, как настоящий язычник, верил в бога по-своему, то есть наряду с крестами, образами и колокольнями видел еще множество богов темных и светлых. Восход солнца занимал в его религиозном ощущении такое же место, как Иисус Христос, а лес, полный озер, был воплощением дьявольского и божественного начала, смотря по тому, – был ли ясный весенний день или страшная осенняя ночь. Белая лошадь-оборотень часто дразнила его хвостом, но, пользуясь сумерками леса, превращалась на расстоянии десяти шагов в березовый пенек и белую моховую лужайку. Ловя рыбу, мужик знал очень хорошо, почему иногда, в безветрие, ходуном ходит ка-

мыш, а окуни выскакивают наверх. Гранька жил при озере двадцать лет, продавая рыбу в базарные дни у городской церкви, где бесчисленные полудикие собаки хватают мясо с лотков, а бабы, таская в расписных туесах сметану, размешивают ее пальцем, любезно предлагая захожему чиновнику попробовать, пока не облизала палец сама.

Тусклый предвечерний туман с красным ядром солнца над лесистыми островами скрыл водяную даль, погнав Граньку к избе. Промысловая изба его стояла на болотистом, утоптанном городскими охотниками мыску, в грандиозной панораме лесных трущоб, островов и водяных просторов, зеленых от саженого тростника; избу трудно было заметить неопытным в этих местах глазом. Выезжая к избе, Гранька через камни увидел оглобли и передок телеги, тут же мотался хвост скрытой кустами лошади. На темном фоне сосновых холмов штопором извивался дымок.

– Стрелки, добытки, лешего же, прости господи, – зашипел старик, отталкивая веслом сплошной бархат хвоща, задерживавшего ход лодки. Гранька ожидал встретить кого-нибудь из городских лавочников или чиновников, наезжавших к озеру с ночевкой, водкой и даже девицами из обедневших мещан. Озерной и лесной дичи в этом месте хватило бы на целую роту, но охотники, расстреляв множество патронов, обыкновенно уезжали с жалостной и малой добычей, всадив на прощанье в бревенчатые стены избы фунта два дробы, «в цель», как они выражались, немилосердно хвастаясь своими «скоттами» и «лепажами».

Старик, вытащив из лодки сваленных в мешок шук и недружелюбно щурясь на дым, подошел к избе. Черная, с низкой крышей лачуга безмолвствовала, людей не было видно, рыжая лошадь, измученная комарами, вздрагивая худым крупом, жевала сено.

– Одер-то Агафьина, а кого приволок, – сказал Гранька, входя, согнувшись пополам, в квадратную дверь зимовки. Щелевидные окна еле намечались в густой тьме, пахло сырым сеном и кислым хлебом, звонкое полчище ужасных северных комаров оглашало темное помещение заунывным нытьем. Старик ощупал лавки и углы, здесь тоже никого не было.

Гранька вышел, озираясь из-под руки по привычке, так как утомительный блеск солнца погас, сменившись прелестными, дикими сумерками. Комары струнили над землей и водой; над островерхим мысом струился еще бледный огонь заката, а внизу, по воде и болотам, и берегом, за синюю лесную даль, легла прозрачная тень. Казалось, что и не подступают к мысу воды озера, а повис он над бездной среди ясных, дымчато-голубых провалов, полных таких же белых овчин-облаков, что и над головой, тот же опрокинутый берег, а у тростника – дном ко дну две лодки с одинаково торчащими веслами.

Сырее стал воздух, сильнее запахло дымом пополам с тиной. Гранька осмотрел телегу; на ней, в сене, чернела шомпольная одностволка Агафьина. Задняя ось носила заметные следы придорожных пней, чека у левого колеса была сбита и укреплена ржавым гвоздем.

– По оврагам у железных ворот перся, – сказал Гранька, – напрямки ехал, а один сам. Накося!

Он подошел к выставленному перед зимовкой столу, вынул из мешка скользких щурят, выпотрошил их пальцем и бросил в котелок, подвешенный на проволочном крючке меж двух наклонно забитых кольев, и, тщательно охраняя в пригоршне спичку, развел потухший костер, затем, почесав спину, сел на скамью.

Из кустов вышел Агафьин, волоча весла, скорым шагом, прихрамывая, пересек мысок и бросил весла к избе.

– Бабылину лодку прятал, – сказал он, – просил Бабылин. Изгадят, говорит, лодку мне утошники-то, на дарма ездят, рады.

Мужики помолчали.

– Кого привез? – таким тоном, как будто продолжал давно начатый разговор, спросил Гранька.

Агафьин хлопнул руками о колени, тряся бородой у самого лица Граньки, привстал, сел и стал кричать, как глухому, радостно скаля зубы:

– Сын твой, Мишка-то, а сына-то забыл, нет, сын-от твой, Михайло, сказываю, тут он, ась?! В чистоте приехал, в богатестве, земляк мой ведь он, а! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе!

Гранька беспомощно замигал, выражение загнанности и недоумения появилось у него на лице.

– Будет же врать-то, – испуганно сказал он, – Мишка, поди, померши, давно ведь он... это.

– Да тебе сказываю, – снова закричал, волнуясь, Агафьин, – на пароходе он прикатил, утресь; а я, вишь, дрова возил, а с палубы, вишь, на вольном воздухе кои сидели чаевали, кричит – «подь сюда», – я, значит, то самое – «здрасте», а он на тебя, – «батя, – говорит, – жив, ай нет?» И обсказал, а я поленицу развалил, да единым духом, свидеться, значит, ему охота, на чай рупь дал, нако!

Гранька прищурился на котелок, где, толкаясь в крутом кипятке, разваривались щурята. Есть ему не хотелось. Он мысленно увидел сына таким, каким запомнил: волосатый, веснушчатый, с пальцем в носу, с умными и упрямыми глазами, встал между ним и костром призрак родной крови.

– Экое дело, – сказал он дребезжащим голосом, пихая ногой к огню полено, – ишь, старые змеи, объявился когда, да ты по совести – врешь или нет? – Он жестоко воззрился на Агафьина, но в лице мужика ясно отражался переполошивший всю деревню факт. – Да ты чего сел-то, – умиленно вскричал Гранька, – завести Дуньку в оглобли. Поехали, право, поехали, а?

Старик схватил лапти, висевшие на одном гвозде с распяленной для сушки шкурой гагары, стал мотать онучи, ухитрился в двух шагах потерять лапоть и, наступив на него, искать.

За мысом, мелькая в черных вершинах сосен и деловито крякая, неслись утки.

II

Агафьин смотрел на Граньку, силясь уразуметь, куда собрался старик, и, смекнув, что тот, не поняв его, рвется в деревню, сказал:

– Тут он, со мной приехал.

– Игде? – спросил Гранька, роняя лапоть.

– Палочку состругнуть пошел, тросточку. Скучая, полштоф вина выпили с ним.

Из леса, дымя папиросой, показался человек в городском костюме. Завидев мужиков, он пошел быстрее и через минуту, прищурившись, с улыбкой смотрел вплотную на старика Граньку.

– Вот и я, – сказал он, неловко обнимая отца.

Гранька, вытерев о штаны руки, прижал их к карманам сына и прослезился.

– Миш, а Миш, – бормотал он, – приехал, значит.

– А то как же... – громко, отступая, сказал Михаил. – Дай-ка я посмотрю на тебя, старик, – он обошел вокруг Граньки кругом, паясничая, подмигивая Агафьину, и стал серьезен. – Настоящие мощи, неистребимые. Как живешь?

– Маненько живу, мать-то померла, знаешь?

– Должно быть. Старуха была. – Михаил положил руку на плечо Граньке. – Ну сядем.

Агафьин снял котелок и чайник, поставил на стол чашки и пестерек с сахаром. Отец с сыном сидели друг против друга.

Гранька не узнавал сына. От прежнего Мишки остались лишь вихор да веснушки; борода, усы, возмужалость, серый городской костюм делали сына чужим.

– Везде я был, – жуя сахар, рассказывал Михаил.

Агафьин не сводил с него крупных, восторженных глаз, твердя, в паузах, бойко и льстиво: – Ишь ты. Дела, брат, первый сорт. Эх куры – петушки.

– Был везде. Последние два года прожил в Москве; там и жена моя; женился. Поступил в пивной склад заведующим. Жалованье, квартира, отопление, керосин.

Он сломал крепкую, как железо, баранку, выпил налитый Агафьиным пузатый стаканчик водки, поддел пальцем из котелка щуренка и отсосал ему голову.

Сидел, двигал руками и говорил он просто, но не по-мужицки. Но и тону не задавал, а, видимо, вел себя – как привык. Рыбу он тоже ел пальцами, но как-то умелее. Гранька и Агафьин преувеличенно внимательно слушали его, трясая головами, поддакивая напряженно и счастливо.

Он же, попивая из чайника дымный чай, расставив на столе локти, а под столом ноги, рассказывал историю хмурого и смекалистого парнюги, ставшего для деревни барином, «своим из чистых».

Взошла луна и стало еще светлее, мертвенный день без солнца остался над покоем озер. Уныло звенели комары; в земляной яме, треща красными искрами, дымились головни; у берега, разводя круги, плюхалась от шуки рыбная мелочь, а лесистые острова, холмы стали чернее, строже, глубже тянулись опрокинутые двойники их в чистую сталь озер. Озаренная луной, спала земля.

– Жить буду у тебя, тятя, – сказал вдруг Михаил. Мужики опустили блюдечки, раскрыв рты. – Вот так, хочу жить при тебе. Не прогонишь? – Он засмеялся и закурил папиросу, а Агафьин, подхватив уголек рукой, сунул ему. – С тем и приехал.

– Поди-ко, – сказал Гранька, – ублестишь тебя ноне.

– А что ты думаешь, – Михаил засмеялся. – Пора пришла, старик, нажился я. Действительно, вышел я в люди и все такое. Сперва пятьсот получал, теперь тысячу. Венская стоит мебель, граммофон купил дорогой, играет. Приказчики шапки ломают, а я им к праздничку на чаек даю. А какой смысл? Далее для чего мне работать, хозяину вперед забегать, на ломовых горло драть. Вышел я, верно, что говорить, человеком стал. А за каким с... с...м мне этим человеком по земле маяться? Собаке, брат, лучше. У меня собака есть, пуделек, ей блох чешут, ей-ей. Ну, – тоскливо мне, проку из меня настоящего мало, махнул к тебе, подрезвиться хочу, закис, и, видишь ли ты, пью, ей-богу... как пьют – в кабаках знают. Думаешь – вышел в люди – рай небесный. Вопросы появляются.

– Миш, а Миш, – забормотал Гранька, – ты не моги. Против своей жизни не моги.

– Михайло, – сказал Агафьин, хватая рукой бороду, – обскажи, на меркуны, слышь, на Москве из трубок глядят, господа не боятся.

Михаил рассеянно посмотрел на него, но уловил смысл вопроса.

– Это телескоп, – сказал он. – Смотрят, как звезды ходят.

– Вот то самое, – подхватил Агафьин.

– Ну, завтра поговорим, – сказал Михаил. – Положи меня, старик, дай вздохнуть.

Он осмотрелся. Ночевье не изменилось, камыш, вода и избушка были на старом месте.

Все трое легли спать на старых мешках, от которых еще пахло мукой. Агафьин подбросил сена, а Гранька вынес зипуны. Еще поговорили о земляках, рыбе, Москве. Наконец, Агафьин уснул, храпя во все горло. Старик и сын, словно по уговору, сели. Обоим не спалось в духоте ночи, впечатлений и дум.

– Да, буду здесь жить, – громко сказал Михайло. – Как ехал – мало об том думал. Приехал – вижу, место нашел себе. И спокойнее.

– Живи, – сказал Гранька, – рыбу ловить будем.

– И деньги есть.

– Утресь рачни посмотрим. Сколь тебе годов-то теперь, Миш?

– От твоих тридцать долой, только и есть.

Укладываясь, оба думали и заснули, подобрав ноги.

Таинственный лес

I

Машинально приглаживая рукой волосы, оправляя галстук, косясь на проходящих мимо в суровой чистоте блузок, сосредоточенных учащихся барышень, Рылеев справился у библиотекаря, выписана ли затребованная книга, и, получив ее, занял обычное место у окна.

Он работал в библиотеке второй месяц, выписывая из специальных изданий все сведения, факты и обобщения, которые должны были составить в обработке содержание заказанной Рылееву научным издательством книги. Процесс работы был приятен Рылееву. Книга эта представля-

ла собой один из крупных камней здания его жизни: помимо материальных выгод, издание книги обеспечивало ему некоторую, тоже выгодную, известность.

Все здание жизни, упорно подготавливаемое долгими годами ученья, хлопот, настойчивых усилий и каменного терпения, должно было увенчаться осенью получением хорошего штатного места при академии и женитьбой на давно уже, несколько лет, любимой девушке.

Рылеев любил думать о своем будущем, относился к нему ревниво и строго.

Сев, Рылеев снял пенсне, вытер его, надел снова и посмотрел, как всегда, прямо перед собой, потом влево и вправо. Впереди, подходя к солнечным венецианским окнам, тянулась вереница лиц и затылков, склоненных над книгами. Это была всегда одна и та же картина выраженного фигурами людей массового мозгового напряжения. Слева от Рылеева сидела полная, невысокая дама с флюсом и обиженными глазами: она рылась в старых журналах. Справа, локоть к локтю Рылеева, вытянув под столом ноги и подперев небритый подбородок пальцем левой руки, плохо одетый, не первой молодости человек читал, не подымая глаз, французский переводной роман. Романы менялись, а чтец их, аккуратно являясь к открытию библиотеки, требовал недочитанную «Морскую змею» или «Жеводанского зверя» и, усаживаясь на прежнем месте, щипал траурными пальцами уголок страницы.

Рылеев, посмотрев с неуважением на этого человека, ушел в работу, и прошло немного времени, как в памяти его и блокноте внедрились свежие научные новости, достойные обработки. Он мысленно отшлифовал их, придел, исправил погрешности перевода, в одной фразе нашел легкую казуистическую вольность, усмехнулся, похерил мировоззрение автора, записал голые факты и перешел к следующей главе. Изредка давая отдохнуть глазам или обдумывая что-либо, он подымал голову, видя все то же: светлую пустоту под потолком, голые солнечные подоконники, согнутые спины идущих на цыпочках людей и концентрические подковы черных столов, утомляющие глаз казенной симметрией. Между портретами Державина и Кольцова круглые стенные часы, сдержанно зашипев, пробили час; в углу, покраснев и не удержавшись, чихнула барышня, где-то заскрипел стул, потом упал карандаш. Звуки эти, разделенные долгими паузами тишины, резко останавливали внимание. И так, погруженный в хоровод своих и чужих мыслей, Рылеев просидел два часа.

Почувствовав утомление, сухость во рту и неудержимое желание перебирать под столом ногами, он встал, бесшумно удалился в курительную и, в обществе нескольких молодых курильщиков, смотревших, прислонясь к стене, на носки сапог, выкурил тоненькую, хмельную натошак, папиросу. Еще немного оставалось ему записать отмеченных в книге мест; он вышел и в коридоре столкнулся с улыбавшимся ему студентом Гоголевым, шедшим навстречу. Рылеев и Гоголев снимали вместе одну меблированную комнату.

– Я думал, вы ушли, – сказал Гоголев, отстегивая пуговицу мундира. – Я искал вас, вам письмо есть, почтальон был сейчас. А мне надоело сидеть дома, прошелся, так хорошо, тепло, кстати и письмо захватил.

Румяное, женственное лицо его с тупым под белыми усиками ртом силилось что-то вспомнить; он прибавил:

– Мурмина и Григорий Антонович приглашают вас вечером. Еще будут гости. А Валечка разучила что-то, сыграет... Придете?

– Хорошо, – сказал Рылеев, беря письмо. Взглянув на почерк, узнал руку Лизы и, обрадованный, забыл, что сказал Гоголев. – Так что вы говорите? Мурминой сыграть? Ах да, я приду, спасибо.

– Я Блосса буду читать, – заявил Гоголев, обдернул рукава и отошел. Рылеев, стоя в углу коридора, смотрел на конверт, стесненно вздохнул и, как всегда несколько волнуясь, разорвал угол письма. В это мгновение он был далек суровому быту читальни. Проходя мимо Рылеева, сухо посмотрела на него женщина воинственно-ученой осанки. Он, не заметив ее, прочел письмо:

«Милый мой Алексей! Этим письмом я расстаюсь с тобой навсегда. Случилось то, чего не надобно тебе знать, и не все ли равно? Наши дороги разошлись.

Забудь меня совсем, прости; мне кажется, что ты не тот, кого я ищу. Пока еще думаю о тебе, и мне тебя жаль. Прости же.

Лиза».

Прочтя это, Рылеев невольно задержал дыхание, шумно вздохнул и сделал несколько шагов поперек коридора, усиливаясь придать лицу, для себя самого, комически ошеломленное выражение. Но и тени самообладания не было уже в нем, все впечатления дня вдруг испуганно посторонились, уступая место жесткому выражению строк, дрожавших в руке Рылеева. Из странной, глубокой отдаленности доносились к нему, шаги мимо идущих людей, сдержанные голоса, кашель. Тихо и строго, пока еще лишённое смысла, повторялось его душой прочитанное письмо, и чувствовал он, что лицо болезненно горит, как будто жар невидимого огня усиливается в воздухе. Так же как простреленный на вылет солдат, почесав едва ощущаемую сгоряча рану, бежит еще некоторое время, удивленно смотря на побледневшие за него лица товарищей, – Рылеев, опустив руку с письмом, вошел в зал, увидел свой пустой стул, книгу, тощие скулы чтеца романов, сел и понял.

Он понял, что библиотека, трудовые часы его, бесчисленное количество книг, к которым доньше был он жаден, полон острого, охотничьего чувства, посетители, сидящие и выходящие, портрет Державина и умное, как бы приглашающее работать, лицо красивой библиотечарши не нужны ему, существуют по недоразумению и противны. Также он понял, что от Лизы писем больше не будет, что наступила полоса большого, острого горя, но не мог еще понять и примириться с тем, что лишился любви. Этого он, продолжая любить, не понимал. И текущий день стал перед ним в трагическом свете, как бы говоря теперь, что утром было у него хорошее настроение по ошибке, что иначе надо понимать светлые аллеи бульваров, что день потерпел крушение.

Посидев еще немного, Рылеев, сильнее, чем всегда, размахивая руками, встал и вышел из библиотеки на улицу.

II

Ночью, после того, как вернувшийся из гостей Гоголев (Рылеев не был у Мурминых) съел, зевая, остатки сыра и колбасы, рассказывая набитым ртом, что, в сущности, Мурмины милы, но старомодны, Рылеев уснул тяжелым, полным стремительных, грозных образов, сном, во сне стоял и, неожиданно для себя, словно его ударил тотчас же спрятавшийся неизвестно куда враг, проснулся около двух. Было темно, тихо, в темноте шептали стенные часы, а на стекле окна, как нарисованная, обозначилась белесоватым зигзагом пленка зари.

Еще не помнивший, растирая левую сторону груди, где, стесненное, болезненно колотилось сердце; Рылеев сел, потянул рукой одеяло, собираясь снова заснуть, но вспомнил вчерашний день, письмо и выпрямился; сон исчез, полная работа сознания остановилась на том, чему отныне всегда могло быть только одно имя: горе. Рылеев привык думать о своей любви и окончательном соединении с любимой девушкой, как о таком жизненном положении, которое не властны изменить ни он сам, ни она, ни какие-либо посторонние силы. Дремлющий, как у большинства людей, дух его спокойно относился к будущему: спокойно любил Рылеев, думая, – так как мы склонны переносить чувства свои на других, – что и он любим тоже спокойно, тихо, сильно и верно.

План Рылеева был такой: заработать побольше к осени денег, написать Лизе, что все устроено, что они могут жить вместе, не опасаясь нужды. Лиза жила в далеком провинциальном городе, где, мыкаясь в поисках заработка, случайно познакомился с нею Рылеев; она служила в транспортной торговой конторе. Ей шел теперь двадцать второй год, она была роста несколько выше среднего, красивая девушка с темными тяжелыми волосами: исключительно женственных очертаний стройная фигура ее, высоко поставленные брови и темный разрез глаз всегда мысленным портретом стояли перед глазами Рылеева. Сидя на кровати, обхватив руками колени и легонько покачиваясь, словно ритм этих маятникообразных движений мог успокоить хаос разо-

ренного чувства, Рылеев почти физически слышал и понимал, как прежняя спокойная, элегическая влюбленность его перерождается в тоскливый недуг страсти, ревнивой и беспомощной, более мучительной от тех самых интимных воспоминаний, которые еще недавно он назвал бы светлыми.

В письме, оставившем по себе такое чувство, как будто бы двое суток подряд сильно болела голова, но боль прошла, сменившись нервной слабостью и дрожью рук, – в этом письме не было ничего, что прямо указывало бы на личность соперника, похитившего любовь женщины. Тем не менее Рылеев чувствовал этого другого так ясно, как если бы тот дышал ему прямо в лицо. Навязчивые представления овладели им. Ужасаясь и возмущаясь, Рылеев видел Лизу радостно отдающейся другому, а подробности представлений – для себя только волнующие – по отношению к невидимому сопернику казались страшным цинизмом.

Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолически, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.

Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполой на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допускалось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек – и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.

Все это исчезло, как будто и не было его никогда.

«Моя!» – твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» – сказал Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издалика смотрели на него, обвеянные женской страстью.

В комнате, от падающих из-за реки и бледных, но уже веселых лучей было совсем полудневному. Успокоенный главным решением, принятым бессознательно еще в библиотеке, бросившим его случаю и человеческой воле, Рылеев тяжело задремал.

Проснувшись с горьким вкусом во рту и сразу же, по воспоминании о происшедшем, возбуждаясь так, что похолодели руки, он увидел пустую кровать Гоголева, часовую стрелку на двух и тепленький самовар. Не одеваясь, Рылеев выпил стакан холодного чая, завалил комнату бельем, книгами, нужными в дороге вещами и, собрав чемодан, оставил на столе Гоголеву половинные за квартиру деньги. С собою он брал все, что было накоплено для жизни с Лизой: четыреста двенадцать рублей. Потом, одевшись, постоял немного на одном месте, сел и написал записку сожителю:

«Я приеду через неделю, не думайте ничего особенного».

Сделав это, прошел мимо переставшего от удивления что-то жевать швейцара и крикнул извозчика. Швейцар вышел на тротуар.

– Ехать изволите? – сказал он, смотря главным образом на чемодан.

– Да, – ответил Рылеев, – я на один день.

Говорить ему было противно и трудно. Швейцар поддержал Рылеева за локоть и поместил чемодан удобнее, чем это сделал извозчик. Рылеев дал рубль швейцару, а тот, сняв фуражку, блеснул лысиной.

Извозчик дернул вожжами. Прекрасный, полный воздушного огня, день весело и деловито развернулся вокруг Рылеева, но от света, движения уличной толпы и жидкого лязга подков извозничьей клячи Рылеев еще острее почувствовал, как чужда, до неведомого исхода страдания, сделалась ему жизнь.

III

Петруха и Демьян с утра рубили на делянке дрова, а Звонкий, третий дроворуб, сидел дома. За неделю была выставлена им сажень дров, под эту сажень куренщик выдал Звонкому муки, мяса, водки и табаку.

Звонкий был безнадежно ленив той ленью, которая, чтобы удовлетворить себя, должна предварительно покориться необходимости заработать трешницу. Он был ободран, грязен, великолепно рыж, бородат, толстогуб; с припухшими от сна, хитрыми серо-голубыми глазами. В лаптях на босую ногу, отчего кривые ноги его, обтянутые узенькими холщовыми портками, казались тонкими, как у ребенка. Звонкий подпоясал рубаху монастырским пояском с надписью: «Блаженны нищие, яко тех есть царство небесное», развел под остывшим котелком с водой огонь и, сев на пороге, стал думать; что здесь скучно, а работа тяжка, и нет народа, с которым шумно, гульливо, озорно, полное визжащих баб, течет мужицкое воскресенье или двенадесятый. Звонкий был мужик из не теряющих своего мужицкого обличия крестьян, своеобразный рыцарь отхожих заработков, грузивший барки на Волге, косивший хлеб у колонистов в Саратове и даже тушивший в Баку пожары нефтяных вышек, – но всюду неприкосновенно пронесший свои портки, лапти, монастырский пояс и ту диковинную для горожанина психологию, в которой все начинается с утверждения, а доказательства вырабатываются собственными боками.

Звонкий, дуя на блюдечко, долго пил горячий вприкуску чай, покурил, надел шапку и вышел. Вдали, в синем зареве леса и неба, тянулась сизая седловина холмов. Мужик тронулся по тропе к делянке Петрухи. Свеженарубленные поленницы тянулись меж низко срезанных пней и груд хвороста. Мелкие белые цветы, лиловые колокольчики, ландыши, желтая богородская травка, сливаясь пятнами, напоминали брошенные цветные платки. Звонкий увидел Петруху – мужик, сидя на земле, подпиливал голую до вершины сосну. Пила, скрываясь в разрезе, шипела еле уловимым, шипящим звоном.

Звонкий остановился сзади Петрухи. Петруха, пропилив три четверти ствола, забил в щель клин, и дерево, закрипев, нагнулось. Сопя от утомления, дроворуб встал, положил пилу и, обернувшись, увидел Звонкого.

– Не работаешь? – сказал Петруха.

– Вали сам, – ответил Звонкий, – а я посмотрю. Навалил ты, мужик, лесу, как кирпичей.

– А што? – самодовольно сказал Петруха. – Куб выставлю сегодня, ей-богу.

– Пилу направил?

– Направил. – Петруха поднял пилу и, держа ее против солнца, нацелился глазами вдоль зубьев. Математически правильно разведенные острия блеснули ему прямо в лицо огненным желобком. – Еще и не совсем ладно.

– Скажи секрет, Петруха, чем пилу направил?

– Чудак твой отец, – сказал дроворуб, вытирая рукавом потное, широкое лицо. Он щелкнул пальцем по зазвеневшей пиле. – Ручку одну сними. И отрежь пилы с этого конца четверть. А развод сделай по нитке, и чтоб все зубы были как один, и спили каждого, сколько другого спилил, как в аптеке. Понял?

Он стал распиливать сучковатый кругляк. Пила от первых же движений руки ушла в дерево так глубоко и легко, как нож в хлеб. Менее чем через минуту кругляк рассыпался надвое.

– Видел? – сказал Петруха.

– Вот елки-палки! – проговорил Звонкий. – Ну и пила!

Демьян, высокого роста худой старик, наколачивая топором на обух, сказал Звонкому:

– Мутит от тебя, Коскентин, шел бы ты куда.

– Ишь, – захохотал Звонкий, – старухе на платок потеешь. Стар уж, капитала не наживешь.

Старик, не отвечая, проворно, словно руки и ноги его были моложе тела лет на сорок, хлопотал около дерева, сек, размахивая топором, сучья и изо всех сил, приговаривая, как мясник, разрубающий тушу: «Кэах, кэах», принялся рассекать ствол. Топор уходил все глубже; все яростнее металась старческая, обведенная полуседым венчиком вьющихся волос голова. Топор судорожно звенел.

Перестав рубить, Демьян оглянулся, желая сказать Звонкому еще раз: «Шел бы ты, право», но никого не увидел. Звонкий шел по направлению к сухому болоту, где рос некрупный кедровник. Он испытывал тоскливую потребность двигаться, придумывая ненужные и сомнительные предлоги: сбить шишки, надрать лыка, хотя лаптей сам не плел, а по вечерам предпочитал рассказывать сказки. Он знал их множество. Это были уродливые порождения фабрично-босяцкой фантазии, где в противоестественном, фантастически-похабном сплетении выступали попы, генеральши, лакеи, животные и неизменный солдат – ловкач, берущий в жены принцессу, выражающуюся, например, так:

«Окромя пирожного – ничего».

Утренний лес, под светлым, режущим глаза, небом, печальный крик сойки, смутные голоса чащи, скользкая под ногами хвоя, седой от мхов бурелом, полное дыхание летней земли и рассеянный лесной свет неотступно окружили идущего мужика. Он не думал о них так же, как мало думаем мы о привычных для нас вещах: книгах, письменных принадлежностях. Простое, но чрезвычайно поразившее Звонкого представление заставляло мужика хмыкать носом и, скаля зубы, подозревать учиненный ему неведомо кем подвох. Был ли это подвох – Звонкий еще не знал в точности, но очень хорошо знал, что вырубленные им дрова плывут по реке к заводу, пережигаются в уголь, и углем этим плавят чугун. Чугун превращается в железо, а из железа делается пила. Пилой опять пилят дрова, и это может продолжаться до второго пришествия.

Поверхностный взгляд не открыл бы даже и одной шишки в густой, мягкой хвое молодых кедров. Человек, желающий разжиться орехами, должен очень долго смотреть на дерево, тогда висящие под ветвями снизу коричневые шишки становятся доступны если не руке, то глазу. Звонкий поднял высохший сук и швырнул его в ту часть кедра, где гуще, у вершины, гнездились шишки. Упало несколько штук. Мужик, сунув их в пазуху, продолжал занятие. Кружась, отступая, пятясь задом, высматривая и сбивая орехи, Звонкий вернулся к просеке. И в редкой опушке кедров случайно рассеянному взгляду его мелькнуло человеческое лицо. Оно не было ни мужским, ни женским. Присмотревшись, Звонкий различил два лица – мужское и женское. Игра света и теней соединила их на мгновение в один образ; мужчина сидел на земле, подогнув ноги, женщина полулежала, опираясь на локоть, и, поднимая глаза к наклоняющемуся над ней мужскому лицу, говорила что-то непонятное Звонкому.

«Со станции, больше неоткуда», – подумал мужик, и лицо его, незаметно для самого Звонкого, расплылось в двусмысленную, широченную улыбку. «Любовь крутят», – мелькнуло под рыжими волосами. Стоя неподвижно, с руками, полными шишек, мужик наслаждался неожиданным зрелищем. Десятками поколений предков наметанный взгляд его безошибочно определил барышню. В белом, по-бабьи надетом платке была эта женщина, и в ситцевом, простом, по белому синим горошком, платье – но не так, аккуратно вытянув ноги в остреньких башмачках, – лежит баба, и не так прямо смотрят ее глаза. Звонкий, аккуратно сложив шишки к пеньку, опустился на четвереньки и, дыша в бороду, подполз к самой просеке; теперь в десяти шагах от него была пара, и мог он смотреть досыта.

Насколько легко мужик определил барышню, настолько же трудно было ему сказать себе, что этот кавалер – вот то-то и то-то. Не понять было его. Здоровый и длиннорукий, в канаусовой

«барде» – рубаше, подпоясанной ремешком, – в сапогах до ляжек, какие носят шахтовые забойщики, с белым лицом, веснушчатый; выпуклые, светлые под низкими бровями глаза, густой пушок темнил губу. На голове неизвестного плотно сидела бобриковая, с плисовым верхом, шапка. По приметам всем этим – свой брат, из чистых, но говорил непонятное и не так, как говорят мужчины, а сверху бросая слово, как бы в руке подержав его, ошупав и кинув.

Осмотрев мужчину, Звонкий погрузился в созерцание барышни. «Одно слово – беленькая», – подумал он. Ее лицо насупило и поразило его: было оно как теплая у сердца рука, а волосы – темные, и над большими глазами – тонкие, как серп раннего месяца, шнурками брови. Она протянула свою руку мужчине, тот погладил ее, как гладят трущуюся у колен кошку, и поцеловал в кисть. И это более всего поразило Звонкого. Все, что видел он потом, глухим и ненасытным раздражением проникло в него, но поцелованная рука так и засела в памяти. У мужика пересохло во рту. Лежа на брюхе, сладко потянулся он и подумал: «Как заору – так и стрекача дадут». Но настоящего желания заорать у него не было, а только радовался он, что, если захочет напугать, напугает и уж не красиво будет, а смешно и совестно.

Он начал понимать уже, о чем говорит пара, – что барышне мешает в чем-то Рылеев, а мужчине к вечеру надо куда-то идти на место и что очень он любит, – как вдруг теснее и ближе сели они друг к другу, обнялись, застыли, и, губы в губы, взасос, звонкий поцелуй обжег слух Звонкого. Смотря на чужую любовь, мужик, хихикая, похолодел весь, и мелкой Дрожью забило его, как от страха. На просеке горячее солнце золотило березовые пеньки; смешанный в этом месте лес, залитый паутиной теней, пестрел цветной зыбью. Мужик налился кровью и перестал дышать. «Ухну!» – подумал он, и тотчас же нестерпимое желание зашуметь пересилило его любопытство. Открыв рот, набрал он воздуха и крикнул, но безголосый в пересохшей гортани сип бессильно растаял в воздухе.

Мужчина встал, встала и женщина; разгоревшиеся, казались оба Звонкому – в лежачем положении – гигантами. Он смотрел на них снизу вверх, уже струсив, боясь, не заметили ли его воровского присутствия. Как только они встали, отвалило у него с души ревнивое о чужой жизни беспокойство, а вместе с тем было жаль, что ничего, то есть главного, не было. Оба пошли рядом, не оглядываясь. Звонкий оскалил зубы, смотрел им вслед, потом медленно, отряхнув ползущих за воротник муравьев, встал и подошел к тому месту, где только что сидели два человека. Медленно, как бы пробуждаясь от сладкого сна, неохотно выпрямлялась примятая у бугорка трава; у ног Звонкого, певуче гудя, летал шмель, а в ушах отзвуком сновидений раздавались замолкшие вдали голоса людей. Шмыгнув носом, мужик сел на бугор, подмигнул себе и, находясь в сказочном настроении, тихо проговорил никому:

– Если по-благородному, уж без сумления.

Он сидел, согнув ноги, и коленки заныли. Звонкий встал, щеголевато потрагивая замусленную шапку; все еще хотелось ему заочно подойти к барышне, так и рябил в глазах синий, по белому ситцу, горошек.

– Эх, и посидела бы ты тут со мной, уж я бы!.. – искренне воскликнул он и оборвал, не договорив, что хотел выразить, да и не было на его языке таких слов, чтобы грубое соединить не с грубым, а с новым.

IV

Поезд еще не подошел к вокзалу, а в проходах вагонов толпились уже гуськом пассажиры, тыкая друг друга чемоданами и корзинками. Тут же стоял Рылеев, переминаясь от нетерпения. Поезд равномерно замедлил ход, зашипел тормоз, вагон, дрогнув, остановился, и все малопомалу, падая друг на друга, вышли из поезда.

Отдав вещи на хранение, Рылеев прямо с вокзала нанял извозчика. Дорога почти не утомила Рылеева; трое суток, проведенных в вагоне, были так малы в сравнении с пережитым, что вспоминал он о дороге менее всего как о времени. Но путешествие заставляло его чувствовать полный разрыв с прежним, оно само и было разрывом.

Сказав извозчику адрес, Рылеев весь взволновался, так неотвратимо было теперь, что эту

улицу и дом этот он увидит, почувствует. «Какой это дом нумер двадцать девять, какая улица Чудовская?» – спрашивал он, бывало, себя раньше, получая Лизины письма, и, конечно, ничего не представлял себе, но дом и улица, как и все, что имело отношение к Лизе, были обвеяны для него таинственным любовным томлением; в дом этот и улицу, не зная их, он был влюблен тоже. Пасмурное летнее утро бросало на провинциальный город тень скуки. Шли, раскачивая поставленными на голову корзинками, татары, покрикивая: «Апельсины, лимоны хороши», из-за угла выехал порожний извозчик, старая дама в сопровождении кухарки шла с сумочкой на базар, мальчишки пускали змеев. И столичное разнообразие уличных впечатлений мешалось в голове Рылеева с дамой, змеем и апельсинами.

У деревянных ворот извозчик остановился. Рылеев удивился, что вот уже путь окончен, обрадовался и испугался, и вдруг определенно захотелось ему все еще ехать в поезде, думать об окончательном, вообще отодвинуть наступающий серьезный момент. Поняв, что это – слабость, Рылеев нахмурился, стараясь не смотреть на окна, расплатился с извозчиком. «Ну что же, как же произойдет все?» – беспомощно твердил Рылеев, идя по заросшим травой каменным плитам двора к желтому крыльцу с обветрившимися деревянными колонками. Ему вдруг стало так тяжело и так жаль себя, что на мгновение он остановился, глотая закипевшие слезы. «Не надо быть смешным, – сказал Рылеев, – иначе все пропало. Главное – не быть смешным». Заторопившись, он взошел на крыльцо, дернул звонок и тотчас подумал, что Лиза уже слышит звонок, но не знает, кто звонит, а когда узнает – произойдет неизвестно что, странное и по-своему радостное.

Кто-то, кашляя, сошел по внутренней лестнице. Это была маленькая, остролицая, с подвязанной щекой, старуха в кухонном грязном переднике.

– Вам что, батюшка? – сказала она, держась за крюк.

– Елисавета Авдеевна Громова здесь живет? – сдавленным голосом произнес Рылеев.

– Нет, съехали они, – сказала старуха. – Объявление повесили, давно уж.

Рылеев пристально посмотрел на нее, удивляясь, что эта женщина почему-то говорит о Лизе спокойным, простым голосом.

– Куда же переехала она? – спросил Рылеев, злясь на старуху за то, что она сама не догадается сказать ему это. – Куда переехала?

– А вот не знаю. Уж чего не знаю, так не знаю, батюшка.

– Как не знаете? – пугаясь, спросил Рылеев.

– А так и не знаю. Не сказались, а я им человек чужой, не моя болезнь.

– Как не знаете? – тихо повторил Рылеев, и все всколыхнулось в нем. – Всякая хозяйка это знает, а вы не знаете.

– Да, не знаю, – проворно и, как показалось Рылееву, торжествующе сказала старуха. – А у меня живет подруга ихняя – может, знаете? – Павлинова, вместе они и столовались; тай зайдите, может, ее спросите.

«Все разъехалось», – с досадой и острой тревогой подумал Рылеев. Показалось ему теперь, что так же далек он от Лизы, как три дня назад. Покраснев от неожиданности, Рылеев сказал:

– А что ж, зайду к этой Павлиновой. Проводите меня.

Он пошел за старухой, шагая через ступеньку.

«Какая это Павлинова? Может, Лиза все рассказала ей», – думал Рылеев и густо вспыхнул. Но смущение длилось один момент: входя в прихожую, он был уже скрытным, владеющим собой и холодно степенным в разговоре. Это произошло от сильного внутреннего напряжения.

– Тут вот, – сказала старуха, тыча рукой в дверь, – тут они живут, Павлинова, – стукнитесь.

Рылеев, прислушавшись, постучал, а внутри поспешно отозвались: «Можно». Старуха, вытирая руки о передник и оглядываясь на ноги Рылеева, ушла. Рылеев открыл дверь, вошел и увидел перед собой высокую, с простонародным лицом женщину. Серые ее глаза, однако, спокойной внимательностью своей обличали интеллигентную горожанку.

– Извините, пожалуйста, – сказал Рылеев, – я разыскиваю адрес своей знакомой, Лизаветы Авдеевны. Может, вы знаете?

Чувствуя, что подозрительно комкает речь и надо говорить подробнее, он поправился:

– Мне сказала, должно быть, ваша хозяйка, старуха, тут внизу. Вы, что ли, коротко с ней

знакомы были? Так вот, пожалуйста. Позвольте представиться: Рылеев.

– А я – Павлинова, – сказала женщина и замолчала, пристально смотря в лицо посетителя.

«Как долго смотрит на меня. Наверное, все знает и теперь рассматривает», – с тоской подумал Рылеев. «Перестань глазеть!» – мысленно закричал он, а вслух сказал:

– Очень прошу вас сообщить.

– Да я не знаю ее адреса, – натянуто произнесла женщина. – Не знаю, не знаю.

Снова, как на крыльце внизу, Рылеев испытал противное ощущение нудной оторванности.

После такого ответа, разумеется, следовало извиниться еще раз и уйти, но он стоял и ждал, сам не зная чего, бегая глазами по углам комнаты. Она пестрела дешевыми обоями, было в ней много аккуратно разложенных книг, по стенам – открыток, и веяло скучной трудовой жизнью.

– А может быть, знаете? – подумав, спросил Рылеев.

Логика положения была за то, что эта женщина знает, но не желает сказать.

– Нет, повторяю вам.

– Нет, знаете, – твердо сказал Рылеев. Павлинова, слегка покраснев, нетерпеливо пошевелила рукой, глаза ее взглянули на Рылеева без смущения, раздумчиво, и по этому взгляду, а в особенности по тому, что сам хотел этого, Рылеев сразу, инстинктом угадал, что Павлинова не только знает, где Лиза, а знает, кто такой Рылеев, его положение и не сочувствует Лизе; но ему было уже все равно, что подумают о нем.

Шагнув вперед, он сказал:

– Вы знаете. Скажите, пожалуйста.

– Какое вы имеете право?.. – спокойно начала Павлинова, но, заметив, что Рылеев бледен и не в себе, вздохнула, опустила голову и прибавила: – Я знаю, правда, но вам не скажу.

– Почему? – раздражаясь, спросил Рылеев. – Какой же смысл?

– Лиза просила не говорить вам.

– Я все-таки прошу вас.

– Нет, извините.

Оба были взволнованы и то прямо, твердо смотрели друг другу в глаза, то отводили их. Прошло несколько секунд тяжелого молчания.

– Ну, так вот же, – глухо сказал Рылеев, – ради вашей матери...

Дальше он не мог ничего сказать. Горе, злоба и слезы давили его. Женщина еще раз внимательно остановила свои серые равнодушные глаза на Рылееве, губы ее дрогнули не то усмешкой, не то гримасой.

– Ну, – сказала она лениво и запинаясь, – я вам скажу. Знаете село Крестцы? Вот там. Там живет мужик Аверьянов, запишите: у кузницы, – у него и живет она на квартире.

Рылеев глубоко вздохнул. Ему не пришло даже в голову спросить, где это село и сколько до него верст. Сказанное Павлиновой без записи отпечаталось в его мозгу. По голосу Павлиновой было видно, что выдать секрет ей неприятно, но любопытно, как всякому, имеющему возможность повернуть хотя бы на вершок колесо чужой жизни.

– Спасибо, спасибо вам! – горячо сказал Рылеев и, взяв руку Павлиновой, пожал ее. – Пожалуйста, извините меня.

Узнав, что было ему нужно, он чувствовал теперь стыд за то, что выдал себя; но со стороны этого не было заметно, а казалось, что человек настойчив и странен. Поклонившись еще раз, Рылеев вышел на улицу, вспомнил, что в конце разговора Павлинова принужденно улыбнулась, и ужаснулся тому, что не в состоянии подойти к Лизе сам, что тут мешаются и будут мешаться чужие люди.

Что же значит все это? – растерянно спрашивал себя Рылеев, выходя к рынку. – Почему село, Павлинова и что от меня скрывают? – Глубокий тормоз неожиданностей топил все его планы и ожидания. Построив несколько бессмысленных, невероятных догадок, Рылеев усмехнулся, захотел есть и, поравнявшись с галдящей у дверей трактира кучкой мастеровых, вошел в заведение.

Едкая вонь щипала глаза; пахло кухонным чадом; у стойки мужики ковыряли пальцами в соусниках. Постояв, Рылеев из чувства брезгливости хотел уйти, но, подумав, сел к столику.

Глубокая рассеянность овладела им. Сев, он тотчас же перестал и брезговать и удивляться себе, зашедшему в простонародный трактир.

– Что изволите заказать? – отвыкшим от подобострастия голосом, но тонно спросил половой.

– Суп, щей там... жаркое. И водки, – поспешно прибавил Рылеев, – немного.

– Графинчик возьмете?

– Ну, графинчик.

Он принялся есть, жадно, торопливо, глотая куски, а перед едой выпил три рюмки. Ударило в голову, стало немного терпимее. Когда заиграл оркестрион, Рылеев стал напряженно думать о будущем, почувствовал, как любима, враждебна, мила и далека теперь ему Лиза, и испытал ощущение, похожее на то, что чувствует нетрусливый путник, подъезжая на бойких лошадях к темнеющему ухабу. Хотя Рылеев и понимал, что это не что иное, как возбуждающее действие хмеля, все-таки ему было приятно чувствовать себя готовым на все. Он не замечал, что он действительно не совсем тот Рылеев, который аккуратно придумывал жизнь, сидя в библиотеке, но разница была еще так ничтожна, как между обрезанным и разорванным по сгибу листом бумаги. Неизвестность сосала его, хотя многое верно понималось им инстинктивно, но понимание это не переводилось ни на слова, ни на представления – род болезненного предчувствия; так иногда приведенный с завязанными глазами человек знает, есть кто или нет возле него.

Задумавшийся Рылеев очнулся, посмотрел вокруг; посетители не обращали уже на него внимания, машина гремела.

– Что это играют? – спросил Рылеев.

– Польку-мазурку, – сказал половой, отыскал глазами на столе рылеевский рубль, брякнул сдачей и отошел.

Рылеев вышел.

V

У печи, покрывшись, несмотря на духоту, тулупом, храпел на лавке ямщик; чернявая баба мыла квашню, а с улицы неслись плаксивые голоса мальчишек, играющих в бабки. Рылеев хлопнул дверью; баба сказала:

– Откеда едете?

– Лошадей надо, – сказал Рылеев. – Есть лошади?

Баба, перестав спрашивать, высунулась в окно, крича:

– Гаврюшка-а! Беги, злыдень, к хозяину, проезжающие, слышь; беги скоренько!

– Ти-тя-ас! – пискнуло в переулке.

Рылеев сел у стола, осматриваясь. Сбоку висел в рамке портрет лихого кавалериста с вывороченным набок деревянным лицом; конь поднялся на задние ноги, распутив хвост, а всадник стрелял из пистолета в воздух. В перспективе виднелся конный памятник Николаю I. Внизу вязью была выведена подпись:

«Конь Геркулес. Лейб-гвардии Кирасирского полка рядовой Иван Мухачев».

На подоконнике, в цветочном горшке, под засиженной мухами занавеской, рос лук, а у печи вместе с азиями и шапками болтался чересседельник. Мужик, спавший на лавке, высунул из-под тулупа всклокоченную голову, посмотрел на Рылеева, отвернулся, полежал несколько секунд в прежней позе, потом вдруг вскочил, почесываясь, и, не смотря на проезжающего, стал крутить сигарку. Он был бос, крепок, а лицом очень похож на всадника с пистолетом.

Кто-то прошел под окном; баба сказала:

– Хозяин идет.

Толстогубый, с серебряной на животе цепочкой, мужик в цветной татарской жилетке, надетой поверх ситцевой навыпуск рубахи, вошел в кухню, сказал в пространство: «Здрасте», – и устоялся на Рылеева.

– Хозяин вы? – сказал Рылеев. – Дайте мне лошадей.
– Можно, – не сразу ответил мужик. – Да вы куда?
– В Крестцы.
– Парочку вам или одну?
– Пару лучше.
– Сею секундою. Иван, громоздись, поедешь с им, – сказал хозяин. – Обедать ты, я чай?
– Обедать. А очередь чья? – Иван взял валявшийся у лавки сапог за ушко и, подержав, сердито бросил на пол: – Кикину, чать, ехать.
– Да пьян ведь, – сказал хозяин. – Не лопнешь.
Ямщик сплюнул, оделся и вышел. Хозяин спросил Рылеева:
– Откуда будете?
– Скажите, чтоб скорее запрягали, – отозвался Рылеев.
– Нездешний, чай?

Рылеев промолчал. Мужик сердито посмотрел на него, ушел, хлопнув дверью, и скоро со двора донеслось фырканье выведенных лошадей. Рылеев посмотрел в окно. Иван возился с упряжкой, а хозяин стоял рядом, говоря:

– Занозистый, стрекулист какой, вези с прохладцей. Не дави брюхо кобыле, Ваня. Наказываю бесприменно тебе, чтобы таратайку нашу Гужов пригнал, пускай свою купит.

– Ладно, – сказал Иван. – Володя, тпру, не куксись.

Володя был пристяжной, в темных подпалинах, мерин. Обладив запряжку, ямщик набросал в таратайку сена и вместе с хозяином вошел в кухню.

– Садитесь, господин, выходите, – сказал ямщик.

– Прогоните дозволейте получить, – враждебно заявил хозяин. – Два с четвертью.

Рылеев заплатил и вышел. Расположившись возможно удобнее, он подумал, что ехать будет покойно, и от этого по контрасту еще сильнее повернулась в душе его мысль о Лизе. Иван, в желтом, верблюжьей шерсти азяме, похожем на больничный халат, влез на козлы, сказал: «Эй, вы!» Лошади, семена, тронулись. Рылеев оглянулся и увидел в окне смотрящую, не мигая, вслед бабу; перед воротами толклись мальчишки.

– Конь Володя, – не то саркастически, не то по привычке сказал один из них.

Иван вынул кнут, лошади, взяв дружно, наперебой рвались вперед, колокольчик, позванивая, разошелся и заголосил. «Поехали», – подумал Рылеев, откинулся к плетеному задку таратайки, вынул папиросу и, морщась от глубоких затяжек, с жадностью стал курить.

Дорога шла слободой, потом, за последними заборами, открылся слева кирпичный завод, справа – выгон; по выщипанной зеленой траве бродили коровы, пастух лежал враспашку, выправив ноги циркулем, рожок блестел возле него. День уступал вечеру, низкий свет солнца, растягивая густые тени, блестел в далекой реке желтым спływом, за ясной линией берега медленно двигалась черная линия мачты, нежаркий воздух сырел. Скоро выехали на тракт, мелькнул верстовой столб, дуплистые березы потянулись с двух сторон, низкий гул телеграфной проволоки монотонно звучал над головой Рылеева, и скоро все звуковое в езде – стук колес, колокольчик, пенье проволоки, – установившись на однообразном меланхолическом ритме, дало вполне почувствовать Рылееву, как далек он от привычной для себя обстановки.

Сосредоточившись на цели своего путешествия, он стал невольно для себя переживать мысленно сцены воображаемой развязки всего: то горестные, то счастливые речи говорил он и в ответ слышал все, что хотел слышать, хотя воображал самые разнообразные положения, стараясь угадать будущее. Временами, стараясь развлечься, принимался он смотреть по сторонам и видел, что лес ближе, перелески раскидываются по холмам, верхушки маленьких елей светятся еще в последних лучах, а по лощинам притаились сплошные тени, и небо сверху бледнеет. Дорога змеей уходила в лес, пристяжной Володя, неуклюже трясая крупом, бежал, пофыркивая и мотая гривой, коренник, видимо, старался, а уши его вертелись во все стороны, слушая, не скажет ли чего ямщик такого, где будет слово «пегаша».

Иван, въехав в лес, отпустил вожжи, давая передохнуть коням, и повернулся на облучке лицом к Рылееву. Лицо ямщика показалось теперь Рылееву совсем похожим на кавалериста с

пистолетом. Он сказал:

– Скоро станция?

– Десять отсюда. – Иван помолчал. – Уйду от этакого Ирода, – сказал он.

– Кто Ирод?

– А хозяин наш.

– Плох?

– Плох. – Иван полез за кисетом. – Мало сказать этого, а завсегда у него свербит, чтобы доконать человека. Одно слово – кашалот.

– Тай и уйдите, – радуясь разговору, сказал Рылеев.

По обеим сторонам дороги тянулась мелкая заросль можжевельника, мальв и пихты, а далее грудью стоял лес; в глубине его, засыпая, чирикали птицы. С невидимых болот сладко пахло гнилью и ландышами. Почти стемнело, бледный свет луны перебил тьму, стало тускло, рассеянный мглистый свет приник к земле. Снова обернувшись, Иван сказал:

– Чей сами будете, барин?

– Я из Петербурга.

– Питерский? – Иван оживился. – Знаю, бывал, ведь жил там, на службе был.

– Да это не твой ли портрет там на станции висел? – улыбнулся Рылеев.

– Как же, наш, – басом сказал ямщик, говоря во втором лице, по-видимому, оттого, что портрет конного молодца стал для него отдельно существующей личностью. – Мы и снимались на втором годе это, в Гатчине.

– Откуда же в Гатчине памятник? Там нет памятника.

– Так что ж! – Иван весело засмеялся. – Памятник для почету.

– Что ж, хорошо служить?

– Всяко. Разно. – Ямщик помолчал. – Та ли жизнь? – сказал он громко с воодушевлением. – Петербург – одно слово!

И вспомнил ли он портрет свой, засиженный на гаденькой станции непочтительными ко всему мухам, или затосковал по военной конюшне, где другой Иван чистит теперь Геркулеса, или же просто тихо и глухо показалось ему в лесу после блестящего, мелькнувшего как сон, столичного города, – только он вытащил торопливо из-под облучка кнут, свирепо взмахнул им, выругался – и бешено заговорили колеса, наполняя шумом стремительного движения уснувший лес.

Лошади неслись вскачь.

– Их, их, их! – покрикивал Иван.

Рылеева трясло, подбрасывало, сидел он в неловкой позе, подобрав ноги, но быстрая езда чем-то отвечала душевному его состоянию. Довольный, смотрел он ямщику в спину, замирая, испытывая особенное, подмывающее ощущение легкости и того, что вот в этот момент все хорошо.

Сплошной лес кончился. Потянулись лесистые острова, кружала: из низов, где серебристые от месяца и росы болота тянулись тонким дымком пара, понеслись к скачущей таратайке хоровады бледных лесных лиц, сотканых из полусвета и тьмы.

VI

Четыре раза переменив лошадей, Рылеев утром приехал в село Крестцы. Весь замирая, глубоко и часто дыша, смотрел он широко открытыми глазами, как выбегает дорога по косоугору к зеленым холстам огородов, как, блестя крышами и стеклами, увеличиваются дома и быстрее, почуяв стойло, одушевленной рысью взбивают сухую пыль лошади. Ночь, полная бегущих за лошадьми видений, короткого, прерываемого тряской сна, предутреннего холодка, усталости и напряжения, кончилась. Рылеев посмотрел на часы – было восемь.

Проехали мимо осыпанной взлетающими и воркующими на карнизах голубями церкви; у двухэтажного, обшитого потемневшим тесом дома ямщик сказал лошадям: «Тпру». Несколько мужиков и баб, проходя мимо, остановились, равнодушно смотря, как вылезает Рылеев. Он то-

ропился.

– А на станцию не зайдете? – спросил ямщик, видя, что Рылеев направляется в сторону.

Рылеев не ответил – он не слышал. Вслед ему из-под руки смотрели вышедший на крыльцо в рубахе без пояса мужик с недоеденным куском хлеба в руке, две босые девицы и несколько белоголовых мальчишек. Двое из них вдруг сорвались с места, побежали за Рылеевым и, догнав, пошли рядом, сося пальцы и заглядывая исподлобья в лицо барину. Скоро они отстали. Рылеев шел быстро; он не хотел спрашивать на станции, где дом Аверьянова, во избежание пересудов и неизбежных расспросов. Молодой парень в суконном картузе, с завязанным глазом, медленно шел навстречу.

– А который Аверьянова дом? – спросил Рылеев.

– К реке вот так идите. – Парень взялся левой рукой за подвязанный глаз, а правой махнул вперед. – За углом, где забор разворочен, сруб ставят. Вот рядом будет Аверьянова.

– Спасибо, – сказал Рылеев.

Отойдя, он оглянулся. Парень стоял, смотря на Рылеева с тем замкнутым, ничего не говорящим выражением лица, которое свойственно только крестьянину, чувствующему себя дома. Отвернувшись, Рылеев поспешно, волнуясь все сильнее, вышел, как указал парень, к реке, повернул влево, увидел вокруг новенького сруба кучи ослепительных в солнце щеп и подальше – зажиточной внешности, двухэтажный дом. «Это, должно быть», – подумал Рылеев.

Через минуту он стоял у крыльца, потом очутился в сенях. Грудастая баба, бережно держа крынку с молоком, стояла перед ним. Он не помнил хорошо, что и как спросил бабу, помнил только, что женщина, толково, звонко и многословно голося, показывала ему пальцем на дверь. Внезапный страх овладел им, но чувствовал он, что по внешности спокоен и тих. «Да, я войду, увижу – и все кончится. А вдруг разрыдаюсь, брошусь к ней, и тут кто-нибудь войдет? Будет суматоха и стыд. Нет, надо владеть собой», – подумал Рылеев. Помедлив еще, он потянул дверь и вошел.

Лиза сидела у самовара. В комнате было светло, и Рылеев увидел девушку сразу всю, до мельчайших складок ее одежды. Как будто огонь бросился ему в глаза; он остановился, глубоко вздохнул и засмеялся. Первое ощущение его была живая, полная, облегчающая радость.

– Лиза, – сказал Рылеев, – не ожидали? Слава богу, я вижу вас, слава богу.

Лиза, уронив полотенце, быстро встала, держась за стул. Выражение ее лица было такое, словно ее ударили, она слабо улыбнулась и потерялась.

– Боже мой! – медленно произнесла Лиза и поднесла руку к горлу, как бы собираясь кашлять.

– Простите. Вы... я... Алексей?

– Да, Лиза, я. Давно-давно мы не виделись, – сказал Рылеев и остановился, не зная, что сказать дальше.

Испытанного и передуманного им за последнее время хватило бы на многие дни горячих, торопливых речей, но теперь все смешалось в нем, и мучительно чувствовал Рылеев, что, по крайней мере в первые мгновения, он ничего, кроме обыденных, простых фраз, не скажет и не услышит.

– Садитесь, – взволнованно шепнула Лиза.

От возбуждения и тревоги слово это сказалось ею почти одним движением губ; она отвернулась и заплакала, вздрагивая плечами. И в тот же момент Рылеев овладел собой, стал горестно спокоен, серьезен и нежен.

– Я рад, а вы плачете, – тревожно сказал он. – Да успокойтесь же, Лиза. Я к вам пришел другом.

Девушка прижала к глазам платок, вытерла лицо и села.

– Эх, слабость проклятая! – зло, по-мужски проговорила она.

В заплаканном ее лице уловил Рылеев намеренно чуждое, холодное выражение. Этого он ожидал, и к этому он приготовился. И потом все время, пока говорили они, он пропускал мимо сознания все красноречивые подробности взаимного их положения, стараясь верить, что эти мучительные подробности не важны, а лишь неизбежны. Он сказал:

– Лиза, я плохо сознаю сейчас, как я, где я. Я счастлив тем, что вижу вас. Но мне тяжело, что после десяти месяцев я не смею просто подойти к вам и радоваться. Я вот должен сидеть и спрашивать, как чужой объясняться. Скажите же, что произошло, почему это письмо?

– Как вы разыскали меня? – быстро спросила, девушка.

– Человек не иголка, – грустно ответил Рылеев. – Так мы чужие?

– Я вам писала. Не нужно было, Алексей, приезжать, спрашивать меня и мучить. Все кончено между нами.

Рылеев побледнел, улыбнулся и опустил глаза. Последние слова Лизы подняли в нем бурю упрямого отчаяния. Нестерпимо захотелось в горячих, отчаянных словах бросить всего себя к ногам женщины, но еще что-то мешало этому; он заключил жизнь в границы своего чувства, и несообразным с этим казалось ему, что так прост разговор их, а между тем действительно рушится все.

Он встал, подошел к Лизе и хотел, как прежде, обнять; но девушка не шевельнулась, и руки его сами собой в замешательстве опустились.

– Вы любите другого, Лиза? – сказал Рылеев.

– Да, – виновато, по-детски сказала девушка. Глаза ее вопросительно поднялись к Рылееву, но остались чужими. Жалость и гнев овладели им: в «да» этом он был уверен, но теперь действительность посмотрела ему в лицо своими ужасными, немигающими глазами. Потрясенный, Рылеев сел. В окне мелькнул женский платок; почти тотчас же, скрипя дверью, вошла та самая баба, которую встретил в сенях Рылеев. Сложив руки под грудями, баба уставилась на Рылеева.

Щекастое ее лицо выражало припадок истерического бабьего любопытства.

– Что, хозяйка, тебе? – холодно спросила Лиза.

– Сродственник будете? – заговорила баба. – Мы ведь неученые, темные, за обращение извините; и как это завидела я, к гостям пазуха свербит и свербит; корову доила, думала: и кому же быть? А уж я вас, миленький, золотой, как и звать-величать, не знаю.

– Ступай прочь, – коротко приказала девушка.

– А ты не гордись, – вдруг вспыхнув, басом сказала баба, – чай, не писаря жена.

– Пошла вон! – крикнула, вскочив, Лиза.

Баба ослабилась, подняла руку и, навалившись спиной на дверь, исчезла.

– Все лезут, все знать надо, гады! – помолчав, произнесла Лиза.

Лицо ее оставалось еще некоторое время гневным и раздраженным; удивленно смотрел на него Рылеев – так быстро и круто менялось оно. «Та ли это спокойная, немного дичок – Лиза?» Баба стояла еще перед его глазами нудным видением. «Противно, словно в лицо плюнула», – подумал Рылеев.

– Что же, расстанемся, Алексей... – тоскливо сказала девушка. – Я любила вас.

– Да, расстанемся. Нет, не могу, не в силах! – почти крикнул Рылеев, и вдруг страдание его перешло предел, в котором можно хоть сколько-нибудь сдерживаться; с истинным, мятежным облегчением ощутил он, что дал наконец волю себе и не остановится, пока не скажет всего.

А когда заговорил, то увидел, что и не подозревал раньше, как может сказать о любви, – это было ему чудесным подарком, откровением; без усилия, торопясь покориться озарившей, пересилившей его самого тоске, Рылеев сказал:

– Уйти я не могу. Вопреки вашей воле я рвусь к вам. Я – конченный человек, Лиза; днем и ночью я вижу вас ярче дневного света; любите вы другого или нет, ненавидите меня или нет – я не могу разлюбить вас; с тоской и страхом думаю я теперь, что мог жить вдали. Где бы ни были вы – в радости или горе, в позоре, несчастьи, нищете или довольстве, – как бы ни относились к вам другие, если бы даже имя ваше произносилось повсюду с отвращением и стыдом, если бы вы стали безобразной, слепой, если бы вы мучили меня всю жизнь, – никогда я не перестану любить вас. Ведь у меня не было счастья; все, что сохранила память от моего прошлого с вами, вы теперь разрушаете и молчите. Я – мужчина, жизнь давалась мне нелегко, везде горбом с детских лет, очерствело сердце, а между тем я думаю, что хорошо плакать, но нет слез. Как хотите, так и думайте обо мне. Я все отдам вам, Лиза, – все будущее мое, всего себя, буду жить с вами – и буду этим так горд и счастлив, как никто на земле. Всегда, неотступно я буду представлять вас

только на моих руках, у сердца. Скажите мне, Лиза, доброе слово по-прежнему.

Лиза болезненно улыбнулась, лицо ее стало осунувшимся и печальным.

– Вы все забыли, – хрипло сказал Рылеев, – а я все помню. Когда я уезжал, у вас было вот такое же, как теперь, лицо.

– Как забыла? – сказала девушка, рассматривая чайную ложку. – Нет, не забыла, конечно. Вас так долго не было возле меня. Много легло между нами.

– Неправда, – задумчиво ответил Рылеев. – Что хочет человек, то и делает. Но я стал чужой вам.

– Я ничего не знаю. Мне больно, очень тяжело, Алексей. Оставьте меня.

– Я уйду, – сказал после короткого молчания Рылеев. Он встал, дрожащими, неповинующимися пальцами застегивая пуговицы пиджака, хотя в этом не было никакой надобности. – Вот и все.

– Простите меня, – плача, сказала Лиза. – Или нет... Вы где остановились... в городе? Подождите там два-три дня, я напишу вам или приеду.

– Зачем? – похолодев, как от оскорбления, произнес Рылеев. – Милости я не прошу, не надо.

– Вы не понимаете, – быстро раздражаясь и топая от волнения ногой, заговорила девушка. – Не напишу и не приеду, и так может быть. Но подождите... ради себя.... Я здесь на заводе служу в конторе, мне идти надо...

– Лиза, – просияв, сказал Рылеев и протянул руку. Девушка скользнула по этой протянутой руке своей – маленькой, горячей, как у больного ребенка, – и спрятала за спину.

– Не надо, не надо ничего, – полушепотом произнесла она. – Уходите. Уходите. Пожалейте меня. Уйдите.

Несколько мгновений, как оглушенный, неподвижно стоял Рылеев, смотря на опущенную темноволосую голову, потом отвернулся, толкнул дверь, и прохладный воздух сеней пахнул в его разгоревшееся лицо свежей волной. Рылеев медленно вышел на улицу. За изгородями переулка, на выгоне у реки валялись, лягая копытами, жеребцы; летний цветистый блеск солнца резал глаза. Неверными шагами, как избитый, Рылеев вышел к огородам, не заботясь о том, куда идет, пьяный от горя и слабости. Жизнь показалась ему вдруг отвратительным сном.

«Зачем я здесь, в каком-то селе?» – подумал Рылеев.

Лиза, опустив голову, сидела перед ним всюду, куда он обращал глаза: на сложенных у изб бревнах, в дорожной пыли, на картофельной зелени. Но была, смутно беря душу, тень сомнения в том, что все кончено, – тень уродливая, без радости, улыбок, отчаяния и надежды.

VII

Работа не клеилась у Звонкого. Сумрачно поплеывал он на клин, острил его, метился при ударе быстро и точно, но или руки не слушались, или выскакивал, как тугая из шипучего вина пробка, клин, или в обрезке сырые слои, проеденные сучками, закручивались штопором, и не раскалывался обрезок. Звонкий повалил четыре сосны, обрубил сучья, распилил на куски стволы – и все с помехой: заедало пилу, соскакивал с топорщица топор, и долго отшибленные ныли пальцы.

Близился сырой, полный мошкары вечер. Неподалеку от Звонкого, в разлапистом просвете ветвей, над большим столетним деревом трудился Петруха – подпиливал его, взяв от земли поларшина. Невидимый, торопливо стучал топором Демьян. Мечтая об еде и лежке, Звонкий приходил понемногу в окончательно дурное настроение; разломило спину и шею, и стал он колотить как попало, думая: «Полсосны расколю – шабаш: рубль с четвертаком заработал». Сделав так, Звонкий сложил готовые дрова в поленницу и с папиросой в зубах пошел к Петрухе.

– Айда чай пить, – сказал Звонкий. – Будет и тебе, Петруха, горб мылить.

– Вот спилю, повалю.

Петруха крепче забил в щель клин, встал, взял то? пор и сделал на другой стороне дерева глубокий рубец; теперь, чтобы сосна упала, следовало добивать клин. Ломаясь на рубце, ствол

падал.

– Коська, – сказал Петруха, бросая топор и ссылая в ладонь из кисета остатки махорки, – пойдем на прииска, надоело мне тут... Лодырь ты, – прибавил он, усмехаясь, – наплачешься с тобой в товарищах.

– Я и один не пропаду, – сказал Звонкий, – везде с народом был, жил, жив, слава богу, мать твою курицу, в Баке с татарами жил.

И от скуки захотелось ему поговорить так, чтоб другому завидно стало.

– Мазут из фонтана добывают, – помолчав, сказал он, – сверлом землю долбят, на канате махает, так вот в нутро и облицуют трубой, а мазут спертой как дрызнет из низов, снесет постройку, на полверсты в небо хвостом все заляет, и надо его убрать. Тогда канавки роют, а по канавкам в лезервуары; день и ночь в канавке стоишь, сор отбиваешь, чтобы не засоряло. Три рубля день, пять рублей ночь, восемь целковых сутки.

– Рубли-то маленькие, – недоверчиво сказал Петруха. – Брехун ты, много получаете, да до-мой не носите.

– Мял с тебя с сосны за три версты. Я, голубь, две тройки тогда купил, за одну на Солдатском базаре сменку дали, так и ту барину не стыд надеть.

– Гулял, поди?

– Уж было дело. – Звонкий покрутил головой. – К персианкам ходил, а в трактирах девки, как барыни, сидят, сама рука в карман лезет.

– Там бы и жил, – сказал Петруха, раскуривая.

– Жил, – сердито возразил Звонкий, – я жил, ты поживи.

Он смолк, задумался и увидел ту странную, нерусскую сторону: татары с шемахинской дорожкой, как зовут их пробритую лентой со лба на затылок голову, аршинные кинжалы, холеные лошади в бисере и бубенчиках, чурек, лаваш, море, черная от нефти земля.

– Пошли, – сказал Звонкий, настораживаясь.

Глухо треснуло внизу, у земли. Еще не сообразил он, в чем дело, как, треснув зловеще, склонилась, валясь на него, подпиленная сосна. Далекая вершина ее стала вдруг ближе, заноса над головой гору ветвей. Размах падения из ленивого и как бы раздумывающего перешел в неуклонный, быстрый. Звонкий оторопел, хотел отскочить, но не было для этого от внезапности и испуга ни силы, ни ясного соображения. Распустив беспомощно рот, смотрел он на падающее дерево, а в лесу стало вдруг тихо и душно.

С присвистом шумно вздохнул воздух; ветвями стегнуло Звонкого по лицу, и кряжистый гул падения оглушил его.

– Ой! – крикнул, словно проваливаясь сквозь землю, Петруха и исчез.

Звонкий отлетел в сторону. «Помираю, смерть пришла!» – ударил по голове страх, но, лежа с минуту, он поднялся; лицо и руки его были в крови. Он подошел к дереву, держась руками за грудь, и весь затрясся, вспотев: из-под смятых стволом ветвей шевелились белые, дрожащие, как струна, пальцы, и был виден сквозь хвою смутный очерк пораженного человека.

– Караул! – закричал Звонкий. – Петруха-то где, смотри! – Бросившись к дереву, он ухватился за сучья, разорвал рукав и, отступив, хлопнул себя по бедрам. – Старик! – закричал он, вспомнив про Демьяна. – Ах, беды! Старик! – Он, не отрываясь, смотрел на переставшие шевелиться пальцы, крича все одно и то же, пока не заметил, что Демьян стоит рядом.

Старик, сняв шапку, перекрестился один раз истово и медленно, а потом стал креститься мелкими, быстрыми крестиками.

– Что стоишь-то? – сказал Звонкий. – Не помер он. За комель берись, снесем.

Тогда как будто откровение осенило обоих, указывая, что делать, – оба вплотную, хрипя и шатаясь от напряжения, приподняли за вершину упругий сырой ствол, освободив задавленного. Осыпанный хвоей Петруха лежал, не двигаясь, подвернув ноги и стиснув зубы. Удар пощадил лицо; на белых щеках тенью пробежал мгновенный трепет; посиневшие веки плотно закрывали глаза. Было жутко и жалко до отвращения.

– Зашибло парня, – сказал Демьян. – Молодой парень, ядреный, хучь бы што.

Мужики, опустив руки, стояли возле лежащего. На шее Петрухи, вздрагивая, билась

вздувшаяся жила.

Петруха открыл глаза, смотря в небо смертным, тупым взглядом, и захрипел.

– Петр, а Петр! – позвал вполголоса Звонкий.

– Нести тебя, или... Помрешь, што ль?

Петруха как бы не слышал этого, но немного погодя сознание овладело вопросом. Дроворуб заморгал, по щеке его медленно сползла и упала в траву слеза.

– Помру, – неожиданно довольно громко сказал Петруха. – Отпишите дядьке... за грехи.

– Побегу в курень, лошадь запряги, – спохватившись, сообразил Демьян. – Помешкай-ка тут, Коскентин! Эко дело, эко дело, ах, пропадай все!

И он побежал, высоко вскидывая старческие костлявые ноги. Сумеречные тени, напоминающие опущенные ресницы увлеченного мечтой человека, охватили вечереющий лес. Звонкий смотрел вслед старику. Вдали, у мохнатого бурелома, ясно краснела в желтом пятне луча земляничная ягода.

Звонкий повернулся к Петрухе. Умиравший слабо дышал, закрыв глаза. Скверное, как перед опасностью, чувство отравило Звонкого. Враждебно-страшно были ему лес, Петруха, Петрухина смерть.

– Загубило человека, Петруха, – сказал Звонкий, – а с чего? Разговаривали мы честью...

Широко открыв глаза, Петруха смотрел вверх, думал о боге, покаянии, аде и рае. Ад, набитый битком, как печь в пекарне, пылающими дровами, совсем бледным показался Петрухе, мирным и безразличным; однако, вздохнув, подумал он: «Маги богородица, умиლოსердись».

– Коська, – забормотал Петруха, – Коська, иди-ка, Коська.

Звонкий, присев на корточки, уставился в лицо умирающего горестно устремленными глазами.

– Тут я, – сказал он. – Меня, што ль?

– Деньги возьми, – плохо выговаривая слова, сказал Петр, – в азяме, в полу, заштопал семьдесят рублей... Азям носи; на поминанье положи деньги-то – слышь?

– Оправисься, бог даст, – сказал Звонкий, – чего там!

– На помин, – повторил Петруха. – Не пропей, смотри...

– Несуразное говоришь! – возмущенно ответил Звонкий.

Петруха закрыл глаза, и стало представляться ему, будто за столом, почесываясь, сидит дядька. Чешет везде, а сам смотрит в угол, где веник.

«А ведь опаршивел дядька», – вдруг весело подумал Петруха.

Дядька пропал, а у самого зачесалось колено. Начинает он его чесать, в кровь расчесал, а все, не переставая, зудит. Толстая солдатка Мавра в полушубке легла на Петруху, закрыв глаза, сжала губы и потемнела. «А ну вас, паскуды!» – хотел закричать Петруха, но не смог, часто задышал, забился и умер.

– А сродственники? – сказал Звонкий и, не получив ответа, нагнулся. – Не спи, хуже будет, – помолчав, сказал он. – Потерпи, за лошадью побегли, в больницу тебя.

Ответа не было. Звонкий вытянул указательный палец, ткнув им мертвого в висок, – лицо Петрухи осталось спокойно восковым и серьезным.

– Помер.

Звонкий перекрестился, удивляясь, когда успел помереть человек, только что говоривший о деньгах.

– Вот и жизнь наша.

Мужик сел на землю, охватив колена руками. Стемнело, разоренный день светлел еще над лесом бескровной бледностью неба, внизу же, стряхивая уныло падающие шишки, расплзлась тьма. Низкий шмелиный гул леса охватывал пустыню. «Лес струнит», – подумал Звонкий, сосредоточил мысли на мертвеце, думая больше вздохами, чем словами, и торжественное чувство одиночества, сознание того, что было два, а остался один, другой же навеки холодно-нем, поразило Звонкого заячьим страхом; невольно оглянулся он, тряхнул головой и стал ждать Демьяна.

Время текло медленно, даже как бы остановилось совсем. Возвращаясь к прошлому, вспомнил Звонкий барышню с гордыми, тоненькими бровями и сказал мысленно: «Скажи ты

мне, мужику, разумное, чтобы я по коленку ударил». И подумал Звонкий, что надо бы эту барышню сюда, а для чего – не знал, но казалось, что, приди она и стань возле раздавленного деревом трупа, веселей выглядел бы мертвый Петруха, а он, Звонкий, как бы поняв что, весело хлопнул бы по колену. «Баба, баба ведь немудрящая, а занозистая... и что в ей? Чахотка одна. Ну, распоясал мозги, заколесил», – сказал немного погодя сам себе Звонкий и повернулся к Петрухе.

Трудно уже было отчетливо рассмотреть его, только белело лицо с темными у глаз пятнами. Звонкий пристально смотрел на Петруху, словно от этого пристального рассматривания было понятнее, отчего так круто и страшно бедой обернулся день, мертвый лежит, а живой сидит возле него. Все напряженнее смотрел Звонкий. Дикая его осенила мысль, что Петруха не умер, а прикинулся, – зачем – про это знает он сам; того и гляди, захрипит, дернув головой: «Коська, обскажу я тебе...» – и есть тут, во всем этом неладное, нехорошее. Пугаясь, оглянулся Звонкий во все стороны, вытянув шею, затаил дыхание, гирей застучало в груди, и вот, точно, пошевелился Петруха, пошевелился так, как движется для пристально на воду смотрящего человека пристань, на которой стоит он: не изменив положения, весь ожил в глазах страха бездыханный труп, вытянулся, напряг руки и ноги. Похолодев, Звонкий встал и, не переставая смотреть в жуткую печаль тьмы, принялся шарить вокруг ног шапку, отыскал, надел и для храбрости медленно стал отходить, думая: «Пойду в курень, мертвому живой не нужен, тоскливо здесь». Отойдя же подумал: «А вот он сел, сел!» Представление это было таким ярким и грозным, что не выдержал больше Звонкий: опасливо расставляя в темноте руки, с мертвящим в спине и затылке холодом, помчался он, запинаясь и падая, не слыша, как стучит в стороне телега с Демьяном. Так, попадая чудом с тропы на тропу, бежал он до тех пор, пока, жарко и осипло дыша, не увидел на берегу светлое куренное окно и тень мечущейся за ним люльки, но все еще ярко был в глазах труп.

«Не уснешь ведь, – подумал Звонкий, – скажут: „Чего прибежал?“ За хлебом, скажу, пришел».

VIII

Пройдя запаханный под огороды овраг, Рылеев остановился; два желания боролись в нем: одно толкало его все бросить и уехать немедленно, другое было – страсть к одиночеству. «Совершенно уйти от людей, хотя бы на час отдохнуть», – подумал Рылеев. Лесная опушка, полная тени, начала действовать на его воображение: горькой радостью представлялось ему идти в глухих лесных провалах, бродить одиноко, без цели, угасая душой. Подумав об этом пристальнее, Рылеев ужаснулся, сказав самому себе: «Ведь это слабость, упадок духа, нехорошо» – и, стиснув зубы, решил быть настойчивым до конца. Увидев тропинку, Рылеев отдался ее изгибам и не заметил, как стало вокруг совершенно спокойно и тихо. На ходу он думал об утомившей и потрясшей его встрече, но более о неизвестном своем сопернике. Почему-то представлялся ему соперник человеком среднего роста, широкоплечим, с тонким, как в корсете, станом, с прекрасным овалом лица; под высоким и чистым лбом Рылеев видел ненавистные, синие, насмешливые глаза. Откуда сложились в душе его эти фантастические черты – он знал так же мало, как и женщины, представляющие своих соперниц привлекательнее себя: человек всегда думает, что его могут променять лишь на более в каком-либо отношении достойного. Эта черта души почти всегда заключает в себе также и уважение к предмету любви.

Бессонная ночь, усталость и влажный лесной жар, бросающий в испарину, сморил Рылеева. Ослабевший, сонный, он лег, стараясь ни о чем не думать, и мгновенно поразил его сон – полная потеря сознания, без видений и бреда.

Спал он долго и неподвижно. Золотой цветок дня, развертываясь, достиг пышного, полного своего блеска, затем, клонясь к усталой земле, осыпался над горами вечерним багровым светом и дал плод – темные семена мрака. Сырость, наполнив лес, разбудила Рылеева.

Проснувшись, вскочив и припомнив все, Рылеев задумался.

– Темнеет, – сказал он, – близится ночь, я должен уйти отсюда.

Дико и жутко показалось ему в лесу. Кое-как определив направление, в котором лежит село, Рылеев, решив взять лошадей и ехать, стал нащупывать глазами тропу, по которой шел, и не

находил ее. Кругом тянулись растущие на одинаковом почти расстоянии друг от друга крупные пихты, лиственницы и ели, а в промежутках мелкая лесная братия кустарниками извивалась над шупальцами корней, взрезавших густой Мох.

– Это недоставало еще, – сказал, немного тревожась, Рылеев.

Он стал бродить наудачу, затем взял левее, потом это направление показалось ему отчего-то ложным; сомнительно покачав головой, он заколебался, но взял вправо. Ниже надвинулся ему на глаза козырек сумерек, а время вдруг показало свое лицо, спрятанное прежде озабоченностью и вниманием розысков. «Около получаса я иду, – подумал Рылеев, – и голод проснулся». И только подумал Рылеев о том, что голоден, как; почувствовал, что голоден нестерпимо. Он пошел вдвое, быстрее, стараясь идти все прямо, чтоб не кружиться на одном месте, и смутно сознавая, что сбился. Ровная почва стала покатою, все под гору, и под гору спускался Рылеев, попав, наконец, в лог, полный валежника. Идти здесь не было никакой возможности. Его движения напоминали движения пьяного человека в толпе. Убедившись, что вперед идти трудно, Рылеев выбрался обратно по косоугору в сравнительно чистый лес, и ему скоро повезло: высветилась редина, за ней гарь с черными жердями обгоревших деревьев, за гарью же, выгибаясь луком, текла неширокая речка, в одну сторону выходя к селу и заводу, а верхами взвиваясь к далеким каменным хрящам горной цепи. Угол черного от дыма и солнца бревенчатого строения выглядывал из-за деревьев; из трубы шел дым. «Вот жилье, – подумал Рылеев, – сейчас поем». Обрадованный, не чувствуя, как болят натруженные ноги, поспешил он к строению.

Был поздний, светлый и теплый вечер, сумерки медлили переходить в мрак, тихая, застывшая их улыбка веяла дикой грустью пустынь. Приближаясь, Рылеев увидел на лавочке возле дверей подстриженного в кружок черноволосого мужика. Обрюзгшее лицо мужика заплыло желтым жиром, вытеснившим растительность, редкие над китайским разрезом глаз брови и немощная вокруг голого подбородка черная борода оставляли общее бабье выражение лица почти нетронутым. Длинная, в три звена, изба стояла на самом берегу журчливой речки; не было ни двора, ни изгороди.

– Добрый вечер, – сказал, остановившись, Рылеев.

Мужик мотнул головой.

– Нет ли у вас еды какой-нибудь? – продолжал Рылеев. – Я заплачу.

– А ты чей? – подозрительно спросил мужик.

– Я... я с завода.

– Чиновник?

– Нет. Заплутал...

– Идите, – сказал мужик, – не знаю, горячего што есть ли.

Рылеев прошел за ним в плохо налаженную дверь. Внутренность помещения состояла из бревенчатых стен, пары желтых стульев, грязного половика, стола, на котором валялись счета, связка баранок, две-три прихода-расходных книги, медные деньги и четвертушка бумаги. На стене горела жестяная с рефлектором лампа. Пахло чем-то противным и в то же время съедобным. За стеной в такт заунывно и глухо распеваемой кем-то песенке скрипела люлька.

– Садитесь.

Мужик, тяжело ворочая ногами, вышел. Немного погодя, рванув дверь и затоптавшись на месте, а потом сердито подбежав к столу, некрасивая, нечесаная и босая лет пятнадцати девица сунула на стол глиняную чашку со щами, кусок хлеба, ложку, ножик – и скрылась; столкнувшись с нею в дверях, пришел мужик, стал у притолоки и вздохнул, смотря на жадно уписывающего щи Рылеева.

– К заводу вам этта идти было, – сказал, почесывая штанину, мужик. – На Семяровскую дорогу ежели, то и готово.

– А сколько до села? – обжигаясь и торопливо жуя, спросил Рылеев.

– Да уж заночуете. Далеко до села. Верстов пятнадцать, чай, да и все ли тут, еще версты не меряны.

Мужик, как ни любопытен был, все же дал Рылееву спокойно окончить ужин. Изредка за спиной своей слышал Рылеев жирный вздох и молитвенное: «Охо-хо, господи».

– Ну, спасибо! – сказал сытый, несколько стесняясь, Рылеев. – Наелся. – «Вот опростился я, – подумал он, – где-то в глуши ем щи, да и говорить скоро начну как этот мужик... А ведь он счастливее меня. А кто же счастливее его – птица, зверь? Нет, вранье. Лиза, Лиза!» – ударила среди смешанных мыслей тоска, и тоскливое настроение вернулось к Рылееву.

Он обернулся, услышав за спиной шаги. На пороге остановился человек высокого роста, босой, с резким, Холодно-задорным лицом.

– Вы хотите ночевать? – лениво спросил он. – Так у меня ночуйте.

Человек не смотрел на Рылеева, а осматривал его. Рылеев не успел ничего ответить. Вошедший продолжал тем же равнодушным голосом:

– Войдите сюда, мы познакомимся. Если устали, сейчас и уснете, или же будем пить чай.

Мужик ослабился.

– Ничего, – сказал он, – ступайте с ими, они у меня живут.

Неизвестный, высокий и босой, отступил в глубину дверей, а Рылеев, отвечая на улыбку улыбкой, вошел за перегородку. Человек протянул руку.

– Моя фамилия Тушин, – сказал он, – будем знакомы.

Рылеев назвал себя. Снова осматривающее выражение блеснуло в глазах Тушина, но быстро и бесследно исчезло. Небольшой стол, сложенная из простых ящиков кровать и крашеный табурет были единственной в узком помещении мебелью. Два ружья стояли в углу. На столе у лампы появились во множестве разбросанные медные гильзы, стояли пузырьки с картечью и дробью, коробки с пыжами, войлочными и картонными, маленькие коробки с пистонами, и лежало еще множество мелких предметов и инструментов: отвертки, куски проволоки, обрывки свинца, вата, клочки грязных от пороховой копоти тряпок. Еще заметил Рылеев смятое на кровати бумажное одеяло, железный крестьянский умывальник, полотенце над ним и брошенные в угол болотные сапоги.

– Садитесь, – сказал Тушин, очищая на столе место для локтя, занял сам табурет, а Рылеев сел на кровать.

Рылеев с тем особенным чувством удовольствия, с каким за границей рядовой русский человек встречает русского же, видел в Тушине не мужика. Разговор бойко и легко начался меж ними. Первый заговорил Рылеев.

– Станный для меня день, – сказал он, – я заблудился довольно серьезно и сам не знаю, как попал сюда. От леса все еще кружится голова. Вы здесь живете?

– Да.

Тушин, видя, что Рылеев с любопытством осматривается, машинально осмотрелся сам.

– Я слышал разговор ваш; да и мне случалось плутать в лесу. Он огромен.

– Вы, кажется, городской человек? – спросил Рылеев.

– Да, я учился в ***. – Он назвал западную губернию. – А что?

– Вы здесь живете, по-видимому, оттого я и спросил.

– Да, живу. Здесь хорошо жить.

Тушин отвечал Рылееву с таким видом, как будто ожидал вопросов и приготовился к ним. Но из дальнейшего Рылееву стало ясно, что Тушин раз навсегда определил свое положение и хорошо знает, чего хочет.

– Вы охотитесь?

– Да, я люблю это дело.

– Какое же это дело? – улыбнулся Рылеев. – Это забава, удовольствие.

– Как смотреть, – возразил Тушин. – Я, например, охотник-промышленник. Этим я живу. Это мой капитал, моя рента, все, что хотите, – я да ружье.

– Как? – спросил, невольно посмотрев на босые ноги Тушина, Рылеев. – Вы совершенно отдались этому?

– Конечно. Это мое призвание. У одного призвание – служба, у другого – благотворительность, у третьего – искусство, а у меня – охота. Нет, меня что удивляет, – помолчав и катая на ладони дробинку, продолжал Тушин, – русские на себя непохожи. Верно. Бесконечные леса, озера, болота, реки и тундры окружают нас. В этих угодьях до сих пор птица, зверь неистребимы.

Между тем посмотрите на рядового русского образованного человека-неудачника – он станет чем угодно, уважая труд: делается дворником, чернорабочим, холуем в трактире – и не вспомнит о свободной жизни в лесах. Такова наша история. От Чернобога и лапотцев прямехонько к рафинированному мозгу.

– Что вы! – сказал Рылеев, засмеялся и стал думать. – Нет, вы не то... Да как же жить? Человек учится с малых лет – и вот пожалуйте.

– Снова начнет учиться, – сказал Тушин. – Я не хочу всех сделать охотниками. Нет, выходов много; я говорю про тот, который нашел сам. Мне повезло: счастливо соединились страсть и рассудок.

Тушин обернулся к перегородке и постучал в стену.

– Это я самовар тороплю, – сказал он. – Вы чаю напьетесь и уснете.

– Да, я устал.

Рылеев посмотрел на дверь. Та же девица, что давала ему есть, внесла рыжий самовар. Тушин встал и, очистив на столе место для чаепития, бросил в чайник заварку.

– Так пейте же, – сказал он, снимая с гвоздика вязку сушек. – Ешьте и сушки. Это не та дрянь, что под именем баранок делают вам бабы на юге; настоящая сушка. А знаете, как ее делают? Ногами тесто месят.

Рылеев поморщился.

– А чем руки чище ног? – хрустя полным ртом, сказал Тушин. – Руками за все хватаются.

– Да вы, кажется, с удовольствием...

– Люблю есть, когда голоден. Чувствую в горле пищу и вкус ее.

Чувство новизны и редкости своего положения все сильнее овладевало Рылеевым. Осознав это чувство, он, прихлебывая из стакана чай, внезапно перенесся мыслью в большой свой город, и был тот как другой мир. Все же, что случилось с Рылеевым до последнего момента, показалось таким густым, страдальчески острым и любопытным, что у него захватило дух. «Да где же я, как живу и что будет дальше? – подумал он, тотчас ответив: – А ничего; заблудился, Лиза отвергла, и у охотника заночую». Подумав о Лизе, Рылеев внутренне забился, затосковал, но посмотрел в разгоревшееся от чая лицо Тушина и заговорил, стараясь голосом прогнать грусть:

– Да, интересно вы живете, но и тяжело, вероятно, – ведь вам привыкать надо было.

– Вот и привыкал, – сказал Тушин. – Птичьи повадки легче, а зверя труднее. Вы думаете, отчего становится из года в год меньше добычи? Говорят, леса гибнут, люди – хищники. Да, но и от того, что животные, в свою очередь, неустанно хитря с человеком, изучают его, по наследству передают потомству свои неписанные заметки. Изучать места для капканов, западней и ловушек, отыскивать тока, всевозможные птичьи свадьбы, замечать гнезда и норы, наконец дойти до того, что, придя в какое-нибудь глухое лесное место, ни с того ни с сего остановиться и сказать: «А тут есть, что – не знаю, взвожу курок», – через минуту же выстрелить по лисе или лосю – нужны труд и способности... Да вы спать хотите.

Рылеев слушал через силу, глаза у него слипались.

– Я лягу, – сказал он. – Где же лечь мне?

– Да там, где сидите, на кровати.

– А вы?

– На чердаке много соломы.

– Эгоистично с моей стороны, – сказал Рылеев, – я лягу, спасибо.

– Ну, спите. – Тушин встал. – Я оставляю вам лампу. Читать нечего.

– Совсем не читаете?

– Читаю зимой, когда живу в городе, – там я уже не босяк, а барин.

Тушин, как был босиком, взяв табачную коробку и спички, пожелал Рылееву спокойной ночи и вышел, а Рылеев, слегка прикрутив огонь лампы, лег, не раздеваясь. В комнатке, слепо падая на ламповое стекло, толклась мошकारа.

Он слышал еще, как, загремев колесами, выехала от куреня телега, неразборчивый разговор мужиков, потом стремительно и крепко уснул; перед тем как заснуть, подумал: «Лизину загадку хотя бы разгадать мне, ведь я до сих пор мучусь, как слепой».

К рассвету, догорев, погасла лампа. Сырость и белый без солнца свет прошли в раскрытое окно. Озябнув во сне, Рылеев свернулся, поджав ноги, и не просыпался еще, но уже в сон вошли сны – признак скорого пробуждения. Между прочим, увидел он, будто стоит перед кроватью его высокий, белокурый соперник, с синими насмешливыми глазами, говоря: «Я и нитки собираю, нитки на что-нибудь пригодятся». Застонав от ревности, Рылеев проснулся – еще в полузабытьи. Тушин, совсем одетый, в болотных сапогах и с сумкой через плечо, смотрел на Рылеева; взгляд его был пристален и раздумчив. Он стоял у стола, забирая левой рукой в сумку патроны.

– А? Что? – пробормотал, оглядываясь, Рылеев.

– Спите, спите, – голосом няньки сказал Тушин. – Я иду по своим делам; больше не увидимся, прощайте. А что передать Лизе?

Рылеев вскочил. Кровь ударила ему в голову. Ничего не понимая, но смутно заволновавшись, расширенными глазами посмотрел он в лицо Тушину, спрашивая:

– Как... то есть какой Лизе?

– Да уж вам лучше знать, – серьезно сказал Тушин. – Она меня любит.

Рылеев провел рукой по волосам. С минуту он не почувствовал правды, почувствовав же, не смог ничего сказать, побледнел и медленно глубоко вздохнул. В это мгновение не видел он ничего, кроме Тушина.

– Вы меня знаете? – сказал наконец Рылеев.

– Я карточку вашу видел, – помолчав, сказал Тушин и, невесело улыбнувшись, прибавил: – Не сердитесь же. Там у куренщика старик с плотиком, на плотике он довезет вас до самого села.

Волнение Рылеева передалось Тушину; с изменившимся слегка и твердым лицом он вышел, не оборачиваясь.

Углубляясь в лес, Тушин думал, что сделал хорошо. «Если он крепок и хорошо себя ценит, то вывернется из-под удара душой, и вновь закипит в нем жизнь, разве смерть закроет глаза. Но я не уступлю никому Лизу. А будем ли мы всегда любить? Не знаю, да и не надо об этом думать».

Белый без солнца свет наполнил лес. В нем было тихо, как в душе младенца, и весело.

IX

Лиза и Тушин встретились на том же месте, где видел их мужик Звонкий. Тушин любовнее, чем всегда, поцеловал девушку; в лице ее бросилось ему выражение усталости, скрывающей себя преувеличенно веселой улыбкой и выдающейся рассеянностью взгляда. Но он ничем не дал понять ей, что заметил это, однако, со свойственной ему стремительностью, после многих ласковых слов и шуток, сказал:

– К тебе жених приехал, я его видел, он у меня ночевал.

Лиза, подняв голову, вспыхнула, слабо улыбнулась и встала. Тушин сидел, обхватив руками колени.

– Странно, Расскажи, – глухо произнесла девушка. – Нет, здесь ничего не скроешь, и напрасно мы воровски видимся: все равно, я думаю, по селу сплетни ходят.

Тушин, невольно улыбаясь тому, что отбил у Рылеева женщину, передал Лизе о том, как заблудился приезжий и как ночевал, но умолчал об утреннем разговоре.

– Что же, уехал он? – спросила после долгого молчания Лиза. – И он не знает, что ты – ты?

– Нет. Уехал ли, не знаю, а что ему делать там? Лиза, – живо сказал Тушин, – ты ведь его любила?

– Любила, что же из этого? – Лиза повернулась к Тушину, и он раздумчиво уклоняющимися своими глазами встретился на мгновение с ее блестящим, прямым взглядом. – Все же я не могу отнестись к нему, как к первому встречному.

– Это понятно, – сказал Тушин. – У вас, конечно, был разговор?

– Да.

– Ну, Расскажи сама, если хочешь, – сухо произнес Тушин, – не в моей привычке сидеть над душой.

– Не сердись. – Лиза опустилась на колени и теплой, пахнувшей лесным воздухом, рукой обняла шею Тушина. Закинув слегка голову и улыбаясь, она, порозовев, вся сияла твердым любовным вызовом. – Поцелуй меня, лесничок!

– Нет, – трогаясь, но уже полный ревности, сказал Тушин. – Я не спокоен теперь. Идя сюда, был спокоен, а теперь нет.

– Не сердись, – снова сказала Лиза. Она ближе пододвинулась к Тушину и пристально, взвешивающим что-то взглядом смотрела на его губы. – Не сердись, – повторила она, приникла головой к плечу Тушина, стиснула руками его шею и замерла. – Ты знаешь, – услышал под плечом Тушин, – мне... мне тяжело.

Тушин, затосковав, освободился и встал. Лиза тоже.

– Чего ты хочешь? – грустно спросил Тушин. – Кого любишь? Меня? Тогда садись и будем нежны друг с другом. А его – тогда нечего и говорить нам.

– Я устала, – резко сказала девушка. – Вот в чем дело. Мы видимся редко и утомительно. Ну, хочешь, я буду откровенна? Ты ведь меня никогда в двуличности упрекнуть не мог. Не то чтобы я его тоже любила, но он мне как-то понятнее, чем ты. Мне, дорогой, не хочется прожить здесь всю жизнь. Я тебя горячо, упрямо люблю. Но вот он вчера был у меня, я на него смотрела, вспоминала – и вдруг потянуло меня в далекие города. Там богато, шумно, изящно и умно течет жизнь. Я молода, красива, я – женщина. Меня окружают грязные бабы и пьяные мужики, мои книги засижены мухами, меня тошнит от тараканов в молоке! Все это мне надоело. Дорогой мой, – Лиза взяла Тушина за руки и крепко сжала их, – если ты меня любишь, оставь эту жизнь. Мы уедем в столицу или большой провинциальный город; мне хочется быть частью шумной волны, блестеть в ней, кипеть. Ты силен и одарен богато, ты везде будешь хозяином. Разве нет? Ведь я не ошиблась же в тебе?

– Эх ты! – хмуро сказал Тушин и замолчал.

Взяв ружье, он машинально гладил рукой стволы.

Взгляд его упал на ствол молодой ели: из-под чешуи коры светлая смоляная капля, вытягиваясь сережкой, блестела маленьким солнцем. «Ах, тихая, чистая жизнь и беспокойный в ней человек, – подумал Тушин, – есть ли что лучше?» Глухая нежность к пустыне, крику орлов, озерам и перелетным стаям вдруг поднялась в нем, клином вошла в любовь и выразила в лице все, что не расскажешь словами: боль, грусть и волнение. «Никогда, никогда, никогда», – стараясь быть спокойным, сказал себе Тушин. Но он, человек с тяжелыми, каменеющими в упорстве своем чувствами, любил также стоявшую перед ним женщину.

– Ты что же... Так вот с чем ты пришла сегодня? Нет, этого я не сделаю.

Лизу, по-видимому, не удивил ответ Тушина, хотя гордость ее была сильно задета. Глаза девушки расширились и поблекли. Не зная еще, что сказать, она стояла, покачивая в раздумье головой, но решимость не покидала ее.

– Тогда я уеду, – тихо и уныло, подымая заблестевшие печалью глаза, сказала она. – Если бы ты любил меня так, как он! Не надо мне половинку апельсина.

– Я люблю, люблю... – теряясь, сказал пораженный Тушин. – Ну вот, смотри, разве не чувствуешь, что люблю?

Он степенно, серьезно обнял девушку, увидел в ее зрачках крошечное темное свое отражение и, положив ладонь на лоб Лизы, слегка отклонил ее голову. Поднятое лицо женщины было прекрасно. Особенно прелестной и милой казалась его близость – возвышенная близость лица, смутно напоминающего теперь взволнованное, но ясное море. Он крепко поцеловал женщину, и жгучий холодок подымающегося страстного томления опалил Тушина.

– Да, умеешь любить, – шепотом сказала она, – и я.

Тушин сжал Лизу. Не вырываясь, она забилась в его руках: смех и глухой вздох были ответом его порыву.

Некоторое время оба молчали. Тушин сидел, положив голову на ее колени, дремала женщина, мужчина упорно думал, смотря в лес.

– Со мной или без меня? – сказала Лиза. – Решай.

Тушин пошевелился, но промолчал.

Первая боль прошла. «Ведь она вернется к нему. У женщины два пути: один – к тому, кого любит, другой – с кем лучше. И старая любовь порой, падая в необузданное сердце, дает пламя... Не отдам Лизу, – подумал Тушин, – уеду, все должен испытать человек. Но представим иначе: вот я один...» Он сосредоточился на этом, и голый ревнивый страх пересек дыхание. Он понял, что издали недоступная отныне женщина и недоступная любовь станут для него истязанием.

– Еду! – быстро сказал Тушин. – Когда?

– Сегодня, – сияя, сказала Лиза. – Приходи вечером, я буду тебя ждать к десяти, уложусь. Мне стало здесь скучно и тяжело.

Оба встали, поцеловались и долго, держась за руки, смотрели друг другу в глаза. Тушин, утомленный волнением, спокойно смотрел на девушку, думая: «Да не бойся, решил так решил».

– Прощай.

– Иди себе.

– Что же ты будешь делать?

– Пошатаюсь, приберусь, лягу спать.

Лиза, оглядываясь и кивая головой, ушла. Оставшись, Тушин быстро, спешными шагами вышел на извилистую лесную дорогу. На ходу, думая о перемене жизни, он сознавал, что наступил момент, когда и ему пришлось считаться с желаниями другого. Рано или поздно так должно было случиться.

Тушин шел к озеру. Лес становился холмистее, светлее и реже, дорога шла вверх, потом, обогнув круглую луговую пустошь, на зелени которой островками пестрели лиловый аконит, рябой щавель и по белым песочным россыпям – лопушный лист земляных орехов, падала круто вниз по густому хвощу, к сияющей глубине воды. Отсюда начинались озера, площадью равные четырем Петербургам, гигантское скопище воды, полной рыбы и птицы.

На берегу Тушин остановился, снял шапку: мокрые от пота на висках и лбу волосы обвеял прохладный озерный ветер, унося комаров. Суровая и нежная чистота открытого пространства мягко приветствовала человека. «Тихо и безлюдно, – подумал Тушин, – а солнце жжет. Расти здесь, как зерно в колыбели, – будешь прямо смотреть на солнце, будешь задумчив и тверд». Он обернулся к лесу. Синий вдали лес настойчиво, беззвучно приглашал расположиться, как дома. «Я – выродец, дикий, дикий я человек, – с отчаянием подумал Тушин. – У моего деда шесть тысяч десятин было, отец напилочком ногти отделявает, а я – бродяга... Надо прощаться со знакомыми».

– Прощай, лес! – громко сказал он. Эхо, ударяясь в берега и лесистые среди воды острова, медленно повторило:

– Аай-э, ай-э, ай-э!

– Прощай, озеро! – крикнул Тушин. – Прощайте все!

Слезы выступили на его глазах. Долго, понурясь, стоял он на берегу, втапывая носок сапога в ил и раздраженно дыша.

«Ну, поеду, – сказал себе Тушин, – последний раз, как рекрут, гульну... Козихина лодка хороша, а Буторова еще лучше – ту и возьму».

Он подошел к осмоленной снаружи и изнутри лодке, столкнул ее на воду, вскочил сам и начал, стоя в корме, грести рулевым веслом. Повертывая в воде весло, он плыл к ближайшему острову, откуда скрытый камышами пролив вел в другие, еще большие, извилистые водные равнины.

Заблудиться в этих местах было легче, чем в лесной гати. Легкомысленный солдат, бежав из полка, бродил здесь на челноке несколько дней и умер от голода, оставив на солдатском билете горелой спичкой безграмотно выведенную записку: «Померая голодную смертью, не хотел солдатского хлеба есть, простите жена и дети», – труп его вывез старик Капин, зимой и летом живущий при озере.

Опасной глухой прелестью дышали эти места. Тушин изучил их не сразу: долгое время страшно похожие друг на друга каймы тростниковых зарослей, подымающиеся из воды бесчисленные лесистые холмы и спрятанные зеленью озерной проливы кружили ему до утомления и

испуга голову, но он присмотрелся к ним, изучил приметы – и двигался теперь безопасно.

Вода, прозрачная, и на четырехсаженной глубине казалась зеленоватым продолжением воздуха. Коричневое дно ясно, во всех мелких подробностях, выступало сквозь озаренную полднем глубь, мелкие раковины, галька, что-то похожее на рассыпанную черную крупу, раки, запавший у берегов хворост, резко освещенный в воде солнцем, были отчетливы – казалось, стоит протянуть руку и взять их. Тростниковые плавни выходили наверх аршинной в вышину зеленью. Рыба, проходя под лодкой, напоминала птицу в кустарниках.

Тушин повернул в длинный, заросший хвощом пролив. Куакая, поднялись кроншнепы, резкий полет их осенил воду нервным трепетом крыльев. Шумно рванувшись, полетели, огибая похожий на замок остров, черно-белые турпаны, узкоглазая гагара, издали высмотрев человека, закричала ребячьим плачем, нырнула и скрылась. По берегам засуетились дрозды; трясогузки, прыгая на полусгнивших в воде стволах, усиленно трясли хвостиками. На лодке плыл человек, птицы негодовали.

Тушин не трогал лежащего перед ним ружья. Он ехал, грустно осматриваясь и в раздумье кивая головой, с душой, полной чуждых людской жизни звуков, внимательно слушая предупреждающий крик сторожевой птицы и возражения на него со стороны тех пернатых, которые, не видя еще человека, занимались флиртом или едой. В конце пролива маленькая ручеек-речка беззвучно соединялась с озером; в устье, поросшем ивой, заполоскавшись, шмыгнула выдра; мордочка ее, удаляясь вверх по течению, пристально осмотрела Тушина. Охотник вздрогнул, поднял и вновь опустил ружье: сегодня зверь имел право жить рядом с ним, не боясь смерти. Медлительные красноклювые чайки, грустно крича, играли с голубым воздухом; на середину озера, касаясь рогами спины, выплыл лось, заметил человека и скрылся за лесом; водяная крыса черной точкой ползла наперерез лодке; вдали, маленькие, как комары, снялись лебеди.

– Да уж не бойтесь, – сказал Тушин, смотря им вслед, – мне и плыть лень.

Он подвигал лодку вдоль берега. На серых и лиловых песчаных отмелях бродили болотные петушки ростом с цыпленка, проворно передвигая длинными ногами; рыжевато-зеленые воротнички их, топорщась вкруг тонкой шеи, блестели на солнце цветным букетом. Они бегали вокруг маленькой ослепительной лужицы.

Лужица эта, когда Тушин подъехал ближе, смотря разгоревшимися глазами на тропических по окраске своей северных птиц, неожиданно изменила свои очертания, зашевелилась и побежала.

– Урод! Красавец! – сказал Тушин, похолодев от страсти.

Руки его сами собой взяли ружье, взводя курки. Болотный петушок, выше и крупнее других, поразительно чистого золотого оттенка, пламенно и нежно блестя, вился перед человеком, тревожно бегая по песку. Сияющая тревога его движений заразила и остальных: птицы, непугливые по натуре, рассеялись, часть взбежала по маленькому косогору; крик их, похожий на звонкое, отрывистое мурлыканье, раздался в траве. Остальные убегали по линии воды. Тушин, с пересохшим от волнения горлом, забыв все на свете, кроме огненного живого пятна, прицелился и выстрелил. Петушки, стремительно и молчаливо взлетев, исчезли, а золотой, поднявшись на воздух, блеснул трепетным солнцем и сел неподалеку в кусты.

«Промах, – засовывая дрожавшими пальцами свежий патрон, подумал Тушин, – и на близком расстоянии. Нет, стой, этого я возьму». Он вспомнил все рассказы охотников о голубом тереве и белом волке, предводителях своего племени. Рассказы эти, основанные на редкой игре природы и пылком воображении, слушал он не раз у костров, с улыбкой смотря на клятвенно ударяющие в грудь кулаки.

– Ну и выродец, ну и выродец! – шептал он, быстро подплывая к кустам. – Не пропущу такого.

Удерживая дыхание, Тушин вытянул шею, стремясь опередить движение лодки. Лодка остановилась, покачиваясь. В пяти саженях был берег; зелень ивы купалась в воде; темные густые прутья ее, подымаясь из ила, рябили в глазах сеткой, и трудно было рассмотреть что-нибудь. В то время, как, приглядываясь, Тушин менее всего ожидал этого, птица, выбежав из тени к воде, отразилась в ней испуганно шевелящимся блеском, выждала момент, когда черные

кружки дула остановились на ее спине, вспорхнула и, продержавшись секунду на одном месте, светлой струей ушла в глубину дали.

Дробь хлопнула по песку, срезав прутья, второй выстрел, посланный в направлении полета, покрыл мгновенными пузырьками воду. Дым рассеялся. «Да я разучился стрелять», – сказал, беря снова весло, Тушин; жгучая досада разочарования покрыла его лицо потом и бледностью. Лихорадочно быстро гребя, он пересек озеро, рассчитывая встретить петушка на том берегу. Сильное возбуждение овладело им, он думал, как о высшем счастье, о возможности удачного выстрела. Преследование захватило его всей силой блеска, поразившего зрение. Смотря на воду, Тушин видел поднимающихся от светлой поверхности ее петушков; бесплотные мгновенные призраки эти рассеивались, переходя в искристые переливы воздушных струй.

Птица словно ждала его. Еще раз увидел он ее перед собою на мокром песке и, с туманом в глазах, выстрелил. Петушок спокойно, как бы издеваясь над Тушиным, поднялся и уселся невдалеке, вблизи маленьких островков с белой осокой. Тушин неотступно подвигался за ним. Редкий экземпляр болотной породы тянул и манил его к себе, как магнит; болезненное опасение, что петушок окончательно и уже навсегда исчезнет, сменилось постепенно странной уверенностью, что этого не случится. Поглощенный одним желанием, настойчиво и страстно ослепившим его до такой степени, что все движения, впечатления и мысли вертелись на оси бессознательного, близкого к голому инстинкту животных, Тушин передвигал лодку от островка к островку, замирал, отыскивал глазами неуловимого петушка, прицеливался, то опуская ружье без выстрела, если птица срывалась, то стреляя; чем дальше, тем торопливее, без выдержки, нажимал он спуск, почти уверенный, что даст промах. Этого с ним не было никогда. Всего выстрелил он шесть раз. Петушок как бы вел его, неуязвимый, к известной одному ему цели; все это преследование принимало оттенок сновидения. «Гнездо, где-нибудь есть гнездо, – без усталости гребя веслом, думал Тушин, – уводит от гнезда он, только и всего». Но против воли жуткое недоумение овладело им; сердито и презрительно рассмеявшись, вложил он свежие два заряда и погнал лодку.

Он увидел его еще раз, на более далеком, чем прежде, расстоянии, подобного брошенной на зеленое сукно червонной монете, и, вне себя, разрядил оба ствола, хотя чувствовал, что дистанция велика. Некоторое время за дымом нельзя было ничего различить. «Попал, что ли? – сказал себе Тушин. – Кажется, не взлетел». Однако, подъехав к траве, где видел птицу, он не нашел ничего, кроме следов, похожих на то, как если бы по песку тыкали кисточкой. «Ушел, а должен быть неподалеку. Да все равно я найду».

После этого прошел значительный промежуток времени, когда лодка с взволнованным и усталым человеком на ней огибала малые и большие озера, тыкаясь в болотную тину заливов, обшаривая острова, проливы и мели. Уже вечерней сыростью и прохладой дышала вода, забытое человеком время вдруг показало призрачную сущность свою, начав существовать снова лишь с того момента, когда Тушин посмотрел на солнце и вынул часы. Солнце, в высоте сажени над горизонтом, бросало грустный и низкий свет, на часах было девять. «Возвращаться надо, – без желания подумал Тушин. – Сегодня Лиза и я уедем, и все будет по-новому». Устало и бледно текли мысли его о женщине, он возвращался к ним насильно, без трепета и нежной тоски. Озера, безлюдные тростниковые заросли, дышащее печалью вечернее небо, розовый отсвет водяной глади, полной затопленных облаков, и одиночество кружили голову Тушина неслышной, как мысленно воспроизводимый мотив, заунывной песней. Снова потянуло его к петушку стремление, близкое страданию и нежному гневу; принимаясь за поиски, он был бесповоротно уверен, что встретит еще раз странную птицу, и, отдохнув, поплыл далее.

В течение часа Тушин безрезультатно напрягал мускулы и глаза; он подвигался теперь в позеленевшей гнилой воде, высыхающей к концу лета в трудно проходимые болота и топи. Лодка шла медленно, расплескивая сплошную гущу водорослей. Вдруг Тушин поднял весло и окаменел.

На желтой и плоской, вытопанной дикими гусями кочке стоял петушок. Внезапное появление человека на расстоянии трех-четырех шагов, видимо, поразило и птицу; неподвижно, вытянув голову с блестящими черными глазами, стояло маленькое золотое видение, смотря на охотника. Тушин видел изгиб каждого пера, коричневую перепонку ног, маленький желтый

нароост у клюва. Это продолжалось мгновение. Не отводя глаз, Тушин прицелился, но внезапное представление о крови, смешанной с грязью, удержало его, – выстрел на таком близком расстоянии дал бы лишь обезображенный трупик. «Ну, спасся», – сказал, не двигаясь, Тушин. Чудесная окраска перьев показалась ему теперь еще прекраснее и заманчивее. «Золотой, совсем золотой, – думал он. – Ну, заслужил жизнь, живи».

Петушок, видя, что страхи его напрасны, опомнился, но счел за лучшее, однако, взлететь и, вскрикнув, поднялся. Казалось, целый рой искр посыпался от него. Не удержавшись, Тушин вскинул ружье, курок дал осечку – птица была уже вне выстрела.

С сильно бьющимся сердцем Тушин, стукнув прикладом о дно лодки, смотрел вслед петушку. Он взлетел над вечерней, усеянной кувшинками, красной водой болот, ослепительно развернул крылья и, быстро уменьшаясь, словно закат растоплял его, исчез светлой точкой, улыбающейся ямочкой воздуха, таинственный и простой, как все живое, пленяющее сердца теплым обманом, а может быть, и настоящим зовом, в ответ которому «куда?» спрашивает человек.

Изнemoгая от усталости, Тушин начал соображать, успеет ли он возвратиться. «Нет, нечего и думать», – сказал он, осматриваясь. Незнакомые места окружали его; темно; пятнадцать – двадцать верст путаного водяного пути невозможно было бы одолеть даже к утру. Пристав к сухой части берега, Тушин повесил на прут куста котелок, достал хлеб, крупу, мясо и стал разводить костер. Внезапное соображение, что Лиза уложилась, ждала его и теперь в тревоге, резнуло Тушина. Он сморщился, решил на рассвете ехать и лег возле огня, голодный, как вернувшийся с работы поденщик, усталый и сонный.

В темноте, где-то за линией отбрасываемого костром света, сунув клюв в ил, беспокойно кричала выпь. Пахло водой, дымом и лиственным перегноем. Тушин повел мысленный разговор с Лизой. Все время до последней с ней встречи было у него такое чувство, как будто в крепко сжатой руке его лежит рука маленькая, пожалуй отвечая пожатью и бережно, тихонько освобождаясь.

Х

Видя, что Тушин удаляется, Рылеев хотел догнать и остановить его, но, бросившись вслед и сделав пять-шесть шагов, остановился... Из этого не могло выйти ничего, кроме того, что, положив обернувшемуся Тушину на плечо руку, Рылеев вздохнул бы с искаженным лицом несколько раз, а Тушину стало бы ясно, как больно и тяжело приезшему.

Рылеев подошел к окну – в минуты сильного волнения он видел всегда плохо и неясно. Зеленый за окошком туман стоял перед его глазами, и вместе с тем вдруг почувствовал он, что начинает смотреть на себя со стороны, третьим лицом. Признание Тушина, а главное, то, что в тяжелом положении Рылеева не могло быть уже ничего горше, как выслушать это признание от того самого человека, ради которого изменила ему женщина, – произвело на него своеобразное, отрезвляющее, пристыдившее его действие. Болезненный стыд этот – стыд за то, что на него, Рылеева, смотрят уже как на лицо постороннее и такое отношение он опровергнуть не в силах, – так хлестко и сильно проник в Рылеева, что он, как от удара по лицу, весь вспыхнул и замер, и даже потускнело его чувство к Лизе: менее желанной и близкой на мгновение стала ему она.

«Ведь он ни разу не спросил, кто я, – вспомнил Рылеев. – Он знал уже, а я и не догадался, да и как догадаться – никому в голову не придет».

– Я уеду! – вслух сказал, успокаиваясь, Рылеев. – Уеду сейчас, вот теперь. Фу-ты, боже мой! – почти вскрикнул он, припоминая отчетливо разговор с Тушиным, и, снова, затосковав, покраснел, как мальчик. Одно еще интересовало его, это – как и когда Лиза познакомилась с Тушиным? «Когда – не все ли равно, а как?..» Он представил внимательно ищущее лицо женщины, а рядом с ним – так же настойчиво обшаривающее глазами человеческие углы лицо мужчины и вспомнил, что почти у всех когда-либо виденных им людей было в слабой или сильной степени такое выражение лиц, словно человек про себя думал: «Да, я говорю с тобой, но ты мне не нужна (или не нужен), а вот постой, я сейчас встречу...»

«Искали, сошлись и успокоились, – продолжал размышлять Рылеев. – Вначале всего этого

был, вероятно, разговор о погоде и местных новостях, а там глаза перекинулись чем-то таким, от чего хочется вздрогнуть, – и готово».

Придав лицу сонное и равнодушное выражение, Рылеев вышел из куреня.

Вчерашний мужик так же сидел на лавочке, упираясь в нее руками, словно у него заболел живот-Рылеев сказал:

– Выспался, отдохнул. Как бы мне уехать отсюда? Нет ли у тебя лошади?

Вот беда, – хихикнул мужик, – лошадь ноне захромала: ездил по дрова, подковать лень было, на колдобине-то ногу зашибла кобылка... А чего лучше вам с плотиком?

– С плотиком? – вспомнив слова Тушина, сказал Рылеев. – Ну, а как?

– А по речке. Дровяник заночевал у меня, с плотиком едет. Плотик, что говорить, немудрящий, сухостойный, а троих подымет, да вас двое всего и будет. По речке тут к полдню, а то и раньше, поспеете.

– Мне все равно, – сказал Рылеев. – А где этот человек?

Куренщик оглянулся.

– В избе обустраивается... Да вот он, багор несет.

Маленький, деловитого и сухого вида старик, в натуго подпоясанном азяме, лаптях и обычной для местных крестьян татарской, на вате, шапке, тащил за конец шест. За поясом мужика болтался топор.

– А что, Бурмакин, – сказал куренщик, – пассажир тебе есть. Свезешь, поди, – вчера-то говорили.

– Давай, – бодро ответил, прищурившись, крестьянин. – Куды ни шло, не утопнем.

– Мне в село надо, на станцию, – сказал Рылеев.

– Туды и еду. Айда! – Старик, замедлив несколько шаг, чтобы выслушать и ответить, продолжал быстро идти к реке.

– Ступайте, свезет, – сказал куренщик Рылееву. – Езжайте благополучно.

Старик, бросив вперед себя шест, прыгнул на середину плотика, Рылеев осторожно прошел к нему, замочил ноги и сел по-турецки.

– Разгонистая речка, бурливая, – сказал, смеясь похожим на кашель смешком, старик. – Не бойтесь.

– Чего бояться, – искренне ответил Рылеев, – бояться нечего.

Старик, проворно колупая пальцами, отвязал причал, снял шапку, перекрестился на заблестевший восток и, подбежав к рулю, сильно двинул им к берегу. Плот тотчас, качнувшись, отошел и поплыл с быстротою идущего скорым шагом человека. Река, шириной не более десяти сажен, с плота показалась Рылееву шире и глубже. Берега, обрывистые, с вылезающими из подмоин корнями, плыли назад. Рылеев оглянулся, испытывая от необычайного способа путешествия род смешливого внутреннего неудобства и какого-то полудетского ожидания: что будет дальше? Старик, шуря рысьи с кисточками в бровях глаза, стоял лицом по течению; согнувшись, расставив ноги и поводя рулем, он сильно напоминал елочного деда.

Ивняк, среди которого, начиная от куреня, текла речка, кончился. Течение усиливалось. Тем временем утренний свет, озарив небо и землю, ударил по воде и прильнул к ней. Мгновенно преображенное, изменилось серенькое лесное утро.

Красная, радостная вода окружала убегающий плот; оттенки ее в светлой чистоте воздуха горели зеленым и розовым. Все получило вдруг свежесть и чистоту, выпуклость и неяркий, полный мирной улыбки блеск; Гарь, как и ивняк, кончилась, уступив место пышной заросли берегов. Дикий в цвету шиповник, мальвы, высокие лиловые колокольчики; теснясь среди белых, как молоко, тонких березок, обросли кручи; кое-где, зеленея у воды, папоротники отражались в глубине стрежей переливчатой цветной дрожью. Бревна, на которых сидел Рылеев, блестели. Беспочинно весело стало ему. Он шурился, смотря, как играет рыба, гоняясь за приседающей на воду стрекозой, и внутренне подтянулся. Веселое насилие совершалось над ним, словно в мрачную монашескую трапезу вбежала молоденькая девица, пугаясь, не выгонят ли ее, но низко склонились над тарелками с постной кашей черные головы, ухмыляясь в усы... И Рылеев немного ожил.

Шиповник тянулся по склонам береговых зазубрин а дальше, у подножия невысоких, стеснивших реку отвесов розового и белого известняка цвета эти переходили один в другой бледными, как бы полинявшими выступами.

«Хорошо, что я поехал на плотике, – думал Рылеев. – Вот я несчастен, а смотрю с удовольствием вокруг и так бы ехал еще долго. Да несчастен ли я? – сказал он, подумав. – Что же – жизнь для меня кончилась, что ли? Отлегло на душе, поэтому так и рассуждаешь, – возразил он сам себе. – А потом что?» Но вернувшись и осторожно укрепляющаяся в душе бодрость направила его мысли в сторону самозащиты. «Я не тряпка, а только убивающий сам себя человек. За всю жизнь я не пережил столько, сколько за эту неделю. Другую буду любить. Пройдет все. Другой я; спасибо тебе, Лиза». Чрезвычайно отчетливо припомнил он библиотеку и себя в ней, работающего без устали ради будущего. Все люди, посещавшие библиотеку, вспомнились ему с книжкой под мышкой: Гоголев, барышни, гимназистки, дама с флюсом, небритый пожиратель романов. И все-таки тень жизни осеняет его, подумал Рылеев, а многих ли осеняет она? И жизнь представилась ему такой, какая она есть: чудесная, полная неожиданностей, а вместе с тем – грубая и голая правда о борьбе, скуке и смерти, – кто чего хочет. Он не знал еще, что надвое должен жить человек, что для упорствующих жизнь-женщина стыдится ходить в черном теле; неряха муж видит жену по утрам растерзанной, нечесаной, и, мелочь за мелочью, проходит любовь. У жизни своя правда, у человека – своя, и надо соединить их. «Я знаю... – сказал Рылеев, – знаю», – и не мог сам себе выяснить, что знает и как. Это было знание, невыразимое словами и мыслью, новые глаза, полнота человеческих желаний. «Напишу или приеду», – повторил слова Лизы Рылеев и не поверил словам: слишком резко стояло перед ним серьезное лицо Тушина. «Подожду три дня и уеду», – сказал Рылеев. Снова захотелось ему женской ласки и нежности. «Другую буду любить», – мстительно прошептал он. Злые слезы подступили к его горлу. Он поборол их и встал.

– Когда приедем? – спросил Рылеев Бурмакина.

– А приедем, – сказал старик, – пошто торопиться, в самый раз попадем.

– Ты почему на плотике едешь?

– Я от хозяина. Вишь, плоты снесло; после дождя это, так бревна засекло по хрящам, застряли то есть, да, видно, снесло опять, – чистая река-то!

Рылеев посмотрел вперед. Река стала шире и ленивее, по берегам тянулся теперь смешанный густой лес. «Нет, нет, – сказал он себе, одолевая последние, уже слабые приступы возмущения и тоски, – так было, значит, так хорошо, ты зрячий, теперь живи и смотри в оба».

XI

Тушин вошел в сени, быстро отворил дверь и осмотрелся, улыбающимися глазами ища Лизу.

– Лиза! – позвал Тушин, прошел к столу и вправо, где стояла кровать, увидел девушку. Одетая, прикрыв плечи и голову тонким серым платком, Лиза лежала, согнувшись, лицом к стене. Улыбаясь, приблизился к ней на цыпочках Тушин и, опустив голову, прислушался.

Спокойное, ровное дыхание спящей женщины заставило его улыбнуться еще раз. Поколебавшись, он уперся ладонью в плечо девушки, поцеловал Лизу в розовый от сна висок и сказал:

– Проснись, это я.

Лиза медленно зашевелилась, вздохнула и, открыв глаза, села, проводя по лицу руками. Сонный, еще блестящий сквозь пальцы взгляд ее прояснился, осветив заспанное лицо ровной улыбкой.

– Который час, Миша? – спросила девушка.

– Девять, – сказал Тушин. – Я опоздал на сутки. Ты сердисься?

Лиза тряхнула головой и села, кутаясь в платок, у окна, смотря на улицу. Минуту спустя лицо ее, усталое и внимательное, обернулось к Тушину.

– Я рада, что ты жив и здоров, Миша, – сказала она. – Так что не сержусь я, благодарю тебя за то, что ты цел. Я не спала ночь. Мне казалось, что ты утонул, простудился, умер, что был ка-

кой-то несчастный случай.

– Я виноват, – сказал Тушин, беря ее теплые руки и целуя их, – будь милостива. Я готов теперь. Если хочешь, можно ехать сегодня.

Лиза нагнулась и поцеловала его в голову.

– Чем это пахнет от тебя? Ах, знаю. Смолой, порохом и травой. Расскажи, что ты делал и почему опоздал.

– Ах, Лиза, – нетерпеливо сказал Тушин, – зачем спрашивать? Соврать недолго: «Заблудился» – и делу конец. Я был сам собою последний раз в этих местах, делал то, что делал всегда. Я не принял в расчет, что ты можешь подумать, будто со мной несчастье, – в этом я виноват.

– Я не упрекаю, – слегка побледнев, возразила Лиза. Некоторое время она молча смотрела на него, тихонько жмурясь. – Миша, дорогой мой, мы сегодня видимся последний раз. Мы расстанемся. Постой, не волнуйся. Сядь, дай руку и выслушай.

Тушин, быстро и резко встав, вырвал руку. Тоскливое, глухое упорство поднялось в нем. Теперь, хотя бы в тысячу раз сильнее кружилась от гнева и раненой любви голова, он был способен сидеть молча битый час, слушая, что ему скажут, кивая и холодно соглашаясь.

– Не мне оспаривать добычу Рылеева, – усмехнулся дрожащим ртом Тушин. – Этой чести он не дожидается.

– Зачем оскорбления? – покачав головой, грустно сказала Лиза. – Дело ведь в нас с тобой, а не в нем. Я люблю тебя, но мы разойдемся. Об этом сегодня ночью я думала. Миша, вчера ты не подумал обо мне в тот момент, когда более всего нужна была мне поддержка. Я не наказываю тебя – ты ведь не мальчик, но ясно вижу, что взяли мы друг от друга все, что могли. Ты не друг мне. У каждой женщины, милый, есть полоса горячки, любви в цветах, полной огня, смеха и слез; для одних, самых несчастливых из нас, это заключается иногда в одном только вспоминаемом всю жизнь взгляде или прикосновении. Но мне было дано много. Это я ценю и благодарю тебя, более же не дашь ты мне ничего. Моим прошлым с тобой я проживу всю жизнь, а то, что остается у меня еще от способности любить и ценить чужую любовь, отдам ему. Он заслужил это. Я любила и люблю тебя за то, что в любви ты нежен и горд, чист душой, горяч и стремителен, красив и силен, за то, что жизнь твоя трудна и опасна и никто не помогал в ней тебе. Жить вместе мне и тебе нельзя: слишком мы душою противоречивы и разноцветны. Не сердись.

Торопливо и сбивчиво, тем тоном, каким взволнованная мать утешает ребенка, произнесла Лиза эти слова, встала и обняла Тушина. Нежной, но твердой силой повеяло на него от этой последней ласки. Расстроенный, он встал сам, отвел Лизины руки и посмотрел ей в лицо. Невыразимым прощальным очарованием горели черты женщины. И понял Тушин, что после сказанного нет места возмущению, так как нет лжи...

– Прощай же, – пересиливая боль, слезы и резкие движения страсти, серьезно сказал он, – не забывай. В память твою я буду здесь всегда, здесь и умру. На просеке, в зеленых кустах еще движется и дышит твоя тень – тень милая и прекрасная. Я скоро приду в то место, посижу, вспомню тебя.

– Долго еще ты будешь со мной. – Лиза, положив голову на плечо Тушина, закрыла глаза и улыбнулась. – До тех пор, пока ты этого хочешь. Я почувствую, когда ты перестанешь меня любить. И ты почувствуешь. В тот момент среди смеха станет серьезным твое лицо, за делом ты испытаешь отвращение к делу, среди ночи – проснешься и, как живую, меня увидишь, я буду смотреть мимо тебя.

– Пусть никогда не будет этого, – сказал Тушин. – Прощай. Лучше уйти мне – легче.

– Прощай.

Они обнялись последний раз, и от этого полного тоски и силы объятия исчезли сумерки. Закрыв глаза, в немом, обессиливающем поцелуе Лиза и Тушин увидели себя еще раз в светлом от берез и солнца лесном затишье, шмель жужжал низкой струной у их ног, а заунывный крик сойки казался веселым.

Тушин нежно оттолкнул Лизу и, не обернувшись, вышел; она же, закрыв глаза, сделала рукой движение, как бы собираясь перекрестить уходящего, затем опустила руку, услышала, как с обычным, негромким стуком закрылась дверь, и осталась одна. Некоторое время ей казалось, что

он еще здесь, а она продолжает уговаривать и утешать его; но воспоминание о том, как Тушин принял разрыв, заставило ее почувствовать всей силой окружающей тишины, что его нет возле нее не на минуту, не на день, а навсегда.

Глухое чувство сопротивления уводило Лизу от Тушина; чему противилась она, то было неистребимо, так как неистребимым определяется человек. Он ушел, и любовь ее к нему стала тише, терпеливее; она думала о нем столько же, сколько и о Рылееве; думала о Тушине сердцем, о Рылееве – пока еще братским уголком души, но пристально и бесповоротно.

Тушин, выйдя от Лизы, шел, встряхивая головой и морщась, к реке. У лавки, с висящими на дверях ременными кнутами, цветными платками и картинками лубочно-божественного содержания, серых от муки и крупы, сидел лавочник. Свирепый, жирный кот лежал у его ног; другой кот, поменьше, гоняясь у крыльца за мухами, прыгал козлом. Лавочник узнал Тушина, говоря:

– Михаил Васильевич, заверните, чайку стаканчик.

Тушин остановился. Простая фраза о стакане чайку, которого ему вовсе не хотелось, нарушив очарование горя, прозвучала жестоко и наивно, но он уцепился за нее, так как можно было говорить и выслушивать еще подобные фразы – и не думать. Лавочник, страстный рыболов, знакомый Тушину по встречам на озере, смотрел сыто и бойко, улыбаясь.

– Сколько раз в день чай пьете? – сказал Тушин, подходя. – Вы, торговые мастера.

– Жара-с. Лето-с. – Лавочник хлопнул себя по коленям. – Всего-навсего собираюсь шестой раз чайку испить, это по-божески. Да вы что, больны, никак?

– Я здоров. Почему? – спросил Тушин. – Всегда здоров, у меня и зубы никогда не болят.

– Глаза у вас нехорошие. – Лавочник пихнул кота ногой и встал. – В теплушку пожалуйте. Щучий жор пошел, Михаил Васильевич; жерлицы готовлю, блесны. А Ванька мой ястребенка словил вчера; в клетку чижову посадили, да велика клетка-то... мала, значит.

– Покажите, – рассеянно сказал Тушин.

– В-вот он, вор-куроцап, жулик, да еще мал, подлесток.

На прилавке, возле банок с вареньем, оберточной бумаги и свечных пачек, в нечистой маленькой клетке сидел «куроцап». Голова птицы, грозно вытянутая к склонившемуся лицу Тушина, неподвижно блестела глазом. Ястребенок, дыша часто, как в лихорадке, лежал боком и грудью на полу клетки; сломанное в крыле перо сиротливо торчало вверх.

– Зашиб малость, – сказал лавочник. – Лечит теперь Ванька-то. Отдышался, жулик. Есть стал.

– Поправится, – сказал Тушин.

– И то. Поправится, полетит, сыт будет.

– Пустишь?

– Ванька пустить хочет, мне-то што – его игрушка. А ты что, Михаил Васильевич, не в лице ходишь?

– Голова болит, – сказал Тушин. – Это ничего, пустяки. Ну-ка, закурим да выпьем чайку, что ли.

Разговаривая, они прошли в теплушку, а на место хозяина вышел торговать сын его, Ванька, сел к прилавку, вычистил пальцем нос и вздремнул.

ХII

Парни, подростки и бородатые мужики играли в орлянку. Игроки всё прибывали и прибывали. Празднично по случаю воскресенья одетая молодежь, в расшитых и вышитых любовницами цветных ярких рубахах, подходила парами, кучками и по одному. Блестело кое-где золото. Человек, проигравший его, наполнял круг гвалтом, плевался и махал руками.

К игрокам подошел Звонкий. Он был навеселе, грустен и неуклюж. Пятак, возвращаясь с неба, шлепнулся у его ног решеткой вверх. Орлянщик, горестно крутя головой, стал платить деньги.

– Метну и я, – сказал Звонкий. – Ставь, деревня, – свои приехали. Я, братцы, гуляю. – Ух-

мылясь, вытащил он пятак и, отступив, размахнулся. Тотчас к ногам его посыпались гривенники, четвертаки, полтинники и рубли. Пьяный размах покинул на мгновение Звонкого. Жалея погибающую без молебнов душу Петрухи, остановился Звонкий с занесенной рукой, как бы спрашивая себя – метнуть или нет, тряхнул головой и «стукнул». Монета, черкнув воздух, при общем гаме и шуме легла «решкой».

Пошатываясь и разводя руками, отдал мужик деньги. Парень сказал:

– Стучай еще.

Звонкий посмотрел исподлобья вокруг. Множество глаз было устремлено на его руки с блестящими меж пальцев полтинниками и гривенниками. Ему стало скучно и страшно.

– Эка, нашли дурака, отдай им вот ни за что. – Медленно и задумчиво пошел он из круга.

Он не прошел десяти шагов, как кто-то обнял его сзади, дыша сивухой.

– Изобидели человека, жулье, – сказал смутно знакомый мужику голос, – а за что? Арестанты, одно слово.

Звонкий остановился, обернулся и, ухватив двумя пальцами подошедшего за бороду, умильно расцвел всем своим широченным лицом, увидев земляка; земляк был сапожник.

– Ах, милый, друг ты мне, – любовно сказал мужик, – изобидели меня, Вася. За что? Бог судья.

– Известно, жулики, – повторил сапожник, быстро осматривая Звонкого. – Им бы дорваться. Обрадовались.

– Деньги пропиваю, – мрачно сказал Звонкий. – Два стаканчика-то и выпить всего хотел. Упокой, господи, раба твоего Петра Голикова. Угости меня, Вася. Выпьем.

– Ко мне пойдем – что ветер ловить? Четверть есть. – Сапожник взял мужика под руку, но Звонкий упирался, припадая головой к плечу земляка и добродушно смеясь. – Да шел бы ты, – сказал сапожник, – чего околачиваться?

– Петрухи деньги, – сказал вдруг Звонкий, выпрямляясь и тараща глаза. – Это как понимать?

– Да уж так и понимать надо, – оглядываясь, вздохнул сапожник. – Деньги не твои.

– Похоронили Петруху, не видать мне его. Помер Петруха – вот тебе и весь сказ.

– Это уж как быть.

– Ежели свои, – пробормотал Звонкий, пытаясь набить трубку, – а то ведь Петрухи. Это ты, Вася, пойми.

– Я все понимаю, – сказал сапожник. – Ты, Конскентин, правильно.

– Правильно?

– В точку.

– Это деньги, милый... такие, не наши деньги.

– Бог с ними.

– Известно, Вася, Петрушка, значит, просил, как бог свят. А попа дома не было – косит он, батька-то, понял?

– Все знаю, – переминаясь от нетерпения, сказал сапожник.

– Я их попу отдам.

– Отдай, мне что?

– Так отдать?

– Беспременно.

– Нет, Вася, ты рассуди: я их отдать должен?

– Верно.

Звонкий умолк. Того, чего бессознательно ждал он, – легкого искушения, не было в словах земляка, но поддакивание рассердило его.

– Пропью, – сказал Звонкий. – Я, брат, человек пропащий.

Сапожник не ответил. Осторожная и жестокая мудрость подсказывала ему, что теперь следует как бы равнодушно молчать. Оттого ли, что пристально смотрел на него сапожник, или оттого, что сапожник был терпелив и не спорил, – Звонкий почувствовал желание куда-то идти.

– Пойду я, – сказал Звонкий. – Пропал я, и ты пропал, Вася. Прощай, когда...

– Иди спать, зимогор. Право, под забором уснешь ведь, сапоги снимут.

– Пускай. – Звонкий вдруг устремился, заламывая шапку, в переулоч.

Сапожник, догнав его, схватил за плечи, толкая назад.

– Иди к лешему! – сказал Звонкий. – Не тронь, я пойду.

– Да где тебе, дура, ходить, непристроенный ты чурбан? Иди спать!

– А... пойду, – сказал, вырываясь, упрямо и зло мужик. – Не лезь.

С минуту они нелепо и бестолково боролись. Сапожник, отступив, плюнул и выругался.

– Да дьявол с тобой, – закричал он, – тебе, дураку, добра хотят! Тьфу! Залил глотку, немочь лесная, ломается!

Он повернулся и, оглядываясь, скрылся за углом. Звонкий же, забыв мгновенно о земляке, шел, не зная куда. Высокая, в платке, женщина попалась ему навстречу; мужик поднял голову и узнал барышню. На ней было другое платье, иным выглядело осунувшееся лицо, но Звонкий узнал и обрадовался так, что выступили на глазах пьяные слезы. Расставив бесцеремонно руки и ухмыляясь, мужик сделал вид, что ловит: побледневшую от испуга Лизу, и сдернул шапку.

В переулке никого не было. Лиза, подняв руку, хотела пройти, Звонкий сказал нараспев:

– В лесу да с милым дружочка-ам сид-дела я, млада. Проходите без опаски, а ежели не так, то просим прощенья.

Лицо его было комично и добродушно. Рыжий вихор петушьим гребнем висел над ухом. Хмурясь, девушка прошла мимо Звонкого. Он долго смотрел ей вслед, потом, надев шапку, сказал:

– Барыня или баба, а бухгалтерия первый сорт одинакова. Господь с тобой, и иди себе, я не трону, нет; мужик я, одно слово, правильный.

Остановившись под окном, сквозь стекло которого смутно белела пара детских лиц, мужик продолжал, размахивая у носа пальцем:

– Господа, значит, дело не наше. Это верно.

От господ мысль его перешла к легкой и чистой господской жизни. О жизни этой не столько он думал, сколько, размахнув полы азяма, стоял над нею. Расставил ноги и вздыхал, но от этого ничего, кроме ощущения бесформенно светлого пятна, находящегося неизвестно где, не укладывалось в голове Звонкого. Сев на лавочку и подперев щеку рукой, мужик затынул песню:

«Скажи мне, звездочка злата-ая,
Зачем печально так горишь?
Король, король, о чем вздыха-ешь,
Со страхом р-речи гово-ришь?»

Солнце закатывалось. Лучи его, ломаясь на гребне крыши, били в глаза расплесканным, нестерпимым блеском и гасли. Одолев дремоту, мужик встал, намереваясь идти в кабак. Шестидесят непропитых рублей держали его на вожжах; думал он о Петрухе лукаво, грустно и благодарно.

Встав, мужик сунул руку в карман, где лежали деньги, заморгал, медленно вынул руку и сел снова. Тоска, злоба и хмель кружили ему голову. Еще надеясь, но испуганный и павший духом, он стал рыться в другом кармане, выворачивая его так, что трещали швы; медные деньги рассыпались у его ног; кисета же с запрятанными в табак бумажками как не бывало.

– Ловко, – сказал Звонкий; протрезвев, склонился он головой на руки и отчаянно зарыдал.

Немного спустя видел мужика человек, очень похожий на сапожника. Человек этот, заметив Звонкого, прошел другой стороной сломанного плетня, руки в карманы; Звонкий же, не видя и не замечая ничего, крепко зажав в кулаке подобранные пятаки, шел в трактир. Другим переулком, задами и огородами, человек, похожий на сапожника, шел тоже в трактир.

XIII

Рылеев спал шестнадцать часов.

Проснувшись, он опустил одну ногу, держа за ушко сапог. Собственные движения казались ему лишены всякого смысла; в отдохнувших за ночь душе и теле пропал бодрый инстинкт жизни, ее сложный секрет, позыв к движению.

«Ну вот, все испорчено, – сказал себе Рылеев, – испорчена жизнь. Оденусь, напьюсь чаю и – на вокзал». Сердце его сжалось. Тряхнув головой, он встал и подошел к зеркалу, ожидая увидеть человека с ясно выраженными в лице отчаяньем и унынием, но, к своему удивлению, увидел все того же, хорошо знакомого двойника, с прямым суховатым взглядом, белым лицом и крепкой, загоревшей слегка шеей. «Как лжет лицо, – сказал он, – а вернее всего – что показывает оно меня таким, какой я всегда». Помолчав мысленно, Рылеев отошел к вешалке, оделся и позвонил. Коридорный, человек с необыкновенно густыми бровями и уныло-волчьим лицом, стал на пороге, спрашивая, что нужно.

– Самовар дайте, булку, – сказал Рылеев.

И в тот же момент из-за спины полового, мелькнув в полутьме коридора светлым платьем, вошла, взволнованно улыбаясь, Лиза.

Это было так сильно и неожиданно, что Рылеев, подняв руку, негромко вскрикнул. Опахнув комнату из окна, в раскрытую дверь метнулся сквозняк; занавеска, полоща, взвилась и опала, а коридорный, отступив назад, тупо мигал. Рылеев, не отводя глаз от Лизы, закрыл дверь. Глухой смех вырвался из его груди; потрясенный и безудержно счастливый, он продолжал нервно смеяться, приближаясь к женщине.

– Я вернулась, – сказала Лиза, – успокойтесь.

Взгляды их, полные тяжелых воспоминаний, светились улыбкой сквозь слезы.

– Лизочка, – сказал Рылеев, – что вы со мною делаете?

Она не ответила и стояла, держась за поля шляпы, как будто хотела пригнуть их, закрыть щеки. Момент, когда Рылеев хотел и мог бы встретить девушку иначе, дав волю чувствам – обнять и поцеловать, – прошел, и радость осталась скованной, но полной предчувствий недалекой и сложной близости.

– Ко мне? – отрывисто, не переставая улыбаться, спросил Рылеев.

Лиза наклонила голову; мягко-испытующий взгляд ее осветился глубокой уверенностью в том, что Рылеев любит ее и ждал.

– Так будем жить, – сказал Рылеев. – Уедем отсюда.

– Что же мы, как чужие? – с упреком произнесла Лиза. – Вот, я первая...

Восхищенный, почувствовал Рылеев на своем плече ее руку и голову. Связанность оставила его, он обнял и поцеловал Лизу в висок, но чувствовал, что все это еще не настоящее, что им нужно снова, помогая любви, привыкнуть и сродниться друг с другом. Ревность проснулась в нем далеким, глухим эхом, но все острое в ревности перегорело, было затоптано радостью тревожного возвращения.

– Сядем, – выпустив теплый стан девушки, сказал Рылеев, – мы ведь теперь дома.

Лиза, смеясь, развела руками:

– Вы все такой же. Вы глубоко семейный человек, Алексей. У вас плохой номер.

– Почему такой же? Я – другой, – серьезно и оживленно сказал Рылеев. – Как странно мы встретились; или это уже свойство души человеческой – быть свободной и звучной только наедине с собой. Прежние Рылеев и Лиза умерли, другие сидят здесь, это первая наша встреча.

– Счастливы ли вы со мной... теперь? – спросила Лиза.

– Счастлив, – сказал Рылеев. – Да, я не кричу, не пою и не пляшу от радости, но это потому, что я еще не совсем ясно понимаю, что делается, – я в тумане. Нам нужно еще, Лиза, много слушать друг друга.

– Да. После.

– После, Лиза! – терзаясь тем, что говорит, не облегчая себя, вскричал Рылеев. – Я вас люблю, люблю радостно, страшно и хорошо. Будьте мне другом – я вам отдам жизнь.

– Милый, – сказала, волнуясь и подходя к Рылееву, Лиза, – не надо этих слов. – Она нагнулась к нему, шепча на ухо: – Я знаю, как ты будешь меня любить, ты – гадкий, но очень хороший, мой любимый, не мучь себя больше – сны кончились.

– Ах, Лиза, для меня все сон, – сказал Рылеев. – Я буду сердиться на тебя после, задним числом, сейчас я какой-то блаженный, вот...

Те слезы, что подступали к его горлу еще в библиотеке, при чтении Лизиного письма, вдруг, накипев и освободившись, стеснили дыхание. Отвернувшись, он дал им волю. И долго, страдая от того, что не может – от полноты ли жизни или от фантастических, хмурых теней ее – заплакать сама, смотрела красивая молодая женщина на склоненный по-детски затылок взрослого человека. Как женщине, ей это было приятно, как человеку – больно и совестно.

В поезде на Рылеева обращали внимание главным образом замужние пожилые дамы: он светился весь замкнутым, молодым трепетом.

На остановке вошел плотный, с бакенбардами, господин. Лицо его показалось Рылееву удивительно приятным и симпатичным. И много появлялось еще народа, старых и молодых, мужиков и господ, детей и прислуг. На всех их смотрел Рылеев – все были прекрасны и симпатичны. Отвернувшись, смотрел он в окно. Поезд шел лесом; за солнечной опушкой, у рельсов, теряя на расстоянии всю простоту и ясность отчетливых сплетений ветвей, синела таинственная, как всегда, даль, а торжественные лесистые холмы казались одушевленным пространством, ступенями к улыбке и гневу.

«Там Тушин», – подумал Рылеев, задумался и вздохнул.

Балкон

I

Я и мой друг Петлин вышли из дачного сада при свете цветных фонариков, развешанных по аллеям. Нас провожали хозяин и его сестры, две молодые девушки. Старшая, Лиза, спокойная, полная и сдержанная, остановилась у калитки и, как только мы раскланялись в последний раз, повернулась и ушла к дому, а младшая, прозванная «Козодой», выбежала на дорогу, держась за рукав Петлина; на белой кофточке темнела мечущаяся от быстрых движений коса девушки; все, что она сказала нам на прощание своим звонким, нетерпеливо срывающимся голосом, запомнилось мной в виде следующего:

– Неужели у вас не трепещет душа оттого, что затихшая ночь хороша? Я, если, знаете, выпью две рюмки, могу говорить стихами. А папа раскис. Вы бы у нас ночевать остались, где-то лягушки квакают.

Хозяин, служащий железной дороги, крикнув нам на прощанье веселым голосом радушно-го именинника: «Спокойной ночи», закрыл калитку; девушка Козодой, сказав: «Какие вы гадкие, мало сидели», – умчалась на спокойный окрик старшей сестры, а мы с Петлиным, шагая по мягкой от пыли мостовой, оглянулись еще раз на живой, среди темных куп сада, цветной огонь, прибавили шаг и вышли на полевую дорогу, соединявшую дачный поселок Ключи с поселком Вишневка, где оба мы, Петлин и я, жили на антресолях, в одной комнате.

Петлин шел с гитарой через плечо, инструментом, вызвавшим каких-нибудь час-два назад немало похвал моему другу: он недурно играл и пел. Летнее вечернее настроение подвыпивших и возбужденных праздничной суматохой людей еще держалось в душе. Петлин сказал:

– Как хорошо у них.

– Обыватели, – возразил я, стараясь отнестись скептически к тому, что мне всегда нравилось. – А в общем, ничего, занятно.

– Ты первокурсник, – сказал Петлин, – ничего ты не понимаешь. Пирог был хорош. Наливочка, приготовления мамаши, убийственно вкусная вещь. Женщины словоохотливы и кокетливы, чиновники эти, развратившись, чувствуют себя добрыми ребятами у себя дома, да и вообще все в высшей точке своего торжества. Какого же тебе рожна, братец? Может, это и глупо все, а я вот доволен.

Я не ответил. Петлин всегда увлекался всем, что попадало в тон его настроению, а летом он большей частью пребывал в том благодушном настроении, о котором мой знакомый выразил-

ся словами: «Солнышко пригревает». Ни возражать, ни поддакивать Петлину мне не хотелось, про себя я думал: а есть-таки жизнь высшего порядка, в жизни этой пирог с вязигой – то же, что секунда для вечности. Я не любил обывателей, мне казалось, что все должны быть пролетариями и постоянно соединяться.

– Ты первокурсник, – повторил Петлин, чиркая спичкой, отчего русая борода его, казалось, вспыхивала, осветив смиренное и крепкое лицо, – я вот закурил папиросу и думаю: отчего это все не курят таких папирос? Разные люди разные папиросы курят, вот и все.

Он замолчал. Пленительно-ленивая, тихая ночь раскинулась над полями: в ней не было ни звезды, ни огня, приветливый мрак затоплял землю, хмельную от пахучей росы, невидимую и таинственную; глубокое молчание неба прислушивалось к живой тишине равнин. В канавах радостным, густым басом кричали лягушки; перебивающийся, торопливый концерт их звучал беспокойной деловой жадностью. В овсах, тоскливо надрываясь, дергач и еще какие-то птицы, с правильностью Ударов маятника, бросали заглушенный травой, страстный, короткий крик – среднее между звоном и скрипом.

Мысли, далекие действительности, дачной жизни, урокам и дешевым обедам, завладели мной, я думал о фантастических силуэтах деревьев, росших кучками близ дороги, о душе птиц, о свойствах темноты, делающей взрослого человека мистиком или суевером. «Строго научное мышление необходимо для человека общественного строя», – сказал я про себя. Поднялся небольшой ветер, и капля росы, оброненная придорожным деревом, упала мне на руку.

– А знаешь, Григорий, – сказал Петлин настойчиво и серьезно, – если идти по этой меже влево, то через десять минут придешь в дачную деревушку Ясли. Пойдем туда.

– Зачем? – резонно спросил я.

– Спать не хочется. Может быть, где-нибудь в окнах есть свет. Споем, сыграем, познакомимся с какой-нибудь женщиной.

– А по шее нам не дадут?

– Чего ради? Ведь это вещь безобидная.

– Если у тебя романическое настроение, – внутреннее усмехнувшись, сказал я, – то иди один, а я пойду спать.

Петлин остановился и погладил меня по фуражке.

– Нет, я буду тебя просить, – беспокойно сказал он, – ты подумай, куда же молодому человеку, вроде тебя и меня, девать бессонное ночное время? Ведь в этом много прелести: если ты вспомнишь, что никто не поет под окнами дачных дам о любви, а они очень хотят этого, то согласишься. Выйди из рамок.

У моих рамок был плохой клей, но Петлин не знал этого. Я колебался, смущенный странностью предложения Петлина, смешившего меня, так как я заранее представлял все в комическом виде; но легкомысленное воображение вдруг показало мне, где-то у моих ног, вычитанную из романов венецианку: она стояла в выразительной позе, вздыхая и улыбаясь. Пустяков этих в соединении с двадцатью моими годами и шестью рюмками коньяка было довольно, чтобы я сделался стремительным, легковым и храбрым.

– Что же, можно и понимать, – степенно сказал я.

Петлин перескочил канаву, распугав забулькавших по воде лягушек, а я последовал за ним.

II

Подходя к Яслям, мы тщательно обсудили план действия. Я должен был относиться терпимо к возможным проявлениям неудовольствия со стороны будущих предметов наших интриг, не волноваться и следовать поведению Петлина, он же взял на себя инициативу разговоров и выступлений. За темными холмами полей, приближаясь, светились три-четыре огня; подойдя ближе, я различил за плетнем черный шест колодезного журавля, крыши и столбы огородов. Петлин, просунув меж жердей голову, нащупал веревочную у гвоздя завязку, и ворота, скрипучим циркулем черкнув дорогу, раскрылись. Неизвестно откуда взявшаяся собака злобно таякнула у самых моих икр, я дал ей пинка и, сопровождаемый громким, раздражающим лаем, нагнал Пет-

лина. Он шел, поглядывая на окна, сонные деревенские избы тянулись кривой улицей под гору, в конце улицы блеснул свет.

– Там начинаются дачи, – сказал Петлин, указывая рукой вперед. – Ясли примыкают к деревне со стороны реки. Мы еще перейдем мостик.

– Кто же будет она? – глубокомысленно спросил я. – Дар предчувствия изменяет мне. Чиновница ли с чулком, кормилица в кокошнике или шалая бабенка благородного звания, с которой нужно зевать, есть глазами и ухмыляться?

– Но ведь это все хорошо, – лениво ответил Петлин, – это забавно.

– А ведь ты женатый человек, – не удержавшись, заметил я, – скоро жена приедет.

Петлин опередил меня шага на два, помолчал и, обернувшись, тихо сказал:

– Не приедет. Мы ведь поссорились.

Дрянной настил мостика зашевелился под моими ногами. «Зачем он портит мне настроение, говоря, что поссорились, – думал я, попадая каблуками меж бревен, – вот эти неврастеники из самого веселого похождения выжмут грусть, а я человек цельный».

Мы стояли у дач. Редкие, через два-три дома, светились распахнутые настежь окна. Петлин, почувствовав в темноте мой вопросительный взгляд, сказал:

– А ну их! Пойдем дальше. Здесь меня что-то не тянет распоясываться.

Он взял гитару и тронул низко зазвеневшие струны.

Звук, напоминающий полусмех, полустон, разбежался во тьме, замер, а у окна над нашей головой появилась) фигура в капоте, высунула голову и, почесав шею, скрылась.

– Пойдем в конец, – сердито сказал Петлин, – там в случае чего и удрать можно: поле.

Снова настроенный скептически, я хотел предложить ему возвратиться домой, но угадал чувством, что Петлин не совсем спокоен, и промолчал. Он хныкал и раза два вполголоса сказал про себя несколько отрывистых тихих слов. Мы шли молча. У последнего, в левой стороне дач, отдельно стоящего небольшого дома Петлин остановился, вздрогнул, закурил, и в трепетном свете спички я увидел, что он улыбается сердитой и грустной улыбкой, смотря вниз.

III

Я не успел опомниться, как Петлин, взяв несколько резких аккордов, подошел к дому почти вплотную. Над головой нашей висел простенький маленький балкон, в раскрытых по обеим сторонам его окнах виднелся освещенный потолок комнат, спинки стульев и медленно передвигающаяся в глубине тень человека. Незапертая балконная дверь глухо поскрипывала, ветер то прикрывал, то приотворял ее, как будто за ее темными стеклами стоял кто-то в раздумье, не решаясь ни выйти, ни отойти.

Зная, что прекрасная незнакомка (если она жила здесь), выйдя хотя бы для того, чтобы прогнать нас, увидит, без сомнения, и меня, я выпрямился, отставил ногу и неловко, с замирающим сердцем, усмехнулся. Все это казалось мне глупым, я не успел еще отдать себе отчета в своих ощущениях, как в двух шагах от меня раздался полный, взволнованный голос Петлина: он запел так сильно и хорошо, что я с изумлением посмотрел на его темный силуэт, не узнавая давно знакомую песню. Мне было немного стыдно, весело и приятно. Он никогда не пел так, и я чувствовал, что во всем этом есть нечто непонятное для меня.

Я слушал. Время от времени мне казалось неловким стоять, ничего не делая, и я, заложив руки в карманы, покачивал в такт головой или жевал стебелек. Возбужденное настроение Петлина передалось мне. Я чувствовал силу томления, овладевшую ночной равниной; плавный звон струн, ритм песни и дерзость нашего поведения привели меня в полный восторг. В эти минуты мне было особенно ясно, что я молод, завидую Петлину и очень хочу выбиться.

Петлин смолк на полуслове. Я вздрогнул и отступил назад. Дверь балкона открылась, и у решетки, облокотившись на нее, появилась неясная фигура женщины. Лица ее не было видно, и я мог представить его каким угодно – бледным, розовым, черноглазым, полным, тонким, веселым и грустным. Она вышла быстро, и я смутился; мне казалось, что вот именно теперь мы и оскандалили, так как нам нечего ни сказать, ни сделать.

Вы хорошенько вникните в это, в психологию неизвестной женщины, вызванной вами на балкон среди глухой ночи с помощью музыкальных уловок. Вы не знаете, молода она или стара, будет она с вами разговаривать или станет звать сторожа. Прибавьте к этому, что у вас бессмысленно-влюбчивое, нежное настроение, что вы неопытны в сердечных делах, – и тогда вам станет понятно, почему я укрылся за спиной Петлина. К моему удивлению, женщина эта заговорила так просто, что сразу потеряла в моих глазах весь загадочный ореол. Это были серьезные, простые слова:

– Я хочу спать.

– Нет, – сказал Петлин, – вы не думаете о тех, кто не спит и не может спать.

Я понял, что начать разговор при случайном знакомстве очень легко, стоит только говорить все, что придет в голову.

– Вы не одни, – тихо и, как мне показалось, с упреком произнесла женщина.

«Это бывалая особа, – раздраженно подумал я, – уже справляется».

– Я всегда один, – грустно сказал Петлин, – но это ведь все равно.

– Я одна и буду одна, – ответил балкон. – Вы пели хорошо, но я вам не верю.

– Верьте! – вскричал Петлин с такой тоской в голосе, что я усумнился, в уме ли оба эти человека, начинающие с первых же слов.

– Спроси же, как ее зовут, – шепнул я сзади, – неудобно.

Сверху раздался негромкий смех. В недоумении я поднял голову, соображая, не над моими ли словами смеется неизвестная и, судя по голосу, молодая женщина. Мнительный по натуре, я скис, и настроение мое совершенно испортилось.

Наступило молчание. Женщина выпрямилась, отошла к двери, остановилась и, закрывая руками лицо, сказала:

– Вы даже не знаете моего имени и пришли. Прощайте. Спасибо за музыку, и спокойной ночи.

Петлин в сильном, непонятном для меня волнении бросился вперед, протянул руки и закричал:

– Тогда прощайте совсем, навсегда, я конченный человек, – спите.

Я отшатнулся. Гитара, брошенная Петлиным, пролетев мимо меня, с глухим звоном ударилась о землю, а он, не обращая на меня никакого внимания, бросился бежать со всех ног к полю и скрылся. Я остался стоять, ничего не понимая, струсивший и встревоженный, переводя взгляд с балкона в глухой мрак улицы. Подавленный происшедшим, я сделал несколько растерянных шагов в сторону поля, крича: «Петлин, ты что?» – как вдруг меня сзади с силой кто-то схватил за руку; я обернулся и увидел задыхавшуюся от поспешности женщину, она перебила меня, спрашивая нетерпеливо и быстро:

– Где он? Вы видели, куда он пошел?

Я успел лишь поднять руку, указывая направление, но ничего не сказал, так как женщина, бросив меня, проворно исчезла за поворотом дороги, и в тишине прозвучал мучительный, беспокойный крик взбалмошной женщины: «Постойте, остановитесь».

– Они с ума сошли, – сказал я, идя вслед степенными, большими шагами и вытирая вспотевший лоб, – вот сумасшедшая любовь с первого взгляда в темноте, когда одной хочется спать, другому петь, а третьему, то есть мне, кланяться и благодарить.

IV

Закричав наконец сам во все горло: «Слушайте, сударыня! Эй ты, Петлин!» – я подхватил гитару и побежал со всех ног в ту сторону, откуда из тишины сонного деревенского мрака слышался расстроенному моему воображению неслышный уже бег женщины.

Разгоряченный и вспотевший, я остановился только тогда, когда, устав звать и кричать, почувствовал настоящее озлобление против Петлина и неизвестной женщины. Сев в траву, я закурил дрожащими от усталости руками последнюю, разорванную папиросу; я пал духом. В этот момент мне были противны все истории, начиная от самых великих до повседневных шашней, я

чувствовал, что в них кроется масса неожиданностей и неудобств, разрушающих спокойное течение душевной жизни. В то же время я до боли в висках ломал голову, пытаюсь определить, что же произошло с Петлиным и почему необъяснимая стремительность женщины так волнует меня самого, заставляя думать о ней больше, чем мне хотелось.

Папироса потухла. Поднявшись на разбитых ногах, я сумрачно осмотрелся. Неподалеку, так что видны были отдельные дымные струи света, горел костер. Думая, что у огня мне будет легко узнать нужное направление к поселку Вишневка, то есть к дому, я подошел к костру и, остолбеневав, ревниво расхохотался: в блеске потерянного среди черной польской ночи маленького огня сидели, обнявшись, Петлин и ненавистная женщина; он махал над ее лицом веткой, сгоняя комаров, слушал ее торопливый шепот и улыбался.

Мне было неловко подойти к ним. Чудесная тайна интересного и быстрого знакомства осталась для меня тайной до следующего утра, когда, встав поздно, так как не сразу попал домой, я увидел Петлина. Он сидел над стаканом чая, звенел ложечкой и испытующе весело смотрел на меня.

– Григорий, – сказал он, – ты не удивляйся, что я тебя покинул. Это моя жена, мы с ней поссорились было, а вчера помирились.

Я молчал, так как менее всего ожидал такого простого и справедливого объяснения.

– Я не сказал тебе, в чем дело, – продолжал Петлин, – только потому, что, если бы я ушел без нее, мне не пришлось бы избегать насмешливого твоего взгляда. Ты еще дуешься.

– Нет, – сказал я, сбрасывая одеяло и приняв вид ничему не удивляющегося человека, – не то, а я посторонний, незачем было меня тащить.

– О, милый, это стратегия, – серьезно возразил Петлин, – в присутствии постороннего женщины сдержаннее, без сцен, а любовь все-таки налицо.

Он задумался, улыбнулся, а я, чтобы чем-нибудь сорвать раздражение, бросил в него гребенкой, но не попал и испортил себе имущества на тридцать копеек, так как гребешок треснул.

Всадник без головы (Рукопись XVIII столетия)

I

Немножко истории

Все знают великого полководца Ганса Пихгольца. Я узнал о нем лишь на одиннадцатом году. Его подвиги вскружили мне голову. Ганс Пихголец воевал тридцать лет со всеми государствами от Апеннин до страшного, каторжного Урала и всех победил. И за это ему поставили на площади Трубадуров памятник из настоящего каррарского мрамора с небольшими прожилками. Великий, не превзойденный никем Ганс сидит верхом на коне, держа в одной руке меч, в другой – копьё, а за спиной у него висит мушкетон. Мальборук – мальчишка перед Гансом Пихгольцем.

Таково было общее мнение. Таково было и мое мнение, когда я, двенадцати лет от роду, выстругал деревянный меч и отправился на городской выгон покорять дерзкий чертополох. Ослы страшно ревели, так как это их любимое кушанье. Я выкосил чертополох от каменоломни до старого крепостного вала и очень устал.

На тринадцатом году меня, Валентина Муттеркинда, отдали в цех поваров. Я делал сосиски и шнабель-клепс и колбасу с горошком, и все это было очень вкусно, но скучно. Я делал также соус из лимонов с капорцами и соус из растертых налимьих печенок. Наконец, я изобрел свой собственный соус «Муттеркинд», и все очень гордились в цехе, называя меня будущим Гуттенбергом, а фатер дал гульден и старую трубку.

А Ганс Пихголец, стоя на площади, посмеивался и величался.

Я ненавидел его, завидовал ему, и он не давал мне спать. Я хотел сам быть таким же великим полководцем, но к этому не было никакого уважительного повода. Фатерланд дремал под колпаком домашнего очага, пуская вместо военных кличей клубы табачного дыма. Все надежды

свои я возлагал на римского папу, но папа в то время был вялый и неспособный и под подушкой держал Лютера. Тайно я написал ему донос о ереси на юге Ломбардии, угрожая пасторами, с целью вызвать религиозную драку, но тихий папа к тому времени помер, а новый оказался самым скверным католиком и, смею думать, был очень испуган, прочтя письмо, так как ничего не ответил.

Содрогаясь о славе, я в один прекрасный день швырнул в угол нож, которым резал гусей, и отправился к начальнику стражи. Проходя мимо полицейской патрульной Ганса Пихгольца, я, подняв высоко голову, сказал:

– Тридцать лет, говоришь, воевал? Я буду воевать сто тридцать лет и три года.

II Любовь

Меня приняли, дали мне лошадь, латы, каску, набедренники, палаш и ботфорты. Мы дежурили от шести до двенадцати, объезжая город и наказывая мошенников. Когда я ехал, звенело все: набедренники, латы, палаш и каска, а шпоры жужжали, как майский жук. У меня огрубел голос, выросли усы, и я очень гордился своей службой, думая, что теперь не отличить меня от Пихгольца: он на коне – и я на коне; он в ботфортах – и я в ботфортах. Проезжая мимо Пихгольца, я лениво крутил усы.

Природа позвала меня к своему делу, и я влюбился. Поэтическая дочь трактирщика жила за городскими воротами, ее звали Амалия, ей было семнадцать лет. Воздушная фигурка ее была вполне женственна, а я рядом с ней казался могучим дубом. У нее были очень строгие, нравственные родители, поэтому мы воровали свои невинные поцелуи в ближайших рощах. Разврат к тому времени достиг в городе неслыханных пределов, но Амалия ни разу еще не села на колени ни к кому из гостей своего трактира, хотя ее усердно щипали: бургомистр, герр Франц-фон-Кухен, герр Карл-фон-Шванциг, Эзельсон и наши солдаты. Это была малютка, весьма чисто-плотная и невинная.

В воскресенье я назначил свидание дорогой Амалии около Цукервальда, большой рощи. Было десять часов, все спали, и ни один огонь не светился на улицах города Тусенбурга.

Отличаясь всегда красивой посадкой, я представлял чудную картину при свете полной луны, сияющей над городской ратушей. Черные в белом свете тени толпились на мостовой, когда я подъехал к воротам и приказал отпереть их именем городской стражи. Но лунный свет, как и пиво, действовали на меня отменно хорошо и полезно, и я был пьян во всех смыслах; от пива, луны и любви, так как выпил на пивопое изрядно. Подбоченясь, проехал я в Роттердамские ворота и пустился по пустынной дороге.

Приближаясь к назначенному месту свидания, я ощутил сильное сердцебиение; лев любви сидел в моем сердце и царапал его когтями от нетерпения. У разветвления дороги я задержал лошадь и крикнул: «Амалия!» Роща безмолвствовала. Я повернул коня по ветру и снова крикнул: «Амалия, ягодка!» Эхо подхватило мои слова и грустно умолкло. Я подождал ровно столько, сколько нужно, для того чтобы шалунья, если она здесь, кончила свои шутки, и нежно воззвал: «Амалия!»

В ответ мне захохотал филин глухим, как в трубку пущенным, хохотом и полетел, шарахаясь среди ветвей, к темным трущобам. До сих пор уверен я, что это был дьявол, враг бога и человека.

Я натянул удила, конь заржал, поднялся на дыбы и, фыркая от тяжелой моей руки, осел на задние ноги. – «Нет, ты не обманула, Амалия, чистая голубка, – прошептал я в порыве грустного умиления, – но родители подкараулили тебя у дверей и молча схватили за руки. Ты вернулась, обливаясь слезами, – продолжал я, – но мы завтра увидимся».

Успокоив, таким образом, взволнованную свою кровь и отстранив требования природы, я, Валентин Муттеркинд, собирался уже вернуться в казарму, как вдруг слабый, еле заметный свет в глубине рощи приковал мое внимание к необъяснимости своего появления.

III Беседа

Знаменитый полководец Пихголец сказал однажды, в пылу битвы: «Терпение, терпение и терпение». Ненавидя его, но соглашаясь с гениальным умом, я слез, обмотал копыта лошади мягкой травой и двинулся, ведя ее в поводу, на озаренный уголок мрака. Насколько от меня зависело, – сучья и кустарники не трещали. Так я продвинулся вперед сажен на пятьдесят, пока не был остановлен поистине курьезнейшим зрелищем. Аккуратный в силу рождения, я расскажу по порядку.

Прямо на земле, в шагах десяти от меня, горели, зажженные на все свечи, два серебряных канделябра, очень хорошей, тонкой и художественной работы. Перед ними, куря огромную трубку, сидел старик в шляпе с пером, желтом камзоле и сапогах из красной кожи. Сзади его и по сторонам лежало множество различных вещей; тут были рапиры с золотыми насечками, мандолины, арфы, кубки, серебряные кувшины, ковры, скатанные в трубку, атласные и бархатные подушки, большие, неизвестно набитые чем узлы и множество дорогих костюмов, сваленных в кучу. Старик имел вид почтенный и грустный; он тяжело вздыхал, осматривался по сторонам и кашлял. – «Черт побери запоздавшую телегу, – хрипло пробормотал он, – этот балбес испортит мне больше крови, чем ее есть в этих старых жилах», – и он хлопнул себя по шее.

Пылая жаром нестерпимого любопытства, я вскочил на захрапевшую лошадь и, подсакавав к старику, вскричал: «Почтенный отец, что заставляет ваши седины ночевать под открытым небом?» Человек этот, однако, на мой добродушный вопрос принял меня, вероятно, за вора или разбойника, так как неожиданно схватил пистолет, позеленел и согнулся. «Не бойтесь, – горько рассмеявшись, сказал я, – я призван богом и начальством защищать мирных людей». Он, прищурившись, долго смотрел на меня и опустил пистолет. Мое открытое, честное и мужественное лицо рассеяло его опасения.

– Да это Муттеркинд, сын Муттеркинда? – вскричал он, поднимая один канделябр для лучшего рассмотрения.

– Откуда вы меня знаете? – спросил я, удивленный, но и польщенный.

– Все знают, – загадочно произнес старик. – Не спрашивай, молодой человек, о том, что тебе самому хорошо известно. Величие души трудно спрятать, все знают о твоих великих мечтах и грандиозных замыслах.

Я покраснел и, хотя продолжал удивляться проницательности этого человека, однако втайне был с ним согласен.

– Вот, – сказал он, показывая на разбросанные кругом вещи, и зарыдал. Не зная, чем помочь его горю, я смиренно сидел в седле. Скоро перестав плакать, и даже быстрее, чем это возможно при судорожных рыданиях, старик продолжал: – Вот что произошло со мной, Адольфом-фон-Готлибмухеном. Я жил в загородном доме Карлуши Клейнферминфеля, что в полуверсте отсюда. Клейнферминфель и я поспорили о Гансе Пихгольце. «Великий полководец Пихголец», – сказал Карлуша и ударил кулаком по столу. – «Дряннейшенький полководишка», – скромно возразил я, но не ударил кулаком по столу, а тихо смеялся, и смех мой дошел до сердца Клейнферминфеля. – «Как, – вне себя вскричал он, – вы смеете?! Пихголец очень великий полководец», – и он снова ударил кулаком по столу так, что я рассердился. – «Наидрянне-дрянные-дрянные-дрянейшенький полководчишка», – закричал я и ударил кулаком по Клейнферминфелю. Мы покатались на пол. Тогда я встал, выплюнул два зуба и пошел в город, где остался до ночи, чтобы насолить Клейнферминфелю. Ты давно из города, юноша?

– Едва ли будет полтора часа, – поспешно ответил я, желая выслушать конец дела, поведение в коем Готлибмухена было весьма справедливо.

– Я час тому назад, – сказал Готлибмухен, смотря на меня во все глаза, – сорвал голову Пихгольцу.

– Так, так-так-так-так-так-так-так!

– Да. На площади никого не было. Я взлез на каменного коня, сел верхом сзади Ганса Пихгольца и отбил ему голову тремя ударами молотка и бросил эту жалкую добычу в мусорный

ящик.

Не удержавшись, я радостно захохотал, представляя себе зазнавшегося Ганса без головы...

– Голубчик, – сказал я. – Голубчик!..

– А?

– Он ведь, Ганс...

– Угу.

– Не совсем...

– А?

– Не совсем... великий... и...

– Он просто ничтожество, – сказал Готлибмухен. – Так ведь и есть. Стой, – думал я, – запоешь ты, Клейнферминфель, когда узнаешь, что Гансу отбили голову. Я вернулся и увидел, что вещи мои выброшены во двор; этот негодяй, почитатель Ганса Пихгольца...

– Как! – вскричал я, хватаясь за эфес. – Он смел...

– Ты видишь. Я взял телегу и, навалив, как попало, все свое имущество, приехал сюда, под кров неба, делить горькую участь бродяг. Но ты не беспокойся, храбрый и добрый юноша, – прибавил он, заметив, что я очень взволнован, – я переночую на этих подушках, завернувшись в ковры, а перед сном почитаю библию. Добрый крестьянин придет за мной утром и отвезет меня в город.

– Нет, – возразил я, – я отправлюсь за телегой и перевезу вас сейчас.

– Хорошо, – сказал он, подумав, – но с условием, что ты возьмешь от меня пять золотых монет.

Он вынул их так охотно, что я не стал спорить, хотя и очень удивился его щедрости. Отныне Пихголец бессилен был давить меня своей славой – у него не было головы. Я рвался в город, чтобы взглянуть, гордо поднять свою голову.

– Жду тебя, сын мой, – кротко сказал старик и прибавил: – седины старости и кудри юности – надежда отечества.

Стиснув в порыве гордости зубы, я взвился соколом и понесся галопом в город.

IV

Венец несчастья

Я объехал четыре раза статую Ганса Пихгольца. Голова у него тут как тут. Возможно, что это лишь призрак несуществующей головы. Я слез с коня, влез на Пихгольца, облизал и обнюхал голову. Твердая, каменная голова. Ничего нельзя возразить. Я вспотел. Мне показалось, что Ганс повернул голову и захохотал каменным смехом. Если я поеду уличать во лжи Готлибмухена, он скажет, что я дурак, а я, вот именно, не дурак. Я решил оставить его в лесу с его канделябрами и коврами. Испуганный, усталый и злой, не удовлетворив к тому же требований природы, я вернулся в казармы и лег спать. Всю ночь скакал надо мной Ганс Пихголец, держа в руках оскалившую зубы голову.

Утром позвал нас начальник стражи и громко топал ногами и велел скорее собираться в загородный дом Клейнферминфеля и сказал, что его ограбили. Он прибавил еще, что в Клейнферминфеле глубоко сидят четыре пули и что, если их вытащить, ничего от этого не изменится.

Я был женой Лота (Готлибмухен! Молчу!). Вечером, когда я пошел удовлетворять требования природы и сговориться насчет свидания, я увидел небесную голубку Амалию на коленях у герр фон-Кухена, и она обнимала его и герр фон-Шванцига, а Шванциг щипал ее.

– Ах-х!

Глухая тропа

I

Маленькая экспедиция, одна из тех, о которых не принято упоминать в печати, даже провинциальной, делала лесной переход, направляясь к западу. Кем была снаряжена и отправлена экспедиция, – геологическим комитетом, лесным управлением или же частным лицом для одному лишь ему известных целей, – неизвестно. Экспедиция, состоявшая из четырех человек, спешила к узкой, глубокой и быстрой лесной реке. Был конец июля, время, когда бледные, как неспавший больной, ночи севера делаются темнее, погружая леса и землю – от двенадцати до двух – в полную темноту. Четыре человека спешили до наступления ночи попасть к пароходу, – маленькому, буксирующему плоты, судну; речная вода спала, и это был тот самый последний рейс, опоздать к которому равнялось целому месяцу странствования на убогом плоту, простуде и голодовкам. Пароход должен был отвезти одичавших за лето, отрастивших бороды и ногти людей – в большой, промышленный город, где есть мыло, парикмахерские, бани и все необходимое для удовлетворения культурных привычек – второй природы человека. Кроме того, путешественников с весьма понятным нетерпением ждали родственники.

Лес, – тихий, как все серьезные, большие леса, с нескончаемыми озерами и ручьями, давно уже приучил участников экспедиции к замкнутости и сосредоточенному молчанию. Шли они по узкой, полузаросшей брусникой и папоротником, тропке, протоптанной линиями глухарями, зайцами и охотниками. По манере нести ружье угадывался, отчасти, характер каждого. Штуцер бельгийской фирмы висел на прочном ремне за спиной Афанасьева, не болтаясь, словно прибитый гвоздями; Благодатский нес винтовку впереди себя, в позе человека, всегда готового выстрелить, – это был самозабвенный охотник и любитель природы; скептик Мордкин тащил шомпольное ружье под мышкой, путаясь стволом в кустарнике; последний из четырех, с особенным, раз навсегда застывшим в лице выражением спохватившегося на полуслове человека, – не давал своему оружию покоя: он то взводил курок, то вновь опускал его, вскидывал ружье на плечо, тащил за ремень, перекладывал из левой руки в правую и наоборот; звали его Гадаутов. Он шел сзади всех, насвистывал и курил.

Дремучая тропа бросалась из стороны в сторону, местами совершенно исчезая под слоем валежника, огибая поляну или ныряя в непроходимый бурелом, где в крошечных лучистых просветах розовели кисти смородины и пахло грибом. Лиственница, ель, пихта, красные сосны, а в мокрых местах – тальник, – шли грудью навстречу; под ногами, цепляясь за сапоги, вздрагивали и ломались сучья; гнилые пни предательски выдерживали упор ноги и рушились в следующий момент; человек падал.

Когда свечерело и все, основательно избив ноги, почувствовали, что усталость переходит в изнеможение, – впереди, меж тонкими стволами елей, показалась светлая редина; глухой ропот невидимой реки хлынул в сердца приливом бодрости и успокоением. Первым на берег вышел Афанасьев; бросив короткий взгляд вперед себя, как бы закрепляя этим пройденное расстояние, он обернулся и прикрикнул отставшим товарищам:

– Берем влево на пароход!

Все четверо, перед тем как тронуться дальше, остановились на зыбком дерне изрытого корнями обрыва. Струистая, черная от глубины русла и хмурого неба поверхность дикой реки казалась мглой трещины: гоняясь за мошкаррой, плавали хариусы; тысячетная жуть трущоб покровительственно внимала человеческому дыханию. Ивняк, закрывая отмели, теснился к реке; он напоминал груды зеленых шапок, разбросанных лесовиками в жаркий день. Противоположный, разрушенный водой берег был сплошь усеян подмытыми, падающими, как смятая трава, чахлыми, тонкими стволами.

– Никогда больше не буду курить полукрупку, – сказал Гадаутов. – Сале мезон, апизодон, гвандилье; варварский табак, снадобье дикарей. Дома куплю полфунта за четыре рубля. Барбезон.

Его особенностью была привычка произносить с окончанием на французский лад бессмысленные, выдуманные им самим слова, мешая сюда кое-что из иностранных словарей, засевшее в памяти; вместе это напоминало сонный бред француза в России.

– Прекрасно, – отвечая на свои мысли, сказал Мордкин. – Поживем, увидим.

Постояв, все двинулись берегом. Справа, неожиданно показываясь и так же неожиданно

исчезая, прорывался сквозь ветки сумеречный блеск реки; изгибаясь, крутясь, делая петли, тропинка следовала ее течению. Временами на ягоднике, треща жирными крыльями, взлетала тетерка, беспокойно кричали дрозды, затем снова наступала тишина, баюкающая и тревожная. Благодатский увидел белку; она скользила по стволу сосны винтом, показывая одну мордочку. Когда прошел еще один короткий лесной час, и все кругом, затканное дымом сумерек, стало неясным, растворяющимся в преддверии тьмы, и сильнее запела мошкара, и небо опустилось ниже, Афанасьев остановился. Наткнувшись на него, перестали шагать Благодатский, Мордкин и Гадаутов, Афанасьев сказал:

– Мы заблудились.

II

Он сказал это не возвышая и не понижая голоса, коротко, словно отрубил. Тотчас же все и сам он испытали ощущение особого рода – среднее между злобой и головокружением. Конец пути, представляемый до сих пор где-то поблизости, вдруг перестал даже существовать, исчез; отбежал назад, в сторону и исчез. После недолгого молчания Мордкин сказал:

– Так. Излишняя самонадеянность к этому и приводит. Это все левые Афанасьевские тропинки.

– «Левые» тропинки, – возразил Афанасьев, резко поворачиваясь к Мордкину. – открыты не мною. Маршрут записан и вам известен. От Кушельских озер по езженной дороге четыре версты, тропинками же – семь поворотов влево, один направо, и еще один влево, к реке. Чего же вы хотите?

– Это значит, что мы где-то сбились, – авторитетно заявил Благодатский. – А где же пароход?

– Черт скушал, – сказал Гадаутов. – Может быть, позади, может быть, впереди. Мы шли верно, но где-то один из семи прозевали, пошли прямо. Куда мы пришли? Я не знаю – Пушкин знает! Пойдем, как шли, делать нечего. Нет, погодите, – крикнул он вдруг и покраснел от волнения, – ей-богу, это место я знаю. Ходил в прошлом году с Зайцевым. Видите? Четыре дерева повалились к воде? Видите?

– Да, – сказал хор.

– Карамба. Оппигуа. Недалеко, я вам говорю, недалеко, даже совсем близко. – Уверая, Гадаутов резко жестикулировал. – Отсюда, прямо, как шли, еще с версту, – не больше. Я помню.

Он выдержал три долгих, рассматривающих его в упор, взгляда и улыбнулся. Он верил себе. Афанасьев покачал головой и пошел быстро, не желая терять времени. Гадаутов шел сзади, жадно и цепко осматриваясь. Место это казалось ему одновременно знакомым и чуждым. Глинистая отмель, четыре склоненные к воде дерева... Он рылся в памяти. Миллионное царство лесных примет, разбросанных в дебрях, осадило взвихренную его память ясно увиденными корягами, ямами, плесами, гарями, вырубками, остожьями, дуплами: собранные все вместе, в ужающем изобилии своем, они составили бы новый сплошной лес, полный тревожного однообразия.

Черная вода справа открывалась и отходила, поблескивала и пряталась за хвойной стеной; от ее обрывистых берегов и мрачных стрежей веяло скрытой угрозой. Через несколько минут Гадаутов снова увидел четыре тонкие ели с вывернутыми корнями – двойник оставленной позади приметы. А далее, как бы издеваясь, потянулся берег, сплошь усыпанный буреломом; подкошенные водой и ветром стволы нагибались подобно огромным прутьям, и трудно было отличить в этих местах один аршин берега от соседнего с ним аршина – все было похоже, дико и зелено.

– Куда мы идем? – спросил Мордкин, оборачивая к Гадаутову лицо, вымазанное грязным потом пополам с кровью раздавленных комаров. – Парохода нет и не будет! – Он взмахнул ружьем и едва не швырнул его на землю. – Я ложусь спать и не тронусь с места. Я более не могу идти, у меня одышка! Как хотите...

Излив свое раздражение, он хлопнул рукой по вспухшей от укусов шее и, шатаясь на дрожащих ногах, тихо пошел вперед. Гадаутов, не отвечая Мордкину, исчез где-то в стороне и,

наполняя лес медвежьим треском, вернулся к товарищам. Лицо его дышало светлой уверенностью.

– Если бы не моя память, – сказал он, тоскливо чувствуя, что лжет или себе, или другим, – то, клянусь мозолями моих ног, не знаю, что стали бы делать вы. Поперечный корень под моими ногами, выгнутый кренделем, то же, что пароход. Это место я помню. Мы скоро придем.

Искренний его тон смысл расцветающие на бледных лицах кривые улыбки. Ему никто не ответил, никто не усомнился в его словах: верить было необходимо, сомнение не имело смысла. Глухие сумерки подгоняли людей; обваренные распухшие ноги ступали как попало, вихляясь в корнях; угорелые от страха и изнурения, четыре человека шли версту за верстой, не замечая пройденного; каждое усилие тела напоминало о себе отчетливой болью, острой, как тиканье часов в темной комнате.

– Пришли, – сонным голосом произнес Мордкин и отстал, поравнявшись с Гадаутовым. Гадаутов прошел мимо, то, чувствуя на спине тяжесть, отскочил в сторону, а Мордкин скользнул по его плечу и плашмя упал в кусты, согнувшись, как белье на веревке; это был обморок.

– Эй. – сказал Гадаутов, чуть не плача от утомления и испуга, – остановитесь, бараны, потеряем полчаса на медицину и милосердие! Он упал сзади меня. Анафема!

III

Идти за водой не было ни у кого сил. Афанасьев, положив голову Мордкина себе на колени, бесчеловечно тер ему уши; Мордкин вздохнул, сел, помотал головой, всхлипнул нервным смешком, встал и пошел. Через пять шагов Афанасьев схватил его за руку, взял за плечи и повернул в другую сторону. Очнувшись, Мордкин пошел назад.

– Скоро придем, – тихо сказал Гадаутов. – Темно; это пустяки; держись берегом у воды. Вы знаете, чем я руководствуюсь? Рядом стоит двойной пенъ, я шел тут в прошлом году.

Все спуталось в его голове. Иногда казалось ему, что он спит и сквозь сон, стряхивая оцепенение, узнает места, но тут же гасла слабая вера, и отчаяние зажимало сердце в кулак, наполняя виски шумом торопливого пульса; однообразие вечернего леса давило суровой новизной, чуждой давним воспоминаниям. Время от времени, различив в чаще прихотливый изгиб дерева или очень глубокую мургу, – он как будто припоминал их, думал о них мучительно, сомневаясь, убеждаясь, воспаляясь уверенностью и сомневаясь опять. На ходу, задыхаясь и выплевывая лезущих в рот мошек, он устало твердил:

– Как я вам говорил. Вот бревно в иле. Осталось, я думаю, не совсем много. Скоро придем.

Один раз в ответ на это раздался истерический взрыв ругательств. Все шли быстро и молча; срываясь, шаг переходил в бег, и за тем, кто бежал, пускались бежать все, не рассуждая и не останавливаясь. Слепое стремление вперед, как попало и куда попало, было для них единственным, самым надежным шансом. Сознание вытеснялось страхом, воля – инстинктом, мысль – лесом; словесные толчки Гадаутова напоминали удар кнута; смысл его восклицаний отзывался в измученных сердцах таинственным словом: вот-вот, здесь-здесь, сейчас-сейчас, там-там.

Никто не заметил, как и когда исчез свет. Мрак медленно разбил его на ничтожные, слабые клочки, отсветы, иглы лучей, пятна, теплящиеся верхушки деревьев, убивая, одного за другим, светлых солдат Дня. Мгла осела в лесную гладь, сплавила в яркую черноту краски и линии, ослепила глаза, гукнула филином и притихла.

Идти так, как шли эти люди дальше, можно только раз в жизни. Разбитый, истерзанный, с пылающей головой и пересохшим горлом, двигался человек о четырех головах, на четвереньках, ползком, срываясь, тыкаясь лицом в жидкую глину берега, прыгая, давя кусты, ломая плечом и грудью невидимые препятствия, человек этот, лишенный человеческих мыслей, притиснутый тоской и отчаянием, тащил свое изодранное тело у самой воды еще около часа. Сонное журчание реки перебил, голос:

– Кажется, сейчас мы будем на месте. Еще немного, еще!

Это сказал Гадаутов, усиливаясь сделать еще шаг. Руки и колени не повиновались ему. Затравленный тьмой, он упал, сунулся подбородком в землю и застонал.

В этот момент, оглушая четырехголового человека потрясающим холодом неожиданности, нечеловеческий, пронзительный вой бросился от земли к небу, рванул тьму, перешел в певучий рев, ухнул долгим эхом и смолк.

Крики с берега, ответившие гудку парохода, превзошли его силой сумасшедшей радости и жутким, хриплым, родственным голосом зверей. Падая на мостки, но пытаясь еще пустить в ход подгибающиеся колени, Гадаутов сказал:

– Я говорил. И никогда не обманываю. Же пруга д'аржан.

Табу

I

Положение писателя, не умеющего или не способного угождать людям, должно внушать сожаление. У такого художника выбор тем несколько ограничен, так как настроенный антихудожественно к обычным проявлениям жизни – болезни, радости, горю, любви, труду, страстям и так называемым «достижениям» – человек становится более противосоциальным явлением, чем профессиональный убийца. Не может быть ничего оскорбительнее для читателя, как равнодушие к его нуждам: это понятно; вместе с тем писатель антисоциальный не может принудить себя к гуманистическому изображению быта; то, что он пишет, замкнуто само в себе, подобно ударам колокола в глухой пещере. Однако известен случай, когда именно такой писатель стал популярен, – я привожу здесь его собственный рассказ об этом странном, если не более, происшествии.

– Мы отплыли, – сказал мне Агриппа, – отплыли из Калькутты с самыми зловещими предзнаменованиями. Во-первых, с парохода бежали крысы. Во-вторых, на очередной пассажирский рейс в разгаре сезона прибыло так мало пассажиров, что две трети кают остались пустыми. В-третьих, механик, накануне отплытия, видел себя во сне ползающим на четвереньках перед Нептуном; морской бог, по словам механика, яростно грыз свой трезубец. «Факты и комментарии!» Фламарион с достоверностью утверждает, что на кораблях, обреченных катастрофе, пассажиров всегда меньше против обыкновенного; знаменитый астроном приписывает это неосознанному предчувствию, однако с большей уверенностью можно наградить странным предчувствием крыс. Во всяком случае, я, как человек научно суеверный, посетил нотариуса и общество страхования жизни и – вы увидите далее – поступил правильно, так как могло быть хуже, чем вышло.

На восьмой день нашего плавания мы потерпели классическое кораблекрушение, по всем правилам этого печального дела. Схематически можно выразить это так: туман, риф, пробоина, град проклятий, охрипшие голоса, шлюпки и неизменный, одиноко тонущий капитан наш не составлял исключения. Все это произошло на рассвете. Настроенный злорадно по отношению к обществу страхования жизни, я, тем не менее, не захотел увеличить своей особой список ужасных премий и, насколько хватило соображения, стал измышлять средства.

Само собой понятно, что мне, при моей медленности и неповоротливости, не удалось пристроиться ни в одну шлюпку. Закон человеколюбия превратился в грубую солдатскую дисциплину, прозевавший команду терял связь с ходом массового спасения. Да, вышло так, что я остался на палубе, и, по правде сказать, у меня не хватило духу прыгнуть в последнюю, переполненную лодку, – может быть, я потопил бы ее своей тяжестью. Капитан, честный, как большинство из них, стоял у трубы, скрестив на груди руки. Лицо бедного малого напоминало взволнованное море, ему, конечно, страшно хотелось жить, но положение обязывает – приходилось идти ко дну. Однако, постояв еще минуту-другую и, видимо, волнуясь все более, капитан, бросив на меня взгляд, выражавший некоторое смущение, бултыхнулся в воду и поплыл к ближайшей шлюпке, где его, мокрого, втащили на борт, а я, охваченный непонятным равнодушием к жизни, уселся на его месте, рассматривая в бинокль переполненные людьми лодки, которые даже при несильном волнении неизбежно должны были пойти ко дну. Таким образом, у меня было сомнительное утешение – потонуть с комфортом и на просторе, тогда как мнимоспасшимся

предстояло в бурную погоду пойти ко дну ужасной гирляндой, хватаясь друг за друга, как за соломинку.

Пароход, раскачиваясь от перемещавшейся в трюмах воды, погружался медленно и безостановочно. Я, вытащив карманную библию, читал книгу премудрости Соломоновой; не будучи человеком религиозным, я, тем не менее, из понятной хитрости делал это на всякий случай. Закрыв библию, я стал думать о смерти, но, к удивлению своему, так вяло, что оставил этот предмет и занялся рассматриванием океана. Очень далеко, на линия горизонта, белел парус. Ранее его не было, из чего я без труда заключил, что судно не удаляется, а приближается, но трудно было сказать, сколько времени пароход останется над поверхностью воды. Думая, что это может случиться неожиданно и не желая попасть в могущую образоваться воронку, я сам бросился в воду, отплыв шагов на сто; пробковые нагрудник и пояс хорошо держали меня. В таком положении я стал ожидать спасителя, оказавшегося туземным рыбацким судном, и через час был принят на борт. Тем временем пароход исчез в глубине океана, образовав, как я и ожидал, шумный водоворот, родивший множество мелких волчков-воронок, разбежавшихся под синим утренним небом с тихими всплесками.

II

Законы гостеприимства вынужденного – не совсем то же, что званный вечер; однако я не могу сказать, что чернокожие Аполлоны, провонявшие рыбой и чесноком, держали меня в черном теле. Попытки разумных, взаимных объяснений с помощью жестикуляции и щелканья языком не привели ни к чему – мы так и не разговорились, после чего, будучи оставлен в покое и утолив голод вареной рыбой, я крепко уснул. При слабом, но ровном ветре судно быстро скользило вперед, держась одного курса; шум рассекаемой форштевнем воды, глухие голоса дикарей, нестройные звуки дикого инструмента вроде волынки и скрип реи скоро усыпили меня. Я лежал в кормовой части, среди рыбьих костей, неубранных деревянных чашек и тряпок – рядом с моим лицом топали босые ноги рулевого, а надо мной двигался румпель. Я заснул, полный странного равнодушия к дальнейшей своей судьбе и перенесся в страну видений, полных грозной таинственности, по пробуждении же не мог ничего вспомнить. Когда я проснулся, была ночь, передо мной на корточках сидели два чернокожих и рассматривали меня с большим увлечением. Один, ударив меня по плечу, сказал: «Като-то... като» – и засмеялся. По тону голоса я заключил, что ко мне относятся дружелюбно. Скоро подошли и другие, и снова завязался трудный разговор на двух языках; однако, желая выяснить направление и цель нашего путешествия, я добился того, что один из дикарей, показав на юг, вытянул три пальца и пригнул их, затем, очертив рукой в воздухе окружность, сказал: «Орпозо», что, по-видимому, было названием местности. Из всего этого я пришел к выводу, что судно плывет на юг, и через три дня будет в «Орпозо» – должно быть, какой-то остров.

Я не буду описывать однообразия нашего плавания, так как при одном воспоминании о духоте зноя, рыбной вони и непобедимой от безделья сонливости мне становится скучно. Разумеется, во всем этом есть много интересных бытовых подробностей, но, не состоя этнографом, оставляю быт дикарей перу неутомимых исследователей, знающих это дело. Я же, будучи от природы не склонен к изображению домашней утвари и обычаев, перейду к главному. Утром третьего после моего спасения дня мы, держась вблизи высокого неизвестного для меня берега, обогнули его в южной части, лавируя среди островков, так круто и живописно изрезанных маленькими лагунами, что я, по неопытности, постоянно принимал устья их за целую сеть проливов и убеждался в ошибке, лишь заглянув в сияющую округлость их, полную скал и блеска. Сохранив и высушив свой костюм, я представлял, стоя с заложенными в карманы руками, странное среди голых и черных тел зрелище; по контрасту это доставляло мне известное невинное удовольствие. Насвистывая «Сон негра», я любовался царством первосказанной красоты, любимейшей матери людей – природы, исходящей лучезарными улыбками океана, серебристыми, лиловыми оттенками берегов, дивной прозрачностью воды, беспричинной, полной радости света, обмывающего в зеленоватой глубине воли плавники дельфинов, раковины, орхидеи и камни, от-

полированные столетиями столетий. В это время, вылетая на длинных веслах из дремотных лагун, несколько десятков пирог, полных вооруженными туземцами, образовали сомкнувшийся полукруг, и я услышал непередаваемый вой, способный внушить навсегда отвращение к человеческому голосу. Хозяева мои бросились к парусам, но было уже поздно, судно хоть и имело сзади открытый путь, неизбежно выйдя из ветра, остановилось бы в галсе, впереди же плотной, щетинистой от копий и щитов цепью надвигались враги.

Я не успел опомниться, как несколько стрел, пробив паруса, закачались в них, подобно веткам под севшими на них птицами. Вытащив небольшой карманный револьвер, я схватил свой пробковый пояс и, прикрываясь им, как щитом, пустил три пули в стоявших на ближайшей пироге; двое, пронзительно заорав, нырнули в воду. Хозяева мои спешно вооружались ножами, палицами и копьями. Испустив столь же пронзительный гогочущий вопль, как и нападающие, они стали у бортов, размахивая над головой лезвиями, и, по тусклому свету загоревшихся бешенством глаз, я увидел, что кому-то придется круто.

Я стоял у мачты, приберегая пули на крайний случай. Враги, раскачивая судне из стороны в сторону, висли на бортах, срывались, вскакивали на палубу, убивали и падали сами с раскрытыми черепами. К ногам моим подкатилась, тяжело стукнув, ловко отрубленная голова. Держа револьвер в левой руке, а в правой толстый деревянный рычаг, я бил этим незамысловатым орудием всех подступавших близко, и с такой яростью, что обратил на себя исключительное внимание. Меня обступили со всех сторон, стараясь полоснуть на смерть, однако уроки отставного кавалериста Геймана не прошли даром, и я увесисто попадал в челюсти концом рычага, действуя тычком и наотмашь, пока не поскользнулся в крови, после чего упал на колени; рычаг был вырван из моих рук, а я, взмахнув револьвером, рассеял все остальные заряды в костлявые тела дикарей. На мгновение я увидел свободное пространство, а затем почти нечувствительный сгоряча удар в голову опрокинул все в диком смещении мелькающих черных белозубых лиц, и я с пересекшимся дыханием упал к ногам победителей.

III

Приступая теперь к событиям, имеющим прямое отношение к сущности моего рассказа, я заявляю, что все дальнейшее, как бы невероятно и чудовищно ни показалось оно людям мирного душевного склада, происходило в действительности, во всей своей ужасной бытовой простоте. Я очнулся на руках дикарей; от слабости я висел, как плеть, меня, подхватив подмышки, поддерживали в стоячем положении; неподалеку я увидел двух черных матросов со связанными позади руками; остальные, вероятно, были убиты. Я был гол, как и они – с меня сняли все. Нас окружала толпа, человек в триста, все это происходило в центре большой поляны – вековые деревья, застывшие в массивной неподвижности огромных стволов, придавали неизвестности будущего характер зловещий и мрачный. Взглянув перед собой, я увидел большой костер, возле которого сутились дети и женщины.

Я попытался вырваться, но был прижат еще крепче. В это время к одному из пленников быстрыми скачками приблизился мускулистый дикарь, взмахнул дубиной и оглушил несчастного по голове тяжким ударом; пленник, пробежав шагов пять, упал в конвульсиях; второй, видя смерть товарища, жалобно закричал, но был убит тем же приемом. В тот момент, когда упала первая жертва, я почувствовал себя дурно от страха; еще немного, и я вновь, на этот раз уж навсегда, лишился бы сознания, оглушенный палицей. Инстинкт самосохранения, вспыхнувший при виде этой бесчеловечной расправы, с силой удара грома подсказал мне, что просить пощады бессмысленно. Явлению, поразившему меня, следовало противопоставить нечто, способное поразить, в свою очередь, шайку убийц. Палач, свалив второго, теми же кошачьими прыжками направился ко мне. Я вырвался из рук дикарей, схватил первого попавшегося за горло, отбросил его изо всей силы прочь и, кинувшись на землю, забился в невероятных корчах, подражая судорогам эпилептиков.

Могу сказать смело, что, понадобится где-нибудь на сцене телодвижения, подобные выполненным мной в эти минуты, я остался бы непревзойденным в своей случайной импровизации. Я

бился спиной, головою, грудью и животом, грыз землю, судорожно сплетал руки, барабанил коленями, закатывал глаза, хрипел и кричал. Сила отчаяния заставила меня быть почти истериком настоящим. Как ни был я поглощен единой мыслью поразить убийц безумством телодвижений, все же я не мог не заметить, что впечатление велико. Подбежавшие ко мне отступили, в кругу раздались крики, но не угрожающего оттенка, и скоро, продолжая вертеться волчком, но посматривая вокруг, я увидел, что окружен плотным кольцом присевших на корточки дикарей; наконец, обессилев, я вытянулся неподвижно лицом вверх, приготовившись, на всякий случай, ко всему худшему.

Случилось так, что мой расчет оправдался. Я почувствовал, что меня осторожно приподымают, сопровождая это восклицаниями, и возгласами, и воплями; отдохнув несколько в сидячем положении, я встал и, с намерением усилить эффект, поднял руки вверх, как бы призывая на помощь и в свидетели знойное солнце. Подумав немного, я запел первое, что пришло в голову; то было «Хабанера» Бизе; суеверные мозги людоедов приняли ее с должным почтением. Ко мне подошел старик с птичьими костями в носу и глиняными кружочками в отвисших губах; костюм его состоял из моих брюк и носового платка, повязанного так, как это делают страдающие зубной болью; старик, положив мне на грудь руки, оглянулся и сказал: «Табу». Тотчас же от меня отошли все, оставив под присмотром двух человек, молчаливых, с испуганными, как теперь у большинства, глазами, и я, измученный, сел на землю.

По-видимому, я отнял у людоедов много драгоценного времени, так как, лишь изредка посматривая в мою сторону, занялись они, с живостью и аппетитом проголодавшихся школьников, противоестественной трапезой. Тела убитых, выпотрошенные и освежеванные совсем так, как свиные или телячьи туши, были разделаны на куски и подвешены близ огня; дикари, занявшиеся этим, подбрасывали в рот маленькие кусочки сырого мяса, отрезая их полуворовски, полуоткрыто, как случайную привилегию. Через десять минут от стройных человеческих тел, превращенных в пищу, понесся запах крови, жира и гари. У ног леса дремали синие тени; струился, как вода, переливчатый, огненный воздух, а над пышной травой, пахучей и сочной, летали исполинские бабочки с волосатыми мясистыми тельцами, яркие и ленивые. Мне не предложили поесть. Не думаю, чтобы дикари в этом руководились соображениями этическими: им было, вероятно, мало самим, а я благодарил за это судьбу.

IV

Я хорошо сообразил свое положение и мог быть до времени спокоен за свою жизнь. «Табу» – абсолютный запрет, патент, выданный мне за относительную мою святость, которую я, по понятиям каннибалов, достаточно доказал акробатическими упражнениями и пеной у рта, – действовал, вообще, магически. Скоро я убедился, что это положение имеет свою обратную сторону, но не следует забегать вперед.

Меня поселили в маленьком шалаше, очень хорошо пропускавшем ветер и дождь. Шалаш этот стоял несколько в стороне от деревни, раскинутой неправильным полукругом; я насчитал сорок два подобных моему шалашу и один побольше, в котором жил вождь этого свирепого племени, он же и жрец. Этот человек испортил мне много крови. Его звали Умоти, что в переводе значит муравьиное яйцо; я же назвал бы его охотнее яйцом василиска, так как ядовитый старик беспрестанно шпынял меня язвительными сожалениями относительно цвета кожи и глаз, считая голубые глаза не принятыми в хорошем обществе. Кроме того, он имел скверную привычку подозревать меня в тайных колдовских замыслах и терпеливо расспрашивал, что я думаю о своей манере барабанить пальцами по колену – в его глазах это равнялось каким-то волшебным манипуляциям. Кроме него заходил еще иногда ко мне человек с отвислым, дряблым и большим животом и очень большими белыми зубами, некто Башлу; этот осматривал меня плотоядно, вздыхая и приговаривая: «Белый человек очень добрый, очень мягкий, он очень вкусный». Башлу был простой мужик, загнавший в гроб четырех жен. Он носил мне пищу и воду. Мне обыкновенно доставались объедки и кости, к которым, зная несколько анатомию, я приступал после тщательного детального рассмотрения. Остальные дикари достаивали меня своим

посещением значительно реже и приходили обыкновенно группами; сидя на корточках вокруг меня, они беседовали со мной самым светским образом, т. е. о пустяках – своих семейных делах, сплетнях, охоте и рыбной ловле, амулетах, погоде, или рассказывали сказки, до чего были большие охотники. Часто я подвергался расспросам: людоеды желали знать, кто я, из какой страны, и едят ли у нас дряхлых стариков, ставших обузой общине. Я рассказывал им преимущественно о поражающих воображение завоеваниях науки и техники, с целью поддержать свою репутацию колдуна, и мне безусловно верили; что же касается съедения стариков, то, желая внушить уважение к белому племени, объяснил, что люди повсюду едят друг друга самым недвусмысленным способом.

Нужно сказать, что «табу», спасшее мне жизнь, сыграло теперь чрезвычайно коварную роль. Умоти и его помощник Ако, опасаясь, что я, вступив, если мне это заблагорассудится, в конспиративный союз с духами Хамигеем, Таконтей и Вакос, могу, из беспредметной злобы, лишиться воды – рыбы, леса – зверей, женщин – плодovitости, мужчин – острого зрения и сильной руки, но в то же время, боясь убивать меня, дабы не навлечь бедствий, еще горших, со стороны той же злобной духовной троицы, придумали объявить для меня «табу» все, за исключением трех шагов земли по окружности шалаша. Запретная граница была очерчена неглубокой канавкой, и я, под страхом лишиться правой руки, не мог перешагнуть ее ни в каком случае. О таком решении мне было сообщено с барабанным боем и плясками, весьма свирепые па которых заставили меня три дня видеть плохие сны и вскрикивать. Хорошо зная открытый, прямолинейный характер своих хозяев, я и не пытался переступить роковую канавку, за которой мир более не существовал для меня; за мной был установлен надзор; я очень люблю свои белые, мускулистые руки и лишиться одной из них считаю непозволительной роскошью, и к тому же ее наверняка бы съели; племя, живущее постоянно впроголодь, не брезгающее гусеницами, личинками и жуками, упустило ли бы десять фунтов говядины?

«Табу», вообще, играло слишком большую роль в жизни туземцев. Я не знаю, как они терпели такой порядок вещей. Священная роща, в которой стояло несколько деревянных идолов, была уже испокон века «табу» – вступивший в нее лишался языка и правого уха. «Табу» объявлялась всякая родившая в новолуние женщина – коснуться ее и заговорить с ней, под страхом смерти, не смел никто, кроме жреца. Молодая барышня, не старше пятнадцати лет, и в этом же возрасте юноши обязаны были подчиняться всякому приказанию людей старше себя. На каждый месяц было свое «табу»; так, например, запрещалось рыть землю в апреле, в сентябре драть кору, в марте ловить рыбу; Умоти пользовался безусловным правом объявлять «табу» на каждом шагу, что и делал в очень широких размерах; например, кокосовые орехи он объявлял под запретом, когда они созревали, и брал их себе, весьма неохотно уделяя часть подданным. Иногда, дисциплины ради, он заявлял «табу» на такие вещи, как тропа, изгородь, с целью проверить, послушно ли население. Однажды запрету подверглись из соображений высшей политики солнце, луна и звезды, и ни один людоед не смел посмотреть вверх.

Разумеется, при столь серьезном отношении к делу, мне и помыслить нечего было перескочить канавку. Немытый, обросший волосами, в поясе из древесной коры, я проводил дни, лежа у шалаша, в тягостной, нестерпимой тоске пленника, сведенного до положения животного. Казалось мне порой, в полудремотном оцепенении, что в мертвом тумане веков вижу я свой собственный образ завывающего на скале, в тьме и молчании, дикого человека. Часто, припав к земле, я плакал тяжелыми, холодными слезами. Я видел синее море, обрывы скал, волшебную лесную растительность; далее за ними простирались еще воды, еще острова, реки, города, целые материки, весь пестрый узор планеты, кипящей, как водопад, блесками и очарованием; но это было под запрещением, так как суеверный дикарь соблаговолил прохрипеть «табу». Мне предстояло сойти с ума или же, отупев, покориться ужасному быту правоверных язычников. Неподалеку росли цветы; я не смел сорвать их. А между тем за любой из этих хорошеньких, упругих и влажных венчиков я с радостью разрешил бы земле, захоти она, расступиться и поглотить всю деревню с ее цепким, как репей, «табу», зверством и нищетой.

Я очень скоро научился языку дикарей. Скупой лексикон их состоял из двухсот с небольшим слов, чуждых всякой грамматике. Некоторых понятий, как, например, «гармония» – «чисто-

та» — «наслаждение» — «косность», не существовало совсем. Разряд ощущений высших, естественно, здесь отсутствовал; зато очень хорошо и удобно можно было толковать о пище, общинных жертвах духу Хамигею, очередных выборах старшины, являвшего нечто среднее между полицейским и простой синекурой; обыкновенно, старшина ровно ничего не делал. Я развлекался, как мог. Из глины я скатал несколько шариков, сделал из прутьев дужки и пяткой вместо молотка разыгрывал в одиночку крокетные партии. Немного позже я приручил и выдрессировал большого жука — насекомое скоро научилось ползать вокруг руки, останавливаясь по сигналу. Однажды, в лунную бессонную ночь, я заметил у входа плоскую голову змеи. Изумрудные глаза ее, в такт тихому шипению, магически покачивались передо мною. Искушение было велико, и я протянул уже руку, зная, что маленький укус решит все. Но был в глазах змеи как бы тихий укор. Пристальный взгляд ее, истинно мудрый, как мудры, не ведая этого, все низшие существа, наполнил меня сомнением. Я понял, что, пока жив, можно еще надеяться. Сама смерть качалась передо мной, но это был бы последний бесславный и горький шаг.

Змея уползла. Я лег на кучу высохших веток и стал обдумывать план, весьма рискованный, но единственный в моем положении. Подходил к концу шестой месяц моего плена.

V

Я провел две ночи без сна, взвешивая, тщательно, как фармацевт, малейшие дозы вероятия, возможности риска, успеха полного и неполного. В первой части своего плана я не рисковал ровно ничем, зато во второй, при непосредственном переходе к действию, надо было играть только наверняка. Размышляя и взвешивая, я пришел, наконец, к заключению, что иного выхода нет. Понятно, что у меня не было никаких путей покинуть остров для лучших, желанных мест, но уже одна мысль, что, истребив людоедов, я смогу оставить трехкопеечную свою территорию и жить так свободно, как это позволяют условия, — воодушевляла меня сильнее, чем лоток с мясом — голодного бродячего пса. Луна была на ущербе, я выждал, когда она исчезла совсем, потому что нуждался в одной совсем темной ночи, и перешел в наступление.

Утром, как всегда, пришел Башлу в сопровождении мальчика; пузатый малец тащил на деревянной доске большую рыбу, берцовую человеческую кость и нечто, напоминающее пряники, сделанные из мучнистых корней. Сделав вид, что за кость, как за лакомство, примусь после, я с довольной улыбкой отложил ее в сторону и стал жевать пряник. Башлу, ковыряя дротиком земляной пол, сказал:

— Умоти просит белого человека вылечить ему зуб. Он очень болен, громко кричит и ругается.

Я сделал вид, что не слышу. Больной зуб у каннибала — явление редкостное и сентиментальное, но, как ни любопытно мне было бы посмотреть на Умоти с флюсом, я воздержался. Прямой выгодой мне служило теперь, что вождь племени остро и болезненно (что может быть хуже зубной боли?) думает обо мне. Башлу хотел повторить сказанное, но заметил, что мои руки начинают дрожать. Частое, прерывистое дыхание и вытаращенные глаза произвели сильное впечатление; Башлу попятился и остановился у входа, я же, схватив рыбу за хвост, стал махать ею над головой, потом, дрожа и корчась всем телом, упал навзничь. Мальчик заплакал. Башлу, стукнув его по голове дротиком, побежал к деревне, испуская страшные призывные вопли, и скоро оба исчезли, оставив меня обдумывать продолжение так хорошо начатого дела.

Тем временем я выполз из шалаша и скоро увидел направляющуюся ко мне толпу воинов с Умоти во главе; встав, я двинулся к ним навстречу, не переходя, однако, канавки, приплясывая и изгибаясь, как балерина, вертясь на пятках и, для разнообразия, кувыркаясь самым нелепым образом. Когда же вокруг меня столпилась суеверно настроенная деревня, я встал на четвереньки и взвыл неистовым голосом. Среди шума и криков слышал я трусливые возгласы, упоминающие Хамигея, Таконтея и Вакоса, а также имя духа добра — Усосо; поставив это в связь со своим поведением, я понял, что достиг цели. Устав, я выпрямился во весь рост, покачиваясь, воздев руки к небу, и с закрытыми глазами выкрикнул следующее:

— Слушайте, вы, воины племени Ямма, духи неба открыли мне страшную тайну! Вам это

очень важно и нужно знать! Слушайте внимательно. Усосо сказал: «Нет никого красивее, храбрее, быстрее и ловчее, чем Ямма, носящие в ушах птичьи клювы! Они бегают с быстротой ящерицы, лазают, как обезьяны, дерутся, как орлы, и никто не может равняться с ними ни в чем». Так сказал великий Усосо.

Я произнес это нараспев, в нос. Кокетливый, самодовольный вопль и двести гримас были мне ответом.

Царапая себе слегка на груди кожу, я продолжал:

– Усосо сказал: «Настало время дать Ямма и женам их столько подарков, сколько может привезти зараз огненная пирога белых людей». Этим решением он привел в ярость Хамигея, который, как вам известно, весьма вспыльчив. Хамигей не желал, чтобы вы получили даже по пуговице, вроде тех, великий Умоти, которые ты вырвал из моих брюк и повесил на шею. Усосо и Хамигей кончили спор поединком. Три раза огненный дротик Хамигея угрожал сердцу Усосо, и три раза Усосо бил палицей по голове Хамигея; наконец, победил Усосо. Боги устали; Усосо, коснувшись меня рукой, сказал: «Пусть завтра все Ямма, женщины, воины, старики и дети сядут в свои пироги и плывут к югу от восхода до полудня. Тогда увидят они дымящуюся огненную пирогу белых, засевшую в зубчатой скале, покинутую людьми, и найдут на ней очень много красных, белых и зеленых платков, кроме того, очень много гладких пуговиц с прекрасными желтыми ушками. Есть там еще розовые и голубые бусы, и все, что носит на себе племя белых, все, что блестит, болтается, стучит и звенит у белого человека на животе и в карманах. Всего этого так много... о, Ямма, Усосо – великий благодетель черных людей!»

Я упал, изрыгая пену и вопли. Восхищенные дикари плясали вокруг меня, хлопая друг друга по костлявым бокам. Умоти, улыбаясь во весь рот, мечтательно теребил висящую на шее пуговицу. Мне показалось, что я присутствую на адском рауте, где черти сошли с ума.

В этот вечер на радостях убили трех стариков и съели их. Я слышал издали, как дерутся и сквалыжничают из-за какой-то лодыжки. Я же потирал руки, предвкушая высокое наслаждение, – выйти из надоевшего шалаша к морю и всей земле.

В эту же ночь некая согбенная тень, припадая к земле, в мраке и тишине спящего острова пробралась на отмель, где перевернутые вверх дном, лежали тридцать узких пирог, и оставалась возле них около двух часов. Это был я. Рискую рукой и жизнью, я продырявил днища всех тридцати пирог с помощью птичьей кости, наделав много хорошеньких круглых отверстий, и тщательно замазал их клейкой глиной, которая по предварительному испытанию могла выдержать с полчаса воду, не размокая. Всю эту ажурную работу я искусно покрыл илом и гнилью водорослей. От нервного напряжения я, вернувшись в шалаш, долго не мог уснуть и проснулся на рассвете, когда, в светлом огне зари, дымится трава.

VI

Ничего особенного во время сборов и отправления дикарей за пуговицами не произошло. С ясными и спокойными лицами садились бедняги в предательские пироги, изредка забегая ко мне справиться, подтвердил ли сегодня Усосо свое щедрое обещание. Я важно говорил с ними и предрекал большое количество пуговиц. В пироги расселись все, и ни единой живой души человеческой не осталось в деревне, кроме меня.

Знаменательное событие это произошло 15 августа 1988 года. К полудню я рискнул выйти из шалаша, плача от радости. Я подошел к морю. В спокойной дали его нельзя было заметить никаких признаков человеческого дыхания. Свершилось. Я направился в священную рощу и посшибал идолы Хамигея, Таконтея и Вакоса, не пощадив также Усосо. Я выместил им глупое «табу» на раскрашенных их физиономиях, посидев поочередно на каждой. Затем я поджег рощу и все шалаши, наблюдая пожарище с ближайшего холмика. Я был свободен.

После этого я стал жить в лесу, устраивая ловушки зверям и птицам. Полтора года я поддерживал ночью на береговой скале сильный огонь, пока не заманил бельгийского шкипера. Все кончилось, как дурной сон. Я утопил деревню, но совесть моя чиста и сон крепок. Я сделал это по праву насилия, употребленного надо мной, хотя – видит бог – предпочел бы другие способы.

Нельзя жевать человека.

Наивный Туссалетто

Герцог Сириан, изувеченный страстью к ослепительной Ризалетте Бассо, которая, что не было уже ни для кого секретом, обратила светлое внимание на казначея двора, Стенио Герда, улыбаясь ему при всех радостно и открыто, – сделал то, что подсказывали ему кровь и кулак.

Об этом через несколько столетий дошли сведения, более поучительные, чем достоверные, но, сверив переставшие биться, истлевшие в могилах сердца с живыми сердцами нашего века, мы все-таки подойдем к истине, и время исчезнет.

Герцог, расфранченный, хлыщеватый мужик, убийца и трус, мало напоминал аристократов нашего времени, изучающих естественные науки.

Теперь пусть говорит и расскажет о своем позоре дворянин Туссалетто. Рассказ ведется от первого лица, все описанное Туссалетто относится, по-видимому, к семидесятым годам шестнадцатого столетия.

I

Пока я торговал краденую арабскую лошадь, во двор въехал гонец и, покинув седло, подал мне письмо от герцога Сириана.

Давно забытый милостями его светлости, я стоял с опушенной головой, не решаясь прочесть послание. Меня озарили воспоминания: в деревенской глуши, где кричат лишь мулы и петухи, а люди смиренно проходят жизнь, уповая на милосердие божье, – всякое письмо подобно уличной драке или пожару, тем более письмо славного, живого вовеки веков герцога Сириана.

Голубой день и сизые холмы за оградой; рев сгоняемых стад; красная пыль дорог и босоногие женщины, по вечерам после рабочего дня развлекавшие Туссалетто в тишине спальни, все это перестало существовать для меня, пока я, с сильно бьющимся сердцем, держал в руках письмо герцога. Я вспомнил, что всего два года назад мои отношения к нему не оставляли желать ничего лучшего. Я был поверенным его сердечных забав, и благодаря мне он нарушил столько молодых женских снов, сколько в гранате семечек. Я доставал ему тоненьких и полных девушек, не жалея себя. Иногда в моих руках билась и более опасная добыча – замужние женщины, клохтавшие от испуга наподобие раскормленных кур в пальцах торопливого повара, но все чудесно сходило с рук. Меня просто оклеветали. Герцог требовал, чтобы я посмотрел ему прямо в глаза. Я сделал это, боясь смерти, но все было испорчено. Иуда Консейль напоил меня толченым стеклом, я заболел, покрылся сыпью и струпом, так что перестал обращать на себя внимание герцога и улизнул. Хуже всего то, что Консейль сам рассказал об этом, а герцог смеялся.

Герцог, наполовину шутя, наполовину ругаясь, писал следующее:

«Любезнейший прошельга Туссалетто! Перестаньте сердиться на меня и приезжайте сегодня ночью. Вы знаете, что я всегда рад вас видеть. Я пригласил изысканное общество, а вам, старый дурак, советую явиться немедленно: дело прежде всего. Сколько вы натравили зайцев с этим бродягой, косноязычным моим однофамильцем? Не унижайся, Туссалетто, он хитрее меня. Желаю видеть твой черный мозг у себя как можно скорее.

Ваш бедный, нищий, старый, больной, слепой и преданный герцог Сириан».

Я выронил письмо, испуг мой передался посыльному. Он стоял с разинутым ртом, бледный, ожидая, что я упаду или начну лаять от страха. Я вспотел и дрожал, но, насколько мог, овладел собой.

Первым помыслом моим было бежать, бросив все, переодеться и скрыться, но, вспомнив участь Луиджи и многих других, умиравших под ударами прежде, чем успевали оглянуться на покидаемый дом, я понял все безумие явной трусости. Меня убили бы те невидимые, на обязанности которых лежит стеречь обреченного человека, зевая за углами оград или лежа в придорожных канавах, пока жертва, думая, что еще есть время спастись, смотрит на горизонт.

Такое же письмо, как и я, получил на моей памяти Гандио. Он, не теряя времени, написал

завещание и исповедался. Во время танцев кинжальщик подставил ему ногу и, повалив, пробил горло несчастного с такой силой, что лезвие сломалось о плиту пола. Режи, раздушенный, счастливый тем, что сидит рядом с герцогом, упал с недопитым стаканом в руках, отравленный шутя, мимоходом, на всякий случай. А Скарабулло, избегая ударов, бросился сам с террасы, разбив голову. Герцог во всех таких случаях делая вид, что ему дурно, требовал холодной воды.

Снова перечитав письмо герцога, я сказал «прости» всякой надежде. Черный нимб смерти остановился над моей головой. Все знали хорошо его манеру писать и таких случаях. Он кривлялся и хныкал, грубил и угрожал одновременно; новый позыв к убийству водил его рукой, но гнусная стыдливость палача претила выразиться откровенно, – иезуиты научили его приличиям.

«Косноязычный бродяга-однофамилец» – Лука, младший брат герцога, приближенных и друзей которого Сириан истреблял при каждом удобном случае, – охотясь, провел у меня ночь. Намеки герцога ясны и просты. Лука, к вечеру совершенно пьяный, жаловался мне на брата за то, что тот, поддавшись гневу, рассек, ослепив на один глаз, лицо Чезаре, племяннику Луки, человеку несдержанному на язык, но честному.

Он подмигивал мне, усмехался, кивая головой в такт моим судорогам перед его братом Сирианом, и жал мне, лукавя, как вся их порода, руку, просил сыска и плакал позеленевшими от злобы глазами.

Разумеется, нас подслушали. Мысль о близкой смерти приводила меня в отчаяние. Умереть за то, что слушал чужую болтовню и из вежливости кивал головою?! Меня мучило от страха и тоски. Я люблю жить и согласен стать последней собакой, клещом в грязной ноге нищего, червем, улиткой, но не трупом.

Я несчастнее гусеницы, потому что одарен мыслью, божественным началом вселенной, и должен беспомощно созерцать свое собственное уничтожение.

– Сириан, умирающие приветствуют тебя!

II

Когда умирает дворянин, лицо его скорбно, но не трусливо. С этим навязчивым представлением о благородном конце я появился во дворце герцога, но, вспомнив о близкой смерти, упал духом.

Когда я прибыл, у дверей герцогского покоя собрались следующие: Стенио Герд, три племянника Строщи и неизвестные мне люди с темными лицами.

Я посмотрел на Стенио, он тихо улыбался, смотря на дверь. Я стал в самом дальнем углу, мысленно падая прахом.

Долго все молчали или разговаривали вполголоса, или шепотом; наконец вышел герцог.

Дверь распахнулась стремительно, я увидел небесно-голубой бархат, лицо разъяренной летучей мыши, серые волосы и глаза, полные тусклого коварства.

Взглянув на меня, герцог Сириан оживился; я понимал его: добыча стояла перед ним; убийца ликовал, стал жеманным, когтистым, впал в ужасную шутливость удава, болтающего хвостом.

– Туссалетто! Красавец! – и герцог поманил меня пальцем; затем, сунув бороду в рот, стал грызть ее, смотря снизу вверх.

Я подскочил, кланяясь с тьмой и тоской в душе, не в силах будучи отвести взгляд от прыщевой щеки, засевшей в голубом кружеве.

– Н-но-но!.. – сказал герцог, погрозив пальцем, и вдруг похоронным огнем бьющие глаза его скрылись; он закрыл их, стал тяжело дышать и, повернувшись круто, ушел. Я оглянулся, увидел торчащие хвостами рапиры, испуганные лица вокруг; зазвенело в ушах.

Трое неизвестных с черными усами, отойдя в сторону, склонили друг к другу уши, оглядываясь на меня и секретно шепчась. Растерянность страха лишила меня достоинства, я осмотрелся, все наполнявшие зал смотрели сурово и подозрительно, один Стенио улыбался, бесцеремонно рассматривая меня в упор, подняв брови, как бы удивляясь чему-то...

Трое, в далеком углу близ арки, продолжали зловещее свое совещание, а я, сбитый с толку,

огорошенный и несчастный, бросился к ним, желая прервать кровавое их соглашение, так как речь шла – я чувствовал – обо мне. Я подбежал к ним, и они расступились, кланяясь хмуро и неохотно. Умоляюще посмотрев на всех я сказал:

– Если вы издалека, я все могу сделать, герцог меня любит и слушает.

Все трое отвесили по поклону, и первый сказал:

– Я Гонзалес, я прибыл по приказанию герцога.

Второй, взмахнув шляпой, прибавил:

– Я Перуджио и нахожусь здесь по всемогущему желанию герцога.

Третий, кланяясь еще раз, прибавил:

– Его воля. А?

Стараясь, насколько можно, сдержать трепет, я отскочил задом, кланяясь ниже всех. В это время в дальнем углу покоев несколько раз быстро и звонко ударили в колокол. Вдруг стих шепот и разговоры вполголоса и, рванув дверь, выбежал, схватив меня за руку, Сириан. Он молчал, а с ним все, и я слышал, как жужжит у стекла муха.

– Туссалетто! За мной! – Меня как бы потянули за цепь, и я, не слыша ног, вошел за властной спиной в спальню.

Герцог, бросив меня у порога, подбежал к столу, где было вино, и налил огромный кубок. Он жадно пил, обливая бороду и грудь, но не замечал этого.

За дверью слышались топот, возня и глухое дыхание.

– А! Меня убивают! – закричал Стенио Герд; узнав его голос, я стиснул руки, пытаюсь унять их дрожь.

– Молчать! – вскричал Сириан, подняв голову. – Это дерутся солдаты. Я их повешу.

Чик-чик-чик-чик – это лязгали шпаги.

– Помогите! – еще раз закричал Стенио.

– Я тебе помогу! – сказал герцог.

Затем наступила тишина. Я стоял, но не смел стоять, дышал, но не смел дышать.

– Боже, отпусти ему грехи! – пробормотал герцог, склонив голову.

– Ваша светлость, – решился произнести я, – эта отличная погода... охота...

– Молчи, дурак, – заявил герцог. Он подошел ко мне, покачиваясь, и нежно поцеловал меня в лоб. – Ступай к Ризе Бассо. Вот ключ.

Я согнулся.

– В тюрьму.

Я стал на колени и поцеловал полу его одежды.

– Уговори.

– Ваша св...

– Обещай.

– Д... д... д... д... д...

– Все.

– Светл...

– Любви! – сказал герцог и заметался, томно склонив голову. – Будьте мастером своего дела, – прибавил он, – я влюблен.

Уходя, я видел, что замытая плита еще сыровата. Но я жив. Не мне, не мне!

Меня привели в подвалы; от недавно перенесенного страха мои ноги ступали нетвердо.

Но что я увидел! Некоторое удовлетворение ощутил я, взглянув в глубину камеры. Ризалетта, милая Ризалетта! Она лежала в грязи, пробив себе грудь стилетом. Я поцеловал ее ноги.

Посмотрим, какой потребуете вы еще любви, Сириан, когда...

Далекий путь

I

Приют

Однажды, путешествуя в горах и достаточное количество раз скатившись на одеялах по гладкому как стекло, кварцу, я, разбитый усталостью, остановился в маленьком горном кабаке-гостинице, так как эти учреждения пустынных мест обыкновенно соединяют приятное с полезным. Мой проводник, Хозе Чусито, давно уже, завязав шею платком, жаловался на кашель и выразительно смотрел на меня, делая как бы невзначай губами сосущие движения. Так как эта манера намекать вошла у него в привычку и действовала раздражающе, я, посмотрев на него благосклонно, сказал:

– Хозе, нам надо переночевать и поужинать.

Он перестал кашлять. Одолев еще несколько винтообразных тропинок, иногда падающих почти отвесно к головокружительным выступам, очерченным седым туманом провалов, мы вышли на плоское расширение почвы, и в наступающих сумерках блеснуло нашим утомленным глазам несколько тусклых огней, равных по силе впечатления коронационной иллюминации. Сняв ружья, мы подошли к настежь распахнутой двери небольшого, сложенного из дикого камня здания, и запах жилья радушно защекотал наши носы, чрезмерно облагороженные возвышенными ароматами горных трав и снегов.

У грубо сделанного гигантского очага сидело большое общество. Это были, как мог я определить, бегло осмотрев всех, охотники, пастухи, рабочие с соседних имений и случайные посетители, подобные нам. Пестрые, вызывающие костюмы этих людей состояли из полосатых шерстяных одеял, перекинутых через плечо или лежащих на коленях владельцев, сорочек из бумажной ткани, широких поясов и брюк, обшитых во всю длину бахромчатыми лампасами из перьев или конского волоса. Широкополые зонтики-шляпы делали все лица похожими друг на друга неуловимой общностью выражения, придаваемого им именно таким головным убором. У некоторых, оттягивая пояса, висели на бедре в кожаных кобурах револьверы, но были и старинные пистолеты; обладатели этого рода оружия, как я убеждался неоднократно, – превосходнейшие стрелки. Всего было четырнадцать человек, без нас; трое из них лежали на животах, головами к огню, изредка нагибая голову, чтобы хлебнуть из стоящего перед губами стакана; двое беседовали у стойки; остальные, сидя на табуретах, вернее, обрубках дерева, усердно молчали, скрестив на груди руки и дымя папиросами.

Очаг жарко пылал, призрачно освещая сухие, полудикие лица и пристальные глаза; кирки и лопаты, брошенные в углу, сверкали железом; на стене, за стойкой, над головой погруженного в бухгалтерию хозяина – человека невзрачного, с толстыми губами и серьгой в ухе – висели ружья. Хозяин старательно муслил карандаш и чесал за ухом. Хозе остался с мулами за порогом, и я слышал, как нетерпеливо звенели бубенчики голодной скотины, без сомнения, в данный момент равной нам по сходству желаний. Обратив на себя общее внимание, так как я был одет по своему, я подошел к стойке и спросил о ночлеге.

Цена оказалась высокой, что, по-видимому, целиком определялось фантазией содержателя этой гостиницы. Кивнув головой, но отомстив толстым его губам взглядом великодушного снисхождения, я вышел, сопровождаемый конюхом. Устроив и накормив мулов, мы возвратились под крышу нашего монрепо.

Насколько остро было привлечено внимание всех моей особой минут десять назад, настолько же теперь оно улетучилось, и каждый как бы отсутствовал. Мои скитания приучили меня к сдержанности. Я и Хозе, взяв бутылку вина, сели, разостлав плащи, к стене; вино, кусок жареной свинины и грубый хлеб заставили нас повеселеть, а Чусито, набив рот, пустился в длинное рассуждение о высоте Сениара, уверяя, что это величайшая гора в мире, и дух ее, некий Педро-ди-Сантуаро, родственник богатого скотопромышленника, украл из горы все золото с целью выкупить душу своей жены, осужденную томиться в геенне за продажу распятия прощелыге-язычнику.

Легенду эту я слушал в полудремоте, разнеженный едой и вином, думая, в свою очередь, о пылком воображении Хозе, готового за бутылку вина лгать целую ночь. «Педро-ди-Сантуаро, – повторял он, не забывая свой стакан ни на одну минуту, – отправил сто кораблей с золотом в ад, но сатана потребовал больше во столько раз, во сколько Сениар больше ванильного зернышка.

Тогда Педро...»

Он продолжал дальше, но здесь человек, вошедший одновременно с произнесенным Хозе именем Педро, как бы окликнутый, повернулся и внимательно осмотрел нас с готовностью отвечать. Я невольно рассмотрел его пристальнее, чем других, как будто раньше видел его и говорил с ним. Таково во многих случаях впечатление национального типа, хорошо изученного, но встреченного среди чуждого национальности этой яркого и утомительного разнообразия.

Я заранее описываю наружность этого человека, хотя он и не занимает еще в рассказе своего места. Лицо, изрытое оспой, с глазами, на первый взгляд подслеповатыми, могло потягаться мужественностью и резкостью выражения с любым из присутствующих: что касается глаз, то они были малы, далеко поставлены друг от друга и почти лишены бровей; это-то и делало их как бы слабыми в выражении. Спустя секунду я нашел их живыми и ясными. Круглая русая борода скрадывала подбородок; небольшие усы, открывая край верхней губы, странно, как и борода, выделялись светлым своим цветом на кофейном загаре лица. Он был в пестрой грубой одежде, вооружен короткоствольным штуцером, двигался лениво и мягко.

Я встал, так как отсидел ногу, и сделал несколько шагов к очагу; нога, как неживая, подвертывалась и ныла. Я выругался по-русски, растирая колено. В тот же момент неизвестный с улыбкой сильного удивления стукнул ружьем о пол и, значительно смотря на меня, повторил слова, произнесенные мной, прибавив: «Кто вы?» Это он сказал тоже по-русски, без малейшего иностранного акцента.

– Я русский, – ответил я, вытаращив глаза, и назвал себя.

Он продолжал пристально смотреть мне в глаза, затем нахмурился и громко сказал:

– Я – здешний и не понимаю вас.

Сказав это, он отошел и скрылся; тотчас же отошли от меня и любопытные, привлеченные звуками неизвестного языка.

«Это русский», – сказал я себе, интересуясь соотечественником в данный момент более, чем новым видом птицы ара, открытым мною две недели назад.

Хозе дернул меня за плащ.

– Еще одну бутылку – и спать? – вопросительно заявил он нежным, как флейта, голосом.

Я разрешил ему делать все, что он хочет. Затем, выйдя из гостиницы, осмотрелся и подле дверей увидел сидящего на каменистом выступе почвы неизвестного русского.

Он был, казалось, в глубокой задумчивости, но, услышав мои шаги, обернулся с поспешностью человека, привыкшего быть настороже в этих опасных природою и людьми местах. Я сказал:

– Встретить мне вас и вам меня тут – это не совсем то же, что на углу Дворянской и Спаской. Я думаю, мы могли бы поговорить с интересом.

– Я совсем не стал бы говорить с вами, – возразил он, помедлив (и страннее седых волос у юноши мне было слышать подлинную русскую речь из уст туземца темной профессии), – если бы не подумал наедине кой о чем.

– Вы эмигрант?

– Нет.

Я помолчал, ожидая, в свою очередь, известных вопросов. Неизвестный молчал тоже, и молчание наше, поглощенное сонной тишиной колоссальной громады гор, тучами окружавших ночную долину, приняло неприятный оттенок. Тогда, желая из самолюбия поставить на своем, я сделал на завтра предсказание погоды самое пустое в смысле дождя и бури. Он возразил мне, основываясь на местных приметах, совершенно противное. Я согласился, прибавив, что местное вино плохо. Он обошел этот вопрос молчанием и похвалил лошадей. Я сделал скачок к туземным нравам и женщинам. Он выразил надежду, что они лучше, чем кажутся. Я коснулся политики. Он заметил вскользь, что люди наивны. Я заговорил о Европе, он – о России. Здесь я тихо подкрался в обход и нанес ему подлый удар сзади, сказав, что он не похож на русского.

И лишь только после того, как весь этот, совершенно в русском духе и вкусе, разговор привел нас окольными путями к особе неизвестного человека, получил я возможность, все еще добывая его слегка искусными репликами, выслушать глубоко-человеческую повесть об одной из

немногих побед, побед блестящих и бескорыстных, подобных войне мысли с телом, и беглые заметки мои впоследствии превратились в этот рассказ, переданный отрывочно и скупо, но с теми моментами, для которых и растут уши на голове слышащих.

II Чиновник

Я служил столоначальником в Казенной Палате. Меня звали Петр Шильдеров. Город, в котором я жил с семьей, был страшен и тих. Он состоял из длинного ряда домов мертвенной, унылой наружности – казенных учреждений, тянувшихся по берегу реки от белого, с золотыми луковками, монастыря до губернской тюрьмы; два собора стояли в центре базарных площадей, замкнутых четырехугольниками старинных торговых рядов с замками весом до двадцати фунтов. На дворах были цепные псы. Малолюдные мостовые кое-где проросли травкой. Деревянные дома, выкрашенные в серую и желтую краску, напоминали бараки умалишенных. Осенью мы тонули в грязи, зимой – в сугробах, летом – в пыли. Вокруг города тянулись выгоны – сухое болото.

Я прослужил в этом городе пять лет и на шестом запил. Иногда, сидя в так называемом на губернском языке «присутствии», т. е. находясь на службе, я замечал, что монотонный шелест бумаги и скрип перьев, постепенно согласуя звуки и паузы, сливаются в заунывную мелодию, напоминающую татарскую песню или те неуловимые, но гармонические мотивы, которыми так богат рельсовый путь под колесами идущего поезда. Тогда, разрушая унылое очарование, я шел к архивариусу и в полутемном подвале пил с ним водку, стоявшую постоянно за шкапом. Жена прихварывала. Возвращаясь со службы, я часто заставлял ее с уксусным компрессом на лбу, читающей лежа старинные бытовые романы, в которых, как выражалась она, нравятся ей «правда, подлинность, настоящая жизнь». Мои дети, мальчик и девочка, робкие и сварливые существа, хныкали и жаловались друг на друга так часто, что я почти не замечал их присутствия. По вечерам, если это было летом или весной, я сидел на бульваре, смотрел на молодых чиновников, бросающих с обрыва в реку камешки, и думал.

Когда я спросил себя в первый раз – «что я такое – животное или человек?» – меня охватил ужас. Вопрос требовал ответа прямого и беспощадного, со всеми вытекающими отсюда заключениями. Мысль буйствовала, как бык на бойне, и я отдался ее возмущенной власти. Я провел две недели в сказочном состоянии цыпленка, вылезающего из скорлупы. Я думал на ходу, во сне, за обедом, на службе, в гостях. Результатом этого огромного напряжения души явился в один прекрасный день вывод. «Я должен стать другим человеком и жить другой жизнью».

Чтобы определить вполне и точно, что именно для меня прекрасно и ценно, что безобразно и совершенно не нужно, – я взял противоположности, вернее, контрасты, приняв как истину, что все, составляющее мою жизнь теперь, плохо. Разумеется, я сделал частное определение каждой стороны действительности, так как в целом сила желаний, когда я старался представить новую жизнь, являла воображению моему лишь светлый круг горизонта, полного призраков. Закон контраста равно помог как моей мысли, так и воле, и исполнению мною задуманного.

Итак, я находился во власти непреодолимого желания, лишенного яркой цели. Мне следовало узнать, чего я хочу. Я взял окружающее и, как уже сказал выше, противопоставил каждой стороне его мыслимый, возможный в действительности же, контраст.

Согласно этому порядку исследования душевного своего состояния, я выяснил следующее. Моя жизнь протекала в сфере однообразия – ее следовало сделать разнообразной и пестрой. Я жил принудительными занятиями. Полное отсутствие принуждения или, в крайнем случае, работа случайная, разная – были мне более по душе. Вместо унылого сожительства с нелюбимой семьей я хотел милого одиночества или такого напряжения страстной любви, когда немыслимо бодрствовать без любимого человека. Общество, доступное мне, состояло из людей-моллюсков, косных, косноязычных, серых и трусливых мужчин; их всех радостно променял бы я на одного, с неожиданными поступками и речами и психологией, столь отличной от знакомых моих, даже соотечественников, как юг разен северу.

Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе. Я не люблю свинцовых болот, хвойных лесов, снега, рек в плоских, как иззубренные линейки, берегах; не люблю серого простора, скрывающего под беспредельностью своей скудость и скуку. Против известного, обычного для меня с момента рождения, следовало поставить неизвестность и неизведанное во всем, даже в природе, устранив все лишения чувств.

Размыслив над всем этим, я увидел, что решил первую треть задачи, ответив на вопрос «что?», следующий – «как?» – должен был находиться в строгом соответствии с необычностью мной задуманного; отсутствие смягчающих переходов и всего, что может ослабить впечатление конечного результата, являлось необходимостью. Сеть, опутавшую меня, я должен был не распутать, а разорвать. Если к арестованному будет ходить каждый день начальник тюрьмы, твердя: «Скоро вас мы отпустим», – несчастный лишится доброй половины грядущего удовольствия – выбежать из клетки на улицу. Таким образом, я хотел стремительного и резкого, по контрасту, освобождения.

Теперь – это, может быть, самое главное – вы узнаете, почему я живу здесь. Мальчик, мой сын, принес книжку из школьной библиотеки – то были охотничьи рассказы, написанные языком невыразительным, но простым, в расчете на самостоятельную работу воображения юных читателей. Жена моя сидела в другой комнате, занимаясь выводкой пятен на шерстяной кофте. Я был один. Скучая и утомясь овладевшими мною мыслями, я присел к столу, где лежала забытая уснувшим мальчиком книга, и стал ее перелистывать, рассматривая старые раскрашенные картинки, оттиснутые грубо, так, что смешивались узенькими полосами границы красок, и вскоре задумался над одной из этих картинок так, как задумываются после высказанной кем-либо случайно фразы, имеющей однако для вас известный смысл наведения.

Знакомо ли вам очарование старинных рисунков? Секрет их особого впечатления заключается в спокойной простоте линий, выведенных рукой твердой, лишенной сомнений; рисующий был уверен, что изображаемое подлинно таково; с наивностью, действующей заразительно, руководясь лишь главными зрительными впечатлениями, как рисуют до сих пор японцы, художник изображал листву деревьев всегда зеленой, стволы – коричневыми, голую землю – желтой, камни – серой, а небо – голубой краской; такое проявление творчества, данное человеком, по видимому, бесхитростным и спокойным, действует убедительно. Несокрушимая ясность линий почти трогательна; прежде всего вы видите, что рисунок сделан с любовью.

То, что рассматривал я, было иллюстрацией к одному рассказу, с подписью: «Горные пастухи в Андах». В темно-коричневом с одной стороны и светло-желтом – с другой, горном проходе, в голубом воздухе, под синим небом, по крутой горной тропинке, поросшей ярко-зеленой травой, спускалось к тоже очень зеленому лугу стадо лам, а за ними, верхом на мулах, в красных плащах, лиловых жилетах и желтых шляпах ехали всадники с ружьями за спиной. На заднем плане, нарисованная голубым и белым, виднелась снеговая гора. На сером уступе скалы сидел красно-синий кондор.

Я остановился на этом рисунке долее, чем на остальных. Именно смутное очарование представлений о загадочном, грандиозном и недостижимом владело мной; рисунок этот как бы перебрасывал мост к огромному миру неизведанного, давая в скупом и грубом намеке простор мысли. Кроме того, в раскрашенном кусочке бумаги было нечто, говорящее мне безмолвной речью ассоциаций. Так же, как человек, остановивший, например, внимание свое на слове «кукушка», неизбежно представит в той или иной последовательности крик этой птицы «ку-ку!», лесную тишину, обычай загадывания, подумает о суеверном чувстве и суевериях, – я мысленно перенесся к загадочной для меня стране, размышляя о роскошной растительности, покрывающей склоны гор, о малой населенности тех мест, о неожиданностях природы, вечном горном молчании, опасностях и лишениях, неизвестном языке жителей, обычаях их и характере, и скоро увидел, что здесь для меня нет ничего известного, что я в размышлениях и ассоциациях своих отрезан от этой страны полной невозможностью представить себе что-либо наглядно. Я был здесь в области общих слов и понятий: гора, лес, человек, река, зверь, дерево, дом и т. п. Таким образом, я нашел неизвестное по всем направлениям и в той мере, в какой это возможно, вообще на земле,

в условиях трех измерений. Мне предстояло наполнить отвлеченные мои представления содержанием живым, ясным и ощутительным.

Я встал и начал ходить по комнате, продолжая мысленно смотреть на рисунок. Он вскоре исчез; я видел полное вечерней прохлады ущелье, игру света на выщербленном камне откосов, глубокую пасть долины, сверкающий обрез ледника, похожий на серп луны, тени огромных птиц, скользящие под ногами, и всадников. Они проезжали узкой тропой. Лиц я не видел, но чувствовал их суровыми и спокойными. Мулы шли тихо, позванивая бубенчиками; этот отчетливый в тишине звон был ясен и чист. Из-под копыт, шурша, скользили камешки и падали, подскакивая, в долину. «Скоро наступит ночь, – подумал я, – но долго еще в тишине и прохладе будут звенеть бубенчики, фыркать мулы и шуршать камни». Невыразимая тоска овладела мной, как будто чудесной силой был вырван я и брошен из этих мест, полных красоты, величия и свободы, в рабство и нищету.

Отныне я находился в плену своего желания быть там, куда потянуло меня всей душой и где я нашел вторую, настоящую родину. У человека их две, но не у всякого; те же, у кого две, знают, что вторую нужно завоевать, тогда как первая сама требует защиты и подчинения.

III Разрыв

Два дня спустя я сидел у ворот на лавочке. Был теплый июльский вечер. Против нашего дома возвышалось здание арестантских рот, из его решетчатых окон пахло кислой капустой, кашей и постным маслом. В соседнем переулке мальчишки играли в бабки. С поля показалось стадо коров; мыча, махая хвостами, в клубах сухой пыли лениво двигались искусанные овцами животные, распространяя терпкий запах навоза и молока. Коровы сами заходили в дворы, стадо их постепенно таяло, а пастух на ходу без всякой надобности трубил в рожок, проворно шлепая босыми ногами.

Солнце село, но было еще светло. Наступил час, когда жители Косой улицы выходили к воротам и, сидя на лавочках, грызли в идиллическом настроении семечки, или репу, или же «жали масло», т. е. сидящие по краям старались стиснуть одного из средних так, чтобы у него затрещали кости и он, не снеся маслобойства, выскочил. Хорошее настроение, созданное кротким вечером и теплом, достигало зенита, почти умиления, в тот момент, когда после проверки арестанты в исправительном заведении становились на молитву. Они пели «Достойно», «Отче наш» и другое сильными, хорошо спевшимися голосами двухсот крепких мужчин. Торжественные звуки молитвенного пения создавали в тишине вечера настроение благости и покоя.

Когда арестанты пропели все и внутри мрачного здания раздалась зычные выкрики надзирателей, я, вернувшись к постоянным своим мыслям, почувствовал недовольство собой. Мне показалось, что я всегда буду жить так, как теперь, и ни на что не осмелюсь, но тут же представил, как, не медля ни одного мгновения, встаю и ухожу навсегда. Я так ясно вообразил это, что взволновался. Мною овладел нервный трепет, предвестник решений. Прошло еще несколько минут подземной работы мысли – и тут как бы повязка упала с моих глаз: я увидел, что я свободен, ничем не связан и волен распоряжаться собой.

Я встал и более не колебался. Жена с детьми ушла к знакомым «подомовничать» – обычай нашего города. Это значит, что хозяева где-нибудь в гостях и просят знакомых побыть в их квартире, присматривая за детьми и прислужой. В сумеречных комнатах было тихо и грустно. Я открыл комод, взял сто рублей, испорченные золотые часы, паспорт и вышел на улицу.

Разумеется, все это были еще приготовления. Ничто не мешало мне вернуться и положить деньги на место. Еще не был отрезан путь отступления. Даже от пароходной пристани я мог повернуть назад. Сознание этого доставило мне несколько унылых минут. Я боялся внезапной слабости, малодушных и казуистических размышлений, но, к счастью, увидел, что нахожусь в лихорадочном состоянии беглеца, в азарте. Первые шаги мои были медленны и тревожны, со стороны я мог показаться человеком, гуляющим от безделья.

Да, первая сотня шагов по направлению к пристани оказалась самым трудным и больным

делом. Я знал уже, что не возвращусь. Чувство оторванности я изведаль тотчас, как вышел на улицу, но было в нем нечто окрыляющее и безразличное. На углу я остановился и обернулся. За черемухой серела крыша оставленного мной дома. И я пошел далее, ускоряя шаги, к вечернему пароходу.

За три следующих месяца я испытал, видел и пережил столько, что иному хватило бы на всю жизнь. Через границу я перебрался удачно, хотя и слышал как свистят пули линейных винтовок. Я тщательно берег деньги, но их было так мало, что скоро не стало совсем. Я помню долгие дни лишений, голода ночлеги в трущобах и под открытым небом, томительные пешие переходы в знойные дни, полицейские участки, милостыню, окурки, подобранные на тротуарах, краденые плоды, случайную работу на виноградниках. Все это мне мило и радостно. Наконец я увидел светлые земли юга, в цветах и торжественной тишине синего неба, и славную даль морей; услышал, как стучит винт корабля, как звенит летний прибой, гудит мистраль и гулко воет сирена, струя белый пар содрогающихся от безделья котлов.

Я поступил матросом, но рассчитался, как только пароход бросил якорь в устье величайшей реки мира. Искатели каучука на специальном промышленном пароходе увезли меня далеко от океана. Я работал с неграми, подсекая в ядовитых болотах стволы, чтобы извлечь несколько капель драгоценного сока, быстро твердеющего на воздухе. В этих сырых лесах царят вечные сумерки, опасности и болезни: растут без солнца бледные молочайники, яркие цветы паразитов, гигантские папоротники и все, что незнакомо нашему взгляду: растительность странных, капризных форм чудовищной силой размножения глушит отравленную перегноем землю.

Я заболел лихорадкой, валяясь среди негров в изнеможении и бреде. Каждый день, после захода солнца, на огненных от костра полянах прыгали, сверкая белками, под звуки ужасной музыки, мои чернокожие приятели; неизменное их добродушие и веселость были воистину удивительны. В часы просветления я внимательно смотрел на их дикие па, вспоминая подсмотренный мною однажды хорошенький танец кроликов, черных, как пуговицы. Но тусклый день снова приносил жар и бред, и незаслуженные человеком мучения, и тысячи огненных солнц преследовали меня, в кайме оранжевых змей, плотных и жирных, касающихся воспаленного моего лица тяжелой болью озноба. Я умирал, но не умер.

Простите, дорогой – не соотечественник, дорогой иностранец, – прошло десять лет. Но я умолкаю. Вы слышите – за дверью спор, шум, все кричат, бьют в ладоши, как будто нам нужно встать? Посмотрим, в чем суть веселья!

IV

Мы встали, а навстречу нам Хозе Чусито вышел, покачиваясь. Зевая, он посмотрел на звезды, потом, заметив меня, сказал преувеличенно твердым голосом:

– Вы прогуливаетесь? Я хотел спать, да мне помешали. Подбивают меня в партию отыскать новый проход. Случилось несчастье. Это для нас важно, ужасно важно. Сто пятиэтажных домов свалились на Красную седловину, иначе говоря, сударь, такого обвала старики не запомнят. Торговый проход разрушен. Погонщики в отчаянии, а те, которым надо по ту сторону, рвут и мечут. Так вот, я говорю, подбирают партию за хорошие деньги поискать свежую тропочку. Торговцы, которые покрупнее, не пожалеют золота. Вы как думаете?

– Надо-быть, так, – сказал я, посмеиваясь. Удерживать Хозе не было смысла, его, видимо, соблазняла мысль, оставив меня, поискать счастья более ощутительного, чем те небольшие суммы, которые давал ему я. Он все равно удрал бы, сославшись из вежливости на горло. – Желаю тебе успеха.

– Как! – горестно воскликнул Хозе. – Я более вам не нужен? Впрочем, – торопливо прибавил он, опасаясь с моей стороны выражений растроганности и признательности, – впрочем, вы не раскаетесь. Я дам вам такого – такого человека, что вы запоете. Это клад, а не человек. Такого нигде не сыщешь. Мозговатее парня еще не было.

Я перебил его восторженные описания чудо-парня, и мы втроем подошли к стойке. Возле нее сгрудилась, облокотившись и подперев ладонями головы, толпа заинтересованных прохождением

людей; каждый вставлял замечания, подавал советы, расписывал самые отчаянные маршруты цветами радуги. То волновалась, жестикулируя и крича, молодежь; люди серьезные торопливо ждали, когда им дадут открыть рот. Эти внушительно и вкрадчиво толковали о холоде на высоте тринадцати тысяч футов, о теплой одежде и умной нетерпеливости. Я слушал их одним ухом; мой удивительный собеседник, «русский», – или как было его назвать теперь? – сунув руки в карманы, смотрел на новое для меня лицо, делая вид, что задумался и посматривает рассеянно.

Это была женщина лет восемнадцати-двадцати, с немного вздернутым носом, насмешливой тоской глаз и маленьким ртом. В смуглом ее лице светило упорство, способное перейти в ненависть. Назвать ее красивой было нельзя, хотя природная грация маленькой, крепкой фигуры и бессознательное кокетство жестов вызывали пристальную улыбку. Так же, как и другие, она, подперев крошечными руками непричесанную голову, слушала разговор мужчин. Поза ее и выражение лица были воплощением важности. Я улыбнулся.

Почувствовав упорный взгляд сзади, женщина обернулась.

– А, Диас, – равнодушно произнесла она. – Вернулся?

– Только и делаю, что ворочаюсь, – сказал недавний мой собеседник.

– Лучше бы уходил все время.

– Вот что, Лолита...

Она вздохнула, выпрямилась и, внимательно осмотрев с ног до головы Диаса, перешла к другому концу стойки, где, погрузив снова лицо в растопыренные около ушей пальцы, принялась слушать, морща лоб, что говорят погонщики.

Хозе и Диас замешались в толпу. Я, обессиленный усталостью, лег на разостланное мне благодарным Чусито одеяло и, сунув под голову седло, стал дремать. Новые, неизведанные доныне ощущения и соображения преследовали меня. Я думал о таинственной власти имен, пересекающих наше сознание полным превращением человека, уничтожением расы, крови, привычных ассоциаций. Диас есть Диас. Никакими усилиями воображения не мог я представить его русским, но, может быть, и не был он им, принадлежа от рождения к загадочной орлиной расе, чья родина – в них самих, способных на все.

Наконец я уснул беспокойным дорожным сном и пробудился как от толчка. Может быть, чье-либо резкое восклицание было тому причиной. Полузакрытыми глазами я наблюдал некоторое время людей, толпящихся вокруг стойки, Лолиту и Диаса. Он снова подошел к ней, сказав:

– Я, пожалуй, отправлюсь с ними.

– Что ж? Заработай...

– Очень долго, – возразил он нерешительно. – Ты же знаешь, почему.

– Не приставай, – сказала Лолита. – Что ты ходишь вокруг меня? Сядь. Лучше слушай, что говорят.

– Лолита!

– Ну?

– Слушай...

– Слушаю.

– Ты мне ничего не скажешь?

Она посмотрела на него искоса, неохотно и хмыкнула. Диас уныло повернулся в мою сторону, прищуриваясь, так как блеск огня мешал ему видеть.

Я снова уснул. Меня разбудил Хозе. С первого же взгляда я понял, что человек этот собирался разыскивать «тропочку». Все на нем было подвязано, укреплено, подтянуто и застегнуто. В хижине, кроме нас, никого не было. Утренние горы смотрели в открытую дверь сияющими провалами и рощами, а на земляном полу дрожал свет.

Уступая соболезнающему тону Хозе (он смотрел на меня с жалостью, как нянька, покидающая ребенка), я подтвердил еще раз, что нисколько не сержусь на него, и вышел на двор. В загородках, у привязи, покорно шевелили ушами нагруженные выючной покладью мулы; несколько вооруженных людей осматривали упряжь, торопливо дожидывая скудный завтрак. Я подошел к Диасу.

– Куда направитесь вы? – спросил он.

Я сказал.

– Вероятно, мы не увидимся, – заметил он. – Прощайте!

Обдумав вопрос, который вертелся у меня на языке еще вчера, я сказал:

– Как вы почувствуете себя в этой стране?

– Очень хорошо и приятно.

Сняв шляпу, он поклонился, улыбнулся и отошел. Через минуту стали выводить мулов; животные, сопровождаемые каждое одним человеком, огибали дом, тихо звеня бубенчиками и фыркая. Диас замыкал шествие. Караван вытянулся гуськом, и передние начали уже спускаться в балку, поросшую черно-зеленым кустарником. Девушка, которую я видел вчера, помчалась сломя голову к арьергарду и, догнав Диаса, пошла рядом с ним, положив ему на плечо руку и что-то рассказывая. Затем, в виде прощальной ласки, она запустила пальцы в волосы молодого человека и стала трепать их, мотая покорно улыбающейся головой. Диас, понятно, не сопротивлялся.

Она не пошла вниз, а остановилась на обрыве, смотря, как, перевалив балку, взбираясь на косогор, шествуют по крутой, среди скал, известковой тропе осторожные мулы. Вернувшись, она прошла мимо меня, едва заметив мое присутствие.

Я обдумывал рассказ Диаса. Он ушел, оставив мне тихое волнение радости. Люди, подобные этому человеку, не одиноки. Их семья, цыганское племя, великодушное и строптивое, рассеяно всюду. Я вспомнил тысячи безыменных людей, «плавающих и путешествующих», когорты авантюристов, проникающих в неисследованные места, безумцев, возлюбивших пустыню, детей труда, кладущих основание городам в чаще лесов. Их кости рассеяны за полярным кругом, и в знойных песках черного материка, и в дикой глубине океана. Вторая, настоящая родина торжественной силой любви влечет одинаково искателя приключений и начальника экспедиции, командующего целым отрядом; ничто не останавливает их, только смерть. Своей смертью они умножают везде жизнь и трепет борьбы.

Снежные волны гор окружали меня. Я долго смотрел на них с дружеским, теплым чувством, веря их безмолвному обещанию очистить сердце и помыслы.

Продавец счастья

I

«Кто не работает, тот не ест», – вспомнил Мюргит черствую, хлебную истину. Эти слова очень любил повторять его отец, корабельный плотник. Но Мюргит так привык благодаря усердному повторению истины к ее неопределенно-понукательному значению, что стал почти-телен к ней лишь теперь, когда, потеряв место в угольном складе из-за происка толстой дамы, жены хозяина, игравшей по отношению к молодому человеку роль известной жены Пентефрия, горько и лицемерно смеясь над сытым видом развалившихся в лакированных экипажах холеных и томных людей, шел к рынку с темной надеждой стащить пучок моркови или редиски.

Рынок, потерянный рай голодных, усилил страдания Мюргита зрелищем разнообразных продуктов и свежим запахом их, заставляющим вспоминать жарко растопленную плиту, шипенье масла, стук блестящих ножек и воркотню супа. Розовая телятина, красное мясо, коричневые почки, тетерева, голуби, куропатки, фазаны и зайцы лежали за блестящими стеклами лавок; на лотках теснились зеленые букеты моркови, редьки, спаржи и репы; скользкие угри, лини, камбалы, лососи и окуни грудками, серебрясь и переливаясь на солнце нежными красками, заглядывали свесившимися головами в корзины, полные устриц, омаров, раков и колючих морских ежей.

Стараясь не выделяться среди шумной толпы неуверенными движениями и беспокойством взгляда, Мюргит жадно присматривался к лакомым яствам, не решаясь, однако, приступить еще к действию, хотя руки его дрожали от голода; ночуя вторую ночь под старым баркасом, Мюргит слышал от старого опытного бродяги, спавшего вместе с ним, что воровать надо наверняка, иначе не стоит соваться. Пока же, не видя ничего плохо лежавшего, Мюргит машинально ощупывал подкладку своего старого пиджака, стараясь набрести на мелкую монету, когда-нибудь прова-

лившуюся сквозь карманную дыру, и взглядывал под ноги, ища вечный кошелек с банковскими билетами.

Пройдя всю площадь, Мюргит в раздумье остановился. Рассеянно осматриваясь, увидел он невдалеке, за лавками, среди старых бочек и ящиков, кружок играющих в передвижную рулетку; тут были извозчики, солдаты, женщины и подростки. Среди других игроков забавным показался Мюргиту старик с деревянным ящиком за спиной. На крышке ящика сидел попугай, блестя бесмысленно хитрым, круглым глазом и время от времени покрикивая недовольным голосом: «Купите счастья!» Иногда помедлив, прибавлял он к этому что-нибудь из остального своего лексикона: «Прохвосты!», «Не бери сдачи!», «Сыпь орехов!» Старик, беззубый, но проворный для своих лет, суетился больше других; монета за монетой мелькали в его руке, и он, кряхтя, проигрывал их. Суеверие свойственно несчастливцам; Мюргит подходя к рулетке, думал: «У меня нет ни одной копейки, а я уверен, что купил бы за гроши счастье. Недаром этому продавцу счастья так не везет самому». Мысль эта была заметно лишена логики, но ее убедительность равнялась в глазах Мюргита таблице умножения. И он заглянул в ящик, разделенный на клеточки, из которых попугай таскал клювом бумажки с предсказаниями и сентенциями.

Почувствовав у затылка сдержанное дыхание Мюргита, старик обернулся.

– Купи, молодчик! – шамкнул он, подмигивая, – поддержи торговлю! Народ стал нелюбопытен, разрази его гром, и, должно быть, теперь все счастливы, потому что воротят нос от моего ящика. Или ты, может быть, тоже счастливчик?

– Вот, – сказал рассерженный Мюргит, собираясь выворотить карман, чтобы, кстати, вытряхнуть из него крошки и обломки спичек, – если здесь есть хоть бы одна копейка, я суну ее твоему попугаю, чтобы он подавился и издох на твоей спине!

Он дернул рукой. Пальцы, проскочив карманную дыру, уперлись в подкладку, и Мюргит, смотря застывшими глазами в насмешливое лицо старика, почувствовал, что сжимает монету. Мгновенно медь, серебро и золото вообразил он, но серебру и золоту неоткуда было явиться; вытащив руку, Мюргит с волнением увидел небольшую медную монету, на которую дали бы кусок хлеба. То было известное коварство вещей, умеющих, упав, завалиться под стол или диван таким образом, что для извлечения их требуется становиться на четвереньки; в других случаях потерянная вещь отыскивается весьма часто в ненужный момент. Мюргит, мысленно ругая себя за легкомысленное обещание, плюнул и топнул ногой, отчаяние и полное безучастие к судьбе овладело им; издеваясь над собой, он сказал:

– Счастье важнее хлеба, – и опустил монету в щель ящика.

Попугай, услышав знакомый стук, скрипнул клювом, закричал: «Сыпь орехов!» – и, сунув неуклюжую голову в одно из углублений, вытащил свернутую бумажку.

– Читай на здоровье, – сказал старик, и Мюргит с ненавистью вырвал из клюва птицы свое дешевое «счастье».

Отойдя в сторону, он развернул бумажку и прочитал следующие, безграмотно отпечатанные стихи:

Тебя счастливей в мире нет;
Избегнешь ты премногих бед;
Но есть примета для тебя:
Отыщешь счастье ты – любя.
Твой знак – Луна и Козерог
Ведут к удаче средь дорог.

– Хорошо, – злобно сказал Мюргит, – что эта нелепица не попалась безрукому, безногому и глухонемому; он, я думаю, отхлестал бы старика костью за удачное предсказание.

Он резко повернулся и вошел в ближайший трактир с сомнительной надеждой отыскать под столом, как это было вчера, завалившуюся корку хлеба. Посетителей в трактире было немного; усталый Мюргит сел, отыскивая глазами на полу, среди окурков и пробок, что-либо съедобное.

– Что вам подать? – спросил, подходя, слуга.

– Сейчас ничего, – солгал наполовину Мюргит, – я жду приятеля, когда он придет, мы поедим вместе.

Так он просидел, ежась от голода, минут двадцать. Все кругом ели и не обращали на него внимания. Оглядываясь, Мюргит заметил пожилого человека с завязанной головой, делавшего ему знаки глазами и пальцами. У этого человека была самая подозрительная внешность, однако, Мюргит не колебался... Цепляясь за малейшую возможность поест, подошел он к завязанной голове и сел рядом.

– Давно не ел? – проницательно осведомился, подмигивая, неизвестный.

– Да, – сказал Мюргит, – если вы угадали, что я не ел, то уж угадать, что не ел двое суток – пустяки.

– Хочешь заработать?

– Хочу.

– Эй, – сказала завязанная голова, кладя вилку, – дай-ка, рыжий, этому парню бобов с салом, баранины и вина.

Кровь хлынула к сердцу Мюргита от неожиданности; чувствуя инстинктивно, что лучше и выгоднее молчать, ожидая, что скажут, просидел он, перебирая от нетерпения под столом ногами, пока слуга, рыжий, как солнце, ходил на кухню. Когда кушанье было подано. Мюргит съел его аналогично медленно трогающемуся и быстро берущему скорый ход паровозу; благодетель Мюргита, заметив под нос что-то насчет дураков, прозевавших такого молодца, как юноша, налил вина и сказал:

– Вижу я по твоей физиономии, что ты не способен выдать накормившего тебя человека. Слушай: я контрабандист и мошенник. Вчера с грузом сырого шелка выехал я по лесной реке Зерре, что неподалеку отсюда, прокрался благополучно мимо одного таможенного пикета и перedal на берегу груз ожидавшим меня верховым товарищам.

Не успел я разделаться с последним тюком, как раздались выстрелы, приятели мои усакакали, а я, бросаясь в лодке от берега к берегу, сбил с толку солдат, выскочил, покинул на произвол судьбы лодку и скрылся. Пришлось мне также бросить ружье. Контрабандисту, пойманному с оружием в руках, – виселица! Если найдут лодку – мигом узнают, что это моя работа, лодка моя известна. Поди-ка ты, затопи ее вместе с ружьем, а если увидишь, что ее уже нет, – вернись и скажи мне. Это для тебя не опасно, ты ведь можешь придумать, в случае чего, что угодно.

– Что ж, – сказал, охмелев, Мюргит, – я согласен.

– По тропинке за бойнями, – объяснил мошенник, – выйдешь ты к проезжей дороге, что идет мимо оврага, а там, у реки, возьмешь влево и, думаю, недолго пройдешь, как увидишь лодку. Прорежь ей ножом дно и насыпь камней. Вот тебе, – он вытащил из кармана горсть мелкого серебра и сунул Мюргиту. – Смотри же, братец, молчи обо всем этом.

– Будьте покойны, – сыто улыбаясь, сказал Мюргит, – я все обстряпаю.

И он, не теряя времени, отправился к реке Зерре.

II

Бобы с салом, баранина, крепкое вино и мелкое серебро держали Мюргита целый час в состоянии упоения. «Ей-богу, мне повезло как раз после стихов», – думал он, шагая лесной дорогой. Серебро звенело в его кармане соловьиными трелями, здоровая сытость разливалась по окрепшему телу, и, веселый по природе, Мюргит беспричинно рассмеялся, насвистывая куплеты. Скоро пришел он к синей узкой реке, блестящей солнцем под безоблачным небом, и, с трудом пробираясь у самой воды среди упавших стволов папоротника, цепких кустов и арками купающихся в струях реки свисших ветвей, увидел в тенистом заливчике превосходную лодку, способную выдержать не менее десяти человек. В уключинах торчала пара тяжелых весел, а на дне, подле одноствольного, старинной работы ружья, валялся мешок с чаем, сахаром, галетами, порохом, пулями и сменой белья.

– Да это целое хозяйство! – вскричал Мюргит, запнувшись за жестяной котелок. Под кор-

мой он увидел топор. – Лодку, конечно, я утоплю, но ружье и все остальное – дудки! Это стоит денег. Все равно мой случайный хозяин не получил бы этих вещей, если бы не я!

Решив так, Мюргит сел к веслам, взмахнул ими и выплыл на середину реки, высматривая, нет ли где тяжелых камней, но впал в раздумье. «Хорошо, – думал Мюргит, – я утоплю лодку, вернусь, и что же предстоит мне? Деньги через несколько дней выйдут, а в этом маленьком городе не легко найти место. Не отправиться ли мне вниз по течению? Что мне терять? Зерра впадает в Таниль, а Таниль в море, где шумит большой город, в десять раз более этого дохлого Хас-савера – Сан-Риоль; поэтому я думаю, что благоразумнее мне пуститься во все тяжкие».

Твой знак – Луна и Козерог
Ведут к удаче средь дорог...

вспомнил Мюргит. С доверчивостью к судьбе, свойственной незлопамятной молодости, Мюргит прочно уселся на скамейку лодки, и весла запели в его руках, удаляя Мюргита от того места, где он собирался прорубить дно.

Безмолвная река развертывалась перед ним пышной, синей аллеей, извилисто проникая в знойную тесноту дремлющих лесных берегов; обрывы, черные, как груды угля, с выползающими к воде розовыми корнями, сменялись колоннами бесконечно уходящих в полумрак зарослей стволов; далее, как высыпанная из корзин зелень, купались в зеленеющей отражениями воде гирлянды ветвей, образуя тенистые боковые коридоры; в глубине их встречая проникший луч, вспыхивали и гасли листья.

Затуманенные игрой струи висели в подводной пропасти опрокинутые двойники берегов, а даль речных поворотов сияла воздушными садами; очарованные зноем серебристые от блеска воды, дремали они, готовые, казалось, развеяться от легкого дуновения. В тишине леса таилась покоряющая сила спокойствия, мысль человека, попавшего сюда, текла стройно и беспечно, отдаваясь власти видимого, и глаз не уставал подмечать богатое разнообразие берегов, слитных, как толпа, и разных, как лица.

Мюргит плыл и не думал уже о будущем, а тихо погружался в неясные, похожие на сказки, события, неизвестно кем пережитые и рассказанные, но был в них главным действующим лицом. Радовался, горевал, молился и плакал. В этой игре воображения не было ничего, что мог бы он припомнить потом, но сердце его от зноя, тишины и беспричинной, сладкой тревоги билось частыми, волнующими толчками, как бы требуя на неизвестном наречии свободы и радости. Прошел еще час, пали тени от берегов, и, услышав громкое сопение, увидел Мюргит порядочных размеров медведя. Зверь стоял у воды, саженьях в десяти от лодки: с морды его падали блестящие водяные капли, он пил и, увидев человека, обеспокоился.

– Эй, дядя! – беспечно крикнул Мюргит, считая себя в безопасности. – Как посмотрю я, ты здорово обнаглел, если не боишься получить пулю! – И он показал ему заряженное ружье.

Медведь рывкнул, потоптался и прыгнул в воду. Не ожидая этого, Мюргит растерялся, зверь плыл к нему весьма быстро, и мохнатая голова его была уже не далее шести шагов от Мюргита, лодка же, пока он грозил ружьем повернулась носом против течения, очень быстрого в этом месте, так что, потеряв несколько времени на усилия привести лодку в прежнее положение, молодой человек увидел себя вынужденным стрелять. Он взвел курок, прицелился и, дав зверю очутиться почти вплотную, прострелил ему череп. После этого, еще не опомнившись хорошенько от неожиданного нападения, он тупо смотрел, как забившийся зверь, разводя лапами немалое волнение, поплыл в красном кровавом пятне почти уже мертвый, рядом с лодкой; еще не совсем прошел испуг Мюргита, как он сообразил, что с медведя следует содрать шкуру. Захлестнув веревкой голову мертвого врага, Мюргит взял его на буксир и, пристав к берегу, после долгих усилий, вспотев, ободрал тушу; прекрасная, черная шкура тяжело висела в руках удачливого стрелка, и он бросил ее на дно лодки.

– Вот жизнь медвежья! – все еще удивляясь, сказал Мюргит. – Нехорошо быть таким вспыльчивым. – И он продолжал путь, несмотря на добычу, без всякого желания пережить еще такую же встречу.

Смеркалось, когда, увидев редкие огни местного поселка, Мюргит усталый подплыл к чистому песку берега, рассчитывая переночевать под крышей, а не на сыром мху. Только что он вытащил лодку, как увидел, что к деревянным мосткам, лежавшим на забитых в воде сваях, идет с корзиной молодая, бедно одетая девушка. Проворно размахивая свободной рукой, незнакомка подошла к краю мостков и, заметив Мюргита, раскрыла от удивления маленький, как орех, рот. Ей было не более пятнадцати лет, и была она скорее хороша, чем дурна собой, благодаря молодости, лучистым глазам, черной косе и гибкости. Немного портили ее большие руки, грубоватые, как у большинства работающих женщин, и худощавость сложения, имевшая в себе нечто мальчишеское, но это показалось ничем в глазах Мюргита; стройная девушка пленила его улыбкой, доверчивой, как глаза больной обезьянки, и он подошел к ней.

– Вы, должно быть, нездешний, – сказала девушка, – я вижу вас в первый раз.

– Я еду из Хассавера в Сан-Риоль, – объяснил Мюргит, – и по дороге убил медведя. Там, в лодке, лежит его шкура. Позвольте узнать ваше имя!

– Анни, – и она закрылась рукой, потому что Мюргит понравился ей. – Можно посмотреть шкуру?

– Непременно! – вскричал Мюргит. Корзина с невыполосканным бельем осталась на мостках, а Анни, подбежав к лодке, попятилась и развела руками от удивления. – Вот большой, – сказала она, – и как это вы его трахнули?!

Так, слово за словом, разговорились они и познакомились. Анни была работницей в зажиточной фермерской семье, но очень страдала от непосильной работы и томила жизнь в глуши. А Мюргит, слушая ее, думал: «Как часто, по глупости или лени, проходят люди мимо своего счастья. Не буду же я дураком, сегодня мне везет, как утопленнику». И он стал рассказывать о себе, не упуская случая вставить комплимент краснеющей девушке. Сидя на борту лодки, подвигались они все ближе друг к другу, пока, заметив это, не отодвинулись точно сговорившись, и не умолкли.

Наконец Мюргит приступил к делу. Хитрей был красноречив и говорил таким тихим голосом, что его можно было принять за шепот речной воды. «Анни, – сказал он, – я много читал, слышал и видел, что случай руководит людьми. Посмотрите на эту реку. Если бы вода в ней остановилась, образовался бы ряд гнилых, скучных прудов, где от тоскидохнут рыбы. Но река движется, неустанно освежает землю, и земля вознаграждает ее пышной растительностью, охраняющей влагу от испарения. Так же и человек должен следовать руслу случая, если он обещает ему в будущем радость. Мы познакомились случайно, и отчего бы нам затягивать это дело дальше? Вот лодка и весла, а вот открытый путь с Сан-Риоль, если я вам хоть немного нравлюсь, то в будущем понравлюсь еще более. Вам и мне терять нечего. Если вам кто-нибудь говорил, что жизнь требует осторожности и терпения, – не верьте, бывает, что и терпение ломается. Удивите-ка самое себя! Приехав, мы обвенчаемся, а денег у нас на первое время хватит – я продам лодку, ружье и шкуру».

– Вы с ума сошли! – вскричала Анни. Но голо Мюргита звучал так серьезно, что это польстило ей.

– Я сделаю для вас все! – торопился высказаться Мюргит. – Я в конце концов, конечно, разбогатею! Я буду вас одевать в шелк, бархат и бриллианты и по строю вам дом! Я куплю вам лошадей и все, что вы за хотите!

К чести его надо сказать, что он сам верил своим словам. Обещания, одно заманчивее другого, посыпались с его языка проливным дождем.

– Нет, этого я не сделаю, – решительно произнесла Анни и подвинулась ближе.

– Анни! – сказал Мюргит. – Поверьте моему дню!

– Никогда. А как же белье?

– Белье? Белье... что ж белье?!

– Вы не... будете обижать меня?

– Упаси бог.

Они взяли за руки и стали шептаться.

В сердце Анни было много задора, легкомыслия и великодушия. Шептались они очень

долго и убедительно, я Мюргит столкнул лодку в ночную реку, под крупные звезды, и Анни, поплавав, села к рулю.

III

В раскрытое окно лился гром приморского города. Похудевший Мюргит печально смотрел на Анни, а Анни, стараясь не поддаваться унынию, смотрела на мужа.

– Нет керосину, – сказал Мюргит, – сахару нет чаю, хлеба, мыла и табаку. Положение наше ожесточенное, дружок Анни. Что бы продать?

Анни ничего не ответила, потому что в маленькой комнате не было ничего для продажи.

«Обменять новые башмаки на старые, – думала Анни, – или продать их совсем? – Она вздохнула и посмотрела на маленькие свои ноги. – Опять босиком?!»

– Подожди-ка! – вдруг вскричал, вскакивая, Мюргит. Он кое-что вспомнил, и в глазах его это было все же лучше, чем ничего. – Анни, подожди меня, я скоро вернусь.

– Что ты задумал?

– А вот увидишь.

И он, схватив шляпу, бросился бегом на улицу. А когда вернулся, под мышкой у него торчал объемистый сверток, который он с торжеством показал жене.

– Я выпросил это в долг у лавочника, – сказал он и стал говорить, что к вечеру он все устроит. Анни, выслушивая его план, немного приободрилась, и у нее появилась надежда, что вечером удастся поесть.

В этот же день на площади у фонтана остановилась пара молодых людей, мужчина и женщина. У мужчины на шее висел ящик. С улыбкой посмотрев друг другу в глаза и смущаясь, они потупились и запели; свежие, приятные голоса их остановили некоторых прохожих. Пропев несколько песенок о любви, цветах, вине и веселье, человек с ящиком выступил вперед и сказал:

– Купите, господа, счастье! Роль маленького попугая исполняет моя жена.

И монеты, одна за другой, стали падать в шляпу Мюргита.

Сладкий яд города

I

Сын старика Эноха охотился на берегах мутной Адары, а старик промышлял в горных увалах, близ Вадра. Оба месяцами не видались друг с другом и мало нуждались в этом; сын, как и отец, привык к одиночеству. Изредка встречались они у скупщика, жившего в небольшой деревушке, верстах в пятистах от города. Сыну Эноха – Тарту шел восемнадцатый год, когда, внезапно остановившись над куньей норой, он глубоко задумался, отозвал лаявшую у пня собаку, вздохнул, сел на пень и повесил голову.

Удивляясь сам столь внезапно поразившему его грустному наваждению, молодой дикарь осмотрелся кругом, пытаясь дать себе отчет в своем настроении. Лес, где он родился, вырос и чувствовал себя дома, показался ему слишком тесным, хмурым, однообразным; куница, хотя он еще и не видал ее – второсортной, а день – долгим. Сначала он это отнес к тому, что побывал недавно в болотах Зурбагана, где, по уверениям стариков, можно отравиться на несколько дней испарениями цветов особого лютика, известного под названием «Крокодиловой жвачки», но голова его, как бывает в таких случаях, не болела, а, наоборот, особенно свежо и ясно сидела на здоровых плечах.

Затем Тарт попробовал объяснить грусть вчерашним промахом по козе или, в худшем случае, плохим сном, но и по стаду коз не сделал бы он сейчас ни одного выстрела, и сон был из средних. Обеспокоенный Тарт вздохнул, затем, достав трубку, пощипал начинающие пробиваться усы и стал курить.

Собака нервно переминалась с ноги на ногу, рассматривая хозяина молитвенно-злыми гла-

зами, и тонко скулила; запах куницы нестерпимо томил ее, но Тарт продолжал курить. Куница тем временем передохнув, сидела съезжая в норе и обдумывала план побега, удивляясь небывалой сентиментальности своего врага. Тарт почесал за ухом, чувствуя, что ему ужасно хочется неизвестных вещей. Весь арсенал своих несложных желаний перебрал он, но все это было не то. Неопределенные сказочные туманы парили в его воображении; где-то далеко за лесом, неизвестно с какой стороны, манили его невнятные голоса. Хотеть – и не знать чего? Томиться неизвестно почему? Грустить, не зная о чем? Это было слишком новое и сильное ощущение.

Плюнув, к отчаянию собаки, на кунью нору и встав, Гарт медленно, полусознательно направился по тропинке к реке, желая рассеяться. Кроме отца, Тарт знал еще одного умного человека – скупщика мехов Дрибба, бывавшего на своем веку в таких местах, о которых сто лет сказки рассказывают. Дрибб жил в деревушке по течению Адары ниже того места, где находился Тарт, верст пять, и молодой человек думал, что его, Дрибба, авторитет куда выше в таком тонком и странном случае, чем авторитет бродяги Хависсо, известного своей склонностью к размышлениям. Встревоженный, но отчасти и заинтригованный непонятной своей хандрой. Тарт, считая себя человеком незаурядным, так как попадал без промаха в орех на тридцать шагов, перебрал всех знакомых и лишь Дрибба нашел достойным доверия; вспомнив же, что скупщик умеет читать газеты и носит очки – предмет ученого свойства, – почувствовал себя уже легче.

II

Тарт посадил в лодку собаку и отправился к Дриббу. Недолгий путь прошел в молчаливых сетованиях; охотник хмуро брюзжал на берега, реку, солнце, хохлатую цаплю, стоящую у воды, плывущее дерево, собаку и все, что было для него видимым миром. Собака печально лежала на дне, уткнув морду в лапы.

Тарт вспомнил отца, но пренебрежительно сморщился.

– Этот только и знает, что качать головой, – сказал он, настроенный, как большинство родственников, скептически по отношению к родственному взаимному пониманию. – Попадись я ему сейчас – одна тоска. Старик начнет качать головой, и я пропал; не могу видеть, как он щелкает языком и покачивается.

Энох действительно имел привычку во всех трудных случаях скорбеть и после долгого молчания изрекать грозным голосом: «Не будь олухом, Тарт, возьми мозги в руки!» В иных случаях это, действуя на самолюбие, помогало, но едва ли могло пособить теперь, когда весна жизни, вступая в свои права, заставляет молодого великана повесить голову и стонать.

Выбросив лодку на песок ужасным швырком, Тарт подошел к дому Дрибба. Это было нескладное одноэтажное здание, огороженное частоколом, с кладовыми в дальнем углу двора. Слегка смущаясь, так как не в лесных обычаях ходить среди дня в гости, Тарт стукнул прикладом в дверь, и Дрибб открыл ее, оскалив желтые зубы, что заменяло улыбку. Это был человек лет пятидесяти, без седины, с длинными черными волосами, бритый, с сизым от алкоголя носом; испитое треугольное его лицо быстро меняло выражение, оно могло быть сладким до отвращения и величественным, как у судьи, на протяжении двух секунд. Очки придавали ему вид человека занятого, но доброго.

– Здравствуйте, юноша! – сказал Дрибб. – Я ждал вас. Как дела? Надеюсь поживиться от вас свежими шкурками, да? Дамы в Париже и Риме обеспокоены. Вы знаете, какие это очаровательные создания? Входите, пожалуйста. Что я вижу! Вы налегке? Не может быть! Вы, вероятно, оставили добычу в лесу и спустите ее не мне, а другому?! Как это непохоже на вас! Или вы залежились, но что скажут дамы, чьи плечи привыкли кутаться в меховые накидки и боа? Что я скажу дамам?

Болтая, Дрибб придвинул охотнику стул. Тарт сел, осматриваясь по привычке, хотя был у Дрибба по крайней мере сто раз. На стенах висели пестрые связки шкур, часы, карты, ружья, револьверы, плохие картинки и полки с книгами; Дрибб не чуждался литературы. В общем, помещение Дрибба представляло собою смесь охотничьей хижины и походной конторы.

Тарт, потупясь, размышлял, с чего начать разговор; наконец сказал:

- А вот товару я на этот раз вам не захватил.
- Плохо. Прискорбно.
- Ночью какой здоровый был ливень, знаете?
- Как же. Юноша, направьте-ка на меня ваши глаза.
- А что?
- Нет, ничего. Продолжайте ваш интересный рассказ.
- Лебяжьи шкурки... – начал Тарт, смутился, упал духом, но скрепя сердце проговорил, смотря в сторону:
 - А бывало вам скучно, Дрибб?
 - Скучно? Пф-ф-ф!.. сколько раз!
 - Отчего?
 - Более всего от желудка, – строго произнес Дрибб. – Я, видите ли, мой милый, рос в неге и роскоши, а нынешние мои обеды тяжеловаты.
 - Неужели? – разочарованно спросил Тарт. – Значит, и у меня то же?
 - А с вами что?
 - Не знаю, я за этим к вам и пришел: не объясните ли вы? Неизвестно почему взяла меня сегодня тоска.
 - А! – Дрибб, вытерев очки, укрепил их снова на горбатом переносье и, подперев голову кулаками, стал пристально смотреть на охотника. – Сколько вам лет?
 - Скоро восемнадцать, но можно считать все восемнадцать; три месяца – это ведь не так много.
 - Так, – заговорил как бы про себя Дрибб, – парню восемнадцать лет, по силе – буйвол, неграмотный, хорошей крови. А вы бывали ли в городах, Тарт?
 - Не бывал.
 - Видите ли, милый, это большая ошибка. Ваш дедушка был умнее вас. Кстати, где старик Энох?
 - Шляется где-нибудь.
 - Верно, он говорил вам о деде?
 - Нет.
 - Ваш дед был аристократ, то есть барин и чужак. Он разгневался на людей, стал охотником и вырастил такого же, как вы, дикаря – Эноха, а Энох вырастил вас. Вот вам секрет тоски. Кровь зовет вас обратно в город. Ступайте-ка, пошляйтесь среди людей, право, хорошо будет. Должны же вы, наконец, посмотреть женщин, которые носят ваших бобров и лисиц.
- Тарт молчал. Прежний, сказочный, блестящий туман – вихрь, звучащий невнятными головами, поплыл в его голове, было ему и чудно и страшно.
- Так вы думаете – не от желудка? – несмело произнес он, подняв голову. – Хорошо. Я пойду, схожу в город. А что такое город – по-настоящему?
- Город? – сказал Дрибб. – Но говорить вам о том, что толковать слепому о радуге. Во всяком случае, вы не расклетесь. Кто там? – и он встал, потому что в дверь постучали.

III

Вошедший подмигнул Дриббу, швырнув на стол двух роскошных бобров, и хлопнул по плечу Тарта. Это и был Энох, маленький худощавый старик с непередаваемо свежим выражением глаз, в которых суровость, свойственная трудной профессии охотника, уживалась с оттенком детского, наивного любопытства; подобные глаза обыкновенно бывают у старых солдат-служак, которым за походами и парадами некогда было думать о чем-либо другом. Энох, увидев сына, обрадовался и поцеловал его в лоб.

- Здравствуй, старик, – сказал Тарт. – Где был?
- Потом расскажу. Ну, а ты как?
- Энох, сколько вы хотите за мех? – сказал Дрибб. – Торгуйтесь, да не очень, молодому человеку нужны деньги, он едет пожить в город.

– В город? – Энох медленно, точно воруя ее сам у себя, снял шапку и, перестав улыбаться, устремил на сына взгляд, полный тяжелого беспокойства. – Сынишка! Тарт!

– Ну, что? – неохотно отозвался юноша. Он знал, что старик уже качает головой, и избегал смотреть на него.

Голова Эноха пришла в движение, ритмически, как метроном, падала она от одного плеча к другому и обратно. Это продолжалось минуты две. Наконец старик погрозил пальцем и крикнул:

– Не будь олухом, Тарт!

– Я им и не был, – возразил юноша, – но что здесь особенного?

– Ах, Дрибб! – сказал Энох, в волнении опускаясь из кровати. – Это моя вина. Нужно было раньше предупредить его. Я виноват.

– Пустяки, – возразил Дрибб, с серьезной жадностью в глазах глядя на пушистых бобров.

– Тарт – и вы, Дрибб... нет, Дрибб, не вам: у вас свой взгляд на вещи. Тарт, послушай о том, что такое город. Я расскажу тебе, и если ты после этого все же будешь упорствовать в своем безумстве – я не стану возражать более. Но я уверен в противном.

Неясные огоньки блеснули в глазах Тарта.

– Я слушаю, старик, – спокойно сказал он.

– Дрибб, дайте водки!

– Большой стакан или маленький?

– Самый большой, и чтобы стекло потоньше, у вас такой есть.

Скупщик достал из сундука бутылку и налил Эноху. Тарт нетерпеливо смотрел на отца, ожидая, когда он приступит к рассказу о городе, который уже мучил и терзал его любопытство.

Дрибб закурил трубку и скрестил на груди руки: он слишком хорошо знал, что такое город. Но и ему было интересно послушать, за что, почему и как Энох ненавидел все, кроме пустыни.

– Мальчик, – сказал Энох, поглаживая бороду, – когда умирал мой отец, он подозвал меня к себе и сказал: «Мой сын, поклянись, что никогда твоя нога не будет в проклятом городе, вообще ни в каком городе. Город хуже ада, запомни это. А также знай, что в городе живут ужасные люди, которые сделают тебя несчастным навек, как сделали они когда-то меня». Он умер, а я и наш друг Канабелль зарыли труп под Солнечной скалой. Мы, я и Канабелль, жили тогда на берегу Антоннилы. Жгучее желание разгорелось во мне. Слова отца запали в душу, но не с той стороны, куда следует, а со стороны самого коварного, дьявольского любопытства. Что бы ни делал я – принимался ловить рыбу, ставить капканы или следить белок – неотступно стоял передо мной прекрасным, как рай, видением город, и плыли над ним золотые и розовые облака, а по вечерам искусно выпрашивал я Канабелля, как живут в городе, он же, не подозревая ничего, рисовал передо мной такие картины, что огонь шумел в жилах. Видел я, что много там есть всего. Ну... через месяца полтора плыл я на пароходе в город; не зная, какие мне предстоят испытания, я был весел и пьян ожиданием неизвестного. Со мной, как всегда, были моя винтовка и пистолеты. Наконец, на третий день путешествия, я слез вечером в Сан-Риоле.

Первое время я стоял среди площади, не зная, куда идти и что делать. Множество народа суеилось вокруг, ехали разные экипажи, и все это было обнесено шестиэтажными домами, каких я никогда не видал. Долго бы я стоял и смотрел, как очарованный, на уличную толпу и магазины, если бы меня не ударило дышлом в бок; отскочив, я пошел, не знаю куда. В то время, когда я остановился у одного окна, где был выставлен стул с золотыми ножками, ко мне подошел бравый мужчина, одетый как граф, и сказал, кланяясь: «Вы, должно быть, первый раз в этом городе?» Я сознался, что так. «Я очень люблю молодых людей, – сказал он, – пойдемте, я покажу вам чудесную гостиницу». Мы познакомились, а он взял у меня взаймы половину моих денег, потому что сам должен был на другой день получить миллион. Сдержав обещание указать гостиницу, он подвел меня к чудесно освещенному дому и попрощался, сказав, что принесет деньги завтра к полудню. Я ударил в дверь гостиницы прикладом ружья и потребовал, чтобы меня впустили.

На стук раздались звонки, послышалась беготня, и несколько лакеев выросли передо мной. «Что имеете вы сказать губернатору?» – спросил один. Я сказал им, что если гостиницей заведует губернатор, прошу его пустить меня за хорошую плату переночевать. Тогда один из этих пи-

галиц захохотал, нахлобучил мне шапку на нос и щелкнул ключом, и все скрылись, крича: «Здесь живет губернатор!» – а я, вспыхнув, готов был стрелять в них, но было уже поздно и, по совести, следовало бы убить обманщика-графа.

Чрезвычайно расстроенный, направился я дальше по улице, как вдруг услышал музыку и пение. Передо мной были украшенные флагами и фонарями ворота; тут же стояла кучка народа. Приблизившись, я спросил, что здесь такое. Все очень долго и внимательно смотрели на меня, наконец, почтенного вида человек, ласково улыбнувшись, объяснил мне, что это театр и что здесь можно видеть за деньги удивительные и приятные вещи. Я ничего не понял, но, заинтересовавшись, купил билет и направился, по указанию очень смущавшего меня своими услугами почтенного человека, в большой зал. Оглянувшись, я увидел, что за мной идет целая толпа народа и все смотрят на меня; пожав плечами, я решил не обращать на них внимания. Я сел неподалеку от большой стены с нарисованными на ней водопадами, и все, кто шел, расселись вокруг, указывая на меня пальцами. Смущенный, я упорно продолжал смотреть прямо перед собой, держа винтовку между колен, на всякий случай.

Наконец, подняли стену, заиграла музыка, и я увидел на небольшой площадке отъявленно-го по наружности мерзавца, который, спрятавшись за углом дома, кого-то поджидал. Очень скоро из переулка вышла прехорошенькая женщина; обращаясь ко мне, она сказала, что очень боится идти одна, но надеется на бога. Я хотел уже было предложить ей свои услуги и встал, но в это время показался ее знакомый, должно быть, жених, Эмиль, который утешил ее, сказав, что ее отец вернулся, а мамаша выздоровела; и они поцеловались при всей публике; тогда мерзавец, с которого я не спускал глаз, ловким выстрелом из пистолета свалил Эмиля и, подхватив упавшую в обморок девушку, хотел утащить ее, но я, быстро прицелившись, всадил ему в ногу пулю; я не хотел убить его, дабы его повесили. Разбойник закричал страшным голосом и упал, а девушка, моментально очнувшись, бросилась к нему, плача и обнимая его.

Не успел я удивиться ее странному поведению, как меня крепко схватили со всех сторон, вырвали ружье и повели из театра вон. Сначала я думал, что то приятели разбойника, но потом выяснилось, что эти люди так же, как и я, пришли за деньги посмотреть на злодейство. Я не понимал такого скверного удовольствия. Долго тащили меня по улицам, называя сумасшедшим, дикарем, дураком и как им хотелось, пока не ворвались все в пустую комнату одного дома, куда скоро пришел главный полицейский и стал меня допрашивать. На все его вопросы я отвечал, что нелегко было поступить иначе.

Мы долго спорили, и мало-помалу я увидел, что все уже не сердятся, а смеются. Полицейский сказал:

– Дорогой мой, все, что вы видели, происходит не на самом деле, а как будто на самом деле. Эти люди, в которых вы стреляли, получают жалованье за то, что прикидываются разбойниками, графами, нищими и так далее; чем лучше введут в обман, тем больше их любят, а яла они никому не делают.

Тут все напереерыв стали объяснять мне, и я все понял.

– Однако, – возразил я, не желая сдаваться сразу, – хорошо ли поступил тот граф, который сегодня выманил у меня деньги и привел к дому губернатора вместо гостиницы?

Все пожелали узнать, в чем дело, и заставили описать наружность графа. Оказалось, что это мошенник, и его давно ищет полиция, и старший полицейский обещал мне скоро вернуть деньги. После этого кое-кто из публики отвел меня в настоящую гостиницу, где я и уснул, очень довольный роскошным помещением.

Мне уже начинало становиться страшно жить в городе, но я, устыдившись своего малодушия, решил жить до тех пор, пока не узнаю всего. Деньги мне, поймав мошенника, возвратили через старшего полицейского, который также сказал, что подстреленный мной неопасно актер выздоровел и ругает меня. Прожив все деньги, я поступил рабочим на мыловаренный завод, где мне приходилось грузить ящики с товаром. К тому времени я несколько осмотрелся и знал уже многое. Товарищи очень любили меня, я рассказывал им о лесах и озерах, животных и птицах и обо всем, чего нет в городе. Но, на мою беду, приехал хозяин. Однажды я пристально осмотрел его плотную фигуру, шагавшую по двору с петушиной важностью, и продолжал заниматься сво-

им делом, как вдруг, подбежав ко мне, он стал кричать, почему я ему не кланяюсь. Я, оторопев сначала, сказал, что мы не знакомы, а если он хочет познакомиться, пусть скажет об этом. Он едва не умер от гнева и не задохся. Долго толковал он мне, что все рабочие должны ему кланяться. «Сударь, – сказал я, – я делаю свое дело за деньги и делаю исправно, этим наши обязательства кончены, что вы еще хотите?» И, действительно, я никак не мог понять, в чем дело. «Грубиян, – сказал он, – молокосос!» – «Сударь, – возразил я, подходя к нему, – у нас такие вещи решаются в лесу винтовками. Не хотите ли прогуляться?» Он убежал, я же рассердился и покинул завод.

И вот на каждом почти шагу, Тарт (налейте мне еще стаканчик, Дрибб!), убеждался я, что в городе все устроено странно и малопонятно. Лгут, обманывают, смеются, презирают людей ниже или беднее себя и лижут руки тем, кто сильнее. А женщины! О господи! Да, я был влюблен, Тарт, я познакомился с этой коварной девушкой вечером на гулянье. Так как она мне понравилась, то я подошел к ней и спросил, не желает ли она поговорить со мной о том, что ей более всего приятно. Она объяснила, что ей приятно разговаривать обо всем, кроме любви. Тогда я стал рассказывать ей о силках и о том, как делают челноки. Она подробно расспрашивала меня о моей жизни и, наконец, осведомилась, был ли я когда-нибудь влюблен, но так как мне о любви говорить было запрещено ею же самой, я счел этот вопрос просто желанием испытать меня и свернул на другое.

Девушка эта была портниха. Мы условились встретиться на следующий день и стали видеться часто, но я, хотя и любил ее уже без памяти, однако молчал об этом.

– Энох, – сказала она как-то раз, – вы, может быть, любите меня?

Я пожал плечами.

– Не могу говорить об этом.

– Почему?

– Вы не желаете.

– Вы с ума сошли! – Она недоверчиво посмотрела на меня.

– Я помню всегда, что говорю, – возразил я, – а вы забыли. Две недели назад вы выразили желание не говорить о любви.

– Хм! – Она качала головой. – Нет, теперь можно, Энох, слышите?

– Хорошо. Я страшно люблю вас. А вы меня?

– Не знаю...

Я ужасно удивился и спросил, как можно не знать таких вещей. Далее мы поссорились. Она твердила, что, может быть – любит, а может быть – не любит и не знает даже, почему «может быть», а не «да» или «нет».

Мне стало грустно. Совершенно я не мог понять этого. Однако после этого мы продолжали видеться, и я как-то спросил: знает ли она, наконец, теперь?

– Тоже не знаю! – сказала она и громко расхохоталась.

Рассерженный, я встал.

– Мне нечего тогда больше затруднять вас, – заявил я. – Я потерял надежду, что вы когда-нибудь узнаете такую простую вещь. Прощайте.

Я повернулся и пошел прочь с горем в душе, но не обращая внимания на ее крики и просьбы вернуться. Я знал, что если вернусь, опять потянется это странное: «знаю – не знаю», «люблю – не люблю», – я не привык к этому.

И вот я затосковал. Потянуло меня снова в пустыню, которая не обманывает и где живут люди, которые знают, что они сделают и чего хотят. Надоело мне вечное двоедушие. Что ты думаешь, Тарт, а ведь та девушка очень похожа на город: ничего верного. Ни «да», ни «нет» – ни так, ни этак, ни так, ни сяк. Вернулся я и не пойду больше в город.

Теперь ты убедился, сын, что я прав, предостерегая тебя. Наш дикий простор и суровая наша жизнь – куда лучше духовного городского разврата. Эй, говорю я, возьми мозги в руки, не будь олухом!

IV

Энох так разволновался, что стал размахивать ружьем и топтать ногами; Дрибб сидел, не шевелясь, изредка улыбаясь и посматривая на Тарта. Глаза Тарта то вспыхивали, то гасли, мечтательность проявлялась в них, порой усмешка или угроза; он, по-видимому, мысленно был во все время рассказа Эноха в диковинном краю чужой жизни – городе.

– Ах, – сказал юноша, – спасибо, отец, за рассказ. Я вижу, что город очень занятная штука, и скоро там буду. Каждый за себя, братец!

– Сынишка! – вскричал Энох.

– Что – сынишка, – стукнув прикладом об пол, сказал Тарт, – я сумею постоять за себя.

– Сказка про белого бычка, – вздохнул Дрибб и налил старику водки.

Тихие будни

I

Евгения Алексеевна Мазалевская приехала на лето в деревню к родственникам. Это были ее дядя и тетка по мужу, жена его. Мать девушки умерла, когда дочери минуло шесть лет, отец же, директор гимназии, жил в Петербурге, один. Он был человек желчный и жестокий, нетерпимый к чужому мнению, честолюбивый и резкий, странное соединение бюрократа и либерала. По отношению к дочери он был настоящим Домби, хотя славянская кровь мешала ему выдерживать эту марку вполне. Несомненно, что девушку он любил, так же, как и она его, но с его стороны любовь была раздражительная и деспотическая, требующая подчинения своим взглядам; с ее – простая, но замкнутая и гордая, так как старик никогда почти не высказывался прямо, а лишь замысловатыми, похожими на ребус намеками, и мог привести кого угодно в исступление неожиданными поворотами от скупой мягкости к беспричинному или, по крайней мере, невыясненному озлоблению. Это были тяжелые, обидные для молодой девушки отношения. Причина их крылась, конечно, в характере отца, но причина эта, как и внутренняя его жизнь, для Евгении были секретом. Ее постоянно тянуло к отношениям простым и сердечным, но многие впечатления жизни сложились так, что, утратив ясную непосредственность души, она стала замкнутой и пугливой, внутренне умолкла, как оторопевший от неожиданного оскорбления человек, и проходила жизнь с печальным недоверием к ней, стараясь быть в стороне.

Разумеется, эта бледная городская девушка с удовольствием ушла на время от тяжелых отношений с отцом, от службы (она служила в конторе медицинского журнала) и, улыбаясь летним удовольствиям, отправилась к дяде, которого видела один раз в жизни. Дядя, помещик, страдающий постоянными неудачами в разведении кукурузы, персиков, аргентинских огурцов и других разорительных для северного кармана вещей, рассеянно смотрел на племянницу поверх очков наивными глазами благодушного дворянина, совал ей в руку сельскохозяйственные брошюры, рассказывал о клубнике, а по утрам, с газетой в руках, усердно растирая лоб, стучал в дверь Евгении. «Смотри-ка, – говорил он, входя, – удивительнейшее сообщение: оказывается, что в египетском сфинксе эти черти, как их... бельгийцы... открыли храм. Вот удивительно». Видя мужика, он страдал, морщился и говорил «вы», на что мужик почтительно возражал: «Так ты, батюшка, Пал Палыч, ужо отколупни выгону, без эстого где же?» Управляющий, он же староста деревенской церкви, воровал, как хотел. Павел Павлович прекрасно играл на рояле; во время игры его лицо становилось дельным и энергичным. Города он не любил; служил раньше по выборам, но бросил, говоря: «Что с ними поделаешь – повернут, как хотят». Его жена, Инна Сергеевна, томная, с болезненным, лимонного цвета, лицом, рыхлая дама, могла часами вспоминать Петербург. Супруги иногда ссорились, шепотом, без увлечения, с досадливой скукой в сердце. Инна Сергеевна, вздыхая, говорила мужу: «Паша, я отдала тебе все, все, – вы узкий, неблагодарный человек», – на что, вытирая вспотевшие очки, Павел Павлович отвечал: «Кто старое вспомнит, тому глаз вон». Гости, боясь скуки, ездили к ним редко и неохотно.

Евгения Алексеевна проводила время в прогулках, чтении, раздумьи, сне и еде. Через две

недели она заметно поправилась, порозовела, в глазах появился здоровый блеск. Ленивая тишина лета укрепила ее. В это же самое время в губернском городе соседней губернии произошло следующее.

II

Молодой человек Степан Соткин, из мещан, после долгого отсутствия вернулся домой. Он прослужил три года, где и как придется, в разных местах России: кассиром на пароходе, весовщиком на станции, кондуктором и агентом полотняной фирмы. Он не переписывался с родителями почти год, так что, по возвращении, для него было большой и серьезной новостью известие о смерти старшего брата, в силу чего Степану Соткину приходилось тянуть жребий. Призывных в этом году было немного, льготный жребий требовал счастья исключительного, а забраковать Соткина не могли, потому что это был человек здоровый, рослый и быстрый.

Вечером в саду под бузиной произошло семейное чаепитие. Старик Соткин, вдовец, сторож казенной палаты сказал:

– Отымут тебя, Степан. Гриша померши, а тебе – лоб. С Петькой останусь.

– Это еще неизвестно, – ответил Степан. – Я, собственно, к военной службе охоты никакой не имею.

После четырех лет скитаний он думал о солдатской лямке с ненавистью и отвращением. С шестнадцати лет Соткин привык жить вполне независимо, переезжая из города в город, тратя, как хотел, свои силы, труд и деньги. Ему вспомнилась бойкая, цветная Москва, голубая Волга, гул ярмарки в Нижнем, нестройная музыка Одесского порта; перед ним, окутанный паровозным дымом, бежал лес. И Соткин покрутил головой.

– Да, неохота, – повторил он.

– Выше ушей не прыгнешь, – сказал старик. – Бежать, что ли? В Англию. Два года восемь месяцев, – авось стерпишь.

Соткин вздохнул и, выйдя побродить, зашел в пивную. Там, сжав голову руками, он просидел за бутылками до закрытия и, тщательно обсудив положение, решил, что служить придется. Жизнь за границей и манила его, но и пугала невозможностью вернуться в Россию. «Служить так служить, – сказал он, подбрасывая в рот сухарики, – так и будет».

Его назначили в Пензу. Обычное недоумение и растерянность новобранцев перед новыми условиями жизни (в большинстве – «серых» деревенских парней), а также наивное тщеславие их, удовлетворяемое красными новенькими погонями, треском барабана и музыкой, были чужды Соткину. Как человек бывалый и развитой, он быстро усвоил всю несложную мудрость шагистики и вывертывания носков, выправку, съедание начальства глазами, ружейный механизм и – так называемую «словесность». Ровный, спокойный характер Соткина помогал ему избегать резких столкновений с унтерами и «старыми солдатами», помыкавшими новичками. Он не старался выслужиться, но был исполнителен. Все это не мешало ближайшему начальству Соткина – подвзводному, взводному, фельдфебелю и каптенармусу (играющему, обыкновенно, среди унтеров роль Яго; теплое, хозяйственное положение каптенармуса – предмет зависти – делает его сплетником, интриганом и дипломатом) – относиться к молодому солдату холодно и неодобрительно.

Есть порода людей, к которым можно, изменив, отнести слова Гольдсмита: «Я вполне уверен, что никакие выражения покорности не вернут мне свободы и на один час». Соткин мог бы сказать: «Никакие усилия быть образцовым солдатом не доставят мне благоволения унтеров».

Соткин принадлежал к числу людей, которые обладают несчастной способностью, находясь в зависимости, вызывать, без всякой своей заботы об этом, глухую беспричинную вражду со стороны тех, от кого люди эти зависят. Провинностей по службе и дисциплине за ним никаких не было, но внутреннее отношение его к службе, вполне механическое и безучастное, – неумение заискивать, вылезать, льстить, изгибаться и трепетать – выражалось, вероятно, вполне бессознательно, в пустяках: случайном, пристальном или беглом взгляде, улыбке, тоне голоса, молчании на остроуту унтера, спокойных ответах, быстрых движениях. Он чистил фельдфебелю сапоги, не морщась, но только по приказанию; другие же, встав рано, с непонятным сладостра-

ствием угодливости работали щетками. Он, кроме всего этого, пил каждый день чай с белым хлебом и не должен был маркитанту. Солдаты уважали его, а мелкая власть, холодно поблескивая глазами, смотрела на Соткина туманно-равнодушным взглядом кота, созерцающего воробьев в воздухе.

Такие отношения, разумеется, рано или поздно, должны были обостриться и выясниться. Наступил лагерный сбор. За Сурой раскинулись белые, среди зеленых аллеек, палатки О-ского батальона. Солдаты, возвращаясь с учебной стрельбы, хвастались друг перед другом меткостью прицела, мечтая о призовых часах. Соткин, стреляя плохо, редко пробивал мишень более чем двумя пулями из пяти. Первый окрик фельдфебеля: «Соткин, смотри!» – и второй: «Ворона, а еще в первой роте!» заставили его целиться тщательнее и дольше; однако, более чем на три пули махальный не показывал ему красный значок. Через месяц перешли к подвижным мишеням.

На горизонтальном вращающемся шесте, за триста шагов, медленно показываясь из траншеи и пропадая, выскакивали поясные фигуры. Взвод стрелял лежа. Удушливая, огненная жара струила над полем бесцветные переливы воздуха, мушка и прицельная рамка блестели на солнце, лучась, как пламя свечи лучится прищурившемуся на нее человеку. Целиться было трудно. Вдали, на уровне глаз, ныряли, величиной с игральную карту, двухаршинные поясные мишени.

Соткин, удерживая дыхание, прицелился и дал мишени исчезнуть с тем, чтобы выстрелить при следующем ее появлении.

Мишень появилась. Соткин выстрелил, пуля, выхлестнув далеко пыль, запела и унеслась. Он истратил зря и остальные четыре патрона, не попал.

– Под ранец, – сказал ротный. Соткин густо покраснел и насупился. Ему приходилось в первый раз отбывать наказание. Досада и беспричинный стыд овладели им, как будто он, действительно, чем-то замарал себя в глазах окружающих, но скоро понял, что стыдно лишь потому, что придется стоять истуканом в полном походном снаряжении два часа, все будут смотреть и хоть мысленно улыбаться.

Рота, кончив стрельбу, с молодецкими песнями о «генерал-майоре Алхаз» и «крутящемся голубом шаре», вернулась в лагерь. Соткина разыскал взводный.

– Соткин, – равнодушно сказал он, кусая губу, – оденься и на линейку.

Солдат, выслушав приказание, вернулся в палатку, повесил на себя все, что требовалось уставом, – манерку, патронташи, скатанную шинель, сумку, взял винтовку и вышел, готовый провалиться сквозь землю. Красный, как пион, Соткин смотрел в холодное лицо унтера едва не умоляющими глазами. Унтер, осмотрев снаряжение, отвел Соткина к середине линейки и поставил лицом к лагерю...

– Так-то, – сказал он и посмотрел на часы, а затем ушел.

Соткин взял «на плечо». Солдаты, проходя мимо него, бросали косые взгляды – так странно было видеть под ранцем именно Соткина. Он, обливаясь потом, мучился терпеливо и стойко; нестерпимо жгло солнце, накаливая затылок, и от жары в ноющем от тяжести и неестественного положения руки теле пробегал нервный озноб. Седой фельдфебель, улыбаясь в усы, подошел к Соткину, открыто и ласково посмотрел ему в глаза и так же ласково произнес:

– Ближе носки. Локоть.

Прошло два часа. Соткина отпустили, он пришел в палатку и долго, делая вид, что чего-то ищет, рылся в сундучке, избегая разговаривать с товарищами. Смущение его прошло только к вечеру.

Через день снова была стрельба, но на этот раз – случайно или нет – Соткин попал из пяти четыре. Солдат облегченно вздохнул.

– В первый разряд попадешь, – монотонно сказал ему, проходя в цепи, взводный, – на приз выйдешь, часы получишь.

Он, конечно, смеялся. Соткин так это и понял, но только махнул рукой, думая: «Собака лает – ветер носит». Их глаза встретились на одно лукавое, немое мгновение, и Соткину стало ясно, что унтер определенно и жестоко будет ненавидеть его за все, что бы он ни сделал, плохо или хорошо – все равно, за то, что он – Соткин.

Прошло несколько дней. Взвод чистил ружья. Тряпочка, навернутая на конец шомпола,

давно уже выходила из дула чистой, как стиральная, и Соткин стал собирать разобранную винтовку. Ефрейтор, наблюдающий за работой, подошел к Соткину.

– Дай-ка взглянуть. – Он поднес дуло к глазам, обратив другой конец ствола к солнцу, смотрел долго, увидел, что вычищено отлично, и поэтому заявил:

– Три. Протирай еще.

– Там ничего нет, – возразил Соткин, показывая протирные тряпки, – вот, посмотрите.

– Если я говорю... – начал ефрейтор, пытаясь подобрать выразительную, длинную фразу, но запнулся. – Почисти, почисти.

Соткин для виду поводил шомполом в дуле минут десять, но уже чувствовал поднимающийся в душе голос сопротивления. Этот день был для него исключительно неприятным еще потому, что утром он потерял деньги, восемь рублей, а вечером произошло обстоятельство неожиданное и крутое.

Человек тридцать солдат, поужинав, собрались в кружок и, под руководством организовавшего это увеселение фельдфебеля, пели одну за другой солдатские песни. Слушая, стоял тут же и Соткин. У него не было ни слуха, ни голоса, поэтому, не принимая участия в хоре, он ограничивался ролью человека из публики. Разгоряченный, охрипший уже фельдфебель, без шапки, в розовой ситцевой рубашке, простирая над толпой руки, яростно угрожал тенорам, выпирал басов и тушевал так называемые «бабьи голоса», обладатели которых во всех случаях были рослыми мужиками. Стемнело, в городе блеснули огоньки.

– Соткин, пой, – сказал фельдфебель, когда песню окончили. – Ты не умеешь, а?

– Так точно, не умею. – Соткин улыбнулся, думая, что фельдфебель шутит.

– Ты никогда не пел?

– Никогда.

– Постой. – Фельдфебель вышел из круга и, подойдя к солдату вплотную, внимательно осмотрел его с ног до головы. – Учись. «До-ре-ми-фа»... Ну, повтори.

– Я не умею, – сказал Соткин и вдруг, заметив, что маленькие глаза фельдфебеля зорко остановились на нем, насторожился.

– Ну, пой, – вяло повторил тот, полузакрывая глаза.

Соткин молчал.

– Ты не хочешь, – сказал фельдфебель, – я знаю, ты супротивный. Исполни приказание.

Соткин побледнел; в тот же момент побледнел и фельдфебель, и оба, смотря друг другу в глаза, глубоко вздохнули. «Так не пройдет же этот номер тебе», – подумал солдат.

– Сполни, что сказано.

– Никак нет, не умею, господин фельдфебель, – раздельно произнес Соткин и, подумав, прибавил: – Простите великодушно.

Радостная, веселая улыбка озарила морщины бравого служака.

– Ах, Соткин, Соткин, – вздыхая, сказал он, сокрушенно покачал головой и, сложив руки на заметном брюшке, весело оглянулся. Солдаты, перестав петь, смотрели на них. – Иди со мной, – сухо сказал он, более не улыбаясь, сощурил глаза и зашагал по направлению к городу.

Взволнованный, но не понимая, в чем дело, Соткин шел рядом с ним. За его спиной грянула хоровая. Невдалеке от лагеря тянулся старый окоп, густо поросший шиповником и крапивой; в кустах этих фельдфебель остановился.

– Учили нас, бывало, вот так, – сказал он, деловито и не торопясь ударяя из всей силы Соткина по лицу; он сделал это не кулаком, а ладонью, чтобы не оставить следов. Голова Соткина мотнулась из стороны в сторону. Оглушенный, он инстинктивно закрылся рукой. Фельдфебель, круто повернув солдата за плечи, ткнул его кулаком в шею, засмеялся и спокойно ушел.

Соткин неподвижно стоял, почти не веря, что это случилось. Обе щеки его горели от боли, в ушах звенело, и больно было пошевелить головой. Он поднял упавшую фуражку, надел и посмотрел в сторону лагеря. Солдаты пели «Ой, за гаем, гаем...», в освещенных дверях маркитантской лавочки виднелись попивающие чаек унтеры. Смутно белели палатки.

– А меня бить нельзя, – вслух сказал Соткин, обращаясь к этой мирной картине военной жизни. – Меня за уши давно не драли, – продолжал он, – я не позволю, как вы себе хотите.

Он посидел минут пять на земле, глотая слезы и вспоминая противное прикосновение кулака, затем пробрался в палатку, накрылся, не раздеваясь, шинелью и стал думать.

Впереди было два года службы. За это время могло представиться еще много случаев для вспыльчивости начальства, а Соткин, человек не из любящих покорно сносить оскорбления, мог, не удержавшись, вспылить, наконец, сам, что обыкновенно вело еще к худшему. Он знал по рассказам историю некоторых солдат, затравленных до каторги, это происходило в такой последовательности: светлый и темный карцер, карцер по суду, дисциплинарный батальон, кандалы. Но трудно было ожидать перемены ветра. Воспоминания говорили Соткину, что начальство, перебывающее окриком: «Эй ты, профессор кислых щей, составитель ваксы, – на молитву!» – какой-нибудь пустяшный рассказ солдатам об Эйфелевой башне, – пользуется своей властью не только в деловых целях, но и потому, что это власть, вещь приятная сама по себе, которую еще приятнее употребить бесцельно по отношению к человеку душевно сильному. В этом был большой простор для всего.

«Могу здесь погубить свою жизнь, на это пошло», – думал Соткин. Наконец, приняв твердое решение более не служить, он уснул.

Через день Соткина утром на перекличке не оказалось. Фельдфебель написал рапорт, ротный написал полковому, полковой в округ; еще немного чернил было истрачено на исправление продовольственных ведомостей, а в городских и уездных полициях отметили, почесывая спину, в списках иных беглых и бродящих людей, мещанина Степана Соткина.

III

– Очень люблю я ершей, – сказал Павел Павлович, подвигая жене тарелку, – только вот мало в ухе перцу.

Обедали четверо – дядя, тетка, Евгения Алексеевна, и старый знакомый Инны Сергеевны, которого она знала еще гимназистом, – Аполлон Чепраков, земский начальник. Это был человек с выпуклым ртом и такими же быстро бегающими глазами; брил усы, носил темную бородку шнурком, похожую на ремень каски, имел курчавые волосы и одевался, живя в деревне, в спортсменские цветные сорочки, обтянутые по животу широким, с цепочками и карманами, поясом. Особенным, удивительным свойством Чепракова была способность говорить смаху о чем угодно, уцепившись за одно слово. Он гостил в имении четыре дня, ухаживал за Евгенией Алексеевной и собирал коллекцию бабочек.

– Да, в самом деле, – заговорил Чепраков, – ерш с биологической точки зрения, ерш, так сказать, свободный – одно, разновидность, а сваренный, как, например, теперь, – он ковырнул ложкой рыбку, – предмет, требующий луку и перцу. Щедрин, так тот сказку написал об ерше, и что же, довольно остроумно.

– Пис-карь, – страдальчески протянул Павел Павлович, – пис-карь, а не ерш.

– А, – удивился Чепраков, – а я было... Я ловил пискарей... когда это... прошлым летом... Евгения Алексеевна, – неожиданно обратился он, – вы напоминаете мне плавающую в воде рыбку.

– Аполлон, – вздохнула Инна Сергеевна, жеманно сося корочку, – посмотрите, вы сконфузили Женю, ах, вы!

– Галантен, как принц, – добродушно буркнул Павел Павлович.

Девушка рассмеялась. Большой, легкомысленный Чепраков больше смешил ее, чем сердил, неожиданными словесными выстрелами. Он познакомился с ней тоже странно: пожав руку, неожиданно заявил: «Бывают встречи и встречи. Это для меня очень приятно, я поражен», – и, мотнув головой, расшаркался. Говорил он громко, как будто читал по книге не то что глухому, а глуховатому.

– Аполлон Семеныч, – сказала Евгения, – я слышала, что вы были опасно больны.

– Да. Бурса мукоза. – Чепраков нежно посмотрел на девушку и повторил с ударением: – Мукоза. Я склонял голову под ударом судьбы, но выздоровел.

Этой темы ему хватило надолго. Он подробно называл докторов, лечивших его, лекарства,

рецепты, вспомнил сестру милосердия Пудикову и, разговорившись, встал из-за стола, продолжая описывать больничный режим.

Обычно после обеда, если стояла хорошая погода, Евгения уходила в лес, начинавшийся за прудом; дядя, покрыв лицо платком, ложился, приговаривая из «Кармен»: «Чтобы нас мухи не беспокоили», – и засыпал в кабинете; Инна Сергеевна долго беседовала на кухне с поваром о неизвестных вещах, а потом шла к себе, где возилась у зеркала или разбирала старинные кружева, вечно собираясь что-то из них сделать. Чепраков, захватив сетку для бабочек, булавки и пузырек с эфиром, стоял на крыльце, поджидая девушку, и, когда она вышла, заявил:

– Я пойду с вами, это необходимо.

– Пожалуйста. – Евгения посмотрела, улыбаясь, в его торжественное лицо. – Необходимо?

– Да. Вы – слабая женщина, – снисходительно сказал Чепраков, – поэтому я решил охранять вас.

– К сожалению, вы безоружны, а я, как вы сказали, – слаба.

– Это ничего. – Чепраков согнул руку. – Вот, пощупайте двуглавую мышцу. Я выжимаю два пуда. У меня дома есть складная гимнастика. Почему не хотите пощупать?

– Я и так верю. Ну, идемте.

Они обогнули дом, пруд и, перейдя опушку, направились по тропинке к местной достопримечательности – камню «Лошадиная голова», похожему скорее на саженную брюкву. Чепраков, пытаясь поймать стрекозу, аэропланом гуляющую по воздуху, разорвал сетку.

– Это удивительно, – сказал он, – от ничтожных причин такие последствия.

– Ну, я вам зашью, – пообещала Евгения.

– Вы, вашими руками? – сладко спросил Чепраков. – Это счастье.

– Да перестаньте, – сказала девушка, – идите смирно.

– Нет, отчего же?

– Оттого же.

«Право, я начинаю говорить его языком», – подумала девушка. Говорливость Чепракова парализовала ее; она с неудовольствием замечала, что иногда бессознательно подражает ему в обороте фразы. Его манера высказываться напоминала бесконечное, надоедливое бросание в лицо хлебных шариков. «Неужели он всегда и со всеми такой? – размышляла Евгения. – Или рисуетесь? Не пойму».

Остро пахло хвоей, муравьями и перегноем. Красные стволы сосен, чуть скрипя, покачивали вершинами. Чепраков увидел синицу.

– Вот птичка, – сказал он, – это, конечно, избито, что птичка, но тем не менее трогательное явление. – Он покосился на тонкую кофточку своей спутницы, плотно облежавшую круглые плечи, и резко почувствовал веяние женской молодости. Мысли его вдруг спутались, утратив назойливую хрестоматичность, и неопределенно запрыгали. Он замолчал, скашивая глаза, отметил пушок на затылке, тонкую у кисти руку, родинку в углу губ. «Приятная, ей-богу, девица, – подумал он, – а ведь, пожалуй, еще запретная, да».

– А я завтра в город, – сказал он, – масса дела, разные обязательства, отношения; четыре дня, прекрасно проведенные здесь, принесли мне, собственно, физическую и духовную пользу, и я снова свеж, как молодой Дионис.

– А вы любите свое дело? – спросила, кусая губы, Евгения.

– Как же! Впрочем, нет, – поправился Чепраков. – Я – не кто иной, как анархист в душе. Мне нравится все грандиозное, страстное. Мужики – свиньи.

– Почему?

– Они грубо-материальны.

– Но ведь и вы получаете жалованье.

– Это почетная плата, гонорар, – веско пояснил Чепраков. Он коснулся пальцами локтя Евгении, говоря: – К вам веточка пристала, – хоть веточку эту придумал после долгого размышления. – Теперь вот что, – серьезно заговорил он, бессознательно попадая в нужный тон, – что говорить обо мне, я человек маленький, делающий то, что положено мне судьбою. Вы, вы как живете? Что думаете, о чем мечтаете? Что наметили в жизни? Вот что интереснее знать, Евгения

Алексеевна.

– Это сразу не говорится, – заметила девушка.

– Ну, а все-таки? Ну, как?

Искусно впад в искренность, Чепраков сам не знал, зачем это ему нужно; вероятно, он переменил тон путем бессознательного наблюдения, что люди застенчивые часто говорят посторонним то, что не всегда скажут людям более близким, а зачем нужно ему было это, он не знал окончательно.

Они подошли к камню. «Что же я скажу?» – подумала Евгения. Она не знала, какой представляет ее Чепраков, но чувствовала, что не такой, какая она есть на самом деле. В этом, а также в особом настроении, происходящем от того, что иногда случайный вопрос собирает в душе человека его рассеянное заветное в одно целое, – была известная доля желания рассказать о себе. Кроме того, ей было почему-то жаль Чепракова и казалось, что с ним можно, наконец, разговариваться без птичек и Дионисов.

– Видите ли, Аполлон Семеныч, – нерешительно начала она, садясь на траву; Чепраков же, подбоченясь, стоял у камня, – у меня в жизни два требования. Я хочу, во-первых, заслужить любовь и уважение людей, во-вторых, – находиться в каком-нибудь большом, очень нужном и важном деле и так тесно с ним слиться, чтобы и я, и люди, и дело, – было одно. Понимаете? Впрочем, я не умею выразить. Но это найти мне не удастся, или я не гожусь, – не знаю. Но ведь трудно, не правда ли, найти такое, в чем не были бы замешаны страсти и личные интересы, честолюбие. Это меня, сознаюсь, пугает. Личная жизнь не должна путаться в это дело ничем, пусть она течет по другому руслу. Тогда я жила бы, как говорят, полной жизнью.

– Н-да, – протянул Чепраков, усаживаясь рядом, – не многим, не многим дано. Я глубоко уважаю вас. А что вы скажете о главном, – главном ферменте жизни? То сладкое, то... одним словом – любовь?

– Ну, да, – быстро уронила Евгения, – конечно... – Она смутилась и разгорелась, затем, как бы оправдываясь и уже сердясь на себя за это, прибавила: – Ведь все равны здесь, и мужчины.

– А как же! – радостно подхватил Чепраков. – Даже очень.

Девушка рассмеялась.

«А я, ей-богу, попробую, – думал Чепраков, – молоденькая... девятнадцать лет... жизни не знает... – Далее он продолжал размышлять, по привычке, как говорил, рублеными фразами: – Как занятно пробуждение любви в женском сердце. Долой лозунги генерала Куропаткина. Милая, вы неравнодушны ко мне. Иду на вы».

– Евгения Алексеевна, – выпалил Чепраков, – вот где была бурса мукоза, а? Посмотрите.

Он быстро засучил брюки на левой ноге по колено, обнажив волосатую икру и белый рубец. Евгения, внезапно остыв, удивленно смотрела на Чепракова.

– Что с вами? – спросила она, вставая.

– Это мукоза. – Чепраков обтянул брюки. – Какая белая кожа... и у вас тоже... рука.

Евгения машинально посмотрела на свою руку и увидела, что эта рука очутилась в руке Чепракова, он поцеловал ее и прижал к левой стороне груди.

– Ну, оставьте, – спокойно, но изменившись в лице, сказала Евгения. – Руки прочь.

– Нет – отчего же? – наивно сказал Чепраков. – Это внезапное, глубокое.

Девушка подняла зонтик, повернулась и неторопливо ушла. Чепраков стоял еще некоторое время на месте, жестко смотря ей вслед, потом фальшиво зевнул, прошел другой тропинкой в усадьбу, взял удочку и присидел на речке до ужина.

За столом он избегал смотреть на Евгению, а она на него; это про себя отметила тетка. На другой день утром Чепраков уехал в город, успев на прощанье шепнуть молчаливой девушке:

– Я пережил тонкие, очаровательные минуты.

IV

Евгения держала в руках письмо, с недоумением рассматривая школьный, полумужской почерк. Наконец, потеряв надежду угадать, от кого это письмо, так как в уездном городе знако-

мых у нее не было, а штемпель на конверте гласил: «Сабуров», девушка приступила к чтению.

– Что, что такое?.. – вскричала она вне себя от изумления и обиды. Держа письмо дрожащей рукой, она нагнулась к нему, растерявшись от неожиданности, – так много было в нем обдуманной злобы, яда и издевательства.

*«Милостивая государыня,
Госпожа Евгения Алексеевна.*

Не знаю, прилично ли молодой девушке из благородных (хороши благородные) таскаться с женатым человеком. Вас, видно, этому обучают. Скажите, как вам не стыдно. Если вы так ведете себя, значит, хороши были ваши родители. Аполлоша мне все рассказал. Некрасиво довольно с вашей стороны, барышня. Хотя мы и не венчаны, а живем, слава богу, четвертый год. А я отбивать своего мужчину не позволю. Если вы в него влюблены, советую забыть, треплите хвост в другом месте. На интеллигентность вашу никого вы себе не поймаете, лучше оставьте про себя.

*Готовая к услугам
Мария Тихонова ».*

Прочитав до конца, Евгения Алексеевна опустила руки и беспомощно осмотрелась. Болезненный, нервный смех душил ее. Она даже не сразу поняла, от кого это письмо. Отдельные фразы, и наиболее оскорбительные, одна за другой появились перед нею в воздухе, как на экране, подавляя своей внушительной безапелляционностью; это походило на сон, в котором, желая бежать от страшного явления, не можешь двинуться с места. Она даже подумала, не мистификация ли это того же Чепракова, грубая, сумасшедшая, но все же мистификация; однако трудно было придумать нарочно что-либо подобное такому письму. Старый страх перед жизнью охватил девушку, она угадывала, что человек роковым образом беззащитен душой и телом; и даже у Зигфрида, с головы до ног покрытого роговой кожей, было на спине место, величиною с древесный лист, пропустившее смерть. Вся печально-смешная сцена третьего дня, с «бурса мукозой» и целованием рук, ожила перед девушкой; жгучая краска стыда залила ее с ног до головы при мысли, что – это было большее всего – случайная ее откровенность известна Марии Тихоновой в подозрительной передаче, приобретая смысл нелепо позорный и вызывающий, вероятно, хихиканье.

Евгения сидела у себя наверху одна, и это помогло ей оправиться от оскорбительной неожиданности. Случись такая история лет на пять позже, она, должно быть, отнеслась бы, внешне, к этому несколько иначе: или совсем не ответила бы на письмо, или написала бы спокойный, внятный ответ. Но в теперешнем своем возрасте она не научилась еще взвешивать обстоятельства, продолжая считаться с людьми близко и очень подробно, до конца. Адрес Тихоновой в письме был; автором, видимо, руководило известное любопытство вызова. Евгения Алексеевна посмотрела на часы: шесть. Желая прекратить лично и как можно скорее то, что она еще считала недоразумением, девушка, приколол шляпу и взяв письмо, сошла вниз.

Ей предстояло одолеть четыре версты пешком; не было никакого предложения сказать, чтобы запрягли лошадь. Она вышла с заднего крыльца на деревню, обернулась, посмотрев, не следит ли за ней кто из домашних, и быстро направилась к городу, видимому уже с ближайшего холма красным пятном казенного винного склада, белыми колокольнями и садами. Волнение не покидало ее, наоборот: чем ближе она подходила к темным заборам Сабурова, тем нестерпимее казалось медленно сокращающееся расстояние. Девушка была твердо уверена, что заставит слушать себя и что ей дадут все нужные объяснения.

Наконец, она вошла в город. Евгения бывала здесь раньше. Ступая по нетвердым доскам тротуаров, густо обросших крапивой с ее острым, глухим запахом, девушка вспомнила один вечер, когда, возвращаясь с концерта заезжего пианиста в гостиницу, где поджидал ее, чтобы уехать вместе, Павел Павлыч, неторопливо шла по улицам. Городок засыпал. Еще светились кое-где красные и лиловые занавески; на высокой голубятне сонно гурлили голуби; на площади, у всполья, доигрывали последнюю партию в рюхи слободские мещане; старый нищий, стоя в тем-

ноте на углу, разводил, бормоча нетрезвое, руками; из раскрытых окон квартиры воинского начальника неслась плохо разученная «Молитва девы»; мужики, сидя на тумбочках у трактира, галдели о съемных лугах. От оврагов веяло сыростью ледяных ключей. Чистый блеск звезд теплился над черными крышами. У пристани, бросая мутный свет фонарей в мучные кули, стоял пароходик «Иван Луппов»; мачтовые огни его против черных, как разлитые чернила, отмелей противоположного берега казались иллюминацией.

Она вспомнила эту мирную тишину, удивляясь обманчивости тишины, ее затаенным жалом; ей было даже неловко идти со своим возмущением среди маленьких, опрятных, в зелени, домов, покосившихся, хлипких лачуг, деревенской пыли, безобидной желтой краски и дремлющих мезонинов. Разыскав дом и улицу, Евгения с тяжелым нервным угнетением, наполнившим ее внезапной усталостью, позвонила у желтой парадной двери. Ей открыла унылая беременная женщина.

– Госпожа Тихонова дома? – спросила Евгения, и вдруг ей захотелось уйти, но она пересилила страх. Женщина, разинув рот, смотрела на нее; это было нелепо к тяжку.

– А я сейчас... они дома, – сказала, скрываясь в сенях, женщина.

В окне, сбоку, метнулось приплюснутое носом к стеклу лицо с выражением жадного любопытства.

– Просят вас, – сказала, возвратясь после томительно долгих минут, унылая женщина. Она широко распахнула дверь и уставилась на Евгению, как бы сторожа ее взглядом. Девушка, глубоко вздохнув, вошла в низкую комнату с канарейками, плющом и венскими стульями. У дальней двери, скрестив на высокой груди пышные, как булки, руки, стояла чернобровая, с розовым лицом, дама в сером капоте.

– Кого имею честь?... – процедила дама, осматривая Евгению Алексеевну.

Девушка заговорила с трудом.

– Я – Мазалевская, – сказала она, сжимая пальцы, чтобы сдержать волнение, – я хочу вас спросить, почему вы, не дав себе труда... Вот ваше письмо. – Она протянула листок гордо улыбающейся Тихоновой. – Пожалуйста, объясните мне все, слышите?

– И при чем тут труд? – громко заговорила дама, внушительно двигая бровями. – И нечего мне вам объяснять. И нечего мне говорить с вами. А что Аполлон передо мной свинья, это я тоже знаю. И уж, если, поверьте мне, милая, мужчина говорит: «Ах, ах, ах! Она имеет ко мне склонность», – да если завлекать человека разными там материями, то уж, простите, нет; ах, оставьте. Я не девчонка, чтобы меня за нос водить. И более всего удивляюсь, что вы даже пришли; это так современно, пожалуйста.

У девушки задрожали ноги, она посмотрела на Тихонову взглядом ударенного человека и растерялась.

– Ну, послушайте, – задыхаясь, выговорила она, – это бессмысленно, разве же вы не понимаете? Я...

– Где же уж понимать, – сказала дама, – мы – уездные.

Евгения не договорила, повернувшись, вышла на улицу и разрыдалась. Стараясь удержаться, она поспешно прижимала ко рту и глазам платок; машинально шла и машинально останавливалась; редкие прохожие, оборачиваясь, смотрели на нее подолгу, а затем переводили взгляд на заборы, деревья и крыши, словно именно там скрывалось нужное объяснение; один сказал, гаркнув: «Что, сердешная, завилило?» Осилив спазмы, девушка увидела Чепракова, он переходил улицу, направляясь к квартире Тихоновой. Нисколько не удивляясь тому, что случайно встретила этого человека, скорее даже с чувством облегчения, Евгения Алексеевна остановила его на углу. Чепраков, перестав махать тросточкой, снял фуражку, попятился и замигал так тревожно, что нельзя было сомневаться в том, что о письме он знает.

Чепраков, выдавая себя, молчал, не здороваясь, даже не притворяясь удивленным, что видит Мазалевскую в городе.

– Вы знаете про письмо? – сурово спросила девушка.

Чепраков, изгибаясь, развел руками.

– Я... я... я... – спутался он. – Я хотел ее посердить.

Евгения Алексеевна пристально посмотрела в его спрятавшиеся глаза, махнула рукой и пошла из города медленной походкой усталого человека.

V

Прежде, чем выйти к чаю, Евгения тщательно умылась холодной водой и подошла к зеркалу. Следы недавнего расстройства исчезли. Причесываясь, окутав себя пушистыми, ниже колен, волосами, девушка в сто первый раз переживала этот, неизгладимый в ее возрасте, случай, но все тише, все ближе к спокойной грусти. Она уже не возмущалась, а недоумевала. В ее жизни, проходившей в тени, было похожем на это случаям место и ранее, но не образовалось привычки к ним, – она переживала их каждый раз всеми нервами; нечто похожее на боязнь людей выработалось в ней постепенно и незаметно. Она и сейчас уловила резкое пробуждение этого чувства.

– Чего же бояться? – вслух сказала Евгения Алексеевна, пытаясь понять себя. Воспоминания образно показывали ей, что страшно незаслуженно злое отношение людей, злорадство и бессознательная жестокость, от которых не защищен никто. Она вспомнила несколько примеров этого по отношению к себе и другим... Особенно ясно Евгения Алексеевна увидела себя на улице Петербурга и в Крыму.

На улице, поравнявшись с девушкой, человек, внушительной и степенной осанки, остановился, ударил ее очень сильно кулаком в грудь и спокойно прошел, даже не обернувшись. А в Крыму, за пансионным столом, во время обеда, упитанный щеголь-коммерсант, еще молодой человек, блистающий кольцами и алмазами, очень хорошо видя, что слова его неприятны и возмутительны, спокойно говорил о своих кражах во время Японской войны, обращаясь к любимице и другу-проводнику. Изредка он обращался и к остальным.

– Вы просите перестать? Ну, что вы! Вы жертвовали на раненых, а эти деньги у меня в кармане. Сорок тысяч.

Евгения Алексеевна, сойдя вниз, выпила крепкого чаю. Обычный, почти беспредметный разговор с родственниками она вела машинально.

– Женечка, – сказала под конец, как бы невзначай, Инна Сергеевна, – позавчера Аполлон... мне показалось... вы не поссорились?

– Нисколько. – Она спокойно посмотрела на тетку и улыбнулась.

Уже смеркалось, когда, желая побыть одной, Евгения обогнула полный облаков пруд. Она шла опушкой, сумеречные поля открывались слева, под утратившей блеск сонной синевой неба птицы глухо перекликались в лесу, опущенное забрало полутьмы скрыло его низкие дневные просветы. У изгороди дергал коростель. Евгения остановилась, пустынная тишина окрестностей понравилась ей; она стояла и думала.

– Ложись спать, – сказал позади голос, – хотя ты дятел и рабочая птица, однако береги силы.

Мазалевская вздрогнула и повернулась к невидимому оратору. Его не было видно, он сидел или лежал в темных кустах.

Дятел, не переставая, звонко долбил дерево.

– Несговорчивый, – продолжал голос, – хотя бы ты обучился моему языку. А-мм-меем-ма-ам, а-ам, ме-е. Хохлатик.

Голос смолк, а из кустов вышел человек с котомкой за плечами, в старом картузе, лаптях и с клюкой, вроде употребляемых богомольцами; он хотел перескочить изгородь, но, заметив Евгению, скинул картуз и протянул руку.

– А-м-м-мее-ма-а-ам-ме-е, – промычал он, показывая на рот.

– Немой? – спросила Евгения.

Человек кивнул, выразительно смотря на руку и кошелек барышни.

– Хоть ты и рабочая птица, – неожиданно для себя сказала Евгения, протягивая мелочь, – однако береги силы.

– Подслушали, – вдруг произнес совершенно отчетливо мнимый немой и конфузливо усмехнулся.

– Это вам для чего же?

– Есть надобность, – уклончиво сказал человек.

– Вы не бойтесь меня, – подумав, сказала Евгения. Любопытство ее было сильно задето.

Человек осмотрелся.

– Так что же, неинтересно вам ведь, – неохотно заговорил он. – Просто беглый солдат. Не велика птица. Видите – паспортишко есть, купил кое-где, но, извините, – брехать не умею. На ночлеге же, известное дело, или на меже где, мужик напоит, – поболтать любят, интересуются прохожим. Ну, понимаете, – проврешься, а особенно на ночлеге. Опасно. Я от одного железно-дорожного сторожа бегом спасался; охотиться, видите ли, за мной старик начал, а что ему в этом? Разумеется, подумав, прикинулся я немым, так и иду. В Одессу. Там у меня знакомые есть; устроят. За месяц, верите ли, десятка слов не сказал с людьми, иногда разве поболтаешь сам с собой от скуки; да вот вы, вижу, вреда не сделаете, – заговорил.

– Не сделаю, – рассеянно подтвердила Евгения.

– То-то. Спасибо за мелочишку.

Соткин перескочил изгородь, махнул картузом и зашагал, встряхивая котомкой, к деревне.

– Ну, слава богу, – сказала Евгения, подымаясь на крыльцо усадьбы, – теперь я, пожалуй, тоже кое-что знаю.

Она думала, что надо жить подобно этому солдату, что человек, скрывший себя от других, больше и глубже вникнет в жизнь подобных себе, подробнее разберется в сложной путанице души человеческой. Это бродило в ней еще смутно, но повелительно. Она начинала понимать, что в великой боли и тягости жизни редкий человек интересуется чужим «заветным» более, чем своим, и так будет до тех пор, пока «заветное» не станет общим для всех, ныне же оно для очень многих – еще упрек и страдание. А людей, которым и теперь оно близко, в светлой своей сущности – можно лишь угадать, почувствовать и подслушать.

Новый цирк

I

Должность

Я выпросил три копейки, но, поскользнувшись, потерял их перед дверями пекарни, где намеревался купить горячего хлеба. Это меня взбесило. Как ни искал я проклятую монету – она и не думала показываться мне на глаза. Я промочил, ползая под дождем, колени, наконец встал, оглядываясь, но улица была почти пуста, и надежда на новую подачку таяла русским воском, что употребляется для гаданий.

Два месяца бродил я по этому грязному Петербургу, без места и крова, питаюсь буквально милостыней. Сегодня мне с утра не везло. Добрый русский боярин, осчастлививший меня медной монетой, давно скрылся, спеша, конечно, в теплую «изба», где красивая «молодка» ждала его уже, без сомнения, с жирными «щи». Других бояр не было видно вокруг, и я горевал, пока не увидел человека столь странно одетого, что, не будь голоден, я убежал бы в первые попавшиеся ворота.

Представьте себе цилиндр, вышиною втрое более обыкновенных цилиндров; очки, которые с успехом могла бы надеть сова; короткую шубу-бочку, длинненькие и тонкие ножки, обутые в галоши № 15, длинные космы волос, свиное рыло и вместо трости посох, в добрую сажень вышиной. Чучело картинно шагало по тротуару, не замечая меня. Весь трепеща, приблизился я к герою кунсткамеры, откуда он, вероятно, и сбежал. Самым молитвенным шепотом, способным растрогать очковую змею, я произнес:

– Ваше сиятельство. Разбитый отчаянием, я умираю с голода.

Привидение остановилось. В очках блеснул свет – прохожий направил на меня свои фосфорические зрачки. Невообразимо противным голосом этот человек произнес:

– Человека труд кормит, а не беструдие. Работай, а затем – ешь.

– Это палка о двух концах, – возразил я. – Немыслимо работать под кишечную музыку, так сказать.

– А, – сказал он, сморкаясь в шарф, которым была окутана его шея. – Сколько же тебе нужно фунтов в день пищи?

– Фунта четыре, я полагаю.

– Разной?

– Хорошо бы... да.

Урод полез в карман, извлек сигару и закурил, бросив мне спичку в лицо. Это было уже многообещающей фамиллярностью, и я вздрогнул от радости.

– Как зовут?

– Альдо Путано.

– Профессия?

– Но, – торопливо возразил я, – что такое профессия? Я умею все делать. В прошлом году я служил у драгомана в лакеях, а в этом рассчитываю быть чем угодно, вплоть до министра. Бес-трудие же и порицаю.

– Хорошо, – проскрипел он. – Я нанимаю тебя служить в цирке. Обязанности твои не превышают твоих умственных способностей. Потом узнаешь, в чем дело. Жалованье: кусок мыла, вакса, пачка спичек, фунт табаку, четверка калмыцкого чая, два фунта сахарного песку и сорок четвертаков в месяц, что составит десять рублей.

– Быть может, – робко возразил я, – вы назначите мне шестьдесят четвертаков, что составит совершенно точно – пятнадцать рублей.

– Будь проклят, – сказал он. – Идешь? Я зябну.

– Я следую за вами, ваше сиятельство.

II

Представление

Самое пылкое воображение не могло бы представить того, что удалось увидеть мне в этот вечер. Шагая за чудесным патроном, я через несколько минут приблизился к круглому деревянному зданию, освещенному изнутри; у подъезда извозчики и автомобили. На фронто-не сияла огромная, ма-леванная красной краской, полотняная вывеска:

ЦИРК ПРЕСЫЩЕННЫХ
Небывало! Невероятно!
Раздача пощечин!
Истерика и др. аттракционы

Мы прошли в деревянную пристройку. При свете жестяной лампы сидело здесь несколько человек. Некоторые из них были одеты в шкуры зверей и потрясали палицами; другие, в отличных фраках и атласных жилетах, звенели тяжелыми кандалами на руках и ногах; третьи щеголяли дамскими туалетами и путались в тренах. Волосатые декольте их были ужасны.

– Он будет служить, – вскричал патрон, указывая на меня.

Рев, звон кандалов и жеманный писк приветствовали эти слова.

– Альдо, – сказал патрон, – ты выйдешь на арену со мной. Когда я дерну тебя за волосы, кричи: «Горе мне, горе».

– Да, маэстро.

– Громко кричи.

– Да, маэстро.

Он дал мне пинка, и я, услышав вслед: «Смотри представление», – выбежал через конюшню к барьеру. Блеск люстр ослепил меня. Цирк был полон, нарядная толпа зрителей ожидала звонка. Осмотревшись, я увидел, что лица публики бледны и воспаленны, синеватые тени окаймляют большинство тусклых глаз; иные же, румяные, как яблоко, лица были противны; на

эстраде играл оркестр. Инструменты оркестра заинтересовали меня: тут были судки, подносы, самоварные трубы, живая ворона, которую дергали за ногу (чтобы кричала), роль барабана исполнял толстяк, бивший себя бутылкой по животу. Капельмейстер махал палкой, похожей на ту, которой протыкают сига. Гром музыки нестерпимо терзал уши. Наконец, оркестр смолк, и на арену выбежал мой патрон с ужасной своей кандально-декольтированной свитой; эти люди тащили за собой собаку, клячу-одра и сидевшего на одре верхом деревенского парня в лаптях.

– Вот, – сказал патрон, указывая на перепуганную собаку, – недрессированная собака.

Раздались аплодисменты.

– Собака эта, – продолжал патрон, – замечательна тем, что она не дрессирована. Это простая собака. Если ее отпустить, она сейчас же убежит вон.

– Бесподобно! – сказал пшют из ближайшей ложи.

– В обыкновенных цирках, – патрон сел на песок, – все дрессированное. Мы гнушаемся этим. Вот, например, – крестьянин Фалалей Пробкин, неклоун. «Неклоун». Это его профессия. Вот – недрессированные – корова и лошадь.

Кое-где блеснули монокли и лорнеты. Публика внимательно рассматривала странных животных и неклоуна. Я чувствовал себя нехорошо. В это время, косо поглядев в мою сторону, патрон схватил меня за волосы и вытащил на середину арены.

– Теперь, – сказал он, – чтобы вы не скучали, я буду щекотать нервы. Слушайте вы, негодяи! – Тут его пальцы крепко впились мне в затылок, и я пронзительно заорал:

– Горе мне, горе!

– Да, – продолжал он, – пройдохи, плуты, лгуны, мошенники и подлецы. Облить бы вас всех керосином! Я, Пигуа де Шапоно, даю ряд великих советов. Советы – это второе отделение. Проповедь любви, жизни и смерти! Красивая и интересная жизнь может быть приобретена с помощью следующих предметов: электромотора, мясного порошка и вставных челюстей.

– Горе мне, горе!

– Что касается любви, то лучший рецепт следующий: встав рано, следует обтереться холодной водой, выпить стакан сливок с мадерой, съесть сотню петушьих гребешков, дюжину устриц, пикули, кайенский перец, запить все это стаканом гоголь-моголя, чашкой шоколада, абсентом и затем купить хорошую лодку. В эту лодку можно заманить женщину... трум-тум-тум.

– Горе мне! – возопил я, хватаясь за волосы, потому что пальцы Пигуа де Шапоно почти вырывали их.

– Относительно смерти, – ораторствовал Пигуа, – посоветую вам, для приобретения бессмертия, ворваться в какой-либо музей, отбить головы у Венер, облить пивом пару знаменитых картин, да еще пару изрезать в лохмотья, и – бессмертие состряпано.

Но дома (если вы попадете домой) нужно написать мемуары, где вы признаетесь, что вы повесили кошку и проглотили живого скворца.

– Горе мне! Больно!.. – застонал я.

Публика неистовствовала. Гром одобрения заглушил мой жалобный вопль. Опасаясь, что Пигуа подаст больше советов, чем у меня на голове волос, я вырвался, сшиб с патрона цилиндр и уже осматривался, в какую сторону удирать, как вдруг раздались крики: «Пожар! Спасайтесь! Горим!», – и началось невообразимое.

III

Конец нового цирка

Все смешалось. Люди прыгали друг через друга, дрались, падали; женщины, падая сотнями в обморок, загораживали проходы и висли обременительным грузом на руках проклинаящих их в эту минуту отцов, мужей и любовников. Арена опустела. Все бросились к боковым проходам, и меня раза три сбили с ног, прежде чем я успел, шагая по головам и плечам, выскочить на наружную лестницу. Огня еще не было видно, но скоро он показался и осветил площадь мрачными отблесками. Проклиная Пигуа де Шапоно, от рук которого до сих пор щемило затылок, я отбежал в сторону от горящего здания и сел на тумбочку, рассматривая пожар.

Пулей вылетали из проходных дверей спасшиеся от огня зрители; остальные же, без сомнения, не успев обессмертить себя, скромно оканчивали жизнь внутри цирка. Мне это понравилось. В нашей бедной жизни так мало развлечений, что на пожар, обыкновенно, сбегаются целые кварталы, и, боже сохрани, чтобы я видел в толпе зрителей сочувствующее погорельцам лицо. Тупо, страшно, дико смотрит на пожар бессмысленная толпа, и я, как ее сын, мог ли смотреть иначе? Сначала я был действующим лицом, а теперь стал зрителем.

Цирк сгорел быстро, как соломенный. Сгорел. Мертвые срама не имут.

Жизнеописания великих людей

I

«Набело и начерно! Набело и начерно!» – твердил, подперев голову руками, Фаворский; элегически пьяный, он чувствовал себя несокрушимой силой, гением, озаренным молниями. Перед ним стояли треска с луком, лекарство из казенной винной лавки и зеленые пивные бутылки, в которых, подобно лесному солнцу, сверкало трактирное электричество.

– Начерно – это что я в душе пережил и переживаю, – бормотал Фаворский, – это, следовательно, мои мысли. А набело – мысль, воплощенная в жизнь. Сама жизнь. Жизнь, сотворенная властной волей Фаворского. Эх! – вскричал он, тяжело осматривая трактирный зал, где у потолка, чихая от табачного дыма, отчаянно заливался больной жаворонок, – да, – царит пошлость здесь, на земле, и в пошлости этой я, пленный жаворонок... томлюсь!

– А сколько сегодня градусов? – услышал он неожиданно обращенный к нему вопрос с соседнего столика.

Фаворский высокомерно повернул голову. Пухлые, смеющиеся глаза на кирпично-красном лице, бесцеремонно подмигивая и усмехаясь, рассматривали Фаворского. Спросивший был одет в теплый меховой пиджак, шарф и валенки. Усы и бороденка этого человека были как бы между прочим; казалось, что и без них лицо останется тем же язвительно-благодарным, крепким и пожилым.

– Я вижу, – презрительно сказал Фаворский, – что вы оттуда же.

– То есть? Что-то я...

– Из мира пошлости.

– Это что я насчет градусов-то спросил?

– Оно самое.

– Хм! Меня зовут Чугунов, – медленно, в прискорбном раздумьи, произнес человек в валенках, – да, Чугунов моя фамилия. Сорок лет я живу на сей юдоли, а такого чудака, как вы, папаша, еще не видывал.

– Разве вы не понимаете, – горячо заговорил хмельной Фаворский, – что градусы – пошлость, не нужны вам? Теплее вам будет или холоднее, если узнаете? Нисколько.

– Как смотреть, милый.

– Ну и смотрите.

Фаворский отвернулся. Навязчивый Чугунов был ему противен и жалок, являя собою темную каплю мещанского моря, из хлябей которого тянулся в горную высь двадцать семь лет сын кладбищенского дьячка Фаворский. Вино и слезы бушевали в его груди. Пьяный, он никогда не сомневался в том, что ему суждено свершить нечто великое, изумительное, громоподобное. Но что? Семнадцати лет выгнали его из семинарии за непочтение к Авессалому, которому гласно, при экзаменаторах, советовал он задним числом не болтаться, уцепившись волосами за дерево, а отсечь мечом шевелюру и бежать. Фаворский был поочередно поэтом, романистом, изобретателем и, вместе с тем, кормился черной канцелярской работой присутственных мест. Его гнали из редакции, смеясь в лицо; модель летательной машины, построенная им с помощью клея и ножниц из картона, валялась на чердаке, после постыдных мытарств среди серьезных людей; его картину «Страшный суд», на которой был изображен дьявол в виде орангутанга, хворающего

желудком, давно использовали пауки одной из лавок толкучего рынка, куда, по цене рамы, за полтора рубля продал ее Фаворский бойкому костромичу. Жил этот странный, с бледной, как тень, жизнью, человек пылким восторгом перед величием великих мира сего; с их светлой и трагической высоты смотрел он на все, кроме себя.

– Мусью! – сказал Чугунов. – Обиделся, что ль?

– Да. За человека обиделся. Но... не ведаем, что творим.

– Аминь-с. Разрешите присесть?!

– Я разрешу, – сказал, добрея от частых рюмок, Фаворский, – но что? Какая цель ваша?

Чугунов не спеша перебрался со своей водкой за столик Фаворского. Устроившись поудобнее, сняв шапку и положив локти на стол, он налил рюмки, чокнулся, выпил, закусил крутым яйцом и сказал:

– Цели нет-с. А задели вы меня, да-с. Что есть пошлость, я, изволите видеть, понимаю-с, а как вы меня этим обозвали, то что же, по-вашему, наоборот?

– Наоборот? – Фаворский поднял брови и улыбнулся. – Поймете ли вы? Величие духа.

– Духа?

– Да.

– Души, то есть, это?

– Ну, души.

– Вот и задача. Вы с величием или без оного?

– Человек, – грустно и важно сказал Фаворский, проливая водку, – человек, – знаешь ли ты, что были Рафаэль, Наполеон, Дарвин, Байрон, Диккенс, Толстой, Ницше и прочие?..

– Некоторых слышал.

– Они – люди.

– Все конечно.

– Брат мой! – вскричал Фаворский, – ты и я – во тьме. Но там... там, у них, сколько света, гения, подвигов, божественного восторга! Лучезарность! И слава! И высокое... выше горного снега! Вот образец!

– Сумнительно. Потому они, хотя и высоко летают, иначе было всего.

– Как – всего?

– А так. Водку пили... ну, вино, один черт, в карты играли и женщинами баловались.

– Вы глупый, Чугунов, очень глупый.

– Величия души не имею. Душа у меня, так говоря, тесная, с подковырцем. Зацепит за что – давай! А зацепок у меня не занимать стать. Да вы кто будете?

– Валентин Прокопиевич Фаворский, сын диакона, а служу... сейчас я не служу, без места.

– Так. С папашей изволите жить?

– Да... с папашей.

– Вот зацепки, я говорю. Пожрать, похрюпать, для меня первое дело. Нынче едок-то, знаете, более в зубах ковыряет, чем вилок по жареному. Я на это дело крутой. Ем – за ушами трещит! Выпить горазд, чайку попить – ах, хорошо! И люблю я еще, друг ты мой, самую лакомую сладость, нежный пол; падок, падок я, охотник большой.

– Ты циник, – сказал, щурясь, Фаворский, – обжора и циник. Кто ты?

– Циник-с, как говорите.

– А еще?

– Лесом торгуем.

– Слушай же! – Фаворский закрыл лицо рукой, и пьяные слезы выступили на его глазах. Он смахнул их. – Эх! Слушай!

Сбиваясь, путаясь и волнуясь, стал он рассказывать о жизни Леонардо да Винчи, восхищаясь непреклонным, независимым духом великого флорентийца.

Чугунов слушал, выпивал и вздыхал.

Трактир закрывался.

II

Долго глухая декабрьская ночь ворочалась над Фаворским и Чугуновым, пока, присмотревшись друг к другу и блуждая из кабака в кабак, не пришли они к взаимному молчаливому соглашению. Суть этого соглашения можно выразить так, как выразил его, бессознательно, Чугунов: «Урезаемши... и тово». Случилось же так, что Фаворский, подняв голову, увидел себя дома; на столе перед ним горела свеча, валялись медные и серебряные деньги, карты, а против Фаворского, скривив от жадности и усердия рот, сидел Чугунов, стараясь не разронять ползущие из хмельных пальцев карты.

– Прикуплю, – сказал Чугунов, – дай-ка праведную картишку.

– Мы где? – встряхнулся Фаворский. – Стой! Я узнаю. Ты у меня на кладбище. Но... кто кого?

– Чего?

– Кто кого привез сюда, мещанин? Ты меня, или же я тебя?

– Где упомянуть, ехали, водочки захватили...

– А... з-зачем?

– Для чтения. Как вы обещали меня убеждать. И обещал ты мне еще, ваше благородие, книгу о гениях подарить.

– Гадость! Гадость! – сказал Фаворский, и бледное, как бы зябкое лицо его подернулось грустью. – Как низко я пал, как срамен и мал я! Я слышу, вот лает собака... но где папаша? Где сестра Липа, девушка скромная, труженица... Где они, мещанин?

– Где? – посмотрев в колоду, переспросил Чугунов, – а их вы сперва Шекспиром выгнали, опосля поддали Бетховеном, они не стерпели, ушли, значит, к соседям, боятся вас.

– Меня?! Это обидно. Да, мне тяжело, мещанин. За что?

Игра снова наладилась. Чугунов явно мошенничал, и скоро Фаворский отдал ему все свои четыре рубля.

– Что ставишь? Выпей-ка! Во-от!

– Выпил. Нечего ставить мне; все.

– Чего там! Играй. Валяй на гениев, какие они у тебя есть.

– Книжки? – удивленно воззрился Фаворский. – Гм... Однако.

– Однако! – передразнил Чугунов. – Мутят эти тебя книги, голова еловая, вот что! За ними ты, как за лесом, дерев не видишь! Жить бы тебе, как люди живут, без вожжи этой умственной. Эх! не я тебе отец, дедушка.

Злоба и страдание блеснули в глазах Фаворского. Молча подошел он, хватаясь за стены, к полке, где, аккуратно сложенная, желтела пачка тоненьких, четвертаковых книжек, бросил их с размаха на стол так, что, дрогнув копотью, прыгнул огонь в лампе, и грозно сказал:

– Мои постоят! Циник – я раздену тебя!

– Сию минуту. – Чугунов плотно пощупал книжки. – По гривенничку принимаю, ежели ставишь.

– По гривенничку! Хорошо. Чугунов, мечтал ли ты... в детстве... быть великим героем? А?

– Пороли меня, – сказал, тасуя карты, Чугунов.

В натопленной комнате, медленно выступая по холщовой дорожке, появился котенок. Наивно прищурившись на игроков, сел он и стал умываться. За окном белели снежные кресты кладбища. Звонко бил в чугунную доску сторож.

– Лессинга! – говорил Фаворский. – Пять.

– Семь.

– Свифт и Мольер!

– Прикуп. Четыре!

– Очко. Жри.

– Кого еще?

– Байрон. Нет, стой: полтинник. Байрон, Наполеон, Тургенев, Достоевский и Рафаэль.

– Много! Сними!

– Снял... Рафаэля.

- Ну, ладно. Мои: девять.
- Моцарт!
- Шесть!
- Тэн!
- Семь.
- Стэнли и Спенсер!
- Должно, англичане. Пять!
- Два. Мещанин, ты дьявол!
- Нет-с, Чугунов. Мы по лесной части.
- Данте, Гейне, Шекспир!
- Тебе сдавать.
- А где, мещанин, водка?

III

У свежей, еще пустой могилы, вспухшей по краям от мерзлой земли, выброшенной наверх заступом, качался подвешенный к палке фонарь. Могильщик ушел в сторожку подкрепиться; сторож, в складчину с ним, купил рябиновой, а горячая уха кипела на огненном шестке паром и брызгами.

Глухо, тихо было вокруг свежей могилы, ожидающей неизвестного своего хозяина. Под снежными елями войском стояли бесчисленные кресты, напоминая беспомощно распростертые руки странных существ. Мерещились во тьме решетки, следы по снегу вокруг них, покорные следы живых, вздыхающих у могил. Свет фонаря падал на заступ, брошенные тут же рукавицы и мерзлую глину.

Фаворский провожал гостя. Он был почти в бессознательном состоянии; дик и яр был разошедшийся Чугунов. Под мышкой у него торчала пачка выигранных книжек. Деревянный помост шел мимо могилы. Поравнявшись с ней, Чугунов заглянул в дыру и сказал:

– Похоронить разве?

– Кого?

– Я денег не жалею, – сказал, подбоченясь, Чугунов. – Что я выиграл, то это есть удовольствие. А? Могу я распорядиться?

Фаворский, покачиваясь, молчал.

– В яму! – вскричал Чугунов и, взяв пачку, швырнул ее в пасть земли. – Вот как есть мое имущество. Как звали-то их?

– Г-гюго...

– Ну вот: в дыру. А еще?

– Гегель...

– В дыру!

– К-кант...

– В дыру! А хочешь, я тебе часы покажу? Вчера задешево купил. – Он наклонился над могилой и ухмыльнулся. – Не смущай!

– Х-хочу! – сказал, заливаясь слезами, Фаворский. – Всего хочу! Чаю, и жратвы, и пирожков! И водочки! И часов! И женщин! Голодный я! Милый! Поедем! А?

– Что ж! – весело сказал Чугунов. – Прогулять разве десятку еще? Позабавил ты меня, Валентин...

Чуть рассвело. Фаворский по розовой от зари снежной тропинке шел через пригородный лесок к кладбищу. В пушистом лесу было чисто и тихо, как в облаках, когда, застыв над полями, белеют они воздушно и стройно. Искристые хлопья снега висели кругом, и ели, ометанные розовыми сугробами, светились под зимним голубым небом.

Наступал праздник, но не для тех, кто рождается раз и умирает один только раз и боится этого. Да и родился ли Фаворский когда-нибудь? Не всегда ли он жил, питаясь великими мертвецами?

Человек с человеком

– Эти ваши человеческие отношения, – сказал мне Аносов, – так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль: не одиночество ли – настоящее, пока доступное счастье.

Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником.

Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижний; знакомство наше состоялось случайно, у станционного буфета. Я ждал, что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания: с длинной окладистой бородой, высоким лбом, темными, большими глазами, прямым станом и вечной, выражающей напряженное внимание к собеседнику полуулыбкой, он производил впечатление человека незаурядного, или, как говорят в губерниях, – «заинтриговывал». Ему, вероятно, было лет пятьдесят – пятьдесят пять, хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе.

– Да, – продолжал Аносов медленным своим низким голосом, смотря в окно и поглаживая бороду большой белой рукой с кольцами, – жить с людьми, на людях, бежать в общей упряжке может не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот, идей, вождельний, прихотей и капризов, постоянной лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или – что еще хуже – благородства самодовольного; терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь, или то, что по несовершенству человеческого языка прозвано «инстинктивной антипатией», – нужно иметь колоссальную силу сопротивления. Поток чужих волей стремится покорить, унижить и поработить человека. Хорошо, если это человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи; он на том маленьком пьедестале, какой дала ему жизнь, простоит непоколебимо и цельно. Полезно быть также человеком мироприятия языческого или, преследуя отдаленную цель, поставить ее меж собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди столь тонкого проникновения в бессмысленность совершающихся вокруг них поступков, противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь острого болезненного ощущения хищности жизни, что их, людей этих, надо беречь. Не сразу вымотришь и поймешь такого. Большинство их гибнет, или ожесточается, или уходит.

– Да, это закон жизни, – сказал я, – и это удел слабых.

– Слабых? Далеко нет! – возразил Аносов. – Настоящий слабый человек плачет и жалуется оттого, что когти у него жидкие. Он охотно принял бы участие в общей свалке, так как видит жизнь глазами других. Те же, о которых говорю я, – люди – увьи! – рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них – источник постоянных страданий, а сознание, что зло, – как это ни странно, – естественное явление, усиливает страдание до чрезвычайности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретения коснутся областей духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый малознакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия, людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность и душа человека неприкосновенны для зла.

Я немного поспорил, доказывая, что зло – понятие относительное, как и добро, но в душе был согласен с Аносовым, хоть не во всем, – так, например, я думал, что таких людей нет.

Он выслушал меня внимательно и сказал:

– Не в этом дело. Человек зла всегда скажет, что «добро» – понятие относительное, но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые; это ничего, так как нам помогает ассоциация и около двух коротеньких слов кипит множество представлений. Но возвратимся к нашим особенным людям. Частица их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, имеют большой успех, и успех чистый, такие произведения, как Робинзон Крузо, – что идея печальной, красивой свободы, удаления от зла человеческого слита в них с особенным напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление Пятницы ослабляет интерес повести; своеобразное очарование жизни Робинзона бледнеет от того, что он уже не Робинзон только; он делается

«Робинзон-Пятница». Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу, в каждый момент – вы – не вы, как таковой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь и кто ничтожной, но ужасной властью случайного движения – усмешкой, пожатием плеч, жестом руки – может приковать все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в другую сторону. Это мелкий пример, но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой неимоверной зависимости друг от друга живут люди, и, если бы они вполне сознали это, без сомнения слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы действиями разумными, бережными; действиями думающего человека.

Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юные брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом островке, в лугах; девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем; кроме них на острове никого не было. Интервьюер, посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владетелей острова, что им здесь очень хорошо и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей. Но я вижу их просто так, как они были изображены на приложенной к журнальному сообщению фотографии: они стояли у воды, держась за руки, в траве, и щурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях.

Он наклонился ко мне, как бы выпрашивая взглядом, что я об этом думаю.

– Меня интересует, – сказал я, – возможна ли защита помимо острова и монастыря.

– Да, – не задумываясь, сказал Аносов, – но редко, реже, чем ранней весной – грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона сжимавшей сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. «Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сведом Айя-Софии, – говорит легенда, – священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором». Это – легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их.

Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум.

Аносов сказал:

– Кое о чем хотелось бы рассказать вам. А может быть, вы мало интересуетесь этой темой?

– Нет, – сказал я, – что может быть интереснее души человеческой?

– В 1911 году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими не имеющими ночлега людьми полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен.

Подреывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, решил и, – не скрою, – заплакал. Все-таки я любил жизнь, она же отталкивала меня обеими руками.

У перил было жутко, как на пустом эшафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной равнодушия. Я посмотрел вниз и бросился, но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем.

Ошеломленный, я тихо смотрел на грозящий палец, затем решился взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный.

– Обождите немного, – сказал он, – я хочу поговорить с вами. Разочарованы?

– Нет.

– Голодны?

– Очень голоден.

– Давно?

– Да... два дня.

– Пойдемте со мной.

В моем положении было естественно повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчика, мы сели и тронулись, я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий, ровный, грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша.

– Не удивляйтесь, – сказал он, кончив смеяться. – Мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег.

– Да, на свете, но не у меня же.

– Возьмите.

– Я не могу найти работы.

– Просите.

– Милостыню?

– О, глупости! Милостыня – такое же слово, как все другие слова. Пока нет работы, просите – спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе две стороны – просящий и дающий, и воля дающего останется при нем

– он может дать или не дать; это простая сделка и ничего более.

– Просите! – с горечью повторил я. – Но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу.

– Конечно.

– О чем же вы говорите тогда?

– Не обращайтесь внимания.

Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретила женщина и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хороших женщин; я говорю о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами; так это и было.

Спокойно, как давно знакомый гость, я сел с ними за стол (собака сидела тут же, на полу) и ел, и, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель.

– Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины – лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое – одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало – в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Гадара; «К Анне» – Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому, – нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.

– Эгоизм или не эгоизм, – сказал я, – но к этому нужно прийти.

– Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.

И я видел, что более он действительно не может дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!

Мертвые за живых

I Бегство

Комон, иначе именуемый – Гимнаст, – начал игру с правительством. Почтенная игра эта угрожала так плотно, что утром, заслышав на коридоре ласковый перезвон шпор, Комон, не медля секунды, перестал завтракать. Он встал, выпрямился, все еще с набитым, жующим по инерции ртом; затем, решительно выплюнув непрожеванный сыр, поднял револьвер и подошел к двери.

– Откройте, – многозначительно воскликнул некто из коридора.

– Сколько вас? – спросил Комон. – Я спрашиваю потому, что, если вас очень много, вы не поместитесь все в одной комнате.

– Комон, именуемый Гимнаст. Откройте.

– Я потерял ключ.

– Ломайте, ребята, дверь.

– Я посмотрю на вас в дырочку, – сказал Гимнаст.

Он выстрелил несколько раз сквозь доски, соображая в то же время, куда бежать. Шум и грохот за дверью показал ему, что там шарахнулись. Он подбежал к окну, заглянул в шестизэтажное, узкое пространство улицы, перегнувшись в сторону таким могучим усилием, что тело несколько мгновений держалось за подоконник только носками, поймал водосточную трубу. Через минуту он спрыгнул на мостовую без шапки и с револьвером в зубах, напоминая кошку, уносящую воробья.

Осмотревшись, Гимнаст побежал с быстротой ящерицы. Вид бегущего человека не сразу разбудил инстинкты погони в уличной толпе, сновавшей вокруг. Прохожие остановились; некоторые из них, с видом лунатика, медленно пошли за бегущим, вопросительно смотря друг на друга, затем, вдруг сорвавшись, как будто им дали сзади пинка, бессмысленно помчались, крича: «Держи его, лови. Не пускай».

Комон был ловок и неутомим в беге. Согнувшись, чем уменьшал сопротивление воздуха, бросался он с одной стороны улицы на другую, вился вокруг карет, столбов, omnibusов, газетных киосков, распластывался, когда чувствовал на себе хватающую руку, и преследователь летел через него кувыркком. Если бы ему пришлось бежать в пустом месте, Комон давно бы опередил всех, но как немисливо пловцу опередить воду, так Гимнаст не мог оставить за собой город; за каждым углом, в каждом переулке и повороте, срывались за ним, хрипло крича, новые охотники; уличные собаки, бессознательно копируя людей, хватали Комона за пятки с грозным и воинственным лаем.

Четыре раза, спасаясь от поимки, Гимнаст оборачивался, швырял пули, и каждый раз происходило некоторое смертельное замешательство. Наконец, выбежав на площадь, Комон увидел, что к нему мчатся со всех сторон, и улизнуть трудно. Тогда, повинувшись инстинкту, матери всех человеческих дел, беглец ринулся в Исторический музей, опрокинув швейцара, взвился по роскошной лестнице в третий этаж и остановился, соображая, что делать; он употребил на это секунду.

II Непочтение к праотцам

Музей только что открыл свои двери, и публики еще было немного. Комон бросился, не обращая внимания на изумленных посетителей, через множество зал, в самую длинную, кривую и сумеречную, напоминающую лес от множества загромождавших ее витрин, подставок, щитов с оружием, целого войска мумий и ширм, похожих на театральные кулисы; по ширмам этим, живописно блестя на темном бархате, висели кольчуги, латы, шлемы, набедренники, топоры, луки, стрелы, арбалеты, мечи, палаши, кинжалы и сабли. Древние золотые венцы греческих героев покоились на столбах; лес копий, знамен и бунчуков таился в углах. Каждая вещь здесь взывала

к бою, вооружению, сопротивлению, ударам и натиску.

Первое, что сделал Комон, – это баррикаду у захлопнутой за собой двери. Он навалил на нее трех оглушительно зазвеневших стальных рыцарей времен Меровингов, на рыцарей бросил полдюжины фараонов Верхнего Нила, вместе с их раскрашенными ящиками; поверх всего опрокинул, сломав, несколько витрин с монетами, которые раскатились по полу совершенно так, как раскатывались, если их просыпали при Гамилькаре Барке. На это Комон употребил две минуты.

С тою же быстротой, следствием большой нервности и физической силы, Гимнаст, отбросив пустой револьвер, одел тяжелую мягкую кольчугу, шлем, опустил забрало и немного замешкался; при виде исключительного разнообразия оружия глаза его разбежались. С арбалетами он не умел обращаться, луки были без тетивы, кинжалы и сабли не внушали почтения. Комон был во власти своих кольчуги и шлема, он как бы припоминал в себе далекое прошлое человечества. Ему хотелось дорого и недурно продать жизнь. Гимнаст выбрал меч, огромный, сверкающий и тяжелый, каким, вероятно, не раз крошила железная саксонская рука звонких латников. Меч был внушителен. Гимнаст взмахнул им над головой, затем, для пробы, обрушил страшный удар на одну из мумий; дерево, треснув, распалось, и запеленутый фараон кубарем вылетел из него, распространяя запах старомодных духов, которыми был пропитан весьма старательно.

Догадливость не изменила Комону при виде столь древнего явления; проворно затолкав фараона в угол, Гимнаст, с мечом в руках, втиснулся в египетскую могилу, прикрыв себя другой половиной ящика. Дверь, тем временем, поддаваясь усилиям солдат и сторожей, глухо звенела латами валявшихся на полу рыцарей. Комон стоял в душной ароматической тьме ящика и прислушивался. Скоро ворвалась, судя по шуму, целая толпа людей, с криками разбежались они по длинным проходам зала, и Гимнаст слышал их, полные бешенства, возгласы:

– Все сломано.

– Ай, и деньги тут, на полу.

Кто-то шепнул, задыхаясь:

– Я возьму парочку, а?

Другой шепот:

– Тащи, чего зевать. Тсс...

– Негодяй. Сумасшедший. Стреляй его.

– Где он? Р-р-р-р...

– Лови. Дави. Хватай.

– О-р. Э-э. А-а.

Неосторожное движение Гимнаста выдало его. Он случайно толкнул коленом крышку, она упала прежде, чем он успел придержать ее, и в общем смятении глазам врагов предстал воин средневековья, с занесенным мечом. Он двинул им на первого солдата (незащищенного, разумеется, кольчугой) и отрубил ему, наискось, от плеча к бедру, верхнюю часть организма.

III

Комон, т. е. Баярд

Злополучная участь испорченного солдата на мгновение ужаснула остальных, а затем грянули выстрелы. Револьверные пули, однако, не пробили хорошо сработанную кольчугу; тем не менее удары их были сквозь сетку весьма сильны и болезненны. Гимнаст бросился на врагов. Он рубил без жалости и пощады, навстречу ему подымались хрупкие клинки сабель, но что могли они сделать против двадцатипятифунтовой стали в сильных руках. Комон, воистину, уподобился Баярду. Две головы отсек он, упавших на раздробленное стекло витрин, и стекло стало красным. Один поплатился рукой, а несколько – даже рукой вместе с плечом; у этих быстро закатились глаза. И скоро стало пусто вокруг Комона, но сам он, раненный пулей в мякоть ноги, видел, что не продержится перед новым натиском.

– Бежали робкие грузины, – вскричал Гимнаст и бросился к выходу, расчищая себе путь своим Дюрандалем. Любопытные, столпившиеся у подъезда, разбежались при виде страшного, со слепым железным лицом, человека – так быстро, что потом сами удивлялись своей подвижно-

сти.

Комон схватил первого попавшегося извозчика, бледного от ужаса, толкнул его, швырнул меч в голову толстому лавочнику и так крикнул на лошадь, что она помчалась, как беговая. И Комон благополучно удрал. Это бывает. Простое вдохновение часто выручает человека лучше всяких расчетов.

Ничего не может быть действительнее описанного мною происшествия.

Земля и вода

I

– Разумеется, я пил молоко, – жалобно сказал Вуич, – но это первобытное удовольствие навязали мне родственники. Глотать белую, теплую, с запахом навоза и шерсти, матерински добродетельную жидкость было мне сильно не по душе. Я отравлен. Если меня легонько прижать, я обрызгаю тебя молоком.

– Деревня?.. – сказал я. – Когда я о ней думаю, колодезный журавль скрипит перед моими глазами, а пузатые ребятишки шлепают босиком в лужах. Ясно, тихо и скучно.

Вуич сдал карты. От нечего делать мы развлекались рамсом: игра шла на запись на десятки тысяч рублей. Я проиграл около миллиона, но был крайне доволен тем, что мои последние десять рублей мирно хрустят в кармане.

– Что же делать? – продолжал Вуич, стремительно беря взятку. – Я честно исполнил свои обязательства горожанина перед целебным ликом природы. Я гонялся за бабочками. Я шевелил палочкой навозного жука и сердил его этим до обморока. Я бросал черных муравьев к рыжим и кровожадно смотрел, как рыжие разгрызали черных. Я ел дикую редьку, щавель, ягоды, молодые побеги елок, как это делают мальчишки, единственное племя, еще сохранившее в обиходе различные странные меню, от которых с неудовольствием отворачивается гурман. Я сажал на руку божьих коровок, приговаривая с идиотски-авторитетным видом: «Божья коровка – дождь или ведро?» – пока насекомое не удирало во все лопатки. Я лежал под деревьями, хихикал с бабами, ловил скользких ершей, купался в озере, среди лягушек, осоки и водорослей, и пел в лесу, пугая дроздов.

– Да, ты был честен, – сказал я, бросая семерку.

– А, надоело играть в карты! – вскричал Вуич. – Зачем я вернулся? – Он встал и, скептически поджав губы, исподлобья осмотрел комнату. – Эта дыра в шестом этаже! Этот больной диван! Эта герань! Этот мешочек с сахаром и зеленый от бешенства самовар, и старые туфли, и граммофон во дворе, и узелок с грязным бельем! Зачем я приехал?!

– Серьезно, – спросил я, – зачем?

– Не знаю. – Он высунулся наполовину в окно и продолжал говорить, повернув слегка ко мне голову. – Любовь! Вчера я в сумерках курил папиросу и тосковал. Я следил за дымными кольцами, бесследно уходящими в синий простор окна, – в каждом кольце смотрело на меня лицо Мартыновой. Потребность видеть ее так велика, что я непрерывно мысленно говорю с ней. Я одержим. Что делать?

– Гипноз...

– Оскорбительно.

– Работа...

– Не могу.

– Путешествие...

– Нет.

– Кутежи...

– Грязно.

– Пуля...

– Смешно.

– Тогда, – сказал я, – обратись к логике. – Чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь зайца. Ты безразличен ей, и этого для тысячи мужчин было бы совершенно довольно, чтобы повернуться спиной.

– Логика и любовь! – грустно сказал Вуич. – Я еще не старик.

Он сел против меня. В этот исторический день было светлое, легкое, лучистое утро. Я сидел в комнате Вуича, еще полный уличных впечатлений, привычных, но милых сердцу в хороший день: пестрота света и теней, цветы в руках оборванцев, улыбки и глаза под вуалью, силуэты в кофейне, солнце. Я внимательно рассмотрел Вуича. У носа, глаз, висков, на лбу и щеках его легли, еще нерешительно и податливо, исчезая при смехе, морщины, но было уже ясно, что корни их – мысли – неистребимы.

– Мартынову, – сказал Вуич, – нужно понять и рассмотреть так, как я. Ты не видел ее совсем. Эта женщина небольшого роста, смуглая в тон волос, пышных, но стиснутых гребнями. Волосы и глаза темные, рот блондинки – нежный и маленький. Она очень красива, Лев, но красота ее беспокойна, я смотрю на нее с наслаждением и тоской; она ходит, наклоняется и говорит иначе, чем остальные женщины; она страшна в своей прелести, так как может свести жизнь к одному желанию. Она жестока; я убедился в этом, посмотрев на ее скупую улыбку и прищуренные глаза, после тяжелого для меня признания.

Он пристально смотрел на меня, как бы желая долгим, сосредоточенным взглядом заставить проникнуться его горем.

– Я пойду к ней, – неожиданно сказал Вуич. Он улыбнулся.

– Когда?

– Сейчас.

– Полно, полно! – возразил я. – Не надо, не надо, Вуич, слышишь, милый? – Я взял его руку и крепко пожал ее. – Разве нет гордости?

– Нет, – тихо сказал он и посмотрел на меня глазами ребенка.

Спорить было бесцельно. Отыскав шляпу, я догнал Вуича; он спускался по лестнице и обернулся.

– Пойдем вместе, Лев, – жалобно сказал он, – с тобой, конечно, я просижу сдержанно, отсутствие посторонних вызовет слезы, злобу и... бессильную страсть.

Я согласился. Мы перешли мост, вышли на Караванную и, не разговаривая более, приехали трамваем к Исаакиевскому собору. Вуич, торопясь, покинул вагон первым. Я, выйдя, закурил папиросу, для чего мне пришлось немного остановиться, так что мой друг опередил меня по крайней мере на шестьдесят – восемьдесят шагов.

Я намеренно указываю эти подробности в силу значения их в наступившем немедленно вслед за этим сне наяву.

II

Меня как бы ударили по ногам. Я упал, ссадив локоть, поднялся и растерянно посмотрел вокруг. Часть прохожих остановилась, из ворот выбежал дворник и тоже остановился, смотря мне в глаза. Я шатался. Вокруг, звеня, лопались, осыпаясь, стекла. Оглушительное сердцебиение заставило меня жадно и глубоко вздохнуть. Мягкий, решительный толчок снизу повторился, отдавшись во всем теле, и я увидел, что мостовая шевелится. Булыжники, поворачиваясь и расходясь, выскакивали из гнезд с глухим стуком. Толпа побежала.

– Что же это, что же это такое?! – слабо закричал я. Я хотел бежать, но не мог. Новый удар помутил сознание, слезы и тошнота душили меня. С купола Исаакиевского собора кружась неслись вниз темные фигуры – град статуй, поражая землю гулом ударов. Купол осел, разваливаясь; колонны падали одна за другой, рухнули фронтоны, обломки их мчались мимо меня, разбивая стекла подвальных этажей. Вихрь пыли обжег лицо.

Грохот, напоминающий пушечную канонаду, раздавался по всем направлениям; это падали, равняясь с землей, дома. К потрясающему рассудок гулу присоединился другой, растущий с силой лавины, – вопль погибающего Петербурга. Фасад серого дома на Адмиралтейском про-

спекте выгнулся, разорвал скрепы и лег пыльным обвалом, раскрыв клетки квартир, – богатая обстановка их показалась в глубине каждого помещения. Я выбежал на полутемную от пыли Морскую, разрушенную почти сплошь на всем ее протяжении: груды камней, заваливая мостовую, подымались со всех сторон. В переулках мчалась толпа; множество людей без шляп, рыдая или крича охрипшими голосами, обгоняли меня, валили с ног, топтали; некоторые, кружась на месте, с изумлением осматривались, и я слышал, как стучат их зубы. Девушка с растрепанными волосами хваталась за камни в обломках стен, но, обессилев, падала, выкрикивая: «Ваня, я здесь!» Потерявшие сознание женщины лежали на руках мужчин, свесив головы. Трупы попадались на каждом шагу, особенно много их было в узких дворах, ясно видимых через сплошные обвалы. Город потерял высоту, стал низким; уцелевшие дома казались среди развалин башнями; всюду открывались бреши, просветы в параллельные улицы, дымные перспективы разрушения. Я бежал среди обезумевших, мертвых и раненых. Невский проспект трудно было узнать. Адмиралтейский шпиц исчез. На месте Полицейского моста блестела Мойка, вода захлестывала набережную, разливаясь далеко по мостовой. Движение здесь достигло неслыханных размеров. Десятки трамвайных вагонов, сойдя с рельс, загораживали проход, пожарные команды топтались на месте, гремя лестницами и крючьями, дрожали стиснутые потоком людей автомобили, лошади становились на дыбы, а люди, спасаясь или разыскивая друг друга, перелезали вагоны, ныряли под лошадей или, сжав кулаки, прокладывали дорогу ударами. Некоторые дома еще держались, но угрожали падением. Дом на углу улицы Гоголя обвалился до нижнего этажа, балки и потолки навесами торчали со всех сторон, под ногами хрустели стекла, фарфор, картины, ящики с красками, электрические лампы, посуда. Множество предметов, чуждых улице, появилось на мостовой – от мебели до женских манекенов. Отряды конных городских, крестясь, без шапок двигались среди повального смятенья неизвестно куда, должно быть, к банкам и государственным учреждениям.

Впервые я поразился пестротой и разнородностью толпы, окружавшей меня. Приказчики, дети, неизвестные, хорошо одетые, толстые и очень бледные люди, офицеры, плачущие навзрыд дамы, рабочие, солдаты, оборванцы, гимназисты, чиновники, студенты, отталкивая друг друга, падая и крича, бросались по всем направлениям, потеряв голову. Стремительное движение это действовало гипнотически. Глаза мои наполнились слезами, сила душевного потрясения разразилась истерикой, я бился головой о трамвайный вагон. Больше всего я боялся сойти с ума; боль в ушах, слабость и тошнота усиливались. Я стоял между прицепным и передним вагоном, встречаясь глазами с тысячей бессмысленных, тусклых взглядов толпы, пока не разразился третий удар. Я закрыл глаза. Вагоны, загремя, сдвинулись, сохранив мне, стиснутому ими до боли в плечах – жизнь, так как уцелевшие стены зданий, медленно и грозно склонясь, рухнули вокруг Невского, сокрушая неистовую толпу, и свежий туман пыли скрыл небо.

Вдруг я очнулся, исчезло оцепенение, и настоящий животный страх хмелем плеснул в голову, приобщая меня к панике. Удары камней в стенки вагона почти разрушили их, и я уцелел чудом. Я понял, что единственная истина теперь – случайность, законы тяжести, равновесия и устойчивости более не оберегали меня, и я, по свойственному человеку стремлению к дисциплине материи, рвался в сокрушительном волнении города к неизвестно где существующим спасительным остаткам незыблемости. Я кинулся, работая локтями, вперед, к Мойке; это был инстинкт неуправляемый и – увы! – слепой, так как многие во власти его нашли смерть.

Я не понимаю, как уцелело бесконечное множество людей, запрудивших улицы. Их было почти столько же, сколько трупов, пробираться между которыми было не так легко. Избегая ступать по мертвым и ползающим с раздробленными ногами, я проваливался в нагромождения стропил, досок и кирпичей, рискуя сломать шею. Громадные исковерканные вывески гнулись подо мной с характерным железным стоном. С поникших, а местами упавших трамвайных столбов паутиной висела проволока, останавливая бегущих; как я узнал после, электрический ток в момент начала гибели Петербурга был выключен.

Я остановился у Мойки. Сознание отказывалось запечатлеть все виденное мной; любая из сцен, происходящих вокруг, взятая отдельно, в условиях повседневной жизни, могла бы вытеснить все впечатления дня, но сила трагизма их уничтожалась подавляющим, беспримерным со-

бытием, последствия которого каждый уцелевший переживал сам.

Я видел и запоминал лишь то, что, по необъяснимому капризу внимания, бросалось в глаза; все остальное напоминало игру теней листы, бесследно пропадая для памяти, лишь только я обращал взгляд на другие явления. Мало кто смотрел вниз, лица почти всех были обращены к небу, как будто дальнейшее зависело от голубого пространства, жуткого в своей ясной недостижимости. Мимо меня, спотыкаясь, пробежала старуха в дорогом разорванном платье; она прижимала к груди охапку сыплющихся из-под ее рук вещей, среди которых были, вероятно, ненужные теперь рюши и кружевные косынки. Мужчина, коротко стриженный, с красным затылком, сидел, закрывая лицо руками. На углу Мойки полуодетый молодой человек пытался поставить на ноги мертвую женщину и хмурился, не обращая ни на кого внимания. Несколько людей – по-видимому, семейство, – протягивая руки, ползли в щелке и мусоре к повисшему на выступе разрушенной стены человеку; он висел на камнях, подобно перекинутому через плечо полотенцу, лицом ко мне, – по его рукам обильно текла кровь. Извозчик возился около издыхающей лошади, снимая дугу; на той стороне канала городской стрелял из револьвера в группу убегающих проворных людей с котелками на головах. Крики, раздававшиеся вокруг, поражали не выразительностью слов, а звуками, утратившими всякое сходство с голосом человеческим.

«Землетрясение! – О, боже, о боже мой!» – ревели вокруг меня, соединившего свой крик с общим неистовством гибели. По колени в воде я остановился на краю набережной, скинул пиджак и поплыл на другую сторону. Волнение с зловещим глухим плеском бросало меня вперед, назад и опять вперед, пока я среди других плывущих не уцепился за остатки моста. Я вылез на мостовую и побежал, стремясь к Михайловскому скверу, где в случае нового сотрясения почвы площадь могла послужить некоторой защитой от падающих вокруг зданий.

III

Теперь, когда я пишу это, лежа в одной из гельсингфорских больниц (русские города, заставляя вспоминать разрушенный С.-Петербург, внушают мне страх), меня занимает и служит предметом постоянного удивления то, что немногие, определенные и удержанные сознанием мысли, казавшиеся в памятный день 29 июня грандиозными, вполне соответствующими неожиданностью своей размерам события, так элементарны, бессильны и фантастичны. Я думал, например, о таких пустяках, как седые волосы, размышляя, поседею ли я, или торопливо рассуждал, какой город будет теперь столицей. Любопытство или, вернее, неотразимая притягательность в ужасе – ужаса еще большего, представление о границах возможного для человеческого рассудка, убеждала меня в фактах столь странных, что объяснить это можно лишь полным нарушением в те моменты душевного равновесия. Нисколько не противореча себе и слепо веря призракам грандиозного, единственно возможным в то время, потому что происходили вещи неслыханные, я последовательно переходил от столкновения земного шара с кометой к провалу европейского материка, остановке вращения земли вокруг оси, наконец – к пробуждению неисследованной силы материи во всех ее состояниях, природного разрушительного начала, получившего от неизвестных причин загадочную свободу. Я решил также, что все новые дома должны упасть раньше других. Кроме того, я болезненно хотел знать, как выглядит дом на Невском проспекте между Знаменской и Надеждинской: в этом доме я жил. Падающий Исаакиевский собор уничтожил мгновенно всякое воспоминание о Вуиче и Мартыновой, и я вспомнил о них только вечером, но об этом расскажу после.

У Малой Конюшенной я увидел священника, немолодого, с утомленно-полузакрытыми глазами полного человека без шляпы; он стоял на упавшем ребром обломке стены и, прижимая к груди ярко блестящий крест, говорил громким повелительным голосом: «Пришло время. Время... Если вы понимаете...» Он повторял эти слова как бы в раздумьи. Бледный городской, трясясь, бросился на меня и, сильно ударив по лицу, разбил губу. Я ускользнул от него, как помню, без удивления и оторопи; за других некогда было думать. Полуодетая, с внимательным и красивым лицом барышня остановила меня, схватив за руку, но, осмотрев, исчезла. «Я думала, это ты», – сказала она. Другая спросила: «Где мама и Вовушка?» Хулиганы рвали из ушей женщин

серьги, показывая ножи, рылись в грудях вещей, или, с деловым видом обыскивающих арестанта надзирателей, шарили у рыдающих людей в карманах, и жертвы этого беспримерного циничного грабежа относились к насилию безучастно, так же как горячечный больной не замечает присутствующих. Я, опять-таки не удивляясь, словно так было всегда, смотрел на грабителей, но, запнувшись об одного из них, обиравшего, стоя на коленях, труп офицера, вздрогнул, поднял кирпич и размозил оборванцу голову.

Я находился теперь около Казанского сквера. Земля время от времени легонько подталкивала снизу опрокинутый город, как бы держа его на весу в минутном раздумьи. Таинственный трепет земли, напоминающий внезапный порыв ветра в лесу, когда шумит, струясь и затихая, листва, возобновлялся с ничтожными перерывами. В красной пыли развалин, скрывающей горизонт, медленно ползли тучи дыма вспыхивающих пожаров. Казанский собор рассыпался, завалил канал; та же участь постигла прилегающие кварталы. Скопление народа остановило меня.

В этот момент мне довелось увидеть и пережить то, что теперь в истории этого землетрясения известно под именем «Невской трещины». Я стал падать, не чувствуя под ногами земли, и, перевернувшись на месте, сунулся лицом в камни, но тотчас же вскочил и увидел, что падение было общим, – никто не устоял на ногах. Вслед за этим звук, напоминающий мрачный глубокий вздох, пронесся от Невы до Николаевского вокзала, буквально расколов город с левой стороны Невского. Застыв на месте, я видел ползущий в недра земли обвал; люди, уцелевшие стены домов, экипажи, трупы и лошади, сваливаясь, исчезали в зияющей пустоте мрака с быстротой движения водопада. Разорванная земля тряслась.

– Это сон! – закричал я; слезы текли по моим щекам. Я вспомнил, что после Мексиканского землетрясения меня душил ночью кошмар – свирепые образы всеобщего разрушения; тогда снилось мне в черном небе огненное лицо бога, окруженное молниями, и это было самое страшное. Я смотрел вверх с глухой надеждой, но небо, отливавшее теперь тусклым свинцовым блеском, было небом действительности и отчаяния.

Оглянувшись назад, я, к величайшему удивлению своему, заметил одноцветную темную толпу с темными лицами, тесным рядом избегающую на отдаленные груды камней, подобно солдатам, кинувшимся в атаку; за странной, так легко и быстро движущейся этой толпой не было ничего видно, кроме темной же, обнимающей горизонт, массы; это мчалась вода. Различив наконец белый узор гребней, я отказываюсь дать отчет в том, как и в течение какого времени я очутился на вершине полуразрушенного фасада дома по набережной Екатерининского канала, – этого я не помню.

Я лежал плашмя, уцепившись за карниз, на острых выбоинах. Снизу, угрожая размыть фундамент, вскакивая и падая, с шумом, наводящим смертельное оцепенение, затопляя все видимое, рылись волны. Вода, разбегаясь крутящимися воронками, ринулась по всем направлениям; мутная, черная в тени, поверхность ее мчала головы утопающих, бревна, экипажи, дрова, барки и лодки. Ровный гул убегающих глубоких потоков заглушил все; в неистовом торжестве его вспыхивали горем смерти пронзительные крики людей, захваченных наводнением. Вокруг, на уровне моих глаз, вблизи и вдали, виднелись по редким островкам стен ускользнувшие от воды жители. Высоко над головой парили гатчинские аэропланы. Уровень губительного разлива поднимался незаметно, но быстро; между тем казалось, что стена, на которой лежу я, оседает в кипящую глубину. Я более не надеялся, ожидая смерти, и потерял сознание.

IV

Это была тягостная и беспокойная тьма. Вздыхнув, я открыл глаза и тотчас же почувствовал сильную боль в груди от долгого лежания на узком выступе, но не пошевелился, опасаясь упасть. Океан звезд сиял в черном провале воды, отсвечивая глухим блеском. Тревожный ропот замирающего волнения окружал спасшую меня стену; в отдалении раздавались голоса, крики, вздохи, плеск невидимых весел; иногда, бессильно зарываясь в темный простор, доносился протяжный вопль.

Измученный, я закричал сам, моля о спасении. Я призывал спасителя во имя его лучших

чувств, ради его матери возлюбленной, обещал неслыханные богатства, проклинал и ломал руки. Совсем обессилев, я мог лишь наконец хрипеть, задыхаясь от ярости и тоски. Прислушавшись в последний раз, я умолк; холодное равнодушие к жизни охватило меня; я апатично посмотрел вниз, где, не далее двух аршин от моих глаз, загадочно блестели тонкие струи течения, и улыбнулся спокойно лицу смерти. Я понял, что давно уже пережил и себя и город, пережил еще в те минуты, когда сила безумия потрясла землю. Я знал, что навсегда останусь теперь, если сохраню жизнь, насильственно воскрешенным Лазарем с тяжестью смертельных воспоминаний, навеки прикованный ими к общей братской могиле.

Глубоко, всем сердцем, печально и торжественно желая смерти, я приподнялся на осыпающихся, нетвердых под ногами кирпичах, встал на колени и повернулся лицом к Неве, прощаясь с ее простором и берегами, казнившими город, полный своеобразного очарования севера.

Я соединил руки, готовясь уйти из мира, как вдруг увидел тихо скользящую лодку; величину и очертания ее трудно было рассмотреть в темноте, тем не менее движущееся черное – чернее мрака – пятно, мерно брякавшее уключинами, могло быть лишь лодкой.

Я остановился, или, вернее, привычка к жизни остановила меня на краю смерти. В лодке сидел один человек, спиной ко мне, и усиленно греб, стараясь держаться к стене; несколько раз весла задели о камни с характерным скребущим звуком; причины осторожности плывущего мне были непонятны, так как успокоившееся, хотя и сильное течение развевывалось достаточно широко даже для парохода. Вид работающего веслами человека подействовал на меня, как вино; энергия, желание вновь помериться с обстоятельствами вернулись ко мне, едва я заметил подобное себе существо, находящееся в сравнительной безопасности и, конечно, плывущее не без цели. Я снова захотел жить; в ту ночь случайное впечатление – например, слово – действовало магически.

Гребца мне следовало окликнуть, но я, не знаю почему, воздержался от этого, решив подать голос именно в тот момент, когда лодка будет совсем близко. Я снова лег, и меня, вероятно, можно было в темноте счесть за кусок стены. В это время, мигая красным и зеленым огнем, прошумел вдали пароход, направляясь к Коломенскому району; человек поднял весла и, оглянувшись, прижал лодку к стене так, что я при желании мог коснуться рукой его головы. Он избегал быть замеченным и внушил мне сильное подозрение. Я подумал, что этот человек, если бы захотел, мог ехать не в одиночестве, спасая других; без сомнения, передо мной сидел мародер, но, не желая брать слишком большой ответственности за неповинного, быть может, человека, я приподнялся и окликнул его вполголоса: «Эй, снимите меня на лодку!»

Гребец подскочил, ткнул веслом в стену и скрылся бы в десять секунд, но я оказался быстрее его. Вскочив на плечи этому человеку, я стиснул его за горло так сильно, что он выпустил весла, откинулся на борт и захрипел. Я оглушил его ударом весла и, напрягая все силы, выбросил в воду; он замахал руками, стараясь ухватиться за борт, но это не удалось. Я повернул лодку, отъехал и заработал веслами, стараясь как можно скорее покинуть место невольного своего пленника. В лодке, когда я боролся с гребцом, мои ноги ступали на что-то скользкое и хрустящее; с помощью спички мне удалось рассмотреть большое количество ссыпанных в мешок золотых и серебряных вещей столового серебра, часов, украшений и церковных сосудов.

Сообразив, что наконец дальнейшее в значительной степени зависит от меня самого, благодаря свободе передвижения, я вспомнил о Вуиче. Адрес Мартыновой мне был случайно известен, но какой горькой иронией звучали слова «адрес», «дом», «улица»!

Протяжно вздыхал ветер, холодный, как рука мертвеца; заморосило, и я трясся в ознобе, пытаюсь согреть дрожащее от холода и изнурения тело сильными взмахами весел, но это не помогло; мокрый и полуголый, я чувствовал себя плохо. Плывая среди неподвижных, напоминающих остановившийся ночной ледоход, каменных заграждений – остатков вчера еще крепких населенных домов, – я стал осматриваться и кричать: «Вуич! Ты жив?» Я не помнил, второй или третий дом от угла был тот, где жила Мартынова, но, вероятно, находился вблизи него и перестал грести, крича все громче и громче.

Мой призыв не остался без ответа, но то отвечал не Вуич. Меня звали со всех сторон. Некоторые, желая указать место своего ожидания, бросали кирпичи в воду, но я не мог спасти всех

– лодка поднимала не более десяти человек.

Я направился к трубам уцелевшего среди других дома и еще издали, по изменяющимся в темноте очертаниям крыши, понял, что на ней нет свободного места: там находились, вероятно, сотни людей. Подъехать ближе я не решился, опасаясь, что в лодку бросятся все, топя ее, себя и меня. Скоро, заметив плывущего ко мне человека, я втащил его в лодку; он, молча, не обращая на меня внимания, лег ничком и не шевелился.

– Вуич! – снова закричал я, плавая спиральными кругами и равномерно их увеличивая, с надеждой, что в одну из кривых попадет наконец исчезнувший друг.

Возле Государственного совета в лодку неизвестно с какого места совершенно неожиданно прыгнул еще один человек, выбив из моих рук весло, упал, поднялся и прицелился в меня револьвером, но, видя, что я не угрожаю ему и не собираюсь выбросить его вон, сел, не выпуская из рук оружия. Еще двое, вытянув шеи, кричали, стоя по колена в воде; я посадил их: это были две женщины.

– Куда вы едете? – спросил человек с револьвером.

– Я ищу знакомых.

– Надо выехать из города, – нерешительно сказал он, – на твердую землю.

Я не ответил. Поднимать спор было опасно: четверо против одного могли заставить плыть, куда хотят, приди им в голову та же мысль, что и человеку с револьвером, а я надеялся спасти Вуича, если он жив.

Человек с револьвером настойчиво предложил ехать по линии Николаевской железной дороги.

– Подождем парохода, – возразил я. – Никто не может сказать, как велика площадь разлива.

Я стал торопливо грести, направляясь к прежнему месту поисков. Все молчали. Фигуры их, дремлющих сидя, понурились, делались яснее, отчетливее; наконец, я стал различать уключины, весла и борта лодки: светало; призрачный пар скрыл воду, мы плыли в тусклом полусвете тумана, среди розовых от зари камней.

Я наклонился. Лицо, смутно напоминающее лицо Вуича, ввалившимися глазами смотрело на меня с кормы лодки. Это был человек, лежавший ничком; я взял его, как вы помните, первым. Голый до пояса, он сидел, зажав руки между колен. Я долго всматривался в его тусклое, искаженное неверным светом зари лицо и крикнул:

– Вуич!

Человек безучастно молчал, но по внимательно устремленным на меня глазам я видел его желание понять, чего я хочу. Он поднял руку; на пальце сверкнуло знакомое мне кольцо; это был Вуич.

Я сделал ему знак подойти; он переполз через заснувшего человека с револьвером и вплотную ко мне, стоя на четвереньках, поднял голову. Вероятно, и меня трудно было узнать, так как он не сразу решился произнести мое имя.

– Лева!? – сказал наконец он.

Я кивнул. Ни его, ни меня не удивило то, что мы встретились.

– Оглох, – тихо произнес он, сидя у моих ног. – Меня это застигло на лестнице. Мартынова, когда я вбежал, не могла двинуться с места. Я вынес ее, а на улице она меня оттолкнула.

Я спросил глазами, что это значит.

– Руками в грудь, – пояснил Вуич, – так, как отталкивают, когда боятся или ненавидят. Она не хотела быть мне ничем обязанной. Я помню ее лицо.

Он видел, что мне затруднительно спрашивать знаками, и продолжал:

– Последнее, что я услышал от нее, было: «Никогда, даже теперь! Уходите, спасайтесь». Она скрылась в толпе; где она – жива или нет? – не знаю.

Он долго рассказывал о том, как остался в живых. То же самое происходило со множеством других людей, и я слушал рассеянно.

– Теперь ты забыл ее? – крикнул я в ухо Вуичу.

Он смутно понял, скорее угадал мой вопрос.

– Нет, – ответил он, вздрагивая от холода, – это больше, чем город.

В лодке все, кроме нас, спали.

Я кружил по всем направлениям; миноносцы, катера, пароходы и баржи сновали над Петербургом, но мы еще не попали в поле их зрения. Ясное утро расцветило воду живым огнем, золотом и лазурью, а я, далекий от желаний любоваться ужасной красотой разрушения, думал о горе живых, более страшном, чем покой мертвых, о себе, Мартыновой, Вуиче, жалея людей, равно бессильных в страсти и гибели.

Вскоре незаметно для самого себя я уснул. Вуич уже спал. Меня разбудил гудок кронштадтского парохода. Нас окликнули и взяли на борт.

Загадка предвиденной смерти

I

Чудовищная впечатлительность Эбергайля поднялась в последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на границе безумия. Утром он пробудился с явственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища стала за последнее время постоянным спутником Эбергайля; он тщательно исследовал роковой момент, стараясь привыкнуть к нему и понять то, что в самый последний миг отойдет вместе с ним, как ощущение и мысль, – в тьму. Его представление о действии топора было ярко до осязательности, хотя длилось, обнимая процесс отсечения головы, ровно то ничтожное количество времени, в течение которого шестифунтовое лезвие, пущенное сильными руками со скоростью двух сажен в секунду, проходит вертикальное расстояние в три вершка – толщину шеи.

Подобной молниеносности точного представления, включающего холод в ногах, мучительную остановку сердца, спазму дыхательных путей, мгновение тишины, судорожный, страшный глоток в момент удара, ощущение взрыва мозга, паралич отделенных от головы, но чувствуемых еще некоторое время конечностей, – и забвение – подобного, созданного силой воображения, точного знания казни Эбергайль достиг не сразу. Постепенно, ощупью, как человек, отыскивающий в темной комнате нужный ему предмет, Эбергайль нащупывал и спрашивал мыслью все свое тело, все части и органы его и даже процессы органов, он подходил к каждому из них с терпением учителя глухонемых, подвергал их действию внутреннего света, который уже горел в нем с момента объявления приговора. Итак, он получал сначала бессвязные, противоречивые ответы, потому что воображение его не сразу достигло того напряжения, при котором возможно стать любой из частей собственного своего организма, но, упражняясь далее, он мог ясно вообразить себя в себе, чем угодно: шейным позвонком, гортанью, артерией, щитовидной железой, кожей и мускулами. Тогда он приучился подвергать себя – в каждом из этих воображаемых состояний – мысленному удару топора, и делал так до тех пор, пока из тысяч представлений не начинало, как бы эхом физического воздействия, властно завладевать его сознанием и уверенностью одно, правдивость которого он улавливал в страхе, овладевавшем им после каждого из этих немых голосов тела, обреченного смерти.

Накануне казни, встав рано, Эбергайль, как уже сказано, ясно почувствовал медленно входящий в его шею топор. Он вынул его руками, сзади, из-под затылка, со всей болью представления об этом, и, поборов, таким образом, физическую галлюцинацию, лежал несколько минут обессиленный, думая все-таки о топоре и шее. Когда он думал об этом, ему было менее страшно и беспокойно, чем в минуты бессилия овладеть упорно повторяемым представлением. Прикованный к хорошо понятому, обдуманному и близкому ужасу, благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времени сотой части секунды в момент удара, – Эбергайль, несомненно, владел ужасом, зная, в чем он. Ужас не мог быть более самого себя. Но, если подобно тиканью карманных часов, исчезающему на время для утомленного слуха, исчезала отчетливая подробность и ясность ужаса, – Эбергайль падал духом. Страх, тяжкий, как удар молнии, делал его животным. Он верил тогда в непостижимость и неожиданность ужаса, что было для

него нестерпимо; он хотел знать.

Под вечер Эбергайля посетил ученый Коломб, человек пытливый и жестокий до равнодушия к самым ужасным мукам сознания. Последние часы людей, уверенных в близкой смерти, особенно интересовали его. Он увидел на фоне решетчатого окна человека в холщовом колпаке и таком же халате; незабываемое, — хотя, по внешности, обыкновенное, — лицо этого человека выражало сосредоточенность. Солнце заходило, охладевшие лучи его бросали на пол, к порогу камеры, резкую тень арестанта, тень, которую ему суждено было увидеть только еще раз — завтра утром, и то, — в случае ясной погоды.

«Его мозг в огне», — подумал Коломб.

Эбергайль действительно смотрел внутрь себя. Глаза его остановились на Коломбе и вспыхнули: он увидел еще одну шею, в которую без труда сунул топор.

— Во имя науки ответьте мне на некоторые вопросы, — кротко сказал Коломб, — это, может быть, развлечет вас.

— Развлечет, — сказал Эбергайль.

— Как вы совершили преступление?

— Два выстрела.

— Нет, — пояснил Коломб, — мне хочется знать иное. Совпало ли ваше представление о преступлении с действительностью?

— Да. Я очень долго обдумывал это. Я был уверен, что он, выходя от моей жены в увидев меня с револьвером, сделает шаг назад, раскрыв рот. Затем он должен был закрыться рукой снизу вверх. В следующий момент я выстрелю ниже его локтя два раза, зная, что скажу: «а-га!», и он попятится, затем упадет сам, нарочно притворяясь убитым, чтобы избежать новых выстрелов, но, падая, умрет через пять секунд. Все произошло именно так; некоторое актерство в его падении я заметил потому, что он закрыл левой рукой глаза и упал, повернувшись ко мне спиной вверх. Я прострелил ему сердце. Он не мог умереть стоя и падать, делая такой ненужный жест, как закрытие глаз. Следовательно, он был жив, падая; и знал, что делает.

— О чем думали вы эти дни?

— О шее и топоре.

— А сегодня? — записывая, сказал Коломб. — Сегодня вы думали, мой друг, конечно, о количестве времени, остающемся вам, не так ли?

— Нет. О топоре и шее.

— А сейчас?

— О топоре и шее.

— Можете ли вы говорить со мной о моменте оглашения приговора?

— Нет, — злорадно сказал Эбергайль, — я, к счастью, не могу более думать и разговаривать ни о чем, кроме шеи и топора.

II

На рассвете спавший Эбергайль вскочил, дико крича, умоляя о пощаде, угрожая и плача. Его разбудил долгий звон ключа. Он тотчас, пока еще не открылась дверь, выхватил из окрашенного сном сознания самое дорогое, что у него было теперь: точное переживание удара по шее — и замер, окаменев. Вошел начальник тюрьмы, без солдат, и тотчас же притворил дверь.

— Успокойтесь, — сказал он. — Вы должны знать это, иначе бывали случаи смерти от разрыва сердца на эшафоте. Я изменяю долгу, но, жалея вас, пришел предостеречь от ненужных волнений. Вы казнены не будете, Эбергайль.

— Я или Эбергайль? — спросил тот, хитро прищуриваясь.

— Вы, Эбергайль.

— Я, Эбергайль. Очень хорошо. Дайте пить.

Он поднес кружку к губам и расхохотался в воду, так что расплескал все.

— Церемония экзекуции, — сказал начальник тюрьмы, — будет выполнена вся, но топор не опустится.

- Не?! – спросил Эбергаиль.
- Нет.
- Опустится или не опустится?
- Не опустится.

Он хотел прибавить еще несколько слов о необходимости предсмертной «игры», но Эбергаиль вдруг упал на колени и поцеловал его сапог, и поцелуй этот был тяжел от счастья, как удар молотом.

Начальник тюрьмы вышел, крепко обтер глаза кистью руки и невольно посмотрел на сапог. Лак блестел ярче, чем обыкновенно. Начальник прикоснулся к нему, и пальцы его стали красными – от крови губ Эбергаиля, губ, не пожалевших себя.

Эбергаиль кружился по камере, как пьяный, тыкаясь в стены. Он был полон мгновением, хотел думать о нем, но не мог, потому что внезапная слепота мысли – результат потрясения – сделала его счастливым животным. Бешеный восторг, подобно разливу, расправлял в его душе свой безбрежный круг, и Эбергаиль тонул в нем. Наконец он ослабел той тихой радостной слабостью, какая известна детям, долго игравшим на воздухе, – до огней в доме и сумеречных звезд неба. И мысль вернулась к нему.

– Да! Ах! – сказал Эбергаиль. – Славная, милая каторга! Я буду на каторге, буду жить! Как хорошо работать до изнурения! Хорошо также волочить ядро, чувствовать себя, свою ногу, живу! Замечательное ядро. Рай, а не каторга!

Снова загремел ключ, и Эбергаиль встал с сияющими глазами. Он знал, что лезвие не опустится. С чувством внутреннего торжества притворился он, как мог, потрясенным, но покорным судьбе, исповедался, выслушал напутствие священника и сел в телегу. Шествие, сверкая обнаженными саблями, тронулось среди густой, азартной толпы к месту казни. Эбергаиль слышал, как кричали: «Убийца!» и радостно повторял: «Убийца». Он ласково подмигнул кричавшим ругательства и погрузился в созерцание высоко поднятого, но не опущенного топора.

III

Взойдя на помост со связанными за спиной руками, Эбергаиль важно и снисходительно осмотрел сцену тяжелой игры. Плаха в виде невысокого столба, окованного железными обручами, выглядела совсем не безобидно, и это, хотя не смутило Эбергаиля, но поразило его совпадением с его собственным, точным представлением о ней, – в вопросе о шее и топоре. Возле плахи, на небольшой скамье, в раскрытом красном футляре блестел топор, и Эбергаиль сразу узнал его. Это был тот самый топор полумесяцем, с круглой дубовой ручкой, который вчера утром невидимо рассек ему шею.

Эбергаиль невольно снова соединил в уме три вещи: поверхность плахи, свою шею и острие, входящее в дерево сквозь шею; он убедился благодаря этому, что точное знание сложного в своем ужасе истязания осталось при нем. Тотчас же, с присущей ему живостью и неописуемой силой воображения создал он новое знание – знание отсутствия удара, и стал слушать чтение приговора, внимательно рассматривая палача в сюртуке, черных перчатках, цилиндре и черном галстуке.

Лицо палача, заурядное своей грубостью, ничем не выделившей бы его в простонародной толпе, влекло к себе взгляд Эбергаиля; в лице этом, благодаря власти безнаказанно, при огромном стечении народа, днем, отрубить человеческую голову, была змеиная сила очарования.

За пустым пространством вокруг эшафота смотрела на Эбергаиля тихо дышащая толпа.

Палач подошел к Эбергаилю, взял его за плечи, пригнул к плахе и громко сказал:

– Господин Эбергаиль, положите вашу голову вот сюда, лицом вниз, сами же станьте на колени и не шевелитесь, потому что иначе я могу нанести неправильный, плоский удар.

Эбергаиль стал так, как сказал палач, и, свесив подбородок за край плахи, невольно улыбнулся. Внизу, под его глазами, был шероховатый, свежий настил с небольшой щелью меж досок. Он слышал запах дерева и зелени.

Голос сзади сказал:

– Палач, совершайте казнь.

Не видя, Эбергайль знал уже, что в следующее мгновение топор поднят. Он ждал, когда ему прикажут встать. Но все молчали, и он продолжал стоять в своей неудобной позе минуту, другую, третью, ясно чувствуя течение времени. Молчание и неподвижность вокруг продолжались.

«Тогда ударит, – мертвея, подумал Эбергайль. – Меня обманули».

Страшная тоска остановила его хлопающее по ребрам сердце, и точное знание удара неудержимо озарило его. Он судорожно глотнул воздух, чувствуя, как, после пробежавшего по всему телу огненного вихря, шея его стремительно вытянулась и голова свесилась до помоста; затем умер.

Человек в перчатках, приподняв топор, услышал:

– Остановитесь, палач. Казнь отменяется.

Палач опустил топор к ногам. Через мгновение после этого голова Эбергайля, продолжавшего неподвижно стоять у плахи, отделилась от туловища и громко стукнула о помост под хлынувшей на нее из обрубка шеи, фыркающей, как насос, кровью.

* * *

– Палач ударил, – сказал Консейль.

Коломб внимательно пробежал еще раз газетную заметку о странной казни и взял фельетониста за пуговицу жилета.

– Палач не ударил. – Он поднял руку вверх, изображая движение топора. – Топор остановился в воздухе вот так, и, после известных слов прокурора, описал дугу мимо головы преступника к ногам палача. Это продолжалось секунду.

– В таком случае...

– Голова упала сама.

– Оставьте мою пуговицу, – сердито сказал Консейль. – Теперь, действительно, будут спорить, сама или не сама упала голова Эбергайля. Но если вы оторвете пуговицу, я не стану утверждать, что она свалилась самостоятельно.

– Если бы пуговица думала об этом так упорно, как голова Эбергайля...

– Да, но вы академик.

– Оставим это, – сказал Коломб. – Очевидность часто говорит то, что хотят от нее слышать. Эбергайль – великий стигматик.

– Прекрасно! – проговорил, выходя из кофейни, через некоторое время, Консейль. – Я осрамлю вас завтра, Коломб, в газете, как восхитительного ученого! А, впрочем, – прибавил он, – не все ли равно – сама упала голова или ее отсекли? И что хуже – рубить или заставить человека самому себе оторвать голову? Во всяком случае, палач сел между двух стульев, и ему придется хорошо подумать об этом.

Редкий фотографический аппарат

I

За Зурбаганом, в местности проклятой самим богом, в голой, напоминающей ад степи, стояла каменная статуя, изображающая женщину в сидячем положении, с руками, поднятыми вверх, к небу, и глазами, опущенными к земле. Никто из жителей окрестностей Зурбагана не мог бы указать происхождения этой статуи, никто также не мог объяснить, кого изображает она. Жители прозвали статую «Ленивой Матерью» и с суеверным страхом обходили ее. Как бы то ни было, это ничтожное каменное отражение давно прошедшей и давно мертвой жизни волей судьбы и бога уничтожило двух людей.

Смеркалось, когда старый рудокоп Энох вышел за границу степи, окружающей Зурбаган. В

рудниках Западной Пирамиды Энох заработал около двух тысяч рублей. Его жена, мать и брат жили в Зурбагане, он шесть месяцев не видал их. Торопясь обнять близких людей, Энох ради сокращения пути двинулся от железнодорожной станции хорошо знакомыми окольными тропинками, сперва – лесом, а затем, где мы и застаем его, – степью. Ему оставалось не более двух часов быстрой ходьбы.

Несколько дождевых капель упало на руки и лицо Эноха, и рудокоп поднял голову. Тревожный, бледный свет угасающего солнца с трудом выбивался из-под низких грозных туч, тяжело взбиравшихся к зениту над головой путника. Фиолетовая густая тьма зарокотала вдали глухим громом, полным еще сдерживаемой, но готовой разразиться неистово ярости. Энох сморщился и прибавил шагу. Скоро дождь хлынул ливнем, а из грома, закипев белым трепетом небесных трещин, выросли извилистые распадаения молний. Почти непрерывно, с редкими удушливыми моментами тишины, ударял гром. Содрогающийся ослепительный блеск падал из темных туч вниз на крыльях ветра и ливня. Энох, смокший насквозь, не шел, а бежал к «Ленивой Матери». Он и раньше видал ее, а теперь, заметив ее издалека, поспешил под ее сомнительное прикрытие. Статуя то появлялась, то исчезала, смотря по силе небесных вспышек. Достигнув подножия двухсаженного изваяния, Энох увидел, что меж ногами идола сидит, как в будке, плохо одетый человек. Человек этот пристально смотрел на него.

II

Рудокоп не был трусом, но деньги, зашитые в его кожаном поясе, гроза, действующая на нервы, и уныло замкнутое лицо неизвестного испортили ему настроение, которое, несмотря на дождь, благодаря близости дома было до этого весьма бодрым. Он кивнул сидевшему и оперся плечом о квадратное колено изваяния. Успев заметить, что неизвестный держит в руках старое одноствольное ружье, что лицо его трудно представить улыбающимся и что на его левой руке не хватает среднего пальца, Энох сказал:

– Хорошее местечко выбрали вы себе, сосед. Правда, из-за этого колена мне не бежит, как раньше, вода за воротник, но все-таки брызжет на голову.

Сидевший внимательно осмотрел Эноха и кивнул головой.

– Вы от станции? – спросил он.

– Да.

– Значит, сбились с дороги. Нужно было забирать левее, к холмам.

– Я здешний, – возразил рудокоп. – Все дороги я знаю, но это направление сокращает путь.

– Сокращает путь? – повторил незнакомец. – Возможно... Судя по костюму, вы работали в горах на западе?

– Работал, – неохотно ответил Энох и замолчал.

Сердце его, вдруг затосковав, сжалось. Незнакомец не сказал ничего, кроме самых естественных при этой оригинальной встрече фраз, но рудокопу захотелось уйти. Сунув руку в карман, где лежал револьвер, он украдкой посмотрел на сидевшего. Тот, опустив глаза, легонько посвистывал. Ветер усилился. Уши Эноха начали уже привыкать к неистовому громовому реву, но тут раздался такой взрыв, что он невольно нагнул голову. Молния чрезвычайной силы и длительности замела степь. Незнаемый сказал:

– Давно уже собираюсь я навестить рудники. Там хорошо платят.

– Да, хорошо! – вздрогнул и слишком поспешно вздохнул Энох. – Знаете, хорошо там, где нас нет. Вот когда я был молодым, тогда действительно зарабатывал, а теперь – старость... собачья жизнь... А что, – продолжал он, намекая на профессию охотника, – разве лисицы и бобры ходят теперь без шкур?

Незнакомец, ничего не ответив, снова опустил голову.

– Пойду, пожалуй, – сказал Энох, – небо проясняется.

– Что вы! Идут новые тучи!

– Это ничего... ветер стихает.

– Ого! Ревет, как водопад!

– Да и дождь, кажется, сдал. Надо идти.

Сказав это, Энох крепко сжал в кармане револьвер и шагнул в степь. Через мгновение за его спиной стукнул выстрел, и пуля, выскочив меж лопаток сквозь грудь, разорвала сердце. Энох упал около статуи. Неизвестный, вложив новый патрон, смотрел некоторое время, скосив глаза, как слабо шевелятся на земле руки убитого, сводимые судорогой агонии, затем, встав, присел на корточки возле Эноха.

– Глупо было бы не воспользоваться случаем при виде такого толстого кожаного пояса, – сказал он. – А он еще толковал мне о лисьих шкурках! Нет! Я, старый Бартон, знаю, что делаю. Ну-ка, поясок, вскройся!

Он разрезал ножом трехфунтовое утолщение пояса и с руками, полными денег, удалился на сухое место меж ногами статуи, где, перегрузив добычу в карманы, сидел несколько минут, стараясь побороть возбуждение убийством и сообразить, в какую сторону удалиться. Когда это было решено им в пользу одного из кабаков Зурбагана, Бартон встал и вышел под дождь. Тут ожидала его крупная неприятность. Волна белого огня молнии, сопровождаемая потрясающим небесным ударом, одела статую с вершины до земли жгучей, сверкающей пеленой, и Бартон, потеряв сознание, ткнулся лицом в землю.

Часа два оглушенный и мертвый лежали рядом. Тучи, отдав земле всю бешеную влагу, скрылись, и над ночной степью показались тихие звезды. Холод ночи оживил Бартона. Шатаясь, с трудом поднялся он на занывших руках, потом сел, хватаясь за обожженный затылок. Сознание медленно возвращалось к нему. Отдохнув, он направился в Зурбаган.

III

К вечеру следующего дня в одну из Зурбаганских больниц доставили пьяного, сильно израненного ножами в драке человека. Его звали Бартон. Он, страшно ругаясь, рассказал, что его товарищи вздумали смеяться над ним, уверяя, будто на его шее существует татуировка, и высказали предположение, что кто-нибудь подшутил над ним во время пьяного сна, поместив рисунок на таком странном месте. Он, разумеется, парень горячий и т. д., и себя в обиду не даст и т. д., и сейчас же схватился за нож и т. д., и его исколотили.

Он рассказывал это в то время, когда ему делали перевязку. Доктор, зайдя сзади, посмотрел на шею Бартона.

– Какое-то синее пятно, – сказал он, – вероятно, синяк.

– Вот это может быть, – подхватил Бартон, рассматривая рану выше локтя, из которой обильно текла кровь. – Я никому не позволю смеяться, ей-богу.

Доктор, щурясь, нагибался все ближе к Бартоновой шее.

– Когда тебя так хватит громом, какхватило меня, – продолжал Бартон, – я думаю, будет синяк.

– А васхватило? – спросил доктор.

– Еще как! Я шел это, понимаете, близ ручья, как треснет сверху! Я и полетел через голову!.. Да ничего, кость здоровая.

Доктор взял губку, смочил ее и потер шею Бартона.

– Это-то ничего, – сказал тот, – вот в боку дыра – это поважнее.

– Ну, все-таки, – сказал доктор, – лечить, так лечить!

Бартон начал стонать. Доктор, приблизив к шее Бартона сильную лупу, увидел интересную вещь. На белой полоске кожи ясно обозначался рисунок синего цвета, похожий на старинные фотографии; контуры его были расплывчаты, но до странности походили на всем известную статую «Ленивой Матери». Поднятые вверх руки статуи обозначались особенно ясно. Внизу с раскинутыми руками и ногами лежал человек.

– Да, это синяк, – сказал доктор, – синяк и ничего более... Подождите немного.

Он вышел в другую комнату, думая о том, как неожиданно открылся автор преступления, обеспокоившего зурбаганцев. Вскоре явился вызванный в больницу начальник полиции.

– Первый раз в жизни слышу о такой штуке! – воскликнул он на заявление доктора.

– То ли еще делает молния, – возразил доктор. – Молния фотографирует иногда еще удачнее, чем в этом случае. А что вы скажете на свидетельство науки, что молния, не ранив человека, может раздеть его донага, не расстегивая воротника и манжет и не развязывая башмачных шнурков? Все это – загадочные явления одного порядка с действием смерча, когда, например, черепицы на крышах оказываются перевернутыми в том же порядке, но левой стороной вверх. Нет, снимок вышел удачный.

– Надеюсь, – сказал чиновник, – что этих ручных кандалов, что у меня в руках, не снять даже молнии. Я иду надеть их на негатив.

Эпизод при взятии форта «Циклоп»

I

– Завтра приступ! – сказал, входя в палатку, человек с измученным и счастливым лицом – капитан Егер. Он поклонился и рассмеялся. – Поздравляю, господа, всех; завтра у нас праздник!

Несколько офицеров, игравших в карты, отнеслись к новости каждый по-своему.

– Жму вашу руку, Егер, – вскричал, вспыхивая воинственным жаром, проворный Крисс.

– По-моему – рано; осада еще не выдержана, – ровно повышая голос, заявил Гельвий.

– Значит, я буду завтра убит, – сказал Геслер и встал.

– Почему – завтра? – спросил Егер. – Не верьте предчувствиям. Сядьте! Я тоже поставлю несколько золотых. Я думаю, господа, что перед опасностью каждый хоронит себя мысленно.

– Нет, убьют, – повторил Геслер. – Я ведь не жалею, я просто знаю это.

– Пустяки! – Егер взял брошенные карты, стасовал колоду и стал сдавать, говоря: – Мне кажется, что даже и это, то есть смерть или жизнь на войне, в воле человека. Стоит лишь сильно захотеть, например, жить – и вас ничто не коснется. И наоборот.

– Я фаталист, я воин, – возразил Крисс, – мне философия не нужна.

– Однако сделаем опыт, опыт в области случайностей, – сказал Егер. – Я, например, очень хочу проиграть сегодня все деньги, а завтра быть убитым. Уверю вас, что будет по-моему.

– Это, пожалуй, легче, чем наоборот, – заметил Гельвий, и все засмеялись.

– Кто знает... но довольно шутить! За игру, братцы!

В молчании продолжалась игра. Егер убил все ставки.

– Еще раз! – насупившись, сказал он.

Золото появилось на столе в двойном, против прежнего, количестве, и снова Егер убил все ставки.

– Ах! – вскричал, горячася, Крисс. – Все это идет по вольной оценке. – Он бросил на стол портсигар и часы. – Попробуйте.

Богатый Гельвий утроил ставку, а Геслер учетверил ее. Егер, странно улыбаясь, открыл очки. Ему повезло и на этот раз.

– Теперь проиграться трудно, – с недоумением сказал он. – Но я не ожидал этого. Вы знаете, завтра не легкий день, мне нужно отдохнуть. Я проверял посты и устал. Спокойной ночи!

Он молча собрал деньги и вышел.

– Егер нервен, как никогда, – сказал Гельвий.

– Почему?

– Почему, Крисс? На войне много причин для этого. – Геслер задумался. – Сыграем еще?!

– Есть.

И карты, мягко вылетая из рук Геслера, покрыли стол.

II

Егер не пошел в палатку, а, покачив головой и тихонько улыбаясь мраку, перешел линию оцепления. Часовой окликнул его тем строгим, беспощадным голосом военных людей, от кото-

рого веет смертью и приказанием. Егер, сказав пароль, удалился к опушке леса. Пред выросшими из мрака, непоколебимыми, как литые из железа, деревьями, ему захотелось обернуться, и он, с тоской в душе, посмотрел назад, на черно-темные облака, тучи, под которыми лежал форт «Циклоп». Егер ждал последней, ужасной радости с той стороны, где громоздились стены и зеленые валы неприятеля. Он вспомнил о неожиданном выигрыше, совершенно ненужном, словно издевающимся над непоколебимым решением капитана. Егер, вынув горсть золота, бросил его в кусты, та же участь постигла все остальные деньги, часы и портсигар Крисса. Сделав это, капитан постоял еще несколько времени, прислушиваясь к тьме, как будто ожидал услышать тихий ропот монет, привыкших греться в карманах. Молчание спящей земли вызвало слезы на глаза Егера, он не стыдился и не вытирал их, и они, свободно, не видимые никем, текли по его лицу. Егер думал о завтрашнем приступе и своей добровольной смерти. Если бы он мог – он с наслаждением подтолкнул бы солнце к востоку, нетерпеливо хотелось ему покончить все счета с жизнью. Еще вчера обдумывал он, тоскуя в бессоннице, не пристрелить ли себя, но не сделал этого из гордости. Его положение в эти дни, после письма, было для него более ужасным, чем смерть. Егер, хоть было совсем темно, вынул из кармана письмо и поцеловал смятую бумагу, короткое, глупое письмо женщины, делающей решительный шаг.

«Прощай навсегда, Эльза», – повторил он единственную строку этого письма. Мучительным, волнующим обаянием запрещенной отныне любви повеяло на него от письма, гневно и нежно скомканного горячей рукой. Он не знал за собой никакой вины, но знал женщин. Место его, без сомнения, занял в сердце Эльзы покладистый, услужливый и опытный Магуи, относительно которого он недаром всегда был настороже. Самолюбие мешало ему просить объяснений. Он слишком уважал себя и ее. Есть люди, не способные ждать и надеяться; Егер был из числа их; он не хотел жить.

Медленно вернулся он к себе в палатку, бросился на постель и ясно, в темноте, увидел как бы остановившуюся в воздухе пулю, ту самую, которую призывал всем сердцем. Неясный свет, напоминающий фосфорическое свечение, окружал ее. Это была обыкновенная, коническая пуля штуцеров Консидье, – вооружение неприятеля. Ее матовая оболочка была чуть-чуть сорвана в одном месте, ближе к концу, и Егер отчетливо, как печатную букву, различал темный свинец; пятно это, величиной в перечное зерно, убедительно, одноглазо смотрело на капитана. Прошла минута, галлюцинация потускнела и исчезла, и Егер уснул.

III

Белый туман еще струился над землей, а солнце пряталось в далеких холмах, когда полк, построенный в штурмовые колонны, под крик безумных рожков и гром барабанов, бросился к форту. «Циклоп», построенный ромбом, блестел веселыми, беглыми иллюминационными огоньками; то были выстрелы враспынную, от них круто прыгали вперед белые, пухлые дымки, хлеща воздух сотнями бичей, а из амбразур, шушукая, вслед за тяжелыми ударами пушек, неслись гранаты. Егер бежал впереди, плечо к плечу с солдатами и каждая услышанная пуля наполняла его холодным сопротивлением и упрямством. Он знал, что той пули, которая пригрезилась ночью, услышать нельзя, потому что она не пролетит мимо. Солдат, опередивший его на несколько шагов, вдруг остановился, покачал головой и упал. Егер, продолжая бежать, осмотрелся: везде, как бы спотыкаясь о невидимое препятствие, падали, роняя оружие, люди, а другие, перескакивая через них, продолжали свой головокружительный бег.

«Скоро ли моя очередь?» – с недоумением подумал Егер, и тотчас, вспахав землю, граната разорвалась перед ним, плюнув кругом землей, осколками и гнилым дымом. Горячий, воздушный толчок остановил Егера на одно мгновение.

– Есть! – радостно вскричал он, но, встряхнувшись, здоровый и злой, побежал дальше.

Поле, по которому бежали роты генерала Фильбанка, дробно пылилось, как пылится, под крупным дождем, сухая грунтовая дорога. Это ударились пули.

«Как много их, – рассеянно думал Егер, подбегая к линии укреплений. – Дай мне одну, господи!» – Нетерпеливо полез он первый по скату земляного вала, откуда, прямо в лицо, брыз-

гал пороховой дым. За капитаном, скользя коленями по гладкому дерну, ползли солдаты. На гребне вала Егер остановился; его толкали, сбивали с ног, и уже началась тесная, как в субботней бане, медленная, смертельная возня. Гипноз битвы овладел Егером. Как в бреду, видел он красные мундиры своих и голубые – неприятеля: одни из них, согнувшись, словно под непосильной тяжестью, закрывали простреленное лицо руками, другие, расталкивая локтями раненых, лезли вперед, нанося удары и падая от них сами; третьи, в оцепенении, не могли двинуться с места и стояли, как Егер, опустив руки. Острие штыка протянулось к Егеру, он молча посмотрел на него, и лицо стало у него таким же измученным и счастливым, как вчера вечером, когда он пришел к товарищам сообщить о приступе. Но о штык звякнул другой штык; первый штык скрылся, а под ноги Егеру сунулся затылком голубой мундир.

Капитан встрепенулся. «Нет, госпожа Смерть! – сказал он. – Вы не уйдете». Он бросился дальше, ко рву и стенам форта, где уже раскачивались, отталкиваемые сверху, штурмовые лестницы. Его торопили, ругали, и он торопил всех, ругался и лез, срываясь, по узким перекаладинам лестниц. Он бросался в самые отчаянные места, но его не трогали. Многие падали рядом с ним; иногда, отчаявшись в том, чего искал и на что надеялся, он вырывался вперед, совсем теряясь для своих в голубой толпе, но скоро опять становилось кругом свободно, и снова бой завывал свой хриплый клубок впереди, оттесняя Егера. Наконец, улыбнувшись, он махнул рукой и перестал заботиться о себе.

IV

Дней через шесть после взятия форта в палатку Егера зашел генерал Фильбанк. Капитан сидел за столом и писал обычный дневной рапорт.

– Позвольте мне лично передать вам письмо, – сказал Фильбанк, – после того, что вы показали при штурме «Циклопа», мне приятно лишний раз увидиться с вами.

– Благодарю, генерал, – возразил Егер, – но я был не более, как... – Взгляд его упал на почерк адреса, он, молча, сам взял письмо из рук генерала и, не спрашивая обычного позволения, разорвал конверт. Руки его тряслись. Медленно развернув листок, Егер прочел письмо, вздохнул и рассмеялся.

– Ну, я вижу... – холодно сказал Фильбанк, – ваши мысли заняты. Ухожу.

Егер продолжал смеяться. От смеха на глазах его выступили слезы.

– Извините, генерал... – проговорил он, – я не в своем уме.

Они стояли друг против друга. Генерал, натянуто улыбаясь, пожал плечами, как бы желая сказать: «Я знаю, знаю, как частный человек, я сам»... – сделал рукой извиняющий жест и вышел.

– О глупая! – сказал Егер, прикладывая письмо к щеке. – О глупая! – повторил он так мягко, как только мог произнести это его голос, охрипший от команд и дождей. Он снова перечитал письмо. «Дорогой, прости Эльзу. Я поверила клевете на тебя, мне ложно доказали, что я у тебя не одна. Но я больше не буду».

– Ах вы, глупые женщины! – сказал Егер. – Стоит вам соврать, а вы уже и поверили. Я счастливый человек. За что мне столько счастья?

Затуманенными глазами смотрел он прямо перед собой, забыв обо всем. И вот, тихо задрожав, на полотнище палатки остановилось, как солнечный зайчик, неяркое, конусообразное пятно. Центр его, заметно сгущаясь, напоминал пулю. Конец оболочки, сорванный в одном месте, обнажил темный свинец.

Егер закрыл глаза, а когда открыл их, пятно исчезло. Он вспомнил о безумном поведении своем в памятное утро взятия форта и вздрогнул. «Нет, теперь я не хочу этого, нет». – Он перебрал все лучшие, радостные мгновения жизни и не мог найти в них ничего прекраснее, восхитительнее, божественнее, чем то письмо, которое держал теперь в руках.

Он сел, положил голову на руки и долго, не менее часа, сидел так, полный одним чувством. Когда заиграл рожок, он не сразу понял, в чем дело, но, поняв, внутренне потускнел и, повинувшись привычке, выбежал к построившейся уже в боевой порядок роте. Наступал неприятель.

Стрелки рассыпались, выдвигаясь цепью навстречу неприятельскому арьергарду, откуда, словно приближающийся ливень, летела, рассыпаясь, пыльная линия ударяющих все ближе и ближе пуль. Егер, следуя за стрелками, ощутил не страх, а зудливое, подозрительное беспокойство, но тотчас, как только глухие щелчки, пыля, стали раздаваться вокруг него, беспокойство исчезло. Его сменила теплая, благородная уверенность. Сильным, спокойным голосом отдал он команду ложиться, улыбнулся и упал с пробитой головой, не понимая, отчего земля вдруг поднялась к нему, бросившись на грудь.

– Удивительно крепкие пули, – сказал доктор в походном лазарете своему коллеге, рассматривая извлеченную из головы Егера пулю. – Она даже не сплюснулась. Чуть-чуть сорвало оболочку.

– Это не всегда бывает, – возразил второй, умывая темные, как в перчатках, руки, – и пуля Консидье может, попав в ребро костяка, разбиться.

Он стал рассматривать крошечный, весом не более пяти золотников, ружейный снаряд. У конца его была слегка сорвана оболочка и из-под нее темнел голый свинец.

– Да, гуманная пуля, – сказал он. – Как по-вашему, дела капитана?

– Очень плохо. На единицу.

– С минусом. Геслер был крепче, но и тот не выжил.

– Да, – возразил первый, – но этот счастливее. Он без сознания, а тот умер, не переставая кричать от боли.

– Так, – сказал второй, – счастье условно.

Забытое

I

Табарен был очень ценным работником для фирмы «Воздух и свет». В его натуре счастье сочетались все необходимые хорошему съемщику качества: страстная любовь к делу, находчивость, профессиональная смелость и огромное терпение. Ему удавалось то, что другие считали невыполнимым. Он умел ловить угол света в самую дурную погоду, если снимал на улице какую-либо процессию или проезд высокопоставленных лиц. Одинаково хорошо и ясно и всегда в интересном ракурсе снимал он все заказы, откуда бы ни пришлось: с крыш, башен, деревьев, аэропланов и лодок. Временами его ремесло переходило в искусство. Снимая научно-популярные ленты, он мог часами просиживать у птичьего гнезда, ожидая возвращения матери к голодным птенцам, или у пчелиного улья, приготовляясь запечатлеть вылет нового роя. Он побывал во всех частях света, вооруженный револьвером и маленьким съемочным аппаратом. Охоты на диких зверей, жизнь редких животных, битвы туземцев, величественные пейзажи, – все проходило перед ним, сперва в жизни, а затем на прозрачной ленте, и сотни тысяч людей видели то, что видел сперва один Табарен.

Созерцательный, холодный и невозмутимый характер его как нельзя более отвечал этому занятию. С годами Табарен разучился принимать жизнь в ее существо; все происходящее, все, что было доступно его наблюдению, оценивал он как годный или негодный материал зрительный. Он не замечал этого, но бессознательно всегда и прежде всего взвешивал контрасты света и теней, темп движения, окраску предметов, рельефность и перспективу. Привычка смотреть, своеобразная жадность зрения была его жизнью; он жил глазами, напоминая прекрасное, точно зеркало, чуждое отражаемому.

Табарен зарабатывал много, но с наступлением войны дела его пошатнулись. Фирма его лопнула, другие же фирмы сократили операции. Содержание семьи стало дорогим, вдобавок пришлось уплатить по нескольким спешно предъявленным векселям. Табарен остался почти без денег; похудевший от забот, часами просиживал он в кафе, обдумывая выход из тягостного, непривычного положения.

– Снимите бой, – сказал однажды ему знакомый, тоже оставшийся не у дел съемщик. – Но

только не инсценировку. Снимите бой настоящий, в десяти шагах, со всеми его непредвиденными натуральными положениями. За негатив дадут прекрасные деньги.

Табарен почесал лоб.

– Я думал об этом, – сказал он. – Единственное, что останавливало меня,

– это семья. Опасности привыкли ко мне, а я к ним, но быть убитым, оставив семью без денег, – нехорошо. Во-вторых, мне нужен помощник. Может случиться, что, раненный, я брошу вертеть ленту, а продолжать нужно. Наконец, вдвоем безопаснее и удобнее. В-третьих, надо получить разрешение и пропуск.

Они замолчали. Знакомого Табарена звали Ланоск; он был поляк, с детства живущий за границей. Настоящую фамилию его: «Ланской» – французы переделали на «Ланоск», и он привык к этому. Ланоск напряженно думал. Идея боевой фильмы все более пленяла его, и то, что он высказал вслух, не было, по-видимому, внезапным решением, а ждало только подходящего случая и настроения. Он сказал:

– Давайте, Табарен, сделаем это вместе. Я одинок. Доход пополам. У меня есть небольшое сбережение; его хватит пока вашей семье, а потом сосчитаемся. Не беспокойтесь, я деловой человек.

Табарен обещал подумать и через день согласился. Тут же он развил перед Ланоском план съемок: лента должна быть возможно полной. Они дадут полную картину войны, развертывая ее кресчендо от незначительных, подготовляющих впечатлений до настоящего боя. Ленту хорошо сделать единственной в этом роде. Игра ва-банк: смерть или богатство.

Ланоск воодушевился. Он заявил, что тотчас поедет и заключит предварительное условие с двумя конторами. А Табарен отправился хлопотать о разрешении военного начальства. С большим трудом, путем множества мытарств, убеждая, доказывая, прося и умолая, получил он наконец через две недели желанную бумагу, затем успокоил, как мог, жену, сказав ей, что получил недолгосрочную командировку обычного характера, и выехал с Ланоском на боевые поля.

II

Первая неделя прошла в усиленной и беспокойной работе, в посещениях местностей, затронутых войной, и выборе среди изобилия материала – самого интересного. Где верхом, где пешком, где на лодках или в солдатском поезде, часто без сна и впроголодь, ночуя в крестьянских избах, каменоломнях или в лесу, съемщики наполнили шестьсот метров ленты. Здесь было все: деревни, сожженные пруссаками; жители-беглецы, рощи, пострадавшие от артиллерийского огня, трупы солдат и лошадей, сцены походной жизни, картины местностей, где происходили наиболее ожесточенные бои, пленные немцы, отряды зуавов и тюрокосов; словом – вся громада борьбы, включительно до переноски раненых и снимков операционных помещений на их полном ходу. Не было только еще центра картины – боя. Невозмутимо, как привычный хирург у операционного стола, Табарен вертел ручку аппарата, и глаза его вспыхивали живым блеском, когда яркое солнце помогало работе или случай давал живописное расположение живых групп. Ланоск, более нервный и подвижный, вначале сильно страдал; часто при виде разрушений, нанесенных немцами, проклятия сыпались из его горла столь же выразительным тоном, как плач женщины или крик раненого. Через несколько дней нервы его притупились, затихли, он втянулся, привык и примирился со своей ролью – молча отражать виденное.

Наступил день, когда съемщикам надлежало выполнить самую трудную и заманчивую часть работы; снять подлинный бой. Дивизия, близ которой остановились они в маленькой деревушке, должна была утром атаковать холмы, занятые неприятелем. Ночью, наняв телегу, Табарен и Ланоск отправились в цепь, где с разрешения полковника присоединились к стрелковой роте.

Ночь была пасмурная и холодная. Огней не разводили. Солдаты частью спали, частью сидели еще группами, разговаривая о делах походной жизни, стычках и ранах. Некоторые спрашивали Табарена – не боится ли он. Табарен, улыбаясь, отвечал всем:

– Я только одно боюсь: что пуля пробьет ленту.

Ланоск говорил:

– Трудно попасть в аппарат: он маленький.

Они закусили хлебом и яблоками и улеглись спать. Табарен скоро уснул; Ланоск лежал и думал о смерти. Над головой его неслись тучи, гонимые резким ветром; вдали гудел лес. Ланоск не боялся смерти, но боялся ее внезапности. На тысячи ладов рисовал он себе этот роковой случай, пока с востока не побелел воздух и синий глаз неба скользнул кое-где среди серых, облачных армад, густо валившихся за холмистый горизонт.

Тогда он разбудил Табарена и осмотрел аппарат.

Табарен, проснувшись, прежде всего осмотрел небо.

– Солнца, солнца! – нетерпеливо вскричал он. – Без солнца все будет смазано: здесь некогда долго выбирать позицию и находить фокус!

– Я съел бы эти тучи, если бы мог! – подхватил Ланоск.

Они стояли в окопе. Слева и справа от них тянулись ряды стрелков. Лица их были серьезные и деловитые. Через несколько минут вой первой шрапнели огласил высоту, и в окоп после грозного треска сыпнул невидимый град. Два стрелка пошатнулись, два упали. Бой начался. Гремели раскаты ружейного огня; сзади, поддерживая пехоту, потрясали землю артиллерийские выстрелы.

Табарен, установив аппарат, внимательно вертел ручку. Он наводил объект то на раненых, то на стреляющих, ловил целлулоидом выражение их лиц, позы, движения. Обычное хладнокровие не изменило ему, только сознание заработало быстрее, время как бы остановилось, а зрение удвоилось. По временам он топал ногой, вскрикивая:

– Солнца! Солнца!

На него не обращали внимания. Солдаты, перебегая, толкали его, и тогда он крепко цеплялся за аппарат, опасаясь за его целость. Ланоск сидел, прижавшись к стенке окопа.

По окопам, заглушаемая выстрелами, передалась команда. Отряд шел в атаку. Солдаты, перелезая через бруствер, бросились бежать к холмам, молча, стиснув зубы, с ружьями наперевес. Табарен, держа аппарат под мышкой, кинулся бежать за солдатами, пересиливая одышку. Ланоск не отставал: он был бледен, возбужден и на бегу не переставая кричал:

– Ура, Табарен! Лента и Франция увидят чертовский удар нашего штыка! А ловко я это выдумал, Табарен? Опасно... но, черт возьми – жизнь вообще опасна! Смотрите, что за молодцы бегут впереди! Как у этого блещут зубы! Он смеется! Ура! Мы снимем победу, Табарен! Ура!

Они слегка отстали, и Табарен пустился бежать изо всех сил. Пули срезывали у его ног траву, свистали над головой, и он страшной силой воли заставил молчать сознание, твердящее о внезапной смерти. Чем дальше, тем чаще встречались ему лежащие ничком, только что опередившие его в беге солдаты.

На гребне холма показались немцы, поспешно выбегая навстречу, стреляя на ходу и что-то выкрикивая. За минуту до столкновения Табарен вырвал у Ланоска треножник и быстро, задыхаясь от бега, установил аппарат. Руки его тряслись. В этот момент ненавистное, упрямое, милое солнце бросило в разрез туч желтый, живой свет, родив бегущие тени людей, ясность и чистоту дали.

Французы бились от Табарена в пятнадцати, десяти шагах. Мелькающий блеск штыков, круги, описываемые прикладами, изогнутые назад спины падающих, повороты и прыжки наступающих, движение касок и кепи, гневная бледность лиц – все, схваченное светом, неслось в темную камеру аппарата. Табарен вздрагивал от радости при виде ловких ударов. Ружейные стволы, парируя и поражая, хлопались друг о друга. Вдруг странное смешение чувств потрясло Табарена. Затем он упал, и память и сознание оставили его, лежащего на земле.

III

Когда Табарен очнулся, то понял по обстановке и тишине, что лежит в лазарете. Он чувствовал сильную жажду и слабость. Попробовав повернуть голову, он чуть снова не лишился сознания от страшной боли в висках. Забинтованная, не смертельно простреленная голова требова-

ла покоя. Первый вопрос, заданный им врачу, был:

– Цел ли мой аппарат?

Его успокоили. Аппарат подобрал санитар; товарища же его, Ланоска, убили. Табарен был еще слишком слаб, чтобы реагировать на это известие. Волнение, пережитое в вопросе о судьбе аппарата, утомило его. Он вскоре уснул.

Ряд долгих, скучных, томительных дней провел Табарен на койке, тщетно пытаясь вспомнить, как и при каких обстоятельствах получил рану. Пораженная память отказывалась заполнить темный провал живым содержанием. Смутно казалось Табарену, что там, во время атаки, с ним произошло нечто удивительное и важное. Кусая губы и морща лоб, подолгу думал он о том неизвестном, которое оставило памяти едва заметный след ощущений, столь сложных и смутных, что попытка воскресить их вызывала неизменно лишь утомление и досаду.

В конце августа он возвратился в Париж и тотчас же занялся проявлением негативов. То одна, то другая фирма торопили его, да и сам он горел нетерпением увидеть наконец на экране плоды своих трудов и скитаний. Когда все было готово, в просторном зале собрались смотреть боевую фильму Табарена агенты, представители фирм, содержатели театров и кинематографов.

Табарен волновался. Он сам хотел судить о своей работе в полном ее объеме, а потому избегал смотреть ранее этого вечера готовую уже ленту на свет. Кроме того, его удерживала от преждевременного любопытства тайная, ни на чем, конечно, не обоснованная надежда найти на экране, в связном повторении моментов, исчезнувший бесследно обрывок воспоминаний. Потребность *вспомнить* стала его болезнью, манией. Он ждал и почему-то боялся. Его чувства напоминали трепет юноши, идущего на первое свидание. Усаживаясь на стул, он волновался, как ребенок.

В глубоком молчании смотрели зрители сцены войны, добытые ценой смерти Ланоска. Картина заканчивалась. Тяжело дыша, смотрел Табарен эпизоды штыкового боя, смутно начиная что-то припоминать. Вдруг он закричал:

– Это я! я!

Действительно, это был он. Французский стрелок, изнемогая под ударами пруссаков, шатался уже, еле держась на ногах; окруженный, он бросил вокруг себя безнадежный взгляд, посмотрел в сторону, за раму экрана и, падая, раненный еще раз, закричал что-то неслышное зрителям, но теперь до боли знакомое Табарену. Крик этот снова раздался в его ушах. Солдат крикнул:

– Помоги землячку, фотограф!

И тотчас же Табарен увидел на экране себя, подбегающего к дерущимся. В его руке был револьвер, он выстрелил раз, и два, и три, свалил немца, затем схватил выпавшее ружье француза и стал отбиваться. И чувства жалости и гнева, бросившие его на помощь французу, – снова воскресли в нем. Второй раз он изменил себе, изменил спокойному зрению и профессиональной бесстрастности. Волнение его разразилось слезами. Экран погас.

– Боже мой! – сказал, не отвечая на вопросы знакомых, Табарен. – Лента кончилась... в этот момент убили Ланоска... Он продолжал вертеть ручку! Еще немного – и солдата убили бы. Я не выдержал и плюнул на ленту!

Происшествие в квартире г-жи Сериз

«Мало на свете мудрецов, друг Горацио».
Шекспир наизнанку

I

Калиостро не умер; его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших истин рационалисты. Во времена Калиостро или, вернее, в ту эпоху, когда великий человек этот стоял на виду, рационалисты были еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда: Ньютоново

яблоко, Лавуазье и т. п., но какими пустяками казалось это в сравнении с циклопическими знаниями знаменитого Калиостро! Ламбаль и Прекрасная Цветочница своевременно убедились в них³⁶. Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты смертельно завидовали Калиостро, бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего отечества, а двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смешении юмориста Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей ценности знаний своего великого гостя.

Неуспех Калиостро приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен. Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил: «помер, где-нибудь; тайно, стыдливо помер; помер, как пить дать». И это рационалисты! Но он, как сказано, не погрешил этим.

Калиостро, наскучив колоссальным театром истории, кою наблюдал около пяти тысяч лет, оставил мудрую Клио и удалился на одну из Гималайских вершин – Армун, затерянную в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостро занялся чистым знанием: постижением начала вселенной – занятие, малопонятное игроку на бильярде или ялтинскому проводнику, но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего ума Калиостро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож и сенешал Розенкрейцеров, – он не очень-то стеснялся на Армуне с покорной ему материей. Сложное, непреодолимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в первооснову материи; она, забушевал, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыл в законной неподвижности веса и трех измерений.

II

В конце июля 1914 года большой пантакль Соломона, лежавший на письменном столе Калиостро, издал тихий звон и на краях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки, света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмотрел в овальное зеркало Сведенборга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это: резец из горного хрусталя, укрепленный над девственным пергаментом, писал знак Фалега, духа планеты Марс; неподвижно висевший в воздухе цветок Мира завял, и тень крови пала на благородное чело бюста Агриппы.

Согласно договору, заключенному лет триста назад между Калиостро и десятью сефиротами, элементами Белой магии, – Калиостро мог постигать смысл текущих событий и развитие их не иначе, как совершив предварительно акт Добра, направленный против Самоэля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он немедленно приступил к действиям.

– Мадим, Цедек, Шелом-Иезодот, – тихо сказал он, – ко мне! Моя мысль – моя воля!

Погас свет, и тотчас в глубоком мраке наметились гигантские очертания трех сефиротов; контуры эти колебались, светились – напряглись, получили непроницаемость, вес, тело, дыхание – и пол скрипнул под их ногами.

Цедек был сефирот прямоты, Мадим – страшной силы, Шелом-Иезодот – разрушителем оснований, то бишь принципов.

– Цедек, разбей воздух на запад, – сказал Калиостро, – Мадим, уничтожь пространство, а ты, Шелом-Иезодот, как самый ленивый, получишь более всех работы. Разрушь мое принципиальное равнодушие к судьбе людей!

Вновь вспыхнул свет; фантомы исчезли; беззвучный ураган молнией пролетел от Армуна к Бельгии; пространство пало, воздух исчез полосой в сто футов, а непоколебимое равнодушие Калиостро сменилось доброй улыбкой. И вот первое, что увидел он в стране горя и что должно

³⁶ Принцесса Ламбаль, подруга Марии-Антуанетты, зверски убитая во время сентябрьских убийств. Прекрасная Цветочница — прозвище девушки из народа, посаженной на раскаленные острия пик санкюлотов по приказанию Теруан-де-Мерикур, любовницы Марата. Смерть обеих была предсказана Калиостро в 1789 году.

было послужить взяткой сефиротам за единение с Разумом событий, именуемым Ацилут.

III

В маленькой, но чистой квартире, соблазнительно уютной и светлой, сидела в кресле ушедшего под форты мужа маленькая госпожа Сериз. Опишем наружность ее, которая понравилась Калиостро: чистый, правильный лоб, мягкий профиль, темнорусые волосы, нежный рот и все нежное. Взгляд ее темных глаз был важный и милостивый, и светилось в нем порядочно некой хорошей глупости, что извинительно, так как юной женщине этой было всего двадцать лет. Глаза ее были вчера заплаканы, а сегодня остались в них следы слез – тяжесть ресниц.

Госпожа Сериз занималась вот каким делом: она читала роман, судьба героев которого напоминала ее судьбу; в этом романе Альберт Вуаси тоже ушел на войну и у него тоже была жена. Разумеется, г-жа Сериз сделала эту жену собой, а господина Вуаси – господином Сериз. В процессе чтения вздумалось ей загадать следующее: если Вуаси благополучно вернется, то и Сериз благополучно вернется, а если Вуаси неблагополучно вернется, то и Сериз последует его примеру. С пылкостью, свойственной любви и молодости, г-жа Сериз тотчас же уверовала в гадание и гадала уже триста пятнадцатую страницу, как вдруг, перевернув ее, увидела карандашную надпись, выведенную нем-то на переплете: «Дико и некультурно вырывать страницы; на это способен только немец; стыдитесь, неизвестный вырыванец!»

Увы! последние страницы были вырваны! А г-жа Сериз и не подозревала этого! Гадание, таким образом, кончалось на следующих словах: «Шатаясь от усталости, Альберт Вуаси обнажил палаш и кинулся к по...». Дальше шла вышеупомянутая справедливая надпись. Г-жа Сериз топнула обеими ножками и едва не заплакала. Что произошло с Вуаси? И к чему кинулся он, к какому такому «по...». Если это – пороховой погреб – от Вуаси мало чего осталось. Если – по...лку, то он тоже не выстоял один против сотен людей. Если – по...гибели, то... каждый понимает, что это значит и не следовало писать такой глупый роман.

Видя огорчение госпожи Сериз, Калиостро, стоя на вершине Армуна, мыслью приказал явиться новому взводу сефиротов. То были: Бина, сефирот Разумного действия, Хесед, сефирот Сострадания и Нэтцах – Стойкость победы. С крыльев их сыпался свет, их глаза заботливо смотрели на Калиостро, повиновались которому они охотно и без капризов.

– Я думаю, – сказал Калиостро, – я думаю нечто, что должно быть исполнено. Моя мысль – мое приказание!

Тотчас же сефироты прониклись его желаниями и скрылись. Бина, исчезая, усмехнулся: ему нравилось интересное поручение. В мгновение, столь быстрое, что оно не было даже временем, он принял вид Альберта Вуаси и явился перед г-жой Сериз, которая к этому моменту была лишена Калиостро способности изумляться – на время визита Бины. Ее состояние допускало теперь, незаметно для нее самой, принимать как должное все, что бы она не увидела.

– Здравствуйте, г-жа Сериз! – сказал Вуаси-Бина, оправляя гусарский ментик, – «...следнему неприятельскому солдату».

– Г-н Вуаси! – строго заявила г-жа Сериз. – Вы исчезли с триста пятнадцатой страницы, хотя должны были гнать, что я гадаю на вас. Вы исчезли, оставив это страшное «по...».

– Так, – сказал Вуаси-Бина. – Я кинулся к последнему неприятельскому солдату и взял его в плен.

– Так ли, г-н Вуаси?

– Да, это так. Поверьте, мне лучше знать: ведь я герой того романа, что лежит на вашем столе. Впоследствии, когда вам попадет в руки второй, целый экземпляр этой книги, вы почувствуете ко мне полное доверие.

– Значит, вы благополучно вернулись?

– Чрезвычайно благополучно. Настолько благополучно, что советовал бы некоторым дамам гадать на мою особу, – в известных целях.

Г-жа Сериз покраснела и стала кашлять. Она покашляла с минуту, не более, но так выразительно, что Бина-Вуаси счел долгом помочь ей.

– Г-н Сериз, конечно, здоров, – сказал он. – Он вернется.

– Вы думаете?

– Я знаю это. Ему ворожила очаровательная бабушка будущих своих внуков.

Г-жа Сериз, в виде благодарности, заинтересовалась положением самого Вуаси.

– Так вы, значит, женились на мадемуазель Шеврез?

– Как полагается.

– По любви?

– Да.

– И были ей хорошим мужем?

– Сударыня, – возразил Вуаси-Бина, – автор в противном бы случае не сел бы писать роман.

Г-жа Сериз растроганно протянула ему руку. Но окончился срок сефирота: материя, коей был облечен он, распалась в ничто, и рука женщины встретила пустоту и вернулось изумление.

– Что это? – сказала она, вздрагивая. – Я, кажется, слишком много думала об этом романе. С кем говорила я? Ах, тоска, тоска! Был здесь г-н Вуаси или нет? Если он был, то уход его не совсем вежлив.

Она томила, и тут начал работать Хесед, коему поручено было рассмешить г-жу Сериз, это во-первых, и внушить ей Радостную уверенность – во-вторых. Сефирот оживил фотографию г-на Сериз, стоявшую на каминной доске. Как только взгляд г-жи Сериз упал на этот портрет – с ним произошли поразительные, странные вещи: левая рука ловко закрутила черный, молодой ус; один глаз комически подмигнул, а другой стал вращаться непостижимым, но совершенно не безобразным образом, и г-жа Сериз окаменела от удивления. А глаз все подмигивал, ус все топорщился, и было это так нежно и смешно, что г-жа Сериз, не выдержав, расхохоталась. Этого и добивался Хесед; тотчас же он проник в доступное в эту минуту сердце женщины и Радостная уверенность была с ней. Конечно, она долго протирала глаза, когда портрет успокоился, но это ничего не сказало ей; она бессильна была решить – было то, что было, или же было то, чего не было? Так гениальный Калиостро распорядился ее сознанием.

IV

Третий сефирот, Нэтцах, очутился на гребне бельгийского окопа и тщательно поймал свою крепкой, как алмаз, рукой штук девять шрапнельных пуль, готовившихся пробить г-на Сериз. Он так и остался при нем, щелкая время от времени пальцем по некоторым весьма назойливым гранатам и бомбам. Сефироты, как и люди, нуждаются в отдыхе; отдых Нэтцаха, когда он предавался ему, состоял в том, чтобы портить неприятельские материалы. Он трансформировал взрывчатые вещества, делая из пороха нюхательный табак, – тогда при выстреле все чихали, и чихали так долго, что уж никак не могли взять верный прицел; или забивал пулеметы сжатым ветром, отчего пули их летели не далее трех шагов.

Много поднялось к небу душ с поля сражения, но не было среди них ни одной немецкой души. «Есть ли душа у немца?» – размышлял сефирот. Оставим его решать этот вопрос: мы уже решили. Есть, но она в пятках и не показывается.

Калиостро посмотрел в зеркало Свенденборга и увидел, что приказания выполнены. Тогда он взглянул вверх, к высокому потолку, где в сумерках снежного вечера тихо плавали чудесные лилии Ацилут – Мира сияния. Лилии издавали тонкий, прекрасный аромат, и аромат этот был Разум событий, и Калиостро погрузился в него. Каждому открыт Разум событий, кто поступает, как поступил Калиостро, но немногие знают это.

Вокруг вершины Армуна бушевала метель. К огромному зеркальному окну дворца подошел каменный баран; гордые, голодные глаза его выразительно смотрели на Калиостро, а на великолепных рогах белел снег.

– Ступай, дикий, ступай, – сказал Калиостро, – немного вниз и немного налево! Там есть еще довольно травы.

Баран исчез, и был ему по его бараньему положению – травяной кусок хлеба.

Так жил могущественный Калиостро на пике горы Армун, в северном Индостане, где никогда и никто не видел его. Все, описанное здесь, – истинно, и в заключение можем мы привести одну из семи тайных молитв Энхеридиона, читаемую по воскресеньям:

«Избави меня, Господь, свое создание, от всех душевных и телесных страданий, прошедших, настоящих и будущих. Дай мне, по благодати твоей, мир и здоровье и яви свою милость мне, слабому твоему созданию!»

Повесть, оконченная благодаря пуле

I

Коломб, сев за работу после завтрака, наткнулся к вечеру на столь сильное и сложное препятствие, что, промучившись около часу, счел себя неспособным решить предстоящую задачу в тот же день. Он приписал бессилие своего воображения усталости, вышел, посмеялся в театре, поужинал в клубе и заснул дома в два часа ночи, приказав разбудить себя не позже восьми. Свежая голова хорошо работает. Он не подозревал, чем будет побеждено препятствие; он не усвоил еще всей силы и глубины этого порождения творческой психологии, надеясь одержать победу усилием художественной логики, даже простого размышления. Но здесь требовалось резкое напряжение чувств, подобных чувствам изображаемого лица, уподобление; Коломб еще не сознавал этого.

В чем же заключалось препятствие? Коломб писал повесть, взяв центром ее стремительное перерождение женской души. Анархист и его возлюбленная замыслили «пропаганду фактом». В день карнавала снаряжают они повозку, убрannую цветами и лентами, и, одетые в пестрые праздничные костюмы, едут к городской площади, в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной, среди веселого гула, короткой и страстной речи, они бросают снаряд, – месть толпе, – казня ее за преступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель; напоминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу. Так собираются они поступить. Но таинственные законы духа, наперекор решимости, убеждениям и мировоззрению, приводят героиню рассказа к спасительному в последний момент отступлению перед задуманным. За то время, пока карнавальный экипаж их движется в ряду других, среди восклицаний, смеха, музыки и шумного оживления улиц к роковой площади, в душе женщины происходит переворот. Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для жизни людей место и становится из разрушительницы – человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, просто, но, по существу, глубоко человеческой жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом.

Коломб искал причин этой благодетельной душевной катастрофы, он сам не принимал на веру разных «вдруг» и «наконец», коими писатели часто отделяются в трудных местах своих книг. Если в течение трех-четырех часов взрослый, пламенно убежденный человек отвергает прошлое и начинает жить снова – это совсем «вдруг», хотя был срок по времени малый. Ради собственного удовлетворения, а не читательского только, требовал он ясной динамики изображенного человеческого духа и был в этом отношении требователен чрезмерно. И вот, с вечера пятого дня работы, стал он, как сказано, в тупик перед немалой задачей: понять то, что еще не создано, создать самым процессом, понимания причины внутреннего переворота женщины, по имени Фай.

Слуга принес кофе и зажег газ. Уличная тьма редела; Коломб встал. Он любил свою повесть и радовался тишине еще малолюдных улиц, полезной работе ума. Он выкурил несколько крепких папирос одну за другой, прихлебывая кофе. Тетрадь с повестью лежала перед ним. Просматривая ее, он задумался над очередной белой страницей.

Он стал писать, зачеркивать, вырывать листки, курить, прохаживаться, с головой, полной всевозможных предположений относительно героини, представив ее красавицей, он размышлял, не будет ли уместным показать пробуждение в ней долго подавляемых инстинктов женской мо-

лодости. Веселый гром карнавала не мог ли встряхнуть сектантку, привлечь ее, как женщину, к соблазнам поклонения, успехов, любви? Но это плохо вязалось с ее характером, сосредоточенным и глубоким. К тому же подобное рассеянное, игривое настроение немыслимо в ожидании смерти.

Опять нужно было усиленно курить, метаться по кабинету, тереть лоб и мучиться. Рассвело; табачный дым, наполнявший кабинет, сгустился и стал из голубоватого серым. Окурки, заполнив все пепельницы, раскинулись по ковру. Коломб обратился к естественным чувствам жалости и страха пред отвратительным злодеянием; это было вполне возможно, но от сострадания к полному, по убеждению, разрыву с прошлым – совсем не так близко. Кроме того, эта версия не соответствовала художественному плану Коломба – она лишала повесть значительности крупного события, делая ее достаточно тенденциозной и в дурном тоне. Мотивы поведения Фай должны были появиться в блеске органически свойственной каждому некоей внутренней трагедии, приобретая этим общее, не зависимое от данного положения, значение; сюжет повести служил, главным образом, лишь одной из форм вечного драматического момента. Какого? Коломб нашел этот вопрос очень трудным. Временная духовная слепота поразила его, – обычное следствие плохо продуманной сложной темы.

Бесплодно комбинируя на разные лады два вышеописанные и отвергаемые им самим состояния души, прибавил он к ним еще третье: животный страх смерти. Это подало ему некоторую, быстро растаявшую, надежду, – растаявшую очень быстро, так как она унижала в его глазах глубокий, незаурядный характер. Он гневно швырнул перо. Тяжелая обессиленная голова отказалась от дальнейшего изнурительного одностороннего напряжения.

– Как, уже вечер? – сказал он, смотря в потемневшее окно и не слыша шагов сзади.

– Удивительно, – возразил посетитель, – как вы обратили на это внимание, да еще вслух. Именно – вечер. Но я задыхаюсь в этом дыму. Сквозь такую завесу затруднительно определить ночь, утро, вечер или день на дворе.

– Да, – радуясь невольному перерыву, обернулся Коломб, – а я еще не ел ничего, я переваривал этот проклятый сюжет. – Он отшвырнул тетрадь и поставил на место, где она лежала, корзинку с папиросами. – Ну, как вы живете, Брауль? А? Счастливый вы человек, Брауль.

– Чем? – сказал Брауль.

– Вам не нужно искать сюжетов и тем, вы черпаете их везде, где захотите, особенно теперь, в год войны.

– Я корреспондент, вы – романист, – сказал Брауль, – меня читают полчаса и забывают, вас читают днями, вспоминают и перечитывают.

– А все-таки.

– Если вы завидуете скромному корреспонденту, мэтр Коломб, – поедemте со мной на передовые позиции.

– Вот что! – воскликнул Коломб, пристально смотря в деловые глаза Брауля. – Странно, что я еще не думал об этом.

– Зато думали другие. Я к вам явился сейчас с формальным предложением от журнала «Театр жизни». От вас не требуется ничего, кроме вашего имени и таланта. Журнал просит не специальных статей, а личных впечатлений писателя.

Коломб размышлял. «Может быть, если я временно оставлю свою повесть в покое, она отстоит в глупой моей голове». Предложение Брауля нравилось ему резкой новизной положения, открывающего мир неизведанных впечатлений. Трагическая обстановка войны развернулась перед его глазами; но и тут, в мысленном представлении знамен, пушек, атак и выстрелов, носился неодолимый, повелительно приковывая внимание, загадочный образ Фай, ставшей своеобразной болезнью. Коломб ясно видел лицо этой женщины, невидимой Браулю. «Ничто не мешает мне наконец думать в любом месте о своей повести и этой негодяйке, – решил Коломб. – Разумеется, я поеду, это нужно мне как человеку и как писателю».

– Ну, еду, – сказал он. – Я, правда, не баталист, но, может быть, сумею принести пользу. Во всяком случае, я буду стараться. А вы?

– Меня просили сопровождать вас.

- Тогда совсем хорошо. Когда?
- Я думаю, завтра в три часа дня. Ах, господин Коломб, эта поездка даст вам гибель подлинного интересного материала!
- Конечно. – «Что думала она, глядя на веселую толпу?» – Тьфу, отвяжись! – вслух рассердился Коломб. – Это сводит меня с ума!
- Как? – встрепенулся Брауль.
- Вы ее не знаете, – насмешливо и озабоченно пояснил Коломб. – Я думал сейчас об одной моей знакомой, особе весьма странного поведения.

II

Двухчасовой путь до Л. ничем не отличался от обыкновенного пути в вагоне, не считая двух-трех пассажиров, пораженных событиями до полной неспособности говорить о чем-либо, кроме войны. Брауль поддерживал такие разговоры до последней возможности, ловя в них те мелкие подробности настроений, которые считал характерными для эпохи. Коломб рассеянно молчал или произносил заурядные реплики. Нервное возбуждение, вызванное в нем быстрым переходом от кабинетной замкнутости к случайностям походной жизни, затихло. Вчера и сегодня утром он охотно, с гордостью думал о предстоящих ему – вверенных его изображению – днях войны, его героях, быте, жертвах и потрясениях, но к вечеру ожидания эти потеряли остроту, уступив тоскливому, неотвязному беспокойству о неоконченной повести. С топчущейся на месте мыслью о героине сел он в вагон, пытаясь временами, бессознательно для себя, сосредоточиться на тумане темы среди дорожной обстановки, станционных звонков, гула рельс и окон, струящихся быстро мелькающими окрестностями.

От Л. путь стал иным. Поезд миновал здесь ту естественную границу, позади которой войну можно еще представлять, иметь дело с ней только мысленно. За этой чертой, впереди, приметы войны являлись видимой действительностью. У мостов стояли солдаты. На вокзале в Л. расположился большой пехотный отряд, лица солдат были тверды и сумрачны. Вагоны опустели, пассажиры мирной наружности исчезли; зато время от времени появлялись офицеры, одиночные солдаты с сумками, какие-то чиновники в полувоенной форме. В купе, где сидел Коломб, вошел кавалерист, сел и уснул сразу, без зевоты и промедления. В сумерках окна Брауль заметил змеевидные насыпи и показал Коломбу на них; то были брошенные окопы. Иногда сломанное колесо, дышло, разбитый снарядный ящик или труп лошади с неуклюже приподнятыми ногами безмолвно свидетельствовали о битвах.

Брауль вынул часы. Было около восьми. К девяти поезд должен был одолеть последний перегон и возвращаться назад, так как конечный пункт его следования лежал в самом тылу армии. Коломб погрузился в музыку рельс. Рой смутных ощущений, неясных, как стаи ночных птиц, проносился в его душе. Брауль, достав записную книжку, что-то отмечал в ней, короткими, бисерными строчками. На полустанке вошел кондуктор.

– Поезд не идет дальше, – сказал он как бы вскользь, что произвело еще большее действие на Коломба и Брауля. – Да, не идет, путь испорчен.

Он хлопнул дверью, и тотчас же фонарь его мелькнул за окном, направляясь к другим вагонам.

Рассеянное, мечтательное настроение Коломба оборвалось. Брауль вопросительно глядел на него, сжав губы.

– Что ж! – сказал он. – Как это ни неприятно, но вспомним, что мы корреспонденты, Коломб; нам придется еще с очень многим считаться в этом же роде.

– Пойдемте на станцию, – сказал Коломб. – Там выясним что-нибудь.

Кавалерист проснулся, как и уснул, – сразу. Узнав, в чем дело, он долго и основательно ругал пруссаков, затем, переварив положение, стал жаловаться, что у него нет под рукой лошади, его «Прекрасной Мари», а то он отмахнул бы остаток дороги шутя. Кто теперь ездит на великолепной гнедой Мари? Это ему, к сожалению, неизвестно; он едет из лазарета, где пролежал раненный шесть недель. Может быть, Мари уже убита. Тогда пусть берегутся все первые попавши-

еся немцы! У кавалериста было грубоватое, правильное лицо с острыми и наивными глазами. В конце концов, он предложил путешественникам отправиться вместе.

– Я тут все деревни кругом знаю, – сказал он. – За деньги дадут повозку.

– Это нам на руку, – согласился Брауль. – А пешком много идти?

– Нет. На Гарнаш или Пом? – Солдат задумчиво поковырял в ухе. – Пойдем на Гарнаш, от туда дорога лучше.

Бойкий вид и авторитетность кавалериста уничтожили, в значительной мере, неприятность кондукторского заявления. Солдат, Брауль и Коломб вышли на станцию. Здесь собралось несколько офицеров, решивших заночевать тут, так как на расспросы их относительно исправления пути не было дано толковых ответов. Начальник полустанка выразил мнение, что дело вовсе не в пути, а в немцах, но – что, почему и как? – сам не знал. Брауль, подойдя к офицерам, выспросил их кой о чем. Они направлялись совсем в иную сторону, чем корреспонденты, и присоединяться к ним не было оснований. Пока Брауль беседовал об этом с Коломбом, неутомимый, оказавшийся весьма хлопотливым парнем, кавалерист дергал их за полы плащей, подмигивал, кряхтел и топтался от нетерпения. Наконец, решив окончательно следовать за своим случайным проводником, путешественники вышли из унылого, пропахшего грязью и керосином станционного помещения, держа в руках саквояжи, по счастью, необъемистые и легкие, с самым необходимым.

Тьма, пронизанная редким, сырым туманом, еле-еле показывала дорогу, извивающуюся среди голых холмов. Брауль и Коломб привели в действие электрические фонари; неровные световые пятна, сильно освещая руку, падали в дорожные колеи мутными, колеблющимися конусами. Коломб шел за световым пятном фонаря, опустив голову. Бесполезно было осматриваться вокруг, глаза бессильно упирались в мрак, скрывший окрестности. Звезд не было. Кавалерист шагал немного впереди Брауля, помогавшего ему своим фонарем; Коломб следовал позади.

Пока солдат, определив Брауля, как более общительного и подходящего себе спутника, бесконечно рассказывал ему о боевых днях, делая по временам, видимо, приятные ему отступления к воспоминаниям личных семейных дел, в которых, как мог уяснить Коломб, главную роль играли жена солдата и наследственный пай в мельничном предприятии, – сам Коломб не без удовольствия ощутил наплыв старых мыслей о повести. Без всякого участия воли они преследовали его и здесь, на темной захолустной дороге. То были те же много раз рассмотренные и отвергнутые сплетения воображенных чувств, но теперь, благодаря известной оригинальности положения самого романиста, резкому ночному воздуху, мраку и движению, получили они некую обманную свежесть и новизну. Пристально анализируя их, Коломб скоро убедился в самообмане. С этого момента существо его раздвоилось: одно «я» поверхностно, в состоянии рассеянного сознания, воспринимало действительность, другое, ничем не выражающее себя внешне, еще мало изученное «я» – заставляло в ровном, бессознательном усилии решать загадку души Фай, женщины столь же реальной теперь для Коломба, как разговор идущих впереди спутников.

Решив (в чем ошибался), что достаточно приказать себе бросить неподходящую к месту и времени работу мысли, как уже вернется непосредственность ощущений, – Коломб тряхнул головой и нагнал Брауля.

– Вы не устали? – спросил он снисходительным тоном новичка, ретиво берущегося за дело. – Что же касается меня, то я, кажется, годен к походной жизни. Мои ноги не жалуются.

– Теперь недалеко, – сообщил кавалерист. – Скоро придем. Ходить трудно,

– прибавил он, помолчав. – Я раз ехал, вижу, солдат сидит. Чего бы ему сидеть? А у него ноги не действуют; их батальон тридцать миль ночью сделал. И так бывает – человек идет – вдруг упал. Это был обморок, от слабого сердца.

Коломб был хорошего мнения о своем сердце, но почему-то не сказал этого. С холма, на вершину которого они поднялись, виднелся тусклый огонь, столь маленький и слабый благодаря туману, что его можно было принять за обман напряженного зрения.

– Вот и Гарнаш. – Кавалерист обернулся. – Вы думаете, это далеко? Сто шагов; туман обманчив.

Подтверждая его слова, мрак разразился злобным собачьим лаем.

– Что чувствует человек в бою? – спросил солдата Коломб. – Вот вы, например?

– Ах вот что? – Кавалерист помолчал. – То есть страшно или не страшно?..

– В этом роде.

– Видите, привыкаешь. Не столько, знаете, страшно, сколько трудно. Трудная это *работа*. Однако, черт возьми! – Он остановился и топнул ногой. – Ведь это *наша* земля?! Так о чем и говорить?

Считая, по-видимому, эти слова вполне исчерпывающими вопрос, солдат направился в обход изгороди. За ней тянулась улица; кое-где светились окна.

III

Не менее часа потратили путешественники на обход домов, разговоры и торг, пока удалось им отыскать поместительную повозку, свободную лошадь и свободного же ее хозяина. Человек этот, по имени Гильом, был ярмарочным торговцем и знал местность отлично. Он рассчитывал к утру вернуться обратно, отвезя путников в арьергард армии. Хорошая плата сделала его проворным. Коломб, сидя в темноте у ворот, не успел докурить вторую папиросу, как повозка была готова. Разместив вещи, путешественники уселись, толкая друг друга коленями, и Гильом, стегнув лошадь, выехал из деревни.

– Поговаривают, – сказал он, пустив лошадь рысью, – что пруссаки показываются милях в десяти отсюда. Только их никто не видел.

– Разъезды везде заходят, – согласился кавалерист. – Ты бы, дядя Гильом, придерживался, на всякий случай, открытых мест.

– Лесная дорога короче. – Гильом помолчал. – Я даже днем не расстаюсь с револьвером.

– Вот вам, – сказал Брауль Коломбу, – разговор, освежающий нервы. В таких случаях я всегда нащупываю свой револьвер, это еще больше располагает к приключениям.

– Я не прочь встретить немца, – заявил Коломб. – Это было бы хорошим экзаменом.

– Если вам захочется побывать на передовых позициях, вы увидите очень много немцев. Однако это все пустяки.

– Лесная дорога короче, – снова пробормотал Гильом.

– А, милый, поезжайте, как знаете, – сказал Брауль. – Нас четверо; вы – травленная собака, я могу считаться полувоенным, что касается остальных двух, то один из них настоящий солдат, в полном вооружении, а другой попадает в туза.

– Правильно, – сказал кавалерист, закручивая усы. – Неужели вы в туза попадаете? – удивленно осведомился он у Коломба.

– Если бы у вас было столько свободного времени, сколько у меня, – ответил, смеясь, Коломб, – вы научились бы убивать стрекозу в воздухе.

«Туп-туп-туп...» – стучали копыта. Движение во тьме, по извилистой, встряхивающей, неизвестной дороге принадлежало к числу любимых ощущений Коломба. Бесцельно и требовательно он отдавался ему, прислушиваясь к мрачному сну равнин. Вскоре начался лес. Переход от открытых мест к стиснутому деревьями пространству был замечен благодаря тьме лишь по неподвижности ставшего еще более сырым воздуха, запаху гнилых листьев и особенно отчетливому стуку колес, переезжающих огромные корни. Слева, загредев долгим эхом, раздался выстрел.

– Ото! – сказал, инстинктивно останавливая лошадь, Гильом.

Кавалерист привстал. Коломб и Брауль выхватили револьверы. Гильом опомнился, бешено размахивая кнутом, он пустил лошадь вскачь. Повозка, оглушительно тарахтя, ринулась под бойко застучавшими из тьмы выстрелами в дремучую глубину леса. Эхо стрельбы, раскатисто рвущее тишину, усиливало тревогу. Немногие восклицания, которыми успели обменяться путники, были скорее выражением чувств, чем мысли, так как перед лицом явной опасности думать не о чем, кроме спасения, а это, как без слов понимали все, зависело от тьмы и быстроты лошади. Коломбу чудились крики, свист пуль; одна из них, пущенная наугад вдоль дороги, действительно была им услышана; резкий короткий свист ее оборвался щелчком в попутный древесный ствол.

Повозка мчалась, немилосердно встряхивая пассажиров, выстрелы стихли, оборвались. Наступила пауза, в течение которой слышались лишь болезненное хрипение лошади и треск прыгающих колес. Затем, как бы заключая цепь впечатлений, грянул последний выстрел; случаю было угодно, чтобы на этот раз пуля достигла цели. Коломб, пробитый насквозь, подскочил, задохнувшись на мгновение от боли в прорванном легком, вскрикнул и сказал:

– Меня ударило. – Он опустился на руки Брауля. Гильом свернул в чащу леса и остановил лошадь.

IV

Коломбу много раз приходилось, конечно, задумываться над ощущениями раненого человека и даже описывать это в некоторых произведениях. Основой таких переживаний, – не будучи сам знаком с ними, – он считал самые тяжелые чувства: испуг, тоску, отчаяние, гнев на судьбу и т. д. Люди, стоящие перед лицом смерти, казались ему похожими друг на друга внутренней своей стороной. Затем он думал, что сознание смертельной опасности, возникающее у тяжело раненого – неисчерпаемо сложно, туманно, и тратил на уяснение подобного момента десятки страниц, не сомневаясь, что и сам пережил бы колоссальную психическую вибрацию. Меж тем лично с ним все произошло так.

За выстрелом последовал красноречивый, горячий толчок в спину. Немедленно же представление о пуле и ране соединилось с колющей, скоро прошедшей, болью внутри грудной клетки. Первая мысль была о смерти, то есть о неизвестном, и была поэтому собственно мыслью о предстоящей, быть может, в скором времени потере сознания, на что сознание ответило возмущением и недоумением. Весь момент напоминал ошибку в числе ступенек лестницы, когда сдержанное движение ноги встречает пустоту и человек, лишенный равновесия, – замирает, оглушенный падением, причина которого делается ясна раньше, чем руки падающего упрутся в землю.

К счастью путников, когда Гильом круто повернул с дороги в лес, повозка не зацепила колесами о стволы и пробила довольно далеко в глушь. Тряска лесной почвы была, однако же, нестерпимо мучительна для Коломба. Ветви били его по лицу, усиливая раздражение организма, взволнованного возобновившейся болью. Наконец лошадь дернулась взад-вперед и остановилась. Гильом, помогая Коломбу сойти, прислушивался к монотонной тишине ночи; ни топота, ни голосов не было слышно в стороне нападения. По всей вероятности, немецкий разъезд ограничился стрельбой наугад, по слуху, не зная, с кем, с каким числом людей имеет дело; или же, сбитый с толку беспорядочным лесным эхом, пустился в другом направлении. Теперь, когда окончательно смолк лошадиный топот и стук колес, путешественники могли спокойно заняться раненым.

Растерявшийся Брауль осветил фонарем Коломба, сидевшего прислонясь к дереву.

– Ну и разбойники, – сказал кавалерист, помогая корреспонденту снять куртку с Коломба.

От сломанного, выступающего концом наружу ребра сочилась темная кровь. Вся рубашка была в-пятнах. Несмотря на все, Коломб чувствовал своеобразное любопытство к своему положению. Вид мокрого темного передка рубашки страшно взволновал его, но не испугал. Волнение поддерживало его силы. Интеллект покуда молчал; организм, осваиваясь с необычным состоянием, противился действию разрушения; сердце жестоко билось, во рту было сухо и жарко.

– Однако, – сказал Коломб, – лучше бы нам сесть в повозку и ехать. – Он упирался руками в землю, желая подняться, и застонал. – Нет, не выйдет ничего. Но вы поезжайте.

– Глупо, – сказал Брауль, развертывая бинты. – Расставьте руки. – Он стал перевязывать раненого, говоря: – Все это моя затея. Что я скажу обществу и редакции? Вам очень больно?

– Боль глухая, когда я не шевелюсь.

– Поступим так, – сказал солдат. – Мы, – я и дядя Гильом, – мигом устроим носилки, дерева здесь много, – понесем вас потихонечку, господин Коломб. А вы, значит, потерпите пока. Гильом, есть веревка?

– Есть. Хватило бы повесить кой-кого из этих стрелков.

Гильом стал шарить в повозке, а кавалерист, захватив фонарь, отправился за жердями. Скоро послышался чавкающий стук его палаша. Брауль сделал Коломбу тугую, крестообразную повязку, заставил раненого лечь на разостланный плащ и сел рядом, вздыхая в ожидании носилок.

Не желая усиливать тягостное настроение спутников разговором о своем положении, Коломб молчал. Он знал уже, что рана сквозная, и, хотя это обстоятельство говорило в его пользу, — ждал смерти. Он не боялся ее, но ему было жалко и страшно покидать жизнь такой, какой она была. Потрясение, нервность, торжественная тьма леса, внезапный переход тела от здоровья к страданию — придали его оценке собственной жизни ту непогрешимую суровую ясность, какая свойственна сильным характерам в трагические моменты. Несовершенства своей жизни он видел очень отчетливо. В сущности, он даже и не жил по-настоящему. Его воля, хотя и бессознательно, была всецело направлена к охранению своей индивидуальности. Он отвергал все, что не отвечало его наклонностям; в живом мире любви, страданий и преступлений, ошибок и воскресений он создал свой особый мир, враждебный другим людям, хотя этот его мир был тем же самым миром, что и у других, только пропущенным сквозь призму случайностей настроения, возведенных в закон. Его ошибки в сфере личных привязанностей граничили с преступлениями, ибо здесь, по присущей ему невнимательности, допускалось попираание чужой души, со всеми его тягостными последствиями, в виде обид, грусти и оскорбленности. В любви он напоминал человека, впотьмах шагающего по цветочным клумбам, но не считающего себя виновным, хотя мог бы осветить то, что требовало самого нежного и священного внимания. Это был магический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в черствой замкнутости, а пороки — неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные, мелкие пороки, общие почти всем, но извиняемые якобы двойственностью натуры. Его романы тщательно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадоксальны, как и все его существо, склонное к выгодным для себя преувеличениям.

Жизнь в том виде, в каком она представилась ему теперь, казалась нестерпимо, болезненно гадкой. Не смерть устрасала его, а невозможность, в случае смерти, излечить прошлое. «Я должен выздороветь, — сказал Коломб, — я должен, невозможно умирать так». Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим.

И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Коломб увидел, при полном освещении мысли то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя времени, он приступил к аналогии. Она, как и он, ожидает смерти; как он, желает покинуть жизнь в несовершенном ее виде. Как он — она человек касты; ему заменила живую жизнь привычка жить воображением; ей — идеология разрушения; для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, совершали самоубийство.

— Наконец-то, — сказал Коломб вслух пораженному Браулю, — наконец-то я решил одну психологическую задачу — это относится, видите ли, к моей повести. В основу решения я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросила снаряд, а даже помешала преступлению.

— Коломб, что с вами? Вы бредите? — испуганно вскричал Брауль.

Коломб не ответил. Он погрузился в беспамятство — следствие волнения и потери крови.

— Носилки готовы, — сказал, волоча грубое сооружение, кавалерист. — Ну, в путь, да и поможет нам бог!

Коломб остался жив, и ему не только для повести, но и для него самого очень были полезны те размышления, в которых, ожидая смерти, он провел всего, может быть, с полчаса. Но и вся жизнь человеческая коротка, а полчаса, описанные выше, стоят иногда целой жизни.

Судьба, взятая за рога

I

В декабре месяце луна две ночи подряд была окружена двойным оранжевым ореолом, — явление, сопутствующее сильным морозам. Действительно, мороз установился такой, что слепец Рен то и дело снимал с замерзших ресниц густой иней. Рен ничего не видел, но иней мешал привычке мигать — что, будучи теперь единственной жизнью глаз, несколько рассеивало тяжелое угнетение.

Рен и его приятель Сеймур ехали в санях по реке, направляясь от железнодорожной станции к городку Б., лежащему в устье реки, при впадении ее в море. Жена Рена, приехав в Б., ожидала мужа, уведомленного телеграммой. Съехаться здесь они условились полгода назад, когда Рен не был еще слепым и отправлялся в геологическую экскурсию без всяких предчувствий.

— Нам осталось три километра, — сказал Сеймур, растирая изгрызенную морозом щеку.

— Не следовало мне вовлекать вас в эту поездку, — сказал Рен, — вот уж, подлинно, слепой эгоизм с моей стороны. В конце концов, я мог бы великолепно ехать один.

— Да, зрячий, — возразил Сеймур. — Я должен доставить вас и сдать с рук на руки. К тому же...

Он хотел сказать, что ему приятна эта прогулка в пышных снегах, но вспомнив, что такое замечание относилось к зрению, промолчал.

Снежный пейзаж, действительно, производил сильное впечатление. Белые равнины, в голубом свете луны, под черным небом — холодно, по-зимнему, звездным, молчащим небом; неотстающая черная тень лошади, прыгающая под ее брюхом, и ясная кривая горизонта давали что-то от вечности.

Боязнь показаться подозрительным «как все слепые» помешала Рену спросить о недоговоренном. Недалекая встреча с женой сильно волновала его, поглощая почти все его мысли и толкая говорить о том, что неотвратимо.

— Лучше, если бы я умер на месте в эту минуту, — искренно сказал он, заканчивая печальным выводом цепь соображений и упреков себе. — Подумайте, Сеймур, каково будет ей?! Молодая, совсем молодая женщина и траурный, слепой муж! Я знаю, начнутся заботы... А жизнь превратится в сплошной подвиг самоотречения. Хуже всего — привычка. Я могу привыкнуть к этому, убедиться, в конце концов, что так нужно, чтобы молодое существо жило только ради удобств калеки.

— Вы клевете на жену, Рен, — воскликнул не совсем натурально Сеймур, — разве она будет думать так, как сейчас вы?!

— Нет, но она будет чувствовать себя не совсем хорошо. Я знаю, — прибавил, помолчав, Рен, — что я, рано или поздно, буду ей в тягость... только едва ли она сознается перед собой в этом...

— Вы делаетесь опасным маньяком, — шутливо перебил Сеймур. — Если бы она не знала, что стряслось с вами, я допустил бы не совсем приятные первую, вторую неделю.

Рен промолчал. Его жена не знала, что он слеп; он не писал ей об этом.

II

В середине июля, исследуя пустынную горную реку, Рен был застигнут грозой. Он и его спутники торопились к палатке, шел проливной дождь; окрестность, в темном плаще грозовой тени, казалась миром, для которого навсегда погасло солнце; тяжкая пальба грома взрывала тучи огненными кустами молний; мгновенные, сверкающие разветвления их падали в лес. Меж небесными вспышками и громовыми раскатами почти не было пауз. Молнии блистали так часто, что деревья, непрерывно выхватываемые из сумрака резким их блеском, казалось, скачут и исчезают.

Рен не запомнил и не мог запомнить тот удар молнии в дерево, после которого дерево и он свалились на небольшом расстоянии друг от друга. Он очнулся в глубокой тьме, слепой, с обожженными плечом и голенью. Сознание слепоты утвердилось только на третий день. Рен упорно боролся с ним, пугаясь той безнадежности, к которой вело это окончательное убеждение в слепоте. Врачи усердно и бесполезно возились с ним: той нервной слепоты, которая поразила Рена,

им не удалось излечить; все же они оставили ему некоторую надежду на то, что он может выздороветь, что зрительный аппарат цел и лишь остановился в действии, как механизм, обладающий для работы всеми необходимыми частями. Написать жене о том, что произошло, было выше сил Рена, отчаявшись в докторях, он упрямо, сосредоточенно, страстно ждал – как приговоренный к смерти ожидает помилования – ждал света. Но свет не загорался. Рен ожидал чуда; в его положении чудо было столь же естественной необходимостью, как для нас вера в свои силы или способности. Единственное, в чем изменились его письма к жене – это в том, что они были написаны на машинке. Однако ко дню встречи он приготовил решение, характерное живучестью человеческих надежд: убить себя в самый последний момент, когда не будет уже никаких сомнений, что удар судьбы не пощадит и Анну, когда она будет стоять перед ним, а он ее не увидит. Это было пределом.

III

Когда Рен приехал, вошел в комнату, где скоро должен был зазвучать голос Анны, еще не вернувшейся из магазина, и наступила тишина одинокого размышления, слепой упал духом. Небывалое волнение овладело им. Тоска, страх, горе убивали его. Он не видел Анну семь месяцев; вернее, последний раз он видел ее семь месяцев назад и более увидеть не мог. Отныне, даже если бы он остался жить, ему оставалось лишь воспоминание о чертах лица Анны, ее улыбке и выражении глаз, воспоминание, вероятно, делающееся все более смутным, изменчивым, в то время, как тот же голос, те же слова, та же ясность прикосновения близкого существа будут твердить, что и наружность этого существа та же, какой он ее забыл или почти забыл.

Он так ясно представил себе все это, угрожающее ему, если он не разможжит себе череп и не избавится от слепоты, что не захотел даже подвергнуть себя последнему допросу относительно твердости своего решения. Смерть улыбалась ему. Но мучительное желание увидеть Анну вызвало на его глаза тяжкие слезы, скупые слезы мужчины сломленного, почти добитого. Он спрашивал себя, что мешает ему, не дожидаясь первого, еще веселого для нее, поцелуя – теперь же пустить в дело револьвер? Ни он и никто другой не мог бы ответить на это. Может быть, последний ужас выстрела на глазах Анны притягивал его необъяснимой, но несомненной властью пристального взгляда змеи.

Звонок в прихожей всколыхнул все существо Рена. Он встал, ноги его подкашивались. Всем напряжением воли, всей тоской непроницаемой тьмы, окружавшей его, он усиливался различить хоть что-либо среди зловещего мрака. Увы! Только огненные искры, следствие сильного прилива крови к мозгу, бороздили этот свирепый мрак отчаяния. Анна вошла; он совсем близко услышал ее шаги, звучащие теперь иначе, чем тогда, когда он видел, как она двигается: звук шагов раздавался как бы на одном месте и очень громко.

– Дорогой мой, – сказала Анна, – милый мой, дорогой мой!

Ничего не произошло. Он по-прежнему не видел ее. Рен сунул руку в карман.

– Анна! – хрипло сказал он, отводя пальцем предохранитель. – Я ослеп, я больше не хочу жить. Сеймур все расскажет... Прости!

Руки его тряслись. Он выстрелил в висок, но не совсем точно; пуля разбила надбровную дугу и ударилась в карниз окна. Рен потерял равновесие и упал. Падая, он увидел свою, как бы плавающую в густом тумане, руку с револьвером.

Анна, беспорядочно суетясь и вскрикивая, склонилась над мужем. Он увидел и ее, но также смутно, а затем и комнату, но как бы в китайском рисунке, без перспективы. Именно то, что он увидел, лишило его сознания, а не боль и не предполагавшаяся близкая смерть. Но во всем этом, в силу потрясающей неожиданности, не было для него теперь ни страха, ни радости. Он успел только сказать: «Кажется, все обошлось...» – и впал в бесчувствие.

– Это было полезное нервное потрясение, – сказал через неделю доктор Рену, ходившему с огромным рубцом над глазом. – Пожалуй, только оно и могло вернуть вам то, что дорого для всех, – свет.

Искатель приключений

*И там как раз, где смысл искать напрасно
Там слово может горю пособить.*
(Фауст)

I Поездка

Путешественник Аммон Кут после нескольких лет отсутствия возвратился на родину. Он остановился у старого своего друга, директора акционерного общества Тонара, человека с сомнительным прошлым, но помешанного на благопристойности и порядочности. В первый же день приезда Аммон поссорился с Тонаром из-за газетной передовицы, обозвал друга «креатурой» министра и вышел на улицу для прогулки.

Аммон Кут принадлежал к числу людей серьезных, более чем кажутся они на первый взгляд. Его путешествия, не отмеченные газетами и не внесшие ни в одну карту малейших изменений материков, были для него тем не менее совершенно необходимы. «Жить – значит путешествовать», – говорил он субъектам, привязанным к жизни с ее одного, самого теплого и потного, как горячий пирог, бока. Глаза Аммона – две вечно алчные пропасти – обшаривали небо и землю в поисках за новой добычей; стремительно проваливалось в них все виденное им и на дне памяти, в страшной тесноте, укладывалось раз навсегда, для себя. В противоположность туристу Аммон видел еще многое, кроме музеев и церквей, где, притворяясь знатоками, обозреватели ищут в плохо намалеванных картинах неземной красоты.

Любопытства ради Аммон Кут зашел в вегетарианскую столовую. В больших комнатах, где пахло лаком, краской, свежепросохшими обоями и еще каким-то особо трезвенным запахом, сидело человек сто. Аммон заметил отсутствие стариков. Чрезвычайная, несвойственная даже понятию о еде, тишина внушала аппетиту входящего быть молитвенно нежным, вкрадчивым, как самая идея травоядения. Постные, хотя румяные лица помешанных на здоровье людей безразлично осматривали Аммона. Он сел. Обед, поданный ему с церемониальной, несколько подчеркнутой торжественностью, состоял из отвратительной каши «Геркулес», жареного картофеля, огурцов и безвкусной капусты. Побродив вилкой среди этого гастрономического убожества, Аммон съел кусок хлеба, огурец и выпил стакан воды; затем, щелкнув портсигаром, вспомнил о запрещении курить и невесело осмотрелся. За столиками в гробовом молчании чинно и деликатно двигались жующие рты. Дух противодействия поднялся в голодном Аммоне. Он хорошо знал, что мог бы и не заходить сюда – его никто не просил об этом, – но он с трудом отказывал себе в случайных капризах. Вполголоса, однако же достаточно явственно, чтобы его услышали, Аммон сказал как бы про себя, смотря на тарелку:

– Дрянь. Хорошо бы теперь поесть мяса!

При слове «мясо» многие вздрогнули; некоторые уронили вилки; все, насторожившись, рассматривали дерзкого посетителя.

– Мяса бы! – повторил, вздыхая, Аммон.

Раздался подчеркнутый кашель, и кто-то шумно задышал в углу.

Скучая, Аммон вышел в переднюю. Слуга подал пальто.

– Я пришлю вам индейку, – сказал Аммон, – кушайте на здоровье.

– Ах, господин! – возразил, печально качая головой, истощенный старик-слуга. – Если бы вы привыкли к нашему режиму...

Аммон, не слушая его, вышел. «Вот и испорчен день, – думал он, шагая по теневой стороне улицы. – Огурец душит меня». Ему захотелось вернуться домой; он так и сделал. Тонар сидел в гостиной перед открытым роялем, кончив играть свои любимые бравурные вещи, но был еще полон их резким одушевлением. Тонар любил все определенное, безусловное, яркое: например, деньги и молоко.

– Согласись, что статья глупа! – сказал, входя, Аммон. – Для твоего министра я предложил бы и свое колено... но – инспектор полиции дельный парень.

– Мы, – возразил, не поворачиваясь, Тонар, – мы, люди коммерческие, смотрим иначе. Для таких бездельников, как ты, развращенных путешествиями и романтизмом, приятен всякий играющий в Гарун-аль-Рашида. Я знаю – вместо того, чтобы толково преследовать аферистов, гадающих нам на бирже, гораздо легче, надев фальшивую бороду, шляться по притонам, пьянствуя с жуликами.

– Что же... он интересный человек, – сказал Аммон, – я его ценю только за это. Надо ценить истинно интересных людей. Многих я знаю. Один, бывший гермафродитом, вышел замуж; а затем, после развода, женился сам. Вторым, ранее священник, изобрел машинку для пения басом, разбогател, загрыз на пари зубами цирковую змею, держал в Каире гарем, а теперь торгует сыром. Третий замечателен как феномен. Он обладал поразительным свойством сосредоточивать внимание окружающих исключительно на себе; в его присутствии все молчали; говорил только он; побольше ума – и он мог бы стать чем угодно. Четвертый добровольно ослепил себя, чтобы не видеть людей. Пятый был искренним дураком сорока лет; когда его спрашивали: «Кто вы?» – он говорил – «дурак» и смеялся. Интересно, что он не был ни сумасшедшим, ни идиотом, а именно классическим дураком. Шестым... шестым... это я.

– Да? – иронически спросил Тонар.

– Да. Я враг ложного смирения. За сорок пять лет своей жизни я видел много; много пережил и много участвовал в чужих жизнях.

– Однако... Нет! – сказал, помолчав, Тонар. – Я знаю человека действительно интересного. Вы, нервные батареи, живете впроголодь. Вам всегда всего мало. Я знаю человека идеально прекрасной нормальной жизни, вполне благовоспитанного, чуждых принципов, живущего здоровой атмосферой сельского труда и природы. Кстати, это мой идеал. Но я человек не цельный. Посмотрел бы ты на него, Аммон! Его жизнь по сравнению с твоей – сочное, красное яблоко перед прогнившим бананом.

– Покажи мне это чудовище! – вскричал Аммон. – Ради бога!

– Сделай одолжение. Он нашего круга.

Аммон смеялся, стараясь представить себе спокойную и здоровую жизнь. Взбалмошный, горячий, резкий – он издали тянулся (временами) к такому существованию, но только воображением; однообразие убивало его. В изложении Тонара было столько вкусного мысленного причмокивания, что Аммон заинтересовался.

– Если не идеально, – сказал он, – я не поеду, но если ты уверяешь...

– Я ручаюсь за то, что самые неумеренные требования...

– Таких людей я еще не видал, – перебил Аммон. – Пожалуйста, напиши мне к завтраку рекомендательное письмо. Это не очень далеко?

– Четыре часа езды.

Аммон, расхаживая по комнате, остановился за спиной Тонара и, увлекшись уже новыми грядущими впечатлениями, продекламировал, положив руку, как на пюпитр, на лысину друга:

Поля родные! К вашей тишине,
К задумчиво сияющей луне,
К туманам, медленным в извилистых оврагах,
К наивной прелести в преданиях и сагах,
К румянцу щек и блеску свежих глаз
Вернулся я; таким же вижу вас
Как ранее, и благодати гений
Хранит мой сон среди родных видений!

– Неужели тебе сорок пять лет? – спросил, грузно вваливаясь в кресло, Тонар.

– Сорок пять. – Аммон подошел к зеркалу. – Кто же выдерживает мне седые волосы? И неужели я еще долго буду ездить, ездить, ездить – всегда?

II Приезд

Синий и белый снег гор, зубчатый взлет которых тянулся полукругом вокруг холмистой равнины, Аммон увидел из окна поезда рано утром. Вдали солнечной полоской блестело море.

Белая станция, увитая по стенам диким виноградом, приветливо подбежала к поезду. Паровоз, пыхтя отработанным паром, остановился, вагоны лязгнули, и Аммон вышел.

Он видел, что Лилиана – настоящее красивое место. Улицы, по которым ехал Аммон, наняв экипаж к Доггеру, не были безукоризненно правильны: мягкая извилистость их держала глаза в постоянном ожидании глубокой перспективы. Между тем постепенно развертывающееся разнообразие строений очень развлекало Аммона. Дома были усеяны балкончиками и лепкой или составляли полукруглые башенки; серые на белом фасаде арки, подтянутые или опущенные, как поля шляпы, крыши различно приветствовали смотрящего; все это, затопленное торжественно цветущими садами, солнцем, цветниками и небом, выглядело неплохо. Улицы были обсажены пальмами; зонтичные вершины их бросали на желтую от полудня землю синие тени. Иногда среди площади появлялся старый, как дед, фонтан, полный трепещущей от выкидываемых брызг воды; местами в боковой переулок взвивалась каменная винтовая лестница, а выше над ней бровью перегибался мостик, легкий как рука подбоченившейся девушки.

III Дом Доггера

Проехав город, Аммон еще издали увидел сад и черепичную крышу. Дорога, усыпанная гравием, вела через аллею к подъезду – простому, как и весь дом из некрашеного белого дерева. Аммон подошел к дому. Это было одноэтажное бревенчатое здание с двумя боковыми выступами и террасой. Вьющаяся зелень заваливала простенки фасада цветами и листьями; цветов было много везде – гвоздик, тюльпанов, анемон, мальв, астр и левкоев.

К Аммону спокойными, свободными шагами сильного человека подошел Доггер, стоявший у дерева. Он был без шляпы; статная, розовая от загара шея его пряталась под курчавыми белокурыми волосами. Крепкий, как ожившая грудастая статуя Геркулеса, Доггер производил впечатление несокрушимого здоровяка. Крупные черты радушного лица, серые теплые глаза, небольшие борода и усы очень понравились Аммону. Костюм Доггера состоял из парусинной блузы, таких же брюк, кожаного пояса и высоких сапог мягкой кожи. Руку он пожимал крепко, но быстро, а его грудной голос звучал свободно и ясно.

– Аммон Кут – это я, – сказал, кланяясь, Аммон, – если вы получили письмо Тонара, я буду иметь честь объяснить вам цель моего приезда.

– Я получил письмо, и вы прежде всего мой гость, – сказал, предупредительно улыбаясь, Доггер. – Пойдемте, я познакомлю вас с женой. Затем мы поговорим обо всем, что будет вам угодно сказать.

Аммон последовал за ним в очень простую, с высокими окнами и скромной мебелью гостиную. Ничто не бросалось в глаза, напротив, все было рассчитано на неуловимый для внимания уют. Здесь и в других комнатах, где побывал Аммон, обстановка забывалась, как забывается телом давно обношенное привычное платье. На стенах не было никаких картин или гравюр. Аммон не сразу обратил на это внимание: пустота простенков как бы случайно драпировалась в близко сходящиеся друг с другом складки оконных занавесей. Опрятность, чистота и свет придавали всему оттенок нежной заботливости о вещах, с которыми, как со старыми друзьями, живут всю жизнь.

– Эльма! – сказал Доггер, открывая проходную дверь. – Иди-ка сюда.

Аммон нетерпеливо ожидал встречи с подругой Доггера. Его интересовало увидеть их в паре. Не прошло минуты, как из сумерек коридора появилась улыбающаяся красивая женщина в нарядном домашнем платье с открытыми рукавами. Избыток здоровья сказывался в каждом ее

движении. Блондинка, лет двадцати двух, она сияла свежим покоем удовлетворенной молодой крови, весельем хорошо спавшего тела, величественным добродушием крепкого счастья. Аммон подумал, что и внутри ее, где таинственно работают органы, все так же стройно, красиво и радостно; аккуратно толкает по голубым жилам алую кровь стальное сердце; розовые легкие бойко вбирают, освежая кровь, воздух и греются среди белых ребер под белой грудью.

Доггер, не переставая улыбаться, что было, по-видимому, у него потребностью, а не усилием, – представил Кута жене; она заговорила свободно, звонко, как будто была давно знакома с Аммоном:

– Как путешественник, вы будете у нас немного скучать, но это принесет вам одну пользу, только пользу!

– Я тронут, – сказал Аммон, кланяясь.

Все сели. Доггер, молча, открыто улыбаясь, смотрел прямо в лицо Аммону, также и Эльма; выражение их лиц говорило: «Мы видим, что вы тоже очень простой человек, с вами можно, не скучая, свободно молчать». Аммон хорошо понимал, что, несмотря на подкупающую простоту хозяев и обстановки, он не доверял видимому.

– Я очень хочу объяснить вам прямую цель моего посещения, – приступил он к необходимой лжи. – Путешествуя, я стал заядлым фотографом. В занятие это, по моему мнению, можно внести много искусства.

– Искусства, – сказал Доггер, кивая.

– Да. Каждый пейзаж меняет сотни выражений в день. Солнце, время дня, луна, звезды, человеческая фигура делают его каждый раз иным: или отнимают что-либо или же прибавляют. Тонар соблазнил меня описанием прелестей Лилианы, самого города, окрестностей и чудного вашего поместья. Я вижу, что мой аппарат нетерпеливо шевелится в чемодане и самостоятельно от нетерпенья щелкает затвором. Вы давно знакомы с Тонаром, Доггер?

– Очень давно. Мы познакомились, торгуя вместе это имение, но я перебил. Наши отношения с ним прекрасны, он заезжает иногда к нам. Он очень любит деревенскую жизнь.

– Странно, что он сам не живет так, – сказал Аммон.

– Знаете, – возразила, кладя голову на руки, а руки на спинку кресла, Эльма, – для этого нужно родиться такими, как я с мужем. Правда, милый?

– Правда, – сказал Доггер задумчиво. – Но, Аммон, пока не подали обед, я покажу вам хозяйство. Ты, Эльма, пойдешь?

– Нет, – отказалась, смеясь, молодая женщина, – я хозяйка, и мне нужно распорядиться.

– Тогда... – Доггер встал. Аммон встал. – Тогда мы отправимся путешествовать.

IV

На дворе

«Настоящий искатель приключений, – твердил про себя Аммон, идя рядом с Доггером, – отличается от банально любопытного человека тем, что каждое неясное положение исчерпывается им до конца. Теперь мне нужно осмотреть все. Не верю Доггеру». Не углубляясь больше в себя, он отдался впечатлениям. Доггер вел Аммона сводчатыми аллеями сада к задворкам. Разговор их коснулся природы, и Доггер, с несвойственной его внешности тонкостью, проник в самый тайник, хаос противоречивых, легких, как движение ресниц, душевных движений, производимых явлениями природы. Он говорил немного лениво, но природа в общем ее понятии вдруг перестала существовать для Аммона. Подобно сложенному из кубиков дому, рассыпалась она перед ним на элементарные свои части. Затем, так же бережно, незаметно, точно играя, Доггер восстановил разрушенное, стройно и чинно свел распавшееся к первоначальному его виду, и Аммон вновь увидел исчезнувшую было совокупность мировой красоты.

– Вы – художник или должны быть им, – сказал Аммон.

– Сейчас я покажу вам корову, – оживленно проговорил Доггер, – здоровенный экземпляр и хорошей породы.

Они вышли на веселый просторный двор, где бродило множество домашней птицы: цвети-

стые куры, огненные петухи, пестрые утки, неврастенические индейки, желтые, как одуванчики, цыплята и несколько пар фазанов. Огромная цепная собака лежала в зеленой будке, свесив язык. В загородке лоснились розовые бревна свиней; осел, хлопая ушами, добродушно косился на петуха, рывшего лапой навоз под самым его копытом; голубые и белые голуби стаями носились в воздухе; буколический вид этот выражал столько мирной животной радости, что Аммон улыбнулся. Доггер, с довольным видом осмотрев двор, сказал:

– Я очень люблю животных с уживчивой психологией. Тигры, удавы, змеи, хамелеоны и иные анархисты мне органически неприятны. Теперь посмотрим корову.

В хлеву, где было довольно светло от маленьких лучистых окон, Аммон увидел четырех гигантских коров. Доггер подошел к одной из них, цвета желтого мыла, с рогами полумесяцем; зверь дышал силой, салом и молоком; огромное, розовое с черными пятнами вымя висело почти до земли. Корова, как бы понимая, что ее рассматривают, повернула к людям тяжелую толстую морду и помахала хвостом.

Доггер, подбоченившись, что делало его мужиковатым, посмотрел на Аммона, корову и опять на Аммона, а затем кряжисто хлопнул ладонью по коровьей спине.

– Красавица! Я назвал ее – «Диана». Лучший экземпляр во всем округе.

– Да, внушительная, – подтвердил Аммон.

Доггер снял висевшее в ряду других ведро красной меди и стал засучивать рукава.

– Посмотрите, как я дою, Аммон. Попробуйте молоко.

Аммон, сдерживая улыбку, выразил в лице живейшее внимание. Доггер, присев на корточки, поставил под корову ведро и, умело вытягивая сосцы, пустил в звонкую медь сильно бьющие молочные струи. Очень скоро молоко поднялось в ведре пальца на два, пенясь от брызг. Серьезное лицо Доггера, материнское обращение его с коровой и процесс доения, производимый мужчиной, так рассмешили Аммона, что он, не удержавшись, расхохотался. Доггер, перестав доить, с изумлением посмотрел на него и наконец рассмеялся сам.

– Узнаю горожанина, – сказал он. – Вам не смешно, когда в болезненном забытии люди прыгают друг перед другом, вскидывая ноги под музыку, но смешны здоровые, вытекающие из самой природы занятия.

– Извините, – сказал Аммон, – я вообразил себя на вашем месте и... И никогда не прощу себе этого.

– Пустое, – спокойно возразил Доггер, – это нервы. Попробуйте.

Он принес из глубины хлева фаянсовую кружку и налил Аммону густого, почти горячего молока.

– О, – сказал, выпив, Аммон, – ваша корова не оскрамилась. Положительно, я завидую вам. Вы нашли простую мудрость жизни.

– Да, – кивнул Доггер.

– Вы очень счастливы?

– Да, – кивнул Доггер.

– Я не могу ошибиться?

– Нет.

Доггер неторопливо взял от Аммона пустую кружку и неторопливо отнес ее на прежнее место.

– Смешно, – сказал он, возвращаясь, – смешно хвастаться, но я действительно живу в светлом покое.

Аммон протянул ему руку.

– От всего сердца приветствую вас, – произнес он медленно, чтобы дольше задержать руку Доггера. Но Доггер, открыто улыбаясь, ровно жал его руку, без тени нетерпения, даже охотно.

– Теперь мы пойдем завтракать, – сказал Доггер, выходя из хлева. – Остальное, если это вам интересно, мы успеем посмотреть вечером: луг, огород, оранжерею и парники.

Той же дорогой они вернулись в дом. По пути Доггер сказал:

– Много теряют те, кто ищет в природе болезни и уродства, а не красоты и здоровья.

Фраза эта была как нельзя более уместна среди шиповника и жасмина, по благоухающим

аллеям которых шел, искоса наблюдая Доггера, Аммон Кут.

V

Дракон и заноза

Аммон Кут редко испытывал такую свежесть и чистоту простой жизни, с какой столкнула его судьба в имении Доггера. Остаток подозрительности держался в нем до конца завтрака, но приветливое обращение Доггеров, естественная простота их движений, улыбок, взглядов обвеяли Кута подкупающим ароматом счастья. Обильный завтрак состоял из масла, молока, сыра, ветчины и яиц. Прислуга, вносявшая и убиравшая кушанья, тоже понравилась Аммону; это была степенная женщина, здоровая, как все в доме.

Аммон по просьбе Эльмы рассказал кое-что из своих путешествий, а затем, из чувства внутреннего противодействия, свойственного кровному горожанину в деревне, где он сознает себя немного чужим, стал говорить о новинках сезона.

– Новая оперетка Растрелли – «Розовый гном» – хуже, чем прошлая его вещь. Растрелли повторяет себя. Но концерты Седира очаровательны. Его скрипка могущественна, и я думаю, что такой скрипач, как Седир, мог бы управлять с помощью своего смычка целым королевством.

– Я не люблю музыки, – сказал Доггер, разбивая яйцо. – Позвольте предложить вам козьего сыру.

Аммон поклонился.

– А вы, сударыня? – сказал он.

– Вкусы мои и мужа совпадают, – ответила, слегка покраснев, Эльма. – Я тоже не люблю музыки: я равнодушна к ней.

Аммон не сразу нашелся, что сказать на это, так как поверил. Этим уравновешенным, спокойным людям не было никаких причин рисоваться. Но Аммон начинал чувствовать себя – слегка похоже – сидящим в вегетарианской столовой.

– Да, здесь спорить немыслимо, – сказал он. – На весенней выставке меня пленила небольшая картина Алара «Дракон, занозивший лапу». Заноза и усилия, которые делает дракон, валяясь на спине, как собака, чтобы удалить из раненого места кусок щепки, – действуют убедительно. Невозможно, смотря на эту картину из быта драконов, сомневаться в их существовании. Однако мой приятель нашел, что если бы даже дракон этот пил молоко и облизывался...

– Я не люблю искусства, – кратко заметил Доггер.

Эльма посмотрела на него, затем на Аммона и улыбнулась.

– Вот и все, – сказала она. – Когда вы были последний раз в тропиках?

– Нет, я хочу объяснить, – мягко перебил Доггер. – Искусство – большое зло; я говорю про искусство, разумеется, настоящее. Тема искусства – красота, но ничто не причиняет столько страданий, как красота. Представьте себе совершеннейшее произведение искусства. В нем таится жестокости более, чем вынес бы человек.

– Но и в жизни есть красота, – возразил Аммон.

– Красота искусства больше красоты жизни.

– Что же тогда?

– Я чувствую отвращение к искусству. У меня душа – как это говорится – мещанина. В политике я стою за порядок, в любви – за постоянство, в обществе – за незаметный полезный труд. А вообще в личной жизни – за трудолюбие, честность, долг, спокойствие и умеренное самолюбие.

– Мне нечего возразить вам, – осторожно сказал Аммон. Убеденный тон Доггера окончательно доказал ему, что Тонар прав. Доггер являл собой редкий экземпляр человека, создавшего особый мир несокрушимой нормальности.

Вдруг Доггер весело рассмеялся.

– Что толковать, – сказал он, – я жизнерадостный и простой человек. Эльма, ты поедешь с нами верхом? Я хочу показать гостю огород, луг и окрестности.

– Да.

VI Лесная яма

Прогулка, кроме лесной ямы, ничего нового не дала Аммону. Они ехали рядом. Доггер с правой, а Кут с левой стороны Эльмы, и Аммон, не касаясь более убеждений Доггера, рассказывал о себе, своих встречах и наблюдениях. Он сидел на сытой, красивой, спокойной лошади в простом черном седле. Несколько людей повстречались им, занятых очисткой канав и окапыванием молодых деревьев; то были рабочие Доггера, коренастые молодцы, почтительно снимавшие шляпы. «Прекрасная пара, – думал Аммон, смотря на своих хозяев. – Такими, вероятно, были до грехопадения Адам и Ева». Впечатлительный, как все бродяги, он начинал проникаться их сурово-милостивым отношением ко всему, что не было их собственной жизнью. Осмотр владений Доггера заставил его сказать несколько комплиментов: огород, как и все имение, был образцовым. Сочный, засеянный отборной травой луг веселил глаз.

За лугом, примыкавшим к горному склону, тянулся лес, и всадники, подъехав к опушке, остановились. Доггер спокойно осматривал с этого возвышенного места свои владения. Он сказал:

– Люблю собственность, Аммон. А вот посмотрите яму.

Проехав в лес, Доггер остановился у сумеречной, сырой ямы под сводами густой листвы старых деревьев. Свет нехотя проникал сюда, здесь было прохладно, как в колодце, и глухо. Валежник наполнял яму; корни протягивались в нее, сломанный бурей ствол перекидывался над хаосом лесного сора и папоротника. Острый запах грибов, плесени и земли шел из обширной впадины, и Доггер сказал:

– Здесь веет жизнью таинственных существ, зверей. Мне чудятся осторожные шаги хорьков, шелест змей, выпученные глаза жаб, похожих на водяного больного. Летучие мыши кружатся здесь в лунном свете, и блестят круглые очки сов. Вероятно, это ночной клуб.

«Он притворяется, – подумал Аммон с новой вспышкой недоверия к Доггеру, – но где зарыта собака?»

– Я хочу домой, – сказала Эльма. – Я не люблю леса.

Доггер ласково посмотрел на жену.

– Она против сумерек, – сказал он Аммону, – так же, как я. Вернемся. Я чувствую себя хорошо только дома.

VII Ночь

В половине двенадцатого, простившись с гостеприимными хозяевами, Аммон отправился в отведенную ему комнату левого крыла дома; ее окна выходили на двор, отделенный от него узким палисадом, полным цветов. Обстановка комнаты дышала тем же здоровым, свежим уютом, как и весь дом: мебель из некрашеного белого дерева, металлический умывальник, чистые занавеси, простыни, подушки; серое теплое одеяло; зеркало в простой раме, цветы на окнах; массивный письменный стол; чугунная лампа. Не было ничего лишнего, но все необходимое, в голой простоте своего назначения.

– Так вот куда я попал! – сказал Аммон, снимая жилет. – Руссо мог бы позавидовать Доггеру. Прекрасно говорил Доггер о природе и лесной яме; это стоит в противоречии с отвратительной плоскостью остальных его рассуждений. Мне больше нечего делать здесь. Я убедился, что можно жить осмысленной растительной жизнью. Однако еще посмотрим.

Он сел на кровать и задумался. Столовые стальные часы пробили двенадцать. Раскрытое окно дышало цветами и влагой лугов. Все спало; звезды над черными крышами горели, как огоньки далекого города. Аммон думал с грустным волнением о постоянной мечте людей – хорошей, светлой, здоровой жизни – и недоумевал, почему самые яркие попытки этого рода, как, например, жизнь Доггера, лишены крыльев очарования. Все образцово, вкусно и чисто; нежно и

полезно, красиво и честно, но незначительно, и хочется сказать: «Ах, я был еще на одной выставке! Там есть премированный человек...»

Тогда он стал рисовать мысленно возможности иного порядка. Он представил себе пожар, треск балок, буйную жизнь огня, любовь Эльмы к рабочему, Доггера – пьяницу, сумасшедшего, морфиниста; вообразил его религиозным фанатиком, антикваром, двоеженцем, писателем, но все это не вязалось с хозяевами поместья в Лилиане. Трепет нервной, разрушительной или творческой жизни чужд им. Возможность пожара была, конечно, исключена в общем благоустройстве дома, и никогда не суждено испытать ему испуга, хаоса горящего здания. Год за годом, толково, разумно, тщательно и счастливо проходят, рука об руку, две молодые жизни – венец творения.

– Итак, – сказал Аммон, – я ложусь спать. – Откинув одеяло, Аммон хотел потушить лампу, как вдруг услышал в коридоре тихие мужские шаги; кто-то шел мимо его комнаты, шел так, как ходят обыкновенно ночью, когда в доме все спят: напряженно, легко. Аммон вслушался. Шаги стихли в конце коридора; прошло пять, десять минут, но никто не возвращался, и Кут осторожно приотворил дверь.

Висячая лампа освещала коридор ровным ночным светом. В проходе было три двери: одна, ближе к центру дома, вела в помещение для прислуги и находилась против комнаты Кута; вторая, соседняя от Аммона слева, судя по висячему на ней замку, была дверью кладовой или нежилой комнаты. Направо же, в конце крыла, дверей совсем не было – тупик с высоким закрытым окном в сад, но шаги замерли именно в этом месте.

– Не мог же он провалиться сквозь землю! – сказал Кут. – И это едва ли Доггер: он говорил сам, что сон его крепок, как у солдата после сражения. Рабочему незачем входить в дом. Окно в конце коридора ведет в сад; допустив, что Доггер по неизвестным мне причинам вздумал гулять, к его услугам три выходных двери, и я к тому же услышал бы стук рамы, а этого не было.

Аммон повернулся и прикрыл дверь.

Наполовину он придавал значение этим шагам, наполовину нет. Мысль его бродила в области прекрасных суеверий, легенд о человеческой жизни, цель которых – прославить имя человека, вознося его из болота будней в мир таинственной прелести, где душа повинуется своим законам, как богу. Аммон еще раз заставил себя мысленно услышать шаги. Вдруг ему показалось, что в раскрытое окно может заглянуть неизвестный «тот»; он быстро потушил лампу и насторожился.

– О, глупец я! – сказал, не слыша ничего более, Аммон. – Мало ли кто почему может ходить ночью!.. Я просто узкий профессионал, искатель приключений, не более. Какая тайна может быть здесь, в запахе сена и гиацинтов? Стоит лишь посмотреть на домашнюю красавицу Эльму, чтобы не заниматься глупостями.

Тем не менее инстинкт спорил с логикой. Около получаса, ожидая, как влюбленный свидания, новых звуков, Аммон стоял у двери, заглядывая в замочную скважину. В это небольшое отверстие, напоминающее форму подошвы, обращенной вниз, видел он сосновые панели стены, и ничего более. Настроение его падало, он зевнул и хотел лечь, как снова явственно раздались те же шаги. Аммон, подобно нырнувшему пловцу, перестал дышать, смотря в скважину. Мимо его дверей, головой выше поля зрения Аммона, ровной, на цыпочках походкой прошел из тупика Доггер в рубашке с расстегнутыми рукавами и брюках; куртки на нем не было. Шаги стихли, глухо хлопнула внутренняя дверь, и Аммон выпрямился; неудержимые подозрения закипели в нем вопреки логике положения. Слишком благоразумный, чтобы давать им какую-либо определенную форму, он довольствовался пока тем, что твердил один и тот же вопрос: «Где мог находиться Доггер в конце коридора?» Аммон кружился по комнате, то усмехаясь, то задумываясь; он перебрал все возможности: интрига с женщиной, лунатизм, бессонница, прогулка, но все это висело в воздухе в силу закрытого окна и тупика; хотя окно, конечно, открывалось, – путь через него в сад для такого солидного и положительного человека, как Доггер, казался непростительным легкомыслием.

Решив тщательно осмотреть коридор, Аммон, надев войлочные туфли, но без револьвера, так как в этом не представлялось необходимости, вышел из своей комнаты. Спокойная тишина ярко освещенного коридора отрезвила Кута, он устыдился и хотел вернуться, но прошедший

день, полный чрезмерной, утомительной для подвижной души, будничной простоты, толкал Кута по линии искусственного оживления хотя бы неудовлетворенных фантазий. Быстро он прошел в конец коридора, к окну, убедился, что оно плотно закрыто, на полные, верхнюю и нижнюю, задвижки, осмотрелся и увидел справа маленькую, едва прикрытую дверь, без косяков, в одной плоскости со стеной; дверца эта, сбита из тонких досок, была, по-видимому, прорезана и вставлена после постройки дома. Рассматривая дверцу, Аммон думал, что она выходит, вероятно, на лесенку, устроенную для входа в палисад изнутри коридора. Решив таким образом вопрос, куда исчезал Доггер, Аммон тихо протянул руку, снял петлю и открыл дверь.

Она отворялась в коридор. За ней было темно, хотя виднелось несколько крутых белых ступенек лестницы, шедшей вверх, а не вниз. Лестница подымалась вплотную к узким стенам; чтобы войти, нужно было сильно нагнуться. «Стоит ли? – подумал Аммон. – Должно быть, это ход на чердак, где сушат белье, живут голуби... Однако Доггер не охотник за голубями и, ясно, не прачка. Зачем он ходил сюда? О, Аммон, Аммон, инстинкт говорит мне, что есть дичь. Пусть, пусть это будет даже холостой выстрел – если я подымусь, – зато по крайней мере все кончится, и я усну до завтрашней простокваши с чистой, как у тельца, совестью. Если Доггеру вздумается опять, по неизвестным причинам, посетить чердак и он застанет меня, – солгу, что слышал на чердаке шаги; сослаться в таких случаях на воров – незаменимо».

Оглянувшись, Аммон плотно прикрыл за собой дверь и, осветив лестницу восковой спичкой, стал всходить. От маленькой площадки лестница поворачивала налево; в верхнем конце ее оказалась площадка просторнее, к ней примыкала под крутым скатом крыши дверь, ведущая на чердак. Она, так же как и нижняя дверь, была не на ключе, а притворена. Аммон, прислушался, опасаясь, нет ли кого за дверью. Тишина успокоила его. Он смело потянул скобку, и спичка от воздушного толчка погасла; Аммон переступил через порог во тьму; слегка душный воздух жилого помещения испугал его; торопясь убедиться, не попал ли он в каморку рабочих или прислуги, Аммон зажег вторую спичку, и тени бросились от ее желтого света в углы, прояснив окружающее.

Увидев прежде всего на огромном посреди комнаты столе свечу, Аммон затеплил ее и отступил к двери, осматриваясь. На задней стене спускалась до полу белая занавесь, такие же висели на левой и правой стене от входа. В косом потолке просвечивало далекими звездами сетчатое окно. Не всмотревшись еще в заваленный множеством различных предметов стол, Аммон бросился по углам. Там был лишь неубранный сор, клочки бумаги, сломанные карандаши. Выпрямившись, подошел он к задней стене, где у гвоздика висели шнуры от занавеси, и потянул их. Занавесь поднялась.

Аммон, отступив, увидел внезапно блеснувший день – земля вошла к уровню чердака, и стена исчезла. В трех шагах от путешественника, спиной к нему, на тропинке, бегущей в холмы, стояла женщина с маленькими босыми ногами; простое черное платье, неуловимо лишенное траурности, подчеркивало белизну ее обнаженных шеи и рук. Все линии молодого тела угадывались под тонкой материей. Бронзовые волосы тяжелым узлом скрывали затылок. Сверхъестественная, тягостная живость изображения перешла здесь границы человеческого; живая женщина стояла перед Аммоном и чудесной пустотой дали; Аммон, чувствуя, что она сейчас обернется и через плечо взглянет на него, – растерянно улыбнулся.

Но здесь кончалось и вместе с тем усиливалось торжество гениальной кисти. Поза женщины, левая ее рука, отнесенная слегка назад, висок, линия щеки, мимолетное усилие шеи в сторону поворота и множество недоступных анализу немых черт держали зрителя в ожидании чуда. Художник закрепил мгновение; оно длилось, оставалось все тем же, как будто исчезло время, но вот-вот в каждую следующую секунду возобновит свой бег, и женщина взглянет через плечо на потрясенного зрителя. Аммон смотрел на ужасную в готовности своей показать таинственное лицо голову с чувством непобедимого ожидания; сердце его стучало, как у ребенка, оставленного в темной комнате, и, с неприятным чувством бессилия перед неисполнимой, но явной угрозой, отпустил он шнуры. Упала занавесь, а все еще казалось ему, что, протянув руку, наткнется он, за полотном, на теплое, живое плечо.

– Нет меры гению и нет пределов ему! – сказал взволнованный Кут. – Так вот, Доггер, от-

куда ты уходишь доить коров? Хозяин моего открытия – великий инстинкт. Я буду кричать на весь мир, я болен от восторга и страха! Но что там?

Он бросился к той занавеси, что висела слева от входа. Рука его путалась в шнурах, он нетерпеливо рвал их, потянул вниз и поднял над головой свечу. Та же женщина, в той же прелестной живости, но еще более углубленной блеском лица, стояла перед ним, исполнив прекрасную свою угрозу. Она обернулась. Всю материнскую нежность, всю ласку женщины вложил художник в это лицо. Огонь чистой, горделивой молодости сверкал в нежных, но твердых глазах; диадемой казался над тонкими, ясными ее бровями бронзовый шелк волос; благородных юношеских очертаний рот дышал умом и любовью. Стоя вполоборота, но открыто повернув все лицо, сверкала она молодой силой жизни и волнующей, как сон в страстных слезах радости.

Тихо смотрел Аммон на эту картину. Казалось ему, что стоит произнести одно слово, нарушить тишину красок, и, опустив ресницы, женщина подойдет к нему, еще более прекрасная в движениях, чем в тягостной неподвижности чудесным образом созданного живого тела. Он видел пыль на ее ногах, готовых идти дальше, и отдельные за маленьким ухом волосы, похожие на лучистый наряд колосьев. Радость и тоска держали его в нежном плену.

– Доггер, вы деспот! – сказал Аммон. – Можно ли больнее, чем вы, ранить сердце? – Он топнул ногой. – Я брежу, – вскричал Аммон, – так немыслимо рисовать; никто, никто на свете не может, не смеет этого!

И еще выразительнее, полнее, глубже глянули на него настоящие глаза женщины.

Почти испуганный, с сильно бьющимся сердцем, задернул Аммон картину. Что-то удерживало его на месте; он не мог заставить себя пройтись взад-вперед, как делал обыкновенно в моменты волнения. Он боялся оглянуться, пошевелиться; тишина, в коей слышались лишь собственное его дыхание и потрескивание горящей свечи, была неприятна, как запах угара. Наконец, преодолевая оцепенение, Аммон подошел к третьему полотну, обнажил картину... и волосы зашевелились на его голове.

Что сделал Доггер, чтобы произвести эффект кошмарный, способный воскресить суеверия? В том же повороте стояла перед Аммоном обернувшаяся на ходу женщина, но лицо ее непостижимо преобразилось, а между тем до последней черты было тем, на которое только что смотрел Кут. Страшно, с непостижимой яркостью встретились с его глазами хихикающие глаза изображения. Ближе, чем ранее, глядели они мрачно и глухо; иначе блеснули зрачки; рот, с выражением зловещим и подлым, готов был просиять омерзительной улыбкой безумия, а красота чудного лица стала отвратительной; свирепым, жадным огнем дышало оно, готовое душить, сосать кровь; вожделение гада и страсти демона озаряли его гнусный овал, полный взволнованного сладострастия, мрака и бешенства; и беспредельная тоска охватила Аммона, когда, всмотревшись, нашел он в этом лице готовность заговорить. Полураскрытые уста, где противно блестели зубы, казались шепчущими; прежняя мягкая женственность фигуры еще более подчеркивала ужасную жизнь головы, только что не кивавшей из рамы. Глубоко вздохнув, Аммон отпустил шнурок; занавесь, шелестя, ринулась вниз, и показалось ему, что под падающие складки вынырнуло и спряталось, подмигнув, дьявольское лицо.

Аммон отвернулся. Папка, лежавшая на столе, приковала к себе его расстроенное внимание своими размерами; большая и толстая, она, когда он раскрыл ее, оказалась полной рисунков. Но странны и дики были они... Один за другим просматривал их Аммон, пораженный нечеловеческим мастерством фантазии. Он видел стаи воронов, летевших над полями роз; холмы, усеянные, как травой, зажженными электрическими лампочками; реку, запруженную зелеными трупами; сплетение волосатых рук, сжимавших окровавленные ножи; кабачок, битком набитый пьяными рыбами и омарами; сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными; огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети; мертвецов, читающих в могилах при свете гнилушек пожелтевшие фолианты; бассейн, полный бородатых женщин; сцены разврата, пиршество людоедов, свежую толстяка; тут же, из котла, подвешенного к очагу, торчала рука; одна за другой проходили перед ним фигуры умопомрачительные, с красными усами, синими шевелюрами, одноглазые, трехглазые и слепые; кто ел змею, кто играл в кости с тигром, кто плакал, и из глаз его падали золотые украшения; почти все рисунки

были осыпаны по костюмам изображений золотыми блестками и исполнены тщательно, как выполняется вообще всякая любимая работа. С жутким любопытством перелистывал эти рисунки Аммон. Дверь стукнула, он отскочил от стола и увидел Доггера.

VIII Объяснение

Самообладание никогда не покидало Аммона даже в самых опасных случаях; однако, застигнутый врасплох, он испытал мгновенное замешательство. Доггер, по-видимому, не ожидал увидеть Аммона; растерянно остановился он у дверей, осматриваясь, но скоро побледнел, а затем вспыхнул так, что от гнева покраснела обнаженная его шея. Он быстро подошел к Аммону, вскричав:

– Как смели вы забраться сюда!.. Как назвать ваш поступок?! Я не ожидал этого! А? Аммон!

– Вы правы, – ответил спокойно Кут, не опуская глаз, – войти я не смел. Но я чувствовал бы себя виновным только в том случае, если бы ничего не увидел; увидевши же здесь нечто, смею думать, – приобрел тем самым право отвергнуть обвинение в нескромности. Скажу больше: узнай я, уехав от вас, что предстояло мне видеть, поднявшись наверх, и не сделай я этого, – я никогда не простил бы себе подобной оплошности. Мотивы моего поступка следующие... Извините, положение требует откровенности, как бы вы ни отнеслись к ней. Смутно не верил я вашим коровкам, Доггер, и репе, и сытым фазаньим курочкам; случайно попав на верный след к вашей душе, я достиг цели. Ужасная сила гения водила вашей кистью. Да, я украл глазами то, из чего вы сделали тайну, но воровством этим горжусь не меньше, чем Колумб – Западным полушарием, так как мое призвание – искать, делать открытия, следить!

– Молчать! – вскричал Доггер. В его лице не было и тени благодушного равновесия; но не было и злобы, несвойственной людям характера высокого; тяжелое возмущение выражало оно и боль. – Вы смеете еще... О, Аммон, вы, с вашими разговорами о проклятом искусстве, заставили меня не спать в муках, недоступных для вас, а теперь, врываясь сюда, хотите меня уверить, что это достойно похвалы. Кто вы, чтобы осмелиться на подобное?

– Искатель, искатель приключений, – холодно возразил Аммон. – У меня иная мораль. Иметь дело с сердцем и душой человека и никогда не подвергаться за эти опыты проклятиям – было бы именно не хорошо; чего стоит душа, подобострастно расстилающаяся всей внутренностью?

– Однако, – сказал Доггер, – вы смелы! Я не люблю слишком смелых людей. Уйдите. Возвращайтесь в свою комнату и укладывайтесь. Тотчас же вам подадут лошадь; есть ночной поезд.

– Прекрасно! – Аммон подошел к двери. – Прощайте!

Он хотел выйти, как вдруг обе руки Доггера с силой схватили его за плечи и повернули к себе. Аммон увидел жалкое лицо труса; безмерный испуг Доггера передался ему, и он, не зная в чем дело, побледнел от волнения.

– Никому, – сказал Доггер, – ни слова никому совершенно! Ради меня, ради бога, пощадите: ничего, никому!

– Даю слово, да, я даю слово, успокойтесь.

Доггер отпустил Аммона. Взгляд его, полный ненависти, остановился поочередно на каждой из трех картин. Аммон вышел, спустился по лестнице и, войдя в свое помещение, приготовился ехать. Через полчаса он, сопровождаемый слугой, вышел, не встретив более Доггера, к темному подъезду со стороны сада, где стоял экипаж, уселся и выехал.

Звездная роса неба, волнение, беспредельная, благоухающая тьма и дыхание придорожных роц усиливали очарование торжества. В такт торжествующему сердцу Аммона глухо билось огромное слепое сердце земли, приветствующее своего сына-искателя. Смутно, но цепко нащупывал Аммон истину души Доггера.

– Нет, не уйдешь от себя, Доггер, нет, – сказал он, вспоминая рисунки.

Возница, ломая голову над внезапным отъездом гостя, несмело обернулся, спрашивая:

- Никак дело случилось экстренное у вас, сударь?
- Дело? Да. Именно – дело. Я должен немедленно ехать в Индию. У меня там захворали чумой: бабушка, свояченица и три двоюродных брата.
- Вот как! – удивленно произнес крестьянин. – Дела-а!..

IX

Вторая и последняя встреча с Доггером

– Милый, – сказал Тонар Куту, распечатав одно из писем: – Доггер, у которого ты был четыре года тому назад, просит тебя ехать к нему немедленно. Не зная твоего адреса, он передает свою просьбу через меня. Но что могло там случиться?

Аммон, не скрывая удивления, быстро подошел к приятелю.

– Просит?! В каких выражениях?

– Конца восемнадцатого столетия. «Вы очень обяжете меня, – прочел Тонар, – сообщив господину Аммону Куту, что я был бы весьма признателен ему за немедленное с ним свидание»... Не объяснишь ли ты, в чем дело?

– Нет, я не знаю.

– Да ну?! Ты хитрый, Аммон!

– Я могу только обещать тебе, если удастся, рассказать после.

– Прекрасно. Любопытство мое задето. Как, ты уже смотришь на часы? Посмотри расписание.

– Есть поезд в четыре, – сказал, нажимая кнопку звонка, Аммон. Слуга остановился в дверях. – Герт! Высокие сапоги, револьвер, плед и маленький саквояж. Прощай, Тонарище! Я еду в веселые луга Лилианы!

Не без волнения ехал Аммон к странному человеку на его зов. Он хорошо помнил до сих пор тягостный удар по душе, нанесенный двуликой женщиной чудесных картин, и ставил их невольно в связь с приглашением Доггера. Но далее было безрассудно гадать, чего хочет от него Доггер. Вероятным оставалось одно, что предстоит нечто серьезное. В глубокой задумчивости стоял Аммон у окна вагона. Все свое знание людей, все сложные узлы их душ, все возможности, вытекающие из того, что видел четыре года назад, перебрал он с тщательностью слепого, разыскивающего ощупью нужную ему вещь, но, неудовлетворенный, отказался, наконец, предвидеть будущее.

В восемь часов вечера Аммон стоял перед тихим домом в саду, где ярко, пышно и радостно молились цветы засыпающему в серебристых облаках солнцу. Аммона встретила Эльма; в ее движениях и лице пропала музыкальная ясность; огорченная, нервная, страдающая женщина стояла перед Аммоном, тихо говоря:

– Он хочет говорить с вами. Вы не знаете – он умирает, но, может быть, надеюсь, еще верит в выздоровление, сделайте, пожалуйста, вид, что считаете его болезнь пустяком.

– Надо спасти Доггера, – сказал, подумав, Аммон. – Есть ли у него от вас что-нибудь тайное?

Он смотрел Эльме прямо в глаза, придав вопросу осторожную значительность тона.

– Нет, ничего нет. А от вас?

Это было сказано ощупью, но они поняли друг друга.

– Вероятно, – пытливо улыбнулся Аммон, – вы не остались в недоумении относительно спешности прошлого моего отъезда.

– Вы должны извинить Доггера и... себя.

– Да. Во имя того, что вам известно, Доггер не смеет умирать.

– Врачи обманывают его, но я все знаю. Он не проживет до конца месяца.

– Как смешно, – сказал, идя за Эльмой, Аммон, – я знаю огородного сторожа, которому сто четыре года. Но он, правда, не смыслит ничего в красках.

Когда они вошли к больному, Доггер лежал. Ранние сумерки оттеняли прозрачное его лицо легкой воздушной тканью; руки больного лежали под головой. Он был волосат, худ и угрюм;

глаза его, выразительно блеснув, остановились на Куте.

– Эльма, оставь нас, – сказал, хрипя, Доггер, – не обижайся на это.

Женщина, грустно улыбнувшись ему, ушла. Аммон сел.

– Вот еще одно приключение, Аммон, – слабо заговорил Доггер, – отметьте его в графе путешествий очень далеких. Да, я умираю.

– Вы, кажется, мнительны? – беззаботно спросил Аммон. – Ну, это слабость.

– Да, да. Мы упражняемся во лжи. Эльма говорит то же, что вы, а я делаю вид, что не верю в близкую смерть, и она этим довольна. Ей хочется, чтобы я не верил в то, во что верит она.

– Что с вами, Доггер?

– Что? – Доггер, закрыв глаза, усмехнулся. – Я выпил, видите ли, холодной родниковой воды. Надо вам сказать, что последние одиннадцать лет мне приходилось пить воду только умеренной температуры, дистиллированную. Два года назад, весной, я гулял в соседних горах. Снеговые ручьи неслись в пышной зелени по сверкающим каменным руслам, звенели и бились вокруг. Голубые каскады взбивали снежную пену, прыгая со всех сторон с уступа на уступ, скрещиваясь и толкая друг друга, подобно вспугнутому стаду овец, когда, попав в тесное место, струятся они живою волной белых спин. Ах, я был неблагодарен, Аммон, но душный жаркий день измучил меня жаждой. С крутизны на мою голову падал тяжелый жар неба, а изобилие пенящейся кругом воды усиливало страдания. Возвращаться было не близко, и меня неудержимо потянуло пить эту дикую, холодную, веселую воду, не оскверненную градусником. Невдалеке был подземный ключ, я нагнулся и пил, обжигая губы его ледяным огнем; то была вкусная, шипящая, как игристое вино, пахнущая травой вода. Редко приходится так блаженно утолять жажду. Я пил долго и затем... слег. У больных, знаете ли, часто весьма тонкий слух, и я, не без усилия однако, подслушал за дверьми доктора с Эльмой. Доктор хорошо поторговался с собой, но все же разрешил мне жить не далее конца этого месяца.

– Вы поступили ненормально, – сказал, улыбаясь Кут.

– Отчасти. Но я устаю говорить. Те две картины, где она обернулась... вы как думаете, где они? – Доггер заволновался. – Вот на этом столе ящик, откройте могилку.

Аммон, встав, приподнял крышку красивой шкатулки, и от движения воздуха часть белого пепла, взлетев, осела на рукав Кута. Ящик, полный до краев этим пушистым пеплом, объяснил ему судьбу гениальных произведений.

– Вы сожгли их!

Доггер кивнул глазами.

– Это если не безумие, то варварство, – сказал Аммон.

– Почему? – коротко возразил Доггер. – Одна из них была зло, а другая – ложь. Вот их история. Я поставил задачей всей своей жизни написать три картины, совершеннее и сильнее всего, что существует в искусстве. Никто не знал даже, что я художник, никто, кроме вас и жены, не видел этих картин. Мне выпало печальное счастье изобразить Жизнь, разделив то, что неразделимо по существу. Это было труднее, чем, смешав воз зерна с возом мака, разобрать смешанное по зернышку, мак и зерно – отдельно. Но я сделал это, и вы, Аммон, видели два лица Жизни, каждое в полном блеске могущества. Совершив этот грех, я почувствовал, что неудержимо, всем телом, помыслами и снами тянет меня к тьме; я видел перед собой полное ее воплощение... и не устоял. Как я тогда жил – я знаю, больше никто. Но и это было мрачное, болезненное существование – тлен и ужас!

То, чем я окружил себя теперь: природа, сельский труд, воздух, растительное благополучие, – это, Аммон, не что иное, как поспешное бегство от самого себя. Я не мог показать людям своих ужасных картин, так как они превознесли бы меня, и я, понукаемый тщеславием, употребил бы свое искусство согласно наклону души – в сторону зла, а это несло гибель мне первому; все темные инстинкты души толкали меня к злему искусству и злой жизни. Как видите, я честно уничтожил в доме всякий соблазн: нет картин, рисунков и статуэток. Этим я убивал воспоминание о себе, как о художнике, но выше сил моих было уничтожить те две, между которыми шла борьба за обладание мной. Ведь это все-таки не так плохо сделано! Но дьявольское лицо жизни временами соблазняло меня, я запирался и уходил в свои фантазии – рисунки, пьянея от кош-

марного бреда; той папки тоже нет больше. Вы сдержали слово молчания, и я, веря вам, прошу вас после моей смерти выставить анонимно третью мою картину, она правдива и хороша. Искусство было проклятием для меня, я отрекаюсь от своего имени.

Он помолчал и заплакал, но слезы его не вызвали обидной жалости в Куте; Аммон видел, что большего насилия над собой сделать нельзя. «Сгорел, сгорел человек, – думал Аммон, – слишком непосильное бремя обрушила на него судьба. Но скоро будет покой...»

– Итак, – сказал, успокаиваясь, Доггер, – вы сделаете это, Аммон?

– Да, это моя обязанность, Доггер, я нежно люблю вас, – неожиданно для себя волнуясь более, чем хотел, сказал Кут, – люблю ваш талант, вашу борьбу и... последнюю твердость.

– Дайте-ка вашу руку! – попросил, улыбаясь, Доггер. Рукопожатие его было еще резко и твердо.

– Видите, я не совсем слаб, – сказал он. – Прощайте, беспокойная, воровская душа. Эльма отдаст вам картину. Я думаю, – наивно прибавил Доггер, – о ней будут писать...

Аммон и его подруга, худенькая брюнетка с подвижным как у обезьянки лицом, медленно прокладывали себе дорогу в тесной толпе, запрудившей зал. Над головами их среди других рам и изображений стояла, готовая обернуться, живая для взволнованных глаз женщина; она стояла на дороге, ведущей к склонам холмов. Толпа молчала. Совершеннейшее произведение мира являло свое могущество.

– Почти невыносимо, – сказала подруга Кута. – Ведь она действительно обернется!

– О нет, – возразил Аммон, – это, к счастью, только угроза.

– Хорошо счастье! Я хочу видеть ее лицо!

– Так лучше, дорогая моя, – вздохнул Кут, – пусть каждый представляет это лицо по-своему.

Бой на штыках

Я всю ночь не сомкнул глаз; я не боялся, но неотвратимая необходимость испытать завтра же нечто совсем особенное, непохожее на лежание в окопах и стрельбу в невидимого врага – волновала меня. Я старался предугадать будущие свои ощущения... Вот я, тяжело дыша, бегу с выставленным вперед штыком на врага, бегущего ко мне с таким же острым штыком... мы сталкиваемся...

На этом моя бедная фантазия останавливалась, а сердце сжималось.

Рассвело, обычная боевая возня пришла к концу, и рожки заиграли выступление. Мы совершили порядочный переход, вступили в перестрелку с врагом, окопались, и наконец после артиллерийской подготовки был отдан приказ идти штыковой атакой на неприятельские окопы.

Мы поднялись, крикнули нестройно – «ура!» и, растянувшись по неровному полю прыгающими зигзагами человеческих линий, побежали вперед. Навстречу дул сильный ветер; в его ровном гуле вспыхивали свистки пуль, летевших навстречу. Я молча ожидал смерти, спеша изо всех сил к немецкой траншее.

Нервность моего состояния была так велика, что я весь дрожал. В это время произошло нечто весьма странное...

Мне показалось, что я остановился на мгновение, против воли, а затем, получив какую-то необъяснимую легкость во всем теле, побежал дальше. Впереди меня двигался солдат, к которому я сразу почувствовал болезненный интерес. Все в этом солдате – его фуражка, спина, сапоги, манера бежать – казались мне давно, давно знакомыми, виденными; нагнав солдата, я посмотрел на его лицо; это было мое лицо; да, я силой сверхъестественного нервного напряжения видел самого себя; я как бы раздвоился, хотя сознавал, что очень тесная связь существует между мной просто и между мной – солдатом. То, что было во мне солдатом, бежало отдельно от меня, механически. Этот психологический миг давал полную иллюзию двойственности. Итак, я видел себя и – что скрывать! – опасался за себя, вступившего в эту минуту в рукопашную схватку с бледным немецким солдатом, весьма проворным и ловким малым.

Я хорошо видел все несовершенство приемов, употребленных моим двойником Фаниковым без моего участия – без участия меня – разумного, волевого существа; в то время, как я-первый представлял собою лишь механическидвигающееся тело, Фаников-второй два раза был чуть-чуть не пробит немецким штыком, и я понял, что оба мы – я-первый и я-второй – погибнем, если я не соединюсь с Фаниковым-вторым и не сделаю его удары сознательными. Я достиг этого страшным напряжением воли, но как – не смогу объяснить. И тотчас же мои руки стали тверже, движения быстрее, я сразу подметил слабые стороны противника, обманул его ложным выпадом, упав на колено, и проткнул ему штыком ногу. От боли и неожиданности он открыл на секунду грудь; этого было вполне достаточно, и я поразил немца. Наша пара дралась дольше всех; я догнал ушедших далеко вперед своих и подумал: «Теперь я знаю смысл выражения – „выйти из себя“... Это опасно!»

Тайна лунной ночи

Николай Селиверстов, рядовой пехотного батальона, в одну из светлых лунных ночей стоял на одиноком посту, на вершине гранитной скалы, вблизи Карпатских перевалов.

Главной задачей того ответственного пункта, на котором оказался в эту ночь Селиверстов, было – заметить возможное обходное движение неприятельской колонны; относительно этого имелись сведения, указывающие на возможность данной опасности.

Скала вышиной футов пятьдесят господствовала над местностью. Со стороны гор скала примыкала к узкой, глубокой пропасти, со стороны равнины открывался ясный лунный пейзаж, ограниченный на горизонте дымной рекой и черной полосой леса. За пропастью, по ту сторону ее, возвышался ряд более высоких скал, поросших кустарником и представляющих отличные места для засады.

Селиверстов стоял на небольшой каменной площадке, вполне сознавая, что яркий свет луны ясно показывает его фигуру по ту сторону пропасти. С той стороны часовой был виден, как яичко на бархате.

Любой шатун гуцул, среди которых осталось еще немало приверженцев неприятеля, мог выследить этот пост и донести по адресу или же сам подстрелить солдата. Селиверстов знал, что этот пост, таким образом, очень опасен, и думал о смерти. Смерть представлялась ему похожей на мрачный, глубокий колодец, в котором на дне лежит темная синяя вода с отраженным в ней месяцем. Мысли о смерти, конечно, вполне естественные в боевой обстановке и в уединенном месте, – как это ни странно, развлекали Селиверстова. Он беспрестанно возвращался к ним, находя какое-то странное удовлетворение в попытках представить момент смерти, предвосхитить его.

На площадке скалы, где стоял Селиверстов, лежал крупный камень в форме наковальни, и лунная тень от острого конца камня, сообразно ходу ночного светила, медленно передвигалась слева направо. Вскоре она должна была коснуться края площадки. Усталый Селиверстов присел на камень, наблюдая за странными очертаниями тени, напоминающей меч. Неожиданно за пропастью раздался слабый шум щебня, сыплющегося с тропинки, такой шум производит человеческая нога, раскатившаяся на крутом спуске. Селиверстов насторожился, и в этот момент за скалами грянул выстрел, прозвучавший одиноко и жалобно; эхо его, скакнув в пустыне слабыми отражениями стука, затихло. Селиверстову показалось, что он слышал свист пули.

Он переживал весьма странное состояние. Вместо обычного, казалось бы, в таких случаях – если не испуга, то, хотя бы, некоторого волнения, Селиверстов переживал некую апатию и полное равнодушие к выстрелу. Сознание опасности как бы скользнуло по его душе рикошетом. Он продолжал сидеть, безучастный к только что прогремевшему выстрелу, и смотрел на тень, почти коснувшуюся уже края площадки. Наконец он поймал себя на том, что пытается определить время, в которое тень камня успеет коснуться края. Непосредственно за этим произошло в нем таинственное смешение, возбуждение чувств, и он понял, что не сидит на камне, а стоит на краю площадки и смотрит. Очень ясно, как в зеркале, увидел он себя лежащим ничком возле камня. Его руки, или руки его двойника, были широко раскинуты, из простреленной в сердце

груди текла черная при луне кровь. Тогда он понял, что он убит и видит самого себя лежащим бездыханно. Но в этом не было ничего страшного.

Тень камня, имеющая форму меча, коснулась края площадки. Сознание исчезло, и похолодевший труп Селиверстова остался лежать до утра на маленькой, узкой площадке горной скалы.

Слово-убийца

В Италии, в Генуе, находилась, да находится и посейчас, типография некоего Джузеппе. С началом войны типография эта, раньше работавшая весьма вяло, так как у нее было мало заказов, стала поправляться делами. В ней стали печататься два уличных листка, что заставило хозяина, разумеется, обзавестись большим количеством шрифта, чем было у него до сих пор.

К тому времени в Германии стал ощущаться недостаток в металлах, а главным образом – в свинце и меди. Чтобы добыть эти, столь необходимые для войны металлы – немецкие агенты и их подручные в разных странах взялись за все ухищрения, чтобы достать как можно больше меди и свинца. Во многих городах Европы, а в том числе и в Генуе, имелись у них подкупленные люди во всевозможных металлических предприятиях, в частности – и в типографиях, откуда эти люди крали свинцовый типографский шрифт и передавали его немецким скупщикам. Медь и свинец – отовсюду понемногу, но в общем – в значительных количествах переправлялись в Германию и шли на выделку патронов и пуль.

В типографии Джузеппе работал некто Филипп. Он был наборщик. Неумеренное употребление вина, привычка всегда и всюду искать наслаждений, а также склонность к ночному препровождению времени свели его с неким Валентином Цейкрафтом. Цейкрафт предложил Филиппу украсть два пуда шрифта, за деньги, конечно, не говоря – зачем.

Поздно ночью Филипп пробрался в типографию и стал насыпать в мешок свободный шрифт. Свободного шрифта было мало. Тогда он, будучи пьян, стал рассыпать гранки набора одной книги; в одной из этих гранок, между прочим, была фраза: «любовь победит»...

Буквы этих слов так же, как многих других, рассыпались в руке Филиппа; свалив всю добычу в мешок, поспешил он в кабак к Цейкрафту, где пил с ним, получил деньги и на четвереньках пошел домой.

Вскоре после этого Филиппу захотелось пойти добровольцем во французскую армию – он хотя и был плохим человеком, но был неплохим патриотом! – и стал Филипп сражаться в волонтерском отряде Гарибальди против ненавистных Италии швабов.

Тем временем, путем таинственного соотношения вещей, мало понятного нашему разуму, но, должно быть, – необходимого для жизни – буквы слова «любовь» при переплавке шрифта на пули – не рассеялись частицами в общей массе свинца, а – случайно или не случайно – вошли целиком в состав одной пули, которой и было заряжено ружье одного баварца. Ружье это во время одной атаки было направлено в грудь Филиппу и, как полагается, произвело выстрел.

Пуля, вылитая из слова «любовь», пробила Филиппу сердце и остановилась в нем. Перестало биться, остановилось сердце. Никто из тех, кто продолжал сражаться вокруг неподвижного тела Филиппа, не мог даже и подозревать, что, может быть, в этот час произошло самое странное явление с тех пор, как существует земля, ибо, когда же еще было видано, чтобы такое слово получило такое назначение? Полагаем, что никогда.

И Филипп не узнал этого.

Убийство в рыбной лавке

Действительное происшествие в городе Зурбагане, пережитое другом автора, учителем математики Пик-Миком.

Изложено А.С. Грином.

Мои несчастья происходили от неумеренности во всем, от нерасчетливости в трате сил ор-

ганизма, могущего, как всякий бешено эксплуатируемый организм, давать лишь краткое повышенное состояние того или другого рода. Закон реакции способен испытать даже боров, дома валяющийся в грязи, а личность современного неврастеника – весьма хрупкая арфа для продолжительных бурных мелодий. Пользуясь иногда (очень редко) модными шаблонными выражениями, я могу сказать, что «устал жить»; слова эти не вполне искренни, но объясняют, в чем дело. Я стал замороженным судаком, духовной развалиной, или, что то же, акробатом со сломанными ногами. Однако желания не угасли и были (в силу бездействия) довольно разнообразны.

Весну прошлого года мне случилось провести в Зурбагане. Этот удивительно живой южный город увеличил несколько мой аппетит и улучшил дыхание, но лукавая апатичность сделалась уже, по-видимому, постоянной окраской моего духа, и я был бессилен пожелать даже прекращения этого состояния. Все существо мое пропиталось бесцветной томностью и бессодержательной задумчивостью. Я мог часами слушать разные пустяки, не проронив ни слова, или сидеть у окна с видом на море, зевая, как мельник в безветренный день.

Старушка, у которой я снял комнату, толстенькая и свежая, без единого пятнышка на ослепительной белизны переднике, без конца рассказывала мне о выгнанном ею из дома пьянице-муже или семейных делах соседей, в которых она открывала качества самого противоположного свойства: или ангельскую доброту или же самое черное злодейство. Слушая болтовню этой полустарухи, полудамы, я часто по ее просьбе помогал ей мотать нитки, растягивая их на растопыренных пальцах. В конце концов я привык к этому глупому занятию, – моему бездействующему уму нравилось течение бесконечной нитки, обходящей вокруг клубка, здесь не над чем было думать и не о чем беспокоиться.

Однажды в жаркий полдень я дремал у окна над книгой, когда в полуотворенную дверь просунулась седая голова почтенной женщины.

– Ах, господин Пик-Мик! – сказала хозяйка, качая головой. – Вот уж скучно вам, как посмотрю. Не будете ли вы так любезны помочь мне с этой голубой шерстью?

– Это очень кстати, – шутливо заявил я, – идите, идите сюда. – Я воспрянул духом, как боевой конь.

Полезное занятие началось. Однако, не успели мы смотать десяти сажень шерсти, как в прихожей залился звонок, и хозяйка встала.

– Вот и угли принесли! – вскричала она тоном полководца, бросающего резервы. – Я ему, этому негодяю, глаза выцарапаю. Каково это утром обходиться без углей, подумайте-ка, господин Пик-Мик!

Она отправилась, по своему образному выражению, «выцарапывать» глаза носильщику, а я положил шерсть на подоконник и закурил. Помню, я размышлял в это время о только что прочитанном описании Фарнезского Геркулеса в книге г-на Лабазейля, и то что последовало немедленно не имело и не могло иметь никакого отношения к данному состоянию моего ума.

Я услышал на каменном тротуаре под окном торопливый гул шагов группы людей, свернувших на нашу улицу из соседнего переулочка. Я их не видел, они шли быстро и громко переговаривались. Голоса их звучали тревожно и возбужденно. Кто-то сказал: – «Незадача вашему отцу, Крисс, помер он страшной смертью». – «Только попадись мне убийца! – вскричал, я полагаю, сын Крисса. – Я поступлю с ним, как жернов с мукой!» – «И вот, – подхватил третий, – надо же было снять лавку в таком глухом месте!» – «Кто же знал, – возразил второй, – угол Черногорской и Вишневого Сада всегда давал пользу. На рыбу там большой спрос». – «Дар-бер-гур-бун-мум»... Шумели, уже неясно, голоса, удаляясь. На улице стало тихо.

Поспешные шаги, торопливый разговор, из которого было совершенно ясно, что на углу улиц Черногорской и Вишневого Сада недавно, вернее, только что, произошло убийство, сильно разожгли мое любопытство, вспыхивающее за последнее время только от неожиданных резких толчков, подобных настоящему. Содержание разговора точно указывало жертву. Убили хозяина рыбной лавки, какого-то Крисса, и вот его сын спешил, надо думать, с товарищами к месту преступления, извещенный полицией о сем печальном событии. Я с удовольствием ощутил нестерпимое желание поглазеть на труп Крисса, вздохнуть атмосферой уличного возбуждения, толкаться в толпе зрителей, ахать и охать.

Стараясь не дать угаснуть этому редкому для меня проявлению интереса к человеческой жизни, я поспешно надел шляпу, взял свою трость с серебряным набалдашником, изображающим кулак, и быстро пошел на улицу мимо разгоряченной старушки, копавшейся с причитанием и бранчивостью в кошельке. Угольщик, видимо, сдал товар и ждал за него уплаты. Ни тот, ни другая, кажется, не заметили моего ухода.

Угол Черногорской и Вишневого Сада был действительно изрядно глухим местом, обретаюсь среди пустырей, в самом конце гавани, населенном инвалидами, спившимися матросами, судовыми рабочими и мелкими огородниками. Имя «Вишневый Сад» было дано не иначе как в насмешку. Эта кривая улица изобиловала сорными травами и полуразрушенными заборами. Не лучше выглядела и Черногорская, выходя одним концом к безотрадному пейзажу свалок. За дальностью расстояния пришло мне в голову нанять фаэтон, но я почему-то не сделал этого. Шагая, шагая и шагая, появился я наконец на этом углу, где над фасадом одноэтажного дома виднелась черная от дождей вывеска с зелеными буквами, возвещавшими, что здесь «Рыбная торговля Крисса».

Двери лавчонки были открыты настежь, у распахнутых половинок двери стояли в полном порядке устричные корзины. На улице не было ни души. Великое разочарование испытал я, когда, подойдя к лавке, увидел спокойно сидящего внутри ее на табурете хозяина. В одной руке держа чашку с кусками вареной рыбы, таскал он из этой посуды свободной рукой рыбье мясо, аппетитно совал в рот и аппетитно проглатывал, время от времени гоняя мух, стайками бунчавших над чайнкой.

Решив, что разговор, слышанный мною под окном, был лишь интересной слуховой галлюцинацией, я, желая окончательно осветить положение, вошел в лавку. Хозяин, встав, выжидательно смотрел на меня. Произошел следующий диалог:

Я. Здравствуйте!

Он. Мое почтение, господин!

Я. Это лавка Крисса?

Он. Она самая, Криссова.

Я. Вы и есть – Крисс?

Он (величаво). Я – Крисс.

Здесь со мной случился один из тех припадков рассеянности, благодаря которым я не раз попадал в странные положения. Я проникся духом этой рыбной лавки, некоторой яркостью ранее безразличных для меня впечатлений. Глубоко задумавшись, рассматривал я огромные столы, заваленные телами рыб. Тут были палтусы, форели, миноги, угри, камбала, сазаны, морские окуни и много пород, коим я не слыхал названия. Хвосты свешивались со столов, розоватые, белые и пятнистые брюха оканчивались разинутыми щелями жабр, спины отливали темно-зеленым золотом, червленым серебром, сталью и красной медью. Солнце, кидаясь в груды оперенных плавниками спин, мыло их чешую желтым светом, похожим на одуванчики. За головами самых темных, черных и огромных рыб в стенную щель лился более бледный, отраженный свет двора, и какой-то застывший, выпученный глаз в костлявой орбите маячил в этом свете, вспоминая, должно быть, давно угасший свет подводного мира.

Очарованный лавкой, я почувствовал зависть к Криссу. Мне страшно хотелось (хорошо и то, что я стал способен пожелать хоть таких пустяков), страшно хотелось быть Криссом, хозяином рыбной торговли, есть, как он, пальцами из глиняной чашки, рубить ослепительно широким ножом упругие рыбы хвосты, пачкать чешуей руки и дышать этой причудливой, свежей атмосферой, полной запахов моря.

– Какой рыбы и сколько? – грубо спросил Крисс.

Я опомнился. Мой блуждающий взгляд, как видно, разбудил в Криссе подозрительность. Всякий хозяин рыбной лавки имеет право знать, зачем пришел к нему ничего не говорящий, а лишь тупо и долго осматривающий товар человек. Может быть, Крисс видел во мне нищего, или переодетого санитарного чиновника, или вора.

– Крисс, – издалека начал я. – Бывали у вас когда-нибудь сильные капризы, такие – понимаете – сильные... такие...

– Что вам угодно, наконец? – взревел он, подтягивая передник. Большая толстогубая голова Крисса склонилась, как у козла перед ударом рогами. Он близко подступил ко мне, выпятив грудь. – Идите-ка, молодец, проспитесь!

Я знал прекрасно, что Крисс, как лавочник, не мог говорить иначе, и в то же время сильно досадовал, что из этого примитивного цельного человека нельзя вытянуть другого Крисса, такого, который понял и оценил бы мое, в конце концов, весьма похвальное восхищение родом занятия, имеющего прямую связь с природой, что всегда ценно. Собираясь уйти, я только лишь начал объяснять, как мог популярнее – что лавка и товар мне очень понравились, как вдруг, не дослушав, приняв, может быть, мои слова за издевательство, Крисс сильно ударил меня по голове выше уха.

Я – человек смирный, однако, принимая во внимание обстоятельства дела – разочарование при виде живого Крисса, нелепость положения и сильную боль от мастерски направленного удара, – счел нужным ответить тем же. Я взмахнул тростью, Крисс бросился на меня, и увесистый металлический набалдашник моей палки резко хватил его в левую височную кость. Крисс постоял с внезапно остановившимся взглядом секунды три, всхлипнул и грохнулся на пол, тяжело проехав затылком по ножке стола.

Не зная – жив Крисс, мертв или же, как говорится, полумертв, я быстро выглянул на улицу, опасаясь свидетелей. Только вдали брела некая одинокая фигура, но и она шла не по направлению к лавке. Естественно, что я был сильно возбужден и расстроен; злобное оживление драки еще держало меня вне испуга за совершившееся; тем не менее я, удаляясь как мог быстрее, свернул окольными переулками к центру. На ходу мне пришло в голову, что теперь разговор под окном, который я слышал – или мне показалось, что слышал – час назад, – что подобный разговор теперь никак нельзя было бы принять за галлюцинацию. Почему я слышал именно такой разговор, когда Крисс был совершенно здоров и неопровержимо жив? Что если он лежит не оглушенный, а мертвый – к какому порядку сверхъестественного отнесу я в таком случае недавний мой слуховой бред? «Мы еще подумаем над этим», – сказал я, пугаясь необычности происшедшего и свирепо колеся палкой по воздуху. Здесь бросилось мне в глаза, что палка лишена набалдашника; он, видимо, отлетел в момент удара. Странно, что это обстоятельство, могущее послужить уликой, скорее обрадовало, чем испугало меня, белый излом палочного конца выглядел вестью из мира реальности, доказательством, что я не сплю и не болен. Однако поравнявшись с невысоким забором, за коим шумел сад, я швырнул палку туда и с глухо тоскующим сердцем поспешил домой.

Когда я помогал старухе мотать шерсть, стул мой стоял у окна и теперь оставался там же; войдя в свою комнату, я почувствовал большую усталость, но сесть на этот стул мне было противно: я опасался его. Мне казалось, что у окна должно произойти нечто еще более тягостное и необъяснимое, чем совершившееся. Пока я стоял среди комнаты, в состоянии полного упадка сил и странной оторванности от всего в мире, как бы рассматривая этот мир в потайную щель, – вошла старушка. Неоконченный моток шерсти висел на ее руке. На ее расспросы, куда я ходил, я, кажется, пробормотал что-то про аптеку, забытый рецепт и, видя ее суетливое желание заняться мотанием шерсти, – сел, поборов мнительность, на стул к окну. Мне хотелось немудрых, механических действий, способных рассеять жуткий наплыв чувств. Я взял моток и стал отпускать нитку.

Тогда, и снова в полной тишине временно затихшей улицы, услышал я с ужасом и отвращением перед непостижимым гулким, торопливым стук шагов кучки людей, проговоривших на ходу то же, что слышал я ранее, и с теми же интонациями, как повторенную пластинку граммофона: – «Незадача вашему отцу, Крисс, помер он страшной смертью!» – «Только попадись мне убийца! Я поступлю с ним, как жернов с мукой!» – «И вот надо же было снять лавку в таком глухом месте». – «Кто же знал; угол Черногорской и Вишневого Сада всегда давал пользу. На рыбу там большой спрос». – Дальнейший разговор, как ранее, слился в непроницаемый гул, и шаги стихли за поворотом.

– Вы слышали что-нибудь? – вскричал я, хватая старуху за руку.

Мой вид и, вероятно, бледность поразили старуху.

– Кого-то убили, кажется, – нерешительно сказала она, – что-то болтали сейчас под окном об этом; да наш город, как вы знаете, не из тихих, здесь на каждом шагу... Что с вами, о, что это с вами? – вдруг крикнула она, – вам дурно? – но я эти ее слова припомнил лишь через несколько минут, очнувшись от сильного головокружения, близкого к обмороку.

Вечерняя газета мало что нового принесла мне. Вот текст заметки:

«Около трех часов дня в рыбной лавке, что на углу Черногорской и Вишневого Сада, убит рыбак Крисс. Мотивы преступления неизвестны. Деньги и товар целы. Стремительный удар нанесен в висок, по-видимому, стальным набалдашником палки; набалдашник этот, имеющий форму сжатого кулака, поднят тут же, предполагая, что он сломался в момент удара. Это массивный стальной предмет, весом около пяти восьмых фунта. Следствие производится.»

А прогос... Нам сообщают, что единственный сын Крисса, студент местного университета, узнав о смерти отца, пережил сильное нервное потрясение, осложнившееся интересным психическим эффектом. Именно: он говорил пользовавшему его доктору Паульсону (Площадь Процессий, 5), что, отправляясь с товарищами к месту печального происшествия, не в силах был отделаться от убеждения (впечатления), что некогда шел уже, в таком же состоянии духа, и с той же печальной целью по тем же самым улицам. Явление это, довольно частое и испытанное каждым по какому-либо поводу, подробно разработано г. Паульсоном в его книге «Рефлексы сознания».

Я постарался, насколько мог, забыть об этой истории... Паульсон умело пристегнул свое имя к убийству. Это реклама. Приятно видеть в запутанной, таинственной сущности нашей жизни господина, отовсюду вылавливающего рубли.

Там или там

Я проснулся. Было очень тихо. Я лежал под чем-то теплым, закрывавшим меня с головой. Я медлил откинуть свое покрывало и осмотреться. Все произошло из-за виденного мной только что сна.

Сон был странно неуловим, как большинство тяжелых и крепких снов, но общее от него впечатление было такое, что я делал во сне нечто, очень важное и теперь, наяву. Кроме того, мне казалось, что я делал это нечто дома, в домашней обстановке, и что сейчас я тоже нахожусь дома; что стоит мне только открыть то неизвестное, что покрывает меня, как я увижу знакомые предметы, обои, стулья, свой письменный стол и все, к чему так привык за долгие годы обывательской, мирной жизни.

С другой стороны, рассудок твердил мне, что я нахожусь не дома, а в окопе, что покрыт я шинелью, а не одеялом и что вчерашняя перестрелка, пришедшая на память, должна убедить меня наконец в том, что я действительно на войне.

Эта диковинная нерешительность сонного еще сознания осложнялась тем, что воображение, ясно нарисовавшее домашнюю обстановку, задавало лукавый вопрос: «А не приснилось ли тебе, что ты на войне? Может быть, едва лишь ты откинешь это (одеяло?), как сразу увидишь прежде всего – ночной столик с медным подсвечником, книгой и папиросами, а затем – умывальник, комод и зеркало?»

Представление о войне и представление о домашней обстановке были одинаково живы. Я не знал – что из них сон, и что – действительность? Разум твердил, что я лежу у стенки окопа, под шинелью, а окрепшая иллюзия, – что лежу дома, на кровати, под одеялом.

Следовало просто встать и посмотреть вокруг – протереть глаза, как говорят в таких случаях. Я освободил голову. Мутный дневной свет блеснул в лицо, что-то черное и серое, в неясных очертаниях, показалось на мне и скрылось, так как в этот момент разорвалась надо мной первая неприятельская шрапнель и я потерял сознание.

Что шрапнель разорвалась, что я, перед этим, лежал полусонный, стараясь сообразить, где

я – дома или в окопе, – это я хорошо помню. Далее же я ничего не помню вплоть до очень похожего на этот момента: я так же лежу с закрытой чем-то мягкой и теплой головой, и не знаю, что это – одеяло или шинель? Я, по-видимому, спал и проснулся. Один раз я просыпаюсь так или второй раз? Я не могу решить этого. Мне кажется, что я в окопе, что стоит открыть глаза, как увижу я серые фигуры солдат, блиндаж, комья земли и небо. Но по другому ощущению – ощущению некоторого физического удобства – мне кажется, что я – дома.

Стоит открыть глаза, откинуть с головы это теплое (шинель? одеяло?) и все будет ясно.

Открываю. Я – дома: это не сон, я действительно дома; в кресле против меня спит, сидя, измученная долгим ночным уходом за мной, жена. Бужу ее. Она, плача, говорит, что выпросила меня из лазарета на квартиру, что я сильно ранен шрапнелью в голову, но поправляюсь, а раньше был без сознания.

Лежу и стараюсь решить: два раза была иллюзия недействительной обстановки или – раз? Не бред ли это был двойной, дома, во время болезни?

Ужасное зрение

Слепой шел, ощупывая дорогу палкой и по временам останавливаясь, чтобы прислушаться к отдаленной пальбе. Удар за ударом, а иногда и по два и по три вместе, колыхались пушечные взрывы над линией перелесков и желтых полей, обвешанных голубыми тонами полудня, склоняющегося к вечеру. Слепому звали Акинф Крылицкий. Он ослеп давно и случайно; ослеп так:

Мальчиком пас он коров во время грозы; думая укрыться от дождя, Акинф подошел к большому осокору, но в этот момент молния разрушила дерево и оглушила Крылицкого, он упал без сознания, а когда встал, то ничего не увидел, он был поражен нервной слепотой.

Теперь Акинфу было сорок лет, и он часто смертельно тосковал о потерянном зрении, впечатления которого почти стерлись в его памяти за такой долгий промежуток времени. Он шел в данный момент к своей деревне пешком из уездного города, за двадцать верст. Он не нуждался в поводыре, так как дорога была знакома и не разветвлялась. Он шел и размышлял – оказалась ли уже его деревня в районе военных действий, или еще нет. Акинф пробыл в городе четыре дня, побираясь; а жил он в деревне у брата.

Никто не попадался слепому по дороге, и это немало удивляло его; обыкновенно здесь проезжали возы и шли пешеходы.

Наконец, определив усталостью, что скоро он должен подойти к деревне, слепой почувствовал запах гари. Таким запахом, остывшим и, так сказать, холодным, пахнут обыкновенно старые лесные горные пустоши. Акинф, встревожившись, прибавил шаг. Ему сильно хотелось увидеть деревню, она, конечно, ничуть не изменилась с тех пор, когда он видел ее мальчиком, разве что старые избы сменились новыми и тоже, в свою очередь, состарились. Гарью запахло сильнее.

«Не пожар ли? – подумал Акинф. – Не мы ли горим с братом, matka бозка?!»

Кругом было очень тихо, только вдаль тявкали выстрелы орудий, и сердце у Акинфа сжалось. Тем временем спускался он по ложбинке к мостику над узким, глубоким оврагом. Привычной ногой ступил Акинф на воображаемое начало мостика и, задохнувшись от неожиданности, – полетел вниз, с высоты трех саженей, на глинистое дно оврага. Мостик был разрушен шальным снарядом, и Акинф, конечно, не знал этого.

Когда он очнулся, все тело его ныло и ломило от удара о землю. Руки и ноги были целы, в усах и разбитой губе запеклась кровь. Но не это обратило на себя его внимание: с удивлением и испугом, с сильным сердцебиением заметил он, что прежний черный мрак сменился туманным и красноватым. Тут же он увидел свои руки и понял, что зрение вернулось к нему. Оно вернулось от нового сильного нервного потрясения в момент падения – таким путем часто проходит нервная слепота.

Акинф с страхом и радостью выбрался из оврага и подошел к деревне. Он увидел ряд почерневших изгородей и груды черного пепла среди них – все, что осталось от когда-то бойкой деревеньки. Ни души человеческой, ни собаки не было в этом печальном месте. Деревня сгорела

дотла, может быть – от снарядов.

И тогда Акинф почувствовал, что снова ему застилает зрение, но на этот раз – слезами.

Птица Кам-Бу

– Какой красивый петушок!

– Что вы?! Разве он несется?

Разговор экскурсантов.

I

На самом маленьком острове группы Фассидениар, затерянной к северо-востоку от Новой Гвинеи, мне и корабельному повару Сурри довелось прожить три невероятно тяжелых месяца.

Мы, потерпев крушение, пристали к острову на утлом, предательски вертлявом плоту, один-одинешеньки, так как остальной экипаж частью утонул, частью направился, захватив шлюпки, в другую сторону.

Дикари измучили нас. Их вид был смесью свирепого и смешного, что утомительно. Здоровенные губы, распыленные ракушками и медными пуговицами, отвислые уши, мохнатые, над жестокими глазами, брови, прически в виде башен, утыканных перьями, переднички и татуировка, копья и палицы – все это дышало ядом и убийством. Нас не покушались съесть, нас не били и не царапали.

Мы, только что выползшие на берег, мокрые, злые, испуганные, стояли в центре толпы, ожидая решения старшин племени, кричавших друг на друга с яростью прачек, не поделивших воды. Из пятого в десятое я понимал, о чем они говорят, и переводил туземные фразы Сурри. Тут выяснилось, что у дикаря Мах-Ках задавило упавшим деревом сразу двух жен, и Мах-Ках остался без рабочих рук. Он просил отдать меня с Сурри ему в рабы. За Мах-Каха стояли двое старшин, другие два поддерживали предложение пронырливого старика Тумбы, считавшего крайне выгодным продать нас в обмен на полдюжины женщин соседнему племени каннибалов для известного рода пиршества. Мах-Ках показался мне несколько симпатичнее Тумбы. С трудом подбирая слова, я крикнул:

– Выслушайте меня! Если вы продадите нас людоедам – мы сделаем себе горькое мясо. Никто не захочет нас есть. У вас отберут женщин обратно и сожгут ваши шалаши за мошенничество. Мах-Ках будет нас кормить, а мы будем для него работать.

– Как же вы сделаете горькое мясо? – недоверчиво зашипел Тумба.

– Растравим себе печенку, – мрачно сказал я, – воспоминанием о твоём лице.

Боязнь прогадать, опасение таинственных волшебств белых людей и та, существующая под всеми широтами синица, более интересная, чем журавль в небе, дали перевес Мах-Каху. Он с торжеством увел нас к своему логову.

II

Остров был прекрасен, как сон узника о свободе. В полдень он сиял и горел, подобно изумруду, окруженный голубым дымом моря, он бросал тени лесов в его прозрачную глубину. Вечером он благоухал весь, от почвы до листвы высоких деревьев, смешанные сильные запахи неотступно преследовали человека, подобно любовному томлению яркой мечты. Ночью ослепляющий мрак сверкал огнями таинственных насекомых, эти огни воображение легко представляло звездами, опустившимися к земле, так были они яркие, загадочны и бесчисленны. Иногда в фосфорическом луче их крался из мрака образ острого, серебристого листа и гас подобно призраку, уничтоженному сомнением. На таком острове жили невозможные дикари.

Мах-Ках давал нам весьма мало отдыха, еще меньше пищи, но очень много работы. С утра до захода солнца мы растирали круглыми камнями волокнистую сердцевину саговых деревьев,

добывая муку; носили воду из отдаленного озера, копали ямы, назначение коих оставалось для нас неизвестным, плели циновки, долбили челноки и строили изгороди. Мах-Ках ничего не делал, лишь изредка, лениво таща лук, уходил в лес за птицей или молодым кенгуру. Разумеется, у нас отняли все, что уцелело от кораблекрушения: платки, ножи, трубки и компас.

Раз вечером, измученный работой, обросший бородой, полуголый и грустный Сурри затянул песню. В ней говорилось о далекой звезде, на которую смотрит женщина.

«О, если бы я была звездой», – говорит она и получает в ответ: «звезд много, а любящих, как ты, совсем ничтожное число на земле. Будь со мной, будь вечно со мной, единственная моя звезда».

Неприхотливый пафос этой песенки звучал весьма выразительно среди подошедших слушать пение черномазых. Мах-Ках тоже вышел из хижины. Присев на корточки, он пожелал узнать, о чем говорит песня. Я объяснил, применяясь к его пониманию – как можно грубее и даже пошлее, но растопыренное лицо дикаря беспомощно пялило глаза. Мах-Ках не уловил сути.

– Твоя песня плохая! – сказал он Сурри и плюнул, и вся орда радостно заржала. – Мах-Ках поет песню лучше. Слушай Мах-Каха.

Он заткнул уши пальцами и, кривляясь, издал пронзительный затяжной вопль – эта «мелодия» в два или три тона была противна, как незаслуженная брань с пеной у рта.

Мах-Ках пел о том, как он ест, как охотится, как плывет на лодке, как бьет жену и как похвывается над врагом. Все это начиналось и кончалось припевом:

«Вот хорошо-то, вот-то хорошо!»

Я истерически хохотал. Сурри молчал, сжимая в кулаке камень. Мах-Ках кончил при общем одобрительном взвизгивании дикарей.

Нервы мои в последнее время были сильно расстроены. Я собрался уже уязвить своего хозяина какой-нибудь двусмысленной похвалой, как в это время один из стариков, сидевших на корточках вокруг нашего шалаша, вскочил и, протягивая руки к опушке леса, завопил неистовым голосом:

– Кам-Бу! Кам-Бу! Пощади нас, презренных твоих рабов!

Произошла суматоха. Дети, воины, женщины стремглав понеслись по лесу, где в зеленых развалах дикой листвы сверкало живописным пятном нечто радужное, трепещущее и великолепное.

III

От деревни до леса было шагов двести. Нас давно уже опередили все жители проклятого сельца, так как я и Сурри, не будучи сильно заинтересованы причиной волнения дикарей, шли тихо, рядом с одним хромым, который, ежеминутно спотыкаясь, в кратких перерывах между падениями на этом кочковатом лугу удовлетворял наше любопытство таким образом:

– Кам-Бу – дух. Очень сильный дух и ленивый. Мы не любим его, только боимся. Просишь дождя – не дает дождя. Хочешь съесть ящерицу – не дает ящерицу. Просишь мальчика – не дает мальчика. Только кричит: «Пик-ку-ту-си, пик-ку-ту-си». Давно живет здесь. Чего просишь – ничего не дает, только хвостом вертит.

Полная практическая беспомощность такого духа была в глазах хромого ясным доказательством его вредоносных свойств, потому что он прибавил:

– Кам-Бу приводит с собой беду. Только это и делает. – И он закричал, помахивая костылем:

– Кам-Бу, помилуй нас, не трогай, уходи от деревни!

Здесь надо заметить, что дикари, державшие нас в плену, стояли на самом низком умственном уровне. Их быт был, в сущности, их настоящим, весьма требовательным божеством, несмотря на всю скудость своего содержания. Традиционный полужвериный уклад жизни с его похоронными, родильными, пиршественными и иными обрядами, с определенным типом домашней утвари, оружия и построек, начинал и оканчивал собой все мирозерцание черномазых. Естественно, что такая ограниченность интересов требовала от вечного духа – Кам-Бу в

данном случае – исключительно домашних услуг.

Я увидел наконец бесполезную красоту Кам-Бу. То была, надо полагать, редкая разновидность парадизки – райской птицы. Существо это, привыкшее не бояться людей, восседало на гроздьях листвы лавра, простиравшего свои живописные ветви далеко от кряжистого ствола.

В Кам-Бу удачно сочетались грация и энергия. Эта птица, величиной с большого павлина, непрерывно вытягивала и собирала шею, как бы пробивая маленькой головой невидимую тяжесть пространства. Круглые с оранжевым отливом глаза сияли детской беспечностью и кокетливым любопытством; иногда они покрывались пленкой, напоминая глаза турчанок, затененные кисеей. Римский клюв – если допустимо это определение в отношении птицы – был голубоватого цвета, что приятно гармонировало с общим золотистым тоном головки, украшенной нарядным султаном из красных и фиолетовых перьев. Огненно-золотые нити тянулись, начиная от головы, по жемчужно-синеватому оперению, огибая бледно-коричневатые крылья и сходясь у пышного хвоста, цветом и формой весьма похожего на алую махровую розу. Из хвоста падали вниз три длинные, тонкие, как тесьма, пера, окрашенные тем непередаваемым смешением цветов и оттенков, какое ближе всего к точному впечатлению можно назвать радужным. Перья шевелились от ветра, напоминая шлейф знатной дамы, сверкающий под огнем люстр.

Туземцы, не подходя к дереву совсем близко, в двадцати шагах от него подпрыгивали и воздевали руки к ленивому божеству, уже скучавшему, вероятно, о неге и тени лесных глубин. Колдун ударил по пузатому барабану, неистово корчась, приплясывая и распевая нечто, действующее на нервы в худом смысле.

Вдруг Сурри схватил меня за плечо, повернул лицом к морю и тотчас предусмотрительно зажал мне рукой рот, опасаясь невольного вскрика. Я посмотрел в направлении, указанном Сурри, тотчас оценил зажатие рта и тотчас, инстинктом поняв всю опасность неумеренного внимания, быстро отвернулся от моря, но в глазах, как выжженная, стояла морская зыбь, с кораблем, обрамленным грудастыми парусами.

Моя рука и рука Сурри ломались в судорожном пожатии. Я молчал. Став спиной к морю, я старался одолеть виденное хладнокровием и сообразительностью.

Корабль двигался не далее как в миле от берега. Высокий конус парусов с вымпелами над ними плавно разрезал дымчатый туман моря; заходящее солнце золотило корабль, сверкая по ватерлинии и косым выпуклостям кливеров пламенными улыбками. Светило дня, раскрасневшееся от утомления, висело низко над горизонтом. Наступление мрака разрушало весь план спасения, следовало торопиться.

– Сурри, – сказал я, – сыграем ва-банк!

Он печально кивнул головой.

Я продолжал: – Дикари заняты умилованием ленивца Кам-Бу. Попробуем уйти – сперва пятясь, затем побыстрее и носками вперед.

– Есть, – тихо сказал Сурри.

«Кам-Бу! – мысленно молился я, пока мы, бесшумно отделившись в тыл толпы, увеличивали расстояние между собой и лесом, припадая за кусты, ползя в траве или, согнувшись, перебегая открытые лужайки, – Кам-Бу! Ради бога не улетай! Удержи их расстроенное внимание блеском своих перьев! Не дай им, заметив наше намерение, убить нас!»

Птица сидела на прежнем месте. Она превратилась в маленькую далекую точку света и, когда прибой зашумел под моими ногами, – исчезла, поглощенная расстоянием. Столкнув первую попавшуюся пирогу, я и Сурри понеслись к недалекому, вскоре заметившему нас фрегату.

– Кам-Бу, сидящая на лавре! Дай уж им, так и быть, дождя, красной глины для горшков, мальчика и жирную ящерицу! – Нам – только свободу!

Я уверен, что недавние мои господа, лишившиеся двух сильных белых рабов, вписали за это Кам-Бу еще раз на черную доску. Бесполезное божество претит им.

Милая спасительница Кам-Бу, сверкай бесполезно!

Волшебный экран

Секретарь графа Браганца, Цезарь Фантисси получил от своего патрона пакет с документами чрезвычайной политической ценности. Это было в Берлине. За графом давно, как коршуны, следили немецкие шпионы, и Цезарь великолепно знал, что, получив пакет, он окажется в страшной опасности. Берлинские власти решили добыть этот пакет во что бы то ни стало. Как узнали шпионы, что документы переданы Цезарю – остается тайной; важно то, что, как только Цезарь вышел от графа, за ним тронулись в путь два человека, одетые вполне прилично, но с мрачными и жесткими лицами. Цезарь заметил их. Решившись скорее погибнуть, чем отдать в руки врагов секреты отечества, итальянец попытался скрыться от преследования. Заворачивая из улицы в улицу, из переулка в переулок, заходя в рестораны и кафе, он выжидал момент, когда внимание шпионов ослабеет, чтобы, улучив момент, скрыться. Но, как тени, сурово и неотступно двигались за ним роковые фигуры.

Здесь следует пояснить, почему берлинская полиция, имея возможность открыто арестовать Цезаря, не делала этого. В связи с арестом гласным или хотя бы прямым – неизбежно, в силу многих обстоятельств, должны были открыться некоторые, весьма щекотливые для кой-каких высокопоставленных особ, тайны. Полиция решила овладеть документами тайно, не отступая в случае чего перед убийством.

Погоня за Цезарем началась в пять часов дня, и было уже восемь, когда, совершенно измученный, секретарь решил спрятать пакет в какое-либо надежное убежище. Он не мог сесть в поезд или пойти домой – в вагоне и в комнате его ждала крадущаяся, неумолимая смерть. Наверное, сотни глаз следили за каждым его движением, только он не мог заметить этого. Он был верной добычей, которую брали терпеливо измором, ожидая, когда- жертва очутится где-либо в укромном, без свидетелей, уголке.

Еле стоя на ногах, замечая то впереди себя, то справа и слева, подозрительных субъектов, секретарь обратил внимание на небольшой, грязный, ярко освещенный кинематограф. У него мелькнула мысль: зайти в темное помещение зрительного зала и как-нибудь, смешавшись с толпой, оборвать след. Цезарь вошел и сел в третьем ряду от экрана.

В темноте, присмотревшись, он заметил, что неподалеку от него, громыхнув стулом, сел один из преследующих. Отчаяние овладело секретарем. На экране в это время струилась беззвучная горная река, вода плескалась у рамы. С секретарем в эту минуту случилось нечто вроде краткого умопомешательства, ему почудилось, что он не в кинематографе, а сидит на берегу настоящей реки и что к нему подкрадываются убийцы с целью овладеть пакетом.

Логичный в момент столь странного смещения чувств, секретарь, подумав: «Пусть документы лучше погибнут», достал пакет и бросил его в экран. Он ясно видел, или ему это показалось, что пакет скрылся в волнах, как бы то ни было – он исчез. Тотчас поднялся невообразимый шум, и сознание вернулось к Цезарю. Десятки шпионов полезли шарить вокруг экрана и в оркестре. Они ничего не нашли. Цезарь, решив, что все пропало, воспользовался замешательством и скрылся.

На улице он опомнился; вся ответственность за происшедшее представилась ему, и он бросился к кинематографу. Театрик уже закрывался. Цезарь пробежал мимо изумленных служащих к экрану и прыгнул в оркестр.

Здесь он увидел драгоценный пакет мирно лежащим на полу, в углу. Цезарь схватил его, сунул в карман и стрелой полетел на квартиру графа, с просьбой найти документам более верное убежище, чем карман Цезаря.

Почему же сыщики не нашли и не взяли пакет, раз он лежал на виду?

Цезарь, по ошибке, бросил в экран не тот пакет, а другой, ничего собой не представляющий особенного. Когда же он вернулся искать его, настоящий пакет выпал из кармана пальто и лег к ногам Цезаря. Он же считал это находкой.

Желтый город

Был вечер 25 марта 1915 года. В маленьком бельгийском городке, называвшемся Сен-Жан, почти сплошь разрушенном немцами и почти совершенно опустевшем, так как в городе не оста-

валось уже ничего съестного, и повсюду валялись необрунные трупы, появился странный человек дорожного вида, скромно, но опрятно одетый, с пледом на плече и маленьким саквояжем в руках. Он нерешительно подошел к засыпанной кирпичами площади, вокруг которой зияли черные бреши разбитых, пустых домов, и беспомощно оглядывался, желая, по-видимому, увидеть наконец хоть кого-нибудь из жителей.

Оглядываясь по сторонам, человек этот заметил весьма странную фигуру, приближавшуюся к нему шагами. То был старик, без шляпы, в оборванном и измятом платье; на костлявом лице судорожно и дико блестели глубоко впалые глаза.

– Кто вы такой, милостивый государь, и с какой целью прибыли в мои владения? – нараспев произнес старик, останавливаясь перед туристом с видом величественным и мрачным.

Поняв, с кем имеет дело, путешественник вежливо ответил:

– Я ехал в Сарран, ваша милость, но мне – не считите за каламбур – не повезло. Возница мой получил вперед (к сожалению) деньги, отказался везти меня дальше по этим опасным местам и усакал обратно, а я остался, как видите, в диком положении у пустого города. Я пришел сюда, в город, рассчитывал переночевать где-нибудь. Меня зовут Киль.

– Здесь никого нет, – мрачно сказал старик. – Здесь живет всего пять миллионов людей. Пойдем к ним! Мы пируем каждый день за золотыми столами!

Будучи не очень трусливого десятка, Киль, печально покачав головой, решил, что все-таки лучше ночевать у сумасшедшего, но в теплом помещении, чем на улице. Они двинулись. Старик все время говорил о небесном огне, пирах, трупах и по временам дико кричал, призывая какого-то великана, который должен был помочь ему разрушить земной шар.

Поколесив по молчаливым переулкам, старик остановился перед подвальным окном, в котором горел свет.

Старик ткнул ногой в незаметную с улицы маленькую дверь и ввел Киля в полуосвещенный подвал, где было несколько человек с беспомощным, тупым выражением лиц. Здесь были молодые девушки, юноши, старики и старухи. Некоторые сидели у стены, опустив головы; некоторые быстро ходили из угла в угол, бормоча непонятное; кто стоял, подняв глаза вверх; кто лежал, уткнувшись лицом в пол. Странные звуки, дикие выкрики вырывались из уст...

Старик, приведший Киля, сказал:

– Вот мои подданные.

И тотчас забыл о госте.

Киль сел в углу, на солому, с ужасом убеждаясь, что все эти люди – безумные. Он понял, что во всем разрушенном городе не осталось никого, кто имел возможность убежать или умереть. Только эти. Какое потрясение должен был перенести их мозг, когда их близких и родственников убивали, мучили, насиловали на их глазах! И он здесь, один здоровый человек в городе сумасшедших! На мгновение, на короткое, но роковое мгновение жизнь показалась ему страшным сном, который необходимо оборвать. Он поднес револьвер к виску и спустил курок.

Золотой пруд

Обращает драгоценности в угли.

Агриппа

I

Фуль выполз из шалаша на солнце. Лихорадка временно оставила его, но он отупел от слабости. Глаза Фуля слезились от солнца, бродяга чувствовал себя беспомощнее травяной блохи, упавшей на поверхность пруда. С бесцельной внимательностью следил он за насекомым. Блоха явно тонула, но не могла еще утонуть; вода была для крошечного ее тела слишком плотной средой. «С таким же успехом, – подумал Фуль, – мог бы человек попытаться утонуть в крутом студне».

Шалаш Фуля и его товарища по бегству из тюрьмы – Бильбоа – стоял на отвесном берегу маленького пруда, несомненно, искусственного происхождения. Пруд имел форму сильно растянутого ромба, на противоположном от шалаша берегу, в темных кустах, виднелись остатки стен, груды кирпичей и земли. Лес тесно подступил к самой воде, засорив воду у берегов валежником, листьями и лепестками цветов. Только середина пруда отражала золотой солнечный глаз, прозрачный и чистый; от небольшого пылающего кружка расходилась к берегам тень угрюмых, опрокинутых под водой деревьев. Водоросли темнили еще более прибрежную воду. Пруд был глубок, вода холодна и спокойна.

Утопающая блоха пробила наконец лапками воду и легла на нее брюхом.

«Бильбоа не охотник, – думал Фуль, – едва ли он принесет еду, но есть хочется ужасно, до тошноты. Ах, если бы у меня было немного сил!» Свесив голову над аршинным обрывом берега, Фуль вернулся к блохе. Она постепенно, барахтаясь, уползала от берега, и Фуль, чтобы не потерять ее из виду, напряг зрение. В том направлении, в каком смотрел он, водоросли были светлее и реже; в их чаще над дном мелькали, блестя, рыбы. Одна из них, неподвижно стоявшая у самых корней водорослей, заинтересовала Фуля неестественным изгибом спины, блестящей как медь; он вгляделся...

Сильные, зоркие глаза его, напряженно рассматривавшие перед тем маленькую точку блохи, освоились с игрой света и теней и легко различали уже в прозрачной, несмотря на трехсаженную глубину, воде край массивного золотого блюда, так похожего, было, на свернутую спину рыбы. Блюдо это лежало косо, нижняя половина его ушла в ил, а верхняя, приподымаясь, горела в одной точке ослепительным зерном блеска, напоминающего фиксацию зажигательного стекла. Фуль взялся рукой за сердце, и оно стукнуло как неожиданный выстрел, бросив к щекам кровь. С глубоким, переходящим в испуг изумлением смотрел Фуль на выступающую из подводных сумерек резьбу золотого блюда, пока не убедился, что точно видит драгоценный предмет. Он продолжал шарить глазами дальше и вскрикнул: везде, куда проникал взгляд, стояли или валялись на боку среди тонкой травы – кубки, тонкогорлые вазы, чаши и сосуды фантастической формы; золотые искры их, казалось, дышали и струились звездным потоком, меж ними сновали рыбы, переваливались черные раки, и улитки, подняв слепые рожки, ползали по их краям, осыпанным еле заметными в воде, выложенными прихотливым узором камнями.

Фуль разорвал воротник рубашки. Он встал, протягивая дрожащие руки к прозрачной могиле сокровища. От жары, слабости и потрясения у него закружилась голова; шатаясь, он стал раздеваться, отрывая пуговицы, не думая даже, выдержит ли его слабое тело глубокий нырок.

II

– Ты хочешь принять ванну? – сказал Бильбоа, проламываясь сквозь кусты. В одной руке он держал солдатское ружье, отнятое у конвоя в момент побега, другой тащил привязанную к палке небольшую дикую свинью. – Когда я был богат и свободен, я тоже принимал ванну каждый день перед завтраком. Вот свежие отбивные котлеты.

– Бильбоа! – сказал Фуль, – что скажешь ты, если мы сможем теперь купить миллион отбивных котлет? А?

Каторжник уронил ружье. Потемневшие глаза Фуля ударили его внезапной тревогой; Фуль, стискивая руки, метался перед ним, дыша хрипло, как умирающий.

– Смотри же, – властно сказал Фуль, – смотри! – Он силой посадил Бильбоа рядом с собою на краю берега. – Смотри, здесь несколько пудов золота. Сначала останови взгляд на этом черном листке, где сломан камыш. Возьми на глаз четверть влево, к плавающей траве. Потом два фута вперед и вниз, под углом 45°. Там, где блестит. Это полупудовая тарелка для твоих котлет.

Он говорил, не отрывая глаз от воды. Вся жажда неожиданного и чудесного, вскормленная долгими годами страданий, ожила в встревоженной душе Бильбоа. Он нырнул глазами по направлению, указанному Фулем, но еще ничего не видел.

– Ты бредишь! – сказал он.

– От блюда, – продолжал Фуль, – во все стороны разбросана золотая посуда. Вот, напри-

мер, три... нет – четыре золотых кружки... одна смята; затем – маленькие тарелки... кувшин, обвитый золотой змеей, ларец с фигуркой на ящичке... О Бильбоа! Неужели не видишь?

Бильбоа ответил не сразу. Золото, разбросанное в беспорядке, понемногу выступало из тени; он различал формы и линии, чувствовал вес каждой из этих вещей, и руки его в воображении гнулись уже под счастливой тяжестью.

– А! – крикнул Бильбоа, вскакивая. – Здесь царский буфет! Я тотчас же полезу за всем этим!

– Мы богаты, – сказал Фуль.

– Мы переедем на материк.

– И продадим!

– Бильбоа! – торжественно сказал Фуль, – здесь более, чем богатство. Это выкуп от судьбы прошлому.

Бильбоа, сбросив одежду, разбежался и нырнул в пруд. Медное от загара и грязи тело его аркой блеснуло в воздухе, спокойная поверхность пруда, хлестнув брызгами, разбежалась волнистым кругом, и ноги пловца, сделав последний над водой толчок, скрылись.

III

Бильбоа пробыл на дне не больше минуты, но Фуль пережил ее как долгий, неопределенный промежуток времени, в течение которого можно разрыдаться от нетерпения. Нагнувшись, едва не падая в воду сам, Фуль гневно топал ногами, пытаясь рассмотреть что-либо в слепой ряби потревоженного пруда. Он, беглый арестант Фуль, был в эти мгновения, как десять лет назад, – барином, требующим всего, чего лишил его суд и позор. Семья, дом в цветах, холеные лошади, комфорт, тонкое белье, книга и почтительный круг знакомых снова возвращались к нему таинственным путем клада. Он думал, что теперь ничего не стоит, переименовав имя, вернуть прежнюю жизнь.

Снова всплеснул пруд, и мокроволосая голова Бильбоа подскочила из глубины в воздух. Крайнее изнеможение от задержки дыхания выражало его лицо. Шумно вздохнув, подплыл он к берегу, гребя одной рукой; в другой же, которую он держал внизу, неясно блеснуло. С тягостным, неопределенным предчувствием следил Фуль за этим неровным блеском; молчание плывущего Бильбоа терзало его.

– Ну?! – тихо спросил Фуль.

Бильбоа в изнеможении ухватился свободной рукой за обрыв берега.

– Мы оба сошли с ума, Фуль, – проговорил он. – Там ничего нет. Когда я нырнул, блеск метался перед моими глазами, и я некоторое время тщетно ловил его. Ты знаешь, у меня одышка. Но я поймал все-таки. Это твои кандалы, Фуль, которые ты пять дней назад разбил камнем и швырнул в воду. Вот они.

К ногам Фуля упали, звякнув, отполированные годами длинные цепи. Он медленно отошел от них.

Бильбоа молча одевался. Он намеренно делал это, стоя спиной к товарищу, чтобы не видеть его лица. Неосновательное возбуждение Бильбоа улеглось, и он, как человек практический по преимуществу, отдался уже привычным мыслям о том, сколько еще дней, для безопасности, следует просидеть в лесу и что делать с дикой свиньей: зажарить ли в золе ногу или, потратив полчаса, устроить блюдо изысканнее, например, котлеты.

Фуль, чувствуя сильную лихорадочную слабость, лег навзничь. Он думал, что, не будь на противоположном берегу пруда безвестных развалин, он, может быть, не увидел бы и золота в собственных кандалах. Но эти развалины так убедительно шептали о преступном богатстве, спрятанном от чужих глаз.

– Я рад хоть, что она потонула наконец, – сказал Фуль.

– Кто?

– Блоха. Но ей все же было легче, чем сейчас мне.

Наследство Пик-Мика

- Посмотрим, что написал этот человек! Этот чудак!
- Держу пари, что здесь больше всего прихода-расходных цифр!
- Или черновиков от писем!
- Или альбомных стихотворений!

Такие и им подобные возгласы раздались в моей комнате, когда мы, друзья умершего три дня назад Пик-Мика, собрались за ярко освещенным столом. Все сгорали от нетерпения. В завещании, очень лаконичном и не возбудившем никаких споров, было сказано ясно: «Записки мои я, нижеподписавшийся, оставляю всем моим добрым приятелям, для совместного прочтения вслух. Если то, что собрано и записано мной на протяжении пятнадцати лет жизни, им придется по вкусу, то каждый из них должен почтить меня бутылкой вина, выпитой за свой счет и в неизменном присутствии моей собаки, пуделя Мика».

Это место из завещания вспомнили все, когда толстая, прошнурованная тетрадь была вытащена мной из бокового кармана. На столе ярко горели старинные канделябры, часы весело болтали маятником и шесть заранее приготовленных бутылок вина светились темным золотом между кофейным прибором и ароматным паштетом.

Все закурили сигары, располагаясь как кому было удобнее. Читать должен был я. Прошла минута сосредоточенного молчания – время, необходимое для того, чтобы откашляться, провести рукой по волосам и придать лицу строгое выражение, не допускающее перебиваний и шуток.

Я развернул тетрадь и громко прочел заглавие первого происшествия, описанного нашим милым покойником. И в тот же момент легкая как туман, задумчивая фигура Пик-Мика в длинном, наглухо застегнутом сюртуке вышла и села за стол.

Ночная прогулка

День отвратителен, не стоит говорить о нем; поговорим лучше о ночи. Все, кто встает рано, любуясь восходом солнца, заслуживают снисхождения, не больше; глупцы, они меняют на сомнительное золото дня настоящий черный алмаз ночи. Отсутствие света пугает их; проснувшись в темноте, они зажигают свечу, как будто могут увидеть иное, чем днем. Иное, чем стены, знакомая обстановка, графин с водой и часы. Если им нужно выпить немного валериановых капель, – это еще извинительно. Но бояться, что не увидишь давно знакомое – есть ли смысл в этом?

Всегда пропасть – мглистая, синяя, серебряная и черная – ночь. Царство тревожных душ! Простор смятению! Невыплаканные слезы о красоте! Нагие сердца, сияющие отвратительным блеском, тусклые взоры убийц, причудливые и прелестные сны, силуэты, намеченные карандашом мрака; рай, брошенный в грязь разгула, огромный кусок земли, спящий от утомления; вы – бесценные россыпи, материал для улыбок, источник чистосердечного веселья, потому что, клянусь хорошо вычищенными ботинками, я смеялся как следует только один раз и – ночью.

Нас было двое. Тот, о котором говорят он, спокойный, одетый изящнее придворного кавалера, хранил молчание. Я развлекал его. Новости, сплетни дня, забавные анекдоты падали с моих губ в его лакированную душу безостановочно. И тем не менее он был недоволен. Он хотел впечатлений пряных, эксцессов, смеха и удовольствия.

Пройдя мост, мы остановились против витрины ювелира. Электричество затопляло разноцветный град брильянтов, застывших, как лед, в бархатных и атласных футлярах. Он долго смотрел на них, мысленно оценивая каждую штуку и внутренне облизываясь. И тихо сказал:

- Конечно, это – продажная человеческая душа. Крупнее – дороже.

Я стал смеяться, уверяя, что ничего подобного. Брильянты ввозятся преимущественно из Африки, их обделявают в гранильнях и шлифовальнях, потом скупают. Но он продолжал как духовное лицо, печальным и строгим голосом:

- Да, да, можно провести полную параллель. Боже мой, если бы вы знали, как тонко я чувствую все окружающее меня. Но идем дальше, дальше от этой гробницы слез.

Я чувствовал, что начинаются колики, но благоразумно удержался от смеха. Это печальное человеческое животное тащило меня по тротуару от витрины к витрине, пока не остановилось перед решеткой гастрономического магазина. Консервы и прочая смесь дремали в сумраке. Он тихо пробормотал:

– Немножко усилия, немножко воображения, и это стекло покажет нам чудеса. Эти сельди и шпроты, – вернее, трупы их – не воскрешают ли они океан, свою родину, подводный мир, чудеса сказок? А эти вульгарные телячьи ножки – зелень лугов, фермы с красными крышами, загорелые лица крестьян, картины голландских живописцев, где хочется расцеловать коров, так они живы и энергичны.

Судорога перекосила мое лицо. Дрожа от скованного волей смеха, я выговорил:

– Не то! Не то!

– Да, – подтвердил он с видом человека, понимающего с первого слова мысли собеседника, – вы правы. Не то! Здесь что-то иное, быть может, думы о смерти. Я говорю не о гастрономической смерти, но на меня каждый остаток живого существа производит сложное впечатление.

Асфальт ясно отражал частые звуки шагов; шла девушка, одна из несчастных. Все нахальство, расточаемое на улицах, светилось в ее глазах, подрисованных тушью. Она была еще довольно свежа, стройна и поэтому имела естественное право заговаривать с незнакомыми.

– Мужчина, угости папироской! – сказала маленькая блудница.

Он внимательно посмотрел на ее лицо и вытащил портсигар.

– Конечно, – заговорил он, делаясь недоступным, – вы хотите не одну только папиросу. Вам хочется, чтобы я взял вас с собой в ресторан, заказал ужин, вино и заплатил вам десять рублей. Но это совершенно немыслимо, и вот почему. Во-первых, я боюсь заразиться, а во-вторых, мне недостаточно этого хочется. Что же касается папиросы – вот она, это финляндская папироса, десять копеек десяток. Видите, я говорю с вами вежливо, ничем не подчеркивая разницы нашего положения. Вы проститутка, живете скверной, уродливой жизнью и умрете в нищете, в больнице, или избитая насмерть, или сгнившая заживо. Я же человек общества, у меня есть умная, благородная, чистая жена и нервная интеллектуальная жизнь; кроме того, я человек обеспеченный. Жизнь без контрастов неинтересна, но все же ужасно, что есть проституция. Итак, вот папироса, дитя мое; смотрите – я сам зажигаю вам спичку. Я поступил хорошо.

Он взволнованно замолчал, боясь растрогаться. Девушка торопливо шла дальше, шаги ее падали в тишину уверенным, жестким звуком.

– Я вас презираю, – вдруг сказал он, выпуская клуб дыма. – Не знаю хорошенько за что, но мне кажется, что в вас есть что-то достойное презрения. В вас, вероятно, нет тех пропастей и глубин, которые есть во мне. Вы ограничены, это подсказывает мне наблюдение. Вы мелки, не далее как вчера вы торговались с извозчиком. Вы – мелкая человеческая дрянь, а я – человек.

– Ха-ха-ха! – разразился я так, что он подскочил на два фута. – Хи-хи-хи-хи-хи! Хе-хе-хе-хе! Хо-хо-хо-хо!

– Хо-хо! – сказал мрак.

Я плакал от смеха. Я бил себя в грудь и призывал бота в свидетели моего веселья. Я говорил себе: сосчитаю до десяти и остановлюсь, но безумный хохот тряс мое тело, как ветер – иву.

Он сдержанно пожал плечами и рассердился.

– Послушайте, это неприлично. Смотрите, прохожие остановились и показывают на вас пальцами. Глаза их делаются круглыми, как орехи. Уйдемте!

– Я люблю вас! – стонал я, ползая на коленях. – Позвольте мне поцеловать ваши ноги! Солнце мое!

Он не слушал. Он презрительно отвергал мою любовь, так же, как отверг бы ненависть. Он был величествен. Он был прекрасен. Он смотрел в глаза мраку, призывая восход, жалкую струю мутного света, убийцу ночи.

Тогда я убил его широким каталанским ножом. Но он воскрес прежде, чем высохла кровь на лезвии, и высокомерно спросил:

– Чем могу служить?

Изумленный, я стал душить его, стискивая пальцами тугие воротнички, а он тихо и вежли-

во улыбался. Тогда пришла моя очередь рассердиться.

– Пропадай, черт с тобой! – закричал я. – Брильянты! Телячьи ножки! Хо-хо-хо-хо-хо-хо!

Он повернулся три раза, сделал книксен и вдруг расплылся в широчайшей сладкой улыбке. Она дрожала в воздухе, черная, как лицо негра. Потом просветлела, тронула крыши и купола церковей розоватыми углами губ, опустилась бледным туманом и проглотила город.

Интермедия

Я человек ленивый, и для того, чтобы раскататься записать что-нибудь, должен пережить или услышать настоящее событие. Каждый понимает это слово по-своему; я предпочитаю означать им все, что мне нравится. С этой и, по-моему, единственно правильной точки зрения, хороший обед – событие. Точно так же я назову событием встречу с человеком, одетым в красное с головы до ног. Это было бы ново, мило, а значит и занимательно.

В один из осенних вечеров я вышел на перекресток двух плохо освещенных, грязных улиц, населенных рабочими и жуликами. Я не знал, зачем и куда иду, мне просто хотелось двигаться. Деревья чахоточного бульвара сонно чернели у фонарей. Жидкий свет окон пестрил тьму; пустынные тротуары напоминали заброшенные дороги. Сырой воздух холодил щеки, в переулках и под арками ворот скользили беззвучные силуэты. Вдали, над вокзалом сиял белым пламенем электрический шар; одинокий глаз тьмы, мертвый свет, придуманный человеком.

Ничто не нарушало печали и оцепенения ночи; жители квартала сидели за гнилыми стенами; одиночество бродяг для них было роскошью; они уважали людей, имеющих собственные кровати. Я шел, покуривая и мурлыкая. Мне было хорошо; день, поэзия инфузорий, умер на западе в семь часов вечера. Я похоронил его, я справлял его тризну прогулкой и легкомыслием. Ночь – царственное наследство дня, стотысячный чулок скряги, умершего с голода, – я люблю твой черный костюм джентльмена и презираю базарную пестроту.

Вы, знающие меня, простите это маленькое, невольное отступление. Я шел минут пять по тротуару и вышел на перекресток. Здесь неподвижно и деловито стояла женщина, держа в руках большой черный предмет. Посмотрев на нее, я тронулся дальше и оглянулся. Она продолжала стоять. Я остановился, вынул сигару; не торопясь закурил, прислонился к соседней стенке и две-три минуты дымил как дымовая труба. Она стояла.

И я побился об заклад сам с собой, что не уйду раньше ее. Моросил дождь, взрывы ветра проносились по улице. Она все стояла, терпеливо и молча. Рядом с ней чернела пустая скамейка; она не садилась. Тогда я бросил сигару и подошел к этой чудачке, одетой в сильно поношенное платье; с грязной измятой шляпы ее текла вода. Бледное, решительное лицо, и глаза полные страха. Свободной рукой она сделала движение, как бы отстраняя меня. Обдумав первый вопрос, я приступил к делу.

– Сударыня, – сказал я, – не знаете ли вы дороги к Новому рынку? Я только что приехал и не имею никакого представления о расположении города.

Дрожа и заикаясь, она выговорила:

– Налево... затем... прямо... затем...

– Хорошо, благодарю вас. Какой дождь, а?

– Да... дождь...

– Ну, что же, – сказал я, начиная терять терпение, – вы сами-то не заблудились, милая?

В ответ на это можно было ожидать чего угодно, и я заранее приготовился к какой-нибудь дерзости. Она вправе была послать меня к черту или попросить оставить ее в покое. Но она молчала. Лицо ее изменилось до неузнаваемости, губы тряслись; холодный, тоскливый ужас пылал в глазах, устремленных на меня с тупой покорностью животного, ожидающего удара.

Неприятное ощущение пронизало меня до корней волос. Я терялся, я начинал дрожать сам. Вдруг она сказала:

– Я продаю петуха.

Машинально, не обратив внимания на странность этого заявления, я спросил:

– Петуха? Где же он?

Женщина подняла руки. Действительно у нее был петух, связанный, обмотанный плотной сеткой. Я потрогал его рукой, теплота птицы убедила меня. Это был настоящий, живой петух.

Пораженный, смущенный, теряясь в соображениях, я силился улыбнуться. Я не знал, что сказать. Мне казалось, что со мной шутят. Я думал, что сплю. Я готов был вспылить и выругаться или купить этого петуха. Один момент мне пришлось в голову попросить извинения и уйти.

Вдруг совершенно ясная, неоспоримая истина положения поставила меня на ноги. Роль сатаны не хуже всех остальных, посмотрим. Эта женщина продает петуха, купим его дороже.

И я заявил:

– Петух мне нравится. Я даю вам за него десять рублей.

– Нет, – сказала испуганная женщина. – Один рубль.

– Может быть, вы возьмете сто? Сто новеньких, тяжелых рублей, подумайте хорошенько. Вы наймете чистенькую, уютную квартиру, купите стулья, горшки с душистым горошком, комод, новое платье себе и праздничный костюм мужу. Потом вы найдете место. У вас будет все готовое, вы не будете откладывать жалованья на обустройство домашним хозяйством. Кроме того, вы пойдете в ближайшее воскресенье в театр, где играет музыка и показывают разные смешные и трогательные вещи. Разве все это плохо?

– Нет, – выкрикнула она, – ни за что, ни за какие блага в мире! Один рубль.

– Позвольте, – продолжал я, – мы можем сойтись иначе. Я дам вам тысячу.

Она вздохнула и отрицательно покачала головой. Какие дикие образы толпились в ее мозгу? Она была жалка и страшна, крупный пот стекал по ее щекам; вся во власти овладевших ею представлений, она видела только одно, загадочную серебряную монету, и выдерживала битву, шатаясь от слабости. Я набавлял цену, увлекаясь сам; я сыпал тысячами.

– Двадцать тысяч, – хотите?

– Нет.

– Тридцать.

– Нет.

– Вы заблуждаетесь. Вы отказываетесь от счастья. Каменный трехэтажный дом, картины, дорогие цветы, паркет, рояль лучшей фабрики, собственный экипаж, лошади.

– Нет.

– Я дам вам сколько хотите. Вы будете в состоянии пить вино – ценою на вес золота; земля превратится в рай, самые лакомые, дорогие кушанья будут ожидать вашего выбора, ваш каприз будет законом, желание – действительностью, слово – могуществом. Глетчеры, вулканы, острова тропиков, льды Полярного круга, средневековые города, развалины Греции – этого вы в грош не ставите? У вас будут дворцы, слышите вы, жертва клопов и голода? Дворцы! Самые настоящие. Вы можете их украсить, как вам угодно.

Но она упорно мотала головой и, хрипло, задыхаясь от волнения, твердила, как помешанная:

– Рубль. Рубль.

– Ну, что же, – сказал я, стараясь придать голосу ироническую беспечность, – я умываю руки. Вы хотите непременно рубль – нате. Только вашего петуха я не возьму. Он стар и, конечно, тверд как подошва. Зажарьте его и скушайте за мое здоровье.

Я вытащил из жилетного кармана пять двадцатикопеечных монет. Она отшатнулась, неожиданность лишила ее всякой опоры. Беспомощная победительница умоляюще смотрела на меня, она хотела рубль.

– Что же вы? – спросил я. – Вот рубль.

– О, – простонала она. – Не так, сударь, не так. Серебряный, неразменный.

– Таких нет, – возразил я, – берите, что дают. Жалею, от души жалею, что я не черт. Я – Пик-Мик. Поняли? Прощайте. Если вам будет невтерпеж, купите на последние деньги связку старых ключей и действуйте. Или, быть может, вы желаете честно умереть с голода? Дело ваше. Посмотрите на петуха. Он смотрит на вас с глубоким отчаянием. Для кого же, как не для вас, кричит он три раза в ночь и последний раз – на рассвете? Подумайте только, как сладко спят на рассвете все, охраняющие свое добро.

Я раскланялся и ушел. Дома мне долго не удавалось заснуть; беспокойные уродливые кошмары толпились вокруг кровати; стук маятника гулко разносился в пустых комнатах. То бодрствующий, то погруженный в тяжелое забытие, я лежал как пласт, и ночь, казалось, упорно не хотела принести мне успокоение.

Окно в спальню было открыто. Дерзкий получеловеческий голос поднял меня с кровати; протирая отяжелевшие глаза, я подошел к окну. Грязное белье тумана заволакивало серые силуэты крыш; брезжил рассвет. Осенняя кровь солнца расплывалась на горизонте, резкий холод освежал легкие. Снова крик простуженного человека взвился над городом; это на соседней ферме упражнялись петухи, перебивая друг друга; в их голосах чувствовались тепло курятника и необъяснимая, сонная тревога. Одинокие, сгорбленные фигуры переходили улицу; как мыши, они скользили вдоль стен и проваливались.

Утром, пробегая газету, я нашел несколько сообщений, извещавших о похищении собственности. Моя случайная ночная приятельница, не была ли и ты действующим лицом? Если так, то ты не ошиблась, и я был сатаной на час, потому что где же уверенность, что все мы не маленькие черти, мы, строящие неумолимо логические заключения?

На американских горах

– Я очень люблю сильные ощущения, – сказал мне под искусственной пальмой кафешантана человек с проседью. Он сильно жестикулировал. Я никогда не видел человека с таким разнообразием жестов. Его руки, пальцы, плечи, брови и даже уши приходили в движение при каждом слове. Прежде чем сказать что-либо, он разыгрывал целую мимическую сцену, выразительно блестя впалыми глазами.

Я был страшно недоволен его обществом. Нервные люди стоили мне полжизни. Однако, подсев сам, он не думал раскланяться и уйти.

В это время, т. е. когда я размышлял о смысле существования человека с проседью, заиграла музыка. Военный, кровожадный марш сделал меня на десять минут поручиком фантастического полка, гуляющего по аллеям сада в цветных шляпах, смокингах и мундирах. Мой новый знакомый барабанил пальцами по столу. Я сказал:

– Если вы сядете вон в ту вагонетку, которая на шестиэтажной высоте головокруглительно звенит рельсами, то испытаете те глубокие ощущения, которые вам угодно назвать сильными.

– Пожалуй, – согласился он. – С вами?

– Все равно.

– Я был офицером, играл в кукушку, – заметил он, довольно смеясь.

– Это хорошо, – сказал я.

– Я также тонул три раза.

– Совсем недурно.

– Был ранен во время военных действий.

– Какая прелесть!

Он больше ничего не сообщил мне, но я понял, что этот человек любит тонуть, быть раненым и стрелять из-за угла в темноте, играя в кукушку. Именно эти оригинальные наклонности и были причиной гибели человека с проседью.

Мы подошли к кассе. Над головой нашей, в свете электрических лун, в ущельях страшной крутизны, сделанных из цемента и железа, мелькали, взвиваясь и падая, вагонетки, переполненные народом. Сплошной заунывный визг женщин, напоминающий предсмертные вопли тонущих лошадей, оглашал сад.

– Женщины трусливы, – сентенциозно заметил человек с проседью.

Мы сели. Он стал курить, нервно пощипывая бородку, оглядываясь и вздыхая. За моей спиной, хихикнув, взвизгнула барышня.

Мы тронулись сначала тихо, затем быстрее, и через несколько секунд три-четыре сорванных ветром шляпы, пролетев мимо меня, покатались в глубину грота.

Нас окружила темнота, затем, сделав крутой на светлом повороте скачок, вагонетка стре-

мительно полетела вниз. Подлое ощущение холода в спине и остановка дыхания заняли меня на пять-шесть секунд, пока продолжалось падение; после этого я по такому же крутому склону птицей взлетел на вершину горы, тяжело вздохнул и, похолодев, снова камнем полетел во тьму, придерживаясь руками за сидение. Это неприятное развлечение повторилось два раза, после чего, отдохнув в медленном кружении на краю обрыва, вагонетка помчалась с быстротой пули, доставляя мне те же самые ненужные болезненные впечатления полной беспомощности и неизвестности, – выкинет меня или я усiju до конца, встав пьяным от головокружения.

Повернув голову, я смотрел на человека с проседью. Широко открытые глаза его остановились на мне с выражением недоумения, какое свойственно внезапно получившему удар человеку.

– Я сейчас умру, – хрипло сказал он, – сердце...

– Порок?

– Да.

– Сколько лет?

– Четыре.

– А завешание?

– Нет завешания, – сердито прокричал он, – у меня кролики.

Почувствовав жалость, я крикнул:

– Остановите.

Услышать проводнику что-либо в грохоте цементного тоннеля было немыслимо. Мой спутник сказал:

– Отлегло; на всякий случай...

– Конечно.

– Мой адрес.

Я взял визитную карточку. Он, схватившись за грудь, продолжал выкрикивать испуганным голосом:

– Я развожу кроликов.

– Пушистые зверьки, – пробормотал я.

– Кроликов калифорнийских перевести на другую ферму.

– Слушаюсь.

– Кроликов кентерберийских...

– Запомнил.

– Кроликов австралийских...

– Понимаю.

– Кроликов бельгийских...

– Слышу.

– Кроликов австрийских...

– Ясно.

– Этих кроликов не продавать, – застонал он, сгибаясь.

– Будет передано, – внимательно сказал я.

– Кроликов йоркширской породы кормить смесью.

– Хорошо.

– Венгерских кочерыжками, пять пучков.

– Отлично.

– Нет, я не умру, – сказал он, отдуваясь, и мы снова ринулись в темноту. – Нет, умру.

Секунд пять мы молчали. Вагонетка взлетела на самую вершину дьявольского сооружения, а затем, почти отделясь от рельс, повалилась к мелькающим внизу огням сада.

– Умираю! – крикнул человек с проседью. – Скажите управляющему... что мои последние слова... чтобы он кроликов моих... есть не смел!

Он поднял руки, брови, помотал головой и свалился к моим ногам.

Еще несколько секунд продолжалась бешеная игра вагонетки, огненные кролики прыгали в моих глазах, и наконец все кончилось.

Я встал, пошатываясь. Толпа народа собралась вокруг мертвого тела, и шум ночного веселья перешел в похоронную тишину. Я же ушел, думая о кроликах. Кончилась прекрасная, содержательная жизнь, а вместе с ней и благополучие – как их... этих... кентерберийских...

Событие

Я люблю грязь кабаков, потные физиономии пьяниц, треснувшие блюда с подгнившими бутербродами, бульканье алкоголя, визг непотребных девок, наготу ничем не прикрашенных желудка и похоти, толпу у стойки, чахоточный граммофон и тусклый свет газа. Часто, возвращаясь со службы, изящно одетый господин с портфелем под мышкой, – я захожу в какой-нибудь ревущий пьяными голосами притон и выпиваю водки на гривенник из толстого граненого стаканчика, захватанного мужицкими пальцами.

Я любитель контрастов. Грязная человеческая пестрота приводит меня в неподдельное восхищение, истинная природа человека становится здесь яснее, чем там, где привычка не чавкать за обедом дает право на звание культурного человека. Наше скучное общество, тщательно скрывающее от самого себя свою настоящую сущность, могло бы многому поучиться у наивного цинизма продажных женщин и жуликов. В среде, далекой от кодекса нравственных и прочих приличий, чувствуется веяние элементарной животной правды есть, пить и любить, – нечто неопровержимое, но для некоторых здоровенных, краснощеких господ еще нуждающееся в доказательствах, потому что они опились, объелись и перелюбили.

Неделю тому назад в двенадцатом часу ночи я возвращался домой. Пустые улицы дышали осенним холодом, мрак скупно блестел точками фонарей, и мне было грустно. Я рассуждал о себе. Я приходил к заключению, что моя жизнь складывается не из событий, а из дней. Событий – потрясающих, счастливых, страшных, веселых – не было. Если сравнить мою жизнь с обеденным столом, то на нем никогда не появлялись цветы, никогда не загоралась скатерть, не разбивалась посуда, не просыпалась соль. Ничего. Бряканье ложек. А дней много: число 365, умноженное на 40.

Я становился смешным в своих глазах и внутренне кипятился. Лицо мое приняло желчное выражение. Меня называли угрюмым. Я тщетно старался создавать события. Пять лет назад я собирал марки; все разновидности их достались мне чрезвычайно легко, кроме одной – Гвиана 79 года. Рисунок этого почтового знака, виденный мною в одном из специальных журналов, был фантастичен и великолепен, но из всех моих поисков не вышло события. Марки я не нашел и сжег альбом. Потом, с течением времени, симпатии мои перешли на птиц. Но синицы, о которой я мечтал три года, синицы, способной петать сорок секунд, не позволил приобрести мой карман. Я рассказываю это в качестве примера поисков за событием. Грустное зрелище представляет человек, похожий на тележку, поставленную на рельсы. Кем придумано выражение «как сыр в масле» – идеал безмятежного прозябания? Автор его был, вероятно, крайне несчастное существо – молочный фермер.

Я шел, светились кабачки. Там было вино, жидкость, способная превращать грусть простую – в грусть сладкую, и даже (особенность человека) – самодовольную. Быть может, пьяный калека не без тайного удовольствия сознает свои индивидуальные особенности. Там, где гений говорит: «я – гений», калека может сказать с достоинством: «я – калека». До некоторой степени вино уравнивает людей; человек, от которого пахнет водкой, счастлив прежде всего удесятеренным сознанием самого себя. В наивысшем градусе опьянения рука желания не достает до потолка счастья на один сантиметр.

Итак, я зашел, и огненная жидкость наполнила мой желудок. Было светло, шумно; оркестрион играл прелестную арию Травиаты, похожую на тихий поцелуй женщины, или пейзаж, с которым вы связаны отдаленными, волнующими воспоминаниями. К моему столику подсел матрос, несколько пьянее меня; он спросил закурить. Я небрежно протянул ему выхолченную руку с зажженной спичкой. Он икнул, с шумом выпустил воздух и сказал:

– Д-да...

– Да, – повторил я. – Да, милый друг, да.

Какая-то упорная мысль преследовала его. Человек, сказавший «да» самому себе, отягощен кипением мыслей; это – кряхтение нагруженной души. Я молчал, он осклабился, повторяя:

– Д-да. Д-да.

Из дальнейшего выяснилось, что человек этот проломил жене голову утюгом. Станный способ выражения супружеской нежности! Но это несомненно была нежность, потому что ряд сбивчивых фраз этого господина с фотографической точностью нарисовал мне его портрет. Он был морж (из зоологии известно, что в припадке нежности морж бьет самку клыками по голове) и «по-моржовски» обходился с супругой. Во время разговора я пил подлую смесь лимонада с английской горькой. Он сказал:

– Д-да.

Я, выведенный из терпения, не противоречил. Наконец, он стал разгружаться.

– Видите ли, – прохрипел он, – я не того... д-да... Она, надо вам сказать, рыжая. Я люблю ее больше чем «Муравья», хотя, клянусь дедушкой сатаны, посмотрели бы вы на «Муравья» в галсе – красота, почище военного корабля. И вот я сидел... и она сидела... того... и у меня в душе кипит настоящий вар. Такая она милая, господин, что взял бы да раздавил. Она говорит: – «Чего ты?» – «Люблю я тебя, – говорю, – оттого и реву». – «Брось, – говорит, – миленький, ты, – говорит, – того... самый мне дорогой». От этих слов я не знал что делать. Слов у меня... того... таких нужных нет... понимаете? А сердце рвется... вот, как полная бочка всхлипывает. Сидел я, сидел... слезы у нас того... у обоих... Такая меня тоска взяла, не знаю, что делать. Утюг лежал на столе. Впал я в полное бешенство. Ударил ее. Она говорит: – «Ты с ума сошел?» Кровь и все такое. Того... видите ли, я не был пьян, то есть ни-ни. Да.

Конечно, тросы и якоря отучили моржа выражать свои чувства несколько деликатнее. Ему нужен был выход; человек, охваченный пламенем, не всегда ищет дверей, он вспоминает и об окошках. Как бы то ни было, я почувствовал к моржу уважение, смешанное с завистью. Любовь, напоминающая новеллы, и утюг – это событие.

– Да, – сказал я, барабанив пальцами по столу. – Что такое бегучий такелаж?

К моему удивлению, собеседник подробно и бойко, не мямля, как пять минут тому назад, растолковал мне, что бегучий такелаж – подвижные корабельные снасти. Этот предмет он знал. Слово «того» исчезло. Вслед за этим он захмелел и упал на стол. Я же пошел домой и, поравнявшись с буфетом, вспомнил, что нужно захватить с собой бутылку вина.

Пока я покачивался у стойки, багровое лицо буфетчика приняло колоссальные размеры. Я с любопытством следил за ростом его головы, она распухала, толстела и через минуту должна была отвалиться прочь, не выдержав собственной тяжести. Буфетчик завернул бутылку в обрывок газеты и подал мне.

– Приятель, – сказал я, – следите за своей головой. Если она упадет, это будет событие, перед которым померкнет даже то, что я слышал сегодня, а, клянусь вашим папашей, я не слышал более забавной истории.

Вечер

Мне не на что жаловаться. Я здоров, обладаю прекрасным зрением и живу больше воображаемой, чем действительной жизнью.

Но каждый вечер, когда золото и кармин запада покрываются пеплом сумерек, я испытываю безотчетное, жестокое нарастание ужаса. Вокруг меня все, по-видимому, спокойно; ритмически стучит колесо жизни, и самый стук его делается незаметным, как стук маятника. Земля неподвижна. Законы дня и ночи незыблемы. Но я боюсь.

Вчера вечером, как и всегда, я сел за письменный стол. Мне предстояла сложная работа по отчетности торгового учреждения. Но вместо цифр мои мысли носились вокруг отрывочных представлений, в которых я сам отсутствовал; вернее, представления эти существовали как бы помимо меня. Я видел черную, стремительно убегающую воду, красные фонарики, военный корабль, кусок болота, освещенный рефлектором. Серебристые острия осоки бросали в воду черные линии теней; неподвижная, словно вылитая из зеленой бронзы, лягушка пучила близорукие

глаза. Затем какое-то странное, волосатое существо бежало, вздымая пыль, и я довольно отчетливо видел его босые ноги. Постепенно все перемешалось, нежные оттенки цветов раскинулись в прихотливый луг, прозвучала пылкая мелодия индусского марша. Рассеянным движением я занес в графу цифру и остановился, следя за перепончатыми желтыми крыльями. Они мелькали довольно долго. Выбросив их из головы, я откинулся в глубину кресла и стал курить.

Я думал уже, что это досадное состояние, являвшееся естественной реакцией мозга против сухой счетной работы, кончилось, как вдруг маленькое кольцо дыма вытянулось на уровне моих глаз и стало человеческим профилем. Это были кроткие черты благовоспитанной молодой девушки, но в хитро поджатых губах и скошенном взгляде таилось что-то необъяснимо омерзительное. Дым растаял, и я почувствовал, что работать не в состоянии. Самая мысль об усилии казалась противной. Вид письменного стола наводил скуку. Мыслей не было. Все вещи стали чужими и ненужными, точно их принесли насильно. Мне было тесно, я испытывал почти физическую неловкость от близости стен, мебели и разных давно знакомых предметов... Мне ничего не хотелось, и вместе с тем томительное состояние бездеятельности разрасталось в глухую тревогу и нетерпение.

Я должен упомянуть еще раз, что мозг мой совершенно прекратил логическую работу. Мысль исчезла. Я был чувствующей себя материей. Комната и все предметы, находившиеся перед моими глазами, воспринимались зрением так же, как зеркалом – тупо и безотчетно. Я не был центром; чувство психологической устойчивости распределилось равномерно на все, кроме меня. Я расплывался в тоскливой пустоте прострации и зависел от ничтожнейших чувственных эмоций. Потребность двигаться была первой, хотя довольно туманно сознаваемой мной потребностью; я встал, безучастно подержал в руках книгу и положил ее на прежнее место.

Это, очевидно, не удовлетворило меня, потому что в следующий затем момент я принялся рассматривать рисунок обоев, внимательно фиксируя белые и малиновые лепестки фантастических венчиков. Затем вынул из подсвечника огарок стеариновой свечи и стал сверлить его перочинным ножиком, добираясь до фитиля. Мягкое хрустение стеарина доставило мне некоторое развлечение. Потом нарисовал карандашом несколько завитушек, перечеркивая их кривыми, равномерно уменьшающимися линиями, положил карандаш, оглянулся, и вдруг сильное, необъяснимое беспокойство сделало меня легким, как резиновый мяч.

Я сделал по комнате несколько шагов, остановился и стал прислушиваться. Мертвая тишина стояла вокруг. С улицы сквозь плотно закупоренное окно не доносилось ни одного звука. Тишина эта была ненужной, как были бы не нужны для меня в то время шум улицы, песня, гром музыки. Ненужными также были моя комната, кровать, графин, лампа, стулья, книги, пепельница и оконные занавески. Я не чувствовал надобности ни в чем, кроме тоскливого и бесцельного желания двигаться.

В это время я не испытывал еще никакого страха. Он появился с первым биением пульса мысли, с ее развитием. Я не мог уловить точно этот момент, помню лишь стремительно выросшее сознание полной и абсолютной ненужности всего. Я как будто терял всякую способность ассоциации. Все, вплоть до брошенного окурка, существовало самостоятельно, без всякого отношения ко мне. Я был один, сам ненужный всему, и это – «все» было для меня лишним. Я был в совершенной холодной пустыне одиночества, несуществующий, тень самого себя, потому что даже мое «я» было мне нужно не больше прошлогоднего снега.

Тогда острейшее чувство одиночества – ужас хлынул в жадную пустоту духа. Я растворился в нем без упрека и сожаления, потому что нечего сожалеть и не к кому обращать упреки. Так будет каждый вечер и так должно быть.

– Я борюсь, – сказал я, дрожа от мерзкого страха, – но пусть будет по-твоему. Природа не терпит пустоты, а у меня нет ничего лучшего подарить ей. Мы квиты.

И темная вода ужаса сомкнулась над моей головой.

Арвентур

Это было в то время, когда у человека начинает отцветать сердце, и он мечется по земле,

полный смутных видений, музыки горя и ужаса. Тот день запомнить нетрудно, в моей памяти нет дней страшнее и блаженней его, долгого дня тоски.

Пыль, духота я жара стояли на улицах. Я тщетно переходил с бульвара на бульвар, ища тени; мухи преследовали меня; воздух стонал от грохота экипажей. Пиво согревалось в стакане раньше, чем выпивалось; все было отвратительно. Тоска терзала, улицы наводили зевоту, люди – апатию; сидя на запыленной скамейке, я рассеянно провожал глазами их механические фигуры. Гнетущее однообразие лиц, костюмов и жестов действовало удручающе. Мысли прыгали, как мальчишки, играющие в чехарду. И вдруг – звонким, далеким возгласом вспыхнуло это роковое, преследующее меня слово:

– Арвентур.

Я повторил его, разделяя слоги:

– Ар-вен-тур. Ар-вен-тур.

Оно остановилось, засело в мозгу, приковало к себе внимание. Оно звучало приятно и немного таинственно, в нем слышалось спокойное обещание. Арвентур – это все равно, как если бы кто-нибудь посмотрел на вас синими ласковыми глазами.

Несколько раз подряд, беззвучно шевеля губами, я повторил эти восемь букв. В звуке их был печальный зов, торжественное напоминание, сила и нежность; бесконечное утешение, отделенное пропастью. Я был бессилен понять его и мучился, пораженный грустью. Арвентур! Оно не могло быть именем человека. Я с негодованием отверг эту мысль. Но что же это? И где?

Волны ужасного напряжения вставали, падая вновь, как раненые солдаты. Ничего не было. Хоровод смутных видений приближался и убегал, полный неясных контуров, расплывающихся в тумане. Арвентур! Слово это притягивало меня. Оно, как нечто живое, существовало вне мысли. И я тщетно стремился охватить его взрывом сознания. В самом звуке слова было нечто, не позволяющее сомневаться в его праве на существование. Арвентур!

Я сделал несколько шагов по бульвару. Быть может, это название местечка, деревни, слышанное мною раньше? В моей стране таких имен нет. Возможно, что оно прочитано в книге. Почему же тогда, прочитанное, оно не вызвало такой глубокой и нежной грусти? Арвентур!

Взволнованный, я напряженно твердил это слово. Какой далекой, полной радостью веяло от него! Чужие страны разворачивались перед глазами. Смуглые, смеющиеся люди проходили в моем воображении, указывая на горизонт холмов.

– Арвентур, – говорили они. – Там Арвентур.

Рассеянный, в подавленном настроении, я вышел на набережную. Навстречу попадалось много знакомых: мы строили любезнейшие гримасы, облегченно вздыхали и расходились. Арвентур! – это звенело как воспоминание далекой любви. А за него, вызванное припадком тоски, цеплялось прошлое. Но в прошлом не было ничего, что нельзя было бы выразить иначе, чем ясным человеческим языком. Я чувствовал себя смертельно обиженным. Как мог я годами в сокровеннейших кладовые души выносить это неотразимое слово радости и быть чужим ему? Утка на лебедином яйце могла бы мне посочувствовать. Арвентур!

Вечером на ужине у знакомых я беспомощно улыбался и говорил, что простужен. Я ел, презирая себя. Пил, мысленно давая себе пощечины. Три человека спорили о новом налоге. Еще три, наклонившись друг к другу, шептали двусмысленности, прыскавая в соус. Приятная дама с усиками старалась незаметно вытереть локоть, мокрый от жира. Сосед мой, с головой, напоминающей редьку, обратился ко мне:

– Вы слышали, как блистательно я защитил интересы личности? По этому вопросу у меня лежит совершенно готовая статья, я думаю послать ее в «Торгово-Промышленный Журнал». Система налогов ведет к разврату и авантюризму.

– Арвентур! – сказал я, впервые чувствуя, что вино крепковато.

Прошла минута молчания. Мы пристально смотрели друг другу в глаза. Он мялся. Он притворился непонимающим. Он начал снова свою идиотскую песенку.

– Культура, благосостояние, перемена курса, протекционизм...

– Заведенная машина, – благожелательно сказал я, с ненавистью рассматривая человека-редьку. – Дрянная мельница.

Смутное воспоминание о раздвигаемых стульях, возгласы сожаления – вот и все. Я вышел. В передней мне дали шляпу. Легкий, спокойный воздух ночной улицы кружил голову. Слезы душили меня, не принося облегчения. Арвентур! Пусти меня в свои стены, хрустальный замок радости, Арвентур!

И эхо повторило мой крик отчаяния. Белые птицы, медленно взмахивая крыльями, летели в темноте к морю. – Арвентур! – кричали они. Я не мог двинуться с места; обхватив руками фонарный столб, я плакал от невыразимой тоски. Я боялся думать, страшился оскорбить плоским, ограниченным представлением нетленную красоту слова. Одну роскошь позволил я себе: цепь синих холмов, вершины их дымились как жертвенники.

– Там Арвентур! – твердил я.

Круг мысли, очерченный безмолвием, – карманный ночной фонарь, обруч наездника, лужа из белого и серого вещества, зеркальце с фольгой, засиженное мухами, – я бы разбил тебя тысячи и тысячи раз, не будь этой пыли алмазов, отшлифованных в небесах, этого сладкого проклятья и жестокой надежды верить, что Арвентур есть.

Капитан Дюк

I

Рано утром в маленьком огороде, прилегавшем к одному из домиков общины Голубых Братьев, среди зацветающего картофеля, посаженного правильными кустами, появился человек лет сорока, в вязаной безрукавке, морских суконных штанах и трубообразной черной шляпе. В огромном кулаке человека блестела железная лопатка. Подняв глаза к небу и с полным сокрушением сердца пробормотав утреннюю молитву, человек принялся ковырять лопаткой вокруг картофельных кустиков, разрыхляя землю. Неумело, но одушевленно тыкая непривычным для него орудием в самые корни картофеля, от чего невидимо крошились под землей на мелкие куски молодые, охаживаемые клубни, человек этот, решив наконец, что для спасения души сделано на сегодня довольно, присел к ограде, заросшей жимолостью и шиповником, и по привычке сунул руку в карман за трубкой. Но, вспомнив, что еще третьего дня трубка сломана им самим, табак рассыпан и дана торжественная клятва избегать всяческих мирских соблазнов, омрачающих душу, – человек с лопаткой горько и укоризненно усмехнулся.

– Так, так, Дюк, – сказал он себе, – далеко тебе еще до просветления, если, не успев хорошенько продрать глаза, тянешься уже к дьявольскому растению. Нет – изнуряйся, постись и смирись, и не смей тебе даже вспоминать, например, о мясе. Однако страшно хочется есть. Кок... гм... хорошо делал соус к котле... – Дюк яростно ткнул лопаткой в землю. – Животная пища греховна, и я чувствую себя теперь значительно лучше, питаюсь вегетарианской кухней. Да! Вот идет старший брат Варнава.

Из-за дома вышел высокий, сухопарый человек с очками на утином носу, прямыми, падающими на воротник рыжими волосами, бритый, как актер, сутулый и длинноногий. Его шляпа была такого же фасона, как у Дюка, с той разницей, что сбоку тульи блестело нечто вроде голубого плюмажа. Варнава носил черный, наглухо застегнутый сюртук, башмаки с толстыми подошвами и черные брюки. Увидев стоящего с лопатой Дюка, он издали закивал головой, поднял глаза к небу и изобразил ладонями, сложенными вместе, радостное умиление.

– Радуюсь и торжествую! – закричал Варнава пронзительным голосом. – Свет утра приветствует тебя, дорогой брат, за угодным богу трудом. Ибо сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб твой».

– Много камней, – пробормотал Дюк, протягивая свою увесистую клешню навстречу узким, извилистым пальцам Варнавы. – Я тут немножко работал, как вы советовали делать мне каждое утро для очищения помыслов.

– И для укрепления духа. Хвалю тебя, дорогой брат. Ростки божьей благодати несомненно

вытеснят постепенно в тебе адову пену и греховность земных желаний. Как ты провел ночь? Смутился твой дух? Садись и поговорим, брат Дюк.

Варнава, расправив кончиками пальцев полы сюртука, осторожно присел на траву. Дюк грузно сел рядом на муравейник. Варнава пристально изучал лицо новичка, его вечно хмурый, крепко сморщенный лоб, под которым блестели маленькие, добродушные, умеющие, когда надо, холодно и грозно темнеть глаза; его упрямый рот, толстые щеки, толстый нос, изгрызенные с вечного похмелья, тронутые сединой усы и властное выражение подбородка.

— Что говорить, — печально объяснял Дюк, постукивая лопаткой. — Я, надо полагать, отчаянный грешник. С вечера, как легли спать, долго ворочался на кровати. Не спится; чертовски хотелось курить и... знаете, это... когда табаку нет, столько слюны во рту, что не наплюешься. Вот и плевался. Потом наконец уснул. И снится мне, что Куркуль заснул на вахте, да где? — около пролива Кассет, а там, если вы знаете, такие рифы, что бездельника, собственно говоря, мало было бы повесить, но так как он глуп, то я только треснул его по башке линьком. Но этот мерзавец...

— Брат Дюк! — укоризненно вздохнул Варнава. — Кха! Кха!..

Капитан скис и поспешно схватился рукой за рот.

— Еще «Марианну» вспомнил утром, — тихо прошептал он. — Мысленно перецеловал ее всю от рымов до клотиков. Прощай, «Марианна», прощай! Я любил тебя. Если я позабыл переменить кливер, то прости — я загулял с маклером. Не раздражай меня, «Марианна», воспоминаниями. Не смей тебе сниться мне! Теперь только я понял, что спасенье души более важное дело, чем торговля рыбой и яблоками... да. Извините меня, брат Варнава.

Выплакав это вслух, с немного, может быть, смешной, но искренней скорбью, капитан Дюк вытащил полосатый платок и громко, решительно высморкался. Варнава положил руку на плечо Дюка.

— Брат мой! — сказал он проникновенно. — Отрешишь от бесполезных и вредных мечтаний. Оглянись вокруг себя. Где мир и покой? Здесь! Измученная душа видит вот этих нежных птичек, славящих бога, бабочек, служащих проявлением истинной мудрости высокого творчества; земные плоды, орошенные потом благочестивых... Над головой — ясное небо, где плывут небесные корабли-облака, и тихий ветерок обвеивает твое расстроенное лицо. Сон, молитва, покой, труд. «Марианна» же твоя — символ корысти, зависти, бурь, опьянения и курения, разврата и сквернословия. Не лучше ли, о брат мой, продать этот насыщенный человеческой гордостью корабль, чтобы он не смущал твою близкую к спасению душу, а деньги положить на текущий счет нашей общины, где разумное употребление их принесет тебе вещественную и духовную пользу?

Дюк жалобно улыбнулся.

— Хорошо, — сказал он через силу. — Пропадай все. Продать, так продать!

Варнава с достоинством встал, снисходительно поглядывая на капитана.

— Здесь делается все по доброму желанию братьев. Оставляю тебя, другие ждут моего внимания.

II

В десять часов утра, произведя еще ряд опустошений в картофельном огороде, Дюк удалился к себе, в маленький деревянный дом, одну половину которого — обширную пустую комнату с нарочито грубой деревянной мебелью — Варнава предоставил ему, а в другой продолжал жить сам. Община Голубых Братьев была довольно большой деревней, с порядочным количеством земли и леса. Члены ее жили различно: холостые — группами, женатые — обособленно. Капитан, по мнению Варнавы, как испытуемый, должен был провести срок искуса изолированно; этому помогало еще то, что у Дюка существовали деньжонки, а деньжонки везде требуют некоторого комфорта.

Подслеповатый, корявый парень появился в дверях, таща с половины Варнавы завтрак Дюку: кружку молока и кусок хлеба. Смирненно скрестив на груди руки, парень удалился, гримасничая и пятясь задом, а капитан, сердито понюхав молоко, мрачно покосился на хлеб. Пища эта

была ему не по вкусу; однако, твердо решившись уйти от грешного мира, капитан наскоро проглотил завтрак и раскрыл библию. Прежде чем приняться за чтение, капитан стыдливо помечтал о великолепных бифштексах с жареным испанским луком, какие умел божественно делать кок Сигби. Еще вспомнилась ему синяя стеклянная стопка, которую Дюк любовно оглаживал благодарным взглядом, а затем, проведя для большей вкусоности рукою по животу и крикнув, медленно осушал. «Какова сила врага рода человеческого!» – подумал Дюк, явственно ощутив во рту призрак крепкого табачного дыма. Покрутив головой, чтобы не думать о запретных вещах, капитан открыл библию на том месте, где описывается убийство Авеля, прочел, крепко сжал губы и с недоумением остановился, задумавшись.

«Авель ходил без ножа, это ясно, – размышлял он, – иначе мог бы ударить Каина головой в живот, сшибить и всадить ему нож в бок. Странно также, что Каина не повесили. В общем – неприятная история». Он перевернул полкниги и попал на описание бегства Авессалома. То, что человек запутался волосами в ветвях дерева, сначала рассмешило, а затем рассердило его. – Чиркнул бы ножиком по волосам, – сказал Дюк, – и мог бы удрать. Станный чудак! – Но зато очень понравилось ему поведение Ноя. – Сыновья-то были телята, а старик молодец, – заключил он и тут же понял, что впал в грех, и грустно подпер голову рукой, смотря в окно, за которым вилась лента проезжей дороги. В это время из-за подоконника вынырнуло чье-то смутно знакомое Дюку испуганное лицо и спряталось.

– Кой черт там глазееет? – закричал капитан.

Он подбежал к окну и, перегнувшись, заглянул вниз.

В крапиве, присев на корточки, притаились двое, подымая вверх умоляющие глаза: повар Сигби и матрос Фук. Повар держал меж колен изрядный узелок с чем-то таинственным; Фук же, грустно подперев подбородок ладонями, плачевно смотрел на Дюка. Оба сильно вспотевшие, пыльные с головы до ног, пришли, по-видимому, пешком.

– Это что такое?! – вскричал капитан. – Откуда вы? Что расселись? Встать!

Фук и Сигби мгновенно вытянулись перед окном, сдернув шапки.

– Сигби. – заволновался капитан, – я же сказал, чтобы меня больше не беспокоили. Я оставил вам письмо, вы читали его?

– Да, капитан.

– Все прочли?

– Все, капитан.

– Сколько раз читали?

– Двадцать два раза, капитан, да еще двадцати третий для экипажа «Морского змея»; они пришли в гости послушать.

– Поняли вы это письмо?

– Нет, капитан.

Сигби вздохнул, а Фук вытер замигавшие глаза рукавом блузы.

– Как не поняли? – загремел Дюк. – Вы непроходимые болваны, гнилые буйки, бродяги, – где это письмо? Сказано там или нет, что я желаю спастись?

– Сказано, капитан.

– Ну?

Сигби вытащил из кармана листок и стал читать вслух, выронив загремевший узелок в крапиву.

«Отныне и во веки веков аминь. Жил я, братцы, плохо и, страшно подумать, был настоящим язычником. Поколачивал я некоторых из вас, хотя до сих пор не знаю, кто из вас стянул новый брезент. Сам же, предаваясь ужасающему развратному поведению, дошел до полного помрачения совести. Посему удаляюсь от мира соблазнов в тихий уголок брата Варнавы для очищения духа. Прощайте. Сидите на „Марианне“ и не смейте брать фрахтов, пока я не сообщу, что делать вам дальше».

Капитан самодовольно улыбнулся – письмо это, составленное с большим трудом, он счи-

тал прекрасным образцом красноречивой убедительности.

– Да, – сказал Дюк, вздыхая, – да, возлюбленные братья мои, я встретил достойного человека, который показал мне, как опасно попасть в лапы к дьяволу. Что это бренчит у тебя в узелке, Сигби?

– Для вас это мы захватили, – испуганно прошептал Сигби, – это, капитан... холодный грог, капитан, и... кружка... значит.

– Я вижу, что вы желаете моей гибели, – горько заявил Дюк, – но скорее я вобью вам этот грог в пасть, чем выпью. Так вот: я вышел из трактира, сел на тумбочку и заплакал, сам не знаю зачем. И держал я в руке, сколько не помню, золота. И просыпал. Вот подходит святой человек и стал много говорить. Мое сердце растаяло от его слов, я решил раскаться и поехать сюда. Отчего вы не вошли в дверь, черти полосатые?

– Прячут вас, капитан, – сказал долговязый Фук, – все говорят, что такого нет. Еще попался нам этот с бантом на шляпе, которого видел кое-кто с вами третьего дня вечером. Он-то и прогнал нас. Безутешно мы колесили тут, вокруг деревни, а Сигби вас в окошко заметил.

– Нет, все кончено, – хмуро заявил Дюк, – я не ваш, вы не мои.

Фук зарыдал, Сигби громко засопел и надулся. Капитан начал щипать усы, нервно мигая.

– Ну, что на «Марианне»? – отрывисто спросил он.

– Напились все с горя, – сморкаясь, произнес Фук, – третий день пьют, сундуки пропили. Маклер был, выгодный фрахт у него для вас – скоропортящиеся фрукты; ругается, на чем свет стоит. Куркуль удрал совсем, а Бенц спит на вашей койке в вашей каюте и говорит, что вы не капитан, а собака.

– Как – собака! – сказал Дюк, бледнея от ярости. – Как – собака? – повторил он, высовываясь из окна к струсившим матросам. – Если я собака, то кто Бенц? А? Кто, спрашиваю я вас? А? Швабра он, последняя шваб-р-ра! Вот как?! Стоило мне уйти, и у вас через два дня чешутся обо мне языки? А может быть, и руки? Сигби, и ты, Фук, – убирайтесь вон! Захватите ваш дьявольский узелок. Не искушайте меня. Проваливайте. «Марианна» будет скоро мной продана, а вы плавайте на каком хотите корыте!

Дюк закрыл глаза рукой. Хорошенькая «Марианна», как живая, покачивалась перед ним, блестя новыми мачтами. Капитан скрипнул зубами.

– Обязательно вычистить и проветрить трюмы, – сказал он, вздыхая, – покрасить клюзы и камбуз да как следует прибрать в подшкиперской. Я знаю, у вас там такой порядок, что не отыщешь и фонаря. Потом отправьте «Марианну» в док и осмолите ее. Палубу, если нужно, поконопатить. Бенцу скажите, что я, смиренный брат Дюк, прощаю его. И помните, что вино – гибель, опасайтесь его, дети мои. Прощайте!

– Что ж, капитан, – сказал ошарашенный всем виденным и слышанным Сигби, – вы, значит, переходите, так сказать, в другое ведомство? Ладно, пропадай все, Фук, идем. Скажи, Фук, спасибо этому капитану.

– За что? – невинно осведомился капитан.

– За то, что бросили нас. Это после того, что я у вас служил пять лет, а другие и больше. Ничего, спасибо. Фук, идем.

Фук подхватил узелок, и оба, не оглядываясь, удалились решительными шагами в ближайший лесок – выпить и закусить. Едва они скрылись, как Варнава появился в дверях комнаты, с глазами, поднятыми вверх, и руками, торжественно протянутыми вперед к смущенному капитану.

– Я слышал все, о брат мой, – пропел он речитативом, – и радуюсь одержанной вами над собою победе.

– Да, я продам «Марианну», – покорно заявил Дюк, – она мешает мне, парни приходят с жалобами.

– Укрепись и дерзай, – сказал Варнава.

– Двадцать узлов в полном ветре! – вздохнул Дюк.

– Что вы сказали? – не расслышал Варнава.

– Я говорю, что бойкая была очень она, «Марианна», и руля слушалась хорошо. Да, да. И

четыреста тонн.

III

Матросы сели на холмике, заросшем вереском и волчьими ягодами. Прохладная тень кустов дрожала на их унылых и раздраженных лицах. Фук, более хладнокровный, человек факта, далек был от мысли предпринимать какие-либо шаги после сказанного капитаном; но саркастический, нервный Сигби не так легко успокаивался, мирясь с действительностью. Развязывая отвергнутый узелок, он не переставал бранить Голубых Братьев и называть капитана приличными случая именами, вроде дохлой морской свиньи, сумасшедшего кисля и т. д.

– Вот пирог с ливером, – сказал Сигби. – Хороший пирожок, честное слово. Что за корочка! Прямо как позолоченная. А вот окорочок, Фук; раз капитан брезгует нашим угощением, съедим сами. Грог согрелся, но мы его похолодим в соседнем ручье. Да, Фук, настали черные дни.

– Жаль, хороший был капитан, – сказал Фук. – Право, капиташа был в полной форме. Тяжеловат на руку, да; и насчет словесности не стеснялся, однако лишнего ничего делать не ставлял.

– Не то, что на «Сатурне» или «Клавдии», – вставил Сигби, – там, если работы нет, обязательно ковыряй что-нибудь. Хоть пеньку трепли.

– Свыклись с ним.

– Сухари свежие, мясо свежее.

– Больного не рассчитает.

– Да что говорить!

– Ну, поедим!

Начав с пирога, моряки кончили окороком и глотанием кости. Наконец швырнув окорочную кость в кусты, они принялись за охлажденный грог. Когда большой глиняный кувшин стал легким, а Фук и Сигби тяжелыми, но веселыми, повар сказал:

– Друг, Фук, не верится что-то мне, однако, чтобы такой моряк, как наш капитан, изменил своей родине. Свыкся он с морем. Оно кормило его, кормило нас, кормит и будет кормить много людей. У капитана ум за разум зашел. Вышибем его от Голубых Братьев.

– Чего из них вышибать, – процедил Фук, – когда разума нет.

– Не разум, а капитана.

– Трудновато, дорогой кок, думаю я.

– Нет, – возразил Сигби, – сам я действительно не знаю, как поступить, и не решился бы ничего придумать. Но знаешь что? – Спросим старого Бильдера.

– Вот тебе на! – вздохнул Фук. – Чем здесь поможет Бильдер?

– А вот! Он в этих делах собаку съел. Попутайся-ка, мой милый, семьдесят лет по морям – так будешь знать все. Он, – Сигби сделал таинственные глаза, – он, Бильдер, был тоже пиратом, в молодости, да, грешил и... тсс!... – Сигби перекрестился. – Он плавал на голландской летучке.

– Врешь! – вздрогнув, сказал Фук.

– Упади мне эта сосна на голову, если я вру. Я сам видел на плече у него красное клеймо, которое, говорят, ставят духи Летучего Голландца, а духи эти без головы, и значит, без глаз, а поэтому сами не могут стоять у руля, и вот нужен им бывает всегда рулевой из нашего брата.

– Н-да... гм... тпру... постой... Бильдер... Так это, значит, в «Кладбище кораблей»?!

– Вот, да, сейчас за доками.

– И то правда, – ободрился Фук. – Может, он и уговорит его не продавать «Марианну». Жаль, суденышко-то очень замечательное.

– Да, обидно ведь, – со слезами в голосе сказал Сигби, – свой ведь он, Дюк этот несчастный, свой, товарищ, бестия морская. Как без него будем, куда пойдем? На баржу, что ли? Теперь разгар навигации, на всех судах все комплекты полны; или ты, может быть, не прочь юнгой трепаться?

– Я? Юнгой?

– Так чего там. Тронемся к старцу Бильдеру. Заплачем, в ноги упадем: помоги, старый раз-

бойник!

– Идем, старик!

– Идем, старина!

И оба они, здоровые, в цвете сил люди, нежно называющие друг друга «стариками», обнявшись, покинули холм, затянув фальшивыми, но одушевленными голосами:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать.

Позвольте вас на саллинг взять,
Ах, вас на саллинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать...

IV

Бильдер, или Морской тряпичник, как называла его вся гавань, от последнего чистильщика сапог до элегантных командиров военных судов, прочно осел в Зурбагане с незапамятных времен и поселился в песчаной, заброшенной части гавани, известной под именем «Кладбища кораблей». То было нечто вроде свалочного места для износившихся, разбитых, купленных на слом парусников, барж, лодок, баркасов и пароходов, преимущественно буксирных. Эти печальные останки когда-то отважных и бурных путешествий занимали площадь не менее двух квадратных верст. В разошедшихся кормах, в дырявых трюмах, где свободно гулял ветер и плескалась дождевая вода, в жалобно скрипящих от ветхости капитанских рубках ютились по ночам парии гавани. Станные процветали здесь занятия и промыслы... Бильдер избрал ремесло морского тряпичника. На маленькой парусной лодке с небольшой кошкой, привязанной к длинному шкерт-у, бороздил он целыми днями Зурбаганскую гавань, выуживая кошкой со дна морского железные, тряпичные и всякие другие отбросы, затем, сортируя их, продавал скупщикам. Кроме этого, он играл роль оракула, предсказывая погоду, счастливые дни для отплытия, отыскивал удачно краденое и уличал вора с помощью решета. Контрабандисты молились на него: Бильдер разыскивал им секретные уголки для высадок и погрузок. При всех этих частных заработках был он, однако, беден, как церковная крыса.

Прозрачный день гас, и солнце зарывалось в холмы, когда Фук и Сигби, с присохшими от жары языками, вступили на вязкий песок «Кладбища кораблей». Тишина, глубокая тишина прошлого окружала их. Вечерний гром гавани едва доносился сюда слабым, напоминающим звон в ушах, бессильным эхом; изредка лишь пронзительный вопль сирены отходящего парохода нагонял пешеходов или случайно налетевший мартын плакал и хохотал над сломанными мачтами мертвецов, пока вечная прожорливость и аппетит к рыбе не тянули его обратно в живую поверхность волн. Среди остовов барж и бригов, напоминающих оголенными тимберсами чудовищные скелеты рыб, выглядывала изредка полузасыпанная песком корма с надписью тревожной для сердца, с облупленными и отпавшими буквами. «Надеж...» – прочел Сигби в одном месте, в другом – «Победитель», еще дальше – «Ураган», «Смелый»... Всюду валялись доски, куски обшивки, канатов, трупы собак и кошек. Проходы меж полусгнивших судов напоминали своеобразные улицы, без стен, с одними лишь заворотами и углами. Бесформенные длинные тени скрещивались на белом песке.

– Как будто здесь, – сказал Сигби, останавливаясь и осматриваясь. – Не видно дымка из дворца Бильдера, а без дымка что-то я позабыл. Тут как в лесу... Эй!.. Нет ли кого из жителей? Эй! – последние слова повар не прокричал даже, а проорал, и не без успеха; через пять-шесть шагов из-под опрокинутой расщепленной лодки высунулась лохматая голова с печатью прият-

ных размышлений в лице и бородой, содержимой весьма беспечно.

– Это вы кричали? – ласково осведомилась голова.

– Я, – сказал Сигби, – ищу этого колдуна Бильдера, забыл, где его особняк.

– Хороший голос, – заявила голова, покачиваясь, – голос гулкий, лошадиный такой. В лодке у меня загудело, как в бочке.

Сигби вздумал обидеться и набирал уже воздуху, чтобы ответить с достойной его самолюбия едкостью, но Фук дернул повара за рукав.

– Ты разбудил человека, Сигби, – сказал он, – посмотри, сколько у него в волосах соломы, пуху и щепок; не дай бог тебе проснуться под свой собственный окрик.

Затем, обращаясь к голове, матрос продолжал:

– Укажите, милейший, нам, если знаете, лачугу Бильдера, а так как ничто на свете даром не делается, возьмите на память эту регалию. – И он бросил к подбородку головы медную монету. Тотчас же из-под лодки высунулась рука и прикрыла подарок.

– Идите... по направлению кия этой лодки, под которой я лежу, – сказала голова, – а потом встретите овраг, через него перекинута бревно...

– Ага! Перейти через овраг, – кивнул Фук.

– Пожалуй, если вы любите возвращаться. Как вы дошли до оврага, не переходя его, берите влево и идите по берегу. Там заметите высокий песчаный гребень, за ним-то и живет старик.

Приятеля, следуя указаниям головы, вскоре подошли к песчаному гребню, и Сигби, узнав местность, никак не мог уяснить себе, почему сам не отыскал сразу всем известной площадки. Решив наконец, что у него «голова была не в порядке» из-за «этого ренегата Дюка», повар повел матроса к низкой двери лачуги, носившей поэтическое название: «Дворец Бильдера, Короля Морских Тряпичников», что возвещала надпись, сделанная жженой пробкой на лоскутке парусины, прибитом под крышей.

Оригинальное здание это сильно напоминало постройки нынешних футуристов как по разнообразию материала, так и по беззастенчивости в его расположении. Главный корпус «дворца» за исключением одной стены, именно той, где была дверь, составляла ровно отпиленная корма старого галиота, корма без палубы, почему Бильдер, не в силах будучи перевернуть корму килем вверх, устроил еще род куполообразной крыши наподобие куч термитовых муравьев, так что все в целом грубо напоминало откушенное с одной стороны яблоко. Весь эффект здания представляла искусственно выведенная стена; в состав ее, по разряду материалов, входили:

- 1) доски, обрубки бревен, ивовые корзинки, пустые ящики;
- 2) шкворни, сломанный умывальник, ведра, консервные жестянки;
- 3) битый фаянс, битое стекло, пустые бутылки;
- 4) кости и кирпичи.

Все это, добросовестно скрепленное палками, землей и краденым цементом, образовало стену, к которой можно было прислониться с опасностью для костюма и жизни. Лишь аккуратно прорезанная низкая дощатая дверь да единственное окошко в противоположной стене – настоящий круглый иллюминатор – указывали на некоторую архитектурную притязательность.

Сигби толкнул дверь и, согнувшись, вошел, Фук за ним Бильдер сидел на скамейке перед внушительной кучей хлама. Небольшая железная печка, охапка морской травы, служившей постелью, скамейка и таинственный деревянный бочонок с краном – таково было убранство «дворца» за исключением кучи, к которой Бильдер относился сосредоточенно, не обращая внимания на вошедших. К великому удивлению Фука, ожидавшего увидеть полураздетого, оборванного старика, он убедился, что Бильдер для своих лет еще большой франт: суконная фуфайка его, подхваченная у брюк красным поясом, была чиста и прочна, а парусинные брюки, запачканные смолой, были совсем новые. На шее Бильдера пестрело даже нечто вроде цветного платка, скрученного морским узлом. Под шапкой седых волос, переходивших в такие же круто нависшие брови и щетинистые баки, ворочались колючие глаза-щели, освещающая высохшее, жесткое и угрюмое лицо с застывшей усмешкой.

– Здр... здравствуйте, – нерешительно сказал Сигби.

– Угу! – ответил Бильдер, посмотрев на него сбоку взглядом человека, смотрящего через

очки... – Кх! Гум!

Он вытащил из кучи рваную женскую галошу и бросил ее в разряд более дорогих предметов.

– Помоги, Бильдер! – возопил Сигби, в то время как Фук смотрел поочередно то в рот товарищу, то на таинственный бочонок в углу. – Все ты знаешь, везде бывал и всюду... как это говорится... съел собаку.

– Ближе к ветру! – прошамкал Бильдер, отправляя коровий череп в коллекцию костяного товара.

Сигби не заставил себя ждать. Оттягивая рукой душивший его разгоряченную шею воротник блузы, повар начал:

– Сбежал капитан от нас. Ушел к сектантам, к Братьям Голубым этим, чтобы позеленели они! Не хочу и не хочу жить, говорит, с вами, язычниками, и сам я язычник. Хочу спастись. Мяса не ест, не пьет и не курит и судно хочет продать. До чего же обидно это, старик! Ну, что мы ему сделали? Чем виноваты мы, что только на палубе кусок можем свой заработать?.. Ну, рассуди, Бильдер, хорошо ли стало теперь: пошло воровство, драки; водку – не то что пьют, а умываются водкой; «Марианна» загажена; ни днем, ни ночью вахты никто не хочет держать. Ему до своей души дела много, а до нашей – тьфу, тьфу! Но уж и поискать такого в нашем деле мастера, разумеется, кроме тебя, Бильдер, потому что, как говорят...

Сигби вспомнил Летучего Голландца и, струсив, остановился. Фук побледнел; мгновенно фантазия нарисовала ему дьявольский корабль-призрак с Бильдером у штурвала.

– Угу! – промычал Бильдер, рассматривая обломок свинцовой трубки, железное кольцо и старый веревочный коврик и, по-видимому, сравнивая ценность этих предметов. Через мгновение все они, как буквы из руки опытного наборщика, гремя, полетели к своим местам.

– Помоги. Бильдер! – молитвенно закончил взволнованный повар.

– Чего вам стоит! – подхватил Фук.

Наступило молчание. Глаза Бильдера светились лукаво и тихо. По-прежнему он смотрел в кучу и сортировал ее, но один раз ошибся, бросив тряпку к костям, что указывало на некоторую задумчивость.

– Как зовут? – хрипнул беззубый рот.

– Сигби, кок Сигби.

– Не тебя; того дурака.

– Дюк.

– Сколько лет?

– Тридцать девять.

– Судно его?

– Его, собственное.

– Давно?

– Десять лет.

– Моет, трет, чистит?

– Как любимую кошку.

– Скажите ему, – Бильдер повернулся на скамейке, и просители со страхом заглянули в его острые, блестящие глаза-точки, смеющиеся железным, спокойным смехом дряхлого прошлого, – скажите ему, щенку, что я, Бильдер, которого он знает двадцать пять лет, утверждаю: никогда в жизни капитан Дюк не осмелится пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Проваливайте!

Сказав это, старик подошел к таинственному бочонку, нацедил в кружку весьма подозрительно-ароматической жидкости и бережно проглотил ее. Не зная – недоумевать или благодарить, плакать или плясать, повар вышел спиной, надев шапку за дверь. Тотчас же вывалился и Фук.

Фук не понимал решительно ничего, но повар был человек с более тонким соображением; когда оба, усталые и пыльные, пришли наконец к харчевне «Трезвого странника», он переварил смысл сказанного Бильдером, и, хоть с некоторым сомнением, но все-таки одобрил его.

– Фук, – сказал Сигби, – напишем, что ли, этому Дюку. Пускай проглотит пилюлю от Бильдера.

– Обидится, – возразил Фук.

– А нам что. Ушел, так терпи.

Сигби потребовал вина, бумаги и чернил и вывел безграмотно, но от чистого сердца следующее:

«Никогда Дюк не осмелится пройти на своей „Марианне“ между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Бильдер. Все смеются.

Экипаж „Марианны“».

Хмельные поплелись товарищи на корабль. Гавань спала. От фонарей судов, отражений их и звезд в небе весь мир казался бархатной пропастью, полной огней вверху и внизу, всюду, куда хватал глаз. У мола, поскрипывая, толкались на зыби черные шлюпки, и черная вода под ними сверкала искрами. У почтового ящика Сигби остановился, опустил письмо и вздохнул.

– Ясно, как пистолет и его бабушка, – проговорил он, нежно целуя ящик, – что Дюк изорвет тебя, сердечное письмецо, в мелкие клочки, но все-таки! Все-таки! Дюк... Не забывай, кто ты!

V

Вечером в воскресенье, после утомительного бездельного дня, пения духовных стихов и проповеди Варнавы, избравшего на этот раз тему о нестяжательстве, капитан Дюк сидел у себя, погруженный то в благочестивые, то в греховные размышления. Скука томила его, и раздражение, вызванное вчерашним неудачным уроком пахання, когда, как казалось ему, даже лошадь укоризненно посматривала на неловкого капитана, взявшегося не за свое дело, улеглось не вполне, заставляя говорить самому себе горькие вещи.

– «Плуг, – размышлял капитан, – плуг... Ведь не мудрость же особенная какая в нем... но зачем лошадь приседает?» Говоря так, он не помнил, что круто нажимал лемех, отчего даже три лошади не могли бы двинуть его с места. Затем он имел еще скверную морскую привычку – всегда тянуть на себя и по рассеянности проделывал это довольно часто, заставляя кобылу танцевать взад и вперед. Поле, вспаханное до конца таким способом, напоминало бы поверхность луны. Кроме этой весьма крупной для огромного самолюбия Дюка неприятности, сегодня он резко поспорил с школьным учителем Клоски. Клоски прочел в газете о гибели гигантского парохода «Корнелиус» и, несмотря на насмешливое восклицание Дюка: «Ага!», стал утверждать, что будущее в морском деле принадлежит именно этим «плотам», как презрительно называл «Корнелиуса» Дюк, а не первобытным «ветряным мельницам», как определил парусные суда Клоски. Ужаленный, Дюк встал и заявил, что, как бы то ни было, никогда не взял бы он Клоски пассажиром к себе, на борт «Марианны». На это учитель возразил, что он моря не любит и плавать по нему не собирается. Скрепя сердце, Дюк спросил: «А любите вы маленькие, грязные лужи?» – и, не дожидаясь ответа, вышел с сильно бьющимся сердцем и тягостным сознанием обиды, нанесенной своему ближнему.

После этих воспоминаний Дюк перешел к обиженной «ветряной мельнице», «Марианне». Пустая, высоко подняв грузовую ватерлинию над синей водой, покачивается она на рейде так тяжело, так жалостно, как живое, вздыхающее всей грудью существо, и в крепких реях ее посвистывает ненужный ветер.

– Ах, – сказал капитан, – что же это я растрavляю себя? Надо выйти пройтись! – Прикрутив лампу, он открыл дверь и нырнул в глухую, лающую собаками тьму. Постояв немного посреди спящей улицы, капитан завернул вправо и, поравнявшись с окном Варнавы, увидел, что оно, распахнутое настежь, горит полным внутренним светом. «Читает или пишет», – подумал Дюк, заглядывая в глубину помещения, но, к изумлению своему, заметил, что Варнава производит некую странную манипуляцию. Стоя перед столом, на котором, подогреваемый спиртовкой, бур-

лил, кипя, чайник, брат Варнава осторожно проводил по клубам пара небольшим запечатанным конвертом, время от времени пробуя поддеть заклепку столовым ножом.

Как ни был наивен Дюк во многих вещах, однако же занятие Варнавы являлось весьма прозрачным. – «Вот как, – оторопев, прошептал капитан, приседая под окном до высоты шеи, – проверку почты производишь, так, что ли?» На миг стало грустно ему видеть от уважаемой личности неблаговидный поступок, но, опасаясь судить преждевременно, решил он подождать, что будет делать Варнава дальше. «Может быть, – размышлял, затаив дыхание, Дюк, – он не расклеивает, а заклеивает?». Тут произошло нечто, опровергнувшее эту надежду. Варнава, водя письмом над горячим паром кастрюльки, уронил пакет в воду, но, пытаясь схватить его на лету, опрокинул спиртовку вместе с посудой. Гремя, полетело все на пол; сверкнул, шипя, залитый водой синий огонь и потух. Отчаянно всплеснув руками, Варнава проворно выхватил из лужи мокрое письмо, затем, решив, что адресату возвращать его в таком виде все равно странно, поспешно разорвал конверт, бегло просмотрел текст и, сунув листок на подоконник, почти к самому носу быстро нагнувшего голову капитана, побежал в коридор за тряпкой.

– Ну-да, – сказал капитан, краснея как мальчик, – украл письмо брат Варнава! – Осторожно выглянув, увидел он, что в комнате никого нет, и отчасти из любопытства, а более из любви ко всему таинственному нагнулся к лежавшему перед ним листку, рассуждая весьма резонно, что письмо, претерпевшее столько манипуляций, стоит прочесть. И вот, сжав кулаки, прочел он то, что, высунув от усердия язык, писал Сигби.

Он прочел, повернулся спиной к окну и медленно, на цыпочках, словно проходя мимо спящих, пошел от окна в сторону огородов. Было так темно, что капитан не видел собственных ног, но он знал, что его щеки, шея и нос пунцовее мака. Несомненное шпионство Варнавы мало интересовало его. И Варнава, и Голубые Братья, и учитель Клоски, и неуменье пахать – все было слизано в этот момент той смертельной обидой, которую нанес ему мир в лице Морского Тряпичника. Кто угодно мог бы сказать это, только не он. Остальные могут говорить что угодно. Но Бильдер, которому двадцать лет назад на палубе «Веги», где тот служил капитаном, смотрел он в глаза преданно и трусливо, как юный щенок смотрит в опытные глаза матери; Бильдер, каждое указание которого он принимал к сердцу ближе, чем поцелуй невесты; Бильдер, знающий, что он, Дюк, два раза терпел крушение, сходя на шлюпку последним; этот Бильдер заочно, а не в глаза высмеял его на потеху всей гавани. Да! Дюк стиснул руками голову и опустил на землю, к изгороди. Прямая душа его не подозревала ни умысла, ни интриги. Правда, Кассет очень опасен, и не многие ради сокращения пути рискуют идти им, дабы не огибать Вард; но он, Дюк, разве из трусости избегал «Безумный пролив»? Менее всего так. Осторожность никогда не мешает, да и нужды прямой не было; но, если пошло на то...

– Постой, постой, Дюк, не горячись, – сказал капитан, чувствуя, что потеет от скорби. – Кассет. Слева гора, маяк, у выхода буруны и левее плоская, отмеченная на всех картах мель; фарватер южнее, и форма его напоминает гитару; в перехвате поперек две линии рифов; отлив на девять футов, после него можно стоять на камнях по щиколотку. Сильное косое течение относит на мель, значит, выходя из-за Варда, забирать против течения к берегу и между рифами – так... – Капитан описал в темноте пальцем латинское S. – Затем у выхода вдоль бурунов на норд-норд-ост и у маяка на полкабельтова к берегу – чик и готово!

«Разумеется, – горестно продолжал размышлять Дюк, – все смотрят теперь на меня, как на отпетого. Я для них мертв. А о мертвом можно болтать что угодно и кому угодно. Даже Варнава знает теперь – негодный шпион! – на какую мелкую монету разменивают капитана Дюка». Тяжело вздыхая, ловил он себя на укорах совести, твердившей ему, что совершено за несколько минут множество смертельных грехов: поддался гневу и гордости, впал в самомнение, выругал Варнаву шпионом... Но уже не было сил бороться с властным призывом моря, принесшим ему корявым, напоминающим ветреную зыбь, почерком Сигби любовный, нежный упрек. Торжественно помолчав в душе, капитан выпрямился во весь рост; отчаянно махнул рукой, прощаясь с праведной жизнью, и, далеко швырнув форменный цилиндр Голубых Братьев, встал грешными коленями на грязную землю, сыном которой был.

– Боже, прости Дюка! – бормотал старый ребенок, сморкаясь в фуляровый платок. – Про-

пасть, конечно, мне суждено, и ничего с этим уже не поделаешь. Ежели б не Кассет – честное слово, я продал бы «Марианну» за полцены. Весьма досадно. Пойду к моим ребятишкам – пропадать, так уж вместе.

Встав и уже петушась, как в ясный день на палубе после восьмичасовой склянки, когда горло кричит само собой, невинно и беспредметно, выражая этим полноту жизни, Дюк перелез изгородь, промаршировал по огурцам и капусте и, одолев второй, более высокий забор, ударился по дороге к Зурбагану, жадно дыша всей грудью, – прямой дорогой, как выразился он, немного спустя, сам, – в ад.

VI

Стихи о «птичке, ходящей весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий», смело можно отнести к семи матросам «Марианны», которые на восходе солнца, после бессонной ночи, расположились на юте, с изрядно помятыми лицами, предаваясь каждый занятию, более отвечающему его наклонностям. Легкомысленный Бенц, перегнувшись за борт, лукаво беседовал с остановившейся на молу хорошенькой прачкой; Сигби, проклиная жизнь, гремел на кухне кастрюлями, швыряя в сердцах ложки и ножи; Фук меланхолично чинил рваную шапку, старательно мусля не только нитку, но и ушко огромной иглы, попасть в которое представлялось ему, однако же, делом весьма почтенным и славным; а Мануэль, Крисс, Тромке и боцман Банжок, сидя на задраенном трюме, играли попарно в шестьдесят шесть.

Внезапно сильно как под слоном заскрипели сходни, и на палубу под низкими лучами солнца вползла тень, а за ней, с измученным от дум и ходьбы лицом, без шапки, твердо ступая трезвыми ногами, вырос и остановился у штирборта капитан Дюк. Он медленно исподлобья осмотрел палубу, крикнул, вытер ладонью пот, и неуловимая, стыдливая тень улыбки дрогнула в его каменных чертах, пропав мгновенно, как случайная складка паруса в полном ветре.

Бенц прынул от борта с быстротой спущенного курка. Девушка, стоявшая внизу, раскрыла от изумления маленький, детский рот при виде столь загадочного исчезновения кавалера. Сигби, обернувшись на раскрытую дверь кухни, пролил суп, сдернул шапку, надел ее и опять сдернул. Фук с испуга сразу, судорожно попал ниткой в ушко, но тут же забыл о своем подвиге и вскочил. Игроки замерли на ногах. А «Марианна» покачивалась, и в стройных снастях ее гудел нужный ветер.

Капитан молчал, молчали матросы. Дюк стоял на своем месте, и вот – медленно, как бы не веря глазам, команда подошла к капитану, став кругом. «Как будто ничего не было», – думал Дюк, стараясь определить себе линию поведения. Спокойно поочередно встретился он глазами с каждым матросом, зорко следя, не блеснет ли затаенная в углу губ усмешка, не дрогнет ли самодовольной гримасой лицо боцмана, не пустит ли слезу Сигби. Но с обычной радушной готовностью смотрели на своего капитана деликатные, понимающие его состояние моряки, и только в самой глубине глаз их искрилось человеческое тепло.

– Что ты думаешь о ветре, Банжок? – сказал Дюк.

– Хороший ветер; господин капитан, дай бог всякого здоровья такому ветру; зюйд-ост на две недели.

– Бенц, принеси-ка... из своей каюты мою белую шапку!

Бенц, трусив, исчез.

– Поднять якорь! – закричал капитан, чувствуя себя дома, – вы, пьяницы, неряхи, бездельники! Почему шлюпка спущена? Поднять немедленно! Закрепить ванты! Убрать сходни! Ставь паруса! «Марианна» пойдет без груза в Алан и вернется – слышите вы, трусы? – с полным грузом через Кассет.

Он успокоился и прибавил:

– Я вам покажу Бильдера.

Путь

I

Замечательно, что при всей своей откровенности Эли Стар ни разу не проболтался мне о своем странном открытии; это-то, конечно, и погубило его. Признайся он мне в самом начале, я приложил бы все усилия, чтобы исправить дело. Но он был скрытен; может быть, он думал, что ему не поверят.

Все объяснилось в тот день, когда взволнованный Генникер, не снимая шляпы, появился в моем кабинете, нервно размахивая хлыстом, готовый, кажется, ударить меня, если я помешаю ему выражать свои ощущения. Он сел (нет – он с силой плюхнулся в кресло), и мы несколько секунд бодали друг друга взглядами.

– Кестер, – сказал он наконец, – думаете ли вы, что Эли порядочный человек?

Я встал, снова сел и вытаращил на него глаза.

– Вы выпили немного, Генникер, – сказал я. – Улыбнитесь сейчас же, тогда я поверю, что вы шутите.

– Вчера, – сказал он таким голосом, как будто читал по книге завещание одного из персонажей романа, – вчера Эли Стар пришел к нам. У него был подавленный, удрученный вид, он присидел с нами, как истукан, почти не разговаривая, до вечера.

После чая явился один из клиентов с просьбой перестроить фасад дома. Я уединился с ним, но сквозь неплотно притворенную дверь кабинета слышал, как моя сестра Синтия предложила Эли прогуляться в саду. Приблизительно через полчаса после этого, когда клиент удалился, Синтия с заплаканным лицом подошла ко мне. На ее голове был шерстяной платок, она только что вернулась из сада.

– Ну, что? – немного встревоженный спросил я. – Вы поссорились?

– Нет, – сказала она, подходя к окну, так что мне были видны только ее вздрагивающие плечи, – но между нами все кончено. Я не буду его женой.

Пораженный, я встал; первой моей мыслью было отыскать Эли. Синтия угадала мое движение. – Он ушел, – сказала она, – ушел так поспешно, что я даже не разобрала, в чем дело. Он говорил, кажется, что должен уехать. – Она рассмеялась злым смехом; действительно, Кестер, что может быть оскорбительнее для женщины?

Я засыпал ее вопросами, но мне не удалось ничего добиться. Эли ушел, отказался от своего слова, не объясняя причины. Попробуй защитить его, Кестер.

Я внимательно посмотрел на Генникера, его трясло от негодования, кончик хлыста бешено извивался на полу. Для меня это было еще большей неожиданностью.

– Может быть, он скажет тебе в чем дело, – продолжал Генникер. – До сих пор его прямые глаза служили мне отдыхом.

Я взял шляпу и трость.

– Посиди здесь, Генникер. Я прохожу недолго. Кстати, когда ты видел его последний раз? Раньше вчерашнего?

– В прошлое воскресенье, за городом. Он шел от парка к молочной ферме.

– Да, – подхватил я, – постой, вы встретились.

– Да.

– Ты поклонился?

– Да.

– И у него был такой вид, как будто он не замечает твоего существования.

– Да, – сказал изумленный Генникер. – Но тебя ведь с ним не было?

– Это не трудно угадать, милый; в то же самое воскресенье я встретился с ним лицом к лицу; но он смотрел сквозь меня и прошел меня. Он стал рассеян. Я ухожу, Генникер, к нему; я умею расспрашивать.

II

В серой полутьме комнаты я рассмотрел Эли. Он лежал на диване ничком, без сюртука и штиблет. Шторы были опущены, последний румянец заката слабо окрашивал их плотные складки.

– Это ты, Кестер? – спросил Стар. – Прости, здесь темно. Нажми кнопку.

В электрическом свете тонкое юношеское лицо Эли показалось мне детски-суровым – он смотрел на меня в упор, сдвинув брови, упираясь руками в диван, словно собирался встать, но раздумал. Я подошел ближе.

– Эли! – громко произнес я, стремясь бодростью голоса стряхнуть гнетущее настроение. – Я видел Генникера. Он взбешен. Поставь себя на его место. Он вправе требовать объяснения. Наверное, и меня это также немного интересует, ведь ты мне друг. Что случилось?

– Ничего, – процедил он сквозь зубы, в то время как глаза его силились улыбнуться. – Я попрошу прощения и напишу Синтии письмо, из которого для всех будет ясно, что я, например, негодай. Тогда меня оставят в покое.

– Конечно, – сказал я мирным тоном, – ты или подделал вексель, или убил тетку. Это ведь так на тебя похоже. Элион Стар, я тебя спрашиваю – отбросим шутки в сторону, – почему ты обидел эту прекрасную девушку?

Эли беспомощно развел руками и стал смотреть вниз. Кажется, он сильно страдал. Я не торопил его; мы молчали.

– Расскажешь, – подозрительно сказал он, испытующе взглянув на меня. – Я не хочу этого, потому что мне нельзя верить, Кестер, – конечно, я отбрасываю прежнюю жизнь в сторону, но я не в силах поступить иначе. Если я расскажу тебе в чем дело, то погублю все. Вы – то есть ты и Генникер – отправите меня с доктором и будете уверять Синтию, что все обстоит прекрасно.

– Эли, я даю слово.

Не знаю почему, – эти мои вялые, неуверенные слова ободрили его. Может быть, он и сам искал случая поделиться с кем-нибудь тем странным и величественным миром, который стал близок его душе.

Он как будто повеселел. «В самом деле», – говорили его глаза. Но он все еще колебался; казалось, желание быть в роли вынужденного рассказчика превышало его собственную потребность в откровенности. Я продолжал уговаривать его, понукать, он сдавался. Излишне приводить здесь те скомканные полуотрывочные фразы, которые обыкновенно предшествуют рассказу всякого потрясенного человека. Эли высыпал их достаточно, пока коснулся сущности дела, и вот что он рассказал мне:

«Две недели назад утром я проснулся в тоскливом настроении духа и тела. К этому обычному для меня в последнее время состоянию примешивалось непонятное, тревожное ожидание. Вместе с тем я испытывал ощущение глубокого, торжественного простора, который, так сказать, проникал в меня неизвестно откуда; я был в четырех стенах.

Я вышел на улицу, погруженный в молчаливое созерцание солнечных улиц и движущейся толпы. У первого перекрестка меня поразил маленький цветущий холм, пересекавший дорогу как раз в середине каменного тротуара. С глубоким удивлением (потому что это центральная часть города) рассматривал я степную ромашку, маргаритки и зеленую невысокую траву. Тогда господин, шедший впереди меня по тому же самому тротуару, прошел сквозь холм, да, он погрузился в него по пояс и удалился, как будто это была не земля, а легкий ночной туман.

Я оглянулся, Кестер; город принимал странный вид: дома, улицы, вывески, трубы – все было как бы сделано из кисеи, в прозрачности которой лежали странные пейзажи, мешаясь своими очертаниями с угловатостью городских линий; совершенно новая, невиданная мною местность лежала на том же месте, где город. Случалось ли тебе испытывать мгновенный дефект зрения, когда все окружающее двоится в глазах? Это может дать тебе некоторое представление о моих впечатлениях, с той разницей, что для меня предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга – два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую, холмистую степь, с далекими на горизонте голубыми горами.

Я был бы идиотом, если бы захотел дать тебе уразуметь степень потрясения, уничтожив-

шего меня до полного паралича мысли; пестрая вереница красок сверкала перед моими глазами, небо стало почти темным от густой синевы, в то время как яркий поток света обнимал землю. Ошеломленный, я поспешил назад. Я пришел домой по каменному настилу мостовой и восхитительно густой траве изумрудного блеска. Поднимаясь по лестнице, я видел внизу, в комнате привратника, продолжение все той же, имевшей полную реальность картины – дикие кусты, ручей, пересекавший улицу.

С наступлением вечера двойственность стала тускнеть; еще некоторое время я различал линию таинственного горизонта, но и она угасла, как солнце на западе, когда мрак ночи охватил город.

На следующий день я проснулся, продолжая разглядывать второй мир земли с чувством непостижимого сладкого ужаса. Не было более оснований сомневаться; тот же странный, великолепный пейзаж сверкал сквозь очертания города; я мог изучать его, не поднимаясь с постели. Широкая, туманная от голубой пыли, дорога вилась поперек степи, уходя к горам, теряясь в их величавой громаде, полной лиловых теней. Неизвестные, полуголые люди двигались непрерывной толпой по этой дороге; то был настоящий живой поток; скрипели обозы, караваны верблюдов, нагруженных неизвестной кладью, двигались, мотая головами, к таинственному амфитеатру гор; смуглые дети, женщины нездешней красоты, воины в странном вооружении, с золотыми украшениями в ушах и на груди стремились неудержимо, перегоняя друг друга. Это походило на огромное переселение. Сверкающая цветная лента толпы, звуки музыкальных инструментов, скрип колес, крик верблюдов и мулов, смешанный разговор на непонятном наречии – все это действовало на меня так же, как солнечный свет на прозревшего слепца.

Толпы эти проходили сквозь город, дома, и странно было видеть, Кестер, как чистенько одетые горожане, трамваи, экипажи скрещиваются с этим потоком, сливаются и расходятся, не оставляя друг на друге следов малейшего прикосновения. Тогда я заметил, что лица смуглых людей, мужчин и женщин – ясны, как весенний поток.

Снова с наступлением темноты я перестал видеть виденное и проходил всю ночь, не раздеваясь, по комнатам. Куда идут эти люди? – спрашивал я себя. Движение не прекращалось вплоть до сегодняшнего дня. Кестер, я вижу изо дня в день эту стремительную массу людей, проходящих через великую степь. Несомненно, их привлекает страна, лежащая за горами. Я пойду с ними. Я твердо решил это, я завидую глубокой уверенности их лиц. Там, куда направляются эти люди, непременно должны быть чудесные, немыслимые для нас вещи. Я буду идти, придерживаясь направления степной дороги».

Он смолк. Лицо его было необыкновенно в этот момент, я действительно верил тогда, что Эли видит что-то непостижимое для обыкновенного человека. Он не мистифицировал. Глубокое волнение, с которым он закончил свой рассказ, производило потрясающее впечатление. Вместе с тем я чувствовал потребность немедленно идти к Генникеру и обсудить качества одной хорошей лечебницы.

Я ушел, оставив Эли в глубокой задумчивости. Мне нечего было сказать ему, расспросы же могли вызвать только новый приступ экзальтации. Генникера я не застал, он ушел, соскучившись ждать. Но на другой же день родственникам Эли пришлось поместить газетную публикацию:

«Разыскивается молодой человек, Элион Стар, среднего роста, блондин, с хорошими манерами, маленькие руки и ноги, тихий голос; вышел из дома с небольшим ручным саквояжем в 11 ч. утра. Указавшему местопребывание Стара будет выдано хорошее вознаграждение».

В солидной, купеческой гостиной сидели пожилые люди, коммерсанты, две барышни, их мамаша и я. Хозяин дома, выйдя из кабинета, сказал мне:

– Кестер, помните нашумевшую десять лет назад историю с загадочным исчезновением юноши Элиона Стар? Он был ваш друг.

– Да, помню, – сказал я.

– Он умер. Родственники его получили на днях полицейское официальное уведомление об этом из Рио-Жанейро. При нем нашли документы, указывающие его имя и звание.

Я встал.

– Да... бедняга, – продолжал хозяин, – он умер в отрепьях, с наружностью закоренелого бродяги, если судить по фотографической карточке, снятой полицейским врачом. Умер он в какой-то харчевне. Отец Эли за большие деньги выписал сюда этого врача, чтобы расспросить самому, как выглядел его сын.

– Он лежал совершенно спокойно, – сказал отцу Эли врач, – казалось, что он спит. В лице его было непонятно одно – улыбка. Мертвый, он улыбался.

Я наклонил голову, отдавая этим последнюю дань моему молодому другу. «Он улыбался». Неужели он нашел перед смертью страну, лежащую за горами?

Подаренная жизнь

I

Коркин был человек средней физической силы, щедедушного сложения; его здоровый глаз, по контрасту с выбитым, закрывшимся, смотрел с удвоенным напряжением; он брился, напоминая этим трактирного официанта. В общем, худощавое кривое его лицо не производило страшного впечатления. «Джонка», бурое пальто и шарф были его бессменной одеждой. Он никогда не смеялся, а говорил голосом тонким и тихим.

В субботу вечером Коркин сидел в трактире и пил чай, обдумывая, где бы заночевать. Его искала полиция. Хлопнула, дохнув морозным паром, дверь; вошел испитой мальчишка, лет четырнадцати. Он осмотрелся, увидел Коркина и, подмигнув, направился к нему.

– Тебя, слышь, хотят тут, дело тебе есть, – сказал он, подсаживаясь. – Фрайер спрашивал.

– Чего это?

– Какой-то барин, – сказал хулиган, – я с ним снюхался на вокзале. Надо ему кого-то «пришить». Мастера ищет.

– Он где?

– Поедем в «Ливерпуль». Он там в кабинете засел, пьет и бегаёт. Кулачонко сжал, по столу треснул, зубами скрипнул. Псих.

– Пойдем, – сказал Коркин. Он встал, закрыл шарфом нижнюю часть лица, «джонку» сдвинул к бровям, торопливо докурил папироску и вышел с хулиганом на улицу.

II

По выцветшему, насквозь пропахшему кисло-унылым запахом кабинету «Ливерпуля» расхаживал, нервно потирая руки, человек лет тридцати. На нем был короткий, в талию, серый полушубок, белый барашек на рукавах и воротнике придавал полушубку вид фатовской, дамский. Шапка, тоже белая, сидела на бородатой, жеманно откинутой голове очень кокетливо.

Мрачное лицо, с выдающейся нижней челюстью, обведенной густой, подстриженной клинышком, темной бородой; впалые, беспокойные глаза, закрученные торчком усы и нечто танцующее во всех движениях от скользящей, конькобежной походки до выворачивания наотлет локтей, – давали общее впечатление холеного, истеричного самца.

Коркин, постучав, вошел. Незнакомый нервно заморгал.

– По делу звали, – сказал Коркин, смотря на бутылки.

– Да, да, по делу, – заговорил шепотом неизвестный. – Вы – тот самый?

– Тот самый.

– Вы... пьете?

По тому, как он резко сказал «вы», – Коркин видел, что барин презирает его.

– Пьете, – нахально ответил Коркин; сел, налил и выпил.

Барин некоторое время молчал, воздушно поглаживая бороду пальцами.

– Обтяпайте мне одно дело, – хмуро сказал он.

– Говорите... зачем звали.

– Мне нужно, чтобы одного человека не было. За это получите вы тысячу рублей, а задатком теперь триста.

Левая щека его задергалась, глаза вспухли. Коркин выпил вторую порцию и съязвил:

– Самому-то вам... слабо... или как?..

– Что? Что? – встрепенулся барин.

– Сами... трусите?..

Барин устремился к окну и, постояв там вполоборота, кинул:

– Болван!

– Сам болван, – спокойно ответил Коркин.

Барин как бы не расслышал этого. Присев к столу, он объяснил Коркину, что желает смерти студента Покровского; дал его адрес, описал наружность и уплатил триста рублей.

– В три дня будет готов Покровский, – сухо сказал Коркин. – По газетам узнаете.

Они условились, где встретиться для доплаты, и расстались.

III

Весь следующий день Коркин напрасно подстерегал жертву. Студент не входил и не выходил.

К семи часам вечера Коркин устал и проголодался. Размыслив, решил он отложить дело до завтра. Кинув последний раз взгляд на черную арку ворот, Коркин направился в трактир. За едой он заметил, что ему как-то не по себе: ныли суставы, вздрагивалось, хотелось тянуться. Пища казалась лишенной запаха. Однако Коркину не пришло в голову, что он простужен.

Преступник с отвращением доел щи. Сидя потом за чаем, он испытывал неопределенную тревогу. Бродили беспокойные мысли, раздражал яркий свет ламп. Коркин хотел уснуть, забыв о полиции, железной гирьке, приготовленной для Покровского, и всем на свете. Но притон, где он ночевал, открывался в одиннадцать.

У Коркина оставалось два свободных часа. Он решил провести их в кинематографе. На него напало странное легкомыслие, полное презрение к сыщикам и тупое безразличие ко всему.

Он зашел в какой-то из «Биоскопов». При кинематографе этом существовал так называемый «Анатомический музей», произвольное собрание восковых моделей частей человеческого тела. Коркин зашел и сюда.

С порога Коркин осмотрел комнату. За стеклами виднелось нечто красное, голубое, розовое и синее, и в каждом таком непривычных очертаний предмете был намек на тело самого Коркина.

Вдруг он испытал необъяснимую тягость, сильное сердцебиение – потому ли, что встретился с объектом своего «дела» в его, так сказать, непривычном, бесстрастно интимном виде, или же потому, что на модели, изображающие сердце, легкие, печень, мозг, глаза и т. п., смотрели вместе с ним незнакомые люди, далекие от подозрения, что такие же, только живые механизмы уничтожались им, Коркиным, – он не знал. Его резкое, новое ощущение походило на то, как если бы, находясь в большом обществе, он увидел себя совершенно нагим, раздетым таинственно и мгновенно.

Коркин подошел ближе к ящикам; заключенное в них магически притягивало его. Прежде других бросилась ему в глаза надпись: «Кровеносная система дыхательных путей». Он увидел нечто похожее на дерево без листьев, серого цвета, с бесчисленными мелкими разветвлениями. Это казалось очень хрупким, изысканным. Затем Коркин долго смотрел на красного человека без кожи; сотни овальных мускулов вплетались один в другой, тесно обливая костяк упругими очертаниями; они выглядели сухо и гордо; по красной мускулатуре струились тысячи синих жил.

Рядом с этим ящиком блестел большой черный глаз; за его ресницами и роговой оболочкой виднелись некие, непонятные Коркину, похожие на маленький станок, части, и он, тупо смотря на них, вспомнил свой выбитый глаз, за которым, следовательно, был сокрушен такой же таинственный станок, как тот, которые он видел.

Коркин осмотрел тщательно все: мозг, напоминающий ядро грецкого ореха; разрез головы

по линии профиля, где было видно множество отделений, пустот и перегородок; легкие, похожие на два больших розовых лопуха, и еще много чего, оставившего в нем чувство жуткой оторопелости. Все это казалось ему запретным, случайно и преступно подсмотренным. В целомудренной, восковой выразительности моделей пряталась пугающая тайна.

Коркин направился к выходу. Проходя мимо старика извозчика, стоявшего рядом с бабой в платке, он услышал, как извозчик сказал:

– Все как есть показано, Вавиловна. Работа божья... хитрая... и-их – хитрая заводь! Все, это... мы, значит, вовнутри, вот... да-а!

Суеверный страх проник в Коркина – страх мужика, давно приглушенный городом. В среде, где все явления жизни и природы: рост трав, хлеба, смерть и болезнь, несчастье и радость, – неизменно связываются с богом и его волей – никогда не исчезает такое суеверное отношение к малопонятному. Коркин шел по улице, с трудом одолевая страх. Наконец страх прошел, оставив усталость и раздражение.

Коркин хотел уже направиться к ночлегу, но вспомнил о студенте Покровском. Его непреодолимо потянуло увидеть этого человека, хотя бы мельком, не зная даже, удастся ли убить его сегодня; он испытывал томительное желание прикоснуться к решению, к концу «дела»; войти в круг знакомого, тяжкого возбуждения.

Он подошел к тем воротам и, подождав немного, вдруг столкнулся лицом к лицу с вышедшим из-под ворот на улицу высоким, прихрамывающим молодым человеком.

– Он, – сличив приметы, сказал Коркин и потянулся, как собака, сзади студента. Вокруг не видно было прохожих.

«Амба! – подумал Коркин, – ударю его». Дрожа от озноба, вынул он гирьку, но тут, останавливая решение, показалось Коркину, что у студента, если забежать вперед, окажутся закрывающие все лицо огромные глаза с таинственными станками. Он увидел также, что тело студента под пальто лишено кожи, что мускулы и сухожилия, сплетаясь в ритмических сокращениях, живут строгой, сложной жизнью, видят Коркина и повелительно отстраняют его.

Чувствуя, что рука не поднимается, что страшно и глухо вокруг, Коркин прошел мимо студента, кинув сквозь зубы:

– Даром живете.

– Что такое? – быстро спросил студент, отшатываясь.

– Даром живете! – повторил Коркин и, зная уже, с тупой покорностью совершившемуся, что студент никогда не будет убит им, – свернул в переулок.

Баталист Шуан

I

Путешествовать с альбомом и красками, несмотря на револьвер и массу охранительных документов, в разоренной, занятой пруссаками стране – предприятие, разумеется, смелое. Но в наше время смельчаками хоть пруд пруди.

Стоял задумчивый, с красной на ясном небе зарей – вечер, когда Шуан, в сопровождении слуги Матиа, крепкого, высокого человека, подъехал к разрушенному городку N. Оба совершали путь верхом.

Они миновали обгоревшие развалины станции и углубились в мертвую тишину улиц. Шуан первый раз видел разрушенный город. Зрелище захватило и смутило его. Далекой древностью, временами Аттилы и Чингисхана отмечены были, казалось, слепые, мертвые обломки стен и оград.

Не было ни одного целого дома. Груды кирпичей и мусора лежали под ними. Всюду, куда падал взгляд, зияли огромные бреши, сделанные снарядами, и глаз художника, угадывая местами по развалинам живописную старину или оригинальный замысел современного архитектора, болезненно шурился.

– Чистая работа, господин Шуан, – сказал Матиа, – после такого опустошения, сдается мне, осталось мало охотников жить здесь!

– Верно, Матиа, никого не видно на улицах, – вздохнул Шуан. – Печально и противно смотреть на все это. Знаешь, Матиа, я, кажется, здесь поработаю. Окружающее возбуждает меня. Мы будем спать, Матиа, в холодных развалинах. Тес! Что это?! Ты слышишь голоса за углом?! Тут есть живые люди!

– Или живые пруссаки, – озабоченно заметил слуга, смотря на мелькание теней в грудях камней.

II

Три мародера, двое мужчин и женщина, бродили в это же время среди развалин. Подлое ремесло держало их все время под страхом расстрела, поэтому ежеминутно оглядываясь и прислушиваясь, шайка уловила слабые звуки голосов – разговор Шуана и Матиа. Один мародер – «Линза» – был любовником женщины; второй – «Брелок» – ее братом; женщина носила прозвище «Рыба», данное в силу ее увертливости и жалости.

– Эй, дети мои! – прошептал Линза. – Цыть! Слушайте.

– Кто-то едет, – сказал Брелок. – Надо узнать.

– Ступай же! – сказала Рыба. – Поди высмотри, кто там, да только скорее.

Брелок обежал квартал и выглянул из-за угла на дорогу. Вид всадников успокоил его. Шуан и слуга, одетые по-дорожному, не возбуждали никаких опасений. Брелок направился к путешественникам. У него не было еще никакого расчета и плана, но, правильно рассудив, что в такое время хорошо одетым, на сытых лошадях людям немислимо скитаться без денег, он хотел узнать, нет ли поживы.

– А! Вот! – сказал, заметив его, Шуан. – Идет один живой человек. Поди-ка сюда, бедняжка. Ты кто?

– Бывший сапожный мастер, – сказал Брелок, – была у меня мастерская, а теперь хожу босиком.

– А есть кто-нибудь еще живой в городе?

– Нет. Все ушли... все; может быть, кто-нибудь... – Брелок замолчал, обдумывая внезапно сверкнувшую мысль. Чтобы привести ее в исполнение, ему требовалось все же узнать, кто путешественники.

– Если вы ищете своих родственников, – сказал Брелок, делая опечаленное лицо, – ступайте в деревушки, что у Милета, туда потянулись все.

– Я художник, а Матиа – мой слуга. Но – показалось мне или нет – я слышал невдалеке чей-то разговор. Кто там?

Брелок мрачно махнул рукой.

– Хм! Двое несчастных сумасшедших. Муж и жена. У них, видите, убило снарядом детей. Они рехнулись на том, что все обстоит по-прежнему, дети живы и городок цел.

– Слышишь, Матиа? – сказал, помолчав, Шуан. – Вот ужас, где замечания излишни, а подробности нестерпимы. – Он обратился к Брелоку:

– Послушай, милый, я хочу видеть этих безумцев. Проведи нас туда.

– Пожалуйста, – сказал Брелок, – только я пойду посмотрю, что они делают, может быть, они пошли к какому-нибудь воображаемому знакомому.

Он возвратился к сообщникам. В течение нескольких минут толково, подробно и убедительно внушал он Линзе и Рыбе свой замысел. Наконец они столковались. Рыба должна была совершенно молчать. Линза обязывался изобразить сумасшедшего отца, а Брелок – дальнего родственника стариков.

– Откровенно говоря, – сказал Брелок, – мы, как здоровые, заставим их держаться от себя подальше. «Что делают трое бродяг в покинутом месте и в такое время?» – спросят они себя. А в роли безобидных сумасшедших мы, пользуясь первым удобным случаем, убьем обоих. У них должны быть деньги, сестрица, деньги! Нам попадается много тряпок, разбитых ламп и дырявых

картин, но где, в какой мусорной куче, мы найдем деньги? Я берусь уговаривать мазилку остаться ночевать с нами... Ну, смотрите же теперь в оба!

– Как ты думаешь, – спросил Линза, перебираясь с женщиной в соседний, менее других разрушенный дом, – трясти мне головой или нет? У сумасшедших часто трясется голова.

– Мы не в театре, – сказала Рыба, – посмотри кругом! Здесь страшно... темно... скоро будет еще темнее. Раз тебя показывают как безумца, что бы ты ни говорил и ни делал – все будет в чужих глазах безумным и диким; да еще в таком месте. Когда-то я жила с вертопрахом Шармером. Обокрав кредиторов и избегая суда, он притворился блаженненьким; ему поверили, он достиг этого только тем, что ходил всюду, держа в зубах пробку. Ты... ты в лучших условиях!

– Правда! – повеселел Линза. – Я уж сыграю рольку, только держись!

III

– Ступайте за мной! – сказал Брелок всадникам. – Кстати, в том доме вы могли бы и переночевать... хоть и безумцы, а все же веселее с людьми.

– Посмотрим, посмотрим, – спешиваясь, ответил Шуан. Они подошли к небольшому дому, из второго этажа которого уже доносились громкие слова мнимо-сумасшедшего Линзы: «Оставьте меня в покое. Дайте мне повесить эту картинку! А скоро ли подадут ужин?»

Матиа отправился во двор привязать лошадей, а Шуан, следуя за Брелоком, поднялся в пустое помещение, лишенное половины мебели и заброшенное тем старым хламом, который обнаруживается во всякой квартире, если ее покидают: картонками, старыми шляпами, свертками с выкройками, сломанными игрушками и еще многими предметами, коим не сразу найдешь имя. Стена фасада и противоположная ей были насквозь пробиты снарядом, обрушившим пласты штукатурки и холсты пыли. На каминной доске горел свечной огарок; Рыба сидела перед камином, обхватив руками колени и неподвижно смотря в одну точку, а Линза, словно не замечая нового человека, ходил из угла в угол с заложенными за спину руками, бросая исподлобья пристальные, угрюмые взгляды. Молодость Шуана, его застенчиво-виноватое, подавленное выражение лица окончательно ободрили Линзу, он знал теперь, что самая грубая игра выйдет великолепно.

– Старуха совсем пришиблена и, кажется, уже ничего не сознает, – шепнул Шуану Брелок, – а старик все ждет, что дети вернутся! – Здесь Брелок повысил голос, давая понять Линзе, о чем говорить.

– Где Сусанна? – строго обратился Линза к Шуану. – Мы ждем ее, чтобы сесть ужинать. Я голоден, черт возьми! Жена! Это ты распустила детей! Какая гадость! Жану тоже пора готовить уроки... да, вот нынешние дети!

– Обоих – Жана и Сусанночку, – говорил сдавленным шепотом Брелок, – убило, понимаете, одним взрывом снаряда – обоих! Это случилось в лавке... Там были и другие покупатели... Всех разнесло... Я смотрел потом... о, это такой ужас!

– Черт знает что такое! – сказал потрясенный Шуан. – Мне кажется, что вы могли бы, схитрив как-нибудь, убрать этих несчастных из города, где их ждет только голодная смерть.

– Ах, господин, я их подкармливаю, но как?! Какие-нибудь овощи с покинутых огородов, горсть гороху, собранная в пустом амбаре... Конечно, я мог бы увезти их в Гренобль, к моему брату... Но деньги... ах, – как все дорого, очень дорого!

– Мы это устроим, – сказал Шуан, вынимая бумажник и протягивая мошеннику довольно крупную ассигнацию. – Этого должно вам хватить.

Два взгляда – Линзы и Рыбы – исподтишка скрестились на его руке, державшей деньги. Брелок, приняв взволнованный, пораженный вид, вытер рукавом сухие глаза.

– Бог... бог... вам... вас... – забормотал он.

– Ну, бросьте! – сказал растроганный Шуан. – Однако мне нужно посмотреть, что делает Матиа, – и он спустился во двор, слыша за спиной возгласы Линзы: – «Дорогой мой мальчик, иди к папе! Вот ты опять ушиб ногу!» – Это сопровождалось искренним, неподдельным хохотом мародера, вполне довольного собой. Но Шуан, иначе понимая этот смех, был сильно удручен им.

Он столкнулся с Матиа за колодцем.

– Нашел мешок сена, – сказал слуга, – но выбегал множество дворов. Лошади поставлены здесь, в сарае.

– Мы ляжем вместе около лошадей, – сказал Шуан. – Я голоден. Дай сюда сумку. – Он отделил часть провизии, велел Матиа отнести ее «сумасшедшим».

– Я больше не пойду туда, – прибавил он, – их вид действует мне на нервы. Если тот молодой парень спросит обо мне, скажи, что я уже лег.

Приладив свой фонарь на перевернутом ящике, Шуан занялся походной едой: консервами, хлебом и вином. Матиа ушел. Творческая мысль Шуана работала в направлении только что виденного. И вдруг, как это бывает в счастливые, роковые минуты вдохновения, – Шуан ясно, со всеми подробностями увидел ненаписанную картину, ту самую, о которой в тусклом состоянии ума и фантазии тоскуют, не находя сюжета, а властное желание произвести нечто вообще грандиозное, без ясного плана, даже без отдаленного представления об искомом, не перестает мучить. Таким произведением, во всей гармоничности замысла, компоновки и исполнения, был полон теперь Шуан и, как сказано, весьма отчетливо представлял его. Он намеревался изобразить помешанных, отца и мать, сидящих за столом в ожидании детей. Картина разрушенного помещения была у него под руками. Стол, как бы накрытый к ужину, должен был, по плану Шуана, ясно показывать неумняемость стариков: среди разбитых тарелок (пустых, конечно) предлагал он разместить предметы посторонние, чуждые еде; все вместе олицетворяло, таким образом, смешение представлений. Старики помешаны на том, что ничего не случилось, и дети, вернувшись откуда-то, сядут, как всегда, за стол. А в дальнем углу заднего плана из сгущенного мрака слабо выступает осторожно намеченный кусок ограды (что как бы грезится старикам), и у ограды видны тела юноши и девушки, которые не вернутся. Подпись к картине: «Заставляют стариков ждать...», должностная указать искреннюю веру несчастных в возвращение детей, сама собой родилась в голове Шуана... Он перестал есть, увлеченный сюжетом. Ему казалось, что все бедствия, вся скорбь войны могут быть выражены здесь, воплощены в этих фигурах ужасной силой таланта, присущего ему... Он видел уже толпы народа, стремящегося на выставку к его картине; он улыбался мечтательно и скорбно, как бы сознавая, что обязан славой несчастьем – и вот, забыв о еде, вынул альбом. Ему хотелось немедленно приступить к работе. Взяв карандаш, нанес он им на чистый картон предварительные соображения перспективы и не мог остановиться... Шуан рисовал пока дальний угол помещения, где в мраке видны тела... За его спиной скрипнула дверь; он обернулся, вскочил, сразу возвращаясь к действительности, и уронил альбом.

– Матиа! Ко мне! – закричал он, отбиваясь от стремительно кинувшихся на него Брелока и Линзы.

IV

Матиа, оставив Шуана, разыскал лестницу, ведущую во второй этаж, где зловещие актеры, услышав его шаги, приняли уже нужные положения. Рыба села опять на стул, смотря в одну точку, а Линза водил по стене пальцем, бессмысленно улыбаясь.

– Вы, я думаю, все тут голодны, – сказал Матиа, кладя на подоконник провизию, – ешьте. Тут хлеб, сыр и банка с маслом.

– Благодарю за всех, – проникновенно ответил Брелок, незаметно подмигивая Линзе в виде сигнала быть настороже и, улучив момент, повалить Матиа. – Твой господин устал, надо быть. Спит?

– Да... Он улегся. Плохой ночлег, но ничего не поделаешь. Хорошо, что водопровод дал воды, а то лошадям было бы...

Он не договорил. Матиа, стоя лицом к Брелоку, не видел, как Линза, потеряв вдруг охоту бормотать что-то про себя, разглядывая стену, быстро нагнулся, поднял тяжелую дубовую ножку от кресла, вывернутую заранее, размахнулся и ударил слугу по темени. Матиа, с побледневшим лицом, с внезапным туманом в голове, глухо упал, даже не вскрикнув.

Увидав это. Рыба вскочила, торопя наклонившегося над телом Линзу:

– Потом будешь смотреть... Убил, так убил. Идите в сарай, кончайте, а я пообшарю этого.

Она стремительно рылась в карманах Матиа, громко шепча вдогонку удаляющимся мошенникам:

– Смотрите же, не сорвитесь!

Увидав свет в сарае, более осторожный Брелок замялся, но Линза, распаленный насилием, злобно потащил его вперед:

– Ты размяк!.. Струсил!.. Мальчишка!.. Нас двое!

Они задержались у двери, плечо к плечу, не более как на минуту, отдышались, угрюмо впиваясь глазами в яркую щель незапертой двери, а затем Линза, толкнув локтем Брелока, решительно рванул дверь, и мародеры бросились на художника.

Он сопротивлялся с отчаянием, утраивающим силу. «С Матиа, должно быть, покончили», – мелькнула мысль, так как на его призывы и крики слуга не являлся. Лошади, возбужденные суматохой, рвались с привязей, оглушительно топоча по деревянному настилу. Линза старался ударить Шуана дубовой ножкой по голове. Брелок же, работая кулаками, выбирал удобный момент повалить Шуана, обхватив сзади. Шуан не мог воспользоваться револьвером, не расстегнув предварительно кобуры, а это дало бы мародерам тот минимум времени бездействия жертвы, какой достаточен для смертельного удара. Удары Линзы падали главным образом на руки художника, от чего, немея вследствие страшной боли, они почти отказывались служить. По счастью, одна из лошадей, толкаясь, опрокинула ящик, на котором стоял фонарь, фонарь свалился стеклом вниз, к полу, закрыв свет, и наступил полный мрак.

«Теперь, – подумал Шуан, бросаясь в сторону, – теперь я вам покажу». – Он освободил револьвер и брызнул тремя выстрелами наудачу, в разные направления. Красноватый блеск вспышек показал ему две спины, исчезающие за дверью. Он выбежал во двор, проник в дом, поднялся наверх. Старуха исчезла, услышав выстрелы; на полу у окна, болезненно, с трудом двигаясь, стоял Матиа.

Шуан отправился за водой и смочил голову пострадавшего. Матиа очнулся и сел, держась за голову.

– Матиа, – сказал Шуан, – нам, конечно, не уснуть после таких вещей. Постарайся овладеть силами, а я пойду седлать лошадей. Прочь отсюда! Мы проведем ночь в лесу.

Придя в сарай, Шуан поднял альбом, изорвал только что зарисованную страницу и, вздохнув, разбросал клочки.

– Я был бы сообщником этих гнусов, – сказал он себе, – если бы воспользовался сюжетом, разыгранным ими... «Заставляют стариков ждать...» Какая тема идет насмарку! Но у меня есть славное утешение: одной такой трагедией меньше, ее не было. И кто из нас не отдал бы всех своих картин, не исключая шедевров, если бы за каждую судьба платила отнятой у войны невинной жизнью?

Поединок предводителей

В глухих джунглях Северной Индии, около озера Изамет стояла охотничья деревня. А около озера Кинобай стояла другая охотничья деревня. Жители обеих деревень издавна враждовали между собой, и не проходило почти ни одного месяца, чтобы с той или другой стороны не оказался убитым кто-нибудь из охотников, причем убийц невозможно было поймать.

Однажды в озере Изамет вся рыба и вода оказались отравленными, и жители Изамета известили охотников Кинобая, что идут драться с ними на жизнь и смерть, дабы разом покончить изнурительную вражду. Тотчас же как только стало об этом известно, жители обеих деревень соединились в отряды и ушли в леса, чтобы там, рассчитывая напасть врасплох, покончить с врагами.

Прошла неделя, и вот разведчики Изамета выследили воинов Кинобая, засевших в небольшой лощине. Изаметцы решили напасть на кинобайцев немедленно и стали готовиться.

Предводителем Изамета был молодой Синг, человек бесстрашный и благородный. У него был свой план войны. Незаметно покинув своих, явился он к кинобайцам и проник в палатку

Ирета, вождя врагов Изамета.

Ирет, завидя Синга, схватился за нож. Синг сказал, улыбаясь:

– Я не хочу убивать тебя. Послушай: не пройдет и двух часов, как ты и я с равными силами и равной отвагой кинемся друг на друга. Ясно, что произойдет: никого не останется в живых, а жены и дети наши умрут с голода. Предложи своим воинам то же, что предложу я своим: вместо общей драки драться будем мы с тобой – один на один. Чей предводитель победит – та сторона и победила. Идет?

– Ты прав, – сказал, подумав, Ирет. – Вот тебе моя рука.

Они расстались. Воины обеих сторон радостно согласились на предложение своих предводителей и, устроив перемирие, окружили тесным кольцом цветущую лужайку, на которой происходил поединок.

Ирет и Синг по сигналу бросились друг на друга, размахивая ножами. Сталь звенела о сталь, прыжки и взмахи рук становились все порывистее и угрожающее и, улучив момент, Синг, проколов Ирету левую сторону груди, нанес смертельную рану. Ирет еще стоял и дрался, но скоро должен был свалиться. Синг шепнул ему:

– Ирет, ударь меня в сердце, пока можешь. Смерть одного предводителя вызовет ненависть к побежденной стороне, и резня возобновится... Надо, чтоб мы умерли оба; наша смерть уничтожит вражду.

И Ирет ударил Синга ножом в незащищенное сердце; оба, улыбнувшись друг другу в последний раз, упали мертвыми...

У озера Кинобай и озера Изамет нет больше двух деревень: есть одна и называется она деревней Двух Победителей. Так Синг и Ирет примирили враждовавших людей.

Морской бой

Капитан двухмачтового парусника «Элефант» держал курс на зюйд-вест. Умеренный попутный ветер плавно гнал судно к берегам Голландии. Малая зыбь, чистое небо и прозрачный осенний воздух делали утро очаровательным.

Капитан Ван-Кофин подошел к шкиперу Готцу, стоявшему у штурвала.

– Смотри, Готц, – сказал капитан, – смотри в направлении оверштага, ты видишь, сколько дыму на горизонте?!

Действительно, в указанном направлении, черня голубую дугу горизонта длинными, волокнистыми, черными полосами, змеилось множество дымов, указывающих на присутствие целой эскадры. Вдруг долетел отрывистый гул, за ним другой, третий, и полный, нервный гром боевой канонады заставил, казалось, присмиреть море.

Капитан внимательно и жадно прислушивался. Ноздри его раздувались, глаза блестели. В нем говорила кровь древних морских пиратов, грабивших берега Балтики и Финляндии.

– Готц! – сказал капитан хриплым голосом. – Давайте смотреть бой!

– Капитан, – возразил хладнокровный Готц, – если нас заметят, то потопят.

– Не все ли равно? – сказал капитан. – Я, по крайней мере, охотно рискнул бы жизнью за такое редкое зрелище.

Готц – тоже бесстрашный и очень любопытный человек – в конце концов согласился. Взяв руль вправо, он повернул судно бушпритом к центру далеких дымов и закурил трубку.

Корпуса военных судов, скрытые выпуклостью морской поверхности, не были видны, только дым, выпускаемый ими из всех труб, черными, зловещими облаками окуривал небо. Нельзя было определить – кто дерется и с кем. Ужасные удары орудий, казалось, выходили из центра земли – все чаще, ожесточеннее и потрясающе. Все матросы «Элефанта» высыпали на палубу. В общем шуме их восклицаний, замечаний и препирательства по поводу сражения – раздался вдруг голос Готца: «Ребята! Дым бледнеет!»

Капитан и матросы, присмотревшись, убедились, что дым действительно стал бледным и как бы прозрачным. Стрельба продолжалась, но уже глуше и тише, бой как будто удалялся от «Элефанта». Посмотрев на часы и лаг, капитан сказал:

- Через двадцать минут мы будем на том месте, где происходит бой!
- Происходит?! – задумчиво сказал Готц. – Я верю только осязанию, а глазам и ушам – нет.
- Что вы хотите этим сказать?
- Ровно ничего.

По мере приближения «Элефанта» к месту боя – дым таял, как бы раздувался ветром, а выстрелы бухали все тише и тише, как будто экипаж «Элефанта» постепенно быстро глож, и когда шхуна очутилась в точно определенном капитаном месте сражения – перед глазами зрителей расстилось везде спокойное, пустое, бездымное море, и никакой посторонний звук не долетал с горизонта.

– Боже мой! – сказал капитан, взглянув на Готца. – Вот происхождение рассказов очевидцев о морских крупных сражениях – любопытный пример массовой галлюцинации!

Медвежья охота

I

Помещик Старкун трижды напомнил своим знакомым, что вдовому, старику скучно сидеть одному в имении, занесенном снегом. Мало кто отозвался на его письма. Большинство, помножив в уме деревенскую тишину на отсутствие напитков и развлечений, осталось в тени. Старкун наконец догадался, в чем дело, и, вытребовав из соседней деревни медвежатника Кира, заказал ему медвежью берлогу. На другой же день Кир, отрывая жесткими пальцами сосульки с заледеневших бороды и усов, стоял перед Старкуном и докладывал, что берлога есть. Тем временем другой мужик, сметливый и лукавый, отправился в Петроград с несколькими записками и привез оттуда два больших таинственных ящика, в которых, когда их поворачивали, что-то булькало.

Вооруженный, таким образом, двумя хорошими развлечениями, Старкун снова разослал письма приятелям, и вот, опаздывая, ссорясь, облизываясь и препираясь, собралась и выехала наконец из Петрограда солидная компания охотников и любителей кутерьмы, среди которых был Константин Максимович Кенин, молодой человек с пылким воображением, неразделенной любовью и страстью к приключениям. Кенин служил в посольстве.

Накануне выезда к Старкуну Кенин зашел в дом 44-6 по Фонтанке – нелепый, старый, но самый очаровательный для него дом в столице, где жила «она». Мария Ивановна Братцева, девушка двадцати лет, немного полная, крепкая, высокого роста, с одним из тех красивых и пустых лиц, какие большей частью неотразимы для молодых, сильных и здоровых мужчин. Ее глаза были почти бесцветны, брови высоки и малы, но простая, свежая линия профиля, мягкий на взгляд, свежий и крупный детски-задорный подбородок страстно тянули Кенина к ней как к женщине. Братцева носила галстуки мужского покроя, белокурые с желтизной волосы свертывала пышным затылочным узлом, говорила веским, спокойным, грудным голосом, смеялась раскатисто; в ее присутствии Кенин испытывал томление и тихую любовную злобу.

– Так что же, – сказал Кенин после одной из пауз, обрывая разговор о будущем кинематографа, – значит, у вас ко мне любви нет?

– Конечно, нет. Я ведь вам говорила... – Братцева взяла теплый платок, хотя в комнате было жарко, закутала плечи и пересела в другой угол, рассматривая Кенина внимательными, немигающими глазами. – Послушайте, какая любовь в двадцатом веке, – прибавила она, – и вам и мне нужно работать, делать жизнь.

– Как же вы хотите делать? – натянуто спросил Кенин.

– Да... так... Как выгоднее, удобнее, вкуснее... что ли. – Братцева рассмеялась и вдруг стала серьезной, сказав грустно: – Я, кажется, и любить не могу совсем; я по характеру – одиночка, и связывать себя не хочу.

«Я, по-видимому, и неудобен, и невыгоден, и невкусен, – подумал с раздражением Кенин. – Эта странная новая порода женщин и дразнит, и тянет, и... гневит... Молода, красива, служит в банке, с мужчинами на равную ногу и ждет какого-то случая...» – Вслух он сказал не-

уверенным, напряженным голосом:

– Я мучительно люблю вас...

– Ну, это пройдет... Киньте мне из коробки конфетку.

Кенин бросил, но неудачно, и Братцева несколько секунд шарила позади стула; затем, усевшись снова основательно и удобно, спросила:

– Вы долго пробудете на охоте?

– Дня два... не больше.

– Возьмите меня. – Она выпрямилась и благосклонно блеснула глазами. – Я, надеюсь, не помешаю вам?

– Что вы! – обрадовался и смешался Кенин. – Это так хорошо... с удовольствием... конечно, едем!.. Все, что хотите.

– С одним условием: если медведя застрелите вы – он мой.

– Оба ваши, Мария Ивановна, – я и медведь.

– Нет, пока что медведь. – Она так неопределенно вытянула эту фразу, что Кенин взволновался и радостно насторожился. – Где же мы встретимся и когда?

– Можно на вокзале... – задумчиво сказал Кенин и тихо прибавил: – Или у меня...

– Зачем же мне делать крюк? – наивно осведомилась Братцева. – Когда идет поезд?

– Одиннадцать с четвертью.

– Ну и хорошо, я приду к поезду.

– И не забудьте потеплее одеться. Кстати, дам, кроме вас, больше не будет.

– Так и должно быть, – сказала Братцева. – Один медведь – одной даме. Но только убить его должны вы.

– Да, – кратко и решительно подтвердил Кенин, чувствуя небывалый прилив уверенности, – но вы... и зачем вам нужен медведь?

– В таком подарке есть что-то значительное, оригинальное... мертвый медведь у моих ног, – нет, это стоит потерять сутки! – Она подумала и прибавила: – Говорят, шкура в отделке ценится в полтораста рублей.

– Какая отделка, – сказал Кенин и, посмотрев на часы, стал прощаться. Было полчаса первого. Почтительно и любовно поцеловав маленькую, но твердую, незаметно ускользающую руку девушки, Кенин, веселый и размечтавшийся, поехал домой. Медведь казался ему первым этапом в светлое будущее.

II

С часа ночи до пяти часов утра Кенин не спал, расхаживая по своей маленькой, холостой квартире и стараясь опередить воображением будущую охоту с ее милым ободряющим присутствием любимой женщины. Кенин курил папиросу за папиросой. Больше всего изумляло и радовало Кенина неожиданное решение Братцевой ехать с ним. «Это может быть милый женский каприз... а может... ее начинает бессознательно тянуть ко мне». Он не знал еще, что женщин, подобных Братцевой, инстинктивно влечет большая мужская компания, где в силу собственной холодности они чувствуют себя свободно, повелительно.

Хотя Кенин никогда не только не стрелял по медведю, но даже не видел его свободным, в родной лесной обстановке, он все же достаточно читал и слышал об этом звере и даже видел на кинематографических экранах подлинные медвежьи охоты. Поэтому, прищипорив фантазию, Кенин ясно увидел лес, снег, медведя, выстрел и агонию зверя. Все это рисовал он себе так: белая, утренняя, морозная тишина, палец на спуске, сердцебиение, самообладание; вдруг раздвигаются кусты, и страшная голова с оскаленными зубами рычит в десяти шагах, громовой выстрел – только один; пуля пробивает череп зверя меж глаз, и снова все тихо, конвульсивно содрогающийся труп миши лежит, зарыв голову в снег, а Кенин, спокойно закулив папиросу, трубит в рожок некий фантастический сигнал: «Тру-ту-ту-туту-тру-у!», трубит весело, коротко и пронзительно; а дальше начинался апофеоз, в котором сияющее, морозно-румяное лицо Братцевой играло главную роль.

Усталый и накурившийся до одурения Кенин наконец лег спать, предварительно полюбовавшись еще раз солидным американским штуцером-магазинкой, взятым в знакомого, и прицелившись раз пятнадцать в безответную ножку стула.

На другой день, в вагоне, бок о бок с Марией Ивановной, в кругу усатых, красноносых, неуловимо бахвальных лиц (выехали исключительно, кроме Кенина с Братцевой, пьяницы и охотники), Кенин почувствовал себя очень бывалым, почти американским стрелком и не уступал другим в детски хвастливых рассказах. Он, правда, мог говорить только о болотной и мелкой лесной дичи, но говорил так самолюбиво и много, что его наконец стали бесцеремонно перебивать. Часто он обращался к Братцевой, стараясь, не обращая внимания других, вернуть тонкий интимный намек вроде: «А я все думаю»... «Мое настроение зависит от будущего»... «Мне весело, потому что»... – пауза, долгий, влажно-бараний взгляд, улыбка и заключение: «Потому что я вообще люблю... ездить».

Он не замечал, как спутники, взглядывая на него, подталкивают друг друга коленками и локтями, но Братцева была наблюдательнее. Взяв тон мило напрасившейся, но поэтому и осторожно скромной в дальнейшем, хотя ревниво чувствительной к собственному достоинству особы, она спустя недолгое время стала центром и возбудителем общего внимания. Две бутылки коньяку, взятые на дорогу, совсем подняли настроение, а когда в сумерках не освещенного еще вагона хриплый баритон купца Кикина заявил: «А вот этого медведя, братцы, Марью Ивановну, заповевать куда бы почтнее!» – девушка раскатисто засмеялась. Кенин посмотрел на нее ревниво и грустно.

III

Утром другого дня, проснувшись в жарко натопленной, большой, закиданной окурками и пробками комнате, Кенин смутно припомнил гул вчерашней попойки. Гости бушевали и пели, но удержались чудом в едва не лопнувшей рамке приличия. Мария Ивановна все время пересаживалась подальше от Кенина, громко бормотавшего пьяную любовную чепуху. Она одинаково ровной, задорной и разговорчивой сумела быть решительно со всеми, не исключая лысого, пузатого Старкуна, умильно целовавшего гостей в щеки и носы и щедро проливавшего водку по тарелкам и пиджакам. Кенин бешено ревновал Братцеву, посылая ей многозначительные, мрачные взгляды.

Кенин проснулся сам; было еще темно, но егерь Михаиле, человек строгой наружности, с свечой в руке командующим голосом будил остальных:

– Зря спите, господа; вставать надо, выезжать надо!

Через час собрались в столовой; завтрак на скорую руку – рюмка-другая на похмелье, сиңеющие, а затем голубеющие окна рассвета, стук ружей, щелканье осматриваемых курков – все это показалось Кенину живописным и необычным. К влюбленности его примешивалось сладкое ожидание опасности и успеха. В свете лунного зимнего утра спустилась вниз и Марья Ивановна; яркое, свежее лицо ее весело осматривало пустыми глазами компанию и обстановку.

– Ура, царица охоты, Марья Ивановна! – закричал Кенин, когда Братцева сказала, что она тоже поедет, ссылаясь на скуку ожидания в усадьбе. Кенин сказал: – Благословите, Марья Ивановна. За вашим медведем отправляется раб ваш в страшные дебри Амазонки.

– Ну, смотрите же! – Она так мило подставила ему руку для поцелуя, что Кенин растаял и шепнул:

– За что мучаете? – Но Братцева, как бы не слышав, ушла одеваться.

IV

Кенину на жеребьевке выпал хороший «номер». Он стал на дальнем краю небольшой, круглой поляны, с двумя, идущими влево и вправо от нее глубокими просветами. В такое широкое поле зрения медведь мог попасть весьма удачно для выстрела. Кенин осматривался, хотел закурить, но вспомнил, что это запрещено, и стал ждать. Сердце его билось с приличной быстро-

той, какая хотя и не говорит о трусости, но указывает все же на нервное томление и тревогу. Всюду, куда хватал взгляд, – царил снег. Белые пушистые лапы елей гнулись к земле, загромождавая ясный, как вымытое стекло, воздух пышными узорами белизны; розовые и голубые искры дрожали в нем; снег внизу, теневой, казался прозрачно-синим, а солнечный – серебряной парчой с золотыми блестками. Анемично-бледное, ясное, холодное небо покрывало лес.

Впереди Кенина сердито и звонко лаяли невидимые собаки, припадая к берлогу. Кенин думал о медведе и Братцевой: «А если медведь загрызет меня, я больше не увижу ее». И он вспомнил, как ехал сегодня с ней в санях по лесной дороге и какой неотразимо желанной была она в своих белых – шапочке, кавказском башлыке и толстых, смешных валенках. Потом представился ему тяжелый сон зверя в темной берлоге, налитые кровью глаза собак, их вздыбившаяся, наэлектризованная яростным нетерпением шерсть... Лай собак стал еще хриплее, азартнее и громче. Кенин, не отрываясь, щупал глазами снежную полянку с ее боковыми просветами, как вдруг на противоположном ее конце из заросли можжевельника взлетел клуб снежной сухой пыли, и неуклюжее, темное, лохматое туловище, от которого шел пар, как от горячего теста, ворча и сопя, кинулось к месту, где стоял Кенин. Четыре сибирских лайки с налету рвали ноги и бока зверя. Медведь, проворно кружась волчком, старался расшибить лапой собак, но, промахиваясь, несся дальше. Кенин, стискивая дрожащими руками ружье, целился в медведя вообще – все охотничьи наставления о прицеле под лопатку, в лопатку, затылок и лоб разом, дружно покинули его память. Медведь был шагах в тридцати от Кенина, он выстрелил и спешно повернул рычаг штуцера.

Почти одновременно с гулким толчком выстрела медведь сунулся головой в снег; передняя половина его тела так и осталась неподвижной, в то время как зад и задние лапы, оседая, конвульсивно тряслись. Собаки отскочили, припали к снегу и бросились на врага снова.

– Ура-а! – неистово, дико закричал Кенин, понимая сквозь экстаз и трепет удачи, что с этого момента герой дня – он, Кенин. Спотыкаясь, побежал он к медведю, крича на рвущих зверя собак: «Кшшш! Пошли вон!»... – словно гнал мух. У ног его, продавив наст, лежала спиной вверх бурая туша; некоторое время Кенин ничего не видел и не понимал, кроме медведя.

Собравшиеся на выстрел и крик охотники шумной кучей окружили Кенина: «Везет новичкам». «Как раз в сердце попадено». «Нелепый выстрел». «Лепый – нелепый, а наша взяла», – слышал он, как во сне, но через несколько минут волнение улеглось, и Кенин увидел торжествующее, веселое лицо Братцевой. Она тоже пришла на выстрел и крики из оставленных неподалеку саней, где соскучилась ждать.

– Мой миша? – спросила она.

– Ваш, – сказал Кенин, все еще чуть не плача от радости.

– Какой большой. – Она присела, сняла перчатку и стала гладить теплый, как бы еще живой мех. Багровая густая кровь попала на ее пальцы; слегка гримасничая, Братцева спокойно вытерла руку о шерсть медведя и выпрямилась.

– Продайте медведя, барышня! – молитвенно возопил Кикин. – Сто рублей сейчас выложу!

Она посмотрела на него и что-то сообразила...

– Мало, – крикнула Братцева, – тут четыре окорока, господин купец, да шкура, да жир!

– Что вы, Марья Ивановна, – хихикая, суетился Кикин, – медведь худой, паршивый! Это уж я для вас сто даю.

Кенин изумленно смотрел на Братцеву. Она искренне деловито горячилась, доказывая, что медведь стоит двести, словно всю жизнь торговала медведями. Голос ее стал пронзительным и лукавым.

Сошлись на ста семидесяти пяти, и Кикин тут же отсчитал деньги; девушка, аккуратно свернув их, сунула за воротник платья; брови ее были при этом задумчиво сдвинуты, а губы плотно сжаты. «Как говорится, охулки на руку ты не положишь!» – с неприязнью подумал Кенин. Ему казалось, что он стал смешон в глазах всех, так как его подарок продавался тут же, при нем. Кенин грустно посмотрел на медведя. Большой, смелый, умный и ловкий зверь погиб от (и действительно!) шальной пули, ради семи четвертных, выторгованных хитрой, практической и холодной особой женского пола.

«Прости нас, – мысленно сказал Кенин медведю, вспомнив читанное где-то обращение дикарей к убитому зверю, – за то, что мы убили тебя!» И он вспомнил еще маленькие, справедливо-злые глаза царя русских лесов, когда он, отбиваясь от собак, бежал к смерти.

– Зачем вы сделали это? – спросил Кенин Братцеву, когда они возвращались к саням.

– Но это же предрассудок, Кенин! – возразила она. – Не все ли равно – лежит ваш подарок у меня в кармане или под ногами – ковром?

– Так-то так... – холодно сказал Кенин. Чувствуя, что эта девушка уже далекая и чужая ему, он в последний раз посмотрел на нее сбоку взглядом мужчины, и... сильное, голое, страстное желание вдруг отозвалось в его груди сильным, томным сердцебиением. Но и тени влюбленности не было уже в этой последней вспышке. Рассерженный и смущенный, Кенин нагнулся, схватил горсть снега и сунул его за ворот полушубка. Колючие, ледяные струйки потекли по спине. Вскоре показалась лесная дорога, возки и лошади.

– Вот теперь хорошо выпить, господа медвежатники! – крикнул, возясь около кулька, Старкун, и Кенин весело, всем сердцем, освобожденным от случайной любви, согласился с ним.

Леаль у себя дома

I

Пока лаяла цепная собака, вор не особенно беспокоился. Ленивый, вопросительный лай ясно указывал на отсутствие у собаки сильных, воинственных подозрений. Верхним чутьем она слышала посторонний запах, мелькавший обрывками в ровном ветре, дующем со стороны дома, но это могло быть также запахом с улицы.

Вор переходил из комнаты в комнату, водя огненным кружком карманного фонаря по обоям и столам, скрытым тьмой. Он только что пробрался в дом и еще не вполне ориентировался. Целью поисков был кабинет или будуар. Временами, прислушиваясь, он гасил свет и двигался ощупью. Наконец он различил так хорошо знакомый его опытному носу запах женщины, сложный букет парфюмерии, цветов, материи и чистоты. Чистота и опрятность, свойственная женщинам, имеют, как известно, свой запах, несравнимый, как запах сена, о котором так и говорят: запах сена.

Вор остановился, и огненный глаз фонарика начал буравить тьму, останавливаясь на различных предметах. Мошенник облегченно вздохнул, поняв, что попал не в спальню. Это был будуар – место, где иногда оставляют драгоценные вещи. Вор осмотрел каминную доску, столики, пожал с видом недоумения плечами и двинулся к письменному столу.

За стеной скрипнула дверь, кто-то кашлянул и спросил: «Ты слышишь?» Женский голос ответил: «Нет». – «Мне показалось, что кто-то ходит, пойду посмотрю, я помню, что дверь на балкон открыта». – Мужской голос смолк, и неторопливые шаги раздались в коридоре.

Вор быстро открыл окно, схватил по пути небольшую шкатулку и прыгнул в сад, попав на подбросившие его упругие кусты жимолости. Собака, рванув цепь, залаяла хриплым басом, бешуясь и угрожая. Вор бросился к садовой решетке, перескочил ее и побежал в сторону канала, в прикрытие глухих переулков. Бежал он ровно, без особенного страха и без особенного огорчения; состояние его духа напоминало кислую гримасу игрока, игравшего весь вечер вничью. Шкатулку он крепко держал под мышкой, рассчитывая вознаградить себя, в случае пустоты ее или бесценности, – удовольствием скovyрнуть замок. Без этого привычного действия он считал бы ночь окончательно потерянной во всех смыслах.

II

Ночной трактир «Астра» приютил с месяц назад бледного человека с породистым и пьяным лицом, одетого в нечто напоминающее одежду. Он просил милостыню и пропивал ее. Его приставания к прохожим были подчас резки и уныло-назойливы, иногда – вежливы и своеобраз-

но изящны. Он знал языки. В его манерах сохранился намек на большое и, может быть, блестящее прошлое. У него были седые виски и хриплый, но мягкий голос. Среди нищих и хулиганов его звали «Жетон», а настоящее имя выговаривалось: Леаль Ар.

Часа полтора спустя после похищения шкатулки из виллы Ассун Жетон сидел в «Астре» у липкого столика без водки и табаку. По углам шептались или, посадив на колени женщин, спаивали их до истерики и потери сознания. Леаль Ар думал о беспроводном телеграфе Маркони. Он любил, выбрав какой-либо предмет, чуждый печальному настоящему, мысленно уходить от «Астры» и самого себя.

Вошел человек с пытливым и деловым лицом. Это был вор Зитнер, завсегдатай «Астры». Леаль Ар пристально смотрел на него, ожидая в случае успешных дел Зитнера грошовой подачки и, как всегда, – порции спирта. Зитнер медленно подошел к нему и сел рядом. Ар вздрогнул. Взгляд Зитнера ощупывал его, мерил, изучал и спрашивал. Ар покорно молчал.

– Жетон, – заговорил Зитнер, – то, что я расскажу тебе, никто не должен знать, кроме нас. Если тебе надоели объедки, скверная водка и ночлеги на свалках – держи язык за зубами. Ты можешь хорошо, очень хорошо заработать.

– Водки, – сказал Ар. – Меня трясет, и я понимаю тебя плохо.

– Есть. – Зитнер мигнул стойке. – Сова, дайте водки, один стакан, и большой. Слушай, Жетон. Я украл письма, большой пук любовных писем к богатой замужней женщине. Это чистые деньги. Письма были в шкатулке, я бросил ее в канал. За письма дадут десятки, а может быть, сотни тысяч. Смекни. Мне некого послать с ними, кроме тебя. Шантаж должен сделать джентльмен; простому вору дадут по шее или дадут в десять раз меньше, чем следует. Мошенник крупного полета, каким ты должен показаться той даме, особенно если тебя одеть с иголочки, вытрезвить и надушить – внушит страх и почтение. А за почтение надо платить дорого.

– Недурно, – сказал Ар.

– Да. Я вижу, кто ты. Ты барин. Для этого дела, Жетон, нужен барин.

Ар думал и напивался. Он пил большими глотками, быстро хмелел. Слова Зитнера наполнили «Астру» призраками. Ар промотал состояние и хорошо знал, что дают деньги. Лучезарное сияние их коснулось его души. Он пил и был в прошлом, упоительном, как величавый, певучий бал, полный праздничных лиц.

«Последняя гадость, – сказал он мысленно, – последняя – и новая жизнь. Мне дадут ее деньги, много денег». Он грустно и решительно улыбнулся.

– Я готов, – сказал Ар, – что нужно делать теперь?

– Иди.

III

Было совсем светло, когда Зитнер разбудил Ара. В просторной, хорошо обставленной комнате появился грибообразный старик с замкнутым и ехидным лицом. Ар лежал на кушетке; ему было удобно, мягко и весело.

– Приготовил? – спросил старика Зитнер. – Чтобы лучший сорт.

– Это что, – старик протянул руку. – Денег, денег мне надо, бестия. Уплатил бы?!

– Вечером.

– Сбежишь?

– Дурак. Идем, господин Жетон. – Зитнер провел Ара небольшим коридором к двери, откуда слышалось журчанье воды. – Жетон, ты вымоешься. В соседней комнате лежит твой костюм. После всего этого я послужу тебе парикмахером.

Ар остался один. Ванна! С волнением смотрел он на этот давно не виданный им предмет комфорта. Вода шумно текла из крана, взбивая прозрачную пену. Леаль разделся и окунул ногу, но тотчас же отдернул ее. «Варвары! Это сорок градусов», – пробормотал он, опустив градусник, и тотчас пустил холодной воды. Тщательно, с неописуемым наслаждением вымылся он с головы до ног. Теперь руки дрожали меньше, и он чувствовал себя гораздо бодрее. Метаморфоза забавляла его, как ребенка. Он прошел в соседнюю комнату и расплакался, увидев дорогое белье.

Чудесный язык вещей заговорил и пленил его. Первые движения Ара были торопливы и нервны, но уже через десять минут сказались незабываемые привычки некогда модного льва. Ар неторопливо застегивался, повертываясь перед зеркалом. Смутны и торжественны были его мысли. Рассеянный бег их подсказывал многое из того, с чем он одевался во все лучшее десять лет назад. Забытые лица, встречи, улыбки и разговоры подымались из глубин памяти, подобно золотым рыбкам, гоняющимся за мошкаррой. Ар оделся и вышел.

– Жетон, – глубокомысленно сказал Зитнер и смолк. Перемена наружности Ара поразила его. Пожилой, бодрый господин с немного надменным лицом стоял посреди комнаты.

– Мне нравится черный галстук, – сказал Ар, – сбегайте-ка за ним, Зитнер.

IV

В четыре часа пополудни наемная карета везла Ара по набережной. В кармане его лежало одно из писем. Его он должен был предъявить в доказательство похищения.

По дороге он узнавал, – не механически, как в весь долгий период темного, унижительного падения, – а по-старому – некоторые дома, углы улиц, скверы и церкви. Здесь он расстался с Гинером, убитым на дуэли, в том магазине покупал жемчуг для невесты – сестры; в этом доме познакомился с Риверсами, там флиртовал с цыганкой, увезенной затем на автомобиле к южному морю.

Как быстро, как ужасно быстро прошло все. Ему показалось, что всадник, обогнавший его, – старый друг Тилли, и вся кровь бросилась ему в лицо от неожиданности. Дело, которое ехал он выполнить, Тилли не мог одобрить. Он дал бы ему пощечину и отвернулся, если б узнал об этом.

– Я, – сказал Ар, – я, Леаль Ар, шантажист. – Но слово это ничего не говорило ему. Сознание его дремало. Он не мог представить, как произойдет все. Он относился к этому как к необходимой, тяжелой и болезненной операции и старался не думать.

Карета остановилась. Леаль расплатился и нащупал письмо. Для большей верности он вынул его; это было точно – письмо, данное Зитнером. Теперь Леаль сильно и тягостно волновался. Желая успокоиться, он остановился у входа, развлекаясь чтением похищенного письма. Это было старое, выцветшее письмо, полное нежных, горячих слов и ласки; письмо, писанное его рукой, его почерком, на его любимой, зеленоватой бумаге, – адресованное Марии Клер.

Карета давно отъехала. Над палисадом, в солнечной пыли переулка носились синие стрекозы и пчелы. Сады пышно дремали. У каменного косяка двери бился головой и рыдал Леаль Ар.

– Здесь нет свежих устриц! – насмешливо пробормотал газетчик, увидев входящего в рыночный подвальчик с крепкими напитками изящного господина навеселе. Вошедший, по видимому, не нуждался в устрицах: он попросил водки и повторил это три раза. Трактир закрылся.

– «Идите домой, господин!» – крикнул слуга, толкая заснувшего за столом Ара.

– Разве я не дома? – сказал Ар. – Я дома, но вы не видите этого. Я дома, откуда сейчас гоните вы меня, но скоро – да, скоро – приду к вам.

Возвращенный ад

I

Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, – состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в со-

стоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени.

По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное являются в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изощрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем, и я, против воли, должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии – весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений.

Я устал наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, таким смешливым субъектом со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями. Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. «Возможно, что хорошо лишиться рассудка», – говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости, но это не спасало меня, так как спустя недолгое время я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений. Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформенности ее электризирующих прикосновений, – тот, конечно, не моргнув глазом, вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что, кроме чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракциями, существует впечатление на расстоянии, особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая в силу условий века явлением заурядным. – Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное, – некто испытывает сильную радость; вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно настроению данного «некто». Такие совпадения встречаются по преимуществу меж близкими или много думающими друг о друге людьми; примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому – достоверны, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простираться на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы; раз впечатление на расстоянии установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по существу вопроса; иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют (пора бы признать) агенты малоисследованные – расстояние исчезает. И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому давлению миллиардов живых сознаний, так же как пчела в улье слышит гул роя, но это – вне свидетельских показаний и я, например, не мог спросить у населения Тонкина, – не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной-единственной непохожей на остальные минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего? Установить такую зависимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, изощренность нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей.

Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервности и надоедливо тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пароход, плывущий в Херам. Окрестности Херама дики, но не величественны. Грандиозное в природе и людях по плечу только сильной душе, а я, человек усталый, искал дикости буколической.

Мы пересекали стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лиляны, когда ветры свежи и печальны, а попутные острова горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, девушка странной и прекрасной природы; я встретил ее в Кассете, ее родине, – в день скорби. Она знала меня лучше, чем я ее, хотя я думал об ее сердце больше, чем обо всем

остальном в мире, и, узнавая, все же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или недостатка воображения, но ее прелесть являлась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом уже негодным и узким – любовью, нет – радостное, жадное внимание – вот настоящее имя свету, зажженному Визи. Свет этот в красном аду сознания блистал подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла; так нежно и ярко было его сияние, что, будучи, предположительно, свободным от мира, я пожелал бы бессмертия.

Поздно вечером, когда я сидел на палубе, ко мне подошел человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком, и спросил – не я ли Галиен Марк. Голос его звучал сухо и подозрительно. Я сказал: «Да».

– А я – Гуктас! – громко сказал он, выпрямляясь и опуская руки. Я видел, что этот человек хочет ссоры и знал почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, изображающая деятельность партии Осеннего Месяца. Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье.

– Теперь я вас накажу. – Он как бы не говорил, а медленно дышал злыми словами. – Вы клеветник и змея. Вот что вам следует получить!

Он замахнулся, но я схватил его мясницкую руку и погнул ее вниз, смотря прямо в прыгающие глаза противника. Гуктас, задыхаясь, вырвался и отскочил, пошатнувшись.

– Ну, – сказал он: – так как?

– Да так.

– Где и когда?

– По прибытии в Херам.

– Я буду вас караулить. – заявил Гуктас.

– Караульте, я ни при чем. – И я повернулся к нему спиной, только теперь заметив, что мы окружены пассажирами. Дикое ярмарочное любопытство прочел я во многих холеных и тонких лицах: пахло убийством.

Я спустился в каюту к Визи, от которой никогда и ничего не скрывал, но в этом случае не хотел откровенности, опасной ее спокойствию. Я не был возбужден, но, по крайней мере наружно, не суетился и владел голосом как безупречный артист; я сидел против Визи, рассказывая ей о древних памятниках Луксора. И все-таки, немного спустя, я услышал ее глухой, сердечный голос:

– Что случилось с гобой?

Не знаю, чем я выдал себя. Может быть, неверный оттенок взгляда, рассеянное движение рук, напряженные паузы или еще что, видимое только любви, но мне не оставалось теперь ничего иного, как твердо лгать. – Не понимаю, – сказал я, – почему «случилось»? И что? – Затем я продолжал разговор, спрашивая себя, не последний ли раз вижу я это прекрасное, нежно нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени на воде синих озер, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную, живую белизну рук, – но думал: – «нет, не в последний», – и простота этого утешения закрывала будущее.

– Завтра утром мы будем в Хераме, – сказал я перед сном Визи, – а я, не знаю почему, в тревоге: все кажется мне неверным и шатким. – Она рассмеялась.

– Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная, простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я.

– Я не хочу жизнерадостной, простой девушки, – сказал я, – поэтому ты усни. Скоро и я лягу, как только придумаю заглавие статьи о процессиях, которые ненавижу.

Когда Визи уснула, я сел, чтобы написать письмо к ней, спящей, от меня, сидящего здесь же, рядом, и начал его словом «Прощай». Кандидат в мертвецы должен оставлять такое письмо. Написав, я положил конверт в карман, где ему предназначалось найтись в случае печального для меня конца этой истории, и стал думать о смерти.

Но – о благодетельная сила вековой аллегии! – смерть явилась przede мной в картинно нестрашном виде – скелетом, танцующим с длинной косой в руках и с такой старой, знакомой

гримасой черепа, что я громко зевнул. Мое пробуждение, несмотря на это, было тревожно-резким. Я вскочил с полным сознанием предстоявшего, как бы не спав совсем. Наверху зычно стихал гудок – в иллюминаторе мелькал берег Херама; солнце билось в стекло, и я тихо поцеловал спящие глаза Визи.

Она не проснулась. Оставив на столе записку «Скоро приду, а ты пока собери вещи и поезжай в гостиницу», – поднялся на яркую палубу, где у сходни встретил окаменевшего в ненависти Гуктаса. Его секунданты сухо раскланялись со мной, я же попросил двух, наиболее понравившихся мне лицом пассажиров, – быть моими свидетелями. Они, поговорив между собой, согласились. Я сел с ними в фаэтон, и мы направились к роще Заката, по ту сторону города. Противник мой ехал впереди, изредка оборачиваясь; глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы. Утро явилось в тот день отменно красивым; стянув к небу от многоцветных осенних лесов все силы блеска и ликования, оно соединило их вдаль, над воздушной синевой гор, в пламенном ядре солнца, драгоценным аграфом, скрепляющим одежды земли. От белых камней в желтой пыли дороги лежали темно-синие тени, палый лист всех оттенков, от лимонного до ярко-вишневого, устилал блистающую росой траву. Черные стволы, упавшие над зеркалом луж, давали отражение удивительной чистоты; пышно грусти ли сверкающие, подобно иконостасам, рощи, и голубой взлет ясного неба казался мирным навек.

Мои секунданты говорили исключительно о дуэли. Траурный тон их голосов, не скрывавший однако жадности зрительского любопытства, был так противен, что я молчал, предоставив им советоваться. Разумеется, я не был спокоен. Целый ливень мыслей угнетал и глушил меня, порождая тоску. Контраст между убийством и голубым небом повергал меня в жестокое средостение меж этих двух берегов, где все принципы, образы, волнения и предчувствия стремились хаотическим водопадом, не знающим никаких преград. Напрасно я уничтожал различные точки зрения, из гибели одной вырастали десятки новых, и я был бессилен, как всегда остановить их борьбу, как всегда не мог направить сознание к какой бы то ни было несложной величине; против воли я думал о тысячах явлений, давших человечеству слова: «Убийство» и «Небо». В несчастной голове моей воистину заседал призрачный безликий парламент, истязая сердце страстной запальчивостью суждений. Вздохнув так глубоко, что кольнуло под ребрами, я спросил себя: «Отвратительна ли тебе смерть? Ты очень, очень устал...», но не почувствовал возмущения. Затем мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я в уровень с глазом дорогой тяжелый пистолет Гуктаса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая изображать барашка, наверняка. «Раз, два, три!» – крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил, тотчас же в руке Гуктаса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырек тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктас умер от раны в грудь, тогда как я целился ему в голову; из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания.

II

Когда я пришел в себя, была ночь. Я увидел в полусвете прикрученной лампы (Визи не любила электричества) придвинутое к постели кресло, а в нем заснувшую, полураздетую женщину; ее лицо показалось мне знакомым и, застонав от резкой головной боли, я приподнялся на локте, чтоб лучше рассмотреть ту, в которой с некоторым усилием узнал Визи. Она изменилась. Я принял это как факт, без всяких, пока что, соображений, о причинах метаморфозы, и стал внимательно рассматривать лицо спящей. Я встал, качаясь и придерживаясь за мебель, неслышно увеличил огонь и сел против Визи, обводя взглядом тонкие очертания похудевшего, сосредоточенного лица. Меня продолжало занимать само по себе – то, к чему первому обратилось внимание.

Само по себе – я, следовательно, думал о пустяках, о внешности, и так пристально, что мысль не двигалась дальше. Тень жизни усиливалась в лице Визи, горькая складка усталости таилась в углах губ, потерявших мягкую алость, а рука, лежавшая на колене, стала тонкой по-

детски. Столик, уставленный лекарствами, открыл мне, что я был тяжело и, может быть, долго болен. «Да, долго», – подтвердил снег, белевший сквозь черноту стекла, в тишине ночной улицы. Голове было непривычно тепло, подняв руку, я коснулся повязок и, напрягая затрепетавшую память, вспомнил дуэль.

– Прелестно! – сказал я с некоторым совершенно необъяснимым удовольствием по этому поводу и щелкнул слабыми пальцами. Визи «выходила» меня, я видел это по изнуренности ее лица и в особенности по стрелке будильника, стоявшей на трех часах. Будильники – эти палачи счастья – не покупались никогда ни мной, ни Визи, и нынешняя опрокинутость правила говорила о многом. Неподвижная стрелка на трех часах разумеется означала часы ночи. Ясно, что Визи, разбуженная ночью звонком, должна была что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности: наоборот, я поморщился от мысли, что Визи покушалась беспокоить мою особу, – больную, подстреленную, жалкую; я покачал головой.

Прошло очень немного времени, пока я обдумывал, по странному уклону мысли, способности Илии пророка вызывать гром, как очень короткий нежный звон механизма мгновенно разбудил Визи. Она протерла глаза, вскочила и бросилась ко мне с испуганным лицом ребенка, убегающего из темной комнаты, и ее тихие руки обвились вокруг моей шеи. Я сказал: – «Визи, ты видишь, что я здоров», – и она выпрямилась с радостным криком, путая и теряя движения; уже не испуг, а крупные горячие слезы блеснули в ее ярких глазах. Первый раз за время болезни она слышала мои слова, сказанные сознательно.

– Милый Галь, ложись, – просила она, слабо, но очень настойчиво подталкивая меня к кровати. – Теперь я вижу, что ты спасен, но еще нужно лежать до завтра, до доктора. Он скажет...

Я лег, несколько не потревоженный ее радостью и волнением. Я лежал важно, настроенный снисходительно к опеке и горизонтальному своему положению. Визи села у изголовья, рассказывая обо мне, и я увидел в ее рассказе человека с желтым лицом, с красными от жара глазами, срывающего с простреленной головы повязку и болтающего различный вздор, на который присутствующие отвечают льдом и пилюлями. Так продолжалось месяц. Сложное механическое кормление я представил себе дождем падающих в рот пирожков и ложек бульона. Визи, между прочим, сказала:

– У меня было одно утешение в том случае, если бы все кончилось печально: что я умру тоже. Но ты теперь не думай об этом. Как долго я не говорила с тобой! Спокойной ночи, милый, спасенный друг! Я тоже хочу спать.

– Ах, так!.. – сказал я, немного обиженный тем, что меня оставляют, но в общем непривычно довольный. Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня. – «Муж зарабатывает деньги, кормит жену, которая платит ему за это любовью и уходом во время болезни, а так как мужчина значительнее, вообще, женщины, то все обстоит благополучно и правильно. – Так я подумал и дал тут же следующую оценку себе: – Я снисходительно-справедливый мужчина». В еще больший восторг привели меня некоторые предметы, попавшиеся мне на глаза: стенной календарь, корзинка для бумаги и лампа, покрытая ласковым зеленым абажуром. Они бесспорно укрепили счастливое настроение порядка, господствующего во мне и вокруг меня. Так хорошо, так покойно мне не было еще никогда.

– Чудесно, милая Визи! – сказал я, – я решительно ничего не имею против того, чтобы ты заснула. Отправляйся. Надеюсь, что твоя бдительность проснется в нужную минуту, если это мне понадобится.

Она рассеянно улыбнулась, не понимая сказанного, – как я теперь думаю. Скоро я остался один. Великолепное настроение решительно изнежило, истомило меня. Я уснул, дрыгнув ногой от радости. «Мальчишество», – скажете вы. – О, если бы так!

III

Через восемь дней Визи отпустила меня гулять. Ей очень хотелось идти со мной, но я не желал этого. Я находил ее слишком серьезной и нервной для той благодати чувств, которую от-

метил в прошлой главе. Переполненный беспричинной радостью, а также непривычной простотой и ясностью впечатлений, я опасался, что Визи, утомленная моей долгой болезнью, не подыдется во время прогулки до уровня моего настроения и, следовательно, нехотя разрушит его. Я вышел один, оставив Визи в недоумении и тревоге.

Херам – очень небольшой город, и я быстро обошел его весь, по круговой улице, наслаждаясь белизной снега и тишиной. Проходящих было немного; я с удовольствием рассматривал их крепкие, спокойные лица провинциалов. У базара, где в плетеных корзинах блестели груды скользких, голубоватых рыб, овощи рдели зеленым, красным, лиловым и розовым бордюром, а развороченные мясные туши добродушно рассказывали о вкусных, ворчащих маслом, бифштексах, я глубокомысленно постоял минут пять в гастрономическом настроении, а затем отправился дальше, думая, как весело жить в этом прекрасном мире. С чувством пылкой признательности вспомнил я некогда ненавистного мне Гуктаса. Не будь Гуктаса, не было бы дуэли, не будь дуэли, я не пролежал бы месяц в беспамятстве. Месяц болезни дал отдохнуть душе. Так думал я, не подозревая истинных причин нынешнего своего состояния.

Необходимо сказать, чтобы не возвращаться к этому, что, в силу поражения мозга, моя мысль отныне удерживалась только на тех явлениях и предметах, какие я вбирал непосредственно пятью чувствами. В равной степени относится это и к моей памяти. Я вспоминал лишь то, что видел и слышал, мог даже припомнить запах чего-либо, слабее – прикосновение, еще слабее – вкус кушанья или напитка. Вспомнить настроение, мысль было не в моей власти; вернее, мысли и настроения прошлого скрылись из памяти совершенно бесследно, без намека на тревогу о них.

Итак, я двигался ровным, быстрым шагом, в веселом возбуждении, когда вдруг заметил на другой стороне улицы вывеску с золотыми буквами. «Редакция Маленького Херама» – прочел я и тотчас же завернул туда, желая немедленно написать статью, за что, как хорошо помнил, мне всегда охотно платили деньги. В комнате, претендующей на стильный, но деловой уют, сидели три человека; один из них, почтительно кланяясь, назвал редактором и в кратких приятных фразах выразил удовольствие по поводу моего выздоровления. Остальные беспрерывно улыбались, чем все общество окончательно восхитило меня, и я, хлопнув редактора по плечу, сказал:

– Ничего, ничего, милейший; как видите, все в порядке. Мы чувствуем себя отлично. Однако позвольте мне чернил и бумаги. Я напишу вам маленькую статью.

– Какая честь! – воскликнул редактор, суетясь около стола и делая остальным сотрудникам знак удалиться. Они вышли. Я сел в кресло и взял перо.

– Я не буду мешать вам, – сказал редактор вопросительным тоном. – Я тоже уйду.

– Прекрасно, – согласился я. – Ведь писать статью... вы знаете? Хе-хе-хе!..

– Хе-хе-хе!.. – осклабившись, повторил он и скрылся. Я посмотрел на чистый листок бумаги, не имея ни малейшего понятия о том, что буду писать, однако не испытывая при этом никакого мыслительного напряжения. Мне было по-прежнему весело и покойно. Подумав о своих прежних статьях, я нашел их очень тяжелыми, безрассудными и запутанными – некими старинными хартиями, на мрачном фоне которых появлялись и пропадали тусклые буквы. Душа требовала минимальных усилий. Посмотрев в окно, я увидел снег и тотчас же написал:

СНЕГ

Статья Г. Марка.

За время писания, продолжавшегося минут десять, я время от времени, посматривал в окно, и у меня получилось следующее:

«За окном лежит белый снег. За ним тянутся желтые, серые и коричневые дома. По снегу прошла дама, молодая и красиво одетая, оставив на белизне снега маленькие частые следы, вытянутые по прямой линии. Несколько времени снег был пустой. Затем пробежала собака, обнюхивая следы, оставленные дамой, и оставляя сбоку первых следов – свои, очень маленькие собачьи следы. Собака скрылась. Затем показался крупно шагающий мужчина в меховой шапке; он шел по собачьим и дамским

следам и спутал их в одну тропинку своими широкими галошами. Синяя тень тругольником лежит на снегу, пересекая тропинку.

Г. Марк».

Совершенно довольный, я откинулся на спинку кресла и позвонил. Редактор, войдя стремительно, впился глазами в листок.

– Вот и все, – сказал я. – «Снег». Довольны ли вы такой штукой?

– Очень оригинально, – заявил он унылым голосом, читая написанное. – Здесь есть нечто.

– Прекрасно, – сказал я. – Тогда заплатите мне столько-то.

Молча, не глядя на меня, он подал деньги, а я, спрятав их в карман, встал.

– Мне хотелось бы, – тихо заговорил редактор, смотря на меня непроницаемыми, далеко ушедшими за очки глазами, – взять у вас статью на политическую или военную тему. Наши сотрудники бездарны. Тираж падает.

– Конечно, он падает, – вежливо согласился я. – Сотрудники бездарны. А зачем вам военная или политическая статья?

– Очень нужно, – жалобно процедил он сквозь зубы.

– А я не могу! – Я припомнил, что такое «политическая» статья, но вдруг ужасная лень говорить и думать заявила о себе нетерпеливым желанием уйти. – Прощайте, – сказал я, – прощайте! Всего хорошего!

Я вышел, не обернувшись, почти в ту же минуту забыв и о редакции и о «Снеге». Мне сильно хотелось есть. Немедленно я сел на извозчика, сказал адрес и покати́л домой, вспоминая некоторые из ранее съеденных кушаний. Особенно казались мне вкусными мясные колобки с фаршем из овощей. Я забыл их название. Тем временем экипаж подкатил к подъезду, я постучал, и мне открыла не прислуга, а Визи. Она нервно, радостно улыбаясь, сказала:

– Куда ты исчез, бродяжка? Иди кормиться. Очень ли ты устал?

– Как же не устал? – сказал я, внимательно смотря на нее. Я не поцеловал ее, как обычно. Что-то в ней стесняло меня, а ее делало если не чужой, то трудной, – непередаваемое ощущение, сравнимое лишь с обязательной и трудно исполнимой задачей. Я уже не видел ее души, – надолго, как стальная дверь, хранящая прекрасные сокровища, закрылись для меня редкой игрой судьбы необъяснимые прикосновения духа, явственные даже в молчании. Нечто от прошлого однако силилось расправить крылья в пораженном мозгу, но почти в ту же минуту умерло. Такой крошечный диссонанс не испортил моего блаженного состояния; муха, севшая на лоб сотрясаемого хохотом человека, годится сюда в сравнение.

Я видел только, что Визи приятна для зрения, а ее большие дружеские глаза смотрят пылливо. Я разделся. Мы сели за стол, и я бросился на еду, но вдруг вспомнил о мясных шариках.

– Визи, как называются мясные шарики с фаршем?

– «Тележки». Их сейчас подадут. Я знаю, что ты их любишь.

От удовольствия я сердечно и громко расхохотался, – так сильно подействовала на меня эта неожиданная радость, серьезная радость настоящей минуты.

Вдруг слезы брызнули из глаз Визи, – без сто́на, без резких движений она закрыла лицо салфеткой и отошла, повернувшись спиной ко мне, – к окну. Я очень удивился этому. Ничего не понимая и не чувствуя ничего, кроме непонятности от перерыва в обеде, я спросил:

– Визи, это зачем?

Может быть, случайно тон моего голоса обманул ее. Она быстро подошла ко мне, перестав плакать, но вздрагивая, как озябшая, придвинула стул рядом с моим стулом и бережно, но крепко обняла меня, прильнув щекою к моей щеке. Теперь я не мог продолжать есть суп, но стеснялся пошевелиться. Терпеливо и злобно слушал я быстрые слова Визи:

– Галь, я плачу оттого, что ты так долго, так тяжело страдал; ты был без сознания, на волоске от смерти, и я вспомнила весь свой страх, долгий страх целого месяца. Я вспомнила, как ты рассказывал мне про маленького лунного жителя. Ты мне доказывал, что есть такой... и описал подробно: толстенький, на голове пух, dna вершка ростом... и кашляет... О Галь, я думала, что никогда больше ты не расскажешь мне ничего такого! Зачем ты сердишься на меня? Ты хочешь

вернуться? Но ведь в Хераме тихо и хорошо. Галь! Что с тобой?

Я тихо освободился от рук Визи. Положительно женщина эта держала меня в странном и злостном недоумении.

– Лунный житель – сказка, – внушительно пояснил я. Затем думал, думал и наконец догадался: – «Визи думает, что я себя плохо чувствую». – Эх, Визи, – сказал я, – мне теперь так славно живется, как никогда! Я написал статейку, деньги получил! Вот деньги!

– О чем статью и куда?

Я сказал – куда и прибавил: – «О снеге».

Визи доверчиво кивнула. Вероятно, она ждала, что я заговорю как раньше, – серьезно и дружески. Но здесь прислуга внесла «тележки», и я ревностно принялся за них. Мы молчали. Визи не ела; подымая глаза, я встречался с ее нервно-спокойным взглядом, от которого мне, как от допроса, хотелось скрыться. Я был совершенно равнодушен к ее присутствию. Казалось, ничто было не в силах нарушить мое безграничное счастливое равновесие. Слезы и тоска Визи лишь на мгновение коснулись его и только затем, чтобы сделать более нерушимым – силой контраста – то непередаваемое довольство, в какое погруженный по уши сидел я за сверкающим белым столом перед ароматически-дымящимися кушаньями, в комнате высокой, светлой и теплой, как нагретая у отмени солнцем вода. Кончив есть, я посмотрел на Визи, снова нашел ее приятной для зрения, затем встал и поцеловал в губы так, как целует нетерпеливый муж. Она просияла (я видел каким светом блеснули ее глаза), но, встав, подошла к столику и, шутливо подняв над головой склянку с лекарством (которое я изредка еще принимал), лукаво произнесла:

– Две ложки после обеда. Мы в разводе, Галь, еще на полтора месяца.

– Ах, так? – сказал я. – Но я не хочу лекарства.

– А для меня?

– Чего там! Я ведь здоров! – Вдруг, посмотрев в окно, я увидел быстро бегущего мальчика с румяным, задорным лицом и тотчас же загорелся неодолимым желанием ходить, смотреть, слушать и нюхать. – Я пойду, – сказал я, – до свидания пока, Визи!

– О, нет! – решительно сказала она, беря меня за руку. – Тем более, что ты так непривычно желаешь этого!

Я вырвался, надел шубу и шапку. Мое веселое, резкое сопротивление поразило Визи, но она не плакала более. Ее лицо выражало скорбь и растерянность. Глядя на нее, я подумал, что она просто упряма. Я подарил ей один из тех коротких пустых взглядов, каким говорят без слов о нудности текущей минуты, повернулся и увидел себя в зеркале. Какое лицо! В третий раз смотрел я на него после болезни и в третий раз радостно удивлялся, – мирное выражение глаз, добродушная складка в углах губ, ни полное, ни худое, ни белое, ни серое – лицо, – как взбитая, приглаженная подушка. Итак, по-видимому, я перенес представление о своем воображенном лице на отражение в зеркале, видя не то, что есть. Над левой бровью, несколько стянув кожу, пылал красный, формой в виде боба, шрам, – этот знак пули я рассмотрел тщательно, найдя его очень пикантным. Затем я вышел, сильно хлопнув в знак власти дверь, и очутился на улице.

IV

Не знаю, сколько времени и по каким местам я бродил, где останавливался и что делал; этого я не помню. Стемнело. Как бы проснувшись, услышал я тяжелый, из глубины души, трудный и долгий вздох; на углу, прислонясь к темной под ярким окном стене, стоял человек без шапки, одетый скудно и грязно. Он вздыхал, посылая пространству тяжкие, полные бесконечной скорби, вздохи-стоны-рыдания. Лица его я не видел. Наконец он сказал с мрачной и трогательной силой отчаяния: – «Боже мой! Боже мой!» Я никогда не забуду тона, каким произнеслись эти слова. Мне стало не по себе. Я чувствовал, что – еще вздох, еще мгновение – и мое благодное равновесие духа перейдет в пронзительный нервный крик.

Поспешно я отошел, оставив вздыхающего человека наедине с его тайным горем, и тронулся к центру города. «Боже мой! Боже мой!» – машинально повторил я, этот маленький инцидент оставил скверный осадок – тень раздражения или тревоги. Но совсем спокойно чувствовал

я себя. Меж тем темнота сплотилась полной силой глухой зимней ночи, прохожие попадались реже и шли быстрее. В редких фонарях монотонно шипел газ, и я невольно прибавил шаг, стремясь к блистающим площадям центра. Один фасад, слабо озаренный стоящим в отдалении фонарем, заставил меня остановиться и внимательно осмотреть его. Меня поразило обилие сухих виноградных стеблей, поднимавшихся от земли по белому фону простенков к балконам и окнам первого этажа; сеть черных кривых линий зловеще обсаживала фасад, словно тысячи трещин. Одно из окон второго этажа было полуосвещено, свет мелькал в его глубине, и в светлых неясных отблесках за стеклом рамы виднелся едва различимый, бледный под изгибом черных волос женский профиль. Я не мог рассмотреть его благодаря, как сказано, неверному и слабому освещению, но почему-то упорно всматривался. Профиль намечался попеременно прекрасным и отвратительным, уродливым и божественным, злым и весенне-ясным, энергичным и мягким. Придушенные стеклом, слышались ленивые звуки скрипки. Смычок выводил неизвестную, но плавную и красивую мелодию. Вдруг окно осветилось полным блеском невидимого огня, и я, при низких, нежно и горделиво стихающих аккордах, увидел голову пожилой женщины, с крепкой, сильно выдающейся нижней челюстью; черные глаза под нахмуренным низким лбом смотрели на какое-то проворно перебираемое руками шитье. Весь этот странный узел зрительных и слуховых впечатлений вызвал у меня в то же мгновение такой острый, черный прилив тоски, стеснившей сердце до боли, что я, с глазами полными слез, машинально отошел в сторону. Звуки скрипки казались самыми дорогими и печальными в мире. Я длил тоску в смутном ожидании чуда, как будто ради нее некий мертвенно мрачный занавес должен был распахнуться широким кругом, обнажив зрелище повелительной и несравненной гармонии... Это был первый припадок тоски. Наконец она стала невыносимо резкой. Увидев пылающий фонарями трактир, я вошел, выпил залпом у стойки несколько стаканов вина и сел в углу, повеселев и став опять грубее и проще, как час назад.

Рассматривая присутствующих, покуривая и внутренне веселясь в ожидании целого ряда каких-то прелестей, освеженный и согретый вином, я обратил внимание на вертлявоглазое, хитрое лицо старика, сидевшего неподалеку в обществе плохо одетой, смуглой и полной женщины. Ее напудренное лицо с влажными черными глазами и ртом ненормально красным было совсем некрасиво, однако ее упорный взгляд, обращенный ко мне, был взглядом уверенной в себе женщины, и я кивнул ей, рассчитывая поболтать за бутылкой. Старик, драный как облезлая кошка, тотчас же встал и пересел к моему столику.

– Вино-то... – сказал он так льстиво, словно поцеловал руку, – вино какое пьете? Дорогое вино, хорошее, ха-ха-ха! Старичку бы дать! – И он потер руки.

– Пейте, – сказал я, наливая ему в стакан, поданный слугой с бешеной торопливостью, не иначе, как из уважения ко мне, барину. – Как вас зовут, старик, и кто вы такой?

Он жадно выпил, перемигнувшись через плечо со своей дамой.

– Я, должен вам сказать, – питаюсь услугами, – сказал старик, подмигивая мне весьма фамильярно и плутовато. – Прислуживаю я каждому, кто платит, и прислуживаю охотнее всего по веселеньким таким, остро-пикантным делам. Понимаете?

– Все понимаю, – сказал я, пьянея и наваливаясь на стол. – Служите мне.

– А вы чего хотите?

Я посмотрел на неопределенно улыбающуюся за соседним столом женщину. Спутница старика, в синем с желтыми отворотами платье и красной накидке, была самым ярким пятном трактирной толпы, и мне захотелось сидеть с ней.

– Пригласите вашу даму пересесть к нам.

– Дама замечательная! Первый сорт! – радостно закричал старик и, обернувшись, взвизнул на весь зал: – Полина! Переваливайтесь сюда к нам, да живо!

Она подошла, села, и я, пока не пришла кошка, не сводил более с нее глаз. От ее круглой статной шеи, полных с маленькими кистями рук, груди и пухлых висков разило чувственностью. Я жадно смотрел на нее, она присматривалась ко мне, молчала и улыбалась особенной улыбкой. Старик, воодушевляясь время от времени, по мере того как слуга ставил нам свежие винные бутылки, держал короткие, но жаркие речи о необыкновенных достоинствах Полины или о своем

прошлом богатстве, которого, смею думать, у него никогда не было. Я охмелел. Грязный, горластый сброд, шумевший за столиками, казался мне обществом живописных гигантов, празднующих великолепие жизни. Море разноцветного света заполняло трактир. Я взял руки Полина, крепко сжал их и заявил о своей страсти, получив в ответ взгляд более, чем многообещающий. Старик уже встал, застегиваясь и обматывая шею цветным шарфом. Я знал, что поеду куда-то с ним, и стал громко стучать, требуя счет.

В эту минуту маленькая, больная и худая как щепка, серенькая трактирная кошка нерешительно подошла ко мне, робко осмотрела мои колена и, тихо прыгнув, уселась на них, подняв торчком жалкий, облезлый хвост. Она терлась о мой рукав и подобострастно громко мурлыкала, требуя, видимо, внимания к своей жизни, заинтересованной в моих развлечениях. Я смотрел на нее со страхом и внезапной слабостью сердца, чувствуя, что уступаю новой волне тоски, отхлынувшей временно благодаря бутылке и женщине. Все кончилось. Потух пьяный огонь, – горькое, необъяснимое отчаяние сразило меня, и я, опять силясь, но тщетно, припомнить что-то неподвластное памяти, бросил деньги на стол, ударил старика по его испуганно цепляющимся за меня рукам вышел и поехал домой.

Холод, плавный бег саней и тишина улиц постепенно истребили тоску. В весьма благоклонном, ровном и мирном настроении я позвонил у занесенных снегом дверей; мне открыла снова Визи, но, открыв, тотчас же ушла в комнаты. Я разыскал ее у камина в маленьком мягком кресле с книгой в руках и сел рядом. Я очень хорошо знал, что я нетрезв и взъерошен, однако совсем не хотел скрывать этого. Визи внимательно, без улыбки смотрела на меня, сказала тихо:

– Сегодня заходил доктор и очень тепло справлялся о тебе. Он хочет бывать у нас, – он просил разрешить ему это. – Как ты думаешь? Тебе, кажется, скучно, а такой собеседник, как доктор, незаменим.

– Доктора – ученые люди, – пробормотал я, – а мне. Визи, очень надоели сложные разговоры. Превыспренненные! Аналитические! Ну их, в самом деле! Я человек простой и добродушный. Чего там рассуждать? Живется – и живи себе на здоровье.

Визи не отвечала. Она задумчиво смотрела на раскаленные угли и, встрепенувшись, ласково улыбнулась мне.

– Я не скрою... Меня несколько пугает резкая перемена в тебе после болезни!

– Вот глупости! – сказал я. – Ты говоришь самые неподходящие глупости! Изменился! Да, очень вероятно!.. Боже мой! Неужели ты, Визи, завидуешь мне?

– Галь, что ты? – испуганно воскликнула Визи. – Зачем это?

– Нет, – продолжал я, усматривая в словах Визи завистливую и ревнивую придирчивость, – когда человек чувствует себя хорошо, другим это всегда мешает. Да пусть бы все так изменилось, как я! Хотя и смутно, но понимаю же я наконец, каким я был до болезни, до этой замечательной раны, нанесенной Гуктасом. Все меня волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная, – что за ужасное время! Фу! Каким можно быть дураком! Все очень просто, Визи, не над чем тут раздумывать.

– Объясни, – спокойно сказала Визи, – может быть, я тоже пойму. Что просто и – в чем?

– Да все. Все, что видишь, такое и есть. – Помолчав, я с некоторым трудом подыскал пример, по-моему убедительный: – Вот ты, Визи, сидишь передо мной и смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Она закрыла лицо руками, видимо, обдумывая мои слова. С торжеством, с безжалостной самоуверенностью я ждал возражений, но Визи, открыв лицо, вдруг спросила:

– Что думаешь ты об этом месте, Галь? Это твой любимец. Конфор. Слушай, слушай! «День проходит в горьких заботах о хлебе, ночь в прекрасных золотых сновидениях. Зато днем ярко горит солнце, а ночью, проснувшись, я побежден тьмой и ужасом тишины. Блажен тот, кто думает только о солнце и сновидениях».

– Очень плохо, – решительно сказал я. – Каждому разрешается помнить все что угодно. Автор положительно невежлив к читателю. А во-вторых, я несколько пьян и хочу спать. Прощай, Визи, спокойной ночи.

– Спокойной ночи, милый, – рассеянно сказала она, – завтра ты будешь работать?

– Бу-ду, – нерешительно сказал я. – Хотя, знаешь, о чем писать? Все ведь избито. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! – медленно повторила Визи.

Уходя, я обернулся на особый оттенок голоса и поймал выражение нескрываемого, тоскливого страха в ее возбужденном лице. Мы встретились взглядами, Визи поторопилась улыбнуться, как всегда, нежно кивнув. Я ушел в спальню, разделся и лег с стесненной душой, но с задней лукавой мыслью о том, что Визи из простого упрямства не хочет понять меня.

V

Так повторилось раз, два, три – десять; причинами внезапной тоски служили, как я заметил, такие разнообразные обстоятельства, настолько иной раз противоречащие самому понятию «тоска», что я не мог избежать их. Чаще всего это была музыка, безразлично какая и где услышанная, – торжественная или бравурная, веселая или грустная – безразлично. В дни, предназначенные тоске, один отдельный аккорд сжимал и волновал душу скорбью о невспоминаемом, о некоем другом времени. Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию, я, минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу – истребителю меланхолии, возвращая часами ночного возбуждения прежнюю безмятежность.

Я стал определенно и нескрывая равнодушен к Визи. Ее все более редкие попытки вернуть прежние отношения оканчивались ничем. Я стал бессознательно говорить с ней, как посторонний, чужой, нетерпеливый, но вежливый человек. Холодом взаимного напряжения полны были наши разговоры и встречи, – именно встречи, так как я не бывал дома по два и по три дня, ночуя у случайных знакомых, которых развелось изобилие. То были конюхи, фонарщики, газетчики, прачки, кузнецы, воры, солдаты, лавочники... Казалось, все профессии участвовали в моих скитаниях по Хераму в дни описанного выше, безысходного, тоскливого состояния. Мне нравился разговор этих людей: простой, грубо-толковый, лишенный двусмысленности и надрыва, он предлагал вниманию факты в безусловном, так сказать, арифметическом их значении: – «раз, два... четыре, одиннадцать, – случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть». Я радостно перевел бы нить своего разговора в описание поступков моих, но поступков, характернее и значительнее приведенных выше, не было и не могло быть. Удивительное чувство порядка, законченности всего, стало, за исключением дней тоски, нормальным для меня состоянием, отрицающим в силу этого всякий позыв к деятельности.

Доктор, противу ожидания моего, появился-таки в нашей квартире, он был расторопен и вежлив, весел и оживлен. Он сделал мне множество предложений, как хитрый медик – замаскированно-медицинского свойства: прогулку на раскопки, охоту, лыжный спорт, участие в музыкальном кружке, в астрономическом кружке, наконец, предложил заняться авиацией, токарным ремеслом, шахматами и беседами на религиозные темы, я слушал его внимательно, промолчал на все это и попрощался так сухо, что он не приходил более. После этого я сказал Визи:

– От чего хочешь ты меня лечить?

– Я хочу только, чтобы ты не скучал, – глухо произнесла она таким усталым, невольно сказавшим более, чем хотела, голосом, что я внутренне потускнел. Но это продолжалось мгновение. Я звонко расхохотался.

– Ты, ты не скучай, Визи! – сказал я. – А мне скучно не может быть – слышишь?! Я, право, не узнаю себя. Какое веселье, какая скука? Нет у меня ни этого, ни другого. Ну, и просто – я всем доволен! Чего же еще? Я мог бы быть доктором этому доктору, если уж так говорить, Визи.

– Мы не понимаем друг друга, Галь. Ты смотришь на меня чужими глазами. Давно уж я не видела того выражения, от которого – знаешь? – хочется тихо петь или, улыбаясь, молчать... Наш разговор оборвался... мы вели его словами и сердцем...

– Мне странно слышать это, – сказал я, – быть может, ранее чрезмерная возбудимость...

Но я не закончил. Я хотел добавить... «нравилась тебе», – и вдруг, как прихлопнутый глухой крышкой, резко почувствовал себя настолько чужим самому себе, что проникся величайшим отвращением к этой попытке завернуть в прошлое.

– Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз, – трусливо сказал я, – меня расстраивают эти разговоры. – Мне нестерпимо хотелось уйти. Слова Визи безнадежно и безрезультатно напрягали мою душу, она начинала терзаться, как немой, которому необходимо сказать что-то сложное и решающее. Я молчал.

– Уходи, если хочешь, – печально сказала Визи, – я лягу спать.

– Вот именно, я хотел прогуляться, – заявил я, быстро беря шляпу и целуя ее руку с тайной благодарностью, – но я скоро вернусь.

– Скоро?.. А «Метеор» снова просит статью.

Я улыбнулся и вышел. Давно уже когда-то нежно любимая работа отталкивала меня сложностью второй жизни, переживаемой в ней. Покойно, отойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь, погрузившись в тишину теплого, сытого вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то, благодушно задремал. Но, конечно, это я шел с сытой душой, и шел в таком состоянии долго, пока, взглянув вверх, не увидел среди других яркую, торжественно высющуюся звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды все мое существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю... Знакомая причудливая тоска сразила меня. Я ускорил шаги и через некоторое время сидел уже в дымном воздухе «Веселенького гусара», слушая успокоительную беседу о трех мерах дров, проданных с барышом.

VI

Зима умерла. Весна столкнула ее голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком в виде мертвенно-белых обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно. Солнце окуривало землю запахом древесных почек и первых цветов. Я жил двойной жизнью. Спокойное мое состояние ничем не отличалось от зимних дней, но приступы тоски стали повторяться чаще, иногда по самому ничтожному поводу. По окончании их я становился вновь удивительно уравновешенным человеком, спокойным, недалеким, ни на что не жалующимся и ничего не желающим. Иногда, сидя с Визи, я видел ее как бы вдали, настолько вдали, что ожидал, если она заговорит, не услышать ее голоса. Мы разговаривали мало, редко и всегда только о том, о чем хотел говорить я, т. е. о незамысловатых и мало-важных вещах.

Был поздний вечер, когда в трактир «Веселенького гусара» посыльный доставил мне письмо с надписью на свежезаклеенном конверте: «Г. Марку от Визи». Пьяный, но не настолько, чтобы утратить способность читать, я раскрыл конверт с сильным любопытством зрителя, как если бы присутствовал при чтении письма человеком посторонним мне – другому, тоже постороннему. Некоторое время строки письма шевелились, как живые, под моим неверным и возбужденным взглядом; преодолев это неудобство, я прочитал:

«Милый, мне очень тяжело писать тебе последнее, совсем последнее письмо, но я больше не в силах жить так, как живу теперь. Несчастье изменило тебя. Ты, может быть, и не замечаешь, как резко переменился, какими чужими и далекими стали мы друг другу. Всю зиму я ждала, что наше хорошее, чудесное прошлое вернется, но этого не случилось. У меня нет сознания, что я поступаю жестоко, оставляя тебя. Ты не тот, прежний, внимательный, осторожный, большой и чуткий Галь, какого я знала. Господь с тобой! Я не знаю, что произошло с твоей бедной душой. Но жить так дальше, прости меня, – не могу! Я подробно написала о всем издателю „Метеора“, он обещал назначить тебе жалованье, которое ты и будешь получать, пока не сможешь снова начать работать. Прощай. Я уезжаю; прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда.

Визи».

– «Визи», – повторил я вслух, складывая письмо. В этот момент, роняя прыгающий мотив

среди обильно политых вином столиков, взвизгнула скрипка наемного музыканта, обслуживавшего компанию кочегаров, и я заметил, что музыка подчеркивает письмо, делая трактир и его посетителей своими, отдельными от меня и письма; – я стал одинок и, как бы не вставая еще с места, вышел уже из этого помещения.

Встревоженный неожиданностью, самым фактом неожиданности, безотносительно к его содержанию, осилить которое было мне еще не дано, я поехал домой с ясным предчувствием тишины, ожидающей меня там – тишины и отсутствия Визи. Я ехал, думая только об этом. Неизвестно почему, я ожидал, что встречу дома вещи более значительные, чем письмо, что произойдут некие разъяснения случившегося. Содержание письма, логически вполне ясное, – внутренне отвергалось мной, в силу того, что я не мог представить себя на месте Визи. Вообще же, помимо глухой тревоги, вызванной впечатлением резкого обрыва привычных и ожидаемых положений, я не испытывал ничего ярко горестного, такого, что сразу потрясло бы меня, однако сердце билось сильнее и путь к дому показался не близким.

Я позвонил. Открыла прислуга, меланхолическая, пожилая женщина; глаза ее остановились на мне с каменной осторожностью.

– Барыня дома? – спросил я, хотя слышал тишину комнат и задумчивый стук часов и видел, что шляпы и пальто Визи нет.

– Они уехали, – тихо сказала женщина, – уехали в восемь часов. Вам подать ужин?

– Нет, – сказал я, направляясь к темному кабинету, и, постояв там во тьме у блестящего уличным фонарем окна, зажег свечу, затем перечитал письмо и сел, думая о Визи. Она представилась мне едущей в вагоне, в паровой каюте, в карете – удаляющейся от меня по прямой линии; она сидела, я видел только ее затылок и спину и даже, хотя слабо, линию щеки, но не мог увидеть лица. Мысленно, но со всей яркостью действительного прикосновения я взял ее голову, пытаюсь повернуть к себе; воображение отказывалось закончить этот поступок, и я по-прежнему не видел ее лица. Тоскливое желание заглянуть в ее лицо некоторое время не давало мне покоя, затем, устав, я склонился над столом в неопределенной печальной скуке, лишенной каких бы то ни было размышлений.

Не знаю, долго ли просидел я так, пока звук чего-то упавшего к ногам, не заставил меня нагнуться. Это был ключ от письменного стола, упавший из-под моего локтя. Я нагнулся, поднял ключ, подумал и открыл средний ящик, рассчитывая найти что-то, имеющее, быть может, отношение к Визи, – неопределенный поступок, вытекающий скорее из потребности действия, чем из оснований разумных.

В ящике я нашел много писем, к которым в эти минуты не чувствовал никакого интереса, различные мелкие предметы: сломанные карандаши, палочки сургуча, несколько разрозненных записок, резинку и пачку газетных вырезок, перевязанную шнурком. То были статьи из «Вестника» и «Метеора» за прошлый год. Я развязал пачку, повинаясь окрепшему за последний час стремлению держать сознание в связи со всем, имеющим отношение к Визи. Статьи эти вырезывала и собирала она, на случай, если бы я захотел издать их отдельной книгой.

Я развязал пачку, просматривая заглавия, вспоминая обстоятельства, при которых была написана та или иная вещь и даже, приблизительно, скелетное содержание статей, но далекий от восстановления, так сказать, атмосферы сознания, характера настроения, облекавших работу. От заглавий я перешел к тексту, пробегаю его с равнодушным недоумением, – все написанное казалось отражением чуждого ума и отражением бесцельным, так как вопросы, трактованные здесь, как-то: война, религия, критика, театр и т. д., – трогали меня не больше, чем снег, выпавший, примерно, в Австралии.

Так, просматривая и перебирая пачку, я натолкнулся на статью, озаглавленную: «Ценность страдания» статью, написанную приемом сильных контрастов и в свое время наделавшую немало шума. В противность прежде прочтенному, некоторые выражения этой статьи остановили мое внимание, в особенности одно: «Люди с так называемой „душой нараспашку“ лишены острой и блаженной сосредоточенности молчания: не задерживаясь, без тонкой силы внутреннего напряжения, врываются в их душу и без остатка покидают ее те чувства, которые, будучи задержаны в выражении, могли бы стать ценным и глубоким переживанием». Я прочитал это два раза, томясь

вспомнить, какое, в связи с Визи, обстоятельство родило эту фразу и, с неожиданной, внутренне толкнувшей отчетливостью, вспомнил! – так ясно, так проникновенно и жадно, что встал в волнении чрезвычайном, почти болезненном. Это сопровождалось заметным ощущением простора, галлюцинаторным представлением того, что стены и потолок как бы приобрели большую высоту. Я вспомнил, что в прошлом году, летом, подошел к Визи с невыразимо ярким приливом нежности, могущественно требовавшим выхода, но, подойдя, сел и не сказал ничего, ясно представив, что чувство, исхищенное словами, в неверности и условности нашего языка, оставит терпкое сознание недосказанности и конечно никак уже не выразимого словами, приниженного экстаза. Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавшей меня, был очень, бескрайно полон ею и своим сжатым волнением. После того я написал вышеприведенное рассуждение.

Я вспомнил это живо и сердцем, а не механически, – мне не сиделось, я прошелся по кабинету, в углу лежал скомканный лист бумаги, я поднял его, развернул и, с изумлением, чуждым еще догадкам, увидел, что лист, не вполне дописанный красивым, мелким почерком Визи, был не чем иным, как неоконченной, но разработанной уже в значительной степени моей статьей, с заголовком: «„Ртутные рудники Херама“, статья Г. Марка». Я никогда не писал этой статьи и не диктовал ее никому, я ничего не писал. Я прочел написанное со вниманием преступника, читающего копию приговора. Живое, интересное и оригинальное изложение, способность охватить ряд явлений в немногих словах, выделение главного из массы несущественного и, как аромат цветка, свойственные только женщинам, свои, никогда не приходящие нам в голову слова, очень простые и всем известные, с несколько интимным оттенком, например: «совсем просто», «замечательно хорошие», «как взглянуть» – делали написанное прекрасной работой. «Статья Г. Марка» снова прочел я... и стало мне в невольных неудержимых тяжких слезах спасительно резкой скорби – ясным все.

Я сидел неподвижно, пытаюсь овладеть положением. «Я никогда больше не увижу ее», – сказал я, проникаясь, под впечатлением тревоги и растерянности, особым вниманием к слову «никогда». Оно выражало запрет, тайну, насилие, и тысячу причин своего появления. Весь «я» был собран в этом одном слове. Я сам, своей жизнью вызвал его, тщательно обеспечив ему живучесть, силу и неотразимость, а Визи оставалось только произнести его письменно, чтобы, вспыхнув черным огнем, стало оно моим законом, и законом неумолимым. Я представил себя прожившим миллионы столетии, механически обыскивающим земной шар в поисках Визи, уже зная на нем каждый вершок воды и материка, – механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету, вспоминая скорее ее прикосновение, чем надеясь произвести чудо, и видел, что «никогда» смеется даже над бесконечностью.

Я думал теперь упорно, как раненый, пытающийся с замиранием сердца предугадать глубину ранения, сгорая еще не очень чувствительного, но отраженного в инстинкте страхом и возмущением. Я хотел видеть Визи и видеть возможно скорее, чтобы ее присутствием ощупать свою рану, но это черное «никогда» поистине захватывало дыхание, и я бездействовал, пока взгляд мой не упал снова на неоконченную Визи статью. Мучительное представление об ее тайной, тихой работе, об ее стараниях путем длительного и возвышенного подлога скрыть от других мое духовное омертвление было ярким до нестерпимости. Я вспомнил ее улыбку, походку, голос, движения, наклон головы, ее фигуру в свете и в сумерках, – во всем этом, так драгоценном теперь, не сквозило никогда даже намек на то, что она делала для меня. Долго молчаливая любовь возвращалась ко мне, но как! И с какими надеждами! – с меньшими, чем у смертельного больного, еще дышащего, но думающего только о смерти.

Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя как прежде: отчетливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений, со всем ее оглушительным эхом в далях сознания. Я видел, что встряхиваюсь и освобождаюсь от сна. Я встал с единственным, неотложным решением отыскать Визи, спокойно зная, что отныне, с этого мгновения увидеть ее становится единственной целью жизни. Насколько вообще всякое решение приносит спокойствие, настолько я получил его, приняв такое решение, но спокойствие подобного рода охотно променял бы на любую унижайшую из попыток.

Белое, еще бессолнечное утро открыло за бледно-голубым окном пустую, тихую улицу. Я вышел, направляясь к озерной пристани. Я хотел верить, что Визи предварительно поехала в Зурбаган. По моим расчетам, она не могла миновать этот город, так как в нем жили ее родственники. На тот случай, если бы я уже не застал ее в Зурбагане и лица, посвященные в ее тайну, отказались указать мне адрес, – я с чрезвычайным, но полным любви ожесточением решил достичь цели непрерывным упорством, хотя бы пришлось пустить для этого в ход все средства, возможные на земле.

Подойдя к пристани, я увидел низкое над обширной водой солнце, далекие туманные берега и небольшой пароход «Приз», тот самый, который увозил нас в прошлом году в Херам. Со стесненным сердцем смотрел я на его корпус, трубу в белых кольцах, мачты и рубку, – он был для меня живым третьим, помнившим присутствие Визи и как бы навек связанным со мной этим общим воспоминанием.

На пристани почти никого не было, – бродила спокойная худая собака, обнюхивая различный сор, да в дальнем конце мола медленно переходил с места на место ранний удильщик, высматривая неизвестное мне удобство. У конторы я взглянул в прибитое к стене расписание: – «Приз» отходил в десять часов утра, а перед этим, вчера, вышел тем же рейсом «Бабун», в одиннадцать сорок минут вечера. Только «Бабун» мог увезти Визи. Это немного развеселило меня: нас разделяло часов двенадцать пути, – срок, за который Визи едва ли смогла уехать из Зурбагана далее, если даже она и опасалась, что я стану ее разыскивать. Я тщательно разобрал этот вопрос и с горестью заключил, что она могла не бояться встретить меня, все поведение мое должно было убедить ее в том, что я вздохну облегченно, оставшись один. Несмотря на стыд, это прибавило мне надежды застигнуть Визи врасплох, хотя в хорошем исходе свидания я далеко не был уверен. Предупреждая события, я вызывал болезненно напряженной душой призраки и голоса встречи, варьируя их в множестве оттенков и положений, и мысленно волнуясь, говорил с Визи, рассказывал все мелочи своего потрясения.

Когда солнце поднялось выше и гул ранней работы огласил гавань, я засел в ближайшей кофейне, где просидел до первого свистка. Когда пароход двинулся, вспахав прозрачную воду озера прямой линией кипящей у кормы пены, я долго смотрел на собранные теперь в одну длинную кучу крыши Херама с чувством неудовлетворенного любопытства. Характер и дух города остались мне неизвестными, как если бы я никогда в нем не жил; так произошло потому, что я временно ослеп для многих вещей, понятных изощренной душе и неуловимых ограниченным, скользким вниманием. Но скоро я спустился в каюту, где, против воли, совершенно измученный событиями прошедшей ночи, я заснул. Проснулся я в темноте, тревоге и ропоте монотонно шумливых волн, поплескивающих о борт. Тоска, страх за будущее, одиночество, тьма – делали неподвижность невыносимой. Я закурил и вышел на палубу.

По-видимому, был глухой, поздний час ночи, так как в пустоте неверного света мачтовых фонарей я увидел только один, почти слившийся с бортом и мраком озера, силуэт женщины. Она стояла спиной ко мне, облокотившись на планшир. Мне хотелось поговорить, рассеяться; я подошел и сказал негромко, в тон глухой ночи: – «Если вам тоже, как и мне, не спится, сударыня, поговорим о чем-нибудь полчаса. Обычное право путешественников»...

Но я не договорил. Женщина выпрямилась, повернулась ко мне, и в полусвете падающих сверху лучей я узнал Визи... Ни верить этому, ни отрицать этого я не смел в первое мгновение, показавшееся концом всего, полным обрывом жизни. Но тут же, отстраняя гнетущую силу потрясения, вспыхнул такой радостью, что как бы закричал, хотя не мог еще произнести ни слова, ни звука и стоял молча, совершенно расколотый неожиданностью. Милое, нестерпимо милое лицо Визи смотрело на меня с грустным испугом. Я сказал только:

– Это ты, Визи?

– Я, милый, – устало произнесла она.

– О, Визи... – начал я, было, но слезы и безвыходное смятение мешали сказать что-нибудь в нескольких исчерпывающих словах. – Я ведь опять тот, – выговорил я наконец с чрезвычайным усилием, – тот, и искал тебя! Посмотри на меня ближе, побудь со мной хоть месяц, неделю, один день.

Она молчала, и я, взяв ее руку, тоже молчал, не зная, что делать и говорить дальше. Потом я услышал:

– Я очень жалею, что опоздала на вечерний пароход и что мы здесь встретились... Галь, не будет из этого ничего хорошего, поверь мне! Уйдем друг от друга.

– Хорошо, – сказал я, холодея от ее слов, – но выслушай меня раньше. Только это!

– Говори... если можешь...

В одном этом слове «можешь» я почувствовал всю глубину недоверия Визи. Мы сели.

Светало, когда я кончил рассказывать то, что написано здесь о странных месяцах моей, и в то же время не похожей на меня, жизни, и тогда Визи сделала какое-то не схваченное мною движение, и я почувствовал, что ее маленькая рука продвинулась в мой рукав. Эта немая ласка довела мое волнение до зенита, предела, едва выносимого сердцем, когда наплыв нервной силы, подобно свистящему в бешеных руках мечу, разрушает все оковы сознания. Последние тени сна оставили мозг, и я вернулся к старому аду – до конца дней.

Львиный удар

I

Трайян только что вернулся с большого собрания Зурбаганской ложи всемирного теософического союза. Блестящее выступление Трайяна против Ордова, сильнейшего оратора ложи, его могучий дар убеждения, основанного на точных данных современного материализма, его отточенная ирония и невероятная память, бросающая в связи с общим, стройным, как пламя свечи в безветрии, мировоззрением, – тысячи непоколебимых фактов, – лишили Ордова, под конец диспута, самообладания и твердости духа. Материализм, в лице Трайяна, получил, кроме шумных оваций, несколько десятков новообращенных, а Трайян, приехав домой, надел халат, сел поудобнее к железному, художественной работы камину, и красный трепет огня отразился в зрачках его веселых глаз, накрытых черными, крутыми и тонкими, как у красивых женщин, бровями.

Хотя Ордова не появлялся еще в нашем рассказе видимым и говорящим лицом, интересно все-таки отметить разницу в наружности противников, а наружность – в контрасте с их убеждениями. Знаменитый ученый-материалист Трайян обладал внешностью модного, балованного художника, в ее, так сказать, банальной транскрипции: пышный галстук, волосы черные и длинные, пышные, как и холеная борода; безукоризненной чистоты профиль, белая кожа; синий бархатный пиджак – впечатление одухотворенной изысканности; идеалист Ордова коротко стригся, лицом был некрасив и невзрачен и одевался в скверном магазине скверного готового платья. Странное заключение можно было бы сделать отсюда! Однако рассказ наш лежит не в шутке, и сравнение упомянутых лиц с ошибочно перепутанными масками – все, что мы можем себе позволить по этому поводу.

В кабинете, кроме Трайяна, сидел приехавший с ним генерал Лей, живой, ловкий и любезный старик, настоящий боевой человек, знающий смерть и раны... Леи был поклонником сражений, драки и состязаний вообще, неизменно оставаясь, когда это не касалось патриотизма, сторонником победителя; бой петухов, тарантулов, быков, бой – диспут ученых – серьезно, увлекательно волновали Лея; он принимал жизнь только в борьбе и лакомством считал поединки.

– Мне кажется, Ордова чувствует себя плохо, – сказал Лей, – и я менее всего хотел бы быть на его месте.

– Он все-таки убежденный человек, – заметил Трайян, – и я, если хотите, заставил его только молчать. Не он побежден сегодня, а его идейный авторитет.

– Ордова обезоружен.

– Да, я обезоружил его, но не покори, что, впрочем, мне совершенно не нужно.

– Ордова крупный противник, – сказал Лей, – так как стоит на приятной, практически, для масс, точке зрения. «Я умираю, но я же и остаюсь», – какие великолепные перспективы!

– Он слабый противник, – возразил Трайян, – его заключения произвольны, аргументация беспорядочна и, так сказать, экзотична; эрудиция, обнимающая небольшое количество старинных, более поэтических чем научных книг, достойна всякого сожаления. «Организм умирает, дух остается!» – вот все: вера, выраженная восклицанием; соответственно настроенные умы, конечно, предпочтут этот выкрик данным науки. Однако, таких меньшинство, в чем я и убедил вас сегодняшним выступлением.

– Господин Ордова просит разрешения видеть вас! – сказал, появляясь в дверях, лакей.

Собеседники переглянулись; Трайян усмехнулся, пожав плечами. Лей просиял от любопытства и нетерпения. Несколько мгновений Трайян молчал, обдумывая тон встречи, пока ему не показалось более уместным, как победителю, почтительное и серьезное отношение.

– Просите! – мягко сказал он и продолжал, подымаясь навстречу входившему Ордове: – Очень, очень мило с вашей стороны, что вы навестили человека, искренне расположенного к вам, помимо всяких теорий. Садитесь, прошу вас. Ордова – генерал Лей.

Невзрачное, грустное лицо Ордовы выразило легкое замешательство.

– В этот поздний час, господин Трайян, – сказал он таким же грустным, как и его лицо, но решительным и свободным голосом, – я пришел по немаловажному делу к вам лично.

Генерал поклонился и разочарованно протянул руку Трайяну.

– Как лишний, я удаляюсь...

Но Трайян знаком остановил его.

– Не уходите, Лей, я не хотел бы секретов и, вообще, никакой таинственности.

– Извините, – сказал Ордова, – я пришел с коротким, практическим предложением, но такого рода, что намек на третье лицо был нелишним. Если генерал Лей находится в курсе вопросов, рассмотренных в сегодняшнем заседании и не состоит членом общества покровительства животным, – я без задержек перейду к делу.

– Вопрос идет о животном? – спросил Трайян, рассматривая Ордову в упор. – Однако я хотел бы избежать мистификации.

– Зачем? – искренно возразил Ордова, – когда можно обойтись без всякой мистификации!

– Я и генерал Лей слушаем вас, – коротко заявил Трайян.

Гость поклонился, и все сели; тогда Ордова заговорил:

– Для скептиков, людей предвзятого мнения, людей легкомысленных и людей искренне убежденных существует неотразимо повергающее их оружие – сила факта. Обстановка факта, внешняя и внутренняя его сторона должны быть наглядными и бесспорными. Могли ли бы вы, Трайян, быв очевидцем, даже действующим лицом факта бесспорного, опровергающего нечто весьма существенное в вашем мировоззрении, – явить мужество признанием власти факта?

Трайян подумал и, не найдя в словах Ордовы ловушки, сказал:

– Приняв бесспорность факта существеннейшим и главнейшим условием – да, мог бы, как ученый и человек.

– Хорошо, – продолжал Ордова, – то, что я изложу далее, не требует с вашей стороны возражений. Вы можете просто, в худшем случае, пропустить это мимо ушей. Внимательное изучение древних восточных авторов, подтвержденное собственными моими опытами, привело меня к убеждению в действительном существовании Духа живой Жизни, духовной основы всякого организма. Естественная смерть существа никогда не бывает достаточно быстрой для того, чтобы освобождение, или исход Духа, произвело резкое впечатление на присутствующих; какими путями совершается это, доныне нам неизвестно, во всяком случае, постепенное освобождение духовной энергии в сравнении с мгновенным исхищением ее путем идеально быстрого уничтожения тела, почти неведомого природе, – относится одно к одному так же, как взрыв пороха – к медленному его сгоранию. Под идеально быстрым уничтожением подразумеваю я не только предшествующий окончательной смерти полный паралич организма, как в случаях разрыва сердца или апоплексии, а полное сокрушение, обращение в бесформенную материю. Вам, Трайян, и вам, генерал, предлагаю я завтра в 12 часов дня быть свидетелями такой смерти, смерти сильного, здорового льва; мой выбор я остановил на этом звере ради его сравнительно небольших размеров, отвечающих условиям опыта, но, главным образом, в силу огромного коли-

чества невесомой таинственной энергии или Духа, заключенного в льве, как в носителе силы.

– Насколько я понял вас, – сказал Трайян, улыбаясь безобидно, как если бы речь шла о сложной и умной шалости, – освобожденный дух льва будет доступен моим физическим чувствам?! Но как и в какой мере?

– Как – не знаю, – серьезно сказал Ордова, – но, ручаюсь, в достаточно убедительной степени. Завод Трикатура отдал в мое распоряжение восьмисотпудовый паровой молот; молот убьет льва. Я не требую у вас участия в расходах по опыту, так как это моя затея; прошу лишь, после составления письменного акта о происшедшем, присоединить свою подпись.

– Согласен, – высокомерно сказал Трайян. – Лей, что вы думаете об этой истории?

Глаза Лея блестели одушевлением и азартом.

– Я думаю... я думаю, – вскричал он, – что время до двенадцати часов полудня покажется мне тысячелетней пыткой!

– Я жду вас, – сказал Ордова, прощаясь, затем, помолчав, прибавил: – Довольно трудно было найти льва, и я, кажется, немного переплатил за своего Регента. Я ухожу. Не думайте о моих словах, как о шутке или безумстве.

Он вышел; когда дверь закрылась, Трайян сел за стол, уронил голову на руки и разразился истерическим, неудержимым, широким, страшным, гомерическим хохотом.

– Лев!.. – бросал он в редкие секунды затишья, – под паровым молотом!.. в лепешку!.. с хвостом и гривой!.. ведь этого не выдумаешь под страхом казни!.. О, Лей, Лей, как ни самоуверен Ордова, – все же я не ожидал одержать победу сегодня над таким жалким, таким позорно – для меня – жалким противником.

II

Лев, купленный Ордовой в зверинце Тоде, пятилетний светло-желтый самец крупных размеров, отправился в тесной и прочной клетке к месту уничтожения около одиннадцати часов утра. Льва звали Регент. Его сопровождал опытный укротитель Витрам, человек, в силу профессии, привычки и вдумчивости, любивший животных более, чем людей. Витрам ничего не знал о роковом будущем Регента. Он провожал его за плату, по приглашению, на загородный завод Трикатура; сидя на краю фуры автомобиля, он обращался время от времени к Регенту с ласковыми, одобрительными словами, на что лев отвечал раскатами короткого рева, подобного грому. Фура двигалась окольными улицами; во тьме плотно укутанной брезентовым чехлом клетки лев раздраженно переносил надоедливую оскорбительную тряску долгой езды, неловко прижавшись в угол, ударяя хвостом о прутья и мгновенно воспламеняясь гневом, когда более резкие толчки мостовой принуждали его менять положение. В таких случаях он ревел грозно и долго, с явным намерением устрашить таинственную силу движения, приводящую его, огненной силы, непокорное, мускулистое тело в состояние тягостной неустойчивости. Пойманный уже взрослым, он тосковал в неволе ровной, глухой тоской, лишенной всякого унижения, иногда отказываясь от пищи, если случайный оттенок ее запаха терзал сердце неясными, как забытый, но яркий сон, чувствами свободного прошлого.

– Еще немного потерпи, рыжий, – сказал Витрам, завидев через далекие крыши построек черные башенные трубы завода, изливающие густой дым, – хотя, разорви меня на куски, я не сумею сказать тебе, зачем твое дикое величество переезжает в новое помещение.

Регент, зная по тону голоса, что Витрам обращается к нему, взревел на всю улицу.

– Сбрэндил, надо быть, какой-то состоятельный человек, – продолжал Витрам, – потянуло его к зоологии, вообразил он себя римским вельможей, из тех, что разгуливали в сопровождении гепардов и барсов, и купил нашего Регента. Тебя, старик, посадят в саду, на видном месте, среди так знакомой тебе тропической зелени. Вечером над фонтаном вспыхнет голубая электрическая луна; толпа близоруких щеголей, взяв под ручку молодых женщин со старческой душой и косметическим телом, займется снисходительной критикой твоей внешности, хвоста, движений, лап, мускулов, гривы...

Витрам умолк; лев рывкнул.

– А чем кормят львов? – осведомился шофер.

– Твоими ближними, – сказал Витрам, и шофер, думая, что услышал очень забавную вещь, громко захохотал. Минуту спустя, фургон проезжал мимо рынка; запах сырого мяса заставил Регента круто метнуться в клетке, и все его большое, тяжелое тело заныло от голода. Не зная, где мясо, так как тьма была полной, а запах, проникая в нее, властно щекотал обоняние, – лев несколько раз ударил лапами вниз и над головой, разыскивая обманчиво близкую пищу; но когти его встретили пустоту, и внезапная ярость зверя развернулась таким ревом, что на протяжении двух кварталов остановились прохожие, а Витрам хлопнул бичом по клетке, приглашая к терпению.

Наконец, въехав в ворота, фургон остановился у закопченного кирпичного здания, и Витрам, спрыгнув, подошел к слегка бледному, но спокойному Ордове. Тут же стояли Трайян и генерал Лей.

– Регент приехал, – сказал Витрам, – и так как вы, кроме этого, рассчитывали на мое искусство, – то я к вашим услугам.

Трайян, находя свое положение несколько глупым, молчал, решив ни во что не вмешиваться, но генерал выказал живое участие к хлопотам по сниманию и установке клетки вблизи парового молота.

Это гигантское сооружение терялось верхними частями в мраке неосвещенного купола; из труб, слабо шипя, просачивался пахнувший железом и нефтью пар; молот был поднят, саженная площадь наковальни тускло блестела, подобно черной вечерней луже, огнем спущенных ламп.

Витрам еще не догадывался, в чем дело; он проворно развязывал веревки, снимал с клетки брезент; завод пустовал, так как был праздник, и привести молот в действие должен был сам Ордова.

– Как же, Трайян, – сказал Лей, – отнесетесь вы к антрепренеру Ордове, если его постигнет фиаско?

– Очень просто, – хмуро заявил Трайян, смотревший на молот с нетерпением и безразличностью, – я ударю его по лицу за жестокость и дерзость. Неужели вы, умный человек, ждете успеха?

– А... как сказать?! – возразил генерал с бесстыдством любопытного и жадного к зрелищам человека. – Пожалуй, жду и хочу всем сердцем необыкновенных вещей. Скажу вам откровенно, Трайян: хочется иногда явлений диких, странных, редких, – случаев необъяснимых; и я буду очень разочарован, если ничего не случится.

– Ренегат! – шутливо сказал Трайян. – Вчера вы аплодировали мне, кажется, искренне.

– Вполне, подтверждаю это, но вчера в высоте мгновения стояли вы, теперь же, пока что – лев.

– Посмотрите на льва, – сказал подходя Ордова, – как нравится вам это животное?

Брезент спал. Регент стоял в клетке, устремив на людей яркие неподвижные глаза. Его хвост двигался волнообразно и резко; могучая отчетливая мускулатура бедер и спины казалась высеченной из рыжего камня; он шевельнулся, и под шерстистой кожей плавно перелились мышцы; в страшной гриве за ухом робко белела приставшая к волосам бумажка.

– Хорош, и жалко его, – серьезно сказал Трайян.

Лей молчал. Витрам хмуро смотрел на льва. Ордова подошел к молоту, двинув рычаг для пробы двумя неполными поворотами; массивная стальная громада, легко порхнув книзу и вверх, не коснувшись наковальни, снова остановилась вверху, темнея в глубине купола.

– Ну, Витрам, – сказал, ласково улыбаясь, Ордова, – вы, дорогой мой, должны, как сказано, нам помочь. Регент вас слушается?

– Бывали послушания, сударь, но небольшие, детские, так сказать, вообще он послушный зверь.

– Хорошо. Откройте в таком случае клетку и пригласите Регента взойти на эту наковальню.

– Зачем? – растерянно спросил Витрам, оглядываясь вокруг с улыбкой добродушного непонимания. – Льва на наковальню!?

– Вот именно! Однако не теряйтесь в догадках. Здесь происходит научный опыт. Лев будет

убит молотом.

Витрам молчал. Глаза его со страхом и изумлением смотрели в глаза Ордовы, блестящие тихим, влажным светом непоколебимой уверенности.

– Слышишь, Регент, – сказал укротитель, – что приготовили для тебя в этом месте?

Не понимая его, но обеспокоенный нервным тоном, лев, с мордой, превращенной вдруг в сплошной оскал пасти, с висящими вниз клыками верхней, грозной сморщенной челюсти, заревел глухо и злобно. Трайян отвернулся. Витрам, дав утихнуть зверю, сказал:

– Я отказываюсь.

– Тысяча рублей, – отдельно произнес Ордова, – за исполнение сказанного.

– Я даже не слышал, что вы сказали, – ответил Витрам, – я думал сейчас о льве... Такого льва трудно, господа, встретить, более способного и умного льва...

– Три тысячи, – сказал Ордова, повышая голос, – это нужно мне, Витрам, очень, необходимо нужно.

Витрам в волнении обошел кругом клетки и закурил.

– Господа! Я человек бедный, – сказал он с мукой на лице, – но нет ли другого способа произвести опыт? Этот слишком тяжел.

– Пять тысяч! – Ордова взял вялую руку Витрама и крепко пожал ее. – Решайтесь, милый. Пять тысяч очень хорошие деньги.

– Соблазн велик, – пробормотал укротитель, неподдельно презирая себя, когда, после короткого раздумья, остановился перед дверцей клетки с револьвером и хлыстом. – Регент, на эшафот! Прости старого друга!

Ордова, прикрепив к рычагу веревку, чтобы не очутиться в опасной близости к льву, и, обмотав конец привязи о кисть правой руки, поместился сажень в двух от молота. Трайян, желая избежать всякой возможности шарлатанства, тщательно осмотрелся. Он стал вдали от всяких предметов, машин и нагромождений железа под электрической лампой, ровно озарявшей вокруг него пустой, в радиусе не менее двадцати футов, усыпанный песком, каменный пол; Лей стоял рядом с Трайяном; оба осмотрели револьверы, предупредительно выставив их, на худой случай, дулом вперед.

Витрам, звякнув в полной тишине ожидания запорами и задвижками, открыл клетку.

– Регент! – повелительно сказал он. – Вперед, ближе сюда, марш! – Лев вышел решительными крутыми шагами, потягиваясь и подозрительно щурясь; Витрам взмахнул хлыстом, отбежав к наковальне. – Сюда, сюда! – закричал он, стуча рукояткой хлыста по отполированному железу. Регент, опустив голову, неподвижно стоял, ленясь повторить знакомое и скучное упражнение. Приказания укротителя становились все резче и повелительнее, он повторял их, бешено щелкая хлыстом, тоном холодного гнева, расталкивая сопротивление льва взглядом и угрожающими жестами; и вот, решив отделаться, наконец, от докучного человека, Регент мягким усилием бросил свое стремительное тело на наковальню и выпрямился, зарывав вверх, откуда смотрела на него черная плоскость восьмисотпудовой тяжести, связанной с слабой рукой Ордовы крепкой веревкой.

Ордова качнул рычаг в тот момент, когда Витрам отскочил, закрыв лицо руками, чтобы не видеть разможнения Регента, и молот мигнул вниз так быстро, что глаза зрителей едва уловили его падение. Глухой тяжкий удар огласил здание; в тот же момент толчок шумного, полного жалобных, стонущих голосов вихря опрокинул всех четырех людей, и, падая, каждый из них увидел высоко мечущийся огненный образ льва, с лапами, вытянутыми для удара.

Все, кроме Ордовы, встали; затем подошли к Ордове. Кровь льва, подтекая с наковальни, мешалась с его кровью, хлещущей из разодранного смертельно горла; жилет был сорван, и на посинелой груди, вспахав ее дымящимися рубцами, тянулся глубокий след львиных когтей, расплюснутых секунду назад в бесформенное ничто.

Огонь и вода

I

Леон Штрих, в надежде, что его история с оппозицией диктатору области кончится благополучно, – поселился у самой границы, однако вне пределов досягаемости. Теперь он находился всего лишь в тридцати верстах от города и дома, где проживала его семья. Значительные и властные лица хлопотали о разрешении Штриху вернуться на родину. Это тугое и обременительное для многих дело шаг за шагом подвигалось, как можно было уже надеяться, к благополучному концу. Штрих, бесконечно влюбленный в семью, скрашивал свое нетерпеливое тягостное уединение тем, что в ясные дни, когда даль сбрасывала туманы окрестных болот, взбирался на холмы Железного Клина и подолгу смотрел через бухту на рой туманных блесков далекого Зурбагана. Мысленно определив место, где стоял дом, Штрих вскрывал воображением все его этажи и, мысленно же побыв с детьми и женой, согревшись их обществом, возвращался к своему убежищу, маленькому деревянному домику рыбака, стоявшему на краю деревни, в конце Железного Клина, неподалеку от линии моря.

Он жил здесь около года, утешаясь предельной близостью к городу. Жена и дети часто писали ему. Он вскрывал письма, опутив оконные занавески, чтобы не рассеиваться ничем, и читал их по нескольку раз, до утомления, стараясь определить мысли, пронесившиеся в уме писавшего, меж фразами и знаками препинания. Иногда он рассматривал отдельные буквы, ломая голову при поспешном или старательном начертании их; также над запятыми, точками, особенно в письмах жены. «Не знала, что писать дальше, ей скучно», – воображал он иногда, и его сердце при виде отчетливо вкрапленной где-нибудь в середине письма точки – сжималось. Зато он ликовал, получая мелко исписанные страницы с приписками на полях и поперек текста. Его жене было двадцать четыре года, мальчику – восемь и пять – девочке. Он жил только семьей; жалел, что приходится спать, отнимая время у дум о близких; часто в минуты глубокой рассеянности он почти видел их перед собой, говоря в полузабытии с ними как с присутствующими. Временами он принимался бранить себя за то, что ввязался в политику, – с яростью, превышающей, вероятно, ярость его противника.

Он ничего не делал и жил, слоняясь целыми днями по береговым скалам, на солнечном ветре, избегая людей, чувствуя большую ревность к самому себе при встрече с ними, так как невольно вникал в чужие интересы, страдания, надежды, обманы. Рыбаки начали дичиться его. Он неохотно отвечал на вопросы, улыбался, когда жаловались на что-либо; морщился, когда с ним делились радостью; часто говорил невпопад, резко прощался.

Кузнец, хозяин дома, где он жил, человек несловоохотливый, но любивший выпить и покутить вдвоем, был единственный человек, которого терпел Штрих. Кузнец являлся по вечерам. Штрих ставил на стол бутылку, папиросы и принимался рассказывать о своих. У него мальчик и девочка. Его мучает иногда то, что которого-то из них он, кажется, любит больше, но не может уяснить, кого именно. Мальчика зовут, как и его, Леон, но прозвище у него «Брандахлыстик». Он начал читать четырех лет. Он делает очень хорошо маленькие лодки и обожает музыку. Девочку, которую зовут, как мать, – Зелла, прозвали «Муму». Она складывала, когда была очень маленькой, губки в трубку, и выходило у нее поэтому не «мама», а «муму». Оба черноволосы, оба очень добры. Оба страшные шалуны. Оба прекрасны. Жалко, что кузнец их не видел. Муму ездит на волкодаве верхом и всегда хохочет. Однажды она засунула палец в пустой пузырек от лекарства и не могла вытащить (ей было тогда три года), но она догадалась его разбить и притом не обрезалась.

Кузнец добродушно слушал, кивая головой и помаргивая огромными бровями. Веки его слипались. Постоянно, не торопясь, выпивал он вино, вытирал рот кистью руки, благодарил за угощение и уходил, дымя папиросой, весь в пепле. Оставшись один, Штрих, возбужденный разговором, долго ходил по комнате. В стенном зеркале мелькало, как бы пролетая, его иссохшее от тоски лицо с блестящими напряженными глазами. Синий туман, наконец, ослаблял его и вгонял в постель.

Каждый день, утром, с головой, полной одних и тех же мыслей, в нервном и тоскливом ожидании писал он длинные письма жене, бесконечно уснащая их ласковыми словами, интим-

ными обращениями и теми маленькими вольностями, какие у цельных натур выказывают не испорченность, а острое всепроникающее обожание. В конце письма следовали длинные обращения к детям. Он писал о своих настроениях, мечтах, планах, надеждах, описывал окрестности, прогулки, раковины, деревья, закаты солнца, морские шквалы, подробно исчислял однообразное течение дня, давал советы, спрашивал о положении своего дела; просил читать те или другие книги. Затем он совершал упомянутую прогулку к холмам с видом на Зурбаган.

Тем временем друзья стали извещать его – все в более и более определенных выражениях – о том, что вокруг его дела создалась благоприятная атмосфера. Оставалось посетить двух-трех лиц, завершить некоторые формальности (просить в одном месте, дать взятку в другом). Штрих чувствовал приближение свободы. Он спал меньше, дольше оставался на холмах, иногда заговаривал сам с туземцами, угощая их табаком. Огромная тяжесть, давившая его, покачнулась, и под дальним краем ее блеснул свет.

II

В четвертом часу ночи на воскресенье Штрих внезапно проснулся, мгновенно взвинченный необъяснимой тревогой. Она была так сильна, что руки Штриха плясали, долго не попадая спичкой в фитиль свечи. Штрих кое-как надел брюки, жилет. По лужам (днем прошел сильный ливень) торопливо ударяли копыта верховой лошади. Шум приближался; подковы звякнули перед окном о камни, и на мгновение стало тихо. Штрих ждал.

За дверью раздались голоса; один был голосом кузнеца, снимавшего дверные засовы, другой голос, тоже мужской, показался Штриху знакомым. Три громких удара в дверь слились с его криком:

– Да, да, я здесь; идите, в чем дело?!

Вошел, задыхаясь, Морт, – учитель, друг Штриха. Они не виделись больше года. Морт был в грязи, бледен, странен в движениях; нестерпимо-тоскливое выражение его лица душило Штриха. Морт остановился у двери, смотря на друга взглядом, полным таинственного значения. Штрих подступил к нему, не здороваясь, сжав кулаки, видя, что визит грозен, как разрушение.

– Я взял отпуск, лошадь и помчался к тебе. – говорил Морт, торопясь высказать все, пока руки Штриха не вцепились в его горло. – Ты чувствуешь? Ты угадал? Я просил, молил о разрешении тебе ехать немедленно в Зурбаган, но скоты уперлись лбом... Телеграмма убила бы тебя. Признаюсь, я хотел начать издаека, но когда увидел, что ужас уже с тобой – говорю сразу. Слушай, возьми в зубы одеяло и крепче закуси или же сразу оглушись водкой как можно больше. Дом сгорел, Штрих; пожар начался в нижнем этаже, дерево занялось сразу, дети... Понял? Твоя жена в больнице; сутки, может быть, но не более...

Когда он договаривал, Штрих уже рвал изо всех сил дверь, удерживаемую тоже с бешеным упорством Мортом; тот кричал нечто, чего Штрих не понимал и не хотел знать. Он плакал навзрыд, цеплялся за его руки, с смутной надеждой найти слова повелительной и разумной силы. Но таких слов не могло быть. Штрих ударами кулака отбил Морту руки, державшие закраину двери, и выбежал в тьму.

Он был босой, без шапки, как застал его Морт. Дождливый мрак грудью навалился на землю, временами колыхая в лицо душным сырым ветром. Свернув за угол дома, Штрих с точностью лунатика устремился по прямой линии к развалинам зурбаганского дома, как голубь, брошенный с аэростата, сквозь блеклый туман бездны, падая стремглав, берет сразу нужное направление. Штрих пересекал полуостров. Полного сознания окружающего у него не было. Весьма неровная местность, покрытая перелесками, оврагами, скалистыми рубцами почвенных гранитных прослоек, местами смытая водой, местами песчаная, – одолевалась им как бы во сне. Он спотыкался, падал, вставал, снова бросался вперед, не помня и не ощущая ничего. Общее смутное впечатление пробега, когда оно являлось мгновениями, напоминало бешеную пляску в наглухо закрытой карете. Потрясение, сильнее, чем можем мы представить себе, держало его на границе мгновенной смерти. Ни боли окровавленных ног, ни тяжести, ни дыхания не чувствовал, пока бежал, Штрих, увлекаемый нервным вихрем в неизменно безошибочном направлении.

Он знал только, что неизвестно как, через некоторый чудовищный промежуток времени – очутится там, где надо, где – поздно и где что-то можно поправить.

Тьма была полная; однако блеск образов, сопутствующих ему, неотступно плывущих вокруг, в близком расстоянии от лица, превращал мрак, световым напряжением мозга, в подобие сумеречных провалов, где, дымясь фосфорически, сплотились облака уродливых контуров. Дым окружал Штриха. Он слышал его угарный запах, видел колебание волнистых серых завес, пронизанных багровым отсветом, и тихо передвигающихся, красных струек огня. Часть оконного переплета мелькала вдали. Временами Штрих громко произносил:

– И вот они задыхались!..

Оба, мальчик и девочка, беспрерывно перемещались в сгущении дыма; они то бежали по направлению к нему, протирая кулачками глаза, то удалялись в таинственные углы мрака, откуда слышался их затихающий крик; то, лежа на полу в конвульсивной дрожи, тыкались головами, как слепые щенки, в извивы бурно мятущегося везде дыма. Или лицо жены, закинутое назад, как у обморочной, с пылающими волосами, проносилось так близко от него, что он протягивал руки, вскрикивая, как подстреленный.

– Так вот, – повторял он вслух, стараясь осознать произносимое, – они задыхались. Но не сразу же задохлись. Я бы не перенес этого.

Моментами яркое представление об ужасе, испытанном теми, почти пронизывало его, тогда ему хотелось вдохнуть весь воздух, всю атмосферу земли, чтобы разразиться, наконец, безобразным, неслышанным воплем. Но вместо этого он только тихо мычал, покусывая губы, и скорость его движения возрастала.

Тем временем занялся рассвет; мрак, утратив могущество, слабо и постепенно редел. Дождь оборвался. Штрих сквозь негустой туман, расстилавшийся на высоте его груди, видел за тонкой, как травинка, вершиной далекого дерева – бледный край солнца, теснившего призраки, и под ногами равнину странного вида. Ее цвет, один и тот же повсюду, – в кругу одолеваемого зрением тумана, – был тускло-зеленый, прозрачности мутного стекла, и переливчат. Мягкий удар ветра за клубил туман впереди Штриха, погнал к солнцу, и в образовавшемся воздушном пространстве Штрих заметил изменение зеленоватого цвета почвы – в голубоватый и синий, – чем далее, тем синее. Начав видеть, он овладел тон частью сознания, которая оценивает и следит окружающее.

Зелень, вздрагивая, колебалась под ним, по ней пробежала рябь; складки и борозды, ритмически следуя друг за другом, напоминали волнение воды.

– Это землетрясение, – сказал Штрих, страстно надеясь, что земля разверзнется и избавит его от страданий. С легкостью, которая бывает только во сне, скользил он неудержимо и быстро, подобно струе тумана, к недалекому берегу. Вдруг нагнетание теплого ветра, длительное и ровное, истребило туман, и залив, во всей юной красоте тихого утра, заблестал перед его воспаленными глазами. Под ногами Штриха покачивалась вода. Он не изумился и не испугался.

– Теперь я вижу, что сплю, – сказал он, но уверенность в этом не простиралась на происшедшее в Зурбагане. Каждое было само по себе, и он не думал о странности совмещения действительности с тем, что считал сновидением.

Яркая лучезарность неба после тьмы ночных часов опять воскресила воображению огонь в дикой его беспощадности. Штрих посмотрел в сторону. Там, шагах в ста от него, огромный и бодрый, шел на всех парусах барк; купеческая солидность его тяжело нагруженного корпуса венчалась белизной парусов; их тонкие воздушные очертания поднимались от палубы к стенам стаями белых птиц. Звонкие голоса матросов достигли ушей Штриха. Он послал им проклятие, стиснув руками грудь. Ему было невыносимо наблюдать это воплощение бодрой и целесообразной работы, радостное движение барка к далекой цели, когда он сам, Штрих, потерял все. Не помня как, увидел он затем вокруг себя – лес, бабочек и цветы; трава дымила в косых лучах солнца, и неясная фигура бледного человека выросла перед ним. То был таможенный солдат; он не закричал, не выстрелил и не остановил бегущего – он видел Штриха, и этого оказалось довольно для того, чтобы окаменеть в испуге.

За перелеском открылась широкая с шоссейной дорогой равнина, и на крутом обрыве реки

– амфитеатр Зурбагана.

Штрих бросился по дороге...

III

В восемь часов утра в палату городской больницы ввели вырывающегося из рук служителей человека, – грязного, окровавленного и полунагого. Он подошел к кровати, шатаясь от изнурения. На кровати лежала плотно укрытая, с сплошь обвязанной головой, женщина; из марлевых повязок видны были только опухшие глаза без ресниц; последние искры жизни, угасая, блестели в них; она тихо стонала.

Штрих молча смотрел на нее веселым диким взглядом.

– Зелла! – сказал он.

Чуть заметное движение света опухших глаз ответило ему – сознанием ли происходящего или вспышкой предсмертного бреда? – никто не мог сказать с точностью.

– Раньше я умел просыпаться вовремя, если видел тяжелый сон, – заговорил Штрих, обращаясь к взволнованному доктору. – Сны бывают очень отчетливы, заметьте это. Конечно, это не моя жена. Потом, здесь были бы дети. Ну, теперь я спокоен; я думаю, что скоро проснусь.

Но он проснулся только через полтора года в лечебнице для таких же, как и он, неуверенных в реальности происходящего людей. Смерть наступила от паралича сердца.

Морт впоследствии утверждал, что Штрих, в силу извилистости полуострова, образующего формой серп, свободным концом обращенный к материку, не мог от четырех до восьми часов утра явиться в город пешком. Дороги здесь настолько плохи, прихотливы и неустроены, что он сам, торопясь к Штриху, одолел расстояние – и то верхом – в пять с половиной часов. Но доктор (и другие) настаивали именно на восьми часах утра. Однако, как утверждают многие, часовщики в Зурбагане не пользуются дурной славой. По нашему мнению, в каждом споре истина – все-таки не в руках спорщиков, иначе бы они не горячились.

Меблированный дом

I

Это была самая обыкновенная молодая девушка из провинции, каких сотни. Она, кажется, мечтала поступить в какое-то высшее учебное заведение, а пока, в ожидании экзаменов, получала от родителей деньги, знакомилась с молодыми людьми и посещала театры.

Жила она в третьем этаже меблированных комнат, против моей комнаты, и часто, уходя, оставляла дверь непритворенной. Это позволило мне мельком, в разное время, по частям, рассмотреть ее помещение. Убранство его состояло из двух мягких кресел, высокого зеркала, письменного стола и чистенькой девичьей постели. Рисунок обоев пестрел кое-где небольшими картинками, изображавшими цветы, женские лица и летний степной пейзаж. Из-под кровати виднелись желтые ремешки чемодана, а перед зеркалом стояла коробка с пудрой, духи и свечка.

Иногда, встречаясь с ней в коридоре, я видел свеженькое лицо, дугообразные брови, искристые карие глаза, темные волосы и обыкновенный невыразительный рот. Чуть-чуть ниже среднего роста, она ходила быстро, уверенными движениями, и было ей, на мой взгляд, не больше двадцати лет.

Равнодушный к женщинам вообще, я стал сильно интересоваться ею с того дня, когда горничная, открыв утром дверь комнаты, нашла молодую девушку убитой; в спине ее торчал книжный разрезной нож. Труп лежал на боку, головой к зеркалу, и в сильно побледневшем лице еще сохранились отзвуки стыда, ужаса и мольбы.

II

Через минуту после того как коридор наполнился шумевшей и кричавшей толпой, я завязал знакомство с тремя взволнованными людьми. В таких случаях люди знакомятся быстро, общее возбуждение требует выхода и взаимно разряжается друг на друге. Один из моих новых знакомцев был генерал в отставке, приехавший хлопотать о пенсии. Второй отрекомендовался управляющим табачной фабрикой, третий был, кажется, питомец архитектурной школы.

Мы быстро перекинулись короткими замечаниями, вроде того, что такое убийство – возмутительная дерзость со стороны преступника и что, как надо думать, он скоро попадет за решетку. Затем генерал овладел нами и говорил много и авторитетно, как человек, не привыкший задумываться над сколько-нибудь сложными вопросами. Насколько я мог понять, он громил современное воспитание.

Что бы он ни болтал – он негодовал. Его вспыльчивая генеральская душа протестовала и корчилась, воображая себя павшей жертвой. Табачник закуривал дрожащими пальцами папиросу за папиросой и упорно отказывался взглянуть на труп. Воспитанник архитектурной школы задумчиво рассматривал публику. Он ранее всех побывал в комнате убитой и теперь, по-видимому, находился под сложным впечатлением насильственной смерти.

Постепенно мы образовали ядро, к которому присоединились другие, так же, как и мы, не на шутку встревоженные люди. Дымя и ораторствуя в узком коридоре, компания наша явно мешала двигаться служащим и полиции, хлопотавшей вокруг запертых теперь следователем дверей. Поэтому я предложил пойти ко мне в комнату и там без помехи наговориться досыта.

Кое-кто последовал этому приглашению, кое-кто отстал, но, во всяком случае, нас было теперь не менее десяти. Здесь были и дамы, взволнованные до того, что роняли шпильки на каждом шагу. Большинство из них трагически и воодушевленно стонало, будучи не в силах подобрать слов, кроме общеизвестных и невыразительных междометий.

III

Когда последний из моих гостей сел на стул или нашел место у притолоки, откуда остальным были видны его блестящие выпученные глаза, все заговорили вдруг, замахали руками и так же неожиданно смолкли, чувствуя, по врожденной человеку привычке, потребность оглядеться и сообразить, с кем имеешь дело. И так как общее впечатление было, по-видимому, благоприятно для всех, снова начался разговор. Маленькая дама с усиками трепетно заявила:

– Представьте, всю ночь я каким-то роковым образом не могла уснуть! На дворе выла собака! О, это было ужасно! До того, что я разбудила мужа. И он охотно посидел бы со мной, но ему, видите ли, доктор запретил беспокоиться. Я сидела одна в кровати и слушала. Это была какая-то гиена, а не собака! Как она выла, как она выла!

Дама откинулась на спинку кресла и погрузилась в торжественное оцепенение, сжимая виски ладонями.

В углу трое или четверо, склонившись друг к другу, наскоро обсуждали казнь, которой, по их мнению, следовало предать убийцу. Пылкий, взлохмаченный юноша, обиженно жестикулируя, предлагал содрать с преступника кожу и посолить тело. Эта крайняя мера возмутила некоторых, но все без исключения, и я в том числе, стояли по крайней мере за каторжные работы.

Отрывочные фразы летели со всех концов и напоминали чтение вслух газеты, разорванной на клочки:

- Скажите мне, кто убийца, и я...
- Такие вещи! Ужасные вещи!
- Не жизнь, а кошмар, сударыня!
- Психопат какой-то, дегенерат!...
- Джек-потрошитель!
- А я скажу, что озверение...
- Конечно, это был не грабеж...
- Циник-преступник, не пощадивший невинности, подобен сладострастной горилле, и потому...

– Не нашли – так найдут.
– Ни улики, ни следов. Напротив...
– Я привык к этим вещам, потому у меня притуплены нервы...
– Да слышали уже, слышали!
– Господа! – вскричал генерал. – Ну как вы себе там хотите, а я содрогаюсь до глубины души. Молоденькую девочку, а? Такую милую, безвредную, а? Где мы, куда мы идем? Да я бы его, мерзавца!.. А? Не так ли? Заслуживает ли пощады такой изверг? Петля, а? Петля, милостивые государи! На наших глазах, а?

И все присутствующие, немедленно, с азартом возмущенного чувства, дружно согласились с его превосходительством.

IV

Случайно посмотрев в сторону, я увидел воспитанника архитектурной школы. Он, по видимому, готовился сказать что-то, так как несколько раз открывал рот и, не встретив молчания, снова закрывал его. У него был отвесный ассирийский профиль, длинная курчавая борода темного цвета и черные, навывкате, с восточным разрезом глаза. Наконец он сказал:

– Конечно, господа, убийца не заслуживает снисхождения и понесет должную кару. Я первый бросаю в него камень. У меня есть желание создать остов, скелет психологии ускользнувшего, разумеется временно, преступника. При встречах в коридоре мне удавалось иногда вести с убитой незначительный разговор. Впечатление, вынесенное мною из ее некоторых замечаний и фраз, таково: ограниченная, легкомысленная девушка, довольно кокетливая, с легкой хищной закваской; пустой, поверхностный ум, любовь к блеску, удовольствиям и развлечениям. Мои наблюдения (мне кажется) подтвердились, когда, прибежав одним из первых на крик прислуги, я разглядел лицо мертвой. Оно было слегка искажено смертью, но в общем не прибавило ничего нового к портрету, набросанному мною минуту назад. Да, здесь все говорило в мою пользу: слегка вздернутый нос, короткая верхняя губа, в противоположность слегка выдававшейся вперед нижней; несомненно, чувственное выражение рта, слабо очерченный подбородок, указывающий на изменчивость и подвижность характера; наконец, пухлые маленькие руки, капризный, своеобразный изгиб бровей, – все говорило за то, что передо мной лежит женщина, любившая кружить головы. При самом беглом осмотре, ее комната выдавала неуравновешенный, страстный характер. Так, на столе между учебниками я заметил роман Жюль Верна, Библию в русском переводе, книгу де Баролля «Тайны руки» и несколько цинических книг современной беллетристики. Она также заботилась о своей наружности: на это указывают духи разных сортов, машинка для массажа лица, всевозможные щеточки, сессеры и прочее. Естественным теперь является предположение, что у такой девушки должен быть обширный круг мужских знакомств, и действительно, как говорит швейцар, к ней приходили студенты, корнеты и штатская молодежь, знакомящаяся между собой в театрах, танцклассах, на сходках и в других подобных местах.

Оратор говорил плавно, слегка жестикулируя и вовремя останавливаясь, когда ему угрожала опасность запнуться о неловко подобранное слово. Общее внимание было напряжено до крайности; я почти с удовольствием слушал этого человека. Он продолжал:

– Теперь я позволю себе припомнить те обстоятельства, при которых было обнаружено преступление. Горничная постучала в дверь, чтобы передать жилище письмо, принесенное почтальоном; не получив ответа и зная, что барышня дома, горничная усилила стук, обратив этим на себя внимание коридорного. Они вдвоем принялись трясти дверь и наконец послали за слесарем.

Как вам известно, грабежа не было обнаружено; естественно остановиться на любовном сюжете. Меблированный дом, в котором живем мы, очень велик и снабжен малым штатом прислуги, так что не всегда известно горничным, дома кто из жильцов или нет, не говоря уже о невозможности сказать с точностью были ли посетители у данного жильца или не были. Полицейский врач установил сегодня, что смерть произошла вчера вечером не позднее одиннадцати; между тем швейцар говорит, что вечером никто не приходил к барышне. Горничная не может с точностью ответить на этот вопрос, но ей казалось, что в комнате разговаривают.

Допустим, что и швейцар и горничная ошиблись или что они ровно ничего не знают. Это доказывает только то, что убийца попал в удачный момент, когда швейцар удалился и не видел входящего – то же самое и относительно горничной, – или что преступник первый раз приходил к своей жертве сюда в общей массе входящих и выходящих и, естественно, был для выдавших его лицом безразличным. Перейдем к самой трагедии.

Я понимаю, господа, ваше возмущение и вполне ему сочувствую. Но в то же время ум рисует мне следующую картину: где-нибудь случайно происходит знакомство. Она именно тот тип, что уже обрисован мной; он – натура сдержанная, с сильными, глубокими страстями, человек, способный быть ужасным в гневе и безграничным в нежности. Все это – мое предположение. Он нравится ей, но не настолько, чтобы решиться на последний шаг. С другой стороны, ей нравится его восхищение ее телесными качествами, его постоянное напряженное желание овладеть ею, его страстная преданность. Она чувствует над ним власть своего расцветшего тела. Она не говорит ему ни «да», ни «нет», его муки возбуждают в ней любопытное сожаление, ей приятно играть с огнем, она чувствует себя вполне женщиной, живет всем своим существом, отдаваясь словами, намеками, мыслями, прикосновениями, постоянно сдерживая в критические моменты его возбуждение. Неизвестно, почему она это делает. Быть может, она, как еще не испытывавшая страсти, бессознательно ждет решительного, даже пагубного натиска с его стороны; может быть, ждет в себе самой взрыва желаний, появления настоящей влюбленности. Вернее – все это вместе. И несомненно, несомненно, ей сладка эта бесконечная власть женщины над сильным, созревшим мужчиной, рыдающим у ее ног.

И я вижу отдельные картинки этой истории: дразнящие, как бы случайные, поцелуи, порывистые объятия его рук, медленно, полуохотно ускользающее тело девушки, постоянно обрывающей разговор, нервное напряжение, разбивающее обоих, как физическая работа, неудовлетворенность и раздражение. Он живет как бы во сне, считает часы и дни, все, кроме его любви, вызывает у него слепой взрыв ярости; его дела запущены, интересы нарушены, он переживает нравственную и телесную пытку, которая еще усиливается голосом инстинкта, подсказывающего, что с ее стороны нет настоящей любви, даже настоящего увлечения. Она назначает свидания, дает обещания принадлежать ему, назначает дни, он ждет, она не решается. Так день за днем, неделя за неделей.

И вот буквально истерзанный человек приходит, скажем, в последний раз – проститься. Он не верит больше в ее любовь и принял твердое решение забыть эту девушку. Они встречаются, голос его неровен, дрожит; она полуиспугана, полуобрадована; кажется, она чувствует облегчение при мысли, что все кончится. Она говорит коротко, высоким срывающимся голосом, ее сожаления звучат деланно, ее просьбы неубедительны. Он чувствует это, колеблется, ему легче было бы перенести резкое мертвящее равнодушие. «Останьтесь!» – из приличия говорит она. Его душе, жаждущей хоть тени любви, слово это кажется настоящим. «Я остаюсь», – говорит он. Она не выдерживает, снова испуг овладевает ею, она думала, что все уже кончено. «Вы останетесь, но я не люблю вас», – говорит она и смеется. Ей хочется вызвать его на гнев, оскорбление, чтобы оскорбиться самой и выгнать его, хотя бы только на одну неделю, отдохнуть, собраться с мыслями.

Тогда любовь его достигает силы ненависти. Он бросается к ней, полузадохшийся от горя и страсти, мнет ее; она, чувствуя настоящий взрыв, молча, со стиснутыми зубами, вырывается, бьется в его руках... Дальше... дальше он теряет голову. Он берет ее грубо, насильно, так сказать, с отчаяния. Она в истерике, ее крик кажется ему оглушительным. Все смешалось, одна мысль гвоздит голову: сейчас прибегут, ворвутся, схватят; позор, суд... И нет места уже в этот момент любви, он ненавидит ее. Следующий момент не поддается, господа, даже примитивному анализу, это – ряд импульсов, бессознательные действия человека, лишившегося рассудка. Нож – нож; пресс-папье – пресс-папье. И в жадно ищущую спасения, какого-то завершения всего этого ужаса, руку попадает бронзовый разрезной нож. Он всаживает его в тело, не думая – куда, как ударить. И наступает молчание.

– Так приблизительно рисуется мне это дело, – закончил человек с ассирийским профилем. – Конечно, возможны мелкие несовпадения в деталях. Но осудите ли вы, господа, этого че-

ловека?

V

Он смолк, и глаза его, блестевшие перед этим возбужденным сосредоточенным блеском, сразу потухли.

Впечатление от его речи, произнесенной звучным, полным, хорошо интонирующим голосом, было огромное. Наступило углубленное молчание, симпатии присутствующих, по-видимому, колебались между убийцей и его жертвой. В окно смотрел серенький неуютный день.

Наконец лысый, высохший человечек, похожий на уездного фельдшера, заявил:

– Да, если оно так... Ну, конечно, здесь драма и все такое... А что же, возможно, все это возможно, право...

Четыре дамы, сидевшие как на иголках, пока говорил архитектор, воскликнули:

– Жестокая!

– Право, она не стоила такой любви!

– Надругаться так над сердцем!..

– Нет, что касается меня, я не могла бы, нет!

– Но вы – художник, – сказал, по-видимому, смягченный генерал, припомнив, по всей вероятности, кое-что из своей молодости. – Как это вы так? А?!

– Путем размышления, – скромно заявил архитектор. – Но это все ведь предположительно. Возможно, что откроются и другие данные. Жаль только, что я не скоро узнаю новости об этом деле, завтра я думаю ехать.

И разговор перешел на всевозможные любовные драмы. Прислушиваясь, я чувствовал, что прежнее негодование улеглось, сменившись жгучим интересом к личности неизвестного преступника. Может быть, даже воображая, что все происходило так, как сфантазировал архитектор, убийцу и одобряли, не знаю, человек туго сознается в противоречиях себе самому, но во всяком случае я решил, что будь теперь убийца схвачен перед глазами присутствующих, – много-много, если бы его отечески пожурили.

В дверь постучали. Вошел коридорный, в выражении его лица было что-то неуловимое, заставившее всех насторожиться. Он сказал:

– Господин Вейс, вас там пристав спрашивает.

Я осмотрелся: кое-где виднелись недоумевающие принужденные улыбки.

Воспитанник архитектурной школы поднялся с кресла и, слегка поморщившись, как человек, презирующий полицейскую волокиту, сказал:

– Кажется, на допрос к следователю... Думаю, что всех жильцов этого коридора будут допрашивать.

И он вышел, сопровождаемый напряженными взглядами. Не помню, были ли у меня какие-нибудь соображения в этот момент, наверное, нет, потому что лицо и манеры Вейса были совершенно естественны.

Прошло секунд пять – десять рассеянного молчания, затем в коридоре раздалась возня, топот, нестройные крики, глухие удары.

И разом, как будто комната превратилась в огромную лейденскую банку, мы повскакали с мест, ломаясь в двери. Первым выскочил генерал, я еще оставался в хвосте, пытаясь протиснуться сквозь стремительный поток тел, как снова в дверях появилось его лицо, красное, подобно томату. Он кричал:

– Вейс арестован по обвинению в убийстве той девушки!

Вейса погубила случайность. Тщательно уничтожив в комнате убитой им женщины все, могущее навести на след, он, истребив все свои письма, не мог отыскать последнего, наполненного угрозами. Оно было сунуто девушкой за корсаж, и Вейс, отыскивая эту улику, решил, что письмо уничтожено. Следователь с намерением не беспокоил преступника. Пока Вейс сидел у меня, в его комнате был произведен обыск. Сличение почерков окончательно установило виновность. Выяснилось еще, что Вейс, живя в одном коридоре с девушкой, познакомился с ней неде-

лю назад. Что было между ними – то ли, что говорил Вейс, или другое – я не знаю. Возможно, что он и лгал, как лгал нам о будто бы простом шапочном знакомстве с этой особой.

Население меблированного дома долго не могло успокоиться. Интереснее всего то, что как только стала известна личность преступника, все наши непрочные симпатии к нему, пока он был неизвестен, мигом испарились. Мы искренне желали ему самой суровой кары. Не потому ли, что по портрету, набросанному Вейсом, он рисовался нам симпатичным безвольным юношей, с измученными глазами, а оказался человеком с сухой, отталкивающей физиономией? Как много значит в подобных вещах, когда можно или нельзя сказать: «Тот самый».

Ночью и днем

I

В восьмом часу вечера, на закате лесного солнца, часовой Мур сменил часового Лида на том самом посту, откуда не возвращались. Лид стоял до восьми и был поэтому сравнительно беспечен; все же, когда Мур стал на его место, Лид молча перекрестился. Перекрестился и Мур: гибельные часы – восемь – двенадцать – падали на него.

– Слышал ты что-нибудь? – спросил он.

– Не видел ничего и не слышал. Здесь очень страшно, Мур, у этого сказочного ручья.

– Почему?

Лид подумал и заявил:

– Очень тихо.

Действительно, в мягкой тишине зарослей, прорезанных светлым, бесшумно торопливым ручьем, таилась неуловимая вкрадчивость, баюкающая ласка опасности, прикинувшейся безмятежным голубым вечером, лесом и прозрачной водой.

– Смотри в оба! – сказал Лид и крепко сжал руку Мура.

Мур остался один. Место, где он стоял, было треугольной лесной площадкой, одна сторона которой примыкала к каменному срыву ручья. Мур подошел к воде, думая, что Лид прав: характер сказочности ярко и пышно являлся здесь, в диком углу, созданном как бы всецело для гномов и оборотней. Ручей не был широк, но стремителен; подмыв берега, вырыл он в них над хрустальным течением угрюмые, падающие черной тенью навесы; желтые как золото, и зеленые, в водорослях, крупные камни загромождали дно; раскидистая листва леса высилась над водой пышным теневым сводом, а внизу, грубым хаосом бороздя воду, путались гигантские корни; стволы, с видом таинственных великанов-оборотней, отходя ряд за рядом в тишину диких сумерек, таяли, становясь мраком, жуткой нелюдимостью и молчанием. Тысячи отражений задремавшего света в ручье и над ним создали блестящую розовую точку, сиявшую на камне у берега; Мур пристально смотрел на нее, пока она не исчезла.

– Проклятое место! – сказал Мур, пытливо осматривая лужайку, словно трава, утоптанная его предшественниками, могла указать невидимую опасность, шепнуть предостережение, осенить ум внезапной догадкой. – Сигби, Гок и Бильдер стояли тут, как стою я. Тревожно разгуливал огромный Бирон, разминая воловьи плечи; Гешан, пощипывая усики, рассматривал красивыми, бараными глазами каждый сучок, пень, ствол... Тех нет. Может быть, ждет и меня то же... Что то же?

Но он, как и весь отряд капитана Чербея, не знал этого. В графе расхода солдат среди умерших от укусов змей, лихорадки или добровольного желания скрыться в таинственное ничто, что было не редкость в летописях ужасного похода, среди убитых и раненых Чербель отметил пятерых «без вести пропавших». Разные предположения высказывались отрядом. Простейшее, наиболее вероятное объяснение нашел Чербель:

– «Я подозреваю, – сказал он, – очень умного, терпеливого и ловкого дикаря, нападающего неожиданно и бесшумно».

Никто не возразил капитану, но тревога воображения настойчиво искала других версий, с

которыми возможно связать бесследность убийств и доказанное разведчиками отсутствие вблизи неприятеля. Некоторое время Мур думал обо всем этом, затем соответственно настроенный ум его, рискуя впасть в суеверие, стал рисовать кошмарные сцены тайных исчезновений, без удержамчась дорогой больного страха к обрывам фантазии. Ему мерещились белые перерезанные шеи; трупы на дне ручья; длинные, как у тени в закате, волосатые руки, тянущиеся из-за стволов к затылку цепенеющего солдата; западни, волчьи ямы; он слышал струнный полет стрелы, отравленной молочайниками или ядом паука сса, похожего на абажурный каркас. Хоровод лиц, мучимых страхом, кружился в его глазах. Он осмотрел ружье. Строгая сталь затвора, кинжальный штык, четырехфунтовый приклад и тридцать патронов уничтожили впечатление беззащитности; смелее взглянув кругом, Мур двинулся по лужайке, рассматривая опушку.

Тем временем угас воздушный ток света, падавший из пылающих в вечерней синеве облаков, и деревья медленно запахнули на только что перед тем озаренной стороне прозрачные плащи сумерек. От теней, рушивших искристые просветы листвы, от засыпающего ручья и задумчивости спокойного неба повеяло холодной угрозой, тяжелой, как взгляд исподлобья, пойманный обернувшимся человеком. Мур, ощупывая штыком кусты, вышел к ручью. Пытливо посмотрел он вниз и вверх по течению, затем обратился к себе, уговаривая Мура не поддаваться страху и, что бы ни произошло, твердо владеть собою.

Солнце закатилось совсем, унося тени, наполнявшие лес. Временно, пока сумерки не перешли в мрак, стало как бы просторнее и чище в бессолнечной чаще. Взгляд проникал свободнее за пределы опушки, где было тихо, как в склепе, безлюдно и мрачно. Язык страха еще не шептал Муру бессвязных слов, заставляющих томиться и холодеть, но вслушивался и смотрел он подобно зверю, вышедшему к опасным местам, владениям человека.

Мрак наступал, отходя перед судорожным напряжением глаз Мура, и снова наваливался, когда, бессильный одолеть невольные слезы, заволакивающие зрачки, солдат протирал глаза. Наконец одолел мрак. Мур видел свои руки, ружье, но ничего более. Волнуясь, принялся он ходить взад и вперед, сжимая потными руками ружье. Шаги его были почти бесшумны, за исключением одного, когда под упором ноги треснул сучок; резкий в звонкой тишине звук этот приковал Мура к месту. Шум сердца оцепенил его; отчаянный дикий страх ударил по задрожавшим ногам тяжкой как удушье внезапной слабостью. Он присел, затем лег, прополз несколько футов и замер. Это продолжалось недолго; отдышавшись, часовой встал. Но он был уже во власти страха и покорен ему.

Главное, над чем работало теперь его пылающее воображение – было пространство сзади его. Оно не могло исчезнуть. Как бы часто ни поворачивался он, – всегда за его спиной оставалась недостижимая зрению, предательская пустота мрака. У него не было глаз на затылке для борьбы с этим. Сзади было везде, как везде было спереди для существа, имеющего одно лицо и одну спину. За спиной была смерть. Когда он шел, ему казалось, что некто догоняет его; останавливаясь – томился ожиданием таинственного удара. Густой запах леса кружил голову. Наконец Муру представилось, что он умер, спит или бредит. Внезапное искушение поразило его: уйти от пытки, бежать сломя голову до изнурения, раздвинуть пределы мрака, отдаляя убегающей спиной страшное место.

Он уже глубоко вздохнул, обдумывая шаг, подсказанный трусостью, как вдруг заметил, что поредевший мрак резко очертил тени стволов, и ручей сверкнул у обрыва, и все кругом ожило в ясном ночном блеске. Поднималась луна. Лунное утро высветило зелень пахучих сводов уложив черные ряды теней, в мерцающем неподвижном воздухе под голубым небом царствовало холодное томление света. Невесомый, призрачный лёд!

II

Тщательно осмотрев еще раз опушку и берег ручья, Мур несколько успокоился.

В неподвижности леса, насколько хватал глаз, отсутствовало подозрительное; думая, что на озаренной луной поляне никто не осмелится совершить нападение, Мур благодарно улыбнулся ночному солнцу и стал посреди лужайки, поворачиваясь время от времени во все стороны.

Так стоял он минуту, две, три, затем услышал явственный, шумный вздох, раздавшийся невдалеке сзади него, похолодел и отскочил с ружьем наготове к ручью.

«Вот оно, вот, вот!..» – подумал солдат. Кровавые видения ожили в потрясенном рассудке. Тяжкое ожидание ужаса изнурило Мура; мертвея, обратился он мутные от страха глаза в том направлении, откуда прилетел вздох, – как вдруг совсем близко кто-то назвал его по имени, трижды. «Мур! Мур! Мур!..»

Часовой взвел курок, целясь по голосу. Он не владел собой. Голос был тих и вкрадчив. Смутно знакомый тон его мог быть ошибкой слуха.

– Кто тут? – спросил Мур почти беззвучно, одним дыханием. – Не подходите никто, я буду убивать, убивать всех!

Он плохо сознавал, что говорит. Одна из лунных теней передвинулась за кустами, растаяла и появилась опять, ближе. Мур опустил ружье, но не курок, хотя перед ним стоял лейтенант Рен.

– Это я, – сказал он. – Не шевелись. Тише.

Обыкновенное полное лицо Рена казалось при свете луны загадочным и лукавым. Ярко блестели зубы, серебрились усы, тень козырька падала на искры зрачков, вспыхивающих, как у рыси. Он подходил к Муру, и часовой, бледнея, отступал, наводя ружье. Он молча смотрел на Рена. «Зачем пришел?» – думал солдат. Дикая, нелепая сумасшедшая мысль бросилась в его болезненное сознание: «Рен убийца, он, он, он убивает!»

– Не подходите, – сказал солдат, – я уложу вас!

– Что?!

– Без всяких шуток! Сказал – убью!

– Мур, ты с ума сошел?!

– Не знаю. Не подходите.

Рен остановился. Он подвергался опасности вполне естественной в таком исключительном положении и сознавал это.

– Не бойся, – произнес он, отступая к лесу. – Я пришел к тебе на помощь, дурак. Я хочу выяснить все. Я буду здесь, за кустами.

– Мне страшно, – сказал Мур, глотая слезы ужаса, – я боюсь, боюсь вас, боюсь всего. Это вы убиваете часовых!

– Нет!

– Вы!

– Да нет же!!

Страшен как кошмар был этот нелепый спор офицера с обезумевшим солдатом. Они стояли друг против друга, один с револьвером, другой с неистово пляшущим у плеча ружьем. Первый опомнился лейтенант.

– Вот револьвер! – Он бросил оружие к ногам Мура. – Подыми его. Я безоружен.

Часовой, исподлобья следя за Реном, поднял оружие. Припадок паники ослабел; Мур стал спокойнее и доверчивее.

– Я устал, – жалобно произнес он, – я страшно устал. Простите меня.

– Поди окуни голову в ручей. – Рен тоном приказания повторил совет, и солдат повиновался. Надежда на помощь Рена и ледяная вода освежили его. Без шапки, с мокрыми волосами вернулся он на лужайку, ожидая, что будет дальше.

– Может быть, мы умрем оба, – сказал Рен, – и ты должен быть готов к этому. Теперь одиннадцать. – Он посмотрел на часы. – Торопясь, я чуть не задохся в этих трудно проходимых местах, но сила моя при мне, и я надеюсь на все лучшее. Стой или ходи, как прежде. Я буду неподалеку. Доверься судьбе, Мур.

Он не договорил, ощупал, будучи запасливым человеком, второй, карманный револьвер и скрылся среди деревьев.

III

Рен удобно поместился в кустах, скрывавших его, но сам отлично мог видеть поляну, берег

ручья и Мура, шагавшего по всем направлениям. Лейтенант думал о своем плане уничтожения таинственной смерти. План требовал выдержки; опаснейшей частью его была необходимость допустить нападение, что в случае промедления угрожало часовому быстрым переселением на небо. Трудность задачи усиливалась смутной догадкой Рена – одной из тех навязчивых темных мыслей, что делают одержимого ими яростным маньяком. Когда Рен пробовал допустить бесповоротную истинность этой догадки, или, вернее, предположения, его тошнило от ужаса; надеясь, что ошибется, он предоставил наконец событиям решить тайну леса и замер в позе охотника, подкарауливающего чуткую дичь.

Кусты, где засел Рен, расположенные кольцом, образовали нечто, похожее на колодец. Неподвижная тень Рена пересекала его. Думая, что, вытянув затекшую ногу, он сам изменил этим очертания тени, Рен в следующее мгновение установил кое-что поразительное: тень его заметно перемещалась справа налево. Она как бы жила самостоятельно, вне воли Рена. Он не обернулся. Малейшее движение могло его выдать, наказав смертью. Ужас подвигался к нему. В мучительном ожидании неведомого пристально следил Рен за игрой тени, ставшей теперь вдвое длиннее: это была тень-оборотень, потерявшая всякое подобие Рена – оригинала. Вскоре у нее стало три руки и две головы, она медленно раздвоилась, и та, что была выше – тень тени, – исчезла в кустарнике, освободив черное неподвижное отражение Рена, сидевшего без дыхания.

Как ни прислушивался он к тому, что делалось позади его, даже малейший звук за время метаморфозы с тенью не был схвачен тяжким напряжением слуха; за его спиной, смешав своей фигурой две тени, стоял, а затем прошел некто, и некто этот двигался идеально бесшумно. Он был видимым воплощением страха, лишённого тела и тяжести. Броситься в погоню за неизвестным Рен считал непростительной нервностью. Он видел и осязал душою быстрое приближение неизвестной развязки, но берег силу самообладания к решительному моменту.

В это время часовой Мур стоял неподалеку от огромного тамаринда, лицом к Рену. С неожиданной быстротой густые ветви дерева позади Мура пришли в неопишное волнение, отделив прыгнувшего вниз человека. Он падал с вытянутыми для хватки руками. Колени его ударили по плечам Мура; в то же мгновение падающий от толчка часовой вскрикнул и выпустил ружье, а железные пальцы душили Мура, торопясь убийством, умело и быстро скручивая поспевшую шею.

Рен выбежал из засады. Мутные глаза нападающего обратились к нему. Придерживая одной рукой бьющегося в судорогах солдата, протянул он другую к Рену, защищая лицо. Рен ударил его по голове дулом револьвера. Тогда, бросив первую жертву, убийца кинулся на вторую, пытаясь свалить противника, и выказал в этой борьбе всю ловкость свирепости и отчаяния.

Некоторое время, резко и тяжело дыша, ходили они вокруг оглушенного часового, сжимая друг другу плечи. Вскоре противнику лейтенанта удалось схватить его за ногу и спину, лишив равновесия, при этом он укусил Рена за кисть руки. В его лице не было ничего человеческого, оно сияло убийством. Мускулы жестких рук трепетали от напряжения. Время от времени он повторял странные, дикие слова, похожие на крик птицы. Рен ударил его в солнечное сплетение. Страшное лицо помертвело; закрылись глаза, ослабев, метнулись назад руки, и некто упал без сознания.

Рен молча смотрел на его лицо, осунувшееся от боли и бешенства. Но не это изменяло и как бы преображало его, – среди породистых, резких черт выступали иные, разрушающие для пристального взгляда прежнее выражение этого страшного, как маска, лица. Оно казалось опухшим и грубым. Рен связал руки противника тонким ремнем и поспешил к Муру.

Часовой хрипло стонал, растирая шею. Он лежал на своем ружье Рен зачерпнул каской воды, напоил солдата, и тот слегка ожил. Усталое лицо Рена показалось ему небесным видением. Он понял, что жив, и, схватив руку лейтенанта, поцеловал ее.

– Глупости! – пробормотал Рен. – Я тоже обязан тебе тем, что...

– Вы убили его?

– Убил? Гм... да, почти...

Рен стоял над головой Мура, скрывая от него человека, лежавшего со связанными руками. Часовой сел, держась за голову. Рен поднял ружье.

– Мур, – сказал он, – в состоянии ты точно понять меня?

– Да, лейтенант.

– Встань и уходи в заросли, не оборачиваясь. Там ты подождешь моего свистка. Но боже сохрани обернуться, – слышишь, Мур? Иначе я пристрелю тебя. Итак, ты меня пока не видишь. Иди!

Для шуток не было места. Часовой сознавал это, но не понимал ничего. Неуверенные движения Мура выказывали колебание. Рен увидел четверть его профиля и щелкнул курком.

– Еще одно движение головы, и я стреляю! – Он с силой толкнул Мура к лесу. – Ну! Ружье остается на лужайке до твоего возвращения. Жди смены. Помни, что я не приходил, и подожди рассказывать до утра.

Мур, пошатываясь, исчез в лунном лесном провале. Рен поднял связанного и прошел с ним в чащу на расстояние, недоступное слуху. Сложив ношу, он занялся пленником. Связанный лежал трупом.

– Удар был хорош, – сказал Рен, – но чересчур добросовестен.

Он стал растирать поверженному сердце, и тот, болезненно дергаясь, вскоре открыл глаза. Блуждая, остановились они на Рене, вначале с недоумением, затем с ненавистью и горделивым унынием. Он изогнулся, приподнялся, пытаясь освободить руки, и, поняв, что это бесполезно, опустил голову.

Рен сидел против него на корточках. Он боялся заговорить, звук голоса отнял бы всякую надежду на то, что происходящее – сон, призрак или, на худой конец – больной бред. Наконец, он решился.

– Капитан Чербель, – сказал Рен, – происшествия сегодняшней ночи невероятны. Объясните их.

Связанный поднял голову. Любопытство и подозрительность блеснули в его подвижном лице. Он не понимал Рена. Мысль, что над ним смеются, привела его в бешенство. Он вскочил, усиливаясь разорвать путы, тотчас вскочил и Рен.

– Собака-солдат! – заговорил Чербель, но смолк, чувствуя слабость – результат бокса, – и прислонился спиной к дереву. Отдышавшись, он снова заговорил: – Называйте Чербелем того, кто привел вас с вашими ружьями в эти леса. Мы вас не звали. Повинуясь жадности, которая у вас, белых, в крови, пришли вы отнять у бедных дикарей все. Наши деревни сожжены, наши отцы и братья гниют в болотах, пробитые пулями; женщины изнурены постоянными переходами и болеют. Вы преследуете нас. За что? Разве в ваших владениях мало полей, зверя, рыбы и дерева? Вы спугиваете нашу дичь; олени и лисицы бегут на север, где воздух свободен от вашего запаха. Вы жжете леса, как дети играя пожарами, воруете наш хлеб, скот, траву, топчете посевы. Уходите или будете истреблены все. Я вождь племени Роддо – Бану-Скап, знаю, что говорю. Вам не перехитрить нас. Мы – лес, из-за каждого дерева которого подкарауливает вас гибель.

– Чербель! – с ужасом вскричал Рен. – Я ждал этого, но не верил до последней минуты. Кто же вы?

Капитан презрительно замолчал. Теперь он ясно видел, что над ним издеваются. Он сел к подножию ствола, твердо решив молчать и ждать смерти.

– Чербель! – тихо позвал Рен. – Вернитесь к себе.

Пленник молчал. Лейтенант сел против него, не выпуская револьвера. Мысли его мешались. Состояние его граничило с иступлением.

– Вы убили пять человек, – сказал Рен, не ожидая, впрочем, ответа, – где они?

Капитан медленно улыбнулся.

– Им хорошо на деревьях, – жестко проговорил он, – я их развесил на том берегу ручья, ближе к вершинам.

Это было сказано резким, деловым тоном. Теперь замолчал Рен. Он боялся узнать подробности, страхась голоса Чербеля. Капитан сидел неподвижно, закрыв глаза. Рен легонько толкнул его; человек не пошевелился; по-видимому, он был в забытии. Крупный пот выступил на его висках, он коротко дышал и был бледен, как свет луны, косившейся сквозь листву.

IV

Рен думал о многом. Поразительная действительность оглушила его. Он тщательно осмотрел свои руки, тело, с новым к ним любопытством, как бы неуверенный в том, что тело это его, Рена, с его вечной, неизменной душой, не знающей колебаний и двойственности. Он был в лесу, полном беззвучного шепота, зовущего красться, прятаться, подслушивать и таиться, ступать бесшумно, подстерегать и губить. Он исполнился странным недоверием к себе, допуская с легким замиранием сердца, что нет ничего удивительного в том, если ему в следующий момент захочется понестись с диким криком в сонную глушь, бить кулаками деревья, размахивать дубиной, выть и плясать. Тысячелетия просыпались в нем. Он ясно представил это и испугался. Впечатлительность его обострилась. Ему чудилось, что в лунных сумерках качаются высоко подвешенные трупы, кустарник шевелится, скрывая убийц, и стволы меняют места, придвигаясь к нему. Чтобы успокоиться, Рен приложил дуло к виску; холодная сталь, нащупав бьющуюся толчками жилу, вернула ему твердость сознания. Теперь он просто сидел и ждал, когда Чербель очнется, чтобы убить его.

Луна скрылась; близился теплый рассвет. Первый луч солнца разбудил Чербеля, розовое от солнца, сильно осунувшееся лицо его внимательно смотрело на Рена.

– Рен, что случилось? – тревожно сказал он. – Почему я здесь? И вы? Проклятие! Я связан?! Кой черт!..

– Это сон, Чербель, – грустно сказал Рен, – это сон, да, не более. Сейчас я развяжу вас.

Он быстро освободил капитана и положил ему на плечо руку.

«Так, – подумал он, – значит, Бану-Скап уходит с рассветом. Но с рассветом... уйдет и Чербель».

– Капитан, – сказал Рен, – вы верите мне?

– Да.

– Тогда не торопитесь узнать правду и ответьте на три вопроса. Когда вы легли спать?

– В одиннадцать вечера. Рен, вы в полном рассудке?

– Вполне. Какой вы видели сон?

– Сон? – Чербель пылливо посмотрел на Рена. – Имеет это отношение к данному случаю?

– Может быть...

– Один и тот же сон снится мне подряд несколько дней, – с неудовольствием сказал Чербель, – я думаю, под влиянием событий на посту Каменного Ручья. Я вижу, что выхожу из лагеря и убиваю часовых... да, я душу их...

Темный отголосок действительности на одно страшное и короткое мгновение заставил его вздрогнуть, он побледнел и рассердился.

– Третий вопрос: смерти боитесь? Потому что это не сон, Чербель. Я схватил вас в тот миг, когда вы душили Мура. Да, – две души. Но вы, Чербель, не могли знать это. Я не оставлю вас долго во власти воистину дьявольского открытия; оно может свести с ума.

– Рен, – сказал капитан, замахиваясь, – моя пощечина пахнет кровью, и вы...

Он не договорил. Рен схватил Чербеля за руку и выстрелил.

– Так лучше, пожалуй, – сказал он, смотря на мертвого: – он умер, чувствуя себя Чербелем. Иное «я» потрясло бы его. Майор Кастро и я закопаем его где-нибудь вечером. Никому более нельзя знать об этом.

Он вышел к ручью и увидел бойкого нового часового – Риделя.

– Опустите ружье, все благополучно, – сказал Рен. – Гулял я, стрелял по козуле, да неудачно.

– Умирать побежала! – весело ответил солдат.

– Кажется, теперь, – сказал сам себе, удаляясь, Рен, – я точно знаю, почему лагерные часовые видели Чербеля ночью. О боже, и с одной душой тяжело человеку!

Слепой Дей Канет

Юс, сторож дровяных складов у сельца Кипа, лежащего на берегу реки Милет, закусив так

плотно, что стало давить под ложечкой, в хорошем расположении духа сидел у синей воды, курил и думал, что, тратя каждый день на еду тридцать копеек, сможет носить каждую субботу в сберегательную кассу ровно три рубля, которые, если относиться к этому делу внимательно и любовно, дадут через десять лет сумму в тысячу пятьсот рублей. Юс отвел душу, вознаградив жадное тело за лишения прошлого роскошным пиршеством с женщинами, вином, сигарами, песнями и цветами, а на остальные купит трактир и женится. Вот он, победитель жизни, богатый трактирщик Юс, идет в праздник с женой по улице... Все снимают шапки... Бьют барабаны...

Юс, размечтавшись, встал; ему не сиделось более; он хотел еще раз взглянуть на главную улицу Кипы, где будет стоять трактир.

На улице, где куры полоскались в пыли и в предвечернем солнце рдели оконные стекла, ни души не было, только слепой Дей Канет сидел, как всегда, на лавочке у цветочного палисада дяди Эноха. Дей был человеком лет сорока с красивым, бледным, неживым лицом (благодаря слепоте). Нищий, но опрятный костюм Дея не производил жалкого впечатления, – в спокойной позе и закрытых глазах слепого было нечто решительное.

Дей Канет жил в Кипе около месяца. Никто не знал, откуда он пришел, и сам он никому не сказал об этом. И ничего никому не сказал о себе, – совсем.

Услышав шаги, слепой повернул голову. Юс любил подразнить Дея, – слепой был ненавистен ему. Как-то раз у дяди Эноха сторож в присутствии Дея распространился о «разных проходимцах, желающих сесть на шею людям трудящимся и почтенным»; Энох покраснел, а Дей спокойно заметил: «Я рад, что совсем не вижу более злых людей».

– Как же, – сказал Юс умильным тоном, присаживаясь на скамейку Дея, – вы вышли полюбоваться прекрасной погодой?

– Да, – помолчав, мягко сказал Дей.

– Погода удивительная. Как горы ясно видны! Кажется, рукой достанешь.

– Да, – согласился Дей, – да.

Юс помолчал. Глаза его весело блестели; он оживился, он чувствовал даже некоторую благодарность к Дею за бесплатное развлечение.

– Как неприятно все-таки, я думаю, ослепнуть, – продолжал он, стараясь не рассмеяться и говоря деланно-соболезнующим тоном. – Большое, большое, я думаю, страданье: ничего не видеть. Я вот, например, газету могу читать в трех шагах от себя. Честное слово. Ах, какая кошечка хорошенькая пробежала! Как вы думаете, Канет, отчего на этих горах всегда лежит снег?

– Там холодно, – сказал Дей.

– Так, так... А почему он кажется синим?

Дей не ответил. Ему начинала надоедать эта игра в «кошку и мышку».

«Ладно, молчи, – подумал Юс, – я вот сейчас прокалю тебя».

– Вы видите что-нибудь? – спросил он.

– Не думаю, – сказал, улыбнувшись, Дей, – да, едва ли я вижу что-нибудь теперь.

– Ах, какая жалость! – вздохнул Юс. – Жаль, что через несколько лет вы не увидите моего прекрасного трактира. Да, да! Впрочем, едва ли вы видели вообще что-нибудь, даже пока не ослепли.

От собственного своего раздражения, не получившего отпора, Юс впал в угрюмость и замолчал. Набив трубку и задымив, он покосился на Дея, сидевшего с лицом, подставленным солнцу. Прошла минута, другая, – вдруг Дей сказал:

– Однажды я играл в столичном королевском театре.

От неожиданности Юс уронил трубку, – Дей никогда не говорил о себе.

– Как-с? Что-с? – растерянно спросил он.

Дей, мягко улыбаясь, продолжал ровным, веселым голосом:

–...Играл в театре. Я был знаменитым трагиком, часто бывал во дворце и очень любил свое искусство. Так вот, Юс, я выступал в пьесе, действие которой приблизительно отвечало событиям того времени. Дело в том, что висело на волоске быть или не быть некоему важному, государственного значения, мероприятию, от чего зависело благо народа. Король и министры колебались. Я должен был провести свою роль так, чтобы растрогать этих высокопоставленных

лиц, – склонить, наконец, решиться на то, что было необходимо. А это трудно, – трудная задача предстояла мне, Юс. Весь двор присутствовал на спектакле.

Когда после третьего действия упал занавес, а затем снова шумно взвился, чтобы показать меня, вызываемого такими аплодисментами, какие подобны буре, – я вышел и увидел, что весь театр плачет, и увидел слезы на глазах самого короля и понял, что я сделал свое дело хорошо. Действительно, Юс, я играл в тот вечер так, как если бы от этого зависела моя жизнь.

Дей помолчал. В неподвижной руке Юса потухла трубка.

– Решение было принято. Чувство победило осторожность. Затем, Юс, выйдя уже последний раз на сцену, чтобы проститься со зрителями, я увидел столько цветов, сколько было бы, если бы собрать все цветы Милетской долины и принести сюда. Цветы эти предназначались мне.

Дей смолк и задумался. Он совершенно забыл о Юсе. Сторож, угрюмо встав, направился к своему шалашу, и хотя летний день, потеряв ослепительность зенита, еще горел над горами блеском дальних снегов, казалось Юсу, что вокруг глухого сельца Кипы, и в самом сельце, и над рекой, и везде стало совсем темно.

Лабиринт

I

– У вас крепкие нервы, – сказал Филлат Джису, – а вы очень лениво тратите их на безопасные путешествия, сомнительные интриги, дуэли и кутежи. Отчего вы никогда не спросите хотя бы у меня, не могу ли я показать вам что-нибудь незабываемое, нечто решающее для вас?

– Разве есть что-нибудь в этом роде? – быстро подхватил Джис.

Этот разговор происходил в единственной гостинице маленького городка К.

– Очень много есть любопытного, свыше всяческих ожиданий, – сказал Филлат, – и мне хочется, чтобы вы посетили знаменитый Лабиринт Аспера. Я не заговорил бы об этом, если бы мы случайно не очутились в К. Аспер живет здесь. Это миллионер-ипохондрик, и мысль выстроить Лабиринт принадлежит мне.

– Как? – сказал Джис, невольно посмотрев на вылинявший костюм приятеля, – В каких же отношениях к Асперу были вы?

– Я исполнял обязанности «развлекателя», – печально пояснил Филлат. – Не дай бог, юноша, взяться вам когда-нибудь за такое дело. У миллионеров характер тяжелый, затеи их громоздки и вульгарны, и нет совершенно воображения. Мои грандиозные планы сразу понравились Асперу. Он изнывал от скуки, и я уговорил его выполнить следующее: поставить на островке пустынной реки статую прекрасной нагой женщины, из белого металла, в позе горделивого превосходства; на берегу же, лицом к ней, – чугунное изображение негра, стоящего на коленях. Негр умоляюще протягивал руки к женщине, выражая фигурой и лицом смесь зверских инстинктов с вожделием. Это попало в цель; вам известно, мой друг, что чернокожие мечтают о белых женщинах. Несколько дней подряд три оскорбленных племени яростно танцевали вокруг чугунного негра, пуская стрелы в недоступную речную красавицу – она стояла среди бурунов, неодолимых для лодок. Затем они передрались и переселились подальше.

– Вы раздумывали, прежде чем сообщить мне все это? – спросил Джис, холодея от нетерпения побыть в Лабиринте.

– Дело не в доверии, – сказал Филлат. – Просто я вас люблю и хочу показать вам преинтересное зрелище. Конечно, я и раздумывал также, но только об Аспере. Думаю, что сейчас к нему поехать удобно. Аспер эксцентрик. Самый прием его удивит вас.

II

Загородная вилла Аспера подступала садами к окраине городка К., а другой стороной обширного участка граничила с береговыми лесами. Был вечер; Филлат и Джис подъехали к вось-

миэтажному дому. Вызолоченная, огромная, как ворота, дверь открылась сама, едва ноги гостей коснулись верхней ступеньки. Сила света круглого вестибюля, проникающего через все этажи, мгновенно утомляла непривычное зрение. Источник царского озарения был, однако же, скрыт. Единственным украшением этого великолепия пустоты были достигшие полного возраста и красоты пальмы, смыкавшие свой чудесный, полный причудливых теней круг у входных дверей. Дверь лифта открылась тоже сама (так открывались все двери у Аспера, хотя множество невидимых глаз следили за посетителем), и Филлат с Джисом взлетели в прозрачной сияющей клетке к пятому этажу.

Они прошли в помещение, где тотчас услышали бархатный звон гонга. Слуга сообщал хозяину о посетителях. Описывать это помещение значило бы ослабить впечатление от Лабиринта. Некий царственно-блестящий туман – вот подходящее краткое выражение увиденного вокруг себя Джисом.

Он еще мысленно кланялся миллионам, воздвигшим подобное совершенство великолепия, как из глубины света выступили два трубача в красных полумасках и средневековых костюмах. Резко и оглушительно протрубив, они скрылись, и Джис увидел трех розовых от жира свиней, в лентах и колокольчиках, везущих небольшую платформу в виде золотой монеты, фута четыре диаметром, посередине ее красовался невысокий шест с вымпелом и на нем надпись: «Я сейчас появлюсь». Некто в черном костюме, серьезный, как доктор, увел странных лошадок, и тотчас, вслед за этим, выехал к посетителям на велосипеде, помахивая татарской шапочкой, человек лет пятидесяти, в домашнем фланелевом костюме; наголо выстриженный и выбритый, с пронзительными, озорными глазами, толстым, умным лицом, подвижной, с нервным и резким голосом. Это был Аспер. Он, спрыгнув с машины, тут же уронил ее и поспешил к Филлату, мельком взглянув на Джиса.

– Какая же вы свинья, – не заговорил, а заголосил Аспер, – пять лет я не видел вас. А наши планы?.. А похищение турецкой принцессы?

– У меня накопилось много своих дел, – сурово сказал Филлат. – Позвольте представить вам своего друга: Джис – Аспер. Джис хочет посмотреть Лабиринт.

– Пусть смотрит. А как вы находите, Филлат, моих свинок, герольдов и колесницу и выезд на велосипеде?

– Очень плоско, – печально сказал Филлат. – Очень грубо.

Аспер надулся. Некоторое время самолюбие боролось в нем с признанием авторитетности Филлата. Наконец он выманил откуда-то пальцем человека с серьезным лицом доктора и коротко приказал:

– Чтобы я не видел больше свиней. В жемчужную столовую подать струнный оркестр. В бассейн пустить морских львов. Открыть все фонтаны, весь свет, все двери. Джис и Филлат, пойдёмте немножечко закусить.

III

Когда Джис, через три часа после этого разговора, донельзя ошеломленный уже воочию увиденной им сказкой затейливых миллиардов, подошел с Филлатом к низкой бронзовой двери Лабиринта, он, несмотря на усиленную работу воображения, не подозревал и десятой части могущества обдуманых впечатлений, скрытых переходами Лабиринта. Теперь Филлат снова повторил Джису некоторые необходимые пояснения:

– Лабиринт очень извилист, но, как бы ни казался он вам замысловато безвыходным, вы должны помнить, что выход обнаружится сам собой, вы же идёте все прямо... В случае, если вы почувствуете себя нехорошо, почувствуете тоску, страх, нервное потрясение или просто по каким бы то ни было причинам захотите оставить Лабиринт раньше, чем попадете к выходу, достаточно громко крикнуть. В стенах скрыты рупоры, передающие малейшие звуки наверх, специальной прислуге Аспера, и люк откроется там, где будете находиться в момент вскрика. Каждому, прошедшему через весь Лабиринт до естественного его конца (а это происходит не часто), Аспер подносит премию – ценный и красивый подарок. Итак, отправляйтесь, Джис.

Он потянул тонкую стальную цепочку, и дверь плавно разверзлась внутрь ниши, обнаружив светлую пустоту. Джис, кивнув Филлату, улыбнулся и быстро шагнул вперед. Через мгновение он обернулся, но не заметил никаких следов входа – гладкая, черная стенка выросла за его спиной, толкая вперед.

IV

И он почувствовал с глубоким замиранием сердца, что находится в исключительной, полнейшей тишине крытого хода, широкого и высокого. Свет впереди привлек Джиса, он быстро прошел вперед и в ярком сверкании окружающего стал удивляться и восхищаться, одолевая Лабиринт.

В начале Лабиринта не было, строго говоря, ни стен, ни пола, ни потолка в принятом смысле слова. Волны матового, зеленого, розового, золотистого и радужного стекла обливали стены и потолок, вовсе скрываясь, подобно прозрачным драпировкам, собранным капризными арабесками. Идущему казалось, что он плывет в воздухе. Так продолжалось на расстоянии неопределенно долгом, пока резкий поворот влево не оборвал этой ослепительной лавы огней.

За поворотом, в мягком рассеянном свете Джис увидел молящегося монаха, старичка с кротким лицом; все земное перегорело в его голубых глазах, детски смотрящих вверх. Немного далее молилась прелестная молодая женщина, – молилась, как выражало прекрасное ее лицо, от полноты жизни и сердца, в простом порыве. Она улыбалась так трогательно, что Джис улыбнулся тоже.

Джис слушал звук своего сердца, шум в ушах, дыхание. Торопясь и волнуясь, вдруг увидел он, что перед ним комната, обставленная старинной мебелью. За роялем сидел человек с властным выражением большого морщинистого лица и, углубившись, играл. В комнате сидело много народа: молодые люди, девицы, дамы, старики, – и Джис чувствовал, что все они теперь вне земли, в ином мире, куда увлек их гений, властный хозяин музыки. Некто в поношенной одежде, сидя в тени лампы, слушал, согнувшись и закрыв руками лицо. Уходя в дальнюю дверь, Джис невольно обернулся, ожидая, что вот все эти люди его заметят и позовут.

В неопишемом состоянии духа, как бы умерший, но помня все прежнее, начавший жить снова, в мире застывшего действия, шел он, возбужденный до крайности, из одного поворота в другой, не имея ни сил, ни времени сообразить устройство лабиринта.

Джис проходил теперь гротами, цветущими аллеями, зелеными берегами ручьев. То тут, то там виднелись влюбленные, с растроганным сияющим взглядом, в интимных, но сдержанных позах гуляющие под ручку, наклоняясь, протягивая руки к цветам, сидевшие никли головами друг к другу; пальцы их сплетались, и блуждающая улыбка, знаменующая прелесть любовных грез, освещала лицо.

Джис почти растрогался, озирая влюбленных. Любовь много говорила его молодой душе. Едва успев бросить взгляд на одну группу, спешил он далее, стараясь не раздроблять впечатлений.

И вот Джис вышел на двор милых, как круг близких, родных лиц. В будке лежала важная цепная собака, с глазами умными и заботливыми, у желоба стоял смешной серый ослик; бродили куры и петушки в куче с воробьями и голубями. Мальчик, свеженький и румяный, сидя у перил террасы, читал книжку. Маленькая девочка, держась за чистый передник сморщенной доброй няни, бросала птицам хлебные крошки, а мать с отцом стояли на верхней ступеньке террасы, с улыбкой смотря на окружающее их мирное течение светлой и хорошей жизни.

Джис, смеясь от души, как смеются иногда взрослые, читая незатейливую, детскую, но освежающую книжку, вышел из двора в низкую калитку и сразу опешил: перед ним тянулся настоящий переулок; тесный и грязный, но настоящий.

«Так вот выход, – подумал Джис. – Но как же так это незаметно устроено и неужели я всю ночь одолевал Лабиринт? Светло, день». Он обернулся, но увидел сзади вместо оставленной калитки высокое, внезапно выросшее ограждение. Он выбежал в просвет крайних домов и понял ошибку: далеко еще не кончился Лабиринт. Он принял теперь от этого места и так уже до конца

вид обыкновенного кирпичного коридора с асфальтовым полом, частыми поворотами и круглыми расширениями.

Первое, на что наткнулся здесь Джис, был труп мужчины с разможенным черепом. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в кровь. Джис вздрогнул, предательский холод медленно поднялся по его телу от ног до корней волос. Он быстро миновал мрачное зрелище, а на повороте отшатнулся в настоящем испуге: здесь, осторожно выглядывая из-за угла, как на охоте, стоял, прижавшись спиной к стенке, плохо одетый человек, зажимая в опущенной руке нож; маниакальный, болезненно возбужденный взгляд его встретился с глазами Джиса. Джис постоял немного, овладевая волнением. «Не пора ли мне закричать?» – спросил он себя, но, устыдившись Филлата, выпрямился, подтянул нервы и продолжал путь.

На каждом шагу застыл он перед сценами диких убийств, воспроизведенных с мельчайшими подробностями поз, обстановки и ужаса положений. Удушение, выстрел, нож, гиря, яд... Вся обычная техника лишения жизни провела на его глазах хаос агонических судорог. Он видел целые коридоры, наполненные мятущейся в исступлении толпой, где убивали, зверея, друг друга; виселицы, унизанные скорченными повешенными, ландскнехтов, насилующих женщин и девочек, корзины, полные отрубленных голов, напоминавших уснувших рыб. Спасая готовый помутился рассудок, Джис закрывал иногда глаза, отворачивался, топал ногой, чтобы одолеть звуком кровавое вдохновение тишины. Под конец он уже плохо различал, что делают вокруг него эти люди с поднятыми руками и бледными лицами; он слабел, шатался, вздрагивал и вдруг побежал с быстротой преследуемого. Горы трупов окружали его; они были сложены, как дрова, вдоль стен; стеклянные полужакрытые глаза их смотрели, не видя. Жалкий остаток самолюбия цеплялся, колеблясь, за висящий на волоске крик. С разбега Джис остановился, не понимая, куда он теперь двинется: перед ним вырос тупик, застланный светящейся выпуклостью.

Это был глаз человека в полной живости его взора, но настолько большой, что занимал весь тупик, и Джис едва достигал головой верхнего края огромного, как колодец, зрачка, смотревшего на него в упор. Глаз был окровавлен и слезился. Нижнее веко распухло, верхнее судорожно приподнялось. Невозможно было двояко оценить взгляд. Он не выражал даже страдания, а кричал о такой дикой боли, от которой мутится сознание. Взгляд этот обнимал Джиса целиком, всего; топил и перемалывал в себе, подобно пропасти. Тогда вздрогнув, но пытаясь овладеть собой, сосредоточил он потрясенное внимание в глубине таинственного зрачка и там во весь рост увидел себя, с лицом, столь мучительно-напряженным и вредным, что едва удержался от крика, – крик был бы неистовым. Сломав оцепенение, кинулся он в боковой проход и вышел, содрогаясь, как избитый, к свету полуоткрытой двери.

Он поднялся к свету, в знакомый уже ранее переулочек с часами за окном, бельем на веревке и воробьями, копающимися в пыли.

«Да неужели я заблудился?» – с отчаянием вскричал Джис. Он шумно дышал, осматриваясь, не веря глазам и слуху: за переулком громыхали телеги, женщина вышла из калитки с корзиной на голове, раздались неясные голоса. Дикий страх овладел Джисом.

– Горе мне! – сказал он. – Теперь-то Лабиринт обрушится на меня тем же, но со звуками и движениями!

И он захотел вернуться, но, обернувшись, увидел непроницаемую кладку кирпичной стены, из нее он вышел незаметной теперь дверью в начале настоящего переулочка, точную копию которого ранее показал ему Лабиринт. Но Джис еще не знал этого. Пройдя немного вперед, он увидел сидящих перед уличным столиком трактира Филлата и переодетого рабочим Аспера; понял, что Лабиринт остался позади весь, и, судорожно улыбаясь, сел на свободный стул.

– Что, здорово я встряхнул вас? – сказал Аспер.

Джис молчал. Его знобило. Он выпил залпом стакан вина и расплакался.

– Ну, ну, – сказал нежно Филлат. – Пейте лучше вино.

Аспер подвинул к вздрагивающей руке Джиса золотой медальон, украшенный бриллиантами.

Черный алмаз

...Солнце тяготело к горам. Партия каторжан вернулась с лесных работ. Трумов умылся и в ожидании ужина лег на нары. Тоска душила его. Ему хотелось ничего не видеть, не слышать, не знать. Когда он шевелился, кандалы на его ногах гремели, как окрик.

Социалист Лефтель подошел к Трумову и присел на краю нар.

– Сплин или ностальгия? – спросил он, закуривая. А вы в «трынку» научитесь играть.

– Свободы хочу, – тихо сказал Трумов. – Так тяжело, Лефтель, что и не высказать.

– Тогда, – Лефтель понизил голос, – бегите в тайгу, живите лесной, дикой жизнью, пока сможете.

Трумов промолчал.

– Знаете, воли не хватает, – искренне заговорил он, садясь. Если бежать, то не в лес, а в Россию или за границу. Но воля уже отравлена. Препятствия, огромные расстояния, которые нужно преодолеть, длительное нервное напряжение... При мысли обо всем этом фантазия рисует затруднения гигантские... это ее болезнь, конечно. И каждый раз порыв заканчивается апатией.

Трумова привела на каторгу любовь к жене скрипача Ягдина.

Три года назад Ягдин давал концерты в европейских и американских городах. Трумов и жена Ягдина полюбили друг друга исключительной, не останавливающейся ни перед чем любовью. Когда выяснилось, что муж скоро вернется, Ольга Васильевна и Трумов порешили выехать из России. Необходимость достать для этого несколько тысяч рублей застигла его врасплох – денег у него не было и никто не давал. Вечером, когда служащие транспортной конторы (где служил Трумов) собрались уходить, он спрятался в помещении конторы и ночью взломал денежный шкаф. Курьер, страдавший бессонницей, прибежал на шум. Трумов в отчаянии повалил его и ударом по голове бронзового пресс-папье, желая только оглушить, – убил. Его арестовали в Волочиске. После суда Ольга Васильевна отравилась.

– А мне вот все равно, – сказал Лефтель, – философский склад ума помогает. Хотя...

Вошел надзиратель, крича:

– Всем выходить на двор, жива-а! – Окончив официальное приказание, исходившее от начальника тюрьмы, он прибавил обыкновенным голосом: – Музыкант играть вам будет, идиотам, приезжий, вишь, арестантскую концерту наладил.

Трумов и Лефтель, приятно заинтересованные, живо направились в коридор; по коридору, разившему кислым спертým воздухом, шла шумная толпа каторжан, звон кандалов временами заглушал голоса. Арестанты шутили:

– Нам в первом ряду креслу подавай!

– А я ежели свистну...

– Шпанку кадрель танцевать ведут...

Кто-то пел петухом.

– Однако не перевелись еще утописты, – сказал Трумов, завидую я их светлому помешательству.

– Последний раз я слушал музыку... – начал Лефтель, но оборвал грустное воспоминание.

На широком каменистом дворе, окруженном поредевшими полями, арестанты выстроились полукругом в два ряда; кое-где усмирённо позвякивали кандалы. Из гористых далей, затянутых волшебной нежно-цветной тканью вечера, солнце бросало низкие лучи. Дикie ароматные пустыни дразнили людей в цепях недоступной свободой.

Из конторы вышел начальник тюрьмы. Человек мелкий и подозрительный, он не любил никакой музыки, затею Ягдина играть перед арестантами считал не только предосудительной и неловкой, но даже стыдной, как бы уничтожающей суровое значение тюрьмы, которую он вел без послаблений, точно придерживаясь устава.

– Ну вот, – громко заговорил он, – вы так поете свои завывания, а настоящей музыки не слышали. – Он так говорил, потому что боялся губернатора. – Ну, вот, сейчас услышите. Вот вам будет сейчас играть на скрипке знаменитый скрипач Ягдин, – он по тюрьмам ездит для вас, душегубов, поняли?

Трумов помертвел. Лефтель, сильно изумленный (он знал эту историю), с сожалением по-

смотрел на него.

– Это зачем же... – растерянно, криво улыбаясь, прошептал Трумов Лефтелю. Ноги его вдруг задрожали, он весь ослабел, затосковал. Сознание, что уйти нельзя, усиливало страдание.

– Подержитесь, черт с вами, – сказал Лефтель.

Трумов стоял в первом ряду, недалеко от крыльца конторы. Наконец, вышел Ягдин, задержался на нижней ступеньке, медленно обвел каторжан внимательным проходящим взглядом и, незаметно кивнув головой, улыбнулся измученному, застывшему лицу Трумова. Глаза Ягдина горели болезненным огнем сдержанного волнения. Он испытывал сладчайшее чувство утешительной ненависти, почти переходящей в обожание врага, в благодарность к его мучениям.

Трумов из гордости не отвел глаза, но душа его сжалась; прошлое, оплеванное появлением Ягдина, встало во весь рост. Арестантская одежда давила его. Ягдин учел и это.

Вся месть вообще была тщательно, издавек обдумана музыкантом. Схема этой мести заключалась в таком положении: он, Ягдин, явится перед Трумовым, и Трумов увидит, что Ягдин свободен, изящен, богат, талантлив и знаменит по-прежнему, в то время как Трумов опозорен, закован в цепи, бледен, грязен и худ и сознает, что его жизнь сломана навсегда. Кроме всего этого, Трумов услышит от него прекрасную, волнующую музыку, которая ярко напомнит каторжнику счастливую жизнь человека любимого и свободного: такая музыка угнетет и отравит душу.

Ягдин сознательно откладывал выполнение этого плана на третий год каторги Трумова, чтобы ненавистный ему человек успел за это время изныть под тяжестью страшной судьбы, и теперь он пришел добить Трумова. Каторжник это понял. Пока артист вынимал дорогую скрипку из блестящего золотыми надписями футляра, Трумов хорошо рассмотрел Ягдина. На скрипаче был щегольский белый костюм, желтые ботинки и дорогая панاما. Его пышный бледно-серый галстук походил на букет. Устремив глаза вверх, Ягдин качнулся вперед, одновременно двинул смычком и заиграл. И так как желание его как можно больнее ранить Трумова своим искусством было огромно, то и играл он с высоким, даже для него не всегда доступным совершенством. Он играл небольшие, но сильные вещи классиков: Мендельсона, Бетховена, Шопена, Года, Грига, Рубинштейна, Моцарта. Беспощадное очарование музыки потрясло Трумова, впечатлительность его была к тому же сильно обострена появлением мужа Ольги Васильевны.

– Какая сволочь, все-таки, – тихо сказал Лефтель Трумову.

Трумов не ответил. В нем глухо, но повелительно ворочалась новая сила. Совсем стемнело, он уже не видел лица Ягдина, а видел только сумеречное пятно белой фигуры.

Вдруг звуки, такие знакомые и трогательные, как если бы умершая женщина ясно шептала на ухо: «Я здесь с тобой», заставили его вскочить (арестанты, получив разрешение держаться «вольно», сидели или полулежали). Сжав кулаки, он шагнул вперед; Лефтель схватил его за руку и удержал всем напряжением мускулов.

– Ради бога, Трумов... – быстро сказал он, удержитесь; ведь за это повесят.

Трумов, скрипнув зубами, сдался, но Ягдин продолжал играть любимый романс соперника: «Черный алмаз». Он с намерением заиграл его. Этот романс часто играла Трумову Ольга Васильевна, и Ягдин однажды поймал их встречный взгляд, которому тогда еще не придавал значения. Теперь он усиливал живость воспоминаний каторжника этой простой, но богатой и грустной мелодией. Смычок медленно говорил:

Я в память твоих бесконечных страданий
Принес тебе черный алмаз...

И эту попытку, окаменев, Трумов выдержал до конца. Когда скрипка умолкла и кто-то в углу двора выдохнул всей грудью: «Эхма!» – он нервно рассмеялся, пригнул к себе голову Лефтеля и твердо шепнул:

– Теперь я знаю, что Ягдин сделал жестокую и непростительную ошибку.

Он ничего не прибавил к этому, и слова его стали понятны Лефтелю только на другой день, часов в десять утра, когда, работая в лесу (рубили дрова), он услышал выстрел, увидел многозначительно застывшие усмешки в лицах каторжников и надзирателя с разряженной винтовкой в

руках. Надзиратель, выбегая из лесу на вырубленное место, имел вид растерянный и озабоченный.

– Побег! – пронеслось в лесу.

Действительно, рискуя жизнью, Трумов бежал в тайгу на глазах надзирателя, водившего его к другой партии, где был напильщик, править пилу.

* * *

Прошло после этого полтора года. Вечером в кабинет Ягдина вошел лакей с подносом, на подносе лежали письма и сверток, запечатанный бандеролью.

Музыкант стал рассматривать почту. Одно письмо с австралийской маркой он распечатал раньше других, узнал почерк и, потускнев, стал читать:

«Андрей Леонидович! Наступило время поблагодарить вас за ваш прекрасный концерт, который вы дали мне в прошлом году. Я очень люблю музыку. В вашем исполнении она сделала чудо: освободила меня.

Да, я был потрясен, слушая вас; богатство мелодий, рассказанных вами на дворе Ядринского острога, заставило меня очень глубоко почувствовать всю утраченную мной музыку свободной и деятельной жизни; я сильно снова захотел всего и бежал.

Такова сила искусства, Андрей Леонидович! Вы употребили его как орудие недостойной цели и обманулись. Искусство-творчество никогда не принесет зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы, мудрено ли, что мне, в тогдашнем моем положении, по контрасту, высокая, могущественная музыка стала пожаром, в котором сгорели и прошлые и будущие годы моего заключения.

Особенно спасибо вам за „Черный алмаз“, вы ведь знаете, что любимая мелодия действует сильнее других.

Прощайте, простите за прошлое. Никто не виноват в этой любви. В память странного узла жизни, разрубленного вашим смычком, посылаю „Черный алмаз“!»

Ягдин развернул сверток; в нем были ноты Бремеровского ненавистного романса. Скрипач встал и до утра ходил по кабинету, забрасывая ковер окурками папирос.

Пьер и Суринэ

Мы верим в чудесное, но до такой степени подозрительны сами к себе, что редко признаемся в этой вере. Тот второй «я», которому равно дороги сказки Шехеразады и таинственные опыты Юма, работа молнии, раздевающей человека догола, не расстегнув пуговиц, и сон «в руку», – этот второй «я» нам кажется посторонним, милым, но недалеким субъектом. Мы часто краснеем за него, когда распаленный видениями, имеющими мало общего с законами будней, он тихо соблазняет нас высказать в кругу старых, добрых материалистов что-либо явно революционное, например, веру в то, что душа бессмертна.

Однако, думая, что таинственнее и чудеснее нас самих, т. е. – человека, людей, – на свете нет, что сами мы, и в скептицизме и в легковерии, одинаково непостижимы ни с какой точки зрения, я беру на себя смелость рассказать милым читателям одно из самых потрясающих происшествий, какие случались когда-либо на нашей планете. Это не сказка, не выдумка и не аллегория – это сама жизнь, голая правда жизни, действительное событие, – факт.

В экипаже четырехмачтового парусника «Атлант» служил матросом некто Пьер, человек лет тридцати двух, разгульный, жестокий и злобный парень; большая мускульная сила и смелость создали ему репутацию опасного человека. Он пропивал обычно все жалованье, но был прекрасным, сметливым моряком и дело свое любил. Отрывистая, грубая речь, презрительное

выражение лица и нескрываемое злорадство при виде чужих печалей не особенно располагали дружить с ним; друзей у него не было; а временные приятели, сподвижники кутежей, охладевали к обществу Пьера равномерно с отощанием его кошелька, Пьер не жалел денег, ни своих, ни чужих, вообще он ничего и никого не жалел, нося в душе ту тягостную пустоту, оторванность ото всего, кроме своей профессии, которая, при известных обстоятельствах, приводит к самоубийству, сумасшествию или преступлению.

Да не покажется странным, что этот человек был в связи с девушкой, любившей его той самой совершенной любовью, которую вот уже множество столетий искусство пытается осилить звуками и словами. Девушку звали Суринэ. Она была корсажницей в заведении старухи Вийдук и самой красивой девушкой городка.

Тысячи способов есть познакомиться, нарочно или случайно, и как познакомился Пьер с Суринэ, – мы не старались особенно разузнать. Пламенную любовь Суринэ едва ли можно объяснить качествами избранника, так как Пьер не был пригож, и обветренное лицо его, сильно порченное оспой, не нравилось даже старым портовым шлюхам, лелеющим, по традиции, несбыточную мечту о жантильных «мальчиках». Однако, мы поймем Суринэ, если согласимся признать два типа души: одну – с ненасытной потребностью быть любимой, другую – с не менее сильной потребностью любить, давать и дарить самой. Суринэ своим темпераментом полно выражала вторую категорию. Пьер был очень неблагодарным материалом для сильного женского чувства, поэтому-то, так как любовь дающая идет по линии наибольшего сопротивления, Суринэ и полюбила его. Это слабое объяснение, не более, как шаткая и поспешная догадка, однако в подкрепление ее мы можем привести общеизвестный факт, именно тот, что у негодяев, большей частью, подруги и жены их – человеческие, хорошие женщины (или были такие в прошлом).

Суринэ редко видела Пьера. Проходило иногда от двух до восьми месяцев, пока «Атлант» возвращался в родной порт, где стоял, в зависимости от погоды и груза, – месяц, полтора, – и редко более. Пьер мало оказывал внимания Суринэ. Он никогда не писал ей, не привозил даже безделушки в подарок и, встречаясь после разлуки, вел себя так, как если бы расстался с Суринэ только вчера. Любовь часто тяготила его. Иногда проблески настоящего чувства вспыхивали и в нем, но тогда ему непременно требовалось напиться, чтобы прийти в равновесие, нарушенное несвойственной его характеру неуклюжей любовной мягкостью. Случалось, что Суринэ покупала ему на свои деньги одежду, пропитую накануне, или часами простаивала в полицейском участке, умоляя выпустить Пьера, попавшего туда за скандал. И все-таки, если бы ей поставили выбор: смерть или жизнь без Пьера, она, не задумываясь, предпочла бы смерть.

В конце февраля «Атлант» бросил якорь у Зурбагана, где должен был простоять несколько дней. Неподалеку от порта жила некая Пакута, женщина вольного поведения, вдова почтальона. Пьер всегда, попадая в Зурбаган, бывал у нее, и с ней, пьянствуя, проводил ночь; на этот раз он собрался сделать то же; когда вахта окончилась, он спустился в кубрик, побрился, захватил кошелёк и нож и пришел на улицу Синдиката, к дому Пакуты.

По дороге он выпил в попутном трактире два полных стакана водки и был поэтому нетерпелив, как игрок. Он постучал в наружную дверь; ему не ответили. Подождав немного, он возобновил стук и услышал шаги человека, осторожно сходящего по лестнице.

– Кто это ломится так поздно? – раздался голос вдовы. – Второй час ночи, и я лежу.

– Это я, Пьер, – сказал матрос, – отвори же.

Женщина рассмеялась.

– Ну, голубчик, ты опоздал, – решительно заявила она, – во-первых, я тебя не пущу, а во-вторых, у меня сейчас гости. Кстати – больше не приходи.

И она удалилась.

Пьер в полном бешенстве, не слыша больше звуков шагов и голоса, стал бить в дверь ногами и кулаками с такой силой, что все его тело стонало от сотрясения. Но дверь, заложённая железными засовами, не поддавалась. Пьер впал в иступление: то присаживаясь на тумбу в яростном, кипящем раздумьи, то вскакивая и ломаясь снова, он, наконец, постепенно ослабел. С ним происходило нечто страшное: ноги отяжелели, голова кружилась, сердце глухо возилось в груди, как раздавленная птица, и непреодолимая сонливость владела Пьером. Вскочив через си-

лу, чтобы поднять камень и разбить им окно Пакуты, Пьер зашатался, почувствовал, что теряет сознание, и упал навзничь.

Когда рассвело, матроса подобрал полицейский и отвез в больницу. Врач установил смерть от паралича сердца. Матроса похоронили на кладбище Северного Ручья, и один из его бывших товарищей мелом написал на деревянном кресте: «Пьер, с „Атланта“, умер 28 марта 1892 года». Никто не заплакал на похоронах, и недели через три корабль вернулся в свой порт, где, как всегда, принарядившись, застенчиво и трепеща, Суринэ ждала Пьера.

Она сильно удивилась, когда вечером, развязно постучав в дверь, вошел неизвестный ей, легкомысленного вида и навеселе матрос. Вздохнув из приличия, повертев в руках шапку и высморкавшись, посланец, торопившийся к собутыльникам, решил не маять ни себя, ни девушку и дело покончить разом.

– Только не ревите! – сказал он. – Этим ведь не поможешь. Пьер приказал долго жить. Похоронили мы его в Зурбагане, на кладбище Северного Ручья.

Суринэ, выслушав это, слушала еще, машинально, как матрос приводит подробности и, не устояв, села. Стены, потолок, мебель – все прыгало и ломалось в ее глазах. Сознание покинуло ее. Очнувшись, она уже не видела матроса, но слова его, болезненно громко, гремели в комнате, означая, что Пьер умер. Одна мысль, бесповоротно и сразу, вошла в душу Суринэ: ее место там, где лежит он; взглянуть на его могилу и умереть.

Через несколько дней после этого почтовый пароход «Блеск» бросил якорь у Зурбаганского мола, и с парохода поспешно сошла девушка в черном платье, расспрашивая прохожих, как пройти на кладбище Северного Ручья. Ей указали, и к тому времени, когда солнце садилось, несчастная, в последнем его свете, отыскала свежий, с надписью мелом крест; он стоял недалеко от ограды, в дальнем, самом глухом, зеленом и цветущем углу кладбища.

Суринэ стала на колени, тоскуя и плача, как перед казнью. Ей хотелось молиться, но мысль о молитве настойчиво перебивалась воспоминаниями прошлого, где самые мрачные страницы ее любви казались теперь светлыми праздниками. Она вспомнила, как Пьер подолгу смотрел на нее своим рассеянным, немного косящим взглядом, словно спрашивал у судьбы: «В чем же собственно, дело?», как он дышал, спящий, как неуклюже целовал ее, как, крепко нахмурясь, молчал часами, думая о своем.

Небольшой бугор рыхлой земли с плохо отесанным крестом стоял перед ней мучительной преградой к милому мертвому. Она знала, что может биться головой о крест, и кричать, и звать таинственные силы на помощь – без конца, но и без утешения, что непоправимо страшное свершилось, – знала это умом, но собственное ее сердце билось так живо и больно, что, бессознательно, ощущение своей жизни она переносила и на Пьера, не в силах будучи ясно вообразить, как же это его сердце молчит, когда ее, полное молодого горя, взывает о милосердии? Тихая ярость обезумевшей любви толкала Суринэ к действию; душа ее возмутилась, и мысли, сраженные смертельным несчастьем, перестали быть мыслями человеческими, – грозная тень исступления легла в них, смешав и сокрушив страдающее сознание.

Весь мир стал могилой для Суринэ.

С лицом, мокрым от слез, как от проливного дождя, с глазами, потемневшими от любви, как бы вrostая похолодевшими коленями в ненавистную землю, она громко и безумно сказала:

– Прости же меня, отец! Я умираю! Или он встанет из могилы прежде, чем взойдет солнце, или я не оторвусь от этой земли, пока меня не оставит жизнь.

Она встала, с головой, кружившейся от изнурения и печали, расстегнула верхние пуговицы мрачного своего платья, чтобы хотя телом быть ближе к тому, кто не слышал и не мог слышать ее, и, склонясь к насыпи, крепко, нежно приникла к ней нагой грудью, – так крепко, что губы и лицо ее прижались к земле.

Так, неподвижно обнимая могилу, распростерлась девушка Суринэ в третьем часу утра, на кладбище Северного Ручья.

Какое напряжение воли можем мы представить себе в ее слабом теле? Перо наше отступает перед ее душой в эти минуты, – мы не совершим святотатства, пытаясь заковать в жалкие, неверные слова величайшее роковое усилие любви – все в муках и трепете...

И вот, жизненное тепло молодого тела стало покидать Суринэ. Как лицо, подставленное ледяному ветру, стыла, коченея от земляной сырости, ее белая грудь, посерели недавно еще красные от рыданий щеки; неодолимая слабость постепенно сокращала дыхание, в нервной неровности которого еще слышались могильной траве, осенявшей ее виски, отголоски слез. Измученное тело Суринэ приближалось к обмороку, к бессознательному состоянию, предсмертному упадку превысивших себя сил. Все глуше, все тягостнее сокращалось сердце. Суринэ не могла бы уже понять, если б и захотела, – жива она, бодрствует и что с Пьером, – но, застывая в скорби, тайно чувствовала его под собой – не мертвым.

Тем временем ясное утро весны подбиралось, минуя далекие леса и горы, к кладбищу Северного Ручья, так же тихо и ласково, как нежные пальцы любимой, коснувшись виска друга, пробираются в глубь покорных волос, грея голову, заставляя глаза смеяться, а голове приказывая быть неподвижной, пока длится безмолвный привет.

Еще не взошло солнце, но листья затрепетали уже в ровном и ясном свете, и токи воздушных струй, играя с пространством, были теплы по-утреннему. Шиповник и белена, крапива и анютины глазки, маргаритки и колючий волчец показались, наконец, из предрассветных сумерек во всей нехитрости своей жизни, бесцельной и радостной. Проснулись, мелькая в воздухе, зеленые мухи, любительницы сидеть на солнце, утираясь лапками, умные бисерные глаза ящерицы показались на углу могильной плиты, и невидимые в кустах птицы начали робкую переключку.

Суринэ лежала, замирая в тяжком бессилии. И вот когда показалось ей, что каждый ее вздох мгновенно может оказаться последним, – сорваться и улететь, как пух, оставив грудь бездыханной, – судорожный толчок земли вверх, короткий, но подступивший к сердцу, рассеял ее предсмертное томление...

– Это твое сердце разорвалось, Суринэ, – сказала она, но тут же почувствовала, как мертвое уже – в мыслях ее – сердце стучит в невыразимом волнении, в жутком и страшном трепете.

Она приподнялась, движимая как бы чужой волей, припала ухом к земле, и там, из таинственной глубины праха, услышала темные звуки жизни, шорох и неясное трение, и глухой отзвук голоса, который, может быть, оглашал тесноту гроба воплем, близким к безумию. Не думая о том, слышно ее или нет, Суринэ крикнула всей всколыхнувшейся грудью:

– Пьер! Мой Пьер! Я здесь, и ты сейчас будешь со мной!

Она быстро обежала вокруг могилы, ища какого-нибудь орудия, заступа, кирки, палки, куска доски, чтобы отрыть Пьера. Судьба помогла ей. Накануне гробокопатель оставил неподалеку от Суринэ, у недорытой могилы, железный заступ. Суринэ схватила его и, тяжелая даже для мужчин, земляная работа показалась ей легкой строчкой батиста. По мере того, как она пробивалась к гробу, стук снизу становился все явственнее и настойчивее. Еще верхнюю крышку гроба закрывала, по углам ее, земля, как Суринэ, с силой, какая никогда, ни ранее, ни потом, не вспыхивала в ней, откинула крышку, и Пьер, поднявшись на дрожащих руках, увидел яркие глаза Суринэ, блестящие потрясением. Не медля, как бы боясь, что могила вновь сомкнется над ним, она помогла полубесчувственному ожившему взобраться наверх и здесь, прижав его большое тело к себе маленькими руками, дала утреннему воздуху обновить легкие и кровь Пьера.

Наконец, истощенный, но способный уже говорить и двигаться, он сказал:

– Суринэ, меня хотели похоронить?

– Ты умер и воскрес, Пьер, – прошептала девушка, – молчи же, приди в себя. Мы никому не скажем об этом, для людей это будет страшно подозрительно.

К Пьеру возвращалась память. Он вспомнил ночь перед домом вдовы, но другим воспоминаниям помешало внезапно овладевшее им отвращение к себе – в прошлом, – как к труп, к могиле, на краю которой он сидел со свешенными в нее ногами, и разбросанной повсюду земле. Они встали, удалившись от печального места, и тогда, наконец, взаимные слова, приведенные в некоторый порядок силой возбужденных душ, объяснили каждому то, что оставалось неясным в их положении. Пьер понял все, понял Суринэ и заплакал.

Когда они уходили с кладбища и Пьер, шатаясь, опирался о плечо девушки, над кладбищем ярко горело солнце.

Нам остается сказать немного о их дальнейшей судьбе. Пьер переименовал имя и поселился с

Суринэ на берегу моря, недалеко от Кассета. Через два или три месяца он получил место смотрителя маяка, и Суринэ больше не обижал, чем мы весьма и весьма довольны.

Случаи каталепсии, подобные описанному нами в этом рассказе, как известно, не редки. Но, – спрашиваем мы себя с стесненным от стыда сердцем, – возможно ли, допустимо ли, чтобы действительно, по-настоящему умерший человек ожил таким образом? Мы не сомневаемся, что многие признают самое возникновение такого вопроса симптомом безнадежного слабоумия. Пусть так. Но нам так сильно хочется верить, что это – возможно и, может быть, мы так верим уже в это, что, продолжая краснеть, съезжившись и прося пощады, упорно говорим:

– «Да...»

Июнь 1918 г.

Отшельник Виноградного Пика

I

Я превратился из полного, цветущего человека в растерянное, нервное и желчное существо, которому, чтобы оставить по себе коренную память, следовало бы немедленно и прочно повеситься.

Виной этому был, конечно, я сам. Желая найти некий философический уклон, по которому в пуховиках абсолютной истины мог бы мягко с просветленной душой, скатиться в лоно могилы, я окружил себя десяткам идейных друзей – проклятием моей жизни. По ярости взаимной неприимиримости убеждений друзья мои напоминали свору собак, составленную из разных пород – от дога до фокстерьера.

Чистота и искренность их взглядов не подлежала сомнению. Однако выдерживая в течение десяти лет каждый шаг своей жизни под анализом и контролем приверженцев разнообразнейших философских мировоззрений, я пришел к такому удрученно-жалкому состоянию что без слез не могу вспомнить об этом. Конечным результатом таких дружеских истязаний явилось то, что каждый день с воплем в истерике вопрошал себя: – «Какой смысл твоей жизни? Какой смысл всей вообще жизни? Есть рок или его никогда не было? Зачем жизнь, когда каждого ждет совершеннейшее, немилосердное уничтожение?»

Посвистывая в эту старую дудку, я залез в такие религиозно-метафизические дебри, что извлечь меня оттуда мог бы лишь разве Геркулес, да и то плотно поевший.

– Прекрасно! – сказал я, обдумывая свое некрасивое положение. – Мне нужно пожить с месяц-другой бродячей жизнью.

Покинув друзей, я купил очаровательного, кроткого как заяц, осла, нагрузил его самым необходимым и в продолжение трех недель странствовал в поисках душевного равновесия. Увы, я не находил его. Звездное небо вызывало у меня мысли о загадке пространства; рабочие в поле – вечность социальных контрастов; птицы, деревья, цветы – скорбь о равнодушной природе, которая, когда меня не станет, «будет играть»... В попутных кабачках я, пользуясь случаем, напивался. Осел, которого звали Машей, был, к чести его рода, умнее меня; скоро раскусив мой характер, огорчительное животное стало злоупотреблять моим пристрастием к кабачкам и, завидя вывеску, украшенную плющом, останавливалось само, как пораженное громом. Ни красноречие, ни удары не действовали на него в таких случаях. Волей-неволей я забирался в прохладу уютного кабачка, а Маша, счастливая бездельем, слонялась поблизости.

Раз, проклиная судьбу и осла, выпил я у подножия Виноградного Пика немножко более восьми бутылок холодненького барабонского, и мне захотелось плакаться. Подозвав трактирщика, я горячо и пространно стал объяснять ему, что, будучи человеком, заблудился в поисках истины. Я спросил, – нет ли у него на примете человека праведной и мудрой жизни, к которому я мог бы обратиться за поучением. Я прибавил, что книги мне надоели и что огромное количество страстно убежденных друзей не позволяет мне оставаться на одном месте.

– Видите ли, – сказал трактирщик, из вежливости сплевывая мимо моего сапога, – на ваше счастье такой человек есть в наших местах; зовут его просто Сноп, потому что волосы и борода его совсем рыжие, и живет он полторы версты выше, отшельником; сущий медведь. Страшен, упаси господи! Когда он ко мне приходит, первые его слова: «Я – твой закон и природа! – а затем, погрозит этак пальцем да как рявкнет: – Я тебя насквозь вижу, мошенник!» – так у меня руки и опускаются. Однако же профессор из Зурбагана, собирая бабочек, столкнулся с ним у меня, – заспорили они, черт их знает о чем... – так профессор в конце концов сказал: «Извините!»

Я вздрогнул от радости. Быть может, полудикая эта личность и есть искомый мудрец? Выходило, как будто – да: живет на горе, переспорил профессора, отшельник не осиян ли он свыше? И я, подробно расспросив о дороге, решительно понудил Машу взбираться по зеленым склонам Виноградного Пика.

II

Опасная была эта горная крутая тропинка, уверяю вас! Не будь полупьян, я не отважился бы, пожалуй, продолжать путь. Местами приходилось ползти по узкому неровному карнизу, висящему над пропастью, и я в таких случаях слезал с Маши, пуская ее вперед. С большими трудностями, донельзя усталый и трезвый подобрался я, наконец, к отвесной скале, загородившей дорогу. Ни справа, ни слева пути не было. Тем времена вечерняя прохлада и наползающая темнота нагнали на меня страх, так как ночевать в этом месте, рискуя свалиться в пропасть, я не хотел. Трактирщик ничего не сказал мне об этой скале; он, видимо, не бывал здесь он сказал только, что, следуя по тропинке, я попаду к хижине Снопа.

– Эй, есть ли жив человек?! – закричал я, задрав голову.

Ужасное горное эхо оглушило меня. Вдруг над скалой показалась косматая рыжая голова, рявкнув густым басом:

– Кто тут бродит, говори!

– Не вы ли господин Сноп? – сказал я, невольно сочувствуя трактирщику при виде мохнатых бровей и огненных глаз кирпично-багровой головы.

– Сноп – это я.

– Как же я попаду к вам?

– Зачем?

– Зачем?!.. Гм... Душа болит, господин Сноп.

– А именно?

– Растерянность... Уныние... страх жизни...

– О господи! – вздохнул Сноп.

– Потом: «Куда мы идем?»

– О господи! – вздохнул Сноп.

– Есть ли что за гробом и какое оно?

– О господи! – вздохнул Сноп.

– Зачем жить, если рок?

– О господи! – вздохнул Сноп.

– Зачем жить, если смерть?

– Довольно! – сказал Сноп. – Бедный умалишенный! Полежай сюда, я брошу тебе веревочную лестницу.

Голова скрылась, показалась снова, и к ногам моим упал конец лестницы.

– Осла я втяну потом, – сказал Сноп. – Иди сюда, уродливый сын природы, я тебя насквозь вижу!

Поднявшись, я очутился на лесистом плоскогорье, лицом к лицу со Снопом. Это был мужчина внушительно-высокого роста, босой, массивный, в голубой шерстяной блузе и таких же штанах. Я поклонился.

– Любишь ли ты пироги с мясом? – спросил он.

– Ода.

– А кофе?

– Весьма.

– А холодненькое барабонское?

– Отчасти.

– Врешь! Очень любишь. Получишь ты и то, и другое, и третье, но сперва сядь, выслушай меня, затем поступай, как знаешь.

Мы сели.

– Во-первых, ты заметил, конечно, что у меня веселый характер. Это оттого, что я рассуждаю с точки зрения гордости. Гордость не позволяет мне ломиться в раз навсегда запертые для меня двери, ломиться только потому, что они заперты. Ты скажешь, что думать так значит расписаться в бессилии гордого человеческого ума. Друг мой! Мне тридцать пять лет; тебе тоже не меньше; поняли мы что-нибудь до сих пор в тайнах мироздания? Ничего, Будем ли мы настолько наглы, уверены, что именно за оставшиеся нам пятнадцать – двадцать лет уясним все? Ты, не краснея, скажешь, что попасть на луну не можешь, если в таких пустяках ты не чувствуешь себя униженным, то можешь, также не краснея, сказать, что всякие бесконечности тебе не по силам. «Когда-нибудь» – «Когда-нибудь»... – это другое дело; будем говорить о себе: ведь живем мы?!

Ты умрешь. Это неизбежно. Есть ли смысл бояться неизбежного?

Наоборот, – в виду неизбежности естественного для всех конца, следует жить густо и смело, как свойственно человеческой природе. Время – жизнь. Ешь много и вкусно, спи крепко, люби горячо и нежно, в дружбе и любви иди до конца; на удар отвечай ударом, на привет – приветом, и все, что не оскорбляет и не обижает других, разрешай себе полной рукой.

Поверь мне, – только в том и есть смысл жизни, что окружает тебя. Бесчисленное множество комбинаций представлено тебе: явлений, красок, предметов, людей, работ; найди свою комбинацию.

Пустота ли за гробом, жизнь ли – ты и в том и в другом случае ничего не теряешь. В первом потому, что терять некому, во втором – ясно, почему. Но представь, что ты бессмертен, – не ломал бы ты себе голову над этой загадкой.

Так или иначе – ты живешь. Так или иначе – умрешь. Так или иначе – ты не знаешь и не узнаешь, что ждет тебя за последним вздохом. Гордо повернись спиной к этой штуке. Зачем унижаться, – бессмысленно, бесплодно; будь горд; смело живи и бестрепетно умирай.

Он встал, скрылся и, пока я переваривал новую для меня точку зрения гордости, вернулся с дымящимся пирогом и – о, боже! – с дюжиной холодненького барабонского. Затем он развел костер, мы сидели под кедром, на краю пропасти, ели, пили и говорили о медвежьих охотах. Возшла луна. Голубые призраки снеговых вершин дымились мутным сиянием. Мне было весело. Осел, втащенный Снопом на плоскогорье, дремал стоя, и уши его смешно дергались, когда громкое восклицание касалось их сонного мира.

Сноп принес из хижины еще дюжину барабонского и гитару.

Низким грудным голосом запел он старую итальянскую песенку:

Море чуть зыблется. Здесь на просторе,

Как рыбаки, – вы все сбросите горе;

И да покинут вас скорби земные!

Санта Лючия! Санта Лючия!!!

Тайна дома № 41

Петроградский рассказ

I. Краткое вступление. Шкипер Мустаняйнен и Григорий Хибаж

Велик город Петроград, господа, и много творится в нем диковинных и непонятных вещей. Часть из них становится, рано или поздно достоянием полиции, получая, так сказать, разъяснение и свое место в этом мире; но до многого и полиция не доберется. Только мы, люди пишущие, искушенные опытом и гуляющие по улице без формы, можем иногда безвредно для обывателей, проникнуть в секретные дела многочисленных петроградских семейств и вывести оттуда на свет божий и страшное и поучительное.

Рано утром, против 10-й линии Васильевского острова у парохода «Юкола», только что прибывшего из Гельсингфорса с дорогим, по нашему времени, грузом, — бумаги для издательства «Скальпированный футурист», стоял добренький, старенький шкипер Мустаняйнен. Он стоял на солнечной набережной, сдвинув несколько на затылок блинообразную кожаную фуражку, курил трубочку-носогрейку и все его румяное, обрамленное седой щетиной лицо выражало чрезвычайное благодушие. За скорость он получил с издательства хороший куртаж, вчера выпил шесть бутылочек «калия», разбавив пиво для крепости сахарным песком, и выиграл в карты у боцмана Кананяйнена полторы марки. Утро занялось тихое и теплое. Мустаняйнен курил и пел:

Ветер бил, и я не пуст,
Когда плил я в Таваст густ,
Ветер бил и лайба плил,
И я очень рада бил.

Набережная представляла обычную картину неторопливого уличного движения; катились подводы с бочками, трусилы извозчики, пешеходы, с опасностью для жизни, устремлялись наперерез трамваю, на углу дремал газетчик. Посмотрев в сторону Николаевского моста, шкипер увидел человека, который являл собой странную и значительную, по военному времени, картину, буйно размахивая руками, мотая головой, шел он, шатаясь, как под градом ударов, в определенном, но в то же время и в неопределенном направлении ходом коня, постепенно приближаясь к Мустаняйнену, смотревшему на него с чувством благоговейной зависти. «Перкеле!» — сказал шкипер, вспоминая старые времена, когда по снежной финской дорожке летел он, пьяный как дым, на сытой лошадке, и рвал вожжи, и пел сколько хотелось.

В силу этих воспоминаний Мустаняйнен проникся симпатией к неизвестному, издалека рассматривая счастливца зоркими морщинистыми глазами. «Счастливец» был в поношенной чиновничьей форме, невысок, сутуловат и небрит, а физиономией напоминал бабу, которой приклеили бачки и щетинистые усы. Было ему лет сорок — сорок пять. Подойдя к Мустаняйнену, чиновник утвердил расплзающиеся ноги на мостовой, сделал рукой неопределенное заверение в неких невраждебных, однако, чувствах и спросил:

— Друг мой!.. Брат мой! Несчастный!.. Страдающий брат!..

— Ити постелька домой! — ласково сказал Мустаняйнен.

— Постелька! — презрительно сказал чиновник, насупившись. — Эх ты... Свердруп маринованный! По-лу-ев-ро-па! А я, братец мой, жалование пропиваю, и пропитой сей нисколько, понимаешь, не жалко. Зачем двадцатое? Почему двадцатое? Число звериное! Я благ-а-род-ный человек, вейка! Хочешь выпить?

— Пирта нет, — недоверчиво сказал Мустаняйнен, косясь на неоттопыренные борты чиновничьего пиджака.

Но чиновник погрузился в раздумье. Похмельная борьба терзала его. С одной стороны — давали себя чувствовать угрызения совести; пропил жалование, семья ждет и тому подобное; с другой — острое возбуждение двух суток требовало продолжения, то есть опять напиться и, шатаясь по городу, попадая из одного места в другое, жить фантастикой пьяных нелепостей. Запустив руку в задний карман брюк, вытащил он зажатые меж скрюченных пальцев — одну красненькую и две трешки, из складок которых, подобно бабочкам, запорхали синие и желтые марки.

— Хибаж, — сказал чиновник, тупо смотря на запестревшую мостовую, — Григорий Авенантович Хибаж. Это я. Видишь, тут есть еще на... на... п... политуру! Выпьем?!

— Нисего, — сказал Мустаняйнен, аккуратно поднимая марки и вручая их стоявшему под

углом Пизанской башни Хибажу, – берите лосадка: ридцать копеек, и я вас домой провожу.

Будь Хибаж менее пьян, Мустаняйнен не отказался бы, разумеется, от дарового угощения. Однако чиновник мог дико заорать на Невском или выкинуть что-нибудь вообще, косвенное полиции. Поэтому, настроившись сострадательно к Хибажу, шкипер, благо день был свободный, решил доставить Хибажу домой.

– А те сивете? – спросил он, махая рукой порожнему извозчику, свернувшему, благодаря таксе, не совсем охотно, но почин дорожке денег. Раскаяние взяло верх. Спрятав деньги, Хибаж, смазав себя пальцами по лицу, чем как бы стряхивал прошлое, довольно внятно объяснил адрес. Он жил в собственном деревянном домике, в глухом углу Гавани; номер дома был 41. Хибаж и Мустаняйнен уселись.

Известно, что такое пьяный разговор и каково его слушать трезвому. Мустаняйнен терпеливо курил трубку и завистливо, лъстиво улыбался, слушая перечисление фунтов политуры, бутылок спирта и вина, о которых Хибаж рассказывал ему безо всякого злого умысла, терзая сердце Мустаняйнена неутомимой алчбой. Подробно описывал он все встречи, разговоры, обиды и услаждения. Завидев на Большом проспекте знакомую кофейню, которую держал Симаняйнен, шкипер вспомнил, что нужно завернуть к земляку и сообщить ему о скоропостижной и неблагоприятной смерти Ивайнена, деверя хозяина заведения.

Сделав соответствующее заявление Хибажу, Мустаняйнен воскликнул: «Иси-восцик, ти стой немноско!» – и развалистой походкой моряка скрылся в кофейне. Немного он пробыл там, – минут десять, пятнадцать, – но когда вышел, увидел, к своему удивлению, пустую пролетку. Хибаж исчез. «Исивосцик! – закричал шкипер. – А те сетевал каспа-дин? Сорт!» Извозчик посмотрел через плечо на пустое сиденье, дерзко пожал ватными плечами и буркнул:

– Сам черт! Я не караулить его поставлен. Сбежал, надыть, как полагается!

Куда ни смотрел шкипер, – нигде не было видно Хибажу.

II. № 41. Марья Лукьяновна и Мустаняйнен за ангела

Скажем откровенно, тайная надежда заполучить в конце концов огненный стакан спирта не покидала шкипера до этой минуты. Близкое соседство нагруженного напитками человека смущало шкипера, заставив его даже пожалеть, что он везет Хибажу домой, а не в другое, более теплое место. Хибаж исчез, Мустаняйнен безнадежно развел руками.

Однако, предусмотрительно заставив чиновника заплатить извозчику вперед, шкипер считал своим долгом попасть в дом 41 и оповестить семейство, если таковое окажется, о неудачной опеке над Григорием Авенантовичем. «Посол!» – сказал он, куколкой усаживаясь в пролетку.

Через полчаса лошадь остановилась перед желтым одноэтажным домиком, с крошечным мезонином и узкой калиткой, Мустаняйнен дернул ручку проволочного звонка. Было слышно, как со всех ног бросились отпирать, и на пороге стремительно появилась еще молодая, довольно миловидная женщина, простоволосая, в затрапезном платье, с тряпкой в руках; сбоку по косякам двери мгновенно прилипли, как часовые, два шустрых, босоногих мальчика. Все трое выстрелили глазами в шкипера, и на лицо женщины, согнав краску оживления, легла тень горькой усталости.

– Что скажете? – спросила она.

– Эт-та... сивет каспадин Кибаж? – заговорил шкипер и, получив утвердительный вздох-кивок, продолжал, широко улыбаясь: – Я бил резвый, а он посол водку пить. Я сказал каспадин, идти спать. Я возил, я посол копейня, немного ходил, приходил улица, – каспадин земля ровалился (В землю провалился). Риехал вам.

– Ах, ах, погубитель, злодей! – закричала Марья Лукьяновна. – Так вы тоже с ним путались?! Стыдно, господин старичок! У меня дети, быюсь, как рыба об лед. Пьяница мой, почитай, каждое двадцатое половину, а то и больше, пропьет! Эх вы! Пожалели бы вы бедных людей!

Она громко заплакала. Разговор происходил в крошечной, полутемной передней. Мустаняйнен растерялся. Кое-как втолковал он наконец Марье Лукьяновне, что, встретив пьяного Хибажу, пожелал избавить его от сторублевого штрафа за появление в пьяном виде, – но что тот

скрылся. Марья Лукьяновна, слушая, утирала слезы и наконец утерла их совсем, в то время как два отпрыска рода Хибажей, награждая друг друга щипками, мстительно шептались о чем-то. Заревев, оба убежали.

– Ради бога, сделайте милость, – взмолилась женщина, – разыщите вы мне моего Гришу. Вы его видели, знаете, а он, наверное, к «Повилику» пошел, на биллиардах проклятых последние гроши заколачивать. Мне – женщина я – нельзя по трактирам ходить, неудобно. Сделайте милость. Скажите, что я слезами вся изошла. Ей-богу, не сплю. Я вам и денег на извозчика дам. Поверите ли, до того дошло, что мезонинчик наш субъекту какому-то сдала, одноштаннику; все хоть пятнадцать рублей в месяц на хлеб. Вон он запел, басистый!

Сквозь ветхий потолок действительно раздавалось глухое, ворчливое пенье и явственно разобралось:

«Воскресни ж, Озирис, явился к нам вновь
В сердцах наших править и мир и любовь!»

– Второй день живет, все про мир да любовь поет, – продолжала женщина, – а денег только пять целковых уплатил, остальные, говорит, из Самары телеграфом вышлют. Ах, господин... уж согласитесь доброе дело с концом сделать! Представьте разбойника!

Отчасти плененный некоторыми прелестями Марьи Лукьяновны, отчасти вновь вспыхнув тайной надеждой, в связи с приключением, где-то как-то заполучить наконец оседлавший воображение огненный стакан «пир-та», Мустаяйнен, потоптавшись, сказал:

– Та. Се телано, а вы, мамуска, не упиваетесь. Я поехала.

Взяв рубль мелочи, выслушав пылкие благодарности и благословения, Мустаяйнен вышел на улицу, направляясь к трамваю. Адрес «Повилика» Марья Лукьяновна записала ему на бумажке.

Случайно подняв взгляд, шкипер увидел в открытом окне мезонинчика скуластое, курносое, большеротое, с ввалившимися глазами, лицо взлохмаченного, длинноволосого брюнета; субъект этот, нахмурившись, смотрел на финна тоскливым пронзительным взглядом.

– Какой сусело (чучело), – вполголоса пробормотал шкипер, сворачивая за угол.

III. Хибаж кинулся в пространство

Должно быть, за двадцать лет жизни с мужем Марья Лукьяновна хорошо изучила привычки своего повелителя, так как Хибаж действительно отправился в «Повилик». Произошло это так.

Сидя на извозчике в ожидании Мустаяйнена, Хибаж заметил, что правая его нога свесилась с пролетки и, находясь без точки опоры, то выпрямляется, то сгибается. Такая необеспеченность ноги перевела мысли Хибажа на все свое развинченное запутанное положение, неизбежную встречу с женой, растрату жалованья, выговор по службе и покаянное, на целую неделю, настроение. Слабые натуры охотнее бросаются назад, в тину порока, чем вперед, к мужественной расплате за совершенное – единственно из трусости, а не из молодечества. Оттянуть страшный момент объяснений и покаянной тоски, хотя бы ценой новых проступков, – было единственным желанием Хибажа, когда, вспомнив пропитые восемьдесят рублей решил он, с легкомыслием негра, пытающегося потереться носом с собственным отражением в зеркале – выиграть эти восемьдесят рублей на биллиарде, – игра, которую он знал достаточно плохо для того, чтобы быть всегда в проигрыше.

Зная, что пьяного, по крайней мере – наружно, его в ресторан не пустят, Хибаж, послав Мустаяйнена мысленно в самые глубины Финляндии, осторожно вылез из пролетки и с проворством, какого трудно было ожидать от пожилого грузного человека, шмыгнув за угол, нанял нового ваньку, которому повелел ехать в баню. Там он посидел минут десять в холодной ванне, выпил шесть полбутылок содовой и, совершенно перестав шататься, но с красными глазами, и, по существу, пьяный, как кот, нализавшийся валерьяновых капель, поехал в ресторан «Пови-

лик», вспоминая добродушного шкипера с жестокостью лошадиной щетки. Он был возбужден до крайности и мысленно швырял казенные дела в голову трезвых прохожих.

«Повилик»! Кто из петроградцев не знает этого желтого двухэтажного зданья, приютившегося с незапамятных времен в центре города?! Когда-то здесь сживали Некрасов и Белинский, Достоевский и Герцен. Буйная жизнь 20-го века похитила его лавры, поместив их в суповых судках ресторанной периферии во всевозможных «Шато», «Ярах», и «Москвах», и «Белградах». Но еще до войны, утром и после четырех дня, можно было видеть у стойки плотную массу вспотевших от жевания, затылков, кокард и форменных петлиц служащих всевозможных ведомств, утолявших до- и послеслужебный аппетит горячими готовыми закусками. И пирожками, и рюмками, и кружками пива. Все это, выпитое когда-то, образовало бы теперь новую Лету, реку забвения, в которой без труда погибла бы память десяти поколений. Теперь «Повилик» дорог, невкусен и избегаем. Знаменитые пирожки ссохлись до величины американского ореха. Однако, внизу, в бильiardной, как раньше, так и теперь, жизнь всецело подчинена законам столкновения упругих тел и тому набившему оскмину правилу, что «угол падения равен углу отражения».

По широкому тротуару, отрезавшему мир от подвальных окошек бильiardной, переливается, сверкая всеми оттенками жизни, толпа наших дней: идут когорты бледных, гулящих, с сестрицей сбоку, постукивающих костылями раненых; звенят шпоры; кружечники, высматривая лицо подорожее, держат наготове значок, газетчики суют товар, не смотря в лицо покупателю, — сами желают знать — как под Верденом; а в тесных двух комнатах со сводчатым потолком и каторжным воздухом сорок — пятьдесят человек фанатически катают шары, волнуясь, раздражаясь и радуясь, как дети, если «с выходом под пятнадцатого» десятка летит под лузу. Однако подробно описывать нравы и постоянных посетителей (а это очень любопытный сюжет) мы здесь не будем, из уважения к Хибажу, спускающемуся в этот момент по крутой железной лестнице вниз.

Хибаж, на его несчастье, сразу увидел свободный бильiard, на котором, по плохости его, настоящие игроки упражнялись не очень охотно. Не успел Хибаж остановиться у бильiardа, как, по томительному выражению лица, трое профессионалов сразу учуяли «пижона», воспылавшего несбыточной надеждой выиграть в «Повилике». Хибаж часто ходил сюда, вечно проигрывал и всегда объяснял это чистой случайностью.

— Сыграем партийку! — сказал, потирая руки, сладенько улыбаясь и кривя набок голову, маленький прилизанный человечек, напоминающий мышь в сюртуке.

Сзади его, тоже «готовые к услугам», стояли двое: ловкий бритый человек с пустыми быстрыми глазами и выражением лица, как бы говорящим: «А мне все равно». Этот, играя левой рукой, был лучшим игроком в «Повилике»: третий, неуклюжий, развинченный молодой студент, готовившийся в «чемпионы» и игравший тоже неплохо, сильнее всех рвался к Хибажу, обещая самую приличную «фору».

Хибаж остановился на левше. Здесь он мог получить тридцать очков вперед и выиграть «фуксом». Левша действительно, поторговавшись, дал, с видом жертвы, Хибажу тридцать очков и, условившись играть по пяти рублей партию, принялся за работу. Изящно поджимая губы, пошучивая и как бы шая, повел он Хибажу на прочной веревочке различных «ловушек», суть которых состояла в том, чтобы партнер, играя какого-нибудь шара, не сыграл его, а левше подставлял бы в разных местах бильiardа удобно и ловко играемые шары.

Хибаж буйно двигал кием, промахивался и плевался и на глазах толпы хихикающих зрителей проигрывал партию за партией. Он пробовал вырваться из цепких рук игрока, пробовал вести игру «на отыгрыш», «накатывать», «кидаться», но ничего не помогало. Левша играл, как коваль: шар за шаром летел от бойкого его кия в лузу, и не успевал Хибаж сделать 40–50 очков, как у артиста было 70 с хвостиком. Злоба, досада и усталость возвели похмельное состояние чиновника в степень адской пытки, и оставшиеся у него теперь восемь — десять рублей охотно отдал бы он за сотку спирта.

Вдруг кто-то легонько хлопнул его по плечу, он обернулся и увидел сияющее лицо Муста-няйна, старик радовался, что нашел своего случайного знакомого.

IV. Балмушах, политуре и других гадостях

Прежде чем рассказать о действительно страшных явлениях, перевернувших всю жизнь Хибажа, мы должны вместе с героем посетить одно место – место злачное. Нам нельзя обойти его. Целый год место это страдалось с Хибажем; показав место, мы тем самым покажем, от чего спасся Хибаж. Рассказ наш не веселый по существу, нет.

– Вейка! – удивился Хибаж, тоже немного радуясь, что хоть нечто похожее на товарища здесь с ним. – Как это вы меня нашли, позвольте узнать?

Мустаняйнен, таинственно улыбаясь, шептал:

– Вася сена росила риехать, осень плакает.

– Ах, так?! – Хибаж рассеянно смотрел, как левша, сколачивая шар за шаром, оканчивал партию.

Страх напал на чиновника. Он ведь проиграл еще двадцать рублей, почти все. «Вернусь пьяный как дым, легче брань снести, – подумал Хибаж, – а на жизнь возьму жалованье вперед». Просветлев, бросил он кий, уплатил проигрыш, взял покорно лукаво улыбающегося Мустаняйнена за рукав, вышел на Невский и сказал извозчику такой сложный адрес из двух улиц и номеров, что извозчик, почесав за ухом, не сразу, но догадался:

– Это в Балмуши, што ль?

– В они самые.

– Опять вотка пить? – сказал вслух укоризненно Мустаняйнен в то время как болтавшаяся между добродетелью и спиртом душа его утвердительно повторила: «Та, опять».

– Я тебя угощаю, – мрачно сказал Хибаж шкиперу. – Ты меня не оставишь?

– Мой – никокта! – кротко воркнул старик, и глазки его замаслились.

«Балмуши» – красный кирпичный дом, грязный и мрачный, с извилистым проходным двором, помещается поперек двух захолустных рабочих улиц. Каменные ворота аркой с одной улицы вечно животрепещут разнокалиберным, входящим и выходящим народом, картуз, косоворотка, сборные голенища и пирамидальная шапка татарина-старьевщика постоянно мелькают здесь, редко разнообразясь скошенными набок галстуком и «монополем», с трудом застегнутым красными мозолистыми руками. Внутри двора сушилось белье и мрачно, придерживаясь за стенку, сосредоточенно передвигались «ханжисты».

Когда Хибаж и Мустаняйнен подъехали к «Балмушам», у ворот, грызя семечки, стояло человек шесть парней; два татарина с пустыми мешками и несколько зоркоглазых, окладисто-бородатых типов картузной складки. Из этой толпы вышли двое; один таинственно зашептал Хибажу:

– Спиртику? А то, может, английской горькой?

– А почему? – хмуро спросил Хибаж, зная, что все равно денег не хватит.

– Горькая – тринадцать, господин.

– А спирт?

– Этот шестнадцать.

– Да, поди, «балованный»?

– Упаси господи! Никогда водой не разводил. Может, какие другие «балуют», а мы нет!

– Четырнадцать, полбутылки беру, – сказал Хибаж. Бородач хладнокровно сплюнул и вышел из ворот на улицу. Второй тип предложил то же самое и по той же цене.

– Идем! – сказал Хибаж шкиперу. – Я знаю тут «такую» квартиру.

На одной из площадок грязной, полутемной лестницы Хибаж, не звоня, так как входы в этом доме почти никогда не запирались, потянул затхлую дверь, и компаньоны оказались в крошечной квартире полурабочего, полумещанского типа. Ситцевый полог, пестрое лоскутное одеяло, иконы с бумажными цветами, табуреты, самовар и на желтом полу – дорожка – все отдавало семейственностью.

Появление старухи цыганского типа, утвердительно закивавшей, бормоча: «Есть, есть!» – оживило шкипера и буквально ошастливило чиновника, трясшегося, как в лихорадке.

– Почему?

– Да уж для вас, барин, берегла. «Баловенева» в ем и курице не испить. Четырнадцать бумаг кладите – и ваша.

– Слушай, Боковица, – сказал Хибаж, – полбутылки дашь?

– Отолью способно.

– И фунт политуры, это в кредит. Идет? Некуда идти, Боковица.

– Ну, ну, отвернитесь!

Приятели, смекнув, что баба не хочет показывать, откуда вынет драгоценные соки, устались в окно.

– Теловой папуска! – сказал, глотая слюну, Мустаняйнен.

Сзади их зазвякало стекло. Оба повернулись, как на шарнире. В одной руке Боковица держала белую пол-бутылку, в другой – темно-зеленую с политурой. Закуску подала она обычную в «Балмушах»: щепоть клюквы на грязном блюдечке и соль. Хибаж попробовал спирт и обжег горло. Волнуясь, то проливая, то недоливая, разводил он в стаканах водой спирт. Дал Мустаняйнену и выпил блаженно сам. Дух его поднялся. Мустаняйнен выпил, как вздохнул, и, смакуя момент, даже зажмурился.

Пока они, теперь уже не торопясь, выпивали, разговаривая с азартом все о том же, то есть где, и как, и за сколько изловчиться добыть напитки, причем Хибаж не устал делать трагические отступления в сторону символа жизни и высоких материй, Боковица, на их глазах и с помощью вошедшей дочери, молодой, иконописного типа женщины с пустыми темными глазами и загаром во всю щеку, «очищала» густую желтую политуру, сильно вонявшую крепким смолистым запахом. Бутылку с политурой женщины, подсыпав в нее соли и разведя водой, долго трясли на коленях, отчего «шерлак» свернулся по стенкам бутылки в виде лохматого маслянистого студня, а спирт, отдельно от него, принял вид мутной, как сыворотка, жидкости. Три раза пропускали его сквозь вату, в результате чего получилась противно-соленая, с смолистым запахом и привкусом жидкость; она, несмотря на очистку, преисправно склеивала пальцы и просилась «в Ригу».

Мустаняйнен рассчитывал, выпив сам и дав опохмелиться Хибажу, доставить чиновника домой, но, после политуры и спирта, все изменилось перед его глазами, хотелось «жулять». У него было с собой около полсотни рублей, и показались они ему, обыкновенно скупому, такими маленькими, не нужными ни на что, кроме «тевоська» и «пирта», и он был уже пьян.

Хибаж твердил:

– Я чиновник, но у меня есть душа! Безумно скорбит она!.. Вижу бессилие свое и трепещу!.. Доколе, о господи? Где-то есть... Испания... меморандум... глетчеры... а я?! Какая ж это жизнь?

Мустаняйнен же, пытаясь петь по-русски, выводил заунывно одну-единственную памятную строку:

– «А-во поле пыль, стоял...» – И нараспев тем же мотивом заканчивал: – А-а, тут мой песенка – и сконсялся.

V. Жалобы Ариадны

Оставим их... Наступил вечер. Марья Лукьяновна в бессильной тоске о загулявшем муже своем изныла. Было около десяти часов. Мальчики спали. Марья Лукьяновна сидела у раскрытого окна и плакала. Наверху, в мезонинчике, окно было тоже открыто. По комнате, совершенно пустой, если не считать скудной мебели и жильцовского сундука, шагал из угла в угол описанный нами выше волосатый мужчина в грязном светлом костюме, оживленном огромным радужно-ярким галстуком. Задерживаясь у окна, он каждый раз слышал монотонный вздыхающий плач и энергично плевался. Если бы читатель знал, чем был занят в это время мозг мужчины, он весьма удивился бы. Об этом мы сообщим в конце правдивого нашего повествования, а пока заметим, что плач весьма раздражал мужчину.

Он сошел по лестнице вниз, усмотрел в сумерках сидящую перед окном хозяйку, закурил и оглушительно крякнул.

– Кто тут? – встрепелась Марья Лукьяновна, прижимая к носу платок.

– Я. Искандер-Амурский!

– Вы уж меня извините, голова разболелась, растрепалась.

– Обреветесь! – грозно сказал Искандеров, приближаясь аршинными шагами к окну.

Женщина вздрогнула и, чувствуя, что ее жалеют, разразилась рыданиями.

– Чего плачете? – тоном волостного писаря спросил Искандеров.

– Чего?! – Она махнула рукой. – Да... в петлю от такой жизни... загубитель мой... злодей, двадцатник несчастный... дети... обувь, одеть... пьяница... трое суток!..

Она жаловалась долго и основательно. Хибаж затрепетал бы, услышав ее грозную речь. Искандеров, воздевая бороду траурными пальцами вверх, задумчиво посасывал ее, сочувствуя той и другой стороне.

– Угум! – сказал он. – Положение не из красивых. Ну, я пойду. Одначе все поправлю.

Женщина безнадежно фыркнула.

– Это как же?

– А само собой.

– Ну вот еще!

– Совесть-то у него есть, я думаю.

– Ни на вот эстолько.

– Интуиция – враг рекламы, – важно сказал Искандеров, – убедительно рафинирует мой мозг в смысле благополучия.

– Дай-то бог!

– Спокойной вам ночи и приятного сна, – заключил Искандеров, отправляясь наверх.

Через полчаса он услышал сначала бурный звонок и затем, после короткой паузы, – звонок тихий, виноватый. Хибаж долго стоял в передней, придерживаясь за вешалку и пытаясь острить, даже петь, но гневное заплаканное лицо жены, сразу сбило его искусственно легкомысленное настроение.

Быстрым, тяжелым шепотом, чтобы не разбудить детей, Марья Лукьяновна «отвела душу» с помощью таких уязвляющих, изничтожающих выражений, что чиновник упал духом и залепетал нечто бессмысленное. Особенно мучили его ссылки на керосин, ситный, белье, мясо и тому подобные вещи, приобретающие в бедных семействах значение талисманов.

Нападение кончилось. Разбитый упреками, хмелем и раскаянием, Хибаж лег наконец в постель, поставленную ему в крошечной гостиной в углу у окна. Жена не захотела, чтобы спальня «воняла» денатуратом, по ее выражению. Хибаж лежал, курил и тяжело вздыхал. Обостренный пьянством слух его ловил каждый шорох, малейшее потрескивание обоев, и звуки эти, в тьме, в связи с хаосом нелепых обрывков трехсуточной кутерьмы, выплывавших в воспоминании, казались нестерпимо жуткими. Закрыв глаза, он мгновенно увидел бурых лошадей с мальчиками, повисшими на косматых гривах, голых женщин, медведей, штыковой бой, страшные, гримасничающие рожи, и все это так ясно, как муху на пальце. Не стерпев, Хибаж закурил новую папиросу, лежа с открытыми глазами. Болели почки, спина, ломило кости рук, в висках стучал пульс и мучительное ощущение отравленности заставляло тоскливо ворочаться с боку на бок.

Вдруг он услышал шорох – шорох длительный и сухой, как если бы кто-то шел по газетным листам. Сердце его застучало, подобно швейной машине. Он уронил спички, но побоялся нагнуться за ними.

VI. Таинственные явления

Все окна в доме были закрыты. Закрыты были также обе двери гостиной. Раздался мелкий, быстрый стук, закончившийся громким резким ударом в не уловимое испуганным слухом место одной из стен. Только сознательное существо могло стучать так... Хибаж замер. Шорох и стук не возобновились, но, весь еще под впечатлением странных и страшных звуков, чиновник, мгновенно взвинтив свое без того расстроенное воображение разбойниками, мертвецами и привидениями, сел на кровати, трясаясь в ознобе. Мурашки забегали у него в спине, когда тот же стук, но

глуше и удаленнее раздался три раза по три:

«Кок-кок-кок!» – «Кок-кок-кок!» – «Кок-кок-кок!» – и, смолкнув, уступил место тихому мелодическому позваниванию.

Удерживаясь от крика, Хибаж чиркнул спичкой по коробке, плясавшей вместе с рукой. Огонь осветил знакомую обстановку, в которой, в общем, не было ничего страшного, но каждый отдельный предмет выглядел настороженно и грозно. Нельзя было определить, откуда раздается это глухое, жалобное «глон-глон!» – то перебиваясь, в стонущем, унылом слиянии, то отдельно, с мучительно долгими и потому еще более страшными паузами. Все смолкло, спичка, четвертая уже по счету, сгорела в пальцах, и Хибаж снова очутился впотьмах. В это время под окном раздались твердые, редкие, густые шаги, такие тяжелые, как будто при каждом опускании нога идущего пробивала землю: «Топ! Топ! Топ!» Собрав все мужество, Хибаж распахнул окно. Ничто не двигалось в темноте; дул умеренный ветер, шелестела черемуха, но очень близко по-прежнему раздавалось страшное «топ-топ!», и Хибаж вскрикнул. Ничего не понимая, даже не пытаясь понять, он притворил окно и бросился в спальню. Здесь слышалось ровное дыхание женщины детей. Хибаж осветил кровать, растолкал жену.

– Маша, – воскликнул он, стараясь не смотреть в ее заплаканные злые глаза, – ради господ бога, я не усну! У нас в доме неблагополучно. – Она встревожилась, села. – Кто-то ходит под окном, – задыхаясь, шептал Хибаж, – где-то звонят, шуршит везде, стуки раздаются... честное слово. Ты не слыхала?

– Спала я как убитая... повозись с тобой! – Марья Лукьяновна, надев туфли и накиннув на голые плечи платок, зажгла свечу. – Ну, пойдем смотреть. Если только ты не с пьяных глаз это... канительщик... на мою голову...

Они обошли комнаты, кухню, вышли за дверь и, наконец, ободренные тишиной, обошли дом, но таинственные звуки больше не раздавались. Несколько раз, удивленный и даже слегка раздраженный этим, потому что его страх оказался бездоказательным, Хибаж шептал, принимая шорох деревьев за начало таинственных явлений:

– Вот, вот! Слышишь? – Но в ответ получал «дурака» и успокаивался.

Наконец они вернулись в гостиную.

– Вот что, – сурово заговорила Марья Лукьяновна, – допился ты до чертиков. Ложись и спи.

Хибаж, вздохнув, лег. Но упросил жену оставить ему свечу.

– Свечи полтинник фунт, – сказала женщина и ушла.

Хибаж лежал, безостановочно куря, и думал о таинственных звуках. «Стало быть, галлюцинация, – грустно заключил он, – допился, стало быть». Наконец он, почти успокоенный тишиной, начал дремать. Свеча догорела. Остаток фитиля, свернувшись набок, лег в растопленный стеарин, зашипел и погас.

Хибаж дремал. Вдруг он вскочил с выпученными глазами и упавшим от страха сердцем. Совершенно отчетливо в тишине раздался полувздых, полушепот, и шепот этот сказал мрачно: «Погибнешь! Погибнешь!» Готовый заплакать, чиновник, не смея ни закричать, ни пойти снова к жене, повалился ничком на кровать, с ужасом ожидая повторения страшных слов. Но больше ничего не было.

– Неужели от духов? Знамение!? – трясся Хибаж, крестясь и ежась под одеялом. – Господи боже мой! А вдруг это дедушка?.. Капли в рот спиртного не брал... Или мамаша!.. Восемнадцать лет было ведь мне, а из пивной за уши таскала... Охо-хо-о!.. Значит, пропал я... «Погибнешь, говорит, ты!» Нет, надо бросить, к дьяволу!.. Сорок мне, рано еще помирать, ведь... мальчики учиться хотят... Людей сделаю!.. Брошу, – повторил он с настоящим облегчением, чувствуя, что принял веское, твердое решение. Но ему показалось, что об этом нужно довести до сведения таинственных сил, дабы укротить и смягчить их. Весь мир представился ему теперь наполненным бестелесными, всезнающими, мрачными и безжалостными существами, от которых не скроешься? – Я не буду, – шепотом заявил из-под одеяла Хибаж, – духи!.. Дедушка, Петр Семенович... а может, Наполеон... обещаюсь и клянусь спасением грешной души Господи, прости и помилуй!

Он казался себе существом отвратительно скотским и грязным и, не замечая слез, плакал.

Прошел час. Утомленный, разбитый и потрясенный, Хибаж наконец уснул.

Утром, за самоваром, Хибаж сидел как в воду опущенный. Прежде, чем проснулись жена и дети, он походил по двору, тщательно осматривая дом, но ничего не заметил. Внутри комнат тоже не оказалось ничего подозрительного.

– Я жильца пустила, – сказала Марья Лукьяновна.

– Хорошо, – покорно ответил Хибаж.

– Вот и хорошо, хоть с голоду не помрем. Пятнадцать рублей, на черный хлеб хватит.

– Манечка, я больше не буду, – вздохнул Хибаж.

– Бесстыжий ты лжец, вот что.

«Положим, словам она не поверит, – думал Хибаж, – десять лет обещаюсь. Однако что за птица этот жилец?»

Обратиться к жене с вопросом он боялся, ожидая раздражительных реплик, и, торопливо покончив второй стакан чаю, встал. В садике сидел Искандеров. Хибаж сообразил, что перед ним его жилец. Искандеров познакомился басом. Хибаж – сдавленным тенорком. Клетчатые брюки и длинные волосы жильца внушили ему и подозрение и почтительность. Несло от волосатого, мрачного Искандерова чем-то ученым.

– Где служите? – спросил Хибаж.

– Нигде. Пока отдыхаю.

– Умственные занятия предпочитаете?

– Отчасти. Я – свободный художник.

– Это как же?

– Вывески пишу. Как спали сегодня?

– Почти не спал, – неохотно ответил Хибаж и ушел.

VII. Раскрытие тайн

Месяц прошел как всегда. Хибаж, получив от начальства очередной нагоняй за прогул, аккуратно ходил на службу, по вечерам читал газету или копался в огороде, а Марья Лукьяновна терпеливо считала копейки, выгадывая на пирог к празднику, и ругалась с лавочником, который, невзирая на штрафы, всегда нарушал таксу. Иногда вечером спускался вниз к хозяевам Искандеров. Он получил несколько заказов на вывески и заменил клетчатые брюки диагоналевыми. В жильце Хибаж открыл необычайную любовь к страшному и таинственному. Все разговоры Искандерова вертелись около привидений, мертвецов, ужасных историй с трупами и вампирами, покинутых домов и тому подобное.

– Да, что-то будет за гробом?! – вздохнул однажды Хибаж, припоминая памятную ночь страхов, когда голос сказал: «Погибнешь!»

– Оккультическое течение установило, – сказал Искандеров, – что после смерти у развратной души все страсти останутся ненасытными и вечно алчущими, как-то: пьяница будет томиться о вине, блудник – о женщинах, чревоугодник – о пищевом снабжении... И в этом есть ад!

– А если кто перед обедом выпивал по одной рюмке? – кротко осведомился Хибаж.

– М-м... гм... надо полагать, что... в соответствии. Так сказал ученый профессор Заратустра.

– Персидский волшебник, надо быть, – заметил Хибаж.

– Ах, как я рада, Гриша, – сказала Марья Лукьяновна, – запоешь ты там, заскулишь, так тебе и надо.

– Я же бросил, – мрачно ответил Хибаж, – да еще все это гадательно.

Восемнадцатого июня, то есть за два дня до получения жалованья, Хибаж стал мысленно раскладывать его по долгам и нужным покупкам. Оставались гроши.

– Черт знает, что! – сказал он. – Прошлого двадцатое было куда веселее!

Он вспомнил, как пил, как безудержно и напряженно хмелел, погружаясь в веселый, дикий туман восторженной бесшабашности, и выпивка показалась опять раем. Хибаж попробовал отогнать соблазн, вспоминая предостерегающий таинственный голос, и бедность, и домашние сце-

ны, и утреннюю прогулку у реки, когда свежесть трезвых минут была пленительной, как купанье.

Однако проклятый червяк продолжал свое сосущее дело, и Хибаж если еще не решил напиться, то, во всяком случае, думал об этом упорно и грустно. С этой ночи, когда голос сказал: «Погибнешь!» – Хибаж в наказание до двадцать второго числа, когда должно было обнаружиться, исправился он или нет, спал от жены отдельно, на диване в гостиной. Неоднократно он испрашивал пощады, но Марья Лукьяновна не сдавалась.

Девятнадцатого, потрясенный внутренней борьбой, происходившей в нем. Хибаж занял у сослуживца три рубля и обошел с ними все аптеки по Невскому, покупая в каждой на 20–30 копеек калганных, померанцевых и коричневых капель, то есть спирта, настоящего на корице. Таким образом набрал он десять маленьких пузырьков, намереваясь по принятии их внутрь себя прийти к какому-нибудь решению.

В одиннадцать вечера Хибаж притворился спящим, потушил лампу и, полежав минут десять, подкрался к дверям спальни, прислушиваясь. Мирное дыхание жены говорило о безопасности. Хибаж пробрался в кухню, вылил содержимое пузырьков в квасную полубутылку, развел слегка напиток водой, очистил луковицу, отрезал кусочек, хлеба, посолил, съел перед рюмкой, налил, подумал: «Как в ресторане!» – вздохнул и выпил. После четвертой рюмки, повеселев и разговаривая сам с собою начистоту, грубо и прямолинейно, Хибаж думал: «А ну, сообрази же, Григорий, напиться завтра тебе или нет?!»

– Напьюсь, ей-богу, напьюсь, – сказал он, повеселев даже от такого решения. Таинственные страхи казались ему теперь просто похмельным бредом. Уничтожив всякие следы развратного поведения, Хибаж ушел в гостиную и начал дремать.

«Тук-так... тук-тук... тук-тук...» – раздалось неизвестно где. Хибаж открыл глаза, сел и замер. Мгновенно хмель покинул его, оставив одно, нестерпимо жуткое, ожидание сверхъестественного. Он боялся встать, зажечь огонь, даже пошевелиться... Вверху, где-то над чердаком, звякнуло загрохотало и стихло. И вот все ужасы, казалось соединились вокруг несчастного чиновника: звон наверху усилился, прикрытое окно внезапно распахнулось, и на леденящей кровь черноте его показалось огромное, огненное лицо, с светящимися, почти пылающими волосами, лицо это, более похожее на раскаленный череп, чем на что-либо благопристойное, раскрыло страшный рот и глухо сказала:

– Погибнешь! Погибнешь! Умрешь!

Хибаж вскрикнул и повалился без чувств. Его крик разбудил Марью Лукьяновну.

Встревожилась она, зажгла свечку, вышла и увидела, что Хибаж, без кровинки в лице, лежит на полу.

– Господи! Или помер? Гриша, очнись.

Хибаж слабо хрипел. Женщина всполошилась. Ни вода, ни тряска не помогли. Не зная, что делать, она бросилась за помощью к Искандерову.

Поднимаясь по лесенке, она обратила внимание на странный лязг, доносившийся с чердака, и вспомнила, как месяц назад Хибаж испугался чего-то. Марья Лукьяновна была храбрая женщина. Свернув на чердак, она стала осматривать его со свечой и увидела жалобно мяукавшую, тощую кошку, тщетно пытавшуюся избавиться от привязанной к хвосту пустой жестянки. При каждом прыжке животного жестянка истерично гремела.

– Это все мальчишки, озорники, – рассердилась она. – Выдеру.

Освободив и выбросив на двор из чердачного окна кошку, Марья Лукьяновна постучала к Искандерову. Он не спал и сразу открыл.

– Что такое?

– Ох, не знаю, помогите мужа очнуть! Грохнулся, как померший, не дышит и не встает, доктора позвать, что ли?

– Перехватил я – мрачно сказал Искандеров. – Видите ли-с, это я вашего супруга пугаю. Не сердитесь?

– Что это вы говорите? Да нашатырного спирту ему...

– Успокойтесь. Они в обмороке, и здоровью ихнему это не повредит, а даже напротив.

Должен и вам сказать, что мой папаша скончался от чрезмерного алкоголизма, а также братец, и шурин попал на одиннадцатую версту, и все через это, и я сам от той же болезни с помощью гипнотизма вылечился. Так что, увидев вас однажды расстроенною и в слезах и в недостатках хозяйства, смекнул я вашего супруга излечить помощью душеспасительных страхов. На прошлый раз я провертел дыру в потолке и шуришал бумагой и угрожал голосом, а ныне, извольте видеть, вымазавшись кольдкремом с примесью английского фосфора, сделал себе пылающее лицо и в окне появился. Я сказал: «Погибнешь!», то есть ежели продолжать пьянствовать. А они упали от страха без чувств. Я этим штукам от одного фокусника научился. Простите, если не угодил!

– А вы зачем в моем доме дыру вертите?

– Так для вашей же пользы.

– Ну-н... поможет ли только?

– Да, надо полагать, что с перепугу такого более не рискнут выпивать. Только меня не выдавайте.

– Вот кошку еще мучаете, тоже вы?

– Я-с; уподобление звону цепей, которые на привидениях.

– Господи! – заплакала Марья Лукьяновна. – Неужели зарок даст?

– А вот увидите.

Они говорили еще на эту тему, и она отправилась приводить в чувство супруга. Хибаж наконец очнулся. Он хныкал, тряся, жался к жене и бормотал о страшных призраках, на что Марья Лукьяновна притворно ахала, вздыхала и твердила, что это – знамение.

– Истинно знамение, – прошептал Хибаж и перекрестился.

Издательство «Скальпированный футурист» успело за месяц распродать пятнадцать тысяч книжек «Мечты в сапоге», и ему снова потребовалась бумага, и Мустаянйнен снова прибыл на «Юколе» в Петроград. В виде благодарности за прошлый кутеж привез он Хибажу бутылку шведского коньяку. Хибаж посмотрел на бутылку и отвернулся.

– Не пью, – хмуро сказал он, страшно огорчив этим веселого шкипера.

– А... посему се? Нисево, тавай рюмоску!

– Нет, нет, – и Хибаж печально, но твердо помешал ложечкой в огромном именинном стакане, где налило было не что иное, как чай, и не с чем иным, как с молоком. Шкипер истребил коньяк сам. Возвращался он на пароход от какой-то «тевоски», сильно покачиваясь, курил и мурлыкал:

«А во поле пыль стоял!..

А тут мой песенка и сконсялся».

Тяжелый воздух

I

Авиатор, напрягая окостеневшие от усилий руки, повернул к перелеску, промчался над зеленым мехом хвойных вершин, белой змеей шоссеиной дороги, маленьким, как карандаш, бревном шлагбаума, увидел двойную черту рельс и понесся над ней, на высоте тридцати – сорока сажен с самой большей, какую мог развить аппарат, скоростью. Слева, уходя к пурпурному, гаснущему в облаках солнцу, расстилался сизый ржаной туман хлебных полей. Впереди, белея маленькой, как яйцо, церковью, открывалась даль. Справа теплился в низких лучах зари мохнатый, полный теней, лес. Внизу, под ногами летуна, время от времени шумел игрушечный поезд, а стрелочник с флагом в руках, задирая голову вверх, что-то крича стремительно летящему аэро-

плану, затем все пропадало, и опять в пустынной тишине вечера на высоте соборной колокольни неся над пролинованной рельсами насыпью, трескуче гудя, крылатый аэроплан.

Бешеная струя воздуха била авиатору прямо в лицо. Перед вылетом авиатор выпил бутылку коньяку, но не опьянел, а только начал особенно резко и отчетливо сознавать все: свое положение состязающегося на крупный приз русского летчика, высоту, на которой, параллельно земле, неся вдаль, воздушную пустоту кругом аппарата, стоголосый рев мотора и время. Часы, укрепленные перед ним, показывали сорок минут девятого; полет начался утром. Вместе с этими, имеющими прямое отношение к успеху или неудаче, мыслями также ярко представлялось другое: шумный вчерашний ужин, музыка, присутствие высокопоставленных лиц, лестное в глубине души для детей воздуха, вчера еще никому не известных заводских механиков и электротехников; вызывающее оживление женских лиц, шампанское... Лезли также в голову разные пустяки, как, например, то, что машину Фармана кто-то назвал шарманкой, а летчик Палицын хлопчет о казенной службе.

Солнце село, ореол его, пронизывая светом сказочные страны зоревых облаков, сиял еще некоторое время пышными колоннами красного и золотого блеска, побледнел, осел ниже, загордился волнистой темнотой туч, вырвался из-под них пепельно-светлой щелью и погас. Аэроплан неся в прохладной мгле; снизу изредка доносились неразборчивые восклицания, крики; звуки эти, подымаясь на высоту, словно водяные пузырьки к поверхности озера, казались призрачными голосами пространства, потревоженного в своем величии.

С наступлением темноты авиатор стал волноваться. Рой маленьких и больших страхов летел рядом с ним, заглядывая в воспаленные ветром глаза. Сначала явилось опасение, что он сойдет с дороги, затем, стараясь представить, в каком положении находятся летящие сзади соперники, авиатор видел их то нагоняющими его, то отстающими все больше и больше; невозможность определить действительное расстояние между собой и ими приводила его в состояние мучительного беспокойства и раздражения. Конечный пункт бешеной гонки находился теперь не далее сорока верст, а призовые деньги, казавшиеся в начале полета чем-то очень еще сомнительным, рисовались теперь авиатору во всей силе почти взятого крупного капитала, были близки, принадлежали ему, он думал о них, как о своей собственности. Эти деньги ему были нужны чрезвычайно; в течение последних месяцев Киршину не удалось взять ни одного, существенного по сумме, приза, он жил неаккуратно получаемым от фирмы жалованьем, и для зимы нужно было сорвать этот, по-видимому, дающийся приз, так как маленькая, но обладающая здоровым аппетитом семья авиатора начинала уже залезать в долги. Сын учился в дорогом специальном учебном заведении, а дочь перешла в пятый класс гимназии, стремительно вырастая из всех своих чулков, платьев, пальто, как разбухающая весенняя почка рвет тонкие растительные покровы. А для того, чтобы жизнь семьи не текла мучительно, в постоянных заботах и ухищрениях, нужны были деньги.

Стремительный гул мотора кружил голову. Еще быстрее, чем мчался над невидимой землей аппарат, быстрее винта, делающего сотни оборотов в минуту, летела тревожная мысль, опережая аэроплан. Авиатор вспомнил, что между шестью и семью часами обогнал его барон Эйквист; барон мчался наперерез; со стороны было похоже, что плавно взмывает к небу огромный белый конверт с головой Эйквиста на переднем обресе; конверт взял большую высоту; в голубом небе были еще видны тонкие очертания машины, как вдруг, совершенно отчетливо, глядя снизу вверх, авиатор увидел, что винт баронова аппарата из мелькающего прозрачного круга, потемнев, превратился в ясно обрисованные неподвижные лопасти.

«Падает», — с тупым равнодушием гладиатора подумал летчик; не вздрогнул и не обрадовался, но что-то вроде веселого страха овладело его душой; конверт же, плавно описывая круги, неведомо опустился на пашню, голова барона по-прежнему чернела в белизне аппарата, полная, вероятно, немого ужаса.

Авиатор пролетел над ней, стиснув зубы и думая, что вот одним конкурентом меньше. Но, вспомнив, что с ним может случиться то же или еще хуже, пожалел Эйквиста.

Теперь, когда никто больше не летел впереди него и, следовательно, от прочности аппарата, состояния погоды и выносливости самого летчика зависел окончательный успех в состязании,

нии, авиатор, пугаясь назойливых представлений, отталкивая их, но этим еще более подчиняясь их власти, увидел себя падающим стремглав, головой вниз. Он и его товарищи постоянно думали о катастрофе. Слово это, соединенное с опасениями, печальной тенью неотступно царило в их душе, укрепляясь частыми газетными сообщениями и слухами; именно так спит и ходит с мыслью о неурожае крестьянин, отряхивая вечером сошник, а утром выходя во двор смотреть из-под руки небо. Чем больше делал авиатор полетов, чем успешнее, эффективнее и благополучнее совершал он самые рискованные предприятия, тем прочнее сживалась его душа с неотступной печальной тенью.

Когда, совершив полный круг, мысль о катастрофе заставила авиатора пережить воображением все мелочи безобразной смерти, а аппарат, деловито ревя мотором, неистово рвался в темноту – вдруг обманчиво-близко в дрожащем, светлом тумане заискрились огни города. Авиатор нервно, по-детски рассмеялся, морщась от набегающих слез. Через двадцать, тридцать минут он, первый из пяти, грянет, встревожив воздушным гулом темные улицы, на гигантский аэродром, и звонки телефона дадут знать всем об его прибытии. Авиатор, привстав, повернул руль и затосковал, почти больной от желания сейчас, не бензином, а взрывом мысли очутиться на месте.

Тогда, застучав особенно громкими, неправильными ударами, мотор сделал перебой, остановился, зашипел и стих. Неистовый стук похолодевшего человеческого сердца сменил его. Аппарат умер... С перекошенным внезапной болью страха лицом, летчик, еще не сознавая вполне силы удара, потянул руль, сделав небольшой угол к земле, понял, что падает, и сказал: «Боже мой, что за шутки! Антуанет, Тонечка, ради бога!...» Аэроплан быстро, удерживая равновесие, скользил вниз.

В этот момент, подымаясь на кривую спирали опускающегося аппарата, небольшой шар из разноцветной бумаги, теплясь и просвечивая изнутри огоньком восковой свечки, поравнялся с лицом авиатора. Трагическое усилие человеческой воли, созданное из пота, крови и слез, – огромный аппарат – бессильно никнул к земле, игрушка продолжала лететь. Авиатор, подняв руку, ударил с разлета кулаком шар, шар тихо порвался, вспыхнул, сверкнул огненными клочьями и исчез, аппарат же, ломая сучья, шумно упал вниз, среди деревьев, покачнувшись и затрепетал.

II

Толчок был не силен, но резок. Колени авиатора подскочили вверх, на плечи словно упала тяжесть, зазвенело в ушах; он сидел не шевелясь, с душой, смятой неожиданным ударом судьбы, потом, сутулясь от острой боли в спине, вылез в кусты, шатаясь, подобно животному, оглушенному палицей лесника; зажег дрожащими пальцами электрический дорожный фонарь, увидел среди стволов в белом свете плавники аппарата, сел на землю, обхватил руками колени и застыл.

Переход от бешеного движения к полной неподвижности страшно походил на смерть, на испуг падающего с обрыва жизни в пропасть молчания. Еще минуту назад живой, терзающий лицо воздух, в котором аппарат летел всей тяжестью человека, дерева и железа – стал чужд летчику, недоступен и далек, как ускользнувшая с надменной улыбкой из грубых объятий женщина. Тот воздух, что окружал его на высоте трех аршин от земли, был другим воздухом, папертью, прихожей атмосферы, преддверием голубого бога. Авиатор мог видеть сквозь него, хватать его руками, дышать им; мог подпрыгивать в припадке ярости на высоту аршина, двух, взлезть на дерево и вытянуть руки вверх – он все равно принадлежал теперь неподатливой, крепкой земле; живая связь меж ним и пространством исчезла. Из одного мира он перешел в другой.

Авиатор встал, поднял фонарь над головой, осветил место падения и закрыл глаза. В тот же момент он почувствовал, что отделяется от земли и мчится – это была иллюзия, инерция впечатлений.

Понемногу удар, нарушивший связную душевную жизнь авиатора, стал для него фактом. Удвоив внимание, авиатор приступил к тщательному осмотру машины. Повреждение бросилось ему в глаза не сразу, – он заметил его лишь после нескольких минут торопливой работы. Оно было серьезнее всяких предположений; о починке на месте нечего было и думать.

Летчик стоял с опущенной головой, без шапки. Земля и воздух были одинаково противны ему. Поднеся к губам флягу, висевшую на поясе, Киршин сделал несколько крупных глотков, вспомнил летящих, быть может, близко уже, соперников, и ревнивая, яростная тоска вырвалась из его груди глухим стоном. Он знал, что надо как можно скорее бежать с прогаины, искать людей и попытаться, если возможно, привести аппарат в годное состояние, но тоска и усталость делали авиатора неподвижным. Он обдумывал положение остальных участников состязания. «Барон может упасть еще раз, – сказал Киршин, – ведь упал же я. И остальные...» Он представлял ряд катастроф, без малейшего сожаления; один за другим, в гневной работе его мысли, подлетая к невидимой запрещающей черте, аппараты, резко шарахаясь, перевортывались и падали.

Ночная сырость проникала в разгоряченную спиртом и движением грудь Киршина; мысли, постепенно возвращаясь к действительности момента, утратили болезненную остроту, сменяясь тем настроением равнодушия, когда сознание безучастно отмечает трепет и боль.

Еще раз осмотрев и тщательно заметив лесную прогаину, в центре которой, как бы сливая с тишиной леса свою внезапную горестную тишину прерванного полета, жался поврежденный аэроплан, летчик, спотыкаясь минут пять в ямах и заросших травой корнях, вышел к безлюдному повороту шоссе. Пахло улегшейся свежей пылью, болотными цветами и хвоей. Ряд деревянных тумб шеренгой выходил из мрака; по обеим сторонам дороги шли ровные канавки, и летчик видел, что предположения его, пожалуй, верны, – он находился в дачном поселке. Летчик шел развалистой походкой человека, отсидевшего ноги; растрепанный, грязный, он произвел бы днем впечатление бездомного шатуна, пропойцы. Навстречу ему шел господин с дамой, куря сигару; дама, эффектно подхватив платье, казалась стройной и молодой, но авиатор остановил их усталым, безразличным движением руки и, заговорив, услышал, как хрипл и слаб его собственный, обыкновенно звонкий голос.

– Будьте добры... – сказал он почти в затылок не сразу остановившемуся господину, – я – авиатор Киршин, я опустил с машиной тут, в лесу... Куда мне, то есть, где бы мне отыскать урядника или кто тут?.. полицию!..

– Ах, ах! – воскликнула дама, и летчик в темноте различил ее вдруг заблестевшие под шляпой глаза, а господин, выпустив руку дамы, от удивления потерял осанку.

– Ах, ведь мы слышали! – чрезвычайно громко и радостно сказала дама. – Костя, помнишь над головой – как автомобиль... даже страшно! Очень приятно...

– Первый раз в жизни... – ненатуральным, фальшиво взволнованным голосом подхватил господин, – я вижу человека-птицу... извините... так неожиданно...

– Где полиция? – хмуро спросил Киршин.

Дама подошла ближе, он увидел ее красивое, недалекое, простодушное лицо; она чем-то напоминала ему жену, плакавшую вчера от страха.

– Отчего вы упали? Вы ранены? – торопливо спросила дама.

– Передача остановилась, – каменно проговорил летчик, махнул злобно рукой и быстро пошел дальше, оставив позади застывшую от волнения и неловкости пару. Через десять шагов он разразился, дав себе волю, ругательствами и проклятиями. Брань звонко неслась в тишине, будя лес.

Освещенные окна дач блеснули слева и справа, в это время глухой шум, неопределенное гудение воздуха остановило его.

– Что это? – сказал авиатор. Неясное подозрение сжало сердце. С упрямым выражением лица, склонив, как бык, голову, расставив ноги, авиатор стоял, прислушиваясь. Гул рос и определялся, его можно было сравнить с быстрыми, дробными, сливающимися в одно, глухими выстрелами. Летчик, стиснув зубы, заткнул уши пальцами, – он не хотел слышать; стремительный рев мотора бросил его в пот; нагибаясь, как будто летящий над ним аппарат мог разбить ему голову, авиатор побежал изо всех сил к светящимся окнам дач; через мгновение длительный, резкий гул раздался в вышине прямо над головой Киршина, заставил пережить пытку отчаяния, горя, бешенства и, отдалившись, затих. Это летел молодой, совершающий четвертый полет, Савельев.

Подходя к улицам, авиатор внутренне смолк. Теперь, когда не могло быть никакой надеж-

ды оказаться первым, возбуждение исчезло, уступив место покойному желанию идти, не думая ни о чем. Особенное, незлобное воспоминание воскресило Киршину цветной шар-игрушку, светившийся изнутри светом детской елки, – маленький, плывущий вверх, повинувшись несложному физическому закону. В воспоминании этом был смутный оттенок далекого от дел и борьбы спокойствия. А жюри все-таки должно уделить Киршину часть общих призовых сумм...

Подумав это, летчик заметил городского, спокойно подошел к нему и, улыбаясь привычно-рассеянной улыбкой человека, стоящего на виду, объяснил положение...

Таинственная пластинка

I

Крепко сжав губы, наклонясь и упираясь руками в валики кресла, на котором сидел, Бевенер следил решительным, недрогнувшим взглядом агонию отравленного Гонаседа.

Не прошло и пяти минут, как Гонасед выпил смертельное вино, налитое веселым приятелем. В тот вечер ничто в наружности Бевенера не указывало на его черный замысел. Как всегда, он непомерно хихикал, бегающие глаза его меняли тысячу раз выражение, а когда человека видишь таким постоянно, то эта нервная суетливость способна убить подозрение даже в том случае, если бы дело шло о гибели всего мира.

Бевенер убил Гонаседа за то, что он был счастливым возлюбленным певицы Ласурс. Банальность мотива не помешала Бевенеру проявить некоторую оригинальность в исполнении преступления. Он пригласил жертву в номер гостиницы, предложив Гонаседу обсудить вместе, как предупредить убийство, подготовленное одним человеком, известным и Гонаседу и Бевенеру, – убийство человека, также хорошо известного Гонаседу и Бевенеру.

Гонасед потребовал, чтобы ему назвали имена.

II

– Имена эти очень опасны, – сказал Бевенер. – Опасно называть их. Ты знаешь, что здесь, в театре, кулисы имеют уши. Приходи вечером в гостиницу «Красный Глаз», номер 12-й. Я там буду.

Гонасед был любопытен, тучен, доверчив и романтичен. В номере он застал Бевенера, попивающего вино, в отличном расположении духа, громко хихикающего, с карандашом и бумагой в руках.

– Рассказывай же, – сказал Гонасед, – кто и кого собрался убить?

– Слушай! – Они выпили стакан, второй и третий; Бевенер медлил. – Вот что... – заговорил он наконец быстро и убедительно, – сегодня идет «Отелло», Мария Ласурс поет Дездемону, а Отелло – молодой Бардио. Ты, Гонасед, слеп. Все мы, товарищи твои по сцене, знаем, как бешено любит Бардио Марию Ласурс. Она, однако, отвергла его искания. Сегодня в последнем акте Бардио убьет на сцене Марию, убьет, понимаешь, по-настоящему!

– И ты не говорил раньше! – взревел Гонасед, вскакивая. – Идем! Скорее! Скорее!

– Напротив, – возразил Бевенер, загораживая дорогу приятелю, – идти туда нам незачем. Какие у тебя доказательства намерений Бардио? Ты на шумишь за кулисами, сорвешь спектакль, бездоказательно обвинишь Бардио, и тебя же в конце концов привлекут к суду за оскорбление и клевету?!

III

– Ты прав, – сказал Гонасед, садясь. – Но каким образом известно тебе? И – что делать? Осталось час с небольшим времени скоро последний акт... Последний!..

– Как я узнал, – это пока тайна, – сказал Бевенер. – Но я знаю, что делать. Надо сделать так,

чтобы Ласурс покинула театр, не допев партию. Напиши ей записку. Напиши, что ты покончил с собой.

– Как?! – изумился Гонасед. – Но какие причины?

– Причин у тебя нет, я знаю. Ты весел, здоров, знаменит и любим. Но чем же иначе вытащить Марию Ласурс? Подумай! Всякое письмо от постороннего, даже с сообщением о твоей смерти, она сочтет интригой, желанием взвалить на нее крупную неустойку. Тому бывали примеры. А кроме смерти близкого человека, что может оторвать артиста от милых его сердцу рукоплесканий, цветов и улыбок? Ты сам, собственной рукой должен вызвать Ласурс к мнимому твоему трупу.

– Но ты мне расскажешь о Бардио?

– Этой же ночью. Вот бумага и карандаш.

– Как она перепугается! – бормотал Гонасед, строча. – У нее нежное сердце.

Он написал: «Мария. Я покончил с собой. Гонасед. Улица Виктория, гостиница „Красный Глаз“».

IV

Бевенер позвонил и отдал запечатанную записку слуге, сказав: «Доставьте скорей», – а Гонасед, повеселев, улыбнулся.

– Она проклянет меня! – прошептал он.

– Она будет плакать от радости, – возразил Бевенер, бросая яд в стакан друга. – Выпьем за нашу дружбу! Да длится она!

– Но ты непременно расскажешь мне о подлеце Бардио? Бевенер, мой стакан пуст, а ты медлишь... От волнения кружится голова... да, мне, видишь, нехорошо... Ах!

Он судорожно рванул воротник рубашки, встал и повалился к ногам убийцы, скомкав ползающими руками ковер. Тело его дрожало, шея налилась кровью.

Наконец он затих, и Бевенер встал.

– Это ты, рыжая Ласурс, убила его! – сказал он в исступлении чувств. – Моя любовь к тебе так же сильна, как и покойника. Ты не захотела меня. За это Гонасед умер. Однако я мастерски отклонил подозрение.

Он дал звонок и, прогнав испуганного лакея за доктором, стал репетировать сцену изумления и отчаяния, какую требовалось разыграть при докторе и пораженной Ласурс.

V

Правосудие в этом деле осталось при пиковом интересе. Подлинная записка Гонаседа к любовнице, гласящая, что певец покончил самоубийством, была неоспорима. Бевенер плакал: «Ах! – говорил он. – С тяжелым чувством шел я в эту гостиницу. Меня пригласил покойный, не объясняя зачем. Мы были так дружны... Стали пить; Гонасед был задумчив. Вдруг он попросил у меня бумагу и карандаш, написал что-то и распорядился послать записку Ласурс. Затем он сказал, что примет порошок от головной боли; высыпал в стакан, выпил и повалился замертво».

Самые проникательные люди разводили руками, не зная, чем объяснить самоубийство жизнерадостного, счастливого Гонаседа. Ласурс, поплавав, уехала в Австралию. Прошел год, и о печальной смерти забыли.

В январе Бевенер получил предложение от фабрики Лоудена напеть несколько граммофонных пластинок. Приняв предложение, Бевенер спел несколько арий за крупную сумму. Между прочим, он спел Мефистофеля: «На земле весь род людской» и, начав петь ее, вспомнил Гонаседа. Это была любимая ария умершего. Он ясно увидел покойного в гриме, потрясающего рукой, поющего – и странное волнение овладело им. Тело одолевала жуткая слабость, но голос не срывался, а креп и воодушевленно гремел. Кончив, Бевенер с жадностью выпил два стакана воды, торопливо попрощался и уехал.

VI

Месяц спустя в квартире Бевенера собрались гости. Артисты, артистки, музыкальные критики, художники и поэты чествовали десятилетие сценической деятельности Бевенера. Хозяин, как всегда, был нервно смешлив, проворен и оживлен. Среди цветов мелькали нежные лица дам. Сиял полный свет. Приближался конец ужина, когда в столовую вошел слуга, докладывая, что явились от Лоудена.

– Вот кстати, – сказал Бевенер, бросая салфетку и выходя из-за стола. – Привезли граммофонные пластинки, которые я напел Лоудену. Я прошу дорогих гостей послушать их и сказать, удачна ли передача голоса.

Кроме пластинок, Лоуден прислал прекрасный новый граммофон, подарок артисту, и письмо, в котором уведомлял, что по болезни не мог явиться на торжество. Слуга привел аппарат в порядок, вставил иглу, и Бевенер сам, порывшись в пластинках, остановился на арии Мефистофеля. Положив пластинку на граммофон, он опустил к краю ее мембрану и, обернувшись к гостям, сказал:

– Я не совсем уверен в этой пластинке, потому что несколько волновался, когда пел. Однако послушаем.

VII

Наступила тишина. Послышалось едва уловимое, мягкое шипение стали по каучуку, быстрые аккорды рояля... и стальной, гибкий баритон грянул знаменитую арию. Но это не был голос Бевенера... Ясно, со всеми оттенками живого, столь знакомого всем присутствующим произношения, пел умерший Гонасед, и взоры всех изумленно обратились на юбиляра. Ужасная бледность покрыла его лицо. Он засмеялся, но смех был нестерпимо пронзителен и фальшив, и все содрогнулись, увидев глаза хозяина. Раздались восклицания:

– Это ошибка!

– Гонасед не пел для пластинок!

– Лоуден перепутал!

– Вы слышите?! – сказал Бевенер, теряя силы по мере того, как голос убитого мрачно гнул его пораженную волю. – Слышите?! Это поет он, тот, которого я убил! Мне нет спасения; он сам явился сюда... Остановите пластинку!

Суфлер Эрис, белый, как молоко, бросился к граммофону. Руки его дрожали; подняв мембрану, он снял пластинку, но в поспешности и страхе уронил ее на паркет. Раздался сухой треск, и черный кружок рассыпался на мелкие куски.

– Мы были свидетелями неслыханного! – сказал скрипач Индиган, подымая осколок и пряча его. – Но что бы это ни было – обман чувств или явление неоткрытого закона, я сохраню на память эту частицу; ее цвет всегда будет напоминать о цвете души нашего милого хозяина, которого теперь так заботливо уводит полиция!

Сто верст по реке

I

Взрыв котла произошел ночью. Пароход немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок, вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Пассажиры, проволновавшиеся всю ночь и весь день в ожидании следующего парохода, который мог бы взять их и везти дальше, выходили из себя. Ни вверх, ни вниз по течению не показывалось никакого судна. По реке этой работало только одно пароходство и только четырьмя пароходами, отходившими каждый раз по особому назначению, в зависимости от настроения хозяев и состояния воды: капризное песчаное русло, после продолжительного бездождия, часто загромождалось

мелями.

По мере того, как вечер спешил к реке, розовея от ходьбы, порывисто дыша туманными испарениями густых лесов и спокойной воды, Нок заметно приходил в нервное, тревожное настроение. Тем, кто с ним заговаривал, он не отвечал или бросал отрывисто «нет», «да», «не знаю». Он беспрерывно переходил с места на место, появляясь на корме, на носу, в буфете, на верхней палубе, или сходя на берег, где, сделав небольшую прогулку в пышном кустарнике, возвращался обратно, переполненный тяжелыми размышлениями. Раза три он спускался в свою каюту, где, подержав в руках собранный чемодан, бросал его на койку, пожимая плечами. В одно из этих посещений каюты он долго сидел на складном стуле, закрыв лицо руками, и, когда опустил их, взгляд его выражал крайнее угнетение.

В таком же, но, так сказать, более откровенном и разговорчивом состоянии была молодая девушка, лет двадцати-двадцати двух, ехавшая одна. Встревоженное печальное ее лицо сотни раз обращалось к речным далям в поисках благодетельного пароходного дыма. Она была художавая, но стройного и здорового сложения, с тонкой талией, тяжелыми темными волосами бронзового оттенка, свежим цветом ясного, простодушного лица и непередаваемым выражением слабого знания жизни, которое восхитительно, когда человек не подозревает об этом, и весьма противно, когда, учитывая свою неопытность, придает ей вид жеманной наивности. Вглядевшись пристальнее в лицо девушки, в особенности в ее сосредоточенные, задумчивые глаза, наблюдатель заметил бы давно утраченную нами свежесть и остроту впечатлений, сдерживаемых воспитанием и перевариваемых в душе с доверчивым аппетитом ребенка, не разбирающегося в вишнях и волчьих ягодах. Серая шляпа с голубыми цветами, дорожное простое пальто, такое же, с глухим воротником, платье и потертая сумочка, висевшая через плечо, придавали молодой особе оттенок деловитости, чего она, конечно, не замечала.

Занятая одной мыслью, одной целью – скорее попасть в город, молодая девушка, с свойственной ее характеру деликатной настойчивостью, тотчас после аварии приняла все меры к выяснению положения. Она говорила с капитаном, его помощником и пароходными агентами; все они твердили одно: «Муху» не починить здесь; надо ждать следующего парохода, а когда он заблагорассудит явиться – сказать трудно, даже подумав. Когда молодая девушка сошла на берег погулять в зелени и размыслить, что предпринять дальше, ее брови были огорченно сдвинуты, и она, не переставая внутренне кипеть, нервно потирала руки движениями умывающегося человека. Нок в это время сидел в каюте; перед ним на койке лежал раскрытый чемодан и револьвер. Раздраженное, потемневшее от волнения лицо пассажира показывало, что задержка в пути сильно ошеломила его. Он долго сидел, сгорбившись и посвистывая; наконец, не торопясь, встал, захлопнул чемодан и глубоко засунул его под койку, а револьвер опустил в карман брюк. Затем он прошел на берег, где, держась в стороне от групп расхаживающих по лесу пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению.

Он шел бы так очень долго – день, два и три, если бы, удалившись от парохода шагов на двести, не увидел за песчаной косой лодку, почти прикинувшую к береговому обрыву. В лодке, гребя одним веслом, стоял человек почтенного возраста, подвыпивший, в вязаной куртке, драных штанах, босой и без шапки. У ног его лежала мокрая сеть, на носу лодки торчали удочки.

Нок остановился, подумав:

«Не надо ему говорить о пароходе и взрыве».

– Здравствуй, старикан! – сказал он. – Много ли рыбы поймал?

Старик поднял голову, ухватился за береговой куст и осмотрел Нока пронзительно-смекалистым взглядом.

– Это вы здесь откуда? – развязно спросил он. – Какое явление!

– Простая штука, – пояснил Нок. – Я с компанией приехал из Л. (он назвал город, лежащий далеко в сторону). Мы неделю охотились и теперь скоро вернемся.

Нок очень непринужденно сказал это; старик с минуту обдумывал слышанное.

– Мне какое дело, – заявил он, раскачивая ногами лодку. – Рыбы не купите ли?

– Рыбы... нет, не хочу. – Нок вдруг рассмеялся, как бы придумав забавную вещь. – Вот что, послушай-ка: продай лодку!

– Я их не сам делаю, – прищурившись, возразил старик. – Мне другую лодку взять негде... К чему же вам эта посудина?

– Так, нужно выкинуть одну штуку, очень веселую. Я хочу подшутить над приятелем; вот тут нам лодка и нужна. Я говорю серьезно, а за деньгами не постою.

Рыбак протрезвел. Он хмуро смотрел на приличный костюм Нока, думая – «и все вот так, сразу: никак не дадут подумать, обсудить, неторопливо, дельно...» Он не любил, если даже рыбу покупали с двух слов, без торга. Здесь отлетал дух его хозяйственной самостоятельности, так как не на что было возражать и не о чем кипятиться.

«А вот назначу столько, что заскрипишь, – думал старик. – Если богат, заплатишь. Назад я, видимо, отправлюсь пешком, а о моей второй лодке, тебе, идиоту, знать нечего. Допустим! Деньги штука приятная».

– Пожалуй, лодку я вам за пятьдесят рублей отдам (она стоила вчетверо меньше), так уж и быть, – сказал рыболов.

– Хорошо, беру. Получай деньги.

«Я дурак, – подумал старик. – Собственно, что же это такое? Является какой-то неизвестный сумасшедший...» – «Пятьдесят? – Пятьдесят!»... – Он кивнул, а я вылезай из лодки, как из чужой, в ту же минуту. Нет, пятьдесят мало...

– Я того, раздумал, – нахально сказал он. – Мне так невыгодно... Вот сто рублей – дело другого рода.

У Нока было всего 70–80 рублей.

– Мошенник! – сказал молодой человек. – Мне денег не жалко, противна только твоя жадность; бери семьдесят пять и вылазь.

– Ну, если вы еще с дерзостями, – никакой уступки, ни одной копейки, поняли? Я, милый мой, старше вас!

Гелли в эту минуту расхаживала по берегу и случайно проходила мимо кустов, где стоял Нок. Она слышала, что кто-то торгует лодку, и сообразила, в чем дело. Обособленность положения была такова, что покупать лодку имело смысл только для продолжения пути. У девушки появилась тоскливая надежда. Человек, взявший лодку, мог бы довезти и ее, Гелли.

Решившись, наконец, высказать свою просьбу, она направилась к воде в тот момент, когда торг, подогретый, с одной стороны, вином, с другой – раздражением, принял подобие взаимных наскоков. Нок, услышав легкие шаги сзади, мгновенно оборвал разговор: старик, увидев еще людей, мог задуматься вообще над будущим лодки, а человек, шедший к воде, одной случайной фразой мог выдать пьянице всю остроту положения множества пассажиров, среди которых старик нашел бы, разумеется, людей сговорчивых и богатых.

Нок сказал:

– Подожди-ка здесь, я скоро вернусь.

Он торопливо скрылся, желая перехватить идущего как можно далее от воды. При выходе из кустов Нок встретился с Гелли, застенчиво отводящей рукой влажные ветви.

«Да, женщина, – бросил он себе с горечью, но и с самодовольством опытного человека, глубоко изучившего жизнь. – Чему удивляться? Ведь это их миссия – становиться поперек дороги. Сейчас я ее сплавлю».

Гелли растерянно, с слабой улыбкой смотрела на его неприязненное сухое лицо.

– Очень прошу вас, – прошептал Нок с оттенком приказа, – не говорите громко, если у вас есть что-нибудь сказать мне. Я вынужден заявить это в силу моих причин, притом никто не обязан выказывать любопытства.

– Извините, – потерявшись, тихо заговорила Гелли. – Это вы говорили так громко о лодке? Я не знаю, с кем. Но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Если бы вы купили сами, я все равно обратилась бы к вам с просьбой взять меня. Я очень тороплюсь в Зурбаган.

– Вы очень самонадеянны, – начал Нок; девушка мучительно покраснела, но по-прежнему смотрела прямо в глаза, – если вам кажется...

– Ни любопытство, ни грубость не обязательны, – глухо сказала Гелли, гордо удерживая слезы и поворачиваясь уйти.

Нок остыл.

– Простите, прошу вас, – шепнул он, соображая, что может лишиться лодки, – подождите, пожалуйста. Я сейчас, сию минуту скажу вам.

Гелли остановилась. Самолюбие ее сильно страдало, но слово «простите» по ее просто-душному мнению все-таки обязывало выслушать виноватого. Может быть, он употребил не те выражения, потому что торопился уехать.

Нок стоял, опустив руки и глаза вниз, словно искал в траве потерянную монету. Он наскоро соображал положение. Присутствие Гелли толкнуло его к новым выводам и новой оценке случая, помимо доплаты денег за лодку.

– Хорошо, – сказал Нок. – Вы можете ехать со мной. В таком разе, – он слегка покраснел, – доплатите недостающие двадцать рублей. У меня не хватает. Но, предупреждаю вас, не взыщите, я человек мрачный и не кавалер. Со мной едва ли вам будет весело.

– Уверяю вас, я не думала об этом, – возразила девушка послушным, едва слышным шепотом, – вот деньги, а вещи...

– Не берите их.

– Как же быть с ними?

– Пошлите письмо в контору пароходства с описанием вещей и требуйте их наложенным платежом. Все будет цело.

– Но плед...

– Бегите же скорее за пледом, и никому ни слова. – слышите? – ни четверти слова о лодке. Так нужно. Если не согласны – прощайте!

– О, нет, благодарю, благодарю вас... Я скоро!

Она скрылась, не чувствуя земли под ногами от радости. Конспиративную обстановку отъезда она объяснила нежеланием Нока перегружать лодку лишними пассажирами. Она знала также, что оставаться наедине с мужчиной, и еще при таких исключительных обстоятельствах, как пустыня и ночь, считается опасным в известном смысле, теоретически ей ясном, но в душе она глубоко не верила этому. Случаи подобного рода она считала возможными лишь где-то очень далеко, за невидимым ей кругом текущей жизни.

Рыбак, боясь, что сделка не состоится, крикнул:

– Эй, господин охотник! Я-то тут, а вы-то где?

– Тут же, – сказал Нок, выходя к лодке. – Получай денежки. Я ходил только к нашему становщику взять из пальто твою мзду.

Взяв деньги, старик пересчитал их, сунул за пазуху и умильно проговорил:

– Ну, и один же стаканчик водки бы старому папе Юсу!.. Вытряхнули старика из лодки, да еще с больными ногами, да еще...

Нок тотчас смекнул, как удалить рыбака, чтобы тот не заметил женщину.

– Хочешь, ступай по лужайке, что за кустами, – сказал он, – пересеки ее и подайся от берега прямо в лес, там скоро увидишь костер и наших. Скажи, что я велел дать тебе не один, а два и три стаканчика водки.

Действие этого небрежного предложения оказалось чудесным. Старик, помолодев вдвое, поспешно свернул сеть, взвалил ее с сумкой и удочками на плечо и бойко прыгнул в кусты.

– Так вот пряменько идти мне?

– Пряменько, очень пряменько. Водка хорошая, старая, холодная.

– А вы, – старик подмигнул, – шутки свои шутить приметесь?

– Да.

– И великолепно. А я вот чирикну водочки да и домой.

«Убирайся же», – подумал Нок.

Рыбак, еще раз подмигнув, скрылся. Нок стал на том месте, где говорил с Гелли. Минуты через три, задыхаясь от поспешной ходьбы, она явилась; плечи и голову ее окутывал серый плед.

– Садитесь же, садитесь, – торопил Нок. – Вам руль, мне весла. Умеете?

– Да.

Они уселись.

«Романично! – съязвил про себя Нок, отталкивая веслом лодку. – Моему мертвому сердцу безопасны были бы даже полчища Клеопатр, – прибавил он, – и вообще о сердце следовало бы забыть всем».

Стемнело, когда эти двое молодых людей тронулись в путь. Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая облачной тьме, медленно потухал, напоминая дремлющий глаз. Блеск стрежи скоро исчез. Крякнула утка; тишину осенил быстрый свист крыльев; а затем ровный, значительный в темноте плеск весел стал единственным одиноким звуком речной ночи.

II

Нок несколько повеселел от того, что едет, удаляется от парохода и вероятной опасности. С присутствием женщины Нока примиряло его господствующее положение; пассажирка была в полной его власти, и хотя власть эту он и не помышлял употребить на что-нибудь скверное, все-таки видеть возможность единоличного распоряжения отношениями было приятно. Это слегка сглаживало обычную холодную враждебность Нока к прекрасному полу. У него совсем не было желания говорить с Гелли, однако, сознав, что надо же выяснить кое-что, неясное для обоих, Нок сказал:

– Как вас зовут?

– Гелли Сод.

– Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег?

– Очень хорошо.

– Держите, Гелли, все время саженьях в двадцати от берега, параллельно его извивам. Если понадобится иначе, я скажу... Хех!

Он вскрикнул так, потому что зацепил веслом о подводный древесный лом. Но в резкости вскрика девушке почудилось вдруг нечто затаенное души незнакомца, что вырвалось невольно и, может быть, по отношению к ней. Она оробела, почти испугалась. Десятки страшных историй ожили в ее напряженном воображении. Кто этот молодой человек? Как могла она довериться ему, хотя бы ради отца? Она даже не знает его имени! Жутко было не столько момент испуга, сколько боязнь пугаться все время, быть тоскливо настороже. В это время Нок, выпустив весла, зажег спичку и засопел трубкой; в свете огня его лицо с опущенными на трубку глазами, жадно рассмотренное Гелли, показалось молодой девушке, к великому ее облегчению, совсем не страшным, – лицо как лицо. И даже красивое, простое лицо... Она тихонько вздохнула, почти успокоенная, тем более, что Нок, закурив, сказал:

– Мое имя – Трумвик. – Имя это он сочинил теперь и, боясь сам забыть его, повторил раза два: – Да, Трумвик, так меня зовут; Трумвик.

Про себя, вспомнив мнемонику, Нок добавил:

– Трубка, вика.³⁷

– Долго ли мы проедем? – спросила Гелли. – Меня заставляет торопиться болезнь отца... – Она смутилась, вспомнив, что Трумвик гребет и может принять это за понукание. – Я говорю вообще, приблизительно...

– Так как я тоже тороплюсь, – значительно сказал Нок, – то знайте, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее, как послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше ста верст.

– Благодарю вас, – она, боязливо рассмеявшись, сообщила: – У меня есть несколько бутербродов и немного сыру... так как достать негде, вы...

– Я тоже взял коробку сардин и кусок хлеба. С меня достаточно.

«Все они материалистки, – подумал Нок. – Разве я сейчас думал о бутербродах? Нет, я думал о вечности; река, ее течение – символ вечности... и – что еще?»

Но он забыл, что, хотя настроение продолжало оставаться подавленно-повышенным, Нок

³⁷ Гороховое растение.

принялся думать о своем диком, тяжелом прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда, если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней. Волнение мысли передалось его мускулам, и он греб, как на гонках. Лодка, сильно опережая течение, шумно вспахивала темную воду.

Гелли благодаря странности положения испытывала подъем духа, возбуждение исполненного решения. Отец с интересом выслушает рассказ о ее похождениях. Ей представилось, что она не плывет, а читает о женщине со своим именем в некоей книге, где описываются леса, охоты, опасности. Вспомнив отца, Гелли приуныла. Вспомнив небрежного и глупого доктора, пользующего отца, она соображала, как заменит его другим, наведет порядки, осмотрит лекарства, постель – все. Ее деятельной душе требовалось хотя бы мысленно делать что-то. Стараясь избежать новых замечаний Нока, она до утомления добросовестно водила рулем, не выпуская глазами темный завал берега. Ей хотелось есть, но она стеснялась. Они плыли молча минут пятнадцать; затем Нок, тоже проголодавшись, угрюмо сказал:

– Закусим. Оставьте руль. – Он выпустил весла. – Мои сардинки еще не высохли... так что берите.

– Нет, благодарю, вы сами.

Девушка, кутаясь в плед, тихонько ела. Несмотря на темноту, ей казалось, что этот странный Трумвик насмешливо следит за ней, и бутерброды хотя Гелли проголодалась, стали невкусными. Она поторопилась кончить есть. Нок продолжал еще мрачно ковырять в коробке складным ножом, и Гелли слышала, как скребет железо по жести. В их разъединенности, ночном молчании реки и этом полуголодном скрипе неуютно подкрепляющегося человека было что-то сиротское, и Гелли сделалось грустно.

– Ночь, кажется, не будет очень холодной, – сказала, слегка все же вздрагивая от свежести, девушка.

Она сказала первое, что пришло в голову, чтобы Нок не думал, что она думает: «Вот он ест».

– Пароход теперь остался отсюда далеко.

Нок что-то промычал, поперхнулся и бросил коробку в воду.

– Час ночи, – сказал он, подставив к спичке часы. – Вы, если хотите, спите.

– Но как же руль?

– Я умею управлять веслами, – настоятельно заговорил Нок, – а от вашего сонного правления рулем часа через два мы сядем на мель. Вообще я хотел бы – с раздражением прибавил он, – чтобы вы меня слушались. Я гораздо старше и опытнее вас и знаю, что делать. Можете прикорннуть и спать.

– Вы... очень добры, – нерешительно ответила девушка, не зная, что это: раздражение или снисхождение. – Хорошо, я усну. Если нужно будет, пожалуйста, разбудите меня.

Нок, ничего не сказав, сплюнул.

«Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная, здесь... Как они умеют окутывать паутиной! „Вы очень добры“... „Благодарю вас“, „Не находите ли вы“... Это все инстинкт пола, – решил Нок, – бессознательное к мужчине. Да».

Потом он стал соображать, ехать ли в Зурбаган на лодке, или высадиться верст за пять от города, – ради безопасности. Сведения о покупке лодки за бешеные деньги, об иллюзорной Юсовой водке и приметы Нока вполне могли за двое суток стать известны в окрестностях. Попутно он еще раз похвалил себя за то, что догадался взять Гелли, а не отказал ей. Путешествие благодаря этому принимало семейный характер, и кто подумал бы, видя Нока в обществе молодой девушки, что это недавний каторжник? Гелли невольно помогала ему. Он решил быть терпимым.

– Вы спите? – спросил Нок, вглядываясь в темный опływ кормы.

Ответом ему было нечто среднее между вздохом и сонным шепотом. Корма на фоне менее темном, чем лодка, казалась пустой; Гелли, видимо, спала, и Нок, чтобы посмотреть, как она устроилась, зажег спичку. Девушка, завернувшись в плед, положила голову на руки, а руки на

дек кормы; видны были только закрытый глаз, лоб и висок; все вместе представлялось пушистым комком.

– Ну и довольно о ней, – сказал Нок, бросая спичку. – Когда женщина спит, она не вредит.

Поддерживая нужное направление веслами, он, согласно величавой хмурости ночи, вновь задумался о печальном прошлом. Ему хотелось зажечь, если он уцелеет, так, чтоб не было места самообманам, увлечениям и раскаяниям. Прежде всего нужно быть одиноким. Думая, что прекрасно изучил людей (а женщин в особенности), Нок, разгорячившись, решил, внешне оставаясь с людьми, внутренне не сливаться с ними, и так, приказав сердцу молчать всегда, встретить конец дней возвышенной грустью мудреца, знающего все земные тщеты.

Не так ли увенчанный славой и сединами доктор обходит палату безнадежно-больных, сдержанно улыбаясь всем взирающим на него со страхом и ропотом?.. «Да, да, – говорит бодрый вид доктора, – конечно, вы находитесь здесь по недоразумению и все вообще обстоит прекрасно»... Однако, доктор не дурак: он видит все язвы, все сокрушения, принесенные недугом, и мало думает о больных. Думать о приговоренных – так сказать – бесполезно. Они ему не компания.

Сравнение себя с доктором весьма понравилось Ноку. Он выпрямился, нахмурился и печально вздохнул. В таком настроении прошла ночь, и когда Нок стал ясно различать фигуру все еще спящей Гелли, – до Зурбагана оставалось сорок с небольшим верст. Верхние листья береговых кустов затлелись тихими искрами, река яснила, влажный ветерок разливал запах травы, рыбы и мокрой земли. Нок посмотрел на одеревеневшие руки: пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели.

– Однако пора будить этого будуарного человека, – сказал Нок о Гелли. – Занялся день, и я не рискну ехать далее, пока не стемнеет.

Он направил лодку к песчаному заливику; лодка, толкнувшись, остановилась, и девушка, нервно вскочив, растерянно осмотрелась еще слипающимися глазами.

III

– Это вы, – успокаиваясь, сказала она. – Всю ночь я спала. Я не сразу поняла, что мы едем.

Ее волосы растрепались, воротник блузы смялся, приняв взъерошенный вид. Плед спустился к ногам. Одна щека была румяней, другая бледной.

Нок сказал:

– Ну, нам, видите ли, осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь мы остановились и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Вылезайте, Гелли. Умывайтесь или причесывайтесь, как знаете, а мне позвольте булавку, если у вас есть. Я хочу поймать рыбу. В этой дикой реке рыбы достаточно.

Гелли погладила рукой грудь; булавка нашлась как раз на месте одной потерянной пуговицы. Она вынула булавку, и края кофточки слегка разошлись, приоткрыв край белой рубашки. Заметив это, Гелли смутилась – она вспомнила, что на нее, спящую, всю ночь смотрел мужчина, а так как спать одетой не приходилось ей никогда, то девушка бессознательно представила себя спавшей, как обычно, под одеялом. Просвет рубашки увеличил смущение. Все, что инстинктивно чувствовалось ей в положении мужчины и женщины, которых никто не видит, неудержимо перевело смущение в смятение; Гелли уронила булавку и, когда, отыскав ее, выпрямилась, лицо ее было совсем красным и жалким.

– Хорошо, что булавка железная, – сказал Нок. – Ее легко гнуть; стальная сломалась бы.

Простодушная близорукость этого замечания вернула Гелли душевное равновесие. Она вышла из лодки, за ней Нок. Сказав, что пойдет вырезать удочку, он потерялся в кустах, и Гелли в продолжение нескольких минут оставалась одна. Плеснув из горсточки на лицо воды, девушка утерлась платком и, поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, поднялась к вершине берегового холма. Здесь она решила «собраться с мыслями». Но мысли вдруг разбежались, потому что занялось и блеснуло перед ней такое жизнерадостное, великолепное утро, когда зелень кажется садом, а мы в нем детьми, прощенными за какую-то гадость. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими, дрожащими блестками, рассыпанными

езде, куда направлялся взгляд. Крепкий густой запах зелени волновал сердце, прозрачность далей казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями; синие тени множили тонкость утренних красок, и кое-где в кудрявых ослепительных просветах блистала лучистая паутина.

Нок вышел из кустов с длинным прутом в руках. Гелли, переполненная восхищением, громко сказала:

– Какое дивное утро!

Нок опасливо посмотрел на нее. Она хотела быть, как всегда, сдержанной, но, против воли, сияла бессознательным оживлением.

«Ну, что же, – враждебно подумал он, – не воображаешь ли ты, что я попался на эту нехитрую удочку? Что я буду ахать и восхищаться? Что я раскисну под твоим взглядом? Девчонка, не мудри! Ничего не выйдет из этого».

– Извините, – холодно сказал он. – Ваши восторги мне скучноваты. И затем, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу.

– Я не кричала, – ответила Гелли, сжавшись.

Незаслуженная, явная грубость Нока сразу расстроила и замутила ее. Желая пересилить обиду, она спустилась к воде, тихо напевая что-то, но опасаясь нового замечания, умолкла совсем.

«Он положительно меня ненавидит; должно быть, за то, что я напросилась ехать».

Эта мысль вызвала припадок виноватости, которую она постаралась, смотря на удившего с лодки Нока, рассеять сознанием необходимости ехать, что нашла нужным тотчас же сообщить Ноку.

– Вы напрасно сердитесь, Трумвик, – сказала Гелли, – не будь отец болен, я не просила бы вас взять меня с собой. Поэтому представьте себя на моем месте и в моем положении... Я ухватилась за вас поневоле.

– Это о чем? – рассеянно спросил Нок, поглощенный движением лесы, скрученной из похищенных в бортах пиджака конских волос. – Отойдите, Гелли, ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Не я, впрочем, виноват, что ваш отец захворал... И вообще, моя манера обращения одинакова со всеми... Клюет!

Гелли, покорно отступив в глубину берега, видела, как серебряный блеск, вырвавшись из воды, запрыгал в воздухе и, закружившись вокруг Нока наподобие карусели, шлепнулся в воду.

– Рыба! Большая! – вскричала Гелли.

Нок, гордый удачей, ответил так же азартно, оглушая скачущую в руках рыбу концом удила:

– Да, не маленькая. Фунта три. Рыба, знаете, толстая и тяжелая: мы ее зажарим сейчас. – Он подтолкнул лодку к берегу и бросил на песок рыбу; затем, осмотревшись, стал собирать валежник и обкладывать его кучей, но валежника набралось немного. Гелли, стесняясь стоять без дела, тоже отыскала две-три сухих ветки. Порывисто, с напряжением и усердием, стоящим тяжелой работы, совала она Ноку наломанные ее исколотыми руками крошечные прутики, величиной в спичку. Нок, выпотрошив рыбу, поджег хворост. Огонь разгорался неохотно; повалил густой дым. Став на колени, Нок раздувал хилый огонь, не жалея легких, и скоро, поблизости уха, услышал второе, очень старательное, прерывистое: – фу-у-у! фу-у-у! – Гелли, упиравшись в землю кулачками с сжатыми в них щечками, усердно вкладывала свою долю труда; дым ел глаза, но, храбро прослезившись, она не оставила своего занятия даже и тогда, когда огонь, окрепнув и заворчав, крепко схватил хворост.

– Ну, будет! – сказал Нок. – Принесите рыбу. Вон она!

Гелли повиновалась.

Выждав, когда набралось побольше углей, Нок разгреб их на песке ровным слоем и аккуратно уложил рыбу. Жаркое зашипело. Скоро оно, сгоревшее с одной стороны, но доброкачественное с другой, было извлечено Ноком и перенесено на блюдо из листьев.

Разделив его прутиком, Нок сказал:

– Ешьте, Гелли, хотя оно и без соли. Голодными мы недалеко уедем.

– Я знаю это, – задумчиво произнесла девушка.

Съев кое-как свою порцию, она, став полусытой, затосковала по дому. Ослепительно, но дико и пустынно было вокруг; бесстрастная тишина берега, державшая ее в вынужденном обстоятельстве плену, начинала действовать угнетающе. Как сто, тысячу лет назад – такими же были река, песок, камни; утрачивалось представление о времени. Она молча смотрела, как Нок, спрятав лодку под свесившимися над водой кустами, набил и закурил трубку; как, мельком взглядывая на спутницу, хмуро и тягостно улыбался, и странное недоверие к реальности окружающего моментами просыпалось в ее возбужденном мозгу. Ей хотелось, чтобы Трумвик поскорее уснул; это казалось ей все-таки делом, приближающим час отплытия.

– Вы хотели заснуть, – сказала Гелли, – по-моему, вам это прямо необходимо.

– Я вам мешаю?

– В чем? – раздосадованная его постоянно придиричивым тоном, Гелли сердито пожала плечами. – Я, кажется, ничего не собираюсь делать, да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки.

– Я ведь не женщина, – торжественно заявил Нок, – меньше сна или больше – для меня безразлично. Если я вам мешаю...

– Я уже сказала, что нет! – вспыхнула, тяжело дыша от кроткого гнева, Гелли, – это я, должно быть, – позвольте вам сказать прямо, – мешаю вам в чем-то... Тогда не надо было ехать со мной. Потому что вы все нападаете на меня!

Ее глаза стали круглыми и блестящими, а детский рот обиженно вздрагивал. Нок изумленно вынул изо рта трубку и осмотрелся, как бы призывая свидетелями небо, реку и лес в том, что не ожидал такого отпора. Боясь, что Гелли расплачется, отняв у него тем самым – и безвозвратно – превосходную позицию сильного презрительного мужчины, Нок понял необходимость придать этому препирательству «серьезную и глубокую» подкладку – немедленно; к тому же, он хотел, наконец, высказаться, как хочет этого большинство искренно, но недавно убежденных в чем-либо людей, ища слушателя, убежденного в противном; здесь дело обстояло проще: самый пол Гелли был отрицанием житейского мировоззрения Нока. Нок сначала нахмурился, как бы проявляя этим осуждение горячности спутницы, а затем придал лицу скорбное, горькое выражение.

– Может быть, – сказал он, веско посылая слова, – я вас и задел чем-нибудь, Гелли, даже наверное задел, допустим, но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам весьма отрицательно; вы – женщина; если невольно я перешел границы вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы ли, другая ли кто – для меня все равно, в каждой из вас я вижу, не могу не видеть, представительницу мирового зла. Да! Женщины – мировое зло!

– Женщины? – несколько оторопев, но успокаиваясь, спросила Гелли, – и вы думаете, что все женщины...

– Решительно все!

– А мужчины?

– Вот чисто женский вопрос! – Нок подложил табаку в трубку и покачал головой. – Что «а мужчины?...» Мужчины, могу сказать без хвастовства, – начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное!

Разрушительное начало, взбудораженное до глубины сердца, с минуту, изумленно подняв тонкие брови, смотрело на Нока с упреком и вызовом.

– Но... Послушайте, Трумвик! – Нок заговорил языком людей ее круга, и она сама стала выражаться более легко и свободно, чем до этой минуты. – Послушайте, это дерзость, но – не думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. В чем же показали себя с такой черной стороны мы?

– Вы неорганизованная стихия, злое начало.

– Какая стихия?

– Хотя вы, по-видимому, еще девушка, – Гелли побагровела от волнения, – я могу вам сказать, – продолжал, помолчав, Нок, – что... значит... половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть.

– Об этом я говорить не буду, – звонко сказала Гелли, – я не судья в этом.

– Почему?

– Глупо спрашивать.

– Вы отказываетесь продолжать этот разговор?

Она отвернулась, смотря в сторону, ища понятного объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманности, ни из чопорности, потому просто, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец, потребность быть всегда искренней взяла верх; посмотрев прямо в глаза Нокку чистым и твердым взглядом, Гелли храбро сказала:

– Я сама еще не женщина; поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о... физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет!

– Тогда знайте, – раздраженно заговорил Нок, – что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограничены. Женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны.

Он потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в продолжение получаса рисовал перед присмирившей Гелли мрачность картины будущего человечества, если оно, наконец, не предаст проклятью любовь. Любовь, по его мнению, – вечный обман природы, – следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах.

– Вы, Гелли, – сказал он, – еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления.

Гелли вздохнула. Если Нок прав хоть наполовину, – жизнь впереди ужасна. Она, Гелли, против воли делается змеей, ехидной, носительницей мирового зла.

– У Шекспира есть, правда, леди Макбет, – возразила она, – но есть также Юлия и Офелия...

– Неврастенические самки, – коротко срезал Нок.

Гелли прикусила язык. Она чуть было не сказала: «я познакомилась бы вас с мамой, не умри она четыре года назад», и теперь благодарил судьбу, что злобный ярлык «самок» миновал дорогой образ. У нее пропала всякая охота разговаривать с Нок, не заметив хмурой натянутости в ее лице, сказал, разумея себя под переменою «я» на «он»:

– У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу... этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той, – дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я...

Вся кровь ударила ему в голову, когда, проговорившись в запальчивости так опрометчиво, он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения. Но Гелли, казалось, не сообразила в чем дело. Обычная слабая улыбка вежливого внимания освещала ее осунувшееся за ночь лицо.

– Что же, – вполголоса договорил Нок, – он попал на каторгу.

Наступило внимательное молчание.

– Он и теперь там? – принужденно спросила Гелли.

– Да.

– Вам его жалко, конечно... и мне жалко, – поспешно прибавила она, – но поверьте, Трум-вик, человек этот не виноват!

– Кто же виноват?

Нок затаил дыхание.

– Конечно, она.

– А он?

– Он сильно любил, и я бы не осудила его.

Нок смотрел на нее так пристально, что она опустила глаза.

«Догадалась или не догадалась? Э, черт! – решил он, – мне, в сущности, все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но не посмеет выспрашивать, а мне более ничего не нужно».

– Я засну. – Он встал, потягиваясь и зевая.

– Да, засните, – сказала Гелли, – солнце высоко.

Нок, не отвечая, улегся в тени явора, закрыв голову от комаров пиджаком, и скоро уснул. Во сне, – как ни странно, как это ни противно его мнениям, но как согласно с человеческой природой, он видел, что Гелли подходит к нему, сидящему, сзади, и нежно прижимает теплую ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Сон, вероятно, принял бы еще более сложный характер, если бы Нок не проснулся от нерешительного мягкого расталкивания. Открыв глаза, он увидел будившую его Гелли и последнее прикосновение ее руки слилось с наивностью сна. Стемнело. Красное веко солнца скрывалось за черным берегом; сырость, тяжесть в голове и грозное настоящее вернули Нока к его постоянному за последние дни состоянию угрюмой настороженности.

– Простите, я разбудила вас, – сказала Гелли, – нам пора ехать.

Они сели в лодку; снова зашумела вода; около часа они плыли не разговаривая; затем, слыша, как Нок часто и хрипло дышит (подул порывистый встречный ветер, и вода взволновалась), Гелли сказала:

– Передайте мне весла, Трумвик, вы отдохнете.

– Весла тяжелые.

– Ну, что за беда! – Она засмеялась. – Если окажусь неспособной, прошу прощения. Дайте весла.

– Как хотите, – ответил Нок.

«Пускай гребет, в самом деле, – подумал он, – голосок-то у нее стал потверже, это сбить надо».

Они пересели. Нок слышал медленные, неверные всплески, ставшие постепенно более правильными и частыми. Гелли еле удерживала весла, толстые концы которых ежеминутно грозили вырваться из ее рук. Откидываясь назад, она тянулась всем телом, и, что хуже всего, ее ногам не было точки опоры, они не доставали до вделанного в дно лодки специально для упора ногам деревянного возвышения. Ноги Гелли беспомощно скользили по дну, и, с каждым взмахом весел, тело почти съезжало с сиденья. Отгребаемая вода казалась тяжелой и неподвижной, как если бы весла погружались в зерно. Руки и плечи девушки заболели сразу, но ни это, ни болезненное сердцебиение, вызвавшее холодный пот, ни тяжесть и мучительность судорожного дыхания не принудили бы ее сознаться в невольной слабости. Она скорее умерла бы, чем оставила весла. Не менее получаса Гелли выносила эту острую пытку и, под конец, двигала веслами машинально, как бы не своими руками. Нок, мрачно думавший о жестоком прошлом, встрепенулся и прислушался: весла ударили вразброд, слабыми, растерянными всплесками, почти не двигая лодку.

– Ага! Гелли! – сказал он. – Возвращайтесь на свое место, довольно!

Она не могла даже ответить. Нок, выпустив руль, подошел к ней. Слабые отсветы воды позволили ему, нагнувшись, рассмотреть бледное, с крепко зажмуренными глазами и болезненно раскрывшимся ртом лицо девушки. Он схватил весла, желая отнять их. Гелли не сразу выпустила их, но, и выпуская, все еще пыталась взмахнуть ими, как заведенная. Она открыла глаза и выпрямилась, полусознательно улыбаясь.

– Ну что? – с внезапной жалостью спросил Нок.

– Нет, ничего, – через силу ответила она, стараясь отдышаться сразу. Затем боязнь насмешки или укола заставила ее гордо выпалить довольно смелое заявление: – Я могла бы долго грести, так как весла не очень тяжелы... Только ручки у них толстые, – наивно прибавила она.

Они пересели снова, и Нок задумался. Он был несколько сконфужен и тронут. Но он постарался придать иное направление мыслям, готовым пристально остановиться на этом гордом и добром существе. Однако у него осталось такое впечатление, как будто он шел и вот зачем-то остановился.

Тучи сгустились, ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя, и в отдаленном углу земной тьмы блеснул короткий голубой свет. Лодку покачивало, вода зловеще всплескивала. Нок посмотрел вверх, затем, перестав грести, сказал:

– Гелли, надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде невысказано; лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Держите руль к берегу.

IV

Место, куда пристали они, было рядом невысоких песчаных бугров. Путешественники сошли на берег. Нок, опасаясь, что вода от ливня сильно поднимется, с большими усилиями втянул лодку меж буграми в естественное песчаное углубление. По берегу тянулся редкий, высокий лес, являющийся плохой защитой от грозовой бури, и Нок нашел нужным предупредить девушку об этом.

– Мы вымокнем, – сказал он, – с чем примиритесь заранее – некуда скрыться. Вы боитесь?

– Нет, но неприятно останавливаться.

– Ужасно неприятно.

Они встали под деревом, с тоской прислушиваясь к шуму его листвы, по которой защелкал дождь. Ветер, затихая на мгновение, ударял снова, как бы набравшись сил, еще резче и неистовее. Тучи, спустившиеся над лесом с решительной мрачностью нападения, задавили наконец единственный густо-синий просвет неба, и тьма стала полной. Было сиротливо и холодно; птицы, вспархивая без крика, летели низом, вихляющим трусливым полетом. Свет молнии, вспыхивавший пока редко, без грома, показал Ноку за обрывом лису, нюхавшую воздух, острая ее морда и поджатая передняя лапа исчезли мгновенно, как появились.

Междущствие тишины и грозы кончилось весьма решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда; в его стремительном напряжении деревья склонились под углом тридцати градусов, а мелкая поросль затрепетала как в лихорадке. Листья, сучья, разный древесный сор понесся меж стволов, ударяя в лицо. Наконец, скакнула жутким синим огнем гигантская молния, по земле яростно хлестнуло дождем, и взрывы неистового грома огласили пустыню.

Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли в ошеломлении, прижавшись спинами и затылками к стволу. Они задыхались. Ветер душил их; ему помогал ливень такой чудовищной щедрости, что лес быстро наполнился шумом ручьев, рожденных грозой. Гром и молния чередовались в диком соперничестве, заливающим землю приступами небесного грохота и непрерывным, режущим глаз, холодным, как дождь, светом, в дрожи которого деревья, казалось, шатаются и подсакаивают.

– Гелли! – закричал Нок. – Мы все равно больше не сможем. Выйдем на открытое место! Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться; видите, что творится кругом.

Держа девушку за руку, ежеминутно расплываясь ногами в скользкой грязи и высматривая, пользуясь молнией, свободное от деревьев место, Нок одолел некоторое расстояние, но, убедившись, что далее лес становится гуще, остановился. Вдруг он заметил огненную неподвижную точку. Обойдя куст, мешавший внимательно рассмотреть это явление, Нок различил огромный переплет, находившийся так близко от него, что виден был огарок свечи, воткнутый в бутылку, поставленную на стол.

– Гелли! – сказал Нок. – Окно, жилье, люди! Вот-вот, смотрите!

Ее рука крепче оперлась о его руку, девушка радостно повторила:

– Окно, люди! Да, я вижу теперь. О, Трумвик, бежим скорей под крышу! Ну!

Нок приуныл, охваченный сомнением. Именно жилья и людей следовало ему избегать в своем положении. Наконец, сам измученный и озябший, рассчитывая, что в подобной глуши мало шансов знать кому-либо его приметы и бегство, а в крайнем случае положившись на судьбу и револьвер, Нок сказал:

– Мы пойдем, только, ради бога, слушайте меня, Гелли: не объясняйте сами ничего, если вас спросят, как мы очутились здесь. Неизвестно, кто живет здесь; неизвестно также, поверят ли нам, если мы скажем правду, и не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку, более правдоподобную, чем истина; согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная.

Гелли плохо понимала его; вода под платьем струилась по ее телу, поддерживая одно же-

ление – скорее попасть в сухое, крытое место.

– Да, да, – поспешно сказала девушка, – но, пожалуйста, Трумвик, идем!..

Через минуту они стояли у низкой двери бревенчатой, без изгороди и двора, хижины.

Нок потряс дверь.

– Кто стучит? – воскликнул голос за дверью.

– Застигнутые грозой, – сказал Нок, – они просят временно укрыть их.

– Что за дьявол! – с выражением изумления, даже пораженности откликнулся голос. – Медор, иди-ка сюда, эй, ты, лохматый лентяй!

Послышался хриплый глухой лай.

Неизвестный, все еще не открывая дверей, спросил:

– Сколько вас?

– Двое.

– Кто же вы, наконец?

– Мужчина и женщина.

– Откуда здесь женщина, любезнейший?

– Скучно объясняться через дверь, – заявил Нок, – пустите, мы устали и смокли.

Наступила короткая тишина; затем обитатель хижины, внушительно стуча чем-то об пол, крикнул:

– Я вас пушу, но помните, что Медор без намордника, а в руках я держу двухствольный штуцер. Входите по одному; первой пусть войдет женщина.

Встревоженная Гелли еще раз за время этого разговора почувствовала силу обстоятельств, бросивших ее в необычайные, никогда не испытанные условия. Впрочем, она уже несколько притерпелась. Звякнул отодвигаемый засов, и в низком, грязном, но светлом помещении появилась совсем мокрая, тяжело дышащая, бледная, слегка оробевшая девушка в шляпе, изуродованной и сбитой набок дождем. Гелли стояла в луже, мгновенно образовавшейся на полу от липнущей к ногам юбки. Затем появился Нок, в не менее жалком виде. Оба одновременно сказали «уф» и стали осматриваться.

V

Хозяин хижины, оттянув собаку за ошейник от ног посетителей, на которые она обратила чрезмерное внимание и продолжала взволнованно ворчать, загнал ее двумя пинками в угол, где, покружившись и зевнув, волкодав лег, устремив беспокойные глаза на Гелли и Нока. Хозяин был в цветной шерстяной рубаше с засученными рукавами, плисовых штанах и войлочных туфлях. Длинные, жидкие волосы, веером спускаясь к плечам, придавали неизвестному вид бабий и неопрятный. Костлявый, невысокого роста, лет сорока – сорока пяти, человек этот с румяным, неприятно открытым лицом, с маленькими ясными глазами, окруженными сеткой морщин и вздернутой верхней губой, открывавшей крепкие желтоватые зубы, производил смутное и мутное впечатление. В очаге, сложенном из дикого камня, горели дрова, над огнем кипел черный котелок, а над ним, шипя и лопаясь, пеклось что-то из теста. У засаленного бурого стола, кроме скамьи, торчали два табурета. Жалкое ложе в углу, отдаленно напоминающее постель, и осколок зеркала на гвозде доканчивали скудную меблировку. Под полками с небольшим количеством необходимой посуды висели ружья, капканы, лыжи, сетки и штук пятнадцать клеток с певчими птицами, возбужденно голосившими свои нехитрые партии. На полу стоял граммофон в куче сваленных старых пластинок. Все это было достаточно густо испещрено птичьим пометом.

– Так вот, дорогие гости, – сказал несколько нараспев и в нос неизвестный, – садитесь, садитесь. Вас, вижу я, хорошо выстирало. Садитесь, грейтесь.

Гелли села к огню, выжимая рукава и подол юбки. Нок ограничился тем, что, сняв мокрый пиджак, сильно закрутил его над железным ведром и снова надел. Стекла окна, озаряемые молнией, звенели от грома.

– Давайте знакомиться, – добродушно продолжал хозяин, отставляя ружье в угол. – Ах, бедная барышня! Я предложу вам, господа, кофею. Вот вскипел котелок – а, барышня?

Гелли поблагодарила очень сдержанно, но так тихо и ровно, что трудно было усомниться в ее желании съесть и выпить чего-нибудь. Злосчастная рыба давно потеряла свое подкрепляющее действие. Нок тоже был голоден.

Он сказал:

– Я заплачу. Есть и пить, правда, необходимо. Дайте нам то, что есть.

– Разве берут деньги в таком положении? – обиженно возразил охотник. – Чего там! Ешьте, пейте, отдыхайте – я всегда рад услужить, чем могу.

Все это произносил он отдельно, открыто, радушно, как заученное. На столе появились хлеб, холодное мясо, горячая, с огня, масляная лепешка и котелок, полный густым кофе. Собирая все это, охотник тотчас же заговорил о себе. Больше всего он зарабатывает продажей птиц, обученных граммофоном всевозможным мелодиям. Он даже предложил показать, как птицы подражают музыке, и бросился было к граммофону, но удержался, покачав головой.

– Ах я, дурак, – сказал он, – молодые люди проголодались, а я вздумал забавлять их!

– Кстати, – он повернулся к Ноку и посмотрел на него в упор, – вверху тоже дожди?

– Мы едем снизу, – сказал Нок, – в Зурбагане отличная погода... Как вас зовут?

– Гутан.

– Милая, – нежно обратился Нок к девушке, – что если Трумвик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь?

Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Она сидела против Нока, рядом с охотником.

Девушка опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Ее руки дрожали, а голос был не совсем бодр, когда она, отбросив, наконец, опасное колебание, тихо сказала:

– Делай как знаешь.

Гроза стихала.

Гутан опустил глаза, затем отечески покачал головой.

– Конечно, я на вашей стороне, – сочувственно сказал он, – семейный деспотизм штука ужасная. Только, как мне ни жаль вас, господа, а должен я сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст десять назад. Там есть отличный священник, в полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки...

– Что же, беда не велика, – спокойно сказал Нок, – все, видите ли, вышло очень поспешно, толком расспросить было некого, и мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли много было о чем поговорить. Вот заговорились – и просмотрели деревню.

– Поедем, – сказала Гелли, вставая. – Дождя нет.

Нок пристально посмотрел в ее блестящие, замкнутые глаза.

– Ты волнуешься и торопишься, – медленно произнес он, – не беспокойся; все устроится. Садись.

Истинный смысл этой фразы казался непонятным Гутану и был очень недоверчиво встречен девушкой, однако ей не оставалось ничего другого, как сесть. Она постаралась улыбнуться.

Охотник подошел к очагу. Неторопливо поправив дрова, он, стоя спиной к Ноку, сказал:

– Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что: опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы; одного поймали вблизи Варда, а другой...

Он повернулся как на пружинах, с приятной улыбкой на разгоревшемся румяном лице, и быстро, но непринужденно уселся за стол. Его прямой, неподвижный взгляд, обращенный прямо в лицо Нока, был бы оглушителен для слабой души, но молодой человек, захлебнувшись кофеем, разразился таким кашлем, что побагровел и согнулся.

–...другой, – продолжал охотник, терпеливо выждав конца припадка, – бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газете, и приметы их там указаны.

– Да? – весело сказала Гелли. – Но нас, знаете, грабить не стоит, мы почти без денег... Как называется эта желтая птичка?

– Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание.

Нок рассмеялся.

– Гелли трудно напугать, милый Гутан! – вскричал он, – что касается меня, я совершенный фаталист во всем.

– Вы, может быть, правы, – согласился охотник. – Советую вам посмотреть лодку, – вода прибыла, лодку может умчать разливом.

– Да, правильно. – Нок встал. – Гелли, – громко и нежно сказал он, – я скоро вернусь. Ты же посмотри птичек, развлекись разговором. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. Не беспокойся, я помню, где лодка, и не заплутаюсь.

Он вышел. Гелли знала, что этот человек ее не оставит. Острота положения пробудила в ней всю силу и мужественность ее сердца, способного замереть в испуге от словесной обиды, но твердого и бесстрашного в опасности. Она жалела и уважала своего спутника, потому что он на ее глазах боролся, не отступая до конца, как мог, с опасной судьбой.

Гутан подошел к двери, плотно прикрыл ее, говоря:

– Эти певчие дрозды, барышня, чудaki, страшные обжоры, во-первых, и...

Но эта бесцельная болтовня, видимо, стесняла его. Подойдя к Гелли вплотную, он, перестав улыбаться, быстро и резко сказал:

– Будем вести дело начистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться?

Даже чрезвычайное возбуждение с трудом удержало Гелли от улыбки, – так ясно было, что охотник поддался заблуждению. Впрочем, присутствие Гелли трудно было истолковать в ином смысле – ее наружность отвечала самому требовательному представлению о девушке хорошего круга.

– Мне, кажется, да, знаю, – холодно ответила Гелли, вставая и выпрямляясь. – Объясните ваш странный вопрос.

Гутан взял с полки газету, протянул Гелли истрепанный номер.

– Читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю.

Пропустив официальный заголовок объявления, а также то, что относилось к второму каторжнику, Гелли прочла:

«...и Нок, двадцати пяти лет, среднего роста, правильного и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие; лицо смуглое, под левым ухом большое родимое пятно, величиной с боб; маленькие руки и ноги; брови короткие; других примет не имеет. Каждый обнаруживший местонахождение указанных лиц, или одного из них, обязан принять все меры к их задержанию, или же, в случае невозможности этого, – поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная законом награда».

Гелли машинально провела рукой по глазам. Прочитанное не было для нее новостью, но отнимало – и окончательно – самые смелые надежды на то, что она могла крупно, фантастически ошибиться.

Вздохнув, она возобновила игру.

– Боже мой! Какой ужас!

– Да, – с грубой торопливостью подхватил Гутан, не замечая, что отчаянное восклицание слишком подозрительно скоро прозвучало из уст любящей женщины. – Не мое дело допытываться, как он, и так скоро, обошел вас. Но вот с кем вы хотели связать судьбу.

– Я очень обязана вам, – сказала Гелли с чувством глубокого отвращения к этому человеку. Она, естественно, тяжело дышала; не зная, чем кончится мрачная история вечера, Гелли допускала всякие ужасы. – Как видите, я потрясена, растерялась. Что делать?

– Помогите задержать его, – сказал Гутан, – и клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но и уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться... – Он пренебрежительно окинул взглядом жалкий костюм Гелли. – Жизнь дорожает, а я хозяин своему слову.

Рука Гелли невольно качнулась по направлению к пышущей здоровьем щеке охотника, но

девушка перемогла оскорбление, не изменившись в лице.

– Хорошо, согласна! – твердо произнесла она. – Я не умею прощать. Он скоро придет. Вы не боитесь, что отпустили его?

– Нет. Он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана, – одного меня он, конечно, не побоится. У него – револьвер. Оттянутый карман в мокром пиджаке заметно выдает форму предмета. Я должен его связать, схватить его сзади. Вы подведите его к клетке и займите какой-нибудь птицей. В это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе, – Гутан угрожающе понизил голос, – я осрамлю вас на весь город.

– Хорошо, – едва слышно сказала Гелли. Она говорила и двигалась, как бы в ярком сне, где все решения мгновенны, полны кошмарной тоски и тайны. – Да, вы сообразили хорошо. Я так и сделаю.

– Улыбайтесь же! Улыбайтесь! – вдруг крикнул Гутан. – Вы побелели! Он идет, слышите?!

Звук медленных, за дверью, шагов, приближающихся как бы в раздумьи, был слышен и Гелли. Она придвинулась к двери. Нок, широко распахнув дверь, прежде всего посмотрел на девушку.

– Нок, – громко сказала она; охотник не догадался сразу, что внезапная перемена имени выдает положение, но беглец понял. Револьвер был уже в его руке. Это произошло так быстро, что, поспешно переступая порог, чтобы не видеть свалки, Гелли успела только проговорить: – Защищайтесь, – это я хотела сказать.

Последним воспоминанием ее были два мгновенно преображенных мужских лица.

Она отбежала шагов десять в мокрую тьму кустов и остановилась, слушая всем своим существом. Неистовый лай, выстрел, второй, третий; два крика; сердце Гелли стучало, как швейная машина в полном ходу; в полуоткрытую дверь выбрасывались тени, быстро меняющие место и очертания; спустя несколько секунд звонко вылетело наружу оконное стекло и наступила несомненная, но удивительная в такой момент тишина. Наконец, кто-то, черный от падающего сзади света, вышел из хижины.

– Гелли! – тихо позвал Нок.

– Я здесь.

– Пойдемте. – Он хрипло дышал, зажимая ладонью нижнюю, разбитую губу.

– Вы... убили?

– Собаку.

– А тот?

– Я связал его. Он сильнее меня, но мне посчастливилось запутать его в скамейках и клетках. Там все опрокинуто. Я также заткнул ему рот, пригрозив пулей, если он не согласится на это... Самому разжимать рот...

– О, бросьте это! – брезгливо сказала Гелли.

Так тяжело, как теперь, ей не было еще никогда. На долгие часы померкла вся казовая сторона жизни. Лесная тьма, борьба, кровь, предательство, жестокость, трусость и грубость подарили новую тень молодой душе Гелли. Уму было все ясно и непреложно, а сердцу – противно.

Нок, приподняв лодку, освободил ее этим от дождевой воды и столкнул на воду. Они двигались в полной тьме. Вода сильно поднялась, более внятный шум ускоренного течения звучал тревожно и властно.

Несколькими ударами весел Нок вывел лодку на середину реки и приналег в гребле. Тогда, почувствовав, что связанный и застреленная собака отрезаны, наконец, от нее расстоянием и водой, Гелли заплакала. Иного выхода не было ее потрясенным нервам; она не могла ни гневаться, ни быть безучастной к только что происшедшему, – особенно теперь, когда от нее не требовалось более того крайнего самообладания, какое пришлось выказать у Гутана.

– Ради бога, не плачьте, Гелли! – сказал, сильно страдая, Нок. – Я виноват, я один.

Гелли, чувствуя, что голос сорвется, молчала. Слезы утихли. Она ответила:

– Мне можно было сказать все, все сразу. Мне можно довериться, – или вы не понимаете этого. Вероятно, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину.

– Да, но я теперь только узнал вас, – с грустной прямолинейностью сообщил Нок. – Моя

сказка о священнике и браке не помогла: он знал, кто я. А помогла бы... Как и что сказал вам Гутан, Гелли?

Гелли коротко передала главное, умолчав о четверти награды за поимку.

«Нет, ты не стоишь этого, и я тебе не скажу, – подумала она, но тут же отечески пожалела уныло молчавшего Нока. – Вот и пристрамил».

И Гелли рассмеялась сквозь необсохшие слезы.

– Что вы? – испуганно спросил Нок.

– Ничего; это – нервное.

– Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас. – Помолчав, он решительно спросил: – Так вы догадались?

– Мужчине вы не рискули бы рассказать историю с вашим приятелем! Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу; купалась, чтобы стряхнуть усталость. Я вернулась; вы спали, и здесь почему-то, снова увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв пиджаком голову, я сразу сказала себе: «его приятель – он сам»; плохим другом были вы себе, Нок! И, право, за эти две ночи я постарела не на один год.

– Вы поддержали меня, – сказал Нок, – хорошо, по-человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал.

– А другие?

– Другие? Вот...

Он начал рассказ о жизни. Возбуждение чувств помогло памяти. Не желая трогать всего, он остановился на детстве, работе, мрачном своем романе и каторге. Его мать умерла скоро после его рождения, отец бил и тридцать раз выгонял его из дому, но, напиваясь, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и встреча, в парке, при подкупающих звуках оркестра, с прекрасной молодой женщиной были переданы Ноком весьма сжато; он хотел рассказать главное – историю отношений с Темезой. Насколько поняла Гелли, – крайняя идеализация Ноком Темезы и была причиной несчастья. Он слепо воображал, что она совершенна, как произведение гения, – так сильно и пылко хотелось ему сразу обрести все, чем безыскусственные, но ненасытные души наделяют образ любимой.

Но он-то был для своей избранницы всего пятой, по счету, прихотью. Благоговейная любовь Нока сначала приподняла ее – немного, затем надоела. Когда понадобилось бежать от терпеливого, но раздраженного, в конце концов, мужа с новым любовником, Темеза – отчасти искренно, отчасти из подражания героиням уголовных романов – стала в позу обольстительной, но преступной натуры. К тому же весьма крупная сумма, добытая Ноком ценой преступления, стояла в ее глазах безвыездного жителя за границей.

Нок был так подавлен и ошеломлен вероломством скрывшейся от него – к новой любви – Темезы, что остался глубоко равнодушным к аресту и суду. Лишь впоследствии, два года спустя, в удушливом каторжном застенке он понял, к чему пришел.

– Что вы намерены делать? – спросила Гелли. – Вам хочется разыскать ее?

– Зачем?

Она молчала.

Нок сказал:

– Никакая любовь не выдержит такого огня. Теперь, если удастся, я переплыву океан. Усните.

– Какой сон!

«Однако я ведь ничего не могу для него сделать, – огорченно думала Гелли. – Может быть, в городе... но что? Прятать? Ему нужно покинуть Зурбаган как можно скорее. В таком случае, я выпрошу у отца денег».

Она успокоилась.

– Нок, – равнодушно сказала девушка, – вы зайдете со мной к нам?

– Нет, – твердо сказал он, – и даже больше. Я высажу вас у станции, а сам проеду немного дальше.

Но – мысленно – он зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. Нок смолк, умолкла и девушка. Оба, подавленные пережитым и высказанным, находились в том состоянии свободного, невынужденного молчания, когда родственность настроений заменяет слова.

Когда в бледном рассвете, насквозь продрогшая, с синевой вокруг глаз, пошатывающаяся от слабости, Гелли услышала отрывистый свисток паровоза, – звук этот показался ей замечательным по силе и красоте. Она ободрилась, порозовела. Низкий слева берег был ровным лугом; невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши.

Нок высадил Гелли.

– Ну вот, – угрюмо сказал он, – вы через час дома... Все.

Вдруг он вспомнил свой сон под явором, но не это предстояло ему.

– Так мы расстаемся, Нок? – сердечно спросила Гелли. – Слушайте, – она, достав карандаш и покоробленную дождем записную книжку, поспешно исписала листок и протянула его Ноку. – Это мой адрес. В крайнем случае – запомните это. Поверьте этому – я помогу вам.

Она подала руку.

– Прощайте, Гелли! – сказал Нок. – И... простите меня.

Она улыбнулась, примиренно кивнула головой и отошла. Но часть ее осталась в неуклюжей рыбацкой лодке, и эта-то часть заставила Гелли обернуться через немного шагов. Не зная, какой более крепкий привет оставить покинутому, она подняла обе руки, быстро вытянув их, ладонями вперед, к Ноку. Затем, полная противоречивых, смутных мыслей, девушка быстро направилась к станции, и скоро легкая женская фигура скрылась в зеленых волнах луга.

Нок прочитал адрес: «Трамвайная ул., 14–16».

– Так, – сказал он, разрывая бумажку, – ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адрес. Но теперь никто не прочтает его. И я к тебе не приду, потому что... о, господи!.. люблю!..

VI

Нок рассчитывал миновать станцию, но когда стемнело и он направился в Зурбаган, предварительно утопив лодку, голодное изнурение двух суток настолько помрачило инстинкт самосохранения, что он, соблазненный полосой света станционного фонаря, тупо и вместе с тем радостно повернул к нему. Рассудок не колебался, он строго кричал об опасности, но воспоминание о Гелли, безотносительно к ее приглашению, почему-то явилось ободряющим, как будто лишь знать ее было, само по себе, защитой и утешением – не против внешнего, но того внутреннего – самого оскорбительного, что неизменно ранит даже самые крепкие души в столкновении их с насилием.

Косой отсвет фонаря напоминал о жилом месте и, главное, об еде. От крайнего угла здания отделяли кусты пространством сорока-пятидесяти шагов. На смутно различаемом перроне двигались тени. Нок не хотел идти в здание станции; на такое безумство – еще в нормальном сравнительно состоянии – он не был способен, но стремился, побродив меж запасных путей, найти будку или сторожку, с человеком, настолько заработавшимся и прозаическим, который, по недалекости и добродушию, приняв беглеца за обыкновенного городского бродягу, даст за деньги перекусить.

Нок пересек главную линию холодно блестящих рельс саженьях в десяти от перрона и, нырнув под запасный поезд, очутился в тесной улице товарных вагонов. Они тянулись вправо и влево; нельзя было угадать в темноте, где концы этих нагромождений. В любом направлении – окажись здесь десятки вагонов – Нока могла ждать неприятная или роковая встреча. Он пролез еще под одним составом и снова, выпрямившись, увидел неподвижный глухой поезд. По-видимому, тут, на запасных путях, стояло их множество. Отдохнув, Нок пополз дальше. Почти не разгибаясь даже там, где по пути оказывались тормозные площадки – так болела спина, он выбрался, в конце концов, на пустое в широком расхождении рельс место; здесь, близко перед собой, увидел он маленькую, без дверей будку, внутри ее горел свечной огарок; сторожа не было; над грубой койкой на полке лежал завернутый в тряпку хлеб, рядом с бутылкой молока и же-

стяжкой с маслом. Нок осмотрелся.

Действительно, кругом никого не было, ни звука, ни вздоха не слышалось в этом уединенном месте, но неотразимое ощущение опасности повисло над душой беглеца, когда, решившись взять хлеб, он протянул, наконец, осторожную руку. Ему казалось, что первый же его шаг прочь от будки обнаружит притаившихся наблюдателей. Однако тряпка из-под хлеба упала на пол без сотрясения окружающего, и Нок уходил спокойно, с пустой, легкой, шумной от напряжения головой, едва удерживаясь, чтобы тотчас же не набить рот влажным мякишем. Он шел по направлению к Зурбагану, удаляясь от станции. Справа тянулся ряд угрюмых вагонов, слева – песчаная дорожка и за ней выступы палисадов; верхи деревьев уныло чернели в полутьме неба.

Внезапно, как во сне, из-за вагона упал на песок, быстро побежав к Ноку, огонь ручного фонаря; некто, остановившись, хмуро спросил:

– Зачем вы ходите здесь?

Нок отшатнулся.

– Я... – сказал он и, вдруг потеряв самообладание, зная, что растерялся, вскочил на первую попавшуюся подножку. Нога Нока, крепко и молча схваченная снизу сильной рукой, выдернулась быстрее щелчка.

– Стой, стой! – оглушительно крикнул человек с фонарем.

Нок спрыгнул между вагонов. Затем он помнил только, что, вскакивая, пролезая, толкаясь коленями и плечами о рельсы и цепи, спрыгивал и бежал в предательски тесных местах, пьяный от страха и тьмы, потеряв хлеб и шляпу. Вскочив на грузовую платформу, он увидел, как впереди скользнул вниз прыгающий красный фонарь, за ним второй, третий; сзади, куда обернулся Нок, тоже прыгали с тормозных площадок настойчивые красные фонари, шаря и светя во всех направлениях.

Нок тихо скользнул вниз, под платформу. Единственным его спасением в этом прямолинейном лесу огромных, глухих ящиков было держаться одного направления – куда бы оно ни вело; кружиться и путаться означало гибель. Сжав зубы, с замолкшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов, бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. В одном месте Нок стукнулся головой о нижний край вагона; от силы удара молодой человек чуть не свалился навзничь, но, пересилив боль, пополз дальше. Боль, одолев страх, прояснила сознание. Им, видимо, руководил инстинкт направления, иногда действующий – в случаях обострения чувств. Шатаясь, Нок встал на свободном месте – то была покинутая им в момент встречи фонаря песчаная дорожка, окаймленная палисадами; перепрыгнув забор, Нок мчался по садовым кустам и клумбам к следующему забору. За забором и небольшим пустырем лежал лес, примыкающий к Зурбагану; Нок бросился в защиту деревьев, как в родной дом.

Бежать, в точном смысле этого слова, не было никакой возможности среди тонущих во тьме преград – стволов, сплетений чащи, бурелома и ям. Нок падал, вставал, кидался вперед, опять падал, но скорость его отчаянных движений, в их совокупности, равнялась, пожалуй, бегу. Единственной его целью – пока – было отдалиться как можно недостижимее от преследователей. Однако через пятнадцать – двадцать минут наступила реакция. Тело отказалось работать, оно было разбито и исцарапано. Ноги согнулись сами, и обожженные легкие дергались болезненными усилиями, почти не хватая воздуха. Покорность изнеможению заставила Нока сесть; сев, он уронил голову на руки и стих; невольная слабость вздоха несколько облегчила нервы, подавленные молчанием.

«Гелли теперь дома, – подумал он, – да, она уже давно дома. У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты; отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! Ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там. Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу! Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад... Впрочем, я разорвал его...»

Он вздрогнул, вспомнив об этом, но, покачав головой, застыл в горькой радости и темном покое. Он был бы настоящим преступником, вздумав идти к этой, невиноватой ни в чьей судьбе, девушке. За что она должна возиться с бродягой, рискуя сплетнями, допросами, обидой? Он сно-

ва утвердился в своей шаткой, болезненной озлобленности против всех, кроме Гелли, бывшей, опять-таки, по крайнему его мнению, диковинным, совершенно фантастическим исключением. Теперь он жалел, что прочитал адрес, но, попытавшись вспомнить его, убедился в полной неспособности памяти воспроизвести пару легко начертанных строк. Он смутился, но тотчас дал себе за это пощечину. Все оборвалось, исчез всякий след к прошлому – и дом, и улица, и номер квартиры – от этого страдало самолюбие Нока. Он все-таки хотел сам не пойти; теперь воля его была ни при чем; им распорядилась, без принуждения, его память. Она же сделала его одиноким; он как бы проснулся. Гелли и Зурбаган внезапно отодвинулись на тысячу верст; город, пожалуй, скоро вернулся на свое место, но это был уже не тот город.

Когда возбуждение улеглось, Нок вспомнил о потерянном хлебе. К удивлению беглеца, это воспоминание не вызвало приступа голода; но озноб и сухость во рту, принятые им, как случайные последствия треволнений, – усилились. Колени ударяли о подбородок, а руки, сложенные в обхват колен, судорожно сводило лихорадочными, неудержимыми спазмами.

– Я не должен спать, – сказал Нок, – если засну, то завтра, совсем обессиленного, меня может поймать не только здоровенный мужчина в мундире, а простая кошка.

Он встал, спросил у леса: «В какую же сторону я пойду, господа?» – и прислонился головой к дереву. Так, трясаясь, выждал он момента, когда озноб сменился жаром; легкое возбуждение казалось наркотически приятным, как кофе или чай после работы. В это время со стороны Зурбагана всплыли из глубины молчания – тишины и шорохов леса – фабричные гудки ночной смены. Нок тронулся в разнотонно-певучую сторону. Высокие, нервные и средние, покладистые гудки давно уже стихли, но долго еще держался низкий, как рев бычьей страсти, вой пушечного завода, и Нок слабо кивнул ему.

– Ты, старина, не смолкай, – сказал он, – мне говорить не с кем и – помилуй бог – идти не к кому...

Но стих и этот гудок.

Нок, машинально, придерживаясь одного направления, брел, разговаривая вслух то с Гутаном, то с Гелли, то с воображаемым, неизвестным спутником, шагающим рядом. Временами он принимался петь арестантские песни или подражать звукам разных предметов, говоря стеклу: «Дзинь!», дереву – «Туп!», камню – «Кокк!», но все это без намерения развлечься. Сравнительно скоро после того, как залился первый гудок, он очутился на ровном, просторном месте и, сквозь дремотную возбужденность жара, понял, что близок к городу.

Потому, что нащупывать вокруг было более нечего, – ни стволов, ни кустов, Нок впал в апатию. Сев, он растянулся и задремал; затем погрузился в больной сон и проспал около двух часов. Сверкающий дым труб, солнце и постройки городского предместья предстали его глазам, когда, подняв голову, вошел он ослабевшей душой в яркий свет дня, требующего настойчивости и осторожности, сил и трудов. Как показалось ему, – он окреп; встав, Нок вырвал у пиджака подкладку и наскоро устроил из кусков черной материи род головного убора – вернее, повязку, о форме и удачности которой ему не хотелось думать.

Приближаясь к городу, Нок у первого переулка внезапно остановился с полным соображением того, что на городских улицах показываться опасно. Однако идти назад не было смысла. Покачав головой, поджав губы и улыбнувшись, он открыл дверь первого попавшегося трактира, сел и попросил есть.

– Еще папирос, – прибавил он, механически водя ложкой по немытой тарелке с супом.

Подняв глаза, он с беспокойством и тоской увидел, что глаза всех посетителей, слуг и хозяина молчаливо обращены на него. Он с трудом закурил, с трудом проглотил ложку соленого, горячего супа. Ложку и папиросу он, не замечая этого, держал в одной руке. Есть ему не хотелось. Положив на стол серебряную монету, Нок сказал:

– Не обращайтесь, господа, никакого внимания. Рано я вышел из больницы, вот что.

Выйдя на улицу, он очень тихо, бесцельно, сосредоточенно думая о преимуществах пишущей машины Ундервуд перед такой же Ремингтон, пересек несколько пустырей, усыпанных угольным и кирпичным щебнем, и поднялся по старым, каменным лестницам Ангрской дороги на мост, а оттуда прошел к улицам, ведущим в центр города. Здесь, неподалеку от площади

«Светлый Шар», он посидел несколько минут на бульварной скамейке, соображая, стоит ли идти в порт днем, дабы спрятаться в угольном ящике одного из пароходов, готовых к отплытию. Но порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками; Нат Пинкертон расплодил их по всему свету в тройном против обычного количестве.

– Опасно двигаться; опасно сидеть; все опасно после Гутана и вчерашней скачки с препятствиями, – сказал Нок, тупо рассматривая прохожих, в свою очередь даривших его взглядом мимолетного любопытства, благодаря черной повязке на голове. В остальном он не отличался от присутствующего большому городу типа бродяг. Вдруг он почувствовал, что упадет, если посидит еще хоть минуту. Он встал, маленькими неверными шагами одолел приличное расстояние от площади до Цветного Рынка и сел снова, на краю маленького фонтана, среди детей, прежде всего солидно положивших в рот пальцы, чтобы достойным образом воззриться на «дядю», а затем презрительно возвратившихся к своей песочной стряпне.

Здесь на Нока бросился человек.

Он выскочил неизвестно откуда, может быть, он шел по пятам, присматриваясь к спрятанной в рукаве фотографии. Он был в черном костюме, черном галстуке и черной шаблонной «джонке».

– Стой! – и крикнул и сказал он.

Нок побежал, и это были последние его силы, которые тратил он, – вне себя, – содрогнувшись в тоске и ужасе.

За ним гнались, гнались так же быстро, как бежал он, кидаясь от угла к углу улиц, сворачивая и увертываясь, как безумный. И вдруг, с чугунной дощечки одного из домов, сорвавшись, ударила его в сердце надпись забытой улицы, где жила Гелли. Теперь казалось, – он всегда помнил номера квартиры и дома. Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот оторвут, вырвут из рук, а самого его отбросят далеко назад, в тяжелую тьму страдания, Нок повернулся и разрядил весь револьвер в побежавших назад людей. Улица шла вниз, крутыми зелеными поворотами, узкая, как труба. Увидев спасительный номер, Нок остановился на четвертом этаже крутой лестницы, сначала позвонил, а затем рванул дверь, и ее быстро открыли. Потом он увидел Гелли, а она – жалкое подобие человека, хватяющегося за стену и грудь.

– Гелли, милая Гелли! – сказал он, падая к ее ногам. – Я... весь... всё тут!

Последним воспоминанием его были странные, прямые, доверчивые глаза – с выражением защиты и жалости.

– Анна! – сказала Гелли сестре, смотревшей на бесчувственного человека с высоты своих пятнадцати лет, причастных отныне строгой и опасной тайне. – Запри дверь; позови садовника и Филиппа. Немедленно, сейчас же перенесем его черным ходом, через сад, к доктору. Потом позвони дяде.

Минут через пятнадцать указания почтенных прохожих надоумили полицию позвонить в эту квартиру. Чины исполнительной власти застали оживленную игру в четыре руки двух девушек. Обе фальшивили, были несколько бледны и кратки в ответах. Впрочем, визит полиции не вызывает улыбки.

– Мы не слышали, бежал кто по лестнице или нет, – мягко сказала Гелли.

И кому в голову пришло бы спросить барышню почтенной семьи:

– Не вы ли спрятали каторжника?

С сожалением оканчиваем мы эту историю, тем более, что далее она лучше и интереснее. Но дальнейшее составило бы материал для целого романа, а не коротенькой повести. А главное вот что: Нок благополучно переплыл море и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.

Как я умирал на экране

В полдень я получил уведомление от фирмы «Гигант», что предложение мое принято. Жена спала. Дети ушли к соседям. Я задумчиво посмотрел на Фелицату, скорбно прислушиваясь к ее неровному дыханию, и решил, что поступаю разумно. Муж, неспособный обеспечить лекар-

ство больной жене и молоко детям, заслуживает быть проданным и убитым.

Письмо управляющего фирмой «Гигант» было составлено весьма искусно, так, что только я мог понять его; попади оно в чужие руки, никто не догадался бы, о чем речь. Вот письмо:

«М.Г.! Мы думаем, что сумма, о которой вы говорите, удобна и вам и нам (я требовал двадцать тысяч). Приходите на улицу Чернослива, дом 211, квартира 73, в 9 часов вечера. То неизменное положение, в котором вы очутитесь, назначено с соответствующим, приятным для вас, ансамблем».

Подписи не было.

Некоторое время я ломал голову, – каким путем очутившись в «неизменном положении», т. е. с простреленной головой, я могу убедиться в выполнении «Гигантом» обязательства уплатить моей жене двадцать тысяч, но скоро пришел к заключению, что все выяснится на улице Чернослива. Я же, во всяком случае, не отправлюсь в Елисейские Поля без твердой гарантии.

Несмотря на решимость свою, я был все-таки охвачен вихренным предсмертным волнением. Мне не сиделось. Мне даже не следовало оставаться дома, дабы голосом и глазами не лгать жене, если она проснется. Размыслив все, я выложил на стол последние, плакавшие у меня в кармане медные монеты и написал, уходя, записку следующего содержания:

«Милая Фелицата! Так как болезнь твоя не опасна, я решил поискать работы на огородах, куда и иду. Не беспокойся. Я вернусь через неделю, не позже».

Остаток дня я провел на бульварах, в порту и на площадях, то расхаживая, то присаживаясь на скамью, и был так расстроен, что не чувствовал голода. Я представлял отчаяние и скорбь жены, когда она наконец узнает истину, но представлял также и то материальное благополучие, в каком будут ее держать деньги «Гиганта». В конце концов – через год, может быть, – она поймет и поблагодарит меня. Потом я перешел к вопросу о загробном существовании, но тут рядом со мной на скамейку сел человек, в котором я без труда узнал старого приятеля Бутса. Я не видел его лет пять.

– Бутс, – сказал я, – ты стал, должно быть, очень рассеян! Узнаешь меня?

– Ах! Ах! – вскричал Бутс. – Но что с тобой, Эттис? Как бледен ты, как оборван!

Я рассказал все: болезнь, потерю места, нищету, сделку с «Гигантом».

– Да ты шутишь! – сморщившись, сказал Бутс.

– Нет. Я послал фирме письмо, сообщая, что хочу застрелиться, и предложил снять аппаратом момент самоубийства за двадцать тысяч. Они могут вставить мою смерть в какую-нибудь картину. Почему не так, Бутс? Ведь я все равно убил бы себя; жить, стиснув зубы, мне надоело.

Бутс воткнул трость в землю не меньше как на полфута. Глаза его стали бешеными.

– Ты просто дурак! – грубо сказал он. – Но эти господа из «Гиганта» не более как злодеи! Как? Хладнокровно вертеть ручку гнусного ящика перед простреленной головой? Друг мой, и так уже кинематограф становится подобием римских цирков. Я видел, как убили матадора – это тоже сняли. Я видел, как утонул актер в драме «Сирена» – это тоже сняли. Живых лошадей бросают с обрыва в пропасть – и снимают... Дай им волю, они устроят побоище, резню, начнут бегать за дуэлянтами. Нет, я тебя не пущу!

– А я хочу, чтобы мои дети всегда были обуты.

– Ну, что же! Дай мне адрес этих бездельников. Они ведь не знают твоей наружности. Я стану на твое место.

– Как! Ты умрешь?

– Это мое дело. Во всяком случае, завтра мы обедаем с тобой в «Церемониале».

– Но... если... как-нибудь... деньги...

– Эттис?!

Я покраснел. Бутс всегда держал слово, мое недоверие страшно оскорбило его. Надувшись, он не разговаривал минуты три, потом, смягчившись, протянул руку.

– Согласен ты или нет?

– Хорошо, – сказал я, – но как ты вывернешься?

– Головой. Я не шучу, Эттис! Говори адрес. Спасибо! До свидания. Мне осталось ведь только четыре часа. Иди домой, будь спокоен и займись списком неотложных покупок.

Мы расстались. Я чувствовал себя так, как если бы доверил все свое состояние человеку, уплывшему на дырявом корабле в бурное море. Потеряв Бутса из вида, я спохватился. Как мог я согласиться на его предложение?! Его таинственные расчеты могли быть ошибочны. «Своя рука – свои деньги» – так следовало бы рассуждать мне. Через полчаса я был дома.

Жена встала с постели и плакала над моей запиской. Она не могла мне простить «работу на огородах». Я сказал, что не нашел работы. Наконец мы помирились и задремали, обнявшись. Я уснул; во сне видел жареную рыбу и макароны с грибами. Меня разбудили громкие слова жены: «Как вкусны эти пирожки с луком!»... Бедняжка грезилась тем же, что и я. Было темно. Вдруг прогремел звонок, и так решительно, как звонят почтальоны, полицейские и посыльные. Я встал и зажег огонь.

Человек в длинном клеенчатом пальто вошел и спросил:

– Не вы ли Фелицата Эттис?

– Да, я.

– Вот вам пакет.

Он поклонился и вышел так скоро, что мы не успели его спросить, в чем дело. Фелицата разорвала конверт. Сев от изумления на кровать, держала она в одной руке пачку тысячных ассигнаций, а в другой записку.

– Дорогой, – сказала она, – мне дурно... деньги... и твоя смерть... О, господи!..

Подхватив упавшую записку, я прочел:

«М.Г. Ваш муж покончил с собой на глазах своего старого знакомого, имя которого для вас безразлично. Тронутый бедственным вашим положением, прошу принять нечто от моего излишка в размере двадцати тысяч. Труп перевезен в больницу св. Ника».

Тогда внезапная полная уверенность, что Бутс умер, сразила меня. Ничем иным, как ни старался, я не мог объяснить получение денег. Стараясь привести в чувство жену, я перебирал воображением все возможности благополучного исхода (для Бутса), но, зная его намерения, готов был заплакать и разорвать деньги. Жена очнулась.

– Что было со мной? – Ах, да... Что все это значит?

Новый звонок заставил меня броситься к двери. Я ждал Бутса. Это был он, и я судорожно повис на его шее.

Среди вопросов, возгласов, перебиваний и смеха рассказал он следующее:

– Ровно в 9 часов вечера я был у двери номера семьдесят три. Меня встретил любезный толстый старик. Я был в лохмотьях и натер глаза луком, – они казались заплаканными. Вот краткий наш разговор за чашкой прекрасного кофе.

Он. – Вы хотите умереть?

Я. – Очень хочу.

Он. – Это неприятно, но я сторонник свободной воли. Согласитесь ли вы умереть в костюме маркиза XVIII столетия?

Я. – Он, надо быть, лучше моего.

Он. – Потом еще... парик... и борода...

Я. – О, нет! Костюм безразличен мне, но лицо должно остаться моим.

Он. – Ну, ничего... я так только спросил. Напишите записку... понимаете...

Я написал: «В смерти моей прошу никого не винить. Эттис» – и отдал записку старику. Затем мы условились, что деньги будут немедленно посланы моей, то есть твоей жене. Старик колебался, но рискнул. Он вложил деньги при мне в пакет и отослал с посыльным.

Теперь смотри, что вышло из этого. Меня провели в сад, ярко залитый электрическим светом, и посадили на стул, спиной к дереву. Перед этим я, кряхтя, напялил жеманную одежду маркиза. Съемщик с аппаратом стоял в четырех шагах от меня. Он и старик не показались мне осо-

бенно бледными, отношение их было, видимо, деловое. Старик предложил мне перед смертью – что бы ты думал? красавицу и вино; но я отказался... Теперь жалею об этом. Я торопился успокоить тебя.

Отправляясь умирать, я надел темный, лохматый парик, под которым скрыл плоскую резиновую трубку, наполненную красным вином. Конец ее, залепленный воском, приходился у правого виска. – «Прощайте, дорогой друг», – сказал старик. – «Мишель, начинай!», и оператор принялся вертеть ручку аппарата. Я поднял глаза вверх, и подведя дуло к виску, выпалил холостым зарядом. Вино тотчас же потекло за воротник. Я откинулся, хватая воздух руками, и проделал все гримасы агонии, какие придумал, с закрытыми глазами. Старик кричал: «Ближе, Мишель, снимай лицо!» Наконец, я добросовестно замер, свесив на грудь голову (всего метров на тридцать). – «Все-таки это страшно!» – сказал Мишель. Тогда я встал и демонстративно зевнул.

Оба они тряслись в страшном испуге, не сводя с меня пораженных взглядов. «Нечего смотреть, – сказал я, – моему виску все-таки больно, он обожжен. Если вы поверили в мою смерть, поверит и публика». – Я поклонился им и ушел... в костюме маркиза. Затем переоделся дома и поспешил к тебе.

– И они не упрекали тебя? – спросил я.

– Нельзя же расписаться в бесчеловечности. Моя совесть чиста! Думай так же и ты, Эттис. Я видел, как действительно застрелился один человек, и, знаешь, в этом было не много выразительности. Он просто выстрелил и просто упал, как пласт. Подражание правдивее жизни, но «Гигант» еще не дорос до такого, милый мой, понимания.

Пассажир Пыжиков

I

Пыжикова словно подтолкнуло что-то; он протянул руку, коснулся сваленных на кожухе поленьев и пробудился. Плавнo подергиваясь, шумел колесами пароход; на кожухе, у трубы, было жарко и темно. С высоты своего ложа лежавший животом вниз Пыжиков увидел внизу, в проходе, баб, развязывающих узелки, матроса, загородившего проход с фонарем в руках, и щелкающего чем-то помощника капитана. Пыжиков хотел прыгнуть, но раздумал, матрос уже смотрел на него охотничьим взглядом; Пыжикову стало не по себе; беспокойно и стыдливо настроенный, он принялся, не отрываясь, смотреть в затылок помощнику, скрепя сердце, привел в порядок одежду и сел, спустив ноги. Помощник отдал вздыхавшей бабе билет и, чувствуя напряженный взгляд Пыжикова, обернулся, подняв голову.

– Ваш билет, – сразу настраиваясь вызывающе, с протянутой кверху рукой сказал помощник и посмотрел на матроса.

– Я билет потерял, – даваясь словами, произнес Пыжиков, держа руки сложенными на коленях.

Он думал, что помощник затопает ногами и пригвоздит его к месту проклятиями, матрос загогочет, а бабы всплеснут руками, но этого не произошло. Помощник сказал:

– Где он сел?

– Усмотри за ими. – Матрос поболтал фонарем и прибавил: – Если билета не имеешь, возьми.

– Деньги есть? – спросил помощник. Он и матрос любопытно смотрели на Пыжикова.

– Нет денег, – упав духом, вполголоса сказал Пыжиков и сконфузился так сильно, что задрожали руки. «Вот сейчас, – стрельнуло в голове, – сейчас выругает».

Баба, открыв рот, вздохнула, перекрестила подбородок, бормоча:

– Господи Иисусе.

Пыжиков сидел неподвижно, все больше пугаясь, и покорно смотрел на низенького, веснушчатого помощника, думая, что человек этот с такой хищно вздернутой верхней губой и белыми большими зубами, должен быть совершенно жестоким.

– Ссадить, – помолчав, сказал помощник и хотел идти дальше.

Пыжиков, гремя поленьями, спрыгнул с кожуха, обдергивая засаленную жилетку.

– Будьте так добры, – сказал он унылым голосом, не надеясь и грустно вздыхая, – провезите, пожалуйста; ей-богу, я первый раз... В Астрахани искал места, нездоров.

– Не могу, – быстро, не оборачиваясь, ответил помощник, – просите в конторе.

– Ну, ей-богу, что же мне делать, – защищался Пыжиков, – разве убудет... отец болен, прислал телеграмму, что же это? Пропадать надо...

Помощник шел сзади матроса с фонарем; матрос дергал спящих за ноги, говоря:

– Билет, билет, господа, приготовьте билеты.

Пыжиков замыкал шествие, причитал и просил.

– А, ну, господи... черт... хорошо, – сказал помощник, оборачиваясь, – ладно, не ссадим.

Пыжиков просиял, порозовел, улыбнулся взволнованно, мотнул головой и забормotal:

– Вот спасибо... Поверьте... никогда в жизни... я не просил... Что же делать?

Приятно ошарашенный и даже согретый душевно, он зашагал назад, остановился, ликуя, у машины и стал счастливо смотреть, как отполированная, сложная, стальная масса выбрасывала тяжелые шатуны. Душа его успокаивалась, а бездушная стальная масса казалась ему такой славной и доброй, согласившейся бесплатно везти его, машиной. Сон прошел. В густо набитом пассажирами третьем классе не было видно ни одной сидящей фигуры; в кухне на столе храпел повар. Вздвинченный, все еще чувствуя себя уличенным и жалким, Пыжиков вышел наверх и сел у решетки, смотря в темноту.

II

В ветреной свежести реки угадывался недалекий рассвет. Гористый берег громоздил в ночном небе неясные свои склоны, усталый блеск звезд струился в водяной ряби длинными искрами, с невидимых плотов неслись суетливые возгласы. На палубе, кроме Пыжикова, никого не было; немного погодя из первого класса вышли две дамы, сказав: «брр...», а за ними, волоча ногу, мужчина в цилиндре, попыхивая сигарой, небрежно цедил слова. Пыжиков, сутулясь, смотрел на них, завидуя и вздыхая, вспоминал, что в паспорте у него написано: «не имеющий определенных занятий», и на левом сапоге дырка, и денег семнадцать копеек, и булка съедена.

«Отчего я такой несчастный? – подумал Пыжиков. – А ведь недурен и здоров... судьба, что ли?»

Дамы, кутаясь в теплые, белый и серый, платки, подошли к решетке, а спутник их стал позади. Сигара, по временам разгораясь, освещала усы, лицо и прищуренные глаза старого модника, и в то же время были видны, под кружевами, скрученные на затылке, тяжелые волосы дамы в белой шали. Люди эти представлялись Пыжикову презрительными, беззаботными, живущими непонятно и завидно легко.

Дама в сером сказала:

– Как это заметно и вообще... я не приняла бы ее...

– Почему? – возразил мужчина, склонясь к крученным волосам и вынимая изо рта сигару, – женщины так любят секреты, это лакомство, а вам... – Он покосился на Пыжикова и, согнув руку, прибавил: – Здесь дует, вы простудитесь, не пройти ли на другую сторону?

Дамы, зябко поводя плечиками, отошли, пропав в темноте; за белым пятном двигался огонек сигары, прозвучал грудной смех.

«Не нравится, что я тут сижу», – подумал Пыжиков, ухмыльнулся, вытянул ноги и стал мечтать. Пленительные женские фигуры рисовались ему спящими в теплых койках первого класса, где пахнет чем-то очень дорогим и все уютное. Пыжиков свернул папироску, но это была уже не махорка, а отличная великосветская сигара, дама же в белом пледе вышла за него замуж и зябла, а он сказал: «Дорогая моя, протяните ноги к камину; я прикажу отремонтировать замок».

Пыжиков увидел проходящую мимо в платочке женщину и прищурился, стараясь рассмотреть лицо; она села неподалеку, боком к Пыжикову, смотря в сторону.

– Куда изволите ехать? – сладким голосом спросил Пыжиков.

– Отсюда не видать, – насторожившись, сказала женщина и, очевидно, раздумав сердиться, прибавила: – Я к тете, в Филеево, у меня там тетка живет, а я при ней.

– Очень приятно познакомиться.

Утешаясь тем, что в темноте не видно дырки на сапоге, Пыжиков подсел ближе и изогнулся, засматривая в лицо женщине. Смутные и грешные мысли бродили в его голове, но он их стыдился, чувствуя себя как бы не вправе заниматься амурными делами, потому что ехал из милости.

– Как это интересно.

Пыжиков сделал из остатков табаку экономную «козью ножку», блеснул спичкой и увидел жеманное, круглое лицо со вздернутым носом; маленькие подслеповатые глаза напоминали неспелые ягоды.

– Как интересно, – повторил Пыжиков, – едут люди, каждый по своему делу, и вдруг, извольте, разговаривают; вот именно гора с горой не сходятся... Вы замужем?

– Нет, – сказала женщина и хихикнула глухим, хитрым смешком.

Пыжиков подсел еще ближе, думая: обнять или не обнять, и сделал попытку: коснулся рукой талии; девица не отодвинулась, но вздохнула и проговорила:

– Разные мужчины бывают, иной дуром лезет, в кармане вошь на аркане, хучь бы пива поднес.

– Я заплачу, – быстро сообразив положение, прошептал Пыжиков, сладко шевеля ногами и чувствуя под рукою соблазнительно упругий корсет. – Пойдемте вниз, где-нибудь...

Девица, захихикав, сильнее прижалась к нему плечом, и Пыжиков забыл обо всем. Мимо них, внимательно приглядываясь, прошел матрос.

– Идем вниз, – торопил Пыжиков.

– Где же?

Она говорила жеманным, воровским шепотом, и это еще больше воспламеняло Пыжикова. Он встал, кивая убедительно головой, подманивая пальцем, оглядываясь, и побежал вниз по трапу; девица следовала за ним, поправляя платок. Внизу, у крана с водой, оба остановились, тяжело дыша; фонарь призрачно освещал спящих на палубе вповалку мужиков.

– Сюда, – торопился Пыжиков, толкая женщину между краном и загораживающей борт решеткой, – спят все, скорее...

– А сколько вы мне подарите? – доверчиво шепнула женщина.

– Полтинник... рубль! – соврал Пыжиков. – Ей-богу, честное слово...

Кто-то взял его за плечо и повернул лицом к свету. Женщина взвизгнула, закрываясь руками; плечи ее вздрагивали не то от стыда, не то от смеха. Помощник и матрос стояли по бокам Пыжикова.

– Что вы гадость на пароходе разводите? – закричал помощник. – Денег нет, отец болен, а на девуку деньги есть? Высадить его на первой пристани, гнать!

Багровый от стыда, оглушенный и растерявшийся, Пыжиков с ужасом смотрел на помощника. Помощник сделал гадливое лицо и быстро прошел дальше, а матрос простодушно выругался. Женщина куда-то исчезла.

– Не такие, брат, влопывались, – почему-то сказал матрос и, подумав, прибавил: – Втемяшил в башку ты, можно сказать, среди парохода... Теперь слезешь.

– Ну и слезу, – зло сказал Пыжиков, – а тебе что?

– То-то вот; ты с оглядкой. Еще поразговаривай.

Пыжиков вызывающе передернул плечами и отошел, стиснув зубы. На душе у него было нехорошо, словно его сбили с ног, мяли, били и отшвыривали. Пошатываясь от не прошедшего еще испуга, Пыжиков пробрался к корме и сел на свертке канатов. Светало; над убегающей из-под кормы шумной водой бродила предрассветная муть, звезды остались только по краям неба и гасли. Зыбкая свежесть воздуха щекотала лицо, расстилался туман.

III

– Встань, приехали, – сказал угрюмый матрос Пыжикову, дергая спящего за упорно сгибающуюся кренделем ногу. – Путешественник!

Пыжиков чмокнул губами, поежился и вскочил. Он уснул на свертке канатов, незаметно, с печальными мыслями.

Пароход стоял у конторки. Живая изгородь ярких баб на глинистом берегу пронзительно щебетала, предлагая пассажирам булки, колбасу и пельмени. Посад, утонувший до крыш в яблочных садах, полных веселой белизны осыпающегося цвета, блестел стеклами окон. Голубоватый простор Волги расплывался на горизонте, у плеса, светлыми точками.

– Я уйду, сейчас уйду, – сказал, потягиваясь, Пыжиков, встал и тронулся к сходням; матрос шел за ним.

На берегу Пыжиков увидел жующего пирог полицейского и захотел есть. Полицейский ел аппетитно, собирая крошки в ладонь и слизывая их, а кончив трапезу, сосредоточенно вытер усы красным платком. Пыжиков купил хлеба, пару соленых огурцов и сел у воды, на камне.

«Господи, – подумал он, – давно ли в конторе служил, утром стакан чаю и булочка, и барышня на ремингтоне: все водка проклятая!»

Белый пароход, дымя трубой, стоял против Пыжикова, и Пыжиков смотрел на него исподлобья, со страхом думая, что следующего парохода надо ждать целый день, а сев, снова говорить, что билет потерян. Ночные происшествия сделали его трусом еще больше, чем был он им до скверного эпизода с женщиной. Парень с распухшей щекой, в лаптях и плисовых шароварах, лениво подошел к Пыжикову, остановился, посмотрел на него сбоку, вынул из-за пазухи кисет и спросил:

– Куда едешь?

– В Казань, – сказал Пыжиков, – а что?

– Пробыться в Симбирск хочу, – сообщил парень, облизывая сигарку и вопросительно глядя на пароход. – Без работы я – на шермака сяду. Айда!

– Меня высадили, – сказал Пыжиков, – только всего и ехал.

– Высадили, – повторил парень. – Это они могут. Их, брат, хлебом не корми, а только дай подиковаться. Ну, пойду, пропади они, живодеры.

Он повернулся и побрел к сходням. Пыжиков доел огурец, завистливо провожая глазами нырнувший в толпу картуз парня.

«Доберется, этот не пропадет, ему все равно, вытурят – на другой день сядет, да обругает еще в придачу», – думал Пыжиков.

Многие испытания предстояли еще ему. Надо изворачиваться, хитрить, лезть, просить, настаивать, сопротивляться всеми силами – тогда доедешь; а это почему-то стыдно, противно, уныло и жалко. Но парню с опухшей щекой, по-видимому, не противно и не стыдно. Пыжиков позавидовал парню и опустил голову. Серая, кислая гадость накопилась в душе, хотелось подойти к даме в белой шали, захныкать, попросить пять рублей и купить билет.

Когда пароход ушел, к полицейскому, собравшемуся идти домой, приблизился человек, одетый в лакейский фрак, меховую шапку, стоптанные штиблеты и ситцевую рубаху. Это был Пыжиков.

– Арестуйте меня... по этапу, – сказал он. – Паспорт утерян, папаша в Казани живет, сделайте милость.

Отравленный остров

I

По рассказу капитана Тарта, прибывшего из Новой Зеландии в Ахуан-Скап, и согласно заявлению его местным властям, заявлению, подтвержденному свидетельством пароходной команды, в южной части Тихого океана, на маленьком острове Фарфонте, произошел случай повального и единовременного, по соглашению, самоубийства всего населения, за исключением

двух детей в возрасте трех и семи лет, оставленных на попечение парохода «Виола», которым командовал капитан Тарт.

Остров Фарфонт лежит на 41°17' южной широты, в стороне от морских путей. Он был открыт в 1869 г. хозяином китобойного судна Ван-Лоттом и помечен далеко не на всех картах, даже официальных. Никакого коммерческого и политического значения он не имеет, и Джон Вебстер в своей «Истории торгового мореплавания» презрительно относит подобные острова к разряду «бесполезных мелочей», сообщая, в частности, по отношению к Фарфонту, что остров весьма мал и скалист.

В хронике судового журнала «Виолы» было запротоколено следующее:

«14 июня 1920 года. Сильный зюйд-вест. Весь день сбивало с курса; к вечеру разыгрался шторм. Лишились трех парусов.

15 июня 1920 года. Сорваны ветром грот и фокзейль, поставили запасный грот, идем к югу, матрос Нок упал в море и погиб.

16 июня. Умеренный ветер. В полдень показалась земля. Остров Фарфонт. Бросили якорь. На остров направились капитан Тарт, помощник капитана Инсар и пять матросов».

Эти матросы были: Гаверней, Дропис, Бикан, Габстер и Строк.

Капитан показал, что перед спуском шлюпки был усмотрен им в зрительную трубу человек, стоящий на берегу; он быстро скрылся в лесу. Рассчитывая в силу этого, что островок населен, капитан, — хотя и не заметил по прибытии шлюпки на берег следов жилья, — был, тем не менее, поставлен в необходимость возобновить запасы провизии и отправиться на розыски жителей. Действительно, скоро были замечены им в небольшой, удивительной красоты долине, среди живописной и щедрой растительности, пять бревенчатых домов, крытых тростниковыми матами. Людей не было видно. Они не появились и тогда, когда капитан выстрелил в воздух из револьвера, желая привлечь этим внимание туземцев. Трубы не дымились, и вообще подчеркнутая странная тишина жилого места сильно удивила Тарта. Он начал обходить здания, двери которых оказались незапертыми, но внутри трех домов не нашел никого, ни спящего, ни бодрствующего. В пятом, по порядку обхода, доме тоже никого не было, но в четвертом путешественники нашли человека, умирающего или находящегося в бессознательном состоянии; он лежал на полу с закатившимися глазами, с лицом бледным и мокрым от пота. Слабый стон конвульсивно вырывался из его горла. Около него стояли сильно напуганные и плачущие мальчик и девочка лет шести-семи.

Капитан стал расспрашивать мальчика, но, не добившись ответа, обратился к девочке. Из ее бессвязного и, видимо, спутанного представления о происшедшем он узнал только, что «все ушли», куда именно, — она не знает; с ней и с маленьким Филиппом остался лежавший теперь без чувств человек «дядя Скоррей». Девочка, которую звали Ли, — сокращенное Ливия, — рассказала также, что Скоррей еще полчаса назад шутил с нею и говорил, что сейчас придут люди, которые увезут ее и Филиппа на «большую землю», где им будет неплохо. Сам же он недавно выпил чего-то из кружки, стоявшей и посейчас на столе. После этого он сказал, что умирает, лег на пол и застонал, а затем сказал Ли: «Отдай письмо человеку с золотыми пуговицами», — и больше они, дети, ничего не знают.

Как ни был силен аромат цветущих у окна кустарников, буквально круживший головы моряков, капитан, понюхав остаток мутной жидкости, сохранившейся на дне кружки, счел нужным, не теряя времени, принять меры к спасению Скоррея. Предполагали, что он отравился. Жидкость обладала неприятным, горьким, густым запахом. Раскрыв стиснутые зубы несчастного складным ножом, Тарт, за неимением под рукой ничего лучшего, стал лить в рот Скоррея водку, но понемногу, дабы бесчувственный не захлебнулся. Через полчаса он опорожнил свою фляжку, Гавернея и Дрописа. Тем временем матросы вскипятили в глиняном котле воду и обложили нагого Скоррея пучками вымоченной в кипятке травы, сделав таким образом подобие бани. Тарт действовал более по вдохновению, чем по указанию медицины, но, так или иначе, больной перестал хрипеть. Тогда возобновили припарки, применили растирания, и, наконец, больной открыл глаза. Взгляд его был безумен. Он не говорил и не понимал ничего и заговорил лишь ко времени прибытия в Ахуан-Скап, но вразумительность его речи оказалась более чем жалкой для разумно-

го существа.

Детей, совершенно утешенных карманными часами Дрокиса, отданными в их распоряжение, и очнувшегося Скоррея на носилках отправили на «Виолу», а капитан занялся расследованием печального случая. Письмо Скоррея, ныне представленное судебным властям, было написано на пожелтевшем от старости заглавном листе библии; вместо чернил употребляли, надо полагать, быстро темнеющий сок какою-нибудь растения. Малограмотные, но загадочные, ужасные строки прочел Тарт. Вот что было написано (без числа):

«Мы все, жители Фарфонта, заявляем и свидетельствуем перед другими людьми, что, находя более жить невозможным, так как все мы помешаны или одержимы демонами, лишаем себя жизни по доброй воле и взаимному соглашению. Настоящее письмо поручено сохранить Иосифу Скоррею до тех пор, пока не наступит возможность вручить его какому-нибудь кораблю или пароходу. Согласно общей просьбе и доброму своему согласию, Скоррей не имеет права лишить себя жизни, пока не окажется возможным отправить оставленных живыми, за малолетством, детей: Филиппа и Ливию».

Здесь следовали двадцать четыре подписи с обозначением возраста каждого самоубийцы. Самому старшему было сто одиннадцать лет, самому юному – четырнадцать. Недалеко от поселка Тарт обнаружил высокий, свеженасыпанный холм – братскую могилу. Высохшие на деревянном кресте цветы были удалены командой «Виолы» и заменены свежими венками.

– Общее впечатление от всего этого, – заключил свой рассказ капитан Тарт, – было таково, как если бы на наших глазах зарезали связанного человека; мы поторопились, как могли, починить такелаж и утром следующего дня покинули страшный Фарфонт.

II

Таким образом, «Виола» бросила якорь в Ахуан-Скапе со следующими доказательствами самоубийства целого населения: остатком ядовитой жидкости, перелитой в тщательно закупоренную бутылку, безумным Скорреем, коллективным письмом двадцати четырех мертвых и двумя совершенно дикими, по нашим понятиям, малышами женского и мужского пола.

Расспросы детей прибавили очень немного к показаниям матросов и капитана. Мальчик вообще не мог ничего сообщить, так как почти не умел говорить, а девочка, очевидно, спутавшая воспоминания о жизни на острове с впечатлениями путешествия и большого города, рассказывала явные нелепости: «Отец говорил, что нас всех убьют». – «Кто?» – «Какие-то люди, которых очень много». – «Ты видела их?» – «Не видела». – «А приходили на остров корабли?» – «Один приходил очень большой, выше меня». – «Припомни, Ли, когда это было? Очень давно?» – «Да, давно». – «А может быть, недавно?» – «Недавно». Она не могла ориентироваться во времени, и дальнейшие сообщения ее о корабле, людях, бывших на острове, и о числе их носили характер полузабытого темного сновидения. Затем она принялась рассказывать о том, как все боялись, что их убьют, и как ночью приходило много кораблей, которые стреляли в дома. Некоторые корабли летали по воздуху. Следователь отнес это в область детской фантазии, зараженной рассказами моряков, а также к замеченной у детей склонности к мистификации. Он, правда, записал все, но из соображений формального характера.

Из объяснений девочки выяснилось, однако, некое своеобразное, почти устраняющее чью-либо постороннюю силу в этом деле редкое обстоятельство. На памяти ребенка шести лет Фарфонт был посещен один раз одним кораблем; допустив, что прочные завоевания памяти начинаются с трехлетнего возраста, выходило, что остров в течение трех лет был отрезан от всякого сообщения с миром, отчего, естественно, возник вопрос, как часто заходили корабли к берегам Фарфонта и не являлось ли каждое захождение своего рода легендой – в ряде последующих годов? Короче говоря, не был ли Фарфонт таким заброшенным местом, куда корабли заглядывают несколько раз в столетие, и то благодаря случайности, как «Виола».

Согласно почти полной неизвестности Фарфонта для администрации и совершенного небытия его для всех мелких и главных линий морского сообщения, ответ на этот вопрос явился, само собой, утвердительным. В таком случае постороннего преступного вмешательства в дела

туземцев Фарфонта быть не могло, и изолированность селения подтвердилась показаниями экипажа «Виолы». Домашняя утварь, орудия, одежда и прочие предметы, бегло осмотренные матросами, носили следы самобытного изготовления, за исключением нескольких старых ружей, книг и мелочей, вроде обломка зеркала или куска ткани, некогда попавшего на Фарфонт. Относительно природы острова все сходились в том, что «местечко очень красиво». Более впечатлительный, чем другие, Габстер заявил, что там – истинный рай. Капитан Тарт подробнее распространялся об острове, но, будучи человеком практичным, отмечал плодородие и тучность земли, а также обилие прекрасной родниковой воды.

Ниже нам придется еще встретить подробное описание острова, а потому мы возвратимся к сопоставлению фактов. В силу изложенного, следователь остановился на двух версиях:

1. – Жители Фарфонта, под давлением неизбежных, необыкновенных обстоятельств, причин и побуждений местного, а не внешнего происхождения, добровольно, по уговору, лишили себя жизни.

2. – Были убиты из неизвестных следствию соображений единственным оставшимся в живых ныне безумным Скорреем, причем последний, стараясь отклонить подозрения, составил и написал подложное, за подложными подписями жителей Фарфонта посмертное письмо, удостоверяющее наличность самоубийства.

Вторая версия, как наиболее отвечающая несложности криминалистического мышления и непреодолимому тяготению властей к изобличению злого умысла даже там, где человек просто сам падает, разбив себе голову, – была, к сожалению, подхвачена слишком усердно некоторыми газетами, издатели которых избавили этим публику от раздражающего недоумения, а сотрудники держались легкомысленной позиции «здравого смысла», именно того, чего следует избегать, как чумы, в отношении некоторых явлений.

«Утренний Вестник» писал:

«Ха-ха! Нас хотят уверить, что целая деревня здоровых, выросших на лоне природы, не знавших излишеств, непосредственных, полудиких людей обрела какую-то общую трагедию. Может быть, конечно, что они поссорились из-за туземной красавицы. А женщины? Но в таком случае остается предположить общее разочарование в жизни, крушение идеалов и т. п.! Однако Скоррей жив, живы двое детей, и они-то более всего убеждают нас в хитрой предусмотрительности злодея. Он знал, что на Фарфонт может заглянуть судно, он приготовился к этому маловероятному случаю. Здесь он является нам в роли хранителя детей, якобы порученных ему, Скоррею. Дети, разумеется, могли спать в то время, когда свирепый убийца отравлял земляков. Заметьте, что он тоже выпил яд, но не умер. Ясно, что доза была рассчитана с таким опытом...» и т. д.

«Наблюдатель», стоявший за коллективное самоубийство, придерживался, главным образом, показаний капитана «Виолы».

«Помимо серьезности отравления, – писал „Наблюдатель“, – отравления, едва не отправившего Скоррея на тот свет, невинность его подтверждается видом общей могилы. Холм, – говорит капитан Тарт, – был на виду вблизи поселка; насыпанный весьма добросовестно, обложенный дерном, с прочным крестом, он является лучшим доказательством уважительного выполнения печального долга, возложенного судьбою на Скоррея. В его распоряжении было несколько лодок; если бы он был убийцею, он мог бы без помехи, не торопясь, бросить трупы в море и объявить громким голосом, что все жители утонули на рыбной ловле. Мы говорим примерно. Разумеется, причины самоубийства непостижимы, так как текст письма, написанного вполне здраво, указывает не на сумасшествие или „одержимость демонами“, а лишь на следствие неких причин, покуда еще не выясненных. Составители письма, видимо, сильно сомневались в возможности его оглашения, иначе, быть может, мы имели бы дело с пространством, исчерпывающим положение документом. Краткость письма указывает также на поспешность, с какой эти несчастные торопились умертвить себя; нам остается ждать выздоровления Скоррея, на что, как объяснил доктор Нессар, есть ныне надежда».

Анализ жидкости, привезенной капитаном «Виолы», установил присутствие сильного яда.

Скоррей, помещенный в лечебницу профессора Арно Нессара, был признан буйным поме-

шанным в не очень тяжелой форме. Скоррей провел у Нессара четыре месяца, в течение которых выяснились новые обстоятельства благодаря публикации и экспедиции психиатра Де-Местра.

III

Де-Местр, посвятивший значительную часть жизни изучению самоубийств, подвергался некоторое время осаде журналистов, дам, властей и подставных, от полиции, личностей; он каждому указывал на явную запутанность дела, хотя сам про себя склонялся к гипотезе самоубийства.

11 августа он, субсидируемый журналом «Юниона», надеясь личным посещением острова добыть новые руководящие указания, отплыл из Ахуан-Скапа на зафрахтованном с этой целью пароходе «Теренций» и возвратился 24 сентября, поразив общество обнаружением фактов, сильно поколебавших мнение о независимости смерти фарфонтцев от причин внешних. Именно: неподалеку от моря, в скалистом углублении берега, Де-Местр нашел сорок четыре бутылки из-под вина, – продукт, чуждый Фарфонту, – белую пружинную булавку и полуистлевший от старости номер газеты «Стационар» 18 мая 1920 года. Последний предмет окончательно убедил Де-Местра в том, что на острове незадолго до «Виолы» побывало другое судно.

Тем временем, благодаря публикации и вообще широкой огласке дела, редакцией газеты «Наблюдатель» было получено из Бомбея письмо за подписью капитана Брамса, засвидетельствованное нотариусом. Брамс служил в Сиднейском обществе транспорта на пароходе «Рикша». Его сообщение было, строго говоря, преддверием истины, печальное лицо которой показалось вполне лишь в день выздоровления Скоррея. Вот это письмо:

«5 апреля 1920 года „Рикша“ в поисках пропавшего судна „Вандом“ был сбит с курса циклоном и, потерпев значительные повреждения, отнесен далеко к югу. Утром 20 апреля был нами замечен небольшой остров, не значившийся на карте; никто из моей команды на нем не был и не знал об его существовании. Жители, – смешанной крови, – происходили, по их объяснению, от двух семейств эмигрантов, высаженных в этот отдаленный уголок мира в 1870 году военным крейсером „Бробдиньяг“, по причинам политического характера. Благодаря этому только две фамилии были на Фарфонте: Скорреи и Гонзалесы; занятиями их были земледелие, охота и рыболовство; поставленные в исключительные условия, они производили и добывали все необходимое для жизни собственными руками и средствами, за исключением небольшого количества привезенных первыми жителями или проданных на остров впоследствии случайными кораблями вещей.

Последний корабль, посетивший их, был взбунтовавшийся „Скарабей“; он бросил якорь к берегам Фарфонта шесть лет назад. Понятно, с каким утомительным вниманием и волнением встретили нас. Жители высыпали на берег, окружив чудесных гостей. Все до последней пуговицы на нашей одежде стало предметом бесконечных споров, толков, вопросов. Оказалось, что мы приехали в день бракосочетания юного Антонио Гонзалеса с не менее молоденькой Джоанной Скоррей. Нас ожидало пиршество, бесконечные расспросы о жизни большого мира и зрелище дикой, но весьма милой свадьбы.

Жених в довольно удачно скроенной одежде и огромной соломенной шляпе не оставлял двух мнений о своей наружности: это был стройный коричневый молодец, с немного глуповатой улыбкой и серьезными большими глазами, в которых читалось сознание важности и торжественности момента; но невеста в решительную минуту спряталась за углом дома – застыдившись, конечно, нас – и мы потратили немало терпения, пока нам удалось взглянуть на ее славную рожицу. Наконец она вышла из прикрытия, красная от смущения. Шкипер Полладиу, мастер на комплименты, стал громко восхвалять ее качества, отчего она заметно приободрилась и соблаговолила посмотреть на него одним глазом, черным, как орех, и наивным, как недельный цыпленок. Простое платье из грубой домашней ткани облегалo ее тонкую, еще связанную в движениях фигуру, хорошенькую и стройную.

Очень прост и величественен был свадебный обряд. Мы стояли на берегу потока, сверкавшего синевой и белизной в изломах гранита, сомкнувшегося впереди нас, через поток, прихот-

ливой тенисто-краснеющей аркой. По ней тянулись бархатные груды ползучей зелени. Солнечные лучи, дробясь над аркой, делали воздух подобием пылающего костра или золотой завесы, сквозь которую просвечивали голубыми тенями извивы берега. Берег пестрел цветами. На горизонте узким серпом блеснул океан.

Дедушка Скоррей прочитал несколько молитв, отрывки из библии, соединил своей отжившей рукой горячие руки молодых людей, и мы вернулись к селению. Там, на берегу моря, в скалистом углублении берега начался пир, сугубо орошенный нами двумя ящиками с вином и ромом. И я начал рассказывать о теперешних великих делах мира, изобретениях и титанической борьбе наших дней, заранее предвкушая, как должен поразить этих людей мой рассказ.

Действительно, они были потрясены. Я нарисовал им возможно полную картину гигантской борьбы девяти государств, представив все ее крупнейшие события, ее план, ход, темп, технические и моральные средства, пущенные в ход противниками. Кое-кто выразил сомнение в правдивости моих слов, тогда я дал им бывший у нас номер „Стационара“. Люди с Луны или с Марса, попади они на землю, не вызвали бы такого убийственного интереса к себе, как мы со своим „Стационаром“ и рассказами о сражениях миллионных армий: нам задали столько вопросов, что ответить на все сколько-нибудь подробно – заняло бы полжизни.

Сознаюсь, что, несмотря на тяжесть событий, омрачивших это десятилетие, я испытывал невольное чувство гордости, вернее – превосходства над этими полуробинзонами, когда стал рассказывать о гениальных завоеваниях человека в области воздухоплавания, радио, химии, морской и артиллерийской техники. Я описывал им внешность дредноутов, цеппелинов, аэропланов, бетонных окопов и бронированных фортов, приводя слушателей в трепет весом шестнадцатидюймового снаряда или размерами земляной воронки после взрыва бомбы, способной сместь деревню.

Мы проговорили всю ночь. К вечеру следующего дня „Рикша“ исправил повреждения и, подняв якорь, прибыл 3 мая в Мельбурн. В настоящем письме изложены все обстоятельства нашего пребывания на Фарфонте, причем считаю нужным добавить, что известие о трагической и необычайной смерти наших бывших хозяев произвело на всех нас, видевших их, неописуемо тяжелое впечатление. Если мое, не имеющее, по-видимому, никакого прямого отношения к делу, сообщение сможет пролить свет на тайну смерти жизнерадостных и гостеприимных людей, я испытаю горькую радость человека, способствовавшего раскрытию печальной истины».

IV

20 сентября Скоррей дал, наконец, свое показание. Стенографическая запись рассказа Скоррея весьма спутанна, изобилует повторениями и отступлениями, кроме того, самый язык рассказчика до такой степени непохож на нашу манеру мыслить и выражаться, – манеру, выработанную постоянным общением со множеством людей как лично, так и заочно, путем писем, телеграмм, книг и газет, – что мы нашли нужным дать этому показанию общую литературную форму, не исключая ни фактов, ни впечатления, оставленного ими.

– Нам очень трудно было поверить, – говорил Скоррей, – словам капитана Брамса, объявившего, что пережила Европа страшную войну в то время, когда мы, не подозревая ничего такого, слышали только плеск волн и шелест цветущих веток. Однако Брамс показал нам газету, хотя старую, но убедительно говорившую то же самое.

Всю ночь капитан и его товарищ беседовали с нами, посвящая нас, взволнованных, потрясенных и зачарованных, в самые глубины событий. Мы узнали, что войной были захвачены сотни миллионов людей. Мы узнали, что разрушено множество городов и целые страны. Мы узнали, что люди летают стаями на крылатых машинах, бросая сверху бомбы в корабли, дома и леса. Мы узнали, что посредством особого удушливого ветра сжигают легкие десяткам тысяч солдат, и многое другое, а также, что неизвестно, не повторится ли снова такая же война.

Утром капитан с товарищами отправился на свой пароход чинить повреждения, а мы продолжали обсуждать слышанное. Никто из нас и не подумал даже работать в этот день. Каждый по-своему оценивал происходящее. Некоторые уверяли, что Брамс нас слегка обманывает и что

война, вероятно, продолжается. Иные утверждали, что наступило благоприятное время для морских разбойников и что нам, вероятно, скоро придется подвергнуться нападению. Вообще, нами овладело подозрительное и угнетенное состояние; каждый носился с предчувствиями, рассказывая направо и налево о своих догадках относительно событий в смутно представляемой нами Европе.

Кто-то, — не помню, кто именно, — сказал, что очень может быть, через год или два мы останемся единственными жителями на земле, так как воюющие, несомненно, уничтожат друг друга своими чудовищными изобретениями. Леон Скоррей, мой племянник, говорил, что нужно опасаться не этого, а повального бегства с густонаселенных материков миллионов людей, которые рассеются по отдаленнейшим углам земли в поисках безопасности. Пришельцы многочисленные, хорошо вооруженные, конечно, могли одолеть нас, захватив наше имущество, возделанную землю и лодки. Было внесено даже предложение просить «Рикшу» взять нас с собой, чтобы не оставаться одним в страхе и неизвестности, но труса немедленно припугивали и образумили, объяснив ему, что неизвестность лучше происходящего ныне в больших странах. Однако вечером, когда «Рикша» снимался с якоря, два наших старика ездили на пароход с просьбой рассказать всем о нас и прислать встречное судно для желающих уехать, если такие окажутся. Брамс успокоил их обещанием исполнить это. На закате «Рикша» снялся и ушел.

Эту ночь я, как и многие другие, провел в тяжелой полудремоте, вставая изредка, чтобы помочь занемогшей от всех этих волнений жене. Два дня спустя после ухода «Рикши» Хуан Гонзалес, ездивший с Антонио, мужем Джоанны, ловить рыбу, — вернулся рано и объявил, что в полумиле от берега замечен был ими круглый блестящий предмет, усеянный гвоздями и качавшийся на волнах. Вскоре пришедший Антонио подтвердил это. «Мы едва не наехали на него», — сказал он и побледнел. По-видимому, это была одна из плавучих мин, о которых говорил Брамс.

В полдень над головами нашими раздался сильный трещащий гул, и все выбежали из домов. С полей спешили испуганные работники. Вверху, огибая дерево, летел с быстротой чайки огромный темный предмет, меняющий очертания; сделав поворот у леса, он нырнул вниз и скрылся.

Мы были так напуганы, что кричали все сразу, не понимая друг друга. Ни у кого, самого недоверчивого, не оставалось сомнения, что вокруг острова, пока невидимые нами, происходят морские сражения и разведчики осматривают окрестности, летая над островом. Глухие удары или взрывы послышались спустя недолгое время со стороны западного горизонта. Все устремились на берег. На линии воды и неба вило множество дымок; оттуда, заглушенная расстоянием, доносилась медлительная, тяжкая пальба, и казалось — земля дрожит под ногами. Так продолжалось час или более; затем все исчезло.

Вечером трое Гонзалесов, ходивших в лес за дровами, вернулись еле переводя дух. Они слышали стук множества копыт, крики, звон сабельных клинков и стоны, но никого не видели. Аллен Скоррей, бывший в это время с женой у водопада, пришел немного спустя; они видели на скале вооруженного всадника, смотревшего из-под руки в сторону леса. Заметив Скоррея, он исчез, едва натянув поводья.

— На острове произведена высадка, — сказал Аллен, сообщив свое и выслушав Гонзалесов. — Что это за война — мы не знаем, нам угрожает опасность, может быть — смерть. Надо обойти остров.

Антонио Гонзалес и я вызвались сделать это. Потратив половину следующего дня на обыск Фарфонта, мы не заметили никаких следов, но слышали звон и лязг, сопровождаемый криками. Вернувшись, мы застали наших в большом унынии. Женщины плакали. Наш рассказ удивил и еще больше напугал всех.

— Может быть, — сказал, покачивая головой, старик Рэнсом, — может быть, люди ухитряются быть невидимыми. Теперь, говорят, время чудесных выдумок.

— А трупы? — спросил я.

Но он не ответил мне.

— Смотрите, смотрите! — закричала в это время моя сестра, и мы, следя за направлением ее ужасного взгляда, увидели, что все небо покрыто быстро несущимися таинственными кораблями

со странным, невиданным такелажем, напоминающим парусные суда и имевшим как бы отражение под собой, в воздухе. Там слышались гул и свист, удары и протяжный звон колоколов, и скоро все затянулось дымом пальбы, отдавшей в наших ушах смертным приговором. Женщины падали без чувств, бежали в дома, рыдали. Мы, мужчины, стояли как привязанные, не имея сил двинуться с места. Наконец последние кормы чудовищ скрылись за скалами, и мы могли, собравшись опять, с горем и страхом признаться друг другу в нашем общем отчаянии. Никто не мог объяснить происходящее. Эту ночь спали одни дети...

В таких беспрерывных, угнетающих, безжалостных, грозных явлениях прошел месяц и еще две недели, и наконец мы пришли в совершенно жалкое, полубезумное состояние. Боялись отходить далеко от дома, чтобы не остаться одним; работы были заброшены; беспокойные и тяжелые сны преследовали тех, кто, ища покоя кидался в постель; дети, более всех испуганные грозой, разрушившей нашу тихую жизнь, плакали, как и матери их, похudevшие от беспрерывного страха; мы, мужчины, решаясь иногда стряхнуть власть воинственных сил, обходили все вместе остров, дабы убедиться, что мы единственные его хозяева, и, каждый раз убеждаясь в этом, впадали в еще более острое отчаяние. Глухой рокочущий гул днем и ночью раздавался над нашими головами; нечто подобное отдаленным взрывам обрывало беседующих на полуслове, и стоны и вопли, то тихие и жалобные, то громкие, полные гнева и боли, наполняли воздух. Ночью слышалась сильная канонада в западной стороне, как будто там шло бесконечное сражение: люди, выходившие посмотреть на море, видели темные громады судов неизвестной национальности, преследующие друг друга. Мы более не знали покоя. Что происходило с нами? Что вокруг нас? Мы устали задавать друг другу вопросы. Наконец однажды вечером троюродный брат мой Аллен Скоррей сказал нам, собравшимся у него в доме, что в нашем беспомощном положении не видит он никакого выхода, кроме смерти: «Мы не бодрствуем и не спим. Отданные во власть дьявольского кошмара, а вернее – ужасной действительности, достигшей, с помощью неизвестных нам средств, совершенства неуловимости – мы, отрезанные от всего мира, ничего не знающие, невинные, теряющие рассудок, скоро совершенно сойдем с ума и огласим воздух дикими завываниями. За что? Мы не можем знать этого. Я предлагаю умереть добровольно».

Не было такого, который решился бы или хотел возражать ему. В глубоком молчании собравшихся Аллен приготовил жребья по числу мужчин: вытащивший самую короткую палочку должен был остаться в живых, чтобы похоронить остальных. Мне выпало это несчастье. Тогда сестра моя Алиса Скоррей, вдова, сказала: «Пусть так и будет, но я не возьму с собой моих Филиппа и Ливию». Затем она поручила их мне, умоляя дожидаться какого-либо судна и не убивать себя до тех пор, пока не наступит возможность увезти детей с острова.

Я сопротивлялся, как мог, но должен был уступить просьбам; к тому же действительно надо было кому-нибудь позаботиться о похоронах. Однако я зарыдал, ясно представив всю тягость своего будущего. Один, полный черных воспоминаний, с двумя детьми на руках, я должен был терпеть и выносить страдания худшие, чем смерть в пытке. Я согласился, может быть, потому, что мой разум был помрачен и не вполне понимал происходящее.

Скоррей в этом месте рассказа лишился чувств. Придя в себя, он, видимо, торопился досказать остальное. Здесь стенограмма сумбурна, отрывиста и коротка.

– Настоящая лихорадка нетерпения овладела всеми. Написали записку, Аллен принес яд. Я вышел и увел детей, сказав им, что наши скоро придут. Ни за что на свете не вернулся бы я туда, в дом Аллена. Я лежал в полуобмороке, в полузабытьи. Что там происходило – не знаю. Солнце садилось, когда я решился открыть роковую дверь.

И я увидел...

Скоррей отказался рассказывать, как он хоронил этих несчастных. Дальнейшие его показания – мрачную повесть жизни полубольного человека с двумя маленькими детьми, которых нужно было кормить и успокаивать, выдумывая всякие истории относительно всеобщего исчезновения, – можно найти в «Ежемесячнике Ахуан-Скапа», журнале, поместившем наиболее подробный отчет о деле Фарфонта. Автор, ссылаясь на Миллера, Куинси и Рибо, развивает гипотезу массовых галлюцинаций, а также «страха жизни» – особого психологического дефекта, подробно исследованного Крафтом.

В заключение, описывая прекрасную растительность острова, его мягкий климат и своеобразное очарование заброшенности, нетребовательной и безвредной, – автор заканчивает статью следующим замечанием:

«Это были самые счастливые люди на всей земле, убитые эхом давно отзвучавших залпов, беспримерных в истории».

Веселая бабочка

I

Барон подарил Мери письменный стол. Эту дорогую вещицу (дамский письменный стол неприятно называть мебелью) он купил нетерпеливо и радостно, предвкушая ласковую улыбку женщины.

Ей, конечно, необходимо было писать на чем-нибудь свои записочки-лилипуты.

Она действительно улыбнулась и благодарила барона и даже, встав на цыпочки, поправила ему, под огненной бородой, галстук. Барон чмокал губами, мурлыкая от восторга.

Мери была танцовщица и жила на содержании у барона.

Осуждать ее за это не следует, – все дети любят сладкое и все хотят кушать.

Мери не любила барона. Она жила прошлым и мучилась им. Но в ярком ее лице не было ничего заметно. Посмотрим дальше.

Барон ушел. Мери подняла руки, соединив концы пальцев. Свои сильные чувства и мысли она выражала всегда танцами. Теперешние ее бессознательные движения, лениво изменяя позы нежного тела, созданного для поцелуев и глаз, казались острым желанием покинуть навсегда землю, несясь в дивный рай неги, описанный Магометом.

Она как бы взвизывалась. Пальцы ее ног в маленьких туфлях едва касались пола. Трудно было заметить в ней золотник тяжести.

В зеркале с золотыми гирляндами, важно сдвинув тонкие брови, танцевала вторая Мери.

Был вечер: иллюминация улицы сверкала на черном окне белыми, красными и голубыми шарами.

– О Мери, Мери! – вздохнул, проходя мимо ее дома, молодой поклонник, очень несмелый.

– Мери! – простонал в другом конце города старик, тоже поклонник.

– Мери! – сказал купец, ударив по столу кулаком.

– Мери! – заплакал член общества одиноких.

– Барышня Мери! – проникновенно сказал дворник ее дома.

И еще много людей вспоминали в этот вечер красотку Мери, великодушную пленницу жизни.

Она же, кружась в сверкающей комнате, дотанцовывала свое случайное настроение.

II

После далекого, в передней, звонка, Мери остановилась. Холеная, лстивая горничная, войдя, сказала, что пришел неизвестный человек в старом пальто.

Мери кивнула.

Когда появился неизвестный, она с неудовольствием помотала головой: человек был весьма грязен. Видимо, он был из мира пропойц. Жалкий, детский лоб с густыми бровями, сеть морщин, красный нос, и быстро бегающие, опухшие глаза ясно выдавали «стрелка». Он, скрипя рыжими сапогами, подал запечатанное письмо.

Мери прочла, всплеснула руками, заплакала и упала в кресло, топая ногами от боли.

Затем сквозь раздвинутые на мокром лице пальцы один ее глаз, несчастный и влажный, взглянул на понурую фигуру бродяги.

– Это... очень далеко? – Она всхлипнула еще раз и встала, вытирая глаза крошечным ко-

мочком платка.

– Извините – не близко. И без меня, осмелюсь сказать, трудно вам будет разыскать. Жилище сложное.

– Едем! – Мери неистово позвонила, чтобы одеться. – Идите в переднюю! Идите... я сейчас!

III

Извозчик вез странную пару от главных улиц, сетью угрюмых переулков, к заставе. Мери беспокойно ворочалась, понукая извозчика словами и зонтиком. Замысловатое перо ее шляпы тряслось над ухом бродяги. Взволнованная, нарядная женщина угнетала его своим присутствием. Электрическая, душистая перчатка ее то и дело стискивала руку проводника в порыве горького нетерпения. Он хмуро ежился и, наконец, боясь прикоснуться к странному существу, устроил свои ноги так, что они болтались снаружи.

Мери почти молчала. Она боялась спрашивать. Коляска несла их в местах, где было меньше движения, с напуганной быстротой лихача. Характер улиц постепенно менялся. Грязнее и ниже становились дома, неровнее – мостовая, улицы – уже, фонари – реже.

Проходили толпы рабочих, хулиганы. Брели с добычей халатники, напевая по привычке: «Халат!» Скуластые проститутки шныряли в углах, басом приглашая «увлечься».

Взъерошенные кошки мяукали у ворот. Слепые протягивали свою горсть. Женщины в платках перебегали дорогу, прижимая к груди бутылку. Безрукие встряхивали пустым рукавом. Безногие ерзали по панели, вытирая вспотевший лоб. Хриплая музыка граммофонов гремела из дверей чайных. В пустынные дворы-сарай въезжали извозчики, покачиваясь от сна.

В переулке у шестиэтажного дома, сатанеющего от грязи, пьянства и нищеты, извозчик остановился. Мери и прощелыга вступили в полутьму крутой лестницы. Раздавленная луковица сунулась под каблук танцовщицы, сделав его скользким. Наконец, потянув ободранную клеенку, проводник открыл дверь. Это была квартира с перегородками из газетной бумаги и дранок, кусков штукатурки и развешанного белья.

– Входите! – сказал проводник Мери, притихшей от смущения.

Он свернул влево. Там, вытянувшись под лоскутным одеялом, на сколоченной из досок кровати – лежал в тряпье тяжело дышащий от слабости и счастливого нетерпения человек, на взгляд – иной породы, чем проводник Мери. Он был худ как цыпленок и всматривался, расширяя глаза.

IV

Мери наполнила собой комнату; в тысячу раз стало в ней беднее и гаже.

Больной привстал. Он ничего не видел, кроме женщины. Проводник вышел.

– Не жизнь, а кошмар! – сказала Мери, нагибаясь к лежащему и закусывая губу, чтобы не плакать. – Ты ли это, Максим?

– Обо мне потом! – восхищенно сказал больной, целуя упавшую ему на лицо ладонь. – Я пять лет не видел тебя. Я не имел права и сейчас это делать. Но, может быть, моя болезнь тяжела, как знать, что будет... захотелось взглянуть на Мери.

– Не ври! – Она, не удержавшись, заплакала, припав головой к плечу мужчины. – Еще бы ты помер! Этого не хватало! Я сделаю все, что нужно! Дай термометр... или нет, я побегу к доктору!.. Что с тобой?!

Но он не ответил сразу, и она не повторяла вопроса. Пять лет – срок немалый, – люди разучиваются говорить друг с другом, передавать чувства.

– Мери, – сказал наконец Максим, – я хриплю, задыхаюсь, не могу встать. Зачем ты ушла от меня?

Она выпрямилась. Необходимо было сказать правду, так как положение изменилось.

– Это все твои мамаша и тетки. Я ведь не знала, что из этого выйдет. Если б ты не писал

романов, – другое дело. В тот день, когда ты ездил для меня за шеншелем, – обе они явились ко мне. Они даже не доложили о себе, а пришли, как домой. Разговор был короткий, но у меня разболелась от него голова. «Вы, – говорят они, – бросьте его, потому что он сделается знаменитым писателем, а вы его погубите». – Мери пожала плечами. – «Вы, – говорят, – миленькая, но пустая и легкомысленная. Он из-за вас погибнет... Он за вас и теперь на стенку лезет... Будьте великодушны!» Так они меня уговаривали! Я долго после того, как они ушли, каталась по полу и рвала волосы, но ничего не сделаешь! Зачем стала бы я портить тебе жизнь? Я и написала тебе: «Не люблю, не могу видеть, противен», и кончено. Я же в дураках и осталась.

– Так вот что... – сказал Максим, повертываясь к стене и делая вид, будто колупает обои. Затем он пролежал, уткнувшись лицом в подушку, минут пять.

– Слушай, – робко сказала Мери, – не сердись!

Максим повернулся.

– А я не мог жить без тебя! – заговорил он. – Я спился... ты видишь, где я теперь! Это была ошибка, Мери. Я без тебя не мог работать совсем.

– Все пошло кувыркком, – задумчиво произнесла женщина. – Но мы поправим это. Мы поселимся вместе. Ты будешь снова писать свои романы?

– Конечно.

– Хорошо. Поцелуй меня, пьянчужка, и подожди... я сейчас!

Она оглянулась. В щелях драных перегородок торчали истерически любопытные зрачки соседей и слышалось удерживаемое дыхание. Мери, все еще в слезах, показала зрачкам язык и помчалась за доктором.

На прелестном письменном столе, подарке барона, через день после рассказанного оказалась записка:

«Уважаемый Димочка! Ты будешь, может быть, горевать, но желаю тебе утешиться. Я уехала. Если прийдешь в театр, я выгоню тебя вон... Пойми это!..

Мери».

Этим оканчивается история. Здесь не нужно ничего прибавлять, потому что Максим выздоровел и Мери танцевала его выздоровление. Читатель может подумать, что автор этого рассказа легкомысленный человек. Ничего подобного. Автор – почтенный человек с седой бородой, у него восемь детей и три дома в Саратове.

Фантазеры

I

Человек маленького роста, в коротких клетчатых брюках, таком же пиджаке, в малиновом жилете и огненно-рыжем галстуке, скрывался в обширном лесу, спасаясь от виселицы. Кого он задушил или зарезал – нас не касается. Но что-то такое было. Маленький человек, засыпав глаза конвойным множеством понюшек крепкого табаку, отправился в лесные дебри, пока что – пока вдохновение или счастливый случай не поведут к тихой и сытой пристани. Приятели прозвали его Душка Гигант – за рот бантиком и, обратную гигантизму, – величину туловища.

Душка Гигант не ел двое суток. Его жилет сидел не так уже плотно, глаза ввалились и рот бантиком принял вид раздавленного узла. Лес изобиловал цветами, солнцем, певчими птицами и красивыми прогалинами, но в нем не было пустяков: хлеба и мяса.

К вечеру судьба сжалилась над Душкой Гигантом. Он разыскал гнездо тетерева. Тетерка слетела, а в моховой ямке бродяга нашел девять пестрых яиц. Он жадно проглотил их, лишь разозлив сначала, как показалось ему, голод, и лег в тени, вздыхая о более плотной пище. Однако, поспав часа три, встал он крепким и бодрым. Питательность проглоченного сказалась. Душка Гигант, вывернув все карманы, нашел в них щепоть сигарной пыли, половину раздавленной па-

пирасы и старую записку; из этого он свернул нечто курительное. Потрудившись с полчаса, добыл он и огня – способом первобытным, – трением двух кусков дерева. Покуривая, бродяга мечтал о воровском замке с проваливающимися полами, потаенными лестницами и кровавой прислужгой.

II

Солнце садилось, когда Душка Гигант отправился дальше. Дорогу ему пересек ручей, одно расширение которого напоминало сказочные места. Обрывистый, глухо заросший кустами и высокой травой берег напоминал глубокую рваную рану, в глубине которой стояла черная кровь. Вода казалась черной, как антрацит, густая листва скрывала ее от солнца и месяца. Посередине ручья, высоко выдаваясь вверх, торчал остроконечный белый камень; та его сторона, что была обращена к бродяге, казалась отполированной, так она была ровна и гладка.

Бродяге нужно было попасть на ту сторону ручья. Перед тем как войти в воду, он присел, смотря на камень, и думал, что трудно найти более подходящее место для какой-нибудь таинственной, каверзной надписи, загадочного или угрожающего характера. Делать надписи вообще вошло у него в привычку, в отхожих местах и на древесной коре, – не стоит повторять всем известных этих надписей.

Войдя в воду, он почувствовал жажду, напился и, стоя по колено в ручье, принялся высекать на камне складным ножом следующее:

«Кто в этом месте воды попьет, –
Тот умрет.
Вода здесь весьма хороша,
А плата за нее – душа».

III

«Хо-хо-хо, – думал он, – каждого будет корчить, кто прочитает; место здесь жуткое». Его забавляло, что суеверные люди будут колебаться, пугаясь и отходя к другим местам того же ручья.

Делать неприятности нравилось Душке Гиганту. Он тщательно выцарапывал буквы и, кончив работу, присел на берегу отдохнуть. Потом, чувствуя жажду, напился, но, вытирая рот, вспомнил о надписи.

«Ну, это ко мне не относится!» – решил он, вставая и переходя ручей. Он не услышал выстрела, раздавшегося позади, с берега; пуля, поразив бродягу в затылочное отверстие, мгновенно свалила его трупом. Тело, глухо плеснув в воде, упало под прикрытием берега. Раздался крик торжества и, поспешно заряжая на ходу винтовку, к ручью приблизился высокий бородатый охотник, отыскивая глазами жертву.

– Неужели медведь убежал? – сказал он, оглядываясь. Издали злосчастный Душка Гигант, когда был живой, показался ему, в неясности лесного света, медведем на водопое, и он погубил его весьма метким выстрелом. Не слыша треска, храпения, не видя следов крови, охотник, в полной уверенности, что медведь завалился поблизости и больше не встанет, поторопился утолить несносную жажду, отложив поиски, и, нагнувшись к ручью, пил теплую воду до пресыщения. Встав, он прошел несколько шагов вверх, и здесь, побледнев, увидел распростертого в воде Душку Гиганта.

– Ах, черт возьми! – вскричал охотник. – Вот так медведь! Это я его треснул. Кто же мог знать?.. Ворочается темная туша... в лесу так много зарослей... смеркается... Боже, прости меня!

IV

Он вытащил мертвеца из воды, грустно покачал головой и сказал: «Костюм городской; этот человек или заблудился, или бежал из города. Дикая судьба! Умереть от такой ошибки!»

Он сел, стараясь привести мысли в порядок. Рассеянный взгляд его остановился на камне и крупных буквах.

«Какая глупость!» – подумал он, ловя себя на суеверных мыслях, вызванных надписью. Войдя в воду, он рассмотрел камень пристальнее, вспомнил, что сам пил из ручья, и склонность к таинственному, общая у скитальцев разного рода, в соединении с трагическим выстрелом и мрачным ручьем, подействовала на него угнетающе. Путаясь в догадках относительно происхождения надписи, очевидно – свежей, соображая также, что убитый, наверное, тоже пил воду, так как других ручьев вблизи не было, – охотник задумался. Затем, закопав тело, дабы не тронули его звери, он выкурил трубку и направился в селение, лежавшее за шесть верст от ручья, донести полиции о роковом происшествии.

Но едва сделал он несколько шагов в сторону и очутился во тьме наступившей ночи, как суеверный страх, родившийся у ручья, против воли и доводов разума, совершенно овладел им. Зловещая надпись останавливала дыхание. Досадуя и ужасаясь, смеясь и задумываясь, вернулся он к ручью, решив, что переночует здесь и пойдет утром; запалив костер, охотник лег возле него. Нестерпимо призрачны и фантастичны были его мысли; предчувствия, страшные рассказы, образы потустороннего мира, – все, пугающее людей таинственными опасностями, продумывалось теперь им, попавшим в колею диких случайностей. Наконец он задремал... и более не проснулся.

V

Рассвет, оживив лес, увидел нового хозяина потухавшего костра. Это был известный бандит Клуст, привлеченный огнем; он долго подползал к костру, полз тихо, как кошка, и, увидав на поясе спавшего охотника восемь бобровых шкур, двумя ударами ножа покончил с их несчастным владельцем. Труп охотника, засунутый в кусты, несколько не беспокоил Клушта; он спокойно завтракал солониной и сухарями своей жертвы. Окончив есть, бандит попил из ручья сколько хотел, поднял голову, и розовый от зари камень прямо в глаза бросил ему неуклюжее четверостишие.

Если охотник, поддаваясь суеверному чувству, боролся с ним, то в темной душе бандита, наоборот, не вспыхнуло никаких сомнений. Он по-настоящему, сразу испугался, потому что искренне верил во все чудеса зловредного характера. К тому же доказательство справедливости страшной надписи было налицо: восемь бобровых шкур и труп в кустарнике. Не медля принялся он обдумывать, как обмануть судьбу. «Я пил воду, – рассуждал Клуст, – и этого не вернешь. Однако еще посмотрим. Сегодня я хотел направиться громить ферму Дейтона, что к северу, ясно, что мне следует изменить планы: по-видимому, смерть караулит меня у Дейтона. И вообще я буду не то, что хочется, а наоборот». Несколько успокоенный, он уничтожил следы костра, опустил охотника с огромными камнями на шее в самый глубокий, какой нашел, омут, и прошагал четыре версты к югу, без всякого определенного намерения. Вскоре захотелось ему посетить тайное свое убежище, в пещере лесного оврага, но, лукаво усмехнувшись, Клуст сказал: «Нет, врешь, не заманишь. Уж верно, там ждет меня пакость какая-то».

Потом, перебирая все направления, следуя которым мог бы совершить удачный грабеж или вообще получить выгоду, заметил он, что неохотно думает о дороге в Дан, на которой был притон Черного Вепря, бандита и скупщика. «Продам ему шкуры, – решил Клуст, – раз мне к Вепрю идти не хочется, ясно, что там мне ничто не грозит». Он пересек обширное болото, обогнул долину Коз и выбрался к хижине Черного Вепря.

– Здесь мы караулили тебя, Клуст, – сказал один из шести конных жандармов, окруживших бандита. Они выскочили из леса. – Вережка давно сучает о тебе, мошенник, – стой! Руки вверх! Так. – И он звякнул наручниками.

«Вот гадость!» – подумал Клуст, увидев свои руки закованными. – В этом мире сам черт но-

ги сломает: отчего я не пошел правда к Дейтону?»

Страшный злодей

I

Пискун шел через Солдатский базар, спотыкаясь в кромешной тьме среди низких, покосившихся лавчонок, шлепая по осенним лужам и на ощупь, левой рукой подсчитывая мелочь, лежавшую в пиджачном кармане. Ужин, ночлег и водка были, пожалуй, обеспечены.

Неудачник во всем, он пользовался симпатиями духанщиков и женщин только в те редкие дни, когда деньги оттягивали карманы, а глотка кричала во весь трактир: «Вина!» В обществе карманщиков и громил он слыл человеком, общение с которым может повести к неудачам – аресту или карточному проигрышу. Специальностью его было облегчение чужих карманов, и Пискун часто ходил в церковь, с трогательным усердием распластываясь ниц между старичков и старушек, подпевал ирмосам и ставил свечи угодникам, не забывая потереться вплотную около шуб и салонов с соблазнительно оттопыренной поверхностью. И судьба, ревнивая к своим избранникам, как мачеха к родным детям, безжалостно подсовывала Пискуну протертые кошельки с пуговицами и театральными билетами, кожаные кисеты, сломанные или дешевые часы. Еще хуже бывали моменты неуверенности в себе, отсутствия ловкости и изобретательности, досадных помех – как раз тогда, когда случай дразнил возможностью «свистнуть» ценный бумажник, полный банковых билетов.

Товарищи презирали его, и презрение это, чрезвычайно разнообразное в своих проявлениях, проникло в лице Пискуна застывшей, напряженной робостью, не лишенной, однако, жалкого трепетного нахальства. Женщины не любили его, предпочитая рослых, отчаянных сорванцов, лихих в грабеже и любви.

Итак, Пискун шел через Солдатский базар.

Впереди разговаривали. Мужской голос сладко лебезил, женский лениво и задумчиво отвечал ему. Пискун, любопытный, как все воры и дети, пошел тише, бесцельно прислушиваясь к разговору.

– Пойдем, барышня, хорошо будет!.. Табак курить, пиво пить... Такой славный барышня!.. Денег дам, много денег! Барышня!..

– Отвяжись, армяшка, – сказала женщина. – Сказала, не пойду.

– Ой, какой сердитый, такой белый, красивый...

Голос мужчины, дрожавший от возбуждения, говорил Пискуну, что женщина эта может быть молода и красива. Завидуя и облизываясь, он вышел, идя вслед за парочкой, на торговую площадь.

Здесь, в темноте, на грязной пустынной мостовой блестели огни извозчичьих фаэтонов, но армянин не взял экипажа, а направился под руку со своей случайной подругой через площадь пешком к темному ряду запертых сенных лавок. В эту же сторону лежал путь вора, и Пискун все время не терял из вида развевающийся платок женщины.

Армянин остановился у железных дверей сennого магазина, отпер висячий замок, впустил спутницу и вошел сам, плотно притворив дверь. Так показалось Пискуну, но почти вслед за этим желтая полоса света вынырнула из щели, разрезав блеснувшую сырость тротуара тонкой, косой линией. Пискун подошел ближе, слегка, медленно приоткрыл дверь и заглянул внутрь.

Кипы прессованного сена, упираясь под самый потолок, дохнули ему в лицо приятным, пряным запахом. На маленьком деревянном столе горела сальная свечка, бросая трепетные углы теней и робкого мигающего света. Вся сцена мимолетного увлечения разыгралась на глазах Пискуна, вплоть до момента расплаты.

II

В «Сорока духанах», месте, где по вечерам собирается темный городской люд, Пискун заказал порцию борща, котлеты и стакан водки. Ел он жадно и торопливо, стремясь покончить с едой, чтобы присоединиться к кружку знакомых, шепотом толковавших в углу о событиях дня и планах на будущее.

Здесь было пять человек известных и даже прославленных воров: «домушник» Глист, долговязый, серьезный парень, молчаливый и шеголеватый; «подкидчик» Буза – плотный, загорелый старик; «железнодорожник» Митя, красивый молодец, смахивающий на приказчика, и два карманщика – Рог и Жила, бывшие цирковые конюхи. Эти двое были моложе всех, безусые, с острыми, насмешливыми глазами. Все пятеро окружили стол, посередине которого стояли бутылки кахетинского и отпитые стаканы.

Пискун сел в кружок. На него почти не обратили внимания, и разговор продолжался. Буза рассказывал содержание театральной пьесы, виденной им вчера.

– Подходит к мужу жена. «Ты, говорит, ей все покупаешь, а мне рубля от тебя нет». Размахнулась – раз по щеке! И пошло у них. Я смотрю...

– Я лучше твоего театр видел, – вставил Пискун. – Иду я через базар сейчас...

– Цыц! – сказал Глист, – не перебивай. Тебя не спрашивают.

– Ну вот! – возразил задетый Пискун. – Ведь смешно, кроме шуток. Иду я через базар...

Здесь он невольно остановился, ожидая нового окрика, но Буза равнодушно посмотрел на него, процедив:

– Болтай живее!..

– Армяшка уговорил маруху к себе в магазин идти, – заторопился Пискун. – В сенную. Вот театр был – посмотрел бы кто! Денег много у лешего, сам видел, в столе держит.

– Ну? – спросил Глист.

– Так, ничего... – оборвал Пискун и, подумав, прибавил: – Свести бы его снова да притемнить там.

Глист громко расхохотался. Другие поддержали его, наперебой высмеивая Пискуна. Буза презрительно хмыкнул, поглаживая бороду:

– Туда же!..

Мысль о рискованном и трудном деле, высказанная Пискуном, делала его смешным в глазах этих людей, признающих за товарищем право на свое уважение только тогда, когда у него есть прошлое. Слова, сказанные Пискуном, произнес бы на его месте всякий порядочный вор, но именно Пискуну, «шпане», не следовало «звонить» об этом, так как такое дело – не его слабых, неловких рук и трусливой башки.

III

Кто именно убил армянина – осталось неизвестным. Через три дня после упомянутого любовного приключения хозяина лавки нашли совершенно похолодевшим, с пробитой головой и вывернутыми карманами. А к Пискуну, когда он сидел в духане, подошел молчаливый Глист, оглянулся, нагнулся и сказал:

– Ты?

Пискун хлопнул глазами, спрашивая всей фигурой, в чем дело. Глист продолжал:

– Хорошо. Чисто. Никто не думал. Молчи покамест. А деньги спрячь подальше и поезжай в Энзели, я там буду.

Подошли другие и стали наперерыв доказывать Пискуну, что убил армянина он. Ошеломленный карманщик высыпал целый ворох божбы, ругательств и клятвенных уверений, но глаза собеседников восхищенно смотрели на него, удивляясь волчьей осторожности человека, известного несколько дней назад за первого «звонаря» и сплетника.

Понемногу его оставили в покое, но каждый лелеял сладкую мысль о дележе добычи и угощал Пискуна, доказывая ему свое расположение и дружбу. Это понравилось воришке, и через два дня он уже отделялся полунамеками, разыгрывая автора преступления: без нужды возвращался к убийству, делая разные предположения, и вдруг, среди разговора, круто смолкал,

хватая залпом вино. Ему стало приходить в голову, что он мог бы оборудовать это дело, и если не оборудовал, то лишь потому, что его предупредили. Сладкие минуты славы вскружили его голову, он стал глухо похвастывать, особенно пьяный и перед женщинами.

Его арестовали. На вопрос пристава:

– Ты? – Пискун, взвесив на весах сердца положение парии и героя, всеобщее снисхождение и всеобщий восторг – тихо, но внятно произнес:

– Я.

На реке

I

Пароход шел вниз по течению, держась горного берега. В темной воде разлива мерно дрожали и плыли его огни – маленькая движущаяся иллюминация, – зеленое с красным, похожее на глаза безобидного, праздничного дракона.

Холодный апрель дышал сыростью, широким простором и пресным запахом еще не растаившего по берегам снега. Пассажиры первого и второго класса легли спать, в третьем еще пили чай с сушкой, бережно обсасывая кусочки сахара и одалживая у соседей лимон, чайные ложки, сахарные щипцы. Слепой, давно надоевший гармонист, окруженный матросами и бабами в душегрейках, играл волжские песни; его молодое, пришибленное лицо сохраняло профессионально-скорбное выражение, в то время как привычные пальцы равнодушно перебирали лады трехрядки, фыркающей потертым мехом.

Капитан, похожий на капитана Немо, суровой внешности, плечистый, с черной окладистой бородой, в валенках и полушубке, крытом сукном, стоял у штурвала, рассказывая окоченевшему от холода лоцману историю с бирками, кончившуюся печально для водолива с Судацевской баржи.

Быстрый, певучий, окающий говорок капитана странно не шел к его романтической внешности.

– Н-да, – сказал лоцман, скрипя штурвалом. – Жадничество, конечно, оно вредит.

– Я же говорю, Ермилин, – возьми он десять кулей – леший ему в толы, и кончено. Матросот, что бирки рвал, шустрый был, что говорить, кукарекни жулик, да зарвался. Тачки бегут, а хлебник, хозяин, – у схода сходит. Конечно, подождать бы, а матрос и вдави бирку в куль, да свои из руки рассыпал, нагнулся дать и растянулся под тачку. «Сто!» – хлебник кричит, подошел, – бирка-то, в куль неподавленная, торчит. – Что такое?.. Воровать?! Давай кули считать! Полезли в трюм, бирки посчитали – четырнадцать кулей свистнули!..

– Н-да! – сказал лоцман, щуя глаза на темноту. – Жадничество-то, оно из кармана норovit...

Капитан потоптался; резкий ночной ветер слал холод и скуку, и, казалось, от скуки вздрагивал маленький пароход, бивший маленькими колесами черную воду разлива. Невидимые редкие льдины шуршали, задевая обшивку судна; вдали мелькнул крошечный огонек, вильнул и поплыл навстречу, разгораясь все ярче, как на ветру уголь.

– Тырышкинцы, – сказал капитан.

– Пошто тырышкинцы? – возразил лоцман. – Тырышкин пароходы еще в затоне держит. Энто казанские.

Капитан взял рупор. Встречные огни парохода двигались слева и совсем близко, судя по ясно различаемым, освещенным фонарем, белым доскам площадки.

– Кто таки-и-и?.. – закричал капитан в рупор, я странный, отраженный медью трубы голос его заухал далеким береговым эхом.

– Ты-ры... ы-ы... – гулко пролетел сдавленный возглас.

Капитан пососал усы и, снова приставив рупор, крикнул из всех сил:

– У ты-рыш-ки... на лок-тя-а-х... кафтан... про-дра-ал-ся-а-а... – Повернувшись ухом к

врагу, он с нетерпением ждал ответа, улыбаясь неожиданному развлечению.

– Сам ду-у-ра-ак!.. – крикнули с парохода.

II

Капитан, поужинав холодной телятиной с огурцами, лег спать. Немного погода сменился и лоцман, но спать ему не хотелось; напившись в лоцманской чаю, он вышел на палубу, тыкаясь среди сонных, расprostертых у машинного кожуха, мужицких тел, задумчиво послонялся у кухни, где повар, ворча и проклиная буфетчика, устраивал себе ложе на остывшей плите, затем подошел к машине, облокотился о ящики с гвоздями – груз, следовавший в Нолинск, и тяжело засопел, разглядывая в тысяча первый раз отполированные, крутящиеся кривошипы.

Лоцман походил на угодника, какими рисуют их на иконах, с той разницей, что благочестиво-суровое выражение уступало в его лице место рассеянному, добродушному лукавству старого мужика. Ему было давно за сорок; лохматый, в красной бумажной рубахе и валенках с белыми пятнышками, он казался теперь мужичонкой, остановившимся поглазеть.

– Черта глядишь, – сказал он масленщику, длинному парню с недоброкачественным цветом лица. – Глядь, глядь ужо.

Масленщик вытирал свертком пакли нагретую маслянистую сталь.

– Если ты потревоженный человек, – медленно сказал он, скашивая глаза на сверкающие диски эксцентриков, – то отчепись.

– Уши тебе мало драли, – зашипел лоцман. – Я, чать, старшей тебя. Ты как старшему отвечать должен?

Масленщик перевел каменный взгляд с машины на свои руки, пестрые от нефти, сплюнул и снова с остервенением принялся подвинчивать крышки масленок. Лоцман, помолчав, продолжал:

– Если оно пар, то ты объясни, что и к чему. Ежеле к тебе по-людски, а не то что как... Насчет бани, например.

– Какая баня, шут еловый? – вскричал парень. – Спи иди, спи; глаза-то уже не смотрят!

– Баня, – конфузливо, но с оттенком начальственности ухмыльнулся Ермилин, – баня на паре... паром дышит... Ну... Я к тому, что баня не приспособлена. По-настоящему, ежели пар, то и баня должна ходить.

Масленщик хмуро ворочался между взлетающими рычагами.

Лоцман сказал:

– Баяли, что баба на пароходе родит.

– Наплевать, – проворчал парень.

– Наплюй, наплюй... – сонно протянул лоцман, пришедший в добродушное настроение от чая и тепла машинного воздуха. – Наплюй ей, козьявке, в хвост. А папироску хошь? Парень осклабился.

– Дай! – сказал он, протягивая грязную руку.

– Ну на уж.

Бережно нащупав в кармане желтенькую коробочку, Ермилин, почти раздавливая ее заскоружеными пальцами, извлек папиросу и торжественно протянул масленщику. Закурив, оба выпрямились и стали держать руки с куревом как-то странно вывороченными, на отлете.

– Малиновка, – сказал лоцман. – Шесть копеек.

– А, – радостно изумился парень, затягиваясь и кашляя. – Скоко жалованья-то берешь? – спросил он.

Лоцман почесал бороду.

– Два ста рублей. Два ста рублей – это за навигацию. Собственный харч.

– Ага! – кивнул парень. – А я десять. Десять рублей.

– Тек-с, – сказал лоцман.

– А как ваша должность, – переходя на «вы», осведомился масленщик, – должность ваша, я полагаю, трудная?

– Кака трудность. – Лоцман махнул рукой. – Весной, восенью, окромя лета, – колесо ворочай, вот и трудность вся тут. Конешно, фарвахтер... насчет этого, скажем, кажный, соблюдающийся себя лоцман должен знать... А летом перекааты мают – верно; попыжишься, поскрипишь... Река усохла; летось ишшо песку на эстоля нанесено было...

– Случаются истории, – глубокомысленно сказал парень.

Лоцман положил голову на руки. Глаза его шурились; яркий электрический свет пронизывал бороду, сверкая рыжими искрами жестких волос, и весь он был похож не то на ободранного кота, не то на юродивого. Крепкая мужицкая мысль дремала в морщинах его лица; разило от этой мысли запахом овчины и пота, лесами и размокшим от весенних дождей суглинком.

– Чугунку вот провели, – неожиданно сказал он. – Кои хрестьяне противу ратовали, а хоть бы што... Шурин из Блудова приезжал, бае: покатил, черт, фрчит, пар из ноздрев, а наше бабье с лопатами на рельцах понаседало: орут, скулят... а оно прет... пару этого, твоего пустили, пошпарило кому ляжки... убегли.

– А-к што ж, – сказал масленщик. – Народ даже совсем правильный, но нет в нем понятия... Машина! Я знаю, што машина, а почему нет в машине твоей линии? Машина – она должна все сообразно... А в твоём пару никакой линии нет.

Масленщик смигнул, криво улыбнулся, задумался, но все же не понял.

– Какая ж в ней линия, – развел он руками, укоризненно поглядывая на аккуратные взлеты поршней. – Линии в ней, я вам скажу, не полагается. Железо... оно... известно.

– Ты послушай-кось, – протянул лоцман таким голосом, каким убеждают норовистую лошадь подойти ближе. – Шашнадцать али двадцать годов... двадцать кладь... отец мой здесь путался в лоцманах, а я при нем вертелся. Мне, почитай, все четырнадцать тогда были. Тятка был шустрый, а Судачиха, мать теперешнего-то облома, жалованье всем убавила... По весне вышли мы из затона, вот как теперь, в водополье... Тятка и налижись. – С горя, кричит, пью, потому обижают!.. Пей, робя! И накачай он матросов сивухой до тошноты. Весело, пляшут, думаем, хошь капитан тверезый, а он ранее всех вдрызг... Ну вышла вот такая пьяная линия. А за полночь стригануло; помахивает тятка эдак колесо, а Мамаев, подручный его, кричит: «Куда едем! Почему, грит, обязаны мы идти по воде? А может, фарвахтер влево?! Где фарвахтер?! Говори сейчас, грит, где фарвахтер, а то сейчас в воду спихну».

Тятка эдак бараном стоит, невдомек ему. «Чего ты?» – «А то, – говорит Мамаев, – что мы есть вольные казаки!» И залился он, парень, горькими слезками. Отец в раж вошел. «Фарвахтер?! – грит. – Я тебе дам фарвахтер! Режь!» Да как махнет штурвалом, а пароход загудел. Взрыли мы носом воду, поплыли. Нет никого, ни помощника, ни самого капитана. «Полный ход!» – «Есть!» А я себе стою, занятно выходит. Плыли мы, плыли, огоньки светятся. «Пристань! – тятка кричит. – Режь!» И запели они с Мамаевым совсем несуразное, пьяные, жарко им, а глотки на ветре испетушились.

Жалостно так поют себе, а меня смехи разбирают. И вдруг, значит, произошло смятение: треск, колдыбачит вокруг, пароход то дергает, то отпустит, качает – неведи бог.

А маненько светать стало, смотрю я – плетни кругом, домишко паскудный такой, тесовый. Вкокались мы ни много, ни мало в поповский огород; водополье большое, полсела затоплено. Въехали с треском, вроде как на манер ангельского копья в сатанинское туловище. Пассажиры бунтуются. Капитан пьяный, лицо у него мутное. «Есть неудовольствие?» – спрашивает. «Есть!» – «Ссадить тех, у которых неудовольствие!»

Высадили мы пассажиров, напоили буфетчика. Пьют. Поп с попадьей на балкончике ворошатся, воют, а мы им платочками помахиваем. Дали задний ход, тронулись. И поплыли мы, любезный, с пьяных глаз вверх, в обратную сторону. К селу к какому-то по пути пристали; так и так, мол, – объявился гулящий пароход, приبلудный, – просим мамзелей, женский пол. Всучили нам тут штук шесть неумытых: кои солдатки, кои так, озорницы; ладно, мол, опосля разберем.

Поплыли, пьем, баб бить стали. Однако дня через полтора напитки вышли, дров нет. Забрали еще в деревне одной дров, водки, плывем в Казань. Шум, драки... соблазн по всем статьям. И что за отчаянность в те поры на всех напала – ума не приложу. А тут кочегар ходит, хихикает; машинист, говорит, утоп. – Ладно! Утоп – поставить Митьку за машиниста! Жги дрова! А

Митька был кухарчонок, около плиты все, известно, ему это дело сподручнее. Однако затопил он не так, котел трещать стал, видим – взорвет.

Закрыли топку, плывем на манер баркаса. И плыли мы так до Казани, там уж нас, на устье, полиция поснимала.

– На-кось! – сказал масленщик. – Какие дела! Линия!

– Линия и есть! – убежденно кивнул Ермилин.

– Насчет пьянства ежели – линия! – протянул парень. – А касательно машины линии никакой нет.

– Глухим служить – две обедни звонить, – сказал лоцман. – Я к тому... да ты... паря, пойми: перво-наперво – машина... для чего? Чтобы, значит, пароход ехал к своему пункту. А ежели она и для пункта и для попова огорода, – кака же она тогда настоящая, правильная машина? Машина, значит, без линии.

– А где ты такую машину видел? – снова переходя на «ты» и неизвестно почему обижаясь, вскипел масленщик. – Нет, ты докажи!

– Докажу.

– А вот докажи!

– А и докажу! Ты вот поплюй-ка, поплюй козявке на хвост да выдумай.

– Выдумай! Эко, выдумал! Ты докажи!

Лоцман зевнул и пошел в сторону. Лицо его посерело, глаза стали острыми и упрямыми, а рот скашивался в презрительную усмешку. Его одолевал сон. Последнее «докажи» парня поймало его у самых дверей каюты; он сплюнул и благодушно выругался.

Ночь бледнела. Огромное свинцовое зеркало весенней воды тонуло в матовых испарениях, светлые изгибы волны бежали за пароходом, шумя однотонными сливающимися всплесками. Слева, над плоским берегом, пробивая туман, розовел свет. Снег, запавший на островах и озерах, колол лицо резкой весенней свежестью. Все дремало. И в полной утренней тишине реки не было других звуков, кроме воркотни лопастей, бивших воду.

Другой лоцман, молодой скуластый крестьянин, туго подпоясанный кушаком, в шапке с наушниками, говорил подручному:

– Беги-ка ты, беги, Митрий, насчет картошки.

Трамвайная болезнь

Диссертация

С тех пор как мы начали по несколько часов в день жить в трамвайном вагоне, – признаки особого рода помешательства прискорбно ясны для меня как в себе, так и в моих близких – особенно трамвайных близких. Болезнь эту я предлагаю назвать «Аспазией». Ни за что в мире не согласился бы я попытаться объяснить, почему именно это женское имя кажется мне приличным для сей болезни. Во всяком случае, тот, кто против «Аспазии», должен быть прежде всего или же изобретателем, как я, чтобы решиться подыскать другое, более бессмысленное название явлению, враждебному не только здравому смыслу, но даже здоровью, не говоря уже о мозгах; мозги, одержимые «Аспазией», разрушаются с быстротою лепешки, сокрушенной тараном. Вот подлинный рассказ больного, страдавшего проклятой «Аспазией» и получившего наконец исцеление с помощью «смит-вессона». Его предсмертная исповедь такова: «Войдя в вагон маршрута № 7, я с первых же мгновений убедился, что я здесь лишний и что двенадцать человек, стиснувших меня на задней площадке, действуют вполне сознательно и злорадно. Они стояли здесь именно затем, чтобы сдавить меня до невозможности вытащить из кармана руку. Один упирался брюхом в мой бок. Другой натирал мне кулаком спину. Третий и четвертый, бессмысленно вертя головами, старались задеть полями шляп различные части моего лица. Остальные восемь, напирая на них, усиливали этим давление, хотя не знаю, чем я заслужил их немилость, их черную злобу, не понятную моему кроткому темпераменту. Увидев рядом с собой кондуктора, обладав-

шего способностью проникать сквозь материю таинственным способом, я, вытянув руку из кармана обратным ходом штопора, показал кондуктору новую 20-копеечную марку. Но кондуктор, ясно, был в заговоре с пассажирами. Он брал деньги у всех, кроме меня! Он упорно делал вид, что не замечает моей вспотевшей от тоски боны, и вырвал у меня ее из пальцев (весьма грубо) лишь тогда, когда, полный отчаяния, я сделал движение отправить деньги обратно. Билет, оторванный им, представлял мало сходства с человеческим трамвайным билетом; он годился разве для близнецов, так как был куском ленты, отхваченным от двух соседних билетов. Ожидая сдачу, я обратил внимание на то, что у кондуктора имелись гривенники и пяточки. Он глубокомысленно отсчитал сдачу паутинными от дряхлости рыжими копейками. После этого нельзя уже было сомневаться в том, что шайка мучителей, приехавших, быть может, издавна специально для этой цели, разузнала, посредством ловких агентов, что я должен сегодня сесть в 4 часа дня в известном месте на 7-й номер, и, хорошо разучив роли, подкупив кондуктора и вагоновожатого, предалась гнусному издевательствам. Я молчал пока что, я мог еще терпеть этот ужас, но... вы послушайте. Истошив средства мучений на площадке, злодеи впихнули меня в вагон. Среди них были дамы, старики, дети!.. так рано испорчены, так безнадежно преступны! „Потеснитесь вперед“, – резко сказал кондуктор. Ни я, ни тем более плотная масса впереди меня не могли сделать этого. Все было подстроено заранее; как по команде, из-за спины, с обеих сторон сразу, искривляя меня наподобие латинского „S“, начали энергично протискиваться солидные, толстые человечки. Это была игра в послушание кондуктору, направленная против меня. Стараясь уберечь кости, я изобрел наконец средство остаться живым: я принялся вертеться в одну сторону, вокруг вертикальной оси, наподобие входа в сад Народного дома. Тогда меня мгновенно выжали в щель пространства между сидевшими и стоявшими. Головой я упирался в стекло, а ногами куда-то. Оглядываясь, я заметил, что шляпы дам были устроены таким образом, чтобы регулярно раздражать меня – жертву, плакавшую теперь обильными, чистыми, как хрусталь, слезами. Перья шляп свешивались, раздражая мое лицо нарочитыми щекочущими касаниями, – в ушах, за воротником, на носу – я беспрерывно ощущал демонский трепет. Скоро мне заехали в глаз самым настоящим предохранителем – большего ужаса я не в силах представить. Вообразите, что вам продернули сквозь голову канат и тянут его через глазную орбиту. Честное острие булавки, по моему, раз навсегда решает вопрос: глаз проколот, в чем вы нимало не сомневаетесь, – и с меньшей болью. Тогда как дьявольская дробинка предохранителя, оглушив болью, от которой хочется скакать на одной ноге, оставляет обманчивую надежду, что глаз, может быть, цел. Лишенный глаза, обливаясь слезами и кровью, я хотел было занять освободившееся рядом со мной место, но к нему, как шука к уклейке нырком, под мышками стоявших, стрельнул некий проворный хват, заняв его с видом ужаленного Юпитера. Усевшись на мою правую ногу, некий субъект старательно принялся устраивать себе гнездышко меж мной и моим соседом. Как он вошел в беспространственность, можно объяснить лишь сжатием меня до толщины листа писчей бумаги. То же повторилось и с моей левой ногой, которой, с теми же целями, занялась богиня восемнадцати пудов вес...» Здесь перерыв рукописи. Следы размазанной крови и кристаллики соли. Затем следует: «Вагон остановился наконец в Риме. Виден собор св. Петра, Колизей и Тарпейская скала. На улицах бегают обезьяны. Все люди одноглазы, как я. Пишу это в писсуаре на углу Делла-Фантазия и Чивитта-Невскевия. Я вставляю свой глаз в оправу из кости циклопа и метну его вверх, и он уронит сверху слезу в двести грамм спирта, которую я выпью с моим другом Нена-Самбом. Как хорошо! Какие запахи! „Не тронь меня“, – сказала Маргарита и скрылась в дверь, покинув навсегда...»

Наказание

I

Вертлюга отправился на чердак с подручным «закреплять болты». Оба сели на балку, усыпанную голубиным пометом, и, вынув бутылку спирта, стали опохмеляться.

Накануне, по случаю воскресенья, было большое пьянство, а теперь жестоко болела голова, нудило, и по всему телу струилась мелкая ознобная дрожь. Вертлюга, глотнув из бутылки, закусил луковицей и сказал, передавая напиток подручному:

– Ну-ка, благословясь!

Подручный сделал благоговейное лицо и осторожно потянул из горлышка. Глаза его заслезились, на скулах выступили красные пятна. Он оторвался от бутылки, перевел дух и бойко сплюнул. Это был крупный молодой парень с жестким лицом.

– Чудесно! – сказал Вертлюга, глотая слюну. – Совсем другой человек стал!

В полутемной прохладе чердака стало как будто светлее. Приятели посидели молча, смакуя желанное удовлетворение. Затем Вертлюга встал, взял большой французский ключ и деловито, сосредоточенно подвинул гайку. Болты держались крепко, но совершить хотя бы и бесполезное действие требовалось для «очистки совести».

– Идем, Дмитрич, – сказал подручный, – болты эти в своем виде сто лет просуществуют.

– А все ж! – отозвался Вертлюга, сходя по лестнице. – Бутылку в песок зарой, заглянем еще сюда.

Подручный спрятал бутылку, и оба сошли вниз, в грохот и суету деревообделочной мастерской. Восемь машин разных величин и систем, сотрясаясь от напряжения, выбрасывали одну за другой гладко обстроганные доски. Шипя, как волчки, или же резко жужжа, вихренно вертелись ножи, мягкая, сыроватая, напоминающая мыльную пену, бесконечным кружевом ползла из-под них стружка.

II

Доска, брошенная концом на чугунную решетку машины, медленно втягивалась шестерней и ползла дальше, к бешеной воркотне ножей, встречавших ее. Иногда большие куски дерева, вырванные ножами, летели через всю мастерскую.

Доска проходила станок и, гладко выстроганная, с красивым багетным краем, тихо сваливалась на мягкую кучу стружек. Безостановочно клубилась белая древесная пыль, садясь на пол и потолок, лица и руки.

Сквозь грохот машин слышалось однообразное шипение приводных ремней. Скрещиваясь, змеились они от потолка к полу, фыркая швами. Широкие, темные ленты их мерно полосовали воздух, насыщенный запахом керосина, машинного масла и отпотевшего железа.

В окна смотрел ярко-желтый блестящий день. Раздраженные, повышенные человеческие голоса носились по мастерской, вместе с пылью и громом машин. Было непонятно, зачем люди говорят о ненужных им и неинтересных вещах.

Один выражал неудовольствие, что много стружек, хотя стружки ему не мешали, и занят он был не у строгальной машины, а у станка для вырезки тормозных колодок. Другой доказывал сторожу, что тот ворует казенные свечи. Третий бранил доску за то, что сучковата и с трещинами...

Вертлюга поднимал доски, тащил их к станку, втискивал и смотрел, как бегло выстрогивались желобки. Мысли его вертелись вокруг гульвивой и стрежистой речки Юргенки, на которой, будучи страстным удильщиком, просиживал он частенько свободные вечера и праздники. Он ясно увидел речку.

Бесчисленные синие колокольчики заливают нежным голубым маревом яркую траву берегов, поросших шиповником и черемухой; чудно пахнут цветами. Тишина, никого нет. А вот глубокий спокойный омут под широким обрывом. Там ветки мокнут в воде, глаза слепит мошкара, обнаженные, упавшие в воду корни струят воду жемчужным блеском.

III

Таинственная жизнь рыб скрыта черной водой. Поплавок заснул над глубоко затонувшими облаками. Вот он задумчиво шевельнулся... поплыл... дернулся... побежали круги... нырнул, –

и удочка выбрасывает на воздух брызгающего каплями, свивающегося кольцом, тяжелого красноперого окуня. Снова спит поплавок, ленивая, сладкая тень лежит вокруг рыболова, и пахнет мгновенный ветерок, – как в раю.

– А хорошо бы теперь уйти рыбу ловить! – тоскливо вздохнул Вертлюга.

Но сейчас же, цепляясь друг за друга, побежали разные соображения. Во-первых, осталась еще тысяча досок спешного, хорошо оплачиваемого заказа. Ножи могут сломаться, притупиться или выскочить, и некому их будет поправить. Затем, и это главное, он лишается половины дневного заработка. На завтра же вагонный мастер спросит:

– Вертлюга! Вчера почему ушел?

– Захворал, Владислав Сигизмундович.

– Хорошо, – говорит мастер, попыхивая сигарой, – а вот поди-ка сюда...

Ведет в контору и говорит:

– Штраф.

Вертлюга подумал еще немного, но было ясно, что, кроме штрафа, других неприятностей быть не может. Наденет он шапку, выйдет за ворота, возьмет дома удочку, жестянку с червями, корзину и – на речку. А доски... Черт с ними! Он даже улыбнулся: детской, несурзной выходкой показалось ему это внезапно загоревшееся желание. Но решение было еще неполным, еще не укрепилось в душе настолько, чтобы он мог тут же бросить станок и направиться к выходу.

Вертлюга испытывал тяжесть и раздражение. Бессознательно ворочая непривычные позы души, он боролся с самим собою, изредка раздражаясь короткими, скудными словами, в которых изливалась внутренняя его работа:

– Ничто меня здесь не держит. Взял да ушел. Эка важность! Ухожу! Чего я стою да себя мучаю?! Ежели не могу я сегодня, так-таки совсем не могу!

IV

Годами копившееся отвращение к скучному, однообразному труду перешло в болезненно-капризное состояние, когда человек готов заплатить какой угодно ценой за удовлетворение сильной, внезапной прихоти. Вертлюга посмотрел на часы; стрелки указывали полчаса третьего.

– Вот эту стопку докончу и уйду, – сказал Вертлюга. – Штук десять тут.

Сказав это, он понял, что близок к окончательному решению, и это его успокоило. Стопа быстро подходила к концу. Он стал считать доски по мере того, как они вываливались из станка. Одна, другая, третья, четвертая. Еще ползет. Половина. Четверть. Сейчас выйдет... упала.

– Последняя, – пятая.

Шум прекратился. Ножи и шестерни остановились. Ремень, соскочив со шкива, жалобно фыркал и бессильно болтался.

– Ремень соскочил, Дмитрич, – сказал подручный.

– Соскочил, так наденем.

Вертлюга руками захватил ремень и стал натягивать его на крутящийся шкив. Ремень упряма соскакивал, не поддаваясь Вертлюге, но вдруг, попав на место, повернул шкив неуволимо быстрым движением. Не успел Вертлюга выпрямиться, как его, ущемив одежду между ремнем и шкивом, сильно дернуло вниз, ударило головой о станок, перевернуло, подбросило и отшвырнуло в сторону, в мягкую кучу стружек.

Последнее, что видел он в этот момент, – грязный, в опилках пол, – заволокло дымной завесой. «Держи!» – крикнул он безотчетно, падая с саженой высоты постамента, и упал, разбив челюсть. Затем сплошная тьма потопила его.

Вдруг кто-то спросил: «Ну как? Дышит?» Вертлюга вздрогнул, открыл глаза, но быстро закрыл их: свет болезненно резал зрение, ослабевшее от десятидневной горячки.

V

Лежа с закрытыми глазами. Вертлюга продолжал видеть больничную палату, сестру мило-

сердия в сером платье и высокий белый потолок. Это было все ново и странно, и он улыбнулся, думая, что видит сон. На другой день ему стало хуже.

Он умер через четыре дня, а перед смертью попросил доктора вызвать вагонного мастера. Когда тот пришел и смущенно остановился перед койкой, – Вертлюга быстро и отчетливо проговорил:

– Владислав Сигизмундович!

– Что, Вертлюга?

– А вот видите, приходится попрощаться. Умираю. Простите, если что...

– Н-да, неприятно, – сказал мастер, откашливаясь и хмурясь. – Дело такое, божье дельце...

– Ну-к што ж! – перебил Вертлюга деланно-равнодушным голосом. – Помираю. А из-за чего? Почему? Вот потому... Потому, что воли моей я не исполнил.

– Ремень без палки надевал... да.

– Без палки? – переспросил Вертлюга.

– Разумеется. Так никто не делает. Теперь без ног лежишь.

– Ты балда! – сказал вдруг Вертлюга сердито и громко, так, что больные услышали и оглянулись. – Балда! Разве я про палку?... Дерево стоеросовое!

Он нервно натянул одеяло и повернулся лицом к стене.

Вокруг света

I

Последние десять миль, отделявшие торжествующего Жилия от шумного Зурбагана, пешеход прошел так быстро и весело, словно после каждого шага его ожидало несравненное удовольствие. Узнавая покинутые два года назад места, он испытывал восхищение больного, чудом возвращенного к жизни, которому блаженное чувство безопасности показывает домашнюю обстановку в звуках ликующего оркестра.

Костюм Жилия в день его возвращения состоял из серых шерстяных чулок до колен, толстых башмаков с пряжками, кожаных коротких штанов, голубой парусиновой блузы и огромной соломенной шляпы, покоробившейся самым причудливым образом. Дыра от пули была единственным его украшением. У пояса, в кожаной кобуре, висел старый друг, семизарядный револьвер, а за плечами – емкая дорожная сумка.

Жиль твердо постукивал суковатой палкой и свистал так пронзительно, что воробьи вспархивали, увидев его, за сто шагов.

Описав дугу кривой дорогой равнины, отделяющей рабочие предместья Зурбагана от лесистых долин Кассета, Жиль вступил наконец в крикливую улицу Полнолуния. Ранний час дня свежим блеском и относительной для этих широт прохладой придавал уличному движению толковую жизнерадостность. Крупная фигура Жилия, особенная стремительная походка, выработанная долгими странствованиями, густой кофейный загар, подавляющее напряжение лица, вызванное волнением, и бессознательная улыбка, столь сложная и заразная, что заставила бы обернуться мрачнейшего ипохондрика, скоро обратили на путешественника внимание многих прохожих. Жиль взглянул на часы – было половина девятого. «Ассоль спит, – решил он. – Зачем портить восторг встречи смесью сна с действительностью? Я все равно – дома». Заметив, что порядком устал, Жиль, свернув в аллею просторного бульвара, выбрал кабачок попроще и, сев в еще пустом зале за круглый стеклянный стол, сказал, чтобы подали яичницу с луком, бутылку водки и крепких сигар.

Почти тотчас вслед за ним вошли: меланхолический лавочник, держа руки под фартуком; толстый надутый мальчик, лет десяти, красный от нерешительности и любопытства; девушка мужского сложения, в манишке и стоячем воротнике, с мужской тростью, мужским портфелем и мужскими манерами; испитой субъект с длинными волосами; кургузый подвижной господин, свежий и крепкий; две барышни и несколько молодых людей, безлично-галантерейного типа с

тросточками и золотыми цепочками.

Хозяин, смотря поверх очков и прижимая пальцем то место газеты, на котором застигло его такое изумительное в ранний час нашествие посетителей, почесал свободной рукой спину, воспрянул и потряс огромным звонком. Слуги, вбежав, принялись кланяться, стирать пыль, принимать заказы и покрикивать друг на друга.

Тем временем посетители, сев в разных местах зала, открыто уставились на Жиля взглядами театральных зрителей. Заметив это, молодой человек смутился, но скоро сообразил, в чем дело. Газеты, видимо, были извещены о нем, – вероятно, выкляли у Ассоль портрет, тиснули его в рамке барабанных статеок, и экспансивные зурбаганцы, с догадкой, что герой – он, человек воинственно-бродячей наружности, ждали подтверждения этому; ждали, отдадим справедливость, смиренно и уважительно, однако при виде стольких глаз, круглых и немигающих, третий глоток водки застрял в горле Жили. Он думал, что хорошо бы удрать. Сигара заставила его кашлять, а яичница упрямо разваливалась на вилке.

Вдруг положение изменилось, – лопнул пузырь томления: мужевидная девица, понюхав поданный шоколад, крикнула, обвела общество призывным взглядом, решительно поднялась и, подойдя к Жиле, громко спросила:

– Разрешите мои сомнения. Портрет кругосветного путешественника, Жили Седира, напечатанный в журнале «Герольд», хроникером которого имею честь состоять я, Дора Минута, очень напоминает ваши черты. Не вы ли славный зурбаганец Седир, два года назад вышедший на стотысячное пари с фабрикантом Фрионом, что совершите кругосветное путешествие без копейки денег, сроком в два года?

Эта тирада заставила даже хозяина покинуть стойку и придержать дыхание.

– Я, я! – сказал взволнованный Жиль, смеясь и раскланиваясь с повскакавшей вокруг публикой. Послышалось: «ура! браво! приветствуем!» – и Жиль оказался в кругу радостно-любопытных лиц. Все хотели знать, как он путешествовал, с какой целью, что видел и испытал.

Немного можно ответить сотням вопросов и обращений, – однако, настроенный благодушно, Жиль рассказал главное. Его заставило добыть таким способом деньги изобретение, имеющее важное будущее. Никто не давал денег для окончательных опытов. Министерство благосклонно отвертелось, капиталисты не доверяли, а сам изобретатель, вставая поутру, не знал, будет ли сегодня обедать. Эксцентрик Фрион, жестоко, забавы ради, предложил ему обогнуть земной шар за сто тысяч, покинув город без денег, съестных припасов и спутников. Нотариус скрепил это условие. Опаздывая сверх двух лет даже на одну минуту (секунды прощались), Жиль не получал ничего.

Но он выполнил задачу неделей раньше условленного. Конец нищете! Начало славы изобретателя пришло к его ногам. Жиль вскользя, но одушевленно и любовно коснулся яркой пестроты двухлетнего путешествия. Прекрасной феерией развернулось в его душе опасное прошлое. Все способы передвижения испытал он: ходьбу, лодку, носилки, слонов, верблюдов, велосипед, барки, пароходы, парусные суда. Храмы и башни, развалины и тоннели, тропические леса, горные цепи, пропасти, водопады, цветы, пальмы, миражи – простое перечисление виденного заставило бы не один раз перевести дух. Настроение опасности, силы, радости, экстаза, величественного покоя, бури и тишины, молитвы и милых воспоминаний, решительности и вызова – всю сложную мелодию их Жиль передавал сердцам слушателей нервными толчками рассказа, стиснутого возбуждением торжества. Пламенное воспоминание это, витая в избранной красоте прошлого, заразило аудиторию. Лица и глаза светились возвышенной завистью людей подневольных, но увлеченных.

– А видели ли вы рыбий храм? – басом сказал толстый мальчик, видимо, давно уже державший этот вопрос на спуске своей любознательности. Тотчас же великий конфуз съел его без остатка, и, красный, как помидор, смельчак жалостно запыхтел.

– Какой храм, милочка? – улыбнулся Седир.

– В котором дикари поклоняются рыбам, – с отчаянием проголосил бедняк, прячась за Дору Минуту, так как все пристально посмотрели на его круглую, стриженую голову. – Когда дикари пляшут... – выписнул он при общем хохоте и исчез, покончил существование как созна-

тельный член общества, утопив свою кругленькую фигуру в путанице угловых стульев.

Жиль встал, пожимая руки поклонников, в воздухе было тесно от восклицаний. За дверью кликнул он на всякий случай извозчика, – и не напрасно, потому что любопытные явно были огорчены этим. Скоро Жиль стучал у бедных дверей на шестом этаже, в комнату жены.

Дверь тихо приоткрылась, показала легкую молодую женщину с блистающими глазами и вдруг стремительно отлетела к стене. Оба чуть не упали с высокого порога, на котором стиснули друг друга теплом, счастьем и стосковавшимися руками. Амур, всхлипывая и визжа от восторга, повис на них с цепкостью уистити, поймавшей бабочку, повернул ключ и опустил занавески.

II

Еще два года назад решено было в условии меж Фрионом и Жилем, что установление выигрыша пари и получение премии состоятся в редакции «Элеватора». За два часа перед тем, когда Седиру следовало быть на месте триумфа, в дверь постучали корректным, негромким стуком первого посещения.

Вошел человек, скромной, солидной внешности, с привычно висящим в руках портфелем и осмотрел скудную обстановку комнаты неподражаемо пустым взглядом официального лица, обязанного быть бесстрастным во всех, без исключения, положениях.

– Норк Орк, поверенный известного вам Фриона, – ровно сказал он, кланяясь погибче Ассоль и каменным поклоном – Седиру.

Тень предчувствия напрягла нервы Жилья. Он подал стул Орку и сел на другой сам.

– Дело, благодаря которому я имею честь видеть вас, хотя предпочел бы ради удовольствия этого дело совершенно иного рода, – заговорил Орк, – касается столько же вас, сколько и партнера вашего по пари, заключенному меж вами и доверителем моим, бывшим фабрикантом Фрионом. Я уполномочен сообщить – и тороплюсь сделать это, дабы скорее сложить обязанность печального вестника, – что смелые, но неудачные спекуляции ныне совершенно уравнили с вами Фриона в отношении материальном. Он не может заплатить проигрыша.

– Жиль, Жиль! – кричала Ассоль, поворачивая к себе белое лицо мужа нечувствуемыми им маленькими руками. – Жиль, не дрожи и не думай! Перестань думать! Не смей!..

Седир перевел дыхание. Синяя жила билась на его лбу, – он летел в пропасть. Удар был невероятно жесток.

– Так. И никакой пощады? – тоскуя, закричал Жиль.

Норк Орк поднял глаза, опустил их и встал, застегиваясь, с вытянутым лицом.

– Мне поручено еще передать письмо – не от Фриона. Вам пишет известный Аспер. Кажется, это оно... да.

Жиль бросил письмо на стол.

– Как-нибудь прочитаю, – вяло сказал он, обессиленный и уставший. – Вы, конечно, не виноваты. Прощайте.

Орк вышел; прямая спина его несколько времени была видна еще Жилью сквозь дверь. Ассоль громко, безутешно плакала.

– Плачешь? – сказал Жиль. – Я тебя понимаю. Вот судьба моего изобретения, Ассоль! Я обнес его вокруг всей земли, в святом святых сердца, оно радовалось, это металлическое чудо, как живое, спасалось вместе со мною, ликовало и торопилось сюда... – Он осмотрел комнату, бедность которой солнце делало печально-крикливой, и невесело рассмеялся. – Что же? Залепи дырку в кофейнике свежим мякишем. Начнем старую голодную жизнь, украшенную мечтами!

– Не падай духом, – сказала, поднимаясь, Ассоль, – когда худо так, что хуже не может быть, – наверно, что-нибудь повернется к лучшему. Давай подумаем. Твое изобретение не теперь, так через год, два, может быть, оценит же кто-нибудь?! Поверь, не все ведь идиоты, дружок!

– А вдруг?

– Ну, мы посмотрим. Во-первых, что же ты не читаешь письмо?

Жиль содрал конверт, представляя, что это – кожа Фриона: «Жиль Седир приглашается

быть сегодня на загородной вилле Кориона Аспера по интересному делу. Секретарь...»

– Секретарь подписывается, как министр, – сказал Жиль, – фамилию эту разберут, и то едва ли, эксперты.

– А вдруг... – сказала Ассоль, но, рассердившись на себя, махнула рукой. – Ты пойдешь?

– Да.

– А понимаешь?

– Нет.

– Я тоже не понимаю.

Жиль подошел к кровати, лег, вытянулся и закрыл глаза. Ему хотелось уснуть, – надолго и крепко, чтобы не страдать. Неподвижно, с отвращением к малейшему движению, лежал он, временами думая о письме Аспера. Он пытался истолковать его как таинственную надежду, но о катастрофу этого дня разбивались все попытки самоободрения. «Меня зовут, может быть, как любопытного зверя, гвоздь вечера». Иные имеющие прямое отношение к его цели предположения он изгонял с яростью женоненавистника, обманутого в лучших чувствах и возложившего ответственность за это на всех женщин, от детского до преклонного возраста. Он был оскорблен, раздавлен и уничтожен.

Ассоль, жалея его, молча подошла к кровати и легла рядом, затихнув на груди Жили. Так, обнявшись, лежали они долго, до вечера; засыпали, пробуждались и засыпали вновь, пока часы за стеной не прозвонили семь. Жиль встал.

– Пойдем вместе, Ассоль, – сказал он, – мне одному горестно оставаться. Пойдем. Уличное движение, может быть, развлечет нас.

III

Аспер, перейдя те пределы, за которыми понятие богатства так же неуловимо сознанием, как расстояние от земли до Сириуса, тосковал о популярности подобно Нерону, ездившему в Грецию на гастроли.

Владыка материи сидел в обществе двух господ испытанного подобиострастия. Был вечер; большая терраса, где произошло вышеописанное, в ясном полном свете серебристых шаров заплывала по контуру теплым глухим мраком.

Когда вошли Жиль и его жена, Аспер, встал медленно, точно по принуждению, скупой улыбнулся и сел снова, дав на минуту свободу выжидательному молчанию. Но не он прервал его. Истерзанный Жиль сказал:

– Объясните ваше письмо!

– Оно благосклонно. Вы выиграли пари с Фрионом?

– Да, – безуспешно.

– Фрион – нищий?

– Да... и мошенник, кстати.

– Ах! – любовно прислушиваясь к своему звучному голосу, сказал Аспер. – Право, вы очень суровы к нам, игрушкам фортуны. И мы бываем несчастны. Дорогой Седир, я знаю вашу историю. Я вам сочувствую. Однако нет ничего проще поправить это скверное дело. Если вы, начиная с девяти часов этого вечера, отправитесь второй раз в такое же путешествие, какое выполнили Фриону, на тех же условиях, в двухлетний срок, я уплачиваю вам проигрыш Фриона и свой, то есть не сто тысяч, а двести.

– Как просто! – сказал пораженный Жиль.

– Да, без иронии. Очень просто.

Жиль помолчал.

– Если это шутка, – сказал он, посмотрев на изменившееся лицо Ассоль взглядом, выразившим и жалость и тяжкую борьбу мыслей, – то шутка бесчеловечная. Но и предложение ваше бесчеловечно.

– Что делать? – холодно сказал Аспер. – Хозяин положения вы.

Насмешка взбесила Жилия.

– Да, я вернулся раз хозяином положения, – вскричал он, – только за тем, чтобы надо мной издевались! Гарантия! Я пошел!

Все силы понадобились Ассоль в этот момент, чтобы не разрыдаться от горя и гордости.

– Жиль! – сказала она. – И любить и проклинать буду тебя! Как мало ты был со мною! Впрочем, покажи им! Я заработаю!

– Гарантия? – Аспер взял из рук у одного притихшего подобострастного господина банковскую новую книжку и подал Жилю. – Просмотрите и оставьте себе. Сегодня 13-е апреля 1906 года. Вклад на ваше имя; вы получите его по возвращении, если не позже 9-ти вечера 13-го апреля 1908 года явитесь получить лично.

– Так, – сказал Жиль, – я должен идти сегодня? Не могу ли я получить отсрочку до завтра? Один день... Или это каприз ваш?

– Каприз... – Аспер серьезно кивнул. – У меня не всегда есть время развлечься, завтра я могу забыть или раздумать. Однако, без десяти девять; решайте, Седир: спустя десять минут вы направитесь домой или будете идти к горам Ахуан-Скапа.

Жиль ничего не сказал ему, он смотрел на Ассоль взглядом полубезумным, силою которого мог бы, казалось, воскресить и убить.

– Ассоль, – тихо сказал он, – еще один раз... последний, верный удар. Сама судьба вызывает меня. Я тебя утешать не буду, оба мы в горе, – помни только, что такому горю позавидуют два года спустя многие подлецы счастья. Дай руку, губы, – прощай!

Ассоль обняла его крепко, но бережно, словно этот мускулистый гигант мог закачаться в ее руках. Носки ее башмаков еле касались пола. Жиль прочно поставил молодую женщину в двух шагах от себя, вернулся к столу, где подписал предложенное условие, и, пристально посмотрев на Аспера, сошел по широким ступеням в сад.

Но едва ноги его оставили последний лестничный камень, как он твердо остановился в ужасе от задуманного. Он знал, что, сделав только один шаг вперед, больше не остановится, что шаг этот ляжет бременем всего путешествия. Потрясенным сознанием начал он обнимать грозную громаду предпринятого. Если утром, незлопамятный от природы, он переживал в восторге удачи только вдохновенное и красивое, то теперь бился над пыльной, темной изнанкой сверкающего ковра. Пространство стало реальным, ясным во всей необозримости изобилием мучительных переходов; болезни, утомление, скучный попутный труд, изнурительная тоска о письмах, мнительность маниакальной силы, проволоочки горше, чем отказ, – все стороны походного угнетения стиснули его сердце.

Аспер стоял несколько позади. Вдруг он побледнел, – состояние Жили передалось ему с убедительностью внезапно хлынувшего дождя. Он задумался.

– Ну, вот... – сказал Жиль, скрутив слабость всей яростью ослепшей в муках души, – я иду. Ступай домой, милая!

Он шагнул, пошел и временно перестал жить. На мгновение странная иллюзия встряхнула его: ему казалось, что он шагает на одном месте, – но быстро исчезла, когда поворот аллеи устремился к смутно белеющему шоссе.

В глазах его были глаза жены, пульс бился неровно и слабо, сердце молчало, холодные руки встречались одна с другой бесцельно и мертвенно. Он ни о чем не думал. Подобно лунатику, сошел он с шоссе на тропу в том самом месте, где два года назад связал лопнувший ремень сумки. Была весна, странная восприимчивость мрака доносила эхо могучих водопадов Скапа, чувственные благоухания цветущих долин неслись в воздухе, и тысячи звезд вдохновенно жгли тьму огнями отдаленных армад, столпившихся над головой Жили.

Равнодушный ко всему, ровным, неслабеющим шагом прошел он долину и часть холмов, песчаной тропой вышел на семиверстную лесную дорогу, одолел ее и заночевал в поселке Альми, – первой, как и два года назад, тогда утренней, остановке. Хозяин узнал его.

– За постой я пришлю с дороги, – сказал Седир, – дайте вина, свечку и чистое белье на постель, сегодня у меня праздник.

Он сел у окна, пил, не хмелея, курил и слушал, как на дворе влюбленный, должно быть, пастух настраивает гитару.

– Заиграй, запой! – крикнул в окно Жиль. – Нет денег, плачу вином.
Смеясь, поднялась к окну пылкая песня:

В Зурбагане, в горной, дикой, удивительной стране,
Я и ты, обнявшись крепко, рады бешеной весне.
Там весна приходит сразу, не томя озябших душ, –
В два-три дня устанавливая благодать, тепло и сушь.

Там в реках и водопадах, словно взрывом, сносит лед;
Синим пламенем разлива в скалы дышащее бьет.
Там ручьи несутся шумно, ошалев от пестроты;
Почки лопаются звонко, загораются цветы.

Если крикнешь – эхо скачет, словно лошади в бою;
Если слушаешь и смотришь, – ты, – и истинно, – в раю.
Там ты женщин встретишь юных, с сердцем диким и прямым,
С чувством пламенным и нежным, бескорыстным и простым.

Если хочешь быть убийцей – полюби и измени;
Если ищешь только друга – смело руку протяни.
Если хочешь сердце бросить в увлекающую высь, –
Их глазам, как ворон черным, покорись и улыбнись.

Песня развеселила Седира: «Это о тебе, Ассоль, – сказал он. – И ради тебя, право, не пожалею я ног даже для третьего путешествия. Не я один был в таком положении». Он вспомнил ученого, прислуга которого, думая, что старая бумага хороша для растопки, сожгла двадцатилетний труд своего хозяина. Узнав это, он поседел, помолчал и негромко сказал испуганной неграмотной бабе:

– Пожалуйста, не трогайте больше ничего на моем столе.

Разумеется, он повторил труд.

Жиль так задумался, светлея и воскресая, что не слышал, как вошел Аспер. Лишь увидев его, он припомнил стук колеса и голоса на дворе.

– Вернитесь, – побагровев и нервничая, сказал толстяк. – Я скоро поехал догонять вас. Пустой формальностью было бы выжидать два года. Я, так и так, – проиграл; живите, изобретайте.

– Однако, – сказал Асперу в конце недели темный граф Каза-Веккия, – вы, я слышал, поторопились проиграть ваше пари?!

– Нет, меня поторопили! – захохотал Аспер. – И, право, он заслужил это. Конечно, я оторвал деньги от своего сердца, но как хотите, – думать два года, что он, может, погиб... Передайте колоду.

– Да, жиловат этот Седир, – неопределенно протянул граф.

– Жиловат? Это – сокрушитель судьбы, и я ему, живому, поставлю памятник в круглой оранжерее. А та разбойница, Ассоль... Увы! Деньгами не сделаешь и живой блохи. Как, – бита? Нет, это валет, господин...

Возвращение «Чайки»

I

Черняк сел на большой деревянный ящик, рассматривая обстановку низкого, сводчатого помещения.

Известка в некоторых частях стен обвалилась, и эти, словно обглоданные, углы выглядели

угрюмо, в то время как три хороших цветных ковра висели неподалеку от них, стыдливо расправляя в таком неподходящем для них месте свои узорные четырехугольники.

Несколько деревянных скамеек торчали вокруг стола, заваленного самыми разнообразными предметами. Толстая связка четок из розового коралла валялась рядом с пятифунтовым куском индиго: куски материи, валики скатанных кружев, ящики с сигарами, жестяная коробка, полная доверху маленькими дамскими часиками; нераспечатанные бутылки с вином; пачка вее-ров, маленький тюк перчаток и еще многое, чего нельзя было разглядеть сразу. Три койки, из которых одна выглядела меньше и легче, потянули Черняка к своим заманчивым одеялам; он только вздохнул.

Человек, сидевший у заткнутого свертками тряпок окна, встал и подошел к прибывшим, попыхивая короткой трубкой. Свеча, посаженная на гвоздь, торчавший из стены, бросала впереди этого человека уродливую огромную тень, совершенно не идущую к его невыразительным, крупным чертам, вялому взгляду и прямой, крепкой фигуре. Он был гладко причесан; одет, как одеваются матросы на берегу – смесь городского и корабельного.

– Теперь познакомимся, – сказал первый вошедший с Черняком. – Имя мое Шмыгун, а этого господина Строп,³⁸ потому что он хочет всегда много. А вы?

Черняк назвал себя.

– Имею основания, – сказал Шмыгун, – думать, что это тоже не имя. Впрочем, вы в этом свободны.

Он повернулся и вышел за дверь; тогда Строп сел против Черняка, положил руку на колени, вынул изо рта трубку и осведомился:

– Где вы плавали?

– Нигде.

Строп задержал дым, отчего щеки его как бы вспухли, поднял брови и похлопал слегка глазами.

– Хорошо плавать, – заявил он через минуту сухим голосом. Слова его падали медленно и тяжеловесно, словно прежде, чем произнести их, он каждое зажимал в руке, потихоньку рассматривал, а затем уже выбрасывал эту непривычную тяжесть. – Ну, а дела как?

– Скверно.

– Скверно?! – Строп подумал. – Это хорошо, – с убеждением произнес он.

– Разве? – улыбнулся Черняк. – Что хорошо?

– Плавать хорошо, – сказал Строп. – Чудесная работишка!

Черняк молчал. Тусклые глаза моряка обратились к двери – вошел Шмыгун. В руках у него были две тарелки, под мышками, с каждой стороны тела, торчали увесистые бутылки. Он подошел к столу, где не было свободного уголка даже для воробьиного ужина, и приостановился, но тотчас же поднял ногу, ловко отстранил ею с краю стола разную рухлядь.

– Я тебе помогу, – сказал Строп, когда Шмыгун поставил тарелки и принес нож. – У тебя руки заняты.

– Помогите есть! – Шмыгун пододвинул скамейки, вытащил пробки. – Кушайте, господин Черняк!

Черняк взял кусок хлеба, откусил, и вдруг им овладело тяжелое, голодное волнение. Ноги запрыгали под столом, проглотить первый прием пищи стоило почти слез. Он справился с этим, удерживаясь от хищного влечения истребить моментально все, и ел медленно, запивая мясо вином. Когда он поднял наконец голову, пьяный от недавней слабости, еды и старого виноградного сока, восторг сытости граничил в нем с состоянием полного счастья. Черняк хотел встать, но почувствовал, что ноги на этот раз лишние, он неспособен был управлять ими. Действительность начинала принимать идеальный оттенок, – лучшее доказательство благодушного охмеления. Вино и сон кружили ему голову.

Шмыгун сказал:

– Держитесь! Мы поговорим завтра. Сейчас я вас уложу.

³⁸ Строп — особый канат для поднятия груза.

– Хорошо спать! – произнес Строп. Улыбка медленно проползла по его лицу и скрылась в жующем рте.

– Кто вы? – спросил Черняк.

– Я?? – Шмыгун хмыкнул, оттягивая нижнюю губу. – Моя специальность – натянутые отношения с таможенной. В сущности, я благоденствую, потому что извольте-ка купить дешево то, что с таможенной пломбой стоит, пожалуй, втрое против настоящей цены.

– Я понял, – сказал Черняк. – Вы портовый контрабандист!

– Затем, – продолжал Шмыгун, как бы не расслышав этих слов, – недавно я лишился хорошего компаньона; молодой был, проворный и сообразительный. Умер. Царапнули его неподалеку, в заливе, с кордона ружейным выстрелом. Я уцелел. А вы – чем вы хуже его? Я умею определять людей.

Черняк хотел что-то ответить, но не мог и закрыл слипающиеся глаза. Когда он открыл их, помещение тонуло в колеблющемся тумане. Дверь хлопнула, шум этот заставил его вздрогнуть; он сделал усилие, повернулся и увидел взволнованное, сияющее лицо, оставившее в нем впечатление мгновенного эффекта воображения. Глаза девушки, лучистые, удивленные при виде его, беспокоили Черняка еще, пожалуй, в течение десяти секунд, затем он мгновенно потерял слабый остаток сил и уснул, склонив на стол голову. Впрочем, это не было еще окончательной потерей сознания, так как он слышал возбужденный, невнятный гул и испытывал нечто похожее на потерю веса. Это Шмыгун и Строп несли его на кровать...

...

– Катя, он будет жить с нами, я встретил его на улице.

– Мне все равно. – Девушка подпрыгивала и вертелась, хватая брата за плечи и голову, как будто хотела раздавить их в избытке радости. – Шмыгун, она пришла, на рейде, и выгружается завтра!

– Как?! – побледнев от неожиданности и смутной тревоги, что не так понял сестру, сказал Шмыгун. – Катя, в чем дело?

– «Чайка» здесь! Можешь не верить. Завтра увидишь сам. Я ущипну тебя, Шмыгун, за шею!..

Контрабандист посмотрел на девушку особенно крепким взглядом, отер ладонью вспотевший лоб, взглянул на вытаращенные глаза Стропа, на спящего Черняка и опять на девушку. Потом начал краснеть. Кровь прилиwała к его лицу медленно, как будто соображая, – не подождать ли.

– Как хорошо! – вдруг крикнул Строп, и снова лицо его стало вялым, только внутри глаз, на самом горизонте зрачков, засветились ровные огоньки.

– Шмыгун, я ходила к Ядрову, старик болен. Сын его говорил со мной, пожал плечами, заявил, что ровнешенько ничего не знает, – когда придет «Чайка», и начал за мной ухаживать. Я отбрила его в лучшем виде. Потом была в гавани, у «Четырех ветров», но и с той шхуны не было ничего сказано. Я подходила к дому, и так мне хотелось плакать – все нет, все нет, – что топнула ногой, потому что слез не было. Встретила человека – он у тебя бывал – не помню его имени. «Хорошее дельце мы обработаем с вашим братцем», – говорит он. Я промолчала. «Уже», – говорит он. «Что – уже?» – закричала я так сердито, что он отступил. Ну... вот как! Он рассказал мне, что корабль тут, и я пустилась бегом. Чудесно!

– Я иду, – тихо сказал Шмыгун, дрожа от безмерной радости, наполнявшей все его тело звонкими ударами сердца. – Идем, Катя, и ты, Строп, я хочу видеть собственными глазами. Невероятный день. Ты помнишь, сестра, сколько раз пришлось тебе сбегать в гавань, спрашивая на всех палубах, не видал ли кто белой шхуны с белой оснасткой, белой от головы до ног?!. Возможно, что действительно все кончено. Трудно поверить, я верю и в то же время не верю.

– Верь!

Девушка подошла к кровати, на которой лежал Черняк, и некоторое время рассматривала его, поджав нижнюю губку.

– Откуда ты взял его? – спросила она у Шмыгуна, все еще бессознательно улыбаясь торжественной и драгоценной для всех новости. – Он совсем молод; ты будешь учить его?

– Учить? – рассеянно спросил Шмыгун. – Чему? Просто он мне понравился, и – ты знаешь – я не люблю расспросов.

II

Когда Черняк проснулся, был день. Он сидел на кровати, протирая глаза, слегка смущенный чувством полной неопределенности положения. Но это прошло тотчас же, как только он услышал яростный удар кулака по столу и увидел, что в комнате никого нет, за исключением Шмыгуна.

Лицо его трудно было узнать – даже не бледное, а какого-то особенного, серого цвета свинцовых грозовых туч, оно показалось Черняку в первый момент отталкивающим и враждебным. Заметив, что Черняк встал, Шмыгун, молча, уставился в лицо гостя порозовевшими от крови глазами.

– Я, может быть, разбудил вас, – заговорил он. – Но я в этом не виноват, потому что у меня горе. Видели вы меня вчера таким? Нет!

– Расскажите и успокойтесь, – проговорил Черняк, – потому что горе, в виде одного слова, – пустой звук. Что случилось?

Явное желание заговорить обо всем, что пришлось ему вынести, выжалось в лице Шмыгуна, но он колебался. Впрочем, решив, что все равно – дело погибло, – мысленно махнул рукой и сказал:

– Да, вы имеете право на это, потому что нужно же было мне привести вас сюда в то время, когда мы потеряли голову, а вы шатались без ночлега. Судьбе, видите ли, было угодно вывернуть счастье наизнанку; получилось несчастье. Лет десять назад я спас одному человеку жизнь. Спас я его из воды, когда он плюхнулся туда с собственного баркаса и сразу пошел ко дну. Звали его Ядров; полмиллиона состояния наличными, да столько же в обороте, да еще восемь хороших кораблей. Его можно было спасти только из-за одного этого. Благодарность свою он мне выражал слабо, то есть никак, и я долго ломал голову, как бы, несмотря на его скупость, поправить собственные дела. И вот боцман с одной шхуны говорит мне: «Возишься ты по мелочам, дамские шелковые платки и подмоченные сигары – плохой заработок; есть вещи, стоящие дороже». Короче – столковались мы с ним, что он привезет тысяч на пятьдесят опия, а денег на это дело уговорил я дать Ядрова с тем, что капитал свой он получит обратно, немедленно, по возвращении судна, с условием, что я оставлю за сбыт товара половину чистой прибыли – остальное ему. Для нас это было бы достаточно, но пропал проклятый корабль, и вместо шести месяцев прошатался полтора года. Ночью сегодня узнаю я, что наконец судно на рейде, и утром, пока вы спали, помчался, как молодая гончая, к Ядрову.

Шмыгун перевел дух, – сердце его дольше не могло выдержать, – и изо всей силы треснул ногой в дверь, так, что задрожала стена.

– И вот, – продолжал он, – как велика была моя радость, так бешена теперь злоба. Ядров умер; умер от удара не дальше, как этой ночью; его сын чуть не выгнал меня в шею, крича вдогонку, что, может быть, если я пришло к нему Катю, мою сестру, – мы еще уладим дело. Может быть, он был пьян, но мне от этого нисколько не легче. Конечно, он преспокойно заплатит пошлину и продаст наш драгоценный товар для собственного своего удовольствия.

Черняк слушал, недоумевая, что могло так мучить контрабандиста. Логика его была совершенно ясна и непоколебима; если что-нибудь отнимают – нужно бороться, а в крайнем случае, отнять самому.

– Вас это мучает? – спросил он, посмотрев на Шмыгуна немного разочарованно, как будто ожидал от него твердости и инициативы. – А есть ли у вас револьвер?

Фраза эта произвела на Шмыгуна сложное впечатление; он понимал, что хочет сказать Черняк, но не представлял ясно последовательного хода атаки. Во всяком случае, он перестал сомневаться и сел, тщательно прожевывая решение, только что подсказанное Черняком.

– Разве так, – сказал он, прищуриваясь, как будто старался разглядеть Ядрова, развлекаемого видом шестиствольной игрушки. – Хорошие вы говорите слова, но это надо обдумать!

– Подумаем, – произнес Черняк.
– Но прежде дайте-ка вашу руку, – продолжал Шмыгун, – и продержите ее с минутку в моей.

Пристально смотря в глаза Черняку, он стиснул поданную ему маленькую городскую руку так сосредоточенно и внимательно, как будто испытывал новый музыкальный инструмент. Но рука эта была суха, крепка, не вздрогнула – рука настоящего человека, не отступающего и не раздумывающего.

III

Лодка выехала в чистую синеву бухты прямой линией. Строп сердито держал руль и, может быть, первый раз в жизни выражал нетерпение. Черняк задумчиво улыбался. Дело это казалось ему верным, но требующим большой твердости. Вообще же близкое приключение вполне удовлетворяло его жажду необычайного.

Шмыгун греб и смотрел по сторонам так сухо и неприветливо, что, казалось, сама вода несколько подсыхала сверху от его взглядов. Относительно Черняка он думал, что этот молодец сделан не из песка. Впереди, белея и вырастая, дремала «Чайка».

Глубокое волнение охватило Шмыгуна, когда шлюпка стукнулась о борт корабля – этого радостного звука он дожидался полтора года. Несколько матросов подошли к борту, разглядывая прибывших.

– Где боцман? – спросил Шмыгун вахтенного.

Матрос не успел ответить, как приземистый человек с пронизательными глазами подошел к Шмыгуну, и руки их застыли в безмолвном рукопожатии.

Черняк и Строп отошли в сторону. Боцман с контрабандистом говорили быстро и тихо. Со стороны можно было подумать, что речь идет не о ценном товаре, запрятанном в таинственных уголках, а о новостях после разлуки.

– Слушайте! – сказал Шмыгун, подходя к Черняку. – Он здесь, внизу, в каюте.

Черняк посмотрел на боцмана; обугленное лицо моряка ясно показывало, что человек этот далек от неудобных для него подозрений.

Тогда он выпрямился, чувствуя, с приближением решительного момента, особую, тревожную бодрость и нетерпение. Строп стоял рядом с ним, неподвижный, хмурый, с вялым, немим лицом.

Деловой ясный день взморья продолжал свою суету: на палубе перекатывали бочонки, мыли шлюпки.

Недавняя определенная решимость боролась в Черняке с трезвыми глазами рабочего дня и обстановкой, способной убить всякое убеждение. Он опустил руку в карман, ощупывая револьвер, и заявил, обращаясь к боцману:

– Я приехал с вашим знакомым, собственно, по своему делу. Есть у меня разные маклерские поручения, а мне сказали в конторе, что молодой хозяин сейчас тут. Как бы пройти к нему?

Прежде чем боцман успел открыть рот, Шмыгун сказал:

– Не думаю, чтобы ты принял меня сухо. И так невесело жить на свете!

Моряк осклабился.

– Пройдите шканцы – на юте спуститесь вниз по трапу, а из кают-компания – первая дверь налево, № 1. Молодой Ядров сидит там. Он, кажется, рассматривает судовые бумаги.

Слова эти относились к Черняку, и тот, не ожидая результатов – тонких намеков Шмыгуна относительно выпивки, пошел вперед, невольно замедляя шаги, потому что Строп, следовавший за ним, двигался так же вяло и неохотно, как всегда. Заложив руки в карманы, он производил впечатление человека, прокисшего от рождения.

Черняк шумно вздохнул и спустился в кают-компанию.

Цифра один, криво выведенная над дверью черной масляной краской, поставила между ними, пришедшими сделать отчаянную попытку, – еще одного, третьего. Третий этот сидел за дверью и был невидим пока, но уже начался мысленный разговор человека, обдумавшего план, с

тем, третьим, которому предстояло ознакомиться с этим невыгодным для него планом путем тяжелого, неприятного объяснения. Впрочем, когда Черняк взялся за ручку двери, все придуманные им начала покинули его с быстротой кошки, облаянной цепным псом. Весь он сразу стал пуст, легок и неуклюж, как связанный.

Но тотчас же открытая им дверь превратила его растерянность в туго натянутую цепь мыслей, в сдержанную отчаянную решимость. Через секунду он уже чувствовал себя хозяином положения и вежливо поклонился.

Подняв голову, он увидел неприветливое лицо Ядрова. Купец прищурился, встал; гримаса неудовольствия была первым безмолвным вопросом, на который Черняку приходилось отвечать надлежащим образом. Он выпрямился, взглянул на Стропа, и тотчас же флегматичная фигура матроса встала у двери, загораживая могучей спиной ее неприкрытую щель.

– Позвольте мне сесть... – сказал Черняк и сел так быстро, что привставший Ядров опустил уже после него. – Я принужден с вами разговаривать, мне это самому неприятно, потому что тема щекотливая и забавная.

Ядров вспыхнул.

– А не угодно ли вам выйти на палубу, – сказал он, – и разговаривать там таким образом, как вы разговариваете сейчас, с корабельным поваром? Я думаю, это для вас самая подходящая компания.

– В таком случае, – глухо сказал Черняк, – я вынужден быть кратким и содержательным, и первый мой аргумент – вот это!

С этими словами Черняк вытащил из кармана револьвер так медленно и неохотно, как будто подавал спичку неприятному собеседнику. Но маленькое короткое дуло, блеснув в свете иллюминатора, метнулось к лицу Ядрова быстрее, чем он сообразил, в чем дело.

Черняк посмотрел на Стропа и успокоился. Матрос расправлял руки.

– Вот этого с вас, пожалуй, будет достаточно, – сказал Черняк. – Есть ли у вас хорошая плотная бумага? На ней нужно написать следующее: «Боцман, ваш друг Шмыгун приехал сегодня по делу, известному вам так же хорошо, как и мне, от моего умершего отца. Отдайте начинку Шмыгуну».

– Плохой расчет, – сказал Ядров, притягивая улыбку за уши, – я понял все. Вы и ваша гнусная компания пострадаете от этой рискованной операции тотчас же, как только сядете в лодку. Неужели вы думаете, что я не поговорю с таможеней и что она откажется заработать приблизительно двадцать тысяч?

– Непростительная наивность, – сказал Черняк, – потому что вы будете молчать, как дохлая рыба, по очень простой причине: шхуна принадлежит вам. И если таможенным было бы приятно заработать хороший куш, то вам, я думаю, потерять сто тысяч штрафа совершенно нежелательно. Берите перо.

Петр взял бумагу. Она лежала перед ним с явно угрожающим видом: в белизне ее чувствовались тоска насилия и горькая необходимость. Рука его то приближалась к бумаге, то судорожно отклонялась прочь, словно он сидел на электрической батарее. Беспомощно горел мозг; он стал писать, и каждое слово стоило ему усилий, похожих на прыжок с третьего этажа. Все это совершалось в глубоком молчании, нетерпеливом и тягостном.

– Возьмите, – сказал Ядров, – и делайте что хотите.

Черняк встал, сжимая бумагу так же крепко, как револьвер. Ему было почти весело. Он посмотрел на Петра и вышел.

Ядров и Строп обменялись взглядами. Глухая ненависть кипела в Петре, он весь вздрагивал от безумного желания закричать, позвать на помощь, выругаться. Сонный вид Стропа внушил ему некоторую надежду – матрос мог попасться на хорошо придуманную уловку. Ядров сказал:

– Ну, что же? Все кончено! Вы слышали? Теперь я уже не могу помешать вам! Пустите меня или уйдите!

Он подошел к двери. Строп растопырил руки, в лице его не было ни угрозы, ни возбуждения. Спокойно, лениво и просто, как всегда, матрос сказал:

– Не хотите ли покурить? Сядемте и подымим малость. Курить – хорошо!

Боцман провел Черняка и Шмыгуна прямо из подшкиперской в трюм, где, пробираясь ползком между грудями самого разнообразного груза, наваленного почти до палубы, они добрались к основанию фок-мачты, а там, повернув налево, по груде ящиков с мылом, взобрались к верхним концам тимберсов.

То, что составляло предмет стольких треволнений, тревог и неожиданностей, таилось за внутренней, фальшивой обшивкой борта. Работа совершалась с быстротой и треском: торопиться было необходимо. Взломав обшивку, боцман вытащил и побросал вниз до полусотни маленьких деревянных ящиков, весом каждый около двух фунтов. Увязав добычу в куски брезента, приятели поднялись на палубу.

– Пойдите минутку! – сказал Черняк, сообразив, что надо освободить Стропа от его невольной обязанности.

Он снова прошел в каюту, холодно поклонился Петру, вышел вместе с матросом и запер Ядрова двойным поворотом ключа. Тотчас же глухой яростный стук присоединился к шуму их шагов и затих, потому что «Чайка» строилась из прочного материала.

IV

Утром, когда все еще спали и солнце тускло бродило по задворкам, играя сонными отблесками в молчаливом стекле окон, Черняк встал, разбуженный легким прикосновением еще накануне бессознательной, но теперь окрепшей во сне мысли. Это не было усталое, флегматичное пробуждение изнуренного человека – он был свеж и бодр, полная ясность ощущений и памяти наполняла его чувством нетерпеливой радости. Ему казалось, что совершилось огромное и важное, после которого все легко и доступно. В кармане его звенело золото, – часть вырученного от операции с опиумом, и он чувствовал себя богатырем жизни, свободным в ней, как рыба в воде.

Черняк посмотрел на спящих. Вот исполняются мечты каждого. Девушка не будет нуждаться: любовь, наряды и удовольствия к ее услугам. Шмыгун, вероятно, купит дом и обрастет мохом, Строп пустится в открытое море с чувством человека, отныне могущего воспользоваться всем тем, что ранее было для него недоступно. Молча, с вялым лицом, но восхищенный в душе, он будет говорить еще чаще: «Хорошо!»

Да, узел развязан. Разрублен.

Действительно, – случайно, навстречу одному из интересных людских положений – попал он к узлу событий, где было два одинаково важных центра: воплощение чужих грез и собственный, могучий толчок жизни, содержанием которой являлось для него все, что пестрит, сверкает и мучает сладкой болью, как фантастический узор цветущей лесной прогалины, полной золотых водоворотов солнца, цветной пыли и теплого дыхания невидимых лесных обитателей, мелькающих воздушными очертаниями под темным навесом елей.

Делать ему здесь более было нечего: размотался клубок, и за последний конец нитки держался он, зная, что все дальнейшее не даст больше ни одного штриха его болезненной жажде – гореть с двух концов сразу, во всех уголках мира, одновременно и неизбежно.

Черняк посмотрел на Катю, сонный изгиб стройного тела пленил его на мгновение ярким контрастом влекущей женственности с неряшливым полутемным подвалом, где золото и опасность, лишения и достаток мешались в пестром калейдоскопе.

Сложнейшие движения духа роились в нем сильно и гармонично, сразу открывая настоящий, единственный выход в мировой простор, по отношению к которому трое спящих вокруг него людей делались чем-то вроде тюремных замков.

Черняк не мог, не в силах был представить, что будет дальше; ничего такого, что могло бы служить достойным продолжением пережитой страницы жизни, не видел он в этих четырех стенах, покрытых случайными коврами, ободранной штукатуркой и плесенью.

Все спали. Момент был удобен как нельзя более; уйти – без разговоров и сожалений, распросов и остановок.

Куда? На момент Черняк остановился, стараясь зажать в стальной кулак мысли цветущий

земной шар, где много места для нетерпеливых движений радости.

Черняк потер лоб и вдруг зажмурился, охваченный жгучим светом простой и ясной, как нагой человек, истины:

«Неизмеримо огромна жизнь. И место дает всякому, умеющему любить ее больше женщины, самого себя и короткого тупого счастья».

Черняк надел шляпу. Дверь скрипнула. Уходя, он бессознательно оглянулся, как это делает всякий, покидающий приютившее его место. Но в комнате уже не было сна: с кровати, приподняв взлохмаченную пушистую голову, смотрела на него девушка.

– Куда вы? – спросила она тоном вежливой, случайной необходимости. Глаза ее смыкались и размыкались; она ждала незначительного ответа, после которого можно опять уснуть.

– Прощайте! – сказал Черняк, улыбаясь так легко и безобидно, как будто выходил на минутку. – Я ухожу, и совсем. Кланяйтесь Шмыгуну.

Мгновение, и Катя стояла перед ним с тревожным выражением на пунцовом от крепкого сна лице.

Вопросы срывались с ее губ быстро и бестолково:

– Куда? Почему? Вы нашли другую квартиру? Вы больны? К доктору?

– Нет! – произнес Черняк, избегая ее глаз, тревожных и влажных, как темное вечернее поле. – Я ухожу пожить, потому что жил мало и потому, что больше здесь делать мне нечего.

Он насчитал еще сотню вопросов в ее лице, оторопевшем от неожиданности, и что-то похожее на просьбу, но уже не думал об этом.

Последняя мысль его была о том, что девушка эта красива, как песня, прозвучавшая на заре, и что много на земле красоты, дающей радость глазам и отдых сердцу, когда оно бьется медленней, усталое от истрепанных вожжей буден.

Он попытался улыбнуться еще раз так, чтобы слова сделались лишними, но не смог и махнул рукой.

На пороге он еще раз обернулся; последние слова его прозвучали для девушки обрывком сна, нарушенного внезапно:

– Родители мои еще живы. Я убежал от них тайком, потому что меня хотели сделать бледным, скучным, упитанным и добродетельным. Короче – мне предстояла карьера взрослого оболтуса, профессионально любящего людей. Немного иначе, но то же было бы здесь. Прощайте! И если можно вас любить так, как я люблю всех женщин, потому что я хочу все, оставьте мою любовь.

Выйдя на улицу, Черняк миновал сеть узеньких переулков, обогнул здание таможни и вышел к морю.

Лес корабельных мачт, среди которых торчали пароходные трубы, отполированные стальные краны, облака каменноугольной пыли, гул, звон, глухое пение содрогающейся от бесчисленных возов и телег земли – все отдалось в его вымытой утренним солнцем душе прямым спокойным ответом на вопрос, заданный себе десять минут назад. Всесветная синяя дорога – море, и каждый день много отходит кораблей, и есть золото, и он молод!

А мир велик... И море приветствовало его.

Пари

I

– Это напоминает пробуждение в темноте после адской попойки, – сказал Тенброк, – с той разницей, что память в конце концов указывает, где ты лежишь после попойки.

Спангид поднял голову.

– Мы приехали?!

– Да. Но куда, интересно знать?!

Тенброк сел на кровати. Спангид осматривался. Комната заинтересовала его – просторное

помещение без картин и украшений, зеленого цвета, кроме простынь и подушек. На зеленом ковре стояли два ночных столика, две кровати и два кресла. Было почти темно, так как опущенные зеленые шторы, достигая ковра, затеняли свет. Утренние или вечерние лучи пробивались по краям штор – трудно было сказать.

– Не отравился? – спросил Тенброк.

– Нет, как видишь. Идеальное сонное снадобье, – отозвался Спангид, все еще осматриваясь. – Который час?

– Часов нет, – угрюмо сообщил Тенброк, обшарив ночной столик. – Их унесли, как и всю нашу одежду. Таулис честно выполняет условия пари.

– В таком случае, я буду звонить.

Спангид нажал кнопку стенного звонка.

Тенброк, вскочив, подбежал к окну и отвел штору. Окно было из матового стекла.

– Даже это предусмотрено! – воскликнул Тенброк, бросаясь к второму окну, где убедился, что фирма «Мгновенное путешествие» имеет достаточный запас матовых стекол. – Слушай, Спангид, я нетерпелив, любопытен; пари непосильны для меня. Кажется я спрошу! Однако... пять тысяч?!

– Как хочешь, но я выдержу, – отозвался Спангид, – хотя мне так сильно хочется узнать, где я, что, если бы не возможность одним ударом преодолеть нужду, я тотчас спросил бы.

Тенброк, закусив губу, подошел к двери. Она была заперта.

– Следовательно, еще нет шести часов утра, – сказал он, с облегчением хватая свой оставленный Таулисом портсигар и закуривая. – Вероятно, Таулис еще спит.

– Пусть спит, – отозвался Спангид. – У нас есть сигары и зеленая комната. Мы везде и нигде. Равно можем мы сейчас лежать в одном из прибрежных городков, на мысе Доброй Надежды, среди сосен Иоллостон-парка или снегов Аляски. Кажется, Томпсон насчитал 93 пункта? Угадать невысказанно. Нет матерьяла для догадок. В шесть часов вечера, согласно условию пари, Таулис даст нам съесть по серой пилюле, и, спустя какое-то, небудущее для нас время, мы очнемся на восточных диванах Томпсона кабинета, куда легли после ужина. Покорно, как овцы, как последние купленные твари, мы протрем свои проданные за пять тысяч глаза, устроим наши дела, и, месяца через три, добрая душа – Томпсон – может быть, скажет нам: «Вы были на одном из самых чудесных островов Тихого океана, но предпочли счастью смотреть и быть ваш выигрыш. Не желаете ли повторить игру?...»

– Проклятие! Это так, – сказал Тенброк. – Я понимаю тебя; тебе свалилась на плечи куча сестриц и братцев, которых надо поставить на ноги, но зачем я... У меня солидное жалованье. Знаешь, Спангид, я спрошу. Тогда узнаешь и ты, где мы.

– Ты забыл, что в таком случае нас, по условию, разделят; тебя увезут, а я должен буду съесть серую пилюлю.

– Я забыл, – тихо сказал Тенброк. – Но я, все равно, не выдержу. Искушение слишком огромно.

– Всю жизнь буду себя презирать, однако стерплю, – вздохнул Спангид. – Ради одного себя.

– Не ругайся, Спангид. Предприятие, где я служу, не так прочно, как думают. Представился случай. Я уцепился. Ты же мне его и представил. Идея была твоя.

– Ну хорошо, что там... Вот и Таулис.

Повернув ключ, вошел Таулис, агент Томпсона, сопровождающий спящих путешественников на безукоризненных аэропланах фирмы. Одет он был так, как на «отъездном» ужине у Томпсона, – в смокинг; климат страны не вошел с ним.

– В долю! в долю! – закричал Тенброк. – Две тысячи долларов за честное слово тайны! Где мы?

– Видите ли, Тенброк, – ответил Таулис, – среди моих многих скверных привычек есть одна, самая скверная: я привык служить честно. Вы в Мадриде, в Копенгагене, Каире, Москве, Сан-Франциско и Будапеште.

Таулис вынул часы.

– Шесть часов. Пари сделано, игра начинается. Чай, кофе или вино?
– Водка, – сказал Спангид.
– Кофе! – сказал Тенброк. – И газету!
– Ту, которую я привез из Лисса? – Невинно осведомился Таулис. – Бросьте, джентльмены. Это очень детская хитрость.

II

5 сентября 1928 года фирма «Мгновенное путешествие» в лице ее директора Фабрициуса Томпсона заключила оригинальное пари с литератором Метлаэном Спангидом и его другом Корнуэлем Тенброком, служащим в конторе консервной фабрики.

Согласно условию, каждый из них получал пять тысяч долларов, если, переправленный за несколько тысяч миль в один из географических пунктов, охваченных сферой действия «Мгновенного путешествия», проведет там двенадцать часов, с шести утра до шести вечера, не узнав, где он находился. Доставку на место и обратно приятели должны были провести в бессознательном состоянии.

Если бы естественное любопытство превозмогло, проигрыш выражался бы в следующем.

Тенброк должен поступить на службу фирмы «Мгновенное путешествие» и служить первый год без жалованья.

Спангид обязывался написать рекламную статью о своих впечатлениях человека, очнувшегося «неизвестно где» и узнавшего – «где». С приложением фотографий, портрета автора и снимков зданий фирмы эта статья должна была появиться бесплатно в самом распространенном журнале «Эпоха», что брался сделать Томпсон.

Характер произведений Спангида, любившего описывать редкие психические состояния, давал уверенность, что статья вполне удовлетворит цели фирмы.

В основу деятельности фирмы Томпсона было положено всем известное ощущение краткой потери памяти при пробуждении в темноте после сильного отравления алкоголем или чрезмерной усталости. Очнувшийся вначале не соображает, где он находится, причем люди подвижного воображения любят задерживать такое состояние, представляя, как при появлении света они окажутся с каком-то месте, где никогда не были или не думали быть. Эта краткая игра с самим собою в неизвестность оканчивается большей частью тем, что очнувшийся видит себя дома. Но не всегда.

Согласно расчетам Томпсона и его компаньонов, клиент фирмы – само собой – все изведавший, объездивший путешествиями богатый человек, которому захотелось новизны, уплатив десять тысяч долларов, принимал снотворное средство, действующее безвредно и быстро. Перед этим он нажимал хрустальный шарик аппарата, заключающего в себе номера девяносто трех пунктов земного шара, где находились заранее приготовленные помещения в гостиницах или нарочно построенных для такой цели зданиях. Выпадал номер, ничего не говорящий клиенту, но это был его выигрыш – самим себе назначенное неизвестное место. Он терял сознание, его вез – день, два, три и более – мощный аэроплан, после чего человек, купивший путешествие, попадал в условия пробуждения Спангида и Тенброка.

Проходило десять минут. Тогда являлся агент, сопровождающий бесчувственное тело клиента, и говорил:

– Доброе утро! Вы в...

За десять минут полной работы сознания очнувшийся пассажир, с законным на то правом, мог представлять себя находящимся в любой части света – в городе, деревне, пустыне, на берегу реки или моря, на острове или в лесу, потому что фирма не страдала однообразием. Клиент мог выиграть Париж и пещеру на мысе Огненной Земли, берег Танганайки и остров Южного Ледовитого океана. Конечный эффект напряженного состояния стоил дорого, но многие, испытавшие такую забаву, уверяли, что нет ничего восхитительнее, как ожидание разрешения.

Отказавшись от предложения написать для фирмы статью-рекламу за деньги, Спангид охотно принял пари, будучи уверен, что устоит. Насколько противно было ему писать рекламу,

хотя предлагалась сумма значительно более пяти тысяч, – настолько выигрыш подобным путем был в его характере. Он не писал больших вещей, не находя значительной темы, а мелочами зарабатывал мало. После смерти отца на его руках осталось трое: девочка и два мальчика. Им надо было помочь войти в жизнь.

Идея пари увлекла Тенброка, и одним из условий Спангид поставил фирме: заключение пари одновременно с Тенброком, который должен был не разлучаться с ним до конца опыта. Они должны были разделиться, лишь если один проигрывал.

Итак, начался день. Где?

III

– Да, где? – сказал Тенброк, когда Таулис внес кофе, водку и сэндвичи. – Кофе как кофе...

– Водка как водка, – подхватил Спангид, – и сэндвичи тоже без географии. Я не Шерлок Холмс. Я ни о чем не могу догадаться по виду посуды.

Таулис сел.

– Я охотно застрелюсь, если вы догадаетесь, где мы теперь, – сказал он. – Напрасно будете стараться узнать.

Его гладко выбритое лицо старого жокея чем-то сказала Спангиду о перенесенном пути, о чувстве нахождения себя в далекой стране. Таулис знал; это передавалось нервам Спангида, всю жизнь мечтавшего о путешествиях, и, наконец, совершившего путешествие, но так, что как бы не уезжал.

Неясный шум доносился из-за окна. Шаги, голоса... Там звучала жизнь неведомого города или села, которую нельзя было ни узнать, ни увидеть.

– Уйдите, Таулис, – сказал Спангид. – Вы богаты, я нищий. Я сам ограбил себя. Теперь, получив пять тысяч, я буду путешествовать целый год.

– Я не выдержу, – отозвался Тенброк. – Кровь закипает. Сдерживайте меня, Таулис, прошу вас. Я не человек железной решимости, как Спангид, я жаден.

– Крепитесь, – посоветовал Таулис, уходя. – Звонок под рукой. Платье, согласно условию, вы не получите до отъезда. Оно сдано... гм... тому, который контролирует вас и меня.

Пленные путешественники умылись в примыкающей к комнате уборной и снова легли. Выпив кофе, Тенброк начал курить сигару; Спангид выпил стакан водки и закрыл глаза.

«Не все ли равно? – подумал он на границе сна. – Узнать... это не по карману. Долли, Санди и Августу надо жить, а также учиться. Милые мои, я стерплю, хотя никому, как мне, не нужно так путешествие со всеми его чудесами. Я буду думать, что я дома».

Он проснулся.

– Дикая зеленая комната, – сказал Тенброк, сидевший на кровати с третьей сигарой в зубах.

– Где мы? – спросил Спангид. – О!..

– В дикой зеленой комнате, – повторил Тенброк. – Четыре часа.

Спангид вскочил.

– Низко, низко мы поступили, – продолжал Тенброк. – Я продал себя. Что ты чувствуешь?

– Не могу больше, – сказал Спангид, пытаясь сдержать волнение. – Я не рожден для железных касс. Я тряпка. Каждый мой нерв трепещет. Я узнаю, узнаю. Таулис, примите жертву и отправьте ее домой.

Тенброк бросился к нему, но Спангид уже позвонил.

Вошел Таулис.

– Обед через пять минут, – сказал Таулис и по лицу Спангида догадался о его состоянии. – Два часа пустяки, Спангид... молчите, молчите, ради себя!

– Проиграл! Плачу! – крикнул Спангид, смеясь и выпрямляясь, как выпущенная дикая птица. – Одежду, дверь, мир! Томпсон не богаче меня! Где я, говорите скорей!

Спангид был симпатичен Таулису. Пытаясь уговорить его шуткой, Таулис сказал:

– Клянусь честью, тут нет ничего интересного! Вы жестоко раскаетесь!

– Пусть. Но я раскаюсь; я – за себя.

– А вы? – Таулис взглянул на Тенброка.

– Я никогда не отделаюсь от чувства, что я предал тебя, Спангид, – сказал Тенброк, пытаясь улыбнуться. – В самом деле... если место неинтересное...

Его замешательство Спангид почти не заметил. Таулис вышел за платьем, а Спангид, утешая Тенброка, советовал быть твердым и выдержать оставшиеся два часа ради будущего. Когда Таулис принес платье, Спангид быстро оделся.

– Прощай, Тенброк, – взволнованно сказал он. – Не сердись. Я в лихорадке.

Ничего больше не слыша и не видя, он вышел за Таулисом в коридор. Впереди сиял свет балкона. В свете балкона и яркого синего неба блестели горы.

Волнение перешло в восторг. Стоя на балконе, Спангид был глазами и сердцем там, где был.

На дне гнезда из отвесных базальтовых скал нисходили к морю белые дома чистого, небольшого города. Вход в бухту представлял арку с нависшей над ним дугой скалы, промытой тысячелетия назад волнами или, быть может, созданной в таком виде землетрясением. Склоны гор пестрели складками гигантского цветного ковра; там, в чаще, угадывались незабываемые места. Под аркой бухты скользили высокие паруса.

– Город Фельтон на острове Магескан, неподалеку от Мадагаскара, – сказал Таулис.

– Славится удивительной прозрачностью и чистотой воздуха, но нет здесь ни порядочной гостиницы, ни театра. Этот дом, где мы, выстроен на склоне горы Тайден фирмой Томпсона. Аэроплан или пароход?

– Я останусь здесь, – сказал Спангид после глубокого молчания. – Я выиграл! Потому что я сам, своей рукой, вытащил из аппарата этот остров и город. Мы летели... Летели?! Два или три дня?

– Четыре, – ответил Таулис. – Но что будете вы здесь делать?

– У меня будут деньги. Я напишу книгу, – целую книгу о «неизвестности разрешенной». Я выпишу моих малюток сюда. Еще немного нужды, потом – книга! Бедняга Тенброк!

– Теперь я еще более уважаю вас, – сказал Таулис, – а о Тенброке не беспокоитесь. Он был бы истинно разочарован тем, что он не в Париже, не в Вене!

Александр Грин Рассказы 1917-1930

Каждый сам миллионер

I

Когда Скоков пришел к полному, тысячу раз проверенному убеждению, что такому заурядному, как он, такому незначительному, тихому человеку суждено до конца дней служить в канцелярии на семидесяти пяти рублях жалованья, он наметил для себя в будущем некий торжественный и блестящий скачок.

«Скачок» этот заключался в следующем: Скоков решил ровно десять лет быть скупым, жить впроголодь, спать в собачьем углу, но зато, скопив ровно десять тысяч рублей, истратить их в 24 часа на роскошь, еду, напитки, развлечения, женщин и цветы – с такой же легкостью и сознанием силы денег, какие присущи миллионерам.

Вознаградив себя таким образом за все лишения и будущего и прошлого, Скоков рассчитывал еще получать с этого «капитального» дня проценты: воспоминания.

Один сказочный день наслаждений он ставил центром, смыслом и целью жизни.

Не будем судить его слишком строго.

Вероятно, этот человек был очень обделен всем, наверное, он читал только в книгах о званных обедах, любви, путешествиях и алмазах.

У него не было ничего, он же хотел всего.

Мы знаем людей с меньшей напряженностью материальных желаний, добившихся большего, чем хотели, пресыщающего благополучия.

Несчастье Скокова заключалось в том, что он был наделен огромным пассивным упорством в противовес упорству активному, он мог лишь стусить и придержать то, что есть, добывать и бороться было не в его характере.

Во всяком случае, человек этот наметил себе определенную ясную цель, не лишенную некоторой поэзии («загреметь на миг»), чем похвастаться может далеко не всякий.

Скоков жил в отгороженном углу грязной, сырой мансарды и за такое помещение платил три рубля в месяц.

Мебель Скокова выражалась числом 3: стол, койка и табурет.

Белье Скоков стирал сам по воскресным дням, покупая кипяток в соседнем трактире.

Он не курил, не пил ни чая, ни кофе – ничего, кроме воды.

Его пищу – раз в день – составлял двухфунтовый хлеб с небольшим количеством масла или картофеля.

На керосин и свечи не истратил он даже копейки, – летом темнело поздно, а зимой он просиживал вечера в дешевом кафе, не требуя ничего, кроме газеты.

Лакеи считали его безобидным помешанным.

Раз в месяц он мылся в бане за гривенник.

На белье, одежду и сапоги, все вместе, он тратил ровно сорок рублей в год, считая это ненужной ему лично, но необходимой для службы роскошью.

Покупая за бесценок у торговцев старьем ношенные, в дырах и пятнах вещи, Скоков пускал в ход иглу, бензин и чернила, с помощью которых вдохновенно отремонтированные брюки и пальто принимали терпимый вид.

Воротнички и манжеты он искусно вырезал сам из толстой атласной бумаги, похищаемой из канцелярии.

Галстуки сшивал он из обрезков цветного ситца.

Ко всему этому прибавим, что Скоков передвигался только пешком, не посещал ни кинематографов, ни театров и не покупал газет.

8-го ноября 19... года Скоков отнес в банк свое первое месячное накопление: 65 рублей 17 коп.

С небольшими отступлениями от названной цифры сумма эта вносилась им первого числа каждого месяца в течение десяти лет, и к тому дню, когда мы застаем его накануне кануна великопного торжества жизни, равного по исключительности разве лишь брачному экстазу пчелы-трутня, погибающего за миг любви, или волнению астронома, исследующего комету с сорокалетней орбитой, – вклад Скокова равнялся девяти тысячам восьмистам двум рублям.

Накануне кануна Скоков взял пятидневный отпуск.

В этот же день он вынул из банка все деньги и запер их в своем крошечном сундуке.

Сделав это, он поцеловал ключ и, подойдя к окну, долго смотрел влажными от волнения глазами на белый снег, белые крыши, белые деревья и черное зимнее небо.

II

Следующий день – канун – Скоков намеревался употребить для приготовлений: оповестить и пригласить сослуживцев, снять целиком ресторанный зал с кабинетами, потревожить портных, цветочные магазины, дорогих кокоток, – вообще выполнить все необходимое кутящему миллионеру.

В такой день он не только не хотел жалеть деньги, но не хотел даже, чтобы осталась хоть копейка.

Пока мысли его бродили среди двадцатичетырехчасового праздника наслаждений, в них

замешалась одна мысль, к которой скоро обратилось все внимание Скокова.

Мысль эта, очень простая, была такова: как примет организм после десятилетнего истинно аскетического образа жизни такое нагромождение чувственных восприятий. Все обилие тонких, жирных, вкусных, преимущественно рыбных и мясных, яств? Море вина? Женские объятия? Напряженное волнение музыки? Запах и блеск цветов? Наконец, сытость внутреннюю, усиливающую возбуждение?

Скоков серьезно задумался.

— А вдруг, — сказал он, — вдруг все это именно в силу потрясающего изобилия, обрушившегося на голодное тело, произведет нестерпимо тягостное нервное впечатление?

Он сидел на сундуке с деньгами и думал.

Понемногу настоящий страх охватил его, — то, к чему он привык за десять лет нищеты, — черный хлеб, тьма и уныние, — могли встать между ним и вожаемыми наслаждениями, как спазма.

Если его желудок откажется принимать мясо, вино, фрукты, — к чему десять тысяч и все затеянное?

Скоков испугался возможного разочарования. Душа его встрепенулась.

Стемнело, как всегда в зимний день, рано, и долгое сидение в темноте вызвало глухую тоску.

Наконец, после долгого колебания, Скоков решил сегодня произвести *репетицию*: коснуться, хотя слегка, той радужной области наслаждений, которые подготавливал так терпеливо и долго.

Он хотел испытать себя.

Взяв из сундука десять рублей, он по привычке бережно сложил бумажку вчетверо, глубоко засунул ее в карман, оделся и вышел.

Он был на улице.

От одной мысли, что *теперь* свободно и просто может зайти в любой ресторан, как умеющий и любящий пожить человек, сердце его забилося так сильно, как у других бьется перед свиданием.

У освещенных дверей «Золотого якоря» он остановился, дрожа, подобно гимнасту, обуреваемому стыдом и желанием, когда на скопленные тайком деньги, переодетый, спешит он первый раз в жизни к продажной женщине и, позвонив у красного фонаря, бледнеет от внезапной слабости, от страха, от желания и от ненависти к желанию, заставляющему так страдать.

Волнуясь, Скоков вошел, разделся и, чувствуя себя уже немного пьяным от света, звуков оркестриона и белизны столового белья, уселся.

Подумав, он заказал три блюда: мясное, рыбу и сладкое.

Затем потребовал бутылку пива и полбутылки красного вина.

Он сознавал, что действует, как во сне.

Контраст с прежним образом жизни был колоссален.

Выпив стакан пива, он нашел этот напиток сам по себе огромным, неисчерпаемым наслаждением.

Он был очень нервен и потому не опьянел сразу, но взвинтился и пободрил.

В течение двух часов он пережил следующее: сложный аромат горячего мяса, который был им совершенно забыт, вкус этого мяса, совершенно необыкновенный, поразительный и волшебный; запах и вкус рыбы, тонкая поджаренная корочка которой вызвала слезы на его глазах, и обаяние крема, запитого тепловатым, с привкусом ореха, вином.

Его настроение было настроением полного животного счастья.

Желудок принимал все с жадным содроганием настоящей страсти.

Вино оглушало, усиливая звуки оркестриона, придавая им пьяную бархатность и чувственную поэзию.

Улыбаясь, к Скокову подошла и под села самая обыкновенная ресторанная девушка.

Она была для него самой лучезарной красавицей мира.

Он заговорил с ней, выпил еще, опьянел совершенно и был увлечен женщиной в картинно-

зеркальный кабинет, – часть неведомого дворца, как показалось ему.

Он говорил без конца и, главное, о том, что вот он наконец счастлив. Он сыт, пьян, с ним фея.

И он действительно был абсолютно лишен теперь всяких желаний. *Даже этого* было довольно, чтобы после десяти мрачных лет голодания, холода и мечтаний все это показалось (и явилось) действительно венцом наслаждений.

Наконец он уснул.

Утром он вспомнил все, что было вчера, вспомнил, как собирался прожить завтра сутки миллионером, и горько заплакал.

Ему жаль было этих десяти лет, ведь в них он мог получить то несложное счастье, о котором думал так много и представлял его в наивысшем воплощении – земным раем.

Увы, Скоков! Жизнь, как девушка, «которая, будь она самой красивой, не может *дать* больше, чем то, что у нее есть».

«Продолжение следует»

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.

I

Больная девушка лежала на спине, укутанная по самый подбородок меховым одеялом. Черное ночное окно отражало красноватый огонь лампы. По закопченным стенам хижины висели пробочные балберки, грузила, остроги, мережки, удочки и другие рыбные снасти. Над изголовьем больной, прикрепленная шпилькой, виднелась вырезанная из журнала картинка, изображавшая молодого человека в плаще, отбивающего нападение разбойников.

Услышав за окном шаги, девушка приподнялась на локте. Это, видимо, стоило немалых усилий ослабевшему телу, так как брови ее, поднявшись и морщась, выразили мучение. Глаза, однако, светились оживлением.

– Ну что? – спросила она, прежде чем вошедший успел закрыть дверь. – Дали тебе «Звезду»?

– Не прыгай, Дзета, – сказал старик Спуль, отставляя в угол ведро с пойманной рыбой. – Валяйся себе потихоньку.

– Ты просто невыносим, отец, – сказала девушка. Углы ее рта вздрогнули, а обнажившаяся рука нервно потянула одеяло. – Не понимаю, зачем меня нужно дразнить! Есть или нет? Скажи честно!

– Чего честнее, – захохотал Спуль, торжественно замахиваясь, как мечом, длинной желтенькой бандеролью и бережно подавая ее томящейся руке дочери. – Почта запоздала, видишь ли, на неделю, потому что...

Дзета уже не слушала. Она попробовала разорвать бандероль, но, ослабев, в изнеможении, с закружившейся головой откинулась на подушку, крепко зажав в худеньком кулаке драгоценный журнал.

– Эй, старуха, – тревожно сказал Спуль, – тебе ведь спички не переломить, а туда же... Пустика, я сам. – Он взял у дочери «Звезду», помуслил палец и, словно вспарывая рыбу, произвел весьма чинно на столе деликатную операцию открытия бандероли.

Затем Спуль приступил к делу.

– Посмотри прежде «Эмиль и Араминту», – тревожно сказала Дзета. – Должно же быть, наконец, продолжение. Не могу же я верить до бесконечности. Ведь вот полгода прошло, как сама я прочла... помнишь? После того, где Эмиль сказал Араминте: «Ты, дорогая, не беспокойся. Я возвращусь, и мы будем счастливы». Да, так там ведь напечатано внизу: «Продолжение следует».

Она взволновалась, как бы предчувствуя, что и на этот раз ожидания ее будут обмануты.

Пока девушка говорила, старик осторожно переворачивал страницы, опасливо приглядываясь к каждому заголовку. Его широкое, прекрасное наивной старостью и смелыми, но добродушными глазами лицо делалось все растеряннее по мере того, как он приближался к обложке, смущенно бормоча что-то вроде: «пропустил, надо быть», «вот поди найди», «экое дело» – и другие, облегчающие подавленное состояние, слова-вздохи. Он сам был немало заинтересован дальнейшей судьбой главных героев оборванного романа, но стеснялся показывать это.

– «Моисей в пустыне», рассказ, – монотонно говорил он, по временам вглядываясь в петит, словно исчезнувший граф Эмиль притаился как в загадочной картинке, среди букв, – «Волны», стихотворение. «Открытие Южного полюса», научно-популярный очерк. «Испытание огнем», очерк средневековой жизни. «Про то, про се», мелочи. «Смесь». «Пейте шоколад»... Хм, Дзета, ты опять не уснешь... нет, ровнешенько ничего нет!

– Ну что это, право! – жалобно воскликнула девушка. – Ты понимаешь тут что-нибудь?

Старик не ответил. Он был сильно расстроен, Дзета таяла на его глазах с каждым днем. Болезнь ее, как говорил приезжавший врач, «не поддается определению». Он думал, что это на нервной почве. Началось с того, что девушка стала страдать бессонницей, отсутствием аппетита, а месяц спустя слегла с признаками сильного истощения.

– Ее нужно развлекать, – сказал врач, и Спуль по его совету выписал «Звезду», маленький журнал с картинками, с невинным, почти сказочным содержанием.

Отец и дочь свято верили в то, что каждая печатная строка – правда. Вымышленных лиц в «Эмиле и Араминте» для них не было. Герои романа, конечно, живы, и приключения их по мере шествия событий протокольно описываются доверенными сего дела – писателями. Роман увлек Дзету нежной любовью Эмиля и Араминты, девушки, как и она, бедной, но преданной своему возлюбленному. Граф Эмиль, блестящий придворный, отправился в Америку добывать завещание, украденное разбойниками, и простодушная Дзета, обманутая извещением: «Продолжение следует», искренно страдала от неизвестности дальнейших событий. За полгода, как оборвался роман, – потому ли, что автору надоело возиться с благородным Эмилем, по причине ли скудности авансов в «Звезде», из-за смерти ли романиста, – но только в эти полгода, как думала Дзета, все должно было уже закончиться или благополучно, или катастрофой.

Болезненно страстно хотела она узнать, что случилось, а каждый номер приносил ей новое и новое разочарование. И что главное – в одиноких мечтах ее, в заученном наизусть романе Араминта постепенно превратилась в нее, Дзету, а Эмиль – в того, который год назад стал для ее сердца далекой обетованной страной. Случайный городской гость пробыл несколько дней в пустыне, и Спуль не знал, что притихшая и больная девушка год назад смеялась, крепко целуясь в береговом кустарнике с широкоплечим молодым человеком, модная бородка которого, мягкие усы и быстрые ореховые глаза застряли неподалеку от Хоха (деревня Спуля) благодаря поломке паровозного колеса. Он сказал Дзете, что любит полевые цветы и скоро вернется к ним. И...

– «Продолжение следует», – невольно пронеслись перед ее глазами знакомые буквы.

«Как его зовут? Акаст. Милый Акаст... милый обманщик».

Она вытерла мигающие глаза и снова спросила:

– Отец, какое же твое мнение?

Спуль раздувал очаг.

– Я думаю, что его... ф-ф-ф-фух! щепки сырые... что его сиятельство граф, видишь ли, – ф-ф-фух! – отдал распоряжение... Сварить тебе рыбки, Дзета? Ну, затрещало.

– Какое распоряжение?

– А чтобы... этого... его не пропечатывали.

– Ну вот! – Она стала смотреть на огонь. – Если он терпел и знал, что о нем все до сих пор написано... Не понимаю. Зачем запрещать теперь?

Меж ними возгорелся легкий спор. Старик доказывал, что высокопоставленные люди имеют свои резоны – публиковать или не публиковать их приключения; а Дзета утверждала, что здесь замешана какая-то неизвестная дама, которая влюблена в Эмиля и которой, мстительных ради целей, хочется, чтобы бедная Араминта пребывала в неизвестности относительно судьбы своего возлюбленного.

– Если бы поговорить с тем человеком, который писал это! – сказала, вздыхая, девушка. – «Дон-Эстебан» – сказано там. Роман Дон-Эстебана. Писатели, наверное, все знают... Уж я бы у него выпросила.

– Хочешь посмотреть «Звезду»? – спросил Спуль, кончив есть.

Он примостился уже было на краю кровати с журналом в руках, но Дзета нерешительно покачала головой:

– Я не буду смотреть картинки. Отец, – робко прибавила она, помолчав,

– если хочешь, почитай мне конец... там, где остановились.

– Опять? Вчера ведь читали, Дзета.

– Ну что ж... жалко тебе?

Спуль взял с полки старый, замызганный номерок и, смотря поверх страницы, – так как наизусть знал развернутое, – отбарабанил далеко не нежным голосом:

«Араминта, обливаясь слезами, обняла Эмиля за шею, и ее прекрасное лицо наполнило сердце героя состраданием и любовью.

– Не плачь, бесценная возлюбленная, – сказал Эмиль, – беру в свидетели небо и землю, что вернусь к радостям семейной жизни с тобой. Мне надо только преодолеть коварный замысел дяди, вручившего жестокому атаману Грому завещание моего отца. Не беспокойся, дорогая. Я вернусь, и мы будем счастливы».

«Продолжение следует», – хмуро закончил старик.

– Дзета!

Девушка лежала навзничь, уткнув лицо в мокрые от слез ладони. Она не откликнулась. Скоро дыхание ее стало ровнее, тише, и сон, вызванный непосильным волнением, положил свою теплую руку на ее маленькую горячую голову.

II

После рассказанного в течение добрых десяти дней, на протяжении тысячи верст, одинокая старческая фигура – с платком вокруг черной от солнца шеи, в высоких сапогах, в страшной трубообразной шляпе и красной шерстяной блузе, – совершала, не останавливаясь, перемещение от одной точки земного шара к другой, пока не появилась на площади Амбазур.

Сначала фигура сидела на одном из звеньев длинного речного плота, затем путешествовала верст пятьдесят от берега к берегу другой реки, где села на пароход, а с парохода, дней пять спустя, в шумный вагон, который к вечеру десятого дня доставил благополучно фигуру на упомянутую блестящую площадь.

Было без четверти пять, когда в передней «Звезды» раздался неуверенный короткий звонок, и редакционный сторож, злобно открыв дверь, увидел живописную фигуру Спуля, благоговейно созерцающего эмалевую дощечку, где строгими черными буквами возвещалось, что секретарь «Звезды» сидит за своей конторкой ровно от трех до пяти – ни секунды более или менее.

– Подписка внизу, – отрывисто, подражая редактору, заявил сторож, – да затворяй двери, дед!

– Послушай-ка, паренек, – таинственно зашептал Спуль, продвигаясь в переднюю, – я, видишь ты, дальний... Мне, видишь, нужно поговорить с вашими. А прежде скажи: здесь находится господин писатель Дон-Эстебан?

– Вот, надо быть, к вам пришел, – сказал сторож, приотворяя дверь в комнату секретаря. – Я, хоть убей, не понимаю этого человека.

Секретарь «Звезды», желчный толстенький господин, измученный флюсом и корректурой, выскочил на каблуках к Спулю.

– От кого? – процедил он сквозь карандаш, зажатый в зубах, тонким, словно оскорбленным, голосом. – Стихи? Проза? Рисунки?

– Как бы мне, – запинаясь, проговорил старик, – потолковать малость с господином Дон-Эстебаном?

– А! Фельетонист?

– Может быть... может быть, – кивнул Спуль, уступчиво улыбаясь, – не знаю я этого. Может, он ваш директор, может, и побольше того.

– В трактире, – сердито сказал секретарь, прыгнул за дверь, подержался с той стороны за дверную ручку, снова приоткрыл дверь, высунул голову и крикливо адресовал: – «Голубиная почта»! Трактир на той стороне площади! Вот где ваш Дон-Эстебан!

Старик печально надел шляпу. Он не понимал ничего: ни ободранности темной, грязной редакции, где, однако, знают о жизни герцогов и князей больше, чем их прислуга; ни того, почему надо идти в трактир; ни раздражительности толстенького господина. У Спуля был такой обескураженный вид, что сторож пояснил ему, наконец, в чем дело.

– Зайди в «Голубиную почту», дед, – жалостливо сказал он, – там спроси: где тут сидит Акаст? Потому что, видишь, пишет-то он под именем одним, а настоящее его имя Акаст. Вот он Дон-Эстебан и есть.

С холодом и тяжестью недоверия к своему положению Спуль переступил порог «Голубиной почты». Здесь его не мучили; слуга, услышав: «Дон-Эстебан», вытащил палец из соусника и ткнул им в направлении большого стола, за которым сидело и возлежало человек шесть в позах более свободных, чем пьяных. Малое количество бутылок указывало, что головы пока на местах.

– Кто из вас, добрые господа... – начал Спуль, но сбился. – Не тут ли... Который здесь господин писатель Дон-Эстебан?

– Я, – сказал высокий в накидке и серой широкополой шляпе. – Откуда ты, одетый в первобытные одежды, странник Киферии? Кто указал тебе путь в жилище богов? Бессмертных ты или смертных дел древний глашатай? Сядь и скажи, Гекуба, что тебе в моем имени?

– Господин, – сказал Спуль, – послушайте-ка меня... Уж, право, не знаю, как это вам все объяснить, в точку-то самую, а только, изволите видеть, без вас в этом деле, вижу, не обойтись.

И вот, путаясь и волнуясь, поощряемый сначала возгласами и смехом, а затем общим молчанием, рыбак рассказал Акасту, как в глухом, пустынном уголке дикой реки читалась с трепетным напряжением, со страхом и радостью, с опасениями и облегчениями история любви блистательного графа Эмиля и Араминты, дочери угольщика.

– Дзета-то, дочка моя, – говорил Спуль, – хлопочет об них незнамо как, прямо так и скажу: надрывается Дзета. А тут и застопорило, да целых полгода... этого... никаких известий. Здоровому, так скажем, каприз, потому его сиятельство может ведь свои резоны иметь... а больному – горе; только ей, бедняге, Дзете-то, и радости было, что мечтала, будто граф женится на той барышне. И выходит теперь одно-единственное мучение... как принесу это, «Звезду», ну, вроде ребенка моя Дзета: «Опять, – говорит, – нет ничего». Читай ей вот опять про старое, где прощались. Меня измаяла, и сама извелась; да не встает; хоть бы гуляла или что: слаба, видишь... Ну, я и поехал. Чего там? Сердце-то ведь того... Думаю, разузнаю у вас. Так что на вас вся надежда...

Старик замолчал; Акаст, опустив глаза, водил пальцем по скатерти.

– Вот тебе и макулатура, Акаст, – серьезно сказал сутулый человек в синих очках. – Что ты об этом думаешь?

Акаст поднял голову.

– Вы приехали как раз вовремя, Спуль, – сказал он, протягивая рыбаку полный стакан. – Теперь все известно. Эмиль... впрочем, придите сюда завтра к этому же времени. Дела графа блестящи.

– Ну-те?! – повеселел Спуль. – Значит, благополучно?

– Просто прекрасно. Лучше нельзя.

– И пропечатано?

– Конечно. Завтра я дам вам конец романа, и вы отвезете его домой.

Спуль встал.

– Так я рад, что и сидеть никак не могу, – засуетился он, ища шляпу. – Я и то думал: где же и знать, как не здесь? Я ведь грамотный. «Идти уж, – думаю, – так уж по самой по первой линии! По прямой то есть! Приду». Кончину и причину, значит, представите? Ангел вы, господин Дон-Эстебан... ну – запрыгал старик!

Он вышел, то оборачиваясь и пятась, чтобы еще раз отвесить поклон, то спотыкаясь о тес-

но расставленные стулья.

– За здоровье Дзеты! – сказал Акаст, поднимая стакан.

III

Стемнело, когда «Дон-Эстебан», присев дома к столу, вспомнил остановку буксирного парохода, на котором, спасаясь от полуголодной жизни провинциального репортера, переключившись бесплатно к центрам цивилизации. Вспомнил он веселую Дзету – знакомство с ней у плотов, где девушка полоскала белье, и ее доверчивые слова: «Раз вы говорите, что приедете, – чего же еще?» Затем Акаст вспомнил «Эмиля и Араминту» – роман, шитый белыми нитками, ради нужды, и властно оборванный издателем, сказавшим однажды: «Довольно. Строчек вы выгоняете много, а конца не предвидится». Погрустив обо всем этом, мысленно улыбнувшись больной Дзете и думая о читательской ее душе с тем пристальным, глубоким вниманием, какое сопутствует серьезным решениям, – Акаст взял перо, бумагу, старательно превратил белые листы в строчки, украшающие судьбу влюбленных помпезной свадьбой, стряхнул с колена изрядную кучу папиросного пепла и, зайдя в типографию, сказал метранпажу:

– Дорогой генерал свинца, наберите это к утру.

– Редакционно?

– Ну... между нами. Кстати, я вам обещал два литра коньяку. Коньяк у меня. Вы всегда сможете его получить. Эта рукопись мне нужна самому – в наборе. Поняли?

– Ничего не понял. Коньяк есть – вот это я понял. Хорошо, будьте покойны!

После этого прошло десять дней, в течение которых одинокая старческая фигура с драгоценным печатным оттиском в зашитом кармане и с письмом в сапоге перемещалась с одной точки земного шара к другой, пока не постучалась у дверей старого маленького дома деревни Хох.

– Ну, тетка, – сказал Спуль старухе-соседке, в его отсутствие ходившей за больной, – ступай-ка пока. Потом поболтаем. Дзета! Дело-то ведь выгорело! Прочти-ка это письмо! Сам Дон-Эстебан написал тебе! «Я, – говорит, – уважаю читателей!» Вот как!

Говоря это, он трудился над распарыванием кармана. Меж тем изумленная и счастливая девушка, едва переводя дух, прочла:

«Дорогая Дзета! Я очень виноват, но дела с графом Эмилем страшно мешали мне приехать или хотя написать. Прости. Знай, что я тот самый писатель, чей роман о незаслуженно страдавшей Араминте ты читала с таким увлечением и который ты дочитаешь теперь, потому что я передал твоему отцу продолжение и окончание. Я скоро приеду; лучшей жены для писателя, чем ты, нигде не найти. Крепко целую. Твой – виноватый – Акаст».

– Что там в письме, Дзета? – спросил старик, разглаживая сверстаный оттиск.

– Что там? – сказала девушка. – Самое простое письмо. Здравствуйте да прощайте, так, ничего... вежливо. Знаешь, я хочу есть. Дай-ка мне молока и хлеба... Нет, ты отрежь потолще. Теперь читай... ну же!

Пока Спуль читал, девушка боролась с волнением и, окончательно, наконец, победив его, громко, довольная, засмеялась, когда, воодушевляясь и притоптывая ногой, Спуль проголосил последние строки:

«...их свадебное путешествие длилось два месяца, после чего граф Эмиль и его молодая жена поселились в замке Арктур, на берегу моря, вспоминая в счастливые эти дни все приключения и опасности, испытанные Эмилем среди шайки бандитов, потерпевших заслуженное и грозное наказание».

Нож и карандаш

I

Если бы он не заболел, – сказал капитан Стоп шкиперу Гарвею, – клянусь своими усами, я

выбросил бы его в этом порту. Но это его последний рейс, будьте покойны. Такого юнга я не пожелал бы злейшему своему врагу.

– Вы правы, – согласился Гарвей.

– Вчера, после восьми, когда я сменился с вахты, – продолжал капитан, – прихожу я к себе в каюту, а навстречу мне он: выскочил из дверей и хотел уже задать стрекача. Я поймал его и хорошо вздул, потому что, изволите видеть, за пазухой у него торчала украденная у меня бумага. Негодяй повадился воровать ее для своих проклятых рисунков. Помните, как в прошлом месяце пришлось заново перекрасить кубрик? Все стены были сплошь разрисованы углем да растопленным варом!

– Что говорить! – сказал шкипер. – Я сам застал его на вахте с карандашом и, должно быть, вашей бумагой. Слюнит и марает у фонаря. Кроме того он слабосилен и неповоротлив.

– Жаль, что его сегодня скрутила болотная лихорадка! Я с удовольствием прогнал бы его: не пожалел бы дать свои деньги на проезд домой.

Разговор этот происходил на палубе шхуны «Нерей», Давид (предметом разговора был недавно поступивший юнга Давид О'Мультан) – заслужил немилость капитана непомерной страстью к рисованию. Он рисовал все, что попадалось на глаза и на чем угодно: оберточной бумаге, досках, папиросных коробках... В портах он рисовал улицы, сцены портовой жизни, дома, корабли и экипажи; в местах же необитаемых – странные фантазии, в которых девственные леса, птицы, бабочки-раковины сплетались в грациозно сделанные арабески: узор и картина – вместе. Все матросы «Нерея» были изображены им. Нарисовал он и капитана, но Стоп, увидев рисунок, был поражен весьма нелестным сходством рисунка с собой и порвал его на клочки.

Когда О'Мультана отпускали на берег он всегда опаздывал к назначенному сроку возвращения, приходя с дюжинами различных картинок. Рассеянный, задумчивый Давид вообще не годился для напряженной морской работы и сурового корабельного дела. Каждый день он попадался в какой-нибудь оплошности, за что его жестоко били и оглушали лексиконом притонов.

– Словом, – заключил капитан, – мямля этот мне не подходит. На корабле малярам делать пока у меня нечего, ватер-вейс покрасить могу и я.

– А что теперь с ним? – спросил Гарвей. – Лучше ему?

– Не знаю. Боцман дал ему хины и лимонаду. Мы здесь простоим неделю, за это время он встанет, и я наконец уволю его. Баста!

«Нерей» стоял в маленьком попутном порту Лиссе, на рейде, в четверти мили от гавани.

– Ну, а как ваши дела, Стоп? – спросил Гарвей.

– Дела плохи, – мрачно заявил капитан. – На шерсти я потерял восемь тысяч, на джуте одиннадцать, а между тем за долги грозят описать судно. Вы знаете, что в моем сундуке лежат пятьдесят тысяч золотом, которые я должен передать здешнему купцу Сарториусу. Деньги эти получены за его опиум, проданный мною в Мальбурге. На днях Сарториус приедет за деньгами... Так вот, Гарвей, дела мои так плохи, что, не будь я честным моряком Стопом, я с удовольствием прикарманил бы эти деньги и глазом бы не моргнул.

Моряки разговаривали довольно громко, сидя на корме, под тентом, за столом, украшенным тремя пустыми и тремя полными бутылками весьма действенного вина. Невдалеке у штирбота два матроса чинили ванты. Ветер дул в их сторону. При последних словах капитана один из них, некто Грикатус, человек сорока лет, с черными маленькими усами, вздернутым носом и глубоко запавшими темными глазами, сказал Твисту, товарищу:

– Слышь, Твист, что капитан сказал?

– Что-то о деньгах...

– Ну да... «У меня, – говорит, – чужих денег пятьдесят тысяч». Украсть бы их!..

– Похоже на то, – пробормотал Твист, – верно... кажется, он так и сказал. Выпивши, значит, болтает.

– Ну, вот что, – сказал между тем Стоп Гарвею, – месяц мы не видели берега, и сегодня следует погулять. Я отпущу всех до утра: сторожить останутся старик Пек, да... этот Давид. И мы с вами проведем сутки на берегу. Кстати, зайдем в здешний клуб, попробовать счастья в игре.

– Ладно, – сказал шкипер.

Капитан свистнул вахтенного, освободил его, отдал распоряжения, и через час команда «Нерея» во главе с капитаном, все одетые по-праздничному, выбритая и жадная, схлынула с двух шлюпок на Лисе разорвать прекрасные заведения.

На «Нерее» осталось двое: преданный капитану старик матрос Пек и больной Давид.

II

Давид лежал в кубрике один (Пек жил в каюте боцмана). Он спал с перерывами все утро и весь день и проснулся в полночь. Озноб и жар прошли, остались – большая слабость, головная боль. Такое временное облегчение свойственно перемежающейся лихорадке.

Давид знал, что все, кроме него и Пека, – на берегу, но, очнувшись, был все же неприятно поражен полной тишиной судна. Легкие скрипы, шорохи сонно покачиваемой ночной зыбью шхуны звучали сумрачно и неприветливо. Над столом горела висячая лампа: огонь ее давал скупой свет и много теней, кутавших углы кубрика в жуткую тьму. Над трапом в полукруге люка блестяли звезды; под полом пищали крысы.

Давид встал, придерживаясь за койку, выпил из остывшего кофейника несколько глотков кофе, съел холодную котлету и пободрил. Спать ему не хотелось. Подперев голову кулаком, О'Мультан стал мечтать о том времени, когда он сделается знаменитым художником. Мечта потянула к деятельности. Вынув из сундука неоконченный рисунок, Давид только что провел несколько штрихов, как вдруг услышал тихий плеск весел, – лодка, видимо, плыла к шхуне. «Наверное, это наши. Отчего же так тихо? Обыкновенно приезжают без шапок и поют», – подумал Давид.

Лодка явственно стукнулась о борт «Нерея». Давид прислушался, ожидая обычного гвалта, но была полная тишина. Давид подождал немного, но все же ничего не услышал, и это его встревожило. Он тихо поднялся к люку и выглянул на палубу.

Он увидел невдалеке, у правого борта, одинокую, согнувшуюся фигуру человека, стоявшего спиной к кубрику. В темноте нельзя было различить, кто это. Давид хотел уже окликнуть его, но в этот момент человек быстро припал к палубе, – с кормы блеснул огонек трубки подходившего Пека, – и присел за грот-мачтой. Внезапная слабость, предчувствие ужасного – сковали Давида. Он хотел крикнуть и не мог. Трубка Пека вспыхивала теперь совсем уже близко, озаряя мясистый нос и седобровые глаза старика.

– Эй, что за лодка?! Кто тут?! – закричал Пек, поравнявшись с мачтой.

Ворчливый голос этот на мгновение ободрил Давида, лишив все происходящее ужасающей загадочности, но в тот же момент человек, присевший за мачтой, стремительно выскочил, замахнулся и нанес оторопевшему старику быстрый удар по голове. Пек, не вскрикнув, упал.

На минуту спасительное возбуждение вернулось к Давиду. Чувствуя, что ему также придется пасть от руки неизвестного убийцы, он стал тихо сползать по трапу, не будучи в силах, как очарованный, отвести взгляд от темной коренастой фигуры. Шорох движений заставил неизвестного вздрогнуть и обернуться лицом к кубрику, и тусклый свет штангового фонаря упал на его черты. Полное ястребиное лицо с выпяченной нижней губой не было знакомо Давиду. Думая, что его заметили, он стремглав бросился вниз, судорожно отшвырнул люк «подшкиперской»³⁹ и, забежав в тесный угол, зарылся среди брезентов. Страх перешел в истерическое ощущение, а затем в полное беспамятство.

Почти вслед за этим с моря донеслась громкая, грубо порхающая песнь пьяных возвращающихся матросов. Убийца, махнув в отчаянии рукой на ускользнувшие пятьдесят тысяч, поспешно прыгнул в лодку, и скоро его весла умолкли во сне океана.

III

³⁹ Подшкиперская чулан под кубриком, где сохраняются корабельные материалы: пенька, канаты, фонари и т. п. (Примеч. автора.)

– Подсудимый Грикатус! – сказал месяц спустя после этого судья бледному, унылому матросу, сгорбившемуся на скамье подсудимых. – Вы обвиняетесь в том, что четырнадцатого февраля тысяча девятьсот семнадцатого года, забравшись в отсутствие экипажа на шхуну «Нерей», убили с целью ограбить судно матроса Пека. Что можете вы привести в свое оправдание?

Свидетельские показания складывались совсем не в пользу Грикатуса.

– Я не виновен! – сказал Грикатус. – Все это путаница и напраслина. Страдаю невинно.

Меж тем матрос Твист утверждал, что Грикатус очень интересовался суммой в 50 тысяч и не переставал говорить о ней даже тогда, когда растрепанная компания смотрела на дно бутылок через горлышко, как в телескоп. Содержатель кабака «Ночная звезда» показал, что Грикатус ушел раньше всех, предварительно хватив шляпой о косяк двери и завернув страшную божбу в том, что он, Грикатус, будет богат. Береговой сторож, дежуривший у волнореза, заметил человека, отвязавшего чью-то шлюпку и выплывшего на рейд.

Судебный процесс подходил к концу, как вдруг торопливо открылась дверь, и в залу суда вошел доктор лечебницы Монпелье, где лежал Давид О'Мультан. Доктор держал клочок бумаги; быстро положив клочок этот перед судьей, он сказал:

– Вот все, что требуется для этого дела. Давид, сраженный нервным параличом, как вам известно, был целый месяц не в состоянии ни говорить, ни двигаться. Сегодня в десять часов утра он проявил признаки сознания. Знаками он объяснил мне, что ему нужны бумага и карандаш. Когда принесли требуемое, он, немного подумав, быстро и отчетливо набросал тот самый рисунок, который я имею честь и счастье представить вам, господин судья. Как видите, здесь изображено характерное лицо, – по-видимому, точное изображение лица убийцы. Под рисунком подписано: «Портрет преступника. Найдите его...» Если это обстоятельство может пролить свет на дело, я думаю, что исполнил свой долг.

Рассмотрев правильный, четкий рисунок, весь состав суда не мог более ни ошибаться, ни колебаться. В крупном ястребином лице с толстой нижней губой все признали известного лисского вора Джека Ловайда, служившего год назад поваром у губернатора этой провинции. Джек был известен в маленьком порту как устроитель всякого рода темных делишек, вечно шлявшийся по передним и кухням.

Пока выследили и поймали преступника, сознавшегося не без кривляния в том, что, подслушав разговор пьяного Грикатуса о купеческом золоте, украл шлюпку, выплыл к шхуне и убил Пека – прошло много времени: Грикатус досыта насиделся в тюрьме.

Сарториус взял Давида к себе и, посыпав где надо золотом, дал свету нового оригинального художника. Несколько военных рисунков О'Мультана на выставке «Просветителей» привлекли общее внимание. Характерной особенностью рисунков этих было то, что в каждом воине, поражающем врага, были все те же, неизгладимо запечатлевшиеся черты: круглое ястребиное лицо и толстая нижняя губа – след нервного потрясения.

Враги

I

Я не знаю более уродливого явления, как оценка по «видимости». К числу главных несовершенств мыслительного аппарата нашего принадлежит бессилие одолеть пределы внешности. Вопрос этот мог бы коснуться мельчайших подробностей бытия, но по необходимости мы ограничимся лишь несколькими примерами. Плохо намалеванный пейзаж, конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый художник; мы видим помидор-солнце, метелки-деревья, хлебцы вместо холмов; короче говоря, – изображенное в истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо: расположение предметов, их ракурс, тона красок. Однако самое сильное воображение не уподобится здесь Кювье, которому один зуб животного рассказывал с точностью метронома, из чьей челюсти попал он на профессорский

стол. Египетские и ассирийские фрески, обладая условной правдой изображений, тем не менее, – разбей мы о них голову, – не заставят нас увидеть подлинную процессию тех времен, – мы смутно догадываемся, грезим, но не созерцаем ее абсолютной, бывшей. Читатель вправе, разумеется, возразить, что требование такой прозорливости, проникающей в подлинность посредством жалких намеков, или хотя бы скорбь об ее отсутствии – претензия достаточно фантастическая, и однако есть область, где такая претензия, такая скорбь достойны всякого уважения. Мы говорим о человеческом лице, наружности человека, этой осязательной лишь чувствам громаде, заслоняющей истинную его духовную сущность весьма часто даже для него самого. Добрая половина поступков наших сообразована бессознательно с представлением о своей личной внешности: падений, самоубийств, самообольщений, мании величия и вообще самооценок столь ложных, что их можно сравнить с суждением о себе по выпуклому и вогнутому зеркалу. Тем более отношение наше к другим, в лучшем случае, является смешением впечатлений: впечатления, производимого действиями, словами и мыслями, и впечатления от качеств воображаемых, навязанных сознанию внешностью. Здесь всегда есть ошибка, и самое отвратительное лицо самого отвратительного злодея не есть точное отражение черт душевных. Как бы ни было, разъединенность и одиночество людей идут также и от этого корня – механического суждения по «видимости». Обладая природа человека чудесной способностью показать единственное истинно соответствующее его физическому лицу внутреннее лицо, – мы были бы свидетелями странных, чудовищных и прекрасных метаморфоз, – истинных откровений, способных поколебать мир.

Лет десять назад я остановился в гостинице «Монумент», намереваясь провести ночь в ожидании поезда. Я сидел один у камина за газетой и кофе после ужина; был снежный, глухой вечер; вьюга, перебивая тягу, ежеминутно выкидывала в зал клубы дыма.

За окнами слышались скрип саней, топот, шелканье бича, и за распахнувшейся дверью разверзлась тьма, пестревшая исчезающими снежинками; в зал вошла засыпанная снегом небольшая группа путешественников. Пока они отряхивались, распоряжались и усаживались за стол, я пристально рассматривал единственную женщину этой компании: молодую женщину лет двадцати трех. Она, казалось, была в глубокой рассеянности. Ничто из ее движений не было направлено к естественным в данном положении целям: осмотреться, вытереть мокрое от снега лицо, снять шубу, шапку; не выказывая даже признаков оживления, присущего человеку, попадающему из снежной бури в свет и тепло жилья, она села, как неживая, на ближайший стул, то опуская удивленные, редкой красоты глаза, то устремляя их в пространство, с выражением детского недоумения и печали. Внезапно блаженная улыбка озарила ее лицо – улыбка потрясающей радости, и я, как от толчка, оглянулся, напрасно ища причин столь резкого перехода дамы от задумчивости к восторгу.

Ее спутники, – двое мужчин среднего возраста, – вполголоса беседовали с хозяином, по-видимому, насчет ужина. Когда хозяин отошел, я, подозвав его, тихо спросил:

– Вы знаете эту даму?

Хозяин, пожав плечами, приложил палец ко лбу.

– Нет, я знаю только, что ее везут в лечебницу умалишенных Эспризгуса. Мне сказал это ее брат, вон тот, что снимает с нее калоши. Он просил дать ей удобную, тихую комнату.

Я еще раз пристально осмотрел незнакомку; ничего безумного не было в ее лице и глазах; все, что я мог отметить, это – пораженность, придавленность, некая безропотная, замкнутая грусть, происходившая, быть может, от сознания своего положения. Временами загадочная, чудесная улыбка меняла на мгновение ее лицо, уступая место прежнему выражению. Она ела мало и медленно, изредка роняя неслышные мне слова; все время пребывания внизу она была окружена самым предупредительным и нежным вниманием со стороны своих спутников.

Пробило двенадцать, когда ее отвели наверх. Брат скоро вернулся и, сев у камина, извлек сигару. Я представился, он назвал себя. Помедлив, сколько того требовало приличие, я осторожно привел разговор к интересующему меня вопросу – болезни молодой женщины.

– Допустим, – сказал он, – что это сказка, но и тогда она не была бы более удивительной, чем случившееся. Имя сестры – Ассоль. В путешествии, два года назад, она познакомилась с капитаном «Астарты» Ивлетом и вышла за него замуж. Три месяца назад муж вернулся из плава-

ния. Супруги, утомленные радостью и оживлением встречи, рано легли спать: спали они на одной постели, – Ивлет у стены.

Ночью его разбудил громкий крик, шум падения тела, и, вскочив, он увидел жену лежащей на полу в обмороке. Горело электричество. Капитан, бесполезно употребив домашние средства, вызвал доктора; его содействие вернуло Ассоль сознание: «Кто вы? – спросила она мужа, смотря на него со страхом, изумлением и восторгом. – Я не знаю вас; как вы очутились здесь? Где Ивлет?»

«Ассоль, милая, – сказал встревоженный капитан, – что с тобой? Здесь нет никого, кроме меня и доктора». Так началось внезапное помешательство сестры; слишком тяжело рассказывать, как, неузнаваемый ею, он приводил, словно испуганный ребенок, доказательства того, что он, – он, а не некто, видимый молодой женщиной. Теперь обратимся к ней.

Проснувшись и включив электричество, она увидела рядом с собой неизвестного человека, – спящего, как спал всегда капитан, – на спине, с руками под головой. Лицо этого человека было прекрасно, юно, гармонично-правильно, лицо Феба, смягченное духовной изысканностью, изяществом неуловимых оттенков. Крупно выующиеся золотистые, блестящие волосы открывали чистый, высокий лоб. Оно показалось ей совершенным лицом человека, мыслимым лишь в видении. Думая, что спит, Ассоль провела руками вокруг себя, уронила стакан, стоявший на ночном столике, и звон стекла, достоверно подчеркнув действительность, лишил ее самообладания. Испуганная, она вскрикнула и упала.

Ее рассказ об этом, повторенный несколькими врачам в разное время, привел последних к заключению, что они имеют дело с редким случаем полной локализации помешательства, ограничением его странной и редкой галлюцинацией. Во всем остальном Ассоль проявила и твердость и полное сознание положения. Убежденная посторонними, что видит мужа, она не сомневалась более в этом, мужественно умалчивая о страданиях, выпавших на ее долю, благодаря этой тайне умозрения, проектированного в действительность. Она сама пожелала ехать в лечебницу и выражала лишь скорбь о том, что, может быть, никогда не узнает, где истина: в прошлом или теперь.

Рассказ брата Ассоль был более, значительно более подробен, чем мой. Я сжал его в той мере, в какой он сжался отдаленным воспоминанием. В шесть часов утра я отправился в Зурбаган, унося жалость к несчастной, – несчастной потому, что никто не мог видеть ее глазами, обреченными отныне на безмолвный и покорный вопрос.

II

Спустя около полугода, я прочел в «Вечернем Курьере» следующее:

«11 октября пароход каботажного Ллойда „Астарта“, получив около Мизогена пробоину кормовой части, пошел ко дну в течение 20 минут. Не более половины пассажиров спаслось на шлюпках. Погиб также почти весь экипаж и капитан парохода Ивлет. Трагичны и трогательны подробности его смерти.

Одна женщина, торопясь сесть в шлюпку, уже спускавшуюся на таях, уронила трехлетнюю девочку. Исступленно крича, женщина повисла на тросах. Ее пальцы были раздавлены блоком, но отчаяние сильнее боли заставило ее цепляться, мешая спуску. Она умоляла спасти девочку. Буря и плеск волн заглушили ее вопли.

Тогда капитан Ивлет, сбросив сюртук, прыгнул в воду и, схватив захлебнувшегося ребенка, передал его матери. Корма „Астарты“, образуя гибельную воронку, буквально падала вниз с быстротой вертикально брошенного шеста. Переполненная до отказа шлюпка задержалась у борта, – матросы хотели спасти капитана. „Ну, не разговаривать! – крикнул он. – Отчаливайте! Берегитесь! Вас втянет в водоворот!“ Сказав это, он оттолкнулся от шлюпки и скрылся. Матросы заработали веслами как раз вовремя, – кипучая водяная яма разверзлась за кормой лодки, едва не затянув ее в свою грозную пропасть».

На этом месте я отложил газету и пристально рассмотрел помещенный в тексте, с фотографии, портрет Ивлета. Портрет весьма согласовывался с описанием наружности капитана, сде-

ланным мне братом Ассоль. Это был коренастый человек лет сорока, с квадратным простодушным лицом, короткой верхней губой и маленькими, упрямыми глазами.

Но я думал, что может быть, – в момент, когда он отталкивался от шлюпки, – лицо это было совершенно таким, каким увидела его Ассоль ночью и какое несомненно вызывало прекрасную улыбку в ее печальном лице и глазах, таивших неведомое.

Узник «Крестов»

I

Знаменитый Латюд, попавший в Бастилию за то, что пытался угодить маркизе Помпадур, подослав ей анонимное письмо о вымышленном покушении на ее жизнь, а затем послав второе письмо с приложением щепотки поваренной соли, которая должна была изображать яд – доказательство покушения, – страдал тридцать лет по сравнительно серьезной причине.

Мы говорим сравнительно потому, что некто Аблесимов просидел в нашей доморощенной «Бастилии» – «Крестах» – двадцать два года за удивительную и невероятную чепуху.

Дело было так.

Аблесимов служил наборщиком в типографии газеты «Пестрое дело». Нынешний, несуществующий уже как царь Николай II короновался тогда в Москве, заманивая пирогами на Ходынку многих доверчивых простаков, кричавших «ура» византийской пышности коронационного церемониала не столько из привязанности к самодержавию, сколько из тяготения к пирогу, оказавшемуся, как говорит история, изделием, пропеченным плохо и почти без начинки.

Среди наборного материала, принесенного Аблесимову в самый день коронавания вечером, была московская телеграмма, в которой описывался ритуал коронавания.

На другой день в полдень начальнику знаменитого Третьего отделения позвонил по телефону министр внутренних дел, требуя его немедленно к себе тоном строгим и жестким.

Перепуганный начальник помчался сломя голову к всесильному временщику, ломая по дороге голову, что бы это могло все значить.

Министр стоял у стола, положив руки на развернутый номер «Пестрого дела».

– Идите сюда, – неторопливо приказал он вытянувшемуся в струнку чиновнику. – Смотрите!

Он провел пальцем по подчеркнутой красным карандашом газетной строке, и начальник Третьего отделения с ужасом прочитал: «Москва, 14 мая 1896 г.... Его Величество государь Император Николай II... в 12 ч. проследовал в Иверскую часовню...»

Выпущенное многоточием в середине фразы слово должно было означать «ровно». Ошибка наборщика в спешной ночной работе заменила первую букву этого слова иной, придавшей всей фразе совершенно циничный и оскорбительный для императорской особы смысл.

Начальник затрепетал.

– Без дальних слов, – сказал министр, – в двадцать четыре часа найдите виновного, арестуйте и спрячьте навсегда... куда хотите. Вот полномочие.

Он протянул подписанную уже взбешенным царем бумагу, и начальник Третьего отделения засвистел шинами щегольской кареты в мрачный застенок Третьего отделения.

II

Аблесимов обедал, когда после резкого звонка в квартиру вошел рослый жандарм и, показав несчастному наборщику приказ об аресте, повлек его в узилище, страшно шевеля огромными рыжими усами, плотоядно блестящими на круглой, как сыр, роже разжиревшего паразита.

Без допроса, без объяснений, без ответа на вопли измученного, несчастного труженика, оставившего малолетних детей и старика отца в их неприветливо голодной свободе, – Аблесимов был брошен в подвальный этаж ужасных «Крестов».

Три месяца провел он в кошмарном полусне, почти лишенный рассудка. Иногда, приободрившись, пытался он объяснить себе смысл всего происшедшего и бессильно поникал быстро поседевшей головой, обуреваемой думами.

Раз, вспоминая последнюю ночь типографской работы, он поймал в памяти нечто, – какой-то намек, проблеск истины. Чтобы не потерять нити, Аблесимов закрыл глаза и вдруг вспомнил.

Метранпаж Васильев всегда был его врагом и вечно ругал его за дело и без дела. В ту ночь, когда Аблесимов кончал работу, Васильев, придравшись к какому-то пустяку, облил Аблесимова потоком отборной брани, в которой искаженное «ровно» повторялось более часто, чем это необходимо для здоровья и настроения.

Теперь Аблесимов вспомнил, что, загипнотизированный этим словом и сердито повторяя его про себя, сделал ошибку, которую хотел исправить, но забыл о ней, так как завязалась крупная ссора...

– Я пропадаю за букву «г»! – вскричал он и умер, проклиная правительство.

Ученик чародея

I

Я украл окорок ветчины в копильне красноносого отца Дюфура. Дюфура звали «отцом», собственно, но старой памяти: как расстрига, он едва ли даже имел право ходить в церковь. Прекрасно – я украл, и не прекрасно – меня собрались повесить, так как поймали. Отправиться на Монфоко с кляпом во рту, чувствовать там горячей шеей холодные ногти палача и растворить дух в вое осеннего ветра показалось мне слишком сентиментальным. Разогнув поленом прутья оконной решетки, я бежал, оставив на подоконном гвозде добрый кусок штанины: малый я был плотный и кряжистый.

Покинув Париж, я долго скитался в провинции, иногда приставая к воровской шайке ради странной, случайной оседлости: у воров были в лесах и в развалинах замков насиженные укромные гнездышки; или шел к мужикам работать.

Так прошла зима. Мог бы я давно вернуться в Париж, где, без сомнения, забыли уже и об окороке и о моей скромной особе, но все время что-нибудь было помехой этому. То завязывался роман с коровницей, то пригревали меня на кухне попутного монастыря, и я, пользуясь смиренной трапезой, мог причесываться без масла, проведя по волосам просто рукой, предварительно огладив ею щеку; то впутывался я в какую-нибудь доходную комбинацию с замаскированным молодцом, умевшим необыкновенно внушительно произносить простые слова: «Кошелек или жизнь», – и вообще полюбил случайную жизнь. Однажды я заблудился в недоброй памяти Арденнском лесу. Прошли сутки, вторые, третьи – я отошал. Я ел, что попало: жуков, сгнившие корешки, траву, листья. Станный сюрприз обоняния переводил все лесные запахи на запахи чего-либо съестного. Цветы пахли конфетами и вареньем, смола – подгоревшей свининой, теплая земля – хлебом. Расщепистая кора старых дубов выглядела хорошо пропеченной коркой, а солнечные разливы на дымных прогалинах – растопленным маслом. Раз я встретил медведя и, представив, как аппетитно захрустел бы он моими костями, чуть не заплакал в припадке голодного бешенства.

От медведя я, правда, залез на дерево, но все-таки смотрел на себя, как на завидное кушанье.

Четвертый день ознаменовался тем, что я поднял искалеченный рыцарский шлем, а дальше, на расширении звериной тропы, встретил заросший травой деревянный крест.

Высохший веночек лесных цветов украшал его середину. На кресте была темная надпись: *Meme en ton absence – toujours avec toi. Arthur*⁴⁰.

Но мне что за дело до этого? Пусть рыцари, волшебники, великаны и дамы ведают эти де-

⁴⁰ И без тебя — с тобой. Артур (франц.).

ла: я милостью божьей – Франсуа, голодный и бесприютный.

II

Итак – показалась речка: прежде всего я напился; затем осмотрелся. Речка текла быстро и глухо; от берегов черные тени мрачили половину течения, а середина сверкала, как чищенная на солнце медь. Везде упавшие поперек стволы, ямы и корни, изрытая кабанами осока. Жуткое, неприветливое было это место, клянусь спасением. Но, посмотрев направо, увидел я в зеленой извилине мыска черную бревенчатую лачугу с низкой трубой, из которой шел дым. Где дым, там и печь, а где печь, там и горшок с варевом. От одной этой мысли я пополнил. Прежде чем подойти к сему загадочному жилью, попробовал я – каким голосом попрошайничать: грустным и низким, либо же тонким и жалостливым. Последнее нашел я более отвечающим положению и, держа в горле пискливые слова, постучал в дверь.

– Войди, кто бы ты ни был, – раздалось за дверью.

Я вошел.

Передо мной у грубого камелька сидел дряхлый старик. Такого старика я никогда не видел. Был он обут в меховые туфли, а одет в коричневый балахон с откинутым капюшоном. Немного оставалось на его бледном лице места, свободного от белых волос. Борода лежала на груди пышно и строго, длинные кудри сыпались по плечам, а усы тонули в бороде. Вот его глаза: что в них? Много всего; он смотрит как бы издалека. Просьба, приказание, гнев, жалость, любовь, лукавство, грусть, сомнение, беспокойство и ясность – все чувства излучают его острые, выцветшие зрачки, – и я почувствовал страх.

– Добрый отец! – заголосил я. – Помогите бесприютному и голодному Франсуа Долговязому! Я заблудился и четвертые сутки не принимал никакой христианской пищи, питаюсь, прямо сказать, корой и листьями!

– Излишек пищи вредит бессмертному духу, – ласково сказал старик, – но что есть – твое. В той чашке орехи, а в углу за тобой – хлеб и вода. Ешь.

Принюхавшись уже к вареву, булькавшему в какой-то странной медной посуде, я усомнился, чтобы там было съестное, – пахло лекарственным. Поэтому, скрепя сердце, так как ожидал чего-либо получше, чем орехи, приступил я к предложенному угощению. Я жевал хлеб и грыз орехи и пил воду, а поев, сильно отяжелел. Потянуло меня ко сну. Пока я ел, старик молчал, время от времени заглядывая в книгу с железными застежками и помешивая варево узорной палочкой, разрисованной непонятными знаками. Это да и рассмотрение внутренности хижины убедило меня, что я попал к некоему волшебнику.

С потолка спускалось несколько высохших ящериц и летучих мышей. Живой, черный, как трубочист, кот сидел на очаге, и магические зеленые зрачки его, казалось, читали все мои спутанные мысли. Груды тяжелых, как гробовые плиты, желтых книг лежали на полу и столе, заставленном кроме того различными металлическими и стеклянными вещами с назначением, непонятным до одурения. Над окном висели вязанки корней и сухих цветов; слабый, нежный их запах разносился по всем углам. А в дальнем углу, запертый тремя огромными черными замками, – стоял таинственный высокий сундук, относительно которого я сразу подумал нечто существенное. Подумал неопределенно, конечно, но крепко: по привычке и любви к запертым сундукам.

– Франсуа, – сказал старик, погладив свою роскошную бороду, – я не любопытен. Кто ты такой – совсем не нужно знать волшебнику д'Обремону, в жилище которого привели тебя мои заклинания. Слушай: я стар, слабею, и мне нужен ученик, помощник. Помощью магического круга и неких формул я обратился сегодня к демону Азарету – покровителю стариков – и просил его послать мне здорового молодца, как ты видишь – просьба моя исполнена.

Я струсил. Значит д'Обремон может вить из меня веревки.

«Влопался ты, Франсуа», – подумал я, но ничего не сказал. Колдун продолжал:

– Склонен ли ты к истине, Франсуа? К знаниям высоким, как горы? К устремлению духа в озаренные светом области? Говори смело.

– Я, ваше степенство, склонен ко всему, что кормит и греет, – отвечал я с унынием.

– Я не обещаю тебе лучшей пищи, – возразил д'Обремон, – чем та, которую я ем сам и которая будет поддерживать твои животные силы. Но я обещаю, со временем, могущество непомерное, власть над людьми и духами, над золотом и драгоценными камнями, над душой растений и животных. Магия творит чудеса. Твоя душа еще темна и дремотна, как жизнь в яйце змеи, но и мудрость змеи растет с ней. Ты возрастешь, пока же освой себя с новым своим положением и ложись спать, а я займусь комментариями к Альберту Великому, писанными великим и могущественным Нострадамусом.

Сказав так, старик дал мне мешок с сеном, и я повалился в углу, размышляя на сон грядущий следующим манером: «Алхимики, говорят, делают золото. Полезно и весьма прибыльно, если бы удалось научиться такой штуке, а там видно будет».

Уже поэтому решил я не прекословить д'Обремону и пожить у него, даже оставляя в стороне соображения о власти демона Азарета.

Засыпая, я увидел, что ко мне, мурлыча и выгибая спину, подошел кот. Потершись о плечо, сунул он мне голову под мышку и задремал, – кот-то был обыкновенный котище, и не пахло от него серой, в чем я убедился, тихонько прошептав молитву.

А д'Обремон сидел перед высокой желтой свечой, читал, и тень его головы падала на меня.

III

Я много видел людей, бывал в самых причудливых положениях, но такой жизни, которая сплела меня теперь с д'Обремоном, клянусь собственными глазами еще не испытывал.

Старик обыкновенно спал беспокойно, ворочался и вздыхал и, шаркая на рассвете туфлями, будил меня чуть не стихами:

– Вставай, Франсуа! Аполлон запряг красных коней. Смотри, как вверху, в сонном еще зените, все зыблется и дрожит и дышит; там тени обнимаются со светом. Смотри, Франсуа, не проспи ранний час! Когда усталая Диана, бледная, оставляет Венеру сгорать в лучах колесницы, – все чувства подвижны и тонки, как нежные ароматы. Вставай! Дух созерцает Вечное, Франсуа!..

Лень было подыматься на холоде, но цель, которую я поставил себе, требовала послушания. Я подметал хижину и выбрасывал из стеклянных колб какую-то за вчера накипевшую гадость; потом завтракал черствым хлебом, орехами и водой.

До чего противна была мне такая пища! Другой не бывало у д'Обремона. Сам он ел только хлеб и так мало, что удивительно, как не потухала жизнь в тощеньком его костячке. Глядя иногда, как, сгорбившись, подставив горсточкой сухую, прозрачную руку, старается он прожевать корочку беззубыми челюстями, а крошки вываливаются на ладонь, смеялся я не раз, задавая себе вопрос: «Ужели волшебство не добычливо насчет жирной, сладкой пищи и кружки винца?»

До времени я относил это к привычкам моего чародея, но вскорости, дней этак через пятнадцать, убедился, что д'Обремон просто придурковатый старик, полупомешанный хвостун. В этом убедился я такой дорогой ценой, что теперь, когда бессильно размышляю обо всем, зубы мои скрипят и лопаются от бешенства. Однако не забегай вперед, Франсуа!

Откуда старик брал хлеб и соль – было для меня тайной, пока однажды к мысу не причалила лодка. Из нее вышел пожилой мужик, таща мешок. Он поклонился д'Обремону, как раб царю, и сказал, указывая на мешок:

– Надолго ли хватит вам этого, господин?

– Э, Жан, хватит, пока хватит! Благодарю!

Жан помолчал, затем, подозрительно косясь на меня, спросил как бы с опаской:

– Ну, что? Готово?

– Еще нет, – задумчиво и величественно ответил старик. Вдруг ребяческая улыбка преобразила его лицо. – Скажи, что надо терпеть, ждать, но уже недолго. Сокровища умножаются. Час восхитительный и божественно-мудрый наступит скоро.

Я наострил уши. Но больше ничего не было сказано меж ними про сокровища. Д'Обремон

расспросил Жана о семейных делах и отпустил. Лодка мелькнула за тростником, скрылась; я же спросил:

– Учитель, кто этот человек?

– Он приезжает из далекой деревни раз в месяц, – сказал д'Обремон, – и привозит мне хлеб. Пока тебе незачем знать о моих делах больше. Наступит время, и я открою тебе великую тайну.

По вечерам старик открывал свои скрипящие книжищи и посвящал меня в магию. Я приговаривал, что все это невыразимо интересно. Он показывал мне какие-то треугольники, круги, пентакли, языческие поганые буквы и вдруг, забывшись, начинал говорить на непонятном языке, турецком или арабском, как думаю. Я узнавал о феях, эльфах, гномах, ведьмах, демонах, инкубах, колдунах, сефиротах и о всякой другой нечисти. Приблизительно через день, по утрам, старик отправлял меня в лес за орехами и дровами, а сам запирался, и тогда из трубы целыми часами валил густой дым. Д'Обремон варил свои колдовские зелья.

Как ни любопытен я от природы, однако что-то удерживало меня расспрашивать моего хозяина о прошлой его жизни и о том, как он превратился в волшебника. Он никогда не сердился, но отвечал не на все вопросы; поэтому я предоставил все течению времени. Мне важно было только узнать золотой состав, а заклинания и сказки о феях я предоставлял д'Обремону. Я подсматривал за ним в щели и окна, но это не открывало мне ничего путного; а все мои намеки он пропускал мимо ушей.

– Практическая магия, – иногда говорил он, – есть самое конечное следствие высших знаний. Ты должен пройти их. Можешь ли ты лечить больного, не зная природы человеческой? Учись, Франсуа!

И опять вязли у меня в зубах духи воды и огня, земли и воздуха; опять я погружался в запутанные тайны невидимых сил и стихий.

Раз, помню, мы вызывали духа. Какого духа – забыл. Д'Обремон переоделся в некую белую хламиду, повесил на шею бронзовую цепочку с медными кружками, а в руку взял странной формы извилистую тусклую шпагу и, поставив меня с собой в очерченном кругу, начал произносить заклинания. Я чуть не умер от страха, но скоро оправился, так как дух не являлся. Старик продолжал взволнованно размахивать шпагой. Вдруг кот прыгнул к порогу, задавил там у щелки мышонка и стал возиться с добычей в самом кругу, у моих ног.

– Ну, сегодня ничего не будет, Франсуа, – сказал д'Обремон торжественно, с какими-то странными манипуляциями выбрасывая мышонка за дверь. – Сегодня Агнагул потерял силу и мог принять вид только одного из низших существ. Мышонок был Агнагул. Он не умер, конечно, но видеть его второй раз в образе того же мышонка – не стоит труда. Сотри круг!

Я подумал, что Агнагул столько же был мышонком, сколько тот Агнагулом, но хихикал в кулак по этому поводу, отвернувшись, дабы не сердить чудака.

В лесу бывали особенно хорошие дни, безветренные, жаркие и душистые, когда даже мне вставать рано было уж не так отвратительно. В такие дни д'Обремон иногда говорил:

– Принеси мне цветов, Франсуа. Принеси ромашки, дающей спокойствие и веселье, и пестрых тюльпанов, обостряющих слух, и медвяниц, прогоняющих ночное томление; не забудь ландышей и фиалок, дающих нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше. Мандрагору ты вырвешь с корнем, не повредив его; рви, стоя лицом к востоку. Златоцвет и медвежий ягоды бери левой рукой. Захвати и шиповник, он просто красив.

Я отправлялся в лес, собирал приказанные растения и тащил их нетерпеливо встречавшему меня д'Обремону. Старик, прижимая к груди рассыпающиеся вороха трав и цветов, клал их на подоконник и часами, тихо улыбаясь, сортировал эти зелья, временами нюхая какое-нибудь с видом влюбленного, поднявшего цветок у балкона. Вскорости начинал пламенно дышать кирпичный очаг, старичок варил свои волшебные соусы, надев остроконечную шапку, украшенную магическими рисунками, и на кончике его носа дрожала капелька пота.

Я же садился на порог, перелистывая какую-нибудь старую книгу, но нигде в этих сочинениях не говорилось прямо о том, как изготавливать золото. В самом интересном месте появлялись какие-то Красные Львы, Желтые Реполовы и разные другие затмения секретного дела. Это выводило меня из терпения. Отчего бы не сказать прямо: возьми, мол, того-то и того-то, свари так и

этак – и отливай двойные пистолы. «Мой д'Обремон, – рассуждал я, – человек, видимо, слабоумный или помешанный. На его месте – будь оно действительно всемогуще – я бы давным-давно состряпал себе уютный подвальчик, набитый червонным золотом».

IV

Таинственный высокий сундук, разумеется, не давал мне покоя все время. Иногда, пользуясь кратким отсутствием д'Обремона, выходявшего побродить на воздух, я пытался потрясти этот сундук, но так был он тяжел, что не удавалось приподнять его угол даже на полвершка. Д'Обремон никогда не открывал сундук в моем присутствии, – я же, подсматривая за ним в окно, был так несчастлив, что в эти минуты старик оставлял проклятый сундук в покое. Однако все приходит в свое время.

Раз вечером, после жаркого дня, у окна, бледневшего тихо и пышно, д'Обремон, смотря на закатные верхи леса, просидел с очень что-то грустным лицом часа два. Он не любил, если тревожили его в минуты задумчивости. В раскрытой двери явилась, трепеща, вечерняя бабочка.

Д'Обремон обернулся ко мне и указал на бабочку.

– Франсуа, – сказал он торжественно и сердечно, – человек живет не долее этого мотылька. Я стар и, может быть, скоро умру. Настало время открыть тебе великую тайну.

Меня словно подбросило. Хотелось что-то сказать, но язык на радостях ускочил так далеко в глотку, что вытащить его оттуда требовались, пожалуй, клещи. Навострив уши, я перевел дух и фальшиво вздохнул.

Д'Обремон взял меня за руку, подвел к сундуку, открыл его большим гремящим ключом и, еще не поднимая крышки, сказал:

– Ты был добрым, послушным юношей, и если высшая мудрость медленно дается тебе, то здесь, конечно, виноват только твой возраст. В твои годы мысли, естественно, более покорны телу, чем духу. Со временем силой очищенной воли ты соберешь их, как пастух собирает стадо, и то, что надлежит тебе узнать от меня, будет как бы оазисом мрачной пустыни, к которому устремятся твои желания. Смотри, здесь сокровища, каких еще не было в руках ни у одного человека.

Он приподнял крышку, озарив свечой внутренность сундука.

– Это алмазы, – сказал д'Обремон, – двадцать лет я производил их с помощью тайны.

Я вскрикнул и упал на колени. Из сундука хлынул столб блеска, подобного снопу лунных лучей, но ярче и пламеннее неизмеримо. Полсундука было залито разноцветным ослепительным сверканием. Казалось, рука неведомого гиганта, зажав в горсти всю бесчисленность звезд, бросила их в этот сумасшедше-волшебный ящик. Теперь я не мог считать д'Обремона жалким помешанным. Восторг мучительной жадности овладел мною, и я, содрогаюсь, захлебываясь от волнения, уже знал, что эта ночь будет страшной.

– Встань, Франсуа, – сказал д'Обремон. – Как мало еще этого моего блеска! Нужно втрое больше, – слышишь, не менее, чем втрое более сего количества, – дабы заветная моя мечта исполнилась. Жан, которого ты видел не раз привозящим мне хлеб, знает тайну и свято хранит ее. Он из далекой лесной деревни. Наступит день, и вот что я сделаю. Я покрою Францию великолепными дворцами. Шелк, атлас, парча, тканое золото и нежные кружева будут одеждой всех. Через реки я перекину серебряные мосты и мраморные белые башни поставлю на высоких горах, – жилищем строгих и мудрых. Болота я превращу в сады, какие снятся лишь развлюбленным ангелам. Дивные статуи наполнят леса совершенством чудесных линий. Придорожные камни будут сверкать алмазами, и мир заслушается музыкой нечеловеческой красоты. И любовь, Франсуа, любовь, крылья которой покрыты жестокой грязью, воскреснет навеки среди кликов и пенья труб – такой, какую знает лишь сердце в часы молчания.

Он замолчал. Свеча тряслась в его старой руке, а взгляд был отрезан от всего незримой стеной. Всегда бледное, еще бледнее стало его лицо. Простояв неподвижно несколько времени, он глубоко вздохнул, запер сундук и, взяв меня пальцами за подбородок, сказал:

– Ложись спать. Завтра мы поговорим еще об этом. Теперь же я чувствую, что устал, и за-

сну сам.

V

Он сказал: «спи». Но только сон смерти мог бы заставить меня забыться.

Я лежал, вздрагивая, как в лихорадке, с открытыми глазами, с головой, набитой алмазами, и ждал момента, когда д'Обремон заснет. Ни слова я не сказал себе о том, что и как сделается. От меня к старику нужно было пройти пять-шесть шагов; хилая его шея в моих сильных руках должна была пискнуть и замереть, подобно котенку, раздавленному бревном. Я чувствовал, как горят ладони и кровь бьет в виски; я захлебывался решимостью, и стоило большого труда дожждаться, пока д'Обремон, перестав ворочаться, начал коротко всхрапывать. Убить его бодрствующего мешал мне страх сверхъестественных сил, могущих быть призванными чародеем на помощь. Заслышав храп, я стал осторожно, понемногу сбрасывать с себя одеяло. Затем так же осторожно поднялся и, стоя на коленях, с пересохшим от затаенного дыхания горлом, прислушался.

В окно светила луна.

Вдруг, поставив волосы мои дыбом, сброшенное одеяло выпучилось горбом и завозилось, и кот выбрался из-под него, фыркая и глухо мурча. Узко, страшно блеснули его зрачки; он потянулся, подошел ко мне и стал тереться скользкой сухой головой о колено. Едва я удержался от крика, но, и опомнившись, слышал еще не одну минуту, как эхо перепуганного сердца колотится во всех углах и щелях проклятой хижины. Почти не было у меня сомнений в том, что старик тотчас проснется. Однако я успел отдышаться и оттащить кота в сторону, а д'Обремон продолжал лежать неподвижно в своем углу, откуда виден был при тусклом свете луны его острый над белыми усами нос, а впадины спящих глаз, покрытые тенью, казалось, подсматривали за моими движениями.

Я встал и с холодным затылком, вытянув, как слепой, руки, подошел на цыпочках к старику. Пол скрипнул два раза, и каждый раз мучительно хотелось мне провалиться сквозь землю. Наконец, мои пальцы остановились над обнаженным, сухим горлом, и я быстро клещами свел их, сжав горячее тело таким усилием, что заметался, как под непосильной тяжестью. Д'Обремона словно подбросило; весь выгнувшись, разом открыв с ужасным пониманием во взгляде белые, широко сверкающие глаза, глядел он на меня в упор, цепляясь до боли неожиданно сильными пальцами за мои руки. Удвоив усилия, я потряс жертву, – и она стихла. Еще я не отошел от постели, как, дико заверещав, кот вцепился в мое лицо, иступленно кусая и царапая где попало. Безумно крича от боли и ужаса, я оторвал проклятого оборотня, сломал ему спину и придушил босыми ногами, но пока он змеей бился в моих руках – и руки, и лицо, и грудь залились кровью. Его когти, даже у сдохшего, остались выпущенными. Покончив со всем этим, я присел на пол у сбитой, бешено развороченной стариковской постели – и был так слаб, что ребенок мог бы связать меня, не ожидая сопротивления.

VI

Утром я закопал старика и закопал все алмазы, кроме того, что мог удобно нести с собой. Я взял самые крупные блестящие камни, счетом двести пятьдесят штук, и зашил их в свой пояс. Умывшись, перевязав руки и расцарапанное лицо, я наскоро сколотил плот, вырубил правешный шест и поплыл вниз по реке, мечтая о веселой разгульной жизни, цвет удовольствий которой обещал шумный Париж.

Прошло не более месяца, как после многих блужданий и приключений я, побрякивая в кармане пятью назначенными в продажу алмазами, стучал в дверь Фонфреда, мастера золотых дел, жившего на улице Сент-Ануа; к этому ювелиру направил меня за три небольших камня и тысячу клятв, что больше дать не могу, – кривой маленький слуга гостиницы «Золотая шпора».

Наступил вечер, и на улице было тихо, почти безлюдно. Вверху двери имелось небольшое четырехугольное отверстие, забранное решеткой, сквозь которое подозрительный Фонфред рас-

сматривал посетителей. Едва успел я, сгорая от нетерпения, постучать второй раз, как внутри дома раздались шаги и в окошечке мелькнул острый худой нос, – нос, неприятно напомнивший мне нос д'Обремона. Затем, странно блеснув, круглый, немигающий глаз остался среди решетки. Он не мигал, не двигался, не изменял направления взгляда, и взгляд его был безжизненно-ясен, как блеск стекла. Пересилив волнение, я вскричал:

– Кто за дверью?! Открой! Я хочу говорить с Фонфредом.

Скрипнув, прозвенел ключ, и я увидел мертвого д'Обремона. Одну руку он, улыбаясь, протягивал мне, а другой старался отцепить полу халата: какой-то гвоздь задержал ее. Дико крича, затрясся я и обомлел, корчась от ужаса; гремющий туман окружил меня, земля проваливалась, весь я стонал и плакал, как мученик на дыбе... Не помню, как я решился открыть глаза, но открыв их, увидел, что не лесной призрак, а тучный человек в богатой одежде держит меня за плечи, встряхивая и приговаривая:

– Кто ты? И что с тобой?

Я, выпучив глаза, смотрел на него, еле переводя дыхание; затем, немного опомнившись, сослался на усталость, на лихорадку и, поговорив в этом роде довольно долго, дабы отвести подозрение, сказал, что имею продать несколько бриллиантов по поручению одного лица, назвать которое не могу.

– Хорошо, – сказал Фонфред, – пойдем посмотрим товар. Должен тебе сказать, что я несколько не любопытен.

Успокоенный таким заявлением, я прошел с ним в его обширную мастерскую и там, вынув алмазы, бросил их на стол, ожидая, что мастер Фонфред подскочит от изумления.

Фонфред, прищурясь, весьма спокойно сгреб к себе камни и принялся исследовать их, временами поднимая на меня замкнутый, испытующий взгляд. Я сидел, как на иголках. Больше всего мучило меня незнание истинной цены драгоценностей; поэтому, чтобы не вышло что-нибудь, решил я заломить как можно больше. Вдруг Фонфред покраснел, и я объяснил это волнением жадности. Он сказал:

– Милый друг, алмазы эти ты продаешь, разумеется. Без компаньона я не могу решить, какая сумма прилична их блеску и редкости. Подожди меня здесь; наше совещание продлится недолго.

Он вышел. Блаженное чувство наполняло меня – предвкушение радостного, пышного богатства. Дверь грозно и стремительно распахнулась; стража, гремя оружием, наполнила комнату, и я вскочил, как пораженный стрелой. Впереди всех стоял Фонфред, указывая на меня жестокой рукой:

– Вот мошенник, ребята! Он пытался продать мне, под видом алмазов, простое стекло. Отведите его в тюрьму.

– Стекло, негодяй?! – завопил я, бросаясь к предателю. – Погодите, он хочет меня ограбить!

– Смешно грабить нищего пройдоху, как ты, – возразил Фонфред. – Твои камни – стекло. Один из них я оставляю, как доказательство, а остальные... – и он, смеясь, бросил в окно гибельные мои алмазы. – Впрочем, у тебя, верно, найдется еще достаточно гнусных подделок...

Все это я писал и дописывал в тюрьме. Утром меня повесят. Тюрьма – та самая, откуда я изловчился скрыться, разогнув поленом решетку. Сторожа узнали меня, и я вынес побои, едва не отправившие злосчастливого Франсуа на тот свет.

В часы, когда мрак, голод, бешенство и тоска изливались рыданиями, когда чувства и мысли сливались в беззвучный вой, – передо мной вставал призрак задушенного. Как ужасно его кроткое, безумное, худое лицо! Две черные руки впиваются в его шею, а он пытается оторвать их и шепчет. Когда он, наконец, скрывается, растаяв в таинственной бездне загробных ужасов, я все еще слышу:

– Принеси мне цветов, Франсуа. Принеси ромашки, дающей спокойствие и веселье. И пестрых тюльпанов, обостряющих слух. И медвяниц, прогоняющих ночное томление. Не забудь ландышей и фиалок, дающих нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше...

Старик – ты делал стекло, в наивной и безумной мечте представляя, что помощью волшебства создашь несметное состояние! О, хилый дурак, жалкий безумец, одевающий Францию в бархат, кружева и парчу, – мне нужны алмазы! Ты стар был и полумертв, а я силен, я много хочу съесть и выпить, я могу бегать, прыгать, любить – все могу, а ты – ничего.

Он верил, что сундук полон алмазов. Будь проклят!

А, Монфокон, – я вижу тебя! Вот твоя виселица, вот петля. Здравствуй и прощай, темный палач!

Мрак

I

Я никогда не находил удовольствия в так называемых «светлых явлениях», отчасти по скучнейшей их одинаковости, законченности и шаблонности, отчасти по причинам необъяснимого происхождения, лежавшим, надо полагать, в основе моей души со дня рождения. Грубое, топорное зло тоже отталкивало меня, особенно если оно преследовало какую-либо практическую, материальную цель: деньги, наслаждения, вообще – корысть. В жизни более всего нравилось мне зло обдуманное, бесцельное зло для зла, для спорта, для удовлетворения преступных инстинктов.

Происходя из богатой, образованной и почтенной семьи, я, в силу своего положения, должен был вести обычную жизнь людей нашего круга: посещать балы, концерты, вечера, модные лекции, театры и выставки. Обстановка такого времяпрепровождения мало располагала к искренности и откровенности, и мне нельзя было ни с кем поговорить о себе, большинство, если не все мои знакомые, были порядочными лицемерами и, вероятно, прозвали бы меня чудовищем, посвяти я их в тайны своих мрачных наклонностей. Я жил одиноко в мире жестоких грез.

Определить, объяснить, как, с какого именно времени появилось, выросло и окрепло во мне желание совершить убийство – я не мог бы, даже размышляя годами. Вид живого человека, кто бы он ни был, начал возбуждать во мне тяжкую, глухую тоску, потребность прекратить эти независящие от меня движения рук, ног, спины, шеи, эти звуки чужого голоса, дыхания, эти явления чужой жизни, тревожившие и угнетавшие мое больное внимание. Вид трупа не менее угнетал меня, но то было, кажется, ревнивое чувство, ревность к смерти, опередившей меня в данном случае.

Я опускаю подробности борьбы с собой в эти жуткие месяцы, – скажу лишь, что потребность убить стала неодолимой, я должен был уничтожить человеческое существо или всю жизнь ужасаться этим настойчивым, маниакальным стремлением. Решение созрело внезапно, как бы во сне; я вздохнул полной грудью и стал обдумывать преступление.

II

Не очень смешно это: обдумывать убийство, не зная еще кого убить, где и каким образом. Я три дня подыскивал мысленно подходящую жертву. Многие из знакомых моих не годились для этой цели, все это был народ чванный, сильный, здоровый, удачливый в жизни и в делах, словом, не принадлежащий к типу людей, погибающих тайной, насильственной смертью; в наружности их не было ничего рокового, а этого-то я и искал, ради не цели, а логичности преступления. Наконец я остановился на Рифте.

Рифт был молодой человек, болезненный, склонный к предчувствиям и меланхолии. Собою представлял он не разочарованного, а тот человеческий пустоцвет, с каким склонны возиться истеричные дамы, утверждая «избранность натуры» там, где душа просто зевает от скуки и бесталанности.

Рифт любил повторять, что жизнь его трагична и что он предчувствует близкий конец. Правда, трагического в его жизни было лишь множество долгов, но он так уверил себя в горест-

ности своего существования, что разговаривал не иначе, как вздыхая и морщась.

Лицо аскета, глаза больной овцы и волосы Рубинштейна – вот его грубый портрет.

Он любил охоту, я тоже (по ужасным причинам, уже рассказанным), и мы в теплый осенний день отправились двое в горные леса Лилианы, моей родины.

К закату солнца достигли мы весьма мрачной и удивительно дикой долины, в которой я никогда не был. Я спрашивал себя: не влияние ли неких неведомых сил, что мы остановились на ночлег именно в такой местности? Ее вид наполнял душу угрюмостью, вызывая скорбные и зловещие мысли, необъяснимый трепет почувствовал я, рассматривая пейзаж. Как нельзя более был создан он для убийства или другого черного дела.

Плохая репутация мельниц, лесных постоялых дворов и каменоломен, быть может, складывалась под влиянием обстановки, толкающей к преступлению. Эта долина была ровным, каменистым скатом к обрыву пропасти. Мох, какого-то неприятно желтовато-белого цвета, покрывавший боковые холмы, и кусты терновника составляли всю растительность долины, придавая ей как бы прокаженный, проклятый вид, однотонный и отвратительный.

Вялые изгибы холмов и тучи, обложившие небо, и мертвенный последний свет запада, в соединении с огромной, дикой пустотой, с молчанием и полной уединенностью – веяли отчаянием. Именно отчаяние души, увидевшей себя преступно-свободной, выражалось этой дьявольской местностью. Я заглянул в пропасть: на глубине – высоте колокольни – стоял непроницаемый слой белого пара, скрывавшего бездну. Из пропасти несло холодом.

– Неужели мы будем ночевать здесь? – сказал Рифт. – Не очень это веселое место место не для нервных людей, – прибавил он неохотно, как бы боясь действия слов.

– Какая разница, – возразил я, – между своей спальней и таким ночлегом? Я не вижу никакой разницы.

– Вы шутите, – сказал он.

– Так же умирают в постели, как и в пустыне, – сказал я, пугаясь сказанного, смысл которого был известен мне и чужд Рифту. Он вздрогнул.

– Что это с вами? – спросил Рифт. – Ваша речь похожа на бред... вы дрожите... вы больны?

Тут он сделал некий необыкновенно жизненный, характерный для него жест: слегка стукнул ногой о ногу, как бы шаркнув. Неудержимое желание убить его поднялось во мне, но я ждал, ждал, когда мной овладеет ужас неизбежного и передастся Рифту и когда с ужасом, с тоской и криком я нападу на него инстинктивно, как кошка бросается на мышь.

Привязав лошадей к кустам, мы нарубили сколько могли терновника и зажгли костер. Я помню, что мы закусывали, говорили о городских событиях и уснули, помню также, что перед тем, как уснуть, я странным образом перестал думать об убийстве и, удивляясь этому, отложил дело.

Я спал очень крепко. Я проснулся (взглянув на часы) в середине дня. Еще лежа, я подумал, что Рифт – вчера ошибся, говоря о кабанах по ту сторону гор, и захотел сказать ему, что там нет кабанов, но, осмотревшись, увидел с безграничным удивлением, что Рифт исчез. Не было ни его, ни его ружья, ни одеяла, ни лошади. Я был один.

Ничего не понимая, я закричал, призывая Рифта, и не получил отклика. Я выстрелил несколько раз – и безрезультатно. Теряясь в предположениях, в беспокойстве о пропавшем приятеле, я объездил несколько верст в округности и не заметил даже следов копыт.

– Я мог пропустить следы, – сказал я, останавливаясь на краю пропасти с некоторым сомнением, с некоторым уклоном мысли в сторону невозможного. – Я торопился... наверное, Рифт пошутил со мной и он где-нибудь здесь поблизости. Но где?

Я не мог также не видеть, что нахожусь в очень бодром, здоровом и ясном состоянии духа. Я как бы вышел из укрепляющей ванны. Я выспался. Мои планы убийства, мои зловещие, повседневные замыслы казались теперь, хотя я вспоминал это с лукавой и рассеянной леностью, очень смешным капризом, недостойным пожатия плечами, даже воспоминания. Тем более я хотел отыскать Рифта. Я хотел воочию увидеть то, чего не сделал, в живом образе человека. Я знал теперь, что никогда не мог стать убийцей, я, джентльмен с головы до ног, сливки цивилизации,

человек с лицом мыслителя и привычками сноба!

Как сказал, я стоял, будучи верхом, на краю пропасти, смотря в нее с тем недоумением, с каким потерявший что-либо человек беспомощно уставляется взглядом на любую вещь, желая сосредоточиться для понуждения памяти. Нервность моей лошади удивила меня. Конь беспокойно переступал с ноги на ногу, прядал ушами и все время находился в состоянии сдавленного уздой кипения, его ноздри широко раздувались, и вот он оглушительно, потрясающе заржал, высоко вскинув прекрасную черную голову.

Прошло несколько изнурительных мгновений ожидания, в течение которых неподвижно совершалось во мне бурное потрясение, я слышал вихри и голоса, стоны и оглушающие удары, и неумолимое придвижение ужаса почти лишило меня сознания. Тогда из глубины пропасти, из слоя белого холодного пара, опущенного в ее расселистый зев, достигло моих ушей слабое ответное ржание, и я узнал голос лошади Рифта.

Этого было достаточно, чтобы моя воскресшая в судорогах и в болях память вернула меня к тому глухому часу ночного молчания, когда я, действуя бессознательно, душил сонного Рифта, когда тащил к пропасти труп и, бросив его в пар, сделал то же с вещами жертвы, и когда, терзаясь невыносимым страхом преследования, подвел к обрыву бедную лошадь, выпустив в нее пулю, после чего она покатилась к мертвому своему хозяину.

Вероятно, после несмертельного выстрела тело ее застряло где-то в уклоне заросшего кустами обрыва пропасти, и теперь околевашее животное отвечало призывному наверху ржанию.

И теперь, когда освобожденная от мрака душа силилась понять, как могла она дышать этим мраком и всячески отталкивала его, я должен был завершить жизнь с неотступно звучащим из бездны ржанием и мертвым лицом Рифта перед глазами.

Огненная вода

I

К главному подъезду замка Пелегрин, описав решительный полукруг, прибыл автомобиль жемчужного цвета – ландо.

В левом его углу с подчеркнутой скромностью человека, добровольно ставящего себя в зависимое положение, сидела молодая женщина с серьезным, мелких черт, лицом и тем оттенком улыбки, какой свойствен сдержанной душе при интересном эксперименте.

Она была не одна. Господин с лысиной, выходящей из-под цилиндра к затылку половиной тарелки, с завитыми вверх, лирой, усами и тройным подбородком, уронив, как слезу, в руку монокль, оступися, и, подхваченный швейцаром, вновь вскинул стекло в глазную орбиту, чопорно оглядываясь.

Швейцар звонком вызвал лакея, презрительно поджав нижнюю губу, что, впрочем, относилось не к посетителю.

– Нижайшее почтение господину нотариусу, – сказал он почтительным, но несколько фамильярным тоном сообщника. – Все в порядке.

– В порядке, – повторил нотариус Эспер Ван-Тегиус. – Шутки долой. Пока не пришел кто-нибудь из этой банды, говорите, как дела.

– Во-первых, идут какие-то проделки и стоит кавардак. Во-вторых, совещание докторов окончилось ничем. Я подслушивал у дверей с негром Амброзио. Смысл решений такой, что «нет никаких оснований».

– А... Это печально, – сказал Ван-Тегиус. – Профессор Дюфорс еще меня не известил обо всем этом. – Удар! Последнее средство... – Он обернулся и кивнул даме в автомобиле, махнувшей ему ответно концом вуали. – Ну, что еще? Настроение? Факты?

В далях заднего плана раскатисто заскакало эхо ружейного выстрела, сопровождаемого резким криком.

– Факты? – сказал, вздрогнув, швейцар, и его гладстоновское лицо передернулось, как ки-

сель. – Вот и факты. Утром он убил восемь павлинов, это девятый.

– Но что же...

– Тс-с...

Где-то вверху лестницы устался в ухо нотариуса пронзительный свисток, ему ответил второй, и по лестнице, припрыгивая и катясь ладонью по гладким мраморным перилам, спустился бритый человек с лицом тигра; его кожаная куртка и полосатая рубаха были расстегнуты; широкие штаны болтались вокруг огромных ботов с подошвой в три пальца. Копна полуседых, черных волос была стянута малинового цвета платком. Дым шел одновременно из трубки и рта, так что человек спустился как бы на облаке.

Невольно Ван-Тегиус увидел за его спиной призрак подобострастного маркиза в шелковых чулках и красной ливрее, но лакеев этого типа не найти было более в Пелегрине.

– Что здесь происходит? – спросил страшный слуга.

– Нет ни abordaжа, ни драки дубовыми скамейками, – с ненавистью ответил швейцар, – просто посетитель, ничего более. Да. Может быть, вы взберетесь по вантам доложить о его прибытии? Нотариус Ван-Тегиус.

Страшилище почесало затылок.

– Я хочу видеть по делу владельца, Эвереста Монкальма, – заявил нотариус, намеренно избегая титула.

– Пойду скажу, – задумчиво ответил матрос, – не знаю, что будет.

Он исчез, шагая по три ступеньки; тем временем швейцар сообщил еще кое-что интересное: уволено тридцать слуг, взамен их Монкальм выписал откуда-то человек двадцать матросов, которые и делают, что хотят. Этикет уничтожен; исчезло малейшее подобие знатности и величия. Недавно едва не затравили собаками директора кинематографической фирмы, приехавшего со свитой и актерами просить разрешения снять в древнем гнезде маленькую комедию. Жена Монкальма, эта «темная особа низкого происхождения», как выразился швейцар, вчера самостоятельно руководила на кухне приготовлением кушанья, изобретенного ее мужем. Сам не терпит никаких возражений и указаний. Звонки заменены свистками и трубными сигналами. Все это хлынуло дождем безобразия за три недели, как только изгнанный пятнадцать лет назад за многочисленные художества Эверест по непонятному капризу его дяди стал полным и единственным наследником.

– Гм... гм... – сказал Ван-Тегиус, затем вышел к автомобилю, пошептался с дамой и вернулся в момент, когда ему сверху махнули рукой идти.

II

Он все-таки ожидал еще по старой привычке, так как не раз бывал здесь, что с блаженным и торжественным чувством погрузится в бездны темной стенной резьбы, простора внушительных и величественных предметов с гулким эхом шагов. Отчасти это и было так с той поразительной и всему придавшей иной вид разницей, что во всех помещениях стоял яркий, дневной свет. С удалением темных цветных стекол и заменой их прозрачными залы, казалось, сверкали вихрем желтых и голубых перьев. Чинно выступая вслед развалистой походке морского бродяги, Ван-Тегиус, несколько струсив, прошел сквозь строй коек, составленных пирамидой ружей, и матросов, игравших в карты, прихлебывая вино, – это была охрана Монкальма. Вдали, на коротком просвете анфилады, промчалась горничная с паническим лицом. В одной гостиной стояла огромная палатка, внутри ее виднелась походная мебелировка пустыни; пальмы в кадках, сдвинутые вокруг, являли вид комнатных тропиков.

Следующая комната, путь к которой шел по небольшой лестнице, показала наконец Ван-Тегиусу более кроткое зрелище. Здесь, полулежа на ковре, подпирая маленькой смуглой рукой голову, расположилась пышно-непричесанная, но в бальном платье, шлейф которого был занят двумя книгами, женщина или, вернее, девочка, ставшая женщиной на семнадцатом году жизни. Все шкафы здесь были открыты, и их музейное содержание – фарфоровые фигурки зверей и людей – образовало перед лицом странной особы маленькую цветную толпу, которую она заботли-

во группировала в какие-то сцены, по-видимому, придавая этому большое значение. Увидев Ван-Тегиуса, она сердито смутилась и грациозно приподнялась, затем встала, сложив руки назад.

– Это пленник? – сказала она серьезно. – Что он сделал?

– Ничего, идет себе, – ответил матрос, – только это не пленник.

Нервно смеясь, угадывая, что видит жену Монкальма, нотариус отвесил театральный поклон и хотел назвать себя, но женщина, покраснев, махнула рукой.

– Идите, идите, я потом приду, – заявила она и отвернулась, очаровательно заалев.

Путь среди этих чудес был пыткой. Наконец она кончилась. Ван-Тегиус, расстроенный, но крепко решившийся, вошел в колоссальную библиотеку, где у раскрытого окна с винтовкой в руках стоял сам Эверест Монкальм, нелюбимый и изгнанный сын Монкальма, одного из трех великих дюжин страны.

III

Он был в турецком костюме, чалме и низких сафьяновых сапогах. Его широкое нервное лицо с прищуренным, как на солнце, взглядом отражало весь его беспокойный, неукротимый характер; сложенный красиво и сильно, он двигался, как порыв ветра, говорил громко и медленно.

– Ван-Тегиус, – сказал он, вывихивая рукопожатием плечо нотариуса. – Надоели павлины. Их крик ужасен. Что скажете?

Они сели, причем Монкальм уронил свою винтовку, но не поднял; стук, заставив нотариуса вздрогнуть, помог ему начать в темп встречи, – и сразу:

– Эверест, – сказал он, – я знал вас ребенком. Не будем говорить о печальных обстоятельствах...

– Что же печального? – перебил Монкальм. – Обыкновенный блудный сын. Деликатное изгнание с пенсией. Нежелание обручиться с девой, безрадостной, но богатой...

– Молодость Генриха Четвертого, – разрешил себе обобщить Ван-Тегиус, – побеги на рыболовных судах...

– Я откровенно скажу, – снова перебил Монкальм, – пятнадцать лет сделали меня таким, каков я теперь. Со мной Арита. Это моя жена. Я нашел ее в темном углу с пыльным золотым светом. Больше мне ничего не надо. Кстати, – сказал он таинственно, – заметили палатку?

– О, да.

– И военный постой?

– Хм... конечно.

– Ну, так это она. Ей хочется, чтобы все было «как на корабле». Вахта. И пустыня, где она не бывала; поэтому соорудили палатку. Не стоит мешать ей.

– Я удостоился, – с улыбкой сказал Ван-Тегиус, – удостоился вопроса, – «не пленник ли я?»

– Ну да, – ответил, быстро подумав, Эверест. – Это замок. У нее все спуталось в голове. Она, может быть, ждет драконов, – почему я знаю? Вы знаете, – просто сообщил он, – что здесь все смеются над нами. Однажды меня не было. Ей подали обед в парадном порядке, но с издевательством. От поклонов, услуг и титулования она не могла есть; она сидела и плакала, так как растерялась. Узнав это, я выгнал всех хамов и заменил их старыми своими знакомыми. Вас привел Билль. Он был, правда, пиратом, но мимо спальни проходит на цыпочках.

– К сожалению, – сказал нотариус, – ваш образ жизни, бесцеремонный уход с праздника у сестры вашей, герцогини Эльтрат, в сопровождении забулдыг, ваше нежелание посетить влиятельных лиц и многое другое – отвратило от вас много дружественных душ.

– О, – сказал Монкальм и наивно прибавил, – правда. Невероятно скучны эти кисляи. Я делаю, что хочу. Хотите, мы вам сейчас споем хором «Песню о Бобидоне, морском еже»?

– Нет, – вздохнул Ван-Тегиус. – Я уже стар. Монкальм, я приехал с кузиной вашей, Дорой дель-Орнадо. Она в автомобиле, так как боится войти.

Взгляд, подобный пощечине, и срыв Монкальма в хлопнувшую, как стрела, дверь был ответом. Ван-Тегиус пробыл один около десяти минут, пока Эверест вернулся в сопровождении

легко и мило выступающей женщины, видимо, взволнованной тем, что предстояло сказать.

– Меня не надо бояться, – сказал Монкальм, двигая ударом ноги кресло для посетительницы.

Затем нотариус приступил к делу и рассказал, что, умирая, дядя Эвереста ввиду невозможности быстро переделать завещание, сделанное в пользу племянника, – призвал его, Ван-Тегиуса, и ее, Дору дель-Орнадо, и заставил поклясться, что устное его пожелание будет передано племяннику.

IV

Оказалось, что игра вышла наверняка. Молодая женщина успела только сказать:

– Дорогой Эверест, мое положение тяжело. Я не посягаю на все и не имею права, но я прошу вас сделать, что можно.

В этот момент вошла Арита, робко потянув дверь. Эверест удержал ее рукой за плечо. Она прошла вперед, упираясь головой в подмышку гиганта, с застенчивым и прелестным лицом, полным неловкости.

– Душа моя, – сказал Монкальм, подмигивая нотариусу и кузине, – мы завтра уезжаем с тобой в Гедарк, в новое путешествие.

– При полном ветре, – сказала она. – И вы с нами?

Смех, короткое представление, два-три ненужных слова, – и посетители удалились.

– Ваш расчет верен, – сказала нотариусу Дора с чувством, смотря на его деловитое, улыбающееся лицо, когда автомобиль тронулся. – Нас даже не провожали, однако.

– Как? Разве вы не видели? Впрочем, я понимаю ваше волнение. За нами шел Билль, этот мрак в образе человека.

– Итак, вы...

Она обернулась на Пелегрин с выражением охотника, повалившего тигра.

– Так просто, – сказал Ван-Тегиус. – Ох, уж эти романтики...

Рождение грома

I

В Страсбургском гарнизоне был молодой инженерный офицер, по имени Руже де Лиль. Он родился в Лон-ле-Сонье, среди гор Юры, страны мечтаний и энергии, каковы всегда бывают гористые места. Этот молодой офицер любил войну как солдат, революцию – как мыслитель; стихами и музыкой он пленял офицеров своего гарнизона. Благодаря двойному таланту – музыкальному и поэтическому – молодого офицера все охотно принимали у себя, – он посещал подружески дом барона Дитриха, благородного эльзасца конституционной партии, друга Лафайэта и Страсбургского мэра.

Жена барона Дитриха, ее молодые приятельницы разделяли энтузиазм к патриотизму и к революции, в особенности проявлявшийся на границах, – подобно тому, как корчи одержимого болезнью бывают более чувствительны в конечностях. Эти женщины любили молодого офицера, вдохновляли его сердце, поэзию и музыку. Они первые выполняли мысли, только что зародившиеся, были доверенными первого лепета его гения.

II

Это было зимою 1792 года. В Страсбурге господствовал голод. Дом Дитриха, богатый в начале революции, но истощенный пожертвованиями, которые вынуждались невзгодами того времени, обеднел. Скромный стол в этом семействе был открыт для Руже де Лилия. Молодой человек проводил там вечер и утро, как сын или брат семейства.

Однажды, когда на столе были солдатский хлеб и несколько ломтей ветчины, Дитрих, взглянув на Лиля своим печальным ясным взором, сказал ему: «Изобилие покидает наш стол, но что из этого, если нет недостатка в энтузиазме для наших гражданских празднеств и в мужестве для сердец наших солдат! В моем погребе осталась еще одна, последняя бутылка рейнвейна. Пусть ее принесут, и мы разопьем ее за свободу и за отечество! В Страсбурге должна происходить вскоре патриотическая церемония; надобно, чтобы в последних каплях де Лиль почерпнул один из тех гимнов, которые вносят в сердце народа восторг, породивший их самих».

Молодые женщины одобрили эти слова, принесли вино, наполнили стаканы Дитриха и молодого офицера до тех пор, пока вино не было осушено. Было уже поздно. Стояла холодная ночь. Де Лиль принадлежал к числу мечтателей; его сердце было взволновано, голова разгорячена. Холод охватил молодого человека. Он пошел колеблющимся шагом в свою комнату и стал медленно искать вдохновения то в трепете своей души, души гражданина, то на клавишах своего артистического инструмента, слагая то песню, то слова, и складывал их в своих мыслях таким образом, что сам не мог различить, которое зародилось прежде, – ноты или стихи, и наконец ему сделалось невозможно отделить поэзию от музыки и чувство от выражения. Он пел, но не писал ничего.

III

Обремененный этим высоким вдохновением, де Лиль заснул, положив голову на свой инструмент, и проснулся только днем. Ночные песни с трудом припомнились ему, как бы во сне. Он их записал, положил на ноты и побежал к Дитриху. Последнего он нашел в саду, копающего собственными руками зимний латук. Жена мэра-патриота еще не вставала. Дитрих разбудил ее; он созвал несколько друзей, подобно себе страстных любителей музыки, способных выполнить композиции де Лилия. Одна из молодых девушек аккомпанировала. Ружье пел. При первой строфе лица присутствующих побледнели, при второй потекли слезы, при последних – раздался бешеный энтузиазм. Дитрих, жена его, молодой офицер со слезами бросились друг другу в объятия. Гимн отечества был найден, но – увы – ему предстояло также сделаться гимном ужаса. Немного месяцев спустя несчастный Дитрих пошел на эшафот при этих же звуках, зародившихся у его очага, на сердце его друга, в голосе его жены.

Новая песня, исполненная через несколько дней в Страсбурге, перелетела из города в город по всем народным оркестрам. Марсель решил петь ее при начале и при конце заседаний своих клубов. Марсельцы распространили ее по всей Франции, распевая по дороге. Отсюда самая песня получила имя «Марсельезы». Старая мать де Лилия, религиозная женщина и роялистка, испуганная подобным отзвуком голоса своего сына, писала ему: «Какой это революционный гимн распевает орда разбойников, проходящих по Франции, и соединяет с ним наше имя». Сам де Лиль, изгнанный в качестве федералиста, с трепетом слышал свой гимн как угрозу смерти во время своего бегства на лощины Юры. «Как называется этот гимн?» – спросил он у своего проводника. «Марсельеза», – ответил ему крестьянин.

Вот каким образом он узнал название своего произведения. Его преследовал тот энтузиазм, который, сам же он рассеял за собою. Ружье де Лиль избежал смертной казни. Оружие обратилось против той самой руки, которая его сковала.

Шедевр

В 2222 году я, по совету помощника заведующего XV-М районом эстетических эмоций, отправился на выставку общества Дерби-Натуралистов. Мало знакомый с социалистическим искусством, я рассчитывал умопомрачиться от восторга и не ошибся в расчете.

У входа продавали сайки, семечки, резиновые набойки и прочее такое полезное. Над входом виднелась надпись пробковой инкрустацией:

«Печной горшок (да-с!) мне дороже:

Я пищу в нем себе варю».

Первый зал представлял пейзажистов. Вот картина, – что она? Посмотрим ближе. Подпись гласит: «Вид на Петрушку» с бол. бук.

Мы увидели восхитительно написанную грядку, засеянную петрушкой «Крик сердца». Вторая картина изображала трудолюбивого муравья под тенью гигантской брюквы.

И т. д. И т. д. Нам нечего распространяться о колорите, свете и решительности контура. Последний превосходил все мыслимое. В некоторых местах черта, проведенная шпандырем, выглядела блистательно.

Во втором зале прелестные миниатюры натюр-морт. Здесь – чайки, солдатские пуговицы, сверла, гвоздики большие и малые и болты от домкратов. Мы заплакали. Наш восторг переходил в истерику. Мы встали на одной ноге посреди залы и запели торжественно:

Вонзите штопор в упругость пробки!
Пуль Ван-Дейку! Где взять полкнопки?

Тогда нас почтительно, под ручки перетащили к жанру. А тут?! Я вижу огромную машину в ходу. Из нее рвется электричество. Страх и трепет! Что же она делает? О – только всего, – таблетки от расстройства желудка. Далее: текстильное производство в четырнадцатом столетии. N. В. фигура бургомистра тщательно замазана белой краской, и по ней надпись: «По сведениям наблюдательного комитета означенный бургомистр был женат на незаконной дочери австрийского короля».

Восхищенные всем виденным, мы приобрели картину, изображающую полировку дымовых труб, за 400 000 талонов на парную редиску, а автору ее поднесли хоругвь с изображением Гималайских гор, утыканых перочинными ножичками. Дома, поскоблив картину, мы определенно увидели под слоем отставшей краски старое полотно.

Расширив наши завоевания, мы нашли более, чем ожидали. Там, под грунтовкой, сверкнуло лицо молодой женщины с ниткой жемчуга в бронзовых волосах, – лицо, написанное Корреджио.

За это меня сегодня казнят – казнят радиоактивно и поносно – особенно за жемчуг.

Создание Аспера

I

В мрачной долине Энгры, близ каменоломен, судья Гаккер признался мне во многом необычайном.

– Друг мой, – заговорил Гаккер, – высшее назначение человека – творчество. Творчество, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны. Имя художника не может быть никому известно; более того, люди не должны подозревать, что явления, удивляющие их, не что иное, как произведение искусства.

Живопись, музыка, поэзия создают внутренний мир художественного воображения. Это почтенно, но менее интересно, чем мои произведения. Я делаю живых людей. С этим возни больше, чем с цветной фотографией. Тщательная отделка мелких частей, пригонка их, чистка, обдумывание умственных способностей созданного вновь субъекта, а также необходимость следить за тем, чтобы он поступал сообразно своему положению, – отнимают немало времени.

– Нет, нет, – продолжал он, заметив на моем лице недоверие и натянутость, – я говорю серьезно, и вы скоро это увидите. Как всякий художник, я честолюбив и желаю иметь последователей; поэтому, зная, что завтра окончу жизнь, решил доверить вам метод, посредством которого достиг известных результатов.

Земля скупо создает новые виды растений, животных и насекомых. Мне пришла мысль

внести в роскошное разнообразие природы еще более разнообразия путем создания новых животных форм. Открытие новой разновидности кокуйо⁴¹ или орхидеи увековечивает имя счастливого профессора, тем более мог гордиться я, если бы удалось мне, – не путем скрещивания, это путь природы, – а искусственно изменить видовые признаки отдельных особей с сохранением этих изменений в потомстве. Я нашел верный путь, столь странный, но бесконечно простой, что вы, если я посвящу вас в свое открытие, должны изумиться. Однако я молчу, чтобы не сделать бедных животных пасынками ученого мира, забавными униками: теперь же они – предмет благоговейного изучения, завоеватели славы своим исследователям.

Я создал плавающую улитку с новыми органами дыхания; шесть пород майских жуков, из коих одна особенно замечательна выделением благовонной жидкости; белого воробья; голубя-утконоса; хохлатого бекаса; красного лебедя и много других. Как вы заметили, я выбирал общеизвестные, легко встречаемые виды с целью наискорейшего их открытия учеными. Мои произведения вызвали фурор; автором считали природу, а я читал о плавниках новой улитки с улыбкой и нежностью к маленьким тварям, отцом которых был я. В это время, определяя границы возможного, я занялся деланием людей. Я придумал их три, выпустив в жизнь: «Даму под вуалью», известного вам «поэта Теклина» и разбойника «Аспера», относительно которого в стране не существует двух мнений: это – гроза округа.

Являлось бесцельной забавой производить обыкновенных людей, которых весьма достаточно. Мои должны были стать центром общего внимания и произвести сильное впечатление, совершенно так, как знаменитые произведения искусства; след, задуманный и проложенный мной, должен был глубоко врезаться в души людей.

Я начал с «Дамы под вуалью» как с опыта. Однажды к прокурору главного суда в Д. позвонила стройная молодая женщина; лицо ее скрывал черный вуаль. Она объясняла, что желает видеть прокурора для секретных разоблачений по сенсационному процессу Х., обвиненного в государственной измене. Слуга, ходивший с докладом, вернулся, но дама скрылась. В один и тот же час того дня, как обнаружилось, таинственная посетительница приходила с аналогичным заявлением к сенатору Г., министру юстиции, военному министру и инспектору полиции и везде скрывалась, не ожидая результатов доклада.

Предположения, возникшие в печати и обществе по поводу этого необъяснимого случая, доставили мне множество приятных часов. Уличные газеты кричали о мадам К., любовнице штабного генерала, заинтересованного в гибели подсудимого, другие, с пеной у рта, объявили даму хитрой выдумкой консерваторов, подкупленных министерской полицией, старавшейся прекратить скандал. Третьи, измышляя интригу государств иностранных, обвиняли в измене правительство и утверждали, что дама под вуалью – морганатическая супруга принца В., красавица, опасная для мужчин, какое бы высокое положение они ни занимали. Салонный шепот распространил клевету на женщин света и полусвета; в таинственной даме олицетворяли подкуп, разврат, интригу, происки партий, трусость и предательство. Наконец, общим голосом объявлена она была Марианной Чен, полубольной сестрой капитана Чена, женщиной, которой чудилось, что она знает всегда и везде правду.

Три года в четырех городах появлялась она, скрываясь от назначенных ею самой свиданий по разным, но всегда крупным делам, имеющим мировое значение. Никто не видел ее лица иначе, как на портрете, помещенном ею вместе с собственноручным письмом в «Парижском Глашатае». Вот этот портрет.

Рассказ Гаккера взволновал меня, я начал верить ему; было здесь нечто, похожее на эхо в овраге, когда повторенный звук указывает глубину обрыва; эхом человеческого могущества звучал рассказ Гаккера.

Он подал мне фотографию; удачнее выбрать лицо, выражающее тайну, было бы трудно: с полузакрытыми, прямо смотрящими глазами под высоким и гордым лбом белело оно твердым овалом, и сжатые губы, казалось, только что покинул отнятый от них палец.

– Марианна Чен – символ всего темного, что есть в каждом запутанном и грозном для

⁴¹ Светящийся жук.

множества людей деле.

– Сотворение поэта Теклина, переводчиком которого я состоял до его смерти, – более трудное дело. Как вы знаете, это писатель из народа, а художественные требования, предъявляемые самородкам, не превышают обычного, терпимого уровня; продуктивность их и демократические симпатии обеспечивают им весьма часто жирную популярность.

В редакциях стал появляться застенчивый деревенский гигант, предлагая приличные для необразованного человека стихи; на него обратили внимание, а через год он писал уже значительно лучше. Затем, после нескольких внушительных фельетонов и критических статей о себе Теклин исчез, изредка сообщая, что он в Индии, или Бухаре, или Австралии, с быстротой молнии перекачываясь из одного конца света в другой. Теклин продолжал писать строго-идейные в социальном смысле стихи; здоровая поэзия его удовлетворяла широкие слои общества, а слава росла. Я стал переводить его на всевозможные языки и, могу вас уверить, достиг тоже известности, как недурной переводчик.

Теклин умер недавно от желтой лихорадки в Палестро. Даже разбогатев, поэт обходился без прислуги, был вегетарианцем и любил физический труд.

– Вы шутите! – вскричал я. – Но ведь это немыслимо!

– Почему же? – Гаккер искренне удивился. – Разве я не могу сочинить плохие стихи?

Он замолчал.

II

– Это хорошее было произведение – Теклин, – сказал, выходя из задумчивости, Гаккер. – Я тщательно сработал его. Но перехожу к тому, кто мне интереснее всех, – к Асперу; не распространяясь о технике, я оставляю этот вопрос открытым. В настоящем примере вы увидите черновик, будни художника.

Аспер – тип идеализированного разбойника: романтик, гроза купцов, друг бедняков и платоническая любовь дам, ищущих героизм везде, где трещат выстрелы. Как это ни странно, но ожесточенно борясь с преступностью, общество вознесло над жуликами своеобразный ореол, давая одной рукой то, что отнимало другой. Потребность необычайного, – может быть, самая сильная после сна, голода и любви; писатели всех стран и народов увековечили в произведениях своих положительное отношение к знаменитым разбойникам. Картуш, Морган, Рокамболь, Фра-Диаволо, волжский Разин, – все они как бы не пахнут кровью, и мысль человека толпы неудержимо тянется к ним, как тянется, визжа от страха, щенок к медленно раскачивающейся голове удава. Это освежает нервы, и я создал легендарного Аспера. Порывшись в трущобах, где лица заросли волосами и пропиты голоса, я остановился на беглом, весьма опасном каторжнике. Не стоило мне больших трудов выгнать его за океан с помощью денег; он был хорошо известен полиции, его арест был мне невыгоден. Я воспользовался его именем «Аспер» – взял чужую мышеловку, но посадил в нее свою мышь. В нашем округе вооруженные грабежи – обычное явление, и я умело распорядился ими, но не всеми, а лишь такими, где преступники обходились без насилия и убийства. Создав Аспера, я создал ему и шайку, после каждого ограбления пострадавший получал коротенькое письменное уведомление: «Аспер благодарит». В то же время наиболее бедные из крестьян получали от меня деньги и таинственные записки: «От Аспера щедрого» или «Свой своему. Аспер». Иногда послания эти становились длиннее; напуганные фермеры читали, например, следующее: «Я скоро приду. За Аспера – помощник его, скрывающий имя».

Случалось, что на фермеров этих действительно нападали, но в случае поимки грабителей они, естественно, протестовали против принадлежности своей к шайке Аспера, и это еще больше удостоверяло прекрасную дисциплину неуловимого и, что признавали уже все, отважного бандита.

Дерзость и наглость Аспера обратили на себя особо пристальное внимание. Сам он, как говорили, появлялся весьма редко, и мнения относительно его наружности расходились. Воображение пострадавших помогало мне сильно. Изредка я оживлял впечатления; например, завидя

одинокое едущего по дороге крестьянина, – надевал маску и молча проходил мимо него; известная рисовка положением заставляла беднягу рассказывать всем о встрече не с кем иным, как с Аспером. Устроив близ железнодорожной станции потухший костер, я бросил около него на траву две полумаски, несколько пустых патронов и нож; это обсуждалось серьезно, как спугнутый ночлег бандита.

Благодетельства его становились все чаще и разнообразнее. Я посылал деньги бедным невестам, вдовам, умирающим с голоду рабочим, игрушки больным детям и т. п. Популярность Аспера укреплялась с каждым месяцем, полиция же выбивалась из сил, отыскивая злодея. Целые деревни подозревали друг друга в укрывательстве Аспера, но невозможно было уследить ходы и выходы этого замечательного человека. Однажды, зная, что поселку Гаррах по доносу фантазера угрожают надзор и обыск, я послал от имени Аспера письмо в газету «Заря»: Аспер удостоверял клятвенно, что Гаррах враждебен ему.

Около этого времени Аспер влюбился.

Молодая дама Р. поселилась недалеко от Зурбагана в вилле своей сестры. Во время лесной прогулки к ногам ее упал камень, завернутый в лист бумаги. Подняв упавшее, Р. с испугом и удивлением прочла следующие строки: «Власть моя велика, но ваша власть больше. Я тайно и давно люблю вас. Не беспокойтесь; отверженный и преследуемый – я, произнося ваше имя, становлюсь иным. Аспер». Дама поспешила домой. Семейный совет решил, что это глупая шутка кого-либо из соседей, и успокоил взволнованную красавицу. На утро под окном ее нашли целый сад роз; весь цветник, от клумб до подоконников, был завален гигантскими букетами, а в дереве стены торчал, удерживая записку, кинжал синей стали с рукояткой из перламутра. На записке стояло «От Аспера».

Р. немедленно уехала в другую провинцию, унося на спине взгляды знакомых дам, не лишённые зависти.

Неуловимость волнует больше, чем преступление. Несколько раз полиция устраивала засады в горных проходах, на берегах рек, в бродах, пещерах и везде, где только можно было предположить тайные лазейки Аспера. Но сверхъестественная неуловимость бандита, лишая полицию даже жалкого утешения в виде стычки или погони, понемногу охладила рвение администрации; вяло, без воодушевления, как хронически-больной, потерявший надежду на излечение, принимала она меры канцелярского свойства – отписку и переписку. Тогда, болея за Аспера, я послал донос с указанием места его постоянного пребывания, выстроив заранее в глухом лесу небольшой дом. По следу этому отправились конница и пехота.

Ранним утром, в то время как преследователи приближались к хижине Аспера, в зеленой чаще раздались выстрелы. Разбойники стреляли из-за кустов. То были патроны без пуль, укрепленные мною в различных местах леса и снабженные великолепно скрытыми электрическими проводами; конные полицейские, проехав по единственной в этом месте тропе, не подозревали, что копыта их лошадей давили зарытую доску, нажимавшую, в свою очередь, кнопку. Все это стоило мне больших трудов. Полицейские, бросившись на выстрелы, никого не нашли; разбойники скрылись. В очаге хижины тлели угли, остатки пищи лежали на оловянных тарелках, ножи и вилки, кувшины с вином – все говорило о спешном бегстве. В ящиках под кроватью, на стенах и в небольшом тайнике было обнаружено несколько париков, фальшивых бород, пистолетов и огнестрельных припасов; на полу валялись черепаховый веер, пояс и шелковый женский платок; это сложи вещами любовницы Аспера.

Игра тянулась шесть лет. В окрестностях поют много песен, сложенных молодежью в честь Аспера. Но Аспер, как я убедился, должен быть пойман. В последнее время полиция наводнила округ до такой степени, что разбои прекратились совсем. Уже год, как об Аспере ничего не слышно, и существование его многими оспаривается.

Я должен спасти его, т. е. убить. Завтра я это сделаю...

Гаккер растянул рукав сорочки и показал мне татуировку. Рисунок изображал букву «А», череп и летучую мышь.

– Я копировал с руки настоящего Аспера, – сказал Гаккер, – полиция примет рисунок к сведению.

– Я понял. Вы умрете?

– Да.

– Но ведь Жизнь стоит больше, чем Аспер; подумайте об этом, друг мой.

– У меня особое отношение к жизни; я считаю ее искусством: искусство требует жертв; к тому же смерть подобного рода привлекает меня. Умерев, я сольюсь с Аспером, зная, не в пример прочим неуверенным в значительности своих произведений авторам, что Аспер будет жить долго и послужит материалом другим творцам, создателям легенд о великодушных разбойниках. Теперь прощайте. И помолитесь за меня тому, кто может простить.

Он встал, мы пожали друг другу руки. Я знал, что эту ночь не усну, и шел медленно. Аспер, как разбойник, продолжал существовать для меня, несмотря на рассказ Гаккера. Я посмотрел в сторону гор и ясно по чувствовал, что бандит там; прячась, караулит он большую дорогу, взводя курки, и неодолимая уверенность в этом была сильнее рассудка.

«Около одиннадцати часов вечера у скалы Вула, где пропасть, убит легендарный Аспер. Остановив почтовую карету, разбойник, взводя курок штуцера, поскользнулся, упал; этим воспользовался почтальон и прострелил ему голову. Раненый Аспер бросился в кусты, к обрыву, но не удержался и полетел вниз, на острые камни, усеявшие дно четырехсотфутовой пропасти. Обезображенный труп был опознан по татуировке на левой руке и стилету, на лезвии которого стояло имя разбойника. Подробности в специальном выпуске».

Так прочел я в вечерней газете, кипы которой разносились охрипшими газетчиками. «Смерть Аспера!» – кричали они. Я положил эту газету в особый ящик редкостей и печальных воспоминаний. Каждый может видеть ее, если угодно.

Восстание

I

Два человека выдвинулись во время грозных этих событий – Ферфас и Президион.

В полночь на 30 декабря 1948 года гулкий набат одной из церквей предместья Черного

Месяца внезапно огласил город. Звонарь, упираясь ногами в дубовую трехаршинную доску, лупил по колоколу тяжеленнейшим языком. Разрываемый воздух мчался на улицы сплошным гулом.

Жители повыскакали из домов. Везде запирались ворота, патрули стреляли в воздух, обезумевшие извозчики мчались вскачь, женщины спешили укрыться. Черная толпа обливала углы, переливаясь с площадей в переулки и обратно силой мгновеннейших впечатлений.

Раздавались страшные вопли-крики, погасло электричество, заблестели факелы.

Выступали, распевая хором, медленные и грозные шествия. Все расступались перед ними. Через улицы словно ветром переносило стаи мальчишек.

Колокол продолжал бить по слуху и нервам.

В черных высоких кузницах толстые кузнецы, засучив рукава, ковали ножи и пики; звон стали и шум мехов, красный ад горнов и шипенье закалки веселили отчаянных тружеников.

Президион выехал на коне. Длинные седые волосы предводителя трепались по ветру из-под широкополой остроконечной шляпы; дырявый плащ развевался как знамя; изможденное лицо пылало неукротимым огнем.

Он был смешон, страшен и свят.

Попадали столбы, опрокинулись телеги и кареты, сгрудились мостовые, начался бой, пальба на всех перекрестках.

Звонарь звонил на разрыв сердца; наконец сердце разорвалось, и горбун, вскрикнув, упал.

II

Президион узнал, что успех восстания может обеспечить только гибель Ферфаса. Поэтому,

отдав тайным агентам приказ изловить мошенника, предводитель отдался течению бурных событий.

Сила Ферфаса (о чем знали далеко не все) заключалась в его аппетите. А главное – в его знаменитых словах, сказанных на многолюдном собрании месяц назад.

На трибуну, еще горячую после предыдущего оратора, поднялся, сопя, хмурый толстяк с багровым и беспечным лицом.

– Я – Ферфас, – воинственно заявил он. – Я – не люблю политики, – прибавил он, помолчав, и, еще помолчав, закончил: – Я пойду спать!

Поднялся рев. Образовалась партия Ферфаса. Ферфас же, скрывшись, варил в этот вечер тыквенную кашу с мадерой.

Итак, Президион принял меры против Ферфаса. Но тот?

Тот (заглянем к нему) вздрогнул, заслышав набат, но, оправившись, продолжал любимое занятие.

На полках перед ним расставлены были в строгом порядке банки и мешочки с припасами. Всякие крупы, мучки и соусы были тут; висели также жирная баранья нога, окорок отличной свинины, заяц, гроздь рябчиков и перепелов, а в углу в кадке с желтым маслом торчала новая березовая черпалка.

Ферфас варил на большой спиртовке рагу, подливая в него сложный, только что изобретенный соус с деликатной расчетливостью творца, опасаящегося испортить произведение.

Он всегда варил и ел что-нибудь. Население голодало, а Ферфас жарил и варил разные разности и все съедал сам.

Итак, он продолжал свое занятие. Две пули влетели к нему в окно; одна выбила соусник из его руки, другая просверлила живот и обезглавила портрет греческого генерала, висевший сзади Ферфаса.

– Вот штука! – сказал Ферфас и, осторожно захватив горящую спиртовку с кастрюлей, на цыпочках удалился в лифт. Там он прибавил еще соусу, прихлебнул и, нажав кнопку, взвился к чердаку, где сквозь слуховое окно проник к трубе.

Здесь, сидя весьма удобно, продолжал он помешивать и пробовать рагу, взглядывая изредка на побоище.

– Надо бы еще соли! – трагически пробормотал Ферфас.

Тем временем агент Президиона, определив по запаху испарений варева местонахождение Ферфаса, влез на крышу и выпалил из револьвера.

Свинец вышиб одну мысль из мозга мишени, но остальные крепко вертелись на своем месте.

Злобно оглядываясь, Ферфас прижал к животу спиртовку и повлек измученное рагу на противоположный край крыши.

Тогда, стратегически окружив его, агент встал на одно колено и выпустил в Ферфаса пять пуль.

Ферфас схватил спиртовку зубами и спустился по водосточной трубе на улицу, преследуемый по пятам.

Агент выстрелил из винтовки, Ферфас, сиганув за угол, отыскал укромную нишу и там, помешав опять кушанье, страдальчески произнес:

– Все еще сыровато.

III

Пока разыгрывался этот драматический эпизод, Президион, не щадя себя, грудью защищал баррикады и дрался как лев. Seriously говорим, что он преследовал идеальные цели. Закаленный диетой и бешенством увлечения, старый костяк его отражал безвредно для себя все пули.

Баррикады крепко держались.

Правительство изнемогало.

Стали поступать донесения:

- Арсенал взят!
- Крепость горит!
- Войска колеблются!
- А Ферфас? – мрачно спросил Президион. – Где он повешен?
- Пока... о, пока... нигде...
- Ах! Я теряю терпение.
- Не теряйте!
- Ловите его!
- Есть. Готово. Принимаемся снова ловить его.

Агенты рассыпались по городу. Президион опять появился на гребне баррикады, а Ферфас доедал рагу, чмокая и облизываясь.

Выглянул из-за туч месяц. Из ниши выглянул Ферфас и храбро, под пулями, направился домой спать, таща тщательно завернутые в прокламацию спиртовку и кастрюлю.

Грозный окрик: «Стой!» – заставил его вздрогнуть. Перед ним стоял агент Президиона.

– Ага!

– Ага! – враз сказали они.

– Все кончено! – пролепетал Ферфас.

– На этот раз – да, – подтвердил агент, вынул из кармана веревку и тщательно повесил Ферфаса.

Окончив это трудное дело, агент удалился восвояси, а Ферфас, повисев для приличия минут пятнадцать, вынул ножичек, перерезал веревку и отправился прямо к Президиону.

Президион отдыхал, читая Гераклита. Город спал. Патрули, боясь перестрелять друг друга, рассыпались по квартирам.

– Завтра, – прошептал Президион, – одним последним ударом я dokonчу столь блистательно начатое. Нет более Ферфаса!

– Ты ошибся! – воскликнул последний, входя в мансарду.

Президион опрокинулся. Ферфас засмеялся. Президион встал. Ферфас сел.

– А! Ты измучил меня! – закричал Президион, хватая револьвер.

– Ты тоже меня измучил, – возразил Ферфас, отламывая ножку стула.

– Так ты бессмертен?!

– Да, как и ты!

– Все для других!

– Все для себя!

– Один из нас лишний!

– Без сомнения!

– Как же мы решим нашу распрю?!

– Очень просто: всенародным голосованием. У меня, Президион, есть чуточку волшебного порошка. Ежели население захочет, чтоб я исчез, – выпью уж я этот порошок, так и быть. А ежели прикажут тебе исчезнуть – угостись ты.

– Согласен.

До утра оба сидели спиной друг к другу и щипали усы.

Утром взволновался весь Зурбаган. Президион и Ферфас вышли на балкон с просьбой решить судьбу дальнейшего их существования.

Многие похудели от горя – сердца их разрывались пополам. Остальные, беспечные, – каких было не особо значительное количество, – кричали каждый по-своему.

Наконец темное дело это проголосовали и... ахнули.

Ровно половина голосов Президиону.

Такая же половина – Ферфасу.

– Сплошной ужас! – закричал мэр.

Толпа обозлилась.

– Обоим порошку! – потребовали первые демагоги.

– Прощай, Ферфас! – сказал Президион.

– Прощай, Президион! – промямлил Ферфас.

Выпито...

Балкон пуст; оба исчезли, как их бы и не было. Все разошлись по домам.

Ровно через три дня после этого два человека, одновременно посмотрев в зеркало, воскликнули:

– Все для себя!

Новый Президион отправился в тайную типографию, а новый Ферфас – на рынок. Плачь, Зурбаган!.

Рене

I

Ворота закрылись.

Новичок, переходивший двор, бережно охранялся. Его окружал взвод солдат; привратник не выпускал револьвера из руки все время, пока опасный преступник находился в поле его зрения.

Шамполион презрительно улыбнулся. Провинциальная тюрьма с ее старомодными ключами, живописной плесенью стен и окнами, напоминавшими бойницы, смешила человека, ускользавшего из гигантских международных ловушек Парижа, Лондона и Нью-Йорка, – образцовых тюрем, равных чистотой госпиталю и безвыходностью – могиле. Он попался случайно, не сомневаясь, что убежит при первом удобном случае.

Справа от ворот, примыкая к наружной стене тюрьмы, стоял дом смотрителя; часть его окон, заделанных, подобно тюремным, решетками, выходила на двор. Смотритель, взволнованный гораздо более Шамполиона ответственным и немаловажным событием, сидел за письменным столом мрачной конторы острога, готовясь с достоинством встретить легендарного гостя, а у окна квартиры стояла Рене, дочь смотрителя. Она видела, как Шамполион быстро повернул голову, скользнув взглядом по закоулкам двора, – привычка хищника, везде ожидающего засады или лазейки. Не долее как на секунду взгляд Рене встретился с взглядом Шамполиона. Он заметил молодые глаза и неясное за тенью плуща лицо.

Но ей он был виден весь. Его лицо, чувственное и тонкое, с высокомерными холодными глазами, неподвижно блестящими под высокой чертой бровей, дышало жизнью огромного, неуследимого напряжения, подобно обманной неподвижности электрического вала динамо, вихреное вращение которого немислимо поймать зрением. Шамполион скрылся под аркой, но Рене долго еще казалось, что его глаза блещут в пространстве, где встретились их взгляды.

В этот день отец с дочерью обедали позднее обыкновенного. Старик Масперо захлопотался внутри тюрьмы, осматривая предназначенную преступнику камеру, пробуя ключи и замки, выстукивая решетки и отдавая множество приказаний, изолирующих Шамполиона от застенного мира. Венцом принятых мер было распоряжение сопровождать арестованного конвоем из четырех человек при всяком оставлении камеры. Впрочем, Масперо надеялся ускорить перевод Шамполиона в центральную тюрьму, сбыв таким образом с плеч тяжесть ответственности. Встревоженный, несмотря на все предохранительные мероприятия, событием столь исключительным, Масперо вошел наконец один к узнику с полуофициальной улыбкой, заискивая у того, кто благодаря фактам и репутации был хозяином положения.

– С вами будут хорошо обращаться, – пробормотал он, – но и вы должны обещать мне не бежать отсюда. Бегите из другой тюрьмы, – откуда хотите. Уважьте старика! Меня могут прогнать. Я и дочь останемся без куска хлеба.

– Хорошо, – сказал Шамполион и расхохотался.

Он небрежно развалился на койке, упираясь в нее локтем, в его позе было уже нечто свободное, разрушающее тюрьму. Масперо вышел со стесненным сердцем.

За обедом старик рассказал дочери подробности ареста Шамполиона. Облава завела пре-

ступника на ярмарочную площадь, где в это время известный канатоходец Данио собирался перейти по канату реку, неся за плечами любого желающего. Шамполион, замешавшись в толпу, окружавшую акробата, выразил согласие быть пассажиром Данио так быстро и решительно, что сыщики, только расспросив присутствующих, догадались, кто это такой, недостижимый для них, движется по канату за плечами канатоходца, почти достигнув противоположного берега. Ширина реки отнимала надежду опередить смельчака, взяв лодку, и Шамполион скрылся бы, не приключись с Данио непредвиденного несчастья: пряжка ремней, державших Шамполиона, погнулась, скользнув вниз, и пассажир нарушил общее равновесие. Оба упали в воду. Искусный пловец, Данио спас себя и Шамполиона, но последний, оглушенный падением, потерял сознание. Его взяли.

Рене мало ела, внимательно слушала, и глаза ее блестели, как у детей в театре. Она сказала:

– Удивительно, что такой человек – преступник.

– И прибавь – безжалостный, – заметил отец.

«Таких может изменить только любовь», – подумала девушка. Шамполион поразил ее воображение; его жизнь, способности и присутствие не далее сорока футов от обеденного стола казались ей чудом яркой могущественности среди мелкой вынужденной плановости повседневной жизни. Он давил тюрьму, сознание и занимал мысль. Рене читала о нем в газетах судебные и хроникерские заметки, – настоящие таинственные романы: наружность Шамполиона вполне отвечала ее представлению о нем.

Остаток дня и вечер прошли всецело под впечатлением этого имени. Приезжали прокуроры, судьи, адвокаты, командир гарнизона и просто любопытные официального мира. Масперо водил их смотреть арестанта сквозь секретное отверстие двери. Множество рассказов выслушала Рене. Шамполион был сыном высокопоставленного лица и цирковой наездницы. Он получил блестящее образование, говорил на всех европейских языках, был заядлым спортсменом. Все его предприятия были осуществляемы, психологически и технически, с точностью математических формул. Он был изобретателен и бесстрашен. За ним числилось множество похищений, шантажей, потрясенных банков, три изумленных миллиардера (говорим: «изумленных», так как охранение собственности американских владык идеально) и шесть убийств, совершенных в силу преступной необходимости, чего не отрицали и власти. Он не жалел денег. Сподвижники и женщины боготворили его.

Камера, отведенная ему, была в нижнем этаже, против ворот. Ее окна приходились в уровень с плитами двора. Встав ночью, Рене видела, как тускло освещенное изнутри окно это маячит ритмически ударяющей по решетке тенью – Шамполион ходил там, думая о своем. Под утро Рене видела сон, полный страхов, тоски, слез и изнеможения.

II

Рене родилась и выросла в тюрьме. Роды убили мать; девочка росла у отца. Ее домашнее образование было делом двух арестантов, из которых один, бывший учитель, провел в тюрьме четыре года; второй, осужденный на более короткий срок, давал Рене уроки на пятнадцатом и шестнадцатом году ее жизни. Это был поэт, погубивший свою будущность убийством любовника жены. Он великолепно знал историю, его воображение, соответственно своему несчастью, любовно рылось в тюремных исторических эпизодах: Латюд, Железная Маска, Бенвенуто Челлини и другие были постоянным предметом его бесед. Рене от рождения слышала звон цепей, скрип тюремных запоров; видела унылые, безнадежные взгляды конвоиров и узников. Постоянные разговоры отца и его гостей о жизни тюрьмы, суде, бегствах и наказаниях, в связи с упорной мечтательностью, приучили ее представлять жизнь общим жестоким пленом, разрушить который дано только героям. Характер ее был замкнутый и печальный. Привычка к чтению, к красивой идеализованности изображаемой жизни создавала в ее душе вечный разлад с действительностью, мелочно хаотичной и скудной. Ее мечтой было яркое возрождение, взрыв чувств и событий, восстание во имя несознанного блаженства.

Шамполион властно занял пустое место ее сознания, место, где должен был гудеть колокол

чувств, направленных к означенной цели. Она мало думала об его убийствах. Это были слишком заурядные факты во всем ансамбле необыкновенной биографии. Его преступный авантюризм слишком поражал внимание для того, чтобы укладываться в какие-либо позорящие определения. Однако Рене была умна и чиста душой. Она не думала, чтобы вполне сложившийся темперамент, наклонности и образ жизни могли отбросить себя. Но она верила, что все это, сохранив свою форму, может стать сущностью облагороженной. Она представляла гениальные способности Шамполиона действующими в том же духе авантюризма, видимо, органически свойственного ему, но, так сказать, действующего по другому поводу. Она видела его Рокамболем, освобождающим похищенных детей, восстанавливающим завещания, отыскивающим клады, отнимающим награбленное, наконец, убивающим чудовищ в человеческом образе, – словом, преступающим закон там, где последний бессилен, извращен или подкуплен. В таком роде деятельности сохранились все прежние приемы и методы, вся прелесть риска и напряжения, все напряжение сил. Шамполион становился провидением, переданным в человеческие руки, со всеми страстями, ошибками и увлечениями человека. Это было бы, так сказать, провидение, разменявшее свой мистический аппарат на кинжал и отмычки.

Рене в это время исполнилось двадцать лет. Она была умеренно высока, того прекрасного телосложения, которое спокойно восхищает. Богатые пышностью и длиной, темные волосы ее были заплетены в одну косу, окружающую голову почти трижды. Белый, нежных и мягких очертаний высокий лоб отвечал общему серьезному выражению лица с ясными глазами, смотрящими свободно, но грустно. Страстная суровая складка рта бесподобно преображалась улыбкой, заразительно открытой и чистой.

Хотя Масперо с первого же дня усердно хлопотал о переводе Шамполиона в центральный острог, однако из-за некоторых формальностей арестант пробыл в С.-Ж. пять суток.

III

Немыслимо провести границу там, где кончаются предчувствия и начинается подлинная любовь. Лучший пример этому – засыпание. Засыпающий еще здесь, на кровати, он сознает это, ощущая свое тело, постель, дыхание, но мысли его уже фантастически искажены, а тьма закрытых глаз полна произвольно возникающих сцен. Все спутано, отвлечено; сон и предсонная явь слиты в рассеянности сознания, и вот где-то, неуловимо мгновенно, гаснет некий тончайший луч. Полный сон поглощает дух; в новом мире причудливой жизнью фантазмагорий живет и действует человек.

На четвертый день Рене увидела Шамполиона гуляющим. Во всех концах двора стояли вооруженные часовые, наблюдая с угрюмым любопытством каждое движение узника. Из трусости его не заковали; он быстро ходил по диагонали двора, сосредоточенно куря папиросу. Рене стояла у окна, отдалясь в сторону, в тени плюща. Она хорошо рассмотрела его. Он двигался с легкостью ножа, рассекающего воздух, стремительно поворачиваясь на концах диагонали, подобно движению вспархивающей птицы. Холодный магнетический взгляд его, падая на стены, окно, за которым была Рене, и на лица часовых, казалось, оставлял везде невидимый след.

Сердце Рене глухо и сильно билось. Она боялась встретить глаза Шамполиона, но в то же время хотела этого. Солнце, выскользнув из-за крыши, озарило двор и глубину решетчатого окна. Тогда Шамполион увидел Рене. Ее прикованный прямой взгляд, слабая улыбка и нечто в выражении лица – некая счастливая растерянность – заставили его, вздрогнув от неожиданности, задержать шаг. Он был в трех шагах от окна, когда сказал, чувствуя, что не ошибется:

– Я вас, кажется видел вчера; лучше, если бы этого не было... для меня.

Ровный, немигающий взгляд его усилил значение слов, произнесенных так, что их слышала только Рене. Она вспыхнула, но не отошла от окна. Тревога и грусть овладели ею. Шамполион между тем, проходя мимо часового, сказал ему что-то такое, отчего солдат зычно захохотал. Рене запомнила это. Заставить расхохотаться самого жестокого и угрюмого из часовых – чего-нибудь стоило.

По многим расчетам, Шамполион предпочитал бежать из этой тюрьмы, чем с дороги или

же в большом городе. После восьми прежних побегов он вправе был ожидать при перевозке далее исключительно строгих мер, делающих побег длительной китайской головоломкой, требующей риска и сложной, организованной помощи. Поэтому, подходя снова к окну, в надежде удостовериться, точно ли есть успех с этой стороны, он сказал с тою же расчетливостью тона и силы голоса:

– Как зовут вас?

– Рене.

– Рене, мне дадут «веселую вдову»?

– Нет, – сказала она почти невольно, одними губами, и отошла.

Шамполион понял. Рене прошла в столовую, обдернула скатерть, закрыла лежавшую на диване книгу, затем, открыв дверь отцовского кабинета, задумчиво подтянула гирю стальных часов и села, пытаясь сосредоточиться. Мысль об отце, ранее заботливая и ясная, была теперь жестка и упорна, устремлена в одну точку, полезную замыслу, таившемуся в тьме чувств, каждое движение которых гудело, как колокол. Она знала, что не отступит. Монотонное течение ее жизни подошло к концу и падало.

Вечером, перед тем как идти спать, она сказала отцу:

– Не могу представить, что было бы, удайся Шамполиону бежать.

– Очень просто, – поморщился Масперо. – Мне каждую ночь снится это. Меня прогонят, а ты пойдешь работать приказчицей или прачкой.

Рене промолчала. Слова отца тронули, но не взволновали ее, подобно жалобе безнадежно больного, которому все равно определена смерть. Внутренняя связь между нею и прошлым исчезла. Она чувствовала себя чужой, в чужом доме, с чужим, жалким и мешающим человеком. Слепая к прошлому, оглушенная любовью, она была беспомощна и сильна. Новый мир, созданный ею, давил, все разрушая.

– Тебе все-таки нужно присматривать самому.

– Да; эти ключи, – он хлопнул рукой по крышке письменного стола, – я никому не даю, даже помощнику. Они для ночных обходов.

– Дубликаты?

– Дубликаты, Рене. Моя ведомость просит тебя уйти, а то я спутаю цифры.

Рене разделась и легла, прислушиваясь. Масперо же работал до половины второго. Она слышала, как он насвистывает, что означало конец работы; затем Масперо поднялся наверх, в свою спальню. Рене продолжала тихо лежать, выжидая, когда тишина окончательно ободрит ее. Но тишина не нарушалась ничем; с кухни и с верха не доносилось ни малейшего шороха. Она встала в тоскливом напряжении риска.

Так как в кабинете было темно, то Рене хотела зажечь свечку, но, подумав, не решилась на это. Ключ от письменного стола Масперо клал в коробку с почтовой бумагой; так было и на этот раз. Она взяла его с страхом убийцы, заносящего нож.

Этот маленький ключ, казалось, вобрал всю силу тюрьмы, – так резко и тяжело чувствовала его рука. С этого момента до конца Рене не покидало некоторое представление об ужасе, какой следовало бы испытывать; однако ее личная опасность рассеивала настоящий ужас, и только его тень следовала за нею, пока длилась драма.

План Рене был вполне обдуман, прост и по-женски мудр, так как не выходил за пределы сложившихся обстоятельств.

Правое крыло тюрьмы соединялось коридором с флигелем Масперо: его железная дверь открывалась из кухни. Отсюда Рене намеревалась пройти в тюрьму.

Со связкой ключей в руках, с головой, покрытой платком, готовая на все, ошупью нашла она перо и бумагу и ошупью вывела прощальную строчку: «Папа, прости! Рене» – стояло невидимое.

– Прости... – прошептала она и внезапно заплакала, но внезапно и удержала слезы.

Служанка спала в сенях. Пройдя кухню, Рене остановилась перед дверью, вынужденная зажечь свечу, – без этого нельзя было рассмотреть ключ и скважину.

Дверь открылась. Здесь всегда стоял часовой. Увидев дочь начальника, он поднялся с табу-

рета. Рене, изредка посещая тюрьму, никогда не приходила ночью, и поэтому часовой удивился. Его настороженный взгляд собрал все силы Рене. Она сказала:

– Отец не совсем здоров; я пришла вместо него. 23-й номер утром с конвоем переводится в Д., я хочу осмотреть камеру и арестованного – не приготовил ли он чего для побега.

– Едва ли; стерегут хорошо.

– Ну да, мы обещали принять все меры.

Небрежно позвякивая ключами, вошла она, спустясь по винтовой лестнице, в коридор нижнего этажа. Здесь было мрачно, как в склепе. Глухой красноватый свет ламп озарял симметрический ряд серых дверей в глубоких нишах.

Часовой, стоявший в дальнем конце, быстро пошел навстречу девушке. Она сказала ему то же, что и первому, и с тем же успехом. Солдат, нагнувшись, загремел ключами в замке 23-го номера.

– Теперь, – сказала Рене, – не отходите от дверей и входите тотчас, как я позову вас, в случае... чего.

Ноги ее подкашивались, но лицо оставалось сумрачно-деловым. Толкнув дверь, она, не топясь, прикрыла ее и очутилась лицом к лицу с Шамполионом.

Как ни дорого было каждое мгновение, она не могла сразу поднять глаз. Подняв их, она более не смущалась. Любовь, стыд, волнение, тяжесть темного будущего, – все чувства окаменели в ней, кроме страстной пожирающей торопливости. Шамполион сумрачно смотрел на нее, ничем не выдавая ни радости, ни даже слегка насмешливого любопытства к дальнейшему. Он был одет.

– Встаньте за дверью, – шепнула Рене, – сзади; когда войдет часовой...

Все понимая, он бесшумно взял одеяло и встал в углу.

– Ах!.. Киваль... – негромко позвала Рене, – зайдите сюда!

Часовой быстро вошел, прикрыв дверью Шамполиона. Через секунду он уже задыхался, мотая закутанной одеялом головой. Шамполион повалил его, связав ноги шнурком револьвера, а руки простынею, и поднялся, тяжело дыша.

– Теперь идите... – она поморщилась, зная, что сцена борьбы повторится. – Пройдите по концу коридора до лестницы и быстро, без звука, быстро поднимитесь, когда я уроню ключи.

Она двинулась, а Шамполион, разорвав тюфяк, вытряс солому и с холстом в руках следовал на расстоянии за Рене. Девушка подошла к часовому у дверей кухни.

– Все благополучно, – она попыталась открыть замок, но не смогла, – что с замком? Попробуйте-ка вы, я не могу открыть.

Часовой, став спиной к лестнице, протянул руку за ключами и нагнулся поднять их, потому что Рене, передавая, уронила связку. Железный стук пролетел в коридоре.

Быстрее, чем этого ожидала, Рене увидела Шамполиона, сидящего на солдате, голова которого путалась в холщовом комке. Рене помогла связать; затем, держа своей маленькой горячей рукой за руку Шамполиона, провела беглеца сквозь темные комнаты к парадной двери, выходявшей непосредственно в пустой переулок. Здесь не было часового, – вечная ошибка предусмотрительности, охватывающей зрением горизонты, но не замечающей апельсиновой корки под сапогом.

Они вышли. Шел дождь, порывами ударял ветер.

– Все кончено, – сказала Рене.

– Я никогда не забуду этого, – проговорил Шамполион. – Так... я свободен.

– И я.

– Мне нельзя медлить, – продолжал Шамполион, догадываясь, что хочет этим сказать Рене, но жестко, с хищностью противясь этому. Он брал свое, давая чужую судьбу, хотел быть один. – Я бегу, бегу поспешно к своим. А вы?

– Я? Разве...

В этот момент они рядом проходили глухой переулок. Шел дождь, порывисто хлестал ветер.

Она сжалась, и тень предчувствия тронула ее душу. Шамполион повторил:

– Я иду к своим, девушка. Слышите?

Все еще не понимая, она по инерции продолжала идти рядом с ним, задыхаясь и с трудом ускоряя шаг, так как Шамполион шел все быстрее, почти бежал. Тогда, уверенный, что это навязчивость, он резко остановился и обернулся.

– Ну! Что вам? – быстро и зло спросил он.

– Я...

Она замолчала. Он легко, коротким и равнодушным ударом толкнул ее в грудь, – просто, как отталкивают тугую дверь.

Рене упала. Когда она поднялась, в переулке никого не было. Шел все сильнее крупный осенний дождь.

IV

Прошло два года.

В большой квартире улицы Падишаха сидел человек, искусно загримированный англичанином. Его собеседник, коренастый господин с толстым лицом, стоял у окна, смотря на улицу. Второй говорил, не оборачиваясь, пониженным голосом.

– Полосатый, вчерашний, – сказал он. – Наружность фланера. Покупает газету.

– Обычная история, – ответил другой. – Так началось с Тэсси. Кажется, теперь твоя очередь, Вест?

– Не твоя ли, Шамполион, дружище?

– Нет, это не в силах простого сыщика. Я вечно и оригинально двигаюсь.

– Да. Однако по какому кругу?

Шамполион вздрогнул. Вест остро подметил положение. Круг продолжал суживаться. Так началось месяцев шесть назад. Опасность, как зараза, перебрасывалась с города на город; целые округа становились угрозой, все более уменьшая свободную территорию, в которой знаменитый преступник мог еще действовать, но и то с массой предосторожностей. Он терпел неудачи там, где проверенный расчет безошибочно обещал жатву. Дела срывались, пропадали важные письма, шесть второстепенных и двое первоклассных сообщников сидели в тюрьме. Шамполион боролся с новым невидимым врагом, чуждым, судя по справкам, ленивой и почти сплошь продажной государственной полиции. Она беспомощно топталась на месте, устремляясь иногда с громом на след собственных ног. Ему не раз приходилось подвергаться систематическому преследованию, но это было именно преследование, хождение следом за ним; теперь к нему шли часто навстречу, шли и за ним, и со стороны, – так что не раз только особая увертливость спасала его от топора «веселой вдовы»: злая и твердая рука ловила его. Огромные связи, какими располагал он, беспомощно молчали, бессильные выяснить инициативу организации; он же стремился, покинув круг, заставить облаву стукнуться лбами на пустом месте, но этого пока не удавалось привести в исполнение. Растягиваясь и еще сильнее сжимаясь вновь, круг не выпускал цели из своей гибкой черты.

– Следовало бы, – сказал Шамполион, пропуская замечания Веста, – дать этому фланеру путеводителя.

«Путеводитель», то есть лицо, отводящее след на себя, вызвав чем-нибудь подозрение, употреблялся в неясных случаях для проверки, действительно ли установлено наблюдение и за кем именно; диверсия в пустоту.

– Да он ушел, – сказал Вест.

– Тем лучше.

Шамполион первый заметил фланера. Не случись этого, Вест был бы избавлен от подмигивания, означавшего приказ удалиться.

– Вест, я вернусь завтра. Если что случится, ты позвонишь.

– Ну, да.

Их разговор перешел в мрачную область хищений; затем Шамполион вышел.

Вест, заложив руки в карманы, качнулся на носках. Его неподвижное лицо, прекрасно

удерживая в присутствии Шамполиона внутренний смех, тронулось по углам глаз ясной улыбкой. Он сел и крепко задумался.

Со всеми предосторожностями, отвечающими его привычкам и положению, Шамполион прибыл в другую квартиру. Дама, с которой он поздоровался, была красивым воплощением женственности в том его редком виде, который восхищает и трогает. Ее тихую красоту и обаяние, производимое ею, следовало назвать более утешением, чем восторгом, – глубоким сердечным отдыхом. Вместе с тем, не было в ней ничего неземного, никаких мистических, томно-болезненных теней; расцвет жизни сказывался во всем, от твердости рукопожатия до звучной простоты голоса.

Их познакомил месяца два назад скромный курорт – вынужденный отдых Шамполиона. Здесь, отсиживаясь ради безопасности, встретил он молодую вдову Полину Турнейль. Сближение имело началом серьезный разговор о жизни, начавшийся случайно, но приведший к тому, что элегантный цинизм Шамполиона, уступив глубокому впечатлению, произведенному молодой женщиной, прикинулся из уважения к ней шатким пессимистическим мировоззрением.

Из уважения, да. В жизни Шамполиона было много связей и женщин эпизодических, и он совершенно не уважал их. Его любили как живую сенсацию. К нему льнули подобострастно и трепетно, отдаваясь в добровольное рабство ради таинственной, зловещей тени, отбрасываемой опасным любовником. Любопытство и страх приковывали к нему. Во всех его прежних любовницах была некая крикливость духа, в разной, конечно, степени, но одинаково напоминающая цветок, украшенный нелепо торчащим бантом. Не веря в существование женщин иного склада, он случайно встретил живое противоречие и внутренне понял это.

Встречи их повторялись, он искал их и, сказав, наконец, «люблю», почувствовал, что сказал наполовину правду. Она не знала, кто он. Ее «да», как можно было подумать, выросло из одиночества, симпатии и благородного доверия, свойственного крупным натурам. Впоследствии он надел маску политического заговорщика, чтобы хотя этим объяснить сложную таинственность своей жизни, – роль выигрышная даже при дурном исполнении, чего не приходится сказать о Шамполионе. К тому же отважный скептик грандиознее самого пышного идеалиста. Он знал, что червонный валет даже крупнейшей марки не может быть героем Полины, и так привык к своей роли, что иногда мысленно продолжал лживый разговор в тоне и духе начатого.

Ее характер был открытым и ровным; ее образованность, естественно сливаясь с ее природным умом, не поражала неприятной нарочитостью козыряния; ее веселие не оскорбляло; ее печаль усиливала любовь; ее ласка была тепла и нежна, а страсть – чиста, как полураскрытые губы девочки. Она взяла и держала Шамполиона без всякого усилия, только тем, что жила на свете.

Шамполион стирал грим, сняв правую бакенбарду; левую тихонько потянула Полина, и бакенбарда отстала, при чем оттопырившаяся щека издала забавный глухой звук.

– Благодарю, – сказал он. – Три дня я не мог быть и тосковал о тебе.

Обняв женщину, он приник к ее лицу долгим поцелуем, возвращенным хотя короче, но не менее выразительно. Ее рука осталась лежать на его плече, затем сдвинулась, поправляя пластрон.

– Ты озабочен?

– Да. Меня ловят.

– Так надо подумать, – сказала она, вздрогнув и с серьезным лицом усаживаясь за стол. – Насколько все плохо?

Шамполион рассказал, не прибегая даже к ощутительному извращению фактов. Преследование одинаково по существу, – кто бы ни подвергался ему, вор или Гарибальди.

– Боже! Береги себя, Коллар! – сказала Полина. – Хочешь в Америку?

– Нет, я подумаю, – ответил Шамполион, садясь рядом с нею. – Явного еще ничего нет. Пока я думаю о тебе.

Когда он говорил это, целуя ее руки, глуховатый мужской голос, скользя по телефонному проводу из пространства в пространство, оканчивал разговор следующими словами:

– Итак, в шесть – тревога.

– Да, так решено, – прозвучал ответ.

– И мы отдохнем.

– Отдохнем, да...

Аппараты умолкли.

На рассвете Шамполион внезапно проснулся в таком ровном и тихом настроении, что мысли его, ясно возникая среди остатков дремоты, связанной непрерывностью своей напеминали чтение книги. Он лежал на спине. На спине же, рядом с ним, лежала Полина, слегка повернув к нему голову, и ему показалось, что сквозь тени ее ресниц блеснул взгляд. Он хотел что-то сказать, но, присмотревшись, убедился в ошибке. Она спала. Край сорочки на полукрытой груди вздрагивал, едва заметными движениями следуя ритму сердца, и от этого, силой таинственного значения наших впечатлений, Шамполион ощутил мягкую близость к спящему существу и радость быть с ним. Он тихо положил руку на ее сердце, отнял ладонь, откинул с маленького уха послушные волосы и весело посмотрел в потолок, где среди голубых квадратов были нарисованы листья, цветы и птицы. Тогда, желая и не желая будить Полину, он осторожно покинул кровать, налил воды с сиропом и присел у окна, наблюдая стаю голубей, клевавших на еще не подметенной мостовой.

Было так тихо, что долгий телефонный звонок, деловой трелью прорезавший молчание комнат, неприятно оживил Шамполиона, рассеянно сидевшего у окна. Полина не проснулась, лишь ее голова сонным движением повернулась от стены к комнате.

Шамполион снял трубку аппарата, бывшего в кабинете, через три двери от спальни.

– Говорите и слушайте, – условно сказал он.

– Все ли здоровы? – спросили его.

– Смотря какая погода.

– Одевайтесь теплее; ветер довольно резок.

– Я слушаю.

– Все хорошо, если состоится прогулка.

– Так.

– Продаете ли вороную лошадь?

– Нет, я купил еще одну закладку.

Шамполион резко отбросил трубку. Звонил и говорил Вест. Весь этот разговор, составленный из выражений условных, означал, что Шамполион должен спастись, покинуть город ранее полудня и по одному, строго определенному направлению. Сыск установил след, организовав западню.

Когда Шамполион вернулся в спальню, он выглядел уже чужим мирной обстановке квартиры. Все напряжение опасности отразилось в его лице; глаза запали, блестя скользким, жестко сосредоточенным взглядом, и каждая черта определилась так выпукло, словно все лицо, фигуру преступника облил сильнейший свет. Шамполион быстро оделся и решительно разбудил Полину.

– Который час? – потягиваясь, спросила она.

– Час отъезда. Вставай. Нельзя терять ни минуты, – я под угрозой.

Она вскочила, сильно протерла глаза; затем, взволнованная тоном, бросила ряд вопросов. Он, взяв ее руки, сказал:

– Да, я бегу. Не время расспрашивать.

– Я с тобой.

– Если можешь... – радостно сказал он. – Ты первая, которой я говорю так.

– Верю.

Ее тоскующее прекрасное лицо горело слезами. Но это не были слезы слабости. Одеваясь, она заметила:

– Путешественник с дамой меньше возбудит подозрений.

– Да, и это в счет на худой конец.

– Куда мы едем?

– В Марсель. По многим причинам я могу ехать лишь в этом направлении.

Турнейль не ответила. Шамполион быстро гримировался. Когда Полина обернулась на его возглас, перед ней стоял выцветший, сутулый человек лет пятидесяти с развратным лицом грязного дельца, брюшком, лысиной и полуседыми длинными бакенбардами.

– Это жестоко! – насильно улыбнулась она, припудривая глаза.

– Жестоко, но хорошо. Наконец, вот! – Он, подбросив, поймал блестящий револьвер. – Возьми деньги.

– Я взяла.

Теперь, вполне готовый к отъезду и борьбе, он почувствовал лихорадочную усталость азартного игрока, которому с уходом годов длиннее кажутся когда-то короткие в своей остроте ночи, тягостнее – ожидания ставок и раздражительнее – проигрыш, усталость подчеркивалась любовью. Он желал бы вновь присесть у окна, смотреть на голубей и слышать ровное дыхание спящей женщины.

Они вышли, взяв лишь по небольшому саквяжу. Шамполион, не будя прислуги, открыл двери собственным, сделанным на всякий случай ключом.

В тревоге промелькнули вокзалы, билетная касса и дебаркадер. Поезд отошел. В купе, кроме них, никого не было.

Поезд шел полями с осевшим на ложбинах утренним чистым туманом. Пунцовые и белые облака, сторонясь, пропускали низкий пук ярких лучей, западавших на возвышения. Еще нигде не было видно людей, лишь изредка одинокая фура с дремлющим на ней мужиком сторожила закрытый переезд; это продолжение безлюдной тишины, в которой проснулся Шамполион, помогало ему разбираться в себе. Сидя против Полины, смотря на нее и разговаривая, он продолжал ощупью, бессознательно, отбрасывать тревогу роковых возможностей, разбираться в обстоятельствах и мысленно вести расчеты с опасностью во всех ее видах, рисуемых его опытным, точным воображением.

– Твоя жизнь ужасна, – сказала Полина. – Спасаться и нападать; быть постоянно настороже, проверять себя, испытывать других... Какая пытка! Какой заговор изменил сущность мира? Коллар, оставь политику, пока не ушла жизнь. Еще не поздно. Мы можем скрыться навсегда в далекой стране.

– Это не для меня, – коротко ответил Шамполион.

– Ты не придаешь значения моим словам.

– Не раз мы говорили об этом. Я все-таки люблю в жизни ее холодное, головокружительное бешенство.

– Коллар, это пройдет, пройдет, может быть, скоро, и ты не вернешь уже тихого угла, который ждал тебя вместе со мной.

– Не могу.

– Решись все-таки. Мне достаточно твоего слова, Коллар. Марсель ведет и в Англию и в Америку.

– Я стремлюсь в Лондон.

– Нет. Дальше.

– Как ты настойчива!

– Знаешь, ведь я люблю.

– Но и я, черт возьми! Однако не любовь решает судьбу! Оставим это.

Он отвернулся к окну, выдохнув сигарный дым с силой, разбившей его о стекло круглым пятном.

С тоскливым, страстным вниманием смотрела женщина на того, кто был (назвался) Коллар. Мысли ее мешались. Наконец, воля одержала победу, и Шамполион, взглянув снова, не заметил и следа тонкой игры страстей, схлынувшей в глубину женской души.

– С.-Ж., – сказал кондуктор, проверяя билеты.

Полина подала свой. Один его угол был согнут.

– Есть здесь буфет, Коллар?

– Есть; это маленький городок.

– Ты знаешь?

– Да, я здесь был.

Приключение в тюрьме два года назад озарило его холодным воспоминанием. Останавливаясь, вагон вздрогнул; скрипнули тормоза.

Снова открылась дверь, пропустив трех кондукторов, и по произвольному движению их лиц, выдавших нападение прямым взглядом на руки Шамполиона, он мгновенно сообразил, что путешествие кончено. В купе было тесно. Один из сыщиков загородил своей фигурой Полину, Шамполион не видел ее. Было уже поздно думать о чем-либо. Его вязали и били; он вывертывался, как скользкая большая рыба в жадных руках, и изнемог. Ручные кандалы покончили дело. Выходя, в толпе, запрудившей проход, ослепленный волнением, он, задыхаясь, громко сказал:

– Где ты?

Ему ответил – ниоткуда и близко – мертвый, как стук, голос:

– Буду с тобой...

V

Палач грелся на кухне, неотступно думая о шее преступника с вялым, нудным содроганием раба, ждущего подачки и плети. Это был хмурый старик. Ему обещали сто франков и четверть срока. Он не смел отказаться. Кроме того, в его измученном тюремной сердце жила смелая надежда вернуться на три года скорее к заброшенным огуречным грядкам, забыв о маленьких девочках, плачущих всегда горько и громко.

Стояло холодное, темное и сырое утро. Шамполион не спал. К четырем часам его оставило мужество. Но не страх сменил стиснутую силу души, ее давила тяжесть – фатализм внешнего. Он сидел в камере 23, из которой два года тому назад был выпущен, как гордая птица, скромной и смелой девушкой. Город был тот, в котором его поймали тогда и теперь. Запыленная надпись на подоконнике, выцарапанная гвоздем, сделана была его скучающей, небрежной рукой; надпись гласила:

«Еще не пришел мой час».

«Еще» и «не» стерлись. Остальное потрясло приговоренного. Но к подоконнику, как к магниту, обращались его глаза, и с холодом, с непонятной жаждой мучительства он внимательно повторял их, вздрагивая, как от ножа.

Власти, боясь бегства, покончили с ним скоро и решительно. Скованный по рукам и ногам, Шамполион просидел только неделю. Суд приехал в С.-Ж., собрав наскоро обвинения по самым громким делам бандита, судьи выслушали для приличия защиту и обвинение и постановили гильотину.

Полины Шамполион больше не видел. Он думал, что ее держат в другой тюрьме. Представляя, как она перенесла известие о том, кто Коллар, он весь сжимался от скорби, но сам отдал бы голову за то, чтобы увидеть Турнейль. Надежды на это у него не было.

– Вина! – сказал он в окошечко.

Немного спустя дверь открылась. Казенная рука грубо протянула бутылку. Шамполион пил из горлышка. Настроение стало светлее и шире; искры бесшабашности заблестели в нем, смерть показалась жизнью... Вдруг тяжкий удар отчетливого сознания истребил хмель.

– Жизни! – закричал Шамполион. – Жизни всюю!

Но припадок скоро прошел. Наступил счастливый момент безразличия, – разложения нервов. Шамполион сидел, механически покачивая головой, и думал об опере.

Состояние, в котором он находился, можно сравнить с несуществующим длительным взрывом. Малейший шорох волновал слух. Поэтому долгий ворочающийся звон ключа в двери заставил его вскочить, как от электрического заряда.

Он вскочил: за женщиной, прямо вошедшей в камеру, стояла тень в казенном мундире. Тень сказала:

– По особому разрешению.

Слов этих он не расслышал. Взмахнув скованными руками – единственный доступный ему

теперь жест, – он бессознательно рванул кандалы. Нечто в лице Турнейль – не торжественность предсмертного свидания – молчание в ее лице – поразило его. Возвращая самообладание, он сказал:

– Полина?! Да, ты! Видишь?

Она молчала. Ненависть и любовь по-прежнему спорили в ее сердце, и самое памятное объятие не было памятнее короткого толчка в грудь.

– Я пришла, – холодно сказала она, заметив, что молчание становится тягостным, – увидеть вас снова, Шамполион, в том же месте, из которого когда-то освободила. Ведь я – Рене.

Он не сразу понял это, но когда наконец понял, в нем не было уже ни мыслей, ни слов – одни грохочущие воспоминания. Он стоял совершенно больной, больной неописуемым потрясением. Из глубины памяти, раздвигая ее смутные тени, отчетливо вышел образ закутанной в платок девушки; образ этот, стремительно потеряв очертания, слился с образом Полины Турнейль и стал ею.

– Вы предали... – страхась всего, сказал он, когда боль, усиливаясь, не позволяла более молчать.

– Да.

– Вы – Рене!

– Да.

– Знайте, – сказал он, помедлив и смеясь так презрительно, как смеялся в лучшие дни своего блестящего прошлого, – я снова оттолкнул бы вас... туда!.. прочь!..

Жалкая, измученная улыбка появилась на бледных губах Рене. Даже ее незаурядные силы давила тяжесть этой победы, в которой победитель, сражая самого себя, не просит и не дает пощады. Простить она не могла.

– Да, вы толкнули меня совершенно простым движением. В грязь. Я упала... и еще ниже. Я продавалась за деньги. Меня встретил Турнейль, я взяла остаток его чахоточной жизни и его миллионы. Почти все это ушло на вас, Шамполион. Лучшие сыщики помогали мне. Продался Вест и другие. Вас вели под руки с завязанными глазами к яме... но как это было дьявольски трудно, признаюсь! И вот вы упали.

– Сыщики? – недоверчиво спросил он. – Кто же? Не однобокие ли умом Гиктон и Фазелио?

– Все равно. Ждущие признания гении имеются и в этой среде.

– Может быть. Вы довольны?

– А? Я не знаю, Шамполион.

Она с трудом прошептала это, и он увидел, что глаза ее полны слез. Шамполион сел, понурясь. Тогда быстрым материнским движением она прижала его горячую голову к своей нежной груди и горько заплакала, а он, поборов опустошение души, тоже приник к ней, тронутый силой этой любви, нашедшей исход в ненависти, любви ненавидящей – чувстве ужасной сказки.

Рене встала.

– Отец умер, спился, – сказала она. – Мои мечты, те, с которыми я освободила тебя, ты знаешь, потому что знаешь меня. Прощай же! Когда ты... уходишь?

– С последним ударом пяти.

– Скоро придет священник.

– Он скажет мне о пустом небе.

– Наполним же его опрокинутую чашу последними взглядами. Ты помнишь мои слова в вагоне?

– Помню «Буду с тобой».

– И буду... и буду с тобой.

– Рене! – сказал он, останавливая ее. – Не дух ли ты? Кто пустил тебя сюда, в эту могилу?

– Те, кто имеет власть и знает мою судьбу.

Она вышла; ее последний взгляд воодушевил и успокоил Шамполиона. Он думал о закутанной девушке, лица которой хорошенько даже не рассмотрел, и о только что ушедшей женщине, которую потерял. Но казалось, что в сумраке начинающегося рассвета в камере с бледным огнем лампы еще длится ее невидимое присутствие.

Он приблизился к подоконнику и спокойно прочитал то, что не стирается никогда:
«...пришел мой час».

Рене была одна. Когда часы, висевшие против нее, начали отбивать пять и пробил последний, сильнее других прозвучавший удар, – удар вдали громко прозвучал в ней, вихрем сметая прошлое. Ее трясло, зубы стучали. Она выпила яд, крепко прижала к глазам мокрый платок и прилегла на диван.

Струя

В одном из подземных озер Западной Америки жили слепые рыбы. Они родились и выросли во мраке, так же, как отцы и матери их, как все их предки, кроме родоначальников этой породы. Когда-то, во времена седой рыбьей старины, несколько молодых, прытких рыб, шмыгая по Теллурийскому водопаду, оборвались и, чудом оставшись живы, попали сквозь глубокую трещину в подземный ручей. Ручей этот привел ошарашенных рыб к тому самому подземному озеру, с которого мы начинаем рассказ.

Рыбы живут долго. Через тридцать, сорок, а может быть, и сто сорок лет, – как можем мы знать это наверное? – невольные отшельницы совершенно ослепли. Ни малейшей искры света не проникало в глубину их черной воды, лишенной волны и ветра, течений и подводных растений. Глаза рыб разучились видеть. Они подернулись навсегда глухой белой пленкой; исчезло наконец и воспоминание о свете.

Когда-то, очень давно, в мрачные пещеры подземного озера спустилась компания натуралистов, исследователей горных пород, – и фотограф, снимая внутренность подземных пространств, зажег магний. Как молния белый свет ударил по засверкавшей воде, облил волнами искр сталактитовые колонны, обнажив даже выступы подводных камней, но старички равнодушно пошевеливали хвостом, по-прежнему ничего не видя; вода была для них такой же черной, как в первый день достопамятного путешествия сквозь роковую подводную трещину.

От этих злосчастных рыб пошли новые поколения. Они были не только слепы, но и не подозревали, что такое свет, лучи, краски, блеск воды. Старики, в минуты душевной слабости, любили вспоминать обо всем этом, но сами, как сказано, будучи бессильными мысленно представить свет, на все вопросы детей, внуков и правнуков могли лишь упорно шамкать: «Говорят вам, что от света светло».

Самой молодой, самой любопытной и нервной в подземной компании была рыбка Струя. Ее прозвали так другие рыбы за быстроту и резвость ее подводного хода.

Жизнь казалась ей ужасным сном. Глубокая тишина стояла в пещере и озере. Изредка лишь раскрошившийся от сырости камень падал, возбуждая гулкое эхо, в неподвижную воду, заставляя ее вздрагивать. Вечная тьма висела проклятьем над душой Струи. Она, правда, не имела ни малейшего понятия о свете, но думала, что должно же быть в мире нечто более радостное, чем черное большое «туда-сюда», в котором слышатся голоса рыб и чувствуется их то близкое, то далекое присутствие. Часто Струей овладевала тоска, тогда она бесцельно и долго путешествовала из пещеры в пещеру.

Другие рыбы относились к Струе, как к существу безнадежно безумному. Они обыкновенно стояли кучей, обсуждая семейные дела, заводя никчемные споры, или спали до одурения.

Но вот заговорил вулкан «Бешеный Рот», сто лет дремавший неподалеку от подземного озера. Он загрохотал, затрясся, изрыгнул тучи дыма и пепла, залился огненной лавой и всколебал землю. Ее недра разверзлись. Осели и расползлись горы, взгорбились долины, реки изменили течение, и из подземных пещер хлынуло освобожденное озеро. Почти все население его погибло при этом. Струя только помнила, что ее подняло, завертело, помчалось... она лишилась сознания, а очнувшись, почувствовала, что прежней жизни конец. Началось нечто изумительно новое.

Рыбку нашу силой перемещения воды забросило в небольшую реку, протекающую среди болот и степей.

Да, было чему изумиться!

Во-первых, почувствовала она, что должна удерживаться, работая плавниками, на месте, если не хочет бесполезно следовать движению текучей воды. Во-вторых, дышать здесь было невыразимо приятно, сквозь жабры проходила щедро насыщенная кислородом, нежно пахнувшая вода. Черное «туда-сюда» осталось, конечно, но стало неузнаваемым. Мягкое дно, гибкие, послушные толчкам водяные растения, плеск струи, шум ветра, запах береговых цветов, бодрые голоса стремительных рыб и еще множество разных звуков, никогда не слыханных, наполнили сердце Струи неизведанным восхищением.

Если бы она прозрела, то увидела бы яркий полдень зеленой степи и над собой – изумрудно сверкающий покров неба, блестящего сквозь желтоватую воду.

Струя ничего не видела. Она робко, в тихом молчаливом восхищении прижималась к осоке и старалась понять смысл чуда.

Милочка, – сказала ей пробегающая форель, – ты откуда взялась?

– А где я? – ответила вопросом Струя.

– Как где? Понятно, в реке «Буль-буль».

– Не знаю, – сказала слепая. – Я жила раньше в нашем «туда-сюда», под землей. Ты кто?

– Посмотри хорошенько, невежа!

– «Посмотри». Я не могу посмотреть.

– Ба! Да ты слепая?! – сказала форель. – Совершенно удивительное событие. Как же так?

– Да так.

– Эй, эй, рыбы, идите сюда! Вот слепая из-под земли! – закричала форель.

На зов ее собралось много народа. Трудно описать общее удивление. Струю оглушали словами. Едва она успевала вставить слово, как весь хор любопытных созданий перебивал ее новыми вопросами о прошлом или же беспорядочными сведениями о реке «Буль-буль».

Только поздней ночью разошлось общество, оставив Струю взволнованной и печальной. Она ведь не могла все-таки не понять, что рыбы, живущие в «Буль-буль», обладают неизвестным для нее чудесным даром, от которого хорошо. Дар этот они называют зрением. У кого он есть, тот может, не сходя с места, знать, что есть вокруг него. И еще что-то... Краски, оттенки... Голубое, желтое, белое... Да. Что-то разное.

У нее ничего этого не было.

Ей не спалось, и она грустно думала, что новый мир останется для нее, слепой, таким же темным и безотрадным, как воды пещер.

И она повторила слова, сказанные недавно форели:

– У нас там темно. Невесело у нас, плохо. Здесь мне тоже темно.

– Завидуешь? – спросил ее с берега ночной Гном, умевший читать мысли рыб и бабочек. Он занимался починкой сломанного колокольчика. Колокольчик охал и нервничал.

– Да замолчи ты, лиловая пустота! – вскричал Гном. – Дай же поговорить!

– Я не завидую, – сказала Струя. – Какой смысл завидовать? Ведь оттого, что этим рыбам хорошо смотрится, мне все равно лучше не станет. Нет, я рада, что есть такие, не похожие на меня рыбы, которые видят.

– Как? – сказал Гном. – Теперь восходит солнце. И не разбирает тебя злоба, что другие видят волшебные чудеса облаков, а ты тыкаешься головой в дно?

Струя пожала плавниками.

– Пусть другие будут другими, а я останусь, какова есть.

Как только она сказала это, Гном засмеялся, уронил с крошечного своего пальчика чудодейственное кольцо и хлопнул в ладоши.

Кольцо тронуло оба глаза Струи, и рыба прозрела.

Так начала жить в светлых водах рек красная и шаловливая рыбка форель-хариус, известная всем. Эту ее историю составил Гном, рукопись переписывал на машинке жук-водолаз и отправил в редакцию. Редактор было не поверил столь чудесной истории, но, наведя справку у свидетеля – Лилового колокольчика, убедился, что Гному, в серьезных случаях жизни, можно и должно верить.

Пешком на революцию

I

– А теперь, Александр Степанович, – сказал финн Куоколен, входя в мою маленькую халупу, где, стоя у раскаленной плиты, производил я некоторые кулинарные опыты, – в Петроград вы не попадете. Движение поездов остановлено. В Петрограде резня.

Станция, где я жил, находится в 72 верстах от Петрограда. Дача моя стоит в лесу, минутах в 10 ходьбы к станции. Чувство отрезанности было у меня и до прекращения поездного движения. Теперь же, выслушав Куоколена, я испытал нечто, вроде того, как если бы меня среди бела дня неожиданно связали по рукам и ногам, заперли в темный угол и оставили одного, бросив на прощанье несколько загадочно страшных фраз. Незнание происходящего в Петрограде тянула меня в столицу с силой неодолимой.

– Еще можно, может быть, – сказал финн, – застать четырехчасовой поезд, – он стоит на разъезде, потому что лопнула ось товарного вагона. Вагон снимут, и поезд двинется. Торопитесь, но знайте, что это последний поезд и идет он все равно только до Оллила.

Оллила – последняя, перед Белоостровом, станция – от Выборга. Я надел шляпу, пальто, сунул в парусиновую финскую котомку 2 кило баранок, булку и 1/4 ф. масла и побежал к станции.

Здесь я застал, у телефонного аппарата, сторожа-финна, говорившего с Перкиярви, но не застал поезда. Шум его колес уже стихал в лесистой дали. Перкиярви сказала сторожу, что поездов действительно больше не будет, а сторож сообщил это мне и неизвестному молодому человеку в очках, с бледным лицом, одетому по-лыжному, во все вязаное и шерстяное.

Молодой человек, оказавшийся заведующим поставкой строительных материалов, проявлял необычайное волнение. То он торопливо советовался о чем-то с подвластным ему мужиком, то пытал сосредоточенно, угрюмо молчащих финнов расспросами о поездах, часах, расстояниях и т. д. Под мышкой у молодого человека был сырой телячий окорок, обернутый газетной бумагой. Незнакомец горячо говорил о своем решении идти – «когда так» – пешком [в] Петроград (больная жена), а так как я, с котомкой за спиной, уже приготовился к этому, то мы познакомились и, привязав окорок к спине молодого человека целой сетью бечевки, тронулись в путь, – около семи часов вечера.

В состоянии крайнего нервного возбуждения зашагал я меж уныло черневших рельс. Кашишевский, новый знакомый мой, шел впереди, – бедняга оказался туберкулезным, простреленным на позициях, и физически вообще слабым; удобнее поэтому было мне соразмерять свой шаг с его шагом, имея спутника впереди, чем ему догонять меня, шагающего довольно быстро. Давно уже не приходилось мне предпринимать пешие путешествия. Десять лет малоподвижной городской жизни сделали пеший конец от Знаменской до Адмиралтейства изнурительным, сложным – с остановками – переходом, но нервный заряд – громовая Петроградская новость – внезапно вернул телу всю ег[о] сухую прежнюю легкость и напряжение. Я чувствовал, что могу пройти сто, двести и триста верст, как в старые времена, когда в качестве «пожирателя шпал» ходил, гулял из Саратова – в Самару, из Самары – в Тамбов и так далее.

По дороге, среди разговора, выяснили мы два обстоятельства: первое, что телячий окорок режет бечевками плечи Кашишевского, и второе – что в Белоострове могут не пропустить через границу.

Последнее было страшно, потому что, будь так, мы бесполезно промаршировали бы тридцативерстнос, до русской границы, расстояние, считая столько же, но с отвратительным чувством бесцельности – назад. Мы поворачивали это обстоятельство всячески, рассматривали его в худую и хорошую сторону, спорили, раздражались и, наконец, предоставили все судьбе, решив идти до тех пор, пока хватит сил и сообразительности.

Первой станции мы достигли ровно через час; выпили по стакану кофе, подложили на

ключицы Кашиневского тампоны из газетной бумаги, чтобы не впивались бечевки, и выслушали торжественные резоны начальника станции, поклявшегося, что если мы и попадем в Петроград, то только: ногами вперед.

Кстати сказать, до самых Озерков преследовали нас слухи самого ошарашивающего свойства. Говорили, что взорваны все мосты, что горит Коломенская часть, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость, что город загроможден баррикадами, что движется на Петроград свирепая кавказская дивизия и что каждому человеку дают в руки ружье.

Бери и иди с нами.

Сквозь все эти топографические и бытовые подробности ясно просвечивало общее, громогласное мнение: «идти в Петроград – идти на верную смерть».

Отдохнув, мы тронулись дальше. Поднялся резкий, в лицо, морозный ветер, светила луна. Моя левая, разорванная где-то по дороге, калоша сползала и щелкала, как персидская туфля. Мы переходили с левой пары рельс на правую и обратно, в зависимости от того, как и где лежал снег – плотно или рыхло. Во время этих переходов я чуть не попал под товарный поезд, налетевший сзади, из Выборга. Кашиневский схватил меня за руку и толкнул – я проскочил в трех шагах от зловеще засиявшего фонарями паровоза. Но и Канишевскому пришлось броситься в снег, чтобы уцелеть.

Товарных поездов и отдельных паровозов пробегало вообще очень много в эту ночь, и к Выборгу и к Белоострову. Мы часто принимали далекие их, впереди, огни за огни станций. В грохочущей быстроте и обилии их чувствовалось смятение. Кое-где, на станциях, финны говорили:

– Что же мы – смотреть будем? Мы тоже бастуем, вот – поезда пассажирские остановили, а там посмотрим.

Одно загадочное обстоятельство отметил я по дороге. С начала войны вблизи каждой станции, на путях и у всех самых ничтожных мостов стояли часовые-солдаты. В эту ночь мы нигде не встретили часовых. Они словно провалились сквозь землю.

Однако, пройдя еще две или три станции, мы, зная, что по полотну ходьба воспрещается, и опасаясь попасть под пули этих самых несуществующих часовых, почувствовали себя не совсем ловко. Решив продолжать путь дальше по шоссе, а не по рельсам, мы, заметив в стороне несколько темных строений, постучали в первый подвернувшийся дом. Окно осветилось, открылась дверь. Нас встретил ни слова не понимающий по-русски пожилой финн[,] с которым бились мы не менее получаса, пытаясь узнать, как выбраться на шоссе. Я изображал, на столе, пальцами, шагающего человека, подражал звону колокольчика: «Динь-динь-динь», – рисовал на бумажке извилистую полосу – шоссе, и прямую – рельсы, затем, указывая первую, приятно улыбался, закатывая, как тенор, глаза, а показывая вторую – хмурился и мотал головой. Ничего не помогало. «Эйю юмора» – «не понимаю», – твердил терпеливо финн, поглядывая на нас так безучастно, как будто двое полузамерзших людей с баранками и телятиной за плечами являлись к нему по несколько раз в ночь, давно и основательно надоев. Наконец, устав, мы ушли – на те же сумрачные, лунные, морозные рельсы.

Я остановился закурить папиросу и увидел бегущего, догоняющего нас человека. В полутьме трудно было рассмотреть, кто это, и я решил, что к нам бежит часовой, с намерениями весьма суровыми. Но я ошибся. Подбежавший оказался третьим пешеходом – матросом Балтийского флота. Он гостил на той же станции, где жил я. Узнав, что на Петроград вышли два пешехода, матрос, компании ради, пустился догонять нас. С ним был только маленький узелок – новые ботинки жене. Матрос мгновенно ободрил нас, сильно уже уставших и приунывших. Весь его вид, тон, голос, стремительная решительность и простое отношение к слухам – как к слухам – ясно говорили, что «не так страшен черт, как его малюют». Шел он быстро, мелким, прямым шагом, и спотыкающийся от усталости Канишевский начал все чаще просить – «не идти так скоро».

Вскоре после встречи с матросом, за зеленым огнем семафора, вышли мы к станции Райво-ло.

Здесь ожидало нас невыразимо приятное известие: шел самый последний, запоздавший

почтовый поезд; шел до Белоострова; купив в кассе билеты, восторженно обменялись мы по этому случаю приветствиями и ликующими соображениями. Еще бы! Поезд сокращал наше пешеходство на целых двадцать верст!

Минут через десять мы сидели уже в теплом вагоне третьего класса, а еще через пятнадцать минут нас безжалостно высадили в Куоккало – предпоследней, от границы, станции. Поезд дальше не шел.

II

На станции застали мы множество пассажиров, ссаженных с последних двух поездов. Были тут дамы, офицеры, студенты, рабочие, толстые человеки в шубах и совершенно неопределимые личности. Большинство топталось, не зная, где приткнуться, присесть: все скамьи и часть пола у стен были заняты обескураженными, угрюмо молчащими пассажирами. Кой-где собирались шепчущиеся, раздраженные кучки, иные бродили по вокзалу, расспрашивая, нельзя ли достать на Петроград лошадей. Не было не только лошадей, но и свободных номеров в местных гостиницах. Калишевский, сильно усталый, растянулся на столе, с телятиной под головой, я мрачно сидел у стены, прожевывая баранку. Опрос пассажиров заставил нас приуныть: нам сказали, что граница всегда, как правило, закрыта до 6-ти утра и что нет смысла идти к Белоострову теперь, глухой ночью. Яд слухов растекался по станции. Матрос исчез. Вдруг он появился в компании человек пятнадцати солдат и рабочих.

Ну, пойдемте, – сказал он, – врут это, пустое все, граница открыта. Я уж узнал, идем, что ли? Я это потому, что уговорились вместе быть, значит, не бросать же товарищей.

Прислушавшись к внутреннему голосу, редко обманывавшему меня, я решительно поднялся и окрикнул дремавшего Калишевского. Он встал и присоединился, тут же присоединилось к нам несколько человек в шубах и три дамы. Все пошли быстро, гуськом и парами, как придется. Об этой, десятиверстной, части пути до Белоострова могу я сказать только, что механически передвигал замерзшие ноги, смотрел в чью-то спину и слышал, как скрипит, по снегу, взади и впереди, множество угрюмых шагов.

Дамы и толстые шубные человеки отстали от нас в Оллило. Засияла далекая, красивая в черной дали, иллюминация разноцветных Белоостровских огней. Нырнув куда-то вниз, вбок от моста, предстали мы целой толпой перед постовым дежурным жандармом, который, смущенно осмотрев паспорта наши, отправил нас с солдатом, предварительно точно пересчитав всех, к дежурному жандармскому ротмистру.

В помещении, куда мы попали, теплом и светлом, было человек двадцать жандармов, смотревших на нас кротко, но удивленно.

Едва начались расспросы, как вышел ротмистр, молодой, испуганный человек с плотным сырым лицом.

– Что такое?

– В Петроград.

– Не имею права, – нет, нет, не имею права. И помните – идите теперь по шоссе, – на линии вы можете попасть под расстрел.

Последнее мы приняли к сведению, поднялись и вышли, сопровождаемые жандармом, указавшим, как пройти на шоссе. В дальнейший путь отправилось нас всего шестеро – мы трое, прежние, да еще три солдата, остальные, струсив, остались на Белоострове.

Дальнейшее – до ясного, солнечного незабвенного утра в Озерках, Удельной, Ланской, Лесном и Петрограде – припоминается мною смутно, сквозь призму морозного окоченения, смертельной усталости и полного одурения. Мы то шли, изредка поворачиваясь спиной к ветру, чтобы отогреть нос, то бежали, то пытались достучаться в какую-либо из бесконечно тянущихся по Выборгскому шоссе дач, чтобы обогреться и покурить. Где-то на мрачном, писчебумажном заводе удалось мне встретить незапертую дверь коридора квартиры управляющего; небритый, страшный, вошел я на кухню и насмерть перепугал своим появлением девушку, сестру управляющего. Наспех она оделась, наспех выслушала мои извинения, а я, наспех же выкурив в тепле

папиросу, выскочил догонять спутников.

Светало, когда в чайной, близ Парголова, за горячим чаем, свининой и ситным, мы несколько отошли. Но беспокойство гнало вперед. В Парголове было еще тихо, а от Шувалова до Петрограда Выборгское шоссе представляло собой сплошную толпу. В ней мы постепенно растеряли друг друга. От Озерков я шел один. По дороге я видел: сожжение бумаг Ланского участка, – огромный, веселый костер, окруженный вооруженными студентами, рабочими и солдатами; обстрел нескольких домов с засевшими в них городовыми и мотоциклетчиками, шел сам, в трех местах, под пулями, но от усталости почти не замечал этого. Утро это, светлое, игривое солнцем, сохранило мне общий свой тон – возбужденный, опасный, как бы пьяный, словно на некоем огромном пожаре. Железнодорожные мосты, с прячущейся под ними толпой, осторожные пробеги под выстрелами пешеходов, прижимающихся к заборам; красноречиво резкие перекаты выстрелов, солдаты, подкрадывающиеся к осажденным домам; иногда – что-то вдаль, – в пыли, в светлой перспективе шоссе, – не то свалка, не то расстрел полицейского – всего этого было слишком много для того, чтобы память связно восстановила каждый всплеск волн революционного потока. Пройдя гремящий по всем направлениям выстрелами Лесной, я увидел на Нижегородской улице, против Финляндского вокзала, нечто изумительное по силе впечатления: стройно идущий полк. Он шел под красными маленькими значками.

Около двенадцати дня я сел на диван в гостиной доброго знакомого, дожидаясь любезно предложенного мне стакана кофе. Кофе этот я пил во сне, так как не дождался его. Ткнувшись головой в стол, я уснул и проспал восемнадцать часов.

Маятник души

I

На «Бандуэре», океанском грузовом пароходе, вышедшем из Гамбурга в Кале, а затем пустившемся под чужим флагом в порт Преет, служил кочегаром некто Ольсен, Карл-Петер-Йоганн Ольсен, родом из Варде. Это было его первое плавание, и он неохотно пошел в него, но, крепко рассчитав и загнув на пальцах все выгоды хорошего заработка, написал домой, своим родным, обстоятельное письмо и остался на «Бандуэре».

Как наружностью, так и характером Ольсен резко отличался от других людей экипажа, побывавших во всех углах мира, с неизгладимым отпечатком резкой и бурной судьбы на темных от ветра лицах; на каждого из них как бы падал особый резкий свет, подчеркивая их черты и движения. Ритм их жизнь был тот же, что ритм ударов винта «Бандуэры», – все, что совершалось на ней, совершалось и в них, и никого отдельно от корабля представить было нельзя. Но Ольсен, работая вместе с ними, был и остался недавно покинувшим деревню крестьянином – слишком суровым, чтобы по-приятельски оживиться в новой среде, и чужим всему, что не относилось к Норвегии. В то время, как смена берегов среди обычных интересов дня направляла мысли его товарищей к неизвестному, Ольсен неизменно, страстно, не отрываясь, смотрел взад, на невидимую другим, но яркую для него глухую деревню, где жили его сестра, мать и отец. Все остальное было лишь утомительным чужим полем, окружающим далекую печную трубу, которая его ждет.

Чем дальше подвигалась к югу «Бандуэра», тем более чувствовал себя Ольсен как в отчетливом сне. Плавание казалось ему долгой болезнью, которую нужно перетерпеть ради денег. Отработав вахту, он ложился на койку и засыпал или чинил белье; иногда играл в карты, всегда по-немногу выигрывая, так как ставил очень расчетливо. Раз, в припадке тоски о севере, он вышел на палубу среди огромной чужой ночи, полной черных валов, блестящих пеной и фосфором. Звезды, озаряя вышину, летели вместе с «Бандуэрой» в трепете прекрасного света к тропическому безмолвию.

Странное чувство коснулось Ольсена: первый раз ощутил он пропасти далее, дыхание и громады неба. Но было в том чувстве нечто, напоминающее измену, – и скорбь, ненависть... Он покачал головой и сошел вниз.

Неподалеку от Преста, когда «Бандуэра» оканчивала последний переход, Ольсен, спускаясь по трапу в сияющее сталью машинное отделение, почувствовал, что слабеет. Это был внезапный обморок – следствие жары и усталости. Блеск поршней свился в яркий зигзаг, руки разжались, и Ольсен упал с трехсаженной высоты, разбив грудь. Некоторое время он был без сознания. Доктор повозился с Ольсеном, нашел, что внутреннее кровоизлияние отразилось на легких, и приказал свезти пострадавшего в лазарет. Там должен был он лежать, пока не поправится. Ему сказали также, что по выздоровлении он будет бесплатно отвезен в Гамбург.

«Бандуэра» выгрузилась, взяла местный груз, уголь и ушла обратно в Европу. На горизонте от нее остался дымок. Лежа у окна лазарета, Ольсен посмотрел на него с напутствующей улыбкой, как будто этот дым, стелющийся на запад, был его гонцом, посланным успокоить и рассказать.

Путешествие кончилось. Жалованье получено сполна, отправлено почтой в деревню. Мир выпускал наконец Ольсена из своих ненужных и обширных объятий. Теперь Ольсен мог плыть только назад.

II

Лазарет, где лежал кочегар, стоял на холме, за городом. Его верхний этаж состоял из спускных тентов, превращающих больницу в веранду. Отсюда видны были порт, океан и – очень близко от стены лазарета – группы растений, покрытых огромными яркими цветами, подобных которым Ольсен не видел нигде, Ольсен смотрел на эти цветы, на странные листья из темного зеленого золота с оттенком страха и недоверия. Эти воплощенные замыслы южной земли, блеск океана, ткущий по горизонту сеть вечной дали, где скрыты иные, быть может, еще более разительные берега, – беспокоили его, как дурман, власть которого был он страхнут не в силах. Казалось ему, что на нем надето стеснительное парадное платье, заставляющее жалеть о просторной блузе.

Кроме Ольсена, в том же помещении лежали распухший от водянки француз, китаец, высохший и желтый, как мумия, и несколько негров. Не зная языков, Ольсен не мог говорить с ними; но если бы и мог, то предпочел бы все-таки лежать молча. В молчании, в неподвижности, в мыслях о родине он чувствовал себя ближе к дому. Вечером, засыпая, он думал: «Марта доит корову, старуха варит рыбу, отец засветил лампу, вымыл руки и сел к огню курить». Тогда тьма внезапно оборачивалась в его сознании утренней свежестью, и он видел не летний деревенский вечер, а глухой зимний рассвет. Ольсен задумчиво, с неудовольствием улыбался, смотрел некоторое время перед собой в полную огней тьму и сосредоточенно засыпал.

III

Время шло, а он худел, слабел, кашлял; испарина и лихорадочное состояние усиливались. Наконец, не видя никакой нужды держать неизлечимо больного кочегара, доктор сказал ему, что у него чахотка и что северный воздух будет полезнее Ольсену, чем лихорадочный тропический климат. Он прибавил еще, что на днях придет пароход, направляющийся в Европу, что бумаги и распоряжения администрации относительно Ольсена в порядке; таким образом, ему предоставлялся выбор: остаться здесь или ехать домой.

В тот день, когда Ольсен узнал правду, его силы временно вернулись к нему. Он был возбужден и мрачен; ликовал и скорбел, и та внутренняя нервная торопливость, какую стремимся мы, когда это не от нас зависит, приблизить желаемое, наполнила его жадной движением.

Он встал, оделся в свое платье, подумал, постоял у окна, затем вышел. Несколькоими тропинками он достиг берега. Белый песок отделял море от стены леса, склоненной с естественного возвышения почвы к Ольсену нависшими острями листьев. Там, в сумраке глубоком и нежном, дико блестели отдельно озаренные ветви. Там выглядело все, как таинственная страница неизвестного языка, обведенная арабеском. Птицы-мухи кропили цветным блеском своим загадочные растения, и, когда садились, длинные перья их хвостов дрожали, как струны. Что шевели-

лось там, смолкало, всплескивало и нежно звенело? что пело глухим рассеянным шумом из глубины? – Ольсен так и не узнал никогда. Едва трогалось что-то в его душе, готовый уступить дикому и прекрасному величию этих лесных громад, сотканных из солнца и тени, – подобных саду во сне, – как с ненавистью он гнал и бил другими мыслями это движение, в трепете и горе призывая серый родной угол, так обиженный, ограбленный среди монументального праздника причудливых, утомляющих див. Мох, вереск, ели, скудная трава, снег... Он поднял раковину, огромную, как ваза, великолепной окраски, в затейливых и тонких изгибах, лежавшую среди других, еще более красивых и поразительных, с светлым бесстыдством гурии, поднял ее, бросил и, сильно топнув, разбил каблуком, как разбил бы стакан с ядом. Чем дальше он шел, тем тоскливее становилось ему; сердце и дыхание теснились одно другим, и сам он чувствовал себя в тесноте, как бы овееанным пестрыми тканями, свивающимися в сплошной жгут. Солнце село; огромный, лихорадочно сверкающий месяц рассек берег темными полосами; прибой, шумя, искрился на озаренном песке. Пришла ночь и свернулась на океане с магнетической улыбкой, как сказка, блеснувшая человеческими глазами.

Ольсен остановился: глухой, с шумом воды, пришел издалека голос: «Ольсен, это мы, мы! Скорее вернись к нам! Это я, твоя милая сестра Марта, и твоя старая мать Гертруда; и это я – твой отец Петере. Иди и живи здесь...»

IV

Два месяца плыл Ольсен обратно на пароходе «Гедвей», затем прибыл домой и, походив день-два, лег. Но теперь свободно, устойчиво чувствовал он себя, был даже весел и, хотя речь свою часто прерывал мучительным кашлем, был совершенно уверен, что скоро выздоровеет. Ничего не изменилось за время его отсутствия. Так же безнадежно и скучно судился его отец из-за пая в рыболовном предприятии, так же возилась в хлеву мать, так же улыбалась сестра, и платье у нее было то самое, в каком видел он ее год назад.

Он лежал, изредка рассказывая о жизни на пароходе, о чужих странах. Можно было и продолжать слушать его и уйти: так рассказывают о посещении музея. Но с увлечением, с страстью говорил он о том, как хотелось ему вернуться домой. Чем больше он вспоминал это, тем ярче и прочнее чувствовал себя здесь, дома, на старой кровати, под старыми кукующими часами.

Но бой часов этих начинал все чаще будить его ночью; жарче было дышать в бессонницу; сильнее болела грудь. В маете, в страхе, в угрызениях совести за то, что «не работник», прошла зима. Наконец, весной, стало ясно ему и всем, что конец близок.

Он наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, Ольсен попросился сесть у окна. Мерзнувший, весь в поту, с подушками под головой, Ольсен смотрел на холмы, вбирая кровотокающим обрывком легкого последние глотки воздуха. Тоска, большая, чем в Преете, разрывала его. Против его дома, у окна, обращенного к холмам, на руках матери сидела и смешно билась, махая руками и ногами, крошечная, как лепесток, девочка.

–...Дай!.. – кричала она, выговаривая нетвердо это универсальное слово карапузиков, но едва ли могла понять сама, чего именно хочет. «Дай! Дай!» – голосило дитя всем существом своим. Что было нужно ей? Эти ли простые цветы? Или солнце, рассматриваемое в апельсинном масштабе? Или граница холмов? Или же все вместе: и то, что за этой границей, и то, что в самой ней и во всех других – и все, решительно все: – не это ли хотела она?! Перед ней стоял мир, а ее мать не могла уразуметь, что хочет ребенок, спрашивая с тревогой и смехом: «Чего же тебе? Чего?»

Умиравший человек повернулся к заплаканным лицам своей семьи. Вместе с последним усилием мысли вышли из него и все душевные пути, и он понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он – человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть. Но было уже поздно. Не поздно было только истечь кровью в предсмертном смешении действительности и желания. Ольсен повернулся к сестре, обнял ее, затем протянул руку матери. Его глаза уже подернулись сном, но в них светился тот Ольсен, которого он не узнал и оттолкнул в Преете.

– Мы все поедем туда, – сказал он. – Там – рай, там солнце цветет в груди. И там вы похороните меня.

Потом он затих. Лунная ночь, свернувшаяся, как девушка-сказка, на просторе Великого океана, блеснула глазами и приманила его рукой, и не стало в Норвегии Ольсена, точно так же, как не был он живой – там.

Клубный арап

I

Некто Юнг, продав дом в Казани, переселился в Петроград. Он был холост. Скучая без знакомых в большом городе, Юнг первое время усиленно посещал театры, а потом, записавшись членом в игорный клуб «Общество престарелых мучеников», пристрастился к карточной игре и каждый день являлся в свой номер гостиницы лишь утром, не раньше семи.

Никогда еще азарт не развивался так сильно в Петрограде. К осени 1917 года в Петрограде образовалось свыше пятидесяти игорных притонов, носивших благозвучные, корректные наименования, как-то: «Собрание вдумчивых музыкантов», «Общество интеллигентных тружеников», «Отдых проплойского района» и т. п. Кроме карточной игры, ничем не занимались в этих притонах. Каждый, кто хотел, мог прийти с улицы и за 10–15 рублей получить членский билет. Публика была самая сборная: чиновники, студенты, мародеры, мастеровые, торговцы, шулера, профессиональные игроки и невероятное количество солдат, располагавших подчас, неведомо откуда, довольно большими деньгами.

Когда Юнг начал играть, у него было около сорока тысяч, вырученных сверх закладной. Крайне нервный и жадный к впечатлениям, он отдавался игре всем существом, входя не только в волнующую остроту данных или же битых карт, но в весь строй игорной ночной жизни. Он настолько познал ее, что не отделял ее от игры; ее наглядность и размышления о ней как бы сдобривали сухое волнение азарта и часто сглаживали мучительность проигрыша, развлекая своей мошеннической, живой сущностью. Не будь этой игорной кулисы, играй Юнг в клубе старинном, чопорном, где «шокинг» не идет дальше пропавшего карточного долга, пули в лоб или же – верх несчастья – уличения опростоволосившегося элегантного шулера, Юнг, может быть, бросил бы скоро игру. Будучи чужим клубной публике, входя только в игру, с ее лицемерной церемонностью сдерживаемых хорошего тона ради страстей, он, быстро утомленный, пресытился бы однообразным прыганием очков в раскрываемых картах. А в «Обществе престарелых мучеников» его заражал азартом и удерживал именно этот густой, крепкий запах жадной безнравственности, нечто животное к деньгам, в силу чего они приобретали веский, жизненный вкус, разжигая аппетиты и делаясь оттого желанными, как голодному кушанье.

Во всех петроградских клубах игра шла главным образом в «макао» – старинная португальская игра, несколько видоизмененная временем.

В неделю Юнг изучил быт «Престарелых мучеников». Шулеров, в прямом артистическом значении этого слова, здесь не было, отчасти потому, что карты при сдаче вкладывались в особую машинку, мешающую передернуть или сделать накладку (лишняя, затаенная в рукаве, подобранная сдача на одну или несколько игр), а более всего по причине множества клубов и большого выбора поэтому арен для шулерских доблестей. Кроме того, богатые притоны, с целью развить игру, перебивали друг у друга известных шулеров на гастроли, дабы те заставили говорить о случившемся в таком-то месте крупном выигрыше и проигрыше. Ради рекламы не останавливались даже перед тем, чтобы дать X-су крупный куш специально для «раздачи», как называется упорное «невезение» банкомета.

«Престарелые мученики» наполнялись самой отборной публикой. Тут можно было встретить сюртук литератора, пошлую толщиной часовую цепочку мясника или краснотоварца, галуны моряка, кожан, а то и косоворотку рабочего, офицерские погоны и солдатские мундиры, – без погон, по последней моде. Поражало количество денег у солдат и рабочих. Это были едва ли не

самые крупные, по азарту и деньгам, игроки почтенного учреждения.

Как сказано, прямого шулерства не было, но существовало «арапничество», среднее в сути своей между попрошайничеством и мошенничеством. Об этом, однако, после.

II

Юнг на первых порах выигрывал. Пословица – «новичкам везет» – права, может быть, потому что новичок инстинктивно приравнивается к единственному закону игры – случайности, он ставит где попало и как попало; прибавьте к этому, что новичок большею частью затесывается в клуб случайно; таким образом, соединение трех случайностей увеличивает шансы на выигрыш, совершенно так же, как выполнение сразу трех намерений редко увенчивается успехом. Позже, присмотревшись, как играют другие, и возмнив, что научился расчету в том, как и где ставить (вещь нелепая), игрок закрывает глаза на то, что он уже борется с законом случайности и борется во вред себе, так как естественно в этом случае изнурение нервов, ведущее к растерянности и безволию. Неизвестно, как лежат карты в колоде. Думаешь, что ты угадал, на какие табло вот теперь следует ставить и в какую очередь, – значит думаешь, что знаешь. Но карты издеваются над такой притязательностью. Есть, правда, небольшое число людей с особо-тонко развитой интуицией в смысле угадывания, но выигрывать всегда людям этим мешает их же недоверие к интуиции; зачастую усумнившись в внутреннем голосе, ставят они на другое, чем показалось, табло и, думая, что обманули судьбу, дуют потом на пальцы.

Пока Юнг отделялся только замиранием сердца, ставя куда попало и мечта ответы без учитывания жира и девятки, ему везло. Каждый вечер уходил он с сотнями и тысячами рублей выигрыша. Нужно отметить, что уйти с выигрышем – вещь несколько трудная. Выигрывающий обыкновенно назначает себе предельную сумму, с которой, доиграв ее, и решает уйти. Если ему везет дальше, – из жадности мечтает он уже о высшей предельной сумме и, не добившись, естественно, предела в беспредельности, начинает в некий момент спускать деньги обратно. Желания теперь суживаются, становятся все кургузее и молитвеннее. Вот игрок мечтает уже о том, чтобы достичь снова бывшей кульминационной точки уплывающей суммы. Вот он говорит: «Проиграю еще не более, как столько-то, и уйду». Вот он проиграл весь выигрыш, и бледный, с потухшим взором, ставит опять свои деньги. Не везет! Он, торопясь в рай, ставит большие куши, удваивает их и остается, наконец, с мелочью на трамвай или извозчика, но часто лишенный и этого, занимает у швейцара целковый.

Юнгу везло, и около месяца, счастливо закладывая банки, мечта удачные ответы или понтируя, купался он в десятках тысяч рублей, привыкнув даже, когда играл, смотреть на них не как на деньги, а как на подобие игорных марок, – некое техническое приспособление для расчета. Но счастье, наконец, повернулось к нему спиной. Проиграв однажды пять тысяч, он приехал на другой день с пятнадцатью и к закрытию клуба совершенно рассорил их. Удар был ощутителен; желание возмездия проигранное выразилось в силу возникшего недоверия к своей «метке» тем, что Юнг начал давать деньги в банк и на ответ другим игрокам, бойкость и опытность которых казалась ему достаточной гарантией успеха. Лица эти, играя для него, но более (если им решительно не везло) для многочисленных своих приятелей, ставивших в таких случаях весьма усердно и крупно, не далее как в неделю лишили его трех четвертей собственных денег. Иногда незаметно платили они за ставки больше, чем следует, а затем делились с получающим разницей. Иногда, после того как карты были уже открыты на то табло, где сияли выигравшие очки, ловко подсовывалась крупная бумажка и за нее получалось. Иногда банкомет, смешав, как бы ненароком, юнговы деньги со своими, разделял их затем не без выгоды для себя и клялся, что поступил правильно. С помощью таких нехитрых приемов, бывших обычными среди посетителей «Общества престарелых мучеников», карточные пройдохи привели Юнга в состояние полной растерянности и нерешительности. Оставшись с небольшой суммой, он то ставил мало, когда счастье, казалось, подмигивало ему, то много, когда определенно билась карта за картой, и вскоре, дойдя до придумывания беспроигрышных «систем» – худшее, что может постигнуть игрока, – кончил он тем, что остался с двадцатью-тридцатью рублями, напился и в клубе появился

снова через дней пять, подавленный, измученный, без всяких определенных планов, с одной лишь жадой – играть, играть во что бы то ни стало, быть в аду вечной жажды, – ожидая случая, толпиться и вздрагивать, сосчитывая слепые очки.

Переход от воздержанности к запойной игре, а от последней к арапничеству, совершается незаметно, как все то, где главное действующее лицо – страсть. Окончательно проигравшись или же став в положение, при котором вообще неоткуда достать своих денег, игрок начинает обыкновенно собирать долги. Тот ему должен, тот и тот. Суммы эти служат некоторое время, игра для такого человека сделалась страстью, ее зуд прочно завяз в душе, подобно раздражению десен, когда ненасытно жуют вар или грызут семечки. Но вот истребованы, выклянчены и проиграны все долговые суммы. Возможно, что в этом периоде были моменты относительной удачи, – тем хуже. Игрок смотрит уже на них как на чужие, даром доставшиеся деньги. Истрепанные нервы требуют оглушения. Он пьет, развратничает, играет, не соображая ставок пропорционально наличности, и в скорости начинает занимать сам. Сначала ему дают, затем – морщатся, ссылаясь на собственный проигрыш, затем с ругательствами, издевкой над скулением отбивают охоту вообще просить денег взаймы. Все постоянные посетители знают и его и его привычки, даже тот соединенный неписаным уставом кружок «арапов», к которому он уже принадлежит, но, большей частью, не знают ни его жизни, ни имени, ни фамилии. Такова странность всепоглощающих интересы занятий! Налицо здесь лишь зрительная фигура; фигура менее значит для этого общества, чем «жир» в картах.

Когда так называемая нравственная стойкость достаточно потускнела; когда всю жизнь заполнила и высосала игра, а задерживающие центры перестают обращать внимание на такие пустяки, как унижение и обида, – арап готов. Он сделан из попрошайничества, уменья словить момент, шутовства, настойчивости и мелкого мошенничества. Научившись быстро вести расчет по всей сложности и учету ставок, он, как настоящий крупье, за 10 процентов помогает любому желающему метать ответ, но медлительному в цифровых соображениях. Геройски распоряжается он чужими деньгами; выхватывает их из рук банкомета или из-под его носа; кричит: «Сойдите!» – «Швали ушли!» – «Крылья полностью», – «Какие слова?!» (Загнутый угол бумажки, обозначающий меньшую, чем ассигнация, ставку) – «Комплект!» – «Куш платит!» – «Делайте вашу игру!» – и все другое, подобное, штампованные выражения выигрыша, проигрыша и ожидания. Он способствует закладу часов и колец карточнику или швейцару. Он достает водку. Он дает «на счастье» рубль в банк и бывает в случае выигрыша необыкновенно привязчив. Он подбрасывает на выигравшее табло лишние деньги. Он привозит богатых и пьяных игроков. Он пытается из-под локтя собственника стянуть деньги и, если это замечается, говорит, что хотел поправить их, они, мол, намеревались упасть на пол. В таких клубах легко смотрят на обнаруженное покушение смошенничать или украсть. Никогда дело не вызывает скандала. В худшем случае – короткий гвалт, в лучшем – гневный взор и угроза трясением пальца.

Постоянно играющие должны быть всегда в проигрыше. Расчет их таков: клуб в виде платы за места, за закладывание банков и штрафах (за игру позже известного часа) собирает в день, в среднем, – две тысячи. Общая сумма денег, пускаемых в игру (сообразно процентным отношениям с «ответом» и банком) – сто тысяч. Через месяц и двадцать дней эти сто тысяч целиком переходят в клубную кассу.

Юнг стал арапом.

III

Ему не повезло. Когда он отошел от стола, – денег совсем не было.

Трясаясь, шаря по карманам и часто мигая, как ослепленный облаком пыли, Юнг старался припомнить порядок, в каком произошло несчастье, но ощущал лишь бессилие и тоску. Глубокое отвращение к себе, к игре, к жизни овладело им. Не зная, что делать, он крикнул, как сумасшедший, в отчаянии: «Покрыт банк!». У стола, где давалось сорок рублей, банк выиграл.

– Будет за мной! – глухо сказал Юнг.

Поднялся отвратительный шум. Кто-то из выигравших, внимательно посмотрев на Юнга,

внес сорок рублей.

– В банке восемьдесят! – сказал утихомиренный банкомет. – Прием на первое!

IV

Юнг прошел в читальню, взял номер статистического журнала, повертел его, бросил и сел в кресло. Глухая подавленность отчаяния держала его вне места и времени.

– Что же делать? – сказал он себе. – Теперь – крышка. Одно остается: броситься с моста в воду. – Он построил это как фразу, но, повторив еще раз, проник наконец в смысл сказанного и понял, что броситься с моста в воду – значит умереть. Решимость покончить самоубийством приходит даже у самых меланхолических натур внезапно. Можно подготовиться к этому в двадцать лет и все же дожидаться внуков; можно, наоборот, никогда не думать серьезно о самоубийстве и, вдруг почувствовав жизнь нестерпимо омерзительной, кинуться, как к отдыху, к смерти. Такое непродуманное, но уже тоскливо влекущее решение вдруг оживило Юнга. В новом, непривычном состоянии безымянного трепета поднялся он с кресла, но в это мгновение случайно взгляд его упал на одну из картинок Стереоскопа, рассыпанных на столе. Картинка изображала женщину, сидящую верхом на конце бревна, выдающемся с озерного берега над водой.

Юнг взял картинку. Болезненное желание увидеть перед концом воду, такую же воду, какая должна была в скорости сомкнуться над ним, заставило его установить изображение в Стереоскопе и поднести аппарат к глазам. Сначала освещенное электричеством изображение оставалось плоским, но скоро, уступая напряжению взгляда, выявило понемногу перспективу и жизненность трех измерений. Юнг увидел большое лесное озеро, тень в нем от бревна и босые, обнаженные до колен, напрягающиеся неудобством положения, крепкие ноги женщины. Ее лицо удивило его. Вне аппарата – оно было застывшим, с тем самым неестественным выражением, какое свойственно человеку, снимаемому фотографом, а теперь улыбалось. Тяжелое чувство, предвидение необычайного, родственное тягости перед припадком или в ожидании мрачного известия, овладело им. Он быстро опустил аппарат и вздрогнул, как от внезапной струи холода, заметив, что, когда глаза уже расставались с изображением, – женщина качнула ногой, словно собираясь покинуть бревно и сойти на землю.

– Дико, – сказал он, морщась и прикладывая руку к томительно бьющемуся сердцу. «Неужели сумасшествие – начало его?» – подумал Юнг. Тревога его не проходила, а нарастала, подобно приближающемуся барабанному бою. Он оглянулся, переживая странное электризирующее ощущение, подобно воображенному, конечно, – тому, как если бы все предметы ожили, сошли с места, а затем мгновенно разместились в прежнем порядке, с быстротою частиц ртути, вплескивающих взаимно.

Против него в пустом ранее того кресле сидела смуглая молодая женщина, – та самая, на которую в Стереоскоп смотрел Юнг. Ее черные, ровные как шнурки, брови были высоко поставлены над смелыми, большими глазами, блистающими того рода жуткой одухотворенностью, какая свойственна старинным портретам, в колеблющемся и неверном свете. От платья и фигуры ее веяло разрушением действительности. То, что испытал Юнг в течение этого замечательного свидания, никак не может быть названо страхом. Начало сверхъестественного лежит в нас и выявленное тайными силами, противу всяческих ожиданий потрясающего недоумения страха, вводит лишь, правда не без сильного возбуждения, в привычную область веры фактам. Чтобы понять это, достаточно представить ощущение человека, впервые попадающего под выстрелы или претерпевающего крушение поезда. Контраст факта разителен с обыденностью предстояния факту, и, однако, что бы ни толковали люди логической психологии, – не страх сопутствует указанным фактам. Оцепенение возбуждения – вот, пожалуй, приблизительно верная оценка переживаний. Что стреляют в тебя, – этому, пока оно не случилось, так же трудно поверить, как явлению демона.

– Это что? – спросил, тяжело дыша, Юнг.

В гостиной, кроме него и неизвестной дамы, никого не было.

– Слушайте внимательно, – сказала женщина, наклоняясь через стол к Юнгу. – Сегодня 23-

е число, день, в который я выхожу из тумана. Больше вы меня не увидите. Я предлагаю вам новую, чудную по результатам игру, которая при удаче утысячит всякое счастье, при неудаче магически усилит несчастье. Это – игра на время. Посмотрите колоду. Возьмите ее себе. У нас она называется Шеес-Магор, что значит – потерянная и возвращенная жизнь.

Юнг взял колоду. В ней, как и в обыкновенной игральной, было пятьдесят два четырехугольных, но квадратных, лоскутка, сделанных из неизвестного материала, черного и твердого, как железо, тонкого, как батист, шелковистого на ощупь, слегка просвечивающего и легкого. До крайности странны были фигуры, разрисованные от руки, как и все остальные карты, красной и белой красками. Очки пик были изображены в виде коротких стрел; трефы – трилистников; бубны – красных четырехугольных цветов; черви – сердец, сжатых рукой. Тяжелая, гротескная узорность фигур таила в себе нечто идольское, древнее и потустороннее.

– Играйте с любым, с кем хотите, – продолжала дарительница, когда Юнг поднял глаза, весь во власти открывающейся пред ним бездны. – Вам предоставлено ставить в какую хотите азартную игру любое количество лет, месяцев, дней, часов и даже минут. Битая ставка переносит вас в будущее на ставленный интервал времени, ставка выигранная – отдалит в прошлое.

Последние слова женщины звучали глухо и отдаленно. Договорив, она исчезла – не расплылась, не растаяла, а именно исчезла, как в смене кинематографических сцен. Юнг вскочил, уронил газету и, весь трясаясь еще от волнения, нагнулся, собирая карты. Не поднимая головы, он увидел, что возле его рук движутся, делая что и он, – еще две руки. Пальцы их были покрыты крупными золотыми кольцами.

Юнг посмотрел выше. Перед ним на корточках сидел, помогая собирать, крайне удивленный видом карт известный игрок Бронштейн, – сложная разновидность Джека Гэмлина в русских условиях. Круглый, с небольшим брюшком, если не всегда веселый, то неизменно оживленный, человек этот сказал:

– Турецкие?

– Нет, – машинально ответил Юнг.

– Греческие?

– Не...

– Первый раз вижу такие карты. Где вы их взяли?

К Юнгу вернулось самообладание. Он гладко солгал:

– Это карты неизвестно какого происхождения. Ко мне они перешли от отца, вывезшего их из Дагестана. Слушайте, Яков Адольфович. У меня есть примета (карты были собраны, и оба присели уже к столу), – если я впустую играю перед настоящей игрой один удар с кем-нибудь этой колодой, – мне должно тогда повезти за любым столом.

– Хорошо, – сказал Бронштейн. – Все мы игроки – чудаки. Делайте вашу игру. Закладываю в банк на первый случай, солнце и... хотя бы... луну...

Быстрыми, летающими движениями привычного игрока он сдал, как всегда в макао, на четыре табло и со скупающим видом приподнял свои три карты.

– Девять, – с неизменяющим игроку никогда, даже при игре в «пустую», удовольствием сказал он.

Юнг еле успел взглянуть на свои карты, т. е. на те, что покрывали предполагаемое первое табло. Он проиграл. У него было три.

V

Приглашая Бронштейна сыграть в «пустую», Юнг мысленно определил ставкой пять лет и два месяца с тем расчетом, что, выиграв, вернется он к особенно любимым в прошлом дням первых свиданий с Ольгой Невзоровой, девушкой, которая должна была стать его женой и которую взял от земли тиф. Проигрыш, наоборот, увлекал в неизвестное, может быть, к смерти. Последнее не беспокоило Юнга. Фантастическая жизнь клуба, где каждая битая ставка являлась, в виде малом и скудном, образом смерти, бесчисленным множеством этих отдельных потрясений, давно уже притупила инстинкт самосохранения; к тому же, как видели мы, Юнг сам желал само-

убийственного конца.

У карт не было крапа. Когда они, в числе трех, веером легли перед ним, – в блестящей черноте их, отражавшей, словно водами глубокой пропасти, свет люстры, появились, двигаясь, несколько тихо мерцающих точек. Особым, глубинным и безотчетным знанием Юнг понимал, что точки эти – те годы, которые он поставил. Девятка Бронштейна бросила ему в горло первый комок спазмы. Странные подобию гримасы мысли сопровождали движение его руки, когда он открыл свои три карты.

Юнг повернулся на бок. Все тело нестерпимо ныло, как бы просило уничтожения раздражающих прикосновений одеяла и тюфяка. Прикрученная на круглом столе лампа горела больным светом. В кресле спала сестра милосердия, полнолицая, рябая женщина. Голова ее низко опустилась на грудь, производя такое впечатление, как будто сестрица всматривается в собственные очки.

Ворочаясь, Юнг задел локтем склянку с лекарством: звонко ударившись о стакан, она разбудила дремавшую женщину.

– Глупости... некуда-с... – забормотала она спросонок и очнулась. – Что вам? Пить? Беспокойно, может? – спросила она привычно заботливым голосом. – А вы хорошо спали нынче, поправитесь, видно.

– Да. В середине ночи проснулся, – не замечая ее смущения, сердито сказал Юнг. – Смерть идет... Плохо мне.

– Больные все мнительны, – сказала сестрица. – Не такие на моих глазах выздоравливали.

– А, ну вас, – с отчаянием прошептал Юнг и закрыл глаза.

Вчера вечером с тонкостью интуиции, присущей тяжелобольным, он видел по напряженному лицу доктора, что дело плохо. Различные воспоминания с беспорядочной яркостью пробежали в его тоскующей голове. Между прочим, он вспомнил, как был пять лет тому назад клубным арапом, вспомнил подробности некоторых вечеров, но далее того сила воспоминаний гасла, оставляя значительный промежуток неопределенных туманностей, как это часто бывает у людей слабой или рассеянной памяти; так называемый «провал» лежал между текущим моментом и тем, когда он решил идти топиться.

Вдруг Юнг вспомнил о картах. Они лежали под его подушкой. Сознание его не шло дальше возможности очутиться с помощью их в небытии или в новых (старых?) условиях. Оно и не могло идти дальше: магическая игра являла действительность столь опрокинутой, отраженной в себе и послушной необычайному, что Юнг бессильно поморщился. Он хотел быть с Ольгой Невзоровой или не быть совсем.

– Юлия Петровна, – слабым голосом сказал он, – подвиньте мне, пожалуйста, столик.

– Чего вы надумали еще? Лежите, лежите себе!

– Да ну, подвиньте.

Она поспорила еще, но исполнила, наконец, его желание. Юнг с трудом приподнялся на локте, положив перед собой колоду. По причине слабости, а также чтобы избежать вопросов и любопытных взглядов сестры милосердия, в случае если бы она принялась рассматривать карты, Юнг задумал упрощенную игру в «кучки». В игре этой – если играют двое – колода делится крапом вверх на две равных или неравных половины. Каждый выбирает, какую хочет, выигрывает тот, чья нижняя карта старше нижней карты противной «кучки».

Очки Юлии Петровны с беспокойством и удивлением следили за его действиями.

Юнг стал медленно приподнимать «кучку», лежавшую ближе к нему. «Десять лет... десять лет и четыре месяца», – мысленно твердил он.

– Ах, – дико закричал он, увидев в то же мгновение против короля второй «кучки» свою пиковую десятку.

Все кончилось.

Преступление Отпавшего Листа

I

Ранум Нузаргет сосредоточенно чертил тростью на веселом песке летнего сквера таинственные фигуры. Со стороны можно было подумать, что этот грустный худой человек в кисейной чалме коротает бесполезный досуг. Однако дело обстояло серьезнее. Чертя арабески, изученные линии которых в процессе их возникновения помогали его напряженной воле посылать строго оформленные волны беззвучного разговора, – Ранум Нузаргет вел страстную речь своей сильной, жестоко наказанной душой с далеким углом земли – приютом Великого Посвящения.

Прошел час. Ранум высказал все. Раскаяние, скорбь, тоска – ужас отверженности, – все передал изгнанник в далекую, знойную страну, Великому Посвящению. Трепет незримых струн, соединивших его с вездесущей волей Высшего из Высших, того, чье лицо он, Ранум Нузаргет, не удостоился видеть, – трепет опал. Струны исчезли. Ранум поднял голову и стал ждать ответа.

Перед ним, взад-вперед, пестрой сменой одежд и лиц шло множество городского люда. В этом огромном городе, кипящем лавой страстей, – алчности, гнева, изворотливости, страха, тысячецветных вожделений, растерянности и наглости, – Ранум испытывал острые мучения духа, стремящегося к покою блаженного созерцания, но вынужденного пребывать в грязи, крови и тьме несовершенных существ, проходящих низшие воплощения. Военный ад и социальное землетрясение мешали ему совершать внутреннюю работу. Заразительность настроения миллионов, чувствительная любому горожанину, с неизмеримо большей силой проникала в Ранума, так как малейшее внимание его изошренной силы позволяло ему читать мысли, более – знать всю сокровенную сущность человеческой личности.

Он пристально смотрел на прохожих, временами любопытно оглядывавших белый халат, чалму и тонкое, коричневое лицо индуса с неподвижными, черными глазами, остающимися в памяти как окрик или удар. Пока что Ранум не видел ничего особенного. Двигался прикрытый однообразной формой ряд обычных мерзостей, но среди них, на исходе срока ожидавшегося ответа, прошел некто, – ничем не замечательный нашему наблюдению и поразительный для Ранума. Ему было лет тридцать; одет он был скромно, здоров, с приятным легким лицом и твердой походкой.

Ранум глубоко вздохнул. Душа прохожего, совершенно ясная ему была мертва как часы. Ее механические функции действовали отлично, свидетельством чему служили живой, острый взгляд прохожего, его перегруженность заботами о семье и пище, но магическое начало души, божественный свет Великой силы потух. Роза, потерявшая аромат, могла бы стать символом этого состояния. Душа прохожего была убита многолетними сотрясениями, ядом злых впечатлений. Эпоха изобиловала ими. Беспрерывный их ряд в грубой схеме возможно выразить так: тоска, тягость, насилие, кровь, смерть, трупы, отчаяние. Дух, содрогаясь, пресытился ими, огрубел и умер – стал трупом всему волнению жизни. Так доска, брошенная в водоворот волн, среди многоформенной кипучести водных сил, неизмеримо сохраняет плоскость поверхности, мертво двигаясь туда и сюда.

Ранум встречал много таких людей. Их путь требовал воскрешения. Меж тем, уловив тон судьбы в отношении этого прохожего, йог видел, что не далее как через два часа мертвый духом умрет и физически. Пока он еще не мог определить, какой род смерти прикончит с ним, но проникся к несчастному великим состраданием. Человек, оканчивающий свои дни с мертвой душой, выходил навсегда из круга совершенствования и конечного достижения блаженства Нирваной. Он переживал свое последнее воплощение. Он терял все, не подозревая об этом.

Прохожий, ужаснувшийся Ранума, скрылся в толпе, но индус мысленно видел его путь среди городских улиц. Пока он оставил его, прислушиваясь к ответу Великого Посвящения.

Ответ этот раздался подобно шуму крови или музыкальному восприятию. Он был мрачен и краток. Ранум услышал:

«Тому, чье имя ныне, – „Отпавший Лист“.

Еще не кончен срок очищения.

Ранум! Ты вернешься, когда не будешь страдать. Сильно земное в тебе; разрушь и

проснись.»

II

Ранум был жертвой силы воображения. Ему давалось очень легко то, над чем другие ученики йогов трудились годами. Начало воспитания – отправные точки концентрации внутренней силы заключаются в упражнениях, часть которых может быть здесь рассказана.

Сидя в строго условной позе, в обстановке и времени, определенных вековым ритуалом, ученик представляет на своем темени точку. Представление должно иметь силу реальности. Следующим усилием является превращение – воображением этой точки в пламенный уголь. Затем: уголь описывает сплошной огненный круг вокруг сидящего и плоскость круга вертикальна земле. Затем круг начинает вращаться справа налево с быстротой волчка, – так что сидящий видит себя заключенным в огненной сфере.

Средняя продолжительность – в отдельности – достижений этих такова: точка – от одного до семи дней; уголь – от трех месяцев до одного года; круг – от трех до пяти лет; сфера – от пяти до семи.

Исключительная сила воображения помогла Рануму овладеть всей этой серией упражнений менее чем в один год. Тридцати лет он готовился уже принять Великое Посвящение.

За три дня до совершения таинства он пал, – его смял бунт связанных молодых сил, взрыв желаний. Все чистые цветы его духовного сада испепелились безудержным пожаром. Находясь в пустыне, в полном одиночестве, ради последнего сосредоточения высших размышлений, он дал себе – молниями воображения, материализующего представления, – все земное: власть, роскошь, негу и наслаждение. Сияющий, разноцветный рай окружал его.

Когда он очнулся, неумолимое приказание изгнало его в мир. Здесь среди потомков темной, материальной жизни он должен был пробыть до того времени, когда в тягчайших испытаниях и соблазнах станет бесстрастен и нем к земному. Кроме того, под страхом полного уничтожения ему было запрещено проявлять силу. Он должен был идти в жизни простым свидетелем временных ее теней, ее обманчивой и пестрой игры.

III

Скорбь, вызванная ответом, прошла. Поборов ее, Ранум услышал гад головой яркий, густой звук воздушной машины. Он посмотрел вверх, куда направились уже тысячи тревожных взглядов толпы и, не вставая, приблизился к человеку, летевшему под голубым небом на высоте церкви.

Бандит двигался со скоростью штормового ветра. За его твердым, сытым лицом с напряженными, налитыми злой волей чертами и за всем его хорошо развитым, здоровым телом сверкала черная тень убийства. Он был пьян воздухом, быстротой и нервно возбужден сознанием опасного одиночества над чужим городом. Он готовился сбросить шесть снарядов с тем чувством ужасного и восхищения перед этим ужасным, какое испытывает человек, вынужденный броситься в пропасть силой гипноза.

Труба шестиэтажного дома скрыла на минуту белое видение, гулко сверлящее воздух, но Ранум тайным путем сознания, постичь которое мы бессильны, установил уже связь меж бандитом и прохожим с мертвой душой. Человек с мертвой душой должен был погибнуть от снаряда, брошенного на углу Красной и Черной улиц. Ранум заставил себя увидеть его, медленно вышедшего из лавки по направлению к остановке трамвая. Он увидел также не заполненную еще падением бомбы пустую кривую воздуха и понял, что нельзя терять времени.

«Да, – сказал Ранум, – он умрет, не узнав радости воскресения. Это тягчайшее из злодейств, мыслимых на земле. Я не дам совершиться этому».

Он знал, что погибнет сам, вмешавшись нематериальным проявлением воли в материальную связь явлений, но даже тени колебания не было в его душе. Ему дано было понимать, чего лишается человек, лишаясь радости воскресения мертвой души. Ужас потряс его. Он сосредото-

чил волю в усилие длительного порыва и перешел, – внутренно, – с скамьи сквера на белое сверло воздуха, к пьяному исступлению человеку и там заградил его дух безмолвными приказаниями.

Летевший человек вздрогнул; им овладели смятение и тоска. Его члены как бы налились свинцом; в глазах потемнело. Его сознание стало безвольным сном. Не понимая, что и зачем делает, он произвел ряд движений, существенно противоположных назначенной себе цели. Аппарат круто повернул в сторону, вылетел над рекой, к огромной пустой площади и, мягко нырнув вниз, разбился с смертельной высоты о кучи булыжника.

Ранум услышал гул неразрушительных взрывов и понял, что совершил преступление. Выпрямившись, спокойно сложив руки, он ожидал казни. В это время от клена, распутившего над его головой широкие, тенистые ветви, на колени Ранума упал отклеванный птицей зеленый лист, и Ранум машинально поднял предсмертный подарок дерева.

Тогда из глубины дивных пространств Индии, из воздуха и из сердца Великого Посвящения услышал он весть, заставившую его улыбнуться:

«Брат наш, Отпавший Лист, ты совершил великое преступление!

Оно прощено, – ради жертвы, перед которой ты не остановился.

Отныне – оторванный навсегда от святого дерева, – ты, слишком непокорный, чтобы быть с нами, но и не заслуживающий уничтожения, – ибо восстал против смерти духа, – будешь одинок и вечно зелен живой жизнью, подобной тому листу, какой держишь в руке».

Ранум поцеловал душистый кленовый листик и с легким сердцем удалился из сквера.

Сила непостижимого

В то время как одним в эту ночь снились сказочные богатства Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали океана, где должны они блуждать до окончания жизни.

Ф. Купер. «Мерседес-де-Кастилья».

I

Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюплэ занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный потоп, и взрыв нервности сменялся упадком сил; в противном случае – нечто, огромное сознания, основанное, быть может, на синтезе гомерического, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой.

Основным тоном жизни Дюплэ было никогда не покидающее его чувство музыкального обаяния. Лучшим примером этого, вполне объясняющим такую странность души, может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой. Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива: подвиг и разгул, благословение и злодейство, производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище – возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Меж действием и оркестром расстилается незримая тень элегии, и в тени этой тонут границы фактов, делая их – повторим это – увлекательным зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние; следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания.

Такое же именно отношение к сущему – отношение музыкальной приподнятости – составляло неизменный тон жизни Дюплэ. Его как бы сопровождал незримый оркестр, развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные слуху физическому,

оставляли впечатление совершеннейшей музыкальной прелести. В силу такого осложнения восприятий личность Дюплэ со всем тем, что делал, думал и говорил, казалась самому ему видимой как бы со стороны – действующим лицом пьесы без названия и конца – предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени переносились Дюплэ тою же дорогой стороннего впечатления; сам – публика. И герой пьесы – был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением.

Вместе с тем во время тревожных и странных снов, переплетающих жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же тактов которой пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием совершенство этой божественно-ликующей музыки было – как чувствовал всем существом Грациан Дюплэ – полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего первоисточника.

Однако память Дюплэ по пробуждении отказывалась восстановить слышанное. Напрасно еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища; звуки, удаляясь, бледнели, вспыхивая изредка мучительным звуковым счастьем, смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо – музыкальное обаяние.

Грациан Дюплэ был скрипач.

II

Изыскания Румиера в области цветной фотографии и гипноза, в двух столь различных ведомствах ищущей деятельности, достигнув значительных успехов, создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и непрерывно увеличивающийся круг почитателей. Поэтому дверной звонок был мучителем Румиера, и он в тот день, о котором идет речь, с мукой выслушивал его двадцатый по числу треск, заметив слуге, что, если посетитель не выкажет особой настойчивости, – не лишним будет напомнить ему об окончании через пять минут приемного часа доктора.

Однако, возвращаясь, слуга доложил, что посетитель, очень болезненный человек с виду, проявил требовательность раздражительную и упорную. Румиер отложил в сторону бледный снимок цветущих утренних облаков и перешел к письменному столу, где встречал посетителей. Дав знак пропустить неизвестного к себе, он увидел человека вульгарной внешности, типа рыночных проходимцев, одетого безотносительно к моде и с сомнительною опрятностью; он был мал ростом, но страшно худ, что заменяло ему высокие каблуки. Тупое страдание мелькало в его запавших глазах; лоб был высок, но скрыт прядями черных волос, забытых гребнем; нервность интеллигента и огрубение тяжелой жизненной школы смешивались в этом лице, насчитывавшем, быть может, тридцать с небольшим лет.

– Я музыкант, – сказал он после обычных предварительных фраз, произнесенных взаимно, – и чрезвычайно прошу вас не отказать мне в великой помощи. Случай, который видите вы в моем лице, едва ли представлялся разнообразию даже вашей практики. Меня зовут Грациан Дюплэ.

Около года назад среди снов, ощущения и детали которых имеют для меня почти реальное значение, благодаря их, так сказать, печатной яркости, я уловил мотив – неизъяснимую мелодию, преследующую меня с тех пор почти каждую ночь. Мелодия эта переходит всякие границы выражения ее силы и свойств обычным путем слов; услышав ее, я готов уверовать в музыку сфер; есть нечеловеческое в ее величии, меж тем как красота звуко сочетаний неизмеримо превосходит все сыгранное до сих пор трубами и струнами. Она построена по законам, нам неизвестным. Пробуждаясь, я ничего не помню и, тщетно цепляясь за впечатление, – единственное, что остается мне в этих случаях, подобно перу жар-птицы, – пытаюсь открыть источник, сладкая капля которого удесятерит жажду погибающего в безводии. Быть может, во сне душа наша более восприимчива; раз зная, помня, что слышал эту чудесную музыку, я тем не менее бессилен

удержать памятью даже один такт. Как бы то ни было, усердно прошу вас приложить все ваше искусство или к укреплению моей памяти, или же – если это можно – к прямой силе внушения, под неотразимым давлением которой я мог бы сыграть (я захватил скрипку) в присутствии вашем все то, что так отчетливо волнует меня во сне. Два различной важности следствия может дать этот опыт: первое – что совершенство таинственной музыки окажется сонным искажением чувств, как нередко бывает с теми, кому снится, что они читают книгу высокой талантливости, – меж тем, проснувшись, вспоминают лишь ряд бессмысленных фраз; тогда, уверившись в самообмане, я прибегну к систематическому лечению, вполне довольный сознанием, что немного теряю от этого; второе следствие – нотное закрепощение мелодии – неизмеримо важнее. Быть может, весь музыкальный мир прошлого и настоящего времени исчезнет в новых открытиях, как исчезают семена, став цветками, или как гусеница, перестающая в назначенный час быть скрытой ликующей бабочкой. Быть может, изменится, сдвинувшись на основах своих, самое сознание человечества, потому что, – повторяю и верю себе в этом, – сила той музыки имеет в себе нечто божественное и сокрушительное.

Дюплэ высказал все это, сопровождая речь сильной, но плавной жестикуляцией; его манера говорить выказывала человека, привычного к рассуждениям не только лишь о вещах банальных или семейных; взгляд его, хотя напряженный, изобличая крайнюю нервность, был лишен теней безумия, и Румиер нашел, что опыт, во всяком случае, обещает быть интересным. Однако, прежде чем приступить к этому опыту, он счел нужным предупредить Дюплэ об опасности, связанной с таким сильным возмущением чувств в гипнотическом состоянии.

– Вы, – сказал Румиер, – не подозреваете, вероятно, ловушки, в какую может заманить вас чрезмерное мозговое возбуждение, оказавшееся (надо допустить это) бессильным восстановить несуществующее. Допуская, что эта мелодия – лишь поразительно ясное представление – желание, жажда, – все, что хотите, но не сама музыка, – я могу наградить вас тяжелым душевным заболеванием: даже смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния, что возможно.

– Я готов, – сказал Дюплэ. – Распорядитесь принести мою скрипку.

Когда это было исполнено и Дюплэ со смычком и скрипкою в руках уселся в глубокое покойное кресло, Румиер в течение не более как минуты усыпил его взглядом и приказанием.

– Грациан Дюплэ! – сказал доктор, испытывая непривычное волнение. – Приказываю вам меня слышать и мне повиноваться во всем без исключения.

– Я повинуюсь, – мертвенно ответил Дюплэ.

Квартира Румиера была в первом этаже, окнами выходя на небольшой переулок. Окно кабинета было раскрыто. Музыкант сидел недалеко от окна. Он был неподвижен и бледен; крупный холодный пот стекал по его лицу. Румиер, помедлив, сказал:

– Дюплэ! Вы слышите музыку, о которой мне говорили.

Дюплэ затрепетал; невидящие глаза открылись широко и безумно, и молния экстаза изменила его лицо, подобно засверкавшему от солнца тусклому до того морю. Долгий как стихающий гул колокола стон огласил комнату.

– Я слышу! – вскричал Дюплэ.

– Теперь, – дрожа сам в потоке этого нервного излучения, незримо рассеиваемого музыкантом, – теперь, – продолжал Румиер, – вы играйте то, что слышите. Скрипка в ваших руках. Начинайте!

Дюплэ встал, резко взмахнул смычком, и сердце гипнотизера, силой мгновенно прихлынувшей крови, болезненно застучало. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дюплэ, Румиер понял, что слушать дальше нельзя. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы рассказать их. Румиер лишь почувствовал, что вся его жизнь в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла и бесполезна и что под действием такой музыки человек – кто бы он ни был – совершит все с одинаковой яростью упоения – величайшее злодейство и величайшую жертву. Тоскливый страх овладел им; сделав усилие, почти нечеловеческое в том состоянии, Румиер вырвал скрипку из рук Дюплэ с таким чувством, как если бы плюнул в лицо божества, и, прекратив тем уничтожающее очарование, крикнул:

– Дюплэ! Вы ничего не слышали и ничего не играли. Вы совершенно забыли все, что про-

исходило во время вашего сна, сядьте и проснитесь!

Дюплэ, сев, сонно открыл глаза. Пробуждение оставило ему чувство беспредельной тоски; он помнил лишь, зачем пришел к Румиеру, и, восстановив это, задал соответствующий вопрос.

– Следовало ожидать этого, – сказал Румиер, стоя к нему спиной и повернувшись лишь после того, как овладел волнением. – Вы сыграли несколько опереточных арий, перемешанных с обрывками серенады Шуберта.

После краткого разговора, последовавшего за сообщением Румиера, Дюплэ, растерянно извиняясь, поблагодарил его и вышел на улицу. Здесь, с первых шагов, догнал и остановил его неизвестный, прилично одетый человек; он был чрезвычайно возбужден; взглянув на скрипку Дюплэ и мельком поклонившись, человек этот спросил:

– Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим на переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась; случайно проходя там, я слышал ее и желал бы еще услышать. Что играли вы?! Вопрос мой не празден: я, бывший офицер, плакал навзрыд, как маленький, среди шума и суеты дня, от неведомых чувств. Что это, ради бога, и кто вы?

Дюплэ, начавший слушать рассеянно, под конец речи прохожего мгновенно уяснил истину. Бешенство овладело им. Оставив своего собеседника, с быстротой оскорбительной и тревожной, он кинулся назад, позвонил и менее чем через минуту снова стоял перед изумленным гипнотизером. Ярость заставила его потерять всякую связность речи; задыхаясь, он крикнул:

– Ты скрыл!.. Скрыл!.. Негодяй! Знаешь ли ты, что взял у меня?! Хуже убийства! Нет прощения! Смерть!.. Смерть за это!

Он бросился на Румиера и повалил его, нанося удары. В этот момент явились на шум слуги. Они не без труда связали Дюплэ, который после того распоряжением доктора был отвезен в психиатрическую лечебницу.

С тех пор он жил там, проявляя все признаки неизлечимой меланхолии, перемежающейся время от времени припадками самого разнузданного бешенства. В тихом состоянии он обыкновенно подолгу с тоской и слезами играл на своей скрипке, ища потерянное и удивляя врачей оригинальностью некоторых фантазий, сочиняемых непрерывно. Иногда, среди вариаций на одну, особенно грустную тему, из-под смычка слетали странные такты, заставляющие бледнеть, – вспышки обессиленной красоты, намеки на нечто большее... но это повторялось все реже и кончилось с его смертью, пришедшей в бреду, полном горячих просьб поднять безжалостный занавес, скрывающий таинственное, прекрасное зрелище.

Борьба со смертью

I

– Меня мучает недоделанное дело, – сказал Лорх доктору. – Да: почему вы не уезжаете?

– Любезный вопрос, – медленно ответил Димен, сосредоточенно оглядываясь. – Кровать надо поставить к окну. Отсюда, через пропасть, виден весь розовый снеговой ландшафт. Смотрите на горы, Лорх; нет ничего чище для размышления.

– Почему вы не уезжаете? – твердо повторил больной, взглядом заставив доктора обернуться. – Димен, будьте откровенны.

Лорх лежал на спине, повернув голову к собеседнику. Заостренные черты его бескровного лица, обросшего лесом волос, выглядели бы чертами трупа, не будь на этом лице огромных, как бы вывалившихся от худобы глаз, сверкающих морем жизни. Но Димен хорошо знал, что не пройдет двух дней, – и болезнь круто покончит с Лорхом.

– Мне здесь нравится, – сказал Димен. – Меня хорошо кормят, я две недели дышу горным воздухом и быстро толстею.

Лорх с трудом поднес к губам папиросу, закурил и тотчас же бросил: табак был противен.

– Меня мучает недоделанное дело, – повторил Лорх. – Я расскажу вам его. Может быть, вы тогда поймете, что мне надо знать правду.

– Говорите, – сердито отозвался Димен.

– На днях приедет Вильтон. В его руках все нити новой концессии, я лично должен говорить с ним. Если я не смогу говорить лично, важно, не откладывая, подыскать надежное лицо. Меня не испугаете. Да или нет?

– Третий день вы допрашиваете меня, – сказал доктор. – Ну, я скажу. Вы, Лорх, умрете, не позже как через два дня.

Лорх вздрогнул так, что зазвенели пружины матраца. Он взволновался и сразу еще более ослабел от волнения. Стало тихо. Доктор с лицом потрясенного судьи, объявившего смертный приговор, – встал, хрустнул пальцами и подошел к окну.

Больной едва слышно рассмеялся.

– Вильтон, положим, не приедет, – насмешливо сказал он, – и нет у него никакой концессии. Но я узнал, что нужно. Кровать действительно можно переставить к окну.

– Вы сами... – начал Димен.

– Сам, да. Благодарю вас.

– Наука бессильна.

– Знаю. Я хочу спать.

Лорх закрыл глаза. Доктор вышел, распорядился оседлать лошадь и уехал на охоту. Лорх долго лежал без движения. Наконец, вздохнув всей грудью, сказал:

– Какая гадость! Просто противно. Какая гадость – повторил он.

II

Лорх заснул и проснулся вечером, когда стемнело. Он не чувствовал себя ни хуже, ни лучше, но, вспомнив слова доктора, внутренне ошетинился.

– Еще будет время размыслить обо всем этом, – сказал он, придавливая кнопку звонка. Вошла сиделка.

Лорх сказал, чтобы позвали племянника.

Его племянник, широкий в плечах, немного сутулый молодой человек двадцати четырех лет, в очках на старообразном, белобрысом лице, услышав приказание дяди, сказал недавно приехавшей сестре:

– По-видимому, Бетси, мы выиграли. Ты уже плакала у него?

– Нет. – Бетси, дама зрелого возраста, торговка опиумом, находила, что слезы – большая роскошь, если можно обойтись и без них.

– Нет, я не плакала и плакать буду только постфактум. Завещание в твою пользу.

– Как знаешь. Я иду.

– Ступай. Намекни, что я хотела бы тоже увидеть его сегодня.

Вениамин сильно потер кулаком глаза и ласково постучал в дверь.

– Войди, – сурово разрешил Лорх.

Вениамин, страдальчески играя глазами, подошел к постели, вздохнул и сел в прямолинейной позе египетских сидящих статуй.

– Дядя! Дядя! – усиленно горько сказал он. – Когда же, наконец, вы встанете? Ужас повис над домом.

– Слушай, Вениамин, – заговорил Лорх, – сегодня я говорил с доктором.

Он приостановился. Вениамин заблаговременно поднес руку к очкам, чтобы, сняв их в патетический момент – ни раньше, ни позже, – оросить слезами платок.

Лорх смотрел на него и думал:

«У малого три любовницы, – две – наглые, красивые твари, а третья – дура. Сам он – прохвост. Он подделал три моих векселя. Меня он ненавидит, согласно его речи в Спартанском клубе. Сколько получил он за это выступление – неизвестно, но сплетен развел порядочно и провалил меня в окружном списке. Для такой компании мой миллион – короткая жвачка».

– О! Надеюсь, доктор... Дядя! Вы спасены?! – с натугой вскричал племянник.

– Подожди. Мне жалко вас, – тебя, милый, и Бетси, очень жалко...

– Дядя! – разучено зарыдал Вениамин, – скажите, что этого не будет... что вы пошутили!

– Нисколько. Вы должны примириться с судьбой.

– Боже мой?!

– Да.

– Итак – примириться?! Родной и дорогой дядя...

– Хорошо, спасибо. Я хочу сказать, что моя болезнь прошла спасительный кризис, и я, через сутки, самое большое, – снова буду петь басом «Ловцы жемчуга».

Вениамин оторопел. Прилив грубой злобы заставил его вскочить, но он вовремя перевел порыв этого чувства в нескладное ликование:

– Вот свинья Димен!.. Он мог бы сказать нам... Не мучить нас! Поздравляю, милый дядя! Живи и работай! Я ожидал этого!

Лорх посмотрел на темную замочную скважину, достал через силу из-под подушки револьвер и выпалил в потолок.

Племянник отпрыгнул. За дверью раздался визг: там кто-то упал. Вениамин, открыв дверь, показал себе и Лорху растянувшуюся Бетси.

– Как вы любите это дело, Бетси! – кротко сказал Лорх.

– Дура! – зашипел брат сестре, подымая ее. – Спокойной ночи, дядя! Вам теперь нужен покой!

– Как и вам, – холодно сказал Лорх.

Родственники ушли. В гостиной Бетси заплакала тяжелыми ненавидящими слезами. Вениамин вынул из букета розу, понюхал и свернул цветку венчик.

– Он врет. Он злобно мучает нас, – сказал племянник. Бетси высморкалась. Они сели рядом и стали шептаться.

III

По приказанию Лорха, кровать была передвинута к окну. Стояли жаркие ночи.

Дом был построен на самом краю пропасти – меж стеной и отвесом бездны оставалась тропинка фута два шириной. Лорх видел в россыпи белых звезд полную, над горным хребтом, луну; ее свет падал в пропасть над непроницаемым углом тени. Смотря за окно в направлении ног, Лорх видел на обрыве среди камней куст белых цветов. Он думал, что цветы эти останутся, а его, Лорха, не будет.

Тогда, решив продолжать жить, он тщательно привел мысли в порядок и понял, что самое главное, – побороть слабость. Лорх резко поднялся. Голова закружилась. Он стал, сидя, раскачиваться; затем, взяв с ночного столика нож, ударил себя им в бедро. Резкая боль вызвала тревогу сердцебиения; кровь бросилась в голову. Лорх вспотел; пот и ярость сопротивления дали его душе порывистую энергию, сопровождающуюся жаром и дрожью.

Не говоря уже о том, что каждое движение было ему невыразимо противно (Лорх хотел бы отдаться болезненному покою), всякое представление о движении казалось совершенно ненормальным явлением. Несмотря на это, Лорх, как загипнотизированный, встал и упал на пол. Сапоги лежали возле него; он, лежа, натянул их, затем, поймав ножку кровати, – встал, уселся и принялся одеваться. Когда он закончил это дело, его бросало из стороны в сторону. Новый припадок головокружения заставил его несколько минут лежать, уткнувшись лицом в подушку. После этого его стошнило; жадно возжелав пить, он весь облился водой, но осушил графин и выбросил его в пропасть. Затем он направился расплзающимися ногами к двери, но попал к печке. От печки Лорх направился снова к двери, но печка вновь приветствовала его и он держал ее в объятиях пять минут. Когда он попал, наконец, к двери, в комнате было все опрокинуто. Лорх опустился на четвереньки, чтобы не производить шума, полчаса потратил на то, чтобы нащупать головой, в темноте, дверцу буфета, отыскал и стал пить коньяк.

Несмотря на строжайшее запрещение доктора употреблять даже крепкий чай, не говоря уже о вине, – Лорх, без передышки, вытянул бутылку крепкого коньяку и впал в того рода иступление, когда, независимо от обстоятельств, человек с пожаром в голове и бурей в сердце,

занятый одной мыслью, падает жертвой замысла или одолевает его. Таким замыслом, такой мыслью Лорха явился бассейн. Это был четырехугольный цементный водоем, куда лился горный, ледяной ключ. Удар вина временно воскресил Лорха; шатаясь, но лишь в меру опьянения, мокрый от пота, с облюбованной папиросой в зубах, прошел он боковым коридором во двор, сполз в бассейн, – как был, – в сапогах и костюме, окунувшись, мучительно задрожал от холода, вылез и направился обратно в спальню.

Сырой мороз родника согнал все возбуждение организма к неимоверно обремененной мыслями голове. Сердце стучало как пулемет. Лорх думал обо всем сразу, – от величайших мировых проблем до кирпичей дома, и мысль его молниеносно озаряющим светом проникала во все тьмы тем всяческого познания. У буфета он принял вторую порцию огненного лекарства, но этот прием сильно бросился в ноги, и Лорх вынужден был восстановить равновесие с помощью дуплета. У кровати он задумчиво осмотрел различные, на полу, склянки с лекарством и лужу, образовавшуюся на месте его стояния. Затем он перелез подоконник, прошел, несколько трезвее, вдоль стены, к кусту белых цветов, оборвал их, вернулся и лег, раздевшись, под одеяло, бросив предварительно на него все брюки и пиджаки, какие нашел в шкафу. Сделав это, он вытянулся, приятно вздрогнул и – вдруг – потерял сознание.

IV

– Он не просыпался за это время? – спросил Димен сиделку.

– Нет. Даже не повернулся.

– Где же вы были? Во время припадка прошлой ночи больной мог выброститься из окна в пропасть. Все было перебито и опрокинуто. Он пил вино, купался. Это агония!

– Вы знаете, доктор, больной всегда гнал меня вон из спальни. Каюсь – я вздремнула... но...

– Идите; дело все равно кончено. Позовите Вениамина и Бетси.

Вошли родственники: два вопросительных знака, пытающихся стать восклицательными.

– Ну – вот что, – сказал Димен, – дело кончится не позже, как к вечеру. Выходка (вероятно – горячечный приступ) имела следствием, как видите, – полное беспамятство. Пульс резок и неровен. Дыхание порывистое. Температура резко упала, – зловещее предвестие. Надо... нам... подготовиться... сделать распоряжения.

Бетси, сверкнув бриллиантами красных рук, закрыла лицо и искренне зарыдала от радости. Вениамин молитвенно заломил руки. Доктор расстроился.

– Общая участь всех нас... – жалобно начал он.

Лорх проснулся. Взгляд его был стремителен и здоров.

– Принесите поесть! – крикнул он. – Я во сне видел жаркое. Принесите много еды – всякой. Хорошо бы пирог со свиной, коньяку, виски, – всего дайте мне – и много!

Карнавал

I

Безоблачный жаркий день достиг силы коротких теней, болезненной зрению белизны стен и полного воздушного оцепенения, стесняющего разгоряченное дыхание. Белые, красные и голубые зонтики утомленно порхали над толпой извилистых улиц маленького городка Италии – Сан-Амиго, празднующего хороводную неделю веселого карнавала, установленного для этого городка с незапамятных времен неким историческим событием, сущность которого давно перешла в легенду, обтрепалась и напоминала собою одно из тех выцветших, убогих знамен, сложенных в передней музея, бессильных оживить своей истасканностью память любопытного современника, относительно присущих им сражений или подвигов.

Расположение улиц Сан-Амиго напоминало колесо, лишенное обода. Ступицами были

улицы, идущие от центра – оси – к предместьям. В протекающем полуденном часе по каждой из этих улиц, к оси колеса, – небольшой, но величественной, благодаря высоте окружающих ее старинных зданий, площади, – двигались вереницы феерических экипажей, покрывая грохотом колес забавный стон толпы, разряженной в костюмы всех времен и народов, даже таких, какие могут населять только страны воображения. Самые диковинные фигуры господствовали среди повозок и высоких платформ, производя впечатление, как если бы войско чудовищ вступало после нелепого, заоблачного сражения в покоренную область. Там высился людоед, берет которого плыл наравне с балконами третьих этажей, а в его пасти среди картонных зубов плясали толстопузые мальчишки; здесь – треща крыльями, проталкивался дракон, пестрый, как бабочка, и страшный, как ад в мысли натуралиста; там везли кита; здесь – слон, с подвыпившими, в фигурной башне, остекленелыми шалопаями, трубил скрытым тромбоном; далее – ряд страшных голов на общем туловище покачивался с ужасной выразительностью неодоушевленных фигур.

Другие процессии составлялись из костюмированных групп, пирующих среди возвышений, убранных атрибутами их идеи. Вакханки из фабричных кварталов, сверкая неподдельно пышными икрами, плясали вокруг Вакха, плавающего в кокетливых джунглях серпантина. Рой обезьян, с белыми носами среди коричневых морд, визжал и скакал в клетке, бесполезно укрощаемый сверху ударами турецкого барабана. Какие-то супостаты, в полумонашеских, полуклоунских одеяниях, ворочали посудой на кухне, блистающей паром и бенгальским огнем, давали концерт посредством тазов и сковородок, выкрикивая малопрстойные изречения. Черты с рогами везли повешенных за языки грешников. Ангелы завивались в парикмахерской у ослов. Экипажи в цветах, лентах и золоченых бусах, с массой хорошеньких женских головок: хоры музыки; отряды ландскнехтов и рейтаров; процессии великанов и карликов – и все другое в этом роде, что было бы утомительно ловить целиком в сети подробного описания, – двигалось, приплясывая и свистя, в облаках цветной муки и конфетти, – к площади, где уже восседало подвыпившее жюри, призванное отличить самый интересный выезд почетной наградой. То был карнавальная кубок – премия, переходящая из года в год к новым рекордистам маскарадной изобретательности.

Толпа потела и зубоскалила. Это был один из тех редких дней, когда разнородности существований, – основа жизни, – отбросив укрепляющую жестокость повседневной борьбы, образуют добровольное государство возвеличенного каприза. Есть вещи, – явления, бесполезные в истинно хорошем значении этого слова, но более соединяющие людей и общенужные им, чем все рогатки приказывающей, доктринерской мысли. К ним принадлежат любовь, гримаса и сказка. От них следовало бы танцевать плакальщикам социальных водоворотов.

II

Часа за два перед тем, как мы с читателем начали осматривать Сан-Амиго, в небольшом доме, стоявшем несколько поодаль за фабрикой сигарет, собралась костюмированная компания, преследовавшая, по-видимому, те же невинные цели, иными воплощениями которых наполнились уже веселые улицы.

Однако было нечто угрюмо мрачное в замысле экипажа и костюмах участников. Три черные лошади были запряжены цугом в продолговатую платформу на колесах, с возлежащим на сей платформе огромным рогом изобилия, черным, как и все в этом сооружении, с пастью, обращенной вперед. Из него сыпались картонные белые черепа, скрепленные проволоками, образуя противную грудку отвратительного подражания устрашающему в природе. На высоком передке сидел возница, сравнивая и перебирая вожжи. Все это находилось внутри цветущего двора, под снегом апельсинового цветения.

С крыльца, укрытого пышной зеленью, сошли двое: молодой человек и совсем юная девушка. Все трое, считая возницу, были одеты в черные трико, широкие, густо накрученные пояса и плащи с капюшонами. Мрачная чернота этих одежд придавала описанному трио полумонашеский, полуразбойничий вид; однако, в силу разницы полов, впечатление это следовало отнести более к мужчинам, чем к девушке, тонкое прекрасное лицо которой, серьезное, как на молитве,

выражало трогательное, сдержанное волнение. Возница был румян, рус и кудряв; несмотря на это, – нечто неуловимо сдвинутое в его лице, какое-то ничтожное несоответствие черт с веселыми красками молодости, – делало его лицо вызывающе жестоким и наглым. Молодой человек, вышедший с девушкой – ее родной брат, – был худ и землист лицом; его сдавленный, упрямый лоб накрывал редкими бровями широко раскрытые, как бы оцепеневшие глаза.

Ничтожная бородка и такая же тень первых усов еще более оттеняли болезненность и нервозность костлявых черт.

– Да, Либерิโอ, – сказал он вознице, – с таким рогом нам нечего надеяться получить приз. Мы сами выдадим премию кровопийцам и толстобрюхим. А ты, Эмилия? Не боишься ли ты?

– Нет, – сказала девушка после короткой паузы. – Ну, что же?! Мы обо всем переговорили. Надо ехать, Карло.

Карло кивнул. Затем, нагнувшись к повозке, он ощупал, в глубине бумажных черепов, три тяжелые, жестяные коробки и, удостоверясь, что им не угрожают толчки, занял место впереди экипажа.

III

Люди эти были – анархисты, задумавшие безумное дело среди шума и пестроты праздника. Они намеревались бросить три бомбы на эстраду жюри, состоявшего главным образом из членов магистрата, художников и торговцев. Рассматривая карнавал как сборище праздных, насквозь пропитанных предрассудками «собственности и мещанской морали», людей в момент их ликования, поэтизирующего основы ненавистной, старой жизни, заговорщики сочли весьма эффективным и действенным поразить город паникой при наибольшем числе зрителей, отдавшихся без подозрений веселью. Это была так называемая «пропаганда фактом». Их мрачный выезд, символизирующий щедрость смерти, способствовал, по мысли организаторов, силе впечатления от их поступка.

Здесь, карнавал как бы поражал сам себя, выделив зловеще оригинальную колесницу. Либерิโอ и Карло были душой замысла; что касается Эмилии, то она присутствовала третьей по жребию, действующему иногда не так слепо, как кажется. Фанатизм мужчин, кроме разрушительных наклонностей их, вытекал из странного, игрушечного представления о природе и жизни, в которых грубый и неподвижный ум, отталкивая неизмеримую сложность явлений, видел лишь застывшие формы предметов, подлежащих перестановке. В значительной степени примешивались сюда романтизм и тщеславие и еще, несомненно, навязчивая *идея крови*, страшная по существу, но именно этим ослепляющая их, создавая фикцию дела огромной важности.

Нам незачем более вникать в этих людей, напоминающих неопытных изобретателей воздушных аппаратов, бессильных, как механизмы. Перейдем к девушке – героине этого дня.

IV

Эмилия родилась и выросла в семье отшельнической, занявшей, по отношению к жизни, роль печальной, но самовлюбленной избранницы. Ее отец был политический эмигрант, радикализм которого при новом курсе оказался в глазах новой власти терпимым. Карино вернулся на родину.

С дня рождения жизнь девушки протекала, так сказать, в семейно-политической атмосфере, насыщенной воспоминаниями, легендами, благоговением перед прошлым отца и преданностью матери, не оставлявшей своего мужа в самых тяжелых испытаниях. Пяти лет дети пели уже революционные песни. Дом часто посещали старики и старухи, такие же седые и отсталые во взглядах, как и хозяин, – знаменитости революционных кругов, живые памятники прошлой борьбы. Имена их произносились с ревнивым почтением. Они беспрерывно толковали о вопросах государственной жизни, и разговоры эти год за годом насаивали в душу девочки сознание наследственности – преемственности ее будущих убеждений.

Система строгой тенденции проводилась воспитанием. Их детские книги сыпали описани-

ем подвигов и поступков высоконравственных. Сказки преследовались.

Дух кулинарного рационализма с неизбежно сопутствующими ему нетерпимостью и прямолинейностью преследовал по пятам неокрепшие души. Слыша с детства восхваления тюремных и всяких других страданий, связанных с кандалами и виселицей, Эмилия постепенно приучилась смотреть на них, как на некое мрачное и неизбежное счастье, даримое судьбой из поколения в поколение. Мещанством, т. е. проявлением презренной и вульгарной косности, почитались здесь наряды, водевили, кинематограф, флирт, танцы – все, что свойственно безпритязательной молодежи.

V

После нескольких переулков, мало оживленных, благодаря тому, что все почти население в веселом дурмане карнавала устремилось к центрам, повозка с заговорщиками выехала наконец на одну из главных артерий, ведущих к площади.

Самые приподнятость настроения и волнение тем, что произойдет на площади, волнение, инстинктивно удержанное от страшного озарения его сознанием, располагали уже к тому, чтобы певучий хаос цветных улиц и все, в них происходящее, воспринимались с умноженной и обостренной силой. Старое сравнение с людьми, едущими на казнь, имело бы здесь место, не будь все-таки еще и теперь свободы выбора. Эта добровольность, это полусознанное насилие над волей к самоохранению должно возбуждать более принуждения. Поэтому никогда еще в жизни девушка не была так хрупко напряжена. Глаза ее горели тайной и ликованием окружающего. Множество взглядов устремилось к ее пленительному лицу, и это заставило ее бессознательно принять позу, наиболее выгодную ее сложению.

«Рог изобилия» двигался меж китайским драконом и колесницей Нептуна, продвигавшейся сзади. На мрачное сооружение было немедленно обращено раздражительно насмешливое внимание толпы. «Почем старые кости?» – выкрикивали подростки, швыряя апельсиновыми корками в Либерию и Карло, ехавших с злобным торжеством свирепой безнадежности в душе и двусмысленными улыбками. «Кормильцы навозных мух», – кричали другие. «Скелетные мастера!» – «Домашние привидения!» – «Смотрите: музейные сторожа грабят студентов!» Такие и подобные им возгласы раздавались вокруг в то время, как группы молодых людей, одетых рыцарями, турками, краснокожими, шутами и проч., обступили с двух сторон девушку, приговаривая любезности и комплименты с искренним восхищением, вызываемым ее внешностью.

Эмилия была некоторое время в замешательстве; затем, уступая вполне женским чувствам, грациозно льстившим ее самолюбию, начала шуточный разговор, заставивший ее временно забыть роковую цель медленного движения к площади. Первый раз жизнь со стороны ее пола так шумно и весело подошла к ней, и она не могла не ощущать этого с печальным вниманием затворницы, выглядывающей из-за решетки замка. На колеснице дракона плавно гремел вальс; балконы домов были украшены коврами и флагами; везде виднелись цветы... Над ее головой беспрерывно сыпался град конфетти; в ее руках и корсаже, как бы выросшие магически, адели свежие розы; и линии серпантина, с их медленно падающими траэжциями, слабо шипя, опутывали ее шею и руки лентами всех цветов.

Тем временем ее колесница завернула на площадь, готовую, казалось, развалиться от грома барабанов и труб, и стала в очереди, среди полукруга, один конец которого, растекаясь под аркой киоска жюри, терялся в облаках флангов.

VI

Карло подошел к девушке с бескровным лицом.

– Сестра! – сказал он вполголоса, так, что его не могли слышать чужие. – Наша святая ненависть скоро обрушится на головы этих безумцев. Может быть, нас убьют на месте. Когда наступит момент, мы простимся. Вот что: нам остается ждать с полчаса до очереди. Либерию хочет пить, я – тоже, вероятно – и ты. За наше отсутствие ты посидишь здесь, а мы заглянем в та-

верну и принесем тебе чего-нибудь прохладительного.

Будничность этого сообщения еще более подчеркнула сумасшествие кровавого дела. Как только мужчины скрылись в толпе, Эмилия вынула из тайника жестянки, спрятала их под плащом и с чувством человека, нашедшего силу удалиться от пропасти, покинула свое место с целью найти другое, куда безопасно для своей и чужих жизней могла бы спрятать снаряды.

Несколько времени, стоя на тротуаре, она беспомощно оглядывалась, не беспокоимая никем, так как успела среди хаотического движения скрыться от кавалеров, и решила уже искать случая; поэтому, войдя в ближайшие ворота, она, заметив, что двор пуст, поднялась по каменной лестнице совершенно безотчетно, думая с тоской, что этот путь, за неимением выбора, не хуже других. Вдруг, с одной из площадок, заметила она короткий коридор, а в нем, слева, неприкрытую дверь. Заглянув туда, она увидела род чулана, полного сора и хозяйственных в отставке предметов; здесь, торопясь обезопасить зловещую ношу, Эмилия сложила ее в дальнем углу полки и, внезапно почувствовав вслед за этим сильную усталость, присела на ящик.

Возбуждение ее разразилось слезами. Не удерживая их, она закрыла лицо рукой, и слезы, падая сквозь пальцы на цветы, дышавшие за ее поясом, отягчали их лепестки лучшей росой жизни. Наконец, успокоившись, она вспомнила о том, что должна вернуться к своему месту ранее брата, и легко, с нервным, коротким, блаженным смехом пошла к двери.

Но за ее доверчивым телом стояла судьба, подходящая к избегающим ее тысячами путей, не знающих заблуждения. Полка, установленная на неравно вбитых в стену гвоздях, при малейшем перемещении своего груза принимала покатость, незначительную, но достаточную для движения цилиндрического предмета. Один снаряд лежал боком. Соринка ли, уступившая давлению тяжести, или отскользнувшая крупца штукатурки... как сказать, что именно освободило легкий наклон. Уже на пороге Эмилию остановил громкий стук. Краткое мгновение, блеснувшее меж разрывом и стуком, пока, шипя, смешивалась серная кислота с запалом, было самым тяжким страданием, мыслимым на земле. Девушка не могла шевельнуться. Затем смерть бережно провела ее в безветренный сад святых, а каменный вихрь, полный огня и пыли, отразил неистовым громом воздушный узор вальса, присланный карнавалом.

Старик ходит по кругу

Шоссе шло по насыпи; слева от него тянулась необозримая, мелкая лесная поросль с речками и болотами.

– Вот он! – сказал Фиш Флетч, уступая мне место перед окуляром. – Сперва покури.

– Зачем?

– Будешь смеяться так, что задрожат руки; потом неставишь в рот папиросу.

Его действительно дергало.

Я покурил и углубился в пространство.

Все ясно как на ладони. Взъерошенный старик, лихорадочного сложения, с лицом, торжественно глупым и беспокойным, лез на упавшее поперек пути дерево. Уверенный, что идет по совершенно прямой линии, он глубоко презирал всякие обстоятельства, противоречащие его замечательному методу. Он насккивал на дерево животом, маршировал на месте, затем, отступив, снова устремлялся вперед с яростью привидения, обычное путешествие которого сквозь стены почему-то не ладится. Хотя можно было, конечно, пролезть под деревом или же обойти его, однако старик, по-видимому, предпочитал таранный героизм всякому размышлению. К счастью дальнейших наших наблюдений, дерево, лежавшее неустойчиво, постепенно отодвигалось под ударами живота, и старик наконец двинулся дальше, ободрав жилет, с голым пузом.

Видя, что я близок к истерике, Фиш Флетч заботливо поддерживал меня, давая, по привычке, ненужные объяснения:

– Как тебе известно, если в лесу, без компаса, человек захочет идти по прямой линии, он неизменно будет заворачивать влево и идти по кругу, возвращаясь к исходной точке, потому что левая нога у него короче. У старика она сильно короче. И вот злонравия достойные плоды!

Как проклятые мы путешествовали с телескопом. Держись, Гринвич!

Этот научный груз, эта тяжесть в две тонны весом перетаскивалась нами на колесной платформе, без помощи других животных, кроме нас. От утренней до вечерней зари распевали мы песни каторжников, изредка лишь волнуемые удовольствием подсмотреть в туманной дали нечто телескопическое.

Наконец мы встретили ненормально прямую дорогу – шоссе от Режицы к Брежице.

Здесь встретил нас, непьющий и некурящий, бледный брат Армии спасения, в чине корнета.

– Невозможно спасти старика! – плача сказал он. – Старик гибнет. Левая нога у него короче. Жаль разумное божье создание человека в грязи и...

– С ногой, – невозможно закончил Фиш Флетч.

– С короткой левой ногой, – методично поправил корнет.

– Где же старик? – спросил я.

– Диаметр его орбиты приблизительно равняется трем верстам. Длина полуокружности должна составить пять верст. Он движется со скоростью пяти верст в час. Именно – час назад он был здесь, осыпав меня проклятиями за пару-другую сожалений по поводу его адского упрямства. Так что, если вы направите телескоп перпендикулярно к дороге на горизонт, под углом в два с половиной градуса, вы увидите эту, юношески настроенную, развалину.

Он отправился умолять грузового подрядчика кормить кобылу бисквитом, а я и Фиш Флетч устремили чудовищный глаз телескопа по направлению, указанному корнетом.

Меж тем старик скрылся в каких-то оврагах, и мы, зная, что он рано или поздно пройдет мимо нас, сели закусить.

Наконец близ насыпи раздался треск валежника, и мы увидели почтенного истукана в касательной его орбите к дороге. Некоторое время он как разумный шел правильно к Брежице, мужественно бороздя болотце по плечи в воде, но, несколько опередив нас, стал уклоняться влево по – как только теперь заметили мы – многолетней тропинке, протоптанной под его удивительными ногами. Фиш Флетч не выдержал.

– Счастливой дороги! – закричал он. – Куда это вы идете?

– Из Режицы в Брежицу, – мрачно ответил старик.

– Послушайте, – вмешался я, – вот шоссе, прямая дорога в Брежицу. Почему вы не идете по ней?

– Ложь, – заорал старик, грозя мне кулаком. – Десять лет назад этой дороги не было. Десять лет назад я вышел из Режицы, держась абсолютно прямой линии. Не могу же я уклониться лишь потому, что какое-то шоссе, – врут мне, – идет в Брежицу. Я ведь вижу, что иду прямо!

– Нет, вы кружите! – сказал я.

– Это вы кружите. Расстояние здесь пустяковое, тридцать верст. Совсем близко.

– Как сказать... – ввернул Флетч.

Старик плюнул и устремился в следующее болотце, бултыхаясь, как утка. Скоро он скрылся по своей странной орбите где-то среди кустов.

– С таким характерцем любая Брежица станет Иерусалимом крестоносцев, – сказал Фиш Флетч.

Меж тем по прямой дороге шоссе текла мелкая и невыразимо важная жизнь.

Вперед и назад (Феерический рассказ)

I

В конце мая и начале июля город Зурбаган посещается «Бешеным скороходом». Ошибочно было бы представить этого посетителя человеком даже самой сумасшедшей внешности: длинноногим, рыкающим и скорым, как умозаключение страуса относительно спасительности песка.

«Бешеный скороход» – континентальный ветер степей. Он несет тучи степной пыли, бабочек, лепестки цветов; прохладные, краткие, как поцелуи, дожди, холод далеких водопадов, зной

каменистых почв, дикие ароматы девственного леса и тоску о неведомом. Его власть делает жителей города тревожными и рассеянными; их сны беспокойны; их мысли странны; их желания туманны и обаятельны, как видения анахорета или мечты юности. Самое большое количество неожиданных отъездов, горьких разлук, внезапных паломничеств и решительных путешествий падает на беспокойные дни «Бешеного скорохода».

5-го июля в сорока милях от Зурбагана три человека шли по узкой степной тропе, направляясь к западу.

Шедший впереди был крепкий, прямой, нервный человек, лет тридцати трех. Природа наградила его своеобразной цветистостью, отдаленно напоминающей редкую тропическую птицу: смуглый цвет кожи, яркие голубые глаза и черные, вьющиеся, с бронзовым отливом, волосы производили весьма оригинальное впечатление, сглаживая некрасивость резкого мускулистого лица, именно богатством его оттенков. Двигался он как бы толчками – коротко и отчетливо. На нем, как и на остальных двух путниках, был охотничий костюм; за спиной висело ружье; остальное походное снаряжение – сумка, свернутое одеяло и кожаный мешочек с пулями – размещались вокруг бедер с толковой, удобной практичностью предусмотрительного бродяги, пользующегося, когда нужно, даже рельефом своего тела.

Этого звали Нэф.

Второй путник, развалисто поспешавший за первым, был круглолиц, здоров и неинтересен в той степени, в какой бывают неинтересны люди, созданные для работы и маленьких мыслей о работе других. Молодой, видимо, добродушный, но тугой и медлительный к новизне, он являлся того рода золотой серединой каждого общества, которая, по существу, неоспорима ни в чем, подобно столу или крепко пришитой пуговице. Сама природа отдыхает на таких людях, как голодный поэт на окороке. Второго путника звали Пек, а был он огородником.

Третий мог бы нагнать тоску на самого веселого клоуна. Представьте одушевленный гроб; гроб на длинных, как бы перекрученных, испитых ногах, с впавшим животом, вздернутыми плечами, впалыми, кислыми глазами и руками-граблями. Его рыжие усы висели как ножки мертвого паука, он шел размашисто и неровно, вяло шагая через воздух, как через ряд сундуков. Этого звали Хин. В Зурбагане он чистил на улице сапоги.

Все трое шли в полусказочные, дикие места Ахуан-Скапа за золотом, скрытым в тайной жиле Эноха. Умирая, Энох передал план тайников Нэфу⁴². Хин, соблазняясь, истратил на снаряжение деньги из сберегательной кассы, а Пек шел как могучая рабочая сила, годная копать землю и вязать на переправах плоты.

II

Когда стемнело, путники остановились у небольшой рощи, разожгли костер, поужинали и напились кофе.

Огромная ночь пустыни сияла цветными звездами, большими, как глаза на ужас и красоту. Запах сухой травы, дыма, сырости низин, тишина, еще более тихая от сонных звуков пустыни, дающей вздохи, шелест ветвей, треск костра, короткий вскрик птицы или обманчиво близкий лепет далекого водопада, – все было полно тайной грусти, величавой, как сама природа – мать ощущений печальных. Человек одинок; перед лицом пустыни это яснее.

Нэф развернул карту.

– Вот, братцы, – сказал он, отводя ногтем часть линии не более пяти миллиметров, – вот сколько мы сделали в первый день.

– А сколько осталось? – спросил, помолчав, Хин.

– Столько. – Нэф двинул рукой до противоположного края карты.

– Д-да, – сказал Пек.

Хин промолчал. Устремив глаза в тьму, бесцельно, но напряженно, как бы улета в нее к далекой цели, Нэф сказал:

⁴² в единственной известной публикации вместо «Нэфу» напечатано «Эхору»

– Помните, что путь наш не легкий. Я уже говорил это. Нас будет рвать на куски судьба, но мы перешагнем через ее труп. Там глухо: леса, тьма, враги и звери; не на кого там оглянуться. Золото залегло в камне. Если хотите, чтобы ваши руки засветились закатом, как глаза, а мир лежал в кошельке, – не кряхтите.

Пек и Нэф вскоре уснули, но Хин даже не задремал. Беспокойно, первый раз так опасно и реально, представил он долгий-предолгий путь, дожди, голод, ветры и лихорадки; пантер, прыгающих с дерева на загривок, магические глаза змей, стрелу в животе и пулю в сердце... Чей-то скелет среди глубокого ущелья... Он вспомнил красоту отделанного под орех ящика, на котором останавливается щедрая нога прохожего, солнечный асфальт, свою газету, свою кофейню и верное серебро. Он внутренне отшатнулся от того края карты, на котором, смеясь, Нэф положил ладонь; отшатнулся и присмирел.

Хин осторожно встал, собрался и, не разбудив товарищей, зашагал к Зурбагану, унося на спине взгляд догорающего костра. Так, человек, страдающий боязнью пространства, поворачивается спиной к площади и идет через нее, пятясь... Мир опасен везде.

III

Проснувшись, Нэф показал Пеку следы, обращенные к ночлегу пятками.

– Нас двое теперь, – сказал он. – Это лучше и хуже. – Пек выругался, невольно все-таки размышляя о причинах, заставивших Хина вернуться. Он был смущен.

Затем прошел месяц, в течение которого два человека пересекали Аларгетскую равнину с достоинством и упорством лунатиков, странствующих по желобу крыши, смотря на луну. Нэф шел впереди. Он говорил мало; часто задумывался; в хорошую погоду – смеялся; в плохую – кусал губы. Он шел легко, как по тротуару. Пек был разговорчив и скучен, жаловался на лишения, много ел и часто вздыхал, но шел и шел из любви к будущему своему капиталу.

Однажды вечером к поселку, расположенному на берегу большой реки, пришли два грязных бородатых субъекта. Их ногти были черны, одежда в земле. Они вошли в небольшой дом, где молодцеватый, крупный старик и молодая девушка, красивая, как весенняя зелень, сидели ужинать.

– Вы куда? – осведомился старик.

– К Серым горам, – сказал Нэф.

– Далеко.

– Пожалуй.

– Зачем?

– Слитки.

– Дураки, – заявил старик. – Туда многие ходят, да мало кто возвращается.

– Мало ли что, – возразил Нэф, – ведь я иду в первый раз.

Старик хмыкнул, как на лепет ребенка.

– Нерра, покорми их и положи спать, – сказал он дочери. – Пусть они во сне целуются с золотом, а наяву – со смертью.

– Шутки не наполняют кармана, – возразил Нэф.

Девушка засмеялась. Пек сел к пирогу со свиной; Нэф выпил водки, потом занялся и едой.

Ужин прошел в молчании. Затем Нерра сказала:

– Сумасшедшие, ваша постель готова.

– Ты любишь умных? – спросил Нэф.

– Должно быть, если не люблю глупых вопросов.

– Какой принести тебе подарок?

– Свой скальп, если ты разыщешь его.

– Бери сейчас. – Нэф нагнулся, подставив лохматую голову.

Старик, вынув изо рта трубку, густо захохотал. Девушка рассердилась.

– Идите спать! – вскричала она.

Нэф скоро заснул; Пек, ворочаясь, вспоминал круглые руки Нерры. Утром, когда Нэф занялся чисткой ружья, Пек вышел во двор и сел на бревно, осматриваясь.

Вдали, за цветущей изгородью, виднелись холмы хлебных полей. В сарае толкались свиньи, розовые с черными пятнами. На другом дворе бродили коровы великанского вида. Под ногами Пека сустились крупные цветные куры, болтливые индейки; вечно падающие гуси шипели, как тещи; синие с золотом и хохолками на голове утки охорашивались на солнышке.

Старик вышел из хлева. Увидев Пека, он подошел к нему и сказал:

– Любезный, в горах дико и дрянно, а у меня много работы. Два месяца назад утонул мой сын. Если хочешь, живи работником. Мы всегда спокойны и сыты.

В это время через двор прошла Нерра, улыбаясь себе, в солнце и ярком платье, богатая молодостью. Она скрылась. Вся картина знакомой фермерской жизни была для души Пека, как оттепель среди суровой зимы, – тоска мучительного и опасного странствования.

– Хорошо, – сказал Пек.

Старик подбросил лопату. Пек пошел в дом, где столкнулся с Нэфом, одетым и готовым к походу.

– Скорее, идем, – сказал Нэф.

– Нэф... я...

– Где же твоё ружьё?

– Послушай...

– Время дорого. Пек.

– Я здесь останусь работником.

Нэф отвернулся. Постояв с минуту, он прошел мимо Пека, как мимо пустого места. У ворот он обернулся, увидев Нерру, смотревшую на него из-под руки.

– Ну, я пошел, – сказал он.

– Прощай. Береги скальп.

Нэф досадливо отмахнулся. Девушка презрительно фыркнула и повернулась спиной к дороге, уходящей к горам.

IV

Жизнь знает не время, а дела и события. Поэтому без точного исчисления месяцев, разделивших две эти главы, мы останавливаемся у окна, только что вымытого Неррой до блеска чистой души. Около нее стоял Пек.

– Что же мне теперь делать?

– Купать лошадей.

– Нерра!

– Отстань, Пек. Твоей женой я не буду.

Он смотрел на ее гибкую спину, тяжелые волосы, замкнувшиеся глаза и маленькие, сильные руки. Так, как смотрит рыбак без удочки на игру форели в быстром ключе. Он вдруг озлобился, вышел и повел лошадей, а когда возвращался с ними, то заметил спускающегося по склону холма неизвестного человека в лохмотьях, так густо обросшего волосами, что сверкали только глаза и зубы. Человек шел сильно хромая.

– Пек! – сказал бродяга, взяв под уздцы лошадь.

– Нэф!!

– Я. Я и мое золото...

– Так ты не умер?

– Нет, но умирал.

Они вошли в дом. Пек привел старика, Нерру; все трое обступили Нэфа, рассматривая его с чувством любопытной тревоги.

Его вид был ужасен. В дырах рубища сквозило черное тело; шрамы на лице и руках, склеенные запекшейся кровью, казались страшной татуировкой; босые ноги раздулись, один глаз был завязан. Он снял мешок, ружье, тяжелый кожаный пояс и бросил все в угол, потом сел.

– Скальп цел, – кратко сообщил он.

Девушка улыбнулась, но ничего не ответила.

Ему дали еды и водки. Он сел, выпил; на мгновение заснул, сидя, и мгновенно проснулся.

– Рассказывай, – сказал старик.

– Для начала... – заметил Нэф, отворачивая левый рукав.

От плеча до кисти тянулись обрывки сросшихся мышц – подарок медвежьей лапы. Затем, поправив рукав, Нэф спокойно, неторопливо рассказал о таких трудах, лишениях, муках, ужасе и тоске, что Пек, посмотрев в угол, где лежал мешок с кожаным поясом, почувствовал, как все это на взгляд стало приземистее и легче.

На другой день выспавшийся Нэф побрился, вымылся и оделся. Он перестал быть страшным, но вид его все же говорил красноречиво о многом.

Оставшись с ним наедине, Пек сказал:

– Ты меня предательски бросил здесь, Нэф. Я колебался... Ты не утащил меня, как следовало бы поступить верному другу. И вот – ты миллионер, а я – по-прежнему нищий.

Нэф усмехнулся и развязал пояс. Взяв чайный стакан, он насыпал его до краев мутным, желтым песком.

– Возьми! – сказал он покрасневшему от жадности Пеку.

К вечеру Пек исчез. На кровати Нэф нашел его записку и показал Нерре.

«Жадный, вероломный приятель! Прибыв страшным богачом, ты дал мне, всегдашнему твоему спутнику, жалкую часть. Будь проклят. Я уезжаю от тебя и развратной девки Нерры к своему дяде, где постараюсь лет через пять разбогатеть больше, чем ты, хитрый бродяга».

– Закурим этой бумажкой, – весело сказал Нэф. – Не бледней, Нерра; знай, дурак кусает лишь воздух. Послушай... Я сберег скальп для тебя.

Она помолчала, затем положила на его плечо руку, а потом мягко перевела руку на выющиеся волосы Нэфа.

– Через неделю будет пароход сверху, – сказала Нерра, – если хочешь, я поеду с тобой.

– Хочу, – просто ответил Нэф.

Так началась их жизнь. Одним мужем и одной женой стало больше на свете, богатом разными парами, но весьма бедном любовью и уважением.

У подъезда каменного зурбаганского театра сидел наш знакомый Хин, рассматривая по профессиональной привычке ноги прохожих; выше он почти никогда не поднимал глаз, считая это убыточным.

Прошло несколько времени. На ящик Хина ступила небольшая мужская нога в лакированном сапоге; после нее – другая. Хин заботливо их почистил и протянул руку.

То, что оказалось в руке, сначала удивило его своим цветом, цветом не ассигнаций. Цвет был коричневый с розовым. Развернув бумажку. Хин, встав, с трепетом и почтением прочел, что это чек на предъявителя, на сумму в пятьдесят тысяч. Подпись была «Нэф».

Он судорожно огляделся, и показалось ему, что в зурбаганской пестрой толпе легли тени пустыни и грозное дыхание диких мест промчалось над разогретым асфальтом, тронув глаза Хина свежестью неумолкающих водопадов.

Скромное о великом

(Памяти Л.Н. Толстого)

Однажды А.И. Куприн в разговоре о великом покойнике выразился таким образом: – «Старик нас всех обокрал: за что ни возьмешься, – уж им написано». Шутливость замечания этого очевидна, и все-таки так велико, так разнообразно художественное наследие Толстого, так разносторонне, на протяжении полувека, изображена им жизнь русского общества и народа, что, заменив слово «обокрал» словом «предупредил», приходится согласиться с А.И. Куприным по существу дела.

Толстым не оставлено без внимания малейшее душевное движение человеческое. Читая «Анну Каренину» с изумлением, с подавленностью, убеждаешься, что здесь изображена главным образом вся русская жизнь того времени, вся русская душа в ее целом, а уж затем, в огромном узоре этом, в этой сплошной толпе лиц, страданий, судеб, уделяешь необходимое внимание интриге; собственно, романтической. Толстой, как художник, является демократом в самом возвышенном значении этого слова. Он демократичен как солнце. Сила и равномерная страстность художественного проникновения одинакова у него для мужика и царя, пьяницы и священника, светской дамы и простой бабы. Одно прикосновение творческого внимания Л. Т. делает всех людей одинаково прозрачными удобопочитаемыми. Толстой, как никто, совершенно лишен оттенков отношения к своим персонажам в смысле их социального положения или рода их деятельности. У него отсутствует (чего не избегали подчас крупнейшие таланты) социальная мистика и социальная обывательская щепетильность. Как художник он пленительно суров и бесцеремонен в раздевании душ. Страсти, заблуждения, страдания, удовольствия и подлости человеческие вытекают из одних и тех же духовных явлений, причем, кого бы он ни описывал: князя или полудикого черкеса, казака или Николая 1-го. Благодаря великой простоте выражения, описания человеческих жизней со всеми их внутренними пружинами, читатель неизменно убеждается в тождественности духовной основы всех людей и вместе с Толстым видит, как жалки все ухищрения, все разделения, искусственны все различия одежд, званий, чинов, занятий. Вообще человек, а не человек именно такой-то изучается и понимается им в книгах великого писателя. Особенность художественного таланта Л. Н. Толстого, его эта беспощадная сила реального изображения в связи с огромной любовью к жизни во всех видах ее и окрасках, его плодovitость и ревнивое отношение к каждому слову, имевшее целью наибольшую, совершеннейшую полноту впечатления – сделали то, что действительно после Толстого осталось немного (если только осталось) в жизни, почему-либо не охваченного его волшебным пером. Без преувеличения можно сказать, что жизнь и творчество Толстого равны силой своей целой революции. Тот возвышенный демократизм художника, о котором упомянули мы выше (кстати, единственно истинный демократизм), из года в год, из поколения в поколение оставляя свой мощный след в читательских массах, привел к тому, что слова «Толстой», «толстовство» стали синонимами гуманности, возвышенного отношения к жизни, человечности и самоусовершенствования. Сама жизнь Толстого, столь удивительная и сложная, является одним из наиболее глубоких и ценных его произведений. Он был близок к природе и звал к ней. Вспоминая Толстого, в сущности, вспоминаешь Россию, – народ, общество, исторические их судьбы, вспоминаешь даже всю русскую литературу.

Да, Толстой – это Россия. Россия в настоящее время переживает период мучительной, героической борьбы с самой собою, с своим прошлым. Лик ее затемнен ударами и искажениями. Потому-то хорошо и нужно всем нам вспомнить от Л. Н. Толстого о том, какая она, эта Россия, в своем духе и сущности, в целях своих и силах, чтобы, оглянувшись на великое и прекрасное, идти далее по трудному пути с надеждами укрепленными.

Волшебное безобразие

Этот город был переполнен людьми, за каждым из которых числилась одна, а то и несколько чрезвычайно странных историй. Некоторые из этих людей давно умерли, однако, проходя кладбищем, я узнаю нюхом, в каких именно могилах покоятся их бывшие тела, прошедшие трудный стаж диковинных личных событий. Я вспоминаю их имена, наружность, манеру покашливать или извлекать папиросу.

На углу Кикса Кисляйства и Травоедения стоит еще и ныне старик посыльный, погубивший свою молодость и красивую семейную жизнь с любимой женою тем, что однажды взялся доставить клетку с птицей бесплатно. Это поручение ему дала очень красивая молодая девушка, одетая элегантно и ароматно. Хотя посыльный был сердцеед и лишь недавно женился на премилей хлопотунье-блондинке, однако красота девушки была исключительная; он почувствовал удар в сердце. У красавицы с огненными глазами случайно не было с собой денег. – «Вот что, –

сказал посыльный, – я простой человек, но позвольте мне, сударыня, бесплатно услужить вам». – «Благодарю», – просто ответила девушка и улыбнулась, и улыбка ее окрасила смущенную душу посыльного пожарным отблеском счастливой тревоги.

Девушка потерялась в толпе, а посыльный с клеткой, где шарахалась маленькая испуганная канарейка, отправился по адресу. Он прибыл к серому высокому дому, в далекую туманную улицу, обвеянную фабричным дымом. Улица была грязна, а дом роскошен. Лестница в коврах и цветах привела посыльного к квартире № 202-й. Он позвонил, и ему отперла сама юная красавица.

Посыльный передал клетку, пробормотал несколько слов и, краснея от мучительной внезапной влюбленности, хотел уйти, но девушка, смеясь и приговаривая: «Ничего, ничего, мой милый, пусть это будет маленьким приключением», – взяла его большую руку своей маленькой лепестковой рукой и повела через анфиладу высоких угрюмых зал.

Благодаря опущенным занавесям, везде царили нежилые, хмурые сумерки; мебель и картины были в чехлах; где-то таинственно скреблись мыши. Девушка привела посыльного в отдаленную комнату и заперла дверь. Его сердце билось глухим волнением. Здесь было светло и уютно; топились камин, улыбался скульптурный фарфор; лилии и камелии красно-белым узором сияли в голубоватых горшках; среди атласной мебели, всяческого изящества, среди тонкого аромата прелестного женского гнезда посыльный ослабел волей. Дома о нем беспокоилась жена – прошел час обеда. Но он почти не помнил об этом. Скоро его внимание привлек ряд пустых клеток, висевших на стене, против камина.

«Я покупаю и выпускаю их на свободу», – сказала красавица. Немедля повела она себя пленительно вызывающим образом; посыльный был в ее власти. Он очнулся от тяжелого глубокого сна поздно утром. Неизвестно кем поданный завтрак и кофе дымились на белом столике; любовники подкрепили свои силы, и девушка, капризничая, сказала:

«Вот адрес зоологического магазина. Три раза в день ты будешь ходить туда покупать мне одного дрозда, одного зяблика и одного чижа. Немедленно отправляйся за первой партией».

Он механически повиновался, вышел и скоро разыскал магазин. Здесь, в узкой полутемной лавке, сидел у железной печки суетливый дрожащий старичок; взгляд его был тускл, голос насмешлив и тонок. В стенных клетках блестели идиотические глаза попугаев, их кривляющееся бормотанье мешалось с звенящим высвистом синиц, разливной трелью канареек, воркованием голубей и другими звуками, издаваемыми бесчисленными пернатыми существами, прячущимися в глубине клеток. За прилавком виднелись ларьки, где сохло конопляное семя, разная зерновая смесь, фисташки, японские бобы и прочие блюда птичьего ресторана; пахло пером и нашатырем.

Посыльный, купив назначенных птиц, завернул клетки в газетную бумагу и вернулся к возлюбленной.

По дороге он вспомнил, что ничего не знает ни о ее жизни, ни о личности, не знает даже ее имени, но, позвонив у дверей, снова забыл об этом.

Девушка встретила покупку выражением необузданного восторга, и ее розовое лицо с огненными глазами вспыхнуло пределом оживленной удручающей красоты. Пока посыльный по ее указанию подвешивал клетки в ряду других, девушка умиленно разговаривала с птичками, являясь как бы олицетворением любви к маленьким изящным детям природы.

Случайно взглянув на вчерашнюю клетку с канарейкой, посыльный заметил, что птицы там уже нет. На вопрос свой по этому поводу, он получил ответ, что канарейка выпущена на рас свете.

«И она, конечно, пресчастлива», – воскликнула девушка.

Посыльный расцеловал ее. Так, среди ласк, еды, страсти и милых разговоров о пустяках, прошел день за ним другой и третий, и каждый день посыльный ходил покупать каких-нибудь певчих птиц и, просыпаясь, видел новые клетки пустыми. Каждую ночь он спал тяжелым непробудным сном и не видел, как на рассвете очаровательная любовница его приносила жертву свободе, выпуская нежной рукой крошечных летунов.

На пятую ночь случилось так, что со стены над кроватью сорвалась фарфоровая тарелка и больно ударила посыльного по колену. Он вскочил, огляделся – он был один, возлюбленная его

исчезла. Он позвал ее, но безрезультатно. Встав, молодой человек вышел в соседнюю комнату – здесь тоже никого не было. Он прошел несколько пустых помещений и, наконец, толкнув полуспрятанную портьерой дверь, увидел красавицу сидящей перед камином, с клеткой и синицей в руках. Девушка, испуганно смеясь, бросила птицу в бледный жар кучи углей. Судорожно пишущий дымный клубок забился, подняв облако золы среди красных решеток; раза три взлетело нечто бесформенное и жалкое и, сникнув, стало, подергиваясь, тихо шипеть. Девушка оскалилась, ужасное счастье сияло в ее мертвенно-белом лице.

«Гадина, ведьма!» – закричал, холодея, посыльный; волосы его поднялись дыбом и, не помня себя, он бросился на девушку с кулаками.

Полураздетая, она вскочила, выронила пустую клетку и скрылась в противоположную дверь. Трясаясь, посыльный вернулся, оделся наспех и выбежал на улицу. Было раннее утро. Потрясенный виденным, молодой человек решил отправиться предупредить хозяина птичьей лавки – в расчете, что он не продаст более ничего той женщине; он намеревался сообщить ее приметы и адрес. Однако, к удивлению своему, посыльный не нашел так хорошо знакомого магазина. Это была та улица и то самое место: напротив стояла церковь, ряд домов в приметной комбинации – домов тех же, что были тут вчера, – наполнял маленький загородный квартал, но зоологической лавки с вывеской, изображавшей оленя и павлина, как не бывало. Смутьившись, посыльный прошел взад вперед от угла до угла несколько раз, всматриваясь в каждый камень каждого дома. Но лавка исчезла. На том месте, где она была или могла быть, стоял фруктовый ларек. Посыльный стал наконец расспрашивать местных жителей, но все они с удивлением отвечали, что в квартале никогда и не было птичьего магазина. Тогда странное подозрение овладело посыльным. Не помня себя, бросился он к дому, где жила девушка, и, вызвав швейцара, спросил его, кто занимает квартиру № 202-й. «Да она пустая, – сказал швейцар, – в нашем доме, видишь ли, давно не производили ремонта; хозяин разорился, к дом теперь бросовый. Неисправно у нас паровое отопление, холодно, жилец и не едет. Пустует он шестой год; да у нас всего жилых-то восемь квартир».

Шатаясь, посыльный вышел на воздух, и, немного оправившись, поехал домой. Он очень торопился. Его мучило терзающее раскаяние. С тоской и жалостью думал он о жене, которая, вероятно, больна от беспокойства и неизвестности, и светленькое теплое свое жилье вспоминал со всеми его милыми подробностями: кочерга у печки, задернутой ситцевой занавеской, старенький яркий самовар, герань на окошке, кот с рассеченным ухом – все видел он так безупречно отчетливо, как если бы уже сидел дома за завтраком. Но приехав, узнал он, что отсутствие его длилось три года: квартиру занимали другие люди, а жена недавно умерла в городской больнице.

Посыльный этот всегда кланяется, заведя меня, так как я охотно даю на чай за небольшие концы. В его глазах есть нечто замолкшее. Он сильно постарел, любит вечером посидеть в чайной. Там он часами неподвижно размышляет о чем-то над остывшим стаканом смотря вниз, и папироса гаснет в его поникшей руке.

Истребитель

I

Когда неприятельский флот потопил сто восемьдесят парусных судов мирного назначения, присоединив к этому четырнадцать пассажирских пароходов, со всеми плывшими на них, не исключая женщин, стариков и детей; затем, после того как он разрушил несколько приморских городов безостановочным трудом тяжких залпов – часть цветущего побережья стала безжизненной; ее пульс замер, и дым и пыль бледными призраками возникли там, где ранее стойко отстукивали мирные часы жизни.

Нет ничего банальнее ужаса, и однако нет также ничего стремительнее, что действовало бы на сознание, подобно сильному яду. Поэтому-то в прибрежных городах и селениях появилось множество сумасшедших. Глаза и неуверенность нелепых движений существенно выдавали их. Они никогда не плакали, – безумие лишено слез, – но произносили темные тоскливые фразы, от

которых у слышавших их сильнее стучало сердце. Между тем неприятельский флот остановился в далеком архипелаге, где, как в раю, солнце мешалось с розовым отблеском голубой воды, – среди нежных пальм, папоротников и странных цветов; пламенные каскады лучей падали в глубину подводных гротов, на чудовищных иглистых рыб, снующих среди коралла. Из огромных труб неподвижных стальных громад струился густой дым. Тяжелое любопытное зрелище! Крепость и угловатость, зловещая решительность очертаний, соединение колоссальной механичности с океанской стихией, окутанной туманом легенд и поэзии, – сказочная угрюмость форм, причудливых и жестких, – все вызывает представление о жизни иной планеты, полной невиданных сооружений!

В одно из чудесных утр, среди ослепительного сияния радужного тумана, в неге сверкающей голубой воды, взрывая пену, к крейсеру «Ангел бурь» понеслась таинственная торпеда. Удар пришелся по кормовой части. «Ангел бурь» окутался пеной взрыва и погрузился на дно. Флот был в смятении; трепет и тревога поселились среди команд; назначались меры предосторожности; охранители, сторожевые суда и дозорные миноносцы, получив приказание, зарыскали по архипелагу, а в далекой стране сотни молодых женщин надели траурные платья, и сны многих осенило угрюмое крыло страха. Меж тем самые тонкие хитрости не помогли открыть виновников катастрофы, и это казалось изумительным, так как в тех диких водах не было других судов, кроме судов флота, разрушившего цветущие берега.

– Вы посмотрите, – сказал неделю спустя командир огромного броненосца «Диск» старшему лейтенанту, – посмотрите на эти орудия: они напоминают упавшие стволы лесов Калифорнии. Из всех жерл вылетают конденсированные воздушные поезда, сжавшие в своих округлостях вихри и землетрясения.

Он замолчал и повелительно осмотрел вечернее небо. В этот момент «Диск» дрогнул; свирепый гул скатился по его железным сцеплениям в потрясенную тьму, и броненосец получил смертельную рану.

В течение следующих недель были потоплены миноносец «Раум», крейсера «Флейш», «Роберт-Дьявол» и две подводные лодки. Невозможно было предугадать или отразить катастрофические удары. Их как бы наносил океан. Казалось, в глубоких недрах его отражением напряженной действительности рождались громоподобные силы, принимающие сверхъестественным образом внешность реальную. Морской простор стал угрозой, небо – свидетелем, корабли – жертвами. Угрюмость и отчаяние поселились среди моряков. Тогда, желая раз и навсегда покончить с невидимым ужасным врагом, адмирал велел тайно вооружить две парусные шхуны с тем, чтобы, плавая по архипелагу, они, защищенные безобидностью своего мнимого назначения, старались отыскать неприятеля. Последний, несмотря на всю осторожность, с какой действовал, мог, наконец, пренебречь ею в виду парусной скорлупы, чего, конечно, не допустил бы с военным разведчиком. Одна шхуна называлась «Олень», другая «Обзор». На «Олене» был капитаном Гирам, человек странный и молчаливый; «Обзором» командовал Лудрей, веселый пьяница апopleксического сложения. Пустившись на розыски, суда взяли противоположные направления: «Обзор» двинулся к материку, а «Олень» – к югу, в пустынное лоно вод, где изредка можно было встретить лишь скалистый риф. На рассвете следующего дня был густой белый туман. К «Обзору» кинулась бесшумная торпеда, разорвала и потопила его, а «Олень», застигнутый тем же туманом, находился в это утро неподалеку от архипелага. Паруса, заполоскав, сникли. Ветер исчез.

Гирам вышел на палубу. В матово-белой тьме, насыщенной душной влагой, царило совершенное молчание. Дышалось тяжело и тревожно. На баке матрос чистил гвоздем трубку, и скрип железа о дерево был так явственно близок, как если бы эти звуки раздавались в жилетном кармане.

II

Гирам некоторое время смотрел перед собою, словно мог взглядом разогнать туман. Затем, бессильный увидеть что-либо, он сел на складной стул в странном, полугипнотическом состоя-

нии. Оно пришло внезапно. Капитан не дремал, не спал, его ум был возбужден и ясен, но чувствовал он, что при желании встать или заговорить не смог бы выполнить этого. Однако он не беспокоился. Ему случалось переходить за границу чувств, свойственных нашей природе, довольно часто, начиная именно подобным оцепенением, и тогда что-нибудь вне или внутри его принимало особый истинный смысл, родственный глубокому озарению. Скоро он услышал шум воды, рассекаемой невидимым судном. По стуку винта можно было судить, что оно проходит совсем близко от «Оленя». Два человека разговаривали на судне не громко, но так явственно, что все слова, с грустным и величественным оттенком их были слышны, как в комнате:

- Что происходит с нами?
 - Не знаю.
 - Мы, как во сне.
 - Да, это не может быть действительностью.
 - Где остальные?
 - Все на том свете.
 - Кругом море, и нам не уйти отсюда.
 - Кажется, сегодня туман.
 - Я чувствую сырость и тяжесть в груди.
 - О, как мне больно, как безысходно горько!
 - В тьме родились мы и в тьме умираем!
- Шум отдалился, голоса стихли.

Гирам встрепнулся. Стоя за его плечами, вахтенный офицер вполголоса приводил свои соображения относительно неизвестного судна. Он думал, что оно весьма подозрительно.

– Вы слышали разговор, Тиррен? – спросил капитан.

– Я слышал действительно невнятное бормотание, но был ли это разговор, или проклятие, решать не берусь.

– Нет, это был разговор и очень странный, чтобы не сказать больше.

– А именно?

– Признаюсь, я не мог бы передать его содержания. Однако туман редет.

Туман, точно, редел. Под белым паром просвечивала заспанная вода, аверху наметился мутный голубой тон. Вскорости, рассекаемый золотым ливнем, туман распался стаями белых теней, в апофеозе блистающих облаков открылось океанское солнце. Сникшие паруса, взяв ветер, крылато потянулись вперед, и «Олень» двинулся дальше, на поиски истребителя. Как ни осматривал горизонт капитан Гирам, – нигде не было видно следов недавно проскользнувшего судна.

III

Прошла неделя. «Олень» безрезультатно вернулся к своему флоту, который тем временем потерпел еще две значительные потери. Так как не было оснований ожидать прекращения военных действий со стороны невидимого врага, то адмирал дал приказ идти в море. Флот направился к берегам Новой Зеландии.

Когда он ушел, когда его одуряющее присутствие, его гарные запахи и металлические звуки исчезли, – архипелаг вернул своим лагунам и островам их прежнее выражение – роскошь страстного творчества, и снова стало казаться мне, свидетелю тех событий, что к этим оазисам в живописном сиянии тонко окрашенных лучей летят райские птицы с оранжевыми и синими перьями.

В бурную ночь, когда дьявол тьмы, взбесившись, приподнимал истерзанные волны, целуя их с пеной у рта, за борт почтового парохода упал матрос Кастро. Он хорошо плавал, но, выбившись наконец из сил, потерял сознание и очнулся на пустынных камнях, в утренней тишине маленького залива, куда погибавшего выбросило случайной волной. Кастро был разбит ужасом и усталостью. Однако уголок океана, приютивший его, был так прелестен, что к несчастному немедленно снизошло настроение ясной живости. Тесный круг сияющих скалистых зубцов отра-

жался в дымчатой синеве моря, а глубина залива, полная облаков, дышала сказочными намеками. Оглядевшись, Кастро заметил недалеко от себя спину подводной лодки, дремлющей в тени каменного навеса. Удивленный таким неожиданным обстоятельством, матрос долго рассматривал опасное судно, пока на его площадку не вышли изнутри два человека, из которых один был, видимо, слеп, так как двигался неуклюжей ощупью, с закрытыми глазами; его лицо, завешенное изнутри тьмой, было грубовато и грустно. Второй, явный моряк, бородач, решительной внешности, говорил с первым, наклоняясь к его уху, и Кастро, хотя прислушивался, ничего не расслышал. Затем оба они скрылись внутрь лодки; через несколько минут она продвинулась к скале, и тот же моряк вышел на мостик один, с сумкой за плечами и палкой в руке. Он спрыгнул на камни и, поспешно шагая, скоро увидел Кастро.

– Остановитесь, приятель, – сказал матрос, – и если прогулка наша не выйдет длинной, уделите мне чуточку чего-либо съестного.

– Что ты за человек? – подозрительно спросил неизвестный.

– Я человек, умеющий хорошо плавать. В эту ночь меня смыло за борт; но я очень сердит; я рассердился и спасся.

– Идем, – помолчав, сказал моряк. – Моя прогулка длинна, но нам хватит галет.

И молча, осторожно рассматривая друг друга, они выбрались из каменного хаоса прибрежья в тихую пустыню.

IV

– Приятель! – заговорил, не выдержав, Кастро. – Я по природе не любопытен, но если вы не видите во мне врага, то расскажите, как попала в это глухое место подводная лодка? Мы идем вместе. Я ем вашу галету, путь, кажется, предстоит не близкий, так как нет нигде признаков какого-либо селения, а потому осмеливаюсь просить вас приоткрыть маленький уголок сих странностей.

Неизвестный ничего не ответил, улыбнулся и заговорил о другом, а Кастро в течение дня еще раза три пытался навести разговор на ту же тему, но лишь когда они заночевали у костра под придорожной скалой, моряк открыл тайну подводной лодки:

– Мы плыли из Европы с минным отрядом и, – долго рассказывать, как это произошло в подробностях, – после трех суток бурной погоды потеряли из виду свой отряд, крейсируя вблизи этого берега.

Наконец, волнение стихло; мы остановились неподалеку от старенького монастыря, погружившего свои белые стены в зелень и аромат цветущих апельсиновых садов. Там жили слепые, тринадцать человек, схоронивших блеск дня и алмазные огни ночей в унылой тьме трагического рождения. Скоро, нуждаясь в пресной воде, я, захватив часть команды, отправился в монастырь.

Пока матросы, руководимые монахами, делали свое дело, я присел в саду; обвеянный теплым ветром, уставший, я не мог противиться смыканию глаз и скоро уснул, а когда очнулся, была ночь. Взошла луна, разостлавшая белый мир среди черных теней. Я вскочил и тревожно стал звать команду. Тогда вздохи и шорохи наполнили сад, и тринадцать слепых мужчин медленно окружили меня, всматриваясь слепыми глазами.

– Вот наш командир, – он ждал нас и мы пришли.

– Мы знаем его, – сказали другие, – но он еще не узнает нас. Капитан Трен, ведите свою команду!

Я был в страхе, но не мог противиться ничему, что совершалось в ту ночь, как не мог бы противиться вулканическому эксцессу. Я спросил:

– Где мои люди?

– Посмотри, – сказали они, указывая на лужайку, блистающую лунным покоем, – они теперь дома и пробудут среди семей до тех пор, покуда мы не вернемся.

Я увидел всех пришедших со мной и тех, кто остался на «Этне». Как попали они сюда? Все спали в траве, с улыбкой сладкого отдыха. Тогда нечто сильнее меня наполнило мою душу трепетом и грустным безмолвием. Я двинулся, окруженный слепыми, к морю; с ними же вошел в

подводную лодку и здесь, друг Кастро, я увидел, что слепые все видят.

Да, я подозреваю, что мои сны, мои отчетливые сновидения за прошедший месяц – были действительностью. Я просыпался около полудня, всегда в той бухте, где ты встретил меня, как будто «Этна» никогда не покидала ее, и со мной были подлинные слепые, бродившие ощупью в непривычном им сложном помещении военного судна; они громко жаловались на диковинную перемену жизни, спали, много ели и вечно ссорились, и я – объясни мне это? – не мог уйти, как если бы лодка висела на высоте тысячи метров; но, мгновенно засыпая с закатом солнца, видел во сне, что отдаю приказание, что все тринадцать слепых с быстротой и опытностью истинных моряков кипят в боевой работе и что, выплывая рядом хитрых маневров к самому пеклу неизвестного военного флота, мы топим суда, всегда ускользая обратно, а после этого плачем в безысходном отчаянии.

Сегодня меня оставила эта чужая сила, как тучи оставляют поля; я глубоко вздохнул и ушел... Слепые исчезли, остался один, самый старый и равнодушный ко всему, что может произойти с ним. Быть может, на «Этну» скоро вернутся мои проснувшиеся матросы.

– Что же это за монастырь? – спросил Кастро. – Какие демоны живут в нем?

– Не знаю. Но здесь вообще, как я слышал, появилось множество сумасшедших. Они бредят и бредят, – всегда бредят о сияющих берегах, разрушенных синевой моря.

Гриф

I. Гимн

Великий лев! Очаровательный спартанец! Дикая победоносная кошка! Гривастый огонь! Шалун с лицом старого капитана! Рык и гнев!

Да славна будет порода твоя, твои толстоголовые котята!

Желаю тебе много мяса, камышей и лунного света!

II. Ошибка сторожа

Тадеуш был пьян. Прислонившись спиной к огромной стальной клетке, по которой безостановочно и бесшумно ходили два льва, поляк думал о коварной Анельке, подарившей свое, не первой свежести, сердце ресторанному повару.

Львы Гриф и Астарот, ступая с могучей мягкостью гигантских кошек, расхаживали по диагонали клетки навстречу один другому, не сталкиваясь, поворачиваясь всегда на одном и том же месте с точностью заводных фигур.

Астарот был стар, с впалыми линияющими боками и худым хвостом. По клетке он ходил двадцать два года.

Гриф был молод, в расцвете сил, массивен, космат и статен. По клетке он ходил восемь лет и помнил еще озеро Чад. Изредка ужасное «Х-грар-р-р!», подобное коротким раскатам грома, вырывалось из горячей его пасти.

Астарот отвечал тем же.

Они говорили:

– Я в клетке!

– Тресни она! И я в клетке!

На задней цементной стене львиной тюрьмы металась их тени.

Тадеуш долго смотрел на пол, утирая слезы любви, затем, махнув рукой, отпер клетку, вошел в нее и сказал:

– Лев! Грифочка! А, Гриша! Съешь меня!

Гриф остановился, сморщился, вытянулся на передних лапах и улыбнулся. Улыбка его напоминала выражение лица человека, собравшегося чихнуть.

– А-хр-гра-р-р?.. – сказал он. (От тебя пахнет водкой. Ты не злой?..)

– Так что, зверюги, растерзайте меня, – продолжал, всхлипывая, Тадеуш. – Пусть она, подлая, тешится моими кусочками. Излохматьте меня, жизнь моя горькая!

– Гра-р! – сказал Астарот. (Скучно. Каждый раз то же самое.)

Тадеуш стоял, покачиваясь. Разжалобив себя, сколько мог, тщетными увещеваниями к зверям использовать его как ужин, сторож наконец расплакался навзрыд, изругав львов уличной бранью, и побежал в не столь отдаленный переулок за порцией «кали-мали».

Разбитое сердце погубило его пьяную память. Он забыл запереть дверь клетки.

III. «Беженец» нового типа

Львы снова принялись ходить по диагонали, но скоро внимание Грифа было привлечено узкой блестящей щелью между замком и стальной стойкой. Лев изучил каждый дюйм клетки. Он знал, что в этом месте щели никогда не бывает. Лев тронул щель лапой: дверь хлопнулась и открылась шире (вовнутрь). Гриф раскрыл ее легким движением головы.

Астарот, остановившись, смотрел.

– Г-р-р! – сказал Гриф. (Астарот, я удивлен. Тут пустота, свобода!)

– А-х-гр-рг-рах! (Не верю, клеток много на свете.) Новый взрыв грома. Длительно и грозно заревел

Гриф, скакнув в коридор. Астарот беспокойно метался в клетке, но не выходил. Его опустошенное сердце волновалось непонятной тоской.

– Ра-грам-ронг! – ответил Гриф. (Я уйду, старик!)

Астарот молчал.

Обезьяны подняли визг, скача, подобно крошечным безумным старушкам. Дикобраз проснулся и зашуршал иглами. Маленький гималайский медведь вдруг почувствовал себя смертельно обиженным, влез на свою качель, доска которой была украшена надписью: «Миша качается», и, скрючив босые пальцы, проворно залетал взад-вперед, испуская тонкие скулящие возгласы.

Гриф бросился на струю свежего воздуха, лившуюся из-под входной двери. Разбив дверь могучим скачком, зверь прыгнул через садовую ограду и начал производить сенсацию.

Почти тотчас же, как ушел лев, вернулся Тадеуш. Он мгновенно протрезвел, запер Астарота, схватился за голову и побежал к телефону.

IV. Свинья. Два «льва»

За оградой был пустырь, за пустырем – деревянные заборы и уединенные дома окраины.

Гриф остановился среди пустыря и огласил громом окрестность. Тотчас же где-то кто-то пустился бежать, кто-то закричал «караул», – и добрая сотня собак затявкала в различных местах города.

На одном из дворов плотный мужчина с уравновешенно-жирным лицом смотрел на розовую ушастую свинью, хлюпавшую пойло из кадки. Мужчина держал фонарь, поглаживая свободной рукой бороду.

– Лопай, Машенька, – вдумчиво говорил он, – потом хозяина кормить будешь.

– Хрюх! – сказала свинья.

– Правильно дело. Впрочем, – продам я тебя за сто тысяч... Не свинина, а бриллиант. За полтора отрекусь от тебя.

Тут произошло нечто: свинья, пронзительно завизжав, сшибла хозяина, и, падая, увидел он в вспышке потухающего фонаря грозное чудовище с острым пламенем круглых глаз, заносщее над свиньей лапу, в позе геральдических львов, то есть величественно.

– А-гр-р-р-р!.. – сказал Гриф. (Это свинья!)

Он лишил ее дыхания и стал есть. Кто-то, вопя, бежал к дому. Там замелькали огни, захлопали двери. Оберегая свое отличное настроение, Гриф захватил ужин и вернулся на пустырь. Докончив дело уничтожения полтора тысяч, лев быстро направился к изумляющим его ог-

ням трамвайной линии и отсветам окон, где раздавались шум, звон и неясные выкрики.

Вообразите себя тихо переходящим небольшую площадь, где скрещиваются трамваи, – нынешнюю полутемную площадь. Магазины еще торгуют: вы видите наискось в белых квадратах витрин озаренные блузки, чемоданы, роскошные краски фруктов; вы настроены мирно. И вот видите вы в скупом свете фонаря присевшего на задние лапы огромного, черного от полутьмы льва.

Видение или большая собака?!

Именно это увидели на углу Залихватской и Остолбенелой улиц сразу тридцать два человека, не считая множества лошадей, ноги, шеи, хвосты и гривы которых мгновенно составили прямые линии, ринувшиеся с великим «и-го-го!» куда попало.

Тридцать два человека присели, задохнулись, подскочили и произвели неопишемую суматоху.

Все бежало; лавки закрывались, двери гудели.

Гриф беспомощно, тоскливо оглядывался, изредка посылая раскаты грома: рев льва!..

Где же пустыня? Везде стены, костры вверх и вниз. Ничего не понять.

Сильное возбуждение охватило Грифа. Он метался по площади, то вскакивая на тротуар, то исчезая в тенях углов. Наконец он помчался вдоль улицы.

Лев Пончик, главный по соде и макаронам, благодушно сидел в «Кафе мародеров». Сиял он, сияли его перстни, сиял оранжад в высоком стакане. Лев Пончик был тщедушен и мал ростом, но носил высокие каблуки.

Вошел Гриф и опрокинул кафе. Сначала он медленно спустился по ступенькам входа и встал, колотя хвостом. Глаза его горели, как люстры. Затем он молча прыгнул в середину прохода.

Пончик сидел спиной к Грифу.

– Зачем смятение, господа? – внушительно проголосил он, видя, что все лезут под столы, давя друг друга. – Что? Милиция? Обход? Когда я свободный гражданин...

– Лев! – крикнули сзади из-под стола.

Думая, что это – личное к нему обращение, Пончик уже хотел рассердиться на подобную фамильярность и с достоинством обернулся. А затем присел перед стулом, приподнял шляпу, чем-то подавился и вытащил почему-то бумажник.

Перед ним стоял Гриф.

Состоялась величественная встреча двух львов.

Пончик замахал руками и упал в обморок.

Гриф поднял его зубами за спину пиджака и сильно встряхнул. Шурша, посыпались из карманов деньги.

Заинтересованный Гриф выпустил Пончика, отчего тот брякнулся в кофейную лужу, и презрительно обнюхал бумажник.

– Раг-х! – коротко сказал он. (Не понимаю, чем он набит!)

Гриф покинул кафе и отправился в ужасной тоске далее.

V. «Это мы». Лев и шакалы. Чего боятся львы. Конец

Довольно значительная толпа двигалась по одной из главных улиц. Впереди толпы два человека несли внушительных размеров черное знамя. На знамени стояло: «Это мы». Несравненно более скромное, чем, например, объявление кинематографа, заявление это, однако, сильно смущало прохожих: почти все встречавшие процессию боязливо расступались, сворачивая в боковые улицы.

Навстречу им мерным шагом совершающего моцион зверя вышел и остановился Гриф.

Он зарычал.

«Это мы» заколыхалось, вздрогнуло и повлеклось по земле. Передние ряды, мгновенно став задними, поползли на карачках, пытаясь, подобно страусам, затолкать свои головы меж туловищами бегущих. Бестолково затрещали револьверы. Не прошло минуты, как Грифу не на ко-

го было уже нападать.

Смущенный быстрым исчезновением неприятеля, который, как показалось ему, скрылся, чтобы напасть сзади или окружить его, лев решил переждать. Легкими скачками взобрался он по некой освещенной лестнице.

Одна из дверей была раскрыта. Люди, выходящие из нее с узлами, увидели, как на картине, мясистую жесткогивую голову. Два верхних клыка пасти висели вниз, дымясь горячей слюной.

Лев востроился. От людей несло особым, хорошо знакомым ему запахом истребления, вернее, нервным током убийства. Он сшиб лапами одного грабителя, упавшего замертво. Другой, бросив узел, прыгнул в раскрытое окно и ухватился за водосточную трубу, но оборвался – с пятого этажа. Эхо, раздавшееся внизу, напоминало звук расколотого полена.

Дрожа от гнева, Гриф пробежал ряд комнат, разыскивая новых врагов.

Внезапно из дверей кухни выступило нечто живое, полуголое, ростом немного ниже глаз Грифа. В одной руке оно держало нечто круглое – красное, вившееся на короткой нитке. Ужасный, леденящий душу звук огласил квартиру.

– А-а-а-а-а!.. – пронзительно верещало это.

Лев попятился. Оно хлопнуло его круглым-красным по лбу, отчего красное лопнуло, как выстрелило; затопав, оно залилось снова:

– А-а-а-а! М-а-а-м-ма!

Лев струсил. Он беспомощно оглядывался, но кругом были три стены коридора и оно. Бегство немыслимо! Пытаясь умиловить его, лев лизнул это в щеку, отчего оно пошатнулось и шлепнулось. Гриф снова лизнул, оно опрокинулось. Вдруг, задрожав, лев отпрыгнул и скорчился в углу: оно заголосило так звонко, что сердце менее храброго зверя лопнуло бы от страха.

В этот момент, глухо вскрикнув, вошла женщина. Она не упала в обморок, но, бескровно побледнев, стояла несколько мгновений, упираясь ладонями и спиной в стену; затем, стиснув зубы, подошла к мальчику, вынесла его на площадку и, шатаясь, заперла дверь.

Гриф облегченно вздохнул.

Женщина, крепко прижимая сына к груди, спустилась к телефонной будке и позвонила в комиссариат. Трубка бешено плясала в ее руке.

– Вот, – сказала она. – Нижегородская улица. Дом сто двадцать один.

– Что вы хотите? Мы заняты.

Слова еще не вполне повиновались ей. Наконец она нашла силу договорить. Она сказала:

– Здесь лев!

Состязание в Лиссе

I

Небо потемнело, авиаторы, окончив осмотр машин, на которых должны были добиваться приза, сошлись в маленьком ресторане «Бель-Ами».

Кроме авиаторов, была в ресторане и другая публика, но так как вино само по себе есть не что иное, как прекрасный полет на месте, то особенного любопытства присутствие знаменитостей воздуха не возбуждало ни в ком, за исключением одного человека, сидевшего одиноко в стороне, но не так далеко от стола авиаторов, чтобы он не мог слышать их разговора. Казалось, он прислушивается к нему вполоборота, немного наклонив голову к блестящей компании.

Его наружность необходимо должна быть описана. В потертом, легком пальто, мягкой шляпе, с белым шарфом вокруг шеи, он имел вид незначительного корреспондента, каких много бывает в местах всяких публичных соревнований. Клок темных волос, падая из-под шляпы, темнил до переносья высокий, сильно развитый лоб; черные длинного разреза глаза имели ту особенность выражения, что, казалось, смотрели всегда вдаль, хотя бы предмет зрения был не дальше двух футов. Прямой нос опирался на небольшие темные усы, рот был как бы сведен судорогой, так плотно сжимались губы. Вертикальная складка раздвигала острый подбородок от

середины рта до предела лицевого очерка, так что прядь волос, нос и эта замечательная черта вместе походили на продольный разрез физиономии. Этому – что было уже странно – соответствовало различие профилей: левый профиль являлся в мягком, почти женственном выражении, правый – сосредоточенно хмурым.

За круглым столом сидело десять пилотов, среди которых нас интересует, собственно, только один, некто Картреф, самый отважный и наглый из всей компании. Лакейская физиономия, бледный, нездоровый цвет кожи, заносчивый тон голоса, прическа хулигана, взгляд упорно-ничтожный, пестрый костюм приказчика, пальцы в перстнях и удручающий, развратный запах помады составляли Картрефа.

Он был пьян, говорил громко, оглядывался вызывающе с ревниво-независимым видом и, так сказать, играл роль, играл самого себя в картинном противополжении будням. Он хвастался машиной, опытностью, храбростью и удачливостью. Полет, разобранный по частям жалким мозгом этого человека, казался кучей хлама из бензинных бидонов, проволоки, железа и дерева, болтающегося в пространстве. Обученный движению рычагами и нажиманию кнопок, почтенный ремесленник воздуха ликовал по множеству различных причин, в числе которых не последней было тщеславие калеки, получившего костыли.

– Все полетят, рано или поздно! – кричал Картреф. – А тогда вспомнят нас и поставят нам памятник! Тебе и... мне... и тебе! Потому, что мы пионеры!

– А я видел одного человека, который заплакал! – вскричал тщедушный пилот Кальо. – Я видел его. – И он вытер слезы платком. – Как сейчас помню. Подъехал с женой человек этот к аэродрому, увиделверху Райта и стал развязывать галстук. «Ах, что?» – сказала ему жена или дама, что с ним сидела. «Ах, мне душно! – сказал он. – Волнение в горле... – и прослезился. – Смотри, – говорит, – Мари, на величие человека. Он победил воздух!» Фонтан.

Все приосанились. Общая самодовольная улыбка потонула в пиве и усах. Помолчав, пилоты чокнулись, значительно моргнули бровями, выпили и еще выпили. Образованный авиатор, Альфонс Жиго, студент политехникума, внушительно заявил:

– Победа разума над мертвой материей, инертной и враждебной цивилизации, идет гигантскими шагами вперед.

Затем стали обсуждать призы и шансы. Присутствующие не говорили ни о себе, ни о других присутствующих, но где-то, в тени слов, произносимых хмелеющим языком, заметно таился сам говорящий, с пальцем, указывающим на себя. Один Картреф, насупившись, сказал наконец за всех это же самое.

– Побью рекорд высоты – я! – заголосил он, нетвердо махая бутылкой над неполным стаканом. – Я – есть я! Кто я? Картреф. Я ничего не боюсь.

Такое заявление мгновенно вызвало тихую ненависть. Кое-кто хмыкнул, кое-кто преувеличенно громко и радостно выразил отсутствие малейших сомнений в том, что Картреф говорит правду; некоторые внимательно, ласково посматривали на хвастуна, как бы приглашая его не стесняться и говоря: «Спасибо на добром слове». Вдруг невидимый нож рассек призрачную близость этих людей, они стали врагами: далекая сестра вражды – смерть подошла близко к столу, и каждый увидел ее в образе стрекозообразной машины, порхающей из облаков вниз для быстрого неудовлетворительного удара о пыльное поле.

Наступило молчание. Оно длилось недолго, его отравленное острие прочно засело в душах. Настроение испортилось. Продолжался некоторое время кислый перебой голосов, твердивших различное, но без всякого воодушевления. Собутельники вновь умолкли.

Тогда неизвестный, сидевший за столиком, неожиданно и громко сказал:

– Так вы летаете!

II

Это прозвучало, как апельсин в суп. Треснул стул, так резко повернулся Картреф. За ним и другие, сообразив, из какого угла грянул насмешливый возглас, обернулись и уставились на неизвестного глазами, полными раздраженной бессмыслицы.

– Что-с? – крикнул Картреф. Он сидел так: голова на руке, локоть на столе, корпус по ко-сой линии и ноги на отлет, в сторону. В позе было много презрения, но оно не действовало. – Что такое там, незнакомый? Что вы хотите сказать?

– Ничего особенного, – задумчиво ответил неизвестный. – Я слышал ваш разговор, и он произвел на меня гнусное впечатление. Получив это впечатление, я постарался закрепить его теми тремя словами, которые, если не ошибаюсь, встревожили ваше профессиональное самолюбие. Успокойтесь. Мое мнение не принесет вам ни вреда, ни пользы, так как между вами и мной ничего нет общего.

Тогда, уразумев не смысл сказанного, а неотразимо презрительный тон короткой речи неизвестного человека, все авиаторы закричали:

- Черт вас побери, милостивый государь!
- Какое вам дело до того, что мы говорили между собой?
- Ваше оскорбительное замечание...
- Прошу нас оставить, вон!
- Прочь!
- Долой болтуна!
- Негодай!

Неизвестный встал, поправил шарф и, опустив руки в карманы пальто, подошел к столу авиаторов. Зала насторожилась, глаза публики были устремлены на него; он чувствовал это, но не смутился.

– Я хочу, – заговорил неизвестный, – очень хочу хотя немного приблизить вас к полету в истинном смысле этого слова. Как хочется лететь? Как надо летать? Попробуем вызвать не пережитое ощущение. Вы, допустим, грустите в толпе, на людной площади. День ясен. Небо вздыхает с вами, и вы хотите полететь, чтобы наконец засмеяться. Тот смех, о котором я говорю, близок нежному аромату и беззвучен, как страстно беззвучна душа.

Тогда человек делает то, что задумал: слегка топнув ногой, он устремляется вверх и плывет в таинственной вышине то тихо, то быстро, как хочет, то останавливается на месте, чтобы рассмотреть внизу город, еще большой, но уже видимый в целом, – более план, чем город, и более рисунок, чем план; горизонт поднялся чашей; он все время на высоте глаз. В летящем все сдвинуто, потрясено, вихрь в теле, звон в сердце, но это не страх, не восторг, а новая чистота – нет тяжести и точек опоры. Нет страха и утомления, сердцебиение похоже на то, каким сопровождается сладостный поцелуй.

Это купание без воды, плавание без усилий, шуточное падение с высоты тысяч метров, а затем остановка над шпилем собора, недостижимо тянувшимся к вам из недр земли, – в то время как ветер струнит в ушах, а даль огромна, как океан, вставший стеной, – эти ощущения подобны гениальному оркестру, озаряющему душу ясным волнением. Вы повернулись к земле спиной; небо легло внизу, под вами, и вы падаете к нему, замирая от чистоты, счастья и прозрачности увлекающего пространства. Но никогда не упадете на облака, они станут туманом.

Снова обернитесь к земле. Она без усилия отталкивает, взмывает вас все выше и выше. С высоты этой ваш путь свободен ночью и днем. Вы можете полететь в Австралию или Китай, опускаясь для отдыха и еды где хотите.

Хорошо лететь в сумерках над грустящим пахучим лугом, не касаясь травы, лететь тихо, как ход шагом, к недалекому лесу; над его черной громадой лежит красная половина уходящего солнца. Поднявшись выше, вы увидите весь солнечный круг, а в лесу гаснет алая ткань последних лучей.

Между тем тщательно охраняемое под крышей непрочное, безобразное сооружение, насквозь пропитанное потными испарениями мозга, сочинившими его подозрительную конструкцию, выкатывается рабочими на траву. Его крылья мертвы. Это – материя, распятая в воздухе; на нее садится человек с мыслями о бензине, треске винта, прочности гаек и проволоки и, еще не взлетев, думает, что упал. Перед ним целая кухня, в которой, на уже упомянутом бензине, готовится жаркое из пространства и неба. На глазах очки, на ушах – клапаны; в руках железные палки и – вот – в клетке из проволоки, с холщовой крышей над головой, подымается с разбега в

пятнадцать сажен птичка божия, ощупывая бока.

О чем же думает славное порхающее создание, держащееся на воздухе в силу не иных причин, чем те, благодаря которым брошенный камень описывает дугу? Отрицание полета скрыто уже в самой скорости, – бешеной скорости движения; лететь тихо, значит упасть.

Да, так о чем думает? О деньгах, о том, что разобьется и сгинет. И множество всякой дряни вертится в его голове, – технических папилюток, за которыми не видно прически. Где сесть, где опуститься? Ах, страшно улетать далеко от удобной площади. Невозможно опуститься на крышу, телеграфную проволоку или вершину скалы. Летящего тянет назад, летящий спускается – спускается на землю с виноватым лицом, потому что остался жив, меж тем зрители уходят разочарованные, мечтая о катастрофе.

Поэтому вы не летали и летать никогда не будете. Знамение вороны, лениво пересекающей, махая крыльями, ваш судорожный бензиновый путь в синей стране, должно быть отчеканено на медалях и роздано вам на добрую память.

– Не хотите ли рюмочку коньяку? – сказал буфетчик, расположившийся к неизвестному. – Вот она, я налил.

Незнакомец, поблагодарив, выпил коньяк.

Его слова опередили туго закипавшую злобу летчиков. Наконец, некоторые ударили по столу кулаками, некоторые вскочили, опрокинув бутылки. Картреф, грозно согнувшись, комкая салфетки и пугая глазами, подступил к неизвестному.

– Долго вы будете еще мешать нам? – закричал он. – Дурацкая публика, критики, черт вас возьми! А вы летали? Знаете ли вы хоть одну систему? Умеете сделать короткий спуск? Смыслите что-нибудь в авиации? Нет? Так пошел к черту и не мешай!

Незнакомец, улыбаясь, рассматривал взбешенное лицо Картрефа, затем взглянул на свои часы.

– Да, мне пора, – сказал он спокойно, как дома. – Прощайте, или, вернее, до свидания; завтра я навещу вас, Картреф.

Он расплатился и вышел. Когда за ним хлопнула дверь, с гулкой лестницы не донеслось шума шагов, и летчику показалось, что нахал встал за дверью подслушивать. Он распахнул ее, но никого не увидел и вернулся к столу.

III

«Воздух хорош», – подумал Картреф на другой день, когда, описав круг над аэродромом, рассмотрел внизу солнечную пестроту трибун, полных зрителей. Его соперники гудели слева и справа; почти одновременно поднялось семь аэропланов. Смотря по тому, какое положение принимали они в воздухе, очерк их напоминал ящик, конверт или распущенный зонтик. Казалось, что все они направляются в одну сторону, между тем летели в другую. Моторы гудели, вдали – как толстые струны или поющие волчки, вблизи – треском парусины, разрываемой над ухом. Стоял шум, как на фабрике. Внизу, у гаражей, двигались по зелени травы фигурки, словно вырезанные из белой бумаги; то выводили другие аэропланы. Играл духовой оркестр.

Картреф поднялся на высоту тысячи метров. Сильный ветер трепал его по лицу, бурное дыхание болезненно напрягало грудь, в ушах шумело. Земной пейзаж казался отсюда качающейся круглой площадью, усеянной пятнами и линиями; аэроплан как бы стоял на месте, в то время, как пространство и воздух неслись мимо, навстречу. Облака были так же далеки, как и с земли.

Вдруг он увидел фигуру, относительно которой не мог ни думать ничего, ни соображать, ни рассмеяться, ни ужаснуться – так небывало, вне всего земного, понятного и возможного воспрянула она слева, как бы мгновенно сотворенная воздухом. Это был неизвестный человек, вызвавший вчера вечером гнев пилота. Он неся в позе лежащего на боку, подперев рукой голову; новое, прекрасное и жуткое лицо увидел Картреф. Оно блестело, иначе нельзя назвать гармонию странного воодушевления, плававшего в чертах этого человека. Напряженное сияние глаз напоминало глаза птиц во время полета. Он был без шляпы, в обычном, средней руки костюме; его галстук, выбившись из-под жилета, бился о пуговицы. Но Картреф не видел его одежды. Так,

встретив женщину, сразу поражающую огнем своей красоты, мы замечаем ее платье, но не видим его.

Картреф ничего не понял. Его душа, пораженная чувством, которое мы не можем представить, метнулась прочь; он повиновался ей, круто нажав руль, чтобы свернуть в сторону. Незвестный, описав полукруг, мчался опять рядом. Мысль, что это галлюцинация, слабо шевельнулась у Картрефа; желая оживить ее, он закричал:

– Не надо. Не хочу. Бред.

– Нет, не бред, – сказал незвестный. Он тоже кричал, но его слова были спокойны. – Восемь лет назад я посмотрел вверх и поверил, что могу летать, как хочу. С тех пор меня двигает в воздухе простое желание. Я подолгу оставался среди облаков и видел, как формируются капли дождя. Я знаю тайну образования шаровидной молнии. Художественный узор снежинок складывался на моих глазах из вздрагивающей сырости. Я опускался в пропасти, полные гниющих костей и золота, брошенного несчастьем с узких проходов. Я знаю все незвестные острова и земли, я ем и сплю в воздухе, как в комнате.

Картреф молчал. В его груди росла тяжелая судорога. Воздух душил его. Незвестный изменил положение. Он выпрямился и встал над Картрефом, немного впереди летчика, лицом к нему. Его волосы сбились по прямой линии впереди лица.

Ужас – то есть полная смерть сознания в живом теле – овладел Картрефом. Он нажал руль глубины, желая спуститься, но сделал это бессознательно, в направлении, противоположном желанию, и понял, что погибает. Аэроплан круто взлетел вверх. Затем последовал ряд неверных усилий, и машина, утратив воздушный рельс, раскачиваясь и перевертываясь, как брошенная игральная карта, понеслась вниз.

Картреф видел то небо, то всплывающую из глубины землю. То под ним, то сверху распластывались крылья падающего аэроплана. Сердце летчика задрожало, спутало удары к окаменело в невыносимой боли. Но несколько мгновений он слышал еще музыку, ставшую теперь ясной, словно она пела в ушах. Веселый перелив флейты, стон барабана, медный крик труб и несколько отдельных слов, кем-то сказанных на земле тоном взволнованного замечания, были последним восприятием летчика. Машина рванула землю и впилась в пыль грудой дымного хлама.

Незвестный, перелетев залив, опустился в лесу и, не торопясь, отправился в город.

Новогодний праздник отца и маленькой дочери

I

В городе Коменвиль, не блещущем чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что является раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонд Дрэп.

Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное ученое исследование.

Идея этого сочинения овладела им, когда он был еще студентом. Дрэп вел полунищенскую жизнь, отказывая себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; все свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошел он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.

Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год ее привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубчатого пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.

Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделе-

нии небольшого шкапа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама.

Скомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечевкой разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.

Года три назад, как бы опомнясь, он сговорился с женой швейцара: она должна была за некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашел, что порядок или, вернее, привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наемницей, хлопнув напослед дверь, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.

II

Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.

«Мой дорогой папа, – значилось там, – я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе. Тави». Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.

Два дня назад была им сунута в шкаф мелкая ассигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул ее, нехотая задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.

Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал все исписанное.

Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить все это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в нее рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнаженной странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.

Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал ее, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растет человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряженного творчества, или же видел он ее в образе золотой цепи, связывающей берега бездны; еще представлял он ее громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.

Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке, взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.

III

Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.

– Он уехал, барышня, – сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскивали тень улыбки в бородатом лице, – он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.

– Да, время идет, – согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет – возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.

Девочка вошла в кабинет.

– Это конюшня, – сказала она, подбирая в горестном изумлении своим какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела. – Или невыметенный амбар. Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!

Вся трепеща от любви и жалости, она сняла свое хорошенькое шелковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струей потек в накуренную до темноты, нетопленную, сырую комнату.

Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была ее дорожная провизия, и она разложила ее по красивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.

Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминутся. Он вошел неслышно. Она почувствовала, что на ее лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребенка.

– Папа, ты, – детка мой, измучилась без тебя! – кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.

– Боже мой, – сказал он, садясь и снова обнимая ее, – полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?

– Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цецилии. Но, представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?

– Что же? – сказал, смеясь, Дрэп. – Ну, вижу тебя.

– А еще?

– Что такое?

– Глупый, рассеянный, ученый дикарь, да посмотри же внимательнее!

Теперь он увидел.

Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нем приборами; над кофейником вился пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.

– Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому все вышло, как яичница, но завтра я возьму все в руки и все будет блестять.

Тронутый Дрэп нежно посмотрел на нее, затем взял ее перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.

– Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?

– Я нашла на кухне немного угля.

– Вероятно, какие-нибудь крошки.

– Да, но тут было столько бумаги. В той корзине.

Дрэп, не понимая еще, пристально посмотрел на нее, смутно встревоженный.

– В какой корзине, ты говоришь? Под столом?

– Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.

Тогда он вспомнил и понял.

IV

Он стал разом сидеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак. Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа, – выражения, которого она уже не могла бы забыть.

Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.

Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о ее камень бесконечным ударом.

– Но, папа, – сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение, – неужели ты такой любитель потемок? И где ты так припылил волосы?

Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Ее светлый внутренний мир был защищен любовью.

– Хорошо ли тебе, папа? – сказала она. – Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!

Дрэп еще пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стога, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня все краткое удовольствие ребенка видеть его в чистоте и тепле, и он нашел силу заговорить.

– Да, – сказал он, отнимая от лица руки, – я больше не пролью слез. Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая, – а мне понадобится еще лет пять, – я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.

– Ну, вот мы и дома!

Тифозный пунктир

I

«Если тиф передается насекомыми, – рассуждал я с отвращением к этому слову, – ибо обидно было зависеть от какой-то организованной протоплазмы, хотя сам я чесался уже во всех местах тела самым методическим образом, – если так, – продолжал я, взглядывая на храпевших рядом солдат, – то странно, что до сих пор я не болел». Так думал я, тревожно рассматривая красное лицо человека, лежавшего рядом со мной под шинелью и полушубком. Он потел и крепко дышал. Это продолжалось с ним седьмой день; днем он перемогался, а ночью бредил и вскакивал, но, боясь как огня больницы, предпочитал неопределенность сознанию роковой болезни, и никак нельзя было уговорить его показаться врачу.

Меж тем не было у меня сомнений, что у него тиф, – так страшно горели его глаза; как от печки, дышало от него жаром, и, двигаясь через силу, он говорил неровным, упавшим голосом. Тогда я еще не знал, что тиф разит спустя дней двенадцать после того, как она попробует твоей крови. Поэтому, спя рядом с больным, считал я себя редким счастливцем, так как пока был совершенно здоров.

Мне не спалось. Я курил отвратительную «советскую» махорку, – признак солдатской бедности, – ее курил только тот, у кого не было денег купить лучшего табака, – курил и вспоминал дворника одного дома, в котором жил до солдатчины. То был тридцатилетний гигант, красавец деревенского типа; не прогнувшись, вносил он на пятый этаж четверть сажени дров. После смерти жены осталось у него четверо детей, – две девочки и два мальчика, – от шести до одиннадцати лет; они и отец умерли в три недели. Перед смертью, шатаясь, встал с постели и пошел, в полном бреду, великан этот на улицу. Я задержал его с помощью прохожих; отбиваясь, но уже слабый, он твердил: «Вот луна-лунушка, я пойду на луну, жаловаться; там дохтуров нет. Убьют меня дохтура наши».

II

Мы жили близ вокзала маленького уездного города, в чайной, – шесть человек обозной команды, отряженной караулить обоз; он стоял под навесом среди путей. Днем чайная была полна

народом, и мы гнездились за угловым столиком, не раздеваясь, одурелые от газа и холода. Холод стлался внизу, щема ноги; наверху же стоял банный пар, пропитанный махорочным дымом. Когда чайная закрывалась, мы сдвигали столы и ложились на голый пол, и в зубы, из щелей между бревен, крался мороз. Утром мы вставали, дрожа.

Все мы были из Петербурга и все тосковали о нем. Станный, роковой город, – лишь в те месяцы почувствовал я всю магнетическую силу его притяжения, все мрачное очарование его ран, зияющих пустырями и темными громадами пустынных домов, лишенных огней, среди глыб снега и льда на заколоченных улицах. Истинную и глубокую страсть внушал он. Не было дня, чтобы компаньоны мои – два сапожника, повар, сын лавочника, неоконченный реалист и я – не составляли планов, как попасть в Петербург, и не вспоминали всех милых особенностей этого города, ставшего духовной необходимостью. Он снился. Подобно потерянному раю, отделенный пропастью положения, светился и блистал он вдали заветной страной.

Три вещи были у меня, чем-то приближавшие Петербург – картинка, – хоровод молодых девушек, «Вестник Иностранной Литературы», взятый из местной библиотеки, и настоящий китайский чай, добытый путем жертвенной продажи пайка. Будь благословенно, растение страны мандаринов, – твой аромат и магическая сила твоя не раз уводили затерянного в глуши солдата к себе, возвращали его – себе.

III

Как я не спал, то разводящий, проснувшись, только спросил: «Идешь?» Моя очередь была стать на караул. И я вышел в мороз, под свет луны, в тишину снега.

С платформы, под крышей которой меж темных рядов фур, железных кухонь виден был ряд вагонов проходящего эшелона; светящиеся окна теплушек и раскрытые двери их дышали огнем железных печей, бросающих на засыпанный сеном снег рыжие пятна. Там ругались и пели. Закрывая хвост эшелона, темнели белые вагоны санитарного поезда, маня обещаниями, от которых содрогнулся бы человек, находящийся в обстановке нормальной. Взглядывая на них, я думал, что нет выше и недостижимее счастья, как попасть в эти маленькие, уютные и чистые помещения, так нерушимо и прочно ограждающие тебя от трепета и скорбей мучительной, собачьей жизни, нудной, как ровная зубная боль, и безнадежной, как плач. Но я знал, что счастливцы – счастливцы исключительно лишь могут быть там, среди уютного запаха лекарств и бодрого электрического света, озаряющего чистое белье, в то время как расторопный, грубоватый санитар несет в ведерках кашу и суп. Эти счастливцы были раненые и труднобольные или те, кто с помощью солдатских преданий, передаваемых устно, прострелил ногу себе сквозь дощечку; или набил в ухо горчицу, жертвуя барабанной перепонкой ради иных ценностей, более важных. Признаюсь в том, в чем, думая тогда так же, как я, не признается, быть может, никто; я хотел заболеть, и заболеть так серьезно, чтобы меня эвакуировали в Петербург, без которого, я уже ясно чувствовал это, – жить не могу. В этом роде размышлял я еще около двух часов; потом явился сапожник и взял у меня винтовку, и я ушел в чайную и заснул.

IV

Как ни сопротивлялся повар (это он заболел тифом), но, упав два раза на улице, смолк и ушел в больницу. Больше я не видел его. Меж тем «она» делала свое дело, и я не знал этого. В воскресенье, читая «Вестник Иностранной Литературы», а именно «Поглотители» – Анны Виванти, – роман, прочитав который в первый раз в четырнадцатом году, я собрался было писать автору благодарственное письмо, но не сделал этого по незнанию итальянского языка; роман, в котором женщина, написавшая о своем так беззаветно и честно, что книга кажется откровением, – я остановился читать и поднял глаза.

Когда внутри меня улеглось стремительное движение, вызванное контрастом меж тем, что я увидел вокруг себя, и тем, что прочитал в книге, я понял неуловимым ощущением организма, что наступил момент, когда я должен и мог идти в белый вагон. Мои колени дрожали, во рту

было невкусно и сухо, а пространство, оставляя неподвижными все предметы, качалось внутри меня или предо мной. Ледяная вода озноба лилась по спине, я дышал жарко и глухо, с сознанием опасности, помогающей жить.

Я никому не сказал, куда и зачем иду. Я так торопился, боясь, что уйдет санитарный поезд, который приходил вообще случайно и ненадолго, – а меж тем в этот день он как раз был у станции, – что ряд еврейских девчонок, вытянувшись по тому переулку, которым я шел, мелькнул мимо меня с быстротой частокола. В амбулаторном вагоне пожилая сестра свертывала порошки, и я сел с ней рядом на табурет в ожидании, пока позовут доктора. Он пришел не скоро, но я не мучился этим. Я наслаждался ровным, сухим теплом чистого помещения, – этим невыразимым обещанием жизни, разлитым в белой окраске стен, лечебном виде склянок, расставленных по полкам, и чистенькой холщовой дорожке. Все это было так приветливо ненормально после четырех месяцев грязи, холода и тоски, что слезы подступили к моим глазам.

Наконец пришел врач, плотный латыш; нечисто выговаривая по-русски, он выщупал меня жесткими, как горох, пальцами, взглянул на язык и сунул мне под мышку термометр. У меня было горячо в подмышке, но, крепко прижимая стеклянную трубочку, боялся и трепетал я, что температура не выручит. Однако сестра милосердия, взяв термометр, мельком взглянула на меня с выражением, равным, по крайней мере, градусам 38-ми. «Сколько?» – спросил я. «Без двух сорок». Тогда я оглянулся вокруг с чувством жильца, въехавшего в уютное помещение.

Затем санитар, поддерживая меня, так как я шатался от слабости, переправлял в другой вагон, – с полок тупо смотрели воспаленные лица больных, – и указал койку. То был соломенный матрас, подушка и старое суконное одеяло с гнилыми прорезами. Я лег, тотчас стало таять и исчезать все, крепившееся до тех пор перед глазами; смутный разговор – или бред еще отозвался некоторое время во мне, без смысла и связи слова; затем, настраивая счастливо, дрогнули под полом колеса, и меня медленно понесло прочь от дикого уездного города. «Петербург». Это я узнал от врача. Окна стемнели; наступил сон.

V

«Вы будет эвакуация», – так говорил доктор, осматривая меня, и я, проснувшись снова, услышал это, словно из-за окна, где билась метель. Голос задрожал и исчез; другой раздался над ухом. Я открыл глаза; мужчина с всклоченной бородой, держась за мое колено, сидел рядом, его глаза были красны и печальны.

– Чего спишь? – говорил он. – Вставай, давай плановать.

– Как плановать?

– А я не сплю, слышу: Питер да Питер. Ты это бредишь. Питерский сам?

– Да...

– Ну вот, в Питере тебе не бывать. Знаешь, куда везут? В В. Всем питерским рассказывают: «Питер, мол; дома будешь». Ну, чтобы не бубетенили. Был санитар тут, он и открылся.

Я встал; казалось, изломав все тело, совершил я это движение. Как! С быстротой ветра мы уходим все дальше от города, одно имя которого веет уже надеждой? Я вдруг поверил и вдруг же с возбуждением, полным отчаяния, уперся всей душой противу движения, умыкающего меня в неизвестную и ненавистную сторону. Прав был мужик, – или, бредя наяву, слышал, передав мне то, чего никогда не было, – так и не узнал я, но хорошо знал, что теперь сделать. Мной двигала сила отчаяния. «Что надумал? – сказал мужичок. – Давай плановать; вот – первое это, пойду просить в В., чтобы отправили в Питер; там лечиться; я семейный, семья у меня на Лиговке; мукки им купил».

Не слушая его, тронулся я, хватаясь за вагонные пинеры с головокружением, но и с упрямством, равным упрямству пьяного, попадающего несмотря ни на что именно туда, куда вздумал попасть. Открыв дверь в соседнее отделение, увидел я дежурного санитара. Санитар спал, тыкаясь затылком в трясущуюся стену вагона; сидел он на табуретке, загородив вытянутыми ногами проход, и я перешагнул их.

Открыв дверь в боковой коридорчик, соединяющий внутреннее помещение с площадкой

вагона, я выскочил на нее с тем чувством, с каким, спасаясь от пожара, должен выскочить задыхающийся в дыму человек.

Передо мной была последняя дверь; за ней, резко стегая рельсы, мчался напевающий стук колес, и я быстро открыл ее.

В тьме выла и кипела вьюга, коля снегом лицо. Ничего нельзя было рассмотреть в мелькающем белизной мраке, он рвался и гудел против движения поезда, гася мгновенные искры трубы, огненные черты которых секли пространство перед глазами. Хотя был я в жару, мороз крепко обжег меня, хлынув в ноздри и легкие резким запахом холодного снега, и засеклось дыхание. Но мороз оживил меня. Заноса ногу в пустоту и выпятившись вперед на руках, цепляющихся горячей кистью за каленое железо поручней, думал я так же быстро, как отстукивали колеса: «Мгновенно ли приму смерть? Останусь ли жив?» «Карма», «Кисмет» – «Судьба» – «Рок» – все имена таинственного Завязанного Лица метнулись по открытой странице мгновения и исчезли.

«Если головой в столб? Но Петербург дороже всего. Умереть в В. или теперь, – разница тридцати-сорока верст». Я отделился без страха, как купающийся бросается в воду, и, вытянув вперед руки, упал. В тот момент я не чувствовал тела, казалось, одна голова моя рванулась по тьме, и тотчас ударило по ногам. Перестав слышать и видеть, я хлопнулся, взрыв снег, тотчас набились им мой рот, ноздри, уши и рукава; задыхаясь, вылез я из глубокой ямы и переполз к рельсам. Далеко впереди исчезал огонек фонаря, – то уходил поезд, и стук его отдавался в рельсе, под коленом моим, еле слышным: «чик-чик, тик-тик, чик».

Заряд, двигавший мной, не только не исчез после падения, но как бы удесятерился; мне было жарко; так жарко, что резкая стремительная пурга, бившая по щекам, казалась нежной прохладой. Не желая даже минуты оставаться в бездействии, я встал и, шатаясь от рельсы к рельсе, побрел в противоположную сторону.

VI

Как я шел, – скоро, или же – тихо, ныло ли тело мое или, наоборот, с легкостью духа, одержимого безумием, несло в вьюге, среди морозной пустыни, – теперь я не могу вспомнить. Но я очень хорошо помню, что снег, вначале стлавшийся струями сыпучей пыли вдоль рельс или перетекавший через них, скоро перестал виться меж ног; он повалил так густо, что, подобно массам белого пара, застлал все. И в нем родился тонкий аромат сирени, столь восхитительный, что я с изумлением и восторгом остановился как бы среди белого сада. Он повеял, проблагоухал и исчез. Все было бело; в белой непроницаемости, стихшей и мертвой, шел я без уверенности, того ли направления я держусь; не было даже видно рельс, и я часто ощупывал их руками, становясь на колени. Но не было во мне по-прежнему никакого страха; веселый, лишь чувствуя себя легким, как вата, я пел или пытался свистать. Меня не оставляло убеждение, что я скоро подойду к станции. Об остальном я не думал, – всякие поезда, во все стороны, идут от станции той, и мне следовало выбрать из них тот, который движется в Петербург.

Как я был уверен, что скоро подойду к станции, то нимало не удивился, заметив впереди рыжие, с радужной каймой, круги света; настолько-то я отдавал себе отчет в обстоятельствах, чтобы сообразить близость этих огней, – раз свет одолевал спокойный снег. Переход от хаоса к человеческому гнезду совершился внезапно, – я был уже очень близко к станции (к полустанку). Как будто сквозь мокрое полотно проступил неполный рисунок; угол крыши, с другой – фонарь над ней и яркие искры рельс, проходящих в белую тьму. Свет среди нее распространялся туманной, но яркой сферой, тогда я увидел, что у полустанка, отступя вправо три пары рельс, стоит поезд; заликовав, я побежал прямо к нему.

VII

На платформе не было ни души. Проваливаясь в тяжелый снег, торопливо побрел я вдоль ряда темных вагонов, закрытых наглухо, ряд этот прерывался платформами, с буграми занесенного снегом холста, из-под которого торчали дула орудий. Малейшей озаренной щели не видне-

лось в вагонах, и я подумал уже, не стоит ли он здесь давно на запасном пути, как, еле дыша, еле передвигая от поразившей меня усталости горячие и мокрые, в валенках, ноги, заметил далеко впереди маленькое пятно огня, трепетавшее у вагона, – и крикнул. Никто не слышал меня. Не было и конца вагонам, которые миновал я, пробираясь к замеченному огню, страстно желая одного: не повалиться без сознания в снег. Как заостеневшее страдание, как жизненный путь долог был переход этот, но вот – стал больше, на снегу, свет, в нем показались следы, комья, – я подходил, был близко, уже слышались медленные, глухие голоса, топот и хруст лошадиной жвачки. Вдруг отчаянные, как топором в стену, удары перебили это тихое оживление, так что загудел весь вагон. В это время соседний вагон, о который я опирался рукой, скрипнул и двинулся, колоколами прозвенели сцепления, щелкая по всему составу, и я понял, что поезд уходит.

Нельзя было терять момент, конец которого так слепо и глупо ускользал из моих рук. Я стоял против раскрытых заслонов теплушки, под полом которой болталась, готовая выпасть, засунутая концом где-то внизу, доска; видимо, ее подняли, – без нужды теперь входить и выходить. Ее конец торчал вровень с моим плечом. Судорожно охватив доску, я повис на ней всем телом, сился приподнять и перекинуть его так, чтобы лечь животом поперек доски; тогда мне легче было бы подняться в вагон. Едва мне не удалось это, но, соскользнув опять вниз, потерял я всю силу, выброшенную отчаянием. «Помогите! – кричал я. – Спасите! Здесь человек!» – но увидел, что дверь с шумом закрылась. Слабо ли я кричал, воображая, что кричу оглушительно, или потерялся мой голос в нарастающем движении поезда, – в его дребезге и громе колес, пересекающих рельсовые соединения, – только дверь осталась закрытой. Подогнув ноги, я висел на руках. Менее всего было у меня мысли отпустить доску, хотя, на сравнительно тихом еще ходу, мог я сделать это безнаказанно.

Уверенность, что поезд идет на Псков, поддержала бы меня даже против опасности упасть в пропасть. Меж тем, теряя силы, руки мои вытягивались с болезненной ломотой и дрожью; уже скользили по промерзшей доске окостеневшие пальцы. С понятием крайнего ужаса перехватился я вплотную к вагонной двери и стал стучать в нее головой – так, как стучат поленом; замутило и затошнило меня. Тогда с тем же визгом, как при обратном движении, двумя-тремя рывками, отъехала, заскользив, дверь, и за мои руки, с силой истинного чуда, ухватилось несколько рук. Ряд непечатных ругательств, раздавшихся одновременно, прозвучал мне райской мелодией; я застонал, ступил на доску и повалился без чувств.

VIII

– А ну, дай хлюста!

– Давай еще.

– Вини проклятые.

– Ходи с крестей. – Туз тебе в лоб! – А вот выкуси!

Я лежал в «лошадином» вагоне. Только что открыл я глаза, как в стороне раздались оглушительные удары о стенку; казалось, треснет она. Вагон трясся и скрипел, убегая в морозном полурассвете, показавшем сквозь полураскрытые двери тускло-зеленое небо, к неизвестной мне цели; внезапный страх, что едем мы не на Псков, окончательно разбудил меня, опередил все прочие впечатления. Несколько солдат, греясь вокруг костра, расположенного тут же, на железных листах и толстом слое песка, среди кип прессованного сена, играли в карты.

Я лежал на сене. Ни приподняться, ни даже пошевелиться я был совершенно не в состоянии; жар, истошина и тягучая боль во всех членах в связи с жаждой были так нестерпимы, что я замычал. «Страдаешь? – спросил, услыша меня, солдат, оборачиваясь с рассеянным вниманием человека, занятого игрой. – Смотри, ожил ведь, а говорили – помрет».

– Куда мы едем? – сказал я. – Дайте воды, горю весь.

Солдат, не выпуская карт, сунул мне в рот носок жестяного чайника, жадными глотками залил я терзавший меня огонь; дышать стало легче.

– На Скоп едем, – ответил он. – Еще пить хочешь? Говори, кто такой, тебя с доски сняли, убился бы ты...

Память была жива, я рассказал. Молчанием встречен был рассказ мой; не думали они, что пригрезилось мне рассказанное?

«Так мы едем на Псков?» – раздраженно спросил я. «Вот дурной, говорят, – в Скоп, ну и в Скоп». – «Побожись!» – и я привстал даже, чтобы подметить в выражении лиц солдатских, не лгут ли они. «Я тебе божиться не буду!» – закричал солдат, поивший меня. – «Молчи, когда лежишь, в Скопу в лазарет сдадим...» – «Не кричи, – сказал я, – ведь я только спросил». – «Только», – проворчал он, вытаскивая прикупку. – «Ну вот – очко с гаком, леший же тебя поberi и с Скопом твоим».

Тут снова раздался грохот, шум, тяжкий, как горе, вздох и сотрясающее падение огромного тела. Тогда я увидел, что в полутьме стоял, судорожно двигая головой и беспомощно махая копытами, бьется на боку огромная белая лошадь; ее живот вздулся; твердая красивая шея с расшатавшейся гривой в ужасе и боли агонии силилась взвиться, но, изнемогая, вытягивалась снова в навоз. Бока животного вздувались и опадали. Раз вскочила она, трясаясь вся, роняя изо рта пену и взматывая головой, но тяжело грохнулась; копыта загрохотали по стенке. Там были еще три лошади; они шарахались или, пугливо косясь, шумно и нервно дышали, беспокойно переступая ногами. Умиравшая была опоена – после большой порции овса дураком конюхом, – и овес задушил ее. Я узнал это потом. Солдаты приостановили игру.

– Кончается.

– Загубили скотину.

– Эй, как трепыхает ее... И сколько ж часов это. Она билась еще – долго; забываясь по временам, я вздрагивал от резкого стука. Наконец в полной тишине среди заснувших, скорчась от холода, солдат открыл я глаза, всматриваясь в угол вагона, – тихо и неподвижно торчали там из бугра вздувшегося горой тела прямые, как палки ноги.

«Петербург, Петербург», – отстукивали колеса, все приближая меня к Пскову, – откуда я мог, я знал это – попасть в Петербург. Но где «Петербург» этой несчастной лошади?

И не смешно ли, что до слез, до потускнения радости своей мне жаль было ее?

Белый огонь

I

«Зал художественных аукционов» – коммерческое учреждение, основанное, как гласила вывеска, в 1868 г., лишилось ценного служащего. То был Джозеф Лейтер, повесивший ударами молотка на золотые гвозди покупателей десятки тысяч картин.

Он продавал с азартом, с пламенным ожесточением проповедника. Его глаза, налитые нервным блеском, останавливались на лицах колеблющихся соперников с затаенным лстивым восторгом; скромно опуская ресницы или вдруг насмешливо озирая публику, он подстрекал самолюбие, дразнил жадность, медля опустить молоток, срывая последние судороги запоздавшего аппетита; он в совершенстве постиг власть пауз, выкрикивая ни раньше, ни позже, но именно в нужный момент, с оттенком непоправимой потери: «Восемьсот слева! Спереди – центр – тысяча! Сзади – направо – три, – три тысячи сзади; три, три, три, – кто более?!» – в результате чего кто-нибудь, как бы слыша вызов или презрение, бросал решительную надбавку.

Обстоятельства сложились так, что один из сподвижников Лейтера заболел, другой переменил место, а третий был рассчитан за мошенничество, почему последние одиннадцать дней Лейтер безотлучно стоял на аукционной эстраде. Надсаживаясь и хрипя от переутомления, с горлом, повязанным платком, небритый, бледный и грязный, он не выпускал молотка, следя за выражением лиц, подобно опытному рыболову, которому вздрагивание лесы точно говорит о величине и породе рыбы, схватившей приманку. Его голос срывался, рука дрожала; ослабевающее внимание упускало важные моменты тишины; теряя способность угадать, что даст следующая минута, – падение молотка или взрыв надбавок, – он делал непростительные ошибки, выходя из ритма общего внутреннего движения, тратясь без нужды на вялые моменты и плохо

соображая там, где следовало подчеркнуть большую игру.

У его левой руки, меняя форму и силу, сверкала вечная человеческая душа, выраженная художественным усилием. Она появлялась, исчезала и появлялась вновь с номером на лице. Картина, статуя, вышивка, гобелен, бронза, камень, этюд, рисунок, медальон, бюст – и каждый раз в каждом творении Лейтер находил немного себя, тотчас продавая это немного тем, кто владел силой зажать рот чужому желанию безнадежным холодом высокой цены.

Последний месяц по количеству вещей, выброшенных на аукционные рынки, был исключителен. В том мире есть шквалы и штили, затмения и ясные дни, приливы и отливы. Эпидемия продаж подобна чуме, в силу обстоятельств весьма сложных и значительных для того, чтобы была возможность без надобности объяснить их в кратком повествовании.

Эта эпидемия, этот непрерывный трепет души, выраженный трагическим усилием и ощущаемый грязной ладонью художественной похоти, треплющей ее по щеке с видом глубокомыслия, – выяснил, наконец, полное бессилие Лейтера стучать впредь молотком по карману и нервам. Решительную роль сыграл рисунок Берн-Джонса – узкая полоса желтой бумаги с изображением обнаженной женской руки. Еще ранее Лейтер останавливался перед этим рисунком со вздохом тихого облегчения. У Лейтера было второе внутреннее лицо, над которым он не задумывался.

Эта совершенно прекрасная рука, вытянутая горизонтально от плеча до кисти, которая слегка свешивалась с нежным и твердым выражением, объясняла нечто неназываемое так бесспорно, что зрителю оставалось лишь отвечать ей мыслью и чувством так же красиво и чисто, как красиво и чисто было изображение.

– Рисунок Берн-Джонса! – провозгласил Лейтер. – Собственность Марка Твида, заявленная цена двести... – Привычным движением он поднял свою руку и вдруг увидел ее по-новому. Эта рука с нечищенными ногтями тряслась в грязной манжете, облитая набухшими жилами.

Произошло некоторое смещение предметов и мыслей, подобно тому, что называется «двоится в глазах». Лейтер милостиво улыбнулся; у него было сухо и горько во рту, скверно и разносторонне противно на душе. С остротой боли вдохновенно подметил он все оттенки идиотизма, рассеянные в физиономиях, увеселился и рассмеялся. В то же время на него направились глаза всех портретов и статуй. Он выпрямился.

– Я имею сказать, – захрипел Лейтер, – что этот рисунок должен быть куплен безусловно по цене небесной зари. Это оттого, что я очень устал. Давно уже замечаю я, что покупаете вы множество всякой дряни, до которой вам, как и до Берн-Джонса, нет никакого дела. Однако я желал бы продать этот рисунок, предварительно узнав, был ли покупатель рожден женщиной. Закрываю аукцион!

На него хлынул туман, заставив отступить к стене; бормоча: «попала мне пальцем в глаз какая-то шельма»... – он был подхвачен усердными руками служащих. И неторопливые, степенные, безусловно приличные, вполне нормальные люди отвезли Лейтера в больницу умалишенных.

II

– Довольно! – сказал Лейтер, еще не открывая глаз. – Я не хочу вашего супа. От него делается изжога. С меня достаточно чая, хлеба и масла.

Никто ему не ответил. Он сел и осмотрелся с досадой, тотчас уступившей место глубокому изумлению.

Он находился в глухом лесу, у ствола старого дуба, на краю узкого зеленого луга, замкнутого со всех сторон чащей. Блаженное утреннее солнце поджигало траву. Веселый аромат сырости, зелени и земли возбуждал легкие. За деревьями, в гнездах лесного мрака вспыхивали зеленые искры. Ближайшие птицы, подхватывая или перебивая далекое щебетание, раздражались неистовой трелью; бабочки, сидя на цветах, медленно поникали крыльями; бродил свет, трепетали тени, дымилась роса.

Лейтер, сжав голову, минут пять осваивался с положением, пока не натолкнулся на един-

ственное правильное толкование происшедшего.

– Я бежал, – сказал он, внимательно прислушиваясь к своему голосу, с тревожной и добро-совестной подозрительностью человека, не вполне уверенного в благополучном состоянии собственного рассудка. – Да, я, очевидно, бежал из больницы, – тресни она. Я был болен. Теперь, кажется, я здоров, я чувствую, что я здоров, так как у меня нет больше этой проклятой тоски.

Невероятным усилием вырвал он из недр ослабевшей памяти блеск лунного окна, расшатавшую решетку и четыре пустых бочки, поставленных одна на другую в углу садовой стены.

– Прекрасно, – продолжал он. – Сделаем экзамен рассудку: «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками». – «Сомнение в собственном сумасшествии должно быть признано доказательством психического здоровья». Я – Джозеф Лейтер, тридцати лет, нахожусь в дикой лесистой местности с явным желанием немедленно вернуться домой к обычным своим занятиям.

Но он уже понимал, что выздоровел, – и без этих наивных упражнений, – быть может, благодаря потрясению свободы, добытой путем связных усилий, долгому сну, отдыху, – вернее же всего – силой тех душевных течений, какие при остром помешательстве, бурно выйдя из берегов, скоро нащупывают прежнее основное русло.

Успокоенный и почти счастливый, – так как полному счастью мешало тревожное нетерпение выбраться возможно скорее к заселенным местам, – Лейтер обошел лесной луг, избирая верное направление. По теням скоро заметил он, что движается спиной к западу, и тотчас повернул обратно, сделав спустя короткое время привал ради орехов и диких слив, что, утолив голод, не вернуло, однако, его смягченному воспоминанию о больничном супе прежнего отвращения. Затем Лейтер продолжал путь, следуя течению маленького ручья, бегущего к западу.

В поту, с ободренным лицом и руками, он делал милую за милей то вброд, то по руслу, если растительность, свисавшая над водой, мешала идти берегом, то проваливаясь в овраги, заваленные буреломом, или продираясь в густой тьме, с клочком неба над головой, сквозь заросли, вызывавшие припадок сердцебиения. Чем больше он уставал, тем острее подгоняла его сама усталость, которую он стремился опередить, оставив лес позади. Меж тем, вначале маленький, как струя воды из опрокинутого ведра, ручей расширился; его течение нарастало, ширина увеличивалась, а призрачный блеск мелкого песчаного дна медленно угасал, оставляя местами воду черной, как полоса бархата, трепещущая под ветром. Изменялся характер берегов: довольно просторная опушка, усеянная мысами и желтыми мелями, незаметно образовала крутые обрывы, к осыпям которых в угрюмой тесноте и вечном молчании подступали прямые влажные стволы чащи. Их вершины разделялись высоко над головой Лейтера извилистой синей щелью; внизу бродил искаженный свет, еле шевеля черноту потока серыми отблесками. Лейтер принимался кричать, но крики возвращались к нему тупым эхом, запертым на замок. Затем отстаивалась прежняя тишина, нарушаемая так внезапно и редко, что испуганный слух болезненно переносил эти краткие нарушения; подавленный, угнетенный, бессильный, с извращенным удовлетворением раба, возвращался он к прежнему состоянию покорного напряжения. Плеснула рыба, выдра прошумела в траве, скакнула и заверещала пума; отдаленный треск, ворочаясь, как кора в огне, звучал дикой тоской. Эти явления разделялись долгими промежутками лесного безмолвия.

Так проходил день, пока, наконец, не увидел Лейтер впереди себя, сквозь стволы, поворота течения, род просвета, заполненного сверкающей белизной. Вначале показалось ему, что это известковый утес, чему он весьма обрадовался, надеясь с высоты обозреть местность, но, приближаясь, был вынужден неоднократно останавливаться, так как белое нечто усложнялось странными очертаниями, напоминающими группу человеческих тел или статуй; Лейтер протер глаза. Между тем сомнениям все менее оставалось места; уже, заслоненный ветвями, мелькнул впереди мраморный профиль, за ним другой, третий и, наконец, тонкий рисунок фигуры, стоящей где-то вверху, в полных, как веселый крик, лучах солнца, поднявшегося к зениту.

Лейтер отвернулся, пятась спиной к таинственному явлению, в надежде, что оно, если, приблизясь, он станет к нему вдруг снова лицом, рассеется, подобно туману; однако поймал себя на том, что невольно прибавляет шагу, подгоняемый любопытством. В том месте лес отступал и был значительно реже; лишь там, где сверкала чудная белизна, его крылья вновь смыкались у

берегов пышными острями. Лейтер не выдержал. Он обернулся шагах в двадцати от зрелища, которое, раскрывшись теперь вполне, исторгло у него крик изумления. Не бред, не галлюцинация поразили его. Пред ним блистало подлинное произведение чистого и высокого искусства, брошенное, подобно аэролиту, – телу непостижимой звезды, – в стомильные дебри лесной пустыни.

Здесь берега ручья несколько возвышались, образуя естественные устои, на которых держалось сооружение. Это была мраморная лестница без перил, согнутая над ручьем высокой аркой, с круглым под ней отверстием, в которое, серебрясь и темнея, шумно устремлялся поток. Оба конца лестницы повертывались внизу легким винтообразным изгибом так, что нижние их ступени почти сходились, образуя как бы рассеченное снизу кольцо. По лестнице, улыбаясь и простирая руки, сбежал рой молодых женщин в легкой, прильнувшей движением воздуха одежде; общее выражение их порыва было подобно звучному веселому всплеску, овеянному счастливым смехом. Две нижних женщины, коснувшись ногой воды, склонялись над ней в грациозном замешательстве; следующие, смеясь, увлекали их; остальные, образуя группы и пары, спешили вслед, и с их приветливо вытянутых прекрасных рук слетала улыбка.

Это мраморное движение разделялось на обе стороны лестницы, с живописным разнообразием, столь естественным, что строго рассчитанная гармония внутреннего отношения форм казалась простой случайностью. Центром чуда была легкая фигура девственной чистоты линий, стоявшая наверху, с лицом, поднятым к небу, и руками, застывший жест которых следовало приписать инстинкту тела, ощущающего себя прекрасным. Они были приподняты с слабым сокращением маленькой кисти, выражая силу и стыд, смутную прелесть юной души, смело и бесознательно требующую признания, и запрещение улыбнуться иначе, чем улыбалась она, охваченная тайным наитием.

Внизу и на верху лестницы, свешивая ползучие ветви, покрытые темными листьями, стояло несколько плоских ваз. Растения, выбегающие из них, были, по-видимому, насажены здесь давно, так как, пробравшись на самую лестницу, Лейтер заметил, что земля в вазах и дикий вид старых ветвей, почти высохших, помечены рядом лет. Но ничто не говорило о древности самих ваяний, в них чувствовалась нервная гибкость и сложность новых воззрений, мрамор был бел и чист, на медной доске, врезанной под ногами верхней прекрасной женщины, чернел крупный курсив: «Я существую – в силе, равной открытию».

Какой замысел, какой глубокий каприз, какая могучая прихоть крылись под этой надписью? Более двух часов провел Лейтер, рассматривая фигуры, созданные безвестным резцом для того, чтобы навсегда помнил их лишь некий случайный и, – мнилось – столь редкий в этих местах, что самое появление его здесь следовало считать чудом, – одинокий бродяга.

От лестницы ручей резко поворачивал к югу. Лейтер, держась прежнего направления, покинул место, осененное святым мрамором, и через два дня достиг, наконец, поселка, оказавшегося так далеко от города, что он сел в поезд.

Врачи подтвердили его выздоровление, хотя, расскажи он им о своем открытии, больница могла бы его вновь пригласить к супу, вызывающему изжогу. Но другим, тем, кто не имел к психиатрии ни малейшего отношения, Лейтер рассказывал о прекрасной мраморной группе. Никто не верил ему; он стал повторять рассказ все реже и реже, сохранив его, наконец, только для одного себя.

Канат

*Посмотри-ка, кто такой
Там торчит на минарете?
И решил весь хор детей:
«Это просто воробей!»*
Величко

Если бы я был одержим самой ужасной из всевозможных болезней физического порядка – оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой, наконец, – я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мой мозг грандиозными образами человеческих мировых величин.

Кому не случалось, хоть раз в жизни, встретить на улице блаженно улыбающуюся личность, всегда мужчину, неопределенного или седоволосого возраста, шествующего развинченной, но горделивой походкой, в сопровождении любопытных мальчишек, нагло смакующих подробности нелепого костюма несчастного человека?

Рассмотрим этот костюм: на голове – высокая шляпа, утыканная петушьими и гусиными перьями, ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда; сюртук, едва скрепленный сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бумагой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сломанный зонтик, перевитый жестяной стружкой.

Это – король, Наполеон, Будда, Христос, Тамерлан... все вместе. Торжественно бушует мозг, сжигаемый ядовитым светом; в глазах – упоение величием; на ногах – рыжие опорки; в душе – престолы и царства. Заговорите с грандиозным прохожим – он метнет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пяток; вы закуриваете, а он видит вас, стоящего на коленях; он говорит – выкрикивает, весь дергаясь от полноты власти: «Да! Нет! Я! Ты! Молчать!» – и эта отрывистая истерика, мнится ему, заставляет дрожать мир.

Такой-то вот дикой и ужасной болезнью, ужасной потому, что – перевернем понятия – у меня бывали приступы просветления, я был болен два года тому назад, в самую счастливую, со стороны фактов, эпоху моей жизни: брак по любви, смешные и хорошие дети – и золото, много золота в виде бледных желтых монет, – наследство брата, разбогатевшего чайной торговлей.

II

Я потерял в памяти начало болезни. Я никогда не мог впоследствии, не могу и теперь восстановить то крайне медлительное наплывание возбужденного самочувствия, в котором постепенно, но ярко меняется оценка впечатления, производимого собой на других. Приличным случаем примером может здесь служить опрокинутость музыкального впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормальный порядок дает вначале сильное удовольствие, понижающееся по мере того, как этот мотив, в повторении оставаясь одним и тем же, заучивается детально до такой степени, что даже беглое воспоминание о нем отбивает всякую охоту повторить его голосом или свистом.

Такая избитость мотива делает его надоедливой и пустой. Теперь – если представить шкалу этого привыкания в обратном порядке – получится нечто похожее на шествие от себя, как от обыкновенного человека, к восхищению собой, – во всех смыслах, – к фантастическому, счастливому упоению.

Я не могу точно рассказать всего. Меня это волнует. Я как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно горделивой позе, с надменным лицом и грозно пляшущими бровями. Но – главное, главное необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества перемешанных с ним здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он знает, что не является частью мрачного и унылого пейзажа.

Отменно хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо, поразившем внимание, и особенный род ликующей нервности служили для меня точными признаками надвигающегося безумия. Однако способность к самонаблюдению, неуловимо исчезая, скоро уступала место демону Черного Величия. В период протрезвления я вспоминал все. Отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного цифрам бухгалтерской книги, рассказывающей крах предприятия, отчаяние хозяина, видящего, как пожар уничтожает его дом и уют, – вот пытка, которую я переносил три с половиной года.

Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений.

Первое: мир прекрасен. Все на своем месте; все божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцать шестым зрением, но не укладывается в слова.

Второе: я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее.

Третье: впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко, я очаровываю и покоряю. Каждый мой жест, самый незначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения; их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются и растворяются в моей личности; они для меня – ничто, а я для них – все.

Четвертое: я – владыка, император неизвестной страны, пророк или страшный тиран. Мне угрожают бесчисленные опасности; меня стерегут убийцы; я живу в дворцах сказочной красоты и пользуюсь потайными ходами. Меня любят все красавицы мира.

Пятое: мне поставлен памятник, и памятник этот – я, и я – этот памятник. Чувство жизни не позволяет мне оставаться подвижным на пьедестале, а чувство каменной статуйности заставляет ходить.

III

Теперь, полностью восстанавливая канат и все, что с ним связано, я опишу события на фоне припадка болезни, временами взглядывая на себя со стороны. Это необходимо.

Я шел по набережной. Стоял кроткий апрельский день. Белые балконы, желтые плиты тротуара и голубая река с перекинутыми вдали отчетливыми мостами казались мне, в торжественной строгости моего отношения ко всему этому блеску жизни, робкой лестью побежденных неукротимому победителю. Мое предназначение – спасти мир; мои слова и добродетель Великого Пророка стоят неизмеримо выше соблазнов несовершенного человеческого зрения, так как второе, пророческое мое зрение видело «вещи в себе» – потрясающую тайну вселенной.

Я родился в Сирии три тысячи лет тому назад; я бессмертен и всеобъемлющ; не умирал и не умру; мое имя – Амивелех; мое откровение – благостное злодейство; я обладаю способностью превращений и летаю, если того требуют обстоятельства.

Я захотел есть и вошел в кафе.

Низенькое длинное помещение это было отмечено посередине узкой, прилегающей бордюром к стенам и потолку аркой. Я принял ее за зеркало благодаря странному совпадению. Столик, за которым я сидел лицом к арке, одинаковый с другими столиками, помещался геометрически точно против столика, стоявшего за аркой. У того столика, на равном моем расстоянии от бордюра, так же уперев руки в лицо, сидел второй я. Беглый взгляд, каким я обменялся с воображаемым благодаря всему этому зеркалом, вскоре отразил, надо думать, сильнейшее мое изумление, так как мое предполагаемое отражение встало. Тогда я заметил то, чего не замечал раньше: что этот неизвестный – чудовищно похожий на меня человек – одет различно со мной. Иллюзия зеркала исчезла.

Он встал, перешел, внимательно присматриваясь ко мне, узкое, почти лишенное посетителей зало и сел у окна вне поля моего зрения, так что, желая взглядывать на него, я должен был отрываться от еды и поворачивать голову. Я взволнованно ждал. Я знал, кто это с моим взглядом и моими щеками. Это был он, князь мира сего, вечный и ненавистный враг.

Я съел то, что подал издали наблюдавший за моими движениями слуга с чрезвычайно глупым и напряженным лицом, затем решительно повернулся к нему. Я хотел немедленной схватки, борьбы чудесных влияний и торжества Духа.

– Ты – трус! – громко сказал я, стукнув кулаком по столу.

В продолжение всего нашего разговора, начатого так шумно, но оконченного вполголоса, – так как речь шла о полубожеских силах, – в углах залы и за стойкой происходили отвратительные кривляния. Люди шептались, подмигивали друг другу, показывали на нас пальцами и кивали. Зная, что они помешаны, я не обращал на этих жалких отродий особенного внимания. Вся сила моего волнения сосредоточилась на нем. Я повторил:

– Ты – трус!

Он молчал, загадочно улыбаясь, как бы думая обмануть меня относительно истины своего существования, затем встал и пересел за мой столик. Держался он очень скромно; его поза, движения, улыбка и взгляды говорили о могучем притворстве. Я видел его крайне внимательные зрачки и читал в них: казалось, их черный блеск блистал рыжим огнем ада. Однако вся моя пророческая пронизательность спасовала перед западней мстительного плана, изобретенного этим Двуличным.

– До удивления, – начал он, – до крайнего удивления похожи мы с вами, сударь. Смею спросить, кто вы и ваше имя?

Мгновение я колебался: сорвать с него маску или притвориться наивным? Подумав, я решил быть самым собой, относительно же него держаться доверчиво, дабы показать врагу все презрение, какое я мог обнаружить таким явно издевательским способом.

Я сказал:

– До крайнего, крайнего удивления. Мое имя – Амивелех. Вы, конечно, не знаете этого. Откуда вы можете иметь, в самом деле, какие-либо сведения обо мне? Наша страна пустынна, это – страна вздохов, и я послан Пророком Пророков ради страшного труда спасительного злодейства. А вы?

– Я – Марч. Канатоходец Марч.

Он говорил, конечно, подобострастно, но в слове «Марч» слышалась профессиональная гордость. Меня сильно забавляло все это. Дьявол на земле должен иметь профессию! Доверия к профессионалу у людей значительно больше, чем к тем, кто на вопрос о себе невразумительно отвечают: «Я... собственно... знаете...» – и тому подобное.

– Итак?

– Совершенно верно. Я зарабатываю хлеб очень трудным искусством.

– Знаю, – сказал я. – Вы появляетесь над толпой в шелковом раззолоченном костюме. В руках у вас шест. Вы бегаєте взад и вперед по туго натянутой проволоке, приседаете и приплясываете с похвальной целью доказать зрителю, что это не так легко, как кажется.

– Совершенно верно, господин Амивелех. Я здорово устаю. Когда я был помоложе, мне легко давались такие вещи, как переход Ниагары или подсакивание на одной ноге. А теперь не то. Жаль, что вы, глубокоуважаемый Амивелех, имеете о нашем ремесле туманное представление. Оно очень нелегкое и опасное. Вы, например... хо-хо! Я говорю, что если бы вы... попробовали... Даже вообразить это нельзя без ужаса. Нет, нет, у меня очень мягкое сердце. Одна мысль о том, что вам, например, пришло в голову... У меня даже голова закружилась... Тьфу! Какие иногда бывают смешные мысли!

– Марч! – внушительно сказал я. – Я вижу, как извивается и трепещет твоя душа. Спрячь ее!

– Вот так штука! – захохотал он. – Задали же вы мне задачу! Да разве от вас спрячешь что-нибудь? Вы людей насквозь видите!

– А! Ты дрожишь?!

– Дрожу, весь дрожу, господин Амивелех. Дело в том, что у меня, знаете, есть воображение. Воображение – это мое несчастье. Оно меня мучает, господин Амивелех, особенно в те минуты, когда ходишь по проволоке. Ты идешь, а оно тебе говорит: «Марч, твоя левая нога поскользнулась»... И мне нужно крепко стоять этой ногой. Она утомляется, вздрагивает. Опять голос: «Марч, ты теряешь равновесие... наклонился... падаешь... вот твое тело у земли – три фута, фут, дюйм... удар!» Становится очень холодно, господин Амивелех, пот бежит по лицу, шест тяжелеет, канат стремится выскользнуть из-под ног. Я на уровне циферблата соборных часов – раз было так – и я вижу, что стрелки больше не двигаются. Мне нужно еще полчаса увеселять публику. Но стрелки не двигаются... Ах! Вот вам воображение, господин Амивелех, ну его к черту!

– Так далеко? – спросил я. – Конечно, ты шутишь, опасливый Марч. Но я, я могу помочь твоей беде. Повелеваю: расстанься с воображением!

– Готово! – воскликнул он, подняв с выражением необычайного изумления свои, такие же,

как мои, черные глаза к потолку. – Ага! Вот оно и улетело... воображение... дымчатый комочек такой. Чуть-чуть осталось его... совсем немного...

Его притворство становилось невыразимо отвратительным. Он потирал руки и вкрадчиво улыбался. Он обшаривал взглядом мое лицо и кривлялся, как продажная женщина.

– Сегодня, в три часа дня, – продолжал он, осторожно понизив голос, – я выступаю на площади Голубого Братства со своей обычной программой. Работая, я буду думать о вас, только о вас, дорогой учитель Амивелех. Я горжусь, что несколько похож на вас, – смел ли я быть совершенно похожим? – что судьба оказала мне великую честь, создав меня как бы в подражание великому вашему существу! О, я преклоняюсь перед вами! Ваша жизнь драгоценна! Одна мысль, что каким-то чудом вы могли бы оказаться на моем месте, не имея ни малейшего представления о том, как надо держаться на канате... что вы шатаетесь, падаете... какой ужас! Вот он, остаток воображения. Да сохранит вас бог! Пусть никогда нелепая мысль...

Я остановил его жестом, от которого содрогнулись в своих пыльных гробницах египетские цари. Он искушал меня. Он становился железной пятой своего черного духа на белое крыло моего призвания, и я принял вызов с царственной свободой цветка, безначально распространяющего аромат в жадном эфире.

– Марч! – тихо заговорил я. – На наш невиданный поединок смотрит погибающая вселенная. Так надо, и да будет так! Я, а не ты, я в три часа дня сегодня появлюсь на площади Голубого Братства и заменю тебя со всем искусством жалкой твоей профессии!

– Но...

– Ни слова. Ни слова, Марч!

– Я...

– Молчи! Тише!

– Вы...

– Слушай, не думаешь ли ты, что тайна великой борьбы священна? Умолкни! Когда говорит Амивелех, молчат даже амфибии. Мы отправляемся!

Наступило молчание. За прилавком кафе сидели три кобальда – свита ненавистного Марча. Я слышал, как гремит в его душе подлая, трескучая радость. Что касается меня, то я переживал нечто подобное величавому грому – предчувствие пышного торжества. Я знал, что уничтожу черного двойника. Я уже видел его полный отчаяния полет в бездну, откуда он появился.

Мы молча смотрели друг ни друга. Нас соединял жуткий ток взаимного понимания. Затем Марч, таинственно подмигнув мне, встал и вышел. Я, не торопясь, последовал за ним.

IV

Когда я очнулся от продолжительного раздумья, в течение которого совершенно не замечал и не мог заметить, что говорю и делаю и что говорил Марч, я увидел, что стою в просторной полотняной палатке у стола, на котором лежал расшитый золотом бархатный костюм Марча. Полуприподнятая занавеска входа позволяла видеть часть площади, черную от массы людей. Неясный, хлопотливый шум проникал в палатку. Я видел еще нижнюю часть столбов, между которыми была протянута проволока; дальний столб казался не толще карандаша, а ближний, почти у самой палатки, толщиной с хорошую мачту. Лестница, приставленная к нему, отбрасывала на столб тень; между лестницей и столбом, среди булыжников, искрилась трава. Помню, меня как бы толкнула эта простота обыкновеннейшего явления: трава, камни. Не более как на момент я содрогнулся от сильнейшей тоски. Не будь со мной Марча, я, может быть, оказался бы в начале реакции, перелома. Я вспомнил о нем, как о дьяволе, и внутренний, неизъяснимый удар безумия тотчас же вернул меня в круг ложного озарения.

Замысел Марча, как искусителя, был ясен до очевидности. Зная, что я бессмертен, хитрец этот надеялся, – о, жалкий! – увидеть мое унижение, когда, по злобным его расчетам, я, силой его заклинаний, грохнусь с высоты пятиэтажного дома. Нимало не сомневался я, что именно этим вознамерился вечный мой враг стяжать лавры победителя. Я знал, однако, что не только по проволоке, а по морской буре могу пройти с легкостью водяной блохи, не замочив ноги. По-

этому, сгорая от нетерпения скорее поразить демона своей властью над послушной материей, я, оглянувшись на Марча с гримасой, надо полагать, не совсем вежливой, стал раздеваться так порывисто, что оборвал несколько пуговиц.

Разумеется, я вел себя, как заправский канатоходец. Хотя Марч помогал мне одеваться, я чувствовал, что мог бы отлично справиться без него. На мне появилось трико телесного цвета, короткие штаны голубого бархата с таким обилием позументов, что я напоминал сказочную жар-птицу, и плюшевая зеленая шляпа с белым пером.

Как только Марч пытался подать мне совет касательно баланса или чего другого, я мигом осаживал его, говоря, что все эти указания бесполезны даже попугаю на жердочке, не только мне, поющему хвалу Духу. Я взглянул в зеркало и подбодчился. Затем я стал дрыгать поочередно ногами, любуясь их формами и упругостью. Послав иронический воздушный поцелуй Марчу, смотревшему на меня, – притворно, конечно, – с беспредельным обожанием, я, подняв голову, вышел из палатки и огляделся.

Ха! Гул и рев! Толпа побелела от поднятых для рукоплесканий рук. Здравствуйте, компрачикосы! Я кивнул и стал взбираться по лестнице.

С момента моего выхода меня охватил вдруг подмывающий, как стремительная волна, род нервной насыщенности, заполнившей все видимое пространство. Я как бы двигался в невесомой плотности, став частью среды, однородно слитой и напряженной в той же степени неуловимо быстрых вибраций, какие, – я потрясенно чувствовал это, – пронизывают меня с ног до головы вихренными касаниями. Я сделался легким, как в отчетливом сне, когда отсутствуют ощущения тяжести и мускульных усилий. Мне было ясно, что я лишь делаю вид, будто подымаюсь, пользуясь, с соответственными тому движениями, перекладами лестницы. Мной двигало желание двигаться. Я не испытывал, не замечал усилий. Я мог, в том же или ином любом темпе, совершить лестничное путешествие на луну, дыша по окончании его ни чаще, ни медленнее. Только исключительной остротой безумия могу я объяснить такое состояние и то, что произошло дальше.

Подымаясь в подымающемся вместе со мной, застрявшем в ушах обширном гуле толпы, рассматривая ее овал, охвативший линию натянутой между столбов проволоки, я на теплом ветре между небом и землей был соединен с зрителями именно той нервной насыщенностью пространства, о которой упомянул выше. Я не могу объяснить, как я воспринимал токи, подобные электрическим, которые, безостановочно вступая в меня волнистыми усилениями, составляли как бы нечто среднее между настроением, выраженным словами, и яркой догадкой, подтвержденной обострением интуиции.

Эти колебания токов, относимые мною тогда за счет пророческого прозрения, я покажу наиудобнее простыми словами, ставя в вину несовершенству человеческого языка вообще то странное обстоятельство, что мы осуждены читать в собственной душе между строк на невероятно фантастическом диалекте.

Я воспринимаю следующее:

Он вышел из палатки.

Он приближается к лестнице.

Он лезет по лестнице.

Он продолжает ловко взбираться по лестнице.

Скоро он перейдет на проволоку.

Неизменным, основным тоном этих поступлений была уверенность, – серьезная, непоколебимая уверенность в том, что я, Марч, искусный канатоходец, покинул палатку и делаю совершенно безошибочно все нужное для того, чтобы произвести ряд опытов напряженного равновесия. Я был патентованным сумасшедшим, но не настолько, чтобы в этом исключительном положении не отмечать некоторую, таившуюся захирело и глухо, здоровою частью души своеобразного действия, производимого всплывающим извне массовым тоном уверенности. Представьте человека, связанного по рукам и ногам, в полном неведении относительно срока освобождения, представьте затем, что веревки, стянувшие его тело, чудесно ослабевают в сюрпризной, очаровательно доброй постепенности; что обнадеженный человек, пробуя двигать

членами, двигается действительно, встает, ходит, подпрыгивает, и вы получите некоторое приближение к истине моих ощущений, с той разницей, что я нимало не сомневался в родстве своем со всем чудесным и исключительным.

Взобравшись наверх, я уселся в приделанное к концу бревна деревянное кресло, а ноги опустил на толстую блестящую проволоку, тянувшуюся от моих ступней вогнутой воздушной чертой к далекому противоположному столбу с маленьким на нем цветным флагом. Второй флаг, сзади, над моей головой, шелестел под ветром, иногда касаясь лица, и это – близость предмета, с которым вообще соединено понятие высоты, предмета, употребленного согласно своему назначению, – более, чем доказательства глаз, дало мне то острое ощущение высоты, которое одновременно гипнотизирует, туманит и возбуждает, подобно ожиданию выстрела. Я сидел под небом, над охваченной глазами толпой, а предо мной на специальной рогатке лежал поперек каната длинный тяжелый шест, служащий необходимым балансом.

Послав зрителям воздушный поцелуй, я услышал рев и рукоплескания. О, если бы они знали, кто я! Впрочем, я собирался немного погодя сойти к ним с проволоки по воздуху. Все вопросы должно было решить это чудесное схождение небесного ставленника. Я решил дать великое откровение.

Радостно засмеявшись, так как очевидность моего торжества была полной, я встал, взял шест (я должен был до времени быть во всем Марчем) и, отделившись таким образом от последнего прочного основания, ступил на зыбкую проволоку. Не долее как секунду я стоял совершенно неподвижно над пустотой, с чувством немоты мысли и остоленения; затем двинулся и пошел.

V

Да, я пошел, и пошел не с большим затруднением, чем то, с каким, расставив руки, способен пройти по ровному толстому бревну всякий человек, вообще способный ходить. Оркестр заиграл марш. Я ставил ноги в такт музыке, колебля шест более для своего развлечения, чем по необходимости, так как, повторяю, после первого впечатления внезапности пустоты я оказался вне губительной нормы. Нормально я должен был оцепенеть, потерять самообладание, зашататься, с отчаянием полететь вниз, не попытавшись, быть может, даже ухватиться за проволоку. Вне нормы я оказался, – необъяснимо и, главное, самоуверенно, – стойким, без тени головокружения и тревоги. Я продолжал быть в фокусе напряженных токов, излучаемых огромной толпой; их незримое действие равнялось физическому. Я двигался в совершенно поглощающем мое телесное сознание незримом хоре уверенности, знания того, что я, Марч, двигаюсь и буду двигаться по канату, не падая, до тех пор, пока мне этого хочется.

Разумеется, в те минуты я не был занят подробным анализом ощущений. Я восстановил и определил их впоследствии. Я думал главным образом о посрамлении Марча, о тех муках, какие должен испытывать он теперь, видя, что его расчеты на мою гибель рассыпались в прах, и о том, что блаженство духовной власти в соединении с маршем «Славные ребята», – предел восторга, выносимого человеком.

При каждом шаге ноги мои, согласно закону тяжести, находились в вершине тупого угла, образуемого проволокой. Она колебалась, отвечая давлению ноги многократным, разливающимся по всей ее длине гибким волнением; я шел как бы по глубокому селу. Постепенно, когда я начал приближаться к середине пути, раскачивания проволоки делались сильнее и глубже. Это, при почти полной атрофии физического сознания, при машинальности движений моих, производило на меня страннейшее впечатление. Мне казалось, что между мной и проволокой нет никакой связи, кроме обманчивого подобия взаимной зависимости, что канат, таинственным образом подражает – следует моим движениям, и я, если бы захотел, мог бы успешно шествовать над ним, заставляя проволоку так же колебаться и оттягиваться вниз, как следуя по ее линии.

Я только что собрался произвести этот опыт – опыт окончательного презрения ко всяким точкам опоры, как быстро, но незаметно для себя вынужден был перейти к созерцанию новых, весьма значительных и конкретных прозрений – результату сложности, возникшей в первона-

чальном однородном тяготении токов. Я мог бы даже сказать, откуда, из какой части толпы шли тяги знаменуемости оригинальной. Остальные видоизменения токов, словесная душа их, воспринимались мной на протяжении всего кольца зрителей; иногда лишь незначительные, дрожащие колебания давали в этой среде сгустки подобно скрещиванию лучей рефлекторов.

Первоначально стало навеиваться в меня нечто хмыкающее, ровное, как барабанная трель, что, обострив внимание, я безотчетно стал переводить так: «Это акробат Марч, Марч, чувствующий себя на канате, как дома. Вот мы на него смотрим. Акробаты, говорят (мы говорим, все говорят), показывают иногда чудеса ловкости. Острое восхищение – увидеть чудеса ловкости! Однако этот Марч, видимо, не из тех. Он идет по канату; просто идет. А что же дальше? Нам мало этого. Пусть он станет на голову и завертится волчком. Разве это так трудно – идти по канату? Я не пробовал идти по канату. Я, может быть, попробую. Да. Вдруг это совсем пустяковое дело? Наверное, это не совсем замысловатое дело. Вот он идет; просто идет и держит в руках шест высоко над землей. Он идет, а мы смотрим (скучно!), как он идет, как будет идти».

Этот чужой идиотизм заставил меня насторожиться. Я охлаждался, начал охлаждаться, как кипяток, когда в него суют ложку, уменьшает бурление. Я осмотрелся. Я был наравне с крышами. Преглупый вид у крыш! Их выпяченные слуховые окна зевали, как беззубые рты. Внизу весело носилась лохматая собачка, взад-вперед, взад-вперед! У меня тоже был фоксик, я о нем вспомнил теперь и удивился. Зачем, собственно, фоксик Амивелеху? Я – кто же такой? Я – Амивелех, да...

Неожиданно в противное густое хмыканье врезался развеселивший меня тонкий вздох радости:

– Весьма приятно, и мы благодарны. Ходите на здоровье! Хорошо видеть ловких людей!

Я не успевал думать. Я был прикован к хору своей души, где смешивались все тяги и перекликались волеизъявления. Это начинало мне мешать двигаться; я подходил к другому столбу, но, находясь от него не далее как в двадцати футах, остановился. Я чувствовал себя мошкой, попавшей в чей-то большой, неподвижно смотрящий глаз, на самое пламя зрения, в то время как должен был держать сам в себе все видимое и невидимое. Я решил немедленно сойти по воздуху к зрителям, сбросив жалкую личину канатоходца. Марч не мог быть в претензии на меня, так как, по моему мнению, я достаточно доказал ему всю невозможность дальнейшей борьбы. Движение по воздуху, надо полагать, окончательно уничтожило бы бессмысленного противника.

Размышляя об этом, я в то же время обратил внимание на суматоху, поднявшуюся слева от меня, сзади толпы. Там бесновалась кучка людей, в середине которой, схваченный за ворот, извивался человек в котелке. Раздавались крики: «Мошенник! Вор! Я тебе покажу! Полицию!» – и т. п. По-видимому, поймали карманника. Потому ли, что это банальное приключение вызвало ряд мыслей практического характера, закрепленных чьим-то пронзительным визгом, или нервная система, перегруженная безумием до отказа, напряженно ждала малейшего движения, чтобы, прорвав плен, излить яд, – только я почувствовал, что внутренние мои движения, их сверкающий вихрь внезапно остановились. Сознание прояснилось. Туча ассоциаций, сопровождающих понятие воровства, во всей их плотно земной зависимости, включительно до размышлений о пользе исправительных тюрем, мгновенно оседлав мозг, разодралась с великими тайнами Амивелеха, прозаически погасила их, и я, продолжая стоять на проволоке с шестом в усталых руках, проникся, несмотря на жару, терпким ознобом. Я потрясенно возвратился к действительности. Видения, жалостно побледнев, взвились подобно волшебному пейзажу театрального занавеса, и за ними сам себе предстал я – лунатик, разбуженный на карнизе крыши, я – чиновник торговой палаты Вениамин Фосс, над грозно ожидающей пустотой, в костюме канатоходца, с головокружением и отчаянием.

Давно уже настойчивый холод (понятия времени, разумеется, здесь очень условны) отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами. Теперь усилилось людское тяготение. Меня попросту желали видеть убитым. Началось это глухо и спрятанно, как чирканье спички поджигателя, опасавшегося произвести шум. Желавшие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли, как неотчетливую игру ума. Однако хотение это было сильнее принципов гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом состоянии

душ с неуклонностью вожделения. Его зараза действовала взаимно среди всех, объединенных раздражающей зрительной точкой – мной, могущим потерять равновесие. Я читал:

– «Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть – надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь, кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же... ну!.. Падай, а не ходи! Падай!»

Я смутно, с ужасом воспринимал это. Я действительно шатался. Шест бешено прыгал в моих руках. Каждое, казалось бы, целесообразное усилие вызывало неопишное волнение проволоки. Спина и ноги готовы были сломаться от напряжения. Площадь, заполненная народом, кружилась и опрокидывалась: на нее стремглав падало небо. Солнце пылало у моего лица.

– Спасите! Спасите! – закричал я.

Дальнейшее не во всем подвластно памяти. Я выпустил шест, мгновенно черкнувший воздух; затем, согнувшись, ухватился руками за канат и повис, содрогаясь от потрясения. Канат вследствие сильного толчка бешено раскачался! Проволока резала руки. С воплями, в отчаянии бессмысленной смерти, сопротивляясь падению, я наконец испытал нечто напоминающее насильственное, грубое разжатие пальцев. Это было очень болезненно. Я выпустил канат с ощущением стремительного полета вверх, и сознание мое смолкло.

Я упал в сетку. Помощники Марча успели, подбежав как раз вовремя, растянуть ее под мной. Суматоха, поднявшаяся после этого несчастного случая, доставила мне множество неприятностей. Марч скрылся. Два дня я доказывал следствию и корреспондентам, что, будучи Фоссом, никак не могу быть Марчем. Самоличность моя, подтвержденная второстепенными физическими различиями и показаниями моей семьи, установила, однако, что я, даже на пристальный взгляд, несомненно разительно схож с Марчем, не исключая голоса и еще кое-чего, заметного при движении.

Я объяснил приключение капризом, похмельной фантазией; хождение объяснил гимнастикой юности... Так ли это? Этот вопрос, может быть, мысленно задавали многие, знающие меня. Но кто им ответит? Я спрятал правду в момент своей болезни, навсегда оставившей меня после каната. Я не испытывал даже легчайших приступов. Идея величия безвозвратно померкла. Я слышу: «Падай!» – всякий раз, когда при мне произносят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя. Между тем я очень люблю людей. Их неудержимо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота, а не помада заставляет блестеть железо. Вот, это бы железо...

Поиски Марча привели к полному разъяснению его авантюры. Его жизнь была застрахована крупной суммой – значительным состоянием, а ряд шантажей, жертвами которых являлись богатые истеричные дамы, заставлял думать о безопасности. Раскалив податливого безумца, так заметно похожего на него. Марч после неминуемой, по его расчетам, моей смерти – при первых же шагах по проволоке – получал через жену страховую премию, а через гроб «Фосса-Марча» – загробную жизнь под любым именем.

Мне кажется, мое толкование вполне правильно. Я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я каждый день пью за его здоровье. Это мой избавитель. Его портрет вы можете видеть в «Вестнике цирковых деятелей» за 1913 год. В нем нет ничего дьявольского.

Корабли в Лиссе

I

Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она – целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещиц и показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею как обиходным предметом. Почему? Столетия останоят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие – геометрически – с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в прикосновение – значит незаметно жить прошлым? Может быть, мелкая мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но – начали мы – есть люди, напоминающие старинный обиходный предмет, и люди эти, в душевной сути своей, так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда, в детстве ли или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенному минеральным раствором жидкости: легко возмути ее – и вся она в молниеносно возникших кристаллах застыла неизгладимо... в одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному, душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны: цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живет грезам, свободным от придиорок момента. Такой человек предпочтет лошадей – вагону; свечу – электрической груше; пушистую косу девушки – ее же хитрой прическе, пахнущей горелым и мускусным; розу – хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь по необходимости замкнута, а внешняя состоит во взаимном отталкивании.

II

Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному примеру – человеку с его жизненным настроением.

Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен: где-нибудь на бугрообразном дворе – огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне – о влюбленности и свиданиях; гавань – грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью – магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами – вот Лисс. Здесь две гостиницы: «Колючей подушки» и «Унеси горе». Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе – трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани – в буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему «Колючая подушка» остановилась как вкопанная среди гиблых оврагов, а торжествующая «Унеси горе» после десятилетней борьбы воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни.

Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков; женщины делятся на ангелов и мегер, ангелы, разумеется, молоды, опалаяще красивы и нежны, а мегеры – стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь.

Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти – географического и гидрографического свойства; все в общем произвело на нас в городе этом именно то впечатление независимости и поэтической

плавности, какое пытались выяснить мы в примере человека с цельными и ясными требованиями.

III

В тот момент, как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже, пред окном, из которого картинно была видна гавань Лисса, сидели четыре человека. То были: капитан Дюк, весьма грузная и экспансивная личность; капитан Роберт Эстамп; капитан Рениор и капитан, более известный под кличкой «Я тебя знаю»: благодаря именно этой фразе, которой он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот выказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар.

Такое блестящее, даже аристократическое общество, само собой, не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостиницы в особых случаях, именно в подобных настоящему, когда капитаны – вообще народ, недолюбливающий друг друга по причинам профессионального красования, – почему-либо сходились пьянствовать.

Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек; Рениор, с длинными черными волосами и глазами навывкате, напоминал переодетого монаха; Чинчар, кривой, ловкий старик с черными зубами и грустным голубым глазом, отличался ехидством.

Трактир был полон; там – шумели; там – пели; время от времени какой-нибудь веселый до беспамятства человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на своем пути; гремела посуда, и в шуме этом два раза уловил Дюк имя «Битт-Бой». Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя это пришлось кстати: разговор шел о затруднительном положении.

– Вот с Битт-Боем, – вскричал Дюк, – я не побоялся бы целой эскадры! Но его нет. Братцы-капитаны, я ведь нагружен, страшно сказать, взрывчатыми пакостями. То есть не я, а «Марианна», «Марианна», впрочем, есть я, а я есть «Марианна», так что я нагружен. Ирония судьбы: я – с картечью и порохом! Видит бог, братцы-капитаны, – продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом, – после такого свирепого угощения, какое мне поднесли в интендантстве, я согласился бы фрахтовать даже сельтерскую и содовую!

– Капер снова показался третьего дня, – вставил Эстамп.

– Не понимаю, чего он ищет в этих водах, – сказал Чинчар, – однако боязно поднимать якорь.

– Вы чем же больны теперь? – спросил Рениор.

– Сушие пустяки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия!

Чинчар лгал, однако. «Болен» он был не жестью, а страховым полисом, ища удобного места и времени, чтобы потопить своего «Пустынника» за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара – он получил сведения, что его страховое общество накануне краха и надо поторапливаться.

– Я знаю, чего ищет разбойник! – заявил Дюк. – Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода? «Фелицата». Говорят, что нагружена она золотом.

– Судно мне незнакомо, – сказал Рениор. – Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?

Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Раз лишь трое матросов «Фелицаты», преследуемые любопытными взглядами, чинные, пожилые люди, приехали с корабля в Лисс, купили табак и более не показывались.

– Какой-нибудь молокосос, – пробурчал Эстамп. – Невежа! Сиди, сиди, невежа, в каюте, – вдруг разгорячился он, обращаясь к окну, – может, усы и вырастут!

Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рениор сказал:

– Как ни крути, а мы заперты. Я с удовольствием отдам свой груз (на что мне, собственно, чужие лимоны?). Но отдать «Президента»...

– Или «Марианну», – перебил Дюк. – Что, если она взорвется?! – Он побледнел даже и выпил двойную порцию. – Не говорите мне о страшном и роковом, Рениор!

– Вы надоели мне со своей «Марианной», – крикнул Рениор, – до такой степени, что я хотел бы даже и взрыва!

– А ваш «Президент» утопнет!

– Что-о?

– Капитаны, не ссорьтесь, – сказал Эстамп.

– Я тебя знаю! – закричал Чинчар какому-то очень удивившемуся посетителю. – Поди сюда, угости старичишку!

Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумье. У каждого были причины желать покинуть Лисс возможно скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рениор жаждал свидания с семьей после двухлетней разлуки, а Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в «Колючей подушке» небывалыми новогвинейскими похождениями.

Эти суда: «Марианна», «Президент», «Пустынник» Чинчара и «Арамея» Эстампа спаслись в Лиссе от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная «Марианна», на другой день приполз «Пустынник», а спустя двое суток бросили, запыхавшись, якорь «Арамея» и «Президент». Всего с таинственной «Фелицатой» в Лиссе стояло пять кораблей, не считая барж и мелких береговых судов.

– Так я говорю, что хочу Битт-Боя, – заговорил охмелевший Дюк. – Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппо Маластино. Маластино сидит в Зурбагане, пьет «Боже мой»⁴³ и держит на коленях Бутузку. Входит Битт-Бой: «Маластино, подымай якорь, я проведу судно через Кассет. Ты будешь в Ахуан-Скапе раньше всех в этом сезоне». Как вы думаете, капитаны? Я хаживал через Кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластино слепо слушать Битт-Боя. Но Беппо думал два дня: «Ах, штормовая полоса... Ах, чики, чики, сорвало бакены...» Но суть-то, братцы, не в бакенах. Али – турок, бывший бепповский боцман – сделал ему в брига дыру и заклеил варом, как раз против бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец Беппо в обмороке проплыл с Битт-Боем адский пролив; опоздал, разумеется, и деньги Ахуан-Скапа полюбили других больше, чем макаронщика, но... каково же счастье Битт-Боя?! В Кассете их швыряло на рифы... Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в Зурбагане. Бочонки эти лопнули, и тонны четыре меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппо похолодел уже в Ахуан-Скапе, при выгрузке. Слушай-ка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки!

– Битт-Бой... я упробил бы его к себе, – заметил Эстамп. – Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети.

– Я вам расскажу про Битт-Боя, – начал Чинчар. – Дело это...

Страшный, веселый гвалт перебил старого плута.

Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале, а отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем:

– Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой, приносящий счастье!

IV

Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным именованием, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек, не старше тридцати лет, небольшого роста, с приятным открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость, черты лица, фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилием характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На Битт-Бое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки, через руку перекинут был дождевой плащ.

⁴³ Нечто убийственное. Чистый спирт, настоенный на кайеннском перце с небольшим количеством меда.

Битт-Бой пожал десятки, сотни рук... Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских ослаблений; винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжение нескольких минут животворным облаком сердечной встречи; наконец он высвободился и попал в объятия Дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара, повеселела его ехидная челюсть; размяк солидно-волобий Рениор, и жесткий, самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но по-детски: Битт-Бой был общим любимцем.

– Ты, барабанщик фортуны! – сказал Дюк. – Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новым Ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай: весь пьяный флот налицо. Но мы застряли, как клин в башке дурака. Упаси «Марианну».

– О капере? – спросил Битт-Бой. – Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история: вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл к Лиссу; ночь была темная. О каперах слышал я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за камнями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера, на третий раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз... ялик и я высветились бы, как мухи на блюдецке. Там камни, тени, мох, трещины, меня не отличили от пустоты, но не опустил я свой парус... итак, Битт-Бой сидит здесь благополучно. Рениор, помните фирму «Хевен и Ко»? Она продает тесные башмаки с гвоздями навyleт; я вчера купил пару и теперь у меня пятки в крови.

– Есть, Битт-Бой, – сказал Рениор, – однако смелый вы человек. Битт-Бой, проведите моего «Президента»; если бы вы были женаты...

– Нет, «Пустынника», – заявил Чинчар. – Я ж тебя знаю, Битт-Бой. Я нынче богат, Битт-Бой.

– Почему же не «Арамею»? – спросил суровый Эстамп. – Я полезу на нож за право выхода. С Битт-Боем это верное дело.

Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал:

– Благодарю вас, благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу... Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас, ничего то есть определенного. Есть тому одно обстоятельство.

– Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же... И как мне выбирать среди вас? Дюка? О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и, чтобы всем сказать: нате вам! Согласный ты с морем, старик, как я, Дюка люблю. А вы, Эстамп? Кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи? Люблю Эстампа, есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты – «Я тебя знаю», Чинчар, закоренелый грешник – как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой?.. Двадцать лет разделило вас да случайная кровь. Выпил я – и болтаю, капитаны: всех вас люблю. Капер, верно шутить не будет, однако – какой же может быть выбор? Даже представить этого нельзя.

– Жребий, – сказал Эстамп.

– Жребий! Жребий! – закричал стол. Битт-Бой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговора; множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битт-Боя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то, понятном лишь одному ему, таинственную «Фелицату», Битт-Бой сказал:

– Осанистая эта бригантина, Эстамп. Кто ею командует?

– Невежа и неуч. Только еще никто не видел его.

– А ее груз?

– Золото, золото, золото, – забормотал Чинчар, – сладкое золото...

И со стороны некоторые подтвердили тоже:

– Так говорят.

– Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно.

- На нем аккуратная вахта.
- Никого не принимают на борт.
- Тихо на нем...

– Капитаны! – заговорил Битт-Бой. – Совестна мне странная моя слава, и надежды на меня, ей-богу, конфузят сердце. Слушайте: бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на нас. Как кому выйдет, с тем и поеду, если не изменится одно обстоятельство.

- Валяй им, Битт-Бой, правду-матку! – проснулся кто-то в углу.

Битт-Бой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лисса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял «жребий», чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толковни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово, «изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на «Фелицату», было еще слишком темно ему самому, и, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так, впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает и вдруг, встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть: идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения.

– Провались твое обстоятельство! – сказал Дюк. – Что же – будем гадать! Но ты не договорил чего-то, Битт-Бой!

– Да. Наступает вечер, – продолжал Битт-Бой, – немного остается ждать выигравшему меня, жалкого лощмана. С кем мне выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчугана с известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, и откажусь прямо. Но все равно, играйте пока.

Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битт-Бой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли: стройная «Марианна», длинный «Президент» с высоким бугшпритом; «Пустынник» с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный; легкая, высокая «Арамея» и та благородно-осанистая «Фелицата» с крепким, соразмерным кузовом, с чистотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями, та «Фелицата», о которой спорили в кабаке – есть ли на ней золото.

Как печальны летние вечера! Ровная полутень их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле; их эхо протяжно и замедленно-печально; их даль – в беззвучной тоске угасания. На взгляд – все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли неслышный ранее стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни... но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне. И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих.

– Вот, – сказал Битт-Бой, – летает баклан; скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо ли так, капитаны? Теперь, – продолжал он, получив согласное одобрение, – теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь, если... как сказано. Ну, ну, толстокрылый!

Тут четыре капитана наших обменялись взглядами, на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверие моряков, чтобы понять их в эту минуту. Между тем неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз между «Президентом» и «Марианной», так близко на середину этого расстояния, что Битт-Бой и все усмехнулись!

– Птичка божия берет на буксир обоих, – сказал Дюк. – Что ж? Будем вместе плести маты, друг Рениор, так, что ли?

– Погодите! – вскричал Чинчар. – Баклан ведь плавает! Куда он теперь поплывет, знатный вопрос?!

- Хорошо; к которому поплывет, – согласился Эстамп.

Дюк закрылся ладонью, задремал как бы; однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к «Фелицате», стояла «Арамея». В ту сторону, держась несколько ближе к бригадине, и направился, ныряя, баклан; Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами.

– Есть! – кратко определил он. – Все видели?

– Да, да, Эстамп, все!

– Я ухожу, – сказал Битт-Бой, – прощайте пока; меня ждут. Братцы-капитаны! Баклан – глупая птица, но клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо, я сделал бы это. Итак, прощайте! Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или... расстанемся, братцы, на «никогда».

Последние слова он проговорил вполголоса – смутно их слышали, смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку, и никто, таким образом, не уловил момента прощания. Встав, Битт-Бой махнул шапкой и быстро пошел к выходу.

– Битт-Бой! – закричали вслед. Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице.

V

Теперь нам пора объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.

Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставивший свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полной неразрешенных тайн, в кроткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие и потрясенные, – наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. Есть люди,двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья. Есть такие выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Легкий человек», «легкая рука» – слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе легких людей проще и яснее настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно-серьезны. Одна есть верная их примета: простой смех – смех потому, что смешно и ничего более; смех, не выражающий отношения к присутствующим.

Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман Битт-Бой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно, как бы ни были тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушения в тот рейс, в который он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям; никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лисс и Кассет и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битт-Бой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо – верил себе. Назовем это острым инстинктом – не все ли равно... «Битт-Бой, приносящий счастье» – под этим именем знали его везде, где он бывал и работал.

Битт-Бой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу «Колючей подушки», и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, к короткой каменистой улице. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнея под ударами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду.

Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав навстречу Битт-Бою. Ей было лет восемнадцать, две

темные косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное полудетское лицо с застенчиво-гордыми глазами было прелестно духом расцветающей женской жизни.

– Режи, Королева Ресниц! – сказал меж поцелуями Битт-Бой. – Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер.

– Наш, наш, милый мой, безраздельно мой! – сказала девушка. – Этой ночью я не ложилась, мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты.

– Девушка должна много спать и есть, – рассеянно возразил Битт-Бой. Но тут же стряхнул тяжелое угнетение. – Оба ли глаза я поцеловал?

– Ни один ты не целовал, скупец!

– Нет, кажется, целовал левый... Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок... – И он получил его вместе с его сиянием.

Но суть таких разговоров не в словах бедных наших, и мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать – вам будет грустно, завидно и жалко: вы увидите, как бьются две души, пытаясь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битт-Бой, однако, досыта продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело.

Наступило, как часто это бывает, молчание: полнота душ и сигнал решениям, если они настойчивы. Битт-Бой счел удобным заговорить, не откладывая, о главном.

Девушка бессознательно помогала ему.

– Сделай же нашу свадьбу, Битт-Бой. У меня будет маленький.

Битт-Бой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом.

– Вот что, – сказал он изменившимся голосом, – ты, Режи, не перебивай меня. – Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился. – Я спрашивал и ходил везде... нет сомнения... Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу! Подожди, выслушай! Разве мы не будем друзьями, Режи... ты, глупая, самая лучшая! Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше: я пришел ведь только проститься! Я люблю тебя на разрыв сердца и... хоть бы великанского! Оно убито, убито уже, Режи! А разве к тому же я один на свете? Мало ли хороших и честных людей! Нет, нет, Режи; послушай меня, уясни все, согласишься... как же иначе?

В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы, но душевное волнение спутало наконец его мысли.

Он умолк, разбитый нравственно и физически, – умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони.

– Битт-Бой... – рыдая, заговорила девушка. – Битт-Бой, ты дурак, глупый болтунишка! Ты ведь еще не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беде, ни страху. Вот видишь, – продолжала она, разгораясь все более, – ты расстроен. Но я успокою тебя... ну же, ну! – Она схватила его голову и прижала к своей груди. – Здесь ты лежи спокойно, мой маленький. Слушай: будет худо тебе – хочу, чтобы худо и мне. Будет тебе хорошо – и мне давай хорошо. Если ты повесишься – я тоже повешусь. Разделим пополам все, что горько; отдай мне большую половину. Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый... Я не знаю, чем уверить тебя: смертью, быть может?!

Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где, по местному обычаю, девушки носят стилет или небольшой кинжал.

Битт-Бой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму.

– Битт-Бой, – продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного, – ты умница, что молчишь и слушаешь меня. – Она продолжала, прикинув к его плечу: – Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь «Битт-Бой», собака «Умница» и кошка «Режи». Из Лисса тебе, собственно, незачем больше бы выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде: при врагах, при друзьях, при всех, кто придет, – пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту – как ты хотел

улизнуть, негодный, – но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет свой бриг, мы проплывем вокруг света тридцать три раза...

Голос ее звучал сонно и нервно; глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась поудобнее, поджав ноги, и легонько, зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду, над яркими подводными цветами.

–... И там много тюленей, Битт-Бой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста, так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битт-Бой, из-за какой-то там, не знаю... турчаночки? Ты сказал – я Королева Ресниц... Возьми их себе, милый, возьми все, все...

Ровное дыхание сна коснулось слуха Битт-Боя. Светила луна. Битт-Бой посмотрел сбоку: ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битт-Бой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилии неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив ни мертв. Однако уходило время; луна поднялась выше... Битт-Бой тихо поцеловал ноги Режи и вышел, со скрученным в душе воплем, на улицу.

По дороге к гавани он на несколько минут завернул в «Колючую подушку».

VI

Было около десяти вечера, когда к «Фелицате», легко стукнув о борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек.

– Эй, на бригантине! – раздался сдержанный окрик.

Вахтенный матрос подошел к борту.

– Есть на бригантине, – сонно ответил он, вглядываясь в темноту. – Кого надо?

– Судя по голосу – это ты, Рексен. Встречай Битт-Боя.

– Битт-Бой?! В самом деле... – Матрос осветил фонарем шлюпку. – Вот так негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?

– После поговорим, Рексен. Кто капитан?

– Вы его едва ли знаете, Битт-Бой. Это – Эскирос, из Колумбии.

– Да, не знаю. – Пока матрос спешно спускал трап, Битт-Бой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости. – Так вы таскаетесь с золотом?

Матрос засмеялся.

– О, нет, – мы нагружены съестным, собственной провизией нашей да маленьким попутным фрахтом на остров Санди.

Он опустил трап.

– А все-таки золото у вас должно быть... как я понимаю это, – пробормотал Битт-Бой, поднимаясь на палубу.

– Иное мы задумали, лоцман.

– И ты согласен?

– Да, так будет, должно быть, хорошо, думаю.

– Отлично. Спит капитан?

– Нет.

– Ну, веди!

В щели капитанской каюты блеснул свет. Битт-Бой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами.

Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собою, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, щурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым.

– Кто вы? Что привело вас? – спросил он, не повышая голоса.

– Капитан, я – Битт-Бой, – начал лоцман, – может быть, вы слышали обо мне. Я здесь...

Эскирос перебил его:

– Вы? Битт-Бой, «приносящий счастье»? Люди оборачиваются на эти слова. все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина; вот моя рука и признательность.

Битт-Бой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток; закурил, насильственно рассмеялся.

– К каким берегам тронется «Фелицата»? – спросил он. – Какой план ее жизни? Скажите мне это, капитан.

Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленной им, – вернее, намерения – толкают иногда к откровенности. Однако, прежде чем заговорить, капитан прошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться.

– Ну что же... поговорим, – начал он. – Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не смогли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания; взгляд стал обширнее, мир – ближе и доступнее. Влечет он меня – весь, как в гости. Я одинок. Прodelал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади – известно. К тому же есть у меня – была всегда – большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь свое путешествие. Тридцать бочек чужой солонины мы сдадим еще скалистому Санди, а там – внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться, иногда – спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение; стоять в цветущих садах огромных рек, может быть – временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер, – ведь хорошо так, Битт-Бой?

– Я слушаю вас, – сказал лоцман.

– Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми, и, один по одному, набрались у меня подходящие. экипаж задумчивых! Капер нас держит в Лиссе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставляйтесь у нас, Битт-Бой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь. Вы сказали, что знали Рексена...

– Я знал его и знаю по «Радиусу», – удивленно проговорил Битт-Бой, – но я еще не сказал этого. Я... подумал об этом.

Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника.

– Значит, есть у вас к Битт-Бою доверие?

– Может быть, я бессознательно ждал вас, друг мой.

Наступило молчание.

– Так в добрый час, капитан! – сказал вдруг Битт-Бой ясным и бодрым голосом. – Пошлите на «Арамею» юнгу с запиской Эстампу.

Приготовив записку, он передал ее Эскиросу.

Там стояло:

«Я глуп, как баклан, милый Эстамп. „Обстоятельство“ совершилось. Прощайте все – вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня.»

Отослав записку, Эскирос пожал руку Битт-Бою.

– Снимаемся! – крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу.

В душе каждого неся, распевая, свой ветер: ветер кладбища у Битт-Боя, ветер движения – у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, не прошло десяти минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось впотмах, хлопая парусами; все меньше звезд мелькало меж рей; треща, совершал круги брашпиль, и якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила.

Битт-Бой, взяв руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула Королева Ресниц.

«Фелицата» вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий скалистый выход порта, Битт-Бой круто положил руль влево и вел так судно око-

ло мили, затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол; затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток.

Здесь произошло нечто странное: за его плечами раздался как бы беззвучный окрик. Он оглянулся, то же сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них от угольно-черных башен крейсера падал на скалы Лисса огромный голубой луч.

– Не там ищешь, – сказал Битт-Бой. – Однако прибавьте парусов, Эскирос.

Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, шедшую со скоростью двадцати узлов, миль на пять за короткое время. Скоро повернули за мыс.

Битт-Бой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили бутылку. Матросы, выпив тоже слегка «на благополучный проскок», пели, теперь не стесняясь, сверху; пение доносилось в каюту. Они пели песню «Джона Манишки».

Не ворчи, океан, не пугай.
Нас земля испугала давно.
В теплый край –
Южный край –
Приплывем все равно.

Припев:
Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка без обмана
Пьет за всех, кому пить лень.

Ты, земля, стала твердью пустой:
Рана в сердце... Седею... Прости!
Это твой
След такой...
Ну – прощай и пусти!

Припев:
Хлопнем, тетка, по стакану!
Душу сдвинув набекрень,
Джон Манишка без обмана
Пьет за всех, кому пить лень.

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня Корабли,
Да помилует нас!

Когда зачем-то вошел юнга, ездивший с запиской к Эстампу, Битт-Бой спросил:
– Мальчик, он долго шпынял тебя?
– Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее, а я убежал. Эскирос был весел и оживлен.
– Битт-Бой! – сказал он. – Я думал о том, как должны вы быть счастливы, если чужая удача – сущие пустяки для вас.

Слово бьет иногда насмерть. Битт-Бой медленно побледнел; жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку.

Эскирос вздрогнул. Выше левого соска, на побелевшей коже торчала язвенная, безобразная

опухоль.

– Рак... – сказал он, трезвея.

Битт-Бой кивнул и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись.

Наверху все еще пели, но уже в последний раз, ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее, внизу слышалось только: «Южный Крест там сияет вдали...», и, после смутного эха, в захлопнувшуюся от качки дверь: «...Да помилует нас!»

Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман Битт-Бой, «приносящий счастье».

Убийство в Кунст-Фише

...Так произошли вещи, о которых более логические умы принуждены думать лишнее; во всяком случае – придавать им расплывчатость и неопределенность, без чего им, пожалуй, не стоило бы и размышлять о происшествии в предместье Кунст-Фиш. На мой, в то время, пытливый взгляд – ожидалось торжество судебного следствия. Из этого правильно заключить, что – вообще – я думал нормально; лишь неопределенный страх гнал меня прочь отовсюду; отовсюду, где мне мерещилось преследование. Болезнь эта достаточно известна; ее симптомы изучены, ее явления однородны, поэтому я предлагаю сразу увидеть меня среди роскошных парков Кунст-Фиша, скрывающегося в кустах или перелезающего ограды с чувством смертельной опасности, сжимающей свой черный круг по всем путям, на которые ступал я. Ее не было, – этой опасности, так же как у меня не было достаточного самообладания и рассудка, чтобы перестать мучить себя.

Когда луна скрылась, я почувствовал себя лучше: в тьме есть гарантии, важные злодеям и жертвам. В этот момент я находился перед стеной, покрытой виноградными лозами. Вокруг по смутно проступающей белизне статуй и скамеек едва можно было судить о направлении и расположении аллей. Чей был этот сад, – я не знал, не мог также восстановить последовательность забросивших меня сюда условий, но помнил с горечью и отвращением к жизни, что страх – необъяснимый страх гнал меня весь день из конца в конец города; что я бродил, прятался, бежал и скрывался от неизвестных врагов, подстерегающих меня в толпе, за углами зданий и везде, где было место ступить ноге человеческой.

Вдруг луна вышла и озарила сад, выделив мою тень в тени кустов. Серебристо-трепещущие деревья стояли в центре черных кругов. Лужайки дымились. Я был виден, виден весь всем и каждому, кто захотел бы всадить нож или пулю в мою похолодевшую кожу.

В это время запел – очень далеко и спокойно – петух.

Кого предостерегал он? Не было времени думать о нерешенной загадке его тройного ночного крика. Казалось, силы ночи играют на его нервах в определенные часы, – что мог бы он рассказать сам?! Но мысль эта, как коротко пролитая струя, плеснула и разбилась бесформенно.

И я тотчас вернулся к своей главной заботе – бежать. Быть может, за стеной крылись новые обстоятельства, новые спасительные условия. Я разыскал ящик, встал на него и перескочил по ту сторону стены.

В это время я уже чувствовал изнурение, требующее приюта. С наступлением утра припадок ослабевал; тени вечера обостряли его; ночь терзала, как пытка. Я хотел разыскать что-нибудь, – трещину, собачью конуру, подвал – все равно, лишь бы забыться сном, начинавшим мучить меня не менее сильно, чем страх. Осмотрясь, я увидел, в кругу высоких дубов, небольшой дом того легкого и острого типа, какой быстро вошел в моду с счастливой руки Дорна, застроившего немало загородных участков подобными зданиями.

Свет луны снова пошел на убыль, так что рассмотреть дом я мог только отчасти. В свете внутреннего окна, скрытого под навесом, выступала полукруглая терраса, и я довольно смело поднялся на нее по изящным ступеням, перевитым среди перил цветущим австрийским выюнком. Как был уже поздний, глубоко ночной час – середина ночи, – то я не ожидал встретить на террасе людей, надеясь быстро разыскать среди ниш и внутренних лесенок, – так как эти дома изобиловали подобными практически ненужными добавлениями, – тот безопасный угол и тьму,

где мог бы заснуть. Я шел тихо, я двигался мимо единственного освещенного на террасу окна и на мгновение заглянул в него.

У камина стоял, ко мне спиной, стройный человек, подняв, как бы с намерением ударить нечто, на чем еще не остановилось мое внимание, бронзовые каминные щипцы; но он тихо опустил их и повернулся.

Следя за направлением его взгляда, я увидел молодую женщину, сидящую в низком кресле; ее ноги были вытянуты, лицо откинута с напряженной и нетерпеливой улыбкой, – которая, раз ожидаемое движение не совершилось, тотчас перешла в ласковое и смелое выражение. Тогда неплотно прикрытое окно позволило мне слышать их разговор.

Но прежде я укажу вам вещь, какую единственно угрожали разбить щипцы, единственно – потому, что на каминной доске более ничего не было.

Я говорю о небольшой фарфоровой статуе, изображавшей бегущего самурая, с рукой, положенной на рукоять сабли. Нечего говорить, что японцы вообще неподражаемы в жизненности этих своих изделий.

Желтое лицо с острыми косыми глазами и свисавшими кончиками черных усов, под которыми змеилась тонкая азиатская улыбка, так естественно отражало угрожающее движение тела, что хотелось посторониться. Он был в шитом шелками и золотом кимоно. За драгоценным поясом туго торчали две сабли. Левая нога, с отставшей от туфли пяткой, была как раз в том вытянутом положении, какое видал я в пьесе «Куросиво», где японский артист, пав, ловит бегущего врага за ногу.

Более нечего сказать об этой небольшой статуе, – уже мое внимание было отвлечено коротким и странным разговором.

– В конце концов, это – ребячество, – сказал мужчина, сев рядом с той, кто продолжала смотреть на самурая с задумчивой насмешливостью. – Ее можно убрать, Эта.

– Нет. – Женщина засмеялась, выразив смехом что-то обдуманное и злое. – Он хотел, чтобы подарок стоял здесь, в этой гостиной. Тем более, что он связал с ним себя.

– То есть?

– Но, боже мой, пусть он смотрит, если ему так хочется, на меня с тобой глазами этого идола. Впрочем, ему никогда не везло в подарках; он покупает то, что нравится ему, а не мне.

– Не это же он хотел сказать?

– Тебе ли упрекать меня, Дик? Но я часто не знаю сама, что делаю, я слишком люблю тебя и ненавижу его. Но он скоро, – о! – слишком скоро, – вернется!

– Не думай, Эта. Пока мы вместе – сейчас.

– Но он сумел отравить это «пока». – Она взяла сумочку, где лежало письмо, расправила его на коленке и, подняв, стала читать тем тоном, каким читают газету:

«С некоторых пор меня все более тревожат, смущают мысли о тебе. Уже год, как мы расстались. Но нужно окончить дела, в них наше будущее. Я вижу, дорогая, странные и дерзкие сны: тебя целует другой... прости, но это лишь сон... Твои письма нервны и коротки. Я приеду через месяц. Посылаю тебе старинную статуэтку самурая, купленную мной на аукционе, – вместо меня посылаю ее, так как долго с чувством свидания рассматривал эту вещь, зная, что твои глаза также увидят ее. Но я не умею сказать, что чувствую. Да сохранит и защитит тебя этот воин, как если бы я сам был с тобой».

– Я вижу только, – сказал Дик, – что твой муж, Эта, пламенно любит тебя. И он сильно тоскует. Прости мою вспышку и... щипцы.

Я смотрел. Они встали, обнялись, и я отступил со смущением, так как поцелуй был хорош. Что бы ни делали эти люди, – они любили друг друга. Неожиданно свет погас.

Обманывал меня слух, или то твердило естественное мое волнение, но я чувствовал шорох, шепот, дыхание двух, – и чувствовал, что теперь там свой и все отрицающий мир. Вдруг крик нарушил эту страстную тишину, – мертвящий, рассекающий душу вопль.

Я вздрогнул; лед и огонь смешались в моей душе. Еще теперь, по пугающему звуку воспоминания, я вижу, как страшен был этот цепляющийся всем отчаянием своим за тьму крик существа, рухнувшего под ноги ужасу.

Он смолк, повторился, перешел в стон и исчез. Затем послышалось странное сухое и жесткое сцепление звуков в которых решительно ничего нельзя было понять.

Довольно было мне и того, что перенес я до этого крика до этой сцены, окончившейся так потрясающе мрачно. Не думаю, чтобы тряс я дверь, соображая, что-либо в те головокружительные мгновения. Но я сломал и распахнул дверь.

С помощью спичек я разыскал выключатель и осветил спокойно-роскошную комнату, где за поцелуем промчался и угас крик. Они лежали крест-накрест. Но я больше не мог рассматривать эту трепещущую, почти живую смерть, залитую кровью, еще лишь минуту назад цветущую розами и огнем. И я бежал в тьму, но где блуждал и где был – не знаю.

Как рассвело – бред кончился, и, в тысячный раз давая клятву не злоупотреблять более кокаином, я, дрожа от усталости и тоски, грелся вином в кафе, из окна которого видны были заставы и фермы.

Я сидел и вспоминал то, что рассказал вам, и вспомнил о том снова, со всей яркостью вторичного переживания, когда, уже днем, с ужасом споткнулся в газете о заголовок: «Загадочное убийство в Кунст-Фише».

Не столь отменно разрабатывая факты, ибо они, наверное, были подчинены приличию, сообщение детально останавливалось на характере ран, имеющих точный вид сабельных ударов, нанесенных сильной и холодной рукой.

Что было думать об этом? Но была выражена надежда, что экстренное возвращение Ван-Форта, мужа убитой женщины, «прольет свет» на ставящее в тупик происшествие, – я не помню где еще я читал подобное выражение в таком же лишенном ограбления и всяких следов случае. Однако никто не может принудить людей «думать лишнее» – о чем упомянул я в начале этих страниц.

Мое сердце полно смирения, и я благодарю судьбу за взгляд, каким иду мимо точек и запятых среди строк.

Пропавшее солнце

I

Страшное употребление, какое дал своим бесчисленным богатствам Авель Хоггей, долго еще будет жить в памяти всех, кто знал этого человека без сердца. Не раз его злодейства – так как деяния Хоггея были безмерными, утонченными злодействами – грозили, сломав гроб купленного молчания, пасть на его голову, но золото вывозило, и он продолжал играть с живыми людьми самым различным образом; неистощимый на выдумку, Хоггей не преследовал иных целей, кроме забавы. Это был мистификатор и палач вместе. В основе его забав, опытов, экспериментов и игр лежал скучный вопрос: «Что выйдет, если я сделаю так?»

Четырнадцать лет назад вдова Эльгрев, застигнутая родами в момент безвыходной нищеты, отдала новорожденного малютку-сына неизвестному человеку, вручившему ей крупную сумму денег. Он сказал, что состоятельный аноним – бездетная и детолюбивая семья – хочет усыновить мальчика. Мать не должна была стараться увидеть или искать сына.

На этом сделка была покончена. Утешаясь тем, что ее Роберт вырастет богачом и счастливецом, обезумевшая от нужды женщина вручила свое дитя неизвестному, и он скрылся во тьме ночи, унес крошечное сердце, которому были суждены страдание и победа.

II

Купив человека, Авель Хоггей приказал содержать ребенка в особо устроенном помещении, где не было окон. Комнаты освещались только электричеством. Слуги и учитель Роберта должны были на все его вопросы отвечать, что его жизнь – именно такова, какой живут все другие люди. Специально для него были заказаны и отпечатаны книги того рода, из каких обычно

познает человек жизнь и мир, с той лишь разницей, что в них совершенно не упоминалось о солнце.⁴⁴ Всем, кто говорил с мальчиком или по роду своих обязанностей вступал с ним в какое бы ни было общение, строго было запрещено Хоггеем употреблять это слово.

Роберт рос. Он был хил и задумчив. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, Хоггей среди иных сложных забав, еще во многом не раскрытых данных, вспомнив о Роберте, решил, что можно, наконец, посмеяться. И он велел привести Роберта.

III

Хоггей сидел на блестящей, огромной террасе среди тех, кому мог довериться в этой запрещенной игре. То были люди с богатым, запертым на замок прошлым, с лицами, бесстрастно эмалированными развратом и скукой. Кроме Фергюсона, здесь сидели и пили Харт – поставщик публичных домов Южной Америки, и Блюм – содержатель одиннадцати игорных домов.

Был полдень. В безоблачном небе стояло пламенным белым железом вечное Солнце. По саду, окруженному высокой стеной, бродил трогательный и прелестный свет. За садом сияли леса и снежные цепи отрогов Ахуан-Скапа.

Мальчик вошел с повязкой на глазах. Левую руку он бессознательно держал у сильно бьющегося сердца, а правая нервно шевелилась в кармане бархатной куртки. Его вел глухонемой негр, послушное животное в руках Хоггея. Немного погодя вышел Фергюсон.

– Что, доктор? – сказал Хоггей.

– Сердце в порядке, – ответил Фергюсон по-французски, – нервы истощены и вялы.

– Это и есть Монте-Кристо? – спросил Харт.

– Пари, – сказал Блюм, знавший, в чем дело.

– Ну? – протянул Хоггей.

– Пари, что он помешается с наступлением тьмы.

– Э, пустяки, – возразил Хоггей. – Я говорю, что придет проситься обратно с единственной верой в лампочку Эдисона.

– Есть. Сто миллионов.

– Ну, хорошо. – сказал Хоггей. – Что, Харт?

– Та же сумма на смерть, – сказал Харт. – Он умрет.

– Принимаю. Начнем. Фергюсон, говорите, что надо сказать.

Роберт Эльгрев не понял ни одной фразы. Он стоял и ждал, волнуясь безмерно. Его привели без объяснений, крепко завязав глаза, и он мог думать что угодно.

– Роберт, – сказал Фергюсон, придвигая мальчика за плечо к себе, – сейчас ты увидишь солнце – солнце, которое есть жизнь и свет мира. Сегодня последний день, как оно светит. Это утверждает наука. Тебе не говорили о солнце потому, что оно не было до сих пор в опасности, но так как сегодня последний день его света, жестоко было бы лишать тебя этого зрелища. Не рви платок, я сниму сам. Смотри.

Швырнув платок, Фергюсон внимательно стал приглядываться к побледневшему, ослепленному лицу. И как над микроскопом согнулся над ним Хоггей.

IV

Наступило молчание, во время которого Роберт Эльгрев увидел необычайное зрелище и ухватился за Фергюсона, чувствуя, что пол исчез, и он валится в сверкающую зеленую пропасть с голубым дном. Обычное зрелище дня – солнечное пространство – было для него потрясением, превосходящим все человеческие слова. Не умея овладеть громадной перспективой, он содрогался среди взметнувшихся весьма близких к нему стен из полей и лесов, но наконец пространство стало на свое место.

⁴⁴ Равным образом, ни о чем светящемся в небе — луне, звездах. Фергюсон — правая рука Хоггея, — чаще других навещавший Роберта, приучил его думать, что люди сами не желают многого в этом роде. А.Г.

Подняв голову, он почувствовал, что лицо горит. Почти прямо над ним, над самыми, казалось, его глазами, пылал величественный и прекрасный огонь. Он вскрикнул. Вся жизнь всколыхнулась в нем, зазвучав вихрем, и догадка, что до сих пор от него было отнято все, в первый раз громовым ядом схватила его, стукнувшись по шее и виску, сердце. В этот момент переливающийся раскаленный круг вошел из центра небесного пожара в остановившиеся зрачки, по глазам как бы хлестнуло резиной, и мальчик упал в судорогах.

– Он ослеп, – сказал Харт. – Или умер.

Фергюсон расстегнул куртку, взял пульс и помолчал с значительным видом.

– Жив? – сказал, улыбаясь и довольно откидываясь в кресле, Хоггей.

– Жив.

V

Тогда решено было посмотреть, как поразит Роберта тьма, которую, ничего не зная и не имея причины подозревать обман, он должен был считать вечной. Все скрылись в укромный уголок, с окном в сад, откуда среди чинной, но жестокой попойки наблюдали за мальчиком. Воспользовавшись обмороком, Фергюсон поддержал бесчувственное состояние до той минуты, когда лишь половина солнца виднелась над горизонтом. Затем он ушел, а Роберт открыл глаза.

«Я спал или был болен», – но память не изменила ему; сев рядом, она ласково рассказала о грустном и же стоком восторге. Воспрянув, заметил он, что темно, тихо и никого нет, но, почти не беспокоясь об одиночестве, резко устремил взгляд на запад, где угасал, проваливаясь, круг цвета розовой меди. Заметно было, как тускнут и исчезают лучи. Круг стал как бы горкой углей. Еще немного, – еще, – последний сноп искр озарил белый снег гор – и умер, – навсегда! навсегда!

Лег и уснул мрак. Направо горели огни третьего этажа.

– Свалилось! Свалилось! – закричал мальчик. Он сбежал в сад, ища и зовя людей, так как думал, что наступит невыразимо страшное. Но никто не отозвался на его крик. Он проник в чащу померанцевых и тюльпанных деревьев, где журчание искусственных ручьев сливалось с шелестом крон.

Сад рос и жил; цвела и жила невидимая земля, и подземные силы расстилали веера токов своих в дышащую теплом почву. В это время Хоггей сказал Харту и Блюму: «Сад заперт, стены высоки; там найдем, что найдем, – утром. Игрушка довольно пресная; не все выходит так интересно, как думаешь».

Что касается мальчика, то в напряжении его, в волнении, в безумной остроте чувств все перешло в страх. Он стоял среди кустов, стволов и цветов. Он слышал их запах. Вокруг все звучало насыщенной жизнью. Трепет струй, ход соков в стволах, дыхание трав и земли, голоса лопающихся бутонов, шум листьев, возня сонных птиц и шаги насекомых, – сливалось в ощущение спокойного, непобедимого рокота, летящего от земли к небу. Мальчику казалось, что он стоит на живом, теплом теле, заснувшем в некой твердой уверенности, недоступной никакому отчаянию. Это было так заразительно, что Роберт понемногу стал дышать легче и тише. Обман открылся ему внутри.

– Оно вернется, – сказал он. – Не может быть. Они надули меня.

VI

За несколько минут до рассвета Фергюсон разыскал жертву среди островков бассейна и привел ее в кабинет. Между тем в просветлевшей тьме за окном чей-то пристальный, горячий взгляд уперся в затылок мальчика, он обернулся и увидел красный сегмент, пылающий за равниной.

– Вот! – сказал он, вздрогнув, но сжав торжество, чтобы не разрыдаться. – Оно возвращается оттуда же, куда провалилось! Видели? Все видели?

Так как мальчик спутал стороны горизонта, то это был единственный – для одного челове-

ка – случай, когда солнце поднялось с запада.

– Мы тоже рады. Наука ошиблась, – сказал Фергюсон.

Авель Хоггей сидел, низко согнувшись, в кресле, соединив колено, локоть и ладонь с подбородком, смотря и тоскуя в ужасной игре нам непостижимой мечты на хилого подростка, который прямо смотрел в его тусклые глаза тигра взглядом испуга и торжества. Наконец, бьющий по непривычным глазам свет ослепил Роберта, заставил его прижать руки к глазам; сквозь пальцы потекли слезы.

Проморгавшись, мальчик спросил:

– Я должен стоять еще или идти?

– Выгнать его, – мрачно сказал Хоггей, – я вижу, что затея не удалась. А жаль Фергюсон, ликвидируйте этот материал. И уберите остатки прочь.

Путешественник Уы-Фью-Эой

Это пролетело в Ножане.

Но прежде я должен объяснить, что страсть к путешествиям вовлекла меня в четыре кругосветные рейса; совершив их, я с простодушием игрока посетил, еще кроме того, отдельно, в разное время – Австралию, Полинезию, Индию и Тибет.

Но я не был сыт. Что я видел? Лишь горизонты по обеим сторонам тех линеек, какие вычертил собственной особой своей вокруг океанов и материков. Я видел крошки хлеба, но не обогрел хлеба. Не видел всего. Всего! И никогда не увижу, ибо для того, чтобы увидеть на земном шаре все, требуется, при благоприятных условиях и бесконечном количестве денег, – четыреста шестьдесят один год, без остановок и сна.

Так высчитал Дюклен О'Гунтас. Этому вы поверите, если я вам скажу, что для того, чтобы пройти решительно по всем улицам Лондона (только), надо пожертвовать три года и три месяца.

Итак, я устал и проиграл. Я почти ничего не видел на нашей планете.

Мое отчаяние было безмерно. В таком состоянии в Ножане 14 марта 1903 г. я вышел на улицу из гостиницы «Голубой Кролик».

В этот момент невиннейший ветерок змейкой промёл уличную пыль.

Под ноги шаловливому ветерку бросился встречный малюсенький ветерок, от чего поднялся крошечный пыльный смерчок и засорил мне глаза.

Пока я протирал глаза, было слышно, как возле меня сопит и свистит, временами тяжело отдуваясь, некий человек в грязном и лохматом плаще. Плащ был из парусины, такой штопаной и грязной, что, надо думать, побыла она довольно на мачте. Его мутная борода торчала вперед, как клоч сена, удерживаемая в таком положении, вероятно, ветром, который вдруг стал порывист и силен. На непричесанной голове этого человека черным шлепком лежала крошечная плюшевая шапочка, подвязанная под подбородок обыкновенной веревкой.

Как поднялась пыль, то я не мог толком рассмотреть его лицо... Черты эти перебежали, как струи; я припомнил лишь огромные дыры хлопающих, волосатых ноздрей и что-то чрезвычайно ветреное во всем складе пренеприятной, хотя добродушной, физиономии.

Мы как-то сразу познакомились, с первого взгляда. Положим, я был подвыпивши; кроме того, оба заговорили сразу, и к тому же я никогда не слышал, чтобы у человека так завлекательно свистело в носу. Что-то было в этом неудержимом высвистывании от нынешней капающей и скребущей музыки. И он дышал так громко, что с улицы улетели все голуби.

Он сказал:

– А? Что? Эй! Фью! Глаз засорил? Чихнул? Не беда! Клянусь муссоном и бризом! Пассатом и норд-вестом! Это я, я! Путешественник! Что? Как зовут? Уы-Фью-Эой! Ой! А-а! У-у-ы!

Я не тотчас ответил, так как наблюдал охоту степенного человека за собственным котелком. Котелок летел к набережной. Оглянувшись, я увидел еще много людей, ловивших что бог пошлет: шляпы, газеты, вырванные из рук порывом пыльной стихии; шлепнулся пузатый ребенок.

– Ну, вот... – сказал Фью (пусть читатель попробует величать его полным именем без

опасности для языка), – всегда неудовольствие... беготня... и никогда... клянусь мистралем, ну, и аквилонном... никогда, чтоб тихо, спокойно... А хочется поговорить... уы... у-у-у... по душам. Нагнать, приласкать. А ты недоволен? Чем? Чем? Чем, клянусь, уже просто – зефиром, с чего начал.

Кто объяснит порывы откровенности – искренности, внезапного доверия к существу, само имя которого, казалось, лишено костей, а фигура вихляется как надутая воздухом. Но сей бродяга так подкупающе свистел носом, что я сказал все.

Фью загудел: «Ах так? Клянусь насморком! Клянусь розой ветров! Везде быть? Все видеть? Из шага в шаг? Все города и дома? Все войны и пески? Забрать глобус в живот? Ой-ой-ой! Фью-фью! Это я видел! Я один, фью! И никто больше! Слушай: клянусь братом. С тех пор, как существует что-нибудь, что можно видеть глазами, – я уже везде был. И путешествовал без передышки. Заметь, что я никогда не дышу в себя, как это делаете вы раз двадцать в минуту. Я не люблю этого. Хочешь знать, что я видел? Как раз все то, что ты не видел, и то, что ты. Что англичане? Дети они. Возьми проволоку и уложи в спираль вокруг пестрого шара от полюса до полюса, оборот к обороту – это я там был! Везде был! Помнишь, когда еще не было ничего, кроме чего-то такого живого, скользкого и воды? И страшнейших болот, где, скажем, тогдашняя осока толщиной в мачту. Ну, все равно. Я путешествовал на триремах, галиотах, клиперах, фрегатах и джонках. Короче говоря, на каком месте ты ни развернешь книгу истории...»

– Жизненный эликсир, – сказал я, – ты пил жизненный эликсир?

– Я ничего не пью. И ты не пей. Вредно! Клянусь сирокко! Пей только мое дыхание. Слушай меня. Я врать не буду. Хочешь? Хочешь пить дыхание? Мое! Мое! Клянусь ураганом!

Мы в это время подошли к набережной, где немедленно, на разрез течению, бросился по воде овал стремительной ряби, а плохо закрепленные паруса барок, выстрелив, как бумажные хлопушки, выпятились и уперлись в воздух. Крутая волна пошла валять лодки с борта на борт.

– Да, выпить бы чего... – пробормотал я.

В тот же момент пахнуло нам в лицо с юга. Станный, резкий и яркий, как блеск молнии, аромат коснулся моего сердца; но ветер ударил с запада, дыша кардифом и железом; ветер повернул ко мне свое северное лицо, облив свежестью громадного голубого льда в свете небесной разноцветной игры; наконец, подобный медлительному и глухому удару там-тама, восточный порыв хлынул в лицо сном и сладким оцепенением.

Вдруг вода успокоилась, облака разошлись, паруса свисли. Я оглянулся: никого не было. Только на горизонте нечто, подобное прихотливому облаку, быстро двигалось среди белых, ленивых туч с вытянутым вперед обрывком тумана, который, при некотором усилии воображения, можно было счесть похожим на чью-то бороду.

Ах, обман! Ах, мерзостный, все высмегавший, все видевший пересмешник! О, жажда, ненасытная жажда видеть и пережить все, страсть, побивающая всех других добрых черт этого рода! Ветер, ветер! С тобой всегда грусть и тоска. Ведь слышит он меня и стучится в трубу, где звонко чихает в сажу, выпевая рапсодию.

Шалун! Я затопил печку, а он выкинул дым.

Гладиаторы

Повторяю, – я ничего не выдумываю. После долгого периода, после несказанных нравственных мучений, после молчания, вынужденного рядом тягчайших обстоятельств, я получил возможность открыть кое-что, но еще далеко не все, об Авеле Хоггее, человеке, придумавшем и выполнившем столь затейливые и грандиозные преступления, – единственно удовольствия и забавы ради, – что, когда будут они описаны все, многими овладеет тяжесть, отчаяние и ярость бессилия.

Наступил вечер, когда вилла Хоггея «Гауризанкар» наметила огненный контур свой в холмистом склоне садов. Здание было иллюминировано. Казалось, ожидается съезд половины города, между тем подобные вечера редко посещались более чем шестью лицами, не считая меня. Никто посторонний, подозрительный, ненадежный не мог посетить их, тем более оргию того рода, ка-

кая предполагалась теперь. Но шесть человек, подобных самому Авелю, участвовали в его затеях почти всегда, хоть не могли тратить так много денег, как он, особенно на покупку людей.

«Пусть будет сегодня Рим», – сказал жене Хоггей, когда я рассматривал мраморные колонны, увитые розами, и, бросая взгляд на огромные столы, чувствовал все ничтожество современного желудка перед изобилием, точно повторяющим безумие древних обжор. Разумеется, это была более декорация, чем ужин – едва ли тысячную часть всего могли съесть Хоггей и его гости, – но он хотел полного впечатления. «Рим», – повторил он своим тихим, не знающим возражений голосом, и точно – воскресший Рим глянул вокруг нас.

Единственно, что нарушало иллюзию, – это костюмы. Сесть в триклиниуме во фраке, не делаясь нимало комичным, – так поступить мог только Хоггей. Он презирал покупаемое, презирал Рим Стере высчитал, что обратив состояние Хоггея в алмазы, можно было бы нагрузить ими броненосец. Такие вещи делают фрак величественным. Его друзья, его неизменные спутники, имена которых шуршат сухо, как банковые билеты: Гюйс, Аспер, Стере, Ассандрей, Айнсер и Фрид, – отсвечивали меньшим могуществом, но в тон тех групп алмазов, которыми мог бы обернуться Хоггей. Естественно, что тога, туника, сандалии могли и не быть. Над белыми вырезами фраков поворачивались желтые сухие глаза владык.

Воспоминание сохранило мне смуглые руки рабынь, блеск золота и вихри розовых лепестков, слоем которых был покрыт пол, когда рой молодых девушек, вскидывая тимпаны, озарил грубое пьянство трепетом и мельканием танцев. Я погрузился в дикий узор чувств, напоминающий бессмысленные и тщетные заклинания. Яркость красок била по глазам. Музыка, подтачивая волю, уносила ее с дымом курений в ослепительное Ничто.

В то время, как пьянство и античный разврат (когда он не был античен?) развязывали языки, Хоггей молчал; лишь три раза сказал он кому-то «нет». Так сонно, что я подумал самое худшее о его настроении.

Но не успел я обратиться к нему по своей обязанности врача с соответствующим вопросом, как он, хрустнув пальцами, крикнул мне: «Фергюсон, ступайте к бойцам, осмотрите и выведите. Вино не действует на меня!»

Повинуясь приказанию, я отправился к гладиаторам. То были два молодых атлета, купленные Хоггеем для смертельной борьбы. Я застал их вполне готовыми, в тихой беседе; крепко пожав друг другу руки, они взяли оружие и сошли вниз.

Я знал условия. Оставшийся живым получал 500 тысяч, вдвое большую сумму получала семья убитого. Так или иначе, они жертвовали собой ради своих близких. У меня не было мужества посмотреть им в глаза. Конечно, все сложные объяснения по поводу трупа были уже придуманы; недосмотр покрывался, как всегда, золотом.

Да простит мне читатель эту сухость, это отвращение к подробностям, я только прибавлю, что их тренировал Больс.

Временно умолк говор, когда два стальных мужских тела, блестя бронзой вооружения, звонко сошли по лучезарной, полной цветов лестнице к взорам гостей. «Подождите, мы заключим пари», – сказал Гюйс. Немедленно были заключены пари. Сам Хоггей, которому было все равно – выиграть или проиграть, покрыл кляксами миллионный чек. Наконец подал он знак.

Я был близко, так близко к сражающимся, что слышал перебой их дыхания. Они разошлись, сошлись; перед метнувшимися вверх щитами звякнули их мечи. Все чаще встречались клинки; в свете люстр, отброшенные его заревом, трепетали светлые дуги. Но оба были искусны. Ни один удар не обнаруживал растерянности или трусливой поспешности; казалось, они фехтуют. Лишь особый трепет рокового усилия, заключенный в каждом ударе, показывал, что борьба не шуточная.

Если еще был у зрителей остаток пьяной флегмы, то он исчез, уступив кровожадному азарту. Все повскакали. Некоторые подошли совсем близко, криками и жестами ободряя самоубийц. Бой затянулся, искусство соперников, очевидно, становилось меж ними и заветной наградой. Тем временем поощрения приняли оскорбительный характер ударов хлыста. «К делу! – ревел Хоггей, – убей его! Я плачу только за короткие удовольствия!» – «Коровы!» – орал Фрид. – «Это драка пьяных!» – взывал Аспер. – «Ударьте их в зад!» – «Суньте им в нос огня!» Такие и им по-

добные восклицания повторялись хором. Раздался треск, лопнул один щит, и гладиатор сбросил его. – «Проткни мясо!» – сказал Хоггей.

Вдруг разом опустились мечи, последнее восклицание вызвало и опередило развязку. «Ральф, – сказал старший боец младшему. – Ты слышал! Я теперь действительно не владею собой. Я продал жизнь, но не продавал чести, следуй за мной!» И их мечи свистнули по толпе. Отступив за колонну, я видел, как Хоггей рухнул с рассеченной головой. Разразилось исступление, наполнившее зал кровью и трупами. Меньше всех растерялся Ассандрей, лишенный нервов. Он стрелял на расстоянии четырех шагов. Нападающие им были убиты, но из зрителей уцелело лишь трое.

Уэльслей был мертв, Ральф, испуская последнее дыхание, приподнялся и плюнул Ассандрею в лицо:

– Виват, Цезарь! Умиравшие приветствуют тебя!

Он прохрипел это, затем испустил дух.

Приказ по армии

Великая европейская война 1914–1917 гг. была прекращена между Фиттибрюном и Виссенбургом обывательницей последнего, девицей Жанной Кароль, девяти лет и трех месяцев. Правда, эта война была прекращена не совсем, не более как, может быть, на один час и только в одном месте, – что до этого? Важно событие.

Часов около пяти пополудни на пыльной дороге, огибавшей лес, носивший местами следы крупной вырубki, показались два существа, из которых одно, побольше, – бунтовало и густо ревели, утирая окровавленными руками вспухшие от слез глаза, а другое, поменьше, – настойчиво влекло первое по направлению к крышам деревни. Уцепившись за братнину рубашку, девочка резко дергала ее каждый раз, как только мальчик, вспоминая о мужской самостоятельности, начинал вырываться крича:

– Ступай к черту, Жанна! Не твое дело. Не пойду!

Но он, тем не менее, шел отлично и довольно скоро, сопротивляясь более по привычке, чем серьезно. Ему было 11 лет. Его мужское чувство, источник презрения к «девчонкам», было опрокинуто и уничтожено ударом кулака в нос. Он затеял драку и ретировался с позором. Жанна сердилась, но и жалела его; все произошло на ее глазах.

– Пожалуйста, не реви, – говорила она, – нам надо торопиться; дома, наверное, уже беспокоятся, и все по твоей милости. Как хорошо, что я была тут. Уж и измочалили бы тебя.

– Хы... – ревел Жан, – я их сам измочалю; погоди, как встретим в другой раз, я покажу. Хы. Вдвоем каждый может. Нет, ты испробуй один на один, вот сейчас. С грязью смешаю.

– Вот ты бы и не дразнил их.

– Я не дразнил.

– Врешь. Ты же бросал им вдогонку камешки и кричал: «Фиттибрюнский домовый лезет в кашу с головой! Ты головку обсоси, съешь и больше не проси». – А ты же знаешь, что фиттибрюнские на стенку прут, как им сказать это?

– Эх, дура ты, дура! – вскричал Жан. – Что ты смыслишь в наших делах вообще? Девчонка. А это ничего, что они поют: «В Виссенбурге на сосне видит мясо мышь во сне»...

– Ну, поют, а теперь не пели; ты сам раздражил их.

– Все равно; все они жулики.

Этот решительный аргумент приободрил Жана и временно парализовал девочку. Споря, оба разгорячились и остановились.

За их спиной стоял лес; впереди, пониже дороги, пестрела обширная вырубка с кустами и пнями среди стен дров, занимавших большую часть открытой равнины. Дрова эти, составленные тесными линиями четырехугольников, не позволяли ничего видеть далее двадцати шагов.

Уже третий день в окрестности шли бои; иногда дым на горизонте указывал пожар далекой деревни. Непрерывно падали за горизонтом тяжелые пушечные удары; и тогда, казалось, к ногам, остановясь, подкатывается чуть слышный толчок.

– Тебе когда-нибудь здорово попадет с твоим языком, – сказала девочка. – Что? Из носа-то что течет? Небось, не сливки.

– Кровь, – сказал Жан, рассматривая запачканные пальцы. – Ничего. Мы, мужчины, должны приучаться сражаться. А вы будете шить и плакать.

– Видать, что сражался. Глаз-то какой толстый стал.

– А наплевать. Все надо стерпеть. Зато как вырасту и поступлю в солдаты, станут говорить: «Эге, Жан Кароль будет генералом».

– Это ты-то?

– А что же? Вон сколько дров! Смотри. Столько солдат на свете и еще больше. Все они могут стать генералами и отвоевать знамя. А тебе нечего делать у нас.

Жанна задумалась. Машинально держась за рукав мальчика, смотрела она на раскинутые по вырубке стены дров, представляя, что все это босоногие Жаны с раскрашенными носами. В ее маленькой душе жила отвага ее знаменитой тетки, но отвага, направленная к поучению и примирению. Ее глазки блеснули.

– И я бы вас встретила, – вскричала она. – Уж я бы вас отчитала. Вот, Жан, если все эти дрова станут солдатами и закричат на меня, я им скажу: «Ступайте домой, солдаты. Отдаю вам приказ по всей армии: драться нехорошо. У нас курицу сегодня зарезали, вот так и вас всех зарежут. И постреляют. У-у! Пошли, пошли. Разойдитесь. Наплачешься с вами, как вас побьют. Мы тоже скоро уедем; уж по деревне все отцы говорят, что здесь нельзя жить. Чего дома не сидите? Чего пришли? Раздумайте-ка воевать. Чтобы и духу вашего не было. А то устанете и к обеду опоздаете».

Она воодушевилась, проголосив эту тираду стремительным и сердитым звонком, но тут же соскочила с пня, на который встала ради величия, и спряталась за Жана, успевшего только закричать: «Ай!» Над поленицами взлетели сотни фуражек, и вся засада французов, выступив из-за прикрытия, где отлежала бока, поджидая делавший обход германский эскадрон, с хохотом повалила к девочке.

Судьбе угодно было показать и второй конец этого эпизода. Еще Жанна сидела на плече рослого пехотинца, который, вертясь волчком, звал всех идти полюбоваться «на исчадие анти-милитаризма, опасное, как змея» – как, градом прошумев в лесу, выкатился конный отряд.

Неожиданность, венчаемая малюткой, видимой подобно знамени всем, произвела мгновенное действие холостого выстрела. Положение было странное и глупое. Щелкнули затворы драгун, но дула опустились; француз стал вертеть над головой носовой платок.

– Дальше, дальше, боши! – вскричала засада. – Мы обедаем. Читаем «Берлинер Тагеблат».

И понемногу завязался разговор. Он кончился благополучно, как обычно кончаются подобные случаи непредвиденного помешательства, и стычки не произошло. Детей вывели на дорогу, приказали им идти домой. Жан злился.

– Дура, ты все спутала, – говорил он. – Вот попало бы драгунам на орехи.

– Ну, иди же, иди, – хмуро сказала девочка.

Гениальный игрок

I

Воспой, о муза, человека четвертого измерения – зеленого стола, – так как именно в картах или, вернее, нераскрытых донныне законах их комбинаций, заключена таинственная философская сфера – вещественное и невещественное, практическое и умозрительное, физическое и геометрическое, – предел всем человеческим мерам, за которым всякий расчет столь неясен, что самый острый ум в соединении с отточенной интуицией является картонным мечом. Исход сражения предугазан. Острый ум гибнет, и только дурак, по безобидной терминологии «добрых людей», является в игре карт надежно вооруженным чем-то таким, что позволяет ему, с завязанными глазами, уверенно идти там, где нет ни входов, ни выходов.

Однако был человек, решивший объемистую эту задачу путем своеобразного расчета, секрет которого унес с собой в мрак могилы, а умер он потому, что встретил могущественное препятствие, помешавшее ему воспользоваться плодами невероятных своих трудов.

В 1914 году Нью-йоркский клуб «Санта Лючия» только что открыл свои роскошные помещения для бесчисленных аргонавтов, собирающих, где не теряли, и жнущих, где не посеяли. Потомство Джека Гэмлина восседало под звуки очаровательного оркестра среди столь художественной обстановки, полной утонченного замысла картин, статуй и гобеленов, что только рыжая душа янки могла остаться нечувствительной к окружающему ее великолепию, сосредоточив весь жар свой на числе очков. Приличие не нарушалось. Дьявольский узор чувств был безупречно прикрыт лоском; играла музыка, и освежающее веяние серебристых фонтанов придавало происходящему магическую прелесть «Летней фантазии» Энсуорта, разыгрываемой в четыре руки.

Вдруг раздался крик.

Взгляды всех обратились к столу, где молодой человек с бледным лицом, стройный, красивый, хорошо одетый, с яростью, но сохраняя достоинство в движениях и в выражении лица, рвался из рук двух сильных крупье, схвативших его за кисти, – одна разжалась, и на стол, сверкая, вместе с золотом просыпалась колода карт. Крупье поспешно собрали ее.

Подобные происшествия отличаются тем, что для освещения их случай посылает обыкновенно человека, обладающего даром слова. Такой человек уже был тут, он стоял, ждал и выполнил свое предназначение коротким рассказом:

– Как только он сел, я почувствовал содрогание, – предчувствие охватило меня. Действительно, менее чем в полчаса мне пришлось расстаться с двадцатью тысячами долларов, ни разу не взяв при этом. Не менее, если не более, пострадали Грант, Аймер, Грантом. Еще ранее удалился Джекобе, присвистнув, с бледным лицом. Короче говоря, молодой человек держал банк, всех бил и никому не давал. Я не помню такого счастья. Он приготавливался тасовать третью талию, но так неловко подменил колоду, что был немедленно схвачен. Теперь я, Грант, Аймер, Грантом и Джекобе отправимся в кабинет директора клуба получить проигранное обратно.

И он ушел, Грант, Аймер, Грантом и Джекобе последовали за ним, сопровождаемые толпой дам, улыбающихся, воздушных, прекрасных – и совершенно невозможных в игре, так как они сварливы и жадны.

II

Дела подобного рода разбирались в «Санта Лючия» без свидетелей; отсюда иногда доносились вопли и проклятия избиваемых артистов темной игры; и ничто не указывало на тихий исход казуса; однако арестованный молодой человек, будучи введен в кабинет, потребовал во имя истины, которую он решился открыть, – совершенного удаления всех посторонних, а также жертв своих замечательных упражнений.

Лакеи, уже засучившие рукава, вышли, покашливая неодобрительно; двери были плотно закрыты, преступная колода водружена на столе, и воинственно дышащие четыре директора, один другого мясистее, апоплексичнее и массивнее, стали вокруг изобличенного непроницаемым ромбом.

Лицо уличенного нервно подергивалось; но ни стыда, ни растерянности, ни малодушия не было заметно в полных решительного волнения прекрасных чертах его; ничто в нем не указывало мошенника, напротив, казалось, этому лицу суждены великие дела и ослепительная судьба.

– Я сказал, что дам объяснения, и даю их, – заговорил он высокомерно, – я скажу, – что, но оставлю при себе – как. Меня зовут Иоаким Гнейс. Мой дедушка был игрок, мать и отец – тоже. С одиннадцати лет мною овладела идея беспроигрышной колоды. Она обратилась в страсть, в манию, в помешательство. Я изучил все шулерские приемы и все системы, составители которых с радугой в голове не знают, где приклонить голову. Но я хотел честной игры.

Постоянное размышление об одном и том же с настойчивостью исключительной привело к тому, что я мог уже обходиться для своих опытов без карт. На улице, дома, в лесу или вагоне –

меня окружали все пятьдесят две карты хороводом условных призраков, которые я переставлял и соединял в уме как хотел.

Так прошло восемь лет. Чувствуя приближение кризиса – решения невероятной задачи, преследуемой мной, я удалился в заброшенный дом, где почти без сна и еды семь дней созерцал движение знаков карт. Как Бах увидел свое произведение, заснув в церкви, собранием архитектурных форм несравненной красоты и точности, так вдруг увидел я свою комбинацию. Это произошло внезапно. В бесплотной толпе карт, окружавшей меня, пять карт выделились, сгруппировались особым образом и поместились в остальной колоде таким образом, что сомнений более не было. Я нашел.

Суть моего изобретения такова. Вот моя колода карт – без крапа, без фальсификации; одним словом – колода честных людей. Я примешиваю ее к талии. После этого тысяча человек могут тасовать талию и снимать как хотят, – я даже не трону ее. Но у меня всегда при сдаче будет очков больше, чем у остальных игроков.

Что же я делаю для этого?

Я беру из этой колоды шесть карт; каких – я не скажу вам. Пять я смешиваю в известной последовательности, вкладывая в любое место колоды. Шестую карту кладу предпоследней снизу. Затем эта колода, в числе произвольного количества колод, может быть растасована как угодно – я всегда выиграю. Меня погубила неловкость. Но шулером назвать меня вы не можете.

III

Пораженные директора, с целью проверить слова Гнейса, пригласили экспертов, опытных игроков во все игры, людей, судьба которых переливала всеми цветами спектра звезды, именуемой – Счастье Игрока. Десять раз перемешивали они колоду, сложенную тайно от них по своему способу Гнейсом, и не случалось ни разу, чтобы карты, выпавшие ему на сдаче, проиграли. У него всегда было больше очков.

Взгляд презрительного, глубокого сожаления, брошенный на молодого изобретателя игроком Бутсом, заставил Гнейса вспыхнуть и побледнеть. Он встал, Бутс вежливо удержал его.

– Ум направленный к пошлости, – кратко сказал он, – талант хама, гений идиотизма. Вы...

Но Гнейс бросился на него. Схватка, предупрежденная присутствующими, еще горела в лицах противников. Гнейс тяжело дышал, Бутс пристально смотрел на него, сжав свои старые, тонкие губы.

– Я с намерением оскорбил вас, – холодно сказал он. – В вашем лице я встречаю гнусный маразм, отсутствие воображения и плоский расчет. Игра прекрасна только тогда, когда она полна пленительной неизвестности. И жизнь – тоже. То и другое вы определили бухгалтерским расчетом. Поэтому, то есть для вящего удовлетворения вашего, я предлагаю решить наш спор вашей колодой; мы сыграем вдвоем.

Гнейс рассмеялся.

Были стасованы и сданы карты; перед тем колода, сложенная им особо, была пущена в талию. «Кто проиграл, тот стреляется, – сказал Бутс, – у кого меньше очков, тот умер».

– Семь, – сказал, перевернув карты, спокойный Гнейс.

– Девять, – возразил Бутс.

Гнейс подержал карты еще с минуту, побелел, схватился за воротник и упал мертвым. Его сердце не перенесло удара.

– Так бывает, – сказал в конце всей этой сцены Бутс потрясенным свидетелям, – по видимому, его открытие только иногда – редко, может быть, раз в десять лет – подвержено некоторому отклонению. Но в общем – система не имеет себе равной. Он проиграл.

Словоохотливый домовый

Я стоял у окна, насвистывая песенку об Анне...

Х. Хорнунг

I

Домовой, страдающий зубной болью, – не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так, это было, – маленький, грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывшей огонь. Мерно покачивая нечесаной головой, держался он за обвязанную щеку, стонал – жалостно, как ребенок, и в его мутных, красных глазах билось страдание.

Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть...

– Теперь все равно, – сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе, – все равно, тебе никто не поверит, что ты видел меня.

Сделав, на всякий случай, из пальцев рога улитки, то есть «джеттатуру», я ответил:

– Не бойся. Не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст.

– И-ох. Как, несмотря на то, трудно уйти отсюда, – возразил маленький домовой. – Вот послушай. Я расскажу, так и быть. Все равно у меня болят зубы. Когда говоришь – легче. Значительно легче... ох. Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. Мои-то, мои, – он плаксиво вздохнул. – Мои-то, ну, – одним словом, – наши, – давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда, а я не могу, так как должен понять.

Оглянись – дыры в потолке и стенах, но представь теперь, что все светится чистейшей медной посудой, занавеси белы и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько вокруг в лесу; пол ярко натерт; плита, на которой ты сидишь, как на холодном, могильном памятнике, красна от огня, и kloкочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром.

Неподалеку были каменоломни – гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена – пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену – Анни. Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. Вот, если тебе это нравится, то она была точно такая, – здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника из набившейся годами земли, и демонстративно преподнес мне. – Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой; для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стучала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся, – в этом есть магия, великое знание прекрасной души, но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки; люди непроницательны.

«Анни! – весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе, – я не один, со мной мой Ральф». Но шутка эта повторялась так часто, что Анни, улыбаясь, без замешательства сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга – она бежала к нему, а он приносил ее на руках.

По вечерам он вынимал письма Ральфа – друга своего, с которым провел часть жизни, до того как женился, и перечитывал вслух, а Анни, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чудных лучей по ту сторону огромной нашей земли, о вулканах и жемчуге, бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее камень, подобный поющему камню на перекрестке, ударив который слышишь протяжный звон.

– «Он скоро приедет, – говорил Филипп: – он будет у нас, когда его трехмачтовый „Синдбад“ попадет в Грес. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам».

Случалось, что Анни интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа; тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку: нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасностей и находок. Вечная игра. Вечное волнение. Вечная музыка берега и моря.

Я не слышал, чтобы они ссорились, – а я все слышу. Я не видел, чтобы хоть раз холодно взглянули они, – а я все вижу. «Я хочу спать», – говорила вечером Анни, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила: «Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с тобой?» Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза: «Ворона ходит по крыше, ветер шумит в деревьях; камни блестят в ручье, – спи и не ходи босиком».

Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет, потом умывался, готовил дрова и ложился спать, засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где выют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры.

II

– Ну, слушай... Немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп, с записной книжкой в руке, отмечал груды гранита, а Анни, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит, все тише и тише, но, думая, что он смолк, стоит лишь приложиться ухом – и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос.

Наши лесные дороги – это сады. Красота их сжимает сердце, цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так как глаза устают от него и бродят бесцельно; желтый и лиловатый и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего.

Анни остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят, но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише, наконец, он остановился; продолжая улыбаться, взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут.

Он был смугл – очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни, темнея еще больше и ярче, а светлые глаза женщины кротко блеснули.

Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи.

Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука; тогда он протянул руку, и она – медленно – протянула свою, и руки соединили их. Он взял ее голову – осторожно, так осторожно, что я боялсядохнуть, и поцеловал в губы. Ее глаза закрылись.

Потом они разошлись – и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему. – Вот Ральф; он пришел.

– Пришел, да. – От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но наконец бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца: – Анни ты уже видел, Ральф. Это она.

Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи.

– Ты поживешь у нас, Ральф; мы все покажем тебе. И поговорим всласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя.

Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым теплым и чистым взглядом своим, затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были близки ей.

– Я вернусь, – сказал Ральф. – Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. Потому я не захватил багажа. И я немедленно отправлюсь за ним.

Они условились и расстались. Вот все, охотник, убийца моих друзей, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне.

– Ральф вернулся?

– Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело.

– А те?

– Они умерли, умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она. Он шел за ее гробом, полуседой, потом он исчез; передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до этого?.. Зубы болят, и я не могу понять...

– Так и будет, – вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую, немытую лапу. – Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца; домовые – непроницательны.

Бунт на корабле «Альцест»

I

Замечали ли вы что-нибудь раньше? Были ли таинственные разговоры? Дерзости, неповиновение? И вообще, черт возьми, как это могло случиться под самым у нас носом?

– Увы, капитан, – ответил его помощник Фекан, – этот сброд, как вы знаете, был нанят в Багашой всего две недели назад. Я никого не виню. Надо было воспользоваться хорошим ветром, белых не подвернулось; это я понимаю. Мы все торопились.

– Клянусь экватором, – сказал капитан, – говорите короче: валяли они дурака или нет?

– Нет. Все шло хорошо.

– Было, как я уже рассказал, – перебил боцман, держа зубами конец бинта, которым он спешно обматывал раненную ножом руку. – Они взбесились, сошли с ума; у них какой-то непонятный нам замысел. Когда я стоял у трюма, Самбо сделал вид, что скатывает брезент очутился у моих ног, дернул меня за щиколотку, и я грохнулся затылком о палубу, но защитился этой рукой. Вы знаете их ножи. От скуки они точат их каждый день. Не так больно, но лезвие скользнуло насквозь. Мне не забыть выражение его лица, когда я оглушал его кулаком. В то время, спасаясь от четырех, стрелявших по нем, как в зайца, промчался Фекан, – вы были в каюте...

– Да, пасьянс вышел, – вставил капитан, – и вышел бы еще раз, как взлетели вы с посиневшими физиономиями. Когда были скрадены ружья?

– По-видимому, сегодня ночью, во время моей вахты. – Фекан тяжело дышал, след произведенных неграми в него выстрелов еще не скрылся из глаз, горевших тяжелым страхом. – Исчез и ящик с патронами. Счастье, что они плохо стреляют, иначе я не стоял бы теперь в этой каюте.

Все трое пристально смотрели друг на друга, с силой совершенного непонимания, вызванного внезапным наступлением отчаянной борьбы.

Капитан посмотрел на дверь, к которой был придвинут тяжелый стол, и стал слушать. Сверху доносился топот перебегающих негров; он стих; прозвучал крик, перемешался с ответными восклицаниями; затем в неясном шуме этом наметилось что-то согласное и решительное.

– Идут сюда, – сказал Стере, – капитан. Идет один. Ну, сейчас все узнаем. Фекан, не ухмыляйтесь над моими пасьянсами, они помогают иметь нужные мысли; катите этот бочонок.

Боцман вопросительно оглянулся, затем, поняв, о чем говорит Стере, схватил широкими своими ладонями дубовый бочонок, вместительностью пятнадцать галлонов, стоявший у койки Стерса в виде ночного столика, и переставил его поблизости двери.

– Он пустой, – сказал боцман.

– Хорошо, хорошо; ставь против замочной скважины; вот так. К тому же бочонок этот не пуст, это – пороховой бочонок. – И Стере подмигнул. – Но я не собираюсь взорвать судно, нет. Однако мы разведем такую негритянскую дипломатию, что о ней долго будут говорить на восточном и западном берегах.

Фекан и боцман не поняли Стерса, но скоро им предстояло понять все, и они вынесли это драматическое испытание с невозмутимостью наемных свидетелей.

На столе, приставленном к двери, лежали два револьвера. Услышав быстрое дыхание негра, спустившегося по трапу к двери и остановившегося, стали прислушиваться. Стере взял револьвер и отодвинул стол так, что, баррикадируя дверь, позволял теперь видеть в замочную скважину часть каюты с бочонком посередине ее.

– О, о! – вскричал негр, услышав возню – музунгу⁴⁵ Стере! Стере слышит. Он здесь. Это я, Самбо, посланный говорить.

– Говори, негодяй, – сказал Стере. – Что вы хотите делать?

– Вы погибли, умрете. – Негр сделал паузу с расчетом ошеломить. – У вас нет воды и еды, а ружья у нас.

– Да вы украли их.

– Пусть будет – украли. Вас – четыре...

Здесь осажденные оглянулись, не понимая, о ком четвертом говорит Самбо, однако он скоро еще более изумил их.

– Все – четверо, – вкрадчиво и грозно продолжал негр, – и один из вас – женщина, значит, вас не четыре, а три... Нас десять и еще шесть. Вот сколько нас и восемь ружей.

– Подумаешь, – процедил Стере.

– Ты будешь думать, музунгу. Я уже думал. Все решено нами.

Тут Фекан и боцман не выдержали.

– Что за околесицу несет черномазый, – вскричал Фекан, – о какой женщине он болтает. Вы понимаете, Стере?

– Кое-что, но смутно. Дадим ему высказаться. Продолжай, багашойская обезьяна, и моли бога, если я терпеливо выслушаю тебя.

Негр за дверью презрительно фыркнул.

– Самбо не боится, – сказал он угрюмо. – Самбо говорит, музунгу – слушай. Никто не тронет вас, если сядете в шлюпку и поедете к берегу. Мы дадим запасов. Но вы оставите нам белую красивую женщину, которую музунгу Стере прячет в своей каюте.

– Ни слова, ни слова! – заорал Стере Фекану, пытавшемуся разразиться ехидной бранью полнейшего недоумения. – Представьте все одному мне! Продолжай, Самбо!

Негр, помолчав, шумно и тяжело вздохнул. Мрачно заговорил он теперь, с злобным воодушевлением человека, делающего последнюю ставку.

– Музунгу Стере, я видел ее на прошлой неделе, когда выносил мыть твою койку. Она стояла в углу. Ты там спрятал ее... и я не мог смотреть на все долго, потому что ты выгнал меня. Но Самбо видел, он хочет теперь белую женщину. Ее лицо прекрасно, оно розовое и белое, как цветок олеандра. Ее волосы цвета солнца, а глаза подобны чистому вечернему небу. Ее грудь белая, и жирная, и красивая. Самбо любит белую женщину. Он раз видел ее, но, увидев, рассказал остальным, и они, как и я, хотят владеть этой женщиной, красоту которой тебе не удалось спрятать от глаз Самбо. Отдай ее нам и уезжай с музунгу Феканом, боцман тоже может уехать с вами, хотя он больно дерется. Вот все Самбо сказал.

Еще никогда Стерсу не приходилось попадать в такой сложный тупик неожиданных и странных эмоций, подобных этому казусу. Фекан с удивлением видел, что Стере покраснел. Что поразило негров? Какое могучее впечатление разрушило их покорность? Но некогда было размышлять; сдавив смех, который при иных обстоятельствах мог бы стать полубомбочным, сумасшедшим хохотом, Стере пошел к цели прямо и резко.

– Самбо, – сурово сказал он, – ты дурак. Белые женщины не уходят к неграм и не живут в их вонючих корзинах. Это сказано навсегда. Смотри в скважину. Я покажу тебе кое-что интересное.

– В скважину застрелить Самбо? – насмешливо спросил негр. – Ох, Самбо хитер.

– Нагнись, я стрелять не буду; клянусь спасением души матери моей.

– Музунгу верить?

– Как себе.

– Хорошо. Самбо глядит.

Стере приблизил глаз к скважине: вдруг ее светлый крючок погас, словно с наружной стороны скважину прикрыли черной бумагой. Затем она снова стала прозрачной, и наконец, блестящий глаз чернокожего появился в ее очерке, разглядывая каюту.

⁴⁵ Капитан, начальник. А. Г.

«Прикрыл для пробы рукой, – подумал капитан, усмехаясь».

– Вот, – вслух заговорил он, – видишь этот бочонок?

– Самбо видит.

– В этом бочонке порох. Если его взорвать, «Альцест» лопнет как банан под ногой верблюда. Я мало скажу. В моих руках часы: они показывают десять минут третьего. Если через пятнадцать минут все восемь ружей не будут брошены за борт с левой стороны против иллюминатора, чтобы я мог видеть и считать, сколько их упало в воду, если затем все вы до единого не сядете в шлюпку и не отчалите восвояси к берегу, который, кстати сказать, хорошо виден на горизонте, – я, Стере, капитан, никогда не изменявший своему слову, ровно двадцать пять минут третьего всаживаю в порох пулю и пускаю нас всех ко дну. Кроме того, если, выслушав это, ты скажешь хоть одно слово, задашь один вопрос – произойдет то же самое. Я сказал. Одна минута прошла.

О Стерсе было широко известно, что он не боится смерти и никогда не шутит. За дверью раздался такой стон, такой иступленный вопль схваченной за горло души, что все вздрогнули. Потом топот ног вверх дал знать, что Самбо кинулся предупредить своих, там поднялся сложный, как на пожаре, крик, полный безумного ужаса.

– Пасьянс вышел, – сказал Стере, утирая мокрое лицо. Но бочонок был пуст.

II

Развязка произошла с повелительной быстротой спасения. Перед иллюминатором восемь раз плеснула вода, скрывая дула и приклады прекрасных винчестеров, затем Стере с облегчением услышал скрип талей, – негры спустили шлюпку. Они отъехали так поспешно, что не прошло десяти минут, как из иллюминатора можно было уже видеть, на расстоянии тридцати – сорока сажен, их искаженно оглядывающиеся физиономии.

– Готово. – Стере отшвырнул стол, бросился к углу, где за шкафом, среди ящиков, находилось нечто, окутанное газетной бумагой, и, схватив таинственный предмет, устремился на палубу, говоря: – Идем, Фекан, идите и вы, боцман Троп, вам предстоит увидеть необычайное.

Судно, никем не управляемое, со спущенными парусами, медленно раскачивалось на ровной зыби. Все трое появились у борта.

– Эй, – закричал Стере беглецам, – захватите-ка вашу Дульцинею!

С этими словами, сорвав газетные листы, скрывавшие очертания таинственного предмета, он высоко поднял его над головой, и все увидели парикмахерский восковой бюст, кокетливая головка которого блеснула в огненной синеве африканских вод безделушкой мертвой улыбки.

– Часть груза, – пояснил Стере ошеломленному своему помощнику. – Мой знакомый цирюльник в Даготе просил захватить куклу на обратном пути. И он обратился к неграм: – Подберите это очарование!

Манекен, не теряя улыбки, с улыбкой перевернулся в воздухе и с улыбкой шлепнулся в воду. Плывая, он продолжал улыбаться.

– Разве этим удержишь их, – сказал Фекан. – Легенда о белом колдуне-капитане пойдет гулять как коза. Слышите – они кричат... воют. Что это? Клянусь, капитан, они спасают ее!

Сердце пустыни

I

Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации. Нам единственно интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отметим здесь три скептических ума, – три художественные натуры, – три погибшие души, несомненно талантливые, но переставшие видеть *зерн* о. Разными путями пришли они к тому, что видели одну *шелух* у.

Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию. Мистифи-

кация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так, например, легенда о бриллианте в тысячу восемьсот каратов, ехидно и тонко обработанная ими меж бокалов шампанского и арией «Жоселена», произвела могучее действие, бросив тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто над водой, в скале, сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице О'Нэль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести: Эванс *стал думать о Стелле и застрелился*.

Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке из дыма крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в удобных качалках, молча и улыбаясь, подобно авгурам; бледные, несмотря на зной, приветливые, задумчивые; без сердца и будущего.

Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления бриллиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз.

Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе «Конго» выказывали за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели пробковые шлемы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон.

Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь – зеркала, пианино, красного дерева буфет.

Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стель.

II

Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револьвера. Его шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорит и прелестно кивал, словно склонял голову вместе со всем миром, внимающим его интересу. Короче говоря, когда он входил, хотелось посторониться.

Консейль, мягко качнув головой, посмотрел на сухое уклончиво улыбающееся лицо Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер, в свою очередь, метнул им из-под очков тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться.

Несколько дней назад Стель сидел, пил и говорил с ними, и они *знали его*. Это был разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рост, – с немного наивной верой во все, что поражает и приковывает внимание; но Стель даже не подозревал, что его вышутили.

– Это он, – сказал Консейль.

– Человек из тумана, – ввернул Гарт.

– В тумане, – поправил Вебер.

– В поисках таинственного угла.

– Или четвертого измерения.

– Нет, это искатель редкостей, – заявил Гарт.

– Что говорил он тогда о лесе? – спросил Вебер.

Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес:

– Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия.

– Положим, – сказал Гарт, поливая коньяком муху, уже опьяневшую в лужице пролитого на стол вина, – положим, что он сказал не так. Его мысль неопределенно прозвучала тогда. Но ее суть такова: «в лесном океане этом должен быть центр наибольшего и наипоразительнейшего неизвестного впечатления, некий Гималай впечатлений, рассыпанных непрерывно». И если бы он знал, как разыскать этот *зенит*, – он бы пошел туда.

– Вот странное настроение в Кордон-Брюне, – заметил Консейль, – и богатый материал для

игры. Попробуем этого человека.

– Каким образом?

– Я обдумал вещичку, как это мы не раз делали; думаю, что изложу ее довольно *устойчиво*. От вас требуется лишь говорить «да» на всякий всякий вопросительный взгляд со стороны *материала*.

– Хорошо, – сказали Вебер и Гарт.

– Ба! – немедленно воскликнул Консейль. – Стиль! Садитесь к нам.

Стиль, разговаривавший с буфетчиком, обернулся и подошел к компании. Ему подали стул.

III

Вначале разговор носил обычный характер, затем перешел на более интересные вещи.

– Ленивец, – сказал Консейль, – вы, Стиль! Огребли в одной яме несколько тысяч фунтов и успокоились. Продали вы ваши алмазы?

– Давно уже, – спокойно ответил Стиль, – но нет желания предпринимать что-нибудь еще в этом роде. Как новинка прииск мне понравился.

– А теперь?

– Я – новичок в этой стране. Она страшна и прекрасна. Я жду, когда и к чему меня потянет внутри.

– Особый склад вашей натуры я заметил по прошлому нашему разговору, – сказал Консейль. – Кстати, на другой день после того мне пришлось говорить с охотником Пелегрином. Он взял много слоновой кости по ту сторону реки, миль за пятьсот отсюда, среди лесов, так пленяющих ваше сердце. Он рассказал мне о любопытном явлении. Среди лесов высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом, встречаемым неожиданно, так как тропическая чаща в роскошной полутьме своей неожиданно пересекается высокими бревенчатыми стенами, образующими заднюю сторону зданий, наружные фасады которых выходят в густой внутренний сад, полный цветов. Он пробыл там один день, встретив маленькую колонию уже под вечер. Ему слышался звон гитары. Потрясенный, так как только лес, только один лес мог расстелиться здесь, и во все стороны не было даже негритянской деревни ближе четырнадцати дней пути, Пелегрин двинулся на звук, и ему оказали теплое гостеприимство. Там жили семь семейств, тесно связанные одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности – большей заброшенности среди почти недоступных недр конечно трудно представить. Интересный контраст с вполне культурным устройством и обстановкой домов представляло занятие этих Робинзонов пустыни – охота; единственно охотой промышляли они, сплавив добычу на лодках в Танкос, где есть промышленные агенты, и обменивая ее на все нужное, вплоть до электрических лампочек.

Как попали они туда, как подобрались, как обустроились? Об этом не узнал Пелегрин. Один день, – он не более, как вспышка магния среди развалин, – поймано и ушло, быть может, самое существенное. Но труд был велик. Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, – что вам еще?! Казалось, эти люди сошлись *петь*. И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий проход меж бревенчатых стен, слева – маленькая рука, махающая с балкона, впереди – солнце и рай.

Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит *отрывком*, полным очарования, вырванной из *неизвестной* книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства придадите вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы *н*е вошли в эту жизнь, и потому овеейна она странной поэзией. Так было и с Пелегрином.

Стиль внимательно слушал, смотря прямо в глаза Консейля.

– Я вижу все это, – просто сказал он, – *это* огромно. Не правда ли?

– Да, – сказал Вебер, – да.

– Да, – подтвердил Гарт.

– Нет слов выразить, что чувствуешь, – задумчиво и взволнованно продолжал Стил, – но как я был прав! Где живет Пелегрин?

– О, он выехал с караваном в Ого.

Стил провел пальцем по столу прямую черту, сначала тихо, а затем быстро, как бы смахнул что-то.

– Как называлось то место? – спросил он. – Как его нашел Пелегрин?

– Сердце Пустыни, – сказал Консейль. – Он встретил его по прямой линии между Кордон-Брюн и озером Бан. Я не ошибся, Гарт?

– О, нет.

– Еще подробность, – сказал Вебер, покусывая губы, – Пелегрин упомянул о трамплине, – одностороннем лесистом скате на север, пересекавшем диагональю его путь. Охотник, разыскивая своих, считавших его погибшим, в то время как он был лишь оглушен падением дерева, шел все время на юг.

– Скат переходит в плато? – Стил повернулся всем корпусом к тому, кого спрашивал.

Тогда Вебер сделал несколько топографических указаний, столь точных, что Консейль предостерегающе поглядывал на него, насвистывая: «Куда торопишься, красotka, еще ведь солнце не взошло...» Однако ничего не случилось.

Стил выслушал все и несколько раз кивнул своим теплым кивком. Затем он поднялся неожиданно быстро, его взгляд, когда он прощался, напоминал взгляд проснувшегося. Он не замечал, как внимательно схватываются все движения его шестью острыми глазами холодных людей. Впрочем, трудно было решить по его наружности, что он думает, – то был человек сложных движений.

– Откуда, – спросил Консейль Вебера, – откуда у вас эта уверенность в неизвестном, это знание местности?

– Отчет экспедиции Пена. И *моя* память.

– Так. Ну, что же теперь?

– Это уж его дело, – сказал смеясь Вебер, – но поскольку я знаю людей... Впрочем, в конце недели мы отплываем.

Свет двери пересекла тень. В двери стоял Стил.

– Я вернулся, но не войду, – быстро сказал он. – Я прочел порт на корме яхты. Консейль – Мельбурн, а еще...

– Флаг-стрит, 2, – так же ответил Консейль – И...

– Все, благодарю.

Стил исчез.

– Это, пожалуй, выйдет, – хладнокровно заметил Гарт, когда молчание сказало что-то каждому из них по-особому. – И он *найдет вас*.

– Что?

– Такие не прощают.

– Ба, – кивнул Консейль. – Жизнь коротка. А свет – велик.

IV

Прошло два года, в течение которых Консейль побывал еще во многих местах, наблюдая разнообразие жизни с вечной попыткой насмешливого вмешательства в ее головокружительный лет; но наконец и это утомило его. Тогда он вернулся в свой дом, к едкому наслаждению одиночеством без эстетических судорог дез-Эссента, но с горем холодной пустоты, которого не мог сознать.

Тем временем воскресали и разбивались сердца; гремел мир; и в громе этом выделился звук ровных шагов. Они смолкли у подъезда Консейля; тогда он получил карточку, напоминав-

шую Кордон-Брюн.

– Я принимаю, – сказал после короткого молчания Консейль, чувствуя среди изысканной неприятности своего положения живительное и острое любопытство. – Пусть войдет Стилль.

Эта встреча произошла на расстоянии десяти сажен огромной залы, серебряный свет которой остановил, казалось, всей прозрачной массой своей показавшегося на пороге Стиля. Так он стоял несколько времени, присматриваясь к замкнутому лицу хозяина. В это мгновение оба почувствовали, что свидание неизбежно; затем быстро сошлись.

– Кордон-Брюн, – любезно сказал Консейль. – Вы исчезли, и я уехал, не подарив вам гравюры Морада, что собирался сделать. Она в вашем вкусе, – я хочу сказать, что фантастический пейзаж Сатурна, изображенный на ней, навеивает тайны вселенной.

– Да, – Стилль улыбался. – Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там.

– Я виноват, – сухо сказал Консейль, – но мои слова – мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стилль.

Смеясь, Стилль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.

– Да нет же, – вскричал он, – не то. Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогающие сердце подобно хорошей песне. Меня называли чудачком – все равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне, *что* этот лес. Голод... и жажда... один; десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался мне цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел, смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня – смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но изошел потом и спал. Везло, так сказать. Все было, как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей. Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота, – есть вещи, о которые слова бьются, как град о стекло, – только звенит...

– Дальше, – тихо сказал Консейль.

– *Нужно было*, что бы он был там, – кротко продолжал Стилль. – Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал со станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я *не мог* не найти, раз есть такой я, – это понятно. Так вот, поедemте взглянуть, видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, *так ли вы представляли*.

Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории.

Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное волнение по диагонали зала, потом остановился, как вкопанный.

– Вы – турбина, – сдавленно сказал он, – вы знаете, что вы – турбина. Это не оскорбление.

– Когда ясно видишь что-нибудь... – начал Стилль.

– Я долго спал, – перебил его сурово Консейль. – Значит... Но как похоже это на грезу! Быть может, надо еще жить, а?

– Советую, – сказал Стилль.

– Но *его* не было. Не было.

– Был. – Стилль поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах. – Он был. Потому, что я его нес в сердце своем.

Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громад-

ного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чащей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий голос женщины.

Стиль улыбнулся, и Консейль понял его улыбку.

Лошадиная голова

Он умер от злости...

Шатобриан

I

Приехав на разработку Пульта, Фицрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Добба Конхита, ее мать и «местный житель», как он рекомендовал себя сам, бродячий Диоген этих мест, охотник Энох Твиль, изменились, как бывает после болезни. Они разучились улыбаться и говорить громко.

Багровый Пульт, сидя в душной палатке, продолжал пить, но поверх грязного полотняного рукава его блузы был нашит креп. Сквозь пьянство светилось удручение. «Вы знаете, что произошло здесь?! – встретил он Фицроя, поддевая циркулем кусок копченого языка: – Добб упал в пропасть».

Казалось, он продолжает разговор, начавшийся только что. Беспорядок временного жилища Пульта ничем не отличался от состояния, в каком покинул палатку Фицрой одиннадцать дней назад; среди чертежей, свесившихся со стола завитками старой виньетки, стояла та же бутылка малинового стекла и та же алюминиевая тарелка, с единственной разницей, что тогда на ней были остывшие макароны. Смотря на нее, Фицрой поймал мысль «Хочу ли, чтобы те макароны были теперь?» Это равнялось веселому и живому Доббу. Но он еще не разобрался в себе и почему-то откладывал разбираться.

Перед тем, как заглянуть в остановившееся лицо вдовы, Фицрой знал уже все от служащих. «Как громом поразило меня», – сказал он Пульту, – солгал и знал, что солгал. «Да, подумайте! – закричал Пульт, – кроме того, что жалко, – Добб был моей правой рукой».

– Прекрасный, энергичный работник! – с жаром солгал Фицрой еще раз и стал противен себе. – «И не все ли равно теперь, – подумал он, – не я же столкнул его. Я только хотел, чтобы он умер. Но мое право думать, что я хочу». – И он сказал почти правду: – Добб умер. Смерть эта ужасна. Но я устал думать о ней.

– Как?! – переспросил Пульт. – Выпейте, вы что-то путаете, это прояснит ваши мозги.

– Вы знаете, что может случиться при местной жаре от чрезмерного употребления спирта?

– Да, жила в мозгу. А что?

– Мокрое полотенце, – сурово ответил Фицрой, – купанье и молоко.

Пульт вытаращил глаза, прыснул и расхохотался. Все затряслось под его локтем.

– Дикий, безобразный шутник! – сказал он, вытирая усы кистью. – Я пью, но... Мы живем раз. Вы отправитесь на А31. Хина и лекарь там.

Фицрой опустил глаза. Перед ним встала Конхита прежних дней. Он не мог уйти от нее и от еще чего-то, принявшего неопределенную форму Лошадиной Головы.

– Только три дня, Пульт, – сдержанно заговорил он. – В конце концов при вашей ужасной манере дробить горы самому, почти не сходя с места.

– Впрочем, – рассеянно перебил Пульт, – побудьте пока с Доббами. Им очень тяжело.

– И мне тоже, – сказал, выходя, Фицрой. Теперь он не лгал. Он не лгал и себе, когда, ведя в поводу лошадь, особенным, верхним взглядом рассматривал строго и грустно обширную долину с насыпями карьеров, столбами шахт и линиями канав. Работы, начатые по оригинальному плану Пульта одиннадцать дней назад, вызвали бы у него привычную мысль о могуществе человеческого ума; теперь эти следы стали на диком пейзаже казаться царапинами, сделанными тупым

ножом по дубовой доске. Он заметил также, что не хочет есть, хотя поел лишь рано утром. Жар солнечных лучей раздражал его, как прикосновение колючего и липкого меха.

Он правильно сцепил мысли, надеясь вызвать наконец чувства мести и торжества. «Добб умер, так поступил бы я с ним, если бы не боялся суда. И я смотрел бы сверху, как исчезает с криком в пустоте это бодрое, любимое тело. Я все равно что видел. Вот мое черное счастье; его цвет будет носить Конхита. Я зол, зол, зол; его смерть сладка».

Слова эти, эти мысли мешались с кроткими словами любви. Он не понимал, как ласка, которой было полно его существо, и светлая грусть о недоступной душе, и мольба к ней – могут вместить зло. Он думал и не испытывал торжества.

II

Войдя в свое помещение, Фицрой понял, что среди этой полупоходной обстановки, оставшейся совершенно нетронутой, тоже исчезло навсегда нечто, – как будто умерла часть прежнего впечатления. Скоро он понял, что умерло: «приход Добба», – Добб более не придет сюда. Он не придет также к жене и матери. Первый раз в жизни он чувствовал, как много исчезает вокруг с исчезновением человека, составлявшего часть жизни, хотя бы и ненавистную часть. Думая о Доббе, он видел безмолвную пустоту везде, где в его мысли мог жить и быть Добб: в горах, шахтах, перед собой и всюду, о чем он думал, как о месте, связанном с фигурой приятеля.

Зная, что никто не увидит его, и если увидит, то никогда не постигнет той смеси презрения и вызова по отношению к самому себе, – не ощутит пружины движения, заставившего подойти к зеркалу, – Фицрой остановился перед стеклом и быстро заглянул в собственные глаза. Даже видя лицо, ему было трудно поместить внутренний мир свой в черты зеркального двойника, – черты были красивы и грустны. Бледность и загар смешались в этом лице с ясностью прозрачных сумерек; выражение не было ни подлым, ни хитрым, лишь в глазах тронулось и исчезло нечто подобное мгновенно вильнувшему хвосту лисы. «Это мое лицо. Я зол. Я жесток. Я рад».

– Мой рад, масса, – сказал негр, внося кофейник. – Твой приехал, не захворал.

– Рад? – переспросил Фицрой, хмурясь и вглядываясь в него.

– Очень рада, был хорошо здоров.

– Ты врешь, черная собака, – сказал Фицрой, вдруг посинев от злобы и тоски.

Негр, съездившись, отступил. Его жалобно оскаленный рот и сморщенные от страха глаза еще более обозлили Фицроя.

– Лжешь, – повторил он. – Ты был бы рад, если бы я валялся в пыли и гнили.

– Уфф! – сказал негр, пятясь. – Масса больной. Твой пьет кофей, горячий; хороша будет.

Фицрой рассеянно отвернулся. «Все мы говорим так», – пробормотал он. Затем прошло несколько минут в тупом и горьком недоумении перед лицом жизни, которую он любил так нежно и тяжело. Кофе, как показалось ему, отзывался железом. Он нехотя выпил полстакана, затем отправился к вдове Добба.

У колодца ему пересек дорогу Энох Твиль, махая рукой. Он бежал, но перейдя в шаг и поздоровавшись, дышал не чаще, чем мы, когда встаем со стула. От легкой фигуры старика веяло сродством с движением и горами. Седые волосы, подстриженные на его крутом лбу, окружали ввалившееся, с острым носом, лицо косматым четырехугольником, прищуренные желтые глаза блестели шестидесятью годами солнца и ветра. Он был в темном жилете поверх красной блузы и остроконечной шапке из рыжей белки. Догнав Фицроя, Твиль остановился и, прижав локтем ружье, с которым не расставался, стал закуривать папиросу. Взгляд его исподлобья не покидал глаз Фицроя.

– Вернулись? – сказал он. – Да, было дело. Все знаете? Это произошло на том месте тропы, на повороте, как раз против Головы. Накануне я выследил медведя, но пройти можно было только тропой. Конечно, ходили не раз. Я отстал. Как он вскрикнул, – было уже поздно, хотя я все понял. Потом я осмотрел место. Потоки нанесли щебня, и он скользнул по нему, как на коньках. Еще при мне упало несколько крупинок песку, а внизу было еще тише, чем всегда. Не сразу я пошел назад. А самое страшное, – что он здесь только что был.

– Был? – повторил Фицрой.

– Да. Он стоял и писал карандашом на скале. Но об этом не надо говорить ей. Она не могла пойти туда смотреть вниз, но если сказать – может пойти, и тогда он умрет для нее второй раз.

– О! – Фицрой улыбнулся. – Что же написал Добб?

– Ничего такого. На него, должно быть, нашло. Я не был женат, но могу понять это. Так, – различные нежности.

– Это похоже на него, – сказал Фицрой, вспомнив стихи Добба и выражение его лица, когда он произносил: «Конхита». – Я иду к нему... к ним.

– Я любил парня. – Твиль стал возить шапку на голове, кусая усы. – У него был такой вид, как будто он здесь прожил сто лет. Ну... и песни, – поет, бывало... Прощайте.

Твиль коротко даванул холодную руку Фицроя горячей, старой рукой, и его согнутая упруго спина стала удаляться. Фицрой смотрел вслед; впервые сладкая, терпкая острота тайной усмешки вызвала у него полный вздох. «Все вы любили его, и я тоже, и может быть больше вас. По крайней мере, я не переставал думать о нем. – Он посмотрел еще глубже в себя: – И вот, – нет тебя, милая влюбленная суeta, легкое и горячее дыхание с глаза на глаз, улыбка по моему адресу... а она должна была быть». – Вскипев, он сжал кулаки, но радовался приливу злобы, так как с ней ему было легче войти к Конхите.

Но лишь он увидел ее, все лучшее его души тронулось и потемнело сочувствием, хотя тут же мгновенно растаял весь рисунок эгоистического расчета на действие времени и силу собственного своего чувства. Войдя в эти стены, он дышал горем, напоминающим их, но не мог говорить просто, не думая о словах. Невольно – и неудачно – подбирались они мертвой схемой, их тон был глух и неясен.

Фицрой представил трагедию в угнетающе-театральном духе, но на деле все произошло просто, как сама смерть. Обстановка не изменилась, лишь перед фотографией Добба стояли пунцовые лесные цветы; в их отсвете, при опущенных занавесках окон, лицо Добба казалось розовым.

– Мать спит. Она стала слаба, бредит. Будем говорить тихо. – Прямой взгляд молодой женщины был суров, как после примирения, когда улеглось не все и есть еще о чем горько и трудно сказать.

Всматриваясь в нее, он старался понять ее состояние. Всегда она производила на него впечатление того отчасти умильного свойства, когда думаешь, что в обиде или горе такая шаловливо-хорошенькая женщина непременно обхватит руками первого попавшегося, плача и жалуясь на его груди как ребенок. Случись это теперь, он все простил бы ей и ему. Но было ясно, что они неизмеримо дальше друг от друга, чем в день, когда, выслушав его до половины, Конхита сжала руку Фицроя, быстро сказав: «У меня только одно сердце. За него уцепился ваш друг Добб. Но будь у меня второе сердце, я, может быть, отдала бы его вам».

Она была в черном платье. Счастливое лицо, о котором он тосковал, исчезло; то лицо, какое увидел он теперь, было отуманено потрясением и жутко, до холода в душе, напряжено силой не испытанного никогда горя. Во время разговора она нервно проводила по лицу рукой или, бессознательно захватив пальцами край узкого рукава, стискивала его зябким движением. В потемневших глазах не было ни слез, ни опухлости, но взгляд дрожал, непрерывно пересекаясь одной мыслью. Эта мысль тотчас передалась Фицрою уходящей в глухой туман чертой падающего тела.

Он не мог просто сидеть и молчать с нею; это было возможно лишь другу или приятелю Добба. Он был тайный враг. Поэтому он заговорил:

– Ужасно! Ужасно, Конхита, вот все, что я могу вам сказать.

Она несколько оживилась, поверив его искренности, так как нуждалась в ней, хотя продолжала пристально и ревниво всматриваться в замкнутое лицо.

– Да. На днях мы уезжаем. Я начала бы укладываться теперь, но мне жаль маму. До сих пор она ничего не ест и очень слаба.

– Можно ли говорить об этом?

– Вам нужно.

– Я буду слушать вас. Вы ходили туда?

– Я не в силах. А вы знаете, – она нагнулась к нему, странно блеснув глазами, – если думать только о нем и не дышать, может быть, можно было бы на миг увидеть его; потом – все равно.

– Там тьма, глухая тьма! – вскрикнул Фицрой. – Выбросьте это из головы!

– Быть может, есть иной свет, Фицрой. Мы никогда не узнаем. На прошлой неделе, в пятницу, пришел Твиль. Когда только я догадалась по его лицу, – он сказал прямо в чем дело.

– Ужас, – сказал Фицрой. – Если бы вы знали, как мне вас жаль.

– Я все хожу и думаю. Но нечего и не о чем думать. Его нет. Странно, не правда ли?

– Крепитесь, Конхита. – Он искал горячих, бурных и твердых слов, но не нашел их. – Постепенно это пройдет, станет легче.

– Ну, нет. И вы знаете, что так говорить жестоко.

Он смолк, осваиваясь со смыслом ее слов, тронувших злорадные голоса, и не мог удержаться, чтобы не приоткрыть далеким, неизобличенным намеком истину своих чувств.

– Жестоко, – подтвердил он, – и правильно. Все проходит, все гаснет в собственной своей тени.

– Вероятно, вы правы, но я сейчас не хочу думать об этом; думать так.

– Простите меня, – покорно сказал Фицрой.

Ее волнение улеглось. Подумав и кусая платочек, она взяла из ящика письменного стола черепаховый портсигар и, скрыв его в пригоршне, протянула, тихо улыбаясь, Фицрою.

– Вам это будет очень приятно, – прошептала она, – берите, это от него на память, и думайте о нем хорошо. И ради бога не потеряйте.

Приподняв руку, Фицрой отпрянул всем существом, непримиримо волнуясь, – столько наивной беспощадности было в этом, так трогательно выраженном подношении, что резкая боль, сжав его сердце, одолела сдержанность, и он возмутился. Право самозащиты было неоспоримо. И он не хотел лгать так громко, как надо было солгать сейчас. Эти протянутые в горе руки отнимали у него единственное черное утешение, они посягали на тайны его сердца, стремясь исказить их.

– Но... – Фицрой напряженно улыбнулся, – я не знаю... Вы можете пожалеть.

– Это вам, – сказала она, не понимая его колебания.

Тогда он решительно положил руку на портсигар и на ее пальцы, сжав все в затрепетавший комоч, и тихонько оттолкнул, передавая взглядом, что думал. С медленно поднимающимся удовольствием полного отчаяния увидел он беззащитно побледневшее лицо.

– Что значит... это? – Вырвав руки, Конхита отвела их и спрятала за спиной. – Говорите.

– Я не возьму подарка, – сказал Фицрой, радуясь, что перешагнул в пустоту. – Я не могу взять. Вы не имеете права ни предлагать, ни настаивать.

– О! я не настаиваю. Могу ли я вслух понять выражение вашего лица?

– Да, и я не спрячу его.

– Тогда... вы обманули Добба. Вы – враг.

– Я – враг, – сказал как в тумане Фицрой, – враг, и всегда буду врагом памяти этого человека. Но я не враг вам.

– Еще удар. – Она смотрела на него без гнева, сдвинув брови и постукивая носком ботинка. – Слава богу, удар этот, – ничто в сравнении с тем ударом.

Фицрой взял фуражку.

– Мне ничего не осталось, – задумчиво проговорил он, – я не знаю, жалею ли я вас в эту минуту. Не надо было дарить. Тогда я ничего не сказал бы вам. Может быть, вы поймете меня, так как сам себя я понимаю довольно плохо. Проще всего – поставить себя на мое место. Знайте, что и мне не сладко. Однако простите. Вместо разговора о вас произошел разговор обо мне. Я не хотел этого.

– Низкая, низкая ненависть! – крупные, тяжелые слезы скользнули по вздрагивающему лицу Конхиты. – Фицрой, не смейте ненавидеть его!

– Я ненавижу, – грустно, сильно и глубоко сказал Фицрой, открывая дверь, – но так же я

могу и любить. Мир его праху! Я сказал искренно. Пожелайте, – о! пожелайте и вы, Конхита, – мира ненависти моей.

Горько махнув рукой, она бросилась в кресло и прижалась лицом к подушке, делая знак уйти.

Фицрой вышел, осторожно прикрыв дверь.

III

Не думая о направлении, он шел в сторону от бараков, изредка снимая фуражку и вытирая платком обильный прохладный пот. Он чувствовал себя так, как будто не дышал несколько дней, борясь с наполнившим грудь песком. Весь только что окончившийся разговор представлялся ему сплошным криком, эхо которого еще гудело в ушах. Он был потрясенно тих, как после спасения. К отвратительному впечатлению собственных слов примешивалось удовлетворяющее сознание правды, хотя бы брошенной в исступлении.

Подойдя к опушке леса, зеленым дымом охватывавшей низы гор, Фицрой увидел кроткие тени лесных лужаек, и в мирной чистоте этого отдаления от людей, как над ручьем, сторонними глазами увидел свое внутреннее лицо, каким открыл его несколько минут назад помертвевшей от боли и горя женщине, – как будто занес нож. Больше, чем стыд, свернуло шею его волнению. Стиснув зубы, он закрыл глаза и мысленно ударил себя по щеке. Разумеется, ни о каком уважении с ее стороны более не могло быть речи, – и он не мог, теперь уже никогда, видеть ее. Но в тумане изнуряющего стыда раздавленный голос шептал все нежные слова, какими до сих пор он наполнял свою жизнь, не смея вслух произнести их. Некогда он честно боролся, намечая все фазы успокоения; смерть, жертву, путешествие, но твердая рука истинного его чувства к Доббу, временно онемев, снова вела свою острую, черную линию. Яд начал кипеть с первого дня. Он часто придумывал, как тяжелее и мучительнее надо было бы умереть этому человеку, чтобы утолить безысходное ожидание грома, способного наконец разорвать оцепенение злой и тоскующей любви, ставшей болезнью.

Обдумывая странное подозрение, мелькнувшее среди чувств, переживаемых им далеко не в первый раз, Фицрой отнесся к нему с вниманием удивления, – почти испуга, хотя, едва стих толчок, продолжал думать о том же совершенно спокойно, как думает о незамеченной ступеньке человек, оступаясь во тьме и идя далее. Вначале он счел это любопытство сопоставлением – не больше. Ни опровергнуть, ни проверить и доказать связь меж его настроением и гибелью Добба не было никаких средств, однако неустрашимое совпадение поворачивалось перед ним всеми сторонами своими, и он мог придавать ему любой смысл. – «А если?» – сказал Фицрой. – Странный мир – мысль, и велика сила ее. Тогда... Все равно, – мысленно я убивал его. Это одно и то же».

Здесь он почувствовал ветер в спину и обернулся. Поляна шла вниз; снизу, через склон леса, ярко развertyвалась долина с ее насыпями, палатками и строениями; вился дым труб. Это была картина мысли Пульта: он сам, Фицрой, служил там потому, что так думал Пульт. На почти вневременное мгновение ему стало ясно нечто решающее все задачи задач, затем это прошло, обернувшись гулким сердцебиением. До этого не было в нем полной уверенности, что он придет к пропасти, но теперь идти туда стало необходимостью. Он даже хотел этого, – завершить круг. Тут его настроение немного улучшилось, тем более что показались уже невысокие скалистые гряды, обросшие кедром; через них, влево, лежал лесистый проход к тропе, вьющейся над самым обрывом.

Солнце, едва перейдя зенит, жгло ноги сквозь кожу сапог. Скалы, вершины гор, далекие плоскогорья, залитые туманом и светом, на фоне самых колоссальных масс, слитых с небом стеной неподвижного лилового дыма, напоминали облачную страну. Здесь было на что взглянуть, – что могло бы сделать счастливым даже человека без ног и рук, но эта ослепительная океаноподобность мира была теперь вне Фицроя. Она отделялась от него ясным сознанием, что между ней и потерянной навсегда женщиной исчезла связь. Только через нее мог идти сливающий все в одно свет. Фицрой смотрел, как смотрят на сломанные часы. Белые, как сталь в лунном свете,

хребты горной цепи были неудачной ловушкой его душе – второй сорт, червивое яблоко, рай для бедных. Он подошел к отдельной скале, по узкому, неизвестно на чем удержавшемуся обвалу которой тянулся род неровной террасы, осыпанной глыбами. Справа, в расселину, бывшую одной из сравнительно неглубоких пустот, расширявшихся постепенно, по мере того как все ближе подступали они к пропасти «Лошадиная Голова», сыпался, пыля серебром, отвесный ключ. Он напоминал воду, падающую из крана, отверстого где-то в скале, – то стремясь, то останавливаясь неподвижной светлой чертой, смотря по тому, падал ли вместе с ним взгляд, или удерживался на одной точке его падения, он однозвучно шумел внизу, и, заглянув туда, Фицрой почти с облегчением увидел вполне доступную для ловкого лазуна тенисто освещенную глубину ста – ста двадцати футов, с веером пены среди черных и зеленых камней.

На том месте путь огибал скалы с их внутренней стороны, оставляя меж человеком и звеньями небольших пропастей стену гранитных махин, почти лишенных растительности. Ящерицы и пауки сновали в камнях, среди неподвижной духоты красноватых колодцев и призрачных лестниц косых теней, соединяющих верхние края стен с полным шороха шагов низом; под сапогами Фицроя сухо трещал щебень, это безжизненное яркое место тревожило, как раскаленная печь. Наконец, он увидел справа неровно раздернутое пространство, пересеченное туманными облаками высот, и вышел на край.

IV

Он был здесь два раза – раньше – для нового впечатления, от которого осталось у него несколько одиноких мыслей, – он не сумел бы их выразить. Твиль говорил, что здесь нельзя долго смотреть вниз без риска отползти прочь на четвереньках, так как начинало тошнить. Но Фицрой побывал первый и второй раз в том особенно не располагающем к гипнотической впечатлительности вялом и безжизненном настроении, когда душа, подобно водяному шарик, катающемуся по раскаленному добела железу, – движется, не испаряясь. К тому же подготовленный человек многое переносит иначе. Но все-таки тогда он как бы постоял перед направленным дулом.

Смотря вперед, можно было вначале подумать, что стоишь на краю озера с неверными отражениями берегов, искаженных и мрачных благодаря прозрачной тьме неподвижной воды. Но едва взгляд погружался в обманчивую поверхность провала, противоположный край которого явил бы движущуюся по нему фигуру всадника мельканием неразлично малого смешанного пятна, как горизонтальная перспектива, мгновенно утратив для пристукнутого внимания всякое значение и размеры, сплывала облачной тенью, оставляя с глазу на глаз бездну и изменившееся лицо смотрящего.

На том месте, где остановился Фицрой, очерк пропасти достигал полутора миль в длину и около полумили в ширину. Ее стены со всех сторон и во всех направлениях были совершенно отвесны, касаясь в неосвещенной глубине огромной, как ночная равнина, тени, скрывающей вертикальное пространство неуследимого протяжения. Этот подземный мрак был как бы отражением черного неба, какое видят аэронавты, подымаясь на удушливую высоту воздушных границ. Всматриваясь до боли в глазах, можно было различать степень его спущения лишь по соседним изгибам отвеса, где исчезающие вниз стены, уходя от лучей, мерцали все тусклее и глуше, пока угрюмые сумерки не останавливали исследования раскинутым в страшной глубине мраком.

Столетия опасных передвижений, утрамбовав и сравнив обрывки естественного карниза, тянувшегося по левой стороне скал, образовали узкую тропу, оступившись по которой шага на два в сторону пропасти человек мог только пожелать иметь крылья. Ступив на эту тропу, Фицрой невольно стал дышать глубже и медленнее, как это делаем мы при встречном ветре, – ощущение своего тела достигло силы самовнушения; бессознательно его плечо все время касалось скалы, и он особым усилием отталкивал непрекращающееся впечатление тихого, как бег маятника, позыва взглянуть вниз. К тому времени его нервы были напряжены, как в крупной игре.

Он медленно обошел выступ, впадину и стал приближаться к щели, за аркой которой тропа тянулась еще не более как на триста футов, круто заворачивая в ущелье. До сих пор дорога

Фицроя была лишена каких бы то ни было указаний, здесь их не могло и быть, ибо тропа пока что являла прихотливую, но вполне устойчивую поверхность. На всякий случай он тщательно осматривал скалы, но не открыл нигде надписи о которой говорил Твиль.

Она остановила его, когда он прошел щель.

V

Отбрасывая камни ногой, чтобы не скользнуть самому по этому вылощенному как шлак ветрами и дождем выпуклому карнизу, Фицрой прочел мелкую строку последних слов Добба жене: «Стою здесь и думаю о теб...». «О тебе», – машинально договорил Фицрой.

Этой строкой было сказано об ужасном исчезновении все – и так полно, как не мог бы полнее передать чувства свои, – той минуты, – сам Добб, будь Фицрой тогда с ним. Погибший оставился, захваченный острой глубиной впечатления; сияющий горный мир хлынул в него всей силой собственного его счастья, и он захотел весело воскликнуть, один, той, которая не могла слышать его, но всегда была с ним. Он написал это в порыве, похожем на мальчишеский крик в лесу – бессмысленный, но понятный, как наивно блуждающая улыбка.

– Значит карандаш и пустота были рядом; так тесно, так неразрывно сплетены были они, что ты не успел узнать этого, – сказал Фицрой, оборачиваясь и упираясь спиной в скалу. Странная отчетливость представлений не покидала его. Он видел нажатый сапогом камень и легкое движение согнутого колена, отчего камень двинулся, отталкиваемый прянувшей взад ногой. Мгновенный удар крови в сердце и голову стер все мысли, кроме вихря, сопровождающего падение, – вихрь и крик, цепляясь за безумный след свой вверх, несли еще некоторое время иллюзию кошмара, пока обратным ударом вернувшееся сознание, мгновенно осветив все, все поняв и истребив тут же, в муке невыразимой, не перешло тайную границу молчания. И этим все кончилось.

Фицрой неподвижно стоял, смотря вниз и нервно касаясь жутким лучом души – мрака, безмолвно рассматривавшего его из пучины сплошным зрачком.

Он никогда ранее не смотрел так долго и тяжело в эту колоссальную трубу, поперечный разрез которой вдали смыкался высокой скалой, имевшей условное сходство с головой лошади, закинутой к небу. В ней, как в облачных фантомах, было неясное и подавляющее торжество слепой формы, живущей тенью чувств наших, бездыханно и поразительно, как мавзолей. Соответственно настроив внимание, можно было счесть соседние углы скал согнутыми передними ногами гигантского коня, вставшего на дыбы и задом оседающего в пустоту пропасти.

Не без усилия перестав рассматривать заставляющую замирать тьму внизу, Фицрой поднял тяжелый, как шест, взятый рукой за конец, взгляд на эту ясно обрисованную расстоянием каменную фигуру, перехватив ее застывшее фантастическое падение в тот момент, когда представил и продолжил его. Тогда все двинулось вокруг него плавным толчком, равным движению пристани и берега при отвале парохода, – горный горизонт начал оседать вниз. В груди Фицроя стало поворачиваться железо, давя и сося. Страх, конвульсивно охватив его ноги, висел на них, скрывая лицо. Теперь твердая поверхность земли была для Фицроя лишь тонкой корой льда, простертого живописным покровом над черным ничем. Он чувствовал, что если пойдет, его ноги будут странно и бессвязно плясать, и что Твиль сказал правду о четвереньках. Он ужаснулся, вдохнул как бы сухой снег, мгновенно пересекший дыхание, и, догадавшись, закрыл глаза. Бывшееся, казалось, у самого горла сердце вернулось на свое место, стуча так нехорошо, что он прижал руку к груди: «Засмейся, Фицрой!»

Но для торжества у него не было уже сил. Он попытался вызвать его, сцепив зубы, коротким ругательством и не испытал ничего, кроме смутного удивления. По-прежнему, как врезалось в мозг, Добб срывался и летел перед ним вниз, но это видение возникало и проходило вне мстительного очарования, каким жил Фицрой до сего дня. Он открыл глаза с чувством набегающего пространства и, вяло спасаясь, оглянулся на строку Добба. Теперь уже не стоило возвращаться в каменную пустоту будущего. Но это проходило без мысли, без отчетливого сознания. Чувство непобедимой равнодушной пустоты в себе, других и внизу явилось ему с ясностью сделанного

рукой знака, и он перешагнул к незнающей колебания, вдруг опустившей все повода и тяги холодной улыбке голого «все равно».

Рассеянно смочив языком такой же карандаш, каким писал Добб, Фицрой, тоскливо улыбаясь, приписал в слове «тебе» последнюю, перехваченную смертью букву и вывел вниз: «Думаю и люблю. И умираю – потому что носил Зло».

Затем не более, как с чувством полета, рванувшего его силой оступившегося навсегда тела, он отделился от скалы и стал вязнуть в мгновенно проносившейся пустоте, – к мраку, начавшему беспощадно уходить вниз, скрывая все глубже истинное свое лицо. Фицроя било и трепало киновшимся к нему воздухом. «А если не будет конца?» – От этой мысли он умер, и его тело достигло неизвестной нам последней границы, где нет никогда дна и где его ожидал Добб.

Голос и глаз

Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбаясь. Он улыбался бессознательно. Ему было велено не шевелиться, во всяком случае, делать движения только в случаях строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах. Но его душевное состояние, несмотря на эту слабую, застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жить снова, уравнивая себя в светлом пространстве таинственной работой зрачков, представляясь вдруг ясно, так волновала его, что он весь дергался, как во сне.

Оберегая нервы Рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он, безусловно, станет вновь зрячим. Какой-нибудь десятитысячный шанс обратно мог обратить все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду:

– Будьте спокойны. Для вас сделано все, остальное приложится.

Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений Рабид слышал голос подходящей к нему Дэзи Гаран. Это была девушка, служившая в клинике; часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить ему на лоб свою руку и теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет к онемевшей от неподвижности голове. Так и случилось.

Когда она отняла руку, он, так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привели сюда и он слышал стремительный женский голос, распоряжавшийся устройством больного, в нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного звуком этого голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый певучими оттенками, ясными, как теплое утро.

Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши представления о невидимом, но необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех недель только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Рабид знал, что начал любить ее уже с первых дней; теперь выздороветь – стало его целью ради нее.

Он думал, что она относится к нему с глубоким сочувствием, благоприятным для будущего. Слепой, он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его таким счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасива. Ее чувство к нему возникло из одиночества, сознания своего влияния на него и из сознания безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним о ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением, – и она знала, что он любит ее.

До операции они подолгу и помногу разговаривали. Рабид рассказывал ей свои скитания, она – обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полна той же очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они придумывали, что бы еще сказать друг другу. Последними словами ее были:

– До свидания, пока.

– Пока... – отвечал Рабид, и ему казалось, что в «пока» есть надежда.

Он был прям, молод, смел, шутлив, высок и черноволос. У него должны были быть – если будут – черные блестящие глаза со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала с испугом в глазах. И ее болезненное, неправильное лицо покрывалось нежным румянцем.

– Что будет? – говорила она. – Ну, пусть кончится этот хороший месяц. Но откройте его тюрьму, профессор Ребальд, прошу вас!

Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Рабид, профессор и помощник его и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Рабида.

– Дэзи! – сказал он, думая, что она здесь, и надеясь первой увидеть ее. Но ее не было именно потому, что в этот момент она не нашла сил видеть, чувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты как замороженная, прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в моменты тяжких вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, какой хотела бы предстать новорожденному взгляду, – вздохнула и покорилась судьбе.

Меж тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, Рабид лежал в острых и блаженных сомнениях. Его пульс упал.

– Дело сделано, – сказал профессор, и его голос дрогнул от волнения. – Смотрите, откройте глаза!

Рабид поднял веки, продолжая думать, что Дэзи здесь, и стыдась вновь окликнуть ее. Прямо перед его лицом висела складками какая-то занавесь.

– Уберите материю, – сказал он, – она мешает. И, сказав это, понял, что прозрел, что складки материи, навешенной как бы на самое лицо, есть оконная занавесь в дальнем конце комнаты.

Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающих все его истощенное, належавшееся тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете его восторга, и он увидел дверь, мгновенно полюбив ее, потому что вот так выглядела дверь, через которую проходила Дэзи. Блаженно улыбаясь, он взял со стола стакан, рука его задрожала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место.

Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дэзи и, с правом получившего способность борьбы за жизнь, сказать ей все свое главное. Но прошло еще несколько минут торжественной, взволнованной, ученой беседы вполголоса, в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует и как видит.

В быстром мелькании мыслей, наполнявших его, и в страшном возбуждении своем он никак не мог припомнить подробностей этих минут и установить, когда наконец он остался один. Но этот момент настал. Рабид позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дэзи Гаран, и стал блаженно смотреть на дверь.

Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вернулась в свою дышащую чистотой одиночества комнату и, со слезами на глазах, с кротким мужеством последней, зачеркивающей все встречи, оделась в хорошенькое летнее платье.

Свои густые волосы она прибрала просто – именно так, что нельзя ничего лучше было сделать этой темной, с влажным блеском волне, и с открытым всему лицу, естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Рабид, а некто совершенно иной. И, припомнив со всей быстротой последних минут многие мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он точно любил ее.

Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Рабид лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом повороте лица. Она прошла и остановилась.

– Кто вы? – вопросительно улыбаясь, спросил Рабид.

– Правда, я как будто новое существо для вас? – сказала она, мгновенно возвращая ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое.

В его черных глазах она увидела нескрываемую, полную радость, и страдание отпустило ее. Не произошло чуда, но весь ее внутренний мир, вся ее любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли и все волнения последней минуты выразились в такой улыбке залитого румянцем лица, что вся она, со стройной своей фигурой, казалась Рабиду звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви.

– Теперь, только теперь, – сказал Рабид, – я понял, почему у вас такой голос, что я любил слышать его даже во сне. Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите мне. Я немного сумасшедший, потому что воскрес. Мне можно разрешить говорить все.

В этот момент его, рожденное тьмой, точное представление о ней было и осталось таким, какого не ожидала она.

Русалки воздуха

I

В 1914 году пилот Раймонд Люкс получил приказание перелететь границу, высадив на условленном месте военного шпиона. Это предприятие, затеянное штабом, касалось важных военных тайн. Поэтому выбор остановился на отважном и осторожном Люксе.

Предварительно было установлено, что по ту сторону гор тянется обширное лесное плато, с луговиной внутри, довольно обширной для благополучного спуска. На этой луговине Люкс должен был посадить шпиона, а затем вернуться обратно.

Столковавшись с шпионом, Люкс, перед тем как расстаться, спросил его:

– Вы не страдаете боязнью высоты? Я спрашиваю это потому, что за последнее время стал нервен; настроение пассажира действует на меня, и мне хотелось бы чувствовать за спиной нечто очень спокойное, подобное мешку с ватой.

Дагобер – так звали шпиона – возразил на это:

– Это уже не первый мой полет. Никакого беспокойства я вам не доставлю, будьте уверены.

С тем он ушел, а Люкс остался стоять возле ангара, где жил. Он был задумчив. Внешние впечатления, подобно птицам в пространстве, свободно рассекали его сознание. За ангаром солдат играл на гитаре. Через старинный вал было видно, как дышит в ночную синеву неба, желтым блеском, труба электрической станции. Гудел телеграфный провод; по шоссе двигался папиросный огонь. Люкс машинально твердил въевшийся отрывок стихотворения, который не покидал его, как часто и со всеми это бывает, дней десять:

На горной круче, где Не дотянуться рукой, На каменном отвесе Цветет эдельвейс.

В это время невидимый человек, выдавая свое приближение только шумом шагов, шел неторопливо к ангару. Наконец Люкс рассмотрел и узнал его. То был Катенар, тоже пилот, пожилой человек, некоторое время искавший в авиации смерти, по причинам, оставшимся неизвестными. Полеты вылечили его. «Я выветрился, – говаривал он приятелям, – я проветрился». Тем не менее след тайного потрясения еще блестел в его глубоко запавших глазах странным огнем.

Разговаривая, оба они зашли в помещение Люкса, стали пить и говорить о погоде...

– Погода будет хорошая, – сказал Катенар, – это я знаю потому, что моя простреленная нога ничем не дает себя чувствовать. Но я пришел не без особенной цели. Слушайте меня внимательно, а затем думайте, что хотите. Я не пустился бы ни с кем другим в подобные объяснения. Вы очень похожи на моего сына... хотя я уже не знаю, почему говорю это. Он сильно напоминал лицом мать. Как вы думаете, отчего молодые люди умирают на двадцатом году, только что вооружась всем необходимым для жизни? Хотя Бланш выглядела тоже удивительно юной. Вы полетите на Понмаль?

– Именно так, – сказал Люкс, – но почему вы знаете, что это – самое короткое расстояние?

– Я не знал. – Катенар несколько раз крупно отхлебнул из стакана, смотря в стол. – Но ведь мы говорили о северном направлении.

– Совершенно верно, – сказал Люкс, снимая плавающую в стеарине свечи моль, отчего, перестав трещать, огонь вновь стал теплиться спокойно. – Так что же Понмаль?

– А то, что, если вам дорога жизнь, огибайте проклятую гору как можно дальше. Бойтесь этой горы, Люкс. Я над ней был. Вы меня знаете. И я говорю вам совершенно серьезно, что миновать эту вершину благополучно может только глухой.

– Глухой? – спросил Люкс, думая, что ослышался. – Должно быть, это я глух, потому что не понял.

– Лучше, если ее минует слепой и глухой вместе, – продолжал Катенар. – Я поясню. Параллели и меридианы существуют действительно, хотя и не в виде правильных черт, так же существует нечто, именно над Понмаль. Сказать ли вам сразу? Будете вы хохотать или с миной сомнения упретесь в лоб пальцем, смотря на меня странно, с маленьким подозрением?

– Лучше пять слов, чем монолог, – сухо ответил Люкс.

Катенар откинулся, глубоко засунул руки в карманы брюк, скрестил ноги и полужакрыл глаза.

– Над Понмаль вы встретите воздушных русалок, – отчетливо проговорил он. – И услышите пение.

– Как?! – вскричал тихо Люкс. В то время, как он молчал, еще не зная, что сказать на это удивительное заявление, что-то нелепое и заманчивое сладким неприятным холодком коротко прошло под его сердцем; затем исчезло.

– Что за черт! – пробормотал он наконец, пристально уставясь на Катенара. – Вы думаете, что я поверил? Чепуха. Чушь.

Катенар, схватив Люкса за руку выше локтя, крепко сжал:

– Простое предупреждение, – мягко сказал он, – внушит вам, может быть, более доверия к моим словам, чем подробный рассказ о пережитом мной лично над этим самым Понмаль; как мистификацию или как беспардонный вымысел слушали бы вы мои описания. Поэтому-то я уйду; иначе наша беседа естественно остановится в заколдованном кругу; я буду молчать, вы – спрашивать. Прощайте. Избегайте Понмаль.

Он встал.

– Но... но вы сами не пострадали?! – спросил Люкс. – Иначе как вы могли бы предупредить меня?!

– Ну, – возразил Катенар, – это было в день горя, когда я летел с мертвой душой. Умертвить душу – и Понмаль будет не страшен. Спокойной ночи.

Люкс хотел удержать его, но он отрицательно качнул головой и вышел. Летчик поморщился, пожал плечом; затем, без удовольствия выпив стакан вина, лег, не раздеваясь, на койку. Перед закрытыми глазами его торчало как бы острие громадного, неподвижного угла: странные слова Катенара. Он думал, что здравомыслящий человек не должен ничего думать обо всем этом. Здесь – именно потому, что он считал предосудительным думать, – несколько сказок рассмеялось ему в лицо плеском маленьких рук, выжимающих зеленые косы над утонувшим в черной воде месячным медным серпом. Но сказки он слышал в детстве. Теперь же ему было тридцать два года, и серп только отражался в реке.

II

Той ночью произошло событие, имевшее большое значение для Дагобера, который временно жил в особняке Преста, занимая две комнаты верхнего этажа. Когда Дагобер уснул, у темного раскрытого окна его спальни показалась осторожно движущаяся тень человека. Конечно, он пришел с дурными намерениями. Напряженная грация охотящейся кошки сквозила в его движениях; бесшумно, как дух, побыл он несколько минут около изголовья спящего и исчез тем же путем, каким забрался, связь между этим посещением и дальнейшим не совершенно ясна, –

более – она никогда не сделалась ясной, так как простые совпадения играют большую роль; возвратимся к пилоту.

Летчик, разбуженный вестовым, объявившим о прибытии Дагобера, вышел из ангара одетый и вооруженный; выйдя, он увидел шпиона стоящим около аппарата; на Дагобере было плотно застегнутое клеенчатое пальто, шлем с наушниками и шарф; большие очки скрывали верхнюю часть лица. Люкс – человек дела – кивнул, пожал руку товарища и занялся приготовлениями. Проснувшийся мотор забарабанил по тишине предрассветной тьмы своей адской трелью; Люкс и Дагобер заняли места. Дагобер сидел сзади Люкса. Аппарат вздрогнул, скользнул по траве луга с распростертыми в полутьме белыми крыльями и, отделясь, понесся по восходящей линии к неправильному зубцу Понмаль, который на краю плоскогорья имел вид сторожевой башни. Небо светлело; легкие и чистые облака серебрили розовеющий горизонт.

Не более получаса было здесь пути в прямом направлении. С удовольствием ощущал Люкс, что аппарат хорошо слушается рулей, а мотор отчетливо и ровно оглушает привычное ухо, что ветер не силен. Здесь вспомнился ему Катенар, вчерашние слова которого среди утренней свежести тела и воздуха потеряли было свою острую причудливость, но теперь вновь привлекли сознание к задумчивой над ними работе. «Не летите над Понмаль», – было напечатано на горизонте, и Люкс пристально рассматривал эту строку внутри себя, взглядывая в то же время на медленно приближающуюся вершину так же спокойно, как спокойно передвигалась мрачная ее громада внизу. Вверху, ясно различимые глазом, парили, изредка колебля крыльями, четыре орла; гром мотора заставлял их время от времени передвигаться дальше вперед. Но они были, казалось, безотлучно на равном от Люкса расстоянии.

Теперь вершина была под ним. Он видел ее скалы, ее безлюдные, пылающие первым солнцем скаты и трещины. Еще думал он об опасных воздушных течениях, какие, в расстроенном уме Катенара, могли бы, если они есть, принять характер иных опасностей, как вдруг нечто, подобно мелькающим по ветру перьям, слабо застлало его взгляд, мешая смотреть. Лишь он тряхнул головой, как это делаем мы, когда, вызванное раздражением зрительного нерва, черное или цветное пятно так неприятно плавает перед нами в воздухе, как явление исчезло, но тотчас повторилось справа и слева.

Как стаи, кружащиеся спиралью, охватившей полнеба, перед ним и вокруг него метались бесчисленные крылатые существа с синими волосами, нагие и нежно отчетливые, как те звуки, которые сопровождали это ослепительное движение. Он слышал пение, перестав слышать мотор. Оно наслаждало не насыщая и похищало все, кроме жажды полного, неистового оглушения этой музыкой, надвигающей сладкую грозу.

Вне себя, не зная, что с Дагобером, и желая хотя бы взглядом передать ему свое состояние, Люкс обернулся. Руки его разжались, но машинально ухватился он снова за рычаги, – так страшен был изменивший вдруг образ – спутник его: синие женские глаза увидел он за собой, прекрасное и томительное лицо, полное обещания, и синие, как само небо, отлетевшие по ветру пышные кудри. Белая рука взмахнула перед ним, что-то указывая; прозвучал смех.

– Да! – сказал он. – Да! – вкладывая в эти безумные слова всю безысходность своего восторга и жажды повиноваться с нежностью, не имеющей себе ничего равного. Уже не понимал и не сознавал он, что с ним, лишь знал твердо, что путь его сломан хороводом взлетающих все выше прекрасных и безумных созданий. Некоторое время аппарат шел под крутым углом вверх, затем смолк и рухнул вниз ребром, описывая кривую.

Из него выпало скорченное, подобно заснувшему ребенку, тело, опередило аэроплан и, падая, мертвым достигло земли. Казалось ему, что перед тем, как почувствовать задушившую его пустоту, кто-то кротко поцеловал его в ослепшие глаза; затем все исчезло.

Не с мертвой ли душой смотрим мы вверх? Но Люкс не был человек мертвой души, поэтому, приняв в нежном поцелуе прощание со всем, чем был полон и жил, мог бы – воскресни он – снова перелететь Понмаль, зная, что предстоит.

Дагобер сказал впоследствии, что у него среди прочих вещей неизвестным ночным вором был украден заведенный будильник, поставленный на пять утра. Он полетел на другой день с другим летчиком.

Как бы там ни было

Стало темно. Туча, помолчав над головой Костлявой Ноги, зарычала и высекла голубоватый огонь. Затем, как это бывает для неудачников, все оказалось сразу: вихрь, пыль, протирание глаз, гром, ливень и молния.

Костлявая Нога, или Грифит, постояв некоторое время среди дороги с поднятым кверху лицом, выразившим презрительное негодование, сказал, стиснув зубы: – «Ну хорошо!», поднял воротник пиджака, снятого на гороховом поле с чучела, сунул руки в карманы и свернул в лес. Разыскивая густую листву, чтобы укрыться, он услышал жалобное стенание и насторожился. Стенание повторилось. Затем кто-то, сквозь долгий вздох, выговорил: – «Будь прокляты ямы!»

Грифит сделал несколько шагов по направлению выразительного замечания.

Прислонившись к пню, сидел молодой человек в недурном новом летнем пальто, с хорошенькими усиками и румяным лицом. Охватив руками колено, он раскачивался из стороны в сторону с таким мучительным выражением, что Грифит почувствовал необходимость назвать себя.

– Позвольте представиться, – сказал он угрюмо, как будто посылал к черту. – В тех кругах, где вы не бываете, я известен под именем Костлявой Ноги. Мой отец ничего не знает об этом, так как его звали Грифит. Чем вы недовольны в настоящую минуту жизни?

– Тем, что свихнул ногу, – ответил молодой человек, смотря на серое, голодное лицо Грифита и переводя взгляд на ближайший толстый сук. – Я не могу больше идти. Боль страшная. Нога горит.

– Вы бы встали, – заметил Грифит.

Пострадавший злобно и тяжело крикнул.

– Бросьте шутки, – сказал он. – Лучше бегите по дороге на ферму – это полчаса ходьбы – и скажите там Якову Герду, чтобы прислал лошадь.

– На ферму «Лесная лилия»? – кротко спросил Грифит. – Ну нет, я не так глуп. Месяц назад я поспорил там с одним человеком. Я старательно обхожу эту ферму. Она мне не нравится. Прощайте.

– Как, – вскричал пострадавший, – вы бросите меня здесь?

– Почему же нет? Какое мне дело до вашей ноги? Ну, скажите, какое? – Грифит пожал плечами, сплюнул и отошел. Постояв под дождем, он вернулся, сморщась от раздражения. – Вот вы и пропадете тут, – сказал он грустным голосом, – и помрете. Прилетят птички, которые называются вороны. Они вас скушают. Кончено. Прощайте радости жизни!

Взгляд разъяренного кролика был ему ответом. – С людьми вашего сорта... – начал молодой человек, но Грифит перебил.

– Черт бы вас побрал! – сурово сказал он, схватив жертву под мышки и ставя на одной ноге против себя. – Прислонитесь пока к стволу. Я посмотрю. Вес легкий. Я вас снесу, но не на ферму – долой собак! – а где-нибудь поблизости. Там вы можете проползти на брюхе, если хотите.

– Удивительно, – пробормотал молодой человек, – зачем вы ругаетесь?

– Потому что вы осел. Почему вы не свернули себе шею? По крайней мере, мне не пришлось бы возиться с таким трупом, как вы. Ну, гоп, кошечка! С каким удовольствием я бросил бы в озеро ваше хлипкое туловище.

Говоря это, он с ловкостью и бережностью обезьяны, утаскивающей детеныша, взвалил жертву на плечи, дав ей обхватить шею руками, а свои руки пропустил под колени пострадавшего и встряхнул, как мешок. Взвизгнув от боли, молодой человек страдальчески рассмеялся. Его взгляд, полный ненависти, был обращен на грязный затылок своего рикши.

– Вы оригинал, но, как вижу, очень сильны, – проговорил он. – Я не забуду вашей доброты и заплачу вам.

– Заплатите вашей матери за входной билет в эту юдоль, – сказал Грифит, шагая медленно, но довольно свободно, по размытой дождем дороге. – Не нажимайте мне на кадык, паркетный шаркун, или я низвергну вас в лужу. Держитесь за ключицы. Так с высоты моей спины вы може-

те обозревать окрестность и делать критические замечания на счет моей манеры говорить с вами. Моя манера правильная. Я сразу узнаю человека. Как я увидел вашу лупетку, так стало мне непреодолимо тошно. Разве вы мужчина? Морковка, каротель, – есть такая сладенькая и пресная. Другой бы за десятую часть того, чем я вас огрел, вступил бы в немедленный и решительный бой, а вы только покрываете. Впрочем, это я так. Сегодня у меня дурное настроение.

Его ровный, угрюмый, дребезжащий голос, а также ощущение могучих мускулов, напряженных под коленями и руками жертвы, привели молодого человека в оторопелое состояние. Он трясся на спине Грифита с тоской и злобной неловкостью в душе, нетерпеливо высматривая знакомые повороты дороги.

Грифит, который эти дни питался случайно и плохо, стал уставать. Когда ноша сообщила ему, что ферма уже близко, он присел, ссадив жертву на траву, – отдохнуть. Оба молчали.

Молодой человек, охая, ощупывал распухшую у лодыжки ногу.

– Зачем шли лесом? – угрюмо спросил Грифит.

– Для сокращения пути. – Молодой человек попытался фальшиво улыбнуться. – Я там знаю все тропочки от Синего Ручья до Лесной Лилии. И вот, представьте себе...

– Полезай на чердак! – крикнул Грифит, вставая. – Эк разболтался! Не дрыгай ногой, чертов волосатик, сиди, если несут. – И он снова побрел, придумывая, как бы больнее растравить печень себе и своему спутнику. – Решительно мне не везет, – рассуждал он вслух, – тащить вместо мешка хлеба или свинины первого попавшегося ротозея, которому я от души желаю лишиться обеих ног, – это надо быть таким дураком, как я.

Дорога стала снижаться. Под ее уклоном блеснуло озеро с застроенным несколькими домами берегом.

– Ну, – сказал Грифит, окончательно ссаживая молодого человека, – катись вниз, к своему Якову Герду. Возьми палку. Ею подпирайся. Да не эту, остолоп проклятый, вот эту бери, прямую.

Он сунул отломанный от изгороди конец жерди.

– Вы... потише, – сказал вывихнутый, взглядывая на крыши. – Здесь не лес.

– А мне что? – добродушно ответил Грифит. – У меня нет крыши, на которую ты так воинственно смотришь. Прощай, береги ножки. Как бы там ни было. Мой сын был вроде тебя, но я его обломал. Он умер. Убирайся!

Не обращая более внимания на человека, с которым провел около получаса, Грифит задумчиво побрел в лес, чтобы обогнуть ферму, где некогда водил знакомство с курами. Его что-то грызло. Скоро он понял, что эта грызня есть не что иное, как желание посидеть, в чистой, просторной комнате, за накрытым столом, в кругу... Но здесь мысли его приняли непозволительный оттенок, и он стал тихо свистать.

Гроза рассеялась: дождь капал с листьев, в то время как мокрая трава дымилась от солнца. Грифит провел несколько минут в состоянии философского столбняка, затем услышал собачий лай. Лай затих, немного погодя в кустах раздалось жаркое, жадное дыхание, и Грифит увидел красные языки собак, удержанных от немедленной с ним расправы ремнем, оттянутым железной рукой Якова Герда. Это был старик, напоминающий шкап, из верхней доски которого торчала вся заросшая бородою голова гиганта. Винтовку он держал дулом вперед.

Грифит встал.

– Я не ем куриного мяса, – сказал он. – Вы ошиблись и в тот раз и теперь. Я – вегетарианец.

– Если я еще раз увижу тебя в этих местах, – сказал Герд, бычьим движением наклоняя голову, – ты при мне выкопаешь себе могилу. Что сделал тебе племянник? За что ты так оскорбил его?

– Мы поссорились, – угрюмо ответил Грифит, не сводя взгляда с собак. – Спор вышел из-за вопроса о...

– Ступай прочь, – перебил Герд, трясая за плечо бродягу. – Помни мои слова. Я пощадил тебя ради воскресенья. Но Визг и Лай быстро находят свежую дичь.

И он стоял, смотря вслед бродяге, пока его спина не скрылась в кустах.

По закону

I

Наконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был, для моих шестнадцати лет, — дверью мира, началом кругосветного плавания, к которому я стремился, имея весьма смутные представления о морской жизни. Казалось мне, что уже один вид корабля кладет начало какому-то бесконечному приключению, серии романов и потрясающих событий, овеванных шумом волн. Вид черной матросской ленты повергал меня в трепет, в восторженную зависть к этим существам тропических стран (тропические страны для меня начинались тогда от зоологического магазина на Дерибасовской, где за стеклом сидели пестрые, как шуты, попугаи), все, встречаемые мной, моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде, — были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей. Меня пленяла фуражка без козырька с золотой надписью «Олег», «Саратов», «Мария», «Блеск», «Гранвиль»... голубые полосы тельника под распахнутым клином белой, как снег, голландки, красные и синие пояса с болтающимся финским ножом или кривым греческим кинжальчиком с мозаичной рукояткой, я присматривался, как к откровению, к неуклюжему низу расширенных длинных брюк, к загорелым, прищуренным лицам, к простым черным, лакированным табакеркам с картинкой на крышке, из которых эти, впущенные в морской рай, безумно счастливые герои вынимали листики прозрачной папиросной бумаги, скручивая ее с табаком так ловко и быстро, что я приходил в отчаяние. Никогда не быть мне настоящим морским волком! Я даже не знал, удастся ли поступить мне на пароход.

Довольно сказать вам, что я приехал в Одессу из Вятки. Контраст был громаден! Я проводил дни на улицах, рассматривая витрины или бродя в порту, где, на каждом шагу, открывал Америку. Здесь бился пульс мира. Горы угля, рев гудков и сирен, заставляющий плакать мое сердце зовом в Америку и Китай, Австралию и Японию, — по океанам, по проливам, вокруг мыса Доброй Надежды! Вот когда география совершила злое дело. Я рылся в материках, как в щепках, но даже простой угольный пароход отвергал мои предложения, не говоря уже о гигантах Добровольного флота или изящных великанах Русского общества. Было лето, стояла удушливая жара, но, в пыли и зное, обливаясь потом, выхаживал я каждый день молы, останавливаясь перед вновь прибывшими пароходами и, после колебания, взбирался на палубу по трапу, сотрясаемому шагами грузчиков. Обычно у трюма, извергающего груз под грохот лебедки, под отчаянный крик турка: «Вира!» или «Майна!», торчала фигура старшего помощника с накладными в руках, и он, выслушав мой вопрос: «Нет ли вакансии», — рассеянно отвечал: — «Нет». Иногда матросы осыпали меня насмешками, и, должно быть, действительно казался я смешон с моей претензией быть матросом корабля дальнего плавания, я, шестнадцатилетний, безусый, тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня иллюзию «мексиканской панамы»), ученической серой куртке, подпоясанный ремнем с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах.

Запас иллюзий и комических представлений был у меня вообще значителен. Так, например, до приезда к морю я серьезно думал, что на мачту лезут по ее стволу, как по призовому столбу, и страшился оказаться несостоятельным в этом упражнении. Рассчитывая, по крайней мере, через месяц, попасть в Индию или на Сандвичевы острова, я взял с собой ящичек с дешевыми красками, чтобы рисовать тропических птиц или цветы редких растений. Поступить на пароход казалось мне так же легко, как это происходит в романах. Поэтому крайне был озадачен я тем, что на меня никто не обращает внимания, и ученики мореходных классов, красивые юноши в несравненной морской форме, которых я встречал повсюду, казались мне рожденными не иначе, как русалками, — не может обыкновенная женщина родить такого счастливца.

II

Подъезжая к Одессе, я разговорился в вагоне с подозрительным человеком. На мой взгляд, он был опасный международный авантюрист, из тех, что хладнокровно душат старух, присваивая бриллианты и золото. Поэтому я отправился в соседнее купе, чтобы предупредить там пожилую еврейку с большим количеством багажа. С ней я тоже свел знакомство. Вообще в поезде все знали, что я еду «на море», и я у всех допытывался, как поступить на пароход. Я сказал ей, чтобы она остерегалась, так как рядом со мной сидит несомненный жулик. Она горячо благодарила меня и, кажется, поверила.

Все произошло оттого, что я никогда не видел таких людей, как этот самоуверенный, хлыщеватый господин с остроконечной бородкой, в золотом пенсне, щегольском клетчатом костюме, лиловых носках и желтых сандалиях. Он так разваливался, картавил, делал такие капризные широкие жесты, что я принял его за мошенника благодаря еще обилию брелоков и колец, так как читал, что червонные валеты унизируются драгоценностями. Между тем это был всего-навсего главный бухгалтер Одесской Мануфактуры Пташникова, человек безобидный и добрый. Узнав, что я еду с одним рублем, что о море и морской жизни имею не более представления, чем о жизни в пампасах, он дал мне письмо к бухгалтеру Карантинного Агентства Русского Общества с просьбой обратить на меня внимание. Но, до момента вручения письма, я был непоколебимо уверен, что письмо включает какую-то ловушку или страшную тайну, хранить которую меня обяжут под клятвой, угрожая револьвером. Однако именно благодаря этому письму второй бухгалтер устроил мне приют и полное матросское содержание, – правда, без жалованья, – в так называемой «береговой команде».

«Береговой командой» были матросы, кочегары и, другие мелкие служащие Общества, почему-либо неспособные временно находиться на корабле. Это был полулазарет-полубогадельня. Можно здесь было встретить также загулявшего и отставшего от рейса матроса или живущего в ожидании места какого-нибудь старого служащего. Всего жило человек двадцать, по койкам, как в казарме; днем, кто хотел, работал носильщиком в складах пристани, а ночью нес очередную вахту около пакгаузов Общества.

Отсюда-то и совершал я свои путешествия в порт, упиваясь музыкой рева и грома, свистков и криков, лязга вагонов на эстакаде и звона якорных цепей, – и голубым заревом свободного, за волнорезом, за маяком синего Черного моря. Я жил в полусне новых явлений. Тогда один случай, может быть незначительный в сложном обиходе человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей, – показал мне, что я никуда не ушел, что я – не в преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных людей.

III

В казарму привезли раненого. Это был молодой матрос, которого товарищ ударил ножом в спину. Поссорились они или, подвыпивши, не поделили чего-нибудь – этого я не помню. У меня только осталось впечатление, что правда на стороне раненого, и я помню, что удар был нанесен внезапно, из-за угла. Уже одно это направляло симпатии к пострадавшему. Он рассказывал о случае серьезно и кратко, не выражая обиды и гнева, как бы покоряясь печальному приключению. Рана была не опасна. Температура немного повысилась, но больной, хотя лежал, – ел с аппетитом и даже играл в «шестьдесят шесть».

Вечером раздался слух: «доктор приехал, говорить будет».

Доктор? Говорить? Я направился к койке раненого.

Доктор, пожилой человек, по-видимому, сам лично принимающий горячее участие во всей этой истории, сидел возле койки. Больной, лежа, смотрел в сторону и слушал.

Доктор, стараясь не быть назойливым, осторожно и мягко пытался внушить раненому сострадание к судьбе обидчика. Он послан им, пришел по его просьбе. У него жена, дети, сам он – военный матрос, откомандированный на частный пароход (это практиковалось). Он полон раскаяния. Его ожидают каторжные работы.

– Вы видите, – сказал доктор в заключение, – что от вас зависит, как поступить – «по закону» или «по человечеству». Если «по человечеству», то мы замнем дело. Если же «по закону», то

мы обязаны начать следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват.

Была полная тишина. Все мы, сидевшие, как бы не слушая, по своим койкам, но не проронившие ни одного слова, замерли в ожидании. Что скажет раненый? Какой приговор изречет он? Я ждал, верил, что он скажет: «по человечеству». На его месте следовало простить. Он выздоравливал. Он был лицом типичный моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало неразделимо. Его руки до плеч были татуированы фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и ящерицами. От него несло океаном, родиной больших душ. И он был так симпатично мужествен, как умный атлет...

Раненый помолчал. Видимо, он боролся с желанием простить и с каким-то ядовитым воспоминанием. Он вздохнул, поморщился, взглянул доктору в глаза и нехотя, сдавленно произнес:

– Пусть... уж... по закону.

Доктор, тоже помолчав, встал.

– Значит, «по закону»? – повторил он.

– По закону. Как сказал, – кивнул матрос и закрыл глаза.

Я был так взволнован, что не вытерпел и ушел на двор. Мне казалось, что у меня что-то отняли.

С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с ее внутренне, настоящих сторон, впервые почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса – в самих нас.

Веселый попутчик

Знаменитый актер Дуглас почти никому не рассказывал свою странную историю, только я да наш общий друг Эмерсон знали ее.

Теперь, когда Дуглас умер, простив всех, а в глубине души простив, быть может, и Эмерсона (я улыбаюсь, говоря так, оговариваю это с улыбкой потому, что сам не знаю себя, как и все мы), – можно безболезненно для него и безобидно для прочих очертить тайну одного дня на Сан-Риольской дороге, между Вардом и Кэзом, в изложении, хотя литературном, но вполне верном действительности.

Около четырех часов дня у большого камня, пересекающего своею тенью дорогу, присел человек лет тридцати пяти.

Босой, загорелый, небритый, он был одет или, вернее, прикрыт ужаснейшими лохмотьями, куча которых, брошенная отдельно, заставила бы бережно обойти их даже кошку.

Голову оборванца прикрывал пестрый платок, завязанный узлом на затылке. У него не было рубашки, и голая грудь выказывалась почти вся из драного на локтях кителя, с короткими рукавами, без пуговиц, в узорах заплат.

Нижние края грязных парусиновых брюк были истрепаны в бахрому; холст просвечивал на коленях, а щели выдранных карманов блестели полоской тела.

Однако его сумрачное лицо с мягким очертанием рта и спокойными голубыми глазами не отражало удрученности, озлобления или приниженности. Поставив толстую палку между колен и беспечно оглядываясь, человек насвистывал арию из «Кармен» с искусством, выказывающим хороший слух, а также любовь к музыке.

Его взгляд упал на придорожную яму, полную дождевой воды. Насмешливо вздохнув, человек встал, подошел к этому естественному зеркалу, предку всех венецианских и парижских зеркал, и склонился над своим отражением.

Оно было не лучше, не хуже оригинала, имея, впрочем, то преимущество, что распадалось и исчезало, если болтануть воду рукой, тогда как оригинал, даже при стремительном урагане, оставался в мире вещей точно таким, как и в безмятежное утро.

Бродяга рассматривал себя с странной улыбкой удовольствия и комического презрения. Он сидел боком к яме, наклонясь и упираясь руками в траву.

Из этого сосредоточия его внезапно вывел насмешливый, степенно выговаривающий слово за словом голос неизвестного человека, раздавшийся так близко от нового Нарцисса, что тот, подняв голову, вспыхнул подобно молодой девушке, кокетство которой находит преувеличен-

ную оценку.

На противоположном краю ямы, скрестив по-турецки ноги и сложив на груди руки, восседал почти что его двойник, с той разницей, что его лохмотья были иного цвета, платок заменяла рыжая, как огонь, шляпа, а тонкое, молодое лицо с правильными чертами выглядело моложе лет на десять. Быстрый и резкий взгляд черных глаз и упрямое выражение рта придавали его лицу впечатление опыта и душевной гибкости более старшего возраста.

– Сорокалетняя наядя без юбки перед визитом Тритона, – внушительно сказал он, смеясь глазами, – или куртизанка в спальне соперницы. Не утопитесь в своем трюмо, милейший, и не делайте таких соблазнительных глазок лягушкам, не то список ваших побед в следующей стране начнется с «ква-ква»!

– Что это значит?! – сурово воскликнул первый, одолев смущение. – Прекратите свой монолог и оставьте меня в покое.

– Как?! – сказал, издеваясь, шутник. – Как? Упустить такой случай? Покорно подать ваш эмалированный гребешок и, почтительно склоня голову, с восхищением следить за блистающими под пудрой розами и лилиями вашего очаровательного лица?! Жестокий и неопишимо чванный граф! Для этого ли...

– Меня зовут Эмерсон, – коротко перебил этот ядовитый дифирамб первый бродяга, вскакивая с бледным лицом, – и ты немедленно увидишь собственную красоту.

Насмешник не успел отступить, как суковатая палка с силой пропела возле самого его уха, едва не разбив лицо, и воткнулась в землю далеко позади. К великому удивлению Эмерсона, оборвыш, вместо того, чтобы швырнуть в него своей палкой, спокойно перешел лужу и протянул руку, ничем не выказывая трусости или хитрости.

– Я не думал, что это так серьезно для вас, – просто сказал он, в то время как Эмерсон неохотно и хмуро дотронулся до его руки, – что делать, надо как-нибудь веселить жизнь, если она сама, забавляясь, хлопает нас по щекам каждый день, да еще при этом так брезгливо отворачивается. Однако бросим учтивости. Куда идешь, милый?

По лицу старшего прошла едва уловимая улыбка. Он ответил не сразу и попытался уклониться от прямого ответа.

– Не все ли равно? – сказал он. – Люди, подобные нам, часто идут одной дорогой, но к разной цели. Мой путь недолог.

– Не гордись, братец, тем, что ты на своем веку выпил из придорожных канав больше воды и больше накрал чужих кур, чем я. Уверяю тебя, с некоторых пор я достиг немалого искусства в этом интересном занятии, так что смогу показать тебе коллекцию петушьих гребней весом в кило.

– Надеюсь, однако, что в эту коллекцию не попадут петухи с моей фермы, – сказал Эмерсон, посмеиваясь, – в противном случае ты рискуешь потерять свои волосы.

– Ну, вот, наконец-то ты заговорил человеческим языком, – заметил бродяга, шагая рядом, – верно, ты идешь так скоро, как будто тебя и вправду ждет жена с воскресным яблочным пирогом. Обещаю тебе, дружище, если у тебя когда-нибудь будет ферма, выкрасть тебе на развод птичника петушка с курочкою и мешок овса, чтобы кормить их. Как я вижу, нам по дороге. Ну, так знай, что меня зовут Билль Железный Крючок, и если мы когда-нибудь еще встретимся, можешь смело подать мне огня для трубки, не опасаясь репрессий.

Эмерсон внимательно посмотрел на своего странного спутника. Следы голода и бессонных ночей в лице Билля наполнили его некоторым уважением к этому человеку, способному, казалось, шутить даже на смертном одре. К тому же его взгляд, несмотря на беспокойство и живость, отличался необъяснимым внутренним равновесием и лукавой, подкупающей мягкостью.

– Ты голоден? – быстро спросил он.

– Да, но в высшем смысле, – сказал Железный Крючок. – В вульгарном смысле я сожрал бы быка, а в высшем удовлетворюсь виноградкой и глотком воды Сирано де-Бержерака.

– В таком случае, – сказал Эмерсон, – выбирай либо низший, либо высший смысл, – а может быть, есть середина между тем и другим, так как ты сегодня обедаешь у меня, где можешь в придачу получить пару сносных брюк и рубашку.

Совершенная уверенность и невозмутимость тона, каким Эмерсон высказал эти радушные вещи, произвели быстрое и ошеломительное действие. Билль Железный Крючок внезапно согнулся, как будто его ударили палкой по животу, затем сел и стал мять в ладонях лицо, удерживая такой страшный, душепожигающий хохот, какой иногда сражает нас до боли в боках, до истерических взвизгиваний и может повести к смерти, если развеселившийся таким образом человек имел в это время во рту что-нибудь рассыпчатое или колючее, скажем, сухарь или непрожеванную рыбу с костями.

Пока он хохотал, Эмерсон смотрел на него с неловким выражением досады и легкого раздражения; подметив это, Билль закатился еще неистовее.

– Как... ты... сказал?... – выговорил он, наконец, сквозь вопли, стоны и вздохи, сморкаясь и отдуваясь, подобно купающемуся. – Как... это – а... э... о-ох! Как это ты так ловко завинтил?! «Обед», – говоришь, – ха-ха-ха! и «штаны» – говоришь?! О-о! Я умру без погребения, канашка ты этакий! Может быть, брюки из шелкового трико? И жилет к ним – белое пике с серебряными цветочками?! Знай, что даже теперь я не променяю своих штанов на твои, а так как ты тот самый счастливый человек, у которого нет рубашки, то и не пытайся украсть ее, чтобы подарить мне. Нет, не говори. Не говори, что ты обиделся за мои слова около лужи, – но как ты великолепно разыграл это? Подними меня, я обессилел от хохота!

– Печально, – сказал старший бродяга, – если бы ты поменьше смеялся или, по крайней мере, потрудился хорошенько меня расспросить, в чем дело, я, может быть, оставил бы тебя восхищаться моим мнимым умением дурачить прохожих на большой дороге; однако я не люблю, если мне навязывают несвойственную роль. Вставай, веселый человек.

Билль встал. В лице и манерах его совершилась неуловимая перемена, овладеть которой в подробностях Эмерсон не мог, но он почувствовал ее так же ясно, как хорошую погоду, смотря на просветлевшее после дождя небо. Взгляд Билля стал зорок и тверд, выражение лица блеснуло худо скрываемым превосходством, и легкая улыбка презрения, столь тонкого, что почувствовать его равнялось бы унижению, внезапно остановила речь Эмерсона. Показалось ему, что яростно хохотал, хватаясь за живот, кто-то другой – таким непохожим на прежнее обернулось перед ним странное лицо Билля.

Но он ничего не сказал об этом и, помолчав, медленно зашагал, переваривая неожиданное впечатление. Билль шел рядом, иногда взглядывая на своего спутника тем свободным движением, какое свойственно прямому и решительному характеру.

Эмерсон принадлежал к категории людей, которые, раз начав развивать внутренне какое-либо положение, хотя бы и оборванное, не могут уже удержаться, чтобы не привести это положение к развитию и окончанию в действительности. Поэтому, нахмурясь от досады на самого себя за то, что поддался мелкому чувству смешной и пустячной обиды, он все-таки досказал, что хотел.

– Все произошло из-за испорченного затвора. Я должен был поехать проверить и пересчитать плоты, прибывшие на лесопильный завод – мой завод, – крепко подчеркнул он, подозрительно всматриваясь во внимательное лицо Билля и начиная сердиться в ожидании выходки с его стороны. – Это в тридцати милях отсюда. Дело было вчера вечером. Противно обыкновению, я взял с собой штуцер, а не револьвер, как делал раньше. Мы не всегда можем дать себе отчет в некоторых движениях. Вот этот-то штуцер и сыграл со мной партию наверняка. В сумерках на лесной тропинке ускакать было немыслимо. Двое уцепились за гриву и узду, а трое столкнули с седла. Одеты они были... гм... немного получше вашего.

– Продолжайте, – мягко, но твердо перебил Билль.

– Продолжать – значит кончить, – заметил Эмерсон, с неудовольствием чувствуя на себе испытующий взгляд своего спутника. Все время рассказа его смущал также вид его босых ног, смешно торчащих из коротких штанов, и корбила нелепость положения, ярко обозначенного в безжалостном свете солнца видом настоящего придорожного дикаря-бродяги. – Я оканчиваю. От сырости или от плохой чистки, но затвор штуцера не поддавался моим усилиям, и он был отнят у меня вместе с лошастью и всем, что было на мне. Вдобавок я получил тумачи и благодарю бога, что жив. Ну-с, я шел обратно всю ночь голый, дрожа от злобы и холода. Это отрепье мне дал же-

лезнодорожный стрелочник, – я подошел к его окну в ожерелье из веников, которые связал сам. Стоило послушать наш разговор и мои объяснения... К тому же местность эта пустынна. Но путь был невелик, считая от стрелочника. В полуmile отсюда мой дом.

– Но это ужасно! – сказал Билль совершенно новым, спокойным и участливым тоном, так же не шедшим к его внешности и положению, как трудно вязался неожиданный рассказ Эмерсона с отсутствием у него рубашки. – Я не могу не верить вам, я верю, – добавил он серьезно и быстро. – Но, правда, говорят – жизнь страшнее романов. Простите мистификацию, естественно подсказанную мне моей ужасной одеждой: я – Эдмонд Роберт Дуглас, член и секретарь председателя Географического Общества в Сан-Риоле и временный бродяга на полуострове; смотрите, как хотите, на мое поведение, но пари, которое я держал с одной дамой, по существу своему, не позволяет мне проиграть его. Я знаю, что вы удивлены, но, клянусь вам, не менее был удивлен и я, когда вы пригласили меня обедать.

– Вы лжете, – сказал, оторопев, Эмерсон.

Ему пришлось выбрать себя за поспешность, с какой бросил он оскорбление.

Дуглас, вздрогнув, остановился. Его лицо вспыхнуло, затем побледнело: судорога мучительной борьбы меж гневом и чрезвычайным усилием сдерживать себя тенью прошла в его чертах с таким напряжением и достоинством, что Эмерсон только пожал плечами.

– Вы сказали странные вещи, – заметил он тоном извинения. – Да, вы поразили меня.

– Я мог бы сказать то же относительно вас. Но, помимо слов ваших, было неизъяснимое душевное движение между нами, заставившее меня поверить. Я надеюсь, что точно такое же движение возникнет у вас, если я расскажу о себе. Правда и то, что я счел вас обыкновенным бродягой, не сразу поверив; поэтому вы правы, не веря без доказательств.

– Я верю, – сказал Эмерсон просто, – вы доказали мою вину именно тем «внутренним движением», какое только что тронуло меня. Но как необыкновенно, как странно все это! То есть, я хочу сказать, что ваше и мое положение, взятые отдельно, не есть еще редчайший курьез, – редкость заключается в нашей встрече.

– Не меньшая, чем если ухитриться поставить иглу острием на острие другой иглы, – сказал, улыбаясь, Дуглас. – Но со мной было так. На рауте у Эпстона, известного, вероятно, и вам, по слухам, миллионера, рауте в честь знаменитого путешественника Виталия Кроугли, я стал утверждать, что человек, кто бы он ни был, может без всякого вреда для своего характера и основных склонностей стать в любое положение на любой срок, возвратясь тем же, чем был. Кроугли указывал неизбежное, по его словам, давление среды, легкий, может быть, едва ощутимый осадок, муть покинутых и не свойственных данному субъекту условий. Спор произошел в присутствии – имя не играет роли – одной женщины; когда мой оппонент заявил, что стоит мне провести месяц на большой дороге, и я начну вести себя с некоторой оригинальностью, – я предложил это пари. Правда, Кроугли имел в виду мою крайнюю впечатлительность; он утверждал, что я, незаметно для самого себя, выкажу в обхождении и складе речи такие мелочи позаимствованного в новой среде багажа, какие уловятся лишь посторонними. Но мне надо было обратить на себя внимание, заставить думать обо мне одно твердое и холодное сердце. Короче говоря, я вызвался провести шесть месяцев без денег, в рубище, исходив полуостров от Кэза до Минигама и от Зурбагана до Сан-Риоля, питаюсь, чем случится, с тем, что, возвратясь, немедленно явлюсь в общество заранее извещенных лиц и предоставлю их компетенции судить, оставила ли бродячая жизнь на мне и во мне хотя бы малейший след. Но я переимчив и наблюдателен, поэтому-то и раздражил вас, сознаюсь, утрированным изображением веселого Билля Железный Крючок.

– Но все это крайне интересно! – сказал Эмерсон, настолько увлеченный рассказом Дугласа, что забыл о своем странном костюме и вспомнил о нем, лишь когда за поворотом дороги показалась затейливая голубая крыша большой белой усадьбы. – Теперь мы дома, прошу вас, Дуглас, быть у меня гостем.

Показалось ли ему, что его спутник издал неопределенный быстрый звук, или тот действительно произвел нечто вроде короткого восклицания, смешанного с глухим кашлем, – только Эмерсон вопросительно взглянул на него. Но лицо Дугласа было невозмутимо спокойно. Он, казалось, с удовольствием рассматривает плантации, сад, городок служб и белую, вымощенную

щербнем дорожку, поворачивающую от шоссе, через зеленые изгороди, к веранде дома.

Разговор, который вели теперь оба путника, был о редких случайностях. Вдруг Дуглас остановился, дотронувшись до плеча Эмерсона несколько фамильярным движением.

– Что вы? – спросил Эмерсон.

– Слушайте, – сказал, посмеиваясь, Дуглас, – слоняясь, я воспитал в себе беса, который так и подмывает меня перевернуть банку с орехами. Будь вы, действительно, бродягой, прикидывающимся, чтобы поморочить приятеля, собственником большой фермы, – знаете, как я заговорил бы тогда?

– А как?

– Ну... это – искусство. Например: послушай, небритая щетина, не забудь, если тебе удастся пробраться на кухню, замолвить словечко и за меня. Скажи что-нибудь сердцещипательное хозяевам – ну, хотя бы, что ты не можешь есть с аппетитом, если я не сижу рядом с тобой.

Эмерсон добродушно рассмеялся.

– Да, вы овладели этой манерой, – сказал он, – и если бы я не боялся обидеть вас, то попросил бы вначале не открывать при жене, кто вы, ради простой шутки, конечно.

– Я еще сказал бы вам, – задумчиво и хмуро продолжал Дуглас, – не иди так прямо к подъезду, как свинья прет на чужое корыто, иначе тебя отдубасят так, что вместо подачи придется мне тащить сломанные кости твои, старый плут.

Эмерсон без улыбки посмотрел на Дугласа, находя, что шутка переходит предел.

– Так, так, – рассеянно и нетерпеливо сказал он. Они шли мимо веранды.

– Анни, – сказал Эмерсон, заметив белую фигуру с книгой в руках среди узора дикого винограда. – Анни, не испугайся. Это я. Скажу кратко – меня раздели, но я цел и невредим.

Молодая женщина, вся вспыхнув от неожиданного волнения, вызванного ужасным видом мужа, быстро сбежала по лестнице, утирая слезы и удерживая нервный смех; с быстротой и живостью ощупала она Эмерсона, поворачивая его из стороны в сторону, отступая, всплескивая руками и трясая головой, как будто весь наряд пострадавшего сыпался на ее темные волосы.

– Дорогой мой! – сказала она, – но знаешь, ты бесподобен! Правда ли, что цел? Но покажись еще; повернись так. И так. Прости меня, идем, я одену тебя, бродяжка! А это...

Поймав ее взгляд, Эмерсон обернулся, сказав:

– Анни, случайная встреча; и мы уже познакомились. Но не пугайся вторично: Эдмонд Роберт Ду...

Он остановился с тревогой, пораженный до чрезвычайности. Дуглас стоял, прислонясь к молодому каштану и вытянув вперед правую руку, как будто отталкивал прочь Эмерсона или предупреждал его движение. Но Эмерсон был ошеломлен в такой степени, что мог только сказать:

– Вы... что случилось?..

Дуглас был крайне бледен; два раза порывался он заговорить, но не мог. Из его глаз скатились две крупные слезы, и он тихо снял их рукой, видимо, стыдясь этой слабости.

– Что? – сказал он, наконец, с мучительным глухим усилием. – Ничего больше, как то, что вы обманули меня. Я думал... о, черт! – выругался он, взглянув на пристально обнюхивающего его водолаза. – Я думал, что вы такой же Эмерсон, как я – Роберт Дуглас. Меня встряхнуло, но это, знаете, оттого, что я не предвидел финала. Слушая вас, я даже завидовал: ведь вы ни разу не улыбнулись, когда несли эту... когда рассказывали о нападении и стрелочнике. Да, вы – Эмерсон, и это – ваш дом, и это – ваша жена. Но я – я Билль, выгнанный за скандалы актер, мот и игрок, и ничего более. Я думал, что оба мы «ловим блох». В нашей компании трепать языком, как трепал я, называется «ловить блох». Иногда это скучно, иногда занятно, смотря с кем, и я думал, что наше состязание... Простите мои больные нервы. Это оттого, что и я ранее представлял себе, как вхожу в дом, где... где меня не облают. Прощайте. Кушайте на здоровье. Я отказываюсь от приглашения.

Эти беспорядочные слова бродяги глубоко тронули Эмерсона. Он обладал верным и тонким инстинктом к людям, поэтому первым его движением было взять Билля за руку и потянуть на веранду.

Билль, отняв руку, покачал головой:

– Я только больше расстроюсь.

– Так войди же и живи с нами! – вскричал Эмерсон. – И пусть меня разорвут на части мои собственные собаки, если я не сделаю из тебя человека!

Так Билль Железный Крючок поселился у Эмерсона, а впоследствии развил свое необыкновенное сценическое дарование и грянул им на больших сценах. Финальная виньетка к этому рассказу изображает крючок среди рассыпанных на столе карт; стол стоит на большой дороге, а над всем этим блестит тонкий луч восходящего солнца.

Обезьяна

На третьем действии «Золотой цепи», поставленной после продолжительного перерыва в Новом Сан-Риольском театре, сидевший в ложе второго яруса Юлий Гангард, натуралист и путешественник, был несколько озадачен одной сценой, в отношении которой долго старался что-то припомнить, но безуспешно. Это был как раз тот момент, когда, по пьесе, смертельно раненый Ганувер падает и, лежа, протягивает руки к Дигэ, принимая ее за Молли, в то время как круг озверевших гостей, мерно ударяя в ладоши, вопит песню. Не песня, не каждое движение актеров в отдельности, но совершенно неуловимое стечение впечатлений, подобно легкому движению воздуха, вынесло Гангарда из театрального настроения в область неверных воспоминаний, – тронуло и прошло, оставив неутоленный след.

Некоторое время он был задумчив, рассеянно говорил со своим приятелем, почти не слыша его замечаний, и, когда занавес спустился, вышел один в буфет, где, стоя у прилавка, выпил коктейль.

Он думал, что странное веяние, коснувшееся его во время описанной сцены третьего действия, прошло, но, рассмотрев толпу, заметил, как сквозь перебегающие обычные мысли возвращается, приближаясь и ускользая, настойчивое воспоминание, – с закрытым смыслом, в спутанных очертаниях сна. Оно было как твердый предмет, попавший в ботинок, – ощутительно и неизвестно по существу. Больше того, – оно вывело его из равновесия, требуя разрешения, и он стал самым положительным образом искать в памяти: что такое почти припомнилось ему во время игры.

В это время через шумную тесноту фойе пробирался, рассыпая улыбки, худощавый нервный человек с живым, напоминающим мартышку лицом, и, рассеянно взглянув на него, Гангард разом связал потуги воспоминаний в одно отчетливое и загадочное зрелище, которому был свидетель год назад, – очень далеко отсюда. Вновь встал перед ним лес, из леса вышли звери с мохнатыми, круглыми, человеческими глазами, и повторилось острое изумление, усиленное замечательным совпадением поз, – здесь, на сцене, и в лесу – там.

Продолжая думать об этом, он разговаривал теперь с одним из своих поклонников, молодым человеком, не умеющим отличить пули от пороха, но несмотря на это мечтающим или, вернее, болтающим о далеких путешествиях языком томного петушка, зачислившего себя б орлы.

– Скажите-ка мне, Перкантри, – прервал его трепет Гангард, – как театралу плохому и случайному, – кто это играл Ганувера?

– О! Неподражаемый Бутс, конечно, – сказал Перкантри, изящно шевеля талией, – кстати, вы знаете его историю? Ну, конечно, знаете, и в строгих, каменных чертах вашего лица я уже уловил симпатию к Бутсу. Как же: он был в Африке, хотя и случайно. Он ехал в Преторию с труппой, ха-ха! – вы хотите сказать, Гагенбека? О, нет, сам великий Давид Патарон, антрепренер, вез его в первом классе салона; кормил конфетами и так мягко вспоминал о контракте, как будто горел желанием вписывать туда все новые и новые суммы. Да: «Сингапур» толкнулся о мину, после чего на шлюпках, при хорошей погоде и попутном ветре, вся братия высадилась где-то севернее или южнее Занзибара, – сказать не могу. Да, их потрепало, конечно, и там были экзотика, и таинственный лес, и хищные звери, и все. Ну, естественно, реклама чудовищная. Теперь Бутс здорово раздул щеки.

Сославшись на телефон, Гангард оставил Перкантри и пошел за кулисы. Он ничего не по-

нимал, догадок у него никаких не было, но какая-то нить уже связывала актера и путешественника и, еще отчетливее, с большими, тревожно обращенными в прошлое глазами, увидел Гангард сцену в лесу.

Бутс, кончив роль, переоделся; уже брал он цилиндр, когда явился Гангард.

– Я не задержу вас, – сказал гость после обмена приветствиями, с наполовину искренней лестью. – Привычка говорить через переводчика научила меня экономно составлять фразы, и потому я кратко расскажу о странных наблюдениях моих на восточном берегу Африки. Сначала коснемся вашей игры, вернее, – той сцены, которая повергла меня в недоумение. Я говорю о моменте падения Ганувера, когда он, стараясь поймать подол платья Дигэ, принимает ее за свою невесту, а гости, стоя вокруг умирающего, хлопают и поют.

– О! Я не был в ударе... – начал Бутс, но Гангард остановил его жестом.

– Ваша игра прекрасна, – сказал он. – Теперь слушайте. В лесу, в лунную ночь, я увидел на тесной, ярко озаренной поляне, как из чащи, спускаясь по лианам, вышло стадо обезьян-сопунов, довольно редкая разновидность человекоподобных.

Бутс стал вдруг крайне внимателен и, описав сигарой что-то подтверждающий полукруг, согласно кивнул.

– Итак, – продолжал Гангард, пристально смотря в напряженные глаза Бутса, – эти обезьяны, отчасти напоминающие кокетливо одетых в меха шоферов, особенно, если принять во внимание автомобильные очки и движения быстрые, как движения пальцев вяжущей чулок женщины, спустились с деревьев и наполнили поляну по странному сигналу своего предводителя. Был это фыркающий, тоскливый и глубокий, как вздох, крик, после чего на поляне произошло смятение, подобное фальшивой тревоге пожарного обоза, когда он выезжает на упражнения. Обезьяны толкались, бесцельно переходя с места на место. Часть их еще скакала по веткам, но скоро все сплотилось в одну сумасшедше-быструю кучу, и нельзя было понять смысл этого сборища. Наконец, крики, тревожные, грустные крики знающих что-то свое зверей перешли в хор, в режущий ухо вопль, иногда просекаемый густым ворчанием самцов.

Но вот – все они расступились. В середине круга стало два зверя; согнувшись, руками касаясь земли, они гримасничали, блестя круглыми, в меховых очках, глазами, и один зверь, раскачиваясь, упал. Дикий крик издал он, пронзительный, резкий вопль, какой издает обычно антропoid, если его подстрелят. Он упал, стараясь схватить за хвост другого, который, увертываясь, вытягивал руки и потрясал ими, выказывая всем видом крайнее иступление.

Я, конечно, не помню мелочей общего движения этих шоколадных фигур в лунной пустоте чащи. Прошло несколько времени, когда, казалось, видя всеобщее замешательство, они перейдут в драку, но упавшая обезьяна оставалась лежать по-прежнему среди некоторого свободного пространства, и я не видел ничему объяснения. Тогда, – обратите на это внимание, – круг обезьян, утихнув, привстал, окружив лежащего в середине теснее, и некоторые из них, медленно покачивая головами, стали соединять и разъединять руки, правда, не хлопая, но совершенно так, как в глубокой рассеянности поступает человек, – трогая рукой руку, не зная, то ли потерять их, то ли, сжав, на чем-то сосредоточиться. Это движение, этот однообразный жест, полный грустной механичности, вскоре стал общим, после чего на высоте дерева раздался короткий крик, и, соскочив оттуда в гущу действия, вновь явившаяся обезьяна стала поднимать лежащую.

Вот, собственно, все. Когда Молли, – ваша блестящая, высоко даровитая артистка Эмилия Аренс, прибегает к раненому Ганувру и поднимает его, в то же время разгоняя хищную толпу самозванных гостей, я вижу, что ее драматический момент в точности совпадает, – конечно, в грубых чертах, – с поведением той обезьяны, которая спустилась с дерева; она зарычала. Круг обезьян отступил и рассеялся. Все смешалось. Лежавший зверь тоже вскочил, и произошло обычное, бессмысленное для нас скаканье взад-вперед, после чего целый дождь пружинных прыжков разнес все сборище по окружающим поляну деревьям, и, еще несколько повозившись на высоте, сопуны скрылись, а я вернулся в палатку, чувствуя, что подсмотрел нечто, едва ли встречаемое натуралистами.

Крайне заинтересованный, я провел на этом месте еще три ночи подряд, и каждый раз, с несколькими вариациями, сопуны проделывали это же непонятное действие. На четвертую ночь

я подстрелил одного из них, – именно того, который падал посередине круга, желая узнать, не является ли какое-нибудь органическое страдание зверя причиной этих ночных загадочных сбоях. И так,

– но... хочу ли я что-нибудь сказать этим? Нет. Я только рассказал факт.

– Где это происходило? – спросил Бутс, едва Гангард смолк.

– На морском берегу, между Кордон Брюн и устьем небольшой речки, называемой туземцами Ис-Ис. На картах она отмечена не везде.

– Мы выехали из Кордон Брюн, – сказал потрясенный актер, – выехали на нефтяном пароходе, – но скажите еще одно, не начинается ли длинный овраг от песчаной полосы – там, где вход на эту поляну?

– Да, и я пересек овраг в отдаленном его конце.

– Отдаленном от моря?

– От моря.

– Пройдя большие серые камни?

– Их пять штук, они расположены прямой линией под углом к лесу.

– Слушайте, – сказал, помолчав и усмехаясь, Бутс, – на этой поляне я и мои товарищи, между прочим, небезызвестная в Европе Мери Кортес, разыграли, от нечего делать, для себя и для прочей спасшейся публики третье действие «Золотой цепи». И стая обезьян собралась смотреть на нас. О! Я все хорошо помню. Их так густо нанесло вокруг по вершинам, что кое-кто хотел выстрелить, чтобы их разогнать, так как они иногда мешали своим сопением и чрезвычайным волнением, но Мери Кортес взяла их под свою защиту, объявив, что им выданы контрамарки. Да, мы весело провели несколько дней, – по-африкански весело. Теперь что же? Как вы объясняете все?

Гангард долго молчал.

– Я, кажется, напрасно застрелил сопуна, – сказал он с внезапной неподдельной грустью, что-то обдумывая. – Да, конечно, так, дорогой Бутс. Эти впечатлительные нервные существа были, надо думать, поражены действием. Они видели притворное горе, и притворную смерть, и притворную любовь во всей недоступной им человеческой сложности и, ничего не поняв, все же что-то оставили для себя. Им прозвучал сильный призыв из навсегда закрытого мира. Увы! бедняги могли только перенять внешность и тщательно повторять ее. У вас никогда не было более потрясенных зрителей. Мы встретимся поговорить об этом подробно, а пока что я так расстроился, что поеду домой, и, не сердитесь, – пришлю вам чучело моего сопуна. Это ваш меньшой брат – маленький Бутс.

Безногий

Когда я остановился...

Как правило, я не люблю зеркал. Они возбуждают представление отчетливой призрачности происходящего за спиной, впечатление застывшей и вставшей стеной воды, некоей оцепеневшей глубины, не имеющей конца и вещей в далих своих.

В особенности жутко рассматривать отражения уличного зеркала, с его неточностью вертикала, где стены и улицы клонятся, привстав, на тебя, или – прочь, вниз, подобно палубе в качку, пока не отведешь глаз.

Мы обычно рассматриваем себя изнутри, не отделяя наружности, какой смутно помним ее, от мыслей и чувств, поэтому большей частью бываем настроены несколько мстительно и насто-роже, когда видим эту живую форму – свое лицо – отделенной от нас в беззащитное состояние.

Я не отвернулся бы к зеркалу, не обратился бы к его немому подсказу, если б не замечание вполголоса:

– Смотри, калека, дай ему что-нибудь.

Это сказала женщина. Они сострадательнее мужчин, может быть, потому, что у них живее воображение чувств, отличное от воображения зрительного.

Я оглянулся и увидел человека в рваном пальто, сидящего на бедрах в тележке-ящике. У

него было опухшее, безжизненного цвета молодое лицо; жизнь этого рассеченного пополам узника ушла в глаза, блестяще и напряженно бегающие по лицам идущей над ним толпы. Вся насильственно остановленная подвижность тела выражалась этим шагающим на привязи взглядом. Его плечи были сведены вперед, руки упирались в края ящика, палки лежали рядом.

Иногда, приподнимая черный картуз и снова туго натягивая его, он вносил этим движением в мои впечатления черту уродливого благополучия; тогда, с некоторым усилием, я мог представить, что этот человек стоит наполовину в земле, – как рабочий в водосточной канаве, – и что у него есть ноги.

Меня удерживало около него желание превзойти самого себя, постичь его ощущения, его вечное чувство укороченности, неправильного сердцебиения, его особый ход мыслей, всегда связанных с своим положением.

Я не знаю, почему было мне это нужно, так как я не люблю калек из чувства решительного, несколько раздраженного сопротивления, возбуждаемого этими переделанными, заштопанными телами, заставляющими вводить в спокойный и свежий свой мир вид несчастья уродливого, – увы, мы ищем гармонии даже в лохмотьях, картинности – в отравленной угаром мансарде, – и зрелище мужественной нужды тронет нас скорее, чем просто голодный вой, потому что первый случай картинности кует воображение.

При виде калеки я делаюсь замкнут, любопытен и холоден.

Я был таким и теперь, когда, не желая смущать несчастного, изучал его в зеркале, замечая, что и он тоже упорно смотрит мне в глаза в стекле, может быть, ожидая, что я подойду и дам денег.

Наверное, он так и думал.

Я убежден, что каждого прохожего он рассматривал исключительно с этой стороны, что его негодование было непрерывным, так как едва один из ста совал ему что-нибудь. В таких случаях калека механически кланялся и снова начинал молча вертеть ярким взглядом, находя, конечно, излишними всякие причитания и возгласы.

Когда в ящике накоплялось несколько штук бумажек, он неторопливо сортировал их и раскладывал по карманам, смотря перед собой с рассеянностью бухгалтера.

Я хорошо чувствовал и понимал это профессиональное настроение, связанное с особыми душевными искажениями, которые в свете жестокой, произвольной внутренней усмешки моей получали показной, театральный характер.

Калека был мне неприятен и жалок, но я не мог отойти от зеркала, рассматривая его с живейшим и ненасытным интересом, разбрасывая вокруг отрывочные картины боя, разрыва гранат, серого с розовой полосой утра, где в сумерках, с руками, оттянутыми носилками, спотыкаются санитары, и ровный, как пение самовара, стон сумеречного поля мешается с далекой пальбой.

Затем – операция, сознание новой и трудной жизни, тысячи мелких приспособлений, неизвестных до этого, сны о ногах, попытки неумелых движений, наука двигаться заново, с иным представлением о себе; согретое годами отчаяние и темное безразличие.

Между тем я замечал, что, по впечатлительности или особой нервности, машинально двигаю руками, подражая калек, когда он возился с деньгами или менял в чем-нибудь свое положение. Эти неполные, только лишь намеченные и оборванные движения мои чрезвычайно раздражали меня, и я стал смотреть на других как в зеркале, так и по тротуару.

Эти бесчисленные шаги ног, пульсация множества сухих женских лодыжек, мерное откусывание калошами, сапогами и валенками больших, ровных кусков тротуара, шум, стук, шарканье и шелест движения вызывали во мне приятное чувство силы и равновесия, благодаря которому я могу пройти всю Тверскую, взад-вперед, поднимаясь в гору и спускаясь с нее.

Калека в ящике иначе должен ценить и сознать пространство; оно для него – почти фикция, забытый сон; он смотрит на ближайший угол с сложным расчетом дали, и крыша Гнездиковского небоскреба должна ему казаться Монбланом.

Здесь мои размышления внезапно вспыхнули, рванувшись вслед женщине, прошедшей быстро и озабоченно сзади меня; я тотчас узнал ее, все вспомнив, что было семь месяцев назад.

Я поднимался в четвертый этаж, где мне открывали дверь, зная, как я звоню, две сестры, –

младшая, держа старшую за талию и выглядывая из-за нее с шутливым вопросом: «Чего-с?»

Старшая смущалась, но не особенно; есть род приветливого смущения, действующего взаимно, и я, смущаясь сам, радовался тому. Что же разлучило нас? Я никак не мог вспомнить в эту минуту. Вообще у меня плохая память на прошлое. Первым движением моим было броситься вслед, но я почему-то не сделал этого тогда, когда она была в двух шагах, затем у меня уже не было сил двинуться.

Я точно окаменел. Я стоял, пытаюсь что-то понять, но мысли так разбегались, что я сам – глухое отражение зеркала и звонкий оригинал – улица сзади меня, – все спуталось в сеть, и беглый, глубокий трепет ошеломления вызвал, наконец, эту ужасную кристаллизацию, от которой перехватило в горле.

Так! Это я смотрю на себя, я, забыв, что со мной; у меня нет ног, палки лежат рядом, и прохожие, втянув голову в плечи, посматривают на меня сверху вниз, иногда бросая бумажку.

Действительно – я очнулся. Зеркала вызывают сны – странное смешение прошлого и настоящего, меняют взгляд, цели и впечатления, – этот хоровод исчез; с болью, крутым твердым винтом прошел сквозь меня день бегущих, чужих ног и пригвоздил к ящику, где я могу шарить руками вокруг своих бедер, шурша бумажками. Я смотрю на ноги и всегда думаю о ногах и о себе.

Где же мое сокровище, белое тело мое, мои ноги, которыми всходил я на четвертый этаж, – смущаться, смотря в глаза? Я отвел взгляд от зеркала.

С рыданием, с злым воем, не удерживаясь, а торжествуя и плача, я – безнаказанный, безногий, погибший, я, в котором всегда два, – беру свои палки.

О проклятое зеркало! Бей его, я бью – раз! И лохмотья стекла остро сверкают на пустом дереве. Невероятно смешно смотреть на это со стороны.

Но мне теперь все равно. Все равно.

Крысолов

*На лоне вод стоит Шильон,
Там, в подземельи, семь колонн
Покрывают мрачным мохом лет...*

I

Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, – дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени наверное будет расспрашивать в редакциях – я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг – последнее, что у меня было.

Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более двух часов, встретив только трех человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги, но и те нашли цену пяти фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем, начинало темнеть, – обстоятельство менее всего благоприятное для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене.

Справа от меня стояла старуха в бурнuse и старой черной шляпе с стеклярусом. Механически трясая головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я, – книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка – не в

пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи, – ее суконный жакет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих, – без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как побряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумаясь чему-то и суя в рот «семечки», – все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее.

Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: «Так же, как и у вас».

Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой, затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее «Дон-Кихота»; и тогда она несколько оживилась.

– Никто не знает, что я ношу продавать книги, – сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную меж другими осмотрительным гражданином, и рассеянно ею помахивая, – то есть, я не краду их, но беру с полка, когда отец спит. Мать умирала... мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас много?

– Н-нет, – сказал я сквозь дрожь (уже тогда я был простужен и немного хрипел), – не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть.

Она взглянула на меня с наивным вниманием, – так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай проезжего чиновника, – и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц, я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.

– Вы простудитесь, – сказала она, машинально зашипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. – Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин.

Она взяла книги подмышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.

– Телячьи нежности, – сказала, проходя мимо, грузная баба.

– Ну вот. – Девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула. – Все. Идите гулять.

Я рассмеялся и удивился. Не много я встречал такой простоты. Мы ей или не верим или ее не видим; видим же, увы, только когда нам плохо.

Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.

– Сказать недолго, – ответила она, с жалостью смотря на меня, – только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон; может быть, я попрошу вас продать книги.

Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединяла побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой, в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл.

II

Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще не утоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка. Дрова... в те времена многие ходили на чердаки, — я тоже ходил, гуляя в косой полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпуская запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка; я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивала, часто глубокой ночью — как сошедшие с ума часы — швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель, — довольно этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно подставляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословящими по новой орфографии с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой.

Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезавают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок, — это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.

Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца.

III

При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем, втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих как в банном пару лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопота о комнате, я нравственно не умел.

Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. «Он смугл, — пишет Репин, — с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом». Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни, — она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого

нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, — я обыкновенно сидел в стороне.

Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых, — путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все — и многое, и гораздо более этого — уже описано разорванными свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня — то, что произошло со мной.

IV

К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча повела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли — мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки, — я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартука, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального Банка, где двести шестьдесят комнат стоят как вода в пруде, тихи и пусты.

— Ватикан, — сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. — Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?

— Эх! — только и сказал экс-лавочник, — дом этот недалеко; идите и посмотрите.

Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежильное молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки разошлись, так как не было шпингалетов.

— Ключ есть, — сказал лавочник, — только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запереть можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти — сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол — оповещу вас немедленно. Вследствие этого — извините за щекотливость, есть-пить каждому надо — сообразовалите принять в долг до улучшения обстоятельств.

Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел, а я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас, — воспоминаниями звуков жизни, — уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить.

Я проходил из дверей в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего

по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет далее с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен.

Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смешение свое воистину стихийным размахом. Она осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, гроссбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст – содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами, – взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей, – так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли; окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней, – чувство, обратное тому, с каким мы произносим: «Малая улица» или «Малая площадь». Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Все было однообразно – вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоставало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме.

Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться: пласт извести на полу; там – сломанное бюро; вырванная и приставленная к стене дверная доска; подоконник, заваленный лиловыми чернильницами; проволочная корзина; кипы отслужившего клякс-папира; камин; кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться: оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжелой дверцей, как у пустой печи; телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе, переносная лестница; я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь.

Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющей по их далям бумагой, смежности и коридоры слились с мглой и мутный свет ромбами перекосил паркет в дверях, но прилегающие к окнам стены сияли еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами, и я, в основе, только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок; шум, как в кустах. Шагая, оглядываясь я с трепетом, – так вязок, неотделен от меня был в тишине этой самонаименьший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по нервному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений: они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же – что было всего отчетливее и мрачнее – брожу в прошлых столетиях, обернувшись нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извилисто длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница, я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажуры тюльпанами и колоколами, змеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, кучи фаянса и меди.

Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте полок, параллельно пересекавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немислим. Месиво

копировальных книг вздымалось выше груди; даже осмотреться я не мог с должным вниманием – так густо смешалось все.

Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником; едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо, – так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски, с насмешливо или трагически раскрытыми ртами, казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной разворачивался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала. С некоторым трудом взгляд набирал предметы равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями, – передо мной разворачивался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслыханной дерзости тянулось из дверей в двери – стихийного, неодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы и звоном в ушах следует неотступно, – мысль, напоминающая девиз: «Сделано – и молчит».

V

Наконец, я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода, хотя слабо, но заструилась, и этот незначительный живой знак по-своему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала; единственное, на что можно было лечь или сесть, это – скальпированный диван без ножек; обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф: он был заперт. Я выкурил папиросу – другую, пока не привел себя к относительно равновесию, и занялся устройством ночлега.

Давно уже я не знал счастья усталости – глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полный воды сосуд, стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но, едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной с силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи, чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности; тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую при малейшем впечатлении тугую струну, и я как бы просыпался от дня к ночи, с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах кололо, как от сухого песка; начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная и бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрывал глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем, – бессмысленность этого положения. Я испытал все средства: рассматривание точек стены, счет,

неподвижность, повторение одной фразы, – и безуспешно.

У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же по летнему времени было здесь не довольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей.

Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей, сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть и, чтобы заглушить голод, часто курил.

Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которых я нашел кучу в одном из таких же шкафов, заставил подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И, тем не менее, я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, заставляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему, – так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат, но, шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся, все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба, а может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте; довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь, а на съестное, что ни говори буква закона, – теперь – теперь я имел право.

Света огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину, против замка и, нажав, потянул прочь. Зашелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся – и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением, я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой.

VI

Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенно, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии – шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, – отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр.

Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом.

Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами, откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тошноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь, – не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там было несколько штук,

ушли, должно быть, задами шкафа в щели стены – шкаф стоял тихо.

Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши (*Murinae*) и крысы (*Mus decum anus*) должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления; они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более, что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров – от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой; ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирало горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов.

Следовало если не торопиться, то, во всяком случае, начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем ли или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало опасаться мне в этих пространствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф, уселся на остатках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть, сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запивая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться с ознобом и нервным тяжелым смехом, но, когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньяции, и насыщение уладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, какая сопутствует ежедневному поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер хорош.

Между тем, как я ни напрягался в догадках, они, естественно, царапали, подобно тупому ножу, лишь поверхность события, оставляя его суть скрытой непосвященному взору. Расхаживая в спящих громадах банка, я, быть может, довольно верно понял, чем связан мой лавочник с этим писчебумажным Клондайком: отсюда можно было вывезти и унести сотни возов обертки, столь ценимой торговцами в целях обвеса; кроме того, электрические шнуры, мелкая арматура составили бы не одну пачку ассигнаций; не без причины были вырваны здесь шнуры и штепселя почти всюду, где я осматривал стены. Поэтому я не делал лавочника собственником тайной провизии; он, вероятно, пользовался ею в другом месте. Но дальше этого я не ступил шага, все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Что ее некоторое время никто не трогал, доказывали следы крыс; их зубы оставили на окороках и сырах обширные ямы.

Насытившись, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуты открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток; за головами сахара прятался серебряный самовар; в одном ящике сталкивалось, звеня, множество бокалов, рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульливые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов. В таком случае я должен был держаться настороже. Как мог, я тщательно прибрал шкаф, рассчитывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако (не счел я виноватым себя в этом) я взял кое-что

вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора.

Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком, – единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе, как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой, – мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесплезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она, я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрики она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза: они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня и, как всякий ночной вздор, украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал, как предметы, разъясненные не вполне, – род суеверия, навеянного, между многим другим, «Атмосферой» Фламариона, с его рассказом о молнии. Я очень советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы; особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак, или перелицовывающей черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипам. «Килоуатты» и «амперы» мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволокнутой сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь, тогда же был лишь подобен железу перед магнитом.

Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной показалась она мне, немая, перед равнодушной стеной. Я поднес ее к уху не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и нажал кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи, ту, подобную гудению насекомого, вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился.

Разборчивое усилие понять, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления с скрытым источником. Старания понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум в воображении, получив его вторично лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался; в трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мной овладели смутные представления, странные, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хаоса; снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам; магнетические вспышки трамвайных линий; ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы; оно билось, выстукивая на неперевожимом языке ощущения ночных сил.

Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? Сто сил человеческих прямо и гудело во мне,

когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь вьюгу цифр, тщетно пытаюсь установить, какое соединение их напечатают утерянные часы. Лукавая, неверная память! Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легкомысленный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица, из числа выпадает цифра; обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но, если бы мы помнили, если бы могли вспомнить все, — какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств?

Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность. Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера: 107-21. — «Сто семь двадцать один», — проговорил я, прислушиваясь, но не знал точно, не ошибаюсь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично, но уже было поздно — жужжание полилось гулом, что-то звякнув, изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контральто сухо сказал: «Станция». «Станция!..» — нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу, — так холодно сжалось горло, — потому что в глубине сердца я все еще только играл.

Как бы то ни было, раз я заклил и вызвал духов, — отнести их к «Атмосфере» или к «Килоуаттам» общества 86 года, — я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел. Кто бы ни толкнул маятник, механизм начал мерно отстукивать. «Сто семь двадцать один», — сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. — «На группу А», — раздался недовольный ответ, и гул прихлопнуло далеким движением усталой руки.

Мне было умственно-жарко в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой А; следовательно, не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода, — подробность замечательная для нетерпеливой души. Стремясь соединить А, я нажал Б. Тогда в вон пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы, — неведомые ораторы, бьющиеся в моей руке, сжимающей резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей — «А-ла-ла-ла-ла!» — вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительно-медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. — «Я не могу дать»... — «Если увидите»... — «Когда-нибудь»... — «Я говорю, что»... — «Вы слушаете»... — «Размером тридцать и пять»... — «Отбой»... — «Автомобиль выслан»... — «Ничего не понимаю»... — «Повесьте трубку»... В этот рыночный транс слабо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдания, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец, звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав: «Группа Б».

— «А»! Дайте «А», — сказал я, — перепутаны провода. После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певуче и тише: «Группа А». — «Сто семь двадцать один», — отчеканил я, как можно разборчивее.

— Сто восемь ноль один, — внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку, — эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер, — едва услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо.

— Да, да, — сказал я в чрезвычайном волнении, бегущем по высоте, по краю головокружительного обрыва. — Да, именно так, — сто восемь ноль один.

Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны; я даже не слышал обычного «звоню» или «соединила», — я не помню, что было сказано. Я слушал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к стене. Тогда, после паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал:

– Это я пробую. Говорю в действующий телефон, потому что ты слышал, как прозвонело? Кто у телефона? – сказала она, видимо, не ожидая ответа, на всякий случай, тоном легкомысленной строгости.

Почти крича, я сказал:

– Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени, – подтвердите, что это вы.

– Чудеса, – ответил, кашлянув, голос в раздумьи. – Постоите, не вешайте трубку. Я сообщаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?

Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.

– Я встречу припоминаю, – снова обратилась она к моему уху. – Но я не помню, о какой булавке вы говорите. Ах, да! Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами – наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?

– Хорошо ли вы слышите? – ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса, и, получив утверждение, продолжал: – Я не знаю, долог ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите, не откладывая, ваш адрес, я не знаю его.

Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой стеной легла даль, – отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных, простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал:

– Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите, – не без лукавства сказала она это «запишите», – запишите мой адрес: 5-я линия, 97, кв. 11. Только зачем, зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома...

Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому, что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрыванию дождя, – наконец едва слышное толканье тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и трубка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло.

Но я слышал, я говорил, что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем, его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов.

VII

Еще очень далеко от меня – не в самом ли начале проделанного мною пути? – а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, слышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако, мысленно я видел его спешащим осторожно, во тьме; он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках, я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись, но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания; я встал, сел снова, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но, осилив наконец мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным уда-

ром, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались; я колебался, потушить свечу или оставить ее гореть, причем не разумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казалась мне удачно придуманным средством избегнуть опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю, как игрок в рулетку, который, переменив номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил и стал ожидать во тьме.

Между тем не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за пять или шесть стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему как автомобиль моменту взаимного взгляда – глаза в глаза, и я молил бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал, я знал, что увижу его; инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома, и, страшнее всего, ужаснее падения с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется и что это отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась; скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли, остановились так близко от двери, и так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в горах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось: некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками, – я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло, как днем. Я получил род нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал: «Идите сюда». Затем прозвучал тихий, задорный смех.

При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, только что выдержанной мной в течение, может быть, часа. «Кто зовет?» – тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность, отвечающей удовольствию слуха, и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов: «Идите, идите сюда». Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: «Идите, о, идите скорей!» – я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты, и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я наконец резко сказал:

– Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?

Прежде, чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: «Спешите, не останавливаясь; идите, идите, не возражая». Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые как плеск, и звонкие в своем полусшепоте, как если бы прозвучали над ухом, но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользящее движение женщины, – везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это,

напоминая игру в прятки, и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться, остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня; все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:

– Сюда, скорее ко мне!

Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще – и особенно в этих обстоятельствах величайшего напряжения, – я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неслышно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства; хотя вела она себя более, чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызвавших ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем. Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким «Сюда!». Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса.

– Я здесь, – сказал, наконец, голос тоном конца истории. Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше.

– Хорошо, но это последний раз, – предупредил я. Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет; я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека.

– Где же вы? – всматриваясь, заговорил я. – Остановитесь, вы так спешите. Идите сюда.

– Я не могу, – тихо ответил голос. – Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне.

Действительно я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу grossбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда, на невольный мой вскрик, вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Если изумление страха в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его.

Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем; поняв штуку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью, зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в двенадцать метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства, но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода; ширина достигала шести аршин.

Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалека свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам. Но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал пятого акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина; из крана капала вода; здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще шевелилось; здесь отошел некто, может быть, на расстоянии десяти шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Не сле-

довало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонись к стене, в нишу заколоченной двери.

Никакой звук, никакое доступное чувствам явление не ускользнули бы от меня в эти минуты, так был я внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле, – такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле успокоения – если назвать таким словом «покой в бурях», – множество шагов раздалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов; резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и контрабас протянули вразброд несколько тактов, заглушаемых передвижением мебели.

Среди ночи – я не знал, который теперь час – это проявление жизни в глубине трех этажей после уже испытанного мною над люком звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неумоимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было довольно велико, имея направление через противоположную стену вниз.

Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом; оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при болезни потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась: я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его внизу, окошечко это выходило на хоры. Совсем близко нависал пространный лепной потолок; балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее, чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвижение стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда; кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации, – да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей – что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке.

Почти уверенный, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо; пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл «под сурдинку», как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные – жестокий визг; увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило раз-

говор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игристые реплики.

Настала пауза; несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами.

– Привет Избавителю! – ревом возгласил хор. – Смерть Крысолову!

– Смерть! – мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрaшенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади; но только глубоко вздохнул – никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться: за углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.

– Он умрет, – сказал неизвестный, – но не сразу. Вот адрес: пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза!

VIII

Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва слышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, – бежать, скрыться и лететь вестником на 5-ю линию. При всяком самом разумном сомнении цифры и название улицы не могли бы сообщить мне, есть ли в квартире этой еще другая семья, – довольно, что я думал о той и что она была там. В таком устрaшенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз; лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас; музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, которой проник сюда. С силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение! Начинался рассвет с его первой мутью, указывающий пространство дверей; я мог мчаться до потери дыхания. Но инстинктивно я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более, что за мной гнались, – я слышал торопливые переходы сзади и спереди, – этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, отупел от страха и непрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несея среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара, – так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на люк все, что смутно белело по сторонам; это оказалось грудой оконных рам, двинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек, непроходимой чащей своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я пере-

скакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец, я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень; из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась; ее скрепы трещали, когда я начал спускаться; на высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар; я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным; поэтому, как только передохнул, пустился бегом.

IX

Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?»

Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности, я не мог бросить ребенка, тем более, что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Глядя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. «Дружок, – сказал я, решаюсь постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка, – посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй ты! – закричал я, стремясь освободить руку. – Брось держать!» И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. – «Кто ты?» – угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова, и, вновь задохнувшись, несясь безумным шагом, резким, как бег.

Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.

– Но ведь это вы! – сказала она. – Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!

Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, – милее было бы мне прийти к ней, туда.

– Слушайте, – сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, – я спешу к вам. Еще не поздно...

Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.

– Сейчас рано, – значительно сказала она, – или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.

Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, – нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и,

сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.

– Нет, ты не обманешь меня, – сказал я, – она там. Она теперь спит, и я ее разбуджу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.

Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели воды, я был уже далеко от них, я бежал, пока не достиг ворот.

Х

Тогда или, вернее, спустя некоторое время, наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойства жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове: раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. «Хальт!» – крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.

Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь – разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, – я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии.

Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку жёлудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.

Он сказал:

– Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. «Свободный ход», о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем; два последние дня ход этот, действительно, был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: «Кладовая крысиного короля», книга, представляющая собой

отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене, как еретик. Ваш рассказ...

Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:

– Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?

– Меры? – сказала Сузи. – О каких мерах вы говорите?

– Опасность... – начал старик, но остановился, взглянув на дочь. – Я не понимаю.

Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.

– Я говорю, – начал я неуверенно, – что вам следует остеречься. Кажется, я уже говорил это, но, простите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.

Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: «Как это может быть?»

– Он устал, Сузи, – сказал старик. – Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу, – он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника, – словом «Освободитель». вы будете уже кое-что знать.

– Это шутка, – возразил я, – и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова. – Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:

«КРЫСОЛОВ»

Истребление крыс и мышей.

О. Иенсен.

Телеф. 1-08-01.

Я видел ее у входа.

– Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот «Освободитель» принес вам столько хлопот.

– Он не шутит, – сказала Сузи, – он знает. Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок, – взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.

– Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус. – Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом. – Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.

...«Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза, и движения подобные человеческим и даже не уступающие человеку, – как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им.

Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей».

– Но довольно читать, – сказал Крысолов, – и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами.

Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали.

чали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. «Сузи, что с ним?» – раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: «Он спит», – слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что «для мужчины был очень легок». Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день, в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие...

И более – ни слова об этом.

Белый шар

Первый удар грома был оглушителен и резок, как взрыв.

Разговор оборвался. Сантус, сохраняя запальчивое выражение лица, с каким только что перешел к угрозам, сжал рукой свою длинную бороду и посмотрел на расстроенного Кадудара так, как будто гром вполне выражал его настроение, – даже подкреплял последние слова Сантуса, разразившись одновременно. Эти последние слова были:

– Более – ни одного дня!

Кадудар мог бы сравнить их с молнией. Но ему было не до сравнений. Срок взноса арендной платы минул месяц назад, между тем дожди затопили весь урожай. И у него не было никакого денежного запаса.

Как всегда, если один человек сказал что-нибудь непреложно, а другой потерял надежду найти сколько-нибудь трезвое возражение, длится еще некоторое время молчаливый взаимный разговор на ту же тему.

«Злобное, тупое животное! – подумал Кадудар. – Как мог я заставлять себя думать, думать насильно, что такой живодер способен улыбнуться по-человечески».

«Жалкий пес! – думал Сантус. – Ты должен знать, что меня просить бесполезно. Мне нет дела до того, есть у тебя деньги или нет. Отдай мое. Плати аренду и ступай вон, иначе я выселю тебя на точном основании статей закона».

Второй удар грома охватил небо и отозвался в оконном стекле мгновенным жалобным звоном. Волнистые стены туч плыли стоймя над лесом, иногда опуская к земле свитки тумана, цепляющиеся за кусты, подобно клубам дыма паровозной трубы. Налетел хаос грозы. Уже перелетели с края на край мрачных бездн огненные росчерки невидимого пера, потрясая искаженным светом мигающее огромное пространство. Вверху все слилось в мрак. Низы дышали еще некоторое время синеватыми просветами, но и это исчезло; наступила ночь среди дня. Затем этот хлещущий потоками воды мрак подвергся бесчисленным, непрерывным, режущим глаза падениям неистовых молний, разбегающихся среди небесных стремнин зигзагами адских стрижей, среди умопомрачительного грохота, способного, казалось, вызвать землетрясение. В комнате было то темно, то светло, как от пожара, причем эта смена противоположных эффектов происходила с быстротой стука часов. Кадудару казалось, что Сантус скачет на своем стуле.

– Серьезное дело! – сказал он, беря шляпу. – Закройте окно.

– Зачем? – холодно отозвался Сантус.

– Это гроза не шуточная. Опасно в такой час сидеть с раскрытым окном.

– Ну, что же, – возразил Сантус, – если меня убьет, то, как вы знаете, после меня не остается наследников. Ваш долг исчезнет, как дым.

Вексель все еще лежал на столе, и Кадудар резонно подумал, что здесь наследники ни при чем. Действительно, порази Сантуса гром, ничего не стоило бы расправиться с этим клочком бумаги. Просто Сантус подсмеивался.

– Я не понимаю вас, – сказал Кадудар и сделал шаг к двери. – Мне не до шуток. Прощайте.

– Останьтесь, – сказал Сантус, – хотя ваш дом близко, но в такую погоду вы подвергаетесь серьезной опасности.

– Пропадет долг? – язвительно спросил Кадудар.

– Совершенно верно. А я не люблю терять своих денег.

– В таком случае я доставлю вам несколько неприятных минут, – Кадудар открыл дверь. – Пусть я промокну, как собака, но под защитой вашего крова оставаться я не хочу.

Он замер. Небольшой светящийся шар, скатанный как бы из прозрачного снега, в едва уловимом дыме электрической эманации, вошел в комнату – мимо лица Кадудара. Его волосы трепещали и поднялись дыбом прежде, чем ужас запустил зубы в его сердце. Шар плавно пронесся в воздухе, замедлил движение и остановился над плечом Сантуса, как бы рассматривая человека в упор, не зная еще, что сделать, – спалить его или поиграть.

Сантус не шевелился так же, как не шевелился и Кадудар: оба не имели сил даже перевести дух, внимали движению таинственного шара с чувством конца. В комнате произошло нечто непостижимое. За дверцей буфета начало звенеть, как если бы там возилась человеческая рука. Дверной крючок поднялся и опустился. Занавеска взвилась вверх, трепеща, как от ветра; неясный, мучнистый свет разлился по всем углам. В это время шар был у ног Сантуса, крутясь и передвигаясь, как солнечное пятно колеблемой за окном листвы. Он двигался с неторопливостью сытой кошки, трущейся о хозяина. Вне себя, Сантус двинул рукой, чтобы убрать стоявшее возле него ружье, но, как бы поняв его мысль, шар перекатился меж ног и занял сторожевую позицию почти у приклада.

– Кадудар, – сказал дико и тихо Сантус, – уберите ружье!

Должник помедлил не более трех биений сердца, но все же имел силу помедлить, в то время как для Сантуса эта пауза была равна вечности.

– Отсрочка, – сказал Кадудар.

– Хорошо. Полгода. Скорей!

– Год.

– Я не спорю. Бросьте ружье в окно.

Тогда, не упуская из вида малейшего движения шаровидной молнии, описывающей вокруг ног Сантуса медленные круги, все более приближающие ее к магнетическому ружью, Кадудар, весь трясаясь, перешел комнату и бросил ружье в окно. В это время он почувствовал себя так, как если бы дышал огнем. Его правая рука, мгновенно, но крепко схватив со стола вексель, нанесла ему непоправимые повреждения.

Казалось, с удалением предмета, способного вызвать взрыв, шар погрузился в разочарование. Его движение изменилось. Оставив ноги Сантуса, он поднялся, прошел над столом, заставив плясать перья, и ринулся в окно. Прошло не более вдоха, как из-под ближайшего холма раздался рванувший по стеклам и ушам гром, подобный удару по голове. Молния разорвалась в дубе.

Встав, Сантус принужден был опереться о стол. Не лучше чувствовал себя и Кадудар.

– Все? – спросил Сантус. – Вы довольны?

– Дайте вексельный бланк, – спокойно ответил Кадудар, – я – не грабитель. Я перепишу наш счет на сегодняшнее число будущего года. Таким образом, вы сохраняете и деньги и жизнь!

Заколоченный дом

Как стало блеснуть и шуметь лето, мрачный дом в улице Розенгард, окруженный выбоинами пустыря, не так уже теснил сердце ночного прохожего. Его зловещая известность споткнулась о летние впечатления. На пустыре роились среди цветов пчелы; обрыв за переулком белел голубою далью садов; в горячем солнце черные мезонины брошенной старинной постройки выглядели не так ужасно, как в зимнюю ночь, в снеге и бурях. Но, как наступал вечер, любой житель Амерхоузена с уравновешенной душой, – кто бы он ни был, – предпочитал все же идти после одиннадцати не улицей Розенгард, а переулком Тромтус, имея впереди себя утешительный огонь окон бирхалля с вывеской, на которой был изображен бык, а позади не менее ясные лампы кинематографа «Орион». Тот же, кто, пренебрегая уравновешенностью души, шел упрямо

улицей Розенгард, – тот чувствовал, что от острых крыш заколоченного дома бежит к нему предательское сомнение и вязнет в путающихся ногах, бессильных прибавить шаг.

Но что же это за дом? Кстати, в пивной с вывеской быка хозяин словоохотлив, и я узнал от него все. Не всякий может это узнать; лишь тот выйдет удовлетворен, кто похвалит бирхаллевского шпица. Шпиц получил премию на собачьей выставке и чувствует это в тех только случаях, когда внимательная рука погладит его по вымытой белой шерсти, почешет ему за ухом и в острых, черных глазах его прочтет тоску о беседе.

Я сказал шпицу: «Великолепная, блистательная этакая ты собаченция; уж, наверное, за чистоту кровей выдали тебе диплом и медаль». (А я уже узнал, что выдали.)

Немедленно стал он ласков, как муфта, и подвижен, как фокстерьер, и облизал мне впопыхах нос. Хозяин порозовел от счастья. Мечтательно закатив глаза и снизу вверх пальцами причесав бороду, он сказал:

– Я вижу, вы понимаете в собаках. Большая золотая медаль прошлого года в Дитсгейме. Вот что, камрад, – волосы ваши длинные, шляпа широкопола, а трость суковата; правой руки указательный палец ваш с внутренней стороны отмечен неотмывающимися чернилами. По всему этому вы есть поэт. А я чувствую к поэтам такую же привязанность, как к собакам, и прошу вас отведать моего особого пива, за которое я не беру денег.

– Заколоченный дом Берхгольца, – продолжал он, когда особое пиво действовало и когда я выразил к этому дому неотвязный интерес, – известен мне довольно давно. Вам многие наговорят об доме Берхгольца невесть какой чепухи; я один знаю, как было дело. Берхголец повесился перед завтраком, ровно в полдень. Он оставил записку, из которой ясно, что привело его к такому концу: крах банка. Состояние улетучилось. Казалось бы, делу конец, но жильцы меньше чем через год выехали все из этого дома. Все это были почтенные, солидные люди, к которым не придерешься. Сколько было голов, столько и причин выезда, но ни один не сказал, что его мучат стуки или хождения, или еще там не знаю какие страхи. Однако стали говорить вскоре, что Берхголец стучит в двери во все квартиры, когда же дверь открывается, за ней никого нет. Солидный жилец как может признаться в таких странных вещах? Никак – он потеряет всякий кредит. Поэтому-то все приводили различнейшие причины, но все наконец выехали, и в доме стал гулять ветер. Это было лет назад двадцать. Наследник сдал дом в аренду, а сам уехал в Америку. Арендатор спился, и с тех пор никто не живет в доме, хотя были охотники попробовать, не минуют ли их ужимки покойника. Пробы были недолгие. Скоро стали грузиться возы смельчаков – в отлет на более легкое место. Раз... был я тогда моложе – я вызвался на пари с судьей Штромпом провести ночь среди, так сказать, мертвецов и чертей...

– Чертей? – спросил я довольно поспешно, чтобы не замять это слово, так как хозяин Вальтер Аборциус имел обыкновение брать высокие ноты, не обращая внимания на оркестр, и нахально спускать их, когда слушающий сам забирался на высоту. – А что же черти, много ли их там?

– Как сказать, – произнес самолюбивый Аборциус, потягивая особое пиво, которое имело на него особое действие. – Как сказать и как понимать? Черти... да, это были они, или что-нибудь в том же роде, но еще страшнее. Я прочитал молитву и лег в кабинете Берхгольца – прошлым летом, как раз под Иванову ночь. Уже я начинал засыпать, так как выпил перед тем особого пива, вдруг дверь, которую я заставил курительным столиком, раскрылась так стремительно, что столик упал. Ветер прошел по комнате, свеча погасла, и я услышал, как над самым моим ухом невидимая скрипка играет дьявольскую мелодию. Мелькнули образины, одна другой нестерпимее. Что же?! Я не трус, но при таком положении дела почел за лучшее выскочить в окно. Как я бежал – о том знают мои ноги да соседние огороды. Судья, получив выигрыш, злорадно хохотал и стал мне ненавистен.

– Мастер Аборциус! – сказал тут чей-то голос с соседнего стола, и, подняв взоры, увидели мы квадратную бороду Клауса Ван-Топфера, счетовода. – Стыдитесь! – продолжал он тем трезвым тоном, который даже сквозь пиво являет признаки положительного характера. – Вы несете непростительную чепуху. Какие черти?! Какие дьявольские мелодии?! Да я сам ночевал раз в доме Берхгольца, и так же на пари, как вы. Я спал спокойно и безмятежно. Дом стар; дуб изъеден

червями, печи, окна и потолки нуждаются в небольшом ремонте, но нет чертей. Нет чертей! – повторил он с апломбом здоровой натуры, – и ночуйте вы там сто лет, никакой удавленник не придет к вам жаловаться на дела Дитсгеймского банка. Все. Получите за пиво.

Аборциус был, казалось, связан и несколько пристыжен таким решительным заявлением. Пока он собирался с духом ответить Клаусу, я незаметно улизнул через заднюю дверь и с запасом действия в голове особого пива отправился к заколоченному дому Берхгольца. Так! Я решил сам войти в это спорное место. Меж тем звезды повернулись уже к рассвету, и в ночной тьме не хватало той прочности, устойчивости, при какой ночь властвует безраздельно. Ночь начала таять, и хотя была еще отменно черна, воздух свежел.

По стене дома, снаружи, шла железная лестница; я поднялся и проник под крышу через слуховое окно. У меня были спички, и я светил ими на чердаке, пока разыскал опускную дверь, ведущую во внутренние помещения третьего этажа. Был я не так молод, чтобы верить в чертей, но и не так стар, чтобы отказать себе в надежде на что-то особенное. Дух исследования вел меня по темным комнатам. Я спотыкался о мебель, время от времени озаря старинную обстановку светом спичек, которых становилось все меньше; наконец их более уже не было. В это время я путался в небольшом, но затейливом коридоре, где никак не мог разыскать дверей. Я устал; сел и уснул.

Открыть глаза в таком месте, где не знаешь, что увидишь по пробуждении, всегда интересно. Я с интересом открыл глаза. Горячий дневной свет дымился в золотистой пыли; он шел сквозь венецианское окно с трепетом и силой каскада. Как и следовало ожидать, дверь была рядом со мной, за дверью щебетала малиновка. Тотчас войдя, я увидел эту хорошенькую птичку перепархивающей по жесткой, цветной мебели красного дерева; одно стекло окна, выбитое камнем или градом, объясняло малиновку. Она исчезла, порхая под потолком, в соседнее помещение. Здесь же, в сору, меж карнизом пола и стеной, полз дикий выюнок, семена которого, попав с ветром, нашли довольно пыли и тлена, чтобы вырасти и зацвести. Неожиданно из-за стены прогремел бас: «Смелей, тореадор!» – прогремел он; я бросился на жильца и, толкнув дверь, увидел драматурга Топелиуса, расхаживающего в табачном дыму с пером в руке.

Мое изумление при таком афронте было значительно; оно даже превысило мои описательные способности. – «Друг Топелиус! – сказал я, протягивая руки, чтобы отразить нападение призрака, – если ты тень – исчезни. Нехорошо привидению гулять утром с трубкой в зубах!»

Он яростно закричал: – «Неужели и здесь я не найду покоя, хотя ты мне и приятель! Так это твои блуждания я слышал сегодня ночью, когда сцена прощания Тристана с Изольдой подходила уже к концу?! Клянусь трагедией, я начинал поджидать визита Берхгольца. Впрочем, сядь; пьеса готова. Слушай: когда под тобой, внизу, сто раз в день сыграют рапсодию Листа, а над тобой – „Молитву девы“ и когда на дворе смена бродячих музыкантов беспрерывно от зари до зари, – ты тоже подыщешь какой-нибудь заколоченный дом, куда надо влезать в окно, но где, по милости молвы, живут одни привидения. Впрочем, здесь так чудесно!»

– Да, чудесно, и я повторяю это за ним, так как чудеса – в нас. Не тронул ли меня солнечный свет в лиловых оттенках? И выюнок на старой панели? И птица – среди вещей? Наконец, эта рукопись, которую он протянул мне с гордой улыбкой, рожденная там, где боятся дышать?

Голос сирены

I

Среди битв, через открытое поле, близ Ангудора, проезжало семейство Эмилон Детерви. Он переселялся в зону, свободную от военных действий. Между тем, неправильно взятый путь, благодаря тому, что путешественники хотели сократить дорогу, привел их на этом поле к крутому обстрелу, и шальная граната, лопнув под синим небом, выбросила град пуль, одной из которых сын Детерви, Артур, был контужен в спину.

Что произошло с нервной системой пострадавшего, как изменилась она и в чем, – мы не

знаем. Вскоре после этого Артур Детерви начал чувствовать тяжесть и онемение нижней части спины, ходить начал с трудом, и наконец у него совершенно отнялись ноги.

Семейство Детерви было зажиточным. Несколько докторов и клиник за приличный гонорар нашли возможным только сказать, что случай неизлечим. Во всяком лечебном заведении больной находил радушный прием, но очень мало надежд. И, наконец, по совету профессора А. Ренольда, Артура Детерви перевезли в южный город, где был большой порт. Неподалеку от города находилась грязевая лечебница. Сняв уютную загородную дачу, отец Детерви поместил больного в лучших условиях: его комната примыкала к веранде, где, лежа днем, Артур видел море и, по изгибу уходящего в лиловатую даль берега, – часть порта. У него было также всегда много цветов под окнами, в саду и на столе. Раз в неделю больного навещал доктор, кроме того, две сиделки, сменяясь посуточно, ухаживали за ним с ловкостью, терпением и тишиной образцовыми.

Сделав это, отец Детерви погрузился в биржевую игру, почему редко бывал дома. Его сестра Беатриса, девушка семнадцати лет, едва поспевала присоединиться к той или другой компании, переходя от гребного спорта к верховой езде с неумолимостью молодого животного, жадного к жизни. Две тетки, сестры отца Детерви, увлекались работами на биологической станции и, по-дилетантски упрямо, сидели за микроскопом. Мать Детерви, вскорости после приезда, переехала на тот берег бухты гостить к родственникам. Таким образом, неподвижный больной мальчик почти всегда был один.

Артуру Детерви было восемнадцать с небольшим лет. Вынужденное лежание или сидение в кресле временами доводило его до бешенства. Это была нервная, непоседливая натура, пылкая и настойчивая. Здесь, – на даче, на обрыве дикого, цветущего берега, он чувствовал себя, как в вечной, монотонной тюрьме. Ему было запрещено чтение волнующих книг, отчего, часто с досадой отбрасывал он те вялые и пространные сочинения, какими вынужден был довольствоваться и над которыми засыпает даже здоровый. Лучшим развлечением было для него смотреть на море и порт. Внизу, под обрывом, двигался белый узор прибоя, за черту горизонта текли дымы пароходов и белые паруса шхун. Огромный стоял перед ним мир, с запахами ветра и соли. В далеком порту звенел гул, напоминающий летнее ликование кузнечиков. Сквозь дым и солнечные лучи Детерви видел наклонные черты кранов, острые мачты и гигантские, слегка откиннутые назад, трубы с цветными полосками. Меж моллов просвечивала вода. Дым, пар, полошущие и набирающие ветер паруса; огромными клинами контуры океанских пароходов выплывали на рейд. Иногда смешанный, алчный хор стонущих, звонящих и громыхающих звуков порта выделял мелодию свистков, совпадающих так, что, начиная с пронзительных, отрывистых катерных свистков и до поворачивающего в глубине сердца самые большие тяжести, низкого воя сирен – все промежуточные голоса различных судов сливались в стройный, упрямый вихрь. Тогда, сквозь печальную задумчивость, в душе Артура Детерви начинали подыматься непонятные, подступающие слезами в горле, гордость и нежность. Нагнувшись в своем кресле, побледнев от тоски и радости, он смотрел в пестрое отдаление порта так, как будто хотел взглядом переброситься к высоким бортам пришедших издалека стройных судов.

Когда проходил этот момент волнения, он устало откидывался на подушки и, взяв книгу, смотрел мимо нее.

II

Раз рано утром, – так рано, что еще бледное небо сообщало всему бледный и сонный вид, – Артур Детерви проснулся и, не в состоянии будучи снова заснуть, лежал, смотря на выступающий над нижним краем окна морской горизонт. Второе окно приходилось слева от Детерви, и из него виден был порт. Переведя взгляд к этому окну, увидел он вспыхнувшую за рамой струйку белого пара, такую маленькую отсюда, что воображением можно было принять ее за струйку дыма, выпущенную из трубки курильщиком. Она кипела, резко восходя вверх; затем Детерви услышал, как едва дрогнули оконные стекла и, продолжая легко дрожать, наполнили комнату как бы гуломдвигающихся на стекле шмелей. Низкое, как поднимаемый тяжкий груз, далекое,

сжимающее слух, «о-о-о-о-о!», приближаясь издалека сильными, наваливающимися волнами, заставило Детерви поднять голову. Нет сомнения, то была сирена – гудок трансатлантика «Эквадор», звук, зовущий и вместе приковывающий слушать неподвижно. Из всех ревов и гулов порта больше всего волновал Детерви именно этот страшный, как судьба, звук оглушительного гудка.

То был не рев, не вой, но вой и рев вместе. Наконец струя пара угасла. Звук, оканчиваясь, сошел к самой низкой ноте и, как бы зачеркнув сам себя этим обрывом, исчез, как бы улетел прочь.

Пока Детерви слушал, внушительная вибрация звука прогнала прочь остаток сна, бросила кровь в сердце и голову. С ним произошла странная вещь: он испытал легкое, подобное лишь мысли об этом, напряжение мускулов правой ноги и почти с ужасом подумал, что пошевелил ею. Но этого не было.

Несколько минут он лежал, прижав руки к вискам и прислушиваясь к своим мыслям, встающим внезапно. Наконец смертельная тоска, рожденная безумной надеждой, воодушевила его. Он приподнялся, на руках переполз к стулу, поднялся на него и заглянул в окно, выходящее в сад.

Уже солнце поджигало траву; по саду шел садовник и его пять рабочих.

– Друзья, – сказал им Детерви, – вы знаете, может быть, что у меня болят ноги. Слушайте: я вам заплачу щедро; пока в доме все спят, снесите меня на пароход «Эквадор», затем – обратно.

Ему пришлось повторить эту просьбу несколько раз и на разный манер до тех пор, пока полусонные люди не убедились, что им не предлагают ничего страшного или непозволительного.

Детерви дал им вперед денег, оделся, затем сел в кресло и поплыл на четырех парах сильных рук вниз по тропе.

III

Чем далее двигался он, разговаривая с носильщиками об окружающем и об их делах, а также и о своей болезни, тем спокойнее становилось у него на душе. Наконец он приближался к миру неустойчивого раскаленного движения, о котором мечтал все эти три года. Он вдыхал запахи угля, морской воды и особым, имеющий тайную прелесть запах прокаленных ветром и солнцем парусных судов, кузова которых, рядом, как затылки солдатской шеренги, теснились у набережной, немного ниже ее, открывая беспорядок палуб. Дальше порт отходил вправо в бухту каменными затонами молов, у концов которых дымились трубы пароходов; там же сквозь изменчивый в тумане и пыли цвет пространства поднимались на воздух, как бы перелетая, бочки и кучи ящиков; цепь крана, схватившую их, глаз не замечал сразу, почему казалось, что материл получила самостоятельное движение. По воздушной железной дороге, временами скрывая эту картину, тянулись груженные хлопком платформы. Было такое впечатление у Детерви, что вся эта громада судов, заслоняющих своими мачтами и трубами друг друга так, что тянулись по набережной целые улицы снастей, дымит трубами от нетерпения сойти с места и плыть в страну далее.

Детерви сидел в кресле. Его ноги были окутаны пледом. Кресло с колесиками, когда его поставили на мостовую, катилось довольно легко, поэтому двое рабочих катили, а двое шли сзади, затем сменяли тех, кто толкал кресло. Прохожие взглядывали на Детерви, и он отвечал им взглядом, говорящим: «Да, ходить не могу». Женщины, соболезнующие, подняв брови, перешептывались на его счет, двое-трое мальчишек шли некоторое время сзади, но отстали.

Меж тем настало полное утро и пламенно улыбнулось. Яркий, живой блеск заиграл в воде. За зданиями пакгаузов, при повороте Детерви увидел «Эквадор».

Он вспомнил тогда Гулливера и лилипутов. Корабль, размеры которого глаз мог охватить только на отдалении, стоял стеной между ним и остальной гаванью. По длине, высоко громоздящейся над мостовой и, казалось, достигавшей домов порта, мог продвинуться целый небольшой пароход. У схода, ведших вверх, как на башню, шествие остановилось. Здесь, в густой толпе, хлопочущей среди гор ящиков и багажа, Детерви затерялся. Устав, он посмотрел вверх.

Среди труб вилась тонкая струя белого пара. Она выровнялась, потекла прямо вверх, при-

няла форму долгого, белого взрыва, метнувшегося под облака, и начала песнь, от которой все померкло, все стало тихим и малым. Некоторое время не было совершенно слышно никаких звуков, как на улице кинематографического экрана, кроме волн победоносного гула, разрывающего пространство. Померкли мысли, дыхание, цвета и предметы; и тот же ужасный рев ревел в самой груди слушающих.

И вне себя от восторга, от счастья видеть и слышать переполняющую его силу, Детерви, весь зазвучав сам, встал со своего кресла. Вначале он не чувствовал ног, как бы летя на месте, но скоро по онемевшим суставам прошли холодными иглами мурашки. Он сделал шаг, пошатнулся и удержался за кресло.

– Теперь поедem назад, – сказал он людям, несшим его, – они еще слабы. О, как ревет! Прямо в меня!

– Да, лучше вам не ходить, – сказал один из носильщиков, ничего не поняв в этом и думая, что Детерви мог стоять. – Однако, голосок у этого парохода. Даже ушам больно.

На облачном берегу

I

Когда Август Мистрей и его жена Тави решили, наконец, зачеркнуть след прекрасной надежды, им не оставалось другого выбора, как поселиться на непродолжительное время у Ионсона, своего дальнего родственника. Год назад, когда дела Ионсона пошли в гору, этот человек, возбужденный успехом, много, фальшиво и горячо болтал, поэтому его тогдашнее приглашение приехать, когда того захочется Мистреям, в только что приобретенное имение Мистрей рассматривали до сего времени как истинный огонь сердца и просто потянулись к нему, вздохнув о чудесном уголке, владеть которым были бы не в состоянии, даже заплатив деньги вторично.

Это было семь дней назад. Мистрей побледнел и прикрыл глаза, а Тави, уцепившись маленькими руками за решетку ворот, приподнялась на цыпочки, чтобы хоть еще раз оглянуть цветущий солнечный завив садовой аллеи. Хозяйка, кокетливая молодая женщина со спокойным лицом, провожая их, тронула легким движением руки ветку лавра, как бы погладив ее, и это движение, полное чувства собственности, отразилось в душе Тави беззлобной грустью. Ее с мужем ограбили так умно, что было бы бесцельно искать мошенника; бесцельно было бы растревлять боль поисками концов. Кроме того, как Тави, так и ее муж питали глубочайшее отвращение ко всякой грязной борьбе.

– Зачем вы доверились этому человеку? – спросила хозяйка. – Почему вы ранее не посетили нас без него?

– Он сказал... – захлебываясь, начала Тави и посмотрела на мужа. – А? Разве не так?

– Ну, говори, – кротко согласился Мистрей.

Тави, помахивая указательным пальцем, начала робко и строго:

– Мы поместили объявление... знаете? В той газете, где попугай. Мы продали кое-что; собственно говоря, продали все, но наша мечта зажить наконец в живописном солнечном уголке должна же была исполниться? Вот пришел тот самый О'Тэйль...

– Но мы уже говорили это, – мягко перебил Мистрей. – О! Злое дело. Ну, короче сказать, нас обманули, и никто не виноват, кроме нас. Мы отдали почти все деньги, так как нас уверили, что на владение уже есть много охотников, что надо спешить.

– Но ведь вы даже не посмотрели, что покупаете?

– Увы! – сказал Мистрей. – По словам этого мошенника, здесь чудесным образом оказывалось налицо все, что удовлетворяет вполне наши вкусы. И в этом смысле он не обманул нас.

– Он производил, – краснея, сказала Тави, – вполне, знаете ли, приличное впечатление. Мы были так рады.

– Это верно, – подтвердил Мистрей и устало кивнул жене. – Тави, пора уезжать.

– Обратитесь немедленно в суд, – сказала хозяйка, – может быть, еще не поздно разыскать

преступника.

Говоря это, она сламывала одну за другой тяжелые пунцовые розы, пока не собрался в ее энергичной, смуглой руке букет, полный прихотливой листвы. Затем она передала цветы расстроенной молодой женщине.

– Возьмите, – нежно произнесла она. – мне хочется хоть этим утешить вас.

Тави, развеселясь на мгновение, взяла подарок и отошла, чувствуя себя совершенно пристыженной. Оба молчали. Перед тем как сесть в экипаж, она, виновато, но твердо посмотрев на Мистрея, отбежала в сторону и пристроила свой букет в пышной траве так, чтобы он не упал. Затем, вздохнув, Тави промаршировала с Мистреем под руку несколько шагов нога в ногу.

– Я возвратила их земле и солнцу. Не стерпеть их в руке. Потому что они – не наши.

II

Муж и жена были не одни. С ними ехал к Ионсону слепой старик, Нэд Сван. Он ослеп лет тридцать назад, но продолжал по-своему, видением, видеть все, о чем ясно и просто говорили ему, так как навсегда сохранил внутреннее лицо явлений. Те, кто некоторое время заботился о нем, бросили его, как бросают газету. Сван просидел до вечера в отравленной тишиной комнате, затем вышел на лестницу, постучал в первую попавшуюся квартиру, и Тави, взволнованно посетясь, сказала Местрею:

– Дай ухо. Нет, не драть. А я тебе скажу: он вполне, вполне порядочный человек и может умереть. Поселим его у нас.

Нэд Сван говорил о своем прошлом четырьмя словами: «Не будем вспоминать пустяков» – и, улыбаясь, смотрел закрытым, напряженным лицом в угол стены. Он был сутул, юношески стар, сед и приветлив.

Как стало смеркаться, наемный экипаж путешественников прибыл к воротам Ионсона. В этом месте огненная от заката стрела ущелья лежала на лиловой зелени крутых склонов, льющих девственные дебри свои с полнотой и размахом песни. Отсюда начинали бешеное восхождение знаменитые утесы Органной Горы, овеванные спиралью тропинок, заламывающих головокружительный взлет над поясом облаков.

Давно уже разговор Мистрея и Тави стал лишь тем, что видели они, выраженным с тихой страстностью великой любви к чистой и прекрасной земле. «Смотри!» – говорила Тави; затем оба кивали. – «Смотри!» – говорил Мистрей. – А там?! – «Да, да!» – «А там! Смотри!» – Так они ехали и восклицали.

– О, если бы нам здесь жить! – сказал Мистрей. – Как тихо! Как все прозрачно!

Время от времени Нэд Сван спрашивал их, что видят они. Тогда, стараясь подражать книжному способу выражения, Мистрей кратко сообщал характер пейзажа, и, кивнув, слепой покрывал действительное, чего видеть не мог, плавными соответственными видениями, черты и краски которых были не более далеки от истины, чем король Лир – от короля вообще.

В этом же деле помогала ему и Тави. Она изъяснялась сбивчиво, например, так: «Ручей, как бы вам сказать, машет из-за ветвей платочком». Но в ясных колебаниях ее голоса, напоминающих приветливое подталкивание, Сван ловил больше для своего таинственного рисунка, чем в подробной передаче Мистрея.

Как солнце село, за поворотом горной дороги начался спуск, и минут через десять карета прогрохотала перед освещенными окнами Ионсонова дома.

III

– Две массы, – сказал негр. – И один небольшой дама. Там, на дворе. Я сказал: вы не спал.

Когда Ионсон встал из-за письменного стола, его опередила проворная, ширококостная женщина с маленьким узлом редких волос на макушке и холодно-терпким выражением пожилого лица, темный цвет которого чем-то отвечал характеру ее быстрого взгляда. За ней вслед вышла огромная фигура Ионсона.

Два негра с фонарями, подняв их, освещали группу.

– Да, конечно, я рад, – сказал Ионсон несколько не тем тоном, какой рассчитывал услышать Мистрей; затем пристально посмотрел на жену, в поджатых губах которой таилось неодобрение по адресу прибывших. Тем не менее она нашла нужным сказать:

– Да, да. Нас почти никто не посещает, кроме деловых людей. Это нам приятно, конечно.

Последнюю фразу Тави могла принять как на свой счет, так и на счет «деловых людей». Она ответила:

– Простите, пожалуйста, если приехали неудачно. А Мистрей все расскажет. Мы не одни. Вот Сван, вы видите? Мы не расстаемся. Вы не покинете нас, Нэд?

– Пока не закрылись глаза ваши, – раздельно и внятно произнес слепой. Он стоял, держась под руку Мистрея, и, опустив голову, казалось, слышал уже холод чужого угла, враждебного согревающему доверию.

– Марта, – сказал Ионсон жене, – надо распорядиться. Войдите, гости.

Все прошли тогда в огромный зал, развернутый электричеством. Здесь была симметрически расставлена жесткая тяжелая мебель; несколько дешевых картин в дорогих рамах тускло разнообразили массивность жилья, выстроенного из крупных камней в виде казармы. Эта казарменность прочно отражалась внутри короткими окнами и серой обивкой стен; двери закрывались плотно и с гулом, унылый оттенок которого невозможно поймать ухом чернил.

Тави привела Свана в угол, где он сел, слушая разговор. Она пыталась благодарить Ионсона за то, что полтора года назад доставил он им светлое удовольствие приглашением посетить свой дом. Но Ионсон ответил искренно непонимающим взглядом, и Тави умолкла. Затем говорил Мистрей. Он рассказал о мошенничестве, жертвой которого сделались они благодаря тонким уловкам, рассчитанным на их доверчивость; о своей мечте поселиться навсегда среди тихих деревьев, подальше от городских дел, и как купленная усадьба оказалась чужой.

На середине его рассказа пришла Марта, сев рядом с мужем в позе, какие принимаются на дешевых фотографиях, если снялась пара. На Марте было черное шелковое платье, в руках держала она колоссальный веер, не подвергая его однако опасности треснуть движениями мощных дланей.

Выслушав, Ионсон громко захохотал.

– Недурно обтяпано, – сказал он и толкнул локтем жену. – А, Марта?! Слышала ты такое?

– Чудеса, – ответила та, бесцеремонно рассматривая гостей. – Все продали?

– Увы, – сказал Мистрей, – и наше маленькое наследство и мебель. Иначе не составлялось необходимой суммы.

– Так какого же черта, – возразил Ионсон, поглаживая колено, – какого же, я говорю, черта не посмотрели вы свою кошку в мешке?!

– Кошку? – удивилась Тави.

– Ну да; я говорю об усадьбе. Вам надо было приехать на место и рассмотреть, что вам предлагают купить. Ведь вы свалили дурака. Кто виноват?

– Дурака, – машинально повторил Мистрей, – да, дурака. Но...

Он умолк. Тави открыла рот, но почувствовала, что, сказав, понята не будет. За них ответил Нэд Сван:

– Мои друзья, – тихо повел он из угла, – не будут в претензии, если я доскажу за них. Они хотели бы радоваться неожиданности, той, может быть, незначительной, но всегда приятной неожиданности, когда, ступая на свою землю, еще не знаешь ее. Они дорожат свежестью впечатления, особенно в таком серьезном деле, где первое впечатление навсегда окрашивает собой будущее. Вот почему они поверили спокойному болтуну.

Тави сконфуженно рассмеялась. Мистрей застегнул кнопку блузы, раскрывшуюся на ее плече, затем сказал:

– Пожалуй, так и было оно.

– Х-ха... – крикнул Ионсон, играя узлами челюстей, и посмотрел на жену.

Та, подняв веер, склонилась над его ухом, шепча:

– Ты видишь, что это идиоты. Но они не все продали...

Едва он успел движением головы спросить, в чем дело, как Марта обратилась к молодой женщине:

– Это настоящий жемчуг?

– Мой? – Тави коснулась жемчужной нитки, нежившей ее шею гладким прикосновением крупных, как бобы, зерен. – О! Он настоящий. Хвостик наследства, которого теперь нет.

– Хвостик не плох, – сказал Ионсон, вставая и приглядываясь с высоты своих семи футов. Он прищурился. – Да. Но ведь вокруг вашей шеи висит по крайней мере пять недурных имений.

Тави вздохнула весело и задорно.

– Надо вам объяснить, я вижу, – сказала она, лукаво подмигнув мужу. – Эта ниточка нас сосватала. Когда Мистрей пришел сказать... самые хорошие вещи... и... тогда он увидел эти жемчужины на моем столе. Они еще от прабабушки. Вот он воодушевился и представил мне в лицах, как на дне морском раковина дремлет, сияя. Как она живет глубокой жемчужной мыслью. И... и... как она любит, закрывает свою жемчужину, а мы сидели рядом... и... и...

–...и поцеловались, конечно, – добродушно пробасил Сван.

– Нэд! Думайте про себя! – крикнула Тави. – Что за суфлер там, в углу?!

Воцарилось натянутое молчание.

– Ничего, что я так сказала? – повернулась Тави к мужу.

Он взглядом успокоил ее.

– Все ничего, все пройдет, – сказал он и, обратясь к Ионсону, добавил: – Разумеется, не продаются такие вещи, как не продаются обручальные кольца.

– Здорово! – сказал Ионсон.

– Что же вы теперь будете делать? – спросила Марта.

– Прежде всего – подумать. – Мистрей невольно вздохнул. – Только несколько дней, дорогой Ионсон. Пусть она порадуетесь дикой красоте ваших мест.

– При-ро-да! – протянул Ионсон. – Моя болезнь та, что завод плохо работает. Есть, правда...

– Ужин есть, – сказал негр в пиджаке, раскрывая дверь.

– Вы давно ослепли? – спросила Марта у Свана.

– Давно.

IV

Отрывистое настроение хозяев мало улучшилось за столом, хотя Ионсон пил много и жадно. Но Марта стала внимательней. От ее любезностей подчас хотелось крикнуть, однако резкая болтовня стерла отчасти натянутость, делавшуюся уже невыносимой для Тави.

Наконец, слегка качнувшись, так как промахнулся опереться локтем о стол, Ионсон счел нужным посвятить Мистрея в свои дела. Завод гибнет. Его преследуют неудачи, долги растут, близятся роковые взыскания, спрос мал, застой и кризис в торговле. Однако он не унывает. Всю жизнь приходилось ему выпутываться из положений гораздо худших, – туча рассеется.

Мистрей выразил надежду, что она рассеется быстрее всех ожиданий. Как у Тави слипались глаза, он не поддерживал особенно разговора; молчал и Нэд Сван. Незадолго перед тем, как часы ударили полночь, под окном дома мелькнул громовой выстрел, сопровождаемый собачьим лаем и криками.

– Это вернулся Гог, – заметила Марта, – наш сын.

По всему дому пронеслось хлопанье дверей, затем высокий, как его отец, молодой человек с нелюдимым лицом появился перед собранием. Его голова, по-горски, была обвязана красным платком, жесткая борода неестественно, как черная наклейка, обходила полное, загорелое лицо с неприятным ртом и бесцветными, медленно устанавливающими взгляд, сонно мигающими глазами. В его руках был карабин.

– Чужая собака, – сказал он, несколько смутясь при виде чужих, и повернулся уйти. – В голову. Ха-ха!

– Сядь, – сказал Ионсон.

Гог, пробормотав что-то, скрылся, стукнув о дверь дулом ружья.

– Невежа! – закричал вслед отец.

Мать пояснила:

– С него взятки гладки: раз уж набрал в рот воды или не хочет чего-нибудь, – упрасивать бесполезно.

Об этом не говорили больше. Посидев еще несколько времени, гости были отведены в приготовленные для них комнаты. Перед тем, как лечь, оба зашли к Нэду, посмотреть, не нужно ли ему что-нибудь.

– Ну, что вы скажете, – спросил Мистрей, – каковы впечатления ваши?

– Вижу отчетливо всех троих. – Сван слепо прищурился в тот свой мир, где так все было знакомо ему. – Ионсон: черный, большой рот и рыжая черта поперек налитого кровью глаза. Его жена: зубчатый небольшой круг с клювом спрута внутри. Гог... этот неясно... да: тьма, две медные точки и крылья совы.

– Ну, вот еще, – с некоторым неудовольствием отнеслась Тави, – милый Нэд, вы нервны сегодня. Но, правда, что-то беспокоит и мне.

– Кажется, мы приехали неудачно, – заметил Мистрей, но, не желая расстраивать Тави, прибавил: – Все это пустая мнительность... Нэд, спокойной вам ночи!

– Благодарю. Да будут спокойны и ваши ночи, – ответил Сван, – спокойны, пока я слеп.

Муж и жена давно привыкли уже к странной манере, в какой иногда выражал мысли свои Нэд Сван; поэтому, не обращая особенного внимания на его последние слова, попрощались и удалились к себе.

V

Несколько дней прожили они, сходя по утрам в долины или поднимаясь среди цветущих теснин к затейливым углам горного мира, где яркие неожиданности пейзажа напоминают ряд радостных встреч с лучшими из своих желаний, принявших кроткую или захватывающую дыхание видимость. Среди этого мира, неподалеку от дома, рвал дымом нежную красоту гор завод Ионсона, – трубы, обнесенные стенами и складами. Казалось, был перенесен он сюда из города каким-то подземным путем, вынырнув вдруг среди зеленого сияния склонов. Без вопросов смотрела на него Тави, иногда говоря тихое «А!..» – если случившийся тут же Ионсон объяснял что-нибудь. И она спешила на озеро, где с удочками в руках, беспечные обобранные люди вбирали всем существом своим блеск бездонной воды, отражающей их фигуры.

Нэд Сван неизменно сопровождал их. Благодаря его присутствию прогулки гостей были медленны и покойны, так как надо было вести слепца, дав ему держаться за себя или за конец палки, другой конец которой Мистрей брал под мышку. Нэд Сван расспрашивал их, слушал и говорил о своем.

Меж тем впечатления дома, – естественным путем взаимного отчуждения, скрывать которое все же приходилось известным усилием, – стали за их спиной, но редко они оборачивались к острому их лицу. Там крикливыми голосами, счетами и проклятиями, бранью и своеобразной душевной отрывкой, точно обозначающей все колебания делового дня, текла, собранная в жидкий узел на маковке, своя жизнь. Хозяева и гости встречались редко. Гог приходил иногда к обеду, но чаще давал знать о существовании своем окрестными выстрелами или хохотом где-то позади конюшен, который звучал так долго, ровно и громко, что хотелось закрыть окно. Он почти ничего не говорил, здоровался чуть ли не с отвращением и был вообще – сам.

Прошла неделя, а эти чужие друг другу люди так же мало знали взаимно о себе, как при первой встрече.

Под вечер следующего дня пьяный, но отлично держащийся на ногах, внезапно получивший дар речи Ионсон вошел в комнату гостей с таким видом, что сразу, еще до первого слова, создалось предчувствие некоего делового момента.

VI

– Мне надо поговорить с вами, Мистрей, – медленно сказал Ионсон. Избегая смотреть в глаза, он ворочал засунутыми в карманы брюк кулаками, как будто месил. – И с вашей женой также. Есть дело. То есть я хочу говорить о деле, если вы против ничего не имеете.

– Нет, я слушаю вас. – Мистрей посадил Ионсона и сел против него. Тави сидела в глубине комнаты, укрытая тенью, выказываясь оттуда далекой и тихой. – Предупреждаю, однако, что я не деловой человек. В этом могли вы убедиться из моего опыта покупки чужой земли.

Взгляд Ионсона блеснул двусмысленно.

– Гм... – сказал он, – да, каждый может стать, конечно, добычей изворотливых молодцов... однако... но я скажу прямо, что дело касается только вас и меня.

– А меня? – рассмеялась Тави.

– Вас? Ну, и вас, конечно. Оно касается вас обоих, но более всего – одного меня.

– Так говорите, – сказал Мистрей, намеренно избегая паузы.

Ионсон грустно вздохнул, сдвинув лицо так, что все его черты собрались к глазам, старавшимся пристально отметить что-то в лицах жены и мужа, – нечто, указывающее линию дальнейшего разговора.

– Я разорен, – хрипло заявил он, – разорен в лоск и не больше как через месяц должен буду уйти отсюда. Есть только один выход из положения. Слушайте: мне предлагают крупную партию сырья почти даром. Почему это так, я сам хорошо не знаю; знаю лишь, что человек, с которым веду переговоры, безусловно надежен. В моем распоряжении еще есть двадцать четыре часа. Если я внесу половину суммы, – товар мой, и я через две недели выпускаю его готовыми фабрикатами по цене, значительно более дешевой, чем рыночная. Таким образом, помимо крупной прибыли, я получаю заказы и задатки, чем отсрочиваю и частью оплачиваю векселя. Но сегодня, или – самое позднее – завтра, надо уплатить тому человеку тридцать тысяч.

Он смолк, откинулся, полузакрыв глаза, затем внезапно и нагло бросил упорный взгляд на Мистрея, хлопнув по колену рукой.

– Так, – сказал, подумав, Мистрей, – но, право, я неважный советчик.

– Совет мне не нужен.

– Тогда... что?!

– Деньги.

– Как?!

– Жемчуг, – сказал Ионсон, волнуясь уже заметным образом. – У вашей жены есть жемчуг. Он стоит шестьдесят верных. Пойдите, я кончу. Вы дадите мне жемчуг в обеспечение поставки. Я закладываю его. Он будет цел, ручаюсь своей честью. Ровно через месяц, ни днем раньше, ни позже, я возвращаю вам вещь обратно, плюс двадцать процентов на сто. И мы квит.

Наступило молчание. Тави пересела к Мистрею. Ее рука поднялась было к шее, где снимавшееся лишь на ночь кружило в электрическом свете огненно-молочный блеск свой ее радужное воспоминание, как опустилась вновь с гордостью, выраженной тихой улыбкой. Впрочем, она взглянула на мужа не без лукавства, предчувствуя интересный ответ.

– И вы подумали это? – сказал Мистрей. – Но я скажу так же прямо, как прямо обратились ко мне вы: на это мы не пойдем.

Ионсон проглотил слюну.

– Почему? – глухо и вкрадчиво спросил он.

– Это невозможно.

– Так почему, черт возьми?

Красными пятнами покрылось его лицо. Он встал и сел снова с силой, так, что затрещал стул. Беспомощно и свирепо звучали его слова.

– Послушайте, – начал он, помяв руки, – здесь нет риска. Я отвечаю и могу поклясться...

– Мне жаль вас, – твердо перебил Мистрей, – но пачкать душу свою я не буду. В этой вещи, о которой вы говорите с понятной, на ваш взгляд, легкостью, так как для вас это – просто ценность, – в этой вещи заключен первый наш простой вечер, – мой и жены моей. Эта вещь не продается и не закладывается. Она уже утратила ту ценность, которая дорога вам; ее ценность

иная. Я сказал все.

Ионсон встал.

– Отлично, – сказал он, качая головой гневно и медленно, как если бы рассуждал об отсутствующих. – Эти люди... ха... Эти люди приезжают к тебе, Ионсон. Да. Что они просят? Нет, они ни-че-го не просят. Они благородны. Это гости. Они живут, едят, пьют...

– Мистрей! – едва могла сказать Тави.

Мистрей быстро положил руку на плечо Ионсона.

– Выйдите и ложитесь спать, – сказал он так тихо и явственно, что Ионсон отшатнулся. – Мы не останемся здесь более десяти минут. Тави! – но она уже встала, смотря в окно.

Здесь он заметил, что дверь раскрыта. Мягко держась за притолоку, стоял с опущенной головой Нэд Сван. Он кашлянул.

– О! Да, вот что это! – вскричала, увидев его, Тави. – Собирайтесь и вы, Нэд.

– Я готов, – печально сказал слепой.

Ионсон вышел, смотря на гостей с расстояния нескольких шагов, через дверь. Он топнул ногой.

– Ступайте под окно! – закричал он. – Там вам швырнут багаж.

Сван знаком остановил Мистрея.

– Багаж моих друзей, а также и мои пожитки, – сказал он, повернув лицо к Ионсону, – останутся пока здесь. Они будут выкуплены через несколько дней суммой, вознаграждающей Ионсона. Он нес расходы. Мы пили и ели у него.

– Благодарю, Сван, – сказала Тави. – Так надо.

Они вышли немедленно. Никто не провожал их ни бранью, ни дальнейшими разговорами об этой оскорбительной стычке. У подъезда стоял Гог. Он видел, как три человека, не оглядываясь, медленным шагом отошли прочь и скрылись в лесу.

VII

Тропа, которой они шли, вилась отлогим зигзагом; у самых ног их падали от уступа к уступу молчаливые, ярко озаренные склоны. Казалось, здесь был предел разнообразию: едва утомленный сверкающей пустотой долин глаз переходил к ближайшим явлениям, как висящие над головой скалы или поворот, оттененный светлой чертой неба, по-иному колебали волнение, вызванное и ровно поддерживаемое оглушительной тишиной стремнин.

Устав, путники сели, свесив ноги над бездной. Вначале показалось Мистрею, что Тави говорит что-то, – такой сосредоточенной трубочкой вытянулись ее губы, шепча или мурлыкая про себя. Но она просто летала, держась руками за землю, по противоположному склону, отделенному от нее не более как перелетом ядра. Она летала, мысленно опускаясь там, где было более живописно. Ее глаза ярко блестели.

– О, Мистрей! – могла она только сказать, прижав руку к сердцу. – Нэд, простите меня за то, что у меня есть зрачки.

Сван помолчал. Странная улыбка прошла по его лицу.

– Я вижу, – сказал он. – Но я вижу иначе: тем настроением, какое сообщается мне от вас.

Оглянувшись, Мистрей заметил в скале подобие ниши, что и было приветствуемо как приют. Сухие кусты росли густо вокруг. Это годилось для костра. Неподалеку, на мшистом отвесном скате висел, перескакивая вниз, прозрачный ручей. Тави залезла на ореховое дерево, порвав юбку. Сван выгрузил из кармана большой кусок хлеба.

– Я взял с собой, – сказал он, – это припишем к счету.

Они долго сидели у огня, разговаривая и восхищаясь романтичностью положения. Затем Тави положила голову на колени мужа и уснула, а он прислонился к стене.

Сван лег у выхода ниши.

VIII

В самом зените ночи, вставшей высоко вверх и молча смотревшей вниз на отражение свое по пропастям и обвалам, из ущелья на дорогу вышел медведь. Став к ветру, неодобрительно слушал он глубиной ноздрей, сосавших пахнувший камнем и листвою воздух, мельчайший крап оттенков его: не тронет ли тоскливым ознобом внутри дыхания, не ясным ли станет памятный от прежних встреч шагающий образ с направленной к медвежьим глазам черной чертой, откуда надо ждать треска и боли.

Но колеблющийся баланс воздушных течений сдвинул легкую ткань опасного запаха, расслоил и переместил ее. Тогда, шумно вздохнув, медведь фыркнул в пыль уснувшей тропы. Коза, еж и лисица явились умственному взору его, так как вчера были на этом месте – но слабо; явление отмечало значительный промежуток времени. Тогда той частью души, которая у зверей похожа на состояние сонного человеческого сознания, когда, дремля, натуживается оно никогда не приходящим воспоминанием, медведь двинулся по тропе вниз, раскачивая головой и осторожно следя, не пересечется ли путь подозрительным воздушным узором.

Вдруг он остановился и сел, подняв голову, как собака. Ветер, случайно завернув вспять, хлопнул его по ноздрям одеждой и телом нескольких людей, находившихся где-то совсем близко. Он ощутил слабый позыв желудочного беспокойства, и лапы его отяжелели. Однако он не убежал и не вскарабкался выше, а с недоумением разминал запах, вслушиваясь в него с медленно проходящим испугом. Запах был лишен яда, то есть мог принадлежать только другой породе, может быть, в чем-то равной образу, шагающему с гремящей чертой в лапах.

Зверь подвинулся, фыркая тихо и вопросительно. Он видел, как мы днем. Совсем войдя в группу, он приблизил носовое внимание свое к лицу Тави и успокоился. Затем, мягко перешагнув ноги Мистрея, провел, почти касаясь мордой, по контуру тела Свана.

Все утихло, все заленилось в нем, но пахло еще чем-то, давно забытым. Это была хлебная корка. Он тихо слизнул ее, поиграв челюстями, и лег, вытянув голову к ногам спящей женщины, – как ковер из его меха, лежащий, быть может, теперь под человечески-звериной ногой.

Он спал. Когда снова его начал мучительно волновать тот запах, за две мили от которого поспешил он обеспечить себе спокойную ночную прогулку, горное чудовище выползло на тенистый свет звезд, и, дыбом, тронулось к Гогу, поспешно направившему гремящую черту в косматое сердце. Но медведь только махнул лапой. Пощечина обнажила скулы и, мгновенно помертвев, согнутый в коленях страшным ударом, человек, видевший всю ночь только жемчуг, отправился на край бездны.

Сказалось ли темное прошлое семьи в том, что у человека, который плеснулся с полумильной высоты о широкий камень, подобно воде, красное пятно, покрывшее известняк, расплылось в форме ножа, – мы не знаем. Осталось лишь прошлое. Будущее растеклось по скале и высохло в отвесных лучах.

Утром Мистрей сказал Свану, что на золе следы лап, прося не говорить жене о своем открытии.

Сван обратил с тихой улыбкой серебряный взгляд к обрыву, где – лишь он один знал – упал сын Ионсона. Но это знание было равно сну, невыразимому словом.

Все трое благополучно спустились к горному поселению, где смогли нанять мулов.

Через неделю они получили свой багаж – без письма.

Гатт, Витт и Редотт

I

Три человека, желая разбогатеть, отправились в Африку. Им очень хотелось иметь собственные автомобили, собственные дома и собственные сады. В то время африканские алмазные прииски, расположенные на реке Вивере (эта река такая маленькая, что ее нет на карте), каждый месяц давали от тысячи до трех тысяч каратов драгоценного камня. Поэтому каждый месяц пароход, пришедший к тому берегу из Занзибара, ссаживал сотни людей, желавших попытать

счастья.

Наши три человека были: почтальон, извозчик и пекарь. Первого звали Гатт, второго – Витт и третьего – Редотт. Скопив денег на дорогу, отправились они в страну змей, обезьян и львов копать тамошние пески.

Немедленно по приезде с ними начались несчастные случаи. Сначала заболел лихорадкой Редотт, затем Витт и наконец Гатт. Пока они лежали в палатке, отпиваясь хиной и кокосовым пивом, негры украли у них все деньги, инструменты и лошадей. Выздоровев, они подыскивали себе участок, где, по их расчетам, должны были находиться алмазы; заняли три лопаты и стали работать.

После целого месяца усиленного труда на всех троих нашли всего лишь один-единственный бриллиант, но и тот мутный, как грязное стекло. Он был, правда, величиной с орех, но почти ничего не стоил; маклер дал за него только три фунта.

Между тем их энергия стала падать. Они попытались менять участки, но нигде более ничего не нашли. Кроме того, зной плохо действовал на состояние их здоровья: они худели, пили много воды и почти не могли спать; тревога и забота не давали им покоя.

Однажды вечером сидели они у костра, молча и тихо.

– Итак, у нас ничего нет, – сказал задумчивый, спокойный Редотт, – нет даже сил, чтобы разрубить дерево для костра. Питаемся мы почти одной зеленью. Этак мы скоро подохнем.

– Я не желаю подыхать, – возразил беспокойный, крикливый, более всех тщедушный и прожорливый Гатт, – я хочу, понимаете, бифштексиков, вина и денег. Вообще я хочу широко наслаждаться жизнью, черт ее побери.

– Наслаждайся, – насмешливо сказал желчный черноволосый Витт. – Мне бы только немного окрепнуть. Я тогда пойду к голландцу Ван-Клопсу. Ван-Клопс даст мне ружье и пороха. И я присоединюсь к охотникам за слоновой костью. Но, увы, я должен поесть, поесть много раз хорошего мяса.

– Да, сильным быть хорошо, – отозвался Редотт. – Куда я гожусь? – Он засучил рукава и посмотрел на свои худые руки. – Будь я, например, немного посильнее Самсона, я черной земляной работой добыл бы себе здесь форменный капитал. Разве не так?

– Я ловил бы слонов, как мышей, – сказал Витт. – Я вырывал бы руками клыки и таскал бы целые снопы их, как пачку папирос. Кроме того, десятков – другой львов, пойманных живьем, купит любой зверинец. А вы знаете, сколько стоит приличный лев? Говорят, тысяча фунтов. Теперь сосчитайте.

– Двадцать тысяч фунтов, – сказал Гатт. – При такой силишке, о которой вы говорите, я просто плюнул бы в реку, не сходя с места, и убил бы простым плевком столько рыбы, сколько нужно для всего прииска. Рыба свежая – пожалуйста, и деньги на бочку.

II

– Так в чем же дело? – раздался над головами их громкий вопрос.

Костер бросал в тьму летающий рыжий блеск, и в блеске этом показалась бронзовая фигура индуса. Его тюрбан сиял дорогим шитьем, за поясом мерцали драгоценные камни кинжальной рукояти. Матовые, орлиные глаза индуса выражали достоинство и гордость. Недавно прибыл он на Виверу с множеством лошадей и слуг, но не собирался жить здесь; как говорили, держит он путь в глубину Африки.

– Ваше степенство... – пробормотал, подымаясь, Гатт. – Удостоите присесть.

– Садитесь, – угрюмо пробормотал Витт.

Редотт встал и, ответив индусу на его приветственный жест поклоном, сказал:

– Саиб Шах-Дуран, зажги свою трубку у нашего огня. Больше у нас ничего нет.

– Но будет, – сказал индус. – Я прогуливался и услышал ваш разговор. – Он сел. – Так в чем дело? Повторяю, – продолжал Шах-Дуран, – если хотите быть сильными, я могу исполнить ваше желание.

– Вы шутите! – воскликнул Редотт.

– У нас, в Индии, такими вещами не шутят, – сказал индус.

– Арабские сказки, – фыркнул на ухо Витту смешливый Гатт, и шепотом ответил ему Витт:

– Шах, кажется, был в миссии и хватил немного хмельного.

Тонкий слух индуса поймал смысл их слов.

– Я не пью «хмельное», – сказал он без раздражения, но так внушительно, что Витт и Гатт оторопели. – Что же касается «арабских сказок», то лучше мне прямо приступить к делу. Хотите вы быть сильными или нет?..

– О! – сказал Витт.

– Ага! – ответил Гатт.

– Да! – произнес Редотт.

Шах-Дуран расстегнул платье и достал из бисерного мешочка три пшеничных зерна.

– Вот зерна, – сказал он, – эти зерна взяты из саркофага египетского фараона Рамзеса I, который жил тысячи лет назад. В них заключена сила жизни. Пять тысяч лет копила она и увеличивалась. Человек, съевший это зерно, станет сильнее целого стада буйволов.

– Позвольте спросить вас, – обратился к нему Гатт, – почему именно это зерно имеет такую силу, а те, из каких печем мы свои лепешки, вызывают только расстройство желудка?

– У тебя не хватает терпения пропечь лепешку как следует. Что касается этих зерен, то я сейчас объясню, почему в них колоссальная сила. Египетская пшеница в хорошем урожае дает сам-двести. Следовательно, из одного зерна, – если бы оно проросло, – получится двести зерен.

– Он не пил виски, – шепнул Гатт Витту как можно тише. – Единожды двести – двести, это я ручаюсь.

– Я не пил виски, – меланхолически подтвердил Шах-Дуран, а Гатт сделал невинные собачьи глаза. – В доказательство этого я приведу дальнейший расчет. Нил разливается два раза в год, два раза в год плоские его берега дают жатву... Итак, одно зерно с его двумястами детьми дадут в год 40 тысяч зерен. На следующий год 40 тысяч произведут 80 миллионов потомства. На пятый – заметьте, только на пятый год – число зерен возрастет до 102 центилионов четыреста секстилионов, то есть...

Индус взял палочку и начертил на песке 1024, прибавив к этой цифре 23 нуля.

– Вот, – сказал он, – вот сколько будет зерен через пять лет только из одного зерна.

– Высшая математика! – благоговейно прошептал Гатт.

– Говорить ли о пяти тысячах лет? – сказал, посмеиваясь, Шах-Дуран. – Тогда будет столько нулей, что вы соскучитесь их писать.

– Сойду с ума, – подтвердил Витт.

– Или... – вставил Гатт.

Редотт молчал.

– Один золотник весу содержит колос, – продолжал индус. – Та цифра, что я написал, выдержит тяжесть такого же числа колосьев, то есть шестьдесят четыре квинтилона пудов зерна. Вот сила, с которой нам приходится иметь дело. Какова же она за пять тысяч лет?

– Но эту силу, – ехидно возразил Витт, – вы изволите спокойно подбрасывать на ладони да еще увеличенную в три раза.

– Да, – сказал Шах-Дуран. – Вся сила растительности одного зерна за пять тысяч лет сообщится тому, кто проглотит зерно. Как и почему, это я вам объяснять не буду. Желаете ли вы иметь такую силу?

Как ни был притуплен рассудок алмазоискателей нуждой и усталостью, все же они поняли, что предлагают им, – и похолодели от ужаса. Но скоро овладел страхом своим Редотт и, улыбаясь, протянул руку.

– Берешь? – сказал Шах-Дуран.

– Да.

Но, положив на ладонь темное зерно, Редотт взял иголку и царапнул ею свой талисман. Одна едва заметная пылинка отделилась при этом, и он лизнул то место руки, где она должна была быть.

Индус благосклонно улыбнулся.

– Ты осторожен, – сказал он, – и, кажется, поступил хорошо. Но даже при такой скромной порции ты спокойно можешь разбить кулаком каменный дом. Брось это зерно, оно более не может служить. Пусть идет в землю и спокойно освобождает свою силу. Нуте, – обратился он к остальным, – что скажете вы?

«Не может быть столько секстилионов из одного семечка», – легкомысленно подумал Гатт и, взяв зерно, съел его, даже разжевал.

– Вот и все, – сказал он, благодушно прислонясь к камню, затем упал.

Раздался оглушительный вой.

Выскочив при движении локтя Гатта, десятитонный камень секнул пространство на неизмеримую высоту; там, раскаленный трением воздуха, вспыхнул он метеором и рассыпался яркою пылью.

– Ползерна! – вскричал, видя это, охлажденный Витт. – Ползерна – настоящая порция! Иначе меня разорвет сила.

Индус вынул перочинный ножик и отсек ползерна Витту. Налив чашку воды, Витт запил ползерна крупным глотком.

– Чтобы растворилось немного, – сказал он и похлопал себя по животу.

Шах-Дуран встал.

– Будьте здоровы, – сказал индус, поклонился и исчез во тьме.

Затаив дыхание, смотрели наши приятели, как тает во мраке его белый тюрбан, потом осторожно сели и закрыли глаза.

III

То, что они чувствовали, было поразительно. Казалось Гатту, что в жилах его мчатся и гудят железнодорожные поезда. Витт слышал, что сила вливается в него, подобно водопаду. Редотт задумчиво ковырял ногтем огромный пенёк, откалывая пудовые куски дерева.

Но их оцепенение, их изумление перед самими собой скоро прошло, так как тело их уже забыло, что значит быть слабым. Первый вскочил Гатт, он закричал что было духу:

– С такой-то силой, как у меня, шутить не приходится! Эх, где бы ее показать?.. К чему бы это ее немедленно приложить?.. Никак не подвертывается такого предмета!

Он кружился, топал и размахивал руками, оглядываясь; затем, сбив с ног Витта, лишившегося от толчка чувств, кинулся к тысячелетнему баобабу, взял его из земли так же легко, как мы берем спичку, и хлопнул им по Вивере.

Удар был неплох. Дерево, пробив течение реки, прошло в ее дно на глубину двухсот метров и обратилось в пыль, и в этой же бешеной воронке земли и воды мгновенно исчез Гатт, увлеченный силой собственного удара, и от него не осталось ничего. Вивера же вышла из берегов, а затем вздрогнула на триста миль в окружности, отчего жители проснулись и побежали, думая, что началось землетрясение.

– Ты видел? – сказал Редотт очнувшемуся от толчка Витту. – Он сожрал, правда, все зерно, но и в тебя вошла приличная порция. Смотри, не ошибись.

– Я буду охотиться на слонов, – сказал Витт. – Теперь мне не надо никакого ружья.

И они зажили разной жизнью. Витт ушел с топором в лес и пропадал три недели, разыскивая слонов. Сначала скажем, как действовал он, потом вернемся к Редотту. Витт действовал до крайности просто. Его первая встреча со слоном произошла так: слон бросился на него, подняв хобот. Витт намотал хобот на руку, пригнул голову испуганного великана к земле и вырвал клыки; после такой операции зверь бросился бежать, а Витт, всадив клыки в землю, пошел дальше. То один, то два, то целое стадо слонов попадалось ему, и у всех их, то дергая за ноги, то опрокидывая кулаком, вырывал он клыки с хладнокровием и легкостью зубного врача. Он опрокидывал их, как кот мышей. Очень скоро у него скопилось тысяча двести пудов слоновой кости. «Это будет лучше алмазов», – сказал он, когда связал плот из тысячелетних деревьев и погрузил на него добычу. Плот тихо стоял у берега, Витт сидел у костра, благодушествовал и курил. Теперь ему было легко добывать пищу. Стоило хлопнуть ладонью по стволу кокосового или мангового

дерева, как все плоды, стряхиваясь, усыпали землю вокруг него. Если же ему случалось попасть камнем в стадо антилоп, то одна из них наверняка была разорвана на куски.

И от того, что он стал так невероятно силен и каждый день убивал зверей, – он стал очень жесток. Ему доставляло удовольствие разрывать рот львам, давить пальцами рысей и пантер, связывать хвостами всех вместе – носорогов, красивых жирафов, слонов, крокодилов и буйволов – и смотреть, как обезумевшее от ярости стадо грызло и топтало друг друга. Он громко хохотал, а затем, набрав пудовых камней, бросал их в пленников, пока жертвы не превращались в груды дымного мяса.

И вот, когда однажды он сидел у костра, посматривая на свой плот и замышляя, не прибавить ли еще груза, – маленькая коралловая змея, упав с дерева, вонзила ему зубы в колено и умерла, так как он раздавил ее. Затем он сам покрылся холодным потом, скорчился, почернел и умер. И гиены поужинали его трупом.

IV

Между тем Редотт, почувствовав такую силу, что мог бы мешать землю рукой, как мы ложкой мешаем крупу, долго размышлял, что бы теперь предпринять. Он хорошо понимал, что обнаружить силу свою опасно в полном размере, так как его будут бояться, будут ему завидовать, и он наживет себе врагов. Если враг стреляет в темноте ночью, – какая сила удержит кровь пробитого сердца?

– Что ж, надо работать все-таки, – сказал он себе. – Работать мне теперь будет легко. Вся тяжелая человеческая работа есть для меня сущие пустяки.

Он нанялся на прииск копать землю. Вначале ему было очень смешно притворно ковырять землю лопаткой, делая иногда вид, что устал; однако он скоро приноровился и, возбуждая, правда, великое удивление, начал выкапывать за день столько земли, сколько самый сильный негр мог выкопать только в три дня.

«Вот так силач!» – говорили о нем, но так как такая сила, хотя очень редко, все же существует, то ровно никто не подозревал, что Редотт может разбить каменный дом ударом кулака.

У него было много работы и много денег, так как ему платили в пять раз больше, чем другим. Случилось, что он подружился с одним бельгийцем и, малость подвыпив, открыл ему свою тайну.

Бельгиец захохотал.

– Никак я не думал, – сказал он насупившемуся Редотту, – что вы, такой дельный, честный человек, можете так нагло и глупо врать!

Редотт спокойно посмотрел на него, затем встал.

– Идите за мной! – сурово сказал он.

Они вышли из палатки и подошли к рельсам, сложенным на пути.

– Вот куча рельс, – сказал Редотт, – смотрите и судите.

Затем он взял рельсу и воткнул ее в землю аршина на три, так, что конец торчал вровень с его лицом. Бельгиец попытался, а Редотт, хлопнув ладонью по верхнему концу рельсы, заставил ее исчезнуть в землю.

– В таком случае, – сказал упавший от испуга бельгиец, вставая и вытирая о штаны руки, – надо завтра же завоевать Африку. Я буду вашим министром. Не будете же вы без толка и пользы держать вашу сверх-переверх-силищу?!

– Не знаю, – сказал Редотт. – Я посмотрю. Может, наступит день, когда мне понадобится вся моя сила. Лучше я поберегу ее.

И он взял с бельгийца клятву молчать.

– Клянусь Бельгией! – сказал уstraшенный рабочий.

– Хорошо, я вам верю, – ответил Редотт.

V

Была ночь, когда разбудил Редотта страшный, глухой гул. Он вскочил и побежал к копиям. Множество народа бежало уже туда, крича: «Обвал, обвал!» И стало всем ясно, что на большой глубине под землей, где рыли землю, разыскивая алмазы, тысячи человек, случилось несчастье.

Разные назывались причины. Однако скоро стало известно, что взорвались ящики с динамитом. Взрыв был так силен, что обвалились и засыпались все верхние входы, проникнуть под землю было уже нельзя.

Увидев ряд фонарей, Редотт подошел к ним. Здесь собрались инженеры, горячо спорившие о том, как спасти тех, кто, погребенный обвалом, может быть, еще жив, но должен будет задохнуться от недостатка воздуха. Здесь же громко и тяжело плакали женщины, мужья которых работали под землей. Каждая из них успела уже броситься на колени перед инженером, умоляя спасти близких, но инженеры только разводили руками. И, высчитав приблизительно необходимое количество дней, чтобы открыть шахту, сказали, что потребуется десять дней; только через десять дней можно будет сойти вниз и извлечь мертвых и живых, – если живые не поумирают к тому времени от голода и удушья.

В том месте, где было отверстие шахты, склон горы оканчивался справа отвесной скалой, имевшей высоту не менее двухсот футов. На эту-то скалу обратил свое внимание Редотт, слушая вполуха, что говорят инженеры. Наконец раздумье его окончилось; он вытряхнул свою трубку и подошел к совещанию. Теперь он не скрывал свою силу, так как торопился. Проходя сквозь толпу, он просто разводил руками, как по воде, и от этих тихих его движений люди посыпались, как горох. Но все это было приписано суматохе и толкотне, поэтому никакого удивления еще не было. Ему только кричали:

– Чего вы толкаетесь!

– Мистер Витсон, – сказал Редотт старшему инженеру, – есть способ спасти всех или почти всех. Разрешите мне это сделать.

Инженеры умолкли. Штейгер, знакомый Редотта, сказал с досадой:

– Ступайте и проспите, Редотт. Нехорошо быть сегодня пьяным.

– Понюхайте! – Редотт взял Штейгера за голову, притянул к себе идохнул ему прямо в нос. – Пахнет ли водкой?

– Не пахнет, – сказал тот, – но вы, значит, малость не в своем уме. Идите и не мешайте.

– Витсон, – сказал Редотт, поворачиваясь к инженеру, – слушайте, я говорю правду: я спасу всех. И сейчас.

– Объясните толком, чего вы хотите.

– Вот чего я хочу: чтобы вы и все, кто тут есть, приготовились увидеть небольшое гимнастическое упражнение. Дело, прямо скажу, – ответственное. Кроме того, прикажите публике отступить подальше от шахты, чтобы не произошло новых несчастий.

Все были растеряны, все говорили, перебивая друг друга, и Редотт видел, что ему никто не верит. Тогда подошел и встал рядом с ним бледный, как смерть, бельгиец. Смотря на Редотта, он трясся от ожидания и волнения.

– Он сделает, – сказал бельгиец, – он может, верьте ему, – клянусь Бельгией!

Не зная, что делать, и уступая мольбам рабочих, требовавших разрешения Редотту сделать свою попытку, Витсон приказал разойтись всем как можно дальше от шахты. Едва приказание было исполнено, как Редотт неторопливо подошел к скале, в которую упирался горный скат, и исчез. Во тьме было не видно, что он делает. Толпа, затаив дыхание, ожидала.

И вот произошло великое дело, памятное доселе в летописях алмазных копей Виверы. Редотт уперся в скалу правым плечом, скрестил руки, ногами уперся в камень и, собрав всю силу, двинул весь горный склон прочь. Под этим местом шли ходы шахт. Он сгреб гору своей скалой так же просто, как паровоз грудью сбрасывает с рельс снежный завал, открыв этим усилием сразу несколько вертикальных ходов. Так мальчик сбивает вершину муравейника, обнажая внутренние муравьиные галереи.

Рев сорванных горных пластов напомнил ужасный гул тропических бурь. Ему ответили крики замурованных обвалом людей. Торопливо выползали они на воздух, вынося обмерших и откопанных. Спасение остальных было уже делом часов, а не дней.

Труп Редотта нашли лежащим у опрокинутой и далеко отъехавшей скалы. От непосильного напряжения у него лопнула на руках и ногах кожа; лопнули жилы шеи и внутренностей. Среди других за его гробом шел бельгиец, говоря каждому, кто хотел слушать:

– Действительно, он свернул шею горе, клянусь Бельгией!

Бродяга и начальник тюрьмы

«Свет полон несправедливости. Ни одно дарование не находит достойной оценки. К чему, например, высшее образование, честолюбивые мечтания, безусловная порядочность, аккуратность, наконец, почерк, каким не постыдились бы писать на Олимпе? Увы, все тщета».

Так рассуждал начальник тюрьмы в Н. – городке, столь уединенном и малом, что он никак не мог позволить себе роскошь иметь большую тюрьму и важных преступников. Едва ли было хоть раз, что все сорок камер тюрьмы заняты постояльцами. Как правило, одновременно находилось в ней не более десяти арестантов; но не было блестящих имен. Ни Равашоль, ни Джек-Потрошитель, ни Картуш, ни Ринальдо Ринальдини – но мелкие воры и серые жулики да бродяги.

Таким образом, Пинкертон, начальник тюрьмы, возненавидевший свою громкую фамилию именно за ее блеск фальшивого бриллианта, вечно страдал желчью и напрасным честолюбием.

Наступила весна. Тысячи честолюбцев, легионы непонятых Наполеонов возделывают в это время грядки или окапывают клумбы. Это их роковая судьба: сажать салат и пионы, в то время как их более счастливые камрады насаживают пограничные столбы.

Так поступал теперь и Пинкертон: он бродил по маленькому тюремному саду, намечая, где, что и как посадить. Садик был отделен от тюремного двора живой изгородью; с другой стороны к нему примыкала наружная стена. У стены стояло кресло-качалка; побродив, Пинкертон сел в нее, утомленный ночной работой, и стал жмуриться под жаркими лучами, как кот. Солнце, накаливая стену, образовало здесь род парника; начальник вспотел.

Вошел часовой с хлипким мышеподобным субъектом, достаточно рваным, чтобы подробно не описывать его костюм. Его маленькие глаза бегали с задумчивым выражением; короткое, костлявое лицо, укрытое гнедой пеленой, имело философский оттенок, свойственный вообще бродягам.

– Можешь ты копать землю? – спросил Пинкертон. – Вообще – умеешь ли работать в саду? Ступайте, Смит, я буду сидеть здесь.

Часовой ушел; начальник повторил вопрос.

– Умею ли? – почтительно переспросил рваный субъект, – но, право, вы меня рассмешили. Я работал в висячих садах герцогини Джоанны Фиоритуры, в парке лорда Альвейта, в оранжереях знаменитого садовода Ниццы Кумахера, и я...

– Похоже, что ты врешь, – перебил Пинкертон, зевая и располагаясь удобнее. – Только вот что, приятель: видишь эти две клумбы? Надо их поднять выше.

– Пустое дело, – сказал бродяга. – Не извольте беспокоиться. Однажды, путешествуя, – пешком, разумеется, – из Белграда в Герцеговину, я возымел желание украсить придорожные луга. Я нашел старую лопату. Что же? К вечеру полторы мили лугов были покрыты клумбами, на которых росли естественные дикие цветы!

– Как ты лжешь! – сказал Пинкертон. – Зачем ты лжешь?

Прежде чем ответить, бродяга сделал несколько ударов киркой, затем оперся на нее с видом отдыхающего скульптора.

– Это не ложь, – грустно сказал он. – Боже мой! Какая весна! Вспоминаю мои приключения среди гор и долин Эвареска. Великолепно идти босиком по свежей пыли. Крестьяне иногда сажают обедать. Спишь на сене, повторяя милый урок из раскинутой над головой астрономии. Как пахнет. Там много цветов. Идешь, как будто по меду. Также озера. Я имел удочки. Бывали странные случаи. Раз я поймал карпа в двадцать два фунта. И что же? В его желудке оказался серебряный наперсток...

– На этот раз ты действительно безбожно врешь! – крикнул Пинкертон. – Карп в двадцать

два фунта – абсурд!

– Как хотите, – равнодушно сказал бродяга, – но ведь я его ел.

Наступило молчание. Арестант разрывал небольшой участок.

– Нет лучше наживки, – сказал он, вытаскивая из глыбы и перебрасывая с руки на руку огромного ленивого червя, – как эти выползки для морского окуня. Вот обратите внимание. Если его разорвать на небольшие куски, а затем два или три из них посадить на крючок, то это уже не может сорваться. Испытанный способ. Между тем профаны надевают один кусок, отчего он стаскивается рыбой весь.

– Глупости, – сказал Пинкертон. – Как же не сорвется, если выползка перевернуть и проколоть несколько раз, головкой вниз.

– Вверх головкой?!

– Нет, вниз.

– Но обратите внимание...

– А, черт! Я же говорю: вниз!

Арестант сожалительно посмотрел на начальника, но не стал спорить. Однако был он задет и, взметывая киркой землю, бурчал весьма явственно:

– ...не на всякий крючок. Притом рыба предпочитает брать с головы. Конечно, есть чудaki, которые даже о поплавке знают не больше кошки. Но здесь...

Снова устав, землекоп повернулся к Пинкертону, убедительно и кротко журча:

– А знаете ли вы, что на сто случаев мгновенного утопления поплавка – девяносто пустых, потому что рыба срывает ему хвост?! Головка же тверже держится. Однажды совершенно не двигался поплавок, лишь только повернулся вокруг себя, и я понял, что надо тащить. А почему? Она жевала головку; и я подсек. Между тем...

Его речь текла плавно и наивно, как песня. Жара усиливалась. От ног Пинкертона к глазам поднималось сладкое сонное оцепенение; полузакрыв глаза, вслушивался он в ропот и шепот о зелени глубоких озер, и, наконец, чтоб ясно представить острую дрожь водяных кругов вокруг настороженного поплавка, зажмурился совершенно. Этого только и ожидал сон: Пинкертон спал.

– Это так портит нервы, – ровно продолжал бродяга, грустно смотря на него и тихо жестикулируя, – так портит нервы плохая насадка, что я решил сажать только вверх. И очень тщательно. Но не вниз.

Он умолк, задумчиво осмотрел Пинкертона и, степенно оглянувшись, взял из его лежавшего на столике портсигара папироску. Закурив ее и вздохнув, причем его глаза мечтательно бродили по небу, он пускал дым, повторяя: – «Нет, нет, – только вверх. И никогда – вниз. Это ошибка».

Он бросил окурочек, не торопясь подошел к дальнему углу сада, где сваленные одна на другую пустые известковые бочки представляли для него известный соблазн, и влез на гребень стены. – «Вниз, – бормотал он, – это ошибка. Рыба непременно стащит. Исключительно – вверх!»

Затем он спрыгнул и исчез, продолжая тихо сердиться на легкомысленных рыбаков.

Победитель

*Скульптор, не мни покорной
И вязкой глины ком...*

Т. Готье

I

– Наконец-то фортуна пересекает нашу дорогу, – сказал Геннисон, закрывая дверь и вешая промокшее от дождя пальто. – Ну, Джен, – отвратительная погода, но в сердце моем погода хорошая. Я опоздал немного потому, что встретил профессора Стерса. Он сообщил потрясающие

новости.

Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взглядывая на накрытый стол и потирая озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому не везет и который привык предпочитать надежды обеду; он торопился сообщить, что сказал Стерс.

Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих глаз, нехотя улыбнулась.

– Ох, я боюсь всего потрясающего, – сказала она, приступая было к еде, но, видя, что муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку. – Не сердись. Я только хочу сказать, что когда ты приносишь «потрясающие» новости, у нас, на другой день, обыкновенно, не бывает денег.

– На этот раз, кажется, будут, – возразил Геннисон. – Дело идет как раз о посещении мастерской Стерсом и еще тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство голосов. Ну-с, кажется, даже наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого дела – вещь относительная; мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва и других, поэтому Стерс сказал: – «Мой милый, это ведь ваша фигура „Женщины, возводящей ребенка вверх по крутой тропе, с книгой в руках“?» – Конечно, я отрицал, а он dokonчил, ничего не выпытав от меня: – «Итак, говоря условно, что ваша, – эта статуя имеет все шансы. Нам, – заметь, он сказал „нам“, – значит, был о том разговор, – нам она более других по душе. Держите в секрете. Я общаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю на вас большие надежды. Поправляйте свои дела».

– Разумеется, тебя нетрудно узнать, – сказала Джен, – но, ах, как трудно, изнемогая, верить, что в конце пути будет наконец отдых. Что еще сказал Стерс?

– Что еще он сказал, – я забыл. Я помню только вот это и шел домой в полусознательном состоянии. Джен, я видел эти три тысячи среди небывалого радужного пейзажа. Да, это так и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя лучше. У Гизера больше рисунка, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?

– Ледан уже представил свою работу?

– Верно – нет, иначе Стерс должен был говорить о нем. Ледан никогда особенно не торопится. Однако на днях он говорил мне, что опаздывать не имеет права, так как шесть его детей, мал мала меньше, тоже, вероятно, ждут премию. Что ты подумала?

– Я подумала, – задумавшись, произнесла Джен, – что, пока мы не знаем, как справился с задачей Ледан, рано нам говорить о торжестве.

– Милая Джен, Ледан талантливее меня, но есть две причины, почему он не получит премии. Первая: его не любят за крайнее самомнение. Во-вторых, стиль его не в фаворе у людей положительных. Я ведь все знаю. Одним словом, Стерс еще сказал, что моя «Женщина» – удачнейший символ науки, ведущей младенца – Человечество – к горной вершине Знания.

– Да... Так почему он не говорил о Ледане?

– Кто?

– Стерс.

– Не любит его: просто – не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь объяснить.

Напряженный разговор этот был о конкурсе, объявленном архитектурной комиссией, строящей университет в Лиссе. Главный портал здания было решено украсить бронзовой статуей, и за лучшую представленную работу город обещал три тысячи фунтов.

Геннисон съел обед, продолжая толковать с Джен о том, что они сделают, получив деньги. За шесть месяцев работы Геннисона для конкурса эти разговоры еще никогда не были так реальны и ярки, как теперь. В течение десяти минут Джен побывала в лучших магазинах, накупила массу вещей, переехала из комнаты в квартиру, а Геннисон между супом и котлетой съездил в Европу, отдохнул от унижений и нищеты и задумал новые работы, после которых придут слава и обеспеченность.

Когда возбуждение улеглось и разговор принял не столь блестящий характер, скульптор утомленно огляделся. Это была все та же тесная комната, с грошовой мебелью, с тенью нищеты

по углам. Надо было ждать, ждать...

Против воли Геннисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себе. Он взглянул на часы – было почти семь – и встал.

– Джен, я схожу. Ты понимаешь – это не беспокойство, не зависть – нет; я совершенно уверен в благополучном исходе дела, но... но я посмотрю все-таки, нет ли там модели Ледана. Меня интересует это бескорыстно. Всегда хорошо знать все, особенно в важных случаях.

Джен подняла пристальный взгляд. Та же мысль тревожила и ее, но так же, как Геннисон, она ее скрыла и выдала, поспешно сказав:

– Конечно, мой друг. Странно было бы, если бы ты не интересовался искусством. Скоро вернешься?

– Очень скоро, – сказал Геннисон, надевая пальто и беря шляпу. – Итак, недели две, не больше, осталось нам ждать. Да.

– Да, так, – ответила Джен не очень уверенно, хотя с веселой улыбкой, и, поправив мужу выбившиеся из-под шляпы волосы, прибавила: – Иди же. Я сяду шить.

II

Студия, отведенная делам конкурса, находилась в здании Школы Живописи и Ваяния, и в этот час вечера там не было уже никого, кроме сторожа Нурса, давно и хорошо знавшего Геннисона. Войдя, Геннисон сказал:

– Нурс, откройте, пожалуйста, северную угловую, я хочу еще раз взглянуть на свою работу и, может быть, подправить кой-что. Ну, как – много ли доставлено сегодня моделей?

– Всего, кажется, четырнадцать. – Нурс стал глядеть на пол. – Понимаете, какая история. Всего час назад получено распоряжение не пускать никого, так как завтра соберется жюри и, вы понимаете, желают, чтобы все было в порядке.

– Конечно, конечно, – подхватил Геннисон, – но, право, у меня душа не на месте и неспокойно мне, пока не посмотрю еще раз на свое. Вы меня поймите по-человечески. Я никому не скажу, вы тоже не скажете ни одной душе, таким образом это дело пройдет безвредно. И... вот она, – покажите-ка ей место в кассе «Грилль-Рума».

Он вытащил золотую монету – последнюю – все, что было у него, – и положил в нерешительную ладонь Нурса, сжав сторожу пальцы горячей рукой.

– Ну, да, – сказал Нурс, – я это очень все хорошо понимаю... Если, конечно... Что делать – идем.

Нурс привел Геннисона к темнице надежд, открыл дверь, электричество, сам стал на пороге, скептически окинув взглядом холодное, высокое помещение, где на возвышениях, покрытых зеленым сукном, виднелись неподвижные существа из воска и глины, полные той странной, преображенной жизненности, которая отличает скульптуру. Два человека разное смотрели на это. Нурс видел кукол, в то время как боль и душевное смятение вновь ожили в Геннисоне. Он заметил свою модель в ряду чужих, отточенных напряжений и стал искать глазами Ледана.

Нурс вышел.

Геннисон прошел несколько шагов и остановился перед белой небольшой статуей, вышиной не более трех футов. Модель Ледана, которого он сразу узнал по чудесной легкости и простоте линий, высеченная из мрамора, стояла меж Пунком и жалким размышлением честного, трудолюбивого Пройса, давшего тупую Юнону с щитом и гербом города. Ледан тоже не изумил выдумкой. Всего-навсего – задумчивая фигура молодой женщины в небрежно спадающем покрывале, слегка склоняясь, чертила на песке концом ветки геометрическую фигурку. Сдвинутые брови на правильном, по-женски сильном лице отражали холодную, непоколебимую уверенность, а нетерпеливо вытянутый носок стройной ноги, казалось, отбивает такт некоего мысленного расчета, какой она производит.

Геннисон отступил с чувством падения и восторга. – «А! – сказал он, имея, наконец, мужество стать только художником. – Да, это искусство. Ведь это все равно, что поймать луч. Как живет. Как дышит и размышляет».

Тогда – медленно, с сумрачным одушевлением раненого, вззирающего на свою рану одновременно взглядом врача и больного, он подошел к той «Женщине с книгой», которую сотворил сам, вручив ей все надежды на избавление. Он увидел некоторую натянутость ее позы. Он всмотрелся в наивные недочеты, в плохо скрытое старание, которым хотел возместить отсутствие точного художественного видения. Она была относительно хороша, но существенно плоха рядом с Леданом. С мучением и тоской, в свете высшей справедливости, которой не изменял никогда, он признал бесспорное право Ледана делать из мрамора, не ожидая благосклонного кивка Стерса.

За несколько минут Геннисон прожил вторую жизнь, после чего вывод и решение могли принять только одну, свойственную ему, форму. Он взял каминные щипцы и тремя сильными ударами обратил свою модель в глину, – без слез, без дикого смеха, без истерики, – так толково и просто, как уничтожают неудавшееся письмо.

– Эти удары, – сказал он прибежавшему на шум Нурсу, – я нанес сам себе, так как сломал только собственное изделие. Вам придется немного здесь подмести.

– Как?! – закричал Нурс, – эту самую... и это – ваша... Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась. Что же вы теперь будете делать?

– Что? – повторил Геннисон. – То же, но только лучше, – чтобы оправдать ваше лестное мнение обо мне. Без щипцов на это надежда была плоха. Во всяком случае, нелепый, бородатый, обремененный младенцами и талантом Ледан может быть спокоен, так как жюри не остается другого выбора.

Четырнадцать футов

I

– Итак, она вам отказала обоим? – спросил на прощанье хозяин степной гостиницы. – Что вы сказали?

Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали на себя за то, что разболтались вчера вечером под властью винных паров. Теперь хозяин пытался подтрунить над ними; по крайней мере, этот его последний вопрос почти не скрывал усмешки.

Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:

– Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш разговор, даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле...

– Но что же особенного узнал трактирщик? – хмуро возразил Кист. – Ну... любил ты... любил я... любили одну. Ей – все равно... Вообще, был ведь разговор этот о женщинах.

– Ты не понимаешь, – сказал Род. – Мы сделали нехорошо по отношению к ней: произнесли ее имя в... за стойкой. Ну, и довольно об этом.

Несмотря на то, что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товарищами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило их; оба они, мысленно, смотрели на Кэт в телескоп, а никто так не сроден друг другу, как астрономы. Поэтому их отношения не нарушились.

Как сказал Кист, «Кэт было все равно». Но не совсем. Однако она молчала.

II

«Кто любит, тот идет до конца». Когда оба – Род и Кист – пришли прощаться, она подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в чувстве своем. Так, может быть, немного жестоко рассуждал восемнадцатилетний Соломон в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не понимала, как можно отойти от нее далее четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Однако серьезный вид рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорят только при настоящей разлуке, немного разозлили

ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.

– Ступайте, – сказала Кэт. – Свет велик. Не все же будете вы вдвоем припадать к одному окошку.

Говоря так, думала она вначале, что скоро, очень скоро явится веселый, живой Кист. Затем прошел месяц, и внушительность этого срока перевела ее мысли к Роду, с которым она всегда чувствовала себя проще. Род был большеголов, очень силен и малоразговорчив, но смотрел на нее так добродушно, что она однажды сказала ему: «цып-цып»...

III

Прямой путь в Солнечные Карьеры лежал через смещение скал – отрог цепи, пересекающий лес. Здесь были тропинки, значение и связь которых путники узнали в гостинице. Почти весь день они шли, придерживаясь верного направления, но к вечеру начали понемногу сбиваться. Самая крупная ошибка произошла у Плоского Камня – обломка скалы, некогда сброшенного землетрясением. От усталости память о поворотах изменила им, и они пошли вверх, когда надо было идти мили полторы влево, а затем начать восхождение.

На закате солнца, выбравшись из дремучих дебрей, рудокопы увидели, что путь им прегражден трещиной. Ширина пропасти была значительна, но, в общем, казалась на подходящих для того местах доступной скачку коня.

Видя, что заблудились, Кист разделился с Родом: один пошел направо, другой – налево; Кист выбрался к непроходимым обрывам и возвратился; через полчаса вернулся и Род – его путь привел к разделению трещины на ложа потоков, падавших в бездну.

Путники сошлись и остановились в том месте, где вначале увидели трещину.

IV

Так близко, так доступно коротенькому мостку стоял перед ними противоположный край пропасти, что Кист с досадой топнул и почесал затылок. Край, отделенный трещиной, был сильно покат к отвесу и покрыт щебнем, однако, из всех мест, по которым они прошли, разыскивая обход, это место являло наименьшую ширину. Забросив бечевку с привязанным к ней камнем, Род смерил досадное расстояние: оно было почти четырнадцать футов. Он оглянулся: сухой, как щетка, кустарник полз по вечернему плоскогорью; солнце садилось.

Они могли бы вернуться, потеряв день или два, но далеко впереди, внизу, блестела тонкая петля Асценды, от закругления которой направо лежал золотоносный отрог Солнечных Гор. Одолеть трещину – значило сократить путь не меньше, как дней на пять. Между тем обычный путь с возвращением на старый свой след и путешествие по изгибу реки составляли большое римское «S», которое теперь предстояло им пересечь по прямой линии.

– Будь дерево, – сказал Род, – но нет этого дерева. Нечего перекинуть и не за что уцепиться на той стороне веревкой. Остается прыжок.

Кист осмотрелся, затем кивнул. Действительно, разбег был удобен: слегка покато он шел к трещине.

– Надо думать, что перед тобой натянуто черное полотно, – сказал Род, – только и всего. Представь, что пропасти нет.

– Разумеется, – сказал Кист рассеянно. – Немного холодно... Точно купаться.

Род снял с плеч мешок и перебросил его; так же поступил и Кист. Теперь им не оставалось ничего другого, как следовать своему решению.

– Итак... – начал Род, но Кист, более нервный, менее способный нести ожидание, отстраняюще протянул руку.

– Сначала я, а потом ты, – сказал он. – Это совершенные пустяки. Чепуха! Смотри.

Действуя сгоряча, чтобы предупредить приступ простительной трусости, он отошел, разбежался и, удачно поддав ногой, перелетел к своему мешку, брякнувшись плашмя грудью. В зените этого отчаянного прыжка Род сделал внутреннее усилие, как бы помогая прыгнувшему

всем своим существом.

Кист встал. Он был немного бледен.

– Готово, – сказал Кист. – Жду тебя с первой почтой.

Род медленно отошел на возвышение, рассеянно потер руки и, нагнув голову, помчался к обрыву. Его тяжелое тело, казалось, рванется с силой птицы. Когда он разбежался, а затем поддал, отделившись на воздух, Кист, неожиданно для себя, представил его срывающимся в бездонную глубину. Это была подлая мысль – одна из тех, над которыми человек не властен. Возможно, что она передалась прыгавшему. Род, оставляя землю, неосторожно взглянул на Киста, – и это сбило его.

Он упал грудью на край, тотчас подняв руку и уцепившись за руку Киста. Вся пустота низа ухнула в нем, но Кист держал крепко, успев схватить падающего на последнем волоске времени. Еще немного – рука Рода скрылась бы в пустоте. Кист лег, скользя на осыпающихся мелких камнях по пыльному закруглению. Его рука вытянулась и помертвела от тяжести тела Рода, но, царапая ногами и свободной рукой землю, он с бешенством жертвы, с тяжелым вдохновением риска удерживал сдавленную руку Рода.

Род хорошо видел и понимал, что Кист ползет вниз.

– Отпусти! – сказал Род так страшно и холодно, что Кист с отчаянием крикнул о помощи, сам не зная кому. – Ты свалишься, говорю тебе! – продолжал Род. – Отпусти меня и не забывай, что именно на тебя посмотрела она особенно.

Так выдал он горькое, тайное свое убеждение. Кист не ответил. Он молча искупал свою мысль – мысль о прыжке Рода вниз. Тогда Род вынул свободной рукой из кармана складной нож, открыл его зубами и вонзил в руку Киста.

Рука разжалась...

Кист взглянул вниз; затем, еле удержавшись от падения сам, отполз и перетянул руку платком. Некоторое время он сидел тихо, держась за сердце, в котором стоял гром, наконец, лег и начал тихо трястись всем телом, прижимая руку к лицу.

Зимой следующего года во двор фермы Карроля вошел прилично одетый человек и не успел оглянуться, как, хлопнув внутри дома несколькими дверьми, к нему, распугав кур, стремительно выбежала молодая девушка с независимым видом, но с вытянутым и напряженным лицом.

– А где Род? – поспешно спросила она, едва подала руку. – Или вы одни, Кист?!

«Если ты сделала выбор, то не ошиблась», – подумал вошедший.

– Род... – повторила Кэт. – Ведь вы были всегда вместе...

Кист кашлянул, посмотрел в сторону и рассказал все.

Золото и шахтеры (Из воспоминаний)

I

Когда, еще юношей, я попал в Александрию (египетскую), служа матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Додэ, представилось, что Сахара и львы совсем близко – стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица-арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала «селям алейкум».

Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным матросам – я не знаю до сих пор. Но я знаю:

1) Пустыни не было. 2) Была канава. 3) Розу я купил за две пар... (4 коп.) 4) Не чувствовал ни капли стыда.

Равным образом, когда, по возвращении с Урала, отец спрашивал меня, что я там делал, я преподнес ему «творимую легенду» приблизительно в таком виде: примкнул к разбойникам, с ними ограбил контору прииска, затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости. Иногда, взглядывая на меня, он внушительно повторял: «Д-да. Не знаю, что из тебя выйдет».

II

Я и сам не знал «что из меня выйдет», или, вернее что случится со мной, когда, в лаптях и трепаном пиджаке, подбитом куделью, выехал из Перми «зайцем» на Пашийские рудники. В этих краях я был впервые. Поэтому я рассуждал так: раз Урал золотоносен, то золотоносен сплошь, и копайся... в огороде, золота будет много. На этом основании, как пошел лесной дорогой на прииски, я в нескольких местах проковырял землю палкой, но там был самый обыкновенный «прах». Где же самородки?

Я шел среди зеленых и синих гор. Ночевать мне пришлось в оригинальной казарме рабочих железного рудника. Все было здесь желто, даже красновато-желто, от рудной пыли. Стены желты, руки, рубахи и столы и тулупы. Я провел ночь в мире, выкрашенном в железную краску. Наутро (была весна) я по подмерзшей дороге явился на Пашийские или Шуваловские прииски (графа Шувалова).

Темное, старое село разбросано было в лесу, по берегам извилистой речки. Я зашел в контору, где отдал свой паспорт, и получил право определиться на какую хочу работу. Кроме того, мне выдали рубль задатка.

Конторой был кряжистый, большой дом из огромных бревен. За окошечком сидел кассир. В окне сиял лес. Вот пришел старик в тулупе и валенках с красными крапинками – старатель – получать деньги за сданное вчера золото. Он вынул из платка тарелку; на эту тарелку была ему высыпана груда блестящих пятирублевок – тысячи три. Я обомлел. «Значит, здесь много золота», – подумал я. Почти вслед за первым старателем явился другой, – черный, молодой, с резким и угрюмым лицом; он принес в холщовом мешочке платину. Ее свешали на весах и выдали квитанцию. Платина разочаровала меня, она выглядела, как свинцовые опилки. Но я уже был уверен, что скоро буду миллионером.

Так, воодушевляясь, вышел я из конторы и поселился в одной избе, за рубль в месяц. Спать пришлось на полу. Кроме меня, было здесь еще двое рабочих, хозяин, тоже рабочий, и его беременная жена, болезненная, испитая женщина. Один рабочий был рыж и веснушчат, лет сорока, звали его Кондрат. Каждый вечер он и хозяин, вернувшись с работы, ставили перед собой бутылку водки и чашку кислой капусты. Кондрат, подперев щеку рукой, пил и громко, жалостно пел:

Скажи мне, звездочка золотая,
Зачем печально так горишь.
Кор-роль, кор-роль, о чем вздыхаешь,
Со страхом речи говоришь?..

Хозяин молча вздыхал, но вдруг, рванувшись и покраснев, орал что есть мочи:

Ска-ж-ж-и мы-ы-не-е...

В это время хозяйка молча двигалась, прибирая что-то, или стояла у печки, сложив руки, пока ее снова не посылали за водкой. Это случалось почти каждую ночь. Вначале я ворочался на полу без сна, но потом привык и просыпался, лишь когда шум стихал.

С этими-то сожителями я и вышел на другой день к продовольственной лавке, куда собирались, так сказать, нештатные рабочие. Было холодно, удивительно свежо пахло лесом. Красное солнце бросало из-за деревьев по грязному розовому снегу ясные, как свет костра, лучи. Десятник отметил меня, и мы толпой, с бабами и стариками, отправились к насосам, на разведку.

Минут двадцать дорога шла лесом, по талой тропе. Вскоре показалась долина, или увал, где по ее длине, на равном расстоянии друг от друга, чернели небольшие вертикальные шахты – шурфы. Когда-то на некоторой глубине здесь протекала река; шурфы били до подпочвенного слоя песка, который промывали в ковше, если находили достаточный процент золота (1 зол. на 1 куб. саж.) – здесь закладывалась настоящая шахта. Вокруг шурфов деревья были срублены, пылили костры и кипятились чайники.

Я встал к насосу. Насос опускался до дна шахты, имея вверху отводной желоб и коромысло с длинными ручками. Шесть человек качало, шесть сидело. А внизу, в шахте, бил землю киркой рабочий в так называемых приисковых сапогах, из очень толстой кожи, подошвы которых были подбиты гвоздями с шляпками, величиной в боб. Когда он наполнял деревянную бадью песком, смешанным с галькой, ее втаскивали наверх, а штейгер, взяв немного песка в ковш, промывал пробу водой, – песок сливали, золото оставалось.

Так как я был ко всему этому любопытен, штейгер объяснил мне, что черная галька «шлихт» всегда сопутствует золоту. Раз все побросали качать и пошли смотреть в штейгеров ковш. Там, среди двух черных камешков и щепотки мокрого, серебристого песка, что-то блестело, но я не мог различить, блестит ли это солнце, внутренность луженого ковша или отражение морской гальки. Золотых песчинок я так и не увидел, хотя меня, что называется, тыкали носом. Штейгер только сказал, что его мало, и я от души согласился с ним.

На Урале говорят «робить» вместо «работать». Оттого, что я «робил», мне скоро становилось тепло, к полудню солнце грело уже изрядно, и, отобедав, т. е. напившись чаю с хлебом, я вновь «робил», пока не садилось солнце. Затемно мы возвращались домой.

Однажды в обеденный перерыв я прошел в невырубленный лес конца долины и увидел там маленький домик старателя. Ели вплотную примыкали к нему, и было тут таинственно и тенисто, как в сказке. У двери стояла рослая женщина с крупными чертами лица, с густыми черными бровями и суровым взглядом. Неподалеку сам старатель возился с вашгертом, подводя под него полено. Вашгерт, т. е. промывальный станок, напоминал собой продолговатый ящик, с выдающимся внизу деревянным ложем для стока воды: он был закрыт, заперт и запечатан. Раз в неделю или раз в день, смотря как с кем, чиновник прииска снимал печать, золото извлекалось и взвешивалось на месте, чтобы не было продажи на сторону.

Я узнал от старателя, что его участок плохой, что он только кормится, а прибыли не имеет. Как на пример особой удачи, он указал на соседний лесной дом, его хозяин, тоже старатель, нашел как-то «карман», т. е. такое место, где золото особенно густо, и от этого кармана нажил тот человек тысяч пятнадцать.

III

Разведка скоро окончилась. Меня приставили тогда к настоящей шахте: холм щебня, извлеченного из недр, окружал ее. Над шахтой стоял ворот с канатом и железной бадьей. В этой бадье спускали вниз, в шахту, забойщика и плотника, делом которого было крепить шахту, ставить крепь. Эта же бадья выбрасывала наверх щебень подпочвенного золотоносного слоя. Щебень, перемешанный с песком, промывали в «бутаре». Бутара – род наглухо закрытой бочки, цилиндра, и хотя я забыл внутреннее ее устройство, однако помню, что песок вместе с водой и небольшим количеством ртути дает при вращении бутары амальгамированный ртутью осадок золота. Золото растворяется в ртути. Затем ее извлекают и выпаривают на огне, а золото остается.

Несколько ночей стоял я в ночной смене у ворота, вместе с другими рабочими мы крутили ворот и освобождали бадью. Не легкое дело. Изломанным и разбитым чувствовал я себя, возвращаясь домой. Однажды я спустился в шахту днем. Действительно, я увидел вверху – в ни-

чтожном четырехугольнике голубой пустоты, – несколько бледных звезд. Я прошел, согнувшись, в тупик горизонтальной ветви шахты, везде поддерживаемой крепью, чтобы не ссыпался грунт. Крепь – это деревянное П, которое ставят плотники на расстоянии полуаршина одно от другого, из коротких балок, по мере того, как забойщик постепенно выбивает впереди себя киркой продолжение шахты. Здесь низко и сыро, красноватый свет шахтерской лампочки в проволочной сетке пятном озаряет низкий, как в сундуке, свод; вода непрерывно льется сверху крупным дождем. Забойщик полулежал на боку, одной рукой действуя киркой, он выбивал и сгребал назад, за себя, кучи мокрого щебня. Щебень выносил рабочий в ведре и шахтовой бадье.

IV

Было воскресенье, когда я увидел наконец «хищника». Такое имя носят люди, добывающие золото на свой риск и страх в частных и казенных владениях. Их ловят, а иногда убивают на месте; о битвах и перестрелках хищников с стражниками я наслышался всласть.

В воскресенье я зашел в общую казарму рабочих и там увидел сидящего на краю чар, в беседе с кем-то, молодого человека с приятным, открытым лицом, серыми глазами и серьгой в ухе. Он был в отличных новых сапогах, красной бумазейной блузе с стоячим воротником, плисовых шароварах и плисовой шапке с лисьей опушкой. Богато вышитый шелком бархатный пояс стягивал его талию. Тут же я узнал, что этот человек – хищник, но такой ловкий и удачливый, что до сих пор не попался. Ходит он открыто, стражники и администрация знают, кто эта красивая птица, но улик прямых нет.

Тотчас я подсел к нему с тем, что называется «интервью», а по существу есть нестерпимое любопытство.

Вот что он рассказал. Я, конечно, передаю не речь его, а суть дела.

«Хищничают» партиями, в три и пять человек, редко более. Хищник вооружен, снабжен заступом, киркой, провизией и компасом; промывка происходит в самых диких, нетронутых местах лесов. Золото ищут по логам, падям, т. е. преимущественно в ложбинах. Так же, как и на приисках, бьют шурфы – шахты, для пробы. Но у хищника нет промывального станка – «вашгерта», и, во всяком случае, его работа носит поспешный, случайный характер. Промывают в большом ковше или тазу; некоторые промывают на разложенных уступах кусках дерна: вода уносит промываемую землю, а тяжелое золото застревает в траве. Есть еще способ – амальгамирование, т. е. взбалтывание золотоносной земли в корчагах, куда впущено немного ртути (она растворяет, вбирает в себя металл), но, за трудностью для хищника достать ртуть, она употребляется редко. К тому же хищники разыскивают и знают такие места, где золото идет не по 1½ – 2 золотника на куб, а лежит россыпями, так что, теряя при грубой промывке, они все же добывают довольно. Таково, например, верховое золото. Если верить моему рассказчику, довольно в таких местах содрать дерн и тряхнуть его, и с корней травы посыплется крупные блески.

Тайное золото берут скупщики по 2–2½ рубля золотник, платину – по той же цене. Рассказчик сообщил мне, что пришел на прииски звать товарища – идти к Черной Березе, за двести верст, где будто бы зарыто два голенища с золотым песком. Но... он заметно прихвастывал в своих удачах, и я не особенно поверил Черной Березе.

Вечером Кондрат и хозяин мой, где я жил, снова начали пить – был день получки. Устав, я крепко спал, рано проснулся. По еще темному окну шла розовая полоса рассвета. Хозяйка, с трудом передвигая ноги и охая, растопляла печь. Новый – тонкий и жалобный звук раздался за ситцевой занавеской. Страшно похудевшая женщина бросилась к кровати; спеленатый тряпками, там лежал только что, этой ночью родившийся мальчик.

Это был единственный случай, что я был свидетелем столь мужественных и горьких родов – без акушерки, врача, без криков и жалоб. Пьяный хозяин храпел на полу. Кондрат спал, уронив на стол руки и голову.

При свете керосиновой лампы я увидел тогда пятирублевую золотую монету, блестящую на залитой щами и водкой домотканой скатерти.

И это было единственное золото, которое я видел на приисках, если не считать того, что в

конторе было взято – «старателем».

Муж храпел. Но хозяйка, вся полная, сквозь страдание, светлой материнской тишиной, ласково приговаривала:

– Ш-ш-ш-ш...

Скоро я покинул прииск.

Шесть спичек

I

Вечерело; шторм снизил давление, но волны еще не вернули тот свой живописный вид, какой настраивает нас покровительственно в отношении к морской стихии, когда, лежа на берегу, смотрим в их зеленую глубину.

Меж этими страшными и крутыми массами черного цвета стеклянно блестел выем, в тот же миг, как вы заметили его, взлетающий выпукло и черно на высоту трехэтажного дома.

В толчее масс кружилась шлюпка, которой управляло двое.

На веслах сидел человек без шапки, с диким, заостренным лицом, босой и в лохмотьях. Его красные глаза слезились от ветра, шея и лицо, почерневшие от испытаний, поросли грязной шерстью. Голова с отросшими, как у женщины, волосами была перетянута платком, черным у виска от засохшей крови. Он греб, откидываясь назад всем телом и каждый раз закрывая глаза. Подаваясь вперед занести весла, он снова открывал их. Следя за направлением его неподвижного взгляда, можно было догадаться, что этот человек смотрит на бортовой ящик.

Второй человек сидел у руля, управляя движением шлюпки с всепоглощающей заботой не дать бешеному движению воды выбить из рук румпель, трясшийся непрерывно, как тряслись от крайнего напряжения руки рулевого. Этот человек был одет или, вернее, раздет в той же степени, как и первый, с той разницей, что на нем, кроме белья, разорванного, хлопающего на руках и спине, были просмоленные брюки, застегнутые скрюченными кусками проволоки. Отросшие черные волосы хлестали по глазам, взгляд которых был более разумен, чем взгляд его товарища по несчастью. Лицо опухло, сквозь сильный загар светилось истощение. Усы и борода вокруг искусанных запекшихся губ сбились мохнатым кольцом. Он был мускулист, тяжел, двигался медленно и основательно даже теперь, когда первый дергался при каждом толчке волны и производил впечатление потерявшегося.

Дно шлюпки было залито водой, где плавали, стучаясь о борта, консервные жестянки, обломки скамеек, служивших некогда факелом; там же мокли, болтаясь при перевалах через гребни, тряпки, куски кожи, обрывки бумаги. Сами того не замечая, оба пловца мелко, непрерывно дрожали, сутулясь от холодного ветра.

Наконец один из пловцов проговорил медленно и упорно:

– Метлаэн!

– Понатужься, Босс, молодчина, хорошая старая собака! – крикнул рулевой. – Слышишь, что я говорю? Ветер упал.

Босс поднял голову, двинул весла, как бы нехотя, и стал смотреть на бортовой ящик.

Некоторое время они молчали. Небо слегка очистилось впереди и темнело, пена перестала летать, срываясь, через головы пловцов, и разбег валов принял более равномерный темп. Не выпуская руля, привязанного к талии толстым концом, Метлаэн потянулся левой рукой и достал из бортового ящика карманные золотые часы, которые не забывал заводить при всяких условиях сорокадвухдневного скитания по волнам. Приблизив часы к глазам, Метлаэн увидел, что время – без двадцати минут шесть.

Некоторое время он держал часы в руках, как бы не решаясь выпустить это осязательное доказательство стойко существующей за горизонтом спокойной и безопасной жизни. Затем вложил часы в ящик. Подымая голову, Метлаэн заметил взгляд Босса, легший на его руку тяжело, как упрек.

Тем временем валы снизились, и неожиданно удары воды сменились отлогими перевалами. Стоял шум тысячи водяных мельниц.

Босс сказал:

– На западе ничего нет. Зачем плыть на запад?

– Куда мы не бросались?! – возразил Метлаэн. – Надо плыть в каком-нибудь одном направлении. И разрази меня бог, если я знаю, где мы находимся!

Его тревога была так сильна, что он различил острое посвистывающее дыхание Босса. Оно звучало, как стон. Подняв голову, Босс дико и неуверенно произнес:

– Я хочу закурить.

II

Метлаэну нужно было некоторое время, чтобы, услышав это, такое простое заявление, примириться с неизбежным, понять, что оно наступило. Он дернулся на своем месте и с отчаянием посмотрел во тьму. Страх выбил из его души все мысли и чувства, кроме нелепого гнева на Босса. Он сам держался если не из последних, то из таких сил страдания, которые, останься он один, могли мгновенно изменить ему, бросив его и шлюпку на произвол случая. Смерть одного подчеркивала близкий конец другого.

– Эй, Босс, – сказал, удерживая ругательства, Метлаэн, – если ты собрался околевать, то лучше это тебе сделать во сне. Вались и спи.

Босс не обратил внимания на его слова. Поддерживая голову рукой, он устойчивее расставил ноги и проговорил, разделяя слова хрипом останавливающегося дыхания:

– Я это знал, когда мы еще садились в шлюпку. У меня екнуло так, будто махнули перед глазами пальцем. Дома не быть – я знаю это. Ни есть, ни пить, Метлаэн, этого больше нет, – только курить. Ты не можешь сказать, что я был плохим товарищем. Я ослаб и умер – только всего. Ну же, давай е е!

Он говорил о половине сигары, спрятанной на самом дне бортового ящика вместе с шестью спичками. Спички и окурочок были обмотаны куском просмоленного брезента, а брезент завернут в рукав старой куртки. Согласно уговору, выкурить этот окурочок мог только умирающий. Дней десять назад, перекладывая содержимое ящика, Метлаэн нашел этот замусоленный и распухший кусок сигары на дне коробки из-под овощей. Сигара принадлежала Бутлеру, последняя сигара на трех людей, сходящих с ума при мысли о табаке. Ее курили несколько раз по очереди. Бутлер сказал, что уронил окурочок в воду, между тем как, продержав его в рукаве, спрятал ночью в жестянку. Когда Метлаэн нашел окурочок, Бутлер был в беспамятстве и умер, не приходя в сознание.

– Скорее, Метлаэн, – сказал Босс, – у меня голова кружится, мне худо.

Чувствуя томление, во время которого его тело иногда как бы исчезало, он стал беспокойно двигаться. На перевале через волну, когда рухнувшая вниз шлюпка сильно встряхнулась, Босс соскользнул на колени, затем привалился правым плечом и щекой к борту, сидя на подогнутых под себя ногах.

В положении Метлаэна не было никаких средств оживить умирающего. Страх остаться одному перешел в дикую нервную тоску и тщательное внимание, с каким следовало исполнить теперь последнее желание Босса. Но он сказал все-таки:

– Вгрызись зубами в судьбу, Босс, вставай!

– Долго ты будешь рассуждать? – с ненавистью прохрипел Босс.

Метлаэн привязал руль так, чтобы он не изменил положения, то есть обмотал конец румпеля веревкой с двумя концами, прикрепив к бортам: левому – один конец, правому – другой. Устроив это, он с сомнением посмотрел на шлюпку, которая, лишённая живой силы, правившей ею до сего момента, стала повертываться, но решил, что возня с окурочком – дело одной минуты, в течение которой мало риска перевернуться. Тогда он открыл бортовой ящик и развязал сверток, держа его на коленях, чтобы не уронить за борт.

Было темно, но он чувствовал, что Босс живет теперь глазами в каждом его движении. Нащупав окурочок, Метлаэн не удержался от искушения сжать в зубах его конец, отдававший в

слюну крепким и горьким вкусом, потом, вдохнув еще раз табачный запах, передал окуроч Боссу. Руки их встретились, разыскивая одна другую, и Метлаэн удивился про себя, как цепко, с силой схватил Босс свое последнее угощение.

– О-го-го! – жадно сказал Босс. – Огня!

– Дай сигару назад, – Метлаэн протянул руку.

Наступило молчание. Затем Босс протянул руку, и Метлаэн ощутил на своем колене холодную, костлявую тяжесть. Это была рука Босса, которой пытался он иронически похлопать товарища.

– Если ты раздумал... – тихо произнес Босс, – и если ты...

У него не было силы договорить, его мотало, то приваливая к борту, то неудержимо клоня в сторону, и он схватывался тогда за край борта. Метлаэн знал, что он думает. Стараясь быть кратким, чтобы выиграть время у волн и смерти, Метлаэн нагнулся к уху Босса, с силой вбивая слова в голову полуонемевшего человека.

– У нас шесть спичек, которые ты испортишь и не закуришь. Закурить могу только я. Это надо сделать скорей, потому что шлюпку сбивает и может залить. Неужели ты думаешь, что я буду лукавить в эту минуту?

Мгновение Босс колебался, затем, прямо устремив взгляд и так же прямо, резко протянув сжатую руку, дал Метлаэну высвободить из распухших пальцев спорную вещь. Тогда, держа во рту окуроч, Метлаэн пристроился к ящику, откуда предусмотрительно еще не вынимал спичек, чтобы не отсырели. Коробка с шестью спичками лежала, завернутая отдельно в длинную полоску газетной бумаги, облепленную сверху варом, который Метлаэн наколупал в пазах шлюпки. Содрав вар и осторожно вывалив в руку спички, Метлаэн немедленно приступил к операции закуривания.

Это дело приходилось выполнять в гимнастических условиях качки и неожиданных толчков, делавших задачу не менее трудной, чем писание при езде в тряском экипаже.

Опустив над ящиком лицо, Метлаэн взял в одну руку коробку и, достав спичку, решительно провел ею по зажигательному месту. Хотя ветер и улегся, но колебания воздуха было довольно для маленького огня, чтобы погасить его. Огонь вспыхнул, потрепетал и угас, прежде чем Метлаэн поднес его к очищенному от пепла концу сигары.

Со второй спичкой дело произошло еще хуже: она обсыпалась, не загоревшись.

Метлаэн выпрямился и передохнул. Он подумал, что, держа сигару в губах, едва ли зажжет ее как из боязни опалить бороду, что мешало действовать увереннее, так и потому, что силой мыканья шлюпки среди перехватов волн ему приходилось бороться с собственными усилиями головы и руки, стремясь привести их к согласию. Он скрутил бумажную полоску шнуром и, чиркнув третьей спичкой, соединил бумагу с огнем. Бумага, не опалившись достаточно, погасла, едва он сделал ею движение к сигаре, но продолжала тлеть, и Метлаэн некоторое время пытался прососать в сигару часть красной, уменьшающейся искры. Когда это не удалось, на него напал страх, неуверенность в успехе, тем более что спичек осталось всего три. Это был страх, сродный страху ребенка, несущего полный кувшин молока и вдруг возмнившего, что оно расплещется: ребенок остановился и заплакал.

Метлаэн не заплакал, но, с пересохшим от волнения горлом, поднес к коробке четвертую, чиркнув ею так осторожно, словно боясь произвести взрыв. Светлая черта указала меру его усилия, и, ощупав головку спички, Метлаэн нашел, что она хотя не загорелась, но должна загореться, не осыпавшись, как вторая. Он нервно провел ею, раздался легкий треск, огонь вспыхнул и удержался при значительном колебании воздуха. Древесина спички занялась пламенем до половины. Медленно поднимая ее, Метлаэн выждал относительно спокойный момент, поднес огонь к сигаре и, потеряв равновесие, стукнулся подбородком о край ящика. Пламя в дернувшейся схватиться руке задело борт и погасло.

– Четвертая, – сказал Босс ревнивым, сдержанным голосом.

Все самолюбие и самообладание Метлаэна восстали при этом слове безропотно ожидающего человека, как свеча в твердой, поднятой высоко руке. Почти небрежно испортил он пятую спичку, стараясь быть беспечным, как в гамаке, и испортил потому, что долго водил слепым

концом по коробке, в то время как серный конец отпотел в просыревших пальцах. Так же небрежно, с презрением, с вызовом к собственным, делающимся мучительными движениям зажег он шестую, осветив ею на мгновение внутренность ящика, и она погасла так же безразлично к судьбе Босса, как и прочие спички. Когда это произошло, Метлаэн стал ощупывать дрожащими пальцами дно коробки, ища, – по обязанности искать, бессмысленно ожидая, что скажет Босс. Он деловито потянул воздух сквозь сигару и даже звучно пососал ее, не зная, что теперь будет.

– Все? – спокойно спросил Босс.

– Да... но, кажется, есть еще, – сказал Метлаэн. Горло его сжалось, и он глубоко вздохнул, захлебнувшись едкой струей дыма, поползшего в носоглотку из бессознательно раскуреного окурка. Сигара загорелась. Ничтожная искра, попавшая с тлеющей бумаги на табак и не замеченная впопыхах, дала постепенно огонь.

Светлое и соленое ударило в голову Метлаэна. Он судорожно протянул окурочек поднявшему руку Боссу и торопливо сказал:

– Держи, держи крепко, не урони. Я зажег ее.

У него не было больше времени ни рассуждать, ни следить, что делает Босс: шлюпка легла краем борта к самой воде. Метлаэн рванул за веревку слева, круто повернул руль так, чтобы нос шлюпки следовал в направлении движения волн и, сев, как сидел раньше, стал смотреть на медленно разгорающийся золотой кружок, озаряющий тусклое и синее лицо с повязкой на лбу.

III

Босс глубоко втянул дым, закашлялся, изогнулся всем телом, и слезы удовольствия выступили на его воспаленных глазах. – «Да, это – утешение», – пробормотал он, дымя все гуще ртом и ноздрями, как будто хотел накуриться до отвращения. Отвыкнув курить, он боролся с головокружением, вызванным никотином, но его мысли вздохнули. Он ловил их, они растекались и уходили с дымом, с жизнью, куда-то вниз, под лодку.

– Ужасно, – проговорил он, – умирать так... Готово!

Это относилось к окурку, выскользнувшему из его пальцев. Огонь зашипел в воде. Босс сидел, низко склонясь, потом перевалился к скамье и лег на нее головой, с подложенными под нее руками. Он был бесчувствен к качке, к холодной воде, в которой сидел. Ему казалось, что он громко говорит Метлаэну, что написать семье, если тот спасется; на самом же деле он молчал и не двигался.

– Босс! – крикнул Метлаэн. Умиравший вернулся к миру реальных звуков и проговорил, заканчивая мысленную речь вслух:

– Так ты запомнишь?

Больше он не сказал ничего. Метлаэн сидел, ворочая руль, прислушиваясь и соображая, умер ли уже Босс. Босс был жив, и Метлаэн знал это.

– Нас еще двое, – сказал он, всматриваясь в лежащего и ощущая его жизнь как бы в себе. Босс был совершенно неподвижен, если не считать легких движений тела, вызываемых размахом волнения. Его поверженная фигура виднелась смутной, покорной кучей.

– Босс, – тихо сказал Метлаэн. Ответа не было и не могло быть, но еще не было и смерти, и Метлаэн снова подумал, без слов: «Нас двое». Следя за шлюпкой и Боссом, он неоднократно возвращался к этому ощущению быть вдвоем, но иногда оно исчезало, и он нетерпеливо повертывался на своем месте, как будто движение это помогло бы явственнее услышать счет: «Два».

Вдруг – и это произошло, как неожиданное воспоминание, открывшееся внезапно, – по телу Метлаэна, его мыслям и по тому месту каната, которое он держал рукой, прошла некая значительность, непохожая ни на что из ощущаемых чувствами или воображением вещей, но вполне явственная. Что-то произошло. С неясным и жутким побуждением Метлаэн громко сказал:

– Босс! Очнись!

В то же время ощущение двоих исчезло. «Нас двое», – с силой подумал Метлаэн, ожидая живого указания внутри, но слова «нас двое» отскочили от некоего глухого препятствия и тупо возвратились назад.

Тогда Метлаэн узнал, что он один в лодке с коченеющими надеждами плывет долгой, неверной ночью искать спасения.

Наутро он был замечен бригам «Сатурн» и принят на борт.

Серый автомобиль

I

16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаюсь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глаз, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.

Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:

– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:

– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.

Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:

– Когда окончите вы ваше изобретение?

– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.

– Что это значит?

– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.

– Тысяча вторая загадка Эбenezера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?

– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения останется надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.

Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:

– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?

– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:

– Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.

– Но почему?

– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.

– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком,

прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предложением. — Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к... к... экипажу. — Она рассмеялась. — Прощайте.

Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве — она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.

Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.

Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струей ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, — заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.

Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.

Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много — тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, — непрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления — все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, — так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.

Между тем, — частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль — ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить — видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, — и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний — никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифр С.С. 77–7, — некогда — я остро чувствовал это — имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабое ощущение его минувшей значительности.

Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, — этот автомобиль с этим шофером я видел.

Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало— или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, — каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни — всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего от-

вращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.

Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой... Но автомобиль С.С. 77–7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.

Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть – верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу – если понадобится – действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку – словно на меня пристально обернулся кто-то – я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.

Название гласило:

СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Мировая драма в 6.000 метров!

Лучший боевик сезона!

Масса трюков!

II

Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова «серый автомобиль». Хотя так как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла – их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь.

Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесты откуда взявшегося специального магазина.

Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того неприспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.

Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших нога

на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.

Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и оставив графин, третью.

Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть – пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77–7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем – состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения.

Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности – я говорю это смело, так как имею для того веские основания, – была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение – или вернее, то о чем она думает, как об изобретении – встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости, – оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, – ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.

Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «лаборатории», в ущелье Калло, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука: не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?

– Отличное место для свидания, – прибавил он, – или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.

Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличное, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел.

III

Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина-Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий.

Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвевал пыль и, пророкотав, исчезал вдаль, каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей, – но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной. Я иногда не мог сказать сам себе: «Они едут»; я говорил: «Их увозят», наше обычное знание внутреннего, общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг друга в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен

и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, – все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне быть искалеченным или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск...

– Прочь из четвертого измерения! – сказал Ронкур, видя, что я молча остановился на тротуаре. – Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу.

Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь, – правильный расчет на бессознательное, – иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу, под навесы пальмовых листьев; здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой – дрожащие руки только что обнищавшего игрока, мулат Гриньо давал блестящий спектакль.

IV

Я встал на возвышение у стены, Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол, и лица играющих, – их было семь человек, считая мулата.

У стола волновалась окидывающая пари толпа.

Мулат сидел, расставив локти, с засученными руками сорочки, без сюртука. На его полном, кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял «масть» и «фульгент», но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах по десять и двадцать тысяч он загреб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз – две пары семерок, второй – трех валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с «джокером». Игра шла с «джокером», и я заметил, что «джокер» приходит к нему довольно часто.

Еще подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывавшем окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из ее сжимающего кольца.

Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты;

Мои были лишены масти и далеки от «последовательности», короче говоря, они не представляли никакой силы; однако я не сказал «пас», но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался фульгент, благодаря «джокеру», пришедшему при покупке. Как известно, «джокер» есть карта с изображением дьявола, – пятьдесят третья в колоде; она имеет условное значение – получивший «джокер» может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и «джокер»; считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, т. е. «каре».

– «Тысяча», – сказал я, – когда пришла моя очередь набавлять. Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал: «Две». – «Пять», – сказал Гриньо. При втором круге – как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньо.

– Десять, – сказал я с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньо

тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «сто».

Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих ста тысяч без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер; двое, не показывая друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать еще больше, если карта противника окажется сильнее его карт; или же, согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты, – чьи сильнее, тот забирает ставки противника и всех других игроков.

Естественно, я не знал, что на руках у мулата. У него сильнее моего «каре» могло быть: «каре» из более крупных карт, чем семерка; затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определенной градации: например, от шестерки к десятке, или от десятки к тузу. В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного, – прими я вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться, и когда, таким образом, мы открыли бы наконец свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить.

Равным образом его карты могли быть слабее моих, они могли не иметь совсем никакой силы, если на прикупке (он сбросил и прикупил четыре) у него не образовалось даже минимального шанса – одной пары одинаковых карт, – комбинация, на которой, при смелости, вернее, отчаянности, выигрывают иногда большие суммы, если противник, вообразив, что на него нападают с каре, бросает, быть может, фульгент.

Итак, мы ничего не знали взаимно о силе карт наших. Слышав уже о дерзкой игре мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф, но величина поставленной им суммы говорила за то, что у него как бы есть основание играть крупно. Мне представлялось три положения: открыть карты, быть может, проиграв, если он сильнее меня; назначить более ста, давая тем возможность Гриньо назначить еще выше назначенного, или бросить игру, уплатив десять тысяч.

Я и собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради каре из семерок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, что спутался в счете семерок, – их было четыре. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой, – почему, этого объяснить я не в состоянии. Таким образом, мой «джокер», – моя пятая карта, которую я мог обозначить, как любую карту, естественно, была пятой семеркой, – предел могущества в покере, – пять одинаковых карт, вещь, случающаяся крайне редко. Имея на руках четыре одинаковых карты с «джокером» в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако при условии, что он тоже имеет сильную карту.

Так я и намеревался поступить. Но следовало ничем не выдать себя, нужно было внушить Гриньо, что у меня, самое большое, – крупный «фульгент»⁴⁶. Условием такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой, не слабее фульгента. Приложив ко лбу указательный палец, я задумался – притворно, конечно, – над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньо понял, что я притворяюсь, но неискусно; что у меня – пусть он так думает – карта слаба, так как обычно притворное колебание выражают при слабой карте, желая внушить обратное – что карта сильна, это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно, в расчете сбить встречный расчет. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в Гриньо заключение, обратное действительности. И я начал с долгого колебания.

Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь с слабой картой, надо было показать иное – притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал –

– Триста тысяч.

Это была сумма, в два раза превышающая мое состояние. Но я играл наверняка, я мог назначать миллионы, ничем решительно не рискуя.

⁴⁶ Две и три одинаковых, две дамы, три шестерки, примерно (Прим. автора)

Настала такая тишина, какая бывает, когда все уйдут. Но, подняв голову, я увидел бесчисленную портретную галерею алчбы, горевшей в глазах зрителей; черты их лиц стали лесом, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром.

– Чек, – хрипло сказал мулат, тяжело и остро взглядывая на меня.

Как ни всматривался, я не мог понять его состояния. Он смотрел, ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мною и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы, ровными строчками. Перед тем как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на мулата и подмахнул: Эбене-зер Сидней.

Когда я взглянул на него, то увидел, что мизинец его левой руки предательски дрогнул. Все стало ясно мне. Он волновался, потому что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы, – мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, «дьявольски владеющего собой». Написав чек, я подал его крупье.

– Чек на триста тысяч долларов, королевскому банку в Энтвей, – громко сказал крупье. Гриньо, видимо, повеселел.

– Пятьсот тысяч, – небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним.

– Принимаю, – холодно сказал я.

Рокот восхищения обошел стол. Удар на полмиллиона долларов! Ронкур смотрел на меня взглядом птички, зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключавшие пари, перестали дышать.

– Ну, – сказал я, смеясь, – Гриньо, выкладывайте ваше каре! Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три – каре из тузов, вот что было в его руках! Бешеный рев покрыл это движение, яростный взрыв облегчения со стороны поставивших на Гриньо. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел, я видел в его изящном лице истинное, большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил вполголоса:

– Вам сколько, Сидней?

– Вы ошиблись, – сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной. – Гриньо, нравится вам этот джентльмен?

Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата.

– Ваша... – сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились... он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает десяти тысяч. Он вызвался навести справки и ушел, я же разговаривал с Ронкуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых парий каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли.

Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньо: «Немного денег я пришлю завтра, – писал он, – но полностью у меня не хватит. Но я пришлю, в расчет ваш, новую машину, С.С. 77-7, я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».

– Что с вами? – спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне. От моих ног медленно, с силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньо вздумал написать номер? Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку.

– Ну, что же? – сказал он. – Теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения, – сама судьба посылает вам красивый и быстрый экипаж.

– Как вы думаете, почему он написал номер?

– Машинально, – сказал Ронкур.

– В конце концов, я думаю то же. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы?

– Но почему?

– Мне кажется, что так нужно, – сказал я, овладевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы – мысли и желания сливались неразделимо.

– Смотрите, что это? Все повалили, бегут. – Ронкур взял меня под руку. – Посмотрим, где происшествие.

Действительно, зала вокруг пустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за Ронкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно; три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу;

– Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!

– Как!? – сказал я. Противно некоторому возбуждению, поднявшемуся при этом известии, – оно холодно повернулось во мне; оно подействовало значительно слабее, чем записка с цифрой – такой многозначительной, такой глухой, молчащей и говорящей на языке вещей, нам недоступном, – я с ужасом заметил, что болтаю совершенный вздор, смеясь и отвечая невпопад тем, кто окружал меня в эту минуту. Меж тем, трагическая гримаса обошла залы, на мгновение смутив суеверных и тех, у кого не совсем умерло сердце, после чего все стали по-прежнему отчетливо слышать оркестр, и движение восстановилось. Смеясь проходили пары. Рой женщин, окружив толстяка, масляно плывущего среди их назойливого цветника, улыбался так невинно, как если бы резвился в раю.

V

Видя, что я до крайности возбужден, и по-своему понимая мое состояние, Ронкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за бакара.

В моем состоянии была черная, косая черта, вызванная запиской мулата. Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения, – как ни странно, как ни противно моему изобретению, неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Корриде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были: туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Ее разговор включал наименования множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто, отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего – вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюисманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением.

При всем том, я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно; вначале приехал ее брат, открывший деловую контору; затем приехала она, и я познакомился с ней, благодаря Ронкуру, имевшему какие-то дела с ее братом. И около этого пустого существования легла, свернувшись кольцом, подобно большой собаке, моя великая непринятая любовь. Тем не менее, когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим под стеклом.

Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеян, чтобы безусловно положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат попыток. Я считал лишь, что могу и обязан сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, само смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель и мысленно переводящее весь искренний жар ваш в вымысле циничном, с насмешкой над бессилием вашим овладеть положением. Поэтому мой расчет был не на слова, а на действия ее собственных

чувств, если бы удалось вызвать перерождение. Немного, – о, совсем немного хотел я: живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, тени задумчивости. Мы часто не знаем, кто второй живет в нас, и второй душой мучительницы моей мог оказаться добрый дух живой жизни, который, как красота, сам по себе благо, так как заражает других.

Именно так я думал, так и передаю, не пытаюсь в этом – в священном случае придать выражениям схоластический оттенок, столь выгодный в литературном отношении, ибо он заставляет подозревать прием – вещь сама по себе усложняющая впечатление читателя. Я всегда думал об этой женщине с теплым чувством, а я знаю, что есть любовь, готовая даже на смерть, но полная безысходной тоскливой злобы. У меня не было причины ненавидеть Корриду Эль-Бассо. В противном случае я был бы навсегда потерян для самого себя. Я мог только жалеть.

У меня было время думать обо всем этом, когда быстро и с облегчением я удалялся от клуба в свете электрических лун, чрезвычайно счастливый тем, что не мог ответить мулату, так как неизбежно должен был сказать «да», то есть согласиться принять машину, из противоречия и вызова самому себе; нас всегда тянет смотреть дальше, чем мы опасаемся или можем. Благодаря печальному случаю, машина оставалась при нем, ненужная ему самому. Свежесть перелетающего крепким порывом морского ветра, опаживая лицо, несколько уравнивала настроение; уже готовый улыбнуться, я переходил улицу, почти пустую в тот час ночи, неторопливо и эластично. Меня заставил обернуться ровный звук сыплющегося где-то вблизи песка. Я поскользнулся, и меня это спасло, так как мое тело, потеряв равновесие, шатнулось в сторону судорожными шагами как раз перед налетающим колесом. Еще не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как, с пронзительным, взвизгивающим лаем, огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шипении шин. Его фонари были потушены, он был пуст. Шофера я не успел рассмотреть. Я не успел также заметить его номер.

При всем очень тщательном внимании к себе после этого происшествия я заметил, что мое сердце бьется лишь немного сильнее, что я почти не испугался. Я даже был чему-то отчасти рад, так как получил некоторое предупреждение. Ни одной мысли по этому поводу я в тот момент не мог отыскать в отчетливой форме; все они, крайне живые и многочисленные, напоминали перебор струн, намекающий уже на мелодию, но звучащий понятно лишь знающему мотив уху, – я же не знал мелодии. Вам знакома попытка оживить сон немедленно по пробуждении, когда его сцены ясно невидимы еще вами, и вы понимаете их, но не можете тотчас перевести понимание в мысль, меж тем смысл ускользает с быстротой взятой горстью воды, и улетучивается совершенно, как только полностью прояснится сознание? Подобного или почти подобного рода ощущения повернулись во мне. Я нанял фиакр, приказав ехать к себе, и прибыл в четыре ночи к подъезду, узнав, что еще не спят.

Здесь я жил гостем у семейства Кольмонс. Наши отцы вместе начинали делать богатство. Теперь дети их сошлись вместе, в одних стенах, жить для удовольствия и неопределенного приятного будущего. Я вошел, зная, что застаю спор, танцы или концерт.

VI

Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нем кому бы то ни было, по крайней мере теперь.

– В таком случае, – услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гопкинса – Гопкинс был адвокат, – его раздавило автомобилем. Вы знаете, как Сидней осторожен на этот счет. Между тем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются.

– Вы почти правы, – сказал я, входя. – Случайно не произошло именно так.

Дам не было. Моя сестра и жена старшего моего двоюродного брата, Ютеция, ушли давно спать. Старший кузен, Кишлей, и младший, Томас, сидели в обществе гостей, Гопкинса, Стерса и «Николая». Так звали газетного критика, недавно приступившего к возведению здания своей карьеры: его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил ее.

Они пили. Окна были раскрыты. Рассказав случай с автомобилем, я некоторое время слушал рассуждения и соображения адвоката, долго объяснявшего мне, почему не надо откиды-

ваться назад, если набегает автомобиль, ответил «да» и умолк. Разговор, не задержавшись на мне, вернулся к своему руслу – то был футуризм, с ненавистью отвергаемый Гопкинсом; Николай смеялся над ним. Им противился Томас и, как это ни было странно, – Кишлей, чье полное, добродушное лицо в момент методического, обдуманного и вкусного закуривания сигары казалось воплощением здоровых, азбучных истин.

– Всегда преследовали и осмеивали новаторов! – сказал Томас.

– Небольшая часть этих людей, конечно, талантливы, – возразил Гопкинс, – зато они, как это заметно по некоторым чертам их произведений, вероятно пойдут особой дорогой. Остальное – сплошная эпилепсия рисунка и вкуса.

– Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком, – сказал Николай, – подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это – здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего.

– Но, – возразил Кишлей, – должна же быть причина, что это явление стало распространённо? Причины должны корениться в жизни. Вы относитесь к этому, как Сидней к автомобилю; он ни за что не поедет в нем, хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день.

– Кишлей прав, – сказал я, – футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это – явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка. Но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве – с нашей, с человеческой точки зрения – здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, он должен видеть, проносясь по улице с ее бесчисленными, сливающимися в единый рисунок сточных труб, дверей, вывесок и углов. Взгляните, прижавшись к стене дома, по направлению тротуара. Перед вами встанет короткий, сжатый под чрезвычайно острым углом, рисунок той стороны, на какой вы находитесь. Он будет пестрым смешением линий. Но, предположив зрение, неизбежно предположить эстетику – то есть предпочтение, выбор. В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление, по существу, может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно – человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг.

– Черт возьми! – вскричал Гопкинс. – Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?!

– Да, обладает, – сказал я. – В той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа.

– Поясните, – сказал Кишлей.

– Охотно, – сказал я. – Принимая автомобиль, вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы безусловно тем самым соглашаемся с его природой: внешней, внутренней и потенциальной.

Этого не могло бы быть ни в каком случае, если бы некая часть нашего существа не была механической; даже, просто говоря, не было бы автомобиля. И я подозреваю, что эта часть сознания нашего составляет его сознание.

– Доказательства! – вскричал Николай.

– Вы могли бы с одинаковым правом потребовать доказательств, если бы я утверждал, что кошка видит иные цвета, чем мы. Между тем ни я, ни кошка не можем быть приведены к очной ставке, так как у нас нет взаимного понимания. Нет средств для этого. Однако животные должны

иметь иные и, может быть, совершенно отличные, чем у нас, ощущения физические. Например, – стрекоза с ее десятками тысяч глаз. Согласитесь, что ощущения света при таком устройстве органа должны быть иными, чем наши.

– Неодушевленная материя, – сказал Кишлей. – Железо и сталь мертвы.

Я ничего не возразил на это. Мне показалось, что за окном крикнул автомобиль. Действительно, крик повторился ближе, затем под самым окном.

– Вы слышите? – сказал я. – Вот его голос – вой, отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может, – память. У него есть дом. На улице Бок-Метан стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом, на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты – фотографии моделей и победителей в состязаниях. У него есть музыка – некоторые новые композиции, так старательно передающие диссонанс уличного грохота или случайных звуков, возникающих при всяком движении. У него есть наконец граммофон, кинематограф, есть доктора, панегиристы, поэты, – те самые, о которых вы говорили полчаса назад, люди с сильно развитым ощущением механизма. У него есть также любовницы, эти леди, обращающие с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц. И это – не жизнь? Довольно полное существование, скажу я. Кроме того, он занимается спортом, убийством и участвует в войне.

– Выходит, – сказал Николай, – что... Впрочем, я скажу короче:

некий автомобиль, покрытый грязью и ранами, вернулся с театра военных действий. Побрившись в парикмахерской, он отправился домой, где поставил в граммофон пластинку марша «За славой и торжеством» и приказал завести кинематографический аппарат с картиной «Автомобильные гонки меж Лиссом и Зурбаганом». От восторга у него лопнула шина.

– Ваш шарж показывает, что вы поняли меня, – продолжал я. – Взаимоотношения вещей, если они для меня безразличны, могут происходить так, как вытекает из их природы, как – мы этого не знаем. Но когда эти взаимоотношения наносят определенный рисунок на рисунок моей жизни, кладут нужные или вредные черты, там необходимо проследить связь явлений, чтобы знать, с какого рода опасностью имеешь дело. Берегитесь вещей! Они очень быстро и прочно поработают нас.

– Какие же это вредные черты? – спросил Томас. – Жизнь делается сложнее, быстрее, ее интенсивность возрастает непрерывно. Этой интенсивности содействует техника. Не возвратиться же нам в дикое состояние?

VII

С этого момента мои собеседники завладели разговором, и я терпеливо выслушивал их защиту автомобиля. Она состояла в том, что его скорость способствует быстрейшему обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения. Я выслушал их и ушел, посмеиваясь. У себя, оставшись один, я пересчитал деньги. Это было большое состояние. Меня тревожило немного, что я не испытываю головокружительного подъема – опьянения. Все впечатления звучали во мне тупо, как стук по толстому дереву. Я держал в руках деньги и понимал, что из состоятельного человека превратился в богатого, но думал о том, как о прочитанном в книге. Быть может, все мои желания были заслонены в тот момент главным желанием, главной и неотступной мыслью – о девушке. Кроме того, я очень устал, думая все эти дни об одном. Но я никак не мог бы выразить, даже на всех языках мира, – что такое это одно, грызущее и уничтожающее меня. Я вдумывался и понимал его, лишь как мучительное препятствие сознанию самого себя. Но определить его я не мог.

Я уснул с солнечным светом, пригретый и убаюканный им из-за крыш. Завтрашний, вернее, наступивший день следовало начать действием. Я приказал разбудить себя в три часа. Мое изобретение – оно ждало – звало меня и ее. После долгого колебания я решил. Я поставлю ее лицом к лицу с Живой Смертью, ее, – Мертвую Жизнь.

VIII

Мое знакомство с Корридой Эль-Бассо носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел ее, я, при всей любви к этой девушке, мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно; я мог даже непринужденно вести не обременяющий ее разговор. Но в ее присутствии я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение. Это происходило не столь от ее красивой и легкой внешности, овладевавшей мной повелительным впечатлением, сколько от сознания несоответствия моего душевного темпа с ее темпом души; ее темп был полон перебоев и дисгармонии, в то время как мой медленно, ровными и острыми колебаниями звучал непримиримо всему, что не было моим настроением или случайно не отвечало текущему настроению. В то время как другие почти сразу, легко осваивались и шутили с ней, я должен был оставаться в тени, так как хотел видеть ее лишь в том полном, сосредоточенном, исключительном настроении любви, в каком находился сам и которое перебить пустой болтовней казалось мне противоестественным, почти преступным. Поэтому вероятно я заставлял ее часто скучать. Но у меня не было выхода. Я хорошо знал, что не сумею перестать быть самим собой так искусно, чтобы это не обнаружилось тотчас же фальшью и ответной притворностью. Бессознательно я хотел, чтобы она ни на мгновение не забывала мою любовь, чувствуя, что я связан, рассеян и неловок единственно от любви к ней.

По всему этому я сам тяготился долго оставаться в ее присутствии, если у нее был еще кто-нибудь, кроме меня. Мое напряжение в таких случаях часто разражалось сильной глубокой тоской, после чего немислимо было уже оставаться; мрачное лицо, в конце концов, может вызвать страх и отвращение. Но я знал, каким был бы я, если бы окончилось ее сопротивление, если бы она сказала мне «ты».

В половине пятого я взял трубку телефона; мне было невесело, меж тем я должен был говорить с веселым оживлением затейника. Но я выдержал роль.

Услышав ее голос, я увидел – в себе – и ее лицо, с больным выражением раздражительно полуоткрытого рта, с всегда немного сонными и рассеянными глазами. Ее детский лоб – в другом конце города – внушал желание погладить его.

– Так это вы, – сказала она, и я вздрогнул – так приветливо прозвучал голос, – о, я очень рада, – я должна вас поздравить.

– С чем? – Но я уже знал, что она хочет сказать.

– Говорят, вы выиграли миллион долларов.

– Нет, – только половину названной суммы.

– Недурно и это. Теперь вы, надо думать, поедете путешествовать?

– Нет, я не поеду. Но я предлагаю вам – клянусь, – редкое удовольствие. Я окончил свое изобретение. Если вы ничего не имеете против, я покажу вам его первой; никто ничего не знает об этом.

– О! Я хочу! Хочу! – вскричала она. – И как можно скорее!

– В таком случае, – сказал я, – если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Калло. Это не далее пяти миль. У меня есть лошадь, вторую мне дает кузен Кишлей.

– Отлично, – сказала она после небольшой паузы. – Я согласна. Вы, право, очень добры. Через полчаса я буду у вас.

– Я жду.

На этом закончился разговор. Пока седлали лошадей, я думал, – что может произойти из всего этого? Мне показалось, что я не имею права поступать так. Но это не расхолодило меня. Напротив, я укрепился еще более в своем решении, – ибо, может быть, всю жизнь сожалел бы о своей слабости. Хуже не могло быть, – лучшему я верил.

В это время начал звонить телефон. Звонок раздался на какой-то приятной, нежной и задумчивой минуте размышлений моих. Я взял трубку.

Кто это говорил со мной? Вкрадчивый, напряженный голос, как просьба о пощаде, и такой

тихий, такой отчетливый, что, казалось, можно отложить трубку, продолжая слышать его! В тот день я проснулся с ощущением тумана, – день был торжествующе ярок, но, казалось, невидимый, спокойный туман давит на мозг. Теперь это своеобразное ощущение усилилось.

То, что я услышал, напоминало окончание разговора; так бывает, если говорящий вам предварительно dokonчит говорить другому лицу. Этот отчетливый, стелющийся из невидимого пространства голос сказал: «... пройдет очень немного времени. – Затем послышалось обращение ко мне: – Квартира Эбенезера Сиднея?»

– Это я, – невольно я отстранил трубку от уха, чтобы она не касалась кожи, – так неестественно и отвратительно близко, как бы в самой руке моей, ковырялся этот металлический голос. Я повторил: – С вами говорит Сидней, кто вы и что желаете от меня?

– Мое имя вам неизвестно, я говорю с вами по поручению скончавшегося вчера Эммануила Гриньо, мулата. Несколько мелких дел, оставшихся им не выполненными, он поручил мне. В число их входит просьба переслать вам выигранный четырехместный автомобиль системы Леванда. Поэтому я прошу вас назначить время, когда покорнейший ваш слуга имеет исполнить поручение.

Я закричал, я затопал ногами, так мгновенно поразил меня неистовый гнев. Крича, я весь содрогался от злобы к этому неизвестному и, если бы мог, с наслаждением избил бы его.

– Подите прочь! – загремел я, – идите, я вам говорю, к черту! Мне не нужен автомобиль! Гриньо мне ничего не должен! Возьмите автомобиль себе и разбейте на нем лоб! Мерзкий негодяй, я вижу насквозь ваши намерения!

Но, сквозь мой крик, когда я задыхался и умолкал, – одновременно с моими бешеными словами, лилась речь человека, очевидно, нимало не тронутого этой бурей по проволоке. Бесстрастно и убедительно ввинчивал он ровный свой тонкий голос в мое волнение. Я слышал, изнемогая от ярости: – «примите в соображение», – «из чувства деликатности», – «сама природа случая» – и другое подобное; так методически, покойно, веревка скручивает руки вырывающегося из ее петель человека. Я бросил трубку и отошел. Через несколько минут слуга доложил, что лошади готовы.

Прекрасный день! Даже туман, о котором я говорил, как будто рассеивался по временам, чтобы я мог полно вдохнуть, однако ж, по большей части, я не переставал чувствовать его ровное угнетение. Мне хотелось встряхнуть головой, чтобы отделаться от этого ощущения. Слуга ехал сзади на второй лошади. Приблизясь к дому, где жила Коррида, я заметил ее улыбающееся лицо: она была на балконе, смотря вниз и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком. Я подъезжал в приподнятом и несколько глупом состоянии человека, с которым хорошо потому, что он может быть полезен, что он – богат. Я не обманывал себя. Еще никогда Коррида Эль-Бассо не была так любезна со мной. Но я не хотел останавливаться на этом; моя цель была близка, хотя бы благодаря обаянию крупного выигрыша.

Оставив лошадей, я вошел твердым и спокойным шагом. Теперь, когда положением владел я, вдруг исчезла связывающая подавленность, – ощущение проклятия чувства, тяготеющего над нами, если мы, сидя рядом с любимой, испытываем одиночество. Мной стала овладевать надежда, что затеянное будет иметь успех, смысл.

Я поцеловал ее узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась.

– У вас довольный вид, – сказала Коррида, – не мудрено – два успеха, – что более важным считаете вы? Но, может быть, изобретение принесет вам еще более денег?

– Нет, оно мне не принесет ни копейки, – возразил я, – напротив, оно может меня разорить.

– Как же это?

– Если не оправдает моих надежд; оно еще не было в деле; не было опыта.

– Что же представляет оно? И какой цели должно служить?

– Но через час вы сами увидите его. Не стоит ли подождать?

– Правда, – сказала она с досадой, опуская вуаль и беря хлыст. Она была в амазонке. – Оно красиво?

– На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно.

– О! – сказала она, что-то почувствовав в тоне моем. – Итак, мы отправляемся в мастер-

скую?

– Ну да, – и я не удержался, чтобы не подзадорить. – В мастерскую природы.

– Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас. Все мистификаторы не галантны. Но едем. Мы вышли, сели, и я помог ей.

– У меня отличное настроение, – заявила она, – и ваши лошади хороши тоже. Как имя моей?

– Перемена. – Имя странное, как вы сами.

– Я очень прост, – сказал я, – во мне странное только то, что я всегда надеюсь на невозможное.

IX

Выехав за черту города, мы пустились галопом и через полчаса были у подъема горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Калло. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами, – хотя бы вызвать сочувственное мне настроение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, все более пленительный колорит. На все, что ее не интересовало, она говорила: «О, да!» или «В самом деле?» – с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать ее, и она часто возвращалась к нему, хотя я рассказал ей уже все главное об этой схватке с Гриньо. «О, я его понимаю!» – сказала она, узнав, что мулата хватил удар. Но мой отказ от автомобиля вызвал глубокое, презрительное удивление, – она посмотрела на меня так, как будто я сделал что-то очень смешное, неприятно смешное.

– Это все та ваша мания, – сказала она, подумав. – Я столько уже слышала о ней! Но я – люблю эту увлекающую быстроту, люблю, когда распирает воздухом легкие. Вот жизнь!

– Быстрота падения, – возразил я. – Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утонченности, есть простой атавизм. Все развлечения этого рода – спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки, – все есть разрастающееся увлечение головокружительными ощущениями падения. В скорости есть предел, за которым движение по горизонтальной превращается в падение. Вы наслаждаетесь чувством замирания при падении. И цель людей, рассуждающих как вы, – это уподобить движение падению. Что может быть более примитивно? И, так сказать, – бесцельно примитивно?

– Но, – сказала она, – весь темп нынешней жизни... Пестрота стала нашей природой.

– Совершенно верно, и очень худо, что так. Однако именно то, что совершается медленно, конечно, относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения, – именно это наиболее ценно. Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого, например, по сбыту и выделке коленкора, но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб, простой дуб. Деревцо это растет столетиями. Корова вырастает в два года. Настоящий, вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в тридцать. Алмаз и золото не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят, иногда, начало роста бороды мастера, в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру?! Оно сталкивает ее. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться.

– Не знаю, – возразила Коррида, – может быть, вы и правы. Но жить надо легко и быстро, не правда ли?

– Если бы вы умерли, – спросил я, – а затем вновь родились, помня, как жили, – вы продолжали бы жить так, как теперь?

– Ваш вопрос мне не нравится, – холодно ответила она. – Я живу плохо? Если даже так, какое право имеете вы тревожить меня?

– Это не право, а простое участие. Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину. Через...

– Нет, вы не увильнете! – крикнула она, остановив лошадь. – Это уже не первый раз. Какая цель ваших вопросов?

– Коррида, – сказал я мягко, – если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне еще на один вопрос, но только совершенно искренне, – даю вам слово, я так же искренно отвечу вашему раздражению.

Мы уже приближались к ущелью, из развернутой трещины которого разливался призрачный лиловый свет, полный далекой зелени. Смотри туда и припоминая, что хотел сделать, я сразу сообразил, что мой вопрос преждевременен, однако я хотел убедиться. Туман понемногу рассеивался (я говорю о внутреннем тумане, мешавшем мне ясно соображать), и я с яркостью гигантской свечи видел все чудеса, вытекающие из моего замысла. Поэтому я не колебался.

– Я жду, – сказала Коррида.

– Скажите мне, – начал я (и это останется между нами), – почему, с какой целью ушли вы из... магазина?

Сказав это, я чувствовал, что бледнею. Она могла догадаться. У вещей есть инстинкт, отлично помогающий им падать, например, так, что поднять их страшно мешает какой-нибудь посторонний предмет. Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку – придать им рассеянный, любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на нее.

– Из ма-га-зи-на?! – медленно сказала Коррида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть. К тому же, цвет ее лица внезапно стал белым, не бледным, а того матового белого цвета, какой присущ восковым фигурам. Этого было довольно для меня. Я рассмеялся, я не хотел более тревожить ее.

– Более у меня нет вопросов, – сказал я, – я говорю о встрече с вами вчера, когда вы вошли в магазин. Вы тотчас вышли, и я не хотел снова подходить к вам.

– Да... но это очень просто, – ответила она, стараясь что-то сообразить. – Я не застала модистку. Но вы хотели сказать не это.

– Вы просто смутили меня резким отпором. Я спросил первое, что пришло на мысль.

Затем, не давая ей оставаться при подозрении, – если оно было, – я возвратился к игре с мулатом, рассказывал подробности стычки так юмористически, что она смеялась до слез. Мы ехали по ущелью. Слева тянулась глубокая поперечная трещина, подъехав к которой, я остановил лошадь.

– Это здесь, – сказал я.

Коррида оставила седло, и я привязал лошадей.

– Меня несколько тревожит эта таинственность, – сказала она, оглядываясь, – далеко ли тут идти?

– Шагов сто. – Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом; гладкое дно трещины не замедляло шагов, и скоро сумерки щели рассеялись, – мы подошли к ее концу, – к обрыву, висевшему отвесной чертой над залитой солнцем долиной, где, далеко внизу, крылись, подобно стаям птиц, фермы и деревни. Огромное, голубое пространство било в лицо ветром. Здесь я остановился и показал рукой вниз.

– Вы видите? – сказал я, глядя в прекрасное прищуренное лицо.

– Вид недурен, – нетерпеливо ответила она, – но, может быть мы все-таки отправимся в вашу лабораторию?!

Безумный восторг овладевал мной. Я взял ее руки и поцеловал их. Кажется, она была так изумлена, что не сопротивлялась. Уже двинул меня внутренний толчок; бессознательно оглянувшись я на трещину позади нас, скрыться в которой было делом одной секунды, и загородил ее. Но мы одновременно кинулись к трещине, – по крайней мере, когда я охватил рукой ее талию, она была уже наполовину сзади меня и уперлась одной рукой в мою грудь. Ее лицо было бело, мертво, глаза круглы и огромны. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задышавшись, я тащил ее к обрыву, крича, убеждая и умоляя.

– Это один момент! Один! И новая жизнь! Там твое спасение!

Но было поздно – увы! – слишком поздно. Она вырвалась волчком невероятно быстрых движений, подняв свой револьвер. Я видел, как он дернулся в ее руке, и понял, что она выстрелила. У моего левого виска как бы повис камень. Не зная, – не желая этого, – судорожно противясь падению, – я упал, видя, как от моего лица поспешно отпрянули маленькие, лакированные ноги. Но я успел схватить их и дернул.

Она упала рядом со мной; при падении револьвер выскочил из ее руки. Я мог видеть его, повернув голову. Если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его. Но у нее была кошачья изворотливость. Схватив за талию и прижимая к себе, чтобы она не вскочила, левой рукой я уже касался револьвера, стараясь подцарапать его, но она ломала мою руку у кисти, отводя пальцы. Наконец, удар по руке камнем сделал свое. Скользнув, как сжатая рукой рыба. Коррида овладела револьвером, – здесь силы оставили меня. Я мог только лежать и смотреть.

Когда она поднялась, вскочила, револьвер был все время направлен на меня. Последовало молчание – и дыхание, – общее наше дыхание, слышное, как крик.

– Что же это! – сказала она. – Теперь говорите, слышите?!

Х

Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается.

– Да, – сказал я, – это и есть мое изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовет. Итак, бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно. Это нужно для нас обоих. Вам нечего притворяться более. Карты открыты, и я хорошо вижу ваши. Они закапаны воском. Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах. Но истинная, истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа! Знайте, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно! Нам следовало умереть и родиться!

– Куда вы ранены? – сурово спросила она.

– В голову возле уха, – сказал я, трогая мокрыми пальцами мокрые и липкие волосы. – ступайте! Что вам теперь я; ваше место незанято.

Она, приподняв платье, обошла меня сзади, и я почувствовал, как моя голова приподнимается усилием маленькой, холодной руки. Послышался разрыв платка. Она туго стянула мою голову, затем снова перешла из тени к свету. Я же лежал, совершенно ослабев от потери крови, и безразлично принял эту заботу. Меня ужасало, что я не достиг цели.

– Можете вы пройти к лошади? – спросила Коррида. – Если можете, я вам помогу встать. Если же нет, – лежите и постарайтесь быть терпеливым; я скажу, чтобы за вами приехали.

– Как хотите, – сказал я. – Как хотите. Я не могу идти к лошади. Теперь мне все равно – жить или умереть, потому что я навсегда лишился вас. Может быть, я умру здесь. Поэтому будем говорить прямо. Нашу первую встречу вы должны помнить не по Аламбо, – нет; в Глен-Арроле состоялась она. Вы помните Глен-Арроль? Старик открывал кисею, показывая вас в ящике, это был воск с механизмом внутри, – это были вы, – вы спали, дышали и улыбались. Я заплатил за вход десять центов, но я заплатил бы даже всей жизнью. Как вы ушли из Глен-Арроля, почему очутились здесь – я не знаю, но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни силой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу, как машина; механизм уже растет, скрежещет внутри меня; его железо я слышу. Но есть сила в самосвержении, и, воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших весь мир. Вы станете человеком и огненной сверкнете чертой. Ваше лицо? Оно красиво и с желанием подлинной красоты вошли бы вы в земные сады. Ваши глаза? Блеск волос? Характер улыбки? – Увлекающая энергия, и она сказала бы в жизненном плане вашем. Ваш голос? – Он звучит зовом и нежностью, – и так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано! Как вы мертвы! Как надо

вам умереть!

Говоря это, я не видел ее. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятие! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному, лесистому пульсу, – к слезам и радости, восторгу и потрясению, – наконец оно могло полюбить меня, сторевшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребенок, – и оно ушло! Уверен, что она не хотела вспоминать Глен-Арроль. Правда, в том городишке на нее смотрели лишь уродливые подобию людей, но все-таки...

Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, – что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом... Наконец, я встал, хватаясь за стену, и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться.

Пока я шел, сумерки (уже стемнело), распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна при переходе дневного света к магическому, призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лог ущелья в блеске чистого месяца; дно, усеянное камнями, круглые тени которых казались черными козырьками белых фуражек, – было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли. – Восковая взяла мою лошадь, думая, без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной, скорее мне могли подослать убийц.

Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля, но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитам нашей планеты, – и понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания.

– Коррида! – закричал я, – Коррида! Коррида Эль-Бассо! Я люблю, люблю, люблю тебя, безумная в холодном сверкании своем, недоступная, ибо не живая, – нет, тысячу раз нет! Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца! Ты выстрелила не в меня, – в жизнь, ей ты нанесла рану! Вернись!

И эхо, наметив «рри» из ее имени, упорно рокотало где-то за спиной высоких камней: звуки, напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Глен-Арроле, где я в первый раз увидел ее. Да, – там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом лежала она, вытянув и скрестив ноги, под газом, среди пыльных цветов. Ее ресницы вздрагивали и опускались; легкая, как лепестки, грудь дышала с тихим и живым выражением. Чудилось, вот откроются эти разливающие улыбку глаза; стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и, поднявшись, скажет она великое слово, какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попуска некоторых, она – среди нас, обещающая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно.

Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это, только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилолось несколько троп; одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь, несколько в стороне, стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грювда: «Он был беден и спал». Перешагнув низкую каменную ограду, я посмотрел, что окно не закрыто, и сунул за стекло свой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбуду я наутро ненужным мне подарком моим? Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы; малый след скоро зарастает травой. Наутро будет крик, шум, споры и изумление, трясущиеся поджилки, вопли, может быть заболевание от восторга, – что до того? – это жизнь, ее судорога, гримаса, вой и улыбка, – всякая жизнь хороша.

Луна взошла выше; ее круглый скелет свел глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало растянутым римским V, – столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка; она увеличива-

лась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно; пятно сползло к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся – серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, какая уничтожает обычное представление об усилении. Свернув к кустам, я притаился в их сырости; теперь меж мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, – мог сосчитать их. Их было четверо и тот самый шофер в очках, которого я видел вчера. Они осматривались; один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня.

Все было для меня ясно теперь. Это началась охота, месть может быть, низменная и ужасная. Как напечатанные, стояли в воздухе те буквы и цифры, какие увидел я, изнемогая от ярости, и эти буквы были «С.С.», цифры те были «77–7». Воистину, я был близок к безумию. Трясаясь, как будто я уже был схвачен, я искал помраченными движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой; я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись между собой, что я шел, все время словно проваливаясь среди груд хвороста; сухой терн цапал за платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони: иные ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всем теле.

Остановясь и отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул. Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума; поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее возможно большее расстояние.

Итак, я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязаниях. Искусство бегать не изменило мне и теперь, – дорога правильными толчками мчалась подо мной взад; быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя.

Из этого состояния меня вывела выбоина, – небольшая черная яма, приметив которую впереди, я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую принял мой бег. Будучи невдалеке, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду, еле волоча ноги; довольно было этого обратного толчка – я сел, но не мог даже сидеть; склоняясь на руки, лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдаленной дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло двух минут, как серый автомобиль начал налетать издали, – ко мне, готовому принять последний удар.

Я чувствовал, что бессилён пошевелиться. Я был так иступленно, бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твердой воображенной улыбкой встречал я приближение свистящих колес. Смерть – вместо солнечной, живой пропасти ликующего бессмертия – уже тронула мое лицо светлой косой луча, протянутого наползающим фонарем, – как вдруг эта железная кошка, несущаяся наперерез моего тела, застучала глухим громом, свернула и остановилась. Из нее выбежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать, – казалось мне, что глубоко под землей рвут толстый брезент.

XI

Я очнулся в высокой небольшой комнате, с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нем стояли цветы – чрезвычайно искусная подделка: их лепестки (я их нюхал и трогал) обладали точь-в-точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие, – они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зеленая лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку.

Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни.

Он был плотен и прям, с решительным, квадратным лицом и неприятно ясным взглядом, через очки. Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны.

– Кто бы вы ни были, – сказал я, – ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь.

– Вы в квартире доктора Эмерсона, – сказал он, – я – Эмерсон. Лучше ли вам теперь?

– Меня похитили, – ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства. – Кто вы – друг или враг? Зачем я приведен сюда?

– Я вас прошу, – сказал он с удивительной невозмутимостью, – быть совершенно спокойным. Я друг ваш; мое единственное желание – как можно скорее помочь вам выздороветь.

– В таком случае, – и я встал, свесив с кровати ноги, – я немедленно ухожу отсюда. Я достаточно здоров. Ваши действия будут известны королевскому прокурору.

Он тоже встал и позвонил так быстро, что я опоздал схватить его за руку. Немедленное появление трех рослых людей в белых колпаках и передниках заставило меня откинуться на подушку в прежней позе – сопротивление четверым было немыслимо.

Лежа, я смотрел на Эмерсона с отчаянием и негодованием.

– Итак, вы в заговоре со всеми другими, – сказал я, – хорошо, – я бессилен. Уйдите, прошу вас.

– О каком заговоре говорите вы? – спросил он, делая знак людям выйти. – Здесь нет никакого заговора; вам предстоит лечение и отдых.

– Вы притворяетесь, что не понимаете. Между тем, – и я описал рукой в воздухе круг, – дело идет о заговоре окружности против центра. Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости, – диска, все точки которого заполнены мыслящими, живыми существами. Чем ближе к центру, тем медленнее, в одно время со всеми другими точками, происходит вращение. Но точка окружности описывает круг с максимальной быстротой, равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение: Диск – это время, Движение – это жизнь и Центр – это есть истина, а мыслящие существа – люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение, но оно равно по времени движению точек окружности, – следовательно, оно достигает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового возвращения к исходной точке.

По окружности же с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру, существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги ложная жизнь, заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которой полна сама, и нарушая их все более и более спокойный внутренний ритм громом движения, до крайности удаленного от истины. Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть, по существу, страдание иступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко – всегда далеко – от них. И слабые, – подобные мне, – как бы ни близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых – пустота.

Меж тем, одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей неторопливых, как точки, ближайšie к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил, владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они красивы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их, стоя в центре великого круга, – неподвижные, ибо они есть цель, – и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена: Любовь, Свобода, Природа, Правда и Красота. Вы, Эмерсон, сказали мне, что я болен, – о! если так, то лишь этой великой любовью. Или...

Взглянув на скрипнувшую дверь, я увидел, что она приоткрылась. Усатое, хихикающее лицо выглядывало одним глазом. И я замолчал.

Эту рукопись, с вложенным в нее предписанием к начальнику Центавров немедленно поймать серый автомобиль, а также сбежавшую из паноптикума восковую фигуру, именующую себя Корридой Эль-Бассо, я опускаю сегодня ночью в ящик для заявлений.

Брак Августа Эсборна

Посвящаю Нине Н. Грин

I

В 1903-м году, в Лондоне, женился Август Эсборн, человек двадцати девяти лет, красивый и состоятельный (он был пайщик судостроительной верфи), на молодой девушке, Алисе Безант, сироте, бывшей моложе его на девять лет. Эсборн недолго ухаживал за Алисой: ее зависимое положение в качестве гувернантки и способность Эсборна нравиться скоро определили желанный ответ.

Когда молодые приехали из церкви и вошли в квартиру Эсборна, всем было ясно, что гости и родственники Эсборна присутствуют при начале одного из самых счастливых совместных путей, начинаемых мужчиной и женщиной. Богатая квартира Эсборна утопала в цветах и огнях, стол сверкал пышной сервировкой, и музыканты встретили мужа и жену оглушительным тушем. Поваяло той наивной и эгоистической сердечностью, какая присуща счастливым. Выражение лица Алисы Эсборн и ее мужа определило настроение всех – это были две пары блаженных глаз с неудержимой улыбкой своего внутреннего мира.

Все между тем обратили внимание на то, что после первого тоста, сказанного полковником Рипсом, Эсборн, склонив лицо к руке, которой вертел цветок, о чем-то задумался. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнула упорная рассеянность, но это скоро прошло, и он стал шутить по-прежнему.

Когда ужин кончился и гости разъехались, Эсборн подошел к жене, посмотрел ей в глаза и, поцеловав руку, сказал, что выйдет из дома минут на десять для того, чтобы свежий воздух прогнал легкую головную боль. Закруженная всем этим днем, полным волнения и усталости счастья, Алиса неумело поцеловала Эсборна в склоненную голову и пошла к себе ожидать возвращения своего мужа.

Задумавшись, она сидела перед зеркалом, перебирая распущенные волосы и смотря в глубину стекла, где отражались ее широко раскрытые глаза. Здесь с ней произошла та ясная игра представлений, какая при воспоминании о ней подобна самой действительности. Алисе казалось, что ее жених-муж стоит сзади за стулом, но не отражается почему-то в зеркале. Такое чувство обеспокоило наконец молодую женщину; она встряхнула блестящими черными волосами и обернулась, хотя знала, что никого не увидит; и в тот момент часы на камине пробили полночь. Это значило, что прошел час, как вышел Эсборн, – час, исчезнувший в смуте и быстроте сменяющих одним другое напряженных чувств перемены судьбы.

Не зная, что думать, обеспокоенная женщина позвала слугу, попросила его обойти квартал и ближайший сквер, и когда слуга вернулся ни с чем, прошло еще полчаса. Между тем Алиса не могла найти места от тревоги. У нее было чувство, как если бы зимой открыли настежь все двери и окна в уютной квартире, впустив холод и тлен. Она позвонила в полицию уже около пяти часов утра, когда еле держалась на ногах. В полиции записали приметы исчезнувшего Эсборна и в быстром деловом темпе обещали принять «все меры».

В эту ужасную ночь Алиса похоронила свои мечты, мужа и свежесть ожидания счастливой душевной теплоты. Ее мозг получил сильное сотрясение. Еще два дня она ждала Эсборна, но утром третьего дня в ней как бы оборвался с страшной высоты последний камень, держась за который и изнемогая висела она над внезапной пустотой всего и во всем.

Она заболела, и ее, согласно ее желанию, перевезли в ее прежнюю комнату, в тот дом, где она служила гувернанткой. Хозяева приняли в ее судьбе исключительное участие. Когда она выздоровела, от брачной ночи у ослабевшей девушки остался испуг – боязнь звонка и стука в дверь. Ей казалось, что войдет он, уже немыслимый и отвергнутый... Что бы с ним ни случилось, Алиса не могла бы теперь простить Эсборну, что он покинул ее среди ее первых доверчи-

вых минут, пусть это было предположено им даже на одну минуту.

Прошел год, другой. С ней встретился человек, которого тронула ее история, полюбил ее и стал ее мужем.

II

Когда Август Эсборн вышел на улицу, то он вышел по подмигивающему веселому приказанию беса невинной мистификации. Он был охвачен счастьем и жадно дышал воздухом счастья. Его голова на самом деле не болела, и он вышел лишь оттого, что во время речи полковника, пожелавшего новобрачным «провести всю жизнь рука об руку, не расставаясь никогда», представил со свойственной ему остротой воображения сильную радость встречи после разлуки. Он не был ни жестоким, ни грубым человеком, но случалось, что им овладевала сила, которой он не мог противиться, отчего объяснял ее как причуду. Это была несознанная жажда страдания и раскаяния. Эсборн вспомнил, как, еще мальчиком, любил прятаться в темный шкаф и выскакивал оттуда, лишь когда тревога в доме достигала крайних пределов, когда слуги сбивались с ног, разыскивая его. Сам радуясь и терзаясь, с плачем кидался он к матери весь в слезах, как бы в предчувствии горя, какое было ему суждено пережить гораздо позднее.

Отойдя к скверу, Эсборн подумал, как обрадуется после короткого испуга Алиса, когда он вернется. Он намеревался побродить час, но, думая быстро обо всем этом, а потому и быстро идя, он с удивлением услышал, что пробило уже час ночи и на улицах становится все меньше народа. Он повернул и тотчас хотел вернуться, когда встретил это невидимое и неясное противодействие. Оно было в его душе. Это было то самое, на что, делая сами себе явный вред, женщины, не уступая доводам рассудка говорят с тоской: «Ах, я ничего, ничего не знаю!» – а мужчины испытывают приближение рока, заключенного в их противоречивых поступках. Он был испуган, расстроен своим состоянием, и ему пришло на мысль, что лучше явиться домой утром, чтобы избежать расстройств и тяготы всей остальной ночи, тем более, что утром он надеялся представить жене все как нелепую, случайно затянувшуюся выходку. Вначале принять такое решение было дико и нестерпимо, но выхода не было. Эсборн завернул в гостиницу, взял номер и, сказав вымышленную фамилию, вошел, как был, – во фраке, белом галстуке, с цветком, – в холодный мрачный номер.

Слуги подумали, что это гость из ресторана. Разрываемый мыслями о доме и своем положении, Эсборн оглушил себя бутылкой чистого виски и уснул среди кошмаров. Все время было при нем, с ним это тоскливое, мучительное противодействие – непокорная черная игла, направленная к его рвущемуся домой сердцу. Он забылся наконец сном и проснулся в одиннадцать. Тогда перед ним встал вопрос: «Что теперь делать?»

III

Он видел, что все погибло, погибает, и что если принять меры, то надо сделать это немедленно. Вчерашнее решение прийти сейчас, утром, оказывалось едва ли возможным. Девушка, проведшая ночь в слезах, страхе и стыде, если бы и поняла его крайним, самоотверженным усилием, то все же не совместила бы такого поступка с любовью и уважением к ней. Сбитый в мыслях, он возмутился против себя и против нее, все время повинувшись этой достигшей теперь болезненной остроты тайной центробежной силе, отдалявшей какое-либо нормальное решение. Он захотел написать письмо, но слова не повиновались так, как он хотел, и великое утомление напало на него при первом серьезном усилии. Эсборн был теперь, как перегоревший шлак, – так много он пережил за эти часы.

Эсборн провел рукой по глазам. Внезапно вспомнив, что должны думать о нем, он послал за газетой и, развернув ее, отыскал с злым изумлением заметку о загадочном исчезновении А. Эсборна при обстоятельствах, которые знал сам, но, читая, готов был усомниться, что Эсборн – это и есть он, читающий о себе.

Зло было сделано, непоправимое зло, и его любящей рукой был нанесен тяжкий удар неве-

сте-жене. Он не мог бы теперь вернуться уже потому, что в Алисе навсегда остался бы страх перед его душой, о которой и сам он знал очень немного. И он не чувствовал себя способным согласить так, чтобы ложь имела плоть и кровь живой жизни.

Но, как это ни странно, мысли о невозможности возвращения несколько облегчили его. Он страдал больше, чем это можно представить, но имел мужество взглянуть в лицо новой своей судьбе. Постепенно его мысли пришли в порядок, в равновесие избитого тела, полубесчувственного распростертого среди темной ночной дороги.

Он переменил имя, открыл, что произошло, своему другу, взяв с него клятву молчать, и получил свои деньги из банка по векселям, выданным этому другу на его имя задним числом. Затем переехал в отдаленную часть города и занялся другим делом, пошедшим успешно. Эсборн стал «пропавшим без вести». Джон Тернер, заменивший его, вошел в жизнь и жил, как все. На память о происшествии ему остались рано поседевшие волосы и одна неизменная, причудливая мысль, связанная с Алисой – теперь Алисой Ренгольд.

IV

Он не мог думать о ней, как о чужой, и время от времени наводил справки о ее жизни, узнавая через частный сыск все главное. Он узнал о ее болезни, о потрясении, о выходе замуж. Причудливой мыслью Эсборна-Тернера являлось неотгоняемое представление, что он всегда с ней, в лице этого Ренгольда, служащего торговой конторы. Он был, про себя, ее настоящим мужем на расстоянии, невидимый и даже несуществующий для нее. По грубой канве сведений, доставляемых сыском, Эсборн создал картину ежедневного семейного быта Алисы, ее забот, чаяний. Он узнавал о рождении ее детей, волновался и радовался, когда жизнь текла спокойно в доме Ренгольдов, огорчался и беспокоился, если болели дети или наступали материальные затруднения. Это были не то мечты о доме, что могло и должно было совершиться в собственной его жизни, – не то непрерывное мысленное присутствие. Иногда он воображал, что получится, если он придет и скажет: «Вот я», но сделать это, казалось, было так же невозможно, как стать действительно Джоном Тернером.

Так шло и прошло одиннадцать лет. На двенадцатом году безвестия Эсборн узнал, что Ренгольд уехал на шесть месяцев в Индию, и у него противу всех душевных запретов стало нарастать желание увидеть Алису. И в один день, в жаркий, изнемогающий от жары и неподвижности воздуха день, он поехал, как на казнь, к дому, где жила Алиса Ренгольд.

По мере того, как автомобиль мчал несчастного человека к невозможному, останавливающему мысли свиданию, ему казалось, что он мчится в глубь прошедших годов и что время – не более, как мучение. Жизнь перевертывалась обратным концом. Его душа трепетала в возвращающейся новизне прошлого. Тяжелый автоматизм чувств мешал думать. Весь вдруг ослабев, он поднялся по ступеням к двери и нажал кнопку звонка.

Он переходил от сна к сну, весь содрогаясь и горя, мучаясь и не сознавая, как, кто проводит его к раскрытой двери гостиной. И он перешагнул на ковер, в свет комнаты, где увидел подходившую к нему постаревшую, красивую женщину в серо-голубом платье. Сначала он не узнал ее, затем узнал так, как будто видел вчера.

Она побледнела и вскрикнула таким криком, в котором сказано все. Шатаясь, Эсборн упал на колени и, протянув руки, схватил похолодевшую руку женщины.

– Прости! – сказал он, сам ужасаясь этому слову.

– Я рада, что вы живы, Эсборн, – сказала, наконец, Алиса Ренгольд издали, голосом, который был мучительно знаком Эсборну. – Благодарю вас, что вы пришли. Все эти годы... – упав в кресло, она быстро, навзрыд заплакала и договорила: – все годы я думала о самом ужасном. Но не сейчас. Уйдите и напишите, – о! мне так тяжело, Август!

– Я уйду, – сказал Эсборн. – Там, в моем дневнике... Я писал каждый день... Может быть, вы поймете...

Его сердце не выдержало этой страшной минуты. Он с воплем охватил ноги невесты-жены и умер, потому что умер уже давно.

Нянька Гленау

Рулевой Спринг заканчивал свою береговую отлучку в Коломахе, куда приехал из Покета по железной дороге. Там стояла его «Морская карета» – парусное судно в семьсот тонн, пришедшее с Филиппинских островов.

Спринг был родом из Коломахи. Здесь он провел свои молодые годы. Теперь ему было пятьдесят лет. Как большинство моряков, он остался холостяком.

Спринг пропил или проиграл жалование за два месяца, посетил некоторых и теперь, накануне отъезда в Покет, размышлял: «зачем ему понадобилась Коломаха?»

Кабаки Коломахи ничем не уступали таким же заведениям Покета, а знакомств в Покете у него было даже больше, чем здесь.

Обратясь к честной стороне памяти, он неохотно признал, что ему хотелось повидаться с конопатчиком Дезлем Гленау, от которого он года два назад получил письмо, извещающее о рождении у Гленау девочки.

«Надо было зайти, поздравить», – думал Спринг каждый день, но за множеством приглашений и угощений откладывал это дело на завтра, а «завтра» тоже было некогда.

Однажды выдалась свободная половина дня, то есть Спринг оказался трезвым случайно; но, сообразив положение, пошел и хватил бутылку.

«Нехорошо явиться нетрезвым, – думал он, – а завтра я воздержусь и непременно пойду».

Наконец он набрался решимости и отправился к конопатчику.

Это был дом в две комнаты с кухней; все помещения вытянулись по прямой линии, так что пройти в последнюю комнату надо было через кухню и первую комнату.

Спринг зашел в кухню. Ставни были закрыты по случаю палящего зноя. Двигаясь в полутьме, едва рассеиваемой тонким лучом в щель ставни, Спринг кашлянул и сказал:

– Встречайте Спринга. Кто дома? Я хочу видеть Гленау или его жену. Вы что, спите, что ли?

Постояв и передохнув, он прошел в первую комнату, где повторил свои возгласы с тем же успехом, как первый раз.

Ему стало неловко и скучно. Однако желая убедиться окончательно, Спринг прошел в последнюю комнату.

Здесь была такая же дневная тьма, как в остальных помещениях. Среди душной тишины тикал невидимый будильник, гудели потревоженные мухи.

Спринг подошел к смутно белевшему возвышению и с достоинством взгляделся в него, но не рассмотрел подробностей. Однако перед ним был действительно кисейный полог детской кровати; он свешивался с потолка и охватывал, как палатка, маленькое ложе с бортами, подвешенное между двух стоек. Кровать нервно качнулась.

«Отец и мать ушли, – подумал Спринг, – они ненадолго вышли, потому что здесь ребенок».

Он подвинул табурет и сел ждать.

За пологом не было ничего видно, но Спрингу казалось, что он различает рыжие волосы на маленькой голове.

– Ты спи, а я посижу, – сказал Спринг, опасливо косясь на таинственное сооружение. – Ссориться не будем, нет; драться тоже.

Внезапно кровать качнулась сильнее и заходила, как под раздраженной материнской рукой. Раздался ноющий звук, от которого у рулевого выступил пот.

– Спи, спи, – поспешно сказал гость, – акула далеко, в море, она не придет. Она ест тюленя. Ам, ам! вот и слопала. Так что не надо кричать.

Кровать перестала было качаться, но при последних словах Спринга понеслась быстрыми размахами взад и вперед, и плаксивый, безутешный писк послышался из-за полога. Струсив, что младенец разбушует и тем поставит его в замысловатое положение, так как у него не было опыта в деле образумления разгоряченных детей, Спринг протянул руку под полог и начал тихо качать девочку, говоря:

– Ты не будешь есть тюленей. Нет. А только один шоколад. Го-го! Мы уж поедим шоколаду! Вот идет большой пароход, – двадцать тысяч тонн шоколаду. И все – тебе!

Так как он не мог представить ничего ослепительнее флотилии с шоколадом, то начал развивать эту тему, прислушиваясь к слезливым звукам, грозящим перейти в рев.

– И еще идет маленький пароход с шоколадом, – говорил Спринг, – а за ним большая шхуна. Вот там самый лучший шоколад. Мы все съедем. Давай нам еще! Все съели, больше нет. Везите нам из Бразилии, из Мексики. Шоколаду, черти такие-сякие! Да побольше! Этот нехорош – давай другого. Вот этот хорош. А акуле не дадим, пошла прочь!

Кровать сильно закачалась, и из-под нее вылез Дезль Гленау, заливаясь хохотом, от которого Спринг почувствовал себя так, как будто упал с табурета.

– Ну, здорово же ты меня кормил своим шоколадом! – вскричал Гленау, открывая ставни и хлопая затем Спринга по широким плечам. – Здорово! Слышал, что ты в Коломахе. А я лег, видишь, поспать, залез под полог, чтоб мухи не ели. Мать ушла с Полли к соседям. Я лежу там, пищу нарочно, а ты стараешься! У меня даже бока смокли, так я удерживался от смеха. Отчего ты не женился? Хорошая вышла бы из тебя нянька!

– Я однажды чуть не женился, – сказал Спринг, – и женился бы, только я знаю, что это дело сложное.

– Врешь! – сказал Гленау.

Это был рыжий человек с веселым лицом, худощавый и гибкий.

Разговор шел уже за столом в кухне перед бутылкой. Приятели сидели и выпивали.

– Лучше бы я соврал, – сказал Спринг, задумчиво смотря на Гленау, –...только я говорю правду. Здесь, в Коломахе, жила девушка; очень нуждалась. Лет пять назад. Я посватался. Она согласилась, и я пошел в море – скопить на хозяйство. На Борнео вышел скандал с малайцами, и один задел мне крисом⁴⁷ по глазу, и он вытек. Пропал глаз. Я вернулся и говорю ей: «Хочешь меня такого, как я есть?» – Она была деликатна. Я спорил. Тогда она призналась, что ей по душе один человек. Я, конечно, мешать не стал, так как это дело на всю жизнь, ну и... я, правду говоря, для нее стар.

– Экий ты дурак, Спринг, – заметил Гленау.

– Я и говорю, что дурак, – ответил рулевой очень серьезно. – Мне уж многие это же говорили.

Вошла жена Гленау, ведя девочку. Молодая женщина сделала большие глаза, потом весело улыбнулась и подала гостю руку.

– Вот дядя Спринг, Полли, – сказал Гленау дочери, которая уставилась на нового человека голубыми глазами отца, – он шоколадный король. У него целый склад шоколада!

В глазах Полли явно наметилось ожидание.

– Даже и купить забыл, – смущенно сказал Спринг, вспотев от досады на свою рассеянность. – Ты не подумай, Гленау...

– Ну что там! – сказал муж.

– Разве это так важно? – подхватила жена.

– Важно, – настаивал Спринг. – Потом я пришлю, не забуду.

Он погладил девочку по голове и стал прощаться. Гленау долго пытался удержать приятеля, но Спринг не остался, сославшись на то, что может опоздать к поезду. Жена Гленау, утомленная жарой, молчала, сдерживая зевоту.

– Хорошо, что зашел, не забыл, – сказал Гленау. – Увидимся еще в другой раз.

Он уже рассказал жене, как Спринг укачивал пустую кровать, и это вызвало общий смех, после которого наступило молчание.

– Прощайте, – сказал Спринг.

– Женись, непременно женись! – говорил Гленау, провожая товарища. – Он мне рассказал, Бетси, как...

Тут жена Гленау вспомнила, что со двора могут украсть пеленки, и вышла взглянуть на

⁴⁷ Малайский изогнутый нож.

них, поэтому Гленау обратился к Спрингу.

– Кто же она? Я ведь знаю здесь всех. Или – секрет?

У Спринга чуть не сорвалось с языка: «Она пошла за пеленками», – но, смолчав об этом, он сказал:

– Ее теперь нет в Коломахе, – она куда-то уехала.

Потом он еще раз попрощался с хозяевами, поцеловал девочку и ушел.

«Зачем же я заходил? – подумал Спринг. – А ведь как тянуло пойти!»

Все же он был доволен, что зашел трезвый.

Личный прием

I

Старик умирал. Он был почти слеп; к своему положению он относился с несколько смешной гордостью человека, долго и досыта дышавшего жарким огнем жизни. Поэтому Маурей уважал его.

Дом, где они жили, стоял на границе двух пустынь – степи и леса. До ближайшего поселения вниз по реке было два дня пути. В этом поселении находился второй, еще более важный, чем свой – для Маурея, – дом с белыми занавесками. Там жила особа в заплатанных платьях, но, по мнению Маурея, достойная носить костюм из звездных лучей, – Катерина Логар.

Маурей кормился ружьем. Но этого было недостаточно, чтобы с рук его невесты сошли грубые, болезненные трещины и чтобы напряженное, заботливое выражение ее глаз стало спокойным. Поэтому он сделал вдвое больше ловушек для куниц и бобров, чем в прошлом году. Шкуры, добытые им, висели в кладовой, устроенной на высоком дереве. Месяц назад неизвестный вор, проходя этими местами в отсутствие Маурея, залез на дерево, взял шкуры и исчез, а Маурей после того просидел целый день, опустив в руки лицо.

Кто был старик, умиравший в его хижине, – охотник не знал. Его свезли на берег плотовщики; он выпросился плыть с ними, но заболел по дороге, введя тем веселых парней в мрачное настроение. Рассудив, что дела старика все равно плохи, они попросили его сесть в лодку и дожидаться смерти на твердой земле.

– Я плыл в Аламбо, к родственникам, – сказал он Маурею утром, – у всякого человека должны быть родственники. Кое-кого я надеялся разыскать там.

Вечером он сказал:

– Подойдите и слушайте.

Маурей набил две трубки, но умирающий отказался курить.

– Сегодня я стану неподвижен, – продолжал старик, – не огорчайтесь этим, так как в свое время вы тоже станете неподвижным. Вы давали мне пить и есть в тяжелую для себя минуту. Я хочу вас поблагодарить.

– Напрасно, – возразил Маурей.

– Исполнение последней воли обязательно, поэтому спорить вам не приходится. В Аламбо живет известный миллионер Гордон.

– Я слышал о нем.

– Да. Когда он был беден, я дал ему займы, без векселя, тысячу золотых.

– Это хорошо.

– Затем он разбогател.

– На ваши деньги?

– Конечно. Это плут и делец. Затем я стал беден.

– Это плохо, – сказал Маурей.

– Пожалуй, – согласился старик. – И я потребовал вернуть мне деньги. С того дня, как я потребовал их, до сего дня прошло десять лет. Он не дал мне ни копейки.

– Почему?

– Этого я тоже не понимаю. Это какой-то психологический заскок, свойственный богатым, даже очень богатым.

– Что же теперь делать?

Старик вытащил карандаш, клочок бумаги и написал: «Тысячу золотых, взятых тобою, Гордон, когда тебе нечего было есть, отдай Маурею. Когда-то „твой“ Робертсон».

– Вот, получите, – сказал он, – деньги ваши. Он должен отдать.

– Но у вас, вероятно, есть наследники? – спросил Маурей.

– О нет! – Старик сделал попытку рассмеяться. – Нет, никого нет.

Маурей протестовал. Старик стоял на своем. Согласие было обеспечено сущностью положения.

– Хорошо, – сказал, наконец, охотник. – Что же передать еще Гордону?

– Что он подлец, – сказал умирающий, поворачиваясь к стене лицом; он заснул и более не просыпался.

II

Утром Маурей опустил его в землю, прикрыл могилу травой и, посидев несколько минут с клочком бумаги в руках, нашел, что ради Катарины Логар стоит проехать в Аламбо. Так как дело не расходилось у него с мыслью, он, взяв в мешок все ценное, то есть остаток шкур, нож и белье, сел вечером того же дня в лодку, а через четыре дня видел уже вертикальную сеть мачт, реявших вокруг белых с зеленым уступов города, спускавшегося к воде ясным амфитеатром.

Маурей привязал лодку к купальне, заплатил сторожу и поднялся в сверкающие асфальтовые ущелья города. По улицам переливалось экипажное и человеческое движение с той ошеломляющей, бархатистой напряженностью делового дня, которая мгновенно делает одиноким пришельца, доселе ждавшего, быть может, немедленного, приятного общения. Спросив раз десять, как пройти к Гордону, Маурей получил несколько противоположных указаний, следуя которым каждый раз попадал к затейливым огромным домам, – и все это были дома Гордона, но во всех этих домах его не было. Он был в каком-то еще одном, своем доме.

Наконец, исколесив половину города, Маурей нашел дом и в нем – Гордона. Он прошел железные кружевные ворота, аллею с огненными цветами и попал к раскинутому мостом подъезду, середина которого сверкала ярким небом зеркальных стекол.

Не видя никого, в то время как около дома вились эхом женские и мужские голоса, Маурей громко сказал:

– Эй! Есть ли кто живой здесь?

Молчание. Мимо его лица пролетела бабочка; деревья зеленели, цвели цветы, и не было никого. Маурей три раза повторил окрик, затем выстрелил в щебень дорожки. Камешки брызнули, как вода.

Тогда он увидел, что в глубине зеркальных выпуклостей подъезда мелькает, пропадая и топясь, человеческая фигура.

Испуганный швейцар выбежал, хлопнул дверью и подступил к Маурею.

– Это вы выстрелили? – вскричал он, косясь и оглядывая с ног до головы смельчака. – Кто выстрелил? Что произошло здесь?

– Случайно зацепился курок, – сказал Маурей, кладя револьвер обратно. – Это вы – Гордон?

– Что?! Я Гордон?! Эй, любезный!..

– Простое, очень простое дело, – остановил его Маурей. – Нам нет причин ссориться. Если вы не Гордон, то проводите меня к Гордону.

– А вам зачем? Что у вас за дела с ним? Ступайте!

– Если у меня и есть дела, – сказал, начиная сердиться, Маурей, – то я скажу ему о том сам. А, вижу, вы – слуга. Только так бесится слуга, когда ему нечего сказать против законного желания. Я желаю видеть вашего господина.

– Милейший, – возразил швейцар, засовывая руки в карманы и показывая на лице глупо-

чайшее оскорбление, – видеть Гордона – не совсем то, что поздороваться с пастухом. Гордон занят. Гордон никого не принимает. Гордон не примет даже второго Гордона, если такой объявится. Но если вы желаете увидеть Гордона – только увидеть, – то вы можете подежурить несколько у ворот. Через несколько минут Гордон выедет в свое загородное имение. Что же касается помощи, если о том речь, – то по это...

Единый удар массивной руки Маурея придал окончанию этого слова характер второго выстрела. Без звука, без сотрясения оглушенный швейцар пал. Маурей, вытирая о штаны руки, огляделся и, не видя никого, прошел в кусты. Здесь было так тревожно, прекрасно и тихо, как это бывает при сердцебиении ранним утром. Мгновенно оценив план, вызванный очевидностью положения и возникший непосредственно за ударом по швейцарской щеке, Маурей снова вышел, перенес бесчувственное тело заслуженно пострадавшего в свое цветущее убежище и заткнул ему платком рот, руки же и ноги перевязал обрывком ремня.

Эти приемы, свидетельствовавшие об опытности и хладнокровии человека, применившего их, казались сущими пустяками для Маурея, так как жизнь в лесах развивает предприимчивость и точность движений. Затем он стал ожидать так неподвижно, как если бы охотился на бобра. Немного погодя, из глубины заднего плана, эластически шелестя, скользнул к подъезду кабриолет; черная лошадь стала, картинно опустив морду к груди, а кучер в цилиндре с плюмажем увидел неизвестного человека, дружески кладущего ему на колено руку.

– С швейцаром плохо, – сказал Маурей, – помогите поднять.

– Тропке!.. – вскричал кучер. – А что? Где?

– Он здесь за деревьями. Его хватил солнечный удар, – взволнованно проговорил Маурей.

Кучер слез и пробежал в тень лучистой листвы; Маурей бежал рядом. Едва блеснул затылок лежащего ничком швейцара, как кучеру показалось, что он видит сон, где все качается и исчезает из глаз: сбив кучера с ног, Маурей быстро завязал ему рот шарфом и опутал тело лианой. Плотнее забив рот, чтобы не проскочило ни одного звука, он выдрал сквозь петли лиан весь выездной костюм, приговаривая, где надо, чтобы дело шло быстрее, мертвящие мозг слова. Как бы то ни было, когда он вышел и сел с хлыстом в руке, обтянутой лопнувшей перчаткой, на передок кабриолета, ничто не могло обнаружить какой-либо перемены.

Беглый взгляд Гордона, вышедшего к великому своему изумлению без швейцара, заметил, как всегда, только плюмаж и хлыст. Лиц слуг он не помнил. Но он стал замечать после некоторых сосредоточенных размышлений делового характера, что экипаж мчится уже в парке, далеко оставив за собой нехоти и в стороне единственное шоссе Аламбо, по которому лежит недавно купленное имение.

– Кой черт! – сказал Гордон, притоптывая в кабриолете маленькой жирной ногой. – Почему вы сюда заехали?

Он оглянулся. Маурей стремительно искал глухого угла. Наконец, свернув с аллеи в поросший густой травой просвет, он разом остановил лошадь и обернулся к полуобморочному Гордону.

– Вот записка, – сказал он, тыча в осоловшееся багровое лицо клочок бумаги. – От Робертсона. Уплатить! Живо!

– Я... – начал Гордон.

Черный револьвер и белая бумага ставили ему выбор. Совсем близко от дула он нагнулся и прочел резкое завещание.

– Чек или деньги! – сказал Маурей. – Начало всему положил ваш швейцар. Он думал, что я нищий. Потом перестал спорить. Затем наступила моя очередь думать. Уже запахло вами, а я – охотник.

Наступила очередь третьего человека как бы видеть сон в залитой солнцем листве: что он, лижа сухим, горячим языком чернильный карандаш, выписывает чек; затем, вспомнив, что деньги в кармане, комкает, отсчитывает билеты.

– Что-нибудь... что-нибудь... этот славный... этот великолепный, чудеснейший... передать мне?! – пролепетал Гордон.

– Да, – спокойно сказал Маурей. – Что вы – подлец.

Затем стало тихо вокруг Гордона. Как бы проснувшись, он никого не увидел. Далеко, в дальних просветах аллеи двигались малые фигуры людей, а лошадь как лошадь – спокойно общипывала листву.

Чужая вина

I

Лесная дорога, соединяющая берег реки Руанты с группой озер между Конкайбом и Ахуан-Скапом, проложенная усилиями одного поколения, была, как все такие дороги, скупа на прямые перспективы и удобна более для птиц, чем для людей, однако по ней ездили, хоть и не так часто. Еще утром этой дорогой скакал почтальон, крепко сложенный женатый человек тридцати пяти лет, но встретил неожиданное препятствие.

Его оседланная лошадь спокойно бродила по озаренной солнцем дороге, обрывая губами листья дикой акации. Хвост животного мерно перелетал с бедра на бедро, гоня мух, которые, прекрасно изучив ритм этих конвульсий, взлетали и садились, не рискуя ничем.

В чаще залегло солнце. Стояла знойная тишина опущенной в дневной зной неподвижной листвы.

На дороге, лицом вниз, словно рассматривая из-под локтя лесную жизнь, лежал труп человека с едва заметно разорванным на спине сукном куртки. Из разжатых пальцев правой руки вывалился револьвер. Плоская фуражка с прямым клеенчатым козырьком лежала впереди головы, пустотой вверх, и через нее переползал жук.

Над трупом кружилось облако мух, привлеченных запахом сырого мяса, шедшим из-под этого плотного, тяжелого тела, где земля была еще липко влажная.

У седла лошади при каждом шаге вздрагивала откиннутая крышка сумки, откуда, скользя друг по другу и перевертываясь на краю кожаного борта, сваливались запечатанные конверты. Копыта время от времени наступали на них, превращая в уродливые розетки.

Обрывая ветки, лошадь подвигалась к трупу все ближе и ближе. Заметив лежащего, она, казалось, припомнила недавнюю суматоху и коротко проржала; затем попятилась, неуверенно ставя задние ноги и взмахивая головой, как будто перед ее глазами стоял кулак. Сильный грудной храп вылетел из ноздрей. Она скакнула на месте, потом замерла, настороженно опустив голову; левый глаз дико косил.

В это время из леса, раздвинув ветви прямым, сильным движением обеих рук, вышел и ступил на дорогу человек в меховой бараньей жилетке, надетой кожей вверх на пеструю сатиновую рубашку, в серой шляпе, высоких горных сапогах. Он был небрит, с быстрым взглядом и худощавым, равнодушным лицом. Увидев, что находится перед ним, он повернулся и исчез, как пружинный, с быстротой появления.

Некоторое время его неподвижно белеющее лицо смотрело из сумерек чащи. Он всматривался и ждал.

Затем снова протянулась рука, расталкивая зеленый плетень, и человек вышел вторично, бросая вокруг внимательные взгляды. Ничто не угрожало ему. Лошадь, отойдя, продолжала обрывать листья.

Еще два письма выпали из седельной сумки.

На затылке трупа стояло солнечное пятно.

II

Неизвестный подошел к мертвому и, присев на корточки, уперся тылом ладони в его лоб, осматривая лицо.

– Вот почему стреляли в этой стороне, – сказал он, вставая. – Гениссер больше не будет возить почту. Стало быть, вез деньги и не давался живой. Несчастливая твоя жена, Гениссер!

Он покачал головой, вздохнул и навел беглое следствие, как сделал бы это всякий случайный прохожий: обошел труп, поднял револьвер и удостоверился, что в одном гнезде нет пули. Всего один раз успел выстрелить почтальон.

Уважение к смерти вызвало в неизвестном минуту задумчивости. Он потускнел, щелкнул пальцами, затем стал подбирать письма, набрав их полную руку.

Время от времени он вертел какой-нибудь конверт, прочитывая незнакомые и знакомые имена с интересом человека, имеющего свободное время.

Он поднял еще одно письмо, внезапно отступил, продолжая держать его перед глазами, затем бросил все собранные письма, кроме последнего, и, поискав взглядом в воздухе решительного указания, как поступить в этом непредвиденном случае, стал очень нервен. Тяжелая, пристальная озабоченность не сходила с его лица. Тонкое лезвие стыда болезненно рвалось в нем навстречу другому чувству, бывшему сильнее всех, какие когда-либо посещали его.

Обстоятельства этого случая могли ввести в грех даже менее импульсивную натуру. Инстинкт требовал вскрыть письмо. Неизвестный был человек инстинкта. После короткой борьбы он уступил неимоверному искушению и разорвал конверт неверным движением первого воровства.

Прочтя лист, исписанный торопливым мужским почерком, он аккуратно вложил письмо в конверт, сунул в карман и хлопнул по карману рукой, как бы утверждая и замыкая этим движением факт во всей его железной отчетливости. Очнувшись, он заметил камень и сел на него.

– Так, – шумно сказал он, начиная обдумывать.

Опустив голову, он сцепил пальцами руки, локти положил на расставленные колени. В таком положении просидел он некоторое время, иногда встряхивая сжатые руки и повторяя свое «так...» все тише, задумчивее, пока весь ход мыслей и представлений не выразился отчетливой потребностью в действии.

Еще раз тряхнув руками, слегка потянувшись, человек поднял лицо и встал. Казалось, он пережил что-то приятное, так как вышел на дорогу с улыбкой. Это была улыбка бессознательная и странная. Продолжая хранить ее, он стал ловить лошадь, бросая ей на голову свою просторную меховую жилетку. После некоторых неудачных попыток он схватил наконец повод, взлетел на седло и обратил голову артачащегося животного в сторону Конкайба.

Лошадь попятилась, потом подалась вперед. Удар в бок окончательно вывел ее из равновесия, и, яростно мотнув гривой, она стала выделять стремительное «та-ра-па-та», «та-ра-па-та» вдоль летящих в глаза ветвей.

Всадник не нашел удовлетворения даже в таком карьере, хотя дышал острым ветром хлещущего пространства. Он оскорбил лошадь резкими замечаниями и стал выжимать всю быстроту, на какую способна здоровая трехлетка хорошей крови.

III

Так он скакал час и два, иногда приходя в ярость, отчего лошадь, начинавшая уже тяжело одолевать подъемы, с хрипом взлетала на них, из последних сил натягиваясь в струну. При спусках всадник и лошадь составляли одно сумасшедшее живое существо, несшееся с быстротой падения. Худые мостики, перекинутые кое-где над трещинами и потоками, подскакивали и изгибались, как будто копыта били в живое тело. Иногда, отразив подкову, камень отлетал сам. Когда кончился лесной склон, начались луга с более мягким грунтом, лошадь пошла тяжелее, но ударами ног и страстным напряжением всех человеческих сил ей приказано было от иступления перейти к подвигу. Она сделала это. В ее глазах отражался пар сгорающих легких. Шея была вытянута безумным усилием. Вид старой крыши среди тростников поманил ее ложной целью, она пробежала шагов сто и перешла в рысь, потом, затрепетав, как от пулевой раны, грохнулась, вся в мыле, издыхая и колотя копытами воздух.

Ездок даже на мгновение не склонился над ней.

Он соскочил с нее, как с пошатнувшегося бревна, и так уверенно быстро, как будто все было предусмотрено, а потому не могло вызвать задержек и колебания, побежал к впадине берега,

над линией которого двигалась, скрываясь и появляясь, рыжая меховая шапка. Там, стоя в лодке, загорелый старик вбивал кол в речное дно; он, подняв голову, увидел человека, стоящего на обрыве с поднесенным к виску револьвером.

Эта сцена произошла как видение.

Рука с револьвером дрогнула коротким толчком, звук выстрела осадил фигуру стреляющего, он склонил голову и упал навзничь.

Заостренно прищурясь, старик бросил деревянный молот и с криком, означающим внезапный перерыв мыслей, тремя взмахами достиг берега.

Хватаясь руками за земляные глыбы обрыва, взобрался он наверх быстро, как белка, и был уже близко от трупа, как самоубийца, воспряв, неожиданно кинулся вниз, завладел лодкой и отплыл в тот момент, когда пальцы старика, менее проворного, чем судорожная работа веслом, на дюйм лишь не достигнув борта, остались протянутыми к убегающей лодке.

– Орт Ганувер! – сказал старик, стоя по колени в воде. – Я тебя узнал. Тебя все равно поймают. Поймают! – повторил он и, неторопливо выйдя на берег, услышал хмурый ответ.

– Лодка была нужна.

IV

Старик ничего не ответил и, топнув ногой, побежал к дому. Решась наказать похитителя, он взял ружье и поднялся на крышу дома по приставной лестнице.

Ганувер плыл с гоночной быстротой вниз по течению. Лодка, раскачиваясь, как скорлупа, отскакивала при гибком упоре весел мерными размашистыми движениями, и, когда гребец обогнул поворот, его кивающая фигура оказалась на блестящей воде.

Рядом со стариком стоял мальчик лет восьми, хмурый, белоголовый, деловито выглядывая из-под руки. Он вскарабкался на крышу с куском хлеба в зубах.

– Клади его на месте! – посоветовало отцу дитя ртом, полным пищи.

На линии выстрела гребец поднял весло, прикрыв его лопастью голову, и невольно нагнулся, когда, дернув весло, пуля унеслась в тростник. Тотчас стал он грести еще поспешнее, почти выйдя уже из угрожающего пространства к защите левого берега, но стукнул второй выстрел; лязгнув по уключине, пуля снесла мизинец.

Не чувствуя сгоряча боли, гребец тупо смотрел на искалеченную левую руку, от которой стекала по веслу тонкая струя крови, капая в воду. На отдалении, миновав другой поворот, он наспех перевязал руку платком и посмотрел на солнце.

Солнце показывало пятый час на исходе.

– Еще миля, – сказал он, снова начав грести с прежней неутомимостью и тряся головой, чтобы удалить заливающий глаза пот. Платок на его руке покрылся черными пятнами; там билась острая боль, властная, как ожог.

– Стоит ли возвращать лодку, – пробормотал он, все чаще поглядывая на солнце, – мизинец мне не купить даже и за сто таких лодок.

Наконец показались темные сараи, сады, лесопильная, мельница, площадь и вывески. Орт Ганувер выехал под сваи мостков, выбросился из лодки на песчаный откос и, более не заботясь о лодке, поспешил к противоположной стороне города.

V

Все эти две сотни крыш можно было оглянуть с высоты барочной мачты одним взмахом ресниц; не хуже любого жителя края Ганувер мог вперед сказать, какое зрелище представится ему за любым углом любой улицы. Но он был в том особом положении, когда знакомое населенное место измеряется лишь масштабом стиснутого опасностью пульса, когда вся внешняя известность этого места ничто пред неизвестностью – какой характер примет первая случайная встреча. Тем не менее Орт Ганувер взялся за дело, требующее забыть о себе. Увидя распахнутые двери гостиницы, он не стал выискивать окольных путей, так как дорожил каждой минутой.

Пробегаая мимо гостиницы, он заметил несколько человек, стоявших тут, и по тому выражению внезапной мысли, с каким кое-кто из людей этих передвинул сигару в другой угол рта, рассматривая его открыто, в упор, он понял, что его узнали. Если бы Ганувер обернулся, он увидел бы сквозь пыль и лучи, как все взгляды направились ему вслед; впрочем, он знал это, не оборачиваясь.

Он был разгорячен, заверчен своим бешеным путешествием, а потому думал о неизбежном преследовании лишь сквозь видение дома, дверь которого торопился открыть еще больше, чем полчаса назад, так как услышал первый гудок парохода. Когда он наконец открыл дверь, навстречу ему вышла суровая старуха и, наклонив голову, взглянула поверх стекол.

Она узнала его. Всякое ненавистное явление наполняло ее строгим молчанием. Ее лицо приняло категорическое выражение висячего замка, а желтая рука нервно указала дверь комнаты, где женский голос напевал песенку о весенних цветах.

Собравшись с духом, пряча за спину раненую руку, Ганувер предстал перед молодой девушкой, посмотревшей на него взглядом великого изумления. В ее лице проступил внезапный румянец, но без улыбки, без живости: сухой румянец досады.

По-видимому, она укладывалась, только что кончив собирать мелочи. Раскрытый большой чемодан стоял на полу.

Ганувер сказал только:

– Не бойтесь. Фен, это я.

Его глаза искали в ее лице мнение о себе, но не нашли. Молча он протянул письмо.

Наградой за это был долгий взгляд, пытливый и немилостивый. Она резко взяла письмо, прочла и вышла из равновесия. Вся, всем существом восстала она против удара, еще не зная, что сказать, как и куда двинуться, но Орт, видя теперь ее лицо, сам взволновался и отступил, готовя множество слов, которым в смятении не суждено было быть сказанными.

Девушка села, прикрыв глаза маленькой, крепкой рукой, но, вздохнув, тотчас увела слезы обратно.

– Лучше бы вы убили меня, Орт! – сказала она. – И вы еще читали это письмо... Как назвать вас?!

– Но иначе я не был бы здесь, – поспешно возразил Ганувер. – Выслушайте меня, Фен. Я не знал, клянусь вам, какое место в вашей жизни занимает этот Фицрой. Знай я, – я, может быть, простил бы ему добрую половину того, что он наговорил мне. Дело прошлое: оба мы были пьяны, и вся эта история произошла под вывеской «Трех медведей». Слово за слово. Последним его словом было, что я негодай, последним движением – бросить в меня стакан. И тут я спустил курок, что сделали бы и вы на моем месте. Правда, из-за таких же историй я должен был отсюда бежать, но разве помнишь это, когда кипит кровь? Как видите, Фицрой ранен, и жив, и зовет вас. Надо было торопиться, пока вы не сели на пароход. Что вы *сегодня* должны поехать, узнал я из этого же письма. Я не терял времени. Пусть весь стыд останется мне, но я рад, что вы узнали обо всем вовремя.

– Скажете ли вы, наконец, как попало к вам это письмо?

– Скажу. Я поднял его на дороге. Я переходил дорогу. Я не знаю, кто отдал Гениссера, но вся его контора была рассыпана на пространстве двадцати – тридцати шагов. Гениссер был мертв. Грязное дело, и я не знаю, кто ограбил его. Когда я собирал письма, то увидел ваше имя... При других обстоятельствах я не... не читал бы письмо. Но тогда...

Он хотел сказать, что поддался внушению совпадений, – странности случая, вырезанного ужасным ударом, – но не нашел для этого слов, умолк и прислонился к стене, смотря на девушку с раскаянием и тревогой.

– Вскрыть письмо?! – сказала она, ударяя ладонью по столу. – О, черт возьми! Я еще не знала вас хорошо, Орт!

– Палка о двух концах, – возразил он, слегка обозлясь. – В противном случае вы бы не знали о положении дел.

– Да, но это сделали вы!

– Увы, я! И вот сплелся круг; как хотите, так и судите.

– Однако вам попадет за Гениссера, – сказала, помолчав, Фен. – И за все вообще.

– Не я убил Гениссера, – отвечал Ганувер, – я уже сказал вам.

Он нахмурился и прислонился к стене, толкнув нечаянно спрятанную за спиной руку. Он побледнел, согнулся от боли.

– А *это* что? – подозрительно сказала она, указывая на бинт.

– Ничего, – ответил Ганувер, стягивая зубами и правой рукой разматывшуюся повязку. – Прощайте, Фен. Скажите... Скажите Фицрою, что я очень жалею... Я...

Он застенчиво посмотрел на нее и, махая шляпой, направился к выходу.

– Зачем вы сделали это? – услышал он на пороге. Голос прозвучал, как мог, сухо.

– Я уже объяснил, – сказал Ганувер, оборачиваясь с болезненным чувством, – что эти оскорбления...

– Не валяйте дурака. Орт. Я спрашиваю о другом.

– Н-ну, – сказал он, пожимая плечами и запинаясь, – потому, что я вас люблю. Фен, о чем вы хорошо знаете. Не стоило спрашивать.

– Не стоило... – повторила она в раздумье. – Видел вас кто-нибудь?

– Должно быть.

– На всякий случай я выпущу вас другим ходом, а там – что будет.

Он прошел за ней по короткому коридору к раме раскрытых дверей с вставленной в нее картиной цветника и собаки, смотревшей, натянув цепь, кровавыми загорающимися глазами на человека в меховом жилете. Он знал, что за дверью открылась не жизнь, а картина жизни, которую он может вызвать в памяти перед тем, как его повесят. Чувство опасности остро разлилось в нем.

Выходя, он обернулся и увидел, как женская рука плотно прикрыла дверь.

Орт Ганувер направился было к воротам, но, раздумав, повернул в противоположную сторону, перескочил невысокую каменную ограду и прошел углом соседнего огорода к выходу на другую улицу. Он был теперь ненормально спокоен и вял, хотя еще полчаса назад рвался повернуть и отстранить все, мешающее вручить письмо. Реакция была так же сильна, как было строго и беспощадно напряжение встречи. Он чувствовал, что теряет способность соображать.

Постояв в нерешительности, хотя сознавал, что медлить опасно, он наконец тронулся с места, перешел улицу и стал пробираться к реке.

VI

Вечером следующего дня редактор «Южного Курьера» взял у метранпажа стопу гранок и перебрал их, бормоча сам с собой. «Землетрясение в Зурбагане», «Спектакли цирковой труппы Вакельберга», «Очередной биржевой коктейль», «Арест Ганувера»...

Отложив эту заметку, он взял карандаш и прочел:

«Сегодня вечером арестован на улице города Кнай Орт Ганувер, дела которого, надо сказать прямо, не блестящи. Он обвиняется в убийстве и ограблении почтальона. Кроме того, старые грехи этого молодца, обладающего горячим характером, образуют величественную картину разнузданности и дикости, а потому...»

Остальное было в этом роде, и, молча прочтя конец, редактор подписал сверху гранки:

«Арест Ганувера».

«Грабитель почты понесет заслуженное наказание».

«Мрачный, но необходимый пример получают все, ставшие врагами общества и порядка».

– Вот так, – сказал он, передавая корректуру сотруднику. – Остальное тоже пустить в машину.

Сотрудник, разобрав материал, подошел к редакторскому столу.

– Которая заметка пойдет? – сказал он. – У меня две заметки о Ганувере.

– Например?..

– Вот та; а вот вторая, о которой я говорю.

Эта вторая заметка была составлена так:

«Арест О.Ганувера вызвал в нашем городе много толков и пересудов. Его обвиняют в убийстве и ограблении почтальона. Между тем установлено путем предъявления следствию бесспорных доказательств, что О.Ганувер явился в Кнай передать одному лицу найденное на дороге письмо. Мы не знаем, как отзовется это обстоятельство на приговоре суда, но считаем делом справедливости печатно установить непричастность Ганувера к ужасному и печальному делу».

– Кто отдал это в набор? – спросил редактор. – Должно быть, вы, Цикус?

– Да. Потому что вас не было.

– Кем подписан оригинал?

– Он подписан...

Говоря это, молодой, рыжий, как морковь, человек разыскал на столе и подал листочек, подписанный: «Ф. О'Терон».

– Звучит несколько интимно, несколько легкомысленно, – сказал редактор, ни к кому не обращаясь и взглядывая поочередно на обе заметки. – Суд есть суд. Газета есть газета. И я думаю, что первая заметка выигрышнее. Поэтому пустите ее, а что касается письма Ф. О'Терон, редакция ответит ей в частном порядке.

Змея

«Наследники Неда Гарлана», как прозвали их в шутку знакомые, были семеро молодых людей, студентов и студенток, владевшие сообща моторной лодкой, которой наградил их Гарлан, скончавшийся от чахотки в Швейцарии.

В середине июля состоялась первая поездка «наследников». Они направились на берег озера Снарка «вести дикую жизнь».

Восьмым был приглашен Кольбер, несчастная любовь которого к одной из трех пустившихся в путешествие – Джой Тевис – стала очень популярной в университете еще год назад и часто служила материалом для комментариев.

Джой Тевис с шестнадцати лет по сей день наносила рану за раной, и, так как она не умела или не хотела их лечить, они без врача заживали довольно быстро. Кольбер был ранен серьезнее других и не скрывал этого.

Он делал Джой предложение три раза, вызвав сначала смех, потом желание «остаться друзьями» и наконец нескрываемую досаду. Он ей не нравился. Она боялась серьезных длинных людей, смотрящих в упор и делающихся печальными от любви. При одной мысли, что такой подчеркнуто сдержанный человек сделается ее мужем, ею овладевали запальчивость, мстительный гнев, обращенный к невидимому насилию.

Однако Кольбер не был навязчив, и она не избегала его, предварительно взяв с него слово, что он не будет более делать ей предложений. Он послушался и стал держать себя так, как будто никогда не волновал ее этими простыми словами: «Будьте моей женой, Джой!»

На третий день «дикой жизни» Джой захотелось пойти в лес, и она пригласила Кольбера ее провожать, смутно надеясь, что его каменное обещание «не делать более предложений» встретит повод растаять. Уже три месяца ей никто не говорил о любви. Она хотела какой-нибудь небольшой сцены, вызывающей мимолетное, вполне безопасное настроение, напоминающее любовь. Когда Кольбер шел сзади, она испытывала чувство, словно за ней движется боязливо жаждущая упасть стена. Надо было угадать момент – отойти в сторону, чтобы стена хлопнулась на пустое место.

Прогулка в лесу изображала следующее: впереди шла девушка-брюнетка небольшого роста, с красивым, немного ленивым лицом, напоминающим улыбку сквозь пальцы; а за ней, неуклюже поводя плечами и сдвинув брови, шел рослый детина, тщательно рассматривая дорогу и заботливо предупреждая о всех препятствиях. Со стороны каждый подумал бы, что Кольбер невозмутимо скучает, но он шел в счастливом, приподнятом настроении и мог бы идти так несколько тысяч лет. Он видел Джой, она была с ним; этого Кольберу было совершенно достаточно.

Они вышли на поляну с высокой травой, усеянную камнями, и сели на камни, думая каж-

дый о своем.

Кольбер заметил, что, отдохнув, следует возвратиться.

– Вы рады, что наши отношения стали простыми? – сказала, помолчав, Джой.

– Этот вопрос исчерпан, я полагаю, – осторожно ответил Кольбер, не без основания предполагая ловушку. – Я дал слово. Впрочем, если...

– Нет, – перебила Джой, – я уже запретила вам, а вы дали слово. Неужели вы хотите нарушить обещание?

– Скорее я умру, – серьезно возразил Кольбер, – чем нарушу обещание, которое я дал вам. Вы можете быть спокойны.

Джой с досадой взглянула на него; он сидел, улыбаясь так покорно и печально, что ее досада перешла в возмущение. Ее затея не удалась.

Идти дальше – значило самой попасть в глупое положение. Некоторое время она еще надеялась, что Кольбер не выдержит и заговорит, но тот лишь задумчиво катал меж ладоней стебель травы. Джой вдруг почувствовала, что этот человек всем своим видом, преданностью и твердостью дает ей урок, и ее охватила такая сильная неприязнь к нему, что она не удержалась от колкости:

– Вы дали слово из трусости. Безопаснее сидеть молча, не так ли?

– Джой, – сказал встревоженный Кольбер, – на вас действует жара. Идемте обратно, там вы будете в тени!

Джой встала. Ей захотелось вцепиться в густые рыжеватые волосы и долго трясти эту тяжелую голову, не понимающую смысла игры. Он не захотел ответить ее прихотливому настроению. Обидчиво и тяжело взволнованная девушка пристально смотрела себе под ноги, покусывал губу. Ее внимание привлекло нечто, блеснувшее в зашуршавшей траве.

– Смотрите, ящерица!

Толчок Кольбера едва не опрокинул ее. Она закачалась и с трудом устояла на ногах. Кольбер, махая руками, топтал что-то в траве, затем присел на корточки и осторожно поднял за середину туловища маленькую змею, повисшую двумя концами: головой и хвостом.

– Видали вы это? – возбужденно заговорил он, смотря в гневное лицо Джой. – Простите, если я вас сильно толкнул. Бронзовая змея! Одна из самых опасных! Женщины почти всегда принимают змей за ящериц. Укушенный бронзовой змеей умирает в течение трех минут.

Джой подошла ближе.

– Она мертва?

– Мертва, – ответил Кольбер, сбрасывая змею и снова поднимая ее.

По мнению Джой, было храбро брать мертвую змею в руки, и она не захотела дать в этом перевес Кольберу. Взяв у него змею, она обвила ею свою левую руку, отчего получилось подобие браслета. Змейка, смятая в нескольких местах каблуком Кольбера, отливала по смуглой коже Джой цветом старого золота.

– Бросьте, бросьте! – вдруг закричал Кольбер.

Он не успел сказать, что по безжизненному телу прошла едва заметная спазма. Змея ожила на мгновение, только затем, чтобы, почувствовав враждебное тепло человеческой руки, открыть рот и ущемить руку Джой. Это усилие совершенно умертвило ее. Кольбер схватил змею у головы и так сдавил, что она порвалась, потом сбросил с руки Джой остаток туловища и увидел две капли крови, смысл которых был ему понятен, как крик.

– Не теряться! – сказал ей. – Помните, что смерть – здесь!

Его тело разрывалось от дрожи, которую он сдерживал. Джой беспомощно смотрела на свою укушенную руку. Она испытала гадливую боль, но ее воображение не действовало так быстро, как у Кольбера, и сознание конца не оглушило еще ее. Но резкость и приказания Кольбера вооружили всю ее самостоятельность, очутившуюся в опасности от той крупной услуги, которую собрался оказать Кольбер.

– Пустите, – сказала она, бурно дыша. – Я сама. Дайте мне нож.

В такой момент время дороже жизни. Раскрыв нож, Кольбер старался повалить девушку, чтобы совершить операцию. В то же время он быстро обвел языком десны и небо, чтобы устано-

вить, нет ли у него царапин во рту.

– Высосать яд! – кричал он. – Больше ничего не поможет! Джой, не спорьте!

Молча, стиснув зубы, она боролась с ним, в странной запальчивости своей предпочитая умереть, чем принять жизнь из его рук. Она отлично знала, чем это должно кончиться. У Кольбера был теперь шанс стать ее мужем – и, без слов, без мыслей, заключив все это в одном инстинкте своем, она отчаянно билась в его руках. Вне себя Кольбер подтащил ее к дереву с раздвоенным стволом и, протиснув в это раздвоение ее руку, причем ободрал кожу, зашел сам с другой стороны. Здесь он схватил Джой за кисть. Теперь ее рука была как в тисках.

Крепко сдавив эту ненавидящую его руку у локтя, причем его огромная сила заставила посинеть ногти Джой, Кольбер глубоко просек тело в месте укуса и, припав к ране, наполнил рот кровью. Сплюнув ее, он сделал это еще раз и, отдышавшись, в третий раз отсосал кровь любимой девушки, которая, дернув руку раза два, наконец, затихла. Она стояла с другой стороны, прислонясь к дереву. Страх, унижение и гнев покрыли ее лицо злыми слезами. Она твердила:

– Кольбер, я все равно никогда не буду вашей женой. Пустите меня!

Кольбер молчал. Отпустив наконец ее руку, он понял, что она говорила, и ответил:

– Вы будете чьей-нибудь женой, а это главное. Чтоб быть женой, надо жить.

Его усы и подбородок были в крови, и он вытер их такой же красной от крови рукой.

Джой, мрачно протянув ободранную и израненную руку, прижимала к ране платок. Оба дышали, как после долгого бега. Наконец, разорвав платок, Джой перевязала руку. Кольбер смотрел на часы.

– Кажется, прошло пять минут. Теперь я спокоен.

Джой не ответила, стоя к нему спиной. Когда она обернулась, его не было на поляне.

Удивленная девушка позвала: «Кольбер!» Ничего не прощая ему, все еще во власти внутреннего насилия, которым Кольбер окончательно одержал верх, девушка направилась по следу смятой травы, и, заглянув в кусты, остановилась.

Кольбер лежал навзничь с черным и распухшим лицом. Это был совсем другой человек. Глаза его заплыли, усы и рот, вымазанные спасительной кровью, открыли весь ужас, от которого он избавил свою возлюбленную. Это отвратительное, отравленное лицо заставило наконец Джой испугаться, так как она увидела свой предотвращенный конец во всем его незабываемом ужасе, и она бросилась бежать, крича: «Спасите, я умираю!»

Но было уже поздно, так как она была спасена.

Четыре гиней

В американский город Сан-Франциско прибыл корабль «Юг» из Англии. На том корабле служил матрос Гарт, пьяница и игрок. Все свое жалованье он тратил на попойки и игру в карты.

За несколько дней до отправления корабля обратно в Англию Гарт тяжело заболел. Его положили в больницу, и доктор объявил матросу, что жить тому осталось не более трех дней.

Тогда Гарт послал за своим приятелем Смитом, который тоже был матросом «Юга», и сказал ему:

– Я жил как свинья и часто ссорился с тобой из-за пустяков. Надеюсь, ты меня простишь и окажешь мне большую услугу?

– Ты был добрый парень, – сказал Смит, утирая огромным кулаком слезу, катившуюся по его небритой щеке, – это я должен просить у тебя прощения за то, что не всегда ценил такого джентльмена, как твоя милость, хотя мы и дрались с тобой раз восемь...

– Я думаю, раз двадцать, дорогой Смит...

– Я считаю только те разы, когда ты меня бивал.

– Твое счастье, что я не могу встать, – ответил, подумав, Гарт. – За такую дерзость я наложил бы тебе еще разика два. Однако не будем ссориться. Мы плавали с тобой вместе шесть лет, видели много хорошего и плохого, а потому, будь добр, передай моей жене Марте мой сундук с вещами и мое последнее жалованье, четыре гиней. Стыдно сказать, но за четыре года отсутствия я не послал ей ни одного фартинга. Как знаешь, я писать не умею. У меня есть еще сын семи лет,

так ты ему скажи, что его отец всегда помнил о нем. А Марте скажи, что, если бы не простуда, от которой я теперь умираю, я наверняка бросил бы пить и играть.

Смит обещал сделать все, как хотел Гарт; взял деньги, сундук, сердечно распрощался с умирающим и ушел, а Гарт умер на другой день, и его похоронили.

Между тем капитан корабля «Юг» получил приказ от хозяина судна грузить хинную кору и плыть в Китай. Смиту это было очень досадно. Он давно не был дома, в Англии. Узнав, что другой корабль – «Жемчуг» – отплывает в английский город Ливерпуль, где жила вдова Гарта, Смит взял расчет и нанялся на «Жемчуг».

Все время он бережно хранил деньги Гарта и даже держал их отдельно от своих денег.

Дорогой матросы заметили, что у Смита два сундука и что один сундук он никогда не отпирает. Они стали его расспрашивать. Смит рассказал им историю сундука, а через три дня после этого поднялась ужасная буря. Вся команда была на ногах и работала днем и ночью; никто не успевал ни поспать, ни поесть; сломалась стеньга грот-мачты, в расшатанном волнами корабле появилась течь, и «Жемчугу» грозила гибель. Стали помпами откачивать воду из трюмов. Буря все усиливалась; тогда повар сказал матросам: «Смит везет сундук мертвеца. Если мы не заставим его бросить сундук в море, мы все погибнем».

Матросы поверили повару, притащили Смита к грот-мачте и стали требовать, чтобы он немедленно расстался с сундуком мертвеца. Смит рассердился и отказался, но капитан, видя что команда готова взбунтоваться, приказал ему выбросить сундук.

– Нет, – возразил Смит, – этому не бывать. Я дал Гарту слово, что передам сундук Марте. Если хотите, выбросьте меня вместе с сундуком, но, пока я жив, я своему слову не изменю.

Видя, что Смит не сдается, а матросы так обозлились, что готовы его убить, капитан решил пожертвовать шлюпкой, чтобы только избавиться от упрямого Смита.

Ему дали мешок сухарей, бочонок пресной воды и спустили на шлюпке в открытое море, но от этого буря, конечно, не прекратилась, а продолжалась еще пять дней, после чего наполовину разбитый, с оборванными снастями «Жемчуг» выбросило на рифы вблизи острова Мейч. Проходивший мимо пароход «Кратер» заметил аварию и спас всех потерпевших крушение.

Между тем Смит носился в шлюпке среди пустынного океана; волнение было так сильно, что он не мог грести; весла служили ему только для того, чтобы держать нос шлюпки в разрез волны, иначе шлюпка могла перевернуться.

Сухари и вода были ему единственной пищей; пять ночей он не спал – иногда только дремал, сидя на скамейке, и так измучился, что впал в отчаяние. Со злобой посматривал он на сундук Гарта и думал: «Из-за этого дурацкого сундука я должен погибнуть! Надо было бросить его в море, и я остался бы на корабле. Все равно сундук пропадет вместе со мной».

Однажды напала на него такая ненависть к сундуку, что Смит уже поднял его швырнуть в воду, как вдруг в сундуке что-то прокатилось и зазвенело.

«Неужели Гарт накопил денег?» – подумал Смит.

Он вынул ключ, открыл сундук и увидел, что в сундуке катались не деньги, а старые медные пуговицы. Все имущество Гарта состояло из горсти пуговиц, двух пар штанов, узелка с грязным бельем, колоды карт, сапогов да чашки, вырезанной из кокосовой скорлупы.

Смит повертел эти вещи в руках и заплакал. Вся трудная жизнь матроса припомнилась ему, когда он смотрел на жалкое имущество своего умершего приятеля. «Если даже Марте такая дрянь не понадобится, то хоть будет у нее о тебе память», – сказал Смит; снова уложил вещи, запер сундук и прожил среди открытого моря еще два дня. К тому времени буря стихла; рано утром военное испанское судно увидело шлюпку Смита. Испанцы спустили катер и взяли моряка к себе.

Когда он рассказал свою историю, команда пожалела его, ему дали новую одежду, собрали немного денег, и Смит, наевшись до отвала, проспал двое суток. Скоро военное судно пришло в Каракас; там Смит распрощался с испанцами и поступил на пароход «Робинзон», отправляющийся в Англию. Через две недели высадился он в родном городе Ливерпуле, где жила также жена Гарта, и пошел ее искать, но по дороге увидел кабачок и решил, что по случаю благополучного прибытия не грех выпить один-единственный стакан водки. Он сел за стол, позвал слугу

и получил стакан водки. День был жаркий. Смит сильно устал и охмелел; стало ему весело. За-толкнув сундук Гарта дальше под стол, Смит важно развалился на стуле и, увидев бродячих музыкантов, приказал им играть, а сам потребовал вина, пива, пирогов, разной закуски; развеселясь окончательно, начал он угощать всех, кто был в кабаке.

Составилась большая компания, все перепились, а Смит даже ничего не помнил; он пришел в чувство уже поздно ночью, и потому, что его растолкал хозяин заведения.

– Забирай свой сундук и уходи! – сказал хозяин. – Я запираю трактир. Все твои приятели давно ушли.

Смит выругался, сел, почесал голову, поднял сундук, вышел на улицу и стал шарить в карманах. Оказалось, что он прогулял свои деньги и деньги Гарта, только одна гинея уцелела. Стало ему так стыдно, что он долго стонал и вздыхал, однако усталость одолела его. Он переночевал на пристани в будке сторожа, умылся, побрился и пришел на окраину города, где жила Марта.

Марта была молодая женщина, рассудительная и спокойная. Так как Гарт ничего ей не посылал, она жила поденной работой.

Узнав от Смита, что Гарт умер, Марта заплакала, затем вытерла слезы и стала расспрашивать матроса о покойном муже. Смит передал прощальные слова Гарта и спросил:

– Где же его сын?

– Он ушел в школу. Не прислал ли ему отец хоть какой-нибудь подарок?

Смит покраснел, вынул и положил гинею на стол.

– Только всего, – сказал Смит, – одна гинея да вот этот сундук.

Марта задумчиво посмотрела на матроса, взяла гинею и сказала:

– И то хорошо; можно теперь будет уплатить долг хозяйке за комнату да купить моему Джеку чернил и тетради.

Потом она, вздохнув, открыла сундук, выложила вещи Гарта и, стараясь улыбаться, сказала:

– Из отцовских сапог я сошью сапоги Джеку, да еще мне выйдут из них туфли – ходить на работу. Кокосовая чашка? – вещь нужная в хозяйстве. Сам сундук еще крепок, его можно продать; дадут два-три шиллинга. Прямо мы разбогатели!

Марта засмеялась сквозь слезы. И так она понравилась Сми-ту, что он снова покраснел и затосковал, вспомнив свою растрату.

Смит умел работать по парусному делу. Распрощавшись с Мартой, он отправился в док и нанялся в мастерскую, где стал чинить и шить паруса. Он твердо решил заработать три гинеи, чтобы отдать вдове.

«Хорошо, если бы она вышла за меня замуж!» – мечтал Смит.

Однажды он соскучился, пришел к ней, сел и начал рассказывать маленькому Джеку разные морские истории. Незаметно для себя Смит дошел в своих рассказах до истории с сундуком. Выслушав, как он несколько дней носился в шлюпке среди волн, Марта, которая до сих пор еще ничего не знала об этом, очень удивилась; ей стало приятно это, но она не выдала себя и сказала:

– Все эти хлопоты твои ничего не стоят.

– Почему? – спросил огорченный Смит.

– Догадайся сам.

Смит задумался, посидел еще немного и ушел. Через неделю он пришел к вдове и сказал ей: – Марта, я тебя полюбил. Будь моей женой.

– Я буду твоей женой, – ответила Марта, – если ты сделаешь то, что должен.

Снова Смит ушел с горьким стыдом в душе. «Да, она знает, что было четыре гинеи, а не одна», – размышлял он и, как только накопил эти деньги, явился к Марте и положил на стол три золотые монеты.

– Прости меня, – сказал Смит, – Гарт послал тебе четыре гинеи, а не одну. Я три гинеи случайно прогулял здесь в день приезда.

– Отчего же ты не сказал это сразу?

– Мне было стыдно. Я хотел сначала вернуть тебе деньги, а потом признаться.

– Сознаться никогда не стыдно, – заметила Марта, – надо было сказать немедленно. Ведь я

все равно поняла, что ты деньги растратил.

– Да как же ты догадалась?

– Ничего нет проще: во-первых, ты покраснел, когда дал мне гинею, а во-вторых, ты пришел ко мне в восемь часов утра; приехал же ты – ты сам сказал – накануне вечером. Значит, ты целую ночь где-то путался; глаза у тебя были красные, руки дрожали. Уж если ты из-за сундука позволил высадить себя с корабля, то, приехав, наверное, поспешил бы отдать деньги и сундук мне. Что же этому помешало? А то, что зашел ты в трактир.

– Верно. Я виноват, – сказал Смит, опустив голову.

– И я виновата, – засмеялась Марта, беря его за руку, – пока тебя мучила совесть, я вышила тебе мешочек для трубки.

И она подала Смиту прехорошенький мешочек из зеленого шелка, на котором были вышиты желтыми нитками слова:

«Четыре гинеи».

Легенда о Фергюсоне

Настоящий рассказ есть суровое изложение того, как Эбергард Фергюсон потерял в мнении людей благодаря свидетельскому показанию человека, которому он, когда тот был ребенком, дал пряник. Из дальнейшего читатель убедится, что пряник был дан неблагодарному существу и что репутация Фергюсона нашла неожиданную защиту в лице девушки, до тех пор не обнаруживавшей себя ровно ничем.

Мы все, по крайней мере те из нас, кто побывал в долине Поющих Деревьев, слышали, что Фергюсон отличался необычайной силой и один победил шайку в сорок восемь бандитов, опрокинув на их гнездо с отвеса Таулокской горы огромную качающуюся скалу весом в двадцать тысяч пудов.

Эту скалу можно видеть и теперь: раздробив барак Утлемана, предводителя шайки, она скатилась по склону в лес и там, никогда более не качаясь, обросла кустами.

Лет пять назад низменный берег моря между Покетом и Болотистым Бродом был затоплен долгими ливнями. Прилив более сильный, чем обыкновенно, благодаря урагану, помог делу разрушения насыпи. Поезд, шедший из Гель-Гью в Доччер, высадил пассажиров на станции Лим, и все стали ждать прибытия рабочих команд.

Часть пассажиров вернулась в Гель-Гью, а часть осталась.

В деревянной гостинице «Зимородок» поселились Джон и Сесиль Мастакары, братья-агенты целлулоидной фирмы; доктор Фаурфдоль, получивший службу в Доччере и не торопившийся никуда; пьяный джентльмен с испуганными глазами и нервным лицом; самостоятельная девица плоских форм, смотревшая на все твердо и свысока; и инженер Маненгейм с дочерью шестнадцати лет, молчаливой и большеглазой. Ее звали Рой.

Лим – место, где из центра во все стороны можно видеть за домами бурое поле и лес на горизонте, а за ним – горные голубые намеки, почти растворенные атмосферой, а потому на третий день вынужденного покоя начался сплин.

Было слышно, как вверху ходит по своему номеру пьяный джентльмен, напевая: «Я люблю безумно танцы...» Доктор сидел на террасе, рассматривая местных пиявок. Братья Мастакары играли в шестьдесят шесть, сидя в тени пробкового дерева, у входа в гостиницу. Инженер забрался на кухню, где начал терпеливо учить кота подавать лапку, а его дочь стояла, прислонясь к садовой стене, и грызла орехи, которыми были всегда набиты карманы ее платья. Она думала: «Что будет, если я закрою глаза и вдруг открою? Может быть, я окажусь в Африке?!»

Никто не подозревал, что к гостинице приближается алчная и беспокойная личность, заранее рассматривающая пленников Лима как отпетых дураков. Это был Горький Сироп, имя и фамилия которого бесследно пропали.

Сварливый взгляд и длинный, угреватый нос Горького Сиропа увидели первыми братья

Мастакары. Горький Сироп дернул за козырек кепи и сказал:

– Джентльмены желают развлечься. Они могут посмотреть местные достопримечательности.

Джон Мастакар сосчитал: «пятьдесят один» и прибавил: «уйдите». Но Горький Сироп подошел ближе.

– Во-первых, – сказал он, – столб, на котором линчевали трех негров в 1909 году.

У окна показался пьяный джентльмен. Он был-таки пьян и смеялся.

– Во-вторых, – продолжал бродяга, – вывеска, написанная масляными красками над булочной О'Коннэля. Если всмотреться, явственно различаешь среди булок и кренделей фигуру знаменитого полководца Наполеона.

– Ха-ха! – сказал пьяный джентльмен. – Выпей на доллар и увидишь зеленых слонов.

Вышел инженер с дочерью. Рой молчаливо грызла орехи.

Увидев ее, Горький Сироп преобразился.

– В-третьих, – сказал он совсем громко, – на дереве близ мастерских ласточка свила гнездо в туфле приезжей артистки Молли Фленаган, которая бросила ее туда после того, как выпила из этой туфли целую бутылку шампанского.

Раскрылось второе окно и показался раздраженный бюст самостоятельной девицы средних лет; она твердо сказала:

– Вы должны найти работу, Дачежин! Все должны работать, а не попрошайничать!

С террасы приплелся доктор.

– Нет ли еще чего-нибудь? – спросил он, зевая.

– Едва ли вы назовете «чем-нибудь» скалу в двадцать тысяч пудов, сброшенную Фергюсоном, – с достоинством произнес Горький Сироп, – редкую качающуюся скалу, которую он обрушил на притон бандитов Утлемана! Она в двух милях отсюда. След могучих рук Фергюсона навеки врезался в камень. Можно различить снимок его пальцев.

– Папа, я хочу видеть скалу, – заявила Рой.

– Вы выразили разумное желание, мисс, – сказал Горький Сироп. – внушительное, незабываемое зрелище!

Инженер не противоречил девушке. Достаточно, что она хотела видеть скалу.

Погода стояла отличная. Уговорили ехать Мастакаров, доктора; пьяный джентльмен пришел сам. Самостоятельная девица резко отошла от окна и больше не показывалась. Хозяин гостиницы доставил поместительный старый автомобиль, куда все и уселись. Горький Сироп, сдвинув колени, чтобы не задеть кого-нибудь и тем не уменьшить свой гонорар, рассказывал, прикладывая руку к груди:

– Фергюсон был таинственная и благородная личность. Ростом семь футов, красивый, как Юпитер, с глазами, обжигавшими каждого, кто приближался к нему. Его голос звучал, как корнет-а-пистон. Его черные усы и такая же борода вились, как шелк. Его лицо было бело, как мрамор. Он жил в лесу, за Таулокской горой. Никто не знал, что он делает. Говорили, что он был несчастен в своей великой любви к дочери одного... гм... инженера. Каждый день он ходил на Таулоксую гору и слегка поддавал скалу, утоляя свое неутешное сердце ее неистовыми раскачиваниями. И вот он узнал, что Утлеман собирается ограбить и убить переселенцев. Тогда герой взошел на гору и ночью, когда бандиты спали в своем лесном доме, послал им вечную печать молчания. Сто двадцать человек было убито, а пятеро сошли с ума, и их поймали.

Доктор лениво улыбался, инженер хохотал, братья Мастакары слушали и соображали, не предложить ли целлулоидной фирме изобразить на гребенках Фергюсона, толкающего скалу.

Наконец приехали к месту, где лежала скала, и вылезли из автомобиля. Пройдя немного пешком, путешественники увидели огромный камень неправильной ромбической формы, лежавший среди деревьев, как серый дом без окон и дверей.

– Не поздоровится от такой штуки, – сказал Джон Мастакар.

– Покажите отпечатки пальцев! – потребовала Рой у Горького Сиропа.

– Они с нижней стороны, так что их не видать, – заявил прохвост.

Доктор лениво созерцал скалу, соображая, сколько ампутаций мог бы он произвести у ста

двадцати человек. В это время подошел маленький спокойный старик, очень дряхлый, но с проныцательными живыми глазами.

– Толкуете о Фергюсоне? – обратился он к компании. – Что-то вам Сироп врет. Дело в том, что я знал этого Фергюсона, но, хоть убей, это делу не помогает. Даже обидно. Я его знал, когда мне было одиннадцать лет. Впрочем, если...

– Отчего же, скажите... – протянул пьяный джентльмен.

– Я стоял у лавки, – продолжал старик, – а он вышел оттуда и сказал: «Хочешь пряник?» Я сказал: «Да». Взял пряник и съел. Ну, он жил около болота, этот ваш Фергюсон, и промышлял тем, что хлопотал в суде о земельных участках. Разбойники, действительно, были, только дальше отсюда, у Котомах. Фергюсон был заика, болезненный человек, малого роста. Я ему полюбился, и он брал меня с собой на прогулки: бывало, мы с ним качали эту скалу. Но ее качнуть не труднее было, чем большую лодку. Вот он мне и говорит как-то: «Надоела дурацкая скала!» В ту же ночь ее штормом ударило об откос – верхним краем, должно быть, – основание сползло, и устойчивое равновесие нарушилось. Она, конечно, упала и раздавила двух коров, которые там внизу задумались, – знаете, эти, которые... стоят и жуют. Теперь мне даже смешно, пая все это переиначили.

Через два дня Рой Маненгейм приехала в Доччер и стала рассказывать своей тете о путешествии, грызя, как всегда, орехи. Ее задумчивые большие глаза рассматривали белое ядро ореха, когда она вдруг прибавила ко всему прочему:

– Еще видели мы с отцом скалу, весом тридцать тысяч пудов, которую Фергюсон бросил на гнездо бандитов. С ужасной высоты!

Подумав, она вытащила из кармана новую горсть орехов и, трудясь над ними, докончила:

– Он был красивый, с черной бородой, сильный и храбрый. Так нам сказал какой-то старик. Он говорил – как пел. Все боялись его, а он – никого. И когда он сбросил на разбойников эту большую скалу, он дал какому-то мальчику пряник, потому что был очень прост и доступен... Он любил одну девушку, и они женились.

Еще подумав, Рой прибавила:

– Они женились раньше, чем он сбросил скалу.

Слабость Даниэля Хортона

I

Судьба оригинально улыбнулась одному погибшему человеку, известному под именем «Георг Избалованный».

Его настоящее имя было Георг Истлей. Он сумел убедить равнодушного прохожего человека с золотыми зубами, что всего три фунта поставят его на ноги, при этом был он так остроумен и красноречив, что прохожий увлеченно пожелал Истлею «полной удачи, твердости и энергии».

Оба расстались взволнованные. В тот же вечер Истлей Избалованный засел в пустом складе доков и проиграл свои три фунта одной теплой компании, вплоть до последнего шиллинга. К утру явился лодочник Сайлас Гарт, у которого не было денег, но была охота играть. Он заложил в банк свою лодку; к полудню следующего дня, начав действовать последним шиллингом, Истлей выиграл у него лодку, весла и пустился вниз по реке, сам не зная зачем.

Это было не совсем то, на что рассчитывал прохожий с золотыми зубами, тронутый, может быть, первый и единственный раз в жизни жаром, какой вложил в исповедь свою Истлей Избалованный, – но после кабаков, притонов, панели светлая вода реки так воодушевила Истлея, что еще хмельной, ничего не теряя и ни о чем не жалея, он решил плыть вниз по течению до Сан-Риоля. Надо сказать, что в мечтах начать «новую» жизнь человек этот провел сорок два года и так привык начинать, что кончить уже не мог. Все-таки он хотел воспользоваться счастливым толчком мысли, переменить если не жизнь, то ее сорт.

На дорогу он купил большой хлеб, табаку и питался одним хлебом, к чему, впрочем, привык.

Наступил вечер, и опустился холодный туман. Мечтая о теплом ночлеге, Истлей пристал к берегу на огонек одинокого окна. Он привязал лодку и взобрался на холм. Запинаясь в тьме о валявшиеся бревна и пни, он пришел к бревенчатому дому, толкнул огромную дверь и очутился перед человеком, сидевшим на кожаном табурете. Уставив приклад ружья в край стола, а дуло держа направленным против сердца, человек этот пытался дотянуться правой рукой до спуска.

– Не надо! – вскричал Истлей, с ужасом бросаясь к нему. – Не надо! Она придет!

От неожиданности самоубийца уронил карабин и обратил бородатое лицо к Истлею; с этого лица медленно сходила смертная тень.

Он глубоко вздохнул, отшвырнул карабин ногой, встал, засунул руки в карманы и подошел к гостю.

– Она придет? – сказал человек, всматриваясь в Истлея.

– Вы можете быть совершенно уверены в этом, – ответил Истлей. – Я приехал в лодке, чтобы сообщить вам эту радостную весть. Так что – стреляться глупо. Все будет очень хорошо, поверьте мне, и не хватайтесь за оружие смерти.

Человек схватил Истлея за ворот, поднял его, как кошку, потряс и бросил на кучу шкур.

– А теперь, – сказал он, – ты мне объяснишь, кто эта «она» и что значит твое вторжение!

Истлей задумчиво потер шею и взглянул на спасенного. Его сильное, страстное лицо с по-детски нахмуренными бровями ему нравилось. Он не был испуган и без запинки ответил:

– Это объяснить трудно. Я крикнул первое, что мне пришло в голову: «Она». Позвольте подумать. «Она» – это может быть прежде всего, конечно, та женщина, которой вы пленились так давно, что у вас успела вырасти борода. Быть может также, «она» – бутылка виски или сбегавшая лошадь. Если же вы лишились уверенности, то знайте, что это и есть самая главная «она». Обычно с ней приходят все другие «они». Уверю вас, «она» отлучилась на минуту, вероятно, чтобы принести вам что-нибудь закусить, а вы сгоряча обиделись.

Самоубийца расхохотался и пожал руку Истлея.

– Благодарю, – сердечно сказал он, – ты меня спас. Это была минутная слабость. Садись, поужинаем, и я тебе расскажу.

Спустя час, после солонины и выпивки, Истлей знал всю историю Даниэля Хортон. Рассказана она была нескладно и иначе, чем здесь, но суть такова: Хортон преследовал идею победы над одиночеством. Он был голяк, сирота, без единой близкой души и без всякого имущества, кроме своих мощных рук. Скопив немного денег работой по сплавке леса, Хортон сел на дикий участок и задался целью обратить его в цветущую ферму. Разговорившись, изложил он все свои мечты: он видел в будущем целый поселок; себя, вспоминающего, с трубкой в зубах, то время, когда еще он корчевал пни и пугал бродячих медведей; с ним будут жена, дети... «Короче говоря, – сделаю жизнь!» Так он выразился, стукнув кулаком по столу, и Истлей понял, что перед ним истинный пионер.

Как сильно он переживал эти пламенные видения, так же сильно поразила его сегодня внезапная, никогда не посещавшая мысль: «А что, если ничего не выйдет?» Как известно, в таких случаях вариации бесконечны. Ночь показалась безотрадной, вечер – ужасным, молчание и тишина леса – зловещими. Вероятно, он переутомился. Он впал в отчаяние, поверил, что «ничего», и, не желая более в мучениях коротать дикую ночь, схватил ружье.

– Это была реакция, – заметил Истлей. – Я появился совершенно своевременно, в конце четвертого акта.

– Живи со мной, – сказал Хортон, прямо не говоря, что рассчитывает на кое-какую помощь Истлея, но уверенный, что тот сам станет работать. – Здесь пока грязно и дико, но ты увидишь, как я все переверну.

– По-моему, – проговорил Истлей, взбираясь с ногами на скамью и сибаритствуя с трубкой в зубах, – это помещение очаровательно. Обратите внимание на эффект света очага среди свежесрубленных стен. Это грандиозно! Свежий, наивный романтизм Купера и Фанкенгорста! Запах шкур! Слушай, друг Хортон, ты счастливый человек, и, будь я художником, я немедленно

нарисовал бы тебя во всем очаровании твоей обстановки. Она напоминает рисунок углем на штукатурке старой стены, среди роз и пчел. Хочешь, я расскажу тебе историю Нетти Бемпо, знаменитого «Зверобоя»?

В четвертом часу ночи приятели мирно храпели на куче сухой травы. Хортон вдруг проснулся, схватил лежащее возле него ружье и закричал:

– Берегись, гуроны заходят в тыл! Болтун! – сказал он, опомнясь и посмотрев на спящего Истлея. – Занятный болтун.

II

Совместное жительство двух столь разных натур скоро обнаружило их вкусы и методы. Едва светало, Хортон уходил пахать расчищенный участок земли, готовил для продажи плоты, рубил дрова, пек лепешки, варил, мыл, стирал. Он был самолюбив и ничего прямо не говорил Истлею, но часто раздражение охватывало его, когда, войдя домой поесть, он заставлял Избалованного, который, прикидывая глазом, ставил в разбитый горшок прекрасные лесные цветы, приговаривая: «Они лучше всего на фоне медвежьей шкуры, которую ты растянул на стене», или возился с пойманным молодым дроздом, кормя его с пальца кашей.

Истлей старался днем не попадаться на глаза своему суровому и усталому хозяину; он обыкновенно мечтал, лежа в лесной тени, или удил рыбу, но к вечеру он появлялся с уверенным и развязным видом, отлично зная, что Хортон ценит его общество и скучает без него вечером. Действительно, злобствуя на лентяя днем, к вечеру Хортон начинал ощущать странный голод; он ждал рассказов Истлея, его метких замечаний, его анекдотов, воспоминаний; не было такой вещи или явления, о которых Истлей не знал чего-то особенного. Он рассказывал, из чего состоит порох, как лепят посуду, штампуют пуговицы, печатают ассигнации; залпом читал стихи; запас его историй о подвигах, похищениях икладах был бесконечен. Не раз, сидя перед освещенной дверью, он говорил Хортону о действии тишины, отражениях в воде, привычках зверей и уме пчел, и все это знал так, как будто сам был всем живым и неживым, что видят глаза.

Днем Хортон сердился на Истлея, а вечером с нетерпением ожидал, какое настроение будет у Избалованного – разговорчивое или замкнутое. В последнем случае он приносил из своего скудного запаса кружку водки; тогда, поставив локти на стол, дымя трубками и блестя глазами, оба погружались в рассуждения и фантазии.

Однажды случилось, что Хортон свихнул ногу и угрюмо сидел дома три дня. С бесконечным раздражением смотрел он, как, мучаясь, полный отвращения и тоски, Истлей рубит дрова, носит воду, стараясь не утруждать себя никаким лишним движением; как крепко он скребет в затылке прежде, чем оторваться от трубки и посолить варево, и раз, выведенный из себя отказом Истлея пойти подпереть изгородь (Истлей сказал: «Я вышел из темпа, погоди, я поймаю внутренний такт»), заявил ему:

– Экий ты бесстыжий, бродяга!

Ничего не сказал на это Истлей, только пристально посмотрел на Хортон. И тот увидел в его глазах отброшенное ружье. Устыдясь, Хортон проворчал:

– Ноге, кажется, лучше; через день буду ходить.

Когда он выздоровел, Истлей принес ему десять корзин, искусно сплетенных из белого лозняка. Они были с крышками, выплетены затейливо и узорно.

– Вот, – сказал он, – за эту неделю я сделал десяток, следовательно, через месяц будет их пятьдесят штук. На рынке в Покете ты продашь их по доллару штука. Я выучился этому давно, в приюте для безработных... Не расстраивайся, Хортон.

Сдавленным, совершенно ненатуральным голосом Хортон поинтересовался, почему Истлей облюбовал такое занятие.

– Случайно, – сказал Истлей. – Я увидел старика с прутьями на коленях, на фоне груды корзин, среди других живописных вещей, куч свеклы, корзин с рыбой, цветов и фруктов на рынке; это было прекрасно, как тонкая акварель. Пальцы старика двигались с быстротой пианиста. Ну-с... что еще? Я бросил переплетать книги и выучился плести корзины...

Несколько дней спустя, утром, приятели сидели на берегу реки. Близко от них прошел пароход; на палубе стояли мужчины и женщины, любуясь зелеными берегами. Ясно можно было разглядеть лица. Высокая, здоровая девушка взглянула на двух сильных, загорелых людей, взиравших, оскалась, на пароход, вернее – на нее, и безотчетно улыбнулась.

Пароход скрылся за поворотом.

– Быть может, это она и была, – заметил Истлей, – так как все бывает на свете...

– Что ты хочешь сказать?

– Я говорю, что, может быть, она придет... Эта самая... Помнишь, что я сказал, когда ты... С ружьем?!

– Кто знает! – сказал Хортон и расхохотался.

– Никто не знает, – подтвердил Истлей.

Хортон, в значительной мере усвоивший от Истлея манеру видеть и выражаться, глубоко-мысленно произнес:

– Обрати внимание, как прозрачны тени! Как будто по зеленому бархату раскинуты голубые платки. И – это живописное дряхлое дерево! Красивые места, черт возьми!

– Согласен, – сказал Истлей.

Фанданго

I

Зимой, когда от холода тускнеет лицо и, засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, – хорошо думать о лете, потому что летом тепло.

Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это – июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист.

Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед – эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого – мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами – лишь этим мог я противостоять декабрю и двадцати семи градусам.

С.Т. поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны С.Т. это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, С.Т. хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая «Фанданго».

В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатия холодной, потной и вялой руки, но, зная, что для С.Т. важно «кто», а не «что», сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком.

С.Т. – грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: «Так, так...» – и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом.

С.Т. помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:

– Вы, это, ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот – ваше.

Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после двухсот.

В то время тридцать золотых рублей по ощущению жизни равнялись нынешней тысяче. Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что «человек – это звучит гордо». Они весили пятнадцать пудов хлеба – полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже двухсот, заработав таким образом больше чем тридцать рублей.

Я получил толчок к действию, заглянув в шкафчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. (Я жил Робинзоном). Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха.

Я боюсь голода, – ненавижу его и боюсь. Он – искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью, – ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным, – говорит человек, голодающий жестоко и долго, – потому что я люблю честность; но я только один раз убью (украду, солгу), потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета: она есть и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость – все служит пищеварению. Дети съедят вполтину кашу, выданную в столовой, пока донесут домой; администрация столовой скрадет, больницы – скрадет, склада – скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пар нищей, героически добытой трапезы.

Но это не худшее, так как оно из леса; хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня (тебя, его...) нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже все, все исказил: вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит: «Я, Я, Я», – подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих «калорий»: они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов; их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожеление.

– Очевидно, – говорил я, – так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку...

Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений, а потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример: стоя перед зеркалом, один человек влепляет себе умеренную пощечину. Это – неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, – он означает неуважение и к себе и к другим.

II

Я превозмог мороз тем, что закурил и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался.

Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что «вот, хорошо быть веселым, потому что...» и т. д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки» (вальс, музыка В.А. Присовского.), «Пожалей ты меня, дорогая» (романс, слова и музыка Н.Р. Бакалейникова), «Чего тебе надо? Ничего не надо» (слова из популярной в 20-х годах танцевальной песенки «Девочка Надя») и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижеру, и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо взад, вполголоса он говорил оркестру:

– Фанданго!

При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке, – рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившее их: «Пошалей ты мена, торокая», но стук палочки о

пюпитр внушал, что с этим покончено.

«Фанданго» – ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он – транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости.

Я оделся, вышел; было одиннадцать утра, холодно и безнадежно светло.

По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. «Фанданго» звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта – даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой.

Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, – до дыр на игривых щеках, – бойко семенила старуха, подстриженная «в кружок», в желтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый «Зефир». Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз, интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил: «Потому что меньше снашивается обувь». Другой отвечал: «На тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступить дорогу, когда и толкнуть». Третий объяснял просто и мудро: «Потому что лошадей нет» (то есть экипажи не мешают идти). «Идут так все, – заявлял четвертый, – иду и я».

Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличной от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в десяти от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Густобровый, сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные, высокие сапоги. Другой цыган, лет тридцати, в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные, пышные усы цвета смолы; увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган, с худым воровским лицом напоминал горца – черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок; на цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой.

Старик нес цимбалы.

Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет.

Кроме мужчин, здесь были две женщины: молодая и старая.

Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали: зеленую и коричневую; из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, – сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.

Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толсты, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы, – так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой; поверх шали расцветал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах; из-под шали, ниже бахромы, спускались черные, жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки.

Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга: кот «ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и ни-

кому ничего не сказал». Что им история? эпохи? сполохи? переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы.

Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулочек, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были вразрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину; рынок назначит произвольную цену, и носят ее то весной, то осенью, на разный покрой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане – сами в себе – те же, как и вчера, – гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов.

Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжал из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед; нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся, как мог скоро, пришел к Брок и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом: «Звон. не действ. Прошу громко стуч.»

III

Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки, при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими, – эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, одетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатоности черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медленно и низко, как дьякон, смотрел исподлобья, поверх очков, склоняя голову набок, потирал вялые руки.

– Я к вам, – сказал я (в квартире были и другие жильцы). – Позвольте, однако, прежде всего согреться.

– Что, мороз?

– Да, сильный мороз...

На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежно вертя папиросу, бросился на пыльную оттоманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, подпернул повыше брюки.

Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые, сквозь свет пламени, пальцы, впивал негу тепла.

– Я вас слушаю, – сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.

Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя.

С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная «идея». Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, – в чем предполагался, однако, порыв.

– «Сумерки», – сказал Брок, видя, куда я смотрю. – Величайшая вещь!

– О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?

– Что это? Купить?

– Ну-те!

Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.

– Э... – сказал Брок, косясь на меня через плечо. – У вас столько и денег нет. Еще поду-

маю, отдать ли за двести, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет!

– Найду, – сказал я. – Я потому и пришел, чтобы поторговаться.

Вдали, на парадной, застучали.

– Ну, это ко мне!

Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул:

– Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами.

Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю «Фанданго», бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека.

Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой, загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх, среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором, дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка; при дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги.

На стенах было много картин, частью написанных Броком. Но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву – «Фанданго». Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я, тем не менее, пристально приближал эту мысль, и, чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока – знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять.

Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести.

В то время, как я сидел, я испытал – может быть, миллионной дробью мгновения, – что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра, – так, задумавшись, я, наконец, определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия вышло за пределы, став скрытым.

Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.

– Вы заждались? – сказал Брок. – Ничего, грейтесь, курите.

Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкаф, говоря:

– Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил, только чтобы отвязаться.

– А что за картина?

– А, чепуха! Мазня, дурной вкус! – сказал Брок. – Посмотрите лучше мои. Вот написал две в последнее время.

Я подошел к указанному на стене месту. Да! Вот, что было в его душе!.. Одна – пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом; и я, покивав, перешел к второму «изделию». Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос; серой и сизой, с зелеными по ней кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение.

Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил.

– Вы быстро пишете, – заметил я, чтоб не затянуть молчания. – Ну, что же Горшков?

– Да как сказал, – двести.

– Это за Горшкова-то двести? – сорвалось у меня. – Дорого, Брок!

– Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков... Да вы как на него смотрите?

– Это – картина, – сказал я. – Я намерен ее купить; о том речь.

– Нет, – возразил Брок, уже раздраженный и моими словами и безразличием к картинам своим. – За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь триста!

Как часто бывает с нервными людьми, я, вспыхнув, не мог удержаться от острого вопроса:

– Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?

Брок выронил из губ папиросу и длительно, зло посмотрел на меня. Это был тонкий, прокалывающий взгляд вздрогнувшей ненависти.

– Хорошо же вы понимаете... Циник!

– Зачем браниться, – сказал я. – Что плохо, то плохо.

– Ну, все равно, – заявил он, хмурясь и смотря в пол. – Двести, как было, пусть так и будет: двести.

– Не будет двести, – сто будет.

– Вот теперь начинаете вы...

– Хорошо! Сто двадцать пять?! Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкапу и вытащил из-за него картину, которую принес.

– Эту я отдам даром, – сказал он, потрясая картиной, – на ваш вкус; можете получить за двадцать рублей.

И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.

IV

Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющем и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых, зеленым плющем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.

Слова «нечто ошеломительное» могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! – И тем не менее, эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина – эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни – была передана неощутимой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки – ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.

В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако, самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой, в данном случае, немедленно заявил о себе. Эффект этот был – неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.

– Вот именно, – сказал Брок, видя, что я молчу. – Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите...

Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел.

– Что же, – сказал я, отставляя картину, – двадцать рублей я достану и, если хотите, зайду

вечером. А кто рисовал?

– Не знаю, кто рисовал, – сказал Брок с досадой. – Мало ли таких картин вообще. Ну, так вот: Горшков... Поговоримте об этом деле.

Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен; я стал рассеян и терпелив.

– Да, я куплю Горшкова, – сказал я. – Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? Двести? Хорошо, что с вами подделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, двести двадцать. А когда вас застать?

– Если наверное, то в семь часов буду вас ждать, – сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль, и, улыбаясь, потер руки. – Вот так люблю: раз, два – и готово, – по-американски.

Если бы С.Т. был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами, но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в «Дом ученых» (общественно-культурное учреждение, открытое в 1921 году в Петрограде при Центральной комиссии по улучшению быта ученых), или КУБУ, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение.

V

Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле, – все окоченело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков, – вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркнувшийся на месте, потому что испортился механизм, – и тот казалось, попал в зубы морозу. Еще более напоминали о нем действия людей, направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, с скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Возы скрипели, как скрипит снег в мороз: пронзительно и ужасно. Заледеневшие бревна тащились по тротуару руками изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит «прикурить» басом. Между прочим, среди промыслов, каких еще не видел город, за исключением «пастушества на дому» (сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз) и «новое-старое» (блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке «обуви»), о чем говорит А. Ренье в своей любопытной книге «Задворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию «продавцов щепок». Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки, – кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, стегал кнутом воров – детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти: к нему мчались, сломя голову, прохожие, но добычу получал, большей частью, какой-нибудь усач-проходимец, – того типа, что в солдате варят из топора суп.

Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламывали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился, – был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется: «Валяй, ребята!...» Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно насканивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке:

– Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?

– Что такое? – сказал тот после долго натянутого молчания. – Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.

Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут и, не настаивая, удалился.

– Как?! Едва встретились и уже расстаемся, – подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека: «Встречаемся без радости, расстаемся без печали»...

Меж тем временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к С.Т. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот КУБУ, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства, но, мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока, – лишь потер лоб.

У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...

Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой, блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор, тихий, как перебор струн.

– Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы прибыли!

– Отлично, сеньор кабалерро! Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эвтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки.

– Немедленно будет исполнено.

VI

Уличные зеваки, глашатаи «непререкаемого» и «достоверного», а также просто любопытные содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот, под красной вывеской «Дома ученых». Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться.

Вышеуказанный разговор произошел на чистом кастильском наречии, и так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чем говорят эти люди. «Дом ученых» время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошел в двор, как это соображение подтвердилось.

– Видели испанцев? – сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который, в хвосте очереди на соленых лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу. – Говорят, привезено много всего и на следующей неделе будут раздавать нам.

– А что будут давать?

– Шоколад, консервы, сахар и макароны. Большой двор КУБУ был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами и кладовыми, где, время от времени, выдавались на паек рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом все то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену КУБУ, в раз навсегда опреде-

ленный для него день недели и в известный час, вручался основной недельный паек: порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация еще ждет своего историка, а потому мы не будем скупой изображать то, чему надлежит некогда развернуться полной картиной.

Смысл этих замечаний моих тот, что на дворе было много народа преимущественно интеллигентного типа. Народ этот если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я заметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой, немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто.

– Постой, Люси, – говорил он с начинающимся раздражением, – посмотрим еще. Гм... гм... розовая – банная карточка, белая – кооперативная, желтая – по основному пайку, коричневая – по семейному, это – талон на сахар, это – на недополученный хлеб, а тут что? – свидетельства домкомбеда, анкета вуза, старый просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон... Матушки! – вскричал он, – я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!

Так воскликнув, воскликнув горько, потому что, уже в пятый раз листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил:

– Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги!.. Я успею! Я вернусь! Я побегу и буду через час, а ты подожди меня!

Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменял, таща санки, к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал:

– Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!

Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу первого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о своем заявлении.

Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы и ученые, каждый по своему тоскливому делу (была здесь и особая разновидность – пайковые авантюристы), взрыл наконец груды бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии.

– Еще дело ваше не решено, – сказал он. – Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница.

Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою тысячу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет с той разницей, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому, вверх и вниз. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привезшей подарки; о том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах.

– Вы слышали о делегации из Аргентины?

– Не из Аргентины, а из Испании.

– Из Испании, да.

– Ах, все равно, но скажите – что? что? жиры? А есть ли материя?

– Говорят, много всего и раздавать будут на следующей неделе.

– А что именно?

Некто авторитетный, громкий, с снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы.

– А не из Саламанки?

– Нет, с Кубы, с Кубы, – говорили, проходя, всеведущие актрисы.

– Как, с Кубы?

Уже родился каламбур, и я слышал его дважды: «Кубу от Кубы». Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув:

– Шоколад! Да-с!

Оживились даже старухи и те сутуловатые, близорукие люди в очках, с лицами, лишенными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и которым всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица, с напряженной заботой о еде в усталых глазах, спешили повторить новость, а кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всем.

Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой, – ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкая удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица; тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков.

На нем были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дергал за хвост моего леща.

– С припасцем! – сказал Терпугов. – А я думал сначала сечка, боялся порезаться, хе-хе-хе!

– А, здравствуйте, Терпугов, – ответил я. – Вы что здесь делаете?

– Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь.

– Куда же вы поступили?

– Как куда? – сказал Терпугов. – Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу, – приходите завтра в «Мадрид». Я снял ресторан и открываю его. Кухня – мое почтение! Ну, да вы знаете, вы мои расстегаи, подвыпивши, на память с собой брали, помните? И говорили:

«К стенке приколочу, в рамку вставляю». Хе-хе! Бывало! Вот еще польские колдуны с маслом... Ну, ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее – оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу, а уж так и быть, для открытия, сыграем вам испанские танцы.

– Однако, Терпугов, – сказал я, поперхнувшись от изумления, – вы соображаете, что говорите?! Что, вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как «Мадрид»? Это в двадцать-то первом году?

Здесь произошло со мной нечто, подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда все видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден еще далее, и, хотя стоял он рядом со мной, против окна, я видел его на фоне окна, как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону:

– Там как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу – да обработаю под кашу и хрен со сметаной, уж будете вы довольны! Я думаю, что у вас и дров нет.

Продолжая дивиться, я протер глаза и снова овладел зрением.

– Хотя говорите вы чепуху, – сказал я с досадой, – леща, однако, возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите! – повторил я, вручая рыбу.

Терпугов внимательно осмотрел ее, потрепал хвост и даже заглянул в рот.

– Рыба хороша, жирна, – сказал он, пряча леща за пазуху. – Будьте покойны. Терпугов знает свое дело, – все косточки удалю. Пока до свидания! Так не забудьте, завтра в «Мадриде» в восемь часов открытие!

Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью.

– Бедняга рехнулся! – сказал я, выходя на лестницу к резным дверям Розового Зала. Я ото-

грелся, голод так не мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: «Лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!»

VII

Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошел к ней, как несколько лиц высшей администрации, с портфелями и без оных, ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних, – так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства, степенно вошел и я, как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее.

Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней, от двери, стене, меж зеркальных окон с видом на занесенную снегом реку. По правому концу стола восседал президиум КУБУ, а по левому – тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров.

Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлеченные оригиналами – делегатами.

Основное качество «слуха» есть тончайшая эманация (здесь: видоизменение) факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму ни придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга – язык. Поэтому я слушал не безразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу:

– Этот испанский профессор – странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами: ездит по городу на носилках, как в средние века!

– Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдает!

– Вот те на!

– А что прикажете думать?!

Стоявшая впереди меня, протискалась назад, к разговаривающим, подслушивая их, старуха, и приняла немедленно участие в обсуждении дела.

– Что же это такое и как же понять? – прошамкала она лягушачьим ртом; серые жадные ее глаза таинственно просветлели. Она понизила голос:

– А мне, мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет...

Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шепотам потому, что комиссия потребовала удаления посторонних.

Испанец, встав, кратко повел рукой.

– Мы просим, – сказал он сильным и звучным голосом, – разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки.

Переводчик (это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности) оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел: «мы должны быть», неверно, на что, протискавшись вперед, я тотчас же указал.

– Сеньор кабалерро знает испанский язык? – обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно

засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.

– Знаете испанский язык? – повторил иностранец. – Хотите быть переводчиком?

– Сеньор, – возразил я, – я знаю испанский язык, как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки; но ведь переводчик уже есть?!

Произошел общий перекрестный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии, причем выяснилось, что переводчик сознает несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтоб переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя:

– Профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран, – на что ответил я так, как следовало, то есть:

– Александр Каур (мое имя), – после чего заседание вновь приняло официальный характер.

Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых, поочередно, комиссией и испанцем, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бам-Гран прочел список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. Два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч – маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать – апельсинового варенья, десять – хереса и сто ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали вещи, о чем Бам-Гран сказал только, что, с разрешения пайковой комиссии, он «будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках».

Как только перевел я эти слова, в зале прошел гул одобрения: предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного жеста, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далекие страны.

Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу.

– Все взрослые – дети, – сказал ему Бам-Гран довольно отчетливо, так что я расслышал эти слова; затем, поняв о моем лице, что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул:

«На севере диком, над морем,
Стоит одиноко сосна.
И дремлет,
И снегом сыпучим
Засыпана, стонет она.
Ей снится: в равнине,
В стране вечной весны,
Зеленая пальма... Отныне
Нет снов иных у сосны...»⁴⁸

VIII

Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку, и, с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне, – смысл которого безгра-

⁴⁸ очень вольный перевод 33-го стихотворения Г. Гейне из цикла «Лирическое интермеццо», сделанный, по-видимому, самим А. Грином

ничен, – я нашелся лишь сказать:

– Правда? Что хотели вы выразить?

– Мы знаем кое-что, – сказал он обычным своим тоном. – Итак, приступите, кабалерро!

Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружен в свое дело, внимательно слушая отрывистые слова Бам-Грана. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически трещит пишущая машинка под угрюмой, ко всему равнодушной рукой.

К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими КУБУ, что видеть действие могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными, короткими свечками.

– Вот! – сказал Бам-Гран, беря одну свечку и ловко зажигая ее. – Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха!

Сухой, бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали:

– А, свечи, хорошо! Наверное, есть и мыло! Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование.

– Если все подарки таковы... – сказал седой человек с красным носом багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки, – то что же это такое?

Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал:

– Н-да...

Меж тем работа шла быстро. Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисея, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, разворачивали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых их рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули, упав, веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком; за ними посыпались красные и белые кораллы.

Я отступил, так были хороши эти цветы дна морского среди складок шелка и полотна, – они хранили блеск подводного луча, проникающего в зеленую воду. Как стало смеркаться, зал был освещен электричеством, что еще больше заставило блестеть груды подарков.

– Это – очень редкие раковины, – сказал Бам-Гран, – и нам будет очень приятно, если вы возьмете их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко!.. Он обратился к помощникам, жестом торопя их:

– Живей, кабалерро! Не задерживайте впечатления! Сеньор Каур, передайте собранию, что пятьдесят гитар и столько же мандолин доставлено нами; вот мы сейчас покажем вам образцы.

Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение; развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких, крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары, одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шелковыми платками, ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета темной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами – золотой тонкой резьбой.

Пока с ними возились, стоял смутный звон; иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд.

Скоро появились и мандолины, также украшенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый, металлический звон, вызываемый, произвольно, движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и все пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряженное состояние.

В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, каравай хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии «общественного снабжения». Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду – из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии, и если пришли не все, то без тех, кто не пришел, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, все и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в отделы хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив, таким образом, талоны, избежать грядущих очередей.

Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк – самый длинный, тщательнее всех иных заштыкованный, остался нетронутым. Шел четвертый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учета и уборки разбросанного товара, а испанцы – перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения КУБУ. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится.

Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули веревки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеей. Тюк был зашит в несколько слоев полотна. Развертывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцветиваясь и золотясь, вышел из саженого кокона огромный свиток шелка, шириной футов пятнадцать и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причем один из них, согнувшись, раскатывал сверток, а два других на вытягивающихся все выше руках донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лег на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шелку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли – драгоценными перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блески, розовый и темно-зеленый стеклярус в соединении с другим материалом являли дикую и яркую красоту, оваянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев.

Шумя, ахая, множа шум шумом и в шуме становясь шумливыми еще больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия – истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиастов, требующих немедленно запросить Бам-Грана, кто и где смастерил такую редкую роскошь.

Смотря на меня, Бам-Гран медленно и внушительно произнес:

– Вот работа девушек острова Кубы. Ее сделали двенадцать самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным снисхождением. Прочтите имена рукодельниц!

Он поднял край шелка, чтобы все могли видеть небольшой веночек, вышитый латинскими

литерами, и я перевел вышитое: «Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инеса, Долорес, Анна и Клара».

– Вот что они просили передать вам, – громко продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги: «Далекие сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых – все мы! Еще мы желаем вам счастья, счастья и счастья! Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы!» Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода не переводимая ни на какие языки речь. Молча течет она...

«Далекие сестры...» Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар черных глаз склонились издалека над Розовым Залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнувшая розой и ванильным стручком, – легкая рука нервного, как коза, создания, носящего двенадцать имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон Томпсон: арабеск (штриховой набросок, орнамент) из лепестков и лучей.

IX

На острие этого впечатления послышался у дверей шум, – настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.

– Позвольте пройти! – говорил человек этот сумрачно и многозначительно.

Я еще не видел его. Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали:

– Я говорю вам, – пропустите! Гражданин! Вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти! Позво... – но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увальнем, имеющим высокое о себе мнение.

Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего, заслоняющего дорогу профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределенного возраста, с толстыми губами и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом и как бы надут – очень прямо держал он короткий свой стан; одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели; под локтем торчал портфель.

Казалось, в лице этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому, обыкновенно, сопутствует истерика. Его нос напоминал треновый туз, выраженный тремя измерениями, дутые щеки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно.

– Так вот, – сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь, – вы должны знать, кто я. Я – статистик Ершов! Я все слышал и видел! Это какое-то обалдение! Чушь, чепуха, возмутительное явление! Этого быть не может! Я не... верю, не верю ничему! Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы! – прокричал он. – Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Все равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, задарить или повесить, – я говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!

Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бам-Гран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза.

– В чем дело? Что с ним? Кто это?! – слышались восклицания.

Бегун, секретарь КУБУ, положил руку на плечо Ершова.

– Вы с ума сошли! – сказал он. – Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик?!

– Он значит, что я более не могу! – закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. – Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я, я – испанец, в таком случае!

Я переводил, как мог, быстро и точно, став ближе к Бам-Грану.

– Да, этот человек – не дитя, – насмешливо сказал Бам-Гран. Он заговорил медленно, чтобы я успевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы. – Я спрашиваю кабалерро Ершова, что имеет он против меня?

– Что я имею? – вскричал Ершов. – А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкаф, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет, – вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законпачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ошипав, испеку! Я... эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпся!

Он разошелся, загремел, стал топтать ногами. Еще с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бам-Гран выпрямился, тихо качая головой.

– Безумный! – сказал он. – Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более – ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда! Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете! Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бам-Грана, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, ученый мир, и да здравствует голубое море!

Так сказав, причем едва ли успел я произнести десять слов перевода, – он нагнулся и взял гитару; его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн... Похолодев, услышал я быстрые, глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии: зазвенело «Фанданго». Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны, и в этот набегающий темп вошло сухое шелканье кастаньет. Вдруг электричество погасло. Сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула, криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.

Х

Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светила под зеленым абажуром электрическая лампа.

В голове, около правого виска, стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль.

Я стал осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клеенкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкаф с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол.

Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашел, что она забинтована, следовательно, я рассек кожу об угол стола или о другой твердый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный, постреливающий ушиб.

На круглых стенных часах стрелки указывали полчаса пятого. Итак, я провел в этой комнате минут десять, пятнадцать.

Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я

не сетовал на нее, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив все, я испытал томительное острое беспокойство и неудержимый порыв к движению. Но я был еще слаб, в чем убедился, привстав и застегивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скважине стеклянного шкафа, и, быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив ее с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью.

Я скрыл следы самоуправства, затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери Розовой Залы, я потянул ее, но дверь была заперта.

Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попалась мне, пока я шел к выходной двери; лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я поостерегся спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело, но сторож дал сам повод для разговора.

– Которые выходят в дверь, – сказал он, – это правильно. Не как духи или нечистая сила!

– В дверь или в окно, – ответил я, – какая разница?!

– В окно... – сказал сторож, задумавшись. – В окно, скажу вам, особь статья, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперек стены. Так, говорят, прямо на Неву, и в том месте, слышь, где опустились, будто лед лопнул. Побежали смотреть.

– Как же это понять? – сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше.

– Там разберут! – Сторож поплевал на ладони и стал мести. – Чудасия!

Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот, в огромной шубе, не торопясь, поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошел открывать калитку.

– Чего смотришь? – крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной.

– Такая моя должность, – заявил он, – смотрю, как приказано не выпускать подозрительных. Слышали ведь?!

– Да, – сказал я, и калитка с треском захлопнулась. Я остановился, соображая, как и где разыскать цыган. Я хотел видеть Бам-Грана. Это было страстное и безысходное чувство, понятие о котором могут получить игроки, тщетно разыскивающие шляпу, спрятанную женой.

О моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях улицы, мороза и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей. Озадаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и покойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам наития и, прихлебывая столетнее вино вишневого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые угли. Пока я шел, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще, с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шепота особый смысл? Наконец, «Фанданго», разыгранное ученой депутацией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение, и я, кем-то перенесенный на койку амбулатории, – какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как сверхрассудочное беспечно поглощало обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление об удовольствии, которое оно испытывает незаконно и абсолютно, – удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие составляют горшкую муку каждого Ершова, и, как в каждом сидит Ершов, хотя бы и цыкнутый, я был в этом смысле настроен весьма пытливо.

Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперед и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твердого предмета, вытащив который разглядел при свете одного из немногих озаренных окон желтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как два фунта, и лишь горячечностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу ребра монет. «Теряясь в догадках...» – говорили ранее при таких случаях. Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что мое настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно распола-

гаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса вело в разные стороны множество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замерзшие нечистоты; просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав желтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет, тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил все количество в двести штук, ни больше, ни меньше, и, несколько ослабев, задумался.

Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчетливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении или когда две монеты лежат на концах пальцев и вы соприкасаете их краями. Итак, в моем беспамятстве меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Еще я не был в состоянии производить мысленные покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь, когда взгляд лишен нетерпения и усилия, когда он, спокойно соединясь с вещью, постепенно проникается сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего.

Я так углубился в свое занятие, – смотреть и перебирать золотые монеты, – что очень не скоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной, как если бы с одной стороны происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, соображая, что бы это могло быть и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне свое алчное напряжение? Слева направо я медленным взглядом обвел развалины и не открыл ничего подозрительного, но хотя было тихо, а хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или шорохом щебня, – я не осмеливался обернуться так долго, что наконец возмутился против себя. Я обернулся вдруг. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень...

Шагах в десяти, среди смешанной и неверной тени, стоял длинный, худой человек, без шапки, с худым улыбающимся лицом. Он нагнул голову и, опустив руки, молча рассматривал меня. Его зубы блестели. Взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом, когда придумывают, что сказать в затруднительном положении. Из-за его затылка шла вверх черная прямая черта, конец ее был скрыт от меня верхним краем амбразуры, через которую я смотрел. Обратный толчок крови, вновь хлынувшей к сердцу, возобновил дыхание, и я, шагнув ближе, рассмотрел труп. Было трудно решить, что это – самоубийство или убийство. Умерший был одет в черную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штиблеты, неподалеку валялась кожаная фуражка. Ему было лет тридцать. Ноги не достигли земли на фут, а веревка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет, а также некая обстоятельность в прикреплении веревки к балке и – особенно – мелкие бесхарактерные черты лица, обведенного по провалам щек русской бородкой, склоняло определить самоубийство.

Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака; затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счета с необъяснимым? Укололся ли он о шип, пытаясь сорвать розу? Или это – отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с веревкой в кармане?! Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший четыре вагона сахара, или изобретатель «перепетуум-мобиле», случайно взглянувший в зеркало на свое лицо, когда проверял механизм?! Или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!» (строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Секрет») – а он не снес и уничтожил себя?

И это и все другое могло быть, но мне было уже нестерпимо сидеть здесь, и я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал, – уединенную чайную.

На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительное тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная

печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутемные недра, а свет шел от потускневших электрических ламп; они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почесывая под мышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрепанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было, лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек пять плохо одетых людей дорожного вида; у ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдец с горячим цикорием.

Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету.

– Садитесь, подадут, – сказал он, вновь увлекаясь чтением.

Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком.

– Что вы читаете? – спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова: «принцессу мою светлоокою...»

– Хе-хе! – сказал он. – Так себе, театральная пьеса. «Принцесса Греза». Сочинение Ростанова (Имеется в виду драма в стихах французского писателя Эдмона Ростана). Хотите посмотреть?

– Нет, не хочу. Я читал. Вы довольны?

– Да, – сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления, – так, фантазия... О любви. Садитесь, – прибавил он, – сейчас подадут.

Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом.

– Ходят ли к вам цыгане? – спросил я.

– Цыгане? – переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги. – Ходят. – Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова:

– Это погадать, что ли? Или зачем?

– Хочу сделать рисунок для журнала.

– Понимаю, иллюстрацию. Так вы, гражданин, – художник? Очень приятно!

Но я все же мешал ему, и он, улыбнувшись, как мог широко, прибавил:

– Ходят их тут две шайки, одна почему-то еще не была этот день, должно быть, скоро придет... Вам подано! – и он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду.

Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь.

– Гражданин, – сказал я таинственно, как требовали обстоятельства, – я хочу несколько оживиться, поест и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нем нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-либо мясное или же рыбное. Приличное количество хлеба, соленых огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей.

Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом.

– Хм... – сказал он. – Чего захотели!.. А что, это какая монета?

– Эта монета испанская, золотой пиастр, – объяснил я. – Ее привез мой дед (здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой, по матери, жил и умер в Толедо), но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками.

– Вот это правильно, – согласился буфетчик. – Обождите, я схожу в одно место.

Он ушел и вернулся через две-три минуты с проясненным лицом.

– Пожалуйте сюда, – объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения, – вот сидите здесь, сейчас все будет.

Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привел – узкую комнату с желто-розовыми обоями, табуретами и столом со скатертью в жирных пятнах, – буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми развода-

ми, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил.

– Сдачи не будет, – сказал буфетчик, – и, пожалуйста, чтоб тихо и благородно.

– Тихо, благородно, – подтвердил я, наливая вторую порцию.

В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь, и низкий, гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблуки, отряхивая снег; несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно.

– Явилось, фараоново племя, – сказал буфетчик, – хотите, посмотрите, какие они, может, и не годятся!

Я вышел. Посреди залы, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из пяти человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально рассматриваю их, молодая цыганка быстро пошла ко мне, смотря беззастенчиво и прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах.

– Дай погадаю, – сказала она низким, твердым голосом, – счастье тебе будет, что хочешь, скажу, мысли узнаешь, хорошо жить будешь!

Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую «джеттатуру» – условный знак, изображающий рога улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем, – настолько же теперь, поспешно и охотно, ответил:

– Гадать? Ты хочешь гадать? – сказал я. – Но сколько тебе нужно заплатить за это?

В то время как цыгане-мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к нам подошел буфетчик и старуха-цыганка.

– Заплатить, – сказала старуха, – заплатить, гражданин, можешь, сколько твое сердце захочет. Мало дашь – хорошо, много дашь – спасибо скажу!

– Что же, погадай, – сказал я, – впрочем, я вперед сам погадаю тебе. Иди сюда!

Я взял молодую цыганку за – о боги! – маленькую, но такую грязную руку, что с нее можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански старухе, видимо, чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их.

– Дай корочку хлеба, – тотчас заговорила моя смуглая пифия и, не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца; затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной натуры. Она жевала, а старуха равномерно твердила:

– Положи на ручку, тебе счастье будет! – и, вытащив колоду черных от грязи карт, облюбила большой палец.

Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез.

– Цыганки! – сказал я. – Гадать вы будете после меня. Первый гадаю я.

Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони.

– Вот что скажу тебе: ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время.

– Ну, скажи, будешь цыган! – захохотала она. Я продолжал:

– Ты скажешь мне... – и тихо прибавил, – как найти человека, которого зовут Бам-Гран.

Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдернув платок, накрыла лицо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила ее к щеке, смотря прямо и дико. Лицо ее побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела ее, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она опомнилась и, уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом:

– Молчи! Все скажу, ожидай здесь; тебя не знаем, толковать будем!

Не знаю, трусил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои «захолонуло», как будто в ночи над ухом, чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку специй, основательно закусив мясом,

но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик-цыган, кинувший мне еще через порог двусмысленный, резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением, вогнавшим их в пот; его капли блестели на лбу старика и висках цыганок и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу, наспех, что скажет мое лицо.

– Зачем такое слово имеешь? – произнес он. – Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь, мы сами скажем; не расскажешь, верить не можем!

Допуская, что это входит почему-либо в план обращения со мной, я, как мог толково и просто, рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем, увлекшись, на меня тогда не обращали внимания, но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в мое лицо тревожными взглядами.

– Все верно говоришь, – сказала мне старуха, – истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, его знаем, только идти не можем. Сам ступай, а как – скоро скажу. По картам тебе будет и что надо делать, – увидишь. Говорить по-русски плохо умею; не все сказать можно; дочка моя тебе объяснять будет!

Она вытащила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза; затем положила четыре ряда карт, один на другой, снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытащила она семь карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкуя по-цыгански молодой женщине.

Та, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха.

– Вот, – сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений, – одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда к нему пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронут. Сердце разгорелось твое, – повторила она, – что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придешь, один будь, никого не пускай. Верно говорю? Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел.

Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты и, соглашаясь, кивнул.

– Это правда, – сказал я, – сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше.

– Туда придешь... – она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой. – Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся, что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдешь, – огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошел. Что делается, что будет, сам поймешь и дорогу найдешь. Теперь денег дай, на карты положи, дай бедной цыганке, не жалея, брат, тебе счастье будет.

Старуха тоже начала попрошайничать.

– Сколько же тебе дать? – сказал я, не от колебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях.

– Мало дашь – хорошо, много дашь – спасибо скажу! – повторили цыганки с напряжением и настойчивостью.

Запустив руку в карман, я взял в горсть восемь или десять пиастров, сколько захватил сразу.

– Ну, держи, – сказал я красавице.

Взглянув подобострастно и жадно, схватила она монеты. Одна упала, и ее проворно поймал старик; старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть.

– Положи, положи на ручку, не жалея бедной цыганке! – завопила она, пересыпая русские

слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки.

– Больше не дам, – сказал я, однако прибавил к даянию своему еще пять штук. – Замолчите или я скажу Бам-Грану!

Казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк; лишь старуха вздохнула тяжело, как будто у нее умер ребенок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить, но старуха прикрикнула, и, медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зеленая черта. Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне.

– Не раскрывай на воздухе, – сказал цыган, – раскрой, как придешь, положи на стол, будешь уходить, снова заверни, а с собой не бери. Все равно у меня будет, место себе найдет. Ну, будь здоров, брат, чего не так сказали, – не сердись.

Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти.

– Скажи мне еще, кто такой Бам-Гран? – спросил я, но он только махнул рукой.

– У него спроси, – сказала старуха, – больше мы ничего не скажем.

Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Их поразили я. Я видел, что их изумление огромно, ошеломленность и поспешность угодить смешаны со страхом, что в их жизни произошло событие. Я сам волновался так сильно, что спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки обыкновенно уводят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание, поэтому буфетчик мог думать, что, отложив рисование, поддавался я соблазну узнать будущее.

– Убежали, фараоново племя! – сказал он, смотря на меня с мрачным интересом. – Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?

Я поддержал эту догадку, сообщив, что цыгане очень суеверны и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы строем теней. Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак.

Я отошел подальше, остановился и вытащил из внутреннего кармана пальто синий платок. В нем прощупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь прежде, чем приду на место, то есть к Броку, так как указание не поддавалось никакому другому толкованию. Говоря «должен», я подразумеваю долю скептицизма, которая еще осталась во мне вопреки странностям этого дня. К тому же разительная неожиданность, являющаяся, опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твердо. Но я не знал, что произойдет, иначе потерял бы еще не один час.

Остановясь на углу, я развернул платок и увидел, что сверкание зеленой черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света – точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы, как при свете зеленого угля. Конус был довольно тяжел, высотой дюйма четыре и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилении зеленоватого света казался темно-лиловым.

Увлеченный и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок, движение частей и теней, подобных черному бумажному пеплу, колеблемому в печи при свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, мрак, в котором отчетливо двигался ручной фонарь с зеленым огнем. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны; он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремляясь вперед, и, как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросши, пропал за пределами конуса; резко, прямо мне в глаза сверкнул дивный зеленый луч.

Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим блеском, и не прошло секунды, как ужасное, зеленое зарево, хлынув из моих пальцев, разлилось над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха – возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени.

Этот безмолвный удар длился одно мгновение, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И, однако, это мгновение было чревато событиями.

Еще дрожал в моих пораженных глазах всеразрывающий блеск, полный слепых пятен, но, как гигантская стена, рухнул наконец мрак, такой мрак, благодаря мгновенному переходу от пределов сияния к густой тьме, что я, потеряв равновесие, едва не упал. Я шатался, но устоял. Весь трясаясь, я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далекое «а-а-а», затем послышался отскакивающий звук выстрелов. Лай собак, ранее редкий, возвысился до остервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шел вперед. Во тьме сверкнул красный огонь; грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересек пожарный обоз, мчась, видимо, наудачу, куда придется. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и все проскакало, исчезнув, как стремительная атака.

Что произошло еще в этот вечер с перепуганным населением, – я не узнал, так как подходил к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошел, но ничего не сказал открывшему. Это был один из жильцов, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире.

– Вам Брока? – сказал он. – Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас.

Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне: приложив руку к щеке, я стал ворочать языком и мычать.

– Ах, эта зубная боль! – сказал жилец. – Я сам хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать?

Я кивнул, разрешив, таким образом, затруднение, которое, хотя было пустячным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирает комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками. Таким образом, ничто не мешало мне, но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход: дать ему, ни слова не говоря, золотую монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина.

Схватясь за щеку, я вошел в комнату, благодаря впусившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, помраченному болью, и тщательно прикрыл дверь. Когда в коридоре затихли шаги, я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жилье Брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу, между двумя стульями, у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение.

Подступив к картине, я всмотрелся в нее, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бам-Грана. Как ни был силен толчок мыслям, произведенный ужасным опытом на улице, даже вдвое более раскаленный мозг не привел бы сколько-нибудь сносной догадки. Еще раз подивился я великой и легкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей, ее мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так, на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка, – не на виду, как поместил бы такую вещь искатель легких эффектов, но за деревом открытой оконной рамы; сквозь стекло я видел ее, снятую, маленькую, существующую особо, как существовал особо каждый предмет на этом диковинном полотне. Более того,

следуя взглядом возле окна с перчаткой, я заметил медный шарнир, каким укрепляются рамы на своем месте, и шляпки винтов шарнира, причем было заметно, что поперечное углубление шляпок замазано высохшей белой краской. Отчетливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчетливости и подозревать, не расстроено ли собственное мое зрение, но, спохватясь, извлек из платка конус и стал, оцепенев, всматриваться в его поверхность.

Зеленая черта едва блистала теперь, как бы подстерегая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зеленый фонарь. Тогда, положась на судьбу, я утвердил конус посередине стола и сел в ожидании.

Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая с силой и быстротой направляемого в лицо рефлектора. Я находился как бы внутри зеленого фонаря. Все, за исключением электрической лампы, казалось зеленым. В окнах до отдаленнейших крыш протянулись яркие зеленые коридоры. Это было озарением такой силы, что, казалось, развалится и сгорит дом. Странное дело! Вокруг электрической лампы начала сгущаться желтая масса, дымящаяся золотым паром; она, казалось, проникает в стекло, крутясь там, как кипящее масло. Уже не было видно проволочной раскаленной петли, вся лампочка была подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела; осколки стекла разлетелись вокруг, причем один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные желтые сгустки, как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно потухли, и один зеленый свет, едва дрогнув при этом, стал теперь вокруг меня как потоп.

Излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдаленно напоминали обычное человеческое сознание. Любое, самое причудливое сравнение даст понятие лишь об усилиях моих сравнить, но ничего – по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда не испытанном. Но, может быть, вы оцените мое напряженное, все отмечающее смятение, если я сообщу, что, задев случайно рукой о стул, я не почувствовал прикосновения так, как если бы был бестелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной душевно, с чем согласится всякий, участвовавший хотя бы в штыковом бою: о себе не помнят, действуя тем не менее точно так, как следует действовать в опасной борьбе.

То, что произошло затем, я приведу в моей последовательности, не ручаясь за достоверность.

– Откройте! – кричал голос из непонятного мира и как бы по телефону, издалека.

Но это ломилось в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двинулся. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхний ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились разительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра. Часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня возник мраморный балкон с цветами вокруг решетки; из-под него вышел матадор с обнаженной шпагой и бросился сквозь пол, вниз, за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью на бумаге, где профили, пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например, часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур; из рам вывалились подобия кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цыбика, и убедился, что ели картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую «пару ворон». В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы.

Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, мое положение было лишь выжидательным.

Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пенёк, обросший травой. Все колебалось, являлось, меняло форму. По каменистой тропе мимо меня пробежал осел, нагруженный мехами с вином; его погонщик бежал сзади, загорелый босой детина с повязкой на голове из красной бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решеткой, и женская рука выплеснула с тарелки помой. В воздухе, под углом, горизонтально, вертикально, против меня и из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зеленого блеска, неизвестные люди южного типа; все это было отчетливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука: движение и молчание. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудился довольно, и опасаясь также за целостность рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал, лишь пропал разом зеленый блеск и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из нее шел ясный дневной свет, в то время как окна броковского жилища были по-ночному черны.

Я говорю: «Свет шел из нее», потому что он, действительно, шел с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал свое ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил ее в задний план того, что продолжал называть картиной; и я видел, как монета покатилась через весь пол к полуоткрытой в конце помещения стеклянной двери. Мне оставалось только поднять ее. Я перешагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы; затем все стало, как по ту сторону дня. Я стоял на твердом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность. Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришел. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской, и на ней, в черной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая, бессознательно для меня, отношение к моим чувствам, так как, совладав с слабостью, естественной для всякого в моем положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно: вид плохой, плохо обставленной комнаты, погруженной в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки; и это была железная печь в той комнате, из которой я перешел сюда.

Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутом в самое его горло льдистым ножом мороза, но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление скрытой без следа комнаты, отраженной изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок: спокойно я подошел к окну и твердой рукой отвел раму, чтобы разглядеть город. Каково было мое спокойствие, если теперь, только вспоминая о нем, я волнуюсь неимоверно, нетрудно представить. Но тогда это было спокойствие – состояние, в каком я мог двигаться и смотреть.

Как можно понять уже из прежних описаний моих, помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращенной к постройкам. Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие.

Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте и в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной.

Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил двенадцать часов.

Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем

прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора.

Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих ее ступеней лестницы прощальный привет.

Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы опаленные, но собранные твердо и точно. Мое состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде.

Я прошел в дверь и пересек сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью, с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком... На полпути я был остановлен взглядом Бам-Грана, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке; он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем, в восторге и от неудач и от ожидания.

Бам-Гран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе.

– Я знал, что увижу вас, – сказал он, – и, хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это – Зурбаган, Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев, хороший Зурбаган шутников, подобных мне!

Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку.

– Вы смелы, дон Каур, – воскликнул он, – и это мне нравится, как все значительное. Что почувствуете вы, одолев тысячи миль?

– Жажду, – сказал я. – Воздушное давление изменилось, а волнение было велико!

– Я понимаю.

Он сжал мордочку фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал:

– Ступай, скажи Ремму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду.

Собака, тявкнув, унеслась прочь.

– Нет, нет, – сказал Бам-Гран, заметив мое невольное движение, – это лишь отличная дрессировка. Слово «Ремм» значит – бежать к Ремму, а Ремм знает сам, что сделать, завидев Пли-Пли. Между тем дорожите временем, сеньор Каур, – вы можете пробыть здесь только тридцать минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Ремм, как умирительна твоя быстрота!

Вошел слуга. Он был в белой пижаме, с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бам-Грана взглядом обожания.

– Лед весь вышел, сеньор!

– Возьми в Норвежском фиорде или у Сибирской реки!

– Я взял Ремма с Тристан д'Акунья, – сказал Бам-Гран, когда тот ушел, – я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в особую для себя минуту. Выпьем!

Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал ее, но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот.

– Итак, – сказал он, – «Фанданго»! Это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван-Герда.

Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бам-Гран. И я мысленно напевал его.

– Барселона не Зурбаган, – сказал я, – а потому не знаю, каким радио вы дадите этот оркестр!

– О простота! – заметил Бам-Гран, вставая с несколько заносчивым видом. – Ван-Герд, сыграйте нам «Фанданго» в переложении Вальтера.

Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты:

– Очень хорошо! Сейчас.

Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов. Бам-Гран, закусив губу, прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижерского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив все, откинулся и стал ждать.

Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынуло наконец полной мерой единственное «Фанданго». о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств, и тем не менее оно еще подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставила онеметь ноги. Я сам звучал, как зазвеневшее от грома стекло. С трудом понимал я, что говорит рядом Бам-Гран, и бессмысленно посмотрел на него, кружась в стремительных кругообразных наплывах блестящего ритма. «Все уносит, – сказал тот, кто вел меня в этот час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию, – уносит, разбрасывает и разрывает, – говорит он, – гонит ветер и внушает любовь. Бьет по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное „Фанданго“!» Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции; тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колес.

Я очнулся, как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник.

– Вы видите, – сказал Бам-Гран, – что у Ван-Герда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще десять минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бам-Грана!

Он встал, я тоже поднялся с дымом в голове, все еще полный быстрым, как полет, ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида.

– Теперь мне не следует оставаться здесь, – сказал Бам-Гран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене известки, рисунком, имеющим, правда, отдаленное сходство с его острой фигурой. – Прощайте!

Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один...

Лестница шла вниз узким семиэтажным пролетом.

В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор – двор дома, в котором я жил.

Я осмотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под № 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки: «Марья Степановна Кузнецова».

Под этой доской висела моя визитная карточка, которую я прикрепил кнопками. Карточка была на своем месте, но сама она изменилась.

Я прочел: «Александр Каур» и «и», выведенное чернилами «и». Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединенная в смысле своем с верхней строкой этим союзом, была тоже прописана чернилами. Она гласила: «и Елизавета Антоновна Каур». Так! Я был у двери, за которой в отдаленной небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое, закричавшее существо. Я ожил исчезнувшей без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня; между тем два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни.

Я вскочил внутрь и обнял жену.

– Это ты? – сказал я. – Это ты, это ты? Я сжимал ее, повторяя:

– Ты, ты, ты?..

– Что с тобой? – сказала она, освобождаясь, с пораженным, бледным лицом. – Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?

– Скоро?!

– Пойдем. – Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом.

В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть; я прошел в комнату и сел на кровать.

Я сидел, не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела ее в руках.

– Слушай, что произошло? – сказала она глухо, в разрастающемся испуге. – На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился?

– Лиза, скажи мне, – заговорил я, взяв ее за руку, – и не пугайся вопросов: когда я вышел из дома?

Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Ее голос был неестественно звонок; не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры.

– Ты вышел в почтовое отделение минут двадцать назад, может быть, полчаса.

– Я сказал что-нибудь, уходя?

– Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь «Фанданго».

Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошел сдать заказное письмо.

– Какой теперь год?

– Двадцать третий год, – сказала она, заплакав, но не утирая слез и, вероятно, не замечая, что плачет. Необычным было напряжение ее взгляда.

– Месяц?

– Май.

– Число?

– 23-е мая 1923 года. Я схожу в аптеку. Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал ее быстрые шаги к выходной двери.

Пока ее не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было мое прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. Однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей руке те же два фунта, как и какое-то время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших двух лет и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы небывшее.

– Саша! – Лиза стояла передо мной, протягивая пузырек. – Это капли, прими двадцать пять капель. Прими...

Но следовало, наконец, дать движение и выход всему. Я посадил ее рядом с собой, сказав:

– Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из этой комнаты. Я вышел из той комнаты, в которой жил до встречи с тобой в январе 1921 года.

Сказав так, я взял желтый мешочек и высыпал на колени жены сверкающие пиастры.

Изобразить наш разговор и наше волнение после такого доказательства истины может только повторение этого разговора при тех же условиях. Мы садились, вставали, садились опять и перебивали друг друга, пока я не рассказал случившегося со мной с начала до конца. Жена несколько раз вскрикивала:

– Ты бредишь! Ты пугаешь меня! И ты хочешь, чтобы я поверила?

Тогда я указывал ей на золотые монеты.

– Да, правда, – говорила она, закруженная безвыходным положением рассудка так, что могла только сказать: – Фу! Если я ничего не пойму, я умру!

Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в глубоком утомлении, почти механиче-

ски, то смеясь, то падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спокойнее. Мое спокойствие постепенно передалось ей. Уже стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным и значительным видом, озаренным улыбкой.

– Ну, я просто дура! – сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы, – признак конца душевной бури. – Очень понятно! Все перевернулось и в перевернутии оказалось на своем месте!

Я подивился женской способности определять положение двумя словами и должен был согласиться, что точность ее определения не оставляет желать ничего лучшего.

После этого она снова заплакала, и я спросил – почему?

– Но ведь тебя не было два года! – проговорила она с ужасом, сердито вертя пуговицу моего жилета.

– Ты сама знаешь, что я не был дома тридцать минут.

– А все-таки...

С этим я согласился, и, еще немного поговорив, Лиза, как сраженная, уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо, – стремясь по следам жизни или видения? На это ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.

Я достиг «Мадрида» почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов; увидев меня, он бросился ко мне, трясая мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи.

– Вот и вы, – сказал он. – Присядьте, сейчас подадут. Ваня! Ихнего леща! Поди, спроси у Нефедина, готов ли?

Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Все было просто, как в обыкновенный день. Официант принес кушанье, открыл бутылку мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперек жабру.

– Итак, – сказал я, не утерпев, – вы сдержали. Терпугов, свое слово, которое дали мне два года назад! Он хитро посмотрел на меня.

– Хе-хе! – сказал бывший повар. – О чем вспомнили! Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивши и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить!

Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я был тоже прав, и о правоте своей, склоняясь к уху Терпугова, шепнул:

«В равнине над морем зыбучим,
Снегом и зноем полна,
Во сне и в движенье текущем
Склоняется пальма-сосна».

– Хе-хе! – сказал он, наливая в стакан мадеру, – шутить изволите!
Был вечер. Моросил дождь.

Акварель

Клиссон проснулся не в духе.

Вчера вечером Бетси жестоко упрекала его за то, что он сидит на ее шее, в то время как Вильсон поступил на речной пароход «Деннем».

Должность кочегара предназначалась Клиссону, но он с намерением опоздал к поезду, чтобы «Деннем» ушел в рейс. Прачка зарабатывала неплохо. Клиссон обдуманно потакал наклонности Бетси к выпивке. Охмелевшая женщина давала ему деньги довольно кротко. Она считалась хорошей прачкой, поэтому у нее всегда было много работы.

Лежа на кровати с тяжелой головой, с жжением в груди, Клиссон курил папироску и размышлял:

каким образом получить крону? День был праздничный; вчера кочегар условился с приятелями, что встретит их в кабаке Фукса.

Веселое зеленое утро шевелило за рамой окна листья плюща. Благоухали кусты, росшие под стеной дома. Клиссон, смотря на желтые и белые цветы, представлял, что это серебряные и золотые монеты. Он насчитал сорок штук и вздохнул.

Бетси внесла железный чайник. Зевая, стала она накрывать на стол.

В комнате не было другой мебели, кроме табуретов, двух кроватей и старого плетеного кресла.

За дверью, в углу, целую неделю копился сор. На подоконнике лежали объедки; пол был усеян огуречной и яблочной кожурой. У стены огромные корзины с грязным бельем распространили запах тлена и сырости.

Двигаясь около стола, прачка задела ногой пустую бутылку; она выразительно откатилась, напомнив Клиссону, что надо опохмелиться.

Хмурый вид Бетси не вызывал в нем особых надежд. Жалея, что вчера забыл выпросить у нее денег, Клиссон понуро оделся; опасаясь повторения вчерашних нападков, он не торопился вступать в разговор.

Они стали молча пить чай. По тому, как Бетси вырвала из руки кочегара нож, которым тот резал хлеб, Клиссон мрачно убедился, что прачка не забыла «Деннем». Терять было нечего.

Клиссон сказал:

– Опоздал на поезд. Разве я хотел опоздать? Случай, больше ничего. Не дашь ли ты мне шиллинг?

– А будь я проклята, если дам, – спокойно ответила Бетси. – Я пять домов перестирала за эту неделю. Брошу работать; начну пить, как ты.

Они поругались, потом затихли. Клиссон с отвращением проглотил кружку чая, завидуя Бетси, у которой никогда не болела голова. Чтобы отомстить, он сказал:

– Ты сама пьешь. Вчера напилась, стала петь. Надела рубашку чужую, с кружевами, и хвасталась!

– Так ты мне не давал бы пить. Я столько не пила прежде.

Теперь пью и буду пить, а денег не дам.

Едва не загорелась драка, но тут прачку через окно окликнула соседка, и Бетси вышла, бросив взгляд на угол корзины с бельем. Едва жена скрылась, Клиссон подскочил к корзине и разорвал белье в том месте, куда посмотрела Бетси. В коробке от папирос лежали деньги. Клиссон взял крону и быстро привел белье в порядок, сев затем снова к столу.

Почти тотчас вернувшаяся Бетси с сомнением уставилась на Клиссона, но не догадалась о краже. Вдохнув, она стала вытряхивать за окно одеяло, а Клиссон спрятал кепи во внутренний карман пиджака и через пустые комнаты, тщетно ожидавшие жильцов, прошел к раскрытому окну; он выпрыгнул из него и обогнул сарай, где Бетси летом стирала. Тогда он надел кепи и, убедясь, что прачка не преследует его, поспешил к станции трамвая.

В переполненном вагоне Клиссон окончательно успокоился.

Приехав через полчаса в город, Клиссон полюбовался своей короной и направился в трактир Фукса. Переходя с тротуара на тротуар, кочегар посмотрел вокруг и вздрогнул: Бетси быстро шла прямо к нему, не сводя глаз, и значительно кивнула, когда он, невольно остановясь, втянул голову в плечи.

Предстоящее объяснение так тяжело сжало сердце Клиссону, что у него не хватило мужества встретить грозу. Вид черной юбки и клетчатого платка, приближающихся с неумолимой быстротой, расталкивая и обегая прохожих, вынудил его к бегству, и Клиссон устремился прочь, разглядывая все двери и входы с мечтой найти спасительную лазейку. Услышав за спиной крик:

«Не уйдешь, подлец!» – Клиссон пустился бежать и свернул за угол. Там был глубокий стильный вход с вращающимися дверьми. Со всей быстротой соображения, вызванной ужасом, Клиссон прочел надпись овального щита: «Весенняя выставка акварелистов» – и вбежал по солнечной лестнице к входу в зал, где его остановила девица решительного вида, заставив купить билет. Меняя крону, он испытывал некоторое удовольствие при мысли, что часть денег все-таки им истрачена и что Бетси потеряла из вида его убегающую спину.

Клиссон прошел в зал, где с высоких стен глянуло на него множество лиц. В его планы не

входило критиковать Смайльса и Дежруа; он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, обменивающихся тихими замечаниями, и затем...

явственно признал Бетси: она, холодно улыбаясь, приближалась к нему. Ее глаза были прищурены, и она не видела ничего и никого, кроме Клиссона, взявшего ее крону.

– Не ушел? – сказала Бетси ледяным тоном. – Пойдем-ка поговорим.

– Только не здесь, – взмолился Клиссон, устремляясь вперед. – Здесь выставка... Я поехал на выставку... Где же ты была?

Не видел тебя в трамвае...

– В следующем вагоне. Ответь: долго будет так? Подлец!

– Я не на привязи у тебя, – огрызнулся Клиссон, шагая все быстрее среди толпы.

Стараясь говорить тихо, они бранились, осыпали друг друга проклятиями, и Бетси заплакала. Вороватая душевная тяжесть Клиссона достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на него и на прачку, подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не зная, что делать, Клиссон поворачивал из одной двери в другую, а Бетси следовала за ним, как проникающее в дерево сверло, и Клиссон начал останавливаться возле картин, – хотя ему было не до картин, – выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях Бетси молчала, но стоило ему отойти, как он слышал сдавленный шепот: «Бездельник!

Лицемер! Пьяница!» – или: «Немедленно уходи отсюда! Отдай деньги!»

– Замолчи! – сказал Клиссон так громко, что, побоясь скандала, женщина утихла. Следом за ним она подошла к картине, на которую Клиссон уставился исподлобья, как на улыбающегося врага. Человек десять рассматривали картину. Дорожка с полосами света, проникающего сквозь листву и падающего на заросшую плющом стену кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке валялась пустая клетка, показалась Клиссону знакомой.

– Похоже, что это наш дом, – произнес он тоном мольбы, надеясь прекратить казнь.

– Сбрендил ты, что ли?

Но чем больше прачка всматривалась в картину, тем понятнее становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная корона. Она узнала окна, скамейку; узнала ветви клена и дуба, между которых протягивала веревки. Яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов – все это не оставляло сомнений. Глаза и память указывали, что Бетси и Клиссон смотрят на собственное жилье. Восхищенные, испуганные, перебивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно доказали сами себе, что ошибки нет.

– За крыльцом помойное ведро; его не видно! – радостно заявила Бетси.

– Да-а... а внутри-то?! Хоть бы ты подмела, – с горечью отозвался Клиссон.

Они отошли в угол; там шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клиссон высказал догадку, не есть ли картина раскрашенная фотография. Но Бетси вспомнила человека, который месяца полтора назад шел с ящиком и складным стулом.

– Я тогда же подумала, – сказала она, – идет и ни на что не обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там встретить – ни на кого не похож! А ты пропадал три дня. Два дня я тебя искала.

Они наговорились и вернулись к картине, так необычно уничтожившей их враждебное настроение. Перед картиной стояло несколько человек. Видеть этих людей казалось Клиссону так же странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама сказала:

– Самая прекрасная вещь сезона. Как хорош свет! Посмотрите на плющ!

Услышав это, Клиссон и Бетси ободрились, подошли ближе.

Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельем. Между тем картина начала действовать, они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересеченной светом тропе прошел человек со складным стулом.

Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им.

«Снимаем второй год», – мелькнуло у них. Клиссон выпрямился. Бетси запахнула на истощенной груди платок.

– А все-таки мне больше дают стирки, чем этой потаскухе Ребен, сказала Бетси, – потому что я свое дело знаю. Я соды не кладу, рук не жалею. Ну... раз уж украл, так поди выпей...

только не на все.

Клиссон помолчал, затем шепнул:

– Пойдем. Я выпью. Уж раз я сказал, я слово свое держу.

Завтра надо поговорить с Гобсоном – Гобсон обещал мне место, если Снэк откажется.

– Будь уверен, что тебя водят за нос.

– Ну, ничего, выпьем, с Гобсоном поговорим.

Они прошли еще раз мимо картины, искоса взглянув на нее, и вышли на улицу, удивляясь, что направляются в тот самый дом, о котором неизвестные им люди говорят так нежно и хорошо.

Элда и Анготэя

I

Готорн пришел за кулисы театра Бишоп. Это произошло в конце репетиции. Она кончилась. Стоя в проходе среди ламп и блоков, Готорн вручил свою визитную карточку капельдинеру с тем, чтобы он понес ее Элде Сильван.

После того, входя в ее уборную, он снова был поражен ее сходством с фотографией Фергюсона.

Элда была в черном платье, устремляющем все внимание на лицо этой маленькой, способной актрисы, которая еще не выдвинулась, благодаря отсутствию влиятельного любовника.

Она была среднего роста, с нервным и неровным лицом. Ее черные волосы, черные большие глаза, которым длинные ресницы придавали выражение серьезно-лукавой нежности, чистота лба и линии шеи были очень красивы. Лишь всматриваясь, наблюдатель замечал твердую остроту зрачков, деловито и осторожно внимающих тому, что они видят.

Ее свободная поза – она сидела согнувшись, положив ногу на ногу – и мужская манера резко выдыхать дым папиросы освободили Готорна от стеснения, сопровождающего всякое щекотливое дело.

– Душечка, – сказал он, – вам, вероятно, приходилось встречать всяких чудаков, а поэтому я заранее становлюсь в их ряды. Я пришел предложить вам выступление, но только не на сцене, а в жизни.

– Это немного смело с вашей стороны, – ответила Элда с равнодушным радушием, – смело для первого знакомства, но я не прочь ближе познакомиться с вами. Единственное условие: не тащите меня за город. Я обожаю ресторан «Альфа».

– К сожалению, малютка, дело гораздо серьезнее, – ответил Говард. – Сейчас вы увидите, что выбор мой остановился на вас совершенно исключительным образом.

Актриса, изумясь и в то же время подчеркивая изумление игрой лица, как на сцене, заявила, что готова слушать.

– Во время своих прогулок я познакомился с неким Фергюсом Фергюсоном: зашел в его дом напиться воды. Дом выстроен на Тэринкурских холмах. Фергюсон существует на пенсию, оставленную ему мужем сестры. Фергюсону – лет сорок пять; его прислуга ушла, тяготясь жить с больным. Он помешанный и в настоящее время умирает. Основным пунктом его помешательства является исчезновение жены, которой у него никогда не было; это подтверждено справками. Возможно, что, будучи нестерпимо одинок, он, выдумав жену, сам поверил в свою фантазию. Так или иначе, но фотография Анготэи – так он называет жену – изумительно похожа на вас, а вас я видел на сцене и в магазине Эстрема. Это необыкновенное сходство дало мне мысль помочь Фергюсону обрести потерянную жену. Откуда у него фотография – неизвестно. Я думаю, что он когда-то ее купил.

– Вот как! – сказала возмущенная Элда. – Вы сватаете меня без спроса, да еще за безумно-

го?!

– Имейте терпение, перебил Готорн. – Фергюсон умирает, я уже вам сказал это. У меня мало времени, но я должен кончить мой рассказ. В день свадьбы Анготэя отправилась одна по тропе, на которой находится отверстие. Оно – в тонкой стене скалы, перегородившей тропу. Часть тропы, позади овала, так похожа на ту дорожку, которая подводит к нему, что в воображении Фергюсона овальное отверстие превратилось в таинственное зеркало. Он убежден, что Анготэя ушла в зеркало и заблудилась там. По расчету врача, ему осталось жить не более двенадцати часов. Мне хочется, чтобы он умер не тоскуя. И увидел ее.

– Ну, ну!.. – сказала Элда, немного помолчав из приличия. – Забавно. Станный сентиментальный дурак. Извините, не нравятся мне такие типы. Но скажите, к чему вся эта история?

– Она вот к чему, – строго ответил Говард, – не согласитесь ли вы быть полчаса Анготэей? Потому что он призывает ее. Это человек прекрасной души, заслуживающей иной судьбы. В случае вашего согласия назначайте сколько хотите.

При последних словах Готорна лицо Элды стало неподвижно, как бездыханное; зрачки хранили расчет.

– Что же я должна говорить? – быстро спросила она.

– Примерно я набросал. – Готорн подал листок бумаги.

Шевеля губами, Элда стала читать.

– Нет, все это изумительно, – сказала она опуская бумагу. – У меня смятка в голове. Скажите: вы сами – не психиатр?

– Нет, – спокойно пожаловался Готорн. – Я – патолог.

– А! – протянула она с доверием. – Обождите: я попробую. Выйдите пока.

Готорн вышел и стал ходить около двери. Она скоро открылась, и Элда кивнула ему, приглашая войти.

– Я думаю, что мы это обстряпаем, – сказала актриса, усиленно куря и отгоняя рукой дым от глаз, холодно и ревниво изучавших Готорна. – Прежде всего – деньги. Сколько вы намерены заплатить?

– Десять тысяч, – сказал Готорн, чтобы ошеломить ее.

– Что-о-о?

– Я сказал: десять тысяч.

– Преклоняюсь, сказала Элда, низко склоняясь в шутиливом поклоне, который неприятно подействовал на Готорна, так как вышел подобострастным. – На меньшее я бы и не согласилась, – жалко и жадно добавила она, хотя думала лишь о десятой части этого гонорара. – Еще одно условие: если этот ваш Фергюсон выздоровеет – я не обязана продолжать игру.

– Конечно, – согласился Готорн. – Итак – в автомобиль. Он здесь, собирайтесь и едем.

II

Окончательно сговорясь, они вышли, уселись в автомобиль и поехали к Тэринкурским холмам.

Во время этого путешествия, занявшего всего полтора часа, Элда почти молчала; ее ничто не интересовало за пределами, очеркнутыми Готорном, которые она находила вполне достаточными технически. Она смотрела перед собой, что-то упорно обдумывая. Вдруг, когда автомобиль выехал на дорогу, вившуюся над пропастью, с лесом внизу и с медленно слетающими ручьями, а Готорн хотел обратить ее внимание на резкую прелесть этой картины, она сказала:

– Я должна говорить только так, как у вас написано? Ваше не совсем подходит. Надо проще: хотя он и видел ее только в бреду, но тут ведь будет уже не совсем бред.

– Пожалуй, – сказал Готорн, для которого случай этот был и экспериментом, и делом сострадания. – Довольно вашего лица. Вашего сходства с несуществующей Анготэей.

– Нет, этого мало.

– Делайте как хотите, лишь с сознанием великой ответственности. – И затем Готорн, указывая рукой, добавил: – Вот еще пропасть; видите там тени в тумане? Красивый хоровод пусто-

ты.

– Да, – ответила рассеянно Элда. – Я хочу спросить: деньги будут уплачены немедленно?

– Без сомнения.

– Благодарю вас.

Она опять погрузилась в раздумье, и ее вывел из задумчивости Готорн, указавший Элде на тропу, выющуюся среди кустов.

– Мне кажется, сказал он, – что вам следовало бы взглянуть на воображаемое «зеркало», на тот просвет в скале, в который, по утверждению Фергюсона, ушла Анготэя.

– Да, чтобы настроиться, – согласилась Элда. – Доброму вору все в пору. Это не далеко?

Успокоив ее, Готорн велел остановить автомобиль, и они пошли по тропе. Тропа шла над отсеченным обрывом, и вот – показалось то, очень правильной формы, высокое овальное отверстие в поперечном слое скалы, о котором он говорил. Действительно, – и позади, и впереди этого отверстия, – все было очень похоже; симметрия кустов и камней, света и теней, – там и здесь, не касаясь, конечно, частностей, были повторены на удивление точно.

Рассмотрев отверстие, Элда переступила овал, прошла вперед шагов десять и бегом вернулась обратно.

– Это, собственно говоря, ничего не дает, – заявила она Готорну. – Так мы поедем теперь?

Ехать оставалось немного. Они вернулись в автомобиль и, обогнув большую скалу, остановились. Стоявший в лесу небольшой каменный дом был виден крышей и отвесом стены. Показав Элде тропинку, ведущую к нему, Готорн, условившись, что придет за ней через полчаса, удалился в сомнениях, что привез женщину, сущность которой могла сказаться невольно, обратив все это запутанное и рискованное милосердие в смешное и тяжелое замешательство.

Когда он ушел, Элда отправилась переодеваться в кусты, гоня назойливых мух и проклиная траву, коловшую подошвы ее босых ног. Но деньги – такие деньги! – воодушевляли ее. И тем не менее в этой дурной и черствой душе уже шла, где-то по каменистой тропе, легкая и милая Анготэя, и Элда наспех изучала ее.

III

Не заходя в комнату Фергюсона, Готорн попросил сиделку позвать доктора, огромного, исключенного человека, а когда тот пришел, ввел его в отдаленное от больного помещение и стал расспрашивать.

– Он лежит очень спокойно, – сказал доктор, – молчит; иногда берет фотографию и рассматривает ее; силы оставляют его так быстро, как сохнет на солнце мокрое полотенце. Изредка забывается, а очнувшись, спрашивает, где вы.

– Я ее привез, – сказал Готорн. – Что же, можно ввести?

– Мое положение затруднительно, – ответил доктор, подходя с Готорном к окну и рассматривая вершины скал. – Я знаю, что он умрет не позже вечера. Однако возможно ли рисковать на случай прозрения, наступающего иногда внезапно, при маниакальном безумии, в случае потрясения нервной системы. Я хочу сказать, что возможен результат, противный желаемому.

– Как же быть?

– Я не знаю.

– Я тоже не знаю, – сказал Готорн.

Наступило насупленное молчание. Готорн искал ответа в себе. Тени скал уверенно показывали провалы. Он оставил доктора и пошел было к Фергюсону, но вернулся, говоря:

– Я не знал, но теперь знаю. Ко мне вернулась уверенность. Но, доктор, мы с вами к нему не выйдем. Мы будем в соседней комнате смотреть в дверь.

Выйдя через веранду, Готорн поспешил к тому месту, где его ждала Элда, и застал ее сидящей на камне.

Уверенность его возросла, когда он посмотрел на нее, готовую играть роль. Резкая прическа исчезла, сменяясь тяжелым узлом волос, открывшим лоб. Лицо Элды, очищенное от грима и пудры, с побледневшими губами, выглядело обветренным и похудевшим. Босая, в рваной, ко-

роткой юбке, в распахнутой у шеи блузе, с висящим в сгибе локтя темным платком, она внезапно так ответила его тайному впечатлению о вымышленной женщине, что он сказал:

– Я доволен, Элда. Я вижу – вы угадали.

– Угадала? Бросьте, – ответила Элда, протирая зубы раствором яблочного железа, чтобы уничтожить табачный запах. – Все-таки я шесть лет на сцене. Что же, пора идти?

– Да, пора. Ну, Элда, – Готорн крепко сжал ее руки, – смотрите. Вы должны понимать. Вы – женщина.

Она пожала плечами и отвела взгляд. Ей хотелось как можно скорее развязаться с этой мрачной историей и вернуться домой. Они молча достигли дома и, пройдя три заброшенные, неопрятные комнаты, остановились перед полуоткрытой дверью, в свете которой видна была кровать с исхудавшим, на подушках, лицом Фергюсона, обросшим полуседой бородой.

Готорн заметил доктора, который уже сидел, согнувшись на стуле, поставленном так, что из полутьмы закрытых ставен этого помещения была ясно видна картина раскрытой двери.

Элда глубоко вздохнула.

– Я боюсь, – прошептала она, но тотчас же, начиная неувовимо изменяться, стала так близко к свету дверей, что ее лицо осветилось. Ее нога три раза шевельнула пальцами, и она мысленно сосчитала: раз, два, три. Затем, в слезах, ликуя и плача, Элда быстро подбежала к постели.

Доктор невольно встал, похолодев, как и Готорн, которого искусно сделанное Элдой преобразование освободило от напряжения и ожидания. Тяжесть свалилась с него. Он передал Фергюсона в опытные и ловкие руки.

– Наконец то я здесь! – услышал он с восхищением верные и живые звуки голоса Элды, полного страстного облегчения. – Как будто вечность прошла! Встречай бродягу свою, друг мой. Ты меня не забыл? Если не забыл, то прости!

Фергюсон сел и, прислонившись затылком к стене, протянул руки. Он смотрел иступленно, как сталкиваемый в пустоту. Но вокруг влажных его зубов, обведенных исхудавшими губами, широкая и острая сверкала улыбка. Ни сказать, ни крикнуть он не мог, лишь задыхался, все сильнее выгибая вперед грудь и закидывая лицо. Наконец он мучительно закричал, и этот его крик – «Анготэя!» – был так ужасен, что доктор и Готорн бросились в комнату. Большой бился и хохотал, заливаясь слезами. Придерживая его руки, Готорн заметил, что Фергюсон никого не видит, кроме Элды; изо всех своих последних сил он смотрел на нее.

– Анготэя, – прошептал он, – ты теперь не будешь ходить одна?

– Никогда, – сказала Элда. – Я была далеко, но всегда помнила о тебе. Я изголодалась и напугалась; ноги мои устали и изранены. О, как там было все немило и чуждо! Стены стояли кругом, внизу слышался рокот. Никак нельзя было выйти из скал. Но зеркало-то – разбито...

Готорн с удивлением слушал, как она легко и естественно перевирает его бумажный набросок.

– Разбейте его, – сказал Фергюсон, прочь дрянное стекло!

– Я разбила его камнем, – подтвердила Элда. Она закрыла одеялом ноги Фергюсона, устала подушку между стеной и затылком, потом встала на колени перед кроватью и взяла руку больного. Потеревшись лицом о его колено, она вытерла слезы. Другая рука Фергюсона, вырвавшись из руки доктора, протянулась и коснулась ее лба концами дрожащих пальцев.

– Дурочка... – сказал Фергюсон, потом закрыл глаза и стал умирать. Его голова тряслась вначале резко, потом все тише, и он медленно упал на подушку с уже умолкшим лицом, – лишь в его вздувшихся ребрах еще не прекращалась мелкая дрожь.

Доктор открыл веки Фергюсона и пощупал пульс.

– Агония, – сказал он очень тихо.

Элда поднялась с пола. Испуганно взглянув на умирающего, она потерла занывшее колено и выбежала переодеться.

Когда она возвратилась, умерший был уже закрыт простыней. Доктор и Готорн сидели у стола в другой комнате и рассматривали его бумаги.

При входе Элды они встали, и Готорн поблагодарил ее, прибавив, что лишь характер случая мешает ему воздать должное ее таланту, который она употребила на, может быть, странное,

но истинно человеческое дело.

– А вы – как? – спросила она у доктора.

– Превосходно, – ответил доктор. – но мне трудно говорить об этом теперь.

Элда подошла к Готорну, чертя на полу концом зонтика запутанную фигуру.

– Вот что, – сказала она с детским выражением больших прямых глаз. – Вы заплатите чеком или наличными? Согласитесь, что завтра банки закрыты.

– Наличными, – сказал Готорн, передавая ей приготовленный пакет с пятьюдесятью ассигнациями.

Вспыхнув от удовольствия, Элда понесла пакет на свободный угол стола. Там она присела считать. Доктор долго смотрел, как она считает ассигнации, затем нахмурился и закрыл глаза.

Досчитав, Элда шевельнула губами, с сомнением посмотрела на Готорна.

– Не хватает семидесяти пяти, – сказала она. – Я считала два раза. Сосчитайте сами, если не верите.

– Я верю и прошу извинить мою рассеянность, – сказал Готорн, добавляя нехватящую сумму. – Теперь идите к автомобилю. Я уже приказал отвезти вас обратно.

– Благодарю, – сказала она, счастливая, усталая и закруженная своей удачей. – Ну, всего хорошего... От меня немного цветов вашему чудаку. Но только две буквы «Э.» и «С.».

Проводив ее и посмотрев на ее затылок в круто завернувшем автомобиле, Готорн вернулся к доктору, который сказал:

– Она слаба в арифметике.

– Я сделал это нарочно, так как понял ее и знал, что она будет считать. Я сделал так затем, чтобы окончательно отделить Элду от Анготэи...

Измена

I

Годвин уехал так весело, что покачивался даже в окне вагона, а провожавшие его Бутс, Томас, Лей и Брентган, обнявшись, пустили по ветру свои платки, которыми махали счастливцу, прощенному отцом за беспутство и едущему загладить прошлое среди богобоязненных теток.

Кстати – отцу Годвина оставалось недолго жить.

– Летела муха на патоку! – закричал Годвин из окна.

– Летела муха на па-а-току! – грянул хор друзей, и, содрогаясь от скуки, поезд ушел из города в синюю степь.

Кая Брентгана ждала домой его жена, Джесси, но, растворясь в цветных жидкостях, он был далек от процесса кристаллизации и уехал в страну оркестров, где почему-то раздавался звон битой посуды.

Утром Брентган проснулся у Лея. Ему казалось, что он покинул мир качалок, поставленных на аэроплан. Белокурый, стройный Лей сидел против него и, растирая розовую шею, прихлебывал красное вино. На его нежном лице было удрученное выражение кряхтящего старика.

– Что произошло? – сказал Брентган, поднимаясь с кушетки и стараясь отыскать просвет в своей памяти, сплавленной в безобразный шлак. – Я ничего не помню. Дай мне стакан вина.

Лей налил ему; Брентган жадно выпил, и его покинуло противное ощущение спрятанной во рту толстой рыбы. Но ничуть не яснее было в оглушенном мозгу.

– Мы хотели отправить тебя домой, но ты поехал ко мне. Ты не хотел, чтобы Джесси видела твоё состояние.

– А Бутс? Томас?

– Не знаю. Они задержались у наших маленьких гейш: Греты и Сандрильоны. Ты был очень мил с девушками.

– Послушай, – сказал Брентган, – я ничего не помню с момента, когда начал пить на пари в «Китайском принце». Подними занавес!

– Лучше я его опущу! – расхохотался Лей. – То, что ты называешь «занавесом», есть лишь полог кровати одной пикантной детки.

– Но это ты выдумал! – вскричал Brentган, помертвев и вскакивая.

– Неужели тебя могут расстроить такие пустяки?

– Не может быть! С кем?

– Я перепутал их имена, Кай. Тебя увела черненькая.

– Лей, ты солгал!

Лей побледнел, потом покраснел. Некоторое время он чувствовал себя отвратительно, но вкоренившееся презрение к верности и любви помогло ему заключить свой низкий поступок грязным намеком:

– Во всяком случае... риска не было. Уверю тебя.

Brentган пристально взгляделся в равнодушное лицо Лея и, осунувшись от неожиданного удара, подошел к зеркалу.

Он спал одетый. Зеркало, когда он приводил одежду в порядок, видом покрасневших глаз и состоянием воротничка было на стороне Лея. Brentган отвернулся и подошел к телефону.

Лей, коварно смеясь, наблюдал приятеля, взявшего дрожащей рукой трубку.

– Алло, Бутс? Томас? Да, это Brentган. Нет, некогда. Скажи мне: действительно ли со мной это произошло?

Звучный, толкающий ухо голос Томаса произнес:

– Кай, старина, я догадался по слову «это». Не сомневайся. Думай, что у тебя прорезался зуб. Все в порядке.

– Будь проклят! – сказал Brentган.

– Не ругайся. Брось, милый Brentган. В каком столетии ты живешь? Нельзя же быть вечно смешным.

– Пожалуй, ты прав. Я смешон. Но где же эта квартира?

– Ты молодец; утренние визиты весьма приятны.

Томас сообщил адрес и прибавил:

– Бутс здесь. Он хочет с тобой.

– Хорошо, – солгал Brentган, чтобы отвязаться. – Скажи ему, что я заеду за ним.

Кончив этот разговор, Brentган с содроганием позвонил домой. Лей протяжно зевнул и пробормотал:

– Напрасно ты придаешь этому... придаешь... А-а-а-ах! О-о-о-а-х!

По-видимому, Джесси ждала звонка мужа, так как Brentган сразу услышал ее голос:

– Это кто? – И, как задевший по лицу конец бича, ее тревога передалась ему. – Надеюсь, ты приедешь немедленно.

– Я скоро приеду, – нервно сказал Brentган. – Вот случай! Проводы затянулись.

– Воображаю. Бутс уже сказал мне.

– Что он сказал? – оцепенев, крикнул Brentган.

– Что ты отправился к Лею. Где ты теперь?

– Я у Лея. Все ли благополучно?

– Да. Но... что с тобой?

– Так я приеду, – сказал Brentган, избегая ответа.

– Ну да... Я так жду...

Вдруг он почувствовал, что не в состоянии продолжать разговор, и, медленно опустив трубку, с болью внимал быстрым словам, мелко и неразборчиво отдающимся в сжатой руке. Что-то живое и бесконечно преданное трепетало внутри мембраны, только что перенесшей к нему сдержанное огорчение Джесси.

Догадавшись, с какой целью Brentган хочет ехать в квартиру девиц, Лей, несколько струсив, пытался его отговорить, ссылаясь на более интересное место, но Brentган почти не признавал, что говорит Лей. Два раза Brentган сказал: «Да... Конечно... Ты прав», – и вышел от него в дикой тоске, стремясь иметь точные доказательства. Приятели ужаснули его.

II

«Если произошло то, что я считал невыносимым в моей жизни с Джесси, – думал Брентган, когда такси вез его по мрачному адресу, – я должен буду ей об этом сказать. Иначе как бы я смог переносить ее взгляд? Я не виноват, я стал только внезапно и тяжело болен стыдом. Я стал болен тем, что стряслось».

Он вспомнил свою жизнь с Джесси, их любовь, понимание, близость и доверие. Над всем этим раздался злой смех. Брентган и Джесси были теперь такие же, как и все, с своей маленькой грязноватой драмой, до которой нет никому дела.

Брентган обратился к философии, именуемой парадно и гордо: «сеть предрассудков». Философия эта напоминала отлично вентилируемый пассаж, с множеством входов и выходов. На одном входе было написано: «Особенности мужской жизни», на другом: «Потребности в разнообразии», на третьем: «Наследственность», на четвертом: «Темперамент» и так далее; каждый вход помечен был хитрой и утешительной надписью.

– Все это хорошо, – сказал Брентган, – но все это неприменимо к той правде, которая соединяет меня и Джесси. В области желаний все может стать «предрассудком». Я могу выйти из такси и почесать спину об угол дома. Я могу не заплатить своих долгов. Могу сказать незнакомой женщине в присутствии ее мужа, что я ее хочу; если же муж вознегодует, – сошлюсь на искренность и естественность своего желания. Так же всякий другой может подойти к Джесси, а я выслушаю его желания и буду продолжать разговор о красивых ногах Эммы Тейлор.

Чувство глубокого одиночества, совершенной, беззубой пустоты охватило его при этих образных заключениях.

– Но такая жизнь – только в танцах, – сказал Брентган. – Человечество изобрело танцы, как рисунок своих вожделений.

Между тем решение вопроса лежало не в логике, а в прекрасном и редком чувстве Джесси к нему. Это чувство нельзя было трогать ни грубой, ни жестокой рукой.

Такси остановился у недурного подъезда, и Брентган взобрался на второй этаж, к двери с номером 3. Впервые он задумался над тем, что он скажет? Это естественное колебание было подавлено тревогой обокраденного, разыскивающего пропавшую вещь. Он вздохнул, выпрямился и позвонил.

III

Ему открыла женщина, которую Брентган не успел разглядеть, так как она тотчас убежала, кутая голые плечи в меховую накидку. Он прошел к раскрытой двери гостиной и остановился. Никто не появлялся, лишь в соседней комнате слышался шепот. Затем раздался смех и появилась девушка лет двадцати трех, в цветной пижаме и желтой юбке. Эта пижама и гладко остриженные черные волосы придавали ей больной вид. По равнодушию ее взгляда Брентган видел, что она знает его, но сам ничего не помнил. Зевнув, она протянула руку.

– Ах, это вы, – сказала девушка, рассматривая посетителя в тоне раздумья. – Других нет? Вы один?

– Один и не надолго, – ответил Брентган с волнением чрезвычайным.

– Дело в том, что я адски хочу спать, – заявила она, идя за ним в гостиную и поигрывая пальцами в карманах пижамы. – Вы нас разбудили, молодой человек... а ваше имя? Ах, да... вы... этот... этот... Ренган? Если хотите, сидите и дожидайтесь, пока я пополюсь в ванной.

– Послушайте, Грета...

– Грета еще не встала. Вы перепутали.

Никакие усилия не помогли Брентгану вспомнить ни девушку, ни маленькую гостиную ярких тонов с роскошным трюмо и с концертино на низком столике рядом с конфетной коробкой, полной окурков. Запах вина и духов угнетал Брентгана.

– Послушайте, – сказал он, – со мной произошла дикая вещь. Я ничего не помню: ни вас, ни эту квартиру. Но мне сказали, что я был здесь...

– Да. – Девушка мрачно смотрела на посетителя; она испугалась. – Но вы не были со мной. Также и с Гретой. У вас что-нибудь пропало?

– Не был?! – вскричал Брентган, схватив ее руки. – Не был? Говорите, говорите! Я хочу знать правду. Правду о себе. Только это! Повторите еще!

– Прочь! – Она вырвала свои руки и отскочила. – Что вы хотите?

Он молчал, и она поняла его.

Ее крашенный рот двинулся неопределенным, жалким движением. Деланно рассмеявшись, она указала на кресло:

– Тут вы спали, и вас ничто не могло разбудить. Эти ваши приятели – дураки. Еще больший дурак – вы. Это они сговорились, – понимаете? – сговорились водить вас за нос. Я слышала.

– Я так и думал, – сказал Брентган, сердце которого одним сильным ударом вышло из угнетения.

– Думал? Тогда вы не приехали бы сюда.

– Сюда? О, это не то... Простите меня. Я не мог представить, что... Но вы понимаете.

– Конечно, я понимаю, – сказала она, вся потускнев и смотря взглядом побитой. – Теперь идите к вашей жене и не беспокойтесь... Ваши приятели... о, они не любят вашу жену. Они говорят, что вы «пресноводное».

– «Пресноводное»? – Брентган весело рассмеялся. – Ну, пусть их...

Его охватила теплая, искренняя признательность к этой девушке с зачеркнутым будущим, которая поняла его состояние и не поддержала глупую травлю.

– От всего сердца благодарю вас! – сказал Брентган, снова беря ее руку и крепко сжимая узкие холодные пальцы. – Вы – благородное существо.

Ответом ему был неожиданный щелчок в нос, нанесенный так метко и зло, что Брентган вскрикнул.

– Зачем вы это сделали? – спросил он, потерявшись и задыхаясь от унижения.

– Уходите! – Она стояла в слезах, обозленная и растерявшаяся до того, что едва не кинулась на него. – Ступайте вон!

Не помня себя от стыда, Брентган вышел, вздрогнул от грома хлопнувшей двери и подождал такси.

Стыд долго не покидал его. Лишь входя в свою квартиру, Брентгану удалось вернуть чувство веселья и счастья быть невиновным, говоря с Джесси.

IV

Он застал ее в кабинете, на самом верху лестницы, у книжного шкапа. Взяв нужную книгу, Джесси спустилась, опираясь рукой о плечо мужа, и сказала:

– Вот, ты вернулся, и я спокойна теперь. Я знаю, – что-то произошло.

– Да, произошло. Я расскажу, пока еще взволнован, чтобы ты видела, в каком я был состоянии. Оно окончилось. Я был очень... очень пьян. Как животное.

– Да? Печально. – Джесси шутливо покачала головой и, видя, что Брентган затрудняется говорить, положила на его рукав свою руку. – Мне все можно сказать, дорогой Кай. Мой дорогой!

– Да? Конечно. О-о! Ну... Мы были у женщин, знакомых Бутса или Томаса, я не знаю наверное, – быстро говорил Брентган, желая скорее передать сущность, чтобы успокоить Джесси. – Я ничего не помнил. Утром мне сказал Лей. Он и остальные выдумали, что я... не помня себя... тоже. Все перемешалось во мне. Я раздобыл адрес, отправился в то место и узнал от... одной из двух, что все ложь. Оказывается, я проспал ночь, сидя в кресле, и был увезен к Лею бесчувственный.

– Ты боялся, что?.. – тихо спросила Джесси.

– Да, я боялся, что... в таком состоянии мог.

– Разве ты не знаешь себя?

– Знаю.

– Как же ты мог бояться?

Брентган молчал. Приветливая улыбка Джесси ввела его в заблуждение: он мало всмотрелся в ее замкнувшиеся глаза.

– Я тебя не узнаю. Ты ли это, Кай?

– Это я, Джесси. Я сам.

– Но даже я сообразила, что это не могло быть. Бутс сказал, что ты стыдишься ехать домой. Разве то, чего ты боялся, меньше появления в пьяном виде?

– Сама мысль ужаснула меня. Внутренний голос молчал. Я не мог прийти к тебе с такими сомнениями. Теперь ты видишь, что все это – пустяк, пусть даже все было связано с попойкой.

– Пустяк? Допустим. Да, ты прав, конечно... Пустяк. Но в этом пустяке ты не был мужчиной.

Брентган так изумился, что выронил папиросу, которую собирался закурить дрожащей рукой. Настойчивость и прямота действий, совершенных им, вполне удовлетворяли его. Он затосковал, взял неподатливую руку Джесси и склонился к ее чистой прохладе горячим лбом.

– Так что же, что же? – простонал он, зная, что ни за что не сможет признаться, теперь и никогда, в унижительных подробностях сцены у спасшей его женщины.

– Надо было рассмеяться и дернуть, даже больно, Лея за ухо. Тогда он и все узнали бы, что ты, мой муж, знаешь себя во всем и всегда.

– Джесси, я думал о своем страхе!

– Конечно, но не думал обо мне. О, успокойся! Ты невинен, бедный мой Кай!

Она нервно расхохоталась, отчего Брентган колко спросил:

– Джесси, ты недовольна?

– Знаешь, мне легче было бы, – взволнованно ответила Джесси, – легче было бы мне снести ту правду, которой ты так боялся, чем эту. Ты и я теперь всю жизнь обязаны девушке, к которой ты явился допрашивать и тем, конечно, страшно обидел ее.

– Ты меня больше не любишь? – спросил Брентган после продолжительного молчания.

– Я любила и буду любить тебя, но сегодня я тебя не люблю. Прощай; мне надо съездить к Доротее Сноу.

В дверях мелькнули перед ним ее полные слез глаза, и, тяжело вздыхая, Брентган подошел к окну.

Кусая губы, он смотрел в переулок, залитый дождевой грязью. Проехал огромный фургон, расхлестывая брызги, попавшие на отшатнувшихся прохожих. Один из них выругался, погрозил кулаком и начал с остервенением счищать коричневые шлепки, размазывая их по материи. Другой прохожий, взглянув на свой рукав и, видимо, решив дать пятну отсохнуть, продолжал путь, читая заголовки в газете.

Брентган бессознательно провел пальцами по своему рукаву, но темная ассоциация угасла, едва наметься.

Он сел и задумался.

Открыватель замков

В ноябре 1797 года механик Генри Модлей поссорился со своим хозяином Джозефом Брамахом⁴⁹ и начал самостоятельное дело, сняв полуразрушенную кузницу. Два дня Модлей и его хорошенькая жена, Сарра Тиндэль – теперь мистрисс Модлей, – работали не покладая рук, чтобы привести заброшенное помещение в годное для работы состояние; так как Модлей, очень любивший свое дело, хотел непременно начать работать с понедельника, то два дня – пятница и суббота – прошли в починке верстаков, горна и свинцовых оконных рам. Часть инструментов, сделанных для себя за время работы у Брамаха, Модлей перенес в кузницу; остальной необходимый инвентарь – молоты, клещи и т. п. – ему пришлось купить из последних денег, но он не жалел о расходах, так как знал, что недостатка в заказах не будет.

⁴⁹ Д. Брамах родился в 1748 г. Г. Модлей родился в конце XVIII столетия в 1771 г.

Действительно, не успел Модлей выпить кружку эля и съесть кусок холодного пирога с мясом, которые Сарра принесла из ближайшей таверны, как дверь открылась и в кузницу вошел пожилой человек в темном плаще – художник Лингрев, живший на Пикадилли, по соседству с мастерскими Брамаха. Не даровитый, однако имеющий много заказов, благодаря спасительному инстинкту посредственности – уметь угождать клиентам, – Лингрев рисовал портреты. У него была слабость желать усилить свое значение разного рода выдумками; так, он заказал Брамаху для входной двери висячий фонарь в виде полушария, а теперь, прослышав, что главный мастер Брамаха ушел от хозяина, явился заказать Модлею железный мольберт, чертеж которого нарисовал сам.

– Мистер Лингрев! – воскликнул Модлей, в то время как просиявшая Сарра торопливо вытирала скамейку для посетителя. – Мы еще ничего не начали! Только что привели в порядок эту лачугу. Не были ли вы у Брамаха?

– Вот именно, – ответил, усаживаясь, Лингрев, – я вынес впечатление, что дядя Джозеф едва ли сам очень доволен своим поступком по отношению к Модлею. Разумеется, мне нужен мастер Модлей. Я люблю тщательно отделанные вещи, и едва ли кто-нибудь может работать так тщательно, как ваш муж, милая Сарра.

– Я совершенно уверена в этом, – ответила молодая женщина, принимая важный вид, но отворачиваясь, чтобы не рассмеяться. Схватив веревку кузнечных мехов, она стала раздувать горн; треща, полетели искры.

– Сядь, Сарра, – сказал Модлей, – ты мешаешь мистеру Лингреву говорить о своем деле.

– Старый ватерклозетчик!⁵⁰ – воскликнула мистрисс Модлей, бывшая ранее служанкой Брамаха. – Если бы еще он был скуп! Не перебивайте, у меня накопело на старика. Он не скуп, но он считает Генри мальчиком. И это в то время, как Генри придумал ему столько разных усовершенствований для станков и замков! Вослицание Сарры Модлей – «старый ватерклозетчик» – относилось к началу деятельности Брамаха.

Лингрев и Модлей рассмеялись.

– Сарра права, – сказал Модлей. – Один мой самозадерживающий клапан для гидравлических прессов дал дяде Джозефу несколько тысяч фунтов.

– Все любили Генри, – продолжала взволнованная Сарра. – А вы знаете, что его нельзя не любить. Он честен и прямодушен. Если он талантливее Брамаха, то...

– Довольно, Сарра, – мягко сказал Модлей.

– Я только доскажу: ты, главный мастер, получал тридцать шиллингов в неделю. Что же, он не мог прибавить пятнадцать?

– Боюсь, не начал ли мистер Брамах завидовать вам? – заметил Лингрев.

Модлей нахмурился и допил свой эль; понимая его молчание, Лингрев достал чертежи мольберта, и они принялись толковать о заказе, а Сарра удалилась в жилое помещение над мастерской, чтобы устроить постели.

Когда Модлей, очень довольный первым самостоятельным заказом, проводил художника и закрыл дверь, им овладело раздумье. Он был один в полутемной кузнице, с полной уверенностью в своих силах и с недоумением по отношению к Брамаху. Действительно, не завидовал ли старый механик-изобретатель молодому человеку с ясным умом и точной рукой? Придуманый Модлеем самозадерживающий клапан гидравлического пресса превратил это изобретение в практически полезную машину, тогда как без Модлея прессу суждено было остаться лишь интересной игрушкой. Но Брамах неохотно говорил о клапане Модлея; даже не упомянул о нем вообще, когда составлял подробное описание гидравлического пресса. Модлей вспомнил массу труда, терпения и изобретательности, какие употреблены были им ради усовершенствования орудий и машин для выделки знаменитых замков Брамаха; вспомнил он также, что Брамах признавался в семейном кругу, – о чем знала Сарра, – как нужен ему Модлей ради усовершенствования обработки замков. Модлей работал у Брамаха несколько лет, но, добившись звания главного мастера, не добился пустяковой прибавки к жалованью.

⁵⁰ «Мастер, устраивающий ватерклозеты» — первоначальная вывеска мастерской Брамаха.

«Да, Сарра права, – сказал Модлей, – старик хочет взять все и не дать ничего. Он ревнует меня к тому, что я изобретаю. Однако надо работать».

Сказав так, Модлей подошел только к токарному станку с лично им придуманным самодействующим суппортом, чтобы еще раз проверить это усовершенствование, сыгравшее впоследствии такую огромную роль для токарей по дереву и металлу, как вынужден был обернуться.

Перед ним стоял человек малого роста, в нахлобученной до самых глаз кожаной шляпе, шерстяных чулках и наглухо застегнутом дорожном камзоле, поверх воротника которого был обмотан дорогой шелковый шарф. Быстрые напряженные глаза посетителя остановились на серьезном красивом лице Модлея, который хотя не испугался, однако нахмурился и, быстро подойдя к неизвестному, резко спросил, – что значит его неслышное, загадочное присутствие?

– Мистер Модлей, – сказал незнакомец, торопливо разматывая шарф, чтобы освободить затекшую шею, и не сводя с мастера нагло-серьезных глаз, – время позднее, но я сильно стучал. Должно быть, вы крепко задумались. У меня есть дело, прямо касающееся вас, а так как я привык говорить все сразу – то имейте терпение выслушать. Может быть, мое посещение пригодится как вам, так и мне.

Хриплый, самоуверенный голос незнакомца, его лицо и темная, отталкивающая хитрость рыскающих по собеседнику глаз – внушали Модлею мало доверия к посетителю, но вежливый по природе механик не мог отказать в беседе кому бы то ни было, если еще не спал. Жестом пригласив гостя сесть на деревянную скамью, ближе к горну, потому что холодная зима студила ноги и руки, Модлей встал у стены и, заложив руки за спину, приготовился слушать.

– Хотите знать, кто говорит с вами? – сказал незнакомец.

– Вероятно, изобретатель, – шутливо ответил Модлей.

– Меня зовут Джек Алевар, из Филадельфии, – сказал посетитель, начав еще внимательнее изучать выражение лица механика, скрытого тенью кузнечного меха. Пять часов назад я оставил палубу корабля «Кентукки» и уже побывал у Брамаха. Его я не видел. Я узнал все, нужное мне, окольным путем. Хотите ли вы заработать двести фунтов?

– Надо послушать, как это вы расскажете все до конца, – возразил Модлей, – потом будем судить, очень ли хочется мне заработать так любезно предложенные вами двести фунтов.

– «Иди прямо к делу», – говорил покойный Том – Рваная Голова, – сказал Джек Алевар. – Вы, черт возьми, сбили меня своим дьявольски рассудительным замечанием. Мистер Модлей, я плыл четыре недели совсем не ради того, чтобы греть свои ноги около ушей вашего горна. Я тоже изобретатель, однако из скромности умолчу о своих открытиях. Они... гм... довольно многочисленны. Но я хочу сделать еще одно открытие, и вы можете мне помочь.

– Какого рода открытие?

– Я говорю о патентованном висячем замке Брамаха, – сказал Джек Алевар, подсаживаясь ближе к Модлею и понижая голос. – Имейте терпение выслушать. Как вам известно, мистер Модлей, в окне мастерской Брамаха, на Пикадилли, девятый год висит объявление, обещающее двести фунтов стерлингов тому, кто откроет без помощи ключа, отмычкой или другим инструментом, знаменитый патентованный замок вашего бывшего хозяина. Сотни лиц брались за такое дело, однако еще никто не открыл замка. Надо сказать вам, что в Америке на эти замки большой спрос, и так как устройство механизма не позволяет подделать ключ, то естественно, что у людей, склонных к разрешению умственно-приятных задач, начали чесаться мозги и руки. Три месяца тому назад я заключил пари с мистером Фергюсом Дезантом, арматором, на десять тысяч долларов в том, что открою замок Брамаха без ключа к пятнадцатому декабрю тысяча семьсот девяносто седьмого года. Мистер Модлей, я ошибся в своих силах и переоценил свои способности, которые, смею сказать... Сегодня четырнадцатое ноября. Итак, я слушаю вас.

– В чем же дело? – спросил Модлей. – Если я вас правильно понимаю, вы не прочь подкупить меня? Так, что ли?

– Ну, нет, – воскликнул Джек Алевар. – Это вы подкупили меня, подкупили вашим талантом, вашей любезностью, наконец вашей энергией. Я хотел только просить вас сообщить мне способ открыть замок, так как мое безвыходное положение очевидно. Простая, я скажу даже –

пустяковая услуга, тем более что, совершенствуя Брамаху эти замки, вы, конечно, знаете о них все. Я же, со своей стороны, охотно передал бы вам премию; и даже очень прошу вас принять ее – раз вы находитесь в затруднительных обстоятельствах.

– Как это вы успели так скоро узнать о моих обстоятельствах, – рассмеялся Модлей.

– Вы шутите! Почему – скоро?! Иногда в течение пятнадцати минут мне удавалось... гм... да... делать серьезные открытия. Гм... я – американец, мистер Модлей. «Да» или «нет»?

– Генри! – крикнула сверху Сарра. – С кем ты там говоришь?

– Останься наверху, – громко ответил Модлей. – Я скоро приду. – Обратясь к Алевару, Модлей продолжал: – Не выйдет, мистер Алевар; говорю это прямо и окончательно. Так что не пытайтесь настаивать.

Американец некоторое время пристально смотрел на изобретателя и получил второй ответ взглядом Модлея, выразившим довольно красноречиво желание избавиться от предприимчивого собеседника.

– Брамах вас обидел, – заметил Джек как бы про себя.

– Что бы ни было между нами, я не хочу расплачиваться фальшивой монетой. Довольно об этом.

Джек Алевар встал, вздохнув так тяжело и скорбно, как если бы у него пропала охота жить.

– Еще раз, – нерешительно сказал Алевар. – Вам деньги нужны...

Модлей положил руку на плечо собеседника и зевнул.

– Проваливайте, парень, – сказал он. – Я вижу, вы приехали не из Америки, а с Гай-стрит.

Удивленный Алевар хотел было обидеться, но поперхнулся и рассмеялся.

– Вы, Генри Модлей, честный человек, – сказал он довольно кисло, – но я тоже честный человек и не хочу вас больше обманывать. Я – вор. Только я живу не на Гай-стрит, а на Пикадилли. Хотите – верьте, хотите – нет, однако эти проклятые замки у меня вот где сидят!

Алевар хлопнул себя по затылку, плюнул и спросил:

– Но в чем же дело?

– Если хотите знать – тщательная отделка и пригонка частей, – сказал Модлей. – Вот главное.

– Главное... главное... – пробормотал, уходя, Джек Алевар.

Он был на улице и не слышал хохот Модлея, отметившего несмотря на утомление весь каторжный юмор этой заключительной реплики. Услышав смех мужа, Сарра сбегала вниз и, узнав, что произошло, крепко поцеловала своего Генри.

– Вот! Ты всегда был такой, – сказала она. – Дядя Джозеф!

С великим изумлением муж и жена смотрели на тучную фигуру и мрачное лицо «старого ватерклозетчика» Джозефа Брамаха, явившегося, в порыве раскаяния мириться с бывшим своим главным мастером. Брамах вошел, тяжело опираясь на трость; сжав зубами черенок трубки, старик нервно процедил:

– Ну, Генри, довольно. Пятнадцать шиллингов я прибавлю. Сарра, уговорите вашего мужа! Все дело в проклятой печени!

– Нет, нет! – живо воскликнул Модлей. – Мы слишком долго работали вместе, дядя Джозеф, над вашими и моими изобретениями, чтобы печень принять в расчет. Мы были товарищами. Вы захотели показать, что вы хозяин. Оставайтесь хозяином. Надеюсь, что я не умру от голода.

Брамах начал просить, убеждать, но Модлей не согласился вернуться. Рассерженный Брамах сказал:

– Бросим. К тебе не заходил этакий потасканный джентльмен, лет сорока? Этот человек вертелся сегодня утром в трактире около Ландау и Проктора; он их выпрашивал, где ты снял кузницу и... будешь ли делать замки. Проктор сознался, что наболтал.

– Никто не был, – ответил Модлей. – Идите спать, дядя Джозеф. У меня против вас нет зла в сердце моем, только вознаграждение за мой адский труд должно было бы быть справедливее.

– Генри не пойдет к вам, – заявила Сарра. – Ведь он не мальчик теперь. Генри прост, но он тверд, как...

– Как что, дерзкая девчонка? – закричал Брамах.

– Как солдатский кожаный галстук, который спас мне жизнь в Вест-Индии, – сказал Модлей, улыбаясь и показывая шрам на шее под скулой, оставленный пулей, скользнувшей по галстуку. – Не будь этой кожи, не было бы на свете Модлея. Что толковать? Дядя Джозеф, ступайте домой. Спокойной ночи!⁵¹

Гнев отца

Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла.

Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более значительные, например, дырка на желтой портюре, сделанная зажигательным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне», драка с сыном соседа, – но мыльные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдо с пеной, а тетя Корнелия – стеклянную трубочку.

Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников: сделаться преступником или бродягой – и, окончив выговор, сказала:

– Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.

Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:

– Его гнев будет ужасен!

Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожидает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упоминание о «гневе» отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев, – значило бы показать, что он трусил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.

Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что от встреченных людей.

В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.

Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:

– Хуг!

Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.

– Все спокойно на Ориноко, – сказал он. – Гуруны преступили в прерию.

Но Том опечалился и не поддался игре.

– Не знаете ли вы, кто такой гнев? – мрачно спросил он. – Никому не говорите, что я говорил с вами о гневе.

– Гнев?

– Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев. Тетя будет сплетничать, что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я... не хочу, чтобы гнев узнал.

– Ах, так! – сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил мальчика отступить на три шага. – Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегают! Глаза косые. Неприятная личность. Жуткое существо.

Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьмилетнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного пуска стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» попасть в раму.

Движимый чувством привязанности и благоговения к тоненькому кудрявому существу, Том бросился напрямик сквозь кусты, расцарапал лицо, но не догнал девочку и, вытерев слезы

⁵¹ Замок Брамаха был открыт лишь в 1851 г. американцем Гоббсом, потратившим на это дело 16 дней.

обида, пошел домой.

Горничная, накрыв к завтраку стол, ушла. Том заметил большой графин с золотистым вином и вспомнил, что капитан Кидд (из книги «Береговые пираты») должен был пить ром на необитаемом острове, в совершенном и отвратительном одиночестве.

Том очень любил Кидда, а потому, влезши на стол, налил стакан вина, пробормотав:

– За ваше здоровье, капитан. Я прибыл на пароходе спасти вас. Не бойтесь, мы найдем вашу дочь.

Едва Том отхлебнул из стакана, как вошла Корнелия, сняла пьяницу со стола и молча, но добросовестно шлепнула три раза по тому самому месту. Затем раздался крик взбешенной старухи, и, вырвавшись из ее рук, преступник бежал в сад, где укрылся под полом деревянной беседки.

Он сознавал, что погиб. Вся его надежда была на заступничество отца перед гневом.

О своем отце Том помнил лишь, что у него черные усы и теплая большая рука, в которой целиком скрывалось лицо Тома. Матери он не помнил.

Он сидел и вздыхал, стараясь представить, что произойдет, когда из клетки выпустят гнев.

По мнению Тома, клетка была необходима для чудовища. Он вытащил из угла лук с двумя стрелами, которые смастерил сам, но усомнился в достаточности такого оружия. Воспрянув духом, Том вылез из-под беседки и крадучись проник через террасу в кабинет дяди Карла. Там на стене висели пистолеты и ружья.

Том знал, что они не заряжены, так как говорилось об этом множество раз, но он надеялся выкрасть пороху у сына садовника. Пулей мог служить камешек. Едва Том вскарабкался на спинку дивана и начал снимать огромный пистолет с медным стволом, как вошел дядя Карл и, свистнув от удивления, ухватил мальчика жесткими пальцами за затылок. Том вырвался, упал с дивана и ушиб колено.

Он встал, прихрамывая, и, опустив голову, угрюмо уставился на огромные башмаки дяди.

– Скажи, Том, – начал дядя, – достойно ли тебя, сына Гаральда Беринга, тайком проникать в этот не знавший никогда скандалов кабинет с целью кражи? Подумал ли ты о своем поступке?

– Я думал, – сказал Том. – Мне, дядя, нужен был пистолет. Я не хочу сдаваться без боя. Ваш гнев, который приедет с отцом, возьмет меня только мертвым. Живой я не поддамся ему.

Дядя Карл помолчал, издал звук, похожий на сдавленное мычание, и стал к окну, где начал набивать трубку. Когда он кончил это занятие и повернулся, его лицо чем-то напоминало выражение лица Мунка.

– Я тебя запру здесь и оставлю без завтрака, – сказал дядя Карл, спокойно останавливаясь в дверях кабинета. – Оставайся и слушай, как щелкнет ключ, когда я закрою дверь. Так же щелкают зубы гнева. Не смей ничего трогать.

С тем он вышел и, два раза щелкнув ключом, вынул его и положил в карман.

Тотчас Том прильнул глазами к замочной скважине. Увидев, что дядя скрылся за поворотом, Том открыл окно, вылез на крышу постройки и спрыгнул с нее на цветник, подмяв куст цинний. Им двигало холодное отчаяние погибшего существа. Он хотел пойти в лес, вырыть землянку и жить там, питаясь ягодами и цветами, пока не удастся отыскать клад с золотом и оружием.

Так размышляя, Том скользил около ограды и увидел сквозь решетку автомобиль, несущийся по шоссе к дому дяди Карла. В экипаже рядом с пожилым черноусым человеком сидела белокурая молодая женщина. За этим автомобилем мчался второй автомобиль, нагруженный ящиками и чемоданами.

Едва Том рассмотрел все это, как автомобили завернули к подъезду, и шум езды прекратился.

Смутное воспоминание о большой руке, в которой пряталось все его лицо, заставило мальчика остановиться, а затем стремглав мчаться домой. «Неужели это мой отец?» – думал он, пробегая напрямик по клумбам, забыв о бегстве из кабинета, с жадной утешения и пощады.

С заднего входа Том пробрался через все комнаты в переднюю, и сомнения его исчезли. Корнелия, Карл, Мунк, горничная и мужская прислуга – все были здесь, все суетились вокруг

высокого человека с черными усами и его спутницы.

– Да, я выехал днем раньше, – говорил Беринг, – чтобы скорее увидеть мальчика. Но где он? Не вижу его.

– Я приведу его, – сказал Карл.

– Я пришел сам, – сказал Том, протискиваясь между Корнелией и толстой служанкой.

Беринг прищурился, коротко вздохнул и, подняв сына, поцеловал его в расцарапанную щеку.

Дядя Карл вытаращил глаза.

– Но ведь ты был наказан! Был заперт!

– Сегодня он амнистирован, – заявил Беринг, подведя мальчика к молодой женщине.

«Не это ли его гнев? – подумал Том. – Едва ли. Не похоже».

– Она будет твоя мать, – сказал Беринг. – Будьте матерью этому дурачку, Кэт.

– Мы будем с тобой играть, – шепнул на ухо Точа теплый щекочущий голос.

Он ухватился за ее руку и, веря отцу, посмотрел в ее синие большие глаза. Все это никак не напоминало Карла и Корнелию. К тому же завтрак был обеспечен.

Его затормошили и повели умываться. Однако на сердце у Тома не было достаточного спокойствия потому, что он хорошо знал как Карла, так и Корнелию. Они всегда держали свои обещания и теперь, несомненно, вошли в сношения с гневом. Воспользовавшись тем, что горничная отправилась переменить полотенце, Том бросился к комнате, которая, как он знал, была приготовлена для его отца.

Том знал, что гнев там. Он заперт, сидит тихо и ждет, когда его выпустят.

Прильнув к замочной скважине, Том никого не увидел. На полу лежали связки ковров, меха, стояли закутанные в циновки ящики. Несколько сундуков – среди них два с откинутыми к стене крышками – непривычно изменяли вид большого помещения, обставленного с чопорной тяжеловесностью спокойной и неподвижной жизни.

Страшась своих дел, но изнемогая от желания снять давящую сердце тяжесть, Том потянул дверь и вошел в комнату. К его облегчению, на кровати лежал настоящий револьвер. Ничего не понимая в револьверах, зная лишь по книгам, где нужно нажать, чтобы выстрелило, Том схватил браунинг, и, держа его в вытянутой руке, осмелев, подступил к раскрытому сундуку.

Тогда он увидел гнев.

Высотой четверти в две, белое четырехрукое чудовище озлило на него из сундука страшные, косые глаза.

Том вскрикнул и нажал там, где нужно было нажать.

Сундук как бы взорвался. Оттуда свистнули черепки, лязгнув по окну и столам. Том сел на пол, сжимая не устающий палить револьвер, и, отшвырнув его, бросился, рыдая, к бледному, как бумага, Берингу, вбежавшему вместе с Карлом и Корнелией.

– Я убил твой гнев! – кричал он в восторге и потрясении. – Я его застрелил! Он не может теперь никогда трогать! Я ничего не сделал! Я прожег дырку, и я пил ром с Киддом, но я не хотел гнева!

– Успокойся, Том, – сказал Беринг, со вздохом облегчения сжимая трепещущее тело сына. – Я все знаю. Мой маленький Том... бедная, живая душа!

Вор в лесу

На окраине Гертоната жили два вора: Мард и Кароль – с наружностью своей профессии. Мард имел мрачный кривой рот, нос клювом и стриженные рыжие волосы, а Кароль был толсто-губ, низколоб и жирен.

Недавно оба приятеля вышли из тюрьмы и еще не принимались ни за какие дела. Кароль пользовался милостями одной базарной торговки, а Мард подрабатывал у вокзалов и театров, всучивая программы представлений или перетаскивая чемоданы. Они нуждались и зверски голодали подчас, но память о плетках надзирателей была еще свежа у них, так что воры боялись пуститься на новое преступление.

Они выжидали выгодный, безопасный случай, но такой случай не представлялся.

Иногда Мард по целым дням валялся на койке, заложив руки под голову и размышляя о жизни. Ему было сорок лет: шестнадцать лет он провел в тюрьмах, а остальное время пил, дрался и воровал. Ему предстояло умереть в больнице или тюрьме.

Скоро овладела им безысходная грусть, и Кароль вынужден был кормить своего приятеля, ругая его при том собакой и дармоедом, на что Мард после страшных проклятий заявлял:

– Не беспокойся. Рано или поздно я заплачу тебе.

Прошла зима, в течение которой Кароль совершил – один – две удачные кражи, но все пропил сам, сам все проиграл в карты и к весне очутился не в лучшем положении, чем Мард. Оба питались теперь гнилыми овощами, что выбрасываются рыночными торговцами, и мечтали о мясе, булках, водке. Все распродав, воры остались босые, в лохмотьях.

От голода и нервности мысли Марда приняли странное направление. У него появилась идея придумать что-нибудь такое заманчивое, хотя бы неосуществимое, вокруг чего можно было бы собрать несколько человек с деньгами, – хорошо поесть, поправиться, отдохнуть.

Однажды, бродя по улицам, Мард нашел четырехугольный листок пожелтевшего пергамента, выпавший, вероятно, из старой книги. Ничего не говоря Каролю, Мард выпросил у прохожих немного денег, купил чернил, перо и забрался в дальний угол грязного трактира за пустой стол. Ему предстояло сочинить план мнимого клада.

Мард развел чернила водой, сделав их совсем бледными, и написал на пергаменте:

«Вверх по реке Ам от Гертона, шестьсот миль от Покета. По устью четыре мили. За скалой озеро; третий песчаный мыс. Два камня возле воды; первый камень в полдень даст тень. Между концом тени и вторым камнем по середине линии вниз пять футов 180 тысяч долларов золотом завязаны в брезент Г.Т.К. и, то же, Д.Ц. Они не знают».

Первый раз за долгое время на мрачном лице Марда растрескалось подобие улыбки, когда он перечитал свое сочинение.

Сложив пергамент несколько раз, вор сунул эту записку в подошву своего стоптанного башмака, надел башмак и ходил так, не разунаясь, неделю, отчего документ сильно слежался, даже протерся по сгибам.

Тогда Мард разбудил рано утром Кароля и сел к нему на кровать.

– Слушай, Кароль, – сказал Мард в ответ на сонную брань сожителя, – я решил поделиться с тобой своим секретом. В тюрьме два года назад умер один человек, с которым я был дружен, и вот этот человек – Валь Гаучас звали его – передал мне документ на разыскание клада. Смотри сам. 180 тысяч долларов.

Кароль ожесточенно сплюнул, но, прочтя записку, поддался внушению искусной затеи, начав, как водится, задавать множество вопросов. Однако Мард хорошо приготовился к испытанию и, толково ответив на все вопросы, окончательно убедил Кароля, что лет десять назад на реке Ам был ограблен пароход, везший большие суммы денег для банка в Гель-Гью; нападающие подверглись преследованию, но успели зарыть добычу, а сами после того были все перебиты, кроме одного Валь Гаучаса. Валь Гаучас вскоре попал в тюрьму, где и умер.

Кароль был недоверчив, но, по роковому свойству людей недоверчивых, раз поверив во что-нибудь, готов был защищать свою уверенность с пеной у рта. Охотнее всего люди верят в неожиданную удачу. Воображение Кароля распалось: Мард поддакивал, горячился, и воровским мечтам не было конца.

– Один я не мог бы ничего сделать, – признался Мард, – так как я не умею доказывать, увлекать; и нет у меня знакомств на реке. А у тебя есть. Так вот – достань катер или большую лодку; придется владельца судна взять в долю.

Кароль побежал в веселый дом, сгоряча уговорил теток-хозяек дать в долг пять долларов, купил водки, сигар, еды и досыта угостил приятеля, завалившегося после того спать; затем Кароль ушел.

Три дня он не появлялся. На четвертый день Кароль пришел с высоким веселым человеком в тяжелых сапогах – хозяином парового катера, Самуэлем Турнай, согласившимся дать судно для разыскания клада. У Турная водились деньги. Он был человек положительный и рассуждал резонно, что ради воздушной пустоты два опытных вора не устремятся к глухим верховьям реки.

Видя, как быстро, уже без его участия, двигается развитие замысла, Мард немного опешил. Однако, представив всю прелесть спокойной, сытой жизни на катере в течение трех-четырех недель, окончательно положился на свою изворотливость и столько наговорил Турнаю, что тот выкурил подряд четыре сигары.

Поздно ночью три человека решили дело: Турнай давал катер, ехал сам, давал продовольствие, табак, виски и приобретал для воров хорошую одежду, а также оружие: револьверы и винтовки.

На другой же день в пять утра катер «Струя» направился из Гертонна вверх по реке Ам. Некоторая путанность записки, составленной Мардом, не обескураживала Турная: он знал хорошо реку, и, по его твердому убеждению, фраза «по устью четыре мили» означала приток Ама, Декульта, – узкую быструю речку со скалистыми берегами.

– Декульт именно в шестистах милях от Гертонна, – говорил Турнай, – но не от Покета; зачем упомянут Покет, неизвестно; должно быть, чтобы сбить с толку непосвященных. Меня не проведешь. Если не Декульт, то Мейран, впрочем, мы обследуем, если понадобится, все речки. Карта со мной.

За время путешествия среди живописных берегов реки Мард отдохнул, поправился; он много ел, вдоволь пил водку и спал, как младенец в утробе матери. В разговорах о кладе он приводил тысячи азартных, тонких предположений, рассуждал о предстоящих покупках и удовольствиях. Однако, чем дальше подвигался катер к Декульту, по берегам которого действительно были озера, тем чаще Мард задумывался.

«В конце концов, на что я надеюсь? – спрашивал себя Мард. – Пройдет еще месяц, золота нигде не окажется, и меня избыют до полусмерти, а может быть, убьют, думая, что я хотел воспользоваться судном лишь для того, чтобы проехать к месту клада, которое скрыл от них».

Итак, ничего не произошло; затея не повернулась как-нибудь неожиданно выгодно; катер плыл; Кароль и Турнай стремились отыскать несуществующее богатство.

«На что я надеялся?» – повторял Мард, сидя ночами у борта и рассматривая дикие темные берега.

За два дня до прибытия в устье Декульта Мард заболел. Ночью он метался, стонал; его рвало и трясло. Чрезвычайно обрадованные случаем избавиться от третьего дольщика, приятели стали уговаривать Марда слезть на берег.

– Так как, – говорил Кароль, – наверное, у тебя тиф или воспаление мозга. Дадим палатку, ружье; все дадим. Ты поправляйся и жди нас. Твоя доля будет тебе вручена, когда вернемся с золотом.

Для приличия Мард впал в угрюмость, заставил компаньонов поклясться, что его не бросят и не обманут, и остался на берегу в лесу, снабженный палаткой, ружьем, одеялом, припасами и топором.

Когда катер удалился, Мард встал, оглянулся и улыбнулся.

– Опять можно жить спокойно, – сказал он, закуривая трубку и выпивая стаканчик рома, – а хину я принимать не буду.

Сняв палатку, Мард перенес свое имущество мили на полторы дальше, к отлогому песчаному берегу, и начал жить, как дачник Робинзоновой складки. Он убивал лосей, коз, уток, ловил рыбу и месяца через полтора стал так здоров, силен, что начал подумывать о возвращении.

Казалось, катер пропал без вести, – Мард более не видел его.

– Наткнулись на камень где-нибудь, – объяснял его исчезновение Мард, – или проплыли обратно ночью, когда я спал.

Лес на берегу состоял из огромных, высоких и прямых деревьев. Мард срубил несколько штук, очистил их от ветвей и скатил рычагами на воду, где увязал стволы вместе отмоченной корой кустарника. Эта работа понравилась ему; медленное падение деревьев, самый звук топора –

звонкое, сочное щелканье – и отчетливые линии пристраивающихся один к одному на веселой воде свежих стволов, – вся новизна занятия пленила Марда. Начал он подумывать, что неплохо было бы сбить большой плот, чтобы продать его по дороге долларов хотя бы за двадцать. Назначив себе сто штук, Мард, однако, увлекся и навалил двести, но когда они вытянулись плотом на песке, не стерпел и прибавил еще пятьдесят.

Никто ему не мешал, не лез с советами, не подгонял, не останавливал. Изредка на речной равнине чернел дым случайного парохода или скользил парус неизвестных промышленников, но большей частью было пусто кругом.

Между тем началась дождливая пора. Ам разлился и снял плот Марда с песчаной отмели. Мард сделал из тонкого бревна руль, поставил свою палатку и, отрубив причал, двинулся вниз по течению. Почти беспрерывно лил дождь, ветер волновал реку, течение которой усилилось благодаря прибыли воды, так что Мард три дня не спал, все время работая рулем, чтобы плот несся посередине реки. Питался Мард сушеной рыбой, заготовленной им еще летом, и желудевым кофе.

К вечеру четвертого дня плавания Мард завидел селение и начал подбивать плот к берегу. Вокруг села заметил он другие плоты, готовые для отправки. Едва его плот поравнялся с домами села, как с берега выехала лодка, управляемая тремя бородастыми великанами; они причалили к плоту и взошли на него, тотчас предложив Марду продать плот. Не зная, что его плот состоит из ценных пород, Мард весело подумал, что хорошо бы взять долларов пятьдесят, и, убоясь, не покажется ли цифра очень большой, начал мяться, но один бородач, хлопнув его по плечу, вскричал:

– Что думать! Берите триста, и дело кончено!

Мард согласился, между тем плот стоил вдвое дороже. Плотовщики сосчитали бревна, уплатили деньги и пошли с Мардом в местную лавку, где вор купил приличное платье взамен изношенного и выпил с торговцами. Ему сообщили, что на другой день отплывает в Гертон парусное судно; Мард пошел к хозяину, уговорился с ним и за небольшую плату стал пассажиром.

«Теперь я уплачу Каролю и Турнаю все их расходы на меня, – размышлял Мард, помогая матросам чистить трюм, нагруженный свиньями, – конечно, они меня выругают, но мы попьанствуем, и дело с кладом забудется».

Судно плыло в Гертон двадцать шесть дней. Приехав, Мард снял номер в гостинице, побрился, выпил и отправился гулять по улицам гавани. Задумчиво шел он, не зная, сейчас ли искать Кароля, или отложить на завтра, как вдруг быстрая рука схватила его плечо.

– Мард!

– А! Кароль!

Кароль задохнулся, догоняя Марда. Они стояли улыбаясь; Мард несколько смущенно и весело, а Кароль – колюче и хитро.

– Так вы бросили меня?!

– Едва живые вернулись. Ты нашел золото?

– Дурак ты, Кароль, – сказал Мард, – я нарубил плот и продал его. О, были приключения. Двести пятьдесят бревен!

– Что же мы стоим? Идем в «Чертов глаз»! Угощай.

– Есть, – согласился Мард. – А где Турнай?

– Турнай нас ждет.

Оживленно рассказывая о своих похождениях, Мард с Каролем пришли в грязный притон и заняли, по совету приятеля, маленькую комнату во дворе трактира. Едва они сели, как вошли трое парней. Чувствуя недоброе по их лицам, Мард встал из-за стола, но Кароль ударом в глаз сбил его с ног. Мард упал; четверо сели ему на руки и ноги.

– Сволочи! – сказал Мард.

– Где золото? – начал Кароль допрос. – Ты все подстроил. Высадился, где тебе было надо, под видом, что болен.

– Опять ты дурак! – закричал Мард. – Я хотел сам дать тебе денег – сто долларов. Клада не было! Я выдумал это! Я изголодался, понимаешь? Я чудил от голода! Говорят тебе, что я сбил

плот и продал его!

Марда начали бить. Его лицо превратилось в кровавое мясо, сердце хрипело, глаза ничего не видели, сломаны были два ребра, но в передышках, обливаемый водкой, не попадавшей в его рот, для оживления, Мард упорно твердил:

– Клада не было. Вот клад: мозоли мои!

Допрос и истязания длились три часа. Мард обеспамятел, стонал и, наконец, собравшись с силами, плюнул Каролю в лицо.

Его повесили в чулане за комнаткой, продев веревку за потолочную балку. Когда Кароль схватил за ящик, на котором стоял, шатаясь, Мард, умирающий прохрипел:

– Не вовремя убиваешь ты меня, Кароль. Я хотел... делать плоты... хотел... и тебя взять.

Бочка пресной воды

I

Шлюпка подошла к берегу. Измученные четырнадцатичасовой греблей Риттер и Клаусон с трудом втащили суденышко передней частью киля на песок, между камней и накрепко привязали к камню, чтобы шлюпку не отнесло отливом.

Перед ними, за барьером скал и огромных, наваленных землетрясением глыб кварца, лежал покрытый вечным снегом горный массив. Позади, до горизонта, под ослепительно синим, совершенно чистым небом развевался уснувший океан – гладкая, как голубое стекло, вода.

Опухшие, небритые лица матросов подергивались, мутные глаза лихорадочно блеснули. Губы растрескались, из трещин в углах рта проступала кровь.

Бутылка воды, выданная из особого запаса шкипером Гетчинсоном, была выпита еще ночью.

Шхуна «Бельфор», шедшая из Кальдеро в Вальпараисо с грузом шерсти, была застигнута штилем на расстоянии пятидесяти морских миль⁵² от берега. Запас воды был достаточен для нескольких дней рейса с попутным ветром, но очень мал при затянувшемся штиле.

Судно стояло на тихой, как поверхность пруда, воде уже одиннадцать дней; как Гетчинсон ни уменьшал порции воды, ее хватило всего на неделю, тем более что пищу прекратили варить. Сухие галеты, копченая свинина и сухой шоколад лишь усиливали мучения; хоть бочка, в которой еще осталось литров двадцать воды, была заперта Гетчинсоном на замок, повар, просверлив бочку, сосал ночью воду через медную трубку, а затем, наполнив изо рта литровую бутылку, прятал этот запас в свой сундук.

Ночью было немного легче, но с восходом солнца все шесть матросов шхуны, Гетчинсон и его помощник Ревлей почти не вылезали из воды, держась за канаты, переброшенные через борт, на случай появления акул. Жажда была так мучительна, что все перестали есть и тряслись в лихорадке, так как множество раз в день переходили от прохлады изнуряюще долгого купанья к палящему кожу зною.

Все это произошло по вине Гетчинсона, который со дня на день ждал ветра. Если бы своевременно была послана шлюпка на берег, чтобы привезти двухсотлитровую бочку пресной воды, команда не бродила бы теперь, подобно теньям, в унынии и бессилии. Наиболее твердо держались Риттер и Клаусон. Свои ежедневные четверть литра воды они пили на ночь, после захода солнца, так что, промучившись день, в течение которого облегчали свои страдания купаньем, вечером хоть наполовину, но утоляли жажду. Прохладная ночь содействовала облегчению. Матросы, выпивавшие порцию воды днем, как только ее получали, сразу, скоро теряли эту влагу, потому что от жары и слабости сердца потели, а Риттер и Клаусон все же могли ночью спать, тогда как других мучила бессонница или тяжелая дремота, отравляемая видениями рек и озер.

К вечеру десятого дня командой овладело отчаяние. Старик Гетчинсон еле двигался. Уми-

⁵² Английская морская миля равна 1,85 км.

рающий от дизентерии повар валялся среди нечистот, редко приходя в сознание и умоляя всех прикончить его. Два матроса бессильно лежали на своих койках в мокрой одежде, чтобы хотя через кожу всасывалось немного влаги. Один матрос, тайно от Гетчинсона, пил время от времени морскую воду, смешанную с уксусом; теперь, полуобезумев от невероятных мучений, он бродил у борта, желая и не решаясь покончить с собой. Четвертый матрос с утра до вечера сосал кусок кожи, чтобы вызвать слюну. Этот матрос неоднократно приставал уже к помощнику шкипера Вольту, чтобы тот объявил жребий на смерть одного из команды ради нескольких литров крови.

Только два человека могли еще двигаться и делать что-нибудь – это были Риттер и Клаусон. Гетчинсон уговорил их ехать на берег за водой. Из последнего запаса была выдана им бутылка мутной воды, драгоценная коробочка с лимонной кислотой, разысканная Вольтом, и несколько апельсинов. Они заслуживали такой поддержки, так как должны были спасти всех остальных.

Вечером Риттер и Клаусон выехали, имея двухсотлитровую бочку, два ружья, пачку табаку и три кило галет.

Утром они высадились на берег с замирающими от бешеной жажды сердцами. Купанье слегка освежило их. Как они плыли и долго ли, они не помнили. Все ямы, впадины берега, пустоты среди скал казались им наполненными свежей, холодной водой. Шатаясь, падая от изнурения, матросы перебрались через барьер огромных камней и вступили в глубокую расселину среди скал, где среди тени и сырости томительно пахло водой. Вскоре слышали они ровный звук бегущей воды и, почти ослепнув от желания пить, начали метаться из стороны в сторону, не замечая ручья, который в десяти шагах перед ними обмывал выпуклый низ скалы. Наконец Клаусон увидел воду. Он подбежал к скале и, растянувшись ничком, погрузил лицо в холодный ручей. Более терпеливый Риттер наполнил ведро и сел с ним на камни, поставив ведро между колен. Когда он наклонил голову к ведру, она тряслась от мучительного нетерпения скорее напиться.

Клаусон, захлебываясь, глотал воду, не замечая, что плачет от облегчения, соединенного с тошнотой, потому что желудок, отвыкнув от большого количества холодной жидкости, противился вначале непомерному количеству воды. Клаусона стошнило дважды, пока он окончательно наполнил желудок водой. Ему казалось, несмотря на это, что жажда еще не утолена. Переводя дыхание, матрос, приподнявшись над водой, тупо смотрел на нее, а затем, болезненно вздыхая, снова припадал к спасительному источнику.

С такими же конвульсиями, мучаясь и блаженствуя, напился Риттер. Он выпил больше половины ведра. Его крепкий желудок не возвратил ручью ничего.

Вода подействовала на страдальцев, как вино. Их чувства были до крайности обострены, сердце билось звонко и быстро, голова горела.

Сев друг против друга, они начали смеяться. Отрывисто, отрываясь, тяжело дыша, хохотал Клаусон. Ему вторил Риттер, оглушая ущелье неудержимым, щекочущим тело смехом. Веселое, бегущее, как тысячи ручейков, чувство насыщения водой струилось по обессиленным мускулам матросов. Все еще вздрагивая, они снова начали пить – теперь не так бурно, стараясь вбирать воду небольшими глотками, смакуя ее вкус и наслаждаясь ее освежающим движением по распухшему пищеводу.

– Вот так штука! – кричал Клаусон. – Никогда не думал, что выживу! Я с ума начал сходить...

Не так скоро окончательно была утолена ими жажда, как это можно подумать, если не испытал такой жажды сам. Дело не в том только, чтобы налить желудок водой. Должно пройти время, пока влага внутренними путями организма проникнет в кровеносные сосуды и там разжижит кровь, сгустившуюся от долгого безводья. Когда это произойдет, затрудненно работающее сердце начинает биться полным, отмеченным ударом, и нарушенная правильная жизнь человека делается опять нормальной. Клаусон еще несколько раз порывался пить, но Риттер удержал его.

– Ты можешь умереть, – сказал он. – Недолго и опиться. Я слышал об этом. Ты весь рас-

пухнешь и почернеешь. Воздержись. Ляжем лучше, уснем.

Они забрались между двух глыб, каких было много раскидано по ущелью, и уснули, но долго спать не могли: их разбудил голод.

Пока они спали, солнце перешло на другой край ущелья и осветило вкрапленный высоко в отвесную поверхность скалы золотой самородок, напоминающий узел золотых корней, выступивший из кварца.

Казалось, золото вспыхнуло под жгучим лучом солнца. На главной выпуклости золотого видения горело белое пятно. Самородок, тысячу лет дремавший над безвестным ручьем, сеял свой мягкий свет подобно кружению тонкой, золотой пыли.

II

Проснувшись, матросы были теперь сильны и живы, как много дней назад. Они наелись, снова попили и довольно скоро наполнили бочку в шлюпке водой ручья.

Придя к ручью последний раз, чтобы захватить, кроме бочки, еще два полных ведра воды, матросы присели на камни. Оба были мокры от пота. Вытирая рукой лоб, разгоряченный Клаусон поднял голову и осмотрел высоты отвесных скал.

Увидев самородок, он вначале не поверил своим глазам. Клаусон встал, шагнул к скале, тревожно оглянулся кругом. Через минуту он спросил Риттера:

– Ты видишь что-нибудь на скале?

– Да, вижу, – сказал Риттер, – но я вижу, к ужасу своему, золото, которое не поможет спасти нашей команде. И если ты вспомнишь свои мучения, то не будешь больше думать об этом. Мы должны привезти им воду, привезти жизнь.

Клаусон только вздохнул. Он вспомнил свои мучения, и он не противоречил.

Шлюпка направилась к кораблю.

Зеленая лампа

I

В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулочка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.

Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.

– Стильтон! – безглаголиво сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. – Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.

– Я голоден... и я жив, – пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. – Это был обморок.

– Реймер! – сказал Стильтон. – Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.

Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.

Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился со Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кэб.

Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита. Беднягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его

воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали – кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.

Стильтон в 40 лет изведаль все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.

Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:

– Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же наймете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дому, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, – я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.

– Если вы не шутите, – отвечал Ив, страшно изумленный предложением, – то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, – как долго будет длиться такое мое благоденствие?

– Это неизвестно. Может быть, год, может быть, – всю жизнь.

– Еще лучше. Но – смею спросить – для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?

– Тайна! – ответил Стильтон. – Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.

– Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!

Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.

Прощаясь, Стильтон сказал:

– Напишите до востребования так: «З-33-6». Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, – через год, – словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как – я объяснить не имею права. Но это случится...

– Черт возьми! – пробормотал Ив, глядя вслед кэбу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет. – Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный. Наобещать такую кучу благодати, только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина.

Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме.

Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:

– Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума... Но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он!

Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет?»

– Однако вы тоже дурак, милейший, – сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. – Что веселого в этой шутке?

– Игрушка... игрушка из живого человека, – сказал Стильтон, самое сладкое кушанье!

II

В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона.

Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезный, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.

По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.

– Так вот как пришлось нам встретиться! – сказал доктор, серьезный, высокий человек с грустным взглядом. – Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? – Я – Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда.

– Тысяча чертей! – пробормотал, вглядываясь, Стильтон. – Что произошло? Возможно ли это?

– Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?

– Я разорился... несколько крупных проигрышей... паника на бирже... Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?

– Я несколько лет зажигал лампу, – улыбнулся Ив, – и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.» Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.

К тому времени я уже два года жег зеленую лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением. «Ив – классический дурак! – пробормотал тот человек, не замечая меня. – Он ждет обещанных чудесных вещей... да, он хоть имеет надежду, а я... я почти разорен!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».

У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком...

– А дальше? – тихо спросил Стильтон.

– Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком...

Наступило молчание.

– Я давно не подходил к вашему окну, – произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон, – давно... очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа... лампа, озаряющая темноту ночи. Простите меня.

Ив вынул часы.

– Десять часов. Вам пора спать, – сказал он. – Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, – быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте... хотя бы спичку.

11 июля 1930 г.

Молчание

Дорога из Престидэя в Нум раздваивалась наподобие змеиного языка около морского залива. Налево она вела в Нум, направо – в Лемпшир.

На раздвоении дороги плохо одетый человек с истощенным лицом замедлил шаги и, слегка раскачивая ручным саквояжем, начал оглядываться, ища прохожих, которые могли бы рассеять его сомнения. Вскоре он увидел человека могучего сложения, мрачного, в бакенбардах, который неторопливо шел в Престидэй, и обратился к нему с вопросом:

– Налево или направо надо идти, чтобы попасть в Нум?

– Конечно, налево. За теми холмами Нум. Четыре километра, и вы на месте. Увидев вас, я сразу сказал себе: «Он не здешний». И я, кажется, угадал?!

При этом проявлении общительности внушительная мрачность болтуна утратила нечто неуловимое, делавшее ее солидной; глаза блеснули, выдав сплетника; несвойственное возрасту любопытство смягчило мрачные черты и, нервно опершись о палку, человек умильно захлопал веками.

– О, да, вы угадали, – ответил путник. – Следовательно, я должен идти налево?

– Я знаю всех в Буме, – продолжал любопытный бакенбардист, пропуская уклончивый вопрос мимо ушей. – И если вы сообщите, кого именно желаете там видеть, то я подробно объясню, как найти дом. Нум разбросан, очень разбросан. Мое имя Вильям Угестон, из Престидэя, – домовладелец, а также управляющий конторой погребальных шествий.

Молодой человек без особой охоты наименовал себя:

– Том Дарль, из Гертоне, – и сообщил, что ему нужен Тристан Бурль, бывший нотариус.

– Бурль?! – воскликнул Угестон. – Хорошо, ваше счастье, что вы, как мне кажется, опоздали! Ведь объявление напечатано уже дней десять назад! Впрочем, оно со мной.

Пока Дарль молча смотрел на него, Угестон в приливе общительности расстегнул пиджак и извлек объемистый бумажник, набитый газетными вырезками. Поспешно разыскав одну вырезку, Вильям Угестон показал ее Дарлю.

– Мы с вами говорим об этой штуке, не так ли? – спросил Угестон, давая Дарлю прочесть текст.

– Да, – ответил, помолчав, Дарль. Еще помолчав, он прибавил: – Действительно, это самое объявление я имел в виду, направляясь к Бурлю.

– Каков изверг?! – воскликнул Угестон и пристукнул палкой. – Это негодяй, тиран! Его дочь стала женой бедного секретаря, служившего у директора консерватории в Гертоне, и Бурль, представьте, отказался ее видеть, восстановил директора против мужа дочери, лишил беднягу места, а сам, старый печеночник, мстительный ипохондрик, выдумал для себя вот это самое развлечение. Он стал нанимать секретарей для того, чтобы их мучить. Его ненависть к секретарям вообще – достигла силы... я бы сказал: внушительности похоронной процессии в пятьсот долларов.

Объявление, тщательно спрятанное

Угестоном в бумажник, было напечатано неделю назад «Биржей Престидэя» и гласило следующее:

«Тристану Бурлю нужен секретарь,

образованный человек, шатен сухого типа, с серыми глазами, умеющий быстро писать под диктовку и точно исполнять поручения, одинокий, опрятный, скромно одевающийся. Жалованье 225 долларов ежемесячно, стол и комната, ежемесячная прибавка 25 долларов. Непременное условие: в присутствии Тристана Бурля – молчать. Молчать безусловно, категорически, не произнося ни единого слова, ни даже восклицания. В противном случае, если бы даже нарушившее это условие лицо и прослужило шесть месяцев, оно лишается всех заработанных денег, которые уплачиваются по истечении полугодия.»

– Надеюсь, я не опоздал, – сказал Дарль, – так как найдется мало охотников служить такому сумасброду. Мало найдется также шатенов сухого типа с серыми глазами вроде меня. Молчать я умею. Я скажу прямо – люблю молчать. Итак, дорога налево?

Подтвердив свое указание, Угестон хотел взять Дар-ля за пуговицу жилета, чтобы набросать ему огненными чертами портрет злодея Бурля, но будущий секретарь, приподняв шляпу, ударился шагать так широко и быстро, что Угестон, рассеянно осмотрев небо и землю, подобно кошке, у которой из-под носа улетел воробей, гордо закинул голову и направился к Престидею, острые крыши которого виднелись из-за холмов.

В тот день Тристан Бурль, человек пятидесяти девяти лет, страдающий одышкой, печенью и подагрой, был особенно мрачен, даже свиреп, так как видел во сне дочь, Леону, и безумно ревновал ее к ее мужу, ненавистному нищему секретарю Сивиллю Brentгаму. Его утешало лишь то, что директор консерватории Льюис Терн уволил Brentгама, одновременно делая уступку свирепому кланчанину Бурля и своему личному чувству, потому что был сам равнодушен к Леоне Бурль, девушке красивой и милой. Бурль любил дочь сильно, но примириться с ней не мог. Слово «секретарь» бесило его. Бурль прочел восторженное письмо Леоны, разорвал его, прекратил высылать деньги и написал дочери, чтобы она забыла о нем навсегда. Через неделю начал он стороной наводить справки о ее жизни в Гертоне, но узнал, что Brentгамы куда-то выехали и адрес их затерялся.

Страшно разозлясь, что дочь не написала ему второго письма, противоречивый старик «уткнул подбородок в галстук ненависти» и засел как паук в своем доме, поджидая секретарей-муж, чтобы мучить их, согласно обещанным в объявлении пыткам. Его врагами стали все секретари мира, но – в особенности – секретари тридцати лет, сероглазые «шатены, сухого типа», как описывала ему Леона Бурль Brentгама.

По всем статьям Дарль отвечал требованиям сумасбродного объявления. Не очень печалась о предстоящей тирании, Дарль разыскал в Буме дом Бурля и сообщил экономке нотариуса, что явился по объявлению. Не прошло и десяти минут, как его провели к Бурлю.

Перед Дарлем, в старом кожаном кресле, подоткнутый подушками, с тростью в руках, сидел, прищурясь одним глазом, толстый, широкоплечий старик. Из-под насупленных бровей выглядывали желто-коричневые глаза; левый – угрюмо приоткрытой щелью, полной ядовитого блеска, и правый – раскрытый как на врага, в упор, под бровью, приподнятой насмешливо и неодобрительно. Круглое лицо старика было обведено ресничатой бородой, клочки которой торчали подобно лучам. Домашний костюм из грубого серого шелка и мягкие туфли Бурля указывали на любовь к простору и удобству. Его кабинет состоял из огромного окна, стола, напоминающего небольшую площадь, книжных шкафов, дорогого ковра и кожаных кресел. На зеленых стенах не было никаких картин. Портрет дочери Бурль убрал со стола в шкаф.

– Вы читали объявление? – спросил Бурль голосом столь резким, что Дарль вздрогнул.

– Да, я прочел его.

– Нравится оно вам?

– Нет.

– Нет? Зачем же вы явились?

– Я должен зарабатывать. В настоящее время очень трудно найти место, – сказал Дарль, внимательно присматриваясь к старику, который, сопя и кашляя, очевидно, приготовился забавляться, так как, закрыв глаза, улыбнулся почти оскорбительно. – Я человек без средств, а на моих руках несколько братьев и сестер, которые должны получить образование. Объявление мне не нравится, но на ваши условия я согласен.

Бурль передвинулся в кресле и покачал головой.

– Что же, вы надеетесь, что будете всегда молчать?

– Безусловно.

– Как хотите. Секретарь мне нужен. Ваше имя? Вы можете говорить в течение десяти минут. Затем вы умолкнете. Пользуйтесь этим сроком, когда он пройдет, вам придется только выслушивать.

Хотя Бурль явно издевался, Дарль остался спокоен.

– Действительно, – начал Дарль, – я найду кое-что сказать. Ваше объявление недостойно вас. Я не касаюсь причин, которыми оно вызвано, – если только есть иные причины, кроме желания показать свою власть над зависимым и неимущим лицом. Я уверен, что когда-нибудь впоследствии вам это станет понятно. Как видите, у меня нет нужды употребить все десять минут на разговор с вами. Я говорил не более двух минут. Остальные восемь я уступаю вам и остаюсь в вашем распоряжении.

Левая щека Бурля дергалась. Он вытаращил глаза.

– Я думаю, что вы уберетесь вон! – закричал Бурль.

– Нет. Я должен служить.

– В таком случае... – Бурль тяжело вылез из кресла, подвалился, хромя, к столу, стукнул тростью и повторил: – В таком случае... с этого мгновения... беспрекословно... молчать!

Дарль покорно кивнул.

– Вы сказали свое, – начал, брызгая слюной, Бурль, – а я выложу вам свое. Есть порода, – к сожалению, порода людей низких, гнусных, льстивых к высшим, нахальных и грубых с низшими, наушников, сплетников, шпионов и предателей, называемая... сек-ре-та-ри. Секретарь мнит себя выше патрона; крадет почтовые марки, пишет доносы начальству своего хозяина, втирается в доверие к его родственникам и втайне смеется над деятельностью того, кому служит. Он считает себя умнее всех, тиранит просителей, лжет, берет подачки и мечтает жениться на... на молодой девушке, родственнице хозяина, на его дочери, если она есть, черт возьми! Я не говорю, что это вы именно такой секретарь; я вас не знаю и говорю вообще. Я презираю секретарей, а потому они должны молчать как собаки. За ваши дерзости сбавляю вам жалованье на двадцать пять долларов. Принимаете? Дарль кивнул.

– Предупреждаю вас, – продолжал Бурль, начиная уставать, – что я буду всячески пытаться вызвать вас на говорение, особенно к концу полугодия. Я стану провокатором, хитрецом, соблазнителем. Я вас поймаю. Кстати: у меня... нет ни дочери, ни даже племянницы. Ну-с, вы будете писать под диктовку, а кроме того, вам предстоит снять множество копий в моем архиве. Еще вы перепишите мой дневник. Все.

Дарль кивнул несколько раз, после чего задумавшийся, нахмурившийся Бурль позвонил экономке.

– Шатену сухого типа, Томасу Дарлю, дайте комнату внизу, угловую, и чтобы я ничего не слышал о том, как и что он у вас ест. Сегодня вы свободны, – обратился Бурль к Дарлю, – но завтра в семь утра приходите сюда.

Совершенно усталый, Бурль захромал к спальне, боком провалился в дверь, волоча ногу и трость, и хлопнул дверью ток громко, что загудел дом.

Прошло двадцать дней.

Каждый день, в семь часов утра, Дарль приходил к старику в его кабинет и работал со всей тщательностью добросовестного труженика, подшивая бумаги, снимая копии, разыскивая в архиве Бурля справки и документы, необходимые тому для удовлетворения запросов бывших клиентов и составления книги под названием «Нотариальная практика Лисского округа с 1900-го по 1920-й год». Кроме того, он вел прихода-расходные тетради Бурля, ходил покупать сигары, виски и играл с Бурлем в шахматы. Весь день Дарль был занят, его отпускали не ранее восьми вечера, когда, измученный, он приходил в свою комнату – ужинать и пить чай.

Выражения: «сероглазый», «черствого типа» без употребления собственного имени Дарля, затем: «ну-ка, поворачивайтесь живее!», «долговязый кисляй!», «живо в лавочку!» – и другие еще более живописные, слетали с языка Бурля так часто, что иногда он сам в страхе замирал, ожидая пощечины. Но секретарь был выдержан на редкость. Кроме того, он оказался дельным, образованным работником. Дарль только сжимал губы и кивал, слыша брань, или отрицательно качал головой.

Однажды старик упал на пол, начал барахтаться как черепаха и дико вращать глазами. Дарль с трудом поднял его, усадил в кресло и поправил подушку. Бурль, отдышавшись, сказал:

– Ожидаете признательности?

Дарль погрозил пальцем, улыбнулся и указал на свой рот.

– Все равно поймаю! – заявил Бурль.

Дарль, пожав плечом, занялся работой. Бурль стукнул палкой и убежал в спальню.

Утром на двадцатый день этой, с позволения сказать, «службы» к секретарю вошла экономка Дора Форсет. У нее было встревоженное лицо.

– Он тоскует о дочери, – сказала экономка. – Я должна посвятить вас в эту историю, так как, может быть, вы сумеете разыскать адрес. Леона вышла замуж, отцу не понравился ее брак, и он запретил ей писать. Впоследствии Бурль сделал шаг к возобновлению отношений, но было уже поздно: она выехала из Гертона неизвестно куда. Вы видите, я волнуюсь, но что делать, скажите? Всю ночь ему было плохо, а старики мнительны. У него бывает удушье. Под утро он плакал. Жаль его. Ведь он не столько зол, сколько болен, и болен давно.

– Сущие пустяки, – сказал Дарль. – Я знаю, где живет дочь Бурля. Так ему и скажите. Хоть сейчас. Я знаю их обоих: ее и ее мужа, Brentgama. Не беспокойтесь.

Сказав так, Дарль увидел, с какой легкостью может исчезать толстая женщина, если известие чрезвычайно. Она побежала к Бурлю, оставляя по дороге открытыми все двери и голоса «мистер-рль» – «р-ль» – все глуше, пока с лестницы не донесся последний ее возглас: «Нашли!»

В комнате Дарля раздался отрывистый звонок.

Когда Дарль пришел в кабинет, он увидел Бурля, стоявшего в дверях спальни. Его лицо опухло, руки тряслись.

– Знаете адрес? – прохрипел Бурль. – Как вы его знаете? Почему вы его знаете? Говорите!

Дарль подал заранее приготовленную бумажку. На ней было написано: «Провокация. Снимите молчание».

– Молчание и шкуру, если хотите! – заорал Бурль. – Я сдохну, пока вы трясетесь над своим жалованьем! Почему, почему, черт возьми, вы знаете адрес?!

– Потому что я муж Леоны, – сказал Дарль, невольно поглядывая на палку Бурля. – Я Brentgam.

Бурль ухватился за дверь и начал сползать на пол. Дарль усадил его в кресло.

– Мы живем в Текле, деревня неподалеку от Лисса, – продолжал Дарль, – потому что продали почти все вещи и могли снять лишь что-то вроде птичьей клетки. Я кое-как занял денег и направился к вам, чтобы попытаться смягчить вас. Леона слаба здоровьем, и разрыв с вами сильно изнурил ее. По дороге я узнал о вашем объявлении и решил сколько могу расположить вас к себе, работая по объявлению.

Бурль полулежал с закрытыми глазами, слушая внимательно и ехидно. Вдруг он приоткрыл правый глаз.

– Вы были хорошим секретарем, – неожиданно сказал Бурль. – Но до чего я прав! Только секретарь может выкинуть такую штуку! Теперь будете ждать моей смерти! Вздохать о наследстве?

– Вот именно. Ведро цианкали и пулемет приготовлены. «Настала ночь. Шипя как змея, вполз злодей...»

– Ну, довольно, – перебил Бурль. – Я устал. Место я вам устрою. Ваш поступок в моем вкусе: хорошо сыграно. Привыкну. Но, пожалуйста, ни слова Леоне о том, как я вас посылал за водкой, потому что мне это было запрещено.

– Хорошо, – ответил Brentgam. – Вы уже знаете, что секретари умеют молчать.

Два обещания

I

Всю ночь берега Покета рвал шторм. Ветер ударял с моря. Были сломаны кукурузные посевы, изгороди; толевые и железные крыши местами отвернулись, как поля шляп.

В саду Гаррисона, начальника каторжной тюрьмы, стоявшей в полумиле от Покета, повалились два дерева. Они загромождали аллею. Гаррисон приказал убрать их; к десяти часам пар-

тия арестантов отправилась из тюрьмы в сад. Они обрубали сучья и стали распиливать стволы.

Отправляясь в канцелярию, Гаррисон задержался около работающих и стал смотреть. Работа пошла так быстро, как движение на экране при ускоренном пропуске ленты.

Его дочь, одиннадцатилетняя Джесси, росшая свободно, как мальчик, и ни в чем не знающая запретов, была с ним. Оставив отца, она заметила, что нижняя ветка одного из свалившихся стволов прилегает к стволу старого дуба так удобно, как лестница.

Джесси умела лазать по деревьям с наглостью и хладнокровием существа, уверенного в своей безнаказанности. Ей пришлось в голову закричать с вершины: «Папа, тебя требуют к телефону».

Обдумав это, она стала влезать, переходить с сука на сук, как по вертикальной винтовой лестнице, и скоро была на высоте двух третей ствола, волнуясь при мысли, что отец заметит ее отсутствие раньше, чем она сообщит ему о своей проделке.

Вскоре расположение ветвей заставило девочку искать такую ветку, ухватясь за которую она могла бы ступить на ту сторону ствола, с какой виден Гаррисон.

Она вытянулась, схватилась за тонкий сук левой рукой и, передав ему свою тяжесть, отпустила правую руку. Сук, росший из более толстого ответвления ствола, треснул в месте сращения. Вцепясь в него обеими руками, Джесси потеряла точку опоры и повисла. Обида, испуг и самолюбие заставили ее крикнуть те самые слова, которые она повторяла себе, взбираясь на дерево:

– Папа, тебя требуют...

Затем она закричала и заплакала.

Гаррисон взглянул вверх и помертвел. Джесси висела высоко над ним, подобрав ноги и стиснув коленками вертикально натянутую ветку, основание которой медленно, но неуклонно отдиралось под ее тяжестью.

Гаррисон растерялся, потом поднял вверх руки. Его резко оттолкнул арестант № 332; он, расставив ноги и протянув руки, как Гаррисон, но не вверх, а на уровне лица, принял на себя удар тела с воплем мелькнувшей вниз девочки.

В момент толчка он присел. Руки его временно отнялись. Он опустил сильно встряхнутую, потерявшую сознание Джесси на траву и, вытирая пошедшую носом кровь, сел с закружившейся головой.

Повелительное и тяжелое лицо начальника каторжной тюрьмы исчезло. Вышло его настоящее лицо, по которому текли слезы. Он поднял Джесси и унес в дом.

Послышался шум. Некоторые арестанты, а также конвойные хлопнули № 332 по плечу, принесли воды, и он выпил полную кружку, стуча зубами о край.

– Полсрока отработал, Эдвей, – сказал один из конвойных.

Эдвей встал, помахал руками, потряс головой. Она все еще туманилась и гудела. В это время прибежал помощник Гаррисона и приказал Эдвею немедленно идти к начальнику.

II

Эдвей никогда не был в квартире начальника тюрьмы. Он прошел ряд светлых, красивых комнат с иллюзией возвращения в мир, покинутый пять лет назад.

Гаррисон отослал конвойного, который сопровождал Эдвея, и сам ввел арестанта в свой кабинет; его окна, выходя на тюремный двор, были заделаны решеткой.

– Ваш номер? – спросил он, давая знак, что Эдвей может сесть.

– 332.

– Ваше имя?

– Томас Эдвей.

Официальный тон не помог Гаррисону овладеть волнением, и он оставил его.

– Послушайте, Эдвей, – сказал начальник после короткого молчания, – вы можете требовать, что хотите, за то, что вы сделали. Кроме невозможного. Я обязан вам больше, чем жизнью, и вы это понимаете.

– Конечно, я понимаю. – Эдвей задумался. – Мне не хочется огорчать вас, но я думаю, что если вы не сделаете, о чем я буду просить, все же кричать на меня не будете.

Гаррисон посмотрел на Эдвея с беспокойством.

– Говорите, что там у вас? Неделя отдыха? Похлопотать о сокращении срока? Или что?

– И больше и меньше, – сказал Эдвей. – Как взглянуть. Я прошу вас снабдить меня городским платьем, выдать мне заработанные деньги за полгода – это составит, приблизительно, полтора фунта – и отпустить меня на свободу до половины шестого следующего утра. В шесть происходит поверка. К назначенному сроку я буду здесь.

Гаррисон засопел, взял сигару резким движением и нервно захлопнул ящик.

– В другое время, – сказал он со вздохом, – выслушав такую просьбу, я, конечно, приказал бы дать вам дюжину-другую плетей. Теперь дело иное. О том, что вы говорите, я читал в романах. Не знаю, чем это кончалось в действительности. Ну, что даст вам один день? Зачем это?

– Будь вы на моем месте, вы прекрасно понимали бы, что такое свободный день.

– Каждый из нас на своем месте, – сказал Гаррисон. – Что привело вас сюда?

– Мои страсти.

– В образе?..

– Трех векселей. Я отбыл пять лет, осталось три года.

– Сдержите ли вы слово? Или я заранее должен приготовить прошение об отставке?

– Я совершил подлог, но не потерял чести. – возразил Эдвей. – Разговор становится тяжел для меня. Решите – «да» или «нет».

– Ужасный день! – сказал Гаррисон. – Что я могу? Оставайтесь здесь и ждите.

Он вышел и возвратился через несколько минут, хмурый, утомленный собственным решением, которое, подобно трещине, зияло на эмали его характера нервной, острой чертой. В его руках были башмаки, шляпа, костюм, и он подал это Эдвею. Оба они смутились. Заметив, что арестант смотрит на него с изумлением и восторгом, Гаррисон нахмурился, махнул рукой и вышел опять, плотно прикрыв дверь.

III

«Невозможно, ослепительно!» – думал Эдвей. Он хватался за одну вещь, за другую, оставлял их и снова хватал. Сознание совершившегося, причем так неожиданно, и забегающая вперед мечта о свободной городской улице мешали ему сообразить, что должен он сделать с брюками или жилетом. Когда он снимал арестантское платье, его руки тряслись. Чтобы вызвать сосредоточенность, Эдвей стиснул зубы. Вещи плясали в его руках. Порыв, падение девочки, адская боль в плечах, взволнованный Гаррисон, просьба о невозможном, чего хотел он, как сдавленная грудь хочет полного воздуха, неловкое и высокое решение Гаррисона – он обо всем думал зараз, с трудом находя среди неожиданностей дня место своему нетерпению. Он отвык застегивать воротник, завязывать галстук. Он одевался со стыдом, непонятным, но важным и неизбежным, как всякий хороший стыд.

Покончив с переодеванием, Эдвей подошел к стеклу книжного шкапа. Там, сливаясь с переплетами книг, стоял в темной воде высокий мускулистый человек статной осанки – тот самый, каким был Эдвей несколько лет назад.

– Это сон о свободе, – сказал он. – И я, конечно, вернусь.

– Покончим с этим неприятным делом, – сказал, входя, Гаррисон. – Идите за мной.

Говоря так, он протянул ему два фунта и пошел впереди Эдвея по глаголю коридора. Все двери были закрыты. В конце прохода был выход на шоссе, ведущее к городу.

Гаррисон выпустил арестанта и крепко повернул ключ. На душе у него было неверно и смутно. Он отлично сознавал значение своего поступка. С этого дня меж ним и № 332 образовалась неестественная связь, полная благодарности, о которой хотелось не думать. Однако он не мог быть так крупно обязан Эдвею и кому бы то ни было, не заплатив полной мерой. Уже готов был он пожелать никогда не видеть его более, но сообразил, что это – дрянная трусость.

Он вернулся в кабинет и увидел свою жену. Она, сохраняя в лице спасительное насмешли-

вое выражение, свертывала арестантскую одежду Эдveja.

– Оставь это здесь, Эми, – сказал Гаррисон. – Как ты узнала?

– Но... я видела в окно, как он ушел.

– Меня всегда удивляло, что женщины всегда все узнают, – сказал Гаррисон, очень недовольный собой. Наконец он решил, что пора улыбнуться. – Ну, он меня поддел! Это произошло врасплох. Я не мог быть меньше его, но я надеюсь, что он не явится. До половины шестого утра завтра. Как он обещал.

– Он явится, – сказала Эми, засовывая сверток за шкаф. – Можешь быть в этом уверен.

– Что ты говоришь?!

– Но ты и сам отлично это знаешь.

– Я?

– Ты и я, – мы оба это знаем.

– Эми, он не придет.

– Зачем ты говоришь против себя?

Помолчав, Гаррисон позвонил в канцелярию:

– Латрап? № 332, который спас Джесси, разбит. Этот день он проведет в постели, в моей квартире. Что? Да, я рад, что вы понимаете. Поместите его в больничный список, утром переведем в лазарет. Что? Да пусть отдохнет. Более ничего.

IV

Весь день Гаррисон думал о происшедшем и заснул поздно, одетый, у себя в кабинете. Когда рассвело, он проснулся, положил на стол часы и стал ходить, взглядывая на циферблат. Чем ближе стрелка подвигалась к половине шестого, тем быстрее менялись его желания. Сложным, непривычным для него путем он наконец пришел к заключению, что желать обмана – невеликодушно, и приготовился услышать звонок.

Когда он прозвучал – и это было идеально точно, как раз на половине шестого, – Гаррисон от этой драматической точности испытал большее удовольствие, чем при мысли, что не надо теперь придумывать для округа историю несуществующего побега. Он пошел к выходу и открыл дверь. В сумерках рассвета стоял перед ним Эдвей, с слегка вольно надетой шляпой. От него пахло вином; он был сдержан и утомлен.

– Молчите, – сказал Гаррисон, заметив в его лице искреннее движение. – Я не хочу говорить более обо всем этом. Ступайте, переоденьтесь и отправляйтесь в лазарет к дежурному. Вот записка.

Раскаиваясь в своей мрачности, он прибавил:

– Благодарю вас.

Снова стесняясь и избегая смотреть в глаза, они прошли тихо, как воры или дети, в кабинет Гаррисона, где Эдвей принял свой прежний вид. Затем Гаррисон вывел его другим ходом в дверь тюрьмы, запер дверь и облегченно вздохнул. Его кошмар кончился, а трещина осталась и расцвела.

Через день после этой истории, рано утром, помощник Гаррисона Латрап быстро вошел в кабинет начальника, протянув письмо.

– Вот все, что осталось от № 332, – сказал он. – Эдвей бежал ночью, распилив решетку. Он оставил под подушкой это письмо, которое адресовано вам.

Гаррисон закаменел и прочел:

«Я видел сон, что я на свободе, что шторм, опрокинувший деревья в саду, загнал в бухту. Покета яхту моего старого приятеля. Приснилось мне, что я встретился с ним, рассказал ему свою горькую, но поправимую весть и дал ему честное слово, что буду на палубе его судна не позднее трех часов этой ночи. И я должен был сдержать обещание».

– Тонкой стальной пилой, – сказал Латрап.

Гаррисон стоял неподвижно. В нем возникло несколько одновременных бессмысленных движений, но ни одно не родилось. Он был связан извне и внутри.

- Дайте знать в город, по округу, – сказал Гаррисон.
- Немедленно? – спросил, обгрызывая ноготь, Латрап.
- Немедленно! Что вы хотите сказать?
- Ваше распоряжение...
- Ну?
- Ясно оно или нет?
- Никто не знает, что ясно, а что неясно! – ответил с сердцем Гаррисон, выходя и оставляя Латрапа в психологическом затруднении. Здесь он увидел Джесси и рассердился.
- Ты довольна? Твой спаситель удрал.
- Куда? – осведомилась Джесси, подбегая к нему.
- Как я могу знать, куда?
- Но ты сам сказал... Ты начал первый.
- Я думаю, что первая начала ты, – ответил Гаррисон. – Впрочем, извини меня, я устал.

Комендант порта

I

Когда стемнело, на ярко освещенный трап грузового парохода «Рекорд» взошел Комендант. Это был очень популярный в гавани человек семидесяти двух лет, прямой, слабого сложения старичок. Его сморщенное, как сухая груша, личико было тщательно выбрито. Седые бачки торчали, подобно плавникам рыбы; из-под седых козырьков бровей приятной улыбкой блестели маленькие голубые глаза. Морская фуражка, коричневый пиджачок, белые брюки, голубой галстук и дешевая тросточка Коменданта на ярком свете электрического фонаря предстали в своем убожестве, из которого эти вещи не могла вывести никакая старательная починка. Лопнувшие двадцать два раза желтые ботинки Коменданта были столько же раз зашиты нитками или скрепляемы кусочками проволоки. Из грудного кармана пиджака выглядывал кусочек пришитого накрепко цветного шелка.

Заботливо потрогав воротничок, а затем ерзнув плечами, чтобы уладить какое-то упрямство подтяжек, старичок остановился против вахтенного и резко растопырил руки, склонив голову набок.

– Том Ластон! – воскликнул Комендант веселым, дрожащим голосом. – Я так и знал, что опять увижу рас на этом прекрасном пароходе, мечтающего о своей милой Бетси, которая там... далеко. Гром и молния! Надеюсь, рейс идет хорошо?

– Кутгей! – крикнул Ластон в пространство. – Пришел Комендант. Что?

– Гони в шею! – прилетел твердый ответ.

Старичок взглядом выразил просьбу, недоумение, игривость. Его тросточка приподнялась и опустилась, как собачий хвост в момент усилий постигнуть хозяйское настроение.

– Ну вот, сразу в шею! – отозвался Ластон, добродушно хлопая старика по плечу, отчего Комендант присел, как складной. – Я думаю, Кутгей, что ты захочешь поздороваться с ним. Не бойся, Комендант, Кутгей шутит.

– Чего шутить! – сказал, подходя к нему, Кутгей, старший кочегар, человек костлявый и широкоплечий. – Когда ни явись в Гертон, обязательно придет Комендант. Даже надоело. Шел бы, старик, спать.

– Я только что с «Абрагами Репп», – залепетал Комендант, стараясь не слышать неприятных слов кочегара. – Там все в порядке. Шли хорошо, на рассвете «Репп» уходит. Пил кофе, играл в шашки с боцманом Толби. Замечательный человек! Как поживаете, Кутгей? Надеюсь, все в порядке? Ваше уважаемое семейство?

– Кури, – сказал Кутгей, суя старику черную сигарету. – Держи крепче своей лапкой – уронишь.

– Ах, вот и господин капитан! – вскричал Комендант, живо обдергивая пиджачок и суетли-

во подбегая к капитану, который шел с женой в городской театр. – Добрый вечер, господин капитан! Добрый вечер, бесконечно уважаемая и... гм... Вечер так хорош, что хочется пройтись по эспланаде, слушая чудную музыку. Как поживаете? Надеюсь, все в порядке? Не штормовали? Здоровье... в наилучшем состоянии?

– А... это вы, Тильс! – сказал, останавливаясь, капитан Генри Гальтон, высокий человек лет тридцати пяти, с крупным обветренным лицом. – Еще держитесь... Очень хорошо! Рад видеть вас! Однако мы торопимся, а потому берите этот доллар и проваливайте на кухню, к Бутлеру, там побеседуете. Всего наилучшего. Мери, вот Комендант.

– Так это вы и есть? – улыбнулась молодая женщина. – «Комендант порта»? Я о вас слышала.

– Меня все узнают! – старчески захохотал Тильс, держа в одной руке сигарету, в другой – доллар и тросточку. – Моряки великий народ, и наши симпатии, надеюсь, взаимны. Я, надо вам сказать, обожаю моряков. Меня влечет на палубу... как... как... как...

Не дослушав, капитан увлек жену к берегу, а Тильс, вежливо приподняв им вслед фуражку, докончил, обращаясь к Ластону:

– Молодчина ваш капитан! Настоящий штормовой парень. С головы до ног.

Тут следует пояснить, что Коменданта (это было его прозвище) в гавани знали решительно все, от последнего трактира до канцелярии таможни. Тильс всю жизнь прослужил клерком конторы склада большой частной компании, но был, наконец, уволен по причинам, вытекающим из его почтенного возраста. С тех пор его содержала вдовая сестра, у которой он жил, бездетная пятидесятилетняя Ревекка Бартельс.

Тильсу помешала сделаться моряком падучая болезнь, припадки которой к старости хотя исчезли, но моряком он остался только в воображении. Утром сестра засовывала в карман его пиджачка большой бутерброд, давала десять центов на самочинные мужские расходы, и, помахивая тросточкой, Комендант начинал обход порта. Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов.

Закурив дрожащей, ссохшейся рукой сигарету, Комендант правильными мелкими шагами направлялся к кухне, где, увидев его брови и баки, повар залился хохотом.

– Я чувствовал, что ты явишься, Тильс! – сказал он, наконец, подвигая ему табурет и наливая из кофейника кружку кофе. – Где был? «Стеллу» ты, надо думать, не заметил, она стала за нефтяной пристанью, напротив завода. Там теперь как раз играют в карты и пьют.

– Не сразу, не сразу, уважаемый Питер Бутлер, – ответил, вздохнув, Тильс и, придвинув табурет к столу, сел, держа руки сложенными на крючке трости. – Как ваше уважаемое здоровье? Хорош ли был рейс? Ваша многоуважаемая супруга, надеюсь, спокойно ожидает вашего возвращения? Гм... Я уже был на «Стелле». Тогда там еще не начинали играть, а только послали суперкарга купить карты. Так! Но я, знаете ли, я скоро ушел, потому что там есть две личности, которые относятся ко мне... ну да... недружелюбно. Они сказали, что я старая назойливая ворона и что... Естественно, я расстроился и не мог высказать им свою любовь ко всему... к бравым морякам... к палубе... Но это у меня всегда, и вы знаете...

Тильс, загрузив, всхлипнул. Бутлер полез в шкафчик и стукнул о стол бутылочкой ананасного ликера.

– Такой старый морской волк, как ты, должен выпить стаканчик, – сказал Бутлер. – Верно? Выпьем и забудем этих прохвостов. Твое здоровье! Мое здоровье! Алло! Гоп!

Опрокинув полчашки напитка в мясистый рот, Бутлер утер нижнюю губу большим пальцем и сосредоточенно воззрился на Тильса, который, медленно процедив свой стаканчик, сделал губами такое движение, как будто хотел сказать «ам». Прослезясь и высморкавшись, Тильс начал сосать потухшую сигаретку.

– Еще?

– Благодарю вас. Быть может, потом. Гром и молния! «Стелла» – хороший пароход, очень хороший, – говорил Тильс, и при каждом слове его голова слабо тряслась. – Ее спустили со стапеля в тысяча девятьсот первом году. Черлей больше не служит на «Ревуне», я видел его вчера в

гостинице Марлея. «Отдохну, говорит. Вот что, – говорит Черлей, – у меня счета неладные с компанией, не выплатили полностью премии». Был сегодня в «Черном быке», заходил справляться, как и что. Все благополучно. Румпер перенес пивную на другой угол, потому что тот дом продан под магазин. Ватсон никак не может добиться пенсии, такая беда! Пьет, разрази меня гром, пьет здорово, как верблюды или морской змей. Приятно смотреть. Возьмет он кружку, посмотрит на нее. «В Филиппинах, – говорит Ватсон, – да, говорит, бывали дела. В Ямайке, говорит, хорошо». «Рояль Стар» потонул. Говорят здесь, попал в циклон. Пушки и ядра! Вы знали Симона Лакрея? Пирата? Симон Лакрей был пират, и он как-то угощал меня после... одного дела. Так вот, он сказал: «Зазубрину» не потопили бы, говорит, если бы, говорит, им не помог сам дьявол! Тут он стал так ругаться, что все задумались. Красивый был мужчина Лакрей, прямо скажу! Гром и молния! Я тогда говорил ему: «Знаете что, Лакрей, берите меня. На abordаж! Гип, гип, ура! На жизнь и смерть!» Но он чем-то был занят, он не послушался. Тогда и «Зазубрина» была бы цела. Я это знаю. При мне даже дьявол...

– Конечно, Комендант, – сказал Ластон, появляясь в дверях кухни, – ты навел бы у них порядок.

– Естественно, – подтвердил Тильс. – Даже очень. Естественно.

Выпив еще стаканчик, Тильс воодушевился, видимо, не собираясь скоро уйти, и начал перечислять все встречи, путая свои собственные мысли с тем, что слышал и видел за такую долгую жизнь. Он не был пьян, а только болтлив и чувствовал себя здоровым молодым человеком, готовым плыть на край света. Однако уже он два раза назвал повара «сеньор Рибейра», принимая его за старшего механика парохода «Гренель», а Ластона – «герр Бауман», тоже путая с боцманом шхуны «Боливия», и тогда повар нашел, что пора выставить Коменданта. Для этого было только одно средство, но Комендант безусловно подчинился ему. Подмигнув повару, Ластон сказал:

– Ну, Комендант, иди-ка помоги нашим ребятам швартоваться на «Пилигрима». Сейчас будем перешвартовываться.

Тильс съехался и исподлобья, медленно взглянул на Ластона, затем нервно поправил воротничок.

– «Пилигрима» я знаю, – залепетал Тильс жалким голосом. – Это очень хороший пароход. В тысяча девятьсот четырнадцатом году две пробоины на рифах около Голодного мыса... ход двенадцать узлов... Естественно.

– Ступай, Тильс, помоги нашим ребятам, – притворно серьезно сказал повар.

Комендант медленно натянул покрепче козырек фуражки и, с трудом отдираясь от табурета, встал. Толщина массивных канатов, ясно представленная, выгнала из его головы дребезжащий старческий хмель; он остыл и устал.

– Я лучше пойду домой, – сказал Тильс, стремительно улыбаясь Бутлеру и Ластону, которые, скрестив руки на груди, важно сидели перед ним, полузакрыв глаза. – Да, я должен, как я и обещал, не засиживаться позже восьми. Швартуйтесь, ребята, качайте свое корыто на «Пилигрима». Ха-ха! Счастливой игры! Я пошел...

– Вот история! – воскликнул Бутлер. – Уже и по шел. Ей-богу, Комендант, сейчас вернутся ребята и боцман, ты уж нам помоги!

– Нет, нет, нет! Я должен, должен идти, – торопился Тильс, – потому что, вы понимаете, я обещался прийти раньше.

– А отсюда вы куда? – сказал, входя, молодой матрос Шенк.

– Здравствуйте, молодой человек! Хорош ли был рейс? Здоровье вашей многоуважаемой...

– Матушки, чтобы вы не сбились, – отменно хорошо. Но не в этом дело. Зайдите, если хотите, в Морской клуб. Там за буфетом служит одна девица – Пегги Скоттер.

– Пегги Скоттер? – шамкнул Тильс, несколько оживясь и даже не трюся больше перед толстыми канатами «Рекорда». – Как же не знать? Я ее знаю. Отличная девица, клянусь выстрелом в сердце! Я вам говорю, что знаю ее.

– Тогда скажите ей, что ее дружок Вилли Брант помер от чумы в Эно месяц тому назад. Только что при шел «Петушиный гребень», с него был матрос в «Эврика», где сидят наши, и со-

общил. Кому идти? Некому. Все боятся. Как это сказать? Она заревет. А вы, Тильс, сможете; вы человек твердый, да и старый, как песочные часы, вы это сумеете. Разве не правда?

– Правда, – решительно сказал Ластон, двинув ногой.

– Правда, – согласился, помолчав, Бутлер.

– Только, смотрите, сразу. Не мучайте ее. Не поджимайте хвост. – учил Шенк.

– Да, тянуть хуже, – поддакнул Бутлер. – Отрезал и в сторону.

Сжав губы, старичок опустил голову. Слышалось мерное, тяжелое, как на работе, дыхание моряков.

– Дело в том, – снова заговорил Шенк, – что от вас это будет все равно как шепот дерева, что ли, или будто это часы протикают: «Брант по-мер от чу-мы в Эно.» Так-то легче. А если я войду, то будет, знаете, неприлично. Я для такого случая должен выпить.

– Да. Сразу! – хрипло крикнул Тильс и тронул ножкой. – Смело и мужественно. Сердце чертовой девки – сталь. Настоящее морское копыто! Обещаю вам, Шенк, и вам, Бутлер, и вам, Ластон. Я это сделаю немедленно.

II

Пегги Скоттер хозяйничала в чайном буфете нижней залы клуба, направо от вестибюля. Это была стройная, плотного сложения девушка, веснушчатая, курносая; ее серые глаза смотрели серьезно и вопросительно, а темно-рыжие волосы, пристегнутые на затылке дюжиной крепких шпилек, блестели, как хорошо вычищенная бронза.

Когда ее помощница в десятый раз принялась изучать покроем обшитого кружевами рукава своей начальницы, Пегги увидела Тильса. Он подходил к буфету по линии полукруга, часто останавливаясь и вежливо кланяясь посетителям, которых знал.

– Смотрите, Мели, пришел Комендант, – сказала Пегги, сортируя печенье на огромном фаянсовом блюде. – Он метит сюда. Ну, ну, трудись ножками, старый болтун!

Еще издали кланяясь буфетчице, Тильс вплотную подступил к стойке буфета. Пегги спросила его взглядом о старости, о трудах дня и улыбнулась его торжественно таинственному лицу.

– Здравствуйте, многоуважаемая, цветущая, как всегда... – начал Тильс, но заморгнул и тихо закончил: – Надеюсь, рейс был хорош... Извините, я не о том. Чудный вечер, я полагаю. Как поживаете?

– Хотите, Комендант? – сказала Пегги, протягивая ему бисквит. – Скушайте за здоровье Вильяма Бранта. Вы недавно спрашивали о нем. Он скоро вернется. Так он писал еще две недели назад. Когда он приедет, я вам поставлю на тот столик графин чудесного рома... без чая, и сама присяду, а теперь, знаете, отойдите, потому что, как набегут слуги с подносами, то вас так и затолкают.

– Благодарю вас, – сказал Тильс, медленно засовывая бисквит в карман. – Да... Когда приедет Брант. Пегги! Пегги! – вдруг вырвалось у него.

Но больше он ничего не сказал, лишь дрогнули его сморщенные щеки. Его взгляд был влажен и бестолков.

Пегги удивилась, потому что Комендант никогда не позволял себе такой фамильярности. Она пристально смотрела на него, даже нагнулась.

Тильс не мог решиться договорить, – за этим веселым буфетом с веселыми цветами и красивой посудой не мог тут же на весь зал раздаться безумный крик женщины. Он нервно проглотил ту частицу воздуха, выдохнув которую мог бы сразить Пегги словами истины о ее Бранте, и трусливо засеменил прочь, кланяясь с изворотом, спереди назад, как шатающийся волчок.

Пегги больше не разговаривала с Мели о покрое рукава. Что-то странное стояло в ее мозгу от слов Тильса: «Пегги! Пегги!» Она думала о Бранте целый час, стала мрачна, как потухшая лампа, и, наконец, ударила рукой о мраморную доску буфета.

– Дура я, что не остановила его! – проворчала Пегги. – Он чем-то меня встревожил.

– Разве вы не поняли, что Комендант пьяненький? – сказала Мели. – От него пахло, я слышала.

Тогда Пегги повеселела, но с этого момента в ее мыслях села черная точка, и, когда несколько дней спустя девушка получила письменное известие от сестры Тильса, эта черная точка послужила рессорой, смягчившей тяжкий толчок.

– Вот и я, девочка, – сказал Тильс, появляясь, наконец, дома, старой женщине, сидевшей в углу комнаты за швейной машиной. – Очень устал. Все, кажется, благополучно, все здоровы. Рейс был хорош. Побыл на «Травиате», на «Стелле», на «Абрагаме Репп», на «Рекорде». Встретил капитана Гальтона. «Здравствуйте, – говорит мне капитан. – Здорово, говорит, Тильс, молодчина! Вы еще можете держать паруса к ветру». Приглашал в театр. Однако при шумном общении я стесняюсь. Выпили. Капитан подарил мне бисквит, доллар и это... Нет, я ошибся, бисквит дала Пегги Скоттер. Умер ее жених. Неприятное поручение, но я мужественно исполнил его. Какие начались... слезы, крик... Я ушел.

– Вы ничего не сказали Пегги, братец, – отозвалась Ревекка. – Я знаю вас хорошо. Ложитесь. Если хотите кушать, возьмите на полке миску с котлетами.

Прошел год. Снова пришел «Рекорд». Но Комендант не пришел, – он умер оттого, что закашлялся, поперхнувшись супом. Тильс кашлял и задыхался так долго, что в его слабом горле лопнул кровеносный сосуд; старик ослабел, лег и через два дня не встал.

– Чего-то не хватает, – сказал Ластон Бутлеру с наступлением вечера. – Кто теперь расскажет нам разные новости?

Едва умолкли эти слова, как на палубу, а затем в кубрик торопливо вошел дикого вида босой парень, высокий, бесстыжий и красноречивый.

– Здорово! – загремел он, махая дикого вида шляпой. – Как плавали, морячки? Рейс был хорош? Семейство еще живое? Ну-ну! Угостите стаканчиком!

– Кто ты есть? – спросил Бутлер.

– Комендант порта! Тильс сдох, ну... я за него.

Ластон усмехнулся, молча встал и молча утащил парня под локоть на мостовую набережной.

– Прощай! – сказал матрос. – Больше не приходи.

– Странное дело! – возопил парень, когда отошел на безопасное расстояние. – Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь новые? А вам же я хотел услужить, – воры, мошенники, пройдохи, жратва акулья!

– Нет, нет, – ответил с палубы, не обижаясь на дурака, Ластон. – Подделка налицо. Никогда твоя пасть не спросит как надо о том, «был ли хорош рейс».

1929 г.

Бархатная портьера

I

Пароход «Гедда Эльстон» пришел в Покет после заката солнца.

Кроме старого матроса Баррилена, никто из команды «Гедды» не бывал в этом порту. Сама «Гедда» попала туда первый раз, – новый пароход, делающий всего второй рейс.

Вечером, после третьей склянки, часть команды направилась изучать нравы, кабаки и местных прелестниц.

Эгмонт Чаттер тоже мог бы идти, но сидел на своей койке, наблюдая, как перед общим, хотя принадлежащим боцману Готеру, небольшим зеркалом сгрудились пять голов: матросы брились, завязывали галстуки и, в подражание буфетчику, обмахивали начищенные сапоги носовыми платками.

Баррилен, сидя у конца стола, пил кофе.

Чаттер не знал, что Баррилен жестоко ненавидит его за примирение двух матросов. Эти матросы обыграли Баррилена, и он искусно срамливал их, тонко клеветая Смиту на Бутса, а Бут-

су на Смита. Дело вертелось на пустяках: на украденной фотографии, на соли, подсыпанной в чай, на сплетне о жене, на доносе о просверленной бочке с вином. Однако, посчитавшись взаимно, Бутс и Смит схватили ножи, а Чаттер помирил их, растрогав напоминанием о прежней их дружбе.

Человек злой и хитрый, Баррилен умел быть на хорошем счету. Он пользовался прочным, заслуженным авторитетом. В каждом порту он всегда верно указывал – тем, кто не знал этого, – лавки, трактиры, публичные дома, цены и направления.

– Чаттер! – сказал Баррилен, подсаживаясь к нему. – Разве ты не пойдешь танцевать в «Долину»? – так назывался квартал известного назначения.

Чаттер подумал и сказал:

– Нет.

– Что же так?

– Сам не знаю. Я, видишь, еще утром припас две банки персиковой настойки. Сегодня было уж очень душно, должно быть, от этого я и мрачен.

– Ты купил чашку в Сайгоне? – спросил Баррилен, помолчав.

– Купил.

– Покажи!

– Не стоит, Баррилен. Просто фарфоровая чашка с Фузи-Ямой и вишнями.

Матросы, хлопая друг друга по спине и гогоча, как гуси на ярмарке, вышли по трапу вверх, саркастически пожелав Чаттеру хорошенько перестирать свои подштанники. Тогда Баррилен приступил к цели.

– Тебе это дело понравится, – сказал он, тщательно обдумав картину, которую собрался нарисовать простодушному человеку. – Я знаю Покет, Лисс и все порты этого берега; я бывал два раза в Покете. Я сам не пойду в «Долину», хоть веда меня туда даром. Двадцать лет одно и то же... везде. Тут есть одна порченная семья, богатые люди. Болтливому я не скажу ничего, а ты слушай. Их семь душ: четыре сестры и три их приятельницы, – хорошей масти, одна другой лучше. Денег они не берут. Напротив того: ешь и пей, что хочешь, как в нашем салоне. Но они, понимаешь, заводят знакомство только с моряками. Следующее: они сами не пьют, но любят, чтобы матрос ввалился пьяный, завязав ногами двадцать морских узлов. Без этого лучше не приходить. Негритянка проводит тебя через раззолоченную залу к бархатной портъере из черного бархата с золотыми кистями. Тут должен ты ожидать. Она уйдет. Потом занавески эти вскроются, и там ты увидишь... у них это шикарно поставлено! Фортепьяно, арфы, песни поют; можешь также нюхать цветы. Виски, рому, вина – как морской воды! Все образованны, везде тон: «прошу вас», «будьте добры», «передайте горчицу», и что ты захочешь, все будет деликатно исполнено. Там смотри сам, как лучше устроиться. Хочешь сходить?

Истории такого рода весьма распространены среди моряков. Расскажи приведенную нами выдумку кто-нибудь другой, Чаттер ответил бы, смеясь, полдюжиной аналогичных легенд; но он безусловно верил Баррилену, и его потянуло к духам, иллюзиям, музыке. Поверив, он решился и приступил к действию.

– Пусть будет у меня внутри рыбий пузырь вместо честной морской брюшины, – вскричал Чаттер, – если я пропущу такой случай! Это где?

– Это вот где: от набережной ты пойдешь через площадь, мимо складов, и выйдешь на Приморскую улицу. У сквера стоит дом, № 19. Стучи в дверь, как к себе домой после двух часов ночи. Будь весел и пьян!

– Пьян... Это хорошо! – заметил Чаттер. – Потому что мы непривычны... Значит, ты там был?

– Да, в прошлом году. Меня просили посылать только надежных ребят.

Зная настойчивый характер Чаттера в нетрезвом виде, Баррилен посылал его по вымышленному адресу. Этот или другой – все равно: адрес превратится в поле сражения.

Чаттер был молод – тридцать три года! Он переоделся в новый костюм и выпил бутылку настойки. Но обстановка кубрика была еще трезвой. Чаттер выпил вторую бутылку. Теперь кубрик напился. Койка поползла вверх, вместо одного трапа стало четыре. По одному из них Чаттер

вышел, как ему казалось, прямо на улицу, в тень огромных деревьев, заливаемых электрическим светом. Память изменяла на каждом шагу, кроме сброшенной в нее якорем цифры «19» и названия улицы. Чаттер прошел сквозь толпы и бег экипажей, сквозь свет, мрак, грохот, песни, смех, собачий лай, запах чеснока, цветов, апельсиновых корок и саданул по большой желтой двери, согласно всем правилам церемониала, внушенного Барриленом.

Едва успела отскочить от него мулатка, открывшая дверь, как появился высокий бородач внушительного сложения.

Человек с окладистой золотой бородкой стоял, загораживая путь, и Чаттер произнес деликатную речь:

– Если вы попали сюда раньше меня, – сказал он, – это еще не причина наводить на меня боковые огни прямо в глаза. Мест хватит. Я матрос – матрос «Гедды Эльстон». Я верю товарищу. Дом... – номер тот самый. «Прошу вас...», «будьте добры...», «передайте горчицу...» Куда мне идти? Семь лет брожу я от девок к девкам, из трактира в трактир, когда здесь есть музыка и человеческое лицо. Мы очень устаем, капитан. Верно, мы устаем. Баррилен сказал: «Раздвинется, говорит, бархатная портьера». Это про ваш дом. «И там, говорит, – да! – там... как любовь». То есть настоящее обращение с образованными людьми. Я говорю, – продолжал он, идя за хмуро кивающим бородачом, – что Баррилен никогда не лжет. И если вы... куда это вы хотите меня?

– Вот вход! – раздался громовой голос, и Чаттер очутился в маленькой комнате – без мебели, с цинковым полом. Дверь закрылась, сверкнув треском ключа.

«Он силен, чертова борода! – размышлял Чаттер, прислонясь к стене. – Должно быть, сломал плечо».

Настала тьма, и пошел теплый проливной дождь. «Лей, дождь! – говорил Чаттер. – Я, верно, задремал, когда шел по улице. Я не боюсь воды, нет. Однако, был ли я в 19 номере?»

Через несколько минут безжалостный поток теплой воды сделал свое дело, и Чаттер, глубоко вздохнув, угрюмо закричал:

– Стоп! Вы начинаете с того, чем надо кончать, а я не губка, чтоб стерпеть эту воду!

Дверь открылась, показав золотую бороду, подвешенную к нахмуренному лицу с черными глазами.

– Выходи! – сказал великан, таща Чаттера за руку. – Посмотри-ка в глаза! Теперь – переодейся. На стуле лежит сухая одежда, а свою ты заберешь завтра.

Дрожа от сырости, Чаттер скинул мокрое платье и белье, надев взамен чистый полотняный костюм и рубашку. Затем появился стакан водки. Он выпил, сказал «тьфу» и огляделся. Вокруг него блестел белый кафель ванного помещения.

– Теперь, – приказал мучитель Чаттеру, стоявшему с тихим и злым видом, – читай вот это место по книге.

Он схватил матроса за ноющее плечо, сунул ему толстую книгу и ткнул пальцем в начало страницы.

Попятысь к столу, Чаттер сел и прочел:

...Руки моей поэтому. Вот здесь
Цветы для вас: лаванда, рута
И левкой я вам даю,
Цветы середины лета, как всего
Приличнейшие вашим средним летам...
Приветствую я всех!

Камилл

Будь я овцой...⁵³

– Довольно! – сказал бородач. – Попробуй повторить!

– Я понимаю, – ответил, сдерживая ярость, Чаттер. – Вы, так сказать, осматриваете мои

⁵³ Из «Зимней сказки» Шекспира.

мозги. Не хочу!

Бородач молча встал, указывая на душевую кабину.

– Не надо! – буркнул Чаттер, морщась от боли в плече. – «Руки моей поэтому...» Ну, одним словом, как вы старик, то возьмите, что похуже – например: мяту, лаванду, а розы я подарю кому-нибудь моложе тебя. Тут Камилл говорит: «Будь я овцой, если возьму ваше дрянное сено!» Теперь пустите.

– Пожалуй! – ответил бородач, подходя к Чаттеру. – Не сердись. Завтра забереешь свое платье сухим.

– Хорошо. Кто же вы такой?

– Ты был в квартире командира крейсера. Должно быть, ты теперь знаешь его, матрос! – сказал капитан, тронутый видом гуляки. – Вот она, бархатная портьера, которую ты пошел искать! – Он дернул его за ворот рубашки. – Она раскроется, когда ты захочешь этого. А теперь марш по коридору, там тебя выпустят.

– Ладно, ладно! – буркнул Чаттер, направляясь к выходу. – У вас все – загадки, а я еще хмелен понимать их. Большая неприятность произошла. Эх!

Он махнул рукой и вышел на улицу.

II

Коварная выходка Баррилена теперь была вполне ясна Чаттеру, но он думал об этом без возмущения. Сосредоточенное спокойствие, полное как бы отдаленного гула, охватило матроса: чувство старшего в отношении к жизни. Он шел, глубоко-глубоко задумавшись, опустив голову, как будто видел свое тайное под ногами. Поднимая голову, он удивленно замечал прохожих, несущихся, колыхаясь, лица с особым взглядом ходьбы. Наконец, Чаттер очнулся, вошел в магазин и купил жестянку чая – испытанное средство от опьянения. Но ему негде было его сварить. Продолжая идти в надежде разыскать чайную лавку, каких в этой части города не было, он попал в переулок и увидел раскрытую, освещенную дверь нижнего этажа. Там сидела за столом бледная женщина, молодая, с робким лицом, – она шила.

Теперь Чаттер мог бы заговорить с кем угодно, по какому угодно поводу – так же просто, как заговаривают с детьми.

– Сварите мне, пожалуйста, чаю, – сказал матрос, переступив две ступени крыльца и протягивая жестянку насторожившейся женщине. – Я выпил много. С виду я трезв, но внутри пьян. Большая кружка крепкого, как яд, чая сделает меня опять трезвым. Я посижу минут десять и вывалюсь.

Простота обращения передалась женщине, и, слегка улыбнувшись, она сказала:

– Присядьте. Вы, верно, моряк?

– Да, я матрос, – ответил, опускаясь на стул, Чаттер как ей, так и вошедшему невысокому мужчине с маленьким, темным от оспы лицом. – Верно, ваш муж? Я заплачу, – продолжал Чаттер.

Вынув из кармана горсть серебра и золота, жалованье за три месяца, он бросил деньги на стол.

Три покотившиеся монеты, затрепетав, легли посреди клеенки. Мужчина, юмористически сдвинув брови, взглянул на деньги, потом на жену.

– Кэрри, – сказал он женщине, – что тут у вас?

– Ты видишь?! Зашел... принес чай и просит сварить, – тихо ответила Кэрри, нервно дыша в ожидании брани.

– Приятно! Джемс Стиггинс, – сказал муж, протягивая руку Чаттеру. – Я шорник. Кэрри все сделает. Сидите спокойно. Деньги ваши возьмите, не то, если потом растратите, будете думать на нас.

Он беспокойно оглянулся и вышел вслед за женой в кухню.

– Много не сыпь, – сказал он ей, – нам больше останется. Задержи его. Он дурак. Подлей в чай чуть-чуть рому.

Когда он ушел, Кэрри понюхала чай. Хороший чай, с чудным запахом, совсем не тот, какой покупала Гертруда, сестра Стиггинса. Кэрри не разрешалось покупать ничего. А она очень любила чай. Он веселил ее, заглушая желание есть. Теперь ей очень хотелось есть, но она не смела взять кусок пирога с луком, отложенного Гертрудой на завтра.

Подумав, Кэрри высыпала в чайник полжестянки чая.

Между тем перед задумавшимся Чаттером предстала Гертруда. Стиггинс прервал беседу, состоявшую из вопросов о плаваниях, и сделал сестре знак.

Забрав со стола деньги, Чаттер дал ему гинею, а остальное сунул в карман. Перед ним очутилась теперь рослая женщина лет сорока, с диким и быстрым взглядом. Она старалась сейчас подчинить свое жестокое лицо радушной улыбке.

– Вот зашел к нам дорогой гость, бравый моряк, – говорил Стиггинс. – Он выпьет чаю, как у себя дома, в семье, не правда ли, Труда? Он дал мне гинею, – видишь? – купить к чаю кекс и орехов. Ты сходишь. На! А сдачу храни, в следующий раз ему снова дадим чаю и кекс.

Гертруда, взяв деньги, степенно прошла на кухню.

Едва слышно напевая, Кэрри варила чай.

– Как он попал? – спросила Гертруда, показывая монету. – Говоришь – увидел тебя? Так иди же, пусть он видит тебя. Матросы, попав на берег, часто тратят все до копейки. Я заварю чай, а за покупками ходит Джемс. Он много истратился на комод, а теперь еще надо покупать коврик и занавески.

Не смея ослушаться, Кэрри, не поднимая глаз на Чаттера, передала мужу взятую у Гертруды гинею.

– Ты сам...

Стиггинс вышел, а Гертруда принесла чайник.

– Сейчас, сейчас, – говорила она, расставляя посуду. – Наш гость мучается, но он будет пить чай.

Кэрри взглянула на Чаттера, потом на комод. Большой новый комод стоял у стены, как идол. Комод отнял у Кэрри много завтраков, чая, лепешек и мяса, и она ненавидела его. Кэрри хотела бы жить в тесной комнате, но чтобы быть всегда сытой. Вот этот матрос был сыт, – она ясно видела, что он силен, сыт и бодр.

Чаттер сказал:

– Я вам наделал хлопот?

– О нет, несколько, – ответила Кэрри.

– Да, наделал! – повторил Чаттер.

Некоторое время он пил, не отрываясь, свой чай из большой глиняной кружки и, передохнув, увидел Стиггинса, пришедшего с кексом, сахаром, пакетом орехов.

– Дай же мне чаю! – сказал Стиггинс сестре. – Кэрри, нарежь кекс. Наш славный моряк начал отходить. Домашняя обстановка лучше всего.

– Кэрри, ты не объешься? – сказала Гертруда, взглядом отнимая у несчастной кусок кекса. – Ишь! Взяла лучший кусок.

Кэрри положила кекс; глаза ее закрылись, удерживая, но не удержав слез.

– Пусть она ест! – сказал Чаттер, подвигая поднос к Кэрри. – «Руки моей поэтому...» Кэрри, это стихи! «Будь я овцой! Я вам дарю цветы середины лета!»

– Интересно! – заявила Гертруда, жуя полным ртом.

Вошла сгорбленная маленькая старуха с подлым лицом и тихой улыбкой. Взгляд ее загорелся; она шмыгнула носом и села, не ожидая приглашения.

– Чаю, тетушка Риден! – предложила Гертруда. – Вот вам чашка, вот чай. Кушайте кекс!

– Я думала, чай такой жидкий, как был на вашей свадьбе, милочка Кэрри, – монотонно пробормотала старушка, оглядываясь с лукавством и хитростью. – Но нет, он крепок, он очень хорош, ваш чай. Кто же этот ваш гость? Не родственник?

– Родственник! – вдруг сказала Кэрри, у которой странно переменялось лицо. Оно стало ярким, глаза блестели. – Мой двоюродный брат. Мы пойдем с ним в сад. Там есть пиво, там танцуют и есть театр. Не правда ли?

Она смотрела прямо в глаза Чаттеру, и он так же прямо, но глухо, чуть прищурясь, посмотрел на нее. Чаттер уже выпил свой чай. Пока он, встав, искал, а затем нашел кепи, Стиггинс переглянулся с женой и больно придавил ей ногой ногу.

– Только смотри! – мрачно шепнул он.

Общее молчание заставило Гертруду громко заговорить о домашних делах. Нарочно качнувшись, Чаттер взял под руку Кэрри, которая, прикрыв плечи голубым шарфом, поспешно рванулась вперед.

На улице она горько расплакалась.

– Четыре года! – говорила Кэрри, припав к хмуро обнявшей ее руке Чаттера. – Четыре года! Но больше я не вернусь. Возьмите меня и уведите, куда хотите, чтобы я только могла заработать! Можете ли вы это? Вы можете... можете!

– Бедняга! Не реви! – сказал Чаттер. – Ведь ты мне дала чаю, Кэрри, ты будешь пить его из чашки с Фузи-Ямой! Пойдем, то есть возьмем извозчика, а завтра «Гедда Эльстон» выйдет на рейд. Одна наша горничная взяла сегодня расчет. «Будь я овцой!..»

Буфетчик нерадостно выслушал Чаттера относительно Кэрри, так как хотел взять милочку повертливее, но Чаттер обещал ему свое жалованье за два месяца, и дело устроилось. Кэрри не вернулась за вещами, так что матросы в складчину достали ей необходимые платье и белье.

За своими вещами Чаттер съездил в дом № 19 на другой день.

Вот все.

Еще надо сказать, как утром Чаттер доконал Баррилена, подтвердив портьеру, музыку и цветы. Он сильно озадачил его, особенно когда прочел стихи.

– Их пела одна красавица, – сказал Чаттер. – Ты слушай!

Руки моей поэтому...

Будь я овцой. Дарю я вам цветы.

Берите, когда дают, хотя вы есть старик.

Приличнейший левкой для ваших лет!

Цветы середины лета.

После этого, все с тем же, еще не оставившим его чувством старшего среди жизни, Чаттер запустил руку в свою «бархатную портьеру», почесал грудь и лег спать.

Пари

I

– Это напоминает пробуждение в темноте после адской попойки, – сказал Тенброк, – с той разницей, что память в конце концов указывает, где ты лежишь после попойки.

Спангид поднял голову.

– Мы приехали?!

– Да. Но куда, интересно знать?!

Тенброк сел на кровати. Спангид осматривался. Комната заинтересовала его – просторное помещение без картин и украшений, зеленого цвета, кроме простынь и подушек. На зеленом ковре стояли два ночных столика, две кровати и два кресла. Было почти темно, так как опущенные зеленые шторы, достигая ковра, затеняли свет. Утренние или вечерние лучи пробивались по краям штор – трудно было сказать.

– Не отравился? – спросил Тенброк.

– Нет, как видишь. Идеальное сонное снадобье, – отозвался Спангид, все еще осматриваясь. – Который час?

– Часов нет, – угрюмо сообщил Тенброк, обшарив ночной столик. – Их унесли, как и всю нашу одежду. Таулис честно выполняет условия пари.

– В таком случае, я буду звонить.

Спангид нажал кнопку стенного звонка.

Тенброк, вскочив, подбежал к окну и отвел штору. Окно было из матового стекла.

– Даже это предусмотрено! – воскликнул Тенброк, бросаясь к второму окну, где убедился, что фирма «Мгновенное путешествие» имеет достаточный запас матовых стекол. – Слушай, Спангид, я нетерпелив, любопытен; пари непосильны для меня. Кажется я спрошу! Однако... пять тысяч?!

– Как хочешь, но я выдержу, – отозвался Спангид, – хотя мне так сильно хочется узнать, где я, что, если бы не возможность одним ударом преодолеть нужду, я тотчас спросил бы.

Тенброк, закусив губу, подошел к двери. Она была заперта.

– Следовательно, еще нет шести часов утра, – сказал он, с облегчением хватая свой оставленный Таулисом портсигар и закуривая. – Вероятно, Таулис еще спит.

– Пусть спит, – отозвался Спангид. – У нас есть сигары и зеленая комната. Мы везде и нигде. Равно можем мы сейчас лежать в одном из прирейнских городков, на мысе Доброй Надежды, среди сосен Иоллостон-парка или снегов Аляски. Кажется, Томпсон насчитал 93 пункта? Угадать немыслимо. Нет матерьяла для догадок. В шесть часов вечера, согласно условию пари, Таулис даст нам съесть по серой пилюле, и, спустя какое-то, небудущее для нас время, мы очнемся на восточных диванах Томпсонова кабинета, куда легли после ужина. Покорно, как овцы, как последние купленные твари, мы протрем свои проданные за пять тысяч глаза, устроим наши дела, и, месяца через три, добрая душа – Томпсон – может быть, скажет нам: «Вы были на одном из самых чудесных островов Тихого океана, но предпочли счастью смотреть и быть ваш выигрыш. Не желаете ли повторить игру?...»

– Проклятие! Это так, – сказал Тенброк. – Я понимаю тебя; тебе свалилась на плечи куча сестриц и братьев, которых надо поставить на ноги, но зачем я... У меня солидное жалованье. Знаешь, Спангид, я спрошу. Тогда узнаешь и ты, где мы.

– Ты забыл, что в таком случае нас, по условию, разделят; тебя увезут, а я должен буду съесть серую пилюлю.

– Я забыл, – тихо сказал Тенброк. – Но я, все равно, не выдержу. Искушение слишком огромно.

– Всю жизнь буду себя презирать, однако стерплю, – вздохнул Спангид. – Ради одного себя.

– Не ругайся, Спангид. Предприятие, где я служу, не так прочно, как думают. Представился случай. Я уцепился. Ты же мне его и представил. Идея была твоя.

– Ну хорошо, что там... Вот и Таулис.

Повернув ключ, вошел Таулис, агент Томпсона, сопровождающий спящих путешественников на безукоризненных аэропланах фирмы. Одет он был так, как на «отъездном» ужине у Томпсона, – в смокинг; климат страны не вошел с ним.

– В долую! в долую! – закричал Тенброк. – Две тысячи долларов за честное слово тайны! Где мы?

– Видите ли, Тенброк, – ответил Таулис, – среди моих многих скверных привычек есть одна, самая скверная: я привык служить честно. Вы в Мадриде, в Копенгагене, Каире, Москве, Сан-Франциско и Будапеште.

Таулис вынул часы.

– Шесть часов. Пари сделано, игра начинается. Чай, кофе или вино?

– Водка, – сказал Спангид.

– Кофе! – сказал Тенброк. – И газету!

– Ту, которую я привез из Лисса? – Невинно осведомился Таулис. – Бросьте, джентльмены. Это очень детская хитрость.

II

5 сентября 1928 года фирма «Мгновенное путешествие» в лице ее директора Фабрициуса

Томпсона заключила оригинальное пари с литератором Метлаэном Спангидом и его другом Корнуэлем Тенброком, служащим в конторе консервной фабрики.

Согласно условию, каждый из них получал пять тысяч долларов, если, переправленный за несколько тысяч миль в один из географических пунктов, охваченных сферой действия «Мгновенного путешествия», проведет там двенадцать часов, с шести утра до шести вечера, не узнав, где он находился. Доставку на место и обратно приятели должны были провести в бессознательном состоянии.

Если бы естественное любопытство превозмогло, проигрыш выражался бы в следующем.

Тенброк должен поступить на службу фирмы «Мгновенное путешествие» и служить первый год без жалованья.

Спангид обязывался написать рекламную статью о своих впечатлениях человека, очнувшегося «неизвестно где» и узнавшего – «где». С приложением фотографий, портрета автора и снимков зданий фирмы эта статья должна была появиться бесплатно в самом распространенном журнале «Эпоха», что брался сделать Томпсон.

Характер произведений Спангида, любившего описывать редкие психические состояния, давал уверенность, что статья вполне удовлетворит цели фирмы.

В основу деятельности фирмы Томпсона было положено всем известное ощущение краткой потери памяти при пробуждении в темноте после сильного отравления алкоголем или чрезмерной усталости. Очнувшийся вначале не соображает, где он находится, причем люди подвижного воображения любят задерживать такое состояние, представляя, как при появлении света они окажутся с каком-то месте, где никогда не были или не думали быть. Эта краткая игра с самим собою в неизвестность оканчивается большей частью тем, что очнувшийся видит себя дома. Но не всегда.

Согласно расчетам Томпсона и его компаньонов, клиент фирмы – само собой – все изведавший, объездивший путешествиями богатый человек, которому захотелось новизны, уплатив десять тысяч долларов, принимал снотворное средство, действующее безвредно и быстро. Перед этим он нажимал хрустальный шарик аппарата, заключающего в себе номера девяносто трех пунктов земного шара, где находились заранее приготовленные помещения в гостиницах или нарочно построенных для такой цели зданиях. Выпадал номер, ничего не говорящий клиенту, но это был его выигрыш – самим себе назначенное неизвестное место. Он терял сознание, его вез – день, два, три и более – мощный аэроплан, после чего человек, купивший путешествие, попадал в условия пробуждения Спангида и Тенброка.

Проходило десять минут. Тогда являлся агент, сопровождающий бесчувственное тело клиента, и говорил:

– Доброе утро! Вы в...

За десять минут полной работы сознания очнувшийся пассажир, с законным на то правом, мог представлять себя находящимся в любой части света – в городе, деревне, пустыне, на берегу реки или моря, на острове или в лесу, потому что фирма не страдала однообразием. Клиент мог выиграть Париж и пещеру на мысе Огненной Земли, берег Танганайки и остров Южного Ледовитого океана. Конечный эффект напряженного состояния стоил дорого, но многие, испытавшие такую забаву, уверяли, что нет ничего восхитительнее, как ожидание разрешения.

Отказавшись от предложения написать для фирмы статью-рекламу за деньги, Спангид охотно принял пари, будучи уверен, что устоит. Насколько противно было ему писать рекламу, хотя предлагалась сумма значительно более пяти тысяч, – настолько выигрыш подобным путем был в его характере. Он не писал больших вещей, не находя значительной темы, а мелочами зарабатывал мало. После смерти отца на его руках осталось трое: девочка и два мальчика. Им надо было помочь войти в жизнь.

Идея пари увлекла Тенброка, и одним из условий Спангид поставил фирме: заключение пари одновременно с Тенброком, который должен был не разлучаться с ним до конца опыта. Они должны были разделить, лишь если один проигрывал.

Итак, начался день. Где?

III

– Да, где? – сказал Тенброк, когда Таулис внес кофе, водку и сэндвичи. – Кофе как кофе...

– Водка как водка, – подхватил Спангид, – и сэндвичи тоже без географии. Я не Шерлок Холмс. Я ни о чем не могу догадаться по виду посуды.

Таулис сел.

– Я охотно застрелюсь, если вы догадаетесь, где мы теперь, – сказал он. – Напрасно будете стараться узнать.

Его гладко выбритое лицо старого жокея чем-то сказало Спангиду о перенесенном пути, о чувстве нахождения себя в далекой стране. Таулис знал; это передавалось нервам Спангида, всю жизнь мечтавшего о путешествиях, и, наконец, совершившего путешествие, но так, что как бы не уезжал.

Неясный шум доносился из-за окна. Шаги, голоса... Там звучала жизнь неведомого города или села, которую нельзя было ни узнать, ни увидеть.

– Уйдите, Таулис, – сказал Спангид. – Вы богаты, я нищий. Я сам ограбил себя. Теперь, получив пять тысяч, я буду путешествовать целый год.

– Я не выдержу, – отозвался Тенброк. – Кровь закипает. Сдерживайте меня, Таулис, прошу вас. Я не человек железной решимости, как Спангид, я жаден.

– Крепитесь, – посоветовал Таулис, уходя. – Звонок под рукой. Платье, согласно условию, вы не получите до отъезда. Оно сдано... гм... тому, который контролирует вас и меня.

Пленные путешественники умылись в примыкающей к комнате уборной и снова легли. Выпив кофе, Тенброк начал курить сигару; Спангид выпил стакан водки и закрыл глаза.

«Не все ли равно? – подумал он на границе сна. – Узнать... это не по карману. Долли, Санди и Августу надо жить, а также учиться. Милые мои, я стерплю, хотя никому, как мне, не нужно так путешествие со всеми его чудесами. Я буду думать, что я дома».

Он проснулся.

– Дикая зеленая комната, – сказал Тенброк, сидевший на кровати с третьей сигарой в зубах.

– Где мы? – спросил Спангид. – О!..

– В дикой зеленой комнате, – повторил Тенброк. – Четыре часа.

Спангид вскочил.

– Низко, низко мы поступили, – продолжал Тенброк. – Я продал себя. Что ты чувствуешь?

– Не могу больше, – сказал Спангид, пытаясь сдержать волнение. – Я не рожден для железных касс. Я тряпка. Каждый мой нерв трепещет. Я узнаю, узнаю. Таулис, примите жертву и отправьте ее домой.

Тенброк бросился к нему, но Спангид уже позвонил.

Вошел Таулис.

– Обед через пять минут, – сказал Таулис и по лицу Спангида догадался о его состоянии. – Два часа пустяки, Спангид... молчите, молчите, ради себя!

– Проиграл! Плачу! – крикнул Спангид, смеясь и выпрямляясь, как выпущенная дикая птица. – Одежду, дверь, мир! Томпсон не богаче меня! Где я, говорите скорей!

Спангид был симпатичен Таулису. Пытаясь уговорить его шуткой, Таулис сказал:

– Клянусь честью, тут нет ничего интересного! Вы жестоко раскаетесь!

– Пусть. Но я раскаюсь; я – за себя.

– А вы? – Таулис взглянул на Тенброка.

– Я никогда не отделаюсь от чувства, что я предал тебя, Спангид, – сказал Тенброк, пытаясь улыбнуться. – В самом деле... если место неинтересное...

Его замешательство Спангид почти не заметил. Таулис вышел за платьем, а Спангид, утешая Тенброка, советовал быть твердым и выдержать оставшиеся два часа ради будущего. Когда Таулис принес платье, Спангид быстро оделся.

– Прощай, Тенброк, – взволнованно сказал он. – Не сердись. Я в лихорадке.

Ничего больше не слыша и не видя, он вышел за Таулисом в коридор. Впереди сиял свет балкона. В свете балкона и яркого синего неба блестели горы.

Волнение перешло в восторг. Стоя на балконе, Спангид был глазами и сердцем там, где был.

На дне гнезда из отвесных базальтовых скал нисходили к морю белые дома чистого, небольшого города. Вход в бухту представлял арку с нависшей над ним дугой скалы, промытой тысячелетия назад волнами или, быть может, созданной в таком виде землетрясением. Склоны гор пестрели складками гигантского цветного ковра; там, в чаще, угадывались незабываемые места. Под аркой бухты скользили высокие паруса.

– Город Фельтон на острове Магескан, неподалеку от Мадагаскара, – сказал Таулис.

– Славится удивительной прозрачностью и чистотой воздуха, но нет здесь ни порядочной гостиницы, ни театра. Этот дом, где мы, выстроен на склоне горы Тайден фирмой Томпсона. Аэроплан или пароход?

– Я останусь здесь, – сказал Спангид после глубокого молчания. – Я выиграл! Потому что я сам, своей рукой, вытащил из аппарата этот остров и город. Мы летели... Летели?! Два или три дня?

– Четыре, – ответил Таулис. – Но что будете вы здесь делать?

– У меня будут деньги. Я напишу книгу, – целую книгу о «неизвестности разрешенной». Я выпишу моих малюток сюда. Еще немного нужды, потом – книга! Бедняга Тенброк!

– Теперь я еще более уважаю вас, – сказал Таулис, – а о Тенброке не беспокоитесь. Он был бы истинно разочарован тем, что он не в Париже, не в Вене!

Тюремная старина

После того как я вернулся с Урала, прошли осень и зима. Я опять не мог никуда устроиться, жил кое-где на деньги отца в тесной, дешевой комнате и плохо соображал о том, как же мне быть.

Один раз я заработал несколько рублей, взяв подряд сделать для Народного дома к рождеству гирлянды из еловых ветвей. Я работал со своим школьным приятелем Назарьевым, человеком тоже «без определенных занятий». Дня в два мы сделали свое дело и получили десять рублей, считая себя некоторое время богачами. Иногда удавалось переписать роли для театра или больничную смету, но в общем на свои заработки прожить я не мог. Как началась весна, лед реки Вятки пошел, я отправился в контору судовладельца Булычева и записался матросом на баржу, с жалованьем десять рублей на своих харчах, причем условие было такое: восемь рублей ежемесячно, а два рубля удерживались до конца навигации и не выдавались, если матрос уходил раньше отправки баржи на зиму в затон.

Я сдал паспорт, получил два рубля задатку и через несколько дней попал на этой барже, груженной овсом, в Нижний Новгород, где шли приготовления к ярмарке. Там нас всех четверых и водолива тоже заставили работать на берегу, таскать так называемый «подтоварник», т. е. толстые жерди. Они укладываются на земле рядами, а на них кладется товар – мешки, тюки, прикрываемые брезентом.

Мы, человек тридцать с разных барж, жили в деревянной казарме, спали на полу и питались единственно черным хлебом и супом из картофеля с луком. Между тем рыжий, злой приказчик будил нас в четыре часа утра, а ради пущей лютости этого безобразия посылал будить нас своего сына, мальчишку лет двенадцати, который нагло издевался, когда рабочие поднимались в такую рань очень неохотно. Мы же не смели его бранить, боясь отца этого зловредного мальчишки.

Я не стерпел и устроил, при общем одобрении, следующее.

К нам, на второй этаж казармы, вела деревянная лестница, люк которой был огорожен сверху деревянными перилами. Я встал рано, поставил на перила чайник с горячей водой (куб затопливался в три часа ночи), а от чайника провел нитку вниз, к протянутой горизонтально над ступенями другой нитке. Расчет оказался точен: как только стал подниматься по лестнице рыжий сын рыжего отца, чайник перевернулся, и кипяток хлестнул на голову нашего угнетателя.

Никто не спал в эту минуту. Все слушали, как кричит идиот, возмнивший, что он может

командовать взрослыми и усталыми людьми.

Почти немедленно все сели пить чай в глубоком молчании, предшествующем скандалу. Тотчас же ворвался рыжий отец рыжего сына. На его крик: «Кто подстроил эту штуку?» – к чести остальных рабочих надо сказать, что все умолкли, лишь я один сказал: «Это я!» Рыжий отец рыжего сына вился вокруг меня с кулаками и матерной бранью, грозил участком, Сибирью, исходил потом и слюной, но тронуть меня не посмел. Я сказал: «Если ты меня тронешь, не быть тебе живому».

Гроза прошла. Меня, конечно, рассчитали, и на пустой барже, буксируемой пароходом, я вернулся в Вятку. Расчету я получил два рубля.

Прошло лето, а осенью отец спросил меня: «Саша, что же ты думаешь делать?»

Что мог сказать я ему? Мне было смертельно жаль старика отца, всю жизнь свою трудовую положившего на нас, детей, и в особенности на меня – первенца, от которого ждали, что он будет инженером, доктором, генералом...

– Я пойду в солдаты, – сказал я, хотя не подлежал воинской повинности.

Отец был искренне рад. Меня отдали в солдаты, причем, так как я не выходил в объеме груди на четверть вершка, отложили прием на март следующего года. Затем канцелярия воинского начальника всосала меня своими безукоризненными жабрами, и я поехал среди других, таких же отсрочников, в город Пензу, через Челябинск и так далее.

Я прослужил в солдатах около года, в следующем, 1902 году, я убежал.

Моя служба прошла под знаком непрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина «сделает меня человеком», не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать – очень чистой), или не в очередь дневалить я подымал такие скандалы, что не однажды ставился вопрос о дисциплинарных взысканиях. Рассердясь за что-то, фельдфебель ударил меня пряжкой ремня по плечу. Я немедленно пошел в околоток (врачебный пункт), и по моей жалобе этому фельдфебелю врач сделал выговор. На исповеди я сказал священнику, что «сомневаюсь в бытии бога», и мне назначили епитимию: ходить в церковь два раза в день, а священник, против таинства исповеди, сообщил о моих словах ротному командиру.

Командир был хороший человек, – пожилой, пьяница и жулик, кое-что брал из солдатского порционного, но он был хороший человек. Он скоро повесился на поясном ремне, когда его привлекли к суду.

Я был очень удивлен, когда взвод наш по приказанию ротного командира был выстроен в казарме и ротный произнес речь:

«Братцы, вы знаете, что есть враги отечества и престола. Среди вас есть такие же. Опасайтесь их», – и так далее и грозно поглядывал на меня. Но что в этом? Грустно мне было слушать эти слова.

Лагерные занятия прошли хорошо. Между прочим, я брал из городской библиотеки книги. Однажды к моей постели подошел взводный, развернул том Шиллера и, играя ногами, зевая, грозно щурясь, ушел. Я был стрелком первого разряда. «Хороший ты стрелок, Гриневский, – говорил мне ротный, – а плохой ты солдат».

На меня напала куриная слепота, особый вид малокровия, при котором после захода солнца человек ничего не видит. К тому времени я познакомился с вольноопределяющимся

Студенцовым, социалистом-революционером. Он не раз водил меня на конспиративную квартиру, где шли семинары и студенты давали мне читать «Солдатскую памятку» Л. Толстого и еще кое-что. Я был поражен новизной понятий. Все, что я знал о жизни, повернулось разоблаченно – таинственной стороной; энтузиазм мой был беспределен, и по первому предложению Студенцова я взял тысячу прокламаций, разбросав их во дворе казармы...

Однако надо сказать, что это дело было уже зимой, а летом, не стерпев «дисциплины», я бежал со службы при помощи того же Студенцова, давшего мне три рубля, штатскую фуражку и розовую ситцевую рубашку.

Куриная слепота меня чуть не подвела. Когда я вышел из лагеря, то в темноте забрался в чей-то свинарник, и свиньи подняли такой гвалт, что лишь наудачу, вслепую выбрался я через

забор к речке. По пояс в воде перешел я ее, бросил на берегу свою шинель, казенную фуражку, ощупью переоделся, лег и стал ждать рассвета.

Впоследствии, когда меня искали, решили, что я утопился, всю речку обшарили, а я был уже далеко, – отшагал и проехал...